



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

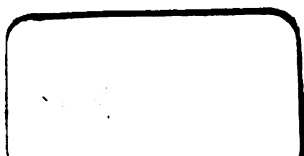
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

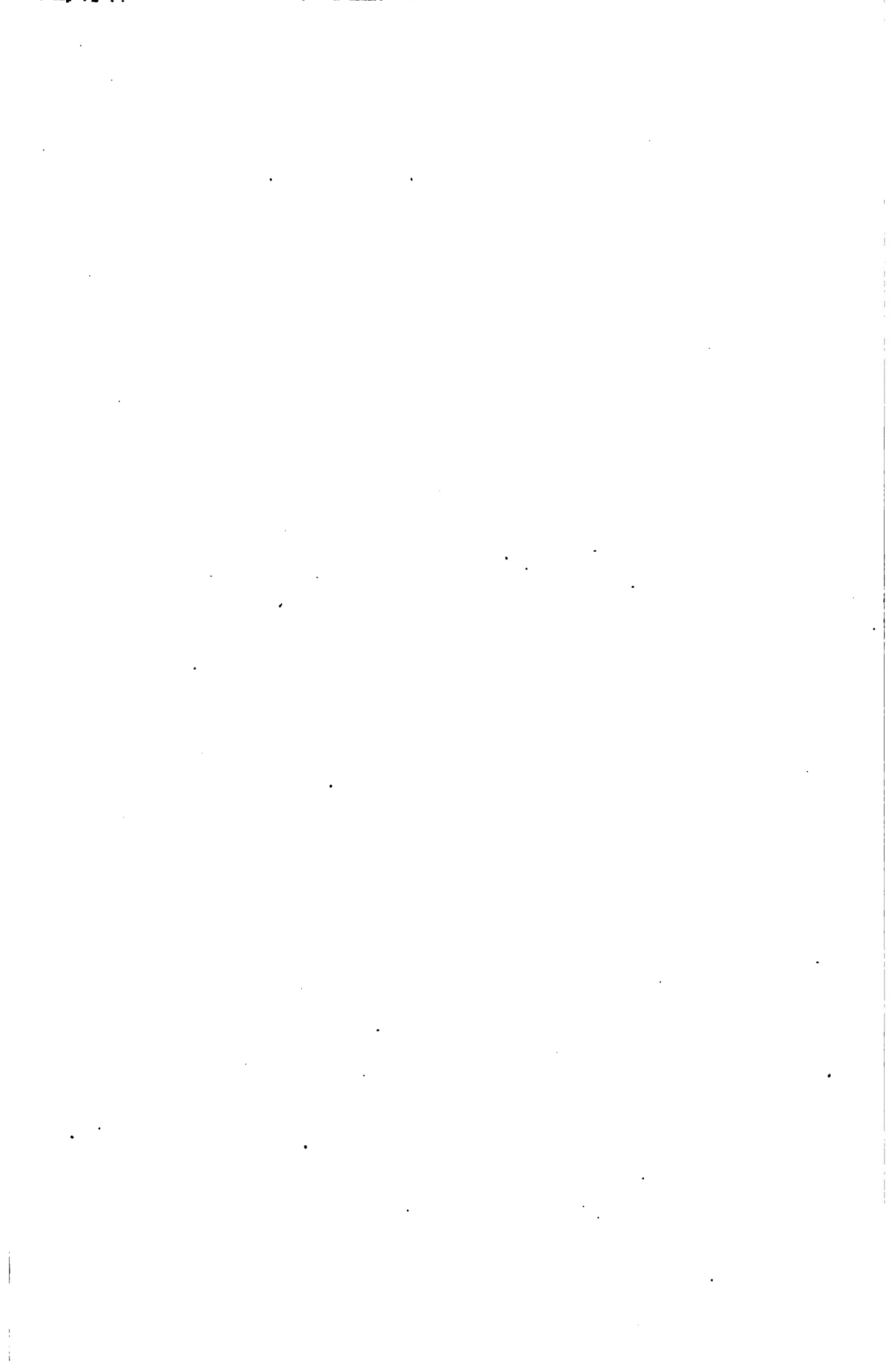
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>







Thomé Yriarte

Успенскій, Г.

СОЧИНЕНІЯ

ГЛѢБА УСПЕНСКАГО

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ автора и вступительной статьей
Н. МИХАЙЛОВСКАГО.

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНИЕ Ф. ПАВЛЕНКОВА.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Цѣна за два тома—3 рубля.

Простые переплеты—по 50 коп. Календарные—по 1 р. Пересылка безъ переплетовъ—за 5 фунтовъ,
съ переплетами—за 6 ф.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Ю. Н. Эрлихъ, Садовая, № 9.

1896.

ОГЛАВЛЕНИЕ ПЕРВАГО ТОМА

Стр.

Отъ автора (замѣтка о второмъ изданіи).

Глѣбъ Ивановичъ Успенскій. Вступительная статья Н. К. Михайловскаго I—LII

I.

ПРАВЫ РАСТЕРЯЕВОЙ УЛИЦЫ.

	Стр.
1. Прохоръ Порфирычъ	3
2. Первый опытъ	19
3. Дѣла и знакомства	29
4. Суббота	54
5. Идутъ дни и годы	62
6. Медикъ Хрипушинъ	64
7. Хрипушинъ ищетъ рюмочки	69
8. Семейство Претерпѣвыхъ	71
9. Осиротѣлая семья	81
10. Жизнь и нравы Толоконникова	85
11. Семенъ Ивановичъ въ хорошемъ располо- женіи духа	91
12. Семенъ Ивановичъ знакомится съ семей- ствомъ Претерпѣвыхъ	93
13. Семенъ Ивановичъ у пристани	103
14. Разный растеряевскій людъ	
1) Книга	106
2) Валканиха	109
3) Мѣщанинъ Дрыкинъ	116
15. Прогулка	120
16. Благополучное окончаніе	132

РАСТЕРЯЕВСКІЕ ТИПЫ И СЦЕНЫ.

1. Войцы	131
2. Нужда пѣсенки поетъ	143
3. Идиія	153
4. Зимній вечеръ	158
5. Задача	169
6. Парамонъ-юродивый	174

СТОЛИЧНАЯ БѢДНОТА.

1. Старьевщикъ	193
2. Первая квартира	202
3. Походъ на старуху	222
4. Старьевщикъ	232

II.

РАЗОРЕНЬЕ.

(очерки провинціальной жизни.)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Наблюденіе Михаила Ивановича.

1. Михаилъ Ивановичъ	235
2. Въ ожиданіи чугунки	248
3. Разоренные	258
4. Продолженіе скуки и скитаній	268
5. Земной рай	273
6. Все по старому	283
7. Неожиданныя новости изъ жизни Михаила Ивановича. Чугунка	295
8. Лѣтній вечеръ	303
9. Счастливейшія минуты въ жизни Михаила Ивановича	309
10. Человѣкъ, на котораго нельзя положиться. Разсказъ Черемухина	313
11. Дома	322
12. Конецъ	332

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Тише воды, ниже травы.

Главы I—XIV	333
-----------------------	-----

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Наблюденія одного лѣтня.

1. О моемъ отцѣ, о „порядкѣ“, о моей лѣтн и о прочемъ	399
2. Воспоминанія по случаю странной встрѣчи	425
3. Я и Павлуша „ходятъ въ народѣ“	448

III.

НОВЫЯ ВРЕМЕНА, НОВЫЯ ЗАБОТЫ.

	Стр.
1. Книжка чековъ	479
2. Неплательщики	498
3. Хочешь-не-хочешь	518
4. На старомъ пепелищѣ	550
5. Нензлечимый	590
6. Не воскресъ	628
7. Голодная смерть	645
8. Три письма	668
9. Больная совѣсть	707

IV.

ОЧЕРКИ И РАЗСКАЗЫ.

1. Будка	727
2. Спусти рукава	748
3. Изъ биографіи искателя теплыхъ мѣстъ	760
4. Прогулка	791
5. Тяжкое обязательство	802
6. На постояломъ дворѣ	808
7. Изъ записокъ маленькаго человѣка	823
8. Хорошая встрѣча	844
9. Съ конки на конку	854
10. Норовилъ по совѣсти	863
11. Умерла за „направленіе“	874

МЕЛОЧИ.

1. Дворникъ	898
2. По черной гѣстинцѣ	902
3. Обстановочка	913

ПИСЬМА ИЗЪ СЕРБІИ.

	Стр.
1. Наши добровольцы въ дорогѣ	921
2. Наши добровольцы на чужой сторонѣ	928
3. Отъ Бѣлграда до Парачина и назадъ	933
4. Перехъ отъѣздомъ	940

V.

КОЙ-ПРО-ЧТО.

(ИЗЪ ЗАМѢТОКЪ ДЕРЕВЕНСКАГО ОБЫВАТЕЛЯ.)

1. Последнее средство	949
2. Развеселилъ господъ	959
3. Добрые люди	970
4. На бабьемъ положеніи	979
5. Урожай	985
6. Петъкина карьера	1004
7. Недосугъ	1011
8. Послѣ урожая	1022
9. Избушка на курьихъ ножкахъ	1041
10. Разговоръ по дорогѣ	1062
11. Не былъ, да и не сказка	1083
12. Замѣтка	1093
13. „Взбрело въ башку“	1099
14. Выпрямила	1122
15. Про счастливыхъ людей	1140

ИЗЪ ПУТЕВЫХЪ ЗАМѢТОКЪ.

1. „Пока-что“	1155
2. Больные казаки	1170

ОТЪ АВТОРА.

(Замѣтка о второмъ изданіи.)

Въ составъ настоящаго двухтомнаго изданія, кромѣ восьми томовъ, изданныхъ въ промежутокъ времени съ 1883 по 1886 годъ, вошло почти все, что было написано мною до самаго послѣдняго времени. Къ прежде изданнымъ восьми томамъ прибавлено теперь такое количество новаго матеріала, которое, по счету печатныхъ листовъ перваго изданія, могло бы составить еще два новыхъ тома—девятый и десятый. То, что при отдѣльномъ изданіи могло бы составить томъ девятый, помѣщено въ концѣ перваго тома настоящаго изданія, а матеріалы тома десятаго—въ концѣ втораго. Такое раздѣленіе сдѣлано частью для болѣе равномернаго объема обоихъ томовъ, а частью и по слѣдующему соображенію: собственно беллетристическихъ произведеній во всемъ написанномъ мною мало, а напротивъ очень много такого рода наблюденій, которыя передаются мною въ формѣ небеллетристической. Все, что касается крестьянства, изложено именно въ видѣ замѣтокъ, дневниковъ и вообще безъ притязанія на какую-нибудь внѣшнюю литературную отдѣлку. Вотъ почему все, написанное исключительно въ этомъ родѣ и касающееся почти только народной жизни,—помѣщено во второмъ томѣ; къ первому же прибавлено изъ написаннаго мною послѣ 1886 года все, что, во-первыхъ, носитъ на себѣ отпечатокъ хотя какой-нибудь болѣе или менѣе определенной литературной внѣшности—очерка, разсказа—и, во-вторыхъ, касается не исключительно только вопросовъ крестьянской жизни.

Нѣкоторые изъ моихъ читателей неоднократно выражали желаніе, чтобы все написанное мною было издано въ хронологическомъ порядкѣ. Къ сожалѣнію, ни въ первомъ, ни въ настоящемъ изданіи это справедливое желаніе не могло быть исполнено по причинамъ, о которыхъ я уже подробно сказалъ въ предисловіи къ изданію 1883 г.

„Времена, — писалъ я тогда, — пережитыя русскою журналистикою въ шестидесятихъ годахъ, были преисполнены всевозможныхъ случайностей, безпрестанно разстраивавшихъ ея правильное теченіе... Я говорю здѣсь о тѣхъ чисто внѣшнихъ затрудненіяхъ, благодаря которымъ нельзя было благополучно начать и кончить задуманную работу. Приведу одинъ примѣръ: „Правы Растеряевой улицы“, начатыя въ 1866 г., прекратились на четвертой страницѣ, потому что „Современникъ“ былъ закрытъ. Продолженіе этихъ очерковъ, приготовленное для „Современника“, должно было явиться въ сборникѣ „Лучъ“, изданномъ редакціей „Русскаго Слова“, которое также было

прекращено, причѣмъ все, что имѣло „связь“ съ очерками, напечатанными въ „Современникъ“, надо было уничтожить, обрѣзать, выкинуть—для того чтобы „продолженіе“ имѣло видъ работы отдѣльной и самостоятельной; вотъ почему дѣйствующія лица были переименованы въ другихъ, имъ „сдѣлана“ иная обстановка, и самое названіе измѣнено. Затѣмъ дальнѣйшее продолженіе той же серіи разсказовъ печаталось въ журналѣ „Женскій Вѣстникъ“, такъ какъ тогда (1866 г.) почти совершенно не было другихъ литературныхъ журналовъ. Можно поэтому судить, что должна была претерпѣть „Растеряева улица“ съ своими пьяницами, „сапожниками и мастеровщиной“, появляясь въ журналѣ, посвященномъ *женскому развитію, женскому вопросу!* При всемъ моемъ глубокомъ желаніи, чтобы пьяницы мои вели себя въ дамскомъ обществѣ поприличнѣй, всѣ они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но что же было дѣлать? Я ихъ умылъ и приодѣлъ, и они стали только хуже, а правды въ нихъ меньше“.

Вотъ основанія того, почему я нашелъ болѣе удобнымъ для читателя въ каждомъ томѣ перваго изданія собирать во едино все, что на извѣстную тему было написано хотя бы втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ, не раздробляя однородной работы вставкою постороннихъ, но одновременно писавшихся статей, чего требуетъ хронологическій порядокъ. Очерки-же и разсказы, которые писались въ промежуткахъ работъ на какую-нибудь одну, болѣе или менѣе опредѣленную тему,—такіе очерки прилагались къ каждому тому какъ дополненія, но по возможности также болѣе или менѣе однороднаго содержанія.

Переиначивать этого порядка не оказалось возможнымъ и въ настоящемъ изданіи. Въ виду того же желанія—дать каждому тому болѣе или менѣе опредѣленное содержаніе—я и въ настоящемъ изданіи, вмѣсто буквальной перепечатки „Писемъ съ дороги“, которыя писались мною втеченіе трехъ лѣтъ и составили бы не менѣе двухъ томовъ объема перваго изданія—исключивъ изъ нихъ частыя повторенія объ одномъ и томъ же вопросѣ, неизбѣжныя при повтореніи этихъ явленій въ дорожныхъ встрѣчахъ разныхъ лѣтъ и разныхъ мѣстъ—выбралъ изъ этихъ писемъ только то, что казалось мнѣ наиболѣе заслуживающимъ вниманія, а то, что въ письмахъ этихъ не могло быть проверено личнымъ наблюденіемъ, дополнилъ на основаніи матеріаловъ, которые могла дать мѣстная провинціальная пресса. Въ этихъ именно видахъ я и ввелъ подъ общую рубрику „Писемъ съ дороги“ три компилятивныя дополненія (главы VI, VII и X), болѣе подробно уясняющія такія явленія жизни, которыя пишущему „съ дороги“ нѣтъ возможности пополнить личнымъ наблюденіемъ.

Такимъ образомъ все, что не вошло въ это изданіе,—не вошло потому, что было бы повтореніемъ сказаннаго ранѣе въ той или другой изъ помѣщенныхъ уже въ этихъ томахъ статей.

Глѣбъ Успенскій.

8 ноября 88 г. Спб.

ГЛѢБЪ ИВАНОВИЧЪ УСПЕНСКІЙ.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Мнѣ не разъ приходилось писать о Г. И. Успенскомъ, но всегда урывками, къ слову, среди полемическихъ и иныхъ заботъ и хлопотъ дня. Только въ концѣ 1883 г., по поводу вышедшихъ тогда двухъ первыхъ томовъ собранія его сочиненій, мнѣ удалось начать болѣе или менѣе цѣльную статью объ немъ; только начать, а кончить такъ и не пришлось. Поэтому я съ величайшимъ удовольствіемъ принялъ предложеніе Ф. Θ. Павленкова написать характеристику Успенскаго для новаго изданія его сочиненій. Но долженъ предупредить читателя, что мнѣ придется здѣсь повторить многое изъ написаннаго мною раньше. Въ особенности это относится къ упомянутой статьѣ 1883 г., основныя мысли которой мнѣ придется повторить даже въ тѣхъ же выраженіяхъ,—не выдумывать же новыя!

I.

Глѣбъ Успенскій—одинъ изъ любимѣйшихъ современныхъ русскихъ писателей. Кромѣ огромнаго и вполне оригинальнаго таланта, который общепризнанъ, онъ милъ и дорогъ своему читателю еще тѣмъ-то другимъ, что труднѣе уловить и указать, чѣмъ талантъ.

Успенскій появился на такъ называемомъ литературномъ поприщѣ въ шестидесятыхъ годахъ вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими талантливыми молодыми писателями. Явились они какъ-то вдругъ, цѣлымъ гвѣздомъ, и сначала не легко было строго опредѣлить индивидуальныя особенности каждаго изъ нихъ. Ихъ до известной степени объединяли и содержаніе ихъ писаній, и манера изложенія. Интересовались они больше такими слоями общества, которые мало или вовсе не привлекали къ себѣ творческаго вниманія беллетристовъ предыдущаго поколѣнія: мужикъ, рабочій, дьячокъ, мѣщанинъ, мелкій чиновникъ—вотъ это ихъ почти исключительно занимало. Какой-нибудь угодливости этому мелкому люду, какого-нибудь желанія прикрасить

его и поставить выше любимыхъ персонажей предыдущаго періода беллетристики—не было. Напротивъ, въ такую намѣренную идеализацію часто впадали старые беллетристы въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда брали свои сюжеты изъ среды мелкаго сѣраго люда. Молодые же беллетристы, о которыхъ идетъ рѣчь, нерѣдко грѣшили противоположною крайностью. Вообще же они желали писать просто правду, какою она имъ въ данную минуту представлялась, не руководствуясь никакими сторонними соображеніями. Опредѣленная тенденція всей группы состояла только въ томъ, чтобы привлечь вниманіе общества къ такимъ сферамъ, которыя долготѣ едва смѣли показаться въ литературѣ. Это было какъ-разъ во-время, въ виду результатовъ крымской войны и послѣдовавшихъ за ней реформъ, долженствовавшихъ кореннымъ образомъ обновить весь нашъ общественный строй. Не мудрено, что упомянутая группа беллетристовъ имѣла большой успѣхъ—она вполне соотвѣтствовала житейскому моменту, была костью отъ кости и плотью отъ плоти его. Не мудрено также, что общество прощало этой литературѣ разныя ея изъязненія. А прощать было что! Во-первыхъ, эта молодежь наносила оскорбленіе дѣйствіемъ всѣмъ традиціоннымъ, привычнымъ формамъ беллетристики: недосказанные рассказы, незавершенныя сценки, начала безъ конца и концы безъ начала, бѣглыя отмѣтки, еле очерченныя лица, отсутствіе «выдумки», какъ говорилъ Тургеневъ, то есть сколько-нибудь стройной фабулы, и т. д. Это было большою дерзостью, объ которой мы по теперешнему времени даже судить не можемъ, ибо тогдашнее старшее поколѣніе беллетристовъ, въ лицѣ Тургенева, Гончарова, Островскаго, давало высокіе образцы вполне правильнаго въ архитектурномъ смыслѣ и вполне законченнаго творчества. Но дерзость литературной молодежи на этомъ не останавливалась. Уже то могло казаться дерзостью, что центръ тяжести литературныхъ интересовъ передвигался изъ помѣ-

щичьихъ усадебъ съ аллеями густолиственныхъ кленовъ, гдѣ такъ повѣтчески гуляли влюбленные пары при лунномъ свѣтѣ; изъ гостиныхъ, заваленныхъ кипсеками и альбомами, гдѣ происходили такіе изящные разговоры; изъ балльныхъ залъ, сверкающихъ обнаженными дамскими плечами, брилліантами, мундирами—въ одноглазые мѣщанскіе домишки, въ кабаки, мужицкія избы, постоянные дворы, комнаты «снѣбилью». Но все это было еще пожалуй, что называется, въ духъ времени, ибо періодъ реформъ открывалъ, казалось, двери новой жизни, и натурально, что въ нихъ хлынулъ разный сѣрый мелкій людъ, давая свою окраску и литературѣ. Но дераость литературной молодежи не останавливалась и передъ оскорбленіями самаго этого духа времени. Только что освобожденный, только что признанный созрѣвшимъ для усвоенія гражданскихъ правъ мужикъ вдругъ являлся въ какомъ-нибудь очеркѣ Николая Успенскаго или Слѣпцова совершеннымъ дубиной, стоявшимъ чуть не на уровнѣ какого-нибудь папуаса. Только что введенная судебная реформа вызывала у Гл. Успенскаго сцену въ окружномъ судѣ (въ «Разореніи»), которая оканчивалась бессмысленнымъ, хотя и невольнымъ издѣвательствомъ представителей правосудія надъ несчастной старухой. И все это прощалось, потому что подо всѣмъ этимъ былъ духъ жизни и правды. Въ воздухѣ носились радужныя надежды и ликованія, даже до приторности, и самая эта приторность должна была внушать подозрѣнія и опасенія людямъ проницательнымъ или просто чуткимъ...

Къ нашему времени изъ всей этой шумной группы молодыхъ беллетристовъ, начавшихъ свою литературную дѣятельность въ шестидесятыхъ годахъ, сохранился одинъ Глѣбъ Успенскій. Кое-кто умеръ на полпути, кое-кто засохъ живою, кое-кто наконецъ утратилъ типическія черты той группы. И вотъ что замѣчательно. Четверть вѣка работаетъ Успенскій, работаетъ въ настоящемъ — высокомъ и вѣстѣ тяжеломъ — смыслѣ этого слова, работаетъ подъ грозой собственной усталости и не менѣе страшной грозой появленія новыхъ читателей, иными условіями воспитанныхъ и потому чужихъ ему по духу. При этомъ самъ онъ не только не поступаетъ ни единою изъ тѣхъ типическихъ чертъ, съ которыми пришелъ въ литературу, но еще усугубляетъ ихъ. Прежде онъ занимался разнымъ мелкимъ городскимъ людомъ — теперь спустился еще ниже, въ мужицкую избу, почти не выходя отсюда и подчасъ бранчиво отстаивая свою позицію. Прежде онъ писалъ оборванные, но по крайней мѣрѣ цѣльно задуманные очерки, а теперь не только продолжаетъ это оскорбленіе беллетристики дѣйствіемъ, но еще допускаетъ въ свои писанія широкую струю прямо публицистики. Прежде онъ, во имя духа жизни и правды, говорилъ дерзости духу времени, а теперь доходитъ въ этомъ отношеніи до того, что вызываетъ грозные окрики: «до чего договорился Глѣбъ Успенскій!». И не смотря на эти окрики, впрочемъ не изъ тучи гремящія и все затихающіе, несмотря на очевидные и несомнѣнные изъяны въ его литературной манерѣ, симпатіи къ нему читателей все

растутъ. Изъ «подающего надежды» онъ сталъ яркимъ, характернымъ фактомъ исторіи русской литературы, навсегда занявшимъ въ ней оригинальное и почетное мѣсто.

Бываютъ совершенно неправильныя фізіономіи, которыя однако вамъ больше нравятся, чѣмъ писанные красавцы. Бываетъ и такъ, что какая-нибудь завѣдомая неправильность въ лицѣ любимаго человека, какой-нибудь очевидный изъянъ въ немъ, становится особенно дорогимъ вамъ, именно потому, что это—особенность любимаго человека, одна изъ чертъ, которыя отличаютъ его, дорогого, отъ всѣхъ прочихъ, безразличныхъ или непріятныхъ. Вы отлично понимаете, что это изъянъ, и на другомъ лицѣ этотъ изъянъ произведетъ на васъ можетъ быть даже прямо отталкивающее впечатлѣніе, но тутъ онъ какъ-то у мѣста, и объясненіе этой умѣстности лежитъ частью въ васъ самихъ, который любить, частью въ общемъ выраженіи любимаго лица, въ которомъ отразилось то, что васъ заставляло полюбить.

Тѣмъ не менѣе изъяны остаются изъянами, и, говоря объ Успенскомъ, мнѣ съ нихъ именно приходится начинать.

Успенскій началъ свою литературную дѣятельность отрывками и обрывками, и не только не отдѣлялся отъ этой юношеской манеры, но съ теченіемъ времени точно укрѣпился въ сознаніи законности и необходимости этого рода литературы. Во «Власти земли» онъ между прочимъ съ такими словами обращается къ читателю: «Вы вотъ все жалуетесь, что нѣтъ изящной словесности, все только о мужикѣ пишутъ. Во-первыхъ, это неправда: вы имѣете ежемѣсячную массу литературныхъ произведеній, написанныхъ вовсе не о мужикѣ, и притомъ весьма изящно. А во-вторыхъ, зачѣмъ вы читаете объ этомъ мужикѣ и, главное, зачѣмъ вы полагаете, что писанія эти надо причислить къ изящной словесности? Посмотрите пожалуйста повнимательнѣе въ оглавленіе, и тамъ сказано: «замѣтки», «отрывки»... Какая-же это словесность? Это просто черная работа литературы, а съ словесностью вѣроятно надобно покуда повременить».

Такимъ образомъ для Успенскаго обрывочность его писаній какъ-то логически связывается съ характеромъ ихъ темы. Но такой логической связи очевидно нѣтъ. Причемъ тутъ собственно «мужикъ», это мы увидимъ впоследствии. А теперь замѣтимъ только, что самъ по себѣ мужикъ можетъ быть, и во всѣхъ литературахъ, въ томъ числѣ и въ нашей, дѣйствительно бывалъ предметомъ воспроизведенія въ драмѣ, романѣ, повѣсти, вообще «изящной словесности» въ ея законченныхъ формахъ. Какъ бы кто ни смотрѣлъ на романъ Зола «La terre» или на драму Толстого «Власть тьмы», но вѣдь это во всякомъ случаѣ не отрывки и очерки. Да и почему бы въ самомъ дѣлѣ драма, романъ, повѣсть изъ мужицкаго быта невозможны? Очевидно, дѣло въ этомъ случаѣ отнюдь не въ мужикѣ, а въ самомъ Успенскомъ. И надо же себѣ объяснить, почему это такъ выходитъ, почему человекъ такого большаго таланта и такой искренней вдумчивости не овладѣлъ

законченностью формы. Казалось бы, законченность эта совсѣмъ ужъ пустое дѣло при наличности художественнаго дарованія. Посмотрите кругомъ—и вы увидите, что люди, въ которыхъ есть только микроскопическія крупинки таланта, а иной разъ и тѣхъ нѣтъ, десяткіи разъ прекрасно справляются сначала съ первой главой первой части, потомъ пишутъ вторую главу и т. д., и наконецъ твердою рукою подписываютъ: «конецъ такой-то и послѣдней части». Должно быть, это штука не хитрая. Не думаю, чтобы нашелся человекъ, отрицающій талантъ Успенскаго; но возьмемъ самаго въ этомъ отношеніи строгаго и придирчиваго судью, какого вы только себя представить можете. Все-таки же онъ не уравниваетъ его съ авторами безчисленныхъ вполне законченныхъ романовъ и повѣстей, сотнями появляющихся въ литературѣ и тѣмъ же числомъ немедленно погружающихся въ море забвенія. И однако эти авторы могутъ написать законченное произведение, а Успенскій не можетъ. Любопытно вѣдь это.

Далѣе, съ какой стати высоко даровитый беллетристъ занимается публицистикой? Дѣло здѣсь не въ формальныхъ подраздѣленіяхъ литературы, не въ департаментахъ какихъ-нибудь или министерствахъ, съ присвоенными каждому изъ нихъ особыми мундирами, а въ экономіи и естественномъ распредѣленіи литературныхъ силъ. Публицистикой можемъ заниматься и мы, лишенные творческой способности. Конечно было бы очень хорошо, еслибы каждый публицистъ обладалъ и поэтической силой, которая была-бы подспорнымъ средствомъ высокой важности, а каждый художникъ, я думаю, даже долженъ быть публицистомъ въ душѣ. Вообще тѣмъ богаче и разностороннѣе внутренняя природа писателя и его средства воздѣйствія на общество, тѣмъ, разумѣется, лучше. Пусть писатель будетъ одинаково богатъ и творческою силою, и силою логическаго анализа, пусть онъ даже представляетъ плоды той и другой силы на бумагѣ. Мильтонъ написалъ «Потерянный рай», но онъ же написалъ и «Защиту англійскаго народа»; въ нашей литературѣ авторъ романа «Кто виноватъ?» былъ публицистомъ и т. д. Подобныхъ примѣровъ можно привести довольно много. Но когда читателю предлагается смѣшеніе публицистики съ беллетристикою въ тѣхъ пропорціяхъ, какія усвоилъ себя въ послѣднее время Успенскій, то читатель, можно навѣрное сказать, находится въ относительномъ проигрышѣ. Назначеніе логическаго анализа—разрѣзать, расчленять живыя явленія; назначеніе поэтическаго творчества, напротивъ,—возсоздавать ихъ именно въ ихъ живой цѣльности. Оба эти процесса могутъ имѣть мѣсто въ головѣ одного и того же богато одареннаго писателя, но въ исполненіи на бумагѣ, въ одномъ и томъ же произведеніи, имъ очень трудно ужиться рядомъ, не нанося другъ другу ущерба. Послѣднія произведенія Успенскаго имѣютъ безспорно большую цѣну, что уже видно изъ того обилія разговоровъ, которые вызываетъ почти каждая его статья. Но нельзя все-таки не пожалѣть, что онъ не даетъ простора своей огромной художественной способности.

Я вовсе не думаю читать наставленія, да наставленіями ничего и не подѣлаешь. Когда писатель намѣренно употребляетъ тотъ или другой невыгодный для него самого и для читателя приемъ, то конечно можно попытаться убѣдить его. Но въ данномъ случаѣ никакой намѣренности нѣтъ, разумѣется; просто такъ выходитъ, такъ пишется, полоса такая нашла. Но если-бы можно было добраться до подкладки этой полосы,—подкладки, можетъ быть, неясной самому писателю, то мы имѣли-бы по крайней мѣрѣ разъясненное явленіе, а это вовсе не мало.

Въ предисловіяхъ къ первымъ двумъ томамъ перваго изданія своихъ сочиненій Успенскій рассказываетъ исторію своихъ писаній. Она очень подробна и многое объясняетъ какъ въ этихъ томахъ, такъ, если я не ошибаюсь, и во всей послѣдующей литературной дѣятельности этого писателя.

«Нравы Растеряевой улицы», занимающіе значительную часть перваго тома, начали печататься въ «Современникѣ» 1866 года. Но «Современникъ» былъ какъ разъ въ этомъ году закрытъ, и продолженіе «Нравовъ», приготовленное для этого журнала, авторъ перенесъ въ «Лучъ»,—сборникъ, издаваемый редакціей «Русскаго Слова». Далѣе пусть рассказываетъ самъ авторъ: «При этомъ все, что имѣло «связь» съ очерками, напечатанными въ «Современникѣ», надо было уничтожить, обрѣзать, выкинуть, для того чтобы «продолженіе» имѣло видъ работы отдѣльной и самостоятельной; вотъ почему дѣйствующія лица были переименованы въ другихъ, имѣ «сдѣлана» другая обстановка, и самое названіе измѣнено. Затѣмъ дальнѣйшее продолженіе той-же серіи рассказовъ печаталось въ журналѣ «Женскій Вѣстникъ», такъ какъ тогда (1866 г.) почти совершенно не было другихъ литературныхъ журналовъ. Судите поэтому, что должна была претерпѣть «Растеряева улица» съ своими пьяницами, «сложниками и мастеровицкой», появляясь въ журналѣ, посвященномъ *женскому* развитію, *женскому вопросу*! При всемъ моемъ глубокомъ желаніи, чтобы пьяницы мои вели себя въ дамскомъ обществѣ поприличнѣе, всѣ они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но что-же было дѣлать? Я ихъ умылъ и приоглѣлъ, и они стали только хуже, а правды въ нихъ меньше. Наконецъ, очень много матеріала, приготовленнаго для «Растеряевой улицы», было разбросано въ видѣ очерковъ и сценокъ по всевозможнымъ газетамъ и листкамъ».

Примѣрно то-же самое читаемъ и въ предисловіи ко второму тому, относительно другого, широко задуманнаго, но разбитаго на клочки произведенія—«Разоренія». Но это только внѣшняя сторона дѣла: «обстоятельства чисто личнаго характера» и неприглядныя случайности судьбы. Ими не ограничивается исторія писаній Успенскаго. Многіе «очерки и сценки» изъ числа тѣхъ дребезговъ, на которые разбились «Нравы Растеряевой улицы», не вошли въ настоящее изданіе. Авторъ ихъ отвергъ, презрѣлъ, и вотъ на какомъ основаніи: «Все это

было продуктомъ тогдашней литературной безпріятности. Сплоченныхъ литературныхъ кружковъ, къ которымъ могли-бы пристать начинающіе писатели—ничего тогда на лицо не было. Все удручало васъ и дѣлало одинокимъ. А между тѣмъ общество, вступившее въ совершенно новый періодъ жизни, требовавшее отъ литературы—и нѣло на это право—многосложной и внимательной работы. Такимъ образомъ, какъ отсутствіе «школы», такъ и глубокое внутреннее сознаніе, что «теперь» обновляющая жизнь требуетъ большихъ дарованій и задала имъ огромныя задачи, дѣлали то, что незначительная способность написать «рассказецъ» или «очеркъ» ослаблялась внутреннимъ сознаніемъ ненужности этого дѣла. «Все это не то!» думалось тогда, и вслѣдствіе этого матеріалъ обрабатывался плохо, кой-какъ, появляясь въ видѣ отрывковъ безъ начала и конца».

Повидимому это объясненіе отрывочности и оборванности не мирится съ приведенными выше изъ «Власти земли» словами, какъ-бы узаконяющими эту отрывочность въ связи съ самой темой писаній Успенскаго. Теперь, избравъ своимъ сюжетомъ мужика, онъ увѣренъ, что худо-ли, хорошо-ли, но онъ дѣлаетъ настоящее дѣло, то именно, которое особенно нужно обществу, и во многихъ мѣстахъ горячо и прочувствованно доказываетъ это: и именно поэтому, думаетъ онъ, онъ пишетъ очерки и отрывки, а не «произведенія изящной словесности». Въ началѣ своей литературной дѣятельности онъ, напротивъ, сомнѣвался въ пользѣ и надобности того, что онъ дѣлаетъ, и именно поэтому выходили очерки и отрывки. Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что писатель теряется въ объясненіяхъ причинъ, по которымъ дѣятельность его приняла тѣ или другія формы. Со стороны дѣло видѣе.

Успенскій началъ писать очень рано,—въ томъ почти юношескомъ возрастѣ, когда внѣшнія вліянія особенно сильно дѣйствуютъ на неокрѣпшую еще манеру писанія и надоело, а иной разъ и навсегда, владутъ на нее свою печать. Если-бы тѣ печальныя обстоятельства, о которыхъ рассказываетъ нашъ авторъ въ предисловіяхъ, постигли его позже, нѣсколько лѣтъ спустя послѣ его выхода на литературное поприще, мы можемъ быть имѣли бы не такого Успенскаго, не до такой степени отрывочнаго и незаконченнаго. Я вовсе не думаю все сваливать на внѣшнія условія. Я говорю только, что они сыграли тутъ важную роль и до извѣстной степени просто принудили Успенскаго выработать приемъ разбиванія нѣкотораго художественнаго цѣлага въ дребезги. Сначала ему было вѣроятно очень трудно совершать эти операціи, но затѣмъ онъ вошелъ въ привычку, которая укрѣплялась и другими «обстоятельствами чисто личнаго характера». Время появленія Успенскаго въ литературѣ было вообще необыкновенно тяжелое. Съ него началась тотъ скорбный листъ русской литературы, который и до сихъ поръ не завершился ни окончательною смертію, ни окончательнымъ выздоровленіемъ. Правда, и до этого времени литературѣ случалось

выносить многія и многія тяжести, не погѣшавшія однако образованію такъ-называемой «плеяды», группы блестящихъ талантовъ сороковыхъ годовъ, давшихъ длинный рядъ цѣльныхъ художественныхъ произведеній. Но какъ-бы ни были мрачны тѣ времена въ цѣломъ, а позднѣе наступили времена, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ еще болѣе тяжкія. Литературные труженики сороковыхъ годовъ никакъ уже не страдали тѣмъ «одиночествомъ», на которое жалуются Успенскій. Это была цѣлая группа, тѣсно сплоченная общностью интересовъ, одинаковостью возраста, развитія, общественнаго положенія и т. д. Каждый изъ нихъ опирался на всѣхъ остальныхъ и въ живомъ общеніи съ ними находилъ поддержку въ трудныя минуты сомнѣній, колебаній, душевной немощи. Если на людяхъ и смерть красна, такъ жизнь, хотя-бы и очень тяжелая, и подалово. Притомъ-же тѣ блестящіе беллетристы, за немногими исключеніями, вовсе не были литературными тружениками, работниками въ настоящемъ смыслѣ слова. Тогда могъ серьезно приниматься къ свѣдѣнію и вѣроятно къ исполненію фантастическій по нынѣшнему времени совѣтъ Гоголя переписывать «сочиненіе» семь-восемь разъ съ значительными промежутками. Литературная профессія, строго говоря, почти не существовала; занимавшіеся литературой «господа», за нѣкоторыми исключеніями, имѣли достаточно досуга, чтобы набросавъ свое произведеніе, поѣздить по Европѣ, послушать лекціи въ германскихъ университетахъ, искупаться въ волнахъ Гвадалквивира, а потомъ, съ новымъ запасомъ силъ и обновленными горизонтами, вернуться къ произведенію для окончательной его отдѣлки или предварительной пердѣлки. Литература, какъ профессія, со всѣми розами и шипами профессіи, явилась позже, когда всколыхнувшаяся послѣ крымской войны Россія выдвинула изъ себя новыя, уже чисто литературныя силы. Вторгнулись эти новыя силы съ большимъ шумомъ, съ свѣтлыми надеждами, широкими замыслами и большою самоуувѣренностью. Но не долго тянулся этотъ праздникъ, и къ тому времени, когда юноша Успенскій окончилъ свои «Нравы Растеряевой улицы», отъ праздника оставалось уже развѣ только похмѣлье, а тамъ и великій постъ припѣлъ. Тяжесть, особенная, спеціальная тяжесть положенія состояла въ томъ, что были выдвинуты новыя силы, а точки приложенія для нихъ были убраны прочь; былъ накрытъ столъ, блестящій бѣлизною скатерти и сверканіемъ новой посуды, былъ возбужденъ аппетитъ, а объѣдъ-то вдругъ куда-то совсѣмъ въ другое мѣсто унесли. Я знаю, что не о единомъ хлѣбѣ живетъ человѣкъ и не о хлѣбѣ говорю. Однако и хлѣбъ дѣло не послѣднее, если его надо зарабатывать и нѣтъ возможности не то что семь разъ переписать повѣсть, а даже иной разъ просто перечитать написанное, или-же нѣтъ возможности пристроить задуманную вещь и приходится дѣлать тѣ вивисекціи, которыя производилъ надъ своими литературными чадами Успенскій. Притомъ-же хлѣбъ въ самомъ прямомъ и жесткомъ смыслѣ этого страшнаго слова въ этомъ

случаѣ тѣснымъ образомъ связывался съ духовнымъ хлѣбомъ, съ идеей. Хлѣбъ, заработанный литературнымъ служеніемъ обществу, былъ именно новой и заманчивой идеей. И не въ томъ только было дѣло, что тотъ или другой даровитый юноша голодалъ на литературномъ поприщѣ. Нѣтъ, въ немъ была разбужена духовная жажда и, казалось, все общало удовлетвореніе этой жажды, а чаша-то, полная чаша, уже приставленная къ губамъ и дразнящая своею близостью, вдругъ и прошла мимо. Такое мучительное ощущеніе едва-ли было знакомо писателямъ сороковыхъ годовъ, которые были для этого слишкомъ равномерно и безпросвѣтно отягощены. Напримѣръ, рассказываемый Успенскимъ трагикомическій (я не могу назвать его просто комическимъ, объ этомъ скажу еще подробнѣе) эпизодъ съ «Женскимъ Вѣстникомъ» никакимъ образомъ не могъ имѣть мѣста въ сороковыхъ годахъ, потому что и самый «Женскій Вѣстникъ» былъ тогда немислѣмъ. Специальный органъ «женскаго движенія» или «женскаго вопроса», какимъ былъ по задачѣ этотъ журналъ, самъ былъ продуктомъ и виѣстѣ выраженіемъ пробужденія новыхъ силъ и розовыхъ надеждъ. Онъ не удовлетворялъ, правда, своему назначенію и былъ вообще плохъ; но это уже другое дѣло. Можетъ быть и плохъ-то онъ былъ потому, что явился, когда розовымъ мечтаніямъ «женскаго движенія» пришелъ конецъ. Но, капризною волею судьбы, этотъ журналъ обращается виѣстѣ съ тѣмъ въ единственное пристанище для начинающаго талантливаго юноши, который однако для входа въ это пристанище долженъ «умыть и приодѣть» своихъ немыхъ героевъ. Изъ всего этого выходитъ цѣлая сѣть недоразумѣній, неудобствъ, основной элементъ которой можетъ быть выраженъ въ трехъ-четырехъ словахъ: потребность разбужена, а средства для удовлетворенія ея сокращены или совсѣмъ удалены. На попытки приспособленія къ такому перпеносному положенію вещей и ушла значительная часть дѣятельности Успенскаго въ ту молодую пору, когда его талантъ еще складывался, еще не отлился въ прочныя, неподатливыя формы.

Повторяю, я не хочу объяснять всю исторію развитія какого-нибудь писателя одними внѣшними условіями. Думаю, что необходимость развивать широко задуманную вещь въ дребезги и потомъ искусственно придавать имъ внѣшній видъ законченности — должна была самымъ рѣшительнымъ образомъ повліять на манеру писанія; но отнюдь не думаю, чтобы дѣло вполне объяснялось такъ чисто механически. Тѣмъ болѣе, что сами эти выисекціи не были простой механической операцией: самъ авторъ указываетъ на сопровождавшіе ея психическіе моменты — гнетущее чувство нравственнаго одиночества и неуверенность въ своихъ силахъ. О, если-бы это была простая механика, такъ мнѣ не захѣмъ было-бы писать настоящую статью, потому что тогда и Успенскій не былъ бы Успенскимъ. Спросъ на законченныя формы беллетристики, т. е. на романъ, повѣсть, драму, такъ великъ (и это вполне естественно), что могъ бы

пожалуй, съ теченіемъ времени, сыграть такую-же принудительную роль. А разъ это не только механика, нельзя и въ объясненіи ея довольствоваться механикой. Нужно не только отмѣтить внѣшнюю манеру письма, но и заглянуть въ душу писателя, насколько это возможно и прилично въ разговорѣ о живомъ человѣкѣ, т. е. насколько материалы для такого разговора даются самими произведеніями писателя, а не какими-нибудь интимными біографическими данными.

Читая любую страницу Успенскаго, вы прежде всего замѣтите ея содержательность. Тутъ много недодѣланнаго, недоговореннаго, оборваннаго, много можетъ быть съ вашей точки зрѣнія невѣрнаго, но нѣтъ ничего лишняго. Ни длиннѣйшихъ описаній природы или внѣшней обстановки, которыми беллетристы часто разбавляютъ свои произведенія, подобно тому, какъ расчетливыя или бѣдныя хозяйки разбавляютъ и безъ того жидкій чай кипяткомъ; ни непомѣрнаго размазыванія психологическихъ тонкостей, которыми иногда страдаютъ даже высокоталантливыя художники; ни множества вводныхъ и для хода рассказа совершенно излишнихъ лицъ, которыя толкуются на страницахъ иныхъ беллетристовъ, совершенно неизвестно для чего. Рассказъ Успенскаго всегда сжатъ, даже черезъ чуръ сжатъ, почти схематиченъ; мысли автора, когда онъ говоритъ отъ себя, опять таки изложены скорѣй слишкомъ кратко, чѣмъ слишкомъ пространно. Это, если позволено будетъ кулинарное сравненіе, — очень крѣпкій бульонъ, который можетъ пригодиться по вкусу однимъ и не нравиться другимъ, но ужъ навѣрное не разбавленъ водой. Успенскій есть художникъ-аскетъ, отвергнувшій всякую роскошь, все не ведущее прямо къ намѣченной цѣли.

Чтобы оцѣнить эту особенность Успенскаго, представьте себѣ, что на одну изъ темъ его рассказовъ взялись писать напримѣръ такіе беллетристы разнаго роста, какъ Достоевскій, г. Боборыкинъ и г. Эртель. Возьмите для этого мысленнаго опыта маленькій рассказъ «Про одну старуху», характерный уже самымъ заглавіемъ своимъ. Жила была старуха, одинокая, изуродованная своимъ прошлымъ — она бывшая дворовая — и настоящимъ, въ которомъ у нея нѣтъ ничего и никого, кромѣ собаки Дурдилки, такой же, какъ и она, жалкой и одинокой. Вслѣдствіе несчастнаго стеченія обстоятельствъ старуха попадаетъ въ часть, потомъ въ больницу, а Дурдилка познаетъ безъ нея прелести любви и семейнаго счастья — у нея щенята, и она знать не хочетъ своей хозяйки. Это приводитъ въ неопisanную ярость старуху, которая сжилась съ мыслью, что по крайней мѣрѣ ея «легковѣрная слуга» Дурдилка ей безусловно предана и такъ же несчастна, какъ она; а тутъ вдругъ у Дурдилки щенята, и старуха еще болѣе одинока... Это всего нѣсколько страницъ. Но г. Эртель растянулъ бы ихъ по крайней мѣрѣ на два печатныхъ листа, потому что разъ пять вышелъ бы изъ конуры старухи на улицу для изображенія восходящаго и заходящаго солнца, голубого неба и неба, покрытаго свинцовыми тучами, начинающагося, продолжаю-

шагоса и превращающагося дождя и т. д. Г. Боборыкину потребовалось бы еще больше мѣста, потому что онъ съ точностью вымѣрять бы высоту и длину конуры, согналъ бы раза три старуху въ лавочку, причѣмъ читатель былъ бы поставленъ въ извѣстность и относительно размѣровъ лавочки, и относительно сорта купленного старухой фунта хлѣба; обратилъ-бы г. Боборыкинъ вниманіе и на брюнетку или блондинку, которая въ соломенной или какой другой шляпѣ проходить по улицѣ во всѣхъ смыслахъ мимо старухи, и т. д. Наконецъ Достоевскій истерзалъ бы читателя количествомъ можетъ быть мастерскихъ страницъ, посвященныхъ изображенію мученій старухи въ части, въ больницѣ, при встрѣчѣ съ измѣнницей Дурдилюкой, да и ввелъ бы кромѣ того множество побочныхъ эпизодовъ, въ которыхъ не обошлось бы безъ благолѣпнаго старца Зосими или замышляющаго преступленіе атеиста. А у Успенскаго, повторяю, весь рассказъ занялъ нѣсколько страницъ, въ которыхъ однако задуманное драматическое положеніе уложилось полностью.

Очень любопытно, что у Успенскаго, можно сказать, совсѣмъ отсутствуетъ пейзажъ. Отсутствуетъ онъ напримѣръ и у Достоевскаго; но тамъ ему нѣтъ мѣста не только по нерасположенію автора къ этого рода живописи, а и по чисто техническимъ соображеніямъ: дѣйствіе происходитъ у Достоевскаго обыкновенно въ городѣ, въ комнатахъ и много что на улицѣ. Совсѣмъ иначе у Успенскаго, который имѣетъ дѣло главнымъ образомъ съ деревней и съ дорожными впечатлѣніями. Казалось бы, здѣсь на каждомъ шагѣ неизбежны описанія того, какъ «отъ луннаго свѣта зардѣлся небосклонъ», какъ «волнуется желтѣющая нива», какъ дождь мороситъ, громъ гремитъ, стволы берегъ бѣлѣютъ и т. п. И однако Успенскій необыкновенно скуденъ по этой части. Это не значитъ, чтобы онъ не чувалъ природы, не понималъ ея красоту. Но онъ аскетически строгъ въ своихъ требованіяхъ отъ пейзажа. Въ «Повѣи земледѣльческаго труда» вращенъ маленький, но очень остроумный разборъ извѣстнаго стихотворенія Лермонтова «Когда волнуется желтѣющая нива». Успенскому не нравится это стихотвореніе, потому что поэтъ является въ немъ «случайнымъ знакомцемъ природы, съ которою у него нѣтъ кровной связи». Нашъ авторъ оскорбленъ тою изысканностью, съ которою въ стихотвореніи собраны и размѣнены разные лучшіе дары природы, и считаетъ себя въ правѣ заподозрить искренность поэта: если-бы поэтъ, приходя въ общеніе съ природой, дѣйствительно «въ небесахъ видѣлъ Бога» и «постигалъ, что такое счастье», то онъ не сталъ бы искать въ природѣ непрямо «отборныхъ фруктовъ» вроде «малиновыхъ сливъ» и т. п., а довольствовался бы болѣе простымъ, не сочиненнымъ пейзажемъ. Успенскій противопоставляетъ въ этомъ отношеніи Лермонтову Кольцова, у котораго «и природа, и міросозерцаніе челоуѣка, стоящаго къ ней лицомъ къ лицу, до поразительной прелести неразрывно слиты въ одно поэтическое цѣлое». Пейзажъ самъ по себѣ,

отдѣльно взятый, какъ бы онъ ни былъ красивъ, не имѣетъ цѣны для Успенскаго: въ него должна быть вложена душа художника, его подлинное «міросозерцаніе», то, что его дѣйствительно въ данную минуту занимаетъ вообще и въ житейскихъ дѣлахъ въ частности. Вотъ для образца одно изъ крайнихъ рѣдкихъ у Успенскаго описаній природы въ «Письмахъ съ дороги»: «Кавказскій хребетъ, подходя къ Черному морю, какъ будто смиряется и затихаетъ въ своемъ бунтовствѣ: довольно онъ намудрилъ и напугалъ челоуѣка тамъ, въ глубинахъ Кавказа; довольно онъ тамъ намучилъ его своими ущельями (какое скучное слово!), скалами, высоковыходящими изъ облаковъ, ревущими рѣками и пропастями бездонными. Довольно онъ надивилъ, настрадалъ и навосхищалъ васъ тамъ, «въ своихъ мѣстахъ», теперь — будетъ! Тамъ, въ своихъ-то мѣстахъ, онъ широко развернулся, самому небу доказалъ, на какія онъ способенъ чудеса, теперь же пора и отдохнуть. И приближаясь къ Черному морю, точно къ дому, откуда ушелъ гулять по бѣлу свѣту, онъ какъ будто отдыхаетъ отъ своихъ чудовищныхъ подвиговъ; идетъ онъ ровнымъ шагомъ и тихо улыбается вамъ, встрѣчному прохожему, мягкими живописными очертаніями ничѣмъ не пугающихъ горъ, живописныхъ долинъ» и т. д. И сейчасъ же, непосредственно за этой попыткой нарисовать пейзажъ, является «грѣховодникъ капитала» въ видѣ нефтепровода, который всю эту, «очень впрочемъ слегка намѣченную красоту разными способами испакостить».

Успенскій понимаетъ или пожалуй чувствуетъ, что такого единенія съ кавказской природой, какое онъ видитъ и цѣнитъ у Кольцова по отношенію къ нашей сѣверной природѣ, у него, Успенскаго, быть не можетъ. Онъ — случайный знакомецъ этой природы, съ которой у него нѣтъ кровной связи. Для него вонъ и самое-то слово «ущелье» — «какое скучное!». А вѣдь тамъ, на мѣстѣ-то, конечно есть люди, которые такъ же цѣлны и проникновенно стоятъ лицомъ къ лицу съ этой природой, какъ у насъ Кольцовъ къ своей. Они и опишутъ ее вполне искренно, безъ фальшиваго набора красотъ, со вложеніемъ души, «міросозерцанія». Успенскій этого не можетъ, а между тѣмъ съ его точки зрѣнія это единственный законный пейзажъ: пейзажъ, какъ украшеніе, какъ фонъ или рамка — ненужная роскошь, пустяки, которыми не стоить, да и некогда заниматься. И вотъ, если ужъ поразило его въ природѣ что-нибудь до такой степени, что надо, необходимо надо занести это впечатлѣніе на бумагу, такъ запись выходитъ во-первыхъ очень короткая, бѣглая, а во-вторыхъ природа въ ней прямо и просто очеловѣчивается: Кавказскій хребетъ оказывается ни больше, ни меньше, какъ огромнымъ и чудовищно-сильнымъ челоуѣкомъ, который вышелъ погулять, да и натворилъ на гуляньѣ чортъ знаетъ что, но, возвращаясь домой, отдыхаетъ, успокаивается и тихо улыбается. Однако — и въ этомъ особенная особенность — дома-то его ждетъ что-то не ладное, «грѣховодникъ» уже строить свои каверзы. И тутъ же пейзажъ не то что обрывается, а прямо

переходить въ дѣйствіе, сливается съ картинами каверъзъ грѣховодника и размышленіями объ нихъ.

Я назвалъ этотъ пріемъ или эту черту «особенною особенностью» Успенскаго. Это не *l'arabus*. Собственно очеловѣченіе природы — полное очеловѣченіе, а не только отдѣльныя живописныя метафоры, заимствованныя изъ человѣческой жизни, встрѣчаются изрѣдка у разныхъ писателей. Не выходя изъ предѣловъ Кавказа, мы можемъ припомнить великолѣпный Лермонтовскій «Споръ», гдѣ очеловѣчены Эльбрусь и Казбекъ. Но тамъ вы имѣете рядъ картинъ, поражающихъ блескомъ и роскошью красокъ и связанныхъ чисто художественно — представленіемъ огромности Казбека. Съ высоты своихъ шестнадцати-семнадцати тысячъ футовъ Казбекъ видитъ и соннаго грузина, льющаго въ тѣни чинары пѣну сладкихъ винъ на узорные шальвары, и Богомъ сожженную, безглагольную, недвижимую страну у ногъ Іерусалима, и вѣчно чуждый тѣни желтый Нилъ, моющій раскаленные ступени царственныхъ могилъ, и цвѣтныя шатры белушновъ и проч., и проч. Могучая фантазія поэта залетѣла на высоту шестнадцати тысячъ футовъ, осмотрѣла и намъ показала, что оттуда видно, и въ этомъ созерцаніи обширнаго кругозора, переполненнаго яркими и пестрыми картинами, нашла себѣ удовлетвореніе. Такой изумительной роскоши пейзажа мало найдется во всѣхъ литературахъ всѣхъ временъ и народовъ, и потому не было бы ничего достойнаго примѣчанія въ томъ, что ея нѣтъ у Успенскаго. Можно наоборотъ спросить: у кого она есть? Два-три штриха — и передъ вами видъ Палестины; еще два-три — Египетъ... И однако силачъ Лермонтовъ дѣлаетъ здѣсь въ сущности то же самое, что обыкновенно дѣлаютъ люди гораздо менѣе сильные и даже совсѣмъ безсильные. Изъ-подъ яркости и пестроты картинъ, открывающихся съ вершины Казбека, вы еле различаете ту мысль, которою въ началѣ стихотворенія Эльбрусь пугаетъ своего собрата и которая пожалуй очень сродни каверзамъ «грѣховодника»: «железная лопата въ каменную грудь, добывая мѣдъ и золото, врѣжетъ страшный путь». У другихъ беллетристовъ и поэтовъ пейзажъ не поглощаетъ, не заслоняетъ до такой степени мысль произведенія, потому что они лишены такой страшной, всеувлекающей фантазіи и не имѣютъ въ своемъ распоряженіи такихъ могучихъ красокъ. Но припомните напримѣръ пейзажи Тургенева (надъ которыми, мимоходомъ сказать, такъ злобно и ядовито насмѣялся въ «Бѣсахъ» чуждый пейзажу Достоевскій), и вы увидите, что они стоятъ совсѣмъ отдѣльно, сами по себѣ, производятъ и въ намѣренія автора должны производить самостоятельное эстетическое впечатлѣніе. Вы можете оторвать напримѣръ длинное «пейзажное» вступленіе къ «Бѣжину Лугу», и увидите, что художникъ такъ долго держалъ васъ на лонѣ природы (буквально съ самаго ранняго утра и до поздней ночи) не потому, что это въ какомъ-нибудь смыслѣ нужно для приготовления читателя къ ночной встрѣчѣ съ ребятами — что собственно составляетъ содержаніе разсказа, — а просто потому, что ему нравится писать

пейзажъ, независимо отъ всего прочаго. И такъ у всѣхъ беллетристовъ, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда пейзажъ находится въ гораздо болѣе органической связи съ содержаніемъ разсказа, чѣмъ вступленіе къ «Бѣжину Лугу» съ самымъ «Бѣжиннымъ Лугомъ». Болѣе или менѣе пейзажъ вездѣ играетъ самостоятельную роль, хотя бы въ качествѣ аксессуара или обстановки. У Успенскаго этого нѣтъ ни болѣе, ни менѣе. Строго говоря, у него нѣтъ пейзажа даже въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ есть, потому что нельзя же назвать пейзажемъ набросокъ Кавказскаго хребта, которому не предоставляется мѣста ни фона, ни рамки, ни аксессуара и который прямо вводится въ разсказъ въ качествѣ дѣйствующаго лица.

Таково отношеніе Успенскаго не только къ пейзажу, но и ко всему, что можетъ урвать часть его вниманія и вниманія читателей и отклонить его куда-нибудь въ сторону отъ единственнаго пункта, признаваемого въ данную минуту важнымъ и значительнымъ. Возьмите напримѣръ разсказъ «Неизлечимый», очень невыдержанный въ техническомъ отношеніи, но въ которомъ, особенно въ началѣ, есть по истинѣ превосходныя страницы. Суть его состоитъ въ непереносныхъ душевныхъ мукахъ нѣкоего дьякона, къ которымъ прикосновены двѣ женщины — жена дьякона и учительница. Самое содержаніе разсказа очень характерно для Успенскаго, но намъ пока до него дѣла нѣтъ. Главная задача автора состоитъ въ изображеніи душевнаго состоянія героя и взаимныхъ отношеній его и обѣихъ женщинъ. Эта задача такъ всецѣло овладѣваетъ мыслью Успенскаго, что онъ не утруждаетъ себя описаніемъ наружности тѣхъ женщинъ. Мы узнаемъ только, что когда дьяконъ порѣшилъ жениться, то «не понравились ему у невѣсты лицо, глаза, но стали нравиться мясистыя плечи, шея бѣлая и толстая». Объ учительницѣ узнаемъ изъ разсказа дьякона, что она была «фигурка изъ себя довольно поджарая, хлябковатая» — и только. Этихъ скучныхъ данныхъ совершенно достаточно для характеристики животнаго отношенія жениха къ невѣстѣ и къ женщинамъ вообще, а больше Успенскому ничего не нужно. Голубые или черные глаза были у невѣсты, бѣлолицая она была или смуглая, курносая или горбоносая, даже вообще красивая или некрасивая — это безразлично: главное въ томъ, что глаза и лицо дьякону не понравились, а понравились мясистыя плечи и бѣлая и жирная шея. Все безразличное, неимѣющее непосредственнаго отношенія къ дѣлу, представляется Успенскому уже лишнимъ, да и не то что представляется лишнимъ, а просто онъ ничего этого не видитъ, потому что никуда по сторонамъ не смотритъ. Намѣтивъ себѣ какую-нибудь цѣль, онъ торопливо идетъ къ ней, пропуская мимо ушей всякіе «звуки сладкіе», которые могъ бы услышать по дорогѣ, закрывая глаза на всякіе пейзажи, и т. п.

Понятно, что это сосредоточеніе вниманія на главномъ и существенномъ должно придавать извѣстную силу образамъ Успенскаго, но понятно также, что художественная воздержность, доведен-

ная до степени аскетизма, должна играть немало-важную роль въ отрывочности и незаконченности его писаній. Въ рассказъ «Неизлечимый» втиснуть богатѣйшій матеріалъ для драмы, романа, повѣсти, вообще произведенія «нзаящной словесности». Но ничего подобнаго не вышло, потому что всякую архитектурную стройность Успенскій всегда готовъ закладывать на алтарь занимающей его мысли. Ему не дорога никакая художественная подробность, если она не ведетъ прямо къ цѣли; онъ безъ всякой жалости на нее наступитъ, смажетъ ее и сдѣлаетъ это такимъ пріемомъ, какой попадется подъ руку: просто умолчить, или обойти словами «отъ себя», публицистической экскурсіей. Сколько мастерства потратилъ бы другой художникъ на полное объективированіе хотя бы тѣхъ же двухъ женскихъ фигуръ въ «Неизлечимомъ», и какое дѣйствительное мастерство могъ бы онъ при этомъ обнаружить, и сколько эстетическаго наслажденія доставить читателю. Успенскій даже не замахивается на что-нибудь въ этомъ родѣ. Подобно неофиту въ извѣстной бѣгунской пѣснѣ, удаляющемуся въ пустыню, онъ отвергаетъ «цвѣтное платье» и «свѣтлую палату», черная схи́ма ему дороже цвѣтного платья. Расходъ красокъ и линій онъ сокращаетъ до послѣдняго мінімумъа, довольствуясь если не схимой, такъ схемой (простите невольный каламбуръ), ибо все остальное—лишняя роскошь...

Мы видѣли, что въ предисловіи къ первому изданію своихъ сочиненій Успенскій объясняетъ необработанность и отрывочность своихъ писаній неуверенностью въ серьезной надобности того дѣла, которое онъ дѣлалъ,—дескать «все это не то!». А во «Власти земли» онъ, напротивъ, вполне увѣренъ, что дѣлаетъ настоящее дѣло, и однако именно изъ этой увѣренности почерпаетъ нѣкоторое пресрѣніе къ формѣ и потому остается при той же необработанности и отрывочности. Досужій человекъ легко можетъ найти не одно такое противорѣчіе въ многочисленныхъ писаніяхъ Успенскаго. Можетъ онъ также выхватить изъ нихъ какую-нибудь страницу и на ней построить собственную вавилонскую башню, за которую однако самъ Успенскій никакъ не будетъ отвѣтственъ. Но читатель вдумчивый и отзывчивый не будетъ заниматься подобными кланузными дѣлами. Такой читатель увидитъ и оцѣнитъ въ собраніи сочиненій Успенскаго не собраніе словъ и фразъ и даже не только результатъ двадцатипятилѣтней работы, а и самый процессъ ея. Работа писателя измѣряется не только количествомъ листовъ исписанной имъ бумаги, а и тѣми «кровью сердца и сокомъ нервовъ», по выраженію Бѣрне, которые онъ тратитъ, влягая ихъ въ свой трудъ. И едва-ли найдется много писателей, которые, при такой плодовитости, расходовали бы столько крови сердца, какъ Успенскій. Онъ не пишетъ, не «сочиняетъ», а живетъ съ перомъ въ рукахъ. Читатель воочію видитъ, какъ писатель ищетъ чего-то—сегодня въ русско́мъ мужикѣ, завтра въ Венерѣ Милосской, сегодня въ Сербіи, завтра въ Новгородской, въ Самарской губерніи, въ Парижѣ, въ Лондонѣ, въ Сибири, се-

годня въ только-что прочитанной книгѣ, завтра на крестьянской свадьбѣ—ищетъ, найдетъ, разочаровывается, опять поднимается, опять ищетъ, тутъ же дѣлясь съ вами тѣми житейскими впечатлѣніями, подъ которыми сложились его образы, картинки, размышленія. И эта наглядная, сквозящая жизненность работы не умаляется съ теченіемъ времени, а едва-ли даже не усиливается. Я, къ сожалѣнію, не могу говорить лично объ Успенскомъ, какъ человекѣ, его давно и, кажется, хорошо знающій. Къ сожалѣнію—потому, что много яснѣе было бы читателю все, что я имѣю сказать объ немъ, какъ о писателѣ, и много легче была бы моя работа, если бы я могъ привести въ связь собственно критику съ чертами живого лица, въ высшей степени оригинальнаго. Но отъ этого приходится отказываться. Я позволю себѣ только одну маленькую подробность. Много разъ приходилось мнѣ слышать отъ Успенскаго рассказы о томъ или другомъ поразившемъ его случаѣ, о полученномъ имъ впечатлѣніи, о навѣянной на него мысли, которая тутъ же, чуть не въ тотъ же самый день записывалась на бумагу, а исписанная бумага отправлялась въ типографію клочками, по мѣрѣ того, какъ работа подвигалась впередъ. И никогда не пытался я предложить ему подождать, дать впечатлѣнію улечься, отойти отъ него хоть на малое время, чтобы оно могло отлиться въ законченный образъ, картину. Я зналъ, что это было бы совершенно бесполезно, потому что не можетъ онъ, органически не можетъ, что называется, «вынашивать» свои произведенія и «обстаивать» ихъ. Они льются изъ него, какъ жидкость изъ переполненнаго сосуда. Льются необработанныя, но съ явственными слѣдами породившей ихъ жизни. Я не говорю, что это хорошо или худо, я говорю только, что такъ есть. И въ этомъ заключается послѣдняя и можетъ быть самая важная причина своеобразной формы писаній Успенскаго, всѣхъ этихъ отрывковъ и обрывковъ, вдоль и поперекъ изрѣзанныхъ публицистикой. Несчастныя условія литературы, въ которыхъ началась его дѣятельность и въ которыхъ онъ какъ бы воспитался, въ связи съ «обстоятельствами чисто личнаго характера», имѣли конечно очень большое значеніе; но сами по себѣ они едва-ли осилили бы изъ ряду вонъ выходящую изобразительную способность Успенскаго и соответственные позывы къ творчеству. Да и наконецъ, если бы неблагоприятныя вѣншія условія осилили его талантъ, такъ онъ просто погибъ бы, и во всякомъ случаѣ не могъ бы стать такъ дорогъ и близокъ читателю. Онъ приучилъ насъ къ выработанной имъ формѣ полу-беллетристическихъ, полу-публицистическихъ очерковъ и отрывковъ конечно не потому, что эта форма нескладная, убыточная, а потому, что въ ней есть нѣчто, само по себѣ по крайней мѣрѣ не дурное. И эта сторона нескладной и убыточной формы его писаній опредѣляется не вѣншими вліяніями, а нѣкоторыми коренными свойствами его таланта и даже всего его духовнаго склада. Таковъ во-первыхъ его художественный аскетизмъ, побуждающій его расходовать какъ

можно меньше красок и линий и довольствоваться схимой — схемой вместо приличествующаго художнику «цвѣтного платя». Такова во-вторыхъ его чрезвычайная отрывчивость и связанная съ нею лихорадочная терпеливость въ передачѣ читателю своихъ впечатлѣній и ихъ комбинацій. «Волею и спѣхомъ», какъ выразился Некрасовъ о Бѣлинскомъ, нельзя, даже при полномъ желаніи, отойти отъ «людей и нравовъ» (одно изъ заглавій Успенскаго) на такое разстояніе, чтобы они отделились въ законченную художественную форму, безъ явственныхъ слѣдовъ крови сердца писателя. Брызги крови разлетѣть только по какой-нибудь особенно счастливой случайности могутъ расположиться симметрично или вообще съ тою правильностью, какая нужна для законченности формы...

Спрашивается, изъ-за чего же льется эта кровь сердца? изъ-за чего волнуется этотъ человекъ и то мыкается по всему бѣлому свѣту, то забирается чуть не въ пустыню? Какое это такое дѣло, ради котораго онъ надѣлъ вериги аскета, безжалостно давитъ въ себѣ все цвѣтное, яркое, и не даетъ воли своему огромному художественному дарованію?

Я можетъ быть удивлю васъ отвѣтомъ. Общій принципъ, къ которому могутъ быть сведены всѣ волненія Успенскаго, есть принципъ гармоніи, равновѣсія. Я знаю, что это звучитъ парадоксомъ: столько тревоги и волненій изъ-за какого-то отвлеченнаго начала, холоднаго и далекаго, какъ въ всякое отвлеченіе; столько аскетическихъ подвиговъ и жертвоприношеній на алтарь метафизическаго принципа! Да еще у Успенскаго, во-первыхъ, наименѣе уравновѣшаннаго изъ всѣхъ крупныхъ русскихъ писателей, а во-вторыхъ человекъ, пустившаго такіе глубокіе корни въ живую жизнь, жизнь впечатлѣній, что его оттуда и выдернуть нѣтъ никакой возможности! Однако это такъ. Но понятно, что отвлеченіе принадлежитъ мнѣ, критику, а не критикуемому писателю.

II.

Несмотря на весь свой аскетизмъ, на самое щепетильное обереганіе себя и читателя отъ всего лишняго, Успенскій все-таки нашелъ у себя самого кое-что лишнее. Просматривая его сочиненія, я не находилъ въ нихъ то отдѣльной фразы или яркаго слова, которое хорошо помню, а то и цѣлой картинки. Эта пропускъ интересны. Вычеркнуты главнымъ образомъ «смѣшныя» вещи. Признаюсь, нѣкоторыхъ изъ нихъ мнѣ было жалко, потому что онъ не просто «смѣшны», а въ разныхъ смыслахъ очень удачны. Но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что самъ авторъ пожелалъ для отдѣльнаго изданія еще болѣе сжаться въ своемъ художественномъ аскетизмѣ. Я не буду пытаться реставрировать эти пропуски, но мы и безъ нихъ можемъ выяснитъ себѣ характеръ «смѣшнаго» въ Успенскомъ.

Я прошу васъ перевернуть нѣсколько страницъ назадъ и перечитать вышеприведенный рассказъ о томъ, какъ «Нравы Растеряевой улицы» урывались и прикрашивались для «Женскаго Вѣстника».

Читая эти строки, вы вѣроятно улыбнетесь и во всякомъ случаѣ усмотрите улыбку на лицѣ самого автора. Между тѣмъ въ существѣ вещей вамъ представлена серьезнѣйшая, глубокая драма. Въ самомъ дѣлѣ, всякому свое дорого, и не трудно себѣ представить, какія скорбныя чувства одолевали молодого писателя, когда онъ, подъ напоромъ разныхъ надвигавшихся на него житейскихъ случайностей, прикрѣпляетъ голову и хвостъ къ своему обрывку и умываетъ своихъ неумытыхъ героевъ. Онъ и теперь съ понятною горечью вспоминаетъ, что отъ этой операціи герои «стали только хуже, а правды въ нихъ меньше». Нашему брату, писателю, это драматическое положеніе автора конечно ближе и понятнѣе, чѣмъ читателю; но и онъ, надо думать, безъ особеннаго напряженія фантазіи, можетъ себѣ представить, чего стоитъ отцу калѣчить свое дѣтище въ видахъ жертвоприношенія какому-то непонятному идолу житейскихъ случайностей. И если о себѣ самомъ, о своей собственной скорби писатель рассказываетъ съ улыбкой, такъ улыбка эта получаетъ совсѣмъ особенное значеніе: она должна быть чѣмъ-то опредѣляющимъ, характернымъ вообще для внутреннихъ отношеній писателя.

Дѣйствительно. Возьмемъ для образчика рассказъ «Нужда пѣсенки поетъ» и остановимся на немъ немного подольше.

Къ автору является неизвѣстный человекъ и предъявляетъ бумагу, въ которой изложено слѣдующее: «Господинъ Ивановъ, пиро- и гидро-техникъ, на короткое время прибывшій въ г. Н., честь имѣетъ доложить высокопочтеннѣйшей публикѣ, что, имѣя искусство въ египетской, арабской, эоипской, индѣйской, халдейской и другихъ магіяхъ и состоящей изъ новыхъ фантастическихъ опытовъ и призраковъ тайной и натуральной увеселительной магіи, что, давая оныя представленія въ высокоблагородныхъ домахъ, по весьма умѣреннымъ цѣнамъ, съ аппаратами и безъ аппаратовъ, попури изъ міра чудесъ, кабацкаго и чревоуѣщанія по весьма сходнымъ цѣнамъ; также индѣйское эскамотированіе, гирлянда розъ, невозможность въ дѣйствіи, обезглавленіе головы, носа и другихъ частей тѣла и проч., и проч., и проч.» Внизу прибавлено: «Лѣтя себя надеждою...» и красовалась подпись: «Пиро- и гидро-техникъ Капитонъ Ивановъ.»

Смѣшно, не правда-ли? Смѣшны всѣ эти «чревоуѣщанія по сходнымъ цѣнамъ» и «обезглавленія головы, носа и другихъ частей тѣла»? Но подождите, дальше будетъ еще смѣшнѣе. Господинъ Ивановъ, пиро- и гидро-техникъ, рассказываетъ автору разные эпизоды изъ своей жизни. Передавать ихъ всѣ было бы слишкомъ долго, но одинъ изъ нихъ я сообщу. Пришло дѣло такъ, что Капитону Иванову надо идти въ солдаты; нанять за себя «вольника» не на что, — одинъ былъ попался, да надулъ. Капитону Иванову, столь искусному въ индѣйскомъ эскамотированіи и обезглавленіи носа, ужъ и лобъ забрили. А дальше произошло вотъ что:

„Ревемъ мы съ бабой, какъ ребята малые: чисто-на-чисто пропадать приходится... И что-жъ, вы думаете, вышло? На другой день къ вечеру, нака-

нунѣ, значить, быть походу, стало мнѣ легче! Вѣдь вотъ чудо-то какое! Легче, легче и совсѣмъ повеселѣли! «Мама, говорю, самъ я въ господину откупщику схожу, фокусы сыграть, и можетъ быть, между прочимъ, Господь мнѣ поможетъ?» Дѣло было на масляницѣ, надѣваю я, для забавы, турецкое чело и этакой балахонъ: туркой наряжаюсь. Смотритъ на меня супруга и говоритъ: «Самъ, говоритъ, Иванычъ, и я себѣ чело надѣну? Можетъ быть, говоритъ, господинъ откупщикъ скажется надъ нами, когда увидятъ, что мужъ и жена однимъ мастерствомъ живутъ; можетъ, онъ и не захочетъ, говоритъ, насъ разлучить?» — «Матушка моя, говорю, ты въ такомъ теперича положеніи (она въ то время въ этакомъ положеніи была-съ), ты, говорю, въ такомъ положеніи, для чего тебѣ нагружать себя?» — «Ну, говоритъ, за одно! Либо, говоритъ, жизнь, либо смерть!» Надѣваетъ она на себя чело турецкое, шаль (платокъ этакой ковровый-съ), шаль эту черезъ плечо, по цыгански. Пошли!.. Идемъ, идемъ, да какъ заплачемъ оба, въ челахъ-то этихъ! Идутъ люди, глядятъ на насъ и говорятъ: «Съ чего это два турка плачутъ?» Приходимъ къ откупщику. «Какъ объ васъ доложить?» — «Ивановъ, говорю, съ супругою.» — «Принялъ». Входимъ мы въ залу, гости... Страсть гостей! Откупщика, Родивонъ Игнатьича, я зналъ, и онъ меня тоже знавалъ. «А, говоритъ, ну, дѣлай!» Начинаю я дѣлать фокусы, сердце такъ и стучитъ: завтра въ солдаты! Дѣлаю фокусы, господа смѣются, довольны. «А это что же съ тобой?» Родивонъ-то Игнатьичъ говоритъ. — «А это-съ, говорю, жена моя, супруга.» — «Что же, говоритъ, и она по этой части?» Я молчу. «Можете вы, душенька?» (у жены спрашиваетъ). — «Могу-съ, говорятъ... (Видю бѣлая вся!) — «Такъ пройдите, говорятъ, — По улицѣ мостовой». Мама сейчасъ голову кину, руки надъ головой согнула и пошла... Да вѣдь какъ-съ? Откуда что взялось!... Барышня по фортопьянамъ ударила, а она-то плаветъ, извивается... Ахъ! замерло у меня сердце! Тутъ зачали господа трепать въ ладоши. «Приотлично, кричатъ, превосходно! еще! еще!» А она и еще того лучше... Не удержался я, такъ у меня слезы-то полились, полились, капъ, капъ... Родивонъ Игнатьичъ кричитъ: «Это что? на масляницѣ-то? у меня въ домъ?» Я — въ ноги... Мама, гдѣ пласала, тутъ на колѣни и повалилась. «Что, что? Какъ, какъ?» Разсказали ему: «одна надежда на вашу милость!... Завтра на войну... жена... дѣти... — «Не робѣй, говоритъ. Вотъ тебѣ...» Я выноситъ 200 серебромъ! «Поминай на молитвѣ.» Чуть я въ то время съ ума не сошелъ... Бѣжимъ мы по улицѣ, ровно уторганы. Люди идутъ: «вотъ, говорятъ, турки набѣжали. Эко у насъ, ребята, турокъ развелось тьма-тьмущая. Это, говорятъ, плѣнные» (А это мы съ супругой весь городъ обѣгали.) Бѣжимъ, земля не слышимъ... Исторія-было случилась на дорогѣ, въ другой разъ въ полицію бы потащилъ, а тутъ только шибче побѣгъ.

На вопросъ автора: въ чемъ состояла «исторія», пир-и гидро-техникъ разсказалъ:

«Такъ-съ, свинство, необразованность... Бѣжимъ это мы съ женой, какъ я вамъ докладывалъ. Попадаютъ двое пьяныхъ, прямо противъ насъ установились. Одинъ подходитъ ко мнѣ: «въ какомъ вы, говоритъ, правѣ турецкія чела носить?» Я ему шуткой въ отвѣтъ: «А потому, говорю, какъ мы турецкаго нарѣчія.» — «А въ какой вы, говоритъ, землѣ находитесь, въ православной или какой?» — «Мы, говорю, здѣсь плѣнные». — «А когда, говоритъ, вы наши плѣнные, то...» Да съ этими словами ка-а-акъ! вотъ въ эту самую кость! (Гость показавъ на собственный високъ.) Мы съ женой во всю мочь! Ну, вотъ-съ и все!»

Дальнѣйшій разсказъ пир-и гидро-техника не менѣе интересенъ, но пусть читатель обратится за нимъ къ подлиннику, а съ меня достаточно и при-

веденнаго. Потому достаточно, что и въ этомъ отрывкѣ съ полною ясностью выражается наиболѣе характерный для Успенскаго приѣмъ художественнаго творчества. Мнѣ не хочется употреблять избитое, истрепанное, многосмысленное и потому самому мало говорящее выраженіе «смѣхъ сквозь слезы». Но если эта избитая формула означаетъ способность и склонность съ улыбочкою разсказывать страшную драму, и притомъ такъ, что глубина драмы отъ этого не только не утрачивается своей силы, а напротивъ — оттъняется, то я не знаю во всей русской литературѣ никого, кто бы умѣлъ такъ смѣяться сквозь слезы, какъ Успенскій. Нечего говорить, что это не безпредметное зубоскальство, довольствующееся смѣшными положеніями или даже смѣшными словами: — ни одного просто смѣшного положенія въ у Успенскаго не найдете. Но это и не рѣзкіе удары сатирическаго бича, и не капризные, кокетливо истерическія арабески изъ грусти и веселья, слезъ и смѣха, какія бывають у чисто художественныхъ натуръ типа Гейне. Это совсѣмъ особенное, оригинальное, лично Успенскому принадлежащее, сочетаніе комическаго и трагическаго.

Вы видите рядъ комическихъ подробностей: пир-и гидро-техника съ «чреуувѣщаніями, обезглавленіями головы и прочихъ частей тѣла, индійскими ескамотированіями» и проч.; потомъ еще другія подобныя смѣшныя мелочи, которыя я, краткости ради, въ своемъ пересказѣ пропустилъ; потомъ «турецкое чело» и проч. Но, по мѣрѣ того какъ эти комическія черты скопляются въ достаточно количествѣ, вы чувствуете, что вступаете въ кругъ вещей, совсѣмъ не смѣшныхъ и не мелкихъ. Вамъ становится жутко, вы ощущаете въ себѣ какой-то сложный и все болѣе усложняющійся процессъ, достигающій своей предѣльной точки въ тотъ моментъ, когда Мама пускается въ плясъ. Въ салонѣ господина откупщика, передъ толпой полудинныхъ гостей, беременная женщина, наряженная въ «турецкое чело» и въ «шаль поцыгански», пляскою «по улицѣ мостовой» принимаетъ участіе въ «индійскомъ ескамотированіи» для спасенія мужа отъ солдатчины... Необыкновенная сложность этого маленькаго событія особенно замѣчательна тѣмъ, что въ немъ трагическое положеніе соткано изъ комическихъ подробностей. Турецкое чело очень смѣшно, возгласъ «приотлично!», которыми ободряли Машу откупщикъ и его гости, тоже смѣшонъ, но вѣдь вы не смѣялись, когда Мама пласала. Художникъ самъ продѣлалъ надъ вами нѣчто вродѣ «опыта тайной натуральной магіи»; смѣшилъ, смѣшилъ и подъ конецъ изъ самыхъ этихъ смѣшковыхъ выстроилъ нѣчто такое, отчего вы чуть не заплакали.

Скажутъ можетъ быть, что этотъ эффектъ могъ бы быть достигнутъ и другимъ путемъ; зачѣмъ собственно эти комическія аксессуары трагическаго положенія? Но дѣло въ томъ, что вопросъ «зачѣмъ?» бываетъ часто относительно художественнаго творчества лишенъ всякаго смысла. Другой большой художникъ, съ инымъ складомъ творчества, счужилъ бы иначе поставить дѣло, доволь-

ствуясь может быть однимъ трагическимъ элементомъ. Но у Успенскаго—и въ этомъ состоитъ характернѣйшая его, какъ художника, черта—всѣ эти «челмы» и «невозможности въ дѣйствіи» не только не излишни, а напротивъ—необходимы, именно потому, что отгнѣняютъ драматизмъ положенія. Не только изъ нихъ таинственнымъ, «магическимъ» путемъ сложилась драма, но, благодаря имъ, вы съ особенною ясностью видите пошлость и дикость той среды, которую призванъ развлекать пирро- и гидро-техникъ Капитонъ Ивановъ. Чтобы пронять ее, Капитонъ Ивановъ неизбежно долженъ былъ и самъ явиться въ шутовскомъ видѣ, и Маша должна была сдѣлать именно то, что она сдѣлала, и именно такъ, а не иначе. Передъ рѣшеніемъ явиться въ салонъ откупщика, пирро- и гидро-техникъ исчерпалъ всѣ обыкновенные ресурсы: просьбы самыя трогательныя, хлопоты самыя энергическія. Ничего не вышло. Не вышло бы ничего и тогда, если бы Маша проявила возвышеннѣйшій героизмъ безъ «челма» и не въ составѣ «индіискаго эскамотированія». Авторъ ни однимъ словомъ не осудилъ откупщика и все его общество, онъ даже предоставилъ откупщику совершить благодѣяніе, но при небольшомъ сосредоточеніи вы можете постигнуть въ ужасъ притли отъ броненосности и толстокожести жителей города N...

Для полной оцѣнки эпизода въ салонѣ откупщика мнѣ бы хотѣлось припомнить что-нибудь параллельное у другихъ беллетристовъ. Но не могу ничего вспомнить, кромѣ эпизода изъ одной юношеской или даже мальчишеской повѣсти (безъ названія) Лермонтова. Тамъ красавица Ольга, пріемъ нѣкотораго звѣрообразнаго помѣщика, по требованію его пьяныхъ гостей, пляшетъ «русскую». Ольга—красавица, пляшетъ съ изумительной граціей; одѣта она не въ челмо какое-нибудь и цыганскую шаль, а въ нарочито сшитый шелковый сарафанъ; дѣло происходитъ во времена Пугачевщины, отдаленный грохотъ которой доносится и до Ольги; сама она исполнена неясныхъ, но возвышенныхъ чувствъ. Словомъ, ни одной комической черты въ рассказъ не введено, кругомъ все мрачно и страшно или возвышенно и прекрасно. И, въ концѣ-концовъ, никакого участія къ красавицѣ Ольгѣ и никакого раздумья о звѣрообразности тогдашней помѣщицкой среды не получается. Получается только то непріятное ощущеніе, которое всякая фальшь всегда вызываетъ въ мало-мальски чуткомъ человѣкѣ. Вы понимаете, что я не Успенскаго съ Лермонтовымъ сравниваю, да и не великая еще это была бы честь понимать мѣру вещей лучше, чѣмъ ее понималъ 15—16-лѣтній мальчикъ, хотя бы онъ и назывался Лермонтовымъ. Но даже мальчишескія произведенія такихъ колоссальныхъ талантовъ поучительны. Не говорю я также, что комическій элементъ обязательно нуженъ для полноты трагического впечатлѣнія (хоть это можетъ быть до нѣвѣстной степени справедливо). Я только пробую съ разныхъ сторонъ освѣтить художественные приемы Успенскаго и проникнуть по возможности въ тайну того необыкновенно пріят-

наго чувства, которое ощущаетъ читатель въ общеніи съ этимъ писателемъ. Я совершенно увѣренъ, что если бы Успенскій вздумалъ обставить свой эпизодъ съ Машей на тотъ манеръ, какъ обставленъ эпизодъ съ Ольгой у Лермонтова, то вышла бы вещь безобразная, фальшивая, «сочиненная» въ зазорномъ смыслѣ этого слова. Но онъ этого никогда не сдѣлаетъ и сдѣлать органически не можетъ. Сплошной напыщенный трагизмъ для него такъ-же недоступенъ, какъ и противоположный полюсъ—безпредметное зубоскальство.

Доведа скопленіе комическихъ подробностей до того момента, когда изъ нихъ сама собой сложилась высокая драма, авторъ спускаетъ читателя съ этой трагической высоты по той же лѣстницѣ, по которой ввелъ его туда. Супруги Ивановы вполне счастливы тѣмъ, что хомались не даромъ. Оно и понятно. Дѣло не только въ томъ, что бѣда миновала. Пирро- и гидро-техникъ долженъ питать кромѣ того острое, нѣжное чувство къ героической Машѣ, а сама она должна чувствовать нѣкоторую вполне законную гордость. Счастье такъ велико, такъ полно и сложно, что супруги ужъ не гонятся за тычкомъ. Какая-то пьяная скотина оборвала шуточную бесѣду о турецкихъ плѣнныхъ ударомъ «вотъ въ эту самую кость»; супруги—ничего, только прытче дождой побѣжали. И читатель, послѣ того напряженія скорбнаго чувства, которое онъ сейчасъ только испытывалъ, готовъ раздѣлить это благодушное презрѣніе супруговъ Ивановыхъ, онъ тоже не гонится за тычкомъ и не чувствуетъ ни гнѣва, ни негодованія на пьяную скотину, хотя она занимаетъ свое очень опредѣленное мѣсто среди «жестокихъ нравовъ нашего города». Не только общепринятый кодексъ приличій, но и непосредственное нравственное чувство подсказываетъ, что лежакаго не бьютъ и плѣнныхъ не обижаютъ. А пьяная скотина говоритъ: «коли вы наши плѣнные, то вотъ вамъ въ эту самую кость!». Мерзость великая, но въ данную минуту она до такой степени тонетъ въ счастливомъ возбужденіи супруговъ Ивановыхъ, что сами они ея почти не замѣчаютъ, а вы опять готовы улыбнуться, отнюдь однако не забывая, какъ бы не забываешь и Капитонъ Ивановъ, что это — «свинство, необразованность».

Такова еще одна особенность Успенскаго. Онъ рассказываетъ подчасъ возмутительныя, ужасающія вещи, но почти никогда не возбуждаетъ въ читателѣ гнѣва или негодованія. Грустное раздумье—вотъ наиболѣе обыкновенный осадокъ, остающійся на душѣ читателя сочиненій Успенскаго. Достигается этотъ результатъ разными путями, но онъ почти всегда на лицо. И грусть эта опять-таки не безпредметная, а напротивъ—съ совершенно опредѣленнымъ характеромъ. Иной читатель можетъ быть не совсѣмъ ясно сознаетъ, отчего это ему показали настоящій фейерверкъ комическихъ чертъ и черточекъ, а ему въ концѣ фейерверка стало грустно; рассказали ему ужасный случай возмутительнаго насилія, но онъ не гнѣвается, а опять-таки груститъ.

Причины этого выяснятся, а надѣюсь, ниже

сами собой. А теперь я прошу читателя взять какой-нибудь рассказ Успенского и прочитать его так, как мы вѣстѣ только что прочитали рассказ «Нужда пѣсенки поетъ», то есть наблюдая за собой, за смѣной ощущеній и впечатлѣній, переживаемыхъ при чтеніи. Почти безразлично что именно выбрать для этого опыта, но я-бы особенно рекомендовать напимѣрь «Незалежимаго», или «Захотѣлъ быть умнѣй отца», или «Дохнуть некогда», или «Обстановочку». Эффектъ будетъ, я увѣренъ, одинъ и тотъ-же: сначала улыбка, другая, потомъ смѣхъ, иногда почти неудержимый, потомъ, тотчасъ вслѣдъ за вѣющимъ скоплениемъ комическихъ подробностей—болѣе или менѣе горькое чувство, разрѣшающееся въ концѣ концовъ грустнымъ раздумьемъ. Повидимому этотъ результатъ достигается чисто формальнымъ приемомъ даровитаго художника. Но, принимая въ соображеніе постоянную повторяемость этого приема, принимая въ соображеніе почти неотдѣлимость у Успенскаго формы и содержанія, мы должны предположить, что эта формальная черта имѣетъ свое соотвѣтствіе въ самомъ міросозерцаніи автора, во всемъ его духовномъ складѣ. Забывая впередъ, укажу другой случай такого соотвѣтствія. Аскетическое отношеніе Успенскаго къ пейзажу, къ фізіономіямъ дѣйствующихъ лицъ и т. п. есть дѣло формы, но она вполне соотвѣтствуетъ нѣкоторымъ аскетическимъ чертамъ въ самомъ содержаніи его писаній. Облекаясь въ «черную схиму», какъ художникъ, онъ и какъ публицистъ, и мыслитель нерѣдко зоветъ насъ вродѣ какъ въ пустыню. Такъ и тутъ. На днѣ каждаго рассказа или очерка Успенскаго лежитъ глубокая драма. Изъ этого, въ связи въ нѣкоторыми дурно понятыми обобщеніями его (объ нихъ потомъ), иные считаютъ себя въ правѣ вывести заключеніе объ его пессимизмѣ. Ничего не можетъ быть ошибочнѣе. Успенскій не прячетъ ни отъ себя, ни отъ людей зла, которое видитъ на каждомъ шагу. Но пессимизмъ, какъ мрачная філософія отчаянія, какъ увѣренность въ окончательномъ торжествѣ зла, ему совершенно чужды, уже просто въ силу стихійныхъ свойствъ его таланта, складывающаго драму изъ комическихъ чертъ. Для безысходно-мрачнаго взгляда на жизнь слишкомъ великъ запасъ смѣха, которымъ онъ владѣетъ. То особенное сочетаніе трагическаго и комическаго, которое ему свойственно, даетъ ему какъ-бы двѣ точки опоры въ пространствѣ и одинаково гарантируетъ его и противъ плоскаго оптимизма, и противъ ноющаго пессимизма. Спрашивается, не есть-ли эта счастливая способность видѣть вещи одновременно съ двухъ сторонъ, трагической и комической, эта стихійная гарантія противъ односторонней роскоши комизма и трагизма,—не есть-ли она драгоценнѣйшій задатокъ именно внутренней гармоніи, равновѣсія писателя? Фактический отрицательный отвѣтъ, къ сожалѣнію, слишкомъ очевиденъ. Но этимъ отрицательнымъ отвѣтомъ нельзя удовлетвориться. Пусть печальныя внѣшнія условія помѣшали гармоническому развитію писателя, пусть этому способствовали нѣкоторыя природныя его свойства,—сложная штука

душа человѣческая и разныя, прямо враждебныя другъ другу теченія въ ней сталкиваются. Но человекъ, такъ счастливо поставленный относительно комическаго и трагическаго элементовъ жизни, долженъ по крайней мѣрѣ дорожить гармоніей и равновѣсіемъ, жадно и страстно искать ихъ кругомъ себя, оскорбляться отсутствіемъ ихъ, радоваться ихъ присутствію. Эта лихорадочная работа будетъ можетъ быть тѣмъ интенсивнѣе, когда въ самомъ-то писателѣ есть богатые задатки уравновѣшенности, но при этомъ онъ по собственному мучительному опыту знаетъ, какъ тяжело отсутствіе стройнаго порядка въ душѣ. Можно думать, что такой счастливый и вѣстѣ съ тѣмъ несчастный писатель именно сюда направить всѣ свои силы, именно здѣсь будетъ искать и своего идеала, и своей мѣрки добра и зла. Такъ оно и есть у Успенскаго.

Старинное дѣленіе (Сентъ-Симона) историческихъ эпохъ на органическія и критическія можетъ и теперь быть защищаемо. Несомнѣнно, что есть эпохи, въ которыя всѣ общественныя отношенія и принципы находятся въ органической связи между собой, и разныя столкновенія между людьми и группами людей, хотя бы и очень бурныя, не выходятъ за навѣстныя, болѣе или менѣе строго опредѣленныя, рамки, общія для всѣхъ ихъ. Худы или хороши эти рамки, широки или узки, но живетъ въ нихъ людямъ сравнительно покойно. Разумѣю покой душевный, потому что за жизнь, за кусокъ хлѣба людямъ всегда приходится безпокоиться. И въ органическія эпохи люди могутъ подвергаться величайшимъ насиліямъ и оскорбленіямъ или подвергать имъ своихъ такъ называемыхъ ближнихъ, но при этомъ не шевелится совѣсть насильниковъ и оскорбителей, не возмущается честь насилуемыхъ и оскорбляемыхъ. Общіе принципы эпохи допускаютъ, мало того—освящаютъ такіе дѣйствія. Припомните для иллюстраціи ну хоть напимѣрь «Двухъ помѣщиковъ» Тургенева (въ «Запискахъ Охотника»). Тамъ одинъ помѣщикъ, человѣкъ очень добрый и любезный, велитъ высѣчь на конюшнѣ буфетчика Васю, который съ «такими большими бакенбардами ходитъ»; и потомъ, попивая чай на балконѣ въ прекрасный лѣтній вечеръ, прислушивается къ звукамъ ударовъ и съ улыбкой приговариваетъ въ тактъ: «чюки-чюки-чюкъ, чюки-чюки-чюкъ». А Вася съ большими бакенбардами въ свою очередь послѣ экзекуціи съ не меньшимъ спокойствіемъ гуляетъ по деревнѣ и грызетъ подсолнухи. На вопросъ о поркѣ, онъ отвѣчаетъ, что этотъ баринъ даромъ не накажетъ и что такого барина и днемъ съ огнемъ не сыщешь. Совершилось безобразное дѣло, но обѣ стороны по совѣсти и чести признаютъ его законнымъ. Понятно, что въ органическія эпохи совершаются не только одни безобразія. Напротивъ, здѣсь возможны и высокіе подвиги самоотверженія и любви. Мало того, вся жизнь многого человѣка въ такіе эпохи можетъ быть сплошнымъ подвигомъ терпѣнія и преданности, и нѣто даже этого не замѣтитъ, если подвигъ не выходитъ изъ рамокъ, опредѣляемыхъ господствующими принципами. Всѣ существующія отношенія, въ своихъ общихъ и коренныхъ чертахъ,

находятся въ полной гармоніи съ ходячими нравственными понятіями. Противорѣчія, существующія въ нравственномъ складѣ такого общества, могутъ быть усмотрѣны со стороны; но для сознанія огромнаго подавляющаго большинства они просто не существуютъ. Буфетчикъ Вася съ большими бакенбардами подвергается позорному наказанію — уже одно это грамматически правильное предложеніе заключаетъ въ себѣ повидимому цѣлый рядъ непримиримыхъ противорѣчій: какъ это можно — пороть человѣка «съ большими бакенбардами»? какъ можно пороть человѣка и въ то же время называть его ласкательнымъ и уменьшительнымъ «Вася»? какъ можно называть Васей, а то и Васькой, человѣка съ большими бакенбардами, который вамъ не братъ, не другъ, не сынъ? Но этого мало. Если напри- мѣръ этого обезчещеннаго позорнымъ наказаніемъ Васю сладутъ въ солдаты, то потребуютъ отъ него военныхъ подвиговъ и смерти за честь родины, и онъ дѣйствительно предъавитъ эти подвиги и приметъ смерть съ тѣмъ спокойнымъ героизмомъ, который характеризуетъ русскаго солдата. Но ни Вася съ большими бакенбардами, ни его баринъ, и никто другой не замѣчаютъ этихъ противорѣчій и живутъ съ спокойной совѣстью и невозмущенной честью.

Можетъ быть я и ошибаюсь конечно, но мнѣ кажется, что еслибы Успенскій получилъ свое литературное воспитаніе и началъ работать въ подобную органическую эпоху, изъ него вышелъ бы писатель болѣе спокойный и упорядоченный, и мы имѣли бы рядъ его романовъ, повѣстей и проч., и стоялъ бы онъ не въ сторонѣ отъ большой дороги беллетристики, а тамъ же, гдѣ стоятъ Тургеневъ, Толстой, вообще крупные таланты предшествовавшего поколѣнія. Это не значитъ конечно, что онъ примирился бы съ тѣмъ равновѣсіемъ, удовлетворился бы тою гармоніей фактическихъ отношеній и нравственныхъ понятій, какая предъявляется каждой органической эпохой. Напротивъ, онъ занялся бы, можетъ быть и даже по всей вѣроятности, раскрытіемъ противорѣчій, открывающихся въ той гармоніи для взгляда со стороны. Но именно постороннимъ то зрителемъ ему не довелось быть, и выступать на литературное поприще ему пришлось не въ органическую эпоху, а въ критическую.

Вотъ какъ говоритъ Успенскій о нашихъ трудныхъ временахъ:

«Освобожденіе крестьянъ, то есть одно только понятіе объ освобожденіи сразу внесло невозможный для расслабленныхъ семей, но великій идеалъ жизни, — жизни, основанной на честномъ трудѣ, на признаніи въ мужикѣ брата; вся прошлая жизнь была именно полнымъ, безопаздѣйшимъ и безцеремоннѣйшимъ нарушеніемъ этого смысла — и вотъ настала гибель... И въ эту то минуту явились люди, воспитанные въ самой густотѣ неуваженія чужой личности, въ самыхъ затхлыхъ разлагающихъ понятіяхъ, — напри- мѣръ, что не думать легче и лучше, чѣмъ думать, что не работать лучше, чѣмъ работать, что работать должны мужики, а я выросу большой, женись на богатой, поѣду за границу и т. д. Этому-то поколѣнію, воспитанному въ образованной школѣ безсовѣстности, пришлось лицомъ въ лицу стоять съ суровой русской дѣйствительностью... Началась съ этой

минуты на Руси драма; повеселись проклятія, пошла самоубійства, отравы... Послышались и благословенія» («На старомъ пепелищѣ»).

Въ другомъ мѣстѣ, въ очеркѣ «Хочешь-не-хочешь», Успенскій развиваетъ ту же мысль нѣсколько пространнѣе, причемъ выражаетъ увѣренность, что «среди такой массы глубокихъ сердечныхъ страданій несомнѣнно долженъ родиться могучій талантъ», который все это изобразитъ. «Большого художника, съ большимъ, въ два обхвата, сердцемъ ожидаетъ полчище народу, заболѣвшаго новою, свѣтлою мыслью, народа немощнаго, наувѣченнаго и двигающагося волей-неволей по новой дорогѣ и несомнѣнно къ свѣту. Сколько тутъ фигуръ, прямо легшихъ пластомъ, отказавшихся идти впередъ; сколько тутъ умирающихъ и жалобно воющихъ на каждомъ шагу; сколько бодрыхъ, смѣлыхъ, настоящихъ, сколько злыхъ, оскалившихся отъ злости зубовъ! И все это, рвущееся съ пути, разбѣшенное, немощное, все это рвется съ дороги только потому, что это — новая дорога, новая мысль, и злится только потому, что не можетъ и не хочетъ помириться съ новой мыслью. Словомъ, все это скопище терзается или радуется и смѣло идетъ впередъ потому только, что надо всѣмъ тяготѣть одна и та же болѣзнь сердца, боль вторгнувшейся въ это сердце правды, убивающая и мучающая однихъ и наполняющая душу другихъ несокрушимой силой».

Этими словами хорошо характеризуется то, что Успенскій считаетъ центральнымъ пунктомъ русской жизни за послѣднія десятилѣтія: «болѣзнь сердца», «болѣзнь мысли», «болѣзнь совѣсти». Но они же хорошо характеризуютъ и самого писателя — направленіе его мысли и страстность его отношенія къ дѣлу. Болѣзнь сердца, болѣзнь мысли, болѣзнь совѣсти — это нарушенное равновѣсіе духа. Успенскій не скорбитъ объ этомъ нарушеніи, потому что вѣрить въ величіе и правоту новой мысли, которая ее произвела. Но онъ скорбитъ о тѣхъ мятущихся душахъ, которыя являются жертвами рокового столкновенія стараго съ новымъ, скорбитъ именно объ томъ, что они такъ много и болѣзненно мятутся, а мятутся они такъ потому, что душевное равновѣсіе въ нихъ нарушено. Надо бы имъ подняться на высоту новой мысли всѣмъ существомъ своимъ и тамъ, на этой высотѣ, достигнуть новаго равновѣсія. Но они этого не могутъ. Что-то тянетъ ихъ внизъ, какъ многопудовая гиря. *Le mort saisit le vif* — наслѣдіе добраго стараго времени не уступаетъ своего мѣста новой мысли. Лѣтописцемъ или иллюстраторомъ этой мучительной неуравновѣшенности и сталъ Успенскій. Однако не сразу. Въ его раннихъ произведеніяхъ еще отсутствуютъ спеціальная «болѣзнь сердца», совѣсти. Но уже тамъ намѣчена та почва, на которой она выросла. Оглядываясь теперь назадъ, мы безъ труда увидимъ, что обособляло Глѣба Успенскаго среди той группы молодыхъ талантливыхъ беллетристовъ, которая разомъ объявилась въ шестидесятыхъ годахъ. Первоначально мы видимъ только общую всѣмъ имъ склонность къ изображенію людей и нравовъ низшихъ общественныхъ слоевъ, и Глѣбъ Успенскій выдѣляется лишь своею манерою слагать драму изъ

комических подробностей, — манерою, только изрѣдка и слабо проявлявшемся у Николая Успенскаго и совершенно отсутствовавшем у Левитова, Слѣпова, Рѣшетникова. Но уже въ «Разореніи» Успенскій, сохраняя типическія черты всей группы, специализируетъ и содержаніе своихъ писаній. Съ этихъ поръ его занимаетъ почти исключительно столкновеніе «новой» мысли съ дореформеннымъ порядкомъ. Для примѣра остановимся на одной фигурѣ изъ этого періода его литературной дѣятельности.

Чиновникъ Павелъ Ивановичъ Печкинъ (въ «Наблюденіяхъ Михаила Ивановича») ходилъ себѣ на службу, строчилъ разныя бумаги, бралъ взятки, вытягивался передъ совѣтникомъ и продѣлывалъ все это «съ тѣмъ же спокойствіемъ, съ какими люди убѣждаются, что солнце свѣтитъ, что подъ ногами земля, а надъ головой небо; объ этомъ даже и не думаютъ. Павелъ Ивановичъ дѣлалъ все это исправно и жилъ поэтому весьма счастливо до тѣхъ поръ, пока время не пошатнуло этого міросозерцанія. Съ нѣкоторыхъ поръ стало оказываться, что взятка — вещь гнусная и что Павелъ Ивановичъ — подлець, тогда какъ онъ считалъ себя честнымъ человѣкомъ. «Развѣ я что украдъ?» говорилъ онъ въ подтвержденіе этого. Начальство, которое прежде только распекало, которое прежде отличалось опытностью и дряхлостью, стало замѣняться какими-то щелкоперами, которые носили пестрые брюки, курили въ присутствіи сигары, не брили бородъ, выгоняли вонъ безъ суда и слѣдствія, не желали видѣть доказательство честности въ безпорочной пражкѣ. Все это и множество другихъ либеральныхъ реформъ, похожихъ на снисхожденія къ пестрымъ брюкамъ, вломилось въ умственный міръ Павла Ивановича и произвело въ немъ потрясенія... Какъ человѣкъ набожный, онъ возлагалъ большую надежду на помощь Божію, надѣясь, что всѣ эти брюки, честности и бороды «прейдутъ», ибо посылаются въ наказаніе народамъ за беззаконія и блудную жизнь, но въ сущности это были только самыя легкія удары начинавшагося землетрясенія. За бородами пришли времена, когда вдругъ мужики перестали давать взятки... Затѣмъ пошли новые суды, неповиновеніе въ народѣ (а въ томъ числѣ и въ кухаркѣ), и все это виѣстѣ внесло въ душу Павла Ивановича множество самыхъ непримиримыхъ вещей».

Въ результатѣ получился нелѣпѣйшій брюзга, у котораго неустанно льется съ языка «сердитая чушь». Очень смѣшная фигура, какъ помнитъ или какъ увидитъ читатель въ подлинникѣ, но только смѣшная. Драма по обыкновенію есть и здѣсь, но она располагается около Павла Ивановича, который своей «сердитой чушью» дѣлаетъ жизнь окружающихъ непереносимою. Самъ Павелъ Ивановичъ только смѣшонъ; авторъ не утомляетъ вниманіемъ ту все-таки же драму, которая внутри самого этого нелѣпаго брюзги происходитъ. Онъ просто отмѣчаетъ ее, не удѣляя ей ни малѣйшаго состраданія: туда, дескать, этому чучелу и дорога. Молодой авторъ очевидно до известной степени раздѣ-

лялъ еще не остывшія во время писанія «Разоренія» веселыя ожиданія и розовыя надежды русскаго общества. Оглядываясь теперь на это странное время, можно удивляться той необузданности надеждъ, тому розовому довѣрію къ будущему, которыми мы были тогда переполнены. Базалось, историческая дорога лежала передъ нами такою ровною, гладкою скатертью, что только посвистывай да возжами потрогивай. Въ ненавистномъ прошломъ не было, кажется, уголка, не оплеваннаго съ полнѣйшею и безповоротною искренностью. Все весельемъ, надеждой дышало. И каждый встрѣчный на улицѣ подходилъ къ вамъ и говорилъ:

Я пришелъ къ тебѣ съ привѣтомъ,
Разсказать, что солнце встало,
Что оно горячимъ свѣтомъ
По листьямъ затрепетало...

Какъ видно изъ всего «Разоренія» и въ особенности изъ главной его фигуры — Михаила Ивановича, Успенскій отнюдь не былъ охваченъ такимъ оптимизмомъ; но все-таки по крайней мѣрѣ путь къ свѣтлому будущему казался настолько яснымъ, что рѣшительно не стоило придавать серьезное значеніе какимъ-нибудь ничтожнымъ мукамъ ничтожнаго Печкина, не сужившаго придти въ равновѣсіе съ «новой мыслью». Чортъ съ нимъ!

Позже, въ началѣ семидесятыхъ годовъ, Успенскому пришлось иначе отнестись къ жертвамъ нарушеннаго равновѣсія; пришлось написать вышеприведенныя строки о «болѣзни сердца». Оказалось, что душевное равновѣсіе не такъ-то легко достигается въ житейскомъ морѣ, взбаломученномъ новою мыслью, и что безпомощно мятутся не одни драми вроде Павла Ивановича Печкина. Въ этомъ удостовѣряетъ вся группа очерковъ и рассказовъ, соединенныхъ подъ общимъ заглавіемъ «Новыя времена, новыя заботы».

Мы все еще въ провинціальномъ городѣ, гдѣ имѣютъ мѣсто и «Нравы Растеряевой улицы», и «Разореніе», и другіе мелкіе рассказы перваго періода, а не въ деревнѣ, куда насъ поведетъ Успенскій потокъ. Но въ этомъ городѣ нашего автора занимаютъ уже не вообще нравы и люди, а специальная черта болѣзни совѣсти. Его поражаетъ прежде всего общая фizioномія современнаго губернскаго города — «нѣчто неуклюжее, разношерстное, какая-то куча, свалка явленій, не имѣющихъ другъ съ другомъ никакой связи и, несмотря на это, дѣлающихъ безплодныя усилія ужиться вмѣстѣ». Прежде «гармонія была во всемъ полная. Тряпье, дикость, невѣжество, хрюканье и проч. — все это было пригнано и прилажено все къ тому же невѣчеству, тряпью, хрюканью и дикости и, стало-быть, *не могло не только поражать ваши глаза, но даже ни на волос не обижало его*. Теперь не то. Гармонія подлиннаго тряпья нарушена пришествіемъ рѣшительно несовмѣстныхъ съ нимъ явленій. Изъ превосходнаго вагона желѣзной дороги пассажиръ выдѣзаетъ прямо въ лужу грязи, грязи непроходимой, изъ которой никто не придетъ васъ вынуть,

потому что машина прошла въ такомъ мѣстѣ, гдѣ отъ роду не было ни народу, ни дорогъ».

И т. д. Я не стану выписывать дальнѣйшія подробности и обращаю вниманіе читателя только на то, что глазъ художника «обиженъ» зрѣлищемъ нарушенной гармоніи, ему «досадна» эта «путаница», хотя онъ знаетъ, что гармонія невѣжества, тряпья и дикости слагается все-таки изъ дикости, тряпья и невѣжества, а слѣдовательно вовсе не привлекательна и не желательна. Это нечаянно совравшееся съ пера слово: «глазъ обиженъ» очень замѣчательно. Успенскій оскорбленъ отсутствіемъ гармоніи въ фізіономіи губернскаго города. Тамъ паче оскорбленъ онъ внутреннею, душевною жизнью обитателей этого города, въ которой онъ главною чертою считаетъ «больную совѣсть», нарушенное новою мыслью равновѣсіе.

Вотъ напредмѣръ порожденный этой жизнью мѣщанинъ Б—въ (въ «Хочешь-не-хочешь»). Онъ несетъ «чушь» въ своемъ родѣ не хуже Павла Ивановича Печкина, но уже не «сердитую» и пусто-порожнюю, а покаянную и содержательную. Онъ вспоминаетъ о блистательности своего положенія, когда у него было «панталоновъ однихъ лѣтнихъ шесть паръ отъ Корпуса» и когда ему предлагали мѣсто на Невскомъ у Пеструхина съ жалованьемъ въ семьдесятъ пять рублей. Но ему «тъфу!» на все это. «Мѣста, панталаны... Господи, очисти живота отъ всего, отъ этого». Его тянетъ куда-то въ высоту, объ которой однако онъ ничего путнаго сказать не можетъ, и рѣшаетъ умереть, и дѣйствительно застрѣливается. Несмотря на смѣшныя подробности монолога Б—ва, вы видите здѣсь настоящую драму, состоящую въ томъ, что какія то неизвѣстныя обстоятельства ввели въ слабую голову Б—ва массу новыхъ мыслей, не уживающихся съ прежнимъ ея содержимымъ. Онъ радъ бы рѣкой разлиться, весь міръ залить своимъ стономъ, и ничего изъ этихъ неимовѣрныхъ усилій не выходитъ: онъ все вертится около какихъ-то шести паръ лѣтнихъ панталонъ отъ Корпуса, которыя самъ глубоко презираетъ. Въ его мозгу копошится нѣчто безконечно высшее, чѣмъ всѣ эти лѣтнія панталаны и «мѣста», но это нѣчто бьется, какъ птица въ клѣткѣ, ища и не находя выхода, ища и не находя словъ для своего выраженія. Истинно «тъфу!» всѣ эти панталаны и мѣста. Никто ихъ не презираетъ въ такой степени, какъ этотъ самый мѣщанинъ Б—въ. А между тѣмъ они назойливо лѣзутъ въ голову, нѣтъ возможности согнать ихъ съ языка, нѣтъ возможности добраться сквозъ нихъ до того святилища души, гдѣ точно въ сказочномъ ларцѣ за семью печатями лежитъ таинственное зерно какой-то высокой мысли, изгнавшей Б—ва изъ рая душевнаго равновѣсія.

Вотъ Вѣрочка («На старомъ пепелищѣ»). Она знаетъ «новую мысль» въ ея словесныхъ выраженіяхъ, знаетъ слова «трудъ», «равноправность», «независимость», даже цѣнить ихъ, но соответственныя мысли не могутъ пробить толстую кору, наложенную на ея сердца слѣдствіемъ прошлаго. А когда наконецъ эти мысли пробились до сердца, Вѣрочка не выдержала и отравилась.

Вотъ дьяконъ («Неизлечимый»), спокойно жившій съ своимъ «свиннымъ элементомъ» въ душѣ, пока новая мысль не разрушила этого гармоническаго существованія. Дьяконъ, вкусивъ отъ плода древа познанія добра и зла, сознавъ въ себѣ «свиной элементъ», но ничего съ нимъ подѣлать не можетъ и мучительно раздумываетъ: «возможно ли какимъ либо манеромъ фундаментально излечить и душу, и тѣло? тѣло напредмѣръ возстановлять медицинскими спеціями, а душу одновременно чтиемъ?»

И проч., и проч. Это ужъ не Павлы Ивановичи Печкины, на которыхъ можно было только плюнуть. Этихъ людей авторъ уже даритъ своимъ участіемъ и состраданіемъ, признаетъ ихъ мучениками, а не мучителями, видитъ драму въ нихъ самихъ, а не около нихъ. Но неужели же такъ-таки нѣтъ просвѣта? Неужели «новая мысль» бессильна создать новую, высшую гармонію на мѣсто той «свиной», которую она разрушила, а ветхій человекъ рѣшительно неспособенъ облечься въ новаго и разстаться съ своимъ «свиннымъ элементомъ»? Какъ бы оно тамъ ни было въ дѣйствительности, но Успенскій слишкомъ «обиженъ» зрѣлищемъ дисгармоніи, слишкомъ страдаетъ отъ него, чтобы не искать хоть какого-нибудь успокоенія оскорбленному глазу. При всей своей безпорядочности и неуравновѣженности онъ слишкомъ богатъ *задатками* гармоніи, чтобы отказываться отъ мечты найти ее, гармонію, хоть гдѣ-нибудь. И онъ ищетъ, ищетъ до сегодня, и я не знаю ничего трогательнѣе той лихорадочной страстности, тѣхъ порывистыхъ усилій мысли, съ которыми онъ совершаетъ эти поиски. Онъ съ грустью раздумываетъ о судьбѣ Б—ва, Вѣрочки, дьякона и прочихъ заболѣвшихъ «сердцемъ», «совѣстью», но какъ бы ни были мрачны и безотрадны изображаемыя имъ картины, онъ никого не ведетъ къ отчаянію, къ «складыванію ненужныхъ рукъ на пустой груди». Должна гдѣ-нибудь быть эта такъ желанная гармонія, или въ настоящей дѣйствительности, или въ будущемъ, которое можно однако теперь же опредѣлить. Но на бѣду нашъ авторъ очень требователенъ. Въ рассказѣ «Прогулка» фигурируетъ очень либеральный и образованный акціонный чиновникъ. Онъ слѣдитъ за литературой, говоритъ, что «Одинъ въ полѣ не воинъ» Шпильгагена — превосходная штука», одушевленно ведетъ благороднѣйшій разговоръ о необходимости народнаго образованія, близко принимаетъ къ сердцу интересы европейской политики, неизмѣнно вѣжливъ съ низшими, строго исполняетъ свои обязанности. Словомъ, это продуктъ ужъ конечно не дореформенной эпохи. Но вотъ этотъ гуманный и вполнѣ современный человекъ отправляется производить дознание о безпечной продажѣ водки. Дорогой онъ прихватываетъ свидѣтеля солдата и сговаривается съ нимъ, какъ имъ накрыть виновника. Дознаніе произведено, протоколъ составленъ и все это устроилось такъ, что присутствующій при этомъ посторонній молодой человекъ размышляетъ: «какъ назвать, какъ опредѣлить эту гуманность, образованность,

которая повсюду вносить съ собой уныніе и грусть?... Вотъ съ измученной совѣстью сидитъ на крыльцѣ солдатъ... Вотъ вздыхаетъ цѣлая семья, видя передъ собою голодъ... Бабы перестали пѣть, ушли». «Да что же это такое?» спрашиваетъ онъ чиновника. «Порядокъ!» категорически отвѣтилъ чиновникъ и продолжалъ дорогу молча, срывая вазильки и собирая изъ нихъ букетъ для жены». Не этотъ «порядокъ» конечно можетъ послужить просвѣтомъ для мечты сердца, жаждущаго гармоніи. Это даже и не «порядокъ», не смотря на то, а отчасти можетъ быть именно потому, что чиновникъ соблюдаетъ при составленіи протокола всѣ формы вѣжливости, а соблазнивъ солдата на предательство, рветъ вазильки. Или вотъ рассказъ подъ названіемъ «Умерла за направление», въ которомъ, благодаря огромности и сложности общественнаго механизма, человекъ, возмѣтившій очень крупныя надежды и планы, постепенно ихъ сжигаетъ и приходитъ наконецъ даже къ совершенно неожиданному результату. Рассказчика спрашиваютъ, къ чему онъ это рассказалъ. Онъ отвѣчаетъ: «Какъ къ чему? Да просто такъ сказалъ... Потому сказалъ, что поглядишь, поглядишь, и не знаешь — что такое творится на бѣломъ свѣтѣ? Вотъ почему. — Тоска!»

Нельзя ли съ тоски-то съ этой кинуться въ міръ фантазіи и тамъ, на свой собственный страхъ и рискъ, содать пріятную фигуру «новаго человека», который воспринялъ бы новую мысль во всемъ ея объемѣ и всѣмъ существомъ своимъ, вообще создать образецъ высокаго, честнаго, сильнаго, правдиваго и не мирящагося съ наслѣдіемъ прошлаго, но при этомъ и неуязвленнаго большою совѣстью? Можно. Это дѣлали многіе беллетристы; въ литературѣ нашей существуетъ цѣлая коллекція романовъ, въ которыхъ фигурируютъ «новые люди» и которые производили въ свое время извѣстную сенсацию, но нынѣ почти забыты. Успенскій посвящаетъ этой литературѣ любопытную страницу въ очеркѣ «На старомъ пепелищѣ». Онъ вполне признаетъ ея историческую законность. Въ томъ обществѣ, которому казалось, что оно вдругъ разорвало всякую связь съ своимъ прошлымъ, необходимо долженъ былъ явиться запросъ на изображеніе совершенно новой жизни и новыхъ людей, и чтобы все въ этихъ людяхъ было добро зѣло, какъ въ первые дни творенія. Возмущенная крымской войной, затѣмъ освобожденіемъ крестьянъ и другими реформами, общественная совѣсть требовала великаго, сильнаго, честнаго, въ противоположность тому постылому прошлому, отъ котораго оно только что отвернулось. Романисты удовлетворяли этой потребности. Все это такъ. «Но, говоритъ Успенскій, между этими крайностями, то есть между недавнимъ, безпримѣрнымъ нравственнымъ паденіемъ и безпримѣрною жаждою новаго и возвышеннаго, есть третья черта, черта подлиннаго состоянія общественной души, забытая авторами, и старыми, и новыми: эта черта — страданіе. Новый авторъ, рисуя для пробужденной совѣсти образцы, въ которые должно бы облекаться это пробужденіе, но не го-

воря ни слова о страданіяхъ, о борьбѣ съ самимъ собой, страданіяхъ и борьбѣ, которыя неизбежно должны были обрушиться на всякаго обезсиленнаго нравственно человека, поставленнаго въ необходимость быть нравственно сильнымъ, — авторъ дѣлалъ большой промахъ: онъ предоставлялъ измученному представителю толпы биться, какъ рыба объ ледъ, и давалъ полную возможность врагамъ своихъ идеаловъ во все горло хохотать надъ ошибками, безсиліемъ, недомысліемъ человека, торопившагося перебраться съ одного берега на другой, торопившагося отъ неправды, безсовѣстности уйти къ совѣсти и правдѣ во всемъ».

Труденъ путь общественнаго обновленія. Трудно прилаживаются къ новой мысли люди, втеченіе вѣковъ воспитывавшіе въ себѣ, по выраженію нашего автора, «свиной элементъ». Новая мысль «жертвъ искупительныхъ просить»: она, какъ женщина, въ болѣзняхъ родитъ чадъ. Даже успѣхи ея, по крайней мѣрѣ на первыхъ порахъ или тотчасъ послѣ перваго розоваго и не особенно надежнаго настроенія, должны выразиться мучительнымъ сознаніемъ неуравновѣшенности, больной совѣсти. Чѣмъ ярче свѣтъ новой мысли, тѣмъ, при условіи полной искренности, сильнѣе освѣщаетъ онъ потаенные закоулки души, гдѣ гнѣзятся остатки прошлаго. Надо въ конецъ истребить въ себѣ эти остатки и тогда получится новая, высшая гармонія, замѣня разрушенную. Лучше быть недовольнымъ человекомъ, чѣмъ довольной свиньей, какъ сказалъ древній мудрецъ. Разъ увидѣвъ свѣтъ, никто не захочетъ вернуться къ тмѣ. Разъ заболѣвъ совѣстью, мудрено вернуться къ прежнему душевному равновѣсію, еще не обезпокоенному острыми иглами совѣсти, но эти иглы производить боль, и надо искать выхода.

Герой очерка «Хочешь-не-хочешь», нѣкій Петръ Васильевичъ, нашелъ выходъ. Казнокрадъ, буня, развратникъ, онъ уже старикомъ получилъ «просіаніе своего ума», какъ выражается другой герой Успенскаго. Получилъ просіаніе и «покаялся»: отказался отъ семьи, отъ всѣхъ выгодъ и удобствъ своего положенія, ушелъ изъ дому и, проживая въ своей бывшей деревнѣ тайно отъ жены, которой нѣкогда надѣлалъ много непріятностей, и изрядка, тайкомъ же, взглядывая на своего сына, сталъ, какъ умѣлъ, лечить крестьянъ и, какъ могъ, учить крестьянскихъ ребятишекъ. Этимъ путемъ онъ достигъ душевнаго равновѣсія. Каясь за свое прошлое, онъ не имѣетъ чѣмъ упрекнуть себя въ настоящемъ и спокойнѣе и свѣтелѣе какъ дитя. «У меня вотъ шланга поярковая, говоритъ онъ, коровѣмъ составомъ я ее вымазалъ, запекъ въ печи — она у меня на двѣсти лѣтъ, а тамъ, въ вашихъ-то мѣстахъ (т. е. въ «господской» средѣ), отдай пять да десять... да невѣдомо сколько другаго прицендалу потребуется хоть бы къ одной къ одеждѣ... Не надо этого... Стыдно! Вотъ ребятишки иной разъ листа бумаги ждуть по полугодю, а я буду въ лорнетъ смотрѣть?»

Такъ вотъ какъ достигается душевное равновѣсіе.

III.

«Болѣзнь сердца», «болѣзнь мысли», «болѣзнь совѣсти» — это у Успенскаго синонимы. Мысль и чувство, безжалостно и неподкупно сверлящія душу, принимаютъ для него почти исключительно форму совѣсти, то есть сознанія виновности и жажды соотвѣтственнаго искупленія и покаянія. Но совѣсть — не единственная сила, способная сверлить душу. Человѣкъ, охваченный угрызениями совѣсти, стремится наложить на себя эпитемія и всячески урѣзать свой жизненный бюджетъ. Для себя ему ничего не нужно. Напротивъ, заморить грызущаго его червяка онъ только и можетъ лишеніями, и потому онъ не только готовъ принять всякія оскорбленія даже до мученическаго вѣнца, а самъ ищетъ ихъ. Препятствія для этой работы совѣсти могутъ найтись только въ самомъ субъектѣ, въ его «свиномъ элементѣ», если таковой сохранится, а внѣшняя обстановка съ такимъ человѣкомъ ничего не можетъ сдѣлать: для него лично пожалуй даже — чѣмъ хуже, тѣмъ лучше. Взять хоть бы того же Петра Васильевича; чѣмъ больше холода и голода на него обрушивается, чѣмъ униженіе его положеніе, тѣмъ онъ свѣтлѣе душой. Но въ такомъ чистомъ видѣ работа совѣсти встрѣчается рѣдко, хотя бывають цѣлыя историческія эпохи, ею окрашенныя. Обыкновенно же коррективомъ ея является работа чести, которая столь же способна нарушить гармонію «свиного элемента», только съ другого конца, и точно такъ же можетъ стать мотивомъ глубочайшей драмы. Работа совѣсти и работа чести отнюдь не исключаютъ другъ друга. Между ними возможно практическое соглашеніе, онѣ могутъ уживаться рядомъ, пополняя одна другую. Но онѣ все-таки типически различны. Совѣсть требуетъ сокращенія бюджета личной жизни и потому въ крайнемъ своемъ развитіи успокоивается лишеніями, оскорбленіями, мученіями; честь, напротивъ, требуетъ расширенія личной жизни и потому не мирится съ оскорбленіями и бичеваніями. Совѣсть, какъ опредѣляющій моментъ драмы, убиваетъ ея носителя, если онъ не въ силахъ принизить, урѣзать себя до извѣстнаго предѣла; честь, напротивъ, убиваетъ героя драмы, если униженія и лишенія переходятъ за извѣстные предѣлы. Человѣкъ уязвленной совѣсти говоритъ: «я виноватъ, я хуже всѣхъ, я недостойнъ»; человѣкъ возмущенной чести говоритъ: «передо мной виноваты, я не хуже другихъ, я достоинъ». Работѣ совѣсти соотвѣтствуютъ обязанности, работѣ чести — права. Повторяю, исключительные люди совѣсти, какъ и исключительные люди чести составляютъ большую рѣдкость, обыкновенно мы видимъ смѣшеніе этихъ двухъ началъ въ той или другой пропорціи. Но въ данную минуту герой драмы можетъ находиться подъ исключительнымъ влияніемъ того или другого элемента. И ясно, что болѣзнь чести имѣетъ полное право стоять рядомъ съ болѣзью совѣсти. Ясно, что драма оскорбленной чести можетъ быть столь же сложна, глубока и поучительна, какъ и драма уязвленной совѣсти.

Успенскій, сосредоточивъ свое вниманіе на драмѣ совѣсти, почти совсѣмъ въ сторонѣ оставляетъ драму чести. Говорю — почти совсѣмъ, потому что нѣкоторые намеки въ этомъ направленіи у него есть. Самый крупный изъ нихъ — фигура Михаила Ивановича въ «Разореніи». Бѣдетъ Михаилъ Ивановичъ въ Петербургѣ, полный самыхъ радужныхъ надеждъ, что, добравшись тамъ до сильныхъ людей, онъ имъ расскажетъ, какъ обижаютъ и притѣсняютъ простого человѣка, который однако не хуже другихъ. На желѣзной дорогѣ онъ пріятно пораженъ въ своемъ настороженномъ чувствѣ чести тѣми «вы», «пожалуйте», «сдѣлайте одолженіе», съ которыми къ нему обращаются. Вмѣстѣ съ случайнымъ дорожнымъ знакомцемъ, пьяненнымъ мужикомъ, они дѣлають разные опыты для удостовѣренія, что они не хуже другихъ. Все удается: съ ними неизмѣнно вѣжливы, желѣзнодорожныя правила примѣняются къ нимъ совершенно въ той же мѣрѣ, какъ и къ пассажирамъ «изъ господъ». Но вотъ на одной изъ станцій Михаилъ Ивановичъ, обнявшись съ мужикомъ, подходитъ къ буфету съ намѣреніемъ выпить и закусить, подобно прочимъ.

— Бутенброду! — грозно восклицаетъ мужикъ, вламываясь въ толпу у буфета, но, увидавъ господъ, пугается, снимаетъ шапку и бурчитъ:

— Дозвольте бутенброду, васкбродіе!..

Михаилъ Ивановичъ обиженъ такимъ поведеніемъ мужика и тотъ самъ чувствуетъ свою вину. Это пустяки конечно, но солнце отражается и въ малой каплѣ воды. «Новая мысль» преломилась въ головахъ Михаила Ивановича и его спутника въ формѣ чести, но они не приладились къ ней, не привели въ равновѣсіе свое прежнее содержаніе и новую мысль. Отсюда это нелѣпное «грозное» восклицаніе мужика и быстро слѣдующая за нимъ трусость. Этотъ мотивъ не разработанъ въ сочиненіяхъ Успенскаго, частью можетъ быть по внѣшнимъ условіямъ, но частью и по самымъ свойствамъ его таланта и его умонастроенія. Онъ часто рисуетъ разныхъ насильниковъ, обидчиковъ, тирановъ, но комическія черты въ этихъ рисункахъ расположены такъ, что весь этотъ людъ, хотя и много зла дѣлающій, оказывается пустопорожнимъ и ничтожнымъ. Таковъ напримѣръ Павелъ Ивановичъ Печкинъ. Такова въ разсказѣ «Захотѣлъ быть умнѣй отца» мрачная фигура злодѣя-отца. Повидимому это не только мрачная, но и очень большая сила; но всей этой силы только на то и хватило, чтобы загубить сына, что вовсе не трудно было. Въ сущности, какая же это сила? Это что-то злое, мимолетно торжествующее, но ничтожное до смѣшного, и завтра же можетъ быть отъ него не останется ни праху, ни памяти. Поэтому сына этого смѣшного и ничтожнаго злодѣя Успенскій не считалъ нужнымъ даже показать намъ, а между тѣмъ драматическое положеніе этого сына коренится конечно не въ уязвленной совѣсти, а въ оскорбленной чести, которая такимъ образомъ и остается за кулисами. Сверхъ того къ анализу именно больной совѣсти, даже въ ущербъ всему прочему, Успенскаго влечетъ родственность его художественнаго

аскетизма съ аскетизмомъ житейскимъ. Самъ онъ съуживаетъ свои права, какъ художника, до послѣдней возможной степени и отказывается отъ всякой роскоши красокъ, линий, образовъ. Поэтому и въ жизни ему симпатичнѣе или по крайней мѣрѣ интереснѣе то возстановленіе душевнаго равновѣсія, которое достигается со стороны совѣсти, то-есть при помощи лишеній и отказа отъ всего яркаго и цвѣтнаго. Какъ бы то ни было, но это большой пробѣлъ въ дѣятельности Успенскаго. Мы еще встрѣтимся съ этимъ обстоятельствомъ ниже, а теперь, возвращаясь къ прерванному разговору о показавшемся Петрѣ Васильевичѣ («Хочешь-не-хочешь»), я замѣчу слѣдующее. Аскетизмъ Петра Васильевича, на которомъ отдыхаетъ наконецъ глазъ художника, оскорбленный зрѣлищемъ неуравновѣшенности, отнюдь не имѣетъ совершательнаго характера. Это не тотъ аскетъ, который заѣзжаетъ на столбъ или удаляется въ дѣса и болота и тамъ, никого не видя, только сокрушается о своихъ грѣхахъ. Онъ—аскетъ дѣятельный, постановившій себѣ задачей служить ближнему дѣломъ: онъ лечитъ больныхъ и учитъ ребятъ. Это важно замѣтить для дальнѣйшаго.

Какъ бы ни было успокоительно для глаза, ищущаго гармоніи, зрѣлище того душевнаго равновѣсія, котораго достигъ Петръ Васильевичъ, но это во всякомъ случаѣ исключительное явленіе. Это пожалуй тоже своего рода «новый человекъ». Правда, указанъ и названъ путь, которымъ онъ добрался до своего пьедестала, — путь страданія. А все-таки Петръ Васильевичъ на пьедесталѣ стоитъ, на возвышеніи, недоступномъ большинству. Глазъ, оскорбляемый неуравновѣшанностью, можетъ на немъ только временно отдохнуть и затѣмъ по необходимости долженъ перейти къ явленіямъ болѣе обыкновеннымъ, и опять оскорбляться, и опять искать гармоніи.

Успенскій отправился съ своими поисками въ деревню. Это какъ разъ совпало съ усиленными литературными толками о народѣ, въ которыхъ Успенскій занялъ совершенно оригинальную позицію. Онъ ушелъ въ деревню все съ той же преслѣдующей его мечтой найти отдыхъ глазу, оскорбленному неурядицей, безтолковостью и противорѣчивостью явленій жизни. При этомъ была очевидна и надежда, что тамъ, въ деревнѣ, гдѣ жизнь сравнительно не сложна, гдѣ поярковая шляпа, вымазанная коровниномъ составомъ, до которой едва дострадался Петръ Васильевичъ, есть вещь вполне обыкновенная; что тамъ легче найти равновѣсіе между нравственными понятіями и фактическимъ строемъ жизни, между потребностями и способами ихъ удовлетворенія, между словомъ и дѣломъ. Разное однако ожидало его тамъ, и онъ съ свойственною ему нервною торопливостью и искренностью предавалъ тишенію все, что онъ видѣлъ, думалъ, чувствовалъ. Тутъ были и разочарованія, и радости. Не разъ сбѣгалъ онъ изъ деревни то въ Европу, чтобы его тамъ «выпрямилъ» Венера Милосская, то въ ту же Европу, чтобы посмотреть, какъ живутъ люди, хорошо-ли, худо-ли, но вполне сознательною жизнью, то къ далекимъ кавказскимъ сектантамъ, то къ измученнымъ русскою болѣзью совѣсти доброволь-

цамъ въ Сербію, но все-таки возвращался все въ ту же деревню, и опять искалъ тамъ, и мучился, и радовался. Такъ какъ одно время литературные толки о народѣ вызвали было въ обществѣ нѣкоторое движеніе въ направленіи къ деревнѣ, то Успенскій и эти попытки сближенія съ народомъ ввелъ въ кругъ своихъ наблюденій и размышленій. Люди искренней мысли всегда высоко цѣнили деревенскія впечатлѣнія Успенскаго, ибо они, по своей необыкновенной правдивости, всегда заслуживали по крайней мѣрѣ быть принятыми къ свѣдѣнію, при обсужденіи живого дѣла. Но ко всякому живому дѣлу приотраиваются разные узколобые доктринеры и кляузники, стремящіеся омертвить его и тѣмъ низвести до своего уровня. Такимъ не могла нравиться дѣятельность Успенскаго, слишкомъ для нихъ живая и смѣлая. Они рѣшительно терялись—какой собственно ярлыкъ на него навѣсить, а ярлыковъ собственнаго изобрѣтенія у нихъ было много: не то «народникъ», не то только «народолюбецъ», не то еще какой-то, и даже «презрительно и высокомерно относится къ народу». Это не было скромное и естественное «недоумѣніе нулей, къ какой пристать имъ единицѣ». Нѣтъ, нули, круглые нули комически негодовали, что къ нимъ не пристаютъ дѣйствительныя величины. Успенскій оставался конечно все тѣмъ же Успенскимъ и шелъ своей мучительно трудной дорогой. Я не буду слѣдить за всѣми перипетіями его поисковъ идеала въ деревнѣ, и останавлиюсь только на нѣсколькихъ крупныхъ чертахъ.

Между прочимъ Успенскій пришелъ къ парадоксальному повидимому выводу, что въ народной средѣ (а можетъ быть и не въ ней одной) улучшение матеріальнаго положенія не только не ведетъ къ дѣйствительному благосостоянію, а, напротивъ, губить людей, опустошая ихъ нравственно, а затѣмъ приводя къ всеобщему разоренію. Мысль эта его очень занимаетъ: онъ развиваетъ ее и въ нѣсколькихъ отдѣльных очеркахъ (напримѣръ «Перестала», «Взбрело въ башку» и проч.), и въ единственномъ своемъ болѣе или менѣе законченномъ произведеніи «Власть земли», и въ статьяхъ «Безъ своей воли», «Изъ разговоровъ съ пріятелями», составляющихъ какъ бы послѣсловіе къ «Власти земли». Отсюда, на поверхностный взглядъ, могутъ быть сдѣланы нѣкоторые крайне удивительныя заключенія, отнюдь не мирящіеся съ общимъ характеромъ дѣятельности Успенскаго. Но, приглядѣвшись ближе, увидимъ прежде всего, что Успенскому не до эффектныхъ парадоксовъ. Онъ пристально вглядывается въ поразившее его явленіе, ищетъ его смысла и производитъ эту операцію не въ кабинетѣ, въ тиши котораго можно расположить свои наблюденія и выводы въ стройную систему, а, такъ сказать, на людяхъ: вы видите не только результаты работы, а и процессъ ея. Объ этомъ впрочемъ уже говорено выше, и если я теперь возвращаюсь къ этому обстоятельству, такъ только для того, чтобы имѣть право, для объясненія истиннаго смысла вышеприведеннаго парадоксальнаго вывода, по своему располагать разными отдѣльными мѣста сочиненій Успенскаго.

Въ очеркѣ «Безъ своей воли» записаны разговоры трехъ пріятелей. Одинъ изъ нихъ, только что вернувшійся изъ какой-то поѣздки, передаетъ между прочимъ слышанный имъ разговоръ объ томъ, что родился антихристъ. Народился онъ не у насъ, а въ «какомъ-то особомъ царствѣ». Вотъ какъ будто-бы было дѣло.

Наваяса къ гнѣбному князю поваръ и тотчасъ же началъ всячески угождать и дѣлать добро остальной прислугѣ. Слухи объ его добротѣ стали распространяться и дошли до самого князя, который любилъ его, а этою любовью поваръ воспользовался опять-таки на благо разныхъ обращающихся къ нему за помощью бѣдныхъ, простыхъ людей. Со всѣхъ сторонъ валили къ нему черныи народъ съ своимъ горемъ и нуждой, и всѣ получали помощь, всѣмъ онъ выхлопатывалъ у князя—кому что нужно. Такъ дѣло и теперь стоитъ: поваръ все благотѣлствуетъ и помогаетъ простому бѣдному люду. Но глѣтъ притѣрно черезъ двадцать произойдетъ слѣдующій случай. Надо замѣтить, что благотѣльный поваръ никогда не снимаетъ съ рукъ бѣлыхъ перчатокъ. И вотъ князь совѣтетъ къ себѣ въ гости «прочихъ всѣхъ китайскихъ и эфиопскихъ князей» и будетъ имъ служить поваръ въ бѣлыхъ перчаткахъ. Гости—«князья и разные султаны»—зантесуются этимъ и попросятъ князя-хозяина, чтобы онъ приказалъ повару снять бѣлые перчатки. Князь прикажетъ, но поваръ дважды откажется исполнить приказаніе, и только когда князь въ третій разъ съ гнѣвомъ прикажетъ, поваръ съ гнѣвомъ же сорветъ бѣлые перчатки. Тогда всѣ князья и султаны увидятъ, что поваръ есть антихристъ: на одной рукѣ у него окажется копыто, на другой—когти. Всѣ князья и султаны въ ужасѣ разбѣгутся, въ томъ числѣ и хозяинъ. Народъ, помня благотѣнія повара, выберетъ его княземъ, но вмѣсто ожидаемыхъ милостей онъ съ перваго же дня обнаружитъ необузданную жестокость. Въ особенности плохо придется тѣмъ, у кого руки окажутся «чистыми, нѣжными, безъ мозолей, т. е. безъ этихъ копытъ и когтей». «Чтобы спастись отъ гибели, всѣ бѣлоручки начнутъ хвататься руками за землю, начнутъ рыть ее, и все-таки будутъ гибнуть. А такъ какъ и у мужиковъ мозоли будутъ проходить (отъ хорошей жизни, которую антихристъ устроилъ имъ, будучи поваромъ), то вслѣдъ за бѣлоручками, уничтоженными по повелѣнію антихриста, станутъ уничтожать и обѣлорученныхъ мужиковъ. Потомъ начнется пожаръ земли, воскресеніе мертвыхъ, страшный судъ».

Одинъ изъ собесѣдниковъ, выслушавъ этотъ разговоръ, замѣчаетъ, что «эту легенду объ антихристѣ онъ на своемъ вѣку слышалъ несчетное число разъ; антихристъ всегда является въ ней въ равныхъ видахъ, но всегда рѣшительно, во всякой изъ легендъ, онъ ознаменовываетъ свое пришествіе добрыми дѣлами. Онъ всегда завоевываетъ симпатіи народа, дѣлая ему пріятное, облегчая ему жизнь... Почему же зло, гибель, несчастіе и вообще послѣдніе дни, кончину міра народъ полагаетъ послѣ того, какъ будутъ необыкновенно легко исполняться всѣ желанія, снимутся всѣ тяготы?»

Признаюсь, я никогда не слышалъ такой русской легенды объ антихристѣ. Полагаю, что она не кореннаго русскаго происхожденія. Она невольно напоминаетъ слѣдующее иранское сказаніе. Послѣ тысячелѣтняго царствованія Іема, втеченіе котораго люди были такъ счастливы, что не знали даже голода и жажды, на престолъ вступилъ нечестивый Дахакъ. Самъ Ариманъ поступилъ къ нему на службу въ видѣ повара. Поваръ этотъ сталъ постепенно приучать Дахака къ мясной пищѣ. До тѣхъ поръ люди питались только растительной пищей, а тутъ стали ѣсть сначала яйца, потомъ птицъ, потомъ говядину. Дахакъ былъ очень доволенъ гастрономическими нововведеніями, но когда однажды поваръ Ариманъ поцѣловалъ царя въ оба плеча, то изъ тѣхъ мѣстъ, куда припились поцѣлуи, выросли двѣ змѣи, а поваръ исчезъ. Змѣи отрывали, но онъ опять выросли, и опять, и опять. Тогда поваръ вновь появился, но уже въ видѣ врача, и посоветовалъ кормить змѣй человѣческимъ мозгомъ. И т. д. Исторія кончается благополучно низверженіемъ Дахака и торжествомъ добра.

Я не знаю, родственно ли это сказаніе съ легендой объ антихристѣ, приводимой Успенскимъ, фактически. Но они родственны по содержанію; и не только потому, что тамъ и тутъ воинствующее злое начало—антихристъ и Ариманъ—принимаетъ обличье повара, а и потому, что тамъ и тутъ поваръ является источникомъ удовольствія, наслажденія, которое оказывается однако пагубнымъ. Но въ иранскомъ сказаніи двусмысленный характеръ благотѣній злого начала раскрывается яснѣе. Дѣло не въ благотѣніяхъ вообще, а специально въ предоставленіи новыхъ наслажденій, дотошъ народу неизвѣстныхъ, причемъ можетъ быть имѣть значеніе и то, что наслажденія эти низшаго порядка—гастрономическія. Иранское сказаніе видитъ торжество зла не въ томъ, что «будутъ необыкновенно легко исполняться всѣ желанія, снимутся всѣ тяготы», а въ томъ, что водворится роскошь, люди захотятъ лишняго, того, что прежде было имъ даже неизвѣстно. Это гораздо проще и понятнѣе, но можетъ быть та же мысль лежитъ и въ основаніи легенды объ антихристѣ, только замаскированная. Еслибы это послѣднее могло быть доказано, то стало бы вѣстѣ съ тѣмъ понятно, что постоянно звучащей въ Успенскомъ аскетической струнѣ симпатична легенда объ антихристѣ: въ ней вѣдъ та же струна звучитъ. Но, какъ уже было замѣчено выше, близкій сердцу Успенскаго аскетизмъ отличается дѣятельнымъ характеромъ. Онъ самъ слишкомъ впечатлителенъ и дѣтеленъ, чтобы другимъ рекомендовать и себѣ позволить спокойное созерцаніе, хотя бы возможность его и была достигнута отрѣшеніемъ отъ всего «лишняго» и отъ всякаго грѣха, съ этимъ «лишнимъ» связаннаго. А это обстоятельство вноситъ въ аскетическую программу такую огромную поправку, что въ извѣстномъ смыслѣ она даже перестаетъ быть аскетическою.

Въ очеркѣ «Перестала!» Михайло говоритъ, что «намъ свою мужицкую силу нельзя по вѣтру ронять: намъ нужна запряжка, *чтобы дохнуть некогда было*». Это Михайло говоритъ, умудренный

горькимъ опытомъ и получивъ «просіяніе своего ума» отъ калашницы Артамоновны, которая вновь наладила его разбитую было семейную жизнь. Артамоновна вотъ какъ допекала Михайлу и его жену: «Глупый ты, безбожный и безразсудный балбесъ! До чего ты довелъ свою жену и до чего самъ себя произвелъ? Не дуракъ ли ты: хотѣлъ прожить съ женой весь вѣкъ за самоваромъ; думалъ ты, дуракъ, что будетъ она тебѣ *благодарна, ежели ей только чай съ сахаромъ пить, а никакого безпокойства не имѣть?* Куда жъ она силу-то свою дѣнетъ, подумалъ ли ты? Вѣдь у ней, у жены-то твоей, на четырехъ бабъ силы-то хватить, а ты думаешь часомъ ее отпнуть?.. И этакую-то золотую бабу ты, балбесъ, думалъ на всю жизнь оставить безъ затрудненія? *Почему же ты не дѣлаешь ей въ жизни затрудненія? Вѣдь она всею хочетъ, понимаешь ли ты? Ей всего нужно. А ты самоваромъ хочешь отболжаться?*» Жена Михайлы тоже получаетъ отъ Артамоновны наставленіе: «А ты-то, балалайка безструнная, что думала? Ты бы хотѣ мужу на портянки холста наткала, такъ и то бы тебѣ *потруднѣй* было, *повеселѣй*. Ахъ, вы, глупые, безсовѣстные! Задумали безъ крестьянскаго хомута вѣкъ вѣковать!»

И такъ, между словами «потруднѣй» и «повеселѣй», выражающими поведенію такіа рѣзко отличныя понятія, можетъ быть поставленъ знакъ равенства. И такъ, на человѣка должно быть навалено столько работы, чтобы ему «дохнуть некогда» было. Тогда, и только тогда настанетъ миръ въ его душѣ, но не на почвѣ отреченія отъ радостей жизни; напротивъ, тутъ-то и достигнется настоящая радость, и человѣкъ, который «всею хочетъ», которому «все нужно», «все» и получить. Михайло и его жена въ очеркѣ «Перестала!» не исключительныя какія-нибудь явленія. Совершенно какъ у Михайлы, у Ивана Босыхъ во «Власти земли» разстройство матеріальное, разстройство семейной жизни и всякое другое пошло «отъ легкой жизни». Такъ и народъ понимаетъ дѣло, какъ видно изъ легенды объ антихристѣ. Нуженъ трудъ, ужасно много труда, такъ, чтобы «дохнуть некогда» было, по выраженію Михайлы.

Какъ разъ подъ этимъ заглавіемъ «Дохнуть некогда» у Успенскаго есть превосходный очеркъ, одно изъ лучшихъ его произведеній по яркости фантазіи, по богатству юмора, по ясности мысли, по рѣдкой для него художественной законченности. Мнѣ въ высшей степени пріятно отмѣтить, что этотъ превосходный очеркъ былъ напечатанъ въ журналѣ всего три года тому назадъ (въ 1885 г.) и что слѣдовательно, не смотря на все усиливающуюся привычку разрѣзать публицистикой свои образы, Успенскій до нынѣ сохранилъ свое художественное дарованіе во всей его свѣжести. Въ этомъ очеркѣ усиленный трудъ, трудъ почти каторжный и во всякомъ случаѣ такой, что «дохнуть некогда», представляется уже въ совершенно другомъ освѣщеніи. Онъ является здѣсь источникомъ не міра душевнаго, а, напротивъ, вѣчной тревоги. Михайло, Иванъ Босыхъ и другіе подходятъ къ самому краю пропасти или ввергаются въ нее

«отъ легкой жизни», и спасеніе ихъ въ трудѣ до предѣла «дохнуть некогда». Судебный приставъ Апелъсинскій, исправникъ, Арапкинъ, смотритель маяка и другіе, фигурирующіе въ очеркѣ «Дохнуть некогда», становятся героями мучительныхъ драмъ, напротивъ, именно потому, что заглавіе очерка приходится имъ по шерсти; ихъ гибель именно въ *не легкой* жизни, они ужъ никакъ не поставятъ знака равенства между словами «потруднѣй» и «повеселѣй». Значитъ, есть трудъ и трудъ; трудъ благотворный для трудящагося и трудъ губительный; трудъ, прекращающій мучительную драму всяческаго разстройства, и трудъ—источникъ этой драмы. Постараемся разсмотрѣть эти два типа драмы отдѣльно; постараемся, потому что Успенскій самъ часто ихъ сопоставляетъ, и не легко обойти эти авторскія сопоставленія.

Въ деревнѣ происходятъ разные порядки. Это ни для кого не тайна. Благонамѣренные люди разныхъ оттѣнковъ знаютъ и причины этихъ порядковъ, лежащія въ экономическихъ условіяхъ. Знаетъ ихъ и Успенскій, знаетъ конечно лучше многихъ, разсуждающихъ объ этомъ предметѣ. Но его интересуетъ главнымъ образомъ не эта сторона вопроса. *Magenfrage*, какъ сказалъ бы нѣмецъ, поднимается для него до степени *Seelenfrage*, или, какъ выражается онъ самъ, вопросъ «народнаго брюха» до степени вопроса «народнаго духа». «Земля» есть не только источникъ мужицкаго пропитанія, но и главнѣйшій факторъ, опредѣляющій все міросозерцаніе крестьянина и весь его житейскій обиходъ. «Бракъ, семья, народная поэзія, судъ, общественныя работы и т. д., и т. д.» — всѣ стороны народной жизни проникнуты вліяніемъ земледѣльческаго труда. И эта-то «власть земли», какъ всеопредѣляющій факторъ, устанавливаетъ гармонію въ народной жизни, — гармонію, до которой намъ, разрывающимся на части и собственной совѣстью, и внѣшними условіями своего существованія, какъ до звѣзды небесной далеко. Изъ этого не слѣдуетъ однако, чтобы все было благополучно въ народной средѣ.

Я видѣлъ гдѣ-то такую карикатуру: лежитъ мужикъ, полураздавленный подобіемъ земного шара («земли»), а Успенскій изъ всѣхъ силъ толкаетъ этотъ шаръ впередъ, на мужика, съ очевидною цѣлью окончательнаго его расплюснуть. Карикатура имѣетъ свои условныя права, и въ данномъ случаѣ можетъ быть она и не вышла за предѣлы этихъ правъ. Но надо все-таки понимать, что для Успенскаго «потруднѣй» значитъ «повеселѣй», по крайней мѣрѣ въ примѣненіи къ мужику. Не раздавить мужика трудомъ хочетъ онъ, а, напротивъ, предоставить ему весь просторъ жизни, который, дескать, наилучше обеспечивается земледѣльческимъ трудомъ. Нѣкоторымъ изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ Успенскій разрѣшаетъ говорить на эту тему вещи, съ извѣстной точки зрѣнія абстрактно справедливыя, но фактически нѣсколько рискованныя. Въ очеркѣ «Овца безъ стада» одинъ «молодой, необыкновенно талантливый мальчикъ» съ азартомъ утверждаетъ, что мужикъ есть счастливѣйшій изъ людей, потому что онъ, благодаря характеру своего труда, живетъ полною и

вполнѣ уравниженною жизнью. «Участь мужика-крестьянина не только не печальна, но рѣшительно отраднѣ сравнительно съ безчисленными профессіями, на которыя раскололся родъ человѣческій». Мужикъ дѣлаетъ «все самъ» и потому «все самъ знаетъ, рѣшительно все... просто такъ все знаетъ, да и шабашъ!» И т. д., и т. д. Все это говоритъ «молодой, необыкновенно талантливый мальчикъ». Собесѣдники же находятъ, что это лишь талантливая «иллюстрація къ мужику», что мужикъ тутъ «хорошо разрисованъ», хотя признаютъ, что кое-гдѣ, изрѣдка и отдѣльными чертами, эта «иллюстрація» осуществляется и въ дѣйствительной жизни. Въ «Разговорахъ съ пріятелями» Протасовъ утверждаетъ уже не такъ рѣшительно, какъ упомянутый «мальчикъ»: «Уравниженность духовной и физической дѣятельности, встрѣчающаяся въ нашемъ крестьянствѣ, *въ счастливыхъ случаяхъ*, въ полной чистотѣ и совершенствѣ, дѣлаетъ его по истинѣ образцомъ того, къ чему долженъ стремиться такъ называемый прогрессъ». А когда Успенскому, какъ во «Власти земли», приходится говорить лично отъ себя, то онъ выражается еще скромнѣе и трезвѣе. Онъ напимѣръ пишетъ и подчеркиваетъ: «Въ строѣ жизни, повинующейся законамъ природы, несомнѣнна и особенно плѣнительна та *правда* (не *справедливость*), которую освѣщена въ ней самая ничтожнѣйшая жизненная подробность». Успенскій знаетъ и отъ людей не скрываетъ, что въ народной средѣ совершаются возмутительныя по своей жестокости вещи, но онъ совершаются съ чистою, спокойною совѣстью: «вѣсь онъ, съ точки зрѣнія міросозерцанія, воспитаннаго неизмѣнными законами природы, окажутся неизбѣжными, а люди, совершившіе ихъ, чистыми сердцемъ, какъ голуби».

Можетъ ли глазъ, оскорбленный дисгармоническими явленіями и жаждущій видѣть хоть какую-нибудь гармонію, успокоиться на этой, какъ говорить самъ Успенскій, «зоологической», «лѣсной», «зѣбриной» «правдѣ»? Она вѣдь представляетъ полную уравниженность понятій и поступковъ, въ ней нѣтъ мѣста «больной совѣсти» и другимъ болѣзненнымъ продуктамъ нарушенной гармоніи? — Отдохнуть глазъ можетъ, но успокоиться — нѣтъ. И вотъ почему: «Такъ какъ этотъ трудъ весь въ зависимости отъ законовъ природы, то и жизнь его (мужика) гармонична и полна, но безъ всякаго съ его стороны усилія, безъ всякой *своей* мысли. Вынуть изъ этой гармонической, но подчиняющейся жизни хоть капельку, хоть песчинку, и уже образуется пустота, которую надо замѣнить своей человѣческой волей, своимъ человѣческимъ умомъ, а вѣдь это какъ трудно! какъ мучительно!» («Безъ своей воли»). Значитъ, уже тѣмъ нехорошо зоологическое, лѣсное равновѣсіе, что оно неустойчиво. Оно можетъ непоколебимо простоять сотни лѣтъ, но можетъ и рухнуть въ одинъ день, если изъ него будетъ вынута хоть капелька, хоть песчинка. А разныхъ случайностей, способныхъ вынуть эту песчинку, не оберешься. Вотъ напимѣръ исторія, рассказанная въ очеркѣ «Не случись». Просто весна ранняя встала, «никогда старики такой ранней

весны не видывали». Вслѣдствіе этого и весеннія работы необычно рано кончились и пришлось передъ Петровымъ днемъ двѣ недѣли необычнаго досуга, котораго рѣшительно дѣвать некуда. Разыгрались люди, да въ игръ-то убилъ человѣкъ нечаянно родного отца, а потомъ и острогъ, и обвиненіе, и сестра отъ нищеты «гулять» пошла. Цѣлая огромная драма. Бѣсъ и другія случайности, которыя уже ни въ какой связи съ явленіями и законами природы не состоятъ, а между тѣмъ, благодаря имъ, «народная масса поминутно выдѣляется изъ себя массу хищниковъ, кулаковъ, мірѣдовъ» («Изъ деревенскаго дневника»). Благодаря частью этимъ хищникамъ, а частью бѣдамъ стихійнымъ вроде сибирской язвы, погибъ и Иванъ Босыхъ во «Власти земли». Сунулся было Иванъ служить на желѣзную дорогу, и отлично, казалось бы, вышло: тридцать пять рублей въ мѣсяцъ жалованья, а работы мало, да и то «легкой». Но эта-то «легкая жизнь» и вынула песчинку изъ гармоническаго мужицкаго существованія. Тамъ работа тяжелая, но въ ней душа участвуетъ: человѣкъ дѣлаетъ дѣло ему близкое, надобность котораго ему совершенно понятна; онъ живетъ въ своемъ трудѣ, а не добывается только при помощи его средства къ жизни; онъ связанъ съ этимъ трудомъ всѣмъ существомъ своимъ. Всей этой полноты и гармоніи существованія Иванъ Босыхъ не могъ конечно найти на желѣзной дорогѣ, гдѣ онъ былъ лишь однимъ изъ колесъ огромнаго механизма, до цѣлей и смысла котораго ему не было никакого дѣла. Вслѣдствіе этого и его собственная жизнь потеряла всякій смыслъ, онъ сталъ пьянствовать, безобразничать, и все отъ «легкой жизни»...

Совокупность подобнаго рода драмъ отъ легкой жизни и приводить къ легендѣ объ антихристѣ и въ общему тезису, что въ мужицкомъ быту облегченіе существованія ведетъ къ гибели. Тезисъ по-видимому глубоко пессимистическій. Но, поставленный въ надлежащія рамки, онъ не заключаетъ въ себѣ рѣшительно ничего пессимистическаго. Онъ только ставитъ передъ нами новый вопросъ: какъ сохранить гармонію мужицкаго существованія, но вмѣстѣ съ тѣмъ поднять зоологическую, лѣсную правду до степени правды человѣческой и тѣмъ самымъ создать равновѣсіе устойчивое? Для этого очевидно надо отнудить не «капельки» и «песчинки» вынимать изъ лѣсной правды, а сразу поднять ее на высшую ступень, сохраняя ея гармоническій строй. Въ старину это дѣлали святые угодники. Не отрывая человѣка отъ земледѣльческаго труда, не нарушая его многостороннихъ связей съ землею, они, проповѣдая истины христіанской нравственности, старались поднять зоологическую правду на степень божеской справедливости. Нынѣ эта высокая обязанность лежитъ на интеллигенціи, ибо и святые угодники были интеллигенціей своего времени. Мы должны ихъ взять за образецъ для своей дѣятельности. Они, не нарушая коренныхъ основъ земледѣльческаго быта, не боялись внести въ неприготовленную по-видимому среду лучшее, высшее, до чего додумалось и страдалось человѣчество, — христіанскую истину. Они не думали, что людямъ,

съ которыми были слиты и ея тѣло, и ея душа (какъ я думалъ), что я долго-долго смотрѣлъ на нее, думалъ и чувствовалъ только одно: «какъ хорошо!»

Затѣмъ вспомнилась Тяпушкину другая фигура, — фигура дѣвушки строгаго, почти монашескаго типа».

«Глубокая печаль, печаль о не своемъ юртѣ, которая была начертана на этомъ лицѣ, на каждомъ ея малѣйшемъ движеніи, была такъ гармонически слита съ ея личною, собственною ея печалью, до такой степени эти двѣ печали, сливаясь, дѣлали ее одною, не давая ни малѣйшей возможности проникнуть въ ея душу, въ ея сердце, въ ея мысль, даже въ сонъ ея чему нибудь такому, что могло бы «не подойти», нарушить гармонію самопожертвования, которую она олицетворяла — что, при одномъ взглядѣ на нее, всякое «страданіе» теряло свои пугающія стороны, дѣлалось простымъ, легкимъ, успокоивающимъ и вмѣсто словъ: «какъ страшно!» заставляло сказать: «какъ хорошо! какъ славно!»

Мнѣ кажется, что одно это сопоставленіе Елисейки, дѣвушки въ пледѣ, Венеры Милосской, бабы на сѣнокосѣ, дѣвушки строгаго, почти монашескаго типа, — сопоставленіе, на половину самимъ Успенскимъ сдѣланное, свидѣтельствуетъ, что его восторги передъ Венерой Милосской не представляютъ чего-нибудь побочнаго или случайнаго. Художникъ огромнаго дарованія, съ огромными задатками исполнѣ гармоническаго творчества, но разорванными частью внѣшними условіями, частью собственною впечатлительностью и страстнымъ виѣшательствомъ въ дѣла сегодняшняго дня, — онъ жадно ищетъ глазами чего-нибудь неразорваннаго, не истощеннаго болѣзненными противорѣчіями, чего-нибудь гармоническаго. И вотъ послѣ долгой муки исканія — вздохъ облегченія: «ахъ, славно! ахъ, хорошо!». Страданія, на которыхъ идетъ дѣвушка строгаго, почти монашескаго типа; каторжный трудъ, на который осуждена Елисейка или баба на сѣнокосѣ; лишенія и оскорбленія, которымъ можетъ подвергаться дѣвушка въ пледѣ — все это ничего, все это даже хорошо и весело, потому что сюда вложена вся душа, цѣликомъ. «Ахъ хорошо! ахъ, славно!...» Но безъ страданій, безъ лишеній и такого труда, чтобъ было «дохнуть некогда», это высокое душевное равновѣсіе возможно только въ далекомъ будущемъ или въ качествѣ слабо мерцающаго идеала, намека на который даетъ «каменная загадка» Венеры Милосской. Измученный художникъ съ благодарностью склоняется къ подножію «каменной загадки» съ «почти мужицкими завитками волосъ въ углахъ лба»... Навѣрное никто, кромѣ Успенскаго, такъ не восторгался Венерой Милосской...

Но хотя у Венеры Милосской и мужицкіе завитки волосъ, а ясно все-таки, что душевное равновѣсіе, гармонія жизни достигается не однимъ земледѣльческимъ трудомъ. Мы уже имѣли этому примѣры въ дѣятельности святыхъ угодниковъ, въ роли, отводимой интеллигенціи; видимъ теперь въ дѣвушкѣ съ пледомъ и въ дѣвушкѣ строгаго, почти монашескаго типа. Во всѣхъ этихъ свѣтлыхъ образахъ есть какая-то аскетическая, если не прямо страдальческая черта, соответствующая тому труду «дохнуть некогда», который сдерживаетъ равновѣсіе въ мужицкой жизни. Успенскій съ особенною

любовью останавливается на тѣхъ подвигахъ святыхъ угодниковъ, которые сопряжены съ лишеніями, униженіями, оскорбленіями; свѣтлый образъ дѣвушки монашескаго типа тоже подернутъ «страданіемъ». Венера Милосская, та не страдаетъ, но это потому, что она — не живая, а каменная, она — провозвѣстникъ и символъ будущаго, а въ настоящемъ такой нѣтъ. Въ настоящемъ терніи, такъ или иначе, непремѣнно обвиваютъ гармоническія явленія. Правда, какъ трудъ мужика есть не только трудъ, а и веселье («потруди́й — повеселѣ́й»), такъ и страданія дѣвушки монашескаго типа не заключаютъ въ себѣ ничего «пугающаго» и не «страшно» глядѣть на нее, а «хорошо». Но все-таки это — страданіе....

За послѣднее время Успенскому случается однажды иногда до такой степени воспрянуть духомъ, что практическое рѣшеніе «каменной загадки», то есть достиженіе полной гармоніи жизни безъ единой черты хотя-бы и не пугающаго страданія, представляется ему совсѣмъ не за горами, а гдѣ-то очень близко. Замѣчательно, что эти уже чисто-на-чисто радостныя мысли вызываются въ немъ не его собственными непосредственными житейскими впечатлѣніями, а книгами. Такъ, съ почти дѣтскою радостью встрѣтилъ онъ брошюру г. Ангельмейера «Экономическое значеніе современной техники», обобщающую экономическую гармонію, какъ результатъ дальнѣйшаго развитія техники. Такъ, съ тою же радостью привѣтствовалъ онъ книгу г. Тимошенкова «Борьба съ земельнымъ хищничествомъ». На статьѣ его, вызванной книгой г. Тимошенкова, намъ надо остановиться. Въ ней очень много страннаго, объ чемъ я здѣсь говорить не буду, но много и цѣннаго, и во всякомъ случаѣ очень для Успенскаго характернаго. Характерно уже самое заглавіе статьи: «Трудовая жизнь и труженничество». Этими двумя терминами обозначаются тѣ два вида труда, изъ которыхъ одинъ животворитъ, а другой губитъ, одинъ искореняетъ житейскія драмы, другой — нарождаетъ. Въ фантастическомъ повѣствованіи г. Тимошенкова Успенскаго предъстало то, что нѣкоторое крестьянское семейство достигло высшей степени матеріальнаго благосостоянія, буквально миллионныхъ богатствъ, но при этомъ — удержалось на той же крестьянской трудовой почвѣ и стало сѣять кругомъ себя добро вмѣсто того, чтобы повторить обыкновенную исторію «мужика съ деньгами», то есть кулака. Какъ удалось крестьянскому семейству невинность собласта и капиталъ пріобрѣсти, это другой вопросъ, котораго мы касаться не будемъ. Но во всякомъ случаѣ на миллионныхъ богатствахъ этого семейства, съ точки зрѣнія Успенскаго, нѣтъ печати антихриста въ смыслѣ вышеприведенной легенды: не зло, а добро пронестало изъ полнаго матеріальнаго благосостоянія. Понятна страстность, съ которою Успенскій ухватился за этотъ случай, разъ онъ въ него повѣрилъ... Но для насъ въ этой статьѣ особенно важно ограниченіе «трудовой жизни» и «труженничества». Это ограниченіе вплотнѣ примыкаетъ къ прежнимъ работамъ Успенскаго. Но на этотъ разъ, когда въ его умѣ мелькнула мысль о возможности матеріальнаго благосостоянія безъ антихристовой печати, онъ рѣшительно вы-

черкнута изъ своей программы всякую аскетическую струю. Если онъ и прежде нѣсколько подрывалъ эту струю размышленіями объ томъ, что «потруднѣй—повеселѣе», то теперь онъ уже вотъ какъ рѣшительно выражается: «Въ трудовой жизни важенъ и нуженъ вовсе не гнетъ труда, не тяжесть его, не лишения, съ нимъ сопряженныя, ни даже «смирненіе», которое у насъ также еще непонятно зачѣмъ пристегиваютъ къ понятію о трудовой жизни, а только жизнь, исполненная разнообразнѣйшихъ впечатлѣній,—жизнь, дающая работу для всей широты требованій духовной и физической природы человѣка. Только поэтому и важна трудовая, народная, земледѣльская жизнь и основанный на ней строй народной общественной трудовой жизни, а вовсе не сѣрыя щи, не доски вмѣсто постели, не смиреніе и униженіе и вовсе не то только, что выражается словами: самъ своими руками». Швецъ, фигурирующая въ «Пѣснѣ о рубашкѣ» Томаса Гуда, работаетъ столько же, какъ и пахарь, фигурирующій въ пѣсняхъ Кольцова; имъ обоимъ «дохнуть некогда», но около первой сгустились облака горя, страданія, скорби, а около второго—сколько свѣта, тепла, радости. Онъ живетъ «трудовой жизнью», она — «труженица». И этого не надо, то есть труженичества-то, не надо страданій, лишеній, скорби, тяготы. Нужна, возможна и уже существуетъ жизнь «во вся», широкая жизнь, полная наслажденій, хотя и полная труда. Это—жизнь земледѣльца, «народный бытъ», которому противопоставляется «культурный бытъ», гдѣ нѣтъ настоящей трудовой жизни, а есть только «труженичество»...

А дѣвушка въ пледѣ? а дѣвушка строгаго, почти монашескаго типа? Развѣ онъ земледѣльцемъ занимается? А между тѣмъ онъ не «труженица» въ непріятномъ смыслѣ этого слова, потому что, глядя на нихъ, человѣкъ говоритъ: «ахъ, хорошо! ахъ, славно!» Съ другой стороны, хотя земледѣльческій бытъ несомнѣнно представляетъ извѣстныя гарантіи для гармоническаго сочетанія «разнообразнѣйшихъ впечатлѣній» и полноты жизни, но развѣ ужъ такъ рѣзко отличается по существу иной батракъ-земледѣлецъ отъ швеи Томаса Гуда? Кольцовская формула «слуга и хозяйинъ», какъ всякому хорошо извѣстно, не есть непремѣнная принадлежность земледѣльческаго быта, ибо и тамъ возможенъ «пахарь-слуга», нанятый за деньги, совершенно такъ же, какъ нанята швея, кормилица, ходатай по дѣламъ и т. д. Всѣ они живутъ своимъ трудомъ, но всѣ дѣлаютъ чужое, лично имъ не нужное дѣло, въ которое они поэтому не могутъ вложить душу свою, не могутъ связать съ нимъ свое духовное существованіе въ одно гармоническое цѣлое, такъ чтобы ничему «неподходящему» просто мѣста не было. Ясно, что спасеніе не въ земледѣліи, что впрочемъ самъ Успенскій очень хорошо знаетъ, какъ видно изъ предыдущаго изложенія. Пусть мужикъ остается на землѣ, и великое преступленіе совершаютъ тѣ, кто такъ или иначе, прямо или косвенно, гонять его съ земли. Пусть садятся на землю и тѣ «культурные» люди, которые чувствуютъ себя для этого призванными и

способными. Пусть садятся настояще, вполнѣ, или съ тою осторожностью, съ какою присѣлъ на землю графъ Л. Толстой (говорю «съ осторожностью», потому что хотя графъ и пашетъ собственноручно, но неурожай, градобитіе, скотскій падежъ, военная повинность, подати и прочіе источники разоренія настоящаго земледѣльца—не подорвутъ благосостоянія и счастья его и его семьи и не внесутъ въ ихъ жизнь никакой драмы). Пусть въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ приливъ культурныхъ людей на землю достигнетъ огромныхъ размѣровъ. Но по крайней мѣрѣ сейчасъ, первая стадія упорядоченія, уравнированія, гармонизаціи жизни культурныхъ людей должна не въ этомъ состоять.

Въ «Запискахъ маленькаго человѣка» авторъ, приведя нѣсколько разговоровъ, случайно услышанныхъ имъ на пароходѣ, тоскливо замѣчаетъ: «Все это надоѣло мнѣ до такой степени, что я Богъ знаетъ что бы далъ въ эту минуту, если бы мнѣ пришлось увидѣть что-нибудь настоящее, безъ подкраски и безъ фиглярства: какого-нибудь стариннаго станового, вѣрнаго искреннему призванію своему бросаться и обдирать каналій, какого-нибудь подлиннаго шарлатана, полагающаго, что съ дураковъ слѣдуетъ хватать рубли за заговоръ отъ червей, словомъ, какое-нибудь подлинное невѣжество—лишь бы оно считало себя справедливымъ».

Какъ видите, это все тотъ же вздохъ по гармоніи, по равновѣсію: пусть глазу предстанетъ что-нибудь гнусное и возмутительное, но пусть оно по крайней мѣрѣ само себя считаетъ справедливымъ, такъ чтобы не было разлада между мыслью и дѣломъ, между понятіями и поступками. Если бы однако такое равновѣсіе гнусности дѣйствительно предстало, то Успенскій конечно на немъ не успокоился бы, во первыхъ потому, что это—гнусность, а во вторыхъ потому, что это равновѣсіе неустойчивое: рано или поздно, но «болѣзнь мысли», «болѣзнь сердца», «болѣзнь совѣсти» подточитъ его. По крайней мѣрѣ въ этомъ увѣренъ Успенскій. И затѣмъ должна наступить драма. Въ очеркѣ «Дохнуть некогда» собрана цѣлая коллекція драмъ изъ культурнаго быта, по обыкновенію сложенныхъ изъ комическихъ подробностей, и я не хочу переизложеніемъ или даже только перечисленіемъ ихъ ослабить въ читателѣ горькое наслажденіе прямого знакомства съ этими страницами. Подчеркну только конецъ—пьяныя рѣчи слѣдователя, который то называетъ себя «подлецомъ», то утверждаетъ, что въ немъ «Богъ есть» и что не затѣмъ онъ учился въ университетѣ, чтобы дѣлать бессмысленное и жестокое дѣло. «Позоръ, стыдъ, срамъ!» восклицаетъ онъ и въ пьяномъ азартѣ требуетъ себѣ «лаптей», вѣроятно какъ искупленія и залога новой жизни. Если подвести итогъ всѣмъ глубочайшимъ драмамъ, собраннымъ въ этомъ очеркѣ, то окажется, что всѣ онѣ коренятся въ одолеваящемъ героевъ сознаніи, что они дѣлаютъ ненужное, бессмысленное дѣло. Они неоспоримо живутъ собственнымъ и крайне тяжелымъ трудомъ, имъ дѣйствительно «дохнуть некогда». Но въ то время, какъ для Михайлы и его жены (въ «Пере-

стала!» эта формула является спасительною, здѣсь, напротивъ, около нея-то и густится, и кристаллизуется драма. Это натурально: тамъ душа вложена въ трудъ, здѣсь она находится гдѣ-то совсѣмъ въ сторонѣ и оттуда, со стороны-то, праздная плетъ язвительные укоры за свою праздность. Если-бы это были люди не трудомъ живущіе, а какими-нибудь доходами съ капитала или рентой, они могли бы можетъ быть просто купить пропитаніе для души, въ видѣ разнаго рода развлеченій. Но наши герои—«труженики», имъ «дохнуть некогда», они всю свою жизнь не живутъ, а только добываютъ средства къ жизни. Это—тѣ же швеи Томаса Гуда, которымъ сказано: шей, шей, шей! Спрашивается, какъ быть этимъ подлинно несчастнымъ людямъ, въ драматическомъ положеніи которыхъ возможны и комическія, и прямо непривлекательныя черты, но несчастье которыхъ подлинно и несомнѣнно? Предложить имъ всѣмъ сейчасъ же обуться въ лапти и пахать—было бы и празднословіемъ, и издѣвательствомъ. Читать имъ наставленія о священныхъ обязанностяхъ, о трудѣ и т. п. — по малой мѣрѣ бесполезно. Справедливо говоритъ Успенскій, что «въ этомъ труженическомъ кругу, въ его мученіяхъ, въ его лишеніяхъ, мучахъ, болѣзняхъ, психическихъ страданіяхъ, преступленіяхъ, и заключается современная драма жизни, которую не разрѣшить правоученіями». Они бьются, какъ рыба объ ледъ, они не виноваты. А изъ этой ихъ невинности слѣдуютъ два весьма важныя заключенія. Во-первыхъ, не къ нимъ съ укоромъ или наставленіемъ надо обращаться, а къ строю жизни, который пристегиваетъ людей къ ненавистному, ненужному, чужому имъ дѣлу, и не даетъ пропитанія ихъ душѣ, разбуженной «новой мыслью». А во вторыхъ, странно, что эти несчастные «труженики» такъ упорно заболѣваютъ все-таки почти исключительно совѣстью и почти никогда—честью, въ смыслѣ той противоположности между работою совѣсти и честью, объ которой говорено выше. Все они передъ кѣмъ-то виноваты, а передъ ними будто-бы и никто не виноватъ. Но передъ кѣмъ же виновата швея Томаса Гуда?

Иванъ Босыхъ во «Власти земли» рассказываетъ, какъ онъ на желѣзной дорогѣ «отъ легкой жизни» дошелъ до «своеволевства» и всякой другой пакости. Наконецъ дошло дѣло до начальства, «да какъ пріѣхалъ начальникъ дистанціи, да ка-а-къ далъ мнѣ (лицо рассказчика вдругъ просіяло) хо-о-орошаго леща, да какъ начальникъ эксплуа-

таціи надавалъ мнѣ (дѣтская радость разлилась по лицу его) въ загривокъ, да какъ въ подвижномъ составѣ наколотили мнѣ бока — такъ я, братецъ ты мой, совершилъ крестное знаменіе, да точно какъ изъ могилы выскочилъ, воскресъ, да по морозу, въ чемъ былъ, безъ шапки—домой!» — Иванъ Босыхъ чувствуетъ себя виноватымъ, его грызетъ совѣсть, а больная совѣсть такъ или иначе всегда съ радостью встрѣчаетъ униженія и оскорбленія, и, въ случаѣ отсутствія таковыхъ, сама налагаетъ разныя эпитетимы.

Мы уже видѣли этому примѣры на нѣкоторыхъ герояхъ Успенскаго. Но вѣдь случаются и непрощенныя, незаслуженныя оскорбленія, униженія, лишенія. Ихъ слишкомъ много на Руси, и можетъ быть было бы справедливо взглянуть на драматическое положеніе Апелесинскаго и иныхъ именно съ этой стороны. Успенскій этого не сдѣлалъ. Можетъ быть онъ когда-нибудь возьмется за эту работу, если ему покажется, что «большая честь» достаточно распространилась, чтобы производить такіе же глубокіе и многосложные эффекты, какіе, по его мнѣнію, производитъ «большая совѣсть». Эта новая для него задача вполнѣ подходитъ къ его общимъ стремленіямъ и къ обычнымъ его художественнымъ приемамъ. Возмущенная честь жаждетъ гармоніи, равновѣсія, какъ и заболѣвшая совѣсть, и, какъ и она, допускаетъ свойственныя Успенскому блестящія комбинаціи трагическаго и комическаго. Поэтому, если Успенскій возьмется когда-нибудь за эту работу, то сдѣлаетъ ее конечно съ тою же трепетною задушевностью и съ тѣмъ же пристальнымъ упорствомъ, съ какими онъ рассказывалъ намъ про большую совѣсть...

Я очень знаю, что прочитанная вами характеристика Успенскаго далека отъ совершенства и даже просто полноты. Но въ многочисленныхъ и многосложныхъ вопросахъ, затрогиваемыхъ этимъ писателемъ, при необыкновенной разорванности и разбросанности его писаній, оріентироваться не легко, и въ особенности въ размѣрахъ предисловія. И недоумокъ, и возвращеній къ сказанному уже—избѣжать было трудно. Я надѣюсь однако, что главныя черты писателя указаны и что по крайней мѣрѣ кое-кому изъ читателей я помогъ разобратъ въ той массѣ сложныхъ впечатлѣній, чувствъ и мыслей, которыя возбуждены въ нихъ Успенскимъ и за которыя онъ имъ милъ и дорогъ. Я только этого и хотѣлъ.

5 Ноября 1888.

Ник. Михайловскій.

ПРАВЫ РАСТЕРЯЕВОЙ УЛИЦЫ.

Въ г. Т. существуетъ Растеряева улица.

Принадлежа къ числу захолустій, она обладаетъ и всѣми особенностями мѣстностей такого рода, т. е. множествомъ всего покосившагося, полуразвалившагося или развалившагося совсѣмъ. Эту картину дополняютъ ужасы осенней грязи, ужасы темныхъ осеннихъ ночей, оглашаемыхъ сиротливыми криками: «караулъ!», и всеобщая бѣдность, въ массовомъ плѣну у которой съ незапамятныхъ временъ томится убогая сторона.

Бѣдное и «обглоданное», по мѣстному выраженію, населеніе всякаго закоулка, состоящее изъ мелкихъ чиновниковъ, мѣщанокъ, торгующихъ мятной и мятой водой, мѣщанъ, пропивающихъ все, что выторговываютъ ихъ жены, гарнизонныхъ солдатъ и пр., такое бѣдствующее населеніе въ городѣ Т. пополняется не менѣе обглоданнымъ классомъ разнаго мастерового народа. Въ Т. съ давняго времени процвѣтала промышленность всякаго рода металлическихъ издѣлій: въ городѣ и въ окрестностяхъ находятся чугуно-литейные, колокольные, самоварные и др. заводы. Кромѣ того городъ славится извѣстнымъ заводомъ стальныхъ издѣлій, населившимъ своими рабочими все Зарѣчье и цѣлую слободу Чулкову. Это сторона совершенно особенная; обыватели ея, когда-то пользовавшіеся разными правительственными привилегіями, гордо посматривали на мастеровъ городской стороны, рабочихъ въ одиночку, и при встрѣчахъ не упускали случая подѣлиться взаимными любезностями: «кошенинъ хвостъ!» говоритъ одинъ, «огурцомъ зарѣзался», отвѣчалъ другой, и оба съ серьезными лицами проходили мимо. Отъ насмѣшекъ зарѣченскаго мастера, или *казюка*, какъ называютъ ихъ мѣщане, не уходилъ даже чиновникъ, для котораго тоже были изобрѣтены особенныя клички, напр.: «стриюцкій» или «точеныя ляшки», и пр.

Растеряева улица лежитъ на городской сторонѣ, но общій колоритъ рабочаго города отразился и здѣсь. Вотъ между прочимъ въ лачугѣ, ни откуда не защищенной заборами, проживаетъ представительница собственно растеряевского мастерства,

старая солдатка, «кукольникъ». Подъ ея дряхлыми пальцами цвѣтеть отечественная скульптура; въ лѣтніе, погожіе полдни на заваленкѣ ея лачуги непремѣнно сушится нѣсколько глиняныхъ офицеровъ и дамъ и безчисленное множество лошадей-свистулекъ съ одними передними ногами. Растеряевскіе мальчишки запасаются этими свистящими конями и втеченіе цѣлаго года разнообразять смертельно-производительнымъ свистомъ свое горестное существованіе. Въ такихъ же лачугахъ живутъ *сверлильщики*, *наждашники*, женщины и дѣвушки, занимающіяся на фабрикахъ. Въ этой же улицѣ живутъ *гармонщики*, *токари*, *наводильщики* и т. д. На концѣ улицы, упирающейся въ широкое воронежское шоссе, виднѣется квадратное зданіе изъ темнокраснаго кирпича — самоварная фабрика. Всѣ эти мастерства даютъ Растеряевой улицѣ нѣсколько иную сравнительно съ другими захолустными фizioномію. Въ дни отдыха молчаливая фizioномія ея оживляется драками и пьяными, разбросанными тамъ и сямъ. Въ будничные дни къ звонкому плѣнію куръ присоединяется стукъ молотковъ, то въ перемезку, то сразу вдругъ обрушивающихся на отчеканиваемую металлическую массу; звуки гармоніи, на которой мастеръ для пробы тронуть съ «перехватомъ»; жужжаніе токарнаго станка—и надо всѣмъ этимъ, по обыкновенію, тихая пѣсня. Въ темные зимніе вечера, когда бывали обыкновенно вездѣ уже заколочены наглухо ворота и ставни, и обыватели ложились спать, окна фабрики были еще ярко освѣщены, изъ осмигранной трубы медленно выплывали большія мутнокрасныя искры, тотчасъ же потухавшія въ темномъ воздухѣ.

Никѣмъ не вспоминаемая, никѣмъ не сторожимая, Растеряева улица покорно несетъ свое бремя — нужду. Стукъ молотковъ, постоянная пѣсня, или бойкая шутка мастерового, или лирическая веселость дѣтскихъ уличныхъ игръ, или развеселая сцена бабьяго столкновенія, разыгравшаяся среди бѣлы-дня и среди улицы,—всѣ эти вишія, уличные проявленія растеряевской жизни не даютъ однако никакого понятія о томъ темномъ горѣ

жизни растеряевского обывателя, которое гнетет его от колыбели до могилы.

Мы узнаем его постепенно, и как ни удивительно будет это для читателя, начнем наше знакомство с растеряевским горем при помощи такого растеряевского человека, который, во всеобщему удивлению, иногда с совершенно покойною совѣстью может сказать о себѣ:

— Чего жъ мнѣ еще отъ Христа моего желать?

Человѣкъ этотъ былъ пистолетный мастеръ, молодой малый, по прозванію Прохоръ Порфирычъ, обитавшій въ собственномъ домишкѣ. Ради такого дивнаго-дива мы прежде всего и познакомимся съ этимъ счастливымъ человѣкомъ, чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ познакомиться съ скромными растеряевскими людьми всякаго званія, по своему недовольными и по своему счастливыми...

I. Прохоръ Порфирычъ.

Года два тому назадъ Прохоръ Порфирычъ еще не былъ постояннымъ обитателемъ Растеряевой улицы, хотя улица эта вынырнула его и выпустила на свѣтъ Божій изъ своихъ голодныхъ нѣдръ. Дѣло въ томъ, что въ Растеряевой улицѣ когда-то давно поселился отставной полицейскій чиновникъ, упрочившій за собою славу великаго дѣльца и человѣка особливо неустойчиваго на счетъ женскаго пола: такъ, онъ развелся съ женой, необыкновенно слезливой женщиной, и сошелся съ ярославской мѣщанской дѣвицей Глафирой, которая долго держала прихотливаго барина въ своихъ рукахъ и подъ конецъ все-таки должна была отказаться отъ него въ пользу чиновничьей дочери Лизаветы Алексѣевны, дѣвицы среднихъ лѣтъ съ опущенными всегда въ землю глазами и жестокимъ стремленіемъ къ воровству. Глафира впрочемъ не разсталась съ бариномъ: низведенная на степень кухарки, она рѣшилась скоротать свой вѣкъ въ кухнѣ и полегонечку начала запивать. Прихотливый баринъ тоже и самъ не имѣлъ духу прогнать ее (что слѣдовало по обычаю), потому что у нея было два сына, которые хоть и назывались Порфирычами, въ честь ветхаго кучера Порфирія, но и баринъ, и Глафира, и дѣти знали, въ чемъ дѣло. Старшій сынъ Глафиры оставался при домѣ, въ качествѣ лакея; младшій, Прохоръ, отданъ былъ въ ученье къ токарному мастеру. И въ то время, когда веселый домъ чиновника уныло стоялъ съ запертыми въ нижнемъ этажѣ окнами, когда въ саду его не слышно было больше пьяныхъ чиновничьихъ голосовъ, распѣвающихъ свѣтскія и духовныя пѣсни, а самъ баринъ, пораженный всяческими недугами, неподвижно лежалъ въ маленькомъ мезонинѣ, ожидая смерти, Прохоръ Порфирычъ, въ эту пору двадцати-трехлѣтній парень, работалъ за кievской заставой одинъ, на себя, приготовляя на продажу револьверы.

Въ это время и начинается наше съ нимъ знакомство.

Вслѣдствіе ли сознанія своего «благородства»,

или вслѣдствіе житейскаго опыта, Прохоръ Порфирычъ держался какъ-то въ сторонѣ отъ своихъ собратій, мастеровыхъ, не походя на нихъ ни въ чемъ: его никто никогда не видалъ въ драгѣ, съ разбитыми глазами, или пьянымъ, валяющимся гдѣ нибудь среди лужи. Растрепанная, ободранная и тощая фигура рабочаго человѣка, съ свалившеюся войлокомъ бородой, въ картузѣ, прострѣленномъ и пулями, и дробью во время пробы ружья, съ какими-то отчаянными порывами ежеминутно доказывать, что «жизнь—копѣйка», такая отчаянная фигура совершенно не походила на фигуру Прохора Порфирыча: на немъ всегда былъ цѣльный, опрятный картузъ, лицо тщательно вымыто, а грязная шея, запыленная мельчайшими желѣзными опилками, носящимися въ воздухѣ мастерской во время работы, пряталась подъ гаруснымъ шарфомъ, придерживаемымъ плисовымъ воротникомъ достаточно подержаннаго драповаго пальто. Плохенькіе, но все-таки выпускные панталоны и ясные признаки поплывавшія на носки грязноватыхъ сапогъ, все это говорило о желаніи имѣть хоть какое-нибудь подобіе человѣка, и главное, человѣка благороднаго. Вообще онъ не столько походилъ на мастерового, сколько на семинариста, благочинническаго сына; у него не было только этого довольства фильдековскими перчатками, этого страстнаго желанія распластать огненнаго цвѣта шарфъ по всей спинѣ, да и фizioномія его носила слѣды постоянной сдержанности, вдумчивости, дѣла, что самъ Прохоръ Порфирычъ называлъ «разчетомъ», руководясь имъ во всѣхъ своихъ поступкахъ. Такъ напримѣръ, носить нѣмецкое платье Прохора Порфирыча побуждало не только благородство, но и расчетъ.— «Случись, говоритъ онъ,—пожаръ примѣрно, твое дѣло сторона... Такъ-то!» И дѣйствительно, въ то время, когда руки полицейскихъ (по растеряевски «хозялыхъ») тащили за шивороты толпы разныхъ чулокъ и чемерокъ, и когда эти чулки среди огня рвали голыми руками раскаленные листы желѣза, нѣрѣдка подставляя лицо и спину подъ струю воды, чтобъ не сгорѣть—въ эту пору Прохоръ Порфирычъ мирно стоялъ среди благородныхъ людей и спокойнымъ голосомъ объяснялъ сосѣду:

— ...Извольте видѣть, столбъ-отъ... бѣлый-съ?

— Да?

— Это все изъ-за самыхъ пустяковъ происходитъ. Потому теперича изъ верхнихъ слоевъ тяга съ одного конца ударяетъ, а съ низу-то... ужъ она опять тоже отшибку даетъ... Извольте взглянуть, какъ оттуда понесло...

И Прохоръ Порфирычъ, поднимая руку вверхъ, поворачивался лицомъ къ вѣтру.

Чѣмъ болѣе Прохоръ Порфирычъ убѣждался въ справедливости своихъ взглядовъ, тѣмъ вдумчивѣе становилась его фizioномія. Часто во время работы въ своей мастерской Прохоръ Порфирычъ одинъ-одинешенекъ велъ какіе-то отрывочные разговоры вслухъ, довѣряя свои мысли станку и сырмъ почерпнутымъ стѣнамъ. «Черти! право, черти! слышалось тогда въ мастерской:—Ваше дѣло—путать... колесомъ ходить.—Нѣтъ, а тебѣ разберу

авчину-то!»... Но если случалось, что Прохоръ Порфирычъ забѣгалъ на минутку къ какому-нибудь знакомому чиновнику (знакомые его были исключительно чиновники и вообще люди благородные), то здѣсь сразу прорывалась вся его сдержанность и всѣ тайныя размышленія вылетали наружу; онъ особенно любилъ говорить о своихъ дѣлахъ именно съ чиновникомъ, потому что всякій чиновникъ умѣетъ разговаривать: у мѣста говорить «да», у мѣста «нѣтъ» и всегда кстати задаетъ вопросы. Если же, паче чаянія, чиновникъ и не понимаетъ, въ чемъ дѣло, то ужъ за то отнюдь не противорѣчитъ.

Сидя гдѣ-нибудь въ углу въ тѣсной квартирѣ одного изъ своихъ знакомыхъ чиновниковъ, Прохоръ Порфирычъ не спѣша прихлебывалъ горячій чай и не переставая говорилъ.

— Вотъ вы изволили, Иванъ Ивановичъ, разговаривать—времена-то теперь тутія-сь.

— Да-да! вскидывая ногу на ногу, говорилъ чиновникъ.

— Да-да-съ; а ежели говорить какъ слѣдуетъ, то есть по чистой совѣсти, умному человѣку по теперешнему времени нѣтъ лучше, превосходнѣе... Особливо съ нашимъ народомъ, съ голыю, съ этимъ народомъ—рай!

— Рай?

Чиновникъ встряхивалъ отъ удивленія головой.

— Ей-ей-съ!.. Главная-то наша досада—не съ чѣмъ взяться!.. Хотъ бы мало-маленько силшки въ руки взять, какъ есть—первое дѣло!.. Одно: умѣй намѣтить, расчестъ!.. Приложился—«навылеть». Вотъ говорятъ: «хозяева задавили!» Хорошо. Будемъ такъ говорить: надѣли я нашего брата, голытену, всѣмъ до малости, чтобы, одно слово, въ полное удовольствіе—какъ вы полагаете, очуствуется?

Чиновникъ всматривался въ лицо Прохора Порфирыча и нерѣшительно проныносилъ:

— М-мудрено!

— Ни въ жисть! Ему надо покрайности десять годовъ пьянствовать, чтобы въ настоящее понятіе войти. А покуда онъ такіа «алимонныя» пущаетъ, умному человѣку не околѣвать... не изъ чего... Лучше же я его въ полоумствѣ захвачу, потому полоумство это мнѣ расчестъ составляетъ... Такъ ли я говорю?

— Что тамъ!.. Народъ какъ есть!..

Чиновникъ наливалъ чай и, указывая Порфирычу на чашку, прибавлялъ:

— Ну-ко... опрокинь!

Порфирычъ бралъ чашку, садился на прежнее мѣсто и продолжалъ разивать передъ чиновникомъ теорію о томъ, какъ-бы «надо» по настоящему, «ежели-бъ безъ полоумства». Понимая почти до шопота свой голосъ, словно что утанвая отъ кого-то, онъ исчислялъ всѣ выгоды разсудительнаго житія: «тогда бы и работа ходѣла», и «самъ бы собой дорожилъ», и «былъ бы ты на человѣка похожъ», шепталъ онъ,—и какъ ни былъ сообразителемъ чиновникъ, онъ поддавался своему дрогнувшему сердцу и съ скорбью проныносилъ, что хоро-

шо бы надѣумить «ребятъ»; но тутъ же, принимая въ расчетъ «полоумство», опять приходилъ въ себя и убѣждался, что «нихъ, чертей», надѣумить нѣтъ никакой возможности. Ироническій взглядъ и улыбка Порфирыча, послѣдовавшая за такимъ заключеніемъ, неожиданно поражали чиновника...

— Надѣумить! возразилъ Порфирычъ, не измѣняя улыбающагося лица. — Напротивъ того, Иванъ Ивановичъ, надѣумить его можно въ одну секунду... Человѣкъ, который имѣетъ настоящую словесность, можетъ это оборудовать съ маху. — Скажетъ онъ имъ: «черти! аль вы очумѣли?.. Такъ и такъ»... и такое, и прочее... Въ единую минуточку они отойдутъ отъ... хозяина... Но что же изъ этого выходитъ? А то, что этому словеснику шею они свернутъ, тоже не мѣшка... «Отбить—отбилъ, а работы нѣту!» Хозяинъ, онъ перетерпитъ, а нашъ братъ на вторыя сутки заголоситъ... Брюхо-то, оно—первое дѣло—въ кабакъ!.. Въ ту пору ему утерпѣть нельзя... А хозяинъ съ благочинностью ваяетъ полштофъ въ руку, поднимаетъ его превыше головы для повсемѣстнаго виду:—«ребятушки!» Такъ и хлынуть къ нему... Въ ту пору хозяинъ можетъ ихъ нажимать даже безъ границъ... Это расчестъ-съ большою!

Снова поддакиваетъ чиновникъ и, желая не уронить себя на этотъ разъ, уже смѣло выводитъ заключеніе, что всему горю голова—«водка!»... Порфирычъ на этотъ разъ даже засмѣялся... Чиновникъ не зналъ, чтó и подумать.

— Водка-съ! ухмыляясь, спокойно говорилъ Порфирычъ.—Водка, она ни чуть ничего въ этомъ дѣлѣ... Она дана человѣку на пользу... Потому она имѣетъ въ себѣ лекарственное... Какъ кто возьмется... А главное дѣло опять же это полоумство... Какъ вы обсудите: мальченка по тринадцатому году, и горя то онъ настоящаго не выдалъ, а вѣдь норвать тѣмъ же слѣдомъ въ кабакъ!.. И пьетъ онъ «на споръ», «кто больше»... Облопоятся, съ позволенія сказать, какъ бѣсенята, а потомъ товарищи и ташутъ по домамъ на закоркахъ.

Чиновникъ недоумѣвалъ.

— Нѣтъ-съ, Иванъ Ивановичъ, въ нашемъ быту разобрать, чтó съ чего первоначаль взяло, невозможно!.. У насъ доброе ли дѣло, случится, сдѣлаютъ тебѣ—и то съ дуру; пакость—и это опять съ дуру... Изволь разбирать!.. То ты къ нему на козѣ не подѣдешь, потому онъ три полштофа обошелъ, а въ другое время я его за маленькую (рюмку) получу со всѣмъ съ генеральствомъ его. Опять съ женой драка... Несусѣтное перекабыльство *).

— Перекабыльство? переспрашиваетъ чиновникъ.

— Да больше ничего, что одно перекабыльство. Потому жить-то зачѣмъ—они не знаютъ...

*) Слово это происходитъ отъ «кабы». Разговоръ, въ которомъ «кабы» упоминается часто (кабы то-то, да кабы другое... Кабы ежели и т. д.),—очевидно разговоръ не дѣльный; такимъ образомъ «перекабыльство»—то же, что безтолковое «галдѣніе» въ разговорѣ и бессмыслица въ поступкахъ.

Вотъ-съ! Вотъ къ этому-то я и говорю насчетъ теперешняго времени... Прежде онъ, дуракъ-полоумный, дѣло путалъ, справиться не могъ, а теперь то, по нынѣшнимъ-то временамъ, онъ ужъ и вовсе ничего не понимаетъ... Умный человѣкъ тутъ и хватаетъ!.. Подкараулилъ минутку—только пятячкомъ помахивай... Ходи да помахивай—твое!.. Горе мое—не съ чѣмъ ваяться. А ужъ то-то бы хорошо! Хотѣ-бы мало-мало силенки... Въѣсть съ этими дьяволами умному человѣку издыхать? Это ужъ пустое дѣло. Лучше же я натрафлю, да, Господи благослови, самъ ему на шею сяду.

Тутъ вытаращилъ глаза даже самъ Прохоръ Порфирычъ; чиновникъ дѣлалъ то же еще ранѣе своего собесѣдника. Долго длилось самое упорное молчаніе...

— Время-то теперь, Порфирычъ, перѣшительно боормоталъ чиновникъ:—время, оно...

— Время теперь самое настоящее!.. Только умѣй намѣтить, разжечь въ самую точку!..

Прохоръ Порфирычъ сказалъ все. Нѣкоторое волненіе, охватившее его при концѣ разсужденій и намѣреній, только что высказанныхъ, прошло. Разговоръ плелся тихо, пополамъ съ зѣвотой; толковали о томъ, что «отъ праведнаго труда будешь не богатъ, а горбатъ». Заходяща рѣчь о ворахъ, которые въ последнее время расплодились въ городѣ, и Прохоръ Порфирычъ приводилъ по этому случаю какую-то пословицу, и т. д. Изъ приличія, на прощаньи, Порфирычъ задавалъ чиновнику еще нѣсколько постороннихъ вопросовъ и наконецъ уходилъ; чиновникъ высовывался въ окно и, увидавъ своего собесѣдника на тротуарѣ, считалъ нужнымъ тоже что-нибудь сказать.

— Такъ перекабыльство? спрашивалъ онъ.

Порфирычъ утверждалъ это кивкомъ головы и утвердительномъ движеніемъ руки. Оставшись одинъ, чиновникъ непремѣнно думалъ уже про себя:

— «Однако этотъ Прошка—значительная язва будетъ въ скоромъ времени!»...

Какъ видно, намѣренія Порфирыча насчетъ своего брата, рабочаго человѣка, были не совсѣмъ чисты. Самымъ яростнымъ желаніемъ его въ ту пору было засѣсть сказанному брату на шею и орудовать, пользуясь минутами его «полоумства». Между тѣмъ Прохоръ Порфирычъ самъ на своихъ плечахъ и выносилъ всю тяготу жизни рабочаго человѣка, имѣя преимущество только въ трезвости, въ обстоятельномъ разсчетѣ всякаго дѣла и больше всего въ благородномъ происхожденіи, которое какъ-то ужъ и безъ разчета, и безъ сознательныхъ причинъ заставляло его крѣпче держаться своихъ взглядовъ и кляло какую-то грань между нимъ и чуждымъ мастеровымъ народомъ. Ему и въ голову не могло придти такъ же упорно, какъ упорно размышлялъ онъ о собственной участи, размышлять о томъ, что перекабыльство и полоумство, которыя онъ усматриваетъ въ правахъ своихъ собратьевъ (питье водки *на сноръ*, битые жены безо время), что все это порождено слишкомъ долгимъ горемъ, все покорившемъ косушекъ, которая и

царила надо всѣмъ, занявъ по крайней мѣрѣ три доли въ каждомъ дѣйствіи, поступкѣ и безъ того отуманеннаго разсудка. Прохору Порфирычу некогда было разбирать этого; у него была своя забота, съ которою только-только справиться: «Душа пить-ѣсть хочетъ, да штаны сшей!» говорилъ онъ, и резонно не хотѣлъ имѣть ничего общаго съ пропащимъ народомъ. А народъ этотъ онъ понималъ и разсказывалъ про него такъ:

«— Былъ я мальчикомъ по двѣнадцатому году, и спасибо братцу, въ то время грамотѣ выучился: читать-писать... Хотѣ, привыкаться сказать, вся моего брата эта учеба въ томъ и состояла, какъ бы кого линейкой обезпечить, то есть по затылку... И дрались они, братецъ, не то чтобы съ сердцовъ, а даже отъ большаго унынія... Скука. Обучившись я грамотѣ, послѣ того не зналъ, по какой меня части пустить... Маменька Глафира Сергѣевна отъ сидѣльцевъ безъ памяти—«лучше житья нѣту», баринъ говорятъ: «какъ знаешь», а станемъ у брата спрашивать, то опять же это уныніе... Былъ я у мальчика одного, знакомаго, онъ у мастера работалъ—«иди, говорить къ намъ»... Поглядѣлъ я на станокъ (по токарному мастерству они были), колеса эти разныя, винты, пойдеть чесать, пойдеть—откуда что возьмется... замѣлъ! «Хочу да хочу, отдай да отдай къ мастеру!.. Никуда больше не пойдуй!»... Молилъ, просилъ, маменька сердчаютъ, братецъ и обругалъ, и прибилъ—ну, все же отдали. Только не къ тому мастеру, а къ растеряевскому: чтобы поближе къ своимъ... Радуюсь я: думаю, вотъ сейчасъ я эту машину превзойду до послѣдней порохинки. Только что же случилось; какъ я былъ изумленъ, когда 3 года у мастера живши, ни разу къ этому станку доступу не получилъ, потому собственно, что былъ онъ, этотъ станокъ, пропять... Ужаснулся я въ то время! Бѣдность была не покрытая, истинно ужъ ни кола, ни двора, ни куриного пера... Вся набенка-то была вотъ такъ отграничить, и лежало въ этой набѣ корыто съ глиной, а болѣ, кажется, ничего и не было... Сталъ я объ такомъ ученіи удивляться, отыскавъ ребятъ—было насъ учениковъ трое,—говорю: «Что же, ребяташки, когда же это ученье будетъ?»... А одинъ изъ нихъ, Ершомъ звали, худой, глаза большущіе, маленький, волосы топорщатся, шепчетъ мнѣ ровно-бы басомъ:—«Ты, говоритъ, не говори про это... А лучше того, нонѣ ночью, какъ съ покражи придемъ, я тебѣ про дьяволовъ сказку скажу... Молчи. Я тебя на все наведу»...—Съ какой съ покражи? «—Ты, Проха, громко не кричи, лучше ты шептунѣ, когда тебѣ что надо. А покража у насъ каждую ночь положена, потому что жрать намъ съ хозяевами нечего, такъ мы это все вороемъ съ сусѣдскихъ огородовъ»... Тутъ я Бога вспомнилъ... залился, залился—поздно! А Ершишка утѣшаетъ и все шепчетъ:—«ты, другъ, не робѣй, потому я тебя полюбилъ и нонѣ скажу сказку про Еіона... Я ихъ и по ночамъ вижу»...—Хозяина все дома не было. Подошелъ ве-

черъ, Ершишко говоритъ:— «Пора, Проха, на кражу... Перва поидежь дровъ добывать». Пошли мы всё трончиком на пустошь, а на пустоши стояла гнилая изба: можетъ, года съ три въ ней никто не жилъ, и большимъ страхомъ отъ нея отдавало... Перва мимо пройти боялись, потомъ посмѣлѣй стали, въ окошечко заглянули, потомъ того, въ нутро пробрались; лежить на полу мертвый пѣтухъ и тряпка съ кровью... Начали слоняться туда бродяги, нищие и пьяные, приказанный одинъ зарѣзался... А послѣ того, помаленьку, кто ставню оторветъ, кто дверь—и пошли таскать... Такъ что изба эта цѣлой улицѣ была отопленіе... Приходимъ, а ужъ тамъ и раньше насъ набралось разнаго голаго народу: тащутъ, что подъ руку попало, а то и другъ у дружки рвутъ; завидѣли нашу братью—гнать; мы на нихъ пошли; они—дубьемъ... А Ершишко словно полковой:—«Ребята, говорить, не отставай!» Какъ пошли они этого бѣднягу, Ершонка, трепать—только и видно, какъ онъ по воздуху летаетъ, только подшвыриваютъ—какъ есть въ лапту... Но Ершенокъ не мало храбрости сохранялъ и, летая по воздуху, кричать: «нѣтъ, врешь! посмотримъ, кто кого...» Нахожу я Ерша на крапивѣ—лежить онъ и шипить:— «Башку ушибли!» Сталъ я его жалѣть. «Ничего, говорить, Проха, все же я не одно погѣнце получилъ... А этому Ефремову, унтеру, я докажу, какъ онъ меня нонѣ избилъ... А тебѣ я за твою жалость двѣ сказки скажу, ты будешь доволенъ»... Отсюда пошли мы въ другое мѣсто воровать: рѣпу, капусту, огурцы... Тутъ дѣло обошлось безъ помѣхи, даже такъ, что яблокъ себѣ натрясли, никто не слышалъ... Цѣлую ночь Ершенокъ все мнѣ сказки сказывалъ и въ смертельную дрожь меня ввелъ своимъ шептаньемъ, подъ конецъ началъ даже, ровно сумасшедшій, домового мнѣ показывать: «вонъ, говорить, я вижу». Спали мы въ сѣнцахъ, ночь была непогожая, пробрало насъ водой до костей, по улицѣ вода гудѣла... А хозяйна все еще не было. Только подъ утро, чуть свѣтокъ, слышишь-послышишь, въ сѣнную дверь стучатся. Отворили: нищая стоитъ. — «Поглядите-ко, братцы, не вашъ ли это человѣкъ, бабы подняли»... Сейчасъ Ершъ вскочилъ. «Я это все, говорить, знаю!» Побѣгли и мы... Глядимъ, двѣ нищія въ лохмотьяхъ несутъ человѣка, только-только рубаха осталась; нашли онъ его въ канавѣ, и всю ночь черезъ него вода бѣжала. Ершъ живымъ манеромъ его оглянулъ— «нашъ, говорить, осторожнѣй; за мной!» Принесли онъ его въ избу, свалили мокраго на земь; хотѣли было нищія награжденія попросить, ну, только хозяйка сказала: «—За что я васъ буду награждать, въ случаѣ онъ живъ? Еслибъ онъ издохъ, то я вамъ большую бы милостыню подала!» По правдѣ сказать, хозяйка наша не то чтобы очень тосковала: начала она у одного барина приживать... кой-чѣмъ прислуживала...

«—Такъ мнѣ грустно было, такъ грустно, не могъ я горести своей удержатъ, побѣгъ домой, къ маменькѣ... Залился, рассказавъ, какъ все было,

какое началось ученіе. Но маменька еще того пуще меня огорчила, такъ какъ совсѣмъ отъ меня отказалась. Сталъ я братца умолять, но и братецъ, разгорчившись разсказомъ моимъ, опять-таки шибко меня потрепалъ. — Надо стало-быть какъ никакъ терпѣть!

«Между прочимъ въ ночи хозяйнѣ отчувствовался. Хозяйки не было... Подзываетъ онъ меня и говорить:

«—Смотри у меня, старайся...

«—Буду! говорю...

«—То-то!

«И тутъ же онъ безо всякой злобы развернулся мнѣ въ щеку, дабы я узналъ, какова въ рукѣ его тяжесть: для вѣсу; чтобы черезъ эту боль помнить я и соблюдать осторожность...

«И началась съ этого времени моя каторжная жизнь!

«Вли мы, когда что случится, да когда своруешь; спали на мокротѣ, на дождѣ... А ученія все не было, не начиналось; все хозяйнѣ, когда трезвый, отъ Бога ждалъ, вотъ большая работа набѣжить, вотъ набѣжить... А покуда что, все онъ хмѣльной, все нѣтъ-нѣтъ да вытанетъ палкой кого... Случалось, въ эту пору навернется работишка—въ ножницахъ винтъ поправить, или бы какому чиновнику на палку наконецникъ насадить. Тогда хозяйнѣ радуется и чиновнику говорить: «будьте покойны!» Но похумавши, полагалъ такъ, что это дѣло «успѣется», и звалъ Ерша шутку шутить...

«—Ершило! говорилъ онъ:—можешь ты мнѣ эту палку заговорить?..

«—Могу! Въ лучшемъ видѣ!

«—Чтобы ее никакая сила не взяла?..

«—Могу!

«—Ну, заговаривай!

«Ершъ сейчасъ начнетъ разными словами сыпать (гдѣ-то онъ научился заговоры заговаривать)—не поймешь, откуда это онъ ихъ набрался. Сыплеть-сыплеть...

«—Готово! говорить.

«—А ежели ты врешь, то могу я ее въ пропой пустить?..

«—Я, говорить Ершъ,—въ жисть мою не врать, а заговорено это дѣло наглухо...

«Тогда хозяйнѣ беретъ безъ всякаго труда палку, даетъ Ершу по затылку и несетъ ее въ кабакъ.

«—Ахъ ты, идолова порода, закричитъ Ершъ,— что я сдѣлалъ! Вѣдь я самое главное слово пропустилъ!.. А то бы ни въ жисть ему этой палки не утащить!.. Ахъ я, розиня, розиня!..

«А хозяйну главное, «еъ случаю» какъ бы прицѣпиться: «вѣдь проспоришь!».

«Придетъ хозяйнѣ пьяный, тутъ ужъ всѣмъ достается... На нашу долю больше всѣхъ! Ежели жена случится, то сейчасъ норовитъ она отъ мужа либо подъ кровать, либо на чердакъ. Хозяинъ почнетъ шастать, искать; найдетъ—драка! И вся эта битва съ женой—«зачѣмъ спряталась!»

«Случится, хозяйнѣ отрезвѣетъ, въ ту пору

ОНЪ ТИХІЙ, ТО ЕСТЬ КАКЪ ЕСТЬ ПЕРЕДЪ ВСѢМИ ВИНОВАТЬ...

«Тутъ мы къ нему, бывало, пристанемъ:

«—Дяденька, когда жъ ученъе-то?..

«—Робатушки, говорить, дайте вы, ради Господа, мнѣ маленько въ умъ войти. Можетъ, говорить, хоть чужія молитвы объ насъ Богъ услышитъ и пошлетъ намъ какого заступника. Тогда не токо всѣхъ васъ въ единую минуточку выучу, еще у всякаго прошенія попрошу...

«Тутъ, случается, жена заговорить:

«—Заступника тебѣ? А чиновникъ палеу далъ, чѣмъ бы выработать что, замѣсто того пропилъ?

«—Милая! Супруга, Анна Федоровна! Как же может эта палка насъ отъ нашего несчастья сохранить? Тутъ на двургивенный дѣла не справишь! Бжели бь палкой-то этой голову мѣй же прошибь, тогда бы я за это ему ручки поцѣловала...

«—У насъ все такъ-то!..

«И пойдет баба причитать: ей только дорваться, кажется, порошинки не оставит».

«—Анюта! заговорить хозяйинъ,—ради царя небеснаго, не души ты меня этими разговорами!.. Я это все въ тысячу разъ складнѣй знаю... Только погоди ты хоть минуточку, дай мнѣ опомниться, всёхъ васъ въ золотые наряды разуукрашу... Ахъ, Боже мой!

«И не пройдетъ съ часъ мѣста, а ужъ опять отъ него жена подъ кровать причется, а нашъ братъ кто куда разбѣжится.

«И все мы этой работы дожидаемся, все Бога молимъ. Кажется намъ, что какъ только эта работа завернется, въ ту же минуту все и пойдетъ благополучно. Случается такъ, и въ самомъ дѣлѣ, вдрутъ откуда ни возьмись работа и большая... Домъ что-ли какой чиновникъ строить—сейчасъ, бываетъ; навалить намъ замковъ чинить, новые дѣлать, опять къ окнамъ эти приправы, чтобы въ лучшемъ видѣ, еще какая ни на есть мелочь... Бжели такъ-то случится, то ужъ истинная благодать наступала у насъ въ то время!.. Ну, только все же на одну минуточку...

«Какъ сейчасъ помню, случился такой заказъ: выпросилъ хозяинъ задатку и (удивленіе) трезвый домой пришелъ. Сейчасъ началъ онъ на образъ креститься и передо всѣми нами вѣлся:

«—Вот разрази меня громъ, ежели я только дохну на него, на мучителя моего (на вино то есть)! Жена! Ребятунки! Всѣмъ вамъ теперича я удовольствіе сдѣлаю!..

«Сейчас отпускает женѣ на расходы цѣлковый; на свѣчку казанской Божіей матери тоже рубль серебра, остальное себѣ на матерьялъ. Самоваръ закипѣлъ, всё мы радуемся, Бога благодаримъ; только и слышно:

«—Слава Богу! Слава тебѣ, Господи, заступнику!.. Ахъ, какъ мы, ребятунки, наголодались съ вами!..

«Очень я въ это время радовался, только Ершъ
этотъ шипеть:

«—Погоди, говорить, не торопись; ты меня только слушай одного!

«И точно. Пошелъ хозяинъ въ кабакъ инструменты выручать и насъ взялъ съ собой: такая была дружба у насъ. Идемъ и разговариваемъ. Входимъ въ кабакъ. Все чинно... Выручилъ инструменты. Вина ни-ни!.. Хотемъ мы уходить, а дѣловальникъ такъ между дѣломъ и говорить:

«—Игнатыч, говорить, что это мы слышали, кабысь у тебя разстройка по работь-то?

«Хозяинъ ва-акъ на него зарычить:

— Разстрой-ка-а?.. Изъ какихъ же это мѣстовъ слухи такіе?..

«И сейчас он, чтобы казачкой канпаніи на удивленіе было, вываливает деньги на стойку и продолжает:

«—Разстройке! деньги-то вот они... Слава Богу!.. У меня работы не быть? Да где же это ты по нашей стороне такого мастера сыщешь, чтобы въ полномъ комплектъ?..

«Сейчасъ онъ полу откинулъ, картузъ заломилъ, какъ есть миллионщикъ!..

«—Какая же может у меня быть разстройка, когда я вот всё эти деньги впропой отбланил?»

«—Ну, говорилъ цѣловальникъ,—ужь и въ пропой!

«Тутъ дяденька отъ обиды такой весь зеленый
сдѣлался и потребовалъ сразу «монастырскій», то
есть ужъ самый превосходительный стаканъ...

«Ну, и пошло!..

«Только поддасть, только поддасть, и такой форсъ въ немъ проявился, что даже на удивленіе:

«—У меня, говорить, работы навалено! У меня всегда безъ остановки! у меня на двадцати станках идти!»

«Истинно глазамъ моимъ не вѣрю! А дяденька только покрикивалъ: «д-давай... Полно зубы-то полоскать! Разстройка!..»

«Подъ конецъ того инструменты эти онъ опять же въ прежнее мѣсто препроводилъ и очень важно нагрувился: сидеть на лавкѣ, еле держится и все бормочетъ:

«— Я грю, васкарродіе, на двац-пять-цал-
ковыхъ въ сутки.. Я грю, васкарродіе... можетъ
по всей имперіи...

«Тутъ цѣловальникъ, видѣть—время позднее,
говорить:

«—Голубь! Время, запираю.

«Взялъ его подъ мышки и потащилъ къ двери.

«—Я первый мастеръ?..

«—Ты-ы! говорить цѣловальникъ.—Кто-жъ у насъ первый-то?.. Ты и естъ!..

«—Масей!.. Это хозяинъ-то нашъ ему:—признайся, по совѣсти, доказалъ я тебѣ свое могущество?..

«—Ты, Игнатычъ, отвѣчалъ ему на это пѣловальникъ: такъ меня поне уничтожилъ, такъ сконфузилъ... То есть истинно побѣдилъ своимъ богатствомъ! Я думалъ, ты бѣдный, а ты по-
лико-сь!

«—Я-а-а-!»

«— Да ужъ ты-ы-ы!..

«И оставил насъ цѣловальникъ на крыльцѣ;
дождикъ шелъ и темно было...

«— Ребятунки! Видѣли, какъ я его побѣдилъ?..

«— Видѣли, говоримъ.

«Не могли мы его тащить съ собой, повалился онъ на улицѣ и тутъ-же заснулъ...»

«Стали мы ему въ трезвый часъ говорить:

«— Дяденька! Что-же это вы себя роняете? Передъ Богомъ божились, такъ хорошо выговаривали, а замѣсто того еще хуже?»

«— Ребятунки, говорить, знаете, что я вамъ скажу?

«— Я знаю! заговорилъ Ершъ.

«— Нѣтъ, тебѣ этого не узнать!.. А вотъ что я скажу: кажется мнѣ, сколько я зароконъ на себя ни кладу, никогда мнѣ себя не удержать... Потому радости на своемъ вѣку только я и видѣлъ, когда въ ладышки игралъ махонькимъ еще... Люди добрые въ мою пору и хозяйство знаютъ, и семью, и почетъ получаютъ... Ну, а мнѣ этого въ своей избѣ не сыскать! Нѣтъ!.. Окромѣ ладышекъ-то я еще, ребятунки, ни единою радостью не радовался... По этому случаю какъ малаго ребенка можно меня обмануть, лишь-бы только единую минуточку предоставить мнѣ по моему желанію... Такъ-то!..

«Такъ мы и жили: а безперечъ хозяинъ себя чрезъ свое безголовье до того доводилъ, что непремѣнно онъ разъ двадцать у заказчика въ ногахъ валялся, ругали его, самыми страшными божбами божились, вымаливалъ еще чутьчку и опять-же такъ черезъ слабость свою домой не доносилъ... Подъ конецъ входилъ квартальный:—«Ты Иванъ Игнатовъ?» Ну, тутъ ужъ мы всѣ въ ноги валимся; тутъ народу копошится страсть!.. Вымолимъ кое-какъ прощеніе. И ужъ тутъ-то работа начина-а-а-ется!.. То-есть, не то что работой можно это называть, а истинно ужасъ какой-то всѣхъ въ это время обхватывалъ... Потому хозяинъ ровно-бы сумасшедшій бывалъ тогда... Гдѣ-то ужъ, Господь его знаетъ, доставалъ онъ инструменты, и такъ-то-ли принимался орудовать ими, что ужъ нашему брату только въ пору глаза вытаращить, не только для себя замѣчать. И день и ночь, и день и ночь только опилки летятъ, только молотки постукиваютъ; ни водки въ это время, ни даже крохи не бралъ и ужъ такъ-то работалъ, безъ разгибу. Въ этомъ запалѣ намъ въ мастерскую носъ показать опасно было: «Прррочъ, кричить, черти!—такъ промежду ногъ и суются! Прррочъ, расшибу!..»

«Мы разбѣжимся обнаковенно... Етогдѣжимся...

«Кончить работу онъ безперѣнно къ сроку и всѣ денежки до копѣечки пропелеть, даже домой не скажется... Дней по крайности пять пропадать...

«Такъ я вздыхалъ въ это время, такъ я убивался о своей жизни!—Боторый, думаю, мнѣ те-перича годъ, никакого я мастерства не знаю... Только-только колотушки и треухи въ исправности отпускаются... На ласковое слово хозяйское понадеешься, пустое выходитъ. Гдѣ обиды не ждалъ и не чуялъ я совсѣмъ—второе тебѣ ее, безо всякаго заправскаго дѣла... Что это, думаю, Господи?

«Хотѣлъ я сбѣжать... Ну, только въ скорости исторія одна случилась, и такъ обошлось... Одна-ва смотримъ мы, что такое по нашей улицѣ воза ѣдутъ: съ перинами, съ сундуками, столы напри-мѣръ разные накручены, стулья... Все вообще разное имущество... И идутъ съ боковъ этихъ возовъ ба-бы, и все у встрѣчныхъ спрашиваютъ что-то... Ну, только встрѣчные отъ нихъ съ испугомъ бѣгутъ... Что за удивленіе? Пошли мы за ворота съ Ершомъ, стали насъ бабы спрашивать:

«— Гдѣ тутъ, ребятунки, солдатка покойница Караулова жидя?

«— Я знаю гдѣ! говорить Ершъ.

«— Авдотья Кузьминична?

«— Знаю! Знаю... Я все знаю! Только вы меня слушайте!..

«— Отъ нея намъ въ наслѣдство домъ есть...

«— Встѣ!.. Пойдемъ!..

«Повелъ онъ ихъ на пустошь: тамъ кое-гдѣ щепки валяются и печка съ трубой вытянулась. Только и сохранено отъ дому.

«— Вотъ! говорить Ершъ.—Получите!..

«— А домъ-то?.. Гдѣ-же домъ-то?..

«— Домъ точно что тутъ былъ, отвѣчалъ Ершъ:—ну, только теперь отыскать его мудрено... хошь я, признаться, словцо одно знаю...

«Между прочимъ бабы по этой пустоши замѣта-лись, какъ уторѣлыя... Руками машутъ, бросаются туды, сюды... «ахъ-ахъ-ахъ, ахъ-ахъ-ахъ... Ахъ, дома нѣтъ! Ахъ, гдѣ домъ!..» Тутъ народу собра-лось множество, стали всѣ удивляться, гдѣ домъ:—я, говоритъ одинъ, только полѣнце; я, говоритъ другой, только щепочекъ чуть-чуть отсюда взялъ. А тутъ цѣлый домъ пропасть! Стали бабъ этихъ жалѣть. Бабы тѣ заливались слезами и рассказы-вали:

«— Она тетка намъ; она, Авдотья-то, намъ тотъ домъ отказала. Жили мы въ ту пору въ дальнемъ Сибирѣ, на самомъ концѣ; покуда дошло туда извѣщеніе, съ годъ мѣста протянулось, а ужъ насъ въ то время на Кавказъ перегнали; покуда опять въ адѣшнія палаты извѣщеніе-то вернули, покуда отсюда на Кавказъ дали знать, время-то два года и ушло; лѣтошній годъ мы въ октябрѣ мѣсяцѣ собрались изъ черкесской земли, да покуда доползли, авъ всего три года! Ахъ, ахъ, ахъ, дома нѣту!..»

«И выть!

«Начали бабы черезъ начальство орудовать. Гу-бернаторъ говорить, чтобы этотъ домъ отыскать—«изъ горла вырви, да ворота». Стали нашу расте-ряевку потрошить: кто избу разбиралъ?—Никто не признается, одинъ на одного сворачиваетъ... Что тутъ дѣлать! Хозяинъ нашъ дрожитъ: «ну, говорить, ребята, доигрались мы!»

«Однава пришло къ намъ въ сѣни народу страсть: квартальный, будочники, бабы эти и Ефремовъ, ундеръ... Потребовали къ суду: сейчасъ Ефремовъ этотъ солдатъ—усищи... во!—снимаетъ передъ квартальнымъ фуражку и говорить:

«— Ваше высокородіе! Я Богу и царю служу вѣрой и правдой: извольте посмотрѣть, нашивка

и опять же царь билетъ мнѣ на красной бумагѣ дадь, это чего нибудь стоитъ...

«— Говори, въ чемъ дѣло!

«— А въ томъ дѣло-сь, что весь этотъ домъ вотъ эти мальчонки (мы-то) разнесли... Особливо одинъ, Ершомъ звать...

«— Это я! сказалъ Ершъ.

«— Вотъ онъ-сь! Я, лопни глаза, самъ видѣлъ, какъ онъ крышу съ дому воротилъ... Будь я проклять!

«— А ты, Ефремовъ, сказалъ Ершъ,—забылъ, какъ ты меня дубиной охаживалъ?

«— За то я его, васскородіе, точно съ осторожностью коснулся, чтобы онъ казенное добро не воровалъ! Вы, васскородіе, съ нихъ, съ мальчонковъ да и съ хозяина-то ихняго, требуйте, а мы, видитъ Богъ, ни въ чемъ не причинны!

«И стали насъ съ этого времени побезпокоивать. Ужъ и не помню, какъ послѣ того всѣ мы разбрелись—кто куда. Куда Ершъ дѣвался—такъ и не знаю.

«Ушелъ я отъ хозяина и, признаться сказать, горько заплакалъ: Господи, думаю, что я такое? Кто мнѣ на всемъ свѣтѣ есть помощникъ? Никого не было. Беззащитенъ я въ то время былъ вполне, тѣмъ прискорбиѣ, что мастерства-то совсѣмъ не зналъ никакого: правда, могъ кое-какъ самоварную ножку подпихомъ обойти, да вѣдь ужъ это такое дѣло, что и малый ребенокъ не испортитъ; потому никакъ невозможно испортить. Только всего и зналъ-то я... Куда я съ этими науками дѣнусь?

«... Года четыре шатался я съ одной фабрики на другую, съ завода на заводъ: тамъ одно узнаешь, тамъ другое... Все настоящего-то мастерства не получилъ; а шатался-то я собственно потому, что ужъ очень было мнѣ отвратительно хозяйское безобразіе: что онъ мнѣ деньги какія-нибудь пустяковыя платитъ, то долженъ я, извольте видѣть, совсѣмъ себя забыть; до того мученія было, что, вѣрите-ли, выйдешь въ субботу съ расчета, посмотришь на народъ-то, какъ все движется, огоньки горятъ, такъ весь и разстроишься, и смѣешься, и чего-то будто радостно и не подберешь объ этомъ никакого стоящаго понятія, а какъ-то, не думавши, глядь—въ кабацѣ! Было мнѣ очень оскорбительно, что я почестъ что (сами извольте знать) благородный и такое терплю гоненіе, и зачѣмъ только живу—самъ не знаю... «Ахъ, думалъ я въ то время, ежели бы только благородные люди узнали, что я тоже благородный, сейчасъ бы они со мной подружились и стали бы меня уважать!» Началъ я маленько опоминаться, ребятъ своихъ сторониться, ну, все же справиться не могъ, потому платятъ на ассигнаціи четыре рубля въ недѣлю, извольте прокормиться! Наши ребята по этому случаю все жалованье пропивали. Потому некуда его дѣть... А мнѣ, по моему благородству, куда-жъ съ этимъ жалованьемъ дѣваться?.. Хотѣлось мнѣ жить, хоть бы какъ приказный живетъ: сейчасъ у него гости, трубочку покупаетъ, какъ ваше здоровье? тихо, чудесно...

Сталъ я думать такъ: стану-ка я одинъ работать? На себя... Думаю себѣ, тогда и барышъ мнѣ сполна идетъ, и буду я жить съ разсудкомъ. Былъ у меня товарищъ Алеша Зуевъ, другъ и пріятель. Сказалъ я ему объ вѣтимъ, и онъ обрадовался—«лучше нѣтъ, говорить. Давай вмѣстѣ»—давай!..

«Кой-какъ да кой-какъ сколотились мы на станчишко, взялись пистолеты работать. Наняли себѣ конурку, стали жить. Трудно намъ, по правдѣ сказать, пришлось слесарнымъ мастерствомъ заняться. Дѣло новое: ну, все же радовался я, что теперича совсѣмъ я по благородному жить начну, потихоньку; между прочимъ полагаю, что отъ пьянства я ужъ избавленъ... Однако же нѣтъ. Живши болѣе шести лѣтъ въ этомъ пьянствѣ да буянствѣ, въ прижимѣ да нажимѣ, достаточно я свое благородство исказилъ... Случай такой случился.

«Зачалась эта у насъ работа, а наняче того пошла дружба: такая дружба, такая дружба, страсть! Мало мнѣ своего дѣла дѣлать, все я стараюсь пріятелю угодить... Зуевъ еще пуще того надѣдается... Такъ онъ тихости и спокою обрадовался, что когда-бывало сидимъ мы съ нимъ на заваленкѣ, все онъ меня благодарить. Попросить отъ меня стихъ какой сказать (я стиховъ много знаю), я ему стихъ скажу; и такъ я, признаться, уиѣю этими стихами человѣка пробовать, даже невѣроятно. Я главнѣе стараюсь жалобнымъ; голосъ у меня для этого есть тонкій такой. Такъ я, бывало, этого Алеху стихомъ проберу, что только вздыхаетъ онъ и говоритъ:

«— Господи! Подумаешь, подумаешь, удивленіе!

«Въ ту пору ему кажется, словно онъ и самого себя въ первой увидалъ, начнетъ думать, только ужасается: «Господи, говорить, что-жъ это такое?.. Какъ же это все? » И на дерево смотреть, и на небо. И никакъ ничего не сообразитъ... Такъ онъ въ этой жисти заржавѣлъ. Тогда какъ я, при моемъ благородствѣ, довольно хорошо все это понималъ: примѣрно—дерево... Я это могъ».

«Я его стихомъ пробираю,—онъ мнѣ ночью скажу какую расскажетъ. Сказки онъ богато сказывалъ.

«Ну, истинно говорю, шла у насъ дружба. Настояще какъ два ангела жили.

«Только что же? Продали мы работу, первую, и съ радости, маленько того—пивца... Дальше да больше—глядь, и шибко подгуляли... На утро тоже. Потомъ того, Алеха сломалъ у моего замка пробой и выкралъ все мое имущество. Выкралъ и пропилъ... Жестоко я этимъ оскорбился, хоть, признаться по совѣсти, самъ я тоже (ужъ истинно не знаю, какъ меня Богъ не защитилъ!) у Алехи изъ сундука выхватилъ что было и тоже пропилъ... Хмѣльны мы были; оскорбившись, подхожу я къ Алехѣ, на улицѣ встрѣтъ, и въ досадѣ на его такой поступокъ говорю:

«— Ты какъ смѣлъ воровать?

«— Ты самъ воръ!

«— Врешь—ты!

«— Ка-акъ, я воръ!

«Ке-э-э я-а е-в-во-о!..

«На оборотку сколупнулъ онъ меня торчмя головой въ канаву; упалъ я, лежу и думаю:

«— Господи! Что-жъ это такое?

«Ничего не пойму!.. Осерчалъ я, вскочилъ и такъ ему заговорилъ:

«— Ты зачѣмъ въ мой сундукъ залѣзъ?

«— А ты зачѣмъ?

«— Нѣтъ, ты-то зачѣмъ?

«— Нѣтъ, зачѣмъ ты?..

«Я развернулся... р-разъ!

«Потому смертельная мнѣ была обида, что я такъ себя унижилъ и никакъ настоящаго первоначатія нашему безобразію не сыщу... Теперь я такъ думаю, что ежели который на двадцати языкахъ знаетъ, заставить его это дѣло разсѣсть, то и онъ пардону попроситъ...

«Тутъ меня Алеха, признаться, помя-алъ!..

«Послѣ этого Алеха закрутился гдѣ-то. Сижу я одинъ дома тверезый и все раздумываю: «какъ же это я-то?» И стало мнѣ, признаться сказать, отъ такихъ размышленій смерть какъ жутко... Сталъ я какиннаго человѣка опасаться: что у него на умѣ? Можетъ, такъ-то говорить онъ съ тобой и по душѣ быдто, а замѣсто того, что онъ сдѣлаетъ? Господь его знаетъ!

«Не дознавшись ничего въ своемъ умѣ, вспомнилъ я свое благородство и тутъ же передъ Господомъ побожился, что съ этого времени ни друзей, ни недруговъ промежду нашимъ мастерскимъ народомъ не заведу; и сталъ я вродѣ какъ затворникъ: въ прежнее время хоть съ хозяевами слово какое скажешь... или съ ихней свояченицей, дѣвушкой... Очень она мнѣ въ то время нравилась, но чтобы у насъ промежду собой что-нибудь этакого происходило—ни Боже мой! (мнѣ, я вамъ доложу, на этотъ счетъ вѣрно такое несчастье: чуть мало-мало какое касаніе...— Нѣтъ, ты, говорить, женись!) Такъ, докладываю вамъ, въ прежнее время хоть съ нею... А теперича, даже когда она приближалась ко мнѣ одна въ мастерскую и почала реветъ, будто цырюльникъ съ ней неладно поступилъ, обмываю, то я тотчасъ же ее изъ мастерской удалилъ и дверь захлопнулъ.

«Да въ самомъ дѣлѣ? Что я ввяжусь... Опять кто ихъ разберетъ, а мнѣ по тюрьмамъ шататься некогда...

«Но все же я ее пожалѣлъ!

«Случалось еще, что черезъ эту мою робость тогдашнюю не мало я ругательствъ перенесъ. Иду примѣрно по переулку, вдругъ солдатъ попадаетъ.

«— Не знаешь-ли, спрашиваетъ, милый человѣкъ, гдѣ тутъ Дарья-солдатка? — На это я только молчаніемъ ему отвѣчаю: потому, ну-ка онъ скажетъ: «а, знаешь! а пойдемъ-ко-сь, скажетъ, въ часть: Дарья-то эта фальшивыми дѣлами занималась!» Такъ по глупости своей опасался тогда... Начинаетъ меня солдатъ поливать — я все не оборачиваюсь, иду; онъ того злѣе—я все иду... Грозитъ, грозитъ, наконецъ я быдто не вытерплю:

повернусь — «вотъ я-молъ тебѣ!..» Тою-жъ минутою солдатъ исчезалъ, ровно сквозъ землю проваливался.

«Началъ я маленько разгадку понимать!

«Подходить время, надо что-нибудь пробовать! Всѣ я мытарства видѣлъ, ото всего въ убыткѣ остался... Порѣшилъ я работать одинъ; трудно, ну, по крайней мѣрѣ хоть какой-нибудь жизни добиться можно. Тутъ я, признаться, братцу и мамонькѣ въ ножки поклонился, дали они мнѣ денегъ—съ Зуевымъ за его половину въ станкѣ разсѣсться... Сталъ я Алешкѣ деньги отдавать, плачетъ малый!

«— Ахъ, говорить, Проша, какъ ты чуден! Ну, пьянъ человѣкъ, чужое добро пропилъ, э-ко дѣло! А ты, говорить, ужъ и Богъ знаетъ что... Лучше бы въ тыщу разъ стали мы съ тобой опять дѣло дѣлать.

«— Нѣтъ, говорю, шалишь!

«— Опять бы пѣсни, стихъ бы какой... Неужто-жъ я звѣрь какой? Я все понимаю это... А ужъ противъ нашей жизни не пойдешь: вотъ я теперь чужку пропилъ, долженъ я стараться другую выработать.

«— И другую, говорю, пропьешь.

«— Можетъ, и другую... Я почему знаю?.. Я впередъ ни минуточки изъ своей жизни угадать не могу...

Жалко мнѣ его стало, но, поскрѣпившись, я его спросилъ:

«— Куда мое-то пальто дѣвалъ?

«— Я почему знаю!.. Я объ этомъ тебѣ ничего не могу сказать... Эхъ, Проша!

«Однако же я съ нимъ жить не сталъ. Страсть какъ мнѣ было тяжело одному! двѣ недѣли съ немумѣлыхъ-то рукъ надъ работою покопѣть, а выручки, барышу то есть—три рубля. Съ чего тутъ жить? Ну, кое-какъ перебивался, платишко началъ заводить, напримѣръ манишку, все такое, нельзя! Познакомился съ чиновникомъ... Кой-какъ! Къ братцу я въ то время не ходилъ, или ежели случится, то очень рѣдко; по той причинѣ, что окромѣ унынія завели они другую Сибирь: гитару... Иной человѣкъ возьмется на гитарѣ-то, восхищеніе, душа радуется, но братецъ мой изъ всего муку-мученскую дѣлалъ. Постановилъ палецъ на струнѣ у самаго верху и начнетъ его спускать даже до самаго низу. Воетъ струна-то, чистая смерть! По этому случаю я у него не бывалъ. Началъ было я въ это время Алеху Зуева вспоминать, не позвать-ли, молъ? А онъ, не долго думая, и самъ ко мнѣ привалилъ... Пьяный, распяный.

«— Ты! заоралъ на меня:—подлекаръ! подавай деньги!

«— Какъ-кія, говорю, деньги?

«— Ты разговоры-то не разговаривай, подавай... Какія! передразниваетъ: — за станокъ! вонъ какія!

«Тутъ я, признаться сказать, въ такое остервенѣніе вошелъ, что, не помня себя, тотчасъ за горло его спавалъ и грохнулъ на землю. Вижу: малому смерть, но все же я еще ему колѣнкой въ

грудь нажалъ, и какъ же я его въ это время полн-скалъ!.. Ахъ, какъ я надъ нимъ всё свои оскорбленія выместилъ! Зажалъ ему горло и знаю, что ему теперича ни дохнуть — между прочимъ кричу на него: говорри!

«— Прроша, хрипнть... Ппусести!

«— Говорри! Анаема!..

«Въ это время я себя не помнилъ и истинно мучилъ его, какъ звѣрь... Съ часъ мѣста я съ нимъ хлопоталъ, наконецъ пустилъ... Отрезвѣлъ онъ... Помню, стоитъ этакъ-то въ дверяхъ, картузишкой встрахиваетъ...

«— Сейчасъ драться, говорить; — нѣтъ у тебя языка сказать-то? Право! За го-орло!

«— Ладно, говорю, мнѣ къ суду съ тобой идти не время!

«— Я почему знаю! «деньги», «получилъ»... Я почему знаю?

«— Дьяволъ! кто-жъ у васъ знать-то будетъ? Чо-орты!

«— Я почему знаю... За горло!.. Эко диво какое!

«— Проваливай!

«— Обрадовался!..

«Кой какъ ушелъ онъ... И между прочимъ скажу, что о своемъ добрѣ Зуевъ и не спросилъ, потому зналъ онъ, что искать его негдѣ, ибо гдѣ его сыщешь?.. Вздохнулъ я маленько послѣ такихъ заботъ и говорю вамъ по чистой совѣсти, стало мнѣ страсть какъ легко на душѣ, когда я его побѣдилъ... Тутъ ужъ я совсѣмъ понялъ! Изъ-за того жить, чтобы выработать да пропить? На это я не согласенъ!.. Н-нѣтъ-съ!.. Мнѣ желательно жить по людски... Съ этимъ я и рѣшилъ, что въ чернорабочихъ—безъ разговору, ручная расправа, а въ благородствѣ—всякое почтенье»...

II. Первый опытъ.

Еще немного подобныхъ случаевъ, узаконившихъ силу кулака въ глазахъ благороднаго человѣка, и фивіомія Прохора Порфирыча приняла тотъ отгѣнокъ «себѣ на умѣ», который такъ часто проглядываетъ въ умыхъ, умѣющихъ *обдѣлывать* свои дѣла русскихъ людей: деревенскихъ дворникахъ, прасолахъ, которыхъ простой, добродушный и оплетаемый народъ потихоньку называетъ жилами, жидоморами и проч. По ходу дѣла Прохоръ Порфирычъ тоже былъ жидоморъ, но жидоморъ чуть-чуть не благородный, вѣжливый, чтó впрочемъ съ большою подробностью мы увидимъ впоследствии. Мысль о разживѣ не покидала его: то представлялось ему, что идетъ онъ по улицѣ, вдругъ лежатъ деньги, «отлично бы хорошо» — сладко думалъ онъ. Кто-то выкладывалъ передъ нимъ вороха и сизыхъ, и сѣрыхъ бумажекъ и говорить: «получай!», Прохоръ Порфирычъ въ ужасѣ раскрывалъ глаза и узнавалъ свою холодную комнату...

— Ахъ, чтобъ тебѣ провалиться! съ досадой вскрикивалъ онъ тогда.

А времена все труднѣй становились. Помѣщики съезжались; опустѣли трактиры, цыганскія пѣвицы напрасно поджидали «графчика», вѣвая и

пощипывая струны гитары. Торговля пріутихла всякая: рабочіе, на подобіе Зуева, шли охотой въ солдаты. Шли также и неохотой.

— Ахъ, теперича-бы силенка! Ахъ бы хоть немножечко!.. тосковалъ въ эту пору Порфирычъ.

Во время такой страстной жажды лишняго гривенника, своего угла, вообще во время жажды обдѣлывать свои дѣла, умеръ растеряевскій баринъ (отецъ Прохора Порфирыча). Дѣло случилось темнымъ вечеромъ. Поднялась суматоха, явились душеприказчики, дали знать Порфирычу. При этомъ извѣстїи въ глазахъ его сразу, мгновенно прибавилась какая-то новая, острая черта, какія являются въ рѣшительныя минуты. Онъ сразу понялъ, что настало время. Одѣвшись въ свое драповое пальто съ карманами назадъ, онъ почему-то поднялъ воротникъ, сплюснулъ шапку, и строгая фигура его измѣнилась въ какую-то юркую, готовую нырнуть и провалиться сквозь землю, когда это понадобится.

Порфирычъ дѣлалъ *первый шагъ*.

...Вечеромъ въ нижнихъ окнахъ дома «барина», долго стоявшихъ забытыми наглухо, свѣтился огонь. На столѣ лежалъ покойникъ, въ мундирѣ; двѣ длинныя сѣдыя косицы падали на подушку; стояли высокіе мѣдные подсвѣчники; солдаты, бабы пришли смотрѣть «упокойника». Унылая фигура послѣдней фаворитки барина, Лизаветы Алексѣевны, въ огромной атласной шляпѣ, съ заплаканными глазами и руками, державшими на сухой груди платокъ, нырала въ толпѣ тамъ и сямъ, пробивая плечомъ дорогу къ одному изъ душеприказчиковъ.

— Семенъ Ивановичъ, слезливо говорила она: — неизвестно... мнѣ-то?.. хоть что-нибудь?..

— Я вамъ сто тысячъ разъ говорю — не знаю!

— Не сердитесь! ради Бога, не сердитесь!.. Голубчикъ!

— Что вы пристаёте? Сидите и дожидайтесь!

— Буду, буду, буду! Боже мой! ахъ, Господи!

Лизавета Алексѣевна садилась въ уголъ, тревожно бросая глазами туда и сюда. Замѣтивъ, что душеприказчики разговаривались, она минуточку подумала и вдругъ безъ шума шмыгнула въ другую комнату.

Горѣли свѣчи, лампы. Дѣточка, съ широкой спиной, приготовлялся читать псалтирь, переступая въ углу тяжелыми сапогами. Въ виду покойника толковали шопотомъ. Было упомянуто о томъ, что хоть и всё мы помремъ, но все «какъ-то...» къ этому присовокупилось: «ни князи... ни дружи...» А затѣмъ, послѣ глубокаго вдоха, слѣдовалъ какой-нибудь совершенно уже практическій вопросъ, хотя тоже шопотомъ:

— А вотъ между прочимъ не уступите ли вы мнѣ рыжаго мерина? подъ водовозку?

— Охъ, мерина, мерина! глубоко вздыхалъ душеприказчикъ, думавшій, можетъ быть, крѣпкую думу о томъ же меринѣ. — Погодите Христа ради немножечко!

Дѣточка кашлянулъ и зачиталъ:

— Блаженъ му-у-у-у...

— Караулъ!!! Браулъ! Стой! раздалось подъ окнами.

— Господи Иисусе Христе! Что такое? зашоптала публика, и всѣ бросились на улицу.

— Стой! Стой! Н-нѣтъ ввррешъ!—Братъ! братъ!

Народъ, сбѣжавшійся со свѣчами, увидѣлъ слѣдующую сцену. Прохоръ Порфирычъ старался вырвать изъ рукъ Лизаветы Алексѣевны огромный узелъ, въ который та вѣшпилась и замерла. Изъ ула сыпались чашки, стаканы, серебряныя ложки и проч.

— Братъ, братъ! Браденое!..

— Мадамъ, сказали значительно душеприказчикъ: пожалуйста прочъ!..

Прохоръ Порфирычъ налегъ на врага съ узломъ и потомъ сразу рванулъ его къ себѣ. Лизавета Алексѣевна грохнулась о земь. Толпа повалила вслѣдъ за побѣдителемъ. Надо всѣми колыхался огромный узелъ.

— Какъ? воровать? громче всѣхъ кричалъ Порфирычъ. — Нѣтъ, я тебя не допущу! Извини!..

Узелъ свалился на крыльцо съ рукъ на руки душеприказчику, который говоритъ Порфирычу:

— Спасибо, спасибо, братъ!

— Помилуйте, васскородіе, говорилъ Прохоръ Порфирычъ, обнажая голову и въ ужасѣ раздвигая руки: — Какъ-же от-то только возможно? Я — всѣ мѣры!.. Ка-акъ? воровать?.. Нѣтъ, это ужъ оставь!

— Ты тутъ ее схватилъ?

— Да тутъ-съ, васскородіе, какъ есть у самыхъ у воротъ. Барское добро, д-да Боже меня избави!.. Что тебѣ по бумагѣ вышло — Господь съ тобой, получай!

— То другое дѣло!

— Да-съ! то совсѣмъ другое дѣло! А то скажите на милость!

— Спасибо! Молодецъ!

— Всей душой.

Порфирычъ осторожно пощупалъ у себя за пазухой и подумалъ: «здѣсь!»

— Я, васскородіе, видитъ Богъ!

Душеприказчикъ ушелъ. Порфирычъ долго еще толковалъ брату: «а то, скажите на милость, такой поступокъ... цѣлый узелъ, нѣз-отъ!» Потомъ пошелъ подъ сарай, запихнулъ между дровъ какой-то свертокъ, подхваченный въ бою, и, возвращаясь оттуда, говорилъ:

— Каакъ? воровать? Нѣтъ, ты это оставь!

Лизавета Алексѣевна долго была и истерически рыдала за воротами:

— Изъ-за чего? Изъ-за чего? Изъ-за чего я всю-то молодость — всю, всю, всю... Господи! Грѣхъ-то! Грѣхъ-то!..

Вдругъ она вскочила, отряхнула платье, утерла глаза и быстро направилась въ комнату.

— Мадамъ! говорилъ душеприказчикъ: — пожалуйста отсюда вонъ... послѣ такихъ поступковъ!

— Н-не пойду!..

Лизавета Алексѣевна сѣла на стулъ, прижалась спиной къ углу, плотно сложила руки и вообще рѣшилась «ни за что на свѣтѣ» не покидать своего мѣста.

— Съ вашимъ поведеніемъ здѣсь не мѣсто... Здѣсь покойникъ.

— Н-не пойду! н-не пойду! твердила Лизавета Алексѣевна дрожа.

— А! не пойдете...

— Голубчикъ!

Она бросилась на колѣни.

— Есть въ васъ Богъ? не гоните меня! Ради Бога... Я вѣдъ съ нимъ, съ покойникомъ-то, восемь лѣтъ... Ахъ, ахъ, ахъ, ахъ!

Душеприказчикъ ушелъ, махнувъ рукою.

Поздно вечеромъ душеприказчикъ, отправляясь спать, поручилъ за всѣмъ надсматривать Порфирычу; на унылаго, нерасторопнаго Семена надежды было мало: гдѣ нибудь непремѣнно заснетъ. Разошлись всѣ, даже и Лизавета Алексѣевна. Прохоръ Порфирычъ вступилъ въ свои права: надсматривать и распоряжаться. Въ кухнѣ дожидалась приказаній страпуха. Порфирычъ, для храбрости «пропустившій» рюмочку-другую водки, вступилъ съ ней въ разговоръ.

— Какъ въ первыхъ домахъ, говорилъ онъ: — такъ ужъ, сдѣлайте милость, чтобы и у насъ.

— Слава Богу, на своемъ вѣку видала, Богъ привелъ, разные дома... Вотъ купцы умирали, Сушкины, два брата.

— Да-да-съ! Потому нашъ домъ тоже слава Богу... Будьте покойны!

— Не въ первый разъ... На сколько, позвольте спросить, персонъ?

— Персонъ, благодареніе Богу, будетъ довольно! Насъ весь городъ знаетъ...

— Дай Богъ, а завтра утричкомъ надѣть по-раньше грибнова и опять крахмалу для киселя.

— И грибнова! Мы этимъ не разсчитываемъ. Молчаніе.

— Я полагаю, говоритъ страпуха: — кисель-то съ клеємъ запускать?

— И съ клеємъ... Какъ лучше... какъ въ первыхъ домахъ.

— А не то, ежели изволите знать, со свѣчкой для красоты.

— Какъ въ первыхъ домахъ! И съ клеємъ, и со свѣчкой... Запускайте, какъ угодно!.. чтобы лучше!.. Мы не поскупимся.

Бодрствование во время ночи Прохоръ Порфирычъ тоже выдержалъ вполне. Разставшись со страпухой, онъ направился въ домъ, уговоривъ брата лечь спать.

— И то! сказалъ братецъ и легъ на крыльцо въ кухнѣ.

Въ освѣщенной комнатѣ раздавалось тягучее чтеніе псалтыря, прерываемое понюшками табаку. Порфирычъ босикомъ тихонько подходитъ къ дѣачку, засунувъ одну руку съ тѣмъ то подъ полу, и, придерживая это «нѣчто» сверху другой рукою, шепчетъ:

— Благодарѣть!

Дѣачокъ обернулся.

— Ну-ко!

Дѣачокъ сообразилъ и произнесъ:

— Вот это благодарю! тутъ онъ нагнулся къ уху Порфирыча и зашепталъ:—Грудь! На грудь ударяетъ ду-ду-ду-то!..

— Прочистить!

— Это такъ! Оно очистку дастъ! Въ случаѣ тамъ въ нутрѣ что-нибудь...

— Вотъ, вотъ! Она ее въ то время сразу. Ну-ко!

Пола полегоныку приподнимается; дьячокъ говоритъ:

— О, да много.

— Что тамъ!

Нѣчто поступало въ дрожавшія руки дьячка.

— Сольцы, сольцы!

— Цесс... Сію минуту.

— Гм-м... кхе!..

— Готово.

— Ахъ, благодѣтель! Я тебѣ, другъ, что скажу, прожевывая, шепталъ дьячокъ:—ты по какой части?

— Слесарь.

— А мы по церковной части. Я тебѣ что скажу: наше дѣло—хочешь не хочешь!

Дьячокъ пожалъ плечами.

— Смерть!

— Ты думаешь, все на боку да на боку лежимъ? Нѣтъ, братъ!

Долго идетъ самое дружественное шептаніе. Въ комнатѣ раздается опять тягучее чтеніе.

Прохоръ Порфирычъ въ это время уже въ мезонинѣ; онъ нагибается подъ кровать, крахти, что-то достаетъ оттуда, потомъ на цыпочкахъ спускается съ лѣстницы и идетъ черезъ дворъ къ саду. Брешетъ собака...

— Черной!

Порфирычъ пошвыстываетъ.

— Какъ! воровать? говоритъ онъ, возвращаясь изъ сада и проходя мимо брата. — Нѣтъ, гораздо будетъ лучше, ежели ты это оставишь... Братецъ, не спишь?

— О-охъ!.. Не сплю! вздыхаетъ Семень, поворачиваясь на своемъ ложѣ.

Порфирычъ подсаживается къ нему, тоже вздыхаетъ, присовокупляя: «охъ, горько, горько!», и затѣмъ тянется долгій шопотъ Порфирыча:

— Ахъ ты, говорю... Да какъ же ты, говорю, только это въ мысль свою впустить могла?

Безлунная ночь стоитъ надъ городомъ; небо очистилось, въ воздухѣ сыро. Въ сторонѣ по небу скатилась звѣзда, оставивъ свѣтлый слѣдъ.

— О-охъ, Господи! шепчетъ кто-то въ кухнѣ.

На крыльцѣ явилась стряпуха.

— Я все беспокоюсь, заговорила она:—какъ кнесь?

— Какъ въ первыхъ домахъ!

— Опять можно и полосами его пустить, съ кляквой, какъ угодно?

— Какъ вамъ угодно, и съ кляквой!.. Какъ въ первыхъ домахъ!

— Я все беспокоюсь! заключила стряпуха, уходя.

Усталый дьячокъ еще медленнѣе читалъ псал-

тырь; изъ отвореннаго окна на него изрѣдка налеталъ свѣжій воздухъ.

— Ссссс... раздалось подъ окномъ.

Дьячокъ обернулся.

Прохоръ Порфирычъ облокотился на подоконникъ локтями, прищуривалъ глазъ и кивалъ головой въ сторону.

— Не мѣшаетъ! сказалъ дьячокъ.

Слѣдовало повтореніе «нѣчто» и опять монотонное чтеніе. Прохоръ Порфирычъ снова исчезалъ куда-то. Дьячекъ, у котораго начинали слипаться вѣки, иногда закрывалъ глаза и прерывалъ чтеніе, пошатываясь впередъ и назадъ. Тишина была мертвая. Вдругъ гдѣ-нибудь, не то вверху, не то внизу, съ какимъ-то нытьемъ щелкалъ замокъ. Дьячокъ выпрямлялся, широко раскрывалъ глаза и едва успѣвалъ произнести два-три слова, какъ начиналъ дремать снова.

Послышалось какое-то шуршанье. Дьячокъ снова встрепенулся.

— Я, я, я! успокоительно шепталъ изъ сѣней Порфирычъ, осторожно таща по землѣ какую-то шкуру, или коверъ, или шинель.—Завтра, братъ, и безъ того хлопотъ полно въ ротъ!

Начинали пѣть пѣтухи. Дьячокъ совсѣмъ заснулъ, положивъ голову на кожаный аналой и присѣдая. Его разбудилъ какой-то шумъ, происшедшій на дворѣ... Въ окно онъ увидѣлъ Прохора Порфирыча, расправлявшагося съ Лизаветой Алексѣевной, которая-таки не вытерпѣла до утра и тихонько успѣла пробраться въ мезонинъ.

— Уйду! уйду! уйду!.. Ради Бога! Ахъ, не увѣчьте! Сама! сама! сама!

Съ такою же точно разсудительностью проводилъ Прохоръ Порфирычъ и слѣдующіе дни; въ день похоронъ, почти въ одно и то же время онъ распорядился въ кухнѣ, подавалъ къ столу тарелки, бѣжалъ за водкой, утѣшалъ маменьку, выводилъ изъ-за стола пьянаго, подтягивалъ виѣсть со всѣми «вѣчную память!» и тутъ же засовывалъ въ карманъ какую-то вещь, присовокупляя про себя: «ременная, аглицкая» и т. д. Безъ Прохора Порфирыча никто не могъ дохнуть; отовсюду слышались голоса: «Порфирычъ, Прохоръ Порфирычъ!» и въ отвѣтъ на нихъ Порфирычъ безпрестанно сыпалъ: «Сію минуту-съ, сію минуту-съ... Иду, иду, иду!»

Кончились похороны, домъ опустѣлъ: вездѣ были открыты окна и двери, вѣтеръ свободно гулялъ повсюду, вытаскивая въ отворенное итальянское окно мезонина ветхую зеленую стору и подгоняя ее подъ самый князекъ крыши; въ комнатѣ, гдѣ такъ долго умиралъ баринъ, было все върыто: старые тюфяки и перины, рыжіе парики съ слѣдами какой-то масляной грязи виѣсто помады, банки съ какими-то мазями, прокопченные куревомъ трубки и чубуки, все это наполняло душу отвращеніемъ, гнало изъ комнаты, уже опустѣвшей. Внизу и вверху лопались обои, и за ними то и дѣло шумѣли потоки сору.

Прохоръ Порфирычъ это время постоянно находился при маменькѣ, изрѣдка заглядывая въ домъ,

гдѣ черезъ нѣсколько времени начался аукціонъ. Порфирычъ долго рассматривалъ вещи, долго молчалъ, и когда рѣшился наконецъ просунуть въ толпу голову и произнести «пятачокъ-съ!», то это значило, что ему попалась такая штука, за которую люди знающіе, «охотники», дадутъ несравненно больше. Зацѣпивъ какую-нибудь подобную вещь, онъ скромно возвращался къ маменькѣ, покупалъ ей на свои деньги водку (малиновую сладенькую любила Глафира) и къ чаю бралъ у растерявшаго лавочника Трифона тоже любимые Глафирой грецкіе орѣхи и винныя ягоды...

— Кушайте, маменька! сдѣлайте милость, говорилъ онъ.

— Не могу, Прошенька, я этого чаю глотка проглотить, чтобы безъ этаго безъ сладкаго... Изюмцу или бы чего...

— Кушайте, на доброе здоровье, не томитесь...

— Чтожъ это, Проша, будетъ-ли намъ какое награжденіе отъ покойника?..

— Надо быть. Я такъ думаю, чѣмъ-нибудь-же долженъ онъ свое поведеніе оплатить... Надо за этими крюками-то поглядывать!.. намекалъ онъ на душеприказчиковъ.

— То-то, ты, Проша, посматривай!.. Поглядывай, какъ-бы они чего не напесли тамъ...

— Авось Богъ! Кушайте, маменька, кушайте!

Послѣ аукціона душеприказчикъ позвалъ Прохора Порфирыча на верхъ.

— А, ты! сказалъ чиновникъ, когда Порфирычъ вошелъ и поклонился.—Вотъ васъ баринъ награждать.

Порфирычъ осторожно подвинулся къ столу и упорно смотрѣлъ въ валавшуюся тамъ бумагу. Онъ что-то прочиталъ въ ней.

— Вотъ деньги. Отдай матери.

— Покорнѣйше благодаримъ, васкародіе!

Порфирычъ поцѣловалъ у чиновника руку...

— Ну, ступай!

— Слушаю-съ...

Порфирычъ сталъ у двери.

— Больше ничего; ступай!

— Слушаю, васкародіе!

И все-таки остался у двери.

— Тебѣ что-нибудь нужно?

— Такъ точно-съ; потому, васкародіе, самыя пустыя деньги вы изволили отдать-съ...

— Какъ?

— Такъ точно-съ... Мы это знаемъ-съ. Сдѣлайте милость, извините... баринъ по бумагѣ отдалъ третью часть на сиротъ; слѣдовательно, пожалуйста намъ полностью. На что намъ такая бездѣлица? Вы, васкародіе, сдѣлайте вашу милость, доложите, что слѣдуетъ...

— Ступай! Я-тебѣ говорю!

— Слушаю-съ...

И опять таки сталъ у двери.

— Ты не уйдешь? черезъ нѣсколько минутъ злобно закричалъ чиновникъ.

— Сдѣлайте божескую милость, васкародіе, пожалуйста деньги-съ полностью!

— Вонъ!

— Я, васкародіе, по суду буду искать... Какъ вамъ будетъ угодно!

Грозное молчаніе...

— Какъ вамъ угодно-съ... Я къ господину губернатору... Опять-же мы и Федоръ Федорыча довольно хорошо знаемъ... Какъ вамъ угодно!

— Я самъ Федоръ Федорычъ! Что ты мнѣ грозишь! Плевать я на него хотѣлъ!

— Какъ вамъ будетъ угодно... Ну, только я этого грабежа не оставлю!

Порфирычъ, весь зеленый отъ гнѣва, спускался съ лѣстницы. Чиновникъ нагналъ его и бросилъ въ лицо пачкой бумажекъ.

— Ты деньги-то не швыряй! заговорилъ Порфирычъ во все горло.—Ты свою рожу-то береги...

— Дьяволъ! послышалось съверху.

Блистательная побѣда надъ чиновникомъ завершилась не менѣе блистательной попойкой въ кухнѣ. Братъ Порфирыча уѣзжалъ въ деревню, въ конторщики; въ кухнѣ по этому случаю кипѣли самовары, на столѣ стояли полуштофы, валились орѣхи, винныя ягоды, рыба, куски ветчины и шло веселье и плачь. Братъ Порфирыча, никогда не пившій водки, сильно охмѣлѣлъ съ двухъ рюмокъ, лѣзъ обниматься и кричалъ:

— Братъ!.. Братъ! Я довѣрю!..

— Проша! приставала хмѣльная мать.

— Господи! умильно говорилъ Порфирычъ.—Братецъ!

— Братъ!

— Братецъ! видитъ Богъ!

— Братъ! Я довѣрю! Маненька!.. Братъ!..

— Всей душой!.. Боже мой!

— Братъ!

Порфирычъ обнимался съ братомъ, прижимая къ его спинѣ полуштофъ.

— Братъ!

Лакей совсѣмъ осовѣлъ и валился, какъ спопъ, не переставая повторять: «Бр-ратъ!» Наконецъ его ввалили виѣсть съ гитарой въ мужичью повозку, присланную изъ деревни, и Прохоръ Порфирычъ остался съ матерью вдвоемъ...

— Ну, маменька, говорилъ онъ ей на другой день.—Надо думать!.. Не сегодня-завтра въ шею погонять...

— О-охъ, надо, надо!

— Я такъ думаю, домикъ-бы? Деньги, они, не увидишь, разбѣгутся...

— Ужъ какъ ты это знаешь!... Куда мнѣ, я не пойму ничего... Еще изобьютъ пожалуй, и суда не сыщешь... Мнѣ-бы гдѣ свой уголъ...

— Я такъ думаю, домикъ... Я похлопочу... По крайности будетъ у насъ свое имѣніе...

— О-охъ, давно своего-то не было!

— То-то и есть! Братецъ, дай Богъ здоровья, довѣряютъ мнѣ.

— Да я-то нешто звѣрь какой?.. Ты меня не ограбишь... Не выдашь. Изъ моего дому не выгонишь...

— Помилуйте!.. Вѣдь тоже вашего заводу-то. Слава Богу! и Прохоръ Порфирычъ цѣловалъ у маменьки ручку.

Душеприказчикъ ходилъ съ купцами вокругъ дома умершаго барина, пробовалъ стѣны топоромъ, мѣрялъ землю цѣпью и, сердито постукивая въ кухонное окно, говорилъ:

— Выбирайтесь, выбирайтесь, выгоню!

— Не беспокойтесь, сдѣлайте вашу милость, уйдемъ-съ! отвѣчалъ Прохоръ Порфирычъ.

Нѣсколько дней онъ употребилъ на отыскиваніе дома, наконецъ нашелъ. Въ лачугѣ жила одна старая баба, никогда не показывавшаяся на свѣтъ Божій. Ходили слухи, что она съ мужемъ занималась когда-то «нехорошими» дѣлами, вслѣдствіе чего мужъ и умеръ безъ покаянія, безъ причастія. Не захотѣлъ. Поэтому старухи всѣ боялись и никто не старался узнать, что съ ней дѣлается: въ окнахъ у нея никогда не свѣтился огонь, печь не топилась, и чѣмъ питалась она, тоже было неизвѣстно. Умри старуха—всѣ-бы побоялись, войти къ ней. Но Прохоръ Порфирычъ зашелъ. Старуха превратилась въ какое-то совершенно одиочное существо. Долго не понимала она, что такое толкуетъ ей Порфирычъ, но когда онъ показалъ ей деньги, старуха заговорила:

— Давай! давай!.. Я зарею...

— А сама уйдешь?

— Давай... Уйду! уйду!

Бое-какъ Порфирычъ наконецъ растолковалъ ей, въ чемъ дѣло, и далъ цѣлковый. Старуха съ жадностью схватила его, обернула тряпками, спрятала за пазуху и забижалась на печь въ самый уголъ.

Послѣ того какъ былъ отысканъ домъ, дѣйствія Прохора Порфирыча приняли какой-то таинственный характеръ. Притавивъ матери изъ кабака сладенькой, онъ просилъ у ней позволенія сходить на минутку въ одно мѣсто и поспѣшно направился въ какой-то глухой закоулокъ. Здѣсь жилъ извѣстный городской клеушникъ-приказный. Прохоръ Порфирычъ вѣжливо раскланялся съ хозяиномъ и, отведя его къ столу, объявилъ въ чемъ дѣло.

— Однако, извините меня, говорилъ приказный, внимательно выслушавъ шопотъ Порфирыча, — какъ вы молоды, и какая у васъ въ душѣ подлость!

— Что дѣлать! время не такое!..

— Въ первый разъ въ такихъ молодыхъ лѣтахъ встрѣчаю такую низость...

— А я такъ думаю, надо-бы мнѣ Бога благодарить?

— Равенько-съ... Чего добраго, еще нашему брату горло перекусите... вотъ обидно что!

— На этомъ будьте покойны. Ну, а дѣло черезъ это все-таки, я полагаю, само-собой?

— Это до дѣла не касающе. Вы остаетесь при вашемъ свинствѣ!..

— А вы при вашемъ!..

— А я-съ при моемъ. Посылайте за полштофомъ!

Приказный съ шумомъ перевернулъ листъ бумаги.

Съ этого дня между Профирычемъ и приказнымъ начались какія-то непостижимыя отношенія: они никогда не были вмѣстѣ, но и не разлуча-

лись; въ то время когда Порфирычъ сидѣлъ съ маменькой и угощалъ ее, вдругъ въ окнѣ какъ молнія мелькала рожа приказнаго, дѣлавшая какія-то ужимки и гримасы. Порфирычъ срывалъ съ гвоздя фуражку и исчезалъ. А то можно было ихъ встрѣтить еще такъ: Порфирычъ стоялъ на одномъ концѣ улицы, а приказный на другомъ, и разговоръ шелъ тоже непостижимыми жестами: приказный махалъ куда-то головой въ сторону, Порфирычъ показывалъ ему кулакъ; въ отвѣтъ приказный трясъ головой, крестился и вынималъ изъ бокового кармана бумагу... Порфирычъ почему-то плевалъ сердито въ землю, но шелъ къ приказному. Приказный, стараясь вызвать Порфирыча ночью, громко кашлялъ подъ окномъ или начиналъ пѣть. Днемъ стояло Порфирычу выйти на улицу, какъ тотчасъ-же раздавалось откуда-то «сссс... сссс...» и въ сторонѣ показывалась фигура приказнаго, поднимавшаго почему-то три пальца; Порфирычъ также иногда показывалъ ему въ отвѣтъ три пальца только въ другой комбинаціи... Послѣ такихъ таинственныхъ сценъ приказный на минуту затѣмъ-то явился въ кухню у Глафиры вмѣстѣ съ Прохоромъ Порфирычемъ, жался у двери, а когда Глафира сказала сыну: «да я этого ничего не понимаю», приказный вдругъ развернулъ на столѣ бумагу, опрокинулся надъ ней, зачеркалъ перомъ и что-то заговорилъ. Та-же сцена произошла въ домѣ старухи, у которой покупали домъ. Затѣмъ пріятеля снова разошлись въ разныя стороны. Стоя на крыльцѣ гражданской палаты, Порфирычъ манилъ приказнаго, торчавшаго гдѣ-то Богъ знаетъ какъ далеко... Приказный показывалъ что-то руками, Порфирычъ еще поманилъ. Тогда приказный направился къ палатѣ зигзагами, почему-то миновалъ палатское крыльцо, потомъ повернулъ назадъ, поплелся по стѣнкѣ и, снова поровнявшись съ крыльцомъ, вдругъ юркнулъ туда, какъ рыба въ воду. Порфирычъ исчезъ за нимъ...

Результатомъ такихъ таинственныхъ дѣяній провинціальной адвокатуры было то, что Прохоръ Порфирычъ воротился изъ палаты хмѣльной, постоянно улыбающійся, выложилъ передъ матерью изъ кармана совершенно снятыя ягоды, айда и все хихикалъ.

— Все-ли, батюшка, Прошинька, теперича-то?..

— В-всее! будьте покойны! Кушайте на здоровье... Теперь... ужъ все! теперича, маменька, вопли!

— Ну, и слава Богу!

— С-слава Богу!... Эт-то справедливо. Да-съ! ужъ все!..

Порфирычъ вдругъ хихикнулъ.

— Маменька! сказалъ онъ, зажимая рукою ротъ и фыркая.—А что я вамъ скажу... Домъ-то... Домъ-то, вѣдъ онъ мой-съ!..

— Ахъ!.. вскрикнула Глафира и обомлѣла.

Прохоръ Порфирычъ попробовалъ-было сдѣлать серьезную физиономію, но вдругъ фыркнулъ и рванулся въ дверь, поваливъ на ходу скамейку и оставивъ Глафиру въ какомъ-то оцѣпенѣніи.

Скоро Глафира и Прохоръ Порфирычъ перенесли въ купленную лачугу. Глафира заливалась слезами и кричала на всю улицу.

— Маменька, сказалъ на это Порфирычъ строго: — ежели вы такъ продолжать будете, я, ей Богу, въ полицію не постоюжусь...

Послѣ этого Порфирычъ перенесъ ругань отъ брата, нарочно пріѣхавшаго изъ деревни.

— Я съ тобой, съ подлецомъ, и говорить-то Богъ знаетъ чего не возьму! заключилъ свою рѣчь братъ и пошелъ къ двери.

— Сейчасъ самоваръ готовъ, братецъ... пронесъ все время молчавшій Порфирычъ и проводилъ разгнѣваннаго брата до воротъ.

Преодолавъ такіа трудности, Порфирычъ приступилъ къ старухѣ:

— Ну, старушка, ступай съ Богомъ...

— Что ты, очумѣлъ что-ли?

— Какъ очумѣлъ? дожъ мой! ступайте съ вашимъ капиталомъ.

— Куда я пойду? Да я тебѣ всѣ глаза выпараю, только ты займись.

Порфирычъ порѣшилъ это дѣло повести черезъ полицію, а старуха безмолвно скорчилась на печи. Сознавъ наконецъ себя полнымъ хозяиномъ, Прохоръ Порфирычъ съ истиннымъ благоговѣніемъ пронесъ:

— Боже! Благодарю Те!..

III. Дѣла и знакомства.

Такъ поселился Прохоръ Порфирычъ въ Растеряевой улицѣ. Ветхая и забытая изба старухи оживилась, пріосанилась; около нея нѣсколько дней возились два поденщика: отставной раненый солдатъ, съ засученными рукавами и панталонами, густо смазавъ ее глиной, таская за собой наполненное глиною корыто и шайку, изъ которой онъ по временамъ брызгалъ водою на стѣну; плотникъ съ своей стороны усердно оживлялъ избу кругомъ, тщательно выбирая мѣстечко, куда бы, не опасаясь паденія избы, можно было загнать хороший гвоздь. Скоро ярко выѣленная изба пестрѣла повсюду множествомъ свѣтлыхъ планокъ, досокъ, досчатыхъ четырехугольниковъ, ярко вылежавшихъ на почернѣвшихъ и полусгнившихъ доскахъ крыши, воротъ и забора. И не смотря на такіа старанія, изба все-таки напоминала фizioномію обезьяны, если посмотреть на нее съ боку: нижняя выпятившаяся челюсть соответствовала выпятившимся бревнамъ въ фундаментъ, вслѣдствіе чего окна верхнимъ концомъ уходили въ глубь избы, а нижнимъ выпирали наружу. Въ одно и то же время съ преобразованиемъ наружнаго вида избы шли и внутренніе реформы. Прохоръ Порфирычъ неумоимо вводилъ разныя «положенія»; для маменьки было «положеніе»: знать свое мѣсто, сидѣть и дожидаться послѣдняго часу; изюмы и сладкія малиновыя наливки были отгнѣнены «на такое время»; насчетъ старухи, которую не выжила никакая по-

лиція, было положеніе «не касаться»: «хочетъ надохнуть — издыхай, не хочетъ — какъ угодно»; изъ домашнихъ харчей ей не отпускалось ничего; маменька, убитая сыномъ, выговорила у него дозволеніе хотя въ спокойіи доживать вѣкъ и не трепаться около печки; Прохоръ Порфирычъ понялся, припомнилъ маменькѣ ея недобропорядочную жизнь, но все-таки взялъ въ страпухи бабу, которая была тоже оплетена положеніями: солдатъ не водить и не таскаться по сосѣдямъ, «нечего слоны слонять» попусту; баба тотчасъ заступилась за свое правое дѣло и выговорила только одного солдата, и тотъ обѣщался жениться на ней послѣ Святой.

Скоро явился солдатъ, растегнулъ сюртукъ, закурилъ трубку, началъ поплевывать по сторонамъ, запахло махоркой, послышались слова: «фитьфебилъ», «чихаусть», «каптинармусть». За солдатомъ потихоньку вошла какая-то баба, спросила: «что нашей курицы не видали?» и сѣла. За ней другая, тоже на счетъ курицы, третья — пошелъ говоръ, дружба, словомъ, житье, которое Прохоръ Порфирычъ не могъ замуровать никакими положеніями. Онъ изрѣдка высовывалъ сюда голову и грозно произносилъ: «Черти! аль вы очумѣли?» Солдатъ пряталъ пылающую трубку въ карманъ, бабы замолкали, но черезъ нѣсколько времени начиналась та же самая исторія. Порфирычъ поэтому держался преимущественно въ своей половинѣ.

Прохоръ Порфирычъ выбралъ себѣ на житье другую половину избы, отдѣленную отъ кухни сѣнами съ землянымъ поломъ. Маленькая комнатка его хоть и смотрѣла окнами въ заборъ, но за то не предвѣщала того близкаго разрушенія, которымъ ежеминутно грозило жилище маменьки: стѣны были довольно крѣпки и прямы, окна не такъ гнили и не такъ ввалились внутрь комнаты; тутъ же была особая печка съ лежанкой. Прекрасный видъ комнаты, при дѣятельномъ стараніи Порфирыча, принялъ нѣкоторое благообразіе. Передъ окнами стоялъ столикъ, на которомъ Порфирычъ обыкновенно высверливалъ дуло револьвера и зарядныя отверстія въ барабанъ; на этомъ же станкѣ оттачивались какъ эти двѣ штуки, такъ и всѣ принадлежности замка: собачки, шомпола и другія части, которыя доставляются кузнецомъ въ самомъ аляповатомъ видѣ, едва-едва напоминающемъ настоящую форму оружія. Необходимые для этого инструменты были воткнуты за кожаный ремешокъ, прикрѣпленный къ стѣнѣ нѣсколькими гвоздями. Надъ ними, у самаго потолка, на большихъ гвоздяхъ, болтались вырѣзанные изъ листового желѣза фасоны разныхъ частей оружія; по нимъ можно было прослѣдить всѣ «послѣднія» растеряевскія новости въ мастерствѣ Прохора Порфирыча. Безъ пособія какихъ бы то ни было руководствъ, безъ самолюбивѣйшихъ признаковъ какого-нибудь печатнаго лоскута по этому предмету, Прохоръ Порфирычъ всегда умѣлъ «поддѣть» самую послѣднюю новинку. Проѣзжій офицеръ изъ Петербурга, помѣщикъ, облетѣвшій весь міръ и возвращающійся въ отечество съ двумя-тремя десятками загранич-

ныхъ вещицъ, никогда почти не ускользали отъ зоркаго глаза Прохора Порфирыча. Гдѣ-нибудь въ гостинницѣ Порфирычъ убѣдительно просилъ такого проѣзжаго дать вещицу «на фасонъ»; тутъ же, повертывая эту вещицу передъ глазами, смекалъ, въ чемъ дѣло; въ крайнихъ случаяхъ прикидывалъ вещицу на бумагу и обводилъ наскоро карандашомъ, а до остального додумывался дома. Такимъ образомъ въ глуши, гдѣ-то въ Растеряевой улицѣ, Порфирычъ зналъ, что на бѣломъ свѣтѣ есть Адамъ и Кольтъ, есть слово «система», которое онъ впрочемъ переводилъ въ свою вѣру, отчего оно преобразовалось въ «иссему». Мало того, пистолеты, выходившіе изъ рукъ Порфирыча, носили изящно вытравленное клеймо: «Patent», смыслъ какового клейма оставался непроницаемою тайною какъ для Порфирыча, такъ и для травщика; но оба они знали, что когда работа украшена этимъ словомъ, то даютъ дороже.

Все остальное въ комнатѣ, не относившееся до мастерства, относилось исключительно до личныхъ потребностей Прохора Порфирыча. Деревянная скрипучая кровать съ грубымъ ковромъ, когда-то принадлежавшая растеряевскому барину, кожаная подушка того же барина, манишка на стѣнѣ, сундукъ съ тощими пожитками и наконецъ на лежахъ, навали казавшейся грудой кирпичей, кусокъ тарелки съ ваксой, сапожная щетка съ оторванной верхней крышкою и оплывшій салыный огарокъ въ низенькомъ жестяномъ подсвѣчникѣ. Всѣ эти признаки убожества въ глазахъ Прохора Порфирыча принимали совершенно другое значеніе, потому что говорили о *собственномъ* его хозяйствѣ.

Сѣни также не пропали даромъ: въ нихъ было «положено» спать подмастерью, котораго Порфирычъ скоро «припасъ» для себя. Подмастерье этотъ былъ не изъ т—скихъ; онъ былъ тамбовецъ и на счастье Порфирыча обладалъ такимъ множествомъ собственныхъ бѣдъ, что вовсе не требовалъ за собою ни строгаго присмотра, ни понуканья, ни ругательствъ. Онъ былъ почти вдвое старше Порфирыча, испыталъ наслажденіе быть полнымъ хозяиномъ, имѣлъ *благородную* жену, которая и помутила всю его жизнь, доведя наконецъ до того, что онъ, Кривоноговъ, бѣжалъ изъ родного города куда глаза глядятъ. Въ Т. проживалъ онъ безъ билета, что составляло его ежеминутную муку. Ко всѣмъ этимъ несчастіямъ присоединилось еще одно, едвали не самое страшное, именно непомѣрная сердечная доброта, покорливость и ежеминутное сознаніе своей ничтожности. Такія бѣды сдѣлали изъ него горячайшаго пьяницу, но опасность попасть въ пьяномъ видѣ въ полицію, а потомъ въ руки жены иногда могла удержать его въ предѣлахъ одного шкалика въ сутки. Прохоръ Порфирычъ, имѣвшій возможность по крайней мѣрѣ разъ тысячу убѣдиться въ честности своего подмастерья, знавшій полную его неспособность сдѣлать какую-нибудь гнусность, все-таки, уходя изъ дому, заглядывалъ въ кухню и говорил бабамъ:

— Присматривайте за этимъ молодцомъ-то!

Самую задушевную собесѣдницею подмастерья была Глафира; при ея помощи какъ-то таинственно являлась выпивка, соленый огурецъ, потомъ, благодаря имъ, тянулись долгіе разговоры шопотомъ, ибо грозная тѣнь Порфирыча невидимо витала въ мастерской. Подмастерье рассказывалъ про свое имуществъ, что «всего было», какъ онъ съ полиціймейстеромъ пилъ шампанское на балконѣ, какъ ходилъ за женою въ маскарадъ, куда она укатила съ офицерами. Потомъ еще болѣе глубокимъ шопотомъ присовокупялъ, какъ жена его била и ругала. При этомъ дѣло происходило такъ: — «Харя!» говорила ему жена, на что будто-бы Кривоноговъ отвѣчалъ: — «Покорѣйше васъ благодарю!» — «Рогожа!» — «Чувствательнѣйше васъ благодарю!»... Разлетится, разлетится, по щеки — хлоп! — «Сдѣлайте вашу милость, еще...»

Послѣ разныхъ мытарствъ, перенесенныхъ имъ отъ супруги, послѣдняя однажды пожалала съ нимъ помариться... «Я, говорить, тебя, Федя, ни на кого не промѣняю...» — О? — «Провалитесь! Потому я тебя безъ памяти обожаю...» — Обрадовался я, признаться, рассказывалъ Кривоноговъ. — «Пройдись со мной подъ ручку»... — Подхватилъ, пошелъ. Шли... «— Зайдемъ сюда на минутку, вотъ въ этотъ домъ!»... — Изволь, говорю. Зашли. Завела она меня къ какому-то военному да и говорить: «— Нельзя ли моему мужу лобъ забрить?» Я какъ услыхалъ—прямо въ окно, да бѣжать. Вотъ отъ этого-то и здѣсь очутился; не знаю, какъ отсюда-то Богъ вынесетъ»...

Кривоноговъ вздыхалъ и принимался за работу.

Если иногда случалось, что подмастерье записывалъ и начиналъ поговаривать, что самъ господинъ хозяинъ передъ нимъ ничего не стоитъ, то хозяинъ, т. е. Прохоръ Порфирычъ, бралъ его за шиворотъ, тащилъ въ амбаръ и, толкнувъ туда, запиралъ дверь на замокъ.

— И покорѣйше васъ благодарю! говорилъ на это Кривоноговъ, очутившись гдѣ-нибудь въ углу среди корытъ и пустыхъ мѣшковъ.

Обремененный разными невзгодами, подмастерье не переставая работалъ цѣлые дни, и, подъ защитою его двухъжилыхъ трудовъ, Прохоръ Порфирычъ не спѣша обдѣлывалъ свои дѣла. Главною задачею его въ эту пору было оставлять въ своемъ кабинетѣ по возможности самую большую часть той красненькой, которая получалась за проданный револьверъ, т. е. отдѣлать изъ нея *по возможности* какъ можно меньше въ пользу кузнецовъ и другихъ лицъ, которыя участвуютъ своими трудами, и уплачивать имъ, если можно, натурою, въ «надобное» время. Сообразно съ такими планами, Прохоръ Порфирычъ особенно цѣнилъ только два дня въ недѣлѣ: понедѣльникъ и субботу.

Понедѣльникъ былъ для него потому особенно дорогъ, почему для прочаго рабочаго люда онъ былъ невыносимъ. Въ понедѣльникъ Прохоръ Порфирычъ дѣлалъ дѣла свои потому, что вся «мастеровщина» города въ этотъ день не имѣла силъ ударить палецъ объ палецъ, утверждая, что въ этотъ день

работаютъ «ляткины дѣти», а всѣ настоящіе люди рыщутъ цѣлый день, желая отдать душу дьяволу, только бы опохмѣлиться. И этотъ-то общій недугъ доставляетъ въ руку Порфирыча нѣсколько такихъ недужныхъ субъектовъ живьемъ. Но до этого имъ приходилось пройти еще многое множество рукъ, всегда достаточно цѣпкихъ и много способствующихъ успѣху Порфирыча. Дѣло совершалось при-мѣрно такимъ путемъ.

Приятный для Прохора Порфирыча субъектъ пробуждался въ понедѣльникъ въ какой-то совершенно неизвѣстной ему мѣстности. Только самое тщательное напряженіе разбитой «послѣ вчерашняго» головы приводило его къ заключенію, что это или архіерейская дача, за пять верстъ отъ города, или засѣка, за четырнадцать верстъ, или, наконецъ, родная улица и жена со слезами, упреками или поднятыми кулаками. Успокоившись насчетъ мѣстности, бѣдная голова мастерового успѣваетъ тотчасъ же проклясть свое каторжное существованіе, даетъ самый рѣшительный зарокъ не пить, подкрѣпляя это самою искреннею и самою страшною клятвою, и только выговариваетъ себѣ льготу на нынѣшній день, и то не пить, а опохмѣлиться. Такое богатство мыслей совершенно не соответствуетъ виѣшнему виду мастерового: на немъ нѣтъ ни шапки, ни чуйки, куда-то исчезли новенькіе «коневые» сапоги, но почему-то уцѣлѣла одна только «жилетка». Мастеровой понимаетъ это событіе такъ: около него возмались не воры-разбойники, а, быть можетъ, первые друзья-пріатели, которые, точно такъ же, какъ и онъ, проснулись съ готовыми лопнуть головами и такіе же полуразбитые совѣсть. Тотъ, кто оставилъ на мастеровомъ «жилетку», думалъ такъ:

— «Чай и ему надо похмѣлиться-то тѣмъ-нибудь!»

И пошелъ искать въ другое мѣсто.

Сожалѣнія о коневыхъ сапогахъ и чуйкѣ, терзанія больной головы, проклятія мало по малу исчезаютъ въ размышленіяхъ надъ «жилеткой», и въ особенности въ сомнѣніи относительно того, какъ на этотъ предметъ посмотреть Данило Григорычъ.

Полная, здоровая фигура Даниила Григорыча уже давнымъ давно красуется на высокомъ кабацкомъ крыльцѣ. Поправляя на животѣ поясокъ, написанный словами какой-то молитвы, онъ солидно раскланивается съ «стоящими» людьми, или, понимая смыслъ понедѣльника, принимается набивать стойку цѣлыми ворохами перемѣнокъ. Подъ этимъ именемъ разумѣется всякая «ношебная» рвань, совершенно негодная ни для какого употребленія: старые халаты, сто лѣтъ тому назадъ пущенные семинаристами въ закладъ и прошедшіе огонь и воду, лишившись въ житейской битвѣ полы, рукавовъ, цѣлаго квадрата въ спинѣ, и пр. Вся эта рвань предназначается для несчастныхъ птицъ понедѣльника, которые то и дѣло заматаютъ сюда, оставляя въ закладъ чуйки, жилетки и облачаясь въ это уродское тряпье для того, чтобы хоть въ чемъ-нибудь добраться домой.

Весело похаживаетъ Данило Григорычъ; по

временамъ онъ заплѣвываетъ какую-нибудь духовную пѣснь: «Господи помилуй»... или идетъ за перегородку, откуда скоро, выйдя съ его смѣхомъ, слышится захлебывающійся женскій смѣхъ.

— Грѣхъ! слышно за перегородкой.

— Эва!.. баситъ Данило Григорычъ.

На крыльцѣ кто-то оступился отъ слишкомъ быстрого вбѣга, и передъ Данииломъ Григорычемъ, солидно обдергивающимъ подолъ ситцевой рубахи, вырастаетъ полуобнаженная и словно на морозѣ трясущаяся фигура. Данило Григорычъ спокойно помѣщается за стойкой.

— Сдѣл... милость! хрипѣть фигура, подсовывая жилетку, и болѣе ничего не въ силахъ сказать. — Сдѣл... милость!

— Покажь-ко, за что миловать-то еще?

Начинается самая мучительная ревизія всѣхъ дыръ жилета. Данило Григорычъ третъ ее мокрымъ пальцемъ, разсматриваетъ на свѣтъ, словно фальшивую бумажку.

— Сдѣл... милость! Ахъ ты, Боже мой! а? царапая всклокоченную голову, хрипѣть фигура. — Данило Григорычъ! Сдѣл... милость... Ахъ тты, Боже мой!

Мучитель швыряетъ жилетъ подъ стойку и говоритъ мастеровому, тыкая себя пальцемъ въ грудь:

— Только един-ствен-но моя одна доброта!

— Отецъ!.. Да развѣ... Ахъ ты, Боже мой!..

Данило Григорычъ съ сердцемъ отеупориваетъ кривымъ шиломъ полштофъ, съ тѣмъ же ожесточеніемъ суетъ маленькій стаканншко, склеенный и сургучемъ, и замазкой, почему потерявшій очень много въ своемъ и безъ того незначительномъ объемѣ.

Ужасъ охватываетъ мастерового.

— Данило Григорычъ! Побойся Бога!

— Я говорю: истинно только изъ одной жалости... Повѣрь ты мнѣ... Я съ тебя Богъ знаетъ чего не возьму божиться... Для того, что видѣть я не могу этого вашего мученія!

— Данило Григорычъ! Отецъ! Да ты что же это мнѣ?... Опять стало-быть на недѣлю испорченъ? Данило Григорычъ!

Цѣловальникъ молча ставитъ полштофъ на прежнее мѣсто.

— Данило Григорычъ! умоляя хрипѣть мастеровой. — Ради Самаго Господа Бога... Данила Григорычъ!..

— Я тебѣ-бъ говорю, — хочешь, а не хочешь...

— Сто-сто-стой! Что ты? Сдѣлай милость!.. Ахъ ты, Господи...

— Для Господа, я такъ полагаю, пьянствовать нигдѣ не показано... Нуко-сь, поправляйся махонькой.

Мастеровой долго смотритъ на стаканншко съ самымъ жестокимъ презрѣніемъ, съ горя плюетъ въ сторону и наконецъ пьетъ...

Долго тянется молчаніе. Слышно хрустѣніе соленого огурца.

— Нѣтъ, говорятъ наконецъ мастеровой, немного опомнившись. — Я все гляжу, какова обчистка?..

— Спороворено по закону...

— А?.. Одну жилетку?.. Это как же будет?..

— Скажи еще за жилетку-то «слава Богу!».

— И ей-Богу скажешь!..

— Еще как скажешь-то...

— Ей-ей... Ещо, слава Богу, хоть жилетку оставил!.. Ах ты, Боже мой!.. а?.. Обчи-и-стка-а... ай-ай-ай... а?.. Бая-овые сапоги, один, «душа вонь», пять цалковых, один!.. Да вѣдь какой конь-то!..

— Эти что-ль?

Цѣловальникъ вынесъ изъ-за перегородки два сапога...

— Он-ни! он-ни! завопилъ мастеровой, простирая руки. — Ахъ, братецъ ты мой!.. Какъ есть они самые.

— Ну, теперь не воротись!..

— Гдѣ воротить!.. не воротить!

— Теперь нѣтъ!

— Теперь, избави Богъ, ни въ жисть не вернутъ... Они какъ есть!.. Обчистка!

Мастеровой развелъ руками.

— То-то и есть: говорилъ я тебѣ... ой, не больно конями-то своими вытанцовывай...

Идешь долгое правоученіе.

— И опять же скажу, это на васъ отъ Господа Бога поущеніе... Докуда вамъ мамонѣ угождать?.. заключаетъ цѣловальникъ.

Мастеровой вздыхаетъ и скребетъ голову...

— Данило Григорычъ! умильно начинать онъ, голосъ его принимаетъ какой-то сладкій отбѣнокъ. — Сдѣлай милости!.. маленькую!..

Данила Григорыча охватываетъ гнѣвъ. Не отвѣчая, онъ въ одну секунду успѣваетъ нарядить посетителя *въ перемѣну* и за плечи ведетъ къ двери.

— Маленькую! отецъ!

— Ступ-пай! Ступай съ Богомъ!

— Попрюмочки!

— Ступай-ступай!..

— Какъ же быть-то?

— Думай!

— Думать? Вѣдь и то пожалуй надо думать...

— Дѣло твое!

— Надо думать!.. Ничего не подѣлаешь!..

Черной тучей вваливается мастеровой въ свою лачугу и, не взглянувъ на омертвѣвшую жену, твердыми ногами направляется къ кровати, предварительно съ размаху налетая на уголъ печки и далеко отбрасывая пьянымъ тѣломъ люльку съ ребенкомъ, висящую тутъ же на покровкахъ, прицѣпленныхъ къ потолку. Не успѣла жена всплеснуть руками, не успѣла сдавленнымъ отъ ужаса голосомъ прошептать: «разбойникъ!» — какъ супругъ ея, съ какимъ-то ворчаньемъ бросившійся ничкомъ на постель, уже заснулъ мертвымъ сномъ и храпѣлъ на всю лачугу. Испуганный этимъ храпомъ, ребенокъ вдрагивалъ ногами и плакалъ. Опѣленные бѣдной бабы разрѣшается долгими слезами и причитаньями... А мужъ все храпитъ... Наконецъ рыдающая жена рѣшается на минуточку сходить къ сосѣдкѣ. На-скоро рассказываетъ она пріятель-

ницѣ, въ чемъ дѣло, занимается до вечера хлѣба и тотчасъ же возвращается домой. Прямо подъ ноги ей бросаются изъ избы три собаки, съ явными признаками молока на мордѣ. Чужа погибелъ молока, припасеннаго ребенку, она дѣлаетъ торопливый шагъ черезъ порожекъ и наталкивается на пустой сундукъ съ отломанной крышкой; въ сундукѣ нѣтъ платья, на стѣнѣ нѣтъ старой чуйки, на кровати нѣтъ мужа, а люлька съ ребенкомъ описываетъ по изобѣ чудовищные круги, попадая то въ печку, то въ стѣну. Окончательно убитая баба долго не можетъ ничего сообразить и вдругъ пускается въ догонку...

Въ это время мужъ ея съ какими-то истинно-артистическимъ азартомъ выдѣлывается въ дальнемъ концѣ улицы удивительные скачки: иногда онъ словно подпрыгиваетъ, а вмѣстѣ съ нимъ пляшетъ и хвостъ женскаго платья, выбившагося изъ-подъ «перемѣнки».

— Держи, держи!.. голоситъ баба, путаясь въ подолахъ отнявшихся и онѣмѣвшихъ ногамъ: — ахъ, ахъ, ахъ... Разбойникъ! Грабитель!

Какой-то лабазникъ сталъ ей поперекъ дороги, растопыривъ руки, словно останавливалъ вырвавшуюся лошадь. Прохожій солдатъ обнялъ на ходу и раза два повернулся съ ней. Остановился и засмѣялся чиновникъ съ женой... А супругъ въ это время уже поровнялся съ хранивою Даниила Григорыча и съ разлета всѣмъ тѣломъ распахнулъ обѣ половинки дверей.

Добралась наконецъ и баба. Мужа не было.

— Гдѣ мужъ? едва перевода духъ, закричала она. — Подай! Слышишь? Сейчасъ ты мнѣ его подай, кровопійцу...

— Я съ твоимъ мужемъ не спалъ! категорически отвѣтилъ Данило Григорычъ. — Ты его супруга, ты и должна его при себѣ сохранять...

— Подай, а тыбѣ говорю!

Баба вся помертвѣла отъ негодованія.

— Сосѣю минутую мнѣ мужа маво!.. Знать я этого не хочу!..

Цѣловальникъ усѣхнулся.

— Маланя! прозвищъ онъ, направляя слова за перегородку. — Вотъ баба мужа обронила... Сдѣлай-те милость, присовѣтуйте!

— Хх-хх-и-и-хх-хх-хх! раскатилось за перегородкой.

— Шкура! заорала баба. — Мнѣ на твои сѣдхи наплевать!.. Твое дѣло распутничать, а я ребенку мать!

— Чтобъ те разорвало!..

— Ахъ ты!..

— Что за Севастополь такой? громче всѣхъ закричалъ цѣловальникъ. — Ишь, генералъ Бебутовъ какой... мутить сюда пришла? Такъ я опять же тебѣ скажу, — мужа твоего здѣсь не было!

— Не было-о?

— Нѣту! Проваливай съ молитвой! Къ Омиину убѣжалъ.

— Къ Омиину-у?

— Къ нему. Съ Бог-гомъ! Въ окно высочилъ.

Баба замолчала, тихонько заплакала и медленно пошла къ двери.

— Все ли взяла? Какъ бы чего не забыть?... подтрунивать цѣловальникъ.

— «А я вотанъ, а я во-о...» вдругъ загѣлъ кто-то...

Баба увнала голосъ мужа. Но гдѣ раздавалось это пѣніе, — на чердакѣ ли, подъ поломъ ли, или на улицѣ, — рѣшительно разобрать было нельзя. Тѣмъ не менѣе баба бросилась на хохотавшаго цѣловальника.

— Подавай! Сейчас подавай! Я тебѣ голову разобью!

Хохоталъ цѣловальникъ, хохотала баба за перегородкой, и пѣніе опять возобновилось.

— Разбойники! Дьяволы! У меня корки нѣту... Подав-вай сейчас!

— А я вотанъ, а я во, а я во, а я во,—хооо!.. Смѣхъ, гамъ, слезы...

— Ну, съ Богомъ! заговорилъ цѣловальникъ рѣшительно и повелъ бабу на лѣстницу.

— Я на тебя, извергъ ты этакой, коносилось съ улицы: во сто разъ наведу на-ашенникъ! Я тебя, живодера этакого, начальствомъ заставлю...

— Ду-ура! Нѣту такого начальства, башка-а! Гдѣ же это ты такое начальство нашла, чтобы не пить? рожа-а! рѣзко и внушительно говорилъ цѣловальникъ, высовывая голову на улицу. — Въ начальствѣ ты на маковое зерно не смысли-ишь!.. Какого ты начальства будешь искать? Прочь отсюда, падалъ!

Баба долго кричала на улицѣ.

Цѣловальникъ, разгоряченный послѣднимъ монологомъ, плотно захлопывалъ дверцы.

— Не торопись! остановилъ его Прохоръ Порфирычъ, отпихивая дверь: — совсѣмъ было прищемить!..

— А! Прохоръ Порфирычъ! Добраго здоровья... Виновать, батюшка! Съ эстии съ бабами то-есть не приведи Богъ... Прому некорно.

— Ай ушла? шепотомъ проговорилъ мастеровой, приподымая головой крышку маленькаго негребя, устроеннаго подъ поломъ за стойкой, у подножія Даниила Григорыча.

— Ушла!.. Ну, братъ, у тебя ба-аба!..

— О-о!.. У меня баба смерть!

Мастеровой выползъ изъ погребя, весь въ паутинѣ, и сталъ добавлять пеклеванку...

— Какую жуть нагнала-а? спросилъ онъ, улыбаясь, у цѣловальника.

Тотъ тряхнулъ головой и обратился къ гостю:

— Ну, что же, Прохоръ Порфирычъ, какъ Богъ милуетъ?

— Баними молитвами.

— Нашими? Дай Господи! За тобой двадцать двѣ!..

— Ну, чтожъ, сказалъ мастеровой: — эо бѣда какая!

Въ это время изъ-за перегородки выползла дородная молодая женщина, съ большой грудью, колыхавшейся подъ бѣлымъ фартукомъ, съ распотѣлымъ свѣжимъ лицомъ и синими глазами; на головѣ у нея былъ платокъ, чуть связанный концами на груди. По дородности, лѣни и множеству всего краснаго, навѣшаннаго на пей, можно было заклю-

чить, что цѣловальникъ «держалъ при себѣ бабу» на всякій случай.

Прохоръ Порфирычъ засвидѣтельствовалъ ей почтеніе.

— Что это, Данило Григорычъ, заговорила она: — вы этихъ бабъ пущаете... Только одна срамота черезъ это!

— Будьте покойны! витѣпался захмѣлѣвшійся мастеровой: — она не помѣтитъ этого... Главное дѣло, обратился онъ къ Порфирычу шепотомъ: — а ей сказала: Алена!.. Я этого не могу, чтобы каждый годъ дите!.. чтобы этого не было!.. Мнѣ такое дѣло нельзя!

— Ну, и что же? спросилъ цѣловальникъ.

— Говорить: не буду! Потому я строго...

— Маланъ! ухмыляясь, прошепсѣлъ цѣловальникъ. — Вотъ бы такъ-то... а?..

— Вы все съ глупостями.

— Ххе-ххе-ххе!..

Мастеровой тоже засмѣялся и прибавилъ:

— Нѣтъ, надо стараться!.. И такъ голова кругомъ ходитъ!

Цѣловальничья баба отвернулась. Прохоръ Порфирычъ кашлянулъ и вступилъ съ ней въ разговоръ:

— Ну, что же, Маланъ Иванна, по своимъ по Башкиру тужите?

— Чего-жъ объ немъ... Только что сродственники...

— Да-съ... родные?..

— Родные! Только что вотъ это. Конечно жалко, ну, все я такой каторги не вижу, когда братецъ Иванъ Филипычъ однимъ мастерствомъ своимъ меня задушилъ... Они по коначей части... одно поглядѣе на такую гадость... тѣфу!

— А все деньги!..

— Ну-у ужъ... гадость какая!

— Данило Григорычъ! шепталъ мастеровой, колотя себя въ грудь. — Передъ истиннымъ Богомъ...

— Ты еще мнѣ за стекло должеть! Помнишь!.. гудѣлъ Данило Григорычъ.

— Данило Григорычъ!..

— Ну, Маланъ Иванна! а въ нашемъ городѣ что же вы? пужаетесь?

— Пужаюсь!

— Пужливы?..

— Страсть, какъ пужлива... Сейчасъ вся задрожу!..

— Да, дда, да... Мѣсто новое...

— Да и признаться, все другое, все другое... За что ни возмись... Опять народъ горластый!..

— П-па какому же случаю я тебѣ дамъ? восклицаетъ въ гнѣвъ Данило Григорычъ.

— Данило Григорычъ! Отецъ!

— Народъ горластый и опять-же, чуть маломало, сейчасъ драка! Норовитъ какъ бы кого...

— Въ ухо!.. Это вѣрно! Потому вы нѣжныя?.. покашиваясь на мастерового, ласково произноситъ Прохоръ Порфирычъ.

— Нѣжная!..

— Умру! умру! заоралъ мастеровой, упавъ на колѣни.

— А чудакъ человѣкъ! Ну, изъ-за чего же я...
 — Баплю, дьяволъ, баплю!
 — Что? Что такое? заговорилъ, нехотя повернувъ голову къ спорящимъ, Прохоръ Порфирычъ.
 — Въ чемъ разсчитать?

— Да ей - Богу, совсѣмъ малый вѣзѣлся...
 Просить колупнуть, но какъ же я ему могу дать?

— Любезный, заступись!.. Я ему, душегубу, за безпѣнокъ цволь (стволь ружейный). Цѣна ему два цѣлковыхъ... Прошу полштофъ, а?

— Что же ты, Данило Григорычъ! пронеси Профирычъ.

— Ей-ей не могу. Мы тоже съ этого живемъ...

— Покажь! сказалъ Порфирычъ:—что за цволь!..

У мастерового отлегло отъ сердца.

— Другъ, заговорилъ онъ, осторожно касаясь груди Порфирыча:—тебѣ передъ истиннымъ Богомъ поручусь, полпуда пороку сыпь.

— Посмотримъ, попытаемъ.

Цѣловальникъ вынесъ кованный пистолетный стволь, на которомъ мѣломъ были сдѣланы какія-то черты. Прохоръ Порфирычъ принялся его пристально разсматривать.

— Сейчасъ околѣть, говорилъ мастеровой:—Дюженцеву дѣлалъ!.. Еще къ той субботѣ велѣлъ... Я было понадѣлся, понесъ ему въ субботу-ту, а его угорѣлаго дома нѣту... Рыбу, вишь, пошелъ ловить... Ахъ, молъ, думаю, чтобъ тебѣ!.. Ну, оставить-то безъ него поопасался...

— Да ко мнѣ въ сохранное мѣсто и принесть! добавилъ цѣловальникъ:—чтобы лучше онъ проспиртовался... чтобы крѣпче!

Мастеровой засмѣялся.

— Оно одно на одно и вышло, проговорилъ онъ:—Дюженцевъ этотъ и съ рыбкою-то совсѣмъ пьяный утопъ...

— Вотъ такъ-то!

— Ахъ и цволь-же! ежели бы на охотника...

— Это что же такое?.. произнесъ Порфирычъ, отыскать какой-то изъяснъ.

— Это-то? Да другъ ты мой!

— Я говорю, это что? Это работа?

— Ну, ей-Богу, это самое пустое: чуть-чуть молоточкомъ прищемленно...

— Я говорю, это работа?

— Да ты сейчасъ ее подпилюмъ! Она ничуть, ничево!

— Все я же? Я плати, я и подпилюмъ? Получи, братъ...

Прохоръ Порфирычъ кладетъ стволь на стойку, садится на прежнее мѣсто и, дѣлая папиросу, говорить бабѣ:

— Такъ пужаетесь?

— Пужаюсь! Я все пужаюсь...

— Ангелъ! перебиваетъ мастеровой. — Какая твоя цѣна? Я на все; только хоть чуточку мнѣ помощи защиты, потому мнѣ смерть.

— Да какая моя цѣна? солидно и неторопливо говоритъ Порфирычъ:—Данилу Григорычу, чать, рубль ассигнаціями за него надо?

— Это надо!.. Это безпремѣнно!..

— Вотъ-то-то! Это разъ. Все я же плати... А

второе дѣло, это колдобина, на цволу-то, это тоже мнѣ не статья...

— Да я тебѣ, сейчасъ умереть...

— Погоди! Ну, пушай я самъ какъ ни какъ ее сравняю, все же набавки я большой не въ силахъ дать...

— Ну, примѣрно? на глазомѣръ?

— Да примѣрно, что-же?.. Два большихъ полыхнешь за мое здоровье; больше я не осмѣлю...

— Куда жъ это ты Бога-то дѣвалъ?

— Ну ужъ, это дѣло наше.

— Ты про Бога своими пьяными устами не очень! прибавляетъ цѣловальникъ.

Настаетъ молчаніе.

— Такъ вы, Маланъ Иванна, пужаетесь все?

— Все пужаюсь. Мѣсто новое!

— Это такъ. Опасно!

— Три! отчаянно вскрикиваетъ мастеровой. Чтобъ вамъ всѣмъ подавиться...

— Давитесь намъ нечего, спокойно произносятъ цѣловальникъ и Порфирычъ.

— А что «три», прибавляетъ послѣдній:—это еще я подумаю.

— Тѣфу! Чтобъ вамъ!

— Дайко-съ цволь-то!

— Ты меня втрое пуще моей муки измучилъ!

Порфирычъ снова разсматриваетъ стволь и наконецъ нехотя произноситъ:

— Дай ему, Данило Григорычъ!

— Три?

— Да ужъ давай три... Что съ нимъ будешь дѣлать... Малый-то дюже тово... захворалъ «чихоткой».

Мастеровой почти залпомъ пьетъ три большихъ стакана по пятаку, обдастъ всю компанію цѣлымъ проливнемъ нецеремонной брани и снова пьяный, снова разбитый, при помощи услужливаго толчка, пущеннаго услужливымъ цѣловальникомъ, скатывается съ лѣстницы, считая ступени своимъ обезсиленнымъ тѣломъ. Прохоръ Порфирычъ спокойно прячетъ въ карманъ доставшійся ему за безпѣнокъ стволь и снова обращается къ цѣловальничьей бабѣ, предварительно вскинувъ ногу на ногу.

— Такъ вы, Маланъ Иванна, утверждаете, что главнѣе по кошачей части, то есть на родинѣ?..

— По кошачей! Такія непріятности!

— Конечно! Какое же удовольствіе?

Такой образъ дѣйствія Прохоръ Порфирычъ называетъ умѣнѣемъ пографлять въ «надобную минуту», а въ понедѣльникъ могъ имъ пользоваться въ полное удовольствіе, употребляя при этомъ почти одиѣ и тѣ же фразы, ибо общій недугъ понедѣльника слагать сцены съ совершенно одинаковымъ содержаниемъ.

Побесѣдовавъ съ цѣловальничихой, Прохоръ Порфирычъ отправлялся или домой, унося съ собою груду шута приобретенныхъ вещей, или же шелъ куда-нибудь въ другое небезвыгодное мѣсто. Между его знакомыми жилъ на той сторонѣ мѣщанинъ Лубковъ, который былъ для Порфирыча выгоденъ одинаково во всѣ дни недѣли.

Мѣщанинъ Лубковъ жилъ въ большомъ ветхомъ домѣ, съ огромной гнилой крышей. Самая фигура дома давала нѣкоторое понятіе о характерѣ хозяина. Гнилыя рамы въ окнахъ, прилипнувшія къ нимъ тонкія кисейныя занавѣски мутно-синяго цвѣта, оторванныя и болтавшіяся на одной петлѣ ставни, алаяпатыя подпорки къ тому, упиравшіяся однимъ концомъ чуть не въ середину улицы, а другимъ въ выпятившуюся гнилую стѣну, все это весьма обстоятельно дополняло безпечную фигуру хозяина. Въ лѣтнее время онъ по цѣлымъ днямъ сидѣлъ на ступенькахъ своей лавчонки. Вслѣдствіе жары и тучности ноги были босикомъ, на плечахъ неизмѣнно присутствовалъ довольно ветхій халатъ, значительно пожелтѣлый отъ поту и съ особеннымъ стараніемъ облипавшій выпуклости на тучномъ хозяйскомъ тѣлѣ. Такой легкій лѣтній костюмъ завершался картузомъ, истрепаннымъ и засаленнымъ съ затылка до послѣдней степени. Безпорядокъ, отпечатывавшійся на домѣ и на хозяинѣ, отмѣчалъ едва-ли не въ большей степени и всѣ дѣйствія его. Сначала онъ занимался разведеніемъ фруктовыхъ деревьевъ; дѣло тянулось до смерти жены, послѣ чего Лубковъ вдругъ началъ для разнообразія торговать говядиной, но, не умѣя «разсчитать», сталъ давать въ долгъ и проторговался. Кризисы такіе Лубковъ переносилъ необыкновенно спокойно, и въ тотъ моментъ, когда наур. торговля говядиной была рѣшительно невозможна, онъ велъ за рога корову на торгъ, продавалъ ее, на вырученныя деньги покупалъ водовозку и принимался не спѣша за водовозничество. Точно съ такимъ же нерасчетомъ завелъ онъ кабакъ, который самъ и посѣщалъ чаще всѣхъ, хлѣбную пекарню и пр., и на всемъ спокойно прогорѣлъ. Къ довершенію своей добродушно-безтолковой жизни, онъ опять женился на молоденькой дѣвушкѣ, имѣя на плечахъ пятьдесятълѣтъ, и, благодаря этому пассажи, имѣлъ возможность хоть разъ въ жизни чему-нибудь удивиться и вытаращить глаза. У него родился сынъ. Событіе было до того неожиданно, что Лубковъ рѣшился оставить на нѣкоторое время свое любимое мѣстопребываніе, крыльцо, и направился къ женѣ:

— Наталья Тимофеевна, сказалъ онъ ей, почесывая голову: — это... что же такое будетъ?

— Убирайся ты отсюда... знаешь куда? много ты тутъ понимаешь!

— Да и то ничего не разберу...

— Ишолъ!..

Черезъ минуту Лубковъ попрежнему сидѣлъ на крыльцѣ. Спокойствіе снова осыпало его. Раздумывая надъ случившимся, онъ улыбался и бормоталъ:

— К-комиссія!..

Шли годы и нерѣдко ребята, т. е. мастеровой народъ, имѣя случай посѣщаться надъ Лубковымъ, извѣщали его о близкой прибылѣ въ то время, когда онъ, казалось, и не подозрѣвалъ этого.

Нѣсколько лѣтъ такихъ неожиданностей и насмѣшекъ снова нарушали покой Лубкова. Онъ вторично покинулъ свое сѣдалище съ цѣлью поговорить съ женой.

— Наталья Тимофеевна! сказалъ онъ ей: — вы сдѣлайте мнѣость, осторожнѣе...

— Нѣтъ, ты сперва двадцать разъ подавись, да тогда и приходи съ разговорами!

— Хоть по крайности сказывайтесь мнѣ... въ случаѣ чего...

— Пошолъ!..

Постигнувъ наконецъ, что ему безвинно суждено быть отцомъ многочисленнаго семейства, Лубковъ на шутки ребятъ отвѣчалъ:

— А ты бы, умный человекъ, помалчивалъ бы, ей-Богу! Во сто бы тысячъ разъ было превосходнѣе, ежели бы ты молчкомъ норовилъ... такъ-то!

Въ настоящее время у него попрежнему существовала лавка, но родъ промышленности былъ совершенно непостижимъ, потому что лавка была почти пуста. Въ углахъ висѣли большія гирлянды паутины, съ потолка свѣшивалась какая-то веревка, которую Лубковъ собирался снять втѣченіи десяти лѣтъ, а на полкахъ помѣщались слѣдующіе предметы: ящики съ ржавыми гвоздями, куски желѣза, шкворень, всякій желѣзный ломъ и полштофъ съ водкой. Болѣе ничего въ лавкѣ и не было, кромѣ дивана, накрытаго рогожей. На этомъ диванѣ любила сидѣть жена Лубкова и обыкновенно во время этого сидѣнья занималась руганьемъ мужа на всѣ лады. Неподвижная спина Лубкова, подставленная подъ ругательскія рѣчи жены, лѣнивое почесыванье за ухомъ или въ головѣ, среди самыхъ патетическихкихъ мѣстъ ея, смертельно раздражали разгнѣванную супругу.

— Демонъ! вскрикивала она въ ужасѣ.

Мужъ встрахивалъ головой, и сдвинутый на сторону картузъ снова сидѣлъ на прежнемъ мѣстѣ.

Другого отвѣта не было.

Въ понедѣльникъ въ лавкѣ Лубкова было довольно много посѣтителей и происходило что-то вроде торговли. Дѣло въ томъ, что потребность опохмѣлиться загоняла даже къ Лубкову цѣлыя толпы бѣднѣйшихъ подмастерьевъ, которые, за неимѣніемъ своего, тащили добро хозяйское: въ сапогахъ или потаенныхъ карманахъ, придѣланныхъ внутри чуйки, тащили они къ Лубкову мѣдную «обтирику» или драгу, цѣлые вороха всякаго сборнаго желѣза по копѣйкѣ или по двѣ за фунтъ. Все это у него тотчасъ же покупали люди понимающіе. Иногда и самъ Лубковъ принимался какъ будто дѣлать дѣло: онъ выбиралъ изъ сборнаго желѣза годные въ дѣло петли, крючки, ключи, откладывалъ ихъ въ особое мѣсто и при случаѣ продавалъ не безъ выгоды. Иногда въ общей массѣ желѣзнаго лома попадались какія-нибудь рѣдкостныя вещицы, напримѣръ замкъ съ фокусомъ и таинственнымъ механизмомъ. Ради этихъ диковинокъ заходилъ сюда и Прохоръ Порфирычъ, имѣя въ виду «охотниковъ», которымъ онъ сбывалъ любопытныя вещи за хорошую цѣну, платя Лубкову копѣйками, на что впрочемъ тотъ не претендовалъ.

Лубковъ по обыкновенію молча сидѣлъ на ступенькахъ крыльца, когда съ нимъ поровнялся Прохоръ Порфирычъ.

— А-а! Батюшка, Прохоръ Порфирычъ! Въ копѣйки!..

— Что же это ты въ магазинъ-то своемъ не сидишь?..

— Да такъ надо сказать, что приказчики у меня тамъ орудуютъ...

— Торговля?

— Хе-хе-хе.

Порфирычъ вошелъ въ лавку и, помѣстившись на диванѣ, принялся дѣлать папирску.

— Подтичь маленька хлѣбушка испечь, пронанесь хозяйнѣ, крѣпко поднимаясь съ сидѣнья, и пошолъ въ лавчонку наплетивъ; подъ парусиннымъ пологомъ торговать хлѣбникъ, на прилавкѣ были навалены булки, калачи, огурцы и стояла толпа бутылокъ съ квасомъ, шипѣвшимъ отъ жары. Подойдя къ лавчонкѣ, Лубковъ долго чесалъ спину, глубоко повидимому вдумываясь и въ квасныя бутылки, и въ огурцы и въ ковриги хлѣба. Наконецъ онъ коснулся пальцемъ о бѣлый вѣсовый хлѣбъ и сказалъ:

— Ну-кося! замахнись на три фунтика!

Въ то же время въ самомъ «магазинѣ» происходила слѣдующая сцена. Рядомъ съ Прохоромъ Порфирычемъ на диванѣ помѣстилась молодая, черномазенькая, смазливая жена Лубкова, въ маленькой шерстяной косынкѣ на плечахъ, изображавшей красныхъ и черныхъ змѣй или пожалуй пѣвочку.

— Ты что-же, домовою, говорила она Порфирычу:—когда-же мнѣ платокъ-то принесешь?..

— Да ты и безъ платка выйдешь!

— Ну, это ты вотъ, наось!

— Эй Богу выдешь! Потому я на тебя твоему главному донесу?

— Мужу-то? Лѣшему-то?

— Н-нѣтъ, Евстигнееву...

— Проща! ошарашивъ по плечу еще глубѣе улыбавагося Порфирыча, воскликнула собесѣдница:—я тебѣ тогда, издохнуть! башку прошибу...

— Хе-хе-хе!

Молчаніе...

— Прохоръ! заговорила опять жена Лубкова. —Если это твой поступокъ, то я съ тобой, со свиньей... Тыфу! Приходи вечеромъ... Чортъ съ тобой!..

— Безъ платка?

— Возьмешь съ тебя, съ выжиги...

И она еще разъ огрѣла его по плечу.

Порфирычъ улыбался во все лицо.

Въ это время на порогъ показался Лубковъ; онъ несъ подъ мышкой большой кусокъ вѣсоваго хлѣба, придерживая другой рукой конецъ полы своего халата, которая была наполнена огурцами. Сваливъ все это на стойку, онъ взялъ одинъ огурецъ и, шмыгая имъ по боку, говорилъ Порфирычу:

— Какая, братецъ ты мой, комедія случилась... Алешку Зуева, чать, знаешь?

— Ну?

— Ну. То есть истинно со смѣху уморилъ!.. Малый-то замотался, опохмѣлиться нечѣмъ. Что будешь дѣлать!.. Сажу я, никакъ вчерась, вотъ такъ-то, на крылечкѣ, гляжу, что такое: тащить человѣкъ на себѣ ровно бы ворота какія. Посмотрю, посмотрю, ко мнѣ!.. «Алеха!» «Я». — «Что ты, дуракъ?» — «Да вотъ, говорить, сдѣлай милость, нѣтъ

ли на полштофъ, а тебѣ приволокъ машину въ сто себрюмъ...» — «Что такое?» — «Надгробіе», говорятъ. Такъ я и повалился! Это онъ съ хладбища сволокъ. — «Почитай-нось, говорить, что тутъ написано?»... Началъ я разбирать. «Пом-мя-ни». — «Ну, вотъ я и помяну», говорить... Хе-хе-хе!

Смѣхъ...

Лубковъ откусываетъ полъ-огурца.

— Камедія! говорятъ онъ, усаживаясь снова на крылечкѣ.

Настаетъ общее молчаніе. Жена Лубкова грозитъ кулакомъ около самого носа Порфирыча. Тотъ сладко улыбается, полузакрывъ глаза...

Въ обиталищѣ Лубкова онъ дѣлалъ дѣла пополамъ съ шуткой; но я не стану изображать, какии образомъ тутъ въ руки Порфирыча попадала та или другая нужная ему вещьца, открытая въ ящикѣ съ сборнымъ жалѣемъ. Все это дѣлается «спрохвала», тянется отъ нечего-дѣлать долго, не виѣстъ съ тѣмъ, благодаря талантамъ Порфирыча, не несетъ на себѣ ничего отталкивающаго. Самый процессъ обирая Лубкова весьма милъ. Жадности или алчности не было вообще замѣтно въ дѣйствіяхъ Прохора Порфирыча: на его долю приходилось слишкомъ много такого, что можно было брать навѣрняка, безъ подвоховъ и подкоховъ; да кромѣ того, даже при такомъ тихомъ образѣ дѣйствій, Порфирычъ могъ еще подготавливать себѣ *надобную* минуту. Уходя отъ нужнаго человѣка домой, онъ находилъ полную возможность сказать ему: «такъ смотри же, *я* тобой остался... Помни!». Вообще, особенность Прохора Порфирыча состояла въ умѣнн смотрѣть на бѣдствующаго ближняго одновременно и съ презрительнымъ сожалѣніемъ, и съ холоднымъ равнодушіемъ, и расчетомъ, да еще въ томъ, что такой взглядъ осуществленъ имъ на дѣлѣ прежде множества другихъ растеряевцевъ, тоже понимавшихъ дѣло, но незнавшихъ еще, какъ сладить съ собственнымъ сердцемъ.

Взявъ отъ понедѣльника все, что можно взять навѣрняка, Прохоръ Порфирычъ, спокойный и довольный, возвращался домой. Поджидая у перевоза лодку, онъ присѣлъ на лавочкѣ, закурилъ папирску и разговорился съ своимъ сосѣдомъ. Это былъ старикъ лѣтъ шестидесяти, съ зеленоватою бородой, по всѣмъ примѣтамъ заводскій мастеръ. На колѣняхъ онъ держалъ большой мѣшокъ съ углемъ.

— Что же, ты бы работы поискалъ, говорилъ внушительно Прохоръ Порфирычъ.

— Другъ! работы? По моимъ лѣтамъ теперича надо бы на настоящему покой, а я вонъ...

Старикъ какъ-то пихнулъ мѣшокъ съ углемъ. — Стало быть, нѣту, прибавилъ онъ. — Что я знаю? Всю жизнь колесо вертѣлъ, это развѣ куда годятся?..

— Плохо! Ну, и... того, потаскиваешь уголекъ-то?

— И—да! братецъ мой... Я въ эфтомъ не записуюсь: которые господа у меня берутъ, тѣ это знаютъ: «что, старичокъ, подтибрилъ?». «Такъ точно, говорю, васскародіе!..» Такъ-то! Ничего не подѣлаешь!

Старикъ замолчалъ, и потомъ что-то началъ шептать Порфирычу на ухо, но тотъ его тотчасъ же остановилъ.

— Ты, старина, такихъ словъ остерегайся!

Старикъ вздохнулъ. Лодка причалила къ берегу, и въ нее вошла толпа пассажировъ: «казючка» (женщина зарѣченской стороны), больничный солдатъ съ книгой, два мѣщанина, старикъ и Прохоръ Порфирычъ. Лодка тихо отплыла отъ берега.

— Вытащили его? спрашивалъ одинъ мѣщанинъ другого.

— Вытащили... Главная причина, пять дѣтъ смыска не могли: шарилъ, шарилъ... Разъ двадцать невода закидывали, нѣтъ, да на поди... А онъ, что же? какую онъ штуку удрагъ!..

— Н-ну?

— Знаешь ключи-то у берега? Онъ туда и скочился, засѣлъ въ дыру-то, нѣтъ да и полно!

— Вотъ тоже наше дѣло, заговорилъ солдатъ съ книгой.—Я говорю: «васекарадіе, нешто голыми людей хоронить показано гдѣ?» А онъ мнѣ...

— Это къ чему же рѣчь ваша клонить? иронически перебилъ Порфирычъ.

— Чего это?

— Въ как-комъ, говорю, смыслѣ?

Старикъ прищурился и, видимо, не разлыскавъ ироническихъ словъ сосѣда.

— Онъ-то, что-ль? заговорилъ старикъ.—О-о-о! Онъ смыслить! Еще какъ концы-то прачетъ! Ты, говорить, Богомъ тоже въ наготѣ рождень. Вона ка-акъ!..

Порфирычъ, откинувшись къ краю лодки, съ презрительной улыбкой глядѣлъ на полуглухого старика, который началъ медленно набивать табакъ свой золотухный носъ.

— Онъ, братъ, пон-нимаетъ!..

Выйдя на берегъ, Порфирычъ повернулъ направо, мимо каменной стѣны архіерейскаго двора. У заднихъ воротъ, выходящихъ на рѣку, стояло нѣсколько консисторскихъ чиновниковъ въ вицмундирахъ; одни торопливо докуривали папиросы, другіе упражнялись въ пусканіи по водѣ камешковъ рикшетоми и дѣлали при этомъ самыя атлетическія позы. У берега бабы и солдаты стирали бѣлье, шлепая вальками. Порфирычъ пошелъ городскимъ садомъ. На лавкѣ, среди всеобщей пустынности, сидѣлъ какой-то отставной чиновникъ, въ одномъ люстриновомъ пальто и въ картузѣ съ краснымъ околышемъ. Это современный капитанъ Копѣйкинъ. Принеся на алтарь отечества все, во время севастопольской кампаніи, т. е. съѣвъ сотни патристическихъ обѣдовъ, устроивавшихся для ополченцевъ, онъ и теперь какъ будто ожидаетъ возвращенія такого же счастливого времени. Рядомъ съ нимъ была женщина подозрительнаго свойства; она какъ-то особенно пристально всматривалась въ лицо проходившаго Порфирыча и дѣлала томные глаза.

— Костылька! сказала она:—мнѣ скучно!

— А мнѣ чортъ съ тобой! злобно прорычалъ собесѣдникъ.

— Какъ вы вспылчивы!

Скука, жара...

Въ серединѣ сада, въ кругу, обставленномъ разросшимися акаціями, сидятъ нѣсколько темныхъ личностей, что-то оборванное, разбитое; одни дремлютъ, прислонившись спиной къ дереву, другіе лежатъ на лавкѣ, подставивъ спину солнцу.

— Посмотрите-ка, голубчики, что онъ со мной сдѣлалъ, говорилъ какой-то мастеровой, и отнимаетъ отъ локтя огромный газетный листъ. Локоть оказывается разбитымъ, льетъ кровь.

— Хло-обысну-лъ! говорить кто-то.

— А? И за что же, голубчики вы мои, онъ меня этакъ-то изувѣчилъ, какъ вы полагаете, а? Прросто удивленіе! Вхожу я къ нему, и только два словечка всего и сказалъ-то: «одожди, говорю, мнѣ, Тимошеешко, на копѣчку хрѣнку!». Только всего и сказать-то, а? и замісто того, что-же?

Всѣ удивились. Прохоръ Порфирычъ понялъ, что у Тимошеешки навѣрно теперь расшиблены оба локтя. Онъ закурилъ папироску и вышелъ изъ сада. Пошли длинныя, безмолвныя улицы, длинныя заборы, взрытые тротуары.

Тишина. Скука. Жара.

— Держи! держи! раздавалось вдругъ и на перекресткѣ маленька фигура улупетывавшего отъ жены мастерового.

«Понедѣльничаютъ еще!..» думалъ Прохоръ Порфирычъ.

Наставалъ отдыхъ. Подъ защитой «двушальныхъ» трудовъ Ериконогова, Прохоръ Порфирычъ имѣлъ возможность иногда ничего не дѣлать цѣлую недѣлю, вплоть до субботы. Время отдыха, проводимое другими мастеровыми обыкновенно въ кабадѣ, пельющему мастеровому рѣшительно некуда дѣтъ. (Такъ было двадцать лѣтъ назадъ.) Предоставленный самому себѣ, онъ чувствуетъ себя очень неловко: что-то, глубоко задавленное трудомъ, въ эту пору какъ будто начинаетъ оживать, чего-то хочется, какія-то странныя мысли залетаютъ въ голову и, застывая въ формѣ неразрѣшеннаго вопроса, еще болѣе тяготятъ малаго: дѣло оканчивается или сномъ, или кабаками.

Прохоръ Порфирычъ въ свободное время принимался посѣщать знакомыхъ, и такимъ образомъ избѣгалъ обоимъ несчастій. Зеленый, довольно объемистый сундукъ его могъ указать еще другую пользу знакомствъ: наполнявшіе его разнаго рода длины и вида брюки и куртки были подарки за ту или другую услугу отъ разныхъ знакомыхъ. Правда, всѣ эти подарки были довольно дряхлы и засалены, но Прохоръ Порфирычъ умѣлъ скрыть эти недостатки не только отъ глазъ постороннихъ, но, можно сказать навѣрное, и отъ самого себя; онъ былъ увѣренъ и могъ увѣрить кого угодно изъ растеряевцевъ, что это вотъ напр. сукно аглицкое, этотъ жилетъ французскаго покроя, а такого сукна съ искрой, которымъ покрыто пальто, теперь нигдѣ отыскать невозможно. Знакомился Прохоръ Порфирычъ только съ благородными, потому что самъ онъ тоже благородный, и еще потому, что благородный человѣкъ не скажетъ: «угости», а, напротивъ, угостить самъ.

Иногда онъ былъ до того глупо доволенъ своими

«благородными» знакомствами, что, казалось, даже терял некоторую долю расчетливости, чего в сущности никак бы не могло быть.

Послѣ обѣда, когда Кривоноговъ легъ въ сѣняхъ отдохнуть, Прохоръ Порфирычъ тщательно украсилъ себя чѣмъ могъ, запасся коротенькою сло-манною тросточкою, подаркомъ растеряевского живописца, и не спѣша отправился попить чайку и поспѣять къ чиновнику Богоборцеву.

Знакомство съ этимъ чиновникомъ завязалось благодаря кахетинской курицѣ, забѣжавшей къ Порфирычу и доставленной имъ въ цѣлости хозяину, т. е. Богоборцеву. Кромѣ непреодолимой страсти къ курамъ, Богоборцевъ имѣлъ множество особенностей, совершенно выдѣлявшихъ его изъ класса «чиновниковъ». Его не интересовали канцелярскія тайны и чиновническіе разговоры столько, сколько конная, оранье прасоловъ и цыганъ; любимымъ зрѣлищемъ его была драка, которую онъ всецѣнно старался «подгвазживать», т. е. раззадоривать. Любилъ слушать двухорные концерты и съ глубокимъ вниманіемъ смотрѣлъ, какъ гоняютъ «сѣзовъ строй», и пр. Книгъ онъ не читалъ ни одной, хотя былъ увѣренъ, что духовныя книги неизмѣримо выше свѣтскихъ, но все-таки не читалъ и духовныхъ. Относительно политики полагалъ, что «всѣ наши». Въ двѣнадцатомъ году мы всѣхъ взяли. На поляковъ сердился и совѣтовалъ ихъ уничтожить. Насчетъ внутреннего устройства собственной персоны онъ не имѣлъ никакого понятія; зналъ, что въ человѣкѣ есть сердце, «душа», животъ, но въ какомъ порядкѣ размѣщены эти предметы: душа, животъ и сердце, — объяснить не могъ. Среди сѣбяющихъ поколѣній или такъ называемой «рѣки времени», господинъ Богоборцевъ представлялъ собою скалу, о которую разбиваются всякія «направленія», «плоды реформъ», «отрадные явленія» и явленія, надъ которыми «можно призадуматься». Все это, бушующее около него даже въ провинціи, не имѣло силъ хоть на волосокъ оттянуть его отъ любимаго окошка, гдѣ по вечерамъ Богоборцевъ неизмѣнно присутствовалъ и при этомъ обыкновенно пѣлъ весьма нѣжнымъ голосомъ:

«— Вво-об-облацѣ ле-эхцѣ-а...»

Отъ жары въ квартирѣ Богоборцева были заперты ставни. Раскаленный, отвратительный воздухъ наполнялъ сѣни. Прохоръ Порфирычъ вошелъ въ горницу. Хозяинъ сидѣлъ въ полусвѣщенной комнатѣ около стола и добѣдалъ обѣдъ.

— А! Пріятель! радостно сказалъ онъ.

— Здравствуйте, Егоръ Матвѣичъ! Кушайте!

Хозяинъ отодвинулъ блюдо и почувствовалъ, что сытъ по горло.

— Ффу, батюшки...

— Жарко-съ! говорилъ Порфирычъ, отирая лицо платкомъ.

— Бѣда! сказалъ хозяинъ.

Начался вялый разговоръ, поминутно прекращавшійся за отсутствіемъ всякихъ новостей. Обоюдныя усилія хозяина и гостя завязать разговоръ были напрасны. Наконецъ ударили къ вечернѣ.

— Э-э-э! радостно произнесъ хозяинъ. — Самоварчикъ пора. Авдоты! Авдоты-а!.. Отвѣта не было.

— Что она, никакъ оглохла?

Хозяинъ вышелъ въ другую комнату, потому въ сѣни. Порфирычъ сѣлъ посвободнѣе, оглянулъ комнату — на стѣнахъ висѣли рамки съ разными рѣдкостями: птица, слѣзанная изъ настоящихъ перьевъ, наклеенныхъ на бумагу; «отче нашъ», написанный въ видѣ креста, съ копьями по бокамъ; «вѣрую», въ видѣ пылающаго сердца. Только такого рода рѣдкостныя вещи интересовали Богоборцева въ области искусствъ. Во всей комнатѣ была одна картина, изображавшая людей, но и та попала сюда совершенно случайно. Не понимая ея содержанія, Богоборцевъ былъ глубоко увѣренъ, что теперь такихъ картинъ уже нѣтъ нигдѣ. Какъ любителю рѣдкостей, Прохоръ Порфирычъ часто «всучивалъ» Богоборцеву разныя таинственныя замки и прочія вещи, добытыя у Лубкова.

Хозяинъ возвратился съ прежнимъ упорнымъ желаніемъ завязать разговоръ. Прохоръ Порфирычъ, ужаснувшись предстоявшей каторги, прямо ударилъ въ любимую тему хозяина.

— Какъ куры, Егоръ Матвѣичъ? спросилъ онъ.

— Что братъ! Горе мое съ этими курами! Главное дѣло, негдѣ держать!

— Это неловко-съ!

Хозяинъ вынималъ изъ шкафа чайную посуду.

— Курицѣ надобенъ просторъ, говорилъ онъ: — а я ее въ банѣ морю... Коли хочешь, пройдемся?

Гость и хозяинъ пошли. Егоръ Матвѣичъ прошелъ дворъ, нагнувшись подъ веревкой, протянутой для бѣлья, вошелъ въ садъ и направился къ банѣ.

— Негдѣ имъ разойтись-то! оборачиваясь, говорилъ онъ: — вотъ!.. Выпусти — украдутъ!

Въ темной банѣ бродило по полу съ пискомъ и крикомъ нѣсколько породистыхъ куръ и множество цыплятъ; все это населеніе загомоzилось при видѣ хозяина. Цыплята начали пищать почти не переставая. Одинъ цыпленокъ забрался на бочку со щелокомъ и поминутно взмахивалъ крыльями, опасаясь опрокинуться въ пропасть.

— Эко у васъ, Егоръ Матвѣичъ, кочетъ-то богатый!

— Горлопанъ-то? о-о-о! онъ у меня бѣда. Кагда глаза-то продереть, почнетъ голосить, смерть!.. Кочетъ бѣдовый!.. Вотъ кохетинки меня сконфузили... Цыпляки какъ есть всѣ зачичкались...

Хозяинъ подхватилъ одного цыпленка съ полу и вынесъ къ свѣту.

— Вотъ. Поглядико-съ!

Цыпленокъ еле раскрывалъ глаза и чуть-чуть издавалъ плаксивые звуки.

— Съ чего же это они?

— Скука! со скуки... Тоска!.. въ заперти, выпустить боюсь, народъ, самъ знаешь, какой?

— Это что!..

— Вотъ то-то! Ну, и груститъ!..

Хозяинъ пустилъ цыпленка, отворилъ передбанникъ и показалъ породистую индюшку.

— Вотъ тоже охота у Филиппъ Львовича! про-

говорилъ Порфирычъ, но вдругъ былъ пораженъ неожиданной переменою, происшедшей въ хозяйнѣ.

Налицѣево выразилось презрѣніе. Филиппъ Львовичъ былъ тоже охотникъ и стало быть соперникъ.

— Много вы съ твоимъ Филиппъ Львовичемъ въ охотѣ смыслите?.. О-о-хота! Много вы постигаете въ охотѣ-то!.. покраснѣвъ, въ гнѣвъ произнесъ хозяйнѣ.

— Егоръ Матвѣичъ! испуганно проговорилъ совершенно струсившій Порфирычъ. — Я это истинно, передъ Богомъ упомянулъ, то есть такъ...

— Вамъ еще до настоящей охоты-то сто лѣтъ расти осталось! У Филиппъ Львовича охота!..

— Егоръ Матвѣичъ! Богомъ вамъ божусь, а даже самъ обезживотѣлъ со смѣху, когда этотъ Филиппъ Львовичъ сказалъ: «у меня, говорить, охота»... Ей-ей! Такъ и покатылся. Собственно только для этого и упомянулъ!

— У него охота!

— Ей Богу... Просто обезживотѣлъ! У меня, говорить, охота! такъ я и покатылся!.. Ей-ей!

Прохоръ Порфирычъ оробѣлъ.

— Знаетъ ли онъ, продолжалъ хозяйнѣ: — что такое охота? Настоящая охота, гляди сюда...

Хозяйнѣ для примѣра вынулъ въ руки пыленка и заговорилъ съ разстановкой, отдѣляя каждое слово:

— Первое дѣло породе: это вѣдь онъ ни шиша не постигаетъ. Потому, есть курица голландская, и есть курица шампанская...

— Это вѣрно!

— Погоди! Это рразъ! Ежели, храни Богъ грѣха, повалить ублюдки, это для охотника что?

Порфирычъ молча и испуганно смотрѣлъ на хозяйна.

— Видишь, вонъ щепка валяется? Вотъ что это для охотника!

— Трудно, сказалъ Порфирычъ, не найдя другого слова.

— Второе дѣло! продолжалъ хозяйнѣ: — шампанская курица бурдастая, изъ себѣ король... бурдѣво! Понялъ?

Порфирычъ кашлянулъ и переступилъ съ ноги на ногу.

— Филиппъ Львовичъ! Чужа паленаго смыслить онъ! Опять, индюшка: ежели въ случаѣ ее по башкѣ: тужъ! она летить торчмя головой! Но аглицкій пѣтухъ имѣетъ свой расчетъ: онъ сперва клюетъ землю...

— Егоръ Матвѣичъ! вопилъ Прохоръ Порфирычъ, чувствуя только, что онъ виноватъ: — передъ Богомъ я это упомянулъ только ради смѣху, сейчасъ умереть! какая же можетъ быть у него охота?

— Болванъ онъ! Вотъ ему цѣна!

Хозяйнѣ бросилъ пыленка и вышелъ.

— Я такъ и покатылся! говорилъ Порфирычъ, слѣдуя за нимъ.

Богоборцевъ не отвѣчалъ, хотя и успокоился.

Въ комнатѣ на столѣ уже кипѣлъ самоваръ.

Началось долгое и дружное чаепитіе.

Черезъ нѣсколько времени Порфирычъ остановился у воротъ дома, принадлежавшаго отставному

«статскому генералу» Калачову. Прежде нежели войти во дворъ, онъ тщательно осмотрѣлъ свой костюмъ, спряталъ подъ жилетъ концы галстука, растопыреннаго въ разныя стороны «для красоты», и нѣсколько разъ откашлянулся. Все это дѣлалось на томъ основаніи, что генералъ Калачовъ считался извергомъ и звѣрремъ во всей растеряевой улицѣ; чиновники пробирались мимо его оконъ съ какою-то поспѣшностью, ибо имъ казалось, что генералъ «уже вынулъ глазищи» и хочетъ изругать не на живото, а на смерть. Словомъ, всѣ, отъ чиновника и семинариста до мастерового, или боялись, или презирали его, но ругали положительно всѣ. Растеряевой улицѣ было извѣстно, что онъ скоро въ гробъ вгонитъ жену, измучилъ дѣтей и пр. Порфирычъ, спасенный генераломъ отъ рекрутства, считалъ обязанностью задаромъ чинить ему садовыя ножницы, разные столярныя инструменты, и былъ тоже убѣжденъ въ его звѣрствѣ. Приведя въ порядокъ свой костюмъ, онъ осторожно входилъ въ калитку; представленіе о генералѣ разныхъ ужасовъ почему-то подкрѣплялось этой необыкновенной чистотой двора, всегда выметеннаго, этими надписями, начертанными иѣломъ на сырыхъ углахъ и гласившими: «не смѣть» и пр.

Порфирычъ встрѣтилъ генерала на дворѣ: онъ торопливо шелъ изъ сада съ большими ножницами.

— А! сказалъ генералъ. — Милости просимъ! и скрылся въ домъ.

Порфирычъ зашелъ за чѣмъ-то въ кухню и потомъ робко пробрался въ комнату.

Въ маленькой комнаткѣ, съ старинною, но чистою и блестящею мебелью, сидѣло семейство генерала: около яркаго кипѣвшаго самовара сидѣла дочь съ блѣднымъ болѣзненнымъ лицомъ и равнодушнымъ взглядомъ; рядомъ съ ней братъ, молодой человѣкъ, съ изморненнымъ лицомъ, боязливымъ взглядомъ и сгорбленной спиной; онъ какъ будто прятался за самоваръ и нагибалъ голову къ самой чашкѣ. У окна, завернувшись въ заячью шубку, грѣлась на солнцѣ жена генерала, протянувъ ноги на стулѣ. Лицо ея дѣйствительно было полно грусти, болѣзни и скорби. Она постоянно вздыхала и говорила: «о-охъ, Господи батюшка!».

При появленіи Порфирыча всѣ сказали ему «здравствуй».

— Садись, Проша! сказалъ генералъ, помящавшійся по другую сторону самовара.

Порфирычъ кашлянулъ и сѣлъ. Настала мертвая тишина. Стучали часы, бойко кипѣлъ самоваръ. Отъ самовара и отъ солнца, ударявшаго прямо въ окна, въ комнатѣ дѣлалось душно. Генералъ большой костлявой рукою вытиралъ огромный запотѣвшій лобъ съ торчавшими по бокамъ сѣдыми косицами.

Гробовое молчаніе. Сынъ все больше и больше прячется за самоваръ. Ему понадобилась ложка.

— Ма... Ма... шепчетъ онъ чуть слышно.

— Ми? спрашиваетъ дѣвушка.

Слѣдуютъ знаки руками.

— Ло... Лож...

— Что тамъ? громко спрашиваетъ генералъ.

моварщики цѣлыми флангами тащатъ ярко вычищенные самовары въ склады; у каждаго въ рукахъ по двѣ штуки; нзрѣдка они останавливаются, ставятъ ногу на тумбу и поправляются съ своей пошей, подталкивая ее колѣномъ. На фабрикахъ идутъ расчеты.

Въ огромной комнатѣ съ низкими сводами столпился рабочій народъ съ книжками въ рукахъ и съ крайне тревожными лицами: ждутъ расчета. И странное дѣло: какъ нетерпѣливы они въ то время, когда хозяинъ какъ-то безтолково оттягиваетъ минуту расчета, разговаривая съ приказчикомъ о совершенно постороннихъ предметахъ, столько же народъ этотъ дѣлается робкимъ, трусливымъ, даже начинать креститься, когда наконецъ настаетъ самая минута расчета и хозяинъ принимается громыхать въ мѣшки мѣдными деньгами. Начинается шептанье; передніе ряды ежятся къ задней стѣнѣ; иные, закрывая глаза и заслонившіеся расчетной книжкой, какимъ-то испуганнымъ шопотомъ репетируютъ монологъ убѣдительнѣйшей просьбы хозяину: «Самойл Иванычъ!.. ради Господа Бога! Сейчас умереть, на той недѣлѣ какъ угодно ломайте... Батюшка!..» Другіе, рассматривая книжки одинъ у одного, фыркаютъ и исчезаютъ въ толпѣ.

— Пожалуйте лацетъ! произносить мальчишка лѣтъ 9, въ синей рубахѣ, босикомъ, съ растопыренными волосами. Хозяинъ удивленно взглядываетъ на него черезъ очки и обращается къ приказчику:

— Это что-жъ такое? Откуда онъ?

— Да я, признаться, Самойл Иванычъ, говорить приказчикъ, тронувъ шею и складывая руки назадъ:—признаться сказать, въ эфтихъ немогу васъ удостовѣрить... т. е. откуда онъ взялся.

— Давно ли онъ?

— Да болѣе пожалуй недѣли... Эт-та, ежели изволите вспомнить, на прошедшей недѣлѣ хлѣбъ у насъ ссыпали... Ну, а однакоже въ сараѣ-съ! хлопоты... Вижу, стоитъ посередѣ двора вотъ этотъ самый кавалеръ... Я, признаться, крикнулъ ему: «будетъ, молъ, тебѣ башку-то чесать, иди, помогай!..» Н-ну, онъ и сталъ... Дали ему потомъ въ кухни поѣсть... Такъ вотъ и того... кое-что помочи дасть-съ...

— Пожалуйте лацетъ! настоятельно повторилъ мальчишка.

— Тебя кто это научилъ расчету-то просить?

— Большіе научили...

— Большіе? Ну, это они для смѣху. Въ толпѣ смѣются, мальчишка молчитъ...

— Мать-то есть у тебя? спросилъ хозяинъ.

— Нѣту, а теткинъ.

— Стадо быть отъ тетки родился?

Раздался дружный смѣхъ толпы и самъ хозяинъ весело захихикалъ отъ своего смѣшного вопроса. Мальчишка въ первый разъ задумался надъ своимъ происхожденіемъ.

— Что-жъ ты у тетки-то дѣлалъ?

— Побирались...

— Гдѣ-жъ она теперь?

— Она упала... ушиблась, въ больницу увезли...

Всѣ молчали.

— Какъ же теперича его считать? спросилъ хозяинъ у приказчика.

— Да такъ, я полагаю, считать, что собственно прибудный-съ... на этомъ счету его и оставить... Богъ съ нимъ—пушай... Куда ему?

Хозяинъ подумалъ.

— Все, а чай, пристапу надо сказаться?

— Н-н-ѣтъ-съ!.. Я такъ полагаю, Господь съ нимъ... Пушай его. Все что-нибудь въ хозяйствѣ поможетъ... Богъ дастъ, вырастетъ, получить свое понятіе, тогда ужъ его дѣло-съ... а можетъ и еще кто изъ «своихъ» сыщется.

Хозяинъ далъ мальчугану гривенникъ. Тотъ бросился ему въ ноги, брякнувшись объ полъ всѣмъ, чѣмъ только можно брякнуться: лбомъ, локтями, колѣнками.

Толпы рабочихъ, выходя изъ воротъ фабрики, раздѣлялись на партіи: одни шли прямо въ кабакъ, другіе сначала въ баню и потомъ въ кабакъ. Бани полны народомъ; вся рѣка покрыта тѣлами купающихся; въ купальняхъ идетъ гамъ, крикъ, хохотъ; народу тѣма, отъ большинства отдаетъ водкой; все это норовитъ забраться «подъ самый переметь» купальни и оттуда нырнуть въ воду. Берегъ рѣки около бань запруженъ купающимися. Черныя фигуры мастеровыхъ торопливо срываютъ съ плечъ чуйки, рубашки; слышенъ говоръ, смѣхъ.

— Ну-ко, Господа благослови! говоритъ мастеровой и съ разбѣгу летитъ въ воду, откинувъ напряженіемъ ноги большой кусокъ земли отъ берега; вытянутыми впередъ руками онъ врѣзывается въ воду почти вертикально—и исчезаетъ, взболтнувъ ногами...

— Нырокъ! говоритъ кто-то.

Мастеровой вынырываетъ среди рѣки и принимается оттиривать саженями, взмахивая головой въ сторону, чтобы откинуть мокрые, закрывшіе лицо волосы.

Дальше за банями, гдѣ берегъ уложенъ высокими стѣнами навоза, въ мутныхъ лужахъ полощутся мѣщанскія дѣвцы, опасаясь на аршинъ отдѣлиться отъ берега, такъ какъ платье ихъ можетъ быть ежминутно похищено разнаго рода юношами. Какая-то смѣлая баба, съ головой, обвязанной платкомъ, рѣшается выплыть изъ лужи на рѣку.

— Ха-а, ха-а, ха-а! грозно вскрикиваетъ мастеровой и пускается за ней въ догонку, необыкновенно сильно и искусно работая руками. Баба въ испугѣ поворачивается назадъ, взбивая ногами цѣлые фонтаны.

На Большой улицѣ съ шумомъ желѣзныхъ заставъ запираются лавки; мастеровые съ работами рыщутъ отъ одной лавки къ другой. Новыя времена, отозвавшіяся въ торговлѣ, не поддаются на единственное доказательство мастерового: «Христа ради!».

Въ ярко освѣщенной лавкѣ стальныхъ издѣлій сидитъ на диванѣ молодой хозяйскій сынъ въ пестрыхъ брюкахъ; у прилавка, съ ящиками разныхъ стальныхъ мелочей, стоитъ приказчикъ. Тутъ же,

въ качествѣ посѣтителя, присутствуетъ лакей, держа подъ мышкой цѣлый узелъ разнаго оружія.

— Такъ ужъ я такъ барину и передамъ-сь, говоритъ онъ.

— Такъ и скажи, говоритъ хозяинъ.

— Конечно, мнѣ какое дѣло, мнѣ приказано: скажи, говорить ему (вамъ-то), что у меня этого оружія въ избыткѣ... Я такъ вамъ и передаю... хоть достовѣрно понимаю, что у нихъ этого набытку не токмо въ оружіи...

Лакей шепчетъ.

— То-то и есть! говоритъ хозяинъ.

— Вѣрите ли? многозначительно произносить лакей, скрестивъ руки.

— Ихнее дѣло прошло-о!

— Это какъ есть!.. Я теперь вижу, къ чему шлеть-сь... Теперь попретъ купечество... вотъ-сь!.. Оно теперича еще не очувствовало-сь, какъ слѣдуетъ. Дай ему оглядѣться, бѣда! Оно теперь робѣеть... Вотъ я вамъ скажу,—одинъ купецъ купилъ у нашего барина коляску... а ѣздить-то боится... Еще робѣютъ-сь!

— Капитонъ Иванычъ! громко произнесъ мастеровой, появляясь на порогѣ лавки. Отецъ! Чтожъ мнѣ, околѣвать, что ли, на улицѣ-то?

— Черти! Что у меня, быкъ что ли, съ позволенія сказать, оштелился? Изъ-за чего я долженъ раззоряться? Ну, купи ты у меня! Видѣлъ товару-то? Ну, купи!

— Куда-жъ это дѣваться мнѣ теперь!

Хозяинъ молчалъ.

— Толкнись къ Шинкину... Алъ ужъ, въ самомъ дѣлѣ, у меня монетный заводъ? Только и прутъ, что ко мнѣ... Ступай!

Мастеровой уходитъ, отчаянно трахнувъ головой...

Въ отворенныя двери лавки видно еще нѣсколько мрачныхъ фигуръ, медленно лавирующихъ мимо. Они сходятся на углу; слышны слова: «какъ тутъ быть, а?» «Духъ вонъ,—хлѣба не на что купить». «Ну, время!..»

Скоро между ними показывается чинная фигура Прохора Порфирыча. Товаръ его завернуть въ платокъ и засунуть въ рукавъ, а рукавъ, въ свою очередь, засунуть въ карманъ, такъ что все-таки Прохоръ Порфирычъ ничуть не теряетъ благороднаго вида. Неумѣлые въ современныхъ разговорахъ мастеровые обступаютъ его со всѣхъ сторонъ; слышны просьбы, какія-то клятвы, «за что ни отдать».

— Я, ребята, обѣщанія вамъ не даю, говорить чрезъ нѣсколько времени Порфирычъ,—а попытать попытаю.

— Отецъ!

— Погодите, друзья; сами вы разочтите, какая въ этомъ дѣлѣ нужна словесность... разъ! Окромя того, долженъ я подъ него, врода, подводить машину не маленькую... два! Все это хлопоты! Дѣло это, пріятель, не легкое... По этому случаю я ужъ съ васъ, ангелы, по полтинничку получу...

— Грабь! Хотѣ-бы мало-мало... Палтинникъ! Грабь смѣло!

— То-то... Ну-ко-сь, вали сюда!

Пять пистолетовъ падаютъ въ разставленный платокъ...

— Ну, говорить, улыбаясь, Порфирычъ:—творите молитву!

И чинно входитъ въ лавку...

— Мое почтеніе! провозглашаетъ хозяинъ.

— Все ли въ добромъ здоровьи? произноситъ Порфирычъ, почтительно снимая картузъ.

Хозяинъ почему-то таинственно прищуриваетъ одинъ глазъ. Порфирычъ утвердительно киваетъ головой. Между ними очевидно какое-то тайное дѣло.

— Такъ ужъ вы такъ вашему барину и доложите, что молъ у насъ у самихъ товару некуда дѣвать... Опять же, это ихнее оружіе не по насъ, намъ въ теперешнее время нужна вещь грошовая, армарочная...

— Это само-сбой...

— Вотъ что-сь! Намъ теперича нужна вещь, лишь бы кое-какъ слюпана... Убьешь—хорошо; не убьешь—еще того лучше; зачѣмъ бить?

— Именно, правда ваша! подтвердилъ лакей. Я такъ вамъ докладываю: мое дѣло — исполняй: приказано сказать «отъ избытка», а исполняю, но достовѣрно знаю, что не токма...

Слѣдуетъ шептаніе: хозяинъ поддакиваетъ, издавая какіе-то звуки вродѣ: «гм... гм...» или «д-да! во-отъ!» и пр.

— До пріятнаго свиданія, заключаетъ лакей.

— Будьте здоровы!

Лакей уходитъ. Лицо Порфирыча превращается въ радостную улыбку.

— Ну? спрашиваетъ строго и любезно хозяинъ, отводя его въ сторону.

— Готово-сь!

— Врешь, мошенникъ!

— Сейчасъ умереть!.. Я вамъ, Капитонъ Иванычъ, такую дѣвицу разыскалъ, истинно пшено! Провалиться!

— Прохоръ! Я тебя убью!

— Какъ вамъ угодно! Это именно ужъ самъ Богъ вамъ помогаетъ...

— Если ты въ случаѣ врешь, сейчасъ умереть—такъ и разнесу!

— Что угодно! я ей, Капитонъ Иванычъ, такъ говорю: «Таня! Вы ихъ любите?» Васъ то-есть...

— Ну?

— «Даже, говорить, до безчувствія влюблена...»—А когда, говорю, вы влюблены, то вы и должны удостовѣрить Капитона Иваныча въ полномъ размѣрѣ...

— Ну?

— «Мнѣ, говорить, стыдно; пушай, говорить, они меня сами вовлекутъ...»

— Первое дѣло!

— Н-ну-сь; по этому случаю, завтрешняго числа назначено вамъ быть въ рощу... тамъ дѣло ваше! Главная причина, маменька ихъ очень строга, а на счетъ Тансы,—вполнѣ готова! Можно сказать одно: влюблена!

— А ежели врешь?

У однихъ воротъ возится съ лошадию пьяный извозчикъ; въ темнотѣ онъ растерялъ возжи, лошадь переступила черезъ оглоблю и, подаваясь назадъ, подвернула переднія колеса подъ дыривыя и изломанныя дрожки, которыя вълѣдствіе этого свалились на бокъ.

— Тирр... Тирр! ласково говорить извозчикъ, засѣвъ по колѣно въ грязь и отыскивая во тьмѣ лошадиную морду. — Тирррр... Трр... Нич-чего!... трр... Милая!

Прохоръ Порфирычъ, видя безпомощное положеніе хмѣльнаго человѣка, хотѣлъ было сначала посовѣтывать ему: постучись, молъ. Хотѣлъ потомъ самъ постучаться, но раздумалъ... «Шутъ ихъ возьми!». И заключить размышленіями о томъ, какой человѣкъ свинья, ибо всегда радъ облопаться и насчетъ водки не нѣмать ибры...

Извозчикъ все копошился въ грязь. Лошадь поминутно шлепала въ грязь переступившею ногою. Дрожки скрипѣли.

Въ непроницаемо-темныхъ сѣняхъ избы Прохора Порфирыча стояли Глафира и подмастерье. Отъ Кривоногова отдавало виномъ.

— ... Это развѣ возможно, шенталь онъ надъ самымъ ухомъ Глафиры: — извольте послушать. — «Хочу въ маскарадъ, ты пьяница, немая мечалка, вонючая рогажа. — Я? — «Ты...» — Изволь! Ступай съ Богомъ. — «Въ лучшемъ костюмѣ!» — Сдѣлайте вашу милость... — «Я благородная! ты хара!» — «Какъ вамъ будетъ угодно: на балъ, на балъ, хара, хара! какъ ваша душа желаетъ»... Дверью хлопъ, ушла... Потомъ того слышу, съ офицерами... Доброго здоровья!.. Это какъ же?

Вопросительное молчаніе. Глафира вздыхаетъ.

— Или, говоритъ Кривоноговъ снова: — какъ вамъ покажется... Повѣчались мы съ ней; все какъ слѣдуетъ: гости, шампанское (околотъ, было-съ!). Отходя въ спальню: какъ есть мужъ и жена... Я... Ну она же, напримѣръ: «прочь отсюда... тварь!...» Благородно? Или какъ по вашему?..

Опять молчаніе.

— Ну, и валился, какъ песъ у порога... — «Вонъ отсюда!» И уйдешь въ кухню... Это жизнь?

Шумъ дождя начиналъ слышаться яснѣе среди безмолвія улицы. Около повалившихся дрожекъ и спутавшейся лошади возился другой извозчикъ, уже самъ хвалитъ квартиры и лошади, съ фонаремъ въ рукахъ. Онъ сердито дергалъ лошадь за узду и злобно кричалъ: «ног-гу! но-но!». Слышалось ярое хлясканье кнутомъ объ лошадиную морду. Лошадь билась. Извозчикъ торопливо и сердито бормоталъ:

— Прр-аюнца!.. Мало ты учень?.. Животное! Н-но?

И снова свистъ кнута...

— Бумъ! глухо говорилъ пьяный извозчикъ, скрывавшій гдѣ-то въ темнотѣ.

— Право ненасытная утроба!.. Какъ не бьется, какъ не бьется, а ужъ къ ночи готовъ! Па-адлець ты эдакой!..

— Бумъ! сонно бормоталъ пьяный.

Извозчикъ съ фонаремъ молча возился около дрожекъ. Сильный отарокъ въ фонарь разливалъ

тусклый свѣтъ на небольшое разстояніе кругомъ, отчего три большія осины, кучей столпившіяся за заборомъ и слегка освѣщенные снизу, уходили въ темноту своими вершинами и казались безконечными.

Отворивъ окно, Прохоръ Порфирычъ присѣлъ къ окну съ папирской; хмѣльная голова его клонилась на грудь. Съ крыши лилъ дождь; гдѣ-то вдали съ легкимъ гуломъ вода била въ пустую еще кадлушку.

— Господи! шенталь Порфирычъ. — Сохрани и помилуй прра-ба твоего!

Лилъ дождь.

— Ка-арра-у-у-у! бушевало гдѣ-то далеко.

V. ИДУТ ДНИ И ГОДЫ.

«...Горе по горю», — говоритъ пословица, а стало быть и въ Растеряевой улицѣ все по старому. Только видъ ея и физіономія измѣняются сообразно временамъ года: вотъ отошли асные, свѣжіе, осенніе дни, поднялись со всѣхъ концовъ неба сныи тучи, заморосилъ нескончаемый осенній дождь — подошла глубокая осень. Растворилась грязь, на стала непроходимая топь и отовсюду навалилась какая-то непроглядная тоска. Ежятся голуби подъ князькомъ крыши, пряча носы въ перья, и встряхиваютъ въ студеныхъ просонкахъ мокрыми крыльями. Ежятся обыватели и устами старухъ говорятъ: «Господи! хоть бы зима поскорѣй!..»

Но вотъ начались крѣпкіе утренніе заморозки; подошелъ Барваринъ день и повалилъ пухлый, рыхлый снѣгъ. Въ одну недѣлю покрылъ онъ и улицу, и крыши, и верхушки заборовъ нѣжными и рыхлымъ снѣжнымъ пологомъ, изъ-подъ котораго, словно лица мертвецовъ изъ-подъ савана, смотрятъ черныя, гнилыя, полуразрушенныя растеряевскія лачужки. Ударилъ морозъ, повисли на крышахъ сосульки, понеслись леданки, зашумѣла мятель и завывла по-волчьи въ развалившейся трубѣ.

— Эка стыдъ, эка стыдъ твердятъ старухи, кутаясь на холодной печи. — И когда это только весна придетъ!

А тутъ, глядь-поглядъ и весна: вдоль всей улицы въ шумомъ несутся потоки, унося съ собою, въ какую-то неизвѣстную сторону, все, что только накопилось, все, что было выкинуто на улицу зимою. Но эта картина топи и разрушенія не производитъ однако того жертващаго впечатлѣнія, какое бываетъ осенью. Теплые, блестящіе, грѣющіе лучи солнца, воздухъ, окрашенный золотомъ этихъ небесныхъ лучей, зовутъ жить. Безъ умолку трещать воробьи, громко, хоть и устало, каркаютъ отошавшіе вороны; сильно выпихнута изъ закутыя королева, еле передвигая ноги, выползла на среднюю улицу, да такъ и закорчѣла подъ благодатными солнечными лучами, по цѣлымъ часамъ не ворохнется она ни однимъ членомъ; впалые бока ея, поставленные солнцу, чуть колышутся едва примѣтнымъ дыханіемъ; глаза тупо смотрятъ въ одну точ-

ку. Иногда, разогрѣтая теплотою солнечныхъ лучей, она медленно подгибается колѣна и валится бокомъ на теплую и морскую землю, испустивъ глубокий вздохъ. Галки и вороны бодро разгуливаютъ по ея дымящейся спинѣ, поклеывая въ нее острыми носами, но счастливое въ эту минуту животное не замѣчаетъ обиды.

Подошла страстная недѣля. Громко загудѣлъ звучный колоколъ, а игривый вѣтеръ разнесъ эти звуки по окрестности.

Въ эту пору хороша даже и Растеряева улица.

А дни идутъ все теплѣй и ярче. Въ яркой зелени деревьевъ исчезли черныя вороныя гнѣзда; подъ заборами и посреди улицы пролегли извилистыя, крѣпко протоптанныя тропинки; солнце начинаетъ припекать.

— Вотъ и лѣто! говорить обыватель и, сказать по совѣсти, говорить не безъ тайнаго ужаса, потому что впереди, въ неизвѣстномъ количествѣ будущихъ годовъ, видится ему то-же тоскливое ожиданіе проливныхъ дождей, вьюгъ и мятелей.

И опять все то-же!

То-же и въ жизни. Правда, между постоянной борьбой съ нуждою и ежеминутными отдыхами отъ нея въ кабацкѣ въ нашихъ нравахъ бываютъ минуты, когда несчастнымъ растеряевцамъ удается «отучить», т. е. когда въ отуманенныя головы гостейъ вступаетъ здравый разсудокъ, но область, надъ которою хозяйничаетъ этотъ разсудокъ, такъ мала, что объ ней можно говорить только между прочимъ, хотя по видимому разсудку есть надъ чѣмъ поработать: въ эти минуты весь міръ Божій, отъ пониманія тайны и красоты котораго растеряевецъ почти отвыкъ, является множествомъ неразрѣшаемыхъ вопросовъ. Въ эту пору ново все, что ни попадется на глаза. Между тѣмъ крошечныя минуты «отученія» плохой помощникъ въ такомъ множествѣ запутанныхъ дѣлъ... Убитый обыватель нашъ въ ужасѣ успѣваетъ только схватиться за свою развитую голову и, не устоявъ подъ напоромъ нахлынувшей на него тоски, спѣшить снова успокоиться въ томъ же властительномъ кабацкѣ. Не обладая способностью изображать всю трагичность этихъ короткихъ минутъ, я, тѣмъ не менѣе, буду продолжать мой разсказъ о Растеряевой улицѣ, удерживаясь *по возможности* въ области дѣяній, совершающихся въ трезвомъ умѣ и здоровомъ разсудкѣ, хотя и не ручаюсь за то, что желаніе это можетъ быть осуществлено. Трудно не «пить» въ Растеряевой улицѣ. Впрочемъ мы познакомимся и не съ пьяницами только.

Оставимъ на время Прохора Порфирича, — онъ живетъ такъ, какъ жилъ и прежде, — и будемъ разсказывать о другихъ растеряевскихъ «замѣчательныхъ» личностяхъ. Первое мѣсто между ними, безъ сомнѣнія, принадлежитъ растеряевскому «и иныхъ мѣстъ», т. е. иныхъ переулковъ и закоулковъ, «растеряевской округи» извѣстному врачу, или, какъ онъ самъ себя называетъ, «медику» — Ивану Алексѣеву Хрипушину. О немъ мы теперь и поведемъ рѣчь.

VI. «Медику» Хрипушину.

Военный писарь Хрипушинъ съ давнихъ поръ слылъ въ растеряевской округѣ (и въ особенности среди растеряевской чиновной мелкоты) за человека, обладающаго весьма большими познаніями, и за искуснаго врача. Будучи человекомъ талантливымъ, онъ не только умѣлъ избѣжать общей участи нашихъ доморощенныхъ талантовъ, т. е. одиночества и беззащитности, но, напротивъ, постоянно внушалъ къ себѣ уваженіе и даже страхъ. Въ объясненіе этого должно сказать и то, что онъ ни въ чемъ не слѣдовалъ примѣру нашихъ доморощенныхъ талантовъ: онъ не выдумывалъ регретишъ mobile, не ломалъ головы надъ устройствомъ какой нибудь хитрой машины, изъ-за которой забываются жена и дѣти и которая оказывается уже выдуманною. Нѣтъ, талантъ Хрипушина былъ изъ не погибающихъ. Дѣли его были гораздо проще: — ему желательно было каждодневно посѣщать по возможности всѣ растеряевскіе кабаки и въ каждомъ проглотить по рюмочкѣ.

Достойныя дѣли эти достигались Хрипушинымъ весьма успѣшно. Одною изъ главныхъ причинъ этихъ успѣховъ была, по правдѣ сказать, самая его фязіономія. Отъ роду никто не видывалъ болѣе убійственнаго лица. Представьте себѣ большую, круглую, какъ глобусъ, голову, покрытую толстыми рыжими волосами и обладавшую щеками до такой степени крѣпкими и глазами, сверкавшими такимъ металлическимъ блескомъ, что при взглядѣ на него непремѣнно являлось въ воображеніи что-то желѣзное, литое, что-то вроде пушки, даже зараженной пушки. Эта кованная фязіономія была вся налита кровью, которая до хрипоты стиснула его короткую шею и выпирала наружу огромныя сѣрые глаза, которые сами по себѣ могли поразить человека робкаго. Маленькій, какъ пуговица, носъ и выпуклости щекъ были разрисованы множествомъ синихъ жилокъ. Общій эффектъ фязіономіи завершался огненнаго цвѣта усами, торчащими къ верху наподобіе кривыхъ турецкихъ сабель. Все это, ваятое отдѣльно и въ совокупности, дѣлало, какъ увидимъ, удивительныя вещи.

Всѣ другія достоинства Хрипушина терялись передъ громадною впечатлѣніемъ его фязіономіи и служили только какъ бы подкрѣпленіемъ ея ужаса. Къ этимъ качествамъ его относилась между прочимъ и медицина, которая никогда-бы не получила у растеряевцевъ должнаго уваженія, еслибы объ этомъ не позаботился Хрипушинъ.

Все, что только способно произвести такой эффектъ, какой производить на дѣтей сказка о жарьптицѣ, все было тщательно собрано имъ и въ разное время заявлено пациентамъ: разсказаны были случаи съ лягушкой, засѣвшей какими-то судьбами подъ черепъ одной купчихи и искусно вырѣзанной оттуда докторомъ-мужикомъ, и т. п. Первое впечатлѣніе, произведенное Хрипушинымъ на пациента, было всегда такъ велико, что никакая нелѣпица не могла повредить его авторитету въ глазахъ слуша-

телей. Напротивъ, слушатель всѣми мѣрами стремился къ тому, чтобы какъ-нибудь объяснить себѣ причину только-что изображеннаго Хрипушинымъ чуда, и, не объяснивъ, ждалъ себѣ спасенія все-таки отъ Ивана Алексѣича. Въ такихъ случаяхъ лавровка, которую производилъ Хрипушинъ, стараясь избѣжать объясненія, была опять-таки вполне достойна его таланта. Онъ начиналъ, по обыкновенію, съ-надалека, понежнѣе отклонялся отъ предмета и доводилъ дѣло до того, что успѣвалъ осушить съ пациентомъ не одну бутылку водки, послѣ чего начиналось пѣніе духовныхъ гимновъ и было не до объясненій. Бывали впрочемъ случаи, хотъ и весьма рѣдкіе, когда пациентъ весьма настойчиво обращался къ Хрипушину за объясненіемъ непонятной вещи. Тогда Иванъ Алексѣичъ, съ прежнею бодростью и готовностью, снова брался объяснять дѣло и снова на срединѣ фразы восклицалъ:

— Да вы, Иванъ Ивановичъ, лучше всего вотъ какъ... Вы позвольте мнѣ хотъ двадцать-то пять копѣчекъ, а я вамъ всю эту комиссію въ книжкѣ доставлю. Рассказывать—всего не расскажешь, а вы бы сами взяли книжечку?... Ей-богу! Все, авось, читаете...

— Ну чтожъ, сдѣлай милость!

Хрипушинъ получалъ требуемую сумму, засовывалъ ее за обшлагъ рукава, гдѣ хранилась у него цѣлая кнпа какихъ-то бумагъ, и говорилъ:

— И во сто разъ будетъ для васъ лучше. Опять книга рѣдкостная и (прибавлялъ онъ шопотомъ) строго запрещена.

— Э-э?

— Да-съ! Слѣдять-съ! и даже весьма опасно... такъ что ежели въ случаѣ чего, Боже избави...

— Богъ съ ней и съ книгой! говорилъ, махнувъ рукой, пациентъ;—попадешься еще... Ну-е! Неносн!

— Какъ вамъ будетъ угодно!

— Нѣтъ, нѣтъ!

— Ну, какъ угодно... До пріятнаго свиданія!

Такимъ образомъ Хрипушинъ выходилъ сухъ изъ воды.

Между множествомъ чертъ, усиливавшихъ вліяніе Ивана Алексѣича, была непроницаемая таинственность, которая окружала его. Никто не зналъ, какого онъ происхожденія, откуда и какъ попалъ въ нашъ городъ. Вопросы эти рождались въ умахъ пациентовъ потому, что самъ Хрипушинъ иногда намекалъ на свое благородное происхожденіе, иронически и зло подтрунивая надъ своею солдатскою шинелью. О таинственности происхожденія Хрипушина заставляли думать и неимовѣрныя познанія, которыми онъ умѣлъ блеснуть гдѣ нужно. Растеряевцы полагали, что Иванъ Алексѣичъ знаетъ рѣшительно все; но полное торжество высокопросвѣщеннаго человѣка Иванъ Алексѣевичъ выносилъ изъ бесѣдъ съ пациентами, состояясь съ ними по предметамъ, знакомымъ для нихъ. Главною темою для этихъ состязаній было священное писаніе. Растеряевскій обыватель-чиновникъ всегда съ любовью вспоминаетъ свою семинарскую жизнь, вспоминаетъ греческую грамматику, когда-то ненавидимую имъ, герминевтику, гомилетику и проч. Годы чинов-

ничества конечно не давали ему возможности упиться вполне прелестью воспоминаній; они выѣдали въ самое короткое время всѣ прежнія познанія, такъ что изъ греческой грамматики растеряевецъ помнилъ только: «альфа, вита, гамма», а изъ герминевтики и изъ гомилетики только одни названія наукъ... Съ такими учеными Хрипушинъ могъ справляться сразу, несмотря на то, что, при всей скудости оставшихся знаній, они были народъ задорный и любилъ спорить о высокихъ предметахъ, особливо подъ пьяную руку. Часто среди глухой полночи, въ облакахъ табачнаго дыма и неистоваго оранья пѣсенъ духовнаго и свѣтскаго содержанія, на пирушкѣ у какого-нибудь чиновника, Хрипушинъ нарочно заводилъ споръ о высокихъ предметахъ и, махая у потолка фуражкой, кричалъ, покрывая голоса всѣхъ:

— Не соглашусь!.. Нельзя! никогда!

— Иванъ Алексѣичъ! Позвольте...

— Не могу! Опровергну!

— Пей!

Верхъ бралъ конечно Хрипушинъ, ибо въ послѣдствіи всѣ спорящіе настолько упивались виномъ, что языки ихъ прилипали къ гортанямъ, а Хрипушинъ, котораго не могли сплотить никакія попойки, говорилъ уже одинъ, и непремѣнно тономъ побѣдителя.

— Эхъ вы! говорилъ онъ, покачиваясь надъ безчувственными собратіями,—спорить! Да имѣешь ли ты столько ума, чучело?

На пациентовъ женскаго пола, съ которыми ни о какихъ наукахъ говорить было невозможно, Хрипушинъ дѣйствовалъ болѣе осязательною таинственностью. Такъ, входя, онъ имѣлъ обыкновеніе бросать фуражку въ уголъ и затѣмъ съ мрачной физиономіей говорилъ:

— Здравія желаю!

— Иванъ Алексѣичъ! зачѣмъ вы шапку бросаете?..

— Оставьте безъ вниманія, мрачно говорилъ Хрипушинъ.—Это мое дѣло... Какъ ваше здорѣе?

— Иванъ Алексѣичъ, батюшка, возьми шапку на окно: права, душа не на мѣстѣ!

— Сдѣлайте ваше одолженіе, не заботьтесь! это дѣло мое-съ... и взять я ее оттуда не могу... Успокойтесь!

Къ довершенію ужаса, Иванъ Алексѣичъ, зная, что пациентка слѣдитъ съ напряженнымъ вниманіемъ за каждымъ движеніемъ его, начиналъ пристально смотрѣть своими огромными глазами въ уголъ, шевелилъ усами, едва замѣтно качалъ головой и принимался грозить пальцемъ...

— Батюшка! Голубчикъ! вскрикивала чиновница, хватая Хрипушина за рукавъ.— Оставь! Брось!.. Ради Христа! не мучь!

— Хе-хе-хе!.. Да будьте покойны, что вы-съ?

— Будетъ, будетъ, ради Христа!..

— Не безпокойтесь! улыбаясь, говорилъ Хрипушинъ.—Вреда никакого нѣту... Только что... Да вы, Матрена Ильинична, вотъ что... вы позвольте мнѣ хотъ двадцать пять копѣчекъ: сварю я вамъ одну спецію...

Но какъ при такой неусходной таинственности, окружавшей непроницаемымъ маркомъ происхождение Хрипушина и исторію его жизни, какъ, повторяю, при всемъ этомъ не возбудить подозрѣнія хоть бы просто-на-просто «въ безпаспортности» и не попасть вслѣдствіе этого въ кварталъ? Хрипушинъ глубоко понималъ это, и для охраненія своей особы отъ безпокойствъ и лишеній, принимаемыхъ кварталомъ, съумѣлъ заставить, полюбить себя, какъ родную, необыкновенно умную, но загнанную и заброшенную силу, которую не понимаетъ никто, которую всякій можетъ обидѣть и засадить въ острогъ. Пациенты любили Хрипушина и дорожили своимъ медикомъ, какъ раскольниковъ берегутъ и жертвуютъ всѣмъ ради своихъ поповъ. Съ цѣлью достигнуть этой любви, Хрипушинъ прежде всего старался поднять упавшій патриотизмъ растеряевцевъ. Во время севастопольской кампаніи онъ производилъ въ нашей сторонѣ неописанный фуроръ... Съ какимъ удивительнымъ искусствомъ передавалъ онъ подвиги солдата Кошки, ускользнувшего изъ-подъ носа цѣлой французской арміи! Не забыта была и баба, которую захватили на англійскій фрегатъ, для того чтобы отнять моченыя яблоки, которыми она торговала, — безъ конца! Въ обыкновенное, мирное время Иванъ Алексѣичъ дѣйствовалъ тоже при помощи разныхъ иноплеменниковъ, только картины выбиралъ не столь батальныя. Въ мирное время онъ упоминалъ о томъ, какъ англичане предложили сто милліоновъ тому, кто «съ одного маху» нарисуетъ вотъ эдакую штуку... И что-же! Ни одинъ изъ народовъ не могъ этого сдѣлать... Взялись «наши» — и въ одну минуту! Отъ милліоновъ наши конечно отказались, и попросили полштофъ вина и фунтъ паюсной икры. Потомъ, благодаря Хрипушину, растеряевцамъ было извѣстно, что тѣ же англичане предложили двѣсти милліоновъ тому, кто годъ пролежитъ на одномъ мѣстѣ; наши опять ваялись — и пролежали втрое болѣе назначеннаго англичанами срока... Разказы въ такомъ родѣ танулись до тѣхъ поръ, пока слушатели-пациенты вполнѣ убѣждались въ превосходствѣ нашего народа надъ всѣми народами міра. Когда это было достигнуто, Хрипушинъ тотчасъ же принималъ унылый видъ и съ грустью говорилъ:

— А какъ у насъ этакихъ-то людей цѣнять? стыдно подумать! стыдъ! страмъ!...

И затѣмъ начинались доказательства: тутъ упоминалось и о трехъ денежкахъ въ сутки, и объ участи изобрѣтателей разныхъ секретовъ, о механикахъ-самоучкахъ и т. п. Затѣмъ Хрипушинъ находилъ удобнымъ выдвинуть на сцену наконецъ и себя:

— Да вотъ, кротко говорилъ онъ, — хоть-бы и мое дѣло... Слава Богу, пятнадцать али больше годовъ пользую публику и никогда отъ нея неудовольствія не видалъ, а между прочимъ, позвольте васъ спросить, какое же я себѣ награжденіе вижу?.. Шинелишка-то эта да фуражка? — это что-ль? Да вѣдь это и все, на всю жизнь! Еще и теперича, случается, иной разъ не ѣвши сутки двое проходишь; ну, а какъ старость-то придетъ, тогда какъ?

При этомъ Хрипушинъ вынималъ изъ обшлага рукава скомканный въ кулакъ и изодранный клѣтчатымъ платокъ, торопливо утиралъ носъ и слегка касался глазъ, на которыхъ показывались слезы. Благодаря частому морганью заблеставшихъ слезами глазъ и въ особенности благодаря скомканному рваному клѣтчатому платку, Хрипушинъ пріобрѣталъ полное сочувствіе публики.

— А случись докторъ какой-нибудь, будь на моемъ мѣстѣ нѣмецъ? И людей бы морилъ, и миліонщикомъ сдѣлался!

— Это вѣрно! подтверждали слушатели.

— Да ужъ я вамъ говорю! А что же онъ, будьте такъ добры, особеннаго-то имѣть?.. Знаетъ-то мы пожалуй и почище его кое-что... Ну, а еще-то чѣмъ беретъ? Н-вѣтъ-съ, у насъ своихъ не цѣнять ни въ грошъ! Нѣмцы-съ! ученые-съ! какъ можно, чтобы моль-какойнибудь Иванъ Хрипушинъ съ нимъ поровнялся!.. А Иванъ-то Хрипушинъ, иной разъ, пожалуй и съ ученымъ бы потягался... А какъ вы полагаете?.. Да я вотъ что скажу: на счетъ заочнаго леченія наврядъ ли, чтобы со мной кто равенство имѣлъ...

Рассказавъ нѣсколько дѣйствительно изумительныхъ случаевъ заочнаго леченія, причемъ иногда приходилось лечить, не видя пациента и не зная его болѣзни, такъ какъ пациентъ старался держать это дѣло въ секретѣ, онъ восклицалъ:

— А нуко-съ нѣмецъ-то?.. Что онъ тутъ выдумаетъ? Языкъ смотрѣть? 9-ге, братья!.. Окромя языка еще много чего есть... Позвольте, будьте такъ добры, ужъ еще рюмочку... Языкъ! Нѣтъ, ты попробуй этакъ-то, когда тебѣ ничего не показываютъ, тогда я съ тобой поговорю!

Хрипушинъ выпивалъ вторично и прибавлялъ:

— А нашъ братъ все безъ хлѣба, все середь улицы валяется!..

Такимъ образомъ при помощи своихъ познаній Иванъ Алексѣичъ достигалъ того, что каждый день возвращался домой съ практики подъ хмелькомъ. Жилъ онъ въ глухой улицѣ, и не одинъ, какъ были всѣ увѣрены, а съ раскольницей-женой, отъ которой ему не было житья ни днемъ, ни ночью. Можно, не ошибаясь, сказать, что буйная супруга Хрипушина, выгонявшая своего мужа изъ дому единственно ради его рыжихъ волосъ, и была причиною того, что Хрипушинъ изъ боязни, чтобы не умереть съ голоду, выдумалъ свою медицину и всю свою изумительную эрудицію. Въ домѣ супруги онъ дѣлался агнемъ, терялъ всю свою солидность и думалъ только о томъ, какъ бы защитить свою голову отъ ударовъ супруги, грозившихъ обрушиться на него каждую минуту.

Во всему этому мнѣ остается прибавить немного. Костюмъ Хрипушина былъ: солдатская старая шинель, съ разнокалиберными пуговицами и воротникомъ, затянутымъ до невозможности. На головѣ онъ носилъ фуражку, внутри которой помѣщался платокъ. Насчетъ способа леченія должно сказать, что Иванъ Алексѣичъ набиралъ средства преимущественно радикальными: у одного чиновника, на-

примѣръ, съ дѣтства сидѣлъ въ ухѣ кусокъ грифеля, — Иванъ Алексѣичъ предложилъ ему стать вверху ногами. Одинъ изъ пациентовъ его надорвалъ животъ, — Хрипушинъ бралъ больного на плечи и, держа за ноги, встряхивалъ нѣсколько разъ. Вообще дѣятельность Хрипушина была велика и разнообразна и количество знакомыхъ большое.

VI. Хрипушинъ ищетъ рюмочки.

Идетъ Хрипушинъ по глухому «томялинскому» переулку, одному изъ безчисленныхъ переулковъ «Растеряевской округи», и раздумываетъ, гдѣ бы ему выпить рюмочку и закусить икоркой? Вкругомъ стоитъ полуденная тишина и зной. Гдѣ-то, въ отдаленіи, среди густыхъ фруктовыхъ садовъ скрипятъ однимъ кольцомъ качели; въ сторонѣ слышится ударъ ладьюшкой въ заборъ, и вслѣдъ затѣмъ дѣтскій голосъ кричитъ: «плодка!» «шестерь!» Звукъ шаговъ, раздавшійся подъ окномъ у мастерской сапожника, заставилъ хозяина, сидѣвшего за работой, поднять голову и засвидѣтельствовать Ивану Алексѣичу почтеніе.

— Здравствуй, здравствуй, другъ! говорилъ Хрипушинъ, трогая фуражку: — какъ Богъ носить?

— Ничего, Иванъ Алексѣичъ! Поменьшеку... День безъ хлѣба, два дни такъ... Хе-хе-хе!

— Доброе дѣло! Ну, будьте здоровы!

— Счастливо!

Сапожникъ снова принимается за работу и, тихою попѣвая, продергиваетъ обѣими руками дратву, постукиваетъ о каблукъ молотокъ и поплевываетъ куда надо, а Хрипушинъ продолжаетъ свое шествіе. За нѣсколько шаговъ до мелочной лавки онъ снова принужденъ снимать фуражку, такъ какъ хозяинъ, завидѣвъ Хрипушина, оставилъ свой зеленый стулъ, помѣщавшійся на высокомъ лавочномъ крыльцѣ, и раскланивался съ нимъ, держа шапку на отлетѣ. Послѣ обоюднаго привѣтствія, Иванъ Алексѣичъ, по обыкновенію, спрашиваетъ: «какъ здоровье?» Хозяинъ поблагодарить, объявляя, что все слава Богу.

Такъ идетъ прогулка Хрипушина въ ожиданіи практики. Но вотъ наконецъ и сама «практика».

— Иванъ Алексѣичъ! раздалось надъ самымъ ухомъ Хрипушина.

Въ маленькое, ветхое окно выглянула фізіономія старушки-чиновницы Претерпѣевой. Старушка кивала головой по направленію во внутрь комнаты и шопотомъ говорила:

— Зайди, зайди, отецъ мой!..

— Здравія желаю! почтительно произноситъ Хрипушинъ, столь же почтительно наклоня на бокъ обнаженную голову.

— Зайди, батюшка, дѣло есть!.. Одно только словечко сказать...

— Съ великимъ удовольствіемъ!

Хрипушинъ вступилъ на маленький топкій дворъ, нагибаясь въ низенькой двери, пролѣзъ въ сѣни и наконецъ очутился въ горницѣ. Вездѣ на хо-

ду замѣчалъ онъ признаки разстроеннаго хозяйства, нерадѣнія, неряшливости, вездѣ на глаза его попадались вещи сломанныя, разбитыя, опрокинутыя, грязь, невымытые полы и лужи. «Парадная» комната, куда онъ вошелъ, вѣяла тою же пустынностью и отсутствіемъ заботливости: шкафъ, предназначенный для посуды, былъ пустъ — на верхней полкѣ болталась позеленѣвшая мѣдная ложка, на нижней помѣщались тарелки съ иззубренными и заклеенными замазкой краями. Все семейство Хрипушинъ засталъ въ разстройствѣ и негодованіи. Четыре дочери Претерпѣевыхъ, одѣтыя весьма небрежно, ходили надувшись другъ на друга. Самая старшая изъ нихъ, обладавшая кромѣ невзрачнаго платья еще какими-то невѣроятнымъ кокомъ на самомъ лбу, наткнулась на Ивана Алексѣича въ передней и сердитымъ голосомъ сказала ему:

— Ахъ, мусе Хрипушинъ, ради самаго Бога, хоть вы усовѣстите ихъ!.. Это наконецъ невыносимо! Силъ нѣтъ!

— Что же такое-съ?

— Да татинька!

Дѣвица вспыхнула и съ сердцемъ толкнула дверь въ кухню.

Иванъ Алексѣичъ, почувявъ общую бѣду, медленно вошелъ въ комнату и осторожно присѣлъ на стулъ около стола.

— Посмотрико-съ сюда, отецъ, шептала старушка, поднимая изъ-за стула пустой графинъ, на днѣ котораго торчалъ перчатный стручекъ. — Вотъ эдакихъ-то три ужъ!.. а? день-деньской, день-деньской, безъ роздыху! Эка жизнь! Господи!

Хрипушинъ молчалъ и соображалъ.

— Намедни, продолжала старушка, нацѣживая изъ другой посуды рюмку води, — намедни три раза изъ должности присылали, управляющій спрашивалъ — не могу! Ну, безъ чувствъ, какъ есть, и людей не узнаешь! а? Эка жизнь! Выкушай, Иванъ Алексѣичъ... Какъ же быть-то, отецъ?.. Нѣтъ ли чего-нибудь?

Старушка умоляющими глазами смотрѣла на Хрипушина. Тотъ вздыхалъ, кряхтѣлъ и прожевывалъ закуску. Гдѣ-то за перегородкой слышался невнятный бредъ спящаго человѣка и злой, нетерпѣливый шопотъ сестеръ: «Отдай мою шпильку! Это моя шпилька!» «Вотъ еще новости!» «Марья, отдай! я закричу!» — «Очень нужно! У! безстыжая!» Хрипушинъ все кряхтѣлъ и соображалъ. Въ комнату быстро вошла старшая дочь, плепая стоптанными башмаками; въ рукахъ у нея былъ мѣдный изломанный кувшинъ съ водою; не обращая вниманія на плескавшуюся изъ кувшина воду, она съ сердцемъ толкала колѣнными стульями около оконъ, съ сердцемъ тыкала пальцемъ въ засохшую землю запыленной ерани и съ такимъ же ожесточеніемъ затопляла забытый цѣвтокъ водою.

— Да изъ-за чего вы изволите беспокоиться? рѣшился проговорить Хрипушинъ. — Все, слава Богу, благополучно!

— О, ну васъ, ради Бога!

Слезы быстро наполнили ея глаза, и она бросилась въ дверь, ступнувъ кувшиномъ о притолку.

— Обеспокоены! замѣтилъ Хрипушинъ.

— Да, батюшка! слезнозаговорила старушка, — какое же тутъ можетъ быть спокойствіе!.. — Кажется, дрожимъ, дрожимъ!.. Опять пуще всего въ томъ досада, ничего не говорить...

— Молчать?

— Молчать и молчать!.. Что ни думали, что ни дѣлали, ничего!..

— Болѣзнь трудная!..

— Ммм... слышалось за перегородкой. — Не-не-возможно!

— Какъ запущена! прищуривая глазъ, прошептала Хрипушинъ и покачалъ головой.

— Запущена? плача, повторила старушка.

— И весьма запущена!

— Батюшка!..

— Невозможн!.. опять раздалось за перегородкой.

Въ разныхъ углахъ дома раздалось всхлипыванье.

— Покой-сь! Покой дайте больному! останавливалъ Хрипушинъ рыдавшую старушку.

— Видите? срыву проговорила старшая дочь, на мгновеніе появляясь въ дверяхъ; глаза ея были красны. — Видите? продолжала она, указывая рукой на перегородку.

Хрипушинъ изумленно смотрѣлъ на нее. Дѣвушка, не говоря больше ничего, повернулась и исчезла, хлеснувъ пружинами кринолина объ стѣну.

Настало тягостное молчаніе. За перегородкой не слышно было никакихъ звуковъ; слезы исчезли, но общее негодованіе и грусть говорили, что бѣда еще не миновалась.

— Такъ какъ же, батюшка? спросила наконецъ старушка, вытирая глаза концами изорванной шали.

— Да надобно, Авдотья Карповна, подумать-сь... Что вы-то печалитесь?

— Охъ, отецъ мой!..

— Вы должны показывать собой примѣръ! Вы — мать! Черезъ ваше уныніе можетъ еще болѣе у Артамона Ильича недуговъ прибавляется?.. Это нельзя-сь!.. Да кромѣ того, съ Божіею помощію, сваримъ мы кой-какую спецію: можетъ, оно и полегчаетъ...

— Спецію, или что-нибудь, что знаешь, батюшка! а не-то свози ты его къ бабкѣ въ Добрую Гору... Многимъ старушка помочи дала... Сдѣлай милость... Вѣкъ, кажется, за тебя буду Бога молить...

— И это можно... Только не увывайте и не ропщите!.. А на счетъ старухи какъ вамъ будетъ угодно: могу и за ней сѣздить, и Артамонъ Ильича свозить...

— Свози! свози ты его, благодѣтель нашъ...

— Извольте, извольте-сь... Только не будетъ ли у васъ мелочи сколько-нибудь... На первое время...

VIII. Семейство Претерпѣвыхъ.

Лѣтъ двадцать тому назадъ семейство Претерпѣвыхъ представляло картину совершенно другого рода. Въ то время Артамонъ Ильичъ и Авдотья

Карповна только что перебирались, послѣ брака, на житье въ эту «томилианскую» улицу. Артамонъ Ильичъ, длинный сухопарый чиновникъ, подновившій женитьбою свою тридцати-восьми-лѣтнюю фізіономію, отличался высокимъ кротостію и вполне подчинялся женѣ. Авдотья Карповна была маленькая черноволосая, свѣжая женщина, насквозь пропитанная хозяйственностью: ни одной щепки, нужной въ хозяйствѣ, она не пропускала безъ вниманія и дѣлала все это безъ крику, безъ брани, съ лицомъ постоянно веселымъ. Впослѣдствіи, когда, наконецъ, супруги поселились въ своемъ маленькомъ новомъ домикѣ, Авдотья Карповна до того предалась хозяйству, что Артамонъ Ильичу рѣшительно нечего было дѣлать. Авдотья Карповна не уставая шнырала изъ кухни въ комнату, изъ комнаты въ погребницу, шила, вытирала стекла, выгоняла мухъ, слушала пыль и проч. Артамонъ Ильичъ благоговѣлъ передъ женой и тосковалъ, не имѣя возможности хоть чѣмъ-нибудь содѣйствовать успѣху собственнаго благосостоянія.

Счастье самое полное царило въ жилищѣ Претерпѣвыхъ. Авдотья Карповна старалась, изъ угожденія къ мужу, возвести хозяйство до высшей степени совершенства. Артамонъ Ильичъ, не зная, чѣмъ угодить женѣ, безмолвствовалъ, не пилъ ни капли водки, не спалъ послѣ обѣда и не носилъ халатовъ. Любовь его къ Авдотѣ Карповнѣ, согрѣвшей его сердце, долго стывшее въ холодной жизни, была безпредѣльна. Артамонъ Ильичъ впрочемъ не могъ съ достаточною экспрессіею выразить эту любовь: лицо его оставалось по-прежнему спокойнымъ, даже нѣсколько холоднымъ, и о признательности своей онъ не говорилъ женѣ ни единого слова; тѣмъ не менѣе супруги боготворили другъ друга.

Шли годы. У Претерпѣвыхъ явились дѣти, изъ которыхъ остались живы только четыре дочери. Но и увеличеніе семейства не было еще въ силахъ поколебать совершенно правдивое боготвореніе, питаемое супругами другъ къ другу. Явились новые расходы; Авдотья Карповна завела корову и принялась торговать молокомъ и творогомъ. На огородѣ былъ разведенъ картофель и осенью открыта продажа всѣхъ овощей. Все шло какъ нельзя лучше. Авдотья Карповна одна справлялась съ нуждами семейства; Артамонъ Ильичу оставалось по-прежнему быть покойнымъ и благоговѣть. Онъ такъ и дѣлалъ, потому что, когда однажды, въ видахъ соблюденія расходовъ, онъ попробовалъ-было отказаться отъ новаго казинетоваго сюртука, то Авдотья Карповна мало того что сдѣлала ему внушеніе, но кромѣ сюртука сшила еще новые сапоги. Сама же Авдотья Карповна, по мѣрѣ того какъ подрастали дочери, отказывала себѣ во всемъ: она по годамъ трепалась въ двухъ старыхъ ситцевыхъ платьяхъ и носила шаль, которую за негодностью не хотѣла надѣвать даже ея бабушка. Вслѣдствіе этихъ сбереженій, въ комнатахъ дочерей появилось четыре новыхъ сундука для приданаго, и въ нихъ уже покоилось по нѣсколько трубокъ хорошаго полотна.

Этимъ урѣзваніями собственныхъ нуждъ въ

пользу будущаго приданаго заботы Авдотьи Карповны о дочеряхъ не ограничивались.

Однажды Авдотья Карповна объявила мужу, что желаетъ отдать старшую дочь Олимпиаду въ пансіонъ. Артамонъ Ильичъ давно уже догадывался объ этомъ желаніи супруги и, по правдѣ сказать, боялся его. Разныя одинокія размышленія привели его къ убѣжденію, что «образованность» не принесетъ его дочерямъ ничего, кромѣ погибели. Онъ обдумалъ это во всѣхъ подробностяхъ, и по-этому чтожъ мудренаго, что, когда жена обратилась къ нему за совѣтомъ, сердце его екнуло. Гдѣ возьметъ онъ силы побѣдить этотъ умоляющій взглядъ супруги? Развѣ хватить у него духа разбить такъ давно желѣнную ею мечту?

— Какъ же ты думаешь? спрашивала убитымъ голосомъ Авдотья Карповна, испугавшаяся блѣднаго лица мужа. — Али ужъ не отдавать? прибавила она съ замирающимъ сердцемъ.

— Нѣтъ! нѣтъ! воскликнулъ Артамонъ Ильичъ, — отчего же?

И Олимпиаду отдали въ пансіонъ.

Въ первый разъ Артамонъ Ильичъ допустилъ въ своихъ отношеніяхъ съ Авдотьей Карповной неправду, и душа его была возмущена. Непокойна была душа и у Авдотьи Карповны; она подглядывала блѣдность на лицѣ мужа въ то время, когда дѣло шло о пансіонѣ, и со страхомъ подумала: «не спросила это!». Почудилось ей, что Артамонъ Ильичу все не хотѣлось учить дочь.

— А если онъ не хотѣлъ этого, думала Авдотья Карповна, — стало быть имѣлъ основательные резоны. Артамонъ Ильичъ не такой человѣкъ, чтобы сдуру что сдѣлать...

Когда эти соображенія залѣзли въ голову Авдотьи Карповны, она въ первый разъ почувствовала передъ мужемъ какую-то провинность и трепетала каждую минуту, боясь увидѣть доказательства собственнаго промаха. Устроивъ дочь въ «пансіонъ», она съ особенною внимательностью принялась слѣдить за каждымъ движеніемъ Артамона Ильича, за каждымъ измѣненіемъ фисіономіи мужа. Прошло много лѣтъ, сотни куличей и слобныхъ булокъ было поднесено начальницамъ Олимпиады въ день ихъ тезоименитствъ и въ высокаторжественные праздники; дочь перевели уже въ послѣдній классъ, а Артамонъ Ильичъ по-прежнему безмолвствовалъ, по-прежнему не спалъ послѣ обѣда и не пилъ водки. Все было какъ должно. Разъ даже, когда сама Авдотья Карповна чужла бѣду неминуемую, Артамонъ Ильичъ ни на волосъ не измѣнилъ своей тихости: Олимпиада явилась съ просьбою свозить ее въ театръ.

— Всѣ бывають, кисло говорила она, — а я нѣтъ! Я хочу въ театръ! — Артамонъ Ильичъ молча слѣлалъ дочери удовольствіе. Какъ Авдотья Карповна пристально не смотрѣла на мужа, въ эту минуту она ничего не замѣтила и порѣшила-было совсѣмъ успокоиться, какъ случилась новая исторія. За нѣсколько мѣсяцевъ до выпуска Олимпиада обратилась къ родителямъ съ предложеніемъ распу- стить на всѣхъ ея платьяхъ складки. Просьба эта

была произнесена такимъ капризнымъ тономъ образованной барышни, съ такими энергическими надуваніями губъ, что Авдотья Карповна помертвѣла. Къ довершенію испуга ея, Артамонъ Ильичъ, преспокойно сидѣвшій у окна, при послѣднихъ словахъ дочери повернулъ голову и посмотрѣлъ на нее пристальнымъ взглядомъ.

Складки были распорты, Олимпиада удовлетворена, Артамонъ Ильичъ неизмѣненъ, но въ жизни супруговъ не было уже чего-то. Не было правды. Авдотья Карповна, чувствовавшая свой промахъ передъ мужемъ, понимавшая, что у Артамона Ильича на душѣ не сладко, приписывала его муку себѣ, всѣми мѣрами старалась сдѣлать ему угодное и дѣлала все потому противъ собственной своей воли, которую она ставила ни во что и не вѣрила ей. Такимъ образомъ, благодаря дочери, супруги незамѣтно разъединились. Между ними не было уже той откровенности, какая царяла прежде. Въ каждомъ послѣдующемъ ихъ дѣйствіи присутствіе «конфуза» дѣлало несообразности, какихъ они никогда и ожидать не могли. Предметомъ этихъ несообразностей была все та же Олимпиада, которую все болѣе и болѣе начинала одолевать «образованность».

При каждомъ требованіи ея, Авдотья Карповна, изъ угожденія мужу и большею частью противъ собственнаго желанія, восклицала:

— Какъ это можно!

— Нѣтъ! нѣтъ! прерывалъ Артамонъ Ильичъ, пораженный въ самое сердце несообразнымъ желаніемъ дочери: — что ты, Авдотья Карповна? Отчего же и не сдѣлать ей удовольствія? Худого нѣтъ...

И удовольствіе дѣлалось съ общаго согласія. Наивные супруги начали конфузиться другъ друга и хотѣли взаимнымъ угожденіемъ прикрыть свою наготу словно листкомъ. Благодаря этой добродушной стыдливости, всѣ требованія «образованности», проявлявшіяся въ Олимпиадѣ, удовлетворялись вполне. Этому кромѣ того много способствовала безграничная любовь къ дочери, которую они не рѣшались огорчить. Такимъ образомъ Олимпиада Артамоновна, смертельно тосковавшая въ домѣ родителей, все время по окончаніи курса проводила въ одномъ «барскомъ» семействѣ, гдѣ была ея подруга по пансіону. Артамонъ Ильичъ зналъ, что семейство это принадлежитъ къ числу разорявшихся дворянъ, еле-дышущихъ на послѣднія крохи, но все-таки самъ провожалъ дочь свою туда на вечера «съ танцами», такъ какъ разорвавшееся семейство, при малѣйшей возможности вздохнуть, тотчасъ же задавало балы и разныя затѣи. Балы эти и другія прихоти Олимпиады Артамоновны повели за собой невѣроятные для супруговъ расходы. Явилась надобность въ платьяхъ, лентахъ. Цѣлые дни въ домѣ Претерпѣвыхъ шла кройка матерій и шитье нарядовъ; растеряевская портниха или, какъ ее здѣсь называютъ, «модница» имѣла здѣсь полный просторъ для своей дѣятельности. Все это въ конецъ измучило обоихъ супруговъ. Артамонъ Ильичъ потерялъ всякое соображеніе, Авдотья Карповна — всякую расторопность; она какъ-то осо-

вѣла, и цѣлые дни еле-передвигала ноги, будто только что вышла изъ жаркой бани. Въ такомъ парализованномъ состояніи супруги опростоволохились до того, что, по желанію Олимпіады Артамоновны, устроили въ своемъ крошечномъ жилищѣ званый вечеръ, ибо этого требовало «приличіе», какъ справедливо замѣтила дочь. Услыхавъ предложеніе о балѣ, Авдотья Карповна подумала про себя, что въ самомъ дѣлѣ надо же отплатить господамъ за ихъ радушіе къ дочери, но подъ вліяніемъ поблѣднѣвшаго лица Артамона Ильича воскликнула:

— Что ты! Что ты! Гдѣ намъ балы задавать... Вотъ еще, Господи!

— Нѣтъ, нѣтъ! воскликнулъ Артамонъ Ильичъ, пословѣвшій отъ этой затѣи. — Отчего же? Мы, слава Богу, не нищѣ!

И, въ доказательство своихъ словъ, онъ бросился въ лавку за покупками, дрожа всѣмъ тѣломъ.

— Вотъ какъ у васъ нонче, Артамонъ Ильичъ! сказалъ ему лавочникъ. — Балъ!

— Голубчикъ! почти со слезами прервалъ его Артамонъ Ильичъ. — Не говори!

Во все время «бала» Артамонъ Ильичъ и Авдотья Карповна походили на какихъ-то истукановъ съ оловянными глазами; Артамонъ Ильичъ дошелъ даже до того, что когда кто-то изъ молодыхъ людей пожелалъ закурить папироску и попросилъ огонька, онъ не двинулся съ мѣста и страшно испугался. Но когда забрячало фортепіано и начались танцы, Артамонъ Ильичъ очнулся: на физіономіяхъ кавалеровъ и въ ихъ поступкахъ онъ замѣтилъ что-то нехорошее; онъ видѣлъ, какъ кавалеръ, взявшій Олимпіаду на полку, подмигивалъ сосѣду и старался половчѣе обхватить талію своей дамы; онъ видѣлъ, какъ въ отвѣтъ на это другой кавалеръ многозначительно покашливалъ и слегка поддакивалъ ему утвердительно кивкомъ головы. Иногда Артамонъ Ильичъ, словно въ забывчивости, дѣлалъ шагъ по направленію къ танцующимъ, чтобы остановить дочь, повисшую на рукѣ кавалера, но мысли, что эти кавалеры и всѣ эти благородныя барышни будутъ смѣяться потомъ надъ Олимпіадой, останавливала его, и онъ снова тапился въ уголъ. Въ другой разъ онъ истинно живо отправился въ садъ, куда передъ тѣмъ скрылась Олимпіада съ кавалеромъ. Но едва онъ сдѣлалъ шагъ, едва услышалъ издали веселый разговоръ дочери, какъ ноги его почему-то не пошли дальше. Какъ онъ проклиналъ этого негоднаго кавалера!.. Наконецъ, когда дочь его сердито крикнула: «Это что за новости?», Артамонъ Ильичъ бросился къ бесѣдѣ и хотѣлъ оборвать кавалера, но почему-то только кашлянулъ и поспѣшилъ уйти.

Рано-ли, поздно-ли, а всѣ эти увеселенія кончились. Олимпіадѣ Артамоновнѣ пришлось жить исключительно въ домѣ родительскомъ, и она дѣйствительно страшно скучала. Гнѣвъ ея возбуждало все, начиная отъ захолустья, гдѣ жили они, до кривого зеркала, въ которомъ самое ангельское лицо превращалось въ лицо сатаны. Кромѣ того Олимпіаду Артамоновну мучило то, что послѣ разлуки съ «высшимъ» обществомъ ей рѣшительно негдѣ

было показать себя и своихъ нарядовъ; единственный пунктъ, гдѣ собиралось общество, была церковь, но кого же приходилось ей встрѣчать здѣсь: мастеровыхъ, сапожниковъ, мѣщанъ, чиновниковъ съ запахомъ водки и съ небритыми бородами. Она одна по цѣлымъ днямъ сидѣла дома, и ей не съ кѣмъ было слова сказать...

— Отвращеніе! съ сердцемъ говорила она.

Артамонъ Ильичъ безмолвствовалъ.

Прошло три года; подросли другія три дочери, образованіе которыхъ было возложено на Олимпіаду Артамоновну и которыя, вслѣдствіе этого, не знали ровно ничего; онѣ позаимствовали у сестры только манеру надуть губы, весьма выразительно говорить: «атвращеніе» и начали выступать противъ родителей съ собственными протестами, пользуясь тѣмъ, что протесты сестры переносятъ родители безпрекословно. По примѣру сестры, онѣ роптали на счетъ складокъ и т. п. Авдотья Карповна, не считая ихъ образованными, пробовала-было прикрикнуть на нихъ:

— Вы-то что? вамъ-то какого еще рожна не достаешь? сердилась она.

— Маменька! Это что такое? вступалась Олимпіада. — Такъ только на горничныхъ можно кричать... Мы не горничныя!

Авдотья Карповна замолкла. Протесты такимъ образомъ повалились на стариковъ градомъ со всѣхъ сторонъ... Года черезъ два-три они уже сводились, къ счастью, на одно только требованіе «жениха». Въ недовольныхъ физіономіяхъ дочерей родители явственно читали это требованіе: даже Олимпіада Артамоновна, кажется, непрочь была въ настоящую минуту отъ посѣщеній хотя бы и растеряевскаго кавалера.

— Ну, Артамонъ Ильичъ, сказала наконецъ какъ-то Авдотья Карповна мужу. — Тащи жениховъ, вашихъ-то, палатскихъ!

— Съ великимъ, матушка моя, удовольствіемъ! обрадовавшись, отвѣчалъ Артамонъ Ильичъ.

Никогда супруги не были такъ радостны и веселы... Но радость ихъ была не долга.

По всей «растеряевщинѣ», во всемъ сосѣдствѣ Претерпѣвыхъ, про нихъ шла уже молва. Томилінскія дамы были обижены неприглашеніемъ на балы, томилінскіе кавалеры — пренебреженіемъ къ нимъ, по случаю знакомства съ петербургскими и высокоблагородными, а главнымъ образомъ вслѣдствіе того, что имъ не удалось отвѣдать тѣхъ дорогихъ винъ, которыя года два тому назадъ покупались для благородныхъ гостей. Все это обрадовалось и возликовало, когда, во-первыхъ, узнало отъ лавочника, что три цѣловыхъ, должныя за стеариновые свѣчи, до сихъ поръ не заплачены Претерпѣвыми, и во-вторыхъ, когда увидѣло самого Артамона Ильича, съ особеннымъ рвеніемъ желающаго завлечь къ себѣ нашу томилінскую молодежь.

— Ай!.. подошло! радостно подмигивая другъ другу, говорили чиновники и перемигивались.

— Что же это у васъ господа-то помѣшники петербургскіе не бываютъ? спрашивали они, подсмѣиваясь надъ Артамономъ Ильичемъ.

— Уѣхавши-съ!.. Давнымъ-давно-съ...

— Гм... Уѣхали!.. Ну, а Олимпиада-то Артамоновна отчего такія завсегда тоскливыя?..

— Ахъ, Господи Иисусе Христе! вскричалъ Артамонъ Ильичъ. — Чего тоскливыя? Да Господь ее знаетъ!

— Господь! поддакивали чиновники и подмигивали однимъ глазомъ.

Такихъ «кавалеровъ» Артамонъ Ильичъ завлекъ въ свое жилище только тогда, когда обѣщалъ угостить вишневою и на закуску подать маринovanýchъ пискарей. Кавалеры наконецъ начали посѣщать Претерпьевыхъ. Но, Господи, что это были за кавалеры, что это были вообще за люди! Обезображенные бѣдностью и одиночествомъ, они словно дикіе звѣри смотрѣли на посторонняго челоуѣка. Одинъ видъ искаженныхъ фizioномій, эти грязныя маніишки съ торчащими изъ-за галстука тесемками, эти вѣчно-испуганныя лица, рѣдко прилипушіе на вискахъ и на лбу волосы, — все это въ совокупности могло возбудить отвращеніе не только въ Олимпиадѣ Артамоновнѣ, но и вообще въ челоуѣкѣ, не выносящемъ неоприятности. Ни одинъ изъ нихъ не умѣлъ сказать путнаго слова, то есть просто-напросто кавалеры эти не говорили ничего: объ чемъ имъ было говорить съ такой барышней, какъ Олимпиада Артамоновна, которая говоритъ по-французски, играетъ на фортепіано и въ разговорѣ употребляетъ слова въ родѣ: «афрапировало» и проч. и проч.? Они чувствовали себя нѣсколько свободными только тогда, когда Артамонъ Ильичъ просилъ ихъ выпить водочки; тутъ они дѣлались истинными артистами, потому что искусство глотанія рюмокъ было доведено ими до высшей степени совершенства. Тутъ они на взглядъ Олимпиады Артамоновны представлялись просто «мужиками...» Отвращенію ея не было предѣловъ. Вмѣстѣ за ней томилинскихъ кавалеровъ забраковали и другія сестры. Артамонъ Ильичъ хотѣлъ-было вразумить дочерей, что иначе и быть не можетъ, хотѣлъ-было заговорить, но, увидавъ, что Авдотья Карповна сочувствуетъ дочерямъ, сталъ поддакивать женѣ и предложилъ отказать кавалерамъ.

— Какъ это можно! возразила Авдотья Карповна, по обыкновенію противъ собственнаго желанія.

— Цѣтъ, цѣтъ! въ свою очередь возражалъ ей мужъ—Нельзя... Великая неволя съ этими пьяницами!

Кавалеры томилинскіе были изгнаны. Тутъ-то они и показали себя во всемъ блескѣ. Застѣнчивость и конфузъ, одолѣвшіе ихъ при Олимпиадѣ Артамоновнѣ, замѣнились тою высокою наглостью, на какую способны только одичалые люди. Безъ ругательствъ они не могли пройти мимо ея окна и старались, чтобы она непремѣнно слышала ихъ слова. Въ церкви, на улицѣ указывали пальцами, примаргивали, присвистывали. Цѣлыя исторіи пущены были въ публику про Претерпьевскую барышню: рассказывали, что не дальше какъ третьяго дня у Претерпьевыхъ былъ помѣщикъ Арапниковъ, надѣлавшій въ прошломъ году шуму своимъ

кутежомъ съ актрисой, и будто-бы подарилъ ей брошку. Нѣкоторыя «дамы» рассказывали, что онѣ сами своими глазами видѣли эту брошку. Другіе прибавляли, что Олимпиада была уже вмѣстѣ съ матерью въ гостяхъ у Арапникова, и ссылались, въ подтвержденіе этихъ словъ, на извозчика Гришку, который будто-бы изъ гостей привезъ одну мать. Томилинская скука подхватила на удочку эти новости и цѣлыя дни трубила о Претерпьевской барышнѣ. Вездѣ, гдѣ только ни показывался Артамонъ Ильичъ, съ нимъ, не церемонясь, начинали разговоръ о его дочеряхъ... Артамонъ Ильичъ такъ упалъ духомъ, такъ былъ убитъ всѣмъ этимъ, что, думая возстановить истину, пытался вступать съ клеветниками въ горячій споръ и, не одолѣвъ, почти со слезами начиналъ умолять:

— Неправда! говорилъ онъ,—все лгутъ! Какъ не грѣхъ передъ Богомъ!

— Мы, братъ, знаемъ! отвѣчали ему.

— Да не вѣрьте вы, Христа ради! Какой это такой и Арапниковъ есть на свѣтѣ, мы его и въ глаза не видали. Я—отецъ! я знаю!

— Ничего ты не знаешь, хоть ты и отецъ. А спроси-съ ты извозчика Гришку, онъ тебѣ кое-что порасскажетъ.

— Господи! проносился съ отчаяніемъ растерзанный Артамонъ Ильичъ и умолялъ только объ одномъ: не рассказывать этихъ слуховъ больше никому...

Но эти муканы на улицѣ и въ канцеляріи мученія его не исчерпывались. Дома мучило его сожалѣніе своихъ дочерей, своей жены и видъ нищеты. Дочери знали, что про нихъ толкуютъ томилинцы; были обижены ими и поэтому злы... Какъ на корень зла, негодование дочерей прежде всего обрушилось на Артамона Ильича, который рѣшительно ничего не умѣлъ сдѣлать, даже жениховъ для дочерей не могъ отыскать, и пригласилъ какихъ-то транишниковъ, которые врутъ про нихъ безъ умолку всякія нелѣпости. Въ довершенію картины общаго разстройства въ семействѣ, Артамонъ Ильичъ замѣтилъ вражду между самими сестрами: онѣ поминутно есорились между собою за ленту, за булавку, и причину непосѣщенія ихъ молодыми людьми приписывали Олимпиадѣ въ той же мѣрѣ, какъ и отцу. «На тебя никто не угодитъ!» говорили онѣ ей... «Графа тебѣ что ли нужно? Бѣшеная!» Артамонъ Ильичъ видѣлъ, какъ съ каждымъ днемъ подъ влияніемъ тоски и злобы увядали свѣжесть и красота его дочерей. Видѣлъ, какъ Олимпиада Артамоновна, сама постигнувшая свои ошибки, смотрѣла на него какъ на дурака, не умѣвшаго остановить ее во-время; видѣлъ, какъ его любимица-дочь ходила въ изорванныхъ платьяхъ, въ стоптанныхъ башмакахъ, наконецъ чуяла злобу и негодованіе, царящее надъ всѣмъ его домомъ; понималъ, что все пропало, все лѣзло въ ровнь, и желаніе ихъ съ женой сдѣлать жизнь дѣтей лучше—не удалось, и вотъ онъ сразу запилъ, а черезъ годъ-другой сдѣлался просто-таки «горькимъ пьяницей».

«Растеряевщина» не ожидала такого окончанія. Она сжалась надъ Артамономъ Ильичемъ. Всякій,

кто отъ скуки сплетничалъ про его семью, сѣвшилъ помочь ему, если видѣтъ, что Артамонъ Ильичъ упалъ на тротуаръ и не можетъ подняться.

— Артамонъ Ильичъ, батюшка! Что съ вами? Вставайте, сдѣлайте милость! говорилъ испуганный сосѣдъ... — Пожалуйте вашу руку, я вамъ пособлю.

— Не стою! Н-не стою! кричалъ Артамонъ Ильичъ. — Н-не стоить дураку помогать... Дуракъ! Дуракъ я!

— Вставайте скорѣй, Богъ съ вами! увидать люди,—что хорошаго...

Артамонъ Ильичъ не соглашался. Если же сосѣду и удавалось вымолить его согласіе, то и послѣ того возни съ нимъ было еще много.

— Вставайте, вставайте! говорилъ сосѣдъ.

— Н-нѣтъ, поз-звольте! вырывая руку изъ руки сосѣда, лепеталъ Артамонъ Ильичъ... — Кто вы?.. Въ первый разъ въ жизни вижу васъ!..

— Будетъ вамъ, ради Бога!

— Н-нѣтъ позвольте!.. И рѣшаетесь оказать помощь беспомощному?.. Кто вы, благодѣтель мой?..

— Сосѣдъ! Сосѣдъ вашъ... Ивановъ... Вставайте!... Дайте руку...

— Извольте-сь!.. встану!..

Сосѣдъ начиналъ поднимать Артамона Ильича, полагая, что наконецъ все кончено, какъ вдругъ Артамонъ Ильичъ вырывалъ назадъ свою руку, снова падалъ на тротуаръ и бормоталъ, стаскивая съ головы шапку:

— Н-нѣтъ, позвольте... Я перекрещусь!.. Бога я поблагодарю... за васъ!.. Онъ! онъ, батюшка... владыко, посласть...

И Артамонъ Ильичъ нетвердою рукою крестилъ свое лицо, мгновенно затопленное слезами.

Дома Артамонъ Ильичъ былъ молчаливъ и, явившись въ нетрезвомъ видѣ, старался забиться куда-нибудь въ уголъ, въ чуланъ, на погребницу, и при появленіи сюда кого-нибудь изъ семьи закрывалъ глаза, притворяясь спящимъ. Никогда отъ него не могли добиться слова. Недугъ Артамона Ильича въ конецъ разстроилъ семью. Разоренье дошло до высшаго предѣла. На службѣ держали его только изъ жалости и грозилась выгнать, если дѣла пойдутъ въ такомъ видѣ «впередъ». Къ безчисленнымъ заботамъ Авдотья Карповна прибавилась забота и о мужѣ. Она ничего не жалѣла, лишь бы поставить его на ноги: знахарки и разные умные люди шептали надъ нимъ, отчитывали по «черной книгѣ», пили всякой всячиной, но ничего не помогало. Хрипушинъ, неоднократно пользовавшій Артамона Ильича, оправдывалъ неуспѣхъ леченія тѣмъ, что ему никогда Авдотья Карповна не давала докончить его, какъ слѣдуетъ; непременно поторопятся, позовутъ другого, и все, что сдѣлалъ онъ, Хрипушинъ, пропадаетъ ни за что. Такія оправданія поддерживали въ Авдотью Карповну вѣру въ знаменитаго медика, и она рѣшилась еще разъ обратиться къ нему...

Послѣ свиданія, изображеннаго въ первой сценѣ, Хрипушинъ дня черезъ два подѣхалъ къ дому Претерпѣвыхъ на телѣгѣ. Артамонъ Ильичъ только что проснулся и былъ трезвъ. Когда ему объяснили

причину пріѣзда Хрипушина, онъ тотчасъ же согласился съ женой на счетъ познаній бабы-знахарки и не сомнѣвался въ собственномъ исцѣленіи, хотя вполне зналъ, что никакая Добрая Гора и никакой Хрипушинъ не сдѣлаютъ ни на волосъ пользы.

Артамона Ильича усадили въ телѣгу; рядомъ съ нимъ сѣлъ Хрипушинъ. На перекресткѣ мѣднѣ и паціентъ перекрестился, пожелали себѣ успѣха и повернули за уголъ... Во слѣдъ имъ долго смотрѣла изъ окна Авдотья Карповна...

Выѣхавъ въ поле, Хрипушинъ почувствовалъ, что ему совѣстно передъ Артамономъ Ильичемъ, лицо котораго ясно показывало, что онъ ни на волосъ не вѣритъ волхвованіямъ старухъ и Хрипушина, а ѣдетъ лечиться единственно изъ угожденія семьѣ.

Долго между обоими ими тянулось самое мучительное молчаніе. Артамонъ Ильичъ заговорилъ первый.

— Это ты лѣчить меня, Алексѣичъ, собираешься? сказалъ онъ съ горькой улыбкой.

— Да надо бы, Артамонъ Ильичъ, смѣшавшись, заговорилъ Хрипушинъ. — Надо-бы вамъ... того... попользовать васъ.

— 9-а, голубчикъ! перебилъ паціентъ. — Другъ! присовокупилъ онъ, касаясь плеча навозчика. — Повороты-ка ты лучше всего налѣво... Вонъ туда!..

Слѣва отъ дороги торчалъ кабакъ.

Возница сталъ поворачивать. Хрипушинъ безмолвствовалъ. Артамонъ Ильичъ проснулся въ травѣ около кабака на другой день ввечеру. Хрипушинъ, успѣвшій во время припадка своего паціента дать нѣсколько благихъ совѣтовъ цѣловальничихъ и ея старухѣ-свекрови, сталъ торопить его домой. Ему нужно было доставить Артамона Ильича трезвымъ. Скоро они собрались и поѣхали.

— Хоть по крайности, ежели ужъ залечить васъ нельзя, вѣзая въ Томилинскую улицу, говорилъ Хрипушинъ, — по крайности фигуру-то свою хоть на минуту соблюдайте.

— Фигуру-то я... я соблюдаю! согласился паціентъ.

Послѣ общихъ надеждъ на благополучіе, надеждъ особенно ревностно подтверждаемыхъ самимъ Артамономъ Ильичемъ, на столѣ въ горницѣ закипѣлъ самоваръ, и Авдотья Карповна вступила съ Хрипушинымъ въ самый дружескій разговоръ. Артамонъ Ильичъ вышелъ пройтись въ садъ. Здѣсь онъ прилежъ на скамейкѣ въ бесѣдкѣ и долго-долго рыдалъ.

Въ сосѣднемъ саду слышался веселый смѣхъ, и скоро въ бесѣдкѣ, отдѣленной отъ Артамона Ильича заборомъ, послышалось бряканье чашекъ, шипѣніе самовара и наконецъ разговоры.

— Чѣмъ же мнѣ угощать васъ, господи? говорилъ сосѣдъ Ивановъ, оказавшій вчера Артамонъ Ильичу помощь на улицѣ.

— Что за угощеніе! отвѣчали любезно гости, и одинъ изъ нихъ тотчасъ же прибавилъ, понизивъ голосъ:

— Сосѣдки у васъ, Семенъ Семенычъ,—вотъ это развѣ...

— А, понравились? Хотите, посватаю?..

— Неужели же возможно?
 — Это ужь наше дѣло!.. Хотите?..
 — Брюнетка особенно не дурна... Вотъ-бы!..
 — Э-э-э! перебить хозяйнѣ,—вотъ вы куда! Олимпиаду! Нѣтъ-съ, ужь на этотъ счетъ—извините! Эту я для себя берегу.

— Подлецы вы, каналы, мерзавцы! во всю ночь гаркнулъ Артамонъ Ильичъ и опрометью бросился изъ сада на дворъ, со двора на улицу...

А Хрипушинъ и Авдотья Карповна воссѣдали за самоваромъ и продолжали дружескую бесѣду. Хрипушинъ истощилъ наконецъ всѣ аргументы, которые подтверждали его убѣжденіе въ окончательномъ исцѣленіи Артамона Ильича; въ заключеніе своей бесѣды, онъ уже взялся за шапку и хотѣлъ-было упомянуть: «нѣтъ-ли, молъ, у васъ, Авдотья Карповна, хоть сколько-нибудь мелочи...» какъ неожиданно подъ окнами послышался знакомый голосъ Артамона Ильича.

— Н-невоз-можно!.. бормоталъ онъ, стукнувшись плечомъ въ ставню.

Хрипушинъ, завидѣвъ бѣду, незамѣтно юркнулъ вонъ изъ комнаты и скрылся.

IX. Осиротѣлая семья.

Артамонъ Ильичъ Претерпѣевъ умеръ; горькій недугъ, охватившій его въ послѣднее время, скоро свелъ бѣднаго чиновника въ могилу. Авдотья Карповна, казалось, совершенно ослабѣвшая отъ несчастій и разстройствъ семьи, послѣ смерти мужа неожиданно снова очнулась, пришла въ себя и поняла, что теперь только отъ нея зависать все: нищета, исчезновеніе послѣднихъ средствъ къ существованію, общее несочувствіе или какое-то враждебное отношеніе къ семьѣ Претерпѣевыхъ всѣхъ знакомыхъ и сосѣдей,—все это сразу обрушилось на одну Авдотью Карповну. Бѣдная женщина вся впала въ какой-то припадокъ хлопотливости и суетни; цѣлые дни шмыгала она своими слабыми, старческими ногами по городу; на плечахъ ея былъ надѣтъ какой-то невѣроятно-ветхій люстриновый салонъ, сгнившій у подола и носящій на спинѣ радугообразныя, лхнялыя полосы; ветхая, запыленная и искалѣченная шляпка, засаленное прошеніе, крѣпко прижатое къ груди,—жалостью и тоскою вѣяли на встрѣчнаго человѣка, а тусклые, совершенно безжизненные глаза, въ которыхъ нельзя было примѣтить ничего, кромѣ тупого страха, заставляли встрѣчнаго сомнѣваться въ твердости ея разсудка. Цѣлые дни убогую фигуру Авдотьи Карповны можно было видѣть то на томъ, то на другомъ перекресткѣ, то на томъ, то на другомъ крыльцѣ канцеляріи или палаты. Каждый день во всѣхъ переднихъ знатныхъ и сильныхъ особъ Авдотья Карповна успѣвала десятки разъ упасть на колѣни, хватать вельможныя ноги и получать утѣшительный отвѣтъ: «Все, что только отъ меня зависать...» и проч. Помощь и работу дали ей такіе же горемыки, понимавшіе размыры печалей Авдотьи Карповны, или богатые куп-

цы, старающіеся успокоить свою совѣсть съ помощью черствыхъ кусковъ кулебяки и поземѣльныхъ екатерининскихъ пяти-копѣечниковъ.

Цѣлый день такой неустанной гонимы по городу, моленій, просьбъ и слезъ доставлялъ Авдотѣ Карповнѣ возможность не сидѣть вечеромъ безъ огарка сальной свѣчки и не мучиться безъ чаю и сахару болѣе трехъ дней. Вечеромъ, иногда очень поздно, возвращалась она въ Томилинскую улицу и, захавшись, выкладывала передъ семьей добычу съ общественной благотворительности. Нищета и ужасъ положенія были такъ велики, что ни одна изъ дочерей Авдотьи Карповны не рѣшалась пустить въ ходъ доморощенной критики и съ покорностью пожевывали засохшую, черствую купеческую кулебяку, или принимались за питье и штопанье бѣлыхъ казенныхъ рабочихъ, или вообще за какую-нибудь другую, не совсѣмъ сообразную съ званіемъ ихъ работу. Въ эту пору даже Олимпиада Артамоновна не рѣшалась уже болѣе уснащать свою рѣчь французскими оборотами. Иногда только, когда ей приходилось довольствоваться только соленымъ огурцомъ, вмѣсто обѣда, или шить какую-нибудь слишкомъ пикантную часть мужского туалета, она рѣшалась подумать, что такое занятіе способно ее унизить. Трудъ въ то время считался дѣломъ унижительнымъ.

Такъ и пошли дѣла Претерпѣевыхъ.

Мѣсяцевъ черезъ семь-восемь послѣ смерти Артамона Ильича всѣ позабыли о существованіи семьи Претерпѣевыхъ. Хрипушинъ, знавшій по слухамъ о печальномъ положеніи ихъ, не находилъ особенно пріятнымъ для себя возобновлять знакомство, прерванное смертью пациента; кромѣ того онъ рѣшительно не надѣялся отыскать у Авдотьи Карповны не только ничего по части «мелочи», но положительно былъ увѣренъ, что когда-то хлѣбосольная хозяйка эта не найдетъ возможнымъ теперь напѣдать ему даже малую пропорцію увеселительнаго напитка. Хрипушинъ поэтому и не заглядывалъ къ Претерпѣевымъ по крайней мѣрѣ съ полгода и по всей вѣроятности не заглянулъ бы сюда никогда, если бы къ этому времени въ нашей улицѣ не замечались признаки новаго времени. Хрипушинъ ощутилъ ихъ на убыли пациентовъ, на проявленіяхъ какой-то недовѣрчивости въ нихъ и на весьма ощутительной скудости угощенія. Не разъ съ горечью запуская онъ растопыренную пятерню подъ фуражку и, царапая свою голову, рѣшительно недоумѣвалъ: гдѣ-бы найти тихое пристанище, т. е. приличную порцію очищеннаго и ошалѣлую отъ скуки пациентку.

— И что-жъ это за время! вскрикивалъ онъ, хлопая себя по бедрамъ и въ ужасѣ выбѣгая на улицу послѣ неудачнаго визита.—И гдѣ же это видано? Въ какой землѣ? Что бы ежили, напримѣръ, ты пользуешь человѣка, и какъ есть всей душой, а онъ тебѣ только всего что: «будьте здоровы!». И гдѣ же это самое благородство? Ну, хоть-бы же онъ на смѣхъ, хоть бы онъ мнѣ въ рожу-то плюнулъ: на, молъ, пол-рюмки, сплосни свое сердце... А то... Ахъ!..

И Хрипушинъ снова въ ужасѣ хлопалъ о свои бедра, качалъ головой, ахалъ и почти бѣгомъ пу- скался, куда глаза глядятъ, на «авось».

Разъ, въ припадкѣ отчаянія, вслѣдствіе отсут- ствія всякой возможности гдѣ-нибудь выудить вы- пивку, Иванъ Алексѣевичъ рѣшился на послѣднее средство: зайти къ Претерпѣвымъ. Не безъ внут- ренняго волненія подходилъ онъ къ знакомому до- мику, чувствуя всю тягость картины, которая ожи- даетъ его тамъ. Каково же было его удивленіе, когда вмѣсто печалей и вздыханій онъ встрѣтилъ въ се- мействѣ Претерпѣвыхъ всеобщую радость. Вся семья Артамона Ильича обступила Хрипушина съ радостными восклицаніями: «Слава Богу!» «Слава тебѣ, Господи!» Всѣ хватали его то за одинъ, то за другой рукавъ, тащили каждый въ свою сторону, чтобы рассказать какое-то неожиданно-пріятное происшествіе, и чуть даже не цѣловали. Авдотья Карповна, захлебываясь отъ восторга и дрожа всѣмъ тѣломъ, пробилась наконецъ сквозь толпу дочерей и за плечи усадила на стулъ дорогого гостя.

— Погодите! погодите! умоляла она дочерей, усаживаясь рядомъ съ Хрипушинымъ. — Дайте вы мнѣ хоть словечко... хоть словечко!..

— Иванъ Алексѣевичъ! нѣтъ, посмотрите, что... Мусье Хрипушинъ!.. трещали, не переставая, до- чери. — Позвольте, маменька, дайте я расскажу!

— Дайте вы мнѣ, Христа ради, хоть одно-то словечко!

— Позвольте, барышни, въ самомъ дѣлѣ! вмѣ- шался Хрипушинъ. — Позвольте маменькѣ... Ахъ ты, Боже мой! а? Слава Богу! Слава Богу!.. Радъ! Ей-ей, радъ!..

— Такъ рады, такъ рады!.. голосили всѣ. — Посмотрикось, какое дѣло-то! говорила Авдотья Карповна. — Извольшь видѣть, отецъ мой!.. Пошли мы къ обѣднѣ...

— Авдотья Карповна! перебилъ Хрипушинъ, — одну минуту! Нѣтъ ли, Христа ради, какой росин- ки! Вѣрите ли, все нутро извогло! Ахъ-бы въ ножки вамъ поклонился!

Къ общей радости, графинъ съ перечнымъ струч- комъ оказался не безнадежно пустымъ. Хрипушинъ, торопившись слушать интересный рассказъ хозяй- ки, въ попыткахъ проглотить три довольно объеми- стыхъ рюмки, крикнулъ, черкнулъ ладонью по мок- рымъ усамъ и торопливо произнесъ:

— Нуте-съ, матушка, благодѣтельница?..

Авдотья Карповна развела руками и какъ-бы въ недоумѣніи начала:

— И не знаю, какъ это тебѣ рассказать-то!.. И не знаю, какъ мнѣ Бога благодарить!.. Видишь, отецъ мой: пошли, говорю, мы къ обѣднѣ... Мѣсяца полтора тому будетъ... Стоимъ у сторонки етакъ кучкой, ровно бы проказенные какіе: молимся такъ-то, дескать, когда это Господь-то по насъ по- шлетъ? Унываемъ мы такимъ манеромъ, а Лимпіада все что-то на сторону поглядываетъ... — «Что ты это, говорю шопотомъ, все на сторону поглядыва- ешь?» — «Да, говорить, вонъ посмотрите, какой-то, говорить, мужчина на насъ покашивается...» Оглянулась я: точно, стоитъ мужчина, и нѣтъ-нѣтъ

да на насъ глазомъ и замахнется... все покаши- вается...

— Покашивается? глубокомысленно спросилъ Хрипушинъ.

— Все покашивается!

— Гм... да-да-да... Ну-съ?

— Хорошо! Выходимъ изъ церкви, идемъ до- мой, и, между прочимъ, нѣтъ-нѣтъ да обернемся назадъ, глядь — и онъ обернулся!..

— Цесс...

— Что за чудо? думаемъ. Что ему отъ насъ? Ду- маемъ себѣ: вѣрно, такъ что-нибудь. Однакоже, прошла недѣля, идемъ къ обѣднѣ, глядь: опять онъ!.. Опять онъ все это какъ быто-бы...

— Покашивается? перебилъ Хрипушинъ.

— Да-да! Все какъ будто бы глазомъ норо- вить.

— Чтожъ? Слава Богу! въ умиленіи произ- несъ медикъ. — Олимпіада Артамоновна! Какъ вы полагаете?.. продолжалъ онъ, ядовито прищуривъ глаза.

— Вотъ глупости!

— Отъ чегожъ? Пушай его! ничего... Слава Богу! Ей-ей! Нусь-съ, матушка, Авдотья Кар- повна?..

— Ну, другъ сердечный, такъ это дѣло и по- шло... Гдѣ мы, глядь — и онъ торчитъ!

— Вотъ тутъ самое интересное! сказала Олим- піада не безъ ироніи.

— Погоди, не перебивай... Дай ты мнѣ дого- ворить!

— Дайте, барышня, маменькѣ вашей догово- рить... Ну-съ?

— Ну, хорошо!.. Такъ все это и идетъ... Разъ сидимъ мы такъ... дома сидимъ... скучаемъ... вдругъ подбѣзжаетъ мужикъ: «— Здѣсь, говоритъ, такіе-то живутъ?» «Здѣсь»... «— Прислано вамъ, гово- рить, вонъ капуста... въ день ангела... (точно, Стеша была именинница)». «Кто прислалъ?» «— Не приказано говорить»... Пытали, пытали — нѣтъ!.. Такъ мы растрогались, даже заплакали, право!

Хрипушинъ глубоко вздохнулъ.

— Ревемъ, со слезами продолжала Авдотья Карповна, — я думаю: гдѣ это такой благодѣтель есть?.. За что намъ Господъ милость свою посы- лаетъ?.. Немного погоды, глядь, возъ картофелю... фунтъ чаю... сахару... и все неизвѣстно отъ кого!.. Цѣловыхъ поди на пять онъ, батюшка, намъ вся- кой провизіи презентовалъ! Каково это?

Хрипушинъ долго молчалъ, опустивъ голову внизъ.

— Слава Богу! произнесъ онъ, пожавъ плѣ- чами и вздохнувъ. — Слава Богу!

— Думаю я такъ, что безпремѣнно онъ это посылаетъ?

— Это который все покашивается-то?

— Да? вопросительно произнесла Авдотья Кар- повна.

— Больше никому! заключилъ медикъ. — Боль- ше никому! Онъ... Олимпіада Артамоновна?.. Какъ вы полагаете?

— Будетъ вамъ, пожалуйста!

— Хе-хе-хе!.. Онъ, онъ-съ!.. Что-жь? Слава Богу!..

— Сколько мы ни развѣдывали, начала снова Авдотья Карповна,—никто не знаетъ... Наконецъ, вчера, принесла отъ него баба ногу телятины... Стали мы ее молить—просить; сначала-то не подавалась... ну, а потомъ, видя наше умиленіе, сказала: чиновникъ, вишь, Толоконниковъ...

— Бѣлокурый?.. востепенулся Хрипушинъ.

— Вотъ! вотъ! заговорили всѣ разомъ,—всехлаченный такой!

— Знаю!.. стукнувъ рукой объ столъ, закричалъ Хрипушинъ.—Знаю!

— Лицо етакое еще суровое...

— Знаю!.. знаю!.. Теперь я понимаю... А? Ай-да Семенъ Ивановичъ! Покашивается! Каковъ?.. Прoberу!.. Прoberу, вотъ какъ... хе-хе-хе... Каковъ?.. Позвольте-ко мнѣ пол-рюмочки!.. Каково? Молодецъ!..

Хрипушинъ, пользуясь общимъ восторгомъ, успѣлъ опорожнить графинъ и собрался тотчасъ же отправиться къ Толоконникову для пробранія послѣдняго сообразно его проступкамъ.

— Прoberу-съ! подмигивая и обращаясь къ Олимпіадѣ Артамоновнѣ, говорилъ Хрипушинъ.—Прoberу-у! Нельзя!.. Какъ можно? Нѣтъ!

Авдотья Карповна убѣдительно просила медика передать этому благодѣтелю самую безграничную благодарность. Хрипушинъ обѣщалъ примѣрно наказать преступника и далъ слово притащить его будущее воскресеніе къ Претерпѣевымъ, дабы сама Олимпіада Артамоновна распорядилась съ кавалеромъ, какъ только ей будетъ угодно.

Уходя, Хрипушинъ, вслѣдствіе неустойчивости ногъ, влетѣлъ плечомъ на притолку и, пользуясь этой остановкой, снова обратился къ Олимпіадѣ Артамоновнѣ.

— Барышня! сказалъ онъ, нетвердымъ языкомъ,—какъ вы полагаете?.. Покашивается-то?.. э-э? хе-хе-хе...

X. Жизнь и «ндравъ» Толоконникова *).

Семенъ Ивановичъ Толоконниковъ принадлежалъ тоже къ числу кавалеровъ «растеряевской округи» и слѣдовательно сердца «нашихъ» дамъ и въ особенности ихъ сундуки съ приданнымъ были не совсѣмъ безопасны отъ посягательствъ этого юноши. Юноша этотъ имѣлъ отъ роду около тридцати шести лѣтъ, былъ съ виду угрюмъ, богомоленъ, и, что всего удивительнѣе, не пилъ ни капли водки... Такія качества его поведимому могли бы сулить томилкинскимъ дамамъ полное счастье и благоденствіе, между тѣмъ на дѣлѣ выходило не то, такъ что слово «небезопасны» я употребилъ съ полнымъ основаніемъ. Прошлое Семена Ивановича до минуты поступленія его на службу было обста-

влено множествомъ разнаго рода оскорбленій: въ дѣтствѣ, въ домѣ родителя своего, дьячка села Толоконникова, онъ былъ много битъ, единственно ради непроходимаго сна и обжорства, которыми были переполнены всѣ годы его дѣтства; въ училищѣ онъ былъ предметомъ общаго поношенія ради неспособности къ наукамъ; затѣмъ, исключенный изъ послѣдняго класса духовнаго училища, поступилъ на службу въ одну изъ палатъ, и здѣсь къ его мизантропіи, начинавшей проглядывать въ отрывистыхъ ругательствахъ къ сослуживцамъ, прибавилось еще нѣсколько весьма резонныхъ причинъ. Неповоротливость, угрюмость и деревенщина, одолѣвавшія Семена Ивановича, сдѣлали то, что онъ сталъ какою-то притчею во языцѣхъ чиновниковъ и на долгое время доставилъ имъ матеріалъ для развлеченій во время куренія папирсовъ въ корридорѣ. Первые годы служебнаго поприща Семена Ивановича были едва ли не самыми тягостными въ его жизни. Въ эту пору общее полупрезрѣніе, которымъ былъ онъ окруженъ, заставило его подумать о себѣ: у него начало шевелиться въ груди что-то въ родѣ сознанія, что онъ несчастный человѣкъ, что его надо жалѣть, а не насмѣхаться надъ нимъ; а такъ какъ надъ нимъ насмѣхались, то онъ, жалѣя себя, сталъ чувствовать потребность мести кому-то... Деревня, училище ни на волосъ не подготовили его къ чиновнической жизни, къ чиновническимъ интересамъ, и «выбѣться въ люди», отомстить путемъ чиновническимъ онъ не могъ никакъ; сколько онъ ни ломалъ голову надъ этимъ предметомъ, сколько ни старался выучить себя разговаривать и даже ходить такъ, какъ его сотоварищи, ничего не выходило изъ этихъ многотрудныхъ стараній... Тоска его, по всей вѣроятности, была бы безысходна, если-бы, къ счастью Семена Ивановича, ему не предложили другой должности. Новинка этой должности для Семена Ивановича состояла въ томъ, что его помѣстили въ отдѣльной комнатѣ, въ самомъ углу зданія, вдали отъ тѣхъ частей палаты, гдѣ кипѣтъ рой опротивѣвшихъ ему чиновниковъ. Семенъ Ивановичъ занимался исключительно печатаніемъ конвертовъ и отправленіемъ ихъ на почту. Чиновника забѣгали сюда только на одну минуту. Семенъ Ивановичъ цѣлые дни оставался въ обществѣ молчаливыхъ сторожей и въ обществѣ бобровой шубы господина управляющаго, которая безмолвно висѣла на гвоздѣ какъ разъ противъ фізіономіи моего героя. Тишина здѣсь была неопишемая. Отсутствие людей и человѣческихъ звуковъ доставляло Толоконникову истинное удовольствіе и незамѣтно наводило его на мысль, что одиночество есть настоящее средство для достиженія болѣе или менѣе счастливой жизни. Съ этого времени, не отдавая себѣ обстоятельнаго отчета въ своихъ поступкахъ, сталъ Семенъ Ивановичъ устраивать собственное хозяйство.

Со времени поступленія Семена Ивановича въ должность прошло уже болѣе пятнадцати лѣтъ, а онъ по-прежнему живетъ одинъ-одинешенецъ. Хозяйство его доведено до высшей степени совершен-

*) Подъ фамиліей «Толоконниковъ» здѣсь изображено то же самое лицо, которое въ очеркѣ «Дѣла и Знакомства» носитъ фамилію Богоборцева.

ства; посмотрите, чего-чего только нѣтъ у него: въ шкафу, въ верхней половинѣ, всѣ полки заставлены посудой, которой хватить на пятьдесятъ человѣкъ: тутъ и вилки дюжинами, и ложки, и чашки, и проч. и проч.—все подобрано подъ одну масть, «подъ кадриль», какъ выражается Семенъ Ивановичъ. Нижняя часть шкафа, т. е. комоды, биткомъ набиты бѣлымъ разныхъ сортовъ и видовъ; попадаютъ даже принадлежности женскаго туалета, и тоже все дюжинами, все новенькое, нетронутое... По стѣнамъ лѣнятся сундуки; откройте ихъ и загляните туда: платье и лѣтнее, и зимнее наложено цѣлыми ворохами, моль бродитъ по немъ, потому что Семенъ Ивановичъ никогда еще не рѣшался надѣть и носить этого новаго платья,—все ему чуждо, что въ немъ самомъ или вокругъ него нѣтъ чего-то-такого, что бы дало ему право стать наравнѣ со всѣми, быть какъ другіе, и ему стыдно было одѣваться такъ, какъ одѣваются другіе. «Съ чего такого, подумаютъ люди, вырядился?» полагалъ Семенъ Ивановичъ, и платье гнило въ сундукахъ, ожидая счастливаго дня... Хотите вы папирсъ, Семенъ Ивановичъ тотчасъ же предложитъ вамъ ихъ во множествѣ сортовъ, легкихъ, крѣпкихъ, хоть самъ никогда не выкурилъ ни одной папирсы. Хотите вы выпить водки или вина, Семенъ Ивановичъ мгновенно представитъ вамъ и то, и другое, хотя самъ никогда не бралъ капли въ ротъ. Словомъ, все, «что только вашей душѣ угодно», все найдетъ у Семена Ивановича; все это лежитъ недвижимо, наготовлено на пятьдесятъ «персонъ», ждетъ кого-то. И все никого нѣтъ, все героя моего одолеваетъ тоска по чемъ-то, все онъ нѣтъ-нѣтъ да прикупить, для собственнаго утѣшенія, новый подовѣчникъ, или сошьетъ новую шинель на ватѣ и тотчасъ же навѣки погребетъ ее въ сундукъ. Людей знакомыхъ, вообще хоть какого-нибудь человѣческаго общества, у него нѣтъ. Какимъ-то чудомъ избѣжалъ онъ пьянства *) и поэтому никакъ не могъ заводить знакомства съ чиновниками, такъ какъ вся жизнь провинціальной чиновнической мелкоты только и держится (двадцать лѣтъ назадъ было такъ) на выпиваніи, похмельи и опять выпиваніи. Изъ нихъ могли рассчитывать на его знакомство только люди престарѣлые, прослужившіе двойные служебные сроки, неплывущіе и ропщущіе, какъ и Семенъ Ивановичъ, на весь божій міръ, или, напротивъ, новички чиновничьяго міра, юноши неопытные и тоже страдающіе. Семенъ Ивановичъ могъ даже первенствовать между тѣми и другими; но онъ знаетъ, что куда негодные старцы и неоперившіеся юноши не составляютъ людей «настоящихъ», самостоятельныхъ, къ которымъ бы Семену Ивановичу хотѣлось принадлежать. Изъ такихъ людей, въ раду его знакомыхъ, былъ только одинъ купецъ, который хотя и допускалъ его откушать чайку, но особенной важности особѣ его не придавалъ. Надо было еще чего-то...

*) Его спасала „охота“, любовь къ курамъ, къ бойцовымъ пѣтухамъ, кулачнымъ боямъ, и т. д. См. гл. III.

Мало-по-малу тоска Семена Ивановича начала выливаться въ болѣе опредѣленные формы и заявлять болѣе опредѣленные требованія. Съ теченіемъ времени, все съ большей и большей раздражительностью началъ онъ принимать къ сердцу такіе вещи, какъ напримѣръ похвала какому-нибудь постороннему лицу. Съ завистью слушалъ онъ, какъ какая-нибудь кухарка рассказывала про строгость господъ и боялась опоздать домой хоть минутой. Семенъ Ивановичъ въ этомъ страхѣ кухарки видѣлъ силу и власть барина и считалъ его не только настоящимъ человѣкомъ, имѣющимъ право жить, но и человѣкомъ необыкновенно счастливымъ. Услыхавъ какой-нибудь подобный этому рассказъ кухарки или горничной, Семенъ Ивановичъ тотчасъ приравнивалъ себя къ строгому барину и находилъ громадную разницу «...Небось, думалъ онъ, моя Авдотья этикъ-то не задрожитъ!»...

И Семенъ Ивановичъ вздыхалъ...

За слишкомъ долгое отсутствіе всѣхъ пріятныхъ ощущеній, какія доставляетъ жизнь, Семенъ Ивановичъ, въ вознагражденіе своихъ долгихъ страданій въ одиночествѣ, началъ требовать съ какою-то болѣзненной жадностью самаго безграничнаго уваженія. Разговоры кухарокъ про строгихъ господъ, хорошіе отзывы о «другихъ», вообще все, что составляло чуждую ему жизнь провинціального общества,—все это навалилось на него какою-то громадною тяжестью и заставило его жадать власти хоть надъ курами. Такимъ образомъ изъ Семена Ивановича выходилъ давно знакомый намъ отечественный самодуръ. Постороннему наблюдателю это казалось совершенно яснымъ, но самъ Семенъ Ивановичъ очень смутно постигалъ, чего ему хочется. Самодурство какъ-то уродливо копошилось въ немъ.

Вотъ сидитъ онъ одинъ въ своей комнатѣ; онъ только что воротился отъ всенощной; кругомъ комнаты у потолка и особенно въ углу ярко горитъ множество лампадъ; въ комнатѣ душно, пахнетъ деревяннымъ масломъ и тишина. Семенъ Ивановичъ отпилъ чай; благоговѣйное-ли мерцаніе лампадъ или торжественная тишина дѣйствуетъ на него, только онъ упорно молчитъ; изрѣдка, среди безмолвія, раздается едва слышное пѣніе: «услыши, Господи, молитву-у-мо-о-о...» и потомъ глубокій-глубокий вздохъ... Снова тишина, снова пѣніе: «ду-ушу мою къ моленію...» и снова еще болѣе глубокий вздохъ...

— Господи, Господи! наконецъ громко произносить Семенъ Ивановичъ.

Входитъ старуха-кухарка. При всей привязанности къ женскому полу, Семенъ Ивановичъ никогда не могъ осуществить своей мечты—нанять молодую бабу; дѣлалось это конечно по тѣмъ же самымъ причинамъ, по какимъ онъ не могъ носить новаго платья. Кухарка, кряхтя и охая, направляется къ столу.

— Что ты?

— Самоваръ убратъ.

Семенъ Ивановичъ чувствуетъ потребность добыть изъ кухарки хоть какую-нибудь крупицу утѣхи своему наболѣвшему самолюбію.

— Возьми, говорить онъ кротно, и потомъ прибавляетъ небезъ негодованія:—то-то, братъ Авдотья, у насъ все такъ! Баринъ-то когда чай отпилъ, а ты только, Господи благослови, трогаешься за самоварожъ.

— Нешто у меня сто рукъ-то?.. Небось не одно дѣло...

— Молчи! раздражительно, но неторопливо произнесъ хозяйинъ.—Ма-алыя! Ты про дѣла говорить не смѣй... Ты...

— Съ чавожъ такое нѣ говорить-то? Экося дѣло какое!

— Не говори, Авдотья! Слышишь, или нѣтъ?...

Семенъ Ивановичъ грозно приподымается съ дивана; Авдотья отступаетъ, прижавъ къ груди самоваръ.

— У тебя дѣла? продолжаетъ хозяйинъ.—А гдѣ же это ты рожу-то нажевала? пришла какъ щепка, а теперь эво рыло-то... все это отъ дѣловъ?.. Ахъ ты, безсовѣстная тварь!.. У тебя дѣла!

— Ну, пошелъ мутить!

— Нѣтъ, погоди... Стой! Я говорю, гдѣ ты нажевала рожу?

— Ты на меня не кричи! Чего ты, воевода какой отыскался! вскрикиваетъ въ свою очередь кухарка.—Какъ-таки вишь дѣла! Мало чтоль дѣловъ-то? У тебя добра-то эва навалено... все прибери!

Семенъ Ивановичъ, побагровѣвшій и готовый на отчаянную брань, вдругъ почувствовалъ, что фраза кухарки на счетъ изобилія добра пролила въ его сердце нѣчто безпредѣльно отрадное; онъ утихъ и молча опустился на диванъ.

— У тебя, продолжаетъ въ томъ же воинственномъ тонѣ кухарка,—эва что всего повапихано!.. Гдѣ ни повернись... Ровно-бы помѣщикъ какой живешь, а я небось одна... Какъ-таки дѣла... Эва-а!

— Ахъ, дура! кротно говоритъ хозяйинъ,—сравнила съ помѣщикомъ!

— А то что же? У иного помѣщика еще и этого-то нѣту... А у тебя поглядикось! Все убери да подмети.

— Ахъ, дура, дура! сладко произноситъ хозяйинъ.

— Вотъ-тѣ дура!.. Что платя, что бѣлья, что чего!.. Все напасено, незнамо про кого только... Тебѣ съ меня взять нечего, я—человѣкъ старый... кабы жену взялъ, тогда и взыскивай съ нее! Да и въ ту пору съ твоимъ богатствомъ еще не управился... А то—одна! Нѣту дѣловъ!

Семенъ Ивановичъ безмолвствуетъ. Кухарка направляется къ двери.

— Погоди! нѣжно произноситъ герой.

— Чего еще?

— Постой... Такъ, говоришь... помѣщикъ... Я-то?..

— Да помѣщикъ и есть...

— Погоди, Авдотья... Постой минуточку... Много всего, говоришь?

— Обнакновенно много всего... что одежды, что чего!

— Д-да!.. Славу Богу!..

Семенъ Ивановичъ вздыхаетъ. Авдотья ждетъ новаго вопроса.

— Идти чтоль?

— Погоди минуточку...

— Чего годить-то?.. У меня небось есть гдѣ хороводиться...

— Погоди же, Господи!.. Позволь!

Настаетъ продолжительное молчаніе. Авдотья ждетъ. Семенъ Ивановичъ совершенно растаялъ отъ удовольствія, которое доставила ему Авдотья.

— Такъ ты, Авдотья, говоришь: я въ родѣ какъ помѣщикъ?..

— О, да что это, дитѣ какое разыскалось! Миѣ вѣдь...

— Постой, Авдотья! погоди!

Но Авдотья уже исчезла.

По уходѣ кухарки, мысли Семена Ивановича начали принимать самыя разнообразныя направленія; сначала онъ, поддаваясь новому ощущенію, воспронизведенному словами кухарки, горячо благодаря Бога за его милости, шепталъ: «Слава Богу», «Слава, тебѣ, Господи» и вздыхалъ. Свѣтъ лампы весьма гармонировалъ съ настроеніемъ души моего героя. Затѣмъ наболѣвшее и наголовавшееся самолюбіе его начало требовать какого-нибудь новаго удовольствія. Семенъ Ивановичъ, успѣвши убѣдиться, что онъ, благодаря Бога, ничуть не хуже другихъ, потихоньку началъ помышлять о томъ, что, несмотря на преимущества, которыми обладаетъ онъ передъ многими, видѣнными имъ лицами, онъ не получаетъ должнаго уваженія и не имѣетъ нигдѣ права голоса... «За что? думалъ Семенъ Ивановичъ. Что я, хуже что-ль кого? Славу Богу, кажется? Нѣтъ, погоди!..» При этомъ онъ нетерпѣливо вскакивалъ съ дивана и тотчасъ же садился опять. Разгнѣванная мысль его мгновенно вспоминаетъ всѣ оскорбленія, которыя онъ хоть когда-нибудь получалъ: Семенъ Ивановичъ вспыхивалъ и рѣшалъ тотчасъ же на комъ-нибудь сорвать кровную обиду. Въ жару негодованія, онъ вспоминаетъ все ту же свою кухарку Авдотью, которая за нѣсколько минутъ передъ этимъ не дослушала его разговоровъ и ушла, не смотря на то, что онъ весьма ласково говорилъ ей: «погоди», «постой».

— Авдотья! гаркнулъ онъ, съ сердцемъ распахнувъ дверь въ кухню.—Пока сюда!

— Это еще чего, вотъ...

— Не разговаривать! Я эти разговоры-то слыхалъ... Пошла сюда!

Семенъ Ивановичъ ушелъ и хлопнулъ дверью. Авдотья, услыжавъ, какъ хлопнула за барининой дверью, поняла, что дѣло разыгралось не на шутку, и не безъ робости вошла въ хозяйскіе покои. Хозяинъ въ волненіи сидѣлъ на диванѣ, нетерпѣливо болталъ ногой и, увидавъ кухарку, заговорилъ съ ожесточеніемъ:

— Когда ты будешь слушать, что тебѣ говорятъ? а?

— Господи помилуй! Слава Богу, и такъ слышу...

— Нѣтъ, я говорю, когда ты будешь слушать?.. Авдотья не нашла что отвѣчать...

— А? продолжалъ хозяинъ.— Я тебѣ что сегодня утромъ сказалъ?..

— Мало чего ты говорилъ? У тебя нешто мало приказу-то?..

— Нѣтъ, что я сказалъ?..

— Что сказалъ, то и сдѣлала... И нечего орать попусту...

— Мол-лчи! Что я сказалъ?

— Нечего молчать. Говорю, коли спрашивашь. Сказалъ: отнести сапогъ въ починку,—отнесла... Приказалъ тарелки перемыть—вонъ онѣ...

Семень Ивановичъ еще съ большимъ волненіемъ принялся болтать ногою, готовясь гаркнуть пуще прежняго.

— Мало ли, бормотала испуганная Авдотья.— Вонъ, сказалъ, огурцы пере...

— Чт-то я сказалъ?! не удержался Семень Ивановичъ и вскочилъ съ дивана.

Вышедшая изъ терѣзій Авдотья плюнула и скрылась, хлопнувъ дверью...

— Вонъ! долой съ мѣста! кричить Семень Ивановичъ; но Авдотья не слыхала его.

Хозяинъ былъ въ волненіи. Шагая по комнатѣ и ероша волосы, онъ ждалъ, что Авдотья явится и попроситъ извиненія. Но она не являлась. Хозяинъ каждую минуту порывался въ кухню для того, чтобы объяснить строптивной рабынѣ ея вину, но долгое время не рѣшался этого сдѣлать. Авдотья между тѣмъ, очутившись въ кухнѣ, сразу чего-то оробѣла и упорно задумалась надъ тѣмъ, что такое сказывалъ ей хозяинъ? Перемывая дрожащими руками тарелки, она долгое время перебирала въ памяти хозяйскія приказанія, но ничего заслуживающаго гнѣва не находила и убивалась пуще прежняго. Изъ комнаты доносились сердитые шаги барина. Время тянулось мучительно долго. Наконецъ шаги послышались въ снѣгахъ и баринъ вошелъ въ кухню. Авдотья старалась не смотрѣть ему въ глаза.

— Гляди! грозно произнесъ баринъ.

Кухарка подняла голову: передъ ней стоялъ разозленный хозяинъ и держалъ почти у потолка кошку, схвативъ ее за спину.

— Вотъ я что сказалъ! говорилъ гнѣвно баринъ.

— Я сказалъ, продолжалъ онъ, потрясая кошкой надъ головой кухарки,—я сказалъ: запирай кошку на ночь... Куда?

Кухарка трепетала.

— Въ чуланъ! крикнулъ хозяинъ и въ то же мгновеніе на голову кухарки упала съ отчаяннымъ визгомъ кошка, а съ потолка посыпался соръ, такъ какъ хозяинъ ушелъ, сильно хлопнувъ дверью.

— Ахъ ты, подлая! съ сердцемъ заключила кухарка, ногою отбросивъ кошку въ уголъ...

XI. Семень Ивановичъ въ хорошемъ расположеніи духа.

Иногда впрочемъ судьба посылала пищу его голодной душѣ въ формахъ болѣе или менѣе скромныхъ, не столь бушующихъ. Въ эти минуты угрю-

мое лицо Семена Ивановича освѣщалось весьма добродушной улыбкой, и герой мой являлся въ новомъ свѣтѣ. Вотъ онъ высунулся въ окно и со вздохомъ поглядывалъ по сторонамъ. У воротъ, въ двухъ шагахъ отъ него, сидѣть хозяйская кухарка Прасковья въ новомъ «каленомъ» каленкоровомъ сарафанѣ и въ цвѣтной косынкѣ на черныхъ, какъ смоль, волосахъ, и холодно посматриваетъ своими большими карими глазами на двухъ молодыхъ, красующихся у воротъ постоялаго двора. Молодцы эти—кучера какихъ-то прѣзжихъ господъ; они разфранчены какъ только возможно: плюсовые поддевки, красныя рубахи, сапоги съ красной сафьянной оторочкой; на головѣ шляпы съ павлиньими перьями. Молодцы эти лукаво посматриваютъ на Прасковью и, чтобы заслужить въ ея мнѣніи, стараются блеснуть тѣмъ-нибудъ; они покривляются на ямщиковъ сосѣдняго постоялаго двора, запрещаютъ имъ курить папирсы, а сами ни за что не соглашаются погасить своихъ трубокъ. Ничто однако не привлекало къ нимъ вниманіе Прасковьи. Семень Ивановичъ, наблюдавшій изъ окна надъ ухорствомъ кучеровъ, попробовалъ самъ попытать счастья и не безъ робости произнесъ:

— Прасковья! а Прасковья!

Кухарка оглянулась.

— Здорово!

— Здравствуй!

Семень Ивановичъ радовался, что такъ благополучно началось.

— Что же, Прасковья, мужъ-то у тебя дома?

— На войнѣ!

— А-а... Его, поди, ужъ убили?

— Когда бы Господь далъ!

— Вотъ какъ?.. ты, Прасковья, если хочешь, я узнаю: живъ онъ или нѣтъ.

— О?

— Ей-богу... у меня заведены этакія книги... что угодно... Ты вотъ что: ты зайди ко мнѣ въ комнату, на минуточку...

— Чего еще?

— Ей-богу. Ты чего боишься? Слава Богу, я не какой нибудь!.. Мы бы съ тобою вмѣстѣ поглядѣли въ книгъ-то... а? Прасковья?..

— Гдѣ такая книга?

Семень Ивановичъ показалъ ей въ окно какую-то книгу.

— Видишь? Тутъ все: кто убить, кто раненъ... все... Прасковья?..

— Ну-ся погляди: Иванъ изъ Яковлевскаго...

— Да ты иди сюда...

— Эва!

— Вотъ захотѣла: на улицѣ разговаривать... Ты иди сюда!..

Кухарка подозрительно посмотрѣла кругомъ и потомъ нерѣшительно произнесла:

— Ну, гляди: обманешь, не жить тебѣ...

— Иди! Иди!

Кухарка медленно поднялась съ сидѣнья и пошла. Какимъ побѣднымъ и сіяющимъ взглядомъ посмотрѣлъ Семень Ивановичъ на сосѣдскихъ кучеровъ!

XII. Семенъ Ивановичъ знакомится съ семействомъ Претерпьевыхъ.

Семейство Претерпьевыхъ обратило на себя вниманіе Семена Ивановича по тѣмъ же причинамъ, по какимъ слова кухарки, велячавшей его помѣщикомъ и богатыремъ, доставляли ему высокое наслажденіе. Встрѣтивъ ихъ въ церкви, онъ замѣтилъ, что его пристальные взгляды на нихъ производятъ надлежащее дѣйствіе: одна изъ дочерей Авдотья Карповны тоже начинаетъ поглядывать на него; затѣмъ между дочерью и матерью происходитъ какое-то шептанье, послѣ котораго онѣ обѣ вмѣстѣ взглядываютъ на Семена Ивановича... Все это говорило герою моему, что говорить о немъ. Скоро Семенъ Ивановичъ могъ убѣдиться, что обѣ немъ не только думаютъ, но даже боятся: послѣ посылки воза капусты Претерпьевы не могли глядѣть на благодѣтеля иначе, какъ съ благоговѣніемъ. Дальнѣйшія посылки сахару, чаю и проч. окончательно убѣдили его въ безграничной преданности Претерпьевыхъ; послѣ того какъ былъ сдѣланъ послѣдній подарокъ въ формѣ телячьей ноги, и когда Акулина извѣстила благодѣтеля о томъ восторгѣ, который произошелъ, когда узнали имя неизвѣстнаго благодѣтеля, Семенъ Ивановичъ впалъ въ какое-то сладостное забытѣ: сама Олимпиада Артамоновна, извѣстная въ растеряевской палестинѣ за дѣвицу высоко просвѣщенную и гордую, и та, по словамъ Акулины, пылала къ нему безпредѣльнымъ благоговѣніемъ. Чего жъ еще?

Семенъ Ивановичъ былъ истинно счастливъ. Въ одинъ вечеръ приливъ доброты и снисходительности къ человечеству въ немъ былъ такъ великъ, что всѣ живыя существа того дома, гдѣ жилъ онъ, были изумлены не на шутку: Семенъ Ивановичъ отпускалъ каламбуры, шутилъ, вмѣсто двухъ кусковъ сахару отпустилъ Акулинѣ цѣлую горсть, безъ счету. Въ довершеніе восторга Семена Ивановича, церемонная Прасковья рѣшилась наконецъ напиться у него чаю, послѣ котораго и хозяинъ, и гости успѣли играть въ карты. Въ комнатѣ громко раздавались слова: «ходи!» «сдавай!» «держишь, иду патеркой». «Нѣтъ, когда ты меня полюбишь?» говорилъ Семенъ Ивановичъ, съ трескомъ выкладывая передъ Прасковьей козырную тройку; Прасковья крыла тройку и въ свою очередь выкладывала передъ хозяиномъ «хлюсть», прибавляя:

— А этого?

— Нѣтъ, когда ты меня полюбишь? продолжалъ хозяинъ, торопливо «принимая» карты.

Эта пріятная минута, сулившая, судя по развѣселившемуся лицу бабы, полное упроченіе дружбы, была прервана совершенно неожиданно: на порогъ комнаты появилась фигура Хрипушина.

— А, другъ-пріятель! радостно воскликнулъ Семенъ Ивановичъ.

Но Хрипушинъ, не отвѣчая на пріѣтствіе, остановился въ дверяхъ, развелъ руками и, поглядывая то на хозяина, то на гостью, заговорилъ:

— Не похвалю. Каково, Семенъ-то Ивановичъ? а?.. Не ожидалъ!.. ай-ай-ай!..

Семенъ Ивановичъ смѣялся.

— Да какую еще пріятную компаньонку себѣ раздобытъ!.. ахъ ты, Боже мой... Не ожидалъ!.. Гдѣ такую бабочку, Семенъ Ивановичъ?..

Прасковья тотчасъ же исчезла изъ комнаты, шаркая по полу босыми ногами. Хрипушинъ засмѣялся ей вслѣдъ.

— Ну, садись!

— Охъ, да ужъ видно придется у васъ, Семенъ Ивановичъ, отдохнуть...

Хрипушинъ сѣлъ напротивъ хозяина и, отирая мокрые отъ дождя усы, лукаво поглядывалъ на него.

— Ты чего таращишься-то? спросилъ игриво хозяинъ.

— Будто не знаете?.. Про этихъ-то? про Томилинскихъ-то? ничего слуховъ нѣтъ?..

Хрипушинъ кивнулъ головой въ сторону и подмигнулъ.

— Про какихъ? словно ничего не понимая, переспросилъ Толоконниковъ. — Про кого?.. Какія?..

— А возъ капусты-то?.. «Неизвѣстно кто?..»

— О-о-о! вонъ куда!.. Будетъ тебѣ! Водочки не хочешь ли?

— Нѣтъ-съ, позвольте! водочки само собой, а это дѣло своимъ чередомъ!.. Еще не все-съ!

— Будетъ, будетъ! Оставь! Эко разговоръ nasty!

— Нѣтъ-съ, позвольте! Приказано благодарить-съ, то есть вотъ какъ: отъ души! Даже и словъ нѣтъ!

Хозяинъ какъ бы нехотя попробовалъ-было еще разъ остановить гостя, но тотъ не слушалъ его и продолжалъ:

— Такого, говорятъ, благодѣтеля отъ роду рожденія нашего не выдывали! И дай ему, Господи, на много лѣтъ, чтобы, то есть, въ лучшемъ видѣ... Ей-ей... Это, Семенъ Ивановичъ, зачтется, повѣрьте!.. А вы что думаете? Да вы сыщете теперь на всемъ бѣломъ свѣтѣ одного человѣка, чтобы онъ, къ примѣру, по вашему поступилъ? Нѣтъ-съ, Богъ видитъ!

Долго говорилъ Хрипушинъ въ томъ же хвальныйномъ родѣ. Хозяинъ таялъ отъ словъ его и со всѣмъ-было забылъ о водкѣ, если бы гость, у котораго наконецъ пересохло горло отъ длинныхъ монологовъ, самъ не свернулъ разговоръ на этотъ предметъ. Послѣ выпивки бесѣда пошла ровнѣе; Хрипушинъ доказывалъ хозяину преимущество брачной жизни, на что тотъ возражалъ:

— Жениться! Жениться можно, да что проку-то?.. Поди-ка, женись, завоешь!

Хрипушинъ опровергалъ это мнѣніе и затѣвалъ новый разговоръ: принялся восхвалять Олимпиаду Артамоновну, негодую противъ слуховъ, разгуливающихъ о ней по «растеряевщинѣ», и доказывалъ, что при своемъ высокомъ образованіи дѣвица эта могла бы быть примѣрною супругой. Семенъ Ивановичъ опять возражалъ на это, что «жениться можно, да что проку-то? поди-ка, женись». Вообще разговоры Хрипушина по части законнаго брака ока-

зались бесплодными; Хрипушинъ повѣлъ, что нельзя слишкомъ сильно налегать на хозяина съ такими предложеніями и рѣшился дѣйствовать исподволь. Съ этою цѣлю онъ пригласилъ Толоконникова, именемъ Авдотьи Карповны, на пирогъ въ воскресенье, на что Семенъ Ивановичъ сказалъ: «подумаю».

Въ самомъ дѣлѣ, намѣренія Семена Ивановича были далеки отъ законнаго брака. Въ Претерпѣвыхъ онъ чувалъ такихъ людей, которые будутъ полагаться ему и носить его на рукахъ и «такъ», безъ женитьбы, единственно ради его къ нимъ вниманія и кой-какихъ съѣстныхъ подачекъ. Все это подтверждается и дальнѣйшимъ ходомъ событій, которыя слѣдовали въ такомъ порядкѣ: благодаря содѣйствію Хрипушина, Толоконниковъ присутствовалъ на пирогѣ у Авдотьи Карповны; Иванъ Алексѣичъ выручалъ въ этотъ день всѣхъ, тѣмъ онъ за семерыхъ и не забывалъ при этомъ потѣшать публику разными анекдотами. Претерпѣвы, пристально смотрѣвшіе на Семена Ивановича, не нашли въ немъ ничего необыкновеннаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшительно не могли объяснить себѣ его угрюмости и молчаливости, которая, нужно замѣтить, охватывала моего героя всякій разъ, какъ только онъ попадалъ въ незнакомое общество.

Послѣ этого пирашества Претерпѣвы и благодѣтель не видались въ теченіе недѣли. Бѣдная напуганная Авдотья Карповна полагала, что безцѣнный Семенъ Ивановичъ забылъ ихъ, обидѣвшись тѣмъ, что за всѣ благодѣянія его поблагодарили неудавшимся пирогомъ съ его же капустой. Но подозрѣнія эти оказались ложными. Въ слѣдующее воскресенье, часу въ 6-мъ вечера, когда Олимпиада Артамонова въ задумчивости сидѣла у окна, на тротуарѣ показалась фигура Толоконникова. Семенъ Ивановичъ былъ въ новомъ сюртукѣ, который старался спрятать подъ своимъ рванымъ пальто. Увидѣвъ благодѣтеля, Олимпиада Артамонова издала пронзительный крикъ, и тотчасъ же вся семья Претерпѣвыхъ столпилась у окна и раскланивалась съ Семеномъ Ивановичемъ.

— Добраго здоровья! говорилъ Толоконниковъ, неуклюже приподнимая свой картузъ.

— Здравствуйте, Семенъ Ивановичъ, заходите!

— Чтожъ, заходить-то... какъ поживаете?..

— Какъ мы поживаемъ? Извѣстно какъ!..

— Семенъ Ивановичъ! нынче фейерверкъ въ саду! совершенно неожиданно и необыкновенно быстро проговорила одна изъ претерпѣвскихъ барышень.

— А Господь съ нимъ!..

— И правду.

Всѣмъ желательно было пойти въ садъ и посмотреть фейерверкъ, но въ то же время всѣ почему-то «боялись» посторонней публики.

— Эка невидаль! продолжалъ Семенъ Ивановичъ.

— Да опять и отсюда увидимъ, ежели на то пошло, мѣсто высокое, гора, далеко видно...

Всѣ немедленно согласились съ этимъ.

— А въ случаѣ ежели пройти удобно, такъ и это можно... Мало ли гдѣ? И безъ толкотни.

Претерпѣвскія барышни тотчасъ же одѣлись и

вышли. Семенъ Ивановичъ повелъ ихъ на кладбище; здѣсь уже въ самомъ дѣлѣ не было ни единой живой души, только какія-то бабы, заливаясь слезами, хоронили ребенка. Семенъ Ивановичъ направился съ дамами прямо къ этой могилѣ и, снявъ шапку, достоялъ погребенію. Затѣмъ прогулка продолжалась въ грустномъ молчаніи; всѣ были неспроста настроены похоронами. Семенъ Ивановичъ вздыхалъ, говорилъ о смерти, о загробной жизни.

— Семенъ Ивановичъ! вонъ ракету пустили!

— Ну, что же, Господь съ ней! О-охъ, Господи Боже мой, подумаешь о смерти-то иной разъ...

Всѣ вздыхали; вдали за кладбищенскимъ валомъ семинаристы играли въ лапту; по шоссе мчались почтовые, весело заливаясь колокольчиками; издали доносились звуки музыки и изъ облака пыли, затопившей городъ, повременамъ вылетали ракеты.

— Семенъ Ивановичъ! вонъ еще!

— Господь съ ней! повторилъ Семенъ Ивановичъ.

А Авдотья Карповна прибавила:

— А вотъ и Артамона Ильича могилка!..

Это извѣстіе уничтожило всякую возможность получить хоть какое-нибудь удовольствіе отъ прогулки. Всѣми овладѣли уныніе и скорбь. Претерпѣвы воротились домой съ растерзанными сердцами.

Такія посѣщенія Семенъ Ивановичъ началъ дѣлать все чаще и чаще. Иногда онъ приносилъ какое-нибудь угощеніе: фунтъ казенныхъ орѣховъ, десятокъ яблокъ. Наконецъ уваженіе, выражаемое ему Претерпѣвыми, до такой степени разлакомило его, что онъ уже не могъ пробыть минуты, не испытывая пріятности этого уваженія и рабства. Семенъ Ивановичъ рѣшилъ нанять квартиру у Претерпѣвыхъ и такимъ образомъ покинулъ Растеряеву улицу для Томилинской. Ради этого онъ тотчасъ же поругался съ хозяиномъ, такъ какъ перемѣнить квартиру, не поругавшись съ хозяиномъ, казалось ему дѣломъ невозможнымъ, и принялся перевозить вещи.

Въ одинъ день, вслѣдъ за возами, въѣзжавшими на дворъ Претерпѣвыхъ, шелъ Хрипушинъ; онъ осторожно держалъ одной рукой маятникъ, въ другой—придерживалъ полы своей шинели, по причинѣ непроходимой грязи, и прожевывалъ какую-то закуску, которая сильно раздула ему щеку.

Вечеромъ, когда въ новой квартирѣ Толоконникова было все прибрано и хозяинъ съ удовольствіемъ поглядывалъ на свое добро, Хрипушинъ сладкимъ голосомъ проговорилъ:

— Вотъ бы, Семенъ Ивановичъ, жениться вамъ? Ей-богу!

Но Семенъ Ивановичъ отдѣлался своей обычной фразой, сложившейся въ его головѣ по поводу этого предмета. Такимъ образомъ Толоконниковъ, или «благодѣтель», поселился въ самомъ центрѣ покоренной его благодѣяніями области и продолжалъ доканчивать это покореніе, чего требовало его жадное самолюбіе.

Сначала, съ непривычки на новомъ мѣстѣ, Се-

меня Ивановичъ поступалъ съ хозяевами чрезвычайно предупредительно и вѣжливо.

— Не нужно ли вамъ, Авдотья Карповна, сахару?

— Нѣтъ, нѣтъ, и такъ много! Покорнѣйше благодаримъ!

— Отчего же? Берите, когда есть... Да вамъ шкатулки не надо ли?

— Что это вы, Семенъ Ивановичъ! Ей-Богу, вы насъ совсѣмъ конфузите... Мы и словъ не найдемъ благодарить васъ.

— Эва что! добродушно заключалъ Семенъ Ивановичъ, и шкатулка оставалась у Претерпѣвыхъ. Точно такимъ ласковымъ манеромъ были снабжены Претерпѣвы всѣмъ необходимымъ въ хозяйствѣ; въ ихъ комнатахъ появились разныя вещи Семена Ивановича: столы, стулья, диваны. Толоконниковъ былъ ужасно радъ, не сомнѣваясь, что власть его возрастаетъ; но Претерпѣвыхъ задавили эти благодѣянія.

Всѣ эти шкатулки, самовары и прочія вещи, принадлежащія благодѣтелю, были чѣмъ то вродѣ казенныхъ печатей, палоченныхъ въ обезпеченіе чьего-либо прикосновенія; Семенъ Ивановичъ своими благодѣяніями наложилъ точно такія же казенныя печати на свободную волю благодѣтельствуемыхъ имъ лицъ. Благодѣянія до такой степени стѣснили бѣдную семью, что недавняя нищета иногда показывалась ей едва-ли не лучшимъ временемъ противъ теперешняго. Наравнѣ съ самоварами, сундуками и прочими символами величія Семена Ивановича, не менѣе одурающимъ образомъ дѣйствовало на Претерпѣвыхъ и самое реальное величіе благодѣтеля. Слушая съ какимъ трепетомъ произносятся его имя, какъ дрожитъ вся семья Авдотьи Карповны, если кухарка разобьетъ тарелку, принадлежащую благодѣтелю, или одна изъ дочерей закапаетъ чаемъ скатерть, Семенъ Ивановичъ не чувалъ подъ собой земли.

Ни къ Претерпѣвымъ, ни къ Толоконникову никогда никто не показывался, и Семенъ Ивановичъ поэтому могъ благодѣствовать, какъ ему было угодно; поработенная имъ семья съ глубокою робостью внимала каждому его слову и сужденію, которыя только впервые начали шевелиться въ головѣ Толоконникова и были иной разъ, по-истинѣ, изумительны. Каждое мнѣніе его, какъ бы оно ни было уродливо, принималось безацелляціонно, и, поощренный этимъ, Семенъ Ивановичъ, незамѣтно для самого себя, началъ понемногу предъявлять новыя и новыя требованія. Избалованная общимъ раболѣпствомъ, натура его уже требовала разнообразія. Семенъ Ивановичъ, являвшійся прежде къ хозяевамъ не иначе какъ въ скруткѣ или въ шинели, надѣтой на рукава, началъ являться въ халатѣ, очевидно уже не страшась отвращенія Олимпіады Артамоновны, или приносилъ дѣвицамъ какую-нибудь принадлежность своего туалета и просилъ пришить пуговицу также безъ всякой церемоніи.

Послѣдствія Семена Ивановича въ такомъ роцѣ продолжали усиливаться все болѣе и болѣе,

такъ что въ одинъ день въ семействѣ Претерпѣвыхъ происходила слѣдующая сцена:

Семенъ Ивановичъ, уже разъяренный и надутый, стоялъ противъ трепещущей семьи Авдотьи Карповны и грозно вопрошалъ у нея:

— Что я сказалъ? Я что вчера сказалъ?

— Семенъ Ивановичъ!

— Что я говорилъ? Договорюся или нѣтъ?—а?

Семья дрожала и безмолвствовала. Семенъ Ивановичъ съ сердцемъ хлопнулъ дверью и скрылся.

— Что теперь дѣлать? захлебываясь отъ ужаса, шептала Авдотья Карповна.—Господи! Чай обѣдать не пойдетъ? Что надѣлали? Что такое это онъ говорилъ?

— Мы почему знаемъ? Мало ли что онъ говорилъ? отвѣчали испуганныя дочери.

— Ахъ, Господи! наказалъ Господь!..

Столъ былъ давно накрытъ, но Семенъ Ивановичъ не являлся. Авдотья Карповна, еле-таскавшая ноги отъ страха, поплелась разыскивать его. Она нашла его въ саду; Семенъ Ивановичъ лежалъ въ бесѣдкѣ, повернувшись лицомъ къ стѣнѣ.

— Семенъ Ивановичъ, кушать подано! Что вы, благодѣтель нашъ, сердитесь? Вы скажите, что вамъ угодно, мы вамъ въ одну минуту сдѣлаемъ... А то какъ же такъ, не сказавши ничего?

Семенъ Ивановичъ молчалъ.

— Благодѣтель нашъ! повторила Авдотья Карповна.

Но отвѣта не было. Авдотья Карповна, убитая, воротилась въ комнату и не знала, что дѣлать. Наконецъ ей пришло въ голову отправить депутатою самую младшую дочь Стѣшу, на которую Семенъ Ивановичъ обращалъ особенное вниманіе и иногда порывался даже обнять ее. За Стешей, не имѣвшей въ этомъ походѣ никакого успѣха и не дождавшейся отъ благодѣтеля ни слова, отправилась Олимпіада Артамоновна, за ней Саша, за Сашей Варя, потомъ опять сама Авдотья Карповна. Всѣ онѣ робко подступали къ лежавшему Семену Ивановичу, робко просили пожаловать кушать, и, отвѣтомъ на эти приглашенія, имѣли несчастье видѣть ту же неподвижную спину благодѣтеля.

Послѣ тщетныхъ стараній, Претерпѣвы рѣшились обѣдать однѣ; аппетитъ оставилъ ихъ, кусокъ останавливался въ горлѣ и обѣдъ прошелъ среди молчанія и тяжелыхъ вздоховъ. Кухарка убрала наконецъ посуду и собиралась отдохнуть на печи, какъ неожиданно въ комнату вошелъ Семенъ Ивановичъ и въ грозной позѣ остановился передъ Авдотьей Карповной.

— Это что же такое? сказалъ онъ, — за мои хлопоты да я же голодный хожу?

— Семенъ Ивановичъ, да вѣдь васъ звали!

— Всѣ натрескались, а мяѣ куска хлѣба нѣту?

— Да, батюшка! благодѣтель нашъ!.. начала было со слезами Авдотья Карповна, но благодѣтель вторично хлопнулъ дверью и вторично исчезъ.

Черезъ пять минутъ въ бесѣдкѣ опять новая происходила сцена: Семенъ Ивановичъ попрежнему лежалъ лицомъ къ забору. За его спиной вся семья Претерпѣвыхъ суетилась около стола, таская та-

репки, миски съ разными кушаньями и проч. Когда все было готово, Авдотья Карповна сказала:

— Семенъ Ивановичъ, подано-съ! кушайте, отецъ нашъ, а то щи остынутъ.

Семенъ Ивановичъ нехотя повернулъ къ публикѣ голову.

— Это что же такое? угрюмо и какъ бы не понимая въ чемъ дѣло, проговорилъ онъ.

— Обѣдать-съ...

— Это въ шестомъ часу-то?

— Да чтожъ дѣлать, когда вы не изволили кушать?

— Да какой же чортъ обѣдаетъ ночью? Люди отъ вечеренъ пришли и чаю напились, а у насъ обѣдъ?

— Семенъ Ивановичъ!

— Тыфу!

Благодѣтель быстро повернулся опять къ стѣнѣ и замолкъ.

Долго семья Авдотьи Карповны и сама она ждала какого-нибудь слова отъ него. Семенъ Ивановичъ молчалъ и, казалось, заснулъ. Тогда рѣшено было перенести кушанья назадъ въ комнату, такъ какъ, стоя на открытомъ воздухѣ, они могутъ быть растасканы птицами или съѣдены собаками. Едва только это было исполнено, какъ Семенъ Ивановичъ снова появился въ кухнѣ.

— Гдѣ тутъ,—грустно и кротно, точно агнецъ, сказалъ онъ кухаркѣ,—гдѣ тутъ у васъ корки собакамъ валяются?

— Господи помилуй! Семенъ Ивановичъ! батюшка! Что это! Корки! Какъ можно!

— И корки-то мнѣ нѣту...

— Господи!

Семенъ Ивановичъ ушелъ, не дождавшись объясненія. Черезъ минуту онъ стоялъ у низенькаго забора и разговаривалъ съ сосѣдомъ-сапожникомъ.

— А? говорилъ онъ.—До чего я дожилъ! Корки не даютъ хлѣба! а?

— Цес! Боже мой!

— А? За мою хлѣбъ-солъ да я же не имѣю пропитанія? Это что же будетъ?

— Семенъ Ивановичъ, отецъ нашъ! рыдала изъ окна Авдотья Карповна.—Что ты, Господь съ тобой?

— А? продолжалъ Семенъ Ивановичъ, обращаясь къ сапожнику.—Вотъ какъ, другъ! Поймъ, кормимъ, а замѣсто того съ голоду околѣвай!.. а? Вѣрно только у Бога правду-то найдешь!..

— Это точно! только у одного Бога!..

— Д-да! Но авось и добрые люди не оставятъ... Дай хоть ты мнѣ корочку какую... Чай, собакамъ тоже кидаетъ? такъ мнѣ етакую... собачью!

— Зачѣмъ-же-съ! мы, Семенъ Ивановичъ, съ удовольствіемъ.

— Нѣтъ, собачью!..

— Что вы! Да мы сколько угодно!

— Нѣтъ, дай собачью!..

Только ночью, когда лица всей семьи распухли отъ слезъ, Семенъ Ивановичъ рѣшился войти въ свою комнату; въ глухую полночь, когда всѣ заснули, онъ самъ отправился въ кухню, вытащилъ изъ печи

горшокъ со щами и съ жадностью пожиралъ ихъ среди глубокой тьмы и безмолвія.

Такія штуки благодѣтель началъ разыгрывать все чаще и чаще. Не чувствуя въ семьѣ Претерпѣвыхъ никакой къ себѣ нравственной, сердечной привязанности и зная, что имъ въ сущности не за что чувствовать ее, онъ, какъ истинный деспотъ, находилъ утѣшеніе въ безграничномъ пользованіи своими правами надъ людьми, которые подвержены ему волей-неволей. Изобрѣтательность его въ деспотическомъ желаніи довести семью до непрестаннаго къ нему вниманія и страха предъ нимъ доходила до высокой виртуозности; варіаціи, которыя онъ выдѣлывалъ изъ преданности Претерпѣвыхъ, были, по-истинѣ, изумительны. Упитанный по горло всякимъ почтеніемъ и уваженіемъ, Семенъ Ивановичъ совершенно переродился: онъ сдѣлался веселѣй и смѣлѣй; никакія насмѣшки сослуживцевъ не могли поколебать спокойствія его духа. Разъ, когда одинъ изъ чиновниковъ вздумалъ-было надъ нимъ подшутить, Семенъ Ивановичъ, не говоря ни слова, хлопнулъ шутника по головѣ связкой бумагъ и прошелъ мимо.

Но, вмѣстѣ съ возвышеніемъ величія Семена Ивановича, упала все болѣе и болѣе нравственная свобода Претерпѣвыхъ; всѣ они оглушѣли, обезумѣли и превратились въ какихъ-то автоматовъ, съ тою разницею, что у нихъ были сердца, поставленныя въ необходимость ежеминутно замирать и трепетать.

Однако, при всемъ ихъ одеревѣніи, дальнѣйшія дѣянія благодѣтеля были такого свойства, что Авдотья Карповна не выдержала и наконецъ рѣшилась произнести:

— Да лучше мы милостыню пойдемъ собирать, чѣмъ етакое мученье!

— Да, ей-Богу! вторили дочери.

— Авось найдутся добрые люди, не оставятъ!

Всѣми было рѣшено не поддаваться больше фантастическимъ желаніямъ Семена Ивановича. Олимпиада Артамоновна первая рѣшилась привести это намѣреніе въ исполненіе и обѣщалась завтра же пригласить въ гости чиновника Сладкоумова, который уже давно засматривался на нее и выражалъ желаніе познакомиться съ ея маменькой, Авдотьей Карповной, но боялся попасться на глаза Семену Ивановичу.

— Что же въ самомъ дѣлѣ? думала Олимпиада Артамоновна.—Докуда это будетъ?

Однажды Семенъ Ивановичъ, довольный и счастливый, лежалъ въ своей комнатѣ,—дѣло происходило послѣ обѣда. Онъ совершенно не подозрѣвалъ, что противъ него строится козни, и потому можно представить ужасъ, который овладѣлъ имъ въ тотъ моментъ, когда, черезъ отворенную въ сѣни дверь, онъ увидѣлъ фигурку юнаго писца Сладкоумова. Писецъ Сладкоумовъ былъ въ бѣлыхъ, туго-натянутыхъ панталонахъ, въ новомъ форменномъ вицмундирѣ, красныхъ вязаныхъ перчаткахъ, а волосы его были густо напомажены. Дерзкій гость, не за-

мѣчая Толоконникова, освѣдомился у кухарки, «дома ли Авдотья Карповна?» и вошелъ въ комнату.

Семень Иванычъ былъ внѣ себя. Онъ узналъ, что благотѣлствуемая имъ семья знаетъ людей кромѣ него и думаетъ не исключительно о немъ. Черезъ секунду онъ узналъ еще, что Претерпѣвы не только думаютъ о постороннихъ людяхъ, но имѣютъ дерзость и уважать ихъ, ибо, тотчасъ послѣ того какъ Сладкоумовъ вошелъ въ комнату, изъ дверей выскочила Олимпиада Артамоновна и торопливо сказала кухаркѣ:

— Марюшка! голубушка! ради Бога, самоваръ! поскорѣе, голубушка!

Олимпиада Артамоновна говорила эти слова съ тѣмъ же трепетомъ въ голосѣ, какой привыкъ слышать Семень Иванычъ только для себя одного. Благотѣтель не выдержалъ и закричалъ:

— Марья!

Явилась кухарка.

— Принеси самоваръ сюда!

— Тамъ гость пришелъ.

— Принеси, говорю. Самоваръ мой!.. Пошла!

Кухарка принесла самоваръ. Семень Иванычъ, пожиранный злобой, думалъ: «ну-жо, пусть узнаютъ, какъ безъ меня-то?». Къ несчастью моего героя, черезъ нѣсколько минутъ въ его комнату отворилась дверь и кухарка, показавъ ему какой-то другой самоваръ, съ сердцемъ крикнула ему:

— И безъ тебя обомлѣлъ!

— Вонъ отсюда!

— Цалуйся съ своимъ самоваромъ... Вонъ со-сѣди дали! Скареда!

— Вонъ, говорю, бестія!..

— У-у! баринъ!..

Благотѣтель выскочилъ на дворъ, вызвалъ сосѣда-сапожника—и началось бушеванье.

— Грабители! кричалъ Семень Иванычъ.—За мою хлѣбъ-солы!.. Анафемы!

Сапожникъ былъ въ недоумѣніи.

Авдотья Карповна, разливая чай и слушая крики на дворѣ, была ни жива, ни мертва. Чиновникъ Сладкоумовъ тоже дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ.

Дверь отворилась и вошелъ сосѣдъ-сапожникъ съ ремешкомъ на головѣ и уже сильно подъ хмѣлькомъ... Степанъ Иванычъ угостилъ его.

— Сахарницу пожалуйте! грубо заговорилъ онъ.

— Возьми, возьми, батюшка! Подавитесь съ вашимъ сахаромъ! выхода изъ себя, закричала Авдотья Карповна.

— Нечего намъ давиться... Мы беремъ свое! Это все наше! Давитесь! Обирать чело-вѣка ваше дѣло, а за всѣ благодѣянія только безобразничаєте? Пожалуйте нашу небилы! Это все наше! Такъ-то! Семень Иванычъ переѣзжаютъ...

— Берите! Берите все! кричала Авдотья Карповна.—Когда насъ Господь избавитъ отъ васъ! Господи!!

Вся семья Авдотьи Карповны рыдала. Писецъ Сладкоумовъ улизнулъ вонъ изъ комнаты и, пробѣгая по двору, споткнулся о камень, пущенный ему подъ ноги Семеномъ Иванычемъ.

Въ этотъ день Семень Иванычъ убѣдился, что могущество его рушилось. Онъ снова помирился съ хозяиномъ старой квартиры: но, прежде нежели переѣхать, пробовалъ отомстить Претерпѣвымъ за нарушеніе покоя его души. Какихъ-какихъ ни выдумывалъ онъ штуку. Объявивъ Авдотѣ Карповнѣ: «сѣѣзжаю съ квартиры!», онъ думалъ заставить ее снова повергнуться къ стопамъ его; но, къ ужасу благотѣтеля, Авдотья Карповна отвѣчала: «хоть сейчасъ!».

Тогда Семень Иванычъ сказалъ:

— Нѣтъ, погода! Мнѣ еще семь дней сроку, по закону! Нѣтъ, врешь!

— У насъ жилецъ есть на ваше мѣсто, Сладкоумовъ! говорили ему.

— А! жилецъ! нѣтъ, погода!

И Семень Иванычъ продолжалъ сидѣть на старой квартирѣ, отобравъ у Претерпѣвыхъ свою посуду, провизію, дрова, словомъ,—оставивъ ихъ въ рукахъ самой отчаянной нищеты.

— Семень Иванычъ! батюшка! умоляли его.—Намъ ѣсть нечего! Переѣхалъ бы Сладкоумовъ, все бы какъ-нибудь, хоть рублишко какой далъ...

— Нѣтъ, еще погода! Мнѣ и сверхъ срока пять дней льготы!

Благотѣтель переѣхалъ только тогда, когда узналъ, что Сладкоумовъ женился на мѣщанкѣ, слѣдовательно жить у Претерпѣвыхъ не будетъ, а другого жилья еще и въ поминѣ нѣтъ.

Семья Авдотьи Карповны снова заголодала. Снова горькая вдова принялась собирать сухіе купеческіе пироги и проливать слезы на подѣздахъ палаты и канцелярій.

И вотъ Семень Иванычъ по-прежнему на старой квартирѣ, по-прежнему въ Растеряевой улицѣ; у него тѣ же хозяева, та же старуха Авдотья и вообще все какъ и прежде. Вечеръ. Комната освѣщена яркимъ сіяніемъ лампы. Тишина. Семень Иванычъ и Хрипушинъ сидятъ на противоположныхъ концахъ комнаты; и среди молчанія, долгое время ненарушаемаго, раздаются вздохи то хозяина, то гостя.

— Вотъ бы вамъ, Семень Иванычъ, жениться теперь: самый разъ! робко говоритъ Хрипушинъ, но Семень Иванычъ отвѣчаетъ на это глубокимъ вздохомъ.

Опять настаетъ молчаніе...

— Ну-съ, Семень Иванычъ, поднимаясь и вдыхая, говоритъ медикъ,—пора!

— Куда же ты? жалобно произноситъ хозяинъ.

— Нѣтъ-съ, пора!

Семень Иванычъ остается одинъ; тоска гнететъ его: онъ вдыхаетъ все глубже и глубже, и наконецъ мертвая тишина комнаты нарушается заунывнымъ пѣніемъ. «Ду-ушу мою!..» закрывъ глаза и захлебываясь отъ тягости наплывающихъ ощущеній, тянетъ Семень Иванычъ. «У-услы-ыши, Господи, молитву-у мою...»

Въ комнатѣ по-прежнему пахнетъ деревяннымъ масломъ. Вѣтеръ бьетъ ставней. Ненсходная тоска!..

Хрипушинъ шелъ по темнымъ и пустыннымъ переулкамъ. Былъ октябрь въ концѣ; въ одно время падалъ снѣгъ и дождь, вслѣдствіе чего топь на улицахъ стояла непроходимая. Въ ужасамъ грязи присоединялся порывистый вѣтеръ, поминутно сметавшій съ крышъ талую воду и обдававшій ею Хрипушина съ головы до ногъ.

— Господи! стоналъ Хрипушинъ съ растерзаннымъ сердцемъ и впадулъ въ грязь.

ХІІІ. Семенъ Ивановичъ «у пристани».

Мало-по-малу Иванъ Алексѣевичъ сталъ рѣже показываться въ «растеряевской округѣ» и повидимому переселился въ мѣстности болѣе отдаленныя и глухія, глубоко сожалея о своихъ растеряевскихъ и томилинскихъ пациентахъ, нечаянная встрѣча съ которыми почиталъ за истинное счастье.

А встрѣчи эти иногда бывали.

Такъ онъ шелъ однажды по большой городской улицѣ; дѣло происходило въ субботу и по тротуарамъ валилъ народъ: шли ко всеобщей, въ баню, изъ бани; мастеровые спѣшили за расчетомъ, несли самовары, ружья и револьверы.

— Иванъ Алексѣевъ! окликнулъ кто-то Хрипушина.

Хрипушинъ обернулся и увидѣлъ Семена Ивановича Толоконникова: онъ возвращался изъ бани.

— Какими судьбами? воскликнули оба друга разомъ, пылливо оглядывая одинъ другого.

— Ахъ, батюшка, Семенъ Ивановичъ! а? Сколько лѣтъ не видались-то? Какая перемена!

— Переменившись, братъ!

— Ей Бо-огу! Ну, какъ же Господь милуетъ васъ?..

— Ничего, помаленьку. Ты-то какъ?

— Что мы! Наше дѣло тѣфу! Вы какъ поживаете?

— Славу Богу. Слышалъ, али нѣтъ?

— Что такое?

— Женился!

— Семенъ Ивановичъ?

— Я!

Хрипушинъ отскочилъ въ сторону, вытаращивъ глаза.

— Вы? женились?

— Я, я! Чего ты ошетинился-то?.. Пойдемъ-ко! Какая жена-то!

Хрипушинъ долго не могъ опомниться. Семенъ Ивановичъ, идя рядомъ съ медикомъ, рассказывалъ ему исторію женитьбы и жены. Она была дочь одного однодворца, оставившаго послѣ смерти сорокъ десятинъ земли въ приданое двумъ дочерямъ; одной изъ нихъ было въ то время двадцать четыре года, другой—шестнадцать; первая была крайне безобразна лицомъ и только пугала жениховъ, вслѣдствіе чего заслужила ненависть матери. Умирая, отецъ начерталъ въ духовномъ завѣщаніи, въ видахъ обезпеченія старшей дочери, слѣдующее: «младшая можетъ выйти только тогда, когда выйдетъ старшая, въ про-

тивномъ случаѣ она лишается 20-ти десятинъ земли, а старшей достаются всѣ сорокъ». Отецъ думалъ, что подобнымъ маневромъ онъ не заставитъ старшую дочь сидѣть въ дѣвкахъ, потому что если она оттолкнетъ жениха физиономіей, то притянетъ его землею. Младшая же можетъ выйти и по любви: она молода и недурна. Но этотъ маневръ на дѣлѣ осуществился иначе: старшая дочь была до того безобразна, что никакія сорокъ десятинъ не могли побѣдить отвращенія жениховъ; младшую же не брали, боясь остаться совсѣмъ безъ земли, что не было особенно привлекательно. Изъ всего этого вышло то, что, кромѣ отвращенія и злобы матери, на Марью (старшую дочь) обрушилось отиращеніе и злоба молоденькой сестры. Старой дѣвой помыкали, какъ тряпкой; ей не было покою ни днемъ, ни ночью отъ упрековъ матери и сестры. Чтобы хоть какъ-нибудь побѣдить отвращеніе и презрѣніе родныхъ, Марья работала за семерыхъ: мыла полы, стирала бѣлье, ставила самовары, доила коровъ и проч. Но и это не спасало ея отъ семейнаго презрѣнія. Въ такомъ видѣ предстала она глазамъ Семена Ивановича.

Когда Толоконниковъ, рассказывая исторію женитьбы, дошелъ до изображенія достоинствъ жены, то остановился на тротуарѣ и громко воскликнулъ надъ самымъ ухомъ Хрипушина:

— Такъ настращена, такъ настращена, Боже защити!

Медикъ робко поглядѣлъ на Семена Ивановича и увидѣлъ, что отвѣтить надо такъ:

— Чтожъ? Слава Богу!..

— То есть вотъ какъ: ни-ни-ни!

— Слава Богу! повторилъ Хрипушинъ. — Ей-ей!

Затѣмъ, въ доказательство «настращенности» жены, Семенъ Ивановичъ рассказалъ, что во все время его сватовства теперешняя жена его дѣловала у него руки.

— Позвольте попросить у васъ воды, скажешь иной разъ ей, рассказывалъ Толоконниковъ. — Тую же минуту несетъ воду и чмокъ въ руку!.. Каково?

— Чудесно! бормоталъ Хрипушинъ.

Скоро они пришли къ воротамъ квартиры Семена Ивановича.

— Иванъ Алексѣевъ! сказалъ онъ шопотомъ, держась за кольцо калитки, — ты поглядѣ ко вотъ, что я тебѣ говорилъ... какъ напугана-то!..

— Съ великимъ удовольствіемъ!

Едва только шаги Семена Ивановича раздались въ передней, какъ изъ сосѣдней комнаты выскочила испуганная женщина со свѣчкой въ рукѣ.

— Вотъ жена! сказалъ Толоконниковъ.

Хрипушинъ засвидѣтельствовалъ почтеніе.

Жена Толоконникова была существо истинно жалкое; вся физиономія ея носила слѣды какого-то нечеловѣческаго утомленія и ужаса, который громадною своихъ размѣровъ не давалъ возможности обратить вниманія на ея безобразіе. Человѣкъ, впервые попавшій въ Томилинскую улицу, словомъ—человѣкъ свѣжій, при взглядѣ на эту женщину, неминуемо долженъ былъ чувствовать боль въ сердцѣ и глубокую грусть; но томилинецъ, и на этотъ разъ Семенъ Ивановичъ, засіялъ, какъ солнце, когда уви-

дѣлъ, что Хрипушинъ раздѣляетъ его мысли. Съ каинъ-то удовольствіемъ подставлялъ онъ женѣ спину, для того чтобы она сняла шинель, и изъ снисходительности не допустилъ ее снять съ себя калоши, къ которымъ она-было уже бросилась.

— Самоваръ! кротко и вѣжно пропѣлъ притворяющийся звѣрь, входя въ комнату.

Жена мгновенно исчезла въ кухню.

— Видѣлъ? шепнулъ хозяинъ гостю.

— То есть, вотъ какъ: лучше не надо!

— А?

— Золото! Какъ есть золото!

— Что еще будетъ! ты погляди-ко!

Самоваръ явился мгновенно. Жена Семена Иваныча съ тѣмъ же испугомъ суетилась около чашекъ и ложекъ. Мужъ съ удовольствіемъ поглядывалъ на этотъ испугъ. Наконецъ онъ, не торопясь, опустился на диванъ и, мигнувъ Хрипушину, произнесъ:

— Мама-а!

Жена вздрогнула и чуть не выронила чашки.

— А что я тебѣ сегодня сказалъ?..

Семенъ Иванычъ подмигивалъ Хрипушину и указывалъ головою на жену, которая безумными глазами бѣгала по стѣнамъ, очевидно торопясь что-то вспомнить...

— Я... Семенъ Иванычъ... все...

— Что я сказалъ?

Знакомая намъ сцена тянулась мучительно долго. Наконецъ, когда зрители увидѣли, что бѣдная женщина окончательно выбилась изъ силъ, Семенъ Иванычъ подошелъ къ себѣ и сурово произнесъ:

— Гребешокъ! Я сказалъ: «приду изъ бани, чтобы гребешокъ»!

Но жены уже не было въ комнатѣ, она бросилась за гребешкомъ.

— Видѣлъ? произнесъ хозяинъ.

— Самъ Богъ вамъ посылаетъ! Истинно: слава Богу!

Семенъ Ивановичъ былъ доволенъ и тѣшился заботою жены до усталости. Всѣ эти сцены были закончены угощеніемъ, устроеннымъ хозяиномъ ради того, чтобы показать жену въ новомъ свѣтѣ, со стороны хозяйственной. Такіе маневры Семенъ Иванычъ устраивалъ передъ всѣми своими знакомыми, которыми въ послѣднее время обзавелся; знакомые эти были: почтальонъ, мучной лавочникъ и дяконъ. Всѣ они хвалили Семена Иваныча за его умѣнье обращаться съ женой.

Встрѣча Хрипушина съ Толоконниковымъ доставила медику одну новую пациентку, потому что это была Марья Филипповна—жена Семена Иваныча. Зналъ, что женскій полъ въ отсутствіи мужей гораздо свободнѣе и предупредительнѣе, медикъ являлся къ ней по утрамъ, когда Семенъ Иванычъ бывалъ на службѣ. Убѣжденіе въ предупредительности женщинъ не обманывало медика, и онъ всегда получалъ отъ Марьи Филипповны водку. Съ своей стороны, подобною же предупредительностью платилъ хозяйкѣ и Хрипушинъ. Всякій разъ, замѣчая, что при появленіи его Марья Филипповна утираетъ распухшіе отъ слезъ глаза, медикъ заботливо спрашивалъ:

— Али чѣмъ больны?

— Нѣтъ, Иванъ Алексѣевичъ,—это такъ!

— Какъ же такъ-то?

— Скучно!..

— О чемъ же скучать изволите?

— Да такъ... просто... скучно сдѣлалось!

— Гмм!..

— Съ родными не видалась давно... вспомнила ну, и...

— Такъ, такъ... Да вы, Марья Филипповна, вотъ какъ: вы позволите мнѣ хоть двадцать-то пять копѣекъ... Я вамъ сварю одну примочку!

Хрипушинскія примочки не помогали и слезы не просыхали на глазахъ Марьи Филипповны: ей было о чемъ плакать. Впрочемъ Семена Ивановича она не винила въ своихъ слезахъ: она чувствовала, что обязана ему свободой отъ презрѣнія родныхъ.

Не могу подробно рассказать, что сталося съ Претерпѣвыми; достоверно только то, что Олимпиада Артамоновна живетъ не въ Томилинской улицѣ и не въ родительскомъ домѣ; источники ея существованія никому неизвѣстны, но томилинская и растерьевская «молва» отзывается о нихъ весьма неодобрительно.

Болѣе о ней мы сказать ничего не можемъ.

XIV. Разный растерьевскій людъ.

Теперь слѣдовало бы возвратиться къ жизни Прохора Порфирыча и рассказать благополучное окончаніе его карьеры. Но у насъ есть еще два-три лица изъ растерьевцевъ, которыхъ хоть и нельзя назвать «главными» дѣйствующими въ растерьевскомъ житѣ-бытѣ лицами, какъ Прохоръ Порфирычъ и Хрипушинъ, но нельзя считать и личностями заурядными. Два-три слова сказать о нихъ необходимо.

1) Книга.

Послѣ смерти вдоваго шапочника Юраса остался сынъ, болѣзненный мальчикъ, лѣтъ двѣнадцати, не узнавшій вслѣдствіе постоянной хворьбы даже ремесла своего отца. Родственники тотчасъ же закутали свои руки подъ подушку покойника, пошарили въ сундукахъ, подъ войлокомъ и, найдя «нѣчто», припасенное Юрасомъ для неработающаго сына, тотчасъ же получили къ этому сыну особенную жалость и ни за что не хотѣли оставить его «безъ призора». Кабаныи зубы и пудовые кулаки мѣщанина Ботельникова отвоёвали сироту у прочихъ родственниковъ. Сироту помѣстили на палатахъ въ кухнѣ, водили въ церковь въ нанковыхъ больничнаго покроя халатахъ и, попивая чашекъ на деньги покойнаго Юраса, толковали о заботахъ и убыткахъ своихъ, понесенныхъ черезъ этого сироту. Пролежалъ на палатахъ сынъ Юраса года четыре, и вышелъ изъ него длинный, сухой, шестнадцатилѣтній паренъ, задумчивый, тихій, съ блѣдноглубокими глазами и почти бѣлыми волосами. Втеченіи этихъ годовъ лежанья отъ нечего-дѣлать прозубрилъ онъ

пятикопѣчную азбуку со складами, молитвами, изрѣченіями, баснями, и незамѣтно *жмича* въ глазахъ его приняла видъ и смыслъ, совершенно отличный отъ того вида и смысла, какой привыкли придавать ей растерявцы. Страсть къ чтенію сдѣлала то, что сирота рѣшился просить опекуна купить ему какую-нибудь книгу. Опекуны сжалился: книга была куплена и сирота замеръ надъ ней, не выйдя силъ оторваться отъ обворожительныхъ страницъ. Книга была: «Путешествіе капитана Кука, учиненное английскими кораблями Революціей и Адвентуромъ». Алифанъ (сирота) забылъ сонъ, ѣду, перечитывая книгу сотни разъ: капитанъ Кукъ все больше и больше плѣнял его и наконецъ сдѣлался постояннымъ обладателемъ головы и сердца Алифана. По ночамъ онъ въ бреду выкрикивалъ какіе-то морскіе термины, леталъ съ палатей во время кораблекрушенія и пугалъ всю семью опекуна не на животъ, а на смерть. Котельниковъ понималъ это сумасшествіе по своему.

— Ну, Алифанъ, сказалъ онъ однажды сиротѣ, — гляди сюда: оставленъ ты сиротою, а тебя призвалъ, можно сказать, изъ послѣдняго натужилса... Шестъ годовъ, Господи благослови, мало-мало по сту-то серебра ты мнѣ стоилъ... Такъ-ли?

— Я, кажется, до вѣку моего буду ножки, ручки...

— Погоди. Второе дѣло, старался я, себя не жалѣлъ сдѣлать тебѣ всяческое снисхожденіе и удовольствіе... Черезъ это я тебѣ, напрямѣръ, вотъ книгу купилъ...

— Ахъ! вскрикнулъ Алифанъ въ восторгѣ.

— Погоди... Вотъ то-то... Ты, можетъ, читавши ее, отъ радости чумѣлъ: а спроси-ко-съ у меня, легко ли она мнѣ досталась, книга-то? — Слѣдственно, исхарчился я на тебя до послѣдняго моего надыханія... Но такъ какъ имѣю я отъ Бога доброе сердце, то главнѣе стараюсь черезъ мои жертвы только бы въ царство небесное попасть и о прочемъ не хлопочу... Съ тебя же за мои благодѣянія не требую я ничего... По силѣ, помочи, вздашь ты мнѣ малыми препорціями. Ибо придумалъ я тебѣ по твоей хворости особенную должность, дабы имѣлъ ты родъ жизни на пропитаніе.

Послѣднюю фразу Котельниковъ похитилъ изъ устъ какой-то вдовы, слонявшейся по нашей улицѣ и просившей милостыню именно этими словами, похищенными въ свою очередь изъ какого-то прошенія.

Скоро Алифанъ вступилъ въ новозобрѣтенную Котельниковымъ должность. На тонкомъ ремнѣ былъ перекинутъ черезъ его плечо небольшой ящикъ, въ которомъ находились иголки, нитки, обрѣзки тесемокъ, головные шпильки, булавки и прочія мелочи, необходимыя для женскаго пола. Обязанности Алифана заключались въ постоянномъ скитаніи по улицѣ, изъ дома въ домъ, и цѣлый день такой ходьбы давалъ ему барышъ по большей мѣрѣ пятиалтынный. Этотъ пятиалтынный приносилъ онъ все-таки къ Котельникову, будто бы на сохраненіе. «— У меня цѣлѣй», говорилъ Котельниковъ.

И Алифанъ исполнѣ этому вѣрилъ.

Но книга и капитанъ Кукъ не оставляли Али-

фана и здѣсь. Замечтавшись о какомъ-нибудь подвигѣ своего любимца, онъ не замѣчалъ, какъ, высто полутора аршинъ тесемокъ, отмиравалъ три и пять, или въ задумчивости шелъ Богъ знаетъ куда, позабывъ о своей профессіи, и возвращался потомъ безъ копѣйки домой. Если Алифану приходилось зайти въ чью-нибудь кухню и вступить въ бесѣду съ кучерами и кухарками, то и тутъ онъ незамѣтно сводилъ разговоръ на Кука, и заикался и блѣднѣлъ, принимался прославлять подвиги знаменитаго капитана. Но кучера и кухарки, наскучивъ терпѣливымъ выслушиваніемъ непостижимыхъ морскихъ терминовъ и рассказовъ про иностранные народы и чудеса, о которыхъ не упоминается даже въ сказкѣ о жарь-птицѣ, скоро поднимали несчастнаго Алифана на смѣхъ. Скоро вся улица прозвала его «Кукомъ», и ребята при каждомъ появленіи его заливались несказаннымъ хохотомъ; имъ вторили кучера, натравливая на бѣднаго доморощеннаго Кука собакъ. Даже бабы, ровно ни буквы не понимавшія въ разсказахъ Алифана, и тѣ при появленіи его кричали:

— Ахъ ты, батюшки мои, угораздило же его, — Кукъ! Этакое-ли выперъ изъ башки своей полоумной...

— Въ тину, вишь, заѣхалъ... На карань сѣлъ, да въ тину... Ха, ха, ха... помирали кучера.

— Кукъ! Кукъ! Кукъ! визжали мальчишки.

Алифанъ схватывалъ съ земли кирпичъ и выпускалъ въ мальчишекъ; смѣхъ и гамъ усиливался, и беззащитный Алифанъ пускался бѣжать...

— Ку-у-у! Ку-у-у! голосила улица. Общему оранью вторили испуганныя собаки.

Торговля Алифана мельчала все болѣе и болѣе. Обыватели чиновные и въ особенности обывательницы съ улыбкою встрѣчали его и, купивъ на пятачекъ шпильку или еще какой-нибудь мелюзги, считали обязанностью позабавиться странной любовью Алифана.

— Ну, какъ же Кукъ-то этотъ? спрашивали они. — Какъ ты это говоришь, Расскажи-ко?

— Да такъ и есть...

— Какъ же это? плавалъ?

— И плавалъ-съ; вотъ и все тутъ...

Алифанъ, желая избѣжать насмѣшекъ, иногда думалъ-было отдѣлаться такими отрывочными отвѣтами; но влюбленное сердце его обыкновенно не выдерживало: еще немного, и Алифанъ воодушевлялся, — чудеса чужой стороны подрашивались его пылкимъ воображеніемъ и картины незнакомой природы выходили слишкомъ ярко и чудно, Алифанъ забывалъ все; онъ самъ плылъ на «Адвентурѣ» по морю, среди фантастическихъ тумановъ и острововъ удивительной прелести; воображеніе его разгоралось, разгоралось... и вдругъ неудержимый, неистовый хохотъ, какъ обухомъ, ошарашивалъ его.

— Батюшки, умру! Умру, умру, спасите! вопилъ обыватель.

И Алифанъ исчезалъ.

Иногда выслушаютъ его, посмѣются въ одинаковой мѣрѣ и надъ Кукомъ, и надъ рассказчикомъ, продержатъ отъ скуки часа три и скажутъ:

— Ступай, не надо ничего.

Плохо приходилось ему. Синий нанковый халатъ, спитый опекуномъ еще въ первые года опеканія, до сихъ поръ не сходилъ съ его плечъ, потому что другого не было. Если иногда Алифанъ принимался раздумывать о своихъ несчастіяхъ, то потщательномъ размышленіи находилъ, что во всемъ виноватъ одинъ капитанъ Букъ. Но было уже поздно!

Такимъ образомъ извѣстнѣйшій мореплаватель Букъ, погибшій на Сандвичевыхъ островахъ, вторично погибъ въ трясинахъ растеряевского невѣжества; погибъ — раскритикованный въ пухъ и прахъ нашими кучерами, бабами, мальчишками и даже собаками. А вмѣстѣ съ Букомъ погибъ и добродушный Алифанъ.

Горестная жизнь его была принята обывателями во-первыхъ къ свѣдѣнію, ибо говорилось:

— Вотъ Алифанъ читалъ-читалъ книжки-то, да теперь эво какъ шалается... Ровно лунатикъ!

И во-вторыхъ къ руководству, ибо говорилось:

— Что у тебя руки чешутся: все за книгу да за книгу? Она вѣдь тебя не трогаетъ?.. Дохватешься до бѣды... вотъ Алифанъ читалъ-читалъ, а глядишь — и околѣетъ какъ собака.

2) Балканиха.

Тѣмъ вопросамъ, являющихся у растеряевца въ минуты «отчужденія», требуетъ такого помощника въ уразумѣніи ихъ, какого Растеряева улица не видала еще ни разу, съ того времени какъ вытянулись въ кривую линію ея косые заборы и приземистыя лачужки съ своими голодными обитателями. Поэтому растеряевецъ съ давняго времени привыкъ полагаться на Бога, будучи горькимъ опытомъ убѣжденъ, что спасеніе его не въ рукахъ человѣческихъ. Только-что рассказанная исторія съ книгою и факты будничной жизни скажутъ наивному наблюдателю, полагающему, что въ минуты жажды совѣта и уразумѣнія не худо-бы подсунуть растеряевцу нѣчто общедоступное или даже обще-занимательное, — будничный опытъ скажетъ такому наблюдателю, что хлопоты его по этому предмету будутъ тщетны вполне. Голодный лунатизмъ Алифана только подкрѣпитъ взглядъ растеряевца на непонятную вещь, именующую «книгою», и по-прежнему сомнѣнія его и надежды будутъ въ рукахъ умовъ мудреныхъ и загадочныхъ, говорящихъ необыкновенными словами... Такіе мудреные умы есть у многихъ растеряевскихъ бабъ, одну изъ которыхъ я тотчасъ же постараюсь отрекомендовать читателю.

Вѣроятно всякому приходилось не разъ встрѣчать типъ необразованной, но умной бабы, преимущественно вдовы, которая всю жизнь усердно ходитъ въ церковь, пользуется всеобщимъ почетомъ, именуется «матушкой», получаетъ за обѣдней просвиру наравнѣ съ генералами и заслуженными людьми. Вотъ именно всѣ такія качества совмѣщаетъ въ себѣ Пелагея Петровна Балканова, иначе Балканиха, иначе Дунай-Забалканова. Последній вариантъ фамиліи Пелагея Петровна считала самымъ

правильнымъ, объясняя сложность ея знатностью дворянскаго рода, отъ котораго будто-бы она происходила. Къ несчастью, документы о ея происхожденіи были затеряны, и хоть она ни на минуту не покидала надежды отыскать дворянство, тѣмъ не менѣе улица наша смотрѣла на нее пока какъ на мѣщанку, супругу маленькаго и тощенькаго мѣщанина. Но даже и въ званіи мѣщанки Балканиха обратила на себя вниманіе растеряевцевъ, какъ женщина умная; этому главнымъ образомъ способствовали непостижимыя, но самыя существенныя средства, которыя употребляла она для укрощенія мужа. Холостякомъ онъ слылъ за вертопраха и сорви-голову; женившись — присмирѣлъ, оглутилъ, словомъ — сдѣлался тряпкой. Средства, употребляемыя Балканихой для его усмиренія, мало того что были непостижимы, можно сказать навѣрное не имѣли въ себѣ ничего звѣрскаго, что почти невозможно въ нашихъ нравахъ. Пелагея Петровна не крикнула, не топнула, не плюнула супругу въ лобъ ни разу; въ серьезномъ выраженіи ея почти мужского лица, въ ея строгихъ, но всегда спокойныхъ глазахъ, даже, быть можетъ, въ этихъ небольшихъ усахъ, которыми была надѣлена она отъ природы, было что-то такое, что заставляло мужа ея осматриваться, самому придумывать себѣ вину и просить извиненія. Вслѣдствіе такого постоянно замирательнаго положенія, мужъ Балканихи началъ питать къ ней какую-то тайную ненависть, утѣшая себя возможностью когда-нибудь отплатить ей тѣми же мученіями, какія испытывалъ теперь самъ. Но Балканиха не намѣнялась, и неистощенный мужъ смирялся все болѣе и болѣе. Супруга приучила его подходить къ ручью, по воскресеньямъ поздравлять съ праздникомъ, въ извѣстныхъ случаяхъ говорить: «виноватъ, не помнюте!». Дѣло усмиренія подвигалось впередъ все быстрее и успѣшнѣе и окончилось однимъ весьма трагическимъ происшествіемъ, о которомъ рассказываетъ растеряевская молва. Мужъ Пелагея Петровна, привыкшій все дѣлать въ темномъ углу, потихоньку, однажды вознамѣрился отвѣдать на старости лѣтъ, стыдно сказать, вареньица! Съ замираніемъ сердца пробрался онъ въ чуланъ, досталъ и развѣзалъ банку, проглотилъ одну полную вареньемъ ложку, и только что запустилъ-было ее въ другой разъ, какъ неожиданно на порогѣ показалась серьезная фигура Балканихи...

Супругъ вадрогнулъ, выпустилъ изъ рукъ ложку... и будто-бы тутъ на мѣстѣ испустилъ духъ!

Пелагея Петровна была такъ увѣрена въ справедливости своей власти надъ мужемъ, что даже въ ту минуту, когда увидѣла трупъ его, и когда, казалось, всѣ земныя прегрѣшенія должны бы были забыться, она все-таки, по словамъ очевидцевъ, не могла не произнести:

— Вотъ ежели бы ты какъ слѣдуетъ пришелъ бы да попросилъ у меня вареньица-то, а не воровски поступилъ, остался бы ты живъ-живехонекъ... А то вотъ, Господь-то и покаралъ!..

На похоронахъ Пелагея Петровна поплакала въ самую мѣру, отпустивъ слезъ и причитаній

ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы растеряевскія бабы не имѣли основаній упрекать ее въ холодности и безсердечіи. Совершивъ все это по установленному порядку, Пелагея Петровна вступила въ новый періодъ жизни — «принялась вдовѣть». Въ ея власти находился небольшой собственный домъ съ мезониномъ, огородъ съ нѣсколькими кривыми яблонями, разбросанными тамъ и сямъ, баня и небольшое количество разнаго рода добра, которое съумѣла скопить она. Изъ приближенныхъ къ ней людей остались съ нею неразлучны по-прежнему только старая баба Харитониха, исправлявшая всѣ должности отъ наперсницы до поломойки, и пріемышъ Кузька, самоварщикъ, о которомъ будетъ въ своемъ мѣстѣ болѣе обстоятельная рѣчь.

Прежде всего послѣ смерти мужа она отправилась пѣшкомъ къ Троицѣ-Сергію, такъ какъ давнымъ-давно общалась Богу сдѣлать этотъ подвигъ, и, возвратившись оттуда, вступила на дорогу мирнаго и благочестиваго житія. Съ этихъ поръ начинается ея власть надъ нашей улицей. Разказы про угодниковъ Божіихъ, про чудеса были до такой степени обворожительны въ ея устахъ, что всѣ бабы нашей улицы толпами стекались слушать ихъ и выносили изъ Балканихина жилища самыя свѣтлыя ощущенія. Пелагея Петровна не пользовалась однако этою минутою славою: при полной возможности шататься съ своими разказами по дворамъ и опивать на чаю весь женскій полъ нашей улицы, она этого не дѣлала; напротивъ, въ самомъ разгарѣ первой славы своей, она по-прежнему сидѣла съ шерстянымъ чулкомъ въ рукахъ въ своей маленькой каморкѣ и басомъ пѣла «Да исправится», подражая напѣву «лаврскому». Авторитетъ свой она устраивала не торопясь. Этому много способствовала Харитониха, которая отъ нечего-дѣлать находила возможность слышать и знать все, что дѣлается у сосѣдей и вообще по всей улицѣ. Балканиха слушала ее безъ малѣйшихъ признаковъ любопытства и только иногда, выслушавъ разказъ, одѣвалась и шла на мѣсто происшествія, гдѣ и давала разные совѣты. «Вы хоть бы погрѣли у печки одѣяло-то, говорила напримѣръ она, — а то этакъ-то и въ гробъ родильницу отправить недолго». Или: «Матушка! видите вы—человѣкъ слабъ, а вы ему въ самое дыханіе ладаномъ надымили. Развѣ это возможно!.. Дайте ему очнуться, можетъ, онъ вовсе и къ смерти не принадлежать»... И случалось, что родильница, лежавшая подъ нагрѣтыми одѣялами, вдругъ выздоравливала, или что человѣкъ, который по случаю загула пролежалъ дня два недвижимо и котораго начинали уже душить ладаномъ, приготовляя на тотъ свѣтъ, вдругъ, послѣ совѣта Балканихи, приходилъ въ чувство и хриплымъ голосомъ произносилъ:

— Ахъ бы соленькаго!

Все это служило Балканихѣ къ добру.

— Дай вамъ, Господи, добраго здоровья, матушка Пелагея Петровна, говорилъ воскресшій растеряевецъ. — Безъ васъ я, кажется, давно бы душу отдалъ и опохмѣлиться бы не пришлось!

Такъ потихоньку слава Балканихи все росла да росла, хотя, казалось, это вовсе не радовало и не волновало ее. Но это только казалось, въ существѣ же дѣла она очень была довольна и немало гордилась своею властью. Ея умъ, ограничивавшійся въ прежнее время уходомъ за супругомъ и домашними заботами, теперь имѣлъ болѣе пищи, развивался и приобреталъ даже нѣсколько философское направленіе. Балканиха начинала чувствовать въ своей головѣ умъ несказанный: ощущеніе совершенно новое и пріятное, тѣмъ болѣе что вся наша улица не испытывала этого ощущенія, ибо не имѣла ни минуты свободной на то, чтобы заглянуть въ собственные мозговые сокровищницы. Мудрствованія и философствованія были необыкновенно пріятны для нея и она часто нарочно устраивала разныя философскіе маневры, чтобъ во-первыхъ явственнѣе познать силу своего ума, а во-вторыхъ болѣе изощриться въ философскихъ тонкостяхъ. Такіе маневры устраивала она пока только дома, ибо случаи къ этому дома представлялись частые.

Одинъ изъ жильцовъ ея былъ городской извозчикъ Никита, нанмавшій у Пелагеи Петровны баню. У Никиты была огромная семья, и Балканиха изъ жалости брала съ него только рубль серебромъ въ мѣсяцъ, съ тѣмъ однакоже условіемъ, что всякую субботу, когда топится баня, Никита долженъ былъ выбираться оттуда съ семьей и пожитками въ садъ.

Баня особенно часто топилась зимою, слѣдовательно Никита зналъ вполнѣ, что такое холодъ. Въ той же мѣрѣ зналъ онъ, что такое и голодъ, потому что съ давнихъ, почти незапамятныхъ временъ испытывалъ неописуемую нищету. Кто изъ трехъ враговъ, опекавшихъ его, голода, холода и запоя, явился прежде, вообще съ чего началось его бездомничество, — рѣшить было очень мудрено. Пелагея Петровна, какъ женщина сердобольная, иногда принимала походы въ области грѣшной души Никиты, съ цѣлью возвратить его на путь истинны. Такіе походы совершались преимущественно послѣ обѣда, когда мухи и жара не даютъ никакой возможности заснуть. Въ такую пору Балканиха обыкновенно завѣшивала окна платками, и среди темной комнаты съ жужжащими у потока мухами, веда отрывочные разговоры съ Харитонихой. Эта вѣрная наперсница всѣми мѣрами старалась придумать какую-нибудь интересную вещь, надъ которой бы Пелагея Петровна могла поумствовать: она общала сплетни, новости, пересуды. Истощался этотъ матеріалъ, Харитониха поднимала вопросы вроде того, что правда ли, будто рыжіе въ царство небесное не попадаютъ и нѣтъ ли этому какой-нибудь основательной причины? Если же истощался и этотъ запасъ, то Балканиха вдругъ начинала чувствовать потребность добраго дѣла и приказывала знать Никиту, предварительно справившись: въ разсудѣ ли онъ?

— Никита-а! звала Харитониха.

— Сейча-ась! отзывался Никита изъ сарая. — Чего тамъ?

— Пелагея Петровна зовутъ къ себѣ.

— Но-о!.. злобно рычалъ Никита, стиснувъ зубы.—Зачесалось! Опять воловодитъ начесть... Иду!.. Какъ только это не совѣстно мучить человѣка... Скажи: иду!..

Скоро дѣйствительно Никита входитъ въ комнату Балканихи. Онъ дѣлаетъ низкій поклонъ, шопотомъ здоровается, отступаетъ шагъ назадъ къ двери, обдергиваетъ рубашку и съ пугливымъ недоумѣніемъ ожидаетъ вопроса. Пелагея Петровна начинаетъ издаലെка; она задаетъ ему вопросъ: «куда душа человѣческая надлежитъ по настоящему», полагая про себя, что всякая истинно христіанская душа надлежитъ въ рай.

Никита недоумѣваетъ.

— Не понимаешь?

— Мал-ленечко, точно что... есть препону!

— Ну, ты подумай.

— Слушаю-съ...

— Тогда и скажи. Только хорошенько подумай.

— Да ужъ будьте покойны... Славу Богу!.. Аминь!.. Приму всѣ силы...

Настаетъ мертвое молчаніе. Никита думаетъ, по временамъ взглядывая на потолокъ; откашливается, потихонечку вдыхаетъ и вдругъ говорить, направляясь къ двери:

— Я, матушка, Пелагея Петровна, на минуточку...

— Нѣтъ, ты погоди!

— То есть... одну только минуту...

— Нѣтъ, нѣтъ... постой! Ты сначала скажи, что слѣдуетъ...

— И въ самомъ дѣлѣ, соглашался Никита, — лучше же я теперь скажу вамъ все...

— Ну вотъ...

— Да тогда ужъ и отлучусь. Покрайности объясню вамъ. Во сто разъ лучше...

Никита понимаетъ всю безвыходность своего положенія, и съ особеннымъ напряженіемъ ума старается разунзати истинные позывы своей души.

— Ну? спрашиваетъ Балканиха.—Куда же наша душа надлежитъ по настоящему?

— Душ-ша наша, робко и протяжно начинаетъ Никита,—душа наша, матушка Пелагея Петровна, главнѣе норовитъ по своей пакости какъ-бы на примѣръ согрѣшить, на примѣръ въ кабакъ...

— Глупецъ! вскрикнула Балканиха.—Что ты это сказалъ!

Пелагея Петровна даже вскочила съ своей кровати и подступила къ Никитѣ, который испуганно подался къ двери.

— Опомнись! Что ты сказалъ?! Въ рай нашей душѣ по божьему писанію надлежитъ, а не въ кабакъ! безумецъ этакой, въ рай!

Никита спохватился.

— Такъ! такъ!.. въ рай! въ рай-съ!.. это точно... Ахъ ты, Боже мой! а я эво куда... Ахъ!..

— Нѣтъ, какъ ты осмѣлился это сказать? а? еще ближе подступаешь, горячится Балканиха.

— Да что будешь дѣлать! Хорошенько не оглядѣлся, ну ж.. Въ рай-съ! Будьте покойны! такъ, такъ...

— Ай-ай-ай... Видишь ты, какъ врагъ-то тебя

оплеялъ?... а? Въ кабакъ! Слѣдственно душа твоя до какого же безобразія искажена?... У кого же ты теперь будешь просить защиты?..

— У кого-жъ, окромѣ васъ...

Балканиха даже всплеснула руками и, отступая въ глубину комнаты, воскликнула:

— Да что ты это? Очумѣлъ ты?.. У Б-бога! только у Бога одного!.. Сотвори крестное знаменіе...

— Прошибся! Не подумавши сказалъ... Виновать! Я было-признаться и хотѣлъ-то это самое сказать, да маленечко, по грѣхамъ, не туда прохватилъ...

Озадаченный философскимъ ухищреніемъ, Никита уже съ полнымъ смиреніемъ слушалъ дальнѣйшія рѣчи Балканихи и считалъ непремѣннымъ долгомъ соглашаться съ ней во всемъ; да и нельзя было не согласиться. Она такъ ярко изображала падшую его душу, стремящуюся прежде всего въ кабакъ, такъ явственно рисовала ужасы адскихъ мученій, что сердцу Никиты нельзя было не содрогаться: то видѣлъ онъ себя съ огненной сковородой въ рукахъ, то чувствовалъ, какъ въ его грѣшную спину загоняютъ желѣзный крюкъ, чтобы повѣсить надъ огненной бездной... «Вѣрно!» произносилъ онъ въ ужасѣ. «Вѣрно, матушка Пелагея Петровна! Ахъ, сиравадно!» Дѣло обыкновенно сводилось къ тому, что Никита начиналъ клясться передъ образомъ:

— Ежели только каплю, громомъ расшиби!

— Смотри! говорила Балканиха.

— Будьте покойны! Ни въ жисть не будетъ этого!

— Смотри!

— Даже ни-ни! Ни Боже мой! Легкое-ли дѣло... ни-ни! Пожалуйте вашу ручку.

— Цалуй... да сма-три!...

Въ эти минуты Никита дѣйствительно чувствовалъ такую энергію, о которой въ обыкновенное время не могъ и представить себѣ, такъ какъ вся разсудочная дѣятельность его была обыкновенно поглощена надеждою, что «Богъ не безъ милости». Тотчасъ же послѣ нравоученія онъ рѣшался вдругъ все привести въ порядокъ. Мгновенно, и даже нѣсколько съ сердцемъ, вытаскивалъ изъ-подъ навѣса свои ветхія дрожки, устанавливалъ ихъ посреди двора на солнечномъ припекѣ и, обдавъ водою, принимался скоблить, чистить, мыть. Все кожаное въ своемъ экшнажѣ смазывалъ густыми слоями сала, ослѣпительный блескъ котораго открывалъ цѣлые милліоны изъяновъ, незамѣтныхъ прежде подъ кучами грязи. Это однако не охлаждало Никиты.

— Ничего, живеть! говорилъ онъ, взявъ въ руки оглобли и лавируя съ дрожками по балканихину двору.—Еще какъ отлично-то!

Затѣмъ подобную энергическую реставрировку испытывала и несчастная кляча, потерявшая отъ нищеты хозяина и фигуру, и способность что-нибудь опухать: выраженіе глазъ ея въ ту минуту, когда хозяинъ вытягивалъ ее кнутомъ, было совершенно такое же, когда хозяинъ угощалъ ее овсомъ. Потомъ слѣдовали хлопоты въ семьѣ, въ банѣ; Никита умывался, надѣвалъ чистую рубашу, рас-

чесывалъ волосы, смазавъ ихъ квасомъ, и съ особенной любовью, какая можетъ загорѣться въ сердцѣ человѣка съ твердой вѣрой въ будущее благополучіе, няньчилъ своихъ ребятъ, дѣловалъ ихъ и разговаривалъ самымъ дружескимъ тономъ.

На другой день рано утромъ Никита собирается ѣхать со двора. Старый армякъ его вычищенъ и заштопанъ бѣлыми нитками; шея обмотана новымъ, подареннымъ къ крестинамъ, платкомъ, подпирающимъ въ самыя скулы. Въ воротахъ онъ снимаетъ шапку и не перестаетъ креститься во все протяженіе пути отъ воротъ до перекрестка. Жена Никиты, съ ребенкомъ на рукахъ, долго смотритъ ему въ слѣдъ, стоя за воротами. На перекресткѣ Никита, нахлобучивъ шапку, полыснулъ кнутомъ клячу—и дѣло пошло въ ходъ. Лошадь потащила своею упругой рысью, оглашая пустынную улицу браканьемъ селезенки. Никита размышлялъ, чувствуя въ себѣ что-то новое, небывалое... Вдругъ его качнуло назадъ и дрожжи остановились, утонувъ колесами въ выбоинѣ передъ крыльцомъ знакомаго кабака... Лошадь остановилась здѣсь по привычкѣ.

Пораженный удивленіемъ, Никита долго молчалъ, опустивъ руки, и наконецъ шопотомъ пробормоталъ:

— Каково вамъ покажется?

— Никита Петровичъ, весело шепталъ изъ окна дѣловальникъ:—иди, благословись коусечкой!

— У-у! Скак-крупненіе! рычалъ Никита, съ сердцемъ вытаскивая лошадь кнутомъ.

Такія не всегда удачныя попытки сдѣлать доброе дѣло не только не убавляли ничего въ славѣ Балканихи, но, напротивъ,—еще болѣе придавали ей вѣсу: Никита, вернувшись домой опять со сломанными дрожками и въ разорванномъ армякѣ, снова чувствовалъ себя виноватымъ передъ Пелагеей Петровной, и этотъ страхъ не пропадалъ даромъ, потому что обыватели нашей улицы видѣли его и поучались. Въ всему этому Пелагея Петровна постепенно прибавляла новые поводы для уваженія. Такъ напримѣръ, она перечитала всѣ книги, найденныя у ея жильцевъ: молитвословы, календари, богослужебныя книги, поучительные примѣры благочестія, «Камень вѣры» и проч., и проч. Растеряева улица послѣ этого вытаращила глаза на Балканиху, ибо въ разговорѣ ея стали появляться такія слова, какихъ растеряевцы отъ роду своего слыхомъ не слышали. Мало того, Балканиха могла каждому растолковать всякое подобное слово. Въ одинаковой мѣрѣ понимала она, что такое значить: кругъ-солнца, въ рупѣ-лѣтѣ, индикта, какъ и такія тонкости, которыя объясняютъ, что такое поліелей, преполовеніе. Рекомендую читателю представить себѣ, что долженъ былъ чувствовать растеряевецъ при взглядѣ на Пелагею Петровну въ эту пору ея славы. Такіе успѣхи она одерживала въ то время, когда ей было только тридцать восемь лѣтъ отъ роду. Въ эту пору вздумалъ-было посвататься за нее одинъ мѣщанинъ, по фамиліи Дрыкинъ, но скоро раздумалъ...

— Съ чего это онъ меня не взялъ? думала Бал-

каниха въ то время, когда вся наша улица полагала, что она сама отказала жениху, и совершенно не подозрѣвала, что иногда въ голову благочестивой Пелагеи Петровны закрадывалась мысль объ отпущеніи за эту «обиду».

3) Мѣщанинъ Дрыкинъ.

Мѣщанинъ Дрыкинъ до постройки огромнаго каменнаго дома не былъ извѣстенъ почти никому въ городѣ. Лѣтъ десять назадъ до этого времени, видѣли его кой-кто на толкучкѣ въ ту самую минуту, когда онъ, не стѣсняясь громаднымъ стеченіемъ публики, отнималъ у жида-солдата нанковые панталоны, утверждая, что означенные панталоны принадлежать ему, и хотя повидимому—гроша не стоятъ, но что онъ, Дрыкинъ, имѣетъ тайную причину считать ихъ весьма дѣнными, почему и требуетъ съ солдата, кромѣ панталонъ, штрафъ въ три дѣловыхъ, да за безчестіе еще какую-то сумму. Послѣ этого пассажа встрѣчали его еще кое-гдѣ: на немъ былъ длинный изорванный черный сюртукъ, панталоны, похищенные у жида, картузь безъ подкладки, въ рукахъ держалъ онъ тонкую аблоновую трость. Такъ встрѣчали его въ продолженіи многихъ лѣтъ, и затѣмъ онъ сразу дѣлается обладателемъ огромнаго каменнаго дома, получая отъ растеряевцевъ наименованіе «темнаго» богача,—т. е. человѣка, который разбогатѣлъ не то «убійствомъ», не то «грабежомъ», не то отыскавъ кладъ. Какъ бы то ни было, но, разбогатѣвъ, Дрыкинъ началъ строить домъ. Онъ строилъ его на широкую ногу, со всѣми удобствами: ворочалъ большими капиталами. Въ эту пору онъ посватался-было за Балканиху, но, почувавъ въ ней обширный умъ, расчелъ лучшимъ отказаться и женился на молоденькой. Растеряевское преданіе говоритъ, что тотчасъ послѣ свадьбы молодая супруга Дрыкина, по имени «Ненила», отдала приказаніе мужу, чтобы немедленно были приглашены всѣ полковые музыканты и всѣ господа военные изъ благородныхъ, какіе только есть въ городѣ на лицо. Въ отвѣтъ на это, мужъ, не говоря ни слова, отправилъ ее донѣ корову, сдѣлавъ такое жестокое рукопашное внушеніе, что Ненила сразу какъ-бы оглухла, затихла и вообще до того «испугалась», что Дрыкину въслѣдствіи не было рѣшительно никакой надобности въ рукопашныхъ внушеніяхъ: достаточно было только взглянуть, сдвинувъ брови, чтобы то или другое желаніе его исполнялось безпрекословно. Впрочемъ полный порядокъ, по мнѣнію Дрыкина, воцарился въ домѣ его только тогда, когда онъ виѣстъ съ женой переселился въ какую-то маленькую каморку окнами на дворъ, а въ трехъ этажахъ каменнаго дома загорланило населеніе кабаковъ, харчевень, нумеровъ постоялаго двора. Ненила дѣлые дни торчала въ этой каморкѣ, не показывая глазъ на свѣтъ Божій, а мужъ ея усѣлся за воротами на лавочкѣ, въ тѣхъ же нанковыхъ панталонахъ, съ тою же тростью въ рукахъ. Онъ видимо богатѣлъ; но это богатство ничего не измѣняло ни въ его костюмѣ, ни въ жизни: та-же видимая нищета, тотъ же

лукъ за обѣдомъ и проч. Даже кошелекъ его, казалось, вовсе не тучѣлъ, потому что если какая-нибудь сосѣдская баба обращалась къ нему съ убѣдительною просьбой насчетъ двугривеннаго, то въ отвѣтъ на это онъ запуская два грязныхъ пальца въ дыравый карманъ жилета, вытаскивалъ заплеванный екатерининскій грошъ и почти дѣтски-невиннымъ голосомъ говорилъ:

— Съ великимъ бы, матушка моя, удовольствіемъ, да вотъ только всего и денегъ-то у меня... Правда, былъ объ Святой гривенникъ мѣди; ну да по времени на себя извелъ... Что сдѣлаешь-то? А съ тѣхъ поръ и денегъ-то никакихъ не случалось. И не знаю когда! Да и гдѣ теперь деньгамъ быть? Кажется, вотъ-вотъ съ семьей побираться пойдемъ.

— Ну, извините, говорила разобиженная баба.

— Съ великимъ бы удовольствіемъ, да вѣдь что будешь дѣлать!.. До пріятнаго свиданія...

— И вамъ также!

Послѣ такого разговора Дрыкинъ крикнетъ тихонько, постучитъ палкой по тротуару, держа ее между раздвинутыхъ колѣнъ, и возобновитъ прерванный разговоръ. На лицѣ его не произойдетъ ни малѣйшей перемены, даже улыбки не явится.

Постоянное пребываніе Дрыкина за воротами давало возможность познакомиться съ его, такъ сказать, душевными симпатіями. Иногда кто-нибудь изъ «объегориваемыхъ» имъ приносилъ почитать газету. Чтеніе происходило за воротами. Дрыкинъ особенно интересовался описаніями церемоній и изображеніемъ сверхъ-естественныхъ происшествій: горящая мышь, дѣвица, проспавшая ровно пять лѣтъ и по пробужденіи вдругъ разрѣшившаяся отъ бремени и проч. Объ иностранныхъ земляхъ изъ тѣхъ же газетъ узнавалъ онъ тоже чудеса: упалъ камень съ неба, чугунокъ подъ водой и подъ землею ходитъ и т. д. Нужно сказать правду, такіе извѣстія потрясали Дрыкина. Онъ ахалъ и выдыхалъ. «—Боже мой! говорилъ онъ:—въ другихъ-то земляхъ что дѣлается! а?»—Но нужно сказать также и то, что при всей искренности этихъ вздоховъ, если бы судьба забросила какъ-нибудь Дрыкина въ одну изъ этихъ странъ, переполненныхъ такими удивительными вещами, то онъ прежде всего освѣдомился бы: «почемъ овесъ?» а про чудеса едва ли бы и вспомнилъ за хлопотами. Наивность его рѣшительно не давала никакихъ шансовъ къ собогѣзованію надъ нимъ по поводу тѣхъ ущербовъ, которые онъ долженъ понести въ жизни, гдѣ, повиному, такъ много самыхъ простыхъ вещей и явленій, могущихъ поставить его втупикъ. Нѣтъ! Ворочая огромными капиталами и имѣя сношенія со множествомъ народа, онъ между тѣмъ всѣ бухгалтерскія книги, кредиты и дебетъ ведетъ на при толкахъ амбаровъ и погребовъ, изображая углемъ и мѣломъ палки, подъ которыми подразумеваются у него и люди, и овесъ, и проч. Кажется, ужъ какъ при такомъ невѣжествѣ не промахнуться, какъ не почувствовать потребности выучиться писать хоть по складамъ? Однако посмотрите, какъ онъ, не прибѣгая къ чьему-либо посредству,—счумѣлъ напугать своихъ должниковъ, которые обходятъ его жи-

лише за пять кварталовъ. Все это можетъ быть объяснено только тѣмъ, что въ натурѣ Дрыкина счумѣли уживаться самыя противоположныя вещи, смиренно равнялись и давали дорогу первенствующему стремленію «знать свой карманъ».

Въ эту пору жизни мѣщанина Дрыкина никакая побѣда надъ нимъ не была возможна. Если бы дѣла продлились въ такомъ порядкѣ, то Ненила не успѣла бы ни разу вздохнуть свободно во всю жизнь, а Балканиха не имѣла бы случая восторжествовать. Но Господь помогъ имъ обоимъ.

Дрыкинъ съ давняго времени жаловался на боль въ глазахъ. Добрые люди совѣтовали ему пить, по зарямъ, по два стакана чернобыльнаго настою, нюхать хрѣнъ и проч. Особенное было обращено вниманіе въ этомъ леченіи на то, чтобы счумѣть воспользоваться лѣкарствомъ по возможности «до заутрени», «до пѣтуховъ». Въ этомъ почему-то считали тайну леченія; однако, не смотря на всю силу доморощенныхъ волшебствъ, дѣло кончилось тѣмъ, что Дрыкинъ ослѣпъ.

Въ одно утро онъ открылъ глаза, теръ ихъ кулаками, таращилъ, крестился и наконецъ почти со слезами сказалъ:

— Ненилушка! вѣдь я не вижу!

— Что ты?

— Господи! Господи, чтожъ это такое? вѣдь ослѣпъ!...

Дрыкинъ заплакалъ. Ненила сначала въ недоумѣніи смотрѣла на мужа; потомъ ей вспомнилось что-то очень далекое, на лицѣ появилась краска.

— Ослѣпъ?—спросила она.

— Ослѣпъ! какъ есть ослѣпъ!

— Слава тебѣ, Господи! съ истиннымъ благоговѣніемъ заговорила она.—Слава тебѣ, царю небесному! Ослѣпи ты его, ирода, на-вѣки нерушимо...

— Жен-на! Побойся Бога! стоналъ мужъ.

Но жена, вмѣсто сожалѣнія, захохотала и весело стала дразнить его:—Ну, тронъ?.. Ну, сдѣлай твое такое одолженіе тронъ? Найди меня!.. гдѣ я? ха-ха-ха!

— Б-боже мой, Бож-же мой!..

Съ этихъ поръ въ домѣ Дрыкина пошло все вверхъ дномъ. Ненила, которой въ эту пору было только двадцать шесть лѣтъ, тотчасъ же изгнала жильцовъ; вмѣстѣ съ ними выгнала вонъ изъ комнатъ своихъ ребятъ, которыхъ она терпѣть не могла за ихъ безобразныя рожи,—и запиновала. Начала она переминаятъ платья по пяти разъ въ день; явились у ней толпы пріятельницъ и вино въ полуштофъ;—цѣлые дни пло шелканье орѣховъ и частенько подгулявшія бабы выглаголю орали пѣсни.

Дрыкинъ стоналъ, лежа въ своемъ подвалѣ.

Такіе безобразія Ненилы продолжались по крайней мѣрѣ съ полгода; къ концу этого времени она успѣла нагуляться «на всѣ» и поугомонилась, не переминая въпрочемъ своихъ отношеній къ мужу. За воротами, куда Дрыкинъ наконецъ-таки опять перебрался, шло попрежнему обдѣлываніе дѣлъ, но уже въ степени гораздо меньшей противъ прежняго, ибо денежныя расчеты Дрыкина постоянно перебивались мыслями совершенно побочнаго свойства.

— Ты говоришь: ударить ее! говорилъ онъ, раздумывая, своему пріятелю.—Ударить! Голубчикъ! какъ же ты ее ударишь, когда...

— Жену-то?

— Не про то! теперича положимъ такъ: ну, дасть мнѣ Господь, опарашу я ее; но она замѣсто того пуститъ въ меня изъ двадцати мѣстовъ. И палочьемъ, и чѣмъ угодно?..

— Такъ того: въ сонное бы время, баялъ пріятель.—Чать, знаете мѣстоположенье?... Ну, вотъ тутъ бы ее и пристукнуть?

— Голубчикъ ты мой! жалобно говорилъ Дрыкинъ,—ну хорошо, пуцай я ее разовъ пятокъ жокну въ голову-то, но вѣдь получить она черезъ это пробужденіе и слѣдственно опять-таки меня, Боже защитить, какъ?

— Мудрено!

— Такъ мудрено, такъ, другъ ты мой, мудрено, даже весьма опасно!..

Въ эту пору распутицы семейной жизни Дрыкина, Пелагея Петровна имѣла полную возможность одержать надъ нимъ какую-угодно побѣду; это было тѣмъ легче, что слабыя стороны супруговъ не таились и были наружѣ. Принимая въ расчетъ свойство этихъ струнъ, Балканиха находила весьма удобнымъ и пріятнымъ для себя мутить между собою супруговъ. Дѣлалось это съ затаенной улыбкой и смѣхомъ. Главное орудіе для супружескихъ стычекъ Пелагея Петровна имѣла въ распущенномъ хозяйствѣ. Стоило ей показаться на дворъ у Дрыкиныхъ, какъ зоркій глазъ ея тотчасъ же подмѣчалъ множество неисправностей: кухарка потихоньку снабжаетъ хозяйскимъ молокомъ свою родственницу; приказчикъ, вмѣсто пуда сѣна, отпускаетъ проѣзжающему половину, и этотъ послѣдній обѣщается впередъ не ступать ногой на постоянный дворъ Дрыкина; подъ сараемъ кто-то кричитъ:—«Подай!» «Нѣтъ, врешь!».

Пелагея Петровна только головой качаетъ и идетъ въ сѣни; адѣсь раскрыты двери въ чуланъ, въ кладовую, въ кухню: кто хочетъ—приди и возьми все: ни одна душа не хватится и виноватаго не същещь. Запасишься такимъ матеріаломъ, Пелагея Петровна являлась къ Дрыкину и, поздоровавшись, начинала:

— Ну, отецъ, ужъ и хозяйство у тебя! Ужъ хозяйство! И что только это, дивлюсь я, жена у тебя смотреть?... а?..

— Матушка!.. почти плача говорилъ Дрыкинъ.

— А? вездѣ крадутъ, вездѣ тащутъ, все рѣсперто; кажется, приди воръ, возьми все, и не хватятся... Что это такое? Чтожъ ты на жену-то смотришь?

— Да, милан мой! Ну, положимъ, точно что, быть можетъ, я ее и того... чѣмъ-нибудь... но вѣдь она въ отместку и палочьемъ, и...

— Да какъ же она смѣетъ?

Дрыкинъ блѣднѣлъ отъ злости и бодро проананосилъ:

— И въ самомъ дѣлѣ?

— Доживешь, продолжала Балканиха,—покуда по міру пойдешь побираться... Легкое-ли дѣло, все

на выворотку! Ахъ, ты, Боже мой! а?... какая головой, говорить она и идетъ въ другую комнату.

— Ахъ, Боже мой! продолжаетъ она, подходя къ Ненилѣ.—Я смотрю, смотрю на тебя: Господи! кажется, въ чемъ только душа держится... Похудѣла, осунулась... И какъ только ты это со слѣпымъ дьяволомъ живешь!

— Мочи моей нѣтъ! Убью я его!

— Именно! Скажите на милость, слѣпая чучела такая, совсѣмъ молодую женщину!..

Ненила схватывала половую щетку и какъ стрѣла налетала на мужа, который, въ свою очередь, доспѣвалъ до возможности «ковнуть» супругу...

Въ ту же минуту Балканиха умѣла выскользнуть изъ комнаты; стоя за воротами, она прислушивалась къ шуму битвы, происходившей въ домѣ Дрыкина, и, съ улыбкой глядя на небо, во всеуслышаніе говорила:

— Господи помилуй! Господи помилуй!

Счастливо живетъ наша Балканиха до сей поры и по-прежнему пользуется общимъ почетомъ. Дать совѣты и принимать за нихъ послышныя приношенія. Только порой еще и теперь досадуетъ она, что не удалось ей прибрать къ рукамъ стараго Дрыкина.

Возвратимся теперь и къ Прохору Порфирычу.

XV. Прогулка.

Въ жаркое послѣбобьденное время, по глухому переулку, въ тѣни у заборовъ, шли два обывателя. Первый былъ извѣстный читателю Прохоръ Порфирычъ, другой самоварщикъ Кузька, воспитанникъ Пелагеи Петровны Балкановой. Это былъ здоровый малый, лѣтъ семнадцати, съ широкимъ разжирѣвшимъ лицомъ, вздернутымъ носомъ и маленькими глазами, въ которыхъ проглядывало выраженіе какого-то непонятнаго негодованія.

Оба пріятеля были въ «лучшихъ» костюмахъ: Прохоръ Порфирычъ, извѣстный въ нашей улицѣ за изыщѣншаго джентльмена, въ настоящую минуту совершенно оправдывалъ этотъ титулъ; все, что только отыскалъ онъ въ своемъ сундукѣ аглицкаго и французскаго, все было надѣто на немъ. Незастегнутый скюртукъ, распахиваемый вѣтромъ, открывалъ пятавшуюся впередъ манишку и франтовскую жилетку, застегнутую на одну пуговицу. Новый шелковый галстухъ, изъ-за котораго чуть-чуть показывались кончики воротниковъ, скрипѣлъ и издавалъ какой-то металлическій трескъ, далеко слышавшійся кругомъ во время безмолвнаго шествія. Нельзя не сказать, что такой нарядъ доставлялъ моему герою истинное удовольствіе; держа обѣ руки назадъ, онъ гордо выступалъ впередъ, холоднымъ взглядомъ окидывая фигуру Кузьки, который представлялъ совершенный контрастъ съ его джентльменской фигурой. Кузька былъ одѣтъ тоже во все новое; но его нарядъ въ сравненіи съ нарядомъ Прохора Порфирыча не стоилъ ни полушки. Не

смотря на нестерпимую жару, Кузька нарядился во все теплое: на головѣ у него былъ драповый новый картузъ на ватѣ; на плечахъ, кромѣ сюртука, драповая же ваточная чуйка, съ бархатнымъ высокимъ воротникомъ; шея была подвязана новымъ платкомъ, но подвязана такъ, что Кузька не могъ свободно повернуть голову и вздохнуть: кровь прилила къ головѣ и стучала въ мокрыхъ отъ поту вискахъ. Отправляясь на богомолье въ село З—во, гдѣ, по расчетамъ Кузьки, должна собираться большая публика, онъ считалъ за нужное нарядиться во все лучшее, ибо въ этомъ считалъ необходимое условіе всякаго праздника. Ко всѣмъ этимъ неудобствамъ его костюма нужно прибавить узкіе выростковые сапоги, надѣтые на шерстяные чулки, и наконецъ глубокія калоши. Кузьма прихрамывалъ и отставалъ.

— Ты ежели хочешь идти, такъ иди! строго сказалъ ему Прохоръ Порфирычъ: — иди съ тобой возиться некогда. Этакъ мы къ ночи не доберемся.

— Не сердись! уныло сказалъ Кузька.

Порфирычъ посмотрѣлъ на его раскрасѣвшуюся фizioномію, по которой градомъ лился потъ, и проговорилъ:

— Ишь, рожу-то нажевалъ!..

— Да будетъ тебѣ, ей-Богу! беззащитнымъ голосомъ протянулъ Кузька и обтеръ лицо колючимъ драповымъ рукавомъ.

— Ну, иди, иди... Брошу!

Кузька повидимому очень дорожилъ компаніей спутника, потому что утроилъ шаги и скоро поравнялся съ нимъ.

— И кто это только праздники выдумалъ? борзоталъ онъ шопотомъ, чувствуя во всемъ тѣлѣ нестерпимый жаръ.

Пріятели молча продолжали шествіе по пустыннымъ переулкамъ. Жаркій вѣтеръ по временамъ дулъ въ ихъ запотѣлыя лица и чуть-чуть шевелилъ запыленными листьями корявыхъ яблонь, вѣтки которыхъ перевѣшивались кое-гдѣ черезъ заборы. Отъ жары народъ попрятался въ дома; вездѣ были закрыты ставни; спали люди, спали собаки. А солнце жгло и палило не устаная...

Исчезли послѣдніе дворішки самаго отдаленнаго переулка, и путники вышли въ поле. Пыльный и узенькій проселокъ извивался по небольшой возвышенности, отлого спускавшейся къ болотистому лугу неглубокой ложбины. Здѣсь, черезъ трясины, перекинутъ маленькій мостъ безъ перилъ, запрудившій собою зеленую и гнилую болотную воду. На противоположномъ возвышеніи холма красуется новый кабакъ: около крыльца воткнуть въ землю ливневый шестъ, къ концу котораго привязана пустая бутылка.

Народу идетъ «видимо-невидимо», преимущественно бабы, дѣвушки и молодые мужчины всѣхъ классовъ и званій. Прохоръ Порфирычъ идетъ молча, будучи обуреваемъ своими тайными размышленіями.

Размышленія его шли довольно глубокомысленное направленіе. Какъ уже извѣстно, во всей улицѣ нашей онъ былъ единственный человѣкъ, умѣвшій обходиться безъ кабака, безъ разбитаго

глаза и всегда имѣвшій изящный костюмъ. Благо-состояніе Прохора Порфирыча было до сихъ поръ прочно до изумительности; но послѣднія трудныя времена до такой степени оказались трудными, что поколебали даже и его благосостояніе. Даже онъ вздохнулъ не одинъ разъ. Самое ревностное желаніе рабочаго народа было желаніе войны: «хоть бы подрались гдѣ-нибудь, толковали рабочіе, — все больше было бы сбыту на оружейный товаръ». Но войны какъ на зло нигдѣ не случалось. Прохоръ Порфирычъ, въ ту трудную пору, до того унижалъ свой авторитетъ, что рѣшился даже обратиться за совѣтомъ и свѣдѣніями къ Пелагеѣ Петровнѣ. Эта дама не дала ему впрочемъ положительнаго отвѣта ни на одинъ вопросъ, а насчетъ войны отозвалась, что «не слыхать».

— Точно что, говорила она, — гдѣ-то засѣдаютъ объ этомъ дѣлѣ, насчетъ того — гдѣ и какъ; но будутъ ли воевать или нѣтъ, навѣрно сказать нельзя.

Стали поэтому гнѣздиться въ голову Прохора Порфирыча мысли о женитбѣ и слѣдовательно отчасти и о любви. Но эту послѣднюю вещь онъ тотчасъ же подвергнулъ собственной критикѣ и убѣдился въ полной ея невыгодѣ, тѣмъ болѣе что онъ въ совершенствѣ зналъ женскій полъ нашей улицы. Понадѣяться на этотъ полъ было весьма опасно; въ доказательство этого онъ могъ привести множество примѣровъ. Не дальше какъ вчера онъ пробирался ночью, держа сапоги въ рукахъ, къ своей сестрѣ, у которой мужъ на минутку отбылъ въ село Селезнево для излеченія отъ запоя. Недѣли двѣ тому назадъ встрѣтилъ онъ въ городскомъ саду одну особу женскаго пола, которая несла изъ дому ужинъ брату-цѣловальнику, и имѣлъ съ ней нѣчто секретное, послѣ чего еще разъ убѣдился въ правотѣ своего взгляда на женскій полъ. Положительныя желанія его, насчетъ этого предмета, состояли въ томъ, чтобы взять жену съ состояніемъ, не обращаю вниманія на фizioномію и возрастъ; при этомъ область любви онъ намѣренъ былъ уступить супругѣ въ полное распоряженіе, а самъ предполагалъ завѣдывать исключительно капиталомъ, мечтая объ осуществленіи одного наивыгоднѣйшаго предпріятія. По мнѣнію Порфирыча, самое выгодное занятіе — кабакъ. Въ качествѣ умнаго человѣка, онъ устроитъ кабакъ около какой-нибудь большой фабрики, будетъ давать рабочимъ нѣ долгіе, подѣ условіемъ получать деньги изъ рукъ хозяина, который согласится на устройство кабака около фабрики, потому что Порфирычъ предложитъ ему «профитъ», т. е. выѣсто, наиримѣръ, пяти рублей, будетъ брать только четыре, а за рабочимъ запишется все-таки пять. Въ воображеніи Прохора Порфирыча кабакъ этотъ рисовался какою-то разверстою пастью, которая, не переставая, будетъ глотать черныя фигуры мастеровыхъ. Картина и планъ были весьма эффектные и выгодныя, не находилось только нештѣты съ капиталомъ. Давно уже пустился онъ за новесками того и другого, но удачи особенной не видалъ.

Размышленія по поводу этихъ обстоятельствъ и этихъ надеждъ одолевали его голову въ то время.

какъ онъ шелъ на богомолье въ 3—во. Кузька молча слѣдовалъ за нимъ, стараясь не отставать.

— У тебя много-ль денегъ-то? спрашиваетъ его Порфирычъ, не поворачивая головы.

— Да, пожалуй, цѣлковыхъ два наберу. Ты, Порфирычъ, бери ихъ... Бери всё.

— Вона!.. Я на всякій случай... Кабы съ купца получилъ...

— Чего тамъ, съ купца! Бери всё... Куда мнѣ ихъ? Я и не приберу... Только ты меня не ждай...

— Куда же я тебя кину?

— То-то! Ужъ сдѣлай милость, голубчикъ... Ежели бросишь, что я одинъ-то?.. Легче же, во сто разъ, воротиться...

— Ну, да ладно, не брошу! «Экая осина какая!» подумалъ Порфирычъ и замолчалъ снова.

А Кузька очень радовался, что будетъ имѣть вѣрнаго защитника и руководителя.

Пелагея Петровна, приходившаяся Кузькѣ теткой, взяла его на воспитаніе, когда ему было три года. Не любя мужа и не имѣя дѣтей, она отдала весь запасъ женской любви воспитанію своего пріемыша. Главныя старанія ея состояли въ томъ, чтобы освободить Кузьку отъ тѣхъ несчастій и пороковъ, которыми видимо страдала наша улица. Поэтому Кузька съ малыхъ лѣтъ постоянно находился при ней, получая ласки въ видѣ непрерывной бдѣ. Общество мальчишекъ было для него чужимъ: онъ одинъ катался на ледянкѣ около воротъ, не смѣя и боясь присоединиться къ компаніи, и цѣлые дни проводилъ въ обществѣ старухъ, привыкнувъ къ существованію внѣ общихъ растеряевскихъ интересовъ. Кузька былъ усыпленъ и закормленъ до такой степени, что никакая новость, никакой любопытный фактъ, который ему приходилось видѣть въ первый разъ въ жизни, не привлекали его вниманія. Нужно было долго долбить одинаково сильными впечатлѣніями въ окаменѣлую голову его, чтобы пробрать и заставить его заинтересоваться и жить. Но когда наконецъ онъ раздобривался, — удержать его было трудно. На самоварной фабрикѣ, куда Пелагея Петровна помѣстила его, въ первый годъ затылокъ его былъ всеобщемо наковальнею, на которой пробовалась сила хозяиновыхъ и товарищескихъ кулаковъ. На второй годъ онъ попалъ въ чемъ дѣло и, развиваясь далѣе, норовилъ-было уже отвѣдать прелестей кабака; но Пелагея Петровна во-время спохватилась, и тутъ началась реставровка его развращавшейся души, при помощи розогъ. Каждую субботу Пелагея Петровна припасала для своего пасынка, по меньшей мѣрѣ, два пучка. Такая классическая система сдѣлала то, что Кузька, будучи уже взрослымъ малькомъ, былъ глупѣе всякаго растеряевского ребенка. Огражденный стараніями Петровны отъ развращенныхъ нравовъ, Кузька, по планамъ этой дамы, имѣлъ уже всѣ шансы на счастливое и безмятежное житіе. Страхъ, который чувствовалъ Кузька къ своей пестунѣ, — заставлялъ его всѣми мѣрами слѣдовать ея теоріи насчетъ собственного благосостоянія и выискивать въ растеряевскихъ нравахъ такіе проблески жизни, которые не соприскаются

съ кабакомъ, не носить въ нѣдрахъ своихъ увѣчья, разбитаго глаза, сибирки и проч., — такъ какъ, въ самомъ дѣлѣ, «не все же кабакъ»...

Но каково же было изумленіе Кузьки (выражавшееся впрочемъ самой неопредѣленной тоской во всемъ тѣлѣ), когда продолжительный опытъ доказалъ, что помимо кабака, помимо проклятій собственной жизни, — въ растеряевскихъ нравахъ нѣтъ ничего болѣе существеннаго. Чѣмъ дѣлится растеряевцу со своей семьей, которая, въ большинствѣ случаевъ, тоже даетъ правоученіе въ формѣ безпрерывныхъ попрековъ? Въ этой ли голодной и холодной семьѣ найти хоть какую-нибудь дозу удовольствія, лихорадочно необходимаго послѣ долгихъ трудовъ? Но главное, подъ силу ли тревому человѣку перейти то море нужды, которое тянется и тянулось безъ конца?.. Насущный и ежеминутный вопросъ растеряевской жизни — нужда. Подъ ея вліяніемъ наши удовольствія, радости, словомъ — вся физиономія жизни. Кузька, благодаря попеченіямъ Балкайки, не зналъ нужды и слѣдовательно не могъ жить въ Растеряевой улицѣ. Ему не зачѣмъ было жить здѣсь. Посмотрите, съ какими усиліями добивался онъ этой жизни «безъ кабака», и чѣмъ вознаграждались эти усилія.

Вотъ стоитъ онъ за воротами, въ жаркій лѣтній полдень. По причинѣ праздника, всѣ пообѣдали рано, и поэтому на улицѣ ни души. Кузька стоитъ на солнечномъ припекѣ, босикомъ, и со злобою скребетъ затылокъ, стараясь хоть чѣмъ-нибудь развлечься. Вѣтеръ треплетъ его нанковые шаровары и красную распоясанную рубашку. Все окружающее знакомо ему до мелочей. Но вотъ, подъ заборомъ, спитъ чья-то собака. Выраженіе лица Кузьки дѣлается опредѣленнѣе; онъ осторожно достаетъ кусокъ кирпичца и, отставивъ ногу, развѣтывается камнемъ въ собаку... Пылъ столбомъ взвилась у забора и собака съ визгомъ и лаемъ понеслась прочь, поджимая раненую ногу...

Визгъ собаки доставилъ Кузьмѣ нѣкоторое удовольствіе; онъ слегка скосилъ губы на сторону и вернулъ головой въ бокъ. И опять скука! Кузька замѣчаетъ наконецъ, что на углу, въ тѣни, мальчишки играютъ въ бабки. Онъ вдругъ почему-то принимаетъ самую звѣрскую физиономію, торопливыми шагами идетъ туда и сбиваетъ ногою всѣ бабки прочь.

— Ну, чего ты? пищать мальчишки.

— Прочь! кричитъ Кузька, разгоняя толпу затрепанныхъ.

— Что они трогаютъ тебя? заступается баба.

— А другого мѣста развѣ нѣтъ нитъ? возражаетъ Кузька.

— Ахъ, ты, разбойникъ этакой. Постой, я вотъ Пелагеѣ Петровнѣ скажу, кричитъ баба вслѣдъ Кузькѣ.

— А по мнѣ говори! Что она мнѣ сдѣластъ?

— Вотъ увидишь что!

Кузька сконфуженъ. Снова попасть въ область самой жертвящей скуки, онъ не рѣшается больше искать развлеченій на улицѣ и идетъ въ сарай.

Здѣсь Никита чиститъ лошадь. Кузьма медленно оглядываетъ давнымъ давно знакомый ему сарай.

— Тебѣ чего нужно? строго спрашиваетъ его Никита.

— А тебѣ что?

— Ты чего тутъ не видалъ?

— Да вотъ хочу. Что, тебѣ жалко?

— Ахъ ты, дубина! укоризненно говоритъ Никита. — Пелагея-то Петровна мало тебя бьетъ!.. Тебя, по совѣсти-то, надо дубиной, да получше...

— Чего ты ругаешься-то? Что за баринъ уродился?

— Подлецъ! Именно подлецъ. Ну, чего ты здѣсь?

— Хочу!

— Дубина!

— Ну-ну, тронь!..

— Глушцы! раздавался голосъ Пелагеи Петровны — и порядокъ восстанавливается. Разозленный Кузьма заваливался спать гдѣ-нибудь на чердакѣ за трубой, и съ горя спалъ какъ убитый. Просыпался онъ ранехонько утромъ, и тотчасъ, съ голоду, принимался путешествовать по чуланамъ и кладовымъ, отыскивая что-нибудь стѣсное. Спросонокъ онъ дѣйствовалъ во время похищеній очень неаккуратно: ронялъ горшки, опрокидывалъ банки. Разбуженная стужою, Пелагея Петровна являлась на мѣсто преступленія, и Кузьма получалъ достойное.

Помимо полной невозможности отыскать себѣ хоть какое-нибудь развлеченіе. Кузьма былъ еще несчастливъ въ томъ отношеніи, что, въ качествѣ семнадцатилѣтняго ребенка, становился вступая передъ самыми обыкновенными человѣческими отношеніями; весь міръ Божій казался ему множествомъ совершенно отдѣльных предметовъ, которые другъ съ другомъ не имѣютъ никакой связи. Если же порой у него и мелькала иногда мысль, объясняющая то или другое явленіе, то Кузьмѣ дѣлалось какъ-то неловко, не по себѣ. Случалось, увидить онъ пригожую дѣвушку и почувствуетъ при этомъ нѣчто особенное; онъ почти понимаетъ, въ чемъ заключается это нѣчто; но это кажется ему уже черезъ-чуръ страннымъ, и Кузьма безъ разговоровъ выкидываетъ какую-нибудь безобразную штуку... Дѣвушка, напримѣръ, улыбается и посылаетъ ему поцѣлуй, а Кузьма показываетъ ей кулакъ, присовокупляя: «На-ко!». Въ заключеніе разсердится самъ же на себя и со зла хватить камнемъ въ собаку...

Между тѣмъ количество богомольцевъ, по мѣрѣ приближенія къ 3-ву, увеличивалось. Дѣвушки шли толпами, звонко смѣялись, расходились по густой и высокой ржи, плели вѣнки изъ полевыхъ цвѣтѣвъ. Встрѣтилась на пути жиденькая ролица, и богомольцы рассыпались между деревьями. Молодые люди, на которыхъ дѣвушки смотрѣли съ выразительными улыбками, присоединялись къ нимъ и шли вмѣстѣ. Нѣкоторые изъ молодыхъ людей, понимая по своему смыслъ этихъ выразительныхъ улыбокъ, припасли по двѣ и по три бутылки наливки дамской, сохранивъ ее въ глубинѣ своихъ кармановъ.

Слышались разговоры:

— Ну-ко, кто кого? спрашивалъ одинъ юноша у другого, показывая изъ-подъ полы горлышко бутылки. — Не хочешь ли потянуться?

Пріятели вламываются въ рожъ и присѣдаютъ. Скоро опорожненная бутылка, словно ракета, взвизываетъ вверхъ.

— Вотъ они богомольцы-то! подтруниваютъ бабы. — Вотъ такъ богомольцы!

По пыльной дорогѣ то и дѣло проносились купеческія телѣжки съ крѣпкими и статными лошадьми, изрѣдка тащились извозчичьи дрожки съ сѣдокомъ-чиновникомъ, приготовлявшимися испить до дна чашу наслажденій, о которой означенный чиновникъ такъ много слышалъ отъ пріятелей. Вся громадная толпа путниковъ подвигалась весело впередъ. Солнце начинало садиться; тѣни прохожихъ вытягивались по землѣ до громадныхъ размѣровъ. Вотъ наконецъ и село. Богомольцы спускаются съ высокаго холма, огибающаго съ двухъ сторонъ низменный лугъ, переходятъ небольшой, трепещущій отъ ветхости мостъ, и вступаютъ на средину сельской улицы. Направо тянется длинная линія просторныхъ избъ съ сараями позади; налѣво, на возвышеніи холма, красуются помѣщичій домъ и церковь, къ которой примыкаютъ дома причта. Обѣ эти стороны раздѣлены небольшимъ ручьемъ съ болотистыми берегами.

Вся сельская улица противъ домовъ запружена народомъ. На землѣ кипятъ самовары и идетъ веселое чаепитіе цѣлыми компаніями. Кавалеры всякихъ сортовъ лавируютъ мимо женщинъ, занявшихся чаемъ, выказывая необыкновенно граціозныя тѣлодвиженія. По мѣрѣ того какъ надвигались сумерки, и тети, конвоировавшія молодыхъ дѣвицъ, толпами отправлялись въ церковь, — тайныя цѣли кавалеровъ дѣлались яснѣе. Дѣвицы, схватившись подъ руки, весело разгуливали по сельской улицѣ; кавалеры тоже цѣлыми звонами двигались имъ навстрѣчу, обжигая дѣвицъ многозначительными взглядами, и наконецъ рѣшались вступить въ разговоръ.

— Отчего же вы не въ церкви?

— А важъ какое дѣло?

— Какъ какое? Помилуйте!..

— А вы лучше отстаньте...

— Н-нѣтъ-съ...

Начинается разговоръ, сплошь состоящій изъ какой-то чепухи; тѣмъ не менѣе въ концѣ разговора кавалеръ считаетъ себя вправѣ задать наконецъ вопросъ шопотомъ и на ушко:

— Вы гдѣ ночуете? шепчетъ онъ.

— У Селиверста, отвѣчаетъ дѣвица.

— Въ сараѣ?

— Да!

— Такъ, слѣдовательно, говоритъ онъ вслухъ: — вы напротивъ того мнѣнія, что любовь...

— Отвяжитесь, ради Бога!..

Люди опытные знаютъ наизусть способъ веденія сердечныхъ дѣлъ, а люди неопытные, напротивъ, — въ крайнемъ стѣсненіи.

Прохоръ Прохорычъ и Кузьма тоже были въ

толпѣ гуляющихъ. Бузька рѣшительно не понималъ, изъ какого источника льются эти нескончаемые разговоры кавалеровъ и дамъ? Гдѣ отыскать предметы для этихъ разговоровъ? Онъ былъ крайне сконфуженъ и плелся вслѣдъ за Прохоръ Порфирычемъ, какъ осужденный на смерть, тогда какъ послѣдній видимо успѣвалъ.

Вниманіе его было привлечено одной женщиной, очень недурной и миловидной, которая была въ 3-ѣ безъ подругъ и одна сидѣла за самоваромъ. Она постоянно конфузилась и бросала на мужчинъ испуганные взгляды.

Прохоръ Порфирычъ замѣтилъ это и погналъ отъ себя Бузьку.

— Отойди! сказалъ онъ:— мнѣ нужно!..

— Да куда-жъ я? занялъ былъ тотъ...

— Отойди прочь, говорю... Отстань!..

Бузька съ горечью отошелъ отъ него и выбрался на самый конецъ села, гдѣ не было ни души. Здѣсь онъ расположился на травѣ и вздохнулъ свободно. Прохоръ Порфирычъ тотчасъ пустилъ въ ходъ всю свою опытность «по женской части». Дѣвица конфузилась, потомъ украдкой взглянула на него. Прохоръ Порфирычъ отвѣтилъ ей легопькой улыбкой; движицъ, какъ кажется, очень понравилось это; но мой герой, «зная женскій характеръ», побаловалъ незнакомку улыбкой всего только одинъ разъ и потомъ напустилъ на себя необычайную серьезность. Такой приѣмъ Прохоръ Порфирычъ считалъ очень удобнымъ въ примѣненіи къ женскому полу, и дѣвушка стала интересоваться имъ. Не смотря на свою видимую холодность, Прохоръ Порфирычъ старательно слѣдилъ за дѣвушкой, всѣми силами стараясь разрѣшить — кто она такая. На замужнюю не похожа,—такихъ молодыхъ женъ мужья не отпускаютъ отъ себя въ 3-ю. Не похожа также и на дѣвушку, потому что около нея нѣтъ ни одной пожилой присматривающей родственницы. Считать ее «изъ этихъ» онъ тоже не могъ, потому что въ ней не было ни нахальства, ни бойкости. Прохоръ Порфирычъ недоумѣвалъ: не вдова ли? думалъ онъ; но и на вдову тоже не было похоже: непремѣнно ужъ былъ бы около нея кто-нибудь старшій. Не разрѣшивъ этихъ вопросовъ, Прохоръ Порфирычъ рѣшился, во что бы то ни стало, попасть на ночлегъ въ тотъ именно сарай, гдѣ помѣстится и красавица.

Часовъ въ девять вечера улица начала понемногу пустѣть. Старухи возвращались отъ всенощной и укладывались спать въ избахъ; самовары исчезли, изрѣдка попадались кое-гдѣ фигуры пьяныхъ мужчинъ. Сарай, помѣщавшіеся позади избъ, были полны молодежью. Прохоръ Порфирычъ стоялъ на улицѣ и шопотомъ разговаривалъ съ хозяиномъ одного двора.

— Будьте покойны! говорилъ хозяинъ.

— Здѣсь ли?

— Здѣсь, ужъ я вамъ говорю. Пожалуйста!

Порфирычъ и хозяинъ вошли задними воротами къ кополянникамъ и направились къ сараю.

— Ужъ я насъ, говорилъ хозяинъ дорогою: — въ самое лучшее мѣсто положу.

Они вошли въ темный сарай; сквозь плетенныя стѣны его едва-едва проглядывался лунный свѣтъ. Въ непроницаемой темнотѣ со всѣхъ сторонъ слышался шопотъ, подавляемый смѣхъ и изрѣдка многозначительный кашель.

— Гдѣ-жъ бы тутъ лечь? спросилъ Порфирычъ у хозяина.

— А вотъ-съ, я сейчасъ, сказалъ тотъ и зажегъ спичку. Яркій свѣтъ открылъ довольно живописную картину: во всемъ сараѣ, на разбросанномъ снѣгѣ лежали въ-появку мужчины и женщины. Женщины при свѣтѣ тотчасъ «загомонились» и принялись прятать голыя ноги подъ бѣлыя простыни, закрываясь ими до самыхъ глазъ.

— Да вотъ мѣсто! сказалъ хозяинъ.

Прохоръ Порфирычъ взглянулъ въ уголъ, предназначавшійся для него, и увидѣлъ знакомую дѣвушку, такъ интересовавшую его. Она чуть-чуть выглянула изъ-подъ «бурнуса» и тотчасъ снова завернулась съ головой.

Спичка погасла. Прохоръ Порфирычъ покаякомъ пробрался между лежавшими народомъ и достигъ своего ложа. Дѣвушка отодвинулась въ уголъ.

— Ничего-съ! сдѣлайте милость, не беспокойте... проговорилъ вѣжливо герой.

Во всемъ сараѣ было какое-то безсонное молчаніе.

— Буда ты? куда тебя дьяволъ несетъ?

— Мнѣ сѣнца!

— Я тебѣ задамъ сѣнца!

— Что вы орете? Вотъ удивленіе!

Снова наставало молчаніе и потомъ снова разговоръ.

— Подальше, подальше, батюшка! У меня свой мужъ есть.

— Вамъ безпокойно? спросилъ Порфирычъ со сѣдку.

— Нѣтъ, ничего-съ!

— А то не угодно ли, вотъ-куда?

— Нѣтъ, нѣтъ, шептала та.

— Да что вы опасаетесь? будьте покойны. Я не какой-нибудь...

— Ужъ вы этого не говорите. А я вамъ прямо скажу, я не на это сюда пришла.

— Да помилуйте! Даже на умъ не было! Я вотъ передъ Богомъ скажу вамъ, всей бы душой познакомиться желала.

— Это зачѣмъ?

— Какъ-съ зачѣмъ?... Позвольте ваше имя-отчество?

— Раиса Карповна.

— Такъ, Раиса Карповна, что же вы тятеньку имѣете?

— Нѣтъ, ни тятеньки, ни маменьки нѣту, померли.

— Что же, стало быть, вы у родственниковъ изволите жить?

— Н-нѣтъ... Я не здѣшняя...

— Прїѣзжая?

— Епифанская... изъ Епифани...

— Да-да-да... И что же теперича вы здѣсь при мѣстѣ?

Дѣвица промолчала.

— Или въ услуженіи?

— Н-нѣтъ... Я... Да вы заругаетесь!..

— Ахъ! Что это вы? Какъ же я смѣю? Неужели-жъ такое свинство позволю?

— Я... Господина капитана Бурцева знаете?

— Это, которые полкомъ тутъ стоятъ?

— Они.

— Ну-съ?

— Ну, я при нихъ...

— То есть какъ же это: по хозяйству?..

— Нѣтъ... Я собственно... Какъ они проѣзжали, я видать—я сирота... «Поѣдемъ», говорятъ... Ну я, конечно...

— Да-да-да... Что-жъ? дѣло доброе.

— Вотъ вы надсмѣхаетесь!..

— Чѣмъ-же-съ?.. Даже ни-ни.

«Э-э-э! подумалъ Порфирычъ, — вотъ она птица-то!» и замолчалъ.

Тишина въ сараѣ продолжала быть безсонной и это очень растрогало Порфирыча; онъ вздохнулъ и обратился къ сосѣдѣ съ какимъ-то вопросомъ.

— Ахъ, оставьте!.. Я и такъ ужъ...

— Что такое?

— Да самая горькая...

— То есть изъ-за чего же?..

— Голубчикъ! Лежите смирно! Я васъ прошу.

— Помилуйте, изъ-за чего же горькія? Будьте такъ добры... Обозначьте!

— Они уѣзжаютъ: капитанъ-то...

— Н-ну-съ. Что-же? И Господь съ ними...

— Хотѣли меня замужъ выдать, да кто меня возьметъ?

— Какъ кто? Конечно ежели будетъ отъ нихъ помощь...

— Они даютъ деньгами...

— Много ли?

— Полторы тысячи...

У Порфирыча захватило духъ.

— Ка-какъ?.. Пол-лтар-ры... Вы изволите говорить—полторы?

— Да... Передъ вѣнцомъ деньги.

— Раиса Карповна, проговорилъ Порфирычъ.— Вѣрно ли это?

— Это вѣрно.

— Я приду-съ... Въ господину капитану...

Приду-съ!

— Голубчикъ! Вы надсмѣхаетесь?

— Правались я на семъ мѣстѣ... Завтра же приду!..

— Ахъ, миленькій... Обманываете вы... Я ка-кая... Вы не захотите...

— Да я скорѣй издохну... Деньги передъ вѣнцомъ?

— Да, да... Ужъ и какъ же бы хорошо... Не обманете?

— Ахъ!.. Раиса Карповна!.. Да чтожъ я послѣ этого?..

— Голубчикъ!..

расшевелить его на столько, чтобы заставить раздѣлять общія удовольствія; его одолевала полная тоска. Долго лежалъ онъ молча. Взошелъ мѣсяцъ, надъ болотомъ сталъ туманъ, заквакали лягушки, и на селѣ не слышалось уже ни единого человѣческаго звука. Наконецъ тошно стало ему здѣсь. Онъ рѣшился идти въ село на ночлегъ.

На сельской улицѣ не было никого; только на одномъ изъ крылецъ сидѣлъ хмельной дворникъ и разговаривалъ съ бабой, стоявшей на улицѣ.

— Арина! говорилъ дворникъ.

— Что, голубчикъ?

— Уйди, говорю, отсюда.

— Илья Митричъ! За что-жъ ты меня разлюбилъ! Господи! Сирота я горемычная...

— Арина! говорю: уйди! Слышь?..

— Илья Митричъ!

— Я говорю: уйд-и!

Кузьма вошелъ въ первыя отворенныя сѣни, спросилъ у хозяина позволенія ночевать и легъ съ глубокимъ вздохомъ, надѣясь, что можетъ быть завтра будетъ легче на душѣ.

Но надежды его не сбылись и завтра. Во-первыхъ, онъ снова былъ безъ руководителя, такъ какъ Прохоръ Порфирычъ совершенно увлекся ночной сосѣдкой, чему въ особенности способствовали полторы тысячи «передъ вѣнцомъ». Второе несчастіе Кузьки состояло въ томъ, что утро другого дня не имѣло даже и того напряженного веселья, какимъ обладалъ вчерашній вечеръ: публика рано начала собираться въ городъ, такъ какъ все самое интересное въ праздникъ было уже вчера. Дѣвцы и кавалеры, встрѣчаясь другъ съ другомъ при дневномъ свѣтѣ, были даже не любезны.

Публика разбредалась. На сердцѣ Кузьки становилось все тяжелѣй и тяжелѣй: онъ не выносилъ съ гулянья ни одного пріятнаго ощущенія; рубль семь гривенъ, которые онъ пожертвовалъ себѣ на увеселенія, были цѣлехонки.—«Неужели-же, думалось ему, съ тѣмъ и домой воротиться!» Какъ за послѣднюю надежду, ухватился онъ за мысль— снова пойти въ кабакъ.

Въ кабакъ было множество посятителей... Пили, говорили съ пьяныхъ глазъ что-то совсѣмъ непонятное, спорили, жаловались. Вниманіе Кузьки было привлечено компанією подгулявшей молодежи.

— Нѣтъ, не выпьешь! кричалъ одинъ.

— Анъ врешь!

— Что такое?

— Да вотъ Федоръ берется четверть пива выпить на споръ.

— Дай, объ чѣмъ?

— И спорить не хочу...

— Нѣтъ, нѣтъ, пушай его! Другъ, пива!

— Поглядимъ...

Явилась четверть пива въ желѣзной мѣрѣ; Федоръ перекрестился, поднялъ ее обѣими руками и принялся цѣдить.

Публика слѣдила за нимъ съ особеннымъ вниманіемъ.

— Н-нѣтъ! произнесъ неожиданно Федоръ и хлопнулъ четвертью объ столъ.

Между тѣмъ Кузька, улегшійся на травѣ за сѣномъ, былъ въ большомъ уныніи: ничто не могло

— А-а!... слышалось со всехъ сторонъ.

Охмелѣвшій Федоръ присѣлъ къ столу. Глаза его смотрѣли безсмысленно.

Кузька, въ минуту неудачи Федора, вдругъ почувствовалъ въ себѣ сознаніе чего-то небывалаго. Громадныя нетронутыя силы, давно ждавшія какого-нибудь выхода, зашевелились. Онъ видѣлъ теперь передъ собой такое дѣло, которое понималъ вполне и которое могло прославить его по крайней мѣрѣ въ 3—скомъ кабакѣ. Кузька чувствовалъ, что теперь ему предстоитъ сдѣлать первый сознательный и смѣлый шагъ. Онъ смѣло подошелъ къ гулякамъ и проговорилъ:

— Что дадите, я выпью четверть?

— А ты чѣмъ стоишь?

— Берите что есть: рубль семь гривенъ.

— Ладно! А съ нашего боку, ежели выпьешь, пей сколько хочешь и чего твоей душѣ угодно... Деньги наши... Идти?

— Кричи!...

— Пивва! заорала компанія.

Скоро все общество въ кабакѣ столпилось около Кузьки, который удивлялъ всехъ своимъ богатырскимъ подвигомъ. Четверть пива быстро подходила къ концу. Кузька ни разу еще не передохнулъ, только лицо его медленно наливалось кровью, глаза выкатились и сверкали бѣлками...

— Ахъ, прорва! говорилъ удивленный зритель.

— Батюшки, шатается! вскрикнулъ другой, — шатается!..

— Держи, держи его... Расшибется!..

— Уйти отъ грѣха! прошепталъ третій и выскользнулъ изъ кабака: на улицѣ онъ слышалъ, какъ въ кабакѣ что-то грузное рухнуло на земь...

XVI. Благополучное окончаніе.

Мнѣ остается прибавить еще очень немного: Кузька умеръ въ больницѣ, въ бреду. Сонные нервы его были разбиты слишкомъ непривычнымъ хмелемъ. Прохоръ Порфирычъ, напротивъ того, съ успѣхомъ сдѣлалъ второй шагъ на пути къ своему благосостоянію: онъ явился къ господину капитану Бурцеву, объяснилъ ему свое желаніе вступить въ бракъ и особенно настойчиво наложить условія этого брака. Фразы «полторы тысячи» и «передъ вѣнцомъ» занимали достаточную часть въ его объясненіи. Не смотря однако на видимую корысть, согласіе было дано... Богѣе всехъ радовалась бѣдная невѣста, которая и не чаяла, какъ вырваться на Божій свѣтъ... Она безмолвно благоговѣла передъ своимъ женихомъ, и изъ метрессы превратилась въ покорное, любящее существо, готовое на всякую жертву.

— Голубчикъ! съ любовью шептала она, бродя вслѣдъ за Прохоромъ Порфирычемъ по саду, куда капитанъ отправилъ ихъ переговаривать:— милый мой!..

Мой герой и здѣсь не уронилъ себя: видя въ невѣстѣ неподдѣльную любовь, онъ постарался съ своей стороны отплатить ей за это какъ можно благороднѣе. Для этого онъ вѣжливо задавалъ ей вопросы на счетъ того, — «не мѣшаетъ ли, молъ, вамъ табачный дымъ?» подхватывая упавшій платокъ, подносилъ благовонный букетъ и среди всякаго рода вѣжливостей не забывалъ присовокупить:

— Такъ ужъ сдѣлайте милость, чтобы это было вѣрно, — передъ вѣнцомъ-то!

РАСТЕРЯЕВСКИЕ ТИПЫ И СЦЕНЫ.

I. Войны.

1.

Нестерпимо скучно становилось сидѣть на дворе: на дворѣ стояла самая страшная послѣполуденная жара, солнце било прямо въ окно, изъ коридора тянуло въ незатворявшуюся дверь самоварный дымъ. Ко всему этому необходимо прибавить цѣлыя тучи мухъ, отъ которыхъ, въ буквальномъ смыслѣ, не было «отбоя», и непомѣрную тишину, повсюдное царство сна. Нарѣдка на дворѣ погромыхивали бубенчики, кусались и взвизгивали лошади и потомъ снова слышалось только жужжанье мухъ, опротивѣло проносащихся мимо уха. День вообще выдался отъявленный относительно скуки. Городъ не имѣлъ ни окрестностей сколько-нибудь живописныхъ, ни воды, ни лѣсу; камни-голыши да опаленные солнцемъ холмы. Въ довершеніе всехъ несчастій моихъ, въ этотъ день я не могъ раздобыть ни одной книженки, такъ какъ книжная

лавка была заперта съ утра, и когда отопрется — навѣрно было только Богу.

Въ такое-то скучное время вспоминалъ я одного мастерового, съ которымъ познакомился, толкаясь въ народѣ; онъ очень нравился мнѣ своею понятливостью и знаніемъ всей подноготной городка N. «Я — говорилъ онъ мнѣ — понимаю всѣ дѣла въ существѣ, т. е. вижу ихъ настоящую тонкость», и дѣйствительно: надо отдать ему справедливость, иногда онъ видѣлъ довольно обстоятельно многія провинціальныя неуклюжести. Семинаристы, съ которыми онъ водилъ постоянныя знакомства, снабжали его разнаго рода сочиненіями и старинными журналами, вслѣдствіе чего талантливый пріятель мой возмѣлъ желаніе заниматься сочинительствомъ и не разъ нашивалъ ко мнѣ читать разныя собственныя произведенія; въ нихъ изображались разныя неправды, достойныя обличенія, сатиры на кварталныхъ, обличеніе подлости цирюльника Ивана и проч. Впрочемъ, кромѣ произведеній обличительныхъ, было у него одно твореніе — исключительно художественное, носившее такое заглавіе: «Злопо-

лучная Лиза, или что значить пойти противъ своей матери и какіе бываютъ подлецы. Сущая правда». Всѣ эти произведенія были нацарапаны на лоскуткахъ бумаги, случайно попадавшихъ ему подъ руку.

— Ничего не разберу! читая собственныя карандаши, бормоталъ, краснѣя, Зайкинъ, — вчера-съ, и то насылу ночью урвался «пописать»... Отъ одной матери что крику было, — кажется, сохрани Господи лихого татарина отъ этого оранья... Страсть!.. Кой-какъ царапалъ, да теперь вонь и не разберу ничего... Это что такое? Пообѣ... Пообѣдав.. ши. Э... э... э... Пообѣ... Что за дьяволъ!.. Тыфу! Ну, ее!

Такъ иногда намъ и не приходилось разобрать произведенія.

Бъ этому-то другу и пріятелю моему и отправился я. Жара до того была смертоносна, что потъ выступилъ мгновенно, словно отъ испуга или неожиданнаго обжого. Я старался пробираться въ тѣни подъ заборами. Пока путь мой лежалъ въ центрѣ города, дѣло обходилось еще кое-какъ: иногда подвергивался большой купеческій заборъ съ гвоздями на верху, иногда казенное зданіе, затоплявшее собственною тѣнью не только улицу, но и нѣсколько близъ лежащихъ кварталовъ, такъ что вообще идти было сносно; но когда мои ноги съ тротуаровъ и булыжныхъ мостовыхъ ступили на немощенную почву губернскихъ закоулковъ, голова моя тотчасъ же поступила въ полную власть смертоноснаго зноя: заборы и лачужки, лѣпившіеся по бокамъ улицы, были до того малы, что не могли дать ни крупинцы тѣни. Глаза невольно закрывались, въ вискахъ и во лбу чувствовалась страшная тяжесть, и въ моменты этого расслабленія какъ-то особенно потрясающе дѣйствовалъ неистовый лай до невозможности соскучившихся собакъ, злыя морды которыхъ поминутно высовывались въ разныя прорѣхи заборовъ.

За маленькими заборами виднѣлись клоки травы, добдаемые телянкомъ, привязаннымъ веревкой къ дереву, крошечная баня съ опрокинутой у двери корчагой золы, стулъ, еле державшійся на ногахъ и поставленный здѣсь по случаю приготовления варенья, о чемъ свидѣтельствуеъ выжженный на землѣ кругъ. Посреди улицъ, усѣянныхъ сапожными обрѣзками, желѣзными выварками, стеклянками и ворохами какой-то кухонной шелухи, ребяташки играли «въ Севастополь», ради чего запускали другъ въ друга горстями песку и пыли, протирали глаза, ревели и бѣжали жаловаться... Изъ однихъ воротъ выскочилъ какой-то пьяный мастеровой, босикомъ, въ одной рубахѣ съ оторваннымъ воротникомъ. Голова его была всклокочена и носъ разбитъ до крови. Начались крикъ и брань на всю улицу; выскочили какія-то бабы, солдаты, тоже подгулявшие.

Остановившись у лачуги, въ которой обиталъ Зайкинъ, я постучалъ въ окно, сострипанное изъ кусковъ побурѣвшихъ стеколъ, и скоро въ окнѣ показалась фигура дѣвицы-мѣшанки въ растерзанномъ платьѣ. Рукою, обнаженною, благодаря разо-

дранному рукаву, до самаго плеча, она какъ-то испуганно отворила окошко и пискливо произнесла, предварительно вспыхнувъ:

— Кого вамъ?

— Гаврилу Иваныча.

— Ахъ-съ... Гаврилу-съ... Онъ сейчасъ... Ахъ, Господи!

Дѣвица переконфузилась и засовалась по комнать. Не смотря на грязь шеи, ушей и вообще всей физиономіи, она зардѣлась какъ маковъ цвѣтъ.

— Они сейчасъ идутъ.

Скоро отворилась калитка и Зайкинъ представъ моимъ взорамъ весь мокрый...

— А, дорогіе гости, весело говорилъ онъ. — А я умываюсь... Жарко... Пыць! Пошелъ прочь! Шарикъ!.. Молчать!.. Пожалуйте-съ. Въ садъ не угодно-ли?

— Пойдемте.

— Сдѣлайте милость, я сейчасъ стульчикъ вамъ... Маша! Стулъ... Нѣтъ ли тамъ стульевъ какихъ? Ай вы оглохли?..

— Да не суетись!

— Что такое, Господи! Стулья у насъ есть, сколько угодно... Маша! Понщи-косъ тамъ какихъ-нибудь стульевъ, покрѣпче какой... Все перелома-но!.. Пожалуйте пока въ бесѣдку... тамъ того... тумбы етакія. Присядьте покуда.

Зайкинъ пустился за стульями и скоро притащилъ ихъ цѣлую пару.

— Орагъ, орагъ, а она-шелъма забила въ уголъ... боится, бормоталъ онъ, разставляя стулья.

— Кто?

— Да Марья! Вотъ этотъ никакъ покрѣпче стулъ-то... Али этотъ? Нѣтъ, вотъ, вотъ! Прошу покорно!.. Такая дурашная дѣвка... Совсѣмъ какъ очумѣлая. Мать-то ужъ очень травленная баба, ну, и... Жильцы наши...

Зайкинъ былъ въ рабочемъ фартухѣ. Поставивъ стулъ рядомъ съ моимъ, онъ опустился на траву и прилегъ.

— Жара! произнесъ онъ спустя немного.

— Да и скужа...

— Ай вы скучаете?

— А что?

— Да какъ же? Чему вамъ-то скучать? У васъ, кажется, первое удовольствіе книги, лежи да почи-тывай.

— Книгъ-то нѣтъ. Лавка заперта.

— Да, да, да, я и забылъ совсѣмъ. У нихъ, у этихъ книжниковъ, поминки сегодня... Бабка умерла. Такъ они поминаютъ... такъ, такъ! Еще вчерасъ вечеромъ въ Гостѣвку (загородный трактиръ) на извозчикѣ подрали. Теперь, должно, сутки черезъ двои за дѣло возьмутся, пока не опомнятся... Такъ... такъ!..

Мы замолчали; въ это время за заборомъ слышался сердитый разговоръ.

— Подай лимонъ! говорилъ мужской голосъ.

— Иванъ Петровичъ! Ну, пойми же ты ради самого Бога, что нѣту у меня лимону... жалобно и робко отвѣчалъ женскій голосъ.

— Жен-на! Я что говорю? Что я упомянул? Ты видишь, кто это?

Молчаніе.

— Это кто такое? Гость? Дорогой или нѣтъ? а? Для меня онъ дорогъ! Понимаешь ли это? Мы на одной доскѣ... Понимаешь?... Дорогъ мнѣ!

— Да это, Господи, кто жъ про это...

— Ну, и конечно!

— Мы ихъ вполне уважаемъ и всегда...

— Н-ну, и конечно! Что-жъ тутъ ломаться-то? Изъ-за чего тутъ куражиться-то? Понимаешь ты это или нѣтъ? Готовъ я ему отдать рубашку послѣднюю? Какъ ты полагаешь? Готовъ?

Молчаніе.

— Въ чемъ же дѣло? Изъ-за чего же ты кланяешься? Я тебя прошу объ одномъ: принеси мнѣ лимонъ и — конечно! Слѣдовательно лимонъ и болѣе ничего! Васька! Оборву, какъ шельму... Н-ну? и лимонъ! Миша! Понимаешь!

— Грузенъ что-то секретарь-то, умозаключилъ Зайкинъ,—должно, гостя-пріятеля залучилъ... угощаетъ...

Разговоры за заборомъ на нѣкоторое время прервались.

— А вотъ что, Иванъ Петровичъ, заговорилъ Зайкинъ, скучно-то вамъ? Такъ неугодно-ли вамъ отъ тоски-отъ скуки на потѣху одну поглядѣть?

— Какую?

— На бой-съ! Бои у насъ кулачные бывають, такъ вотъ-съ! Страсть что творится.

Предложеніе это мнѣ пришлось «встать», и я сталъ спрашивать у Зайкина объ этомъ предметѣ.

— Наши Н-скіе, говорилъ онъ,—драку любятъ-съ. Это у насъ первое удовольствіе. И лѣтомъ, и зимой у насъ все драки бывають-съ, т. е. для удовольствія... Зимой больше на рѣкѣ дерутся—мѣсто ровное. Лѣтомъ—тутъ недалеко за семинаріей. Опять тоже постомъ, въ чистый понедѣльникъ, блины у насъ вытрясають... Въ это время тоже драка у насъ бываетъ крупная. Особливо бабъ любятъ трепать... иной случится, баба, которая напримѣръ въ тягостяхъ, такъ что это такое бываетъ, помилуй Богъ!

— Какъ же эти бои устраиваются?

— То есть какъ устраиваются? Устраиваются они такъ, что... драка-съ, кровопійство и болѣе ничего.

— Нѣтъ, я про порядокъ говорю.

— Это-съ! Да-да. Порядокъ у насъ свой-съ... Первое дѣло бойцы у насъ есть, такіе особенные ловчаки... Н-ну, побьютъ объ закладъ—кто кого; которые закладъ держутъ, сейчасъ они дають знать «въ свою улицу» ребятамъ-съ. Объявляютъ ребятамъ, такъ молъ и такъ, въ такой-то день... Ну, и собираются. Какъ это вы не знаете, какъ «въ улицу передають»? Это у насъ первое дѣло: на смѣхъ ли поднять кого, или новость какую любопытную, сейчасъ въ улицу передаемъ. Это у насъ въ родѣ какъ почта. Какже-съ! Опять пѣсня новая въ моду пойдетъ,—сейчасъ тоже въ улицу, въ свою. Ахъ бы, сударь, ежели бъ вы пѣсенку одну написали про

Сережку! Этакой шельма сибирная... Я бы сейчасъ бы въ улицу. То-то смѣху! А?

Я отказался отъ стихотворныхъ работъ и любопытствовалъ узнать, какъ появляются у нихъ новыя пѣсни.

— Какъ то-есть сочиняють? переспросилъ Зайкинъ и продолжалъ: у насъ много сочиняють-съ; у насъ есть такіе свои авторы. Да-съ. Вотъ у насъ есть Протасъ, одинъ музыкантъ, такъ онъ все стихами. То есть совершенно все, до послѣдней буквы! И все у него самое первое удовольствіе писать «прощанье съ пьянствомъ!» Прощай-дескать косушка-матушка, и прочее и тому подобное... Напишетъ да и напьется ту же минуту. Опять есть у насъ одинъ заводскій чиновникъ то же такъ-то, стихами все. А то, такъ вы не повѣрите, дѣвица престарѣлая, въ одномъ домѣ въ услуженіи живетъ,—такъ ужъ вотъ сочиняеть-то! До того, можно сказать, нибѣтъ даръ, что, напримѣръ, въ кухнѣ копошится, тарелки перебиваетъ, да стихами, да стихами... Каково покажется? И главная у нея забота—себя описываетъ; все себя самое въ смѣшныхъ видахъ представляетъ и прелюдно-хорошо представляеть!.. Вотъ бы вамъ поглядѣть!

Разговоръ возвратился къ прерванной темѣ.

— У насъ бой наднава, какже-съ, говорилъ Зайкинъ.—И бойцы въ нашей сторонѣ первѣйшіе!.. По слухамъ-то такъ выходитъ, что нигдѣ, почитай, такихъ бойцовъ нѣту... Есть у насъ одинъ человекъ «соловьятникъ», соловьяную охоту держитъ и очень къ ней приверженъ, такъ вотъ онъ сказывалъ, что, говоритъ: «гдѣ мнѣ быть ни случилось, нигдѣ, говоритъ, такихъ бойцовъ какъ наши не видывалъ: въ Москвѣ точно есть, ну, а больше нигдѣ нѣту». Вотъ-съ какъ! А соловьятникъ-то этотъ много на своемъ вѣку видавъ, потому каждую весну онъ за соловьями по Россіи пѣшкомъ ходитъ; случалось такъ, что и за тыщу верстъ хаживалъ, ежели слухи бывали, что-молъ тамъ-то, у такого-то купца соловьи первосортные... Такъ онъ чрезъ эти путешествія много на своемъ вѣку видывалъ народу, и до боевъ тоже охотникъ, однако же лучше нашихъ бойцовъ нигдѣ не находилъ, вѣрное слово! Да у насъ, что я вамъ скажу, у насъ былъ одинъ боецъ почтальонъ, такъ онъ что же?—кочерги эти гнуть! али бы деньги серебряныя въ трубку свертывать, это ему—тъфу! Онъ—издохнуть, не вру—человѣка съ одного маху въ гробъ вгонялъ! И не то чтобы съ подвохомъ какимъ... а честь-честью, по чистой совѣсти: перво-на-перво онъ показывалъ народу кулакъ, разжимаетъ его, чтобы видѣли всѣ—ничего нѣту, рука чистая! Опять то возьмите въ расчетъ—въ опасныя мѣста, примѣрно въ високъ, онъ не билъ, ни-ни! А билъ онъ какъ слѣдуетъ, по правилу, по чистой совѣсти, и съ одного маху въ гробъ человѣка закатывалъ. Вотъ-съ!.. И померъ-то онъ, можно сказать, отъ своей силы. Пилъ онъ. И такъ надо сказать, что до помраченія онъ водку душилъ. Вотъ разъ напился онъ до бѣсовъ,—стали ему демоны показываться, и подмываютъ его будто на кулачки драться. Онъ и давай. Народъ рассказывалъ: стоитъ, говоритъ, на улицѣ,

отдувается, да что только есть силы-мочи руками размахивает... До того онъ махалъ, пока одну руку совѣмъ изъ сустава не вымахалъ... Съ того и умеръ. Вотъ у насъ какіе есть бойцы!

— Ну, и теперь тоже есть?

— Есть-съ. Конечно противу стариннаго времени драки потишѣли, ну, все же есть бойцы знатные... Есть у насъ одинъ Салищевъ, такъ это на удивленіе! Этотъ и почталону не уступить... Си-ила! Страшная! Э, да вы что! Мы пойдемте-ко-съ съ вами на бой-то, да и къ Салищеву зайдемъ, посмотрите.

— Что-жъ, пойдемте.

— Эй-Богу!

Разговоры наши тянулись довольно долго, но все о предметахъ другого рода. Я не замѣтилъ, какъ прозвонили къ вечернѣ, какъ мало-по-малу спала жара и въ воздухѣ повѣяло прохладою. Выйдя на улицу, я нашелъ ее гораздо болѣе оживленною: чиновники въ форменныхъ скюртукахъ и фуражкахъ, въ широкихъ панталонахъ со складками и въ разноцвѣтныхъ жилетахъ медленной, даже черезъ-чуръ медленной поступью, отправлялись съ беременными женами на прогулку на кладбище. Пыль висѣла надъ городомъ, и солнце, уходящее за горизонтъ, затопило улицу во всю ея длину яркимъ, черезъ-чуръ щедрымъ блескомъ. Тянуло въ воду, купаться.

2.

На другой день Зайкинъ, принарядившись въ новую синюю чуйку, зашелъ ко мнѣ на подворье, и скоро мы отправились сначала къ Салищеву, а потомъ на бой. Всю дорогу, пока мы шли къ лачужкѣ Салищева, Зайкинъ восхвалялъ его силу и невѣроятную доблесть. По его рассказамъ я представлялъ бойца какимъ-то Ерусланомъ Лазаревичемъ, съ косю сажень въ плечахъ. Вслѣдствіе этого я не мало былъ изумленъ, увидѣвъ длинную, сухую фигуру сапожника, съ чахоточнымъ румянцемъ и кашлемъ. Лицо его было желено, руки хулы, но необыкновенно жилисты. Мы застали его въ разоренной и пустынной лачугѣ, омеблированной голыми и гнилыми стѣнами, мокроватымъ поломъ, съ выпадавшими къ низу половицами и съ обрубокѣмъ какого-то объемистаго дерева, сидя на которомъ Салищевъ торопливо тачалъ сапоги. Передъ нимъ, на подоконникѣ, едва не касавшемся пола, стояли какія-то жестяныя помадныя крышки съ разными спеціями кислѣйшаго запаха, валялись сапожничкіе ножи съ треугольнымъ лезвіемъ, обрѣзки кожи проч. Больше въ комнатѣ ничего не было, и къ тому жъ она была чрезвычайно ветха. Появленіе наше, и въ особенности мое, испугало и переконфузило Салищева, какъ ребенка. Зеленые щеки его вспыхнули, глаза забѣгали, и самъ онъ какъ-то засовался, пожимая руку Зайкина своею черной, дрожавшею рукою... Богатырь имѣлъ душу ребенка. Не успѣли мы войти, какъ онъ что-то забормоталъ и, съжавъ голову въ сторону, юркнулъ-было въ сѣни.

— Куда, куда? закричалъ ему Зайкинъ.

— Сичасъ...

— Ты это за водой? Не нужно! не надо! Слышь! Не пьютъ...

— О—о?

— Не пьютъ! и я не буду!

Салищевъ воротился въ комнату и еще разъ проговорилъ:

— О? а по рюмочкѣ?..

— Не будутъ, говорятъ тебѣ! Экой человѣкъ!.. Собирайся! Чай, пора...

— Теперь время! бормоталъ боецъ, стараясь избѣгать чужихъ взглядовъ.— Эхъ, съ сапожникомъ-то не поспѣлъ! Вчера еще приказному обѣщался, да...

— Загулялъ!

— Будетъ тебѣ!.. Эко!..

— Это пѣсня извѣстная. Много ли прогулялъ-то?

— Да что ты? при чужомъ человѣкѣ вдумалъ!.. Прогулялъ, кольки тамъ ни было... все прогулялъ, ухмыляясь, присовокупилъ боецъ.

— Собирайся-ко. Это дѣло-то складнѣй будетъ.

— Безъ меня не начнутъ... А собираться-то чего-же? Я и такъ...

— Неужто и прикрыться нечѣмъ?

— Эва! Нечѣмъ прикрыться! У меня прикрышка-то почище твоей!

— Гдѣ это?

— Въ кабакѣ!.. сказалъ Салищевъ и засмѣялся.

— Ну, однако, въ самомъ дѣлѣ поторапливайся! сказалъ Зайкинъ.— Нѣтъ ли чего на плечи накиннуть? Что-жъ такъ-то?..

— Да есть, да...

— Курамъ въ обиду? Тащи, что есть...

Хозяинъ нашъ, не переставая улыбаться, медленно пошелъ въ сѣни и воротился съ потупленнымъ лицомъ, такъ какъ въ рукахъ его было что-то ужасное...

— Ахъ ты, холера такая! хлопнувъ ладонями о бедра, проговорилъ Зайкинъ.

Глядя на костюмъ, который, нехотя и не переставая хихикать, напяливалъ на себя Салищевъ, всѣ мы не могли удержаться отъ улыбки. Наконецъ костюмъ былъ надѣтъ и оказался халатомъ съ оторванной полой. Скоро къ нему присоединилась другая часть туалета, старый картузъ, вся ваточная часть котораго скопилась у затылка и тянула весь экипажъ картуза къ шеѣ; вслѣдствіе этого разодранный пополамъ козырекъ весьма напоминалъ руки, въ ужасѣ воздѣтыя къ небу... Салищевъ запахивалъ рванный халатъ на груди, поправлялъ картузъ, събѣзжавшій поэтому на ухо, утиралъ рукавомъ носъ и хихикалъ.

Въ такомъ видѣ вся наша компанія выступила въ походъ.

Скоро мы были на мѣстѣ боя. Дѣло происходило за городомъ, на лугу, поросшемъ мелкой травой. Въ ожиданіи боя, большая часть публики столпилась у кабака, другая толкалась и бѣгала по лугу. Публика эта была самая разнообразная:

мастеровые, солдаты, чиновная мелкота, семинаристы. Последніе устроили на лугу игру въ лапту, снявъ предварительно сапоги и засучивъ панталоны выше коленъ. Удары палки о мячъ и мяча въ спины и ляжки играющихъ были до того увѣсисты и звучны, что ихъ можно было съ полною ясностью слышать у кабака на холмѣ.

Первыми дѣломъ мы отправились къ кабаку.

— Вотъ онъ! радостно вскрикнулъ какой-то подмастерье въ парусинномъ халатѣ, высовываясь изъ кабака, и тотчасъ же юркнулъ назадъ.— Ребята! слышалось изъ питейнаго зданія,—Салищевъ, вотъ онъ! Ха-а-а!..

— Гдѣ о-о-оонъ? гоготало множество голосовъ.

— О го-го-о-о!! добавило другое множество.

— Начинай!.. Готово!..

— погоди! Ивана Абрамыча нѣту!

— Эко диво какое! Эй, становись въ ранжиръ!..

— Постойте, братцы! проговорилъ Салищевъ.

— Надо Иванъ Абрамыча подождать.

— Когого чорта?

— Стой! Пойдемъ. Иванъ, поди, угощай!

— Ну, васъ къ Богу!

— Дубина!

— А Галкинъ здѣсь? еще разъ спросилъ Салищевъ.

— Давно, все тебя поджидали... Галкинъ давно. Вся его команда тоже тутъ... Ты ему, Костя, скулу-то разожди.

— Какъ бы онъ намъ не разожегъ! начиная робѣть, проговорилъ Салищевъ.

— Аво-съ! У насъ въ строю такіе кутейники-дергачи, парочка припасена, ахъ! заводскіе...

— Ну, не очень-то! Это дѣло, братъ, въ рукавъ Божіихъ.

— Само собой... Все же ты его «тилисни» въ полномъ смыслѣ.

— Не загадывай! Сдѣлай милость, не загадывай! судорожно скорчивая лицо, говорилъ Салищевъ.— Ты меня этими загадками совсѣмъ обезсилишь. Сказано, какъ Богъ!.. Да опять, коли Иванъ Абрамычъ подойдетъ, а то такъ и пальцемъ не шевельну.

Зайкинъ разъяснилъ мнѣ, что Салищевъ всякій разъ чего-то робѣлъ и страшился передъ битвой, не смотря на то, что всегда могъ рассчитывать на побѣду.

Видимо разстроенные нервы его, въ ожиданіи роковой минуты боя, пришли въ сильное напряженіе, онъ пересталъ улыбаться, замолкъ, присѣлъ у кабацкаго забора и, упорно вдумываясь во что-то, грызъ ногти. Глаза его тревожно бѣгали изъ стороны въ сторону и горѣли.

Въ ожиданіи Ивана Абрамовича, безъ котораго, по увѣренію всѣхъ, дѣло никакъ не сладиться не могло, мы съ Зайкинымъ принуждены были довольствоваться сценами, происходившими въ кабацкѣ. Вниманіе наше обратила группа какихъ-то окровавленныхъ людей, пьяныхъ и еле-вращающихъ языками. Всѣ они столпились около какого-то господина въ люстриновомъ пиджакѣ, съ засаленными бортами и лацканами, съ опьянѣвшей сорокалѣтней

физіономіей, кричали и чего-то требовали. Господинъ въ пиджакѣ оказался старикомъ-учителемъ, считавшимся за человѣка необыкновенно умнаго и достойнаго всяческаго уваженія. Страсть къ водкѣ столкнула его съ компаніею такихъ же недужныхъ изъ престолярства и сдѣлала ихъ оракуломъ.

— Нѣтъ, ты разбери! кричало нѣсколько голосовъ.

— Капитонъ Петровичъ! онъ меня... Капитонъ Петровичъ, онъ меня занапрасно...

— Нѣтъ, врешь! Я говорю: кто первый?

— Стойте! стойте! подымая руку къверху и возвышая голосъ до елико-возможной степени, произнесъ господинъ въ пиджакѣ, и шумъ понемногу затихъ.

— Разсказывай ты!

— Капитонъ Петровичъ...

— Разсказывай т-ты! Дайте ему разсказать!..

— Изволишь видѣть: сидимъ мы съ портнымъ вотъ здѣсь, вотъ... Портной-то изъ Орла, орловскій... Только сидимъ мы, вдругъ дверь открывается и входитъ вотъ этотъ фитьфебель съ собачкой... Вотъ онъ!

— Кто съ собачкой?

— Мы-съ! кротко произноситъ фельдфебель, отирая кровавое лицо.

— Продолжай!..

— Пришелъ онъ этакъ, и садится. Я портного угощаю; сидимъ смирно; только фитьфебель-то, вотъ онъ, во!.. только онъ и говоритъ: «какую вы, говоритъ, нѣдете праву орловскихъ портныхъ угощать»?.. Какъ, говорю, какую праву? «А такъ, говорятъ, что онъ орловской породы, такъ ему съ вами, мошенниками, не якшаться»...

— Продолжай!..

— По какому же это, говорю, случаю намъ не знаться?— «А по такому, что вы извѣстные мошенники... Такая ваша порода, ибо и кличка у васъ— «орловцы проломанные головы»—тоже не очень-то подходящая статья». А вотъ лучше, говорю, извольте-ко отвѣтить, на какомъ правѣ вы пса вонючаго въ горницу завели? «А это, говорятъ, мое дѣло!» Тогда я схватилъ этого пса-то, да слѣдовательно псомъ-то этимъ по рожѣ я его свиснулъ-съ... Въ отместку онъ меня въ глаза... И началось... Капитонъ Петровичъ, разбери насъ!

— Капитонъ Петровичъ, заговорило кругомъ множество голосовъ,—онъ меня ударилъ! Я ничуть ничего... Капитонъ Петровичъ!

— Стойте! молчать!..

— Они, орловцы,—народъ пустой.

— Молчать, говорю!

Толпа снова затихла и съ большимъ терпѣніемъ дожидалась словъ своего учителя.

— Чья собака?

— Моя-съ!

— Станови полштофъ...

— Да помилуйте, началъ-было фельдфебель.

— Станови!

Фельдфебель покорился; толпа зашумѣла отъ удовольствія. Оракулъ еще разъ остановилъ ее.

— Я говорю: молчать! Кто первый дрался?

нуль, отделился от притоки и подошелъ къ стойкѣ.

— Дюже поздно, Иванъ Петровичъ! Надо бы по-тарапливаться, говорили въ толпѣ.

— Неужто? почти съ ужасомъ воскликнулъ меценатъ.

— Ей-Богу-съ! Шестой часъ на исходѣ...

— Такъ въ такомъ разѣ того... Ты, Петръ, дай ему чего позабористѣе...

— Перцовки! присовѣтовали въ толпѣ.

— Во-во-во! Перцовки ему ввали!.. Чтобы поскорѣе разобрало... Такъ, такъ, такъ!.. Перцовки! Проворѣе!

Во все это время Салищевъ былъ безропотенъ и покоренъ, какъ агнецъ, отдаваемый неизвѣстно по какому случаю на закланіе. Не стану изображать, какимъ образомъ совершался процессъ налива́нія Салищева. Большая грудь его, схваченная жгучей перцовкой, заколыхалась отъ удущья и кашля, которые впрочемъ скоро прошли. Нѣсколько стакановъ перцовки, выпитые одинъ за другимъ, не произвели еще необходимаго меценату опалѣнія...

— Под-дбавь! Я знаю... Подбавляй!.. Я вамъ покажу, какъ прижукнулся! Вотъ вы у меня и поглядите, что такое вамъ Галкинѣй...

— Галкинѣй? вѣдугъ, олушевляясь, вскрикнулъ Салищевъ:—Галкинѣй для меня—тъфу!

— Разбираетъ! слышалось въ толпѣ вмѣстѣ съ хихиканьемъ.

— Гдѣэто кутейники-то? продолжалъ Салищевъ.

— Вотъ, вотъ они...

— Ну, мы этимъ галчатамъ расщиплемъ перья!

Перцовка между тѣмъ дѣлала свое дѣло. Руки Салищева, еще такъ недавно смиренно державшія картузъ, начали засучиваться до локтя; показывались желѣзные мускулы сухихъ и костлявыхъ рукъ; кулаки для пробы опускались съ полуразмаха на стойку, съ которой, вслѣдствіе этого, кубаремъ слетали рюмки и опорожненные косушки, и голосъ Салищева, звонкій и рѣзкій, покрывалъ голоса всѣхъ.

— Что-же это, господа, докуда вы возжаться будете? сурово проговорилъ депутатъ галкинской партіи, появляясь въ дверяхъ.

— Мы-то? Мы-то? безмысленно забормotalъ очумѣвшій и озлившійся Салищевъ, обнажая руки.

— Мы-то докуда? А мы вотъ докуда... Мы...

И, стиснувъ зубы, онъ, какъ бѣшеный, ринулся вонъ изъ кабака.

Все заговорило, поднялось и хлынуло на лугъ; народъ валилъ отовсюду.

Скоро изъ окна кабака видно было, какъ на лугу шла правильная потасовка. Отовсюду слышались крики, иногда стоны; жены старались оторвать мужей отъ этого зрѣлища и причитали какъ надъ усопшими; начали понадаться блѣдныя, окровавленные лица, раздавались вопли.

II. Нужда пѣсенки поетъ.

Было блестящее лѣтнее утро.

По случаю праздника въ церквахъ шелъ громкій звонъ, среди котораго особенно ярко выдавались

вѣскіе и тягучіе удары соборнаго колокола; на улицѣ, куда выходили окна моего номера, по обоимъ тротуарамъ валилъ народъ, мѣшане въ новыхъ синихъ чуйкахъ, въ новыхъ картузахъ съ сверкавшими козырьками и въ блиставшихъ на солнцѣ сапогахъ съ бураками; чиновники съ женами въ «фильдесковскихъ» перчаткахъ, и проч. Общее оживленіе праздничнаго дня пополнялось суматохой, происшедшей посреди улицы: здѣсь опрометью мчались порожняки съ подгулявшими мужиками и расфранченными бабами; шло хлестанье лошадей, слышалась брань, скрипъ колесъ, изнемогавшихъ подъ тяжестью громаднаго воза сѣна, слышалось мычанье теленка съ прикрученной къ толгѣ головой...

Я сидѣлъ на подоконникѣ раскрытаго окна, любуясь этой утренней суматохой. На столѣ у меня кипѣлъ самоваръ. Въ эту минуту дверь въ мою комнату слегка пріотворилась и вслѣдъ затѣмъ высунулась рука съ бумагой, сложенной въ формѣ прошенія. Я только-что хотѣлъ-было встать, чтобы рассмотреть таинственнаго обладателя таинственной руки, какъ въ корридорѣ раздался строгій голосъ корридорнаго, дверь захлопнулась и рука исчезла.

— Буда прешъ? Буда прешъ-то? бубнелъ корридорный.—Нѣтъ у тебя языка спроситься?

— Будьте такъ добры, навинтите! кротко говорилъ неизвѣстный посѣтитель.

— Видишь, никого нѣту, а прешъ?.. Вашего брата здѣсь много шатается... Вонъ столовыя ложки пропали...

— Помилуйте-съ! Мы не воры! Сохрани Богъ!..

— Ну, этого намъ разбирать некогда—воръ ты, или нѣтъ, сердито говорилъ корридорный, ползевшая на сапогъ и шаркая по нему щеткой.—Намъ этого, продолжалъ онъ,—разбирать не время... У насъ вонъ двѣнадцать номеровъ въ одной половинѣ. Всякому принеси самоваръ да сапоги вычисти. У насъ этого, братъ...

— Доложите по крайности. Сдѣлайте вашу милость!

— Такъ-то!.. У насъ этого нѣтъ, чтобы... А то претъ не знамо куда. У насъ благородные останавливаются... На каждой соринкѣ высскиваютъ... День-деньской, какъ лошадь, прости Господи, ни тебѣ уснуть, ни тебѣ...

— Ива-а-нъ! закричали на дворѣ.

— Тфу, чтобъ вамъ! Расхватываетъ же ихъ, чертей!

— Ива-а-нъ! Ты оглохъ?..

— Сей-часъ! О—о, чтобъ васъ разорвало!.. Сей-ча-асъ-съ!.. Давай бумагу-то! швырнувъ сапогъ въ уголъ, заключилъ Иванъ и торопливо вошелъ въ мой номеръ.

— Вонъ бумагу принеси, сказалъ онъ, сунувъ ее въ мои руки.—Почитайте-ко-съ... Надо быть, на бѣдность просить... А ты, любезный, говорилъ онъ въ корридорѣ,—ты въ другой разъ сказывайся... Намъ этого нельзя... Шутъ тебя знаетъ, кто ты такой? Сей-ча-асъ! отвѣтилъ онъ на голосъ со двора и бросился по корридору.

Я развернулъ бумагу и прочиталъ слѣдующее:

«Господинъ Ивановъ, пиро-и-гидро-техникъ, на короткое время прибывшій въ г. Н., честь имѣть доложить высокопочтеннѣйшей публикѣ, что имѣя искусство въ египетской, арабской, ефіопской, индѣйской, халдейской и другихъ магіяхъ и состоящей изъ новыхъ фантастическихъ опытовъ и призраковъ тайной и натуральной увеселительной магіи, что давая оныя представленія въ высокоблагородныхъ домахъ, по весьма умѣреннымъ цѣнамъ, съ аппаратами и безъ аппаратовъ, попури изъ міра чудесъ, кабалястика и чревууѣщеваніе по весьма сходнымъ цѣнамъ; также индѣйское ескамотированіе, герлянда розъ, невозможность въ дѣйствіи, обезглавленіе головы, носа и другихъ частей тѣла и проч., и проч., и проч...»

Въ концѣ было прибавлено: «лѣтя себя надеждой» и красовалась подпись: «Пиро-гидро-техникъ Капитонъ Ивановъ. Сего числа...»

Фокусозъ въ подобномъ родѣ было насчитано очень много, и мнѣ очень захотѣлось поскорѣе и покороче познакомиться съ ихъ авторомъ; кромѣ того, мнѣ было весьма интересно видѣть соотечественника, подымающагося на *такія штуки*, просто какъ бѣдняка и, слѣдовательно, человѣка несчастнаго, много видѣвшаго на своемъ вѣку, и наконецъ, потому даже, что этого Капитона Иванова можно просто усадить на диванъ и напоить его, бѣднягу, чаемъ...

Я такъ и сдѣлалъ. Капитонъ Ивановъ, робко и поминутно раскланиваясь, вошелъ въ мою комнату. Таинственный магъ весьма походилъ на мѣщанина, о чемъ главнымъ образомъ свидѣтельствовала серебряная сережка въ ухѣ; лицо его не носило ни одной черты той плутоватости и даже подловатости, которая непременно отгнѣяетъ фізіономіи всѣхъ маговъ, начиная отъ извѣстнаго волшебника и мага Бречинскаго, вплоть до ворихеэкъ копѣечныхъ съ одной стороны и вплоть до ворихеэкъ сотенныхъ—съ другой. У всѣхъ ихъ, при самой мастерской игрѣ фізіономіи, всегда можно примѣтить въ глазахъ что-то такое, что заставляетъ думать: «нѣтъ, врешь, братъ!» У господина же Иванова, кромѣ высокой кротости и робости, я ничего не замѣтилъ въ глазахъ. Чародѣй былъ маленькая фигурка съ птицевидною фізіономіей и клинообразнымъ лбомъ, на который поминутно свѣшивалась прядь намасленныхъ, ради праздника, волосъ. Костюмъ, состоявшій изъ сюртука, застѣгнутаго на всѣ пуговицы, и синихъ панталонъ, засунутыхъ въ сапоги, не говорилъ въ пользу его благосостоянія. Робость, проглядывавшая въ глазахъ мага, скоро совершенно овладѣла имъ, когда я предложилъ ему сѣсть и выпить стаканъ чаю. Онъ взялъ стаканъ и помѣстился съ нимъ у двери. Стоило громадныхъ усилій, чтобы наконецъ усадить его. Кое-какъ, послѣ продолжительныхъ уѣщаній, онъ согласился и сѣлъ на кончикъ стула. Во все это время онъ не забывалъ покашливать, закрывая ротъ рукою и поминутно потрагивая шею, запихивая за галстукъ мохры истерзанныхъ воротничковъ.

Надо было о чемъ-нибудь говорить.

— Давно вы занимаетесь этимъ?... сказалъ я, не зная, какъ назвать его профессію.

— Да ужъ болѣе, пожалуй, пятнадцати лѣтъ, покашливая и потрогивая шею, заговорилъ магъ.— Д-да-съ! Пожалуй, что поболѣ пятнадцати-то годовъ будетъ, все этимъ же мастерствомъ-съ продолжаю... Плохое, вашескобрдіе, наше занятіе-съ! Въ прежнее время точно что... Ну, а теперь!...

Гость остановился, тряхнулъ головой.

— Теперь, вшескобрдіе, тихо-съ!.. И даже такъ тихо, что вотъ какъ-съ,—хуже нѣтъ! Да что ни возьмите, вѣдь и повсюду такъ-съ. Тишина бѣдовая.

Ивановъ поднесъ ко рту полное блюдечко, откусилъ маленький кусокъ сахара, отряхнулъ его надъ чаемъ, хлебнулъ и заговорилъ:

— Въ прежнее время-съ! Въ прежнее время бывало господа, которые случается пріѣзжающіе или хоть и изъ жителей здѣшнихъ, въ прежнее-то время они вотъ какъ: «сдѣлай милость!» «Съ великимъ удовольствіемъ!..» Да что ему? Онъ швырнетъ асигнацію и получай... Рубль ли, два ли, ему это и вниманія не стоитъ... Ну, а уже теперь... Тихо! Теперь, я такъ считаю, господамъ много дано заботъ-съ! Хлопоты-съ! все надо «самимъ» расчесты: въ кое мѣсто! Въ теперешнее время посоветишься и рожу-то свою къ господамъ совать: стыдъ! Ежели вотъ теперь я къ вашей милости достягъ, то ужъ истинно—вотъ куда подошло! Ей-ей съ!

Гость мой вздохнулъ.

— Н-нѣтъ-съ! Это не то-съ! Въ прежнее-то время, я такъ замѣчаю, было веселѣе... Всякій желалъ, чтобы гдѣ какъ пріятнѣе. Купецъ ли, дворянинъ ли, чиновникъ ли, все онъ нюхаетъ, гдѣ бы увеселенія, то есть, докопаться... Бывало, зайдешь въ лавку, купцы промежду себя балуются, кто въ шашка, а кто простыми манеромъ, ногу за ноги заплетутъ—да обь земь! Увидать меня: «А! шувара, дескать, египетская (обыкновенно въ шутку), показывай живо!..» Въ тѣ поры услышишь это-то, да бывало еще заламывается!.. Потому твое не уйдетъ: купцы эти безъ тебя на возжахъ перевѣшаются отъ скуки. Всю эту исторію понимаешь, и бывало еще заламывается.—«Показать мы можемъ, да вѣдь, господа, разному показанью разная цѣна!..»—«Показывай, кричать, лучшева!» А я, бывало, опять: «—Лучшева! и этого, скажешь, можно, да опять и то надо знать, какой сортъ; есть, говорю, одно, есть и другое, а есть еще, говорю, и такое, что ужъ лучше его нѣту!» «—Этого, кричать, самаго! Какого нѣтъ опаснѣй! Дѣлай! Помудренѣй!..» «—Не будетъ ли, скажешь, господа, накладно! Пять серебра, менѣе не беру!..» «—Дѣлай!» кричатъ; ну, и дѣлаешь.

Я налилъ гостью другой стаканъ чаю; онъ подвинулъ его къ себѣ, вытеръ ладонью запотѣлый лобъ и спряталъ за ухо свѣсившуюся прядь волосъ.

— Бывало, продолжалъ онъ,—какое ото всѣхъ почтеніе! Истинно говорю, умереть не лгу, идешь бывало по улицѣ-то,—только шапку сымаетъ, только сымаетъ: «—А! Ивановъ! Капитона! зайдѣ долбони рюмочку!»—«Эй! другъ! сдѣлай штучку...»—«Что дашь?»—«Что угодно!» Ей-ей-съ! Иные и

господа, а обращались въ лучшемъ видѣ... У купца, у Псунова, у одного сколько я денегъ перебралъ, кажется, смѣты нѣтъ!.. Въ прежнее время у него въ домѣ—Садомъ-Гаморъ: турокъ-ли, арапъ-ли какой, панорамщикъ, всякій, всякій къ нему шелъ... И что только творилось!.. Музыканты играютъ, обезьяны ученые скачутъ, кто на флейтѣ, кто на кларнетѣ, кто фокусы показывалъ, кто колесомъ ходить—ну, то есть, столпотвореніе было!.. А Псуновъ-то этотъ лежить бывало въ одной рубахѣ на диванѣ, только покрикиваетъ: «—Эй, ребята, проворнѣй!» И я тутъ же толкусь... Нѣтъ-нѣтъ и на мою ладонь что-нибудь капнетъ,—все дай сюда! Все ребятишкамъ...

— Вы женаты? спросилъ я.

— Какъ-же-съ! сказалъ гость, и, къ удивленію моему, сказалъ какъ бы даже съ удовольствіемъ. Какъ же-съ, ужъ у меня, слава Богу, старшему сыну четырнадцатый годъ, какъ же съ! Слава Богу... Изволили читать бумагу-то? Афишку мою? Все онъ-съ!.. И прелестнѣйшій почеркъ!.. Да-съ, благодаренъ за это! Одно только и утѣшеніе, что семья... По крайности за нее отбиваешься... Ну, и жена, дай Богъ ей здоровья, любить меня... Д-да! И даже такъ любить, что—на рѣдкость!.. Собили *) было мнѣ невѣсту и съ деньгами, и изъ чиновничьяго аванія, да подумалъ-подумалъ я, что я съ ней, съ благородной-то, буду дѣлать? Думаю—Богъ съ ними и съ деньгами!.. Взялъ простенькую, сироту, и слава тебѣ, Господи, благодарю моего Бога, живемъ дружно... Да опять всегда ужъ у меня дома горшокъ щей-то найдется, съ голоду не умру...—«Когда же это, говоритъ, Капитоша, мы съ тобой разбогатѣемъ?» «—А вотъ, говорю, погоди... Скоро!..» (Рассказчикъ усмѣхнулся и прибавилъ): Да вѣдь что будешь дѣлать-то? Откуда взять? Ну, и посмѣемъ, пошутимъ съ горя-то!.. И какое ей, то есть супругъ-то, Господь далъ терпѣніе,—ей-ей! Теперь вы возьмите наше житъе: вотъ эдакую конурку мы вчетверомъ занимаемъ; стряпушей печки у насъ нѣту, лежанка; понадобится иной разъ что-нибудь съѣдобное, идемъ просить хозяйку... «—Позвольте, дескать, намъ горшечекъ въ вашей печи поставить!..» Такъ, они, хозяйева-то, жену мою—ужъ они ее! «И нищяа! и когда вы передохнете; вы, говоритъ, съ дьяволомъ знакомы...» Та все молчитъ. Только отъ хозяевъ намъ и названіе одно: «трубалеты». Дѣвчонки у нихъ, у хозяевъ-то, есть, такъ и тѣхъ разнымъ словамъ научаютъ... Идетъ сынъ мой, а они ему: «трубалеть, трубалеть!» Жена моя подзываетъ его и говоритъ: «А ты ей скажи...» Онъ и скажи!... «—Ты трубалеть!» А сынъ-то: «—А ты, говорить...» Прибѣжали хозяйева — ва-ай-на! «—Какъ вы смѣете такимъ пакостнымъ словамъ дѣтей учить? Долой изъ нашего дому!..» А долой — такъ долой! Гость мой вздохнулъ.

— И съѣхали!.. Да нешто въ первый разъ?.. Ну, а какъ же, позвольте васъ спросить, неужто-жъ за свое кровное-то не заступиться? Вѣдь это вонъ и животная какая-нибудь—и та любить свое наро-

жденіе? А ужъ мы-то съ женой сами не ѣдимъ, да имъ даемъ!..

— И-и, да сколько я защиты отъ супруги моей видѣлъ, кажется, и пересказать нельзя! Только за ея сердцемъ и живу. И что только не перемучилась она! Однажды, помню объ Рождествѣ, объявляютъ наборъ... Военное время было въ тѣ поры, на военномъ положеніи. Я этого ничего не знаю; приглашаютъ меня къ купцу Тюрину—вечеромъ увеселить. Перекрестился, поблагодарилъ Бога, пошелъ къ нему. Все благополучно. Играю я, такъ-то, фокусы; очень мною господа довольны, хозяинъ два рубля серебромъ дали. Я ничего не знаю, продолжаю свое дѣло, только подходитъ ко мнѣ господинъ Премудровъ, чиновникъ. «—А тебя, говоритъ, Капитонъ, вѣдь въ солдаты...» «—Какъ такъ?» говорю... Задрожалъ я весь, себя не помню. «—Я, говорю, вѣдское родіе, одиночка». «—Общество, говоритъ, опредѣлило...» Помутилось у меня въ глазахъ, хочу-хочу фокусъ показать, пальцы окоченѣли, языкъ, какъ палка, ничего не могу! Принужденъ я объявить: «—Такъ и такъ, говорю, почтеннѣйшіе господа, не могу даѣе продолжать. Прошу васъ, будьте такъ добры, извините... По болѣзни...» Собралъ кой-какую механику (это для фокусовъ надобна она), собралъ механику, бѣгу домой... Рассказалъ женѣ. Плачемъ мы, горюемъ: какъ быть, куда дѣться? Надумали мы къ ей брату сходить; говоримъ такъ и такъ. Жена въ ноги. Я за ней. «—Надо намъ, говорю, братецъ, охотника нанять: я жену оставить не могу. Женщина больная, безъ мужчины ей быть трудно». Началъ братъ думать; думали, думали, придумали домъ заложить. Прошло времени дни съ два. Изъ управы присланъ будочникъ: требуютъ черезъ полицію въ губернское правленіе... Пошелъ я тутъ къ одному знакомому попросить: нельзя ли какое-нибудь пособіе оказать?—Знакомые купцы говорятъ: «—Не робѣй, Ивановъ, выкупимъ! Пуцай, говорятъ, тебя и забрѣютъ, все же тѣмъ временемъ ты подыскивай охотника, мы его окупимъ; что будетъ больше сотни—наше!» Порѣшили мы съ женинымъ братомъ къ закладчику ѣхать; надо жъ на первое-то время, пока съ охотникомъ сладить, хоть сколько-нибудь капиталу. Да опять и сто серебромъ надобно раздобыть. Порѣшили мы съ нимъ ѣхать, а денегъ-то на дорогу ни у него, ни у меня нѣту. А ѣхать надо было за четырнадцать верстъ, въ засѣку. Засѣчный сторожъ подъ залогъ денегъ дать обѣщался... Ѣхать, ѣхать—а ѣхать не съ чѣмъ. Сейчас жена—самоваръ по боку, приноситъ три серебра, зелененькую... Наняли мужика, поѣхали. Къ вечеру добрались къ закладчику, начинаемъ разговоръ: «—Такъ и такъ, говоритъ братъ, не возьмете ли домъ подъ залогъ? Домъ новый, всего десятый годъ строенъ». «—Надо, говоритъ, поглядѣть». «—Да помилюйте, говоритъ братъ, вотъ купчая здѣсь, говорить, и прописано въ которомъ году, и въ плантѣ сказано... А ѣхать ежели угодно, то и ѣхать можно, только нельзя ли намъ сколько-нибудь подъ залогъ этого планту и купчей?.. Намъ, говоритъ, завтрешняго числа въ присутствіе къ приему надо, такъ

*) Овчарки.

потребуется деньги...» «—Нѣтъ, говорить, надо посмѣтрѣть... Я такъ отъ роду подъ бумагу денегъ не давалъ»...

— Что ты будешь дѣлать? Поѣхали обратно. Навзатра мнѣ и лобъ забрили! Прихожу домой некрутомъ! Ахъ, вашескобродіе, какъ въ то время сердце мое разрывалось!.. Вѣрите ли?.. Н-но, думаю, все Богъ! Помелъ къ этимъ купцамъ, что помочь-то собирались мнѣ дать, помелъ къ нимъ: «—Вотъ, говорю, господу купцы, каковъ я сталъ!.. на солдатскую шинель указываю... Неужто-жъ не будетъ у васъ никакой защиты!» «—Будетъ, будетъ, говорятъ, Ивановъ: нищѣ охотника...» Стала жена рыскать—охотника искать. Я тѣмъ временемъ ужъ и на перекличку началъ ходить и артикулъ солдатскій справлялъ; приду бывало подъ вечеръ домой-то, вѣрите ли, какъ сердце замретъ: поглядишь кругомъ—бѣдность, а жилъ бы не расстался!.. Ей-ей! Подходить время къ походу, двѣ недѣли сроку осталось, подходить время изъ дому уходить, а охотника нѣтъ какъ нѣтъ!.. Наконецъ того—подыскали! Дешевистъ необыкновенная: три дня гулять и пятьдесятъ серебра при походѣ... Помелъ къ этимъ купцамъ знакомымъ, прихожу къ одному, говорю: «—Нашелъ охотника!.. Не будетъ-ли отъ вашей милости, что пообщались?» «—Изволь, говоритъ!» и подаетъ красную... Я говорю: «—Что жъ это такое? Я говорю, на одно гулянье сто-то серебромъ долженъ исхарчить, гдѣ жъ, говорю, вашескобродіе, еще-то лобуду?.. Вѣдь не сегодня—завтра походы!» «—Толкнись, говоритъ, другъ, къ другимъ!..» Помелъ я къ другимъ: у одного «деньги не дома»; другой говоритъ: «я думалъ, говоритъ, мѣсяца черезъ два»; третій проситъ: «подожди!». Нѣтъ мнѣ ни откуда пособія!.. Были десять пѣльковыхъ: охотникъ пристаесть съ гуляньемъ, истратилъ ихъ до копѣечки! Гдѣ-то, ужъ Господь его знаетъ, женинъ братъ—дай ему Господи много лѣтъ здравствовать, и всякаго ему отъ Бога благополучія!—гдѣ-то раздобылъ онъ сотенную; сейчасъ мы охотнику пятьдесятъ по уговору, и три дня съ нимъ гуляли... И какая у насъ съ женой радость была въ ту пору!.. Радовались мы такъ-то, однакоже подходить время охотника къ приему вести, а онъ и глазомъ не моргнетъ. «—Какъ это такъ? Ты, говорю, деньги взялъ, уговоръ былъ охотой... За это, говорю, и начальство вступится. Силой возьмутъ да представлятъ въ присутствіе...» «—Ну это, говоритъ, наврядъ!.. Меня, говоритъ, и по закону въ охотники нанимать нельзя: я дьячокъ! Съ семействомъ! У меня семья!.. За меня ты, говоритъ, самъ еще тысячу разъ въ солдаты пойдешь!..» Стали у чиновниковъ спрашивать—такъ и есть, нельзя! а подошло время, черезъ два дни походы... Царь небесный! Ревемъ мы съ бабой, какъ ребята малые: чисто-на-чисто пропасть приходится... И что-жъ, вы думаете, вышло? На другой день къ вечеру, накануне, значить, быть походу, стало мнѣ легче! Вѣдь вотъ чудо-то какое! Легче, легче, и совсѣмъ повеселѣлъ! «—Маша, говорю, семъ*)» я къ господину откупщику схожу,

фокусовъ сыграть, и можетъ быть, между прочимъ, Господь мнѣ поможетъ...» Дѣло было на масляницу; надѣваю я, для забавы, турецкое чалмо и этакой балахонъ,—туркой наряжаюсь. Смотрить на меня супруга и говорить: «—Семъ, говоритъ, Иванычъ, а и себѣ чалмо надѣну? Можетъ быть, говоритъ, господинъ откупщикъ сжалится надъ нами, когда увидитъ, что мужъ и жена однимъ мастерствомъ живутъ; можетъ онъ и не захочетъ насъ, говоритъ, разлучить!..» «—Матушка моя, говорю: ты въ такомъ таперича положеніи (она въ то время въ такомъ положеніи была-сь), ты, говорю, въ такомъ положеніи, для чего тебѣ натруждать себя?» «—Ну, говоритъ, за одно! Либо, говоритъ, жизнь, либо смерть!..» Надѣваетъ она на себя чалмо турецкое, паль (платокъ этакой, ковровой-сь), паль эту черезъ плечо, по-цыгански. Пошла!.. Идемъ, идемъ, да заплачемъ оба, въ чалмахъ-то этихъ! Идутъ люди, глядятъ на насъ и говорятъ: «—Съ чего это два турки плачутъ?» Приходимъ къ откупщику. «—Какъ объ васъ доложить?» «—Ивановъ, говорю, съ супругой!..» «—Принять!» Входимъ мы въ залу, гости... Страсть гостей!.. Откупщика, Радивонъ Игнатьича, я зналъ, и онъ меня тоже знавалъ... «—А, говоритъ, ну, дѣлай!» Начинаю я дѣлать фокусы, сердце такъ и стучитъ: завтра въ солдаты!.. Дѣлаю фокусы, господу смѣются, довольны. «А это кто же съ тобою?»—Радивонъ-то Игнатьичъ говоритъ. «—А это-сь, говорю, жена моя, супруга...» «—Что же, говоритъ, и она по этой части можетъ...» Я молчу. «—Можете вы, душенька? (у жены спрашивается...).» «—Могу-сь, говоритъ...» (Вижу бѣ-блая вся!) «—Такъ пройдитесь, говоритъ, «По улицѣ мостовой». Маша сейчасъ голову кивзу, руки надъ головой согнула и поплыла... Да вѣдь какъ-сь! Откуда что взялось!.. Барышня по фортопьянамъ ударила, а она плаваетъ, извивается... Ахъ, замерло у меня сердце! Тутъ начали господа трепать въ ладоши. «Преотлично», кричатъ, «превосходно! еще! еще!..» А она и еще того лучше... Не удержался я: такъ у меня слезы-то полились, полились, капъ, капъ... Радивонъ Игнатьичъ кричитъ: «—Это что? на масляницѣ-то? У меня въ домѣ?...» Я въ ноги! Маша гдѣ плясала, тутъ на колѣни и повалилась! «—Что-что? какъ-какъ?»—Разсказали мы. «—Одна надежда на вашу милость!.. Завтра на войну... жена... дѣти.—«Не робѣй, говоритъ. Вотъ тебѣ...» ...И выносить 200 серебромъ! «Поминай на молитвѣ».

— Чуть я въ то время съ ума не сошелъ... Бѣжимъ по улицѣ ровно угорѣлые... Люди идутъ: «—Вонъ, говорятъ, турки побѣжали. Эко у васъ, ребята, турукъ развелось тьма-тьмущая... Это, говорятъ, плѣнные!» (А это мы съ супругой весь городъ обѣгали!) Бѣжимъ, земли не слышимъ... Исторія было случилась на дорогѣ, въ другой разъ въ полицію бы потащилъ, а тутъ только шибче побѣгъ!

— Какая исторія? спросилъ я.

— Да такъ-сь, свинство, необразованность... Бѣжимъ это мы съ женой, какъ я вамъ докладывалъ. Попадаются двое пьяныхъ, прямо противъ насъ уставились. Одинъ подходитъ ко мнѣ: «—Въ какомъ вы, говоритъ, правѣ турецкія чалмы но-

*) «Семъ я»—т. е. «Ну-ко я», или «А, что-если и т. д.»

сите?..» Я ему шуткой въ отвѣтъ:—«А потому, говорю, какъ мы турецкаго нарѣчія».—«А въ какой вы, говорить, землѣ находитесь, въ православной, или въ какой?»—«Мы, говорю, здѣсь плѣнные».—«А когда, говорить, вы наши плѣнные, то...» Да, съ этими словами ка-а-тъ!.. вотъ въ эту самую кость! (Гость показавъ на собственный високъ). Мы съ женой во всю мочь! Ну, вотъ-съ и все! Тѣмъ и пошабалили!.. А на другой день и вольникъ подвернулся, мигомъ сдали...

Гость потеръ скомканнымъ ситцевымъ платкомъ собственный носъ и, запихнувъ платокъ въ боковой карманъ, продолжалъ:

— Вотъ-съ такъ и живемъ! Только черезъ семью и дышу... И точно не оставлялъ Господь! Въ холерѣ былъ—живъ остался. Въ солдаты было-валяи, нашлись добрые люди—выкупили. Слава Богу! Не пожалуюсь! Благодарю! И теперь ужъ на что время, сами знаете какое!.. а живу! сытъ! Что дальше, Богу извѣстно. А пока ничего, слава Богу и за это! А что, вашескорodie, вижу я у васъ на окнѣ посуду одну... Семъ я ее трону маленько?

Я изъяснилъ полное согласіе. Гость мой выпилъ стаканъ вина, отеръ рукавомъ губы и сѣлъ на прежнее мѣсто.

— Нѣтъ-съ, трудно, трудно нашему брату въ теперешнюю пору... Ой, тяжело!..

— Отчего-жъ вы, спросилъ я,—выбрали такое занятіе, фокусы?..

— Да вѣдь выберешь и не такое, коли сюда подойдешь (гость указавъ на горло): родители-то наши объ насъ не думали, когда на свѣтъ нарождали. Но я не рошшу! Видитъ Богъ!.. Маленька тоже и свою чистоту должна соблюдать... Извольте видѣть, какъ было: маленька-то были дѣвочки... А у нихъ на квартирѣ семинаристы жили... Вотъ одинъ былъ, Иваномъ звали... Черезо-все это и вышелъ Капитонъ Ивановичъ... Извольте понимать? Ну-съ, такъ вотъ они меня и отдали на воспитаніе въ чужіе люди. Помню, десяти годовъ я былъ, мать меня отъ чужихъ взяли и къ себѣ въ домъ помѣстили... И жалко-то ей, и опасно. Въ ту пору за нее женихъ сватался. Ну, и не ловко. Призоветъ, бывало, меня съ улицы, хочетъ азбукъ поучить, скажетъ: «азъ, буки». А калитка стукъ,—женихъ идетъ... Меня вонъ. «Спрячься на погребницу...» И сидишь. Да не одинъ женихъ мѣшалъ: чуть кто-нибудь и въ своихъ ежели случится, все опасаются и вонъ посылаютъ... Вижу: и горько-то ей, и не можешь никакъ пособить... Разъ гостила у насъ полгода тетка матушкина, такъ меня цѣлые полгода изо двора во дворъ гоняли. Какъ видишь, стемнѣло,—домой; а матушка ужъ въ саду у забора дожидается и ѣду принесла. Ымъ я, а она стоитъ да заливаясь, а потомъ уложить въ банѣ спать, перекрестить, посядять еще, поплачетъ и пойдетъ... А чуть-свѣтъ—я опять драла; гдѣ-гдѣ ни шатаюсь! Вотъ тутъ-то я и въ искусство началъ входить... Настоящей науки-то, то есть читать-писать, не имѣлъ, мастерства никакого не зналъ, а во всемъ нуждался. Вотъ я и рѣшилъ по волшебному мастерству пойти... А тутъ маленька вскорости замужъ вышла, ну, ужъ

тутъ мнѣ надо было совсѣмъ прочь уходить; вотъ я и сталъ со всякими прожжающими артистами знакомства заводить. Сталъ примѣчать... Они меня куда-нибудь пошлютъ; я замѣсто того прошу секретъ мнѣ растолковать. Вотъ такъ и началось... По первому-то началу трудно мнѣ было. Разговоръ у этихъ, у иностранцевъ, чудной, ничего не разрешишь. Ну, а потомъ сталъ привыкать, помаленьку да помаленьку, да теперь и достигъ... Съ кѣмъ вамъ будетъ угодно могу разговаривать. Нѣмецъ-ли, французъ ли, арапъ ли...

— Съ арапомъ-то какъ же?

— Съ арапомъ-то? Да какъ же съ ними говорить?.. говоришь обыкновенно ужъ кой-какъ, какъ-нибудь такъ разговариваешь: гара-дара, кара-бара, ну, онъ и понимаетъ... «—А что, скажешь, семъ мы по рюмочкѣ колыномъ?» «—Бара-бара!» Ну, и выпьемъ... все едино! И можно даже сказать, что въ нашей землѣ эти разные языки ничего не стоятъ; ежели въ нашу сторону попадъ, то свой языкъ долженъ прекратить. Потому у насъ первое дѣло—начальство: ты ему хоть по-каковски разсуждай, а прошеніе пиши по-нашему—на гербовой бумагѣ. Это разъ. И опять же Иванъ Филиппичу два съ полтиной ты отдай. На какомъ языкѣ ни лопочи, а ужъ онъ съ тебя стребуетъ; у него разборъ нѣтъ—арапъ ты или же ты нашъ православный. Цѣна одна для всѣхъ. Такъ-то-съ!

Разсказчикъ на время пріостановился.

— Такъ, докладываю вамъ, продолжалъ онъ, вздохнувъ,—такъ вотъ я отъ дому поотбился... На семнадцатомъ годикѣ началъ я въ первый разъ отъ себя представленія давать; черезъ два года женился. Да такъ и живу! У маленьки-то теперь уже дочери замужня—за благородныхъ выдала двухъ, третью дѣлущка при ней... Одинъ сынъ въ Санктпетербургѣ, въ военной службѣ, офицеръ. Кое-когда слухи доходятъ; къ маленькѣ иной разъ зайдешь съ задняго крыльца: пирога вынесетъ, поцѣлуетъ въ лобъ, заплачетъ и скажетъ—«ступай!». Сестры-то и знаютъ, кто я, но виду не показываютъ. И я на это не обижаюсь, истиннымъ Богомъ говорю. Кто я? Сказано: «непѣтый куличъ никто ѣсть не станетъ», такъ и я... Ежели они со мной передъ людьми знакомство выкажутъ, тотчасъ же мораль объ нихъ пойдетъ. Лучше же я ихъ оставляю. Дай имъ Господи всякаго благополучія! Сказывали ужъ и за младшей женихъ присватывался, дай ей Богъ!.. Истинно—отъ души! И родителя тоже рѣдко вижу. (Давно ужъ въ камизавѣ!) Издали только голову качнетъ, когда видать, что я ему кланяюсь... Чуетъ мое сердце, хочется ему мнѣ словечко сказать, ну, да санъ ему не дозволяетъ. Такъ я вотъ все одинъ съ семьей и треплюсь! Однажды только военный-то братъ, что въ Санктпетербургѣ, забѣжалъ ко мнѣ... Ужъ истинно осчастливилъ: какъ же-съ, сами посудите, благородный человѣкъ, и разыскивалъ меня по всему городу!.. Только и это дѣло у насъ не поладилось. Обрадовался я ему и послалъ тихонько за водкой. Надо же чѣмъ-нибудь человѣка принять!

— Сидимъ мы съ нимъ въ саду, толкуемъ.
«—Позвольте, говорю, жену я вамъ свою покажу?..»

«— Я ее, говорить, видѣть не могу... Она погубила тебя... Ты опустился, упалъ. Я, говорить, и шелъ за тѣмъ, чтобы тебѣ это сказать... Ты долженъ, говорить, бросить жену... Ты самородокъ, она дубина!» Я руками и ногами. А въ это время—несутъ водку. Братецъ мой осерчалъ, и весьма осерчалъ... «— Ты, говорить, пьяница! Я хотѣлъ, говорить, тебя помять, а ты свинья»... «— Помилуйте, говорю, братецъ! Вѣрите Богу, истинно отъ души!» «— Нѣтъ, нѣтъ, говорить, я вижу... Это въ васъ самихъ, говорить, сидитъ подлость-то! Хочешь разъяснить ему, а онъ водку!.. Свинья!»... «— Да, братецъ, говорю»... «— Нѣтъ, ты, просто, говорить, свинья, свинья и свинья... До свиданья! Прощай!» Хлопнулъ калиткой—и былъ таковъ.

— Такъ я больше никого и не видалъ изъ родныхъ у себя... Точно, грустно иной разъ бываетъ, всѣми оставленъ, ну, да за то жена, дай ей Богъ...

Черезъ нѣсколько минутъ, стоя у окна, я видѣлъ, какъ господинъ Ивановъ плелся по тротуару. Шелъ онъ тихо, заглядывая во внутренность лавокъ, и остановился у дверей фруктоваго магазина. Я видѣлъ, какъ лысый купецъ взялъ у него изъ рукъ бумагу, посмотрѣлъ и опять возвратилъ, махнувъ рукой. Ивановъ вѣжливо раскланялся и пошелъ дальше.

III. Идилія.

(изъ чиновничьяго быта.)

Была осень. По небу бродили сѣроватая тучи и медленно сыпали на мокрую и грязную землю хлопья рыхлаго снѣга.

У растворенныхъ воротъ одного небольшого домика въ три окна стояло два чиновника, держа другъ друга за руки.

— А то зайдите, Семенъ Кузьмичъ, говорилъ одинъ изъ нихъ, въ старой шинели, надѣтой въ рукава, съ отвисшей изъ-подъ капюшона валенкоровой подкладкой.

— Да ужъ заходить-ли? въ раздумьи проговорилъ другой.

— Что тамъ? эва! Заходите—да и только. Право, по одной пропустить истинно пріятно!

— Развѣ по одной?

— Ей Богу; у меня есть такая особенная... Пойдемте-ко!

— Н-ну, такъ и быть ужъ!

И они пошли.

Скоро они вошли въ небольшую комнатку. Въ углу горѣла лампадка передъ образомъ въ большомъ красномъ кіотѣ, на которомъ до самаго потолка громоздились просфоры въ бумажкахъ, расписанныя янца и другіе подобные предметы. По полу разстилались чистые половики, у стѣнъ чинно разиѣстилось нѣсколько старыхъ креселъ съ круглыми спинками.

— Просту покорно! сказалъ хозяинъ и, наскоро сотворивъ крестное знаменіе, направился въ чайную.

Въ это время въ сосѣдней комнатѣ на столѣ кипѣлъ самоваръ. Старшая дочь хозяина, дѣвушка лѣтъ семнадцати, разливала чай; мать ея, старушка, сидѣла тутъ же. На порогѣ показался отецъ.

— Ты съ кѣмъ это? спросила жена.

— Съ Семеномъ Кузьмичемъ. Чайку намъ дайте да свѣчу! Поскорѣе!.. Эй ты, Марѳа! брякнулъ онъ горничной,—свѣчу неси.

— Сейчасъ принесетъ, проговорила жена.

— Что это долго такъ нынче? прибавила она.

— Да таки-долгогато... Ирмосы тянули-тянули. Я думалъ и конца не будетъ...

Проговоривъ это, мужъ хотѣлъ-было удалиться, но какая-то тайна очевидно мучила его. Нерѣшительно подвигаясь къ двери, онъ потиралъ кулакомъ спину и необыкновенно тихо заговорилъ:

— Поясница что-то...

— Опять небось распахнулся на паперти?

— Нѣтъ... О-хъ!.. Какъ дожить! О-ой!.. Ты бы намъ дала по рюмочкѣ, да закусить чего-нибудь.

— Пошли закусочки! отчаянно произнесла жена.

— Ну что закусочки? Мелеть, не знаетъ что!

— Нѣтъ, знаю!..

— А ты, сдѣлай милость, молчи... Во сто тысячъ разъ лучше это будетъ.

— Что молчи-то? И такъ все молчу. Совсѣмъ дурашная какая-то стала.

— И была-то не больно—тово! Дура душой и была-то! безцеремонно замѣтилъ супругъ и вошелъ въ залу, аккуратно притворивъ за собою дверь.

Гость молчалъ. Молчалъ и хозяинъ.

— Намедни у Еноховыхъ «вѣчную кликали», наконецъ проговорилъ гость.

— А! Сорокоустъ? спросилъ хозяинъ.

— Сорокоустъ-съ.

— Это когда?

— Третьяго дня.

— Да-да-да. А мы съ Емельяномъ Ивановичемъ были у Селезневыхъ на перепутыи.

— Что-же, какъ? съ любопытствомъ спросилъ гость.

— Хорошо. Признаться, до такой степени, что именно—еле-ле...

— Хе-хе-хе-хе.

— Никольскій, Егоръ Егорычъ, знаете? такъ тотъ все просилъ, чтобы его въ колодезь опустили въ бадѣя.

— Зачѣмъ же?

— Ужъ и ей-Богу даже совершенно не могу вамъ опредѣлить этого...

Хозяинъ и гость дружно засмѣялись.

Изъ сосѣдней комнаты показалась горничная съ подносомъ, на которомъ помѣщались графинъ водки и тарелка съ кусками бѣлаго хлѣба. Пріатели выпили.

Въ это время въ передней застучалъ кто-то га-лошами и хлопнулъ дверью.

— Кто тамъ? спросилъ хозяинъ.

— Это я-съ!

— А-а!

— Кто это-съ? полюбопытствовалъ гость.

— Сынъ мой.

Гость оправился.

Вшелъ молодой человекъ, лѣтъ подъ тридцать, съ примасляными волосами и косившимся лицомъ, выразавшимъ высокое смиреніе.

— Гдѣ былъ? спросилъ отецъ.

— Въ Крестовой-съ, подходя къ родительской ручкѣ и потомъ свидѣтельствуя почтеніе гостю, произнесъ сынокъ.

— Садись-во!

— Сяду-съ.

— Водки хочешь?

— Не пью-съ.

— Ну что-жъ, много народу было?

— И-и, Боже мой!

— Тамъ вѣдъ постоянно большое стеченіе, вмѣшался гость.

— То-есть яблоку негдѣ упасть, съ умиленіемъ добавилъ сынъ.

— А-а-а!...

— Да-съ. Нынче архіерейскіе пѣвчіе пѣли двухорное Слава въ вышнихъ, Бортнянскаго сочиненіе. Басы, я вамъ, тятенька, скажу, просто на стѣну дѣлали!

— Именно на стѣну, вмѣшался гость.

— И какъ глотки цѣлы, подумаешь? произнесъ сынъ и задумался.

Подали чай.

— Саня! кривнулъ отецъ, нѣтъ-ли тамъ ромпу?

Въ сосѣдней комнатѣ мать и дочь встрепонулись.

— Послушай-ка, что-то говоритъ, произнесла мать, вся обратившись во вниманіе.

— Рому спрашиваютъ, отвѣчала дочь.

— Нѣту; намереніи съ этимъ же пьянчугой-то выпили.

— Нѣту рому, пріотворивъ двери въ залу, проговорила дочь.

— Ну, нѣтъ ли наливочки какой? Понците тамъ...

— Наливки пожалуйста! говорила дочь матери.

— Слышала, отвѣчала съ горечью та.

— Я къ маленькѣ пойду-съ? вопросительно произнесъ сынъ.

— Поди!

— Вотъ подите же, человекъ вышелъ, проговорилъ отецъ, кивнувъ головой на удалявшагося сына, — а я, признаться, совсѣмъ не ожидалъ.

— Что-о вы?

— Именно говорю: опасался, не ожидалъ. Да я вамъ что скажу, ближе придвигаясь къ столу, произнесъ хозяинъ: — онъ было меня со свѣту сжилъ! Хозяинъ вопросительно смотрѣлъ на гостя.

— Онъ какія со мной штуки дѣлалъ: опредѣлил я его на службу прямо изъ училища. Учился онъ хорошо: изъ закона пять, и изъ другихъ тамъ... тоже слава Богу! И начальники случалось, ежели спросишь: какъ молъ? — тоже все говорятъ: «Слава, молъ, Богу!»... Ну, думаемъ съ женой: «слава тебѣ, Господи!» И вообще по наукѣ, чистописаніе или что — не пожалуюсь! Ну, только былъ этакой вялый, дробный. Думаю себѣ: придется кормить ни

за что. Помѣстилъ его въ свой столъ. Только что-же? Разъ въ именины приносить мнѣ чашку. «Вотъ, говоритъ, тятенька, прошу принять посылный даръ». — «Это ладно, говорю, гдѣ ты деньги-то взялъ?» — «Посильные, говоритъ, труды». И замаялся. Ну, я понялъ, порадовался, авось, думаю, облегчить бремя родительское. Почему-же не брать хоть за справку или тамъ за что? Бери! Ну, хорошо; только что дальше! Пріѣхалъ къ намъ гурьевскій мужикъ. Вотъ стоимъ мы съ нимъ въ палатскомъ корридорѣ и говоримъ промежду себя. Гляжу, мимо сынокъ идетъ, посмотрѣлъ такъ-то на насъ и пошелъ. Немного погода и я тоже пошелъ. Черезъ часъ никакъ иду къ этому самому мужику, авось, думаю себѣ, что-нибудь перепадетъ — гляжу, навстрѣчу сынъ. «Ты куда?» — «Никуда-съ, говоритъ. А вы не къ гурьевскому мужику?» — «Тебѣ на что?» — «Такъ-съ. Если къ нему, такъ не ходите-съ: я получилъ». — Какъ сказалъ онъ мнѣ: «я получилъ», такъ я и обомлѣлъ. Какъ? у отца? сынъ? перебивать? — «Ты какъ же, говорю, смѣлъ это, сдѣлать?» — «Виновать!» говоритъ. — «Сколько же, говорю, ты, мошенникъ, взялъ?» — «Рубль сорокъ», говоритъ. — «Подай, стервякъ ты эдакой!» — «Тятенька!» говоритъ, и заплакалъ: жалко стало! Отдралъ его тутъ за виски, говорю: — «Не перебивай! Самъ собой какъ знаешь, а у отца ни-ни-ни! Помни: что у отца твоего!» Ну-съ, хорошо, прошло никакъ дня два. Опять такая штука; немного погода — другая. И пошло-о-о! Вѣрите ли, никакъ мѣсяцъ домой съ пустыми руками приходилъ. Да что-жъ это, думаю, наконецъ, вѣдъ этакъ, прости Господи, и безъ куска хлѣба не долго остаться? Что онъ меня, аспякъ эдакой, заморить что-ли хочетъ? Не вытерпѣлъ: призываю, говорю: «Убирайся изъ нашей палаты вонъ!» — «За что же?» говоритъ. — «За то, что я тебя видѣть не могу. Съ глазъ долой!» — «Тятенька, помилуйте!» — «Что миловать? говорю. Ну вотъ, говорю, ты скажи-ка мнѣ, что ты меня съ голоду хочешь уморить что-ли?» — «Помилуйте, тятенька, какъ можно!» — «Ну, и убирайся, говорю, подавай просьбу за болѣзнію». — «Да, тятенька, говоритъ, я здѣсь обжился». Я такъ и обомлѣлъ! «Да мерзавецъ-же ты! Я здѣсь сижу тридцать пять лѣтъ, три дюжины стульевъ полъ собой просидѣлъ: все это мнѣ извѣстно!» — «И мнѣ, говоритъ, извѣстно». Измучился я. «Да бери ты, говорю, гдѣ хочешь, только не препятствуй мнѣ. Не мѣшайся въ мои-то дѣла!... Не мути моего покою! Что ты, какъ бѣсъ, между ногъ бросаешься! Въ дураки меня не ставь!» Нѣтъ, да и полно! вымолвилъ хозяинъ, разводя руками, и понюхалъ табачку.

Гость все время выражалъ въ лицѣ своемъ удивленіе, качая головой, безмолвно раскрывая ротъ и опять качая головой.

— Ну-съ, батюшка вы мой. «Нѣтъ, говоритъ, мнѣ здѣсь спокойно. Я, говоритъ, обжился». Что дѣлать? Подумалъ, подумалъ да и махнулъ просьбу «нашему», что, молъ, будучи тѣснимъ непрерывно своимъ единокровнымъ сыномъ, я прибѣгаю къ позлащеннымъ мудростію стопамъ вашего превосход-

дательства, омочая оныя старческими слезами, ну и прочее, и прошу выгнать вонъ. Выгнали! Не вижу годъ. Разъ какъ-то въ соборѣ на страстной, гляжу: стоятъ въ шубѣ. Енотовая славная шуба! Я ничего, ни-ни-ни... Начали выходить, гляжу это съ паперти, подають ему дрожки. «Ну, думаю, авось и на новомъ обжился». Немного погоды, слышу-послышу—въ чиновники особыхъ порученій въ слободы раскольниковъ назначеңъ... Н-н-ну думаю!!

И хозяинъ, и гость разомъ выразили удивленіе подвигамъ молодого чиновника.

— Никакъ черезъ мѣсяцъ на конной, вижу, жеребца торгуетъ, къ лѣсу приѣзжается. Разъ какъ-то сижу я дома, отъ ранней пришелъ, подають записку отъ кого-то. Читаю: «Милостивый Государь татенька!!» А! думаю... «Долго и напряженно думаю я, какъ васъ назвать, наконецъ называю татенька». Посмотрѣлъ внизъ, подписано: «сынъ вашъ такой-то». Читаю далѣе, просить прощенія. Подумалъ я: что мнѣ злится? Взялъ и пишу: «Сынъ! когда ты меня называешь татенькою, то я тебя сыномъ монѣмъ называю», подписался: «Отецъ» и послалъ. Прилетѣлъ самъ, увезъ меня къ себѣ. Гляжу: баринотъ живетъ. Дамочка какая-то ходитъ: «Бто, говорю, такая?»—«А это», говорить и, знаете, занялся. Ну, я смекнулъ—кто такая, усмѣхнулся, говорю: «Ничего», успокоилъ его, говорю: «Всѣ мы грѣшны».

Гость ослабилъ.

— Угостилъ онъ меня тутъ обѣдомъ. Славный былъ обѣдъ: разварная стерлядь, вершокъ въ пятнадцать, а то и весь аршинъ. Да-а-а! Ну, и выпили мы тутъ. Разгорячившись, я подымаю его метрессу и даю ей полтинникъ. Обѣдѣлся вѣдь!

— Обѣдѣлся? спросилъ гость.

— Обѣдѣлся! «Татенька, говорить, неужели же я, говорить, не могу удовлетворить моему грѣховному поступку?...» Хе-хе-хе!

Гость тоже залился смѣхомъ, но потомъ крѣпко вздохнулъ и, грустно покачивая головою, произнесъ:

— Охъ, дѣтки, дѣтки! Что горя-то съ ними перенесешь! У меня тоже существуетъ сыночекъ. Только, я вамъ скажу, поискать да поискать, а такого животнаго наврядъ ли гдѣ сыскать можно.

Гость раздулъ ноздри и, выпучивъ глаза, уставился на хозяина.

— Да-съ. Примѣрная скотина! Непочтительнъ, грубъ, безбожникъ. Сидитъ за книжкой—молчитъ. «Чего это ты, говорю, молчишь?»—«Ничего». Я какъ тресну по рожѣ. Только позеленѣть! «Вотъ тебѣ, говорю, ничего: будешь знать, какъ родителю отвѣчать». Не пронялся же! Разъ встанетъ изъ-за стола, не перекрестился? Говорю: «почему ты не перекрестился?»—«Я, говорить, такъ хочу».—«А я, говорю, тебя научу».—«И я тебя, говорить, научу...»—«Да я—отецъ!?»—«А я, говорить, сынъ!» Я ему прямо въ волосы! Ужъ трепалъ, трепалъ!—ибо силъ моихъ болѣе не хватало... терпѣть!

— Гдѣ стерпѣть!

Часа черезъ два съ крыльца сходилъ, еле-держась на ногахъ, гость. Хозяинъ тутъ же стоялъ со свѣчей, покачиваясь изъ стороны въ сторону; его

за рукавъ придерживала дочь. И хозяинъ, и гость что-то бормотали, но что именно, разобрать было трудно.

На дворѣ была темь.

IV. Зимній вечеръ.

(изъ чиновничьяго быта.)

Осень тянулась долго; цѣлые дни и ночи лилъ дождь, шелкалъ капель и слякоть на улицахъ дѣлалась все ужаснѣе, грозя потопить весь городъ. Бабы думали, что зимы совсѣмъ не будетъ, полагали, что гдѣ нибудь «морба-холера» началась, или что нибудь подобное, только вообще «не къ добру», и пугались. Но зима таки-пришла и заковала все сразу: еще вечеромъ была настоящая грязная, дождливая осень, а утромъ царствовала зима: снѣгу, правда, не было, но морозъ сковалъ всѣ взрытыя посреди улицъ колеи грязи, и по поверхности замерзшихъ лужицъ мальчишки смѣло катились на конькахъ.

А скоро повалилъ снѣгъ и настала настоящая зима.

Смеркается зимой рано. Часу въ пятомъ вечера, на западѣ горѣли какія-то красныя, студеныя пятна; полусонныя вороны тучей поднимались съ крыши присутственныхъ мѣстъ, почему-то такъ любимыхъ ими, каркая проносились надъ городомъ и на пути разсыпались по обнаженнымъ сучьямъ деревь, торчавшихъ въ садахъ, среди глубокаго снѣга. Въ эту пору движеніе въ Барановой улицѣ затихаетъ; тѣмъ быстро сходить на землю и кое-гдѣ зажигаются огоньки. Въ домахъ въ это время закрываютъ ставни: во тьмѣ слышенъ скрипъ по снѣгу валенковъ, хлопанье ставней и стукъ кулака въ желѣзный болтъ. Улица начинается замѣтно пустѣть, все живое словно замерзаетъ и коченѣетъ. Только и копошится толпа мальчишекъ, изъ-подъ горы втаскивая длинную ледянку; задыхаясь и дѣлая широкіе шаги, выбѣгаетъ вся толпа на вершинку покатой улицы и черезъ минуту мчитъ снова, размѣстившись одинъ за другимъ. Они подталкиваютъ ледянку ногами и въ это время всѣ разомъ говорятъ и размахиваютъ руками; между тѣмъ ледянка начинается забираться въ сторону, врывается въ сугробъ, и скоро вся компанія лежитъ на снѣгу, заливаясь звонкимъ смѣхомъ. Катанья въ хорошую погоду продолжается долго; но сегодня что-то «сиверко», и поэтому гуляки скоро разбредаются по домамъ.

Въ домѣ чиновника Галкина, помѣщавшемся на концѣ улицы, давно отпили чай, о чемъ свидѣтельствовали опрокинутыя чашки, залитая скатерть, мокрые куски хлѣба, валявшіеся по столу тамъ и сямъ. Въ комнатахъ было темно, свѣчку заслонялъ большой самоваръ, допѣвавшій въ эту пору свою такъ недавно еще бурливую пѣснь; пѣніе его было уже сонное, вялое; онъ поминутно запѣвалъ на разные тоны, но на первыхъ же порахъ замолкалъ и черезъ нѣсколько времени затгивалъ снова, на другой ладъ, чтобы замолчать опять.

Около стола, въ тѣни самовара, сидѣла жена чи-

новника, дожидаясь, пока встанетъ мужъ, мѣрно хрипѣвшій за ширмами; пѣнье самовара приковывало всѣ мысли задумавшейся чиновницы, и думы эти такъ же печально обѣжали въ ея головѣ, какъ жалобно пѣлъ самоваръ.

— «Вотъ зима, думала чиновница, — холодъ... ребятишкамъ надо шубенки... чулки теплые... а гдѣ взять?... Все больше да больше... не напасешься... одни башмаки одолѣютъ... Не успѣютъ надѣть, подавай новыя... каторга! Не дать — жалко, не подкидывать какіе-нибудь... свои... мать тоже... какъ ни на есть — а любишь, не кинешь, не убѣдишь... Тутъ вотъ еще новаго жди... Кто-то будетъ: мальчикъ либо дѣвочка? Богъ знаетъ!»

— «Мальчика бы, думаетъ опять чиновница; — съ мальчикомъ хлопотъ и возни меньше, съ дѣвочкой возись! Когда-то еще вырастетъ и гдѣ жениховъ найдешь? Женихи-то, по нонѣшнему времени, рѣдки... Нѣтъ чтобы пристроиться, все больше — вѣтеръ ходить, ни постоянства, ни степенности! Ловить ихъ надо; а какъ его поймаетъ? Блоху и то трудно поймать, а жениха не впримѣръ... безъ приданого трудно! Нѣтъ, мальчикъ лучше! Того только знай, когда сѣчь, а ужъ онъ дорогу найдетъ, выскребется изъ бѣды»...

— Что это онъ въ самомъ дѣлѣ спитъ-то? говорить чиновница вслухъ. — Иванъ Егорычъ!.. Чай давно отпили, простылъ совсѣмъ самоваръ!

Иванъ Егорычъ всхрапываетъ отрывисто, словно чего испугавшись во снѣ, и не отвѣчаетъ.

— «Заспался», рѣшаетъ чиновница и думаетъ: «А дѣвочкѣ хорошо какъ мужъ попадется... Да коли хорошій человѣкъ будетъ... За чиновника выйдетъ — битъ будетъ, пьянъ когда напьется — нѣтъ хуже! За купца — тоже битъ будетъ... Убѣжать отъ мужа? Куды отъ него убѣжишь?... Поймаютъ, вдвое дадутъ... А тамъ ребята пойдутъ, жалованье небольшое, въ обрѣзъ, доходовъ нѣту. Нониче господа сами «хлопочутъ», бывало откупались, теперь все сами... Ребятъ наплюдить, чѣмъ жить?..»

Самоваръ вдругъ началъ хрипѣть, словно умираетъ и испускаетъ послѣднее дыханіе. Чиновница сразу встала со стула и принялась будить мужа.

— Что это, въ самомъ дѣлѣ: всякій разъ ждешь-ждешь, самоваръ кипитъ-кипитъ... Иванъ Егорычъ!..

— Не хочу! необыкновенно скоро и очень невнятно проговорилъ мужъ.

— Встанешь, что-ль? Слава Богу, съ третьяго часу завалился, до конхъ поръ... всѣ напелись давно...

Мужъ ровно дышалъ, обернувшись къ стѣнѣ.

— Ну, какъ знаешь! Не пеняй!

Чиновница подозрѣвала, что мужъ слышитъ.

— Какъ хочешь! Не встаешь и не вставай! Скажу — самоваръ убирать...

Мужъ не отвѣчалъ.

— И сиди безъ чаю! До двѣнадцатаго часу, что-ль, держать? И такъ никакого порядку нѣтъ... У другихъ всѣ разомъ отощаютъ, тихо, смирно... а у насъ какъ постоянный дворъ!

Чиновница начинала входить въ раздражительный тонъ.

— Одинъ придетъ, другой уйдетъ, пять самоваровъ что ли ставить? Ты хоть бы для примѣру... хозяинъ ты называешься, или нѣтъ! Хозяинъ! Протянулся, какъ колода; нечего сказать — примѣръ!.. Кто-бы со стороны посмотрѣлъ, похвалилъ бы. До седьмого часу, легко сказать! Будешь, будишь...

— Отстань! гаркнулъ мужъ.

Чиновница сразу замолкла, ибо при концѣ своего монолога начинала думать, что мужъ не слышитъ, и говорила единственно ради того, чтобы высказать накопившія на душѣ обиды.

— Зуда! добавилъ мужъ, когда чиновница снова сидѣла у самовара, — ду-ду-ду-ду-ду! Минуточки покою не дадутъ!

— «Какого еще покою? подумала чиновница; — заплыли глаза отъ дрыхли, все безпокойно!..»

— И бери свой самоваръ, очень нужно! тише и скромнѣе заключилъ мужъ, улаживаясь покойнѣе и закрывая глаза.

Чиновница молчала и думала:

— «Возьми-ко самоваръ-то, самъ послѣ будешь зудѣть: хозяину глотка чаю не дали; пом, кормлю, — а самъ все съ голоду»...

И самоваръ остался на столѣ. Чиновница была обижена и поэтому впала въ какое-то тупое, бездумное состояніе, которое у ней иногда ни съ того, ни съ другого разрѣшалось слезами. Она встала и вошла въ дѣтскую.

Это была небольшая комната, битомъ набитая дѣтскими кроватками, люльками и наполненная какими-то нездоровымъ воздухомъ, потому что зѣлся на веревочкѣ, протанутой около печи, сушили дѣтскія одѣяльца, пеленки и проч. Стѣны были ободраны, въ особенности около дѣтскихъ постелей; изъ-подъ болтавшихся лоскутьевъ обоевъ видѣлись какія-то мелко исписанныя бумаги, линейные бланки, газетныя объявленія и проч. Въ углу висѣлъ длинный и темный образъ, а съ боку, на стѣнѣ около гвоздя, къ которому цѣплялся шнурокъ отъ лампы, темнѣло большое пятно, нахвачанное масляными пальцами. Дѣти шумѣли, тащали кошку; другія, съ болѣе мирными наклонностями, устранивали изъ стульевъ театр и представляли Петрушку, котораго они еще въ прошломъ году видѣли въ балаганѣ у Спаса на Хлѣбной площади, во время масляницы. Въ углу тихо поскрипывала люлька и надъ ней засыпала кормилица.

— Гдѣ это наша бедосыя? спросила чиновница. — Пришла она?

— Пришла... Въ кухнѣ грѣтся, сказала нянька.

— Что это, хоть бы ее позвать, что-ли ужъ? скука такая...

— Семь я сейчасъ позову?

— Позови! Я ей чайку налью... Разказала бы что-нибудь, ранъ такую ложиться, не заснешь...

Нянька встала, положила на кровать почернѣвшій шерстяной чулокъ, со спицами и клубкомъ, и направилась въ кухню.

II.

Бедосѣя Гавриловна, или по просту Гавриловна, была богомолка; цѣлые десятки лѣтъ ходила она по святимъ мѣстамъ, и въ ея берестовой коробочкѣ (изъ-подъ икры) можно было найти разныя драгоценности, взятія на самомъ мѣстѣ святости и крѣпко хранимыя, какъ воспоминаніе объ нихъ: тутъ были богородицны слезки, вата отъ Иверской, песокъ изъ кіевскихъ пещеръ, пузырекъ почаевской воды, съ выдавленной на стеклѣ ножкой, и проч. Во время долгаго хожденія своего по Руси завела она въ разныхъ городахъ, у купцовъ и чиновниковъ въ достатѣ, знакомыхъ и заходила къ нимъ зимувать. Но наставала весна, вѣяло тепломъ—и Гавриловна путешествовала снова, награжденная какимъ-нибудь рублемъ и строгимъ наказомъ помянуть въ Ахтыркѣ «раба Божія Кузьму со чады»... Приходъ Гавриловны на зимовку всегда былъ радостенъ: мало ли расскажетъ она чудесъ, которыя совершились тамъ и самъ на Руси, и про которые мы, навѣки прикованные къ городу, ничего не слышали? А Гавриловна все это представитъ какъ по писанному. Казалось, что она вовсе не старѣла; одѣжка ея не мѣнялась, не худилась и не особенно маслилась; ни о какихъ недугахъ не знала она и хворала только послѣ долгаго осѣдлаго житія. Въ концѣ такого житія она обыкновенно успѣвала пересказать все видѣнное въ теченіе года, и отъ нечего дѣлать начинала впадать въ сплетни. Уличала кухарку въ вехоромѣ дѣлѣ, кучера въ кражѣ овса и проч. По всему дому затѣвался шумъ, шла интрига и брань, и все оканчивалось тѣмъ, что у самой Гавриловны враги находили какую-нибудь хозяйскую вещь: ложку чайную, платокъ носовой или что-нибудь подобное. Неприятности утروивались, и Гавриловна, обиженная и негодующая, торопливо надѣвала на себя котомки и узелки, прощала всѣмъ грѣхи и обиды (причемъ кучера и кухарки начинали плакать) и уходила на богомолье.

— Зачѣмъ ты странствовать-то пошла? спрашивали ее.

— А затѣмъ и пошла, что съ людьми никакого ладу нѣту! Я, милые мои, съ малаго измальства въ господскомъ домѣ жила, потому, ежели по правдѣ посудить, и сама-то я господской крови, не мужичьей...

— Какъ такъ?

— Случай такой... При французѣ еще... Шелъ на нашу деревню французъ въ тѣ поры... Барыню въ городъ отвезли, а дѣвки-то съ барининомъ остались... и мать моя тутъ... Слышимъ-послышимъ, скоро надоть французу подступать... мать это мнѣ рассказывала.—«Начали, говорить, мы робѣть... Такъ робѣемъ, такъ робѣемъ—невозможно сказать!» Вотъ одна баринъ и говорить:—«Идите, говорить, дѣвки ко мнѣ въ покои, всѣхъ я васъ отборюю». Онъ обыкновенно въ тѣ поры что понималъ? Дуры какъ есть были... и пошли! «Баринъ у насъ, ухъ, какой былъ—Богъ съ нимъ!»—Ну, родилась я тутъ... Барыня была у насъ добрая,

взяла она меня въ комнаты на обученіе... Бездѣтныя они были... Стала я подростать, все примѣчаю, все примѣчаю... Вижу, людишки крадутъ, воруютъ... тащатъ... Я сейчасъ тихимъ манеромъ барину али-бы баринѣ: «такъ и такъ»... А господа нешто хвалить за это?—драть!.. Отдеруть его, вора, какъ лучше; приутихнетъ онъ, а потомъ опять тѣмъ же порядкомъ: и хлѣбъ волокутъ, и мясо волокутъ... А я опять—и опять драть его на конюшнѣ... За это меня и не возлюбили: всякую пакость мнѣ дѣлаютъ; я терплю, думаю, Господь за правду терпѣлъ, семъ и я... Все терплю! Только одна поварь... была у него собака... Вышла я разъ на крыльцо кольцо поднять,—барыня въ окно уронила, а поварь собакъ: «кусъ-кусъ!». Собака какъ прыгнетъ да цапъ меня за носъ... Такъ уродомъ я и осталась...

— Залилась я, милые мои, слезами, плачу, причитаю: какъ безъ носу жить? какъ на народъ глядѣть? Такъ-то-ли горько рыдала! думаю: «Господи! хошь у Тебя правду найду настоящую!» Взяла одѣлась, обулась въ худенькій кафтанчикъ, простилась съ селомъ, съ полями, съ лѣсами: «прощайте, лѣса, прощайте, поля, прощай, мать сыра-земля, прощайте, птицы—звѣри лѣсные!» Вышла я за село, заплакала, поклонилась барскому дому да церкви Спасъ Преображенія—и пошла...

— И много, чай, старушка, исходила?

— И, милые, гдѣ-гдѣ я ни была! Чего ни видала!! говорила обыкновенно Гавриловна и тутъ же принималась рассказывать.

III.

Гавриловна, цѣлый день скитавшаяся по обѣдамъ и купцамъ, поздно вечеромъ воротилась въ домъ Галкиныхъ и, разувшись, лежала на полатахъ. Въ кухнѣ было тихо; работница дремала въ углу у стола, подпирая щеку рукою; кучеръ сидѣлъ тутъ же и чесалъ волосы, которые въ настоящую минуту закрывали всю его физиономію. Изъ рукомойника капала въ ушатъ вода и за печкой перегибались сверчки.

— Ну, что жъ ты все такъ и странствуешь? хладнокровно спрашивалъ кучеръ, поднося гребень къ свѣту и раздвигая пальцами волосы, застилавшіе глаза.

— Все и странствую.

— Доброе дѣло!.. А то бываетъ тоже странники: ному въ острогъ надо быть, ежели по закону, а онъ странствуетъ.

— Ну, что мелешь? Ну, что твой языкъ глупый мелеть? въ негодованіи воскликнула кухарка.—Про кого ты такія слова говоришь?..

— Нешто я вру?

— И есть врешь! Про Божьяго человѣка какіе разговоры разговариваешь.

— За это, милые, вмѣшалась съ полатахъ Гавриловна,—за это, милые мои, крѣпко выщется!

— За что!

— А не осуждай! Спокаешься—да ужъ поздно! Кучеръ продолжалъ чесать волосы, шума гребешкомъ.

Гавриловна ворочалась на полатах и отъ времени до времени произносила:

— Какъ такъ можно обзывать? Это невозможно! За это какъ достается-то? и—и—и!..

Въ это время въ кухню вошла нянька и позвала Гавриловну.

— Пойди, барыня чайку дасть.

— Охъ, пила я...

— Ну, все равно, соскучилась очень. Поди!

Гавриловна, крихтя, начала слѣзать съ полатей и потомъ вѣстѣ съ нянькой отправилась въ горницу.

Кучеръ, кончивъ свой туалетъ, долго думалъ, за что принялся, и наконецъ рѣшился пойти въ горницу послушать, какъ будетъ Гавриловна разсказывать. Осторожно ступая своими огромными сапогами и бокомъ пройдя въ дверь, подкрался онъ къ дѣтской и схоронился за притѣлкой, выставивъ въ дѣтскую только голову. Тутъ же около дверей толпились кухарка, горничная и еще неизвѣстно какая-то баба. Гавриловна сидѣла на полу, у печки, протянувъ свои худыя ноги, обутыя въ башмаки, плетенные изъ покровокъ солдатскаго сукна; кругомъ ея дѣпились ребята, на кровати сидѣла хозяйка, и всѣ вѣстѣ внимательно слушали разсказы старухи.

— ...Ну, говорила она,—иду я, милые мои, изъ Звенигорода къ Миколѣ Можайскому. Въ сумочкѣ у менѣ тридцать пять рублей денегъ,—зиму зимовала я въ Москвѣ, у купчихи, у Скандириной, и платила она мнѣ за труды; денегъ этихъ я ни чуточки даже не тратила, думаю: «къ Соловецкимъ монастырямъ пойду». Ну, иду. Товарокъ со мной не было, иду одна. Только на дорогѣ вижу идетъ старушка. «—Здравствуй.» — «Здравствуй.» — «Куда?» — «Туда-то!» — «И я. Пойдемъ вѣстѣ!» Пошли. Шли-шли,—а старушка и говоритъ тихимъ такимъ голосомъ. — «Прочіе, говоритъ, вокругъ себя деньги—паспорты обшиваютъ». — «Какія у меня деньги—говорю... Христовымъ именемъ, говорю, не разживеши-ся». — «Да такъ, такъ». Идемъ, приходимъ мы въ деревню,—вечеромъ уже было; зашли въ избу: старая баба въ печи парится. Очень меня охота взяла попариться,—кости болятъ и ноги, и руки. — «Раба, говорю, Божія, семъ мы странницы малость попаримся?» — «Да вы не бѣгли?» — «Нѣтъ, говоримъ, мы прохожія!» — «Ну, парьтесь». Раздѣлась моя товарка, и вижу я—вся-то она въ рубищѣ. Рубашка рваная, въ узлахъ... Жаль мнѣ ее стало, говорю: «на рубашку!» Свою ей рубашку дала. Попарились мы, выдѣзли,—ноги, руки у меня заныли, легла я спать на полати. И въ тую-жъ минутку заснула. Только слышу, кто-то будто около меня шевелится. Перепугалась я, думаю, кто такое. Господи Иисусе Христе! — «Кто здѣсь? Врагъ сатана, откачнись отъ меня». Нѣтъ, никого нѣтъ. Сплю я опять. Товарка на лавкѣ тоже, слышу, спитъ... Только въ просонкахъ кто-то опять меня толкаетъ: — «Вставай, говоритъ, розиня, сумку твою товарка унесла!» Схватилась я: ахъ-ахъ-ахъ, ахъ-ахъ-ахъ! Что такое? Господи! Ничего не придумаю. Плачу-причитаю: гдѣ паспортъ? гдѣ тридцать пять рублей денегъ? Вотъ тебѣ: «Прочіе вокругъ себя деньги, билеты обшиваютъ!» Ахъ ты, подлая!.. Матушка Царица небесная, защити. Одѣ-

лась, побѣжала... Куда бѣжать? Думаю, пойду опять старой дорогой... Пошла къ Звенигороду. Какъ деревня, въ каждую избу иду спрашивать. — «Не видали-ли вы тутъ, странница проходила?» — «Какая?» — «Раба, сумочка у нея кожаная, моя сумочка-ка-то». И все разскажу: «шла я, идетъ богомолка; пошли вѣстѣ; она говоритъ: «Прочіе вокругъ себя деньги, билеты обшиваютъ»... И все по порядку. — «Ахъ ты, дура-дура», говорятъ... — «Не видали ли?» — «Нѣтъ, не видали»... Въ другую избу зайду, разскажу опять... И все меня же дають!

— Плачу я, иду дальше. Пришла въ Звенигородъ, къ знакомому чиновнику въ домъ. А у нихъ пиръ: приказынные судейскіе подгуляли. — «Что тебѣ, баба?» — «Такъ и такъ... Иду Богу молиться. Встрѣтила старушку, пошли вѣстѣ: «прочіе, говоритъ, вокругъ себя деньги, билеты обшиваютъ». Я думала, она добрая, а она меня обобрала. Батюшки, защити!» — «Стои, старушка, не робѣй... Мы тебѣ сейчасъ бумагу напишемъ». Начали они писать мнѣ. — Написали. — «Снеси ты эту записку на ту сторону, въ лавку къ купцу Гвоздеву; онъ тебѣ скажетъ, что нужно». Прихожу къ купцу, прочиталъ онъ и говоритъ: — «Двѣнадцать бутылокъ пива прикажи съ тобою прислать... Донесешь-ли?» Залезла я опять; ишь, какую шутку спутили! Нечего дѣлать, понесла я пиво; принесла, говорю: — «Батюшки, не надругайтесь надо мной. Такъ я обижена. Пособите!» Сжалились они, начали писать бумагу, но никакъ не могли написать ничего, потому очень ужъ пьяны были... Человѣкъ пять брались писать, все не выходило... Пера не могутъ держать, наконецъ одинъ подходитъ и говоритъ: «Пусти, я!» Тотъ чиновникъ пустилъ. А этотъ другой-то началъ выводить перомъ: — «Ахъ, говоритъ, жаль старушку!» Вижу я, что и этотъ ничего не можетъ, только думаю: авось какъ-нибудь. А онъ мурчалъ, мурчалъ, да видно позабылъ спяну-то, о чемъ я прошу,—да какъ вскочить, да гаркнуть: — «Тебѣ чего тутъ? Какого тебѣ дьявола тутъ возможно написать?.. Ты кого беспокоишь?... «Бричить, милые мои, словно разсудку рѣшился. Я бѣгомъ отъ него бѣжать... Онъ за мной... — Въ гробъ заколочу бродягу!»

— Вскочила да опять въ поле, сѣла на распути, выла-выла, думаю: куда бѣжать? Пойду опять къ Миколѣ Можайскому... Иди-иду да заплачу; ударюсь объ земь, вою! Подхожу къ Можайскому—рѣка... Время было—весна самая; ледъ хрупкій, желтый; думаю, какъ перебраться на ту сторону? Ну, провалюсь? Перекрестилась, поползла ползкомъ и все причитаю: «угодники Печерскіе, угодники Переславскіе, угодники Соловецкіе, Воронежскіе, ты, Микола Можайскій, пособите старушкѣ! Не потопите ее, грѣшную, безъ покаянія, безъ причастія!» Переползла... Думаю, подсобили угодники Божіи... Прихожу въ Можайскъ къ купчихѣ знакомой. Плачу—причитаю... — «Что ты?» — «Такъ и такъ... Иду дорогою, вижу, старушка... «Прочіе, говоритъ, вокругъ себя деньги, паспорта обшиваютъ»... Я думала, она добрая, а она меня обобрала!» и все по порядку разсказала.

— «Не видали ли, говорю, богомолки такой-то вот?.. Рябая она»... — «Рябая?» — «Рябая... Сумочка кожаная... Моя сумочка-то»... — «Видѣла рябую... Она у меня теперь гоститъ»... — «Матушка милая! — покажите вы мнѣ ее!»... Замолилась я тутъ, себя не помню. — «Она, говоритъ купчиха, теперь у все-нощной». Я ко всенощной. Вошла въ церковь, купила свѣчку, зашла спереди; сама ставить начала, чтобы мнѣ спереди-то ее разсмотрѣть, вижу — бѣдѣла она. Хорошо-то не разгляжу, въ зимнемъ придѣлѣ въ то время служили, церковь темная... Семь, думаю, рядышкомъ съ ней стану помолюсь. Стала; она въ землю, и я въ землю... Смотрю, смотрю — она! — «А, думаю, безсовѣстная!» а сама все молюсь... Отошла заутреня, выходимъ мы на паперть, а ее за рукавъ. — «Батюшки, защитите! бьютъ меня, страннику, бесстыжая! Вотъ зачѣмъ: «прочіе вокругъ себя деньги, билеты обшиваютъ» а? — Собрался народъ, я за сумку тяну. Начали мы судъ судить. Купецъ какой-то подошелъ, говоритъ мнѣ: «коли твоя сумка, скажи, что въ ней?» Я начала: «платокъ клѣтчатый, паспортъ Федосѣи Гавриловой, Черискаго уѣзда, Тульской губерніи»... — «Глади!» Посмотрѣли въ сумку — такъ точно. Тогда купецъ говорить воровкѣ: — «Моли Бога, что я сегодня мяннинникъ, а то я-бъ тебя, шкуру, въ казематѣ сгноить бы...» И ушелъ. Воровка плачетъ; сумку мнѣ отдала. Начала я считать деньги, вижу три мѣдныхъ гривны... Бросила ей — не моя. Я сосчитала деньги — всё! Тутъ зачала она у меня прощенія просить! «Прости, да прости». — «Ну, говорю, Богъ съ тобой...» Пошли мы съ ней виѣсть къ купчихѣ. Воровка все плачетъ, прямо ей въ ноги — прости, вишь, ее. Никогда такого грѣха не было, а тутъ врагъ совратилъ: «цѣлую ночь, говорить, показывался; глазища зеленѣя и все шепчетъ: «возьми сумку!»

— Ну, тутъ ее всё простили. Купчиха говорить: — «Я сейчасъ увидала, что ты недобрая женщина, — зачѣмъ ты сумочку, какъ пришла, подъ лавку сунула?.. — Такъ вотъ какъ «прочіе деньги, билеты обшиваютъ!»..»

— Пожила я тутъ деньковъ можетъ съ пятокъ, опять въ дорогу...

— Погоди, перебила чиновница, — я пойду мужа разбужу, пусть онъ послушаетъ... онъ это любить!

— Разбуди!

Чиновница пошла. Проходя темную дѣвичью, она услышала, что кто-то въ углу пискнулъ; ей показалось, что это Аксиныя, горничная, и она сочла нужнымъ сдѣлать ей замѣчаніе.

— Аксиныя! сказала чиновница съ укоромъ: — что ты маленькая, что ли, все хи-хи-хи?

— Да что же онъ трогается! отвѣчала Аксиныя изъ темнаго угла, и вслѣдъ затѣмъ въ дверь, идущую въ сѣни, съ шумомъ вылетѣлъ невидимый въ темнотѣ кучеръ.

— Маленькіе! разыгрались!

— Нашии мѣсто, добавляла Гавриловна.

Чиновница принимала всевозможныя мѣры для

того, чтобы поднять мужа на ноги; но всё усилія были напрасны. Мужъ говорилъ какъ-то несвязно и то по одному слову, такъ что изумленная и разобиженная жена наконецъ озабоченно спросила:

— Боишься ли ты Бога то?..

— Не боюсь! отчетливо проговорилъ въ про-снкахъ чиновникъ. Жена была такъ удивлена такимъ отвѣтомъ, что нѣсколько времени молча стояла надъ тѣломъ мужа, думая, что тотъ опомнится и ужаснется своихъ словъ. Но тотъ былъ безмолвенъ и недвижимъ. Чиновница только могла произнести:

— Сва-ажите на милость!.. а? Какія словечки выучился говорить?.. Прекрасно!

Пораженная отвѣтомъ мужа, медленно пошла она къ дверямъ и продолжала:

— Вотъ дождались!.. Такъ-то ли явственно выговаривается, не постыдится; какъ языкъ-то поворачивается? тѣфу!

— Ну что? спросила Гавриловна, когда чиновница явилась въ дѣтской.

— Какъ камень!.. Я ему то-се, а онъ мнѣ такое словечко сказалъ...

Чиновница развела руками.

— Мужчина! ужъ это обыкновенно! произнесла нянька. — Мой тоже покойникъ: иной разъ такое прочтеть... молчишь!

— Всталъ, что-ль? спросила Гавриловна.

— Какъ же! На томъ свѣтѣ проснется развѣ... Разсказывай!..

Всѣ снова начали готовиться слушать. Въ это время сѣнная дверь хлопнула опять.

— Аксиныя! ты? спросила чиновница.

Никто не отвѣчалъ.

— И эта туда же улетѣла!

— Понграть захотѣлось, сказала нянька съ улыбкой.

— Ну, я знаю, я ей наиграю спину-то... Разсказывай, Гавриловна.

— Да вы слушать то устали?..

— Разсказывай, Богъ съ тобой... Что ты?

— Ну, такъ я быть. Вотъ, думаю себѣ, пойду я теперича на Москву, а оттуда въ Соловецкой монастырь. Иду. Все, славу Богу, благополучно; но только подъ самой подъ Москвой иду я пролѣскомъ, проселокъ этакой неѣзженный и мостикъ ветхенкій, черезъ овражекъ-та. Заблудилась я, чтоль, только народу по этому тракту совсѣмъ не видать... Ну, иду. Взошла на мостъ, какъ откуда ни возмись — солдатъ... Оборванный, худой, глазища страшныя, желтый лицомъ. — «Есть сухари?» Перепугалась я — говорю: «Есть!..» — «Давай!..» Начала я развязывать узелокъ. — «Давай!» кричитъ. — «Дай развязать-то!» — «Давай!» да и полно! И вижу я, что совсѣмъ онъ обголодалъ. Не вытерпѣлъ онъ, началъ съ меня самъ узлы рвать, отыскалъ узелокъ съ сухарями — ѣсть! И трапки рветъ зубами, и сухари жуетъ на обѣ щеки — звѣрь-звѣремъ! Вижу, схватилъ все имущество мое, и прочъ бѣжить. — «Пачпортъ-то!» кричу, «пачпортъ-то... Все возьми!..» — «Только пикни!» — «Голубчикъ! Служивый, на что онъ тебѣ? Бабиѣ-то видѣ?» — «Удави!» кричить... самъ не зная что!

— Я опять молить его, ничего не говорить— идетъ: вижу, выкинулъ какую-то тряпку, вышѣлъ съ сухарями попалъ, и скрылся въ лѣсъ...—Что дѣлать? Ничего не могу въ слезахъ придумать, только думаю: Господи! за что? Пойду прямо... Шла-шла, очутилось предо мною село... Идетъ баба.—«Милая! гдѣ тутъ расправа?» Указала мнѣ баба расправу,—пошла я. Сидитъ писарь.—«Что тебѣ?» Такъ и такъ... Солдатъ ограбилъ...»

— Писарь подумалъ, говорить: «надо допросъ сдѣлать»... Я говорю: «хоть кѣ присягнѣ сейчасъ...» Писарь опять подумалъ.—«Есть у тебя деньги? (А деньги я на груди зашила)». — «Есть». — «Сколько?»—«Два цѣлковыхъ». — «Давай!» Дала я ему два цѣлковыхъ, написалъ онъ.— «Придешь, говорить, въ Москву, объясни по начальству»... Сокрушаюсь я. Пришла въ Москву. Улицы длинныя, дома каменные, ничего не разберу; у кого спросить—не знаю. Подхожу къ служивому, говорю, такъ и такъ: «солдатъ меня ограбилъ, отнять все, въ лѣсъ ушелъ, нельзя ли мнѣ какую бумагу дать?» — «Такъ у тебя нѣтъ виду-то?» — «Есть. говорю, такъ махонькая записочка». — «Записочка?.. Пойдемъ». Пошли мы; приводитъ онъ меня въ горницу и говоритъ чиновнику: — «Ваше благо-родіе! вотъ на улицѣ бродягу взялъ...»

— Чиновникъ посмотрѣлъ на меня: — «поса-дить, говорить, ее на хлѣбъ, на воду!» Сажу я въ тюрьмѣ, плачу-рыдаю. Дали мнѣ работу— корпю щипать (въ тѣ поры войну воевали). Сажу день, сажу недѣлю. Въ концѣ недѣли идутъ за мной къ допросу.—«Какого званія?» Я говорю: «Женскаго...»—Я это все расскажу, запишутъ: опять сажу. Онова входитъ ко мнѣ женщина; начала я ее мо-литъ:—«Милая! отыщи ты мнѣ Грузинскую пол-ковницу, съ мужемъ они тутъ живутъ. Была у нихъ въ деревнѣ, гостила, такъ говорила барыня эта мнѣ: «приходи, говорить, къ намъ въ Москву»... Отыщи, красавица, я тебя награжу!»—«Есть день-ги?»—«Есть.»—«Давай цѣлковый, отыщу!» Дала. Взяла женщина эти деньги и слѣдъ простылъ. Про-ходить такъ, милые мои, мѣсяцъ, а можетъ и больше.—Я дни-то совсѣмъ перзабыла, ничего не помню. Привыкаютъ меня въ часть, связали руки веревочкой, повели въ другое мѣсто. Тутъ тоже допросъ пошелъ: «Какого званія?» «На какомъ основаніи?»—все какъ прежде. Я имъ говорю: «У меня солдатъ сумку укралъ, нельзя ли отыскать, въ сумкѣ и билетъ есть; тамъ это все пропи-сано...»—«Посадить!» Связали руки веревочкой, повели въ другую тюрьму. Сажу я здѣсь мѣсяцевъ пять. Выходитъ онова женщина.—«Милая! говорю, сыщи Грузинскую полковницу. Я тебя награжу». Взяла женщина деньги—и слѣдъ простылъ! Работу тутъ мнѣ всякую давали: рубашки стирала, полы мыла, все, все дѣлала, никакой ни откуда помочи не вѣжу. А тутъ слышу-послышу, будто дѣло мое рѣ-шилось, бытто сказано—пересадить бабу въ острогъ. Услыхала я это, къ частному смотрителю; начала его упрашивать, ноги цѣлую:—«Чѣмъ я виновата? за что столько время въ тюрьмѣ неповинно сажу? Если-бы мнѣ Грузинскую полковницу сыскать...»

— «Какую?» «Анну Митровну». — «Ты ее знаешь?» — «Какъ не знать!» и все рассказала.—«Ахъ, го-ворить, ты дура-дура! зачѣмъ же ты прежде не ска-зала, я-бъ тебя пустилъ на свободу. Я самъ Грузин-скую полковницу знаю». Тутъ въ скорости меня и выпустили. Уходила я, смотритель говоритъ: — «Со-всѣмъ про тебя у меня изъ ума вонъ: дѣло твое пу-стое, забываешь иной разъ. Скажи ты мнѣ раньше, не сидѣла бы въ тюрьмѣ восемь мѣсяцевъ... Ну, съ Богомъ! Поминай раба Порфирья со чады (это его-то)». Ну, такъ я и пошла въ Соловки...

— Эка тебя тиранили-то! сказала чиновница.

— Да, милые, было. Всякій надругается, вся-кій норовитъ какъ хуже для тебя сдѣлать. Право слово! Пакостятъ ни за что. Онова иду, вижу ѣдетъ верхомъ молодецъ какой-то... Въ полѣ дѣло было. Поравнялся со мной, говорить кротко таково:— «Подойдите, говорить, старушка праведная!»—Я подошла. Какъ онъ меня плетью вдоль всей спины. — «Поминай Петра!» И ускоркалъ. А я лежу на земѣ, охаю...

Гавриловна нѣсколько времени помолчала и по-томъ сказала:

— Ну, пора спать вамъ. Пойти и себѣ вздох-нуть!

— Посиди пока!

— Нѣтъ, пойду! Надо идти! Завтра рано вста-вать нужно.

Въ это время въ сѣняхъ что-то стукнулось или упало.

— Что такое? сказала испуганно чиновница. — Марья! Посмотри-ка! Господи Иисусе Христе!

Марья вышла въ сѣни, а потомъ изъ-за запер-той двери слышно было, какъ она сердито говорила:

— Полношники! Что это такое? Удивительно, какъ это въ васъ никакого стыда нѣту... Право! до-бавила нянька, входя въ горницу и притворяя дверь.

— Что такое?

— Да это наши любезные. Аксютка съ кучеромъ игры подыали. Она на него ушатъ воды вылила, а онъ ее водоносомъ...

— Ишь, каторжные! На морозѣ разгулялись, ядовито сказала Гавриловна.

— Прижалъ ее къ двери, кажется, ужъ не дох-нуть, а все грохочетъ!

Въ это время въ дверяхъ показалась фигура чи-новника въ халатѣ, шерстяныхъ носкахъ и съ взлох-маченной головой.

— Что-жъ чайку-то? сонно сказалъ онъ женѣ, почесывая въ затылкѣ.

— Слава Богу, въ двѣнадцатомъ часу-то? По-жара надѣлать?..

— Полчасечки!

— Гдѣ я тебѣ возьму? Самоваръ кипѣлъ, ки-пѣлъ, двадцать разъ будила, какъ бревно безсловес-ное! Нѣту чаю!.. вставай раньше!

— Ну, я водочки, да того... Постель надо пере-стлать...

— Опять спать?

— Что-жъ дѣлать-то?

Жена не возражала; она и сама понимала, что дѣлать дѣйствительно нечего.

Через десять минут чиновник снова храпѣлъ.

— Подвинься, говорила жена, влѣзая на кровать.—Что это поперекъ кровати легъ; какъ повалился, такъ и заснулъ. Подвигайся!

Но чиновникъ уже безмолвствовалъ.

У. Задача.

(изъ чиновничьяго быта.)

Чиновникъ Кыскинъ только-что воротился съ кладбища, гдѣ похоронилъ своего двухнедѣльнаго ребенка. Онъ въ задумчивости ходилъ по темной комнатѣ, носившей неподходящее названіе зала, и, раздумывая о разныхъ разностяхъ, по временамъ подходилъ къ окну, чтобы отереть слезу, такъ какъ о смерти ребенка ежминутно напоминалъ запахъ ладона, оставшійся еще въ комнатѣ. Темный и зимній вечеръ, или этотъ запахъ ладона, или наконецъ грустное настроеніе, слѣдствіе похоронной церемоніи, взволновало его, только Кыскинъ раздумался о своей прошлой жизни: то вспоминалъ онъ сладкую минуту полученія перваго чина, то не менѣе сладкую минуту женитьбы, и затѣмъ эти отрадныя минуты сразу замирали въ воспоминаніяхъ о тяжелыхъ годахъ нужды и заботы. Главнымъ образомъ душу его возмущала невозможность увеличить собственное семейство; крошечное жалованье, множество тратъ на семью, уже существующую въ громадныхъ размѣрахъ, ясно доказывали ему, что дальнѣйшее приращеніе семейства невозможно, иначе непроглядная нищета грозитъ и ему, и женѣ, и его дѣтямъ. Все это весьма убивало Кыскина: онъ былъ еще молодъ, любилъ жену и семью, и вотъ теперь долженъ отказывать самымъ отраднымъ и единственно независимымъ отъ служебныхъ обязанностей движеніямъ собственного сердца. Такія мысли уже давно залетали къ нему въ голову; нѣсколько лѣтъ тому назадъ онъ уже началъ поговаривать на крестинахъ того или другого изъ своихъ дѣтей, что «это ужъ послѣдній!» Но гости подмаргивали ему однимъ глазкомъ и весьма сомнѣвались въ этомъ. Кыскинъ дѣлалъ новыя увѣренія, давалъ новыя зачатія и зарокъ, а черезъ годъ снова шлепал отыскивать кума и куму. Сегодняшнія похороны и особенно настоятельные зарокъ, данныя имъ на крестинахъ третьяго дня, сидѣли въ Кыскинѣ особенно упорно.

— Будетъ! Довольно! Слава Богу, доволенъ!— говорилъ онъ, ходя по залу и отирая новую слезу. Брѣки ребятамъ, бушевавшимъ въ отдаленной комнатѣ, драки, происходившія между ними, и дерки, отпускаемыя имъ въ школахъ, гдѣ они оказывали несмысленныя малые успѣхи, укрѣпляли еще болѣе убѣжденіе Кыскина въ невозможности «продолжать далѣе». Этому кромѣ того способствовала и самая смерть новорожденного ребенка: какъ ни жалѣлъ отецъ, но, подумавъ, нашелъ, что въ смерти этой виденъ промыселъ Божій: самъ Богъ подумалъ о немъ и прибралъ новорожденного, видя, что ему въ будущемъ грозитъ нищета.

— Нѣтъ, довольно! вслухъ произнесъ Кыскинъ и старался утѣшить себя тѣмъ, что и лѣта его не позволяютъ далѣе продолжать супружескихъ обязанностей.—Надо теперь, думалъ онъ,—молиться поболѣе Богу и просить Его помощи, такъ какъ дѣйствительно только на Него у бѣднаго чиновника и оставалась надежда. Съ этою цѣлью, сегодняшній день онъ всунулъ въ могилу сына счетъ расходовъ на погребеніе, твердо вѣря, что двѣнадцать цѣлювыхъ, истраченныхъ имъ по этому предмету и составляющихъ двѣ трети мѣсячнаго жалованья, обратятъ вниманіе неба на его усердіе и любовь къ дѣтямъ, для которыхъ онъ ничего не жалѣетъ. Кромѣ того и непорочная душа умершаго младенца помолится за него, Кыскина, и за его жену, и...

— Авось, какъ нибудь! заключилъ чиновникъ и, вздохнувъ, вышелъ въ другую комнату, гдѣ сидѣла жена.

— Ты что это тамъ говорилъ? сказала ему жена и улыбнулась.—Ходить одинъ да бурчить себѣ подъ носъ что-то.

— Такъ! отвѣтилъ онъ, потирая бороду.

Улыбка жены произвела на него странное дѣйствіе; въ хлопотахъ о хозяйствѣ, среди постоянныхъ заботъ и нуждъ, ему рѣдко приходилось встрѣчать ее на лицѣ жены, и поэтому теперь сердце его сжалось, такъ какъ теперь улыбка эта ужъ не должна была его радовать. Кромѣ улыбки, его испугало еще другое обстоятельство: въ этотъ вечеръ жена его была очень не дурна; послѣ болѣзни она похуѣла и сдѣлалась лучше; на ней было все чистенькое, опрятное и, въ довершеніе всего, по плечамъ рассыпалась еще густая коса, которой завидовали многія чиновническія жены; кромѣ того жена Кыскина была еще очень мило, ей было не болѣе двадцати шести лѣтъ. Все это, при другой обстановкѣ, въ другомъ быту, никого не могло бы и не должно бы испугать, а вотъ Кыскинъ испугался!..

Онъ сдѣлалъ надъ собой страшное усиліе и проговорилъ:

— Знаешь что, Мама? Я теперь такъ думаю: довольны мы съ тобой... отъ Бога!..

Кыскинъ смѣшался, сталъ потирать платкомъ носъ, но не могъ не замѣтить, что спутанная рѣчь его была понята женой: она покраснѣла и, расчесывая косу, повернула лицо къ окну; она думала о томъ же, о чемъ и мужъ, и пришла къ тѣмъ же убѣжденіямъ.

— Да! продолжалъ Кыскинъ,—слава Богу!.. Какъ ты думаешь?

— Такъ и думаю! проговорила жена.

— Именно!.. И надо просить Бога, чтобы Онъ намъ помогъ... Другое дѣло, ежели дадутъ прибавку! Ну, тогда... Но при нашемъ обремененіи...

Оба супруга вздохнули!..

— Что дѣлать! проговорилъ мужъ.—Да кромѣ того надобно намъ и о душѣ подумать хоть бездѣлицу...

— Разумѣется! добавила жена.

— Во-отъ!.. Вотъ это такъ! Надобно намъ вспомнить и душу нашу... Не все же земное и преходящее... Да къ тому же, другъ мой, въ писаніи

но: «Пецытеса убо о душѣ»... Слѣдовательно...
у въ залѣ спать, а ты здѣсь...

— Я здѣсь...

— А я въ залѣ...

Жена помолчала и потомъ произнесла:

— Гораздо лучше!

Онъ отвѣтъ на это мужъ вздохнулъ. Чтобы какъ-
бы заглушить непріятное состояніе духа, Кы-
скинъ рѣшился повернуть разговоръ въ другую
сторону и сначала спросилъ: «который-то теперь
и узнавъ, что въ острогѣ пробыло давно де-
часовъ, сдѣлалъ другой вопросъ: «не пора ли
нибудь закусить?» Затѣмъ послѣдовалъ молча-
і ужинъ, перерываемый напряженными раз-
ами о разныхъ разностяхъ, преимущественно
начальникахъ и сослуживцахъ. Разговоры эти
тельно не клеились: мужъ и жена думали о
мъ и были скучны. Кыскинъ выпилъ нѣсколь-
юмокъ водки, но и это не развеселило его: на-
въ, онъ вдыхалъ все чаще и глубже, и если
сдѣлалъ что-нибудь, то развѣ заставилъ Кы-
говорить громче и громче. Послѣ ужина яви-
кухарка и принялась перестилать постель. Это
тельство снова сильнѣе прочихъ обстоя-
гвѣ подобнаго рода встревожило Кыскина:
какъ кухарка вскидывала и взбивала по-
я, онъ содрогался при мысли, что лишенъ уже
жности разговаривать съ женой о снахъ и
іяхъ, неожиданно встревоживавшихъ кого-
изъ супруговъ по ночамъ и заставлявшихъ,
ежное время, обсудить это дѣло сообща; кромѣ
самыхъ невинныхъ мелочей супружеской жизни
припомнились ему и заставили затосковать;
искинъ перемогся еще разъ и сказалъ кухаркѣ:
— Ты, Акулина, постели мнѣ постель въ залѣ,
ванѣ...

кулина, накрывавшая перину одѣяломъ, въ
леніи повернула голову къ чиновнику и при-
но посмотрѣла и на него, и на чиновницу.

— Да! продолжалъ чиновникъ, опустивъ отъ
енія лицо внизъ;—да, Акулинушка, въ залѣ...
дѣлать!.. Слава Богу!.. Надо подумать и о
...

ти три фразы, произнесенныя безо всякаго
ка, еще болѣе придали Акулинѣ любопытства.

— А сама-то? спросила она въ изумленіи.

— Другъ мой! сказалъ охмелѣвшій чиновникъ.
а будетъ здѣсь! Ты ничего, ровно ничего не
аешь!

утъ Кыскинъ остановился и, сообразивъ всю
анность своего положенія, вдругъ произнесъ:

— Когда тебѣ говорятъ: стели въ залѣ, слѣдо-
бно барыню ты не безпокой. Понимаешь?

кулина замолчала и стала дѣлать то, что ей
зывали. Но и она вздохнула.

аконецъ въ залѣ на диванѣ была готова по-
. Но Кыскинъ почему-то медлилъ идти туда.
присѣлъ на сундукъ и вяло проговорилъ, об-
аясь къ женѣ:

— Такъ-то, Маша!.. Ну-ну, что дѣлать! Видно,
указуетъ намъ окончаніе!

когда жена, рѣшившаяся сразу переимѣнить

образъ жизни, сказала ему весьма рѣшительно:
«пора спать!» — Кыскинъ предложилъ ей поцѣло-
ваться, говоря: «Въ послѣдній разъ!.. вѣдь пойми!»
Когда же супруга поцѣловала его, Кыскинъ долго
еще не могъ оставить ее, потому что плакалъ и вы-
тиралъ слезы. Плакала также и жена.

— Ну, ступай, ступай! проговорила она на-
конецъ, поспѣшно отирая слезы.

— Маша! произнесъ супругъ.

— Пора! Дѣвнадцатый часъ!.. Ступай! будетъ!

Наконецъ Кыскинъ долженъ былъ отправиться
на новоселье. Но и тутъ онъ не утерпѣлъ и оста-
новился въ дверяхъ.

— Какъ ты думаешь, сказалъ онъ,—затворять
двери или такъ оставить—открытыми?

Рѣшено было оставить «такъ».

Затѣмъ снова было предложено: не лучше ли
будетъ, если диванъ поставить противъ дверей,
такъ чтобы не было скучно и при случаѣ можно
было сказать слово?

Рѣшено было диванъ передвинуть по желанію
Кыскина. Наконецъ кое-какъ все уладилось.

Нѣсколько минутъ продолжалось самое упорное
молчаніе. Оба супруга, чувствуя себя въ новомъ
положеніи, не могли скоро уснуть; но, чтобы не по-
дать другъ другу подозрѣнія въ неудобствѣ новыхъ
помѣщеній, старались притвориться спящими и оба
молчали.

— Маша! робко проговорилъ наконецъ мужъ.

— Гм?

— Ты спишь?

— Нѣтъ... не спится что-то...

— И мнѣ, братъ, что-то не спится...

— Новое мѣсто!

— То-то я думаю... Не отъ новаго ли въ са-
момъ дѣлѣ это мѣста?

— Отъ новаго. Спи!

Снова настало молчаніе. На этотъ разъ оно
продолжалось дольше прежняго, потому что въ го-
ловѣ Кыскина мелькнула такая мысль: «Ну, а что
если дадутъ прибавку?» И поэтому онъ долго ду-
малъ о разныхъ разностяхъ до тѣхъ поръ, пока въ
спальнѣ жены не раздался шопотъ:

— Иванъ Абрамычъ!

— Я, матушка?

— Спишь?

— Нѣтъ, что-то, милая ты моя, не спится... Я
такъ полагаю: не отъ новаго ли это мѣста?

— Это отъ новаго. Съ непривычки!

— Должно быть, другъ мой, что съ непривы-
чки...

— Который-то теперь часъ?

— Часъ-то? Да пожалуй часъ первый...

— Какая позднота! Пора спать. Спи! Пора!

Иванъ Абрамычъ вздохнулъ, и молчаніе водво-
рилось еще болѣе продолжительное. Онъ чувалъ, что
и жену его мучить та-же тоска, какую испытывалъ
и онъ. «Господи! думалъ Кыскинъ,—ну не чудно ли?
Что теперь-ка я такое?.. Умеръ! совсѣмъ умеръ!..
Н-но...» вдругъ мелькнуло у него въ головѣ.—
«Ну, а ежели Господь пошлетъ прибавку?» Тутъ
ему представилась картина, происходящая въ его

семействъ по полученіи прибавки; въ этой картинѣ онъ прежде всего увидѣлъ, какъ всѣ радуются. Рѣшительно всѣ: отъ двухъ-лѣтняго ребенка до кухарки Акулины: всѣ счастливы, всѣ довольны... «А Богъ-то?» вдругъ проговорилъ Кыскинъ.

— Чего ты? послышалось изъ спальни.

— Нѣтъ, это я такъ!.. Что-то не спится!

— Спи! спи! ворочаясь, говорила жена.

— Право, что-то все того... поворачиваясь лицомъ къ спинѣ дивана, бормоталъ мужъ.—Блохи не блохи, а такъ что-то...

— Спи! тамъ блохъ нѣтъ ни одной.

— Да то-то я думаю: откуда блохамъ быть! Такъ что-то.

— Никакихъ блохъ нѣту, а это отъ новаго мѣста.

— Должно-быть, что отъ новаго мѣста. Какъ-то такъ все...

— Спи!

Жена замолчала, а въ головѣ Кыскина снова явился вопросъ: «А Богъ-то?» И вслѣдъ за этимъ мысль его въ одно мгновеніе перелетѣла чрезъ множество всевозможныхъ затрудненій, тяготѣвшихъ на его семейной жизни и за нѣсколько минутъ передъ этимъ сознанныхъ вполне, непреложныхъ и очевидныхъ для всякаго. Что-то упорно побуждало его ни подъ какимъ видомъ не разрушать сложившуюся картину семейной жизни, влагало въ него какую-то невѣроятную рѣшимость отказаться отъ куска хлѣба для того, чтобы удержать за собою единственную сердечную привязанность вполне, безъ ограниченій; и тутъ же мелькала передъ нимъ картина безотраднaго существованія, если онъ переломитъ себя и захочетъ «подумать о душѣ»... «Господи! шепталъ онъ,—Маша!..»

— Маша, ты спишь? произнесъ онъ вдругъ громко.

Но жена не отвѣчала.

— Спать! подумалъ онъ.

А она долго еще не спала, долго еще думала, крѣпко прижавшись къ подушкѣ, то же самое, что и мужъ ея: но она явнѣе его смотрѣла на вещи и тверже рѣшилась заглушить въ себѣ всякую мысль, какъ только мысль эта наталкивала ее на вопросъ: «А Богъ-то?» Поэтому-то она и не отвѣчала мужу, когда тотъ называлъ ее. Притворяясь спящей, она слышала, какъ Иванъ Абрамовичъ ворочался на диванѣ, охалъ, шепталъ: «Господи! Господи!»

— Спишь? опять послышалось изъ зала.

Она поспѣшно закуталась въ одѣяло съ головой и не отвѣчала. Раскрывъ глаза подъ одѣяломъ, она упорно старалась не думать ни о чемъ. Какъ бы рада она была, если бы голова ея превратилась въ камень! Долго продолжалось это напряженное состояніе, наконецъ глаза ея начали слипаться, сонъ все больше и больше охватывалъ ее и вдругъ...

— Кто это? въ испугѣ вскрикнула она.

— Тамъ въ окошко дуетъ... всю спину простудилъ... озябъ! бормоталъ Иванъ Абрамычъ, держа въ рукахъ подушку...

Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ Иванъ Абрамычъ

сидѣлъ за ужиномъ и думалъ—кого бы пригласить въ кумывъ? Физиономія его и жены были убиты и сердца растерзаны: диванъ давно уже стоялъ на старомъ мѣстѣ, а прибавки по-прежнему не дали...

По окончаніи ужина, Иванъ Абрамычъ задохнулся и сказалъ:

— Теперь, Маша, ужъ дѣйствительно надобно подумать намъ! Довольно! какъ ты думаешь?..

Жена молчала.

VI. Парамонъ юродивый *).

(изъ дѣтскихъ лѣтъ одного «пропащаго».)

I.

... Юродивый Парамонъ былъ самый настоящій крестьянскій, мужицкій святой человѣкъ. Происходилъ онъ изъ мужиковъ, былъ женатъ; но, повинувшись гласу и видѣнію, оставилъ домъ, жену, двухъ дѣтей и ушелъ спасать свою душу... Душу онъ спасалъ также русскимъ крестьянскимъ способомъ, т. е. самымъ подлиннымъ умерщвленіемъ плоти, основаннымъ на физическомъ мученіи и даже самоистязаніи: на головѣ онъ носилъ чугунную, около полу-пуда вѣсомъ, шапку, обшитую чернымъ сукномъ, въ рукѣ таскалъ чугунную полутора-пудовую палку, а на тѣлѣ носилъ вериги. Вериги состояли изъ цѣпей, кольца которыхъ были величиной и толщиной въ обыкновенную баранку; цѣпи эти опоясывали его станъ, крестъ-на-крестъ пересѣкали грудь и спину; на спинѣ, тамъ, гдѣ цѣпи перекрещивались, была прицѣплена къ нимъ, лежащая на голомъ тѣлѣ, чугунная доска, въ квадратную четверть величиной, съ вылитой на ней надписью: «азъ язвы Господа моего ношу на тѣлѣ моемъ». И дѣйствительно онъ носилъ на тѣлѣ настоящія, подлинныя и притомъ ужасныя язвы. Вериги были закованы на немъ наглухо, на вѣки вѣковъ, а онъ, надѣвший ихъ въ молодыхъ лѣтахъ, росъ, кости его раздавались и желѣзо вѣдалось въ его тѣло; ржавчина и потъ разъѣдали кожу до степени настоящихъ язвъ, а въ жару, напр. въ банѣ, которую онъ «по грѣхамъ» очень и очень любилъ, раскаленное желѣзо такъ пекло эти язвы, что изъ нихъ лила самая настоящая кровь. Не довольствуясь этими мученіями, заставлявшими его поминутно, при самомъ малѣйшемъ движеніи, испытывать ощущенія уколовъ шила или иглы, онъ еще любилъ жечь на огнѣ, на свѣчкѣ пальцы свои, ставить подошву на уголь, не говоря уже о томъ, что лѣтомъ ноги его постоянно были изодраны острыми камнями мостовой, а зимой кожа на нихъ лопалась до крови отъ морозовъ...

Онъ такъ глубоко вѣрилъ въ будущее блаженство, такъ глубоко былъ проникнутъ сознаніемъ

* Настоящій рассказъ написанъ гораздо позже «Растеряевой улицы». Я помѣщаю его однако въ концѣ этихъ раннихъ очерковъ потому, что въ немъ я попыталъ изобразить самыя существенныя свойства «растеряевщины», съ которыми она и вслѣдила «въ новую жпань» («Разоренье»).

того, что выше этой «вѣчной славы» ничего нѣтъ ни въ жизни человѣка, ни на землѣ, ни подъ землей, что всякій разъ, когда его мучила боль отъ веригъ или боль отъ лопнувшего на огнѣ свѣчки пальца, онъ хотя и не въ силахъ былъ удержатъ крупныхъ капель пота, выступавшихъ въ это время на его лицѣ, но былъ истинно счастливъ, и его обыкновенное, рабое, съ веснушками, мужичье лицо и его обыкновенные, маленькіе бѣлые мужичьи глаза дѣлались истинно прекрасными, до того прекрасными, ангельскими, что всѣ, какія бы то ни были при этомъ, черствыя, сухія, охолодѣлыя души,—всѣ чувствовали, хоть на мгновеніе, пробужденіе чего-то дѣтски-радостнаго, чего-то легкаго, свѣтлаго и безконечнаго.

Проживи я еще не пятьдесятъ, а сто пятьдесятъ лѣтъ, я и тогда, кажется, не забуду этой фигуры; она припоминается мнѣ всякій разъ, когда жизнь, давъ хорошій урокъ, заставляетъ задуматься хотя бы о томъ, отчего въ тебѣ нѣтъ того-то и того-то, отчего ты не запасаешься тѣмъ-то и тѣмъ-то, и принудить искать причинъ этихъ недостатковъ въ обстановкѣ и условіяхъ ранняго дѣтства... Корявый, необразованный, невѣжественный Парамонъ, съ своей странной теоріей спасенія посредствомъ физическихъ страданій, этотъ простякъ святой въ такія минуты припоминается мнѣ, какъ одно (боюсь сказать единственное) изъ самыхъ свѣтлыхъ явленій, самыхъ дорогихъ воспоминаній.

Оставшись рано круглымъ сиротой, я съ шести лѣтъ жилъ у дяди, брата моего отца, человѣка семейнаго, служившаго въ одномъ изъ губернскихъ присутственныхъ мѣстъ... Часто я, будучи большимъ, негодовалъ на воспитаніе, на заботность, неразвитость этихъ воспитавшихъ меня людей; но, дѣлаясь старикомъ и ознакомясь съ жизнью больше, чѣмъ я былъ знакомъ съ нею въ двадцать лѣтъ, я ужъ не сержусь на нихъ. Дѣтство мое прошло въ концѣ тридцатыхъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ, а эти годы для «обыкновенной» русской толпы были самымъ глухимъ, самымъ мертвымъ временемъ. Все, что родилось и провело въ эти годы свое дѣтство, все это, какъ бы ни былъ ребенокъ даровитъ отъ природы, было близко къ потерѣ сознанія человѣческаго достоинства, съ дѣтства переполнялось всѣми сортами трусости, пріучалось боязливо мыслить, чувствовать и вовсе отвыкало отъ аппетита какъ-нибудь поступать, какъ-нибудь дѣйствовать... Не шевелиться, хоть и мечтать; не показывать виду, что думаешь; не показывать виду, что не боишься, показывать, напротивъ,— что «боишься», трепещешь,— тогда какъ для этого и основаній-то никакихъ нѣтъ: — вотъ что выработали эти годы въ русской толпѣ. Надо постоянно бояться — это корень жизненной правды; все остальное можетъ быть, но можетъ и не быть, да и не нужно всего этого остальнаго, еще наживешь хлопотъ: — вотъ что носилось тогда въ воздухѣ, угнетало толпу, отшибало у нея умъ и охоту думать.

Семья, въ которой я росъ, была именно такая семья; семья угнетенная носившимися въ воздухѣ молотомъ: «еще наживешь хлопотъ!» Вѣчно, без-

прерывное безмолвство о «виновности» самаго существованія на свѣтѣ пропитало всѣ взаимныя отношенія, всѣ общественныя связи, всѣ мысли, всѣ дни и ночи, мѣсяцы и годы, начинаясь минутой пробужденія, переходя черезъ весь день и не покидая ночью... Какъ будто кто-то предсказалъ всѣмъ членамъ этой семьи (а такихъ семей было много,—если не вся тогдашняя русская толпа), что въ концѣ-концовъ ей предстоитъ гибель, и какъ будто камень этого сознанія лежалъ у всѣхъ на душѣ. Съ этимъ камнемъ молились Богу, привозя въ домъ чудотворную икону, съ этимъ камнемъ родили дѣтей и хоронили ихъ. Съ этимъ камнемъ шли на службу, принимали гостей, шли сами въ гости. Увѣренности, что человѣкъ имѣетъ право жить, не было ни у кого: напротивъ—именно эта-то увѣренность и была умерщвлена въ толпѣ. Всѣ простые, обыкновенные люди не жили — «мыкались» или просто «кормилась», но не жили. Какъ только начинаю себя помнить, чувство какой-то виновности, какого-то тяжелаго преступленія уже тяготѣло надо мной. Такъ дѣйствовала на меня эта унылая, мертвая атмосфера, созданная людьми, искони потерявшими смыслъ и аппетитъ «жизни», что я еще семи или восьми лѣтъ уже чувствовалъ тотъ самый камень на сердцѣ, какой чувствовали всѣ мои родственники, всѣ мои сверстники.

Въ церкви я былъ виноватъ передъ всѣми этими угодинками, образами, паникадилами. Въ школѣ я былъ виноватъ передъ всѣми, начиная со сторожа—куда!—съ вѣшалки, на которой вѣшалъ свою шинель; на улицѣ каждая собака (мнѣ казалось такъ!) только и ждала моего появленія, чтобъ меня если не совсѣмъ съѣсть, то ужъ непременно укусить. Мальчишки, пускавшіе змѣи, казались мнѣ отверженными Богомъ, одержимыми злымъ духомъ, порожденіемъ дьявола—такъ казался громадна ихъ дерзость: какъ не бояться будочника, который только и смотритъ, чтобы схватить тебя и утащить неизвестно куда!.. Словомъ, атмосфера, въ которой я росъ, была полна страховъ, была полна впечатлѣніями непріятныхъ, непривѣтливыхъ лицъ, непріятныхъ, непривѣтливыхъ отношеній, угрозъ безпрестанныхъ, непрерывныхъ, невѣдомо откуда и какъ, но во множествѣ являющихся огорченій.

Все, что я ни видѣлъ вокругъ себя, все какъ бы отказалось отъ самаго себя и только заботилось о томъ, чтобы не погибнуть, точно было ввержено въ какую-то пропасть... «Пропадешь!» носилось надо всѣми мнѣ близкими: «пропадешь, если поспѣешь чего-нибудь захотѣть самъ, если самъ что-нибудь позволишь себѣ...» — «Хватай невѣсту-то, покуда можно... а то пропадешь!» И человѣкъ хваталъ урода, отъ котораго спивался.. «Хватай мѣсто... останешься безъ мѣста, пропадешь!» и художникъ, талантливый человѣкъ, «хваталъ» мѣсто попа, почтальона—и спивался... Ни одной свѣтлой точки не было на горизонтѣ. «Пропадешь!» кричали небо и земля, воздухъ и вода, люди и звѣри... И все ежилось и бѣжало отъ бѣды въ первую попавшуюся нору.

Подъ гнетомъ сознанія необходимости *про-*

насть, осѣнявшимъ колыбели моихъ сверстниковъ и мою, мы и влачили существованіе изо-дня въ день многіе годы. Холодно было въ прожитомъ, а впереди чувалось еще холодѣй, еще непривѣтливѣй, потому что съ каждымъ годомъ приближалась та минута, въ которую предстояло наконецъ-таки окончательно пропасть.

И вдругъ является Парамонъ...

II.

Помню потрясающее впечатлѣніе, которое произвело на весь нашъ домъ первое его появленіе. Онъ вошелъ въ калитку сада, выходящую въ глухой переулокъ. Первый замѣтилъ эту фигуру я, и, подъ ужаснымъ впечатлѣніемъ его шапки, отъ тяжести надвигавшейся на глаза и задерживаемой только носомъ, бросился, не помня себя, въ домъ... Дѣло было лѣтомъ, всѣ двери стояли открытыми; я бѣжалъ, не останавливаясь, черезъ дворъ, черезъ сѣни, черезъ всѣ двери, какія только ни попадались мнѣ на пути, и, должно быть, въ попыткахъ пробормоталъ что-нибудь кому-нибудь о необыкновенномъ явленіи, потому что, очнувшись и отдышавшись, я нашелъ весь домъ пустымъ: всѣ выбѣжали на дворъ.

Успокоившись, вышелъ и я... Кучеръ, кухарка, горничная, няньки, дѣти, солдаты, стоявшіе постоемъ, мой дядя, тетка, гости, которые были у насъ въ это время,—все это въ глубокомъ молчаніи и съ замираніемъ сердца стояло около воротъ сада и смотрѣло на Парамона...

Онъ шелъ медленно по средней большой дорожкѣ. Голова въ тяжелой шапкѣ свѣсилась къ груди и качалась какъ бы въ забытіи; каждый шагъ босыми ногами задерживался тяжелой палкой, которую переставлявать надо было съ большими усиліями. Тяжело «тукала» она въ землю, и этотъ короткій тупой звукъ больно отдавался въ больномъ сердцѣ каждаго зрителя. Что-то необыкновенное,—не то погибель, не то милость, не то само будущее,—шло къ намъ, и мы могли только замирать и трепетать, и всѣ до одного были убѣждены, что это «свѣтой человѣкъ».

Оцѣпенѣніе и страхъ продолжались не долго. Не доходя нѣсколькихъ шаговъ до воротъ сада и до толпы, Парамонъ остановился и вздохнулъ: всѣ поняли, что онъ очень усталъ, и бросились тащить его лавку, кто стулъ, и въ это время страхъ исчезъ, замѣнившись благоговѣніемъ. Скоро всѣ разглядѣли вериги, разглядѣли шапку и палку, сразу поняли, что человѣкъ свѣтъ, великъ, необыкновененъ, и сразу почувствовали радость чего-то нового, незлого, свѣтлаго и высокаго! Нѣчто *совсѣмъ постороннее*, чуждое нашему несчастному, холодному, боязливому влаченію жизни, пришло къ намъ, охватило насъ, оторвало наши мысли отъ земли, по которой мы ползали ползкомъ, подняло нашу уныло-согнувшуюся голову къ небу и звѣздамъ, внезапно вошло въ сердце, заставило его сильнѣе биться, заставило грудь вбирать больше воздуха.

Молча сидѣлъ Парамонъ на стулѣ и тяжело

дышалъ. Мы всѣ также молчали и жадно вбирали своими завядшими сердцами новое ощущеніе, ощущеніе чего-то посторонняго землѣ и несомнѣнно великаго. Тяжело вздохнувъ и ежась отъ боли ранъ, Парамонъ повидимому съ большимъ трудомъ снялъ тяжелую шапку и надѣлъ ее на кучера, который стоялъ къ нему ближе всѣхъ. Шапка хватила кучеру до самой бороды, но онъ не посмѣлъ шевельнуться и стоялъ какъ столбъ; руки его дрожали. Парамонъ долго продержалъ его въ такомъ положеніи, шепча какія-то слова. Надо сказать правду: плоха была фантазія у этого вѣрнаго послушника «гласа» и «видѣнія». Было у него выдуманно или измышлено нѣсколько фразъ, двѣ либо три—не больше,—фразъ, которыя по всей вѣроятности должны бы были выражать какую-нибудь мысль, но, по безграмотству мужика-подвижника, не означали ничего, кромѣ чепухи. Не больше умѣнія выказалъ онъ и въ другихъ пріемахъ вліянія на толпу. Другой, ловкій, умный и хитрый святоша и вериги бы сдѣлалъ ременные, а не желѣзные, и жилъ бы припѣваючи, пуская въ ходъ какія-нибудь уловки, но Парамонъ былъ простой человѣкъ, мужикъ, человѣкъ крайне недалекій, неграмотный и не выдумавъ ничего доходнаго и легкаго. Вериги носилъ онъ настоящія, носилъ настоящія язвы и пальцы жегъ тоже настоящимъ манеромъ, жегъ такъ, что кожа и ногти трескались на огнѣ, да кромѣ того обѣщавъ еще загнать подъ кожу гвозди желѣзные, и я увѣренъ, что со временемъ онъ навѣрное сдѣлалъ и это. Несмотря однако на отсутствіе умѣнія обморочить, а можетъ быть именно вслѣдствіе этого неумѣнія, впечатлѣніе, произведенное имъ, его бормотаньемъ безсвязныхъ словъ, его шапкой, палкой, веригами,—было громадно: онъ былъ совсѣмъ посторонній намъ, онъ не зналъ ничего нашего, не думалъ ни о чемъ, о чемъ думаемъ мы, шелъ по дорогѣ въ небо, тогда какъ мы ползли къ какой-то темной «земной» ямѣ:—вотъ были достоинства Парамона, и, разъ оторвавшись отъ этого вѣчнаго ползанья, разъ, благодаря ему, пустивъ въ свое сердце что-то съ неба, что-то свѣтлое, широкое, великое, мы всѣ до одного, изъ жившихъ въ семьѣ, уже не могли разстаться съ нимъ.

III.

Съ перваго же дня Парамонъ, его вериги, его язвы, его безсмысленныя фразы сдѣлались необходимыми для всего дома; всякому непремѣнно надо было слышать эти слова, необходимо было видѣть эту шапку, эту палку, чтобы возобновлять въ душѣ ощущеніе «посторонняго» нашему жалкому, тяжкому, будничному влаченію жизни. Мы, дѣти, были конечно счастливы больше всѣхъ и больше всѣхъ ожили отъ появленія Парамона и его «постороннихъ» плановъ. Эти постороннія задачи и цѣли Парамона дали намъ возможность убѣдиться, что люди, которые насъ окружали, люди, среди которыхъ мы росли, отцы, матери, родственники,—что эти люди могутъ радовать насъ веселыми, иной разъ даже одушевленными лицами, думать и говорить не объ

одномъ только горѣ и несчастіи своего существованія на бѣломъ свѣтѣ. Мы неоднократно слышали, послѣ появленія Парамона, разговоры между нашими отцами и родственниками, не разговаривавшими никогда ни о чемъ, кромѣ бывшихъ и будущихъ «непріятностей», грозящихъ и намъ, и сосѣдямъ, грозящихъ сегодня и завтра, и черезъ часъ, и черезъ минуту. Теперь между этими людьми начали происходить разговоры, касавшіеся совершенно постороннихъ предметовъ и рѣшительно не имѣвшіе ни малѣйшей связи съ разговорами вышеупомянутого безнадѣжнаго свойства. Говорили, напримѣръ, о Богѣ, о томъ, что есть безбожники, о будущей жизни, о раѣ, адѣ, причѣмъ, на наше и всеобщее счастье, оказывалось, что великое множество народу, котораго мы и наши отцы дрожали, боялись, какъ огня, неминуемо должно попастьъ въ адъ, несмотря на тройные оклады получаемаго въ сей жизни жалованья и каменные дома. Оказывались вообще изъ этихъ, постороннихъ нашей несчастной жизни, разговоровъ вещи необыкновенныя, являвшіяся какъ-то внезапно, вытекавшія сами собой, неожиданно и негаданно. Иной разъ, заговоривъ, напримѣръ, о пути въ рай, наши робкіе, забытые, обезнадѣженные отцы, помимо собственной воли, которой къ тому же они рѣшительно ни въ чемъ, ни въ рѣчахъ, ни въ поступкахъ, ни даже въ мысляхъ никогда «не знали», — договаривались до такого простора, до такой широчайшей возможности дышать полной грудью, ходить распрямившись, что духъ захватывало у бѣдныхъ людей отъ необъятнаго, сильнаго ощущенія радости жизни, вдругъ неожиданно оказывавшейся совершенно возможной и сейчасъ, сію минуту всѣмъ доступной. А кто не знаетъ, какъ быстро и какъ сильно передается дѣтямъ самая ничтожная радость семьи? Три-четыре разговора, измѣнившія лица нашихъ отцовъ изъ несчастныхъ въ счастливыя, отдались въ нашихъ дѣтскихъ сердцахъ (уже засыхавшихъ, какъ увидитъ читатель, уже объѣденныхъ безнадѣжностью и огорченныхъ жизнью) безграничною радостью. Какъ Лазарь, жаждавшій капля воды, наша заморенная мысль тотчасъ, въ одно мгновеніе, пользуясь только этими тремя-четырьмя «посторонними» смерти и тоскѣ выраженіями лицъ, вся отдалась счастью знать, что есть это постороннее, огромное, безпредѣльное, веселое и радостное. Это сдѣлали два-три оживленныхъ мыслями лица только — такъ мы были рады и такъ жаждали освѣжающей капли!

Боже мой, сколько открылось новыхъ, небывалыхъ и немыслимыхъ до сихъ поръ перспективъ! Рай, адъ, правда, совѣсть, подвиги — все это цѣлымъ роємъ понятій новыхъ, небывалыхъ осаждало наши головы! Оказывалось, что есть что-то и выше, и лучше гимназій, инспектора; что есть какая-то правда, которая выше всѣхъ, выше всѣхъ пятерокъ и двоекъ; что есть какія-то наказанія и для инспекторовъ, наказанія почище сѣченія розгами, которыми несчастные эти инспектора обладаютъ въ совершенствѣ. «Пропадешь», «сгинешь» совершенно исчезли изъ нашихъ понятій. Парамонъ, думали мы, поровилъ же вонъ «прямо въ рай», въ вѣчную жизнь,

куда ужъ не пробраться никакимъ «хорошимъ ученикамъ», никакимъ сосѣдямъ-купцамъ, ни квартальнымъ, никому, кто былъ къ намъ близокъ и примѣръ которыхъ, какъ идеалъ живыхъ людей, угнеталъ насъ бѣдныхъ, забытыхъ. Безъ всякой боязни этихъ людей, безъ малѣйшаго уваженія къ ихъ благополучію и счастью, Парамонъ, вонъ, идетъ прямо къ Богу, въ «угодники». И до чего, съ высоты Парамоновой задачи, все это было ничтожно, глупо — передать нѣтъ возможности. То, чего мы вчера и боялись, и страшились, и чему завидовали, теперь, когда мы узнали, что есть нѣчто, всему этому постороннее, стало все ничтожно, мелко и даже «проклято». Что такое думаетъ о себѣ купецъ Маломальчиковъ, нашъ сосѣдъ? Что онъ богачъ-то? Что онъ съ полицмейстеромъ другъ и пріятель, и что послѣ него останется миллионъ? А что онъ скажетъ, когда черти явятся тащить его душу? Ангелъ никогда не придетъ къ миллионщику! И представлялось намъ, какъ толстую утробу Маломальчикова черти рвутъ желѣзными крючьями, и противна намъ была глупость, тупоуміе и, главное, робость чловѣка, который предпочиталъ аршинничать и угощать полицмейстера, словомъ — ползать какъ червь, виѣсто того чтобы находить счастье и удовольствіе, и блаженство въ «постороннемъ», виѣсто того чтобы думать о «пресвѣтломъ раѣ»... А въ раю-то! ангелы, свѣтъ, облака... и ничего этого нѣтъ!.. Стоить ли послѣ этого жить такъ, какъ всѣ эти грѣшники?

IV.

А грѣшниками намъ казались всѣ ужаснѣйшими: въѣдъ присутствіе Парамона держало насъ постоянно на недосыгаемой высотѣ надъ ними. Парамонъ поселился въ нашемъ саду въ бесѣдкѣ, и своимъ примѣромъ, своей спиной, обозначавшей кольца желѣзныхъ веригъ, своей шапкой, палкой, растрескавшейся кожей ногъ и рукъ, своей «посторонней» всему болтовней и поступками, *никакого* смысла неимѣющими (напримѣръ, оборветъ всѣ завязи съ дерева), держалъ насъ въ непрестанномъ сообщеніи съ инымъ міромъ, въ которомъ нѣтъ ни капли того, что есть въ этомъ, гдѣ живутъ Маломальчиковы, инспектора гимназій и учителя вѣмцеаго языка. Толчокъ былъ силенъ необыкновенно, и, благодаря ему, мы неожиданно стали на дорогѣ, по которой можно бы дойти до признанія правъ живого чловѣка на землѣ. Но къ Парамонову толчку не было прибавлено никѣмъ ничего другого, и мы, покоренные присутствіемъ Парамона, должны были сосредоточить всѣ наши представленія объ иной жизни только на жизни въ раю, какъ полагалъ и Парамонъ, считать обязанностью своею на землѣ презрѣніе къ себѣ и страданіе, а радость, счастье и веселіе жизни видѣть только въ мечтаніи. Мы поэтому морили себя голодомъ, представляли себя живущими на Афонской горѣ, насыпали гвоздей въ сапоги, и тотъ изъ насъ былъ молодецъ, у кого изъ подошвъ шла отъ этихъ гвоздей кровь. Бесѣдку Парамона мы всю увѣшали картинками, конечно лубочными, духовнаго содержанія: бѣсы, ангелы, скелеты, старцы-

мученики, виды мощей, монастырей, «единенныхъ мѣстъ», затворниковъ, пещеръ, и пр. и пр., — все это мы, наперерывъ другъ передъ другомъ, несли къ нему въ бесѣдку и наклеивали на стѣны. На потолка были ангелы, глазъ Божій, и, увѣряю васъ, этотъ глазъ былъ для насъ живымъ, настоящимъ Божиимъ глазомъ, который рѣшительно все видитъ, все—домашнѣйшихъ душевныхъ движеній. Подъѣзжѣмъ внимательнымъ и чистымъ взоромъ мы не смѣли сказать слово неправды, не смѣли допустить въ душу ни одного дурного побужденія. Всевидящее око глядѣло на насъ, только глядѣло, а у насъ пробуждались понятія правды, искренности, простоты, доброты, пробуждалось все живое, все нужное человеку, чего, увы! ни единой капли не давали трудныя, безнадежныя условія дѣйствительной жизни.

Парамонъ своей дѣтскою радостью этимъ картинкамъ, радостью вполнѣ безхитростною, возбуждалъ нашу восторженность неослабно. Онъ былъ неграмотенъ и ничего не зналъ, кромѣ того что мученики мучаютъ себя, и поэтому бывалъ несказанно радъ, когда мы, грамотные, знакомили его по глубочнымъ картинкамъ съ подлиннымъ изложеніемъ подвиговъ разныхъ великихъ угодниковъ. Онъ узналъ житія святыхъ, акаѣисты, и очень удивлялся, что все это продается и можно купить. Онъ думалъ, что все это можно узнать гдѣ-то за пятьсотъ тысячъ верстъ, на необитаемомъ островѣ, у какихъ-то подземныхъ старцевъ, которые во сто лѣтъ сѣдятъ одинъ грибъ. Онъ полагалъ, что надо куда-то идти дальше Иерусалима, что надо «сподобиться» сѣдять надъ собой невозможныя истязанія, чтобы узнать не все—куда!—а чуть-чуть. Необычайно онъ былъ радъ, когда узналъ, что все это можно было разузнать тутъ же, въ бесѣдѣ, хотя упорно продолжалъ думать, что «самое настоящее» еще не тутъ, и что надо за нимъ идти пять тысячъ верстъ, и такъ же, какъ прежде думалъ, что безъ истязаній ничего пожалуй и не выйдетъ. Нѣкоторыхъ святыхъ онъ прямо не любилъ. И искушенія у нихъ мало, и акаѣистъ малъ, и чудесъ не слышать. А иныхъ любилъ. Тотъ угодникъ хорошъ, которому акаѣистъ тянется три-четыре часа, такъ что у насъ пересохнуть горла, изноютъ спины и распухнутъ до снѣга колѣни (мы все это производили на колѣняхъ), а самъ Парамонъ устанетъ до того, что, поклонившись въ землю, не въ силахъ бываетъ подняться съ полу.

Бесѣдка Парамона казалась намъ истиннымъ раемъ. Кромѣ картинъ, мы увѣшали ее лампадами (весь домъ помогать намъ въ этомъ) и по вечерамъ зажигали ихъ. Окна бесѣдки по вечерамъ бывали занавѣшаны: Парамонъ молился и никого не допускалъ; но этотъ свѣтъ, проникавшій сквозь занавѣски, свѣтъ лампадъ заставлялъ насъ пламенно завидовать блаженству, испытываемому Парамономъ во время молитвъ. Воображеніе наше населяло эту бесѣдку ангелами (они являлись къ Парамону), небеснымъ свѣтомъ, голосомъ, доносившимся съ неба. Свѣтъ, темная ночь были, напротивъ, переполнены чудесами и бѣсами въ разныхъ видахъ, и одна только бесѣдка Парамона, маленькая бесѣдка въ полторы

квадратныхъ сажени,—вотъ наше счастье, надежда, дѣло, все!

Весь домъ, вся семья наша ощущала въ эти минуты дѣло и смыслъ жизни человѣческой. Мы что-то должны... Мы что-то можемъ... Не все кто-то можетъ надъ нами и не всѣмъ мы должны. Вотъ какія необыкновенныя ощущенія пришли въ наше почти совершенно утраченное сознание.

Пришли и ушли... но ужъ на вѣки!

Могли ли мы ожить, не только рожденные, а прямо зачатые въ сознаніи безнадежности и тоски жизни?.. Не разъ (не утаю этой черты) высота, на которую вознесло наши души появленіе Парамона, не разъ эта высота казалась намъ всѣмъ на мгновеніе чѣмъ-то чрезвычайно труднымъ. Это ощущалось всѣми нами, повторяю, по временамъ, мгновеніями: вдругъ станеть какъ-то необыкновенно уютно; намъ было трудно подняться на долгое время даже и надъ уваженіемъ къ богатству купца Маломальчикова, надъ почитаніемъ его громаднаго живота и его толстаго мерина... Поднятые надъ *этимъ этимъ* появленіемъ Парамона, мы иной разъ вдругъ испытывали предъ *этимъ этимъ* сильнѣйшее чувство страха, во время которого *все это* на мгновеніе вновь казалось намъ именно главнымъ, «настоящимъ», способнымъ раздавить насъ за наше неповиновеніе. Такъ мало было у насъ силъ стоять за «постороннее» нашему ужасному и угнетенному положенію дѣло, за постороннюю нашему обезнадеженному сознанію мысль. Но Парамонъ былъ съ нами, жилъ тутъ въ бесѣдѣ; ангелы и бѣсы тутъ, въ двухъ шагахъ отъ купца Маломальчикова, въ двухъ шагахъ отъ насъ самихъ, являлись къ Парамону, ободряя и искушая его, и вообще связь съ высшимъ, нездѣшнымъ, благодаря присутствію Парамона, не прерывалась и тотчасъ уносила (по крайней мѣрѣ насъ, дѣтей) вновь въ область невѣдомаго, высшаго, не давая овладѣть нами страху дѣйствительности. Но что страхъ этотъ былъ во всѣхъ насъ, даже въ насъ, дѣтяхъ, уже врожденнымъ, неисклѣпимымъ, какъ глухота или нѣмота,—это доказало намъ всѣмъ одно неожиданное событіе, котораго я также не забуду во вѣки.

У.

Былъ поздній (часовъ 11 ужъ поздно по провинціальному) лѣтній вечеръ; тихо, тепло было въ воздухѣ и чудно хорошо на небѣ: небо было темносинее и горѣло звѣздами. Мѣсяца не было. Вся наша семья, и въ томъ числѣ мы, дѣти, не могли разстаться съ этимъ чуднымъ вечеромъ и, почти не разговаривая, но молча наслаждаясь имъ, сидѣли въ саду. У Парамона въ бесѣдѣ, въ глубинѣ сада, чуть теплится огонекъ... Мы, ребята, подкрадывались нѣсколько разъ потихоньку къ его моленной, замирая сердцемъ, и слушали давно знакомые намъ звуки: это Парамонъ стучитъ лбомъ объ полъ, молится. Никогда наша семья и мы не чувствовали такой близкой связи насъ всѣхъ съ высокимъ небомъ и вообще никогда не было такой глубокой внутренней гармоніи между Парамономъ, его молитвой, нашими

мыслями, небесами и самым даже воздухомъ. Такъ было всё хорошо, такъ покойно и свято чувствовалось, что никто не рѣшался не только уйти домой или сказать «пора», или зѣвнуть, но просто пошевелиться никто не могъ, чувствуя, что онъ самымъ малѣйшимъ движеніемъ нарушитъ эту гармонию, обидитъ тихо настроеннаго сосѣда, молящагося Парамона, оскорбитъ даже самый воздухъ, который и самъ «своей дремоты превозмочь не можетъ»: такъ хорошо было вечеръ.

Рѣзкій стукъ колыцомъ калитки, вдругъ раздавшійся разъ, два и три и вдругъ разбудившій собаку, испугалъ насъ. Вы, читатель, не пугаетесь, когда звонятъ къ вамъ? А мы пугались... Почему? Такіе ужъ мы испуганные люди... Или тоска, или испугъ, или злорадство,—другой школы для насъ не было!

И такъ, мы испугались всё отъ млада до велика. Когда стукъ кольца калитки повторился четвертый разъ, мы ужъ такъ были испуганы (не зная еще «отчего»), что ужъ и небо забыли, и Парамона забыли, и другъ отъ друга готовы были разбѣжаться. Въ испугѣ этомъ было все: и то, что поздно, и то, что не извѣстно, кто стучитъ, и то, что стукъ этотъ предвѣщаетъ для насъ что-нибудь худое, а главное то, что мы всё были люди, пропитанные сознаниемъ, что за нашимъ заборомъ — все противъ насъ, что мы рождены только для неожиданнаго и непрѣтнго для насъ «худого». Четыре громкіе удара въ кольцо въ неурочное время сразу отрезвили насъ, т. е. сразу повергли насъ съ высоты въ прахъ, въ пресмыканіе, сразу разбредили нашу подошву, т. е. тоскливое ожиданіе удара, непріятности, вреда. Особенно подѣйствовало на всѣхъ то обстоятельство, что стукъ колыцомъ былъ «громкій» и «частый». Всё поспѣшно въ одинъ мигъ заключили, что къ намъ стучитъ кто-то такой, кому «надо». Что же отъ насъ можетъ быть кому-нибудь надо, кромѣ желанія прищемить насъ, прижать въ уголъ!..

Что такое случилось? Кто-то застучалъ ночью съ улицы въ калитку. Не случилось больше ровно ничего, а между тѣмъ мы, и взрослые, и дѣти, ждали непріятности и всё перепугались. Мы не то-чтобы знали, а всё своимъ составомъ чувствовали, что не пройдетъ минуты, какъ мы окажемся въ чемъ-нибудь необыкновенно подлы, словомъ—узнаемъ нѣчто такое, что насъ прямо бьетъ по лицу, тыкаетъ этимъ лицомъ, да и не лицомъ даже, а «рыломъ», рыломъ-то тыкаетъ въ землю, кому-то подъ ноги.

Точно на смерть, какъ истинный герой, рѣшившійся тотчасъ, сію минуту, сложить свои кости, тронулся наконецъ на этотъ стукъ мой дядя. Онъ пошелъ быстро, не оглядываясь, и мы, оставшись въ саду, понимали, что онъ «рѣшился», что онъ пошелъ такъ потому, что сказалъ себѣ: «во всемъ воля Божія, пропадать, такъ пропадать!..»

И, не измѣняя своей отчаянной походки, дядя прошелъ садъ и скрылся въ дали двора, въ темнотѣ. Нѣкоторое время не было слышно ни единого звука. Собаки приползли—онѣ были одной съ нами школы. Мы замерли. Ни звука. Всякій слышалъ бѣненіе своего сердца и шумъ крови въ ушахъ, всякій изъ

насъ «покорился и ждалъ», такъ какъ, по уходѣ дяди, испугъ перешелъ уже въ явное сознание угрожающей опасности, опасности неминуемой, которая виситъ надъ нашими головами; никто уже не сомнѣвался, что это—опасность, и всякій «покорился и ждалъ».

Идутъ! Идутъ по дорожкѣ двое, одинъ—дядя, другой... не разберемъ, кто такой этотъ другой?.. Разговариваютъ о чемъ-то...

— Помилуйте! слышно убѣдительно-низкопоклонное и нищенски-умоляющее слово дяди...

«Такъ!» тупымъ тяжелымъ ударомъ отдается это у насъ въ сердцахъ... А дядя и невѣстная фигура, которая пришла ночью и ни съ того, ни съ сего заставила немедленно просить у себя помилованія, эта фигура приближалась.

— Это на счетъ Парамона... произносятъ дядя шопотомъ, равняясь съ нашей окаменѣвшей группой, и прибавляетъ: «ничего!»

Фигура оказалась квартальнымъ.

— Онъ тутъ какія-то лекарства даетъ?.. говорила фигура спокойнымъ, какъ говорятъ опытные доктора, тономъ:—давно ли онъ у васъ?..

Мы всё тотчасъ «сознали», что виноваты, такъ какъ Парамонъ поселился у насъ давно...

— Н... н... н... дребезжалъ дядя.

— Паспортъ есть у него?

Едва было сказано это слово, мы мгновенно и искреннѣйше узнали, что мы не только виноваты, но и глупы... «Объ адѣ да объ раѣ толковали... а паспортъ? Гдѣ у него паспортъ, у Парамона? Безъ паспорта—такъ и святой?..» И тысячи подобныхъ вопросовъ каждое мгновеніе пробѣгали въ нашемъ сознаниі, все болѣе и болѣе опредѣлявшемся. «Какъ мы, глупые, могли забыть этотъ паспортъ! Развѣ это ничего не значитъ? Паспортъ-то забыть! Безъ паспортный, и ангелы являются! Ангелы! Паспортъ-то гдѣ?» И намъ казалось, что и ангелы-то, слышавъ этотъ вопросъ: «а гдѣ паспортъ?» разлетаются отъ Парамона кто куда, точно испугавшись и одумавшись. А это дѣйствительно отлеталъ отъ насъ ангелъ пробужденнаго сознанія! Да! мы, дѣти, ужъ больше могли любить только то, что насъ бьетъ, давитъ, чѣмъ то, что даетъ намъ право свободно дышать и жить. Въ одно мгновеніе, отъ одного появленія квартальнаго, отъ двухъ его жестокихъ вопросовъ, мы ужъ считали квартальнаго «настоящимъ», а Парамона и все, что принесено имъ,—не «настоящимъ», во всякомъ случаѣ неравносильнымъ съ значеніемъ квартальнаго.

— Позвольте-ко взглянуть, гдѣ онъ у васъ?.. такъ же, какъ докторъ о пациентѣ, спросилъ квартальный и сдѣлалъ шагъ впередъ.

— Не куда-съ! поспѣшилъ предупредить дядя и торопливо повелъ ночного гостя въ другую сторону, къ бесѣдѣ. Все, что далъ намъ Парамонъ своимъ присутствіемъ, все доброе, свѣтлое, чистое, невинное, простое, душевное, словомъ—все, что мы пережили вмѣстѣ съ нимъ, благодаря ему,—все на мгновеніе воскресло въ каждомъ изъ насъ, и слезы душили всѣхъ. Парамонъ воскресъ въ насъ вновь, во всей божественной, неземной красотѣ, и до чего

было въ немъ хорошо все, рѣшительно все, отъ ногъ, грязныхъ и въ болячкахъ, до волосъ, висѣвшихъ длинными, нерасчесанными прядями,—я не могу, не въ силахъ передать теперь! Мы чуяли, что потеряли все это, чуяли опять предстоящую намъ тьму. Эта тьма такъ была ужасна, что у насъ, у ребятъ, вдругъ захватило дыханіе сильнѣйшею судорогою слезъ. Мы побѣжали, не могли оставаться и сидѣть, но подойти къ самой бесѣдкѣ не могли—не то что боялись, а просто «не могли», какъ не можешь отрубить себѣ пальца...

Видимъ: у Парамона огонь; стучать къ нему; стучитъ дядя. — «Кто-о-о?..» — «Я, я! кротоко, но фальшиво, какъ подкрадывающійся воръ, шепчетъ дядя. — Отвори-ко!»... — «Господи Иисусе... о-о-о...» — «Усталъ Парамонъ на молитвѣ, думаемъ мы, задремалъ-было, бѣдный!» Долго не открываетъ онъ. Мы знаемъ, что онъ не можетъ скоро подняться, если только легъ или стоитъ на коленяхъ; знаемъ, что у него къ ночи все болитъ, ноетъ спина, руки и ноги... Мы знаемъ, какъ онъ, поднимаясь, захлебывается отъ жгучей боли лязвъ; мы знаемъ, какъ неожиданъ для него, бѣднаго, измученнаго, этотъ гость; знаемъ, жалѣемъ, ужасно жалѣемъ, но не менѣе боимся и этого гостя. Намъ было жалъ Парамона, жалъ всей душой, и мы боялись, какъ бы неожиданный гость, наскучивъ ждать, покуда онъ отворитъ, не застучалъ бы въ дверь кулакомъ... Но когда въ самомъ дѣлѣ прошло еще минуты двѣ-три, а Парамонъ не отворялъ, ощущенія наши измѣнились: мы ужъ только боялись, какъ бы не разсердился гость. — «Ну же, ну, Парамонъ Ивановичъ!» ужъ съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ въ голосѣ произнесъ дядя, послѣ того какъ гость громко кашлянулъ. А послѣ этого кашля мы ужъ почти обижались на Парамона... «Экъ копаются!» прошепталъ кучеръ, который, какъ и мы, жалѣлъ Парамона двѣ минуты назадъ... «—О-охъ-хъ!..» слышалось изъ глубины бесѣдки; слышались тяжелые, рѣдкіе-рѣдкіе шаги Парамона, но дверь не отворялась. Гость, наконецъ, застучалъ-таки, а мы, какъ только онъ угрохоталъ кулакомъ въ дверь, ужъ всѣ были недовольны Парамонѣмъ, его невѣжествомъ. Мы ужъ забыли, что его ждетъ горе, а думали о томъ, какъ это онъ заставляетъ ждать это горе, это неожиданное несчастье? Почему это мы полагали, что гость правъ, придя разорвать гнѣздо измученнаго человѣка, а измученный человѣкъ не правъ, заставляя подождать своего разоренія? Несомнѣнно, что у всѣхъ насъ было сердце, но сердце это уже поколѣтніями приучено считать худо—правдой и основой жизни, все приносящее несчастье, притѣсняющее—настоящимъ, стоящимъ, а простое, доброе, незлобивое и свѣтлое—хоть и хорошимъ, но не особенно важнымъ сравнительно съ первымъ.

Парамонъ наконецъ отворилъ дверь.

— Чево тутъ?.. Ты, что-ль—Иванычъ?.. какъ труднобольной, еле-поднявшійся съ постели, говорилъ онъ. Онъ, очевидно, усталъ и только-что задремалъ; у него, по всей вѣроятности, ныло все тѣло.

— Вотъ... тутъ началъ дядя:—къ тебѣ!..

— А-а? О-охъ, владыко живота моего! Чево-о?

— Вотъ тутъ...

— Тутъ есть до васъ дѣло, перебилъ гость; —позвольте войти.

— Войди, войди! крестясь и видимо ничего не подозрѣвая, проговорилъ Парамонъ и еле-поплелся отъ двери.

Вошли. Приблизились къ бесѣдкѣ и мы...

Парамонъ, добравшись до кровати (голая доска), сѣлъ, опершись ладонями въ эти доски, и, слабо охая, опустилъ голову на грудь.

Мы думали, что онъ «испугается», и ждали испуга. Нѣтъ! Парамонъ только охаетъ...

— Вы откуда родомъ? оглядывая стѣны, увѣшанныя картинами, спросилъ квартальный и, поглядѣвъ на всевидящее око, глянулъ на дядю. Дядя глянулъ въ открытую дверь, а мы глянули другъ на друга. — «Что настрапали?» говорилъ намъ взглядъ дяди. — «Не я одинъ—и ты!» взглядывая другъ на друга, говорили мы и сознавали, что поступили преступно.

Это все—дѣло одного мгновенія.

— Родомъ откуда вы? ваше званіе?..

— Чево хочешь? ничуть не пугаясь и даже не думая взглянуть и рассмотреть хорошенько пришедшаго, произнесъ, охая, Парамонъ.

— Родомъ, родомъ откуда, какой губерніи?

— Родо-омъ?.. Кур... о-охъ ты, Мать Пресвятая!.. Кур... о-охъ! погоди-погоди!..

Парамонъ, всхлипывая отъ боли въ спинѣ, осторожно поводитъ плечами, желая подвести подъ вериги здоровыя, не изъязвленные мѣста тѣла.

— Курскій, братъ, о-охъ курскій...

И опять помолчалъ и поохалъ.

— А волость наша — Почиваловская... Аль самъ-то курскій?..

— Полиція получила бумагу о разысканіи бѣглаго крестьянина Почиваловской волости, Парамона Денисова... Ты—Парамонъ Денисовъ?

— Денисовъ? я!

— Парамонъ?

— Парамонъ! Парамонъ, братъ, Парамонъ!

— Женатъ?

— Былъ женатъ, а вотъ ужъ восьмой годъ разженился.

— То есть, семью бросилъ?

— Мнѣ гласъ былъ...

И ни капли не испугался, даже тона допрашивающаго не замѣчалъ, а говорилъ какъ всегда и со всѣми.

— Разженился, братецъ ты мой! Сподобилъ меня Господь...

— Паспорта нѣтъ?

— И-и! какіе паспорта!.. Чево тамъ... на что мнѣ!.. У меня паспортъ господній... не надо мнѣ этого!

Сказано было все. Всѣ замолчали на минуту.

— Испужался я!.. ласково глянувъ на дядю, проговорилъ Парамонъ:—застукалъ ты, испужался... Думалъ, ужъ не чернышій ли (такъ Парамонъ называлъ бѣсовъ) балуетъ тутъ... аяъ это ты

пришел... Побудь. Ладно у меня тутъ-то... Дай Богъ тебѣ, успокоилъ меня!

«Вѣдь подводитъ насъ всѣхъ подъ обухъ!» подумали мы единодушно и рѣшительно вознегодовали на дуристъ Парамона... Но главное, что охладило къ нему,—это именно его безбоязненная уверенность въ своей правотѣ. Испугайся онъ, засуетись, начини врать, кланяться,—мы бы поняли его. Но видя, что онъ ничего не дѣлаетъ, ни капли не боится, а просто и безъ всякаго сомнѣнія въ себѣ, въ своемъ положеніи и поведеніи продолжаетъ вѣрить въ свое дѣло—это сдѣлало насъ совершенно равнодушными къ его положенію: мы «не могли» понимать такой вѣрности самому себѣ, она намъ казалась глупостью. Посудите: пришли изъ полиціи, разыскиваютъ, спрашиваютъ паспортъ, а онъ говоритъ: «мнѣ гласъ былъ!» Вотъ сію минуточку его «возьмутъ въ темную», а онъ говоритъ—«побудь, побудь, посиди!» точно, въ самомъ дѣлѣ, гостей принимаетъ. Тутъ человекъ еле-дышетъ, боится, какъ бы его не притянули къ дѣлу за то, что далъ пріютъ безпаспортному, а безпаспортный, какъ на грѣхъ, «ляпнулъ» при «самомъ» квартальномъ: «это ты меня успокоилъ». Ну, не разиня-ли? Ну, что бы ему испугаться, заерзать «по земи», если нужно, на колѣнкахъ, попросить прощенья, дать взятку (навѣрно припрятываетъ деньги-то! внезапно осѣнило насъ), а онъ болтаетъ Богъ знаетъ что, да еще безъ паспорта, да другихъ подводитъ! Богъ съ ними—съ этими святыми!.. *только бѣды наживеши!*

Это не только взрослые и опытные думали, но и мы, дѣти, такъ широко ошастливленныя Парамономъ, и мы чувствовали, что Богъ съ ними, съ этими святыми: только бѣды наживеши!..

— Какъ же теперь? тихо сказалъ квартальный дядѣ.—Вѣдь надо его отвести...

— Парамонъ Иванычъ!.. окликнулъ Парамона дядя.

— Что, золотой?

— Вотъ они говорятъ, нельзя-моль...

— На мѣсто жительства, прибавилъ квартальный,—васъ требуютъ.

Парамонъ поднялъ голову.

— Меня что-ли?..

— Да, продолжалъ дядя,—васъ требуютъ на мѣсто жительства...

— Ну, во-отъ! Что мнѣ тамъ!

— Нельзя!.. Требуютъ!

— А пушай!

— Да нельзя же вѣдь!.. ужъ съ нетерпѣніемъ произнесъ дядя.

— Чево тамъ—нельзя... ну!..

Это неуваженіе къ «нельзя», которое мы считали еще въ утробѣ матерей нашихъ, просто взбѣсило всѣхъ; даже насъ, дѣтей, взбѣсило. Какъ «пушай»? обиженно думали мы. Начальство требуетъ, а ты—«пушай»!

— Что—«ну!» обидѣвшись, проговорилъ квартальный.—Что тутъ «ну»? Когда требуютъ—такъ тутъ нечего нукать...

Парамонъ ни чуть все-таки не испугался, а не

умѣлъ понять, что ему говорить, и робко отвѣтилъ:

— Ну, Господь тебя помилуй!.. Ничего! Что тамъ!

— Опять-таки «не ничего», а требуютъ по этапу, домой! произнесъ квартальный, мало-по-малу входя въ аппетитъ притѣсненія.

— По этапу, Парамонъ Иванычъ! пояснилъ дядя.

При словахъ «по этапу» мы опять стали всѣ жалѣть Парамона...

— Пушай! опять отвѣтилъ Парамонъ,—отвѣтилъ такъ, не понимая, и опять мы перестали его жалѣть... Хотя бы тутъ-то онъ испугался! Или хотя бы тутъ-то понялъ, что онъ «ничтожество»!

— Ну, проворно заговорилъ квартальный:—разговаривать тутъ нечего! Я долженъ тебя взять съ собой...

— Гдѣ живешь-то? простодушно спросилъ Парамонъ.

— Вотъ изволь собираться, и пойдемъ. Тамъ узнаешь.

— Охъ, трудненько, трудненько... пушай бы утречкомъ прибѣжалъ! За семейку помолился бы.

— Вѣдь это васъ въ часть ведутъ, Парамонъ Иванычъ! пояснилъ дядя, явно негодуя на глупое предложеніе молиться въ части. «Часть—это вещь серьезная; долженъ же ты понять, что тамъ не до твоихъ глупостей!»—вотъ что, казалось, хотѣлъ онъ сказать своей фразой.

— Ну, что-жъ, эко! отвѣчалъ Парамонъ.—Помолюсь, ничего... Добрый человекъ... Всѣ люди, всѣ человеки...

Говоря это, Парамонъ, очевидно, и не думалъ идти.

— Вѣдь сейчасъ надо! опять нетерпѣливо пояснилъ дядя.

— О-хъ, сейчасъ-то!.. Чего ужъ? Утречкомъ добѣгу...

«Что ты будешь дѣлать съ такой дубиной!» подумали и почувствовали всѣ мы, не исключая и квартального.

— Ну, вотъ что!.. не вытерпѣлъ квартальный.—До завтра онъ останется здѣсь...

— Слышишь, Парамонъ Иванычъ! Остаешься до завтра! сказалъ дядя.

— Утречкомъ, утречкомъ!

— Остается подъ вашей отвѣтственностью. Все, что здѣсь есть (квартальный указалъ на стѣны), все должно такъ и остаться до завтра, до моего прихода... Извольте слышать?

— Пом-милуйте!..

— Завтра будетъ составленъ протоколъ... Что это,—часовня, что ли, у васъ? вновь оглядывая бесѣдку, произнесъ квартальный.

— Помилуйте, г. надзиратель! Ребятишки... баловство, больше ничего.

— Сколько времени онъ у васъ живетъ? Отчего вы не донесли въ полицію, что у васъ безпаспортный?..

— Г. надзиратель...

— Хорошо-съ! Завтра все разберемъ... Такъ

чтобы все какъ вотъ теперь, все, чтобы осталось. Я все помню.

Надзиратель, очевидно, стоялъ на твердой почвѣ, чувствовалъ себя легко, свободно, зналъ, что его дѣло сдѣлано, и попиралъ насъ всѣхъ каждымъ своимъ вопросомъ, каждымъ словомъ. Дядя, въ отвѣтъ ему испускалъ только полу-слова — «пом-ми...» «Г. надзир...», опять «пом...», «будьте покойны; буддте покойны!» и т. д.

— Ну, со Христомъ! По домамъ, ребятушки! неожиданно произнесъ Парамонъ:—поздно-о! Поздненько! Немогуता!... Со Христомъ, ступайте! отдохнуть надо мнѣ, океянному...

— Ладно, ладно, отдохнемъ, не беспокойся! не спѣша направляясь къ двери, проговорилъ квартальный.

— Ну, спаси-те Христосъ!.. Усталъ вѣдь!..

— Хорошо-хорошо... Такъ до завтра!..

Квартальный спустился со ступеньки крыльца въ садъ. Дядя пошелъ вслѣдъ за нимъ.

По уходѣ дяди и квартального, мы, дѣти, и нѣкоторые изъ домочадцевъ продолжали оставаться въ саду. Всѣмъ стало легче, когда кончилась эта сцена, но въ то же время всѣ мы чувствовали, что теперь, послѣ того, какъ ушелъ незваный гость, мы ужъ стали не тѣ, какими были до его прихода. Парамонъ, какъ и всегда, сидитъ въ своей бесѣдкѣ; какъ всегда, огонекъ лампы чуть свѣтитъ изъ-за занавѣски, и бесѣдка была та же самая, что и пять, десять минутъ назадъ (вся сцена продолжалась не больше десяти минутъ); все было то же самое — и Парамонъ, и небо, и воздухъ, — но мы были уже не тѣ. Въ десять минутъ мы позволили пережить нашему сознанию и сердцу такія скверныя ощущенія, такія гадкія чувства, такія подлые предательскія мысли, и притомъ въ эти десять минутъ такихъ скверныхъ и гнусныхъ мыслей и чувствъ обнаружилось въ насъ такъ много, ихъ такое открылось обиліе въ нѣдрахъ нашего сознания и сердца, что все, такъ недавно близкое, родное намъ — Парамонъ, бесѣдка и небо — было теперь ужасъ какъ далеко отъ насъ! Между нами была наша измѣна, внезапная и глупая; отдѣляться, изгладить ея слѣды не было никакой возможности: измѣна шла, видимо насъ, изъ глубины сердца... Мы узнали, чего не знали прежде, что мы — истинное ничтожество, узнали это теперь въ глубинѣ своего сердца...

Горѣли звѣзды въ небѣ, благоухалъ воздухъ, ангелы приходили, какъ и всегда, къ бесѣдкѣ Парамона, — а мы ужъ и не смѣли ни думать объ этомъ, ни наслаждаться, ни радоваться...

Мы теперь чувствовали себя предателями!

Темное, холодное и унизительное вошло тогда что-то въ наше дѣтское сознание, а главное — въ сердце. Мнѣ лично казалось, когда ушелъ квартальный, что я какъ-то даже ростомъ сталъ меньше и съ боковъ съежился, точно кто меня окарналъ по краямъ и охолодилъ все мое нутро.

— Будетъ шататься-то! не входя въ садъ, со двора кричалъ дядя. — Дождались вотъ... пошли спать!

Онъ былъ вѣ себя.

Всѣ разбредились по своимъ мѣстамъ, чувствуя себя преступниками, измѣнниками... Я спать, завернувшись одѣяломъ съ головой и испытывая впервые вполне сознательно полную безнадежность моего существованія. *Послѣ этого* я — чужой всему, никому не нужный и себя не уважающій человекъ. Я ужъ зналъ съ этого дня, что себя я *не могу* цѣнить ни во что: фактъ былъ на лицо. Съ этого вечера я сталъ страдать бессонницей и, утомленный, засыпалъ тяжело, точно опускали меня въ темную, сырую, холодную, бездонную яму...

Проснувшись поутру, мы узнали, что Парамона уже нѣтъ въ нашемъ домѣ.

Пусто и холодно стало намъ; но, благодаря дядѣ, эта пустота была тотчасъ замѣщена чѣмъ-то другимъ. Этотъ бѣдный человекъ, попавшійся въ бѣду самымъ положительнымъ образомъ (протоколъ, мы узнали, былъ ужъ составленъ), терзался больше насъ всѣхъ; больше насъ всѣхъ онъ чувствовалъ себя предателемъ, измѣнникомъ и одновременно съ этимъ негодовалъ на себя, какъ на дурака, позволившаго себѣ увлечься на старости лѣтъ какими-то посторонними интересами. «Дуракъ! Старый дуракъ!» «Подлецъ! Предатель!» одновременно разрывало его душу. «Отчего ты не заперся? Чего ты испугался? Сунулъ бы ему красную! Человекъ-то цѣлъ бы былъ... Связался съ безпаспортнымъ!.. Угодники! вертись вотъ за нихъ... Святой человекъ!.. Пальцы жжетъ... а теперь вотъ, поди-ка, съ протоколомъ-то!..»

— Что вы тутъ дрыхнете до двѣнадцатаго часу? истерзавшись отъ сознанія и глупости, и низости своей, кричалъ онъ, войдя въ комнату, гдѣ мы, дѣти, спали. — Пошли въ бесѣдку!.. Сейчас вставать!..

Онъ шатался по всему дому, оралъ на всѣхъ и на все...

Мы не только не сердились на него, на этотъ крикъ и брань, но жалѣли его, зная, какъ ему скверно на душѣ, и что онъ именно отъ этого и мечется, и бѣсится.

— Погоди, разбойникъ, кричалъ онъ на дворъ на кучера. — Я вотъ увижу барина, я ему про тебя... пусть вспишутъ! Кан-наля этакая!.. Кш! Что вы распустили тутъ куръ? дурье атакое! — неимоვნно возвышая голосъ и очевидно желая проникнуть имъ со двора въ самую глубь дома, продолжалъ онъ: — я вотъ доберусь до васъ, розини! Эй, гдѣ вы тамъ!..

Мы одѣлись, бѣгомъ побѣжали въ садъ, въ бесѣдку, какъ приказалъ намъ дядя. Не добѣжавъ до нея, мы слышали, какъ онъ что-то тамъ уронилъ на полъ, потомъ что-то выбросилъ на дорожку, не переставая ругаться.

— Что рты разинули? завопилъ онъ, завидѣвъ насъ. — Настрепали дѣловъ? Въ гимназію ходить — «болонъ», а болтаться мастеръ? Ничего, погоди! я васъ приведу къ одному знаменателю... Возьми метлу-то, дубина!

Ругался онъ и рвалъ со стѣнъ бесѣдки картинка, которые мы наклеивали съ такою любовью.

— Ммон-нахи! Какъ-же!.. подвижники тутъ за-

велись!.. порросата этакіе! вздрать хорошенько!.. инспектору вот!..

... И ангелы, бѣсы, подвижники... все это ключьями валилось со стѣнъ и проворно, при содѣйствіи насъ, дѣтей, метлами выметалось изъ бѣсѣды. Изъ нашихъ свѣтлыхъ ощущеній выросли кучи сора, подъ нашими же руками, и скоро ничего, кромѣ этой кучи у порога бѣсѣды и пол-всевидащаго ока на потолокъ, не осталось отъ свѣтлаго эпизода нашей жизни... Пол-всевидащаго ока, т. е. пол-глаза, и потомъ голыя доски — этотъ уцѣлѣвшій кусокъ прошлаго — особенно какъ-то успокоивалъ насъ въ нашемъ униженіи и унизительномъ положеніи. Разорванное, оно хотъ и глядѣло чуть-чуть и половиною зрачка, но торчавшій изъ-за него лоскутъ съ гербомъ (на подклейку или казенныя бумаги) и потомъ доски уничтожали все впечатлѣніе смотрящаго глаза и практически удостовѣряли насъ, что оно едва-ли что видитъ: «бумаги и доски»!

Ощущеніе успокоенія въ нашемъ униженіи, испытанное нами, благодаря разорванному и уничтоженному оку, было для насъ ново и облегчало душу. За это ощущеніе рады были ухватиться всѣ...

Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, удовлетворяться только сознаніемъ своей ничтожности (а всѣ мы знали это доподлинно). Носить это бремя тяжело; хотъ по временамъ хочется считать себя не совсѣмъ ничтожнымъ и хотъ капельку правымъ; и вотъ, волей-неволей, именно вслѣдствіе нашего ужасно-тягостнаго душевнаго состоянія, мы всѣ какъ бы согласились врать въ собственную свою пользу, облегчать себя, доказывая себѣ собственную правоту всѣми неправдами. Въ сущности мы не были виноваты въ томъ, чѣмъ были. Но нельзя же жить годы, изживать вѣкъ, довольствуясь только такою невинностью... Чтобы не задохнуться въ своемъ ничтожествѣ, которое, повторяю, въ дѣлѣ съ Парамонъ было доказано намъ самими же нами, мы должны были, волей-неволей, искать спасенія въ лгавѣхъ, въ выдумкѣ: — ничего, никакого другого ресурса у насъ не было...

— Да, какъ бы нечаянно вспоминая, произносилъ дядя, во время какого-нибудь вовсе не относившагося къ нашему несчастному положенію разговора: — Парамонъ-то! рассказывали у насъ, у него, братъ, семь человѣкъ дѣтей... Всѣхъ бросилъ, подбираются, а онъ вотъ... поживаетъ! Говорятъ, въ Кіевѣ, у купчихи, у богатой...

— Вотъ-тѣ святой!.. отзывался кто-нибудь изъ семьи иронически.

И вралі оба: сверлило всѣхъ парамоновское дѣло, и всѣ выдумывали что-нибудь, отъ чего бы полегчало.

— Они, эти угодники-то, тоже ловко!.. раздобаривалъ даже кучеръ (вѣдь и онъ вздыхалъ о Парамонѣ тайкомъ!): — безъ паспорту шатается себѣ... да!.. Вериги надѣлъ, да и того, напиримѣръ... очень прекрасно они въ эфтомъ дѣлѣ, ежели съ купчихами...

— У нихъ и вериги-то фальшивыя, прибавляетъ кучарка. — Имъ бы только такъ, шаромыжничать...

— И то правда! уже совсѣмъ весело произносить кучеръ.

Вѣдь ужасъ какъ легко становится виноватому человѣку, когда онъ думаетъ, что онъ вовсе не виноватъ. «Шаромыжничество»! — это слово кучарка сказала именно для того, чтобы нанести, съ позволенія сказать, такую «оплеуху» своему поющему сердцу, дать ему такого тумака, чтобы оно перестало плакать. И кучеру стало весело, что кучарка отыскала этотъ тумакъ въ такомъ ловкомъ словѣ...

— Я не возьму паспорта, ты не возьмешь, другой не возьметъ, третій: что-жъ это будетъ? — заводилъ рѣчь, все въ тѣхъ же видахъ успокоенія, и дядя, когда уже, въ смыслѣ надувателя, Парамонъ былъ исчерпанъ и когда требовались материалы для облегченія совѣсти изъ такихъ областей нравственности, которыхъ мы обыкновенно и касаться не смѣли, и не понимали (куда намъ!).

— У иностранцевъ этого нѣтъ, прибавлялъ онъ. — Какъ это можно? Поди-ко у иностранцевъ-то не возьми паспорта? Такъ, братъ, вотъ у какихъ, у младенцевъ, а ужъ нумеръ есть!

Мы знали, что все это неправда, но довольствовались представленіемъ, что и Парамонъ такъ же виноватъ въ чемъ-то... «не все мы!»

И такъ, мы вралі и вралі, и понемножку привыкали лгание дѣлать облегчающимъ нашу жизнь элементомъ. Совралъ — и точно дѣло сдѣлалъ, и, главное, вѣдь врать-то пріучались ради самихъ себя! *Сами вралі себѣ, для того чтобы жить*, чтобы не сознавать своего ничтожества, нравственнаго безкрылія, чтобы не ощущать ежеминутно такъ прочно воздѣланной въ душѣ трусости, чтобы не терзаться сознаніемъ не менѣе прочно воздѣланнаго... увы! почитанія къ кулаку, къ тому, что изуродовало насъ и заставило нутромъ чтить руку «бьющаго», паче ближняго и паче самого себя! Лгание, вздоръ, призракъ, выдумка, самообманъ и прочіе виды лжи, неправды — единственный выходъ изъ ущелія, образуемаго съ одной стороны кулакомъ, уродующимъ тебя и заставляющимъ тебя ежеминутно самого убѣждаться, что ты никогда неуродомъ и не былъ, а съ другой — неотразимымъ сознаніемъ, что ты уродъ, и что кулакъ выше тебя неизмѣримо! Одно и выходитъ — ври и живи!

Вотъ какія феи стояли у нашей колыбели! И вѣдь такія феи стояли рѣшительно надъ каждымъ душевнымъ движеніемъ, чѣмъ бы и кѣмъ оно ни возбуждалось! Не мудрено, что дѣти наши пришли въ ужасъ отъ нашего унижительнаго положенія, что они ушли отъ насъ, разорвали съ нами, отцами, всякую связь!..

СТОЛИЧНАЯ БѢДНОТА.

(МЕЛКІЕ ОЧЕРКИ).

I. Старьевщикъ.

(изъ московской жизни).

Зима, жгучій морозъ.

Задолго еще до перваго колокола, до перваго визга извозничьихъ саней по закаленному лютымъ морозомъ снѣгу начинается пробуждаться жизнь на столичномъ дворѣ. Въ грязныхъ клѣтушкахъ, въ нижнихъ этажахъ, гдѣ гнѣздятся сапожники и портные, напоминающіе міру о своемъ существованіи скромною вывѣской, уставившейся своимъ золотымъ сапогомъ или растопыренными ножницами куда-нибудь въ стѣну, въ кучу дровъ или въ такой уголъ, куда съ незапамятныхъ временъ не забредала ни единая человѣческая нога, — въ этихъ-то сырыхъ под-земельяхъ, обладающихъ снѣжого человѣка какою-то кислотиной вмѣсто воздуха, прежде всѣхъ просыпается людское горе, съ вечера «звонко» залитое въ кабакѣ, подъ извѣстнымъ заглавіемъ: «Уединеніе», «Мечта», «Перепутье». Просыпается оно въ тощей фигурѣ сапожника Сидора Иванова, портного Ивана Сидорова и, запахиваясь рванымъ халатомъ, сквозь который морозъ запускаетъ свои колючія, какъ иглы, лапы, ежась, бѣжитъ опохмелиться, «поправиться», обыкновенно пуская ребромъ послѣдній пятакъ, а за отсутствіемъ его — собственный жилетъ, сапожную колодку, женинъ платокъ и вообще все, что ни подвернется подъ руку. А навстрѣчу ему уютное пристанище съ от-радною надписью: «распивочно» давно уже распахнуло свои гостепріимныя объятія и ежеминутно погребаетъ за своей почернѣвшей дверью весь этотъ болящий людъ, испугавшійся при дневномъ свѣтѣ собственнаго безобразія и старающійся куда-нибудь скрыться даже отъ самого себя. Этотъ же внутренній испугъ заставляетъ до свѣту убраться со двора увлеченную юнкеромъ Тесаковымъ камелію, вчера же претерпѣвшую множество оскорбленій отъ высокопоставленной хозяйки, у которой господинъ Тесакъ нанимаетъ комнату и которой уже давно ничего не платитъ. Вплывъ своею измятою юбкою, нетвердою поступью бѣжитъ она черезъ дворъ и, выйдя за ворота, направляется въ сторону «крым-скаго» ада.

Гдѣ-то ударили къ обѣднѣ. Жизнь на дворѣ шумитъ сильнѣе и сильнѣе: тащится съ салазками молочница; со скрипомъ въѣзжаетъ водовозъ вмѣстѣ съ бочкой, составляющей какъ-бы одинъ довольно объемный кусокъ льду; медленно плетется на дровахъ съ угольями весь почернѣвшій отъ сосѣдства съ ними мужикъ и, ставъ посреди двора, громко кричитъ: «уголь!» выставляя при этомъ свои бѣлые, какъ снѣгъ, зубы. Просыпаются рачительные хозяева и спѣшатъ на рынокъ, причемъ, выйдя за ворота, крестятся и кланяются на всѣ четыре стороны. Просыпается харчевникъ Бузма Шестовъ и выкатываетъ собственную трехобхватную особу

на крыльцо, находя почему-то нужнымъ почесаться непременно въ виду всей улицы. Онъ такъ толстѣ, тученъ, жиренъ и тепелъ, что онъ него идетъ какъ бы дымъ и паръ, въ то время какъ исхудалаго оборванца жжетъ, шиплетъ и душитъ лютой морозъ. Изъ-подъ извозничьихъ полозьевъ несется неумолимый визгъ и какъ-бы какой-то безконечной, визгливой струей вытекаетъ надъ всѣмъ городомъ. Изъ трубъ медленно ползутъ къверху столбы дыма, застилая собою небо, и сквозь эту дымную занавѣску тускло смотреть, колеблющимся пятномъ, красное солнце морознаго дня.

Въ это время посреди двора стоитъ старьевщикъ. Въ теплой дубленкѣ, въ тепломъ картузѣ и валенкахъ, онъ не боится холоду, и поэтому не спѣша поѣзжаетъ свою пѣсенку:

— Сестаррова тряпья... старыхъ ссашпаговъ нѣтъ-ли продавать?

Попоетъ-попоетъ, поправитъ подъ мышкой аккуратно сложенный кулечекъ, и поведетъ глазами по окнамъ, преимущественно заглядывая или вверхъ подъ крышу, или внизъ въ подвалъ, откуда печально смотреть эти микроскопическія, продолговатыя оконца, гдѣ-то сплошь забрызганныя грязью, а зимой скрывающіяся за напухшею грудой снѣга, льду и сосулекъ.

Смотритъ старьевщикъ, постукиваетъ нога объ ногу и снова тянетъ свою пѣсенку, и поетъ онъ ее такимъ заунывнымъ голосомъ, такъ плакуче, что ее слышитъ только та непроходимая голь-нищета, у которой вся надежда на существованіе — это старыя голенища, да и то тогда только, когда за нихъ сподобитъ Господь заполучить копейку двадцать.

Гдѣ-то вверху открылась форточка, женскій пискливый голосъ позвалъ старьевщика, и скоро онъ, шагая по грязной, обмерзлой лѣстницѣ, разспрашивалъ у добрыхъ людей: «какъ пройти въ квартиру мѣщанки Слезовой?»

Мѣщанка Слезова сама утверждала, что Господь наложилъ на нее особый крестъ, который она должна нести до гроба. Крестъ этотъ она называла со-вѣстью.

— Надѣлилъ меня, батюшка милостивый, надѣлилъ! говаривала она. — И столь онъ, батюшка милостивый, надѣлилъ меня, что всякій можетъ мнѣ на шею сѣсть! добавляла она, заливаясь горячими слезами.

Не носи она этого креста, ей не нужно было-бы теперь сбывать оставшіяся послѣ покойника мужа хламъ, потому что сама она съ голоду не умиретъ: женщинѣ много ли нужно? «Такъ пожевала-пожевала что-нибудь въ сухоматку — и сыта». А на это, разумѣется, хватить: стало быть съ этой стороны и толковать нечего. Но ее постоянно мучить постоялецъ, отставной прапорщикъ Волшебниковъ, непремѣнно требующій обѣда, да еще старуха Митревна,

уже третій день проклинаящая, лежа на печи, и жизнь свою сибирскую, и сосѣдей, и хозяйку,—старуха, которая ежеминутно молить Бога о смерти, и притомъ только потому, что въ эти три дня ей не удалось потѣшить чайкомъ свою ветхую утробу... Можно было бы уладить дѣло и съ этой стороны, можно было бы доложить Волшебнову, что увѣреніе въ благородствѣ хоть и важная вещь, но что въ лавочкѣ за него не дадутъ и ваксы на двѣ копейки. Да и Митревну можно было-бы поддержать, напомнивъ, что, «молъ я, Слезова, не изъ корысти держу тебя, не изъ корысти пою-кормлю, а только ради холода твоего, да голода, собогѣзнуя твоему горю, отъ котораго и самой некуда дѣться...»

Но видно такъ уже была устроена Слезова, что мысли о заступничествѣ за собственный карманъ она никакимъ образомъ не допускала близко къ себѣ, и потому-то ежеминутно терзалась и голоднымъ желудкомъ прапорщика, и жаждою старухи. Въ подобныя минуты ей даже казалось, что на нее съ укоромъ смотрятъ и холодная печка, и пустые горшки, и согнутый въ сторону самоваръ...—«Что же ты, говорятъ будто-бы эти враги, топи что-ль меня? А! тебѣ нечего варить во мнѣ, хозяйка тоже!.. Тѣфу ты! вотъ что ты, а не хозяйка!..» А занятые третьяго дня у сосѣдки три куска сахару... Господи!—какими камнями лежатъ они на ея честной, правдивой душѣ!

Собравшись такое состояніе людей, обитавшихъ въ кухнѣ, читатель, можетъ быть, пойметъ, что небесная помощъ, въ какомъ бы то ни было видѣ, здѣсь ждется всѣми, и поэтому очень естественно, что старьевщика, какъ воплощающаго въ своей плутоватой фигурѣ эту помощь, приняли здѣсь съ распростертыми объятіями.

— Буда тутъ? какъ бы кадушку-то не того... опрокинешь неравно! говорилъ онъ, влѣзая въ кухню и втаскивая съ собою тучу холода, которымъ и безъ того изобиловало жилище Слезовой. Шурша своимъ точно желѣзнымъ отъ мороза тулупомъ, на ходу зацѣпляя нитъ ухватъ, сковородникъ и кочергу, старьевщикъ вступилъ въ сосѣднюю комнатку, до того микроскопическую, что помѣщавшіеся въ углу образа занимали чуть не цѣлую ея треть. Тутъ же стояла кровать, а на стѣнѣ болталось зеркальце, имѣвшее особенную способность стягивать всѣ черты лица въ одну точку, къ концу носа.

Войдя, старьевщикъ произнесъ: «добраго здорovia!», уложилъ на полъ свой мѣшокъ, шапку и рукавицы, обтеръ полою полшубка заледенѣвшіе усы и холодно произнесъ:

— Продаете что?..

— Да, вотъ кой-что есть! говорила Слезова, нагибавшая къ полу и запуская подъ кровать палку.

— То-то, продавайте, я нонѣ добрый!.. Сейчасъ издохнуть!.. Такой милостивый и-и-и!.. натошакъ не выговоришь... Мѣху нѣтъ-ли? галуновъ? Пошарьте!

— Нако-сь, вотъ сюртукъ... годится ли?

Принимая въ руки сюртукъ, старьевщикъ окинулъ его зоркимъ глазомъ «съ одного маху», и,

заглядывая въ мельчайшіе закоулки, нападалъ на такія пятна, прожженные дырѣя и изъязны, которые Слезовой очень жалалось бы спрятать... И вотъ отъ этой-то зоркости старьевщика каждая дыра на полѣ или на рукавѣ прожигала такую же дыру и въ ея сердцѣ.

Вскорѣ изъ-подъ кровати, при пособіи палки и кочерги, которою орудовала старуха, появились на свѣтѣ божій, вмѣстѣ съ кучею сора и неважѣстно откуда взявшагося пуху, старые, совершенно желтые панталоны покойнаго супруга Слезовой, Онуфрія Максимыча; потомъ заплесневѣлая бутылка съ продавленной внутрь пробкой, и наконецъ чей-то, Богъ-вѣсть какимъ образомъ попавшій сюда, форменный картузъ съ зеленымъ околышемъ и разорваннымъ козырькомъ. Все это будило въ головѣ Слезовой забытое прошлое, поднимало и вихремъ несло ея прошлыя скорби. То представлялось ей, какъ покойникъ супругъ-парикмахеръ, въ видахъ барышей перебравшійся въ Петровский паркъ на дачу, вдругъ запыль, запропалъ въ городѣ и наконецъ совсѣмъ пропалъ безъ вѣсти. А тутъ зима. Лѣсъ опустѣлъ, снѣгъ сугробами одѣлъ дорогу въ Москву, а морозъ уже успѣлъ проглотить углы въ досчатой хибаркѣ. Со слезами на глазахъ, завернувъ въ полу заячьей шубки свою Лизу, которая теперь гдѣ-то въ бѣлшвейкахъ на Дмитровкѣ, бредеть она, Слезова, въ Москву, къ Каменному мосту: «дескать, не распознаю ли у сродственниковъ про Онуфрія Максимыча?» Вѣтеръ дуетъ въ упоръ, вязнуть въ сугробахъ слабыя ноги, а идти далеко! Добрая.—«Не у васъ ли, Марья Марковна, супругъ мой?» А супругъ, будто кругомъ виноватъ, смиренный такой, услыхавъ изъ другой комнаты и вкраткѣ таково говоритъ:—«А, говоритъ, Аксюша! ты это... здавству! виноватъ я, Аксюша!..» И присѣла она въ то время на оконникѣ, и сидѣла ровно безсловесная, потому—и слеза нейдетъ, и слова выговорить нельзя... Или вдругъ,—смѣшно сказать!—эти желтые панталоны, протертые на коленяхъ и залатанные синимъ тикомъ отъ женой шубы, какую страшную сцену воскрешаютъ они въ ея памяти! Помнится ей, какъ вотъ въ этихъ самыхъ панталонахъ, надъ которыми старьевщикъ покатылся со смѣху, привезли Онуфрія Максимыча замяртво. Подняли его добрые люди гдѣ-то на улицѣ; а оттого онъ довелъ себя до этого, что не на добрыя деньги вздумалъ гулять: пустилъ ризу съ вѣнчальнаго образа, «раздѣлъ» его, батюшку, до-нага! И вотъ онъ въ больницѣ; то хочется ему огурчика, то селедки, то кваску,—и Аксюша съ какимъ-то особеннымъ искусствомъ, рождающимся только въ пору высокой привязанности, умѣетъ протащить ему эти продукты, утаивъ ихъ отъ зоркихъ глазъ начальства, гдѣ-нибудь на груди, въ концѣхъ головного платка, или подъ полою.—«Виновать я, говоритъ больной,—много я тебя, Аксюша, бывалъ понапрасну, ни за что, и много я у Господняго престолу долженъ отвѣту дать за мои буйства и кровопролитія! Только прости ты меня, Аксюша, здѣсь, на семъ свѣтѣ, потому и безъ этого я, новопреставившійся

рабъ божій, долженъ идти въ муку вѣчную. А подѣ подушкой, на Лизино счастье, узелокъ есть, и скопилъ я тамъ, на ассигнаціи, сто рублей»...

И много-много еще!..

Осажденная этими воспоминаніями, Слезова съ какимъ-то замираніемъ сердца разставалась съ разнѣмъ хламомъ, пробуждавшимъ въ ней эти трогательныя воспоминанія и теперь валившимся на полу кучей какой-то рвани. Старьевщикъ все принималъ и даже старался ободрить хозяйку, видя, что она конфузится, подавая какой-нибудь шерстяной носокъ съ дырчатой пяткой или заплѣсневѣвшій картузъ: онъ надѣвалъ носокъ на руку, утверждая, что изъ него очень легко сдѣлать варежки; примѣривалъ картузъ, и примѣривалъ такимъ ухарскимъ манеромъ, что даже Слезова не могла не улыбнуться, а старуха просто плюнула, проговоря:

— О, шутъ тебя возьми, пугало воронье!..

Наконецъ, сѣвъ на полъ и подобравъ подѣ колѣни весь собранный скарбъ, старьевщикъ придавить его растопыренною рукою и произнесъ:

— Еще чего нѣтъ-ли?

— Нѣтъ, больше ничего нѣту.

— Пошарьте!

— По комодамъ развѣ?

— Ну, по комодамъ?.. Галуновъ нѣтъ ли...

— Нѣтъ, галуновъ нѣту... Ничего больше нѣту!

— Ну, такъ стало-быть сколько? Говори, мать, по-божьему?

— Что мнѣ? Я по-божьему...

— Ты, самъ-отъ по-божьему-то! произносить старуха, чувствуя потребность заступиться за Слезову, потому что теперь она уже не сомнѣвается въ возможности посидѣть за самоварчикомъ.

— Мы всегда по-божьему. Мы люди, бабка, во какъ—одно слово!.. А я, милая моя, вотъ какъ: я свою цѣну даю, ты свою... Что же? разберемъ такъ: сертукъ этотъ самый, что говорить, очень онъ превосходенъ, и дадутъ намъ за нѣхъ милость двадцать копѣекъ, а мы, значить, даемъ ему назначеніе—гривенникъ по той причинѣ, какъ и намъ самимъ преферантъ надобенъ. Такъ-то-съ!

Всѣ выражаютъ крайнее негодованіе; но старьевщикъ кажется и не слышитъ этого, и спокойно продолжаетъ рѣчь, примѣривая картузъ.

— Они теперича... Какое объ нихъ мнѣніе? Мнѣніе будетъ высокое! А цѣна тринка. Такъ-ли, милочки мои?

Опять ропотъ.

— Да ты вотъ что: Богъ-то есть въ тебѣ?

— Маменька! Богъ во мнѣ есть!

— Анъ вотъ нѣту!

— Милая моя, мамочка! Повѣрь мнѣ есть! А что ежели что тринка, такъ чѣмъ же она не моего?

Въ это время въ дѣвѣрахъ показался постоялецъ офицеръ, съ взъерошенными волосами, въ плисовомъ рваномъ халатѣ.

— Ты! обратился онъ къ старьевщику,—купишь?

— Покажите-съ!

— Что тебѣ, нюхать что-ли? Видишь, сабля!..

— Придется и нюхаемъ... Только онъ, оружіе это, дешево.

— Какъ??

— Ничего онъ для насъ не стоитъ...

— Меррррзавецъ!

Постоялецъ исчезаетъ.

— А то вотъ не купишь ли? говорить старуха, выльзая изъ кухни.

— Какой товаръ?

— Пуговицы костяныя...

— Много-ль?

— Пара всего... Теперь такихъ пуговицъ нѣту...

— Ну, стало быть и пушай онъ дружка съ дружкой... парочкою стало быть, миленька съ миленькою!

— А гривну если?

— Гривну-у? гривну-то я за тебя, старушка, дамъ-ли?.. И то ежели на распродажу, коли дѣло будетъ. Вотъ какъ, балетная моя плясунья, по нашему разговариваютъ-то съ вами!

— Покупаешь? произносить снова явившійся офицеръ.

— Никакъ нѣтъ, ваше сіятельство!

— Ну, подлецъ послѣ этого.

— Должно быть такъ!

— Сердитъ баринъ-отъ, прибавляетъ старьевщикъ, прислушиваясь, какъ за Волшебновымъ хлопаетъ одна дверь, другая, и потомъ падаетъ на полъ книжалъ.

Прапорщикъ свирѣпъ: онъ быстро ходитъ взадъ и впередъ; но немного погодя снова принимается рыться въ тощѣмъ чемоданѣ съ тою же цѣлью—продать что-нибудь старьевщику. Попадался ли ему старый эполетъ, сложенная шпора, покрашенная пуговица съ цифрами,—онъ все валилъ въ кучу и назначалъ, по собственному мнѣнію, самыя умѣренныя цѣны, хотя въ итогѣ образовывалась такая кругленькая сумма, которою прапорщикъ предполагалъ распорядиться самымъ милымъ образомъ.

— Сколько за все? восклицаетъ онъ черезъ минуту.

— Да что, ваше благородіе, я скажу такъ, что для нашего брата вся это, теперича, ваша премудрость—ровно плюнуть да растереть.

— Вонъ отсюда! завопилъ прапорщикъ, швырнувъ на полъ весь свой товаръ, и исчезъ уже «навсегда».

Въ то время какъ въ разочарованную душу прапорщика врывались терзающія мысли о томъ, отчего судьба не дала ему болѣе широкой дороги, гдѣ бы онъ, не печалась, какъ теперь, о трехдневномъ отсутствіи водки, могъ бы безмятежно покониться подѣ титуломъ штабсъ-капитана, разѣзжать на рыскахъ, звонко покрикивать «пошелъ», обладать первой въ Москвѣ камеліей, совершая все это на вдовьи капиталы купчихи Рыдаевой,—въ эти плачевныя минуты прапорщиковаго негодованія на судьбу, лишившую его всѣхъ, только-что изображенныхъ благъ, старьевщикъ съ присказками и прибаутками валилъ въ мѣшокъ все достояніе

мѣщанин Слезовой, виѣсть съ старшемъ навѣки погребая въ этомъ же мѣстѣ и всѣ ея воспоминанія, всѣ прошлыя скорби.

— А что, хозяйшеа? говорилъ старьевщикъ, вынимая изъ-за пазухи свертокъ сахарной синей бумаги, въ которомъ сочно звякали мѣдяки,—я у васъ эту старушку, Богъ съ ней, поторгую! и онъ кивнулъ головою на старуху.—Именно правда, потому кожа у ее, у этой, у старухи... Рубъ сорокъ да семь—рубъ сорокъ семь пожалуйста-ко! Потому, говорю, кожа у этой, у старухи очень способна, и погонимъ мы ее на лайковыя перчатки...

Слезова грустно улыбалась; но старуха едва ли что-нибудь слышала изъ словъ старьевщика, потому что была совершенно поглощена заботами о чаѣ и хлопотала около самовара.

Черезъ полчаса кухня Слезовой представляла нѣсколько иной видъ: сама хозяйка, слегка подурянная рюмочкой водки, поминутно совалась то къ столу, на которомъ пытѣлся самоваръ и не менѣе его пытѣла старуха, то къ печи, гдѣ дымился котелъ, около котораго тощее пламя единственнаго полѣна какъ-то подобострастно егизило и, казалось, хотѣло сжать его въ своихъ объятіяхъ, лишь бы только угодить Слезовой и поскорѣ вскипятить щи. Въ углу стояла сосѣдка съ рюмкой въ рукахъ, готоваясь поднести ее ко рту, причемъ говорила Слезовой что-то очень утѣшительное, награждая ее въ будущемъ всякимъ счастьемъ,—чего, въ одно и то же время, желала и судила ей также и старуха; но Слезова только вздыхала и полагалась во всемъ на власть Божію. Не то было за перегородкой, въ комнатѣ прапорщика. Разстроенное воображеніе его не давало ему покою.

— Господи! Господи! взывалъ онъ въ душѣ,—хоть бы что-нибудь!...

Соображая предстоящіе барыши, плетется старьевщикъ по пустынному переулку. Отъ нечего дѣлать онъ можетъ зайти въ лавочку, гдѣ ему всѣ друзья-пріатели отъ мала до велика, почему онъ всегда снѣло можетъ прибѣгнуть сюда и перехватить рубликъ-другой, безъ залога узла, дѣлая это конечно только въ тѣхъ случаяхъ, если гдѣ-нибудь по близости «лафа», т. е. можно погрѣть руки около чьей-нибудь добротной шубы, салона и вообще вещицы, на которую не хватаетъ казны, размѣщенной по всѣмъ карманамъ, во всевозможныхъ узелочкахъ, заверткахъ, «портманеяхъ» и тому подобныхъ казнохранилищахъ.

Тутъ, въ лавкѣ, онъ потолкуетъ съ хозяиномъ, дескать «какія нынче времена тутія», сообщитъ пожалуй извѣстіе, что какой-нибудь купецъ Столбовъ пожертвовалъ въ приходъ колоколъ пудовъ въ тысячу; пошутитъ съ приказчикомъ, посочувствуетъ ему въ эротическихъ подвигахъ на Цвѣтномъ бульварѣ; однимъ словомъ, онъ можетъ толковать обо всемъ и всегда, именно потому, что не толковать иначе, какъ «про все», невозможно въ его званіи и положеніи. «Такое наше дѣло, говоритъ онъ:—человѣкъ ты завсегда на народѣ, на самомъ на юру,—ну, и долженъ со всякимъ вступать въ разговоръ; отъ этого-то я и могу во всемъ достигать».

Но всмотритесь пристальнѣе въ эту плутоватую личность, сбросьте съ обросшей «образины» старьевщика весь грузъ прошедшихъ дѣтъ,—и передъ вами бойкій столичный мальчишка; весь дворъ зоветъ его «юлой»; иные впрочемъ замѣняютъ эту кличку «шиломъ», а собственный родитель не иначе именуетъ сына какъ «щенкомъ». Усматривая въ сынишкѣ нѣсколько жульническую сообразительность и пронырливость, родитель, рѣзчикъ печатей Голодаевъ, ушлѣ въ раннюю пору дѣтства направлять такія достоинства ребенка въ собственную пользу: то препоручалъ онъ щенку передать «полковницкой» кухаркѣ Агаевѣ, чтобы она вечеромъ выходила на тротуаръ, да такъ, чтобы matka не замѣтила и чрезъ глупую его, щенка, голову не намылила бы, при сборищѣ дѣлаго двора, и косматую голову самого родителя-измѣнщика. И щенокъ отлично исполнялъ такое порученіе! Или, въ періодъ голодаванья и холодаванья, щенокъ отправлялся, напичканный разными наставленіями, за похищеніемъ гдѣ-нибудь щепокъ, дровъ.

— Ты, Миша, нахрапомъ! говорилъ отецъ.—Новѣ нахрапомъ не возьмешь,—къ вечеру безъ головы останешься...

И нужно было видѣть, какъ прыгало и трепетало сердце горемычнаго родителя, когда онъ усматривалъ всѣ тонкія или, напротивъ, наглыя снѣшенія щенка съ плотникомъ, работающимъ около длиннаго бревна, протянувшася чрезъ дворъ. Нужно было видѣть также всю злобу равныхъ квартирныхъ хозяевъ и хозяекъ, приговорившихся было только-что выступить въ походъ за этими щепками, уже отогрѣвающими теперь семейство щенка. Въ этомъ негодованіи на собственное простоволосье никто изъ нихъ не задумывался запустить въ щенка кирпичъ, заржавленную задвижку, гвоздь, словомъ—все, что ни попадалось въ руки. Но и отъ этого щенокъ ушлѣ «улизнуть».

Какъ ни прибыточна была для рѣзчика Голодаева такая дѣятельность только-что оперяющася пройдохи, однако же нежеланіе предоставить сыну голодъ и холодъ своего неблагодарнаго ремесла заставляло родителя искать ему болѣе обезпеченную дорогу. И вотъ скоро Мишка-щенокъ—микроскопическій портной. Съ плотно остриженными волосами, сквозь которые сияютъ желваки, только-что полученные отъ собратій по мастерству, какъ знакъ вступленія въ «новое» общество, прытко шныряетъ онъ съ огромнымъ утюгомъ, чтобы гдѣ-нибудь подсунуть его на чужую плиту. Дѣло у него такъ и кипитъ, и тосковать о горькой долѣ ему некогда, да оно и не стоитъ: пусть бѣгаетъ онъ босыми ногами по льду, безъ шапки и въ одной нанковой рубашкѣ,—онъ съумѣетъ и согрѣться, прокатившись съ разбѣгу по льду, или двинетъ кого-нибудь изъ своей братіи плечомъ, и тутъ же для собственной потѣхи излетитъ горячимъ утюгомъ по снѣгу. Все у него кипитъ подъ руками! И вдругъ, когда портныхъ дѣлъ мастеръ только-что хотѣлъ убѣдиться въ томъ, что уже ремень и колотушка, въ приложеніи къ щенку, не имѣютъ болѣе никакого смысла и что съ нимъ, щенкомъ,

нужно вести дѣло на другой манеръ, «изъ-подъ ласки», — въ это-то завидное для многихъ время щенокъ страшно роняетъ себя, похитивъ какой-то жилетъ и прогулявъ вырученныя за него копейки на прыпкахъ. За жилетомъ слѣдуютъ панталоны, сюртукъ... А черезъ недѣлю щенокъ ужъ на волѣ: онъ снова живетъ въ обиталищѣ своего родителя, который теперь клянетъ его за опиванья и объѣданья.

Обдумывая способы исправленія сына, рѣзчикъ Голодаевъ приходитъ къ тому заключенію, что теперь остается одно: «драть его, шельму, до зеленого змія!» Не медля ни минуты, съ горестію и выѣстъ любовью въ сердцѣ принимается онъ за ивѣникъ, и тутъ-то происходитъ доморощенное врачеваніе отъ всѣхъ пороковъ и золъ, во время котораго изъ квартиры Голодаева, сквозя мельчайшія щели и скважины, несется вопль и стоить несчастнаго, очевидно наводимаго на путь истины. Вотъ, послѣ этого-то врачеванія, спустя мѣсяцевъ шесть, вы и встрѣтили прежняго щенка на Кузнецкомъ мосту; говорю—прежняго потому, что теперь вы щенка не узнаете—передъ вами уже такая личность, которую въ Москвѣ опредѣляютъ однимъ словомъ «чуйка».

— Сударь, сударь! ваше сіятельство!.. негромко и таинственно произносить «чуйка», догоняя прохожаго.

— Что тебѣ?

— Пожалуйста на минуточку-съ!

— Меня?

— Васъ, васъ!.. на секундъ!.. за уголь только!..

— Меня-ли? почему ты меня знаешь?

— Какъ не знать-съ! Что вы?.. Знаешь-съ, пожалуйста!

Прохожій идетъ, недоумѣвая и чего-то опасаясь.

— Ну говори, что такое?

— Покупка есть... Какъ бы кто не увидалъ!.. Магази́нская цѣпочка-съ «первый сортъ»!

Чуйка оглядывается по сторонамъ и вытаскиваетъ изъ-за пазухи какую-то цѣпочку, которая горитъ передъ глазами прохожаго и разсыпается искрами на солнцѣ.

— Куда же ты ее прячешь?..

— Невозможно, вашскородіе, никакъ увидать!.. Сто цѣлковыхъ стоитъ... сорокъ прошу.

— Да это краденая!

— Сохрани Богъ! что мнѣ?.. Въ кутузкѣ-то мнѣ не очень желательно сидѣть... по нуждѣ продаю.

— Что-то не ладно*ты говоришь!

— Баринъ! баринъ! ваше благородіе!.. куда же вы?.. Двадцать пять!..

— Десять!

— Что вы, ваше благородіе! Обижать человека... Гаспадинъ, позвольте!

— Ну?

— Угодно двадцать рублей? не по моему, не по вашему?

— Ничего мнѣ не угодно!

— Какъ ваша цѣна? Какъ же такъ, ничего не угодно?

— Пять цѣлковыхъ, она не нужна мнѣ...

И прохожій идетъ.

— Эхъ, какой вы баринъ сердитый! вяло произносить «чуйка». Ну, пожалуйста, Богъ съ вами... На часекъ, бы...

— Ну-ко, братъ, оцѣни-ка, сколько заплатилъ? говоритъ прохожій пріятелю, показывая покупку.

— Пятачекъ?

— Что-о-о-о?!

Въ другой разъ чуйка встрѣтилась вамъ у Иверскихъ воротъ. Подъ аркой, среди грохота и стука сотни экипажей, среди разнообразныхъ криковъ и пѣнія, доносящагося изъ часовни, какъ-то назойливо журчитъ рѣчь «чуйки». Держа въ рукахъ книгу «Химическій анализъ», пачку конвертовъ и двѣ-три пачочки сургуча, она неотступно слѣдуетъ за какиъ-то купцомъ и ежеминутно дребезжитъ надъ самымъ его ухомъ:

— «Аннализъ!»

Купецъ идетъ молча; но «чуйка» не отстаетъ, она словно прилипла къ нему: забѣгаетъ впередъ, егоситъ и тычетъ ему въ самый носъ свою книгу.

— Аннализъ!

— Прочь!..

— Аннализъ! особенная книга-съ!

— Прочь!..

— Пользительные совѣты!..

— Прочь, говорю!

Сцена этого рода обыкновенно оканчивалась тѣмъ, что иной прохожій находилъ необходимымъ позвать полицейскаго, а другой, соблазнившись достоинствами книги, покупалъ ее, тащилъ куда-нибудь на Ордынку, за Москву-рѣку, сажалъ за нее сынишку, съ явнымъ желаніемъ вложить въ его тучное существо какія-нибудь познанія; но эта попытка, по обыкновенію, никакого успѣха не имѣла, а химическій анализъ очень скоро находилъ пріютъ въ кухнѣ и употреблялся на подстилку подъ кулебяки.

И вотъ, спустя годъ-другой, та же «чуйка», только сдѣлавшаяся опытниѣе, старше и солиднѣе, ходитъ по дворамъ въ видѣ старьевщика. Совершилось это перерожденіе въ силу той же причины, какая родила на свѣтъ Божій поговорку: «рыба ищетъ гдѣ глубже, а человѣкъ гдѣ лучше». И дѣйствительно, «чуйкѣ» теперь много лучше: скитаясь по Кузнецкому, толкаясь у Иверской, она была воплощенная нужда, искавшая милости въ каждомъ; а теперь эта же нужда, которой вездѣ непочатый уголъ, сама гоняется за «чуйкой» и на долгіе годы впередъ сулитъ ей хорошій кусокъ хлѣба.

II. Первая квартира.

(изъ записокъ пролетарія).

«...Претерпѣвъ множество непріятныхъ и комическихъ столкновеній, неизбѣжныхъ для провинціала, впервые попавшаго въ такой запутанный городъ какъ Москва, а наконецъ нашедъ себѣ маленькую работу и отыскавъ столь же маленькую, какъ и работа моя, комнату. Между множествомъ разнаго рода неряшливыхъ и непривлекательныхъ

сьемщицъ, которыхъ приходилось видѣть мнѣ во время поисковъ квартиры, Марья Петровна, теперешняя моя хозяйка, могла смѣло первенствовать. Въ пользу ея опрятности говорило, во-первыхъ, то, что она считала себя «мадамой», то есть содержательницей бѣлошвейной мастерской; во-вторыхъ — то, что она была чиновницей, супругой театральнаго чиновника; въ третьихъ, — она была молода, и наконецъ, въ четвертыхъ, водила знакомства съ благородными семействами и въ особенности съ благородными мужчинами.

Всѣ эти качества, неизвѣстные мнѣ въ первый моментъ посѣщенія ея квартиры, не имѣли однако же той чарующей силы, которая бы могла уничтожить во мнѣ дурное впечатлѣніе ея фигуры. Это была молодая, но истрепанная личность съ рѣдкими и едва даже не оббѣзными волосами. Я ее засталъ въ самомъ растерзанномъ утреннемъ костюмѣ и тѣмъ ввелъ, повидимому, въ неописанный ужасъ. Желая поправить очевидно невыгодное впечатлѣніе, произведенное ею на меня, она старалась прикинуться наивною дѣвочкою, улыбалась, куталась въ изодранную блузу и не упускала при этомъ случая распахнуться и пощеголять тощими прелестными собственными плечъ и рукъ. Быть можетъ, я бы снова пустился на поиски другой квартиры, но комната, которую показала мнѣ эта мадамъ, понравилась мнѣ, была недорого, удобна, и притомъ же тотъ домъ, гдѣ работалъ я, былъ отсюда недалеко. Я остался.

Комната эта находилась на антресоляхъ; здѣсь же помѣщалась мастерская, биткомъ набитая швейными; и въ то время, когда хозяйка показывала мнѣ комнату, молодые лица ихъ съ особеннымъ вниманіемъ и улыбками разсматривали, въ полуотворенную дверь, новаго жильца.

Жилецъ былъ радъ такому сосѣдству, потому что любилъ деревенскія пѣсни, а здѣсь надѣялся услышать ихъ въ изобиліи, ради чего въ тотъ же вечеръ и перебрался на московскую квартиру.

Окончивъ работу, я въ тотъ же вечеръ сидѣлъ въ своей комнатѣ на подоконникѣ: окна были какія-то маленькія, квадратныя, лѣпились почти около пола, какъ обыкновенно бывають окна на антресоляхъ, и поэтому, для того чтобы увидѣть хоть клочокъ неба, необходимо было садиться на подоконникъ.

Стоялъ удушливый лѣтній вечеръ. Кусочекъ неба, который выглядывалъ изъ-за крышъ огромныхъ домовъ, былъ какого-то грязно-желтаго цвѣта; московская пыль тучей стояла надъ городомъ и застилала небо. Изъ переулка и съ улицы доносились трескъ колесъ. На дворѣ кто-то пѣлъ. Я высунулъ голову въ окно. На корридорѣ нашей квартиры, угломъ поворачивавшемъ отъ кухни, на растворенномъ окнѣ сидѣли всѣ швеи госпожи Поляковой, моей хозяйки, и вели разговоры. Замѣтивъ меня, — онѣ замолкли; но черезъ нѣсколько времени разговоры начались снова, только немного тише.

— Я-бъ ему за это показала! храбро говорилъ молодой голосъ. — Барскіе помои!.. Ежели-бъ онъ такъ со мной, какъ съ Дуняшей...

— Молчи! прервалъ шопотомъ другой голосъ, по всей вѣроятности голосъ Дуняши.

— Слаетеха этакой! продолжала первая.

— Погоди, попадешься и ты, замѣтила кухарка, что я узналъ по грубому голосу, который слышалъ утромъ.

— Я-то?

— Ты! И ты попадешься!

— Ну, это вотъ! видишь вотъ это? Это вотъ на-ко...

— Ладно!... Твой вѣкъ, Татьяна, не очень-то долготъ! продолжала кухарка. — Будь ты въ этомъ покойна, и даже такъ, что совсѣмъ твой вѣкъ корототъ!..

Татьяна захрабрилась пуще прежняго.

Она просыпала въ отвѣтъ такое множество словъ, и притомъ такъ скоро, что я ровно ничего не могъ разслышать хорошенько, но изъ храбраго тона ея голоса я впрочемъ могъ смѣло заключить, что Татьяна твердо вѣрить въ свой долгій вѣкъ. Храбрыя рѣчи свои она закончила какимъ-то отрывистымъ смѣхомъ, тотчасъ же звонко затинула какую-то пѣсню и вдругъ бросилась за кѣмъ-то по корридору «догонять». Черезъ минуту слышно было, какъ бѣгущія «строчили» по лѣстницѣ. Онѣ выбѣжали на дворъ и принялись ловить другъ друга, оглашая внутренность двора звонкимъ смѣхомъ.

На окнѣ, въ корридорѣ, остались Дуняша и кухарка Акулина. Онѣ долго молчали. Акулина, почесывая голову, зѣвала и неизвѣстно у кого спрашивала: «какой-то теперича часъ?» Затѣмъ, черезъ нѣсколько времени, удовлетворяя собственному любопытству, такъ же сонно отвѣчала себѣ:

— Теперь надо-быть часъ девятый!

И успокоивалась.

Дуняша вздыхала, но вздыхала такъ, что рѣшительно не было возможности сдѣлать какую-нибудь связь между этимъ вздохомъ и тѣмъ проступкомъ противъ нея кого-то, про который упоминала Татьяна: что-то вялое, неопредѣленное слышалось въ ея вздохѣ.

— Поди, жильцу-то самоваръ пора? лѣниво заговорила Акулина.

— Ты понесешь? спросила Дуняша...

— Да хоть и ты... неси!..

— Семъ я? Кто такой: скубентъ какой-нибудь!..

— Буди-то ходить... Говорить, отсюда близко... Богъ его знаетъ...

— Мы, Акулинушка, вяло говорила Дуняша, — мы вмѣстѣ самоваръ-то понесемъ?

— Нуштожъ!.. Кто его знаетъ! Сразу человѣка не распознаешь... Чужой человѣкъ, кто онъ? Богъ его знаетъ...

Кухарка и Дуняша зѣвали и почесывались. Дуняша попрежнему вздыхала какимъ-то звонкимъ вздохомъ.

— Котораго человѣка и знаешь, да и то надумаешься...

— И-и ка-акъ!

— То-то и есть! Вотъ Андрюшка твой!..

— Выжига! перебила Дуняша...

— Выжига! А былъ, небось, не выжига!.. Ка-

жестя, не одинъ день знала, а когда вполнѣ оказалась! то-то и есть!.. Понесемъ самоваръ-то... О-охъ, батюшки, что-то меня мутитъ какъ... Берн... тѣфу, Господи, то-бишь, неси чашки-то! О о-охъ!

Бухарка и Дуняша исчезли; исчезли впрочемъ медленно; Дуняша, поднимаясь съ подоконника, не успѣла случая вздохнуть.

Я сталъ ждать посѣщенія. Сидя попрежнему на подоконникѣ, я слышалъ, какъ въ кухнѣ, находившейся подъ моей комнатою, постоянно хлопала дверь и пивемъ толпами возвращались сюда изъ корридора; онѣ разговаривали, звонко смѣялись, затягивали пѣсни. Въ промежуткахъ этихъ разговоровъ и смѣха слышался грубый голосъ Акулины, раздававшійся всякій разъ, какъ только труба самоварная грохалась о-земь, чему въ особенности способствовала непрерывная бѣготня посѣтительницъ. Въ отвѣтъ на суровыя предостереженія Акулины раздавался смѣхъ, еще болѣе громкій и дружный, снова затягивалась пѣсня, и все шло по старому. Должно быть, благодаря этому и постоянно обрушивавшейся трубѣ, самоваръ прибылъ ко мнѣ очень поздно, но зато, вмѣсто двухъ гостей, которыхъ я ожидалъ, къ моимъ дверямъ подвалила цѣлая ватага.

Посѣщеніе это я впрочемъ предвидѣлъ, потому что, по говору и шлепанью по лѣстницѣ ногъ, чуялъ, что «грядетъ сила несмѣтная». Среди затаеннаго шопота и смѣха слышалось звяканье чашекъ, шипѣнье самовара и голосъ Акулины, усовѣщивавшей кого-то нести свѣчу на виду. Затаенная тишина приближавшейся толпы перерывалась чѣмъ-нибудь ударомъ по платью, звонкимъ смѣхомъ и паденіемъ съ лѣстницы. Наконецъ все затихло передъ моими дверями.

— Фу, батюшки! слышался вздохъ Акулины. — Танька, отвори дверь! отвори, что-ль...

Никто почему-то не исполнялъ ея приказаній. Слышалось фырканье.

— Дуняша, отвори ты!

Но и Дуняша не отворяла.

— У-у, безстыжія! зарычала Акулина, толкая дверь ногою, — нашли мѣсто хихикать! О, Господи! Отворите, сдѣлайте милость! обратилась Акулина повидимому ко мнѣ, потому что говорила особенно ласково и звонко. Я исполнилъ ея просьбу, потому что и самъ сдѣлалъ бы это съ перваго слова Акулины, обращеннаго къ своимъ спутницамъ на счетъ двери, если-бы не казалось мнѣ, что дверь отворится сію минуту; кромѣ того я рѣшительно не зналъ, почему онѣ не хотятъ отворять.

— Покорнѣйше благодарю-сь! возгласила Акулина, появляясь въ комнату съ самоваромъ. — Сдѣлайте милость, ужъ извините... Обезпокоились. Наши дѣвки, дуры, испугались...

— Чего же?

— Да вѣдь нѣшто онѣ понимаютъ!.. Ну, жилецъ, новый... Богъ его знаетъ... и бояться!

Акулина помѣстилась у притолки и очевидно желала со мной познакомиться.

— У насъ вамъ будетъ покойно, заговорила она — тихо. У насъ тихо... Шуму это, гаму — нѣтъ...

Пѣсни, иной разъ, дѣвки запоютъ — это развѣ. Да и то, запретесь, не слышать.

Я возился около самовара, слушая Акулину. Между тѣмъ дверь начала приотворяться; явились двѣ-три фізіономіи слушательницъ.

— Эта комнатка у насъ счастлива, продолжала Акулина, — не пустуетъ, любятъ. У насъ покойно... Потому у насъ тихо и никогда чтобы чегонибудь... Все больше чиновники живутъ... Скубенты случается... Но рѣдко... Все чиновники больше. Вы какіе будете?..

Я сказалъ, что служу.

— А-а-а... чиновники! такъ — такъ... Вотъ у насъ жилъ чиновникъ тоже... Бузымичевъ... Не знаете?

— Нѣтъ, не знаю...

— Ихъ вѣдь много, не узнаешь всѣхъ-то...

Дверь отворилась совсѣмъ почти; слушатели тѣснились у стѣны въ темнотѣ.

— А то, оживляясь заговорила Акулина, — былъ у насъ одинъ жилецъ, — такъ это ужъ только одно удивленіе что за жилецъ такой!.. Въ первый разъ въ жизни я такого и видѣла... Сумашеччій что-ли онъ, или ужъ, Богъ его знаетъ, какой такой! Чиновникъ...

— Онъ не служилъ! слышалось изъ темноты.

— Отставной-сь! За это сумасшествіе его, надо быть, и отставили... И что только онъ дѣлалъ! Бывало, всѣ животики надорвешь!.. Иной разъ, слышь, зоветъ меня... Придешь къ нему, а онъ: «Акулинушка, говорить, — есть у меня хвостъ?» — «Да и какой еще большой», говорю. Просто смѣхи — смѣхи неописанные! Ну, и виномъ шибко зашибалъ.

— Это Солошинъ женихъ! раздалось робко въ темнотѣ.

— Что такое Солошинъ? Еще что?

— Обнакновенно твой! полно отпираться-то!.. Ишь!..

— Стыдно!

— Хе-хе-хе! засмѣялась Авдотья. — Шутять!..

— Онъ ей, продолжали въ темнотѣ, — ковригу хлѣба въ именины подарилъ.

— И чемоданъ!

— Ври!

— Ты-то не ври!.. Ты больше знаешь!

— Кому знать какъ не тебѣ? А вотъ я сейчасъ про Андрюшку...

Очевидно было, что кому-то зажали ротъ на полсловъ.

Бесѣда въ подобномъ родѣ тянулась долго и знакомство наше быстро двигалось впередъ. Разговоры въ темнотѣ, къ концу визита Акулины, шли во всеуслышаніе, хотя разговаривающія и не рѣшились показать своихъ фізіономій.

Акулина долго рассказывала про своихъ жильцовъ. Когда запасъ матеріала, съ которымъ она считала нужнымъ меня познакомить, истощился, она снова, для округленія бесѣды, свела рѣчь на теплоту и всякія удобства квартиры, очень обстоятельно объяснила, какимъ образомъ нужно «вникать» ее, Акулину, если понадобится что-нибудь,

или когда нужно въ лавочку послать. Все это она выывалась сдѣлать съ величайшимъ удовольствіемъ.

— А за сапоги, заключила она, выступая на лѣстницу, — за сапоги, когда почистить случится, такъ ужъ какъ-нибудь... что пожелаете! Пріятнаго сна вамъ! Покойной ночи!

Дальнѣйшее знакомство мое съ хозяевами и другими сожителями продолжалось не въ такой уже степени быстро, какъ въ первый день переѣзда. Большею частью я дома не бывалъ, забѣгая только на минутку, чтобы выкурить папиросу, отдохнуть, полежать минуточку, и уходилъ опять. Этими короткими минутами и ограничивались всѣ мои отношенія къ сосѣдамъ и хозяйкѣ. Хозяинъ и хозяйка были люди примѣрные во всѣхъ отношеніяхъ. Ни малѣйшихъ столкновений даже на «словахъ», — что ужъ совершенно неизбежное явленіе вообще въ супружеской жизни, — между ними и помину не было. Обстоятельство это было тѣмъ удивительнѣе, что для семейныхъ столкновений у хозяевъ монѣхъ были весьма основательные поводы: и мужъ, и жена имѣли «на сторонѣ» множество исторій, неприличныхъ званію супруговъ. Сальная и постоянно заспанная фізіономія супруга, позднія возвращенія домой, преимущественно не въ весьма полномъ разсудкѣ, говорили очевидно противъ него. Съ своей стороны, по части отлучекъ, не отставала и супруга. Но все это дѣлалось по общему согласію, и вотъ отчего не было ни столкновений, ни ссоръ.

Поднималась хозяйка обыкновенно часовъ въ двѣнадцать и тотчасъ принималась за туалетъ, въ то же время не упуская случая показать, что она *мадамъ*: громко, какъ можетъ кричать сердитая баба, кричала она на мастерицъ и иногда выбѣгала изъ своей комнаты въ мастерскую, давала пощечину кому слѣдуетъ и снова возвращалась къ туалету. Часто за моими дверями слышался робкій плачь. Удары и пощечины приходились преимущественно на долю двѣнадцатилѣтней дѣвочки Ани, которая была еще *ученица*, слѣдовательно по одному уже принципу Маріи Петровны требовала пощечинъ. Ради этого, Аня всегда ходила съ опухшей щекой или губой, красными глазами и лицомъ, измазаннымъ черными, засохшими потоками слезъ.

— Тебя бьетъ она? спрашивалъ я Аню.

— Чертовка! отвѣчала она шопотомъ, утирая какъ-то локтемъ заплаканный носъ.

— За что она тебя бьетъ? допытывался я.

— Чертовка ѣтак!.. твердила Аня.

Такъ я никогда и не могъ допытаться, за что ее бьютъ. Если я съ тѣмъ же вопросомъ обращался къ мастерицѣ, то получалъ отвѣтъ:

— За дѣло!..

— Что же такое она дѣлаетъ, что ее каждый день колотятъ?..

— Ничего! говорила мастерица, словно и не слышавшая моего вопроса. — Насъ тоже били! Это еще не битье!

— Это что! подтверждали другія.

— Вонъ, поди-ко, поживи у Капитонихи, на Тверской! А это что!..

— Не сахарная!

Этимъ заканчивались всѣ мои свѣдѣнія на счетъ причины битья.

Расправившись съ Аней, Марья Петровна снова принималась за туалетъ, потомъ принимала заказы и, пообѣдавъ какой-нибудь дрянью (ѣли они всѣ ужасную дрянь, такъ какъ всѣ вырученные за работу деньги хозяева проигрывали въ карты), торопливо раздавала мастерицамъ работу и отправлялась въ гости, къ знакомой купчихѣ, у которой она и оставалась часовъ до трехъ ночи. Купчиха эта была вдова, состоятельная женщина, значительно закутившая на старости лѣтъ. У ней собирались ухарскіе офицеры, шла игра въ карты и время проводилось очень весело. Между «дамами», собиравшимися сюда, иногда, изъ-за ревности, происходили, какъ говорятъ, и «рукопашныя».

Такимъ образомъ мужъ моталъ и транжирилъ свои деньги, Марья Петровна — свои. Встрѣчаясь другъ съ другомъ, они перекидывались двумя-тремя словами, вроде напр. «который часъ?» или «сегодня кажется четвергъ?» и исчезали каждый по своему благоусмотрѣнію. Они такъ отвыкли отъ семейной жизни, что единственного своего ребенка отдали куда-то на воспитаніе и по полгоду не видали въ глаза.

Всѣ обязанности по хозяйству лежали такимъ образомъ на Акулинѣ, которая и была дѣйствительною хозяйкою: она варила мастерицамъ обѣдъ, мыла полы, присматривала и прикрывала на кого слѣдуетъ и въ промежуткахъ неустанно кляла Марью Петровну, какъ мотовку и въ то же время какъ нищую. Причиной этого неудовольствія Акулины на хозяйку былъ неплатежъ денегъ и нежеланіе хоть что-нибудь прикинуть къ тому рублю, который оставляла она на прокормленіе всей огромной семьи швей. Вообще Марья Петровна не любила платить долговъ и съ обычною своею граціею, о которой я уже упомянулъ, отваливала болѣе полугода отъ хозяина, которому много была должна за квартиру. Когда являлся управляющій съ требованіемъ уплаты долга, Марья Петровна очаровывала его своимъ респектабельнымъ обхожденіемъ. Управляющій, еще очень молодой человекъ, таялъ отъ этого обхожденія и съ удовольствіемъ рѣшался ждать будущей недѣли; но и черезъ недѣлю онъ по-прежнему не дожидался ничего, кромѣ тѣхъ же восхитительныхъ ласкъ хозяйки. У супруговъ такимъ образомъ никогда не было денегъ, и Акулина справедливо кляла ихъ за это. Кромѣ попеченій о хозяйствѣ и о порядкѣ, Акулина была единственнымъ существомъ, къ которому всѣ швей обращались съ вопросами и отъ котораго получали всевозможные совѣты и указанія и рѣшительно всѣ свѣдѣнія о жизни. Удовлетворяя всѣмъ требованіямъ швей, Акулина оказывала для нихъ кромѣ того услуги и другого рода... Но объ этомъ послѣ.

Тотчасъ по удаленіи хозяйки, мастерицы и ученицы, сидѣвшія за работой часовъ съ шести утра,

опрометью бросались въ кухню, хохотали и въ эту пору иногда забѣгали ко мнѣ, чтобы прибрать комнату, принести воды. Эти маленькія работы онѣ исполняли съ особеннымъ удовольствіемъ: тутъ у насъ шли разговоры, рассказы. До полной откровенности со стороны моихъ сосѣдокъ я однако дошелъ не скоро. Въ первое время онѣ были со мной очень конфузливы; не то боялись меня, не то подсмѣивались надо мной, какъ мнѣ казалось. Съ большою вѣроятностью эту неподапливость ихъ на самыя простыя отношенія между нами я могу объяснять тѣмъ, что всѣ онѣ предполагали во мнѣ какіе-то затаенные противъ нихъ замыслы. Послѣ довольно значительнаго промежутка «привыканья» другъ къ другу, мое независимое и вовсе «не жильцовское» поведение съ ними расположило ихъ ко мнѣ, и въ послѣднее время я пользовался ихъ полною откровенностью.

Изъ довольно большого кружка моихъ сосѣдокъ я обращаю вниманіе читателя преимущественно только на три личности. Первое мѣсто между ними занимала та самая Татьяна, которая въ первый вечеръ моего пребыванія на квартирѣ такъ крѣпко стояла за свой долгій вѣкъ. Это была очень молодая, коренастая дѣвушка, бойкая, пѣвунья и разбитная; я не могъ примѣтить въ ней только одного качества, которымъ она должна бы обладать въ совершенствѣ,—смѣха: она и пѣла, и подтрунивала, и рѣвнилась какъ-то живо, проворно, но безъ смѣха. Обязанности свои она исполняла исправно, то есть аккуратно отработывала заданный хозяйкой урокъ и потомъ ужъ принималась за пѣсни. Не имѣя за душой никакихъ «пороковъ» и продѣлокъ, она, какъ мнѣ казалось, не безъ гордости смотрѣла на своихъ подругъ. По всему было видно, что она очень свято хранила деревенскіе завѣты и увѣщанія. Видно было, что въ воображеніи ея еще слишкомъ ярко стоялъ образъ матери, которая такъ горько болѣла о предстоящей жизни своей дочери въ Москвѣ и давала деревенскіе совѣты насчетъ того, какъ «остерегаться»... Вопросъ насчетъ этого крѣпко засѣлъ въ голову Татьяны и сильно занималъ ее. Въ дни моего пребыванія жильцомъ Марьи Петровны, Татьяна вся была поглощена недавнею исторіею Дуняши и, при всякомъ удобномъ случаѣ, старалась вернуть объ этой исторіи слово: примѣръ Дуняши и сознаніе собственныхъ силъ еще болѣе укрѣпляли Татьяну на счетъ ея долгаго вѣка. Совѣтъ не такого свойства была Дуняша. Собою она была не дурна, въ русскомъ вкусѣ: полна, слишкомъ бѣла и слишкомъ румяна. Глаза маленькіе, голубые, съ какимъ-то выдумъ выраженіемъ; походка всей ступней, разговоръ тягучій. Вообще въ ней была замѣтна какая-то лѣнивая тоска.

Заходя иногда ко мнѣ, она или конфузилась при самыхъ невинныхъ моихъ вопросахъ, или неожиданно рассказывала всю подноготную своего недавняго романа и въ то же время видимо удивлялась—что это она такое дѣлаетъ? При самомъ поверхностномъ знакомствѣ съ ней, я могъ вполне убѣдиться, что Дуняша—одна изъ числа того огромнаго класса русскихъ женскихъ натуръ, которая рѣшительно

не знаютъ, какъ собою распорядиться, если ихъ судьбою не завѣдуютъ родители или вообще люди, власть надъ ними имѣющіе. Такія русскія женщины безъ особеннаго ропота идутъ за людей, которые имъ положительно не нравятся, и, странное дѣло, сознаніе собственнаго несчастья—быть всю жизнь за нелюбимымъ мужемъ—иногда бываетъ для такихъ женщинъ единственнымъ интересомъ жизни. Свободой такія женщины распорядиться не могутъ, не умѣютъ, да и не знаютъ, что такое свобода.

У Дуняши была мать, но не въ Москвѣ, а въ деревнѣ, и притомъ такъ далеко, что видѣлись онѣ одинъ разъ въ два года; слѣдовательно Дуняша была почти свободна. Принадлежа къ сорту тѣхъ женщинъ, о которыхъ я только-что упомянулъ, она не могла ни любить, ни ненавидѣть глубоко, потому что она умѣла только чувствовать, но не умѣла понимать. Отсутствіе матери мало-по-малу отучало ее отъ страха къ угрозамъ, которыя та сулила ей *въ случаѣ, ежели...* Между тѣмъ подошли лѣта, Дуняша чувствовала, что ей пора замужъ; ей хотѣлось какой-нибудь перемены въ жизни. Все работа да работа (хоть и не утомительная) ей надоѣла. И тутъ-то, неожиданно, случился романъ. Частенько разговаривали мы объ этомъ романѣ.

— Что же ты, спрашивалъ я у нея,—очень любила его?

— Стало быть любила! вѣло произносила она въ отвѣтъ.

— И вовсе даже ты его ни чуточки не любила! вставляла правдивая Татьяна.

— Ну, ври!

— Да ей-богу!

— Не любила! обидчиво вскрикивала Дуняша. —Что жъ я, изъ корысти что ли?

— Да и не изъ корысти!

— Тѣфу, прости, Господи! сердилась Дуняша. —Аль я бѣшеная?

— И не бѣшеная!

— Ну, такъ какъ же это?

Дуняша краснѣла.

— А шутъ васъ разберетъ!

— Это точно, вѣдѣшвалась обыкновенно Акулина:—этого не разберешь... Наша сестра тѣмъ не счастлива, что не знаетъ, когда потеряетъ, а когда найдетъ... — Этого не угадаешь... И съ Авдотѣй вотъ то же самое: такъ вотъ, тррр, тррр, колесомъ!..

И Акулина завертѣла руками, желая повидному изобразить колесо.

— Будетъ вамъ, ради Бога! И все-то это неправда! говорила жалобно Дуняша.

— Какъ же это такъ, неправда-то? Это же какими такими судьбами? возразила Акулина. —Ну, диви-бы онъ ужъ былъ красавчикъ какой, афицерикъ или что-нибудь. А т-то,—дѣла отвратительную рожу и говоря какимъ-то отвратительнѣйшимъ голосомъ, продолжала она,—а т-то—лакей, спичка, выжига прокаленная, уродъ! То есть, вотъ, вполне вамъ объяснить—рожа! Картавить, ободраный... Тѣфу!.. Даже противно! Ну, и гдѣ же ты его любила?

— Обыкновенно любила! крайне робко говорила

Дуняша и, видимо, старалась понять, какъ же это такъ все случилось?

— И вѣдь, изволите видѣть, продолжала Акулина, — скучается-сь!.. И полагаетъ такъ, будто-бы по немъ-сь...

— Конечно по немъ... говорила Дуняша.

— Врешь!..

— Нѣтъ, по немъ!

— Врешь, говорю! прерывала Акулина съ сердцемъ. — Врешь! просто у тебя дурь въ головѣ стоитъ... Вотъ!.. О, да Господи, и не поймешь, что у нихъ тамъ въ головѣ-то! Сказано — дурь, дурь и есть! Сдуру пропадетъ, да потомъ «люблю» вишь! Вруниси этакія! Вонъ Солоша (Соломонида), та, по крайности, прямо говорить мнѣ...

Такимъ образомъ въ исторіи Дуняши не было ни одного основательнаго повода, который бы могъ объяснить ея несчастье. Какъ же это такъ? Погибнуть (Дуняша впослѣдствіи погибла окончательно) безо всякихъ причинъ?

Герой Дуняшина романа закончилъ послѣднюю главу его тѣмъ, что тихонечко отыскалъ другое мѣсто и тихонечко туда переѣхалъ. Тайному побѣгу его способствовалъ дворникъ, хранившій тайну переселенія на другое мѣсто до тѣхъ поръ, пока переселеніе это не было устроено окончательно. Уладивъ это дѣло, дворникъ надѣлъ новую синюю чуйку, туго подвязалъ галстухъ, примазалъ саломъ бѣлобрысыя волосы, даже, кажется, смазалъ этимъ же саломъ ксати и всю фізіономію, и отправился въ мастерскую Марьи Петровны.

— Хозяйка дома? вѣжливо спросилъ онъ.

— Куда залѣзъ! закричали на него дѣвушки.

— Убирайся! Мужланъ!

Будьте такъ добры! вѣжливо говорилъ дворникъ. — Что такое? Марья Петровна у себя?

— Нѣту! Ступай!..

— А мнѣ бы надо было. Дѣло есть!

— Ступай, ступай! Нечего проѣдаться.

— Я пойду... А Андриушка-то (герой) — того... сбѣжалъ!

Дуняша ахнула и обмерла.

— Сталъ на мѣсто, не сказался гдѣ, этакой подлецъ! продолжалъ дворникъ. — Какъ онъ про васъ, Дунечка, отзывался...

— Какъ? спрашивала плакавшая Дуня.

— Безобразно-сь! Ругалъ, ругалъ!.. Ужъ онъ васъ такъ-то-ли... Даже словъ нѣтъ!

— Ахъ онъ! вскрикнула Дуня.

— Да-сь. И не сказался. Сталъ на мѣсто не-извѣстно гдѣ... Подлецъ!

Дворникъ постарался какъ можно лучше раскрасить Андриушку, и, когда убѣдился, что вполнѣ достигъ этого, почтительно раскланялся и ушелъ.

Такой, по-истинѣ лакейскій, поступокъ героя въ первое время занялъ вниманіе всей бѣлошвейной. Не знала только хозяйка: она вообще рѣшительно ничего не знала, что дѣлается у нея въ домѣ.

Дуняша, слишкомъ неожиданно получившая оскорбленіе, въ первое время какъ будто-бы измѣнилась: изъ вѣдой и кислой она стала рѣшительнѣе.

— Я ему, подлецу, сдѣлаю! говорила она, стуча кулакомъ о кулакъ, когда по вечерамъ всѣ швеи выходили на корридоръ.

Такія восклицанія нѣсколько недѣль сразу я слышалъ изъ моего окна постоянно.

— Погоди онъ! грозилась Дуняша, какъ будто затѣвая мѣсть самаго отчаяннаго свойства. Всѣ интересовались знать, что такое она сдѣлаетъ, хотя для всѣхъ было очевидно, что она ровно ничего не сдѣлаетъ, несмотря на то, что закалалась, закалалась на смерть.

— Ни въ жизнь, никогда! говорила она совершенно искренно и горячо.

— Ну, это ты пустяки разговариваешь! хладнокровно возражала Акулина. — Ты это, Авдотья, такъ надо сказать, совсѣмъ пустыя слова говоришь...

— Пустыя? Нѣтъ, вотъ какъ! восклицала Дуняша. — Ежели я... то не видать мнѣ матери никогда!

— Ты съ ума сошла видно? Что ты, — очумѣла? Развѣ это можно?.. А ну, какъ матери-то и не увидишь? — а? Скажите на милость, обращалась Акулина ко всей публикѣ, — совсѣмъ вѣдь дѣвка-то ошалѣла! Ахъ, ты Господи!

Но Дуняша крѣпилась и на этотъ разъ видимо боролась даже; она такъ страшно поклялась насчетъ этого *никогда*, а между тѣмъ по-прежнему находилась въ тѣхъ же условіяхъ, которыя устроили ея первый романъ. Условія эти хорошо знакомы всякому рабочему человѣку и вообще всякому человѣку неразвитому.

Нужно съ особенною внимательностію изучить всю трудную жизнь рабочаго человѣка, чтобы понять, какъ необходимы были для Дуняши тѣ вещи, отъ которыхъ она «закалалась». Только рабочій человѣкъ можетъ объяснить вамъ, почему онъ, напр., такъ скотски напивается въ минуту отдыха. Изъ объясненія его вы увидите, что заливаніе черезъ край извѣстнаго напитка совершается большею частью вовсе не съ горя... Неразвитому, неученому рабочему некуда дѣть своего отдыха. Послѣ трудовъ, по большей части слишкомъ однообразныхъ, утомленные нервы, возвращенные наконецъ собственному благоусмотрѣнію, неизбѣжно, настойчиво жаждутъ пріятнаго.

Въ такомъ же точномъ положеніи была и Дуняша. Работа у ней была не утомительная, но слишкомъ простая, однообразная. За работой не думала она ни о чемъ, и тѣмъ менѣе было пищи для ея ума во время отдыха. Въ такую пору швеи выходили обыкновенно на корридоръ и, для развлеченія, имѣли передъ собою слѣдующую привлекательную и разнообразную картину: пустой и вонючій дворъ, по которому нрѣдка двигались люди; прямо передъ глазами каменная высочайшая, глухая стѣна сосѣдняго дома. И на этотъ вонючій дворъ и глухую стѣну смотрѣли всѣ сосѣдки мои не одинъ уже годъ: все та же стѣна, все тотъ же дворъ! Господи! Какъ при такомъ одуреніи, которое непременно должно было явиться отъ такого безчеловѣчнаго однообразія жизни, какъ не сдѣлать самой страшной глупости? Утомленіе, производимое однообразіемъ, здѣсь могло поспорить съ утомленіемъ

отъ самаго тяжкаго труда. И если бы не рассказы Акулины, думалъ я, то почему знать, что было бы съ этими дѣвушками еще годъ тому назадъ? Матери и отцы ихъ были далеко. Да въ Москвѣ и не въ ходу материнская наука.

Послѣ зачатія, которое Дуныша наложила на себя, прогулки по корридорѣ и созерцаніе стѣнъ продолжались по-прежнему, и слѣдовательно все шло по старому. Переживавъ первое время ненависти ко всѣмъ мужчинамъ, которую чувствовала Дуныша, дворникъ вторично напаялилъ на себя новую синюю чуйку и, выбравъ время, помѣстился посреди двора, противъ окна, на которомъ сидѣли бѣлошвейки.

Снявъ почтительно картузъ, дворникъ расклялся и произнесъ:

— Все ли, красавицы, въ добромъ здоровьи?

— Мужикъ! отвѣчали ему.

— Ахъ! шутливо воскликнулъ дворникъ. — Что такое? Неужто-жъ мужикъ не стоитъ ничего?.. не угодно ли, барышни, папиросочекъ? Легкія-съ!

— Давай! кричали ему сверху.

— Царь небесный! съ улыбкой воскликнулъ дворникъ. — Слава Богу!

Черезъ минуту онъ былъ въ корридорѣ.

— Что же вы, Дунечка, какъ теперь?

— Ежели ты мнѣ только посмѣешь поминать объ этомъ, — я тебя!

— Ой! вскрикивалъ дворникъ.

— Чужья!

— Это еще что такое?

— Михрюкъ! вставляла Татьяна.

— Хрякъ! присовокупляла третья подруга.

Раздавался дружный хохотъ.

— Акулина Матѣевна! говорилъ дворникъ, обращаясь къ кухаркѣ. — Какъ меня-то? Изволите слышать?

— Дуры! рѣшала Акулина.

— Нѣтъ-съ! заступался дворникъ. — Онѣ — барышни, а мы мужики необразованные! Имъ обидно! Ну-съ, до пріятнаго свиданія! Богъ съ вами!

Уходя, дворникъ кивнулъ Акулинѣ.

Съ слѣдующаго дня, быть можетъ, благодаря совѣтамъ Акулины, дворникъ принялъ другую методу: онъ по-прежнему расфранчивался, маслилъ волоса, но «мужичьихъ» своихъ разговоръ не разговаривалъ. Аккуратно, въ извѣстный часъ онъ появлялся по срединѣ двора и раскланивался.

— Иди сюда, Иванъ! звала Акулина изъ корридора. — Иди къ дѣвушкамъ...

— Зачѣмъ ты его зовешь? съ негодованіемъ восклицала Дуныша. — Мужичья образина!..

— И правду! подтверждала Татьяна. — Этотъ еще хуже Андрюшки. Полѣно деревенское!

— Погляжу я на васъ, говорила Акулина, — и совѣмъ-то вы дуры! ей-богу! «Хуже Андрюшки?» Ну, какъ же ты смѣешь это говорить? Андрюшка прощальнаго, слѣдалъ грѣхъ и ушелъ — не сказавъ, а этотъ человекъ — строгій... всегда онъ дома, и уйти ему куда!..

Входилъ дворникъ и робко помѣщался на кадушкѣ, противъ Дуныши, помахивая картузомъ.

— Что вылупися! вскрикивала ему прямо въ глаза Татьяна.

Дворникъ молча двигался на своемъ сидѣнн и не отвѣчалъ.

— У-у! рожа.

— Дура! какъ есть дура! Ты, Ваня, не смотри на нее, скоро и она хвостъ подожметъ! говорила Акулина.

— Какъ вамъ угодно! жалобно произносилъ дворникъ и по-прежнему сидѣлъ молча и недвижимо. Такъ танулось долго. Дѣвушки шопотомъ разговаривали между собою. Иванъ, котораго они ругали, сдѣлался таки единственнымъ предметомъ для разговора.

— Иванъ! что-жъ, угощай дѣвушекъ-то чѣмъ нибудь! командовала Акулина. Мгновенно изъ кармановъ Ивана являлись папиросы, пряники, орѣхи.

Дѣвушки долго отпѣкивались, по потомъ все-таки принимали услуги. Въ то же время Иванъ вздыхалъ, поднимался, жалобно говорилъ «счастливо оставаться» и уходилъ.

По уходѣ его продолжали лакомиться и подсмѣивались надъ Иваномъ.

— Какъ это тебѣ, Татьяна, не стыдно? говорила Акулина. — Онъ всей душой къ вамъ, а вы надъ нимъ потѣшаться задумали... И ты тоже, Авдотья!

— А мнѣ что? возражала Дуныша.

— Дура! заключила Акулина. — Тѣфу! По мнѣ какъ хотите... Вотъ навернется другой Андрюшка, вспомнишь.

Дуныша не возражала: она боялась лишиться расположенія Акулины; боялась этого потому, что безъ совѣтовъ и указаній Акулины рѣшительно не знала, что съ собой дѣлать.

Такія появленія дворника происходили аккуратно каждый день вечеромъ и танулись мѣсяца полтора. Впослѣдствіи, уходя домой, онъ свидѣтельствовалъ почтеніе почему-то уже только одной Дунышѣ.

— Счастливо оставаться, Дунечка! говорилъ онъ, уходя.

— Что онъ ко мнѣ прилипаетъ? досадовала Дуныша.

— Дура! отвѣчала на это Акулина.

Въ самомъ дѣлѣ, дворникъ ни для кого не былъ привлекательною личностью; кромѣ того что онъ былъ нехорошъ собой, во вредъ его сердечнымъ дѣламъ главнымъ образомъ служило то, что онъ былъ «дворникъ». Съ чиновникомъ, съ *скубенномъ*, наконецъ съ купцомъ дѣлать сердечныя дѣла — еще такъ и сякъ можно бы; но дворникъ, мужикъ... Кромѣ него, въ Москвѣ развѣ мало пріятныхъ мужчинъ?

Къ несчастью, на нашемъ скучномъ дворѣ не попадалось пріятныхъ мужчинъ. Къ однообразію этого двора и въковѣчной каменной стѣнѣ присоединилась фигура дворника, и вотъ уже полтора мѣсяца не сходило съ глазъ у изскачавшихся дѣвушекъ. При полномъ презрѣніи, котораго, по понятіямъ дѣвушекъ, онъ былъ достоинъ, дворникъ незамѣтно занялъ собою все вниманіе ихъ и въ особенности вниманіе Дуныши. Онѣ надъ нимъ подсмѣи-

вались, выдумывали, какую бы устроить против него каверзу (впрочемъ всегда невинную), но все-таки думы эти и придумыванья были для него и о немъ.

Иногда, желая отдѣлаться отъ него окончательно, всё онъ уходилъ изъ коридора наверхъ и принимались пѣть пѣсни. Вдругъ Дуняша произносила:

— А Иванъ-то теперь ждетъ!

— Да чортъ съ нимъ! отрѣзывала Татьяна. И опять пѣли, и опять неожиданно кто-нибудь спрашивалъ:

— Ждетъ Иванъ-то?

— Ждетъ!

— Посмотри-ко въ окно!..

— Ну-ко, я посмотрю...

Всѣ разомъ высовывались въ окно и разомъ восклицали:

— Ждетъ!..

Дѣло оканчивалось тѣмъ, что всѣ шли на коридоръ; Акулина звала Ивана, и происходило обычное молчаливое угощеніе.

Были минуты полнѣйшаго негодованія Дуняши на назойливость Ивана. Иванъ видѣлъ это, но ни на йоту не измѣнялъ своего поведенія: въ извѣстныхъ минуты онъ появлялся на своемъ мѣстѣ и безмолвно смотрѣлъ на Дуняшу, по временамъ вдыхая.

Акулина не возражала на ругательства Дуняши; она переживала.

Наконецъ, мѣсто отчаяннаго негодованія заступило полнѣйшее равнодушіе, прежняя скука. Иванъ оправился, повеселѣлъ и къ обычной своей фразѣ: «счастливо оставаться, Дунечка» началъ прибавлять:

— А я, Дунечка, все объ васъ думалъ!..

— А мнѣ какое дѣло?..

— Право-съ!..

Встрѣтивъ Дуняшу гдѣ-нибудь на дворѣ, онъ почтительно снималъ фуражку и какъ-то загадочно говорилъ:

— Дуняша!

— Отстань!

Дворникъ вздыхалъ.

Дѣла шли съ неизмѣннымъ постоянствомъ. Дуняша скучала. Скука давно нагладила въ ея сердцѣ сильное заклятіе, которое она наложила на себя. Дворникъ по-прежнему продолжалъ безмолвные визиты; Акулина глубокомысленно давала совѣты и особенное вниманіе обращала исключительно на Дуняшу. Между своими совѣтами и разсказами она поминутно вставляла нѣсколько ругательныхъ фразъ насчетъ Андришки и прибавляла тотчасъ же словечко въ пользу дворника:

— Вотъ Ваня,—ну, этотъ не такой!

Услышавъ это, дворникъ, поднимаясь съ бочки, на которой обыкновенно сидѣлъ, трогалъ туго затянутую шею, ловко встряхивалъ волосами и, крикнувъ, садился опять.

Одно и то же повторялось каждый день. Дворникъ сдѣлался неизбѣжнымъ для вниманія дѣвухекъ предметомъ, какъ и дворъ, какъ и стѣна.

Дуняша, нѣкоторымъ образомъ вкусившая плодовъ любви, томилась.

Акулина подмѣтила эту минуту. Сидя по вечерамъ на окнѣ, я слышалъ, какъ она, оставаясь наединѣ съ Дуняшей, заговаривала:

— Этотъ — не Андришка! По мнѣ какъ хочешь; мнѣ что! А я тебѣ всей душой говорю. Это человѣкъ строгій... Онъ любить порядокъ... Чего добраго и замужъ возьметъ!

Такимъ образомъ дворникъ, благодаря разговорамъ Акулины, приобрѣлъ вдругъ неопытенное достоинство. На него начали смотрѣть благосклоннѣй. Даже Татьяна не огрызалась.

— Ну, ты женихъ! покрикивала она на него при случаѣ и этимъ только ограничивалась.

Дворникъ все молчалъ; все чего то ждалъ, нужно сказать правду, съ убійственной стойкостью. Насчетъ свадьбы онъ не сказалъ еще ни одного слова. Дуняша попыталась у него объ этомъ черезъ Акулину. Эта дама передала самый удовлетворительный отвѣтъ. Дуняша видимо обрадовалась этому извѣстію. Прибирала ли она у меня въ комнатѣ, или гуляла на коридорѣ, только и разговору было что про Ивана: какой онъ будетъ мужъ? будетъ ли драться? Мало-по-малу Дуняша сроднилась съ мыслью, что она невѣста, и смотрѣла на Ивана какъ на жениха. Новое званіе, приобрѣтенное Ивановомъ, расположило къ нему всѣхъ. Отвращенія уже не было. Не было и равнодушія: Иванъ вѣдь рѣшался женитьбой прикрыть Дуняшинъ грѣхъ. Дуняша начала вступать съ нимъ въ разговоръ; сама приказывала, какого именно принести гостяницу.

Мало-по-малу, при помощи скуки, пустоты и обѣщанія жениться, дѣло было такъ поведено, что въ одинъ изъ вечеровъ произошла на коридорѣ слѣдующая сцена.

— А что, Дунечка, заговорилъ дворникъ,—вы все сидите? Все бы когда по Тверскому прошлись... Публика любопытнѣйшая и опять же музыка.

— Я и не знаю, подкакнула Акулина,—что это за дѣвки такіе? Все дома, все дома... Диви бы кто ихъ на цѣпи держалъ, ей-богу!

Дуняша покраснѣла.

— А и то! тихо сказала она. — Татьяна, ты пойдешь?

— О, да ну васъ...

— А тебѣ непременно Татьяну! Ты безъ Татьяны, кажется, шагу не сдѣлаешь? привѣтствовала Акулина.

— Нашему брату, продолжалъ дворникъ,—нашему брату дѣло другое. Намъ ни на минуту отлучиться нельзя. А вы куда захотѣли—туда и пошли... Да право-съ!

— И то! весело сказала Дуняша и бѣгомъ побѣжала на верхъ одѣваться. За ней и другія.

Тотчасъ по удаленіи дѣвухекъ, дворникъ быстро вскочилъ съ бочки и, какимъ-то испуганнымъ шопотомъ, скороговоркой, заговорилъ съ Акулиной. Та, не отвѣчая, вырвала изъ его рукъ картузъ, поспѣшно надѣла его на голову Ивана, козырькомъ на бокъ, и, повернувъ его за плечи, почти спихнула съ лѣстницы. Черезъ секунду дворникъ, какъ молнія, мелькнулъ по двору и скрылся подъ воротами.

Ни на другой, ни на третій день Дуняша не

показывала глазъ въ мою комнату. Въ мастерской было какое-то затишье; Акулина, напротивъ, всё эти дни была подъ хмелькомъ и чувствовала приливъ необыкновенной словоохотливости. Дворникъ на другой же день скинулъ свой праздничный костюмъ и патался въ одной распоясанной рубахѣ. Онъ сдѣлался вдругъ разговорчивымъ, даже подсмѣивался надъ швеями, покрикивая имъ со двора:

— Эй, вы, мымыры! Что приуныли?

И цѣлые дни горланилъ дѣсны самаго бессмысленнаго свойства, какъ наприимѣръ:

Маѣ не жалко туфеля,
Жалко бѣлаго чулка.
Ахъ, ха, ха... Ахъ, ха, ха.

Или, наконецъ, просто орать на разные тоны.

Спустя довольно долгое время послѣ второго романа Дунаши (къ которой вернулся въ слѣдующей главѣ), произошла удивительная исторія съ Татьяной, оправдавшая вполнѣ предсказанія Акулины. Исторія эта до такой степени удивительна, что я, не рѣшаясь и не имѣя никакой возможности объяснить ея происхождение, берусь передать дѣло такъ, какъ оно произошло по точнымъ рассказамъ всего швейнаго міра.

Дѣло происходило такимъ удивительнымъ образомъ.

Какъ я уже сказалъ, Татьяна была самая разсудительная изъ всѣхъ швей, работавшихъ у Марьи Петровны. Каждое сердечное несчастіе той или другой изъ подругъ ея еще болѣе укрѣпляло Татьяну въ увѣренности, что ея вѣкъ дѣйствительно очень долготъ. Да и кромѣ того обращеніе ея съ мужчинами показывало, что она подозрѣваетъ почти всѣхъ мужчинъ въ мірѣ въ самыхъ грубыхъ поплзновеніяхъ. Она, не робѣя, отталкивала непрощеннаго обожателя, если тотъ предлагалъ пройтись «подручку», или былъ настолько предупредителенъ, что охотно брался проводить ее до дому. Татьяна спасовала въ одномъ, повторяю, совершенно невѣроятномъ событіи.

Однажды, часа въ два дня, возвращалась она изъ лавки съ тесемками въ рукахъ. Въ это время кто-то, не говоря ни слова, подхватилъ ее подручку и спокойно произнесъ:

— Куда ты, милочка, бѣжишь?

Татьяна въ испугѣ бросилась отъ своего кавалера; но тотъ крѣпко держалъ руку ея и, улыбаясь, говорилъ:

— О, глупая!

— Отстаньте! крикнула Татьяна.

Татьяна начала отбиваться и наконецъ вырвалась. Тотчасъ же она юркнула подъ ворота. Господня въ пуховой шляпѣ, съ сѣроватыми усами, улыбался и шелъ за ней слѣдомъ. Наконецъ она добралась къ двери своей квартиры. Господинъ остановился радомъ съ ней.

— Уйдите, ради Бога! убѣдительно просила его Татьяна, боясь хозяйки, которая въ эту пору обыкновенно бушевала въ мастерской. — Хозяйка дома, она увидитъ... Подумаешь...

— Что жъ такое? Какъ ее звать?

Танечка рѣшительно не знала, что дѣлать. Вдругъ она отворила дверь, юркнула въ кухню и заперла дверь на крючокъ.

— Слава Богу! говорила Татьяна, очутившись въ кухнѣ и дрожа отъ испуга.

Въ это время неожиданно раздался звонокъ съ параднаго хода.

— Татьяна, отвори! приказала Акулина.

— Ну-ко онъ?

— Отвори!

Звонокъ повторился. Татьяна отворила: это былъ онъ.

— А! вотъ и ты! Ну, проводи меня въ комнату...

— Баринъ, голубчикъ! Тутъ хозяйка!

— Ну, въ кухню проводи! Хозяйка! Чтожъ такое? Гдѣ кухня?

Баринъ прошелъ въ переднюю и потомъ въ кухню.

— Бто тамъ? крикнула сверху хозяйка.

— Это... къ Акулинѣ! отвѣтила Танечка.

Между тѣмъ баринъ ушелъ въ кухню на лавкѣ; снялъ шляпу, закурилъ неспѣша папироску — и разговорился съ Акулиной. Баринъ былъ такъ простъ съ ней, не смотря на то, что, повидимому, былъ очень богатъ, что Акулина тотчасъ же растаяла передъ нимъ. Черезъ двѣ-три минуты къ Татьянѣ, присутствовавшей въ кухнѣ, присоединилось двѣ-три подруги сверху, и баринъ просто обворожилъ ихъ. Онъ показывалъ, наприимѣръ, ключикъ отъ своихъ золотыхъ часовъ: въ ключѣ была сдѣлана микроскопическая картинка клубничнаго свойства; дѣвушки смотрѣли и помирали со смѣху; дверь изъ кухни поэтому заперли. Такого же свойства картинки были сдѣланы у барина въ палкѣ, въ папиросницѣ и, кажется, во всѣхъ пуговицахъ жилета. Баринъ все это показывалъ имъ и вмѣстѣ съ ними смѣялся. Въ заключеніе онъ показалъ свою палку; всѣ нашли, что въ палкѣ нѣтъ ничего особеннаго. Тогда баринъ изъ палки сдѣлалъ стулъ и каждая изъ дѣвушекъ считала обязанностью присѣсть. Даже Акулина попробовала и нашла стулъ великолѣпнымъ.

Всѣ были въ восторгѣ.

Показавъ стулъ, баринъ опять сложилъ его въ палку, взялся за шляпу и сказалъ Татьянѣ весьма ласково:

— Такъ ужъ, милая Танечка, я у васъ буду опять!

— Ахъ нѣтъ, нѣтъ.

— Буду, буду-съ!.. Непремѣнно-съ!.. Бъ пяти или къ шести часамъ въ четвергъ... Поѣдемъ, погуляемъ!

— Что вы! что вы! закричали всѣ дѣвушки.

— Непремѣнно-съ! Бъ шести часамъ!

Баринъ скрылся.

Танечка, да вообще весь швейный міръ, рѣшительно не знали, что подумать объ этомъ и что тутъ дѣлать. Самое вѣроятное было то, что храбрая Татьяна начала бояться незнакомаго господина, какъ барина.

Акулина не могла ничего присоветовать. Сказать хозяйкѣ—та не пойметъ, въ чемъ дѣло, разорется, подумаетъ Богъ знаетъ-что и изобьетъ. Я присоветывалъ прогнать—всѣ возопили.

— Онъ-те прогонитъ! говорила Танечка.

Цѣлую недѣлю вплоть до четверга она ходила въ какомъ-то забытѣ, въ лихорадкѣ. Я старался ее разувѣрить, что баринъ не придетъ и не посмѣетъ ничего сдѣлать, и Танечка немного успокоилась. Пришелъ четвергъ. Пробило шесть часовъ—барина не было. Я ушелъ изъ дому въ полной увѣренности, что онъ не будетъ совсѣмъ, потому что, въ самомъ дѣлѣ, не могъ себѣ представить, чтобы на бѣломъ свѣтѣ могъ существовать подобный наглецъ.

Вечеромъ однако я узналъ слѣдующее:

По уходѣ моемъ Танечка была совершенно спокойна. Она вмѣстѣ съ другими сидѣла въ кухнѣ и пѣла пѣсни. На дворѣ шелъ дождь.

— Не придетъ! говорили всѣ.

Вдругъ дверь отворилась и баринъ—мокрый съ зонтикомъ—вошелъ въ кухню. Всѣ обомлѣли, въ буквальный смыслъ слова. Закоченѣли, замерли.

— Готова? спросилъ баринъ.

Татьяна была блѣдна какъ полотно. Она такъ испугалась «барина», что не нашла противъ его требованій никакого возраженія. Она вдругъ почувствовала себя во власти этого «барина», вѣрнопостной страхъ охватилъ ее, и она едва-едва пролепетала:

— Башмаковъ... нѣту!

— Такъ дайте же кто-нибудь башмаки! Эй ты, дай ей башмаки!

— Авдотья, дай! шопотомъ приказала Акулина, рѣшительно не понимавшая, что дѣлается кругомъ.

Танечка, не помня, что дѣлаетъ, торопливо надевала башмаки.

— Это несносно, горячился баринъ.—Дайте же ей чѣмъ-нибудь накрыться... Это чортъ знаетъ что такое!.. Лошадь ждетъ!.. Дайте хоть платокъ!

Мигомъ принесли все; Танечка сама торопливо укуталась; а Акулина, также вся охваченная атмосферой вѣрнопостныхъ преданій, проворно выговорила съ уголивостью рабыни:

— Готова-съ!

Баринъ съ сердцемъ толкнулъ дверь, вывелъ Танечку за руку и скрылся.

Всѣ были поражены и рѣшительно не могли ничего сообразить.

Я воротился часовъ въ 11 ночи. Въ кухнѣ, противъ обыкновенія, былъ огонь. Всѣ швей сидѣли вокругъ стола и молча смотрѣли на Татьяну, которая была вся въ слезахъ.

— Танечка, что съ тобой? спросилъ я.

— Убирайтесь вы! неистово закричала она на меня.

Я ушелъ къ себѣ въ комнату. Черезъ нѣсколько минутъ ко мнѣ тихонько явилась Акулина и шопотомъ передала только что случившуюся исторію. «Баринъ» оказался однимъ изъ крупнѣйшихъ московскихъ обжоръ и воротилъ; съ нимъ *ничего нельзя было сдѣлать* (на Руси есть такой типъ),

такъ какъ всякое дѣло онъ могъ «затушить» и уже давно привыкъ къ этому. Онъ былъ наглъ, потому что *все можетъ*.

Послѣ такихъ тревоженій, возмущившихъ спокойствіе нашей квартиры, настало совершенное затишье. Дуняша спокойно путешествовала въ дворницкую; Танечка притворилась, какъ будто съ ней ничего не бывало; хозяйка по-прежнему не платила денегъ, и къ вѣщей тишинѣ и спокойствію нашей квартиры—даже не являлся управляющій. Хозяинъ по-прежнему возвращался подъ хмелькомъ, на зарѣ, и вообще все шло по старому. Солоша, третья личность, на которую я хотѣлъ обратить вниманіе, все шепталась о чемъ-то съ Акулиной, и въ кухнѣ начали появляться какія-то старухи; слышно было, что Солошѣ сулятъ счастье и благоденствіе. Въ послѣднее время даже у Татьяны заведись какія-то тайны; по вечерамъ и она исчезала куда-то вмѣстѣ съ Дуняшей. Все это дѣлалось втихомолку, тайкомъ, крадучись.

Несмотря на это, повторяю, въ нашей квартирѣ было полное затишье. Такъ тинулось мѣсяца три. Затишье сдѣлалось до такой степени несносной вещью для всѣхъ, что вся квартира наша жаждала какой-нибудь переменъ.

Судьба положила предѣлъ этой тишинѣ катастрофой ужасной и трагической.

Началось дѣло съ того, что въ одинъ вечеръ Дуняша явилась ко мнѣ подъ хмелькомъ и едва ворочавшимся языкомъ объявила, что Иванъ ее обманулъ. Онъ отпирается отъ своихъ словъ насчетъ женитьбы. «Ты, говорилъ онъ Дуняшѣ, несоответственнаго поведенія... Мнѣ этого нельзя!» Дуняша плюнула по этому случаю дворнику въ бороду и убѣжала искать стараго друга Андрюшу. Бромъ отказа отъ женитьбы, дворникъ сдѣлалъ еще другую безобразную вещь: онъ утаилъ адресъ Андрюшки, который, уходя въ Грузины, далъ его для передачи Дуняшѣ.

Дворникъ, убѣдившись, что послѣдовалъ разрывъ, разслабилъ Дуняшу на весь домъ, и не давалъ проходу черезъ дворъ. Андрюшка, котораго Дуняша нашла-таки, изображалъ изъ себя обиженнаго человѣка и обошелся холодно. Чтобы отдалиться отъ старой подруги своей, онъ напоилъ ее до-пьяна и отправилъ на извозчикѣ домой.

Съ этого дня начались ссоры и брань. Дуняша ругалась съ Акулиной. Акулина утверждала, что она никогда не говорила Дуняшѣ насчетъ женитьбы Ивана, и тоже ругалась. Дуняша снова закла-лась; но чрезъ день прошелъ слухъ, что ее сманилъ «старикъ-табатеръ», сдѣлавшій ей шелковое платье. Дуняша начинала являться домой все чаще и чаще подъ хмелькомъ.

Въ эту пору неприятно было ее видѣть.

За этимъ, какъ кажется, плачевнымъ окончаніемъ Дуняшиной жизни послѣдовало новое, глубоко печальное событіе.

Въ одно утро, уже часу во второмъ дня, на дворъ съ грохотомъ влетѣла пролетка, и скоро въ кухню вбѣжалъ трактирный половой въ чуйкѣ.

— Здѣсь дѣвица? шопотомъ спросилъ онъ.

— Ты отъ кого? спросила въ свою очередь Акулина.

— Изъ трактира «Ростовъ»... Здѣсь, черезъ Анну Филипповну, рекомендовали одному купцу дамѣ—Соломонидѣ?...

— Здѣсь...

— Пожалуйте. Они требуютъ... Такъ какъ они желаютъ ихъ для услуженія... Опять же деньги получены...

— Половину денегъ получили... только; гдѣ же остальные?

— На мѣстѣ-съ!

Разговоръ этотъ происходилъ шопотомъ; но я слышалъ его, стоя на лѣстницѣ и приготовляясь отнести въ кухню графинъ. Все, что только услышалъ я, испугало меня. Очевидно было, что Соломонида была «продана» и—что особенно горько—желала быть проданной; я теперь только уяснилъ себѣ «шопотъ» между нею и Акулиной, и этотъ шопотъ теперь выяснился мнѣ какъ спокойный, торговый разговоръ. Я тотчасъ же отправился въ залу, чтобы объяснить Марьѣ Петровнѣ все, что у нея дѣлается. Марья Петровна была любезна сверхъ силъ. Я надѣялся высказать ей много, какъ неожиданно раздался опять звонокъ, и спустя нѣсколько минутъ явился управляющій.

Марья Петровна встрѣтила его съ обычной воспитательной улыбкой; но управляющій, къ удивленію ея, не улыбался, даже не поклонился, а прямо подошелъ къ ней и съ сердцемъ сказалъ:

— Извольте выѣхать немедленно съ квартиры!..

— Однако вы говорите дерзости...

— Я терпѣлъ-съ; былъ снисходителенъ... Но нѣтъ изъ границъ вышла... Извольте выѣхать... Долгъ выплутъ чрезъ полицію.

Хозяйка сидѣла блѣдная и дрожала отъ негодованія.

— Кромѣ того у васъ... у мастерицъ развиваются болѣзни... Г-нъ докторъ!

Изъ передней выступилъ полицейскій докторъ.

Начался общій плачь. Въ самомъ дѣлѣ слѣды заразной болѣзни были очевидны. Даже у маленькой Ани голова была въ стручкахъ.

Ударъ для всѣхъ былъ неожиданный. Дѣвушки, узнавъ, что ихъ будутъ «требовать» къ доктору и послѣ этого перваго визита, — бросились къ матерямъ, у кого послѣднія жили въ Москвѣ. Явились матери и отцы, начались слезы, ругательства, проклятія. Ссора и плачь стояли по всей нашей квартирѣ. Къ довершенію всѣхъ бѣдъ, хозяинъ, пьяный, разбилъ голову и его принуждены были свезти въ больницу... Купчиха-вдова, узнавъ, что дѣлается въ заведеніи Марьи Петровны, боялась принимать ее къ себѣ. Марья Петровна рыдала. Съ квартиры гнали съ удивительной настойчивостью. Не было силъ жить въ этомъ омутѣ. Я перѣхалъ.

Прошло болѣе двухъ лѣтъ послѣ только-что разсказанной исторіи, и однажды мнѣ снова довелось встрѣтить одну изъ моихъ старыхъ знакомыхъ, именно Дуняшу. Встрѣча эта была возмутительна. Разъ шелъ я по Страстному бульвару. На срединѣ

его, у загородки, выходившей (въ то время) на большую Сѣвную площадь, что за Страстнымъ монастыремъ, столпилась огромная толпа всякаго проходящаго народа. Нѣкоторые смѣялись, большинство же стояло молча или разговаривало не громко. Я пробрался черезъ толпу къ бульварной загородкѣ и увидѣлъ слѣдующую картину: на каменной мостовой сидѣло нѣсколько женщинъ извѣстнаго сорта и выщипывали руками траву, прораставшую между камнями. Женщины эти были грязны и одѣты въ какую-то подозрительную рвань: головные платки, завязанные концами на спинѣ, были спереди надвинуты на глаза, для того, чтобы скрыть отъ зрителей фizioноміи. Всѣ эти женщины были еще очень молоды, и нѣкоторыя изъ нихъ, несмотря на свой позоръ, находили возможность даже хохотать, перекидываясь остротами съ зрителями Страстнаго бульвара. Тутъ же поодаль отъ нихъ стоялъ городской и какой-то жидъ съ бадьей воды: день былъ жаркій, и жидъ поминутно подносилъ эту бадью то къ той, то къ другой изъ женщинъ. Въ одной изъ нихъ я, не безъ сожалѣнія, узналъ Дуняшу.

Изъ разговоровъ, происходившихъ въ толпѣ, я узналъ, что несчастныя эти наказываются «уличной работой» по распоряженію полиціи.

— Скажите на милость, со вздохомъ произнесъ кто-то изъ зрителей:—и при всемъ томъ многіе еще находятъ—жалѣютъ! Ахъ вы, грабительницы этакія!

III. Про одну старуху.

1.

— И съ кѣмъ это старуха разговоры разговариваетъ? недоумѣвалъ отставной солдатъ, сидя за починкомъ стараго сапога въ одномъ изъ гнилыхъ, сырыхъ петербургскихъ «угловъ» и слушаая, какъ, за ситцевой занавѣской другого «угла», съ кѣмъ-то ведетъ разговоры только-что перебравшаяся новая жилища-старуха.

— Кажись, думалъ солдатъ,—никого я у нея не примѣтилъ, а разговариваетъ?

И онъ прислушивался.

Новая жилища вбивала въ стѣну гвоздь и, дѣйствительно, съ кѣмъ-то разговаривала.

— Ишь! сказала солдатъ.

— По крайности хотъ своего ангела образокъ нажила за сорокъ лѣтъ! слышалось за ситцевой занавѣской вмѣстѣ съ звуками вколачиваемаго гвоздя.—Родительскаго благословенія у насъ съ тобой нѣту! По крайности хотъ свой ангелъ... хорошо ли такъ-то?..

Вколачиваніе гвоздя прекратилось, и солдатъ подумалъ, что сейчасъ-вотъ кто-нибудь отвѣтитъ, хорошо ли она повѣсила образъ. Но никто не отвѣчалъ; слышно было, какъ старуха сѣла на свое скрипучее, изъ полѣнъ и ащиковъ составленное ложе и вздохнула.

— И своего-то ангела отдать мнѣ некому, другъ ты мой! вздохнувъ, заговорила старуха.—Охъ, и гдѣ-

то дѣтки мои милыя? Гдѣ дѣтушки мои родиненькія! Гдѣ-ѣ? скажи ты мнѣ?..

Послѣдній вопросъ сопровождался громкимъ и внезапнымъ рыданіемъ, и какъ бы въ отвѣтъ на него, послышался какой-то посторонній, какъ бы сочувствующій вздохъ.

— Есть кто-то! пріостанавливаясь работать, недоумѣвалъ солдатъ.—Тоже плачетъ!

Въ звукѣ, который послышался за занавѣской, дѣйствительно слышались какъ будто слезы.

— Плачетъ и есть!

Солдатъ осторожно положилъ на обрубокъ, заваленный принадлежностями сапожнаго дѣла, свою работу, — рванный сапогъ, и сталъ едва замѣтно приближаться къ занавѣскѣ, съ каждымъ шагомъ все ниже и ниже наклоняясь и присѣдая къ землѣ.

— Кто-бы такой? подвигаясь на четверенькахъ, думалъ онъ.

— Охъ, и взыщетъ Господь за дѣтушекъ моихъ! съ господъ взыщеть! Съ насъ что взыскать? мы люди подневольные! У насъ воли не было ни капелки, ни единой минуточки! Былъ одинъ страхъ, — только всего! Чего со страху не сдѣлаешь? И тебя ежели учнутъ бить да колотить, и ты уйдешь... И я бѣгивала, да глупа была, не знала, куда бѣжать! Охъ, дѣтушки мои! Гдѣ вы? ни одного нѣту! Теперь и волю дали, и хромая я, одна на всемъ свѣтѣ, хоть бы кто одинъ былъ живъ, мальчикъ... пришелъ бы! нѣтъ, нѣту!..

Жилица плачетъ громко навзрыдъ, и ей отвѣчаетъ какой-то мучительно болѣзненный стонъ не-извѣстнаго собесѣдника, вслѣдъ за которымъ вдругъ раздается оглушительный лай, и солдатъ, просунувшій-было голову подъ занавѣску, кубаремъ летитъ къ своему обрубку...

— Дурдилка! Глупая! Цыц! Что ты это, глупая, на кого?.. останавливается собаку старуха.

— Жидъ васъ заѣшь! потирая щеку, оцарапанную собакой, кричитъ совершенно разсерженный солдатъ.— Съ собаками разговариваютъ, дубье ѣтакое! Я думалъ... Ахъ вы, анаемы эдакіе!.. Какъ же ты можешь съ собакой разговаривать?..

— Да не съ кѣмъ мнѣ!..

— Не съ кѣмъ! нѣсколько утихая и успокоиваясь пробурчалъ солдатъ.— Не съ кѣмъ! Какую отличную компанію нашла, — собаку!..

— Да не съ кѣмъ мнѣ, батюшка!.. Все въ господскомъ домѣ жила, дворовая была, а вотъ теперь мнѣ волю дали... Прослышали господа, дай Богъ имъ здоровья, что воля будетъ всѣмъ, ну, и пустили меня на всѣ четыре стороны, потому я ужъ стара стала... хрома, нога болитъ... что-жъ меня кормить-то задаромъ? Ну, и отпустили! ни отца, ни матери нѣтъ... дѣтокъ нѣту! — У насъ строгая была барыня... Н-ну, съ кѣмъ же мнѣ? И есть что одна собака... Дурдилушка! что мы съ тобой будемъ дѣлать... а?..

— Ха-ха-ха! — совершенно успокоившись, засіялся солдатъ.—Волю дали!.. И шутники же только, ей-ей!

— Ужъ да! Ужъ шутники!.. согласилась старуха.—Пустили человѣка по вѣтру!..

— Ха—ха—ха! Ну, и какъ же теперь ты, старушка?

— И не знаю, господинъ кавалеръ! Я такъ думаю, надо съ терпѣніемъ ждать своей кончины!..

— Гм!.. Покрайности ты-бы съ пріѣзду, для начатія знакомства, хоть мало-бы-мальски угощеньица солдату? Все, авось, что-нибудь!..

— Что-жъ, я съ моимъ удовольствіемъ: есть у меня серебряная ложка...

— Господская?

— Господская, господинъ служивый, не утаю! Не умирать, самъ суди... Я, почестъ, босикомъ вѣдъ ушла на волю-то!

— Ну, ничего... ты эту ложку-то дай мнѣ, а я ужъ все предоставлю и сдачи принесу!

Солдатъ скоро одѣлся и, ожидая ложки, которую старуха доставала изъ тряпокъ и узелковъ, смотрѣлъ на собаку и говорилъ:

— Ничего собачка!.. Онѣ тоже, случаются вѣрныя собаки... И разговоръ понимаетъ!.. ничего!.. Я тебѣ сдачи принесу съ ложки-то...

Солдатъ ушелъ. Старуха, въ ожиданіи его, снова связывала свои тряпочки въ узелки и плакала, а Дурдилка сидѣла противъ нея молча, угрюмо и не спускала съ нея глазъ.

2.

Настасья, такъ звали старуху, дѣйствительно была въ беззащитномъ положеніи. Круглая сирота и больная, она кромѣ того была несчастна незнакомствомъ жизни, несмотря на то, что была уже старуха. Въ самомъ дѣлѣ: «дворянка» и «жизнь на волѣ», даже та, какую ведетъ ломовой извозчикъ, поденщикъ, простой нищій, это — большая разница. Всѣ они знаютъ людей равныхъ себѣ, знаютъ, какъ съ ними вести дѣла, знаютъ, на кого работаютъ, потому что у каждого семья или хоть просто личная потребность не умереть съ голоду. У каждого изъ нихъ есть пріемы, какъ изловчиться въ трудной жизни. У Настасьи этого ничего нѣтъ. Хлѣбъ она всю жизнь ѣла господскій, — и теперь заработать его не умѣетъ; работала она, что прикажутъ, но не для себя, а для другихъ; а съ людьми жила такъ, какъ приходилось. Словомъ, относительно жизни она была чистый ребенокъ. Въ теченіе двухъ-лѣтняго житія въ углахъ, за ней замѣтили однажды грѣхъ, покражу платка, и долгое время звали воровкой, тогда какъ она лично не считала своего проступка порокомъ. Она привыкла къ этому въ дворнѣ. И множество другихъ привычекъ, усвоенныхъ ею на дворнѣ, вѣлосъ въ нее и портило ея отношенія хотя и къ нищенской, но болѣе или менѣе самостоятельной жизни, окружавшей ее на волѣ. Работаетъ она напимѣръ цѣлую недѣлю безъ усталости, по двугривенному въ день въ прачешной, встаетъ въ четыре часа и приходитъ въ свой уголъ въ девять; выработаетъ что-нибудь и прошьетъ, хотя бы ей давно надо было купить башмаки. На нее, пьяную, смотрятъ съ презрѣніемъ (и дѣйствительно, она непріятна), а у ней нѣтъ другого удовольствія: до сорока лѣтъ она привыкла «урвать

да уѣхать», т. е. воспользоваться свободной минутой, случайно попавшимъ гривенникомъ. Другіе изъ жильцовъ въ углахъ угощаютъ другъ друга кофеемъ, сплетничаютъ, ругаютъ хозяевъ, ругаютъ лавочника; она же ни къ чему этому не имѣетъ аппетита, она не привыкла стоять за себя. И какъ же скучно ей на волѣ!.. Какъ она печалится, видя, какъ живутъ люди, и сравнивая, какъ свой вѣкъ прожила она. Изъ-за чего ей биться и мучиться, большими ногами стоять по колѣно въ водѣ въ холодной прачешной?.. Нѣтъ у ней ни друзей, ни дѣтей. Друзья изъ той же деревни сами можетъ быть, такъ же какъ и она, гдѣ-нибудь доживаютъ свой вѣкъ. А дѣти? О дѣтяхъ страшно и подумать... Куда она ихъ дѣвала? И зачѣмъ? Боялась строгой барыни, когда Бога нужно было бояться больше ея! Душевное одиночество страшно вообще, и ужъ какъ страшно оно у Настасьи!.. Въ два года житья въ углу ни одного вечера не прошло, чтобы трезвая или хмельная Настасья не плакалась на себя, возбуждая негодованіе сосѣдей своимъ хриплымъ, неприятнымъ голосомъ, не плакалась передъ Дурдилкой о своемъ горькомъ житьѣ...

— Смотри! говорила она Дурдилкѣ, — только задумай уйдти... Розыщу, удавлю своими руками!..

— Я тѣ дамъ! отзывался солдатъ. — Попробуй!

— И удушу! Ты что тутъ? Нешто твоя собака?

— Не моя, а не дамъ!.. На то есть начальство собакъ бить, — а не ты. Не дамъ!.. Себѣ возьму!

— Къ себѣ?.. Да ты хотъ озолоти ее, не пойдешь она къ тебѣ.

— Эхъ, дура старая!.. Я ей кусокъ дамъ, она сейчасъ ко мнѣ поидетъ!.. Сладкое ей у тебя житье, нечего сказать!.. Тютюк!.. Иси, сюда, пострѣль!

— Ну-ну! говоритъ Настасья, смотря на Дурдилку. — Поди-поди, попробуй!

— Иси, сюда! на говядины!

— Поди, Дурдилка, возьми у кавалера говядины, она у него съ француза еще въ зубахъ застряла...

— Старуха-а! не шуми! довольно строго предостерегаетъ солдатъ.

— Ты зови собаку-то!.. Ну, зови!.. чего-жъ ты?

— Старая баба, презрительно заключаетъ солдатъ, такъ какъ Дурдилка рѣшительно не поддавалась соблазну.

— Ай вянь! съ удовольствіемъ кричитъ Настасья сосѣду. — Такъ, такъ, Дурдилушка! На тебѣ корочку, у—у ты, моя легковѣрная слуга!

Настасья употребляла иногда въ разговорѣ слова совсѣмъ не тѣ, какія слѣдуетъ; это потому, что она на своемъ вѣку слышала словъ довольно мало, и теперь, на волѣ, усваивала всякое слово безъ разбору.

«Легковѣрная», по словамъ Настасьи, Дурдилка была дѣйствительно вѣрная собака, и не потому, чтобы она была облагодѣтельствована Настасей, а по одинаковости положенія. Это тоже была «дворовая» собака, безъ конуры, безъ хозяина. Въ характерѣ ея было много мрачности, равнодушія и вѣсть недобѣрія. «На кости!» говоритъ ей какой-нибудь добрый обыватель угла. Дурдилка мрачно смотритъ на него и не идетъ. «На, дура!» Она чуть-

чуть вильнетъ хвостомъ и—все ни съ мѣста. Надо бросить кость и уйдти: и тогда, подождавъ и убѣдившись, что кость одна и никто надъ ней не сторожить, она медленно подойдетъ къ ней, медленно возьметъ и медленно повеситъ въ такой уголъ, гдѣ ужъ ея не сыщешь. Въ жизни Дурдилки бывали разные случаи и разные повара. То она привыкла свободно входить въ кухню и навѣрное разсчитывать на кость; то вдругъ, явившись въ веселомъ расположеніи духа, получаетъ отъ новаго повара полный ковшъ кипятку на свою спину. Когда ее били, она не визжала и не рычала, а только поджимала хвостъ и уходила: она привыкла. Настасья она знала и была увѣрена, что если у Настасьи есть что-нибудь изъ съѣстного, то и ей, Дурдилкѣ, достанется. Отъ этого она и вѣрна была ей; да кромѣ того она чувствовала, что время ея прошло, что собака она была не хозяйственная и что на улицѣ ей дѣлать нечего: только поглядитъ да и поидетъ въ уголъ лечь. Во всемъ домѣ, во всемъ дворѣ ей не симпатизировала ни одна собака. Если иной разъ къ ней разлетится какой-нибудь джентльменъ, то Дурдилка просто отойдетъ отъ него, опустивъ голову, словно конфузясь за джентльмена, что онъ не на ту попалъ. И джентльменъ дѣйствительно поглядитъ ей вслѣдъ чуть-чуть и тоже уйдетъ. Настасья вправилось это отчужденіе Дурдилки отъ собачьяго общества. «Нечего тебѣ съ ними», говорила она ей: «что за компанія? Издерутъ послѣднюю шкуру. На кость,—и сиди!» И Дурдилка сидѣла въ ея углу. Разъ только Дурдилка позволила-было себѣ виѣшаться въ чужія дѣла. Выйдя на дворъ, она увидѣла, что съ молоденькимъ, мѣсяцевъ пяти, щенкомъ играетъ собачка, постарше щенка мѣсяцами двумя. Собачка повалилась на спину и пренѣжно дѣловала щенка, который совалъ ей голову въ самый ротъ. Дурдилка зарычала на собаку. Въ эту самую минуту ее настигла возвращавшаяся домой Настасья. Какъ несчастная мать, много выстрадавшая изъ-за неудовлетвореннаго чувства любви, она сразу поняла, что тутъ происходитъ.

— А, плутъ-собака! накинулась она на Дурдилку, завидуешь, шельма этакая! Зачѣмъ сюда пришла?—пошла домой! (Дурдилка пошла, поджавъ хвостъ). А, каналья! продолжала Настасья, войдя въ уголъ и обращаясь къ Дурдилкѣ, которая уже была въ темномъ углу подъ кроватью.—Что поронишь? Тебѣ ли, старой дурѣ, соваться въ чужія дѣла? Ужъ лежала бы, старая дура, ждала смерти (подъ кроватью слышался вздохъ). Тоже завидуешь! Али ты думаешь мнѣ легче твоего? Что-жъ, и мнѣ теперича, стало-быть, надо думать, отчего это у насъ съ тобой, у старыхъ псовъ, ни дѣтокъ, ни?..

И начался длинный монологъ о горькой долѣ, принимавшій все болѣе и болѣе драматическіе оттѣнки, по мѣрѣ того какъ опораживалась посудинка съ водкою (бутылочка отъ о-де-колона, тоже господская),—посудинка, которую Настасья имѣла обыкновеніе приносить съ собою, возвращаясь съ работы.

— Проклятушая! кричала она на Дурдилку поздно ночью.—Из-вуродую! лежи, не ѣвши!..

Иногда пьяная Настасья была очень отвратительна: зубовъ у нея вѣтъ, глаза громадные, черные, злые; впалыя, дряблыя щеки побѣгли отъ злости; голость злой, хриплый, гадкій... и какъ же за то была она несчастна! Дурдилка—и та на что-то надѣется, даже вотъ хочетъ защитить щенка. А Настасья такъ измучена, больна, одинока, что и подумать не можетъ быть съ кѣмъ-нибудь, кромѣ Дурдилки, въ пріятельскихъ или враждебныхъ отношеніяхъ.

— Когда ты замолчишь, старая корга? не выдержишь, закричать ей солдатъ.—Городового позову!.. Что это такое?

А Настасья все ругала и проклинала Дурдилку, а сама плакала. Потомъ позвала Дурдилку, накормила ее, и все-таки плакала... Дальше солдатъ ничего не слышалъ.

3.

Однажды Настасья пришлось мыть полы въ квартирѣ какихъ-то молодыхъ супруговъ, которые только что женились и были въ отличнѣйшемъ расположеніи духа. Ихъ «хвалили» въ эту пору весь обыкновенный штатъ петербургскаго дома, получающій и просящій на водку. Дворники, швейцаръ, кухарки, газетчикъ и т. д.,— всѣ ихъ называли: «вотъ ужъ господа, такъ-такъ!» потому что господа совали деньги, куда попало... Они были во всѣмъ расположены. Это расположеніе попало и на долю Настасьи. Барыня ее спрашивала, сколько она получаетъ, гдѣ живетъ, отчего не лечила ногу. Господа удивлялись, жалили, общали послать ее къ знакомому доктору, дали лишній полтинникъ, напости чаймъ, подарили башмаки и сказали, чтобъ она приходила къ нимъ, когда нѣтъ работы. Словомъ, господа эти, по мнѣнію Настасьи, поняли ее и жалѣли; очень хорошо чувствовала она на душѣ. Ей казалось, что она живетъ уже не одна на свѣтѣ и не на воздухѣ виситъ,— у ней есть подъ ногами земля. Она можетъ сходить «въ гости». И она ходила въ гости, только какимъ-то особеннымъ образомъ.

Въ сундукѣ ея были какіе-то удивительные наряды, все конечно изъ «господскихъ». Была тутъ коротенькая юбка, словно балетная, шелковые заштопаные шерстью чулки; была тутъ какая-то черная люстриновая баскина, вся на камышѣ и желѣзѣ, концы которыхъ давно вылезли наружу, словомъ,—наряды самые удивительные. Одѣвшись въ это шутство, она чувствовала себя хорошо и шла въ *юсти*, гдѣ вела себя такъ: прямо отправлялась въ кухню «молыхъ господъ», засучивала рукава баскины, подтыкала балетную юбку, снимала шелковые чулки и башмаки и принималась мыть, стирать, подметать, словомъ—дѣлать все, что слѣдуетъ дѣлать кухаркѣ. «Въ *юстяхъ*» она перечиститъ всѣ ножи, перемоетъ всѣ тарелки, вспотѣетъ отъ работы десятка два разъ и, напившись кофею, уйдетъ. Угощалась она такимъ образомъ очень странно, но все-таки ей было удивительно весело на душѣ. Чѣмъ бы она не отблагодарила «молыхъ господъ» за вниманіе, если бы могла, но кромѣ стирки въ ея распоряженіи не было ничего.

Такъ она ходила въ *юсти* довольно долго и впоследствии приводила съ собою даже Дурдилку, которая однажды, когда господа почувствовали однимъ вечеркомъ порядочную скуку, даже очень развлекла ихъ и понравилась имъ.

— Не взять ли намъ собачку? продолжала молодая жена.

— Да-да! согласился мужъ.—Необходимо завести что-нибудь... вообще... даже двухъ...

Настасья разыскала имъ двухъ щенятъ, но Дурдилку водить перестала.

Такъ прошло довольно долго, и Настасья чувствовала себя хорошо,— какъ вдругъ случилось слѣдующее обстоятельство.

Разъ, на масляницѣ, къ молодымъ господамъ неожиданно-негаданно наѣхало и нашло пропасть пріятелей и друзей. Вдругъ поднялось такое веселье, котораго нарочно никогда не устроишь: полилось вино, заиграло фортепьяно, пошли танцы, шутки, смѣхъ. Настасья давно не видывала такого веселья. Ей было такъ хорошо и весело, какъ можетъ быть бывало только въ раннемъ дѣтствѣ. Она забыла, что у ней болитъ нога, бѣгала по десяти разъ за виномъ, выпивала и опять бѣгала, и разъ какой-то шутникъ изъ гостей вдругъ обхватилъ ее и провизгивалъ съ нею по комнатамъ, причемъ всѣ хохотали. Настасью поили виномъ, заставляли ее шутить, говорить прибаутки, которыхъ у ней было въ запасѣ довольно. Въ передней набилось горничныхъ со всей лѣстницы; пришли посмотреть на потѣху какіе-то неизвѣстные люди, довольно прилично одѣтые въ новыя сибирки, и, поглядѣвъ немного, раскритиковали всю публику и ушли. Настасья не слышала этой критики и веселилась какъ ребенокъ, не помня себя, возбуждая всеобщій хохотъ и господа, и зрителей передней: она проплясала какую-то удивительную пляску, дѣловала ручки, представляла, какъ ѣдитъ «легкая почта», причемъ почему-то бокомъ скакала по горницѣ, словомъ—дѣлала всевозможныя глупости. Но репертуаръ ихъ у Настасьи былъ не великъ, а ей хотѣлось дальше и дальше.

Послали ее не то за табакомъ, не то за виномъ. Полетѣла Настасья съ лѣстницы какъ птица и вдругъ видитъ, что дворникъ забылъ на площадкѣ лѣстницы топоръ. Ей вдругъ смертельно захотѣлось украсть этотъ топоръ; ей представилось, какъ это будетъ необыкновенно весело, и она въ одну минуту схватила его, притащила въ горницу и объявила:— «У дворника украла!»—и залилась громкимъ смѣхомъ. Это было такъ глупо, что всѣ покатались со смѣху, а Настасья, разумѣется, больше всѣхъ. Не замѣчая того, что веселье, во время ея отсутствія за покупкой, приняло другое направленіе, она, воротившись, разсказала, продолжая покатываться со смѣху, что встрѣтила на лѣстницѣ дворника, который вскалъ своего топора (представила даже) и, не находя, ругался. Такъ какъ это продолженіе исторіи о топорѣ было совершенно неожиданно среди новаго направленія веселья, то публика опять засмѣялась, а Настасья стало еще веселѣе. Какъ кончился веселый день и вечеръ,— никто изъ гостей на другой день хорошенько не помнилъ. Не помнилъ никто и о На-

стасѣ, и только недѣли черезъ полторы уже кто-то—барыня или кухарка—вспомнили о ней. «Что это давно не видать Настасѣ?»

Прошла еще недѣля, Настасѣ все нѣтъ.

Кухарка зашла къ ней на квартиру, но и тамъ ея не было; тамъ сказали, что недѣли двѣ съ половиной назадъ пошла она въ баню и съ тѣхъ поръ «не бывала.» Уголъ ея отданъ другому, сундукъ и «ангелъ»—у хозяйки, а Дурдилка шатается, гдѣ придется. Хозяйка не весьма ласково отзывалась и о Настасѣ, и о Дурдилкѣ, которая, кстати сказать, очень внимательно слушала этотъ разговоръ.

А съ Настасѣй вотъ-что случилось.

На другой день послѣ веселаго дня Настасѣ пошла въ баню, намѣреваясь оттуда пройти къ «молодымъ господамъ», помытъ полы «послѣ вчерашняго, поприбрать, словомъ—«въ гости». Воспоминанія о вчерашнемъ весельи не покидали Настасѣ. Она такъ разлакомилась вниманіемъ и смѣхомъ, которые возбуждала вчера, что и сегодня такъ ее и подмывало отмочить какую-нибудь смѣшную шутку. Выходя изъ бани, она замѣтила цѣлую груду шакетъ и, проворно схвативъ, спрятала одну изъ нихъ подъ полу: ей представилось, какъ господа захочутъ, когда она явится и похвастается вновь покражей, какъ смѣялись всѣ вчера покражѣ तोпора. Схвативъ шайку, она побѣжала бѣгомъ; но думая, что еще будетъ веселѣй, если притащить двѣ (у Тузяка, думала она, ихъ много!), вернулась, схватила другую, потомъ вдругъ третью, потомъ вѣшникъ...

— Ты что это дѣлаешь? строго, но спокойно, сказалъ неожиданно появившійся дворникъ.

— Батюшка, я въ шутку.

— Въ шутку!.. повторилъ дворникъ и тотчасъ, съ тѣмъ же спокойствіемъ петербуржца, крикнувъ младшему дворнику, расчищавшему снѣгъ:—Иванъ! покарауль старуху, гляди, не убѣгла бы, а городского приведу...

— Батюшки! родимые! Христомъ Богомъ!

— У насъ двѣ тысячи шакетъ въ годъ публики воруетъ, все тоже—въ шутку. Гляди, держи!

Вопли Настасѣ собрали толпу, которая сильно осрамила Настасѣ. Ее взяли въ часть.

4.

Настасѣ взяли въ часть просто для «острастки», въ шутку, на одну ночь; но утромъ, когда ее хотѣли выпустить, она лежала вся въ жару, совершенно больная. Водочкой погрѣться послѣ бани ей не удалось, а и на дворѣ, и въ камерѣ части было довольно холодно. Кромѣ того она была испугана и глубоко огорчена. Она горько плакала, сидя съ ворами и пьяницами и вспоминая Дурдилку, которой някто теперь поѣсть не дастъ и которая, послѣ знакомства Настасѣ съ молодыми господами, иной разъ получала хорошій кусокъ и даже привыкла къ этому куску. Въ утру Настасѣ совсѣмъ разнемоглась. Ее помѣстили въ больницу и здѣсь-то пролежала она, почти не вставая, шесть мѣсяцевъ. Разболѣлась нога,

о которой въ весельи она забыла думать, спина, грудь, сердце. Все это, измученное и старое, поддерживалось прежде водочкой, а теперь все это раскленилось, пошло врозь. Настасѣ каждую минуту ждала смерти, вспоминала свою жизнь, дѣтей, думала, что будетъ горѣть въ аду, думала безпрестанно о Дурдилкѣ, представляла, какъ ее гонять со двора, какъ она умираетъ. Словомъ, въ эти шесть мѣсяцевъ и физически, и нравственно она выстрадала ужасно много. Она чуяла, что смерть придѣлать, что она не за горами, и это-то предчувствіе заставляло ее бодриться, чтобы въ послѣдній разъ поглядѣть на бѣлый свѣтъ, посмотрѣть на Дурдилку, на господъ.

Слабая, раздражительно-нервная выписалась она изъ больницы. Надежда—что вотъ сейчасъ она увидитъ молодыхъ господъ, которые пожалѣютъ ее, нѣсколько ободрила Настасѣ. Выйдя изъ больницы, она выпила водочки и поплелась къ господамъ. Шла она долго, утомилась, устала. Наконецъ добралась.

Но господа переѣхали:—тамъ живутъ другіе.

Какъ ножомъ ударило это Настасѣ въ сердце: ей отдохнуть, даже присѣсть было негдѣ.

— Куда переѣхали, милый человѣкъ, такіе-то? спрашивала она у дворника.

— Выѣхали въ Москву... въ деревню!

Настасѣ вдругъ потеряла бодрость, вдругъ ослабѣла и присѣла у воротъ, прямо на тротуаръ. Долго сидѣла она въ одышкѣ; но такъ какъ дѣло шло къ вечеру, нужно было идти куда-нибудь.

Она пошла къ Дурдилкѣ въ свой старый уголъ.

Поздно уже ночью добралась она туда.

И дѣйствительно только любовь къ собакѣ держала еще ее на ногахъ. Съ самымъ лучшимъ, съ самымъ задушевнымъ другомъ мы не такъ встрѣчались, не съ такою пламенною любовью спѣшили къ нему на встрѣчу, какъ Настасѣ желала и спѣшила встрѣтиться съ Дурдилкой.

Но въ «углѣ» Дурдилки нѣтъ.

— Гдѣ-жъ она? едва дыша произнесла Настасѣ.

— Гдѣ? Да солдатъ твой взялъ ее...

— И пошла? Дурдилка съ солдатомъ убѣжала?

— Чего-жъ ей! Ее здѣсь кормить некому.

Настасѣ окаменѣла отъ такой измѣны. Дурдилка могла умереть съ голоду, но измѣнить! Настасѣ никогда не ожидала этого.

— У-у, проклятая образина! разозлившись, закричала она.—Удушю и съ солдатомъ-то вмѣстѣ! Безсовѣстные разбойники! Куда солдатъ переѣхалъ? давай адресъ мнѣ, пойду изуродую обонихъ разбойниковъ!

Солдатъ, оказалось, переѣхалъ куда-то очень далеко, и идти теперь, ночью, не было никакой возможности. Настасѣ, въ гнѣвѣ и въ возбужденномъ состояніи, провела въ кухнѣ хозяйки цѣлую ночь, предварительно выпивъ, за уступленную хозяйкѣ баскину, довольно много водки. Цѣлую ночь она плакала, ругалась, забываясь только на минуту; цѣлую ночь ругали ее за беспокойство угощенные ею же обыватели угла. Утромъ, съ хмельными парами въ головѣ и еще болѣе больная и слабая, она пошла къ солдату. Она такъ была больна, что не могла

злиться на Дурдилку, разсудивши ее беззащитное положеніе; она была увѣрена, что собака обрадуется ей, и все пойдет по старому. Ей нужно было только взглянуть на нее.

— Гдѣ собака? довольно категорически спросила она солдата, розыскавъ его въ «углу» на Петербургской сторонѣ.

— Какая собака?

— Какая! моя собака! гдѣ Дурдилка?

— Тепериче она не твоя! спокойно и даже съ ироніей отвѣчалъ солдатъ.

— Какъ не моя? Воръ ты ѣтакой!

— Не шуми, старуха! Толкомъ тебѣ говорю, не твоя собака теперъ! Не пойдетъ она за тобой, хоть ты ее озолоти.

— Врешь, разбойникъ!.. горло перерву вору!

— Слушай, старуха! вѣдь ежели я примусь...

Солдатъ показавъ кулакъ.

— Берегись этого! Я говорю дѣло. Вонъ твоя собака, поди попробуй, пойдетъ ли?

Въ углу за сундукомъ дѣйствительно виднѣлась морда Дурдилки. Настасья замѣла отъ радости, какъ только увидѣла эту морду.

— Голубчики! прошептала она съ истинно материнскою нѣжностью, осторожно подходя къ Дурдилкѣ и недоумѣвая, почему это она сама не идетъ къ ней, и почему эта морда и глаза какъ будто не тѣ, что прежде?

— Дурдилушка! протянувъ руку къ собакѣ, шептала Настасья.

Но Дурдилка вдругъ оскалилась и, захлебываясь, зарычала на Настасью, какъ на лютаго врага.

— Ай взяла? съ удовольствіемъ произнесъ солдатъ. — Ну, поди, подступись!..

— Дурдилушка! Матужка! шептала ошеломленная Настасья, не помня себя. — Это а... что ты?

Но Дурдилка рычала все грознѣй и грознѣй. Шерсть у нея на затылкѣ стояла дыбомъ.

— Да что же это ты сдѣлалъ, варваръ ѣтакой? вдругъ въ совершенномъ отчаяньи вскрикнула Настасья, обращаясь къ солдату. — Что ты сдѣлалъ съ моей собакой?..

— Дура! остановилъ ее солдатъ. У ней щенята!.. Чего ты ко мнѣ лѣзешь? тресну, вѣдь духъ вонъ!..

— Щенята! поблѣднѣвъ, прошептала Настасья. И тутъ началась отвратительная и ужасная сцена.

Въ углу солдата раздавалась возня, крикъ, лай, визгъ щенятъ, удары, звонъ разбитыхъ стеколъ.

Эту сцену кончили городовые.

— Щенятъ перебила, рассказывали на другой день въ углахъ. — Солдату щеку раскроила... Все переломала... Собакѣ ногу переломила... Послѣ увезли въ часть. Говорятъ—сумасшедшая.

Настасья должно быть на этотъ разъ и умерла въ части, потому что жить ей стало совершенно невѣзъмъ.

IV. Извозчикъ.

О Ч Е Р К Ъ.

Въ глуши Калужской губерніи стоитъ заметная снѣгомъ деревушка; есть въ ней крошечная и шаршавая избенка, — въ избѣ живетъ баба съ двумя ребятишками. И баба, и ребятишки прежде всего желаютъ что-нибудь ѣсть, а сборщикъ желаетъ получить съ нихъ подушное, и вотъ ради всего этого по Петербургу мыкается извозчикъ Ванька, — тотъ самый, который рекомендуетъ вамъ прокатиться на «американской шнедѣ» или просто надобѣдаетъ возгласами вродѣ: «вотъ на порядочной!» «Ахъ бы, за гривенничекъ прокатилъ!» Ради подушнаго, толкна и краснаго платка, ожидаемыхъ въ деревушкѣ, Ванька перевозитъ въ столицѣ множество всевозможныхъ страданій. Прежде всего не мало уѣдаетъ у него вѣку хозяинъ.

Человѣкъ этотъ вышелъ изъ такихъ же Ванекъ, счумѣвъ понравиться господамъ, попадалъ въ жизни нѣсколько разъ «на счастье», которое являлось къ нему въ видѣ людей, желавшихъ посылить изъ трактира въ трактиръ не иначе какъ во весь духъ, — и въ короткое время, на лютую зависть всѣмъ землякамъ, «вышелъ въ люди.» Въ Ямской онъ нанялъ цѣлый этажъ, когда-то населенный господами, и переселилъ изъ деревни всю семью. Остатки обоевъ, золотыхъ багетовъ и паркетныхъ половъ какъ-то посвойски мѣшались съ деревенскими бабами, шатающимися въ барскихъ покояхъ съ грязными ребятами; ковши съ квасомъ — на каменныхъ подоконникахъ, грязные шерстяные чулки у камина, во внутрь котораго вдвинута кѣтушка съ гусыней, изломанное вольтеровское кресло съ прорванной подушкой, деревянная лавка, чашка съ капустой, громадное зеркало, расколотое въ самомъ центрѣ, и проч. Самовары съ зелеными и красными потеками не перестаютъ здѣсь kloкxтaть цѣлые дни; ковриги хлѣба, соленые огурцы, картофель до такой степени изобилуютъ въ жилищѣ Ванькина хозяина, что даже деревенскіе родственники его, первоначально потерявшіе разсудокъ отъ возможности поглощать означенные продукты «сколько душѣ угодно», въ короткое время сообразили, что въ этомъ нѣтъ особеннаго дива и что «по Петербургу завсегда такъ!». На то онъ и Петербургъ прозывается, чтобы «чего угодно... такъ-то-ся!». Тѣмъ не менѣе увеличеніе роскоши въ огурцахъ и капустѣ, происходящее въ верхнихъ апартаментахъ хозяйскаго жилья, имѣетъ непосредственное отношеніе или давленіе на нижній, подвальный этажъ, гдѣ копошится въ отравленномъ и душномъ воздухѣ сорокъ человѣкъ Ванекъ и ихъ промокшіе полушубки, далека пахнущіе овсянкой, ихъ промокшіе сапоги и рубахи, въ которыхъ гнѣздится тифъ. Ванька этого въ счетъ не ставитъ. На первомъ планѣ его заботъ стоитъ хозяйскій приказъ: «хоть роди, — а два серебромъ предоставь». Бываютъ случаи, что въ руки Ваньки перепадаетъ кое-что и сверхъ выручки; но бываютъ, что вся эта прибыль, накопившаяся втеченіи нѣсколькихъ недѣль, въ одинъ несчастный день цѣликомъ пона-

дасть въ хозяйскій карманъ, такъ какъ хозяинъ имѣетъ ту «правилу», «чтобы ничего этого въ расчетъ не принимать!». «Знать я этого не хочу, говорить хозяинъ,—потому у меня положено, чтобы было два серебромъ»... Но и Ванька тоже имѣетъ свою защиту въ такихъ несчастныхъ случаяхъ. Во-первыхъ онъ надѣется на Бога, а во-вторыхъ у него есть секреты; этими секретами онъ, словно рожнами, отъ бѣды отпихивается. Вотъ онъ выѣхалъ, помолился на церковь и сталъ на «счастливое» мѣстечко. По преданіямъ, на этомъ самомъ мѣстѣ, на углу, около трактира «Амстердамъ», стоялъ Иванъ Шумѣловъ, — которому Господь такое счастье послалъ, что теперь онъ первый изъ хозяевъ-лихачей и имѣетъ пребольшой капиталъ въ ломбардѣ. Попавъ на счастливое мѣсто, Ванька почти покоенъ и, ожидая сѣдоковъ, мерзветъ съ нѣкоторымъ даже удовольствіемъ. Въ такіа минуты онъ думаетъ о томъ, какой-то попадется сѣдокъ, такъ какъ сѣдоки бываютъ разные; одинъ любитъ разспрашивать про женскій полъ; другой говорить: «ну, что-же ты теперь — свободный?», а третій имѣетъ только кричать — «пошелъ-же, чертъ тебя побери!». Размышляя о свойствахъ сѣдоковъ, Ванька вполне увѣренъ, что сѣдоки эти будутъ непремѣнно, «потому Иванъ Шумѣловъ тутъ же стоялъ, и теперь онъ, можно сказать, первый по Петербургу»... Размышляя такимъ образомъ, Ванька погуливаетъ по панели, похлопываетъ рукавицами, подпрыгиваетъ и плечами передергиваетъ, ибо морозъ пробираетъ его тоже не въ шутку, а по-столичному, по-петербургски, то есть до костей. Мимо, по улицѣ, несутся извозчики съ обледевшими бородами, сѣдоки съ руками, засунутыми въ карманы, и поднятыми воротниками. Все визжитъ и дымится, не зная, куда укрыться отъ лютой зимы. Ванька все стоитъ, погуливаетъ да покряхтываетъ. Идутъ сѣдоки, но цѣну несоотвѣтственную даютъ, гривенникъ съ Песковъ на Англійскій проспектъ или въ Мастерскую. Ванька тоже понимаетъ цѣну и за такую ничтожность везти не берется. Но вотъ съ противоположной панели сѣлъ на извозчика какой-то баринъ, и Ванька тотчасъ же перемахнулъ съ своими санями съ *счастливаго мѣста* на *теплое*. Теплое мѣсто — тоже хорошо. Оно иной разъ невиннѣе даже «счастливаго» лучше бываетъ: Ванька въ этомъ вполне убѣжденъ. Попалъ онъ на теплое мѣсто и подсказываетъ, и плечами передергиваетъ и сѣдоковъ ожидаетъ... Идутъ люди и даютъ цѣны несоотвѣтственные. Но Ванька цѣну знаетъ себя... и ждетъ.

— Извозчикъ! раздается наконецъ.

И сѣдокъ безъ торгу заноситъ ногу въ Ванькины сани. Ванька подбираетъ возжи и пускается въ путь, бодро смотря въ лицо морозному вѣтру и сохраняя за своей спиной барина, который изрѣдка пускаетъ вопросы изъ глубины своего воротника.

— Что это у тебя носъ-то желтый? спрашиваетъ баринъ.

— Отморожень-съ, вашескобродіе! Не доглядылъ-съ — анъ морозомъ-то его и отѣло. Отой-детъ-съ!

— Неужели отойдетъ?

— Отходить-съ. Гусинымъ саломъ первое дѣло... отъ него отходить-съ. Потому у насъ это кажинный годъ, каждую зиму бываетъ-съ, ну, а черезъ гусиное сало онъ опять входитъ въ свое понятіе. Слѣдственно шкура съ него лѣзетъ, отваливается. И страсть, вашескобродіе, что шкуры-то этой мы съ носу-то... упаси Господи! Ну, а къ лѣту она вторительно нарастаетъ...

— Вновь?

— Да ужъ обыкновенно она вновь нарастаетъ, потому мы ее, шкуру-то, снимаемъ-съ. Сдираемъ ее, она негодная отъ морозу-то-съ, а лѣтомъ-то ужъ она опять нарастаніе имѣетъ вторительное. Такъ-то-ся!

Сѣдокъ, у котораго морозъ захватилъ дыханіе, принимается за спиною Ваньки и долгое время молчитъ.

— Такъ гусинымъ саломъ? говоритъ онъ наконецъ, освободивъ на минуту свое лицо изъ-подъ воротника и видя, что Ванька сидитъ къ нему полуоборотомъ, что ясно свидѣтельствуетъ о желаніи послѣдняго продолжать разговоръ и пріятное знакомство.

— Гусинымъ-съ! гусинымъ саломъ-съ! И проточнѣйшее средство... потому мы въ этомъ извѣстны. Это у насъ каждую зиму носы повреждаются съ морозу-съ. Первое дѣло мы деремъ съ его шкуру. И старайся ты, вашескобродіе, въ случаѣ чего, саломъ этимъ... Какъ саломъ смазалъ — сейчасъ онъ, носъ-то, въ облупку подетъ... Какъ ты его одерешь...

— Стой! говоритъ сѣдокъ, подожди, вышлю.

— Слушаю-съ!

Принимается Ванька ждать...

«И какой баринъ разговорчивый попался», думаетъ онъ, попрыгивая на окаменѣвшихъ ногахъ и хватаясь каменной рукавицей за каменный, отмороженный носъ... Часъ проходить и два прошло, и три. Ванька начинаетъ входитъ въ «сумѣніе». Но по его соображенію обману быть не можетъ: первое дѣло — баринъ, второе — съ *теплаго* мѣста взять; по всѣмъ расчетамъ не выходитъ, чтобы былъ адѣсь обманъ... Но прошелъ часъ и еще часъ, — идетъ Ванька въ ворота, становится среди двора, водить глазами по этажамъ и думаетъ. Мнѣ кажется, что самый просвѣщенный умъ, ставъ въ положеніе скромнаго Ванькина ума, въ короткое время могъ бы убѣдиться въ ничтожности человеческого существа вообще. Какими, напримѣръ, судьбами бренный умъ нашъ можетъ проникнуть сквозь каменную стѣну, на которую долгое время былъ устремленъ испытующій взоръ Ваньки? Какой изъ шести лѣстницъ, выходящихъ на дворъ, отдать предпочтеніе предъ прочими, признавъ ее именно тою лѣстницею, по которой исчезъ неизвѣстный сѣдокъ? Что долженъ предположить европейски образованный умъ, если, кромѣ безмолвной стѣны и не менѣе нѣмыхъ лѣстницъ, на томъ же дворѣ существуютъ проходныя ворота?

Европейскій умъ долженъ потерять сознаніе. Ванька потерялъ его на-половину, онъ угрюмо

смотрѣлъ въ каменную даль проходныхъ воротъ, чесалъ голову и бормоталъ: «Къ примѣру... Черезъ нѣсколько времени, не измѣняя направленія взора, онъ принялся чесать голову и спину, и бормоталъ:

— Ишь онъ къ примѣру... Такъ-то-са!

— Тебѣ кого?

— Баринъ тутъ... Часа съ четыре жду...

— Э-э, произнесъ дворникъ и, не говоря больше ни слова, юркнулъ въ свою квартиру.

Ванька долгое время по уходѣ дворника стоитъ посреди двора, нѣсколько разъ плюетъ въ раздумьи и принимается шататься по лѣстницамъ, робко трогая ручку звонка, слушая суровые отзывы прислуги и въ ужасѣ отдергивая свой мерзлый носъ изъ захлопывающихся дверей. Взаключеніе Ванька снова стоитъ посреди двора, смотреть въ стѣну, чесать затылокъ и бормочетъ: «а называются го-

спода». Дѣло обанчивается тѣмъ, что онъ наконецъ возвращается къ своимъ санямъ; проходя мимо лошади, даетъ ей кулакомъ въ голову, а затѣмъ садится на козлы, подбираетъ возжи и принимается стегать свою шведку во всю мочь, устремляясь въ какую-нибудь знакомую харчевню въ родѣ Ямки, что за Казанскимъ соборомъ, гдѣ пьютъ и ѣдятъ все свои. Тутъ есть бильярдъ и волчекъ; дѣвцы въ красныхъ платьяхъ поютъ романсы въ родѣ: «Онъ тиранъ—тиранъ, воръ мальчишка, онъ не любить, воръ, меня.» Атмосфера прокалена запахомъ масла, дыма и водки. Извозчики распоясались, разгорѣлись и, выбѣгая на улицу посмотреть лошадей, дымятся отъ тепла, которое выносятъ съ собою.

Выпивъ и закусивъ съ горя въ ямкѣ, Ванька снова молится на церковь, и затѣмъ начинается опять проба счастливыхъ и теплыхъ мѣстъ и прочихъ секретовъ.

РАЗОРЕНЬЕ *).

ОЧЕРКИ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.

I. Наблюденія Михаила Ивановича.

1. Михаилъ Ивановичъ.

1.

Несмотря на то, что новыя времена «объявились» въ нашихъ мѣстахъ еще только винтовой лѣстницей новаго суда и недостроенной желѣзной дорогой, жить всѣмъ (таковъ говоръ) стало гораздо скучнѣе прежняго, ибо вмѣстѣ съ этими новостями пришло что-то такое, что уничтожило прежнюю, весьма пріятную и пѣвучую зѣвоту, и томить, и мѣшаетъ. Никогда не было такого обилія скучающихъ людей, какое въ настоящую пору переполняетъ рѣшительно всѣ углы общества, отъ лучшей гостиной въ «Дворянской» улицѣ до овощной и мелочной лавки Трифоновъ во Всесвятскомъ переулкѣ. Все это скучаетъ, томится и вообще чувствуетъ себя неловко.

*) Подъ общимъ названіемъ «Разоренья» здѣсь помѣщены три ряда очерковъ, печатавшихся прежде подъ тремя самостоятельными названіями: «Наблюденія Михаила Ивановича», «Тіше воды, ниже травы» и «Наблюденія одного дѣтята». По первоначальному плану, «Разоренья» должно было составить одну большую работу, въ которую долженъ былъ войти весь матеріалъ, распавшійся потомъ на три части. Обстоятельства чисто личнаго характера заставляли меня часто на долгое время прерывать работу, и, когда она потомъ начиналась послѣ значительнаго перерыва,—придавать ей форму работы самостоятельной, какъ будто-бы она не имѣла никакой связи съ рядомъ предшествовавшихъ очерковъ. Сколько-нибудь внимательный читатель увидитъ однако, что дневникъ «Тіше воды, ниже травы» есть въ сущности прямое продолженіе первой части «Разоренья», печатаемой здѣсь подъ названіемъ «Наблюденія Михаила Ивановича». Въ этой второй части дѣйствуютъ тѣ-же лица разоренной семьи—сынъ, дочь и мать. Но такъ какъ этотъ дневникъ по разнымъ причинамъ появился послѣ первой части почти

безъ сомнѣнія, существуетъ большая разница въ формахъ тоски, наполняющей гостиную, и тоскою лавки; но такъ какъ намъ приходится говорить о послѣдней, то мы должны сказать, что упомянутая лавка и замѣчательна только потому, что служить пристанищемъ для тоскующаго населенія глухихъ улицъ. Людямъ, потревоженнымъ отставками, нотаріусами, адвокатами и прочими знаменіями времени, пріятно забыться вблизи хозяйна лавки—Трифоновъ, плотнаго, коренастаго мужика, выбившагося изъ крѣпостныхъ, любящаго разговаривать о церковномъ пѣніи, женскомъ полѣ, медицинѣ, словомъ,—о всевозможныхъ вещахъ и вопросахъ, за исключеніемъ тѣхъ, которые касаются современности. Среди современности господствуетъ

черезъ годъ, когда первую часть читатель могъ и забыть, то являлось необходимымъ измѣнить кое-что въ характерахъ и обстановкѣ главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Неудивительно поэтому, что изъ собранныхъ въ этомъ томѣ очерковъ многое могло быть понято не такъ, какъ бы слѣдовало, многому могло быть приписано вовсе не подобающее значеніе. Такъ напр., многимъ могло показаться, что въ безсмыслномъ и слабомъ авторѣ дневника я желалъ выдѣлать героя. Нѣтъ! этотъ типъ такъ же, какъ почти все, что вошло въ первыя двѣ части «Разоренья», отживаетъ свой вѣкъ, и авторъ дневника—типъ «отживавшей» молодежи. Нарожденію новыхъ, новыхъ стремленій въ толпѣ, т. е. въ неразвитой, забытой и необразованной средѣ, предполагалось посвятить третью часть, которая и явилась, опять-таки вслѣдствіе перерыва, подъ особымъ заглавіемъ: «Наблюденія дѣтята». Вообще же, въ объясненіе недосвязанности нѣкоторыхъ изъ очерковъ, собранныхъ въ настоящемъ изданіи, я могу только еще разъ сослаться на то, что уже сказано мною въ предисловіи къ настоящему изданію.

Авторъ.

дороговизна, неуваженіе къ чину и званію, неуѣніе оцѣнить человѣка заслуженнаго. У Трифонова же идетъ пѣніе басомъ многолѣтій, вареніе микстуръ и пѣлебныхъ травъ «противъ желудка», а самъ хозяинъ ходитъ босикомъ и необыкновенно спокойно чешетъ желудокъ, въ виду самыхъ разрушительныхъ реформъ. И къ Трифонову идутъ... И когда бы вы ни зашли въ лавочку, вы всегда найдете здѣсь двухъ-трехъ человѣкъ, ропшущихъ на неправды новаго времени...

— Я говорю одно: иди и ложись въ гробъ! взволнованнымъ голосомъ говоритъ обвинявшій отъ современности купецъ. — Новѣйшее время не по намъ... Потому новѣйшій порядокъ требуетъ контракту, а контрактъ тянетъ къ нотаріусу, а нотаріусъ призываетъ къ штрафу!.. Намъ этого нельзя... Мы люди простые... Мы желаемъ по душѣ, по чести.

— Желѣзная дорога! Ну, что такое желѣзная дорога? говоритъ длинный и сухопарый чиновникъ Печкинъ, въ непромокаемой шинели. — Ну, что такое желѣзная дорога? Дорога, дорога... А что такое? въ чемъ? почему? въ какомъ смыслѣ?..

Много приходится Трифонову выслушивать изліяній въ подобномъ родѣ, но все это не составляетъ для него особенной трудности, потому что онъ, собственно говоря, и не слушаетъ, что ему толкуютъ, и нуждается въ приходящихъ и тоскующихъ только потому, что ему нужно кому-нибудь объяснить и свои размышленія по части пѣнія и врачеванія.

— Ну, хорошо, какъ будто бы отвѣчая купцу, говоритъ онъ, по окончаніи его рѣчи. — Ну, будемъ говорить такъ: совѣтуютъ сшить сапоги изъ бѣлой собаки. Предложимъ такъ, что я возьму и собаку... Но въ какомъ смыслѣ бѣлая собака можетъ облегчать ломоту?..

И купецъ, и чиновникъ, получившій такой отвѣтъ на свои сѣтованія, никогда не претендуютъ на Трифонова; напротивъ: они весьма довольны этимъ невѣжательствомъ, ибо имъ, какъ и всякому, пораженному тоскою, хочется отыскать такой уголокъ, гдѣ бы онъ могъ выкричать, занявъ чужого нотаріуса, свою желѣзную дорогу безъ помѣхи. И такъ какъ большинство посѣтителей стоитъ именно за это невѣжательство и уже привыкло говорить свое, не слушая другъ друга, то всякій, желающій вести настоящіе разговоры, т. е. отвѣчать на вопросы, возражать и т. п., долженъ невольно покоряться общему ходу бесѣды и разговаривать самъ съ собою.

Въ лавкѣ Трифонова бываетъ всего одинъ изъ такихъ посѣтителей, пользующійся особеннымъ невниманіемъ потому во-первыхъ, что званіе его, какъ шатающагося безъ дѣла заводскаго рабочаго, уже само собою уничтожаетъ всякое вниманіе къ нему среди присутствующихъ въ лавкѣ чиновниковъ и купцовъ, и во-вторыхъ потому, что разговоры его тоже не идутъ въ общую колею. И поэтому никто изъ посѣтителей не замѣчаетъ, какъ толстая фигура Михаила Ивановича (такъ зовутъ этого человѣка), весьма похожая на фигуру театральнаго

ламповщика или наклеивателя афишъ, топчется то около купца, то около чиновника и слышимъ голосомъ, въ которомъ слышится чахоточная нота, пытается вступить въ разговоры.

— А-а-а! радостно оскаливаясь, говоритъ Михаилъ Ивановичъ купцу, вытягивая впередъ голову и складывая назадъ руки. — А-а-а!.. не любишь!.. А тебѣ хочется по старинному, съ кулечкомъ къ приказному черезъ задній ходъ?.. Заткнулъ ему въ глотку голову сахару—и грабь?.. Нѣтъ, погодишь!.. Нонче вашего брата оболваниваютъ!.. Нонѣ, братъ, погодишь!.. Нѣтъ, повертись!.. Наживи ума!

Кашель прерываетъ его рѣчь; но Михаилъ Ивановичъ не жалѣетъ своей груди, и, отвѣтивъ купцу, тотчасъ же поворачиваетъ свою вытянутую голову къ чиновнику.

— А-а-а!.. Прижучили!.. хрипитъ онъ. — Оччень, оччень великолѣпно! Очумѣли съ просонокъ? Дороги чугуной не узнаете? Я вамъ покажу чугунную дорогу!.. Дай обладать, а тебѣ представляю, коль-скоро можетъ она простого человѣка въ Петербургъ доставлять! Смахаемъ въ Питеръ къ Максиму Петровичу, — такъ узнаешь дорогу!.. Н-нѣтъ, мало! Очень мало... О-охъ бы хоррошенько...

— Ну, хорошо... будемъ говорить такъ... раздается басистый голосъ Трифонова, и въ ту же минуту Михаилъ Ивановичъ обращаетъ къ нему пристальные, волнующіеся глаза, какими смотритъ голодная собака на кусокъ. — Предположимъ, ежели буду я мѣшать микстурѣ палкой...

— Палкой? хватаясь за слово, тоже какъ собака за кусокъ, вскрикиваетъ Михаилъ Ивановичъ. — Нѣтъ, пора бросить!.. Нонѣ она объ двухъ концахъ стала!.. Пора шваркнуть ее, палку-то!.. Д-да! Поразсказать въ Питеръ—ахнутъ! Нонѣ она объ двухъ концахъ стала... Да-а!.. Позвольте вамъ замѣтить.

При послѣднихъ словахъ Михаилъ Ивановичъ энергично трясъ головой; но едва ли десятая часть его словъ доходила до ушей посѣтителей, слишкомъ плотно заткнутыхъ нотаріусами и желѣзными дорогами. Кромѣ замороженнаго, не звучнаго, а какъ-то шумѣвшаго голоса, который уже самъ собою уничтожалъ силу его выраженій, невѣжательство посѣтителей было такъ велико, что къ концу вечера Михаилъ Ивановичъ принужденъ былъ прибѣгать къ содѣйствію неодушевленныхъ предметовъ.

— Пора простому человѣку дать дыханіе! надсѣдается онъ передъ кулечкомъ съ бапустой. — Довольно надъ нимъ потѣшаться, разбойничать!.. Дайте ходъ!.. Что вы-съ?.. Докуда вамъ разбойничать, — пора и вамъ охнуть... Нѣтъ, поздоровѣй-бы... Дай въ Питеръ смахать, — я покажу!..

Кулечъ съ кочнями долго и внимательно выслушивалъ ропотъ Михаила Ивановича на разбойниковъ и грабителей, безмолвно соглашаясь съ его намѣреніемъ на счетъ Питера и такъ же безмолвно провожалъ его, когда Михаилъ Ивановичъ, съ сердцемъ надвинувъ шапку, уходилъ вонъ изъ лавки.

Перебравшись черезъ длинную дровяную площадъ, въ виду которой помѣщается лавка Трифо-

нова, онъ обыкновенно направлялся къ подгородной слободкѣ Яндовищу, иногда пѣшкомъ, а иногда на бѣговыхъ дрожкахъ. Миновавъ Яндовище, онъ выѣзжалъ въ поле, на большую уѣздную дорогу. Здѣсь, въ трехъ верстахъ отъ города, стояло селцо Жолтиково, съ чудотворной иконою и разорившимся барчукомъ Уткинымъ, у котораго Михаилъ Ивановичъ имѣлъ пристанище въ кухнѣ и исполнялъ разные порученія: ходилъ къ бабушкѣ барчука съ письмами о деньгахъ, узнавалъ въ городѣ, нѣтъ ли какого «представленья», гулянья и проч.

2.

Какъ бы ни странно былъ Михаилъ Ивановичъ, набрасывающійся на людей, не обращающихъ на него ни малѣйшаго вниманія, и объясняющій кулюку необходимость хода для простого человѣка, но его злость на прошлые времена, среди людей, проклиняющихъ времена настоящія, обязываетъ насъ къ болѣе обстоятельному знакомству съ исторіей больной его груди.

И это знакомство тѣмъ легче, что Михаилъ Ивановичъ самъ ищетъ человѣка, съ которымъ можно бы было потолковать. Неудовлетворенный бесѣдою съ кулюкомъ, онъ прилипаетъ ко всякому, кто хотя мелькомъ взглянетъ на него, кто хотя отъ нечего дѣлать задастъ ему вопросъ или отвѣтитъ ему. Возвращаясь, напримѣръ ночью, отъ Трифонова въ Жолтиково, онъ зорко выслѣживаетъ, нѣтъ ли гдѣ огонекъ и, слѣдовательно, вопроса и разговора. И гдѣ бы ни мелькнулъ такой огонекъ—въ караулѣ ли господскаго сада, въ кабачкѣ ли—Михаилъ Ивановичъ тотчасъ притеривается къ нему свои дрожки и заводитъ бесѣду со всякимъ, кто попадется ему на глаза.

— Да какъ же съ ними, съ чертами, не разругаться! дребезжить его заморенный голосъ среди пустыннаго кабака, гдѣ сальный огарокъ освѣщаетъ курчавую голову цѣловальника, покоющагося за стойкой, и высокую фигуру угрюмо-пьянаго, пошатывающагося мужика. — Какъ ихъ, бѣсовъ, не лаять, не хаять? продолжалъ онъ, намекая своими словами на трифоновскихъ посѣтителей. — Ты думаешь, ему это и въ самомъ дѣлѣ чугунка помѣшала?.. Ем-му запаралать нечего въ ла-апъ!.. Будьте вы покойны!.. Ему не дозволяютъ по повѣшному времени разбѣгу,—вотъ онъ и скучитъ какъ песь: что такое чугунная дорога?..

Сдѣлавъ нѣсколько торопливыхъ шаговъ, Михаилъ Ивановичъ снова близко подходитъ, почти подбѣгаетъ къ угрюмому слушателю и продолжаетъ:

— Купецъ-то вонъ въ гробъ просится: «заройте меня живого!..» Эва! новые порядки, вишь, ему не по вкусу... А все потому, что ему съ приказнымъ нельзя оболванивать простого человѣка. И слава Богу! И даже такъ, что поздоровѣ бы Господь-батюшка ихъ хлестнулъ... Очень великолѣпно!.. Потому они заморили, задушили простого человѣка. Черезъ ихнее обиранье простого человѣка дуракомъ сталъ... болваномъ!..

Говоря такъ, Михаилъ Ивановичъ не можетъ

остаться на одномъ мѣстѣ. Гнѣвъ заставляетъ его поминутно отходить отъ слушателя и тотчасъ же возвращаться къ нему.

— Почему простой человѣкъ — дуракъ, болванъ? Почему онъ въ жись свою сладкаго куска не ѣдалъ и сапогъ цѣльныхъ не нашивалъ?.. Почему онъ замісто этого получалъ по скулѣ?.. Потому-што его сапоги-то чужіе носили... Браты!.. Голубчикъ!.. У чиновника-то, что чугунку лаетъ, небось вонъ домъ; а на какіе онъ труды нажилъ?.. Жалованья ему всего грошъ! Откуда-а?—съ насъ! съ насъ, христіанская душа! Наше все, хрусталь!..

Михаилъ Ивановичъ любилъ посылать слушателямъ эпитеты въ родѣ «хрусталь», «птичка» и проч., не замѣчая, какъ и на этотъ разъ, что они не совсѣмъ соотвѣтствуютъ тѣмъ лицамъ, къ которымъ относятся. Михаилу Ивановичу некогда было разбирать, что пьяный мужикъ въ грязи далеко не походить, напримѣръ, на хрусталь: ему нужно было говорить, высказываться.

— На наши! Все на наши, браты!.. Купецъ брюхо наживалъ по какому случаю?—по тому случаю, что съ рабочихъ, либо такъ съ мужиковъ лупилъ; у мужика совѣсть, а у купца ея нѣту,—вотъ онъ и загребааетъ его когтями-то. Вотъ по какому случаю происходитъ брюхо! Всѣ они дома строили и животы росли на нашъ счетъ, а нашъ братъ получалъ по скулѣ... И не мало ихъ было!.. Охъ, и ние-мма-а-ло, купидончикъ, было ихъ!.. Задужены мы ими—такъ ли аккуратно...

Михаилъ Ивановичъ, произносящій послѣднія слова съ особенною протяжностью, вдругъ словно вспыхиваетъ и подлетаетъ къ самой бородѣ слушателя.

— Почему я нищій? почти кричитъ онъ, ударяя себя кулакомъ въ грудь и пристально смотря въ лицо мужика. — Скажи ты мнѣ, на какомъ основаніи до тридцати лѣтъ я дожилъ, нѣту у меня ни крова, ни пріюта?.. Отвѣчай: имѣю ли я равномѣрную съ благороднымъ человѣкомъ душу?.. Говори мнѣ!

Часто случается, что, во время этихъ разсужденій Михаила Ивановича, слушатель успѣетъ заснуть или уйти; но можно сказать навѣрное, что въ пылу гнѣва на прошлые времена, Михаилъ Ивановичъ рѣшительно не замѣчаетъ этого; слушателемъ его можетъ быть курчавый затылокъ спящаго цѣловальника, ползущій по стойкѣ тараканъ — все равно. Теперь уже нужно имѣть только точку опоры для взора; ни вопросовъ, ни отвѣтовъ не требуется; все, что накопилось въ его груди, вырвалось наружу и хлынуло рѣкой.

— Отвѣчай мнѣ, вопрошалъ онъ затылокъ цѣловальника:—на какомъ основаніи обязанъ я быть дубьемъ, ходить ошупкой? Предъ кѣмъ я грѣшенъ, предъ кѣмъ виновенъ? А потому, что я простой человѣкъ! Простого званія! На этомъ основаніи я и виновенъ... Всякому мой хлѣбъ былъ нуженъ! Кабы я ѣлъ свой-то, трудовой хлѣбъ, сполна, значить, получалъ бы, что мнѣ слѣдуетъ, я можетъ быть человѣкомъ бы былъ... Милашка моя!.. Можетъ быть и я бы все понималъ, всякую причину, что въ

чему... А то, разсуди ты самъ, какъ мнѣ осломѣ-
дуроломомъ не быть, коли я съ малыхъ дѣтъ ни-
чимъ былъ. Вѣдь мнѣ каша-то съ малыхъ дѣтъ въ
ротъ не влетало, дуби-нина! А почему я недостойнъ
каши? Почему въ нашей губерніи, коли кашу на
столъ, бабѣ и ребятѣ вонъ? А на томъ основаніи,
что она другимъ требуется... Теперича десятнику
потребна корова,—онъ къ мужику: изъ каши-то
нашей горсточку себѣ... Сотскому требуется телѣга,
чтобъ столярная напимѣръ,—онъ опять къ намъ,
ужъ поболѣ зацѣпляется... Старостѣ охота пчелъ
держатъ... головѣ требуется овецъ гуртами гонять,
чиновниковъ угощать, домъ строить, хоромы—все
къ намъ, все изъ нашей каши! А тамъ и надъ го-
ловами, и надъ старшинами, и надъ прочими—еще
выше были; тѣ ужъ, братъ, на тройкахъ къ намъ
залетывали съ бубенцами, и все спаживали, что-
которое осталось,—ровно пожаромъ... Тѣмъ поболѣ
пчелы требовалось, тѣмъ, братецъ ты мой, въ бла-
городствѣ надобно состоять, гулять въ шляпкахъ,
въ тряпкахъ! Вотъ оно по какому случаю мы и по-
бирались и просили у проезжающихъ Христа-ради,
и ровно собаки куску радовались!.. Вотъ оно почему.
Съ астаго съ голоду-то и родители наши помирали,
и сиротами мы оставались... Вотъ оно что, другъ
ты мой, купидонъ, дубина стоеросовая, рыжій чортъ!

Безмолвствующій затылочъ не слышитъ этихъ
ругательствъ, и Михаилъ Ивановичъ можетъ безпре-
пятственно срывать на немъ свой гнѣвъ и дѣлиться
своими обидами съ мертвой тишиной пустынного
кабака.

— Вотъ отчего! продолжаетъ онъ.—По тому
случаю мы дураки, что прижимка, напимѣръ, об-
дерка надъ нами была большая напущена! Вотъ чи-
новникъ-то оретъ: «плохо жить стало»; а вѣдь эта-
кую дубину мы прокармливали, мы ему, шалаю,
сюртуки, манишки шили... Я это знаю; я видѣлъ,
повѣрьте нашимъ словамъ! Потому я не въ одной
деревнѣ претерпѣлъ отъ этого разбою, я и въ го-
родѣ его видѣлъ... Городской разбой пуще деревен-
скаго былъ... Тутъ простому человѣку совсѣмъ ды-
ханія не было... Привела меня тетка въ городъ, на-
шлись добрые люди—мѣщане, взяли меня жить къ
себѣ. Дѣвушка была у нихъ одна... что за умища!
Грамотѣ меня стала обучать и можетъ, Господь бы
далъ, въ люди бы я вышелъ, человѣкомъ бы былъ
(при этихъ словахъ Михаилъ Ивановичъ съ осо-
бенною силою ударилъ себя въ грудь, нагибаясь
надъ соннымъ слушателемъ). Человѣкомъ бы-ы!
Такъ вѣдь нѣтъ,—не дали! Словно они дожидались
меня, сироту, потому только было я въ тепло-то къ
мѣщанину попалъ, а ужъ изъ кварталу бѣжить
скачуходъ. «А гдѣ здѣсь заблуждающій мальчиш-
ка?»...—«А что?»—«А то—пожалуйста его въ часть».
А зачѣмъ? Что я преступилъ? А то, что солдату
трубочки надо покурить, водочки хлебнуть,—вотъ
онъ и волочетъ меня въ кварталъ, потому, знаетъ,
придутъ, выкупать... Да еще что-о! Везетъ меня въ
фарталъ-то на извозчикѣ, да съ извозчика-то ко-
лупнетъ: «Гдѣ билетъ? Былъ у исповѣди, у прича-
стія?» Да не на одномъ извозчикѣ то везетъ, а по-
ровнять отъ биржи до биржи, по закону, и со всѣхъ

получить на свое прожитіе; потому всѣмъ имъ,
окромѣ мужика, не съ кого взять. Безъ мужика-то
имъ нечего старшему дать; а старшему тоже вѣдь
надѣтъ помазать квартальнаго, а квартальному—
частнаго... всѣ на нашъ счетъ. Доброму человѣку
дня было не изжить. Вонъ мѣщанинъ-то мнѣ пользу
хотѣлъ сдѣлать, добро—такъ они на него наброси-
лись, какъ скорпіи! Подлая тварь! Пойми!.. Вотъ
по какому случаю я чиновника-то вонъ у Трифо-
нова оборвалъ... Можетъ потому я и мучаюсь, что
требовался ему каменный домъ, либо хомутъ но-
вый:—и онъ меня въ кварталъ томилъ и мѣщани-
на разорялъ... У-у! чтобъ вамъ!.. А мало ихъ было
охотниковъ-то трубочки покурить, сладкаго кусоч-
ка пососать?.. Города строида! Что вы? Сдѣлайте
милость! Съ чего нашему городу быть?.. Кабы ба-
бы наши кашей лакомились, небось-бы не оченно-
то много этакъ-то народу къ осьмому часу къ кіат-
ру разлетались на жеребцахъ... Н-нѣтъ, братъ!..
Н-не-очень! а то... «Эй, кричить, задавлю, мужикъ!
Берегись, молъ.»—Эво-ли заг-гибаютъ! Не знаютъ,
на какой манеръ сытость свою разыграть,—а нашъ
братъ нищій и чумовой ходитъ! Я, братъ, видѣлъ,
какъ изъ кварталу меня господа чиновники Чере-
мухины «вынули» на прокормленіе; тутъ я увѣдо-
мился, сколь они съ чужихъ денегъ ошалѣли,—пи-
ры да банкеты, да кувырканья—весь и скажъ!..
Голодны они—мужикъ, простой человѣкъ, терпитъ,
дастъ имъ кормъ, а накормитъ онъ ихъ—опять
тоже ему вредъ и отъ астаго... Теперьче посуди:
жилъ я у мѣщанина; жена у него померла; осталось
у него три дочки... то-есть, я тебѣ говорю, дѣвуш-
ки... Что-же, братъ? Выбѣгутъ это на улицу погу-
лять, анъ ужъ тутъ съ сытыми утробами погули-
ваютъ разные народы... Вотъ и колесатъ.—«Мы
васъ замужъ возьмемъ, благородныя будете»... А
тѣмъ и люблю! Потому благородными превосходяще
быть, не чѣмъ этакъ-то, какъ онѣ, по ночамъ иглой
тачать, слѣпнуть... Ну—и... Теперь вонъ на! поди!
глянь!.. ровно какъ рваныя тряпки по лужамъ ва-
ляются! Полюбопытствуй—поди!.. Можетъ, теперь
бы у меня такая-ли супруга-пособница была, ко-
ли-бъ не сытость-то эта краденая. Я почестъ полгода
дорывался, чтобъ она на меня, на чумарзаго, взгля-
нула; да по ночамъ ворочалъ на заводѣ въ огнѣ да
въ пламени, чтобъ мнѣ лишній рубль достать, ей ку-
пить гостинчика полакомиться... А чиновникъ-то
налетѣлъ съ мадерой да съ гитарой, да съ шелко-
вымъ платкомъ—анъ и взялъ!.. И шипъ подъ носъ!
Нашъ братъ ободранный человѣкъ пѣсню-то поетъ,
ровно рѣжетъ ножомъ, потому голосъ то нашъ въ
огнѣ перекипѣлъ, а тотъ запоетъ пѣсенку любо-
два—ай-люли! Потому въ огнѣ онъ не горѣлъ, а
больше нашего брата очищалъ... И бѣжалъ онъ, и ма-
дера, и на гитарѣ, примѣрно!.. А нашего брата по
скулъ! Онъ вонъ шваркнулъ ее, Аннушку-то, ра-
зорвалъ ее, словно собака тряпку завалящую, да и
побегъ къ осьмому часу къ кіатру, а нашъ братъ
только жилы свои въ работѣ изсушилъ попусту;
потому намъ ее ужъ взять нельзя, Аннушку-то!
ужъ намъ невозможно этого! ужъ она набалована!
Эй ужъ дай платочекъ шелковый... Онъ—шелко-

вый-то платокъ—и нашему брату подходить къ лицу, да намъ объ этомъ надо бросить думать... вотъ! Потому мы обязаны быть дураками, ошалѣлыми, коркой дорожить, по собачьи жить,—потому нашъ хлѣбъ другимъ надобился... Слышишь, рыжая ты шельма? Другіе нашъ хлѣбъ ѣли, бѣшеная ты собака!..

— Вонъ! внезапно поднимаясь во весь ростъ, гремитъ громадная фигура цѣловальника, соображившаго, что причиною нѣкотораго безпокойства, испытываемаго имъ во снѣ, было непрестанное разглагольствованіе Михаила Ивановича.—У-дди! У-убью!

Перепуганный сжатыми кулаками и вытаращенными глазами цѣловальника, Михаилъ Ивановичъ пятится въ двери, зажимая рукою ротъ, чтобы разсвирѣпѣвшимъ кашлемъ еще болѣе не разсердить врага; и такъ какъ врагъ въ скоромъ времени высказываетъ намѣреніе броситься къ нему изъ-за стойки, то Михаилъ Ивановичъ и исчезаетъ вонъ изъ кабака. Спустя минуту, дрожки его дребезжатъ среди темной дороги къ Жолтикову. Но необходимость высказаться не прекращается краснорѣчивымъ внушеніемъ цѣловальника на счетъ молчанія; Михаилъ Ивановичъ снова ищетъ слушателя, огонька, и снова, завидѣвъ его, погоняетъ свою лошадь, и вездѣ, куда бы онъ ни привернулъ свою лошадь, въ караулку ли при господскомъ саду, на мельницу, къ постоялому двору,—вездѣ слышится его чахоточная рѣчь.

— И очень великолѣпно, коли кого изъ этихъ грабителей тѣмъ-нибудь да припрутъ! Радъ я! Душевно. Одна мнѣ и утѣха, что на это поглядѣть. Потому ошалѣли мы отъ нихъ, дураками и нищими стали... Въ прежнее время чиновникъ-то трифоновскій—онъ бы меня въ гробъ вогналъ ни за что... А теперича, погодишь!.. И слава-Богу!.. Теперича еще и простой человѣкъ съ ними пожалуй потагается... Да-а!..

И затѣмъ, въ подтвержденіе словъ о господствѣ въ старое время прижимки надъ простымъ человѣкомъ, Михаилъ Ивановичъ приводитъ множество фактовъ изъ своей біографіи. И дѣйствительно фактовъ этихъ перебивало на его спинѣ достаточное количество, потому что, въ качествѣ сироты и простого человѣка, онъ отвѣдалъ прижимку и въ деревнѣ, и въ городѣ, гдѣ жилъ у мѣщанина, изнывалъ въ кварталѣ, побирався, и наконецъ въ казенномъ заводѣ, въ качествѣ рабочаго. Результатомъ этой «прижимки», по объясненію Михаила Ивановича, было одурѣніе и обвиненіе простого человѣка, что и можно видѣть на нашемъ рабочемъ, на нашемъ простомъ мужикѣ, немислимыхъ безъ «зелена вина». Если самъ Михаилъ Ивановичъ ушелъ отъ этого отупѣнія и умѣетъ разсуждать о прижимкѣ, то этому есть особенная причина, о которой Михаилъ Ивановичъ разсказываетъ не съ злобостью и негодованіемъ, волнуящими его при воспоминаніи о прошломъ, а съ какою-то необыкновенною нѣжностью и внимательностью.

— А потому, говорить онъ, разъясняя этотъ вопросъ,—что я имѣю просіяніе моего ума!.. Вотъ-съ на какомъ основаніи я всю эту разбойничью механику понимаю и чувствую и злѣю! Простой му-

жикъ дѣлается отъ этого балбесомъ, но я, по моему понятію, получаю чахотку... Вотъ-съ на какомъ основаніи. Втеченіи времени моей жизни встрѣтилъ я человѣка, который по щекѣ не билъ, но вибрировалъ въ мою душу понятіе...

Михаилъ Ивановичъ любилъ понаньчиться съ этимъ воспоминаніемъ изъ своей несчастной жизни и говорилъ не спѣша, останавливаясь:

— Ну, въ то же самое время, продолжалъ онъ,—надо сказать такъ, что и этотъ человѣкъ, благодѣтель мой, въ первоначальное время нашего знакомства тоже по щекѣ меня щелкнулъ довольно благополучно... для собственной моей пользы... Именно-съ «для пользы», по той причинѣ, что нашъ братъ, простой человѣкъ, столь отъ разныхъ народовъ за все, про все наскученъ, что и пользу ежели хочешь ему сдѣлать, то и въ ту пору безъ рукопашья не обойдешься... По этому случаю благодѣтель мой, Максимъ Петровичъ, въ достаточной степени меня съ печи за волосы сгромыхнулъ въ первоначальное время знакомства... Такое было дѣло: докладывалъ я вамъ, что изъ части, когда мѣщанинъ померъ, взяли меня на прокормленіе чиновники Черемухины. Бывши въ побиружкахъ, въ нищихъ, съ холоду да съ голоду, да съ кварталу, очень мало я въ ту пору на человѣка сходствовалъ, потому что, живши въ кварталѣ, коротко ясно можно потерять человѣческій ликъ и получить собачью наперу. По этому случаю, когда меня ввели въ черемухинскую кухню, то сталъ я хватать съѣстное, наприимѣръ съѣдобное. Сталъ рвать, набросился. Кухарка назвала меня въ ту пору «волчій ротъ». И такъ я набрасывался, такъ набрасывался, до забвенія доходилъ. Отвѣдался, отвѣдался я тутъ быстро, поспѣшно: вся прислуга у нихъ очень торопливо отвѣдалась и щекѣ нагуливала, потому мужики всего натащать, не жалко,—ѣшь! Хорошо. Какъ только привыкъ я къ сладкому куску, сталъ я свою бѣдность вспоминать, и стало мнѣ страшно: ну-ко, да выгонять отсюда,—что тогда? Страшна мнѣ корка собачья показалась!.. Сталъ я объ себѣ думать... И дѣлаю такое замѣчаніе, что у всѣхъ народовъ идетъ грабѣжъ. Кухарка и кучеръ съ мужиковъ, баринъ и барыня—съ мужиковъ, все, повсюду, повсемѣстно идетъ ограбленіе человѣческое... Думаю: мужикъ мнѣ не дастъ, съ кого мнѣ?.. Думалъ-думалъ, затруднялся въ мысляхъ, глядь—бѣжить ко мнѣ на печку барчукъ махонькой, черемухинскій сыночекъ: «скажи сказочку...» Изволь. Сказалъ. Онъ и повадился ко мнѣ на печку шататься сказки слушать. «Э, думаю, другъ-приятель; надо быть тебѣ въ хоромахъ хвостъ-отъ прискажутъ, что ты во мнѣ, въ мужикѣ, получаешь нужду...» Подумалъ такъ-то. Бѣжить барчукъ: «скажи сказку...» «Дай копѣйку!» Эдакъ-то рванулъ. «Дашь—скажу, нѣтъ—не будетъ разсказу. Я и то, молъ, языкъ весь отколотилъ, разсказываю тебѣ». Припугнулъ его такимъ манеромъ и сталъ онъ мнѣ патачки до грошики таскать, и сталъ я ихъ попрытывать... И такъ было ловко научился я поколупывать съ него; анъ тутъ-то и подвернись ко мнѣ человѣкъ... Максимъ Петровичъ... семина-

ростикъ, племянникъ Черемухинскій. Часто онъ къ намъ въ кухню хаживалъ, дожидаясь, пока дяденька, самъ Черемухинъ-то, проснется, — полтинничекъ у него попросить... Когда тверезъ—тихий такой... «На сапоги», говоритъ... А Черемухинъ: «То-то, говоритъ, на сапоги?» И сердито на него смотреть, а тотъ боится. Это когда тверезъ. Ну, а коли ежели да пьянъ, такъ ужъ тутъ никакого страху для него нѣту... Тутъ ужъ онъ кричитъ, бунтуетъ... И дяденьку-то такъ-то-ли поливаетъ... «Взятчики, разбойники... Докуда вы разбойничать будете? Провалясь вы и съ полтинниками...» Разъ зимой скинулъ съ себя полушубокъ и шваркнулъ его объ земь. «Подавитесь вы имъ!» и ушелъ. Бывало такъ, что и стекла онъ выбивалъ въ дому, и ворота исписывалъ ругательскими словами. Вотъ я на этого человѣка и наскочилъ... Отъ него я и получилъ вдохновеніе, напиримѣръ. То-есть, сначала-то онъ меня за виски отворачалъ, а потомъ ужъ объяснилъ мнѣ существо... Лежу я съ барчукомъ на печкѣ и дѣлаю съ нимъ подлый постушокъ: продаю ему кошелекъ, а въ обмѣнъ требую съ него серебряную цѣпочку... Кошелечку цѣна копѣйка, а цѣпочка стоитъ пять серебромъ. Желаю я ее получить. Барчукъ ничего не смыслить: взялъ да и помялся, а потомъ разсмотрѣлъ — и въ слезы... «Отдай!» плачетъ. А я ему: «нѣтъ, говорю, не отдамъ, потому что ты видѣлъ, что покупалъ. Назавъ не ворочаютъ. Гдѣ у тебя глаза были?» По базарному поступаю... Максимъ Петровичъ пьяный сидѣлъ-сидѣлъ, слушалъ-слушалъ, да шарахъ меня за волосы съ печи... «Мошенникъ! воръ!.. Съ какихъ лѣтъ мошенничаешь!.. И безъ тебя много мошенниковъ!..» Да за ухо... за ухо... Тутъ онъ меня щекотурилъ... Цѣпочку отнять, шварнулъ: «краденую воруетъ!..» Съ этого дня сталъ я его бояться... Страхъ почувствовалъ; боюсь встрѣтиться; а въ разъ несую водку господамъ изъ конторы, онъ—и валить съ пріятелями пья-а-аный. «Что такое? стой! Куда? Водка!.. Неси къ намъ... Тамъ, братъ (у дяди-то), за другой четвертью пошлютъ... Тамъ есть на что выпить...» Тутъ они меня поволокли въ свою квартиру: бѣдность непокрытая, тараканы... Я сижу, боюсь:— «Чего ты? Халуй! Рабъ!.. Съ какихъ лѣтъ мошенничаешь!..» Порукали вторично, а потомъ сжалились. «Поди сюда», говоритъ Максимъ Петровичъ. «Ты зачѣмъ мошенничаешь? Жить надо? Такъ нешто грабежемъ-то хорошо будетъ?.. Давайте княжку, а его обучу... Какъ ты думаешь, грамота лучше грабежу?» И сейчасъ сталъ меня учить. Тутъ я ничего не понималъ, потому пьяные они были; мало-мало погодя и самъ къ нимъ пошелъ... «Обучите», говорю. Тамъ ихъ много кутейниковъ-то было: кто слово покажетъ, кто такъ что-нибудь... Я и нахватался, и не умѣю вамъ сказать, какими манеромъ, только что сталъ я тутъ понимать, почему это нашъ братъ въ дырахъ, въ лаптяхъ, напиримѣръ. И въ первый разъ въ голову мнѣ влетѣло: «за что же, молъ, этакъ-то?» Разговоры-ли ихніе, Максимъ Петровича, или грамота, ужъ вѣрно не могу объяснить, а что страсть сколько я разбойниковъ вдругъ увидалъ! И можетъ

Господь мнѣ и больше понятія бы далъ, только что пошло вдругъ во всемъ разстройство...»

«— Съ войны это разстройство пошло... Цѣлые дни, бывало, стояшь на улицѣ, смотришь, какъ везутъ на войну пушки да сабли. «Эдакія, дивовался народъ, на человѣка страсти припасены!» Пошли тутъ наборы, мужики, бабы режутъ, голосѣба по всему городу. У Черемухиныхъ идетъ огребанье невиданное, пьянство, жванье—Боже мой!.. «Господи!» помню, жена Черемухина плачется: «когда это все кончится!..» Анъ скоро и кончилось... Прошла война, налетѣли ревизоры, всѣхъ взяточниковъ повязали... Тутъ пошло швыранье—опаси Богъ! Одинъ—воръ; другой ополченцамъ сапоги на кардонной подошвѣ дѣлалъ; третій въ рекруты забривалъ безъ закону... Стали кидать, швырять подлецами: одинъ внизъ, другой вверхъ, третій торчмя головой... Черемухина выгнали въ другую губерню. Максимъ Петровичъ такъ-то-ли посѣшно въ Петербургъ усекалъ. «Прощай, говоритъ, помни. Выпишу». Однако-же не выписалъ. Сталъ я у Птицыныхъ жить, у генераловъ, и тамъ пошло все врозь. Всѣ сыновья ворами оказались. Плачь идетъ между грабителями. Поглядѣлъ, поглядѣлъ я, вижу—не до меня имъ: надѣлъ картузъ, пошелъ своего хлѣба искать. Въ ту пору на казенный заводъ стали принимать людей со стороны, не казенныхъ стало быть,—я и попалъ въ заводъ... Въ лѣсу страшно, когда ежели громъ да молонія, а тутъ въ заводѣ еще страшнѣй. Потому въ лѣсу — дѣло Божье, непонятное, тамъ страхъ беретъ, а тутъ злость—потому видишь, изъ-за чего громъ-то идетъ, изъ-за чего молота молотятъ, пожницы разбѣгаются, и нашъ простой человѣкъ не доѣстъ, не допьетъ, а въ огнѣ горитъ... Пить бы надо—слабъ! не могъ, а все больше злился, потому которыя я получилъ отъ Максима Петровича мысли, то никакими родомъ онъ у меня изъ головы не выходили. Злился-злился я, бѣсился-бѣсился, да одна подгулялъ и махнулъ въ арендателя каменемъ... Спасибо, скрость колесо камень прошелъ, а то-бъ въ каторгѣ быть. Да еще то облегчило, что ночью дѣло было, не могли вызнать, кто такой, такъ что собственно по подозрѣнію шесть мѣсяцевъ высидѣлъ... Вышелъ изъ заключенія, вижу—ездѣ я бунтовщикомъ оказываюсь, никто не беретъ и на частныя мастерскія не допускаютъ... Остался я одинъ; на кого надежда? Окромя Максима Петровича кто-жъ мнѣ защитникъ? Дай обладать чугунку... Я на него надѣюсь... Нонче, братъ, и имъ тоже очень мало готовыхъ кусковъ: не то время идетъ. И радъ я, коли ежели кого изъ нихъ припрутъ, радъ... Булець-то вонъ: охъ-хо-хо, крахтитъ! хорошо! отлично!..»

3.

Михаилъ Пванычъ, извѣстный давно на заводѣ за строптивого и непокорнаго человѣка, послѣдней своей исторіей съ камнемъ и арендаторомъ окончательно повредилъ себѣ; такъ-какъ всѣ частныя заводчики смотрѣли на ропотъ его не иначе, какъ на бунтъ, то Михаилъ Пванычъ, выгнанный съ завода, остался буквально безъ куска хлѣба, ибо его нигдѣ

не принимали. Въ эту пору его можно было встрѣтить въ небольшихъ подгородныхъ деревенькахъ, гдѣ онъ писалъ бабамъ письма и прошенія, получая за работу яйцо, кусокъ хлѣба. Письма выходили такого рода: «Честь имѣю извѣстить васъ, единоутробная дочь наша Авдотья Андреевна, что мы, родители ваши, съ маіа мѣсяца сего...года, состоимъ безъ куска хлѣба, въ полномъ смыслѣ этого слова и почтительнѣйше увѣдомляемъ васъ, что подавнія отъ мирового посредника съ сего... мѣсяца настоящаго сего года прекращены» и т. д. Извѣщая о деревенскихъ новостяхъ, Михаилъ Ивановичъ всегда умѣлъ среди неурожаевъ и подавій вставить нѣкоторыя фразы, обрѣтавшіяся въ фондѣ его образованія и просіанія. Но такой работы было мало. Работы «мужицкой», молотбы, косбы — онъ исполнять не могъ: у него болѣли ноги отъ стоячей заводской работы, и поэтому долгое время пробавлялся, чѣмъ могъ, и скитался, гдѣ пришлось. Среди этой нищеты и одиночества, въ головѣ Михаила Ивановича воскресло воспоминаніе о Максимѣ Петровнѣ, и больная душа тотчасъ же наполнилась какою-то неопредѣленною надеждою на его помощь, а больная, забитая голова довела эту фантастическую надежду до громадныхъ размѣровъ. Большіе быстрые глаза голоднаго Михаила Ивановича и его фразы на счетъ этихъ надеждъ, на счетъ чугунокъ и Петербурга — весьма разсѣяли юнаго потомка господъ Уткиныхъ, когда тотъ однажды вечеркомъ, проѣзжая по дорогѣ на старой, громадной и худой лошади, случайно наѣхалъ на Михаила Ивановича, лежавшаго въ канавѣ и бормотавшаго:

— Нѣтъ, братъ, не то время! Дай чугунокъ обладать!

О барчукѣ Уткинѣ намъ покуда надо знать только то, что денегъ у него не было; что жилъ онъ въ имѣніи, подлежащемъ описи; думая, во-первыхъ, основательно заняться подготовленіемъ къ практической дѣятельности, онъ въ то же время неменѣе основательно думалъ и овладѣть приказничьей дочерью, и всѣ эти вопросы разрѣшалъ внезапнымъ выстрѣломъ изъ ружья въ глубинѣ отцовскаго сада, разговоромъ съ пріѣзжимъ изъ города гостемъ о современныхъ вопросахъ, которые прерывались тотчасъ по появленіи гдѣ-нибудь вблизи деревенской бабы, поѣздкой въ городъ на гулянье и т. д. Изъ всего этого слѣдуетъ, что барчукъ скучалъ, и, среди скуки, лежащій въ канавѣ при дорогѣ Михаилъ Ивановичъ могъ обратить на себя его вниманіе.

— Вы кто такой? спросилъ барчукъ, когда Михаилъ Ивановичъ выскочилъ изъ канавы.

— Отставной рабочій... съ заводу-съ... Выгнанъ за бунты.

— За что?

— За непокорность, потому что я разбойничать имѣю не позволялъ... Не согласенъ я на это! Довольно.

Эти рѣчи до того показались Уткину ни съ чѣмъ не сообразными и до того заинтересовали его, что онъ позвалъ Михаила Ивановича къ себѣ поговорить,

а потомъ, боясь скуки, сказалъ Михаилу Ивановичу, чтобы тотъ оставался у него въ усадьбѣ.

Михаилъ Ивановичъ поселился въ кухнѣ и въ короткое время пошелъ у всѣхъ за большого чудака. Не одинъ барчукъ смѣялся всякій разъ, когда изъ устъ его выходили слова въ родѣ «пржимка», «къ осьмому часу, къ кіатру», «увѣдомился» и проч. Причины этому были его рваные локти, поставленные рядомъ съ Петербургомъ и чугунокъ. Въ сущности же Михаилъ Ивановичъ былъ человѣкъ, потерпѣвшій отъ отечественной пржимки въ тысячу разъ болѣе другихъ вслѣдствіе того несчастія, которое онъ опредѣлялъ словомъ «просіаніе ума», человѣкъ, которому осталась одна утѣха: созерцать затрудненія, выпавшія, благодаря «новымъ временамъ», на долю людей, привыкшихъ жить на чужой счетъ.

II. Въ ожиданіи чугунокъ.

1.

Исполняя нѣкоторыя порученія барчука, Михаилъ Ивановичъ хотя и не былъ даромъ господскаго хлѣба, но и не былъ особенно заваленъ работой, такъ что, помимо побѣдокъ въ городъ по порученіямъ, у него оставалось еще достаточно времени, чтобы отдохнуть, отдышаться на свѣжемъ воздухѣ. И въ Жолтиковѣ была къ этому всякая возможность. Стоитъ оно на высокомъ холмѣ, окруженное лѣсами, оврагами, дугами. Заморенный городомъ, Михаилъ Ивановичъ благоговѣлъ передъ природой, какъ не можетъ благоговѣть деревенскій житель; гроза здѣсь не то, что въ городѣ, въ рабочей слободѣ. Тамъ громъ колотитъ въ крышу, шатастъ печную трубу, за которую нужно платить печнику; результаты ея — грязь по колѣно и лужи, по которымъ люди ходятъ съ проклятіями. Въ деревнѣ это явленіе принимало другой видъ, и Михаилъ Ивановичъ могъ опредѣлить его только словами «премудрость», «благодать...» Собаки деревенскія, карауляція отъ лихихъ людей, тоже возвышались, по его понятію, деревню передъ городомъ, гдѣ ту же должность исполняли будочники, сворачивающіе скулы.

— Собачка, говорилъ онъ, — она умница: я съ ней могу поиграть, а съ хозяиномъ у меня игра слабая...

Густой старинный садъ, весь изрѣзанный заростающими дорожками, также манитъ Михаила Ивановича: по цѣлымъ часамъ онъ бродитъ въ этихъ заброшенныхъ аллеяхъ, слушая птицу, шумъ зааски, а иногда и засыпаетъ, сидя на подгнившей блѣдно-зеленой скамейкѣ. Но озабоченная пржимкой душа Михаила Ивановича не могла долго быть спокойной, тѣмъ болѣе, что на каждомъ шагѣ попадались вещи, гдѣ Михаилу Ивановичу выглаживалъ чужой трудъ, потраченный безъ толку.

— Михаилъ Ивановичъ! говоритъ барчукъ, то-ропливо проходя мимо него по саду, чтобы выстрѣлить изъ ружья въ галку: — такъ «увѣдомились?»

— Я довольно аккуратно къ жизни своей увѣ-

домился, какъ простому человѣку... начинаетъ Михаилъ Ивановичъ вслѣдъ барчуку; но въ этотъ моментъ раздаются выстрѣлы, крикъ разлетающихся галокъ и лай собакъ.

— Эхъ, ума-то нагулялъ! иронически шепчетъ Михаилъ Ивановичъ, качая головою. — Сколько чай хребтовъ на эдакую-то тетерю пошло?.. Прокъ!

— Были у Синицына? возвращаясь съ убитой гайкой, спрашиваетъ барчукъ.

— Былъ-съ.

Михаилъ Ивановичъ говоритъ съ сердцемъ, но старается скрыть это.

— Афишъ не было-съ, разобраны! продолжалъ онъ.

— Что-жъ въ городѣ?

— На столбу объявлено воздухоплаваніе слона... въ Эрмитажѣ. Рубъ за входъ.

— Чортъ знаетъ что такое!

— Во всѣхъ Европахъ одобряли монархи, прибавляетъ Михаилъ Ивановичъ, не скрывая негодованія и какъ бы говоря въ то же время: «стоишь ли ты слона-то смотрѣть?».

По уходѣ барчука, на травѣ остается мертвая птица. Михаилъ Ивановичъ смотритъ на нее и говоритъ:

— Вотъ это господское дѣло!.. Хлопнулъ—и пошелъ. А ружье кто ему выработалъ?

Достаточно такого случая, чтобы всѣ соображенія Михаила Ивановича объ участи простого человѣка поднялись цѣлымъ роемъ. Черезъ пять минутъ, по уходѣ барчука, его уже можно встрѣтить въ кабацкѣ передъ цѣловальникомъ.

— Не беспокой!.. Оставь меня! умоляетъ цѣловальникъ, съ трудомъ приподнимая тяжелую голову, покойно лежавшую на локтяхъ. — Не обезпоявай меня!

— До-ку-уда-а? надсѣдается Михаилъ Ивановичъ. — Докуда бѣдному человѣку разутымъ ходить? Что на него работали, сколько денегъ на него даромъ пошло?..

— Михайло! вскрикиваетъ цѣловальникъ. — Какія мои слова?

— Ха, ха, ха! грохочутъ черезъ нѣсколько минутъ на мельницѣ. — Кормили, поили яво, а онъ—въ галку?

— Да-а, братъ!.. Кабы ежили бы онъ отдалъ...

— Держи карманъ,—отдалъ!.. Хо, хо, хо...

У Михаила Ивановича такъ много накопѣло въ груди, что никакой слушатель не въ состояніи выслушать всего, что онъ желалъ сказать. Это обстоятельство служитъ причиной, что всѣ считаютъ его чудачкомъ, который почему то злился, толкая о какой-то галкѣ или о ружьѣ. Съ другой стороны, постоянная насмѣшка всѣхъ, отъ барчука до приказчика, и отсутствіе достаточно внимательныхъ слушателей заставляють его чувствовать себя совершенно одинокимъ, покинутымъ. Михаилъ Ивановичъ, у котораго на умѣ одна мысль, что съ открытіемъ чугунки ему совершенно необходимо съѣздить въ Петербургъ, вдругъ начинаетъ беспокоиться, что чугунка ужъ открыта и ушла безъ него. Въ такомъ случаѣ, еслибы у него и не было

порученій отъ барчука, онъ выпрашивалъ бѣговныя дрожжи и ѣхалъ въ городъ.

Часу въ восьмомъ утра дрожжи его торопливо мелькаютъ по березовой аллеѣ, пролегающей мимо церкви и поповскихъ домовъ. Михаилъ Ивановичъ, подкрѣпленный свѣжестью и блескомъ лѣтнаго утра, весело похлестываетъ лошадь и весело смотритъ впередъ, не обращая вниманія на то, что какой-то краснобай кричитъ ему:

— Ушла?.. Въ ночь ушла!.. ха, ха, ха!

Эта насмѣшка заставляеть его поспѣшнѣе добраться до холма, съ высоты котораго открывается видъ на городъ, изобилующій золотыми крестами, красными и зелеными крышами. Картина эта не останавливаетъ его вниманія:—онъ смотритъ лѣвѣй, гдѣ видна желтоватая насыпь дороги, недостроенный вокзалъ и толпы людей съ тачками...

— А вѣдь пожалуй и ушла! думаетъ онъ и быстро подкатываетъ къ вокзалу.

— Что, ребята, не ушла машина? адресуется онъ къ рабочимъ на лѣсахъ.

— Нѣтъ еще!..

— Ай не обладили?

— Облаживаемъ.

— Ладьте, ребята!.. Ладьте, матушки... Проворвѣй!

Такъ какъ Михаилу Ивановичу всегда остается очень много времени, то онъ позволяетъ себѣ шагкомъ объѣхать вокзалъ, оглядываетъ его и говоритъ:

— Тутъ ума надо!..

— По три сажени дровъ жреть съ-маху! кричатъ рабочіе съ лѣсовъ, стуча топорами и шурша штукатуркою.

— Стоить! Стоить этакой шутовкѣ и поболѣ!.. съ увлеченіемъ говоритъ Михаилъ Ивановичъ и заключеніе прибавляетъ:

— Ну, ладьте!.. Облаживайте, ребята! Старайтесь, чтобъ ошибки какой не было!..

2.

Путь, лежитъ въ городъ черезъ слободку Яндовище, гдѣ у Михаила Ивановича между рабочимъ народомъ много знакомыхъ, такъ какъ здѣсь онъ самъ живалъ долгое время. При вѣздѣ въ улицу, начинающуюся кузней, лицо Михаила Ивановича теряетъ то оживленіе, которое придавало ему утро и чугунка; лошадь, которую онъ начинаетъ называть «горькая», «мертвая», идетъ тихо: Михаилъ Ивановичъ ѣдетъ по томъ царству прижимки, отъ которой единственное спасеніе—Максимъ Петровичъ; ибо ни въ этихъ домишкахъ, рѣвшихъ назадъ, во время приколачиванія къ нимъ нумера, ни въ этихъ трубахъ, похожихъ на рѣшето, ни въ этихъ воротахъ, слѣженныхъ изъ дощечекъ, рѣшительно не усматривается того, по поводу чего Михаилъ Ивановичъ могъ бы сказать—«не то время!», какъ это онъ говоритъ при видѣ доживающаго произвола...

— Ваня! грустно сказалъ Михаилъ Ивановичъ, останавливаясь у одной кузни, лѣгившейся радомъ съ крошечнымъ дворикомъ.

Высокій, черный и худой человѣкъ, стоявшій

эти минуты ему необходимо было утѣшиться зрѣлищемъ сценъ, гдѣ-бы человѣкъ, имѣвшій въ рукахъ власть надъ простымъ человѣкомъ, самъ попадалъ въ лапы къ прижимкѣ. И такой уголокъ былъ у Михаила Иваныча.

— Пойдемъ къ Аринкѣ! говорилъ онъ, хлестнувъ лошадь возжей.

4.

Арина принадлежала къ числу тѣхъ субъектовъ, которые «въ ныѣшнее время» поднялись снизу вверхъ. Михаилъ Иванычъ не долюбивалъ ея за то, что она занималась растовщичествомъ, то есть все-таки болѣе или менѣе разбойничала; но онъ охотно прощалъ ей это занятіе ради тѣхъ страданій, которыя она вынесла во время долгаго подневольнаго житія въ крѣпостныхъ. Вся улица, гдѣ стоялъ домъ ея господъ, называла этихъ послѣднихъ звѣрами, и дѣйствительно это были какіе-то охотники воевать надъ простымъ человѣкомъ. Подъѣзжая, напримѣръ, къ дому, баринъ не звонилъ и не стучалъ въ дверь, а только провозглашалъ: «ворота!», будучи почти увѣренъ, что голосъ его не можетъ достигнуть кухни, стоявшей въ глубинѣ двора. Крикъ этотъ повторялся нѣсколько разъ до тѣхъ поръ, пока кто-нибудь изъ прислуги случайно не замѣчалъ барина и не открывалъ воротъ. Но баринъ сидѣлъ на морозѣ, ждалъ:— и начиналось дранье и бушеванье. Не было ни у кого такой заморенной, забитой прислуги, какъ у этихъ господъ. Она находилась у всѣхъ сосѣдей въ глубокомъ презрѣніи, потому что слыла за воровъ и мошенниковъ: нельзя было повѣсить сушить бѣлье, пустить цыплятъ на улицу, чтобы все это тотчасъ же не было похищено ими. Арина находилась въ числѣ этой заморенной прислуги и всю жизнь не видала свѣта Божьяго. Среди этого житія она слѣдилась совершенной душой. Странно было глядѣть на ея испуганные глаза, когда она, бывало, позднимъ вечеромъ пробиралась въ какую-нибудь сосѣдскую кухню и тайкомъ продавала здѣсь молоко или какой-нибудь платокъ, цѣна которому былъ грошъ. Не одинъ Михаилъ Иванычъ могъ уважать ту непопулярную силу терпѣнія Арины, которое помогло ей, среди этого варварскаго житія, скопить кое-какія крохи, доставившія ей впоследствии завидную долю вліянія надъ благородными. Послѣ крестьянской реформы, господа ея, убитые необходимостью отнять свои руки отъ щекъ и волосъ рабовъ, какъ-то скоро исчезли съ лица земли—умерли. Арина, въ эту пору уже старая женщина, подыскала себѣ какого-то юнаго дурака изъ кучеровъ, женила его на себѣ и стала отдавать подъ проценты деньги. Такъ какъ выѣстъ съ крестьянствомъ рухнуло благосостояніе и чиновной мелкоты, населяющей переулки, то Арина въ короткое время счумѣла изловчиться въ пользованіи такими терминами, какъ «строкъ», «процентъ», «подъ росписку», загнала въ нѣдра своихъ сундуковъ безпорочныя пряжки, шпаги, мундиры съ фалдами, купила домъ и могла жить въ свое удовольствіе.

— Ышь! говорила она своему супругу.

— Надоѣло. . буда! потягиваясь, говорилъ тотъ.

— Чего-жъ тебѣ? Можетъ, тебѣ чего сладкаго, либо моченаго?

— Пожиже-ба! Съ кислиной-ба чего!..

— Ну, и съ кислиной. Вотъ объ чемъ! Боли-бы не было... А то вѣдь—скажи... Слава Богу!

Говоря такъ, она любила порыться въ своихъ сундукахъ, полюбоваться своимъ добромъ, переложить его съ мѣста на мѣсто, развѣсить всѣ эти мундиры по заборамъ и посередѣ двора, ходила при этомъ близъ нихъ и утомленнымъ голосомъ говорила слушателю:

— Куда человѣку безпокойно, коли-ежели денегъ у него много... Ахъ, какъ ему безпокойно!.. Только мученье черезъ это... Охъ, деньги, деньги!..

Михаилу Иванычу было пріятно любоваться этимъ торжествомъ замореннаго человѣка, и онъ заѣзжалъ сюда отвести душу, хотя въ сундукахъ Арины покоились его двѣ рубашки и жилетка.

— Ну что, корга, говоритъ онъ, входя къ Аринѣ:—какъ грабишь? Все-ли аккуратно обоблачиваешь?

Арина, одѣтая въ ваточную кофевейку, подносить водку какому-то мужику и говорить, не обращая вниманія на Михаила Иваныча:

— Кушай-ко-съ, Иванъ Евсѣвичъ... На доброе здоровье, дай Богъ вамъ счастливо!..

— Дай вамъ, Господи! говоритъ мужичокъ.—

Боли ежели Богъ дастъ, укупимъ его у господъ...

— Чего это? виѣшивается Михаилъ Иванычъ.

— Дворецъ господскій имѣемъ намѣреніе...

— Дворецъ!... жеманно и какъ-бы недовольно говоритъ Арина.—Дворецъ господскій укупаютъ... словно-бы диво какое.

— Важно, важно, братъ! Тяни его! Вытягивай изъ чулка-то шерстяного, что утаилъ... Именно богатое дѣло!.. Вали!

— Хе-хе-хе!.. съ мужикомъ мы тутъ... признаемся... хихикалъ дысенскій Евсѣвичъ.

— Пользайте! алобстуетъ Михаилъ Иванычъ.—Очень превосходно! Вали въ лаптяхъ въ хоромы, чего тамъ? Утрафьте прямо съ корытами да онучами... Чего-о? Именно! Хетектуру эту барскую—безъ вниманія...

— Хетектура намъ—тѣфу!.. Что намъ съ простору-то? Простору въ полѣ много...

— Что съ него съ простору? тѣмъ же тономъ присовокупляетъ Арина.

— Намъ главная причина—желѣзо! Мы изъ яво, дворца-то, желѣза одного надергаемъ.—эво-ли кольки!...

— Дергай, братъ! Выхватывай его оттудова...

— А которая была эта хеткура, камень, напримѣръ, кирпичъ, рѣдкостные!.. Кабаковъ мы изъ него наладимъ по тракту съ полсотни... Вѣрно такъ!

— Разбойничайте, чаво тамъ! запрету не будеть!

— Какой запретъ? Мы дѣла свои въ аккуратности, чтобы ни Боже мой...

— Ну, выкушайте! Дай Богъ вамъ! заключаетъ Арина.

При выпиваніи водки, хитроватые глазки Ивана Евсѣича замуриваются, вслѣдствіе чего все лицо его изображаетъ агнца непорочнаго.

— Ишь, думаетъ Михаилъ Ивановичъ, глядя на нищенскую фигурку Евсѣича:— узнай вотъ его!..

По части торжества прижимки, исходящей уже изъ среды людей «простого званія», у Арины большая практика.

Не успѣвъ потѣшить Михаила Ивановича убогонькій мужичокъ, какъ сама Арина выступаетъ на сцену съ рассказомъ, тоже пріятнымъ для Михаила Ивановича.

— И что-это, я поглажу, говоритъ она, улыбаясь и какъ-то изнемогая, — и сколько это теперича стало потѣхи надъ ихнимъ братомъ.

— Ну, ну, ну! торопятъ Михаилъ Ивановичъ.

— Даже ужасъ сколько надъ ними потѣхи! Омамедни идетъ, шатается... — «Я ополченецъ... возьмите въ залогъ галстухъ... военный»... Смертущки мои, какъ поглажу на него!

Всѣ хохочутъ: и Михаилъ Ивановичъ, и Евсѣичъ, и дуралей мужъ Арины осканилъ свое глупое, толстое и масляное лицо.

— «Что-жъ это вы, говорю, по вашему званію и безъ сапогъ? трясаясь отъ смѣха, едва можетъ провизнеть Арина.—Вѣрно, говорю, лакей унести чистята?»

Смѣхъ захватываетъ у всѣхъ дыханіе, такъ что въ комнатѣ царитъ молчаніе, среди котораго смѣющіеся хватаются за животы, закидываютъ назадъ головы съ разинутыми ртами и потомъ долго стоятъ, отплеиваются и отчихиваются.

— Хорошенько-о! Хорошенько, бра-ать!.. красивый отъ смѣха, говоритъ Михаилъ Ивановичъ, нагибаясь къ Аринѣ и хлопая ее по плечу.

Эти сцены подкрѣпляли Михаила Ивановича и пріятно настроивали его упавшій духъ. Но такъ какъ на пути въ Жолтиково онъ имѣлъ обыкновеніе заѣзжать въ лавку Трифонова, то ропотъ посѣтителей ея снова начиналъ злить Михаила Ивановича, и онъ начиналъ набрасываться на купцовъ и чиновниковъ, какъ собака.

— Хижина дяди Тома, исполненная декораторомъ Федоровымъ... на открытой сценѣ, сурово докладывалъ онъ барчуку, возвратившись въ Жолтиково, и норовилъ уйти.

— Куда вы? Погодите! останавливалъ барчука, лежавшій на кровати безъ сапогъ, съ книгой въ рукахъ, въ которой онъ перевортывалъ по тридцати страницъ сразу, думая о приказчицкой дочери и воровя при первой возможности отдѣлаться отъ книги.—А въ театрѣ?

— Больше ничего-съ! Съ бенгальскимъ освѣщеніемъ грота... волшебное... Рубь! Одобряли мовархи...

И никогда скучавшему барчуку не приходилось получить отъ Михаила Ивановича другого, болѣе ласковаго отвѣта. Онъ уходилъ и ропталъ гдѣ-нибудь передъ пьянымъ дьячкомъ.

— Ты думаешь, это ему чугунная дорога въ самомъ дѣлѣ составляетъ препону?.. Ему зацаррррнать нечего... во-отъ!..

— Оставьте, будетъ вамъ!.. останавливали его.

Такъ проводилъ Михаилъ Ивановичъ время, ожидая чугунную дорогу и утѣшаясь созерцаніемъ обнищавшаго «благородства».

III. Разоренные.

1.

И нельзя сказать, чтобы время убавляло эту потѣху; напротивъ, количество людей, поставленныхъ бездоходѣмъ въ трогательное и смѣшное положеніе, увеличивалось съ каждымъ днемъ. Если бы сердце Михаила Ивановича не помнило того сладкаго куска, который въ дни его нищенскаго дѣтства случайно попалъ ему въ кухню Черемухиныхъ, то онъ бы могъ устроить себѣ славную потѣху, любуясь ихъ тѣперешнимъ разореньемъ. Но Михаилъ Ивановичъ помнилъ этотъ кусокъ, и когда однажды, явившись къ Аринѣ, чтобы отвести душу,—узналъ, что они разорились, съумѣлъ схоронить въ глубинѣ души свою злобную радость, хотя имѣлъ на нее полное право, если принять въ расчетъ прошлое Черемухиныхъ.

Черемухины, Птицины и другія родственныя фамиліи съ давнихъ поръ составили одно лихимное гнѣздо, какихъ вездѣ было много и который дорого обходились народу. Родоначальникомъ этого гнѣзда былъ нѣкто Птицынъ, прибывшій въ нашъ городъ изъ какой-то другой губерніи, по приказанію начальства, которое, оцѣнивъ его «рвеніе и энергію», дало ему теплое мѣсто и возможность быть сытымъ. При поселеніи Птицына на тепломъ мѣстѣ, семейство его состояло, во-первыхъ, изъ глухой женной матери, умѣвшей говорить только одну фразу: «въ карманъ-то, въ карманъ-то норови поболѣ»; во-вторыхъ — изъ жены, которая конкурировала съ мамашей въ болѣе широкомъ пониманіи и изложеніи мыслей на счетъ кармана; затѣмъ — изъ нѣсколькихъ сыновей, воспитанныхъ въ страхѣ Божіемъ и въ привычѣ къ «доходамъ», согласно ученіямъ бабки и матери, и нѣсколькихъ молчаливыхъ и забытыхъ дочерей. Все это населеніе, немелленно по прибытіи въ нашъ городъ, обзавелось благопріобрѣтеннымъ домомъ о множествѣ заднихъ ходовъ и расправило свои необыкновенно панкія руки, разинуло свои глубокия пасти, потянуло къ этимъ рукамъ и пастямъ толпы просителей и стало жить, получая пряжки и благоволенія. Безропотныя дочери были выданы замужъ за людей, тоже желавшихъ быть очень сытыми. Люди эти тоже расправили пасти и панкія руки, тоже обзавелись сѣнями и задними ходами, и такимъ образомъ, въ концѣ концовъ, всѣ вмѣстѣ образовали одинъ огромный вязточный «полипъ». Но выѣшнее обличье и жизненный обиходъ людей, изъ которыхъ этотъ «полипъ» состоялъ, не представляли для посторонняго наблюдателя ничего особенно возмутительнаго. Все это были только обыкновенные чиновники съ зелеными, непривлекательными лицами, съ потухшими глазами, сгорбленными спи-

нами. На просителей они въ дѣйствительности все не накидывались, а напротивъ — шепоткомъ потихонечку разговаривали съ ними въ сѣняхъ или на заднихъ крыльцахъ; денегъ у нихъ не выхватывали, а принимали ихъ тогда, когда просители долго передъ этимъ ползали на колѣняхъ, умоляли. Полученныя ни за-что ни про-что чужія деньги устроили въ средѣ этого гнѣзда самыя идиллическіе нравы: совѣты глухой и начинавшей слѣпнуть бабки, на счетъ кармана, встрѣчались съ улыбкой, которую посылаютъ взрослые дѣтямъ, принимающимся разсуждать о незнакомомъ предметѣ, ибо всѣ представители гнѣзда понимали на счетъ этого втрое болѣе. «Что вы учите, безъ васъ знаемъ!» самодовольно говорила ей родоначальница гнѣзда, жена Птицына, и павой ходила по дому среди семейной бесѣды. О грабежахъ не было и помину: толковали объ отвлеченныхъ предметахъ, о душѣ, о царствіи небесномъ; ходили къ обѣднѣ, пили, спали, цѣловали другъ друга ручки, дѣлились добычей поровну, пьянствовали, рожали, крестили и среди этой нечеловѣческой атмосферы росли дѣти... Птицынъ утопалъ въ счастіи среди этого благолѣпія, гладилъ взяточниковъ-дѣтей по головѣ, точилъ слезы, совершалъ объѣзды по губерніи, причемъ деревенскіе начальники и оголенные деревни пѣли «многая лѣта», единодушно отдавали послѣднія крохи на поднесеніе хлѣба-соли и проч.

Пированье на чужой счетъ шло долго. Все гнѣздо объѣлось и опало до потери сознанія, что могутъ существовать на свѣтѣ ревизоры, до потери счета нарожденному числу дѣтей; многое множество было поглощено этою прорвою чужихъ денегъ, трудовъ, слезъ... и наконецъ настала война, пошла обличенія... Гнѣздо разорено было мгновенно. Черемухины, устроившіе свою жизнь на общихъ, вышеизображенныхъ основаніяхъ, были выгнаны и переселились въ другую губернію. Въ семьѣ Птицыныхъ шелъ вой и плачь. Исчезновеніе кармана, изъ котораго можно было произвольно выхватывать, сколько душа желаетъ, подорвало даже и идиллію семейной жизни.

— Въ карманъ-то, въ карманъ-то порови! едва дыша, лепетала бабка.

— Прокорманили, матушка! Нечего накармивать-то, плакала ея дочь и съ вѣжностью гладила по головѣ сына, попавшагося въ двадцати уголовныхъ дѣлахъ. — Поцѣлуй меня, зайчикъ мой! говорила она ему.

— Отстаньте вы къ... Богу... съ поцѣлуями! Нашли время!.. До чего вы меня довели? осканивался сынъ на матушку, которую ему не за что было уважать. — Что я отъ васъ видѣлъ, пользу какую? Вамъ только подавай... рязу сдѣлать дали обѣщаніе... Ну, и хваталъ... Вы—мать, развѣ я могу послушаться?..

Птицынъ лежалъ въ параличѣ, и надъ нимъ тотъ же рабски покорный сынъ срывалъ свой гнѣвъ.

— А называется генералъ! Не умѣли во время подмазать ревизора... Вамъ жалъ... А небось какъ съ меня, такъ «подавай!» Какъ принесешь, — «умникъ»... А-а! Богъ васъ наказываетъ... Какой вы отецъ?.. Удавлюсь вотъ возьму!..

Неудивительно, что сынъ могъ говорить родителю такимъ образомъ: они были равны въ хищничествѣ.

Такія сцены заставили уйти Михайла Ивановича и искать своего хлѣба, и онъ съ тѣхъ поръ не видалъ ни Птицыныхъ, ни Черемухиныхъ до настоящаго времени. Въ тотъ большой промежутокъ Черемухины успѣли прожить на чужой сторонѣ всѣ наворованныя деньги, самъ Черемухинъ успѣлъ умереть, а жена его, раздавъ старшихъ дочерей замужъ, воротилась съ младшей дочерью, семнадцатилѣтней Надей, жить на родину. Это была несчастная, невинно страдающая женщина. Грабежъ и пьянство терзали ее въ домѣ отца, по волѣ котораго она вышла за Черемухина и снова попала въ область какого-то рабскаго произвола, гдѣ ей было вдвое тяжелѣе, потому что, въ качествѣ жены, она должна была раздѣлять хищническіе нравы супруга. Ее мучило то, что дѣти ея выходять среди этой атмосферы какими-то уродами, тоже лгунами и лстецами. Она что-то все хотѣла сдѣлать, старалась поправить; но ничего не сдѣлала, а только мучилась, молилась въ то время, когда хрипѣлъ пьяный мужъ, и подъ конецъ терпѣла отъ этого мужа самыя страшныя истязанія: почему-то одна она оказалась въ его глазахъ виновницею всѣхъ его несчастій и достойна была поэтому всякихъ мученій. Уваженія между ними не было никакого, ибо Черемухинъ взялъ ее тоже потому, чтобъ, подъ защитою Птицына, «дѣлится», съ кѣмъ нужно. Возвращаясь на родину, она думала чѣмъ-нибудь согрѣть свою измученную душу, но это оказалось невозможнымъ.

— Ты здѣшній, голубчикъ? спросила она у извозчика, вѣзжая въ свою губернію.

— Здѣшній, матушка, казенный!

— Что, помнишь ты, былъ у васъ начальникъ!..

И она назвала фамилію отца и потомъ мужа.

— Какъ не помнить? Этакихъ разбойниковъ да не помнить!

— Довольно, довольно, голубчикъ... Не про тѣхъ!

— Что онъ сказалъ? спросила Надя.

— Нѣтъ, не про насъ, ошибся. Такъ сдурю! старалась она замаять злые мужичьи слова.

Холодно ей было на родинѣ.

Товарищи мужа, скомпрометированные тѣмъ же, чѣмъ и онъ, сторонились отъ нея, и, какъ пьянчужки, отрезвленные въ кварталѣ, сердито смотрѣли другъ на друга и на нее. Иные изъ нихъ, перебравшись въ новые суды, перестали нюхать табакъ, стали курить сигары, обрили, умылись и старались казаться людьми совершенно новыми или отдѣланными заново. Всѣ знакомства, всѣ старинныя пріязни какъ будто и не существовали: всѣ они держались на «дѣлѣжѣ» и кончились виѣстѣ съ нимъ. Все было пусто кругомъ. Но переносить личную бѣдность было бы не такъ трудно и больно для Черемухиной, еслибы она не попиралась тѣми, которые сжумѣли выбиться, подобно Аринѣ, изъ нищеты въ люди. Примѣры такого превращенія приходилось встрѣчать довольно часто; всякій изъ превращенныхъ считалъ своею обязанностью взглянуть

на разоренныхъ господъ какъ на ровню, на что конечно имѣлъ полное право. Однажды, не дотянувъ до получения пенсін, она пошла заложить воротникъ къ Аринѣ, и еслибы не Михаилъ Ивановичъ, бывшій тутъ и узнавшій Черемухину, Арина бы потѣшилась надъ бѣдной, измученной женщиной, которая когда-то покупала у нея молоко.

— Ай вы разорились?... рассматривая воротникъ, говорила она съ жеманною небрежностью.

— Богу такъ угодно...

— Много васъ этакихъ-то... Жили-жили, что нажили?... Что-жъ тебѣ дать за оборохъ твой?... рупь—болѣе нельзя.

— Ну, ну—полегче! заступился Михаилъ Ивановичъ. Оборохъ? У тебя много ли такихъ обороховъ было? Съ тебя, не Богъ-знаетъ, что таянутъ: три-то рубли онъ двадцать разъ стоитъ...

Михаилъ Ивановичъ говорилъ тѣмъ суровымъ тономъ, въ которомъ слышалось почти согласіе съ Ариной.

— Вынимай-ко деньги-то... чего тамъ?... Со всякимъ случается...

— Воля Божія, говорила убитая Черемухина.

— Мы должны ей покориться.

— Обнаковенно... Вынимай, вынимай! зеленую-то!.. заступался Михаилъ Ивановичъ.

Благодаря заступничеству Михаила Ивановича, Арина не смѣла продолжать своей потѣхи надъ Черемухиными, и съ этихъ поръ, въ ожиданіи желѣзной дороги, Михаилъ Ивановичъ сталъ заходить къ нимъ посидѣть, покалывать.

2.

Чтобы избѣжать всякихъ обидныхъ столкновений, Черемухина жила въ глухой улицѣ, въ дешевой квартирѣ, не заводя никакихъ новыхъ знакомствъ и не возобновляя старыхъ; жила она небольшимъ пенсіономъ, постоянно была дома, постоянно что-то вязала, выбравъ себѣ мѣстечко у окна, выходившаго на дворъ, и думала. Было о чемъ ей подумать. Не послѣднее мѣсто въ ея размышленіяхъ занимала дочь Нади, которой было уже восемнадцать лѣтъ и которую надо было «пристроить». Но женихи покуда не являлись, и Черемухина полагала (про себя), что народъ избаловался, молодежь рыщетъ и не думаетъ жить почеловѣчески. Что касается до Нади, то она покуда не испытывала ничего, кромѣ зѣвской скуки. Она успѣла уже познакомиться съ хозяиномъ-мѣщаниномъ и его женой; узнала отъ нихъ, что «канка» есть то же, что индюшка, и что занятія хозяина въ теченіе шестидесяти лѣтъ состояли въ томъ, что онъ скуналъ этихъ индюшекъ и отправлялъ ихъ въ Москву. Узнала также отъ солдата, который, возвратясь съ ученья, любилъ посидѣть на крыльцѣ и покурить трубочку, что прежде былъ тихій учебный шагъ и скорый шагъ, а теперь осталась одна пальба, а шагъ запрещенъ. Знала она также всѣхъ мальчиковъ, пускавшихъ змѣй середь улицы; ходила по хозяйскому саду, видѣла, благодаря его низенькимъ заборамъ, что дѣлается въ другихъ садахъ; посѣщала родныхъ и

нигдѣ не находила ничего, кромѣ скуки. Даже лица, къ которымъ она обращалась съ извѣстіемъ «мнѣ скучно»,—солдаты, хозяинъ, хозяйка,—надоѣли ей и прискучили точно такъ же, какъ прискучила улица, на которую выходили окна дома, садъ, заборъ противъ оконъ.

Появленіе Михаила Ивановича, какъ новаго лица, было одинаково пріятно какъ для Черемухиной, которая не видѣла въ немъ открытаго врага, такъ и для Нади, которая въ сопровожденіи его могла идти, куда ей хочется.

Михаилъ Ивановичъ помнилъ Надю маленькой дѣвочкой. Въ дѣтствѣ онъ ее иногда каталъ на салазкахъ; увидавъ ее теперь взрослой и невѣстой и не находя въ ея молодости ни разоренья, ни прошлаго, надъ которымъ-бы можно было потѣшиться простому челоуѣку,—рѣшительно не могъ сердиться вблизи ея и робко ѣзжиса гдѣ-нибудь у двери, если заходилъ посидѣть; а если провожалъ куда-нибудь Надю, то шелъ позади нея, какъ лакей.

Посѣщали они попрежнему тѣхъ же разоренныхъ родныхъ.

Какъ одинъ изъ множества результатовъ прижимки,—домъ Птицына, дѣлушки Нади, представлялъ въ эту пору нѣчто забытое, заброшенное всѣми. Сыновья и родственники разбрелись въ разныя стороны и, отвертѣвшись отъ уголовныхъ дѣлъ, имѣли гдѣ-то какія-то весьма современные мѣста—«обрусыли», «водворяли», «описывали» движимое и недвижимое. Птицынъ, его жена и бабка, которая была еще жива, и сынъ Вана, бывшій во времена лихонства и процвѣтанія еще мальчикомъ, всѣ со дня на день ожидали смерти, и, умирая, лежали въ четырехъ разныхъ комнатахъ, на четырехъ разныхъ кроватяхъ. Дѣйствительно умирающими были въ сущности трое: бабка, Птицынъ и сынъ. Жена Птицына слегла за компанію. Обыкновенно она проводила время въ ругательствахъ и брани, которая обрушивалась на мужа и на бабку. Такъ какъ на умирающаго сына обрушиваться было не за что, а еле-дышавшіе мужъ и бабка не доставляли достаточнаго матеріала для ругательствъ, ибо не оказывали никакого сопротивленія, то распеканію подвергался всякій, кто только чѣмъ-нибудь затрогивалъ ея вниманіе. Съ этими цѣлями она очень часто вставала со смертнаго одра своего, высовывала голову въ окно, и звонкій голосъ ея долго раздавался вдоль улицы...

— Что ты дѣлаешь, сиволаный ты этакой мужланъ? кричала она на водовоза, зацѣпившаго колесомъ ведро, поставленное на углу дома на случай дожда.—Дубина!..

— Ну не больно! Не бывалъ дубиной!.. огрызнулся водовозъ.

Этого было довольно, чтобы всѣ оскорбленные временемъ внутренности Птицыной закипѣли кипучей смолой.

— Ка-акъ? Мы подлые? восклицала она, захлебываясь отъ гнѣва, и, чтобы оправдать этотъ гнѣвъ, приписывала водовозу такія слова, какихъ онъ и не думалъ произносить.—Какъ? Я подлаякъ?... Ахъ

ты!.. Да я тебя въ старое-то время въ порошок-бы истерла и по вѣтру разсыяла. Ахъ ты... Да я...

Скоро помрачался умъ ея среди такихъ восклицаній, и черезъ нѣсколько времени можно было слышать, какъ изъ устъ ея вылетаютъ самыя нелогическія фразы.

— Мы здѣсь тридцать-восемь лѣтъ живемъ, а не подыме... не подлячка я... не подлячка!.. У меня сыновья... въ Польшѣ, а... я не подлая!

Навоевавшись вдвоемъ, она шла на смертный одръ, чувствуя необходимость послать за священникомъ; но, отдышавшись, не посылала.

Но очень часто Надя, входя во дворъ дѣдушки, въ сопровожденіи Михаила Ивановича, встрѣчала уходившій домой причтъ: батюшку и дьячка, которые были призываемы если не къ барынѣ, то къ барину или бабушкѣ, или Ванѣ.

— Умеръ дѣдушка? въ испугѣ спрашивала Надя.

— Живы, всё живы! улыбаясь, басилъ дьячокъ, любившій поговорить.—Они уже лѣтъ пять все отходить-сь...

— Земля не принимаетъ! бормоталъ про себя неумолимый Михаилъ Ивановичъ.

— Хе-хе-хе... Нѣтъ-сь! Тѣлосложеніе крѣпкое-сь, пояснялъ дьячокъ.—Крѣпки оченно! Кажется, вотъ вотъ, и-нѣтъ!—оживаютъ!.. Крѣпковаты, Господь съ ними.

— Крѣпки съ чужого-то! ворчалъ Михаилъ Ивановичъ.—Бабы со своего... А то съ чужого-то, поди-ко, сладъ съ ними!

— Хе-хе-хе... Истинно что такъ! соглашался дьячокъ.—Оченно много разнаго генералитету по нонѣшнему времени представляется, но съ упорствомъ! Кажется, вотъ совсѣмъ глаза закатились, а онъ, глядишь, очнулся да по щекѣ кого-нибудь и сблаговѣстивалъ... Хе-хе-хе!..

Во время этого разговора Надя стоятъ поодаль, ожидая Михаила Ивановича: безъ него ей страшно и жутко войти въ этотъ мертвый домъ, въ этотъ пустынный дворъ, заростающій травой. Разсыпавшаяся бочка и гнилая, словно истаявшая на дождѣ, водовозка, пустые сарай и грязная корова:—все это отдавало такой пустынностью и заброшенностью, что Надя, прежде нежели идти далѣе, непременно обращалась къ Михаилу Ивановичу.

— Михаилъ Ивановичъ, идите сюда! говорила она нетерпѣливо.—Будетъ вамъ разговаривать.

— Ишь, говорилъ Михаилъ Ивановичъ, слѣдуя за Надей и глядя на разоренный дворъ:—ишь, нагорожено!..

И при этомъ ему представлялся тотъ же дворъ, оживленный жирными кучерами, толпами просителей, смѣющимися кухарками и другими атрибутами счастливаго времени Птицыныхъ.

— Заглохло! запустѣло! бормоталъ онъ, оставившись и оглядывая кругомъ.—Ишь, на чужое-то натаскано сколько.

Надя не сразу входила въ домъ дѣдушки. Окна, занавѣшенные платками и одѣялами, заставленные щитами изъ какихъ-то лоскутьевъ разноцвѣтныхъ обоевъ, рисовали ей такую кромѣшную тьму, царящую внутри, что она невольно шла въ садъ. Но

и здѣсь стояли заброшенные деревья съ гнѣздами паутины; въ густой травѣ еле-замѣтны были слѣды дорожекъ; бесѣдка стояла безъ дверей. Михаилъ Ивановичъ оглядывалъ все это, вытаскивалъ ногою откуда-нибудь пустую бутылку и говорилъ:

— Паровать умѣли! Все хинью пошло, все прахомъ...

— Михаилъ Ивановичъ, за что вы не любите дѣдушку? спрашивала Надя.

— Да за что-жъ мнѣ его любить-то?.. Вашему родителю я обязанъ: онъ меня прирѣлъ... а дѣдушка вашъ мало кому пользы сдѣлалъ.

— Отчего мнѣ не хочется къ нимъ идти? спрашивала Надя, не имѣя надлежащихъ основаній вступаться за дѣдушку.

— Да чего хотѣться-то?.. Бабы вы его любили. А то и вамъ его не за что любить-то.

Надя молча думаетъ о чемъ-то, но наконецъ говоритъ, лѣниво поднимаясь съ лавки:

— Нѣтъ, люблю!..

— ...За что любить-то?..

Надя не отвѣчаетъ, потому что дѣйствительно не понимаетъ, почему ей нужно любить дѣдушку. Однако она еще разъ киваетъ головой, какъ бы повторяя: «нѣтъ, люблю...»

— Авдотья! говоритъ она кухаркѣ шопотомъ, входя въ кухню.—Что дѣдушка?

Прежде нежели отвѣтитъ, кухарка съ упорнымъ молчаніемъ ворочаетъ какими-то корчагами, ушами и отвѣчаетъ совсѣмъ не на вопросъ:

— И только-бы, только-бы вынесъ Господь!..

Авдотья постоянно проклинаетъ Птицыныхъ, потому что жизнь ея въ ихъ домѣ дѣйствительно каторжная. На всѣхъ четырехъ умирающихъ она одна прислуга; въ кухнѣ надъ ея головой висятъ четыре колокола, за которые умирающіе дергаютъ каждую минуту, требуя то того, то другого; вслѣдствіе этого въ кухнѣ ежеминутно идетъ звонъ, отъ котораго Авдотья потеряла человѣческій смыслъ. До нея здѣсь перебивало множество народу, и каждый изъ нихъ не могъ выжить одного дня, и Авдотья жила только потому, что ей некуда было дѣться съ двумя своими ребятами.

— И какой демонъ уживетъ здѣсь! говоритъ Михаилъ Ивановичъ, глядя на звонки.—Ишь, колокольню какую выстроили! кажется, тыщи рублей не возьму, чтобы мнѣ тутъ... тѣфу!

— Сама-то вдарить, вдарить въ колоколецъ, въ полночь, такъ съ печи кубаремъ и летить... Всѣхъ ребятъ дураками сдѣлали... Съ испугу плачутъ! дрожащимъ отъ гнѣва и трудовъ голосомъ говоритъ Авдотья, продолжая ворочать корчаги.—Баринъ—тотъ дѣлаетъ ударъ легкій. Барчукъ еще тише, а бабка, да сама—такъ ужъ ровно бѣшеныя! Пуще всего сама: поминутно, поминутно... Бабка—та очнется разъ въ день, а то и въ два, да ужъ и дерветъ! Прибѣжишь къ ней, а она этакъ-то ровно рыба ротъ разѣваетъ: «въ карманъ-то», говорить...

— Опоздала! радостно рычитъ Михаилъ Ивановичъ, удерживаясь при барынѣ отъ болѣе вѣсикихъ выраженій.—Ушли карманы-то, убѣжали...

хе-хе-хе... Ишь, какъ они привыкли къ чужимъ карманамъ, такъ это даже удивительно, ей-богу...

— Что-жъ дѣдушка? спрашиваетъ Надя, какъ-то обезсиливъ отъ этихъ разговоровъ, и, узнавъ что дѣдушка и бабушка живы, еле-плетется въ комнаты.

Въ комнатахъ прежде всего поражалъ мракъ и духота, пропитанная ладаномъ и запахомъ лекарствъ. Среди этого царства смерти нельзя было бы пробыть одной минуты, если бы мертвую тьму не нарушалъ голосъ стонавшей и ругавшейся генеральши.

— Ну, какой ты генераль! Ну, какъ тебя возможно назвать генераломъ? вопіяла только-что оскорбленная женщина, стоя надъ умирающимъ мужемъ. — Что ты нажил? Куда ты отъ меня прячешь, кому готовишь?

— Н-нѣту у меня! еле-провозносить мужъ. — Нѣту!

— Какъ у тебя нѣту, когда ты все на сыновіе да на зятинны деньги жилъ? Куда дѣвалъ? Умрешь вѣдь... тебѣ жить одна минута... Говори, куда дѣвалъ?

Но мужъ ужъ не отвѣчаетъ.

— Въ гробъ ты меня вогналъ! Кабы знала бы, не вышла бы за тебя... этакое тирана... этакое душегуба! Ты всѣхъ насъ въ нищіе ввелъ... Ты сына въ гробъ вогналъ, погляди вонъ поди, полюбуйся на сына-то!

— Михаилъ Ивановичъ! держась за его-рукавъ, говорила Надя въ передней:—я не пойду къ нимъ...

— Дожили до какихъ дѣловъ! качая головою, говоритъ Михаилъ Ивановичъ.—Теперь вотъ Господь наказываетъ, сами себя ѣдятъ; ишь, грызутся!

Большую частью, при входѣ Нади, генеральша спрашивала: «кто тамъ?»—и тогда Надѣ приходилось цѣловать ея ручку и сидѣть у одра, слушать оханье и брань съ мужемъ, лежавшимъ за стѣной. Михаилъ Ивановичъ въ такое время стоялъ въ передней и злился; а когда ему приходило въ немоготу, онъ отправлялся дожидаться барышню за ворота. Но иногда имъ удавалось прямо изъ передней пробраться въ комнату, гдѣ лежалъ умирающій Ваня, который одинъ только изъ всѣхъ полумертвецовъ Птицынскаго семейства пользовался симпатіей даже Михаила Ивановича.

Самый сильный ударъ, какой только могла нанести жена Птицына мужу, состоялъ въ упрекѣ, что онъ уморилъ сына, хотя въ погибели этого человѣка принимали одинаковое участіе и отецъ, и мать Вани. Съ дѣтскихъ лѣтъ Ваня не былъ похожъ на то, что его окружало. Словно испугавшись того буйства и произвола, которые царили въ его семьѣ, онъ какъ будто бы отвернулся ото всѣхъ, прятался и пошелъ своей дорогой. У него стала развиваться страсть къ музыкѣ. Михаилъ Ивановичъ помнилъ, какъ, бывало, раннимъ утромъ, маленький, бѣлокурый, очень похожій на того-же котенка, Ваня, боясь испугать родныхъ, осторожно пикируетъ гдѣ-нибудь въ уголокъ на желтенькой скрипкѣ, купленной въ игрушечной лавкѣ за двугривенный. Но въ этомъ мірѣ грабежа и веселаго житья

такое дѣло мальчика никому не казалось дѣломъ. Смурганье нетвердаго и дрянного смычка, пытавшегося извлечь изъ дрянныхъ струнъ и изъ дрянного инструмента «Воалъ рѣчки», непремѣнно сопровождалось колотушками, дерганьемъ за ухо, ударомъ въ затылокъ. Мать говорила: «Что ты очумѣлъ—подъ воскресенье?» и хлопала по затылку; то же самое дѣлали братья, не говоря ни слова; то же самое дѣлалъ отецъ, говоря: «учился бы лучше, по два года сидишь въ классѣ». Но поволочки эти оставались безъ отвѣта со стороны Вани; ударъ въ голову заставлялъ его жмурить глаза, каплями пота покрывалъ его лобъ съ прилипнувшими бѣлокурными волосами; голова его, отдернутая за ухо, снова еще плотнѣе прилипала подбородкомъ къ грифу скрипки, и смычекъ все-таки пилилъ тихо, едва слышно, но рука, державшая его, судорожно сжимала его. Этакое упрямство вооружало противъ него родныхъ. Отецъ Вани, въ благодарности за то, что начальство отличило его, давъ теплое мѣсто, хотѣлъ всѣхъ дѣтей повергнуть на пользу отечества и заставилъ Ваню служить, когда ему было не болѣе шестнадцати лѣтъ. Духота канцеляріи, интересы чиновниковъ были совершенно несхожи съ тѣмъ настроеніемъ духа Вани, которое образовала въ немъ страсть. Онъ мучился этой канцеляріей, терпѣлъ тысячи оскорбленій, чухъ въ постоянныхъ попрекахъ его глупости, срамящей отца, и все молчалъ, и все бился впередъ. Прямо изъ канцеляріи онъ бѣжалъ къ полковымъ музыкантамъ, заводилъ дружбу со всякимъ скрипачемъ, долго корпѣлъ по ночамъ, списывая ноты. Какихъ трудовъ стоила ему новая порядочная скрипка, сколько нужно было времени ждать, пока соберется десять цѣлковыхъ на ея покупку, такъ какъ мать Вани отбирала у него все жалованье, оставляя на этотъ предметъ полтинники въ мѣсяцъ. Его называли «гудошникомъ», «скоморохъ». Тяжелая болѣзнь заставила обратить на него вниманіе родителей. Имъ было жаль его какъ сына, тѣмъ болѣе, что до отца стали доходить слухи о его талантѣ: какая-то прѣзжая знаменитость случайно услышала его и протрубила о немъ вплоть до скуднаго таланта Петербурга, приписывая себѣ честь открытія. Знаменитость перерыла его ноты, которыя онъ тщательно сохранялъ въ своемъ уголокѣ, и откопала какія-то композиціи, въ которыхъ оказалось пропасть новаго: «Скачетъ галка по ельничку»—русская пѣсня—и баллада Пушкина «о спящей царевнѣ» привели ее въ восторгъ.

О Ванѣ заговорило музыкальное общество города; къ нему прѣзжали губернскія знаменитости; Ваню тащили въ люди, въ свѣтъ:—его отецъ начиналъ гладить по головкѣ. Но Ваню убилъ радость, которую онъ перенесъ въ эти минуты; въ обществѣ онъ терялся, дѣлался дуракомъ, и большая фигура его, съ запуганными глазами, съ страшными смѣшными усами, въ старомъ, задешевъ купленномъ фракѣ, была не больше какъ смѣшна. И Ваня лежалъ и умиралъ.

Комната его была вся обвѣшана лубочными картинками, изображающими смерть съ косой, адъ,

геену, страшный судъ. Онъ былъ такъ боленъ, что считалъ себя возгордившимся передъ Богомъ, виновнымъ въ непочтеніи отца и матери, которые успѣли ему доказать, что онъ глубоко грѣшилъ, играя подь воскресенья и подь двенадцатые праздники. Религіозный ужасъ охватилъ его въ послѣдніе дни, и онъ лежалъ обернувшись къ стѣнѣ, не говоря ни съ кѣмъ ни слова. Появленіе Нади и Михаила Ивановича не пробуждало его отъ забытья.

Несмотря на грустную картину умирающаго, въ комнатѣ Вани Надѣ было легче дышать: здѣсь было чисто и тихо; всѣ нотки и тетрадки Вани были аккуратно собраны и сложены въ одно мѣсто, и Надя любила ихъ разбирать. Каждый листокъ въ этихъ бумагахъ говорилъ о томъ непомѣрномъ трудѣ, съ которымъ Ваня стояло составить себѣ маленькій уголокъ, отдѣльный отъ широкихъ нравовъ семьи. Чего нѣтъ въ этихъ бумагахъ? Вотъ случайно уцѣлѣвшій номеръ газеты съ фельетономъ о какомъ-то музыкальномъ вечерѣ въ Петербургѣ. Какъ тщательно и аккуратно сложенъ онъ! Авторъ его могъ бы умереть спокойно, если бы зналъ, какъ цѣнятся, гдѣ-то въ темномъ уголкѣ, его строчки, нахватавныя, можетъ быть, ради хлѣба. Вотъ портретъ какого-то музыканта, вырѣзанный изъ какого-то измятаго журнала: но онъ расправленъ, старательно наклеенъ на картонъ. Вотъ афиша о концертѣ, въ которомъ Ваня участвовалъ въ первый разъ.

— Уморили человѣка! говорить Михаилъ Ивановичъ, разсматривая Ванины бумажки. Надя не слышитъ его и не отвѣчаетъ. Въ рукахъ ея какіе-то лоскутки, сверху которыхъ написано: «въ газету послать». Лоскутковъ этихъ оказывается множество. Это какіе-то отрывки изъ недоконченныхъ писемъ, рассказовъ, въ которыхъ видно неумѣнье владѣть перомъ, видно, что мысль убита у писавшаго человѣка. Но содержаніе этихъ лоскутковъ почти одинаково.

«Дуэтъ. Разсказъ И. П.—на. Въ одинъ майскій вечеръ, изъ —ской улицы вышелъ на большую улицу одинъ человѣкъ... У него была скрипка. Но въ этотъ восхитительный вечеръ молодому человѣку сдѣлали подлость. Слѣдобитъ, губернской франтъ, хотя и дуракъ, сталъ подтрунивать надъ моимъ костюмомъ, говорилъ, что у приказныхъ снимаютъ сапоги...»

Разсказъ прерывался. За нимъ слѣдовалъ другой съ описаніемъ іюньскаго вечера; но во всѣхъ ихъ, на трехъ строкахъ, описаніе красотъ природы уступало мѣсту описанія какой-нибудь мерзости, которую откалывали передъ «однимъ человѣкомъ» либо барышню, либо барчука. Почеркъ послѣднихъ строкъ каждого лоскутка ясно говорилъ о томъ, что мерзостей и гадостей сдѣлано автору въ тысячу разъ больше, нежели было красотъ во всѣ августовскіе, майскіе и другіе вечера въ мірѣ. Слушая осторожный шопотъ Нади, читавшей эти почти безграмотные, но грустные листки забитаго человѣка, Михаилъ Ивановичъ и здѣсь находилъ вещи, объясняемыя его взглядами.

— Ишь, шепталъ онъ.—За что они надъ чело-

вѣкомъ издѣвались? Вотъ чужія деньги-то!.. Только бы потѣху изъ всего сдѣлать! Развѣ имъ понятъ серьезнаго человѣка?

Надя уходила съ тяжелымъ чувствомъ изъ этого дома.

IV. Продолженіе скуки и скитаній.

1.

Такъ-какъ чугунная дорога все еще не достроивалась, то Михаилъ Ивановичъ продолжалъ проводить время попрежнему и сталъ шататься къ Черемухиннымъ все чаще и чаще, потому что здѣсь, среди покорныхъ обстоятельствамъ людей, ему было какъ-то покойнѣе негодовать. Отравленный прижижкой, о которой было уже обстоятельно разсказано Черемухиннымъ, Михаилъ Ивановичъ однако и здѣсь, среди покоя, не забывалъ толковать о новыхъ временахъ, о своихъ планахъ, а главнымъ образомъ о грабежѣ и разбоѣ.

— Надежда Андревна! Надежда Андревна! то-ропливо шепталъ онъ, догоняя Надю, гулявшую въ саду, — гляньте-ко, вонъ взяточникъ на солнцѣ грѣется.

Надя, отъ скуки гулявшая по саду, смотрѣла, куда указывалъ ей Михаилъ Ивановичъ. На лавочкѣ, въ сосѣднемъ саду, сидитъ отставной чиновникъ въ халатѣ и, подставивъ солнцу спину, потираетъ ее кулакомъ и поводитъ плечами.

— Ишь, словно котъ, хмурится!.. Кости свои оттаиваетъ... Онъ тепериче приструненъ; а вы дайте ему оттаять, пойдетъ шелкать по карманамъ — любю два!.. Надежда Андревна! восклицалъ онъ чрезъ минуту, — Эво-эво... еще! Вонъ грабитель на одѣялѣ растянулся... Ишь, нажевалъ утробу-то!

Надя разсматривала рекомендуемыхъ ей Михаиломъ Ивановичемъ разбойниковъ съ тѣмъ недоумѣніемъ и любопытствомъ, съ какимъ дѣти глядятъ, на примѣръ, на рыбу, плавающую въ корытѣ; она шевелитъ перьями, дышетъ, смотритъ и, должно быть, о чемъ-то думаетъ. И хотя существо оттаивающихъ грабителей было ей въ той же мѣрѣ незнакомо, какъ и существо размышлений молчаливой рыбы, но бормотанья Михаила Ивановича объ этихъ предметахъ внесли въ ея скуку какую-то неприятную черту. Надя слушала и смотрѣла на Михаила Ивановича только потому, что не на кого было смотрѣть и некого было слушать, и, не смотря на полное почти равнодушіе къ его сужденіямъ, дѣдушки и бабушки стали скучны ей не потому только, что у нихъ духота и темнота въ комнатахъ, а потому, что въ нихъ самихъ было что-то дурное, что они почему-то дурные люди. Улица и заборъ, видный въ окно и садъ, помимо того что надѣли ей своимъ однообразіемъ, получили еще какую-то особенную ненависть Нади вслѣдствіе того, что кругомъ ихъ и за ними жили и живутъ опять-таки дурные люди.

— Скука, Михаилъ Ивановичъ! слышите, что я говорю? Скука! говорила она, лѣниво проходя по комнатѣ и ложась на старый диванъ съ старинной «Библіотекой для Чтенія» въ рукахъ.

— Скука! ухмыляясь, говорил Михаилъ Ивановичъ, сидя или стоя гдѣ-нибудь у притоки. — А потому что обмякла прижимка.

— Что?

— Прижимка обмякла; нѣту того грабежу... Черезъ это вы и скучаете.

— Да развѣ я кого ограбила? съ неудержимымъ смѣхомъ спрашивала Надя.

Михаилъ Ивановичъ не смущался смѣхомъ и отвѣчалъ:

— Вы не грабили-съ, а жениховъ стало меньше... вотъ изъ-за чего и скука. Въ прежнее время женихъ былъ охочъ; доходъ съ простого человѣка у него былъ вѣрный, онъ бралъ даму, не боялся... Первое дѣло—безъ дамы ему нельзя. Второе дѣло—ему одному не разорваться: онъ хватается, жена должна прятать, выходить—«семейный домъ». И дѣвцы, женскъ полъ, скуки не знали. Потому мало-мало въ возрастъ пришла которая, сейчасъ сѣла къ окошечку съ шитьемъ, для близиру, анъ ужъ грабитель-то и подползаетъ... Анъ ужъ онъ гдѣ-нибудь и пошевеливается... Ужъ онъ гдѣ-нибудь тутъ, по близости! Ну, и свадьба, и пошла дѣвица домой, пошла она въ чуланъ таскать цыплятъ дареныхъ. Только у васъ и дѣла... И скуки нѣту... А теперь трудно этакъ-то!

«Подползаетъ», «пошевеливается» и другія фразы, свойственныя простому званію Михаила Ивановича, смѣшили Надю. Посмѣявшись надъ ними, она снова углублялась въ чтеніе глупѣйшаго романа, по имени «Вѣтра фуксія», и какъ-то, почти безъ собственной воли, снова задавала Михаилу Ивановичу вопросъ.

— Какъ будто только и дѣла, что цыплятъ таскать? говорила она, не глядя на Михаила Ивановича и перевертывая слѣдующую страницу.

— Да больше у васъ дѣловъ и нѣту... Какія у васъ, у благородныхъ, дѣла? Все у васъ готовое, заботы вамъ нѣтъ; приходитъ супругъ изъ должности, вы его спрашиваете: «Хорошо-ли, душенька, служилъ?» И въ губы его... А онъ вамъ: «въ ваторжную работу сослалъ двадцать персонъ». И на оборотку васъ въ губы... Какія у васъ дѣла?..

Надя едва улыбается на этотъ отвѣтъ Михаила Ивановича и окончательно забываетъ его, заинтересовавшись героиней романа. Романъ прочтенъ; Надя снова ходитъ по хозяевамъ, разговариваетъ съ солдатомъ, смотритъ, какъ хозяйка кормитъ цыплятъ, и вдругъ опять, среди этой скуки, неожиданно припоминаются слова Михаила Ивановича: «какія у меня дѣла? думаетъ она.—Не оттого-ли скука въ самомъ дѣлѣ, что жениховъ нѣту?...» Она думаетъ, и—глядишь—при слѣдующемъ появленіи Михаила Ивановича, снова задаетъ ему вопросъ:

— А если я не хочу вашихъ жениховъ?

— А вамъ этого нельзя!.. Женихъ требуется, только онъ очень мудренъ нынче сталъ, вывелся. А безъ жениха вамъ невозможно. Потому вы такъ прилажены...

— Какъ я прилажена?

— А такъ, чтобы на чужое жить... Тепериче мамсыня васъ кормитъ, одѣваетъ, а замужъ вый-

дете—супругъ станетъ награждать... Вы такъ приучены!.. Въ прежнее время въ нашемъ званіи всѣ на чужое жили... Вы извольте взглянуть на прабабушку вашу... Имъ, можетъ быть, сто головъ, онѣ чуть дышутъ, а очнутся—первымъ долгомъ лопочутъ: «въ карманъ-то порови!» Ишь вѣдь-съ! Съ малыхъ дѣтъ все на чужое приучена... Или опять дѣдушку вашего возьмемъ съ бабушкой. Дожили они до вѣку, до шестидесяти лѣтъ, и нѣтъ у нихъ другихъ словъ между собой, окромѣ ругательствъ... Чай сами слышали, какъ она его честить?.. А потому—что ей скука! Покуда на чужое жили, покуда таскали ей дары, напримѣръ, она и мужа любила, и жила весело. Какъ чужой карманъ изъ рукъ ея выхватили,—они врозь. И помянуть имъ на старости нечего! А кабы они своимъ трудомъ кусокъ-то брали, кабы въ однихъ оглобляхъ-то шли, небось-бы нашлось, что въ адакомъ преклонѣ вспомнить... А то вонъ набрасывается на всѣхъ, только и всего... Дѣловъ никакихъ не было, вотъ изъ-за чего!..

— У васъ все никто ничего не дѣлаетъ! У васъ всѣ на чужое...

— Обнаковенно! Вашъ ляденька-то, Иванъ Петровичъ, вонъ умираютъ; а по какому случаю?—потому, что надъ ними потѣшались въ людяхъ, не понимали ихняго сурьезу... Сами читали въ сочиненіяхъ у нихъ... Развѣ я, примѣрно, посмѣю адакъ-то хантъ человѣка, какъ они его хаяли? А потому, что съ чужого, съ жиру... Имъ бы только баловаться... И баловались всѣ... Какъ же не всѣ-то-съ? Изъ-за чего мы ободраны?

Тутъ начинался длинный разговоръ о прижимкѣ, котораго Надя почти не слушала, ибо Михаилъ Ивановичъ успѣлъ уже изложить его нѣсколько разъ. Но скука ея еще болѣе дѣлалась содержательною. Непреложные результаты всеобщаго ничегонеделанія, которые она видѣла собственными глазами, заставляли ее снова адресоваться къ Михаилу Ивановичу.

— А у меня есть дѣло? вдругъ спрашивала она его.

— Какое у васъ дѣло? У васъ нѣту. Кабы вы были простого знанія, у васъ бы было дѣло. У простого человѣка дѣловъ много... Онъ скуки не знаетъ... Никто не привидывалъ, чтобы, напримѣръ, мужикъ шатался да валялся этакъ-то, да зѣвалъ: «миѣ скучно!» Отродясь и не было такого мужика... у простого человѣка забота, скуки нѣту... Дѣла у него...

— Какія дѣла?

— Мало ли дѣловъ-съ! Дѣловъ простому человеку много... Возьмите вотъ Авдотью, у дѣдушки служить. Башмакъ на ней надѣтъ—онъ у ней свой! Надыть его выработать... Вотъ она годъ цѣлый ворочаетъ корчаги да ушаты, и сошьетъ башмаки... вотъ и дѣла!

И Михаилъ Ивановичъ высчитывалъ множество простонародныхъ дѣлъ, вращавшихся въ области «обуви» и «одѣжи» и прочихъ незамысловатыхъ предметовъ. Надя высказывала сомнѣніе на счетъ того, чтобы кухаркѣ было особенно весело среди

этихъ дѣлъ; на что Михаилъ Ивановичъ приводилъ тотъ доводъ, что хотя кухаркѣ и не весело, но зато ея и не кланетъ никто такъ, какъ клануть ея дѣдушку, жившаго гораздо веселѣй кухарки... Въ подтвержденіе своихъ словъ о вредѣ этого веселья на чужой счетъ, онъ приводилъ еще и тотъ фактъ, что дѣдушка Нади не можетъ умереть въ теченіе пяти лѣтъ, обзавелся болѣзнями, которыхъ не узнаютъ доктора, тогда какъ съ простымъ человѣкомъ ничего этого будто бы не бываетъ.

Несмотря на односторонность взглядовъ Михаила Ивановича, бормотанье его о грабежахъ и разбояхъ сдѣлало то, что въ головѣ Нади зашумѣлъ цѣлый рой совершенно новыхъ для нея размышленій. Прежде всего почему-то оказывалось, что скука ея происходитъ отъ того, что нѣтъ жениховъ; но если и случился бы женихъ, то ей придется заниматься какими-то злодѣйскими и гадкими дѣлами, примѣромъ чему—дѣдушка и бабушка и умирающій Ваня. Причина всѣхъ этихъ злодѣйствъ—чужія деньги. Надо имѣть свои. Своихъ нѣтъ. Свои—у кухарокъ, у кучеровъ. У нихъ нѣтъ скуки. Неужели надо идти въ кухарки?

2.

Такимъ образомъ результаты, добытые Михаиломъ Ивановичемъ среди житія въ области прижимки, оказались пригодными для тѣхъ лицъ, нравы которыхъ въ прежнее время держались этой прижимкой, слагались, благодаря ей, въ извѣстныя формы и уничтожились, развалились сами собою, вслѣдствіе того, что прижимка «обмякла». Новое время незамѣтно строитъ новые нравы, и никакой Михаилъ Ивановичъ въ мірѣ не подозреваетъ того, что бормотанье его о чужихъ деньгахъ, о жизни на чужой счетъ можетъ заставить кого-нибудь крѣпко задуматься; точно такъ-же какъ никакая Надя, изъ числа множества подобныхъ Надей на Русской Землѣ, съ тоскою и томленіемъ проводящая дни за днями, рѣшительно не подозреваетъ, что время донесетъ къ ней, устами котораго-нибудь Михаила Ивановича, такія думы и тоскованія, о существованіи которыхъ она и слыхомъ не слышала.

Съ теченіемъ времени, изъ множества запутанныхъ вопросовъ началъ особенно выступать одинъ, и именно на счетъ того, что почему-то дѣйствительно требуется женишка. Въ томъ одинаково были согласны и мать, и солдатъ, и хозяинъ, и Михаилъ Ивановичъ; всѣ они хоромъ вопіяли о необходимости этого предмета, помощью котораго всѣ вопросы разрѣшаются сразу. Все это сердило Надю. Но скоро къ этому хору присоединился еще новый голосъ, который съумѣлъ такъ повернуть дѣло, что Надя даже стала бояться пренебрегать женихами.

Голосъ этотъ принадлежалъ Аринѣ-закладчицѣ. Пользуясь тѣмъ обстоятельствомъ, что Черемухина была ей «подвержена» вслѣдствіе заклада ей воротника, Арина стала отъ времени до времени посѣщать ее, дабы въ то же время потѣшить себя созерцаніемъ ея разоренія. Входила она обыкновен-

но раскачиваясь и охая и полагала при этомъ, что такъ именно поступаютъ благородныя дамы и богатые люди. Жеманно поздоровавшись съ Черемухиной, она, крахтя, усаживалась на старинное кресло и вступала въ разговоръ.

— Ну, какъ живете? утомленнымъ голосомъ говорила она.—Эко бѣдность-то у васъ какая!.. Чать жить-то вамъ нечѣмъ?..

— Мы пенсію получаемъ, не глядя на Арину, отвѣчала Черемухина и старалась скрыть свой гнѣвъ въ вязальныхъ спицахъ, которыя необыкновенно проворно начинали ходить въ ея рукахъ.

— Велика ваша пенсія! чать копѣйку какую выдаютъ... Нонѣ, братъ, очень трудно вамъ!.. Такъ-то-ся!.. Что-жъ дочеу-то замужъ поровнишь?..

— Не вѣкъ же въ дѣвкахъ ей сидѣть...

— Ну, мудрено это для васъ!.. Кто ее возьметъ, нищую-то?

— Не все миллионщицы...

— Ну, и безъ гроша-то тоже не очень много охотниковъ найдется... За дьячка, пожалуй, выдашь...

— Придется, такъ и за дьячка выдать! согласалась, скрѣпя сердце, Черемухина, чтобы хоть какъ-нибудь зажать этотъ злой ротъ.

— Чему приходится-то? Приходится-то нечему, и такъ выдашь, не минешь. Чему тутъ приходится? Нонѣ, братъ, не то время! Не старое, сударыня, время стоитъ. Въ прежнее время съ доходовъ сколько хошь женъ набери, по сту дитевъ въ годъ рожай,—всѣмъ хватить... Ну, теперь не очень-то!.. Много тоже изъ вашего брата пошло на улицу молодцовъ закликатъ... Вонъ у насъ генеральская дочь, а глянько-съ: день въ день по утрамъ домой приходитъ, шатается... Такъ-то-ся!.. Кто ее возьметъ? заключила она, кивая на Надю и взглядывая на нее весьма несимпатичнымъ взглядомъ.

Налюбовавшись надъ разореніемъ Черемухиныхъ, Арина наконецъ поднималась съ кресла, говоря, что «посидѣла-бы, да, вишь, стулья-то у васъ сле-живы... голову свихнешь», и уходила.

— Эко бѣдность-то, бѣдность-то какая!.. шептала она при этомъ и, покачивая головою, оглядывала всѣ углы въ жилищѣ Черемухиныхъ.

Такія посѣщенія Арины сдѣлались все чаще и чаще, и, благодаря ея разговорамъ объ участи Нади и о томъ, что ея никто не возьметъ, «женихъ» принялъ въ глазахъ послѣдней какое-то неотразимое значеніе. Тонъ, которымъ говорила Арина, очень близко подходилъ къ тону ругательства; Надя какъ-то перепугалась своего положенія. Не зная, почему ее бранятъ, и не зная, какъ «заслужить одобреніе», т. е. приобрести хоть сколько-нибудь спокойное состояніе духа, она, благодаря разсужденіямъ Арины, потеряла всякую надежду достигнуть этого съ помощью даже жениха, ибо оказывается, что ее еще и не возьметъ никто.

«Кто ее возьметъ?..» звучало въ ея ушахъ даже въ просонкахъ.

И если принять въ расчетъ обстановку Нади, томившейся среди какого-то захолустья, биткомъ набитаго отживающими людьми, къ которымъ сама

собою уничтожилась всякая симпатія, то будет понятно, почему въ это время Надя охотно бы вышла за любого, пожелавшаго сдѣлать ей предложение. Беззащитность ея нравственного и материальнаго положенія была до того велика, что, ради необходимости какъ-нибудь разрѣшить ее, она стала даже ободрять себя въ намѣреніи выйти поскорѣй замужъ, подкрѣпляя это намѣреніе тѣмъ, что дѣдушка и бабушка, нравы которыхъ сдѣлались для нея страшными,—старики, умирающіе люди, а что молодые живутъ не такъ.

Это намѣреніе было-бы приведено въ исполненіе самымъ поспѣшнымъ и самымъ легкомысленнымъ образомъ, если-бы въ жизни Нади не произошло одно случайное обстоятельство.

V. Земной рай.

1.

Въ числѣ знакомыхъ Нади было между прочимъ семейство Печкиныхъ. Съ этимъ семействомъ Надя познакомилась, во-первыхъ, потому, что Софья Васильевна, жена Печкина, оказалась подругою ея дѣтства, а во-вторыхъ, потому, что сваха, уже начавшая свои посѣщенія, отзывалась о Печкиныхъ почти съ благоговѣніемъ.

— Пройди ты всю подвселенную, нигдѣ ты этого рая земного не сыщешь!.. говорила она Надѣ:—Софья-то Васильевна—вотъ какъ ты же сирота, еще голѣй тебя была, а теперь глядь-ко-сь!.. Ровно принцесса живетъ.. Да что ей? Ни о чемъ заботушки нѣту, живетъ за мужемъ, ровно за каменной горой, даромъ что за не очень-то молодого выскочила...

Въ словахъ свахи скрывалась тайная цѣль сосредоточить вниманіе Нади на пожиломъ телеграфистѣ съ рыжими волосами и съ полупольскимъ выговоромъ. Но Надю главнымъ образомъ интересовало видѣть подругу, съ которой она не видалась съ тѣхъ поръ, когда еще маленькими дѣвочками онѣ катались на санкахъ и которая теперь живетъ въ земномъ раю; да и скука, требовавшая чего-нибудь новаго, кромѣ бормотаній Михаила Ивановича о грабежахъ, тоже въ достаточной степени помогла скорѣйшему посѣщенію земного рая. Михаилъ Ивановичъ, знавшій Печкина, какъ посѣтителя трифоновской лавки, взялся ее проводить туда.

Узенькій переулокъ, гдѣ былъ рай, привѣтствовалъ нашихъ путниковъ, помимо пустынности и тишины лѣтняго полдня, длинными заборами, тянувшимися по одной сторонѣ его, и нѣсколькими домами, смотрѣвшими въ эти заборы съ другой стороны; наглухо захлопнутыя и мертво-молчаливыя ворота дома Печкиныхъ, съ своей стороны, прибавили нѣкоторую дозу тяжести къ тому тяжелому впечатлѣнію, которое производилъ переулокъ. Но скука Нади, жаждавшая какого-нибудь исхода, сумѣла перетолковать эту смерть, носившуюся по переулку и вѣявшую отъ воротъ, въ смыслѣ плотной ограды, окружающей болѣе спокойную, нежели ея, жизнь.

Помощью веревки, протянутой черезъ заборъ къ колокольчику, изъ нѣдръ рая были извлечены предварительно нѣсколько собакъ, оскаленныя, захлебывающіяся рыла которыхъ внезапно появились въ десяткахъ, незамѣченныхъ до сихъ поръ, дыръ: въ заборахъ, въ подворотняхъ, на вершинѣ заборовъ и проч. Стараніями Михаила Ивановича и кухарки, отворившей ворота, полчища, охранявшія райскія двери, были разогнаны.

— Дома барыня? спросила Надя кухарку.

— Гдѣ имъ быть... Сталь-быть дома...

— Что она дѣлаетъ?

— Что ей дѣлать? Почиваютъ поди, либо такъ...

— Дѣлать ей нечего, обнаковенно! подбавилъ Михаилъ Ивановичъ.

— Обнаковенно! согласилась кухарка:—дѣловъ у нихъ нѣту никакихъ. Чего ей еще? •

Говоря такъ, она между тѣмъ съ большими усиліями отнимала отъ двери сѣней довольно толстую палку, которою двери эти были приперты, и, когда палка была брошена на землю, кухарка прибавила:

— Ишь, вогналь какъ, насилушки одолѣла...

— Кто это? сдѣлавъ шагъ въ сѣни, не могла не спросить Надя.

— Да это нашъ... баринъ!.. улыбаясь, отвѣчала кухарка.—Бережетъ ее... чтобы не было ей безпокойства... Тоже боится, не ушла бы!..

— Какъ не ушла?

— Да такъ ему взбрело: не ушла бы, молъ!.. А куда ей уйти-то?.. Боли-бы у нея дѣло... а то... куда ей?.. Ей и такъ некуда... Никакой заботы нѣту, ровно царица...

Михаилъ Ивановичъ не упустилъ случая поддакнуть при словахъ кухарки «кабы дѣло». Но Надя сначала посмотрѣла на нихъ на обоихъ, и, словно задумавшись, тихо пошла вдоль пустынныхъ сѣней. Шаги ея сдѣлались еще тише, какъ будто даже боязливѣе, когда тяжелая дверь, обитая войлокомъ, ввела ее въ переднюю, въ которой, кромѣ темноты, со всѣхъ сторонъ пахнуло на нее спертый, тяжелый воздухъ съ запахомъ сырой гнили. Надѣ хотѣлось кашлянуть. Но тишина остановила ее отъ этого. Та же тишина и тотъ же воздухъ преслѣдовали ее въ двухъ-трехъ комнатахъ, по которымъ она шла вслѣдъ за кухаркой и гдѣ декорация рая состояла изъ продавленныхъ стульевъ, пыли на пошатнувшихся столахъ, зеркала съ какимъ-то рисункомъ вверху рамы, картинъ, въ родѣ схимника, посѣщаемаго Александромъ Благословеннымъ, зеленыхъ сторъ, пожелтѣвшихъ снизу и въ десять разъ уменьшавшихъ то количество свѣта, которое за минуту опущала Надя на улицѣ. Словно туча вдругъ нанеслась на ясное небо, когда она вошла въ этотъ рай, и она совершенно испугалась, вмѣсто того, чтобы обрадоваться, когда кухарка вдругъ довольно громко произнесла:

— Вотъ они... Пожалуйте... Почивали!

На широкой кровати, съ измятой периной и множествомъ толстыхъ подушекъ, возсѣдало какое-то растрепанное существо съ развязавшейся косой, спутанными на лбу волосами и необыкновенно испуганными глазами. Изъ-подъ желтой, покрытой

пятнами блузы, съ распахнутымъ у горла разрѣзомъ, высовывались ноги, изъ которыхъ на одной чулокъ спускался почти до полу, а на другой его не было совсѣмъ; королева или принцесса, словомъ—обитательница земного рая, упиралась руками въ перину, что вмѣстѣ съ соннымъ выраженіемъ глазъ напоминало человека, надъ которымъ внезапно раздался выстрѣлъ. При видѣ этого существа, Надя остановилась въ нѣкоторомъ изумленіи, и въ комнатѣ нѣкоторое время царствовала бы мертвая тишина, если-бы не залегшій во время сна нось королевы, который прорѣзывалъ эту тишину разнотонными отрывистыми звуками.

— Соня... Сонечка! съ робостью начала Надя; но прежде, нежели ей удалось расплатать это райское спокойствіе, ей нужно было не робкимъ, но усиленно-громкимъ голосомъ повторить, что «помнишь-ли... Надя!.. Я—Надя Черемухина... На санкахъ-то...» Нужно было также потрогивать Софью Васильевну за плечо, за руку... Но когда Софья Васильевна наконецъ поняла, въ чемъ дѣло, и нѣсколько разъ поцѣловалась съ Надей, крѣпко ее обнимавшей, испугъ ея съ внезапною быстротою замѣнился слезами, которыя хлынули цѣлымъ потокомъ, какъ вода на прорвавшейся плотинѣ... Лицо и тѣло Софьи Васильевны, продолжавшей сидѣть на кровати, какъ-то вдругъ осыпались, раздalisъ въ стороны, сдѣлались шире, и по всей ихъ ширинѣ бушевалъ потокъ рыдающаго трепета.

Надя глядѣла на это трепещущее и рыдающее существо, слушала ея захлебывающіяся слова: «Надя!.. милая... Надя!» — и вдругъ ей стало досадно. Во всемъ этомъ не чувалось ею даже и того ничтожнаго интереса и смысла, которые все-таки были въ захоластьи, гдѣ жила Надя. Эта досада, уменьшавшаяся по мѣрѣ того, какъ слезы начали мало-по-малу пересыхать на распухшемъ и раскраснѣвшемся лицѣ Софьи Васильевны, вдругъ была еще болѣе усилена появленіемъ новаго лица. Среди новыхъ всхлипываній Софьи Васильевны донесся изъ передней крикливый, разсерженный, но старческий и дребезжащій голосъ ея супруга.

— Кто такой? Ты что? Что такое? Это что? Что это такое?.. бормоталъ онъ, натыкаясь на растворенныя двери крыльца, на валяющуюся палку и съ изумленіемъ встрѣчая въ передней фигуру Михаила Ивановича.

— Что ты? Что ты орешь? донесся до Нади неменѣе негодующій отвѣтъ Михаила Ивановича, который не могъ относиться къ Печкину равнодушно, зная его мнѣнія по трифоновскимъ бесѣдамъ. — Съ барышней пришелъ, что орешь-то?.. Хапнуть не дали?

— Что мнѣ съ барышней? Что такое—съ барышней? Я боленъ... Съ барышней... съ барышней! Все расперто!.. Что такое? Софья!.. Что это такое?..

Слова эти, раздавшіяся почти одновременно въ передней, въ залѣ, гостиной, вмѣстѣ съ торопливыми звуками шаговъ, наконецъ раздalisъ и въблизи Нади, въ спальнѣ, гдѣ на порогѣ появился Печкинъ, длинный и драблый чиновникъ, съ растеряннымъ, кислымъ и осерженнымъ лицомъ. Не обра-

щая на Надю никакого вниманія, онъ бросилъ шапку, фильдесовыя перчатки, скинулъ сюртукъ и все время вопилъ:

— Что это такое? Акулина! Соня! Боленъ! я! Господи...

— Дай ей съ барышней-то повидаться, усовѣщивала Печкина кухарка.

— Что такое? Барышня! Что мнѣ барышня? Съ барышней, съ барышней... Я боленъ... Говорю вамъ, меня баба сглазила... Господи!.. Расперто... растворено... Да сдѣлайте милость... Софья! Спрыснь!.. Спрысни ради Христа!

Сердитая чужь, которую Печкинъ сыпалъ не переставая, и сопряженный съ этою чужью гвалтъ заставилъ Надю уйти въ другую комнату. Отсюда она съ большимъ испугомъ глядѣла на этихъ людей, обитателей рая, кропившихъ и брызгавшихъ другъ друга святой водою, сердившихся, кричавшихъ, испуганныхъ и въ помраченіи ума натыкавшихся одинъ на другого. Все это до того изумило ее, что она, издали сказавъ Софѣ Васильевнѣ «прощай», «приду», бѣгомъ бросилась вонъ изъ комнаты.

— Михайло Ивановичъ! крикнула она ему въ какомъ-то изнеможеніи, и тотъ, отвѣчая на отчаяніе, слышавшееся въ ея голосѣ, бросился вслѣдъ за ней.

Очутившись на улицѣ, Надя перевела духъ и, взглянувъ на Михаила Ивановича, сказала:

— Господи! что это?..

— Черти! отвѣчалъ Михаилъ Ивановичъ. — Облопались... Сглазила! Ишь вѣдь что выдумаетъ! сглазить этакого дьявола... Ему зацарапать нечего въ ла-апу!..

На этотъ разъ обыкновенныя бормотанья Михаила Ивановича на счетъ грабежей не казались Надѣ скучными; напротивъ, они освѣжали ея голову, пораженную сценами райской жизни, обставленной припертыми воротами и одурѣвшими людьми.

2.

А въ сущности будущность Нади едва-ли могла быть лучше участи Софьи Васильевны, которая дѣйствительно пользовалась самымъ лучшимъ положеніемъ, какое только возможно въ томъ кругу, гдѣ живутъ не трудясь. До замужества съ Печкинымъ, полтора года тому назадъ, Софья Васильевна имѣла рѣшительно тѣ же самые шансы на самостоятельную жизнь, какъ и скучавшая въ настоящее время Надя. По выходѣ изъ пансіона, она, какъ сирота, жила у вдовой пожилой тетки, гдѣ занятія ея состояли въ томъ, что она тихонько ходила изъ комнаты въ комнату, тихонько читала «Юрія Милославскаго», тихонько поливала цвѣты. Были ли у нея какіе-либо планы на счетъ будущности—рѣшительно неизвѣстно; пансіонская наука, представлявшая смѣшеніе Гибралтаровъ съ заповѣдями и Мамаевъ съ перешейками, особенно опредѣленныхъ цѣлей въ жизни ей не дала, сдѣлавъ изъ нея существо, о которомъ, при самомъ тщательномъ наблюденіи, можно было сказать только, что она румяная и добрая. Все это, такъ-сказать, обзывало Софью Васильевну отнюдь не дѣлать шагу на

тому пути, гдѣ ничего не могутъ сдѣлать переговорышія въ огнѣ руки Михайловъ Ивановичей, и идти только туда, куда ее поведутъ и гдѣ ей помогутъ. И вотъ является какой-нибудь руководитель, которому нужна жена, беретъ ее, ведетъ въ свой домъ и наполняетъ пустой сосудъ собственными интересами. И каковы-бы ни были они, всякая Софья Васильевна должна быть несказанно благодарна за нихъ, ибо чѣмъ-бы могла наполнить она свое существованіе, если-бы у мужа не было охоты водить куръ, если-бы онъ не любилъ драться, напиваться, если-бы не направилъ взятаго имъ автомата къ интересамъ толкотни на базарѣ, крика съ торговцами, дебоша съ кухаркой по случаю пропавшаго куска сахара? И если принять въ расчетъ, что путь, по которому должны идти всѣ имѣющіе въ запасѣ одинъ только румянецъ, усѣянъ дебошами супруговъ, увѣчьями и прочими ужасами заолупственной тишины, то положеніе Софьи Васильевны дѣлается дѣйствительно райскимъ, ибо Павелъ Ивановичъ Печкинъ, взявшій ее для собственной надобности, избавилъ ее отъ всѣхъ вышеупомянутыхъ терній, ибо женился на ней въ то время, когда всякая возможность къ интересамъ, вращающимся между курами и пьяными драками, была устранена.

До сорокапятилѣтняго возраста Павелъ Ивановичъ не чувствовалъ крайней необходимости въ супругѣ, такъ какъ, принадлежа къ числу людей, успѣвшихъ по службѣ, и не употребляя водки, онъ одинъ вилъ свое гнѣздо, при самой незначительной помощи толстой и жирной бабы, которая жила у него единственно только для порядка. Тщательность, съ которою Павелъ Ивановичъ вникалъ въ чѣистоту кусковъ сахара и копѣекъ, придержанныхъ бабой у себя во время покупки провизіи, дѣлала его самого болѣе похожимъ на бабу, нежели на чиновника! Благодаря этой рачительности, у него выросъ собственный домъ, собственное хозяйство, и благосостояніе вообще достигло до такой степени совершенства, что въ помощницѣ или женѣ не чувствовалось ни малѣйшей надобности. Только нѣкоторые порывы жирной бабы, норовившей по временамъ отправить въ деревню «къ своимъ» какую-нибудь ложку или носовой платокъ цѣною въ гривенникъ, заставляли отъ времени до времени вступать въ разговоры со свахой на счетъ невѣсты; но, благодаря находчивости бабы (у которой въ Москвѣ, въ воспитательномъ домѣ, было нѣсколько ребятъ), всѣ неспріятельскія съ барининомъ улаживались, устраивались и переговоры со свахой оканчивались ничѣмъ. И Павелъ Ивановичъ никогда бы не задумался на счетъ женитьбы серьезно, если-бы руководствовался интересами исключительно хозяйскими и если-бы духъ времени не ворвался въ среду его установившагося міросозерцанія. Необходимо замѣтить, что внутренний міръ Павла Ивановича былъ до сего времени тоже въ полномъ благосостояніи: онъ никогда не думалъ о томъ, почему, напримѣръ, начальство можетъ получать двойные прогоны, распекать, выгонять, гнѣть въ бараній рогъ, и почему въ то же время онъ, Павелъ Ивановичъ, ничего этого дѣлать не можетъ?

Почему онъ, отправляясь на службу, долженъ строчить разныя бумаги, брать взятки, вытягиваться передъ совѣтникомъ, и почему должны ему давать эти взятки, требовать вытяжки и проч.? Павелъ Ивановичъ принялъ все это съ тѣмъ же спокойствіемъ, съ какими люди убѣждаются, что солнце свѣтитъ, что подъ ногами—земля, а надъ головой—небо; объ этомъ даже и не думаютъ. Павелъ Ивановичъ дѣлалъ все это исправно и жилъ поэтому весьма счастливо до тѣхъ поръ, пока время не пошатнуло этого міросозерцанія. Съ нѣкоторыхъ поръ стало оказываться, что взятка—вещь гнусная и что Павелъ Ивановичъ—полдецъ, тогда какъ онъ считалъ себя честнымъ человѣкомъ. «Развѣ я что укралъ?» говорилъ онъ въ подтвержденіе этого. Начальство, которое прежде только распекало, которое прежде отличалось опытностью и дряхлостью, стало замѣняться какими-то шелкоперами, которые носили пестрые брюки, курили въ присутствіи сигары, не брили бороды, выгоняли вонъ безъ суда и слѣдствія, не желали видѣть доказательства честности въ безпорочной прижкѣ. Все это и множество другихъ либеральныхъ реформъ, похожихъ на снисхожденіе къ пестрымъ брюкамъ, вломились въ умственный міръ Павла Ивановича и произвели въ немъ потрясеніе. Павелъ Ивановичъ впервые сталъ ощущать тоску, возвращаясь изъ должности въ лоно своего благоустроеннаго хозяйства; впервые подъ ея вліяніемъ онъ сталъ ощущать, что разговоры послѣ обѣда съ бабой о разныхъ разностяхъ, которые въ прежнее время онъ такъ любилъ, не идутъ къ дѣлу и не помогаютъ. Какъ человѣкъ набожный, онъ возлагалъ большую надежду на помощь Божію, надѣясь, что всѣ эти брюки, честности и бороды «прейдутъ», ибо посылаются въ наказаніе народамъ за беззаконія и блудную жизнь; но въ сущности это были только самые легкіе удары начинавшагося землетрясенія. За бородами пришли времена, когда вдругъ мужики перестали давать взятки. Въ былое время Павелъ Ивановичъ напишетъ бумажку и знаетъ—что ему сейчасъ дадутъ и что потому это даваніе онъ положить въ карманъ; а тутъ пришло такъ, что онъ только пишетъ бумажки, а въ карманъ ничего не кладетъ и не знаетъ, чѣмъ занять оскорбленную руку. Затѣмъ пошли новые суды, неповиновеніе въ народѣ (а въ томъ числѣ и въ кухаркѣ). И все это вмѣстѣ внесло въ душу Павла Ивановича множество самыхъ непримиримыхъ вещей; не говоря о существѣ этихъ вещей, можно указать только на силу ихъ томительности, исходившей изъ того, что Павелъ Ивановичъ принужденъ былъ всѣми этими новизнами къ размышленіямъ о чемъ-то такомъ, о чемъ онъ прежде и не думалъ. Ради забвенія этой тоски, съ которою непосредственно соединялись боль въ спинѣ и крестцѣ, ломота костей, нытье рукъ и ногъ, Печкинъ сталъ шататься въ лавку Трифонова, которая уже успѣла прославиться своими успокоительными средствами. Но у Трифонова хотя и было очень много вещей, совершенно не напоминавшихъ современности, однако-же не получалось и полного успокоенія, потому что и сюда отъ времени до времени за-

летали слухи о новых судах, о честности, о желѣзной дорогѣ... Въ концѣ концовъ все это до того повалило Павла Ивановича, до того уронило его въ собственномъ уваженіи, что требовалось какое-нибудь рѣшительное средство для того, чтобы привести въ порядокъ его душу и оживить ее.

Онъ рѣшился жениться, обновить свою жизнь; для этого онъ пошелъ и взялъ Софью Васильевну, которой самой некуда было идти и которая безъ посредства Павла Ивановича должна бы была погибнуть, какъ муха, или весь вѣкъ потихоньку поливать цвѣты и утрачивать румянецъ. Румянецъ этотъ первоначально былъ «пораженъ счастьемъ», видя его въ 45-тилѣтнемъ Павлѣ Ивановичѣ, и сталъ громко и горько плакать; но когда былъ поставленъ подвѣдъ и спрошенъ: «согласны ли?»—то отвѣчалъ, что «согласенъ». Послѣ этого онъ пересталъ плакать, сказалъ себѣ «ну, что-жъ!» окаменѣлъ, одеревенѣлъ и, въ качествѣ пустого сосуда, началъ наполняться интересами супруга. Окаменѣніе и одеревенѣніе являются прямымъ результатомъ житія подъ чьею-либо властью. Софья Васильевна не могла избѣгнуть его, но зато самая власть, взявшая ее, была изумительно ничтожна: она требовала только одного, и именно только того, чтобы Софья Васильевна признавала ее за эту власть въ то время, когда всѣ считаютъ ее за ничто. Софья Васильевна не зачѣмъ было беспокоиться, что мужъ пьянъ и разобьетъ голову, прибьетъ ее и проч. Павелъ Ивановичъ не пилъ ни одной капли; не зачѣмъ было ей тревожиться хозяйствомъ, устройствомъ спокойя, благоденствія: все это было устроено прежде ея прихода; ей нужно было только слушать ропотъ Павла Ивановича на современность, и лучше, ежели-бы она не понимала его. Софья Васильевна была счастлива и въ этомъ отношеніи, ибо ропотъ Павла Ивановича былъ лишенъ всякой логики. Разозленный, напримѣръ, сразу множествомъ новыхъ явленій, онъ въ бѣшенствѣ ходилъ по комнатамъ и вопіялъ:

— Желѣзная дорога! Ну, что такое желѣзная дорога? Желѣзная дорога, желѣзная дорога! А что такое? въ чемъ дѣло?... неизвѣстно!

Отвѣчать что-нибудь на такіе фразы или возражать на нихъ—вещь весьма не безопасная, ибо Павелъ Ивановичъ и сердится на желѣзную дорогу собственно только потому, что она, наряду съ другими явленіями, тоже какъ будто возражаетъ ему и мѣшаетъ съ прежнею ясностью видѣть кругомъ себя. Софья Васильевна не понимаетъ ничего и молчитъ. А Павлу Ивановичу легче: его слушаютъ.

Такимъ образомъ у Софьи Васильевны не оказывалось никакой работы, кромѣ заботы слушать брюзжанія Павла Ивановича, и слѣдовательно румянецъ ея и знакомство съ перешейками нашли самый подходящій пріютъ для себя, тѣмъ болѣе подходящимъ, что одеревенѣніе Софьи Васильевны уничтожило и ту тѣнь труда, которая для нея могла заключаться въ заботѣ слушать Павла Ивановича. Она слушала его и не слыхала ничего, и это было отлично.

Такъ и пошла ея райская жизнь.

Избавленная отъ всякихъ заботъ и трудовъ, Софья Васильевна могла спать, просыпаться, обѣдать и опять спать: окаменѣніе ея росло и дѣлалось способнымъ воспринять самыя раздражающія брюзжанія Павла Ивановича, дѣлало ихъ даже незамѣтными, не смотря на то, что, согласно съ безпрестаннымъ наплывомъ новыхъ явленій, оно дѣлалось какъ-то безтолковѣе и длиннѣе. Разоренный умъ Павла Ивановича, ободренный сначала появленіемъ Софьи Васильевны, съ теченіемъ времени снова почувствовалъ потребность поддержать себя чѣмъ-нибудь новымъ, помимо Софьи Васильевны. Загроможденная желѣзными дорогами, новыми судами, нотаріусами и проч., мысль Павла Ивановича вывела его то къ необходимости лечиться, ставить банки, пивки, то къ необходимости усерднѣе прибѣгнуть къ Богу и наконецъ, совершенно неожиданно для него самого, привела его къ убѣжденію въ необходимости построже смотрѣть за женой. Это было до того ново и дотога во власти Павла Ивановича, что ему снова стало покойнѣе и легче, если онъ, возвратившись изъ должности, шопотомъ спрашивалъ кухарку:

— Что моя жена... ничего?..

Кухарка передавала объ этомъ барынѣ; но ей было все равно. Точно также ей было все равно послѣ того, какъ Павелъ Ивановичъ, въ видахъ новаго ободренія самого себя, выказалъ намѣреніе заперать ее снаружи, упирая дубинкой въ дверь и проч. Она продолжала прозябать, теряла человѣческій ликъ и нравъ, теряла съ каждымъ днемъ даже потребность опрятности, и такимъ образомъ получились тѣ результаты райской жизни, которые повергли Надю въ величайшее изумленіе.

3.

Раздумывая надъ положеніемъ Софьи Васильевны, Надя постепенно додумалась до того, что Сонечка достойна величайшей жалости. Подъ вліяніемъ этой мысли, она снова отправилась къ ней. снова перенесла всѣ эти преграды, слезы, объятія и добилась все-таки того, что увела Софью Васильевну съ собою. Большихъ трудовъ ей стоило уговорить ее не трепетать и не вздрагивать отъ уличнаго шума, который весь и состоялъ только въ томъ, что какой-то мужикъ везъ куда-то песокъ; не бросаться въ стороны отъ прохожихъ, не ахать, хватаясь за грудь, при крикѣ лавочнаго сидѣльца и проч. Кое-какъ наконецъ Софья Васильевна была приведена въ домъ Черемухиныхъ и обласкана; успокоить ея тревогу относительно того, «что скажетъ мужъ»,—не было никакой возможности, несмотря на одинаковыя старанія Черемухиной, Нади и Михаила Ивановича.

— Да что ты, матушка? уговаривала ее Черемухина:—велика бѣда—разъ изъ дому въ гости ушла!

— Что вы ужъ очень-то? успокоивалъ Михаилъ Ивановичъ.—Велика фра!.. Да шутъ съ нимъ! лущайность подумаетъ, не-чѣмъ колями-то припирять!

Никакое изъ подобнаго рода увѣщаній не могло

хоть на вершок поколебать страха, который вдругъ стала чувствовать Софья Васильевна къ мужу, не внушавшему ей до сихъ поръ ничего, кромѣ полнаго равнодушія. Надя водила ее по саду, по двору, знакомила съ хозяевами, показывала людей, спавшихъ за заборами на перинахъ, и проч. Софья Васильевна какъ-то вдругъ начинала радоваться всему, что ни показывала ей Надя, и тотчасъ же впадала въ уныніе.

Въ концѣ вечера эти старанія сдѣлали то, что вмѣстѣ со страхомъ къ мужу въ сердцѣ Софьи Васильевны воспиталось уже крошечное зерно упрямства; ей уже не хотѣлось домой; а когда Надя предложила ей остаться и ночевать, говоря на счетъ Павла Ивановича: «пусть его», то Софья Васильевна только залилась слезами, но въ ужасъ не приходила.

Успокоивая ее, Надя шла съ ней изъ саду и тоже нѣсколько испугалась, встрѣтивъ кухарку Печкиныхъ, которая за минуту предъ этимъ, запыхавшись, вбѣжала въ ворота.

— Матушка, Софья Васильевна! Пожалуйте скорѣй домой! испуганно говорила она. — Павелъ Ивановичъ такой сдѣлали шумъ, такой шумъ!

И тутъ испуганнымъ, какъ говорится «на-смерть», голосомъ она рассказала, что Павелъ Ивановичъ, не найдя дома жены и не зная, гдѣ она, распушилъ ее, кухарку, и хотѣлъ тотчасъ же объявить полицію о розыскѣ сбѣжавшей съ офицеромъ жены. Кухаркѣ нужно было много времени, чтобы убѣдить барина, что никакого офицера тутъ не было и въ поминѣ, а приходила «барышня». Павелъ Ивановичъ никого не слушалъ, кричалъ на весь домъ: «Барышня, барышня? что мнѣ съ барышней? что такое? въ чемъ дѣло?» и сталъ бѣгать по лавкамъ, рассказывать всѣмъ, что «пришелъ домой, а жены нѣту», спрашивалъ всѣхъ: «не выдали ли?» заглянулъ даже въ нѣкоторые кабаки и трактиры. Наконецъ кухарка, благодаря скукѣ и наблюдательности обитателей тѣхъ улицъ, по которымъ Надя и Софья Васильевна достигли дома Черемухиныхъ, отыскала ихъ и требовала немедленнаго возвращенія.

Досада охватила сердце Нади при этомъ разсказѣ и при видѣ убитой фигуры Софьи Васильевны, которую тащатъ въ какую-то берлогу.

— Она не хочетъ! Она не пойдетъ! сказала она кухаркѣ довольно рѣшительно.

— Какъ это можно не идти? Гдѣ это видано! въ ужасѣ отвѣчала кухарка. И ея слова были подтверждены хоромъ нѣсколькихъ зрителей, въ числѣ которыхъ былъ хозяинъ, хозяйка и солдатъ.

— Да она хочетъ быть здѣсь! убѣждала Надя публику.

— Мало чего нѣтъ? Она хочетъ тутъ, а мужъ хочетъ тамъ!.. Нѣтъ, ужъ это что же?.. Нѣтъ, ужъ ии!.. Какъ жена можетъ уйти?.. говорила публика.

— Онъ пожалуй осерчаетъ да прогонитъ еще! прибавила кухарка. — Они вонъ, Павелъ Ивановичъ-то, чаю не пьютъ безъ нихъ... Этого нельзя!

— Да онъ одинъ напейся, развѣ не все равно? отставала Надя Софью Васильевну.

— Супругъ желаетъ, чтобы вмѣстѣ! Сударуш-

ка! со всѣмъ усердіемъ объясняла ей кухарка:—такое его желаніе, должна же супруга ему сдѣлать по вкусу!

— А она здѣсь желаетъ быть, долженъ онъ ей позволить!

— Матушка! продолжала кухарка:—такое его желаніе, чтобы чай съ нею... Онъ такъ желаетъ... Должна она себя же приневолить!

Толпа подтверждала справедливость разсужденій кухарки. Старушка Черемухина, выглянувшая изъ комнаты, тоже не была противъ общаго мнѣнія, но высказала это довольно осторожно, сказавъ «вообще», что, молъ, конечно жаль, а все-таки... Но самое полное доказательство правды этихъ мнѣній было внезапное появленіе самого Павла Ивановича. Онъ торопливыми шагами направился къ женѣ въ самую середину толпы, и вслѣдъ затѣмъ изъ разгнѣванныхъ устъ его полилась дребезжащая и крайне сердитая дичь и чужь.

— Это что такое?.. Что это такое?.. захлебываясь отъ усталости и волненія, задрезжалъ онъ, глядя на Софью Васильевну:—я чаю не пилъ! Вѣдь это, вѣдь...

— Я съ Надей! едва внятно произнесла Софья Васильевна.

— «Съ Надей?» почти вскрикнулъ Павелъ Ивановичъ, выпячивая грудь впередъ и растопыривая руки. — Что такое: «съ Надей»? Что мнѣ «съ Надей»? «Съ Надей», «съ Надей», а я... я чаю не пилъ!

— Ваша кухарка... начала-было Надя.

— Кухарка! еще громче вскрикнулъ Печкинъ и еще больше качнулся назадъ. — Что мнѣ кухарка? позвольте васъ спросить: что такое кухарка? а между тѣмъ... а-а... Вѣдь это невозможно!..

Сердитая чужь, сыпавшаяся изъ устъ Печкина и произносимая довольно громкимъ и крикливымъ голосомъ, въ соединеніи съ шумными сужденіями публики, съ каждой минутой привлекали все новыхъ зрителей и праздныхъ наблюдателей. Еще двѣ или три минуты, и на дворѣ Черемухиныхъ собралась бы толпа. Старушка Черемухина, знакомая съ нравами захолустьевъ, поспѣшила предупредить образованіе формальной сцены и пригласила Печкиныхъ въ комнату. Здѣсь она объяснила Павлу Ивановичу въ чемъ дѣло, уговорила его не беспокоиться и затѣмъ ласково проводила супруговъ за ворота. Надя съ грустью разсталась съ Софьей Васильевной и долго не могла успокоиться насчетъ того, что значить въ рукахъ супруга такое ничтожное обстоятельство, какъ «я не пилъ чаю!»

По уходѣ Печкиныхъ, захолустье, разбуженное супружескимъ вопросомъ, продолжало обсуждать его, и Надя принимала въ этихъ разсужденіяхъ живѣйшее участіе. Желая уронить въ общихъ глазахъ значеніе Павла Ивановича, она высчитала передъ хозяйской кухаркой, съ которой шла разговоръ, всѣ его злодѣянія въ видѣ колыбѣй, ворчанья и заключила тѣмъ, что если бы ей пришлось съ этимъ человѣкомъ пробыть одинъ день, то она бы умерла или ужъ по крайней мѣрѣ ушла бы прочь.

— И, матушка, отвѣтила ей кухарка:—ушла! Буды пойдешь-то, посуди сама? Вѣдь ты дня безъ

супруга-то не продышешь! Повертись, повертись на крылечкѣ да и придешь опять! Кабы вы были простого званія, онъ бы, мужъ-то, такъ-то не привередничалъ... А то вы благородные: по этому случаю вамъ надѣтъ исполнять его приказъ.

— А простого званія? спросила Надя: — а ты?

— Я-то? Мой мужъ такъ-то не посмѣетъ... ему не расчетъ надо мной потѣхи потѣшать. Потому онъ знаетъ, что, ежели ему рубль серебромъ понадобятся, я ему дамъ, помогу изъ своихъ трудовъ, изъ своихъ достатковъ, а ежели онъ пьянъ напьется да придетъ ко мнѣ шумѣть, — такъ я его тоже могу и въ часть посадить! Потому я сейчасъ взяла изъ своихъ денегъ гривенникъ, дала его будочнику, онъ его такъ-то ли прекрасно въ часть запретъ! Такъ то-съ!

— Да кѣмъ и онъ тоже можетъ будочнику дать гривенникъ?

— Счаужь не дастъ? — дастъ: только ему же хуже... Въ чужихъ людяхъ той помочи-добра не сыщешь, что въ женѣ мужъ, а въ мужѣ жена... Мы не допускаемъ себя до этого... Къ примѣру сказано... А у благородныхъ-то этого нельзя; благородный-то, хоть «что-хоть» — мудри надъ женой, ей и будочникъ помочи не окажетъ, потому, какъ онъ барина въ часть потащить? Такъ она и должна себя потрафлять по мужу... Потому ей безъ мужа не съ-чѣмъ взяться!

Почти то же самое высказывали и другія лица, обсуждавшія этотъ вопросъ: Михаилъ Ивановичъ, и солдатъ, и хозяинъ, и хозяйка, и во всѣхъ ихъ рѣчахъ непремѣнно упоминалось о какомъ-то «своемъ трудѣ», «своихъ деньгахъ», какъ единственныхъ средствахъ, съ помощью которыхъ можно избѣжать всѣхъ этихъ безобразій.

Вечеромъ Надя долго думала обо всемъ, что пришлось видѣть, и рѣшительно не могла прийти къ иному выводу кромѣ того, что кухаркѣ дѣйствительно лучше жить, нежели барынѣ или барышнѣ.

VI. Все по старому.

1.

Какъ ни обстоятельно и ясно Павелъ Ивановичъ предъявлялъ свои супружескія права и силу мужниной власти, однакоже Надя и Софья Васильевна сошлись другъ съ другомъ ближе. Надю къ этому побуждало сожалѣніе о горькой участи подруги; Софья Васильевна стремилась къ тому же, почти буквально ради возможности «дохнуть свѣжимъ воздухомъ». Сближеніе это отчасти внесло нѣкоторую долю разнообразія въ скучную жизнь Нади, ибо, благодаря ему, противъ Павла Ивановича была открыта война, занятіе конечно не особенно интересное; но въ томъ мірѣ, гдѣ умѣютъ только покоряться, гдѣ не имѣютъ другого дѣла, кромѣ подставленія собственной спины подъ удары, и эту войну можно считать дѣломъ. Обѣ наши подруги принадлежать къ провинціальной «толпѣ», массѣ; онѣ неразвиты, необразованы и испытываютъ самые первые, самые ранніе симптомы сомнѣній; и если принять въ раз-

счетъ, что въ этой толпѣ никто никогда не сомнѣвался въ томъ, въ чемъ сомнѣвается Надя, то и война противъ Павла Ивановича — уже шагъ впередъ. Наперекоръ его брюзжанью, онѣ стали все чаще и чаще пользоваться его отлучками въ должность, послѣ обѣденными снами, для того чтобы уйти изъ дому куда-нибудь, на что-нибудь посмотреть, посидѣть и погулять въ черемухинскомъ саду, или просто сказать другъ-другу: «какая скука!» и ждать, пока появится разбѣшенный Павелъ Ивановичъ. Появленія его доставляли Надѣ нѣкоторую долю удовольствія быть злой и чувствовать себя какъ-будто бы самостоятельной, въ степени весьма впрочемъ слабой, ибо вся эта самостоятельность состояла въ томъ, что Надя съ теченіемъ времени приучила себя безъ страха смотрѣть въ разгнѣванные глаза Павла Ивановича и тоже безъ страха говорить ему, что Софья Васильевна не хочетъ идти домой, что она остается у ней ночевать.

— Вотъ и все! съ гнѣвомъ прибавляла она.

— Ночевать! восклицалъ Павелъ Ивановичъ. — Вотъ это великолѣпно! Ночевать, ночевать. — а что такое? въ чемъ дѣло? Непонятно!.. Вѣдь это... Авдотья Петровна! обращался Печкинъ къ старухѣ Черемухиной. — Вы мать... Я мужъ, развѣ возможно?.. Она ваша дочь... Вѣдь это!..

— Я, батюшка, человекъ старый!.. отдѣлывалась Черемухина, чувствуя, что и ея голова разоряется въ послѣднее время. Съ одной стороны ей кажется, что нѣту грѣха въ дружбѣ и скитаніяхъ ея дочери съ женой Печкина, съ другой ей тоже кажется, что Софья Васильевна должна почему-то сидѣть дома, ибо и сама Черемухина дѣлала такъ въ теченіе цѣлой жизни.

И Надя чувствовала полное торжество, когда, несмотря на продолжительное оранье и брюзжанье Печкина, ей удавалось обдѣлать такое дѣло, какъ оставить ночевать у себя Софью Васильевну, и видѣть, какъ разбѣшенный Павелъ Ивановичъ именуетъ и убѣждаетъ со двора. Павелъ Ивановичъ, голова котораго, какъ ужъ намъ извѣстно, была разорена современностью до послѣдней возможности, благодаря этой борьбѣ съ Надей и съ женой, получалъ тоже достаточно опредѣленную жизненную цѣль и имѣлъ возможность возмещать противъ событий, ему совершенно ясныхъ, и уже не враждовалъ противъ желѣзной дороги, которая не сдѣлала ему ровно никакого зла. Теперь было уже совершенно ясно, что во всемъ виновата жена, и о злодѣяніяхъ ея онъ трубилъ рѣшительно повсюду.

— Вотъ какъ, братъ, жены-то нынѣшнія! въ гнѣвѣ кричалъ онъ въ окно сосѣду-портному и показывалъ ему чайникъ; самъ, братъ, засыпъ, самъ раздуй самоварчикъ, а не хочешь — поди на улицу да издыхай въ подворотнѣ. Вотъ, братъ! Голую вяжъ, думалъ, что за мое благодѣяніе...

— Ишь шельма!.. говорилъ портной и прибавлялъ со вздохомъ: — не тѣ нынѣ порядки, батюшка Павелъ Ивановичъ!.. Вы такъ думали, что за ваши ея благодѣянія она вамъ всякое удовольствіе напримѣръ, — да! а она, напримѣръ, задрала хвостъ въ то же время... Такъ-то-съ!..

— Да-а, братъ! Нонче порядки, братъ, пошли, совѣсьмъ собачьи... Ты хочешь такъ, а тебѣ вотъ такъ!..

— Ты, напримѣръ, олакъ вотъ имѣешь желаніе, а на мѣсто того тебѣ дѣлаютъ такъ-то вотъ! прибавляя, поясняя, портной, и въ концѣ-концовъ получалъ отъ Павла Ивановича рюмку водки, что и составляло тайную цѣль портного въ теченіе всего разговора.

Но главнымъ пристанищемъ Павла Ивановича во всѣхъ горестяхъ послѣдняго времени была все та же лавка Трифонова. Какъ ни сильно была у Трифонова привязанность исключительно къ самому себѣ, къ своей медицинѣ и пѣнію, но когда дѣло касалось женщинъ или «бабъ», онъ не оставался хладнокровнымъ слушателемъ и всегда готовъ былъ произнести сужденіе на этотъ счетъ, причѣмъ на суровомъ лицѣ его мелкало нѣчто вродѣ улыбки.

— Что, братъ, говорилъ Печкинъ, входя въ лавку и въ изнеможеніи опускался на стулъ.— Вѣдь опять хвостомъ вильнула, ушла!

— А ты спи покрѣпче!.. говорилъ Трифоновъ.

— Проснулся, хватъ!—и слѣдъ простылъ!

— Про что-жъ я-то говорю? Храпи поздоровай, каши наѣшься, набей брюхо-то, а она въ теченіе того времени будетъ тебѣ весьма благодарна... Дубина!.. начиналъ Трифоновъ, принимая обыкновенный суровый тонъ:—любownika ищи!.. Гнилая колода! любownika разыскивай... Чего храпишь-то?..

— Да нѣту любовниковъ, братъ, нѣту! въ уныніи говорилъ Печкинъ.

— Да какъ нѣту любовниковъ? сердился Трифоновъ.—Какую это имѣть возможность твое слово, ежели она бѣгаетъ отъ тебя? Плетень! Ужъ ежели же она хвостъ треплетъ, слѣдственно ужъ гдѣ-нибудь да имѣетъ она свой проступокъ? Какъ любовниковъ нѣту?..

— Да именно я тебѣ говорю, что нѣту ихъ! Съ дѣвчонкой, съ Надькой Черемухиной патается!..

— Да черепокъ ты этакой! Да и у дѣвчонки-то, разгляди-ко-съ хорошенько, ужъ они тамъ, любовники-то, гдѣ-нибудь приготовляютъ себя... Глупецъ! Разбери-ко дѣвчонку-то съ разсудкомъ, такъ ужъ тамъ, братъ, они, любовники-то, въ значительномъ благополучіи состоятъ... Нѣту любовниковъ! Экій носъ табашный!.. А ежели нѣту любовника, какъ же не можешь ты жену свою вогнуть въ струну!.. И совершенная ты будешь пакля, ежели ты его не разыщешь, потому ежели ты его сплассешь, то можешь ты ее, супругу, по закону раскритиковать всячески!.. А безъ этого тебѣ никакъ нельзя... Я, братъ, ученъ ими... Онѣ у меня, бабы-то, вотъ гдѣ сидятъ!..

При этомъ Трифоновъ показывалъ на затылокъ, и именно этимъ можно объяснить то рвеніе, съ которымъ онъ относился къ дѣламъ Печкина. Дѣлъ этихъ однакоже не поправляло участіе, которое Печкинъ находилъ въ лицахъ, ему сочувствовавшихъ: любовниковъ не находилось и отлучки жены слѣдывались еще чаще. Не проходило дня, чтобы Софья Васильевна не ночевала у Черемухи-

ныхъ, или Надя не приходила ночевать къ Печкинымъ, и съ каждымъ днемъ въ Софѣ Васильевнѣ росло отвращеніе къ Павлу Ивановичу, къ его скучному дому, глухому переулку, словомъ—ко всему, среди чего она до знакомства съ Надей могла выработать способность спать по 15 часовъ въ сутки. Идти домой отъ Черемухиной для нея стало столь же противнымъ, какъ гимназисту идти въ пансіонъ, когда на дворѣ еще воскресенье и когда дома братья и сестры еще бѣгаютъ и играютъ въ саду. Всякій разъ эти возвращенія сопровождались слезами, которыя прекращались только тогда, когда Надя шла ночевать къ ней. Дѣйствуя исключительно во имя жажды свѣжаго воздуха, Софья Васильевна съ каждымъ днемъ все больше и больше привязывалась къ Надѣ и не отставала отъ нея ни на шагъ, доставляя тѣмъ Павлу Ивановичу множество неприятностей. Обезоруженный доводами Трифонова на счетъ любовниковъ, Печкинъ рѣшительно уже не могъ возобновить прежнихъ предосторожностей по части запиранія жены въ свое отсутствіе и ограничивался только безплодными воплями, иногда впрочемъ измѣняя обычную форму выраженія ихъ.

— Позвольте узнать, говорилъ онъ женѣ, когда та съ Надей возвращалась вечеромъ домой.— Позвольте мнѣ узнать, неужели я какая-нибудь собака, что... Вѣдь это, наконецъ... трепать хвосты!..

— Мы не трепали, отвѣчала Надя за Софью Васильевну.— Мы гуляли.

— Не трепала! вотъ это великолѣпно! Гуляли! Вотъ превосходно! Гуляли-гуляли, не трепали, не трепали, а что такое? Вѣдь не въ подворотню же мнѣ идти ночевать?

На это ему не отвѣчали.

Во время этихъ отлучекъ, прогулокъ, посѣщеній родныхъ, дѣлавшихся большею частью въ сопровожденіи Михаила Ивановича и воспитывавшихъ въ Софѣ Васильевнѣ духъ неповиновенія, жизненные встрѣчи и сцены наводили Надю все на новыя и новыя сомнѣнія и все больше разоряли ея неразвитый, необразованный умъ. Война съ Павломъ Ивановичемъ, въ которой супружескія права его играли такую видную роль, невольнo заставляла Надю съ особенной впечатлительностью принимать только тѣ жизненные факты, въ которыхъ виднѣлся тотъ же вопросъ. Много было этихъ встрѣчъ, и изъ всѣхъ ихъ все-таки можно было вывести то заключеніе, что самостоятельность, свои деньги, свой трудъ существуютъ только у простыхъ людей. Случались, правда, встрѣчи, которыя озадачивали Надю, открывали ей совершенно новыя стороны жизни, но и онѣ въ концѣ концовъ оканчивались нулемъ.

2.

Между прочимъ одна изъ такихъ встрѣчъ произошла въ окружномъ судѣ, куда нашихъ подругъ затащилъ Михаилъ Ивановичъ, весьма интересовавшійся «новыми порядками». Не зная ни старыхъ, ни новыхъ порядковъ, Надя и Софья Васильевна были прежде всего испуганы обстановкой суда: на-

лоемъ, священникомъ, толпою людей (которыхъ въ сущности было очень немного), и затѣмъ впади въ состояніе полного непониманія того, что предъ ними творится. Въ глубочайшемъ конфузѣ слушали онѣ разбирательство какого-то неизвѣстнаго имъ дѣла и не могли даже прибѣгнуть за совѣтомъ къ Михаилу Ивановичу, который почему-то успѣлъ у самаго входа.

— Дѣйствительно ли, обращается председатель къ купцу-свидѣтелю:— рука проходить въ тотъ разрѣзъ въ чемоданѣ?

— Съ охотой пролѣзаетъ, ваше высокоблагородіе, съ большимъ удовольствіемъ! отвѣчаетъ свидѣтель.— Потому что онъ ее, дыру-то, вскбродіе, ножичкомъ распоролъ, эво-ли какую! Икру, потому что все онъ имъ рѣзалъ, ножичкомъ-то... Вы у него спросите, у шельмы!..

Председатель остановилъ купца на словѣ «шельма» и довольно строго объяснилъ ему, какъ тотъ долженъ относиться къ подсудимому. Купецъ, все время отвѣчавшій весьма храбро и подробно, вдругъ испугался, замолкъ, поблѣднѣлъ.

— Потому что, который ножикъ у него, лепеталъ онъ, спотыкаясь на каждомъ словѣ и обирая руками полы сюртука:—то онъ даже... вскбродіе... можетъ быть.

— Ишь, путаетъ! говорили какіе-то мѣщане позади Нади.—Того и гляди, «знать не знаю!»

— Наstrащенъ старинными пустяками! Думаетъ: «какъ-бы самого не упекли».

Надя и Софья Васильевна слушали и не понимали даже того, что понимаютъ мѣщане.

— Подсудимый! Что вы можете сказать на это?

Молодой малый, съ плутоватыми глазами, обвиняемый въ кражѣ денегъ изъ чемодана купца, кашлянулъ, тряхнулъ волосами и довольно наивнымъ голосомъ произнесъ:

— Ежели онъ меня упрекаетъ на счетъ быдто икры, то даже совершенно это напрасно. Потому я ее съ малыхъ день икру не потребляю...

— Дѣйствительно ли вы разрѣзали? поясняетъ председатель свой вопросъ.

— Дѣйствительно, что я ее, вскбродіе, и по сіе время не люблю икру... И что въ ей скусу?

— Ишь, оглобли-то поворотилъ! разсуждаютъ мѣщане.

Софья Васильевна и Надя понимали только одно, что подсудимый виноватъ въ употребленіи икры и за это окруженъ жандармами и штыками. Не къ чести ихъ относится также и то обстоятельство, что онѣ засмѣялись вмѣстѣ съ публикой, когда оказалось, что одинъ изъ присяжныхъ засѣдателей, пожилой мужикъ, заснулъ, свѣсивъ съ ручки кресла, въ стилѣ «возрожденія», лысую голову и руку съ громадной шапкой. Несчастнаго разбудили, въ краткихъ словахъ изобразили ему, что покаяться предъ крестомъ и евангеліемъ и захрапѣть—поступокъ по меньшей мѣрѣ не джентльменскій. Въ свое оправданіе, глубоко огорченный мужикъ могъ только сказать: «сморил... гналъ всю ночь... стомленъ...» Наконецъ ему объявили: «вы больны» и посадили на его кресло «въ стилѣ возрожденія» другого мужи-

ка, который вытянулся съ испугу какъ палка, и съ затасаннымъ дыханіемъ и вытаращенными глазами сталъ слушать, какъ обвинитель началъ «мотивировать», «формулировать», и какъ защитникъ потомъ, въ свою очередь, сталъ «объединять факты», вродѣ икры и дыры, и проч. Не знаю, какъ мужикъ, но ни Софья Васильевна, ни Надя рѣшительно не были бы въ состояніи произнести о подсудимомъ надлежащаго приговора, потому что неразвитое пониманіе ихъ было забыто и испугано всѣми этими «da saro», «ab oyo», «ex-abrupto», «умственный уровень», «декорумъ той среды, гдѣ подсудимый», и другими оборотами образованной рѣчи защитниковъ и обвинителей.

Въ глубокомъ уныніи и сознаніи своей глупости, сидѣли онѣ и слушали, ничего не понимая.

И вдругъ въ залу суда вошла молодая, отлично одѣтая женщина, почти дѣвушка. Все, начиная съ похода и развязности, съ которою она прошла въ сѣла около нашихъ подругъ, обличало въ ней по малой мѣрѣ полное знакомство со всѣмъ, что тутъ ни происходитъ. Но черезъ минуту оказалось, что сосѣдка знакома и не съ такими вещами. Въ маленькихъ рукахъ ея очутились судебные уставы въ отличномъ переплетѣ; передистывая ихъ съ тою быстротой, съ какою вообще перелистываютъ книги дѣти, неумѣющія ихъ читать, она придавала своему лицу значительную серьезность и шептала довольно громко:

— Боже, какъ они неправильно рѣшаютъ! Ахъ какъ вдругъ! Почему вѣтъ мужа? Гдѣ мужъ?.. Что та-а-кое?.. Икра-а?.. И въ окружномъ!.. Вотъ мило!.. Да это просто тюремное заключеніе... Отчего не говорить мужъ?.. Я не понимаю!.. Со взломомъ? обратилась она къ Надѣ.—Ахъ, вы недавно!.. Вы не слышали!.. Ужасъ, что они дѣлаютъ! Гдѣ мужъ?..

Все это говорилось весело, свободно и невольно располагало къ сближенію, не говоря уже о познаніяхъ молодой дамы во всевозможныхъ судебныхъ тайнахъ, что возбуждало и зависть и уваженіе. Подъ вліяніемъ этихъ ощущеній, Надя не замѣтила, что въ разговорахъ сосѣдки о правильностяхъ и неправильностяхъ судового разсужденія главную роль играетъ мужъ, «который знаетъ все это лучше всѣхъ», и не придавала особеннаго значенія тому восторгу сосѣдки, когда изъ-за прокурорскаго кресла высунулась и кивнула ей весьма приличная фигура мужа, послѣ чего зала суда огласилась радостнымъ восклицаніемъ: «ахъ, вотъ онъ!», а судебные уставы упали на полъ и юридическіе разговоры замѣнились продолжительными киваньями мужу, посыланіемъ поклоновъ и поцѣлуевъ. Надя не замѣтила этого; она видѣла только, что эта женщина все понимаетъ, знаетъ, гдѣ правильно и гдѣ неправильно, и завидовала ей. Случай познакомилъ ихъ.

Фигура, выглядывавшая изъ-за прокурорскаго кресла, повидимому удовольствовалась изліяніемъ супружеской любви, которую выказала сосѣдка Нади: она качнула головой, насупила одну бровь и скрылась. Сосѣдка Нади тотчасъ же притихла, успѣлась и снова было-взялась за судебные уставы; но такъ-какъ небольшіе часики съ музыкой, болта-

шіеся у ней на груди, были занимательны ничуть не меньше, чѣмъ эти уставы, то она, какъ ребенокъ, принялась баловаться и играть ими, вслѣдствіе чего въ залѣ суда запишала самая смѣшная музыка. Незумѣстность этого обстоятельства здѣсь, среди людей, занимающихся дѣломъ, была до того понятна всѣмъ, не исключая Нади и Софьи Васильевны, что всѣ онѣ какъ-то вдругъ испугались, потомъ засмѣялись укладкою, вдругъ закрыли лица платками, переглянулись изъ-за нихъ и подружились сразу.

Черезъ четверть часа онѣ уже о чемъ-то много и скоро говорили въ корридорѣ, выйдя сюда вмѣстѣ съ публикой и называя другъ друга «душечка...» Въ тотъ же день были приглашены «къ намъ съ мужемъ», а спустя нѣсколько дней Надя и Софья Васильевна были у Шапкиныхъ уже нѣсколько разъ.

3.

На этотъ разъ Надѣ показалось, что она дѣйствительно попала въ земной рай,—не такой, какой съумѣлъ оборудовать Павелъ Ивановичъ Печкинъ. Прежде всего Шапкины жили въ удобномъ, свѣтломъ и чистомъ домѣ; въ комнатахъ было свѣтло, красиво: столы, рояль, стулья, помы—все было новое, блестящее и не носило на своей поверхности ни пылинки, которая клубами вылетала изъ всѣхъ угловъ и вещей, находившихся въ домѣ Печкиныхъ. Вмѣсто запыленной и разрушенной фигуры Павла Ивановича, здѣсь былъ статный молодой человѣкъ, съ мягкимъ, деликатнымъ характеромъ, съ симпатичнымъ, но и солиднымъ лицомъ, на которомъ хотя и мелькала довольно часто весьма милая улыбка, но въ то же время особенно ярко выступалъ отпечатокъ серьезной думы, видѣлись слѣды образованнаго ума, чему, кажется, способствовали и темныя стекла очковъ. Какъ и Павелъ Ивановичъ, онъ говорилъ своей женѣ «ты»; но въ такомъ братскомъ обращеніи рѣшительно не звучало желанія припереть жену палкой или посадить ее на цѣпь; напротивъ, между супругами господствовали самое полное согласіе и любовь. Но что особенно сильно поразило Надю въ ихъ обществѣ,—это то, что жизнь ихъ была наполнена множествомъ занятій, увлеченныхъ всякую возможность къ существованію того одурѣнія, которымъ такъ блистало райское семейство Печкиныхъ. Возвращаясь домой, мужъ сообщалъ супругѣ, чѣмъ рѣшили такое-то дѣло, кто хорошо или дурно говорилъ въ судѣ. И жена была совершенно поглощена какими-то, совершенно новыми для Нади интересами. Съ чувствомъ огорченія за самое себя, за свое невѣжество и съ чувствомъ зависти смотрѣла она на Шапкину, когда та разговаривала объ этихъ непонятныхъ вещахъ съ мужемъ, или принимала участіе въ сужденіяхъ по тому же поводу съ его знакомыми, все молодымъ и умнымъ народомъ; употребляя въ разговорѣ слова, вроде «обжаловать», «кассация». Но этого мало. Въ первый же почти день знакомства съ Шапкинымъ оказалось, что, помимо множества дѣлъ, которыя занимаютъ голову жены Шапкина, у ней есть и свои «деньги», чего Надѣ рѣшительно не

приходилось встрѣчать до настоящаго времени нигдѣ. Она переписываетъ мужу бумаги и получаетъ отъ него жалованье. Часы съ музыкой куплены на собственные ея деньги; на свои же деньги приобрѣтены ею зонтикъ и альбомъ и еще нѣсколько вещей, которыя и показывались Надѣ съ особеннымъ удовольствіемъ. О взяткахъ и о чемъ-нибудь злодѣйскомъ, обезобразившемъ для нея, благодаря Михаилу Ивановичу, все—небо и землю—здѣсь не было и помину. Напротивъ, былъ случай, когда Надя могла видѣть страшнѣйшій гнѣвъ и приливъ негодованія у обоихъ супруговъ по тому только обстоятельству, что какая-то мужицкая борода осмѣлилась высунуть голову изъ передней въ залу и промывать: «батюшка!..» по неразвитію своему, Надя было сжалась надъ человѣкомъ, который говорилъ такимъ жалкимъ голосомъ и лицо котораго носило слѣды великаго горя; но ей тотчасъ же было разъяснено, что человѣкъ этотъ—не просто человѣкъ, а преступникъ, воръ или даже убійца.

— Если-бы у тебя или у твоего брата оторвали голову, что бы ты сказала?.. возразила ей жена Шапкина.— Неужели ему прощать?..

Надя была побѣждена.

Такъ какъ къ этому времени война противъ Павла Ивановича утратила почти всякій интересъ, ибо даже Софья Васильевна въ эту пору могла говорить ему то, что прежде рѣшалась дѣлать только Надя, и такъ-какъ вслѣдствіе этого снова настала скука, то знакомство съ Шапкиными было пріятно нашимъ подругамъ, несмотря на непріятное ощущеніе самоуниженія, которое испытывали онѣ въ ихъ обществѣ. Это былъ уголокъ свѣта, и его нельзя было не любить, тѣмъ болѣе, что тотъ уголокъ тѣмъ и разоренья, гдѣ жили наши подруги, надобъ было до послѣдней степени, не исключая изъ числа надобѣвшихъ лицъ и Михаила Ивановича, сдѣлавшагося къ этому времени воистину бѣшеной собакой.

Одно незначительное обстоятельство однако сильно поколебало эту любовь Нади къ Шапкинымъ и увеличило ея скуку новыми тягостными размысленіями.

Дѣло было въ мировомъ сѣздѣ. Однажды явилась къ Надѣ жена Шапкина и съ торжествомъ объявила, что сегодня мужъ ея наконецъ «говорить». Очень жаль, что ему придется мало разговаривать, что нѣтъ возможности вполне выказать талантъ, но все-таки слушать его—наслажденіе. Михаилъ Ивановичъ тоже отправился вслѣдъ за дамами, помѣстившись въ заднихъ рядахъ толпы, наполнявшей небольшую комнату сѣзда, до половины занятую столами господъ судей. Дамы, въ сопровожденіи жены Шапкина, пробрались впередъ и помѣстились на первой лавкѣ, въ виду величественной и необыкновенно привлекательной фигуры самого Шапкина. Новенькій, отлично сшитый мундиръ сидѣлъ на немъ превосходно; золотой воротникъ какъ нельзя лучше и изящнѣе отбѣивалъ бѣлыя, выхолощенные и выбритыя щеки; бѣлая рука небрежно поигрывала золотою цѣпочкою и величественное лицо хранило печать тайны. Самоуниженію Нади на этотъ разъ рѣшительно не было границъ, ибо сѣдѣла ея, жена

Шапкина, помощью продолжительных киваний, улыбок съ мужем—доказала самымъ непреклоннымъ образомъ какъ трудовую, такъ и сердечную связь съ этимъ величественнымъ «мужемъ», который при одномъ ея появленіи озарилъ свое лицо самою ясною улыбкой.

— Авдотья Тихонова! раздался голосъ председателя.

— Слушай! шепнула Надя Шапкина и притаялась.

— Тихонова... Авдотья?... Здѣсь?... Здѣсь! послышалось въ публикѣ, и послѣ нѣкотораго волненія въ толпѣ, разступавшейся, чтобы дать дорогу Тихоновой, на середину комнаты робко выступила пожилая, худая деревенская женщина. На плечахъ ея, несмотря на лѣтнюю пору, былъ надѣтъ старый и рваный тулупъ; изъ-подъ полинялаго, старенькаго платка выглядывало испитое и лихорадочно-желтое лицо съ ввалившимися глазами. Въ рукахъ ея былъ темно-синій набойчатый платокъ. Отдѣлившись отъ толпы, она прежде всего стала искать глазами образа. «Гдѣ у васъ Богъ-то?...» «Ай, его нѣту?» «Ай, вонъ онъ!» шептала она глухо, покашливая и прикрывая ротъ рукой. Окончивъ это, она подошла прямо къ столу судей и поклонилась. Ее попросили отойти подальше, потомъ подойти поближе, и такимъ образомъ установили на надлежащемъ мѣстѣ. Приемы бабы не остались безъ улыбки со стороны публики. Подъ вліяніемъ игривой улыбки Шапкиной, Надя тоже было улыбнулась, но больное лицо бабы и ея нищенская, жалкая фигура уничтожили эту улыбку тѣмъ быстрѣе, что Тихонова, помѣстившись противъ судей, на надлежащемъ мѣстѣ, почему-то глубоко вздохнула, сложивъ на груди руки съ платкомъ, и закашлялась.

Среди тишины, прерываемой только легкимъ звяканьемъ цѣпей, которыми поигрывали нѣкоторые изъ господъ судей, секретарь прочиталъ слѣдующее: «Такого-то числа и года, въ такомъ-то мировомъ участкѣ, такими-то сельскими начальниками было начато дѣло противъ вдовы Авдотьи Тихоновой, обвиняемой въ неисполненіи приказаній начальства. Имѣя въ домѣ своемъ довольно злую собаку, она никакъ не соглашалась ее убить или посадить на цѣпь, что было необходимо, ибо она съ собакою дважды нападала на сельскаго старосту, а въ послѣдній разъ укусила за ногу проходившаго мимо дома Тихоновой писаря. Хотя на излеченіе отъ укушенія Тихонова и выдала писарю, по требованію его, до трехъ рублей, тѣмъ не менѣе, принимая во вниманіе неисполненіе приказаній сельскаго начальства, мировой судья постановилъ: оштрафовать Тихонову пятью рублями, а собаку застрѣлить. Тихонова объявила себя недовольной рѣшеніемъ, собаки не застрѣлила и подала въ сѣздъ».

Во время чтенія этого протокола Тихонова стояла потупившись и по окончаніи его снова глубоко вздохнула.

— Что вы желаете объяснить суду?... спросили ее.

Тихонова замаялась, зашевелила платкомъ въ

рукахъ и глухимъ, надорваннымъ голосомъ произнесла:

— Я—вдова, ваше высокоблагородіе!.. У меня пять человѣкъ дѣтей, мужиковъ нѣту, мнѣ невозможно безъ собаки... Ребята малые, самой не досмотрѣть, мало-ли...

— Позвольте! весьма деликатно остановилъ ее председатель.—Вы можете протестовать только противъ окончательнаго рѣшенія...

Председатель говорилъ ровно, заученно, словно по книгѣ читалъ.

Тихонова замолчала; лицо ея покрылось потомъ.

— Потому что, начала она взволнованнымъ голосомъ:—мнѣ безъ собаки никакъ невозможно! По моему сиротству, мнѣ требуется собака, чтобы вѣрная, злая!.. чтобы она лихого человѣка не подпустила... Ну, что-же, ежели онъ ломитъ пьяный въ сѣнцы.. Меня нѣту, собака пугается... Она поступаетъ по хорошему!..

— Потрудитесь разъяснить Тихоновой тѣ основанія, на которыхъ она можетъ основать свою защиту! повидимому потерявъ терпѣніе, сказалъ председатель Шапкину.

Необыкновенная жалость, охватившая сердце Нади при видѣ запотѣвшаго отъ испуга лица Тихоновой, при видѣ ея тщетныхъ усилій обратить на себя и на свои нужды чье-нибудь вниманіе, жалость эта отлегла отъ сердца Нади, когда поднялся Шапкинъ.

— Назначеніе сѣзда, началъ тотъ самымъ симпатичнымъ и мягкимъ голосомъ, причемъ Надя почувствовала самыя нетерпѣливыя и нервные поталиванія въ бокъ со стороны счастливой жены оратора:—назначеніе сѣзда утверждать или касировать рѣшенія мировыхъ судей; слѣдовательно вы, подавая на кассацию, должны выставить суду неправильность употребленія господиномъ судьей тѣхъ или другихъ законоположеній... Вы подаете на кассацию...

— Да, ваше высокоблагородіе, завопила наконецъ Тихонова.—И что же теперича разрѣшаютъ собаку къ разстрѣлу!.. Ну, какъ мнѣ безъ собаки возможно?.. Что же теперича, ежели я ее на цѣпь посажу, нѣшто она мнѣ станетъ помочь давать?.. И на меня-то въ ту пору будетъ она какъ на злодѣя глядѣть... Спусти ее на ночь, она не стеречь, а убѣчь норовить... Ну, что-же я съ малыми ребятами?..

— Кассационный порядокъ... возвышая голосъ надъ ревомъ бабы, попытался произнести председатель; но баба упала на колѣни, завывала, отставивъ собаку, и въ сѣздѣ воцарилось нѣчто совершенно неосновательное. Съ одной стороны господа судьи и Шапкинъ выказывали свойства истинныхъ джентльменовъ, умоляя бабу подняться съ колѣнъ и помогая ей въ этомъ, съ другой стороны, едва баба понималась и открывала ротъ о своихъ нуждахъ, самымъ тѣснымъ образомъ сопряженныхъ съ участіемъ вѣрной собаки,—какъ тѣ же джентльмены немедленно опять валяли ее на-земь новымъ требованіемъ держаться законнаго порядка обжалованія, въ чемъ Шапкинъ припималъ самое дѣятельное

участіе. Сердце Нади сжалось послѣ рѣчей Шапкина, которыхъ она не понимала точно такъ-же, какъ и баба, и если не заплакала отъ этого при видѣ плачущей вдовы, такъ именно потому, что не совѣсть ясно понимала и ея горе. Въ пугливомъ недоумѣніи взглянула она на жену Шапкина, но и на ея лицѣ не было замѣтно особеннаго веселья. Недоумѣвающее, сконфуженное лицо ея улыбнулось, но тихо и не весело. Она слезливо поглядѣла на мужа, полагая въ простотѣ душевной, выѣстъ съ Надей и Софьей Васильевной, что въ его власти осушить бабы слезы. Послѣ довольно продолжительнаго вытья бабы, среди котораго пережѣшивались слова «собачка», «кассация», «къ разстрѣлу», «идея мирового института», «я вдова... мнѣ невозможно...», «апеллируя на неправильность рѣшенія, вы...», «мнѣ легче помереть», судъ ушелъ, потомъ пришелъ, и тутъ въ разстроганныя сердца нашихъ дамъ былъ нанесенъ новый ударъ, ибо Шапкинъ съ своей каеелры окончательно пошаташилъ бабу: разсмотрѣвъ ее со множества сторонъ, подведя множество законныхъ основаній, онъ *полагалъ-бы* приговорить бабу къ штрафу въ объемѣ тѣхъ-же пяти рублей, но собаку оставить въ живыхъ.

По окончаніи рѣчи онъ взглянулъ на жену, попрежнему улыбаясь; но жена почему-то покраснѣла, глядѣла на Надю, грустную и разстроенную, и на бабу, которая всхлипывала, отирала синимъ дырявымъ платкомъ заплаканное и запотѣлое лицо и глубоко вздыхала.

Во время «антракта» они вышли въ сѣни сѣзла, чувствуя въ груди нѣчто весьма тягостное. Шапкина уже не хвалила своего мужа, а только отмахивалась платкомъ и смотрѣла черезъ перила на лѣстницу, на которой сидѣли и стояли мужики и бабы.

— Что онъ? Ай онъ очумѣлъ! шумѣлъ внизу у самаго входа, среди кучки разныхъ людей, голосъ Михаила Иваныча.

Заслышавъ его, Надя тоже подошла къ периламъ. Михаилъ Иванычъ былъ совершенно взбѣшенъ, что, вмѣстѣ съ отсутствіемъ галстука на худой шеѣ и совершенно нищенскимъ костюмомъ, придало его рѣчамъ нѣчто дѣйствовавшее особенно сильно.

— Ай онъ одурманѣлъ? Что онъ ее гвоздитъ по башкѣ-то? Онъ въ сорока наукахъ ученъ, въ ста волахъ мыть, гдѣ-же бабѣ деревенской сладить съ нимъ? Докуда?..

— Нѣтъ, братъ! слышалось тоже внизу, изъ толпы, окружавшей Михаила Иваныча.—Зубовъ у нашего брата нѣту!.. Вотъ чего! Покуда зубовъ не наживемъ, все насъ этакъ-то кувыркать будутъ...

— Не дадутъ! зубовъ-то не дадутъ нагулять!.. бѣсился Михаилъ Иванычъ.

— А кабы она тоже его рѣзнула на евонномъ нарѣчій, анъ и безъ штрафу-бы!.. Онъ — сто двадцать вторая статья, а она ему — пятьсотъ тридцать... онъ ей — тысячу, а она бы ему — миліонъ, небось-бы — присѣлъ!

Всѣ необразованные слушатели были согласны въ необходимости «зубовъ» при новыхъ жизнен-

ныхъ порядкахъ. Но такъ-какъ никто изъ слушательницъ достаточнымъ образомъ не участвовалъ въ этихъ порядкахъ и не имѣлъ достаточнаго личнаго опыта, гдѣ бы зубы эти требовались, то разсужденія публики на этотъ счетъ хотя и припомнились Надѣ впослѣдствіи, но въ настоящее время не обратили на себя особеннаго вниманія, которое гораздо болѣе было поглощено словами разозленнаго Михаила Иваныча. Ничѣмъ не превосходя ни нашихъ дамъ, ни бабу въ пониманіи юридическихъ наукъ, Михаилъ Иванычъ, подобно имъ, возмущался жестокосердіемъ господъ судей и выражалъ эту мысль на своемъ разозленномъ языкѣ такъ сильно, что слушательницы были возмущены поступкомъ Шапкина до глубины души.

— Онъ ошибся!.. съ трудомъ побороть тягостное молчаніе, проговорила Шапкина.

Въ это время въ сѣни вошелъ самъ Шапкинъ. Надя не чувствовала къ нему уже ни благоговѣнія, ни симпатіи: она боялась его. Стоя у перилъ, она не поворачивала головы въ сторону разговаривающихъ супруговъ, но слушала ихъ шопотъ съ любопытствомъ. Шапкинъ, успокоивая взволнованную жену, говорилъ ей, что онъ не имѣетъ права вступать съ бабой въ душевные бесѣды: что такихъ бабъ приходитъ по сту въ день, всѣмъ не разъяснишь; что наконецъ онъ дѣйствовалъ такъ, какъ говорить законъ, и что никакого зла онъ бабѣ не желалъ.

— Развѣ ты не понимаешь, чего она хочетъ? говорила Шапкина.

— Разумѣется, понимаю... Но видишь, въ чемъ дѣло...

— Такъ зачѣмъ же ты не слушаешь ея?.. Она говорить свое, а ты свое!..

— Поэтому-то мы оба и правы: она говорить, что ей нужно, а я — что мнѣ нужно.

— Да она не понимаетъ тебя! Ты былъ въ университетѣ, а она?..

— Чѣмъ же я виноватъ, что она не была въ университетѣ?

Шапкинъ улыбался. Жена молчала.

— Я самъ въ томъ же положеніи, какъ и она. Я не могу ей сдѣлать добра потому, что она тоже не можетъ доставить мнѣ удовольствія быть ей полезнымъ. Когда мы будемъ вмѣстѣ съ ней по одной книжкѣ читать, тогда всѣ это и кончится...

Потолковавъ еще на тему о всеисправляющемъ времени, Шапкинъ ушелъ. На лицѣ его жены послѣ этого разговора не проходило выраженія огорченія.

По уходѣ его, дамы постояли въ сѣняхъ еще минуты двѣ-три и тихо стали спускаться къ выходу. У воротъ на улицѣ онѣ встрѣтили бабу. Полушубокъ ея былъ растегнутъ и концы головного платка развязаны. Отирая платкомъ раскраснѣвшееся и потное лицо, она сидѣла на тумбѣ, положивъ около себя какіе-то узелки, и говорила другой бабѣ:

— Пуще всего рада, собачку-то не ухлопали... Какъ вѣдь онъ меня подыхалъ!..

Шапкина дава ей двугривенный (больше у нея

не было съ собой) и приглашала ее къ себѣ пить чай; но баба не пошла, отговариваясь тѣмъ, что она и такъ пять дней дома не была черезъ этотъ судъ, и не знаетъ, что теперь съ дѣтьми: живы ли.

Всѣ медленно разошлись по домамъ.

Въ головѣ Нади бродила мысль, что не всякое дѣло образованнаго мужа можетъ прійтись по вкусу женѣ. Богъ знаетъ, можетъ мужу придеть охота взять должность обижать да увѣчить, какъ выражается необразованный Михаилъ Ивановичъ, и тогда жить плохо. Тутъ ей припомнилась взаимная любовь Шапкиныхъ, ихъ поцѣлуи, нѣжности, перемѣшанные съ непонятными словами, которыя бытъ можетъ и значать дурное, и она охладѣла къ нимъ, а на душѣ стало еще тяжелѣе. Необразованная мысль ея шла ухабами, кривыми дорогами, словомъ—тѣмъ путемъ, какимъ шли современные будни, неосвѣщенные никакимъ запасомъ знаній, опытовъ. Много было отъ этого лишняго мученія, потому что каждый опытъ, попадая въ эту нетвердую, неопытную мысль ея, только мучилъ и разорялъ ее.

Грустно возвращались Надя и Софья Васильевна въ свою глухую улицу, чтобы снова томиться въ однообразіи пустоты и скуки, поджидая нападенія Павла Ивановича. На этотъ разъ ихъ не сопровождалъ даже Михаилъ Ивановичъ, съ которымъ въ эту пору происходили разные новости.

VII. Неожиданныя новости въ жизни Михаила Ивановича.—Чугунка.

1.

Какъ уже сказано, злость Михаила Ивановича къ этому времени достигла самыхъ крайнихъ предѣловъ, такъ что рѣшительно не было человѣка, который бы, столкнувшись съ нимъ, не назвалъ его бѣшеной собакой. Причиной такого озлобленія было, во-первыхъ, долгое бездѣльное житіе, къ которому Михаилъ Ивановичъ вообще не привыкъ и предѣлъ котораго былъ для него совершенно неизвѣстенъ; во-вторыхъ—томительное однообразіе нищенскаго и безвыходнаго положенія, и въ-третьихъ—наконецъ—чугунка, открытія которой ждали съ минуты на минуту. До тѣхъ поръ, пока чугунка не была построена, когда этого нужно было еще ждать, одинокая, заброшенная всѣми душа Михаила Ивановича могла пробавляться разными надеждами на будущее. Терпѣливо ожидая ее, съ этими надеждами ему было легче переносить постоянную насмѣшку надъ собой, скуку скитаній вслѣдъ за скучными «барышнями» среди июльской жары, пыли. Но теперь это дѣлалось совершенно невозможнымъ. Глядя какъ съ каждымъ днемъ около вокзала уменьшаются лѣса, какъ двигаются первые тяжелые вагоны, свистать паровики, Михаилъ Ивановичъ сталъ чувствовать себя совершенно одинокимъ, ибо всѣ эти новости разсѣивали надежды на Петербургъ. Оказывалось, что у Михаила Ивановича нѣтъ денегъ, чтобы туда ѣхать, что даже и ѣхать ему незачѣмъ, а фигура Максима Петровича утратила почему-то всю ту ясность, съ которой представлялась до сихъ

поръ. Михаилъ Ивановичъ сталъ чувствовать себя растерзаннымъ, убитымъ, но пряталъ свое отчаяніе отъ насмѣшекъ и показывалъ только злость. Въ это время онъ уже не могъ, даже у Черемухиныхъ, злиться тихо, какъ прежде, а, напротивъ,—норовилъ всякаго оборвать, перекусить пополамъ.

— Скучно! говорила Надя.

— Да вотъ какъ же! огрызался Михаилъ Ивановичъ.—Сейчасъ для васъ заиграютъ въ барабаны, въ трубы затрубятъ, чтобы вамъ веселѣе! Очень всѣ объ этомъ въ заботѣ, чтобы васъ увеселить... Сію минуту—съ!..

Вслѣдствіе замѣчаній старухи Черемухиной, чтобы онъ говорилъ попокойнѣе, потому, молъ, что между простыми людьми незачѣмъ этакъ шумѣть, Михаилъ Ивановичъ иногда замолкалъ, а иногда, разозлившись, уходилъ ругаться въ другое мѣсто. Подобно семейству Черемухиныхъ, ему опротивѣлъ и помѣщикъ Уткинъ, и всѣ цѣловальники и знакомые въ Жолтиковѣ и на пути къ нему. Онъ шатался то тамъ, то сямъ, оборванный, худой, не вступая ни съ кѣмъ въ подробные разговоры, отплываваясь и отругиваясь отъ всѣхъ вопросовъ, задаваемыхъ кѣмъ-либо ему, какого бы невиннаго содержанія они ни были. Кашель и ревъ въ груди, усилившіеся въ послѣднее время, много помогали ему въ этой неразговорчивости.

Случай спасъ Михаила Ивановича отъ гибели, отъ одинокой смерти гдѣ-нибудь въ полѣ, по крайней-мѣрѣ на время. Оказалось, что есть люди, желающие и умѣющие взять дань съ этого кашля, ревущей груди и злости.

Предъявляя эти свойства на крыльцѣ мирового съѣзда, въ защиту несчастной бабы, защищавшей свою собаку, Михаилъ Ивановичъ обратилъ на себя вниманіе одного изъ слушателей. Это былъ высокій, полный купецъ. Слушая, какъ онъ лается на властей, обидѣвшихъ бабу, какіе онъ употребляетъ при этомъ выраженія, купецъ не могъ не сообразить, что передъ нимъ стоитъ человѣкъ, который въ грошъ не ставитъ цѣну своей головы. Купецъ долго слушалъ его; при особенно вѣскихъ выраженіяхъ отходилъ прочь, начиналъ смотрѣть въ сторону или потолокъ, принимая самое невинное выраженіе лица, и въ то же время не проронилъ ни слова...

— Чуденъ! произнесъ онъ съ улыбкой, наряду съ другими слушателями, когда публика на крыльцѣ начала расходиться, и сталъ надѣвать шапку, чтобы идти. Надъ шапкой онъ возился до тѣхъ поръ, пока не разошлись всѣ, и тогда вышелъ за ворота, неторопливыми шагами пошелъ за Михаиломъ Ивановичемъ, догнавъ его, тронулъ пальцемъ въ плечо и проговорилъ:

— Толконись въ трактиръ «Утюгъ»... разговоръ будетъ... дѣло есть!..

И пошелъ мимо съ беззаботностью ребенка, читая по складамъ вывѣски.

Михаилъ Ивановичъ остановился, какъ-то одеревенѣлъ отъ радости при словахъ «дѣло есть», торопливо пошелъ вслѣдъ за купцомъ. Тотъ опередилъ его; первый пошелъ въ самый грязнѣйшій

трактиришко, гдѣ его повидимому коротко знали, и спросилъ нумерокъ.

— Какое дѣло? пыталъ Михаилъ Иванычъ, войдя въ нумеръ. Но купецъ, не отвѣтивъ ему, оглянулъ стѣны и сказалъ половому:

— Нѣтъ-ли потемнѣй комнатки? Дѣло секретное, не подходитъ!.. шепнулъ онъ Михаилу Иванычу. Половой провелъ ихъ въ темную клѣтку съ темными ободранными обоями и окномъ, заслоненнымъ какими-то постройками и грязными тряпками, сушившимися противъ него на веревкѣ.

— Какое дѣло? повторилъ Михаилъ Иванычъ, когда они усьлись около маленькаго заплываннаго стола.

— Настоящее будетъ дѣло-съ, сказалъ купецъ и потребовалъ воды и чаю.

— Просимъ покорно; выкушайте!..

Михаилъ Иванычъ выпилъ, закусилъ и нѣсколько времени молча глядѣлъ на купца.

— Въ какомъ смыслѣ дѣло будетъ ваше? наконецъ опять спросилъ онъ.

Купецъ налилъ чаю, уперся локтемъ въ столъ и сталъ хлебать, повидимому не спѣша, приготовляясь къ самому основательному разговору.

— Кто такіе будете?.. спросилъ онъ наконецъ.

— Рабочій, выгнанъ за непокорство съ завода.

— Очень превосходно!.. Выкушайте рюмочку.

Михаилъ Иванычъ выпилъ.

— На какомъ основаніи имѣли ваше непокорство?..

— А на такомъ, что большой очень разбой напущенъ на простого человѣка.

Двѣ рюмки водки, выпитыя среди іюльской жары, подѣйствовали сильно на больные нервы Михаила Иваныча, и онъ въ длинномъ и желчномъ разсказѣ передалъ купцу свои взгляды на прижимку. Одобреніе, которое купецъ высказывалъ при словахъ: «рабочій человѣкъ ошалѣлъ», «зачумленъ», придадо его рѣчамъ гораздо большее количество энергіи, нежели водка, и всѣ душевныя скорби его были выпущены на волю безъ всякихъ ограниченій.

Разсказаны были, разумѣется, всѣ планы насчетъ Петербурга, Максима Петровича, отъ котораго въ дѣлѣ заступничества за простого человѣка ожидается значительная помощь.

Купецъ все слушалъ, изучая натуру Михаила Иваныча, одобрялъ, и наконецъ, перевернувъ двѣнадцатую чашку, сказалъ:

— Имѣете большое роптаніе... Очень превосходно! Для нашего дѣла такой человѣкъ требуется, чтобы съ ропотомъ... Толконитесь завтрашняго числа вторично въ нумерокъ объ эту пору... Можеть, Богъ дастъ, въ Петербургъ съѣздите... Будьте здоровы!

Какъ ни темны были дѣла, предлагаемыя купцомъ, но Михаилъ Иванычъ ужъ былъ закупленъ въ пользу ихъ съ одного разу; во-первыхъ—эти дѣла одобряютъ его взгляды; во-вторыхъ—сулятъ ему возможность уйти отсюда, изъ этого проклятаго города, гдѣ онъ страдалъ и чахъ цѣлую жизнь. Не разгадавъ сущности дѣла, затѣваемыхъ купцомъ,

Михаилъ Иванычъ съ теченіемъ дальнѣйшей бесѣды съ нимъ убѣдился, что лично ему поручаемое дѣло состоитъ именно въ томъ, чтобы защищать простого человѣка, что составляло его завѣтную мечту.

— Вы обижены, говорилъ ему купецъ, сидя за чаемъ въ комнатѣ:—вы простой рабочій человѣкъ, потеряли большое притѣсненіе? Такія ваши слова?

— Такъ точно! Потому всѣ мы замучены...

— Ну вотъ-съ! Вы такъ говорите, якобы всѣ. Еще того лучше... Слѣдственно ваше дѣло роптать на притѣсненія-съ... Куда вы намѣрены были сами въ Санктпетербургъ жаловаться, роптать, напримѣръ, то вы и ропщите!.. Производите по вашему рабочему дѣлу шумъ, больше ничего и не требуется! Шумите-съ!.. Передъ начальствомъ, напримѣръ, сдѣлайте объясненіе... По знакомымъ, чтобы тоже-бы шумѣли! Ропщите, напримѣръ, и все тутъ!.. Больше ничего! Это для нашего дѣла очень способствуетъ, ежели вы за нашего рабочаго заступленіе оажете въ Санктпетербургъ.

— За простого человѣка? кричалъ въ такихъ случаяхъ Михаилъ Иванычъ, всегда угощенный водкой:—въ гробъ пойду!

— И чудесное дѣло!.. Производите ваше роптаніе въ аккуратѣ, и отъ насъ будетъ вамъ взаимно.

Въ необходимости заступаться за простого человѣка и шумѣть нѣтъ-за него въ Петербургъ Михаила Иваныча укрѣпляло нѣсколько разныхъ лицъ, которыхъ поочередно приводилъ въ комнатку первый купецъ. Всѣ они выслушивали ропотъ Михаила Иваныча, предварительно заставивъ его выпить водки, переглядывались между собою, шептали другъ другу: «на что же лучше?» и затѣмъ объясняли цѣль его будущей миссіи именно въ смыслѣ роптанія на теперешнее положеніе рабочаго человѣка.

Такіе толки и испытанія способности Михаила Иваныча роптать шли довольно долго; но мы не будемъ останавливаться на нихъ, ибо всѣ засѣданія въ комнатѣ грязнаго трактиришка были совершенно похожи другъ на друга. За день или за два до открытія чугунки, поѣздка его были рѣшена. Купцы дали ему пятьдесятъ цѣлковыхъ на расходы, одѣли его, какъ одѣваютъ вольника на три, на четыре дня, пока ему не надѣнутъ на плечи солдатской шинели; сказали, чтобы отписывалъ обо всемъ на имя какого-то ничтожнаго мелочнаго лавочника, ипустили его собираться въ дорогу.

И въ то время, когда задыхавшійся отъ радости Михаилъ Иванычъ бѣжалъ къ Черемухинымъ, чтобы сообщить, что онъ воскресъ, что онъ побѣдилъ,— между его благодѣтелями-купцами, въ томъ же нумерокѣ «Утюга», шелъ такой разговоръ:

— А это, братъ, ты аккуратно придумалъ! говорилъ одинъ изъ собесѣдниковъ коноводу тайнаго дѣла:—запустить волчка! хе-хе-хе!..

— Хе-хе-хе!.. смѣялся коноводъ.—Потому что безъ волчка невозможно... Ежели мы, примѣрно, сами пойдемъ по этому дѣлу... насъ, братъ, начнутъ тамъ чистить, карманы наши, напримѣръ...

— Хе-хе-хе... Вѣрное слово!

— Кромѣ того, мы пугливы... Тяжелы... Эта-

кое дѣло намъ начать,—такъ вѣдь это насъ, по нашей глупости, какъ разграбить-то?..

— Синь-пороха не оставлять!

— То-то вотъ! А какъ я перво-наперво этакого-то пушу волчкомъ, какъ онъ на шумитъ тамъ передъ начальствомъ-то, а нѣ ужъ намъ тогда вольготнѣе; тогда ужъ они будутъ думать: ово, молъ, до чего народъ-нѣмцемъ арендатедемъ прижатъ, что, ровно бѣшеные, на послѣдніе въ Питеръ бѣгутъ жалиться! Какъ Мишку-то увидятъ... Вѣдь что это? Пуля!

— Пуля!.. Это вѣрно! Ну, такъ надо думать, что башку ему свернуть тамъ...

— Это вѣрно! Прямо въ огонь лѣзетъ!.. Да что же? Первое дѣло, что своя его воля, а второе, что и башку ежели ему, такъ и то не Богъ вѣсть что! Ни кола, ни двора, ни куриного пера... А намъ все сходнѣй тогда-то съ хлѣбомъ-съ солью подвалить,—такъ, аль нѣтъ?..

Разумѣется, всѣ были согласны съ практичностью такого употребленія особы Михаила Ивановича, тѣмъ болѣе, что и самое дѣло, которое намѣрены были господа предприниматели начать хлѣбомъ-солью, не было гуманнымъ: партія провинціальныхъ капиталистовъ, появившихся какъ-то внезапно въ послѣднее время, намѣрена была взять у казны заводъ, находившійся въ настоящую минуту въ рукахъ нѣмца-арендатора. Поплатнута нѣмца сразу было нелегко, потому что въ Петербургѣ онъ имѣлъ хорошую заручку; нужно было произвести особенный говоръ по вопросу о передачѣ завода въ русскія руки; нуженъ былъ шумъ въ Петербургѣ, слѣланый фанатикомъ страданій рабочаго народа: и вотъ пригодились и большая грудь Михаила Ивановича, и его злость, и его фанатическая вѣра въ «нынѣшнее время», когда простому человѣку «дають ходъ».

2.

Поможетъ или не поможетъ Михаилъ Ивановичъ этимъ людямъ въ набиваніи ихъ кармановъ—мы еще не знаемъ, какъ не знаетъ этого и онъ самъ, твердо вѣрующій, что идетъ шумѣть за право простого человѣка. Вѣра въ это преобразовала его въ послѣдніе дни совершенно. Злость пропала, и на худомъ, болѣзненнымъ лицѣ свѣтилась какая-то дѣтская радость. Въ новомъ костюмѣ, стоявшемъ нѣсколько грошей, онъ, правда, походилъ въ это время на человѣка, который только-что выписался изъ больницы: худъ, еще нездоровъ, но радъ дышать чистымъ воздухомъ, радъ глядѣть на людей, ходить по травѣ. Безъ ругательствъ распрощался онъ съ жолтиковскими знакомыми, съ Уткинымъ, съ цѣловальниками, съ дьячками, и всѣ они на этотъ разъ тоже дружелюбно отнеслись къ нему; иные даже просили «похлопотать» въ Петербургѣ. Дали ему множество адресовъ, просили разыскать, купить, написать подробнѣе «обо всемъ». Михаилъ Ивановичъ охотно принималъ порученія, цѣловался съ остающимися имъ врагами и въ дѣтскомъ умиленіи говорилъ:

— Много терпѣлъ простой человѣкъ — пора

вдохнуть! Авось найдутся добрые люди, помогутъ намъ!..

Всѣ говорили, что найдутся, и вѣрили этому.

За день до отъѣзда, онъ совсѣмъ перебрался изъ Жолтикова въ кухню Черемухиныхъ и уже не злился въ это время на скучавшую Надю и на старуху Черемухину, потому что въ эти минуты былъ счастливѣе всѣхъ. Напротивъ, ему почему-то было немного даже жалко покинуть ихъ; да и имъ безъ него видимо было скучно, въ особенности Надѣ, которая въ эту минуту стала чувствовать къ Михаилу Ивановичу особенное расположеніе: безъ него оставались одни мертвецы кругомъ нея. Подъ влияніемъ этого расположенія къ Михаилу Ивановичу, Надя, ея мать и Софья Васильевна ссарижали его въ дорогу, какъ близкаго имъ родного. Ходили съ нимъ въ ряды покупать галстухъ, манишку, каковыя вещи, по мнѣнію Михаила Ивановича, весьма необходимы въ разговорахъ съ петербургскими людьми; набили ему дѣсти папирсъ изъ табаку въ гривенникъ, ибо Михаилъ Ивановичъ не рѣшался тратить на пустяки много, когда нужны деньги на хлопоты объ участіи простого человѣка. Въ свою очередь, и Михаилъ Ивановичъ взялся сдѣлать для Черемухиныхъ доброе дѣло: сынъ Черемухиной Василий, тотъ самый, который лаялъ къ Михаилу Ивановичу на печку слушать сказки, пять лѣтъ почти безъ вѣсти пропадалъ въ Петербургѣ. Гдѣ онъ и что съ нимъ—мать рѣшительно не знала; послѣдніе два года онъ не писалъ ни строки; слышно было, что вышелъ изъ университета, не кончивъ курса; но живъ ли теперь или умеръ—Богъ знаетъ. Михаилъ Ивановичъ весьма былъ радъ взяться за это порученіе; кромѣ фантастическаго Максима Петровича, у него въ Петербургѣ не было никого, а Василий Андреевичъ, братъ Нади, долженъ помнить его болѣе, нежели Максимъ Петровичъ, потому что онъ не одинъ десятокъ сказокъ рассказывалъ ему въ дѣтствѣ.

— А не забыли, скажу, какъ вы ко мнѣ на печку бѣгали? а?... фантазировалъ Михаилъ Ивановичъ.—Да, помнить! Какъ забыть!.. А Максиму Петровичу—прямо въ ноги... Земной поклонъ! Передъ Богомъ! «Какъ ты, скажешь, смѣлъ купецкія краденныя деньги на дорогу брать?» — «Голубчикъ! Максимъ Петровичъ! ужъ неужто-жъ такъ имѣ, купцамъ-то, и оставлять всѣ деньги-то?.. Довольно они денегъ-то нашихъ положили въ карманъ. Дай я намъ грошикъ!..» Эхъ, и человѣкъ же!

Минуты всеобщаго расположенія охмелили Михаила Ивановича до того, что онъ въ послѣдніе дни былъ постоянно немощно навеселѣнъ, ибо на радостяхъ рѣшался пропивать въ день по двугривенному, по пятиалтынному. Въ такомъ радостномъ настроеніи онъ лѣзъ цѣловать ручки у Нади, у Черемухиной, у Софьи Васильевны; попилъ-погулялъ съ мастеровымъ Ваней и его женой Оленюшкой; пѣсенъ попѣлъ съ ними, пошатался ночью по улицамъ съ мастеровымъ народомъ и гармоніей, и даже вызывалъ поползновенія насчетъ женскаго пола, оставившись на улицѣ противъ прохожей дѣвушки съ такими словами:

— Дать тебѣ дорогу, красавица, али нѣтъ?..

сказалъ онъ, снявъ картузъ, и прибавилъ:—проходи, милая, никто не посмѣетъ... Богъ съ тобой!..

Среди этого гулянья онъ не упускалъ случая разъ-другой заглянуть на чугунку и разспросить: «не ушла-ли?» Успокоенный отвѣтомъ: «нѣтъ еще», шелъ проститься со старымъ знакомымъ, въ кабачекъ, къ Трифонову, гдѣ на прощаньи весьма основательно обругалъ Павла Иваныча, за что заслужилъ всеобщее одобреніе. Наконецъ въ одно утро, ужъ не рабочіе, а сторожъ при желѣзной дорогѣ, одѣтый какъ картинка, объявилъ, что сегодня въ седьмомъ часу вечера будетъ изъ О. первый поѣздъ въ Москву...

— Вре..? пролепеталъ Михаилъ Иванычъ, обрадованный до испуга, и долгое время стоялъ молча съ разинутымъ ртомъ, чувствуя, что какъ будто-бы все тѣло его превратилось въ одно сердце, бьющееся отъ великаго счастья, и побѣждалъ къ Черемухиннымъ.

— Облажено! пробормоталъ онъ и сталъ сію же минуту собираться въ дорогу.

Надѣ вдругъ стало страшно тяжело отъ этого слова «облажено», отъ этого счастья улѣтѣть изъ разореннаго омута, осязѣть свою разоренную, безплодно тоскующую голову.

Не для одного Михаила Иваныча и Черемухинныхъ этотъ день былъ чѣмъ-то особеннымъ, не будничнымъ, когда люди умираютъ отъ скуки, и не праздничнымъ, когда люди могутъ пить, спать до обморока и смотреть фейерверкъ въ присутствіи господина начальника губерніи. Въ нашу глушь, въ нашу скуку, беззащитную, брошенную жизнь пришло что-то совсѣмъ новое, сулящее лучшее будущее и еще не измѣнившее нашей тоски, нашего гореванья ни на волосъ. Не одинъ Михаилъ Иванычъ ни свѣтъ-ни зоря суетился и торопился на машинку: весь городъ былъ какъ-то наэлектризованъ этой новостью, такъ-что, когда часовъ въ шесть Михаилъ Иванычъ, сопровождаемый Надей и Софьей Васильевной, пришелъ въ вокзалъ, здѣсь уже были толпы народа. Все это двигалось, было весело, собиралось ухвѣтаться, улѣтѣть; ни одной заспанной щеки, ни однихъ глазъ, заплывшихъ отъ одури, нельзя было встрѣтить среди толпы, бродившей по широкимъ комнатамъ вокзала. Вся эта суета, пробужденіе чѣмъ-то горькимъ отзывалось въ сердцѣ Нади; а Михаилъ Иванычъ, въ жизни котораго событія слѣдовали въ послѣднее время съ такой быстротой, почувствовалъ нѣкоторый страхъ, вслѣдствіе чего, попросивъ барышень поглядѣть за узелкомъ, скрылся на-время неизвѣстно куда, а возвратившись чрезъ нѣсколько минутъ, имѣлъ лицо весьма радостное.

— То-есть, вотъ какъ обладимъ дѣла... сказалъ онъ Надѣ, тряхнувъ кулакомъ.

— Вы водки напились? вмѣсто отвѣта сказала та.

— Да, голубчики! снимая картузъ, залепеталъ Михаилъ Иванычъ:—милые!.. Да какъ мнѣ не выпить?.. Ангелочки вы мои...

И принялся цѣловать у «барышень» руки, что хотя и было не особенно замѣтно среди толпы, од-

нако заставило Надю и Софью Васильевну уйти впередъ, на платформу.

Скоро Михаилъ Иванычъ разыскалъ ихъ и здѣсь. Но отъ изліяній воздерживался, ибо всеобщее вниманіе было обращено на лѣсъ, изъ котораго съ минуты на минуту долженъ былъ выпорхнуть первый поѣздъ. Въ ожиданіи его шли разговоры. Благородные толковали о томъ, что теперь представляется удобный случай ѣздить въ Москву, въ театръ. «Утромъ выѣхалъ, къ обѣду тамъ; умылся, одѣлся и маршъ, а къ утру опять дома»:—«Великолѣпно!» Другіе, изъ числа тоже «благородныхъ», смотрѣвшіе на это дѣло глубже, разсуждали о подвозѣ, о расширеніи. Простой народъ, не имѣвшій возможности понять, что оный подвозъ и оное расширеніе могутъ образоваться изъ ихъ дырявыхъ лаптей, трактовалъ о чугункѣ кое-что совершенно случайное.

Разговоры публики были прерваны необыкновенно громкимъ крикомъ какого-то сильнѣйшаго горла, раздавшимся откуда-то сверху:

— О-на-а! бра-а-тцы!

Все зашумѣло, шатнулось и какъ-бы въ какомъ страхѣ замолкло.

Изъ глубины просѣки темнаго лѣса выглянули два красные глаза; донесся жиденькій свистокъ. Это былъ первый поѣздъ.

— Вотъ она-матушка! шепталъ замлѣвшій Михаилъ Ивановичъ въ то время, когда среди всеобщаго молчанія поѣздъ все ближе и ближе подходилъ къ платформѣ.

— Ахъ! голубчики мои милые! слышалось то тамъ, то здѣсь.

Поѣздъ пришелъ и остановился. Молчаніе смѣнилось еще болѣе оживленнымъ движеніемъ.

Говоръ. Шумъ. Смѣхъ.

Михаилъ Иванычъ чуть не плакалъ отъ радости и безпрепятственно цѣловалъ ручки своихъ спутницъ, которыя были совершенно подавлены всѣмъ, что видѣли.

— Дай Богъ вамъ за вашу доброту! Надежда Андреевна! Софья Васильевна! бормоталъ Михаилъ Ивановичъ.

— Отыщите брата! Пожалуйста! просила его Надя.

— Подъ землей выростъ-съ! На нихъ надежда! Для васъ... для маменьки вашей... То есть, Господи, Боже мой!

И снова начиналось цѣлованіе рукъ, даже кофты, въ которую была одѣта Надя. Долго на спинѣ Михаила Иваныча плесалъ узелъ съ пожитками отъ поклоновъ и намѣреній стать на колѣни.

Звонокъ прервалъ эти изліянія.

— Дай вамъ Богъ! крикнулъ Михаилъ Иванычъ, махнувъ картузомъ, и скрылся въ толпѣ.

Затертая толпой, Надя и Софья Васильевна не видали, какъ Михаилъ Ивановичъ, высунувъ голову въ вагонное окно, искалъ ихъ глазами, чтобы еще разъ сказать: «дай Богъ вамъ!»

Онъ слышали, какъ застучали колеса поѣзда, раздались свистки; видѣли, какъ повисли надъ платформой и вокзаломъ черные клубы дыма; видѣли,

жизнь. Мѣсяцъ ярко освѣщалъ и площадь, и соборъ, и мужика. Уткинъ шелъ тихо, считалъ часы, которые съ перебивками били на колокольномъ, и молчалъ. И тамъ молчали. Только Павелъ Ивановичъ, спотыкаясь о камни и стучая о нихъ палкой, не сдерживалъ уже своего брюзжанія.

— Вѣдь этакъ торчать... Наконецъ вѣдь это... Надо же когда-нибудь домой? Не до бѣла же свѣта?

— Вѣдь домой идемъ! говорила Софья Васильевна. — Ну, что-жъ тутъ бормотать-то?

— Да то и бормотать, что дурно. Бормотать!..

— Что-жъ тутъ дурного? говорила Надя.

— То дурное-съ, что... нехорошо! Дурно, больше ничего! Дурное! дурное, дурное, а-а... въ чемъ дѣло? Наконецъ опалѣешь!

Въ такихъ разговорахъ они наконецъ достигли переулка и воротъ дома Павла Ивановича.

— Съ нами, голубчикъ! не пуская Надиной руки, умоляла Софья Васильевна. — Ночевать!

Но какая-то жажда одиночества, овладѣвшая Надей, на этотъ разъ рѣшительно побѣдила жалость къ ней. Надѣ захотѣлось быть дома одной, не говорить ни съ кѣмъ, никого не слышать.

— Нѣтъ, милая, я домой! сказала она, вытаскивая руку.

Напрасно Софья Васильевна упрашивала ее остаться—Надя попросила кухарку проводить ее домой и ушла.

— Умру-у!.. слышался Уткину, повернувшему за уголъ, голосъ Софьи Васильевны. — Пожалуйста! Завтра! Ра-ади Бо-ога!..

— Ну, что же? Идти—такъ иди! Не до свѣту же тутъ толкаться, проговорилъ Павелъ Ивановичъ, оставшись съ женой у воротъ, по уходѣ Нади.

— Иди ты, пожалуйста! съ меньшимъ раздраженіемъ отвѣтила Софья Васильевна, быстро ушла въ калитку и побѣжала вдоль темныхъ сѣней. Тьма, духота и гниль, охватившая Софью Васильевну, едва вступила она въ первую комнату, и отсутствіе Нади сразу подняло ее тоску до высшей степени. Захотѣлось сейчасъ же уйти отсюда, и она бросилась къ окну, не обращая вниманія на то, что рывавъ ее платья зацѣпилъ какой-то горшокъ или миску, стоявшій на накрытомъ для ужина столѣ, и опрокинулъ все это на полъ.

— Это что такое? воскликнулъ Павелъ Ивановичъ со двора, слышавъ грохотъ падающей вещи. — Это еще что такое? продолжалъ онъ, прибѣжавъ въ комнату, гдѣ у окна стояла Софья Васильевна и старалась отворить плотно затворенную раму.

— Это что такое? Что такое грохнулось?..

Рама распахнулась съ шумомъ и трескомъ.

— Надя-а! Надя! звала Софья Васильевна.

— То-есть, я говорю, тутъ самъ чортъ не сживетъ! проговорилъ въ величайшемъ гнѣвѣ Павелъ Ивановичъ. — Тьфу ты... Боже мой!.. Ну, что ты зѣваешь на всю улицу?..

Софья Васильевна безотвѣтной тишиной переулка убѣдилась, что Надя далеко, и, не раздѣваясь, какъ была, сѣла, почти упала на стулъ у подоконника, положивъ на него свою голову.

— Ну, какая тамъ «Надя! Надя-Надя»... Опро-

кинула что-то!.. Что такое опрокинулось? бормоталъ Павелъ Ивановичъ, ощупью направляясь къ столу, на которомъ обыкновенно помѣщался ужинъ, и что-то искалъ руками.

— Ну вотъ! бормоталъ онъ. — Такъ и есть!.. И соль! Э-эхъ ма! Ужъ, неужели... неужели ужъ нѣтъ!.. Такъ и есть!.. Протекло!.. Эхъ, ма-а!.. «Надя-Надя!..»

Руки его въ это время шлепали по скатерти, по полу, по лужѣ пролитыхъ щей, и потоки гнѣва увеличивались съ каждой минутой. Когда же, поднимаясь съ полу, Павелъ Ивановичъ самъ опрокинулъ что-то со стола, гнѣвъ его дошелъ до высшей степени и заставилъ его убѣжать въ другую комнату.

— «Надя, Надя!» А что такое? Съ этими «Надями», прости Господи... Тьфу!.. Алъ, а не домъ! слышалось въ спальнѣ въ то время, когда Павелъ Ивановичъ срывалъ съ себя сюртукъ и жилетъ. — Посуда не посуда, брякъ о земь!.. Больше намъ заботъ нѣту... «Умру, умру!» А что такое—«умру!»? Позвольте узнать?.. Самъ чортъ кажется...

Громкія всхлипыванія, донесшіяся изъ комнаты, гдѣ была Софья Васильевна, прервали эти рѣчи. Павелъ Ивановичъ пріостановилъ свои ругательства, взглянулъ въ дверь и увидалъ, что жена его все лежитъ на подоконникѣ, и шляпа, надѣтая на ней, колышется и дрожитъ отчего-то. Софья Васильевна горько плакала.

Павелъ Ивановичъ поглядѣлъ на эту картину, сдѣлавъ шагъ впередъ, попробовалъ было издали утѣшить жену, сказавъ: «эка важность, только пролилось...» Но видя, что это не помогаетъ, подошелъ еще ближе и попробовалъ употребить болѣе сильныя утѣшенія...

— Ну, будетъ... Ну, брось, ну, поцѣлуй!.. Ну, сядь на колѣнки...

— Отстань ты, ради Бога! вся въ слезахъ едва проговорила Софья Васильевна и снова опустила голову.

Въ минуту-въ двѣ слезы ея перешли въ такія громкія, пугающія рыданія, что Павелъ Ивановичъ по мѣрѣ увеличенія ихъ, сначала разинулъ ротъ, потомъ подался къ двери и наконецъ во всю прѣть бросился на улицу.

Цѣль его была найти доктора; но, пробѣжавъ пустынный переулочекъ и пустынную улицу, онъ наткнулся у забора на Уткина, который, повернувъ за уголъ переулка, медленно плелся вдоль большой улицы, испытывая ту же самую гнетущую тоску, какой были подавлены и Софья Васильевна, одиноко рыдавшая въ пустой комнатѣ, и Надя, молча лежавшая лицомъ въ подушку среди мертвенной тишины родительскаго крова, и множество другого народа. Мы не будемъ распространяться о подробностяхъ того, какимъ образомъ Павелъ Ивановичъ Печкинъ возвратился домой въ сопровожденіи Уткина, хотя бѣжалъ за докторомъ. Достаточно будетъ только сказать объ этомъ «случаѣ» и перейти къ продолженію наблюденій Михаила Ивановича, такъ какъ только этими наблюденіями мы можемъ объяснить дальнѣйшую исторію Софьи Васильевны и Уткина и новый шагъ во взглядахъ и развитіи Нади.

XI. Счастливейшія минуты въ жизни Михаила Ивановича.

1.

Первый поѣздъ гремитъ по новымъ рельсамъ, оставляя за собой всеобщій испугъ простыхъ деревенскихъ людей и клубы дыма, который долго копошится среди придорожныхъ луговъ или комокъ застрѣваетъ въ густыхъ вѣтвяхъ лѣса.

Говоръ и шумъ наполняютъ вагонъ третьяго класса; но среди этого шума и говора самый крикливый голосъ, самая смѣлая рѣчь принадлежитъ Михаилу Ивановичу, который переживаетъ поистинѣ счастливейшія минуты. По мѣрѣ того какъ родной городъ остается все дальше и дальше, планы насчетъ Петербурга, насчетъ дѣла, которая должны быть сдѣланы въ немъ, получаютъ все большую прочность и широту, и заставляютъ Михаила Ивановича заламывать картузъ на ухо, подпирать рукою бокъ и раздумывать свои впады, худыя и черныя щеки посредствомъ буфетовъ, не забывая по минутно представлять права человѣка, который никого не грабилъ и не грабитъ.

Во всѣхъ проявленіяхъ Михаиломъ Ивановичемъ его правъ и надеждъ принималъ весьма ревностное участіе нѣкоторый сильно подгулявшій мужикъ, завербованный имъ въ поклонники чуть ли не съ первой станціи. Этотъ человѣкъ всегда выказывалъ полную охоту заорать на весь вагонъ о справедливости того, что говорить Михаилъ Ивановичъ.

— Ай намъ на пятачекъ-то выпить нельзя? обращается къ нему Михаилъ Ивановичъ, когда поѣздъ подходитъ къ станціи.—Василей! Нешто не разрѣшаютъ намъ, мужикамъ, этого? а? Вася?.. А не будетъ ли мужикъ-то почище?..

— Почище, братъ! вѣваетъ поклонникъ.—Почище!

— А? Вася? продолжаетъ Михаилъ Ивановичъ, объявившій съ мужикомъ и подходя къ буфету:—дозволяютъ мужикамъ буфету? Какъ ты думаешь? за свои, примѣрно, деньги, примѣрно, ежели бутерброту мужикамъ бы? а?

— Бутерброту! грозно восклицаетъ мужикъ, взымаясь въ толпу у буфета, но, увидавъ господъ, пугается, снимаетъ шапку и бурчитъ:

— Дозвольте бутерброту, васкброть!..

Михаилъ Ивановичъ обиженъ такимъ поступкомъ мужика и долго ругаетъ его за малодушіе.

— За свои деньги да оробѣлъ! укоризненно говорятъ онъ, отойдя отъ него въ сторону.—И дуракъ ты, сиводдай!..

— Голубчикъ! умиленно развѣвая лохматый ротъ, вынитаетъ мужикъ.—Милашка!..

— Ай, у нихъ деньги-то цѣннѣе нашихъ? Свиныя ты, сволочь!..

Мужикъ шатается и смотритъ въ землю, оставивъ безъ вниманія собственную бороду и усы, которые посятъ обильные слѣды позорно добытаго бутерброда. Онъ виноватъ и готовъ чѣмъ угодно искупить свою вину.

Случай къ такому испуленію представляются

часто, поминутно, ибо Михаилъ Ивановичъ тоже поминутно дѣлаетъ публичныя представленія своихъ плановъ или правъ, такъ какъ и къ этому тоже случаетъ довольно.

Какая-то барыня заняла два мѣста, вѣсть сладкій пирожокъ и презрительнымъ тономъ разсказываетъ сосѣду-барину о томъ, что она никогда не ѣздила въ третьемъ классѣ; что быть съ мужиками она не привыкла, потому что она выросла въ знатномъ семействѣ, за ней ухаживали генералы, у ней былъ очаровательный голосъ. Какъ она пѣла!..

Этого достаточно, чтобы провинившійся мужикъ понадобился Михаилу Ивановичу.

— Вася! Спой! Мужичкую...

— Спѣть, что ли?

— Громыхив, другъ! Вотъ, барыня тоже очень хорошо поетъ! Спой! Нашу! Чего?

— Нашу! Э-а-ахъ да-а...

Мужикъ развѣвалъ ротъ и горло во всю мочь.

— Кондукторъ! кондукторъ! кричатъ барыня и барыня.

— Кондукторъ? тоже вопіетъ Михаилъ Ивановичъ.—Пожалуйте! Разберите дѣло!..

— Что такое? спрашиваетъ прибѣжавшій кондукторъ.

— Помилуйте! Пьяный мужикъ кричитъ, Богъ знаетъ что! Силь нѣтъ!

— Онъ запѣлъ! вступается Михаилъ Ивановичъ.—Мы по своему, по мужичьи поемъ; ежели вамъ угодно, вы по господски спойте. Чего же-съ? Громыхните ваше пѣніе... а мы наше... Г-нъ кондукторъ! Такъ я говорю? Гдѣ объ ѡфтомъ вывѣшено, чтобы не пѣть мужикамъ?..

Кондукторъ рѣшаетъ дѣло въ пользу Михаила Ивановича, присовокупая, что въ правилахъ нѣтъ пункта, чтобы не пѣть, и предлагаетъ барынь перейти во второй классъ.

— Пожалуйте во второй классъ! прибавляетъ Михаилъ Ивановичъ отъ себя.—Пожалуйте!..

— Па-ажжалте!.. бурчатъ мужикъ.

— Тамъ вамъ не будетъ безпокойства... а тутъ мужики, дураки... Черезъ нихъ вы получаете вашъ вредъ. Потому мы горластые, ровно черти... Васъ! Громыхни-ко!..

— Э-о-а-а...

Хохотъ и гамъ на весь вагонъ.

— Что орешь, дуракъ! виѣшивается какая-то новая фигура, и тоже изъ мужиковъ.—Барыня сладкіе пирожки кушаетъ, а ты орешь?

— Сладкіе? перебиваетъ Михаилъ Ивановичъ.—Василій! Чувешь?.. Попробовать мужикамъ сладкаго! Али мы не люди?.. Почему намъ сахарнаго не отвѣдать? Пирожникъ!..

— Эй!.. Пирожникъ!.. вторитъ мужикъ.

— Давай мужикамъ сахарнаго на пятачекъ!.. Барыня! Почему платили?

— Кондукторъ! Кондукторъ!

— Кондукторъ! кричатъ Михаилъ Ивановичъ и мужикъ вмѣстѣ.—Къ разбору пожалуйте!

Является кондукторъ, узнаетъ, въ чемъ дѣло,—и Михаилъ Ивановичъ снова правъ, ибо нигдѣ «не вывѣшено объявленія на счетъ того, чтобы не спра-

пивать — почему пирожки». Многочисленность и быстрота побѣд до такой степени переполняют гордостью душу Михаила Ивановича, что унять его отъ непрерывныхъ предъявленій правъ рѣшительно нѣтъ никакой возможности.

— Позвольте васъ просить! спрашиваетъ его наконецъ кондукторъ. — Сдѣлайте одолженіе, прекратите цѣпніе!

— Не вывѣшшен!.. начинаетъ дебоширничать мужикъ; но Михаилъ Ивановичъ немедленно зажимаетъ ему ротъ рукою и говоритъ:

— Цыц! Васкя! Ни-ни-ни!.. коли честно, благородно, — извольте! Ма-лчи!.. «Сдѣлайте одолженіе», «будьте такъ добры», это другое дѣло!.. Это, братъ, другого калибру!.. Извольте, съ охотой!..

И у буфета слѣдующей станціи можно снова видѣть фигуру мужика и Михаила Ивановича.

— Вася! Милый! говоритъ Михаилъ Ивановичъ, стараясь глядѣть прямо въ осовѣлые отъ волки глаза мужика. — Чувалъ что ли?.. «Вы...» «сдѣлайте милость», ну, не по скулъ же!.. Повиннай-ко-сь!..

— Гол-дубчикъ! започеть мужикъ, обвиняя Михаила Ивановича за шею и хорона на его груди безильную, хмельную голову...

2.

Такъ Михаилъ Ивановичъ проводить время въ дорогѣ, и мы не будемъ утомлять вниманіе читателя подробнымъ изображеніемъ его путешествія до Петербурга, такъ какъ, помимо вышеприведенныхъ сценъ, повторявшихся почти на каждой станціи, съ нимъ не произошло ничего существенно новаго и любопытнаго. Пріятное расположеніе духа продолжалось у него всю дорогу, несмотря на то, что мужикъ, его компаніонъ и поклонникъ, на одной изъ подмосковныхъ станцій поклянувшись поѣзду, причемъ борода его, усѣянная кусками сахарныхъ пирожковъ и буттербродовъ, долгое время, въ виду всѣхъ пассажировъ, находилась въ разсвирѣпѣвшихъ рукахъ разозленной жены, встрѣтившей его на платформѣ. Исчезновеніе такого соратника не уменьшило торжества Михаила Ивановича и не дѣлало его одинокимъ, такъ какъ каждую минуту на мѣсто его могло выступить вдвое большее число соратниковъ изъ той же простонародной публики. Помимо всего этого, не было также недостатка и въ возможности предъявить эти права. Поминутно Михаилу Ивановичу говорили: «позвольте пройти», «прошу васъ», «позвольте закурить», «извините». Эти и другія выраженія заставили его считать себя не завалищей трапкой, не собакой, а дѣйствительно настоящимъ человѣкомъ, котораго не быть по скулъ. Эти случаи поглощали все вниманіе Михаила Ивановича во время дороги, такъ что новизна городовъ, черезъ которые онъ проѣзжалъ, не оставила въ немъ особенно обильныхъ впечатлѣній. Шумная и разнообразная картина Москвы дала ему только возможность замѣтить, что здѣсь все на французскій ладъ. Попросилъ онъ квасу на копѣйку, его тотчасъ же спросили: «вамъ французскаго?» Шелъ мясными радами и на вывѣскѣ увидѣлъ золотыхъ поросать

съ золотою надписью внизу, тоже по-французски, какъ объ этомъ объявилъ ему мясникъ, стоявшій на тротуарѣ въ окровавленномъ фартукѣ и пѣвшій басомъ: «благочестивное и мирное житіе». И болѣе не было никакихъ наблюденій насчетъ Москвы, ибо, во-первыхъ, извозчики называли Михаила Ивановича «ваше сіятельство», а во-вторыхъ — московскій будочникъ, съ револьверомъ и громадными усами, смутившими-было робкаго Михаила Ивановича, сказалъ ему весьма любезно:

— Вы чего пугаетесь? Вы насъ не опасайтесь... подойдите! Мы бросаемъ по нонѣшнему времени эту мочу, чтобы cadaго человѣка облапить, напирмѣрь, съ затылка и въ часть!.. Кто насъ угощаетъ, тому мы не препатствуемъ!

Всего этого было слишкомъ много для запуганной души простаго человѣка, и одного этого случая уже достаточно для того, чтобы не любоваться Кремлемъ, Иваномъ Великимъ, Царемъ-Пушкой, а прямо пойти въ кабакъ и выпить въ пріятной компаніи веселыхъ друзей.

Видъ Петербурга, къ которому обыкновенно поѣздъ подходитъ долго и тихо, громадная цѣпями и колесами на безпрестанныхъ переводахъ рельсъ, нѣсколько смутилъ-было бодрый духъ Михаила Ивановича. Дивныя казармы съ тысячами оконъ, безконечныя кладбища, громадныя голыя стѣны домовъ съ бѣлыми траурными полосами на мѣстахъ печныхъ трубъ, — все это было такъ велико, незнакомо и грозно, что сердце его стало какъ-то тревожно биться и замирать, особливо когда поѣздъ сталъ входить въ темную арку дебаркадера, весьма похожую на разинутую страшную пасть, глотающую вагоны словно куски, фаршированные людьми, и отправляющую ихъ въ такой бездонный желудокъ, каковъ Петербургъ. Наконецъ самая близость этого Петербурга, всасущаго къ себѣ такое множество настрадавшагося въ провинціальной глуши народа, того самаго Петербурга, о которомъ грезятъ тысячи захолустій какъ о чемъ-то веземомъ, и который теперь въ двухъ шагахъ, и тревожный, непонятный простому человѣку шумъ котораго уже доносится въ вагонныя окна, — все это испугало Михаила Ивановича, заставило похолодѣть и отрезвило.

Но если мы черезъ полчаса послѣ прихода поѣзда отправимся въ одну изъ множества харчевенъ, усѣвающихся собою берегъ узкой и грязной Лиговки, то мы будемъ имѣть случай снова видѣть Михаила Ивановича въ его прежнемъ и даже еще болѣе пріятномъ расположеніи духа.

— Намъ это дорого! говоритъ онъ, ударяя себя кулакомъ въ грудь, и тотчасъ же выпиваетъ залпомъ стаканъ пива, который наливаютъ ему петербургскій джентльменъ-городовой. — Благодаримъ васъ — вотъ какъ! — что вы не обидѣли насъ, простыхъ людей! Ну, толкони я ежли бы въ нашихъ, въ подлыхъ мѣстахъ кого-нибудь этакъ-то узелкомъ-то?.. продолжаетъ Михаилъ Ивановичъ, поднимая съ полу свой крошечный узелокъ и, швырнувъ его, вопіетъ: — вѣдь замучили бы! «Мужикъ! какъ смѣешь...»

— Нѣтъ, у насъ слободно! говоритъ городовой,

наливая пива и себя. — У насъ это можно... съ вѣжливостью ежели... Потому у насъ порядокъ.

— Замучили-бы-ы! Милый человѣкъ! Позвольте вамъ сказать, почему намъ дорого! Потому, что мы въ нашихъ мѣстахъ совершенно измучены разною безтолочью... Потому мученіе! Да какъ же-съ?.. Помилюте!.. Почему я не покорствовалъ?

— Само собой, говорилъ городской. — Потому глупость въ провинціи большая... Въ офтохъ слушаѣ. Ну, въ нашей сторонѣ мы дозволяемъ человѣку... Съ чего же?.. Ну, чтобы по распредѣленію выходило—только всего... У насъ все распредѣлено: ежели васъ въ одномъ мѣстѣ повреждаютъ, то въ другомъ вамъ дѣлаютъ починку; выхватили вамъ руку на Невскомъ, а лечить повезутъ на Обуховъ припектъ. Распорядокъ повсемѣстно... Выздоровѣлъ, иди опять на Невскій, запрету не будетъ... Хочешь—иди въ кабакъ. Только чтобы съ вѣжливостью... Вотъ!

Такія поощренія со стороны городского, въ лицѣ котораго простосердечный Михаилъ Ивановичъ видѣлъ представителя самаго Петербурга, помимо того, что заставили его поставить въ видѣ угощенія Петербургу дюжину пива, развязали языкъ его до самыхъ жаркихъ изліаній жизни простого человѣка, до самаго подробнѣйшаго изложенія всѣхъ причинъ непокорства и всѣхъ плановъ насчетъ хлопотъ, при содѣйствіи Василя Андренча и Максима Петровича, словомъ—до того, что самъ городской потребовалъ новую дюжину пива уже на свой счетъ и вмѣстѣ съ тѣмъ предложилъ Михаилу Ивановичу самую вѣрную и прочную дружбу.

При содѣйствіи новаго друга, Михаилъ Ивановичъ въ тотъ же вечеръ, вмѣстѣ со своимъ узелкомъ, былъ помѣщенъ въ одномъ изъ громадныхъ домовъ Ямской, населенныхъ столичнымъ сбродомъ; какъ друга, его помѣстили гдѣ-то въ хозяйской кухнѣ, за ширмами, просили внимательно заботиться объ немъ и оказывать всякое почтеніе, ибо этотъ человѣкъ «для насъ дорогъ», какъ объяснилъ городской хозяйкѣ.

И Михаилъ Ивановичъ, сморенный и обезсиленный дорогой, пивомъ и рядомъ радостныхъ триумфовъ, глубокимъ сномъ заснулъ въ душевной и жаркой кухнѣ, не слыша, что кругомъ его за тонкими перегородками шумятъ и ругаются пьяные люди, звенятъ деньги среди игроковъ въ трывку, покоятъ пьяныя женщины, и не предчувствуя, что этимъ глубокимъ сномъ оканчиваются всѣ его триумфы и побѣды, все его счастье и вся его гордость.

Х. Человѣкъ, на котораго нельзя положиться. — Разсказъ Черемухина.

1.

Причина такого быстраго окончанія радостей Михаила Ивановича заключалась въ томъ весьма неосновательномъ убѣжденіи, что, отдѣлавшись отъ разоренныхъ и умирающихъ стариковъ, онъ уже не встрѣтитъ разоренія въ ихъ дѣтахъ; но неоснова-

тельность этой увѣренности обнаружилась тотчасъ же, какъ только Михаилъ Ивановичъ разыскалъ брата Нади—Василя Андренча. Въ этомъ розыскѣ ему особенно много помогъ новый другъ—городовой, который, какъ оказалось, весьма коротко зналъ фамилію и мѣстожителство Черемухина, ибо неоднократно носилъ къ нему повѣстки «пожаловать къ мировому». Последнее обстоятельство впрочемъ еще не особенно смутило Михаила Ивановича, находившагося все-таки въ самомъ пріятномъ расположеніи духа. Не смутило его также и то, что Черемухинъ жилъ въ какомъ-то захолустномъ переулкѣ, близъ Николаевской дороги, въ одномъ изъ громаднѣйшихъ, набитыхъ всякою нищетою домовъ. Поднимаясь по грязнымъ лѣстницамъ этого дома, съ грязными, оборванными толпами дѣтей, пробираясь по темнымъ корридорамъ, переполненнымъ густымъ, удушливымъ цыкорнымъ дымомъ, Михаилъ Ивановичъ чувствовалъ, что Черемухинъ живетъ въ большой бѣдности; но шелъ къ нему, испытывая то веселое ощущеніе, которое испытываетъ человѣкъ, пріготовляясь встрѣтить знакомаго, знавшаго его когда-то нищимъ и покинутымъ.

Василій Андренчъ дѣйствительно жилъ въ большой бѣдности и по видимому въ полномъ одиночествѣ. О последнемъ можно было заключить по тому испугу, который выразился на его худомъ, зеленомъ лицѣ при появленіи Михаила Ивановича, и по той необыкновенной радости, которая озарила это лицо и оживила всю его фигуру, когда онъ узналъ гостя. Встрѣча ихъ была исполнена непритворной и глубокой радости, и въ тотъ же день узелокъ Михаила Ивановича былъ перенесенъ въ каморку Черемухина. Здѣсь въ теченіе нѣсколькихъ дней непрестанно пилось пиво, шли разсказы о прошломъ, о будущемъ, высказывались обоюдно самыя энергическія мѣры въ дѣлѣ Михаила Ивановича, желавшаго, чтобы простому человѣку было лучше, и проч. Среди этихъ разговоровъ человѣческому достоинству и самолюбію Михаила Ивановича было много самой роскошной, самой небывалой пищи. Оказывалось напримѣръ, что Василій Андренчъ не только не забылъ его, но, напротивъ, съ особенною ясностью помнитъ всѣ самыя ничтожныя сказки и прибаутки, которыя когда-то Михаилъ Ивановичъ разсказывалъ ему на печи. Оказывалось, по словамъ Черемухина, что такую же и едва-ли не большую, чѣмъ его, радость будетъ испытывать и Максимъ Петровичъ, когда Михаилъ Ивановичъ его отыщетъ и придетъ къ нему, и наконецъ Черемухинъ далъ самое искреннее обѣщаніе разыскать этого Максима Петровича, о которомъ онъ слышалъ много хорошаго, но котораго не видалъ уже два года. Последнее обстоятельство было особенно пріятно Михаилу Ивановичу, ибо всѣ разспросы его по этому предмету у друга-городового были совершенно безуспѣшны. Другъ-городовой увѣрялъ Михаила Ивановича честию, что хоть и знаетъ фамилію Максима Петровича, ибо одно время стоялъ на Выборгской сторонѣ, но что въ настоящее время его положительнѣйшимъ образомъ въ Петербургѣ нѣтъ.

Недѣли полторы или около двухъ между Ми-

ханломъ Иванычемъ и Черемухинымъ царствовала полнѣйшая дружба и неподдѣльнѣйшая любовь.

Это были самыя свѣтлыя, благородныя минуты въ ихъ жизни. Но мало-по-малу эти свѣтлыя ощущенія начали помрачаться чѣмъ-то новымъ и не особенно пріятнымъ. Не смотря на обѣщанія начать дѣло и хлопоты въ самомъ скоромъ времени, дѣла и хлопоты однако же никакихъ не было. Большею частью Михаилъ Ивановичъ сталъ оставаться въ номерѣ одинъ, такъ какъ Черемухинъ сталъ надѣвать его пальто и уходить со двора на цѣлые дни. Возвращался онъ обыкновенно подъ хмелькомъ, принимался цѣловать Михаила Ивановича и снова неподдѣльною искренностью своихъ сочувственныхъ разговоровъ доводилъ его до восторга. Но дни шли, бездѣйствіе тянулось, и Михаилъ Ивановичъ, оставаясь по цѣлымъ днямъ среди незнакомаго населенія мебелированныхъ комнатъ, сталъ грустить, ибо все это населеніе, болное, бѣдное и злое, отзывалось о Черемухинѣ весьма неодобрительно; не было, правда, человѣка, который бы не спорилъ про него, что онъ добръ, но всякій зато могъ сказать два-три факта не въ пользу его. Оказывалось, что этотъ человѣкъ ничего не дѣлаетъ, долговъ не платитъ, и если получить иной разъ откуда-нибудь деньги, то норовитъ прогулять ихъ, а не отдать. Такъ говорило бѣдное населеніе, у котораго копѣйка стояла на первомъ планѣ. Но какъ-бы односторонни на были эти сужденія, Михаилъ Ивановичъ могъ убѣдиться, что это человѣкъ несостоятельный, человѣкъ, на котораго нельзя положиться, что это какой-то добрый обманщикъ! Нехорошія ощущенія врываются въ сердце вдругъ и въ одну секунду истребляютъ въ немъ все, что сдѣлала самая продолжительная радость. Съ Михаиломъ Иванычемъ было то же: наслушавшись этихъ сужденій, онъ пересчиталъ деньги, и оказалось, что большая часть ихъ ушла на Василия Андренча, на выкупъ его сюртука, на пиво, которое тотъ поглощалъ, ради встрѣчи, въ весьма значительномъ количествѣ. Михаилъ Ивановичъ задумался и затосковалъ...

Первая натура Черемухина въ ту же минуту почувствовала это и тоже сразу затуманилась. Отношенія ихъ быстро измѣнились. Оба стали чувствовать себя не ладно, напряженно... Новые факты, новыя посѣщенія какихъ-то людей, спрашивавшихъ разсерженными голосами: «дома ли Черемухинъ?», наполнили разстройство. Михаилъ Ивановичъ сталъ злиться; ему хотѣлось напомнить Черемухину насчетъ денегъ прямо, но онъ не могъ и только косился на него. Черемухинъ былъ видимо подавленъ этимъ, грустилъ и пилъ.

Еще день, и насталъ полный разладъ. Нужно было кончить, разъяснить, разойтись...

И это случилось въ одинъ изъ тѣхъ мокрыхъ, вѣтряныхъ дней, когда все населеніе столицы, едва открывъ глаза, начинаетъ хворать и злиться. Въ бѣдномъ и дѣйствительно болномъ углу, гдѣ жили Михаилъ Ивановичъ и Черемухинъ, почти до разсвѣта начались перебранки, рычанья друга на друга, ссора. По мокрымъ и затоптаннымъ грязью лѣстницамъ ходили какія-то худыя, сердитыя фигуры, въ

рваныхъ халатахъ, держась рукою за ревущую и надрывающуюся отъ хрипоты и кашля грудь, и норовя спихнуть ногою попавшуюся на лѣстницѣ собаку, или вышвырнуть за окно кошку, отвратительно мяукающую на весь корридоръ, но швырнуть такъ, чтобы она въ дребезги разбилась о мостовую двора. Черемухинъ и Михаилъ Ивановичъ проснулись тоже не весело, такъ-какъ были разбужены солдатамъ-хозяиномъ, безцеремонно потребовавшимъ деньги и украшавшимъ свою грубую рѣчь выраженіями: «ваша братія» <...эдакъ только шеромыги...>, <...къ мировому> и пр. Черемухинъ почти сейчасъ же ушелъ со двора, не взглянувъ даже на Михаила Ивановича. Михаилъ Ивановичъ разозлился, тѣмъ болѣе, что деньги за квартиру были взяты уже у него Василиемъ Андренчемъ.

Затѣмъ полѣзли въ номеръ Черемухина разныхъ суровыхъ лицъ, въ мокрыхъ пальто, съ промоченными до невозможности сапогами, съ мокрыми, сломанными вѣтромъ зонтиками, и пр. Въ каждой чертѣ лица ихъ видѣлась тысяча смертей, посылаемыхъ отсутствующему Василию Андренчу, и, по крайней-мѣрѣ, такое-же количество ихъ вручалось Михаилу Ивановичу, со злостью отвѣчавшему: «нѣтъ дома...» Взаключеніе пришла какая-то женщина, лѣтъ сорока-пяти, весьма похожая на няньку, начала немедленно шумѣть и не ушла, а осталась ждать.

— Пять сутокъ просижу, а ужъ дождусь! говорила она, отирая мокрое лицо платкомъ, дрожащимъ въ сердитыхъ рукахъ. — Что эт-та такое? До куда будетъ? За свои деньги да ходишь? Братъ, такъ небось сами прибѣгутъ, а какъ отдавать, такъ...

— Затѣмъ даете! сурово сказалъ Михаилъ Ивановичъ, которому опротивѣло слушать эти ругательства.

— Да жалко его! Вотъ что! Мнѣ жалѣть-то некого, видишь вотъ! гнѣвно сказала баба, и потомъ, не переставая волноваться и не теряя самаго разсерженнаго выраженія лица, объяснила, что родныхъ никого у ней нѣтъ, что попробовала она разъ помочь молочному брату, но тотъ, вмѣсто благодарности, выгналъ ее въ шею изъ дому. Сама же она ни въ чемъ не нуждается, живетъ на хорошемъ мѣстѣ и скушаетъ безъ добраго дѣла.

— Тоже сердце, другъ ты мой! Ишь, овъ какой май! говорила она про Василия Андренча:—сколько времени мается! я еще когда его знаю, и все безъ помочи... И жалъ въдь!... Да ежели-бъ не безтолочь его, въдь онъ ничего человѣкъ, ужъ этого не скажи... Тутъ было дѣло: чиновникъ одинъ изъ лабарту поступилъ со мной не очень-то чтобы опратно. Василий-то Андренчъ только вотъ эдакъ строчку ему написалъ, тую жъ минуту на ребенка выдалъ... Въдь добрый! То-то, другъ!..

Женщина объяснила, что, ради своей жалости къ Черемухину, она давно помогала ему, разыскивая его по разнымъ трущобамъ, что нѣсколько разъ терпѣніе ея готово было лопнуть и что теперь наконецъ лопнуло совсѣмъ.

— Богъ съ нимъ!.. Пушай теперь какъ знаетъ!.. заключила она, и нѣсколько часовъ вкяду просидѣла, молча и сердито ожидая ненавистнаго чело-

вѣка. Михаилъ Ивановичъ не глядѣлъ на нее и злился. Неудачливый столичный день съ каждою минутою вырисовывался все отчетливѣе и отчетливѣе. Михаилу Ивановичу не дали обѣда, ибо опять-таки деньги не были заплачены Василиемъ Андреевымъ, хотя и ваяты. Въ такую-то самую злѣйшую минуту явился Черемухинъ—пьяный и грязный. Осаженный воплями бабы, онъ спьяну пробовалъ улыбнуться, но замѣтилъ, что лицо Михаила Ивановича побѣлѣло отъ этой выходки. словно грозовая туча, онъ потемнѣлъ и глубоко загрустилъ.

— Ну, будетъ! оставь, Авдотья! Ну, я виновать... говорилъ онъ, нагнувшись надъ столомъ.— Будетъ!.. Я все это кончу... Михаилъ Ивановичъ! Пошли-ко, братъ, за пивомъ... Намъ и съ тобой нужно переговорить... Одна бутылка не разорить—что тамъ! Все равно!.. Посылай!..

Баба притихла и съ испугомъ смотрѣла на Василия Андреева.

2.

Пиво стояло на столѣ: съ одного боку сидѣлъ Михаилъ Ивановичъ, не глядя на Черемухина; Василий Андреевъ, сидѣвшій по другую сторону стола, съ растегнутымъ воротомъ рубашки, безъ скрутки, тоже не обращался къ Михаилу Ивановичу, и, сосредоточивъ потупленные глаза съ наморщеннымъ лбомъ на пивномъ стаканѣ, говорилъ:

— Откровенно и по чистой совѣсти я долженъ признаться тебѣ, что никакихъ хлопотъ, никакихъ участій въ дѣлахъ твоихъ принять не могу! Сознаюсь тебѣ отъ чистаго сердца, какъ ни тяжело это. А дѣйствительно, братъ, это тяжело! Знаешь, что дѣло правое, выстраданное, вопіющее; знаешь, что за него надо умереть, истратить себя до послѣдней капли крови—и не мочь—это, братъ, ухъ какъ горько и ухъ какъ подло! Эти муки я испытываю давно, не въ одномъ только твоёмъ дѣлѣ; такихъ новыхъ, честныхъ дѣлъ кругомъ меня кипитъ въ настоящую минуту тьма! Пробовалъ я браться за нихъ, но нѣтъ! Два шага сдѣлалъ, и чую, что не подъ силу; честнѣй всего уйти назадъ... Да и диво ли, другъ ты мой? Всякое такое дѣло требуетъ самой полной, самой честной преданности ему, прямоты, правды... и все это у нашего брата въ такомъ крошечномъ количествѣ, все это чуть тлѣетъ, чуть даетъ ростокъ.

Василій Андреевъ поникъ головою надъ стаканомъ.

— И знаешь ли, продолжалъ онъ, взглянувъ на Михаила Ивановича:—отчего это тлѣетъ, а не горитъ полнымъ пламенемъ? Отчего все это можетъ быть уничтожено однимъ щелчкомъ, самымъ ничтожнымъ препятствіемъ?.. Да все оттого же, другъ мой, отчего и ты вотъ, простой человѣкъ—нищій, большой и голодный!.. Помнишь, сколько ты рассказывалъ мнѣ о прижимкѣ и произволѣ, отъ которыхъ одурѣлъ, очумѣлъ простой человѣкъ;—неужели ты думаешь, что для непростаго, для благороднаго—ну, хоть для такого, какъ я—этотъ произволъ прощать даромъ?.. Нѣтъ, братъ! Ты знаешь, въ какой семьѣ родился я. Люди жили припѣ-

ваючи, но среди этого житья ни мой отецъ, ни моя мать не могли ни однимъ словомъ, ни однимъ поступкомъ заронить въ мою душу первыя сѣмена того, чего теперь у меня такъ безконечно мало! Именно потому, что жили припѣваючи... Твой отецъ, общипанный купцомъ, ограбленный кабатчикомъ, возвратася домой, чтобы вмѣстѣ съ тобой глотать, какъ ты говоришь, собачью кость, ростила въ тебѣ эти добрыя сѣмена своимъ рассказомъ. Ты учился уважать трудъ, учился любить ограбленнаго отца, и—посмотри—сколько ты накопилъ въ своемъ сердцѣ и любви, и справедливой ненависти, и прочнаго убѣжденія! Все это—сокровища, все это нужно, все это дѣлаетъ жизнь человѣческую; наконецъ все это—и любовь, и твердость, и ненависть—нужно просто для человѣческой природы! Ты счастливъ: ты—настоящій человѣкъ... У меня, братъ, ничего этого не было!.. Отецъ мой, возвращаясь домой, за семейной бесѣдой не имѣлъ въ запасѣ ни одного слова, за которое я могъ бы его любить, жалѣть... Подумай-ко, чѣмъ онъ могъ подѣлиться со мною, что бы могло сдѣлать меня энергично-честнымъ? Напротивъ, если ты хорошенько подумаешь о томъ, что могли внушать мнѣ мои предки, мирно разговаривающіе о своихъ успѣхахъ въ области прижимки, или веселящіеся исключительно ради веселья,—ты долженъ удивиться, отчего я не вышелъ прямо разбойникомъ, которому ничего не значить задуть человѣка за грошъ, а состою только въ званіи негоднаго и слабого человѣка...

Черемухинъ быстро выпилъ стаканъ пива, какъ-то рванулъ всей пятерней свои и безъ того растрепанные волосы и сердатыми, пьяными глазами поглядѣлъ на Михаила Ивановича.

— Удивиться! повторилъ онъ и, помолчавъ, продолжалъ:—Въ жизни моей—къ счастью или несчастью—успѣхъ пути въ разбойники былъ ослабленъ, во-первыхъ, тѣмъ, что мои предки церемонились нѣсколько посвящать меня въ тайны своихъ правовъ, въ тайны того куска хлѣба, изъ котораго дѣлалась моя ненужная кровь... Они предпочитали молчать. Выходили поэтому самые настоящіе русскіе будни, половина которыхъ идетъ на сонъ, а другая—на просонки, толкованіе сновъ и ѣду... По крайней мѣрѣ я глубоко чувствую всю тяжесть этой чуши на своихъ плечахъ, едва ли не каждую минуту. Я не могу забыть этихъ томительныхъ зимнихъ вечеровъ съ мертвою тишиною, стуканьемъ маятника и отдаленнымъ храпомъ... Что значать эти безконечныя слезы, которыя я проливалъ среди мертвой тишины всеобщаго сна и которыхъ не могли унять никакія просьбы, обѣщанія, угрозы, на помощь которымъ такъ охотно приходили наши зимнія выюги, стучавшія непривязанной ставней и гудѣвшія въ трубы?.. Я чувствую, вижу, что этими слезами вся человѣческая природа моя протестовала противъ этой нечеловѣческой жизни, которая была кругомъ меня. Она, голодная, тянула меня, милый другъ, къ тебѣ въ кухню, на печку, слушать сказку, слышать рѣчь человѣческую! Я знаю множество русскихъ людей, которые, доживъ

до сдыхъ волосъ, не могутъ вспомнить ничего от-
раднаго, кромѣ какого-нибудь разсказа няньки —
ничего лучшаго не было во всю жизнь! Что это зна-
чить? Въ моей жизни было такъ мало этихъ случа-
евъ, что я до сей поры помню ихъ самымъ отчетли-
вымъ образомъ. Помню я, братъ, тебя и всѣ твои сказ-
ки про чорта, про кузнеца; но ты не любилъ меня,
пересталъ разсказывать ихъ, а меня перестали пу-
скасть къ тебѣ. Я плакалъ отъ этого вдвое сильнѣй;
но мнѣ купили дорогую, но бессмысленную игруш-
ку. Я взялъ взятку съ родителей, пересталъ пла-
кать, и доброе сѣмя, которое упало въ мое сердце
изъ твоихъ сказокъ, заглохло. Помню я также, ми-
лый мой, и солдата-сапожника, который жилъ у
насъ въ банѣ... Мнѣ было необыкновенно легко и
хорошо всякій разъ, когда онъ сажалъ меня на свои
колѣни, гладилъ по головѣ и разсказывалъ обо
всемъ, что меня интересовало: о пѣтухѣ, о кана-
рейкѣ, о собакѣ. Грудь у него была твердая, те-
плая и приятно грѣла мою спину. Руки были силь-
ныя и могли поднимать меня къ потолку, опускать
внизъ, такъ что, не ушибаясь, я могъ видѣть, что
дѣлается на полатахъ, въ печкѣ, на чердакѣ... Я
любилъ его. А когда этотъ силачъ и добрый ма-
лый пришелъ къ мнѣ съ заплаканными глазами
и объявилъ, что у него пропали двѣ пары казен-
ныхъ подошвъ и что за это его накажутъ, я
въ первый разъ заплакалъ почеловѣчески, въ пер-
вый разъ ощутилъ въ себѣ потребность заступиться
за челоѣка и выпросилъ у отца денегъ... И это
было недолго. Какъ теперь вижу: грязная улица,
среди нея рота солдатъ и въ числѣ ихъ Абрамъ.
Слезы градомъ льются изъ моихъ глазъ, потому что
Абрамъ не можетъ повернуть ко мнѣ лица, которое
закрито каской, ранцемъ и перерѣзано чешуйча-
тыми застѣжками по щекамъ. И опять я плакалъ.
На этотъ разъ душевное разстройство было сильнѣе,
потому что Абрамъ далъ мнѣ очень много. Но я это
замыли, употребивъ уже болѣе сильные средства:
меня увѣрили, что Абрамъ — воръ, въ доказы-
тельство чего приводились слезы кухарки, у которой, по
уходѣ его, не оказалось платка... и увѣрили. Я
пересталъ плакать, взялъ новую взятку — не помню
въ видѣ игрушки или сладкаго — и лучшее досто-
яніе сердца заглохло подъ грудою такого сора, какъ
напримѣръ уваженіе къ родительскому сну, про-
должающемуся пятнадцать часовъ... Кромѣ тебя и
Абрама, помню я еще кормилицу Алену, которую
я очень любилъ и для которой съ страшными сле-
зами вымаливалъ у родителей позволеніе пройтись
со мной и съ маленькимъ братомъ по полю, гдѣ
насъ обыкновенно встрѣчалъ какой-то молодой па-
рень, угощавшій меня пряниками съ золотомъ. Но
я ее прогнали... Въ этомъ нечеловѣческомъ мірѣ,
гдѣ никто никогда не любилъ, она вздумала любить
этого молодца; «поймали» ночью въ сѣняхъ и вы-
гнали на дождь и вѣтеръ... Вотъ, братъ, все! Кромѣ
тебя, Абрама и Алены, въ дѣтствѣ и дальнѣйшей
жизни моей никто не хотѣлъ, чтобы я былъ чело-
вѣкъ. И если въ моемъ нравственномъ фондѣ есть
какой-нибудь грошъ, если у меня наконецъ есть
силы узнать въ себѣ безсильнаго челоѣка, то этимъ

я обязанъ вамъ, никому больше!.. И кланяюсь тебѣ
до земли! вмѣсто твоихъ сказокъ, вмѣсто добрыхъ
рассказней Абрама, простыхъ ласкъ Алены и ея
молодца, заводилось въ моемъ сердцѣ гнѣздо апатіи
и пустоты... Средства у предковъ были къ этому
большія, прочныя и мало-по-малу сдѣлали свое
дѣло блистательно. Сердце мое стало похоже на
гладкую мелкую тарелку, на которой валялся одинъ
только грошъ, пожертвованный вами. Всякій, кому
угодно, могъ класть на эту тарелку все безпреко-
словно; успѣхъ былъ до того блистателенъ, что съ
годами грошъ этотъ началъ ржавѣть и зеленѣть.
Я подросъ; тарелка, за отсутствіемъ васъ, напол-
нялась щедрыми подаваніями окружающихъ, и я
принималъ все это съ полнымъ равнодушіемъ,
именно какъ тарелка, которой рѣшительно все
равно, лежить ли на ней апельсинъ или грошевая
колбаса. Само собою разумѣется, что въ школѣ я
былъ «лучшій»; кромѣ меня, была тамъ бездна та-
кихъ же. Начальство было довольно этимъ. Ему
стоило захотѣть, чтобы мы, ради его желанія, стали
наушниками, сплетниками другъ на друга, — мы
охотно исполняли это: въ пять минутъ насъ можно
было повернуть какъ угодно и покорять полъ
власть какой угодно чепухи. Правда, были между
нами товарищами честныя натуры; но съ ними
намъ было страшно. Честный челоѣкъ съ давнихъ
поръ былъ рекомендованъ намъ въ видѣ пьяницы,
вора, словомъ — въ видѣ пьянаго спартанскаго
илота; тотъ внушалъ отвращеніе къ пьянству, нашъ
честный челоѣкъ указывалъ путь къ мелко-
душію: онъ всегда былъ бѣденъ, нищъ, убогъ, гово-
рилъ странно, ругался; на него было страшно смо-
трѣть. «Дурные» товарищи само собою были зачат-
ками этихъ страшныхъ людей; «дурной» прибѣсть
тебя за то, что ты пожалуешься, тогда какъ, жалуюсь,
ты исполняешь свой долгъ, принимаешь на свою
тарелку подаваніе; урокъ онъ никогда не знаетъ,
потому что играетъ въ бабки; наконецъ, на твоихъ
глазахъ, его родная мать со слезами проситъ на-
чальство высѣчь его, и ты по совѣсти не любишь
его, по совѣсти дѣлаешься безсовѣстнымъ. Едва-ли
не съ тѣмъ же успѣхомъ продолжалъ опустошеніе
моей души университетъ; но по крайней мѣрѣ тутъ
я вошелъ въ возрастъ... да! усы пошел!

Василій Андреевичъ помолчалъ и вздохнулъ.

— И потомъ пошла самая разнохарактерная
нравственная арлекинада (здѣсь онъ махнулъ ру-
кой)! За отсутствіемъ того настоящаго челоѣче-
скаго капитала, изъ котораго могли бы выйтъ че-
ловѣческіе интересы, я сталъ наполняться разномъ
дрянью... Въ этомъ отчасти помогала и литература.
Она потрафляла очень удачно испорченной обще-
ственной нравственности; она пихала въ ея нрав-
ственный желудокъ самую тонкую и разстроиваю-
щую его страпню. Но обществу приходилась эта
страпня по вкусу; оно брало оброки, взятки, ору-
довало откупамъ и разрабатывало ихъ. Правда,
были голоса призывающіе, но ихъ было не слышно;
по крайней мѣрѣ большинство, толпа, рать страны,
не была расположена и пожалуй иногда — не могла
ихъ понимать... и жилось хорошо, весело. Но мнѣ

не долго пришлось попить съ моими фондами, то есть съ пустотой. Быстро принеслось другое время—заговорили другіе люди. Разумѣется, они не пробрали-бы меня никогда, если-бы слова ихъ не начали осуществляться въ окружавшей меня массѣ. Тамъ и сямъ, въ толпѣ показались новыя лица. Почему-то вдругъ пришлось вспомнить про заржавленный грошъ, брошенный вами; но, Господи, какъ мало этого гроша было для того нравственнаго обихода, который потребовали новыя дни!.. Каждое дѣло, каждое намѣреніе этихъ дней требовало большого капитала, большой силы, а у меня былъ грошъ—страшно стало! Какъ я ни пробовалъ порыться въ тарелкѣ и поискать нѣтъ-ли гдѣ еще такого-же гроша—нѣтъ! Поминутно между разными тряпьемъ, гнильемъ, безсильемъ я находилъ плоское, ничего не сулившее дно!.. Попробовалъ притвориться, вздумалъ честно зарабатывать хлѣбъ—не могу! Лѣнь, скука, мало! Рвануись впередъ, за какими-нибудь такъ-называемымъ общимъ дѣломъ—на второмъ шагу начинаешь дѣйствовать вся эта нравственная арлекинада, всѣ сотни направлений; пожелаю подходить къ дѣлу по сорока-семи дорогамъ, осязаемый сорока- семью разнородными взглядами—и въ результатъ нуль, вредъ дѣлу. Чувствую, что «не за что» внутри меня держаться хорошему намѣренію, нѣтъ правды, нѣтъ любви, нѣтъ силы убѣжденія!..

Черемухинъ опустилъ голову и покачалъ ею.

— И тутъ я палъ, братецъ ты мой!.. Если-бы живъ былъ отецъ, онъ-бы еще снабжалъ деньгами, и я-бы еще, быть можетъ, «фигурировалъ»... Но ты вотъ говоришь «обмякло»—и я совсѣмъ «пасъ»! Ты впрочемъ не думай, что я одинъ только такой... Массы, массы, другъ любезный!—съ тою разницею, что у однихъ больше моего гроша, а другіе не совсѣмъ поняли свою обязательную смерть и врутъ или притворяются—не знаю! Есть и настоящіе... ты встрѣтишь—погоди!

Михаилъ Ивановичъ посмотрѣлъ искоса на Черемухина. Тотъ сидѣлъ молча; но, спустя нѣсколько времени, какъ-то приободрился и сказалъ съ улыбкой:

— Ты однако не думай, что я совсѣмъ никуда не похужь... и не расплачусь съ тобой и съ ней. (Онъ указалъ на бабу.) Государству теперь нужна бездна народу... Нужны учителя, лекаря... толпы рабочихъ людей... Насъ не минуютъ!.. Будемъ гдѣ-нибудь наставниками, будемъ получать съ мужиковъ жалованье, глядѣть на разутыя ноги дѣтей, тосковать о собственной бесполезности, пить... Можетъ быть, даже и умремъ въ глуши отъ водки... Чего-же еще? Самый любимый литературный типъ!

Проговоривъ это, Василій Андреечъ совсѣмъ ободрился, всталъ и, заложивъ руки въ карманы брюкъ, нѣсколько разъ увѣренною поступью прошелся по комнатѣ; вся осанка его была такая, какъ будто-бы онъ въ самомъ дѣлѣ «расплатился со всѣмъ».

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ едва-ли не была согласна и бабу, сидѣвшая адѣсь. Длинный разговоръ Черемухина видимо тронулъ ее: она почти не понимала, что такое онъ рассказываетъ; но если-бы

даже Василій Андреечъ говорилъ по-нѣмецки, то и тогда бабу съумѣла-бы почувствовать, что это говорить человѣкъ несчастный.

— Ишь, наговорилъ!.. сказала она тихо-тихо, потому что чувствовала себя неловко. — Пришла ругаться, а теперь стало жалко... Умирать-бы ужъ тебѣ, право!..

— Ахъ, бѣдный-бѣдный!.. Толку-то нѣту никакого... денегъ-то, чай, нѣту? разрѣшила она вдругъ свое неловкое положеніе, хотя въ голосѣ ея снова звучала суровость.

— Свѣчи-то есть-ли? Ишь, огарьки какіе! Поди, ни чаю, ни сахару?

Черемухинъ ходилъ по комнатѣ, не слушая ея и задумавшись.

Но бабу, почувствовавъ сожалѣніе и вида, что есть забота, не могла скоро раздѣлаться съ этими качествами своей души. Наволочки оказались грязными; вытащена была изъ-подъ кровати пара носокъ, чтобы дома вымыть и принести чистые. Сосчитаны были какіе-то лоскутья бѣлья, и оказалась пропажа. Все это тряпье бабу собрала, сосчитала, спрятала, словомъ,—проявила непопомѣрную сердечную доброту, что не мало изумило Михаила Ивановича.

— Ишь, какъ я объ тебѣ! слегка улыбаясь, сказала бабу и вдругъ сердито прибавила:—на, вотъ, три рубли, да смотри—не проверти! ты вѣдь пойдешь швырять... да отдай!

Черемухинъ все ходилъ, молчалъ и думалъ.

Баба еще порылась, положила на столъ три рубля, еще поворчала на счетъ того, что «ходишь безъ калошъ... Сляжешь... кому ходить?.. Что мать-то къ тебѣ не ѣдетъ?.. Писалъ матери-то?..» и, еще разъ окинувъ все пытливымъ взглядомъ, прибавила: — Усни-ко, ишь, зеленый какой!.. Спи! право какіе...

И ушла. Видно было, что дѣйствительно ей некого любить.

Михаилъ Ивановичъ сидѣлъ и думалъ. Какъ и бабу, онъ не понималъ и десятой доли ничтожныхъ, но все-таки весьма ощутительныхъ страданій Черемухина, и злился, и не могъ не жалѣть Василія Андрееча: «Что это за люди!» думалось ему. «И жалъ, и кажется—убилъ-бы... Тыфу!...»

XI. Дожа.

1.

Михаилъ Ивановичъ, исцѣленный тяжкими страданіями своей заброшенной жизни отъ возможности понимать бесплодность нравственной муки, переживаемой людьми, подобными Черемухину, не понималъ почти ничего изъ его долгаго разсказа; но мы все-таки воспользуемся сущностью этого разсказа, который можетъ объяснить намъ нѣкоторые незначительные факты, происходившіе въ это время въ покинутой имъ провинціи.

Дѣйствующимъ лицомъ былъ извѣстный намъ барчукъ Уткинъ.

Съ перваго взгляда Уткинъ, повидимому, совершенно не подходилъ къ типу Черемухина; въ немъ не было ни одной изъ чертъ, такъ непріятно обрис-

совывающихъ Василю Андреечу. Но это происходило оттого, что у Уткина, во-первыхъ, была бабушка, снабжавшая его деньгами, и ему не было надобности наживать враговъ, подобно Черемухину, не имѣвшему копѣйки, а слѣдовательно не приходилось становиться къ людямъ въ самыя непріятныя, враждебныя отношенія; не приходилось быть глубоко злымъ и разбирать самого себя съ такой основательной злобой, какъ Черемухинъ. Была, стало-быть, одна полусознательная скука, способность думать и дѣйствовать во множествѣ направленій сразу, не воспитывъ въ себѣ жизненными впечатлѣніями никакихъ нравственныхъ средствъ, чтобы быть «просто такъ» самимъ собою. Намъ уже извѣстно, что вечеръ «перваго поѣзда», направившій размышленія его въ направленіи «дѣла», привелъ его въ квартиру Печинныхъ, гдѣ несомнѣнно должно было быть «дѣло»: это было видно весьма ясно изъ разговоровъ между супругами на бульварѣ и на улицѣ. Все это однако не опредѣлило Уткину, какого рода пріемъ слѣдуетъ ему принять при началѣ и продолженіи этого дѣла, пока онъ не наткнулся случайно на черепки разбитой посуды, валавшіеся на полу. Это обстоятельство разрѣшило его затрудненіе.

— Такъ нельзя-съ! довольно сурово сказалъ онъ Павлу Ивановичу.

— Господинъ докторъ! началъ-было Павелъ Ивановичъ.

Но Уткинъ прервалъ его.

— Я не докторъ-съ! съ гордостью сказалъ онъ вслѣдъ Печкину, выбѣжавшему на новые поиски. — Тутъ не припадокъ, тутъ вопросъ... Да-съ! Такъ нельзя... Тутъ не въ аптеку, а въ полицію-съ!..

— Да и впрямь связать его, да съ будочниками! присовокупила кухарка, ползая со свѣчкой и съ тряпкой по полу. — Ишь, мудруетъ... мужъ!..

При помощи ползавшей по полу кухарки, дѣло было разъяснено окончательно, и, благодаря его совершенной асности и полному убѣжденію, что стобитъ потратить себя на пользу ближняго, Уткинъ весьма подробно и резонно изложилъ передъ Софьей Васильевной все, что относится къ выгодамъ независимаго куска хлѣба. Изложено все это было съ полнымъ сочувствіемъ; увѣренія въ томъ, что «такъ нельзя», были обставлены весьма подробно, и главное—«независимая корка хлѣба», какъ средство, могущее противостать противъ всевозможныхъ жизненныхъ преградъ, была выставлена въ весьма привлекательномъ свѣтѣ. Все это было сказано торпливо, подъ вліяніемъ только-что полученныхъ впечатлѣній, но охота высказаться болѣе и обстоятельнѣе быстро охватила все существо Уткина, и въ концѣ рѣчи онъ предложилъ Софѣ Васильевнѣ еще разъ перетолковать объ этомъ дѣлѣ, для чего и назначилъ особый пунктъ—городской бульваръ, «завтра въ три часа».

Софѣ Васильевнѣ, ни отъ кого неслыхавшей фразы: «такъ нельзя», которая-бы произносилась съ такою увѣренностью и сочувствіемъ, все это было необыкновенно ново, а положеніе ея было таково, что выйти изъ него было необходимо. И средство къ этому, въ видѣ «корки хлѣба», тоже ока-

зывалось вполне возможнымъ и осуществимымъ. Оставалось только знать мнѣніе Нади, но такъ-какъ и она не имѣла рѣшительно ничего противъ возможности выйти на какую-нибудь надежную дорогу, то свиданіе съ Уткинымъ и состоялось на слѣдующій день на бульварѣ.

2.

Въ три часа дня, когда бульваръ обыкновенно пустъ, а Павелъ Ивановичъ спитъ послѣ обѣда, въ кустахъ, на ступенькахъ старой губернаторской бесѣдки, можно было видѣть Уткина, Надю и Софью Васильевну. Всѣ они испытывали какое-то новое ощущеніе и главнымъ образомъ старались узнать, что изъ этого выйдетъ? Болѣе всѣхъ это ощущеніе овладѣло Уткинымъ, такъ какъ онъ одинъ изъ всѣхъ специально размышлялъ о томъ, что «вотъ новое дѣло» и онъ тутъ... и все это ново и т. д. Эти ощущенія сдѣлали его веселымъ, развязнымъ. Онъ торпливо пощипывалъ маленькую бородку и говорилъ:

— Это дѣло такого рода-съ, что... Сносить постоянныя оскорбленія... это...

— Я скорѣе готова корку хлѣба! говорила съ самымъ искреннимъ чувствомъ Софья Васильевна.

— Корку! Разумѣется, самостоятельная корка хлѣба... Здѣсь Уткинъ сталъ закуривать папироску и замолкъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, Сонечка такъ стѣснена,—начала Надя,—что если-бы какія-нибудь средства...

— Трудъ-съ! сказалъ Уткинъ, бросая спичку. — Стоитъ только пойти въ первый дворъ, въ первый домъ и взять заказъ бѣлья... Корка хлѣба, добытая честнымъ трудомъ...

Но рѣчь Уткина была прервана; Софья Васильевна, готовая идти въ прачки, и въ особенности Надя налегли на заказъ бѣлья съ такой энергіей, что въ самое короткое время для Уткина предлежащее ему дѣло стало совершенно яснымъ. Оказалось, что ему нѣтъ никакой надобности разглагольствовать на счетъ достоинствъ корки, на счетъ необходимости свергнуть его и пр. Нужно было одно: идти въ первый дворъ и попросить заказъ бѣлья. Если-бы Уткинъ былъ простой мужикъ, умѣющій войти въ первыя ворота, остановить первую бабу и, назвавъ ее тетенькой или красавицей, прямо объявить ей, въ чемъ дѣло, то онъ бы такъ и сдѣлалъ. Но у него были сотни разнородныхъ взглядовъ на предметъ, и поэтому, какъ только его дѣло обнаружилось вполне, вся серьезность и значеніе его поблекли. Уткинъ представилъ себѣ, какъ онъ, барчукъ, стоитъ среди двора и проситъ бѣлья въ стирку, и какъ потомъ онъ идетъ съ уломъ. Въ головѣ его мелькнула мысль, что такъ не бываетъ, что это даже смѣшно. Онъ былъ совершенно согласенъ съ тѣмъ, что это нужно, что это дѣйствительно такъ, и въ то-же время находилъ, что это—невозможная и смѣшная чушь.

Не знаемъ, что бы отвѣтилъ онъ дамамъ, если-бы его не выручилъ пріятель, проходившій по средней аллеѣ. Это былъ офицеръ, возвращавшійся изъ ресторана, гдѣ обыкновенно обѣдаетъ болѣе состоятельная губернская молодежь. Возвращаясь оттула,

онъ увидѣлъ женщинъ и прямо пошелъ на нихъ, какъ будто это такъ и слѣдовало. Безъ церемоній перешагнувъ онъ черезъ скамейку, обломилъ на пути какую-то вѣтку и, похлестывая ею по ногѣ, очутился среди общества Уткина, Нади и Софьи Васильевны.

— А! Николай Петровичъ! сказалъ онъ Уткину и посмотрѣлъ на всѣхъ такими глазами, въ которыхъ не видно было, чтобы пріятель Уткина считалъ «дѣломъ» происходившее здѣсь. Смѣлость и особенную выразительность этого взгляда поддерживали простые костюмы дамъ.

— Такъ пожалуйте! торопливо поднимаясь, заговорила Надя.

— До завтра! сказалъ Уткинъ. — Это дѣло такого рода...

— До завтра! сказала Надя, и вслѣдъ затѣмъ онѣ ушли.

Уткинъ и пріятель остались одни.

— Эге, батюшка! многозначительно сказалъ пріятель; но Уткинъ нахмурился и объяснилъ, что предположенія его неумѣстны, что тутъ такое и такое-то дѣло. Пріятель, въ качествѣ современнаго человѣка, извинился. — «Не узнаешь вѣдь», сказалъ онъ, взявъ серьезнаго Уткина за талію и пошелъ съ нимъ по дорожкѣ.

— А та, угловая-то, недурна! сказалъ пріятель.

— Тутъ не въ томъ дѣло! началъ Уткинъ сурово.

— Я очень хорошо понимаю. Вы, батюшка, ужъ больно горячо. Вѣдь я понимаю-съ! Читали тоже...

Уткинъ почувствовалъ, что обидѣлъ пріятеля почти понапрасну.

— Онѣ обѣ не дурны! сказалъ онъ мягкимъ, но обидчивымъ тономъ.

— Нѣтъ, та, блондинка-то...

— Да онѣ обѣ блондинки, тѣмъ же недовольнымъ тономъ проговорилъ Уткинъ.

— Ну, вѣдь не разглядишь...

Они подошли къ рѣкѣ и сѣли на лавку.

— А знаете, сказалъ пріятель: — я, батюшка, какъ-то не долюбиваю блондиночек... а?

— Гм, промывчалъ Уткинъ, но не возразилъ, потому что увлекся разсматриваніемъ полуобнаженныхъ бабъ, колотившихъ вальками на плотяхъ бѣлье.

— Право, продолжалъ пріятель и сообщилъ въ довольно продолжительномъ разсказѣ всѣ свои свѣдѣнія о блондинкахъ и брюнеткахъ. Подъ вліяніемъ этихъ разсказовъ, взгляды Уткина, незамѣтно для него самого, приняли весьма веселое направленіе.

— Да, сказалъ онъ снисходительно: — блондинки вообще...

— Я вамъ говорю...

— Но эта, кажется, нѣтъ. Открытая война съ мужемъ... не шутите!..

— Послушайте! перебилъ пріятель оживленно. — Будетъ вамъ умничать... Знаете? Тащите-ка ихъ пить чай... Деньщика по шеѣ... а?

Уткинъ сообразилъ, что въ подобныхъ случаяхъ многозначительно говорить: «милостивый государь!» и попробовалъ сдѣлать серьезное и презрительное лицо; однако же попытка эта, не поддер-

жанная никакимъ нравственнымъ пособіемъ, тотчасъ же уничтожилась, и Уткинъ сказалъ:

— Не пойдутъ!

— Ну вотъ еще!

И пріятель сталъ убѣждать Уткина, у котораго вслѣдствіе этого очень скоро образовались два совершенно дружелюбные между собою и совершенно различные взгляды на нашихъ пріятельницъ: не худо бы, думалось ему, «обработать» и «вопросъ», и «чай».

— Не пойдутъ! повторилъ онъ уже съ улыбкой и прибавилъ: — неловко!

Скоро, при помощи пріятеля и картины стиравшихъ бѣлье бабъ, обнаружилось, что въ нравственномъ фондѣ Уткина одновременно могутъ уживаться и не такіе еще взгляды.

Мимо пріятелей прошелъ солдатъ съ комкомъ бѣлья подъ мышкой и мокрыми косицами.

— Купался? спросилъ офицеръ, когда солдатъ сдѣлалъ ему честь.

— Такъ точно, васкбродіе!

— Съ бабами?

— Тамъ ихъ страсть... копошится...

Пріятель Уткина и самъ Уткинъ полюбопытствовали узнать, гдѣ копошятся бабы. Солдатъ подался къ рѣкѣ и показалъ — гдѣ.

Пріятель поглядѣлъ по указанію, но ничего не видали.

— Ну что же, началъ офицеръ: — Лукерья съ тобой?.. Вѣдь ты — шельма!

— Нѣту-съ, васкбродіе... второй мѣсяцъ какъ прогналъ ее.

— Прогналъ? Вотъ негодяя-то! Ты? за что же?

— Не производи обману... Общались подарить часы, а замѣсто того — нѣту ничего: этого нельзя! Солдатъ остановился.

— Ну? побуждали его слушатели.

— Ну, пришла она, а ей и доказалъ: «какъ ты меня обманула», говорю... то и взялъ ея платье себѣ...

— Вотъ скоты! не безъ улыбки произнесли слушатели. — Ну?

— Ну, потомъ стали сѣчь.

— Какъ сѣчь?!

— Черезъ сѣдальникомъ. Скрутили его вдвое и давай... хе-хе... Сначала Матвѣевъ — я держалъ. А потомъ Матвѣевъ сталъ держать — я принялся, еще сорокъ ударовъ далъ.

— Ну, ужъ это подло! сказалъ Уткинъ и прибавилъ: — какъ же ты ее — по платью, что ли?

Солдатъ объяснилъ. Офицеръ сказалъ: «вотъ мерзавцы!». Уткинъ объявилъ, что это мерзко, и оба вмѣстѣ долгое время хохотали. Разсказчикъ еще долго потѣшалъ господъ, по ихъ небрежному, но непрерывному понуканію, и наконецъ ушелъ. Къ концу вечера взгляды Уткина на женскій полъ до того прояснились въ извѣстномъ направленіи, что онъ уже самъ сказалъ пріятелю:

— А что въ самомъ дѣлѣ? Но, какъ бы опомнившись, тотчасъ же прибавилъ: — нѣтъ, не пойдутъ!».

На слѣдующій день, отправляясь на бульваръ,

чтобы вести переговоры, онъ несъ съ собою такое громадное количество самыхъ разнородныхъ взглядовъ на нашихъ подругъ, что ни считать, ни распространяться о нихъ мы не рѣшаемся. Всѣ эти взгляды мирились, жили въ немъ одновременно, но едва-ли могли быть пригодными для осуществленія крошечныхъ надеждъ Софьи Васильевны. Эту непригодность чутьемъ провѣдала Надя, несмотря на то, что Уткинъ такимъ же сочувственнымъ тономъ, какъ и вчера, отзывался о необходимости для Софьи Васильевны сверженія ига, и проч. Точно такъ же, какъ и вчера, въ кустахъ около бесѣдки можно было слышать разговоры о томъ, что Софья Васильевна увѣрена въ своей готовности ѣсть корку хлѣба, что Уткинъ вслѣдъ затѣмъ нѣсколько разъ подтверждаетъ это, говоря: «Ко-орку! Разумѣется, корку... Чего же лучше?». Но Надя уже со второго свиданія какъ-то замолкла, пытливо смотрѣла на Уткина и ушла домой въ раздумьи.

3.

Такимъ образомъ оказывается, что первые шаги «впередъ», какъ у Михаила Ивановича, такъ и у Нади, не были особенно удачны и только убѣдили ихъ въ силѣ окружающаго ихъ разоренія и разнобразіи формъ, въ которыхъ оно проявляется. Ошеломленный и въ конецъ разстроенный Черемухинымъ, Михаилъ Ивановичъ съ каждою минутою разстраивался еще болѣе, теряя всякую возможность разъяснить себѣ будущіе свои планы, по мѣрѣ того какъ входилъ въ болѣе короткое знакомство съ обывателями черемуховскихъ нумеровъ. Нумера эти содержали какой-то сѣдой старикъ, отставной солдатъ. Какимъ образомъ онъ нажилъ деньги, чтобы завести въ Петербургъ большое хозяйство, было неизвѣстно: ни онъ, ни жена его, молчаливая сторбенная старушонка, никогда объ этомъ не упоминали; оба они молча и угрюмо толклись въ кухнѣ, стряпали, таскали дрова, ходили на рынокъ и бѣгали въ кабакъ, по приказанію господъ-жилцовъ. Посторонній человѣкъ, какъ Михаилъ Ивановичъ, могъ глубоко жалѣть ихъ, потому что большинство жильцовъ не платило старику денегъ и кромѣ того на его счетъ покупало водку и пиво и занимало на извозчиковъ. Но въ сущности солдатъ этотъ нисколько не страдалъ отъ того, что ему не платятъ и берутъ у него деньги, ибо среди молчаливаго тасканія дровъ и сосанія махорки онъ тоже по-своему понималъ духъ времени и разоренія и извлекалъ изъ нихъ болѣе существенную пользу, нежели Михаилъ Ивановичъ. Сущность этого пониманія солдатъ любилъ высказывать одинъ, глазъ на глазъ съ самимъ съ собою. Это случалось по вечерамъ, когда всѣ жильцы улягутся, угомонятся; тогда солдатъ надѣвалъ рваный халатъ и выбирался изъ кухни въ переднюю отдыхать; отдыхалъ онъ стоя, курилъ въ это время трубку, смотрѣлъ на ночникъ и разсуждалъ:

— Денегъ не платятъ!.. произносилъ онъ. — Хорошо! Ну, ежели пущу я въ комнату трудящаго человѣка съ вѣрными деньгами?.. Тутъ онъ задумывался и, пососавъ трубку, заключалъ:—мнѣ это

хуже!.. Во сто разъ мнѣ превосходнѣе допускать благороднаго человѣка безъ своего капитала, нетрудащаго... Это вѣрно! Трудящій своимъ трудомъ живетъ, онъ копѣйку бережетъ, а нетрудащій—онъ трудомъ не живетъ, онъ живетъ займомъ, помощью... занятыхъ денегъ ему не жалъ... такъ-то! Много ихъ пониче Богъ пошлетъ!.. Одному родня помогаетъ, а другому—вонъ баба деревенская... видишь вотъ!

Онъ запахивалъ халатъ, поплеывалъ и продолжалъ:

— Теперича пиво я имъ забираю, всякій продуктъ на свои... ожидаю... ну, получу съ лишкомъ! нельзя—за ожиданье. Сейчасъ въ одно мѣсто записку снесу, въ другое и въ третье—за проходъ мнѣ опять же деньги... Откажутъ по запискѣ—ожду, и опять же онъ мнѣ заплати за это надбавку... Рано-ли, поздно-ли, а ужъ достанетъ денегъ, займетъ у кого-нибудь... Я и беру все сполна... Получаю свое удовольствіе... Потому жить имъ надо!.. Будутъ жить! займутъ!..

Выработавъ такой взглядъ относительно «нетрудящихъ людей», солдатъ крѣпко и стойко держался его, охотно принимая ихъ въ свои апартаменты. Узнать человѣка, имѣющаго намѣреніе жить займами, не составляло для него никакого труда. Входилъ баринъ, барыня и двое дѣтей и требуютъ комнату «получше»: это значить, что баринъ и барыня настолько не обезпечены постояннымъ заработкомъ, что не имѣютъ возможности одолѣть свою квартиру, хоть и похуже... Является хорошо одѣтый баринъ и требуетъ комнату рублей въ пять:—это значить, что въ настоящую минуту онъ не имѣетъ въ карманѣ и рубля... «Всѣмъ жить нужно, всѣмъ достанутъ! займутъ!» думаетъ солдатъ и принимаетъ ихъ въ нѣдра своего жилья, записывая на стѣнѣ мѣломъ: за проходъ, за ожиданье и пр. Все это изображено у него просто, въ видѣ паля, который тѣмъ не менѣе имѣютъ для него каждая свой смыслъ и значеніе.

И вотъ уже два года нумера солдата населяются исключительно «нетрудящимъ» народомъ, народомъ злымъ, оскорбленнымъ, вспоминающимъ прошлое и строящимъ блестящіе планы на счетъ будущаго. Такъ какъ костюмъ этого народа находится подъ залогомъ у того же самаго солдата, то онъ обыкновенно сидитъ постоянно дома, въ каморкахъ безъ форточекъ, въ душныхъ облакахъ кофейнаго, кухоннаго и табачнаго дыма, лежить, ходитъ взадъ и впередъ по своему логовищу, ведетъ долгіе переговоры съ хозяиномъ-солдатомъ на счетъ бутылки пива, убѣждаетъ, грозитъ, пьетъ, вздыхаетъ, напиивается, поетъ, бушуетъ и проклинаетъ.

Михаилъ Ивановичъ, истощившій свой кошелекъ до послѣдней возможности и не находя адреса Максима Петровича, обѣщаннаго Черемухиннымъ, томился въ непривѣтливыхъ солдатскихъ нумерахъ наравнѣ со всѣми ихъ обывателями. Какъ и всѣ, онъ курилъ, лежалъ, злился, шатался по корридорамъ, заходилъ въ кухню, смотрѣлъ на проходящаго по двору мужика и думалъ: «куда онъ идетъ?»

п. поринувся внезапному взрыву злости, снова въ ажитациі шатался по корридору и по своей норѣ.

Среди этой тоски и томительныхъ скитаній, Михаилъ Иванычъ незамѣтно перезнакомился со всѣми обывателями солдатскихъ нумеровъ, всѣ они на первыхъ порахъ возбуждали въ немъ нѣкоторую долю состраданія и совершенно сходились съ нимъ въ положеніи. Всѣ они одинаково были согласны, что человекъ живетъ несправдою, что истинныя достоинства ставятся ни въ грошъ и что хорошо жить на свѣтѣ могутъ лишь люди гнусные. Такъ говорили всѣ вообще жильцы: и толстый человекъ въ угольной каморкѣ, говорившій по французски, и маленький человекъ неизвѣстной профессіи, жаловавшійся на жену, и другой человекъ, покинутый женою, и женщина, жаловавшаяся на тирана-мужа, отъ котораго она ушла, словомъ—всѣ. Все это вередило раны сердца Михаила Иваныча, доводило его тоску до послѣдней степени и заставляло на послѣдніе гроша угощать этихъ несчастныхъ людей пивомъ. Но послѣ двухъ или трехъ пріятельскихъ бесѣдъ за бутылкой всѣ эти лица принимали въ глазахъ Михаила Иваныча совершенно другой видъ. Толстый человекъ, подъ хмелькомъ вспомнившій старину, вдругъ выходилъ какимъ-то ненасытнымъ хватателемъ взятокъ, въ качествѣ начальника надъ какою-то «дѣстанціей» бичевника. Маленькій человекъ, роптавшій на жену, оказывался просто деспотомъ и звѣремъ, непавидящимъ свою жену за ея «простое званіе», которое его компрометируетъ передъ благородными знакомыми, благодаря которымъ онъ давно бы могъ получить невѣсту съ капиталомъ, хотя самъ не отказался бы отъ дѣвчонки и простого званія, если-бы она не претендовала на бракъ. Женщина, покинутая мужа, оказалась разорительницею его самого. Поочередно съ каждымъ изъ этихъ лицъ Михаилъ Иванычъ сходилъ, сочувствовалъ и потомъ, плюнувъ и озлившись, уходилъ прочь, неся въ сердцѣ новую рану. У всѣхъ этихъ людей Михаилъ Иванычъ кромѣ того замѣтилъ любимую фразу о томъ, что «мы свое дѣло сдѣлали», «расписались, братъ, въ полученіи» и проч., которою они весьма искусно отмахивались отъ Михаила Иваныча въ то время, когда онъ, въ первые минуты сочувствія къ нимъ, предъявлялъ имъ свои требованія и приглашенія. Эта фраза особенно сильно терзала его, когда онъ, плюнувъ на нихъ и снова оставшись одинъ, сидѣлъ въ каморкѣ и думалъ о своемъ положеніи. Въ покинутой имъ глуши остались, по его мнѣнію, просто изверги; здѣсь же, въ столицѣ, ему хотя и сочувствуютъ, но одни, какъ Черемухинъ, могутъ только испортить дѣло, а другіе «уже сдѣлали свое дѣло», разорили, изуродовали, обобрали. Что-жъ это такое? Гдѣ же Максимъ Петровичъ, который никоимъ образомъ и выростъ въ «неблагопріятныхъ обстоятельствахъ» русской жизни?

Но Максима Петровича не отыскивалось.

Михаилъ Иванычъ томился, смотрѣлъ въ окно и кашлялъ...

4.

Положеніе Нади было ничѣмъ не лучше положенія Михаила Иваныча. Мертвый домъ съ умирающею роднею, со всѣми этими злодѣями, рекомендованными Михаиломъ Иванычемъ и выглядывавшими изъ-за каждаго забора, стоялъ въ полной неизмѣнности. По-прежнему ругалась измученная звонками кухарка Авдотья, по-прежнему старая бабка разъ въ мѣсяцъ раздѣвала ротъ, чтобы крикнуть: «въ карр...манъ-то-о»... По-прежнему соборовали масломъ генерала и генеральшу и тщетно ожидали ихъ преставленія на тотъ свѣтъ. Убитый Ваня лежалъ, повернувшись къ стѣнѣ, молча уткнувъ исхудалое, обросшее длинными бѣлыми волосами лицо въ подушку. Глаза его были всегда закрыты, и только легкій стонъ говорилъ, что это лежитъ избитый человекъ. За мертвымъ и непривѣтливымъ родительскимъ кровомъ оставались по-прежнему одни безтолковые мучители вроде Печкина, добродѣтельные и симпатичные «голуби» вроде Шапкиныхъ и пустота, желающая во всемъ принимать участіе, вроде Уткина.

Разумѣется, какъ Михаилу Иванычу, такъ и Надѣ могли встрѣтиться иные люди; но темный уголъ, гдѣ выросли и родились наши герои и гдѣ они хотѣли найти помощь, не могъ имъ представить ничего другого, кромѣ широчайшаго и громаднѣйшаго разоренья, и не было отсюда видно ни одного луча свѣта...

Такое томительное положеніе продолжалось довольно долго, не представляя никакого выхода, и наконецъ разрѣшилось совершенно неожиданно.

5.

Для Нади и Софьи Васильевны это произошло на томъ же бульварѣ, въ присутствіи Уткина. Отправляясь на третье свиданіе съ Уткинымъ, исключительно вслѣдствіе просьбы Софьи Васильевны, Надя уже не надѣялась услышать отъ него ничего новаго, а главное—никакой правды. Она даже холодно обошлась съ нимъ, молча съѣла на ступеньки бесѣдки, не принимая никакого участія въ ихъ разговорѣ, и ждала Софью Васильевну. Невольно слушая сочувственные слова Уткина, не подвигавшися ни на шагъ къ дѣлу, и совершенно искреннія изліянія Софьи Васильевны насчетъ готовности ѣсть «корку хлѣба», она не могла не замѣтить, что тутъ сошлись люди, совершенно ненужные другъ другу. И тутъ съ самою поразительною отчетливостью припомнилась ей сцена съ бабой у мирового судьи: и такъ точно такъ-же понимали, чего именно хочетъ баба, и хотѣли ей сдѣлать, но не могли; припомнились ей также и всѣ разговоры, происходившіе на крыльцѣ суда, и въ особенности разсужденія о зубахъ. «Зубы, зубы надо... небось-бы!» припомнила она...

Все, что было непонятно, выстрадано, передумано, все на мгновеніе какъ-то вдругъ столпилось въ ея головѣ, она какъ-то сразу оживилась и вслухъ сказала себѣ самой:

— Знать! знать надо... все, все! повторила она, быстро поднимаясь съ ступеньки крыльца бесѣдки.

— Пойдешь или еще будешь? сказала она Софья Васильевна, не глядя на Уткина.

Торопливость, с которою Надя надѣвала перчатки, обнаруживая намѣреніе уйти не дожидаясь, оторвала Софью Васильевну отъ разговора съ Уткинымъ.

— Такъ до завтра! сказалъ Уткинъ, дѣлая Софья Васильевнѣ весьма ласковые глаза, и подруги ушли бы тотчасъ же, если-бы въ это время не произошло нѣчто особенное.

Отодвигая сердитою рукою кустъ, на площадку передъ бесѣдкою выступилъ знакомый намъ лавочникъ Трифоновъ.

— Вотъ они соколики! заговорилъ онъ такимъ голосомъ, какимъ говорятъ люди, поймавшіе вора. — Ишь, жеребца какого припасли! Гдѣ тутъ еще-то? Ихъ тутъ, поди, во всѣхъ кустахъ понасажено. Эй ты, тетеревъ!

На этотъ зовъ откуда-то явился Павелъ Ивановичъ.

— Правду говорилъ? сказалъ Трифоновъ. — То-то я слышу: «корку, корку». А вотъ онъ тутъ какую корку... Чего глядишь? Ошарашь жеребца-то по рылу! Пахла! Кабы не разбудилъ, издохъ бы—не узналъ!..

Павелъ Ивановичъ и Софья Васильевна были въ какомъ-то ужасѣ. Печкинъ не могъ произнести слова и стоялъ блѣдный, какъ полотно. Уткинъ прочищалъ палкой и ногой дорогу въ кустъ.

— Ну, что-же? командовалъ Трифоновъ. — Пехтерь! Производи свой порядокъ, получай жену-то! Докажи ей, шельмъ, права!

Софья Васильевна вдругъ какъ-то рванулась впередъ, поблѣднѣла, хотѣла что-то сказать и вдругъ заплакала, зарыдала...

— Домой! закричалъ внезапно, что есть мочи, Печкинъ.

— Эхъ, ляпнулъ дѣло! передразнилъ его Трифоновъ. — Трехони ее, бери подъ руку-то, подхвати!

Печкинъ рванулся къ женѣ; но Софья Васильевна, словно опомнившись, схватила руку Нади и побѣжала впередъ по извилистой дорожкѣ.

— Не пойду! никогда! крикнула она всей грудью, скрывшись за кустъ.

И тутъ настало общее смятеніе. Трифоновъ, Печкинъ и множество зрителей бросились вслѣдъ за подругами по узенькимъ и извилистымъ дорожкамъ, цѣпляясь за кусты, ломая сучья, и надо всѣмъ садомъ раздавались крики:

— А-га-а! «Корку»!.. То-тоя гляжу! Ай-да барыня!.. Отъ мужа!.. Полюбился! Нѣтъ, по мордѣ!..

— Домой! вопилъ какимъ-то неестественнымъ басомъ Печкинъ.

— Дуракъ! слышался голосъ Трифопова. — Бѣги налѣво! Сволочь... Держи!.. Эй, молодецъ, захвати даму! бей въ мою голову! Ничего, за косу... То-то «корку, корку»!.. Хе-е-е-е, бра-ать!..

— Домой!..

Долгое время множество народу вылетало на средину дорожки изъ боковыхъ аллей, кричало, ругалось и снова исчезало въ кустахъ, и снова кричало... Софья Васильевна и Надя, бѣгомъ пробѣжавшія

двѣ-три улицы, пошли тѣше. Софья Васильевна едва двигалась; задыхаясь отъ испуга и быстрой ходьбы, и не могла произнести ни слова.. Надя тоже молчала, но въ умѣ ея еще какъ-то ярче вылегли слова: «Уйти, непременно уйти и — учиться, учиться, учиться!».

Такъ онѣ пришли домой и больше ужъ не ходили къ Уткину.

XII. Конецъ.

Возвращаясь домой, Надя несла въ душѣ какое-то серьезно-радостное ощущеніе. Видѣлось впереди не веселое, но умное и дѣльное.

— Ваня поправляется! сказала ей мать. — Не знаю, что съ нимъ, поднялся и сидитъ на кровати.

— И говорить?

— Говорить... Еле-еле!..

Какая радость въ этой области смерти!.. У Нади радостно билось сердце при этой вѣсти, хотя она сама не знала почему.

— Господи! сказала она, глубоко вздохнуть и снимая шляпку, но, не кончивъ этого дѣла, вдругъ почему-то принялась цѣловать у матери руки.

А мать стала плакать...

И никто изъ нихъ не могъ-бы опредѣлить, почему все это дѣлается?

Жизнь, жизнь пробуждается гдѣ-то около нихъ... и судить имъ что-то... то же жизнь!..

Надя сбѣгала къ Птицынымъ тотчасъ же; но ей сказали, что Ваня спитъ. Ей рассказали, что онъ усталъ сегодня: онъ требовалъ къ себѣ свои инструменты, рассматривалъ ноты, бумажки, просилъ все разставить по мѣстамъ. Все это исполнили. Въ полуотворенную дверь Надя видѣла спящаго Ваню, около кровати котораго на стульяхъ стояла его скрипка безъ струнъ, валялись развернутыя тетради нотъ... Какъ это было радостно! Поглядѣвъ, она ушла домой, долго не спала и встала рано.

День былъ чудный. Она тотчасъ пошла къ Ванѣ.

Онъ сидѣлъ на постели, худой, съ ввалившимися глазами, съ головою, при взглядѣ на которую воображенію представлялся черепъ, съ руками и ногами, напоминавшими не трупъ, а скелетъ...

— Цѣла? едва говорилъ онъ матери.

— Цѣла, цѣла! отвѣчала та, отирая тряпкой пыльную скрипку.

Въ груди Вани вмѣсто отвѣта слышались рыданія безъ слезъ. Онъ нѣсколько разъ всхлипывалъ отъ избытка глубокой радости и каждую минуту готовъ былъ упасть въ обморокъ...

Надя поддерживала его.

— Голубчикъ мой! говорила она ему (хоть онъ и не узналъ, кто она такая). — Все цѣло!.. Я все соберу!

— Все, все цѣло! говорила мать Вани. — Погоди, я вотъ отца приведу... Хочешь?..

Ваня долго рыдалъ, склонивъ голову на грудь и не отвѣчая на вопросъ.

— Зе...млю!.. наконецъ выговаривалъ онъ и слабо, какъ могъ, потянулся изъ рукъ Нади. — Зем-млю!..

— Что ему?.. спрашивала Надя. — Землю?.. Какую землю?..

— Что тебѣ?... спрашивала мать.

— Ему землю хочется поглядѣть! сказала кухарка и вполнѣ поняла мысль больного.

— Надо его поднять! сказала Акулина, и къ окошку поднести. Пусть поглядитъ на травку.

Всѣ трое подымали его, худого, съ пролежнями до кроваваго мяса на всемъ тѣлѣ, съ неразгибавшимися колѣнями, и безъ особеннаго труда поднясли его къ окну. Онъ рыдалъ безъ слезъ и стоналъ.

— Ну, вотъ, смотри, вотъ земля! сказала ему мать.

Все цвѣло и благоухало въ глухой улицѣ...

Ваня зарыдалъ.

— Зеленое!.. пролепеталъ онъ.

И слезы, крупныя какъ градины, затопили его лицо, усы, рубашку...

Всѣ плакали...

Мокрая отъ слезъ, изсохшая рука Вани тянулась къ подоконнику, какъ-бы стараясь взять эту зелень въ руки... Попросили прохожаго нищаго сорвать травку. Тотъ сорвалъ и подалъ Ванѣ.

Ваня сжалъ траву въ рукахъ — и буквально цѣлое море слезъ затопило его лицо.

Всѣ рыдали тихонько. Вошелъ старикъ отецъ и, едва взглянувъ на сына, тоже заплакалъ...

Глаза Вани были закрыты, руки сжимали траву... Лились слезы, рыданія и стояла тишина.

Ваня умиралъ.

Черезъ минуту узнали и увидали, что онъ умеръ.

Мертваго, съ мокрымъ отъ слезъ лицомъ, его положили на постель... Трава съ корнями, осыпанными землей, была въ его рукѣ...

Какія это были чудныя минуты для всѣхъ, кто только ни былъ тутъ, кто мучилъ и мучился, кто желалъ страдать и страдалъ самъ!.. Это были слезы людей, убѣжденныхъ, что они — ужасные грѣшники, и узнавшихъ хоть на одну минуту, что они ни въ чемъ не виноваты... Жизнь вспомнилась вся, своя

и чужая, вспомнилась цѣликомъ и вызывала только горячія рыданія.

Все это старое, погибающее, проживши не одинъ десятокъ лѣтъ, не имѣло и не могло имѣть другой, болѣе плѣнительной, болѣе чистой минуты!

Но минута эта кончилась очень скоро. Похороны Вани вытащили на спену разсужденія о расходахъ, о скупости генерала, снова раздалися уперки въ томъ, что онъ спряталъ деньги, что уморить человѣка онъ умѣлъ, а когда пришлось хоронить этого человѣка — сталъ упираться. Несмотря на всевозможныя усилія генеральши похоронить Ваню, какъ генеральскаго сына, несмотря на всевозможныя крики и проклятія, которыми были осыпавъ генералъ Птицынъ, похороны были самыя бѣднѣйшія и жалчайшія. — Все нищее, что привыкло не стѣсняясь плакать, идя за такимъ неказистымъ, простымъ деревяннымъ гробомъ, какъ тотъ, въ которомъ лежали кости Вани, все тронулось за нимъ большою, рваною, бѣдною толпою и плакало, не надѣясь даже получить за это кусокъ какого бы то ни было пирога.

Какая мертвая тишина стала въ нашемъ углу послѣ смерти и похоронъ Вани!

Чтобъ уйти отъ угнетающаго смысла этой тишины, Надя забрала съ собою къ матери всѣ книжки, всѣ тетради Вани. Цѣлые дни роется она въ нихъ, откладывая изъ массы хлама, въ которомъ не послѣднюю роль играютъ «Тайныя монахи», «Кузмы Рощины», проповѣди «о грибной пищѣ», арифметику, географію... Она усердно учится и читаетъ, но въ то же время какая-то неотразимая сила все сильнѣй и сильнѣй побуждаетъ ее убѣжать отъ труда. Она очень хорошо знаетъ, что надо учиться, трудиться, знать, а вмѣсто того хочется бѣжать. Смерть разореннаго угла до того ясна, до того на каждомъ шагѣ доказательна, что Надѣ хочется новаго мѣста, чтобъ имѣть возможность свободно думать о новомъ, непохожемъ на отжившее, будущемъ...

II. Тише воды, ниже травы *).

(дневникъ.)

1.

Увѣданный городъ *** Августъ 186* г.

Случилось то, что рано или поздно, но непременно должно было случиться: третьяго дня я прибылъ въ увѣданный городъ *** и очутился «на рукахъ» (вотъ что особенно горько!), на рукахъ старушки-матери. Мало она меня носила на этихъ несчастливыхъ рукахъ!

*). Въ этотъ дневникъ вошли матеріалы, которые должны были составить *вторую часть* «Разоренія». Подробно объ этомъ сказано въ примѣчаніи на стр. 235.

Авт.

Тихо шелъ я по пустыннымъ улицамъ увѣднаго города, слушалъ давно забытый звонъ къ вечернѣ и думалъ, что теперь волны русской жизни плотно и надолго прибили меня къ берегу. Потому надолго, что я усталъ, что мои ноги гудутъ и ноютъ, что мнѣ хочется лечь спать. Потому надолго, что больныя кости пріобрѣтены мною въ продолжительномъ и бесполезномъ томленіи о своемъ и окружавшемъ меня ничтожествѣ вообще, и въ безпрерывномъ содроганіи предъ могуществомъ плети и обуха.

Я двадцать разъ думалъ, что это «не такъ», теперь, кажется, уже не думаю. Теперь мнѣ спать хочется и силъ нѣтъ. Зерно апатіи спѣетъ въ душѣ.

Помню, во время дороги сюда случилось намъ

остановиться близъ новой строящейся желѣзной дороги. У одного изъ деревянныхъ бараконъ я замѣтилъ цѣлую толпу мужиковъ, которые валялись ничкомъ, разбросавъ руки и ноги какъ попало. Съ перваго взгляда ихъ можно было принять за мертвецы пьяныхъ; но оказалось, что они скорѣе напоминаютъ рыбу, выброшенную на берегъ, обезлившую и изнывающую на солнцѣ.

— Что съ вами, ребята? спросилъ я ихъ.

— Ослабш!.. еле-проговаривалъ одинъ изъ нихъ, старикъ, съ великимъ трудомъ поднимаясь на локтѣ и стараясь согнуть колѣно. — Дуже асс-лабш! Кровь пуцали...

Старикъ повалился на спину, не удержась на локтѣ, и я долго ждалъ, покуда онъ снова придетъ въ себя.

— Должно быть много очень крови вамъ выпустили?..

— Да, надо быть, что перепустилъ... перепустилъ...

— Какъ же это такъ? Докторъ-то есть у васъ?

— Охъ, да есть онъ... О-о-о... Да свой у насъ докторъ-то, неученый... простой... У аю положенная препорція насчетъ эфтого... кровопролитія... примѣрно... Есть стаканъ у него въ гривенникъ... и есть у него въ двугривенный стаканъ... О-о-охъ... Ну-ну... хочешь ежели ты фунтъ крови твоей отлить — ну, гривенный стаканъ нальешь... А ежели ты два фунта пожелаешь... О-охъ... Осслабш... Перпустилъ...

Что же? — прежде, бывало, я бы ужъ непременно виѣшался въ это дѣло, а если бы и не виѣшался прямо, то ужъ во всякомъ случаѣ настроилъ бы хоть корреспонденцію, теперь же я только сказалъ мужикамъ: «Эхъ-ма, какъ же это вы такъ?..» спросилъ: «легче-ли?» и, получивъ отвѣтъ: «надо быть легче», надѣлъ шапку и уѣхалъ...

2.

Но самое дѣйствительное средство, приковывающее меня къ обезличенію, это матушка и сестра. Я почти позабылъ объ ихъ существованіи; знаю, что нѣсколько разъ втеченіи десяти лѣтъ разлуки съ ними я посылалъ имъ по нѣсколько рублей, но вообще что-то очень немного. Денегъ у меня было мало; а когда и случались, то большей частью тотчасъ же уходили на какое-нибудь такое дѣло (множество было ихъ тогда), которое казалось мнѣ и выше, и нужнѣе потребностей матушки. Часто приходилось мнѣ забывать ея нужды. Положимъ, что и свои я тоже не имѣлъ времени помнить, но теперь я мучусь этимъ. Какіе результаты этихъ забвеній?.. Результаты тѣ, что я каждымъ шагомъ, каждымъ неосторожнымъ движеніемъ моимъ могу разрушить все благосостояніе матушки и сестры, доставшееся имъ собственными, невыносимыми трудами, путемъ какихъ-то протекцій и просьбъ, — благосостояніе, которое хуже каторги, которое онѣ

однако считаютъ счастьемъ и взаимнъ котораго я имъ ничего даже обѣщать не могу.

Когда я явился къ нимъ, радости не было границъ; цѣлуя меня и раздувая самоваръ, смѣясь и плача, онѣ рассказали мнѣ, что живутъ отлично, что квартира у нихъ казенная, что сестра — начальница женскаго училища и получаетъ десять рублей, а мать — помощница и получаетъ семь, что все «слава-Богу!»

— И какъ я тебѣ скажу, Вася, вупечество насъ полюбило, говорила мать: — такъ это просто необыкновенно!.. Пирогъ-ли, именины-ли, все — насъ. все — насъ!.. И Надю какъ любятъ — не нахвалятся!..

— Да, да! подтвердила сестра: мнѣ даже ужъ скучно отъ этихъ приглашеній... Я не знаю, за что они меня полюбили.

— Какъ за что? Господи Боже мой! Вонъ и Семенъ Андреичъ говоритъ: «какъ, говорить, не полюбить?». Господи Боже мой!.. Ты погляди-ко на нашу школу, какой порядокъ, такъ это на рѣдкость... Да опять — всѣмъ имъ угодить нужно... Легко это?...

Въ отвѣтъ на все это я, разумѣется, могъ только поддакивать, потому что зналъ, какая начинается чужь за предѣлами этого «угодить». Всѣ были по этому случаю веселы; ими какого-то Андрея Семеныча звучало очень часто въ разсказахъ сестры и матери. На флегматическомъ и блѣдненькомъ лицѣ моей сестры часто мелькала какая-то недоумѣвающая тѣнь, которая впрочемъ почти мгновенно исчезала, когда мать говорила: «Андрей Семенычъ не совретъ ужъ, стало быть...» Сестра тотчасъ же припоминала подлинныя слова Андрея Семеныча и дѣлалась веселѣе. «Правда, Вася?» обращалась она ко мнѣ. Я подтверждалъ. Я все теперь подтверждаю!

Изъ разговоровъ ихъ я понялъ, что Андрей Семенычъ — практическая уѣздная штука; что всѣ его любятъ; что у него есть про запасъ деньги, несмотря на то, что онъ — уѣздный учитель; что одѣвается онъ хорошо, никогда не пьянъ и избранъ старшиной въ клубъ. Купить что нужно — купить дешево; все знаетъ и что понадобится — сбываетъ; «Пять рублей мы у него разъ занимали — съ удовольствіемъ далъ. Какъ получили, отдали...»

Словомъ, мать находила, что онъ — отличный человекъ; сестра говорила: «да, онъ здѣсь первый...» А когда этотъ хорошій человекъ пришелъ вечеромъ къ намъ, то матушка тотчасъ засуетилась и отозвала меня въ другую комнату.

— Ты извини, голубчикъ! сказала она шопотомъ: — ты при немъ не скажи чего-нибудь про учителей.

— Нѣтъ, нѣтъ...

— Извини, милый мой! А то пожалуй, кто его знаетъ? — разозлится еще!

— Нѣтъ, нѣтъ, будьте покойны.

— Прости!..

Андрей Семенычъ — фигура уютная, плотная, впрочемъ весьма умѣренная, покойная; не старъ и

не молодъ; выпить можетъ пять бутылокъ—и пьянъ не будетъ; выступаетъ не спѣша; одѣтъ прилично, а главное—дешево. Впослѣдствіи я узналъ, что онъ очень любитъ это слово; въ этотъ же вечеръ онъ взялъ себя за рукавъ и, глядя на сукно, рассказывалъ цѣлую исторію, потомъ сосчиталъ всѣ копейки, подвелъ итогъ всему, что и во что обошлось, и засмѣялся. И дѣйствительно вышло ужасно дешево.

— А я, сказалъ онъ, не спѣша и усаживаясь на стулъ,—шелъ, признаться... (тутъ онъ сталъ доставать платокъ и не нашелъ). Куда же это я его сунулъ? въ шапкѣ? (Происходитъ отыскиваніе шапки, но платка нѣтъ.) Нѣтъ, въ шапкѣ нѣтъ... Не въ пальто ли?

— Вы поглядите въ пальто, говоритъ мать и со свѣчкой уходитъ вмѣстѣ съ учителемъ въ кухню.

Присохнуть поиски; платокъ отыскиваютъ.

Андрей Семенычъ садится на прежній стулъ, расправляетъ платокъ и говоритъ:

— А я, признаться, шелъ... (тутъ онъ обходитъ посредствомъ платка, наконецъ запихиваетъ его въ задній карманъ и оканчиваетъ) дай, думаю, найду...

— Вотъ и чудесно! Прямо къ чаю! сказала матушка.

Андрей Семенычъ засмѣялся, поправилъ борты сюртука и покосился, впрочемъ безъ злобы, на меня.

Я подался въ уголъ. Разговоры его продолжались съ тою же неторопливою манерою; но, несмотря на мое молчаливое присутствіе въ углу, онъ какъ будто стѣснялся меня, какъ незнакомаго человѣка, у котораго неизвѣстно, что на умѣ.

— Вася! отозвала меня матушка:—ты говори съ нимъ поаккуратнѣй! Извини, голубчикъ! Какъ бы не подумалъ: прѣхалъ, молъ, изъ Петербурга критиковать.

— Да я съ удовольствіемъ...

— Пожалуйста! Такъ что-нибудь... Поласковѣй! Онъ у попечительницы бываетъ... какъ бы что-нибудь...

— Не беспокойтесь, не тревожьтесь! сказалъ я.

Я собрался съ духомъ и сталъ что-то говорить, даже смѣяться. Должно быть, я угодилъ этому борову, потому что онъ ободрился и изъ круга уѣздныхъ интересовъ мало-по-малу сталъ довольно самоуверенно влѣмываться въ области, ему повидному весьма слабо извѣстныя.

— Скажите пожалуйста, говорилъ онъ, съ лукавой улыбкой поглядывая на мать и сестру:—что, ежели напиримѣръ написать статейку?

— Что же? могъ я только сказать:—отлично!

— Гм... Право? Какъ вы думаете?

— Превосходно! сказалъ я.—Что же?

— Ничего?.. Гм! А тутъ, я вамъ скажу, много можно, ежели захотѣть... Такъ, хоть пострашать... Тутъ—и-и-и можно сколько! Я давно собирался, да все думаю... чортъ съ вами! А ей-богу какъ-нибудь надо... Напиримѣръ, ежели описать, какъ у меня

шапку въ клубѣ украли... А? какъ вы думаете?.. Вѣдь это что же? ежели хоть такъ, для примѣра я возьму,—вѣдь все-таки же два съ полтиной, какъ бы то ни было... А подите-ка у насъ, разыщите!

Я рѣшительно не зналъ, что говорить; однако говорилъ.

— Вѣдь пишетъ же этотъ, какъ его... Бѣлинскій, что ли, въ «Сынѣ Отечества»!..

— Едва ли Бѣлинскій... началъ я совершенно невольюно.

— Вася! быстро окликнула меня мать и увлекла въ другую комнату. — Не спорь! Не спорь съ нимъ!

Я замолкъ.

Хорошій человекъ ободрился, выпилъ бутылку воды, но пьянъ не былъ. По его приглашенію и изъ боязни, чтобы не разошлся, и я пилъ, сколько могъ. Въ концѣ концовъ рѣчь перешла на взаимную любовь; матушку мою хорошій человекъ любилъ какъ родную, а относительно сестры сказалъ съ особенной выразительностью:

— Мы вотъ какъ дружны—дай Богъ всякому!.. Потому что мы оба профессора съ ними, хе-хе-хе! Тоже пользу приносимъ, хе-хе-хе!

— Что вы смѣетесь? сказала сестра:—разумѣется, пользу! Правда, Вася?

— Разумѣется!

Сестра сказала это съ полнымъ убѣжденіемъ, такъ что Андрей Семенычъ устроилъ у себя серьезное лицо и произнесъ, какъ-то потупясь и разставляя руки:

— Да, само собой... Господи Боже мой! Да кабы не пользу, такъ кто же бы сталъ бы! Господи Боже мой, само собой!..

Порядокъ былъ восстановленъ, и снова пошли изліянія. Теперь уже матушка заявляла, что любить его, какъ родного, и сестра тоже что-то было-хотѣла сказать, но покраснѣла. Взаключеніе и меня попросили любить его, какъ родного.

Я на все былъ согласенъ, и счастливый вечеръ продолжился въ томъ же порядкѣ довольно долго.

— Васенька! сказала мнѣ матушка, по уходѣ гостя:—будешь ложиться, такъ поставь сапоги подъ кровать, а не въ кухню... а то пожалуй что-нибудь... подумаетъ...

Я готовъ былъ проглотить мои сапоги, лишь бы никто ничего худого не подумалъ про сестру до тѣхъ поръ, пока доподлинно не узнаютъ, что сапоги принадлежать «родному брату»...

3.

...И при всѣхъ такихъ путяхъ, какъ однако же трудно удержать въ душѣ эту совершенно обстоятельно доказанную потребность молчанія. Въ Петербургѣ возможно достигнуть этого съ гораздо большимъ успѣхомъ; среди яркихъ контрастовъ, составляющихъ столичную жизнь, можетъ и разгорѣться до пламени, и совершенно угаснуть несча-

стная болѣзнь—любовь къ ближнему. Но здѣсь, среди народа, она только разгорается... Даже стейш, еще только начинающіяся у истоковъ Дона, но временамъ сильно допекали меня. И кажется, чему бы тутъ донимать? Горизонтъ, не представляющій взору ничего, кромѣ длинной, туманной нити земли и неба; упорный вѣтеръ, неутомимо несущійся навстрѣчу одинокому нишему пѣшеходу, терзающей одинокую ветлу, бьющій о задокъ кибитки ровно, мѣрно, скучно... Что тутъ? А вѣдь съ ума сойдешь! Ни лѣсочка, ни жилья на протяженіи двадцати верстъ... Вотъ обогнала насъ, словно обезумѣвъ отъ вьхута, маленькая тощая лошаденка, запряженная въ громадную телѣгу; въ телѣгѣ помѣщается пять мужиковъ и шестой—солдатъ—свѣсилъ ноги съ задка... Все это пьяно, весело, все это оретъ, шатается, горланитъ, хлещетъ клячу и повидимому совершенно забываетъ о томъ, что сію минуту какой-то проходимецъ, благодаря щедрому угощенію котораго они и пьяны, отхватилъ у нихъ нужные ихнимъ семьямъ луга, лѣтъ на пять впередъ, положивъ такимъ образомъ начало будущему разоренью. Хорошо, что съ этой пьяной телѣги соскочило колесо и вся компанія рассыпалась въ разные стороны,—по крайней мѣрѣ ее можно обогнать и не видѣть этихъ горькихъ людей, ворожающихся въ грязи, со спутанными на лицѣ волосами, не видѣть этой, почти истерически дрожащей лошадей.

И опять рогожа бьетъ въ задокъ и вѣтеръ гудитъ на встрѣчу.

Подходитъ вечеръ; темно; мысль утомлена. Но вотъ наконецъ замелькали огоньки; среди пустыни вырастаетъ громадное степное село; на темномъ небѣ чернѣетъ нѣсколько колоколенъ; у вѣзда, въ кузні шумятъ мѣха, летятъ искры. Пошла широкая улица, обставленная каменными домами; соломенные крыши непримѣтны въ темнотѣ; попадаются постоянные дворы и дома двухъ-этажные съ рѣзными крыльцами, поднимающимися съ улицы прямо въ середину второго этажа. Вотъ трактиръ съ фонарями и сияющими окнами, въ которыхъ виднѣются люди. Слава Богу, жилое мѣсто!

Но что же значить, что, завидѣвъ нашу кибитку, съ высокихъ рѣзныхъ крылецъ и отворотныхъ лавочекъ начинаютъ бѣжать за нами толпы людей и вся улица оглашается криками:—«Раабоота!.. Эй, слай проѣзжаго!.. Эй! отдай!..» Что значить, что ямщикъ нашъ начинаетъ гнать лошадей во всю мочь, махая надъ кибиткой и надъ тройкой концами возжей и крича:—«У насъ свои есть, кому сдать! Своему сдадимъ!..»

Онъ не замѣчаетъ, что мы избиты толчеями, задурены поклажей и сѣномъ, выбивающимися со дна телѣги; онъ вырываетъ «работу» изъ жадныхъ до нея рукъ своихъ собратій и тащитъ насъ въ какія-то низенькія ворота, которыя захлопываются тотчасъ же, какъ только мы вкатываемъ подъ темный навѣсъ крестьянскаго двора.

— «Какому разбойнику сдаешь?» слышно съ улицы: «Баринъ! баринъ! онъ васъ убьетъ...»

Но этотъ ропотъ толпы заглушается гордели-

выми возгласами ямщика, который, похаживая по двору съ кнутомъ въ рукѣ и въ разстегнутомъ полушубкѣ, вопіетъ:

— «Эй, получи работу!.. Тетери сонныя! Гдѣ вы тутъ?»

Въ голосѣ его слышно торжество. И это торжество начинается. Изъ всѣхъ угловъ, гдѣ въ темнотѣ пищать больныя дѣти, вылѣзаетъ множество разныхъ нуждъ... Никто не спрашиваетъ: кто мы, куда, зачѣмъ?—все вниманіе сосредоточено на трехъ рубляхъ, врученныхъ моими спутниками въ задатокъ. Является множество людей, претявляющихъ самыя основательныя права на долю въ нихъ. Старушка подползла къ телѣгѣ и требуетъ полтину. Человѣкъ въ бѣлой рубахѣ и жена его, и еще два человѣка въ бѣлыхъ рубахахъ съ женами требуютъ тоже по полтинѣ. Вылѣзаетъ древній старикъ. Кряхтя и ошупью хватаясь за столбы навѣса, пробирается онъ къ телѣгѣ, долгое время молча трясетъ дряхлой головой, причѣмъ слышна хрипота въ груди, и шепчетъ:—«Родителю... старичку... колько-нибудь... хучь колько вашей милости...»

Въ толпѣ раздается: «Братцы!.. Боже мой!..»—«Довки вы! завтра небось базаръ!..» «Ахъ Боже мой!..» «Я лошадь даю! Поди къ сусѣду—дасть ли?»—«И пойду».—«И пойдѣ!..»

Пока пьютъ могоарычъ, пока запрягаютъ лошадей, длинные сухіе остоны которыхъ выступаютъ на середину двора медленно, уныло, съ клочкомъ недожеванной соломы во рту—пока все это происходитъ, мы успѣваемъ узнать, что во дворѣ у хозяина не чисто, что въ два года у него пало три тройки, что ребенокъ боленъ. «пучить», что нужна растирка, а растирки настоящей нѣту. Развивается нестерпимая жажда уйти отсюда.

На дворѣ уже черная степная ночь. Мороситъ дождикъ. Тьма ночи, сливаясь съ черною, какъ смоль, степною грязью, образуетъ что-то до того непроницаемое, что глазамъ становится больно. Лошади идутъ шагъ за шагомъ. Помню, пришлось намъ ночевать въ кабацѣ, среди поля. Въ кабацѣ, прильпившемся около мельницы, было грязно, неуютно; ни лампы, ни вѣтки за образомъ, ни картины на стѣнѣ, словомъ,—ничего, на чемъ бы могъ остановиться глазъ; голыя стѣны, запахъ сивухи, столъ, лавка и громадныя дыры въ полу—«отъ плясу», какъ объяснилъ цѣловальникъ. До глубокой ночи я не могъ сомнѣть глазъ: дождь стучалъ и вѣтеръ ломилъ въ гнилую раму; воображеніе, разыгравшееся на тему объ этихъ пляшущихъ людяхъ, до того измучило меня, что я не зналъ, какъ дожидаться бѣлаго свѣта, дня.

Утро было прелестное. Противъ кабака на мельницѣ уже стучали поставы, и изъ амбаровъ неслась бѣлая пыль и шумѣли, какъ шелкъ, крылья множества прилетавшихъ къ амбарамъ и улетающихъ голубей. Солнце ярко и тепло пригрѣвало сырую землю; вода шумно неслась съ плотины и шумѣла внизу. Держась въ сторонѣ отъ водопада, дрожала лодка; два мужика, въ мокрыхъ штанахъ

и рубахахъ, доставали изъ воды верши и вытряхивали на дно лодки мелкую, сверкавшую рыбу. Все это болѣе или менѣе выбивало изъ моей головы ночную муку.

Я пошелъ-было на мельницу, но въ воротахъ амбара наткнулся на мужика, который рылся гдѣ-то у себя въ сапогѣ и нищенскимъ голосомъ говорить надсмотрщику:

— Э-эхъ, бра-ать!.. А я думалъ—вопѣчку мнѣ пожертвуешь на калачикъ?..

— Нѣчего, нѣчего! говорилъ надсмотрщикъ, смотря мужику на сапогъ и позвякивая деньгами въ горсти.

— Андреянъ!.. Э-э-эхъ, братъ!..

Я сейчасъ же ушелъ отсюда и наткнулся на смену, которая спасла мнѣ утреннй отдыхъ. На крыльцѣ флигеля, выстроеннаго противъ мельницы, сидѣлъ повидимому главный приказчикъ. Засунувъ одну руку въ карманъ бешмета, онъ другой рукой шекоталъ брюхо паршивому маленькому щенку, который ваялся у его ногъ.

— Э, злая бестія! бормоталъ онъ.—Э! ужъ и продувная только шельма уродилась... И какъ тебя, шельму, одликнуть? а?.. Ишь, ишь, зубастая тварь... О-о-о! Нѣчего, нѣчего! поднявъ на минуту свое веселое лицо, крикнулъ онъ по тому направлению, гдѣ надсмотрщикъ стоялъ «надъ мужикомъ», выматывая изъ него деньги, и снова сосредоточился надъ щенкомъ, который уже отбѣжалъ отъ него и, сидя на землѣ, беззаботно трепалъ свое ухо лапой...

— Скажите на милость, отнесся приказчикъ ко мнѣ, какъ къ старому знакомому:—что за чудо! Все думаю, какъ мнѣ его назвать, ну, не нахожу словъ—я шабашъ!..

— Какъ-нибудь, сказалъ я.—Подумайте.

— Ужъ думали-съ; ужъ очень хорошо обдумывали... Теперича, ежели-бы онъ шерстью къ сѣрому—ну, «Волчокъ»... Или-бы толстѣе былъ—ну «Шарикъ»... А то, шутя его разберетъ, не то онъ дохлый, не то онъ... пестъ его знаетъ!.. Развелъ блохъ—ла и горя мало. И разбирай его фамилію... «Нѣчего, нѣчего!»—снова взволновавшись донесшимися съ мельницы «э-эхъ, ма!», прогремѣлъ приказчикъ и потомъ тихимъ, заботливымъ голосомъ принялся псчислать всѣ придуманныя имъ клички. Одна изъ нихъ была до того уморительна, что, сказавъ ее шопотомъ, приказчикъ покотился со смѣху. По крайней мѣрѣ лѣтъ двадцать мнѣ не приходилось ни слышать, ни самому смѣяться такимъ смѣхомъ. Я стоялъ надъ нимъ, какъ подъ освѣжительной душей, и думалъ: какъ-бы хорошо было мнѣ теперь это міросозерцаніе!..

4.

...Какъ-бы годилось мнѣ это міросозерцаніе, въ виду тѣхъ безконечныхъ «эхъ-ма», которыя постоянно вылѣзаютъ на свѣтъ Божій изъ нѣдръ обыкновенной жизни.

На другой день моего приѣзда сестра повела меня въ классъ. Признаться, я высказалъ-было намѣреніе не пойти, ибо пора мнѣ знать науку, которую «всѣ довольны»; но просьба сестры была такъ убѣдительно, она такъ страстно хотѣла моего одобренія, что я долженъ былъ идти. Семенъ Андреичъ былъ съ нами.

Въ классахъ была образцовая чистота и порядокъ; доска была только-что вытерта мокрой губкой и блестяла; на стѣнахъ висѣли картинки изъ священной исторіи: «Потопъ», «Канитъ убиваетъ Авеля» и проч. На передней скамейкѣ сидѣли купеческія дочери въ люстриновыхъ платьяхъ, подальше помѣщались одѣтыя похуже.

— Такъ лучше, объяснила мнѣ сестра.—Не хорошо, если кто-нибудь войдетъ и прямо увидитъ оборванныхъ... а знаютъ онѣ почти одинаково... Вотъ, посмотри, какія у всѣхъ тетрадки... Кузьмина! подите сюда.

Съ задней лавки вышла деревенская дѣвочка босикомъ; тетрадка ея оказалась прекрасная; съ большимъ стараніемъ были изображены въ ней описанія осени, зимы, масленицы.

— Какъ-же это ты, сказала сестра,—пачкаешь тетрадь? Это не годится... Придетъ попечительница, посмотреть!..

Дѣвочка потупилась и вертѣла въ худенькихъ пальцахъ кончикъ платка, которымъ была повязана ея голова. Семенъ Андреичъ ласково дотронулся пальцемъ до ея подбородка и, поднимая ея потупленное лицо, говорилъ:

— А ты не жмурься, отгѣчай!

Пересмотрѣли еще нѣсколько тетрадей, и во всѣхъ было «хорошо». Потомъ сестра вызвала нѣсколько дѣвочекъ къ доскѣ, заставила написать нѣсколько строкъ изъ стихотворенія: «Зима... Крестьянинъ, торжествуя» и слѣзая разборъ. Дѣвочки взапуски принялись отыскивать предложенія, дополненія, подлежація; онѣ видимо старались угодить сестрѣ: краснѣли, комкали мѣлъ, тревожно оглядывались, если была ошибка, и громко выкрикивали всѣ хоромъ, порываясь отъ доски къ сестрѣ, если были убѣждены, что скажутъ вѣрно.

— Видишь? шептала сестра.—Директору очень-очень понравилось.

Показавъ мнѣ познанія дѣвочекъ, она наконецъ сама стала задавать имъ урокъ; и дѣйствительно сестра не жалѣла груди и силъ, толкуя дѣвочкамъ извѣстное стихотвореніе «Птичка». Громадныхъ трудовъ стоило ей разъяснить ученицамъ стихъ: «Въ сѣяньи голубого дня». Ей нужно было сказать: что такое «голубой», что такое «голубой день». Растолковавъ это, нужно было объяснить, что собственно голубыхъ дней не бываетъ, что тутъ необходимо понимать небо, но нельзя также думать, чтобы это было только небо, а что тутъ примѣшано и солнце, и свѣтъ, и много еще другихъ вещей, которыя всѣ вмѣстѣ составляютъ то, что поэтъ разумѣлъ подъ названіемъ «голубого дня». Откашлявшись, сестра задала это стихотвореніе списать въ чистыя тетради, — и урокъ кончился.

Сестра была утомлена; все, что она считала нужным сказать, она говорила не кое-как.

— Устали?... спросил ее Семенъ Андреичъ, когда мы уходили.

— Устала.

— Да, ужъ признаться сказать, не даромъ деньги беремъ! Это ужъ нечего... Въдъ это только не зная кричать: «мало! мало!». А поди-ко, влобни имъ въ голову-то... жизнь проклянешь! Вы знаете, что я вамъ скажу? обратился онъ ко мнѣ.—У насъ какіе есть мастера: ты ему твердишь, надсѣдаешься—«подлежащее, подлежащее», а онъ тебя-жъ надуешь въ лавкѣ! Н-нѣтъ, батюшка, это хорошо разговаривать... Поди-ко, поворочай... Я, ей-богу, удивляюсь Надеждѣ Андреевнѣ, какъ онъ еще спрашиваютъ: въдъ почти однѣ...

— Да, сказала мать, встрѣтившая насъ въ сѣняхъ и услышавшая конецъ разговора:—это правда... Ермаковъ такъ часто манкируетъ... постоянно!

— Что! пьяница, прощальга—ужъ извините, я прямо! сънисходительнымъ пренебреженіемъ проговорилъ Семенъ Андреичъ.—Когда-нибудь дождется, турнуть, вотъ и скажъ... Я даже такъ думаю, не онъ-ли у меня шапку-то... въ клубъ?

Семенъ Андреичъ мигнулъ.

— Ей-богу! Пожалуй выпилъ лишнее да и... Ему все равно.

— Ну, что вы... ужъ! заступилась матушка.

— Да я и не говорю, а что можетъ быть... Богъ съ нимъ! Свьяня—больше ничего... Обидно, что другихъ заставляетъ работать изъ-за своего пьянства.

Всѣ эти сочувственные слова сестра принимала молчаливо, и хотя видно было, что она не считаетъ ихъ лестью, однако я замѣтилъ, что она ждетъ много мнѣнія. Признаюсь, мнѣ было не легко пристать къ общему хору хваленій. Но, подумавъ, я нашелъ, что если точное исполненіе этой программы ведетъ къ тому, что сестрѣ дадутъ комнату и свѣчку, то, стало быть, не согласиться съ этимъ—значитъ поставить сестру на ту дорогу, гдѣ не будетъ ни комнаты, ни свѣчей, и гдѣ въ концѣ-концовъ она можетъ услышать: «нѣтъ проѣзда!». Припомнилъ я также кое-что и изъ своей жизни по этому вопросу, изъ своихъ путешествій по пути несогласій; вспомнилъ, что и я тоже былъ учителемъ и пробовалъ смотрѣть на школу и науку, какъ на вещи, объясняющія вообще «человѣка». Но, кромѣ того что мои бока были помяты лишній разъ, не думаю, чтобы были какіе-нибудь другіе результаты для школы и для меня. Пытливые взоры сестры, которая поминутно взглядывала на меня во время обѣда, правда мѣшали мнѣ хорошенько подумать надо всѣмъ этимъ, но тѣмъ не менѣе, когда наконецъ она задала мнѣ роковой вопросъ:—«Ну, какъ ты, Вася?.. Хорошо-ли?»—въ воображеніи моемъ накопилось столько утвердительныхъ доводовъ, что я долженъ былъ сказать: «Хорошо!».

— Только ты, въ самомъ дѣлѣ, не очень мучай

себя... У тебя грудь слаба... осмѣлился я пикнуть. Но когда сестра обрадовалась, то, право, мнѣ кажется, я едва не сгорѣлъ отъ стыда.

Гуляя я какъ-то по улицѣ и натолянулся на слѣдующую сцену. Около полицейскаго управленія стояла телѣга; на дѣѣ ея лежала человѣческая фигура, съ ногъ до головы закрытая полушубкомъ; на тротуарѣ стояла баба съ кнутомъ въ рукахъ и, обращаясь къ полушубку, говорила:

— Ма-ашенникъ этакой!.. Злодѣй!.. Вотъ погоди, прощальная душа!

Человѣкъ, лежавшій подъ полушубкомъ, не шевелился. Я подошелъ къ бабѣ и спросилъ: въ чемъ дѣло?

— Да вотъ, батюшка, вора привезла! Пушай его запрутъ въ казематъ, шельму этакую, бродягу! двухъ лошадей свезъ, нечистая сила. Хорошо, углядѣли во-время—догнали, а не угляди мы?... Этакая паскуда! Все ты увертывался, ну ужъ теперь покаешься. Ужъ теперь...

— Авось, Богъ милостивъ! вдругъ послышался голосъ изъ-подъ полушубка.

— Ахъ ты, нечистая душа! гнѣвно возразила баба.—Что же это, всякому вору да... А-ахъ-ты!

— Нич-чево!.. Авось!.. Ты думаешь, Богъ-то для васъ только?.. Нѣтъ, очнись! Ты думаешь, вора привезла—и все тутъ?.. Нѣтъ, погоди маленько! У н-насъ тоже противъ васъ штукча есть!..

Баба жестоко негодовала. Но тонъ человѣка подъ полушубкомъ сдѣлался отъ этого въ высшей степени самоувереннымъ.

— Нѣтъ, шельма, погоди! гремѣло подъ полушубкомъ.—Такъ-бы я тебѣ, шельмѣ, и дался. Кабы у меня эфтого не было. Такъ-бы я тебѣ и легъ въ телѣгу-то?—кажже, сдѣлай одолженіе! Нашла дурака! Кабы эфтой штукки у меня противъ васъ, чертей, не было, наша-бы ты меня... держи!

Эта «штучка» до того заинтересовала меня и бабу, что послѣдняя во все горло потребовала, чтобы онъ разъяснилъ эту штукку.

— Кажи, шкура свиная, что у тебя есть? Чѣмъ ты можешь намъ во вредъ?.. Кажи!

Человѣкъ, лежавшій въ телѣгѣ, вдругъ отянулъ полушубокъ и проворно съѣлъ въ телѣгѣ, показывая намъ почти голую спину.

— А это что, живодерная шельма? зарычалъ онъ, стиснувъ зубы, и сталъ тыкать себя въ затылокъ пальцемъ.—Что это-о?

Мы съ бабой увидѣли, что затылокъ былъ у него разбитъ и волосы запеклись въ крови.

— Что? что? что, гн-нусава? ревѣлъ человѣкъ, повернувшись къ намъ лицомъ и держась обѣими руками за край телѣги.—Ай присѣла? Нѣтъ, еще за эту штукку-то тебя, шельму, надо разстрѣлять!.. Аннаеому!

Баба залилась, но молчала и видимо оторопѣла.

— Ты ловить вора—лови, а оглоблей его гро-мывать въ это мѣсто—не показано! продолжалъ

мужикъ.—Что въ законѣ сказано?.. Шельма! Такъ бы я вамъ, чертямъ, и дался, ежели-бъ вы мнѣ не повредили! Ду-ура! Вѣдь и мы съ умомъ! Я тебѣ, дурѣ, нарочно затылокъ-то подставилъ!.. Бобыла-а! Потому намъ за это снисходятъ! Съѣшь вотъ!..

Сказавъ это, мужикъ снова юркнулъ подъ полушубокъ, снова закутался съ головой, и, въ то время, какъ баба не знала что отвѣчать, весело говорилъ оттуда:

— Х-ха!.. А то дурака нашли! Нѣтъ, братъ, эта штука—мое почтеніе! Вотъ какъ я тебѣ скажу... Шельма!.. Я тебѣ покажу мои права!

Я пошелъ и думалъ о томъ, что у меня даже и такихъ-то правъ нѣтъ, точно на воздухѣ висить.

5.

Время мое проходить болѣею частью въ молчаніи, а со временемъ надѣюсь и еще лучше освоиться въ этихъ положеніяхъ. И теперь я уже мало-малу начинаю напоминать собой богомольца, который заимовалъ у добродотнаго дателя: пьеть, ѣсть, зѣвать, крестить ротъ, спать—и болѣе ни о чемъ не заботится. Записывая по вечерамъ кое-что въ записную книжку, я уже самъ разыскиваю старую матушкину юбку, чтобы завѣсить окно, а не дожидаясь, пока матушка сама протянется съ нею къ окну черезъ мою голову и не объяснитъ мнѣ, что «какъ-бы кто не увидалъ—подумають, сочиняешь, обидятся, разозлятся и того наплетутъ, что всю жизнь не раздѣлаешься!..» Все это я теперь знаю и исполняю самъ.

Городишко оказывается самый обыкновенный; грязь, каланча, свинья подъ заборомъ, мѣщанинъ, загоняющій ее полѣномъ и ревущій на нее простуженнымъ голосомъ: все это, вмѣстѣ съ всклоченной головой мѣщанина и его рубахой, распоясанной и терзаемой вѣтромъ, составляетъ картину довольно сильную по впечатлѣнію. Книгъ въ городѣ можно отыскать много; есть книги даже хорошія, но боюсь ихъ читать; чтеніе это не приведетъ къ добру; читаю, что попадется! болѣею частью повѣсти о любви, но и то рѣдко. Болѣею частью стараюсь думать о вещахъ, отдаленныхъ отъ дѣйствительности; на стѣнѣ у меня виситъ картинка слѣдующаго содержания: на берегу громаднаго озера изображенъ крошечный человѣкъ, сидящій на корточкахъ, въ шляпѣ съ широкими полями; въ рукахъ у него удочка; вдали колокольня, а внизу подписано: «Предпріятіе...» Вотъ я и думаю: гдѣ именно тутъ скрывается предпріятіе? Предметъ, достойный наблюденія и размышленія.

По просьбѣ матушки, я отправился недавно въ гости къ Семену Андренчу; живетъ «звѣриннымъ бытажемъ», но собою доволенъ и все у него есть. Я засталъ у него Ермакова, и если бы не полштофъ водки, который уже стоялъ на столѣ и былъ почти осушенъ, я не знаю, что бы мы трое выдумали для разговора. Но Семенъ Андренчъ былъ подъ хмель-

комъ, а Ермаковъ совершенно пьянъ: поэтому мы всѣ о чемъ-то разговаривали.

— Вѣдь вотъ какая скотина! говорилъ Семенъ Андренчъ:—нарѣжется и оретъ!.. Ну, что ты этимъ ораньемъ хочешь доказать?.. Кромѣ вреда себѣ и другимъ...

— Плевать! прогремѣлъ Ермаковъ, обнаруживая громадный бастъ. — Плевать мнѣ на васъ, на всѣхъ!

Ермаковъ былъ человѣкъ крѣпчайшаго сложения и повидимому большая сила изъ числа тѣхъ, которые въ трезвомъ видѣ не убьютъ и мухи; но въ пьяномъ видѣ онъ былъ страшенъ; ему было не болѣе тридцати лѣтъ, но лицо уже достаточно распухло и отекло.

— Черти проклятые! ревелъ онъ, сжимая кулаки и косясь на меня.

— Болванъ ты этакой! Ну, если Иванъ-то Егоровъ передастъ Фролову, что ты болталъ на крестинахъ у дьякона?—вѣдь пороку отъ тебя не оставаться, дуракъ!

Ермаковъ посмотрѣлъ на него, вдругъ приподнялъ плечи, сжалъ кулаки и зубы и прогремѣлъ что-то до того ругательное, что даже Семенъ Андренчъ не нашелся, что ему возразить; онъ схватилъ Ермакова за плечо и, наливая другой рукой водку, кричалъ:

— Да пей! Пей! Чорты!

Ермаковъ выпилъ и облилъ свою щеку и жилетку.

— Что лъешь-то? Эхъ-ма!.. Пить не умѣешь, а орешь.

Изъ всего оранья Ермакова я могъ заключить, что въ этомъ гигантскомъ тѣлѣ прочно засѣлъ неисцѣлимый недугъ протеста, который, благодаря нищенской жизни и подъ влияніемъ нищенскихъ интересовъ окружающаго, состарѣлся въ немъ, прокись, обросъ мохомъ. Милліоны разъ «возмущаясь» такими мельчайшими мелочами жизни, какъ напр. то, что штатный смотритель дѣлаетъ «подлость», не пуская учителей курить въ своей комнатѣ, а заставляя ихъ исполнять это на крыльцѣ, и т. д., и т. д.,—какъ не кончить однимъ ораньемъ и какъ не развивать этого оранья дальше и болѣе?

Оранье и скрежетъ зубовъ раздавались ежеминутно, и Семенъ Андренчъ поминутно прибѣгалъ въ такихъ случаяхъ въ водкѣ.

— Да выпей! Выпей! Буйволъ!..

— Налей!..

— Такъ-то лучше! Выпилъ да закусилъ—анъ оно и... На-ко, закуси!

Ермаковъ закусывалъ солью, которую пальцами клалъ на языкъ.

Я познакомился съ нимъ. Онъ нѣкоторое время молча держалъ мою руку въ своей плотной и горячей рукѣ, смотрѣлъ на меня, будто желая что-то сказать, и вдругъ принялся ломать мою руку, скрипѣть зубами и потащилъ къ полштофу.

— Выпей! едва проговорилъ онъ. — Выпей, братъ!

Я выпилъ. Жалко мнѣ было Ермакова.

Уходя, я оставил его совершенно пьяным: тяжело поднявшись, он ухватился за лежанку руками, что-то мычал, куда-то хотѣлъ идти, чтобъ кого-то «избить», но двинуться не могъ, а только стоялъ на одномъ мѣстѣ и шатался.

По просьбѣ Семена Андренча, я обѣщалъ какъ-нибудь опять придти къ нему «посидѣть». Навѣрно со-временемъ я привыкну къ этой работѣ «посидѣть» и приду къ нему, но до сихъ поръ пока еще не былъ, ибо самъ Семенъ Андренчъ посѣщаетъ насъ ежедневно. Часовъ въ шесть вечера непременно слышно изъ кухни, какъ онъ скидаетъ ка-лоши и говоритъ: «а я, признаться, шелъ да... гдѣ-жъ это тутъ гвоздь былъ? ай вывалился?.. дай, думаю, зайду!». И затѣмъ тянутся медленные, неповоротливые разговоры о томъ, что хорошо бы пробраться въ судебные пристава и проч. Между прочимъ, со словъ Семена Андренча, я узналъ, что убаданный предводитель опредѣлилъ происхождение нигилиста «помѣсью дворовой дѣвки съ дякономъ». Самъ Семенъ Андренчъ понимаетъ ихъ не лучше. «Тутъ у насъ въ клубѣ тоже одинъ появился какъ-то... пьяная размертвецки шельма! Просить—«подайте!». Я посмотрѣлъ, вижу—нигилистъ! «Нѣтъ ужъ, говорю, вы потрудитесь получить вашу субсидію изъ Польши! Вы оттуда по пятнадцатинному въ день получаете, ну—и съ Богомъ!» Разговоры вообще любопытны... По окончаніи ихъ, я ставлю сапоги подъ кровать и сплю; засыпать я могу быстро: для этого стоять только какъ можно ближе пододвинуть лицо къ стѣнѣ и смотрѣть во все глаза. Нельзя однако сказать, чтобы результаты всегда были блестящіе: иногда не спишь, не смотря на всѣ усилія.—Тогда зажгу свѣчу и запишу что-нибудь...

Вчера вечеромъ разговоры съ Семеномъ Андренчемъ были прерваны появленіемъ кухарки:

— Барыня-матушка! тревожно заговорила она, обращаясь къ матери: — нѣтъ-ли у васъ какой мази?..

— На что тебѣ?

— Охъ, да тутъ сейчасъ старушка одна знакомая прибѣжала: дочь у нея рождаетъ, мучается! Такъ плачетъ, ничего сдѣлать не могутъ!

Въ голосѣ кухарки была сильная тревога, и я высказалъ желаніе идти къ бабѣ.

— Вася, и я! сказала сестра.

— Куда вы въ грязь такую? попытался урезонить Семенъ Андренчъ; но сестра уже одѣвалась, и скоро мы оба съ ней побѣжали вслѣдъ за кухаркой, побѣжали какъ на пожаръ, потому что помочь бабѣ едва-ли мы могли чѣмъ-нибудь.

На дворѣ была тьма и грязь. Намъ пришлось спускаться подъ гору, въ сабодку, гдѣ внизу свѣтились огоньки, шумѣла вода на плотинѣ и лаяли собаки.

— Такъ плачетъ, такъ плачетъ, горюшко—бѣдная! душевно соболѣзнула, слезливо говорила кухарка, спускаясь впереди насъ по скользкой тропинкѣ.—Лежитъ одна, ни откуда помощи нѣту да

и гдѣ теперь, по такому время? И бабки-то не разыщешь! И бабки-то всѣ въ разборѣ!

— А Авдотья Ивановна? спросила сестра.

— Да и Авдотьи-то Ивановны теперь ты съ собаками не сыщешь! Кабы у насъ народъ-то былъ умный, а то онъ дуракъ! Къ одному время всѣ пригоняють... Цѣлый годъ купорка-то сидитъ безъ хлѣба, а какъ осень—хоть разорваться, такъ въ ту же пору!

— Да почему же осенью?.. спросилъ я.

— А коли вамъ угодно знать, такъ потому, что всѣ по нашимъ мѣстамъ ведутъ счетъ этому дѣлу съ масовѣда, послѣ Рождества, либо съ масляницы... Потому кругомъ посты... И считайте теперьца левятый мѣсяць... когда придется? И есть, что осенью! Ну, и гдѣ-жъ ее теперь, купорку, сыщешь?..

Изъ избушки, къ которой мы подошли, доносились раздрающіе крики; по стекламъ маленькихъ окошекъ бѣгала какая-то проворная тѣнь и слышался равномерный стукъ.

— Что это? спросила сестра.

— О-о, черти, о-о, безумные! Коноплю треплютъ! Да они ее задумать, негодные! почти заплакала кухарка и ушла въ избу.

Мы вошли въ сѣни; маленькая дѣвочка съ распущенными жидкими волосами и въ распоясанномъ платишкѣ пробиралась босикомъ, съ огаркомъ въ рукахъ, куда-то въ уголь. Ее догоняла сгорбленная старуха и совершенно растроганнымъ голосомъ кричала:

— Куда ты, поскуда, тащи-ишь?.. Всѣ огарки пережгла, негодная!

Съ этими словами она выхватила у нея огарокъ и шлепнула по затылку, причемъ на полъ упала книга.

— Меня бронютъ!... пропищала дѣвочка, сначала схватившись за затылокъ, потомъ за книгу, и поплелась обиженная въ избу.

— Да шутъ и съ ученьемъ-то съ твоимъ! Мать умираетъ, освѣтитесь нечѣмъ, подлая!

Я заглянулъ въ избу. Тамъ слышались стоны и висѣли облака пыли и кострики. Идти было незачѣмъ. Сестра просила меня проводить ее къ аптекарю, который постоянно дома и можетъ чѣмъ-нибудь помочь. Мы собрались идти, какъ изъ избы вышла наша кухарка вмѣстѣ со старухой, которая прямо повалилась намъ въ ноги и говорила только: «батюшка!» — тогда какъ кухарка объяснила, въ чемъ дѣло. У старухи не было тридцати копѣекъ, и она просила ихъ у насъ, чтобы побѣжать къ попу и просить его, чтобы отворилъ въ церкви царскія врата, такъ какъ это облегчаетъ трудность родовъ.

Мы дали, что могли, и всѣ вмѣстѣ вышли вонъ. Старуха побѣжала впередъ и, карабкаясь на гору, стонала:

— Батюшка! дай тебѣ Господи! Дай тебѣ Царица Небесная!

Кухарка, идя позади насъ, вторила ей.

Я и кухарка долго ждали сестру, пока она была въ аптекѣ; наконецъ она вышла; аптекарь

далъ кое-какіе совѣты и лекарство. Передавъ эти совѣты кухаркѣ, мы всѣ пошли къ пону, котораго сестра хотѣла попросить не задержать старуху, и вдругъ наткнулись на нее.

— Акулина! Ты?.. съ изумленіемъ воскликнула кухарка.

— Горюшки мои бѣдня! плакалась старуха:— потеряла деньги-то, обронила!

— Всѣ, что ли?

— Да вотъ одна монета выпала. Ищу-ищу— нѣту ничего!

— Брось! Брось! Бѣги ужъ къ пону-то!

— Да какъ бросить?.. Ахъ, горюшки мои!

— Бѣги, старая! Ахъ, Боже мой!..

— Охъ-охъ-охъ!

Кое-какъ сестрѣ и кухаркѣ удалось уговорить старуху, и она побѣжала къ пону.

— Ну, теперь ты бѣги скорѣй, сказала сестра кухаркѣ:—неси лекарство да помни, что я сказала...

— Какъ не помнить, матушка, бѣгу, бѣгу! торопливо говорила кухарка:—и что ужъ тутъ искать пятачка? Ахъ, старуха, старуха!

— Бѣги, бѣги...

— Бѣгу, матушка! нагибаясь на ходу къ землѣ, говорила кухарка и вдругъ стала опять искать въ грязи пятачка.

Кое-какъ и ее удомали.

Признаюсь, не безъ непріятнаго чувства въ душѣ подходилъ я къ поповскому дому. Я хотѣлъ подождать въ сѣняхъ, но сестра втащила меня въ комнату.

Въ передней, на колѣняхъ, стояла старуха, а изъ глубины довольно темной залы слышался звучный голосъ священника:

— Отдай дьячку ключи да скажи, чтобы скорѣе отперъ церковь. Я сейчасъ буду. Бѣги!— Кухарка выбѣжала изъ залы съ ключами.

Мы вошли, познакомились, сестра передала просьбу; священникъ дѣйствительно торопился; застегивая полукафтанье, онъ торопливо говорилъ другому, бывшему въ комнатѣ, духовному лицу:

— А ты тѣмъ временемъ—того, Гавріилъ Петровичъ, подбавь что-нибудь сюда-то! и онъ при этомъ кивалъ на лежавшую на столѣ бумагу.

— Я сію секунду... Ступай, матушка, успокойся, отнесся онъ къ бабѣ:—Богъ дастъ—все благополучно... Молись поусерднѣе, да не перевери, что докторъ-то сказалъ. Ступай, бѣги! Да и ты, Гавріилъ Петровичъ, того-то...

Священникъ попросилъ насъ посидѣть и ушелъ... Гавріилъ Петровичъ былъ дьяконъ и оказался добрейшимъ существомъ; голосъ у него былъ мягкій, юношескій и слегка дрожалъ отъ какого-то постоянного нервнаго волненія.

— Вотъ этакія сцены переносятъ, началъ онъ, предварительно нѣсколько разъ кашлянувъ:— право, до того непріятно...

Дьяконъ волновался и ходилъ по комнатѣ.

— Иной разъ, ей-богу, самъ заплачешь, глядя, а не то что... Да ничего не слѣзаетъ! вдругъ, словно выйдя изъ терпѣнія, проговорилъ онъ.— Вѣдь будете говорить по совѣсти! я не радъ это-

му—у меня дѣти! Ихъ учить надо, кормить! Да кроме того...

Тутъ онъ исчислилъ множество разныхъ вѣзновъ, требующихся ежегодно, и самымъ обстоятельнымъ образомъ доказалъ, что нельзя не брать съ народной темноты и невѣжества.

— Да вотъ, извольте видѣть эту вотъ вещь! продолжалъ онъ, взявъ со стола бумагу:—это умерла купчиха-съ. Супругъ желаетъ, чтобы духовенство произнесло надгробныя рѣчи, и обѣщаетъ по три рубля, а ужъ ежли очень хорошо, то и пять!.. Вотъ мы съ батюшкой желаемъ получить по два съ полтиной, и теперь, представьте себѣ, сколько мы должны принять на душу грѣха, чтобы растрогать эти аршинныя души до слезъ!.. Намъ нужно эти откормленные туши заставить рыдать-съ!.. Нуте-ко, придумайте!.. И тогда только мы можемъ разсчитывать на полученіе изъ лавки фунта чаю подмоченнаго! Денегъ намъ, разумѣется, не дадутъ, надуютъ...

Дьяконъ въ яркихъ краскахъ нарисовалъ свое безвыходное положеніе. Пришедшій изъ церкви батюшка прибавилъ къ этому еще нѣсколько другихъ фактовъ. Онъ впрочемъ не волновался, какъ дьяконъ, а былъ положительнѣе, и, разъ рѣшившись смотрѣть на вещи такъ, а не иначе, шелъ не оглядываясь.

— Э-э, говорилъ онъ:— тутъ церемониться, такъ съ сумой пойдешь!

Когда рѣчь коснулась проповѣди, онъ прямо объявилъ, что нужно повести рѣчь о томъ, что новопредставившаяся была недавно—новобрачная... а теперь... что мы видимъ?

— Вотъ! сказалъ онъ дьякону, ткнувъ пальцемъ въ бумагу:—повѣрь, быкомъ зареветь и какъ снопъ повалится!

Дьяконъ грустно улыбнулся, однако взявъ проповѣдь съ собой и обѣщавъ составить ее въ указанномъ батюшкой направленіи.

Мы пошли вмѣстѣ.

Дьяконъ всю дорогу жаловался на свою судьбу и разсказалъ цѣлую систему невозможностей пойти по другой-дорогѣ, выбрать иной путь въ жизни. Все это только вносило новыя лепты въ сокровищницу познаній моихъ о пользѣ молчанія.

Думая такъ, я шелъ молча и почти не слышалъ, что сестра что-то говоритъ.

— Что ты? спросилъ я.

— Что она вретъ? Когда я браню ихъ?

— Кого?

— Да дѣвочка говоритъ: «меня бранятъ!». Она вѣдь у меня учится...

— Учишь, учишь, шептала она:—бьешься, бьешься...

Въ голосѣ ея слышалось желаніе успокоенія, сочувствія. Семенъ Андреевичъ, сидѣвшій еще у насъ въ то время, когда мы воротились назадъ, успокоилъ ее.

— Вы никакъ уже въ акушерки пустились? Мало вамъ своего дѣла?.. Э-эхъ, некому васъ съ-ѣсть!.. Хоть ноги-то перцовкой разотрите... она оттягивается... Э-эхъ-ма!..

6.

На дняхъ опять фактъ...

Нужно сказать, что сестра, всегда флегматичная и вялая, въ послѣднее время какъ-то заскучала, нахмурилась и отъ времени до времени какъ-бы сама съ собою разговаривала, перелистывала какую-то книгу и потомъ бросала ее, говоря: «я не знаю, что мнѣ имѣ диктовать!». Я случайно поглядѣлъ эту книгу, это была хрестоматія, обнимающая всѣ отрасли человѣческихъ знаній, упрощенныхъ до степени двугривеннаго, болѣе каковой суммы авторъ не разсчитывалъ отыскать въ народномъ карманѣ. Всѣ знанія поэтому принимали смѣшпый отбѣнокъ: тутъ прыгали зайчики, разговаривали мышки, тутъ было и «Здравствуй, матушка Москва», и «Здравствуй, въ бѣломъ сарафанѣ, раскрасавица зима!», «Царю небесный» и таблица умноженія. Мнѣ пришло въ голову, ужъ не оттого-ли сестра стала бросать книгу, что при каждомъ стихотворномъ баловствѣ, попадавшемся тамъ, передъ ней мелькалъ образъ умирающей бабы, у которой тащатъ свѣчку, чтобы выучить это баловство? Я поглядѣлъ на сестру; она хмурилась, но меня не спрашивала ни о чемъ. Не боялась ли она, что я, молчаливая, постоянно почти лежащая фигура, сочту глупымъ ея вопросъ?

Семенъ Андреичъ счастливей меня. Какъ-то выдался ясный августовскій день, мы сидѣли на крылечкѣ, на дворѣ.

— Да вы что это такъ? спросилъ онъ сестру и скорчилъ хмурое лицо.

То, что я думалъ, оказалось справедливымъ.

— Да вамъ какое дѣло? сказалъ Семенъ Андреичъ:—что вамъ самимъ, что ли, сочинять? Слава Богу, и такъ довольно есть кому!

Чувствуя, что этого мало для того, чтобы сестра повеселѣла, Семенъ Андреичъ прибавилъ:

— А въ уѣздномъ-то училищѣ, вы думаете, лучше? Директоръ прѣхалъ, спрашиваетъ: «у васъ какая метода?». А дьяконъ ему: «у насъ метода одна—за вихорь!». И то ничего! Разбирать! Вамъ сказано, какъ надо—какое же вамъ еще дѣло?

Сестра улыбнулась, но молчала и слушала.

— Но все-таки, по крайней мѣрѣ, имѣ... начала она, какъ-бы желая успокоить себя какимъ-нибудь положительнымъ рѣшеніемъ:—все-таки какая-женибудь польза...

— Да Господи Боже мой!.. Само собой! Да кабы не польза, такъ вѣдь кто-жъ-бы? Естественно, что...

Въ это время, среди лая собакъ, приблизился къ намъ отставной солдатъ въ старой шинели и съ деревянной ногой.

— Помогите, господа, прохожему солдату! пѣвучимъ и добродушнымъ, почти веселымъ голосомъ проговорилъ онъ. Это былъ человѣкъ небольшого роста, тщедушный, но державшій себя бодро.

— Иду на родину изъ службы, что ты будешь дѣлать?—ничего нѣтъ! Помогите, господа, чѣмъ-нибудь...

— Ты грамотный? вдругъ почему-то спросила сестра.

— Былъ, сударыня, и грамотный—да всего теперича лишень... Ничего не осталось, только что караулъ ежели закричать—ну, это могу! Хе-хе-хе!

Нельзя было не засмѣяться.

— Дай-Богу-съ! сказалъ солдатъ.—Надо быть, такъ ужъ мнѣ на роду написано—не потрафлять: женился—взялъ жену ловкую, нѣжную дѣвицу; служилъ чисто; веселѣлъ меня, ежели въ работѣ, али въ шуткѣ, человѣка не было...

— Ты чей?

— Здѣшній, здѣшняго уѣзду... Вотъ тутъ имѣніе Двурѣчки... Слухъ есть, жена моя тамъ... Богъ ее знаетъ!

— Ну, такъ что же, какъ? Ну, служилъ?

— Ну, служилъ-служилъ, угождалъ-угождалъ барину... Бывало, дѣшныя ночи съ нимъ куралесили въ здѣшнемъ городѣ, по оврагамъ, все разыскивали веселыхъ дѣловъ, да-съ!.. Бывало, выпью водки, возьму хорошую закуску, вотъ эдакую вотъ дубину, пойду тамъ ворочать—ужъ достану товару! Даже теперь подумаешь-подумаешь: чѣмъ у Господа замолю грѣхи? Ну, а въ ту пору имѣлъ надежду; мечталъ такъ, что будто покоряешься господину, онъ тебя тоже не оставитъ. Женатъ былъ—только что Господи благослови—хотѣлъ своею частью заняться, имѣть уютъ. И такъ, будто, что выходило. Ну, а вышло—эво какъ!..

Солдатъ шагнулъ къ намъ деревянной ногой.

— Отчего-жъ такъ-то?..

— Оттого что водка! Вотъ кто насъ губитъ!.. Ярмонка, изволите видѣть, была—вотъ самое это мѣсто (солдатъ показалъ рукою по направленію къ рѣкѣ). Жена у меня первое время—не знаю какъ теперь, Богъ знаетъ!—жена у меня франтовитая была, признается, супруга... Пошли на ярмонкѣ, обижается на меня: «Неряха!». А ужъ точно, сами знаете, какъ одѣвали нашего брата? Такъ эти слова на пьяну-то голову (а здорово дѣйствительно было) такъ меня повернули:—«Э, думаю, надѣву господское платье, старое заваляшее, пройдуся разокъ!» Ишь вѣдь! Ну, сейчасъ побегъ; все господамъ живымъ манеромъ прибралъ, подаль... Ж-живо, вотъ-какъ! рукомойникъ несу, съ пьяныхъ-то глазъ, не какъ люди, а норовлю его на одномъ пальцѣ пронести. «Разобьешь!»—«Будьте покойны!» Покои дали вылить, такъ я ихъ подъ облака зашвырнулъ, черезъ пять крышъ. Ну, подгулялъ, больше ничего. Такимъ манеромъ и нарядился въ господское... Думаю, погоди! Хватъ, а баринъ—вотъ онъ! Съ тѣхъ минуты: воръ-воръ-воръ-воръ! Что хошь! нѣту мнѣ имени, какъ воръ! Пошло и пошло, отъ всего отрѣшенъ... И добился подъ красную шапку—что станешь дѣлать-то?

Тутъ солдатъ сталъ разсказывать о своихъ трудахъ въ военной службѣ, упоминалъ о городахъ, генералахъ, черкесѣ, туркѣ, венгерцѣ и множествѣ другихъ подробностей, въ которыхъ путается вниманіе слушателей, если онъ не вникаетъ въ смыслъ путаницы, обыкновенно группирующейся вокругъ заключительной фразы: «А все ничего нѣтъ!».

— А барышня говорятъ: «грамотный!». Что мнѣ съ грамоты-то? Хошь-бы у меня сто пядей во

збу было—тожь-бы самое не легче: какъ захотятъ, такъ и будетъ! Я и рану, сударыня, имѣю, да и то вотъ побираюсь. Потому что и рану-то намъ Господь Богъ не сподобилъ настоящую получить. Изуродовать—изуродовали, а «къ разряду» не подходятъ! Мнѣ бы во-сто разъ согласіе было, ежели-бъ мнѣ обѣ ноги оторвало, или бы безъ руки пошелъ:—по крайности «первый разрядъ»! А то только-что калѣка: весь истыканъ, какъ рѣшето, зашили дыры иголкой—и гуляй!

Мы помолчали.

— Ну, а ежели, проивзнесъ Семень Андрейчъ, —голову оторвать: тогда что, какая цѣна?..

Его громкій смѣхъ разсмѣшилъ и солдата.

— Да ужъ лучше, ежели-бы голову-то. Вѣрно!.. Теперича вотъ иду въ свою сторону, жену искать, а что найду?—Богу извѣстно! Гдѣ? какъ?.. Пожалуй и такъ выйдетъ, что безъ меня ужъ и разбаловали бабу!

— Н-у!

— Ну, да ужъ тамъ чтѣ Богъ дастъ! Боли что, такъ попрошу у барыни—говорятъ, добрая, —мѣстечка, саду на хозяйство; ну, а коли... такъ ужъ...

Солдатъ тряхнулъ головой и отступилъ.

— Та-агда ужъ не попадайся! Ужъ что подъ руку, то и наше! Передъ Богомъ!

На крыльцо вышла мать.

— Идите обѣдать, сказала она.

— Подайте, господа, солдату!

Ему подали. Онъ ушелъ, сопровождаемый собаками и безъ шапки. Я глядѣлъ на сестру и думалъ: «однако дѣйствительность не церемонится съ тобой! Помаленьку да помаленьку она выбиваетъ тебя изъ колен, пробитой съ большими трудами и надеждами... Что будетъ—не знаю!»

— Однако они тоже ловки, эти штукари-то, сказалъ Семень Андрейчъ, поднимаясь. —Балакается-балакается, а глядишь—какъ-нибудь и благоувѣстилъ цѣлковыхъ на пятокъ... Пойдти поглядѣть: не стянуль-ли чего солдатъ-то!...

Потомъ мы пошли обѣдать.

7.

«Осенняя непогода въ полномъ разгарѣ; уѣздная нищета еще унылѣе влачитъ свои отребья и недуги по грязи и слякоти, вся промоченная до нитки проливными дождями и продрогшая отъ холоднаго, безпрерывно ревущаго вѣтра. Не хочется ни выйти, ни взглянуть въ окно.

Вечеръ. Я лежу за перегородкой близъ кухни и уже часа два слушаю разговоры Семена Андрейча о томъ, что онъ намѣренъ перелицевать старое пальто, которое можетъ сойти за новое. Приводятся примѣры, когда дѣйствительно перелицованныя пальто сходили за новыя, и т. д. Вѣтеръ воетъ за стѣною и парашаетъ ее. Пробовалъ упираться глазами въ стѣну—не выходитъ ничего!

Въ кухню входитъ человѣкъ и, благодаря обласненію кухарки, которая, увидавъ его, побѣжала

просить у матушки щепотку чаю, оказывается ея дальнимъ родственникомъ.

— Семень Сафроничъ! Что это вы въ эту пору?.. удивляется кухарка.

— Ничего не сдѣлаешь, матушка! Мбченъки нѣту! и снизу, и сверху—такая страсть идетъ, не приведи Богъ! отряхая армякъ, говорить усталымъ голосомъ Семень Сафроничъ.—Двадцать веретъ по эдакому мученью обмолотить не больно сладко! продолжаетъ онъ, хлопая шапкой не то о притолку, не то объ стѣну; затѣмъ уходитъ въ сѣни, гдѣ долго шаркаетъ сапогами, и возвращается, отдуваясь и кряхтя.

— О, Боже мой!

— Пѣшкомъ, што-ли, вы?

— Да, пѣшкомъ, матушка, пѣшкомъ, что сдѣлаешь-то?

— Что же это вы лошадку-то жалѣете?

— О-о, матушка, кабы жалѣли!.. Нѣту ее, лошадки-то, пятый день вытребована по казенной части; нѣту, матушка. Господь ее знаетъ, когда отпустятъ отседова! А приказъ былъ такой, чтобы отнюдь не умедлять, поспѣшать чтобы въ городъ... Ну, и пошли пѣшкомъ.

— Что-жъ это васъ, по какому дѣлу? суетась и раздувая самоваръ, спрашивала кухарка.—Вытребываютъ васъ, али какъ?

— Вытребываютъ, кормилица!.. Сказывали, которые тоже изъ деревень шли по автому, по выпискѣ, сказывали, будто караулъ хотять держать изъ насъ... Ну, а на постояломъ дворѣ такъ объяснили, будто-бы судить что-ли кого-то.

— За что-жъ это судить-то?

— Да Господь ее знаетъ! Сказывали, будто бабу, что-ли-то, какую присуждаютъ къ Сибири за ребенка, ну, и приумножаютъ... это самое, караулы. Господь ее знаетъ, матушка! Тамъ безъ насъ разберутъ... Я ужъ у тебя, кормилица, заночую? Попытай у господъ, не будетъ ли ихней милости на печку мнѣ? Вѣришь, пришелъ въ чужую сторону, хоть что хошь! Куда пойдешь-то? Изаябъ весь... вымокъ...

— Вотъ чайку выпьешь, сказала кухарка.

Гость поблагодарилъ и, помявшись, прибавилъ:

— А ты вотъ что, родная,—чайку... чайку... а ты бы... Нѣтъ ли, голубушка, хошь хлѣба-бы? Попытай у господъ, матушка... Передъ Богомъ сказать, и дома-то ребятишкамъ почестъ-что корки не оставилъ—вѣрное слово! Стыдно сказать, шли дорогой—побирался, ей-ей! Да куда чего объявлять, такъ и тутъ пойдешь по міру ходить, вѣрно тебѣ говорю!

Гостю дали хлѣба и щей. Пока онъ ѣлъ, пока укладывался на печкѣ спать, изъ запутанныхъ разговоровъ его я узналъ, что человѣкъ этотъ, побравшійся дорогой и не имѣющій угла, гдѣ бы преклонить голову, не кто иной, какъ будущій присяжный засѣдатель. Подъ влияніемъ осени и рева вѣтра, начинается разбирать злость. Закрадывается мысль о томъ, что дѣйствительно ли «дѣло» —сочувствіе къ чужимъ заплатамъ, и не лучше ли существованіе Семена Андрейча, который вонъ пре-

спокойно ходить по комнатѣ и повѣствуетъ о томъ, что въ прошлое воскресенье онъ не достоялъ обѣди?

— Слышу: «паки, паки преклонше...» Я — маршъ изъ церкви, прямо къ пирогу, хе-хе! благовѣствуетъ онъ.

Судъ, о которомъ я впервые узналъ отъ кухаркинаго гостя, былъ открытъ черезъ нѣсколько дней въ первый разъ въ залѣ мирового съѣзда. Публики собралось множество; сзади всѣхъ, на какомъ-то возвышеніи, помѣщался Ермаковъ; онъ былъ въ шинели, надѣтой въ рукава; лицо его было пьяно и необыкновенно строго. Но вниманіе мое главнымъ образомъ привлекали присяжные засѣдатели, почти всѣ оказавшіеся простыми крестьянами. Какой-то длинный и поджарый мѣшанинъ, съ робкою улыбкой поглядывавшій на своихъ пріятелей, сидѣвшихъ въ публикѣ, долженъ былъ руководить сужденіями гг. присяжныхъ. Взагляды его, бросаемые на товарищей, какъ бы говорили: «И только исторія же, ребята, затѣвается!». На лицахъ крестьянъ-присяжныхъ я замѣтилъ только уныніе и страхъ. Проходя по комнатѣ, они старались ступать на цыпочкахъ, причемъ однако все-таки оставались лужи такихъ размысловъ, что можно было потерять рассудокъ, особливо если принять въ расчетъ суровые взоры унтера, который какъ будто хотѣлъ сказать: «Эхъ вы, судьи! вамъ въ свиномъ корытѣ хрюкать, а не то что касаться къ мебели!». Присяжные видимо понимали какъ справедливость суровыхъ взглядовъ унтера, такъ и то, что надъ головами ихъ сію минуту что-то должно разразиться. Упираясь мокрыми бородами въ мокрые груди армяковъ, они стояли предъ налоемъ съ опущенными внизъ головами, глядя въ землю, въ то время какъ отецъ протоіерей, приготовляясь приводить ихъ къ присягѣ, держалъ въ нимъ краткое «увѣщаніе».

Говорю: «увѣщаніе», потому что изъ устъ протопопы выходили такія фразы:

— Постыдитесь! говорилъ онъ, потрясая головой. — Неужели вы думаете, что можно безнаказанно лжесвидѣтельствовать?.. Да! Правда! Предъ лицомъ человѣческимъ ложное слово иногда укрывается, но предъ лицомъ Всевышняго — никогда! Ни во вѣки вѣковъ!.. И ежели мы трепещемъ казни міра сего, то во сколько кратъ должны мы трепетать грядущаго суда Господня? Посему заклинаю васъ судить по сущей справедливости, по сущей чести, по сущей правдѣ, не ложно, не... (тутъ председатель кашлянулъ) цѣлуйте крестъ!

— Позвольте, перебилъ председатель. — Господа присяжные засѣдатели! Отецъ протоіерей объяснилъ вамъ, что ожидаетъ васъ за пристрастныя сужденія въ будущей жизни. Теперь, съ своей стороны, я обязанъ вамъ объяснить, что и въ сей жизни существуютъ возмездія, а именно...

Тутъ были объяснены размыслы возмездія.

— И повтому прошу васъ судить по чистой совѣсти, говорить только правду; помните, господа, что судьи — вы; что отъ вашего суда зависить участь челоѣка! Не смущаясь ничѣмъ, говорите одну правду и больше ничего.

— Цѣлуйте крестъ!

По окончаніи присяги, присяжные пошли къ своимъ мѣстамъ попрежнему съ понуренными головами. Когда въ залѣ настала тишина, съ ихъ стороны послышались вздохи.

Вывели подсудимую. Это была рябая, некрасивая женщина лѣтъ двадцати-трехъ, со старческими желтымъ лицомъ и тусклыми сѣрыми глазами. Она была въ короткомъ арестантскомъ полубубѣ и держала на рукахъ ребенка, почти грудного, который, увидавъ сбоку себя блестящій штыкъ, потянулся къ нему рукой. Солдаты хотѣли сѣзять сердитое лицо и уже ошетиляли усы, но улыбнулся. Бабу обвиняли въ томъ, что она утопила своего незаконнаго ребенка. На вопросъ: «признаетъ ли она себя виновной?» бабу отвѣчала, что «не признаетъ». Въ тонѣ ея голоса и манерѣ не было замѣтно никакой поддѣлки: не было ни принужденной бодрости, ни заученныхъ со словъ адвоката отвѣтовъ; она качала ребенка, вздыхала и, смотря въ землю, покорно слушала показанія свидѣтелей.

— Пошли мы на рѣчку, рассказывала дѣвушка-свидѣтельница, — пошли на рѣчку прорубь рубить-съ... Потому старую прорубь у насъ сусѣдныя бабы отняли-съ...

— Вы говорите только о томъ, что знаете по дѣлу.

Дѣвушка кашлянула.

— Прорубили прорубь-съ, только это я нагнулась — глядь, а тамъ что-то краснѣетъ. Увидала я это и кричу дѣвушкамъ: «идите, дѣвушки, на счастье вытаскивать!...». Стали отдирать ото-лѣду, а тамъ... ребеночъ мертвый-съ! окончила она совершенно тихо. — Больше ничего-съ!

— Больше ничего?

— Ничего-съ! Дали знать въ часть, насъ записали, ребенка взяли въ больницу. Больше не знаю-съ!

Выступила другая свидѣтельница: это была пожилая, высокаго роста мѣшанка съ длиннымъ носомъ на сухомъ и желтомъ лицѣ и большими глазами «на-выкатъ». Рваная шубейка была налѣта въ одинъ рукавъ. На вопросъ, знаетъ ли она подсудимую? — свидѣтельница отвѣчала грубымъ и рѣзкимъ голосомъ:

— Какъ не знать-съ, ваше высокоблагородіе, она мнѣ посейчасъ два рубля серебромъ должна. Очень знаемъ-съ!

— Когда она у васъ жила?

— Когда рожала-съ. Она съ солдатами-съ бѣгала въ ту пору... Н-ну солдаты были мнѣ знакомъ, я пустила ее, какъ добрую... Ну, а за мои благодаренія...

— Что вы знаете на счетъ ребенка?

— Да утопила-съ она его, больше ничего-съ! Потому она имѣетъ очень вредный характеръ, ваше сіятельство... Она посейчасъ не можетъ мнѣ, хошь бы по гривеннику въ мѣсяцъ, двухъ рублей-съ...

Свидѣтельница была въ волненіи.

— Почему вы думаете, что именно она его утопила?

— Да потому, что очень знаемъ это дѣло...

Живши у меня, постоянно она мнѣ недовольна была, убѣдѣ ей отъ ребенка нельзя, а она это любить-съ, надо по совѣсти говорить. Она у меня два мѣсяца жила съ нимъ-съ, на моихъ харчахъ. Я женщина бѣдная-съ; мнѣ взять негдѣ. Теперь вотъ нешто радость за свои деньги да по судамъ ходить? а пущай бы лучше тогда шла, куда знала... (Свидѣтельницу просить говорить о дѣлѣ.) Жила, жила она у меня-съ, только приходитъ ко мнѣ одна моя знакомая и говоритъ: «нѣтъ ли у васъ дѣвочки хорошей?»—«мѣсто есть». А она, Маланья,—«Я!» говоритъ.—«Да у тебя ребенокъ. Въ благородный домъ нешто возможно?»—«Да я, говорить, его отдамъ куму на воспитаніе: ко мнѣ кумъ пріѣхалъ, я, вишь, его встрѣтила пониче». Знакомая говорить:—«Коли такъ, такъ торопись, тамъ ждать не будутъ, за два серебромъ сейчасъ другая съ охотой пойдетъ». Ну, она сейчасъ собралась и пошла, и ребенка взяла, а приходитъ ужъ поздно ночью, и безъ полушубка, и ужъ ребенка съ ей нѣту. «Отдала!» говоритъ. «Ну, говорю, слава Богу!» Я ей всегда добра желала, ну, она мнѣ хоть бы... Уходитъ она утромъ на мѣсто. «Смотри, говорю, Маланья, помни меня, старуху, получишь—отдай!» А она... Слушаю, ваше сіятельство! Виновата-съ! Мы не учены этому разговору. Вотъ-съ и ушла она... а вечеромъ зашелъ ко мнѣ знакомый фершель-съ... «Что это, говорить, вчера я вашу Маланью около рѣчки за часовней встрѣтилъ и съ ребенкомъ и раздѣвши? По этакой, говорить, погодѣ, она пожалуй и ребенка заморозитъ.» А время было непогожее... мело и кура, да и студѣно. Тутъ я и подумала... Анъ, глядъ, пошелъ слухъ—нашли мертвого въ рѣчкѣ; побѣжала я, поглядѣла, а ребенокъ-то солдатскій! Ейный, то-есть... Я вѣрно знаю-съ, что она рубь у господъ, какъ пришла, выпросила, ну, она мнѣ—хоть бы...

Ничего болѣе взволнованная свидѣтельница не показала. Въ оправданіе свое подсудимая объяснила, что она дѣйствительно жила у свидѣтельницы, но что не чаяла—какъ вырваться отъ нея.

— Въ полночь-за полночь—все пируютъ! Я лежу больная, хвораю, а кругъ тебя пляшутъ, потому что она, ваше благородіе, нехорошимъ дѣломъ занималась...

— Это не твое дѣло судить! прервала свидѣтельница, быстро поднимаясь со стула.—Онъ, можетъ, тяжелѣе твоего хлѣба-отъ мой!..

Не смотря на звонокъ предсѣдателя, она продолжала громко:

— Я какъ волкъ бѣгаю голодный по своимъ дѣламъ, и то у меня хлѣбъ-то рѣдокъ! Что дадутъ мнѣ двѣ копѣечки на маслицо, такъ не раздобѣешь отъ этого!

Кое-какъ свидѣтельницу усадили на мѣсто.

Во время болѣзни подсудимая не могла работать много, но все-таки ее понукали, и она черезъ силу принуждена была ходить на поденщину. Деньги эти отъ нея отбирали. Среди такихъ мученій, услыхавъ, что есть мѣсто, подсудимая до того обрадовалась, что солгала, будто бы къ ней пріѣхалъ кумъ, а на самомъ дѣлѣ побѣжала отыскивать человѣка, кото-

рый бы взялся принять ее ребенка на воспитаніе. Пошатавшись часа два по улицамъ совершенно напрасно, она хотѣла-было подкинуть ребенка, но пожалѣла, подумавъ, что онъ можетъ замерзнуть, такъ-какъ въ вечернюю пору народу на улицѣ почти не бываетъ и его могутъ не увидѣть. Наконецъ ей встрѣтилась старуха, лица которой она припомнить не можетъ. Онѣ разговорились, и старуха предложила взять ребенка съ тѣмъ, чтобы подсудимая отдала ей полушубокъ. Подсудимая готова была на все и отдала полушубокъ: но въ это время старуха пожелала узнать, сколько могутъ дать за полушубокъ, и побѣжала къ какому-то знакомому оцѣнить его, а подсудимая осталась ждать съ ребенкомъ на рукахъ и въ одномъ платьѣ. На дворѣ была вьюга и метель; чтобы укрыться отъ непогоды, она схоронилась за часовню, и здѣсь ее встрѣтилъ фельдшеръ. Старуха воротилась ужъ безъ полушубка, проклиная какого-то человѣка, который не хотѣлъ подождать за ней долга и, оцѣнивъ полушубокъ, удержалъ его у себя. Съ ругательствомъ старуха взяла ребенка и говорила: «Еще замерзнетъ—хоронить надо. Гдѣ возьму?» Однако взяла и сказала, гдѣ живетъ, но подсудимая у нея не была.

— Почему же вы не были у нея?

— Недосугъ, ваше благородіе! Да опять и скоро объявился онъ мертвымъ.

— Какимъ же образомъ ребенокъ очутился въ рѣчкѣ?

— Да надо быть, что замерзъ онъ у нея на рукахъ, она его и бросила.

— Не помните ли, по крайней мѣрѣ, лица старухи?

— Не упомяну, кормилецъ, въ ту пору голова кругомъ шла. Не упомяну! Не чаяла, какъ мнѣ выдѣсти изъ вертепу. А тутъ пошла на мѣсто, спервоначалу непривычно... работы много...

— Коли правду знать хотите, вновь заговорила суровая мѣщанка, — ей не то что спервоначалу, а больше ничего, что опять затяжелѣла—вотъ, коли ежели правду говорить-съ!

Подсудимая молчала и шушукала на своего ребенка.

Слѣдствіе кончилось; настала промежутокъ для совѣщанія присяжныхъ. Всѣ вышли въ корридоръ. Ермаковъ, подталкивая пріятеля въ бокъ, торопился къ выходу, и, угрюмо глядя въ землю, бормоталъ: «горькое, братъ, горькое, горькое дѣло... горькое!».

Толкаясь въ корридорѣ въ ожиданіи приговора, я невольно припоминалъ всю слышанную мною исторію о мѣдномъ грошѣ, и мнѣ было крайне жаль бабу, особливо когда я припоминалъ фразу кухаркина гостя — «тамъ разберутъ». Эти соображенія укрѣпляли во мнѣ непріятные душевные порывы послѣдняго времени.

Мнѣ хотѣлось уйти куда-нибудь, когда судъ вернулся въ залу, но я заглянулъ туда и услышалъ:

— Не виновна!

Вслѣдъ затѣмъ по всему залу разразился оглушительный крикъ:

— Бра-а-во-о-о-о!

онъ, воротясь, и снова усьлся за чай. Онъ пилъ чаю много и съ такимъ аппетитомъ и умѣніемъ возбудить жажду въ гостѣ, что и я не отставалъ отъ него. Разговоры поэтому были отрывочны и вялы. Послѣ чаю дѣло зашло опять про земство.

— Нѣтъ, вотъ что, ваше благородіе! сказалъ Иванъ Николаичъ, шлепнувъ широкой ладонью объ столъ. — Дюже, я тебѣ скажу, мутить меня самому въ это дѣло, въ земство, впереть! Ей-ей! Дюже-дюже, я тебѣ доложу... Объ мірѣ я не опасаясь: ведро вина—сейчасъ тебя кула угодно; тутъ мы и посредственника со старшиной отставимъ; а вотъ какъ-бы подальше чего не вышло... это вотъ? И боюсь!

— Чего же боитесь-то?

— У-у, Боже мой!.. Какъ не бояться, другъ ты мой... Не объ разговорѣ—это что! Это я могу: говаривалъ на своемъ вѣку съ архіереями—старостой былъ! А что, пожалуй... сильны они! Ну, а только ужъ и повредилъ бы имъ... Большую бы нанесъ имъ ущербъ! Изволишь видѣть, какое дѣло... приходитъ зима, время голодное. Мужикъ ѣсть нечего. По-сейчасъ онъ ужъ лебедку жуесть... Слѣдственно требуется хлѣбъ. Такъ? Хорошо! Ну, теперь гляди, какое положеніе: посредственникъ впихнетъ старшину въ гласные—рука ему, вотъ они и купятъ хлѣбъ у себя... чуешь? Иванъ-то Петровъ, старшина, съ конхъ поръ у мужиковъ же хлѣбъ скупалъ для барина-то... Видѣлъ?.. Посредственникъ—онъ тутъ «чуръ меня»—въ сторонѣ, подъ видомъ благочестія... Онъ говоритъ: «Какъ угодно. Я полагалъ бы такъ и такъ, лучше Ивана Петрова нѣту...» Ну и—получай! Ужъ цѣну ва-азъ-мутъ ха-аро-шую! Ужъ это вѣрно! Вотъ въ чемъ обида! Вотъ тутъ-то бы я имъ и не далъ! Мы можемъ хлѣбъ по настоящей цѣнѣ доставить, мы помнимъ Бога, такъ-то! Мы не позволимъ себѣ, чего не надо: намъ этого не нужно. Мы вѣкъ копѣчками жили и проживемъ; рублей не очень много видали, каменныхъ палатъ нѣту...

— Чего же вы боитесь?

— Эхъ, другъ ты мой... Ужъ мы — травленные волки! Какъ не бояться...

Иванъ Николаичъ на минуту задумался и потомъ, понизивъ голосъ, сказалъ:

— Былъ я церковнымъ старостой въ Рождественѣ... называемо село Рождествено... Храмъ древній, причтъ бѣдный, ничего не стоитъ. Помочь нечѣмъ... Только что и жили бездождіемъ да градобитіемъ... Тутъ молебны бывали, а то въ годъ однѣ крестины да двое похоронъ—приходъ слабый! Гляжу я, анъ въ книгахъ, въ церковныхъ адахъ вотъ сказано: «берутся изъ сего храму пять тысячъ на ассигнаціи... для, напримѣръ, побѣды-одоленія французъ... ну, по покореніи, отдадимъ...» Я съ простоты-то и бутылки къ губернатору:—«Такъ и такъ... Франція теперича наша... сами безъ хлѣба... пожалуйста назадъ, напримѣръ, деньги...» Да къ губернатору. Свѣту, свѣту, каковъ есть свѣтъ бѣлый, не взвидѣлъ я съ этого! Волокутъ въ губернію.—«Ты что же это... такъ и такъ... а?.. Франція-а?.. Ахъ ты...» Еле-еле уплесть!

Иванъ Николаичъ сѣлъ на свое мѣсто.

— Не бояться! — нѣтъ, братъ, тутъ скажи слово-то да оглянись! Такъ-то, другъ, какъ васъ? Василій Андреечъ? Такъ-то!

Передъ сномъ Иванъ Николаичъ долгое время ходилъ по сѣнямъ, по двору, — оглядывая, все-ли заперто, не влѣзъ ли воръ; поглядѣлъ, накормлена ли собака, и спустилъ ее съ цѣпи...

Подъ чуткій лай вѣрной собаки мы заснули спокойно.

9.

«На слѣдующій день, взаимно въ всего, что я зналъ недоброе, сдѣлаю въ бѣдному человѣку, что слышалъ и вчера, и сегодня и слышу каждый день, мнѣ пришлось увидеть народнаго благодѣтеля. Это была барыня. Добрая качества ея души бросались въ глаза всякому, кто хотя только проходилъ мимо ея усадьбы. Такой прохожій непременно видѣлъ въ окнахъ флигелей для прислуги—людей въ красныхъ кумачныхъ рубахахъ, съ жирными лицами, высывающимися изъ-за ярко вычищенныхъ самоваровъ; могъ подивиться породистымъ лошадямъ, которыхъ плотные и рослые кучера, одинъ за другимъ, вели къ водопою. Кучера обыкновенно были одѣты въ отличнѣйшіе армяки, въ которыхъ не только не было ничего обужено и окорочено, но, напротивъ, — все «пушено слишкомъ», такъ что подола волочились по землѣ, а рукава, щедро набитые ватой, распирали мощныя кучерскія руки въ разныя стороны до того, что жеребцы часто вырывались изъ ихъ рукъ или поднимали ихъ, вмѣстѣ съ своими мордами, высоко надъ землею; при этомъ кучера имѣли на головахъ блестящія шляпы и выкрикивали «тпру!» такими неистовыми басами, что въ тотъ же день получали отъ барыни прибавку. Ничего общаго съ тѣми людьми, которые норовятъ купить у мужиковъ хлѣбъ по грошу и продать имъ же по рублю, барыня не имѣла—въ этомъ я убѣдился во время своего визита. Это была бѣлокурая женщина, лѣтъ тридцати отроду, высокая, худая, необыкновенно доброе существо, жившая въ деревнѣ по убѣжденію, что праздно жить нельзя, что надобно трудиться и дѣлать пользу ближнему. Мужъ ея, съ которымъ она была не въ ладахъ, жилъ въ Петербургѣ. Но такъ какъ въ томъ кругу, въ которомъ барыня родилась и въ которомъ жила въ столицахъ и за-границей, понятія о трудѣ не идуть далѣе умѣнья связать косынку, а понятія о пользѣ ближнему получаютъ посредствомъ подарка этой косынки бѣдной чиновницѣ, получающей пенсію, то всѣ добрыя намѣренія барыни состояли въ томъ, что называется «благотворительностью» со всѣми атрибутами, обставляющими ее. Въ качествѣ такого рода особы, она любила, чтобы ею были довольны и признательны, по возможности, до гроба...—«Я не знаю, сказала она мнѣ:—быть можетъ я вамъ мало назначила... за трудъ? я не знаю». Я сказалъ, что «много доволенъ», да и барыня видимо знала, что цѣну она дала хорошую. Потомъ она постоянно читала французскія книги, главнымъ образомъ по части морали, и находила, что все это очень»

бы было полезно русскимъ мужикамъ, у которыхъ нѣтъ, напримѣръ, прекраснаго чувства благодарности. Такъ какъ это чувство въ особенно большихъ размѣрахъ и пріятныхъ формахъ развито у иностранцевъ, то поэтому она была окружена нѣмами, которые только и дѣлали, что благодарили ее съ утра до ночи и оканчивали каждую почти фразу такъ: «это только мужикъ русскій—непонимайтъ свой благодарнисъ...» Благодарные получали прямую выгоду.

Спустя нѣсколько дней произошло открытіе школы. За нѣсколько дней передъ этимъ крестьянскіе дѣтямъ было велѣно собираться въ школу, гдѣ ихъ будутъ поить чаемъ и угощать баранками. Барыня въ этотъ день не было дома, и угощеніемъ завѣдывала одна изъ нѣмокъ въ большомъ кисейномъ чепцѣ, который возбуждалъ въ дѣтяхъ самый веселый смѣхъ, сильно сердившій распорядительницу. Поэтому ругательныя фразы, вроде «свинья», «чущка», я довольно рано услыхалъ изъ моей комнаты при училищѣ, ибо будущіе ученики стали стекаться въ школу чуть-ли не до пѣтуховъ. Общанное угощеніе началось однако не ранѣе какъ по окончаніи обѣдни. Школа наполнилась множествомъ ребятъ, вслѣдъ за которыми робкою поступью прокралось и нѣсколько родителей, въ глубокомъ молчаніи засѣвшихъ въ дальній уголъ и принимавшихъ всѣ мѣры къ тому, чтобы не разсердить нѣмку, которая раздавала баранки. Робкими глазами смотрѣли они на распорядительницу, столь же робко, какъ и дѣти, утирая рукавами носы.

— Мая-а!.. запищалъ одинъ мальчишка на своего сосѣда-мужика, и вслѣдъ затѣмъ подлѣ столомъ упалъ кусокъ баранки.—Пил-ламыгъ!

Мальчикъ заплакалъ.

— Это что такое? спросила нѣмка, грозно взглянувъ на мужика и мальчика.

— Мою баланку узнялъ...

— Я ее вамъ-съ хотѣлъ!.. пролепеталъ мужичокъ, поднимаясь.— Дюже много... Куды ему съѣсть?.. У! сказалъ онъ мальчишкѣ: — обрадовался!..

Мальчишкѣ дали другую баранку.

Чай пили охотно и много. Распорядительница только успѣвала наполнять чашки, пододвигаемыя къ ней съ видомъ необыкновеннаго унынія на лицѣ. А между тѣмъ посторонніе посѣтители, взрослые, здоровые, прослышавъ объ угощеніи, прибывали съ каждой минутой толпами. Дворовые, какъ люди болѣе или менѣе наострѣнные, съ вѣжливостью раскланивались съ нѣмкой и старались заискать въ ея расположеніи.

— Какое биспакойство! Экую ораву напойтъ! говорилъ какой-нибудь изъ нихъ, подсаживаясь на уголокъ и перехватывая на-лету чашку, которую искала чья-то другая рука.

Слова мальчишекъ: «мая-а!» замирали въ волнахъ комплиментовъ, отпускаемыхъ дворовыми нѣмкѣ, въ хрустѣнн баранокъ и кусковъ сахару и стукотѣ ногъ входящихъ посѣтителей. Распора-

дательница сердилась и тыкала чайникомъ куда попало.

— Коммереумъ! возгласилъ хромой солдатъ, котораго я видалъ въ городѣ, проворно шагая по комнатамъ своей деревянной ногой.

Это непонятное слово относилось къ другому отставному солдату, садовнику, высокая, сухая фигура котораго выдвигалась между крошечными ребятами за однимъ изъ столовъ. Садовникъ отвѣтилъ хромому тоже какимъ-то непонятнымъ словомъ, и потомъ они по-пріятельски пожали другъ другу руки.

— По-черкесски, сударыня! сказалъ хромой солдатъ нѣмкѣ.—Что будешь дѣлать! Тоже видали на своемъ вѣку... И въ теплыхъ, сударыня, и въ холодныхъ земляхъ побывали, всякихъ людей повидали!

— Молчи! сердито буркнула нѣмка, проносясь мимо солдата съ чайникомъ.

Солдатъ очевидно былъ подлѣ хмелькомъ.

— Виновать, сударыня! заговорилъ онъ, понятившись.—А что видали на своемъ вѣку много! Ну, позвольте вамъ сказать, такой госпожи, такого ангела не видалъ, какъ барыня наша! Да ты поди, всю вселенную изойди, не встрѣнешь! Передъ истиннымъ Создателемъ говорю, не найдешь!

Нѣмка опять оборвала солдата. Онъ сѣлъ за столъ, но не молчалъ.

— Ну, что она видитъ за мѣсто своей доброты? продолжалъ онъ, бесѣдуя съ садовникомъ.—Она дѣлаетъ обзоръ хозяйству, намочится по эстихъ поръ... Будемъ такъ говорить.

— Само собой! сказалъ садовникъ.

— Слѣдственно надоть ее уважать, али нѣтъ?.. Что же мужикъ?.. Онъ, неумытое рыло, и подлѣ гору, и на гору ѣдетъ на барской лошади, не слѣзаетъ!.. —«Да ты бы, нечесаная ты пакля, хуть-бы на гору-то слѣзъ. Хушь-бы барыню-то пожалѣлъ! а ты, такой сякой!» Ну, ангелъ, ангелъ—не барыня!

Разговорчивость все болѣе и болѣе охватывала солдата на потѣху нѣмцевъ, которые столпились у дверей съ сигарами въ зубахъ и развлекались этимъ кормленіемъ. Изъ рассказовъ и разлагольствованій солдата я узналъ, что барыня дала ему ключокъ земли и помогла строиться. Наплывъ новыхъ посѣтителей вытѣснялъ тѣхъ, которые успѣли уже болѣе или менѣе угоститься чаемъ, и такимъ образомъ, спустя нѣсколько времени, были вытѣснены хромой солдатъ и садовникъ. Они вѣжливо поблагодарили распорядительницу, помолились на образъ и вышли.

Я пошелъ вслѣдъ за солдатомъ; мнѣ хотѣлось потолковать съ нимъ.

— Ну что? сказалъ я ему, когда онъ, протившись съ садовникомъ тоже должно быть по-черкесски, заковылялъ-было въ сторону.

Солдатъ узналъ меня.

— Ахъ, баринъ-голубчикъ! Жену-то? Нашелъ, какъ не найти. Э-эхъ, сударь!.. Вѣрный мнѣ сонъ снился, когда я сюда шелъ. Такъ-то! Барыня вонъ добрая землицы дала... хочу норку рыть—въ каруальщикахъ заслужу... да хушь и нерыть! Ей-богу!

— Отчего же?

— Эхъ, сударь! меня, другъ ты мой, изувѣчили, видишь какъ? А бабу мою шибко поиспортили! Я думалъ—она мнѣ жена, а она... видишь что! Сталъ быть, что-жъ мнѣ? Она и не помнитъ, какой такой есть мужъ... Ужъ она отвыкла отъ ефтого!

Мы шли по грязной деревенской улицѣ.

— И баба-то какая была, суды-иры!.. Что веселые мы съ ней были, что ловкіе—ахъ!.. Меня забрали, она—и того... съ горя да съ горя, то съ однимъ, то съ другимъ! Ну, и встречали... Теперь что?—Рвань! больше ничего... Устрѣялся тепериче—и мнѣ горе, и ей тоже бѣда. Хочетъ какъ жена—да я ей чужой! да любовникъ тутотко, по ночамъ постукиваетъ, тоже, стало быть: «выходи, не то убью!». И меня-то боится—потому дочка есть, а чья?—и Господь вѣдаетъ... И дочка-то почестъ сумасшедшая, по одиннадцатому году... Кормить ее мнѣ надо—ну, бабѣ стыдно, и бьетъ дочку, чтобъ мнѣ въ угоду... Да и прежде, когда еще только по вольному обращенію пошла, и то все била ее... «Какъ вспомню про тебя... (сталъ быть, про меня) —такъ бить ее... проклятую!...», ну а тоже—любить... Такъ у насъ:—только мученіе! Къ вину приучена... хочетъ-хочетъ, въ хозяйствѣ ничего не умѣетъ... бьется-бьется—толку нѣту, и выпьетъ! Кажется, пошелъ-бы да въ рѣчку, ей-богу, право! Ну, все будто надѣешься... авось Господь!..

Солдатъ шелъ молча и дышалъ тяжело.

— Вотъ гдѣ мое гнѣздо будетъ, коли Богъ дастъ! сказалъ солдатъ, остановившись около одного пустыря, начинавшаго застраиваться.

Небольшой лоскутокъ земли былъ обнесенъ низенькимъ плетнемъ; въ одномъ углу стоялъ крошечный срубъ величиной съ будку, а къ нему примазывалась, изъ простой земли и навоза, другая половина будущаго дома. На пустоши валялось дватри бревна да нѣсколько охапокъ соломы.

Мы стояли за плетнемъ и не подходили къ дому.

— Строюсь кое-какъ... Что Богъ дастъ! Авось и жена... Вонъ жена-то—эва она!

Изъ-за сруба, не обращаясь лицомъ къ намъ, вышла сгорбленная женщина съ лопатой въ рукахъ и пошла туда, гдѣ долженъ быть огородецъ. Она была грязно одѣта, еле-плелась, хромая на одну ногу, которая была обвязана грязными тряпками.

— И самое-то жалъ! сказалъ солдатъ. — Гулянки-гулянки, а тоже, поди, любовники-то колачивали какъ! Совсѣмъ ровно дурашная стала... Скучить да пить... Э-эхъ-ма-а!..

Солдатъ махнулъ рукой и съ горькимъ вздохомъ попросилъ у меня табачку.

Я пригласилъ солдата къ себѣ, и онъ сдѣлалъ то же въ свою очередь.

Разставшись съ солдатомъ, пошелъ я опять въ школу; но тамъ уже засѣдали кучера; ребятъ и нѣмки не было. Сидѣть въ своей пустой каморкѣ, въ которой только раздавался стукъ маятника, было тоже не весело, и опять пошелъ къ Ивану Николаичу.

— Поѣдемъ, баринъ, въ городъ! сказалъ онъ мнѣ.—Къ ночи домой. Прокатисься...

Я былъ радъ какъ-нибудь занять время, и мы поѣхали.

— За хорошенъкими! сказалъ Иванъ Николаичъ женѣ, выѣзжая со двора.—Теперь мѣсяца на два заваляюсь!

— Хушь совсѣмъ не пріѣзжай! отвѣтила та съ крыльца и долго стояла, провожая насъ.

Въ городѣ мы заѣзжали въ лавки, ходили довольно долго по базару, гдѣ Иванъ Николаичъ закупилъ чай, сахаръ, свѣчи и проч.

— Теперича, милый другъ, сказалъ онъ, «справивъ» свои дѣла, заверну я къ куму, а ты къ маменькѣ поди, поздравь, праздникъ!.. Вечеромъ заѣду.

По случаю воскреснаго дня у матушки былъ пирогъ, и по обыкновенію присутствовалъ Семенъ Андреичъ. Онъ уже плотно закусиль и выпилъ и почему-то сильно волновался.

— Признаюсь, говорилъ онъ матушкѣ:—по мнѣ какъ вамъ угодно, а что ежели на вашемъ мѣстѣ, а бы его на порогъ не пустилъ. Какъ угодно!

— Да почему же его не пускать? возражала сестра.

— Да просто потому, что... что съ пьяницей за компанія?

— Онъ не пьяный приходилъ! защищала сестра.

— Ну, что-жъ изъ этого? какъ-бы въ самомъ дѣлѣ нѣтъ средства опровергнуть сестру, самоувѣренно вопрошалъ Семенъ Андреичъ.—Что-жъ изъ этого слѣдуетъ, что не пьянъ? Не пьянъ, а напѣтсѣ—вотъ и пьянъ, очень ясно! Я только не понимаю одного, какъ можно... Да вотъ Василій Андреичъ, обратился Семенъ Андреичъ ко мнѣ съ видимою надеждой получить подтвержденіе.—Вотъ вы разсудите... Помните, Надежда Андреевна какъ-то говорила, что спрашивала она Ермакова о какомъ-то сочинителѣ... Богъ его знаетъ, какой онъ тамъ, а въ томъ дѣло, что Ермаковъ этотъ, эта скотина, пьяная хара, лѣзетъ сегодня сюда...

— Онъ принесъ книгу... Онъ мнѣ обѣщаль принести, а вы его обругали.

— Этакую скотину слѣдуетъ ругать-съ! Слѣдуетъ! Ежели же вамъ нужна книга, вы скажите мнѣ, и я вамъ дамъ. У меня книги есть. Будьте покойны. Если пьяная образина можетъ вамъ носить книги, то само собой естественно, что и я тоже могу принести. А заводить знакомство съ пьяницей... воля ваша!

— Да онъ не былъ пьянъ! Что вы?

— Нада! Нада! поди-ко сюда... мнѣ нужно тебѣ сказать словечко, торопливо выходя въ другую комнату, сказала матушка, все время смотрѣвшая на Семена Андреича и на сестру съ боязнью, плохо прикрытою улыбкой.

Сестра ушла, а Семенъ Андреичъ не переставалъ волноваться.

— Да по мнѣ—какъ угодно! говорилъ онъ почти грубо.

Я чувалъ, что въ семьѣ начинается какая-то тягостная рознь, и не зналъ, какъ дожидаться Ивана Николаича.

10.

Занятія въ школѣ сначала пошли довольно живо и успѣшно. Не ограничиваясь азбукой, мы стали толковать о разныхъ предметахъ и явленіяхъ, относящихся исключительно до нашего села: мы разобрали такіе обыкновенная вещи, какъ волостное правленіе, кабакъ, сходка, нищій и т. д. Но съ помощью одной родственницы барыни, пожелавшей участвовать въ этихъ бесѣдахъ, болѣе или менѣе ясные выводы наши стали загромаждаться криво-складными тенденціями, которыя преподавательница вычитывала изъ какихъ-то переведенныхъ на русскій языкъ нѣмецкихъ книженокъ, разсуждаемыхъ и раздаваемыхъ с.-петербургскими благотворительными дамами. Все это, выдержавшее, къ удивленію, по четырнадцати и болѣе изданій, увѣраетъ народъ (за одну только копѣйку!) въ томъ, что пьяница-мужикъ, послушавъ одинъ разъ хорошую пасторскую проповѣдь, пересталъ пить и достигъ до такого благополучія, что при концѣ жизни былъ сдѣланъ старшимъ лакеемъ у графа N. Въ ученикахъ началась апатія и принужденность, которая, вмѣстѣ съ осенними непогодами, растворившими грязь до степени первобытной хляби, сдѣлала то, что число учениковъ уменьшилось; приходившіе изъ сосѣднихъ деревень бросили ходить, быть можетъ до поры до времени, а дѣти жителей нашей деревни стали ходить вяло. Занятія такимъ образомъ стоятъ почти на одной азбукѣ и чтеніи. Быть можетъ, устанутъ барыни; быть можетъ, и азбука сдѣлаетъ какое-нибудь дѣло. Все это хотя и держитъ меня на мѣстѣ, но не особенно веселитъ. Участь сестры тоже не радуетъ меня, тѣмъ болѣе что по случаю распутицы въ городъ проѣзду нѣтъ, и мнѣ совершенно неизвѣстно, отвлекли ли ее кое-какія книги, которыя я далъ ей, уѣзжая въ послѣдній разъ изъ города, отъ безплодныхъ волненій среди великаго русскаго зла—самодурства, какъ видно, имѣющаго опутать нашу семью, благодаря Семену Андреечу.

Всѣ мои горести несу я обыкновенно къ Ивану Николаичу.

Кромѣ необыкновеннаго аппетита, съ которымъ пьется чай въ его чистыхъ, теплыхъ и уютныхъ комнатахъ, Иванъ Николаичъ весьма пріятенъ, какъ человѣкъ, заинтересованный судьбами отечества. Русская исторія знакома ему не только по лубочнымъ рисункамъ, продающимся на базарахъ, не только изъ книгъ и книженокъ, попадающихся ему при помощи уѣзднаго протопопа, но въ значительной степени пополнена толками народа, семейными преданіями, перешедшими отъ пращѣдовъ и прабабушекъ. Какъ ни темноваты эти свѣдѣнія, но Иванъ Николаичъ умѣетъ по своему доказывать ими свою любимую мысль о томъ, что Россія—государство богатѣйшее, если-бы за нимъ «уходъ». Опоражнивая чашку за чашкой, мы ни на минуту не покидаемъ исторической почвы. Вспоминаетъ Иванъ Николаичъ разсказъ бабушки о томъ напимѣръ, что однажды императрица Екатерина, желая пресѣчь мотовство, повелѣла генераламъ отрубать шлейфы у двухъ пышно одѣтыхъ дамъ, разгуливавшихъ мно двор-

ца и оказавшихся женами мелкихъ подъячихъ. Генералы отхватили саблями шлейфы по самую спину. Въ виду развивающагося мотовства, примѣры и источники котораго представляются Иваномъ Николаичемъ въ подробности и во множествѣ, намъ нельзя не одобрить этой мѣры... Покуда супруга Ивана Николаича, занимающаяся чаепитіемъ покойно и строго, полощетъ чашки, вытираетъ и наполняетъ вновь, мы успѣваемъ перебраться къ 12-му году, къ Синопу, Севастополю. Оказывается, что Иванъ Николаичъ самъ видѣлъ раненаго севастопольскаго солдата и собственными ушами слышалъ отъ него разсказъ о томъ, что Севастополь погибъ «за-напрасно» и что ничего бы этого не было, если-бы начальство послушалось одного простого солдата, который со слезами умолялъ «дозволить ему распорядиться... Я ихъ всѣхъ къ обѣду прогону!» — «А оттого, что простой!» говоритъ Иванъ Николаичъ въ крѣпкомъ огорченіи, пихая пустую чашку женѣ.

Я такъ много навидѣлся въ жизни трусливыхъ, почти бессознательныхъ людскихъ виланій въ убѣжденіяхъ, что эта прямота Ивана Николаича—какая бы она ни была, эта искренность — дѣлаютъ меня самымъ внимательнымъ его слушателемъ. Искренность его очень велика. Среди огорченія о погибеліи Севастополя, ему говорятъ, что съ мельницы пришелъ мужикъ. Иванъ Николаичъ идетъ сейчасъ же, и въ голосъ его, которымъ онъ говоритъ съ мужикомъ, уже не слышно огорченія... Онъ знаетъ «что къ чему», и если не проглядитъ убытка государственнаго, то и на мельницѣ тоже маху не дастъ...

Досидѣвшись до поздняго вечера, мы расстаемся. Иногда Иванъ Николаичъ идетъ меня провожать до дому. Собаки, хватающія насъ на улицѣ, грязь, въ которой вязнутъ наши ноги, наводятъ насъ на разговоры болѣе современные: о земствѣ, о выборахъ, ибо Иванъ Николаичъ не теряетъ мысли разрушить намѣренія посредника и старосты на счетъ хлѣба... Прямота и искренность, кажется, уломятъ его на это дѣло, тѣмъ болѣе что окружающее сильно помогаетъ имъ.

Такъ, однажды поздно вечеромъ, возвращаясь съ Иваномъ Николаичемъ домой, мы слышали въ темнотѣ стоны и какъ-бы какое-то вытье.

Въ грязи лежала женщина и долгое время не могла отвѣтить на вопросы Ивана Николаича: злѣйшій лихорадочной пароксизмъ билъ и трепалъ ее.

— Куда-жъ ты, глупая, поплелась? укоризненно говорилъ Иванъ Николаичъ, поднимая ее.

Баба говорила что-то, шелкая зубами, что дѣлало почти непонятнымъ ея рѣчь. Но Иванъ Николаичъ понялъ.

— Ахъ, поганые черти, что выдумываютъ! ахъ, проклятыя собаки!.. Это нашъ кузнецъ-нѣмецъ выдумываетъ. Лечить народъ взялся! Какъ начнетъ лихорадка бить, иди, вишь, къ нему, въ окно постучись, онъ тебѣ запишетъ, въ которомъ часу трепало! Безъ этого и лекарства не отпускаютъ...

Ахъ, собаки, прости Господи! Пойдемъ, бабка, помогу!

Иванъ Николаичъ помогъ бабѣ встать, доплестись до конторы и достучаться нѣмца, который спалъ. Дорогой онъ сообщилъ, что нѣмца выписали въ качествѣ кузнеца, а онъ оказался незнающимъ этого дѣла и предложилъ себя въ качествѣ медика. По добротѣ барыня на все согласна и, уступая вѣжливому обращенію нѣмца, прогнать его не можетъ.

— Сколько у насъ этихъ искусниковъ было—счета нѣтъ. Разорять барыню... И все по часамъ! Какъ прѣхалъ, сейчасъ подавай ему часы стѣнные, да-а... съ гириями! И пошелъ нехорошими словами ругаться да на часы поглядывать, да въ карманъ себѣ попихивать...

Поглядишь на такія вещи и невольно скажешь Ивану Николаичу:

— Выбирались бы вы, Иванъ Николаичъ, отсюда, да и рассказали бы тамъ все, какъ есть.

— Ахъ, братъ ты мой! Рассказать!.. Пожалуй-что и расскажешь, а пожалуй-что и язычекъ прикусишь... Это дѣло надо ладить «не съ бацу»..!

Проговоривъ что-нибудь подобное, Иванъ Николаичъ обыкновенно почему-то задумывается и потомъ, повидимому совершенно ни къ чему, приплететъ какую-нибудь исторію изъ своихъ воспоминаній. Вдругъ вспомнится ему, что ребенкомъ играетъ онъ въ отцовскомъ кабакѣ и съ ужасомъ смотритъ на громаднаго мужика, котораго всѣ шопотомъ называютъ «палачъ». Ненавѣстно почему, палачъ развѣзжалъ въ то время по уѣзду; но страхъ былъ къ нему всеобщій. Похаживая во хмелю по кабаку, онъ похлопываетъ по полу своимъ кнутомъ и предлагаетъ какому-то пьяненькому мужиченкѣ получить «за-даромъ» два цѣлковыхъ: желающій долженъ взять бумажки въ зубы, подставить палачу спину и вытерпѣть три удара кнутомъ, не крикнувъ и не выронивъ деньги изо рта. На глазахъ Ивана Николаича хмельной мужиченко подставилъ спину и мертвымъ повалился съ одного удара, стиснувъ зубы такъ, что ихъ съ трудомъ разжали двое взрослыхъ дѣтей покойника, чтобы вытащить два рубля.

Иванъ Николаичъ не можетъ забыть этой смерти, этого размаха кнутомъ, со свистомъ облетѣвшимъ всю избу.

— Какъ же можно съ бацу-то! бормочетъ онъ.

Послѣ случайной встрѣчи моей съ хромоногимъ солдатомъ во время открытія школы, онъ сдѣлался единственнымъ и постояннымъ моимъ собесѣдникомъ по окончаніи работы.

— Нѣтъ, баринъ, видно, придется камушекъ на шею нацѣпить да поискать бучила хорошаго!..

Такъ, почти всегда одинаково, слегка раздраженно начинаетъ онъ свою рѣчь, влѣзая съ своей деревяшкой ко мнѣ въ переднюю и одновременно торопясь запереть дверь, снять съ лысой головы шапку и обтереть не хромую ногу.

— Здравія желаю! все-ли въ своемъ здоровьи? проаноситъ онъ уже по-солдатски, бодро.

— Слава Богу!

— Ну, слава Богу! А я, признаться, ваше благородіе, все бучила ищу хорошаго.. Ей-богу-съ! Хочу просить въ губерніи: «дозвольте, господа судьи, Филиппу Андрееву, хроному, не своею смертью помереть...» Ей-ей!

Этотъ шутивый тонъ, когда-то бывшій большимъ природнымъ сокровищемъ Филиппа, теперь только привычка, даже и нескрывающая горя, которое лежитъ у него на душѣ. Свернутый съ пути господскимъ сюртукомъ, имѣвшимъ когда-то всемогущія права, хромой солдатъ былъ измученъ и изуродованъ нравственно и физически до послѣдней возможности; вмѣсто гнѣзда, которое думалъ онъ свить для своей старости, попалъ въ новое море мученій. Помощниковъ у него нѣтъ, потому что жена отвыкла отъ работы, разслабла отъ кабачной жизни и пьетъ. На шеѣ солдата сидятъ и женна дочь, дѣвочка больная, полусумасшедшая, избитая въ дѣтствѣ матерью въ припадкахъ отвращенія къ пьяной жизни, и, кромѣ дѣвочки и матери, на той-же шеѣ сидитъ безсрочной солдатъ Ермолай, пьяница и душегубъ, любовникъ жены, который отрываетъ ее отъ дѣла, мутитъ все въ домѣ и разоряетъ, и отъ котораго ни мужъ, ни жена отдѣлаться не могутъ: оба боятся его, а жена кромѣ того привыкла къ нему, жила съ нимъ три года... По природѣ добрый, Филиппъ ничего не можетъ поддѣлать въ этомъ содомѣ. Иногда даже самъ подгуляетъ «на свои», съ женой и любовникомъ.

— Нѣтъ-ли рюмочки, вашеблагородіе, солдату? продолжаетъ онъ хотя и съ оттѣнкомъ шутокъ, но уже совершенно болѣзненно. — Ей-богу! что ни скажу, что ни скажу—н-на!.. Что-жъ мнѣ? Дратся я не охотникъ: слава Богу, на войнѣ, по приказу, дрался, а самому охоты нѣту.. Да и не слажу я съ такимъ верзилкой... Гляньте-ко: Ерусалъ! Звѣздочетъ по уху—духъ вонъ! И поджечь избу для него все одно—тѣфу! Этакой собакъ что угодно можно..

Выпить рюмку, онъ какъ будто пріободряется, и, повидимому желая отплатить за нее, какъ будто беззаботно говоритъ:

— Ахъ у васъ печки не топили еще?.. Что же это вы, ваше благородіе, не скажете? Да я вамъ ее раскалю духомъ-съ! Какой холодъ... какъ можно?

Печка затопливается среди разговоровъ совершенно постороннихъ: о дровахъ, о дороговизнѣ, о добротѣ барыни; но когда она наконецъ разгорѣлась, солдатъ утѣлся на полу около нея и уже не свернетъ никуда съ повѣствованія о своей участи.

— ...И по тому-то, ваше благородіе, болѣзненно лепечетъ онъ,—если что—и то она съ неужь-лихъ-то рукъ до поту бьется! Иная бы вотъ какъ обернула, а она мечется, покуда вотъ этакъ—то за сердце схватится, да на бокъ... Больная-съ, куда ей! Дѣвчонка полоумная, какъ воронъ глазами пучить изъ-за печки... Опять слабость ейная, бьется-бьется, а Ермолка гаркнулъ: «пойдемъ!» — идетъ! выпьетъ, раскиснетъ... Моего вѣку немного осталось... Скоро поколѣю, все одно! Ну, и что хощь! Что и самъ съ хромой ногой наладишь—все тожъ прахомъ! Да и ладить-то не приходится... Цѣло-

вазньику и посейчасъ изъ-за избы-то по шею за-должалъ... Поглядить, поглядить, да пожалуй и отыметь избу-то. Прочіе сосѣди рекомендуютъ: «бей!» Ахъ, Господи! Не могу я, старый чело-вѣкъ, на это польститься? Она и такъ чуть ходитъ, Боже мой!

Солдатъ помѣшаешь въ печи кочергой, помол-чить и снова тянешь свою исторію.

— Подумаешь, подумаешь, говорить онъ въ раздумьи,—а выходить такъ, что не минешь, по-жалуй напишешь государю императору письмо!.. Пожалуй-что не обойдешься! Обидно, обидно въ эда-комъ видѣ себя представлять, а пожалуй-что при-дется попроситься, Христа-ради, въ богадѣльню!

Но въ этихъ намѣреніяхъ несчастный солдатъ очевидно не находитъ успокоенія. Собираясь ухо-дить, онъ снова приходитъ къ мысли, что камень да бучило—хорошія, единственные средства для его спасенія.

Солдатъ ушелъ. Настала ночь, тишина и темъ; степной ревучій вѣтеръ, облетая съ шумомъ стѣны моего жилья, доноситъ множество самыхъ тревож-ныхъ звуковъ, въ которыхъ слышенъ и какъ-бы набатъ отдаленный и неумолкаемый, и волны, и крикъ... Исторія солдата, подновляемая новыми событіями, вмѣстѣ съ шумомъ вѣтра долго не дастъ заснуть.

Скоро къ нашему обществу присоединилось но-вое лицо. Барыня взяла ко мнѣ въ служители нѣ-котораго челоуѣка, по имени Ивана.

Иванъ былъ корявый челоуѣкъ небольшого ро-ста съ рыбымъ, некрасивымъ лицомъ, большимъ щучьимъ ртомъ и неприятными глазами, изъ кото-рыхъ на одномъ сидѣло громаднѣйшее бѣльмо, а въ другомъ мелькало нѣчто трусливо-наглое и робко-лукавое. Барыня изъ милости и состраданія взяла его только до весны, такъ какъ весной Иванъ хо-тѣлъ идти въ соловецкіе монастыри и поступить въ монахи: «хотѣ бездѣлицу для души похлопочу», объяснялъ онъ это намѣреніе, стараясь низвести свою хрипоту до степени голоса младенца. Сѣрый глазъ, нырившій при этомъ изъ угла въ уголъ и казалось незнавшій куда дѣться, и поддѣльный го-лосъ могли привести къ заключенію, что челоуѣкъ этотъ пытается какія-нибудь нечистыя намѣренія. Но это было не такъ. Иванъ просто былъ пьяница, пьянствовавшій сряду тринадцать лѣтъ, допившій-ся до постоянныхъ галлюцинацій, которыя не по-кидали его и въ трезвомъ видѣ и почти убѣдили его, что онъ продалъ свою душу дьяволу на три-дцать лѣтъ. Онъ такъ привыкъ быть въ обществѣ бѣсовъ, что въ трезвомъ видѣ не зналъ, о чемъ раз-говаривать, и плелъ въ оправданіе свое такой вздоръ, который, судя по глазу, нырившему изъ угла въ уголъ, казалось удивлялъ его самого. Такъ напри-мѣръ, объясняя, почему онъ сидѣлъ шесть мѣсяцевъ въ рабочемъ домѣ, онъ обвинялъ въ этомъ жену и чиновниковъ, у которыхъ та тринадцатый годъ жи-ветъ въ нянькахъ въ губернскомъ городѣ, и выра-жалъ это обвиненіе такъ: «Они, ваше благородіе, хотѣли, чтобъ я былъ воромъ-съ... да-съ! А я имъ

согласія не далъ-съ! Потому я никогда матушки Царицы небесной не забуду... да-съ! Пущай это имъ будетъ извѣстно, свиньямъ!.. чтобъ я былъ во-ромъ-съ!» Кроткая хрипота, которою говорились подобныя фразы, отнюдь не соответствовала тому реву и безобразничанью, которое Иванъ обнаружи-валъ въ пьяномъ видѣ... Судя по этимъ проявле-ніямъ, можно было видѣть, что въ молодости Иванъ былъ великій самодуръ. Начавъ свою карьеру ма-ларомъ, онъ въ короткое время пошелъ такъ бли-стательно, что даже женился на хозяйской дочери. Такой неслыханный успѣхъ развилъ его самодур-ство до громадныхъ размѣровъ; но въ ту же мину-ту Иванъ, полагавшій себя на высотѣ своеволь-ства, получилъ неожиданный ударъ: жена не про-жила съ нимъ двухъ мѣсяцевъ, какъ ушла къ род-нымъ, а потомъ поступила нянькой въ хорошій ку-печескій домъ. Иванъ «на зло» сталъ пьянствовать и безобразничать, полагая этимъ кому-то насолить; но на жену это не дѣйствовало. Она жила въ ку-печескомъ домѣ, копила деньги и умѣла при по-мощи хозяевъ сажать Ивана въ часть, въ рабочій домъ всякій разъ, когда онъ являлся требовать въ себѣ ее или денегъ. Скромная женская практич-ность повалила эту громаду самодурства: Иванъ мало-по-малу дошелъ до убѣжденія, что онъ въ ду-ракахъ, но вернуться на путь благоразумія снова уже не могъ. Пьяница изъ него вышелъ совершен-нѣйшій. Заручившись копѣйкой отъ добродотнаго дателя и окуркомъ папирсы, онъ безъ зазрѣнія дѣлалъ всякія гадости на улицахъ, передъ окнами, передъ прохожими; ругательства его въ это время раздавались на три квартала. Если же заручки не было, то, отыскивая добродотнаго дателя, онъ умѣлъ вдругъ упасть передъ прохожимъ купцомъ въ грязь, мычать, чавкая ртомъ, какъ нѣмой, рвать на гру-ди кожу, драть лохмотья халата, смотрѣть въ небо выкатившимся бѣльмомъ—и сразу поднимался съ земли, когда копѣйка попадала въ ладонь. Добро-хотный датель обыкновенно не успѣвалъ дойти до угла, сдѣлать пяти шаговъ, какъ за минуту ры-давшій Иванъ, рассмотрѣвъ давленіе, оскаливалъ свой щучій ротъ и обдавалъ добродотна на три квар-тала полновѣснѣйшимъ ругательствомъ.

Изъ города, гдѣ жила его жена, его выжили, и онъ шатался кое-гдѣ, то задумывая работать, то идти въ монахи. Последнее намѣреніе брало верхъ, ибо нервное расстройство отъ множества бѣлыхъ горячекъ достигло высшей степени. По его рассказамъ, бѣсы познакомились съ нимъ лѣтъ двѣнадцать тому назадъ; сначала былъ «при-ставленъ» къ нему одинъ, который началъ съ то-го, что уговорилъ Ивана отхватить ножомъ соб-ственный палецъ. Иванъ это исполнилъ, и съ тѣхъ поръ за нимъ ежеминутно шатаются двое и дѣ-лаютъ съ нимъ, что хотятъ; такъ—они примутся его «сбивать съ ноги». Кричатъ: «держи лѣвую ногу! ай, лѣвую ногу держи!» Иванъ держитъ и по-падаетъ въ яму со всякою нечистью. Они водятъ его пѣлыя ночи по разнымъ вертепамъ, показывая пья-ницъ, которые лежатъ въ темномъ подвалѣ, какъ дрова, заплесневѣлыя и зеленые, и отъ нихъ несетъ

холодомъ, отъ котораго у Ивана захватываетъ духъ... Приводятъ его къ морю гущи, изъ которой торчатъ головы и вопіють: «Ваня! вотъ «которое» намъ будетъ за трубочки съ табакомъ да за водочки!». Во время такихъ путешествій поминутно попадаются собаки съ человѣческими лицами, которыя его спрашиваютъ: «гдѣ твой ангелъ?» и начинаютъ ругать, а жену хвалятъ. Стоить ему взглянуть въ какой-нибудь уголъ — и тамъ тотчасъ же вырастаютъ носы по пяти сажень длины, и тоже ругаютъ. Однажды Иванъ валялся пьяный около корыта, гдѣ мокъ въ овсянкѣ овчинный рукавъ; этотъ рукавъ цѣлую ночь ругалъ его: «кабала!», очевидно намекая на его кривой глазъ. Нѣсколько разъ неизвѣстные люди хотѣли его украсть, а на мѣсто его положить «пса», котораго прятали подъ полой и на голову котораго надѣвали Иванову шапку «для сходства». Въ ужасѣ отъ такихъ сценъ онъ обращался къ Богу, бросался въ церковь и начиналъ бить поклоны; но угодники отмахивались отъ него руками, говоря: «не нужно! не надо! вонъ пошелъ!». Лишь Божіей Матери чернѣлъ и уходилъ вглубь, а глаза бѣжали. Иванъ распростирался на землѣ; но изъ полу прямо въ ротъ ему лѣзли трубочки съ табакомъ, и какіе-то люди жгли ему пятки, говоря: «подай ему жару! онъ мать проклялъ родную!». Бывали минуты глубочайшаго отчаянія; но выручали тѣ же разстроенные нервы: въ самомъ страшномъ приливѣ тоски ему вдругъ являлось въ небѣ видѣніе — крестъ и евангеліе, или подъ ногами распростиралось небо со звѣздами, и Иванъ восклицалъ: «Матушка, Царица небесная! Никогда я тебя не забуду! Стало быть, проживемъ еще маленечко!» И начиналъ ту же исторію вновъ.

Къ намъ Иванъ поступилъ въ припадкѣ величайшаго унынія и, боясь быть выгнаннымъ, покуда не пилъ, не переставая однакоже слышать голоса, проклинавшіе его и выходившіе откуда-нибудь изъ графина или съ потолка. Иногда неожиданно онъ совалъ въ щель между половицами папиросу, такъ какъ солнечный лучъ, ударившій въ полъ, представлялся ему въ видѣ головы, которая говорила: «нѣтъ-ли покурить?». Ночью галлюцинаціи увеличивались до послѣдней степени; стоило погасить свѣчу, стоило Ивану остаться въ темнотѣ, задремать, какъ тотчасъ же начинались таинственные явленія.

— Прочь! кричитъ Иванъ въ темной комнатѣ. — Убью, какъ собаку! Песъ эдакой!

Иванъ вскакиваетъ и бросается куда-то.

— Иванъ, Иванъ! кричу я. — Куда ты?

Окрикъ останавливаетъ его.

— Ахъ ты, Господи, Боже мой, кричитъ онъ, опускаясь на полъ. — А-а-а! Замучили они меня, черти проклятые! Смерть моя! Сейчас хотѣлъ бѣжать за топоромъ, убить его... Какъ же, помилуйте, которую ночь пристаешь: «Ты душу мнѣ продалъ. Пойдемъ!». Ахъ ты, шельма, сволочь!..

Иванъ тяжело дышетъ и долго сидитъ въ болъшомъ волненіи.

— Дѣйствительно, говоритъ онъ, какъ бы что-то соображая. — Онова былъ торгъ, торговались.

Ну, тогда обманъ вышелъ, это я вѣрно знаю, потому что я ему тогда согласія не далъ! Вѣрно! Я ему говорю: «Поди къ купцу Брускову... (на площади домъ-съ)...выноси деньги...пятьдесятъ серебромъ...» А онъ въ ту пору уперся: «Обрутай, говоритъ, нечистыми словами храмы Божіи, тогда вынесу!». Ну, а я ему наплевалъ на это, потому храмовъ Божіихъ мнѣ ругать не охота. Это я вѣрно — вотъ какъ — знаю!.. Еще свою шапку тогда продалъ, а отъ него не бралъ ни гроша мѣднаго... Каковъ есть грошъ... Ахъ ты, собака поганая! Что тутъ дѣлать? «Продай» — да и шабай!..

— Ты къ доктору, Иванъ, сходи...

— Были-съ, ну, пожалуй-что тутъ докторамъ-то не ухватить! шепчетъ и хрипитъ Иванъ со вздохомъ и, помолчавъ, прибавляетъ еще болѣе глубокимъ шопотомъ: — тутъ дѣло-то помудренѣе будетъ-съ! Сказать по совѣсти, а вѣдь я, ваше благородіе, шесть недѣль креста на шеѣ не имѣлъ, утералъ, вотъ въ чемъ-съ! Такъ тутъ доктора не могутъ-съ... Ужъ ежели шесть недѣль безъ креста я пропался, то ужъ, сами знаете, все одно — татаринъ, собачье мясо, некрещеный! Тутъ не докторъ-съ, тутъ къ митрополиту надо писать, чтобы по крайности хошь перемазали бы...

Иванъ долго рассуждалъ на эту тему и, уходя, говоритъ предупредительно:

— Вы, ваше благородіе, замыкайте дверь... Нравно что со мной... Шутъ его знаетъ!

Иногда я запираю дверь; но шумъ и крикъ Ивана вмѣстѣ съ вѣтромъ, который звонитъ и шепчетъ, не даютъ мнѣ покою.

11.

Съ появленіемъ Ивана, разговоры у печки сдѣлались гораздо продолжительнѣе, такъ какъ къ тоскливымъ жалобамъ хромоногаго солдата на свою семейную каторгу присоединились жалобы Ивана. И хотя несчастія послѣдняго нѣсколько разнились отъ несчастій солдата, но они сдѣлались дружными собесѣдниками, благодаря тому, что Иванъ, подобно солдату, тоже хотѣлъ собраться да «шепнуть государю императору словечка два», и еще благодаря тому, что Ивану, познакомившемуся съ дѣлами хромого, была полная возможность жалить свою ненависть на собственную жену, которую онъ ненавидѣлъ.

— Я, братъ, знаю ихъ, каковы онѣ, жены-то наши! хрипѣлъ Иванъ, сидя на полу у печки противъ солдата. — Онѣ ловки нашего брата въ землю по самую по шею забивать! Ты у меня спроси-и: чтó я былъ и чтó сталъ?

— Да ужъ что!

— Да-а! Знаешь Константинова, Петра?

— Ну?

— Ну, первый маляръ въ губерніи! Пять лѣтъ?

— Ну?

— Ну, я его по щекамъ билъ!

Сказавъ это, Иванъ торжественно замолкаетъ, сверкая на насъ глазами.

— Я своими ручками билъ его по мордѣ! Ученикъ онъ мой былъ, видишь вотъ! Поди спроси у него: сколько, молъ, разъ Иванъ Лазаревъ вамъ голову прошибалъ? Поди!—что онъ тебѣ скажетъ? А теперь я самъ у него копѣчки попрошусь! Онъ—миллионщикъ, а я... Вотъ онъ бабы-то!

Солдатъ вздыхаетъ.

— У меня тридцать человѣкъ рабочихъ пикнуть не смѣли! У меня... ахъ! Ахъ, Бож-же мой! вдругъ обрывая гнѣвную рѣчь, какъ-бы отъ сильной боли хватаясь за ухо, стонетъ Иванъ.—А-ахъ, какъ завыл-ылъ!..

— Кто? кто такой?

— Да кто же?... Пошелъ изъ-за спины, завылъ, завылъ такъ, аль-ни подъ сердце подвернуло! Ахъ, Боже милостивый!

— Да это вѣтеръ! что ты? успокаивалъ солдата.

— Знаемъ мы его, какой онъ вѣтеръ! Ученикъ очень! говоритъ Иванъ, мало-по-малу освобождаясь отъ видѣнія.—Онъ, жены-то, довольно хорошо насъ этому обучили, слава Богу! Проклятыя!..

Не смотря на добродушіе солдата, не смотря на его полное пониманіе не возможности поправить что-нибудь въ своемъ положеніи, открытая вражда Ивана къ женѣ, подкрѣпляемая аргументами, любимыми вышеприведеннымъ, дѣйствовала на солдата весьма страннымъ образомъ.

— Да что-жъ, ей-богу, — сталъ поговаривать онъ,—терпишь, терпишь... Сегодня вотъ опять влохмился: «посылай!».

— Ермолка, что-ль? спрашивалъ Иванъ.

— Стало, онъ!

— По шею его! Больше ничего, одно! Дуй, какъ собаку!.. совѣтовалъ Иванъ гнѣвно.

— Да что же въ самомъ дѣлѣ? Мнѣ тоже требуется свой покой, право, ей-богу! «Ты, Ермолка, хушь бы подумалъ, говорю, — вѣдь и ты тоже, чай, будешь на судъ-то?..» — «Посылай!» — только и словъ... И жена: «Пошли, Филиппушка, намъ, пропащимъ!» Ужъ я посылай, посылай...

— Ловки они нашего брата разорять, собаки... Огрѣтъ хорошенько—да и скажи!

— Да что въ самомъ дѣлѣ! какъ-то неопредѣленно произносилъ солдатъ, обращаясь ко мнѣ и не то жалуюсь, не то соглашаясь.

Въ такихъ разговорахъ мы проводили время, ожидая не получаешь ли намъ всѣмъ, не перестанетъ ли непогода, не начнутся-ли выборы. Ни того, ни другого, ни третьяго покуда не случилось; только исторія господскаго сюртука, изображаемая хромымъ солдатомъ, выяснялась все болѣе и болѣе, дѣлаясь отъ этого необыкновенно мучительной. Однажды, въ безсонную ночь, поднявшись къ окну за табакомъ, я случайно увидѣлъ Ермолку, который прошелъ подъ моимъ окномъ по грязи, безъ шапки, съ растрепанными по вѣтру волосами и распоясанной рубахой. Онъ шелъ медленно и считалъ на ладони мѣдные деньги... Вслѣдъ за нимъ проплелась, завернувшись съ головой въ рваную свиту, сгорбленная и, судя по походкѣ, крайне изможденная жена солдата; она плелась босикомъ, хромая на одну

ногу, обвязанную грязной тряпкой, и повидимому пла, куда глаза глядятъ. Послѣ этой сцены мнѣ было весьма тяжело слушать негодующіе вопросы солдата вродѣ: «Да что-жъ въ самомъ дѣлѣ?», какъ-бы грозившіе тѣмъ-то этой замученной женщиной. Но, благодаря простодушію и добротѣ солдата, низводившимъ этотъ вопросъ только до степени глубокаго вздоха, никто изъ насъ тронхъ не предполагалъ, что изъ этого что-нибудь выйдетъ.

А между тѣмъ это «что-нибудь» вышло, и подзадориванія Иваномъ солдата разрѣшились совершенно неожиданно.

Однажды, занимаясь въ школѣ, я слышалъ, какъ хромой солдатъ вошелъ въ мою комнату, толковалъ довольно громко о чемъ-то съ Иваномъ и потомъ ушелъ куда-то вмѣстѣ съ нимъ: въ послѣднее время солдатъ охотно водилъ Ивана въ кабачокъ выпить рюмочку, и возвращались они скоро, боясь разсердить барыню; но въ этотъ разъ пропали на цѣлый день.

Господскій кучеръ, принесшій мнѣ обѣдъ, вмѣстѣ съ Ивана, на разспросы о немъ, объявилъ, что онъ вмѣстѣ съ хромымъ солдатомъ погнался куда-то за ворами.

— За какими ворами?

— Да за Ермолкой, за полюбивникомъ жениннымъ. Въ прошлую ночь ночевалъ онъ у нихъ... Ну, и стануль, увмѣстяхъ съ Оеколкой, деньги солдатскія... Рубъ, что-ли то... И ушли вмѣстѣ съ бабой куды-сь... Надо было, на пращоновскіе колодези... Солдатъ-то хватился поутру, анъ денегъ нѣтъ, а они съ бабой ушли! Ну, и погналъ въ догоку. Да что, глупый совсѣмъ старикъ! Куды ему отнять? Это его Ванька поджегъ, онъ бы самъ ни вовѣкъ—куда ему! А они, вашескородіе, въ кабаки сначала зарядились, солдатъ-то накатила, Боже мой, какъ! Мужика нанялъ—во весь духъ!.. Барыня имъ попались—въ городъ ѣхали, такъ даже очень удивились этому, что такое со старикомъ? Ей-богу-съ!

Это извѣстіе весьма удивило меня.

— И стоитъ за этакой сволочью гнаться! На его мѣстѣ я бы самъ ей рубъ далъ: види, любезная, право. Что за такой, за паскудиной таскаться? Извѣстная потаскуха, бродяга... Пирожное еще будетъ, ваше благородіе!

Долго просидѣлъ я въ этотъ вечеръ у Ивана Николаича и когда воротился, то нашелъ Ивана мертвецки пьянымъ. Онъ былъ весь въ грязи и валялся въ передней безъ чувствъ; рубаха его была изорвана, а лицо и руки покрыты ссадинами и синяками. Мнѣ просто страшно сдѣлалось въ компаніи съ нимъ. Очевидно, что было большое пьянство, большая драка, разыгралось какое-то невѣроятное буйство, въ которомъ сорвано множество обидъ и огорченій.

Раннимъ утромъ, чуть свѣтъ, я былъ разбуженъ торопливымъ и нетерпѣливымъ стукомъ въ дверь, разбудившимъ даже Ивана.

— Погодишь, не умрешь! рыча съ похмеля и отворяя крючокъ у двери, бормоталъ онъ.

Въ передней застучала деревяшка солдата.

— Эко грохаетъ! хрипѣлъ Иванъ; но солдатъ ему не отвѣчалъ и прямо вошелъ ко мнѣ.

На немъ лица не было.

— Что съ тобой?

— Въ дому нечисто, ваше высокоблагородіе! пролепеталъ онъ, вытянувшись въ струну и какъ-бы задыхаясь.

— Что такое?

— Очень не чисто, ваше благородіе, жена померла!

— Ай померла? воскликнулъ Иванъ въ великомъ испугѣ.

— Померла! прошепталъ солдатъ. — Ну, не очень чисто скончалась... Очень... не аккуратно...

— Да въ чемъ дѣло? Будетъ, говори!

Несмотря на испугъ и трепетъ, солдатъ кое-какъ объяснилъ, что вчерашняго числа, послѣ того какъ они съ Иваномъ «выволокли» жену изъ прощоновскаго кабака, солдатъ привезъ ее домой, ругая дорогой, говоря ей, что она довела его, стараго человѣка, до того, что онъ подрался, подрался изъ-за того, что она обокрала его, нищаго, унесла послѣднее... Жена все молчала. Пріѣхавъ домой, онъ взвалилъ ее на печь и самъ легъ туда же, предвзвѣсивъ привязавъ однимъ концомъ веревки за дверь, чтобы кто не вошелъ, а другой конецъ съ пьяныхъ глазъ взявъ съ собой на печку, обвязалъ имъ женину ногу и крѣпко держалъ веревку въ рукѣ, чтобы проснуться, когда она побѣжитъ. Жениной дѣвчонкѣ, которую тоже ударилъ нѣсколько разъ, онъ наказалъ смотрѣть за мамкой, ежели самъ задремлетъ.

Въ глухую ночь онъ слышалъ пронзительный крикъ — голосъ походилъ на дѣвчонкинъ, но очнуться не могъ, потому что голова «дюже» была тяжела.

— Прочухался подъ утро, шепталъ солдатъ. — Глянулъ къ полатамъ... ахъ она... и веревка эта самая!

— Ахъ дѣло-то нечистое! хрипѣлъ Иванъ, очнувшись отъ хлема. — А-а, братецъ ты мой!

— Очень нечистое дѣло!

Всѣ мы молчали.

— Эхъ, водочка-а, матушка! утирая градомъ полившіяся слезы, говорилъ солдатъ: — два раза я отъ тебя погибель имѣю, подъ шапку изъ-за тебя попалъ... теперь, можетъ, душу...

— Ахъ, бѣдовое дѣло! охалъ Иванъ. — Дѣвчонка-то, что ейная?

— Убѣгла дѣвчонка!.. Кабы не пьянъ былъ, я-бъ окликнулъ... Она, надо быть, видѣла, какъ мать-то... ну, и убѣгла. Какъ не убѣчь!

Солдатъ былъ крѣпко убитъ и почти не разговаривалъ съ Иваномъ.

Почему-то мы сочли нужнымъ пойти на мѣсто происшествія. Въ селѣ уже знали о немъ. У дверей избѣ толпились женщины, закутавшіяся отъ дождя свитами. Рѣдка изъ нихъ осмѣлилась подступить

къ толпѣ мужчинъ, обступившихъ солдатскую избу въ глубокомъ молчаніи.

— Эй! Хромой! послышалось съ солдатскаго двора, когда мы всѣ трое подходили къ нему. — Гдѣ ты шатаешься, старый песъ? Иди!

Это кричалъ Ермолай.

— Нашелъ время шататься! продолжалъ онъ. — Тоже порядокъ спросить... Надо ее выволочь отсюда, для господъ... для воздуха. Эй, ребята! помоги!

Какой-то старичокъ, на лицѣ котораго выражалось полное убѣжденіе, что это дѣло мірское, и его оставить нельзя, отдѣлился изъ толпы; вмѣстѣ съ хромымъ солдатомъ они вошли въ избу. Скоро оттуда вылетѣла на дворъ веревка.

— Пожалуй, что утрафишь въ хорошее мѣсто изъ-за этого дѣла! толковалъ Иванъ въ ожиданіи слѣдствія, и самъ же отвѣчалъ на это: — куда угодно! въ Сибири — тоже люди, и радъ радехонекъ!

Но этотъ отвѣтъ не успокоивалъ его, да и не одинъ Иванъ, все село было въ величайшей тревогѣ. Собственно страшнѣе было не суть, не начальство, а та какая-то безпредѣльная душевная тоска, которая сразу навалилась на всѣхъ послѣ этого происшествія. Что-то тяжелое висѣло надъ головами всѣхъ и не давало покою. По ночамъ можно было замѣтить огоньки, чего прежде не было, что бываетъ, когда грозитъ туча, несчастіе. Солдатъ два дня стоялъ на караулѣ при женѣ и не показывался, ожидая начальства. Иванъ не посѣщалъ его и, испытывая общій душевный ужасъ, мучился ночью болѣе обыкновеннаго.

— Что, ваше благородіе! говорилъ онъ, тихонько пробираясь ко мнѣ. — Какъ ни вертись, а надо быть что промахнулъ я «нимъ» душу-то!.. По совѣсти сказать, чудится мнѣ, что и въ другой разъ мы съ нимъ торговались... Тутъ ужъ онъ мнѣ: «что угодно! Нетовмо храмы Божіи, а хушь, говорить, дрова обругай, соглашусь!» Тутъ-то должно быть я и ахнулъ... Должно быть что такъ! Потому и имъ не-изъ чего звать попусту... Ужъ ежели кричатъ: «пойдемъ», стало быть, что-нибудь есть! Ничего по сдѣлаешь!.. Коли, Богъ дастъ, отверчусь отъ этого дѣла, надо писать просьбу. Надо!

Наконецъ всѣмъ полегчало: пріѣхало начальство: судебный слѣдователь, лекаръ и фельдшеръ съ ящикомъ анатомическихъ инструментовъ. Толпа около солдатской избы собралась громадная; на этотъ разъ даже бабы, поодаль отъ мужиковъ, образовали довольно порядочную группу. Посреди двора возвышался шалашъ, забросанный соломою, подъ которымъ лежала покойница. У воротъ плетня стояли безъ шаповъ солдатъ и Ермолай, оба застегнувшись на всѣ уцѣлѣвшія пуговицы. Трезвое лицо Ермолая было обыкновенное, форменное, солдатское лицо; только разбойничьи глаза его какъ-будто стали меньше; онъ какъ-то хитро поглядывалъ ими и видимо робѣлъ... Хромой солдатъ былъ унылъ и какъ-будто отошаль; тѣмъ не менѣе косицы его были приглажены, а когда подошло начальство, то вмѣстѣ съ Ермолаемъ онъ совершенно посолдатски произнесъ:

— Здравія желаю, ваше высокоблагородіе!

— Здравствуйте, ребята! сказали слѣдователь, взглянувъ на вытянувшагося и блѣднаго солдата. — Староста! Сафронъ!

— Староста! Эй! Иди! гудѣли въ толпѣ.

— Самоварчикъ, братъ, нельзя-ли... а?

— Можно-съ!

— Пожалуйста поскорѣй... Ступай! Такъ это твоя жена-то?

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе, наша-съ! отвѣчали Ермолай и солдаты вмѣстѣ.

— Иванъ Петровичъ, перебилъ лекаръ, — скажите, чтобъ и яицъ въ смятку.

— Эй, Сафронъ, Сафронъ!

Такой разговоръ облегчилъ душу солдата, ибо очевидно не приговаривалъ его къ смерти; онъ поправилъ деревяшечу и каплянулъ. Вообще судьи видимо не имѣли намѣренія чѣмъ-нибудь страшить этотъ народъ. Повидимому, такія трагическія развязки исторіи господскихъ куртуковъ были для нихъ вещью столь-же обыкновенною, какъ обыкновенны онѣ и въ самой дѣйствительности. Они усѣлись на бревнушкахъ и обрубкахъ, достали карандаши, бумагу, велѣли открыть покойнику, при видѣ которой толпа шатнулась назадъ. Лекаръ и фельдшеръ стали готовить мѣсто для анатомірованія, требовали воду, лавку и проч., а судебный слѣдователь понемногу спрашивалъ народъ.

— Такъ распутничала? спрашивалъ слѣдователь.

— Было-съ... говорилъ свидѣтель.

— Точно, ваше благородіе... Весьма по глупости своей... Большая была вераха!

— Ты что скажешь?

— Больше ничего-съ! Непорядочная была-съ покойница...

— Ничѣмъ не жаловалась?

— Кто-жъ ее знаетъ? это надо у бабъ спросить... Эй, бабы, поди сюда!..

Бабы убѣжали прочь.

— Сердцемъ, ваше благородіе, жаловалась, произносилъ храмой солдатъ: — схватится такъ-то и упадетъ...

— Сердцемъ? Ну, еще не можешь ли что-нибудь сообщить?

— Что-жъ, ваше благородіе? говоритъ солдатъ убитымъ голосомъ. — Жили дружно-съ... Больше ничего... Что-жъ!

— Ты кто такой?

— Отставной-съ... Что-жъ, дѣло Божіе! Ево воля... Моей причины нѣту; служилъ царю чисто — двадцать лѣтъ отслужилъ...

— Да ты садь, старикъ, говоритъ слѣдователь.

— Постоймъ, ваше высокородіе! просвѣтлаясь отъ ласковаго слова, говоритъ солдатъ веселѣе. — Я двадцать лѣтъ стоялъ-съ, привыкъ-съ. Во дворахъ ставали...

— Во дворахъ? закуривая папироску, переспрашиваетъ слѣдователь.

— Какъ же-съ! Въ театрѣ тоже и во дворахъ. Тутъ стоишь, дыханія своего не слышишь, не ше-

вельнешься... Одна во дворцѣ задремалъ, да и уронилъ ружье, такъ думалъ — умру-съ!

— Какъ же можно! поддакнулъ Ермолай.

— Какъ пошло по царскимъ покоямъ ухаты-съ, отъ удара... такъ!..

— Эй, ну-ка, поди сюда! перебиваетъ солдата лекаръ: — подними-ка покойнику-то!

— Выводочъ ее оттедова прикажете? вызывается Ермолай.

Покойницу тащатъ на лавку; солдатъ помогаетъ нести ее за ногу, Ермолай взялъ ее подъ мышки. Проходя мимо слѣдователя и находясь подъ страхомъ суда, онъ желаетъ заслужить у барина и ласково говорить:

— На караулъ, вашескородіе, большая строгость! Теперьча въ Итальянской оперѣ стоишь — ровно желѣзныи сдѣлаешься... навзничъ прикажете?..

— Блуди навзничъ.

— Слушаю-съ!

— Ты кто такой? обращается слѣдователь къ Ермолаю.

— Безсрочный... Ермолай Семеновъ.

— Ну, ты что?

— Да что-жъ, ваше высокоблагородіе? Что народъ-съ... Не даромъ онъ про нее... Что было, то было! произносить Ермолай съ умышленною ласково-стью.

— Распутничала?

— И весьма-съ! Что правда, то правда... Утаить нельзя... Поведеніе имѣла вредное...

Ермолай взглядывалъ на хромого, но тотъ молчалъ и стоялъ на вытяжку.

Допросъ продолжался, и нижняго виновнаго, кромѣ собственной глупости бабы, въ ея самовольной кончинѣ не нашлось. Затѣмъ покойнику вымѣрили вдоль и поперекъ и изобразили все это въ аршинахъ и вершкахъ; развязали тряпки, которыми были обвязаны ея пальцы на рукѣ и на ногѣ, и узнали, что руку она разбила кирпичемъ во время пощенщины, а ногу зашибла ей скотина во время работы. Слово «работа» стало звучать въ устахъ свидѣтелей столь же часто, какъ и «распутство». Все это хотя и не убавляло мнѣнія на счетъ глупости бабы, но тѣмъ не менѣе было записано, и затѣмъ приступлено къ анатомірованію.

— Десятый часъ! говоритъ докторъ фельдшеру.

— Сію минуту, сію минуту! торопился фельдшеръ, вытирая тряпкою пилу.

Скоро слухъ зрителей былъ въ высшей степени непріятно пораженъ скрипомъ пилы по черепу безжизненно мотавшейся головы. И вмѣстѣ съ этимъ звукомъ вдругъ откуда-то раздался пронзительный, краткій дѣтскій крикъ.

— Дѣвочка кричитъ! зашумѣлъ народъ. — Догоните, братцы!.. Уйдетъ!

— Для начальства-а-а-а-а!..

Нѣсколько человѣкъ бросились отыскивать дѣвочку, но не нашли.

Крикъ ея былъ такъ кратокъ, что нельзя было съ точностью опредѣлить мѣста, откуда онъ раздался.

Скоро слѣдствіе кончилось.

— Проворный, ребятки, проворный! торопливо моя въ ушатъ руки, говорилъ фельдшеръ:— собирай мозги-то... да не руками! Прикинется болѣсть, дуракъ!.. Солому возьми въ руки, да такъ съ соломой и валя въ нутро... Зашьется!.. Все одно — прахъ!..

Судебный слѣдователь и докторъ ушли, не дождавшись фельдшера...

— У твоей жены ожиреніе сердца, сказалъ слѣдователь солдату, уходя:— начальство принимаетъ это въ уваженіе...

— Слушаю, ваше высокоблагородіе!

— Я похлопочу, нельзя-ли будетъ предать ее землѣ по христіанскому обряду... Не тужи!

— Что ужъ тужить, вашескобродіе? На христіанствѣ благодаримъ, а что... все одно! Тутъ мнѣ жить не мѣсто...

— Отчего же?

— Сами знаете, мѣсто опоганено... Что-жъ! Не усидишь...

— Въ такой-то погони, вашескобродіе! подбавилъ Ермолай.

Слѣдователь сказалъ еще что-то успокоительное и ушелъ.

— Куда ты, старый хрѣнь, уйдешь? осторожно подходя къ солдату, прохрипѣлъ Иванъ:— много ты съ костью ухватишь?

— Да ужъ надо! Такъ-ли, сякъ-ли, а не будетъ дѣла на поганомъ мѣстѣ...

— Дура-а! продолжалъ Иванъ. — Давай-ко лучше вмѣстѣ возьмемся... Погляди, какъ дѣлами заведемъ!

— Опоганено! сказалъ солдатъ.

— Ну, а дѣвчонка?..

— Нешто она моя?.. Пушай родители получаютъ... Я самъ каѣба... Да пожалуй и дѣвчонка уважить не хуже матки... Ну, ихъ!..

— Кабы наша была, сказалъ Ермолай:— все-таки нельзя оставить... Будетъ вамъ балакать-то... Пойдемъ, хромой!.. Ночку выстояли, росинки во рту не было... Пойдемъ!..

Всѣ начали понемногу расходиться.

12.

Покойницу зарыли, перекрестились и замолкли о ней совершенно...

Продолжительныя страданія исчезли такимъ образомъ безплодно, не оставивъ ни одной капли вражды къ причинѣ ихъ. Не испытавъ и сотой доли этихъ страданій, я, признаюсь, не могъ вполне ясно и отчетливо представить и понять ихъ глубины; но, благодаря краткимъ и рѣдкимъ разговорамъ солдата и встрѣчамъ, я видѣлъ, что они велики, выше всего, что таятся въ этихъ затылкахъ, жаждущихъ быть разбитыми для собственной пользы, и вообще во всѣхъ этихъ пришибленныхъ существахъ. Веревка, которую я видѣлъ на дворѣ солдата, говорила мнѣ, что ею прекращена такая нравственная боль, при которой утрачивалась надежда на какое-бы то ни было избавленіе. И отъ

всего этого мнѣ стало какъ-то жутко... «Неужели, думалось мнѣ:— даже такіа страданія не оставляютъ ничего кромѣ молчанія, безслѣдно уходя въ землю, только страшать и еще ниже пригибають головы?»

Я считалъ это отвѣтомъ на тотъ вопросъ, который задавалъ себѣ, ѣдучи въ деревню, относительно работы темной мысли надъ своимъ положеніемъ... Пожалуй и теперь я не подыщу другого отвѣта; но одна неожиданная встрѣча, происшедшая спустя нѣсколько дней послѣ кончины солдатской жены, сдѣлала этотъ отвѣтъ нѣсколько менѣе безотраднымъ.

Я расскажу эту встрѣчу.

Мнѣ давно хотѣлось поглядѣть на дѣвчонку, оставшуюся послѣ покойной, какъ на экстрактъ всей массы страданій во всей этой исторіи. Я поджидалъ къ себѣ солдата, чтобы сказать ему объ этомъ: но солдатъ, находясь подъ пьянымъ вліяніемъ Ивана и Ермолая, самъ загулялъ и во хмелю спустилъ избу цѣловальнику, укряпившись въ намѣреніи идти «куда-то»...

— Вашбродъ! кричалъ онъ однажды, выйдя изъ кабака безъ шапки, когда я шелъ къ Ивану Николаичу:— пожалуйста разсудите дѣло! Въ честную компанію.

Въ кабакѣ было много народу, и всѣ почему-то засмѣялись, когда мы вошли.

— Ладно, ладно! говорилъ солдатъ всѣмъ. — Я своего дѣла не оставляю... Я это все ворочу!.. Вашбродъ! Отвѣчайте намъ: могу я цѣловальника засудить? Тепериче хочу я судами деньги нажить... дѣло мое пустое вышло...

— Ну, засуди! сказалъ цѣловальникъ.

— Изволь, какъ-бы съ охотой сказалъ солдатъ. — Изволь, другъ ты мой... Баринъ, глядите, такъ-ли будетъ?..

Тутъ солдатъ какъ-то установилъ себя съ деревяшкой передъ стойкой, какъ передъ судьей, и сказалъ цѣловальнику:

— Позвольте съ васъ выискать сто серебромъ...

Всѣ покатались съ смѣху.

— За что?

— А я вамъ сейчасъ объясню... Погоди грохотать-то! Примали вы мой домъ, а тамъ у меня часы остались... оптические... Пожалуйте!..

— Это какіе оптические?

— Больше ничего — серебряные съ двумя докамъ... Штучка маловатая, а цѣна ей—сто цѣловыхъ. Вынимай деньги! Вышло, ай нѣтъ? Баринъ! обратился солдатъ къ публикѣ и ко мнѣ, выходя изъ пазы истца.

Со смѣхомъ ему отвѣтили, что не вышло...

— Ахъ, въ ротъ тѣ галку!.. Ну, постой, я другую.

— Да будетъ тебѣ, крупа! сказалъ цѣловальникъ, стукнувъ его по затылку. — Пропивай остатокъ-то да ступай на ярмарку, причитай: «безногому...» Судиться!

— Ну, да ладно, началъ-было солдатъ, повидимому намѣреваясь разыграть новую сцену, однако остановился и сказалъ: — а что, братецъ, вѣдь и такъ на ярмарку пожалуй ударишься? Баринъ! По-

камъ. Никакого другого, болѣе практическаго плана для нихъ обоихъ нельзя было придумать.

— Ничего не подѣлаешь, порѣшивъ, заключить-было солдатъ.

Но въ это время понурый старичокъ, не спѣша, тронулся съ своего мѣста и, поровнявшись съ солдатомъ, глядя въ землю, буркнулъ:

— Вотъ чего... Бросить это надо... Не приходится младенцевъ Божіихъ по толкучкамъ таскать... Не подходитъ это, такъ-то-ся!

Руки старикъ держалъ назади и, говоря это медленно и съ разстановкой, слегка поддергивалъ плечемъ въ одну сторону и не поднималъ головы.

— Кормиться надо, старина!.. Душа проситъ прокорму, сказалъ солдатъ.

— Корму хватитъ... Отъ Господа кормъ-то идетъ... А ежели ты имѣешь вѣру, отдай блаженную намъ... Прокормъ будетъ! Не мѣсто толковать-то... въ нумерокъ хушь...

Не дожидаясь отвѣта, старичокъ попрежнему медленной походкой пошелъ въ сторону, направляясь повидному къ харчевнѣ. Солдатъ охотно пошелъ за нимъ, обрадованный неожиданнымъ прокормомъ, и я не могъ отстать отъ нихъ, въ первый разъ услышавъ сочувствіе къ невиннымъ страдальцамъ, считаемымъ «блаженными», которыхъ бросать не приходится.

Всѣ трое мы вошли въ грязную харчевню съ задняго крыльца. Въ узенькомъ и низкомъ корридѣ, облеенномъ какими-то канцелярскими бумагами, съ маленькими дверьми въ душныя и грязныя «особенныя комнаты», стоялъ, разговаривая съ половымъ, молодой красивый парень въ отличнѣйшемъ полусубѣ, съ гармоніей въ рукахъ. Онъ видимо подгулялъ, былъ веселъ и не замѣчалъ, что вартузъ его сидѣлъ на затылкѣ козырькомъ на-бокъ. При появленіи старичка, онъ сунулъ гармонию половому, сдернулъ шапку и, сдѣлавъ постную физиономію, тономъ сидѣльца заговорилъ, обращаясь къ старичку:

— Изготовлено все-сть! Пятнадцать пудовъ муки пшеничной, два ведра вина-сть, масла...

Старичокъ взглянулъ на него и молча прошелъ въ нумерокъ. Малый какъ будто трусилъ, оглянулся на смѣющееся лицо полового и скромно усялся въ уголокъ нумера. Мы трое расмѣстились по бокамъ небольшого стола. Старикъ не претендовалъ на мое присутствіе. Онъ долго копошился, усаживаясь, похрапывалъ, пожевывалъ губами, поднималъ и опускалъ сѣдые брови и вообще серьезностью лица доказывалъ, что въ головѣ у него есть нѣчто весьма важное, по крайней мѣрѣ для него, хотя въ глазахъ его, тусклыхъ и маленькихъ, примѣтна была нѣкоторая тупость. Мы всѣ молчали и ждали, что будетъ. Солдатъ повидному былъ отчасти изумленъ тѣмъ, что объ угощеніи не было и помину, хотя дѣло очевидно происходило въ харчевнѣ...

— Вотъ чего, служба, заговаривалъ старецъ, прекративъ свои таинственныя прелюдіи:—отдай ты дѣвочку намъ...

— Кто вы будете?..

— Здѣшніе, подгородніе, прощоновскіе жи-

тели... И скажу я тебѣ, что дѣвицу эту ты отдай намъ, по тому случаю, что намъ мученики требуются... Они наши предъ Господомъ заступники, а мы, прощоновскіе, главнѣе о небесномъ благополучіи имѣемъ попеченіе, а въ земное вѣры у насъ нѣту!..

— Не стоить того дѣло! подвернувъ ловко обутую ногу подъ лавку, подтвердилъ молодой малый, сплюнувъ и трянувъ волосами.

Но старикъ ничѣмъ, даже взглядомъ, не одобрилъ этой сочувственной фразы молодца, а продолжалъ:

— Требуются намъ предстатели и защитники на небеси по тому случаю, что на земли у насъ ихъ нѣту... Вѣр-но я говорю?

Нельзя было хотѣ отчасти не согласиться съ этимъ взглядомъ старца, припомнить, что на землѣ бывають случаи, когда предстательствуютъ затылки.

— Чтѣ такое твоя дѣвочка? Умудрилъ ли тебя Господь понимать это дѣло? Дитѣ Божіе, ангелъ непорочный, мученица невинная... Слѣдственно ежели мы у Господа награду ищемъ, то отнюдь не можемъ оставлять ее зря... Отдай ты намъ ее въ обитель, ибо имѣемъ мы обитель собственную, и угодишь намъ, новоявленный мученикъ Миронъ, при насъ тоже состоить...

Старикъ перекрестился; молодой малый, заслывшійся-было гармоніи, вскочилъ и сдѣлалъ то же.

— Отъ него, Мирона мученика, получили мы въ эфтомъ понятіе, его слушаемъ и вѣруемъ. Отчего мы, простые христіане, всю жизнь муку видимъ, отчего между нами ссоры и драки, буйства и зависть? По тому случаю, что мы во грѣхѣ, на умѣ у насъ мірское—какъ-бы лучше, какъ-бы сытнѣе, какъ-бы больше... «Кого мы боимся? Боимся начальства, суда человѣческаго, а того не видимъ, что и онъ тоже во грѣхѣ и въ блудѣ, и самъ тоже новоритъ для мамоны... а не что-либо... На него-ли положить надежду?» Его это слова! И было тогда намъ сказано: «Бросьте все, припадите къ Богу: на землѣ, какъ мухи паскудныя, перегибнете, а на небѣ награда будетъ». Оно такъ и выходитъ... Вотъ ты хромъ и нищъ, сказалъ старичокъ солдату,—на земное или на небесное ты надежду имѣа?

— Грѣшенъ! сказалъ солдатъ:—собственно что для прокорму...

— Какъ же вы... ласково и какъ-бы укоризненно попытался произнести молодой малый, но старецъ продолжалъ:

— Такъ оно и выходитъ! Послушай тепериче. чтѣ я тебѣ скажу... Неспроста мученикъ Миронъ этакъ-то говаривалъ. Отъ юности своей имѣлъ онъ большое понятіе и къ нашему мужицкому мірскому дѣлу не подходилъ. «Господи!» возопилъ онъ единожды передъ міромъ, когда его силкомъ на тягло посадили. «Не могу я въ бракѣ быть... Дозволь служить Тебѣ, но не дьяволу». И въ ту же ночь Господь супругу его прибралъ... Съ этихъ поръ мученикъ покинулъ міръ и ушелъ въ пустыню и пятнадцать лѣтъ лежалъ въ шалашѣ на одномъ мѣстѣ.

Вбилъ онъ себѣ колья подѣ кожу, по семи вершковъ длинны, и такъ стало, что обросли тѣ колья кожей, а ино мѣсто стали раны и язвы. Завелись съ этихъ язвахъ черви, и ежели случится какой червь упадетъ оттуда, вывалится, то угодникъ его вторично въ язву кладезь... И не мало мы дивились, грѣшныя, на такого мученика. Видимъ мы: не имѣетъ онъ грѣховъ, ни блуда, ни пьянства, не жаждетъ; за одно за это стали мы его почитать, потому всѣ тѣ грѣхи мы оставить не можемъ... Видимъ мы, что и мученія, и рошанія наши тоже ничего супротивъ его не составляютъ: намъ голодно, — а онъ голоднѣй насъ во сто разъ; намъ холодно, — а онъ голый подѣ рогожей лежить!.. И стали мы ходить къ нему. «Помолись о насъ грѣшныхъ... дай совѣтъ...» И тутъ говорить онъ на наши глупыя мужицкія жалобы: «Вѣкъ вы своей покою не сыщете, ежели вокругъ себя искать будете... Не о землѣ, но о душѣ подумайте! Ты, говоритъ, бѣжавъ жаловаться въ волость на мужа, а ты на жену; наказываютъ васъ и усмиряютъ, а лучше вамъ отъ этого не будетъ! А по моему такъ: замѣшалося между васъ земное, брось, уйди отъ него; позабудь земную обиду и защиту, а припади къ Богу, у него нищя...» Не выдали мы на землѣ проку и ходили къ нему. И носили ему отъ трудовъ своихъ: кто грошикъ, кто сколько, кто и такъ. Пятнадцать годовъ училъ онъ насъ, и бывало такъ, что уйдетъ жена отъ мужниго грѣха, или сынъ отъ отцовской неправды, уйдутъ въ пустыню... Ну, слаба была вѣра, ворочались обратно изъ пустыни... на лютую жизнь. Видѣлъ это мученикъ и говорилъ: «всѣхъ я васъ спасу, ежели увѣруете въ слова моя...» На шестнадцатомъ году, въ весну, полднями слышенъ былъ звонъ въ небеса... «Отхожу!» сказалъ мученикъ. Вынулъ онъ въ ту пору изъ-подъ кожи колья кровавые и роздалъ намъ ихъ... И взялъ самъ одинъ колышекъ, вбилъ его подѣ себя въ землю и сказалъ: «будетъ здѣсь колоколъ (стало быть, монастырь), ну, не въ скоромъ времени, а сначала будетъ домъ общій». И померъ, ровно дитѣ, тихо. Тутъ и вышло, какъ онъ насъ спасъ: всѣ-то грошики, всѣ копѣечки — всѣ въ ямку зарыты, и набралось тѣхъ грошиковъ пятьсотъ рублей... Помня заповѣдь, стали строить домъ. Теперь онъ готовъ, въ два этажа, на двѣ половины, мужскую и женскую. Сталъ къ намъ бѣжать народъ, стали молиться о душѣ своей, и живемъ подѣ Богомъ... Работаемъ вмѣстѣ, вмѣстѣ кормимся... И тебя прокормимъ, да и о душѣ своей вспомнишь. Такъ-то! Вотъ мои слова.

— Охъ, надо! сказалъ солдатъ со вздохомъ.

— То-то надо! А дѣвочку мы сохранимъ въ покой, въ угожденіи — потому надо намъ вѣру подѣнять; вотъ что: стеченіе большое, надѣтъ строить другую хранину, а безъ вѣры толку не будетъ... да ояты и то сказать, случается и грѣхъ въ обители... И молитва слаба... Да! Сразу нельзя... И угодникъ, по повелѣнію его, перенесенъ нами въ обитель по осени, нониче для того-жъ. Самъ онъ, батюшка, въ владѣнія объявлялъ: «Скоро надѣтъ мнѣ придти къ вамъ, укоренить вѣру... Пушай на кости и язвы

мои поглядѣть и укоренятся въ молитвѣ... не даромъ я мучился...» Въ ночное время его мы, другъ любезный, приняли изъ могилы въ нетлѣніи; благоуханіе отъ него, другъ ты мой, большое, надо говорить прямо; но открывать — не открываемъ: пусть придетъ синодъ, откроетъ съ честью; такое дѣло безъ синоду дѣлать нельзя, ждемъ отвѣту, а бумага давно послана!.. Такъ-то, служба... Тебя мы прокормимъ, а дѣвочка блаженненькая — примѣръ для насъ, глухихъ... «Вотъ какъ молъ мучаются, ежели у Господа желаютъ получить...» Ибо, говорю тебѣ, не имѣемъ вѣры въ земное, но молитвою желаемъ заслужить на небеса...

— Да по мнѣ что же? говорилъ солдатъ. — Хотѣ бы какъ пробиться...

— Лучше нашего мѣста не будетъ! трянувъ кудрями, произнесъ малый. — Повѣрьте!

Разсказъ и философія старика показались мнѣ нѣсколько странными: я никакъ не могъ примирить толковъ его о неуспѣшной молитвѣ съ веселымъ и румянымъ лицомъ молодого малаго, который очевидно тоже принадлежалъ къ обители. Мнѣ хотѣлось потолковать съ нимъ.

— Вы тоже въ обители? спросилъ я у него, когда солдатъ и понурый мужичокъ вышли изъ номера, ибо солдатъ потребовалъ «по грѣхамъ» могарыча.

— Какъ-же-съ, слава Богу, второй годъ... Живемъ — лучше не надо... ну, молитва, по совѣсти сказать, слаба...

— Слаба?

— Даже слаба! И очень плоховатое моленіе!

— Почему-же?

— Да изволите видѣть, какъ вамъ сказать...

Первое дѣло, по книжной части слаба, путаемся кое-какъ. Ну, а другое опять... Я вамъ про себя скажу. Убегъ я къ нимъ отъ отчима... Бѣдность и мученію отъ него — страсть! Убегъ я, думаю: «отдамъ душу Богу!...» И другой этакъ-то, и третій, и женскій полъ... Собрались мы такъ-то, да какъ взялись работать не на себя, а на обитель — анъ у насъ страсть что всего: пишу имѣемъ хорошую, всего много; кто въ дому нуждался, въ обители все есть — на!.. И блудъ-съ! прошепталъ малый, прищуриваясь: — вѣрно-съ! Младенцы даже появились... Ничего не слѣлаешь!.. Молитва-то поослабѣла... Иванъ Федосѣичъ, старичокъ-то, они главные у насъ, серчаютъ! «Вы, говоритъ, все больше о мамонѣ...» А по совѣсти сказать, придешь съ работы, поужинаешь, прямо на печь... Ну, и грѣхъ! И бабы-съ! Боторая отъ мужа ушла, сейчасъ она ужъ... а не то, чтобы мученію себя предать... Ну, Иванъ Федосѣичъ и серчаютъ... «Надо вѣру подѣнять... Слаба молитва». Чудаки они! робко улыбулся малый. А что житье — лучше не надо!

— Зачѣмъ же вы вырыли Мирона?

— По той причинѣ-съ, что мірское насъ оченно обуяло-съ... Стали душу забывать, Иванъ Федосѣичъ объясняютъ... Оно и точно грѣхъ... Вотъ и вырыли, чтобы къ Богу оборотить... Вотъ извольте поглядѣть, каковъ полушубокъ?

Полушубокъ былъ отличный, романовскій.

— Обительскій... Сапоги тепериче, шапка— все обительскіе... Ежели-бъ своей силой, ни во вѣкъ не сбился бы завести, а тутъ у всѣхъ... Потому что выработаемъ, все несемъ на всѣхъ. Полушубки-то завели, а душу-то позапаметовали! Вотъ и вырыли-съ... А то на Илью одинъ нашъ обительскій подгулялъ, высунулъ голову въ окно, да и кричитъ народу: «нашъ-то Богъ получше вашего... вотъ— что!» ну, а вѣдь это не ладно... потому зависть... Которые нашей вѣрѣ не передались, страсть какъ завидуютъ. Такъ-то...

На распросы мои, молодой малый съ удовольствіемъ сообщилъ, что, положивъ посвятить жизнь дѣлу небесному, они тѣмъ не менѣе кое-что удѣляютъ и земному, то есть исправно вносятъ, что слѣдуетъ, и начальство покуда ихъ не трогаетъ, тѣмъ болѣе—что многие изъ деревенскихъ начальниковъ сами «передались» въ ихъ вѣру и отдали на построение обители свое имущество. Приходскій батюшка не разъ грозилъ имъ Сибирью, но покуда что, а не слышать, «и не будетъ этого», сказалъ малый увѣренно, «потому что бумага послана прямо къ митрополиту». Къ бумагѣ приложенъ акаѳистъ и житіе Мирона, написанные дьячкомъ и волостнымъ писаремъ, «то-есть ахъ какъ!». Писарь бросилъ жену, мѣщанку нехорошаго поведенія, и уже передался имъ; а дьячокъ все ходитъ къ намъ, попиваетъ меды и брагу, жалуется на свою участь и поговариваетъ: «ахъ и мнѣ передаться въ измѣну?». Вообще оказывалось, что спасеніе души покуда ничѣмъ не стѣсняется; что житье, слава Богу, сытное; что недостаетъ только настоящей вѣры да иноческаго сану и всего «чину». Всего любопытнѣе было мнѣ видѣть, какъ сытное житье и спасеніе души, хорошіе полушубки и загробныя улады, пущаясь въ воображеніи малаго, невольно выдавали его симпатіи, склонявшіяся главнымъ образомъ къ полушубкамъ, къ довольству и сытному житью... Во всей этой исторіи мнѣ было весело видѣть, что неудобства будничной жизни хотя смутно, но цѣнятся, и хотя темными путями, черезъ гроба, загробную жизнь, самоумерщвление и самоистязаніе, все-таки выводятъ по временамъ къ тому, что дѣйствительно нужно народу и безъ чего онъ рабъ и нищій.

— Баринъ! прервалъ мои размысленія молодой малый.—А что я вамъ скажу...

Онъ подѣлся ко мнѣ и шопотомъ, почти надъ самымъ ухомъ, проговорилъ:

— А ну-ко, ваше благородіе, да обманъ все это?

— Что такое обманъ?

— Да это, Миронъ-то? Третью недѣлю мы его въ обители держимъ, а вѣдь, по совѣсти сказать, благоуханія нѣту!

Я съ изумленіемъ смотрѣлъ на его какъ бы оробѣвшее лицо.

— Что вы скажете? Покуда изъ синуоту бумаги не будетъ, открывать его не посмѣемъ, а что попробовала у насъ одна бабочка секретомъ туда заглянуть, говоритъ: «одна земля, все обманъ! не вѣрете!..» Вотъ что поговариваютъ-то! Какъ бы, пожалуй, наше дѣло не вышло дрянъ!..

Малый весьма озабоченно тряхнулъ головой.

— Какъ дрянъ? сказалъ я.—Да вѣдь вамъ хо-рошо жить? Ты самъ говоришь, что никто изъ васъ такъ хорошо не жилъ дома, какъ здѣсь?

— Разговору нѣту объ этомъ!

— Такъ, стало быть, стоять попрежнему только работать дружно!

— Тогда-то? перебилъ меня малый.—Нѣтъ, не будетъ! Разбѣжimsя всѣ... Н-нѣтъ, баринъ! За угодникомъ шли; за нимъ покой имѣли... Полагали, какъ предстатель... да вдругъ обманъ? Стало быть... что же?... Коля великъ мой грѣхъ? Правда-то, стало быть, не наша!—вотъ что я скажу!.. Да лучше я какъ собака. Да я таты самъ передамъ начальству... У-уй-ду-у!.. То-есть убѣгу, повинюсь. «Какъ угодно... безъ пощадъ!..» У-уй-ду-у!

Въ недоумѣніи слушалъ я эти слова молодого парня.—Довольно долго говорилъ онъ о душѣ, о пшеничной муцѣ, о язвахъ, видѣніяхъ, предсказаніяхъ, добрыхъ обительскихъ дѣвкахъ; но все это не уничтожило во мнѣ ощущенія, похожаго на ощущеніе отъ удара обухомъ. Подъ вліяніемъ этого ощущенія, я не помню, какъ подошли старикъ и солдатъ, что они тутъ еще толковали. Было во всемъ что-то такое, что дѣйствовало на душу весьма утомительно. Я посидѣлъ немного, потомъ простился съ компаніей и, получивъ отъ малаго приглашеніе «побывать въ обители», съ увѣреніемъ, что «угощеніе выставимъ настоящее», ушелъ.

Быль девятый часъ вечера и темно; движеніе на улицахъ совершенно почти прекратилось, только лаяли собаки, охраняя наглухо запертую и мертвую тоску, да звонкими голосами визжали пѣсню двѣ мѣщанки, идя вдоль улицы и повидимому тѣсно разыскивая хотя самаго ничтожнаго развлечения. Нужно было торопиться къ Ивану Николаичу. Но я еще забѣжалъ къ матери и сестрѣ—узнать о нихъ что-нибудь.

Войдя въ кухню матушкиной квартиры, я услышалъ чей-то басистый, раскатистый, какъ у дьяконовъ, голосъ. Это былъ Ермаковъ. Онъ былъ трезвъ, кротокъ и даже стыдливъ, чему много способствовалъ его костюмъ, который хотя и былъ приведенъ въ возможный порядокъ, но рѣшительно не могъ поддержать благоприличія, овладѣвшаго хозяиномъ. Матушка и сестра, напротивъ того, казалось, утратили значительную долю сдержанности и наружнаго спокойствія, сдѣлавшихся для нихъ крайнею необходимостью. Матушка какъ-то похудѣла, и черныи чепецъ ея какъ-будто увеличился въ размѣрахъ.

— Ахъ, Вася, Вася!.. заговорила она, качая этимъ чепцомъ.—Что ты намъ надѣлалъ, голубчикъ мой!.. Ахъ, Вася!..

Руки ея выронили чудокъ на худыя колѣни и голова упала на грудь, какъ-бы отъ долгой усталости.

— И зачѣмъ только ты про какого-то сочинителя съ Семеновъ Андреемъ поспорилъ! Ахъ,

Боже мой! Пойдемъ мы всѣ по міру... всѣ съ сумой. Ахъ, голубчикъ ты мой!..

Мысль о необходимости пойти по міру, должно быть, долго угнетала матушку и была обсуждена ею крѣпко и основательно, потому что, высказать ее мнѣ прямо и безъ обиняковъ, она крѣпко вздохнула. Это немного облегчило ее; она могла изложить тайну гибели отъ «какого-то сочинителя» болѣе покойно и послѣдовательно.

— Не сердись ты на меня, Христа ради... вся я издрожалась, измучилась, истерлась за это время... Не могу я умолчать объ этомъ. Господи Боже мой!.. Какъ-же, что дѣлается!.. Помнишь, ты заспорилъ съ Семеномъ Андреичемъ?..

— Помню, помню...

— Н-ну, ты сказалъ противъ него... И Гаврило Петровичъ тоже противъ него сказалъ, что, молъ, твоя правда, что не тотъ сочинитель... Какъ его?

— Будетъ объ немъ! произнесла сестра повиному съ большимъ нетерпѣніемъ и, закутавшись въ платокъ, прошептала:—уйду... въ монастырь! Говорите, мамаша!

— Ну, голубчикъ... И книгу достали, тоже Гаврило Петровичъ Наденькѣ ее принесъ... Стало быть, послушанія мы ему не оказали... Видишь, что вышло? А ты знаешь, какой онъ? Сколько разъ я тебѣ говорила: Боже тебя избави заикнуться! Боже тебя сохрани!.. А ты... Ахъ, Вася, Вася!

Къ горестнымъ рѣчамъ матушки присоединились рѣчи Ермакова и сестры. Всѣ они, тоже достаточно потерпѣвшіе въ этой исторіи «о вредѣ непослушанія», множествомъ фактовъ старались разъяснить мнѣ, въ чемъ именно заключается этотъ вредъ и почему... Я узналъ, что сестра принялась было читать оставленные ей мною книги и очень хотѣла спросить у меня кой-о-чемъ, весьма ее интересовавшемъ, но съ этой исторіей бросила все: «не до книгъ... рвутъ, какъ собаку!» говорила она. Узналъ я, что Ермаковъ совсѣмъ было бросилъ шататься по кабакамъ, обрадовавшись, что нашелъ уголъ, гдѣ на него смотреть почеловѣчески, сталъ являться каждый вечеръ къ намъ, читать сестрѣ книги вслухъ, такъ какъ у Марьи Петровны грудь слабая, а онъ, Ермаковъ, радъ-радехонекъ хоть что-нибудь сдѣлать кому-нибудь. Узналъ я, что даже и штатный смотритель уже намѣренъ былъ ходатайствовать у директора о допущеніи въ преподаваніе болѣе разумныхъ учебниковъ, нежели тѣ, которые существовали, и о дозволѣніи замѣнить въ уѣздномъ училищѣ предметы, неподходящіе къ положенію простыхъ классовъ, какъ напримѣръ рисованіе, исторія Римской имперіи и проч., изученіемъ на практикѣ башмачнаго и сапожнаго мастерства и т. д. Узналъ я множество самыхъ хорошихъ намѣреній, начинавшихъ говорить о томъ, что гдѣ-то что-то просыпается, и видѣлъ, что все это было внезапно поправо какимъ-то Семеномъ Андреичемъ, который умѣетъ «купить дешево», любить тѣхъ, кто его уважаетъ,—человѣкомъ, котораго всѣ любить единственно за это умѣнье и ловкость въ покупкахъ. Авторитетъ, оскорбленный неожиданнымъ встрѣчемъ на своемъ славномъ пути чего-то, совер-

шенно къ дешевой покупкѣ не относящагося, забубевалъ, и громадный потокъ самодурнаго «нрава» хлынулъ, какъ лава изъ огнедышащей горы, и потопилъ все безъ остатка... Потопилъ матушку, потому что она держитъ у себя извѣстнаго бунтовщика (меня) и, наслушавшись его совѣтовъ, яшется съ бродягами, подобными Ермакову, явившемуся при государственной реформѣ въ видѣ стельки... Потопилъ сестру, упоманувъ почительницѣ, что, слушая бунтовщика, она хочетъ превратить дочь градскаго головы въ башмачницу и отзывается про дочерей Ивана Ларивоныча, извѣстнаго по бакалейной части, что якобы она обломала «всѣ ноги», покуда выучила его верзилъ-дочерей французскому кадрили... Потопилъ Ермакова, упоманувъ нѣкоторой нетрезваго нрава дѣвкѣ, искавшей отъ Ермакова законнаго удовлетворенія съ угрозами погубить на вѣкъ передъ цѣлымъ свѣтомъ и начальствомъ, что ея поданный сталъ шататься «вонъ куда», чтобы она пошла и открыла барышнѣ самой все на чистоту... Штатный смотритель, узнавъ, что Ермаковъ шатается въ женское училище и пересуживаетъ о смотрителѣ, говоря, что онъ, смотритель, пьяница и что, возвращаясь съ недавнихъ крестинъ, умолялъ жителей втащить его на колокольню, дабы оттуда осмотрѣть мѣстность и такимъ образомъ отыскать свой домъ,—узнавъ это, смотритель немедленно разорвалъ бумагу о башмачномъ мастерствѣ и вычелъ у Ермакова изъ жалованья 10 рублей серебромъ за утрату казенной линейки и за разбитіе чернильницы...

Все было поглощено, задавлено, уничтожено безслѣдно.

Тамъ, гдѣ робкая мысль только чуть-чуть пробивалась на свѣтъ, тамъ, гдѣ впервые задумывались о настоящей пользѣ, начинали интересоваться перво дѣльною книгою, неожиданно появилось что-то такое, что совершенно не хотѣло имѣть никакой мысли; стали врываться пьяныя дѣвки съ криками: «не дозволю!.. у меня ребенокъ!.. не допущу этого!» «въ судъ позову... не погляжу!..» Стали вламываться благотворители и попечители, натягивая со зла бразды своей власти до невозможной степени, подобно тому какъ кучеръ, обруганный баринотъ за то, что заснулъ на козлахъ кареты, срываетъ зло на лошадей, терзая возжами ихъ рты и что есть мочи отхлестывая каутомъ на протяженіи пяти улицъ. Поминутно стали слышаться восклицанія: «Позвольте узнать, на ка-к-омъ основаніи вытребована вами губка, когда уже ассигновано было на оную еще въ 18.. году?..»—«Позвольте узнать, по какому случаю обозвана моя дочь «верзилою», а?.. Да ты-то кто-о? а-а?» Вездѣ, во всемъ, не исключая и первыхъ четырехъ правилъ арифметики, открылись упущенія, нерадѣнія. Обо всемъ немедленно нужно было довести до свѣдѣнія начальства, необходимо было «не потерпѣть» и т. д.

— Побираться, побираться — больше нечего! Больше нечего! твердила матушка, не зная, что придумать. Исправникъ приходилъ, каково это! Вася! Каково это мнѣ-то?.. «Что вашъ сынъ дѣлаетъ? Знаете-ли, что его ожидаетъ?.. Я этого не спущу!..

Я уберу его подальше...» Что тут дѣлать?... И зачѣмъ ты только этого сочинителя... О, Господи!

Мнѣ почему-то пришла въ голову мысль о старцѣ и о пустынѣ. Пожалуй, что онъ былъ правъ, изображая, посредствомъ забиванія кольевъ подъ кожу и язвъ, всѣ эти ужасныя муки, происходящія отъ безмысленныхъ, но многочисленныхъ силъ, прочно и плодovито разросшихся въ темнотѣ русской жизни, разорванной ими на клѣтчи и обезсиленной.

Я не могъ ничего посоветовать матушкѣ, но видѣлъ, что виновата—я.

— Да пригласите вы ихъ на пироги! Ей-Богу, хорошо будетъ! съ полнѣйшею искренностью посоветовалъ Ермаковъ.— Или ужъ я брошу къ вамъ ходить, пусть онъ!.. Богъ съ нимъ!

— Нѣтъ, нѣтъ! сказали матушка и сестра.— Нѣтъ, что вы?

— Право, я готовъ! Эдакія мученія переносить!

— Нѣтъ, нѣтъ!

Матушка склонилась болѣе на сторону пирога, и должно быть она имѣла основаніе вѣрить въ его цѣлебныя свойства, потому что, не переставая убиваться и вздыхать, стала соображать кое-что о закладѣ по этому случаю собственнаго салона.

— Право, это очень имъ будетъ по вкусу, укрѣплялъ ея вѣру Ермаковъ.— Слава Богу, помучился я отъ нихъ на вѣку... Знаю ихъ натуру...

Я ничего не зналъ, но невольно почувствовалъ теплую вѣру въ пироги.

XIV.

Молча ѣхали мы съ Иваномъ Николаичемъ домой. Въ головѣ стоялъ какой-то хаосъ, безотрадный и тягостный. Все видѣнное и слышанное мною представлялось мнѣ въ видѣ безпредѣльнаго пространства непроницаемой тьмы, въ глубинѣ которой непробуднымъ сномъ покоятся массы человѣческихъ существъ. Десятка два-три мухъ съ слабымъ, едва слышнымъ жужжаніемъ шныряютъ въ пространствѣ, тревожа тьму, тишину и сонъ... Мухи эти, тощія, измученныя, доведенныя до степени «ниже травы, тише воды», могущія издавать только слабое жужжаніе, которое тьмѣ не менѣе дѣлаетъ сонъ человѣческихъ существъ тревожнымъ, заставляетъ шевельнуть рукой, чтобы отогнать или открыть глаза, оглядѣться. Но рѣдкія, слабыя движенія эти немедленно прекращаются влияніями какихъ-то, какъ сокрушительная буря, дѣйствующихъ во тьмѣ силъ, которыя мгновенно комкаютъ человѣка, какъ тряпку, вбиваютъ его въ самую землю, уничтожаютъ въ своей стихійной враждѣ всякій разъ по крайней мѣрѣ половину летающихъ мухъ.

Картина выходила безотрадная, и скоро я дѣйствительно увидѣлъ въ ней упущенія. «А пироги-то?» «А гроба-то?» вспомнилось мнѣ. Выходило, что во тьмѣ существуетъ уже такое движеніе, такая жизнь, что люди, обитающіе въ ней, уже сдумали изобрѣсти и средства къ умиротворенію темныхъ силъ. Оказывается, что тамъ, въ глубинѣ мрака, они угощаютъ другъ друга пирогами, думаютъ о

томъ, какую именно начинку въ пироги любить та или эта сокрушительная сила, перетаскиваютъ какіе-то гроба и кое-какъ чего-то добиваются, стало быть—живутъ.

Это соображеніе перенесло меня отъ отвлеченныхъ разсужденій о видѣнномъ и слышанномъ къ самымъ фактамъ. Мнѣ пришло въ голову, что, дѣйствуя посредствомъ пирога, матушка хотя и достигнетъ, быть можетъ, успокоенія и убѣдитъ пожалуй послѣ продолжительнѣйшихъ стараній даже Семена Андренча въ томъ, что «это дѣйствительно не тотъ сочинитель и что вообще Семенъ Андренчъ правъ», и сестра, быть можетъ, очнется отъ ужаса и снова черезъ много лѣтъ будетъ имѣть возможность заявить о пользѣ башмачнаго мастерства; но кто поручится, что дѣйствіе пирога не будетъ вновь внезапно разрушено налетомъ какой-нибудь другой, тоже разгуливающей во тьмѣ силы, которую будетъ олицетворять не «нравъ» Семена Андренча, а какое-нибудь другое, не менѣе вѣское и прочное русское свойство?..

Вниманіе мое остановилъ также и прощоновскій гробъ. «Неужели, думалось мнѣ, такая простая мысль, какъ мысль о томъ, что всякій голопатый прощовецъ не только имѣетъ право на полученіе теплаго полшубковъ, но даже обязанъ его получить уже потому, что родился человѣкомъ, а не пѣтухомъ и не собакой, которыя, какъ извѣстно, получаютъ, что имъ «слѣдуетъ», въ исправности, неужели такая простая мысль должна укрѣпляться на пятнадцатилѣтнемъ созерцаніи кольевъ, на устремленіи взора въ неизвѣстное будущее загробное дѣяніе, связывать себя съ гробами, могилами, плестись путями околными, не сознавая себя правымъ и рискуя быть мгновенно подавленной, чтобы уже не воскреснуть, или воскреснуть, но съ мыслью о вредѣ теплыхъ полшубковъ, съ необходимостью вновь предаться «землѣ», которая на сей разъ можетъ рекомендовать только остроги, тюрьмы, Сибири, каторги и тому подобныя вещи? Неужели мысль эта не можетъ быть осуществима болѣе простымъ и прямымъ путемъ, болѣе краткимъ и здравымъ сужденіемъ, которое бы объясняло разницу между загробной жизнью и полшубкомъ? Неужели на землѣ, въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ возможности провозгласить открыто, очистивъ отъ могильной тьмы, о законности желанія сытости и тепла?

Соображенія эти передалъ я Ивану Николаичу, который тотчасъ-же согласился, что въ данномъ случаѣ идти въ Сибирь за гробокопательство, въ сущности заботясь только о полшубкѣ, вещь—не резонная и больше... недоразумѣніе.

Формулируя наши соображенія, мы пришли къ тому окончательному заключенію, что Ивану Николаичу, какъ человѣку, не покидающему намѣренія быть гласнымъ въ нѣкоторомъ «земномъ» явленіи, именуемомъ земствомъ, не будетъ предосудительнымъ потребовать отъ лица своихъ избирателей, во-первыхъ—хлѣба, котораго мало, и во-вторыхъ—школы, которыя дрожали на грошѣ, умирали съ голоду вмѣстѣ съ учителями и которыя должны быть устроены теперь по совѣсти.

Иванъ Николаичъ высчиталъ даже и деньги и разыскалъ ихъ весьма достаточное количество.

Такъ мы доѣхали до Двурѣчекъ.

Въ классныхъ окнахъ училища свѣтился огонь, чего никогда не бывало въ эту пору. Войдя въ переднюю, я нашелъ какого-то чужого кучера, сидѣвшаго за самоваромъ. При появленіи моемъ онъ поднялся, поставилъ блюдечко и сказалъ:

— Вы учитель будете?

— Я...

— Ну, баринъ извинялись, что помѣстились у васъ... Больше ночи не пробудутъ... Пріѣхали они гласныхъ выбирать... ну, въ волости имъ не подошло остановиться, даже холодно... чистоты нѣту... всего одну ночь... Извинялся...

Я не заявилъ ни малѣйшаго протеста. Меня занимало то, что я вижу въ-явь наши «земныя» надежды, о которыхъ мы съ Иваномъ Николаичемъ только-что толковали такъ задумчиво.

— Они не задержатъ, продолжалъ кучеръ, слѣдѣя за мною и остановившись въ дверяхъ моей комнаты. — Гласнаго они съ собой привезли, стало быть—духомъ оборотятъ выборы.

— Какъ гласнаго съ собою привезли? Его вѣдь выберутъ завтра мужики.

— Его и выберутъ-съ... Такъ точно.

— Почему же именно его? Можетъ, у нихъ есть свои?

Кучеръ, казалось, не понялъ.

— Да потому выберутъ, что господинъ землемѣръ завсегда при баринѣ... Онъ за барина, ну, а баринъ, само собой, за него... «Я тебя сдѣлаю...» сами сказывали... «Ты—миѣ, ну, и я—тебѣ...» Ну, и къ свадьбѣ дѣло подходить...

Кучеръ почему-то нагнулся къ мнѣ калашамъ, взялъ ихъ и переставилъ за дверь.

— Сватается землемѣръ-то... Протопопову дочь беретъ, продолжалъ онъ: — ну, оно къ свадьбѣ и лестно званіе... да-а! Ну, и тоже за барина потянетъ, въ случаѣ чего... Они духомъ оборотятъ это дѣло! заключилъ кучеръ, видя, что я не обнаруживаю намеренія разговаривать.

«Земныя надежды» начинали рисоваться мнѣ въ какомъ-то странномъ свѣтѣ.

Иванъ Николаичъ одинъ занималъ меня.

Рано утромъ, когда «господа», т. е. посредники и землемѣры, еще почивали, я пошелъ къ нему и объявилъ о ихъ пріѣздѣ.

— О? сказалъ, какъ-то поблѣднѣвъ и какъ-бы испугавшись чего-то, Иванъ Николаичъ.

Я навелъ снова разговоръ на предметы вчерашней дорожной бесѣды; Иванъ Николаичъ подкакивалъ, какъ-то суетясь, обирая полы руками и повидимому растерявшись. Однако скоро онъ одѣлся и вмѣстѣ со мной пошелъ къ волости. Здѣсь уже была толпа: кто сидѣлъ на землѣ, кто на телѣгѣ, кто «такъ» стоялъ у крыльца или у заборчика и толковалъ о своихъ дѣлахъ. Оказалось, что толпа эта ждала уже нѣсколько часовъ, жаловалась на мокроту (былъ дождь) и обнаруживала нетерпѣніе.

Иванъ Николаичъ не переставалъ волноваться и шопотомъ сказалъ мнѣ, въ отвѣтъ на мое предло-

женіе потолковать съ народомъ, «что надо-бы, да... не вдругъ!».

Часть или два протолклись мы на мѣстѣ. Возможность разрушить матушкинъ пирогъ, помимо темныхъ силъ, имѣющихъ разрушить его только въслѣдствіи, удерживала меня отъ вмѣшательства, которое могло уничтожить дѣло пирога въ самомъ началѣ, не принеся дѣлу полшубковъ существенной пользы. Меня не знали и слушать меня не стали-бы...

Часа черезъ два старшина объявилъ, что «скоро будутъ», а теперь пошли къ баринѣ кушать чай. Чай кушали тоже не менѣе двухъ часовъ, втеченіи которыхъ толпа промокла, ословѣла и какъ-бы задремала, поеживаясь плечами и посылая по временамъ кому-то «въ ротъ» галку, шило, муху и даже пирогъ съ кашей. Былъ втеченіи этого времени моментъ, что Иванъ Николаичъ какъ-бы что-то надумалъ, стремительно запахнувшись и кашлянувъ, какъ-бы вознамѣрился что-то предпринять, но вдругъ нагнулся къ моему уху и шопотомъ разсказалъ исторію о томъ, какъ въ нѣкоторомъ уѣздѣ мужики единогласно выбрали одного гласнаго, а потомъ сами же и высѣлки его, послѣ чего присутствовать въ собраніи онъ не могъ. Оказывалось, что тамъ, гдѣ, по мнѣнію Ивана Николаича, сватевья, зятевья и шуревья оцѣнили мужичій міръ со всѣхъ сторонъ, изобрѣтены ими не хитрыя, но тѣмъ не менѣе весьма существенныя «средствія» къ устраненію отъ себя всякаго вреда, могущаго произойти изъ мужицкаго лагеря. Анекдотъ былъ очевидно невѣроятный; но Иванъ Николаичъ, не желая на старости лѣтъ быть высѣченнымъ, запахнувшись, попятился назадъ, хотя и надѣялся, что, «подумавши хорошенько, надо-бы... А вдругъ-то, братъ, нельзя!»

Наконецъ «пробыли». Все проснулось, сгрудилось у крыльца волостного правленія въ кучу и долго, долго мочило свои головы, уже не прикрытыя шапками...

— Господа! возглашено было наконецъ съ крыльца.—Вы должны произвести выборы гласныхъ въ предстоящее земское собраніе... Конечно, я не имѣю правъ... Это—дѣло ваше... но съ своей стороны я бы полагалъ, что Леонидъ Петровичъ можетъ быть надежнымъ вашимъ представителемъ, и поэтому, кто согласенъ покончить избраніемъ Леонида Петровича, надѣвайте шапки и ступайте по домамъ! заключилъ ораторъ внезапно и громко.

— Идемъ, ребята, по домамъ!.. гаркнулъ старшина, какъ-бы бросаясь отъ крыльца.

— Эй! ребята! По домамъ! загудѣло въ промокнувшей толпѣ.

Все зашевелилось, стало надѣвать, мокрая шапки, тронулось, разбрелось и расположилось по грязи, хряская лаптями, скрипя телѣгой.

— Готово-о-о! слышалось гдѣ-то.

— Ай будя?

— Будя-а-а!

— Шаба-ашъ!

Иванъ Николаичъ плюнулъ, крѣпко-накрѣпко запахнувшись, еще плюнулъ и нахлобучилъ картузъ на самыя уши.

Тутъ ужъ я не вытерпѣлъ: — «настроичилъ»-та-

ки корреспонденцію. А скоро пришлось настрочить и другую: «Мионовская» община была предана суду».

На этомъ дневникъ оканчивается.

Внизу приписано другими чернилами:

«...Почти годъ, послѣ отъѣзда моего изъ города***, гдѣ пришлось оставить и сестру, и мать—

оставить на произволъ темныхъ силъ—не имѣлъ я отъ нихъ такой тягостной вѣсти, какъ та, которая пришла сегодня: — «Вася! Вася! пишетъ мнѣ сегодня сестра, я не могу, не могу больше! Возьми меня, возьми насъ отсюда!..»

«Что мнѣ дѣлать?..»

Наблюденія одного лѣнтя *)

(ОЧЕРКИ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О моемъ отцѣ, о порядкѣ, о моей лѣни и о прочемъ.

I.

...У воротъ нашего дома и до настоящаго времени сохранилась скамеечка, на которой по вечерамъ сидѣвалъ мой отецъ и бранился. Не было человека добрее его и не было такого неусыпнаго ворчуна, какъ онъ. Ворчанье и брань, сыпавшіяся изъ его устъ на самые разнородные предметы, не всегда были ясны обывателямъ подгородной слободки, гдѣ жилъ отецъ, содержа фруктовый садъ. Смыслъ рѣчей моего отца, чувствовавшего потребность касаться предметовъ, о которыхъ отвыкъ разсуждать простонародный умъ, затемнялся собственнымъ его невѣжествомъ, необразованіемъ, водкой, непрестанной его спутницей, и пѣкоторою долею того русскаго чудачества, которое является у простаго человека, зачуявшаго въ своей головѣ необыденный умъ. Въ виду всего этого, нетрудно понять, что отца моего вся слобода считала за тронувшагося, сумасшедшаго, чудака и пьяницу. Мнѣ, шестилѣтнему слобожанину, тоже не была тогда понятна отцовская рѣчь; но, не понимая ея, я любилъ въ этой рѣчи и вообще въ разговорѣ отца его манеру, постоянная бойкость и насмѣшливость которой невольно убѣждали меня, что онъ правъ; что человекъ, заспорившій съ нимъ, ушелъ отъ него въ дуракахъ.

Теперь, когда мнѣ много разъ приходилось думать о моемъ дѣтствѣ, объ отцѣ, я выучился отчасти понимать его запутанныя рѣчи и нахожу, что, несмотря на разнообразіе предметовъ, которыхъ касалась эта рѣчь, и ея неизмѣнно бранный тонъ, — въ ней постоянно слышалось слово «душа», постоянно тосковалось «о душѣ», о ея гибели, о томъ, что ее забыли. Рекомендую моего родителя, я считаю нужнымъ остановиться именно на этой общей чертѣ его ругательствъ, потому что она много зна-

чить для меня, потому что она выходила не изъ простой болтовни.

— Плевать я хотѣлъ на твои богатства! кричалъ мой отецъ, сидя на лавочкѣ въ одной рубашкѣ и обращая рѣчь къ богатому сосѣду-дворнику, который вечеркомъ пришелъ посидѣть съ нимъ *такъ, просто*.

— Потому, продолжаетъ отецъ: — въ нонѣшнее время некуда мнѣ и дѣть-то его по душѣ... Видишь что-ли?

— То-то, у тебя не густо, такъ ты и «не надо!», съ ироніей бубнить сосѣдъ; но отецъ прерываетъ его на первомъ же словѣ.

— Дубина моздовская! Видалъ я деньги на своемъ вѣку, не твоимъ чета!.. Пропилъ я ихъ, деньги-то, нищій теперь, а давай ты мнѣ ихъ, такъ не возьму-у, да-а!.. Не надо мнѣ ихъ, потому душа не можетъ по нонѣшнему времени слѣловать мнѣ указанія, куда ихъ дѣть. Разучилась она, душа-то наша, о себѣ... Ты вотъ что мнѣ отвѣть, вдругъ съ большимъ ехидствомъ въ фигурѣ и голосѣ восклицаетъ отецъ: — отвѣчай, на какой рожонъ ты деньги купишь? Зачѣмъ тебѣ тыщи? Давай отвѣть!

— Тыщи-то?

— Да! Пятьдесятъ лѣтъ ты деньгу набивалъ, полсотни годовъ ты бился, можно сказать, какъ сабака... Какъ ты теперича ихъ истратишь-то съ толкомъ, «по душѣ»? Отвѣчай мнѣ на это: тогда я съ тобой могу поддерживать разговоръ.

— Ахъ ты, башка, башка! удивляется купецъ. — Не истратить денегъ? Чай, и ты на это дѣло мастеръ былъ... Ты наживи-ко вотъ!

— Тебѣ, дубинѣ, дѣлаютъ вопросъ, такъ ты давай отвѣть! Что ты хвостомъ-то вертишь? Нешто я о наживѣ говорю? Махлакъ ты этакой! Съ умомъ-ли можешь ты ихъ истратить, по нонѣшнему времени!

— Пролонная голова! горячятся купецъ. — Есть у тебя дѣти-то, у шипиги?

— Есть дѣти. Ну?

— Ну, и у меня есть!

— Ну?

— Что еще? Что нукаешь?.. Для дѣтей наживаю... Гвоздь каленый!

— Для дѣт-тей? переспрашиваетъ отецъ и, ударивъ себя по колѣну, произноситъ: — Пач-чиму? Почему для дѣтей?

Съ злѣйшей ироніей въ губахъ смотритъ онъ въ сторону, прислушиваясь къ отвѣту собесѣдника.

*) «Наблюденія одного лѣнтя» (очерки провинциальной жизни) хотя по внѣшности и не имѣютъ прямой связи съ двумя предшествующими частями «Разоренья», тѣмъ не менѣе мы помѣщаемъ и ихъ подъ однимъ общимъ заглавіемъ, такъ какъ люди, о которыхъ говорится въ этихъ очеркахъ, переживавшіе тѣ-же самыя заботы и затрудненія, которые сулило имъ время «разоренья» старыхъ порядковъ.

за, и чувствуется, что у него уже есть наготовѣ вѣрнѣйшія средства разбить этотъ отвѣтъ въ пухъ и прахъ.

— Не отчитывали еще тебя?.. трунить собесѣдникъ.

— Нѣтъ еще, не отчитывали! самодовольно потряхивая головой, произноситъ отецъ.— Тебя вотъ сначала отъ одури отецъ-дьяконъ отчитаетъ, тогда ужъ и меня... А ты отвѣтъ-то дай!..

— Надо бы, право, надо бы тебя отчитать...

— Давай отвѣтъ на вопросъ!.. Спрячь хвостъ-то—будетъ вилять!.. Давай-ко отвѣтъ-то... пивной ты котель!

— Отвѣтъ тебѣ? горячится купецъ, придвигаясь къ отцу.

— Д-да! Отвѣтъ! Языкъ имѣешь?

— Имѣю я языкъ, крыса экая! Им-мѣю! Отвѣтъ что-ли тебѣ надо, Искаріоту?

— Отвѣту давай, толстомасая дура!

— На тебѣ отвѣтъ, купоросъ ты астраханскій, н-на! Въ лаптяхъ я пришелъ въ городъ, вахлакомъ со щепки началъ, семью имѣю, домъ имѣю, деньги им-мѣю... Зачѣмъ? Да хоть дочь я свою изъ деревенскихъ дѣвокъ выведу въ люди—и!

— За благороднаго? быстро вставляетъ свое словечко отецъ.

— А нешто нѣтъ, харя балаганная, неужто нѣтъ?.. Заткнулъ ли я тебѣ глотку, Іудѣ? Получилъ ли ты отвѣтъ?..

— Тебѣ-ли, толстомасому, заткнуть мнѣ глотку?.. Ахъ ты, гнилое ты колесо! Разъвай ротъ шире, а тебѣ затыкать глотку буду... Я тебѣ затыну, дубью безмозговому!.. Я-а-а!..

И дѣйствительно мудро было «заткнуть ротъ» моему отцу. Быть можетъ, частью подъ влияніемъ желанія оправдать свое разоренье и бѣдность, онъ тотчасъ же переносилъ вопросъ о разумномъ употребленіи богатствъ на практическую почву и принимался представлять изъ тогдашнихъ нравовъ такія картины безсознательности жизни, считаемой счастливой, что дѣйствительно оказывалось совершенно ненужнымъ «биться» и наживать, чтобы завоевать это счастье. Купецъ Калашниковъ ужъ кажется богатъ, ужъ кажется почтенъ и награжденъ начальствомъ, а пьетъ не хуже мастерового и ѣздитъ къ слободской солдаткѣ Акулькѣ, цѣлуетъ у ней руки, тогда какъ у него есть красивая жена съ съ миллионами. А почему?—Душа тоскуетъ. Для нея-то у Калашникова нѣту занятія, а медали ей не нужны... А дочь дворника, имѣющая выйти за благороднаго? Что она можетъ получить взаимѣнъ отцовскихъ, трудомъ нажитыхъ, богатствъ?—мужа пьяницу отъ скуки, гулянье съ зѣвотой да способность спать или плакать? Кругомъ въ жизни было много явленій, въ которыхъ не было видно ума-руководителя, и отецъ ими-то и дожималъ собесѣдника.

Лежа подлѣ спорящихъ въ травѣ съ какимъ-нибудь щенкомъ въ рукахъ, я съ удовольствіемъ вижу, что богачу-купцу, должно быть, плохо приходится отъ моего отца, и радъ этому. Мнѣ смѣшно видѣть, что съ каждымъ словомъ въ отпоръ моему

отцу онъ влится болѣе и болѣе, говорить урывками, словно его бьютъ по спинѣ, лицо его дѣлается весьма глупымъ и смѣшнымъ, вообще въ немъ является сходство съ человекомъ, который ходитъ въ потьмахъ, спотыкается, разбиваетъ себѣ лобъ и кромѣ ругательствъ не имѣетъ другой защиты.

— Ну, въ головы ты влѣзешь, кричить отецъ, —мундиръ на тебя, дубину, надѣнуть, ну?—веселѣй тебѣ отъ этого?...

— А то нѣтъ?..

— Медаль на тебя навѣсать? а дальше что?...

— Ну, другую? Ну?

— Ну, а дальше что? Надѣлъ ты, дуракъ, мундиръ, нацѣпилъ медали, послы къ тебѣ персидскіе пріѣхали, къ ослу лавочному, барана ты имъ зарѣзалъ, тысячу десять въ утробу ты имъ всыпалъ, а потомъ что?.. Вѣдь снимешь же ты, мочалка глупая, мундиръ-то! И медали ты положишь вѣдь когда-нибудь въ сундукъ; что же для твоей дурацкой души останется? Для души-то для твоей что? Самъ про себя-то ты съ чѣмъ останешься? Отвѣчай мнѣ!

— Голова ты безмозглая! Вотъ тебѣ мой отвѣтъ.

— Самъ ты—крыса безхвостая, да не въ томъ у насъ съ тобой, съ невѣжей, разговоръ идетъ. Уши-то твои слышать ли мои слова? Вѣдь ты на крышу полѣзешь съ помеломъ голубей гонять! Для души-то у тебя нѣтъ ничего!.. Пузырь! Вѣдь это тебя нарочно исказили. Вѣдь это тебя нарочно приучили, чтобы душу у тебя вынуть, а ты и не видалъ этого? Башка—башка! Говорю я тебѣ, ежели богатствъ твоихъ послы персидскіе не сожрутъ, ежели со страху ты ихъ начальству не разрешишь, да ежели дѣти твои, ослы лабазные, съ цыганками не пропьютъ, что ты станешь съ ними дѣлать? Скажешь ли что тебѣ душа? Есть ли у тебя душа-то? Отвѣчай-ко мнѣ на это?

— Песъ я что ли? кричитъ собесѣдникъ.

— Не песъ, а пузырь! наклоняясь къ собесѣднику, язвительно шепчетъ отецъ.—Пузырь пустой. Пе-есъ! Песъ свое дѣло знаетъ. Что ему надо, онъ исполняетъ, на немъ шкура своя, а вотъ ты-то, другъ ты мой, самъ про свою душу ничего не имѣешь. Вотъ что, ангелочекъ мой! Что мы съ тобой безъ толку оремъ? Надо говорить честно, благородно... Ругать что-ли я тебя собрался? Велика радость! Эко собаку бѣшеную нашелъ! Не про тебя одного говорю, всѣ мы, другъ ты мой, обездушли!.. Всѣ! —Вотъ что!

Ласковый тонъ и тихій стихъ, осѣнившій отца, отнялъ у собесѣдника послѣднее средство обороны,—ругательство; онъ сидитъ какъ ступа, изрѣдка потряхиваетъ головой и что-то бурчитъ. А отецъ, все болѣе и болѣе охватываемый серьезностью разбираемаго или, вѣрнѣе, разругиваемаго вопроса, продолжаетъ говорить все съ большей искренностью и задушевностью.

— Что намъ воевать-то безъ ума? Эхъ, кума-некъ дорогой! Не въ тебѣ въ одномъ души нѣту, а во всемъ народѣ ея не стало. Вотъ что, другъ! Видалъ ли въ горницѣ у насъ портреты родителей моихъ?

— Видалъ я твои портреты...

— Съденъкаго старика-то помнишь, тамъ виситъ, ай нѣтъ? Ну, вотъ это, другъ сердечный, пра-дѣдушка мой, царство ему небесное! Вотъ у него была душа, да и своя, не заказная! Да! Не на заказъ сдѣлана, а своя! Да другъ любезный, своя! Былъ онъ, видишь ты, раскольникъ и свой скитъ имѣлъ за Волгой, въ лѣсахъ, да и такъ пожалуй было, что и толкъ особенный онъ самъ отъ себя выдалъ—да-а! Что-жъ, я тебѣ скажу? Вѣдь онъ и торговалъ, и деньгу наживалъ, вѣдь и онъ, другъ ты мой, аршинничалъ, да только не по нашему! Ты-то вотъ, не въ обиду тебѣ говорю, не знаешь, зачѣмъ деньги-то тебѣ, а онъ зналъ. Онъ, братецъ ты мой, руками въ лавкѣ, а душой въ своемъ мѣстѣ. Руками-то деньги принимаетъ, а душа-то ужъ ему указаніе даетъ. Стало быть, онъ зналъ—что зачѣмъ. Меринъ у него въ тыщу рублей, рысакъ тысячные были, и это не просто! Именно ему тысячный рысакъ былъ надобенъ, потому начальство за нимъ на тройкѣ погнало, а онъ попа-разстригу везетъ, такъ ему надо угнать отъ начальства-то. Видишь вотъ! Онъ, попъ-то, хоть и воръ, и разбойникъ, а ежели настоящую очистку ему сдѣлать, бѣглый солдатъ окажется, да душа этого требуетъ—«спасай», «не поддавайся!». Глупы-ли, умны-ли были старички, а какъ-ни-какъ умѣли жить *своей* совѣстью. А въ новѣйшее-то время и нѣту ничего! Всѣ и разучились такъ-то жить. Да-а! Все исполняемъ, все исполняемъ, а для совѣсти-то и нѣтъ ничего! Меринъ-то вотъ у тебя будетъ не дешево, какъ тыщу, а ходу-то тебѣ съ нимъ нѣту? Да-а! Ну, куда ты съ своимъ меринкомъ сунешься? Посади-жъ ты свою жену на него, пять молодцовъ его держатъ подъ уздцы, а выпустили они его—и некуда вамъ! И ходу-то всего вамъ съ меринкомъ два вершка, только на гуляньи! Разлетѣлись вы слѣдственно какъ дураки набитые, и домой тоже такими же дураками воротились. Окромя какъ спать, нѣту вамъ никакого интересу! Ты съ супругой съ одури-то храпѣть завалился, меринъ твой одурѣлый въ конюшнѣ жреть не въ свою голову, и всѣ вы—дуракъ на дуракѣ!

— Ты умнѣ! огрызается собесѣдникъ, замѣтивъ въ послѣднихъ словахъ отца раздраженіе.

— Я-то, братъ, умнѣ! быстро впадая въ обычный ругательный тонъ, говоритъ отецъ.—А вотъ ты-то, куманекъ, не въ большемъ умѣ, ужъ извини! Ты-то, братъ, дуракъ московскій! Какъ говорить-то мнѣ съ тобой, съ пузырьремъ бычачьимъ? Ахъ вы, идолы, идолы! Къ чему васъ, идолы, приучили?

— Собака ты бѣшеная! собираясь уйти отъ грѣха, бурчитъ купецъ; но отецъ не обращаетъ на него вниманія и продолжаетъ:

— И ужъ изуродовали же глухыхъ только васъ, на чужую на потѣху? Ишь вѣдь что имъ въ голову-то набухали, пустозвонамъ несчастнымъ: персидскаго ему дай посла! Свинья ты, свинья! Дочь свою за благороднаго въ гробъ желаю вбить; сыновей моихъ цыганкамъ отдать, а самъ желаю на старости лѣтъ голубей гонять, да водкой увеселяться! Ахъ вы, мордастые дураки!

— Песъ поганый!

— Ахъ вы, черти ободренные! Ишь, итъ что надо, а? Пятьдесятъ лѣтъ народъ надувается, аршинничаетъ, душу губить, зачѣмъ?

— Поди ты къ шуту!

Собесѣдникъ положительно уходитъ.

— Зачѣмъ? постой, куда? Погоди, я тебѣ совѣтъ дамъ!

— Провались ты, чумовой...

— Погоди! кричитъ отецъ, вскакивая съ лавки и какъ бы желая пуститься въ догонку.—Масла ведра три въ сундукъ-то съ деньгами вылей. Эй! Чувешь! въ бумажки его полыхни, масло-то, чтобы не сопрѣли. Да тогда и ложись на сундукъ спать...

— У кого азыкъ-то наваривалъ? Въ какой кузнѣ? тоже кричитъ собесѣдникъ, остановившись въ нѣсколькихъ шагахъ.

— Тутъ у знакомаго кузнеца наваривалъ... А что?

— То-то онъ у тебя даже наваренъ, азыкъ-то... Много ли далъ?

— За наварку-то? Я за наварку дорого далъ, тысячу съ полсотни ушло. Али хорошо?

— Провались ты пропадомъ!

— А то воротись, я бы съ тобой еще потолковалъ... Эй! сосѣд!

— Мошенникъ! вопіетъ собесѣдникъ и скрывается за уголъ.

— Ай не любишь? Ха-ха-ха! издѣвается отецъ и съ сіяющимъ побѣдою лицомъ зоветъ меня.

— Вотъ они, богачи-то, посадивъ къ себѣ на колѣни и поглаживая мою голову, говоритъ онъ.—Ванятка! чуялъ, что-ль? Крикни ему, дураку: «эй, воротись, моля! тятенька, моля, тебя еще разъ другой хорошенько накалпачить». Крикни ему!

Въ отцѣ, въ его рѣчахъ, въ его лицѣ столько побѣждающей правды, что, глядя на него и слушая его, едва-ли можно когда-нибудь получить аппетитъ къ богатству.

II.

Жизнь моего отца вовсе не такъ бѣдна впечатлѣніями, чтобы его бѣдный, заброшенный и неравнѣный умъ не получилъ потребности раздумывать вообще о жизни человѣческой и цѣнить въ ней только свободное развитіе нравственныхъ движеній души. Въ самомъ дѣлѣ, онъ не даромъ указывалъ на портреты своихъ предковъ. Прадѣдушка его, а мой пращуръ, былъ изображенъ на портретѣ (портретъ этотъ цѣлъ у насъ) масляными красками, худенькимъ старичкомъ съ живыми, внимательными глазами, съ подстриженными на лбу волосами, лѣстовкой на одной рукѣ; на затылкѣ его одѣта какая-то скуфейка, на плечахъ мужичій кафтанъ. Въ оригинальности его костюма, взгляда, съ помощью кой-какихъ свѣдѣній, рассказанныхъ отцомъ, видно, что человѣкъ жилъ, слушаясь собственныхъ убѣжденій, которыя, какъ-бы ни были они недѣльны, охватывали мельчайшія подробности личной жизни вплоть до мерина и были въ полномъ согласіи съ общественной его дѣятельностью. Худо ли, хорошо ли, но во всѣхъ и домашнихъ, и общественныхъ дѣлахъ у

него работала мысль, что дорого даже съ механической стороны; тутъ навѣрное была жизнь. Но «порядокъ», гонявшійся за нимъ по дѣсамъ, разорвавшій его часовенки и кельи, съ цѣлью наполнить его голову болѣе здравыми понятіями, вродѣ напимѣръ того, что пожары нужно заливать изъ пожарныхъ трубъ, что квартальному нужно давать дань и т. д., избѣряя какую-нибудь изъ подобныхъ идей, уничтожалъ зародышъ самостоятельной мысли. Я весьма сожалѣю, что въ нашей портретной галлерей недостаетъ портрета моего прадѣда, а есть пращуръ и дѣдъ. Но если я представлю себѣ постепенное развитіе «порядка» и предположу, «что порядокъ» поработалъ во времена прадѣда въ свою пользу не мало, то и тогда мнѣ будетъ отчасти понятна разница между фигурой начальника нашего рода и фигурой его ближайшаго потомка. Дѣдъ изображенъ уже не въ мужичьемъ кафтанѣ, а въ длиннополомъ нѣмецкомъ сюртукѣ, къ которому недостаетъ только цилиндра на вытянутую коломъ голову, чтобы быть вполне уродомъ. Потрудитесь отыскать въ этихъ глазахъ, выглядывающихъ съ самаго верху узкаго лба, почти подъ пробормомъ жирныхъ волосъ, какое-нибудь подобіе самостоятельной мысли прадѣда: — ея нѣтъ и слѣда. Это — церковный староста, которому генералъ подаль руку и ослѣпилъ, или гражданинъ, съ двумя головами сахару подъ мышкой ожидающій начальника, чтобы поздравить и попросить прощенія. Для этого человѣка, по всей вѣроятности, уже коротко извѣстно, что назначеніе человѣческой жизни — поднесеніе хлѣба-соли на блюды, плошки, дани, медали и т. д. Отцу моему, принимая въ расчетъ быстрые успѣхи прогресса, предстояла еще болѣшая возможность превратиться въ настоящаго лавочнаго осла со спеціальной цѣлью надувать и грабить согражданъ. Но случилось такъ, что уродился или «вышелъ» онъ не въ отца, а въ прадѣда; лѣтъ съ шестнадцати стала надобѣдать ему лавочная жизнь и въ головѣ забродило Богъ-вѣсть что. Сталъ онъ читать книжки, захотѣлось ему писать стихи, и онъ выводилъ каракули, начинавшіеся словами: «скучно, скучно молодцу, да скучно мнѣ!». Послѣ него осталась тетрадка, гдѣ переписаны разныя стихотворенія подъ общимъ именемъ: «Скука». «Пріемлю лиру въ руки и горестъ разгоняю (начинается стихотвореніе), но протяжные звуки рождаютъ горестъ наки». Далѣе говорится, что даже и «млекососны маки» болѣзнями сей не уменьшаютъ. Вообще скука угнетала его, незнавшего, за что ухватиться: отъ писанья стиховъ (грамотѣ его выучила бабка; мать, которой онъ лишился очень рано, была уже неграмотна) онъ вдругъ предавался мечтѣ поступить въ монахи, да такъ, чтобы зарыться въ землю по шею, на вѣкъ, или сдѣлаться силачомъ. Пока былъ живъ отецъ, малый колобродилъ потихоньку; но по смерти отца, послѣ котораго, наравнѣ съ двумя другими братьями, получилъ наслѣдство, не вытерпѣлъ скучнаго житія и сталъ колобродить въ-авъ. Прежде всего, какъ за самое ближайшее и общедоступное отъ скуки средство, взялся онъ за пьянство.

Началось съ того, что поѣхалъ онъ изъ города

къ кому-то на свадьбу въ село Дубки, а его завезли въ Дубы; надо было зайти въ кабакъ разпросить про дорогу. А въ кабакъ въ это время сидѣлъ дворовый человѣкъ и игралъ на флейтѣ. Черезъ полчаса отецъ уже угощалъ его, узнавъ, что это и знатокъ своего дѣла, и «душа», просилъ выучить на флейтѣ и готовъ былъ въ ножки ему поклониться. Недѣли двѣ дворовый человѣкъ училъ его музыкѣ, получая и угощеніе, и деньги за «обученіе амбушуру» и наставляя своего питомца въ науки жизни. Какъ они учились въ Нижнемъ, долго-ли тамъ пробыли и что дѣлали — этого отецъ никогда порядкомъ припомнить не могъ; но уроки «амбушура» прекратились по случаю того, что отецъ сдѣлалъ въ какомъ-то трактирѣ «мордобой» половому изъ-за селянки. Половой бросился за будочникомъ, а отецъ — на пристань, откуда тотчасъ-же и уплылъ. Очнулся онъ близъ какого-то монастыря. Трогательный звонъ, слышавшій братію къ ночной молитвѣ, сильно подбѣйствовалъ на его отягченную грѣхами душу; онъ не понималъ, а чувалъ, что всѣ эти отличнѣйшіе люди, съ которыми онъ безпутничалъ, — «не то», что съ ними для души сдѣлаешь немного, и пожелалъ очистить душу молитвою. Онъ вылѣзъ на берегъ, отслужилъ молебствіе и попросилъ позволенія побыть въ монастырѣ для молитвы. На другой-же день онъ нашелъ отличнѣйшихъ задушевныхъ людей; принялся исполнять правило, послушаніе, сталъ поститься, пьянствовать и желалъ принять схиму. Одинъ монахъ продавалъ-было ему за сходную цѣну вериги и предлагалъ заковать его въ нихъ на-вѣки вѣковъ; но отецъ и тутъ почувалъ, что нѣтъ настоящаго, и кончилъ дѣло спасенія пьянствомъ, дракой и бѣгствомъ. Спьяну и слугу исколесилъ онъ всю Волгу. Въ Астрахани перезнакомился съ персіанами, хотѣлъ ѣхать въ Персію, учился у нихъ ходить по выпуклой сторонѣ надутыхъ вѣтромъ парусовъ, но упалъ и разбилъ бокъ. Выздоровѣвъ, въ Персію не поѣхалъ потому только, что сошелся очень близко съ замѣчательнымъ силачомъ изъ нѣмцевъ, поднимавшимъ на одномъ пальцѣ десять пудовъ. Этотъ силачъ ограбилъ его и чуть-было не убилъ, такъ что блудный сынъ волей-неволей принужденъ былъ возвратиться въ свое отечество. Это былъ первый походъ за нравственными ощущеніями. Онъ не только не научилъ отца цѣнить лавочный рай, но, напротивъ, заставилъ еще больше призадуматься о своей беззащитной душѣ. Позанявшись торговлей съ полгода, скоро потомъ онъ снова сорвался и съ деньгами, вырученными отъ братьевъ за свою часть въ торговлѣ, отчалилъ отъ родины, — на этотъ разъ навсегда.

Дальнѣйшія скитанія моего отца продолжались болѣе двѣнадцати лѣтъ, отличаясь тою-же беззаботностью мечущейся души. Пьянство, какъ самое существенное средство залить горе своего убожества, стояло, разумѣется, на первомъ планѣ, перемѣшиваясь съ самыми разнообразнѣйшими душевными привязанностями: то опять хотѣлось писать стихи, то поступить въ монахи, то сдѣлаться актеромъ. Отецъ мой всюду совался, всюду тратилъ послѣд-

ния крохи отцовскаго наслѣдства, угощая профессіонистовъ разныхъ художествъ, шатался съ труппами, приставалъ къ хору пѣвчихъ—и пилъ, ибо, едва ставнувшись съ какою-нибудь заочно любимую профессією, чувалъ свое невѣжество и видѣлъ ограниченность дѣла. Въ сущности, отъ этихъ скитаній отецъ вынесъ только одно практическое качество: умѣнье играть на гитарѣ двѣ-три чувствительныя пьесы, отъ которыхъ въ послѣдствіи плакала матушка, да еще внѣшній отпечатокъ бродячаго человѣка. Онъ былъ небольшого роста, сухощавъ, съ довольно хорошими и добрыми глазами. Костюмъ его всегда былъ именно такой, который рекомендуетъ человѣка безъ званія и дѣла: какой-то пиджакъ съ разодранными локтями, или бешметъ, и на ногахъ опорки, а на головѣ иной разъ появляется изорваннѣйшая шапка съ красными околышемъ, неизвѣстно откуда попавшая въ нашу сторону... Бороду онъ брилъ и волосы носилъ длинные, за ухо; я помню эти волосы—черные и съ большой сѣдиной.

Конечъ этихъ безплодныхъ скитаній, по всей вѣроятности, былъ-бы для моего отца, оставшагося безъ денегъ, весьма плохимъ, если-бы ему не помогъ выбраться хоть къ какому-нибудь пристанищу одинъ добрый человѣкъ. Это былъ какой-то «добрый баринъ», когда-то погуливавшій съ отцомъ. Онъ случайно встрѣтилъ отца въ Москвѣ, когда послѣдній въ отчаяніи за будущее хотѣлъ продаться въ солдаты. Баринъ взялъ его съ собою въ одну замосковную деревеньку и опредѣлилъ садовникомъ, такъ какъ отецъ совался прежде и въ это дѣло. Очутившись въ чужой сторонѣ и видя, что выхода не предвидится, да и идти некуда и незачѣмъ, отецъ мой пріутихъ, пообдумалъ свое положеніе и занялся дѣломъ усердно, а скоро и женился на дьячковской дочери, моей будущей матери. Годъ они жили покойно, оба занимаясь садовымъ дѣломъ; но послѣ моего рожденія отецъ «заскучалъ» вновь... Въ свою сторону выхажъ было не съ чѣмъ; отецъ рѣшился переѣхать въ городъ, чтобы меня поставить «на настоящую дорогу», если не пришлось самому быть человѣкомъ. Переѣздъ совершился при помощи барина, моего дѣда-дьячка и всего имуществва родителей, которое по этому случаю было распродано. Въ губернскомъ городѣ, при помощи родственника матери, служившаго въ одномъ изъ губернскихъ присутственныхъ мѣстъ, была отведена намъ бесплатно земля въ подгородной слободкѣ и выстроены крошечный домишко. При домѣ отецъ развелъ питомникъ фруктовыхъ деревъ, вывезенныхъ изъ деревни, и по недоразумѣнію думалъ, что онъ самъ занимается всѣмъ дѣломъ, тогда какъ съ перваго-же дня нашего поселенія, съ перваго бревна, положеннаго въ основу домишка, всѣ заботы о нашемъ питъи и ѣдѣ всею тяжестью легли на матушку, а отецъ сталъ скучать, попивать, подумывать о томъ, что хорошо-бы пробраться на Донъ («тамъ мѣста!»), и, какъ уже знаетъ, браниться.

Чужая сторона много помогла усиленію этой брани, злости и питью водки. Сторона эта не нравилась ему по многимъ причинамъ. Природа здѣшняя была не та, что на Волгѣ, гдѣ онъ привыкъ

видѣть широкіе виды, богатые мѣста. Рѣкъ большихъ тутъ не было, лѣсовъ тоже; не было тутъ распиловыхъ ставень, пѣтуховъ и коньковъ на крестьянскихъ избахъ, не случалось слышать вновь сочиненной пѣсни, встрѣчать красной франтовитой рубахи: все было мелко, мало, бѣдно, все утихло, какъ будто умерло. Ваамъ въ всѣхъ этихъ пустяковъ, царствовалъ одинъ только порядокъ, который, какъ извѣстно, въ мѣстностяхъ около Москвы вводился почти съ незапамятныхъ временъ, такъ что когда пришлось жить здѣсь моему отцу, все уже было привинчено къ своему мѣсту прочно, туго, казалось, даже на вѣки-вѣковъ. Не было людей, были «породы» чиновниковъ, купцовъ, господъ, мужиковъ. Всякая порода имѣла свои зоологическіе признаки: чиновникъ непремѣнно ходилъ скорбившись, былъ худъ, какъ-то мокръ и кожу имѣлъ зеленую; дьяконъ непремѣнно имѣлъ башъ, священникъ—теноръ и т. д. Породы передавали эти качества изъ поколѣнія въ поколѣніе; вмѣстѣ съ ними передавались этимъ поколѣніямъ умѣнье исполнять именно тѣ жизненные цѣли и обязанности, которыя соответствовали той или другой породѣ. Обязанностью мужика было—ждать обиды отъ всѣхъ, говорить одно слово: «за что-же?» и пить съ горя. Обязанностью чиновника—говорить мужику и другимъ сословіямъ: «нельзя!», клеветать со всѣхъ крохи и пить отъ несправедливости. Баринъ обязанъ былъ базоваться и мотать деньги отъ скуки; купецъ—мошенничать и угощать. Всѣмъ даны были мѣста, отведены стояла съ перегородами, удобными лишь на то, чтобы вырвать у сосѣда изъ высоко поднятой морды клочъ сѣнца... Съ этимъ-ли народомъ, не чувствовавшимъ, что у него на плечахъ есть голова, съ нимъ-ли возможно было моему отцу водить компанію, дружбу? Ему-ли не соскучиться съ людьми, не знавшими, что такое «бѣлый свѣтъ», тогда какъ онъ десятками лѣтъ скитаній пріученъ думать о множествахъ всевозможныхъ человѣческихъ свойствъ и отношеній? Въ этой упрощенной сторонѣ отцу моему не съ чѣмъ было сказать слова, ибо специалисты по «своимъ частямъ» не могли ни слова понять въ его разсужденіяхъ и сразу стали смотрѣть на него какъ на шута, на сумасшедшаго...

— Нѣтъ, надо, я вижу, убираться намъ отсюда, говорилъ онъ чуть-ли не съ перваго дня знакомства съ новыми городскими сосѣдями.

— Полно тебѣ чудить! Ну, куда ты уберешься? возражала ему на это матушка.—Ишь, голова-то у тебя какая непокойная... Куда еще идти?

— На Донъ, на Донъ надо! Тамъ, братъ, ухъ какія мѣста!

— И-и, сумасшедшій! Право, ей-богу, съ ума сходишь...

Матушка отговаривала его съ тайной боязнью, какъ-бы онъ не ушелъ въ самомъ дѣлѣ: она, равнѣ съ другими, сама считала его отчасти чудакъ. Но храбравшійся отецъ самъ чувалъ, что теперь ужъ ему не уйти; онъ ужъ не одинъ, у него домъ, семья; оставить всего этого такъ, ни за-что, ни про-что—нельзя и надо терпѣть. Онъ терпѣлъ и бранился.

— Ахъ, онъ, неумытое рыло! бывало, ворчить онъ, доставая изъ шкафа рюмку, чтобы выпить. — Собака я, что ли, что онъ меня держать въ сѣнахъ, а?

— Что-жъ тебя на диванъ что ли сажать? возражала матушка. — Онъ—благородный, небось!.. Гдѣ-жъ это видано, чтобы мужику рядомъ съ собой...

— Да я его, каналья, къ себѣ бы въ домъ не пустилъ, ежели-бъ не бѣдность. Покажи я ему ассигнацію, такъ вѣдь онъ въ ноги ко мнѣ упадетъ...

— То-то ассигнацій-то у насъ съ тобой мало...

Отецъ уклоняется отъ прямого отвѣта и все ворчить и бранится.

— Да будетъ тебѣ, Христа ради! говорить матушка, сильно опечаленная. — Ну, что ты ворчишь? Душу только вытягиваешь...

— Свиньи они!

— Тебѣ какое дѣло? У тебя всѣ—свиньи, а ты самъ-то только водку потягиваешь... Поди-ка, послушай, никакъ кто-то стучитъ въ сѣнахъ... За твоимъ бормотаньемъ да руганьемъ и не услышишь, кто войдетъ.

Оказывается, что стучитъ родственникъ матушки, чиновникъ.

— Поди, Иванычъ, отвори ему, будетъ водку-то пѣдить-то.

— Зачѣмъ это? Кого это несетъ?

— Кириллъ Кузьмичъ идетъ... Отвори-же!.. Что-жъ онъ, докуда будетъ на улицѣ-то стоять?

Но отецъ не особенно торопится.

— Кто его просилъ? Что я ему за компанія? говорить онъ, отирая мокрый отъ водки ротъ. — Шелъ-бы въ свое стадо, въ гости-то, а не ко мнѣ... Я вѣдь для него прохвость, чего-жъ онъ сюда?

Наконецъ, несмотря на неудовольствіе, отецъ впускаетъ гостя; но компаніи дѣйствительно не можетъ составить для него никакая.

Гость здоровается, усаживается и мало-по-малу заводитъ длинную матерію о начальствѣ, о неправдахъ, несправедливостяхъ, о циркулярахъ...

— А гражданская палата... во исполненіе предписанія... Какъ? а гдѣ же, говорю, циркуляръ за № три тысячи пятьсотъ сорокъ седьмымъ? Какимъ образомъ? Нѣтъ ужъ, извините, за правду, за справедливость... я никакъ не могу!

Длиннѣйшій потокъ канцелярскихъ новостей льется изъ устъ чиновника, долгое время не переставая. Отецъ, на лицѣ котораго написано полное непониманіе и невниманіе къ чиновничьему монологу, поддакиваетъ изъ приличія и потягиваетъ водку, которая уже давно на столѣ. Лицо его все краснѣетъ и наливаясь; онъ начинаетъ кашлять и даже въ короткихъ звукахъ поддакиванія слышно, что языкъ его ходитъ не бойко.

— Па-авольте сказать... вдругъ прерывая интереснѣйшее мѣсто, до котораго только-что добрался рассказъ чиновника, произноситъ отецъ. — Оставьте это!.. Сдѣлайте милость...

— Чего-съ?

— Будетъ! Оставьте!.. Что мелешь?

— Я дѣло рассказываю вамъ, обиженно обороняется гость, налегая на «вамъ».

Отецъ тупо смотритъ въ землю и слабо махаетъ рукой.

— Мы твоихъ дѣлъ не понимаемъ!.. Не нужны они намъ! А ты такъ... свое...

— Я вамъ не угодилъ? — въ такомъ случаѣ я замолчу.

— Гов-вори!... Я нешто... Господи помилуй!.. развѣ я про это?..

— Я замолчу! усаживаясь молча на стулъ, произноситъ гость, совершенно обидѣвшись.

— Не надо! Не молчи!.. Утверждай свое мнѣніе! Сдѣлай одолженіе!

— Что же я могу? Я говорилъ, вы не желаете...

— Оставь свою канцелярію... Вотъ объ чемъ!.. Свои слова говори!

Отецъ стучитъ пальцемъ въ столъ и пытается постучать для усиленія рѣчи ногой и въ полъ; но нога плохо слушаетъ его.

— Свои слова имѣете?

— Какія же у меня свои?

— Не имѣете?

Хмельными, неподвижными, какъ будто необыкновенно внимательными глазами отецъ смотритъ въ упоръ гостью и выжидаетъ отвѣта.

— Не имѣете... словъ?

— Авдотья Ивановна, обращается чиновникъ къ матери:—что имъ угодно?

Мать давно уже тревожится этой бесѣдой. Чувствуя, что дѣло идетъ не къ добру, она нѣсколько разъ дергала отца за рукавъ, но тотъ ничего не замѣчалъ.

— Оставь! Оставь пустое? уговаривала она отца. — Что вы, Кириллъ Кузьмичъ, на него смотрите? Кушайте, закусите, прошу покорно... Оставьте ты!..

— О Богѣ... можете? продолжаетъ отецъ, придвигаясь къ гостью: — а-а Богъ-гъ?.. можете отвѣчать?..

— Что же вамъ угодно знать о Богѣ? иронически произноситъ чиновникъ.

— Какъ вы сами...

— Мнѣ кажется, продолжаетъ въ томъ же тонѣ гость: — довольно будетъ знать и того, что мы его должны бояться!

— Бойтесь?

— Что же васъ удивляетъ? Да, боюсь... а разсуждать мнѣ нѣтъ времени.

— Поч-чему? По какому случаю опасаетесь?

— Я обязанъ, какъ всякій христіанинъ, его бояться.

— Боюсь... боюсь... бормочетъ отецъ: — а-а чѣмъ онъ васъ напугалъ?

— Оставьте его, Кириллъ Кузьмичъ! Кушайте, пожалуйста! упрощиваетъ матушка.

— Чѣмъ онъ тебя напугалъ? вдругъ, возвышая голосъ, повторилъ отецъ съ настойчивостью. — Чѣмъ онъ тебя...

— Нѣтъ ужъ извините! поднимаясь со стула, въ гнѣвъ произноситъ гость:—я пойду!

— Оставайтесь пожалуйста! Что вы?.. онъ всегда такой!

— Чѣмъ онъ тебя напугалъ? Отвѣчай мнѣ! уже вопіеть отецъ на всю комнату.

Чинovníкъ торопится уйти, хватается шапку, палку, прощается, и матушка не смѣетъ удерживать его, потому что отецъ сѣлъ на своего коня.

— Ахъ вы, мошенники такіе! Ахъ вы, канальи негодные!... Д-дѣла у него! О Бо-гѣ не время ему... Стой! Гдѣ ты тамъ, желѣзный носъ?.. Поди сюда, я тебѣ объясню... Эй!

— Скотина! пропадетъ желѣзный носъ и исчезаетъ.

— Что-о! Б-бога забылъ?.. Я тебя... Я тебя, каналья.. Гдѣ палка? я тебѣ покажу!..

Онъ хочетъ встать, но матушка не пускаетъ его. Отецъ никогда не кричалъ на мать, хотя въ ея словахъ и было къ чему прицѣпиться; онъ остается на мѣстѣ, но не перестаетъ браниться и ругаться.

— Ахъ ты, свинная щетина! Д-дѣла! По карманамъ шастать, набодъ пугать, а душа-то гдѣ твоя? Свинья ты скромная!

И потомъ:

— Выбѣли, выбѣли изъ васъ душу! Вынули! Какъ искусно выхватили-то!—любю два! Ахъ, такъ ловко! Ему все одно: Богъ—не Богъ, душа—не душа, ему одно свято—канцелярія! перо! Гнать ихъ отсюда, стрекулистовъ, надо... Нѣтъ, на Донъ, на Донъ иду! Провались ты пропадомъ...

— Спи-и! Колобродникъ, когда ты перестанешь! усовѣщеваетъ его мать:—Ванюшкѣ не даешь покою.

— Ванюшка! кричитъ отецъ.—Не ходи, братъ, въ чиновники... чуешь что ли? Не стоитъ того дѣла... Эй-богу! Всѣ они вотъ что—тьфу! Слышишь что-ль?

— Да слышимъ, слышимъ.

— Не ходи, плюнь. Ну—спи!

Бормотанья идутъ шопотомъ. На другой день отецъ мраченъ и молчаливъ, пока не опохмелится и не войдетъ въ колею.

Матеріаль ему всегда есть!

Сидимъ вечеромъ на крыльцѣ, во дворѣ, всѣ трое—отецъ, мать и я. Разговоръ идетъ кой о чемъ. На дворъ входитъ новое лицо, одна изъ сосѣдокъ, матушкиныхъ пріятельницъ.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— А я къ вамъ бѣжала. Какія дѣла-то! Какіе смѣхи! Господи!

Гостя усаживается къ намъ на крыльцо и, задыхаясь отъ смѣху, распакиваетъ платокъ, освобождая грудь для того повидимому, чтобы съ полнымъ просторомъ рассказать про какія-то дѣла и смѣхи.

— Что такое? спрашиваетъ отецъ:—въ чемъ дѣло?

— И-и то-то смѣхъ-то, Господи. Комнату мы сдавали... Знаете?

— Ну?

— Въ прошломъ годѣ жилъ писецъ, а новѣ Богъ послалъ генерала.

— То-то сласть-то!

— И сласть, ужъ именно сласть! Отставной

этотъ, милые мои, генералъ-то. Одинокій, родни не имѣетъ и холостой. Вотъ онъ, милые мои, нанялъ комнату, перебралъ, сидитъ. Сидѣлъ-сидѣлъ, видно его скука взяла, вышелъ, походилъ такъ-то. «Это что же, говорить, бочка у васъ съ водой не накрыта?»—Отвѣчаемъ: «была, молъ, накрыта, да вѣрно накрывку-то взялъ кто-нибудь».—«Кто взялъ?»—«А не знаемъ».—«Какъ не знаемъ? Кто взялъ? Ты какъ смѣлъ взять крышку?» Дальше-больше, открылъ онъ противъ насъ чисто какъ битву. «Это что?» «Почему такъ?» «Чьи куры? Загнать! Запереть!»

— Къ командѣ приучень, замѣчаетъ отецъ.

— Къ командѣ, ужъ точно! Закомандовалъ онъ насъ, просто вотъ хоть возьми да иди за будничкомъ, чтобы его уняли. Ворочаетъ съ мѣста на мѣсто—смерть наша пришла, руки всѣ обломали; пошла я къ зятю, призвала его къ себѣ, говорю: «поди ты, усовѣсти его, что это такое?» Зять къ нему: «Такъ и такъ, говорить, сдѣлайте милость, ваше благородіе, ужъ вы это оставьте. Мы вамъ власти не давали надъ собой, и сдѣлайте милость ужъ вы насъ не беспокойте. У васъ есть свой упокой, такъ вы ужъ тутъ... А въ наши мѣста оставьте... Даже въ случаѣ чего, мы и въ сухъ... Извините!...» Обругался всякими словами, ну, однако остался...

— А-а! съ удовольствіемъ произносить отецъ.

— Остался? Ну-ка, что онъ безъ команды-то можетъ? Ну-ко, ну!...

— Ну, остался онъ, сидѣлъ, сидѣлъ, призываетъ...—«Хочу, говорить, приплатить еще рубль серебромъ, только чтобы въ саду-бы мнѣ въ вашемъ гулять». Посовѣтывались мы, рубль взяли:—«извольте!» А мы садъ запираемъ, потому неравно зайдетъ корова или коза, пожретъ фруктъ—намъ этого нельзя. Хорошо! Пустили его мы въ садъ. Погулялъ онъ, пришелъ назадъ. И на другой день пошелъ. Идетъ оттуда. — «Червь, говорить, у васъ тамъ...» — «Вѣтъ, молъ; отъ него не спасешься.» — «Какъ не спасешься? Почему?...» — «Много, молъ, его...» — «Я выведу!» — «Нѣтъ ужъ, говорю, лучше вы оставьте.»

— Опять его на команду потянуло! замѣчаетъ отецъ.

— Потянуло, другъ, потянуло!.. Ну—скрылъ. Замолчалъ. На третій день и не видала я, какъ онъ туда ушелъ-то. Иду такъ-то мимо саду, вижу замокъ изнутри виситъ. «Когда-жъ это, думаю, онъ туда пролѣзъ? И часъ, и два, все нейдетъ. Пошла я поглядѣть, ужъ нѣтъ ли какой его выдумки? — а онъ... (тутъ рассказчица задохнулась отъ смѣха), а онъ... на деревѣ, милые мои, на самой-то верхушкѣ, на эдакой на страсти, на высотѣ, съ тазомъ. Сидитъ тамъ съ мочалой да моетъ дерево, ровно-бы чашку чайную, либо тарелку. Замерла я такъ-то со смѣху, зову его оттуда назадъ: «что вы, говорю, господинъ генералъ, все вы намъ переломаете; такъ нельзя. Слѣзайте оттуда. Отопритесь, сдѣлайте милость. Что вы!» Нѣтъ! Ни словечка — сидитъ, пританцался съ мочалой, ровно бѣлка. Собрались мы всѣ, стали стыдить. Сталъ ругаться оттуда: «Сволочь» — и

такъ и едакъ, а самъ намажетъ мочалку мыломъ да по суку и третъ... То-то смѣху-то было! То-то смѣху-то! Насилу, насилушки слѣзъ!.. Ну, мы ключъ отняли у него, потому, лазучи по сучьямъ, много отъ фруктовъ поспибалъ.

— Ну, и что же? теперь-то какъ?

— Чижъ учить воду таскать!..

Всѣобщій смѣхъ.

— Ай безъ команды-то дѣться некуда намъ? Небось, завоешь... Вотъ и генералъ!

— Ужъ генералъ! уморушка да и только.

— Д-да! Мы и въ генералахъ не были, а пожалуй-что не полѣземъ съ мочалкой на древо. Плохо, плохо ему безъ команды-то!.. Ванятка! не ходи, братъ, въ генералы! Видишь, какъ ему пришло? Не ходи... Лучше прямо полѣзай на дерево. А то вотъ онъ все слушался-слушался, палилъ-палилъ, былъ-билъ по приказу, а себѣ-то и нѣтъ ничего! Сынишь что-ли?

— Слышу!

— То-то. Плянь. Не ходи. Такъ чижей?

Разсказчица смѣется, трясая наклоненной головой.

— Вы бы его, предлагаетъ отецъ,—женили-бы на вашей на Федорихѣ? Эй теперь годовъ семьдесятъ есть, поди?

— Болѣ, куда!

— Ну, самый разъ ему! А не то и такъ въ любовь войдутъ со скуки. Гдѣ ее взять, команду-то, нѣту ея... Отняли. Куда-нибудь душу-то дѣтъ надо...

Поутихъ нашъ хохотъ надъ этимъ эпизодомъ. Отецъ скрылся на нѣсколько минутъ въ домъ и, выходя оттуда, что-то побряхтываетъ и пожевывать.

— Ты что-ль, Иванычъ, давеча про любовь что-ли говорилъ? начинается гостья, обращаясь къ нему.

— Я говорилъ. А что за бѣда?

— Никакой бѣды, а ты вотъ про генерала въ шутку сказалъ, чтобы слюбились они, напирѣръ, въ шутку съ старухой... вотъ мнѣ и пришло въ голову... Бѣда съ ней, любовью-то!

— Какъ не бѣда! насмѣшливо соглашается отецъ.—У васъ, въ вашей сторонѣ, все бѣда. Вотъ ея родственникъ (отецъ кивнулъ на мать), такъ того, что ни спросишь:—все «боюсь» да «боюсь!».

— Ахъ нельзя, нельзя такъ!.. Я что вспомнила. Влюбился у насъ, сударики мои, чиновникъ, вдовый и почтенный человѣкъ, въ женщину... Такъ страсть какъ измучился!.. Первымъ долгомъ, какъ такъ они сдружились, прости Господи, вошло имъ обоимъ въ голову написать какую-то, милые мои, клятву на образъ.

— Зачѣмъ же такъ-то?

— А ужъ не умѣю сказать. Со страху что-ли они или какъ.—И женщина-то, прости Господи, тоже надо быть, съ робости—прачка она—не шла безъ клятвы-то. «Напиши, говоритъ, на образъ». Ну, чиновникъ сначала упирался, думалъ какъ-нибудь такъ, опасался, какъ-бы чего не было худо... отвергаться. Однако написалъ.

— Написалъ?

— Д-а-а! Написалъ, говоритъ, я (самъ онъ это все рассказывалъ), и обуялъ, говоритъ, меня страхъ... Такой страхъ, такой страхъ...

— Да что же они, дураки, тамъ писали? Зачѣмъ? волнуется отецъ.—Ахъ, шуты гороховые, и этого-то дѣла не съумѣютъ сладить!

— Не умѣли, не умѣли, истинное слово! Не мнѣ ихъ учить, а нѣтъ, не умѣли. «Написалъ, говоритъ, я эти самыя на образъ слова и весь испужался». И она-то, милые мои, тоже испугалась, и она-то въ испугъ. «Что это мы, говоритъ, написали, объ какомъ дѣлѣ?»..

— Ахъ, шуты гороховые! Али своего дѣла не знаютъ?

— Дрожимъ мы, говоритъ, отъ этихъ мыслей, ровно бы вотъ сейчасъ громъ насъ обоихъ расшибетъ въ дребезги. Стали они другъ дружѣ: «Это все ты!»—«Нѣтъ, ты!» Какая тутъ любовь, а чистая одна смерть. По ночамъ, говорятъ, глазъ сомкнуть не можемъ; дѣло свое канцелярское чиновникъ совсѣмъ позабылъ, сталъ пить, стали ему мерещиться угодники и все съ угрозами. «Пойдешь, говоритъ, послѣ обѣдни прикладываться къ образамъ; къ одному приложишься, думаешь: «а вотъ этотъ осердится, что я къ нему не приложился». И къ другому приложишься, а тамъ, глядишь—третій... Что-жъ, милые мои? Весь народъ ужъ давно изъ церкви разошелся, а онъ все по иконостасу лазаетъ. Придутъ дячки, насилу-насилу его стащить оттуда.

— Ну, что-жъ съ нимъ? Утопился, что ли?

— Нѣтъ, не было этого, сохранялъ его Богъ! Пришло ему отъ этого его согрѣшенія совсѣмъ плохо. «Вижу, говоритъ, что нѣту мнѣ житія никакого, ни сна, ничего нѣту; помолился я Богу, пошелъ къ протоіерею, говорю: «такъ и такъ, батюшка. Разрѣшите меня отъ этого. Смерть моя! Снимите съ меня клятву». Разсказалъ ему, какъ было дѣло. «Спасите», говоритъ. Священникъ подумалъ, подумалъ...

— Умень, должно быть, батюшка былъ?

— Умный, умный былъ, говоритъ нечего!—«Нѣтъ, говоритъ, не могу».

— Какой умный!

— Д-а! Нѣтъ, говоритъ, нельзя, не могу. Мнѣ самому за это можетъ быть дурно.

— Очень плохо! вставляетъ отецъ:—какъ же? Бѣдовое дѣло!

— Бѣдовое, бѣдовое, другъ! «Нѣтъ, говоритъ, не могу». Просилъ, просилъ его чиновникъ-то, ничего не выпросилъ, такъ и ушелъ ни съ чѣмъ. Что тутъ дѣлать?

— Ну-жо?

— Совсѣмъ хотъ топись—такъ пришло. И въ правду ты давеча говорилъ, именно бы ему утопиться; да, счастливъ Богъ, попался ему какой-то добрый человѣкъ, монахъ, шелъ онъ изъ Иерусалима. Разузналъ это дѣло. «Я, говоритъ, вамъ могу оказать пособіе». Потребовалъ онъ, милые мои, мочалку чистую, расчистую...

— Чистую? трунить отецъ.

— То-есть вотъ самую, что ни на есть! Потре-

бовагь онъ эту мочалку, налилъ святой воды, помоллся и всю эту вклатву и спорхнулъ съ маху съ одного. «Тутъ-то, рассказываютъ, мы дрожали, Господи!» Того и гляди, громъ расшибетъ; а какъ отмыгъ монахъ-то—ну ужъ тутъ...

— Ахъ, черти, черти! бормочетъ отецъ.

— Прачку эту онъ сейчасъ вонъ, прочь! «Иди съ глазъ долой!»

— А она-то?

— Да и она-то рада развязаться. Ушла, рада-радехонька... «Ну, молъ, тебя и съ любовью съ твоею!» Такъ вотъ она какая любовь-то! Насилу-насилу кой-какое худенькое мѣстико выпросилъ. Вотъ какъ!

— Ахъ, поганые!

— Вѣдь она—солдатка, робко вставляетъ матушка.

— Такъ что же?

— Ну, а онъ—чиновникъ.

— Ну?

Отецъ такъ произноситъ это «ну», что матушка совсѣмъ сконфузилась.

— Вотъ и все. Что «ну?», тихонько произносить она.

— Что-жъ что солдатка?

— Дѣйствительно, что ему можетъ быть обидно, желая поправить матушкину оплошность, вставляетъ рассказчица-гостя.

— Важъ, я вижу, все обидно. Вчера вотъ о Богѣ заговорилъ—обида, про любовное дѣло—тоже. Шутъ васъ знаетъ, зачѣмъ вы только живете на свѣтѣ? Я не васъ, не васъ... Что вы? Я про этихъ, про вашихъ жителей. Ни Бога ему, ничего не надо.

— Нѣтъ! слышу я вечеромъ, лежа въ постели:—на Донъ уйду! Уйду я отсюда... Монахъ его спасъ! Отъ любви!.. Выѣли душу изъ васъ, выѣли... Нѣту ея!

— Спи, спи, Христа-ради! уговариваетъ матушка.

— Уй-ду! Уйду, то есть вотъ только до весны!

III.

Въ планахъ на это бѣгство къ Дону прошла одна весна, другая и третья.

На Донъ отецъ не ушелъ и на четвертую весну умеръ. Мнѣ было тогда семь лѣтъ. И хотя я не могъ вполне понимать отцовскую брань, хотя эту брань, получившую болѣе опредѣленное направленіе въ городѣ, я слушалъ не болѣе трехъ лѣтъ, тѣмъ не жене она сложила мою будущность навсегда. Мнѣ предстояло жить, по смерти отца, въ томъ же непріятномъ ему городѣ и пришлось бы непремѣнно попать въ то или другое стойло, стать въ рядъ той или другой породы, пропитаться тѣми или другими «заказными» идеями. Матушка, помнившая завѣтъ отца и причину нашего переѣзда изъ деревни въ городъ, т. е. желаніе вывести меня «на настоящую дорогу», по всей вѣроятности, не пощадила бы трудовъ (она и дѣйствительно никогда не щадила ихъ), чтобы я могъ завоевать себѣ счастье лавочнаго сидѣльца, даже купца, чиновника. Но от-

цовская брань въ самомъ корнѣ подорвала эти надежды. Я тысячи разъ видалъ, какъ, благодаря отцу, богатъ-купецъ оказывался дуракомъ, чиновникъ—совсѣмъ безумнымъ. Я очень хорошо помню одну минуту въ своей жизни, именно когда я вышелъ весной, послѣ долгой лихорадки, на улицу. Минута эта могла быть приготовлена только «бормотаньемъ» отца.

Направо, на высокой горѣ, стоялъ городъ, весь въ зеленыхъ садахъ; налѣво, вдали, на краю низкаго луга, гдѣ расположилась наша слобода, видѣлась узкая полоска неширокой и неглубокой рѣчки. Я могъ бѣжать куда угодно, туда или сюда. Но фигура города—я очень помню это—какъ бы оттолкнула меня: такъ много дурного было о немъ въ рѣчахъ отца; все, что онъ ругалъ и бранилъ, все, что мнѣ вслѣдствіе этой брани было вовсе неинтересно, было тамъ, въ городѣ... Я теперь могу объяснить этотъ толчокъ, который ощутило сердце при видѣ города, тогда я просто побѣждалъ со всѣхъ ногъ въ другую сторону отъ него къ рѣкѣ. И съ этого дня будущій путь моей жизни былъ рѣшенъ.

— Эй, эй! мальчишка, упадешь, упадешь въ воду!.. окликнули меня какіе-то голоса, когда я опрометью разлетѣлся къ рѣкѣ. Я остановился.

— Купаться, что-ль, бѣжишь? Рано! Кто теперь купается? говорилъ мнѣ какой-то сѣденькій старичокъ.

Онъ сидѣлъ съ удочкой въ рукахъ; шапка, кушанье, заткнутый трипкой, и сапоги стояли подлѣ него на землѣ; самъ онъ былъ въ каломашъ и рваномъ халатѣ.

— Ты раковъ ловить прибѣжалъ?.. Такъ, что-ли? спросилъ меня собесѣдникъ старика, молодой, худенькій, съ грустнымъ лицомъ мѣщанинъ.

— Нѣтъ, отвѣчалъ я обонимъ:—я такъ...

— Ты вотъ что, возьми-ко вотъ эту банку изъ нарой туда червей... Рой вонъ подъ камнемъ... Молодецъ будешь. Я, братъ, самъ тебѣ услужу...

Я съ удовольствіемъ исполнилъ эту просьбу, выучился, какъ рыть червей, и когда доставилъ, то старичокъ сказалъ:

— Вотъ, братъ, спасибо! Садись теперь, отдохай!

Я сѣлъ.

— Да-да! повидимому продолжая прерванный разговоръ, началъ старичокъ: — теперь пусть-ко они меня поищутъ... Пускай!

— Образованные! сказалъ мѣщанинъ съ ироніей.

— Да-да! Найди-ко вотъ, куда отецъ-то необразованный ушелъ. Розыщи!.. Отецъ вѣдь дуракъ, невѣжа... Ну, и пусть!

— Муштры больно, прибавляетъ мѣщанинъ и выдыхаетъ.

Вдохъ этотъ, какъ оказалось впоследствии, относился къ личнымъ несчастіямъ мѣщанина.

— Не такой я человѣкъ, чтобы кривить душой! продолжаетъ старичокъ съ тѣмъ задумчивымъ волненіемъ въ голосѣ, которое показываетъ человѣка мягкаго и добраго.—Бѣдны мы?—такъ вы трудитесь! Что вы за королевъ? Что такое: «мы благородныя»? Трудись! Тебѣ далъ Богъ умъ, а вы хвосты

трепать, папироски? Нѣтъ, матушки!.. У меня, можетъ, сердце разрывается, гляючи, какъ вы мыкаетесь за разными шелкоперами,—а ужъ душу я свою собою. Я поработалъ, нѣту толку, Богъ съ вами! Живите одні!..

— Пущай попробуютъ... отвѣдаютъ!..

— Да. Сватался часовщикъ. Чего еще? Мало намъ! «Мужикъ, невѣжа!» Ну, какъ угодно!.. Не желаете рукъ марать, кусокъ хлѣба заслужить, живите съ благородными, пока держать... А грабить, да кляузничать, да пороги обивать, «дескать помогите»,—нѣтъ, этого не будетъ! Не такой я человекъ! У меня отецъ въ острогѣ за правду умеръ; Богъ съ вами!.. Мнѣ отъ васъ ничего не надо... Чтобы черезъ ваше распутничанье мѣста доставать?—плевать мнѣ и на мѣста! Тыфу! Вотъ они мнѣ что... Буду вотъ сидѣть подъ кустомъ да рыбу ловить, ничего мнѣ не нужно... Ничего!.. Тебя какъ звать-то? обратился старикъ ко мнѣ.

Я сказалъ.

— Буду вотъ съ Ванюшей... Ты ходи сюда. Будешь, что-ль, ходить сюда?

— Буду!

— Мы съ тобой, братъ, тутъ какъ заживемъ-то! Въ золотыхъ каретахъ прѣзжай—не поѣдемъ... Такъ, что-ли?

— Такъ.

— Уху заваримъ—держись!..

Картина была изображена старичкомъ плѣнительная.

— И отлично! подтвердилъ мѣщанинъ. — Гдѣ тутъ кабачокъ у васъ, почтенный? Я бы мало-мальски прихватилъ.

Старичокъ указалъ и крикнулъ вслѣдъ удалявшемуся мѣщанину:

— Больше полштофа не хлопочи. Будетъ!

— Н-ну!.. протянулъ мѣщанинъ и скрылся.

Въ ожиданіи его старичекъ сидѣлъ почти молча и только изрѣдка говорилъ про себя: «и отлично, хорошо такъ-то... Плевать я хотѣлъ...» Говоря такъ, онъ не спускалъ глазъ съ поплавка, какъ будто-бы именно въ немъ обрѣлъ онъ это отличное и хорошее.

— Ты приходи, смотри! шепталъ онъ иногда и мнѣ.

Пришелъ мѣщанинъ. Выпили. Старикъ выпилъ умѣренно, поѣлъ хлѣба, перекрестился, поблагодарилъ и прилегъ на бокъ полежать. Удочку его съ удовольствіемъ держалъ я и получалъ указанія, какъ поступать съ ней. Мѣщанинъ все попивалъ по стаканчику; но лицо его было все-таки грустно. Иногда онъ про себя шепталъ: «пущай!» и выпивалъ еще стаканчикъ. Но вдругъ онъ какъ-то раскисъ и внезапно повеселѣлъ.

— Да что же мнѣ-то? воскликнулъ онъ. — И превосходно! Сяду вотъ тутъ и буду сидѣть. Почтенный! обратился онъ къ старичку.

— Что-жъ? началъ тотъ.

— Ей-богу! Что мнѣ? Куплю (чтобъ вамъ всѣмъ)—удочку, залягу, знать никого не хочу! И богатое дѣло выдумалъ ты, старичокъ, право! Ну, куда мнѣ теперь? Никуда я не желаю!.. Не имѣю интереса, лучше же я тутъ возьму да лягу.

— Именно, братъ, лучше!

— Именно превосходно! Про что же я-то? Изъ-за чего меня погубили? а?.. Я тебѣ вотъ что объясню... У меня живетъ старушка-маменька... (при словѣ «маменька» у мѣщанина появились слезы). Ну, Богъ съ ней! Я именно что любилъ ее, сердцемъ, потому она мнѣ мать! Сколько она талекъ за меня господѣ переносила, чтобы меня въ ученье отдать! Господи! Слѣпенькая! Бывало, все эти тальки на столъ господамъ кладесть, эво поскольку; и день и ночь, и день и ночь... все сидитъ, слѣпнетъ (опять слезы; мѣщанинъ замолкаетъ, утираетъ ихъ рукавомъ и потомъ продолжаетъ). Отдали господа въ ученье... На второй годъ посылаю маменькѣ денегъ... На третій хозяинъ говоритъ: «—Поѣзжай, Аркадій, въ Кіевъ... Я тебѣ довѣрю, заправляй всѣмъ. Тамъ у меня жена и дочь, держи себя аккуратно!» (мѣщанинъ плачетъ). Увидалъ я дочку-то, какъ вотъ ровно оторвалось сердце у меня... Ангелъ, одно слово, купидонъ! Какое мое было стараніе, двушильная лошадь того не сработаетъ, а я дѣлалъ, потому видишь ты: иду я изъ лавки, въ кухню, а она на крылечкѣ стоитъ: «—Аркадій, подойди... Держи себя аккуратно, я тебя люблю, я у родителя испрошу на бракъ согласіе...» Какъ это слышать? Такъ я какъ бѣшенный для ней готовъ былъ... Хозяинъ пишетъ: «Въ удивленія, говорить, я отъ твоихъ заботъ и благодарю, и не забуду...» Ладилось мое дѣло, почтенный человекъ, лучше не надо-бы; ужъ насчетъ дочери-то родителямъ стало извѣстно, только бы меня испытать мало-мальски, хотъ еще годикъ... «Не уйдетъ, говоритъ она-то, Аркадій, наше дѣло, только крѣпись...» Хорошо ли было, али худо?

— Чего ужъ еще!

— Вотъ какъ было хорошо, вотъ какъ хорошо! (Мѣщанинъ заплакалъ и продолжалъ со слезами, которые сыпались изъ его глазъ поминутно, несмотря на то, что онъ ихъ утиралъ). Глядь-поглядъ—несутъ письмо. Пишетъ мать: «Стара я, слаба стала, старушка. Одна одишенька, нѣту у меня ни роду, ни племени, одинъ ты у меня! прѣзжай ко мнѣ, утѣшь. Я тебя хочу женить и невѣсту нашла...» Послалъ я маменькѣ денегъ сто цѣлковыхъ: «—Маменька, говорю, помню я, какъ вы изъ-за меня тальки носили, по гробъ я этого не забуду; теперь же идетъ мнѣ счастье въ руки, повремените годикъ, будетъ у вѣсь дочь хорошая». Идетъ отвѣтъ: «Стара я стала совсѣмъ, году не прожить мнѣ никакъ, и оправданія твоего мнѣ не дожидаться. Мнѣ скучно одной, не съ кѣмъ въ церковь сходить; чаю, говорить, не съ кѣмъ напиться... Я изъ-за тебя ослѣпла, а ты и то мнѣ утѣшенія сдѣлать не хочешь! Прѣзжай, по крайности я хошь обняла бы тебя...» «Маменька! Что вы меня изнушаете? пишу ей: вотъ вамъ, посылаю еще сто цѣлковыхъ, съѣздите къ Троицѣ-Сергію, али ко мнѣ въ Кіевъ, поклонитесь мошамъ, успокойтесь; не тревожьте меня малое время; какая невѣста у васъ—я ея не знаю: за что вы меня желаете вогнать въ гробъ?» Идетъ отвѣтъ: «Просила я тебя, сынъ мой, чтобы ты прѣзжалъ, оставилъ бы свои дѣла для родной

матери... Ты и того не хочешь; я—старая старушка, слабая, куда мнѣ трепаться? Мнѣ передъ смертью на тебя порадоваться съ женой; невѣсту я тебѣ нашла, хочу я тебя обнять, не слушалъ ты меня, изъ-за своего, говорить, самодержавія, что ты все удерживаешь себя въ Кіевѣ, то принуждена я, старушка, вытребовать тебя (мѣщанинъ залился слезами) по от-тану.

— Ка-акъ?

— По этапу, говорить, желаю я тебя... то есть, обнять... Черезъ пересылочную, напримѣръ, тюрьму...

— Ловко! сказалъ старичокъ.

Мѣщанинъ выпилъ стаканъ воды и плакалъ.

— Ну, что же? сказалъ старикъ.

— Женила, чего-жъ еще? Больше ничего, женила на истуканѣ, а я ушелъ отъ нея... Что мнѣ? Узналъ я это «по этапу», сталъ баловаться, сталъ пить, сталъ пить... И хозяйка-то стала смотрѣть какъ на пьяницу: «хорошо еще, говорятъ, что перещла...» «Я, говоритъ она-то, не ждала отъ тебя, Аркадій, такого неаккурату, что бы ты сталъ пьянствовать...» Ну, что-жъ мнѣ?.. Мнѣ все одно!.. Поѣхалъ домой: «извольте, обоймите...» Женился! «Извольте. На комъ? На статуѣ? Извольте! Что вамъ угодно!..» А теперь я ушелъ.

Мѣщанинъ махнулъ рукой.

— Эхъ, маменька!.. Люблю я васъ... Ослѣпили вы изъ-за меня... Н-н-у, Богъ съ вами! Ничего!.. Какъ-нибудь... Мнѣ теперь ничего не надо... Лагу вотъ тутъ и шабашъ!.. Больше ничего... Малютка! адресуется мѣщанинъ ко мнѣ:—мы съ вами тутъ слѣзаемъ дѣла! Именно... Вы ходите сюда... Я, братъ, отсюда—ни-ни-ни, никуда!

Выпивъ еще стакана два, мѣщанинъ ослабѣлъ. Попробовалъ-было затанцевать пѣсню, но не могъ и остановился. Потомъ снялъ сапогъ, сталъ его разсматривать, стучать по нему кулакомъ и бормотать:

— Что-жъ... Ничего! Возьму вотъ сыму... сапогъ... д-да! а потомъ надѣну... Ничего? и другой сыму... И надѣну... И прелотлично! Плевать мнѣ на...

И заплакалъ.

Я сталъ шляться къ старичку на берегъ (мѣщанинъ не улежалъ долго и ушелъ въ Кіевъ на богомолье) и повторяю, что съ этого времени будущее мое было рѣшено. Отцовская брань приучила меня питать инстинктивное отвращеніе къ окружающимъ правамъ, не указывая никакихъ путей къ спасенію. Теперь, въ лицѣ старичка и мѣщанина, я встрѣтилъ людей, которые ужъ изобрѣли эти «пути» и могутъ доказать, что лучше этихъ путей другихъ нѣтъ. «Отлично» и «превосходно»—вотъ эпитеты, которые новые знакомцы прилагали къ своимъ изобрѣтеніямъ,—сидѣть съ удочкой, плевать на все, лечь, или, какъ изобрѣлъ мѣщанинъ,—

чосто взять снятъ сапогъ, потомъ надѣтъ, а тамъ чъ трава не растетъ.

чопалъ такимъ образомъ въ область россійскаго теста помощью лѣни, и, благодаря симпатичнаго старичка, влияние котораго вслѣдствіе чьма сильно, и самъ я сталъ въ эти

ряды. Не велики были размѣры этого рода протеста. Мало-по-малу, подъ влияніемъ старика, я сталъ сходиться и съ другими чудаками того же разбора: то съ какимъ-нибудь охотникомъ до бойцовыхъ гусей или цѣтуховъ, то съ голубятниками, и вообще съ людьми, которые «отбивались отъ порядка», отвоевывали себѣ какую-нибудь мельчайшую страсть, какую-нибудь смѣшную профессію. Большею частью бывало такъ, что та или другая малая профессія, вродѣ занятія голубями, была не просто страстью, любовью, а какъ-бы протестомъ, въ глубинѣ ея всегда таилось что-нибудь такое, что рыболова-старичка заставляло, бравшись за удочку, говорить: «Ищи вотъ меня! Я терпѣлъ довольно, — теперь вотъ буду ловить рыбу, и шабашъ!»—«Матушка мои родители! кричитъ мѣщанинъ на всю улицу:—послѣднее разбойникъ «мой» платьишко заложилъ,—купилъ гуся бойцоваго!»—«Нѣтъ, ты вспомни, отвѣчалъ тоже на всю улицу «разбойникъ», прижимая къ груди только-что купленного гуся:—вспомни, шельма, какъ ты меня мучила... Да! какъ вы меня съ любовникомъ въ солдаты хотѣли упечь, канальи!» Глядя на то, какъ любовно прижимаетъ этотъ человекъ гуся къ своей груди и съ какими негодованіемъ отстаиваетъ свои права на него, нельзя не видѣть, что въ этой покупке не просто забава отъ нечего дѣлать, а протестъ. Мало-по-малу сталъ я втягиваться въ среду этихъ людей, жившихъ кое-какъ, маячившихъ жизнь помаленьку, лишь-бы какъ-нибудь сохранить въ сердцѣ хоть одинъ уголокъ, куда бы нельзя было пролѣзть посторонней безцеремонности. Отвоевывавъ гуся, мѣщанинъ приобрѣталъ пищу для мысли, гдѣ онъ былъ полнымъ хозяиномъ, могъ поступать свободно, не боясь даже, что можетъ вмѣшаться будочникъ. Приобрѣтая гуся, мѣщанинъ удовлетворялъ потребности жить не по приказу. Мнѣ хорошо было въ обществѣ этихъ чудаковъ, потому что здѣсь они смотрѣли на меня какъ на человека, какъ на равнаго, и я весьма быстро пропитался идеями, господствующими среди этихъ протестантовъ. Я привыкъ тоже дорожить правами собственной мысли, отвоевывать себѣ такую дѣятельность, гдѣ-бы я зналъ, что и зачѣмъ дѣлаю, и чтобы въ этомъ дѣлѣ мнѣ не мѣшали, чтобы я зналъ цѣль моего дѣла.

«Науку», т. е. ученіе въ школѣ (куда меня матушка отдала и о чемъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ), я бросилъ на первыхъ же порахъ, потому что шла она на меня не другомъ, а врагомъ, съ розгой и палкой, и давала мнѣ то, чего душа моя не принимала. Я ушелъ отъ нея обиженнымъ и сталъ, подобно множеству другихъ, вѣчныхъ представителей толпы, жить тоже «помаленьку», «какъ-нибудь», занимаясь чѣмъ-нибудь, лишь бы меня не трогали, лишь бы меня «не заставляли».

Такъ я прожилъ на свѣтѣ почти тринадцать лѣтъ. Какъ я провелъ эти годы, чѣмъ былъ занятъ, я положительно затрудняюсь объяснить. На языкѣ нашей стороны есть, правда, множество выраженій, опредѣляющихъ формы захолустной жизни, напримѣръ: «помаленьку», «кой-какъ», «какъ Богъ дастъ», «надо же гдѣ-нибудь умирать» и т. д. Въ

качества захолустнаго жителя, я охотно примѣняю эти опредѣленія и къ моей жизни. Но могу сказать положительно, что какъ ни основательно была разработана во мнѣ лѣнь и умѣнье уйти отъ «казаннаго» дѣла, не было въ жизни моей минуты, когда бы я самымъ явственнымъ образомъ не чувствовалъ всей ничтожности завоеваннаго мною угла и не тосковалъ; лѣнь помогала только тому, чтобы эти тоскованья не приходили ни къ какому результату, кромѣ того что, не дѣлая ничего, не вѣшиваясь въ дѣла, я смотрѣлъ на нихъ весьма прилежно.

Передо мной прошли разныя времена. Были времена, когда мы вмѣстѣ со старичкомъ считали лѣнь вещь, разрѣшающею всѣ затрудненія, и говорили о ней: «отлично!».

Потомъ были времена, когда явилась у меня потребность сбросить съ своихъ плечъ все старое, вновь родиться на свѣтъ самымъ сильнымъ, энергичнымъ человѣкомъ, потому что даже въ нашихъ захолустьяхъ по-временамъ какъ-то неотразимо чувствовалось, что скоро жизнь закипитъ и забьетъ ключемъ отовсюду, и мнѣ останется одна могила.

Я со страхомъ видѣлъ, какъ это время надвигается на меня все ближе и ближе... «Не отъ *этого* ли мы всѣ, захолустники и мракотюбцы, пропадемъ? думалось всѣмъ намъ, большимъ, малымъ и среднимъ лѣтямъ... И вдругъ,—что же? Случилось нѣчто совершенно необыкновенное. Время это пришло, оно вотъ вокругъ меня, а я не умеръ, а напротивъ—успокоился, да и всѣ лѣтяги, на гибель обреченные, не погибли, а повеселились. Какъ ни малъ уголъ, откуда я смотрю, однако же я не могу не видѣть, что, среди существующаго общественнаго шума, суматохи и хлопотъ, тонкой змѣей вьется тоска, разрывающая грудь безсильной злобой, передъ которой моя лѣнь—счастье. Напрасно у домашнего очага, за чайнымъ столомъ, я ищу слѣдовъ того, что составляетъ видимость новыхъ временъ. Шатранъ могъ въ избѣ французскаго мужика отыскать слѣды государственныхъ переворотовъ въ его странѣ, и на трехъ бабахъ и двухъ мужикахъ показать всю ихъ исторію; поищите же въ избѣ нашего мужика ну хоть слѣдовъ такого переворота, какъ земство,—едва ли это дѣло будетъ успешно... Мужикъ исполняетъ «новыя времена»; мой товарищъ, которому я завидовалъ, вѣря, что его уму и сердцу будетъ много горячей работы, тоже исполняетъ «новыя времена», а лично каждому изъ этихъ исполнителей, кажется, все равно, что новыя времена, что старыя.

Лѣтъ пятнадцать тому назадъ, я зналъ одного чиновника (примѣры у меня захолустныя), Кузьму Егорыча Груздева. Онъ тогда только-что съ отличнѣйшимъ аттестатомъ окончилъ курсъ въ семинаріи. Способности онъ имѣлъ быстрыя, позволявшія ему моментально овладѣть всѣми качествами отличнѣйшаго чиновника, такъ что не было ни малѣйшаго сомнѣнія въ блистательности его карьеры, необычайно быстро достигающей сначала секретарства и любви начальства, а затѣмъ тотчасъ же собственныхъ домовъ, создаваемыхъ на неслышномъ,

хотя и горькомъ негодованіи обраемыхъ мужиковъ-просителей. Все улыбалось ему.

Но, при самомъ началѣ этой карьеры, всѣ надежды Кузьмы Егорыча были неожиданно и мгновенно разрушены совершенно новыми вѣяніями времени, «послѣ войны!». Ни одно изъ подававшихъ блестящія надежды качествъ Кузьмы Егорыча не оказывалось нужнымъ... «Дѣло нужно, милостивый государь, а не подшиваніе бумагъ! Слышите ли? Дѣло-съ!..» пропагандировало начальство, уничтожившее значеніе иглы съ ниткой...—«Ты, свинья этакая,—пропагандировалъ Кузьмѣ Егорычу его товарищъ, въ трактирѣ за чаемъ, гдѣ умѣли прежде шопотомъ толковать «о дѣлашкахъ:—ты, свинья этакая, не дѣлу служишь, а лицамъ! Убирайся и пьянствуй одинъ!..» Какъ это? Зачѣмъ это все пришло? Чѣмъ онъ виноватъ?.. Кузьма Егорычъ былъ запутанъ кругомъ... Съ одной стороны слышалось: «честь нужна, честь...» съ другой—«совѣсть», «благо». Кузьма Егорычъ только повертывался, совершенно убитый, и съ умоляющими глазами лепеталъ то направо, то налѣво: «честь? Ты говоришь, честь? Ваня! Что-жъ я... голубчикъ! Совѣсть! Опять... Петръ Ивановичъ, отецъ, развѣ я? Господи!» Но ни откуда не было ни пощады, ни милосердія. На Кузьму Егорыча налетѣли такіе понятія, которыя вовсе въ ходу не были: онъ былъ правъ, онъ не успѣлъ приготовиться, но его невиннаго затирала лядина времени. Я видѣлъ его однажды въ жалчайшемъ видѣ: онъ стоялъ въ соборѣ въ темномъ уголкѣ, положивъ кисти обѣихъ рукъ на набалдашникъ палики и, закинувъ голову назадъ, какъ-бы въ изступленіи отчаянія пѣлъ вслѣдъ за хоромъ: «конецъ приближается!..» и слезы дрожали въ его голосѣ...

Послѣ того какъ полицейскій поймалъ его на площади, куда онъ выбѣжалъ въ одномъ бѣлѣ, будучи въ бѣлой горячкѣ,—послѣ этого случая я не видалъ его до настоящаго времени.

Недавно я опять его встрѣтилъ.

Онъ только что пріѣхалъ изъ Польши. Поглядите на него, запоетъ ли онъ теперь «конецъ приближается». Едва ли. Онъ здоровъ, полонъ, веселъ... Онъ не терзается ничѣмъ; убѣжденія его прочны и сложились вполне, напримѣръ хоть-бы по части женскаго пола: всякая женщина, дѣвушка—для него каналья и шельма. «Знаю я васъ, шельмовоѣ, говорить онъ при видѣ чуть не годовалой дѣвочки. —Я въ Польшѣ... Канальи!» «Знаю я эти земства, мошенники, канальи...» «Я вотъ тебѣ дамъ протестъ!» «Я изъ тебя вышибу литературу!» думалъ онъ, потихоньку присватываясь къ одной дѣвушкѣ, читавшей корректуру губернскихъ вѣдомостей: «—Я знаю, что у тебя на умѣ-то!.. Всѣ вы шельмы...» А между тѣмъ этотъ человѣкъ дѣластъ одно изъ самыхъ *новыхъ* дѣлъ, отлично зная, что этому новому дѣлу нѣтъ никакой надобности быть связану съ личной жизнью. Какова же эта личная жизнь?—Дома онъ ходитъ въ одной рубашкѣ, не стыдясь никого и ничего. Онъ заплатилъ. Въ разговорахъ его чревъ каждое слово—пять словъ непечатныхъ; прислуга улыбается на эти слова, и Кузьма Егорычъ

рыть знает даже, что она довольна, потому что «всё они подлецы» и «заплачено». Тё изъ его словъ «дома», которыя можно-бы печатать, относятся къ водкѣ и закускѣ;—водку онъ уничтожаетъ, пользуясь правомъ полной свободы. Рожа у него, когда онъ дома, постоянно цвѣтеть, какъ пюнь. Наѣвшись, напившись, онъ мечтаетъ жениться на «шестнадцатилѣтней», чтобы она была «совершенный ребенокъ»; а пока еще этотъ вопросъ не рѣшенъ (много еще ихъ, каналій, есть, успѣю!), Кузьма Егорычъ бесѣдуетъ въ своей квартирѣ съ привозными дамами, любезничая непечатными словами, потому что «заплачено».

Но что Кузьма Егорычъ! Кузьма Егорычъ, съ позволенія сказать, животное—и только. А вотъ вы подивитесь:

Недавно на моихъ глазахъ нѣсколько вполне просвѣщенныхъ лицъ, занимающихъ въ ряду новыхъ дѣятелей видныя мѣста, приняли участіе въ дѣлѣ, достойномъ, пожалуй, только моей скучающей праздности... Было жаркое послѣобѣденное время. Дѣятели спали (спали и они, потому что дѣлать нечего), потомъ проснулись и пошли ходить другъ къ другу. Тѣхъ, которыхъ проснувшіеся заставляли спать, они стаскивали за ноги и будили, говоря: «вставайте, вставайте», не зная впрочемъ, зачѣмъ это нужно. Спавшіе просыпались и тоже затруднялись опредѣлить—зачѣмъ они это сдѣлали. Разговаривать имъ другъ съ другомъ совершенно не о чемъ, не смотря на то, что они дѣлали цѣлое утро множество новыхъ дѣлъ. «Ну что?»—«Ничего!»—«Какъ?»—«Такъ, такъ-то». Вотъ что они со всею искренностью могли предложить другъ другу. Впрочемъ на этотъ разъ я упустилъ изъ виду одно обстоятельство, въ это время была война, и поэтому нѣкоторое время шель довольно оживленный разговоръ о коммуѣ. Могу увѣрить васъ, что всѣ эти господа дѣйствительно образованные люди. Они дѣйствительно способны, развиты; они много читали, много знаютъ, много учились, но, тѣмъ не менѣе, по прекращеніи газетныхъ разговоровъ, имъ оставалось или идти слушать въ саду музыку Бутырскаго полка, или заводить рѣчь о женскомъ полѣ, или сѣсть за карты, или наконецъ послать за бутылкой. Во время этого раздумья въ комнату, гдѣ сидѣли несчастные люди, донесся со двора голосъ хозяина дома, отца-протоіеря.

— Господа! поѣдьте со мной топить кобеля? спросилъ отецъ-протоіерей столь же весело, какъ и неожиданно.

Приглашеніе было кстати.

— Какого кобеля? раздался вопросъ.

— Да нашего чернаго, старъ и, кажется, отъ жары что-то дурить... Какъ-бы не перекусалъ... Поѣдьте, господа?... Я со всей семьей.

— Чортъ-знаетъ что такое! слышалось со всѣхъ сторонъ.—Лучше отравить... Что за зрѣлище!

— Право! продолжалъ батюшка.—Отецъ-дьяконъ ѣдетъ тоже... а?... мы бутылочку захватимъ. Хе-хе!

— Чортъ-знаетъ что такое!

Могу увѣрить, что топить кобеля никто изъ этихъ господъ не имѣлъ никакого желанія; повторяю, что люди эти настолько развиты дѣйствительно, что вполне могутъ интересоваться болѣе благородными и высокими вещами, тѣмъ не менѣе кто-то изъ нихъ рѣшился произнести:

— Что-жъ, господа?

— Право! продолжалъ свою пѣсню батюшка,—вѣдь за-городъ вродѣ прогулки... самоварчикъ захватимъ... Вамъ все равно, нечего дѣлать. Собирайтесь-ко, все веселѣй.

— Вы далеко-ли ѣдете? спросилъ одинъ изъ дѣятелей батюшку (товарищъ прокурора).

— Мы далеко... Отлично на травкѣ... а? господа?

— Вы какъ-же, камень, что-ли, ему на шею? съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ въ голосъ, произнесъ кто то изъ какихъ-то вообще довольно «крупныхъ» дѣятелей.

— Да ужъ тамъ увидимъ.

— Ёго лучше застрѣлить, продолжалъ дѣятель.

— Не имѣю ружья-то!

— Да я принесу свое, если хотите, вызвался дѣятель, все-таки съ пренебреженіемъ въ голосъ.

Нѣсколько другихъ лицъ изъ числа присутствовавшихъ тоже предлагали свое оружіе, порохъ и готовность, такъ что, мало-по-малу, общее мнѣніе начало склоняться въ пользу приглашенія батюшки.

— Мы вотъ какъ, подливая масла въ огонь, говорилъ батюшка:—мы возьмемъ водку, закуси, пирогъ у насъ дѣлалъ, съ капустой и съ яйцами. превосходнѣйшій.

— Нѣтъ, зачѣмъ же! откликнулись голоса:—что-жъ все вы? Мы возьмемъ водку, вы берите самоваръ... Такъ нельзя... Надо, чтобы было поровну.

— Ну, ладно... Такъ, стало-быть, маршъ?

Очевидно, что всѣ соглашались, хотя и ничего опредѣленнаго не отвѣтили.

Скоро по улицѣ ѣхали батюшкины дроги, наполненные семействомъ и узлами съ провизіей: за ними два извозчика съ гостями; кобеля вѣл на веревкѣ мужикъ среди экипажей. На перекресткѣ встрѣтились дроги съ семействомъ отца-дьякона. Весело раскланявшись, они присоединились къ общей кавалькадѣ.

— Куда вы? кричалъ съ извозчика одинъ изъ двухъ товарищей прокурора, ѣхавшій въ поѣздъ, пробѣгавшему черезъ дорогу судебному слѣдователю.

— Я хотѣлъ тутъ по одному дѣлу...

— Въ острогъ?

— Да. А вы куда?..

— Поѣдмте! Потомъ узнаете.

— Поѣдмте, надоѣлъ мнѣ этотъ острогъ до смерти!

Слѣдователь сѣлъ на извозчика и увеличившійся поѣздъ продолжалъ слѣдовать безостановочно. Всѣ чувствовали, что дѣлаютъ что-то глупое,—а всѣ таки ѣхали.

Утопили и напились.

Я бы могъ представить и не такіе примѣры скудости личной жизни дѣйствующихъ въ новыя времена лицъ, но это будетъ сдѣлано современемъ. Лично для меня достаточно и этихъ примѣровъ, чтобы оправдывать и свою лѣнь. Питать большія надежды, биться съ нуждой, быть умнымъ, честнымъ, и все для того, чтобы рано или поздно, за непреложностью къ жизни всѣхъ этихъ качествъ, повѣхать топить кобеля,—это, какъ хотите, весьма много говорить въ пользу простой лѣни и ничего-недѣланія, спокойнаго сна. Мнѣ-бы слѣдовало быть очень счастливымъ, глядя на эти сцены; но я знаю, что кругомъ меня не все топятъ кобелей, а порою и сами топаются и рѣжутся.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Воспоминанія по случаю странной встрѣчи.

1.

Послѣ обѣда, часа въ три или четыре дня, слободскія улицы почти совершенно пустыни, особенно лѣтомъ. Слобожане спятъ, забывшись куда-нибудь въ холодокъ, въ чуланъ, въ погребницу и ругаясь спросонка на мухъ. А проснувшіеся и уже усѣвшіеся за самоваръ долгое время не могутъ прійти въ себя, привести въ порядокъ размякшіе члены и тоже не показываются на улицѣ. Кое-гдѣ пищить ребенокъ, оретъ пѣтухъ.

Въ такую-то безлюдную пору, по пустыннымъ улицамъ нашей слободы однажды шатался захожій мужикъ, повидимому разыскивая что-то или кого-то. Полушубокъ, надѣтый на немъ несмотря на жару, былъ растегнутъ; въ одной рукѣ держалъ онъ шляпу и постоянно вытаскивалъ изъ нея полотенце и вытиралъ имъ мокрое лицо. Потѣлъ онъ повидимому и отъ жары, и отъ незнакомой стороны, и даже какъ-будто отъ неопредѣленности своихъ желаній. Вотъ подошелъ онъ къ дому купца Босолапова, остановился, тряхнулъ бѣлыми волосами, взялся за кольцо калитки, громыкнулъ и пошелъ прочь, потомъ опять воротился и принялся грохотать кольцомъ безостановочно, разозливъ въ короткое время босолаповскую собаку до невозможности. Купецъ Босолаповъ, по всей вѣроятности, въ просонкахъ спрашивалъ себя: «кто такой это долбитъ тамъ?». По всей вѣроятности, съ тѣми же вопросами обращались сами къ себѣ кучера и кухарки, лежавшіе недвижимо въ жареныхъ кухняхъ и прохладныхъ сѣникахъ; но такъ-какъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ было желаніе перелечь на другой бокъ, то захожій малый, не смотря на свое усердіе въ разозленіи собаки, принужденъ былъ выпустить изъ рукъ кольцо купеческой калитки и, выйдя на середину улицы, вызвать въ пространство.

— Почтенные!.. а, почтенные? Какъ-бы тутъ къ примѣру...

Всю эту исторію я съ большимъ вниманіемъ наблюдалъ изъ окна нашего домика. Я, матушка, слесарь Лукьянъ и еще одинъ благородный гость,—

всѣ мы сидѣли и пили чай. Лукьянъ въ это время былъ постояннымъ моимъ посѣтителемъ. Какъ попалъ ко мнѣ гость благородный, почему онъ, «пріѣзжій изъ Петербурга», разыскалъ меня въ моей трущобѣ, я скажу впоследствии подробно. Теперь же сообщу, что это былъ молодой мальчикъ, лѣтъ девятнадцати, до краевъ наполненный цвѣтущими желаніями того времени (время тогда въ самомъ дѣлѣ было новое) и крайне удивлявшійся, или, вѣрнѣе, вполне не понимавшій и какъ будто въ то же время слегка интересовавшійся моими съ Лукьяномъ разговорами, въ которыхъ ужъ ровно ничего не было относительно новаго времени, а было нѣчто захолустное, облѣнившееся и вздорное.

— У кого пѣтуха-то купилъ? спрашивалъ Лукьянъ, дохлебнувъ съ блюдечка чай и подавая пустую чашку матушкѣ.

— У офицера, отирая потъ со лба и придвигая къ себѣ новую, дымящуюся чашку, отвѣчалъ я.

Разговоръ у насъ былъ отрывочный, потому что мы были заняты дѣломъ чаепитія основательно. Дѣлали это дѣло мы съ удовольствіемъ, торопясь не потерять понапрасну времени, котораго намъ вовсе некуда было дѣвать. Мы опоражнивали чашки, наполняли ихъ вновь, отирали лбы и откусывали куски сахара столь-же быстро и непрерывно, какъ будто нами управляла какая-то невѣдомая сила. Такъ мы привыкли.

— Имя? спрашиваетъ Лукьянъ, словно-бы собираясь куда бѣжать.

— Чье имя?

— Чье! Пѣтухово имя спрашиваю! Чужахъ!

— Какъ звать, что-ли? помогаетъ матушка, не отстающая отъ насъ въ спѣшной работѣ и накинущая на плечи цѣлое полотенце, вмѣсто того, чтобы вытирать потъ рукавомъ, какъ Лукьянъ, или полой халата, какъ я.

— Извѣстно имя! Чужаки вы, ей-богу. Имя пѣтухово какъ? Есть, чай, имя-то?

— Нѣту еще, говорю я.

— Какъ же такъ нѣту? Это почему?

— Такъ и нѣту... Не придумалъ.

— Нѣту еще! помогаетъ мнѣ матушка.—Надо какъ-нибудь собраться.

— Извѣстно, надо. При охотѣ нельзя безъ этого... Золъ?

— И-и, говорить матушка.—Чисто наугадъ!

— Ну, «Мышьякъ»! Вотъ ему—сжели золъ.

— Злой!

— Злой?

— (Пѣтухъ—Боже мой!

— Ну, «Мышьякъ»... У меня былъ, я тебѣ скажу, пѣтухъ, имя было ему подъ названіемъ «Ядъ», и ужъ точно—отравилъ.. Ужъ, братъ, оборони Богъ! Сохрани царица небесная, до мозгу! въ восторгѣ вскрикивалъ Лукьянъ:—до мозгу съ одного баду прошибалъ..

И онъ съ волненіемъ ставилъ пустую чашку.

Благородный гость, на губахъ котораго виднѣлась улыбка, внимательными и недоумѣвающими глазами смотрѣлъ на насъ, иногда принимаясь хохотать, иногда спрашивая: «Ну, что-же съ пѣтухомъ?..»

иногда восклицая: «Чортъ знаетъ!..» Онъ думалъ, что теперь «все новое», а тутъ-какіе-то восторги изъ-за пѣтуховъ, прошибающихъ до мозгу... Лукьянъ на поприщѣ куриныхъ вопросовъ могъ быть положительно неистощимъ. Я, знакомый съ этими вопросами лично, могъ, слушая Лукьяна, въ то-же время наблюдать и за мужикомъ, шатавшимся изъ угла въ уголъ по улицѣ. Когда положеніе его достигло до полной беззащитности и когда онъ остановился посреди улицы, молча держа руку надъ затылкомъ, я видѣлъ, что въ немъ надо принять какое-нибудь участіе, и позвалъ его.

Это былъ парень лѣтъ тридцати, съ маленькой бѣлой бородкой, пустившейся по концамъ подбородка, съ волосами, подстриженными въ кружокъ и круто вившимися на лбу, напоминаая бараньи рога. Глаза у него были блѣдно-сѣрые, какъ будто безъ зрачковъ, и производили впечатлѣніе чловѣка, помѣшаннаго на какой-то мысли, которая непрестанно удручаетъ мозгъ.

— Ты кого ищешь? спрашивалъ я его, когда онъ подошелъ къ окну и поклонился какъ-то лбомъ.

— Человѣчка-бы... къ примѣру... задумчиво проговорилъ онъ, и сталъ переминаться.—Такое дѣло... прибавилъ онъ въ раздумьи.

Я думалъ, что ему неловко разговаривать на улицѣ, и сказалъ, чтобы онъ шелъ въ комнату. Онъ согласился молча; понуривъ голову, прошелъ дворъ и вошелъ въ комнату. Тутъ онъ помолвился, поклонился, и сталъ посреди дверей въ той-же задумчивости. Нѣсколько минутъ онъ стоялъ молча, перебирая поля шляпы, такъ что я долженъ былъ опять спросить его:

— Ты кто же такой?

— Купринновскіе...

— По дѣлу ты сюда?

— По дѣлу...

Здѣсь онъ вздохнулъ и, слегка оживившись, прибавилъ:

— То-то, другъ, по дѣлу... Отъ всего міра иду.

— Ходокъ, что-ли, ты?

— Ходокъ.

— Какое-же дѣло у васъ?

— То-то дѣло-то наше... Человѣчка-бы надо... Чтобы въ случаѣ онъ... Дѣло-то хитро наше, братецъ ты мой!

— Да въ чемъ?

— На счетъ земли? спросилъ гость, сильно заинтересованный мужикомъ.

— Оно, точно, насчетъ земли... Земля-то оно земля, потряхивая головой и какъ-бы что соображая ткнулъ ходокъ.—Земля—это есть; а и окромя земли въ нашемъ дѣлѣ тоже есть много всего... Вотъ я тебѣ что скажу!

— Вы говорите! Вы не бойтесь! сказалъ гость.

— Ты говори, прибавилъ я:—можетъ быть, мы тебѣ чѣмъ-нибудь поможемъ...

Все время какъ-бы сонный ходокъ вдругъ встряхнулся и произнесъ:

— Я-бы тебѣ, другъ ты мой, сказалъ вотъ какъ, столько-то вотъ не утаилъ-бы,—да языка-то нѣту у нашего брата... Вотъ что я скажу! будто

какъ по мыслямъ-то и выходить, а съ языка-то не слѣзаетъ. То-то и горе наше дурацкое!

Мы попросили его сѣсть.

— Объ чемъ-же бьемся-то? Объ эфтекъ, другъ, присѣвъ на стулъ, продолжалъ онъ; голосъ его дрожалъ отъ искреннаго, глубокаго сожалѣнія о невозможности овладѣть и въ полной ясности представить намъ гнетущія его голову мысли.—Другъ ты мой! Суди самъ! Міръ далъ денегъ на походъ, надежду на меня имѣеть, а что я? То-то Богъ-то насъ убилъ!.. Мнѣ, другъ ты мой, копѣйку теперь мірскую пробѣсть, и то я ее тронуть боюсь,—я третій день, можетъ, не ѣлъ, не пилъ, только что хлѣба вѣснова покушалъ съ полфунта... Какъ ее тронуть!

Ходокъ говорилъ все это съ глубокой грустью. Положеніе его дѣйствительно было ужасное; по искреннему, дающему голосу его можно было видѣть, что, помимо мірскаго желанія, онъ самъ былъ глубоко пораженъ какими-то мыслями; съ желѣзною энергіей готовъ былъ стоять за нихъ, но голова не можетъ справиться съ огромностью лежащей на немъ задачи такъ, какъ-бы слѣдовало въ данномъ случаѣ.

— Да нѣтъ, нѣту. Ничего не подѣлаешь! сказалъ онъ безсильно.

— Какъ ничего? придвигаясь со стуломъ къ ходоку и желая помочь ему выбраться на дорогу, сказалъ гость.—Ты вѣдь говорилъ, что изъ-за земли у васъ дѣло?

Желаніе моего гостя было имъ понятно, онъ нѣсколько оживился и сталъ отвѣчать какъ-то восторженно, прилежно прислушиваясь къ вопросу.

— Ну, изъ земли?

— Плохой надѣлъ, что-ли?

— Нѣтъ, ничего... Надѣлъ то часть особая. А изъ чего взялось-то это, ты вотъ что скажи!

— Что такое взялось?

— Да все наше недовольствіе!

— Гдѣ-же, у кого?

— Въ нашихъ мѣстахъ... тамъ... Почему? Земля тамъ—одно дѣло. А почему?

— Да что же? Въ чемъ дѣло... что почему?

Ходокъ помолчалъ и проговорилъ тихо:

— А душа? какъ ты объ этомъ?

— Ну? спросили мы оба, я и гость.

— Ну? Больше ничего. Мы замолчали.—Есть-ли у чловѣка душа? Ее оставить нельзя... Эхъ! Ивану-бы Митричу самому-бы въ ходокъ-то идти... Что я?

— Кто этотъ Иванъ Дмитричъ?

— Старичокъ нашъ... вотъ ему такъ дано отъ Бога! Что только у него ума, и-и!.. Ужъ онъ—такъ разсказалъ-бы... да-да!

Признаюсь, мы ничего не понимали и сидѣли молча, потому что и ходокъ тоже молчалъ.

— Гов-ворилъ онъ этта... какъ-бы смутно что то припоминая и пристально приглядываясь къ чему-то, съ разстановкой началъ ходокъ:—говорилъ онъ этта: «Что есть чловѣкъ?».

— Какъ что?

— Да! Что такое?

Мы не могли отвѣчать.

— Прахъ! Больше ничего. Такъ, что-ли?

— Ну, прахъ, отвѣтили мы.—Ну?

— Ну вот! Мнѣ бы съ головой-то разобраться, а то я тебѣ объясню, погоди. Поведемъ дѣло по порядку. Стало быть, прахъ—разъ...

Ходокъ загнулъ одинъ палецъ на рукѣ.

— Разъ, повторялъ онъ.—Ладно. А земля? По твоему земля что будетъ?

Мы не знали, что сказать.

— Опять-же прахъ! радостно сказалъ ходокъ.

— Видѣлъ?

— И земля, стало быть, тоже прахъ,—вотъ и два! Теперь гляди...

Ходокъ остановился.

— Гляди теперь... Ежели я, къ примѣру, пойду въ землю, потому я изъ земли вышелъ, изъ земли. Ежели я пойду въ землю, напрямикъ обратно, какимъ-же, стало быть, родомъ можно съ меня брать выкупныя за землю?

— А-а! радостно произнесли мы.

— Погоди! Тутъ надо еще-бы слово... Видите, господа, какъ надо-то.

Ходокъ поднялся и сталъ посреди комнаты, приготовляясь отложить на рукѣ еще одинъ палецъ.

— Тутъ самого настоящаго-то еще нисколько не сказано. А вотъ какъ надо: почему напрямикъ... Но адѣсь онъ остановился и живо произнесъ:— душу кто тебѣ далъ?

— Богъ.

— Вѣрно! Хорошо! Теперь гляди сюда...

Мы было-приготовились «глядѣть»; но ходокъ снова залпнулъ, потерялъ энергію и, ударивъ руками о бедра, почти въ отчаяніи воскликнулъ:

— Нѣту! Ничего не сдѣлаешь! Все не туды...

Ахъ, Боже мой! Да тутъ, я тебѣ скажу, нешто столько! Тутъ надо говорить вона откуда! Тутъ о душѣ-то надо—эво сколько! Нѣтъ нѣту!

— Да ты припомни пожалуйста просто, покойно.

— Да нѣтъ нѣту! Ивану-бы Митричу надо это. Говорилъ я старичку: «потрудись, пойди за міръ, постой...» Н-ну!.. да и старъ, да и дома надобенъ... Нѣтъ, тутъ нешто такъ надо-то? Э-эхъ, господа!

Ходокъ намѣревался уходить.

— Куда-жъ ты? сказалъ я; но ходокъ не слышалъ, и, поворачиваясь медленно къ двери, говорилъ:

— За такое дѣло не одинъ человѣкъ сталъ!.. Глянь! куда хошь, не отступимъ. Д-да!..

— Куда-жъ ты уходишь?

— Д-да! За это дѣло помереть, и то ничего... Намъ дана душа,—тоже и объ этомъ надо подумать... Вотъ что! Прощенія просимъ!

Говорилъ онъ это какимъ-то отчаяннымъ голосомъ и, не слушая насъ, направился къ двери и ушелъ.

— Куда-же ты пойдешь? спросилъ я, высунувшись въ окно.

Ходокъ остановился.

— Къ угоднику теперича я пойду. Помолюсь, чтобы далъ мнѣ Богъ понятіе... Батюшка! Отецъ небесный!

Въ голосъ его звучали слезы.

— Прощайте! сказалъ онъ тихо и пошелъ.

Такъ ничего мы и не добились.

— Зацѣпка въ утѣ, сказалъ Лукьянъ, все время молчавшій и таращившій на мужика глаза.—Должно быть, и ему до мозгу голову-то прошибли, прибавилъ онъ въ видѣ остроты.

Но мы не могли отвѣтить на нее.

Гость въ задумчивости торопливо ходилъ изъ угла въ уголъ и торопливо курилъ. Я смотрѣлъ въ окно вслѣдъ ходоку и тоже думалъ.

Изъ купеческихъ воротъ вышелъ кучеръ и, почесывая бокъ, поглядѣлъ лѣниво по сторонамъ.

— Кто это тутъ даве буддыхалъ? спросилъ онъ просыпавшуюся пустыню.

— Мужикъ! откликнулся откуда-то неизвѣстный голосъ.—Онъ тутъ часа два слонялся... Я видѣлъ...

— Мужикъ? повторилъ кучеръ весьма равнодушнымъ тономъ, опять поглядѣлъ по сторонамъ, опять почесался и, должно быть для округленія фразы, прибавилъ:

— Нѣтъ, надо дубину хорошую, къ примѣру... По мордѣ, чтобы въ случаѣ... да!

Тутъ изъ воротъ выкатилась жирная кухарка съ голыми руками, которыя она держала подъ легонькимъ фартучкомъ. Кучеръ обратился къ ней и прекратилъ свои иррациональные монологи.

— Послушай, Вася! остановившись на ходу, съ живостью обратился ко мнѣ гость.—Знаешь что? Пойдемъ ходить съ тобой по деревнямъ? Неужели ты думаешь постоянно возиться съ пѣтухами? Ты видишь, продолжалъ онъ, направляя руку въ сторону удалившагося мужика,—люди хотятъ чего-то побольше, чѣмъ ты съ твоими пѣтухами... Что за свинство!

Я молчалъ, потому что и самъ именно объ этомъ думалъ.

II.

Въ то, такъ называемое, «новое время» не разъ приходилось мнѣ робѣть за покойную философію. Вдругъ откуда-нибудь выплыветъ обыватель и предъ-явить что-нибудь такое, что и самъ объяснить не въ состояніи, какъ напрямикъ мужикъ-ходокъ. Не мнѣ было подлѣ силу вдумываться въ запутанную мужичью рѣчь; мнѣ довольно было знать, что человѣкъ стоитъ за что-то, хочетъ чего-то такого, чего я не знаю, чтобы взволноваться; представить себѣ, что начинается что-то новое, въ чемъ не могу принять участія, что мнѣ, съ моими крупными вопросами, придется лечь въ гробъ... «Что такое тамъ у нихъ есть?» Я помню, было время, когда все это мертвое ожило; но тогда была въ обществѣ идея, крѣпко воспитанная исторіей, именно—ненависть къ басурману, къ турку, посягающему на гробъ Христовъ... Теперь это прошло. Что-же тамъ еще?.. Я положительно недоумѣвалъ. Въ такому взгляду привела меня окружающая жизнь. Мужикъ-ходокъ заставилъ меня вспомнить кое-что изъ этой жизни и возвратиться къ продолженію воспоминаній моего дѣтства.

Послѣ отца, который, какъ уже извѣстно читателю, первый развилъ во мнѣ убѣжденіе въ томъ, что современное общество живетъ безъ всякой серьезной и совѣстливой мысли, я продолжалъ мои наблюденія лично, самъ. И какое было множество явленій, которые убѣждали меня, что даже привязанность къ гусю, къ пѣтуху, къ какому-нибудь мелкому вздору, что даже такіа ничтожности, — и тѣ составляли въ то время достояніе натуръ исключительныхъ, талантливыхъ. Сколько шло народу ко мнѣ, тогда еще совершенному мальчишкѣ, чтобы около меня, имѣвшаго что-то «свое», отвести душу!

Сынъ того купца, который ругался съ моимъ отцомъ, бывало, помню, жалобнымъ голосомъ умолялъ меня «взять его» съ собой. «Буда ты?» — уныло поетъ онъ, выйдя за ворота, въ то время какъ родители его почиваютъ и когда во всемъ домѣ слышенъ одинъ только маятникъ. «Возьми меня съ собой, Вася!..» Я могъ взять его съ собой и могъ не взять, оставить его дома, чтобы онъ слушалъ отъ своего богатого отца рассказы о томъ, какъ родитель разъ тонулъ, какъ неварокомъ убилъ человека, какъ женился на матери, причемъ ни одного изъ этихъ событій онъ объяснить рѣшительно не можетъ. Какъ онъ убилъ человека? Совершенно непостижимо. Поѣхалъ онъ по помѣщикамъ скупать хлѣбъ и «обнаковенно» (ему такъ кажется) взялъ съ собой дубину. И «обнаковенно» ѣдетъ навстрѣчу тройка, на тройкѣ помѣщикъ съ пріятелемъ подъ хмелькомъ. И «обнаковенно» помѣщикъ кричитъ: «стой!». И «обнаковенно» взялъ онъ дубину; помѣщикъ тоже выхватилъ пистолетъ. Произзошла драка, послѣ которой помѣщикъ (ѣхавшій, между прочимъ, продать хлѣбъ этому самому купцу) черезъ два дня померъ. Какъ это такъ? — «Богъ знаетъ!» «И страсть только!» А женился онъ какъ? Сидѣлъ онъ на базарѣ въ халатѣ (въ тѣ поры въ халатахъ хаживали) и продавалъ пряники, — семья ихъ пряниками торговала, была бѣдна, и надо бы имъ по настоящему въ такой бѣдности и вѣкъ свой свѣковать, а вышло вотъ какъ:

Сидитъ онъ на базарѣ въ халатѣ, и вдругъ подходитъ купецъ Орасиновъ, богатъ, и говоритъ: «поди вотъ, я тебя на дочери жению; только я тебя показать ей не могу, потому — ты нищій, а ты гляди ее съ улицы въ окно, когда будетъ сговоръ...» «А я не видала, какой такой женихъ, прибавляетъ супруга; а въ тѣ поры думала: гдѣ это наша курица пеструха, не украсть-ли кто?» — «Да я, признаться, поглядѣть-то боялся, потому вы ужъ очень въ ту пору богаты были...» А потомъ, послѣ этой женитьбы, какимъ-то родомъ «открылось» какое-то дѣло, и пришлось три года просидѣть въ острогѣ. Конечно, этого только объяснить рѣшительно невозможно. Весь этотъ, зависящій Богъ знаетъ отъ чего, жизненный опытъ приводитъ только къ одному: спать на сундукѣ, въ которомъ деньги, ѣсть рѣдкую, бояться страшнаго суда, а въ часы досуга поиграть въ карты, «въ дураки», «въ пьяницы», «въ свиньи», — названія, которые дѣйствительно можно объяснить и понять...

И вотъ. воспитываемый столь объяснимыми и

столь способными дать опредѣленный складъ уму и характеру, наполнить сердце семейными преданіями, бѣдный малый ходитъ, какъ опоенный, и вопитъ къ прохожимъ: «Ты куда? возьми меня съ собой!». И какая скука въ этихъ ословѣтыхъ, тоскующихъ глазахъ; какая жалость смотрѣть на этого рыхлаго добраго мальчонку, не знающаго, что съ собой дѣлать, куда дѣться.

— Пойдемъ! говорилъ я обыкновенно, и «братъ» его съ собою морозить ледянку или ловить чижей. Какъ онъ былъ радъ, какъ услуживалъ мнѣ и какъ я имъ командовалъ!

Потребность умолять о томъ, чтобы взяли съ собой, осталась у этого мальчика навсегда. Когда же, по смерти отца, онъ остался почти хозяиномъ отцовскихъ лабазовъ и постоялыхъ дворовъ, причемъ денегъ у него было довольно много, явилось множество людей, желающихъ «братъ его съ собой» и наполнять содержаніемъ его опустошенную душу. Въ бурныя, шумныя компаніи кутилъ и драчуновъ его не тянуло; это была натура мягкая, робкая; ему нужно было занятіе поскромнѣй пьянства, и, по робости своей, онъ нападалъ на занятія весьма смѣшныя.

Самымъ любимымъ изъ нихъ сдѣлалось для него пѣніе и чтеніе въ церкви: какъ онъ былъ смѣшонъ, выходя читать апостолъ или пѣть на клиросѣ «Господи помилуй!», причемъ лицо его наливалось кровью, ибо шея крѣпко была затянута атласнымъ платкомъ. И чего стоило ему добиться чести хлопнуть крышками среди церкви или пронизнать на клиросѣ, на спѣвку; прежде чѣмъ достигнуть этого, онъ долженъ былъ весь хоръ недѣли двѣ поить въ трактирахъ чаемъ и водкой. Замѣтивъ его беззащитность душевную, опекатели дѣлали съ нимъ, что хотѣли. Рассказываютъ, что однажды регентъ «для смѣха» предложилъ ему слѣдующій ультиматумъ: «такъ-какъ теноровъ у насъ довольно, и онъ, поющій теноромъ, только мѣшаетъ, то, если хочетъ оставаться въ хорѣ, пусть поетъ басомъ, или уберается вонъ». Беззащитный купеческій малый принужденъ былъ согласиться и, чтобы получить басъ, въ одинъ холодный осенній день засылъ голый въ воду, подъ мельничную плотину, чтобы вода била ему прямо въ шею: онъ желалъ охрипнуть.

— Здорово, Ванюшка! говорилъ я ему при встрѣчѣ. — Какъ дѣла?

— Теперича въ воздвиженскомъ хорѣ... третью недѣлю, весело отвѣчалъ онъ (теноромъ). — Басомъ приходится пѣть (это ужъ говоритъ басомъ и потому прибавляетъ): черти! Ничего не сдѣлаешь съ ними... Я уйду отсюда. У Покрова тоже хоръ хорошій, и публика чистая; тамъ меня прямо за тенора принимаютъ. Я уйду.

Впрочемъ въ настоящее время ему сдѣлалось самому интереснымъ пѣть именно басомъ; говоритъ онъ поэтому всегда выгнувъ шею и ходить лбомъ въ землю.

А мѣщанинъ Федотовъ?

Это былъ человекъ лѣтъ тридцати слишкомъ, высокій, костлявый, съ подстриженною въ щетку бородой, въ легкомъ длинномъ сюртучикѣ, кото-

рый онъ напивалъ лѣто и зиму. Онъ слылъ за сѣлача и дѣйствительно былъ сѣлачъ; но въ мое время онъ не имѣлъ уже «ходу», «прошло время», и ему пришлось имѣть компаньономъ меня.

— Развязное было время, говаривалъ онъ. — Вотъ что я скажу... Бывало, братецъ ты мой, за сто верстъ Федотова-то возили... Только види... да! У меня трехъ реберъ нѣту, а и то было хорошо! На, пощупай.

Я щупалъ.

— Я ни одного живого мѣста въ себѣ не имѣю, — а ничего! Душа только радовалась... А теперь что?... въ солдаты что-ли?... Бывало, радъ душой за своихъ постоять... «Выручай, Гаврюша...» У меня сердце вотъ-какъ-вотъ отъ этого, ровно молотомъ, стучить... Своихъ да не выручить?... Чтобы дать деревенскимъ мужикамъ ходу? — Извините! Вотъ какъ, бывало, — что праху не оставалось отъ всей ихъ мужицкой стаи... Тутъ тебя несутъ въ городъ-то на рукахъ... да-а! А теперь что? Картошки съ женой печь? мнѣ теперича и въ семью незачѣмъ показываться... Эхъ-ма...

Дѣйствительно, въ подгородномъ селѣ, съ которымъ Федотовъ когда-то «дирался», съ которыми у города были какіе-то счеты, одушевлявшіе драку и дававшіе ей известнаго рода мысль, теперь царствовала только бѣдность: впору было выпутаться изъ какого-то межевого дѣла, которое выпивало всѣ деревенскія деньжонки и уже давно уничтожало возможность досуга.

Федотовъ не имѣлъ любезнаго ему дѣла и то-сковалъ. Иногда онъ въ скукѣ приходилъ ко мнѣ.

— Ты что это тутъ? спрашивалъ онъ.

— Хочу скворца повѣсить.

— Скворца? Ты бы мнѣ сказалъ, я-бъ тебѣ шесть принесъ.

— Принеси.

— Ей-богу, принесу. Мы вотъ какъ: пойдемъ-ко съ тобой въ осиновую рощу, да хорошую жердь вытянемъ оттуда. Ладно, что ли?

— Ладно.

— Ну, такъ, живѣе надо... Нѣтъ-ли шапки тамъ гдѣ отповской? домой бѣжать далече... Поищи поживѣй!

И полсуетокъ хлопочетъ, устраивая шесть около крыши и вѣшая скворца.

Но такіе мирныя занятія были не по его натурѣ. Ему надо было бешевать, побѣждать, сокрушать врага, ничего этого теперь не было, и онъ безобразничалъ.

— Эй вы... мясники! кричитъ онъ зычнымъ голосомъ въ темный зимній вечеръ, когда наши ребята катаются вдоль улицъ на салазкахъ и на ледянкахъ.

— Э-эй живо! Кто тамъ у васъ? выходите!

Никто не выходитъ.

— Такъ-то по вашему? Эхъ вы! Н-ну, выходите, что-ли!

Иногда онъ, замѣтивъ въ числѣ играющихъ меня, тапиглъ и меня съ собой «шляться по городу».

Бывали въ моей тогдашней жизни минуты неопредѣленной тоски, когда я вдругъ становился

какъ-то равнодушенъ къ своимъ скворцамъ и чижамъ, въ душѣ дѣлалось сухо, неприятно, холодно. Даже къ матери я придирался въ это время, зачѣмъ у меня рваная шапка; зачѣмъ меня не учатъ. «Не на что тебѣ шапки покупать», говорила матушка. Но я подкапывался подъ ея доводы, доказывалъ, что есть на что, что купили же скатерть, когда ихъ двѣ. «Та для гостей». — «Для гостей! Для гостей можно пеструю». Иногда я положительно выводилъ матушку этими придирами изъ всякаго терпѣнія, и въ то же время самъ хотѣлъ плакать.

Въ такіе минуты я съ удовольствіемъ принималъ предложеніе Федотова путешествовать съ нимъ.

Нельзя сказать, чтобы ему не было компаніи въ этихъ путешествіяхъ. Къ нему всегда присоединялось два-три человѣка, жаждавшіе тоже раззудить плечо, а на-встрѣчу этой, такъ сказать, «нашей» компаніи, глядишь, валить другая.

— Что за люди? кричитъ въ темнотѣ Федотовъ.

— Ты что за человѣкъ? вопрошаетъ компанія.

— Стой! категорически говоритъ Федотовъ; — я — Федотовъ: слышалъ это слово?

— Былъ Федотъ, да теперь не тотъ.

— Не тотъ? Али тебѣ показать? становись-жо!

— Ты лучше приставай къ нашей компаніи, вотъ что братъ Федотовъ! Эхъ, ты...

— Ежели ты мнѣ угощеніе дашь, я къ твоей компаніи пристану.

— Это за что же? Угощали тебя, будетъ.

— Будетъ вамъ, раздается сострадательный голосъ. — Пойдемъ, угощу. Потомъ виѣстъ тронемъ. Андрюшка, гармонія здѣсь?

— При себѣ.

— Дѣлай...

И что же дѣлаетъ эта ватага силачей цѣлую почти ночь?

Вытаскивала она изъ земли тротуарныя тумбы, неизвѣстно зачѣмъ. Неизвѣстно зачѣмъ, валяла на землю фонарные столбы, поворачивала крыши на гнилыхъ нищенскихъ избенкахъ, мазала дегтемъ ворота, даже тамъ, гдѣ вовсе этого не слѣдовало дѣлать. Разворотитъ заборъ и разметать по сторонамъ доски, «вломиться» туда, куда не пускаютъ, — вотъ что дѣлала эта несчастная ватага силачей, не зная, куда дѣть свою силу.

Попатавшись съ этой ватагой, я снова чувствовалъ удовольствіе уйти въ свой уголъ и просилъ у матушки прощенія.

Не могу не вспомнить еще объ одномъ существѣ, хотя воспоминанія эти и не въ пользу моего честолюбія. Это былъ больной, нервный мальчикъ, тоже изъ купеческаго сословія, жившій въ варварской семьѣ. Въ немъ было много потребностей, много задатковъ; познакомившись со мной и узнавъ всѣ мои развлечения и дѣла, онъ отнесся къ нимъ съ большимъ презрѣніемъ. «Эко!» говорилъ онъ съ какою-то гордостью, словно бы онъ можетъ что-то сдѣлать въ тысячу разъ лучше и интереснѣй, нежели я. И, дѣйствительно, не могу забыть, какъ онъ однажды наизусть читалъ «Конька-горбунка». Онъ ходилъ въ это время вдоль забора, какъ тѣнь, не обращая на слушателей никакого вниманія, и

съ такой вѣрою и задушевностью передавалъ фантастическіе эпизоды полетовъ конька по воздуху, что даже я не могъ не глядѣть въ это время на небо и на мѣсяцъ, и ждалъ, что вотъ-вотъ онъ пронесется съ Иванушкой, разсыпая изъ поздрей искры.

Разговаривать онъ не любилъ, все молчалъ и думалъ, а глаза у него были какъ у помѣшаннаго.

— Убѣжать! вотъ что хотѣлъ онъ.

«Конекъ-горбунокъ» произвелъ на меня сильное впечатлѣніе, и я «самъ» сталъ заглядывать къ нему въ домъ. Но проклиная его, какъ «дурака», семья стала объявлять мнѣ, разумѣется тоже съ проклятіями, что «пострѣлъ» куда-то пропадаетъ, и что пора пришла отвязаться отъ него, отдать въ солдаты. «По крайности царю будетъ слуга», говорилъ его отецъ. Били его за эти отлучки и увѣчали; но онъ молчалъ и пропадалъ. Уходилъ иногда темной ночью и приходилъ на другой день вечеромъ.

Я долго его не видалъ.

Вдругъ однажды, когда мы съ маменькой возились на огородѣ, какъ бѣшенный перескочилъ черезъ плетень Андриуша и бросился бѣжать по грядамъ, повидимому куда глаза глядятъ. Онъ казался совершенно помѣшаннымъ.

— Куда ты? закричалъ я, догоняя его.

— Къ царю! задыхаясь, крикнулъ онъ мнѣ голосомъ, въ которомъ, повидимому, напряглись послѣднія усилія измученнаго тѣла.

Тутъ только, когда пришлось ему перелѣзть черезъ другой плетень, я увидѣлъ, что подъ мышкой у него былъ мѣшокъ, изъ котораго торчала страшная звѣриная морда, и толстая лапа царапала плохо прикрытой одеждой бедро Андриуши. Это былъ необыкновенной величины дикій котъ.

— Уйду! Погоди! прохрипѣлъ онъ, перескочилъ плетень и, обхвативъ кота оцарапанными въ кровь сухими, какъ кости, руками, скрылся.

Оказалось, что по ночамъ онъ караулилъ этого кота, который жилъ въ норѣ подъ хлѣбнымъ амбаромъ и выходилъ только по временамъ. Андриуша задумалъ поймать его, принести прямо во дворецъ къ царю и получить отъ него то, что въ сказкахъказывается.

Его долго искали, — не нашли.

Черезъ годъ онъ пришелъ съ этапомъ. Гдѣ былъ его котъ и что съ нимъ случилось, — неизвѣстно.

— Гдѣ ты, мошенникъ, пропадалъ? а?

Андриуша молчалъ.

— Отвѣчай, стервецъ этакой!

Но ни битые, ни угрозы не выколотили изъ него ни одного слова.

Онъ былъ нѣмъ.

— Андриуша, гдѣ ты былъ? спросилъ я его при свиданіи.

— Молчи! послѣ расскажу, прошепталъ нѣмой.

— Теперь я нѣмой... Меня къ угоднику повезутъ... Я исцѣлюсь. Молчи.

Я молчалъ. Андриуша прослылъ за нѣмого и даже со мной не говорилъ ни слова. Идея — быть нѣмымъ — была для него удовольствіемъ, задачей, которую онъ выполнялъ съ полною любовью.

Дѣйствительно, уставъ колотить и ругаться, родители повезли его къ угоднику. Прежде, нежели они воротились оттуда, по нашей сторонѣ провѣслась слѣдующая легенда: по пріѣздѣ въ монастырь, Андриуша, кромѣ нѣмоты, сдѣлался недвижимъ. Цѣлую недѣлю онъ лежалъ, не шевеля ни однимъ членомъ. Отецъ и мать молились на его глазахъ и рыдали, служили молебны, клали вклады и впади въ уныніе. Вдругъ ночью, совершенно неожиданно, при первомъ ударѣ колокола къ заутрени, онъ вскочилъ, всталъ на ноги и произнесъ: «Господи помилуй!».

Господь его помиловалъ. Чудо было явное, и Андриуша теперь на вершинѣ свободы, возможной для святаго человѣка.

Онъ ходитъ въ рясѣ и ужъ самъ думаетъ, что онъ святой. Сколько выдумываетъ онъ пророчествъ и какъ работаетъ его голова! Давала ли и дастъ ли такую работу мысли, придумывающей небылицы, наша обыденная жизнь?

III.

При столкновѣніяхъ моихъ съ такъ называемыми «благородными», подобныхъ ударовъ моему самолюбію я почти не испытывалъ никогда. Въ слободу, засѣвшую въ грязи и глуши, надворъ и порядокъ еще не успѣлъ проникнуть въ тѣхъ широкихъ раздѣлахъ, въ какихъ онъ проникъ въ послѣдствіи, доказавъ, что кромѣ его, т. е. «порядка», ничего не надо никому. За право «не даваться въ обиду» тутъ еще безсознательно боролось много народу конечно безъ всякаго существеннаго результата, ибо всѣ «мысли о правахъ» давно были похрублены въ самый корень. Не все-таки были здѣсь люди, но крайней мѣрѣ погубившіе, какъ говорится, мастерски, сгоравшіе напримѣръ отъ водки, точно такъ, какъ сгораетъ свѣча отъ огня. Были вообще натуры, желавшія плевать на мое спокойное существованіе съ крошечными и пустяжными привязанностями. Въ обществѣ благородныхъ было гораздо ужъ больше порядку. И тутъ я чувствовалъ себя хорошо.

Съ благороднымъ обществомъ я познакомился посредствомъ школы. Наука вообще ровно ничего и никогда не значила въ моей жизни, въ образованіи моихъ взглядовъ; поэтому-то я до сихъ поръ не говорилъ о ней ровно ни одного слова, хотя и учился. Сначала матушка отдавала меня къ разнымъ доморощеннымъ учителямъ: старушкамъ, которыя сами не знали ни аза въ глаза, но были очень добры; къ дьячкамъ, «набившимъ руку» въ ученіи мальчугановъ за цѣловый въ годъ. Ученья тутъ не было никакого, а было усмиренье бунтовавшихъ мальчугановъ, драње и какъ результатъ всего этого — возможность учителю прокормиться. Такимъ образомъ въ первые годы моего дѣтства воза, нагруженные рѣдкой, капустой, свеклой, аккуратно доставлялись матушкой къ тѣмъ или другимъ наставникамъ. Лучше всѣхъ изъ числа этихъ учителей былъ вдовый дьяконъ. Во хмелю онъ былъ тихъ (а хмеленъ былъ онъ часто), и въ это время плакалъ, рыдалъ объ умершей женѣ, сочинялъ груст-

ные, слезные стихи въ память ея и читалъ ихъ намъ. Во время этихъ рыданій была полная свобода, а главное — почти всѣ мы любили этого дьякона. Случай заставилъ его прекратить школу. Напротивъ его дома жилъ съ старухой матерью какой-то отставной гимназистъ лѣтъ двадцати, проводя время какъ Богъ пошлетъ и пробавляясь кое-какъ. Онъ однажды, въ припадкѣ той неопредѣленной и мучительной тоски, которая знакома только обывателямъ нашей стороны, когда не знаешь, куда дѣться, въ воду или петлю, въ такую-то минуту онъ однажды зарядилъ хорошимъ дробиннымъ зарядомъ пистолетъ и выпалилъ имъ прямо въ школу. Нѣсколько книгъ было изодрано дробью, пробита асфидная доска, которую держалъ какой-то мальчуганъ, разбиты стекла въ рамахъ и всѣ перепуганы. Никто послѣ этого не хотѣлъ отдавать сюда своихъ дѣтей, и школа закрылась. Я нѣкоторое время ни о какихъ наукахъ не думалъ; но потомъ матушка, вѣрная завѣту моего отца — «вывести меня на настоящую дорогу», задумала продолжать ученіе и направила воза съ овощью къ началству уѣзднаго училища. Но, одумавшись и разочтя, что овощъ равно необходима и началству среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеній, какъ и началству низшихъ, направила воза въ гимназію, куда я и поступилъ, выдержавъ экзаменъ, во время котораго я чувствовалъ, что овощи дѣйствительно получены экзаменаторами въ исправности и въ почтенномъ количествѣ.

Уличный авторитетъ мой былъ въ то время настолько великъ, что, идя съ матушкой въ гимназію, я чувствовалъ, что дѣлаю и ей, и этому каменному желтому зданію большое одолженіе и снисхожденіе. Я лишшаю себя нѣсколькихъ часовъ въ день общества своихъ друзей, чтобъ изъ деликатности, изъ доброты моею проскучать у васъ, тамъ въ каменномъ домѣ, на задней лавкѣ, часовъ пять-шесть. Задняя скамейка, или такъ называемая «камчатка», была отведена мнѣ съ первыхъ шаговъ моихъ на поприщѣ науки. Учителя меня не беспокоили. Это самое лучшее, что они для меня могли сдѣлать: иначе-бы они воспитали во мнѣ чувство злобы, какой я до сихъ поръ не зналъ. Они, должно быть, видѣли, что лучше меня не трогать и не расшевеливать, ибо я былъ не ученикъ, а человѣкъ.

Какъ-бы ни были пусты и ничтожны мои интересы, которыми я жилъ въ слободкѣ, но это были интересы человѣческіе, въ которыхъ играли роль любовь, совѣсть и честь. Если я сходилъ съ кѣмъ, — я зналъ почему. Если ненавидѣлъ кого, — тоже потому, что имѣлъ какія-нибудь этому основанія. Въ школѣ тогдашняго времени я не замѣтилъ человѣческихъ отношеній. Лучшій пріятель, не задумываясь, дралъ, по приказанію началства, своего пріятеля за ухо. По волѣ началства, товарищъ, назначенный «старшимъ», обязанъ былъ выдавать своихъ товарищей на закланіе. Лучшая награда была за наушничество. «Это вотъ онъ сдѣлалъ» — могъ воскликнуть безъ просьбы или приказанія началства не одинъ изъ моихъ тогдашнихъ соучастниковъ. Были исключенія; но я беру черту общую, суще-

ственную. Эта компанія была мнѣ не подъ парю. Человѣкъ, совершенно мнѣ незнакомый, къ какому-нибудь человѣку принадлежало безчисленное начальство, могъ придти, взять меня за ухо, за волосы, поставить въ уголъ, — я возненавидѣлъ этихъ людей. Товарищество большею частью тоже было мнѣ не подъ стать. Вотъ два мальчугана спорятъ о томъ, что «у моего отца есть и шляпа, и шпага, а у твоего — нѣтъ». Пересчитывая всѣ отцовскія отличія, они доходятъ до слезъ и идутъ жаловаться надзирателю, рѣшеніе котораго совершенно ихъ успокаиваетъ. Тотъ, кто по этому рѣшенію правъ, — дѣлается на-вѣки неразубѣдимымъ; тотъ, кто не правъ, пріучается на-вѣки знать, что съ начальствомъ ничего не подѣлаешь. Съ этой мелюзгой, не знающей, что у человѣка есть на плечахъ голова, мнѣ нечего было дѣлать. Я могъ бы только бить ихъ, если-бы умѣлъ быть злымъ, и гнать отъ себя прочь. Но я этого не дѣлалъ. Я не лѣзъ самъ почти ни къ кому, но ко мнѣ, напротивъ, лѣзли многіе. Отъ нѣмыхъ я сторонился, нѣмыхъ любилъ и большинству покровительствовалъ.

Это большинство, у котораго, по малой мѣрѣ, семь колѣнъ родословнаго древа, не знали никакой другой цѣли въ жизни, кромѣ повиновенія, были однакоже не совсемъ умершія, засушенные дѣти. У нихъ было сердце, которое билось, которое хотѣло что-нибудь чувствовать, и рядомъ со мной имъ было хорошо. Не придти въ классъ вслѣдствіе большой рыбной ловли или охоты, — что часто дѣлывалъ я, — было многимъ и многимъ здѣсь въ высшей степени интересно. Уйти отъ уроковъ за утками, — да это что-то необыкновенное! Присидѣть со мной на лавкѣ, послушать, что я говорю, — для многихъ было истинное удовольствіе.

О тѣхъ, кого я самъ любилъ, я говорить теперь не буду; а изъ покровительствуемыхъ мною скажу нѣсколько словъ объ одномъ мальчикѣ, который впоследствии, въ качествѣ петербургскаго гостя, присутствовалъ у меня въ обществѣ Лукьяна и деревенскаго ходока.

Я познакомился съ нимъ въ гимназіи. Звали его Павлуша Хлѣбниковъ. Это былъ слабенькій, блѣдный мальчикъ, одѣтый всегда съ иголочки, снабженный всѣми принадлежностями науки: перьями, карандашами въ количествѣ болѣе нежели полнымъ. Изъ-за этихъ карандашей и резинокъ къ нему лѣзло много народу; но повидимому онъ не могъ похвалиться любовью товарищей, потому что, какъ только у него изсякали письменные матеріалы, на него дѣйствительно мало обращали вниманія, и даже иной изъ товарищей, кто понаглѣй, безъ церемоній бросалъ ему въ глаза ябедника или труса. Слезами этотъ мальчикъ обливался почти постоянно, особенно когда не могъ дѣлать подарковъ. На меня онъ давно поглядывалъ съ своей первой скамейки, но какъ будто боялся.

Наконецъ однажды я увидѣлъ, что онъ робко перебирается ко мнѣ съ парты на парту.

— Хотите, я вамъ подарю чернильницу? робко говорить онъ, держась отъ меня вдали и держа въ рукѣ зелененькую складную чернильницу.

— Нѣтъ, сказалъ я.— Не надо.

— Возьмите!

Мальчикъ произнесъ это съ дрожаніемъ въ голосѣ и готовъ былъ зарыдать.

— У меня дома есть своя, сказалъ я.

Мальчикъ не рѣшился сказать ничего, но слезы были въ его глазахъ, а чернильницу онъ такъ и держалъ въ рукѣ,—ему было крайне обидно взять ее назадъ.

— Давай мнѣ! сказалъ одинъ изъ начинавшихъ ловкачей и ловкихъ людей, Козловъ.

— На! радостно сказалъ мальчикъ и потянулся за Козловымъ; но тотъ ужъ былъ далеко и вѣдать ничего не хотѣлъ.

Прошло пять минутъ;—слышу. тотъ же мальчуганъ опять что-то кому-то дарить и плачетъ, и потомъ скучный сидитъ одинъ.

Не знаю, почему-то я почувствовалъ къ нему большую жалость и какъ-то разъ самъ позвалъ его съ себѣ «въ камчатку», а потомъ познакомился съ его семьей. Семья эта была образцомъ семей, въ которыхъ нѣтъ ничего «настоящаго», «подлиннаго». Тутъ все, съ седьмого колѣна, шло противъ личныхъ чувствъ, противъ личныхъ желаній, убѣжденій и покорялось какой-то тягостнѣйшей необходимости. Отецъ Павлуши Хлѣбникова былъ чиновникъ, занимавшій хорошую должность. Происходилъ онъ изъ духовнаго званія, гдѣ, по крайней мѣрѣ, пять поколѣній назадъ (точно такихъ, какъ и въ другихъ сословіяхъ), люди женились не любя, занимались дѣлами, почти всегда несоотвѣтствовавшими способностямъ, и были связаны съ мѣстомъ жизни, съ женой, съ людьми, каковы—прихожане, родственники и проч., только тѣмъ, что, развязавшись съ ними, должны бы были умереть съ голоду. Голодь—вотъ была идея, связующая все это, готовое разбѣжаться врозь. Сколько тутъ было лжи, взаимной ненависти, притворства, низкопоклонства, соединеннаго съ полнымъ презрѣніемъ!.. Человѣческимъ, свободнымъ отношеніямъ здѣсь мѣста не было. Отецъ Павлуши былъ человѣкъ неглупый, талантливый, а въ молодости былъ мечтатель: такъ, будучи въ семинаріи, онъ думалъ идти непременно въ священники; у него было призваніе къ этому дѣлу, онъ обдумалъ его во всѣхъ подробностяхъ, начиная отъ проповѣди, которую онъ думалъ сказать не такъ, какъ говорятъ наши «балалайки», а по совѣсти, съ толкомъ. Но личному чувству, личнымъ симпатіямъ здѣсь нѣтъ ходу. На плечахъ его лежали цѣлыя поколѣнія бѣдствующей родни, которая бы должна была умереть съ голоду, если-бы позволилъ онъ себѣ жить такъ, какъ хочется,—и онъ пошелъ въ чиновники, чтобы помогать тѣмъ, кого не имѣлъ причины любить, и женился на той, которую не любилъ; ему, вступившему на путь необходимости, надо было покоряться всему,—жениться повому былъ полный расчетъ на дочери начальника, чтобы скорѣе добиться того, за чѣмъ пошелъ, то-есть денегъ. Дочь начальника тоже, быть можетъ, имѣла свои планы. Оно была женщина умная и скромная, и точно также, подобно мужу, принуждена была обстоятельствами дѣлать что-то такое, чего-ей

не хочется. Влюбись-ка она по собственному желанію вотъ въ того молодца-красавца, мѣщанина! Развѣ она не знаетъ, что въ красавцѣ воспитано побужденіе иногда вооружиться противъ своей возлюбленной полѣномъ и поучить. И вотъ образовалась семья, въ которой ничего нѣтъ сдѣланнаго «по душѣ». Она помогаютъ роднѣ, которую терпѣть не могутъ. Родня низкопоклонничаетъ, а въ душѣ называетъ ихъ разбойниками. Отецъ думаетъ о томъ, какъ-бы онъ былъ священникомъ; иногда онъ даже, раздумавшись, видитъ жену, стоящую въ церкви,—жену, которая совершенно не походитъ на теперешнюю, та совсѣмъ другая: волосы, глаза—все другое у той, а на клиросѣ видится ему маленькій мальчикъ, поющій отличнѣйшимъ дискантомъ—это сынъ. У него и теперь есть сынъ, который учится въ гимназій; но это не «тотъ» сынъ, не «настоящій»; «настоящій», который на клиросѣ, насколько не походитъ на гимназиста. Въ такой школѣ рѣшительно не было возможности узнать, что такое человѣкъ, что права надъ ними даны любви, совѣсти.—«Развѣ-бы я пошла за твоего отца, ежели-бы не нужда?» сказала бы мать сыну, рѣшившись быть искренней. «Нешто я бы изсохъ такъ, кабы не связали меня вы всѣ?» сказалъ бы отецъ, если-бы тоже намѣренъ былъ поступить искренно. Вотъ корень семейной войны и той легкости, съ которой сынъ можетъ совершенно забыть свою семью, разлучившись съ ней на мѣсяцъ, а на другой мѣсяцъ начинаетъ ее ненавидѣть. Въ семьѣ Павлуши никто не давалъ себѣ воли; отецъ и мать сознавали, что дѣлали,—и молчали. Въ домѣ вставали, ложились, пили чай, принимали гостей, словомъ,—исполняли все, какъ слѣдуетъ, и главнымъ образомъ молчали. Не освѣщала ли какая-нибудь свѣтлая, широкая идея этого угла? Повторяю, что не было идей,—ни у кого и никакихъ. Религіозны они были по формѣ, потому что принадлежали къ приходу.—Что такое «политика», они не знали; что такое общество, жизнь общественная,—тоже. Была здѣсь глубоко затаенная тоска и молчаніе. Въ этой-то обстановкѣ и жилъ мальчикъ.

И вотъ онъ лѣзетъ дарить мнѣ чернильницу съ тѣмъ, чтобы испытать чувство благодарности. Онъ ждетъ, что я ему скажу: «Спасибо, Паша, какой ты добрый».

И будетъ нѣкоторое время чувствовать себя хорошо.

Но вотъ приходитъ инспекторъ и приказываетъ этому Пашѣ выдрать мнѣ ухо.

И Паша выдеретъ его, потому что онъ поглощенъ новымъ удовольствіемъ—быть предпочтеннымъ предъ другими. Онъ лучше другихъ, а другой, кому онъ деретъ ухо, хуже его! Ощущенія, какія бы то ни было, до того новы, что совершенно поглощаютъ его, и только опомнившись, онъ плачетъ.

— Свиныя ты-этакая! говоритъ ему будущій ловкачъ и адвокатъ Козловъ:—сталъ драть за ухо товарища, подлецъ!

Паша плачетъ и говоритъ:

— На тебѣ чернильницу. Я не буду никогда.

— Не будешь ты, свинья этакая, говорить Козловъ, пряча чернильницу къ себѣ.—Дрянъ!

— Возьми еще хрестоматию. Я не буду!

— Давай, свинья этакая, и хрестоматию!

Козловъ обираетъ мальчика отлично! И наконецъ Козловъ гладитъ его по головѣ, и они расстаются друзьями. Павлуша возвращается домой, къ отцу. Отецъ, въ знакъ любви, приготовилъ сыну подарокъ (потому что ни изъ чего другого семейныя привязанности здѣсь не дѣлаются).

— А гдѣ твоя чернильница?

— Козловъ взялъ.

— Какъ взялъ?

— Просто, говоритъ: «отдай!».

— Какая шельма!

Павлуша вретъ; но вретъ именно потому, что пріятно чувствовать, какъ «заступается отецъ», давно желающій на какой-нибудь манеръ показать любовь къ сыну. Павлуша не желаетъ терять благопріятной минуты ни для себя, ни для отца. Да и «чувствовать себя несчастнымъ», въ виду такой непоколебимой защиты, какъ отецъ, тоже пріятно.

И вретъ. Козловъ представляетъ чистымъ разбойникомъ.

— Я его, каналья! говоритъ отецъ.

На другой день, по жалобѣ отца, Козлова събуютъ.

— Свинья ты подлая! говоритъ Козловъ; но потомъ мирится на подаркахъ.

Я взялъ этого обездуженнаго мальчика подъ свое покровительство; но изъ этого не вышло ничего. Бросался онъ на все повидимому съ азартомъ; но это только повидимому.

Впослѣдствіи изъ него явно стала выходить фигурка, которой бы нужно было что-нибудь поновѣй, да по возможности пріятно, да чтобы и ненадолго.

IV.

Я бы никогда не кончилъ, если-бы сталъ обстоятельно перечислять сотни видѣнныхъ мною людей, тщетно жаждавшихъ освѣтить свое горестное существованіе какой-нибудь мыслью. Исполняя виды высшей воли, они чахли въ собственной пустотѣ, почти не зная, что они люди. Единственный разъ въ моей жизни я видѣлъ, какъ зашевелилась общественная душа, и когда почти до краевъ было полно существованіе каждаго изъ этихъ мучениковъ. Это было во время войны. Въ общественной душѣ еще уцѣлѣлъ какинъ-то образомъ какой-то «турокъ», съ неумытымъ рыломъ, градъ и гробъ Христовы, Христовы страданія. Всѣ эти вещи были воспитаны крѣпко и почему-то не были тронуты порядкомъ. Какъ онѣ, пробудившись, оживили всѣхъ и все!

Чиновникъ, который вчера въ пьяномъ видѣ еще не зналъ, за что подрались на свадьбѣ у пріятеля, и выдумывалъ предлогомъ для драки обстоятельство, которое самъ считалъ пустяками, напирѣвъ начиналъ придираться къ хозяевамъ съ крикомъ: «а обѣщали подать малиновое мороженое! гдѣ оно?»—чиновникъ этотъ въ настоящую пору

требуетъ къ суду Викторію, кричать: «подайте мнѣ ее?» и искрененъ въ этомъ крикѣ, хотя и глупъ. Мѣщанинъ, который вчера еще, ободравъ падаля и пролавъ шкуру, не зналъ за что приняться, воротившись домой,—колотить ли семью, пойти ругаться къ сосѣду, лечь ли спать, или ударить полѣномъ свинью,—зналъ теперь, что ему дѣлать: сколько онъ женѣ принесъ секретныхъ извѣстій съ театра войны! И у жены тоже они есть; да и ребенокъ, который прежде не могъ рассчитывать ни на что, кромѣ подзатыльника, теперь несъ съ улицы также какое-то новѣйшее извѣстіе и внимательно выслушивался, да и самъ зналъ, во что играть: вчера онъ просто лѣзъ головой въ заборную щель и кричалъ отъ боли на всю улицу, а теперь онъ играетъ «въ войну». Богачъ-купецъ, который ѣздилъ къ Аксющкѣ и сорилъ деньгами передъ всей ея солдатской родней, съ просьбою успокоить его; который, не будучи успокоенъ, напивался до чертиковъ въ своихъ обширныхъ палатахъ и лѣзъ, къ стыду своему, на крышу гонять голубей,—и тотъ вспомнилъ турка и Бога, и тому пришлось на память, что, кромѣ медалей, есть еще душа. И вотъ онъ, вмѣсто Аксющки, на площади,—уже передъ воинами и даже говоритъ рѣчь:

— Воины! говоритъ онъ и плачетъ.—Не попустите ево, къ примѣру... турка... пытаму... (онъ рыдаетъ)... пытаму што... (онъ рыдаетъ еще болѣе)... от-течиство... (Рыданія заставляютъ его безмолвствовать минутъ пять)... По полуштофа на брата!.. Ур-ра!

— Ур-ра!..

— Довко! гремятъ зрители, выдающіе хоть какое-нибудь дѣяніе, которое и они тоже понимать могутъ.—Мѣщанамъ бы тоже ты, Иванъ Естафичъ, поднесъ по... отечеству... для вѣр-ры... по случаю... по престолу...

— По косушкѣ жер-ртвую! поднимъ руку кверху, вопіетъ Евстафичъ, и падаетъ на колѣни.

На площади идетъ молебствіе, и протодьяконъ, раздирая горло въ многолѣтніи воинству, знаетъ на этотъ разъ, что деретъ горло за дѣло, которое ему извѣстно, а не простое по приглашенію соскучившагося купца, котораго онъ въ душѣ называлъ разбойникомъ, и если все-таки гремѣлъ ему многолѣтіе, то единственно изъ-за желанія получить красную и купить ногу баранины. Онъ знаетъ, что на него смотреть вся толпа, понимающая причину его воодушевленія. А старушки, которыя въ былое время не знали, какую-бы еще придумать сплетню, чтобы попить, благодаря ей, чайку въ хорошемъ домѣ,—и у тѣхъ теперь полны карманы новостей, и онѣ тоже теперь чувствуютъ потребность потолкаться въ толпѣ, потолковать съ ней на площади.

— А анпираторъ и говорить... шейчетъ одна другой.

— Полегче вы, старенькія! тоже шепчетъ имъ древній старецъ, которому теперь только представился случай объяснить, почему у него не ходитъ правая нога, еще во времена герцога Бирона отдаленная въ застѣвкѣ колодкой.—Полегче объ эфтомъ!

— Мы худова не говоримъ, батюшка.

— То-то, потише-бы: у меня до сихъ поръ нога-то не ходить. Такъ-то! Ну, что такое амператоръ сказалъ?

— А сказалъ, говорить, не давать имъ овса...

— Кому?

— Не знаю я, другъ ты мой.

— А говоришь! Изъ портовъ не велѣно отпущать овса,—кому, знаешь-ли?

— То-то не знаю...

— А мелешь. Попадешь вотъ въ хорошее мѣсто, пропотѣешь полгодика, узнаешь... Кому овса не велѣно?.. Австриаку! Тараторка! Овса, овса... Ты лучше бы Богу молилась.

— Ты-то даже строгъ понѣ. Полегче-бы маленькую...

— Нѣтъ, вотъ какъ засадятъ въ ямку, въ темненькую...

— Урррр-а!.. бушуетъ на площади, заглушая шумуванья толпы и обь овсѣ, и о птицѣ, сидящей на московской колокольнѣ, и о свѣчѣ у Иверской, которую турки начинили порохомъ и поставили передъ иконою ночью. Хорошо, что митрополиту приснился сонъ и онъ успѣлъ выхватить свѣчу, которую разорвало тутъ же, на улицѣ, и т. д. Всѣ эти толки заглушены крикомъ «ур-ра!».

Молодцы Ивана Евстафича, запрыгавшись въ телѣги, виѣсто коней, вытащили на площадь не одинъ десятокъ сороковыхъ бочекъ. Выѣхавъ на середину площади, молодцы становятся каждый на колесо своей бочки, имѣя въ рукахъ по черпаку; черпакомъ этимъ предполагается вливать водку въ манерка солдатъ и прямо въ рты обыкновенныхъ обывателей, ежели они не могутъ представить посуды.

— Православные! возглашаютъ молодцы съ черпаками.

Масса шевелится, и скоро закипаетъ драка. Дерутся какіе-то «Ефимовцы» съ «Андроньевскими», «Васильевскіе» съ «Котельниковскими», словомъ,—выступаютъ какія-то партіи, отгнѣненные неизвѣстными или ненужными до настоящаго времени названіями, скрывающими какую-то мысль. Это не простое разворачиваніе забора, какъ еще недавно производили бѣдоты съ компаніею.

Словомъ, все одушевлено мыслью. Турокъ, завѣщанный въ сказкахъ, дѣлалъ жизнь сколько-нибудь понятною! Нельзя сказать, чтобы все это было чересчуръ умно, но факты оживленія отрицать нельзя.

Вотъ въ это-то время одинъ обыватель, торопившійся ночью къ пріятелю сообщить газетную новость, наткнулся впопыхахъ на камень и сломалъ ногу:—изъ этого обстоятельства возникъ вопросъ объ освѣщеніи, явилась статья въ газетахъ. Невозможность достать газетку и неумѣнье ее выписать, чтобы знать, что такое дѣлается, были причиною появленія другой статейки—о бібліотекѣ и т. д. Словомъ, турокъ такъ толкнулъ общество, что индивидуумы, составлявшие его, подобно бильярднымъ шарамъ отъ удара кіемъ, зашевелились, зашатались.

— Почему же это я все пьянствую? влетаетъ

въ голову талантливому чиновнику Зиѣву, давно чувствовавшему, что ему нужно что-то...

До этого оживленнаго времени Зиѣвъ дѣйствительно занимался только пьянствомъ, рисуя портреты съ трактирныхъ случайныхъ знакомыхъ. Онъ отлично рисовалъ карикатуры и типы изъ русской жизни. По натурѣ это былъ большой художникъ; но отецъ изъ статскихъ генераловъ не далъ ему никакого образованія, художество называлъ чуть не преступленіемъ и держалъ человѣка на какой-то должности съ пятирублевымъ жалованьемъ. У Зиѣва была уже лысина на головѣ, а онъ все еще уходилъ изъ дому тайкомъ, послѣ того какъ отецъ заснетъ: иначе ему могла быть гонка. Ропотъ противъ отца—вотъ что держало его на свѣтѣ, подобно другимъ, такимъ же субъектамъ, трактирнымъ компаньонамъ, жившимъ—кто ненавистью къ женѣ, кто ропотомъ на несправедливость начальства. Тысячу разъ Зиѣвъ хотѣлъ бросить родительскій домъ, уйти. Иногда казалось, что онъ вполнѣ готовъ привести свое намѣреніе въ исполненіе, мечтая поѣхать въ Петербургъ, показать тамъ свой талантъ... Но ничего этого никогда не дѣлалъ. За предѣлами страданій въ отцовскомъ домѣ не было ничего... Были какія-то темныя улицы и душныя кабаки, и среди этой тьмы терялась всякая вѣра въ себя, въ свой талантъ. Но въ новое оживленное время, когда носилось въ воздухѣ такъ много славы, храбрости и другихъ вещей, которыя доставались какому-нибудь бѣдоту нишечью, Зиѣвъ увидалъ слишкомъ ясно свое ужасное положеніе. Ропотъ на отца, который довелъ сына до лысины, не сдѣлавъ ничего для того, чтобы изъ него вышелъ человѣкъ, дошелъ до крайнихъ предѣловъ.

И вотъ онъ пьетъ и ругается.

— Вѣдь я человѣкъ, сволочь ты этакая! кричалъ онъ въ трактирѣ собесѣднику.

— Ты не ругайся однако!

— Что «не ругайся»? Ну, чего «не ругайся»? Какъ васъ не бить-то! Вотъ я чему удивляюсь! Нѣтъ, молодцы эти англичане, ей-богу! Перестрѣлять васъ надо всѣхъ... до ед-динова!..

— Когда ты перестанешь пьянствовать? говорить ему отецъ.—Когда ты перестанешь по ночамъ шататься? а? Вѣдь я тебя въ солдаты, каналья, отдамъ.

— А ты зачѣмъ мнѣ жизнь загубилъ?

— Ка-акъ?

— Зачѣмъ жизнь-то загубилъ? Ка-акъ!..

— Это мнѣ ты смѣешь говорить—«ты»?

Разъ сорвавшись на словѣ, съ наболѣвшей душой Зиѣвъ не удержался.

— Я! тебѣ! Погубилъ ты меня!

— Вонъ! Вонъ!

— Погубилъ! Злодѣй! Ты злодѣй!.. Я—человѣкъ! пойми! А что ты сдѣлалъ?

Старый генералъ падаетъ въ обморокъ, а разозленный сынъ не унимается.

— Уйду! Чортъ съ вами, разбойники!

На этотъ разъ Зиѣвъ дѣйствительно переѣхалъ изъ отцовскаго дома въ какую-то трущобу!

Подобныхъ этому случаевъ было на моихъ глазахъ великое множество, и я ужъ не смѣлъ драть носа передъ окружавшимъ меня обществомъ.

Оно необыкновенно поствѣжало и ободрилось. Мои почитатели, какъ силачъ Федотовъ, чудотворецъ Алеша, и т. д., уже не нуждались во мнѣ и нашли свое дѣло. Одинъ дрался со славою, другой имѣлъ готовую тему фантазировать и предсказывать. Моимъ компаньономъ осталась почти одинъ только Павлуша Хлѣбниковъ, который очень часто сопровождалъ меня въ моихъ скитаніяхъ по ожившемуся городу. Я въ это время цѣлые дни проводить на улицѣ: встрѣчать и провожать войска, толкался на площадяхъ, гдѣ по грязнымъ заборамъ были развѣшены безчисленная картинки о побѣдахъ, и слушалъ толки. Разнообразія было очень много.

Однажды я и Павлуша Хлѣбниковъ присутствовали при приѣмѣ рекрутъ. Дѣло было въ пасмурный зимній день. У крыльца присутственного мѣста и по всѣмъ улицамъ и переулкамъ, прилегавшимъ къ этому зданію, было великое множество деревенскихъ савей, наполненныхъ плачущими бабами съ дѣтьми; множество зрителей и участниковъ въ приѣмѣ толпились тутъ же. Раздирающій плачъ женщинъ, гармонія вольника, который, расталкивая толпу и гордо заломивъ на головѣ шляпу, перевязанную лентой, направлялся въ кабаки, окруженный караулившей и ухаживавшей за нимъ семьей его покупателя; вообще всѣ картины набора, драматизмъ которыхъ увеличивался тѣмъ, что это былъ наборъ ужъ не первый, и народъ былъ истощенъ,—все это производило довольно тяжелое впечатлѣніе.

Зрители не выпускали воинственныхъ воплей и не вели оживленныхъ бесѣдъ, и когда одинъ изъ нашихъ гимназистовъ, окончательно вышедшій изъ гимназіи и ужъ почти принятый въ юнкера, завелъ разговоръ о храбрости,—то нѣсколько голосовъ осаждали его весьма безцеремонно.

— Сволочь какая, режутъ какъ коровы! произнесъ-было гимназистъ.—За отечество идутъ и режутъ! Какія-жъ могутъ быть побѣды?..

— Ужъ ходили, ходили за...

— Полегче, полегче, ребятки, останавливалъ народъ древній старецъ... За это знаешь что?..

— Ходили, ходили, а все толку нѣтъ...

— Ежели мы будемъ ревать, когда война, когда надо драться... сказалъ-было гимназистъ; но ему не дали докончить.

— Что мелешь? закричалъ на него мясникъ въ бѣломъ фартукѣ.—Поди-ка самъ подъ пулю-то!

— Я и иду! ты не ор.

— Идешь? Вы мастера только разговоры разговаривать...

— Нѣтъ, иду, ну?

— Ну, и съ Богомъ. Хоть бы поменьше было вашего брата... Мужика совсѣмъ вывели,—и васъ бы пора.

— Осторожнѣй, кумъ! шепталъ старецъ.—За эти словечки знаешь куда?

— Ну васъ къ шуту! съ сердцемъ сказалъ мясникъ.

— Да кто ты такой? Какъ ты смѣешь такъ говорить? вдругъ наступилъ на него будущій воинъ.—А хочешь къ губернатору? ты противъ кого говоришь?

Мясникъ скрылся.

— Ахъ, каналья этакая! въ искреннемъ гнѣвѣ сказалъ будущій воинъ.—Непремѣнно узнаю, кто это.

— Кто этотъ юноша? спросилъ кто-то сзади меня.

Я обернулся; сзади меня стоялъ молодой человекъ въ клеенчатой фуражкѣ и въ поношенномъ драповомъ пальто.

— Это нашъ гимназистъ.

— Вотъ защитникъ-то отечества! проговорилъ онъ, не улыбаясь, но довольно мягко.

— Все-бы ему драться, прибавилъ кто-то изъ толпы:—онъ тутъ давно шумѣлъ...

— Гм... сдержанно сказалъ молодой человекъ и обратился къ намъ:—вы, господа, здѣшной гимназіи?

— Да.

— Я—вашъ новый учитель исторіи.

Мы было-оробѣли, но, къ нашему удивленію, учитель ласково сказалъ намъ:

— Пойдите, господа, ко мнѣ; поговоримъ, да кстати вы меня познакомите и съ городомъ.

Мы послѣдовали за учителемъ и не могли порядкомъ надивиться ему. Говорилъ онъ съ нами какъ съ людьми, ибо нѣсколько разъ спросилъ: «какъ вы думаете?» «Не правда-ли?..» Этого никогда мы прежде не слыхивали. Потомъ завелъ насъ къ себѣ въ номеръ и предложилъ намъ, какъ настоящимъ людямъ,—вино.—«Не хотите ли мадеры?»—«Извините, я раздѣнусь...» Все это было ново, и учитель оставилъ въ насъ наипрѣятнѣйшее впечатлѣніе. Сколько сообщилъ онъ намъ о войнѣ, о злодѣйствахъ, о злоупотребленіяхъ!—и хотя мы были весьма далеко отъ пониманія всей важности этихъ тайнъ, но и насъ пробралъ его разговоръ.

Съ этого времени и въ порядкахъ гимназіи, и вообще въ порядкахъ жизни произошелъ переломъ. Новый учитель тотчасъ началъ борьбу съ мелочностью начальства и тотчасъ нажилъ тьмы враговъ, начиная съ гимназическаго эконома до директора включительно. Ученики стали выписывать журналы и читать; собирались на квартирѣ новаго учителя потолковать, посовѣтоваться, образовали особую партію, къ которой примкнулъ и Павлуша Хлѣбниковъ. На моихъ глазахъ онъ столь же мило и легко дѣлался либераломъ, какъ прежде дѣлался ябедникомъ (тоже очень милымъ), или исполнялъ волю начальства, повелѣвавшаго выдрать товарища за ухо.

Я бывалъ въ этомъ обществѣ; но я ужъ значительно облѣнился, и жилъ жизнью толпы болѣе, нежели можно было думать; я даже оставилъ въ это время гимназію, потому что, въ качествѣ одного изъ субъектовъ толпы, почувствовалъ большую тоску... Война кончилась. Труку снова нужно было запереть въ душу на неопредѣленное время, и все стало по старому. Силачу Федотову опять нечего дѣлать. Алешѣ не о чемъ пророчествовать. Улица, гдѣ сло-

малъ ногу обыватель, бѣжавшій съ газетными извѣстіями, освѣщена; но зачѣмъ теперь ходить по ней? Фонарь стоитъ въ ней одинъ-одинешенекъ. Почитать газету?—да что въ ней интереснаго?.. У толпы опять не осталось ничего, и мѣщанинъ, вчера еще разсуждавшій съ женой о политикѣ, теперь снова говорить ей свирѣпымъ голосомъ: «Что стала? Не знаешь своего дѣла? Загони свинью-то! Давно я за вась не принимался!...» Мѣщанскій ребенокъ рѣшительно не можетъ выдумать игры «въ освобожденіе крестьянъ», о которомъ ужъ бродили слухи и въ толпѣ, и попрежнему лѣзетъ головой въ заборную дыру и оретъ.

Послѣ турка у толпы ничего не осталось своего...

Зашелъ я къ Змѣеву. Онъ жилъ въ отдѣльной комнатѣ у чиновника сотоварища, и хотя не имѣлъ съ отцомъ никакого дѣла, но я замѣтилъ, что онъ уже въ затруднительныхъ обстоятельствахъ относительно возможности распорядиться своей свободой.

— Ты, что же, въ Петербургъ-то? сказалъ я ему, и замѣтилъ, что онъ пьянъ.

— Погоди... Будетъ все!

Храбрости въ его голосѣ однако не было.

— Надо послать за водкой! торопился онъ прервать рѣчь о Петербургѣ.

Принесли водку. Змѣевъ выпилъ и охмелѣлъ.

— Я — человекъ! Понимаешь ты это? сталъ было онъ кричать попрежнему; но на крикъ явилась хозяйка и сказала:

— Вы пожалуйста не шумите.

— Какъ? Я не имѣю права дѣлать, чтó хочу?

— Домъ мой!

— Я плачу деньги.

— Все-таки вы не смѣете...

— Не смѣю?

— Не смѣете.

— Я не смѣю?.. Вотъ же вамъ!

И онъ поставилъ на столъ нѣкоторую посуду.

— Побойтесь Бога, на столѣ стоитъ Божій даръ—хлѣбъ, а вы...

— А-а... вопилъ Змѣевъ:—я не смѣю?.. Погодите, я вамъ покажу... Вотъ же вамъ...

Хозяйка выбѣжала вонъ, а за ней и я.

Змѣевъ бушевалъ и дебоширичалъ еще недѣли двѣ. Всѣ безобразія, находившіяся въ его рукахъ, онъ пустилъ въ ходъ для доказательства, что онъ—человѣкъ, но такъ какъ этими безобразіями онъ ничего не доказалъ и, отрезвившись, сообразилъ, что далеко ему до человѣка, то вскорѣ засѣлъ онъ за письмо къ отцу.

Въ письмѣ онъ просилъ прощенія, кланялся въ ноги и умолялъ позволить ему вернуться.

Отецъ отвѣтилъ ему длиннымъ письмомъ, съ текстами изъ священнаго писанія, и позволеніе вернуть далъ.

И вотъ Змѣевъ опять не смѣетъ выйти вечеромъ изъ дому до тѣхъ поръ, пока не «улягутся».

Все въ толпѣ стало по старому.

А я все плотнѣй забивался въ уголъ. Лѣнь овладѣвала мною все болѣе и болѣе и кругомъ было столь же много тоски, скуки, которая мнѣ давала возможность быть покойнымъ.

У.

Такъ за самоварчикомъ просидѣлъ я долгое время. Не зналъ я, какъ мои гимназическіе товарищи кончили курсы и разлѣтались по чужимъ краямъ; не зналъ, въ какихъ они были университетахъ и чтó тамъ дѣлали.

На дворѣ у меня кудахтали куры, ходилъ пѣтухъ «Мышьякъ», прошибавшій до мозга;—все было тихо и покойно.

И вдругъ является Павлуша Хлѣбниковъ съ безконечными разсказами объ университетской жизни.

«А, думалъ я не безъ злости:—ишь тебя тамъ какъ налили-то новыми мыслями! Помогать народу!.. И какъ это ты будешь помогать ему? Найдешь ли ты въ немъ такую струну, такую душевную привязанность, ради которой онъ бы сталъ тебя слушать? И къ чему такому нашелъ ты у него жажду, чтобы ему было мало лаптей и неусыпнаго труда?»

А тутъ вылезаетъ какой-то полоумный ходоу и объявляетъ про какое-то дѣло, за которое всѣ стоять, и это дѣло не просто изъ-за надѣла, а изъ-за души.

— Да что же? Неужели еще что-нибудь осталось въ этой душѣ? Турка болѣе нѣтъ... Что же тамъ? Религія? Семья?..

Я рѣшительно ничего не понималъ.

Но все это было весьма ново, и я рѣшился принять путешествіе съ петербургскими гостемъ.

Мы намѣрены были пройтись «недалеко», ибо даже и при началѣ путешествія (нельзя утаить) чувствовали тайно, что тамъ, въ народѣ, намъ, пожалуй-что, дѣлать нечего.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Я и Павлуша «ходимъ въ народъ».

I.

Подъ вліяніемъ смутнаго страха предъ наступающимъ новымъ, неопредѣленнымъ формъ котораго такъ неожиданно затронулъ извѣстный читателю мужикъ-ходоу, я и Павлуша совершили путешествіе и утомительное, хотя и краткое, и весьма тягостное для души, но поучительное. Тягостное и странное впечатлѣніе этого перваго путешествія ничуть не разсѣялось даже тогда, когда случай далъ намъ возможность кое-что узнать о таинственномъ мужикѣ и о томъ, какъ комбинируются его многосложныя мысли.

Случай этотъ представился намъ на богомольѣ, въ уѣздномъ городѣ, отстоящемъ отъ нашего, губернскаго, верстъ на тридцать пять. Попали мы на богомолье именно вслѣдствіе страннаго душевнаго состоянія, которое стали ощущать почти съ первыхъ шаговъ пути, — состоянія, которое можно назвать нѣсколько неловкимъ... Тамъ, гдѣ есть настоящая, подлинная жизнь, тамъ нѣтъ надобности шататься

«за ней» куда бы то ни было, ѣсть за семь верстъ киселя; тамъ, по всей вѣроятности, всякій вопросъ, возбужденный жизнью, получаетъ тотчасъ же и отвѣтъ отъ нея самой. Въ путешествіи нашемъ было не то. Отправляясь въ путь, мы тоже имѣли нѣкоторый, хотя и недостаточно опредѣленный вопросъ, но когда отвѣтомъ на него стали намъ служить десятки верстъ пустыря, десятки верстъ проселка, который, казалось, рѣшительно не хотѣлъ вести къ тому мѣсту, куда шелъ, и какъ бы старался, вилия безъ цѣли изъ угла въ уголъ, только проморгить пѣшехода и протянуть время, когда пришлось радоваться всякой галѣ и воронѣ, которая заблагоразсудитъ изрѣдка оживить картину унылыхъ полей; словомъ, когда обнаружилось, что мы за отвѣтомъ отправляемся неизвѣстно куда, — я думаю, никто не задумается опредѣлить наше душевное состояніе, назвавъ его недолемъ и тягостнымъ.

— Куда мы идемъ? не лучше ли воротиться домой? И какое намъ до всего этого дѣло? стало мелькать въ головѣ, когда мы «отмахали» по тоскующему проселку верстъ пятокъ.

Признаться вслухъ, что мы были чужими въ этихъ поляхъ и проселкахъ, было не легко, и мы шли, молча неся въ душѣ неразрѣшимую тяготу. Невольно чувствовалась потребность ободрить себя, даже зайти для того въ кабачокъ. Мы крайне обрадовались, завидя постоянный дворъ, стоявшій при впаденіи проселка въ старинную большую дорогу. Постоялый дворъ съ раскрытыми по мѣстамъ крышами, съ пустымъ дворомъ, на которомъ по временамъ вѣтеръ поднималъ кое-гдѣ труху и раздувалъ хвостъ одиноко бродившей курицы, не особенно оживилъ насъ, хоть мы и выпили водки и поѣли. Какое-то запустѣніе вѣяло изъ cadaго угла, отъ каждой вещи. Хозяйка ходила по сѣнямъ, распустивъ платье и босикомъ, и не то она чего-то искала, не то хотѣла позвать кого-то; но почему-то сердилась, что можно было заключить по довольно вѣскому удару, нанесенному ею свинѣ, опрокинувшей корчагу съ помоями. — Посердившись съ просонокъ въ сѣняхъ, хозяйка вышла на крыльцо и стала будить работника, который спалъ ничкомъ на лавкѣ. «Иванъ! Иванъ! Иванъ! Иванъ!» слышалось намъ въ окно, причежь всякій разъ раздавалось шлепанье хозяйской ладони объ Иванову спину; но Иванъ не просыпался, да хозяйкѣ, повидимому, и надобности въ немъ не было, ибо, наколотивъ ему спину и накричавшись, она пошла прочь, нѣсколько какъ будто успокоенная — по крайней мѣрѣ она залегла спать не ругаясь... Пустырь, неопредѣленное ворчаніе хозяйки, вѣтеръ и куры, безъ призора гулявшія по горницѣ, хлопавшія рамы — все это, при нашемъ неопредѣленномъ положеніи, еще болѣе разстроило насъ.

Вечеромъ мы вышли на крыльцо постоянного двора, не зная куда идти — направо или налево. По большой дорогѣ плелись богомолки и богомольцы. Иные изъ нихъ сажались близъ крыльца перевязать запотъ или просили напиться и скоро уходили далѣе.

На крыльцѣ было общество.

Здѣсь на ступенькахъ сидѣлъ хозяинъ — лысый, чернобородый мужикъ, повидимому съ-просонокъ, угрюмый и пыхтѣвшій, какъ самоваръ. Онъ былъ въ ситцевой рубашкѣ, босикомъ, и сурово посмотрѣлъ на насъ.

— Разсчитать что ли требуется? спросилъ онъ насъ, искоса.

— Да! Разсчитать бы... сказали мы, хотя въ сущности хотѣли посидѣть на крыльцѣ.

— Авдотья! позвалъ хозяинъ жену такимъ голосомъ, словно бы онъ хотѣлъ ее растерзать. — Авдотья! Иди что-ли! заснула тамъ?

Авдотья, жена хозяина, появилась на крыльцѣ. Она недовольно сморщила свое лицо и пискливымъ, тоже крайне разстроеннымъ голосомъ спросила:

— Ну что?

Говоря это, она одновременно обращалась и къ намъ, и къ мужу.

— Разсчитать дай господамъ.

— Почему же «господамъ»? вдругъ спросилъ Павлуша Хлѣбниковъ, имѣвшій неосторожность нарядиться въ деревенскій костюмъ, купленный въ городѣ.

Этотъ вопросъ весьма заинтересовалъ и дворника, и дворничиху, такъ что у послѣдней почти вовсе исчезло недовольное выраженіе лица.

— А кто же вы? сказала она. — Я сейчасъ васъ узнала.

— Почему же?

— Вотъ чудакъ-то! Что-жъ вы мастеровые, что ли?

Мы не могли дать отвѣта — это мы.

— Нешто мастеровые, продолжала она, — стануть трескать — извините — подъ такой день скормъ?

Мы опять не могли отвѣтить, ибо не знали, «подъ какой день» съ нами случилось путешествіе.

— Подъ какой день? спросилъ Павлуша.

Тутъ хозяйка захохотала, ударивъ себя руками о бедра, а хозяинъ повернулся къ намъ жирную багровую щеку и, искашиваясь сердитымъ глазомъ, спросилъ:

— Да вы куда идете-то?

Положеніе наше стало еще труднѣе.

— Къ угоднику, что ли?

— Къ угоднику! отвѣтили мы на-удачу.

— А потребовали молока! произнесла хозяйка. — Какіе-жъ вы мастеровые? Нешто мастеровой чело-вѣкъ сдѣлается такъ-то? Онъ Бога помнитъ, онъ не смѣетъ этого... Я сейчасъ васъ узнала, какъ потребовали молока... Какъ это можно, чтобы простой чело-вѣкъ... Простые вы!.. А вы зачѣмъ нарядились-то, блявники?.. какіе притворщики!..

— Къ угоднику идти на богомолье, сказалъ хозяинъ довольно правоучительнымъ тономъ, — да наряжаться словно на масленицѣ, — тутъ порядку мало. Такъ нельзя!

Хозяинъ даже тряхнулъ головой: — такъ убѣжденно и правоучительно произносилъ онъ каждое слово.

— Какой чело-вѣкъ имѣетъ вѣру, тотъ идетъ, продолжалъ онъ тѣмъ же правоучительнымъ то-

номъ:—идеть, напимѣрь, съ вѣрой, напимѣрь, да! А не то что... чтобы... молока тамъ... Ему память разъ въ годъ, стало быть надо ее почитать... А не то что...

— Это «память» называется то же самое, что праздникъ, пояснила намъ хозяйка.

Мы сидѣли какъ школьники.

— А когда будетъ праздникъ? спросилъ Павлуша.

При этомъ вопросѣ на нѣкоторое время остолбенѣлъ и поднялся даже съ своего сидѣнья дворникъ, а дворничиха просто отшатнулась въ сторону.

— Вы что же это творите такое? сказалъ дворникъ, когда прошло оцѣпенѣніе.—Идете къ угоднику, а не знаете, когда ему память?

Мы молчали. Дворникъ смотрѣлъ на насъ въ упоръ, какъ слѣдователь, и, сбывая небольшой промежутокъ молчанія послѣ перваго вопроса, для того чтобы мы почувствовали всю нелѣпость нашихъ поступковъ, задалъ другой, тоже слѣдовательскій вопросъ:

— Утверждаете, что идете къ угоднику, а позвольте узнать, какимъ манеромъ вы можете туда идти, ежели вы ничего этого не знаете и спрашиваете, когда праздникъ?

— Ахъ-ахъ-ахъ! покачивая головой, въ какомъ-то полуудивленіи и полусмѣхѣ лепетала хозяйка.—Н-ну, бог-го-мольцы!

— Ну, да! идемъ къ угоднику! по возможности спокойно сказалъ Павлуша дворнику, поднимаясь съ лавки.—Больше ничего...

— Идете Богу молиться, а требуете скоромъ? сказала хозяйка.

— Что-жъ такое? Если я боленъ?..

— Ахъ-ахъ-ахъ! вопила хозяйка.—А угодникъ-то на что? Зачѣмъ къ угоднику-то идете?.. Неужто-жъ молоко можетъ больше противъ него? а-ахъ-ахъ!..

— Вы бы въ аптеку шли, а не къ угоднику! сказалъ хозяинъ весьма сурово.—Ежели вы полагаете, что наѣсться скоромнаго лучше, то угодника Божія вы оставили бы... да...

— Ну, богомольцы... Прекрасно!

— Въ такомъ случаѣ вамъ нужно въ аптеку... да! продолжалъ хозяинъ, сердито усаживаясь на ступеньки къ намъ спиной,—а не къ Богу!..

— Ну, богомольцы! удивлялась хозяйка.—Идутъ къ угоднику—не знаютъ, когда ему память! нарядились въ мужицкій нарядъ,—а сами господа, вѣры не имѣютъ;—а идутъ!.. Молоко для нихъ больше Бога!

— Что это вы говорите! воскликнулъ Павлуша, видя, что она сбѣлала слишкомъ яркое резюме нашего глупаго положенія, — но спохватился онъ не во-время, ибо, почти въ то же время, хозяинъ, точно также, пораженной яркостью резюме своей супруги, снова быстро поднялся и еще быстрее спросилъ насъ:

— Да кто вы такіе, господа?

— Ты давай-ко разскажи-то, да не разговаривай много! сказалъ я весьма нелюбезно, — не твое дѣло!

— То-то лучше вамъ по-добру отседа... по-здорову.

— Говори, сколько надо, да заверни языкъ въ тряпку, а то ты мастеръ молоть-то, я вижу...

— Три цѣлковыхъ, — вотъ сколько! закипѣвъ гнѣвомъ, прогремѣлъ хозяинъ.—Давай деньги! Съ васъ, проходимцевъ, и не такъ еще надо бы... Мы вашего брата знаемъ коротко... да!

Видно было, что хозяинъ считалъ насъ въ своихъ рукахъ. Но я, чтобы не уронить себя передъ нимъ, принялся торговаться, но выторговалъ впрочемъ немного, ибо въ рѣчи хозяина стали упоминаться такіе слова, какъ «становой», «волость» и такъ далѣе, которыя хотя и не предвѣщали намъ опасности, но могли затянуть нашу прогулку въ безконечность, такъ что я былъ очень радъ, когда намъ, хотя и съ маленькими барышами, удалось наконецъ уйти. Разставшись съ постояннымъ дворомъ, нѣкоторое время мы шли вдоль столбовой дороги на-удачу, куда глаза глядятъ, и потому-то встрѣча съ партією богомольцевъ была намъ необыкновенно пріятна.

Мы пристали къ партіи.

II.

Среди богомольцевъ намъ было спокойно и хорошо. Народъ этотъ шелъ, тоже какъ и мы, повидимому неизвѣстно зачѣмъ, и, во всякомъ случаѣ, шелъ изъ-за какихъ-то совершенно непрактическихъ побужденій; а это намъ было по душѣ. Мы въ этомъ обществѣ могли хоть немножко опомниться, ибо все это общество и причина его страствованій были готовою темою для нашихъ наблюденій. Куда и зачѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, идутъ они? пришло мнѣ въ голову, и скоро между нами и богомольцами завязались разговоры. Народъ, который шелъ къ угоднику, былъ самый разнообразный: тутъ были и чиновницы, и мѣщанки, и отставной солдатъ, и какія-то неопредѣленные лица въ полукафтанахъ мужескаго пола, и такіе же женскіе.

Слушая ихъ разговоры, я вспоминалъ нашу томительно скучную провинціальную жизнь, въ которой вырастаютъ Алеша, бѣгающіе съ котомъ, Павлуша-тенора, поющіе басомъ, и такъ далѣе.

— Вы, матушка, по обѣщанію, что ли?

— По обѣщанію, родная. А вы?

— И я по обѣщанію. Болѣли у меня зубы три года ровно, день и ночь, день и ночь.

— И—матушка!

— Измучилась я, родная, вся какъ есть измучилась! и доктора были, и заговаривали—воротить воть скулу на сторону. Тутъ я и дала обѣщаніе.

— И—и!.. И прошли?

— Какъ дала обѣщаніе, такъ сейчасъ и прошли.

— То-то угодникъ-то! Я сама тоже: у меня пять лѣтъ ломилъ нога лѣвая.

Слѣдуетъ длинный разсказъ про болѣзнь.

— И прошло?

— Слава Богу! Каждый годъ съ тѣхъ поръ хожу къ угоднику...

— А я, матушка, въ-первой... Сказываютъ, какъ хорошо-то.

— И — и родимая! Так-то хорошо, так хорошо, Боже мой! Рассказать этого так и словъ нѣту никакихъ... То-то хорошо-то!

Странницы нѣсколько разъ повторили, какъ все это хорошо и чудно; но въ чемъ состояла красота, мы пока не узнали. Въ разговоръ вмѣшался странникъ въ черномъ полукафтани.

— Въ Оптиной пустыни, сказалъ онъ:—вотъ ужъ такъ хорошо, а въ Соловецкомъ еще лучше.

— Не была, батюшка, не хочу лгать.

— Какъ можно, вмѣшалась новая странница:—въ Соловецкомъ непримѣръ лучше... Есть ли тутъ ночлегъ-то страннымъ?

— Тутъ, матушка, отъ обители нѣту ночлега.

— Гдѣ-жъ народъ-то спать?

— А гдѣ Богъ пошлетъ. И на голой землицѣ поспишь.

— Для Бога все можно, а ужъ что на счетъ упокою, такъ въ Соловецкомъ монастырѣ эдакія хоромы выведены для страннаго человѣка—пріютъ тебѣ есть, по крайности... А трапеза здѣсь какъ?

— Не знаю, матушка, свое ѣмъ.

— Здѣсь трапеза слабая! сказалъ странникъ.—Вотъ у Саввы Плотника, такъ тамъ, вотъ тамъ ужъ чудесно! Въ полночь ты пришелъ, за-полночь, во всякое время тебѣ пища... Экономъ сейчасъ выносить — рыбу ли тамъ, квасъ ли — что тамъ по чину—«вкуся», говорить... То-то хорошо-то!

— Ужъ такъ, ужъ хорошо!.. А тутъ-то какъ же? Неужто ужъ угощенія обитель не выставляетъ?

— Угощеніе есть, только скудное. Послѣ обѣдни по копѣйкѣ, по полуфунта хлѣба, да щей тамъ...

— И—я!.. Что-жъ такъ? Тутъ мѣста рыбныя...

— Рыбныя точно, только что нѣту заведенія этого... Настоятель изъ военныхъ.

— И-ну?.. Только щи? Какія же щи-то?

— Ну тамъ со свѣткомъ иной разъ... Скупю!

— Скупю! Ужъ скупю! такая обитель... Нѣтъ, у Тихона Задонскаго много лучше!.. Вотъ ужъ гдѣ хорошо-то, такъ ужъ, кажется, и рассказать-то не расскажешь. Тамъ сейчасъ тебѣ подадутъ пирогъ съ кашей...

— Въ Оптиной — съ капустой, прибавилъ странникъ.

— А тутъ съ кашей—первое. Съѣла ты пирогъ, начинается пѣніе; пропѣла ты тропарь, опять садись за столъ—щи отличнѣйшія!

Просто слюни текли, слушая реестръ кушаньямъ, которые, по словамъ записной и опытной странницы, подавались въ обители. Нѣкоторые изъ странниковъ и странницъ, заслушавшись ся рассказами, въ удивленіи повторяли:

— То-то хорошо-то!.. Ужъ и хорошо!

Съѣстная черта неизвѣстнаго намъ «то-то хорошо» была разъясняема довольно долгое время, причѣмъ совершенно неожиданно обнаружился новый для меня типъ странника—изъ мѣщанъ, обуравшаго исключительно съѣстными цѣлями.

Это былъ молодой, лѣтъ двадцати-пяти, малый, весьма недалекій, но крайне добродушный.

— Чудесное это дѣло, я тебѣ скажу, странствовать, сказалъ онъ мнѣ, слушая странницу. —

Слабому человѣку, вотъ какъ я, примѣрно, лучше не надо!

— Чѣмъ же?

— Да чѣмъ? Чего мнѣ нужно-то? Былъ бы сытъ, больше мнѣ ничего не надо... А тутъ въ обителяхъ, почестъ, вездѣ кормятъ. Круглый годъ и сытъ.

— Неужто круглый годъ?

— Да почестъ что такъ. Теперь гляди: по веснѣ идутъ обительскіе праздники съ выносомъ: изъ теплаго, стало быть, зимняго мѣста переносать въ холодное мѣсто. Тутъ бываютъ праздники: ну-ко, покуда обѣгаешь всѣ-то ихъ? Хватъ, анъ весна-то, Господи благослови, и прочь! Весну отправишь, идетъ лѣто; тутъ ужъ настоящіе праздники, тутъ угощеніе отъ обителей иной разъ сутокъ по трое, по четверо... Тутъ только поспѣвай; я вотъ теперь сюда, а завтра, послѣ вечерень, я ужъ отсюда въ ходъ. Да надо поспѣвать къ Саввѣ Плотнику: большое празднество, съ трапезой; тутъ надо облажничать дѣла, не зѣвать. Видѣли, какъ дѣла-то?

— А осень?

— А оченью опять, Господи благослови, переносъ начинается изъ холоднаго мѣста опять же въ теплое обратно, и опять же празднество. Тутъ опять обѣжишь мѣстовъ тридцать, анъ гляди—и зима.

— Ну, а зимой какъ?

— А зимой, братецъ мой, я къ купцамъ въ кучера. Особливо люблю купчихъ. Куда ей ѣхать? Лежишь да стихи духовные поешь на печи. Купцы народъ — не поворотъ; что ему? Иной разъ только и ѣзды бываетъ, что отъ угару...

— Какъ отъ угару?

— Угораютъ вѣдь они, купцы-то, часто по зимамъ. Почестъ, каждый день они угораютъ. Ну, запряжешь мерина, потаскаешь ребятъ по воздуху, чтобъ отошло... Сами-то хрѣномъ болѣе... Только всего и работы иной день... А иной, случится, съ хозяйкой на рынокъ съѣздишь. На рынокъ ей—все одно какъ въ театръ—время провести. Нашъ братъ, простой человѣкъ, захотѣлъ ѣсть, пришелъ въ обжорный рядъ: «Почемъ? Рѣжь!»—больше ничего... Засунулъ рубецъ за щеку и пошелъ къ своему мѣсту; а имъ этого не надо. Вдешь въ лавку шагомъ, разговариваешь съ ней, купчихой: «не будетъ ли, молъ, завтра морозу, какъ узнать?» Ну, говоришь ей—такъ и такъ... Собака пробѣжитъ, о собакѣ поговоришь; галка въ случаѣ, тоже и объ ней чество... Чудаки онѣ бываютъ, купчихи! Я у нихъ зимой жить люблю... А какъ весна, я маршъ на переносъ и пошелъ. Да что же?

— Да, хорошо!

— Ей-богу! Да и по святымъ мѣстамъ какъ хорошо-то...

— Хорошо!

— Дуже хорошо... Столь дивно, такъ это... Ахъ, шутъ тебя возьми, табакъ-то весь.

— На, возьми папироску, сказалъ я.

— Дай, другъ, дай... Весь табакъ-то...

— Постыдись ты, безпутный, замѣтила, увидѣвъ папироску, одна изъ странницъ грубымъ, басоватымъ голосомъ. Далеко-ль тутъ осталось до

угодника? Хошь бы ты малость потерпѣлъ... Грѣхъ вѣдь!

— Грѣхъ, это вѣрно. Только теперь я и курить примусь, и грѣха не будетъ, хвостовито сказалъ молодецъ.

— Будетъ!

— Ахъ нѣтъ! То-то и есть. Онѣ, обратился онъ ко мнѣ, съ веселой улыбкой:—онѣ, эти богомолки, страсть какъ для моей души помогаютъ. Ей-богу. Теперь, изволишь видѣть: курить точно грѣхъ, это вѣрно. Но коль-скоро она меня осудила, на комъ грѣхъ-то?

Богомолка сердито молчала.

— На тебѣ! весело сказалъ ей молодецъ.—Видѣла? И выходитъ такъ, что ты идешь къ угоднику-то съ папирисой, а не я... Ловко что-ли!

— Богъ съ тобой...

— Видѣла? продолжалъ молодецъ:—какъ вышло-то чудесно. Я вотъ покурю себѣ, накурюсь—и чистъ! а ты—съ папирисой... А не осуждай! Отлично мнѣ, продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ:—съ этими, съ богомолками, ходить... Я напысь, напысь, накурюсь, все справлю, а они идутъ, корочку да водицу, хватъ—вся ѣда на нихъ, потому не вытерпятъ, осудятъ, а я чистъ-чистехонекъ подхожу къ Господу, словно бы я и не ѣлъ, и не пилъ ничего. Отлично это выходитъ!

— А ты-то не осуждаешь, что ли? спросила его старуха.

— Я-то? Никакъ. Чѣмъ я тебя осудилъ? Я тебя какъ называлъ: «старушка Божія»; на мнѣ грѣховъ вотъ на этакой волосокъ нѣту, а вотъ на тебѣ есть... Теперича ты идешь къ угоднику, и напилась ты, и наѣлась, и накурилась, а я—чистъ. А кто ѣлъ-то? Я! Видѣли, какъ ловко вышло?.. Ха!..

Молодой малый весело покуривалъ папириску, весело шелъ впередъ и по временамъ съ улыбкой говорилъ:

— Ну-ка, старушка Божія, закури еще папириску, и закуривалъ самъ.

— Ахъ, старушка, какъ тебѣ не стыдно, идешь къ угоднику и табачищемъ дымишь... Вѣдь это дьяволы въ тебѣ дымятъ... Какой у тебя табакъ знатный! мимоходомъ замѣчалъ онъ мнѣ.

Богомолка молча шла впереди и не отвѣчала.

Пройдя съ богомольцами верстъ десятокъ, мы почти не слыхали отъ нихъ другого объясненія выраженію: «то-то хорошо-то», кромѣ съѣстного. Изрѣдка только кто-нибудь, пренебрегая съѣстнымъ и желая коснуться предмета съ другой, болѣе высокой стороны, упоминалъ о звонѣ, о пѣніи.

— Въ которомъ часу звонъ-отъ, батюшка? похивая и побряхтывая, спрашивала богомолка богомольца.

— Въ первомъ часу, матушка! отвѣчалъ тотъ, произнеся слова на старушечій манеръ и даже стараясь говорить женскимъ голосомъ.

— Въ полночь?

— По полуночи, матушка, въ сам-ую по полуночи.

И они оба вздыхали.

По мѣрѣ того, какъ мы подвигались все ближе

и ближе къ городу, толпы богомольцевъ стали увеличиваться; по дорогѣ все чаще и чаще стала проноситься экипажъ и нарочно устроенныя на случай праздника кибитки изъ рогожъ, трепавшихся по сторонамъ телѣги; народу ѣхало много. На двѣнадцатой верстѣ отъ постоялаго двора въ большую губернскую дорогу впадала другая такая же большая дорога, шедшая на Москву; и съ этого впаденія количество богомольцевъ и повозокъ съ пассажирами еще болѣе увеличивалось. Ходьба цѣлаго дня достаточно уже утомила насъ, и мы приняли предложеніе какого-то ямщика, который громкимъ голосомъ кричалъ, обращаясь къ богомольцамъ:

— Два мѣста есть; православные, садись! Недорого возмю! Звонъ прозвѣаешь! Эй!

За рубль серебромъ мужикъ согласился насъ довести до города, и мы, забравшись въ просторный и круглый, какъ орѣхъ, тарантасъ, необыкновенно покойно сидѣвшій на сломанныхъ и перевязанныхъ веревками дрогахъ, очутились въ обществѣ купца и купчихи.

Послѣобычныхъ вопросовъ: «не къ угоднику-ли, батюшка?», сказанныхъ тоже старушечьимъ тономъ, почему-то необходимымъ при разговорѣ объ угодникахъ Божіихъ и вовсе ненужнымъ этому купцу, когда онъ въ своей лавкѣ продаетъ гнилой товаръ, послѣ этого вопроса, на который мы дали утвердительный отвѣтъ, опять послышалось знакомое намъ:

— То-то, говорятъ, хорошо-то!

Это сказала купчиха и вздохнула.

Купецъ, ея супругъ, только вздохнулъ, и, не имѣя вѣроятности выяснить свой вздохъ словами, обратился къ кучеру съ вопросомъ:

— Это какъ деревня-то называется?

— Не знаю!

— Это—Красные Дворы, отвѣтилъ купецъ самъ себѣ, ибо давно зналъ эти мѣста, какъ свои пять пальцевъ.

Мы молчали.

— А что, господа, сказалъ купецъ:—въ которомъ часу въ обители начало звону будетъ?

— Въ полночь! отвѣчали мы.

— Въ полночь! сказалъ купецъ. — Какъ чудесно!

Купчиха вздохнула. Она ѣхала къ угоднику отъ стрѣльбы въ головѣ.

— Въ полночь! повторилъ купецъ.—Правда ли, нѣтъ ли, не знаю, сказываютъ, всенощная оканчивается въ двѣнадцатомъ часу, а черезъ часъ служеніе?

— Не знаю, сказалъ я.—Мы въ первый разъ.

— Гм! Въ первый... Сказываютъ, даже хорошо.

— Говорятъ, что хорошо.

— Хорошо!..

Купчиха, ударяясь о косякъ вискомъ, вздохнула и перекрестилась. Разговоръ пресѣкся. Съѣстной взглядъ на вещи не приличествовалъ купцу по его состоянію и положенію, а насчетъ звону много не наговорить.

— Это какая деревня-то? спросилъ онъ опять ямщика.

— Не знаю! отвѣчалъ тотъ.

— Это Мырриха...

Разговоръ было опять пресѣлся; но неожиданно врагъ попуталъ купца и онъ произнесъ:

— Тутъ воровъ теперича наполнило—Господи, Боже мой!

— Гдѣ именно?

— А вокругъ обители, страсть одна! Тутъ воры шатаются цѣлыми табунами, изъ одной обители въ другую такъ и переваливаютъ. Меня разъ какъ обчистили; дѣло было такъ...

Начался длинный, длинный рассказъ про воровъ, сразу оживившій нашу, до сихъ поръ довольно натянутую, бесѣду. Сначала купецъ разсказалъ, какъ его обокрали у Митрофанія; потомъ купчиха начала разсказывать про свояченицу, которую среди бѣла-дня обокрали нанобразцовѣйшимъ образомъ. Интересны были не процессы кражи, а оживленіе, съ которымъ шелъ этотъ разговоръ.

Видно было, что купецъ ѣхалъ поразить кости, засидѣвшіеся за прилавкомъ, и отвести душу, одереvenѣвшую отъ постоянного сосредоточенія на томъ, что «уступить нельзя» и «самимъ дороже».

Мы такъ подружились, что купецъ предложилъ намъ отправить жену въ страннопріимный домъ, а самъ хотѣлъ остаться съ нами гдѣ-нибудь въ трактирѣ.

— Все чайку попьемъ! сказалъ онъ.

— Перекрестись! дернула его за руку жена:— ахъ не видишь?—колодець святой!

Купецъ снялъ шапку, перекрестился и сказалъ:

— Право, попили-бы, господа?

Далѣе шелъ разговоръ о нынѣшнихъ и старыхъ временахъ. Сущность разговора была та, что теперь пошло въ ходъ мошенничество, тогда какъ прежде его и слыхомъ не было будто-бы слышно.

Между тѣмъ на дворѣ темнѣло сильно; ночь была жаркая, съ тучами, безъ звѣздъ.

Вдали, въ сторонѣ уѣзднаго города, видѣлись огоньки и ярко горѣла внутренность соборнаго купола надъ мощами угодника.

Фигуры богомольцевъ поминутно мелькали цѣлыми толпами мимо нашего тарантаса.

— Марья Кузьминишна! дернувъ за рукавъ жену и указывая ей на куполъ, произнесъ купецъ:

— Глянь: кумполъ-то!

Купчиха глянула и перекрестилась:—Ужъ какъ хорошо!

— Дивно! сказалъ купецъ; но намѣренія своего отправиться съ нами въ трактиръ не бросилъ.

Когда тарантасъ нашъ заколесилъ по темнымъ, изрытымъ канавами и ямами улицамъ уѣзднаго города, онъ опять сказалъ женѣ:

— Право, тебѣ къ Амелѣѣ-бы Тимоеевнѣ, въ страннопріимный! По крайности спокойнѣе.

— Ну-къ чтожъ!

Въ голосѣ купчихи слышалось недовольство, несмотря на то, что мужъ говорилъ повидимому ласково; по всей вѣроятности, она коротко знала, что значать эти ласковыя приглашенія. Сдавъ жену въ страннопріимный домъ, купецъ громко крикнулъ извозчику: «пошелъ!» и, судя по жесту, упо-

требленному имъ при этомъ, намѣренъ былъ провести время весело.

— Въ первомъ часу звонъ-то? спросилъ онъ у извозчика.

Въ первомъ.

— Теперь девятый часъ. Пошелъ! Еще много времени, валай къ Синицину!

У Синицина былъ трактиръ, гдѣ мы нашли водку и жареную рыбу. Но оживленной бесѣды съ купцомъ не состоялось: усталость клонила насъ ко сну. Павлуша Хлѣбниковъ совсѣмъ раскился, ничего не слыхалъ и не понималъ, и когда мы наконецъ улеглись всѣ трое въ томъ-же тарантасѣ на дворѣ, такъ какъ во всемъ городѣ не было угла, гдѣ бы уже не было набито биткомъ, онъ заснулъ, какъ убитый. Мы лежали рядомъ съ купцомъ и молчали. О чемъ было говорить намъ? Купецъ видимо настроивался на религіозной ладъ. На этотъ ладъ настроивалось, кромѣ насъ, множество народу, лежавшаго тоже въ тарантасахъ и телѣгахъ, которыми былъ загроможденъ дворъ. Но, какъ они ни налаживались, ничего не выходило, кромѣ вздоховъ и вопросовъ о звонѣ.

— Когда звонъ-то? слышалось въ одномъ углу.

— Въ первомъ часу, отвѣчало сразу человѣкъ пять.

— Въ первомъ?

— Въ первомъ часу звонъ.

— Что это?

— Про звонъ спрашиваютъ.

— Про звонъ?

— Про звонъ.

— Звонъ въ первой часу.

— Да я такъ и сказалъ.

— А-а! Я не расслышалъ. А звонъ тутъ точно въ полночь начинается.

И потомъ:

— О-охъ, Господи, батюшка!

Или:

— Хорошо! дюже хорошо!

Я заснулъ.

Когда я проснулся, звонъ былъ уже въ полномъ разгарѣ. На дворѣ все копошилось и суетилось; тутъ купецъ причесывалъ гребнемъ мокрые волосы; тамъ богомольцы умывались, утирались полами и шапками; народу было вездѣ множество, хоть было только шесть часовъ утра. Купца уже не было. Не безпокая Павлушу, крѣпко спавшаго, я пошелъ въ монастырь.

У монастырскихъ воротъ торговали свѣчами, иконами, книгами. Тутъ же была небольшая ярмарка: около палатокъ толпились красныя полки деревенскихъ женщинъ. Слѣпыя пѣли стихи, нищіе просили милостыню, торгаши кричали съ покупателями. Въ монастырскихъ воротахъ стоялъ столъ со множествомъ стеклянокъ и бутылокъ, наполненныхъ деревяннымъ масломъ изъ лампадокъ, горящихъ надъ гробницею угодника. Простыя деревенскія женщины, больные, увѣчные, толстыя купчихи,—толпами подходили и пили по стаканчику, не обращая вниманія на то, что иногда въ маслѣ чернѣлъ кусокъ фтиля.

— Ваше благородіе! весело произнесъ купецъ, встрѣчая меня.—Что долго почивали!

— Усталъ.

— А канпаніонъ!

— Онъ еще спитъ.

— Хе-хе-хе. Богомольцы! Развѣ такъ можно? А я ужъ приложился.

— Уже?

— Эво! Я вы?

— Я вотъ сейчасъ.

— Пойдемте, я еще разъ приложусь вмѣстѣ съ вами.

Въ это время изъ толпы народа пробралась къ намъ купчиха и, запыхавшись, произнесла, обращаясь къ мужу:

— Приложился?!

— Какъ же!

— А въ старомъ придѣлѣ?

— Въ какомъ?

— Гдѣ рава?

— Это гдѣ же?

— Да вонъ, вонъ, иди скорѣе! а то набѣется народу... Иди!

— Пойдемте скорѣе! сказалъ купецъ, торопясь идти.

— Ай не были? спросила купчиха меня.

— Да народу много, не проберешься.

— Ахъ, молодые люди! Ужъ начто мы женщины, ужъ кажется «дряни» считаемся, а и то пробилась... Идите скорѣе!

Старая церковь была набита битьемъ, такъ что народъ большою массою толпился у входа.

Толкотня и давка ужасныя.

— Купецъ, купецъ, кричали купцу нѣсколько богомольцъ.—Мы за тобой слѣдомъ... Дай, батюшка, пробиться женщинамъ!

— Господинъ купецъ! проводи женщину!

— Идите! идите за мной!

Купецъ былъ истинный герой въ эти минуты. Онъ оживился, сталъ молодцомъ, выпрямился и съ истинно варварскимъ ожесточеніемъ вломился въ толпу. Круто согнутыми локтями онъ валилъ народъ направо и налево, не разбирая, женщина ли тутъ съ ребенкомъ, старикъ ли, монахиня — онъ просто крутилъ среди толпы, какъ вихорь! Богомолки, держась одна за другую и охая, бѣжали по слѣду, который купецъ, какъ хорошій пароходъ, оставлялъ за собой.

Минутъ черезъ пять онъ воротился, весь красный и, расшвырнувъ толпу съ крыльца въ разныя стороны, появился предо мной.

— Приложились? спросилъ я его.

— От-глично, два раза приложился!

Купецъ встряхнулъ волосами и отеръ губы рукавомъ.

— А вы-то?

— Да тѣснота ужасная.

— Пойдемте, я васъ проведу въ другомъ мѣстѣ. Я еще тамъ не прикладывался. Доска тамъ показывается.

— Что такое?

— По священному будетъ доска, а по нашему

— доска, стало быть, отъ гроба... Такъ приложиться надо къ ней... Пойдемте!

И опять онъ врѣзался въ толпу съ какими-то неестественнымъ азартомъ, какъ будто въ этомъ была его задача. И я замѣтилъ, что не одинъ онъ любилъ расправить кости въ этой свалкѣ.

Наконецъ онъ вездѣ приложился.

— Куда-жъ теперь? сказалъ онъ въ недоумѣніи.

— Пойдемте чай пить, сказалъ я.

— Грѣхъ бы...?

— Какъ знаете.

— Да ужъ пойдемъ, пойдемъ. Обѣдни начнутся въ двѣнадцатомъ часу... Куда дѣться!

Но, выпивъ одну-другую чашку почти молча, купецъ сказалъ:

— Нѣтъ, надо отстоять раннюю, отдѣлаться, да пойтить по рынку потолкаться... Поздняя-то обѣдня вѣдь она до трехъ часовъ протянется...

И ушелъ.

Я посидѣлъ немного и пошелъ разѣскивать Павлушу Хлѣбникова. Въ тарантасѣ его не было. Поднявшись во второй этажъ каменнаго постоялаго двора, я нашелъ его въ широкихъ новыхъ сѣняхъ: онъ умывался. Передъ нимъ стояла кухарка съ корцомъ воды и чему-то смѣялась, прикрывая ротъ рукою.

Завидя меня, онъ молча махнулъ мнѣ рукою, какъ бы говоря: «стунай, стунай!». Я не понималъ, въ чемъ дѣло.

— Нѣтъ-ли полотеньчика? сказалъ онъ, обращаясь къ кухаркѣ.

— На-те! послышался откуда-то дѣвичій голосъ.

Изъ раскрытаго, выходившаго въ сѣни окна, изъ-подъ опущенной шторы, высунулись пальцы женской руки, съ колечкомъ на мизинцѣ, и подали полотенце.

— Покорно васъ благодарю!

Рука спряталась, а въ комнатѣ, изъ занавѣшеннаго окна которой она высовывалась, послышался смѣхъ молодыхъ голосовъ.

— Не хотять къ обѣднѣ-то! усмѣхалась, прошептала кухарка.

Павлуша очевидно тоже не спѣшилъ къ обѣднѣ. Я оставилъ его и ушелъ на улицу...

III.

Шла поздняя обѣдня. Главная соборная церковь, гдѣ находился угодникъ, была биткомъ набита господами, наѣхавшими изъ окрестныхъ деревень, городской аристократіей, купечествомъ и тѣми изъ простонародія, которые успѣли пробраться заблаговременно. Церковныя двери были заперты и на наперти стояли частныя пристава и будочники, пропуская благородныхъ господъ и провозжаая дамъ. Массы другихъ богомольцевъ наполнили монастырской дворъ и большими толпами разлеглись вокругъ высокой монастырской стѣны. Было глубокое молчаніе — молчаніе необыкновенно томительное, — въ которомъ, кромѣ терпѣнія, я не

мог ничего видѣть. Изрѣдка слышался голосъ кликуши въ толпѣ, и тогда возбуждалось вниманіе, но потомъ опять та же тишина, терпѣніе и молчаніе.

Въ проходѣ подъ колокольной толпа народу ломится въ желѣзные двери, стараясь проникнуть на колокольню, и ломится потому, что какой-то слѣпой горбунъ не пускаетъ туда, напирая широко, неуклюжею грудью на дверь. Богомолецъ самъ начинаетъ продираться на колокольню. За копѣйку его пускаютъ. Вошелъ онъ въ первый ярусъ, тутъ народъ идетъ во второй, и онъ за нимъ. Кто-то хочетъ перелѣзть черезъ перила на монастырскую крышу, и перелѣзаетъ; весь народъ смотритъ на смѣльчака, вслѣдъ за которымъ лѣзетъ другой; желѣзные листы кровли гремятъ подъ ихъ ногами. Частный приставъ погрозилъ имъ пальцемъ съ крыльца собора, и они сѣли на крышѣ на корточкахъ. И опять томительное молчаніе. Вокругъ монастыря лежатъ голцы бабъ и мужиковъ. Разговоры нѣтъ никакихъ:—про свое, про домашнее говорить еще успѣютъ въ дорогѣ и дома. Сюда они шли добровольно, не такъ какъ на барщину или по требованію станового:—зачѣмъ-нибудь имъ это было нужно. На колокольной раздались удары колокола; лежавшіе подняли головы, встали, поглядѣли, почесались и легли.

Я сидѣлъ за воротами постоялаго двора.

Рядомъ со мной, тутъ же на лавочкѣ, сидѣли: сельскій дьячокъ и солдатъ, оба пожилые; солдатъ былъ отставной.

Дьячокъ задавалъ ему отрывочные вопросы, солдатъ отвѣчалъ ему тоже полусловами, растирая на ладони табакъ.

— Какой губерніи?

— Новгородской.

Молчаніе.

— Новгородской? переспрашивалъ дьячокъ.

— Новгородской губерніи, повторялъ солдатъ.

— Гм!

И молчаніе.

— Тихвинскаго уѣзда, произносилъ онъ какъ-бы въ раздумьи, спустя нѣкоторое время:—Новгородской губерніи, села Спасскаго.

— Большое село?

— Село у насъ большое.

И потомъ:

— У насъ село большое, большое село!

— Большое?

— Большое село... Семьсотъ дворовъ...

— У-у-у!..

— Да! Село богатое. Богатое село!

И опять молчаніе.

— Эта медаль гдѣ получена?

— За Польшу!

— За польскую кампанію?

— За польскую.

— То-то, я гляжу, новенькая.

Солдатъ поглядѣлъ молча на свою медаль.

— Мы тогда три мѣсяца выстояли въ Радомской губерніи...

— Что же? какъ?

— Не счетъ чего?

— Какъ, напримѣръ, бунтъ этотъ... ихній?

— Да чего же? Больше ничего—хотѣли своего царя!

— Ахъ, безсовѣстные! сказалъ дьячокъ, качая головой.

— Ну, а какъ народъ?

— Народъ—обнаковенно... ничего.

— Ничего?

— Ничего!

Изъ подобострастія въ голосѣ, которымъ дьячокъ разспрашивалъ солдата, и изъ торопливости, съ которою онъ какъ-бы наобумъ задавалъ ему ничего невзначайшіе вопросы, я не могъ не видѣть, что дьячокъ боится потерять собесѣдника.

Да и самъ я боялся потерять его. Вслѣдствіе этого, когда солдатъ замолчалъ и сталъ укладывать кинесеть въ карманъ, какъ-бы собираясь уйти, а дьячокъ, уставившись на него, не зная повиديو-моу о чемъ спросить, я тоже успѣшилъ задать ему вопросъ.

— Ну, а прежде гдѣ вы стояли? сказалъ я наудачу.

— По губерніямъ больше.

— По губерніямъ? спросилъ я, и дьячокъ повторилъ то же.

— Больше все по губерніямъ стайвали.

Нить разговора снова готова была прерваться; но солдатъ, должно быть умилосердившись надъ нами, произнесъ:

— Во время крестьянства, такъ тогда много насъ потаскали... По Поволожью...

— Много? спросилъ дьячокъ.

— Потаскали довольно!

— Что-жъ, усмирять что-ли?

— Усмирять. Усмирение было...

— Ну, и что-же, много было хлопотъ?

— Нѣтъ, настоящаго ничего, почестъ, не было... чтобы, напримѣръ, битвы, али что... Такъ!

— Ну, какъ же вы?

— Ну, придемъ, получаемъ отъ помѣщика угощеніе...

— Угощенье?

— Какъ же! одинъ намъ выставилъ шесть коровъ!

— Шесть?

— Шесть коровъ; да, какъ же? выставилъ!

— Н-ну?

— Ну, пришли. Стали за селомъ. Бабы, дѣвки разбѣжались: думали—какое безобразіе отъ солдатъ будетъ...

— Ишь вѣдь безтолочь!

— Разбѣжались всѣ, кто куда... А мужики съ хлѣбомъ-солью къ намъ пришли, думали—мы имъ снизойдемъ. Хе-хе!

— То-то дурье-то, и-и!

— Ужъ и правда, дурье горегорькое! Я говорю одному: «вы, говорю, ребята, оставьте ваши пустяки! Мы шутить не будемъ; намъ ежели прикажутъ, мы ослушаться не можемъ, а вамъ будетъ очень отъ этого дурно...»—«Противъ насъ, говорить, пуль не отпущено...»

— Вотъ дубье-то!

— Говорить: «не отпущено пуль...» Я говорю: «а вотъ увидите, ежели не покоритесь...»

— Ну, и что же?

— Ну, обнаковенно—непокорство... И шапокъ не снимаютъ! Начальство дѣлаетъ команду: «холостымъ!» Какъ холостыми-то мы тронули, никто ни съ мѣста! Заготовили всѣ какъ меренья! Го-го-го! Пуль нѣтъ... «Нѣтъ?» Нѣтъ! Ну-ко! scomандовали намъ. Мы—ррразъ! Батюшки мои! Кто куда! Отцу родному и лихому татарину, и-и-и... А-а!.. Вотъ тебѣ и пуль нѣту!

— А-а!.. Не любишь?

— Вотъ-тѣ пуль нѣту!..

— Ха-ха-ха!.. То-то дураки-то!.. Нѣту пуль! И заберется же въ голову!

— Послѣ то ужъ схватились... да ужъ!..

— Ужъ это всегда схватятся!..

— То-то глупые-то, прости, Господи! сказалъ дьячокъ.—Какую иной разъ заберутъ въ голову ахинею, хоть что хошь, ничего не выбьешь! Вѣдь какую кашу иной разъ заварятъ! Вотъ въ нашемъ селѣ и по сейчасъ идетъ суматоха съ мужиками... Того и гляди, доведутъ до бѣды... Ей-Богу!

— А то что же? сказалъ солдатъ.—Не будешь соблюдать, что показано, за это тебя по головѣ гладить не будутъ, будь покоенъ...

— И ей-Богу такъ! Вотъ хоть у насъ...

— Далеко-ли?

— Здѣшняго уѣзду, верстъ тридцать... Село Покровское. Такъ у насъ, я тебѣ скажу, вотъ ужъ который мѣсяцъ идетъ безтолочъ... Просто покою нѣтъ! Да вѣдь что они денегъ-то извели! Вѣдь страсть! А почему? Шутъ ихъ знаетъ!

— Порядку не знаютъ. Больше ничего.

— Именно! Теперь на однихъ дорожковъ сколько они прогусарили денегъ. Посылаютъ дорожа, такого же безсловеснаго, какъ и сами: ходить, ходить, придетъ ни съ чѣмъ... А теперь какъ дорожъ въ городъ—и простись!

— Я одного такого холока встрѣтилъ, сказалъ я.—Не знаю, отъ васъ-ли?

— Гдѣ вы встрѣтили?

— Въ городѣ, недѣли полторы тому назадъ.

— Ну, нашъ, нашъ! Ну, нашъ! Это наши!

— Бѣлокурый?

— Ну, нашъ, нашъ, Демьянъ! Теперь онъ въ тепломъ мѣстѣ сохраняется...

— Изъ-за чего это у нихъ всѣ хлопоты? спросилъ я.

— А шутъ ихъ разберетъ!

— Какъ же такъ?

— Да такъ... Вы разговаривали, что-ли, съ нимъ, дорожкомъ-то?

— Разговаривалъ.

— Ну, что-жъ онъ вамъ сказалъ?

— Да онъ-то дѣйствительно что-то путался. Что-то про душу, про...

— Ну, вотъ-вотъ! перебилъ меня дьячокъ.—Про душу! Вспомнили душу, изволишь видѣть! сказалъ онъ, обратившись къ солдату.

— Хе! промывчалъ тотъ.

— Что же можешь сдѣлать для нихъ начальство? Ну, самъ ты посуди?

Солдатъ не отвѣчалъ, хотя и произнесъ слово «обнаковенно».

— Больше ничего, продолжалъ дьячокъ:—что дали волю!

— Это самое!

— Д-да! больше ничего—воля! Прежнее время онъ съ утра до ночи на работѣ. Онъ пришелъ домой, повалился, какъ камень, а въ нынѣшнее-то ему ужъ часть-другой и безъ дѣла придется... да! Ну, ему и дѣвять въ башку.

— Этое самое!

— Да какъ же? Прежде онъ одно дѣло кончилъ, пошелъ бы куда хотѣлъ, анъ управляющій кричить: «иди туда-то». А теперь онъ лошаденку свою загналъ въ сарай—и все его дѣло... И въ кабакъ.

— Да-а, въ кабакъ! это ему первое удовольствіе, весь пропилъ.

— Дѣт-ти пьютъ! Дѣт-ти!

— Цесс... Нѣтъ, этого въ старину не было!

— И въ умѣ-то ни у кого объ этомъ не было, не то что въ явѣ... А какъ дали имъ волю, вотъ у и забрусилъ, на разные манеры: душа, то-се... Ну только, я такъ думаю, опоздали! да!

— Поздна штука!

— Да, поздновато!.. Опомнились! Становой имъ говорить: «на все есть законъ; тамъ сказано, чтобы этого не было, больше ничего»—нѣтъ, воротятъ, стоять на своемъ.

— Да въ чемъ же въ самомъ дѣлѣ вся эта исторія? спросилъ я. — Кажется, дѣло началось изъ-за земли?

— Видите, какое дѣло. Я вамъ сейчасъ расскажу...

— И душа тутъ какъ-то къ землѣ...

— И душа! Вотъ какъ было дѣло.

Дьячокъ придвинулся ко мнѣ.

— Изъ-за земли, изволите говорить? Это несправедливо. Ужъ ежели-бы изъ-за земли, то имъ-бы надо затѣвать дѣло раньше, въ самомъ началѣ, когда крестьянство уничтожилось. Въ это время съ ними господскіе довѣренныя дѣйствительно поступали неаккуратно. Земля имъ дана плохая; но такъ какъ страху они были научены, то и взяли ее безпрекословно! Второе дѣло—придирка къ нимъ большая: снопы развалились—штрафъ; цѣлину пахали, бородазы рѣдкія—штрафъ, а мерзую (раннюю весну ихъ тогда выгнали) землю пахать, да еще цѣлину, —я то спасибо, хоть и рѣдкія-то. Но они и тутъ молчали. Другой разъ троемъ досталось совсѣмъ понапрасну: гулялъ баринъ съ собакой, ночью, а караульщикъ увидалъ его, не разглядѣлъ и подошелъ съ другимъ караульщикомъ къ барину-то! У обоихъ на плечахъ дубины: ну, барину-то и того... онъ бѣжать! они за нимъ, онъ—«карауль!».. Поднялся шумъ (время было неспокойное), и показись сгоряча-то, что они съ злымъ, напимѣръ, намѣреніемъ... Похватали ихъ! Началось дѣло... Много было противъ нихъ грѣха—это говорить нечего—только ничего, ни-ни, ни Боже мой, не было... Авось не привыкать имъ къ этому?

— Обнаковенно! сказалъ солдатъ.— Въ прежнее время нешто—такъ-то?

— Ну да! Еще въ тридцать разъ хуже... А тутъ все же мужику и на себя время стало оставаться; иной разъ, что по положенію справить дома, уберется, да и безъ дѣла посидитъ... Ну, и пошло ему въ голову. Послѣ того, какъ я рассказывалъ вамъ, посадили караульщикова въ острогъ, отецъ Алексѣй, нашъ священникъ самъ ходилъ къ барину, объяснялъ ему, что, «могъ, неправильно это вы», и кстатѣ ужъ и про управляющаго объяснилъ: «теперь, говоритъ, воля, этого нельзя доказать управителю, народъ пожалуй неудовольствіе окажетъ...» Послѣ этого баринъ взялъ другого управляющаго, и народу еще послободнѣй стало; тутъ ему и пошло въ голову... Особливо, ежели пропить нечего.

— Да!

— Да! Какъ въ кабакъ-то не пойдеть! Что онъ на печи-то лежать надумаетъ?.. Только дозволъ себѣ мечтать, такъ вѣдь кажется и не глядѣлъ бы на свѣтъ; ну, вотъ и у мужиковъ то же самое... Гляжу я, идетъ ко мнѣ подъ вечерокъ мужикъ.—«Здравствуй, говорю, Игнатичъ! Что скажешь?» Думаю что-нибудь по хозяйству, по домашности тамъ...—«Да такъ», говорятъ. И мнется.—«Садись, скажи, молю, что-нибудь...»—«Да я такъ, говорю, ничего...» Чешетъ голову. Я молчу.—«А что, говоритъ, Игнатичъ, что я хотѣлъ тебя спросить: правда-ли, нѣтъ-ли, кто на Святую помереть, тотъ въ рай попадетъ?»—«Что это, говорю, тебѣ пришло на умъ?»—«Да такъ говоритъ, нонѣ рано убрались, такъ оно такъ...» Ну, обыкновенный ихній разговоръ...

— Таѣ да да! сказалъ солдатъ.— Талды да талды.

— Ну да... Ну, объяснилъ ему, чтобъ онъ и не мечталъ: «царствіе Божіе внутри васъ есть, и для него много надобно, а не просто—умеръ да и на!..»—«А, говоритъ, а душа?»—«Что душа? Ну, говори».—«Нѣтъ, ты, говоритъ, скажи. Я не знаю»... Ну, объяснилъ.—«Ну, спасибо!» И стали ко мнѣ, другъ любезный, шататься то одинъ, то другой. И почему человѣкъ идетъ въ землю, и какъ въ аду, и что кому будетъ? Что за чудеса? думаю.—«Что васъ прорвало, ребята, говорю: я вѣдь не попу, я и ошибку могу дать; или бы вы лучше по домамъ, потому у меня еще вонъ лошади не убрана, а на все на это есть храмъ Божій; слушай, что поютъ, читаютъ, вотъ тебѣ и отвѣтъ». А иному просто скажешь:—«шелъ бы ты, любезный, домой на печку!»—«Да мнѣ, молю, маленько въ умъ вошло».—«То-то въ умъ-то вамъ все лѣзетъ; шелъ бы ты лучше домой».—«Я, молю, такъ».—«Ну, и ступай съ Богомъ»..

— Да! На печку!

— «Ужъ куда, молю, намъ съ тобой разсуждать». Отвѣдаль и ихъ такимъ манеромъ. Думалъ конецъ, — хватъ, анъ далеко еще до конца-то. Стали они ужъ вотъ какъ: «Давай, говоритъ, спорить!» Эге! думаю. Встрѣтятся иной разъ на улицѣ.—«А давай, говоритъ, Игнатичъ, споръ съ тобой съѣзжаетъ».—«Объ чемъ?»—«О душѣ».—«Давно-

ли ты объ ней узналъ?»—«Когда ни узналъ, да узналъ, говоритъ. Недавношъ узналъ».—«Поздноваго, говорю, ты спохватился».—«А то мы, говоритъ, какъ свиньи».—«Именно, говорю, похожи, и разговаривать мнѣ съ тобой не время. Извини». И уйдешь.—«Нѣтъ, кричитъ вслѣдъ, это дѣло оставить нельзя».—Ну, думаю, какъ знаешь. Оставляй, не оставляй, у меня своихъ хлопотъ полно въ ротъ. Да, право!

— Чего еще? Всякій исполняй свое дѣло, свое положеніе, что слѣдуетъ.

— Да, не до того. Отбиваешься такъ-то отъ нихъ, а дѣло-то все не къ концу, да! Что за чудо? Слышу, и у батюшки были, тоже споръ предлагали, и у отца дьякона... Идетъ слухъ, человѣкъ пять на работу не пошли... И все «душа».—Да что вы за черти такіе? какая душа? вѣдь подписали грамоту, слышали положеніе; чего еще? Нѣтъ, о душѣ что-то городятъ, работать не хотятъ. Что такое? Стали мы искать, кто такой это ихъ завастривалъ. Потому ежели-бы они одни, то имъ только въ кабакъ отъ скуки ходить, а тутъ нѣтъ, тутъ ишь какую паутину распустили. И что за чудо: неповиновеніе стали оказывать! За землю, говорятъ, платить не надо.—«Да вѣдь вы платили, вѣдь ужъ два года платили?»—«Ошибка была; побожески, говорятъ, этого не выходить».—«Да вѣдь законъ, порядокъ требуетъ?»—«Ладно!» говорятъ. Вотъ и скажи!.. Что такое? Дальше-больше, дальше-больше, чисто бунтъ открывается!—«Отчего-жъ вы тогда не претендовали?»—«Богъ намъ ума не далъ».—«А теперь далъ?»—«Теперь, говорятъ, далъ».—«Ну, говоришь, гляди, ребята: становой тутъ какъ тутъ, какъ-бы чего не вышло».—«А это что же?»

— А это, изволите видѣть, проживалъ у насъ въ деревнѣ какой-то старичишко. И ужъ съ давнихъ временъ все я его такимъ помню древнимъ. То на пчельникѣ проживаетъ, то такъ... Такъ, бездомовный. Былъ слухъ, что даже и въ бѣгахъ онъ состоялъ. Вотъ этотъ-то старичишко ихъ и помутилъ всѣхъ; можетъ, слышали, есть такіе раскольники, называемые бѣгуны! По слѣдствію-то вышло, что и этотъ старикашко тоже бѣгунской ереси... Бѣгать-то ему ужъ некуда, такъ вотъ онъ и сталъ разводить смуту. А бѣгунская ересь—это ужъ самая закоренѣлая. Въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ было описаніе—такъ это страсть! Противъ начальства, противъ податей, противъ всего ломить «на-прочь». Сам-мая злая ересь эта. Вотъ старикашко-то тожъ этой ереси придерживался. «Живи, молю, самъ по себѣ, отчетъ отдавай одному Богу; у тебя душа, ты подумай о ней, самъ-то въ навозѣ весь и душа твоя въ навозѣ, душу твою платой обложили, за нее ты платишь, а не думаешь о ней». И всякое етакое. Вотъ, какъ стало имъ по свободнѣй-то, старикашко это и запѣлъ свою пѣсню, и заворочало у нихъ. И стали они: «Я—человѣкъ!» А я имъ: «Да мнѣ-то какая отъ этого корысть, прости Господи? Мнѣ-то что? хотя ты пѣтухъ будь, такъ мнѣ все равно». Право, ей-богу!.. А старикашко-то такъ расстроилъ этихъ мужиковъ—страсть! И возмечтали—

и то имъ, и другое, Боже мой! Оно дѣйствительно человѣку тоскливо; надо говорить по совѣсти: съ женой дерется, дома слова не слышно, праздники пьянъ—плохое житье... ну,—старикашка-то тутъ и напугалъ. «А это, говорить, ты потому жену бьешь, что бѣденъ; а почему»? Надо говорить прямо—хитрая оказался шельма, этотъ старикашко! Я на допросъ его былъ, такъ вѣдь какъ онъ, шельма, подводилъ одно подъ одно, просто чудо! По его словамъ, такъ каждому мужику бариномъ надо быть. «Баринъ-то, говорить, вонъ какъ свою супругу любить—тебя, мужика, и на очи ей не пустить, а ты, говорить, подпоить тебя, такъ ты жену-то за рубъ серебромъ чиновнику продашь... А ты долженъ знать любовь!» Ужъ какъ подвелъ! Очень плутоватый былъ старичишко, нечего сказать! Ну, и помутилъ народъ, только въ грѣхъ ввелъ. У самого старика весь, можетъ быть, родъ ихній былъ въ этой ереси воспитанъ, всѣ они по лѣсамъ бѣгали, можетъ, лѣтъ сто, а то и больше; ему все это знать до тонкости не диво, онъ можетъ никогда и въ крѣпостной работѣ-то не работалъ, жилъ по своему, такъ ему и не диковину всѣ эти привередничанья, а нашъ-то мужикъ съ тѣхъ поръ и думать обо всемъ позабылъ. На крѣпостномъ-то положеніи у него вся родня лѣтъ триста, либо пятьсотъ была, такъ какая тутъ любовь? Что онъ тутъ понимаетъ? До любви-ли ему было, когда разложить, да...

— Гар-рячихъ! вставилъ солдатъ: — штукъ пятьсотъ ввалиють!

— Да! Отъ всего этого онъ во-она когда еще отвыкъ, и зналъ одно: «исполнять, что прикажутъ». Стало быть, что же онъ могъ тутъ понять по человѣчеству? И вышло у насъ—невѣсть что! Старикашко-то разлакомилъ ихъ, а умомъ-то взять всего они не могутъ.

— Опоздали маленько!

— Да! Припоздали малымъ дѣломъ... И хочется бытъ какъ по человѣчьи, а не туда! Не выходитъ! Всего-то порядку-то, какой у старика былъ въ мысляхъ, у нихъ и нѣтъ! Пошло у нихъ въ головахъ отъ этого большое смѣненіе... И душа тутъ, и земля, и Богъ-знаетъ что. Приѣхалъ становой. «Вы почему не ходите на работу?»—«Такъ и такъ, мы—люди, теперь возьмите, вѣдь у насъ душа и все такое». Становой обнаковенно: «молчать!» Да что же? Ну, что же ежели мы всѣ такъ-то заоремъ? Нешто это дѣло начальства? Онъ требуетъ порядку, эти разныя мозголовія прошли; ежели хочешь по своему, убирайся въ дремучій лѣсъ, а въ порядкѣ этого нельзя...

— Каждому потрафить нельзя...

— То-то я думаю, что не подходитъ. Становой исполняетъ свою должность, ты исполняй свою. «Я съ вами, говорить, не разговаривать приѣхалъ; разговаривать иди въ кабакъ, а не здѣсь. Почему вы не идете на работу? Это что такое?» Начинаютъ опять свое: «Мы сами—земля, за что-жъ намъ платить? мы—прахъ». Разумѣется, опять становой имъ кричить: «Молчать!». Просто измучили бѣднаго! «Порядокъ, говорить, требуетъ, чтобъ вы шли,

все это вздоръ, не мое дѣло, душу имѣй, какую хочешь, имѣй это наплевать, а по закону исполняй все, что слѣдуетъ!» Просто даже весь красный сталъ становой! потъ съ него лѣсть, а главное—человѣкъ онъ хороший, и радъ-бы, да ничего не сдѣлаешь. Какую онъ имѣ душу? Откуда? Бился, бился, написалъ слѣдователю... Что прикажешь дѣлать?

— Ну, и пошло?

— И пошло!

— Ну, и что-жъ они?

— Все стоятъ на своемъ. Какъ-бы этого старичишку вытравили перво-наперво, они-бы опаматовались. Это вѣрно. Потому сами по себѣ они къ этимъ философіямъ непривычны, а то старичишку-то они куда-то запрятали, а тотъ ихъ и мутитъ. «—Стойте, говорить, крѣпко, ребята!» Тѣ и стоятъ... Ловкачи такіе есть: «—Стойте, ребята, стойте, шушукать, хоть въ острогъ!» И ничего не сдѣлаешь.

— Не знаютъ порядку, больше ничего.

— Да больше ничего и есть. Что такое ему надобно? Вѣдь человѣка, конечно, смутить можно. А по совѣсти сказать, ну что ему надо? Что онъ смыслилъ въ душѣ? Живетъ онъ чисто какъ скотъ, надо говорить прямо. Придешь въ избу-то, страшно поглядѣть, какъ есть какъ свинья.

— Чего ужъ!

— Ей-ей, жену колотить; напьется, изъ дому все волочить въ кабакъ, о себѣ не заботится, ни свѣчки, ни чашки, жругъ почестъ изъ корыта—куда ему толковать о душѣ? Онъ и въ церкви-то стоитъ какъ столбъ, да это когда еще придетъ въ церковь-то. Вонъ погляди, сказалъ дьячокъ, указывая на валившіеся близъ монастыря толпы богомольцевъ, на людей, безцѣльно шатавшихъ по монастырской стѣнѣ, по крышамъ, на колокольѣ. —Вотъ поглядите: кажется, всѣ они пришли Богу молиться, къ уголку, а видите, чѣмъ занимаются? Вы думаете, тутъ вѣра? Ему просто надо, чтобъ ничего не дѣлать, въ чужомъ кабакѣ выпить...

— Тутъ ужъ давеча ломились въ кабакъ-то, да запертъ; говорятъ, постѣ обѣденъ отоспрутъ.

— Ну, вотъ видите! Какая же тутъ вѣра! Онъ, какъ есть, какъ деревянный, больше ничего. Ему вотъ вышелъ денекъ, онъ и радъ ничего не дѣлать, вотъ и претъ къ празднику, а онъ и житія-то угольника не знаетъ, такъ, какъ дикій какой эгоистъ. Поглазѣть, потолкаться... Теперь вонъ литургія идетъ, а онъ валяется, ему скука.

Дьячокъ прекратилъ наконецъ свое «настырское» обличеніе и за недостаткомъ подлиннаго гнѣва замолкъ. Мы тоже молчали; стояла прежняя тишина и томительное молчаніе.

Вдругъ на колокольнѣ раздалось нѣсколько ударовъ колокола.

Валившаяся толпа вдругъ поднялась какъ одинъ человѣкъ.

— Ишь! Вонъ какъ! всѣ поднялись! сказалъ дьячокъ.—Какъ же, все разобрать хочется!

Толпа поглядѣла, поглядѣла и улеглась опять.

— Видно, не разберешь, сказалъ солдатъ:—съ мякины-то!

— Да-а! Такъ намъ и разбирать... Хотя-бы Богъ далъ и тѣмъ справиться, что слѣдуетъ по твоей части, и то слава тебѣ Господи, а то еще...

Дьячокъ не кончилъ.

Солнце начало подвигаться въ нашу сторону; я поднялся съ лавки и пошелъ во дворъ, самъ не зная зачѣмъ.

— Вотъ какъ по нонѣшнему-то! въ полусерьезномъ, полумутливомъ тонѣ говорила кухарка, сметающая пылъ съ послѣднихъ ступенекъ лѣстницы. — Маменька въ церкви Божіей, а дочка тутъ баласы точуть.

Сверху лѣстницы раздался смѣхъ.

— А тебѣ какое дѣло? послышался дѣвичій голосъ.

— Какъ какое? А на комъ взыщется?.. Я вѣдь за вами смотрѣть приставлена? а вы что дѣлаете?

— Разговаривали.

— Что-жъ такое? послышался голосъ Павлуши.

— Въ такое время нельзя баласничать, а надо идти въ церкву, да!

— Вѣдь идемъ.

— Эва! когда ужъ шапки разбирають... Охъ, лѣвки, дѣвки!

Я вошелъ на лѣстницу, тоже потому, что некуда было идти и незачѣмъ.

Молоденькая дѣвушка, одѣтая въ какое-то не-лѣпое покроя и цвѣта праздничное платьице, съ голыми по локоть худенькими руками и плечами, сбѣжала мнѣ на встрѣчу.

— Пойдемъ! сказала она назадъ, и вмѣстѣ съ двумя другими дѣвушками за ней появился Павлуша.

Всѣ они побѣжали къ воротамъ.

— Ты куда? остановилъ-было я его.

— Къ обѣднѣ! второпяхъ пропзнесъ онъ, догоняя дѣвушекъ, и умчался вслѣдъ за ними. Въ этотъ день я не могъ ужъ разыскать его.

Сядя на балконѣ постоялаго двора, я смотрѣлъ опять на ту же молчаливую толпу и чувствовалъ, что въ этомъ безмолвномъ, терпѣливомъ ожиданіи ея чего-то было много истинной душевной теплоты и глубокой вѣры, постичь которую я, какъ человѣкъ, незнакомый вовсе съ народной душою, рѣшительно не могъ. Я видѣлъ только эти серьезные, задумчивыя лица мужиковъ и бабъ, терпѣливо ждавшихъ выноса мощей съ шести часовъ утра до трехъ часовъ дня.

Я не буду изображать необыкновеннаго воодушевленія, охватившаго толпу, когда неожиданно раздался громкій, веселый звонъ и тронулся крестный ходъ. Я ничего этого не понималъ.

А когда, черезъ двѣ минуты по окончаніи хода, началось пьянство, наступившее почти моментально и въ самыхъ вступленныхъ раздѣлахъ, я вдругъ почувствовалъ непреодолимую жажду вернуться домой... Къ вечеру мнѣ удалось найти ямщика. А Павлуша такъ и исчезъ неизвѣстно куда.

IV.

Этимъ богомольемъ кончилось краткое, но въ сущности весьма тагостное путешествіе. Выбравъ

шисъ вечеромъ изъ города снова въ поле, на обратный путь, и лежа въ мужицкой телѣгѣ, я соображалъ о видѣнномъ и чувствовалъ себя крайне дурно; эти почти безсильныя потуги ощущать что-либо, непохожее на тагостную обыденщину, и немѣнѣе, отвычка отъ потребности цѣнить личные ощущенія, которыя я видѣлъ и въ купцѣ, притворно кряхтящемъ и охающемъ по-бабьи, разсуждая о звонѣ, который для него не представляетъ ничего особеннаго, и въ особенности въ любопытной исторіи, рассказанной дьячкомъ, о безтолковыхъ односельчанахъ, затѣявшихъ запутанную исторію «обо всемъ», о душѣ, о любви, и требующихъ удовлетворенія отъ становаго пристава—все это наводитъ меня на грустныя мысли. Какъ смутно чувствовали эти люди свои душевныя потребности, какъ мало было у нихъ средствъ выразить свои желанія, какъ отвыкли они отъ этихъ насущныхъ потребностей души, безъ которыхъ обходилась столѣтняя, истиннѣ мученическая жизнь!..

Небо было сѣрое; моросилъ дождь; на душѣ было скучно и тяжело. Такъ провелъ я всю дорогу до дому.

Но вотъ я дома. На столѣ кипитъ самоваръ; мокрый пѣтухъ оретъ подъ крыльцомъ во все горло и громко хлопаетъ крыльями.

— Ай дома? возглашаетъ Лукьянъ, появляясь съ веселымъ лицомъ въ комнату. — Помоллся Богу-то?

— Помолчился.

— Ну, ладно, посылай поздравку.

Послала за поздравкой.

— А тутъ безъ тебя-то дѣла-то были.

— Были?

— Тутъ были дѣла. Боже милостивый! (Лукьянъ махаетъ рукой, уже успѣвъ опорожнить чашку и придвигая ее къ самовару). Ужъ мы съ твоей маменькой то-то посмѣялись.

— Ужъ да! ужъ было смѣху! говорить матушка.

— Да расскажите, что такое? говорю я, съ удовольствіемъ входя въ колею нашихъ обычныхъ интересовъ.

— Андрюшку-косолапа знаешь?

— Ну, знаю.

— Ну, ужъ дѣло пошаташенное:—ужъ вѣдь онъ шилья укралъ у меня весной?

— Это вѣрно, что онъ.

— Ну, онъ. — «Ты, молъ, укралъ-то?» — «Нѣтъ, не я...» — «Не ты?» — «Нѣтъ, не я...» — «Н-ну, смотри!..» Я ему давно это говорилъ, я, признаться, точно что имѣлъ на него злобу... Попадись подъ пьяную руку, я бы съ нимъ, съ шельмой, шутить не сталъ. Ну, такъ это тогда сердце и прошло: чортъ съ тобой! Только теперь и взбреди мнѣ на умъ: дай я съ нимъ спущу штуку. Пошелъ онъ въ баню, а я взялъ ихнаго пѣтуха, знаешь, «Зубодеръ»?

— Ну, знаю.

— Ну, взялъ этого пѣтуха — любимый онъ у него... Душу отдасть. Взялъ я пѣтуха-то, поднесъ къ окну въ банѣ и говорю: «Андрюшка—говорю—я сейчасъ ему голову напрочь». Какъ онъ увидалъ пѣтуха-то у меня, что-жъ бы ты думалъ?

— Ну?

— Вскочилъ, каковъ былъ, за мной. Я въ переулочъ, онъ за мной, весь въ мылѣ, — тутъ смѣху! Вся улица высунулась.

— Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха!.. помираетъ наша компанія.

И мало-по-малу успокаиваетъ меня... Мнѣ нужны были факты успокоительные; но въ то тревожное время, когда появлялись уже знакомые читателю Демьяны, нужны были нѣкоторые натяжки, чтобы отстранить отъ себя невольно мечтавшійся образъ плѣнительнаго будущаго; нужно было иной разъ убѣждать себя въ томъ, что это пройдетъ, что ничего не будетъ.

Но чѣмъ ближе къ нашему времени, къ послѣднимъ днямъ, тѣмъ мнѣ становилось все легче и легче, и тѣмъ чаще стали попадаться люди, изумительно хорошо выработанные для того, чтобы всѣ Демьяны могли знать, что, кромѣ порядка, не должно быть ничего.

У.

Познакомлю васъ съ однимъ изъ этихъ людей, участвующихъ въ поддержаніи благочестія настоящаго времени, котораго мнѣ недавно пришлось встрѣтить послѣ долгой разлуки со школы. Знать этого моего знакомаго Иванъ Купріяновъ; онъ — юристъ. Трудно представить себѣ другую, болѣе благоприятную обстановку для выработки современнаго типа «порядочнаго» человѣка, чѣмъ та, въ которой сдѣтства находился Купріяновъ... Прежде, нежели онъ родился на свѣтъ, семейство его хранило множество преданій относительно того, что «ничего не подѣлаешь», что каждый шагъ зависитъ отъ кого-то, кто можетъ позволить сдѣлать его, можетъ и не позволить. Слова «нельзя» и «молчать» семейство Купріянова знало въ совершенствѣ. Отецъ Ивана Купріянова дослужился до офицерскаго чина изъ простыхъ солдатъ; это стоило ему немалыхъ трудовъ, увѣчий и ранъ, и съ словомъ «нельзя» ознакомило довольно хорошо. Отлучиться съ часовъ къ больной женѣ, крикъ которой слышится изъ сосѣдней лачужки, — «нельзя». Купить корову для ребенка и повести ее за полкомъ, такъ какъ приказано идти въ походъ, — «нельзя». Отлучиться къ женѣ, оставшейся въ лазаретѣ на пути похода, — «нельзя»; купить и носить шапку на ватѣ, по случаю ревматизма, — «нельзя», равно нельзя надѣть фуфайку, не смотря на лому въ поясницѣ. Все это, то-есть и шапка, и корова и пр., могли быть разрѣшены точно такъ же, какъ могли быть и строго воспрещены, и если отецъ Ивана Купріянова успѣлъ достигнуть офицерскаго чина, то можете судить, какія громадныя усилія долженъ былъ онъ посвятить терпѣнію и повиновенію. Въ такой страшной школѣ, гдѣ для того, чтобы надѣть теплую шапку, нужно было дожидаться чуть-чуть что не указа изъ правительствующаго сената, прожила семья Купріяновыхъ, т. е. отецъ и мать, до сдѣхъ волосъ, когда наконецъ пожалованъ былъ чинъ, и Иванъ Купріяновъ, десятилѣтній мальчикъ, когда я узналъ его, уже былъ прочно воспитанъ для безропотнаго повиновенія. Я познакомился съ нимъ на

вступительномъ экзаменѣ въ гимназію. Это былъ не мальчикъ съ дѣтскимъ лицомъ, а человѣкъ, въ глазахъ котораго было видно, что, кромѣ несправедливостей, онъ не встрѣтитъ ничего, но что онъ къ нимъ привыкъ и покорно несетъ свою голову подъ ихъ удары. Тутъ же я увидѣлъ и отца его, заплаченного, только-что съ разрѣшенія начальства отлучившагося изъ сосѣдней деревни со стоянкой и дрожавшаго за участь сына. Потъ лилъ градомъ съ его худого, загорѣлаго лица, когда онъ велъ своего сына къ экзаменатору. Сынъ его зналъ все въ совершенствѣ; онъ годится не только въ первый классъ, куда отецъ просилъ опредѣлить его, но въ пятый. На подготовку онъ убилъ несчетное число трудовъ и безсонныхъ ночей, причемъ ему твердилось, что на него въ будущемъ вся надежда, что впрочемъ мальчикъ зналъ и самъ, ибо Богъ далъ ему простую, любящую душу; но, несмотря на все это, Богъ знаетъ что могло случиться.

И дѣйствительно случилось.

— Зарѣзалъ его учитель-то! говорилъ его отецъ, чуть не плача, моею матушкѣ, выходя въ корридоръ.

— Чтѣ вы родной?

— Именно зарѣзалъ! Не такъ! все не такъ!

— Да «дайте» вы ему... по силѣ, по мочи...

— Матушка моя, не имѣю! Семью оставилъ въ деревнѣ съ рублемъ.

Иванъ Купріяновъ стоялъ при этомъ съ опущенными въ землю глазами, съ дрожавшими, покрытыми мѣломъ пальцами и съ каплями пота на гладко-выстриженной головѣ.

— Какъ же это ты, Ваня? говорилъ отецъ. — Вѣдь, знаешь ты... Какъ это ты?..

Ваня глубоко-глубоко вздохнулъ.

— Возьми у меня, отецъ родной, предложила моя мать; не пропадутъ, — отдадите! Авось, не навѣки вѣчные, вѣдь дѣти виѣсть будутъ...

— Благодарница!..

— Богъ вамъ поможетъ. Подите къ учителю, да спросите, какъ бы, молъ, повидаться...

— Спасибо вамъ, мать родная! Какъ ваше имячко, матушка? заливаясь слезами и едва слышнымъ голосомъ говорилъ воинъ, знавшій и чересовъ, и поляковъ, и турокъ, и венгерцевъ.

Ивана Купріянова приняли въ гимназію, и съ этого дня онъ сталъ моимъ лучшимъ другомъ. Это былъ человѣкъ опытный въ несчастіяхъ, знавшій, что жить на свѣтѣ трудно и что слава Богу, если не умрешь съ голоду. Сидя въ училищѣ на лавкѣ въ то время, какъ товарищи отвѣчали учителю выученный наизусть «Делибашъ», онъ думалъ о томъ, что шинель, которую онъ носить теперь, можно къ Рождеству отдать маленькому братишкѣ; считалъ, сколько будетъ стоять передѣлка, кому отдать подешеве, и когда очередь доходила до него, онъ поднимался и исправно читалъ наизусть «Делибашъ». Окончивъ отцу письмо, въ которомъ напрасно бы стали мы искать просьбы взять на праздникъ, беречь щенковъ, оставленныхъ дома, и пр., въ которомъ, напротивъ, все — дѣло и горе, въ которомъ прилагается рубль, вырученный за уро-

ки, извѣщается, что полтинникъ оставляется на пуговицы, которыя оборвались и за которыя начальство строго взыскивается, — окончивъ это полное заботъ письмо, Иванъ Купріяновъ принимался писать къ слѣдующему уроку сочиненіе на тему «о спящемъ младенцѣ», причѣмъ необходимо было выразить невинность спящаго младенца и перенестись къ его будущему, которое должно быть прекрасно, и притомъ изобразить такъ, чтобы было побольше придаточныхъ предложеній. Необытнаго труда стоило ему сочинять заданную ахинею — ему, знавшему сонъ младенца безъ придаточныхъ предложеній розоваго цвѣта; но онъ писалъ это, воротилъ, потѣлъ цѣлыя ночи, потому что это нужно, надо; безъ этого плохо, и просто нельзя жить на свѣтѣ.

Когда, случалось, онъ приходилъ къ намъ по воскресеньямъ, я не могъ надивиться его познаніямъ разныхъ жизненныхъ подробностей, въ которыхъ онъ смѣло могъ конкурировать съ моей матушкой, имѣвшей на плечахъ сорокъ лѣтъ. Со мной, исправнѣйшимъ уличнымъ мальчишкой, ему не о чемъ было толковать: —любимымъ собесѣдникомъ его была матушка. Въ разговорахъ ихъ постоянно слышались слова: «трудно», да «надо», да «нельзя», да вздохи.

— Теперь, вотъ, сестрѣ ужъ четырнадцатый годъ пошелъ, а образованія ей не дано, говоритъ Ваня: —потому когда подавали прошеніе объ опредѣленіи ея, не вышло лѣтъ, не хватило два года и семь мѣсяцевъ три дня, изъ Петербурга отвѣтили отказомъ, а потомъ не съчѣмъ было ѣхать, потому —отцу не разрѣшено было перейти въ —скій полкъ, который стоялъ въ губернскомъ городѣ.

— Да просили бы! говоритъ матушка.

— Да ужъ просили. Отказано. Пропущенъ срокъ.

Съ этимъ семейнымъ бременемъ на плечахъ, тяжесть котораго въ будущемъ должна была увеличиться во сто разъ, ибо отецъ Вани Купріянова былъ плохъ, утомленъ и страдалъ отъ ранъ, —съ этими-то семейными заботами Ваня Купріяновъ родился, учился въ гимназій, въ университетѣ, и вездѣ, дорожа жизнью своей семьи, которая должна была остаться на его попеченіи, и не имѣя права подвергать несчастнымъ случайностямъ жизнь родныхъ ему людей, которые на своемъ вѣку вынесли слишкомъ много, онъ долженъ былъ покоряться тому, что «можно», и учился знать, что то, что «нельзя» — нельзя. Поэтому-то въ гимназій онъ училъ аккуратно глупые и скучные учебники, отвѣчая на нихъ на что и никому ненужные вопросы учителей, хотя самъ понималъ жизнь больше всѣхъ учебниковъ. Въ университетѣ аккуратно держалъ экзамены, не имѣя силы отличиться и рассчитывая получить ровно столько балловъ, чтобы аккуратно хватало для права болѣе или менѣе свободно дышать на бѣломъ свѣтѣ.

Я не видалъ этого мальчика съ отъѣзда его въ университетъ, куда онъ поѣхалъ на кровныя деньги, добытыя кровнымъ трудомъ на урокахъ у купцовъ, платившихъ не больше трехъ рублей въ мѣ-

сяцъ; денегъ этихъ было скоплено ровно столько, чтобы не умереть съ голоду въ дорогѣ, а для продовольствія въ столицѣ необходимо было начать, съ перваго же дня по пріѣздѣ, вновь трудиться, шатать изъ конца въ конецъ за рублемъ. Жизнь эта была востину мученическая. Но вотъ она кончилась, и Купріяновъ уже два года прокармливаетъ семью скромнымъ жалованьемъ судебного слѣдователя; уже два года, онъ, не зная ни сочувствія, ни несочувствія, вымѣриваетъ утопленниковъ, засовываетъ пальцы въ раскрытые мозги, обозначаетъ глубину и силу нанесеннаго «прохожимъ молодцомъ» удара, спрашиваетъ о вѣрѣ, о количествѣ лѣтъ и сажаетъ въ тюрьмы и остроги, и т. д. Словомъ, дѣлаетъ свое дѣло и прокармливаетъ семью. Безстрастіе его въ этихъ дѣлахъ изумительно. Переведенный въ нашъ городъ, онъ случайно встрѣтилъ меня на улицѣ, и я едва узналъ его. Это былъ худой, сухой и совершенно скучный человѣкъ, съ какимъ-то сухимъ надорваннымъ голосомъ, ничему не удивляющійся, ничего не ожидающій. Обстановка моего жилища съ кѣлтыю, курами и прочими атрибутами, весьма заинтересовавшая Павлушу Хлѣбникова, не произвела на него никакого впечатлѣнія; казалось, какія бы ему обстановки ни попадались, для него все равно, потому что надъ всѣми обстановками виситъ что-то такое, чего ни я, ни онъ предвидѣть не въ состояніи. Визитъ его ко мнѣ былъ очень страненъ: я не былъ чиновникъ, не зналъ, о чемъ говорить съ нимъ; онъ тоже не зналъ, о чемъ завести рѣчь со мной, такъ что мы переисправно помалчивали.

— Это у тебя не кассаціонныя ли рѣшенія? проговорилъ онъ, потягиваясь къ толстому Соннику, только что приобретенному матушкою.

— Нѣтъ, братъ, сказалъ я: —не кассаціонныя.

— А! произнесъ онъ и сталъ собираться домой.

Я его не удерживалъ. Но, спустя нѣкоторое время, какъ-то совершенно нечаянно, я зашелъ къ нему самъ. На каждомъ шагѣ лежали разные законы и вороха дѣлъ. Онъ объявилъ мнѣ, что, быть можетъ, скоро придется получить мѣсто товарища прокурора, и поэтому-то онъ набралъ разныхъ дѣлъ, чтобы практиковаться. По стѣнамъ были развѣшаны окровавленные бухи, которыми производились убійства, окровавленные дубины съ прилипшими волосами, висѣла кровавая рубашка и т. д. На полу были разломанные сундуки, на столѣ замки съ уголовными взломами, словомъ, —весьма много оригинальныхъ украшеній. Заглавіе дѣлъ, валявшихся на столѣ, были тоже крайне любопытны. Тутъ были дѣла о солдатахъ Стратилатовѣ, жаловавшемся на обвѣсъ его, при покупкѣ свинины, мѣщаниномъ Уховостровымъ. Солдатъ дошелъ въ исканіи правды до сената. Было тутъ дѣло: «Объ обнаруженіи бутылки съ малиновой наливкой на постояломъ дворѣ крестьянина Бунтовщикова»; дѣло: «О беззрочно-отпускномъ рядовомъ Безхвостовѣ, обвиняемомъ въ имѣніи при кабацѣ другой комнаты» и т. д. Все это были «дѣла».

Я развернулъ дѣло о двухъ комнатахъ, которыя дозволилъ себѣ шельмецъ-солдатъ и которая съ дьявольскою проникательностью открыло акцизное

управленіе, и увидѣлъ, что солдатъ навострился ловко надувать начальство.

— Признаете ли вы себя виновнымъ? спросилъ его предсѣдатель мирового съѣзда.

— Нѣтъ! отвѣчалъ солдатъ, безъ зазрѣнія совѣсти. — Эко бѣда какая, вашебродіе, что двѣ каморки я по грѣхамъ моимъ обдѣлилъ.

— Вы потрудитесь не уклоняться отъ прямого отвѣта, замѣтили ему.

— Я какъ предъ Богомъ! говорилъ солдатъ. — Какая она комната? — каморка. Тамъ всего и есть, что сундукъ стоитъ съ дрянью со всякою. Передъ истиннымъ Богомъ!

Но въ одной изъ толстыхъ книгъ, лежавшихъ на столѣ съѣзда, былъ пунктикъ, который давно уже предвидѣлъ суетную солдатскую мысль, пунктикъ о соотвѣтственномъ наказаніи, каковому солдату и подвергся.

Солдатъ этотъ, какъ оказалось въ концѣ дѣла, тоже пошелъ искать правды въ сенатѣ.

Крестьянинъ Бунтовщиковъ, у котораго «обнаружены» были бутылъ съ наливкой, тоже, каналья, себя виновнымъ не признавалъ и ударился за правдою въ съѣздъ, а потомъ тоже въ сенатъ.

Разговоры между нами въ этотъ визитъ были плохи. Иванъ Купріяновъ даже не смѣялся тому наприимѣръ, что крестьянинъ Бунтовщиковъ или солдатъ не признавали себя виновными и достигали сената изъ-за бутылки и изъ-за свинины.

Пришелъ какой-то гость, поздоровался и тоже сталъ рыться въ законахъ, нѣтъ-ли какихъ-нибудь кассационныхъ рѣшеній.

— Самъ никакъ не найду, сказалъ хозяинъ.

— Эка жалость! А мнѣ было надо.

— Что у васъ дѣло, что ли, какое?

— Да есть маленькое... оскорбленіе... Одинъ поваръ сдернулъ кучера съ лавки за ногу.

— А!..

Будучи постороннимъ свидѣтелемъ этихъ разговоровъ, я испытывалъ необыкновенную скуку и навѣрное не посмѣлъ бы, ради ея, въ другой разъ посѣтить моего пріятеля, если бы самъ онъ не явился ко мнѣ и не сдѣлалъ предложенія проѣхать съ нимъ недалеко въ одну подгородную деревню, гдѣ у него было дѣльце.

— Страшно надоѣло одному...

Я въ первый разъ видѣлъ, что онъ скученъ, и, признаюсь, не мало удивился. На предложеніе ѣхать я согласился. Черезъ нѣсколько часовъ пріятель мой подѣхалъ къ моему домишку въ тарантасѣ на тройкѣ земскихъ лошадей, и мы поѣхали. Со времени перваго моего путешествія прошло нѣсколько лѣтъ, теченія которыхъ было достаточно времени образумиться возмечтавшему о себѣ мужичью и научиться «исполнять времена» безъ запинки. Думая такъ, я крайне интересовался, въ какія формы могло выработаться его поведеніе, и въ этотъ смыслъ мнѣ удалось быть свидѣтелемъ одной исторіи, которую я теперь и разскажу такъ, какъ она обрисовалась вся цѣлкомъ.

VI.

Въ тотъ самый день, когда я и слѣдователь пріѣхали въ сѣло Стрѣшнее производить дознаніе по какому-то дѣльцу, священникъ этого села уѣзжалъ на нѣкоторое время вмѣстѣ съ женой къ сосѣдородственнику, тоже священнику, а ребенка своего, оставшагося дома, поручилъ старушкѣ-дѣвичкѣ. Старушка-дѣвичка, недавно выдавшая дочь за молодого дьячка, которому мужъ старушки, старый дьячокъ, сдѣлалъ мѣсто при жизни, не рѣшаясь обидѣть молодую семью, кормившую ея мужа, прожила то у священника, то у дьякона, то денекъ-два у господъ, лишь-бы только «нимъ» было хорошо. Но «нимъ» вовсе хорошо не было. Почти съ самой свадьбы старый и молодой дьячки начали ссору, перѣдко переходившую въ драку, причемъ совершенно невинно страдала дочь старухи: на нее сыпались удары съ обѣихъ сторонъ — и отъ отца, и отъ мужа, которые къ тому же оба придерживались вѣрпкаго напитка. Сердце старушки давно болѣло за свое дѣтище, и въ головѣ ея тысячу разъ рождалось намѣреніе увезти свою дочь куда-нибудь подальше отъ этихъ изверговъ. Въ тотъ день, когда она осталась въ домѣ священника нянчить ребенка, драка въ ея семьѣ достигала гигантскихъ размѣровъ. Замѣчательно при этомъ дая характеристики новаго времени: оба дьячка, нанося другъ другу удары по головамъ скалками и горшками, кричали при этомъ: «Нѣтъ, не то время!.. Нѣтъ, братъ, теперь не то!..» Понимая сущность не *того* времени, очевидно, различно, они тѣмъ не менѣе находили въ дракѣ и поволочкѣ общую исходную точку. Время было дѣтнее, жара страшная; окна поповскаго дома были отворены, и драка, и крики подгулявшихъ дьячковъ, смѣшанные съ воплями несчастной дочери, громомъ разбивающихся горшковъ, вылетающихъ стеклы и т. п., были ясно слышны старушкѣ, и она заливалась слезами, не зная, куда дѣться, какъ спасти дѣтище. На этотъ разъ ей нельзя было даже побѣжать къ ней, потому что на рукахъ ея былъ чужой ребенокъ. Намучившись, заплакавшись и не видя конца драки и воплямъ дочери, она почти въ полномъ безпамятствѣ выхватила изъ шкафа священника пять цѣлковыхъ, положенные на ея глазахъ передъ отъѣздомъ, и оставивъ ребенка, бросилась къ дочери съ тѣмъ, чтобы непремѣнно увезти въ городъ и спасти хоть ее, не разсуждая о себѣ.

Пять рублей, предъявленные въ дерущейся семьѣ, какъ явное доказательство того, что теперь съ этими деньгами старушка непремѣнно исполнитъ свое намѣреніе увезти дочь въ городъ, почти моментально прекратили драку, ибо хотя смыслъ возгласа «не то время», «теперь, братъ, ужъ не то» — весьма таинствененъ съ перваго взгляда, но сущность его — бѣдность и голодъ и «ѣсть нечего...» Поэтому-то пять рублей, какъ деньги, внезапно явившіяся среди стараго и новаго голода, которыя можно было употребить по благоусмотрѣнію, и прекратили драку. Какъ только драка прекратилась, старушка опомнилась, пришла въ себя, сообра-

зла, что сдѣлала худо, и вознамѣрилась тотчасъ же отнести деньги назадъ. Она бѣгомъ побѣжала въ домъ священника, который на ту пору воротился изъ гостей и не зналъ, что подумать: двери были расперты, ребенокъ сидѣлъ на полу и кричалъ во все горло; шкафъ, въ которомъ лежали деньги, отворенъ и денегъ нѣтъ.

— Что ты это дѣлаешь, Власьевна? Что это такое? въ изумленіи и негодованіи сказалъ священникъ старухѣ.

— Твоя во всемъ воля, виновата! Сѣките голову! говорила старушка въ изнеможеніи.

— Что ты съ нами дѣлаешь?

Поднялся шумъ, въ которомъ принимали участіе матушка и порядочное количество народу, сбѣжавшагося смотрѣть на драку.

— Не ждалъ я отъ тебя. Вѣрь вотъ людямъ! кричала она.

— Что такое, матушка? спрашивали зрители.

— Да какъ-же? оставили старуху, а она деньги вытащила изъ шкафа.

— Власьевна-то?

— Д-да-а! Власьевна! Ну-ка, думали ли, гадали ли?

— Ахъ-ахъ-ахъ!

— Сѣките, сѣйте голову! покорно твердила старушка, изнемогши отъ нравственной муки.

Когда дѣло о покражѣ разъяснилось, батюшка и матушка совершенно утихли, простили старушку, попросили даже у нея прощенія; но вѣсть о покражѣ уже разнеслась по селу. Всѣ старушку знали давно за женщину добрую и честную, и при всемъ томъ вышло такъ, что жалость всеобщая ничего тутъ путнаго сдѣлать не могла. Волостной старшина первый опомнился отъ обуревавшихъ его душу сожалѣній и соболизнованій къ старухѣ и инстинктивно припоминалъ, что порядокъ что-то требуетъ. Онъ зналъ, какъ намыливали шею за упущенія, и дорожилъ жалованьемъ, ибо былъ мужикъ-чиновникъ, — типъ, нарождающійся по русскимъ деревнямъ.

— Какъ-же быть Иванычъ? сказалъ онъ писарю. — Надо какъ-нибудь...

— Надо-то надо, да жалъ.

— Жаль, жаль. Да порядокъ-то, другъ мой, требуетъ. Что будешь дѣлать!

— Что дѣлать-то! Добрая старушка, нечего сказать, а во вредъ порядку — нельзя!

— Теперь мы ей помиримъ, у насъ пойдеть и мужичье волоочь, что подъ руку попадется.

— Что тутъ дѣлать? Надо!

— Что-жъ, бери бумаги-то. Пойдемъ къ попу. Благо сѣдователь здѣсь. Намъ что? Свое сдѣлалъ, а тамъ пусть ихъ что ходять... У насъ спина-то одна.

— Надо идти.

Не смотря на просьбы священника прекратить все это дѣло, старшина и писарь, почти со слезами на глазахъ, принялись писать протоколъ, а священникъ и его жена, тоже со слезами на глазахъ, принялись показывать противъ старухи.

— Сѣките, сѣките голову, отцы мои, виновна! говорила старуха, рыдая.

— Виновна! Запиши, Пантелей, говорилъ староста писарю и прибавлялъ: — Матушка! душа у меня у самого разрывается на части! Али я тебя не знаю? Я еще тебѣ — какъ ты у меня второго ребенка принимала — не отплатилъ. Родная! Ничего не сдѣлаешь. Пантелей, пиши — «со взломомъ».

— Боже мой! восклицалъ писарь, настрачивая отличнымъ почеркомъ бумагу. — Что только дѣлается... Со взломомъ! Да вѣдь это надо ее сажать въ темную, Боже!

— Боже мой! восклицалъ старшина. — Посадишь! Посадишь! Ахъ ты, Боже мой!

— Сѣките, рубите голову...

— Ахъ, Боже мой! Собирайся, Власьевна! Кабы это я — это правило требуетъ. И за что? О, Боже мой, Боже мой...

Иванъ Купріяновъ приступилъ къ этому дѣлу съ тѣмъ же сухимъ безразличіемъ, которое составляетъ исключительную принадлежность людей, привыкшихъ не разбирать своихъ личныхъ симпатій.

— Неужели ты начнешь дѣло?.. спросилъ я у Купріянова.

— Ни за что! прервалъ онъ меня. — Пусть они (онъ указалъ на старосту и писаря) отнесутся формальной бумагой, иначе мнѣ нѣтъ никакого дѣла.

Бумагу формальную написали, а Купріяновъ тотчасъ же составилъ «протокольчикъ», какъ онъ выразился. При всеобщихъ сожалѣніяхъ къ старухѣ и при точномъ и аккуратнѣйшимъ исполненіи требованийъ долга, ни въ грошъ не ставящаго этихъ сожалѣній, мы отбыли изъ села обратно въ городъ, причемъ на вопросы мои, что будетъ со старухой, Купріяновъ отвѣчалъ:

— Ужъ тамъ это дѣло прокурора. Я свое дѣло сдѣлалъ, а тамъ, что хотять, ихъ дѣло.

Долго я не видѣлся съ Купріяновымъ. Но мнѣ хотѣлось знать кое-что о старухѣ и черезъ мѣсяцъ я зашелъ къ нему.

Купріяновъ встрѣтилъ меня словами:

— Поздравь меня, я назначенъ товарищемъ прокурора.

Я поздравилъ. — Объяснено было о количествѣ оклада, дальнѣйшей карьерѣ и о прочемъ. Я выслушалъ все, но ничего не понималъ.

— Ну, какъ старуха? спросилъ я.

— Да! вспомнилъ онъ. — Дѣло ея у меня.

— Послушай, братъ, вѣдь жалко старуху-то?

— Да! ужасно жаль.

— Что же ты?

Купріяновъ пожалъ плечами и, помолчавъ, произнесъ:

— Надо будетъ написать «легонькое» обвиненьце.

— Обвиненьце?

— Да что же я могу? Посуди ты самъ! Вѣдь со взломомъ!.. Что же я тутъ сдѣлаю?.. Я и такъ забавилъ ее отъ ареста... Больше я не могу. Это ужъ будетъ дѣло присяжныхъ...

Я слушалъ и молчалъ. Дѣйствительно, онъ ничего не могъ сдѣлать.

— Я и то стараюсь, какъ можно легче. Вотъ что я написалъ. Слушай. И вынувъ листъ, онъ про-

челъ обвинительный актъ старухи, въ которомъ попадались слова: «преступное намѣреніе, ясно обнаруживается, первое», «заранѣе обдуманное», «со взломомъ, а потому я полагаю бы».

— Ну? сказалъ онъ, дѣйствительно въ полной безпомощности и беззащитности относительно приведенныхъ фразъ, которыхъ не писать онъ не могъ, ибо другихъ нѣтъ и нельзя.

Я не возражалъ.

Судить старуху, по расчету Купріянова, должны были не ранѣе, какъ черезъ полгода.

Проведя эти полгода въ уединеніи и обществѣ моихъ завалившихъ пріятелей, я опять пошелъ къ Купріянову.

— Поздравь меня! сказалъ онъ:—теперь я бросилъ прокуратуру и поступилъ въ присяжные по-вѣренные.

— Поздравляю.

— Практика идетъ отличная. Недавно помирилъ двухъ помѣщиковъ и взялъ за это съ нихъ полторы тысячи.

— Хорошо, сказалъ я.

— Теперь вонъ еще у меня есть дѣло...

— Погоди, перебилъ я его. А старуха?

— Теперь я ее защищаю...

— Вотъ какъ!

— Да-да! Теперь я ее защищаю...

— А обвиняетъ-то кто-жъ?

— Это ужъ не мое дѣло...

И точно, старуха была оправдана. Но смыслъ этой исторіи долго пугалъ меня и заставлялъ плотнѣе забиваться въ свой уголъ. — Отчего? Не знаю я—хороши-ли такіе люди, не знаю я—нужны ли важны-ли такіе дѣла...

НОВЫЯ ВРЕМЕНА, НОВЫЯ ЗАБОТЫ.

I. Книжка чековъ.

(Эпизодъ изъ жизни недоимщиковъ.)

I.

Иванъ Кузьмичъ Мясниковъ, купецъ и фабрикантъ, покончивъ дѣла, за которыми нарочно прѣзжалъ въ губернской городъ, возвратился въ грязноватый номеръ грязноватой гостиницы, приказалъ запрягать лошадей и сталъ собираться въ дорогу.

— Что-жъ, Иванъ Кузьмичъ, мало погостили у насъ? помогая уложить весьма небольшое количество вещей отъѣзжавшаго, говорилъ трактирный слуга. — Право, совсемъ и не погуляли въ городъ-то...

— Нагуляюсь потомъ.—Слава Богу, хоть отдѣлался!

— Все-ли благополучно покончили?

— Все!.. хорошо!.. На-ко вотъ погляди эту штучку.

Мясниковъ вынулъ изъ-подъ жилета и подаль корридорному какую-то маленькую книжку, которую тотъ съ недоумѣніемъ взялъ въ руки и долго съ тѣмъ же недоумѣніемъ смотрѣлъ на нее.

— Это что же будетъ? спросилъ наконецъ корридорный.

— А это, другъ любезный, съ довольнымъ и веселымъ лицомъ проговорилъ Мясниковъ,—эта штучка стоитъ пятнадцать тысячъ рубликовъ! Вотъ что это такое!

— Этакая муха? Пятнадцать тысячъ?..

— Да-да, муха, пятнадцать тысячъ... Какъ ты думаешь? Что?

— Да тутъ все бумага... все одно, какъ книжка... Тутъ денегъ-то нѣтъ нисколько...

— То-то вотъ и хорошо!.. Поди-ко, узнай, что это—деньги!.. Чистая бумага, а пятнадцать тысячъ въ ней вѣсу!.. Называется—чекъ!

При этомъ словѣ лакей повернулъ передъ собою книжку, поглядѣлъ на нее съ другого бока и уставилъ ничего непоминающіе глаза на купца.

— Это, видишь что... Сейчасъ ты отодралъ лоскутъ и получай деньги!.. пробовалъ было объяснить Мясниковъ, но такъ какъ и при этомъ корридорный ровно ничего не понималъ, то хозяинъ книжки чековъ долженъ былъ начать рассказывать ему банковыя дѣла со всѣми подробностями. Нельзя сказать, чтобы изложеніе этихъ дѣлъ, продолжавшееся довольно долго, уяснило корридорному значеніе книженки, которую онъ не переставалъ держать въ своихъ рукахъ, по временамъ останавливая на ней внимательный взглядъ, тѣмъ не менѣе, когда рѣчь купца была наконецъ кончена, корридорный вздохнулъ и въ какомъ-то раздумьѣ произнесъ:

— Да-да!.. Мала-мала штучка, а какую провору денегъ вобрала!

Это выраженіе очень понравилось хозяину книжки.

— Питательная книжка, точно! Именно, что впитала!

— Пятнадцать тысячъ! продолжалъ корридорный:—вѣдь это въ старые годы деревня, да сколько душъ крестьянъ, да лѣсу... И этакая-то муха слопала!

Слуга замоталъ головою въ знакъ полного недоумѣнія и отдалъ книжку купцу, который, продолжая быть вполне довольнымъ, спряталъ ее опять подъ жилетъ.

— Грѣхи-грѣхи! почему-то пришло корридорному въ голову.

Разговоръ былъ прерванъ появленіемъ кучера, который доложилъ, что все готово.

II.

Черезъ часъ телѣжка, въ которой, закутавшись въ мерлушечью шубу (на случай ночныхъ осеннихъ

заморозковъ) сидѣлъ Мясниковъ, ѣхала далеко за городомъ по проселочной дорогѣ. Иванъ Кузьмичъ дремалъ, болтая головой справа налѣво и спереді назадъ. По временамъ онъ шарилъ у себя на груди подъ шубой, желая удостовѣриться, тутъ ли книжка, и всякій разъ, когда рука ошупывала ее, ему почему-то точно такъ же припоминалось выраженіе трактирнаго слуги: «вобрала»; это слово оживляло его и заставляло невольно припоминать, что именно она вобрала въ себя. Но чѣмъ яснѣе представлялись ему составныя части этихъ тысячъ и этой книжонки, которая такъ искусно всосала ихъ, тѣмъ менѣе хотѣлось спать и становилось какъ-то скучнѣе.

Однажды Иванъ Кузьмичъ даже вздохнулъ.

Отчего это? Неужто книжонка «вобрала» въ самомъ дѣлѣ ужъ очень много? Съ другой стороны, неужели въ самомъ дѣлѣ Иваномъ Кузьмичемъ положено въ эту книжку такъ много труда, что мыслъ объ этомъ трудѣ, явившаяся вслѣдъ за вздохомъ, совершенно успокоила его, до того успокоила, что онъ уже не вздыхалъ больше ни разу, а скоро и совсѣмъ заснулъ?

Необходимо обстоятельнѣе познакомиться съ Иваномъ Кузьмичемъ и его дѣятельностью, чтобы отвѣтить на всѣ вопросы, толпящіеся вокругъ книжки чеховъ.

Иванъ Кузьмичъ, какъ уже сказано, принадлежать къ купеческому званію, хотя ровно ничего не имѣетъ общаго съ тѣмъ типомъ «купца», къ которому привыкъ читатель, котораго онъ видѣлъ и въ лавкѣ, и на сценѣ. Между Иваномъ Кузьмичемъ и «купцомъ» стараго типа ни въ фигурѣ, ни во взглядахъ, ни въ манерѣ дѣятельности — нѣтъ никакого сходства.

Старомодный купецъ, какъ скажетъ всякій, кто имѣлъ съ нимъ дѣло, жилъ обманомъ, богатство приходило къ нему темными путями, и слова «темный богатъ» такъ же справедливы по отношенію къ старомодному купцу, какъ поговорка: «не обманешь — не продашь», — справедлива относительно его дѣятельности. Въ немъ все было обманъ. Женился онъ обыкновенно не на женщинѣ, а на сундукѣ, но притворялся, что онъ — семейный человѣкъ и живетъ въ страхѣ Божіемъ, зная, что всѣ въ его семьѣ точно такъ же притворяются и лгутъ, какъ и онъ самъ. Обходительность и ловкость, которыми онъ щеголялъ передъ покупателемъ, приходившимъ къ нему въ лавку, были не болѣе какъ средствомъ «отвести» покупателю глаза, «заговорить зубы» и всучить тѣмъ временемъ гнилое, лишнее или спустить противъ настоящей мѣры на вершокъ, а то и на цѣлый аршинъ, если удастся... Такъ думали про стариннаго купца всѣ, да такъ думалъ и онъ самъ, потому что, хоть иной разъ онъ и наживалъ большіе капиталы, хоть иной разъ и ловко удавалось ему «обойти» покупателя, — въ глубинѣ души онъ чувствовалъ, что дѣло его «нечисто», что каждую минуту его могутъ уличить и поступить на законномъ основаніи, да и на томъ свѣтѣ, пожалуй, будетъ не очень хорошо. Вотъ почему старомодный купецъ считалъ своею глубокою

обязанностью радѣть ко храму Божію, заглушать голосъ совѣсти ступодовымъ колоколомъ или пудовой свѣчкой мѣстному образу, съ которою онъ обыкновенно, пыхтя и обливаясь потомъ, пробирался посреди толпы, наполнявшей храмъ, толкая публику направо и налѣво. Жертвы храму Божіему успокаивали его душу, сознавшую, что она не очень чиста, но едва ли онъ могли успокоить его насчетъ неумолимаго закона, которому нельзя ставить никакихъ свѣчекъ, который не нуждается въ колокольномъ звонѣ. И дѣйствительно, законъ, начиная будочникомъ и кончая губернаторомъ, постоянно стоялъ надъ старомоднымъ купцомъ въ самомъ угрожающемъ видѣ. Купецъ былъ дойною корою всѣхъ, кто представлялъ собою какую-нибудь власть. Онъ давалъ взятки, подносилъ хлѣбъ-соль, жертвовалъ, подписывалъ на альбомъ видовъ, который общество задумало поднести значительному лицу, проѣзжавшему изъ столицы, дѣлалъ иллюминаціи «въ честь»... участвовалъ карманомъ въ какомъ-то аллегри «въ пользу» и т. д., не говоря о томъ, что пирогъ съ приличной закуской — причѣмъ всегда должна быть отличнѣйшая икра и рѣдкостнѣйшая рыба (двѣ вещи, неразрывно связанныя съ словомъ «купецъ», какъ неразрывно связана съ этимъ же словомъ «лисиа шуба» и возгласъ: «кн-пяточку!»), — этотъ пирогъ не сходилъ у него со стола для званныхъ и незванныхъ. Квартальный, городничій, частный приставъ, брандмейстеръ, судейскій крючекъ, ходатай и т. д. — все это шло къ нему въ домъ, въ лавку и брало деньги, ѣло икру, рыбу, пило водку, постоянно грозилось и требовало благодарности за снисхожденіе. Старомодный купецъ всѣмъ платилъ, всѣхъ кормилъ, чувствуя себя виновнымъ и, только миновать всѣ эти препоны, т. е. накормивъ, одѣливъ всѣхъ, могъ завтра опять «заговаривать зубы» и «отводить глаза». Недаромъ стародавній купецъ одѣвался въ лисій мѣхъ: нѣчто лисье было во всей его дѣятельности, а травля, гораздо болѣе оживленная и дѣятельная, чѣмъ бываетъ травля на настоящую лисицу, преслѣдовала старомоднаго купца извѣстнаго въ день, извѣстнаго въ годъ. И вотъ, налгавшись вдоволь, напотѣвшись за чаемъ и изъ страха наказанія за свои плутни, этотъ лиса-человѣкъ кончалъ тѣмъ, что подъ конецъ жизни пряталъ свои деньжонки, скопленныя обманомъ и криводушіемъ, въ сундукъ и, чтобы спокойно дожить остатокъ дней, долженъ былъ притворяться нищимъ, увѣрять всѣхъ и cadaго, что у него за душой нѣтъ копѣйки, а въ доказательство справедливости этихъ словъ — питался одной только рѣдкостью.

Ничего общаго съ этого рода типомъ Иванъ Кузьмичъ Мясниковъ не имѣетъ; въ фізіономіи его нѣтъ ни той слащавости, которая замѣчалась у прежняго купца въ моменты спуска аршина на четверть противъ настоящей мѣры, ни страха, являвшагося при появленіи квартальнаго. Напротивъ, фізіономія Ивана Кузьмича — фізіономія смѣлая, увѣренная, и эту открытую смѣлость Иванъ Кузьмичъ не спрячетъ даже въ бороду, потому что «по нонѣшнему времени» онъ эту бороду брѣветъ.

Такая существенная разница между старым и новым представителем капитала объясняется тѣмъ, что старый типъ считалъ свое дѣло въ глубинѣ души «не совсѣмъ чтобы побожески», а новый, напротивъ, ничуть не сомнѣвается въ томъ, что его дѣло—настоящее и что отечество также обязано ему благодарностью за то, что онъ жертвуетъ своимъ капиталомъ на общую пользу и хотя дѣйствуетъ изъ личныхъ выгодъ, но зато даетъ другимъ хлѣбъ, оживляетъ «мертвыя мѣстности» и капиталы, какъ пишутъ въ газетахъ (съ которыми Иванъ Кузьмичъ частію знакомъ),—капиталы, которые, по словамъ газетъ и по убѣжденію Ивана Кузьмича, Богъ знаетъ сколько времени лежали бы безъ движенія, если бы онъ, Мясниковъ, не приложилъ къ нимъ своихъ рукъ. Въ этомъ убѣжденіи Ивана Кузьмича укрѣпляетъ общественное мнѣніе, мнѣніе печати и та дѣйствительная нищета, среди которой его капиталы, его хлѣбъ — дѣйствительно благодѣяніе. Вотъ почему взглядъ его прямъ и простъ, вотъ почему ему нѣтъ надобности ни вилать, ни бояться: онъ дѣйствуетъ на законномъ основаніи. И нѣтъ поэтому Ивану Кузьмичу никакой надобности тащить къ мѣстному образу пудовую золоченую свѣчку, чтобы тѣмъ успокоить свою совѣсть,—совѣсть эта покойна, потому что Иванъ Кузьмичъ «даетъ просто оборотъ своимъ капиталамъ», а это не запрещено, и въ писаніи ничего грознаго на этотъ счетъ не сказано. Вотъ почему и причтъ того прихода, къ которому принадлежитъ Иванъ Кузьмичъ, ужъ и не ждетъ отъ него никакого финансоваго поощренія, разъ навсегда рѣшивъ, что тутъ много «не пообѣдаешь», «не развѣдешься». Дѣйствуя на законномъ основаніи, Иванъ Кузьмичъ совершенно покоенъ и съ этой стороны, зная навѣрное, что его никто не посмѣетъ тронуть: на все у него есть патенты; вездѣ заплачено, что слѣдуетъ; безъ заискиванія, безъ страха, не съ задняго крыльца, не тайкомъ въ темномъ углу сунуто «дадено» въ руку, а прямо «заплачено», «что вамъ слѣдуетъ», и, благодаря этому, начальство не только не можетъ принять относительно его той угрожающей позы, въ которой оно постоянно фигурировало предъ купцомъ стараго типа, но по примѣру духовенства знаетъ, что тутъ «больше не ухватишь», и держитъ себя въ почтительномъ отъ Ивана Кузьмича отдаленіи. Словомъ, сознаніе, что капиталъ—сила, что прятать его въ сундукъ — глупость, что дѣлать на этотъ капиталъ оборотъ, что покупать и продавать можно рѣшительно все, что продается и покупается, что полученіе барыша тоже вполне разрѣшено и допущено—, все это проводитъ рѣзкую границу между старомоднымъ купцомъ и купцомъ новаго типа и дѣлаетъ послѣдняго спокойнымъ, увѣреннымъ и небоющимся ничего ни здѣсь, ни тамъ.

И вотъ, вмѣсто того, чтобы по старому обычаю, отправляясь въ дорогу по дѣламъ, отслужить съ водосвятиемъ напутственный молебенъ, какъ это дѣлалъ прежній купецъ, когда ѣхалъ за гнилымъ товаромъ въ Москву; вмѣсто того чтобы дать окропить себѣ лицо и окропить внутренность кибитки

и даже внутренность шапки ямщика, Иванъ Кузьмичъ, въ качествѣ «новаго типа», кладетъ въ карманъ шестиствольный, заряженный шестью пулями, револьверъ и совершенно спокойно отправляется «оживлять» мертвыя мѣста и капиталы, отправляется въ глубину русской глуши, гдѣ этихъ капиталовъ вездѣ лежатъ непочатые углы, совершенно недоступные для купца стараго закала.

И словно сказочный богатырь, надѣленный непомѣрною силою денегъ, Иванъ Кузьмичъ начинаетъ буквально двигать горами. Прикоснется онъ съ своими капиталами къ дремучему темному бору, грозно шумѣвшему тучамъ и грозамъ: «вороти назадъ, держи около», и съ материнскою заботливостію дававшему пріютъ тысячамъ звѣрей и птицъ, и—глядись, въ двѣ-три недѣли послѣ появленія въ этомъ лѣсу Ивана Кузьмича — лѣсъ исчезъ и ужъ больше нѣтъ этого дремучаго богатыря! Разбѣжался звѣрь; съ шумомъ, карканьемъ и плачемъ разлетѣлись птицы, и остались одни бревна, кое-гдѣ придавившія зайца, спасавшагося бѣгствомъ, полѣнницы дровъ, брусья. А скоро и это исчезаетъ отсюда и останется голое, взрытое мѣсто да деньги въ карманѣ Ивана Кузьмича, какихъ-то разноцвѣтныхъ маленькія бумажки, которыя тотчасъ вновь идутъ въ дѣло, и — глядишь, гдѣ нибудь въ другомъ глухомъ уголкѣ идетъ стонъ и ревъ и рѣкою льется кровь быковъ, свиней и овецъ... Стадо превращается въ мясо, въ солонину, въ сало, въ шкуру, въ пуды, въ фунты — и все это скоро исчезаетъ, уѣзжаетъ на скрипучихъ возахъ, оставивъ послѣ себя пустое пастбище да бумажки разноцвѣтныя въ карманѣ Ивана Кузьмича, тотчасъ идущія на какое-нибудь новое дѣло... Но какого бы рода дѣло это ни было, всегда что-то очень похожее на опустошеніе, на исчезаніе, на смерть чего-то, что было и чего не стало, остается по приведеніи этого дѣла къ окончанію. Надо отдать справедливость твердости характера и нервовъ Ивана Кузьмича: онъ никогда почти не испытывалъ этого ощущенія смерти—ни тогда, когда, треща и крича испуганными птицами и нехотѣвшими сдаваться топору стволами, падали тысячи деревьевъ, ни тогда, когда подъ ножомъ умирали тысячи быковъ, тысячи рыбъ, ни тогда, когда тысячи другихъ тварей, оставленныхъ живыми, съ ревомъ, хрюканьемъ или безпомощнымъ блеяньемъ биткомъ набитые въ вагоны, крѣпко-на-крѣпко запертыя, увозились на убой невѣдомо куда. Все это было для него: триста-двадцать-пять сажень дровъ, пятьсотъ пудовъ сала и столько-то головъ скота. Покончивъ со всѣми этими еще недавно живыми сажеными и пудами, онъ чувствовалъ только усталость, утомленіе и убѣждался, что деньги достаются не даромъ, что труда онъ кладетъ въ нихъ много и что прозвища «благодѣтель», «кормилецъ», которыя иной разъ приходилось Ивану Кузьмичу слышать въ оживляемыхъ имъ глухихъ мѣстахъ, «пожалуй-что» и справедливыя прозвища.

И въ самомъ дѣлѣ, какъ въ сущности ни проста система оборотовъ капитала, которой придерживается Иванъ Кузьмичъ, какъ ни простъ пріемъ

обогащенія, основанный на томъ, чтобы въ корень извести все, что произвели природа или чужія руки, какъ ни просто, проглотивши этотъ многолѣтній трудъ природы и человѣка, положить потомъ себѣ въ карманъ чистыя деньги, но условія жизни глухихъ мѣстъ бываютъ иной разъ таковы, что и такая система дѣйствія, такая голая купля готового добра, такое безслѣдное уничтоженіе естественныхъ и трудовыхъ богатствъ могутъ, по истинѣ, считаться благодѣяніями, а Иванъ Кузьмичъ—дѣйствительнымъ благодѣтелемъ...

Въ самомъ дѣлѣ, что такое было напримѣръ въ деревнѣ Распоясовѣ, гдѣ теперь властвуетъ Иванъ Кузьмичъ и куда онъ теперь ѣдетъ, прежде нежели появились въ ней капиталы Ивана Кузьмича?

III.

Лѣтъ шестнадцать, семнадцать тому назадъ, вся «округа», нынѣ благодѣтельствованная Иваномъ Кузьмичемъ, смѣло могла быть причислена къ одной изъ самыхъ обыкновенныхъ на Руси глухихъ мѣстностей... Поля были безконечныя, оживленныя только скачущими галками и воронами или фигурой крестьянина съ сохой, издали весьма напоминавшего собою тоже ворону. Лѣсъ, темнѣвшій по окраинамъ этой холмистой равнины, былъ лѣсъ глухой и дремучій; лѣтомъ, въ самый разгаръ полуденнаго зноя, въ глубинѣ этого лѣса чувствовалась прохлада, пахло влажной землей, и нога вязла въ гнилыхъ сгнившей и тоже влажной листьвы. Солнцу было трудно проникнуть сквозь густую чашу вѣтвей и листьевъ, и только иногда лучъ его, какъ алмазъ, блестя гдѣ-нибудь на поверхности быстрого ручья, гремящаго по оврагу, совершенно затерявшемуся въ обильной растительности... Глушь и тишина царствовали здѣсь поразительныя; лѣсъ стоялъ словно въ заколдованномъ снѣ. Привольно жилось здѣсь звѣрю и птицѣ; великое множество было здѣсь кустовъ съ ягодами; великое множество рыбы сновало въ быстрой рѣчкѣ... И никто не прикасался къ этимъ сокровищамъ, и никто, казалось, не вспоминалъ и не думалъ о нихъ... Разъ или два втеченіи двухъ-трехъ лѣтъ, въ лѣтнюю или осеннюю пору, удавалось кой-кому увидать выбѣгающаго изъ лѣсной чащи сетера, и по этой собакѣ догадывались, что баринъ воротился изъ за-границы и охотится въ своихъ владѣніяхъ... Нагнувъ голову и заложивъ руки назадъ, разсѣянно бредетъ онъ вслѣдъ за обезумѣвшей отъ обилія дичи собакой и о чемъ-то повидимому скучаетъ, о чемъ-то крѣпко думаетъ; ружье лѣниво болтается у него за спиной... О чемъ же думалъ баринъ? Думалъ онъ несомнѣнно объ очень многомъ, но выходило всегда какъ-то такъ, что думы эти ничуть не измѣняли печальнаго положенія тѣхъ мѣстъ, гдѣ бродилъ онъ; несмотря на обиліе всего, что росло и жило въ лѣсу и рѣкахъ, находившихся во власти этого барина, несмотря на громадные пространства полей,—лѣса эти, и поля, и рѣки и послѣ его отъѣзда за-границу (онъ былъ боленъ) оставались въ томъ же забвеніи; кое-гдѣ среди безконечныхъ владѣній его торчали

черныя, нищенскія деревеньки, видѣлся тощій скотъ и тощій человѣкъ, носившій уже кличку «вора» и «неплательщика», потому что дѣйствительно покушался прорваться въ эти дебри за дровами, за ягодами, за рыбой, поровиль урвать тайкомъ, а что «слѣдовало» платить — платилъ не иначе, какъ изъ-подъ палки.

Богатство стояло забытое, никому ненужное и никому недоступное. У барина пропадалъ аппетитъ охотиться въ лѣсу, гдѣ каждый выстрѣлъ попадалъ въ цѣль,—такъ было много всякой твари; у мужика не было дровъ зимою, и онъ забѣ въ разоренныхъ лачужкахъ, выводился со связанными руками изъ лѣса, если конечно попадался на глаза сторожу, или уходилъ безъ ружья, если тотъ-же сторожъ заприимчивалъ въ немъ намѣреніе убить тетерю. Вотъ въ какомъ видѣ была Распоясовская округа лѣтъ шестнадцать тому назадъ: всего много и никому нѣтъ отъ этого пользы. Баринъ скучалъ, страдалъ меланхоліей, мужикъ бѣдствовалъ и тоже терялъ аппетитъ жить на бѣломъ свѣтѣ.

Освобожденіе крестьянъ сразу покончило съ этою обоюдною меланхоліей барина и мужика. Какъ только, благодаря этому событію, что-то такое «отошло» отъ мужиковъ къ господамъ, отъ господъ къ мужикамъ, тотчасъ-же и въ тѣхъ, и другихъ появились первые проблески чувства собственности; какъ только какой-то кусокъ лѣса или поля сталъ чужимъ, баринъ сообразилъ, что все это—«мое», и какъ только увидѣлъ это-же самое мужикъ, то и онъ тоже сообразилъ, что вѣдь это—«наше».

«Мое» и «наше»—ощущенія до такой степени были новыми для меланхоликовъ и до такой степени оказались кстати, какъ для души барина, такъ для души и желудка мужика, что аппетитъ къ «моему» и «нашему» сталъ возрастать не по днямъ, а по часамъ—и у барина, и у мужика.

У стариннаго управляющаго Распоясовской округой явилась въ это время довольно счастливая мысль; оказалось, что мѣста, на которыхъ издавна сидѣли распоясовцы, какъ разъ подходятъ подъ что-то такое, что ежели это что-то «округлить» съ чѣмъ-то—какъ разъ вчетверо можно получать доходу болѣе противъ прежняго. Для этого стоятъ только переселить распоясовцевъ куда-то въ другое мѣсто, гдѣ имъ все подстать и «еще лучше прежняго».

Управляющій сообщилъ этотъ планъ барину, и хотя баринъ долго колебался въ своемъ рѣшеніи, но проклятый, совершенно прежде невѣдомый аппетитъ къ «моему» довелъ его наконецъ до того, что онъ какъ-бы приросъ къ сознанію, что это—его собственность.

— «Ей-Богу-же, вѣдь это мое!» стало все чаще и чаще думаться ему среди всякихъ соображеній за предложеніе управляющаго и противъ него, и наконецъ, уѣхавъ за-границу, онъ написалъ изъ Лозанны управляющему, чтобы онъ дѣйствовалъ, какъ знаетъ, «какъ лучше».

Управляющій принялся за дѣло, «наши» тоже ошестинились, началась свалка.

Сильно ошестинились «наши». Жажда свалки

и побѣды, имѣвшей цѣлью, какъ уже сказано, удовлетвореніе весьма простыхъ стремленій желудка, усиливалась тѣми мечтаніями насчетъ лучшей жизни, которыя тоже какъ-бы пробудились въ моментъ освобожденія. Эти мечтанія были неопредѣленны, выросли подъ вліяніемъ разсказовъ древнихъ беззубыхъ стариковъ о старинѣ, пополнялись нравученіями прохожаго богомольца, бѣглаго солдата, но, благодаря почти непроницаемой темнотѣ крестьянской избы во время сумерокъ, когда, «сумерничая», мужикъ обыкновенно слушалъ эти разсказы солдатъ и богомольцевъ и предавался мечтамъ, мечты эти, хоть и неопредѣленныя, уносили его мысли высоко-высоко и далеко-далеко отъ крестьянской избы... Такъ далеко, что, начавъ пѣсню надъ ребенкомъ, въ которой говорилось, что понева, лежащая подъ нимъ, «поневочка худая, ровно три года гнила», и заслушавшись разсказовъ и замечавшись, крестьянка бросала этотъ грустный мотивъ и, обращаясь къ ребенку, почти съ увѣренностью говорила: «выростешь великъ, будешь въ золотѣ ходить...» Таковы были вполнѣ несбыточные мечты распоясовскаго мужика, воспитанныя темными, угрюмыми зимними вечерами; онъ до такой степени подпадалъ духъ распоясовскихъ обывателей, что обыватели эти рѣшались въ предстоящей битвѣ не жалѣть своего добришка, такъ какъ, думали они, «наше дѣло вѣрно!».

— Распоясывайся, робя! гадѣли они.— Не жалѣй! втрое воротимъ... Вынимай кошелі-то! Эй, старикъ! Что у кого есть подъ печкой—волоки... Обчисво!.. Надо въ городъ посылать человѣка вѣрнаго. Дѣдушка Парменъ! Постой за міръ! Расправь кости, обхлопочи!

— Пожалѣйте меня, православные! говорилъ дѣдушка Парменъ, восьмидесятилѣтній старецъ.— Охъ, натерпѣлась моя спинушка!

— Уважь сиротскія слезы! надвигались на него распоясовцы.— Кто окромя тебя имѣетъ въ себѣ умъ? Мы—народъ черный, путемъ свѣта не видали. А ты изжилъ вѣкъ, стало, все какъ по писанному видишь... Постой за наши животы! Дѣдъ, а дѣдъ! Побойся Бога, не дай въ обиду!

— Охъ-о-о-охъ, пожалѣйте мою древность ветхую. лѣтушки! о-о-о-хъ-охъ...

— Дѣдъ! Парменъ! вопіяли распоясовцы:— али тебѣ крестьянскаго разоренья не жалко? Чисто всѣ помереть...

Долго ревѣла толпа и долго, обливаясь слезами, оборонялся отъ нея старый дѣдъ, но наконецъ таки сдался.

— Н-ну! сказалъ онъ, выпрямившись и осушивъ глаза рѣшительнымъ движеніемъ мозолистой, корявой руки.— Коли такъ, такъ стало Божья воля мнѣ потерпѣть еще на старости лѣтъ!

— Авось Богъ, наше дѣло чистое!..

— Видно, ужъ Господь, батюшка Никола-милостивый такъ, осудилъ меня вѣнцомъ—иду!

— Дай тебѣ Господи! Пошли тебѣ Царица небесная! голосила воодушевившаяся толпа.

— А что деньги дадите, такъ я единой копѣйки не покорыстуюсь...

— Дѣдъ! Дѣдъ! Грѣхъ тебѣ, старому, этакъ-то говорить, упрекали его распоясовцы:— такія слова про своего брата. Дѣлай по своему уму, какъ тебѣ Господь вразумить... Ступай съ Богомъ, постой за своихъ!

И вотъ старый дѣдъ, съ котомкой за плечами, съ длинной палкой въ сухой рукѣ, неровною поступью худыхъ тонкихъ ногъ, обутыхъ на мірской счетъ въ новыя лапти, пошелъ «воевать» за правое дѣло. Давненько-таки, признаться, онъ не бывалъ въ городѣ, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ сорокъ лѣтъ тому назадъ сидѣлъ въ городскомъ острогѣ, изъ котораго и пошелъ прямо въ Сибирь. А послѣ Сибири, когда по манифесту ему вышло прощеніе, онъ не показывалъ въ городъ и глазъ и отвыкъ отъ всѣхъ городскихъ порядковъ. А порядки съ тѣхъ поръ шибко измѣнились; подъячій, который, взявъ вятку, дѣлалъ въ прежнее время то, чтó хотѣлъ, то, чтó выходило по деньгамъ, вывелся. Парменю оставалось одно: положиться во всемъ на Бога, на его милость и указаніе. Для большаго успѣха въ своемъ дѣлѣ, онъ не ѣлъ, не пилъ по цѣлымъ днямъ, желая постничествомъ угодить Богу, а мірскія деньги ревностно раздавалъ тѣмъ, кто обѣщалъ постоять за распоясовцевъ, причемъ онъ слезно плакался и умолялъ не погубить... Но въ то время, когда старецъ Парменъ постился и слезно плакалъ передъ лицами, бравшими его деньги, какъ-то незамѣтно пропускаясь очень важные сроки къ подачѣ прошенія, къ выслушанію рѣшенія, къ изъявленію несогласія, къ аппеляціи въ законный срокъ! Пропускались эти маленькіе пустячки потому, должно быть, что Парменъ не зналъ ихъ, не могъ о нихъ упоминать и въ молитвахъ, или потому, что кому-то, знавшему эти штучки, выгодно было молчать о нихъ передъ темными мужикомъ. Такимъ образомъ выходило какъ-то такъ, что едва Парменъ, возвратившись изъ губерніи, объявлялъ міру, что все—слава Богу, что приказано ждать «тайнаго чиновника», который все повернетъ противъ «нихъ», являлся исправникъ или становой и объявлялъ, что:

— На основаніи тома, статьи и на основаніи статьи... тома... уложенія... и по случаю пятнадцатаго примѣчанія къ тому... статьѣ... и параграфу... опредѣлено: объявить крестьянамъ деревни Распоясово, что просьба ихъ возвращается безъ послѣдствій за пропущеніемъ срока и «постановленіе» входитъ въ законную силу...

Такъ какъ во время отсутствія Пармена крестьяне тоже возлагали надежды на Бога, а убѣжденіе въ правотѣ своего дѣла основывалось у нихъ исключительно на мечтаніяхъ въ темные осенніе и зимніе вечера и ночи, то, не понимая путемъ того, что читалъ пріѣхавшій чиновникъ, они догадывались однако, что въ бумагѣ нѣтъ ничего насчетъ того, чтобы все «повернуть къ нимъ», какъ обѣщано, и поэтому говорили, что эта бумага «не та», что подписывать ее не будутъ...

— Согласу нашего нѣтъ! говорили они.

— Несогласны?

— Никакъ нѣтъ. Эта бумага фальшивая, наше дѣло правое. Дѣдушка Парменъ, такъ аъ нѣтъ?

— Фальшивая, дѣтушки, бумага! Не она! не наша! Ступай ты, баринъ, съ ней откуда пришелъ!

— Такъ несогласны? переспрашивалъ пріѣзжій.

— Будетъ зубы-то заговаривать! отвѣчала толпа. — Бери ее себѣ, бумагу-то... а намъ она не нужна! Подхлѣпка!

Пріѣзжій все это вноситъ въ протоколъ, причемъ Пармена спрашиваютъ особенно подробно и затѣмъ, написавъ все это на нѣсколькихъ листахъ, отправляютъ по назначенію. Распоясовскій мужикъ везетъ эту бумагу куда слѣдуетъ и погоняетъ лошадь. На распоясовскихъ лошадяхъ уѣзжаетъ и чиновникъ. Распоясовцы не знаютъ, что, пропустивъ по своему невѣжеству сроки, они вступились еще въ новое дѣло. Напротивъ, послѣ этой «фальшивой» бумаги они какъ будто ожесточаются относительно размѣровъ жертвъ, которыя нужно принести за свое дѣло правое.

— Ну-ну, робя, распоясывай! Распоясывайся, мірине! Завинають дѣла, не жалѣй, покоряй ихъ своими животами! Неужто такъ пропадать?..

— Зачѣмъ пропадать? Последнее надоть отдать, а не токмо что...

— Дѣдушка Парменъ, стой и во вторителѣмъ подвигѣ! Окромѣ тебя, кто-же?

— Ты ужъ ходилъ—знаешь!

— Приму свою кончину за свое племя!.. Собирайте въ дорогу!.. Отдаю вамъ свой животъ, только молитѣ Бога о грѣхахъ моихъ... Можетъ, это отъ грѣховъ моихъ бумага офальшивилась противъ насъ... Прощайте, православные!.. Простите—чѣмъ обидѣлъ!

И вновь отправляется Парменъ, еще болѣе длинный, еще болѣе худой, вновь принимается молить Бога и поститься и, увы! не возвращается. Отыскивать Пармена берется дьячковъ сынъ, служившій уже въ какомъ-то присутственномъ мѣстѣ въ губернскомъ городѣ и знающій, по его словамъ, всѣ порядки. Онъ вызывается ѣхать въ городъ, обѣщается дѣлать все скоро и дешево: міръ, подумавъ, даетъ и ему денегъ, но не пускаетъ его одного, а наряжаетъ въ спутники ему мужика, изъ своихъ, такъ какъ человѣкъ этотъ хоть и мастеръ въ бумажныхъ дѣлахъ, въ перепискѣ и отпискѣ, но давно уже извѣстенъ всему Распоясову, какъ пьяница и человѣкъ ненадежный. Передъ отъѣздомъ ему рекомендуютъ вспомнить Бога и помянуть о сиротскихъ слезахъ... и т. д.

Дьячковъ сынъ не жалѣетъ мірскихъ денегъ — на взятки и угощенія. Въ номерѣ на постояломъ дворѣ, гдѣ онъ остановился вмѣстѣ съ мужикомъ, влетѣ непробудное пьянство нѣсколько дней къ ряду и такое безчинство, что депутатъ и проводникъ только дивятся на господъ и «ужащаются». Пробовалъ-было онъ заняться о «нашихъ» дѣлахъ, но дьячковъ сынъ, будучи пьянъ, только обругалъ его и какъ будто даже доказалъ, что дѣло ихъ давно пропало, что хлопотать тутъ ужъ больше нечего и что все давно пошло своимъ чередомъ противъ нихъ. Но на утро онъ оправился и отпустилъ мужика домой, сказавъ, что онъ, дьячковъ сынъ, останется ждать въ городѣ какой-

то бумаги, въ которой именно и будетъ сказано все, что слѣдуетъ...

И опять идетъ бумага, и опять везетъ ее становой, и опять въ бумагѣ что-то какъ будто «не такъ». Оказывается, что въ то время, какъ они галдѣли съ дядей Парменомъ о вторичномъ его путешествіи, и въ то время, какъ пьянствовалъ въ городѣ дьячковъ сынъ, «истекъ» еще какой-то срокъ, день или часъ, въ который можно бы было что-то сдѣлать, а послѣ котораго уже рѣшительно «все пропало».

— И поэтому говорю вамъ по чести: слѣжайте переселеніе добровольно, прибавилъ становой. — Это будетъ вамъ выгодно: если же вы будете продолжать упорствовать, то... и т. д.

Несмотря на полную справедливость того, что говорилъ становой приставъ, распоясовцы видѣли, что это—вовсе «не то», что имъ нужно, и опять не дали «согласу».

— Такъ несогласны?

— Никакъ нѣтъ! Согласу не даемъ!

— Не подписываете?

— Храни Богъ грѣха...

— Но вѣдь ваше дѣло проиграно?..

— Это—не та бумага!

— Фальшь!..

— Какъ твоя фамилія? Кто это сказалъ «фальшь»? выходи сюда: кто ты таковъ?

— Братцы! Не выдавай!..

— Что-о-о?..

Въ шумѣ и гамѣ пишется новый протоколичекъ, и новый распоясовскій мужикъ везетъ его куда слѣдуетъ, погоняя лошадь. И становой уѣзжаетъ тоже на распоясовскихъ лошадяхъ.

Эти два неожиданные удара, эти двѣ бумаги, такъ жестоко обманувшія надежды распоясовцевъ, такъ много поглотившія денегъ, разрушившія такъ много мечтаній, въ первую минуту до того потрясаютъ распоясовцевъ, что они не знаютъ, что дѣлать. Нѣтъ у нихъ никого, къ кому-бы обратиться, узнать—какъ быть: дьячковъ сынъ пропалъ, Парменъ пропалъ, никто ничего не знаетъ. Старшина гнетъ на «ихнюю» сторону, въ сторону фальшивой бумаги. Что тутъ дѣлать? «Да неужто нѣтъ правды на свѣтѣ?.. Время теперь не прежнее!..» И, какъ только эта мысль о правдѣ вступаетъ въ головы распоясовцевъ, остоленіе ихъ тотчасъ же замѣняется жаждою борьбы въ сотни разъ сильнѣйшею той, которая двигала ими въ первыхъ двухъ попыткахъ.

— Али правды нѣтъ на свѣтѣ? гремѣть «коноводъ», вдругъ взявшійся не знамо откуда. — Подымай, ребята, послѣдними животами!.. Все одно помирять!

— Выпускай послѣдній духъ!.. Авось сыщется правда-то!..

— Богъ-то на небѣ, чай, есть!

— Оскребай, ребята, что есть! Н-но! за одно!

Этотъ моментъ въ жизни распоясовцевъ былъ полонъ такимъ удивительнымъ самоотверженіемъ, какое бываетъ только въ самыхъ рѣшительныхъ минутахъ. Выворотивъ все, что «оставалось», «выпу-

стивъ послѣдній духъ», распродавъ «коровенокъ, овченокъ», распоясовцы стали доходить до Москвы, которая казалась имъ выше губернскаго города, стали доходить въ Петербургъ, послѣ того какъ Москва «просолила дѣло». И когда въ Петербургѣ тоже оказалось что-то плохо, то, воодушевившись мыслью, что Петербургъ сошелся не клиномъ, стали распоясовцы достигать до сената и т. д., пока не уперлись въ пересылочную тюрьму. Оставшіеся дома распоясовцы ждали результатовъ съ непоколебимымъ терпѣніемъ. Не было случайно проходившаго или проѣзжавшаго чрезъ ихъ деревню человека, къ которому они не адресовались бы съ распросами о своемъ дѣлѣ и не совали бы ему поросенка, чтобы онъ сказалъ все, что знаетъ. Сами они не знали ничего.

— Гдѣ у васъ бумаги? спрашивалъ заинтересованнѣйшій проѣзжіи.

— Бумаги даны Пармену.

— А Парменъ гдѣ?

— Въ губерніи.

— А гдѣ такая-то бумага?

— Дьячковъ сынь, Антипкинь, взялъ.

— Гдѣ-же онъ?

— Неизвѣстно...

— А такая-то?

— А такой и не было.

— Должна быть?

— Можетъ, у Пахомки... У Пахомки нагдысь оглядѣлъ я бумагу.

— Какъ у Пахомки? у Радивона! Радивонъ сказывалъ, говорить, у него вышъ!

— У Радивона воспаяная бумага, эво ты! Припущать оспу...

— А може...

— Такъ нѣтъ бумагъ?

— Бумагъ у насъ, надо говорить прямо, нѣту!

— Ну, такъ ничего и нельзя дѣлать!

— Ничего?

— Ничего нельзя!..

Таковъ былъ большею частью отвѣтъ всѣхъ, кто понималъ дѣло или хотѣлъ понять его. Всякій разъ распоясовцы послѣ такихъ распросовъ становились грустнѣе и все больше и больше чувствовали желѣзную силу незнанія и безиліе разорвать эту паутину «сровокъ», «просрочекъ», «апелляцій», «кассаций», «скопій». Спасибо, большое спасибо прохожимъ богомольцамъ, отставнымъ солдатамъ и прочему захожему люду, тоже какъ и распоясовцы непонимающему въ этомъ дѣлѣ ровно ничего. Тѣ всегда говорили, что ихъ дѣло вѣрное, что повернуть его можно какъ угодно, что стоитъ только дойти куда выше, а тамъ только черкнуть и сразу перевернуть всю округу. Солдаты особенно ярко представляли возможность успѣха. Они сами бывали въ Петербургѣ и видѣли все и знали, «а что ежели становой тамъ что-нибудь, такъ въ Петербургѣ становые продаются по грошу пара!» Точно сахаръ, вѣсти эти расплывались по сердцу распоясовцевъ... Однажды Миронъ Петровъ, распоясовскій мужикъ, ѣздившій къ Троицъ-Сергію, привезъ подобную же вѣсточку и отъ питерскихъ хо-

дочковъ, которыхъ онъ впрочемъ не зналъ, а слышалъ, что на станціи одному купцу кто-то сказывалъ, что вышло распоясовскимъ «въ пользу», а купецъ все это рассказалъ Мирону, да и купецъ-то какой-то незнакомый...

— Должно доберъ, купецъ-то! думали распоясовцы.

Но куда шли эти распросы, рассказы, покула распоясовскіе мужики медленно шли и перевозились по этапу домой, сроки всѣ были пропущены окончательно и безвозвратно, и при наступленіи осени уѣздный исправникъ, явившійся въ деревню на тройкѣ собственныхъ лошадей, съ колокольчикомъ и бубенцами, очень коротко и просто объявлялъ, что съ завтрашняго дня распоясовцы должны переселиться.

Онъ прочелъ имъ всѣ бумаги, которыя когда бы и куда бы то ни было подавали распоясовцы, прочелъ рѣшеніе по бумагамъ петербургскихъ ходочковъ и повторилъ, что послѣ всего этого разговаривать нечего. Если же, прибавилъ онъ, распоясовцы попрежнему будутъ упорствовать, то переселеніе будетъ сдѣлано полиціей на ихъ счетъ, что рабочіе теперь—сколько угодно, потому что—осень.

Распоясовцы ничего не понимали.

Исправникъ растолковалъ имъ опять дѣло съ начала и до конца; они все-таки не могли понять ничего.

И въ третій разъ было все имъ разъяснено и доказано. И въ третій разъ они не понимали и не вѣрили.

Очнулись они только тогда, когда имъ предложили подписать что-то. Тутъ они опять увидѣли «фальшь» и подписать отказались.

И опять три раза было, какъ по пальцамъ, сказано все дѣло, и опять предложено подписаться, и опять они не тронулись съ мѣста и «согласу» не дали.

Составленъ былъ третій протоколъ, и третій распоясовскій мужикъ отвезъ его, погоняя лошадь, куда слѣдуетъ.

Предложеніе «подписать», напоминавшее распоясовцамъ два такихъ же «фальшивыхъ» предложенія и изворотливость, съ которой они отстояли «свои права» и не подписали ихъ, на нѣкоторое время было оживило ихъ и воскресило нѣкоторую надежду, что еще будутъ добрыя новости, что вотъ-вотъ придутъ петербургскіе ходоки, что вотъ-вотъ придутъ какіе-нибудь «особенные» чиновники и повернуть все дѣло по свойски. Но на слѣдующій день, съ восходомъ солнца, восемьдесятъ человекъ народу, собраннаго со всѣхъ окрестныхъ деревень, пришло въ Распоясово.

— Вы что, ребята? Здорово! спрашивали распоясовцы.

— Здравствуйте! Да вотъ нанялись...

— На переселъ, вишь, сгоняли...

— Али это насъ разорять пришли?

— По дѣламъ такъ, что вродѣ, какъ—вась!

— Ни-ча-во!

— Намъ что же? Восемь гривенъ въ день!.. Суди самъ!

- Цѣна хорошая!..
- Наше дѣло, сами знаете, чай...
- Такъ-то такъ! По восьми гривенъ?..
- По восьми...
- Шабашъ, значитъ!..

Это событіе сразу разрушило всѣ распоясовскія надежды. Въ довершеніе бѣды, скоро вслѣдъ за рабочими пріѣхалъ исправникъ и подтвердилъ, что рабочіе наняты на счетъ распоясовцевъ, и если поэтому распоясовцы добровольно не исполняютъ того, что слѣдуетъ имъ исполнить, то рабочіе сейчасъ же приступятъ къ дѣлу.

Минута была тяжелая для распоясовцевъ. Надежды и мечты были разрушены окончательно; они ничего не могли сообразить въ виду очевидности ихъ неудачи, и вмѣсто того чтобы негодовать, шумѣть и буйствовать, чего такъ ожидалъ исправникъ, они совершенно ослабли духомъ, отчаялись, впади въ глубоко-упорную апатію. «Помереть!» — было единственнымъ желаніемъ почти всѣхъ распоясовцевъ, а фразою: «намъ легче помереть» — они отвѣчали на новыя безконечныя доказательства безразсудности ихъ упорства и окончательно проиграли дѣло.

Истощивъ всѣ усилія въ борьбѣ съ этимъ окаменѣлымъ состояніемъ народа, исправникъ скомендовалъ наконецъ:

— Ломай!

Рабочіе принялись за дѣло.

Три недѣли шла ломка распоясовскихъ дворовъ; три недѣли надъ деревней стояла пыль густымъ облакомъ отъ развороченной соломы крышъ, разломанныхъ печей; три недѣли отъ Распоясова тянулись возы съ бревнами, съ рамами, съ досками отъ крышъ, съ оторванными дверями и проч., и проч. Исправникъ ходилъ весь черный отъ пыли и елестаскалъ ноги отъ усталости. Онъ совершенно охрипъ, такъ много было работы.

Распоясовцы, молча, словно каменные статуи, смотрѣли на это разрушеніе. Они дѣйствительно какъ бы окаменѣли, ничего не ѣли, не слышали и не видали.

— Прими ребенка-то, сумасшедшая! кричалъ исправникъ распоясовской бабѣ — Вѣдъубьетъ! Дура этакая! видишь, строило падаетъ!..

Баба стоять и не слышитъ, а только Богъ спасъ ребенка: строило упало рядомъ съ нимъ.

— Ишь! буркнулъ распоясовецъ, глядя, какъ бревно проносилось надъ ребенкомъ.

Въ другомъ мѣстѣ никто не тронулся съ мѣста, когда среди разрушающагося дома раздался раздирающій женскій вопль. Оказалось, что тамъ лежала беременная женщина въ послѣднихъ мукахъ...

— Православные! обращались рабочіе къ распоясовцамъ: — помогите старичка снять съ печи, что вы столбами-то стоите? Дьяволы этикіе!

И на это приглашеніе никто не отвѣчалъ: всѣмъ было «все равно», всѣ были словно каменные.

Черезъ три недѣли Распоясово представляло такой видъ: груды содранной съ крышъ соломы валялись на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ прежде были дома, амбары, сараи; отъ домовъ остались заваленки, отъ

погребовъ — ямы, отъ сараевъ кое-гдѣ торчали столбы. И среди этихъ грудъ соломы безъ призора бродила скотина, тщетно вызывая къ какому-нибудь вниманію хозяина; въ этой же соломѣ возились дѣти и спали родители, не раздѣваясь и не перемѣняя бѣлья и одежды съ перваго же дня разоренія деревни. Что они ѣли? отвѣчать трудно; хлѣба они не сѣяли и не собирали. На берегу рѣки кое-гдѣ виднѣлись вырытыя въ землѣ печи, по временамъ дымившіяся, около которыхъ возились женщины.

Распоясовцы не шли на новыя мѣста и держались попрежнему убѣжденія, что «лучше помереть».

Настали осенніе дожди... Распоясовцы сказали себѣ:

— Ну, робя, тепериче, чистая приходитъ наша смерть! Отдавай, ребята, Богу душу... Помирай!

И все-таки не шли съ старыхъ мѣстъ. Вмѣстѣ съ больными ребятами мокли они въ мокрой соломѣ, въ ямахъ, оставшихся послѣ погребовъ и выломанныхъ печей.

И дѣйствительно стали помирать...

Наконецъ всѣхъ ихъ отдали подъ судъ.

IV.

Пропустившій «сроки» распоясовецъ ослабъ духомъ совершенно; онъ очевидно потерялъ все; онъ очевидно не зналъ, въ чемъ дѣло, былъ дуракъ, невѣжа, и это сознаніе своей глупости отозвалось въ характерѣ распоясовцевъ полнымъ презрѣніемъ другъ къ другу. Они, какъ собаки, грызли и вредили другъ другу на новыхъ мѣстахъ; всякому было отвратительно видѣть въ другомъ набитого дурака, который, изъ-за своего невѣжества и дурости, разорился самъ, да и другихъ разорилъ. Поэтому при слѣдствіи «объ упорствѣ и неисполненіи и т. д.» — они валили все другъ на друга: валили на Пармена, на всѣхъ, кто первый кричалъ: «постоимъ за свои животы», «подымай ребята своими животами», и на всѣхъ, кто «первый» отдавалъ эти животы...

Закончивъ долготѣющую исторію своего терпѣнія и бѣдности сознаніемъ своей глупости, ничтожества, такого ничтожества, которое можетъ быть во всякое время выкинуто вонъ какъ соръ, распоясовецъ чувствовалъ внутри себя полный разгромъ, развратъ и сталъ пропивать все, что оставалось, сталъ воровать, изнагнѣлъ до того, что прямо подходилъ къ проѣзжему купцу и говорилъ:

— Ну что-жъ, купецъ, давай на чаекъ-то?

— За что?

— А за разговоръ. Мало тебѣ этого? вынимайка желтую-то бумажку!

И вотъ въ такую то минуту нравственнаго паденія, грозившаго потопить распоясовца въ морѣ самой крайней нищеты, однажды по осени, въ самое трудное для распоясовцевъ время, когда приходилось вносить недоимки, въ маленькой телѣжкѣ, запряженной добрымъ меренкомъ, появился Иванъ Кузьмичъ вмѣстѣ съ управляющимъ. Они очевидно объѣзжали и осматривали «округъ». Меренокъ шелъ свободно и весело по дорогѣ, Иванъ Кузьмичъ просто и прямо оцѣнивалъ: «что чего стоитъ», и

скоро стало извѣстно, что «купецъ снялъ» у барина «все» — и лѣсъ дремучій, и рѣки, и поля, все—все до нитки. Скоро новораспоясовцы узнали, что и ихъ Иванъ Кузьмичъ «тоже снялъ», всѣхъ до одинаго: «полтина въ сутки пѣшему и рубль конному»; «кто хочетъ по этой цѣнѣ идти на станцію за пятнадцать верстъ принять оттуда паровикъ—иди».

Такова была прокламація Ивана Кузьмича къ народу.

«Человѣкъ-полтина» — вотъ суть теорія, принесенной имъ въ распоясовскую среду. Тутъ не предполагалось никакихъ разсужденій о томъ, что—наше, что—ваше. Насчетъ какихъ бы то ни было «правовъ» тутъ разговору быть уже не могло. Просто: хочешь полтину—иди, не хочешь—не надо. Все это потерявшему внутренній смыслъ распоясовцу было какъ нелзя лучше по душѣ: у него послѣ полного нравственнаго разгрома оставались цѣлыми руки, ноги, мускулы и желудокъ. Иванъ Кузьмичъ только того и требовалъ, назначивъ желудку полтинникъ въ сутки и самое главное—водку.

— Повеземъ, ребята, говорили его приказчики, скликая распоясовскій народъ: — повеземъ *одной водкой!*

— Дай вамъ Богъ за это!.. кричали распоясовцы.

— На счетъ водки не робѣй: сколько хощь пей, только дѣло дѣлай.

— У насъ вотъ какъ дѣло закипитъ—ключемъ! И, дѣйствительно, скоро закипѣло дѣло.

Тысяче-пудовое чудовище наконецъ пріѣхало изъ Москвы на станцію желѣзной дороги, и окруженное массою распоясовскаго народа, тронулось оживлять мертвую округу. Широко разинуло оно свою нелѣзную желѣзную пасть, какъ бы грозясь поглотить всю эту благодать, которая открывалась передъ нею, всю эту рвань, которая копошилась вокругъ нея. Медленно и грозно двигается она впередъ. То затрепещитъ и рухнетъ подъ нимъ гнилой мостъ, то застрянетъ она на крутомъ подъемѣ. Визгъ кнутевъ по ободраннѣмъ, обезумѣвшимъ отъ усталости лошаденкамъ, оранье обезумѣвшихъ отъ водки распоясовцевъ, оранье хриплое и изво всѣхъ кишокъ, оранье, переполненное ругательствами, бранью, пѣснями, цѣлою тучей виситъ надъ этимъ чудовищемъ, и оно кой-какъ вылѣзаетъ изъ ямы и идетъ дальше. То вдругъ, на крутомъ поворотѣ, когда разойдутся и лошади, и люди и съ гиканьемъ мчатъ его впередъ, оно вдругъ свернется на бокъ и растянется на пашнѣ, раздавивъ подъ собою и дядю Егора, и дядю Пахома, да Микишку, да Андрюшку... Долго лежить тутъ душегубецъ-чудовище, ожидая судебного слѣдователя и слѣдствія, и поначище распоясовцевъ долго, нѣсколько дней подраетъ пьянствовать, ругается другъ съ другомъ... Много развитыхъ въ дракѣ во время этого продолжительнаго бездѣлья лицъ, совершенно черныхъ пишекъ у глазъ, запекшейся крови на вискахъ видно въ то время, когда чудовище снова трогается впередъ и снова выбиваются изъ силъ лошаденки, хлещутъ кнуты, и пьяное оранье наполняетъ воздухъ.

Бое-какъ этотъ «человѣкъ-полтина» дотащилъ чудовище до мѣста, до быстрой рѣчки, пробѣгавшей въ лѣсу, котораго теперь почти уже не было... Масса распоясовцевъ, превращенныхъ уже въ «полтинники», сводила его самымъ усерднымъ образомъ, превращая въ сажени, въ срубы и т. д. Съ трескомъ валились деревья, громко разносились пѣсни, звонъ пилъ и стукъ топоровъ, и вечеромъ, когда все это замолкло, начинать гудѣть и дрожать отъ плясу, брани и драки выстроенный Иваномъ Кузьмичемъ изъ этого же лѣсу кабакъ.

— Голова только, нашъ Кузьмичъ, братцы! охмелѣвъ, бурчалъ распоясовецъ.—И-и башка!

— Довольно чисто поворачиваетъ дѣлами, надо сказать прямо—себѣ имѣетъ пользу, да и нашему брату способно.

— Хлѣбъ дастъ бѣдному, во-отъ! прибавлялъ третій.

— Ав-вось не помремъ, налей-ко еще стаканчикъ!

— Во-ота! Еще толи будетъ! Сказываютъ, взрывать все хочетъ начисто... Деревянный камень какой-то есть... Наливай!

— Эхъ, ребята, пощемъ, погуляемъ!.. Денежки-то вотъ онѣ... Новаго чекану, по старинному счету два рубля... Наливай, наливай, другъ!

— Ужъ и мнѣ, старухѣ, стаканчикъ пожалуй что придется съ вами, съ молодцами, выкушать... И у насъ Кузьмичевы есть деньги, три пятака, пожалуй-что полтина—чего-жъ и не погрѣться старухѣ?

— Пей, старуха! у Кузьмича денегъ много!.. Пойдемъ деревянный камень рыть, все воротимъ. Наливай!

И дѣйствительно, послѣ того какъ исчезъ лѣсъ, Иванъ Кузьмичъ попалъ на камень и сталъ рыться за нимъ въ глубь земли, таскать его оттуда и продавать до тѣхъ поръ, покуда не вытаскалъ весь и покуда вырытыя имъ пещеры не обвалились и не задавили нѣсколько десятковъ человѣкъ. Тогда оказалось, что и желѣза въ этихъ мѣстахъ видимо-невидимо! Иванъ Кузьмичъ принялся за желѣзо. Рылъ, вывозилъ и продавалъ, а деньги возилъ въ банкъ и получалъ книжки чековъ.

Вотъ что мы знаемъ объ этихъ книжкахъ, которыя онъ почти каждый годъ привозилъ съ собою изъ города. Много ли впитали онѣ въ себя добра? Объ этомъ пусть судить читатель.

V.

...Иванъ Кузьмичъ только вечеромъ того дня, когда получилъ въ городѣ послѣднюю изъ своихъ книжекъ, добѣжалъ до своего мѣстопребыванія, въ распоясовскую округу. Ярво горѣли окна фабрики, гдѣ дымилъ и свисталъ чудовище-паровикъ. Шумѣла мельница, стучали толчея и крахмальный заводъ. Иванъ Кузьмичъ все скупалъ, все мололъ, толлокъ и продавалъ. Тысячи народу копошились на фабрикахъ, на заводахъ. Сюда была согнана вся распоясовская округа— по рублю, по полтиннику, по четвертаку, и даже самые маленькіе мальчики и дѣвочки могли зарабатывать по гривеннику въ день,

занимаясь щипаньем корпии, которую доставляли из больницы в гной и крови и которая шла на бумажный завод. Все было поставлено к дѣлу и оцѣнено.

Иванъ Кузьмичъ жилъ въ центрѣ этого поселка, въ маленькомъ домикѣ, съ окнами на всѣ четыре стороны, изъ которыхъ было видно все, что ни дѣлалось вокругъ него.

Когда онъ вошелъ въ свой домикъ, въ комнатѣ было жарко натоплено и на столѣ уже кипѣлъ самоваръ. Онъ не былъ женатъ, но прислуга у него была ловкая, знающая, съ кѣмъ имѣть дѣло.

Иванъ Кузьмичъ напился чаю. Пилъ онъ его долго, часа три, спрашивая про то, что было безъ него. Все, оказалось, обстояло благополучно...

По окончаніи чаю, Иванъ Кузьмичъ прилежъ.

Все было, кажется, хорошо, а чего-то—это Иванъ Кузьмичъ чувствовалъ постоянно—какъ будто ему и не доставало. Нѣсколько разъ мысли его останавливались на женитьбѣ. Но, подумавъ хорошенько, онъ находилъ, что это—чистая глупость... Поэтому-то и теперь онъ рѣшился отдѣлаться отъ скуки такъ, какъ отдѣлывался обыкновенно.

— Иванъ! сказалъ онъ какъ-то серьезно.

Явился лакей.

— Что на толчеѣ?

— На толчеѣ нонѣ плохо, Иванъ Кузьмичъ.

— Какъ плохо?

— Всего двѣ бабы, и то старухи... Вотъ на мельницѣ—есть.

— Кто такая?

— Андропова—изъ Большихъ Озеръ.

— Ну, хорошо!..

— Мужъ съ ей.....?

— Сунъ ему зеленую!

Лакей съ улыбкой вышелъ вонъ и отправился на мельницу.

Все это еще недавно была вещь вполне невозможная. Но послѣ того, какъ человѣкъ сталъ цѣниться въ рубль, въ полтинникъ—и полтинникъ и рубль стали все!

— Иди-иди, любезная!.. Торопись, матушка! Потаскай-ка вотъ такую пастъ съ собой—узнаешь, каково они сладки, платки-то красные, да мелочь-серебро...

Такъ говорила какая-то женщина, съ ребенкомъ на рукахъ, проходившая мимо дома Ивана Кузьмича въ то время, когда вслѣдъ за его лакеемъ бѣгомъ вбѣгала по ступенямъ крыльца какая-то женщина.

— О, дуры, дуры набитыя! выдыхая, говорила женщина съ ребенкомъ.—Одной ѣсть нечего, а тутъ и другое горло таскай... Чай, онъ отцомъ-то не хочетъ быть...

Слово «онъ» относилось къ Ивану Кузьмичу. Ребенокъ апатично смотрѣлъ черезъ плечо матери куда-то въ даль.

Что ждать его?

Никакихъ золотыхъ нарядовъ, которые сулила своему сыну размечтавшаяся крестьянка, фабричная женщина сулить не можетъ; она знаетъ, что

цѣна ея мальченокъ долгое время будетъ гривенникъ, потомъ двугривенный и такъ до рубля, а ужъ дальше ничего, ничего не будетъ! Сама она про себя знаетъ, что цѣна ей ничтожная, что хватаетъ только кормиться... Что-же она скажетъ своему мальчишкѣ? Что-же можетъ выйти изъ него кромѣ человѣка, который нуженъ въ дѣлахъ Ивана Кузьмича—какъ сила, какъ дрова, какъ тряпки?..

II. Неплательщики.

I.

Для полной послѣдовательности въ изложеніи исторіи распоясовскаго кармана, съ древѣйшихъ временъ до настоящаго времени, необходимо было-бы, тотчасъ за рассказомъ о появленіи въ распоясовскихъ палестинахъ Ивана Кузьмича съ его теоріей оборотовъ капитала, начать рассказъ о появленіи въ тѣхъ-же мѣстахъ новой питательной желѣзнодорожной вѣтви, такъ какъ «Иваны Кузьмичи» и «питательныя вѣтви» составляютъ между собою неразрывный союзъ и другъ безъ друга рѣшительно не могли бы существовать. Иванъ Кузьмичъ потому только находить выгоду рубить, ковать, рыть, пилить и вообще опустошать распоясовское добро, что желѣзная питательная вѣтвь тотчасъ-же, въ мгновеніе ока, можетъ за тридевять земель унести все это выкопанное, расколотое, распиленное, поваленное на землю и вывернутое съ корнемъ изъ земли... Точно также и новая питательная вѣтвь потому только не занесена сугробами, что съ каждымъ днемъ растетъ количество Ивановъ Кузьмичей, а стало быть и количество нарубленного, вырытого, распиленного, словомъ, количество опустошаемаго или, говоря газетнымъ языкомъ, «количество грузовъ». Не будь дороги, Иванъ Кузьмичъ не сталъ-бы рубить и рыть: куда-бы онъ дѣвался со всѣмъ этимъ добромъ?.. Не будь Ивана Кузьмича, что бы взяла желѣзная дорога съ распоясовскаго населенія, у котораго нѣтъ почти ничего кромѣ бѣлаго, довольно кислаго квасу? Неразрывность связи питательныхъ вѣтвей и Ивановъ Кузьмичей подтверждается еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что какъ одни, такъ и другіе одинаково развиваются въ распоясовскомъ населеніи вкусъ получать за все чистыми деньгами: «чистыми деньгами» платитъ Иванъ Кузьмичъ за эти дремучіе лѣса, каменные горы, за всѣ эти «нѣдра земли»; за «чистыя деньги» тащить онъ всѣ эти нѣдра при посредствѣ конечно все тѣхъ-же распоясовскихъ обывателей на желѣзную дорогу, а дорога, нагрузивъ добычу Ивана Кузьмича въ свои новые вагоны, немедленно уноситъ ее за тридевять земель, оставляя распоясовскимъ обывателямъ за нагрузку увезеннаго добра ни много, ни мало—*по восьми гривенъ съ тысячи пудовъ*, конечно «чистыми деньгами» и конечно по взаимному соглашенію.

Несмотря на крайне юмористическій, хотя и вполне дѣйствительный размѣръ вышеупомянутой цифры, тотъ фактъ, что распоясовскій обыватель

такъ или иначе получаетъ «за все» имъ самимъ утраченное восемь гривенъ серебромъ барыша чистыми деньгами, этотъ фактъ самъ по себѣ уже достаточенъ для того, чтобы тотчасъ-же со всею обстоятельностью изслѣдовать цѣли, средства и результаты, имѣющіе быть отъ появленія въ глухихъ мѣстахъ новорожденныхъ, питательныхъ вѣтвей. Но, при всемъ нашемъ желаніи теперь-же сосредоточиться на этомъ новомъ, продолжающемъ и развивающемъ теоріи Ивана Кузьмича явленіи, мы не дѣлаемъ этого сію минуту потому во-первыхъ, что боимся слишкомъ долго останавливать вниманіе читателя на одномъ и томъ-же и притомъ такомъ непривлекательномъ предметѣ, какъ мужицкій карманъ,—на предметѣ, сухость и тягость котораго еще болѣе увеличивались-бы развитіемъ такой трагической подробности, какъ физиологія питательной вѣтви, а во-вторыхъ потому, что питательная вѣтвь, несмотря на свои молодые годы, уже успѣла ознаменовать себя такими яркими проявленіями, которыя невольно охлаждаютъ охоту умиляться передъ шестнадцатью пятаками, оставляемыми ею распоясовскому мужику, и невольно заставляютъ думать о другомъ. Чтобы не ходить далеко за такими неловкими проявленіями, упомянемъ хотя бы о томъ плачевномъ фактѣ съ этими же шестнадцатью пятаками, по которому оказывается, что, выдавая ихъ распоясовцу чистыми деньгами чрезъ посредство какого-нибудь начальника станціи, питательная вѣтвь совершенно иными путями, словно и не она, а кто-то другой, извлекаетъ эти шестнадцать пятаковъ (пятакомъ больше, пятакомъ меньше—не все ли равно?) въ бездонную пропасть своего трехмилліоннаго бюджета... Фактъ печальный, но дѣйствительный. Въ ту самую минуту, когда распоясовецъ, превращенный Ивановъ Кузьмичемъ въ истиннаго Лира и затѣмъ вновь возвращенный въ мужицское званіе восемью гривнами, въ ту самую минуту, когда этотъ не король Лиръ, а Лиръ-мужикъ сталъ-было увѣрять себя, что «вотъ молъ... по крайности все-же деньги»—въ эту-то минуту къ нему явился трехмилліонный бюджетъ питательной вѣтви и потребовалъ заплатить за него полмилліона рублей гарантіи... Оказывалось, что, несмотря на всѣ старанія Ивановъ Кузьмичей опустошить отечество, дорога не можетъ покрыть расходовъ, не можетъ заплатить процентовъ на тѣ кучи денегъ, которыя нахватили тамъ и сямъ, приготавливаясь обогатиться и обогатить... Трехмилліонный бюджетъ громко ропщетъ на распоясовца за то, что онъ ничего не производитъ, а умѣетъ торговать только своими «готовыми нѣдрами», которыя слишкомъ дешевы и постоянно требуютъ пониженнаго тарифа... Оказывалось кромѣ того, что не понижать тарифа на эти нѣдра невозможно, такъ какъ все, что имѣлъ бюджетъ въ виду, кромѣ распоясовскихъ нѣдръ, точно также обмануло его и обмануло самымъ жестокимъ образомъ: мука гречневая, мука пшеничная, пеклеванная, ржаная,—словомъ, всѣ сорта всевозможной муки, на безчисленное количество грузовъ которой рассчитывала вѣтвь, эта безсовѣстная мука не поѣхала по вѣтви... совсѣмъ не поѣхала... На всѣхъ

парахъ разлетѣвшись къ той избенкѣ на берегу Волги, гдѣ проживала эта мука, красноглазый локомотивъ новой питательной вѣтви увидѣлъ, что у той же избенки уже свѣтятся десятки красныхъ глазъ другихъ локомотивовъ отъ другихъ питательныхъ вѣтвей, пріѣхавшіе къ избенкѣ тоже за этой мукой. «Гдѣ тутъ пеклеванная? Гдѣ тутъ пшеничная? Гдѣ мука ржаная?...» орали красноглазые кулаки, а изъ избенки слышался кашель и какой-то больной голосъ едва слышно отвѣчалъ: «Какъ-ка тамъ мука-а!.. Самимъ нечего... кха-кха... все до чиста обобрали... кха-а!.. Нѣту ничаво!..» Какъ ни орали, какъ звонко ни гаркали локомотивы питательныхъ вѣтвей, а должны были убѣдиться, что нѣтъ муки, что какая была, та ужъ уѣхала... Посвисталъ, посвисталъ и нашъ красноглазый покупатель, да и пошелъ назадъ, таща за собою въ боюжетъ весьма основательный и тоже «чистый» убытокъ... То же, что и съ мукой, случилось и со всѣмъ прочимъ, что должно было ѣхать по нашей вѣтви! Должно было кромѣ муки ѣхать сѣмя льняное, сѣмя конопляное, сѣмя горчичное, сѣмя сорочинское—и не поѣхало. «Какое тутъ сѣмя-а... отвѣчали съ кашлемъ изъ избенки на Волгѣ.—Ступайте отседа... Ну васъ... кха!...» Долженъ былъ ѣхать колоченый балыкъ, мороженый бершъ, бѣлорыбца, бѣлуга, лососина, стерлядь!.. Должны были тучей нестись сухая вобла, окунь, осетеръ, сазанъ малосольный и сухой, сельдь иностранная и русская семга, севрюга, сомъ, малосольная сопа, жерихъ, судакъ, тарань, чехонь, шемая... Должны были—и не поѣхали! Частью потому, что ужъ были увезены давнымъ-давно, частью, какъ на примѣръ вобла сухая, по невѣжеству; эта неповоротливая тварь прямо объявила, что не поѣдетъ въ заграничное путешествіе, потому молъ, что непригоже копѣчной даиъ объявляться за-границей въ рубль серебромъ. «У господъ иностранцевъ, поди, какія свои есты!..» И снова улеглась на берегу Волги вмѣстѣ съ бурлаками, продолжая свою копѣчную торговлю и не обращая вниманія на то, что трехмилліонный бюджетъ твердилъ ей о совершенно готовомъ и притомъ пониженномъ до крайности тарифѣ на ея перевозку. «Ну ужъ, что ужъ!..» бормотала тупоумная вобла. И бюджетъ остался ни съ чѣмъ. Соображая всѣ эти несчастія бюджета, распоясовецъ рѣшительно не зналъ, чѣмъ помочь барину: все, что было, увезъ этотъ самый баринъ вмѣстѣ съ Ивановъ Кузьмичемъ; прежде были, правда, соленые огурцы, но съ тѣхъ поръ, какъ прошла чугунка, и солить не на что стало, потому что нѣтъ уже заработка извозомъ. Кромѣ восьми гривенъ, которыя, дай Богъ здоровья, даѣтъ вотъ этотъ самый трехмилліонный баринъ, у распоясовца не было почти ничего. Эти-то восемь гривенъ и потребовалъ баринъ, прося «честью». Распоясовецъ зналъ, что можетъ послѣдовать за выраженіемъ: «честью тебѣ говорю»,—и сказала поэтому: «Н-ну, Богъ съ вами... получай!» Отдалъ деньги и ушелъ.

Такой по малой мѣрѣ неджентльменскій поступокъ бюджета новой питательной вѣтви самъ по

себѣ настолько зрокъ и вѣсокъ, что, и не вдаваясь въ особенныя подробности, можно ужъ имѣть общее понятіе о достоинствахъ такого новаго явленія глухихъ мѣстъ, какъ желѣзная дорога... И вотъ, принимая во вниманіе какъ смыслъ этого новаго явленія, такъ и смыслъ всего, что до него происходило въ распоясовскихъ мѣстахъ, невольно устаешь, утомляешься отъ непомѣрно однообразной сути и старыхъ, и новыхъ формъ распоясовской жизни и думаешь—кто же тѣ, кто по каплямъ выпиваетъ эту рѣку бюджетовъ, сливающуюся изъ безчисленныхъ распоясовскихъ ручейковъ? Какъ и чѣмъ живутъ тѣ, кто не рубить, ни возить, ни пилить, ни глушить, какъ распоясовскій мужикъ, но для которыхъ на потребу идетъ распоясовскій трудъ, глупость—все!.. Счастливы-ли, довольны ли эти люди, стоящіе у готового, у настоящихъ «чистыхъ» денегъ, эти истинные неплательщики, хотя и не недоимщики?

Эти невольно родившіеся вопросы заставляютъ насъ покинуть распоясовскій карманъ, покинуть деревню, перенестись въ городъ и обратить вниманіе уже не на карманъ, а вообще на состояніе духа городского жителя, такъ какъ всякій городъ, даже такой крошечный, какой предстоитъ намъ видѣть, непременно стоитъ и держится потому, что черезъ него идетъ ручеекъ изъ общаго, широкаго и глубокаго бюджета, и такъ какъ, живя на готовое, городской бюджетный человекъ блюдетъ несомнѣнно какіе-нибудь высшіе духовные интересы...

Въ этихъ-то видахъ мы и приглашаемъ читателя, забывъ всѣ бѣды и радости распоясовцевъ, послѣдовать за нами въ современный губернскій городъ и хоть мелькомъ взглянуть, что у него на душѣ?

II.

Физиономія современнаго губернскаго города какъ снаружи, такъ и внутри, это — нѣчто такое, что сразу, съ одного дня, расслабляетъ нервную систему и сразу, съ одного дня, дѣлаетъ жизнь какою-то досадною путаницею. Путаница явленій, поражающая вашъ глазъ, наравнѣ съ путаницею явленій, поражающей вашъ умъ, лишаетъ физиономію современнаго города всякаго образа и подобія, образуя вмѣсто какой-бы-то ни было физиономіи нѣчто неуклюжее, разношерстное, какую-то кучу, свалку явленій, не имѣющихъ другъ съ другомъ никакой связи и, несмотря на это, дѣлающихъ безплодныя усилія ужиться вмѣстѣ...

Старинный тарантасъ, запряженный пятаеркомъ мухортыхъ лошадеенокъ, какъ нельзя лучше подходилъ къ глубинѣ той лужи, въ которой онъ обыкновенно застрѣвалъ и изъ которой, тоже обыкновенно, вытаскивали его народомъ; все это вмѣстѣ, т. е. тарантасъ, лужи, люди съ дубинами, какъ нельзя лучше подходило къ широкому постоялому двору, густо застланному мягкимъ навозомъ и широко распахнутому свои тесовыя ворота выбравшимся изъ бѣды путешественникамъ. Трактиръ, грязный, темный, какъ уголь, зашпеленный паути-

ной, трактиръ этотъ, помѣщавшійся въ верхнемъ этажѣ постоялаго двора, какъ нельзя лучше подходилъ къ толстому купцу, пришедшему поговорить съ худенькимъ приказнымъ по клаузоному дѣлу, а къ обонимъ вмѣстѣ какъ нельзя лучше подходила полъ стать трактирная машина, гудѣвшая «Лучинушку» и заглушавшая клаузные разговоры... А въ хорошій морозный день, какую удивительную гармонию представлялъ обыватель, весело несущій за ногу живого поросенка или гуся и, несмотря на пронзительный вопль животного (которое чувствуетъ, что люди его сейчасъ съѣдятъ), не упускающій случая приторговывать все встрѣчное и поперечное,—какую гармонию представлялъ этотъ обыватель вмѣстѣ съ хрюканьемъ и ораньемъ, со скрипомъ замороженнаго снѣга и съ веселымъ буханьемъ въ большой соборный колоколъ по случаю параднаго дня?.. Гармонія во всемъ этомъ была полная. Тряпье, дикость, невѣжество, хрюканье и пр., и пр.—все это было пригнано и прилажено, все къ тому же невѣжеству, тряпью, хрюканью и дикости и стало быть не могло не только поражать нашего глаза, но даже ни на волосъ не обижало его...

Теперь не то.

Гармонія подлиннаго тряпья нарушена пришествіемъ рѣшительно несовмѣстныхъ съ нимъ явленій. Изъ превосходнаго вагона желѣзной дороги пассажиръ выльзаетъ прямо въ лужи грязи, грязи непроходимой, изъ которой никто не придетъ васъ вынуть, потому что машина прошла въ такомъ мѣстѣ, гдѣ отъ роду не было ни народу, ни дорогъ... Ощущеніе гибели, безпомощности вдругъ овладѣваетъ вами нежданно-негаданно и съ перваго же шага неожиданность явленій и ощущеній ужъ не покидаетъ васъ: въ новомъ судѣ изъ дня въ день тянется передъ глазами слушателей одна и та-же до мелочей однообразная повѣсть о крайнемъ убожествѣ, объ убійствѣ съ пьяну, о кражѣ съ пьяну, о кражѣ съ голоду—повѣсть о круглой голи, о какой-то маленькой, зеленой копѣйкѣ, а обстановка этой копѣйки стоитъ рубля; на сцену ставятъ дѣло о несчастнѣйшей, бѣднѣйшей, забитѣйшей женщинѣ, которая не помнитъ, какъ родила гдѣ-то въ хлѣву ребенка, не помнитъ, живой онъ былъ или мертвый, а только умѣетъ реветъ, ничего не въ силахъ будучи сообразить, а на обстановку этого несчастія идетъ ничуть не меньше, чѣмъ на обстановку *Аиды* и *Африканки*.

Прежняя, старинная грязь и лужи, прежніе гнилые заборы съ нищими на углу, поющими «подайте Христа ради!» — а надъ головой нищей, на томъ же углу, «Парижская жизнь», оперетка, изуродованные куплеты которой заглушаются буханьемъ въ колоколъ у Никиты, гдѣ завтра престоль... *Вдрузь*, нежданно-негаданно, налетитъ по желѣзной дорогѣ Рубинштейнъ, Давыдовъ... *Вдрузь* забѣжитъ волкъ и перекусаетъ возвращающихся съ концерта меломановъ... Дохмотья, до послѣдней степени разстроенные нервы, волкъ, Рубинштейнъ, вѣнская карета и первобытная мостовая, мигрень и тикъ рядомъ съ простымъ угаромъ, все это проходитъ одно за другимъ, желая представить изъ

себя нѣчто общее, нѣчто переплетенное въ одну книгу подъ однимъ общимъ заглавіемъ «Губернскій городъ такой-то», и нисколько не достигаетъ чего-нибудь подобнаго, а только поражаетъ, заставляя на каждомъ шагѣ спрашивать себя: зачѣмъ и откуда взялась вѣнская карета въ этой лужѣ? Почему не просто соленый огурецъ, а какой-то соленый конкомбръ? Зачѣмъ Рубинштейнъ? Зачѣмъ волкъ? Зачѣмъ «Парижская жизнь»?.. Зачѣмъ желѣзная дорога?...

Словомъ,—полная неизмѣнность первобытныхъ условій, при которыхъ по городу свободно могутъ бѣгать волки, при которыхъ даже и состоятельный человѣкъ считаетъ долгомъ по крайней мѣрѣ разъ въ мѣсяцъ угорѣть такъ, что его «вытаскиваютъ» за мертво,—полная неизмѣнность условій, при которыхъ вопли возможны и законны сугробы, лохмотья и т. д., и въ то же время несомнѣнное присутствіе или напоръ въ среду этихъ условій—мигрени, вѣнскихъ каретъ, оперетокъ, громадныхъ окладовъ, разстроенныхъ нервовъ и множества другихъ новостей, рѣшительно не подходящихъ къ старому, но смѣшанныхъ съ нимъ какою-то невѣдомою и невидимою силою,—дѣлаетъ эту смѣсь, эту толкучку явленій досадною до послѣдней степени. Въ самомъ дѣлѣ, чтѣ должна перенести ваша мысль, если разговоръ о литературѣ, который вы сейчасъ вели въ весьма просвѣщенномъ обществѣ, смѣняется темною, какъ могила, улицю, по которой вамъ приходится идти, думая только о спасеніи себя отъ лужи, собакъ, а то и прямо отъ волковъ? Нормальна-ли будетъ ваша мысль, если грустная впечатлѣнія горемычѣйшаго процесса, видѣннаго съ судѣ—непрѣмѣнно должны быть либо просто забыты, либо изглажены впечатлѣніями разныхъ маркизъ и виконтовъ, богъ знаетъ какъ переведенныхъ съ французскаго, возвратившихся изъ ободраннаго словаго Булонскаго лѣса, которыхъ вы видите на театрѣ?.. Крайняя разнородность, полная разорванность явленій, которыхъ невольно должна касаться ваша мысль продолженія хотя одного дня, къ вечеру этого дня истомляетъ васъ, расслабляетъ. Приходится неожиданно думать о неожиданныхъ вещахъ и неожиданно прекращать случайно начатую мысль ради чего-нибудь также неожиданнаго, а въ результатѣ—нуль, скука, досадная зѣвота...

Вотъ въ рѣзкихъ, грубыхъ чертахъ тоскливая, искаженная фizioномія современнаго, реформированнаго губернскаго города. Потребность уйти изъ него, которая начинаетъ мелькать у васъ очень скоро послѣ знакомства съ этой пріятной фizioноміей, оказывается потребностью весьма распространенною, конечно, подъ весьма разнообразными формами. Одни просто готовы бѣжать куда глаза глядятъ, другіе только сегодня «не знаютъ куда дѣться», а завтра можетъ и дѣнутся куданибудь, третьи вообще «чувствуютъ неудовольствіе». Кой-кто изъ всей этой массы народа, чувствующей досадное иго и бремя досадной дѣйствительности, не задумывается долго и уходитъ; но неизмѣримое большинство живетъ, ежеминутно чувствуя неудовольствіе.

И вотъ, почему-нибудь оставшись среди этой досадной путаницы жизни, оставшись надолго, начинаешь мало-по-малу покойнѣе всматриваться въ нее, изучать ее въ виду того, что не одинъ ты значишь это иго и бремя, а тысячи и десятки тысячъ, и, благодаря этому, совершенно теряешь всякую возможность досадовать на какую бы то ни было неожиданность, прибавляющую къ существующимъ неаппетитамъ неаппетиту новую, теряешь эту способность потому, что приходишь къ такому убѣжденію: да вѣдь это—все не здѣсь дѣлается; вѣдь это все—только отраженные движенія нервной системы, мозговые центры которой не здѣсь. Оказывается, что здѣшній мѣстный мозгъ почти парализованъ, почти не дѣйствуетъ, а если и дѣйствуетъ, то очень слабо, едва-едва. Оказывается, что явленія здѣшней жизни—«явленія» въ буквальномъ смыслѣ, потому что буквально «являются» сюда и перевертываютъ все вверхъ дномъ, не давая здѣшнему мозгу опомниться, причувствовать его молчать, обезсилить и обезкровить его.

Ниже мы фактами новѣйшей исторіи постараемся показать какъ внезапность, случайность явленій нашей досадной жизни, такъ и вліяніе этой случайности, пришлости явленій на состояніе мысли и расположеніе духа мѣстнаго бюджетнаго потребителя. Теперь же прежде всего необходимо связать два слова въ подтвержденіе сказаннаго вообще о случайности появленія новинъ въ нашихъ мѣстахъ. Для того, чтобы убѣдиться въ этой случайности, лучше всего посмотрѣть на мѣстнаго «жителя», на коренника, на потомка тѣхъ коренниковъ, тѣхъ подлинныхъ «жителей», которые насидѣли мѣсто, называемое теперь «городъ такой-то», которые застроили его этими домиками въ три окна, этими церквями, этими базарами, которые горѣли и погорали до тла и все-таки опять выстраивались на насиченномъ мѣстѣ. Каковъ же этотъ потомокъ, каковъ этотъ теперешній коренникъ, фундаментъ города, житель или, что—то же, «предполагаемый на будущій годъ доходъ съ недвижимыхъ имуществъ», каковъ-то онъ, этотъ недвижимый человѣкъ? Оказывается, что этотъ недвижимый человѣкъ какъ лѣвъ капли воды такой же самый, какъ и его предокъ... Чего-чего ни перебивало съ древнѣйшихъ временъ до настоящихъ дней на томъ мѣстѣ, которое насидѣлъ до-историческій коренникъ, а онъ хоть бы на булавочную головку измѣнилъ суть своей жизни. Чѣмъ жилъ предокъ, откуда бралъ онъ силу чуть не ежегодно строиться вновь, ежегодно погараая отъ собственнаго самовара,—опредѣлить нѣтъ возможности; точно также нѣтъ никакой возможности опредѣлить, чѣмъ живетъ, откуда беретъ силу жить и теперешній житель, населяющій эти безконечные трехъ и четырехъ-оконные, камешные и полу-каменные дома; но точь въ точь какъ и предокъ, онъ погарааетъ отъ собственнаго самовара и точь въ точь какъ предокъ,—невѣдомо какъ—умѣетъ выстроиться. Подлинный житель непостижимъ безъ собственнаго дома. Домъ и житель—это то же, что мышъ и нора; житель потому не просто человѣкъ, а такъ сказать—человѣко-

домъ; и въ этомъ видѣ и смыслъ онъ — двѣ капли воды тотъ же самый человѣко-домъ, какъ и его доисторическій предокъ.

Идутъ мимо него реформы, оперетки — а онъ все бухаетъ, да бухаетъ у Никиты къ ранней и поздней, къ первому, ко второму и третьему звону. Среди бездомныхъ лужъ, устроенныхъ этимъ самымъ жителемъ, появляются вѣнскія кареты и въ каретахъ сидятъ въ высшей степени разстроенные нервы, а житель, не обращая на эти нервы никакого вниманія, продолжаетъ терзать ихъ хрюкомъ и ревомъ своихъ базарныхъ площадей и по старинному тащить поросенка за заднюю ногу, ни капли не разстраивая своихъ доисторическихъ нервовъ его воплемъ. Мимо него идутъ линіи желѣзныхъ дорогъ, открывающія ему ворота на дороги всего свѣта, а онъ все-таки продолжаетъ ѣздить въ одну только Оптину пустынь. Придутъ вмѣсто желѣзныхъ дорогъ аэроплатформы — и онъ все-таки и на аэроплатформѣ поѣдетъ въ ту же Оптину пустынь или ужъ (благо скоро ходить) съѣздитъ къ Троицъ-Сергію, потому давно (лѣтъ 30) собирался. Во имя чего онъ дубаситъ у Никиты, толкается на базарѣ, горитъ и строится — я не знаю, точно также какъ не знаю, почему мышь проявляетъ себя только въ прогрызаніи дыръ, но что мышь и житель одинаково непоколебимо тверды въ упомянутыхъ проявленіяхъ, это я вижу ясно. Чѣмъ же объяснить такую удивительную непоколебимость нравовъ человѣко-дома, если не тѣмъ, что почти ни одно изъ «явленій» послѣднихъ дней не началось въ его норѣ, а прилетало, являлось со стороны? Въ нору жителя доходилъ только звукъ, свѣтъ явленія, «нонѣ пошло» вотъ то-то, говорилъ онъ, и на томъ оканчивалъ связь съ тѣмъ, что «пошло...» «Пошло земство», «пошелъ шиньонъ», «пошла банки», «пошла стучалка...» Кое-что — наприкладъ, шиньонъ, необходимость билета на желѣзную дорогу — онъ удерживалъ у себя; но, принимая шиньонъ, онъ все-таки отправлялъ въ немъ свою дочь къ тому же самому Никитѣ, куда ходила и бабушка, хоть и безъ шиньона, а по желѣзной дорогѣ, какъ уже сказано, — ѣздить все въ ту же Оптину пустынь.

При этомъ необходимо упомянуть, что и принятіе такихъ вещей, какъ шиньонъ и билетъ, всегда обходилось ему необыкновенно дорого. Такъ, прежде нежели онъ научился брать билеты, у него было и долго тянулось дѣло по оскорбленію начальника станціи словами. Онъ пять разъ подходилъ къ кассѣ и спрашивалъ билетъ въ Оптину пустынь, пять разъ ему говорили, что нѣтъ такой станціи, пять разъ онъ отвѣчалъ на это, что «какъ-же молъ Иванъ-то Петровичъ ѣздитъ?». — «Проходите, проходите!» говорилъ ему жандармъ, и пять разъ житель влѣзалъ за перила и вылѣзалъ изъ нихъ безъ всякаго результата. Такъ какъ прежде, до чугунки, всѣ ѣздили въ Оптину пустынь весьма благополучно и такъ какъ Иванъ Петровичъ ѣздитъ туда же по чугункѣ, то отказывать въ билетѣ — это значитъ просто желать взять взятку. — «Это вы, я вижу, господинъ, помазаться захотѣли, что молъ въ Оптину пустынь нельзя... видно и тутъ съ нашего

брата норовите слизать...», въ шестой разъ продравшись къ кассѣ, съ полною увѣренностью заявилъ житель. — «Что-о-о-о?» — загремѣло на это изъ глубины кассовой будочки и загремѣло именно такимъ голосомъ, послѣ котораго непременно долженъ слѣдовать протоколъ: такъ и вышло. Дѣло это, тянувшееся полтора года, стало жителю въ копѣйку, но научило его брать билеты въ Оптину пустынь. «Ты у меня спроси, говорилъ онъ какому нибудь юному жителю: — какъ наприкладъ, по нѣшнему времени, въ Оптину-то пустынь ѣздить, такъ я тебѣ могу объяснить это... Оно у меня вотъ гдѣ сидитъ, слѣдовательно, я знаю, какъ билеты берутся... вотъ!»... А шиньонъ? Тутъ ревелъ не день, не два, а два-три года къ ряду цѣлая масса дѣвицъ, называющихся въ душныхъ жителейвыхъ норахъ, женъ и матерей, понимающихъ, что по нѣшнему времени нельзя «безъ этого», бабушекъ и прабабушекъ, тронувшихся рыданіями ввучекъ, и т. д. И только послѣ нѣсколькихъ лѣтъ этого рева, просьбъ и рыданій, возобновлявшихся аккуратно передъ каждой всенощной и обѣдней, житель, который все время упирался единственно только потому, что все новое, приходящее со стороны, неприятно ему, наконецъ разрѣшаетъ купить шиньонъ, прибавляя такъ, ни къ селу, ни къ городу:

— «Да смотри у меня! Ежели чуть что — изъ дому выгоню. Хоть околѣй на улицѣ — не пуцуй!»

Но, принимая кое-что изъ новаго, онъ суть дѣла оставляетъ всегда прежнею, какъ уже это и было показано на исторіи съ билетомъ и шиньономъ, и принимаетъ это «кое-что» послѣ продолжительнаго самоистязанія, воплей семьи, расходовъ по дѣлу и т. д. Все-же остальное новое, что не подходитъ такъ близко къ его основнымъ убѣжденіямъ, какъ подошелъ шиньонъ и билетъ на желѣзную дорогу, все являлось къ нему въ видѣ повѣстокъ, просовываемыхъ въ его нору какимъ-то сѣрымъ рукавомъ и требующихъ 1 р., 2 р., 5 р. и т. д., только оплачивалось и оплачивается имъ, причемъ житель кричитъ, чешется и подъ конецъ все-таки платитъ. Оплаченные такимъ образомъ новости какъ будто-бы осуществляются въ дѣйствительности, но въ нравственномъ мірѣ коренного жителя — отъ нихъ ни тепло, ни холодно. Вѣрить онъ въ сущности все-таки только въ то, во что вѣрилъ его древнѣйшій предокъ.

III.

Таковъ коренной, фундаментальный житель города. Притерпѣвшись ко всевозможнымъ переменамъ, закалившись съ одной стороны въ увѣренности, что появленіе «этихъ несчастій» неизбежно (всякій, даже и ни въ чемъ не виноватый изъ жителей увѣренъ, что отъ суммы да отъ тюрьмы — отказываться нельзя), съ другой стороны — въ томъ, что оно, это явленіе переменъ, не отъ насъ и «намъ не требуется», житель хоть и кричитъ, хоть и платитъ, но основы, то-есть пироги, храмовые праздники, пожары и т. п., завѣщанные ему предками, узаконяютъ въ его собственныхъ глазахъ его

существованіе. Въя въ эти основы, онъ чувствуетъ нѣкоторое тепло близъ нихъ, имѣть на бѣломъ свѣтѣ нѣкоторый уютъ. Выстроившись, отправившись благополучно къ Троице-Сергію, житель можетъ имѣть въ своей норѣ минуты истиннаго счастья, особенно когда увѣренъ, что ближе будущаго года горѣть ему не придется, что ворота заперты, собаки спущены, что около кровати старшей дочери, свернувшись клубочкомъ подъ шубкой на полу, лежить старая бабушка и всю ночь, не показывая виду, не спускаетъ съ своей внучки глазъ. Въ такія минуты, когда житель вполне увѣренъ, что въ такой поздній часъ не придутъ съ повѣсткой, что не влѣзаетъ воръ, что Господь сохранитъ отъ пожара, что дочка замужъ пойдетъ по божески, въ такія минуты житель можетъ быть вполне счастливъ. На душѣ его въ такія минуты тихо, тепло; тихо и тепло въ такія минуты въ его спальнѣ, въ его перинѣ и весело отъ ровнаго, тихаго свѣта лампы.

Но каково тому, кто не глумитъ, какъ распоясовскій мужикъ, каково тому, кто не съѣтъ, не жнетъ, не рубитъ и не опустошаетъ, кто не терпитъ, какъ коренной житель, отъ новыхъ временъ и отъ пожаровъ, но кто поставленъ къ этимъ временамъ для того, чтобы «дѣлать ихъ», кому заплачено чистыми деньгами и сказано: «не хлопочи ни о чемъ, а думай, дѣлай и получай за это!»—каково то на душѣ у этого человѣка, лишеннаго совершенно того уюта душевнаго, который есть у «жителя», который поставленъ внѣ условій, заставляющихъ распоясовскаго мужика, получившаго восемь гривенъ, успокоивать себя фразой: «по крайности—деньги»? Каково-то состояніе духа этого подлиннаго неплательщика (ныне называютъ этотъ сортъ людей интеллигенціей, въ данномъ случаѣ—провинціальной) въ виду все той-же случайности появленія новыхъ дѣлъ, къ которымъ ставятъ его и за которыя ему такъ хорошо платятъ?..

Безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что состояніе духа лучшаго экземпляра современнаго провинціальнаго интеллигентнаго неплательщика по истинѣ ужасное. Именно ужасъ этого душевнаго состоянія и заставилъ насъ оторваться на время отъ распоясовскихъ интересовъ. Чтобы это опредѣленіе не показалось читателю голословнымъ, мы постараемся разобрать, хотя въ общихъ чертахъ, элементы, изъ которыхъ слагается это опредѣленіе, а такъ какъ корень и источникъ положенія, опредѣляемаго въ концѣ концовъ словомъ «ужасный», все-таки та-же «случайность», то прежде всего намъ необходимо взять какое-нибудь явленіе, случайность котораго не можетъ подлежать сомнѣнію и ясна для всѣхъ.

Возьмемъ поэтому такое явленіе, какъ желѣзная дорога. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что городъ, о которомъ идетъ рѣчь, никомъ образомъ не могъ имѣть надобности въ этомъ новомъ явленіи. Погорая ежегодно, онъ былъ бѣденъ, какъ бѣдна была вся округа. Поэтому на предложеніе еще только проектированной дороги войти городу съ нею въ какія-то соглашенія и сдѣлать въ ея пользу какія-то уступки, городъ отвѣчалъ прямымъ отказомъ.

Онъ зналъ свои средства и находилъ, что соглашаться ему «не рассчетъ». Въ чемъ другомъ, а въ этомъ дѣлѣ можно повѣрить опытности жителя и стало-быть, если, несмотря на этотъ отказъ, дорога все-таки явилась въ нашихъ мѣстахъ, то появленіе ея можно смѣло считать вполне неожиданнымъ, случившимся вопреки мѣстнымъ надобностямъ и экономическимъ возможностямъ. Но такъ или иначе, мысль, родившаяся въ какой-то посторонней головѣ, родившаяся изъ какихъ-то до насъ ни на волю не касавшихся расчетовъ, приведена въ исполненіе: локомотивы свистать, поѣзда приходить и отходить. Фактъ совершился, и волей-неволей приходится подчиниться ему.

Крахтя и почесываясь, городъ принужденъ строить шоссе къ станціи желѣзной дороги, которая, послѣ отказа въ соглашеніи, выстроилась гдѣ-то необычайно не у мѣста. Прошла дорога и стала возить все дешевле, чѣмъ на лошадахъ; лошадиная ѣзда стала невозможностью и хотя то, что городъ и округа возили на лошадахъ въ старину, съ переходомъ дороги не могло увеличиться, но неволя заставлялась и для этихъ маленькихъ грузовъ строить шоссе, потому что возить людей и товаръ по такимъ мѣстамъ, гдѣ отъ роду не было никакихъ дорогъ, не представляется никакой возможности; и вотъ изъ доходовъ города выламывается неожиданно-негаданно кушъ въ сто пятьдесятъ тысячъ рублей. Въ расходахъ, кое-какъ удовлетворявшихся мѣстными средствами, образуется новый, на который еще вчера никто не рассчитывалъ и который нечѣмъ покрыть. такъ какъ и прежніе едва-едва удовлетворялись. Мѣстное самоуправленіе, выломивъ изъ своихъ доходовъ такой кушъ, вдругъ съживаетъ въ удовлетвореніи самыхъ настоятельныхъ потребностей, только что пробужденныхъ другими, тоже большей частью случайно вторгнувшимися въ жизнь явленіями. Положено поэтому закрыть христорождественское училище, отложить до будущаго года проектъ о водопроводѣ, уменьшить, сократить, отклонить, отложить. Въ дѣятельности городского самоуправления, предположимъ даже такого, которое одушевлено самыми благими намѣреніями, внезапное исчезновеніе такой кучи денегъ, какая пошла на мостовую, сразу дѣлаетъ прорѣху, и люди, даже самые лучшіе, стоящіе впереди этой прорѣхи, неизбежно должны сознавать ее, чувствовать, что дѣло ихъ—не дѣло, а такъ—вокругъ чего-то токотня, и что покуда не заполнится чѣмъ нибудь эта прорѣха, всѣ остальные потребности города, еще вчера крайне настоятельныя, должны удовлетворяться только обиняками, могутъ поддерживаться только въ перелискѣ, на бумагѣ, замазываться и размазываться особенно-искусно придуманнымъ для выраженія несуществующихъ вещей языкомъ...

Такъ отзывается внезапность явленія желѣзной дороги на хозяйствѣ города. На хозяйствѣ «округи» она отзывается появленіемъ Ивана Кузьмича. До появленія дороги у жителя округа, у распоясовскаго обывателя, было очень мало; все, что у него было, онъ весьма удобно увозилъ въ городъ на продажу на своихъ дровнишкахъ. Съ появленіемъ ло-

роги разбѣрѣ его имущества не увеличился. Распоясовскому обывателю отъ нея ни тепло, ни холодно, но Ивану Кузьмичу отъ нея тепло несомнѣнно. Отъ нея тепло хищнику, тепло человѣку, имѣющему что-нибудь. Иванъ Кузьмичъ, благодаря новому пути, является въ глушь и беретъ то, что есть. У обывателя очень мало; Иванъ Кузьмичъ беретъ у помѣщика, беретъ дѣся, камни, словомъ—нѣдра, т. е. безжалостно разстраиваетъ благосостояніе распоясовца, уничтожая, покупая и увозя такія вещи, потеря которыхъ невознагражима. Неудивительно поэтому, если на будущую сессію окружного суда число дѣлъ о кражѣ значительно увеличится.

Такимъ образомъ, кромѣ городского самоуправления, прорѣха, благодаря внезапности явленія, должна обнаружиться на другой же день по прохвѣ желѣзной дороги еще въ двухъ новыхъ инстанціяхъ. Она во-первыхъ обнаружится во всей громадной организаціи новой желѣзной дороги со всеми безчисленными ея службами, отдѣленіями и конторами, и во-вторыхъ задѣваетъ отчасти дѣятельность учрежденія, повидимому, вовсе къ дорогѣ неприкосновеннаго; именно—новаго суда.

До появленія Ивана Кузьмича громадная, требующая трехмилліонныхъ расходовъ организація дороги не дѣлаетъ ровно-таки ничего. Телеграфы ея гудятъ: «нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ...» Въ отчетѣхъ и вѣдомостяхъ, надъ которыми сидитъ не одна сотня народу, проставляется, пишется, докладывается о томъ, что грузовъ не было и нѣтъ, и весь этотъ хоръ, стоящій три милліона рублей, на разные голоса, разными почерками поетъ и пишетъ: «ноль, ноль, ноль; нѣтъ, и нѣтъ, и нѣтъ—и ничего, и ничего, и ничего, не было, не было, не было», квакаютъ, кудахтаютъ и стонутъ по конторамъ, по отдѣленіямъ и т. п. Тутъ ужъ не просто прорѣха—тутъ прямо пустое мѣсто, дыра бездонная, вокругъ которой стоитъ масса неплательщиковъ и получаетъ «за это» чистыми деньгами.

Въ такомъ положеніи находится «дѣло» до появленія Ивана Кузьмича. Съ появленіемъ же этого оживителя глухихъ мѣстностей дорога начинаетъ работать: «дѣсь, дѣсь, дѣсь», начинаютъ гудѣть телеграфы... «дѣсь, дѣсь, дѣсь», проставляютъ и записываютъ въ вѣдомостяхъ, въ отчетѣхъ, въ книгахъ и бумагахъ... «дѣсь, дѣсь, дѣсь»—бѣжить по всей линіи, наполняетъ всѣ вагоны до тѣхъ поръ, пока вдругъ не прекратится этотъ «грузъ» подъ топоромъ Ляпунова Ивана Кузьмича и не побѣжитъ по всей линіи изъ подъ его лопаты уголь или камень. То, что дорога съ появленіемъ Ивана Кузьмича «начала работать», это не подлежитъ никакому сомнѣнію, такъ какъ уже извѣстно, что, благодаря этой работѣ дороги, у распоясовскаго обывателя появилось одно время до восьмидесяти копѣекъ серебромъ чистыми деньгами, но, несмотря на несомнѣнность «работы», едва ли такая работа можетъ связать съ собою интеллигентныя силы неплательщиковъ, такъ какъ если, благодаря Ивану Кузьмичу, и нельзя уже назвать ея дѣла пустымъ мѣстомъ, то язвою и ранюю не назвать невозможно.

Кромѣ всего этого внезапный толчокъ новаго явленія отдается даже и въ такомъ мѣстѣ, которое повидимому не имѣетъ съ этимъ внезапнымъ явленіемъ никакой связи, въ новомъ судѣ. Кража бревна, кража, кража, кража—безконечнымъ потокомъ тянется на скамью подсудимыхъ... Распоясовскій обыватель начинаетъ заниматься въ острогахъ и на скамьѣ подсудимыхъ видное мѣсто. Его хватаютъ, везутъ, содержатъ въ тюрьмахъ, кормятъ, допрашиваютъ, дѣлаютъ очныя ставки, говорятъ рѣчи; для его оправданія и обвиненія толчется и получаетъ деньги цѣлая толпа народу, пишущаго, разбѣжающаго по казенной надобности, сочиняющаго бумаги, рѣчи. Но и тутъ, въ этомъ постороннемъ новому явленію мѣстѣ, не оказалось ли, благодаря этому явленію, пустого мѣста, чего-то ненужнаго, чего-то такого, о чемъ не стоило бы ни хлопотать, ни писать, ни говорить рѣчей, такъ какъ все дѣло ясно, какъ дважды-два: пришла чугунка, пріѣхалъ Иванъ Кузьмичъ, все вырубилъ, выкопалъ, даже украсть стало негдѣ, ну вотъ и все... Гг. присяжные говорятъ, правда: «нѣтъ, не виновентъ», но вѣдь они за то и не стоятъ бюджету ни копѣйки. Все же, что стоитъ денегъ, чувствуетъ, что, говоря объ этомъ бревнѣ, утащенномъ распоясовцемъ, объ этомъ валомъ и прочихъ распоясовскихъ преступленіяхъ, оно не имѣетъ подъ собою реальной почвы, не ощущаетъ дѣйствительнаго дѣла, по крайней-мѣрѣ большею частью не ощущаетъ его, а что-то пустое, хлопотливое, что-то совершенно не серьезное, не «настоящее» ощущается и тутъ, среди всей дорожной стоящей обстановки, съ которою это, якобы серьезное, совершается.

Итакъ, вотъ какимъ образомъ въ самыхъ общихъ чертахъ отзывается внезапность того или другого новаго явленія, на этотъ разъ внезапное явленіе новой желѣзной дороги. Въ трехъ пунктахъ новыхъ дѣлъ оно отозвалось появленіемъ пустого мѣста, чего-то такого, чего нѣтъ, что наполнить; оно пустымъ мѣстомъ отозвалось въ городскомъ самоуправленіи, образовало новое пустое и даже больное мѣсто въ видѣ всей организаціи новой дороги и внесло хлопотливыя и дорожнѣ пустяки въ серьезное дѣло суда. Только въ общихъ чертахъ, только на единичномъ случаѣ внезапнаго нововведенія показали мы результаты этой внезапности,—результаты, происходящіе тотчасъ, на другой день послѣ того, какъ невозможное почему-то стало возможнымъ. Но если мы предположимъ, что и кромѣ новой питательной вѣтви почти всѣ явленія жизни нашего городка имѣютъ тотъ же характеръ неожиданности въ своемъ появленіи, что всѣ они, появляясь неожиданно, нарушаютъ существовавшій до нихъ обиходъ, то будетъ понятно, почему вокругъ новыхъ дѣлъ не чувствуется особенной жизни, а, напротивъ, въ каждомъ такомъ явленіи замѣчается какая-то дыра, образовавшаяся отъ того, что нашу провинціальную шкуру принялись тануть въ разныя стороны, да и разорвали въ двадцати мѣстахъ. Не явись чугунка—не пришлось бы строить шоссе, полтора-два тысячъ пошли бы на другое, христо-

рождественская школа существовала бы, приготовила бы лишній десяток грамотныхъ. Иванъ Кузьмичъ не прѣхалъ бы къ намъ съ своими капиталами и распоясовскіе лѣса хотя кое-какъ грѣли бы распоясовскаго обывателя, а, быть можетъ, случилось бы и такъ, что, нуждаясь въ деньгахъ, баринъ и самъ бы вошелъ въ сдѣлку съ этими обывателями. Не было бы пустыхъ дѣлъ въ судѣ, не было бы такого какъ теперь, очень часто совершенно непронизводительнаго расхода на тюрьмы. Но дорога, на зло всѣмъ возможностямъ, прилетѣла и все перевернула вверхъ дномъ. Благодаря ей, является шоссе и закрывается христорождественская школа, гдѣ учился десятокъ бѣднѣйшихъ мальчишекъ; благодаря ей, является Иванъ Кузьмичъ, платить за распоясовскіе лѣса чистыми деньгами; деньги эти являются въ городъ, и въ ту самую минуту, когда закрывается христорождественская школа, — отърывается театръ съ оперетками и въ то же время окружный судъ наполняется ворами, укравшими у Ивана Кузьмича бревно. Обиліе «какихъ-то» денегъ отъ проданныхъ лѣсовъ и отъ денегъ, которыя тратитъ организація новаго явленія, помогая Ивану Кузьмичу, начинаютъ бить запахомъ денегъ въ носъ обывателямъ, и вотъ батюшка, лицо духовное, прекращаетъ у себя маленькую школу, ибо за ту комнату, въ которой она помѣщается, теперь можно получить втрое противъ того, что давала школа при ежедневномъ трудѣ въ ней.

Мы бы никогда не кончили съ этой путаницей барышей и убытковъ, еслибы стали подробно разбирать, что и какъ происходитъ въ провинціальной жизни отъ неожиданности вторгающихся въ нее явленій. Работа эта трудна, а у насъ нѣтъ достаточно досуга, чтобы заняться съ подобающею ей тщательностью, но какъ бы ни было велико количество сдѣляющихся съ неожиданностью явленій, фактовъ, общій ихъ смыслъ — нарушеніе распорядковъ въ мѣстномъ карманѣ и главное — мышленія. Къ какому бы новому, либо старому явленію мы ни подошли, въ сущности его всегда будетъ прорѣха, недостаетъ чего-то или окажется хвачено черезъ край... Тамъ чувствуется что-то ненужное, тамъ прямо невозможное, а въ иномъ мѣстѣ — просто чортъ знаетъ что, вообще же все какъ будто не настоящее, растопыренная нищета, уголовная бѣдность и т. д. Отдать такимъ полудѣламъ, такимъ «какъ будто бы» дѣламъ свою душу, кровь, мозгъ, умъ, словомъ все — нѣтъ никакой возможности. Сегодня я отдаю дѣлу всей душой, а завтра нагрянетъ такое явленіе, которое Богъ знаетъ какъ далеко отшвырнетъ меня отъ этого дѣла; возможность такого явленія отвнимаетъ охоту отдаваться всей душой. Такимъ образомъ мысль интеллигентнаго неплательщика и простое, здоровое, совѣстливое ея развитіе во всемъ этомъ рѣшительно не причесть, такъ что вообще распоясовскій обыватель рѣшительно не можетъ, да и не долженъ завидовать интеллигентному неплательщику; дѣла, за которыя этотъ неплательщикъ получаетъ готовыя денежки, — въ сущности не дѣла, а какія-то рубища, которымъ надобно придавать благоприличный видъ, какая-то толкотня

около и вокругъ почти пустыхъ мѣстъ съ обязательствомъ придавать имъ видъ воздѣланныхъ полей; на мой взглядъ, куда не сладка такимъ путемъ достоящаяся копѣйка!.. Тратить всю жизнь *незаконно*, уставать отъ хлопотъ вокругъ пустого мѣста — да такой муки не вознаградить никакими деньгами...

Но въ исторіи состоянія духа интеллигентнаго неплательщика это горе, происходящее отъ отсутствія связи его совѣсти съ тѣмъ дѣломъ, къ которому онъ приставленъ, — это еще только цѣточка, аголки будутъ впереди! Самая глубокая бѣда для него еще не въ этомъ, а въ томъ, — отчего интеллигентный неплательщикъ, не взирая на то, что онъ не получаетъ взаимнаго жалованья ничего, кромѣ горькаго сознанія, что «уходятъ» года, все-таки стоитъ у этихъ полупустыхъ или пустыхъ мѣстъ? Почему онъ, зная, что уголовное дѣло о пропажѣ у Ивана Кузьмича двухъ овчинъ произведено въ сущности самимъ Иваномъ Кузьмичемъ, — все-таки бурчить что-то для проформы противъ распоясовскаго обывателя и бурчить, скучая, цѣлые годы? Какая сила держитъ этого неплательщика около дѣла, гдѣ нѣтъ ровно ничего, кромѣ «не было» и «нѣтъ», и «не будетъ»? Какая сила подавляетъ его негодованіе на это дѣло о «не было», на эту бесплодную потерю дней и годовъ, которые — онъ отлично это знаетъ — никогда не воротятся къ нему? Вообще же, кто и что превратило его въ интеллигентный гвоздь, который вбивается на извѣстное мѣсто посторонняя рука и который оказывается способнымъ держать все, что эта посторонняя рука на него ни повѣситъ? О, глядя на этотъ гвоздь, глядя на то, какъ, интеллигентно ворча что-то, онъ все-таки продолжаетъ крѣпко сидѣть тамъ, гдѣ его боли, негодованіе, боль, скорбь, гнѣвъ и слезы задушили бы, замучили бы сразу человѣка, рожденнаго внѣ случайностей нашей жизни, но мы, рожденные тутъ, въ самомъ центрѣ пустого мѣста, не умѣемъ ни плакать, ни негодовать столь глубоко, тѣмъ болѣе, что у насъ есть ключъ къ этому явленію.

Этотъ ключъ — все тотъ же случай.

IV.

Намъ приходится такимъ образомъ перейти къ явленіямъ, которыя происходятъ во внутреннемъ мірѣ интеллигентнаго неплательщика; при этомъ прежде всего необходимо сказать два слова о томъ, что безконечный рядъ предшествовавшихъ случайностей сѣумѣлъ воспитать, довести до степени породы значительный классъ болѣе или менѣе мелкихъ неплательщиковъ, которые ни по натурѣ, ни по умственному развитію *не могутъ*, въ буквальномъ смыслѣ слова, дѣлать никакихъ дѣлъ, кромѣ дѣлъ, составляющихъ голое, пустое мѣсто. Возня вокругъ «ничего» въ этихъ рѣдкихъ экземплярахъ, служеніе пустому мѣсту возведено въ настоящее дѣло, въ такое дѣло, на которое уходятъ всѣ движенія души, вся страсть... Бѣлое поле бумаги, на которой надобно съ осторожностью мухи ползать перомъ, чтобы въ растопыренныхъ выраженіяхъ не

сказать большей частью ровно ничего, это поде бумаги, блѣлой и сыроватой, производить на такіа организациі впечатлѣніе почти женской, дѣвственной красоты... Стальное перо почти сладострастно впивается въ это блѣлое тѣло, бережетъ его, дрожитъ за него... Съ какиѣмъ захватывающимъ духъ восторгомъ взлетаетъ это перо вверхъ, чтобы, секунду подержавшись на вершинѣ заглавной буквы, вдругъ сорваться и торчкомъ головой ринуться смѣлымъ, даже отчаяннымъ завиткомъ внизъ, въ бездну, въ эту блѣлую бездну, чистаго листа «министерской» писчей бумаги! Положительно можно сказать, что эти рѣдкіе экземпляры, рожденные въ самой срединѣ всевозможнымъ кружащихся вокругъ пустого мѣста обиняковъ, въ такіа минуты живутъ настоящею жизнью, и именно тутъ, близъ этой бумаги, отъ душнаго воздуха этихъ гнилыхъ обиняковъ, бьется ихъ сердце, вознуется кровь, человѣкъ оживаетъ, унываетъ, груститъ, вообще—живетъ.

Этотъ удивительный экземпляръ, выработанный условіями жизни исключительно на пользу пустыхъ мѣстъ,—экземпляръ рѣдкій, и безъ прикиса пьянства, мелкой алчности и какой-то грязи во всѣхъ другихъ своихъ часто личныхъ и дѣйствительно живыхъ отношеніяхъ встрѣчается очень рѣдко. Но и въ чистомъ видѣ, безъ малѣйшихъ признаковъ чего-либо живого, онъ тоже есть, и въ такомъ видѣ ему положительно нѣтъ цѣны. Грустно вымолвить, а нельзя утаить, что въ этомъ олицетвореніи обиняка нуждаются всѣ, даже самыя вѣдшія учрежденія. Онъ, этотъ обинякъ, появившись тамъ, гдѣ люди, чувствуя передъ собою пустоту, теряются и не знаютъ, что дѣлать съ ней, чѣмъ ее наполнить, вдругъ, въ мгновеніе ока, вносить въ эту пустоту всѣми жалаемую атмосферу дѣла, хлопотъ и заботъ. Тамъ, гдѣ всѣ дѣла перебивались въ полчаса и затѣмъ оставалось нѣсколько часовъ, которые приходилось убивать кое-какъ, кой-чѣмъ, тамъ съ появленіемъ обиняка вдругъ начинается не хватать цѣлыхъ сутокъ для того, чтобы исполнить хоть часть дѣла, и становится нестыдно получать жалованье. Непритворность и страстность этого обиняка необычайно сильно дѣйствуютъ на всѣхъ, невольно покоряя свою искренностью, какъ вообще покоряетъ человѣка все подлинно-искреннее. Кто, кромѣ обиняка, можетъ такъ искусно балансировать надъ бездонной дырой, открывающейся передъ всякимъ живымъ человѣкомъ, балансировать, «отклонять», «отклоняться», «обходить», «откладывать», «умалчивать», «заслушивать» и т. д.? Только онъ, одинъ онъ въ силахъ изъ «ничего» создать «засѣданіе», да не одно, а пять, десять, исписать по этому случаю вороха бумагъ, взбуроражить или по крайней мѣрѣ сѣпнуть въ кучу не одинъ десятокъ человѣкъ, возложить въ тысячѣ пунктовъ то, чего бы нисколько не замѣтилъ, даже пристально разсматривая на собственной своей ладони... Нѣтъ никакой возможности исчислить всю необычайную пригодность для пустыхъ дѣлъ этого чистѣйшаго экземпляра обиняка, равно какъ нѣтъ возможности съ точностью

и ярко представить виѣшній и внутренній видъ этого экземпляра—и то, и другое до безконечности неумовимо... Это—духъ, невидимо присутствующій во всѣхъ новыхъ и старыхъ дѣлахъ обиняковаго содержанія.

Такіе цѣльные экземпляры необыкновенно дороги и рѣдки; рѣдки отъ того, что для выработки такого экземпляра необходимо нѣсколько поколѣній, на которыхъ бы случайности жизни, отнимающія вѣру во все живое, дѣйствовали бы съ неумолимою настойчивостью, въ одномъ и томъ же смертоносномъ направленіи, болѣе или менѣе продолжительное время. А такая систематичность выдается на долю немногихъ и есть тоже случай; поэтому-то чистый типъ обиняка хотя и одушевляетъ собою всѣ пустыя мѣста, но къ числу интеллигентныхъ неплательщиковъ причисленъ быть не можетъ. «Безъ меня тамъ садутъ. Я одинъ работаю за всѣхъ!»—говоритъ такой экземпляръ обиняка гдѣ-нибудь на именинномъ пирогѣ подъ хмелькомъ, и говоритъ сущую правду, потому что онъ одинъ живетъ и дышетъ и искренно преданъ всѣмъ этимъ обиняковымъ дѣламъ; но потому-то именно, что онъ искрененъ въ своемъ пустомъ дѣлѣ, онъ и не принадлежитъ къ интеллигенціи, ибо неискренность—вообще утѣлъ интеллигентнаго неплательщика. Да наконецъ, несмотря на то, что онъ все невидимо наполняетъ и движетъ, ужъ одно то обстоятельство, что онъ почти всегда получаетъ отъ бюджета мѣдный грошъ, крупицу—ужъ это выдѣляетъ его изъ полчища неплательщиковъ, утѣлъ которыхъ, кромѣ неискренности, также и способность съѣдать очень много... Повторяемъ, это духъ, олицетвореніе озабоченной серьезностью жи, а не интеллигентный неплательщикъ, лгушій только изъ-за денегъ.

Грустно положеніе человѣка, у котораго бьется сѣдина и который, содрагаясь, что «ушли годы», и вспоминая ихъ, эти безвозвратно исчезнувшіе годы, къ ужасу своему видитъ, что ему нельзя отстать отъ этого «обиняка», къ которому его принесла рѣка случайностей жизни. Нельзя потому, что тутъ по крайней мѣрѣ «вѣрный» кусокъ хлѣба, именно хлѣба, пропитанія... То, что съ нимъ случилось, отняло у него охоту цѣнить свою мысль, свои симпатіи, отучило его даже слушаться своей природы, того, что безъ его вѣдома приращено ему... Тихій и кроткій, онъ «попалъ» въ разрядъ «озлобленныхъ». Неожиданность! Когда его наказывали, онъ неожиданно чувствовалъ себя хорошо; когда его прощали, это было его наказаніемъ. Съ молодости это весело и чудно. Жизнь выдѣлываетъ такіа неожиданности, сталкивая съ хорошимъ тамъ, гдѣ должно бы быть дурное, и наоборотъ, ставя въ положенія, въ которыя ни за что-бы не попалъ, еслибы распорядился самъ, и т. д. Но эта комедія случайностей, съ той минуты, когда неразборчивая, грубая рука ея начинается рвать живое дѣло (тоже по недоразумѣнію), съ этой минуты шутовская комедія превращается въ глубокую драму. Сила случая, дающая себя знать такъ больно, ясно доказываетъ свои громадные размѣры, заставляетъ жаться отъ нея подальше, беречься, чтобы сильная и безтол-

ково дѣйствующая рука ея не достала, не дохватила. И вотъ человекъ съеживается, забивается въ уголъ. И весь израненный, говоритъ себѣ: «по крайней мѣрѣ вѣрный кусокъ хлѣба» — и становится къ пустому, иной разъ и не совсѣмъ чистому дѣлу.

Все это яркіе продукты случая—явленія крупныя, видныя, но и вся остальная бюджетная братія, если и неподвержена такимъ заботливымъ попеченіямъ случая, извѣдала его власть на безчисленныхъ мелочахъ. Тысячи системъ воспитанія и образованія, пережитыя съ дѣтства и всякій разъ обязательно связанныя съ кускомъ (большимъ или меньшимъ—все равно), уже въ ранней юности ослабили, если не совсѣмъ умертвили мысль, приучивъ человека только къ страху передъ такимъ будущимъ, въ которомъ могутъ и не дать этого куска хлѣба. Затѣмъ, если, несмотря на эти способы превратить человека въ автомата, ему по врожденной силѣ мысли удалось сохранить въ нее вѣру и въ послѣдующіе годы, то заботливая рука случая не замедлитъ и здѣсь показать свою власть, вырвавъ изъ рукъ его любимую книгу, или понесетъ его по волнамъ такихъ случайностей, о которыхъ уже говорено выше и которыя все-таки приводятъ къ страху потерять кусокъ хлѣба (большой или маленький—опять-таки все равно).

Мы не говоримъ о тѣхъ изъ числа бюджетныхъ неплательщиковъ, которые чуть не съ дѣтства знаютъ уже, что «вѣрно» въ этой земной юдоли, и хотя прямо тоже не принадлежатъ дѣйствительно къ интеллигентнымъ неплательщикамъ, но сами несомнѣнно причисляютъ себя къ нимъ, и уже, во всякомъ случаѣ, могутъ дѣйствительно назваться неплательщиками. Мы не говоримъ о нихъ потому, что слово «ротъ» вполне достаточно для того, чтобы опредѣлить и ихъ личные взгляды, и ихъ отношенія къ тѣмъ новымъ или старымъ дѣламъ, благодаря которымъ этотъ ротъ постоянно и плотно набить... Но, увы, и подлинный интеллигентный неплательщикъ, мы должны это сказать скрѣпя сердце, тоже связанъ съ своимъ дѣломъ тоже только однимъ ротомъ... Къ длинному, большому бюджету онъ несетъ только свой ротъ...

Теперь, подведя всему сказанному итогъ, потрудитесь представить себѣ состояніе духа наилучшаго интеллигентнаго неплательщика. Дѣла, которыя онъ дѣлаетъ, не связываются (если конечно привычка не возьметъ свое) съ его мыслью надлежащимъ образомъ плотно и крѣпко; отдать на служеніе имъ силу души—нельзя: завтра можетъ вломиться такое явленіе, которое сразу высадитъ цѣлый уголъ только-что съ любовью начатаго зданія; возиться надъ разбросанными осколками и щепками невозможно: послѣ завтра можетъ нагрянуть новое, даже и отрадное явленіе, которое, опять-таки втиснувшись внезапно и не туда, куда надо-бы, расшвыряетъ и щепки... Дѣло, превращенное въ прорѣху, требуетъ медленнаго утомительнаго штопанья, толченья вокругъ полупустяковъ, вокругъ словъ, хотя бы и громкихъ, но пустыхъ... И у такихъ-то пустыхъ дѣлъ стоитъ человекъ, у котораго точно такіа-же дырья и прорѣхи сдѣланы ужъ въ самой душѣ; у

котораго мысль отвыкла совать свой носъ на сторону, словомъ,—у котораго случай все помялъ, все испугалъ, на все прикрикнулъ и прикрикнулъ основательно. Ослабленный и испуганный внутри себя, интеллигентный неплательщикъ стоитъ у разслабленнаго дѣла, знаетъ это, видитъ, какъ это пусто и пошло, каждую минуту чувствуетъ если не всю пошлость положенія, то ужъ всю его холодную пустоту, и стоитъ потому, что «по крайней мѣрѣ»—вѣрный кусокъ хлѣба!.. Жить въ постоянной атмосферѣ «не настоящей», «не заправскаго», дышать постоянно воздухомъ «неискренности»—и все потому, что только при такихъ условіяхъ неплательщику дается возможность жить—это чистое мученіе!..

Предоставляю читателю самому соединить воедино сотни индивидуумовъ, хотя и разнохарактерныхъ, но несомнѣнно зараженныхъ одинаковымъ недугомъ неискренности, и представить себѣ, что за жизнь, что за взаимныя отношенія могутъ сложиться изъ всего этого... Чтобы недалеко ходить за результатами такой жизни, спросите любого изъ интеллигентныхъ неплательщиковъ и онъ вамъ скажетъ, въ откровенную минуту, что это—мученье, что это—ужасъ что такое, только не жизнь. «Но вѣдь такъ жить дѣйствительно нельзя!» скажетъ читатель. Было бы дѣйствительно невозможно въ такомъ положеніи просуществовать и дня, если бы въ неплательщикѣ и кругомъ него все было опустошаемо систематически. Но, благодаря тому-же случаю, иное въ дѣлахъ и лицахъ какимъ-то чудомъ остается нетронутымъ, живымъ, обманываетъ глаза... Велико ли въ самомъ дѣлѣ обиліе силъ русской души, велика ли ихъ живучесть, только присутствіе и существованіе ихъ несомнѣнно почти въ каждой, какъ-бы грубо ни распатанной душѣ неплательщика и изумительно по своей стойкости, по своему умѣнью съежиться до послѣдней степени и все-таки жить, хоть урывками, но жадно вглядываясь въ бѣлый свѣтъ... Книга—вотъ приближеніе всего съежившагося, притавившагося, но вполне живого въ неплательщикѣ... Боже милосердый, какъ жаждетъ онъ до книги! Чего-чего не поглотилъ онъ на своемъ вѣку, и, несмотря на бездну проглоченнаго, мозгъ его до сей поры голоденъ, какъ будто-бы ничего и не ѣлъ никогда, и все проситъ, и все проситъ еще... Книга, чтеніе—единственное приближеніе и отрада, но только отрада, и отрада, увы, весьма безплодная!.. Чего-чего только не перенесъ, не испыталъ, благодаря непрерывному чтенію, этотъ мозгъ! Но, не имѣя возможности, даже утративъ отчасти самую мысль о возможности куда-нибудь нести то, что перенесъ, въ чемъ убѣдился этотъ мозгъ, онъ привыкъ наслаждаться мыслью самъ для себя, онъ привыкъ и приучилъ себя къ ощущенію чтенія и—что дѣлать—превратился въ какую-то бездонную прорву, въ которую можно валить томы, вороха напечатанныхъ мыслей и которая все-таки будетъ пуста... Пишите, валите туда написанное всіми перьями, существующими на бѣломъ свѣтѣ,—все мало; давай еще новаго, а дѣла онъ все-таки будетъ дѣлать пустая и вѣрить

искренно въ одно—хлѣбъ насущный. Нѣтъ, неза-
видное, бѣдовое положеніе интеллигентнаго непла-
тельщика! Удивительно, какъ онъ живетъ еще. Но
что особенно грустно среди всего этого, такъ это—
дѣти!

Распоясовецъ! Мужикъ! Дай ты этимъ ребя-
тишкамъ, этимъ подросткамъ неплательщикамъ,
дай ты имъ своихъ сказочекъ, простыхъ деревен-
скихъ пѣсенокъ! Повесели ты ихъ цвѣточками, и
звѣрьками, и зайками... Пошути, побалуйся съ
ними! Вѣдь они чахнутъ въ этомъ воздухѣ не-
искренности, утайки, неправды, а главное—въ
этой дорогой пустотѣ!.. Спаси ихъ твоей простою
правдой, дайдохнуть свѣжаго здороваго воздуха,
услышать прямое слово—вѣдь они будутъ глубоко
несчастливы и глубоко гадки безъ тебя, безъ твоего
правдиваго и горькаго опыта, безъ твоей искренней,
забывающей худое шутки.

У.

Такъ изо дня въ день и изъ года въ годъ тя-
нется унылая, пустая, скучная и нищенски пест-
рая неплательщичья жизнь. Довольно значитель-
нымъ количествомъ интеллигентныхъ ртовъ съби-
дается довольно значительное количество бюджет-
ныхъ цифръ, а въ результатѣ—«словно королева ли-
гуза языкомъ». Въ этой атмосферѣ «ненастоящаго»,
«незаконнаго» нѣтъ минуты веселья, нѣтъ здо-
ровья, нѣтъ дѣла, нѣтъ сознанія простого покоя...
Всякаго что-то точить, вертеть въ душѣ, особенно
когда этотъ всякій остался одинъ самъ съ собой и
улучилъ минутку, когда можетъ если не лгать
прямо, то хоть не вывихивать себя, что почти со-
ставляется всеобщую привычку... Лучшее, задумев-
нѣйшее желаніе большинства неплательщиковъ—
уйти другъ отъ друга, и, несмотря на это, завтра,
напившись утромъ чаю, все желающее разбѣ-
жаться вновь сбѣпляется въ тѣсный хороводъ во-
кругъ пустого мѣста и вновь продолжаетъ почти
безплодную толчею, вырабатывая или, вѣрнѣе, «вы-
лыгая» себѣ хлѣбъ. Какая-то непроглядная, жалкая
безтолковщина, что-то тягучее и крайне болезненное
непрерывно тянется въ этой жизни изо дня въ день
(если не считать моментовъ, которые веселы даже
я для птицъ и мухъ—любовныя дѣла и пр.), про-
низывая воздухъ, которымъ приходится дышать, и
душнымъ туманомъ застилая будущее... Бываютъ
моменты, когда одновременно въ разныхъ концахъ
неплательщичьяго міра чувствуется полное уду-
шеніе... вотъ, вотъ кажется, дальше нѣтъ возможно-
сти выносить... И вдругъ какъ молнія блеснетъ:
«Слышали? Варинька-то!... Вѣдь застрѣлилась?..
Какъ? что такое? Неужели?.. «И точно могучимъ
ударомъ могучаго кулака ударить та въисть по раз-
слабленной неплательщичьей душѣ...—«Стало быть
и въ правду душно и трудно!» думаетъ она... «Въ
правду, въ правду!...» говорить совѣсть, отвыкнув-
шая признавать за правдой какой-нибудь суще-
ственный смыслъ. И все, что уцѣлѣло въ этой душѣ
хорошаго, все выйдетъ на божій свѣтъ. Боже, какъ
реветь иной закоснѣлый неплательщикъ въ такіа
минуты!.. Какъ онъ много начинаетъ видѣть и стра-

шиться—хотя къ пустому мѣсту все-таки продол-
жаетъ ходить аккуратно каждый день въ половинѣ
дѣвятаго утра и, скрѣпя свое дѣйствительно
больное сердце, все-таки усердно трудится надъ от-
вѣтчаніемъ отъ «насущныхъ вопросовъ»... А ту-
манъ, духота мало по-малу опять сгущаются кру-
гомъ... Опять тянутся скучные и сѣрые дни... тя-
нутся, тянутся и вдругъ опять какъ громъ гря-
нетъ, гдѣ-нибудь не вытерпѣть и прорвется «су-
щая правда»... Отъ этихъ неожиданныхъ появленій
сущей правды не застраховано рѣшительно ни одно
изъ тѣхъ гнѣздъ, гдѣ засѣдаютъ вокругъ пустого
мѣста обремененные жалованіемъ неплательщики.

III. Хочешь-не-хочешь.

I.

Заговоривъ съ читателемъ о нѣкоторыхъ какъ-
бы случайныхъ проявленіяхъ «сущей правды»,
среди насыщенной всевозможною тяготою совре-
менной дѣйствительности, я возымѣлъ намѣреніе
остановиться на этихъ проявленіяхъ поподробнѣе
и съ этою цѣлью, какъ и всегда, обратился за ма-
териаломъ къ единственному моему источнику—
моей памятной книжкѣ. И что же? Несмотря на то,
что книжка эта представляетъ собою самую безпо-
рядочную кучу разныхъ замѣтокъ, вырѣзокъ, вы-
писокъ, набранныхъ случайно и на лету, кое-гдѣ и
кое-какъ, записанныхъ тоже какъ пришлось и
чѣмъ пришлось (одинъ разъ даже шпилькой, а раза
два спичкой),—несмотря на все это, то-есть на
безпорядочность и отрывочность всего попавшаго
въ мою книжку, все эта безалаберная куча въ
концѣ концовъ убѣждаетъ меня, что въ проявлені-
яхъ того, что я позволилъ себѣ назвать «сущей
правдой», не только нѣтъ ничего случайнаго, но,
напротивъ,—и именно въ настоящее время—по-
всюду обнаруживается усиленная жажда ея, этой
самой сущей правды, что именно теперь, когда ро-
маниста начинаетъ замѣнять зоологъ, когда патен-
тованные сердцевѣдцы находить возможнымъ опре-
дѣлять самыя трудныя минуты въ жизни современ-
наго человѣка выраженіемъ «просто свинство»,
когда—въ подтвержденіе доведенныхъ до такой
простоты взглядовъ на человѣческую породу, еже-
дневная дѣйствительность то и дѣло выдвигаетъ
факты, какъ нельзя лучше подтверждающіе, что
человѣкъ, дѣйствительно—звѣрь, животное, досто-
йное только холоднаго изученія зоолога, именно въ
такую-то минуту это доказанное и выясненное жи-
вотное никогда не болѣло такъ *сердцемъ*. какъ те-
перь. Безалаберная и растрепанная книжонка моя
необыкновенно упорно старается доказать мнѣ, что
именно *это* и есть новое, настоящее, то-есть за-
правское въ настоящее время; что человѣкъ если
и не изжилъ въ себѣ звѣря, то во всякомъ слу-
чайѣ узналъ, что, дѣйствуя только во имя *себя*,
во имя *своей* берлоги, *своей* породы, *своей* силы,
захватывая для себя—кулакомъ, мечомъ, хитро-

сплетеннымъ закономъ—все, что подходило ему подъ руку, и разгоняя направо и налево все, что ему мѣшало, онъ хотя и достигъ полной независимости въ своей берлогѣ, но оказался одинъ одишечекъ, потерялъ смыслъ и интересъ жизни и почувалъ, что для того, чтобы ощущать жизнь, ему надо волей-неволей выползти изъ этой берлоги, идти къ тѣмъ «другимъ», которыхъ онъ разгонялъ отъ себя и которыхъ согнулъ передъ собою въ три погибели; дать мѣсто въ своемъ сердцѣ новому ощущенію—любви къ этимъ «всѣмъ», «другимъ»... Почувалъ, что это необходимо сдѣлать волей-неволей, что безъ этого онъ—нищій съ пустою, хотя и золотою сумой, и что безъ этого жизнь—не жизнь, а только *доживание* вѣка, начинающееся съ самаго дня рожденія.

Такими чертами можно опредѣлить современную болѣзнь звѣринаго сердца, впрочемъ только тамъ, гдѣ возможны самыя характерныя и рѣзкія проявленія этой болѣзни, а именно—на Западѣ Европы. Въ странахъ, гдѣ человекъ-звѣрь для собственного своего благополучія счѣмъ продолжать все, что звѣрю продолжать возможно, гдѣ этотъ человекъ не церемонился, именно только во имя своихъ личныхъ удобствъ, сотни лѣтъ губить цѣлыя поколѣнія, не поморщивъ бровью,—здѣсь явленія нищаго съ золотой сумой начинаютъ обнаруживаться, хотя и не столь повсемѣстно, но зато съ поразительной ясностью. Потомокъ древняго рода, сотни лѣтъ воевавшего во имя одного только права личнаго благополучія своей породы, этотъ потомокъ въ наши дни, получивъ въ свои молодые руки плоды долгой и упорной борьбы своихъ предковъ, дѣлается обладателемъ накопленныхъ ими богатствъ, угодій, покоя, полной возможности собственного счастья, вдругъ обнаруживаетъ отсутствіе аппетита, завѣщанныхъ предками, чувствуетъ кругомъ себя пустоту и безсодержательность жизни въ раззолоченной берлогѣ и не видитъ другого исхода для своего жаждущаго жизни сердца, какъ уйти изъ этой берлоги, проникнуться сильными, долгими, ежедневными страданіями другихъ. Факты такого рода во всей поучительной чистотѣ встрѣчаются на Западѣ, среди наивотборнѣйшихъ человѣческихъ породъ; правда, они еще довольно рѣдки, но зато неизбежность ихъ повторенія дѣлаетъ эти рѣдкіе факты въ высшей степени поучительными и весьма ясно расующими будущее.

На Руси факты заболѣванія сердца «сущю правдою» встрѣчаются не только не рѣже, чѣмъ тамъ, у заправскихъ звѣрей, но, напротивъ, какъ утверждаетъ все та же растрепанная книжонка,—составляютъ почти всеобщее явленіе; захватываютъ почти сплошь весь неплательщичій міръ, да и къ плательщикамъ иной разъ перебираются. Но при такомъ сплошномъ заболѣваніи движеніе во имя сущей правды въ обществѣ не имѣетъ у насъ той чистоты, ясности, естественности, какую имѣютъ факты подобнаго заболѣванія на Западѣ—а постоянно или по крайней мѣрѣ очень и очень часто заключаетъ въ себѣ подмѣсъ совершенно неидущихъ къ сущности движенія осложненій, подмѣсъ

иной разъ просто скверную или просто смѣшную... Такія червоточины въ движеніяхъ отечественной мысли происходятъ, разумѣется, все отъ того же «случая», о которомъ уже было обстоятельно говорено въ предыдущемъ очеркѣ и который не только властвуетъ надъ отечественнымъ карманомъ, но распоряжается и совѣстью. Сегодня вдругъ, неожиданно дѣлается не только возможнымъ, но прямо обязательнымъ то, что еще вчера считалось не только необязательнымъ, а прямо невозможнымъ, противозаконнымъ. Такимъ образомъ оказывается, что какъ бы ни было хорошо это ставшее возможнымъ нынче и невозможное вчера—въ самый день появленія его на бѣлый свѣтъ въ немъ уже есть червоточина—принудительность; запрещая вчера, оно сегодня начинаетъ гнать къ тому же, вчера запрещенному; появляясь внезапно, оно застигаетъ постоянно врасплохъ даже друзей своихъ, и потому надъ всѣмъ этимъ внезапно поднятымъ народомъ постоянно виситъ «хочешь-не-хочешь». Стало быть, именно во «внезапности» разнаго рода возможностей лежитъ причина какъ того, что всякая хорошая и дурная возможность сразу захватываетъ громадную уйму народа, такъ и того, что народъ этотъ, вообще *потоняемый* къ новой возможности, въ большинствѣ вовсе не приготовленъ къ ней, не нуждается въ ней и плетется за ней хочешь-не-хочешь; широкое и большое, по количеству захваченнаго народа, движеніе осложняется присутствіемъ множества ненужныхъ элементовъ и вообще не имѣетъ той естественности, неизбежности, чистоты, какими отличаются подобныя же, хотя и рѣдкія явленія на Западѣ.

Въ настоящей «болѣзни русскаго сердца»—болѣзни, составляющей самую видную черту нашего времени,—главную существенную роль играетъ, разумѣется, отмѣна крѣпостного права, т. е. отмѣна цѣлой крѣпостной философской системы. Для огромнаго большинства русскихъ людей на другой день по освобожденіи крестьянъ оказалось необходимымъ ввести въ собственное сознаніе такія понятія, которыя вчера еще были совершенно не нужны, а сегодня сдѣлались необходимы. Оказывалось необходимымъ дать мѣсто въ своемъ сознаніи идеѣ равноправности,—идеѣ, которая вчера была преступленіемъ; оказывалось необходимымъ признать неизбежность труда, допустить внимательство правды въ человѣческія отношенія. Понятія равноправности труда внезапно и неожиданно вторглись въ сознаніе громадныхъ массъ народа, предстали передъ помѣщикомъ, передъ портнымъ, который шилъ на помѣщика, передъ ямщикомъ, возившимъ въ городъ, передъ хозяиномъ постоялаго двора, передъ трактирнымъ служителемъ, угождавшимъ барину, передъ чиновникомъ, хлопотавшимъ за него въ судахъ, передъ женой чиновника, его сыновьями, дочерьми и т. д., и т. д.—до безконечности. И весь этотъ народъ, еще вчера не знавшій о существованіи этихъ новостей, сегодня долженъ былъ знать, что эти новости и суть «настояція», а та философія, которою онъ жилъ,—не заправская, не настоящая... И вотъ является неисчислимая масса народа,

обязанная «думать» объ этомъ неожиданномъ новомъ и жить во имя этихъ новыхъ понятій, обязанная непремѣнно носить ихъ съ собою каждый день и каждый часъ... Ясно, что это народъ — больной «сердцемъ», непремѣнно больной, потому что въ общемъ надъ всей этой кучей виситъ неизбывное «хочешь-не-хочешь».

Большого художника, съ большимъ сердцемъ ожидаетъ полчище народу, заболѣвшаго новою, свѣтлою мыслью, народа немощнаго, изувѣченнаго и двигающагося волей-неволей по новой дорогѣ и несомнѣнно къ свѣту. Сколько тутъ фигуръ, прямо легшихъ пластомъ, отказавшихся идти впередъ; сколько тутъ умирающихъ и жалобно воющихъ на каждомъ шагѣ, сколько бодрыхъ, смѣлыхъ, настоящихъ, сколько злыхъ, оскорбившихъ отъ злости зубы! И все это — рвущееся съ пути, разбѣшенное, немощное, все это рвется съ дороги только потому, что это — новая дорога, новая мысль, и злится только потому, что не можетъ или не хочетъ помириться съ новою мыслью. Словомъ, — все это скопище терзается или радуется и смѣло идетъ впередъ потому только, что надъ всѣмъ тяготѣетъ одна и та же боль сердца, боль вторгнувшейся въ это сердце правды, убивающая и мучающая однихъ и наполняющая душу другимъ несокрушимую силою. Минута, ожидающая сильный и могучій талантъ, который, несомнѣнно, долженъ родиться среди такой массы глубокихъ сердечныхъ страданій.

Такъ именно осмѣливается разглагольствовать моя растрепанная подруга, записная книжонка, и, не претендуя на самоглавѣйшую возможность даже попробовать рисовать эту удивительную картину, тѣмъ не менѣе по силѣ возможности всегда готова представить сценку, замѣтку или случайно встрѣченный фактъ. Указываетъ она, напримѣръ, на такое очень часто повторяющееся явленіе: общественный дѣятель. Человѣкъ, долгіе годы работавшій надъ тѣмъ, чтобы въ душевное время полнѣйшей засухи достать хоть капельку свѣжей воды, рыскавшій до нея сквозь каменные слои, называющіеся «нельзя, не смѣй»; проникавшій за нею сквозь сыпучіе пески, называющіеся «не надо, не нужно, на что намъ»; человѣкъ, наконецъ, добившійся этой капли воды съ немощными трудами, накачивавшій ее своимъ маленькимъ поршнемъ изъ своего маленькаго насоса — что значить, что этотъ человѣкъ вдругъ начинать роптать на тѣхъ, для кого онъ работалъ и кого поилъ, роптать и браниться именно тогда, когда съ такими трудами добытая имъ живая вода дѣлается всеобщимъ достояніемъ?.. А между тѣмъ такой фактъ встрѣчается поминутно, и нельзя ничѣмъ другимъ объяснить его, кромѣ вышесказанной внезапности появленія живой воды. Вчера человѣкъ въ потѣ лица добывалъ каплю этой воды, да и той воды, да и этой капли было много, а сегодня, благодаря позволенію, воды нахлынуло столько, что и насосъ вылетаетъ съ корнемъ и поршень начинаетъ упираться отъ ея напора, и самъ общественный труженикъ унесенъ, какъ щепка, этимъ вдругъ нахлынувшимъ всюду потокомъ. И вотъ, погибая, онъ вопіетъ противъ губящей

его стихіи, которую самъ же всю жизнь вызывалъ на божій свѣтъ. Фактъ очень частый и ничѣмъ другимъ необъяснимый.

Указавъ на факты, подтверждающіе именно внезапность пришествія новыхъ идей, памятная книжка въ подтвержденіе того, что эта внезапность захватываетъ *всѣхъ* и притомъ врасплохъ, также представляетъ аргументы по силѣ возможности. Въ то время, какъ нахлынувшія волны уносятъ, какъ щепку, дѣйствительнаго и много потрудившагося работника, заставляя его роптать на то, что отъ всей его дѣятельности не осталось и праху, тутъ же рядомъ съ нимъ этотъ же потокъ несетъ по тому же самому направленію толпы не только не работниковъ, не только не дѣятелей, но очевидно людей приневоленныхъ: кто не знаетъ этого визгу о собственномъ ничтожествѣ, этого воя о собственной немощи, ежеминутно оглашающихъ дни наши то тамъ, то сямъ? Книжонка можетъ привести множество примѣровъ, изъ которыхъ явствуетъ, что человѣкъ, гонимый новымъ временемъ, ничего не издастъ кромѣ визгу, ничего не дѣлаетъ кромѣ именно «самого стараго» и, ознаменовывая каждый приневоленный шагъ разнаго рода скверностями, ни на минуту не перестаетъ оплакивать эти скверности, сокрушаться о нихъ, продолжая дѣлать ихъ ежеминутно и ежеминутно о нихъ визжать?.. Какъ попалъ бы сюда, на эту новую дорогу, этотъ совершеннѣйшій обломокъ стараго, еслибы его не ожидало, «хочешь-не-хочешь», не унесло сюда?

Если всякому знакомы эти визжащія фигуры, приводимыя моею книжонкой въ примѣръ всеобщности движенія, то точно также должны быть знакомы и фигуры другого рода, подтверждающія то же положеніе: это — фигуры людей, знающихъ, что время уноситъ ихъ по настоящей дорогѣ, и съ страшною силою воли заглушающихъ въ себѣ все, что въ натурѣ ихъ, въ ихъ привычкахъ, въ воспитаніи есть враждебнаго этому новому пути. Книжонка указываетъ на множество типовъ людей молодыхъ, которые вьжутъ въ себѣ старое по рукамъ и по ногамъ, чтобы служить новому, хотя обыкновенно служатъ недолго, потому что постоянная война съ самимъ собой разрушаетъ тѣло и мозгъ. Работники, взявшіеся за работу потому, что некому, потому что *надо* стоять на этой работѣ кому-нибудь, ставшіе на работу потому, что *нельзя* не работать, *нельзя* не служить дѣлу, для котораго еще нѣтъ настоящихъ работниковъ, такіе работники — довольно-таки примѣтныя фигуры въ этомъ громадномъ движеніи къ свѣту. И къ счастью, въ такого рода людяхъ на русской землѣ нѣтъ недостатка. Книжонка указываетъ на кроткихъ, какъ агнцы, людей, людей неспособныхъ обидѣть мухи, которые однако являлись передъ публикой, напримѣръ, въ печати, чуть не кровопійцами и являлись потому только, что *надо* было являться такими, потому что настоящихъ не являлось. Книжонка указываетъ на множество людей, заглушавшихъ въ себѣ кротость для необходимой въ данную минуту вражды со зломъ; заглушавшихъ въ себѣ отвращеніе для необходимой теперь именно пото-

му-то и потому-то любви... Все это конечно не первый сортъ, не первый номеръ, но все это говорить о появленіи новой мысли врасплохъ, говорить и о силѣ, и неотразимости этой мысли, заставляющей людей переламывать, уничтожать въ себѣ врожденное несочувствіе къ ней...

Эту движущуюся по новому пути толпу людей, большую частью вовлеченныхъ туда невольно, неожиданно, хочешь-не-хочешь, книжонка заканчивается указаніемъ съ одной стороны—на типы, все понимающіе и ничего не могущіе, съ другой—на типы, ровно ничего непомыслящіе, но *подавленные встѣмъ вообще*. На одномъ изъ составляющихъ книжонку лоскутовъ значится слѣдующее: *«Въ настоящее время очень дорогъ человекъ, съ которымъ можно свободно молчать, то-есть думать не разговаривая, и притомъ такъ, чтобы молчаливый гость не просто молчалъ, а тоже постоянно бы думалъ, но не говорилъ, такъ какъ разговоръ при такомъ положеніи дѣла всегда оказывается чистымъ вздоромъ и только конфузить обидитъ»*. Не знаю, по какому именно случаю записаны эти слова и кѣмъ именно произнесены они, только фигуры людей, въ полномъ смыслѣ *глубокомысленно молчащихъ*, мнѣ очень коротко знакомы. Не разъ встрѣчался мнѣ человекъ пожилой, много думавшій, видѣвшій много, знающій все, что выдуманно мыслью относительно будущаго, знающій все, что выдуманно тою же мыслью относительно невозможности этого будущаго, сознающій, какъ все это вѣрно и глубоко, и ежеминутно убѣждающійся, что изъ всего этого, какъ ни кинь—все клинь. Я встрѣчалъ людей, молча обѣдающихъ другъ съ другомъ часа два-три, молча идущихъ по улицѣ цѣлыя версты и знающихъ, что они *обо многимъ* молчать въ это время, даже какъ-бы разговаривающихъ молча. Такой типъ—всегда старикъ, у котораго жизнь прожита, а остался одинъ голый умъ. Благодаря кой-какому достатку, сидитъ онъ гдѣ-нибудь въ своей квартирѣ у окна или тихо идетъ по улицѣ, или чужимъ толчется на чужой сторонѣ и все молчать, и цѣлые томы можно-бы написать о томъ, «о чемъ онъ молчитъ».

А вотъ другой, совершенно ничего уже не умѣющій сообразить, но *встѣмъ* подавленный человекъ. Въ прошломъ году зимой явился въ Парижъ мѣщанинъ Б—въ, приказчикъ чайнаго магазина. Какъ добрался онъ сюда—рѣшительно непонятно; ни на какомъ языкѣ онъ не говорилъ ни одного слова, кромѣ русскаго. Это былъ молодой человекъ самой обыкновенной наружности приказчика, довольно чисто выбритый, по гостиндворски одѣтый, очень кроткій, непышій и на видъ вовсе не больной, хоть и задумчивый. Зачѣмъ онъ явился въ Парижъ? Онъ хорошенько не могъ объяснить, хотя, кажется, желалъ-бы сказать многое, но очевидно не могъ... Не объяснивъ ничего относительно появленія своего въ Парижъ, онъ обыкновенно замолкалъ, смотрѣлъ въ землю, теръ ладони и вдругъ скороговоркой произносилъ: «Больше ничего... застрѣлюсь!» Въ гостинницѣ, гдѣ онъ остановился, смерти его ждали со дня на день, и всѣ ходили безпрестанно въ его

номеръ. Пришелъ и я. Я началъ разговаривать съ нимъ о чайномъ дѣлѣ: — долго-ли онъ служилъ, сколько получалъ жалованья, выгодное-ли это дѣло? Б—въ говорилъ, отвѣчая на мои вопросы вполне опредѣленно и ясно. Онъ даже увлекся и съ жаромъ принялся расписывать, какія штуки употребляются для поддѣлки чаю, какъ лучше всего обавкрутиться и т. д. Онъ оживился и ни единой капелюшки какой-нибудь болѣзни не было замѣтно ни въ его глазахъ, ни въ его лицѣ. Невозможно было представить себѣ, чтобы у этого, такъ всецѣло поглощеннаго своею торговою спеціальностью, человека была хоть тѣнь мысли о самоубійствѣ. Но на бѣду, господинъ (тоже русскій), бывшій въ то-же время со мной, совершенно неожиданно прервалъ разговоръ, сказавъ: «Нѣтъ, вы спросите-ка, отчего онъ застрѣлится-то хочетъ?» Вопросъ этотъ былъ сдѣланъ очевидно въ шутку, но Б—въ вдругъ измѣнился: — «Ну ужъ и стрѣляться!» сказалъ я. — «Ничего не подѣлаешь!» какъ-бы въ отчаяніи произнесъ, измѣнявшійся въ лицѣ, бѣдный Б—въ и сталъ объяснять, почему именно ничего не подѣлаешь... Найти къ этимъ объясненіямъ какой-нибудь смыслъ или хоть чуть-чуть понять—не было никакой возможности. Если-бы удалось стенографически записать все, что онъ говорилъ, и потомъ тщательно все перечитать и передумать, то и тогда едва-ли бы получались какіе-нибудь мало-мальски удовлетворительные результаты... Вотъ примѣрно, какъ онъ говорилъ и что именно: «Потому, такая линія... Что-жъ дѣлать!.. (Молчаніе). Одного плаття сколько было—панталонцовъ однихъ лѣтнихъ шесть царъ, у Борпуса... да что! Тыфу... Неужели изъ-за этого?.. Господи помилуй! вотъ ужъ стоитъ!.. Тыфу! (Молчаніе). Нѣтъ! а есть надъ человекомъ персть—вотъ что!.. Теперь я приказчикомъ, все хорошо... Приглашали къ Пеструхину на Невскій на семьдесятъ пять рублей... и съ удовольствіемъ принимали,—самъ не захотѣлъ!.. потому что... да что! Мѣста! Вотъ ужъ наплевать-то!.. (Молчаніе). Изволили бывать въ академіи художествъ? Ну, такъ тамъ есть одна картина... представлено, какъ страждетъ невинная дѣвица въ молодомъ своемъ возрастѣ, и какъ невинно... Ну, не стоитъ и говорить... Персть! Нѣтъ, тутъ особая штука... У меня это все нарисовано на планѣ... (плана онъ не показавъ, а сказавъ: все особенное). А то мѣста, панталоны!.. Господи, очисти живота отъ всего отъ этого... Одно осталось—музыка, оркестръ, серьезная игра!.. Послушать и помереть—вотъ! (Молчаніе). А вотъ что правды нѣтъ ни капли—такъ ужъ это съ тѣмъ возмите! Персть!.. Ловки, очень ловки они!.. Боже сохрани, какая канитель!.. Вы только посудите одно: былъ я на пѣвоточной выставкѣ и вижу растеніе, фіалку... И думаю:—столь удивительно хорошо, столь премудро, или, напротивъ того, возьмемъ человека, положимъ, хоть меня: прихожу къ хозяйну: — «позвольте получить за два мѣсаца...» да нѣтъ, нѣтъ—тутъ болтать нечего! Что пустое разговаривать... Послушаю музыки и съ Богомъ—на тотъ свѣтъ!» Вотъ примѣрно, какъ и въ какихъ выраженіяхъ этотъ бѣдный человекъ об-

яснять причину необходимого для него самоубийства. Слушая его, я ничего не понималъ, но не могъ не видѣть, что въ его бѣдной головѣ толпилось многое множество неожиданныхъ, негаданныхъ мыслей, пѣлой тучей нахлынувшихъ въ его бѣдную, слабую голову, искалѣченную узкой специальностью. Какой случай внесъ въ его сознание эти совершенно для него непереваримыя мысли—я не знаю; очень можетъ быть, что это была какая-нибудь практическая неудача, рана, нанесенная мелкому самолюбію; но что мученія его были серьезны и ничего «просто свинскаго» не заключали—это можно видѣть и изъ его бесвязнаго разговора, и изъ факта его дѣйствительнаго самоубійства. Б — въ застрѣлился осенью того же года въ Павловскѣ. О смерти его напечатано въ дневникѣ происшествій всѣхъ русскихъ газетъ за сентябрь мѣсяцъ прошлаго года.

Около этихъ четырехъ-пяти главныхъ фигуръ — труженика мысли, погибающаго въ общемъ стремительномъ потоцѣ движенія и роппущаго на него; человѣка, уныло воюющаго, оплакивающаго свои несовершенства и ежеминутно эти совершенства предъявляющаго; того, который ломаетъ въ себѣ все неидущее къ задачѣ, считаеиой имъ за подлинное дѣло; того, кто молчитъ и думаетъ, не видя для себя никакого исхода; и наконецъ того, кто не умѣетъ думать, а прямо пораженъ, задавленъ и разбитъ всѣмъ полчищемъ нахлынувшихъ на его бѣдную голову мыслей—около этихъ главныхъ фигуръ группируется безчисленное множество разнообразностей, въ которыхъ не трудно узнать при нѣкоторой внимательности черты, сходствующія съ вышеприведенными, особенно замѣтными типами. Одинъ не воетъ въ слухъ, воетъ внутри себя; другой хотя и чувствуетъ, что его несетъ, сорвало, но не показываетъ виду, а притворяется, будто даже очень радъ, хотя и тотъ, и другой въ сущности испытываютъ точно то же, что и тѣ, которые вопли и ропотомъ, не церемонясь, оглашаютъ каждый шагъ, дѣлаемый ими на новомъ пути. Все это—какъ разновидности, такъ и главные представители разновидностей,—все это составляетъ ту массу идущаго по новому пути народа, который загнанъ на этотъ путь неожиданно ставшими необходимостью идеями простоты и правды. Все это идетъ, страдает и болтая, упираясь и падая на пути, негодуя и злясь. Все это попало въ лапы новымъ идеямъ и, хочешь-не-хочешь, своими глубокими страданіями, своимъ глубокимъ негодованіемъ свидѣтельствуетъ о томъ, что эти новыя идеи, эти новыя потребности сердца пришли, вотъ тутъ гдѣ-то, и идутъ все ближе и ближе. Можно на нихъ лаять, можно отъ нихъ рваться, можно ихъ опровергать, можно на нихъ просто плевать, притворяться, что не видишь, можно просто не видать ихъ; но лаять, негодовать, бѣжать, опровергать, словомъ, продѣлывать все вышеизображенное «безъ нихъ»—никакъ ужъ невозможно.

II.

Всѣ эти толпы больныхъ, страдающихъ, стону-

щихъ и проклинающихъ, на которыя указываетъ памятная книжка въ подтвержденіе вывода, что настоящее время болѣе всего страдаетъ «сердцемъ», весь этотъ трудно занемогшій народъ не составляетъ однако-жъ еще главнаго въ общей картинѣ этого необыкновеннаго нравственнаго движенія, которое къ тому же болѣею частью насильно втянуло его въ себя. Вся бѣда этого народа заключается почти только въ борьбѣ съ самимъ собою, съ собственными ненужными, мѣшающими освѣженному сознанию старыми привычками. Несомнѣнная трудность этой борьбы, громадность массы народа, захваченнаго ею, могутъ свидѣтельствовать только о томъ, что въ сознание русскаго человѣка вошло нѣчто большое, небывалое, что это небывалое—сильно и велико. Но ни громадность захваченной небывалымъ толпы, ни самые размѣры страданій не могутъ убѣдительно доказать наблюдателю, что «новое и небывалое»—явленіе вовсе не случайное, а напротивъ—неизбѣжное. Поэтому все муки и хлопоты, свалившіяся на случайно захваченнаго въ движеніе неплательщика, состоятъ какъ-бы въ отвѣтываніи, въ придумываніи разныхъ штукъ, чтобы какъ-нибудь обойти, дать другое направленіе уносящему его потоку. Мысль его постоянно работаетъ надъ всевозможными средствами, которыя бы облегчили ему эту борьбу, онъ постоянно норовитъ что-то, гдѣ-то устроить, учредить, сдѣлать сначала то, а лѣтъ черезъ пять-сотъ это, тогда какъ все дѣло и вся бѣда заключается въ немъ самомъ, и не позже, какъ сію минуту, и время требуетъ переѣздки не на сторонѣ гдѣ-то, не въ какомъ-то чужомъ углу, а тутъ, въ сердцѣ самого неплательщика, куда съ такою настойчивостью пробирается идея хотя бы «полизѣйшей простоты и правды» въ человѣческихъ отношеніяхъ. А эта идея дѣйствительно идетъ, вырастаетъ сама собою и уже имѣетъ въ своей власти число сердецъ, ничуть не меньшее числа случайно занемогшихъ и захваченныхъ движеніемъ невольнo. Памятная книжка даетъ не мало указаній и на такихъ людей, у которыхъ уже нѣтъ никакой нравственной связи ни съ чѣмъ прошлымъ, у которыхъ ни капли нѣтъ себя для себя, у которыхъ есть только одно: невозможность существовать, не глядя дѣйствительности въ лицо прямо и смѣло и не повинаясь одной только сущей правдѣ. Это—не специалисты новыхъ идей и новыхъ дѣлъ, знающіе доподлинно, что и къ чему; нѣтъ, это—простые, очень часто необразованные люди, стоящіе на новомъ пути почти одиноко; но люди, которые могутъ чувствовать только совершенно правдиво и только повинаясь властвующей ихъ сердце правдѣ, которые идутъ... куда? я не знаю. Въ появленіи ихъ на свѣтъ нѣтъ никакой случайности, нѣтъ никакихъ постороннихъ вліяній; напротивъ, это—продуктъ самый чистый и самый послѣдовательный недавняго прошлаго,—продуктъ, явившійся именно тамъ, гдѣ прошлое особенно блистало своими наименеепривлекательнѣйшими сторонами.

Беру изъ моей книжки наудачу небольшой отрывокъ, записанный со словъ одного русскаго чело-

вѣка, лѣтъ подъ тридцать, встрѣченнаго мною за границей года два тому назадъ.

III.

«...Вы вотъ все не вѣрите, думаете, что это только такъ, одна либеральная праздность, нежеланіе дѣлать какое-нибудь простое, но серьезное дѣло... Ужъ навѣрное (я знаю, это я тысячи разъ слышалъ) вы думаете, что такъ вотъ, болтался, да разговаривая разными разности, я просто-на-просто живу, ничего не дѣлая, на чужой счетъ—и все... И знаете, вѣдь такъ думаютъ иной разъ очень добрые люди... «Врешь, каналья»—и все тутъ... Или такъ еще: «нахватался верхушекъ, прочелъ книжонку—и задралъ носъ... ну, и натурально, пошли эти разные идолослуженія и все такое...» Главное, допекаютъ нашего брата деньгами; а деньги откуда ты берешь? «Попробовалъ-бы ты, говорить, зарабатывать такъ, какъ я; повозился-бы ты съ этой канителью, да тогда бы и разговаривалъ». Что отвѣчать на это, кромѣ того, что *не могу* я такъ, какъ вы, зарабатывать, что *не могу* жить такъ, какъ вы, потому просто, что нѣтъ у меня такихъ заботъ, такихъ огорченій, ради которыхъ я бы такъ испугался жизни, что взялъ бы да и подалъ прошеніе къ какому-нибудь православному жижу. Мнѣ ничего не нужно. Но именно этому-то и не вѣрять, да и вы не вѣрите... Еще вотъ какъ нынѣ называютъ: «новомодное дармоѣдство», а одинъ дѣлопроизводитель по коммерческой части на какой-то желѣзной дорогѣ, гдѣ нѣтъ никакой коммерціи, такъ тотъ вотъ какъ оцѣтенился; «вы, говорить»,—все равно, что странники прежняго времени: придеть, напустить на всѣхъ туману, получить даяніе—и маршъ; а тутъ сиди, да отработывай своимъ хребтомъ... Очень все это натурально... Я только хочу сказать, что я именно и могу только, какъ вотъ дѣлопроизводитель сказалъ, туманъ пускать... Если-бы я могъ не пускать его, я бы, разумѣется, гдѣ-нибудь на желѣзной дорогѣ очень обстоятельно доказывалъ отправителю, что, обливъ его рожъ керосиномъ, я доставилъ ему только удовольствіе, и что не только мнѣ за это платить ему не приходится, но, напротивъ, еще онъ обязанъ мнѣ внести уйму рублей. Въ томъ-то и горе, а можетъ и счастье, что не могу! ужъ крѣпко сидитъ во мнѣ эта жажда туманъ распускать! А то-бы почему окладами не побаловаться—самое любезное дѣло! И знаете-ли: кто, какого рода человекъ воспиталъ меня такимъ образомъ? Отъявленный казнокрадъ, человекъ, вся жизнь котораго, почти вплоть до самой минуты, когда неожиданно-негаданно онъ сдѣлалъ для меня добро, была длиннымъ безобразіемъ, исполненнымъ всякой самой отвратительной скверности старыхъ порядковъ... мой отецъ... Такова именно была жизнь моего отца... Лѣтъ до тринадцати я совершенно не зналъ его... Смутно помню какую-то фигуру, пьяную, на городскомъ извозчикѣ догоняющую нашъ возокъ, въ которомъ я и мать ѣхали въ деревню. Помню что-то небритое, ослабившееся въ окнѣ возка, что-то очень грубо говорившее съ ма-

терью; помню, что я ревѣлъ и что мать велѣла во всю мочь погонять лошадей... Не могу забыть какого-то звѣрскаго рева, неспагоса вслѣдъ за мчавшимся возкомъ: пьяный городской извозчикъ и пьяная фигура—оба ревѣли и гнались, не пада на лошади, ни своихъ глотокъ. Ревъ этотъ, эта немотовая скачка возка, эти копы снѣгу, врывающіеся въ окна возка и бьющіе меня, мать и няньку по головъ, врѣзались въ моей памяти навсегда, какъ нѣчто ужасное, а главное, что это—отецъ... Представленіе объ отцѣ у меня съ этихъ поръ постоянно соединялось съ этимъ ревомъ, съ чѣмъ-то такимъ, отъ чего у меня замирало сердце... Къ этому незначительному впечатлѣнію чего-то ужаснаго и нехорошаго, по мѣрѣ того какъ я вырасталъ, присоединились новыя, уже осмысленныя причины ненависти къ нему; постоянно я видѣлъ передъ собой фигуру моей матери, окруженную фигурами разныхъ добрыхъ старушекъ, которыя только и дѣлали, что жалѣли ее... Моя мать никогда не жаловалась—она была безропотна... Она сохла и чахла въ молчаливомъ сознаніи своего несчастья, всей трудности жизни. Несомнѣнно, она искренно страдала, но я потомъ расскажу кое-что о мотивахъ къ этимъ страданіямъ; теперь же,—что долгіе годы жалобъ, раздававшихся вокругъ моей матери и подтверждаемыхъ ея вздохами и дѣйствительными страданіями, привели меня, мальчика лѣтъ десяти-одиннадцати, къ такимъ мыслямъ: вырасту большой, наживу много-много денегъ, куплю мамѣ большое имѣніе; она будетъ ѣздить въ каретахъ и предводительша не поемѣетъ передъ нею пикнуть. Такія мысли я увозилъ съ собой изъ деревни въ городъ въ гимназію; такія мысли руководили мною на школьной скамьѣ и съ ними я опять возвращался домой... Всѣ меня тогда хвалили въ домѣ у матери, всѣ мнѣ говорили: «не сынъ, а ангелъ, утѣшеніе растеть матери, примѣрный мальчикъ...» Примѣрнымъ меня называло начальство. Помню, что я дѣйствительно всей душой страдалъ за обиды и несчастья моей матери...

«Я забылъ сказать, что она жила въ деревнѣ, въ собственномъ небольшомъ имѣніи, верстахъ въ сорока отъ губернскаго города, въ которомъ я находился въ гимназическомъ пансіонѣ. Мнѣ некогда было быть ребенкомъ, проказить, шутить; у меня было дѣло, серьезная обязанность—счастье матушки... Серьезнѣе меня не было во всемъ пансіонѣ ни одного ребенка. Я не только серьезно былъ занятъ своею мыслью, но умѣлъ уже ненавидѣть тѣхъ, кто мѣшалъ мнѣ отдаваться моей цѣли, и имѣлъ враговъ, какъ настоящій дѣятель, упорно идущій къ своей цѣли... Я научился понимать людей, познакомился съ ихъ побужденіями, взглядами, научился презирать и жалѣть, словомъ,—узнавалъ жизнь; но руководитель мой въ этихъ наблюденіяхъ, побудительная причина къ нимъ была «матушка», «много, много денегъ» и «утру носъ предводительшѣ».

«Переносилъ я обиды и непріятностей много, много передумалъ, перечувствовалъ и тринадцать лѣтъ могъ уже иной разъ дать матери моей хорошія

практической совѣтъ. Приѣзжая въ деревню, я ужъ не могъ не страдать страданіями хозяина, настоящего деревенскаго хозяина, ужъ меня тянуло войти во все.

«...Вотъ въ такую-то минуту моего развитія, однажды, когда я приѣхалъ на праздникъ домой—дѣло было за двѣ недѣли до Рождества,—случилось со мною такое происшествіе.

«Озабоченный горестями матушки по хозяйству, я на другой-же день по приѣздѣ, ранехонько чѣмъ свѣтъ, вскочилъ съ постели и намѣревался отправиться развѣдывать о разныхъ хозяйственныхъ упущеніяхъ. Чтобы никого не беспокоить въ домѣ, я зашелъ умыться въ людскую. Какъ теперь помню, висить на веревкѣ въ грязныхъ и мокрыхъ сѣняхъ рукомойникъ; торопливо плещу я въ лицо холодною водою; около меня стоитъ старый-перестарый кучеръ Филиппъ, съ полотенцемъ въ рукахъ, и слышу я сквозъ плескъ воды, словно бы онъ всхлипываетъ. Поднял я голову, гляжу—плачетъ...

«— О чемъ ты?

«Только замоталъ головой и залился.

«Я изумился. У меня ужъ мелькнуло было: «не шути ли тутъ?» (я ужъ зналъ, что на нихъ не надо смотрѣть, не надо власть пальца въ ротъ и т. д.); но слезы у такого древняго старца тотчасъ отогнали эти невыгодныя мысли, и я опять спросилъ его:

«— Да что-жъ такое? О чемъ ты плачешь?..

«— Глянь-ко вонъ на плетень-то... промолвилъ онъ, указавъ на сѣнную дверь, и сжалъ запытавшія отъ волненія губы, точно старая старуха.

«Глянуть я въ сѣнную дверь, вижу: плетень, половина его обвалилась: около плетня валяется полужансенное сѣгомъ колесо; недалеко стоитъ бочка, за плетнемъ плетется какой-то старичокъ, должно быть больной, еле передвигая ноги по размякшему сѣгу и хватаясь за плетень старческой рукой. Пристально смотрѣлъ я, почти вытараща глаза, и на старичка, и на плетень, и на колесо, и все-таки не понималъ: о чемъ плачетъ Филиппъ и о чемъ тутъ возможно плакать?

«— Что-жъ тамъ? проговорилъ я въ полномъ недоумѣніи.

«— Да вѣдь родитель это твой! съ сильнымъ порывомъ глубокаго чувства завопилъ сарикъ:— Отецъ вѣдь твой...

«— Ето?

«— Да во-отъ нищій-то этотъ... Вотъ пробирается. Господи, Царица Небесная...

«Тутъ я дѣйствительно остолбенѣлъ.

«— Какъ?.. Этотъ?.. Отецъ? безсвязно шепталъ я, весь какъ бы скованный, какъ холодъ вдругъ сковываетъ воду, и оцѣпенѣло глядѣлъ на нищаго старика.

«— Онъ, батюшка, онъ!.. шепталъ Филиппъ.

«И вдругъ во всемъ моемъ окаменѣломъ тѣлѣ, по всемъ жиламъ (буквально «по всемъ»)—я это чувствовалъ и никогда не забуду) пробѣжало что-то ужасно острое и, главное, горячее (не жгучее, а именно горячее, какъ кипятки), жаромъ ударило въ голову, и заревѣлъ-заревѣлъ я!.. Изъ-подъ моей равней практичности, изъ-подъ моей озабоченности

хозяйственными дѣлами вдругъ вырвался ребенокъ; какъ солнышко изъ-за тучъ, выскочило, ярко пылая, простое дѣтское сердце. Такъ, какъ былъ, съ мокрымъ лицомъ, повалился я на какой-то мѣшокъ съ уголемъ и ревѣлъ. Я чувствовалъ ужасную жалость и ужасную вину. Чѣмъ виновать—я еще не зналъ, но сознание моею необыкновенной виновности я очень хорошо помню.

«— Второй годъ, родинки ты мой, вѣдь онъ здѣсь-тко!.. шепталъ Филиппъ.— Маменькѣ то Христа ради не донеси... Господи, помилуй!.. Какъ не скажешь то? Смотрѣть-то жалость одна! какой человекъ-то!.. Истинно, что Божій человекъ родитель твой—право слово... И знать, и духу то нѣтъ прежняго... что стало!.. Маменькѣ-то не болтай, ради Христа... Пуще всего, чтобы ты не зналъ, всѣмъ наказано... Не въ примѣту чтобы, тихимъ манеромъ надобно повидаться... вотъ какъ... А не болтай... а повидаться—повидайся... родной вѣдь отецъ, самъ ты посуди... охъ... и на что я сказалъ-то!..

«Каждое слово Филиппа наполняло меня чѣмъ-то совершенно новымъ, что однакожъ увеличивало мои слезы каждую минуту, и помню, что мнѣ необыкновенно хотѣлось плакать... И гимназія, и мать; и товарищи, и мои заботы, и хозяйскія хлопоты, и и отецъ *тотъ*, который лѣзь въ возокъ, и отецъ *этотъ*—все это проходило безпорядочною толпою въ моемъ мозгу и гнало потоки слезъ... Что-то простое и теплое принесла эта сцена въ мою душу, которую до этой минуты все приучало ожесточаться, хотя тоже во имя любви...

«— И не радъ, что сказалъ-то! хлопая себя по бедрамъ, шепталъ Филиппъ тревожно.— Ну, придуть... увидать... Ахъ, дуракъ старый, дыравый мѣшокъ... Хотъ въ другое мѣсто пошелъ-бы, все-бы не такъ... барчукъ! а барчукъ! Ахъ, и дѣла только... Ну, сѣмъ, въ сарай бы пошелъ... Право, въ сарай-то способнѣй... Митрофанъ Петровичъ! барчукъ!.. У-ахъ ма-а!..

«Какъ ужъ я очутился въ сарай—не помню. Должно быть, Филиппъ просто взялъ меня за руку и привелъ туда.

«— Ну, вотъ такъ-то лучше будетъ, сказалъ онъ и сталъ ожидать уже молча окончанія моихъ слезъ.

«Не буду рассказывать, какъ моя мать и ея пріятельницы заахали, увидавъ мои опухшіе глаза: какъ онѣ приняли это за простуду, уложили меня въ постель, принялись лечить и т. д. Бромъ величайшей тоски я не испытывалъ ничего отъ всего этого, но терпѣлъ, ожидая дня, когда увижу отца, и придумывалъ всевозможные планы, чтобы достигнуть этого свиданія. Двѣ недѣли однако пришлось мнѣ проболѣть ожиданіемъ этого свиданія, потому что двѣ недѣли продержали меня дома, не выпуская изъ комнаты. Наконецъ на праздникахъ, передъ новымъ годомъ, я такъ настоятельно заявилъ о своемъ здоровьи, что мнѣ ужъ не пытались возражать.

«Прежде всего я отправился конечно разыскивать Филиппа, чтобы выѣсть съ нимъ придумать случай выѣхать изъ нашей деревни; дѣло въ томъ, что отецъ жилъ въ деревнѣ, версты за двѣ отъ

нашей, въ семьѣ одного дворового человѣка. Скоро предлогъ былъ отысканъ: въ хозяйствѣ оказался недостатокъ какого-то продукта, не то веревокъ, не то дегтю—и надо было ѣхать за ними въ большое торговое село Покровское. Покровское лежало совершенно въ противоположной сторонѣ отъ той деревни, гдѣ жилъ мой отецъ, но мы рѣшили, закупивъ въ Покровскомъ что было нужно, не мѣшкаая ѣхать назадъ, а затѣмъ, свернувъ съ дороги, объѣхать нашу усадьбу и хоть на короткое время, но непременно завернуть къ отцу.

«Все было сдѣлано такъ, какъ мы придумали. Всю дорогу—и въ Покровское, и обратно, продолжавшуюся добрыхъ пять или шесть часовъ,—я ни минуты не былъ спокоенъ: предчувствіе какого-то переворота, имѣющаго совершиться въ моей жизни, держало меня въ постоянно напряженномъ состояніи... Филиппъ, сидѣвшій въ саняхъ рядомъ со мной, постоянно говорилъ про отца: отъ него я узналъ, какой это былъ звѣрь «характерный» въ молодости, какъ онъ маменьку обижалъ, какъ онъ маменьку бросилъ, имѣя большія деньги, гдѣ-то прокутил ихъ, пришелъ въ деревню весь въ долгахъ; но маменька его не приняла, а только дали на дорогу въ городъ; какъ потомъ, спустя много лѣтъ, онъ опять явился, но ужъ совсѣмъ другимъ: тихимъ, робкимъ, безъ всякихъ признаковъ буйнаго духа, и уже попросилъ у маменьки только помочи въ свѣтномъ продуктѣ, самъ общался не касаться ни до нея, ни до имѣнія, а сталъ жить «по христіански», то-есть по-мужицки, съ мужиками, у старыхъ своихъ дворовыхъ людей; живетъ, какъ простой мужикъ, лапти точаетъ, зимой ребятишекъ учитъ, а лѣтомъ работаетъ, когда въ силахъ, и лечитъ... Филиппъ особенно восхвалялъ его даръ лечить и приводилъ безчисленные примѣры удивительныхъ исцѣленій; говорилъ онъ, что отецъ принесъ отъ святыхъ мѣстъ какую-то книгу, въ которой сказано «все», и вотъ эта-то книга особенно помогаетъ ему въ его врачебномъ искусствѣ... Изъ разсказовъ Филиппа я убѣдился, что отецъ мой пользуется въ народѣ славою человѣка, обладающаго громадными свѣдѣніями, чуть-ли не такими, какими обладаетъ только колдунъ. Филиппъ даже и этотъ эпитетъ попробовалъ-было приложить къ моему отцу, но спохватился... «и-и! какъ это можно!.. только дураки и болтаютъ такъ-то... «колдунъ, колдунъ»... знамо, по глупости, а прямо сказать:—божественный человѣкъ... все съ молитвой, все крестомъ... Нѣшто такъ колдунъ можетъ?.. Тотъ все съ чернымъ словомъ... Опять же у святыхъ мѣстъ быть, да и опять собирается... Не можетъ этого быть!» Разговоры и разсужденія Филиппа не прекращались до самаго въѣзда въ деревеньку, гдѣ жилъ отецъ...

«Были сумерки... По деревенской улицѣ, загроможденной сугробами, носились тучи и столбы мелкаго, промерзлаго снѣгу... Былъ морозъ и вѣтеръ... Огня въ деревнѣ не было нигдѣ. Тамъ и самъ на снѣгу чернѣли кучки ребятишекъ съ ледяной или санками и въ перемезжахъ вѣтра слышались ихъ спорящіе голоса... Я все это помню

какъ нельзя лучше. Не забуду минуты, когда сами по рыхлымъ сугробамъ стали подѣзжать къ длинному въ шесть оконъ дому. Какъ нарочно, въ эту минуту вѣтеръ совершенно упалъ, стало невозможно тихо; неслышно ступала лошадь по глубокому снѣгу, не слышно было полозьевъ—домъ стоялъ темный и молчаливый; огня въ немъ не было; крыльцо было заперто и занесено снѣгомъ; мы взбирались по немъ, какъ по перинѣ, безъ малѣйшаго шума. Но въ продолженіе этой минуты почти мертвой тишины сердце мое било меня въ грудь словно молотомъ, а кровь съ какими-то свистомъ въ ушахъ прилиwała къ головѣ...

«Вы думаете, пожалуй, что я, изображая такъ подробно минуту, предшествовавшую моей встрѣчѣ съ отцомъ, представлю вамъ и родителей моего въ какомъ-нибудь особенномъ видѣ, производящемъ нравственное потрясеніе какими-нибудь необыкновенно сильными и оригинальными свойствами своей натуры, мысли?.. Нѣтъ, ничего подобнаго не будетъ; переворотъ въ моихъ взглядахъ начался дѣйствительно съ минуты этого перваго свиданія съ нищимъ-отцомъ, но именно, можетъ быть, и начался-то только потому, что я попалъ съ этой минуты въ среду самыхъ простыхъ людей; все тутъ было такъ голо, просто и ясно, что нискоимъ образомъ не могло произвести такъ называемаго потрясающаго впечатлѣнія. Было только впечатлѣніе новой для меня простоты—и больше ничего.

«Филиппъ долго грохоталъ коломъ въ сѣнную дверь прежде, нежели заскрипѣла дверь и какой-то женскій голосъ спросилъ:

«— Кто тамъ?

«— Отвори-ко-сь, Марья Андреевна, свои... Филиппъ...

«— О-о... сейчасъ, дай башмаки надѣть...

«— Ладно. Поторанивайся...

«— Сейчасъ, сейчасъ...

«Скоро дѣйствительно слышались въ сѣняхъ торопливые шаги; засовъ стукнулъ, и передъ нами, сколько можно было разобратъ въ темнотѣ, очутилась высокая пожилая женщина въ шубейкѣ на плечахъ.

«— Съ кѣмъ Богъ принесъ?

«— Дома что-ль Петръ-то Василичъ! задыхаясь и волнуясь чуть-ли не болѣе меня, произнесъ Филиппъ.

«— Ишь спать... Недужаетъ поясницей.

«— Вбуди-ко-сь... Сынокъ яво...

«— Охъ, батюшки родимые! Неужто Митрофанъ-то Петровичъ?

«— Я...

«— Охъ, отцы наши... Какъ же это?

«— Вбуди, ничего... Время-то на счету, потривожи, ничего...

«— Охъ... что-жъ это?.. Надо возбудить. Положидко-сь, я пойду...

«Возненіе обуяло и эту женщину. Помню, что въ темныхъ сѣняхъ, гдѣ мы ждали, открывались двери то направо, то налево, выходили какіе-то люди... Кто-то кого-то звалъ, торопливо шелъ куда-то... Словомъ, помню какую-то вдругъ подавив-

шүюся суматоху, показавшуюся мнѣ необычайно долгой, покуда наконецъ меня не позвалъ со свѣчкой въ рукѣ какой-то старичокъ, весь въ слезахъ, весь въ лихорадкѣ и растерянный до послѣдней степени...

«Это и былъ мой отецъ.

«Между нами произошла не встрѣча, а, прямо сказать, свалка: обхватывалъ онъ меня и за шею, и подмышку къ нему какъ-то понадала моя голова, и онъ то цаловалъ мой затылокъ, то уши мои сжималъ и таянулъ голову кверху, и ронялъ теплыя слезы и на лицо мое, и на шею, и на затылокъ... Всклипыванья раздавались во всѣхъ углахъ сѣней, но никто почти не произносилъ ни слова... Отецъ только шевелилъ губами, но ничего произнести не могъ.

«Не помню, какъ уже мы очутились въ комнатѣ, т. е. въ большой, довольно ветхой избѣ, раздѣленной перегородкою на три части. Въ комнатѣ у отца былъ длинный и узенькій столъ изъ двухъ тесинъ, столъ очевидно для учениковъ, потому что весь былъ изрѣзанъ и исписанъ разными рожами и каракулями; по бокамъ его стояли двѣ длинныя лавки, въ углу самодѣльная кровать, т. е. такія же тесины, приколотенныя однимъ концомъ прямо къ стѣнѣ и подпертыя съ другого бока двумя чурками. На такой кровати валялся полушубокъ, а въ головахъ—большая, ужъ вовсе не деревенская подушка; впослѣдствіи я узналъ, что подушка эта принадлежала женщинѣ, отворавшей намъ дверь.

«Въ эту комнатку мы вошли цѣлой гурьбой: отецъ, я, Филиппъ, паренъ какой-то, какіе-то ребятишки, женщина въ шубейкѣ и еще нѣсколько женщинъ и мужчинъ,—все это были сожителѣ отца, поднятые изъ темныхъ угловъ большого дома нашими неожиданнымъ прїѣздомъ. Чтобы отношенія моего отца къ этой крестьянской семьѣ были ясны, я теперь же скажу о нихъ то, что узналъ только впослѣдствіи. Домъ и хозяйство принадлежали брату той женщины, которая намъ отворяла. Братъ этотъ, звали его Никифоръ, будучи крѣпостнымъ, съумѣлъ чѣмъ-то угодить господамъ, былъ отпущенъ на волю, перебрался на житье въ городъ и долгое время жилъ въ извозчикахъ—хозяиномъ. Ему постоянно везло счастье; постоянно «утрафлялъ» на хорошихъ господъ,—словомъ, умѣлъ наживать деньги, которую и посылалъ старикамъ и братьямъ въ деревню. Старики выстроились, и домъ ихъ считался самымъ богатымъ, покуда шелъ этотъ притокъ денегъ изъ города и покуда старики крѣпко держали въ рукахъ домашніе порядки. Съ освобожденіемъ крестьянъ и смертію стариковъ, порядокъ домашній поослабъ. Старшій братъ, извозчикъ, воротившись изъ города, поотвыгъ отъ деревенскаго хозяйства, а главное, возжааясь съ «хорошими господами», и самъ поиспортился, поразвратился, любилъ выпить и любилъ побуйнить, какъ глава; другіе братья стали дѣлаться, и теперь весь домъ держался почти только старшей сестрой, женщиной (она не была замужемъ) съ характеромъ (ее звали почему-то раскольницей),

много натерпѣвшейся въ крѣпостномъ правѣ и сохранившей къ нему глубокую ненависть... Кажется, въ тѣ дни, когда мой отецъ былъ тоже въ числѣ хорошихъ для извозчика, ея брата, господъ, было что-то у него съ нею... Сужу такъ по ея сильной къ нему привязанности, постоянному заступничеству за отца передъ всѣми, кто посмѣлъ бы сказать хоть шутливое слово относительно его теперешняго положенія. Ненависть ея къ прошлому постоянно поддерживала ея уваженіе къ настоящему положенію отца, и она всегда стояла за него горой, если иной разъ ея братъ, бывшій извозчикъ, которому отецъ немало въ свои хорошіе дни переплатилъ денегъ (извозчикъ—тотъ самый, на которомъ отецъ догонялъ насъ съ матерью когда-то), въ пьяномъ видѣ затѣвалъ съ нимъ какую-нибудь исторію, всегда имѣвшую оттънокъ насмѣшки надъ господами, которыми вотъ теперь и мужичку стало надо поклониться и уголка попросить. Впрочемъ такія насмѣшки были не особенно часты; въ трезвомъ видѣ Никифоръ не могъ не поминать отца добромъ; заработалъ онъ съ него много, да и вообще весь домъ, все крестьянство, зная исторію отца, не могло не цѣнить и дѣйствительно цѣнило, какъ я впослѣдствіи убѣдился, его рѣшимость поварать свое прошлое такой жизнью. Всѣ обитатели Иванова дома, сосѣди и крестьяне сосѣднихъ деревень, всѣ почти съ благоговѣніемъ разсказывали про ту минуту, когда отецъ мой, когда-то бывшій баринномъ, жившій во всю барскую спѣсь, пришелъ съ котомкой за плечами простымъ странникомъ къ простому мужику и сказалъ:

«— Ну, Никифоръ, корми, братъ, меня!.. Буду помогать, покуда сила есть, приказывай, а туда (т. е. къ матери и опять «въ господа») — я ужъ не пойду...

«— Вѣдь, чего это стоитъ! говорилъ всякій, знавшій эту исторію.

«Всякій знаетъ, какъ трудно каяться, тѣмъ паче—барину... Въ домѣ такимъ образомъ жили: Никифоръ, его сестра Марья Андреевна и мой отецъ въ одной половинѣ, а въ другой сторонѣ—старуха бабка и средній братъ съ женой и дѣтьми... При домѣ былъ работникъ и работница, какая-то дальняя Никифору родня, солдатка.

«Вотъ вся эта компанія и явилась въ комнату отца за перегородку: всѣ стояли толпой, ожидая, что будетъ происходить между нами. Всѣ были очень тронуты, а маленькія дѣти, такъ тѣ прямо были испуганы и не вѣдали, что такое творится?.. Но ничего особеннаго не произошло. Отецъ держалъ меня у себя на колѣняхъ, что мнѣ было очень неловко: я былъ вѣдь ужъ большой, а отецъ чуть не нянчилъ меня, какъ маленькаго ребенка. Онъ гладилъ меня по головѣ, плакалъ и поминутно шепталъ: «ну, слава Богу... слава тебѣ, Господи... И не чаешь!.. И въ мысляхъ-то не было увидать, а ужъ ныло сердце, ужъ ныло... Ну, слава тебѣ, Господи!.. Спасибо... Спасибо, Филиппушка!..» Я былъ очень смущенъ тѣмъ, что вдругъ обратился въ маленькаго ребенка, которому расточаются такіе безумныя ласки; но все-таки, несмотря на смущеніе, мнѣ

удалось подробно разглядѣть отца. Глаза его прежде всего обратили мое вниманіе: это были глаза человѣка, у котораго угасъ оживлявшій ихъ когда-то огонь; это были блѣдные, тусклые, необыкновенно наивные, почти дѣтскіе глаза. Тогда мнѣ показалось, что онъ не въ «полномъ разумѣ» — такъ ужъ я привыкъ считать «полнымъ разумомъ» взглядъ, въ которомъ «надо» угадывать что-нибудь, который сейчасъ же даетъ знать, что о тебѣ думаютъ такъ-то и такъ-то, и заставляетъ настораживаться, заставляетъ отвѣчать такимъ же означающимъ что-нибудь взглядомъ, ходить съ той масти, которую ходятъ къ тебѣ... Тутъ же былъ именно дѣтскій взглядъ, взглядъ «неполнаго ума», оставляющій тебя совершенно свободнымъ, не поднимаящій въ тебѣ никакой жажды пойти съ той или другой карты, потому что игры-то тутъ никакой нѣтъ: просто смотреть на тебя человѣкъ, слушаетъ тебя, вѣря каждому слову, понимая то, что непонятно, и отвѣчаетъ такъ же просто на то, что слышалъ и понималъ, отвѣчаетъ такъ, какъ понималъ. Такой взглядъ меня конфузилъ; я былъ ужъ развить настолько, что ужъ умѣлъ «дать замѣтить» или «не дать»; словомъ, ужъ приучилъ себя къ достаточному количеству разныхъ приемовъ лжи и умѣнья сохранить среди нихъ свою цѣль. У отца этого не было. Оно уже пропало. Мнѣ было неловко этого простого взгляда и стыдно за мое умѣнье понимать «не простые».

«Стоило разъ взглянуть въ эти глаза, чтобы у меня на вѣки-вѣковъ исчезло воспоминаніе о томъ ужасномъ отцѣ, который гнался за нами когда-то. Добродушный взглядъ, худенькій, короткій полушубокъ, какой носятъ солдаты, борода почти вся сѣдая, голова почти голая и какое-то изможденіе всего тѣла этого старика поселяли сразу необыкновенную жалость. Такъ и хотѣлось увести его отсюда, изъ этой неуютной длинной комнаты, съ лубочными картинами и тараканами, съ этимъ народомъ, совершенно чужимъ для меня въ ту пору... Эта мысль — увести его домой, уговорить мать помириться, сильно овладѣла мною; но среди моихъ напряженныхъ мечтаній о томъ, какъ сдѣлать, произошелъ разговоръ, который заставилъ меня призадуматься надъ необходимостью и благотѣтельностью этой мѣры.

«Продолжая ласкать меня, отецъ, не осушавши глазъ, спросилъ наконецъ:

— Мать-то знаетъ-ли?

— Ни-ни, Боже мой! не давъ отвѣтить мнѣ, убѣдительно-шопотомъ произнесъ Филиппъ. — Ни-ни-ни, сохрани Богъ...

— Ну, и слава Богу... Ужъ потаюсь отъ нея, братъ, прибавилъ отецъ, обращаясь ко мнѣ.

— Какъ можно! сказала Марья, — да тогда она насъ со свѣту сживетъ... и-и-и...

— Ну что тамъ, продолжалъ отецъ: — чего сживать... У нея своя часть, у меня своя... Я вины моей не такъ передъ нею, а что только мѣшаться не хочу... Будетъ!..

— Живого мѣста не оставить, продолжала

Марья: — ужъ намъ довольно извѣстенъ ейный характеръ... Слава Богу...

«Не безъ значительной ненависти были произнесены эти слова; но отецъ, оказалось, не слышалъ и продолжалъ:

— Ничего, какъ есть ничего то мнѣ не надо. И за то благодаренъ, что теперь-то даетъ — слава Богу! Больше мнѣ ничего не нужно! Довольно пожадничалъ на своемъ вѣку... будетъ!

— Пожадничалъ да покался! прибавила Марья значительно.

— Это пуще всего! присовокупилъ Филиппъ: — это у Бога за самое первое сочтено...

— И пожалуста ужъ, продолжалъ отецъ, — ты-то не разжалобся! Кѣ-Богу, ей-ей тебѣ говорю, ничего не надо... И не пойду я туда никогда... Я было ужъ совсѣмъ ото всего отъ этого отвыкъ... Да и есть, что отвыкъ ужъ. И трогать-то васъ не мечталъ... Тебя только иной разъ поглядишь... Видывалъ я тебя-то!..

— И-и матушки, что слезъ-то бываетъ! проговорила Марья. — Какъ увидить гдѣ случаемъ — и плачешь... Нажгутъ они его тамъ, говоритъ: — пуще собаки слѣблуютъ...

— Ну, будетъ, Марья, эка нашла объ чемъ...

— Съ чего-жъ не сказать? тамъ ужъ и такъ, надо быть, напѣто ему про тебя...

— Ужъ да-а-а-жно быть! протянулъ сразу весь хоръ.

— Да и надобно, а какъ ты думаешь! обратился къ хору отецъ: — хвалить что-ли меня надо?..

— Ужъ что за худое хвалить!

— А что ужъ хотѣлъ все это оставить, прекратить, продолжалъ отецъ прерванную рѣчь свою, — вотъ и наказываюсь... Какъ же я могу въ такую жизнь хоть бы и сына родного сбивать? Мнѣ-то она по сердцу, а другому и совсѣмъ не годится — зачѣмъ? Другому-то, можетъ, и каяться не въ чемъ, такъ какъ же я его силкомъ-то возьму?.. Такъ и отрѣзалъ. Не стану вамъ молъ мѣшать — только и вы мнѣ ужъ дайте хоть послѣдній конецъ жизни по совѣсти пожить... И Бога ради — и не хлопчите, и въ умъ не имѣй обо мнѣ, прибавилъ отецъ, опять обращаясь ко мнѣ, — и даже, передъ Богомъ говорю, и вспомнить-то боюсь, ну-ка да опять въ господскую шкуру попасть — и подумать-то объ этомъ страшнѣе... Тамъ — все мало, все недочувать, все надо больше... Все забудешь, точно пустыня кругомъ тебя — только и глядишь, нѣтъ-ли гдѣ чего тебѣ подходящаго... Я ужъ это знаю — о-охъ, какъ знаю... маленька твоя — не въ осужденіе говорю: мнѣ ли кого судить? — а нельзя утаить — препугливая женщина... Вѣсть, другъ ты мой, такая женщины, что окромя страха жить на бѣломъ свѣтѣ — ничего у нихъ нѣту: точно вотъ завтра гибнешь... Я помню, какъ я женился на матери-то на твоей; такъ что-жъ, братецъ ты мой? Чуть не на другой день послѣ свадьбы ровно бы чего испугалась, ровно бы вотъ сдѣлала грѣхъ какой! Страсть какъ пуглива была до жизни!.. Такъ ей все представлялось, словно бы среди лютыхъ звѣрей живешь: раскрудутъ, растащутъ, разворуютъ, пустятъ по міру, обидятъ, подведутъ, и видно

невидимо всего этого представлялось ей... веселого лица и въ первый день-то не выдавъ—передъ Богомъ! Кажется, такъ поглядѣть — никакой бѣды нѣтъ нигдѣ, и сама она видитъ, что нѣтъ—такъ вѣдь такой характеръ пугливый, начнетъ за десять лѣтъ впередъ убытки высчитывать, да такъ высчитаетъ, что только сердце замреть, думаешь: ну, пропадѣть... «Что ты за людьми не смотришь? вотъ у сосѣдей сожгли хлѣбъ и у тебя подожгутъ; чѣмъ будешь жить, чѣмъ отдашь?—такой-то не подождетъ, имѣніе отниметъ, пустятъ по міру, куда дѣнешься? Отецъ ужъ не дастъ, на тетку не разсчитывай...» То-есть страсть что высчитываетъ... слушаешь, слушаешь, просто даже ошестинишься—думаешь: нѣтъ, проклятые, не дамъ я вамъ въ обманъ, и пойдешь обдѣлывать дѣла! Тамъ подрядъ схватить, обдуешь (что ужъ переимоняться), тамъ что еще подвернется—ужъ не разбираешь! Сосѣдъ подвернется—сосѣда, мужикъ—мужика; со всѣхъ, что подъ руку попадетъ, цапаетъ... потому—страсть! кромѣ страха жить на свѣтѣ, ничего нѣтъ—ну, и свирѣпствуешь... Такая ужъ была у ней душа пугливая: все на нее идетъ, идетъ ее обижать! Ну, молодъ былъ, жалко: нахватаешь на службахъ, на мѣстахъ, на подрядахъ—успокоишь... Только чуть-чуть затихло, а ужъ въ головѣ опять у нея начинается какая-нибудь новая страсть: гляди—ужъ на тридцать, а то и на сорокъ лѣтъ бѣду раскидываетъ впередъ... И опять перепугаешься... А тамъ устанешь, очнешься, думаешь: да за что-жъ это, Господи? Зачѣмъ я народъ то обижая? что я за звѣрь? И такъ станетъ скверно, такъ горько—и пустишь по вѣтру все, что натащилъ...

«Сдержанный радостный смѣхъ слышался въ толпѣ зрителей...

«—Начнетъ душа-то оттаивать—и пошло! Ну, ужъ тутъ... и вспоминать страшно! И слава тебѣ, царю небесному Создателю, вразумилъ меня Господь! Отшибъ онъ у меня эту жадность, этотъ страхъ жить на бѣломъ свѣтѣ... Чего мнѣ надо? Вотъ, попъ мнѣ за леченіе подарилъ валенцы—вотъ мнѣ и тепло всю зиму... Сейчасъ вотъ Мишутку азбукъ выучилъ—вотъ у меня кашолка янцъ—и сытъ я.. Чего мнѣ? За что мнѣ лютовать съ бѣлымъ свѣтомъ? Изъ-за чего звѣрствовать?... Что лучше: ударить пса палкой, или хлѣба ему дать?.. Господи батюшка! да изведи же меня възъ этого омутъ! Вотъ Господь и помогъ мнѣ... И ничего-то, ничего то мнѣ не надо... Ходи ко мнѣ, погляди, какъ простые люди живутъ,—и ты вѣдь тожъ случаемъ въ непростыхъ-то—а къ себѣ не зови... нѣтъ, сохрани Богъ?.. Тамъ сейчасъ ожесточишься.. лапти сними—купи сапоги, шубу, съѣзди къ тому-то... И-и-и пошло... Весь вывернешься, какъ змѣй, въ одну недѣлю... Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ... У меня вотъ тутъ ребятки, больные... вотъ лечебникъ, я съ нимъ добра сдѣлаю много... У меня вотъ шляпа поярковая, коровнымъ составомъ я ее вымывала, запекъ въ печи—она у меня на двѣсти лѣтъ, а тамъ, въ нашихъ-то мѣстахъ, отдай пять да десять... да невѣдомо сколько другого приценалазу потребуется хоть бы къ одной къ одеждѣ... Не

надо этого... Стыдно! Вотъ ребятки иной разъ листа бумаги ждуть по полугодю, а я буду въ лорнетъ смотрѣть?

«— Всѣ захохотали...

«— Нѣтъ, нѣтъ, продолжалъ отецъ.—Я хочу просто. «Ожесточилось сердце ваше!»—вотъ что сказано въ писаніи... И вѣрно... Я знаю, что говорю. Я всю жадность эту перепробовалъ: дай волю—конца ей нѣтъ, этой жадности... а зачѣмъ?... Нѣтъ, Митрофанушка, ужъ ты меня не выдай, не жалобься, не жалѣй... Право, мнѣ хорошо... Думаешь—что бы добраго сдѣлать... а вѣдь тамъ это трудно!.. Олной зависти сколько... да что... И вспоминать то не хочется... Расскажи-ка ты, хорошо-ли учишься-то?... Чему учать-то васъ? Марья? что же ты? авось самоварчикъ надо...

«Марья точно проснулась вдругъ, да и всѣ точно очнулись.

«— И что-жъ это я, матушки мои? спохватилась Марья Андреевна и тотчасъ подняла суматоху съ самоваромъ. Народъ, появившій, что «самое любопытное» кончилось, понемногу отхлынулъ. Остались вѣстѣ только я съ отцомъ да Филиппъ, да парнишка лѣтъ 13-ти. Я что-то разговаривалъ про гимназію, меня слушали прилежно; но я видѣлъ, что меня не понимали и что все, что я говорю, вовсе тутъ не нужно и неинтересно. Отецъ, какъ я понималъ, просто наслаждался тѣмъ, что видѣлъ меня, что слышалъ мой голосъ, но едва-ли находилъ что-нибудь интересное въ моихъ словахъ. Филиппъ, усѣвшись къ столу и положивъ на него локти, только шурился и наконецъ не вытерпѣлъ:

«— Эко наукъ-то у васъ, въ гимназіи... Что ужъ, на что такъ-то! Больно много... Право, ей-богу...

«Отецъ только покрутилъ головой.

«— Нѣтъ, перебилъ онъ Филиппа:—у насъ вотъ съ Мишуткой все недостатки... Вотъ теперича гражданской печати нужна книжка, а ея нѣту...

«— Какую книгу вамъ надо? я привезу, сказалъ я.

«— Да какую-нибудь историческую, русскую-бы исторію, ежели есть... Намъ изъ старыхъ, если случится, мы не брезгуемъ... Ходилъ я въ городъ по книжнымъ лавкамъ—рубъ, да два—меньше нѣтъ, хоть ты вотъ что...

«— Я вамъ привезу, какихъ хотите.

«— Ты ужъ давай какія ненужныя. А мы за тебя Бога помолимъ съ Мишуткой...

«Мишутка, тринадцатилѣтній паренекъ, находившійся въ этой же комнатѣ, весь вспыхнулъ, даже вспотѣлъ отъ извѣстія о книгахъ, которыя я обѣщалъ прислать... А я почувствовалъ, глядя на эту радость, что-то сильное въ сердцѣ—вотъ я могу сдѣлать такъ, что обрадую, осчастливлю... Сквернымъ манеромъ пробудилась во мнѣ мысль быть полезнымъ другимъ—а ужъ пробудилась, и за то я благодарю этого обрадовавшагося Мишутку.

«— Азбучковъ, продолжалъ между тѣмъ отецъ, —грифельковъ бы охъ бы намъ хорошо тоже... да гдѣ! Ужъ только бы мать не догадалась, избави Богъ—и такъ какъ-нибудь... Тутъ одна дѣвчонка

Марфутка, семи-лѣтняя, ухъ ала учиться-то! ну—бѣдность! Все углемъ учится на стѣнѣ—вонъ посмотри...

«Я поглядѣлъ: вся стѣна была измазана углемъ.

«Нѣту! какъ-то безпомощно произнесъ отецъ: —что будешь дѣлать!.. Бѣдность! И уголь-то еще дадутъ-ли... Намедни вотъ Марья и то закричала на нее: —«что ты тутъ все таскаешь? не напа-сешься».. Вотъ какъ у насъ на счетъ этого...

«Отецъ засмѣялся. Я былъ удивленъ.

«— Идѣ-жъ взять-то!.. Мать-то, чай, сама по-миру ходить? продолжалъ Филиппъ.

«— А то что-жъ? о какихъ тутъ грифельхъ думать?.. Что у меня есть—даю, а ужъ чего нѣтъ—ну, не взыщи... Вотъ священныя исторіи тоже безпримѣнно-бы надо.

«— Я привезу непременно, сказалъ я, чувствуя, что меня съ каждой минутой захватываетъ жажда помогать и дѣлать что-нибудь доброе въ дѣлѣ, совершенно для меня чужомъ; этого до сихъ поръ я еще не испытывалъ и потому такъ-же радостно восторгался отъ новаго ощущенія, какъ и Мишутка.

«— Охъ, сказалъ отецъ, вздохнувъ: —много, много надо... И ничего-то нѣтъ... Ну, за то ужъ—вдругъ необыкновенно радостно воскликнулъ онъ: —ужъ и разжился я штучкой одной... Поглядико-сь, какая штука-то!

«Онъ проворно вскочилъ съ лавки, еще проворнѣе побѣжалъ къ кровати, вытащилъ оттуда сундучекъ, долго рылся въ немъ и вытащилъ наконецъ что-то въ бумагѣ.

— Вотъ! сказалъ онъ съ торжествомъ.

«Бережно развертывая онъ бумагу; всѣ столпились вокругъ отца и съ величайшимъ любопытствомъ смотрѣли — что тамъ будетъ; въ бумагѣ оказалась завернутая машинка чинить перья, штука для меня очень простая, давно знакомая; но не такъ смотрѣли на нее всѣ другіе зрители, начиная съ отца. Когда онъ рассказывалъ, какъ надо эту машинку употреблять; когда онъ показалъ, какъ скоро она чинитъ,—неподдѣльный и неописуемый восторгъ охватилъ всѣхъ.

«— Вѣдь это—что! весь сіяя, говорилъ отецъ: —вѣдь я сколько хощу накатаю имъ перьевъ-то! Дуй, ребята, не робѣй...

«— Штучка!.. Ну, такъ ужъ—ахъ!.. Что выдумаютъ! говорилъ Филиппъ въ восторгѣ.

«— А то, братецъ ты мой, бьешься, бьешься съ перочиннымъ-то ножикомъ—смерть. Семь человѣкъ, семь перьевъ, да руки-то трясутся, да мозоли, что нихватишь—да и расколотъ... То-ли дѣло—это?

«— Ужъ чего же лучше! сказалъ Филиппъ, радуясь за отца.

«Не перескажешь всего, что говорилось въ этотъ вечеръ моего перваго свиданія съ отцомъ. Разговоръ, попавшій разъ на тему нужды, недостатковъ, ужъ на разу не имѣлъ случая коснуться чего-нибудь другого; такъ было много всего, чего надо и чего нѣтъ, чего негдѣ взять, чего не дадутъ. Глаза мои точно впервые открылись на такія вещи,

которыя я видѣлъ миллионы-миллионовъ разъ и которыя теперь подъ этотъ почти спокойный, почти хладнокровный разговоръ о нихъ отца и Филиппа представились мнѣ совершенно въ иномъ видѣ. Сколько разъ я видѣлъ босоваго мальчика, деревенскаго полураздѣта ребенка, и ни разу до сей минуты у меня не мелькнула мысль о томъ, что ребенку хорошо-бы быть одѣтымъ. Проѣзжая въ тарантасѣ мимо такихъ разутыхъ и раздѣтыхъ ребятъ, я обыкновенно не чувствовалъ ровно ничего, мнѣ не приходило въ голову никакой мысли, въ сердцѣ не являлось никакого ощущенія, точно полуголый мальчишка—такое-же нормальное явленіе, какъ обросшій шерстью баранъ или покрытая перьями курица. И баранъ, и курица никогда и ни въ комъ не возбуждали, надѣюсь, желанія улучшить ихъ костюмъ: именно такъ вотъ и деревенская голы не производила на меня никакого впечатлѣнія... Теперь же какое-нибудь словечко отца о томъ, что молъ дай Богъ здоровья писарю, подарилъ Васекъ опорки, производило на меня необычайное впечатлѣніе. Оказывалось, что не подарилъ писарь опорковъ—Васяка всю-бы зиму просидѣлъ дома и не могъ-бы ходить учиться грамотѣ, потому что онъ—сирота: нѣтъ у него ни отца, ни матери, и живеть—гдѣ день, гдѣ ночь. «Тоже—человѣкъ!» во время разговора о Васекѣ сказалъ совершенно просто Филиппъ и проткнулъ мое сердце, точно иглой. ужасомъ, за «человѣка», который не можетъ выйти учиться, потому что нѣтъ сапогъ, потому что некому дать ихъ. «У самихъ нѣтъ!» — «Гдѣ-жъ взять-то?» — «Кабы кто далъ бы». — «Такъ я дадутъ—какъ-же!..» — «Иной бьется, бьется». — «Ужъ и бьется же только». — «Бился, бился, братецъ мы мой», и т. д., и т. д. Этими фразами, точно бисеромъ, утѣивался всякій безъ исключенія разговоръ, выходившій изъ устъ отца, Филиппа или кого-нибудь изъ другихъ крестьянъ, участвовавшихъ въ нашемъ разговорѣ, и касавшійся совершенно новой для меня среды. Не могу въ точности передать, какого рода разговоръ происходилъ у насъ за самоваромъ, который наконецъ-таки пожаловалъ на исписанный учениками-ребятами столъ, сопровождаемый вновь цѣлымъ полчищемъ народа, норовившаго при случаѣ повеселить чайкомъ и себя. Помню, что во время чаепитія разговоръ принялъ отчасти шутовское направленіе и повременамъ, и довольно часто прерывался смѣхомъ; но шутки и смѣхъ не занимали меня. Думая о слышанномъ, я только удивлялся, какъ они могутъ еще смѣяться, и не понималъ ни смѣха, ни шутокъ.

«Уговорились мы съ отцомъ видѣться еще разъ, именно при отъѣздѣ моемъ послѣ Крещенія въ гимназію; я обѣщалъ опять заѣхать къ нему. На прощанье были повторены просьбы насчетъ «перушковъ», «азбучекъ», «священныхъ исторій», да ежели *паче чаянія* (выраженіе одного крестьянина, присутствовавшего при разговорѣ) сапоги старые попадутся или шапка, то ужъ не пожалѣть и ихъ...» Все это я обѣщалъ непременно доставить и уѣхалъ съ кучею обязательствъ, совершенно по-

выхъ для меня—новыхъ по своему внутреннему, незнакомому до сихъ поръ для меня, смыслу: обязательства эти были у меня передъ другими, передъ чужими; обязательства во имя чужихъ нуждъ, чужихъ потребностей!.. Несказанно благодаренъ я отцу за эту новую для меня задачу.

«Скажу еще разъ: въ отцѣ моемъ не было ничего необыкновеннаго, выдающагося; образованія у него не было никакого: училъ онъ по старому—по псалтырю; не было у него и широкаго пониманія ни своей прошлой жизни, ни теперешней, простой и трудовой. Очень можетъ быть, что онъ просто выбралъ эту жизнь, какъ лучшее, что оставалось ему дѣлать. Можетъ быть, скрыться, такъ сказать, въ народѣ его побудилъ страхъ быть на виду, гдѣ его могли всегда замѣтить, что неудобно было въ то обличительное время, тѣмъ болѣе, что прошлое отца безупречно. Что-бы ни загнало его въ среду бѣдныхъ, босыхъ и темныхъ людей—я несказанно благодаренъ за то, что, благодаря ему, благодаря тому, что онъ — мой отецъ, я, пойдя къ нему, пришелъ къ новому для меня міру, къ новымъ для меня интересамъ, которые дали мнѣ живую мысль, а стало-быть и жизнь. Помню, что, возвращаясь отъ него домой, я чувствовалъ, что кругомъ меня точно стало просторнѣе, шире и что во мнѣ сразу прибавилось и росту, и силы. И въ самомъ дѣлѣ, съезженный до настоящей минуты на несчастіяхъ моихъ, потому что несчастія матери были нераздѣльны съ моимъ существованіемъ, — съезженный на этомъ маленькомъ мѣстечкѣ личнаго горя (оно теперь и горемъ-то мнѣ почти не казалось) недоброжелательствомъ, невниманіемъ къ этому горю всего бѣлаго свѣта, я начиналъ уже ожесточаться противъ жизни, начиналъ убѣждаться, что жизнь—борьба и притомъ довольно беспощадная. И вотъ послѣ одного вечера, проведеннаго въ кругу крестьянъ, я неожиданно узналъ, что могу дѣлать бездну добра, что желаніе добра увеличиваетъ силы въ сотни разъ болѣе, чѣмъ то, что отецъ называлъ «жадностью». Я впервые ощутилъ удовольствіе отдѣлаться отъ этого ужаснаго бремени: «себя», «своихъ» бѣдъ и несчастій, забывъ ихъ въ общемъ горѣ, въ жадности общаго блага.

«Взачитъ всю жизнь этотъ ничтожный и маленький, но бьющій по ногамъ при каждомъ шагѣ грузъ своего благополучія или «своихъ» бѣдъ — что это за каторжная работа! Путаться въ этихъ тонкихъ нитяхъ, чтобы связать себя ими по рукамъ и по ногамъ, чтобы замучиться въ борьбѣ съ этими ничтожными, но крѣпко связывающими путями, или разорвать ихъ, бросить навсегда и идти свободнымъ на встрѣчу всему, на что отвоятся самыя лучшія струны сердца,—эти двѣ дороги, эти два рода предстоящей борьбы какъ нельзя яснѣе выступили передо мною среди занесенной снѣгомъ ухабистой дороги, по которой я возвращался домой, плотно закутавшись въ воротникъ шубы. Вьюга была на дворѣ. Мерзлый снѣгъ тучами носился по бѣлымъ полямъ и знобилъ ноги.

«Дай Богъ здоровья писарю! помимо моей

воли сказалося во мнѣ, такъ-какъ тоже помимо моей воли вспомнились мнѣ голыя ноги Васютки.

«А отъ Васюткиныхъ ногъ мысль пошла опять перебирать все, что было прежде и что случилось теперь, и опять я благодарилъ и благодарилъ отца.

«Нестерпимую какую-то духоту, даже тѣсноту ощущалъ я втеченіе тѣхъ дней, которые пришлось пробыть мнѣ дома до отъѣзда въ городъ послѣ праздниковъ. Я не говорилъ о томъ, что видѣлъ отца, потому главнымъ образомъ, кто кромѣ глубокой обиды я ничего-бы не сдѣлалъ всѣмъ обитателямъ нашего дома, начиная съ матери и кончая послѣдней приживалкой, если-бы объявилъ, что теперь у меня на душѣ. Но зато тѣмъ тяжелѣе было мнѣ самому; съ каждымъ днемъ для меня дѣлались все невыносимѣе и невыносимѣе эти тоскующія рѣчи нашего дома, это кропотливое подбораніе одно къ одному ничтожнѣйшихъ собственныхъ несчастій, доходившее иной разъ до высочайшей степени мелочности...—«Второй день, голубчикъ мой, говорила наприимѣръ съ глубокой тоской пожилая тетка моей матери,—второй день ѣмъ безъ всякаго аппетита!» И всѣ, слышавшіе объ этомъ горѣ, вздыхали и если не сочувствовали, то ужъ непременно охали и принимались высчитывать собственные свои несчастія, еще болѣе ничтожныя... Хотѣ-бы разъ, думалось мнѣ, хотѣ-бы на минуту кто-нибудь изъ нихъ подумалъ о чемъ-нибудь другомъ, пересталъ рыться въ собственномъ желудкѣ и поглядѣлъ или подумалъ о несчастіяхъ чужого человека, да не только объ несчастіяхъ, а хотѣ-бы вообще-то о чемъ-нибудь кромѣ себя. Колоритъ унынія и грусти лежалъ на всѣхъ обитателяхъ нашего дома, благодаря конечно несчастіямъ матери. Отъ нея всѣ зависѣли и всѣ вторили ей, и хотя я очень хорошо зналъ, что она дѣйствительно страдаетъ, хотя я и жалѣлъ ее, но не могъ не видѣть, что всякое слово мое о безплодности ропота на всѣхъ и вся, ропота, не дающаго утѣшенія и совершенно несправедливаго въ виду бездны-безднъ еще болѣе сильныхъ страданій, чѣмъ наши, — всякое такое слово можетъ только разсердить ее, сдѣлать хуже, злѣй и стало быть кромѣ страданій ей-же ничего не принести. Тяжело было мнѣ молчать, но говорить я не могъ. Я уже видѣлъ передъ собою какую-то другую дорогу; чуялъ, что рано-ли, поздно-ли и я, и мать разстанемся непонятными другъ другу, съ камнемъ на сердцѣ—но разстанемся...

«Съ такимъ-то камнемъ на сердцѣ и уѣхалъ я въ городъ, въ гимназію. Не буду рассказывать второго свиданія съ отцомъ—оно было долгое и положительно уже дѣловое; разъ попавъ въ новый для меня міръ, кричащій самому поверхностному наблюдателю о своихъ нуждахъ, я во второе посѣщеніе отца ужъ не только слушалъ, а самъ разспрашивалъ его и узнавалъ вещи, которыя у всѣхъ передъ глазами и на которыя всякій смотритъ и однако никто не видитъ... Въ этотъ разъ я ужъ забѣгалъ впередъ желаніямъ отца и всѣхъ окружающихъ; если отецъ просилъ десять азбучекъ, то мнѣ тотчасъ представлялись сотни домовъ, гдѣ живутъ сотни дѣтей, которымъ надобны стало быть

не десятки, а сотни азбучек... «Надо-то надо, да гдѣ-жъ взять-то? говорилъ отецъ.—Эдакъ, пожалуй, если все то, что нужно, давать — такъ и безъ рубахи пойдешь!»—Отецъ, какъ видите, не отвѣкъ цѣнить свою рубаху; повторяю, въ немъ не было ничего необыкновеннаго. Но на меня эта фраза произвела иное впечатлѣніе. Мнѣ видѣлось, что снятіе своей собственной рубахи—прямой выводъ изъ слышаннаго и видѣннаго мною. «Какъ-же мать?» съ ужасомъ думалъ я... И, каюсь, отгонялъ эту мысль: мнѣ было жаль мать, я любилъ ее...

«Въ гимназію я возвратился совсѣмъ другимъ человекомъ. Любовь къ матери, двигавшая меня до сихъ поръ, заставлявшая меня прокладывать себѣ дорогу между людьми, съ тѣмъ, чтобы потомъ отмстить этимъ людямъ, была отравлена, пожалуй даже разрушена тяжелымъ ударомъ чужихъ несчастій, внезапно, неожиданно вторгнувшихся въ мое пониманіе, — несчастій, съ которыми меня связывалъ отецъ, человекъ, такъ ли, сякъ ли жившій въ средѣ людей, обуреваемыхъ этими бѣдами, по мѣрѣ силъ старавшійся искупить помощью и пособіемъ этимъ людямъ всѣ безконечныя вины своего прошлаго, всѣ преступленія своей прошлой жадности, какъ говорилъ онъ. Между этими двумя привязанностями къ матери и къ отцу, которыя съ каждымъ днемъ стали поглощать меня все сильнѣе и сильнѣе, съ каждымъ днемъ становилось все меньше и меньше мѣста для мысли о чемънибудь, не касавшемся того или другого. Учителя были увлечены, увидавъ, что я совсѣмъ пересталъ учиться; и дѣйствительно, наука гимназическая вдругъ потеряла для меня всякое значеніе и смыслъ. Зачѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, писать мнѣ сочиненіе на тему хотя бы о пользѣ химіи? Матери я этимъ не помогу, потому что ея бѣда—въ пожирающемъ ее эгоизмѣ; по помогу и нуждамъ отца и его новыхъ друзей, потому что тамъ прямо нужны сапоги, потому что тамъ Мишутка не ходить въ школу оттого, что онъ—босой, а на дворѣ—морозъ и снѣгъ. Въ этихъ смыслахъ оказалась малополезною, какъ выражался нашъ законоучитель, и географія, и всякая другая наука... Сторонились онъ и разступались въ разныя стороны предъ выросавшею во мнѣ потребностью идти заступаться, жертвовать, радовать, чтобы радоваться самому, — потребностью, пробужденной примѣромъ отца и постоянно имъ-же поддерживаемой. Да и дальнѣйшимъ развитіемъ во мнѣ не только потребности, а прямо необходимости жить для «чужихъ», а тоже обязанъ отцу. Не проходило недѣли, чтобы ко мнѣ на гимназическую квартиру не являлись отъ него посланные. То являлись за бумагой, за перьями, то просили написать письмо, а потомъ прямо пошли обращаться съ дѣлами, съ тяжбами, какъ къ какому-нибудь адвокату. У меня съ каждымъ днемъ прибывало такихъ, нисколько меня лично не касавшихся дѣлъ, и съ каждымъ днемъ я болѣе и болѣе входилъ въ самую суть условій русской жизни потому, что въ то время, когда мои товарищи — впоследствии сдѣлавшіеся адвокатами или хорошими желѣзнодорожными дѣятелями —

продолжали заниматься гимназическими науками, я разыскивалъ какое-нибудь пропащее дѣло о землѣ, толковалъ съ чиновниками, подавая прошенія, — словомъ, уже вступилъ на такъ называемое поприще жизни. Я не могъ отказать ни въ одной просьбѣ, я не могъ сказать: «поди спроси тамъ то», потому что зналъ, что «тамъ» не отвѣтять, что «тамъ» запутають только... Еслибы я даже просто изъ одного приличія исполнилъ всѣ эти получаемыя мною черезъ отца порученія, то и тогда мнѣ предстояло увидѣть бездну такихъ вещей, которыхъ бы не разрѣшила ни одна изъ безчисленныхъ гимназическихъ наукъ. Но я дѣлалъ не изъ приличія: во мнѣ говорилъ молодой задоръ, превращавшійся понемногу въ задачу всей жизни, — задоръ, дававшій возможность чувствовать глубже, сильнѣе, служа другимъ.

«Скоро однако положеніе мое стало съ каждымъ днемъ усложняться и становиться тяжелѣе. Иной разъ, позабывъ и про гимназію, и про горе матери, и весь поглощенный исходомъ какого-нибудь предпринятаго при моемъ содѣйствіи дѣла, я не безъ тревоги вдругъ ощущалъ, что иду по какой-то невѣдомой, нетереной дорогѣ. Въ такіе минуты я вдругъ видѣлъ, что ужъ очень-очень далеко отбился отъ стараго пути, что ужъ мнѣ трудно, еслибы я и хотѣлъ, бросить все и опять стать прилежнымъ ученикомъ... Убѣждаясь въ этомъ, я убѣждался и въ томъ, что рано ли, поздно ли мать будетъ знать эту перемѣну, происшедшую во мнѣ, будетъ знать все въ мельчайшихъ подробностяхъ и стало бытъ будетъ страдать не вдвое, и не втрое, а въ тысячи разъ сильнѣе противъ прежняго. Въ моемъ сношеніи съ отцомъ она увидитъ навѣну, предательство; она будетъ думать, что, сойдясь съ человекомъ, который загубилъ ей жизнь, я предалъ ее, разрушивъ всѣ ея надежды на меня въ будущемъ, — надежды, которыми она только и жила, — оставивъ ее безпомощною, покинутою, одну одиношеньку... Все это неперемѣнно должно было случиться — я знаю это навѣрное; зналъ даже, что это случится неслыханно какъ черезъ нѣсколько недѣль, когда я извѣщу ее, что не перешелъ въ слѣдующій классъ, и представлю свидѣтельство, испрошенное единицами. Съ другой стороны, въ такіе же минуты размышленія собственно о себѣ, передо мною являлась и фигура отца, то въ видѣ безобразнаго кутилы, то въ видѣ простого, больного человека, который въ дынной и темной набѣ чинить дрожащими руками перо для крестьянской дѣвочки. Представлялся весь этотъ народъ, окружавшій отца, всѣ эти простые, темные люди, всѣ эти сѣти, въ которыхъ путаетъ его и темнота, и всякая случайность... И мнѣ также страшно становилось — измѣнить этимъ людямъ, какъ страшно было измѣнить матери. Какъ бы могъ я сказать отцу или посланному отъ него крестьянину, что «нѣтъ, молъ, теперь мнѣ не время заниматься вами — я самъ занятъ!». Сдѣлать этого я положительно не могъ. Я зналъ, что я нуженъ тутъ, что «никто не поможетъ, не пойдетъ и не сдѣлаетъ «такъ» и «просто», какъ именно и надо этимъ людямъ. Я зналъ также, что и матери своей я тоже не могу сказать: «некогда мнѣ хлопотать о

нашемъ благополучіи, потому что у меня есть вотъ какія дѣла». И тамъ, и тутъ подобными отвѣтами я бы дѣлалъ явную жестокость, прямо бросалъ-бы людей на произволъ судьбы... Съ другой стороны, меня также иной разъ (а потомъ все чаще и чаще) стала знобить (буквально) мысль о томъ, да что-же я могу сдѣлать одинъ, пятнадцати-лѣтній мальчикъ, если, завязавъ глаза и повѣривъ только тому, «что надо», стану открыто на ту или другую сторону? Чувствовалъ я, что мои усилія — капля въ морѣ, и чувствовалъ это съ каждымъ днемъ все ошутительнѣе. Не было у меня ни товарищей, ни поддержки, ни откуда и ни въ чемъ. Я даже почти ничего не читалъ до настоящей минуты; я сталъ думать о задачахъ дѣйствительности, не по книгамъ, а по самой дѣйствительности, въ которой мнѣ некому было указать, что къ чему, гдѣ начало, гдѣ конецъ, вообще — откуда что идетъ? Необходимость думать объ этомъ, т. е. «откуда что», надвигалась на меня по истинѣ неумолимо. Она выходила изъ моего труднаго положенія межъ двухъ огней, изъ желанія какъ-нибудь облегчить себя, уяснить себѣ, что никому измѣны я не сдѣлаю, если стану открыто туда или сюда, — желаніе, которое частенько посѣщало меня, какъ реакція послѣ размышленій о видимой безвыходности моего положенія. «Чѣмъ же меньше Аксютка и Михайлы страдаетъ моя мать?» думалось мнѣ въ такіе минуты. И я принимался высчитывать и сравнивать ея страданія и страданія Михайлы и находилъ, что они одинаково сильны, что они одинаково требуютъ заботливой руки, и тутъ мысль моя стремилась къ пониманію именно самой сути всего этого запутаннаго положенія людей, стремилась съ страшными мученіями, изманивала меня почти безъ всякаго результата. Нужна была книга — я не звалъ еще этого, не зналъ еще людей, которые изманились на томъ-же прежде меня.

«Необходимость, благодаря порученіямъ, получаемымъ черезъ отца, дѣлать какое-нибудь не хитрое, но хлопотливое дѣло, идти купить или идти узнать въ судъ, въ конторѣ и т. д., отвлекала меня отъ угнетавшихъ мою голову мыслей, но зато, опять вернувшись къ нимъ, я чувствовалъ себя еще хуже и еще труднѣй, чѣмъ прежде.

«И такъ пошло съ каждымъ днемъ, все сложнѣй, все тяжелѣе. Временами я рѣшительно терзалъ голову, — какъ мнѣ быть, что дѣлать, что думать? Не знаю, чѣмъ бы кончился этотъ хаосъ моего душевнаго состоянія, если-бы сама жизнь не позаботилась вынести меня изъ него. Пожираемый разными соображеніями и размышленіями, лежалъ я однажды на своей городской квартирѣ, въ домѣ мѣщанина Семиглазовой, какъ вдругъ отворилась дверь, и я увидалъ матушку. Въ жизнь не забуду ея ужаснаго лица.

«— Ты подружился съ отцомъ? было первымъ ея словомъ.

«Я не могъ ничего отвѣтить. Я былъ испуганъ за мать, понималъ всю глубину страданій, которую испытываетъ она отъ моей измѣны, и только всею душой желалъ, чтобы она-то съумѣла вы-

браться изъ этого неожиданнаго для нея положенія; я былъ весь поглощенъ ея несчастіемъ и не могъ увеличивать его, сказавъ «да, подружился», потому что и безъ того она была очевидно разбита вся.

«Словно каменный, ничего не чувствуя и готовый покориться всему, подставляя я голову подъ удары этой давно впрочемъ жданной грозы. Рыданія, прерываемыя бранью, доказательствами моей безжалостности, доказательствами очень вѣскими, — рыданія, переполненные зубнымъ скрежетомъ на отца, на его долгія тиранства, измѣны, рыданія на пропащую собственную свою жизнь — все это я покорно принималъ на свою голову. Я страдалъ въ это время едва-ли не сильнѣе матери, потому что даже не могъ говорить, не могъ думать... Разказывать подробно объ этой сценѣ, т. е. объ этихъ рыданіяхъ, продолжавшихся не часъ, не два, а двѣ недѣли къ ряду, не покидавшихъ мать ни дома, ни на улицѣ, ни днемъ, ни ночью и съ каждой минутой осложнявшихся новыми свѣдѣніями о моей преступности — я рѣшительно не въ состояніи. Глаза матери не пересыхали ни на одну минуту: то она узнавала, что я бросилъ гимназію, и градомъ слезъ оплакивала мое будущее, да не сегодняшнее только, а самое далекое; я увѣренъ, что даже та пора, когда я буду съ сѣдыми волосами, и та была оплакана ею... А за извѣстіемъ о томъ, что я бросилъ учиться, смотришь, идетъ извѣстіе о томъ, что я хлопоталъ въ судѣ противъ человѣка, который, какъ на грѣхъ, былъ самый лучшій другъ матери, былъ благодѣтелемъ нашимъ, безъ котораго она теперь не имѣла-бы куска хлѣба, а я, ея сынъ, ходилъ-бы безъ сапогъ. Наоборотъ, люди, за которыхъ я хлопоталъ, были постоянные враги матери, воры, поджигатели, мошенники, грубые невѣжи... Отецъ, пріютившійся въ кругу этихъ людей, казался истиннымъ злодѣемъ, хитрецомъ, систематически подстривающимъ противъ матери всевозможныя гадости. Съ ея точки зрѣнія, измѣна моя была по истинѣ ужасна. Я самъ видѣлъ это и не могъ шевельнуться, подавленный ея горемъ...

«Рыдая и проклиная, матушка съ какимъ-то лихорадочнымъ жаромъ принялась исправлять надѣланныя мною бѣды. Она спасала свою вѣру въ меня, свою цѣль жизни и такъ глубоко жаждала своего спасенія, что я вполне подчинился этой жадѣ. Не помню и не знаю, какимъ образомъ случилось, что я могъ ходить съ матушкой по учителямъ, къ директору, къ инспектору и просить у всѣхъ извиненія, прощенія. Не помню также, какъ могъ я рѣшиться идти не только къ моему гимназическому начальству, но и къ тѣмъ благодѣтелямъ-помѣщикамъ, противъ которыхъ устраивали меня отцовскія дѣла. Знаю только, что все это я продолжалъ, покоряясь почти истерическому состоянію матери.

«Опоминялся я на квартирѣ у учителя математики, оказавшагося моимъ хозяиномъ и начальникомъ. Матушка помѣстила меня на всѣ занинулы съ тѣмъ, чтобы онъ не спускалъ съ меня глазъ, и съ тѣмъ, чтобы я могъ воротить утраченный мною годъ. Предполагалось, что цѣлое лѣто я буду учиться,

догонять своих товарищей, предполагалось, что я подъ хорошим надзоромъ не буду продолжать связываться съ отцомъ и его пріятелями. Учитель, который взялъ съ матери хорошія деньги, дѣйствительно добросовѣстно принялся за меня. Не покладая рукъ, работалъ онъ со мною и, не смыкаячи глазъ, наблюдалъ за каждымъ моимъ шагомъ; связь моя съ отцовской компаніей дѣйствительно была прервана: я не видѣлъ ужъ ни посланныхъ, ни ходоковъ, не получалъ ни порученій, ни писемъ. Но зато тѣмъ сильнѣе стало просыпаться во мнѣ сознаніе, что я—измѣнникъ и ужъ на этотъ разъ—настоящій измѣнникъ... Этой мысли я ужъ не могъ заглушить въ себѣ никакими науками. Волей-неволей я узналъ цѣлый невѣдомый для меня міръ людей и положеній—и вотъ теперь покинулъ его на произволъ случая, силу котораго надъ этимъ міромъ я уже зналъ... Я несомнѣнно былъ предателемъ.

«Сознаніе это росло во мнѣ съ каждымъ днемъ все сильнѣе и ощущалось мною все больнѣй и больнѣй. Съ каждымъ днемъ все яснѣе казалась мнѣ моя глубокая вина передъ этими людьми. Бромъ меня, я зналъ это, у нихъ *никого нѣтъ... никого*.

«Мнѣ такъ глубоко было трудно въ эти минуты, что я (рѣшительно ужъ не помню, какимъ путемъ) пришелъ къ необходимости пить... Кухарка доставляла мнѣ водку *на свои*: она видѣла, что на мнѣ лица нѣтъ, и по опыту знала, что рюмка помогаетъ... Отъ одной рюмки я неизмовѣрно быстро перешелъ къ бутылкѣ, къ штофу, къ дракѣ и т. д. Это случилось необыкновенно быстро, т. е. сегодня, положимъ, я выпилъ первую рюмку, украдучи, а завтра я ужъ одолѣлъ цѣлую бутылку и лѣзъ къ учителю съ кулаками.

«Немедленно пріѣхала мать и поселилась въ городѣ. Этотъ пріѣздъ и ежедневныя свиданія съ матерью связали меня по рукамъ и по ногамъ. Я зналъ, что не выдержи я хотя одинъ разъ—я убью ее своимъ поведеніемъ тутъ-же на мѣстѣ... Я мучался молча, связанный по рукамъ и по ногамъ неизбежною смертію моей матери въ томъ случаѣ, если я дамъ волю съѣдавшей меня тоскѣ... Голова моя въ эту пору была точно пустая тыква, но зато вся боль, вся мука сосредоточилась въ сердцѣ, и тотъ міръ, которому я измѣнилъ изъ страха погубить мать, сталъ съ каждымъ днемъ принимать все болѣе и болѣе плѣнительные образы... Иной разъ эта деревенька, занесенная снѣгомъ, всѣ эти босоногіе мальчишки, ходяки съ сосульками на бородахъ—все это мнѣ стало представляться обитованною землею... Этою мыслью я только и жилъ...

«Очень можетъ быть, что мысль эта, разъ успокоивъ меня, т. е. ослабивъ силу тоски и сознанія виновности, продолжала бы успокаивать меня все больше и больше, и наконецъ, при свѣрности моей натуры (я узналъ это, когда думалъ *обо всемъ*), просто-бы сдѣлалась средствомъ отдѣлываться отъ насущнаго дѣла. Очень можетъ быть, что, судя себѣ журавля въ небѣ, я бы полегоньку проникнулся сознаніемъ необходимости похлопотать сначала и о самомъ себѣ, т. е. сначала запастись, а потомъ уже

и расходовать, умѣло, дѣльно... Но случилось нѣчто другое, что ни на минуту не дало мнѣ успокоиться.

«Неожиданно скончался мой отецъ. Узнавъ я о его смерти въ самый разгаръ жажды искупить мою вину и въ самый сильный моментъ сознанія этой вины.

«— Сходите проститься съ вашимъ родителемъ, сказалъ мнѣ однажды осенью мой гувернеръ, учитель математики.

«Я остолебѣлъ.

«— Онъ тутъ лежитъ въ части... въ полицейской больницѣ...

«Я не понималъ, какъ могъ отецъ очутиться въ полиціи.

«— Ваша матушка, продолжалъ учитель,—позволили вамъ сходить... отдать послѣдній долгъ... Что-же неидете? Это тутъ за угломъ.

«У меня мелькнула мысль, что я убилъ отца... Я весь похолодѣлъ отъ нея и только тогда очнулся, когда учитель повторилъ мнѣ:

«— Торопитесь: его могутъ скоронить безъ васъ...

«Опрометью побѣжалъ я въ полицейскую больницу. Тамъ отца уже не было; оказалось, что его перевезли въ церковь при городской больницѣ.

«Въ простомъ сосновомъ гробу, въ сѣромъ больничномъ халатѣ лежалъ мой отецъ, покрытый большимъ кускомъ бѣлой холстины. Я приподнял холстину и увидалъ его лицо—глубокое страданіе замерло на немъ. Я увидалъ измучившагося человека и зарыдалъ... Въ одно мгновеніе мнѣ представилась вся его жизнь; кутежи и неправедная нажива денегъ, распутство, развратъ и эта черта глубокаго страданія, которая вотъ теперь лежала на его лицѣ, какъ результатъ, какъ итогъ всей жизни, мгновенно отняла отъ всего дурного и сквернаго, что вспомнилось мнѣ, именно этотъ дурной и скверный отгѣнокъ и представила все въ видѣ невольной необходимости, почти даже въ видѣ страданія... Отъ дурного прошлаго я перенесся мыслью къ послѣднимъ годамъ его жизни, вспомнилъ его нищету, его фигуру, плетущуюся съ палкой, въ лаптяхъ по грязи, а главное—его истинно дѣтскую радость, когда ему удалось добыть машинку чинить перья. Мнѣ представилось его засіявшее радостью лицо, когда я сказалъ, что привезу азбучку, и я почувствовалъ, что понесъ въ отцѣ великую утрату. «Только-было человекъ добился до уголка, гдѣ сталъ чувствовать себя хорошо, гдѣ нашлось ему по силамъ дѣло, гдѣ ему явилась возможность дѣлать добро, которое онъ, быть можетъ, желалъ дѣлать всю жизнь, но не дѣлалъ потому, что жгъ въ кругу людей, требовавшихъ отъ него совѣтъ другаго,—и въ эту-то минуту пришлось разстаться съ жизнью». Страдальческія черты лица какъ бы говорили все это. Я смотрѣлъ на нихъ и плакалъ о томъ, что я покинулъ этого бѣднаго человека, это дитя—такъ мнѣ казался невиненъ и чистъ отецъ—въ самую дорогую для него минуту,—въ минуту, когда онъ только-что было начиналъ жить сердцемъ и сознаніемъ.

«Сторожъ попросилъ меня уйти изъ церкви,

объявивъ, что похороны будутъ завтра. Тутъ-же рядомъ съ отцовымъ гробомъ стояло еще нѣсколько гробовъ другихъ покойниковъ, которыхъ должны были отпѣвать вмѣстѣ: всѣ эти бѣдники лежали въ простыхъ, кое-какъ сколоченныхъ гробахъ; всѣ безъ исключенія съ измученными лицами, говорившими о томъ, какъ трудно жить на бѣломъ свѣтѣ... Я находилъ въ ту минуту, что ничего не можетъ быть прекраснѣе этихъ изуродованныхъ болѣзнію лицъ.

«Укоръ въ измѣнѣ отцу жестоко мучилъ меня. Вотъ этотъ самый дорогой для меня человекъ унесъ въ могилу съ собою горькое сознание моей измѣны, — измѣны родного сына, котораго онъ любилъ всею душой, я это зналъ. . Мнѣ такъ хотѣлось умереть въ эту минуту!

«Я вышелъ изъ больничныхъ воротъ и поплелся, самъ не зная куда... и неожиданно наткнулся на тротуаръ подлѣ больницы на Филиппа.

«— Митрофанъ Петровичъ! Отецъ ты нашъ родной! возопилъ старикъ:—Петръ-то Васильчъ никакъ померъ, другъ ты мой горькій!

«— Померъ, братъ... сказалъ я.

«— Матушка, пресвятая Царица Небесная!.. И что-жъ это они сдѣлали? Вѣдь извели они его...

«— Кто извелъ? вдругъ припомнилъ я неожиданность смерти отца почему-то въ городѣ и почему-то въ полиціи.

«— Да ужъ кому-нибудь надо было... Вѣдь оцъ подъ судомъ былъ...

«— Какъ подъ судомъ?

«— Да маменька-то твоя, какъ развѣдала все— и зачала противъ него... Чтобы духу то-есть его не было... И стали черезъ докторовъ дѣйствовать, что молъ фальшивымъ леченіемъ занимается и народъ травить.. Ужъ тутъ была бѣда неосвѣтима: и обыскивали-то, и дозналися, что Иванъ Кузьмичъ отъ его леченія умеръ, и еще врачъ одинъ донесъ, что молъ травой какой-то отецъ твой его опаявалъ, чутъ-было не уморилъ—ну, вотъ и взяли его въ острогъ, либо въ часть—дѣло пошло... Ну, знать кто-нибудь тутъ и подсудобилъ ему...

«Впослѣдствіи я узналъ, что подозрѣнія Филиппа не имѣли никакого основанія.

«Образъ выросалъ въ моемъ воображеніи уже прямо въ видѣ мученика. Онъ дѣлался для меня святыней, и я чувствовалъ, что онъ гдѣ-то тутъ, что онъ пристально смотритъ на меня и какъ-будто ждетъ увидѣть, что длинная вереница его страданій не останется безъ результата...

«Филиппъ рассказалъ мнѣ кромѣ того, что та-же участь, то-есть преслѣдованіе, постигла и всѣхъ тѣхъ крестьянъ, которыхъ отецъ посылалъ съ просьбами ко мнѣ и за которыхъ я хлопоталъ по судамъ. Даже бабу, сестру извозчика, и ту таскали почему-то къ допросу и два дня продержали въ части: полагали добиться отъ нея чего-то насчетъ расколу, такъ какъ ее съ давнихъ поръ считали на деревнѣ раскольницей, хотя и неизвѣстно почему. О себѣ Филиппъ рассказывалъ, что онъ ужъ давно не живетъ у насъ въ кучерахъ: маменька отказали. Говорилъ

онъ, что живетъ теперь гдѣ день, гдѣ ночь: сегодня сытъ, а завтра—что Богъ дастъ...

«Спрашивается, за что разогнали это гнѣздо?

«Совершенно покойнымъ и серьезнымъ воротился я вмѣстѣ съ Филиппомъ на мою квартиру къ учителю и объявилъ, что оставляю гимназію, ѣду въ деревню и намѣренъ сдѣлать это завтра-же. Я такъ категорически заявилъ мою волю, что никто и не подумалъ мнѣ противорѣчить.

«Похоронивъ на другой день отца, я унесъ съ собою свѣтлый образъ погибшаго добраго человека, унесъ его радость къ доброму дѣлу, унесъ обязанность искупить мою измѣну ему—и съ этимъ запасомъ въ душѣ воротился въ деревню. Я сказалъ матушкѣ, что не поѣду болѣе; она не противорѣчила, потому что чула, что меня заставляютъ это дѣлать неотразимые доводы. Со смертью отца въ матери съ каждымъ днемъ исчезала причина чувствовать себя обиженной, а вмѣстѣ съ тѣмъ исчезало и то, что ее держало на свѣтѣ... Быть можетъ, и она подъ конецъ жизни поняла, что не была права передъ отцомъ; быть можетъ, вспоминая и думая, она и сама задумалась о безтолковщинѣ жизни. Во всякомъ случаѣ она со дня моего пріѣзда затосковала, стала задумываться, худѣть, чахнуть, а черезъ годъ и скончалась.

«Я остался одинъ. За годъ передъ этимъ я успѣлъ еще ближе познакомиться съ семьей, гдѣ жилъ мой отецъ, и со всѣми знавшими его. Воспоминанія о немъ въ крестьянской средѣ принимали съ каждымъ днемъ какой-то легендарный отблескъ. Еслибы я не имѣлъ на душѣ ничего кромѣ своекорыстія, то и тогда обязанъ-бы былъ хоть изъ приличія непремѣнно походить на отца, продолжать его доброе дѣло, чтобы пользоваться сочувствіемъ и любовью...

На этомъ Митрофанъ Петровичъ окончилъ свой рассказъ.

IV. На старомъ пепелищѣ.

I.

— Былъ на почтѣ?

— Сейчасъ бѣгалъ.

— Ну, что-же?

— Да ничего нѣту.

— Да ты бы попросилъ хорошенько посмотреть!

— Да я ужъ просилъ; нѣтъ, говорятъ, ничего нѣту...

Такой разговоръ происходилъ у меня съ жителемъ одной изъ гостинницъ губернскаго города N, гдѣ меня задержало ожиданіе необходимымъ писемъ и бумагъ, происходилъ разъ по пяти и болѣе въ сутки, а сутокъ этихъ прошло уже не мало: протянулась безплодно ужъ цѣлая недѣля и пошла тянуться другая. Съ каждымъ разомъ появленія въ моемъ номерѣ бѣгавшаго на почту Тимофея (онъ, дѣйствительно, *бѣгалъ*, и даже безъ шапки) становились все непріятнѣе, тяжелѣе, потому что

по всей его фигурѣ, по невольному движенію его рукъ, готовыхъ при самомъ входѣ въ комнату растопыриться врозь, выражая неудачу, я уже догадывался, что онъ принесъ все то же «нѣтъ», «ничего, говорить, не было». Я чувствовалъ, что въ дѣлахъ моихъ произошло то, что знатоки условій русской жизни и судьбы, которыя, благодаря имъ, испытываетъ всякій русскій «разсчетъ», называютъ словомъ «заколодило». Все до сихъ поръ шло какъ по маслу, было принято во вниманіе и соображено, кажется, все что надо для успѣха дѣла, дѣло пошло—и вдругъ отъ какой-то невѣдомой вамъ причины (которая окажется только впоследствии и окажется всегда чепухой) все стало, замерло—и замерло самымъ бессмысленнымъ образомъ, прекратилось вопреки всѣмъ смысламъ; непремѣнно нужно увѣдомленіе, дорогъ каждый часъ, каждая минута—и нѣтъ увѣдомленія; нужно и должно произойти свиданіе,—свиданіе, необходимое не столько для меня, сколько для того, кто долженъ видѣться со мной,—и нѣтъ этого свиданія. Дѣло, задуманное давнымъ-давно—стоющее и силъ, и денегъ, распадается, валится, а вмѣстѣ съ тѣмъ въ душѣ закипаетъ неистовая злость. Впоследствии, долго спустя, оказывается, что и письмо было послано, да только не туда, куда надо, а совсѣмъ въ другое мѣсто—ошибся писарь адресомъ; окажется, что и человекъ, нужный вамъ, самъ спѣшилъ къ вамъ на свиданіе, даже чуть не загналъ лошадь, да вдругъ встрѣтилъ хорошаго человека (котораго самъ же называетъ «скотиной») и заговорился наприимѣръ про охоту на зайцевъ, и заговорился-то какъ-то нечаянно, даже шубы и шапки не снялъ, даже валенковъ не снялъ:—все спѣшилъ ѣхать, да такъ въ дорожномъ костюмѣ и просидѣлъ двое сутокъ за закуской... Я чувствовалъ, что и въ моихъ дѣлахъ произошло непремѣнно тоже что-нибудь вроде этого, какая-нибудь неожиданная-негаданная чепуха, которая можетъ погубить у меня не только эти двѣ-три недѣли безплоднаго ожиданія, а можетъ годъ, можетъ два—погубить такъ, ни-зачто, ни-просто, просто потому, что тамъ-то забыли «совсѣмъ», тамъ-то описались, а тамъ «заговорился» кто-нибудь или «просидѣлъ» нечаянно, иной разъ просидѣлъ все ваше будущее. Я чувствовалъ, что меня застигла именно эта мертвая минута, когда депеши перевираются и ходятъ по недѣлямъ, богъ знаетъ гдѣ, когда письма идутъ тоже невѣдомо куда, когда вообще презрѣніе къ своему дѣлу, лежащее едва-ли не въ корнѣ рѣшительно всѣхъ сортовъ дѣлъ, какія только ни дѣлаются на Руси, даже для личнаго своего благополучія, когда это желаніе плюнуть на свое дѣло, убѣжать отъ него куда-нибудь подальше вдругъ прорвется гдѣ-нибудь неряшливостью, небрежностью, забывчивостью и начнетъ цѣплять одну на другую, забывчивость на неряшливость, и такъ до безконечности, въ безчисленныхъ разнообразѣйшихъ комбинаціяхъ, покуда съ одной стороны не заставитъ все бросить все, плюнуть, а съ другой—покуда все не разъяснится самымъ простымъ манеромъ: «И забылъ *совсѣмъ*, простите, Христа ради... Покупалъ шапку, *едругъ*» и т. д.,

говорить виновникъ всей вашей гибели и такъ искренно цѣлуетъ въ знакъ извиненія, что не извинить невозможно, тѣмъ болѣе невозможно, что знаешь, что и самъ точно такъ же, какъ и всѣ, заговаривался о зайцѣ, когда за плечами стояло дѣло, что и самъ «совсѣмъ» забывалъ очень важныя вещи... На все негодовать, иной разъ умѣть (русская жизнь учить) на все (рѣшительно на все) смотрѣть съ самой дурной точки зрѣнія и въ то же время все, самое скверное, самое дурное прощать, безслѣдно забывать—такова, видно, уже участь вообще русскаго сердца.

Не скажу однако же, чтобы въ ту минуту, о которой идетъ рѣчь, я ждалъ чего-нибудь иного кромѣ необходимыхъ для меня вѣстей, или чтобы я былъ расположенъ кого-нибудь прощать или извинять за эту содѣянную со мною чепуху. Напротивъ: помимо того, что я еще не зналъ, гдѣ произошла эта чепуха, эта роковая описка, тутъ гдѣ-нибудь подлѣ меня, или тамъ, откуда я ждалъ вѣстей; помимо настоятельной надобности узнать, что именно и гдѣ именно случилось, били и другія обстоятельства, которыя съ каждымъ днемъ увеличивали раздраженіе нервовъ именно тѣмъ, что заставляли меня даже насильно принуждать себя думать объ этой несчастной почтѣ и письмахъ, которыхъ я ждалъ—думать въ такія минуты, когда мнѣ этого вовсе бы и не хотѣлось...

Бѣда моя была въ томъ, что городъ, въ которомъ я остановился, былъ мнѣ городъ родной, знакомый вдолъ и поперекъ: здѣсь я провелъ свое дѣтство, отсюда ушелъ странствовать по-бѣлу свѣту и не бывалъ здѣсь до сей минуты, лѣтъ по малой мѣрѣ пятнадцать. Бѣда была въ томъ, что въ эти пятнадцать лѣтъ я натерпѣлся на бѣломъ свѣтѣ всякой напасти, настрадался, намучился вволю, по горло, и, претерпѣвая эти страданія «среди добрыхъ людей», я каждую минуту не добромъ, скажу по совѣсти, поминалъ мою родину, мои первые названіе мнѣ счастливыми молодые годы. Тысячи-тысятъ разъ я былъ-бы радъ Богъ знаетъ что дать, чтобы забыть мое дѣтство, мою раннюю юность; сбросить съ себя эти вериги, наложенныя на мои плечи любовью родины, внушившею мнѣ жажду самаго ограниченнаго счастья, ослабившею во мнѣ силу мысли, силу сердца, ослабившею ради, разумѣется, только того, чтобы, будучи силенъ и тѣмъ, и другимъ, я не изорвался, не измучился, не истерзался, а прожилъ бы не волнуясь, покойно, счастливо, былъ бы здоровъ и веселъ. Ошиблись добрые люди, и благодаря имъ я измучился въ тысячу разъ больше, чѣмъ измучился бы, еслибъ былъ мысленъ и силенъ, а сердцемъ лютъ. Винить въ этомъ некого! Жизнь научила понимать этихъ измученныхъ, но добрыхъ людей, но зато жизнь эта такъ меня измучила, благодаря этимъ же добрымъ людямъ, такъ всего меня изожгла, что забыть эту страшную услугу добрыхъ людей стало потребностью просто-на-просто физической. При малѣйшей вѣсти съ родины меня всегда точно обжигало, я чувствовалъ самую настоящую физическую боль, какъ бы меня царапали раскаленнымъ желѣзомъ по тѣлу.

не всякому подъ силу перенести такую боль, и я боялся думать о прошломъ, чтобы не изболѣть безплодно, старался всегда гнать эти тѣни прошлого, чтобы не пробудить въ себѣ того мучительно негоднаго для меня хлама, который съ такой любовью былъ нанесенъ въ мою совѣсть этою истрадавшемся, во мнѣ одномъ сосредоточившею всю силу любви, родиною. За эти ласки я расплатился основательнѣйшими страданіями и не хотѣлъ вспоминать ихъ, такъ какъ у меня была уже другая родина, именно—вотъ эти самыя страданія...

Догадала меня нелегкая на одинъ только день остановиться въ этомъ родномъ городѣ, чтобы только взглянуть на него, получить что нужно съ почты и точчасъ уѣхать, и вотъ случилось совсѣмъ другое: я сѣжу въ этомъ городѣ вторую недѣлю. Кругомъ меня тутъ подъ окнами все до мелочей мнѣ знакомо, каждая человѣческая фигура, каждое деревцо въ сосѣднемъ саду, звонъ соборнаго колокола, вонъ та красная крыша,—словомъ, все до послѣдней мелочи было мнѣ знакомо, и со всѣмъ были связаны тысячи воспоминаній, впечатлѣній, которыя неудержимо стали воскресать въ ничѣмъ незанятомъ воображеніи, а вмѣстѣ съ этими воспоминаніями жгучею болью отзывались впечатлѣнія, которыя я вынесъ благодаря «счастливой» юности, проведенной въ этомъ городѣ, на этихъ улицахъ. Этотъ двойной рядъ неожиданно возникшихъ во мнѣ ощущеній—ощущеній счастья, пережитаго здѣсь, и ощущеній глубокихъ несчастій, которыя оно дало мнѣ, были по истинѣ мучительны. Будь это какой-нибудь незнакомый, чужой, новый для меня городъ, я бы шатался отъ скуки по бульвару, зашелъ бы въ судъ, въ театръ, поговорилъ бы съ философомъ-обывателемъ, сидящимъ одиноко на набережной и любующимся видомъ, и много бы узналъ отъ него интереснаго; такъ ли, саякъ ли, но мнѣ было бы легче перенести это безконечное ожиданіе странствующихъ по свѣту бумагъ и писемъ. Здѣсь въ знакомомъ родномъ городѣ я буквально боялся ступить шагъ по улицѣ, боялся выглянуть въ окно; какъ причина, изъ-за чего я страдалъ такъ долго и такъ больно, меня пугало именно физическимъ ощущеніемъ боли рѣшительно все; я боялся самъ сходить на почту, потому что зналъ, какъ будетъ мнѣ дурно, когда я увижу этотъ желтаго цвѣта домъ, эту дверь, обитую мочалками, громаднаго почтальона Архангельскаго (онъ живъ—я видѣлъ, какъ онъ прошелъ по улицѣ)... Я боялся выйти на улицу, чтобы не встрѣтить знакомаго лица, которое въ дѣтствѣ съ любовью улыбалось мнѣ, боялся заглянуть въ ту улицу, гдѣ и до сихъ поръ стоялъ нашъ домъ, въ которомъ я родился, боялся увидѣть своими глазами гимназію, мѣсто, гдѣ служилъ отецъ,—все это было переполнено для меня такими-болѣзненными воспоминаніями о безгранично-любвонной для меня жи, такъ мучительно отдалось на моей душѣ впоследствии, что я не могъ бы глядѣть на все это безъ того, чтобы не захворать... При видѣ ли моихъ земляковъ, при видѣ ли знакомыхъ мнѣ мѣстностей, домовъ, садовъ (какъ разрослись-то, еслибы вы знали!) я бы поминутно долженъ былъ испытывать

ощущеніе упрека, который словами можно бы было передать такъ:

«Все-то вы меня, господа люди, госпожи улицы и господа деревья и сады, все-то вы меня обманывали!.. Отчего это вы ни разу не сказали мнѣ, какъ вы измучились, какъ вы много утанили отъ меня вашего горя? Отчего это, государи глухіе перулки, не сказали вы мнѣ ни единого слова о томъ, что мнѣ надо идти стоять за вась горой, что мнѣ надо имѣть руки желѣзныя, сердце лютое и око недреманное? Отчего вы, бѣдняги мои, старались всегда «укачать» меня, заговорить меня веселыми словами, когда я плакалъ отъ безсознательной тоски, говорили мнѣ: «не думай!», вмѣсто того чтобы разбудить, сказать: «думай, братъ, за насъ, потому нашихъ силъ нѣту больше!.. «Убаюканный вами», я спокойно спалъ и не зналъ, что въ темныя осеннія и зимнія ночи, когда на дворѣ хлещетъ дождь или воетъ вьюга, вы поѣдомъ ѣли, ни въ чемъ повинныя, другъ друга и проклинали свою адскую жизнь. Зачѣмъ ничего-то этого вы мнѣ не сказали? Зачѣмъ я не зналъ, что измучили васъ эти ночи, измучили дни, измучили эти дома и сады—развѣ я такой бы былъ? Развѣ бы я не постоялъ за васъ, горемычные мои? А вы все молчали, да таили, да притали... посмотрите-ка, какъ я измучился-то, куда узналъ!..»

— «Да вѣдь это мы любя! вѣдь мы всю душу-то, какова она есть... тебѣ», отзывали бы мнѣ на мой упрекъ всѣ эти знакомыя мѣста, эти разросшіеся сады, знакомые звуки колоколовъ...

Вотъ это-то и было трудно, невозможно перенести... Они кляли въ меня всю душу, а я приду упрекать ихъ—это нехорошо, обидно, а не упрекать невозможно... Еслибы я такъ, просто, безъ всякихъ монологовъ, явился къ нимъ, то одинъ видъ мой сразу бы измучилъ ихъ. Они чутки, ужасъ какъ чутки на мученіе—и сразу бы при одномъ взглядѣ поняли, что ихъ любовь не спасла меня... а это еще хуже всякаго упрека.

Вотъ почему я рѣшился нигде не показывать глазъ изъ моего номера: я даже опустил шторы въ окнахъ и усиливался представить себѣ, что я не дома, не на родинѣ, а тамъ, въ какой-то невѣдомой странѣ, гдѣ неаккуратно доходятъ письма, гдѣ перевираютъ депеши. Но, несмотря на спущенныя шторы, тучи, вереницы воспоминаній такъ и рвутся, такъ и лѣзутъ въ эту комнату...

Морозное утро; я ѣду въ гимназію, ѣду веселый, довольный; я знаю, что мнѣ не поставятъ единицы, не оставятъ безъ обѣда, не тронуть пальцемъ... Тамъ ужъ позаботились, чтобы ничего этого не было... Даже такъ позаботились, что учителя явно несправедливо становятся мнѣ отличныя отъ... Нѣтъ!

— Тимошей! отгоняю я эти воспоминанія и кричу въ корридоръ. Тимошей несется на всѣхъ парахъ и на ходу возвѣщаетъ:

— Не приходила!..

— Какъ не приходила?..

— Да стало-быть что не было... Сейчасъ бѣгать... говорятъ, нѣту!

— Какъ нѣту?

Я говорю это, чтобы отдѣлаться отъ воспоминанія о томъ, что было въ классѣ, въ который вошелъ я... Воспоминанія такъ неприятны, что я ужъ самъ не знаю, какой еще задать Тимоею вопросъ, чтобы только слушать какой-нибудь другой голосъ, а не тотъ, какой звучитъ во мнѣ...

— Сабашникову, бормочетъ Тимоею, — точно было письмо. Еще было этому... какъ его?... Щекотуркину... толстое... Ну, а Болтушкину — такъ ужъ ахъ сколько оказалось пакетовъ — чистая страсть!

— Болтушкину?

— И Болтушкину, и Животову... Что Животову, что Болтушкину — такъ это одно поглядѣнья достойно... И чтѣ такъ много пишутъ?

Тимоею философствуетъ довольно долго, и я внимательнѣйшимъ образомъ слушаю его. Въ самомъ дѣлѣ: отчего такъ много получаетъ писемъ этотъ Болтушкинъ? И объ чемъ ему пишутъ? стараюсь сообразить я и, чтобы удержать разговорившагося Тимоею, говорю:

— И Животовъ тоже много получаетъ?

— Животовъ? Животовъ писемъ получаетъ цѣлую прорву!.. Вотъ какъ я скажу...

— А Болтушкинъ?..

— Ну, и Болтушкинъ, тоже хорошо... довольно деликатно ведетъ дѣло...

— Болтушкинъ-то?

— И Болтушкинъ, и еще вотъ молодой тутъ есть одинъ, Кузнецовъ, купецъ... вродѣ какъ сумасшедшій; ну что доберъ — такъ ужъ нѣтъ его добрый, надо сказать прямо. Болтушкинъ что! Или тотъ Семиглазовъ! — положимъ, что само-собой — ну, что Кузнецовъ или, опять взять, еще дяконъ у насъ есть Гвоздевъ — ну, и басище же — владыко живота моего!

Передаю рѣчи Тимоею такъ, какъ они доходили до моего пониманія; многого я не слышалъ, отгоняя свои разговоры; по всей вѣроятности, въ его рѣчахъ была связь, но я этой связи уловить не могъ. Я слышалъ что-то про дякона, про пакеты. Кузнецовъ, Болтушкинъ, «а то вотъ еще скворецъ у меня былъ» — только я былъ очень благодаренъ Тимоею за его разговорчивость. Мало-по-малу, благодаря ему, я начинаю ровно ничего не понимать и задумываюсь надъ какимъ-нибудь совершенно постороннимъ вопросомъ, возникшимъ изъ разговоровъ Тимоею, и долго послѣ его ухода думаю или о дяконѣ, о басѣ, или скворцѣ и задаю себѣ вопросъ: можно ли выучить скворца пѣть «Богъ славенъ»? Тимоею говоритъ, что можно... Иной разъ, благодаря Тимоею, подвернется такая тема, что понежнѣе унесешься за тридевять земель... а тамъ устанешь и кой-какъ заснешь... Но и во снѣ постоянно меня что-то грызло, что-то ѣло; не письма, не бумаги, а все тѣ же воспоминанія, тотъ же несправедливый упрекъ, закамѣнѣвшій у меня въ сердцѣ, тяготилъ и давилъ меня... Просыпался я чуть свѣтъ, больной, точно избитый, и сразу вспоминалъ, гдѣ я, чтѣ около меня, и почти съ испугомъ опять вопилъ къ бѣдному Тимоею.

— Да ты какъ спрашивалъ-то? вопилъ я въ

страстномъ нетерпѣннѣмъ ухъать изъ этого мучительнаго мѣста.

— Да вамъ спрашивалъ.

— Какъ же именно?

— Да собственно на ваше имя... Нѣтъ ли могъ говорить... нѣтъ, говорить, нѣтъ...

— Да какъ же, какъ могъ фамилія?

— Тамъ въ запискѣ сказано.

— Да цѣла ли записка-то?

— Буда ей дѣться? — извѣстно, цѣла.

— Нѣту?

— Нѣтъ, говорить, не было... Животову есть и Звѣреву есть, а вамъ нѣтъ...

И такъ вновь начинается мучительный день.

А на дворѣ июль, раскаленные, нетерпѣно жаркіе дни... Пыль несется на окна съ пустой улицы... Въ номерѣ мухи, запахъ кухни... Поваръ неистово стучитъ ножомъ гдѣ-то очень близко и колотитъ имъ, повидимому, по чемъ ни попало... «По грушу, по грушу!» долго, по крайней мѣрѣ съ полчаса, визжитъ (буквально) торговецъ, и этотъ визгъ опять напоминаетъ кой-что... Стараюсь заглушить это кой-что размышленіемъ о томъ, что будутъ дѣлать съ моимъ письмомъ, если его занесетъ куда-нибудь въ Тифлисъ вмѣсто Москвы... Ударъ въ колоколъ «къ вечернѣ»... Представляю себѣ, какъ чешетъ косы дяконъ, басъ, какъ онъ откашливается послѣ сна и пьетъ квасъ... и опять кой-что вспоминаю... Слава Богу — кто-то гаркнулъ, не то на дворѣ, не то на улицѣ: «Что-жъ салме-то, черти этакіе? Сидитъ баринъ — чуть живой...» «— Чортъ и съ барининомъ-то со своимъ», отвѣчаетъ тоже невѣдомо откуда другой голосъ... Обдумываю — почему не несутъ салме? Вдругъ — подъ окнами раздается какое-то неистовое царпанье по камнямъ... Это плетется пьяный мужикъ, плетется почти безъ памяти. Я не глядѣлъ въ окно, шторы у меня были опущены, но я твердо зналъ, что это именно плетется пьяный мужикъ; зналъ, какъ именно онъ плетется и что чувствуетъ и какъ у него едва-едва что-то брезжитъ въ головѣ; зналъ, что захмѣлѣлъ онъ такъ неистово не больше, какъ отъ одного стаканчика, выпитаго на тощій желудокъ безъ закуски, на которую мужикъ пожалѣвъ денегъ; зналъ, что первый тротуарный столбъ, повернувшись ему подъ ногу, свалитъ его въ канаву, откуда ужъ ему не будетъ никакой возможности выбраться... Не глядя въ окно, я видѣлъ, какъ на этого мужика, барахтающагося и всего вымазаннаго грязью, безсильнаго, очевидно ничего непонимающаго, будутъ смотрѣть и посмѣиваться лавочники. приговаривать: «такъ, такъ — ишь разукрасился какъ, вотъ такъ ловко! Ха-ха-ха! — совѣмъ съ головой въ лужу юркнулъ: утка, одно слово!..» Видѣлъ, какъ на этого мужика смотрѣлъ изъ окна чиновникъ, только что вставшій отъ послѣобѣденнаго сна, и зналъ, что этому зрителю будетъ скучно, когда наконецъ уведутъ этого мужика въ часть; а уведутъ его непремѣнно и безчеловѣчно... Медленно подойдетъ городовая и, какъ специалистъ своего дѣла, сначала разгонитъ публику, наблюдающую безпомощное валянье безсильнаго человѣка въ грязь, а потомъ приступить и къ самому этому человѣку...

Онъ будетъ приставать къ нему съ разспросами, зная, что онъ отвѣчать ничего не можетъ, потому что ничего не понимаетъ... Будетъ его гнать, кричать: «ступай, ступай, нашелъ мѣсто!», зная, что онъ не можетъ идти, не можетъ сдѣлать шагу; будетъ дергать его за руки и тѣмъ еще болѣе ставить въ безпомощное положеніе... «Гас-се-спадина» одолѣетъ кое-какъ произнести безрукій, безногий, ничего непонимающій человѣкъ, какъ-бы пригласивъ войти въ его положеніе, но всякій служавшій обществу русскій человѣкъ считаетъ за службу именно только необходимость не входить ни въ чье положеніе... Его приучили думать, что слугою онъ будетъ только тогда, когда выработаетъ въ себѣ способность поступать противъ собственныхъ соображеній и противъ движеній собственнаго сердца. Надъ мужикомъ поэтому не только не сжалются, а напротивъ начинаютъ его рвать и трепать; поставивъ кое-какъ на ноги, его вдругъ поволокнутъ что есть духу, такъ что непременно придется упасть снова... Вотъ онъ ударился головой объ уголъ стѣны, ударился крѣпко, больно, такъ больно, что даже закрахтѣлъ... хотѣлъ поднять руку къ затылку, но его рванули за руку и опять поволокли... Всю дорогу его осыпаютъ ругательствами, всю дорогу онъ получаетъ пинки... «Чего сталъ? Н-оо! ид-ди! на-жрался, ненасытная твоя утроба!» Зналъ я, что такъ его протащутъ улицы двѣ-три, что онъ дорогою весь изобьется объ стѣны и объ камни, что у него непременно раздерется мѣстахъ въ десяти рубаха, что онъ потеряетъ шапку, рублевую бумажку, паспортъ, за который потомъ расплатится еще горше... Зналъ, что его такъ толкнутъ въ темную кутузку, что онъ, ударившись вискомъ о скамейку, совсѣмъ ошалеетъ и повалится безъ всякаго «знаку», то-есть безъ памяти... Очнувшись ночью, весь больной и избитый, ничего не понимая, не зная, гдѣ онъ, что съ нимъ, онъ догадается, что у него пропали деньги, будетъ охать и стонать и отъ боли, и отъ пропажи, будетъ стараться выдти изъ этой темноты, будетъ стучать въ дверь, въ стѣну, будетъ просить «испить», но ему никто не отвѣтитъ ни единого слова... «Охъ, смерть моя... Ахъ, ахъ, охъ... а-а-а-ахъ-ты, Царица небесная!.. Жжетъ!..» безъ отвѣта будетъ раздаваться въ темнотѣ кутузки всю-то, всю темную, длинную ночь...

— Тимошей, Тимошей! кричу я опять въ корридоръ.—Да что же это?.. Когда же наконецъ?

Но на этотъ разъ даже Тимошею не оказывается въ корридорѣ, и мнѣ приходится оставаться одному.

II.

Такъ прошла цѣлая недѣля и потянулась другая... Болтушкинъ, Животовъ и Кузнецовъ аккуртно получали каждый день «удивленье даже» (слова Тимошея) сколько писемъ, а я все ничего не получалъ... Я сталъ понемногу затихать, точно опускался на дно глубокой рѣки, точно тонулъ въ невѣдѣнности и темнотѣ сегодняшняго и завтрашняго дня. Этому помогло еще слѣдующее обстоятельство: догададо меня попросить Тимошею сходить

въ книжную лавку, принести какую-нибудь книгу; онъ принесъ романъ: «Похожденія Рокамболя»... Съ большимъ признаніемъ, презрѣніемъ посмотрѣлъ я на эту книгу и почти съ отвращеніемъ прочелъ первую страницу: все до того глупо и неестественно съ самой первой строки, что, казалось-бы, надо просто бросить сейчасъ же книгу подъ столъ—не тутъ-то было. Мое неестественное состояніе оторванности отъ окружающей дѣйствительности, мое желаніе забыть мѣсто, гдѣ я былъ теперь, и все, что съ этимъ мѣстомъ связано, заставило меня именно заинтересоваться неестественностью романа и среди полнаго моего душевнаго одиночества отдать господину Рокамболу всѣ мои симпатіи... Я понялъ въ эти минуты, почему нелѣпый, ничего живого не заключающій въ себѣ французскій романъ маленькихъ газетокъ съ такою жадностью читается бѣднымъ рабочимъ классомъ; болѣе ужаснаго одиночества, въ которое поставленъ европейскій рабочий, трудно себѣ представить; революція, увѣривъ его, что онъ—не скотъ, а человѣкъ, все-таки до сей минуты не дала ему уюта, а оставила одного среди пустой площади и сказала: «ну, братъ, теперь живи, какъ знаешь». Кругомъ него все чужіе—и вотъ почему Рокамболь, сто разъ умирающій, сто разъ воскресающій, можетъ заставлять грустить и радоваться одинокое сердце... Пожалуйста, господа романисты, берите краски для романовъ, которые пишете вы рабочему одинокому человѣку, еще гуще, еще грубѣе тѣхъ, какія вы до сихъ поръ брали... Одиночество человѣка становится все ужаснѣе, судьба загоняетъ его все въ болѣе и болѣе темный уголъ, откуда не видно свѣта, не слышно звуковъ жизни... Бейте же въ барабаны, колотите что есть мочи въ мѣдные тарелки, старайтесь представить любовь необычайно жгучею, чтобы она въ самомъ дѣлѣ прожгла нервы, также въ самомъ дѣлѣ сожженные настоящимъ, заправскимъ огнемъ... Не церемоньтесь поэтому, господа дешевые романисты, рисовать все, что есть хорошаго въ жизни, самыми аляповатыми красками, доводить черты красиваго, великаго до громадныхъ размѣровъ, чтобы намъ было видно ихъ изъ такой страшной дали... Пусть невинность въ вашихъ романахъ не продается ни за какія деньги, пусть бѣдная, умирающая съ голоду прачка будетъ въ вашихъ произведеніяхъ настолько невѣроятна, что не только не согласится продать себя, а напротивъ, вопреки всякимъ смысламъ, возьметъ и сожжетъ на свѣчѣхъ, тутъ же, передъ глазами ея покупателя и передъ изумленными глазами читателей, банковый билетъ (смѣло пишите цифру и не церемоньтесь съ сотнями тысячъ и даже милліонами), который ей дадутъ въ руки и который въ одну минуту можетъ возвеличить ее. Пусть она непременно этотъ билетъ сожжетъ, а сама все-таки умретъ съ голоду... Такъ же невѣроятно и невозможно представляйте вы, господа романисты, и всѣ другія человѣческія отношенія... Красота женщины должна изображаться особенно нелѣпо: грудь непременно должна быть роскошна до неприличія; сравнивайте ее съ двумя огнедышащими горами,

съ геркулесовыми столпами, съ египетскими пирамидами... Только такими невѣроятными преувеличеніями вы можете заброшенному въ безтисходную тѣмъ одиночества чловѣку дать приблизительное понятіе о томъ, что другимъ доступно въ настоящемъ безыскусственномъ видѣ дѣйствительной красоты... Безъ этихъ преувеличеній, ему нѣтъ возможности ощутить и пережить хоть что-либо подобное, нѣтъ возможности узнать ни красоты души, ни красоты формъ... Грудь работающихъ женщинъ сохнетъ рано—и ужъ какія же формы послѣ пяти, десяти лѣтъ подневной работы? И гдѣ въ этой тѣмѣ крошечной найдутся такія прачки, которыя бы подорожили своею невинностью за сумму и гораздо меньшую, чѣмъ сотни тысячъ и миллионы?.. Если-бы не являлся нелѣпый романистъ и не вралъ намъ, темнымъ людямъ, про этихъ прачекъ, про этихъ красавицъ, не нагородилъ-бы намъ съ три короба про разныя какія-то добродѣтели необыкновенныя, то, право, жизнь, т. е. одна только голая дѣйствительность, сѣмѣла-бы совсѣмъ отучить темныхъ одинокихъ людей отъ самолюбивѣйшей тѣни представленій добродѣтели, красоты, невинности... Слѣдуя этому плану, господа нелѣпые романисты могутъ быть увѣрены, что ихъ Рокамболь можетъ воскресать сто тысячъ разъ и всякій разъ его примутъ съ распростертыми объятіями... Онъ въ этой тѣмѣ одиночества—другъ и пріятель, вокругъ котораго жизнь кипитъ ключемъ, какъ вода вокругъ парового колеса; возможно-ли съ нимъ разстаться когда-нибудь?

Въ этой невозможности я убѣдился на собственномъ опытѣ. Среди полного моего одиночества Рокамболь окружилъ меня такою чепухой и въ такое короткое время, что я, самъ не замѣчая этого, радъ былъ принять эту чепуху за дѣйствительность (такъ какъ настоящую-то дѣйствительность я старался забыть)—и зачитался... Когда подѣ конецъ третьяго тома Рокамболу пришлось плоху (ему обожгли рожу порохомъ) я очень его жалѣлъ и жалѣлъ потому, что боялся: ну-ко, онъ не переживетъ, и я останусь одинъ?.. Къ великой моей радости, Тимошей, возвратившись изъ книжной лавки, подѣ мнѣ продолженіе, называвшееся «Воскресшій Рокамболь», съ пометкою, томъ 1-й. «Э, подумалъ я, обрадовавшись:—томъ 1-й! стало быть ихъ пойдетъ еще много», и съ величайшею радостью принялся за чтеніе... Оказалось, что рожу Рокамболу вылечили какъ нельзя лучше (я почувствовалъ уваженіе къ наукѣ), и онъ снова пошелъ въ холъ, а я съ легкимъ сердцемъ пошелъ за нимъ... Но подѣ конецъ третьяго тома положеніе мое сдѣлалось весьма затруднительнымъ... На сценѣ явился русскій казакъ, ростомъ въ полторы сажени, съ кулаками по полупуду, а то по пѣлему пуду, и я видѣлъ, что теперь Рокамболу предстоитъ явная смерть... Дѣйствительно, казакъ бросилъ Рокамболя въ воду... Я все ждалъ, что онъ какъ-нибудь выплыветъ, но авторъ заставилъ испытать мое чувство глубокой жалости, на цѣломъ десяткѣ страницъ поддерживая эту надежду, и подѣ конецъ объявилъ, что—не выплылъ. Подѣ этимъ подпи-

сано «конецъ». Я почувствовалъ, что и мнѣ теперь—«конецъ». Тимошей понесъ книги въ лавку, а я вновь долженъ былъ отдаться ужъ настоящей дѣйствительности, что, послѣ столь отдаленныхъ странствованій, казалось по истинѣ невыносимымъ... Что дѣлать? думалъ я...

По истинѣ неописуемое счастье испыталъ я, когда Тимошей возвратился изъ лавки съ запиской, въ которой было сказано: *Ево ище много будетъ, воскрещева... Какъ отдасть Животовъ биззамедленія предоставлю. Покудова посылую журналъ; Будетъ вторително воскресать въ пяти частяхъ*. Точно манна небесная была для меня эта записка. Ужъ какъ я былъ благодаренъ этому «книжному лавочнику»! Я зналъ его, этого придурковатаго мѣщанина, пріотившагося на базарѣ въ маленькой лавчонкѣ съ разною мелочью (табакъ, спички), покупающаго у гимназистовъ книги и снабжавшаго чтеніемъ бѣдныхъ людей. Тимошей сказалъ мнѣ, что этотъ лавочникъ—все тотъ же самый; «пестъ шибко!» прибавилъ онъ, «а чловѣкъ ничего...» Надо быть золотымъ чловѣкомъ, чтобы такъ понять тоску читателя и предупредить его, чтобы онъ не скучалъ, что еще будетъ много «ево», «воскрещева»... Сколько добра сдѣлалъ на своемъ вѣку этотъ чловѣкъ, подумалъ я, и сколько перенесъ онъ всякаго горя. Одинъ лавочникъ, торгующій папиросами, у котораго нанимаетъ онъ уголокъ для своихъ книгъ, одинъ этотъ лавочникъ вотъ уже лѣтъ двадцать ругаетъ его за то, что у него нѣтъ никакой торговли, такъ какъ дѣйствительно ея нѣтъ: книгу возьмутъ и не отдадутъ; это—ужъ такой провинціальный законъ... А онъ все терпѣть, все похлопываетъ пальцемъ по оберткѣ «Тайнѣ мадридскаго двора»—и читаетъ о нихъ лекцію и табачному лавочнику, и писцу съ почты, и мѣщанину, который хочетъ «почитаться» чего-нибудь...

Воспоминанія о книжной лавкѣ на толкучкѣ, о вѣчно красномъ носѣ ея хозяина, о его страсти къ литературѣ и его литературныхъ мнѣніяхъ снова повернули мою мысль на старое, на прошлое, и я, чтобы забыться, волей-неволей взялся за книгу, которую принесъ мнѣ Тимошей вмѣстѣ съ запиской... Это былъ одинъ изъ старыхъ номеровъ лучшаго русскаго журнала... Все было знакомо, прочитано; одинъ видъ и форматъ страницъ, одна названія статей сразу напоминали необычайно много, что, послѣ Рокамболя, послѣ полного забвенія дѣйствительности, было вовсе некстати... Что-нибудь однако же надо было дѣлать съ этой книгой, она была у меня въ рукахъ... Послѣ Рокамболя, который меня совершенно вывихнулъ, перевернулъ вверхъ ногами «вся внутренняя моя», мнѣ и тутъ въ этой очень дорогой книгѣ хотѣлось отыскать что-нибудь такое, что бы хоть отчасти поддерживало эту вывихнутость, что-нибудь такое, что-бы не имѣло съ дѣйствительностью никакого соотношенія... И къ великому моему удовольствію я дѣйствительно нашелъ въ ней, именно теперь, ни съ чѣмъ несоотвѣтственную страничку... «Парижскія Моды» прочиталъ я—и обрадовался. «Вотъ, поду-

малъ я, штука, которую я никогда не читалъ... «Моды». Въ этомъ журналѣ!.. Это что-то должно быть очень интересное... «На послѣднемъ придворномъ балу въ Тюильери, бѣлый фый окончательно затмилъ собою атласъ... Герцогиня де-В***, вопреки существовавшимъ предрассудкамъ, вновь ввела въ употребленіе живые цвѣты и тѣмъ самымъ навсегда упрочила за собою авторитетъ изящнаго вкуса, на ряду съ своей высокой покровительницей, императрицей Еженіей, которая, несмотря на кратковременность своего царствованія, уже успѣла далеко двинуть задержанное революціей сложное дѣло женскаго туалета... Теперь, когда крахмаленныя юбки съ такимъ позоромъ уступаютъ мѣсто... и когда «жокей-клубъ» поражаетъ въ самое сердце ес-букетомъ, не мѣсто было бы задумываться надъ тѣмъ, что должны дѣлать наши соотечественницы... Короче, неизбежность, помимо утренняго неглижэ, практиковать также и неглижэ вечернее, не подлежитъ уже никакому сомнѣнію. Потребность облагородить вкусы массъ признана учеными всѣхъ вѣковъ и народовъ, и графиня де-В*** первая показала примѣръ необходимой въ этомъ отношеніи развязности, граничащей почти съ античною наготою... Нельзя не отдать справедливости изящному вкусу французовъ, неистощимости ихъ фантазій, и вообще нельзя не признать за этими, нынѣ нашими врагами»...

Статейка была написана довольно мило и такъ серьезно держала себя среди самыхъ бессмысленныхъ слововизверженій, что я могъ чувствовать одно только тихое удовольствіе. Неожиданно наткнувшись на фразу «нынѣ нашими врагами», я какъ-бы очнулся и невольно перевернулъ книгу съ послѣдней страницы, гдѣ помѣщаются моды, на первую, чтобы взглянуть, когда именно происходили подвиги этого необычайнаго самоотверженія герцогини В*** и графини В***. Перевернулъ книгу—и обомлѣлъ: батюшка! да вѣдь это—1854 г., самый разгаръ войны!.. При началѣ книги было приложено объявленіе, въ которомъ редакція говорить, что «успѣхъ превзошелъ всѣя ожаданія, и изъ двухъ тысячъ печатаемыхъ экземпляровъ въ настоящее время не осталось уже ни одного»... Двѣ тысячи читателей на всю Россію, на шестьдесятъ милліоновъ народу, двѣ тысячи читателей, для одной части которыхъ нужно писать о модахъ (именно *нужно* писать, потому что такъ, ни съ того ни съ сего, издатель, какъ коммерческій человѣкъ, не станетъ дѣлать этого), писать о модахъ въ такую ужасную минуту, какъ война, и какая война!.. Точно варомъ обдало меня отъ одного взгляда на эту первую страничку, на это объявленіе; отъ Рокамболя не осталось слѣда, потому что въ одно мгновеніе предо мною пронеслась картина тогдашняго положенія русской земли вообще и моей родины въ особенности, обнаруженная и то частью только, и я съ ужасомъ вспомнилъ, что въ то именно время, когда герцогиня В*** дѣлала такія смѣлыя нововведенія, толпа, т. е. милліоны русскихъ людей родились, росли и развивались въ зараженной атмосферѣ бессознательности, точно въ

самомъ свѣжемъ воздухѣ... Страшный опытъ одинъ только научилъ эту толпу задуматься надъ своей совѣстью; помимо его, этого ужаснаго опыта, для всѣхъ этихъ безчисленныхъ милліоновъ народа, составляющихъ русскую землю, не было ни откуда словечка правды о ея положеніи... Вотъ книга, духовная мать всего, что есть въ этой толпѣ мало-мальски сознательно хорошаго, эта книга, какъ копѣчная свѣчка, одна только свѣтила на всю землю. Да и той приходилось ухаживать за почтенной публикой, раздавать ей модныя картинки, чуть не пряники, чтобы просунуть въ глубину этихъ милліоновъ страничку, много листъ, замаскированной, наглухо запутанной правды... Могла-ли книга прямо и грозно назвать вещи по именамъ, могла-ли вмѣсто парижскихъ модъ дать рисунки свороченныхъ скулъ, говорила-ли, что всѣ вы, всѣ эти милліоны, давно ужъ прогнѣвали Бога? Могла-ли она сблать это? Должно быть не могла, потому что не говорила или говорила робко, приниженно... Въ то время, какъ общественная душа, душа толпы, была ужъ окончательно искалѣчена, дѣй тысячи читателей унижались надъ несчастьями помѣщичьяго будуара... Выводы на сцену самаго лучшаго человѣка тогдашняго времени съ рѣчью о благѣ человечества на устахъ, можно было какъ нельзя лучше обоиться безъ присутствія на сценѣ мужика, которому однакожь очень бы нужно было въ то время доброе слово... Даже въ художественномъ отношеніи, отсутствіе въ романѣ матеріала (пропалъ мужикъ) для приложения извѣстныхъ идей нисколько не вредило произведенію. Авторъ могъ держать своего героя исключительно въ одной только помѣщичьей гостиной, могъ показать его здѣсь во всей его широтѣ, и читатель ни разу бы не спросилъ себя: почему же онъ не оставитъ этой гостиной и не пойдетъ по грязи въ эту размоченную деревеньку, которая тутъ, подъ самымъ бокомъ у этой гостиной? Такъ глубоко была толпа проникнута безсердечіемъ, отвычкою отъ совѣсти и любви! Откуда же сразу взять все это?...

Разъ задумавшись о томъ, о чемъ до сихъ поръ я старался не думать, я ужъ не могъ остановиться. Тимошей съ торжествомъ принесъ мнѣ «Воскресшаго Рокамболя», но я его не читалъ, а потребовалъ журналовъ, такихъ же старыхъ, если только есть; я просилъ прислать всѣ, какіе есть. Лавочникъ прислалъ мнѣ цѣлую кучу; все это были разрозненные нумера разныхъ изданій, начиная съ шестидесятыхъ годовъ... Я былъ радъ повторить все пережитое и передуманное; заперъ номеръ, улегся и принялся за чтеніе. Боже милосердный, какъ мучительно было мнѣ смотрѣть на автора новыхъ временъ, на романиста новыхъ людей!.. Мнѣ было по истинѣ страшно за него, особенно въ виду только что вновь пережитаго мною прошлаго, страшно за «необходимость» во что бы то ни стало создавать новыхъ, совсѣмъ-совсѣмъ новыхъ людей. Въ этихъ людяхъ у всей толпы дѣйствительно была самая настоятельная необходимость: она, толпа, какъ и авторъ, представитель этой толпы, узнала самымъ обстоятельнымъ образомъ, что съ прошлымъ разорвана всякая связь, разорвана вдругъ, въ одинъ прекрасный день; да-

вайте самой чистой «нравственности, самых возвышенных добродетелей, самой сущей правды».. Изъ чего онъ вылъпить все это? думалъ я и ужа-сался... Во что одѣнеть онъ свои благородныя желанія и мысли, откуда возьметъ чистую, незараженную кровь, здоровую, сильную, чуткую плоть? Но авторъ, несмотря на безвыходность своего положенія, покоряясь общественному требованію и требованію своей совѣсти, принялся лѣпить новыхъ людей, а я съ замираніемъ сердца смотрѣлъ на его работу... Откуда взять ему героя?.. Изъ народа? Бѣда его, что народа онъ совсѣмъ не знаетъ, да и какіе тамъ герои?.. Изъ господъ?—Ну ужъ... Изъ купцовъ? Аршинники и архиплуты... Буда ни кинь—елки. И вотъ надо выводить его изъ какихъ-нибудь необычайныхъ условій... Надобно изолировать дѣтство его отъ всѣхъ условій, при которыхъ шло дѣтство толпы (въ одной повѣсти герой росъ почти между жеребятами), надобно отучить отъ всѣхъ привычекъ прежней толпы, отъ всѣхъ ея вкусовъ, обычаевъ, свойствъ, и волей-неволей авторъ заставляетъ своего любимца питаться чуть не бекасиною добрыю, вмѣсто разносоловъ; дѣлаетъ сильнымъ—невѣроятно и устраиваетъ ему обстановку необыкновенную. Купается онъ не какъ всѣ—днемъ, а въ полночь; не какъ всѣ—идетъ въ воду съ берега, а бросается со скалы. Эти невѣроятныя краски, преувеличенія, выдумки какъ нельзя лучше говорили мнѣ, въ какомъ ужасномъ положеніи осталась отъ прошлаго душа толпы. Каждую черту надо выдумывать, изобрѣтать, потому что нѣтъ ея подъ рукою, или не знаешь, гдѣ взять... Я съ глубокимъ почтеніемъ къ непомѣрнымъ усиліямъ удовлетворить настоятельную жажду общественной совѣсти въ великомъ, сильномъ и честномъ—перечитывалъ всѣ эти сказанія о новыхъ людяхъ, но не могъ не чувствовать, что между этими крайностями, т. е. между недавнимъ, безпримѣрнымъ нравственнымъ паденіемъ и безпримѣрною жаждою новаго и возвышеннаго есть третья черта, черта подлиннаго состоянія общественной души, забытая авторами и старыми, и новыми: эта черта—страданіе. Новый авторъ, рисуя для пробужденной совѣсти образцы, въ которые должно бы облечься это пробужденіе, но не говоря ни слова о страданіяхъ, о борьбѣ съ самимъ собою,—страданіяхъ и борьбѣ, которыя неизбежно должны были обрушиться на всякаго обезсиленнаго нравственно человѣка, поставленнаго въ необходимость быть нравственно сильнымъ, авторъ дѣлалъ большой промахъ, предоставляя измученному представителю толпы биться какъ рыба объ ледъ, и давалъ полную возможность врагамъ своихъ идеаловъ во все горло хохотать надъ ошибками, безсиліемъ, недомыслиемъ человѣка, торопившагося перебраться съ одного берега на другой, торопившагося отъ неправды, безсовѣстности уйти къ совѣсти и правдѣ во всемъ...

Начинало разсвѣтать, когда я кончилъ какой-то новый романъ (ни одинъ почти изъ такихъ романовъ не конченъ, и дѣйствительно автору впо-ру было только въ общихъ чертахъ обрисовывать го-

роя, а жить этому герою еще не было никакой возможности—стало быть не было возможности и писать романа)—и задумался объ этомъ мучительно-нравственномъ состояніи толпы, послѣдовавшемъ вслѣдъ за пробужденіемъ ея мертво спавшей совѣсти, и мгновенно передо мною пронеслась дѣлая вереница смертей,—смертей отъ испуга при видѣ подлинной сущности самого себя... Одинъ рванулся къ свѣту и съ ужасомъ увидалъ, что онъ безъ ногъ, что, какъ бы онъ ни желалъ идти,—онъ не можетъ сдѣлать шагу... Другой вдругъ неожиданно-негаданно увидалъ и узналъ, что вмѣсто сердца у него—деревяшка или пустое мѣсто, а жизнь какъ нарочю потребовала сердца, да еще какого большаго!.. Правда и совѣсть неожиданно-негаданно, среди заматорѣлой безсовѣстности, среди прочно укрѣпившейся, довольной, покойной неправды, точно прикосновеніе свѣжаго воздуха къ трупамъ—произвели разложеніе этихъ труповъ, которые до сего времени почти невредимо сохранялись въ лишенномъ воздуха мѣстѣ... Толпы этихъ невинно убиенныхъ совѣстью людей, буквально толпы, неслись въ моемъ воображеніи, не прекращая своего мрачнаго шествія ни на минуту и не обѣщая конца... Да, подумалъ я—еще долго, бесконечно долго, еще въ большомъ количествѣ поколѣній будутъ отдаваться слѣды вѣковой неправды! Долго еще состояніе души его будетъ одинъ подавленный, скрытый крикъ, прежде нежели переболитъ онъ и, очистившись въ глубокомъ страданіи, покорится тернистому пути, который ему предстоитъ, всѣмъ сердцемъ, всею душою пойметъ и почувствуетъ, что это-то путь и есть настоящій, и есть настоящая правда и жизнь...

А тѣни погибшихъ друзей, товарищей, знакомыхъ такъ и гнались одна за другою... Что были за лица! То измученныя, то искаженныя злобой... Благодаря разстроеннымъ нервамъ, безсонной ночи, мучительнымъ воспоминаніямъ, навѣваемымъ родиной, я въ полусумракѣ начинавшагося утра сталъ довольно явственно различать то въ томъ, то въ другомъ углу комнаты мелканье и какъ бы легкій шорохъ и мелканье какихъ-то фигуръ, и даже не фигуръ, а просто стало мнѣ казаться, что въ комнатѣ есть что-то или кто-то кромѣ меня... Разъ даже почудилось мнѣ, что въ головахъ моей кровати о желѣзо (кровать была желѣзная) что-то чуть-чуть стукнуло, какъ стучитъ капаль... Разъ и два (я думаю объ одномъ застрѣлившемся товарищѣ)... Ужъ не кровь ли это каплетъ? мелькнуло у меня. И я проворно вскочилъ съ постели—такъ мнѣ стало жутко... Разумѣется, ничего не было, но спать я ужъ не могъ. Что бы ни было, я рѣшился ухаживать, какъ только настанетъ день. Ъхать было необходимо,—шелъ десятый день моего бездѣйствія... Я рѣшилъ дожидаться, пока встанетъ Тимофеев, уложить-ся и, не дожидаясь больше ничего, ѡхать на желѣзаную дорогу...

На улицѣ понемногу начиналось движеніе; я одѣлся, отворилъ окно и сталъ смотрѣть на мертво спавшій городъ. Нехотя, вяло, медленно поднимался житель: мужикъ, разумѣется, проснулся давно и

уже шель на рынокъ за медленно двигавшимся возомъ сѣна, стучалъ гдѣ-то далеко топоромъ, подметалъ улицу и крестился широкимъ крестомъ, слышавъ ударъ колокола... Долго и съ удовольствіемъ смотрѣлъ я на эти молящіяся фигуры рабочаго народа, появившіяся на перекресткахъ, на тротуарахъ... Но вотъ прошелъ чиновникъ съ краснымъ околышемъ; вслѣдъ за нимъ продребезжалъ на извозчикѣ другой, съезжившись и какъ погибающій прижавшись къ портфелю, который былъ у него подъ мышкой. Прошли кучами гимназисты, гимназистки. И точно громъ небесный грянулъ на улицѣ — промчался къ губернатору полиціимейстеръ... Иноходецъ въ корню, пристажная кольцомъ, и даже не кольцомъ, а какъ-то совсѣмъ невѣроятно, точно она хотѣла откусить у себя хвостъ. «Пад-ди!» бась какъ изъ бочки гудѣлъ изъ груди кучера. Никого почти не было на улицѣ, а при видѣ этой группы невольно мелькнула мысль — «раздавить!» Въ глубинѣ этой группы (т. е. вообще всей совокупности лошадей, полиціимейстера, кучера и дрожекъ), казалось, было скрыто (гдѣ именно — опредѣлить невозможно) нѣчто разрывное, какой-то динамитъ, который вотъ-вотъ гранетъ... И сразу при одномъ взглядѣ на нее, на эту группу, исчезли впечатлѣнія просто утра, превратившагося мгновенно въ утро губернскаго города, — утра, за которымъ потянется скучный, утомительный губернский день... Захотѣлось ѣхать какъ можно скорѣй...

Тимовой всталъ и стучалъ уже въ корридорѣ посудой, шаркалъ сапожной щеткой. Я попросилъ его принести чаю и сталъ понемногу собираться; собравъ съ полу перечитанные ночью журналы, я связалъ ихъ веревочкой, но случайно при этомъ замѣтилъ, что забылъ ихъ обернуть бумагой, въ которую они были завернуты. Бумага эта — какой-то газетный листъ — валялась скомканная на полу. «N — свѣй справочный листокъ» разглядѣлъ я и поднималъ его. Любопытно было поглядѣть на газетку родного города, почитать, что такое пишется въ ней. Нумеръ газеты былъ старый, мѣсяца четыре тому назадъ, и очень изорванъ; тѣмъ не менѣе я все-таки могъ узнать, что на такое-то число назначено къ продажѣ за неплатежъ безчисленное количество нѣтѣй, что на Крещеніе была сказана архіереемъ Леонтиемъ проповѣдь о послушаніи и повиновеніи, что умеръ въ уѣздномъ городѣ *** отставной генералъ-майоръ Леонидъ Леонидовичъ Непокосебимовъ, въ послѣдніе дни жизни своей «всецѣло отдавшійся садоводству, преимущественно разведенію рододендроновъ, что поставило его энергію лицомъ къ лицу съ неблагоприятною нашею природою»; прочиталъ о несостоявшемся земскомъ экстренномъ собраніи за неприбытіемъ гласныхъ, о пользѣ разведенія шелковичнаго червя, о бумагѣ изъ конскихъ волосъ, о маслѣ изъ дерева, о говядинѣ изъ бумаги, о мѣшанинѣ Петровѣ, по неизвѣстной причинѣ утонувшемъ, о другомъ мѣшанинѣ Ивановѣ, по неизвѣстной причинѣ набившемъ третьего мѣшанина Кузьмина, о пожарѣ, по неизвѣстной причинѣ истребившемъ 125 домовъ, на сум-

му 165,677 руб. съ копѣйками, и т. д. Множество случаевъ изъ ежедневной жизни, причина которыхъ никому не была извѣстна, пронеслось передо мною, благодаря листку, и я уже хотѣлъ выпустить его изъ рукъ, когда въ самомъ верху первой страницы съ оторваннымъ угломъ замѣтилъ знакомую фамилію: «...жденная (должно быть урожденная) Вѣра Андреевна Калашникова, 21-го года, въ отсутствіи мужа приняла растворъ... отчаяніе мужа не знаетъ границъ... Погребеніе на городскомъ кладбищѣ... причина остается неизвѣстною»... Батюшки! да вѣдь я зналъ Калашниковыхъ, я зналъ, что въ ихъ семьѣ (изъ разоренныхъ) была дѣвочка, Вѣрочка... Ужъ не она-ли?..

Въ одну минуту я совершенно забылъ, что надо ѣхать, что мнѣ больно оставаться на родинѣ, вѣющей такими большими воспоминаніями, и почувствовалъ, напротивъ, непреодолимую жажду бѣжать именно туда, въ самое глѣздо этихъ болѣзненныхъ воспоминаній, и узнать тамъ рѣшительно все, что они, несчастные, пережили... Вѣрочка непременно должна быть та самая; ей какъ разъ должно было быть двадцать или двадцать одинъ годъ... Фамилія ея Калашникова — кто-же другая? непременно это она.

— Вотъ еще прислалъ! сказалъ Тимошей, являясь съ новой пачкой книгъ въ то время, какъ я, ничего не слыша и не понимая, торопливо одѣвался. — Насилу у Животова отнялъ — не отдавалъ...

— Ты не знаешь, не слыхалъ-ли, перебилъ я его: — что это за исторія была у васъ — барышня какая-то отравилась?..

— Это зимой никакъ?

— Да, зимой.

— Ну, какъ не слыхать? это тутъ вотъ, у столяра, на нашей улицѣ. Столярова жена...

При словѣ «столярова жена» я было подумалъ: «нѣтъ, это — не она: она была барышня»... Но Тимошей тотчасъ-же разрушилъ эту надежду.

— Какъ не знать, весь городъ говорилъ... Вышла за столяра, за молодого.. сама изъ благородныхъ...

— Отчего-же это? Какъ это случилось?

— Кто-жъ ее знаетъ... Нешто это возможно знать?.. Болтали много, не упомяну все... Мужъ-то у ней попался — такъ невѣдомо что... Столяръ, не столаръ — такъ невѣсть что... Все мастерство-то отцовское порѣшилъ въ конецъ... И неизвѣстно, гдѣ скрывается... Вотъ тутъ, въ нашей улицѣ, заведеніе было.

— Тутъ она и умерла?

— Въ этомъ самомъ мѣстѣ. Да вонъ домъ-то ихній. Тимошей показалъ мнѣ въ окно, гдѣ именно находился этотъ домъ. — Трактиръ теперь тамъ будетъ.

Я посмотрѣлъ на домъ. Вспомнилъ маленькую Вѣрочку, какою я зналъ ее. Представилъ себѣ ея смерть... и грустно мнѣ стало глядѣть на домъ, который отдѣлывали, щекатурили и красили подъ трактиръ, какъ-бы закрашивая пролитую здѣсь кровь... Черезъ недѣлю, много черезъ дѣй, домъ будетъ отдѣланъ заново. Въ комнатахъ будутъ бѣгать

половые съ чайниками и чашками, ходить чиновники и купцы; будутъ стучать бильярдные шары, загудитъ машина... Отъ Вѣрочки, отъ всей ея исторіи не останется ничего, никакого признака ея несчастія...

— Конечно, это Божіе дѣло! произнесъ Тимошей грустно.—Ужъ стало-быть не отъ хорошаго она это.

— Да, подумалъ я:—дѣло это дѣйствительно Божіе!..

А маляръ между тѣмъ продолжалъ бойко и проворно закрашивать старую почернѣвшую стѣну стараго дома, въ которомъ умерла Вѣрочка. Полосы яркой желтой охры, ложась одна подлѣ другой, все меньше и меньше оставляли мѣста старой копоти и, казалось, вотъ-вотъ сейчасъ навѣки погребутъ подъ собою вмѣстѣ съ этой копотью и Божіе дѣло Вѣрочкиной жизни... Надо было (такъ мнѣ казалось), непременно надобно было хоть что-нибудь захватить, хоть что-нибудь узнать объ этой жизни, и я, не думая болѣе ни о чемъ, торопливо, почти бѣгомъ направился въ самое сердце стараго пепелища.

III.

Признаюсь, невольная дрожь чувствовалась въ моихъ колѣняхъ, когда я съ большой главной улицы города свернулъ въ одну изъ боковыхъ,—ту самую, гдѣ именно и было то гнѣздо, на старое пепелище котораго я теперь шелъ узнавать о Вѣрочкѣ. Когда-то въ этой улицѣ во множествѣ собственныхъ домовъ жарко, перашливо, неразсчетливо жило множество семействъ, отростковъ одного и того-же древа, корень котораго, значительная въ то время въ губернской іерархіи особа, съ давнихъ поръ поселилась въ этой самой улицѣ. Особа эта имѣла много дочерей, много сыновей; дочери выходили замужъ за тѣхъ, кого особа, корень этого дерева безпечальныхъ людей, выбирала имъ, считала достойными; сыновья особы брали женъ также по указанію родителя, и все это селилось въ собственныхъ домахъ, служило подлѣ сѣнію особы, даже подлѣ его большею частью непосредственнымъ начальствомъ. Пустынная когда-то часть города, въ которой впервые поселился родоначальникъ всей группы (довольно значительной) упомянутыхъ выше семей, мало-помалу, съ выходомъ дочерей замужъ и женитьбой сыновей, постепенно заселилась этими семьями, обстроилась новыми домами и какъ-бы образовала какое-то особое поселеніе подлѣ двойною верховною властью главы этой семьи, властью его, какъ родоначальника, отца и какъ начальника, подлѣ вѣдомствомъ котораго большинство зятѣвъ и родныхъ дѣтей состояло на службѣ. Впослѣдствіи, когда подросли внуки и внучки, семья эти разрослись еще болѣе, расселились по разнымъ мѣстамъ (но главнымъ образомъ все-таки въ этой-же улицѣ) и осложнились родственными связями съ самыми разнообразными слоями общества. Къ этому осложненію сословнаго состава семьи много способствовали также и кое-какія непредусмотрѣнные верховною властью главы семьи обстоятельства.

Такъ, одна изъ дочерей, потерявъ мужа, избраннаго ей отцомъ, самовольно вышла замужъ во второй разъ за купца, довольно богатаго, и такимъ образомъ ввела въ родню элементъ, близкій къ простому народу... Въ роднѣ этого купца было духовенство: священники, дьяконы, дьячки, которые вслѣдствіе этого брака также вошли въ составъ этой большой колоніи. Съ другой стороны, семья, имѣвшая въ числѣ родни купцовъ и дьяконовъ, могла похвастаться родственными связями и съ значительными помѣщиками (большей частью вышедшими изъ чиновниковъ), и съ чиновниками, значительно выслужившимися... Но, несмотря на все разнообразіе сословныхъ элементовъ, входящихъ въ семью, между всѣми ними было одно сходство: всѣ они уже разорвали связь съ народомъ, изъ котораго вышли. Велико, громадно было это семейное древо, но уже въ самомъ началѣ его была червоточина, которая впослѣдствіи должна была обнаружиться въ неслыханно быстромъ и ужасающемъ гнѣвѣ и бесплодіи. Червоточина состояла именно въ оторванности отъ правды народной, оторванности отъ совокупности условій, въ которыхъ можно и должно жить русскому народу. Глава семьи также происходилъ изъ простаго званія и росъ въ крайней бѣдности; натура эта была одарена сильнымъ характеромъ, сильнымъ волею, которые-бы много сдѣлали, если-бы имъ удалось быть поборниками «подлинныхъ» народныхъ нуждъ. Семейныя преданія говорятъ, что многіе изъ этой семьи, изъ которой произошелъ глава изображаемаго семейнаго древа, покоряясь именно этимъ подлиннымъ условіямъ народной жизни, были простыми разбойниками среди большихъ дорогъ; многіе сидѣли въ тюрьмахъ и въ кандалахъ, хаживали въ Сибирь и даже участвовали въ шайкахъ Пугачева. На долю нашего героя (главы упомянутаго громаднаго семейства) выпало другое: съ молодыхъ лѣтъ онъ поналъ въ монастырь, сталъ любимцемъ настоятеля, который, замѣтивъ его способности, не оставилъ ихъ втунѣ. Помощью своихъ связей архимандритъ-настоятель далъ ходъ мальчику, по своей живой натурѣ не подходившему къ монашеской жизни (которая однако значительно оторвала его отъ пониманія непривѣтливой дѣйствительности родной ему среды), и съ шестнадцати лѣтъ опредѣлилъ его на какую-то незначительную гражданскую должность. Здѣсь «интересъ казны», интересъ такого отвлеченнаго представленія, какъ государство, могущество, которымъ располагалъ этотъ интересъ, начали понемногу захватывать большія природныя силы молодого мальчика. Онъ понемногу сталъ «влюбляться» въ интересы этой могучей власти, интересы широкіе, ничуть не напоминающіе той дѣйствительной духовой жизни, той нищенской правды, въ условіяхъ которой ему пришлось родиться... И вотъ (такъ какъ его искренняя любовь къ «казенному интересу» была замѣчена, такъ какъ она была дѣйствительная любовь) изъ этого мальчика мало-по-малу сталъ вырабатываться истинный виртуозъ, истинный мученикъ того блага, которое шло сверху...

Во имя этого блага ему ничего не стоило погубить родного отца; во имя этого блага онъ самъ былъ готовъ идти въ огонь и въ воду. Въ рукахъ власти это было несомнѣнное копье, передъ которымъ сторонилось все личное, все, что посмѣло-бы хотя пикнуть противъ этого блага, или все, что-бы посмѣло заявить о собственномъ взглядѣ на идеаль этого блага... Истинно безпримѣрно честнымъ служеніемъ своей идеѣ, идеѣ «государственной пользы», истинно безстрашнымъ приведеніемъ ея въ исполненіе онъ былъ обязанъ своимъ медленнымъ постепеннымъ возвышеніемъ. Исполнительность, настойчивость, точность, неустрашимость, даже жестокость такая-то во всемъ этомъ—только эти качества дали ему возможность возвыситься изъ ничтожества до почестей и достигнуть значительнаго матеріальнаго обезпеченія, причемъ онъ съ чистой совѣстью могъ сказать, что каждая копѣйка досталась ему кровью. Весь отдавшійся безпрекословно служенію своей идеѣ, онъ безстрашно порвалъ всякую связь какъ съ горькою долей семьи, въ которой родился, такъ и вообще съ вопросами вообще личной жизни, какъ своей, такъ и съ вопросами личной жизни и убогихъ интересовъ толпы, надъ которою онъ такъ безстрашно выполнялъ все, что повелятъ. Собственная семья его—жена и дѣти—были какъ-бы маленькимъ образчикомъ его отношеній къ дѣйствительнымъ, не государственнымъ интересамъ жизни. Къ ихъ негосударственнымъ, простымъ желаніямъ, къ ихъ индивидуальнымъ стремленіямъ онъ относился по истинѣ безъ пощадъ. Дѣти съ раннаго дѣтства, а жена съ перваго дня замужества должны были отказываться отъ всякаго права на какую-нибудь свободу, на какое-нибудь самое органическое самостоятельное желаніе. Ему въ исполненіи его обязанностей (считавшихся имъ священными, хотя большею частью эти обязанности ничего не заключали въ себѣ кромѣ жестокости и безчеловѣчія) никто не долженъ былъ мѣшать ни крикомъ, ни стукомъ, ни привязанностью къ чему-бы и къ кому-бы то ни было, ни характерною чертою нрава, словомъ—ни какимъ-бы то ни было, самымъ малѣйшимъ проявленіемъ самостоятельности... У ребенка проявляется стремленіе къ живописи, къ музыкѣ—чепуха и вадоръ, который надо вырвать теперь же съ корнемъ: ребенокъ этотъ долженъ вырасти чиновникомъ, такимъ же безпримѣрнымъ и безотвѣтнымъ, какъ и отецъ,—въ этомъ высшая цѣль жизни, въ этомъ вся заслуга человѣка и предъ Богомъ, и предъ родной... Дочь хочетъ выйти замужъ за человѣка, который ей понравился, но этотъ человѣкъ не слѣдуетъ—ни браку этому не бывать: ее самъ отецъ выдастъ за того, кого онъ полюбилъ за исполнительность и за какія-нибудь другія, тоже выгодныя для казеннаго интереса качества... И такъ было во всемъ: желѣзною волею этого человѣка была раздавлена въ самомъ корнѣ семьи всякая живая самостоятельность, вся жизнь сердца, ума, во имя чего-то высшаго дѣйствительной жизни, во имя чего-то неизмѣримо далеко отстоящаго отъ скромныхъ требованій и желаній живого человѣка.

Личность была до того подавлена въ этой семьѣ, что въ поколѣніи внуковъ замѣтна была даже какъ-бы боязнь чего-либо мало-мальски самостоятельнаго. Замѣтно было даже какъ-бы предпочтеніе ко всему «не настоящему» (впослѣдствіи это выраженіе будетъ разъяснено подробно) предъ подлиннымъ и правдивымъ. Этому, т. е. искаженію индивидуальныхъ требованій человѣка, искаженію его природныхъ инстинктовъ и желаній, способствовало кромѣ того неизбежное присутствіе въ отношеніяхъ составлявшихъ семью лицъ лжи всякаго рода и всякаго содержанія. Корень лжи лежалъ въ необычайномъ фанатизмѣ, необычайной преданности главы семьи своимъ административнымъ фантазіямъ. Такие фанатики, хотя и были въ обиліи въ русскомъ обществѣ въ дни нашего дѣтства, но число ихъ сравнительно съ массою, прильпившейся къ этимъ административнымъ фантазіямъ только изъ-за куска хлѣба или пирога, было почти ничтожное. Напротивъ, взяточничество, казнокрадство было распространено повсюду, считалось настоящимъ дѣломъ жизни, доходило до «аматерства». Нажива легкая и умѣлая поглощала плохое или почти неравнѣйшій умъ большинства неплательщичьихъ классовъ, знавшихъ большею частью на своей близкой роднѣ, а то и на собственномъ дѣтствѣ, что такое нужда, что такое голодное брюхо. Въ наживанія не было другихъ цѣлей кромѣ этого наживанія, кромѣ простой волчьей потребности удовлетворить аппетитъ, голодъ желудка. Большинство мужей, выбранныхъ «главой» для своихъ дочерей, были именно такіе люди. Безкорыстіемъ и прочими административными добродѣтелями имъ надо было только прикрываться, чтобы заслужить любовь главы, получить его дочь, а стало быть и протекцію, и покровительство. Это былъ народъ, добивавшійся выйти въ люди и тоже разрывавшій съ правдою, начинавшій свое освобожденіе прямо съ отказа отъ своего родства съ этою правдою убожества, чтобы на ея счетъ завоевать себѣ кусокъ хлѣба—только кусокъ и больше ничего. Правда, большинство изъ нихъ шло на эту несправедливую наживу изъ крайности и даже изъ благихъ побужденій: напримѣръ, изъ желанія пособить матери, выдать замужъ сестру и т. д., но не ставя ни во что ту жизнь, которая станетъ на дорогѣ къ осуществленію этихъ благихъ желаній: такъ напримѣръ, жениась по расчету и губя чужую жизнь, эти люди уже вносили съ собою въ жизнь поврежденіе совѣсти, ложь... Такимъ-то образомъ, выдавая дочерей и женя сыновей на дочеряхъ такихъ же, «просто жадныхъ» людей, родоначальникъ семьи разводилъ вокругъ себя поколѣніе, въ корнѣ попорченное безнравственностью... Въ каждой семьѣ было притворство, подавленность личная и личная другъ передъ другомъ ложь; зависимость отъ главы семьи, въ однихъ вкорененная съ дѣтства, въ другихъ (напримѣръ, въ мужьяхъ всѣхъ его дочерей) необходимая въ виду того, что глава этотъ—кромѣ родства и начальникъ, заставляли эти насильственные семьи вырабатывать самое лицемерное обличье, заставляли ежеминутно лгать, притворяться и раб-

ствовать. И поколѣніе, которое росло въ этой средѣ, должно было дышать ложью, привыкать лгать въ каждомъ своемъ движеніи, помыслѣніи, взглядѣ, считать умѣнье поступить не по правдѣ, не по настоящему за умѣнье жить, т. е. именно за правду, за настоящую задачу жизни.

Все это могло лгать и притворяться, и изощрять свои способности въ томъ и другомъ, покуда помощью этого достигалась извѣстная желанная цѣль. Цѣль эта при подавленности личности не могла быть ничѣмъ другимъ, какъ наживой, деньгами, средствами. Нажива, матеріальное благополучіе, въ буквальный смыслъ этого слова, только одно и было дѣйствительно настоящее, непритворное жизненное побужденіе во всей этой массѣ лжи, и поколѣвіе внуковъ непременно должно было по инстинкту угадать эту настоящую черту, всосать ее съ молокомъ матери. Жажда грубыхъ животныхъ наслажденій поэтому ключомъ кипѣла въ глубинѣ этихъ притворно благочестивыхъ семей. Скотскія (не соврѣмъ, употребивъ это выраженіе) побужденія пробуждались въ дѣтяхъ рано и въ сильнѣйшей степени. Но подъ давленіемъ двойного деспотизма—зависимости отъ власти главы семьи и зависимости отъ необходимости постоянно лицедрить—эти грубая, дикія животныя побужденія глубоко таились на днѣ даже самыхъ юныхъ дѣтскихъ душъ этой громадной семьи, разбѣдая эту душу жадной грубаго наслажденія,—душу, въ которой не было уже почти возможности жаждать правды, любви къ ближнему, такъ какъ все это было уже запугано въ матеряхъ и поправно примѣромъ отцовъ, женившихся изъ расчета.

Съ другой стороны, если нажива, пироги, кусокъ составляли корень и суть, которыми держались эти исполненные лжи семьи, то съ исчезновеніемъ возможности наживать все это такъ широко разросшееся семейное дерево, о которомъ идетъ рѣчь, должно было засохнуть, согнуть, рухнуть... Такъ оно и было. Бѣдный старикъ, глава семьи, только подъ конецъ жизни увидѣлъ (и умеръ отъ этого), что кромѣ зла онъ не дѣлалъ ничего... Исчезла нажива—разорвалась и притворная связь мужей и женъ, отцовъ и дѣтей... Всякій норовилъ уйти отъ бѣды, всякій чувствовалъ, что надъ нимъ виситъ божья гроза, всякій видѣлъ передъ собой пустоту, холодную, непривѣтливую, видѣлъ, что жизнь его загублена, что спасенія ему нѣтъ... Освобожденіе крестьянъ, то-есть одно только понятіе объ *освобожденіи*, сразу внесло невозможный для разслабленныхъ семей, но великій идеалъ жизни,—жизни, основанной на честномъ трудѣ, на признаніи за мужикомъ брата: вся прошлая жизнь была именно полнымъ, безпощаднѣйшимъ и безцеремоннѣйшимъ нарушеніемъ этого смысла—и вотъ настала гибель... И въ эту-то минуту явились люди, воспитанные въ самой густотѣ неуваженія чужой личности, въ самыхъ затхлыхъ разлагающихъ понятіяхъ, напримѣръ, что не думать легче и лучше, чѣмъ думать,—что не работать лучше, чѣмъ работать,—что работать долженъ мужикъ, а я выросъ большой, женюсь на богатой, поѣду за-

границу и т. д. Этому-то поколѣнію, воспитанному въ образцовой школѣ безсовѣстности, пришлось лицомъ къ лицу стоять съ суровой русской дѣйствительностью...

Началась съ этой минуты на Руси драма; понеслись проклятія, пошли самоубійства, отравы... Послышались и благословенія.

IV.

Вѣрочка очевидно была не изъ благословляющихъ. Она родилась гдѣ-то тутъ, въ этой кучѣ семей, о которой я говорилъ: она дышала этимъ сквернымъ губительнымъ воздухомъ, господствовавшимъ въ семьяхъ,—и умерла. Я твердо былъ увѣренъ, что Вѣра Андреевна Балашикина—та самая Вѣрочка, какую я помнилъ маленькой дѣвочкой. Подъ впечатлѣніемъ всего вспоминавшагося мнѣ о прошломъ большинствѣ русскихъ неплательщичьихъ семей, я почти со страхомъ вступилъ въ улицу, гдѣ сосредоточивалось большинство моихъ воспоминаній объ ужасномъ прошломъ времени...

Улица обстроилась, ее нельзя было узнать... Не было, какъ прежде, длинныхъ заборовъ, не было рытвинъ посреди дороги. Все приняло благообразный, приличный видъ. Кое-гдѣ виднѣлись фанерные столбы, чего прежде не было и въ поминѣ. Большинство домовъ были новенькіе, уютные или по крайней мѣрѣ казавшіеся уютными; тѣхъ прежняго времени сараевъ, въ двѣнадцать оконъ по лцевому фасаду, какъ прежде, не было, кромѣ стариннаго, хорошо мнѣ знакомаго дома главы и родоначальника всей этой улицы, который я сразу увидѣлъ издали, едва только вступилъ въ улицу. Къ длинная желѣзная крыша, какъ громадная спина допотопнаго животного, отливала на солнцѣ порыжѣлой красной краской, уютная собою длинный деревянный корпусъ съ дужиною по меньшей мѣрѣ одно около другого оконъ... Много вспомнилось мнѣ, едва я только глянулъ на желѣзную спину этого ископаемаго. Мнѣ именно крыша, спина, была виднѣй всего—домъ стоялъ на горѣ, улица шла въ гору. Такъ много вспомнилось и перевернуло внутри, что я тотчасъ, самъ не зная почему, перешелъ на другую сторону улицы и шелъ, не видя уже этой крыши. Мѣста все были знакомы, но все другое—не то... Не было почти ни одной знакомой фамиліи на досчечкахъ вновь выстроенныхъ домовъ; нѣкоторые изъ прежнихъ домовъ я узнавалъ и въ новыхъ: оказывалось, что переиѣна произошла отъ того, что подъ старый домъ подвели новый фундаментъ, но и тутъ фамиліи владѣльцевъ были другія; чиновниковъ конечно было больше всего; много было вдовъ чиновниковъ и военныхъ и очень много купцовъ и мѣщанъ; но ни одна фамилія не была мнѣ знакома... Кромѣ фамилій исчезли и другіе знакомые мнѣ признаки стараго жилища: та-т., почти у всѣхъ домовъ были подѣзды, чего прежде не было. Прежній чиновникъ наживался тайкомъ, старался даже продѣлать дверь для пріема мужиковъ изъ

другую улицу и огораживался заборомъ съ гвоздями, свидѣтельствуя этимъ свою недоступность. Теперешній владѣлецъ-чиновникъ, напротивъ, выдвигалъ подъѣздъ далеко впередъ своего дома и большими золотыми буквами писалъ: «даютъ со-вѣты» и пр., такъ какъ не боялся наживать на законномъ основаніи и желалъ, чтобы всѣмъ вид-но было число и обиліе приходящихъ просителей: это—реклама... Только у купеческихъ домовъ сохранился еще старый обычай строить крыльцо на дворѣ, потому что дѣла купца съ крестьяниномъ еще не настолько уяснились, чтобы можно было совершать ихъ со всею публичностью. Купцу еще требуется дворъ, обнесенный заборомъ съ гвоздями, и большія сѣни, изъ которыхъ ни въ комнаты его степенства, ни къ сосѣдямъ не могли бы доно-ситься неизбежныя при хорошемъ расчетѣ причи-танья мужика: «Бога-то въ тебѣ нѣтъ, Купидонъ Купидонычъ!» и т. д. Тѣмъ не менѣе и тутъ, при сохраненіи этого исконнаго обычая, были ужъ за-мѣтны нѣкоторыя новыя черты: такъ, изъ оконъ одного такого купеческаго дома—съ заборами и цѣпными собаками—доносились на улицу звуки фортепьяно; нетвердые пальцы и очевидно непо-слуханныя руки съ большой поспѣшностью разыгры-вали нѣчто изъ «Прекрасной Елены»... Этого преж-де не было. И какъ въ глубинѣ Африки цивилиза-ція пробирается легче всего съ помощью шарманки (читай Беккера), такъ съ помощью Оффенбаха про-берется что-нибудь (не знаю именно что) и за эти наглухо запертыя ворота... Домъ, въ которомъ еще обсытываютъ мужика, но ужъ играютъ Оффен-баха, несомнѣнно весьма отличается отъ дома, гдѣ прежде только обсытывали и служили молебны. Что-то новое несомнѣнно уже есть въ этомъ домѣ.

Такъ, походить по почти незнакомой теперь для меня улицѣ, поглазѣвъ на незнакомые мнѣ дома, фамиліи, я наконецъ рѣшился подойти и къ самому чудовищу... По истинѣ, какъ къ чудовищу, подходилъ я къ этому длинному дому. Что увижу я въ первое окно, съ которымъ поровняюсь? Но-выя-ли, незнакомыя лица, или какое-нибудь старое, измученное, искаженное страданіемъ лицо? Зна-комое лицо произвело бы на меня очень болѣзнен-ное впечатлѣніе, и я предпочиталъ бы встрѣтить лицо незнакомое или совсѣмъ никого не встрѣтить, хотя мнѣ и надо было добиться совсѣмъ другого... По счастью, роковое окно успокоило меня; гора бу-магъ, синихъ обертокъ съ надписью «Дѣло» зава-ливала это окно почти до половины. Во-второмъ окнѣ—тоже бумаги и голова, наклоненная къ сто-лу: очевидно, пишетъ человѣкъ и, очевидно, въ этомъ домѣ помѣщается какая-то канцелярія, по-тому что фигуры людей съ бумагами стали мель-кать все чаще и чаще во всѣхъ двѣнадцати ок-нахъ... У подъѣзда сидѣли, кто на ступенькахъ, кто на тротуарной тумбѣ, нѣсколько человѣкъ и стояло два-три извозчика... Очевидно, канцелярія. Остановившись и оглядѣвъ домъ, я увидѣлъ вывѣ-ску, гласившую: «Контора движенія кавказско-по-либальной желѣзной дороги»—и окончательно ус-покоился... На воротахъ не было никакой фамиліи;

въ отворенныя ворота видны были густо заросшія травой дворъ, полузавалившійся частоколъ, отго-раживавшій садъ, и необыкновенно разросшіяся деревья этого сада...

Надо было узнать, чей это домъ.

— Домъ-то? Хозяина что-ль?

— Да, хозяина...

— Это—госпожи Морозовой домъ.

Ему удивленію, это и была прежняя фамилія владѣльца. Человѣкъ въ чуйкѣ, съ сѣдой подстри-женной бородой, не замедлилъ объявить, что фа-милія эта ему извѣстна, и прибавилъ:

— Эта Морозова будетъ, стало быть его сына Владимира—стало-быть Кузьмича—жена... Ей и домъ-то достался...

— Девятьсотъ рублей получаетъ, прибавилъ другой изъ числа ожидавшихъ чего-то у крыльца.

Все это были мѣстные коренные жители; знали всю подноготную, а главное, знали, кто сколько по-лучаетъ—до тонкости. Не успѣлъ одинъ заявить, что Морозова получаетъ девятьсотъ рублей, какъ другой прибавилъ:

— Велики-ли эти деньги?... У нихъ вѣдь сколь-ко охотниковъ на эти деньги-то... Ихъ нешто мало...

— Рожали не въ свою голову—извѣстное дѣло!

— Ну, то-то и есть! какъ-бы обидѣвшись чѣмъ-то, заявилъ человѣкъ, начавшій говорить о день-гахъ.

— Фамилія была большая... Много ихъ было, фамиліевъ-то такихъ... Нонче все больше пошло такъ, что домъ подъ желѣзную отдадутъ, а сами на желѣзную—служить...

Посмѣялись этой остротѣ.

— Она, матушка (то-естъ желѣзная дорога), много ихняго брата кормить. Иной такъ-бы и сги-нулъ съ голоду—анъ, глядишь, побалуется что-нибудь въ конторѣ, сто рубликовъ и есть...

— Нашему брату отъ этого баловства-то толь-ко достается... Я вонъ почестъ годъ дожидаясь ар-бузовъ... Непозвѣстно гдѣ...

— Да вотъ извольте почитать эту штучку, вдругъ оживившись и весь вспыхнувъ, заговорилъ одинъ изъ разговаривавшихъ. Очевидно его задѣло за живое. Онъ выхватилъ бумагу и подалъ мнѣ. Въ ней было сказано.

«На предписаніе ваше отъ 15 сего іюля, чтобы получить мнѣ по накладной мороженаго судака, погруженнаго въ Астрахани ноября прошлаго 187* года, то позвольте вамъ замѣтить, которая рыба имѣетъ полную свою протухлость и тое ры-бы я принять несогласенъ. А что выскисаете вы за провозъ онныя рыбы по всѣмъ дорогамъ, и даже загнали вагонъ въ Прусскую землю, и тамъ онную рыбу таскали невѣдомо по какимъ мѣстамъ, поку-да въ полную ее скверность не превратили, то двухъ тысячъ шести сотъ рублей семи гривенъ за етакое безобразіе платить я несогласенъ, въ томъ смыслѣ, что и онная рыба сама того не стоитъ и тогда штучку придется продавать по восьми рублей судака, окромѣ потѣхи въ эфтомъ не будетъ ниче-го, а за порчу вышцетъ начальство. Посему, имѣю я донести объ онной рыбы господину министру,

объ не удовлетвореніи меня въ мераломъ судакѣ».

— Ей-богу, вотъ передъ Создателемъ — дойду до министра... повторилъ, задыхаясь, товароотправитель, покуда я читалъ эту бумагу. И едва я кончилъ одну, какъ тотчасъ являлась другая, въ которой тоже вопіяли противъ какой-то ни съ чѣмъ несообразной ошибки господъ служащихъ... Мнѣ грозило неожиданно превратиться въ судью такихъ дѣлъ, которыя были мнѣ совершенно неизвѣстны; несмотря на то, что люди эти видѣли, что я — человекъ совершенно посторонній и имѣю свое, не касающееся ихъ дѣло, несмотря на то, что я почти не отвѣчалъ имъ, потому что не зналъ въ чемъ дѣло, они одинъ передъ другимъ старались налить передо мной всѣ обиды, причиненныя имъ желѣзной дорогой. Я даже думаю, что именно совершенно постороннее желѣзной дорогѣ лицо и было то лицо, которое могло понять ихъ и сочувствовать имъ по человечеству, тогда какъ всякій специалистъ желѣзнодорожнаго дѣла, именно вслѣдствіе своей специальности, непремѣнно будетъ понимать не по человечеству, то-есть разыскивать за рыбу, которую надо выкинуть въ помойную яму, налагать штрафъ за собственную свою ошибку и т. д. Ничего не понимая, я продолжалъ молча слушать эти изліянія, когда на подъѣздѣ вдругъ появилась какая-то фигура. Изліянія замолкли... Просители сняли шапки. Фигура оглянула ихъ, оглянулась на извозчика, который тотчасъ зашевелилъ возжами, и произнесла:

— Опять вы... я говорилъ, что нельзя.

Сразу всѣ просители возопили о судакахъ, объ арбузахъ и т. п. Фигура надѣвала перчатку и говорила:

— Нельзя, господа, нельзя... я говорилъ вамъ — нельзя...

Вопли усилились, и голоса воющихъ поднялись на два тона выше.

— Нельзя, нельзя и нельзя! спускаясь съ трехъ ступенекъ, три раза произнесла фигура. Заноса ногу въ протекту, она еще разъ сказала:


— Нельзя-съ.

Затѣмъ, уложивъ портфель на колѣняхъ, прибавила:

— Невозможно-съ.

— Ну вотъ и поди!..

Я чувствовалъ вмѣстѣ съ этими людьми какую-то физическую усталость отъ этого «нельзя». Точно всѣ мускулы размякли у меня и нервы упали — такъ это «нельзя» было неминуемо и непреклонно... Вялость какая-то вмѣсто кажущагося негодованія напала на всѣхъ и уважавшая на извозчикѣ фигура казалась окруженною какою-то невидимою, но ничѣмъ непреодолимою атмосферою. Просители, еще недавно горячившіеся, какъ осеннія мухи, разбрелись въ разные стороны.

Покуда у насъ шли эти разговоры, покуда я былъ судією совершенно чуждыхъ мнѣ дѣлъ и интересовъ, цѣль моего прихода въ область стараго пепелища не покидала меня, и я продолжалъ припоми-


нать знакомые. Вспомнилъ я Владиміра Кузьмича, одного изъ сыновей главы угасшаго рода, и вспомнилъ его жену... Признаюсь, мало было надежды мнѣ узнать что-нибудь путное отъ этой особы... Это было что-то (такъ помнилось мнѣ), что-то жирное и молчаливое; было ли это существо молчаливо отъ забитости, или отъ бездарности — я не помнилъ. Помнилъ я только ея портретъ, написанный масляными красками и висѣвшій рядомъ съ портретомъ ея мужа въ ихъ гостинной собственнаго дома, и этотъ портретъ теперь припомнился мнѣ во всемъ величіи царившей въ немъ неулыбистости и тупости... Теперь, думалъ я, эта женщина съ тупымъ взглядомъ, молча и непрерывно рожавшая дѣтей, которыя росли кой-какъ, безъ всякаго разумнаго присмотра, безъ всякаго смысла, теперь эта женщина — старуха и старуха должно быть не особенно понятливая... Что она можетъ сказать мнѣ о Вѣрочкѣ, о ея бѣдѣ? Всю жизнь она ѣла, спала, рожала дѣтей и молчала — и теперь она вѣроятно продолжаетъ дѣлать то же самое, благо достался домъ, кусокъ хлѣба, благо безъ хлопотъ нарожденное племя усѣлось на легкой службѣ, большомъ жалованьи... Такъ казалось мнѣ, и я ужъ думалъ поискать кого-нибудь изъ уцѣлѣвшихъ на старомъ пепелищѣ, но выскочившій отъ нечего дѣлать за ворота сторожъ неожиданно уничтожилъ мое колебаніе, спросивъ:

— Вамъ кого угодно?

Сказать «никого» и толкаться у воротъ безъ всякой причины было неловко, и я долженъ былъ отвѣтить:

— Госпожу Морозову.

— Хозяйку? Она вотъ тутъ въ саду. Пожалуйте, я васъ проведу.

Нечего дѣлать — я пошелъ за сторожемъ.

У.

Мы вошли въ давно знакомый садъ. Помню, что здѣсь была бесѣдка, гдѣ иной разъ собирались вся многочисленная семья попотъ чаю или побѣдать, когда была хорошая погода. Помню, что была здѣсь баня... Теперь бесѣдки не было, но, къ удивленію моему, садъ не производилъ впечатлѣнія заброшеннаго мѣста, что я думалъ встрѣтить. Вмѣсто бесѣдки стояли новыя, только-что поставленныя качели; средняя дорожка, по которой мы шли, была тщательно расчищена, подметена и посыпана пескомъ; вмѣсто бани стоялъ опрятный, очевидно недавно выстроенный флигель въ четыре окна съ подъездомъ, который былъ открытъ... Въ открытыя окна флигелька несло какое-то жужжанье, обаявшееся хоромъ учащихъ дѣтскихъ голосовъ.

— Тутъ школа? съ изумленіемъ спросилъ я.

— Школа-съ, покойно отвѣтилъ сторожъ.

— Чья-жъ, кто-жъ ее держитъ?

— Сами хозяйка занимаются.

Представить себѣ жену Владиміра Кузьмича учительницей, представить себѣ портретъ, который только-что со всею яркостью нарисовался въ моемъ воспоминаніи, измѣнившимся мало-мальски осмы-

сленно—воображеніе мое рѣшительно не могло, и я спросилъ сторожа:

— Можеть, не сама учить-то? молодая, можеть, какая барышня изъ Морозовыхъ?

— Какая молодая! молодыхъ тутъ нѣту; сказываю—сама старуха, хозяйка, Анна Федоровна...

Волей-неволей приходилось повѣрить чуду—и дѣйствительно скоро я увидѣлъ дѣйствительное чудо.

Въ комнатѣ, уставленной школьными партами, за которыми сидѣло десятъ три дѣтей разнаго возраста и пола, я засталъ пожилую женщину въ черномъ платьѣ и черномъ чепцѣ, покойно, толково рассказывавшую дѣтямъ какую-то, должно быть, очень интересную вещь, потому-что ее слушали съ напряженнымъ вниманіемъ. Оказалось изъ нашихъ объясненій, что эта женщина-учительница и была та самая Анна Федоровна, портретъ которой когда-то запечатлѣлся во мнѣ своимъ тупоуміемъ; переимѣна, какую нашелъ я въ ней, была поразительна: ни одной черты не оставалось въ ней, которая бы хоть мало-мальски напоминала памятный мнѣ портретъ. Худое, но неизношенное, а запечатлѣнное думой лицо вовсе не напоминало того сплошнаго жира, который я помнилъ; глаза, когда-то не выражавшіе ничего кромѣ тупоумія, были теперь пронизательны, полны жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ сохраняли возможность быть дѣтски-наивными (такую дѣтской наивной радостью они свернули, когда я сказалъ, кто я такой); и вотъ эта-то простота, чистота души, выражающаяся въ такомъ наивномъ взглядѣ, когда-то, въ старыя времена, подъ толстымъ слоемъ сала и вліяніемъ окружающаго безсмыслія, должно быть, и казалась мнѣ тупоуміемъ. Теперь я ясно видѣлъ, что въ этомъ человѣкѣ была чистая, благородная, хотя и изстрадавшаяся душа, и что только этотъ огонь совѣсти и держалъ ее разбитое и очевидно изблѣвшее тѣло... Движенія ея худого, какъ бы съжившагося тѣла были болѣзненные, дѣлались какъ бы съ усиленіемъ, словно и руки, и ноги при каждомъ движеніи давали ей чувствовать боль...

Въ сосѣдней комнатѣ я съ полчася ожидаю ея прихода (она оканчивала урокъ, послѣ котораго распустила дѣтей) и не могъ надвинуться удивительной переимѣны, происшедшей съ этою женщиной. Очевидно, она перегорѣла въ какомъ-то сильномъ, но благотворномъ огнѣ, который растопилъ этотъ жаръ, это безсмысленное существованіе и на старости лѣтъ пробудилъ въ ней и чистую дѣтскую душу, и свѣтлую мысль, такъ глубоко и казалось навсегда зарытыя подъ толстымъ слоемъ безсмыслія. Но что именно сдѣлало ее такою, какой огонь пересоздалъ это существо? думалъ я, дожидаясь ея прихода, и, когда она, наконецъ, вошла въ комнату, проворно ступая плохо-повиновавшимися ногами, я не вытерпѣлъ и сказалъ:

— Да вы ли это, Анна Федоровна! Гляжу на васъ и глаза не вѣрю.

— И сама я не вѣрю, другъ мой... Ужъ извини, не буду величать тебя по отчеству, ребятишки пріучили меня къ простотѣ-то...

Говоря это, она суетилась, устраивая чай. Она отпирала шкафы, доставала варенье, сходилла въ сосѣдную комнату и тотчасъ возвратилась, говоря:

— Да какъ же ты меня знаешь-то? Вѣдь, чай, не помнишь совсѣмъ?..

— Я портретъ вашъ помню.

— Какой это портретъ?

— А масляными красками-то нарисованъ...

Помните, у васъ въ гостинной...

— Будеть, будетъ! Не говори... Помню все!.. Вмѣстѣ съ домою купили... Не поминай мнѣ этого ничего... Говори о себѣ... Вѣдь и тебя-то я почти не знаю... Я знаю, что родня, а въ первый разъ вижу и ребенкомъ не помню. Говори о себѣ—а про это оставь: слава Богу, что миновало...

— А именно про это и хотѣлъ говорить-то... Я прочелъ сегодня, что какая-то Калашникова...

— Вѣрочка?.. да! да, умерла, отравилась.

— Такъ это дѣйствительно—та самая, маленькая Вѣрочка?..

— Та самая, та... Ну вотъ, какъ же не переимѣниться-то? Хотя эта исторія съ Вѣрочкой—на десять лѣтъ состарилъ...

— Да, вы очень переимѣнились...

— Охъ!.. что я вынесла!

Слезы ручьемъ полились по ея худому лицу, и она такъ же быстро, какъ лились ея слезы (а лились онѣ градомъ), заговорила:

— Вѣдь у меня мужъ зарѣзался; вѣдь у меня сынъ въ Сибири, за мошенничество, вѣдь у меня дочери... (тутъ она просто захлебнулась). Вѣдь я вдругъ, ничего не зная, ничего не понимая, попала точно подъ каменный дождь... Вся избита...

Анна Федоровна рыдала; я молчалъ, вида, что этихъ слезъ мнѣ не остановить. Рыданія, почти истерическія, продолжались нѣсколько секундъ; наконецъ, она немного успокоилась, хотя не переставала плакать...

— Вѣдь пойми ты, я до этого погрома ничего не знала... Меня шестнадцать лѣтъ изъ купеческой семьи отдали за чиновника замужъ, произвели въ благородныя, и я всю жизнь была точно каменная... Мнѣ, помню, все казалось, съ самаго перваго дня свадьбы, что это только такъ, что это когда-нибудь кончится... Вотъ точно такъ, какъ бывало стоишь у обѣдни и думаешь только о томъ—скоро-ли кончится. И такъ я думала лѣтъ двадцать, куда совсѣмъ не одурѣла; дѣти у меня рождались—и тоже я думала, что это—какія-то не настоящія дѣти... Я не понимала, что именно кончится,—глупа была, у отца въ домѣ тоже многому не научилась... Что мы знали? Сидѣли за семью замками и ждали чего-то... Тутъ, какъ я въ благородную-то семью попала, гдѣ-жъ мнѣ было что разобрать? Двадцать лѣтъ жила, какъ сонная... Всѣ считали душой, да и была-то я дура сущая... Ничего какъ есть не понимала; только вотъ, говорю, чуяла, что это кончится, «отойдетъ»—и отошло... Вдругъ вѣдь это поднялось тогда; ревнивіи разныя... Гляжу, Владимиръ Кузьмичъ руки наложилъ на себя... И по-вѣришь? Только испугалась, а жалости во мнѣ не было... Ужасъ какой-то на меня напалъ—больше

ничего... Когда его похоронили, вѣсто слезъ-то весело мнѣ да и только: вдругъ меня молодость обуряла—а ужъ мнѣ было 37 лѣтъ... хоть танцуй... Ночью боялась и огня не гасила, а днемъ—то-то веселье... Чувствую, что—грѣхъ, знаю, что во всей семьѣ печаль—а нѣтъ... Отстояла я какую-то тяжелую службу—и рада... Заиграла во мнѣ молодость—и право, дай мнѣ волю, у родныхъ-бы дочерей жениховъ стала отбивать... (Ужъ невѣсты были!) Увѣряю тебя, я теперь чувствовала себя совершенно равной имъ и чужой... За ними ухаживаютъ, а мнѣ досадно... И непремѣнно-бы что-нибудь такое (мало-ли старухъ за гимназистовъ выходить, да за молоденькихъ юнкеровъ)—непремѣнно-бы что-нибудь такое, если-бы Господь не покаралъ во мнѣ родительскихъ грѣховъ... Въ дѣтяхъ эта кара-то Господня отозвалась... Какъ за судили моего родного сына за подѣлку, тутъ я узнала, что я—мать, и мать виноватая... (Анна Федоровна опять залилась слезами). Приду къ нему въ острогъ-то, а онъ меня ругать... «дура, да подлая»... да-а-а!.. «Чему вы меня учили...» (Анна Федоровна плакала горько.) «Сами за сестриними женихами волокаетесь, примѣръ подаете...» Каково это? Правда вѣдь, все правда... Онъ тоже изъ-за какой-то безстыдницы вступался въ бѣду-то... Рѣшили его въ Сибирь-то—пошла я жить точно прострѣленная... Осталось на мнѣ проклятіе, вѣдь... гнѣвъ, его укоръ... А вслѣдъ за сыномъ двѣ дочери, одна за одной, подобрали, что оставалось денегъ, да въ актрисы, да обѣ съ любовниками... Да обѣихъ любовники-то бросили... (Каждая фраза Анны Федоровны перерывалась всхлипываніемъ, и говорила она едва слышно), да обѣ мнѣ ругательными письмами, да позоръ, да срамъ... да жалъ-то, жалъ-то какъ!.. Вотъ въ какомъ огнѣ-то, милый другъ, горѣла я десять лѣтъ безъ умолку, вотъ какъ узналось, что лучше быть прачкой, лучше быть сапожникомъ, лучше нищимъ быть... Вотъ, другъ ты мой, какъ пришло намъ на умъ повиниться и прощенія попросить... Вотъ какъ и я-то за умъ ваялась... Учиться вѣдь пришлось сначала, съ азбуки... И теперь вотъ распушу дѣтей-то, да сама урокъ-то по Ушинскому твержу, куда сила хватаетъ... Кругомъ виновата, другъ мой, кругомъ... Вотъ когда опомнилась старая дура (Анна Федоровна улыбнулась сквозь слезы)... Да хоть чужимъ-то дѣтямъ скажу правду, хоть чужихъ-то ребятшекъ не загублю, какъ своихъ родныхъ, какъ меня самое загубили...

Анна Федоровна была сильно взволнована этимъ рассказомъ. Расспрашивать о грустной исторіи Вѣрочки мнѣ было трудно, надо было дать успокоиться ей, утихнутъ... Я спросилъ повтому о домѣ, о другихъ родственникахъ, узналъ, что большинство изъ нихъ кончилось не хорошо, что кромѣ Вѣрочки были и другіе такіе же горькіе случаи въ нашей роднѣ, что отъ всего состоянія всѣхъ семей уплывалъ только домъ, на доходы съ котораго и выстроены флигель. Узналъ я также изъ этихъ разспросовъ, что не все худо и скверно въ новѣйшей исторіи остатковъ этой громадной когда-то семьи,—что

есть и живое, и хорошее. Объ этомъ живомъ и хорошемъ я узналъ впрочемъ только тогда, когда наконецъ-таки рѣшился заговорить о Вѣрочкѣ...

— Какъ же это съ Вѣрочкой-то случилось? произнесъ я въ минуту раздумья, наставшаго въ разговорѣ.

— Да вотъ и съ Вѣрочкой—тоже, тоже—наша родительская вина...

— Что вы ужъ такъ на родителей нападаете? произнесъ я:—вѣдь и они не весело кончили...

— Ну, другъ любезный, мнѣ, старухѣ, некогда разыскивать виноватаго. Я знаю, что онъ есть, знаю, что и сама виновата... Вотъ ты о Вѣрочкѣ заговоришь; подумаи хорошенько: авось, виноватый-то и очень близко найдется... Ты вѣдь знаешь, что у старика (такъ она называла вышеупомянутого главу) кромѣ своей воли не было закона другого никакого... Особенно женить или замужъ выдавать... Какъ самъ считалъ хорошимъ, такъ и дѣлалъ. Такимъ-то вотъ манеромъ отдалъ замужъ онъ своихъ дочерей; первыхъ трехъ отдавалъ все за дѣльцовъ, за служакъ, за людей скучныхъ, тяжелыхъ, ничего кромѣ бумагъ незнавшихъ и умѣвшихъ только наживать деньги... Такъ онъ находилъ нужнымъ, такъ и дѣлалъ... Четвертую, самую младшую дочь, ожидала та же участь, т. е. лѣтъ шестнадцати выйти за какой-нибудь гробъ поваленный. Случилось однако не такъ: старику полюбился простой молодой малый, ничего не умѣвшій дѣлать, кромѣ какъ пѣть цыганскія пѣсни и участвовать въ попойкахъ... Это—изъ той кучи безчисленной помѣщичьей родни, которую потомъ только война севастопольская облагодарила сколько-нибудь, нарядивъ въ ополченскій мундиръ... Ну, невозможно невозможно сказать, зачѣмъ родились такіе люди, зачѣмъ жили, какое право ихъ было жить... не знаю!.. Да это и не люди были, право, не люди... Мнѣ все представляется, что это—какія-то человѣческія животныя... Вотъ это-то—т. е. что нѣкій былъ животное, просто животное, и больше ничего—и понравилось старику... (Онъ иной разъ шутилъ...) Ему было весело свести этихъ молодыхъ животныхъ, молодого малаго и свою молодую дочь... для собственного удовольствія... Что? тебѣ кажется это страннымъ? Не вѣришь, какъ это такіе постыдные люди обнаруживали такіе непотные желанія? Да у нихъ и не было никакихъ желаній, кромѣ непотныхъ—это было то, изъ-за чего они лгали, разбойничали и притворялись... Старикъ, всю жизнь заковыдывавшій себя въ служебныя обязанности, устроивъ (кажется, дня въ три либо въ недѣлю свадьбу сыгравъ) этотъ бракъ, въ самомъ-то дѣлѣ давалъ волю себѣ, самъ распутничалъ и какъ видишь очень неопратно... Разуმიбъся, насладившись этимъ скоромнымъ зрѣлищемъ, старикъ думалъ взять малаго въ ежовыя рукавицы, пристроить въ мѣсту и «сдѣлать человѣка», какихъ онъ ужъ сдѣлалъ много. Онъ въ эту пору ужъ вѣрилъ въ свое всемогущество, въ свою силу и умѣнье дѣлать людей и вообще въ свою неограниченную власть—безгранично... Вышло-то не такъ. Молодые животныя, разъ отвѣдавъ полной свободы, не поддались

потомъ ежевымъ рукавицамъ. Малый, котораго стали преслѣдовать, загонять въ семейное стойло, отбилъ отъ рукъ, въ короткое время спился и умеръ... Вѣрочка родилась послѣ его смерти, два мѣсяца; вдову, ея мать, хотѣли опять воротить въ родное гнѣздо, чтобы теперь ужъ вновь «устроить» въ какомъ-нибудь прочномъ гробѣ, такъ какъ думали: «будетъ, отвѣдала, теперь надо и притихнуть»; но это не удалось, и, почти бросивъ дочь, какъ бремя, она въ очень скоромъ времени вышла по собственному желанію за молодого купчика. Это былъ несчастнѣйшій бракъ, и она недолго прожила. Вѣрочка такимъ манеромъ осталась сиротой и жила и росла почти безъ призора, среди нашей громадной семьи... У ней не было отца, не было матери, она рано узнала сиротство, рано поняла, что она—чужая въ этой семьѣ, но что безъ семьи ей жить нельзя... Вотъ теперь и считай, что дали мы этому бѣдному ребенку... Ужъ къ непостному-то въ ней было посѣяно желаніе безграничное: вспомни свадьбу... Это желаніе непостного-то въ ней ужъ безъ всякой воли ея было и если-бы она росла съ перваго дня рожденія въ монастырѣ или въ лѣсу дремучемъ, и то сказалося бы (потомъ оно и сказалося)... Такъ было это ужасно сдѣлано, что Вѣрочка не могла уже считать, что въ жизни есть что-нибудь выше этого... Это—разъ, что мы ей дали. Потомъ припомни, что такое было въ нашихъ семьяхъ?.. Я уже говорила, что мнѣ казалось, будто *это* кончится, а Вѣрочкѣ и казаться ужъ не могло: она прямо должна была думать, что это—настоящее, то есть что всякая неправда и есть правда. Вѣдь у насъ во всемъ была ложь... Отца мы не любили, а притворялись, что любимъ и уважаемъ и благоговѣмъ; мужей мы не любили, а жила и повиновалась потому, что они намъ покупаютъ салоны и платья, кормятъ и дарятъ, а то—потому что и бьютъ. Мужья наши притворялись, что служатъ, приносить пользу, а въ сущности хлопотали только о томъ, какъ бы побольше схватить... За чѣмъ? Чтобы пожирнѣй, поскоромнѣй прожить сегодня, и завтра, и до конца жизни. Бога боялись, какъ камня, который можетъ свалиться съ крыши и убить; боялись тьмы кромѣшной и иногда трепетали (трусости, самой безграничной, въ нашей средѣ было много мѣста), но, видя, что камень этотъ долго насъ не разить, успокоивались, а иной разъ прямо думали обмануть и Бога, отслуживъ молебенъ, пожертвовавъ ризы... Такъ вотъ, другъ ты мой, въ какомъ омутѣ росло это дитя... Жить, она думала, это... какъ бы тебѣ сказать?... Это именно значить... глотать что ли (Анна Федоровна очень затруднялась опредѣленіемъ, искала словъ—и не могла найти)... то есть, чтобы тѣломъ, даже желудкомъ чувствовать веселье. Вотъ этокое... это вотъ и считалось самымъ настоящимъ, изъ-за чего надо жить... Это вотъ былъ самый корень Вѣрочкиной души... Это—мы вѣдь? Или кто другой?

Я промолчала.

— А потомъ ложь... Любовь, это—неправда, а поддѣлка подъ любовь, это—правда... Трудъ, это—такъ только, чтобы не замѣтили какой-нибудь гадости, больше ничего; вся задача—увильнуть отъ

труда, да и жизнь-то человѣческая—всѣхъ перехитрить, надуть, провести и дорваться... Не умѣю я говорить-то, а то бы я тебѣ не такъ все объяснила... Ну вотъ тебѣ примѣръ скажу: съѣсть на примѣръ къ подоконнику и барабанить по немъ часа четыре, будто играешь на фортепьяно, — это очень пріятно; посмотри на нее — артистка; а за настоящее фортепьяно съѣсть—слезы, мученье; все этому, настоящему, сопротивляется въ ней... Надо работать — это выше силъ ея... Это — если хочешь — лѣнь, но самая глубокая, то есть природная, непобѣдимая... Полюбить человѣка и жить съ нимъ, раздѣляя его труды и заботы, это — бремя, скука, тоска, мученіе; легче лечь въ гробъ, это просто, это — правда; а вотъ выскочить за старика, притворяться любящей, наивной, въ то же время — обманывать его на каждомъ шагу, вести три интриги за разъ: это и интересно, и весело, и хлопотно, словомъ, это не просто, не правда, это-то вотъ по натурѣ ей, это-то ей и нужно, она тутъ пополняетъ, повеселѣетъ. Словомъ, изъ этой несчастной дѣвочки мы выработали существо на явную гибель. Дѣтей своихъ учили мы кое-какъ (за деньги можно было, не учась ничему, получать дипломы и что угодно), а Вѣрочка, какъ сирота, которая жила то тутъ, то тамъ, еще меньше знала что-нибудь. Стало быть, только дѣйствительность, только безплодная путаница нашей жизни, пропитанное ложью влеченіе дней и годовъ, только это и учило ее. А какъ сирота, она пристально присматривалась ко всему, и вотъ вышелъ человѣкъ, который можетъ жить только изъ жажды дорваться и притомъ только въ такой обстановкѣ, гдѣ все — ложь, гдѣ все — неправда, выдумка... Ну, и нельзя ей было жить, потому что на эту бѣдную, неповинную голову гроза-то грянула ужъ совсѣмъ неожиданно-негаданно. У нея, бѣдняжки, и живу-то не было еще, какъ у нашего брата, про запасъ. Ее, другъ ты мой, вѣдь прямо сожгло огнемъ...

Анна Федоровна вздохнула и съ грустью прибавила:

— Да—народили мы уродовъ!..

— Какъ вы думаете, Анна Федоровна, надолго хватить этихъ уродовъ-то?..

— Не знаю, голубчикъ... Кажется, что надолго, а впрочемъ не знаю... Въ Россіи вѣдь до сихъ поръ чудеса творятся воочію... Вѣдь и въ нашей семьѣ-то — вѣдь и въ этомъ омутѣ — какія сокровища вдругъ оказались! Не все — несчастныя Вѣрочки... Не знаю, какъ это случилось, а есть... Кажется, и семья такая же гнусная, еще гнуснѣй нашихъ, кругомъ гнилушки, соръ, пыль — смотришь: выходитъ такое диво, точно совсѣмъ новый человѣкъ, совсѣмъ новый, прямой, умный, здоровый, честный — ну, однимъ словомъ, новый какъ есть, то есть для насъ-то, для гнилушекъ-то, новый... Вотъ я про Вѣрочку-то говорила, что гроза-то на нее нагрянула... Надо тебѣ сказать, что не въ одной нашей только семьѣ Вѣрочки вырастали — нѣтъ: во всѣхъ семьяхъ, сколько я ихъ ни знала на своемъ вѣку, — какъ грянула гроза-то, вездѣ напихали и

Вѣрочки, совсѣмъ хорошія, совсѣмъ новыя... И много такихъ-то... Опять скажу тебѣ: какъ онѣ выходили изъ этого содома непредаемыми — понять не могу, только выходили, и много ихъ есть на Руси... Прямо изъ семей, въ которыхъ цѣлыми поколѣніями не было ни о чемъ думушки, кромѣ какъ о карманѣ, прямо изъ эдакихъ-то семей стали выходить люди вполне самодовольственные и ничуть, ни капельки о себѣ недумающіе... Изъ этихъ омутовъ и болотъ появлялись молодые ребята, дѣвушки и юноши и — точно кто научилъ ихъ — вдругъ все отлично понимали, принимались за работу... Да вотъ у насъ, рядомъ съ нами, жила одна такая семья... Сколько они на своемъ вѣку замысли, перегубили народу, что это были за тираны — пересказать невозможно... А изъ ихъ семьи (очень богатые люди были) вотъ двѣ дочери вышли — не надвинули, что за красота... Пробудешь у насъ, увидишь: одна напримѣръ прѣзжаешь иной разъ зимой въ полушубкѣ, въ мужичкиихъ сапогахъ, силища, здоровье — живетъ акушеркой въ деревнѣ... Поговори-ка съ ней, узнаешь, какъ она занята дѣломъ, какъ она много знаетъ правды, которой никто не знаетъ, и не пишутъ о ней... Ни одного словечка у нея нѣтъ о себѣ — все о чужомъ горѣ, чужой бѣдѣ... Есть чуда, есть, другъ мой любезный...

Анна Федоровна помогала.

— Такъ вотъ, о Вѣрочкѣ-то... Какъ грянулъ это громъ-то, стало это все валиться, падать, рваться... А съ другой стороны (что чудомъ-то удѣлало) — стало учиться, работать, позабыло и спѣсъ дворянскую, и всякія претензіи... въ эту-то пору Вѣрочкѣ пришлось очень туго. Еще въ то время не успѣлъ родиться тотъ веселый народъ, какого теперь развелось видимо-невидимо... Посмотри-ка теперь у насъ три театра, поютъ французскія пьесы... А пьянство-то! Слава Богу, теперь есть на что попить-погулять... Жалованья какія-то явились необыкновенныя, прежде и во снѣ такихъ не снилось... Деньги появились, Богъ ихъ знаетъ откуда, у людей, которымъ бы, кажется, и получать-то ихъ незачто... Теперь, говорю, уже есть этотъ веселый и жирный омутъ, ужъ завелся онъ — а тогда его не было; тогда думали, что пришлось погибать... Тогда Вѣрочки не знали еще, что будутъ красивые дни. Прямо приходилось идти въ прачки, прямо приходилось зарабатывать тяжкимъ трудомъ хлѣбъ насущный... И нынѣ — я уже говорила тебѣ — прямо и взялись за дѣло, точно готовились къ этому, вотъ и Вѣрочка пробовала было дѣломъ-то заняться, пробовала пристать къ подругамъ, взялась за умъ... Ходила къ нимъ, вмѣстѣ читали, готовились кто въ учительницы, кто въ акушерки, кто въ телеграфистки... Ходила и она, но ничего не вышло... Нельзя и выйти-то было ничему!.. Глупо кажется ей, скучно!.. Не вѣрить ничему. Какая-нибудь изъ ея пріятельницъ скажетъ: «выучусь акушерству, буду жить въ деревнѣ, всѣмъ помогать, работать...» — Не вѣрить... думаетъ, что просто докторъ, который лекціи читаетъ, красивъ — вотъ и бѣгаетъ она, а во все не для ученія! Что прикажешь дѣлать!.. Про-

бывала въ школѣ заниматься — и это кажется ей притворствомъ... Не понимаетъ, не можетъ понять, что оборваннымъ нищимъ ребятишкамъ нужна наука, что и они — люди... Просто не понимаетъ этого!.. Учить она ихъ, но знаетъ, что это она дѣлаетъ только изъ приличія (всѣ тогда бросались учить) и что не въ этомъ главное... Да и изъ мужичиныхъ много и сію минуту есть такихъ, которые тоже думаютъ, что главное не въ этомъ, а притворяются... Теперь есть такіе и тогда были... Вотъ Вѣрочка и сошлась съ такимъ; онъ ужъ былъ женатъ на ея подругѣ (хорошая, прямая женщина), и обоимъ имъ было по вкусу это... То-есть, оба они знали, что все это тамъ, «дѣлать добро» и прочее и прочее, что все это — только такъ... а главное-то вовсе не то, и что безъ этого главного-то, — то-есть безъ обмана-то, — скука, тоска, что безъ этого «настоящаго-то» — то-есть безъ ихъ отношений, основанныхъ, какъ видишь, на обманѣ, — и жизнь не въ жизнь, и давно бы пора разогнать всѣхъ этихъ оборванныхъ мальчишекъ и прекратить всякія акушерства... Ну, можешь представлять, что была за связь... Припомни о томъ, что я тебѣ сказала, о томъ, что именно наши старыя семья пріучали считать правдой, изъ-за которой стоитъ жить, изъ-за которой живутъ люди?.. Изъ этихъ-то людей потомъ и образовался тотъ веселый омутъ, который теперь вотъ купается въ деньгахъ и поетъ французскія пѣсни... И Вѣрочка вкусила этого веселья въ самомъ началѣ... Пошло для нея, другъ мой милый, не годъ и не два, веселье, спрятанное и темное, прикрытое плутнями, хитростями, обманами... Идетъ къ «знакомымъ», а пробудетъ на свиданіи... въ гостиницахъ, оказалось, бывала... Ъдетъ въ Москву къ родственницѣ — оказывается, была не въ Москвѣ, а въ Кіевѣ, и родила... То дрожить, какъ осинный листъ, то весела, какъ ребенокъ... Оказывается, хотѣла провести кого-нибудь — и боялась; а провела, все устроила какъ слѣдуетъ — и весела, довольна... и вѣдь не изъ корысти, не отъ избытка силъ, которымъ некуда дѣться, — нѣтъ, силъ уже не было, цѣны средствамъ она не знала... А просто потому продѣлывала она все это, что тутъ, въ веселыхъ омутахъ, ей попадалось все, въ чемъ ее воспитали, чѣмъ могла она жить, а тамъ, гдѣ работали, гдѣ страдали, гдѣ хотѣли жертвовать собой, ей было не по-себѣ, скучно. Просто даже невозможно было дышать — такъ было скучно тамъ... Всѣ эти плутни, все это распутство я только потомъ узнала... До того ли мнѣ было... Но и тогда я подозрѣвала, что съ Вѣрочкой что-то творится нехорошее... И по лицу видно было, что она не чиста... Такъ она путалась въ этомъ омутѣ не годъ и не два, а пожалуй, что и цѣлыхъ пять лѣтъ подрядъ... И вдругъ — опомнилась!.. То-есть, вдругъ ее что-то какъ будто осѣнило... Ослабло ли ея здоровье, надоѣла ли ей вся гадость эта — только вдругъ она заскучала, задумалась и иной разъ реветъ ревмя... А иной зла, какъ бѣсъ, и реветъ и мечетъ на всѣхъ... Въ эту пору она часто приходила ко мнѣ, плакала, жаловалась на судьбу. Сдѣлалась скромна, аккуратна — я тогда жила въ

большой бѣдности, нанимала комнату на чердакѣ—ухаживаетъ, хлопочетъ, помогаетъ... И вотъ разъ объявила: «я, говорить, выхожу замужъ...»—«За кого?»—«За такого-то...

— За столара? перебилъ я, вспомнивъ газетное извѣстіе.

— Да, за столара... Съ давнихъ поръ у насъ славилась столарная мастерская Обручева. «Въ прежнее время» Обручевъ умѣлъ нажить деньги, «дѣлаться тузомъ... Но, вѣдь, ты ужъ знаешь, какъ «въ прежнее время» деньги наживали... Отстать отъ всѣхъ и быть богатымъ было невозможно; надо было идти вмѣстѣ со всѣми; поэтому какъ наживалъ деньги чиновникъ, такъ и купецъ, и мастеровой... То-есть, все тѣ-же дѣлались стачки и обманы на поставкахъ, все также «по знакомству» съ квартальнымъ драли мастеровыхъ въ части и т. д. Былъ въ то время одинъ хорошедь, отстать отъ него значило сгинуть, а чтобы не сгинуть, надо было плясать вмѣстѣ съ нимъ... Вотъ въ числѣ этихъ счастливицевъ того времени былъ и столаръ Обручевъ; онъ, простой мужикъ, умѣлъ понять въ чемъ дѣло и добился своего, съ настоящей мужицкой неустрашимостью... т. е., если-бы надо было убить человѣка, который мѣшалъ, онъ убилъ-бы, а дѣло-бы замазалъ—говору примѣрно. Семья его, стало быть, была такая-же, какъ и всѣ, то-есть такъ-же какъ и вездѣ царили въ ней деспотизмъ и ложь... Когда грянула гроза, то захватила она, разумѣется, и Обручева... Открылись всѣ эти увѣчья, фальшивыя поставки, полученія денегъ за то, чего не дѣлалось, не поставлялось, и т. д. Пошли дѣла въ палатахъ, исторіи у мировыхъ судей, ну, словомъ—все то же самое, что и со всѣмъ хорошедемъ... Пошло вмѣстѣ съ этимъ и въ семьѣ, т. е. въ совѣсти-то семейной, крушеніе и разореніе... «Что я съ тобой, съ чортомъ, добра видѣла?» говорила старуха-жена...—«Ты меня зарѣзала!» вопилъ мужъ... Осторожные старшіе сыновья, выученные въ гимназіи состоятельными отцомъ, ужъ настолько понимали новыя времена, что поторопились разбѣжаться... Отправились учиться и занялись заботою объ устройствѣ своей карьеры по новому, а отецъ, разоренный и въ карманѣ, и въ душѣ, остался одинъ отсиживать сроки въ острогахъ по приговорамъ судей, пьянствовать, драться съ мастеровыми и опять попадать въ судъ... Вѣрочкинъ женихъ, самый младшій изъ сыновей Обручева, одинъ только и оставался въ семьѣ, па него-то, молоденькаго мальчика, и обрушилась въ самомъ нецеремонномъ видѣ вся грязная правда его семьи. Съ ранней юности видѣлъ онъ отвратительныя семейныя ссоры, проявления дикаго деспотизма, отъ котораго его отца не могли отучить ни штрафы, ни мировые судьи, видѣлъ и слышалъ, какъ все это было осмѣяно работниками, которыхъ теперь уже безнаказанно нельзя было колотить чѣмъ ни попало, и вышелъ изъ него удивительный человѣкъ... У него не могло быть симпатій ни къ отцу, ни къ матери—онъ видѣлъ ихъ въ такомъ отвратительномъ видѣ; хохотъ простого рабочаго человѣка надъ этими мучающимися стариками открылъ ему глаза на то, что было

въ нихъ дурно, и заставилъ понять и положеніе рабочаго человѣка, надъ которымъ такъ долго орудовалъ отецъ... Вышло поэтому изъ малаго что-то... да я право и не видывала никогда ничего такого... Отецъ былъ силачъ и звѣрь, этотъ мальчишъ—одинъ нервъ и одна доброта, одна жалость, одно сознаніе виновности... У отца была жадность захватить, притянуть къ себѣ, у этого—полное равнодушіе къ себѣ... Словомъ, онъ просто ничего не понималъ и не могъ понимать ничего такого, что не было-бы самоотверженіе... Отецъ бралъ—этотъ могъ только отдавать. Отецъ думалъ, гдѣ-бы взять подрядъ: сынъ только и ждалъ, чтобы ихъ не было; отецъ не доплачивалъ рабочимъ; сынъ отдавалъ все, что у него было... Ослабѣвшій старикъ Обручевъ, постоянно полупьяный, осмѣянный и опозоренный, разубѣжденный такъ горько въ своей правотѣ и своей задачѣ жизни, потерялъ сметку и волю, и все... Остатками мастерской завѣдывалъ сынъ, женихъ Вѣрочки... Если-бы не старинныя, отцовскія знакомства, мастерской этой давно-бы не было; сынъ вовсе не заботился о барышахъ, потому что это было не въ его натурѣ... Вотъ съ этимъ-то парнемъ, который ровно ничего этого не понималъ, и познакомилась Вѣрочка... Онъ былъ моложе ея годомъ или двумя. Образованія у него не было никакого... (Надо сказать, какъ-бы въ скобкахъ прибавила Анна Федоровна,—вотъ что: одѣвался онъ въ сюртукъ; это надо знать, чтобы не думать, что Вѣрочка могла пойти за лапотника; кромѣ того у него былъ домъ и лошади, остатокъ прежняго величія)... Образованія у него не было; но было больше того, что даетъ самая обширная начитанность,—натура, не желавшая ничего, кромѣ жертвы собой... Прошлаго у него не было никакого: онъ точно родился безъ родителей; ничего въ прошломъ, какое онъ пережилъ, глядя на разгромъ семьи, у него путнаго не было; было одно такое, отъ чего хотѣлось убѣжать; онъ весь смотрѣлъ впередъ, весь желалъ отдаться другому, чѣмъ тому, что было у него за плечами... Но гдѣ это другое, гдѣ его розыскать, какъ его представить, что дѣлать съ собой—онъ не зналъ этого... Читалъ онъ стихи, самъ писалъ стихотворенія, слушалъ, что скажетъ книжный лавочникъ на толкучѣ,—вотъ какія у него средства понять свое положеніе и употребить на дѣло свою удивительную натуру... Вотъ съ такимъ-то добрымъ уродомъ (у насъ теперь и злые, и добрые—все уроды)... въ клубѣ, кажется, въ клубной библиотекѣ встрѣтились... Это было именно въ то время, когда Вѣрочка впала въ тоску; тутъ она стала читать... Разговорились о чемъ-то... о какой-то книгѣ и, разумѣется, о томъ, что дѣлать... Вѣрочка, сравнительно съ Обручевымъ, была знатокъ дѣла... Она слышалась объ томъ, что нужно дѣлать, и отъ своихъ подругъ, и въ школѣ, да и вообще, какъ наблюдательный человѣкъ, она знала, что надо дѣлать теперь, чтобы быть не хуже другихъ, только не вѣрила, только не могла дѣлать-то—вотъ ея бѣда! А поговорить, растолковать—сколько угодно. Вотъ тутъ она ему—«я бы на вашемъ мѣстѣ, я то—и то...» И книги

ему указала, какія читать, словомъ, освѣтила малому тьму, въ которую онъ глядѣлъ, всё его мысли привела въ порядокъ, распутала все, чего тотъ не понималъ... Малый влюбился въ нее, отдался ей всѣмъ сердцемъ... Откуда что взялось, проснулась отцовская энергія, прямота...

— До женитьбы я часто видала его; по моему, это было сокровище, золото; Вѣрочка тоже въ это время была очень хороша; подъ вліяніемъ его чистоты, искренности, и въ ней самой какъ будто окрѣпла вѣра въ то, что есть какая-то настоящая правда, кромѣ той, которой научили ее мы... Глядя на нихъ (почти ежедневно у меня происходили ихъ свиданія и строились планы), я радовалась за Вѣрочку и думала—авось исплыветъ?.. Увы!.. Женились, я часто бывала у нихъ... Вѣрочка никуда не выходила изъ дому и никого почти, кромѣ меня, не хотѣла видѣть... Изъ мастерской сдѣлали артель: всѣ работали; даже старика-отца поставили къ станку; даже громадная родня, которая ничего не дѣлала и, есорясь, доживала вѣкъ,—и ту приладнили къ дѣлу. Сдѣлалось это до такой степени быстро, съ такой удивительной энергіей, что, именно благодаря ей силѣ, ей почти безропотно покорились и мастера, и родня, и самъ старикъ. Все сдѣлалось хорошо. Молодой мужъ, съ необыкновенной, просто необыкновенной, даже щепетильной честностью, принялся за свое дѣло быть повѣреннымъ артели, и вотъ въ эту минуту, когда дѣло сдѣлалось, когда надо было просто дѣлать его, Вѣрочка заскучала... Дѣло оказывалось простымъ, не представляло никакого интереса... Скучно!

Анна Федоровна развела руками и пристально посмотрѣла на меня, какъ-бы желая удостовѣриться: достаточно-ли я понимаю эту трагическую минуту въ жизни Вѣрочки.

Я понималъ.

— Захотѣлось сѣздить въ клубъ... Поднялись старыя дрожжи... Сѣздила—воротилась; мужъ продолжаетъ щелкать на счетахъ, подводить итоги—скучно; а черезъ недѣлю—просто невыносимо, потому что она видитъ, что мужъ не можетъ свернуть съ этой дороги... Простота и подлинность дѣла такъ ясны ей и такъ дѣйствительно жизненны, что ей нечѣмъ дышать... Ее тянетъ въ омутъ... Ее тянетъ въ омутъ потому, что она сознаетъ, что, отдавшись дѣлу, мужъ ничего ужъ не видѣлъ другого, ничего другого, кромѣ этого, не понимаетъ... Безпредѣльной любви, которую онъ молча питалъ къ ней, ей не нужно; формы этой любви такъ просты и такъ обыкновенны, что ей душно...

— Начались на моихъ глазахъ необыкновенно грустные сцены... То вдругъ захочетъ помочь мужу, хлопочетъ съ нимъ день-два, то вдругъ представить себѣ, что она — дура, что никто этого не дѣлаетъ, что связалась она съ идіотомъ, что надъ ней всѣ смѣются, что такой-то сватался за нее и теперь женился на другой, что она несчастна, что она непремѣнно возобновить прежнее знакомство... Все это терзало и мучило ее потихоньку отъ мужа, все это она въ себѣ вымучивала или мнѣ иной разъ скажетъ. И я подозреваю, что она потихоньку отъ

мужа возобновляла старыя связи, окуналась въ веселые омуты... И, разумеется, ей становилось еще хуже, потому что, отвѣдя душу во лжи, которую она считала протестомъ, она встрѣчала дома все ту же непоколебимую вѣрность мужа и ей, и дѣлу... Эта-то преданность ей и дѣлу и терзала ее... Тутъ была настоящая, всей душой, всѣмъ сердцемъ, преданность и вѣрность—и даже глядѣть-то на нихъ Вѣрочкѣ было не по силамъ... Она каждую минуту должна была чувствовать, что въ ней нѣтъ этого ничего... Она не могла понять, какъ это можно быть *просто вѣрнымъ* всю жизнь, какъ былъ вѣренъ ей мужъ... Ей надо было чего-нибудь еще къ этому, какой-нибудь приправы, а приправы не было, была одна чистая, безъ примѣси любовь... Ей никакъ нельзя понять, какъ это можно служить дѣлу каждый день, каждый часъ, служить такъ аккуратно и однообразно, наслаждаясь только вѣрою въ это дѣло. Ей нужно было что-нибудь другое, чтобы ощущать удовольствіе этого дѣла. А ощущать его можно было только вѣрой, чего въ ней не было. Къ этимъ ощущеніямъ мы не приучали нашихъ дѣтей... Въ этихъ ощущеніяхъ—все постное, все неосознанное, а этого-то она и не могла. Она ужасно мучилась... И я думаю, что мужъ дѣйствительно замучилъ ее, заставляя ее постоянно видѣть предъ собою человека, непоколебимо преданнаго ей и дѣлу... Постоянно видѣть передъ собою укоро, живой и любящій къ тому-же, въ томъ, чего у меня нѣтъ. Да это дѣйствительно—мука. Она ее и не вынесла.

— Такъ вы думаете... отчего же именно она умерла?

— Я думаю, что мужъ просто убилъ ее своей искренностью... что постоянно, изъ дня въ день, изъ минуты въ минуту, сохраняя ее, эту искренность, вѣрность любви, сознание важности дѣла, онъ заставлялъ ее ежеминутно, изъ дня въ день, изъ часа въ часъ, ощущать въ себѣ именно недостатокъ того, что есть въ немъ; она, должно быть, каждую минуту чувствовала, что она—фальшивая, что она—хитрая, что она—нелюбящая. Покуда она не понимала, что съ ней дѣлается, она мучилась, протестовала, сваливала вину на то, на другое; но мужъ, продолжая дѣлать все одно и то же, должно быть, довелъ ее наконецъ до того, что она поняла, кто она и что съ ней... Она поняла, что въ ней нѣтъ ничего, что нужно для жизни, въ которой нѣтъ лжи... Словомъ, поняла себя и отравилась...

— Что же съ мужемъ?.. Неужели онъ не замѣчалъ ее страданій?

— Я тебѣ говорю, онъ не могъ ихъ видѣть, не могъ понимать *ничего этого*... Говорю тебѣ, что это былъ уродъ... Смерть жены для него была такая же неожиданность, какъ если-бы камень упалъ съ неба... Впрочемъ объ этомъ долго рассказывать, а я устала... Скажу только, что ему, такому-то, любящему, все потомъ рассказали про жену... Нашлись добрые люди... Это я расскажу тебѣ на досугъ... Теперь опять собираются мои ребятки...

Въ классной комнатѣ дѣйствительно возилось и смѣялось нѣсколько человекъ дѣтей.

— Вѣдь ты зайдешь еще? спросила Анна Федоровна. — Авось увидимся?

— Непремѣнно!..

Я возвратился домой отъ Анны Федоровны, сильно подавленный впечатлѣніемъ ея разсказа.

Тимоевъ, встрѣтившій меня въ корридорѣ, по обыкновенію объявилъ о томъ, что онъ «бѣгалъ», что «ничего не было» и что лавочникъ прислалъ новыхъ книгъ. — «Рокамболь-сынъ» съ запиской, что и «Отца» еще будетъ много... О письмахъ я уже давно пересталъ думать и о «Рокамболѣ» также не беспокоился...

Поглядѣвъ въ окно, я увидѣлъ, что домъ, гдѣ умерла Вѣрочка, былъ совсѣмъ выкрашенъ, смотрѣлъ ново, весело, и это опять навело меня на грустные мысли... Думалъ я объ этомъ страдальческомъ поколѣніи, припоминалъ знакомыя личности, гадалъ о будущемъ.

Стало темнѣть; пришли сумерки, а я все скучать и думалъ о томъ же... «Не пропадутъ-же эти страданія такъ, ни за что, ни про что, думалъ я: — сбѣлаютъ-же они что-нибудь»...

— Къ вамъ человекъ пришелъ! появляясь въ моей комнатѣ, объявилъ неожиданно Тимоевъ.

— Какой человекъ?

— Вотъ глядите, другой разъ приходитъ...

— Да меня-ли спрашивать-то?

— Какъ же, помяните... Нешто я не знаю?..

— Зови...

Дверь растворилась, и въ комнатѣ появился молодой купчикъ въ новой чуйкѣ, съ припороженными волосами. Купчикъ былъ мнѣ совершенно незнакомъ.

— Вотъ они! пояснилъ ему Тимоевъ, указавъ на меня.

— Очень пріятно познакомиться! произнесъ купчикъ. — Съ господиномъ Камилавкинымъ имѣю честь говорить?

— Нѣтъ, я не Камилавкинъ.

Купчикъ сдѣлалъ шагъ назадъ и обернулся къ Тимоеву.

— Ты что же это, любезный? сказалъ онъ ему обижено.

— Ты это Камилавкину письма то спрашивалъ, накинусь и я на Тимоева.

— Нешто намъ можно всѣхъ упомянуть?.. оторопѣло пробормоталъ Тимоевъ.

Признаюсь, мы съ купцомъ не пощадили Тимоева... Оба мы накинусь на него: купецъ съ правоученіями, я — съ гнѣвомъ и ожесточеніемъ. «Какъ? самыя важныя мнѣ письма, и этотъ человекъ не далъ себѣ труда узнать мою фамилію! Бѣгалъ и спрашивалъ писемъ чортъ знаетъ кому.» Я припоминалъ, что за эту бѣготню я неоднократно давалъ ему на водку, и теперь мнѣ казалось необыкновенною наглостію съ его стороны: брать деньги и обманывать. Тимоевъ въ молчаніи выслушивалъ эти монологи наши, но когда они стали къ концу понемногу ослабѣвать, онъ вдругъ вспыхнулъ и въ свою очередь прочиталъ свой монологъ... Вдругъ онъ разразился о томъ, что за шесть рублей ему не разорваться, что на его рукахъ два-

дцать нумеровъ, что всякій требуетъ, что онъ работаетъ изъ-за денегъ, а денегъ ему не очень-то щедро даютъ за услуги — все только требуютъ; онъ и за письмами бѣгай, онъ и купцу угоди, и фамилію всѣ помни — за что?.. «Слава Богу, закончилъ онъ: — авось, и у нашего брата есть о чемъ о своемъ подумать... У меня вонъ въ деревнѣ!..»

И тутъ онъ, горячась и волнуясь, сталъ рассказывать, что такое у него въ деревнѣ... Не говоря о томъ, что деревенская повѣсть Тимоева, сама по себѣ, была необыкновенно трогательна и извиняла всѣ его промахи, одна его фраза: «авось, и у нашего брата есть о чемъ подумать о своемъ», какъ нельзя лучше завершала всѣ мои сегодняшнія размышленія. И послѣ того, какъ Тимоевъ рассказалъ, что такое у него въ деревнѣ, рассказалъ драму съ овцами, съ коровами, съ пожарами, съ родней, которая выгоняетъ вонъ родню, я увидѣлъ, что у него дѣйствительно есть такое «свое», которое ни капельки не вяжется ни съ моими размышленіями, ни съ интересами купца, который, быть можетъ, очень много потерялъ, наткнувшись, вмѣсто Камилавкина, на меня и прождавъ этого свиданія цѣлый день. Да, у нихъ есть свое!.. Такое «свое», при которомъ некогда смотрѣть и замѣчать Вѣрочкиныхъ несчастій, некогда входить въ мои интересы, заботы, огорченія или въ убытки обманутаго купца... Вся связь между мной, купцомъ и Тимоевымъ держится только на копѣйкѣ, изъ-за которой Тимоевъ не пожалѣетъ ногъ и рукъ, сбѣгаетъ, «предоставить», «вычистить», а чтобы помнить все, да еще думать, у кого изъ насъ какая фамилія, — извините. Думать-то Тимоевъ будетъ о «своемъ».

На этомъ размышленіи окончилось мое сокрушеніе о судьбахъ отечества и о собственныхъ своихъ несчастіяхъ. Отправившись на почту тотчасъ послѣ того, какъ мнѣ пришлось узнать, что фамилія моя — вовсе не Камилавкинъ, я нашелъ купцу писемъ на мое имя, изъ которыхъ узналъ, что всѣ дѣла сдѣлались такъ, какъ я думалъ. Теперь мнѣ можно было ухъать, но такъ-какъ и у меня, какъ и Тимоева, было тоже о чемъ подумать о своемъ, то я и рѣшился остаться въ городѣ еще нѣсколько дней, чтобы отъ Анны Федоровны узнать еще кое-что изъ нашего современнаго горя и радостей.

V. НЕИЗЛЕЧИМЫЙ.

I. Глухой городокъ.

...Лѣтніе мѣсяцы прошлаго года мнѣ пришлось провести въ одномъ маленькомъ уѣздномъ городкѣ средней полосы Россіи. Жилъ я у моего стараго знакомаго, занимавшаго въ этомъ городкѣ должность уѣзднаго врача... Скучное это было житье... Если-бы не частыя поѣздки въ уѣздъ, которыя моему пріятелю по обязанностямъ службы приходилось дѣлать чуть не каждую недѣлю, — поѣздки, въ которыхъ и я принималъ постоянное участіе въ качествѣ простаго наблюдателя, — я не знаю, помя-

нуль-ли бы я добромъ эти лѣтніе мѣсяцы, проведенные «въ гостяхъ у друга».

Городокъ принадлежалъ къ числу самыхъ заброшенныхъ, самыхъ бѣдныхъ и глухихъ провинціальныхъ угловъ, въ которомъ, кромѣ всѣхъ видовъ бѣдности и всѣхъ видовъ неразумнаго съ бѣдностью невѣжества — то забытаго, робкаго, безпомощнаго, то самодовольнаго, и поэтому еще болѣе, чѣмъ другіе сорта, отвратительнаго — помимо всего этого, хорошо и давно знакомаго всѣмъ знающимъ русскія захолустья, городокъ этотъ поражалъ всякаго, даже посторонняго зрителя, и поражалъ очень непріятно явными признаками вымирания тѣхъ ничтожныхъ крупницъ жизненной силы, которая въ прежнее время давала ему хоть и «кой-какую», но все-таки «возможность существовать, жить, имѣть хоть и крошечныя, но все-таки дѣйствительныя цѣли, побуждавшія его, перебиваясь изо дня въ день, надѣяться на что-то въ будущемъ... Новыя времена сразу убили эти крошечныя цѣли существованія, оставили городокъ внѣ круга желѣзныхъ дорогъ, а слѣдовательно, и внѣ принесенныхъ ими денегъ, внѣ новыхъ родовъ заработка, новыхъ пунктовъ труда. Инстинктивное сознание собственнаго всегдѣшняго безсилія подсказало городку, что ни этимъ новымъ дорогамъ, ни этимъ новымъ деньгамъ и заработкамъ незачѣмъ и никогда не придется идти въ такую глушь, и вслѣдствіе этого сознанія все, что было побойчѣй, помоложе, ушло изъ города, покинувъ свои дѣдовскіе, почернѣлые, съ переломленной пополамъ высокой гнилой крышей дома, и оставило въ нихъ доживать свой вѣкъ тѣхъ, кто не умѣлъ жить и наживать деньги «по новому», кто отчаялся и махнулъ рукою...

Городокъ подгнивалъ, разваливался, заколачивалъ гнилыми досками гнилыя окна и двери опустѣвшихъ домовъ и лавокъ и безпрестанно, ежеминутно ропталъ, ропталъ на бѣдность, на то, что нечѣмъ оплатить патента, что вонъ еще идутъ какія-то права, за которыя «опять же отдай», что не только отдавать и получать новыя права, а и кормиться не на что, что торговли нѣтъ никакой, что хорошо бы было, ежели бы Господь призвалъ къ себѣ и успокоилъ... Эти жалобы и причитанья слышались всегда и повсюду: причиталъ лавочникъ, продавая захожему солдату пучокъ махорки, причиталъ за стойкой кабатчикъ, наливая проѣжаему мужичку стаканчикъ вина, причитала торговка рубцами и печенкой, сидя на горячемъ горшкѣ съ своимъ товаромъ и чувствуя, что скоро совѣмъ переведется на бѣломъ свѣтѣ всякій покупатель... Словомъ, гдѣ бы ни находился уѣздный человѣкъ, что бы онъ ни дѣлалъ, — стоялъ-ли за прилавкомъ, или такъ дома сидѣлъ на крылечкѣ передъ отходомъ ко сну, — онъ постоянно ропталъ, причиталъ и постоянно приходилъ къ той мысли, что ему осталось одно — съ миромъ принять праведную кончину. Такого рода уныніе проникло всюду, гдѣ прежде было относительное довольство, гдѣ по воскресеньямъ дымился пирожекъ и гдѣ всегда нашлась-бы новая чуйка или шалевый платокъ, чтобы пройтись

къ обѣднѣ или погулять... Что же сказать объ уныніи того уѣзднаго люда, у котораго никогда отъ сотворенія міра не было ни прилавка, ни пирога, ни чуйки и который всегда жилъ кое-какъ и кой-чѣмъ? Существованіе этого народа въ данную минуту было поистинѣ фантастическое. Нижеслѣдующій разговоръ, который однажды пришлось вести мнѣ съ толпою этого уѣзднаго люда, дасть читателю, я полагаю, нѣкоторое понятіе объ этомъ сказочномъ существованіи.

— Какъ же вы живете-то? спрашивалъ я.

— Да Богъ ее знаетъ какъ! отвѣчали мнѣ.

— Да какъ же именно?

— Да такъ вотъ именно, что кое-какъ...

— Толчешься будто вокругъ пустого мѣста, объяснялъ болѣе обстоятельно понимавшій дѣло житель; — ну, ан-но, будто и пропитываемся, вроде какъ пропитаніе!..

— Покуда Богъ грѣхамъ терпитъ, то и живы! объяснилъ другой, болѣе скромно глядѣвшій на дѣло обыватель.

И, должно быть, объясненіе это было очень вѣрное и правильное, потому что тотчасъ, какъ только было произнесено слово «Богъ», въ толпѣ обывателей произошло значительное оживленіе.

— Да что-же ты думаешь? заговорило сразу нѣсколько человѣкъ: — тутъ только и есть, что Господь явно не покидастъ...

— Явно!.. подтвердилъ хоръ.

— Послушайте-ко-сь, православные, живо заговорилъ одинъ изъ этого хора: — что было со мной!.. Пришло мнѣ дѣло такъ, что ложись да помирай... Покуда у Пастуховыхъ дѣло шло, все нячего, жили кое-какъ, а какъ пошло у нихъ на разладку, хоть воть, говорю, иди да топись... Блѣснулся, куда-суда, нѣтъ!.. Пришло помирать голодной смертью... Выскочилъ я, не помню и что и куда, выскочилъ я такъ-то изъ хибирей-то, самъ не знаю, не то топиться, не то давиться, хватъ...

Всѣ притихли, потому что это «хватъ» было произнесено удивительно весело и очевидно превѣщало какое-то удивительное проявленіе Божія милосердія.

— Хватъ, братцы мои, а какъ есть переломной на сибѣгу два зайца сидятъ...

— То-то чудеса-то!..

— Божіе произволеніе... Господь-батюшка...

— Два?

— Какъ есть, братцы мои, два зайца, и сидятъ радужкомъ не шелохнутся...

— Истинно Божее, напимѣръ, указаніе.

— Ты вотъ что расуди, отчего они не шелохнутся-то, кто ихъ держитъ-то, словно мнѣ подаютъ — «на моля, Кузнецовъ, возьми ихъ!» ты вотъ что раскуси!..

Многіе вздохнули: такъ было ясно всѣмъ, что тутъ былъ Богъ.

— Ну, я ихъ сгребъ конечно, закончилъ разказчикъ, когда всеобщее умиленіе нѣсколько ослабло: — и сволокъ къ исправнику, за полтинникъ... Ну, и перебилъ.

Немедленно со всѣхъ сторонъ послышалось же-

лание подтвердить собственнымъ опытомъ эту явную заботу Провидѣнія о бѣдномъ народѣ. Очевидно, со всякимъ былъ такой или подобный этому случай, но изъ массы начавшихся рассказовъ всѣхъ заинтересовалъ одинъ, въ которомъ всѣ были поражены очень трогательнымъ окончаніемъ. Уѣздный житель, съ которымъ приключилось это трогательное событіе, тоже, какъ и первый рассказчикъ, прежде жилъ «вокругъ купцовъ Пастуховыхъ, а какъ пошли они на разладеу, «стало ему такъ, что помирай!». Хотѣлъ онъ такъ-то разъ топиться или давиться, хорошенько онъ этого не помнить, и самъ не знаетъ, зачѣмъ побѣжалъ къ рѣкѣ... И только-было хотѣлъ бухнуть, вдругъ что-то, подъ нимъ зарозло благимъ матомъ.

— Гляжу, братцы мои, гусь, зда-ар-раве-енный-прездравенный, дикий гусь!

Сдержанный гулъ пріятнаго изумленія пронесся между слушателями.

— Фунтовъ отъ восьми, братцы мои, каемъ-то жирнымъ басомъ продолжалъ рассказчикъ:— эдакимъ вотъ манеромъ, чисто какъ окорокъ... Одно слово, вѣрный цѣлковый!.. Отдавилъ я ему ногу и крыло, глянуть такъ-то, вижу, рубъ серебра, не меньше Господь мнѣ послалъ.

— Восемь фунтовъ?.. Цѣлковый смѣло!

— Дикий гусь завсегда рубъ.

— Цѣна извѣстная!..

— И что же апосля этого случилось, братцы вы мои! жалобно возгласилъ рассказчикъ и остановился. Въ публикѣ почувствовалась ясно видимая тревога насчетъ этого рубля, посланнаго Богомъ въ видѣ гуса.

Всѣ примолкли.

— Поволокъ я его на базаръ, жалобно продолжалъ рассказчикъ,—хоть бы тѣ вотъ одна душа!.. Ходилъ-ходилъ, братцы мои, нѣтъ никого да и шабашъ!.. Я къ исправнику, не взялъ... я въ лекарю—нѣтъ дома... Я туда, я сюда, хоть вотъ ложись да помирай; то дома нѣтъ, то «не надо»... Что-жъ ты думаешь?

Послѣдняя фраза была произнесена такимъ отрывистымъ тономъ и съ такимъ рѣшительнымъ ужасомъ въ чертахъ лица рассказчика, что всѣ просто онѣмѣли, ожидая страшной развязки.

— Вѣдь такъ самъ и съѣлъ гуса-то!

Загудѣла и зачмокала толпа, сожалея.

— Такъ, братецъ ты мой, и слопалъ самъ!

— Эко не поладилось какъ!

— Эх-ма-хма-хма!.. Рубликъ-то серебреца!..

— Такъ и сожралъ!.. подбавляя масла въ огонь, прибавилъ рассказчикъ.

— Эх-хе-хе.

— Да жирный, пострѣлъ, какой — страсть! Такъ у меня все нутро и переворачивалось. Какъ гляну на него, не идетъ въ горло, да и шабашъ!..

— Эх-хе-хе-е!..

— Такъ вотъ всѣ внутренности и перевертываются, какъ гляну... Вотъ какое дѣло... Въ самую коронацію было, какъ теперь помню, вб—какой, какъ поросенокъ!..

Словомъ, существованіе этого люда было, безъ

всякаго преувеличенія, сказочное, фантастическое. «Какъ Богъ пошлетъ» и «коли пошлетъ Богъ!»— вотъ что они по сущей справедливости могли объяснить въ разгадку этого существованія: вдругъ забѣжить чуть не въ сѣни волкъ, ну, убьютъ, сдерутъ шкуру: слава Богу, это хорошо, Господь посылаетъ, а не забѣжить волкъ, или не наступишь случайно на гуса, или не наткнешься какъ-нибудь, купаясь, на шуку, не поймаешь ее рукой за жабру, не продашь—тогда хоть ложись да помирай или такъ «кой-какъ» толкись вокругъ «пустова» мѣста. Уныніе, предчувствіе, что все дѣло обывателей должно кончиться только могилой, сознаніе, что лучше всего махнуть рукой—такое утомительное и тяжелое состояніе духа проникало всѣхъ и вся, пропитывало даже, кажется, самый воздухъ, которымъ дышалъ городокъ. Никто изъ скучавшихъ и изнывавшихъ обывателей не зналъ путей, отчего это вдругъ не стало на свѣтѣ житья; почти никто не могъ-бы объяснить этого, напирѣвъ, помощью новыхъ путей и пунктовъ торговли; всѣ только «чуяли» свою гибель и чуяли ее тѣмъ сильнѣе, что на глазахъ всѣхъ жителей совершался вѣявъ фактъ, для нихъ весьма знаменательный. Съ давнихъ, съ незапамятныхъ временъ, «всей округой» владѣлъ и всѣ торговныя и вообще всякія дѣла велъ старинный, основательный домъ купцовъ Пастуховыхъ, и вотъ въ настоящую минуту этотъ-то капитальный домъ, эта древняя фамилія, которая составляла, можно сказать, всю денежную и всю дѣйствующую силу во всемъ уѣздѣ, фамилія, вокругъ которой пропитывались сотни уѣздной мелкоты, которая украшала храмы Божіи, которая уважалась въ губерніи, имѣла медали и проч.—эта-то фамилія, этотъ корень древа жизни несчастнаго уѣзда,—явно, на глазахъ всѣхъ, изводилась въ конецъ, вымирала... Божеское-ли это было поущеніе, отзывались-ли этимъ изморомъ волку овечьи слезки, какъ думалъ иной злопамятный обыватель, или просто фамилія увидѣла, что въ новѣйшее время не такъ и не съ такими капиталами орудуютъ люди, или просто отъ слишкомъ долгаго и прочнаго благополучія выродился въ ней всякій умъ и талантъ, или заѣла ее совѣсть, или все это виѣстѣ осадило и одолѣло ее—только стали твориться въ ней недобрыя дѣла, отъ которыхъ всѣмъ обывателямъ стало тяжело, уныло и тошно жить на свѣтѣ... Въ какіе-нибудь два года съ Пастуховымъ случилось множество бѣдъ. Во первыхъ, старшій братъ, бывшій по смерти родителя главою фирмы и державшій всѣ дѣла на должной высотѣ и въ строгомъ порядкѣ, вдругъ сталъ «задумываться» и сошелъ съ ума... Его отвезли въ сумасшедшій домъ въ Москву... Послѣ него осталось двое дѣтей, оба пожилые и холостые; но одинъ—горькій пьяница, босикомъ и въ рубищѣ бѣгаетъ по городу съ ругательствами на свою семью, а другой, какой-то полундіотъ, постоянно шатается по церквамъ и стоитъ гдѣ-нибудь въ углу съ закрытыми глазами... Ихъ зналъ городъ и прежде, но почему-то не придавалъ значенія ни ругательствамъ пьянаго, ни богомолью трезваго; теперь же

когда вдруг ни с того, ни с другою помѣшался, сошелъ съ ума самый старшій братъ, глава фирмы, воротило, оба полудіота обратили на себя всеобщее вниманіе, и въ пьяномъ ораніи одного, какъ и усердномъ богомольи другого стали видѣть и понимать предвѣстіе чего-то дурного... Дѣйствительно, едва успѣлъ заступитъ мѣсто старшаго брата средній, только что женившійся въ Москвѣ на богатой и засадившій своихъ идіотовъ-племянниковъ по конурамъ, какъ вдругъ молодая скончалась, неизвѣстно отъ какой болѣзни, скончалась вдругъ, поболѣвъ часа два-три. Тутъ ужъ на городъ нашелъ страхъ и уныніе, тѣмъ болѣе, что эти бѣды прямо отразились на торговыхъ оборотахъ... Они сразу уменьшились, упали: вдовецъ сталъ съ горя пьянствовать, дрался и бушевалъ и наконецъ не такъ давно найденъ въ банѣ съ перерѣзаннымъ горломъ: онъ самъ наложилъ на себя руки... Дѣла стали; приказчики крали и разбѣгались, ужасъ и страхъ напалъ на всѣхъ жителей. Домъ Пастуховыхъ стоялъ мертвый, какъ могила, съ запертыми воротами... Жители боялись пройти мимо этого дома ночью; многіе изъ нихъ слышали въ такую пору какой-то жалобный стонъ, который будто-бы леталъ вокругъ дома... Главою фирмы и владѣтелемъ капиталовъ оставался младшій братъ, до такой степени напуганный предшествовавшими несчастіями, что только усилія мѣстнаго духовенства и исправника могли отговорить его отъ поступленія въ монашество... Худой, блѣдный, трепещущій чего-то и предчувствующій что-то недоброе, отправился онъ, вслѣдствіе всеобщаго настоянія, жениться въ Москву. Но напуганные московскіе отцы и невѣсты отказывали ему, сторонились его, какъ чумы, и только съ ужасными усиліями наконецъ удалось ему выискать невѣсту въ Коломнѣ, въ бѣдной семьѣ (чего не бывало съ Пастуховыми), да и та поѣхала съ мужемъ, словно на смерть, дрожа и заливаясь слезами.

Мнѣ пришлось быть въ городѣ въ ту самую минуту, когда ждали родовъ этой жены послѣдняго представителя дома, ждали съ напряженнымъ вниманіемъ, чуя въ то же время, что опять что-то случится нехорошее. Голоса и вой вокругъ дома Пастуховыхъ слышались все чаще и чаще... Идіотъ-пьяница какъ на грѣхъ вырвался и бѣгалъ по городу, неистовствуя пуще прежняго. Это уныніе, этотъ страхъ, эти смерти, похороны, этотъ вой вокругъ дома, призывающій что-то недоброе, о которомъ всѣ думаютъ и котораго всѣ ждутъ, до такой степени сильно повліяли на меня, человѣка повидимому посторонняго, что въ короткое время пребыванія нервы мои сильно разстроились, и я, наряду со всѣми обывателями, сталъ чего-то бояться, чего-то съ тревогой ждать.

Ударъ соборнаго колокола, ударъ протяжный и унылый, однажды ночью, сразу далъ знать всему городу, что «оно», это недоброе,—случилось...

— У Пастуховыхъ несчастіе! колотятъ съ улицы въ ставню нашей квартиры, что есть мочи, кричитъ перепуганный голосъ. — Неблагополучно!.. Пожалуйте лекаря, скорѣя...

— Кто?.. Съ кѣмъ... Господи помилуй!.. слышатся ужъ голоса на улицѣ.

Но новый ударъ въ колоколъ мѣшалъ слышать отвѣтъ пастуховскаго посланнаго. Не слышно ничего, кромѣ:

— Неблагополучно... Очень непріятно!..

— Господи помилуй! Помилуй насъ, царица небесная!

— Самъ или сама?.. Съ кѣмъ?..

Но опять нельзя разобрать, съ кѣмъ «неблагополучно». Опять ударъ колокола по покойникѣ и вѣтеръ, хлопающій ставней, и стукотня бѣгущихъ ногъ, и опять гдѣ-то, не то на дворѣ, не то на улицѣ, шопотъ и причитанье:

— Господи помилуй! Господи помилуй!

— Согрѣшили, грѣшныя, предъ престоломъ твоимъ, отче Макаріе!

— Оохъ-оохъ-оохъ...

И колоколъ, и вѣтеръ.

Такія сцены навѣрное бывали во дни паденія Новгорода и Пскова. Умирала и тамъ, и тутъ идея, державшая городъ и народъ...

Цѣлую ночь я не могъ сомкнуть глазъ... Въ утру воротившійся докторъ объявилъ, что умерла молодая жена. Роды были такіе ужасные, что еще болѣе омрачило всеобщее состояніе духа. Носились слухи, что и самъ недолго выживетъ.

Начался похоронный звонъ, толки о панихидахъ, выносахъ. Мы уѣхали въ уѣздъ и только тамъ отдохнули отъ всего этого немного... Воротившись дня черезъ три, я нашелъ въ общественномъ состояніи духа сильный упадокъ... Покойнику похоронили съ честью, но ясно увидѣли, что дому Пастуховыхъ нечѣмъ держаться на свѣтѣ... Видѣли, что тутъ совершается дѣло, которому не пособить никакими капиталами. Очевидно, «все пойдетъ прахомъ...» Самъ бросилъ всѣ дѣла и тоже сталъ задумываться. Навиветъ недолго; кому все это достанется? Пріѣдутъ какіе-нибудь «ахахи-блинники» изъ родни, заберутъ капиталъ, домъ отдадутъ подъ солдатъ, а не то оставятъ размыватъ дождямъ и разбѣвать вѣтрамъ и снѣгамъ!.. И при этой мысли жалость обывателю щемила сердце. Пастуховы такъ давно властвовали надъ нимъ, такъ давно грабили народъ (какъ иногда осмѣливался болтать иной злой языкъ) и такъ долго и неизмѣнно хорошо все это сходило имъ съ рукъ, что горожане даже полюбили ловко обдѣлывавшій дѣла домъ и имъ жалко было, если все это изведется прахомъ.

— Вотъ она, жизнь-то человѣческая! Прахъ, тлѣніе!.. Все это носилось въ воздухѣ, въ жизни города—и все это дѣлало лѣтнее пребываніе мое здѣсь не особенно веселымъ...

Кромѣ такого похороннаго настроенія, господствовавшего въ городѣ, подъ самымъ боконъ у насъ происходило нѣчто еще болѣе непріятное, чѣмъ это похоронное настроеніе. Мы жили въ домѣ, который представлялъ собою тоже обреченное на гибель чиновничье гнѣздо, какъ на грѣхъ одаренное непомѣрною живучестью, волчьєю жаждой куса и поставленное обстоятельствами также въ необходи-

мость погибнуть изморомъ. Главою этого дома была какая-то старая отставная надворная совѣтница, госпожа Антонова; ей принадлежалъ домъ, ей принадлежали какія-то деньги, которыя она отдавала подъ проценты, и вотъ вокругъ этой женщины, пропитанной насквозь запахомъ жирныхъ подачекъ, взятокъ, вообще запахомъ какихъ-то денегъ, падающихъ съ неба, безъ трудовъ и хлопотъ, около этого центра, какъ около стараго, гнилаго пня, словно куча червей, копошилась тоже куча всякой родни, зятьевъ, свояковъ и проч. Это было дѣйствительно гнѣздо животныхъ, кажется родившихся уже съ открытою, приготовившемуся глотать пастью. Никогда мнѣ не приходилось испытывать болѣе отталкивающаго, даже отвратительнаго впечатлѣнія отъ фizioномій, какое внушали мнѣ фizioноміи почти всѣхъ представителей этой семьи. Рѣдко, почти никогда нельзя чувствовать продолжительное отвращеніе даже къ самымъ неискреннимъ фizioноміямъ; всегда, рано-ли, поздно-ли, вдругъ проглянеть черта, которая объяснитъ сразу и неискренность, и отвратительность, и объяснить, какъ по крайней мѣрѣ знаю я, всегда въ лучшую, въ добрую сторону. Ничего подобнаго не удалось мнѣ примѣтить въ этомъ гнѣздѣ надворной совѣтницы, кромѣ чего-то наглаго, плотояднаго, въ полномъ смыслѣ этого слова, я никогда ничего не замѣчалъ ни въ одномъ изъ этихъ обитателей гнѣзда... Все это былъ здоровенный, плодущій народъ, съ лоснившимися гладкими, какъ налимья кожа, лицами, съ жадными глазами, толстыми подбородками и холоднымъ взглядомъ (большей частью, у нихъ были черные глаза), который вдругъ дѣлался рабскимъ, сверкая радостью голодной собаки перedy кускомъ мяса, когда кто-нибудь изъ должниковъ приносилъ проценты или когда вообще гдѣ-нибудь близко пахло деньгами... Весь этотъ народъ, несмотря на то, что былъ молодъ, уже успѣлъ провороваться и быть подъ судомъ: такъ велика у нихъ была жажда глотать и такъ они были приготовлены десятками лѣтъ подъячества... Почти мальчиками, не учась, они поступали на разныя должности и тотчасъ-же принимались за свое дѣло. Но, должно быть, они были слишкомъ щедро надѣлены инстинктами грабительства, или такъ-же, какъ и Пастуховы, не знали, «какъ это дѣлается» въ нынѣшнее время — только, проглатывая по куску, тотчасъ-же и попадались... Тотъ слишкомъ поторопился запустить руку въ кассу на какой-то станціи желѣзной дороги, этотъ поддѣлалъ, да тоже «не какъ слѣдуетъ», вексель, а тотъ прямо перекусилъ пополамъ какого то мужичонка, надъ которымъ ему была дана власть и котораго онъ долженъ-бы былъ истощать медленно, какъ паука муху... Словомъ, всѣ они попадались на первомъ же глоткѣ, и, имѣя понятіе о свойствахъ ихъ натурѣ, потрудитесь, если можете, представить, что за зрѣлище представляло это семейство. Аппетитъ у нихъ былъ раздраженъ въ высшей степени; воспитаніе и среда развили его въ ужасныхъ размѣрахъ; тотъ маленький кусокъ, который мнѣ удалось отвѣдать на своемъ вѣку, былъ хорошъ и манилъ, танулъ отвѣдать еще, да и ко всему

этому, самымъ раздражающимъ образомъ дѣйствовало на всѣхъ постоянное соверщеніе пахнущей удачнымъ грабежомъ маменьки... Запахъ этотъ злилъ ихъ и ссорилъ между собой ежеминутно, и ежеминутно они боялись пикнуть, боялись громко сказать словечко, чтобы не потерять во мнѣніи главы этого клоповника, и шипѣли поэтому другъ на друга, какъ змѣи.

Имѣть за стѣной такое сосѣдство, знать, что тутъ, за нашей спиной, копошится что-то злое и жадное, — ощущеніе было въ высшей степени неприятное и, вмѣстѣ съ унылымъ настроеніемъ духа всего городка, дѣлало пребываніе въ немъ далеко не отдохновеніемъ; повторяю, насъ спасали только поѣздки за городъ, въ деревню, послѣ которыхъ можно было на нѣкоторое время позабыть всѣ скучныя и дрянныя мелочи, окружавшія насъ... Но и не смотря на эти поѣздки, я бы не могъ прожить здѣсь долго, если-бы меня въ этомъ самомъ отвратительномъ гнѣздѣ госпожи Антоновой не заинтересовала одна личность, жизнь которой навела меня на нѣкоторыя, къ концѣ концовъ, очень утѣшительныя, относительно повсюду свирѣпствующаго унынія, размышленія.

Съ этимъ субъектомъ я и познакомлю теперь читателя.

II. Р а з с к а з ъ.

Въ одинъ изъ первыхъ дней послѣ моего пріѣзда въ городокъ, когда мы, отобѣдавъ, отдыхали — одинъ въ одной, другой въ другой комнатѣ — и когда въ домѣ, на дворѣ и на улицѣ царствовала невозмутимая тишина, въ пустомъ залѣ вдругъ раздался голосъ:

— Иванъ Ивановичъ, а Иванъ Ивановичъ!

— Что вамъ? отвѣчалъ мой пріятель изъ своего кабинета.

— Да мнѣ бы два словечка хотѣлось...

Говорившій, повидимому, стоялъ на улицѣ или на дворѣ и говорилъ въ отворенное окно.

— Что такое, какія словечки? шлепая туфлями и направляясь къ окну, говорилъ мой пріятель. — Здравствуйте, отецъ дьяконъ! — Какія словечки?..

— Добраго здоровья!.. Да я было хотѣлъ...

— Вы вотъ что скажите прежде всего, перебилъ его Иванъ Ивановичъ: — бросили вы пить, или нѣтъ, и принимаете ли желѣзо?

— Бросаю...

— Бросаете? Прекрасно... А желѣзо?

— Да вотъ я объ этомъ и хочу съ вами потолковать.

— Что же такое?

— Да вступаетъ-ли?

— Что вступаетъ-ли?

Какъ ни прискорбно, а надо сказать, что пріятель мой, понавъ въ такую непроходимую глушь, какъ этотъ несчастный городокъ, и видя постоянную бѣдность и невѣжество самыхъ поразительныхъ, сталъ чувствовать себя и по своимъ знаніямъ, и по средствамъ неизмѣримо выше всего этого люда и усвоилъ себѣ нѣкоторую покровительственную раз-

вязность въ обращеніи со всѣмъ этимъ народомъ. Не знаю, виноватъ-ли онъ въ этомъ.

— Что такое, продолжалъ онъ, усаживаясь у окна:— что такое «вступаешь»? Что вы тутъ толкуете? Куда «вступаешь»?

— Да желѣзо то... Точно-ли, молъ, вступаешь въ это... какъ его?..

— Въ кровь что-ли? Въ организмъ?

— Вотъ вотъ... въ это самов... Точно-ли, молъ?..

— Ахъ, отецъ Аркадій, или какъ тамъ васъ, отецъ вы или кто, ужъ не знаю... Сколько разъ я вамъ говорилъ—да! да! вступаешь! И именно вступаешь въ кровь! За какимъ же чортомъ, спрашивается, я вамъ его прописывалъ? Ну, скажите ради Бога, за какимъ чортомъ?

Отецъ дьяконъ кашлянулъ.

— Вы, продолжалъ докторъ, отдѣлая каждое слово:—вы пили, кровь у васъ теперь—не кровь, а сусло... Понимаете?.. Сусло, а не кровь!..

— Позвольте, перебилъ дьяконъ.—Господи помилуй! Да развѣ я объ этомъ? Конечно пьешь... да нѣшто я объ этомъ? Сусло! Я и самъ знаю, что сусло.

— Ну, такъ что-же тутъ, о чемъ же тутъ разговаривать? Принимайте желѣзо—и все!

— И, то есть, ужъ въ самый корень вступать?

— Я не знаю, что это за корень... Вамъ куда надо-то?

— Да по мнѣ бы въ самую настоящую точку... Еще куда?.. Въ корень, въ точку, еще куда?

— То есть, чтобъ въ самую, напимѣръ, въ жилу?..

Дьяконъ ждалъ отвѣта.

— Знаете, что я вамъ скажу, отецъ дьяконъ, довольно строгимъ тономъ заговорилъ докторъ:—Такъ говорить нельзя... Помилуйте! Да этакого разговора самъ чортъ не разберетъ... Что это значить—въ самую точку? Гдѣ самая жила, а гдѣ не самая? Вѣдь это—просто чортъ знаетъ что такое! Что такое вы говорите?..

Дьяконъ и самъ засмѣялся.

— Чортъ ее знаетъ, въ самомъ дѣлѣ, плетешь языкомъ невѣсть что!..

— Ей-Богу, вѣдь это невозможно!.. Въ точку, да въ жилу...

— Ха!-ха!-ха!.. хохоталъ дьяконъ.

— Ей-Богу, невозможно!..

Послѣ незначительнаго молчанія, во время котораго докторъ, надо думать, смягчился, разговоръ возобновился вновь.

— Я вамъ говорю, началъ докторъ спокойно и категорически:—желѣзо вступаешь въ кровь! разъ!

— Такъ!

— Поправляетъ и укрѣпляетъ нервы!

— Два! тоже категорически отчеканивалъ дьяконъ.—Далѣе?

— Да чего-жъ вамъ еще?

— А въ душу?

— Что въ душу?

— Да въ душу-то вступаешь-ли?

Этотъ вопросъ снова какъ будто встревожилъ доктора.

— Знаете, батюшка, что я вамъ скажу... Мнѣ кажется, что вы—большой охотникъ разговаривать! Вы сначала попробуйте—перестаньте пить, да почитесь, а потомъ и увидите, что будетъ съ душой...

— И возобновляется?

— Нѣтъ, отецъ Аркадій, это невозможно! Это... Это... Такъ вы хотите, чтобъ я вамъ душу возобновилъ, что-ли? Такъ? Да?..

Докторъ очевидно озябъ.

— Да какой-же мнѣ, помилуйте, тоже повидному ошестинившись, заговорилъ дьяконъ,—какой мнѣ расчетъ тамъ нервы эти самые, ежели оно не попадаетъ въ самую точку?

Докторъ бѣгалъ по комнатамъ въ очевидномъ гнѣвѣ и молчалъ.

— Никакого мнѣ нѣтъ расчету его пить, ежели оно только обопало болѣзни ходить, тамъ, въ эти въ нервы въ разные, а въ самую, значить, суть то—и нѣтъ!..

— Нѣтъ! Ради Бога, оставьте! Я не могу. Я не могу больше разговаривать такъ... Дѣлайте, что хотите.

Дьяконъ замолкъ и кашлянулъ. Возмущенный пріятель мой, большими шагами ходившій по комнатамъ, вдругъ повернулъ въ мою и проговорилъ:

— Какъ тебѣ нравится такого рода разговоръ? Слышалъ?

— Да, отвѣчалъ я.—Кто это такой?

— Не въ томъ дѣло, перебилъ меня озлобленный другъ,—но представь себѣ, какова пытка каждый божій день слушать объясненія въ такомъ родѣ: «Нельзя-ли въ самую жилу?». — «Не пускаешь» и такъ далѣе. Извольте ихъ лечить!.. У одного не пускаетъ, у другого какой-то, извольте видѣть, растетъ въ сердцѣ горохъ... Что такое? Что за чертовщина? а это—порокъ сердца... такъ въ Москвѣ сказали—горохъ, говорятъ...

Нечего сказать, любить провинціальнаго дѣтель, поймавъ терпѣливаго слушателя, поразсказать о своемъ самоотверженіи, терпѣніи и о множествахъ другихъ достоинствъ, которыхъ не видятъ и не цѣнятъ. Добрыя четверть часа слушалъ я эту похвалу собственнымъ достоинствамъ моего пріятеля, излагаемую имъ въ видѣ фактовъ невѣжества окружающихъ,—невѣжества, переносимаго имъ вотъ ужъ пятый годъ и за такое ничтожное жалованье (и объ этомъ была рѣчь). Наконецъ, онъ какъ будто усталъ, потому что остановился.

— Ты спрашивалъ, кажется, кто это такой? вспоминая мой вопросъ, переспросилъ онъ и, принявшись возиться съ своими карманными часами, заводилъ ихъ, прикладывая къ уху, продолжалъ:—это какой-то сельскій дьяконъ. Теперь онъ подъ судомъ за что-то. Кажется, за пьянство—хорошенько не знаю. Когда мнѣ съ ними пускаться въ откровенность? Н-ну, знаю. т. е. по крайней мѣрѣ слышалъ, что жена ушла отъ него и, кажется, гдѣ-то учится въ родильномъ домѣ, или что-то въ этомъ родѣ. Потомъ отлично знаю, что пьянствуетъ

и поминутно дѣзеть съ разными нелѣпыми разговорами, съ точками съ разными да съ жилами. Надоѣлъ онъ мнѣ ужасно!

— Иванъ Ивановичъ! а Иванъ Ивановичъ! робко послышался опять голосъ дьякона.

— Какъ? вы еще здѣсь? совершенно утихнувъ и успокоившись, наумился докторъ и пошелъ въ залу. — Что вы тутъ дѣлаете? Я думалъ — вы уже ушли.

— Не сердитесь Бога ради, Иванъ Ивановичъ! Что-жъ такое! Мнѣ надо разузнать, въ чемъ дѣло...

— Я вовсе не сержусь, мягко заговорилъ Иванъ Ивановичъ, — а повторяю вамъ, что такъ нельзя говорить, и всякій вамъ скажетъ то же.

— Ну, я больше не буду. Слѣдовательно, на томъ дѣло стало — принимать?

— Что такое?

— То есть желѣзо-то, принимать, стало быть?

— Конечно, принимать...

— Превосходно! Стало-быть, такъ и будетъ. Только я васъ еще хотѣлъ спросить объ одномъ, робко прибавилъ дьяконъ.

— Сдѣлайте милость, спрашивайте.

— Извольте видѣть, тихо, убѣдительно заговорилъ дьяконъ. — Теперь вы говорите порошки тамъ, нервы напримѣръ, органы и все этакое — вѣдь это физика?

— То есть какъ физика? Я не понимаю, что вы хотите сказать?

— То есть матерія, но не духъ, вотъ какъ я думаю?

— Порошки-то не духъ?

— Не порошки, а напримѣръ все прочее, весь составъ?

— А-а, ну, хорошо, ну, матерія.

— Извольте видѣть... даже и въ *«Русскомъ Словѣ»* не сказано прямо такъ, что молъ это все одно... Ежели-бы такъ, то взять палеку — вотъ тебѣ хребетъ, обмоталъ бичевкой — нервы, еще чего-нибудь надалъ — и хоть въ мировые посредники выбирай: только шалку съ краснымъ околышемъ одѣтъ...

— Ишь какъ у насъ отецъ дьяконъ-то! Остроты отпускаетъ!

— Да ей Богу, ежели такъ-то.

— Продолжайте! продолжайте... Н-ну, матерія? Ну?..

— Ну, а духъ, я говорю, слѣдовательно — часть особая, извольте видѣть!

— Положимъ, особая. Далѣе?

— А далѣе, вотъ я и сомнѣваюсь, чтобы оно на пользу было... напримѣръ для духа...

— Это, кажется, вы опять начинаете старую пѣсню? перебилъ Иванъ Ивановичъ и, должно быть, такъ ясно выразилъ нежеланіе слушать эту пѣсню, что собесѣдникъ его почти тотчасъ же и во всю мочь своего голоса заговорилъ:

— Нѣтъ! Ей Богу, нѣтъ! Иванъ Ивановичъ! Сдѣлайте одолженіе! не о порошкахъ...

Онъ какъ будто останавливалъ этими торопливыми и крикливыми фразами намѣревавшагося уйти доктора.

— Какъ не о порошкахъ? Вѣдь опять договорились до того, что «вступаютъ» и такъ далѣе?

— Передъ Богомъ, не объ этомъ! Куплю, ей-ей куплю, сію минуту...

— Такъ объ чемъ-же въ такомъ случаѣ? Я, ей Богу, васъ не понимаю.

— Два словечка! Позвольте, дайте мнѣ досказать, я сію минуту объясню вамъ. Сдѣлайте ваше одолженіе!

Коротко и рѣзко стукнулъ стулъ: докторъ очевидно сѣлъ и рѣшился слушать.

— Какъ матерія, съ разстановкою и тономъ отвѣчающаго на экзаменѣ ученика, началъ дьяконъ, — какъ матерія имѣетъ на свою пользу разные спеціи, такъ давно и духъ ихъ имѣетъ...

И замолокъ.

— Все?

— Все.

— Очень пріятно, по крайней мѣрѣ коротко.

— И такъ какъ... началъ было дьяконъ тѣмъ же тономъ.

— Да вѣдь все?

— Только еще полслова! Сдѣлайте ваше одолженіе! То есть чуть-чуть.. И такъ какъ для тѣла, слѣдовательно, есть разные порошки или тамъ примочки, то для духа они пользы не даютъ. То, слѣдовательно...

— То, что то?

— То, что духъ имѣетъ свои, напримѣръ...

— Примочки?

— Примочки не примочки, а тоже средства...

Порошки для тѣла, а для духа — надо другое... Вотъ какое дѣло! Я, какъ передъ Богомъ, вамъ говорю, сейчасъ куплю желѣза этого, а для духа-то нѣтъ!..

Надоѣло-ли доктору слушать все это, только онъ на этотъ разъ не придирался къ собесѣднику, а довольно кротко сказалъ:

— Что-жъ такое для духа, по вашему, надо?

— То-то и мудрено — «что?». Объ этомъ-то и разговоръ.

— Ну, объ этомъ вы посоветуетесь съ кѣмъ-нибудь другимъ, а тутъ ужъ — насъ!

— Съ кѣмъ же мнѣ совѣтоваться? Да тутъ во всемъ городѣ ни одинъ человѣкъ не знаетъ, что у него есть духъ и есть тѣло... Имъ бы только жалованье получать... Мнѣ спрашивать объ этомъ некого...

— Ну, и я вамъ тоже не могу помочь.

— А чтеніе напримѣръ? Какъ вы думаете?

Докторъ барабанилъ пальцемъ по подоконнику и молчалъ.

— Ежели, напримѣръ, основательное чтеніе?.. Вѣдь, я думаю, оно восстанавливаетъ? а? какъ вы думаете?

— Конечно... совершенно разсѣянно отвѣчаетъ докторъ.

— Ей-ей! Я такъ и думалъ!.. Порошки — для тѣла, — книги для духа? Да, пить перестану!

— Это-то самое было-бы лучшее...

— Ей-ей, перестану. Будь я прокляты! Вотъ

какъ! А? какъ вы думаете? И порошки, напри-
мѣръ, и чтеніе, анъ, можетъ быть, и возстановится?

— Очень можетъ быть! вовсе не интересуясь
этимъ разговоромъ и думая о чемъ-то другомъ,
пробормоталъ докторъ.

— Ей-Богу? Ну, и отлично!.. Иванъ Ивано-
вичъ! будьте отцомъ роднымъ! батюшка! жалобно
заговорилъ дьяконъ.

— Что такое?

— Одолжите книжечекъ! Сдѣлайте милости!

— Какія есть, берите, хоть сейчасъ...

— Я сейчасъ и желѣво сейчасъ...

— Заходите.

Скоро въ комнату вошелъ тщедушный, худень-
кій человѣкъ, въ истасканномъ подрясникѣ, и
робко, на цыпочкахъ, направился вслѣдъ за Иваномъ
Ивановичемъ въ его кабинетъ; проходя за-
ломъ, онъ обернулся въ мою сторону, и я увидѣлъ
прежде всего крайне странные, не то восторжен-
ные, не то испуганные, даже сумасшедшіе глаза,
ярче всего выдававшіеся на худомъ, блѣдномъ,
еще не старомъ лицѣ съ жидкими, длинными блѣ-
курыми волосами и маленькой бородкой, которую
онъ постоянно шипалъ, пробираясь на цыпочкахъ
въ кабинетъ. Тщедушное, робко согнувшееся тѣло,
это болное, испуганное лицо и глаза, полные чего-
то пугливаго и неопредѣленно оживленнаго, про-
изводили впечатлѣніе чего-то жалкаго и хилаго.

— Вотъ все, что есть, выбирайте!.. Вамъ ка-
кія книги надо? спрашивалъ мой пріятель, когда
они очутились въ кабинетѣ.

— Да мнѣ бы пофундаментальнѣе.

— Ну, вотъ выбирайте... Вотъ журналъ не
хотите ли?

— Нѣтъ, это все мимолетное.

— А вамъ надо не мимолетнаго? да?

— Да ужъ, что-нибудь по... того, поздоровѣй.

— Поздоровѣй?...

Роясь въ книгахъ, болталъ докторъ.

— Поздоровѣй вамъ? Не хотите ли взять вотъ
Шлоссера: это, я думаю, будетъ довольно здорово...

— Это что такое—Шлоссеръ?

— Исторія.

— Сдѣлайте милость, это мнѣ въ самый разъ...

— Ну, такъ вотъ и берите...

— Мнѣ бы только, Иванъ Ивановичъ, ужъ съ
самаго начала... чтонибудь...

— Да вотъ, что тутъ? «Греки»... вотъ тутъ съ
самаго начала...

— Очень вамъ благодаренъ... То-есть, какъ вы
говорите—съ самаго начала? Съ самаго начала
только греческая исторія?

— Только одна греческая... А вамъ что же?

— А раньше грековъ нѣтъ ли чего?

— Разузнется, есть. Вотъ исторія Индіи... Это
раньше грековъ.

— А еще чего не было ли раньше?

— Ужъ я, ей-Богу, не знаю... Да зачѣмъ вамъ?

— Да мнѣ бы хотѣлось ужъ, чтобы начать, на-
примѣръ, съ самаго корня...

— Опять самые корни?

— Да ей Богу, Иванъ Ивановичъ, что-жъ мнѣ
хватать верхушки? Ужъ ежели поправляться, такъ
надо, какъ слѣдуетъ... Вновь... Съ самаго, напри-
мѣръ, съ кор... съ корня... Что вы советуете? Ей-
Богу, право... Что жъ такъ-то?..

— Да такъ, такъ... Только я не знаю, что-жъ
бы такое?.. Не хотите ли «до человѣка»?

— Это—книга такая?

— Книга... Понимаете—до! Ужъ тутъ самый
корень.

— Вотъ, вотъ, вотъ! какъ-то даже сладостра-
стно зашепталъ дьяконъ:—до! Это самое и есть—
«до» всего еще?

— То есть до всего на свѣтѣ!..

— Ну, ну, ну... Это мнѣ и надо... Съ самаго...

— Съ самаго, съ самаго!—На-те, берите!

— Ну, дай вамъ Богъ здоровья... Сейчасъ при-
мусь! Вотъ это мнѣ и нужно...

— Очень радъ.

— Очень вамъ благодаренъ! А то что-жъ мнѣ,
ей-Богу,—журналы тамъ?.. Мнѣ ужъ надо все на-
ново... Иначе что-жъ такъ-то? Ужъ ежели...

— Ну, ладно, ладно!

Поблагодаривъ и бормоча все то же, то-есть,
что «ежели поправляться, такъ надо не какъ ни-
будь»—дьяконъ послѣшно, съ явнымъ намѣреніемъ
сейчасъ-же приняться за дѣло, вышелъ изъ каби-
нета, перебѣжалъ зало и направился къ банѣ, держа
подъ самымъ носомъ развернутую книгу.

— И представь себѣ, заговорилъ пріятель,
вновь появиваясь въ моей комнатѣ:—вѣдь такіе
разговоры у насъ съ нимъ идутъ чуть не каждый
Божій день... «А вступаетъ ли?», «а что душа?»,
«къ душу»—чортъ знаетъ что... Часа по два би-
тыхъ тиранилъ меня, а кончится ничѣмъ... Въ
тотъ же вечеръ напьется и надѣлаетъ разныхъ га-
достей.

— Онъ какой-то чудной!

— Пьетъ!... куралесить—дѣла разстроены, да
и жена бросила—ну вотъ, и хочетъ «все вновь»...
То порошками, то книжками... Да извольте видѣть,
чтобъ въ самую жилу... въ точку... Надоѣло. А
что, не пойти-ли намъ погулять?

Скоро мы отправились за городъ и воротились
очень поздно. Былъ душный лѣтній вечеръ. Во
время нашей долгой загородной прогулки меня не
покидала мысль объ этомъ блѣдномъ человѣкѣ, ду-
мающемъ вылечить свою душевную боль книгами и
порошками. Что это за душевная рана? Что это за
боль? Какъ? откуда нанесло ее на блѣднику? Все это
очень занимало меня. Я рѣшил непремѣнно найти
случай поговорить съ нимъ, спросить его.

III. Вечеркомъ въ глухомъ уголкѣ.—Разсказъ.

Два или три дня, слѣдовавшихъ за разговоромъ
подъ окномъ, я почти не видалъ дьякона. Онъ си-
дѣлъ въ своей банѣ, должно быть прилежно зани-
маясь чтеніемъ сочиненія «до человѣка», сидя до
поздней ночи, и только разъ или два во всѣ эти

дня, и то на минуту, подбѣгалъ въ окну спальни моего пріятеля, чтобы задать вопросъ и уйти...

— Хеліасты, Иванъ Ивановичъ, что такое? спрашивалъ онъ.

— Хеліасты?

— Вотъ тутъ сказано *«такъ же, какъ тысячелѣтнее царство для хеліастовъ...»*

— То-есть, какъ же это «такъ же»? Надо прочесть всю фразу...

Дьяконъ прочелъ какой-то очень сложный періодъ, спотыкаясь на каждомъ шагу—точно плелся онъ безъ дороги по какому-то изрытому полю, не зная, что сзади, что впереди...

По прочтеніи этой фразы, докторъ принялся соображать, а дьяконъ стоялъ и ждалъ молча...

— Чортъ ее знает! наконецъ произнесъ мой пріятель.—Да вы это просто пропускайте...

— Ну ужъ что-жъ это—пропускъ.

— Ну, я не знаю... Читайте дальше, тамъ будетъ видно...

— Гм! сдѣлалъ дьяконъ, помолчалъ и пошелъ.

Въ другой разъ онъ поймалъ Иванъ Ивановича въ ту самую минуту, когда тотъ совсѣмъ-было ушелъ на практику.

— Вотъ, прямо началъ онъ, входя и держа раскрытую книгу:—*«или, почему взрослое животное лучше новорожденнаго?»* Почему, Иванъ Ивановичъ?

— Что такое? Какое животное?

— Вообще, тутъ сказано напимѣръ такъ, что яйцо напимѣръ... да вотъ: *«или, что лучшаго въ новорожденномъ животномъ...?»*

— Дайте сюда книгу! Гдѣ это?

Дьяконъ подалъ книгу, указалъ и ждалъ.

Минутъ пять читалъ Иванъ Ивановичъ указанное мѣсто, перевертывая страницы и впередъ, и назадъ, и наконецъ сказалъ;

— Вѣдь я такъ не могу—выхватить прямо изъ середины и объяснить. Чортъ его знаетъ, что это такое? Такъ нельзя!

— Гм! опять сдѣлалъ дьяконъ.

— Я долженъ прочесть по крайней мѣрѣ нѣсколько страницъ, чтобы знать... Яйцо какое-то!.. Вы придите завтра, послѣ обѣда, мы прочтемъ.

Дьяконъ помолчалъ, перелистывая нѣсколько страницъ и задалъ было еще вопросъ:

— А что вотъ еще означаетъ «комбинація формъ»?

— Не теперь, перебилъ докторъ.—Я сейчасъ уйду. Приходите завтра на цѣлый вечеръ, мы все это разберемъ.

— Ну, ладно... У-жъ и трудно-же написано!..

— Ничего, послѣ!.. торопясь уходить, говорилъ Иванъ Ивановичъ.—Приходите.

Дьяконъ помолчалъ, повертѣлъ страницы и пошелъ, сказавъ впрочемъ, что придетъ, «непременно придетъ».

Въ назначенный для ученаго разговора вечеръ произошло однако совсѣмъ не то, что должно было произойти. Отправившись по обыкновенію за городъ, мы совершенно забыли, что «сегодня вече-

ромъ» долженъ придти дьяконъ, и спохватились только тогда, когда на дворѣ была почти ночь.

Спохватившись, мы торопливо пошли домой.

Въ комнатахъ нашей квартиры было темно, окна отворены и со двора доносился какой-то шумъ.

Оказалось, что *«ругаются»!*

Въ будничной жизни глухого русскаго уголка нѣтъ, какъ мнѣ кажется, другихъ болѣе тягостныхъ минутъ втеченіе цѣлаго дня, какъ тѣ, которыя опредѣляются словами «посидѣть вечеркомъ на крылечкѣ», «отдохнуть вечеркомъ», словомъ—побыть *такъ*, ничего не дѣлая нѣсколько вечернихъ часовъ. Вездѣ, гдѣ есть настоящая жизнь, хоть и трудная, и непріятная, въ самыхъ глухихъ уголкахъ европейскихъ большихъ городовъ, на которъныхъ фабрикахъ, вечеръ—дѣйствительно время отдыха, потому что день—дѣйствительно время тяжелого труда, время усталости, и какъ ни труденъ этотъ рабочій день, но вечеръ веселъ или по крайней мѣрѣ тихъ... Совсѣмъ не то въ глухомъ русскомъ уголкѣ. Притворяясь, по чьему-то приказанію городомъ, уголокъ заставляетъ невольно притворяться все, что ни живетъ въ немъ. Притворяется начальствомъ—исправникъ и все чиновное, все распоряджающееся, притворяется потому, что не надъ чѣмъ въ сущности начальствовать и нечѣмъ распоряджаться. Притворяется учитель, знающій очень хорошо, что наука его плоха и проку отъ нея мало, и т. д. И вотъ все это, не могущее по совѣсти не сознать, что прожитый день былъ—«одна канитель», «помаявшись» этотъ день кое-какъ, чувствуетъ вечеркомъ, когда прекращается эта «тягота маяты», потребность облегчить душу отъ ига призрачной дѣятельности, призрачной жизни... Повсюду—тихо, вездѣ заперты ворота и ставни, нигдѣ не видно огня, и кажется, что глухой уголокъ спитъ мертвымъ сномъ. Ничуть не бывало—напротивъ: вездѣ въ темныхъ спальняхъ, на «крылечкахъ», куда обыватель выползъ «посидѣть» послѣ ужина, идетъ шопотомъ, во имя потребности облегчить душу, сваливаніе душевной дряни другъ на друга... «Завезъ въ какую гибель! шепчетъ молодая жена.—Да что это? Да лучше я въ монастырь уйду. Али у меня жениховъ не было?...» «А изъ-за кого бьюсь? Изъ за васъ, чертей, все-жъ и бьюсь-то!.. Былъ-бы я одинъ, сердито шепчетъ отецъ семейства,—такъ сталъ-бы я тутъ торчать, въ такой пропасти?» Тамъ, въ темнотѣ, кто-нибудь пьетъ и прокликаетъ свою участь; въ другомъ темномъ, какъ смоль, углу кто-нибудь пьетъ и молчитъ... И всегда за этими запертыми ставнями, въ темныхъ душныхъ спальняхъ, подъ темнымъ душнымъ небомъ, на крылечкахъ уѣздный людъ пилитъ другъ друга, пилитъ тихо, чуть слышно, какъ чуть слышно звучитъ пила, которою перепиливаютъ человѣческія кости.

Вотъ именно такого рода «отдохновеніе» происходило и на нашемъ дворѣ, гдѣ на крылечкѣ отдыхала послѣ ужина вся подсудимая семья госпожи Антоновой!.. И увы! въ общемъ шипѣньи этихъ звѣрей другъ на друга громче всѣхъ раздавался голосъ дьякона,—голосъ, въ которомъ не было ни

тѣни недавняго подобострастія и робости. Напротивъ, нагло, грубо и до послѣдней степени пьяно звучалъ онъ теперь, ругательствами обрушиваясь на всѣхъ и на вся.

— Что это? слышавъ знакомый голосъ, произнесъ Иванъ Ивановичъ, появляясь въ своей комнатѣ.— Пьянъ?

Чтобъ убѣдиться въ этомъ, онъ сталъ прислушиваться. Дьяконъ ругалъ госпожу Антонову и зятевъ, благочиннаго, свою жену, книги, журналы, словомъ—все, въ ужаснѣйшемъ, невообразимомъ безпорядкѣ осаждавшее его пьяную голову...

— Акушерство! кричалъ онъ.— Акушерство! Нѣтъ, взять-бы хорошую дубину... Как-кая силамская купель, скажите пожалуйста!... Эхъ, вы-ы... акушерки!..

— Отецъ дьяконъ! перебилъ рѣчь Иванъ Ивановичъ.— Вы что-жъ это? Опять?

— Да! твердо и вызывающе отвѣчалъ дьяконъ.

— Отлично!

— Превосходно! А вы полагали, что дурака нашли? Передъ обѣдомъ и передъ ужиномъ по пороху?... На-ко—вотъ, съѣшь!..

Сконфузило это Ивана Ивановича. Онъ такъ и не отвѣтилъ ему ни слова, а стоялъ и молчалъ.

— Эхъ вы-ы, продолжалъ между тѣмъ дьяконъ, — ученые! Что ни спросишь—ничего не знаете... Какого вы чорта смыслите? Порошки... Дубье вы со всѣми вашими книгами. У человѣка душа болить, а вы, прохво...

— Затворите окно! сказалъ Иванъ Ивановичъ, очевидно совершенно разгнѣванный.— Пусть его! Это постоянно... А завтра опять прилетится...

Долго за запертымъ окномъ слышался голосъ ругавшагося дьякона... «Эхъ вы, акушерки-молочки...» «Порошковъ-бы вамъ, ворами, принять желѣзныхъ, авось вы перестанете красть...» «Хеліасты поганые!» Почитай-ко, что у Бокля сказано—свинья!» «Охъ, если-бъ Бисмаркъ васъ распалилъ!»

— Только ужъ больше я съ нимъ разговаривать не буду! Нѣтъ! говорилъ Иванъ Ивановичъ.— Нѣтъ, это мнѣ надоѣло...

На слѣдующій день, какъ того ожидалъ Иванъ Ивановичъ, готовившійся отдѣлать дьякона за вчерашнее, послѣдній не показывалъ глазъ. Не было видно его и вечеромъ, причемъ семейство Антоновой ругалось одно, собственными средствами. И только черезъ два дня, вечеромъ, я снова увидалъ его.

Онъ былъ худъ, еле живъ, грустенъ, боленъ. Долго сидѣлъ онъ молча, на приступкѣ дверей своей бани, не отвѣчая ни одного слова на остроты, направленные изъ полчища отдыхающихъ на крылечкѣ подсудимыхъ, хотя послѣдніе, видя, что онъ совершенно безсиленъ сегодня, направляли на него весь запасъ ненависти, которую должны-бы были сегодня израсходовать другъ на друга. Вслѣдствіе этого обстоятельства они были очень веселы.

— Принять-бы и мнѣ порошокъ! говорилъ кто-то на крыльцѣ:— авось меня изъ-подъ суда освободятъ...

— Что жъ: попробуй. Вонъ отецъ дьяконъ принимаетъ... говорить—совсѣмъ, говорятъ, поправляюсь...

— Да, ловко онъ третьяго дня поправился!..

— Не ту положилъ пропорцію... Надо-бы полштофъ—и порошокъ, полштофъ—и порошокъ. А онъ полштофовъ-то выпилъ штукъ шесть, а порошокъ-то одинъ... Вонъ оно и...

— Да-да-да! А то-бы и ничего?

— Чего-жъ лучше! Вполнѣ облегчаетъ... Даже такъ, что и жена опять возвращается къ мужу...

— О-о-о! Какое чудесное лекарство...

— Не вѣришь! Ей-Богу!.. Отецъ дьяконъ! Сдѣлайте милость, скажите... Что ежели напирѣвъ заняться чтеніемъ и напирѣвъ штофа четыре?..

Смѣхъ не даетъ говорить. Долго хохочутъ. Дьяконъ молчитъ и третъ лобъ.

— А что, супруга опять же къ вамъ возвратится?

— Чего-съ? сирымъ голосомъ спросилъ дьяконъ.

— Супруга, говорю, возвратится къ вамъ.

— А зачѣмъ ей въ этомъ хлѣву быть, позволите узнать?

— Вы, значить, это ее колотили, чтобъ она въ хлѣву не была?

— Значить, изъ хлѣву гнали по шеѣ-то ее?

— Да замолчите-ли вы, мерзавцы, наконецъ внѣ себя вдругъ болнымъ, надорваннымъ голосомъ заговорилъ дьяконъ, вскакивая.— Что это такое? Когда меня Господь вынесетъ отсюда!.. Господи! Билъ, билъ я! Мерзавцы такіе! Отъ этого я и боле-енъ! О-о! Господи! Да это—омуть!

Хохотъ не прекращался. Омутъ чувствовалъ, что онъ—дѣйствительно омутъ и, сознавая въ себѣ это качество, былъ безжалостенъ.

— Колотить жену по шеѣ, а самъ боленъ! Какая удивительная болѣзнь!

— О, Господи! Изверги!..

— Ха-ха-ха...

— Отецъ дьяконъ! не вытерпѣлъ я.— Подите сюда, пожалуйста!

Участіе посторонняго человѣка сразу прекратило сцену. Омутъ ужасно пугливъ; слышавъ чей-то чужой голосъ, увидавъ чье-то постороннее вниманіе, онъ сразу струсилъ, притихъ и по-маленьку-помаленьку сталъ расплзаться.

— Это вы животныя, кричалъ дьяконъ, направляясь ко мнѣ:— не понимаете, что вы—свинья, а-то знаю!.. Вотъ ужъ именно животныя... Да помилуйте, топорливо вбѣгая ко мнѣ въ комнату, весь блѣдный и дрожащій, продолжалъ онъ:— помилуйте! Я и боленъ отъ свинства; отчего-жъ это я лечусь-то, какъ не отъ свинова элементу? Господи помилуй! Да не только билъ, не вѣсть что творилъ! Вспомню только—и моря воды мало, чтобъ залить это... А они, негодные, еще разжигаютъ...

— Отдохните, отецъ дьяконъ! Сядьте!.. сказалъ я.

— О, Господи... Я и не подозревался!.. Да что! Совсѣмъ пропадаю... Ей-Богу... Ничего не поделаешь!

Онъ сѣлъ къ столу, устало наклонивъ голову и тяжело дыша.

— Что-жъ такое?

— Да совѣсти ужасъ сколько надо... а душа-то у нашего брата свиная, вотъ и разрываешься на части!.. Это зачѣмъ я порошки требую? все для этого!.. И книжки тоже, все для того-же...

— Для чего?

— Да душу-то хочу свою изъ свиной въ чело-вѣчью обратить... вотъ для чего!.. Ну, и начнешь... Индія, обезьяны какія-то... горшки подземные... нѣтъ, не убавляешь свинова элементу!.. Примеешься лечиться, пьешь-пьешь, и передъ обѣдомъ, и послѣ обѣда, и вдругъ пожелаешь сдѣлать гадость—ну, и кончено, и все бросишь и... вотъ какъ третьяго дня—напьешься и проклянешь всѣхъ... О-охъ! Странное дѣло—совѣсть!.. И сколько она теперешнее время народу ѣсть!.. Страсти!

— Какъ теперешнее время, а прежде?

— Прежде этого не было. Это только теперь стало.

— Будто?

— Вѣрно вамъ говорю. Чтѣ такое новое время, позвольте узнать, какъ по вашему?

— Говорите—вы!

— По моему такъ—правда во всемъ, чтобы по чистой совѣсти, вотъ!.. а прежнее—кривда, кривая струя... вотъ какъ... Ну, и помираешь!..

— Почему-же?

— Да не прямъ, а кривъ, и душа грива, и совѣсть—туда-сюда... и къ свинству любовь...

— Будто любовь?

— А то что же! И я это все вижу и ничего сдѣлать не могу... А отчего? Отъ совѣсти! Совѣсть проснулась въ душѣ и, какъ ключъ подъ навозной кучей, развезла эту кучу по всему двору, стало все расплываться—грязь! Умирай! И мрутъ, страсть какъ мрутъ...

— Отецъ дьяконъ! перебилъ я его.—Не можете ли вы рассказать мнѣ, какъ все это случилось съ вами?

— Какъ случилось? переспросилъ онъ и задумался.—То есть, какъ совѣсть-то проснулась и какъ куча-то расплывалась?

— Да! все, что было съ вами!

— То есть, вообще про болѣзнь?

— Ну да!

— Извольте! Видите, какъ я заболѣлъ-то... Видите, какъ... Надо вамъ сказать, что случилось это со мной годовъ пять тому назадъ. Былъ я въ то время не такимъ прохвостомъ, какъ теперь, не пьяницей, не распутникомъ, не запрещеннымъ, былъ я тогда, какъ слѣдуетъ быть отцу дьякону; степенно, солидно ходилъ въ рясы, имѣя молодую, здоровую жену, и читалъ съ полнымъ удовольствіемъ многолѣтнія,—словомъ, жилъ и во снѣ не видалъ стать пропащимъ чело-вѣкомъ... Было у меня въ дѣтствѣ, въ семинаріи, когда я былъ мальчикомъ, лѣтъ семнадцати, было у меня что-то грустное, тяжелое на душѣ, что-то какъ-будто саднило... Тянуло меня куда-то прочь; но что-то другое, чего я еще не зналъ, и что потомъ оказалось

свинымъ элементомъ, держало и не пускало... Саднило, говорю, отъ этого на душѣ, и такъ даже было однажды, что купался я, схватила меня судорога, пошелъ я ко дну и думаю, вотъ-вотъ этого мнѣ... какъ хорошо—не жить!.. Ну, вытащили. Помню, принесли меня на квартиру чуть живого—и, какъ на грѣхъ, въ ту самую минуту пріѣхалъ изъ деревни мой отецъ, тоже дьяконъ, старый, престарый... Какъ увидѣлъ я слезы его (когда онъ узналъ, что я тонулъ), какъ представилъ я всю его жизнь, съ пирогами, крестинами, со всѣми мученіями его ни съ чѣмъ несообразной жизни, мнѣ стало такъ совѣстно—что я хотѣлъ умереть, что и сказать не могу. И не то, чтобы жить мнѣ захотѣлось или жалко стало отца—нѣтъ: у меня только перестало саднить на душѣ и перестало меня тянуть куда-то, и мнѣ представилось, когда я припомнилъ жизнь отца, что и мнѣ почему-то нужно тянуть ту же лямку, что она для меня почему-то неизбежна... Мнѣ стало покойно, и я сталъ тянуть эту лямку... Первымъ долгомъ, женился я такъ, кой-какъ; любви тутъ не было никакой, а свинство было. Когда я увидалъ невѣсту—мнѣ не понравилось ея лицо. Какая-то тѣнь мечтаній зашевелилась у меня въ головѣ: не такую невѣсту представлялъ я свою... Но это было не долго... «У нея домъ!» сказали мнѣ, и мнѣ стало легче... И стало мнѣ легче, и пробудилось во мнѣ что-то еще: не понравилось мнѣ у невѣсты лицо, глаза, но стали нравиться мясистыя плечи, шея бѣлая и толстая... Я вамъ говорю ужъ все по чести.

— Пожалуйста...

— Ужъ что-жъ... Я даже не говорилъ съ ней, а ужъ чувствовалъ, что могу обнять ее и—что-то жадное пріятно текло въ крови... словомъ, свиной чело-вѣкъ преоборолъ и побѣдилъ... Это—первое. Второе явленіе свинова элементу было въ посвященіи въ дьяконы, и тутъ на первомъ планѣ болѣе важнымъ и существеннымъ казались мнѣ такіа вещи, какъ-то, что мнѣ достанется «домъ» и «садъ», что доходъ хорошъ, чѣмъ то, что налагаешь на меня санъ, чѣмъ мои нравственныя обязанности... Помню, когда посвящали меня, мнѣ пришло въ голову: «Не грѣхъ-ли это? Не безсовѣстно-ли?» Но домъ, да садъ, да жирный бокъ жены... онъ представлялся мнѣ во время посвященія, въ церкви... упругій, молодой бокъ эдакій—и сомнѣнія исчезли... Видите, какъ было мало совѣсти-то у меня! Да у всѣхъ-то больше-ли ея было? Все, что жило тогда вокругъ меня, было воспитано уважать домъ, землю, деньги больше, чѣмъ правду своей души... «По крайности домъ, по крайности деньги», говорилъ всякій, оправдывая какой-нибудь глубочайшій проступокъ противъ своей совѣсти. И никому это не казалось удивительнымъ. Теперь пошло какъ разъ на выворотъ... Ну, да что... буду рассказывать, какъ было!.. Вотъ какъ попрагъ я такимъ манеромъ свою совѣсть-то, сталъ я жить по истинѣ припѣваючи. Правда, когда я ѣхалъ съ молодой женой послѣ посвященія въ село—случилось со мной что-то вродѣ прежняго: засадило будто опять. Оглянулся я такъ-то на нее (сидѣли мы въ телѣгѣ) и думаю: зачѣмъ? Хочу ска-

затѣ ей что нибудь — и вижу, что ничего... потому что совѣсть чужой человѣкъ со мной сидитъ... Хотѣлъ подумать объ этомъ, тяжело какъ-то стало, страсть какъ тяжело, заломило во всѣхъ суставахъ... взялъ и обнялъ ее... и легче... Это случилось только разъ... А потомъ, какъ только пріѣхали, устроились, все пошло какъ по маслу. Мой начальник — отецъ Иванъ, священникъ — сильно успокоилъ меня и сразу установилъ меня на настоящей точкѣ... Рубъ, гривенникъ, «бумажка» — словомъ, деньги во всѣхъ видахъ и качествахъ; это былъ его Богъ, это была его подлинная вѣра, надежда, любовь и Софія премудрость — все! Онъ, отецъ Иванъ, есть не богъ, какъ кошелекъ — я думаю, онъ и самъ такъ представлялъ себя — кошелекъ одушевленный. Это былъ кошелекъ, да и самъ онъ если не считалъ себя кошелькомъ, то не отказался бы отъ этого прозванія, а вся вселенная, все, что есть между небомъ и землей, все это не богъ, какъ виѣстилице разнаго рода крупныхъ и мелкихъ денегъ, которая частью должны перейти въ кошелекъ отца Ивана. И какъ только какая-нибудь монета, враппавшаяся во вселенной, попадала къ нему, онъ былъ счастливъ и доволенъ, и цѣль его жизни поддерживалась какъ нельзя лучше. Любо было смотрѣть на его маленькіе глазки, когда въ рукахъ его оказывался рубъ, гривенникъ... Онъ самъ былъ маленькій, грязненькій, толстенный и неряшливый человѣкъ; но когда ему попадала бумажка, все грязно и сало и масло, которыми онъ былъ пропитанъ и пахнулъ, таяло, сверкало и расплывалось отъ тепла душевнаго. Уже одна эта искренняя радость при видѣ денегъ необычайно успокоительно дѣйствовала на меня: міросозерцаніе дѣлалось определеннымъ, особенно если принять въ расчетъ, что разговоры отца Ивана, разговоры искренніе, безъ сомнѣній и колебаній, тоже были исключительно о деньгахъ и дѣйствовали поэтому не менѣе сильно... «Вотъ онъ червь-то!» говорилъ онъ, пряча рубль, полученный съ мужиковъ за молебствіе противъ червя, и, добродушно улыбаясь, звонкимъ поворотомъ ключа запиралъ его въ столикъ. И мнѣ было такъ легко, когда я глядѣлъ на него въ это время. Въ самомъ дѣлѣ, что же могло выйти изъ всей исторіи о червѣ? Кто правъ въ ней? Мужики-ли, которые служили молебствію, или отецъ Иванъ, запиравшій рубль? Разумѣется, онъ... Я теперь ни за что, кажется, не сумѣю пересказать вамъ, какъ онъ изорщилъ свой умъ на то, чтобы знать, видѣть, гдѣ и какъ, и у кого можно получить копѣйку... И какъ онъ былъ приспособленъ достать ее!.. Какъ онъ извивался передъ помѣщикомъ, какъ грустно упрекалъ мужика въ нерадѣніи къ храму Божію, какъ искусно притворялся передъ начальствомъ, выпрашивая пособие на учебныя принадлежности, какъ добродушно и лядовито улыбался, запирая въ столикъ деньги, полученные отъ барина, какъ самодовольно поглаживалъ бороду, когда растроганный мужикъ, радѣя къ храму Божію, цѣлый день возилъ наприимѣръ изъ лѣсу дрова на дворъ къ отцу Ивану. Всего не перескажешь; но по совѣсти скажу, что

этотъ человѣкъ съ такими определенными, непоколебимыми взглядами на Божій свѣтъ, какъ на рубль или гривенникъ, а главное, искренность этого взгляда произвели на меня самое успокоительное впечатлѣніе. Мало-по-малу я сталъ терять возможность иначе смотрѣть на бѣлый свѣтъ: все устроено, чтобы намъ получать, и не намъ однимъ, а всѣмъ. Тревоги этого полученія — трудъ, а жизнь — это отдыхъ съ женой, ѣда, сонъ... Вотъ и все! Положеніе мое въ денежномъ отношеніи было недурное: у жены были домъ и деньги; жили мы одни, потому что вдовый отецъ ея пошелъ въ монастырь доживать свой вѣкъ. Жажды къ копѣйкѣ у меня не было, да я и не нуждался въ ней... Я даже могъ, какъ-бы сказать, либеральничать надъ теоріей отца Ивана, — но что теорія эта настоящая, я не могъ или пересталъ сомнѣваться.

— Стало мнѣ очень покойно...

— Любо мнѣ было, завалившись съ женой на кровать, проспать до утра, потомъ отправиться съ требой, поѣсть, попить и воротиться съ деньгами... Серьезно вамъ говорю — ѣсть, знаете-ли, жрать — было пріятно. Выпьешь водки, поѣшь и ляжешь... Вотъ какое животное... Разговаривать идешь къ отцу Ивану и тутъ тоже хорошо проводишь время... Сидитъ какой-нибудь гость съ загорѣлымъ лицомъ, съ таліей, перетянутой ремнемъ, — человѣкъ, очевидно, практический (у отца Ивана знакомые все — практичные люди) и ведетъ какой-нибудь разговоръ, ну, наприимѣръ, такой.

— И сталъ онъ, какъ полая вода, ѣздитъ на лодкѣ по моему лугу и рыбу ловить... Думаю, вѣдь лугъ-то мой... да и вода-то, стало быть, хошь она и полая — тоже моя, ежели она на моей землѣ, а слѣдовательно и рыба вѣдь тоже моя... Такъ-ли я говорю?

«— Тва-ая! чистое дѣло, твоя! глубоко убѣждено вторить отецъ Иванъ.

«— Н-ну, продолжаетъ собесѣдникъ: — ну, судари мои, думаю вѣдь надо-бы мнѣ съ него изъскать?.. За рыбу-то... Думалъ, думалъ — нѣтъ! Поймать ежели — насильство!.. Честью говорить — не дастъ ни копѣйки!.. Что же ты думаешь?»

— Замирали мы съ отцомъ Иваномъ въ такіе минуты. Ожидаешь какого-то чуда, чего-то восхитительнаго... А восхищала насъ процессъ поимки рубля, который повидимому совершенно не дается...

«— Что-жъ ты думаешь? Вѣдь придумалъ!..»

— Тутъ обыкновенно разсказчикъ останавливался, онъ зналъ, что доставляетъ намъ удовольствіе, что длить это удовольствіе — вещь пріятная, и пріостанавливался. Вся потная отъ жару и отъ чаю, полая наливалась новыя чашки, батюшка векочили и захлопнулъ дверь, чтобы не мѣшали цыплята, и все приготовилось слушать, у всѣхъ настоящая жажда, даже въ горлѣ саднить отъ предстоящаго удовольствія. Наконецъ разсказчикъ начинаеть, но не сразу.

«— Думалъ, думалъ, говорить онъ опять: — ничего не придумалъ, не выходитъ! такъ ежели взять — попадешься, а такъ — промахнешь!.. Что тутъ дѣлать?.. Совѣтовался тамъ-сямъ... Заплатить

одному адвокату три рубля... Помяли-ли-помяли-ли—путевого ничего вѣтъ... Погоди жъ, думаю!»

— Опять перерывъ съ самымъ напряженнымъ ожиданіемъ.

«— Взялъ я... по словечку, точно по золотому даря насъ, медленно и отчетливо говорилъ рассказчикъ:—взялъ я и засадилъ дугъ-то яблонями... пять яблонючекъ посадилъ...

«— А-а-а... шинить отецъ Иванъ, прищуривая глаза и догадываясь.

«— И вышелъ у меня, тоже шопотомъ, тихо-тихо и тоже прищуривая глаза, захлебывается рассказчикъ:—и вышелъ у меня—садъ!

«— Ха! точно къ студеному ручью припадая въ жгучей жаждѣ, издастъ отецъ Иванъ.

«— Да какъ пришла полая-то вода, возвышая голосъ съ каждымъ слѣдующимъ словомъ, продолжаетъ рассказчикъ:—да какъ побѣхалъ онъ, судари вы мои, по дугу-то лодкой, и натягивъ на дерево, да и сломай!..»

— Это слово рассказчикъ кричитъ, потому что это означаетъ побѣду!..

«— Ну, и...»

Рассказчикъ не продолжаетъ. Мы и такъ уже понимаемъ, въ чемъ дѣло. «Ну, и...» Это значитъ—ну, и подалъ къ мировому, что въ фруктовомъ саду поломано деревце въ сумму, примѣрно, до полутора рублей пятидесяти трехъ копѣекъ... и т. д.

— Договаривать этого нечего и незачѣмъ.

«— И много-ли жъ? спрашиваетъ отецъ Иванъ.

«— Пять-де-ся-ть рубликовъ!..

«— Баро! говоритъ отецъ Иванъ.»

— И смѣемся мы потомъ за чайкомъ довольно весело. Любо намъ толковать о томъ, какъ «онъ» не хотѣлъ платить, вертѣлся, изворачивался, а все-таки заплатилъ... Любо было знать, что мало того, что заплатилъ, да и еще сколько денегъ извелъ—бѣда!.. Иной разъ, вѣрите ли? вспомнишь теперь, такъ просто страшно!.. Точно разбойники собрались или волки—такіе у насъ бывали звѣриные разговоры...

«— Да заплатилъ ли? спрашиваетъ отецъ Иванъ.

«— Запла-атилъ.

«— Да есть ли деньги-то у него?

«— Пятнадцать тысячъ въ банкѣ!

«— Справку что ли дѣлалъ?

«— А то какъ же? Извѣстно, справился...

«— А ну, какъ упреется?

«— А въ острогъ не хочешь? Вѣдь онъ—наворный совѣтникъ, неужто захочетъ на старости лѣтъ подъ арестомъ сидѣть? Отдастъ!

«— Много ли ты съ него кладешь?

«— Пятьсотъ!

«— Ничего... Хорошо, какъ отдастъ-то...

«— Отдастъ! Подведу подъ обухъ, такъ отдастъ!.. У меня шрамъ-то, какъ ударилъ, по сейчасъ цѣлъ... Отдастъ!

«— Дѣло хорошее!..»

— «Вотъ такимъ-то родомъ звѣринствовали мы. И говорю вамъ, что въ это время, по совѣсти, потому что совѣсть-то моя оказалась свиною, по совѣсти, полагалъ я, что только рубль—настоящее

дѣло; что только кусокъ въ желудкѣ да жена ночью рядомъ—настоящее удовольствіе, а все остальное—*только такъ*... Какъ ни совѣстно, а скажу вамъ, что и на свои служебныя обязанности я смотрѣлъ только такъ... Для виду, казалось мнѣ, устроена школа, ибо чувствовалось мнѣ, что никакой науки не надо, и все это—средство только «получить со школы» что-нибудь. «Только такъ» развѣщаетъ посредникъ и другое начальство, а что крестьянинъ, мужикъ работалъ, воротилъ и ваялъ, такъ это мнѣ казалось вполне законнымъ. Я ни капельки не думалъ объ этомъ, потому что мужикъ такъ былъ самъ пропитанъ сознаніемъ своихъ обязанностей, что не давалъ труда подумать о немъ, особливо человѣку съ такими свинными наклонностями, какъ у меня. Я не приневоливалъ его давать мнѣ свои деньги, своихъ куръ, свои пироги, не приневоливалъ его служить молебень отъ червя; онъ не обижался на меня, если молебень не помогалъ ему. Отслуживъ и получивъ съ него деньги, я въ случаѣ неудачи ничуть не чувствовалъ на душѣ укора, потому что ни разу не слышалъ я отъ мужика упрека себѣ въ этой неудачѣ моей молитвы. Напротивъ, онъ, мужикъ, приписывалъ неудачу своему грѣху, считалъ себя виновнымъ, недостойнымъ милости Божіей, а я, дьяконъ, вѣстѣ съ отцомъ Иваномъ, мы ходатайствовали за него. «Не умолили Царицу небесную!» говорилъ съѣдаемый червемъ крестьянинъ.—«Да, грустно говорилъ ему отецъ Иванъ,—прогнѣвался на васъ Господь—и отчего? прибавлялъ онъ.—Все отъ того, что не радѣете къ храму Божію. Ты бы вотъ, ежели бы конечно былъ въ васъ Богъ, взялъ бы да подсобилъ когда-нибудь отцу-то твоему духовному. Анъ бы и зачлось у Бога... А то вотъ тогда только и приходите въ сознаніе, когда уже Господь совершенно разгнѣвается и нашлетъ кару».—«Это вѣрно!» говоритъ мужикъ.—«Ну, то-то и есть, пода-ко вонъ да перевозимъ мнѣ дубки изъ Егоркиной рощи, а въ легче будетъ».—«Съ моимъ удовольствіемъ!» говоритъ мужикъ и дѣйствительно съ великою охотою принимается возить дубки, вѣря, что черезъ это онъ угождаетъ Богу. Поглядишь на эту неспритворную охоту, желаніе возить дубы и воровать камни для тебя, посредника между деревней и небомъ, и право повѣришь, будто все это такъ и надо.

— «Коротко вамъ сказать, черезъ пять-шесть лѣтъ и совѣсть, и сердце мое сильно позатынулись толстымъ слоемъ равнодушія ко всему... Уважать я уже почти никого не уважалъ, зная, что почти всѣ плутуютъ, норовятъ поддѣть другъ друга, чтобы больше захватить самому. Былъ доволенъ, что и мнѣ отведенъ на землѣ участокъ и дана возможность не оставаться съ пустыми руками. И болѣе не думалъ ни о чемъ и не вѣрилъ ни чему, что не было простымъ свинствомъ... И въ такой-то дѣйственной душѣ вдругъ проснулася совѣсть... Не чистое ли это наказаніе Божіе?

IV. УЧИТЕЛЬНИЦА.

— «Случилось это совершенно неожиданно. Еще бы годикъ-другой—и на моей совѣсти выросла бы

такая кора, которой не прошибить бы никакими пулями. Но вышло иначе. Дѣло произошло самымъ простымъ манеромъ. Приѣхала къ намъ въ село учительница въ земскую школу, госпожа Абрикосова. Фигурка изъ себя довольно поджарая, хлыбковатая... и изъ *новыхъ*. Очень это насъ смѣшило съ отцомъ Иваномъ. Привыкнувъ смотрѣть на всѣ людскія дѣла и помышленія, какъ на средство получить кому-нибудь съ кого-нибудь рубль, мы не могли безъ смѣха видѣть того, кто думалъ иначе. Кромѣ того, все *новое*, само по себѣ, намъ уже казалось глупостью. У насъ были примѣры помѣщиковъ, затѣвавшихъ въ своемъ хозяйствѣ новые порядки и кончавшіе разоревіемъ, при всеобщемъ смѣхѣ сосѣдей и всѣхъ опытныхъ людей. У насъ были передъ глазами тысячи нововведеній правительственныхъ, которыя оканчивались ничѣмъ или подтверждали только нашу теорію, т. е. нововведеніе было *только такъ*, а суть состояла въ умѣнши, во имя этого нововведенія, какъ можно больше получить пособій, прибавокъ, разѣздныхъ, подъемныхъ и наконецъ награду, конечно если можно денежную. *Только такъ* смотрѣли мы и на крестьянскую школу. «Все рубляковъ пять дай сюда», говорилъ отецъ Иванъ, опредѣляя этими словами и дѣла существованія школы, и личныя къ ней отношенія. Судите теперь, какъ было намъ смѣшно смотрѣть на госпожу Абрикосову, которая на нашихъ одеревенѣлыхъ, свинцовыхъ глазахъ стала добиваться чего-то отъ сельскаго общества, суетилась, бѣгала изъ угла въ уголъ и роптала. Очевидно, она хотѣла произвести какое-то нововведеніе, а мы, глядя на то, какъ къ ней относилось сельское общество, тоже смотрѣвшее на ея нововведеніе *только такъ*, какъ оно надувало ее и сердило, могли только хохотать, сидя за чайкомъ, и удивляться вновь прибывшей учительницѣ.

«— Получала бы себѣ свои десять рублей да сидѣла бы смирно, говорили мы.

«— Чего еще? говорилъ отецъ Иванъ. — Десять рублей — хорошія деньги!

«— Еще бы!.. За даромъ-то!..

«— Это и я бы пожалуй взялся такъ-то... Правильно... да что же! говорилъ отецъ Иванъ. — Все — *дай сюда!*»

— Вотъ эдакимъ манеромъ смотрѣли мы на госпожу Абрикосову. Кромѣ того и изъ себя она, какъ я уже говорилъ, была не очень, чтобы... Такъ что вообще — была она у насъ въ полномъ равнодушіи.

— Не помню, какъ, когда и по какому случаю, только однажды зашелъ я къ ней. Общество отвело ей сырую и разоренную избу; ни лавокъ, ни скамеекъ не было, ничего еще не приготовлено, хотя давно было все обѣщано. Застала ее въ такомъ видѣ: сидитъ на полу — разостланъ платокъ этакій, ковровый, на полу — закутана отъ холоду въ какія-то тряпочки, а кругомъ ея штукъ десять ребятъ — и мальчики, и дѣвочки. Тоже укутаны кой-чѣмъ: должно быть, это госпожа Абрикосова ихъ укрыла, потому тряпки-то не деревенскія были. Сидятъ они такимъ манеромъ и учатся. — «Что вамъ, говоритъ, угодно, отецъ дьяковъ?» — Я, молъ, *такъ*. — «Ну,

извините, говорить, теперь мнѣ некогда». И продолжастъ. Это меня озадачило. Все же такъ, какъ бы тамъ ни было, пришелъ человекъ очевидно въ гости и этакъ... хороший человекъ, по нашему, сейчасъ бы разогналъ всѣхъ этихъ мальчишекъ и дѣвчонокъ, сейчасъ самоваръ бы, да передъ чаемъ порюмочка. А тутъ какъ-то довольно сухо, и этакъ... неприятно... Даже я заскучалъ отъ этого. Сѣлъ, самъ не знаю зачѣмъ, на полъ и сижу. Сконфузилась я весьма. Такъ вѣдь что-жъ вы думаете? Битыхъ два часа ни словечка съ гостемъ не сказала — все учить. Толкуетъ, толкуетъ, разъ двадцать одно и то-же повторить, да рассказываетъ-то все что-то непонятное. Утомился я, себя не помню. Голодъ сталъ чувствовать; захотѣлось закусить, водочки, селедочки, на желудкѣ ворчить, а она все ду-ду-ду... Встать уйти — не могу, ужъ очень я сконфузилась отъ приему, а слушать, устанешь, не привыкъ долго быть безъ угощенія! Просто смерти! Разломилъ всего, въ бокахъ боль, потъ!.. Такая меня взяла досада на ребятшекъ на этихъ — такъ бы всѣхъ и разогналъ по шеемъ. Наконецъ, ужъ кое-какъ кончили. — «Ну, говорить, идите теперь по домамъ, а вечеромъ опять приходите, кто хочетъ — сказку буду читать!» — «Всѣ приходите!» закричали и стали съ ней цѣловаться, говорятъ: «милая Марья Васильевна», «желанная». Точно родная семья. И это мнѣ очень неприятно показалось, очень нехорошо. То есть, хорошо-то хорошо, я вижу, что такъ и надо, а и-неприятно какъ-то... И даже какъ будто не въдушъ, а на желудкѣ у меня стало неприятно; у меня тогда все на желудкѣ больше обозначалось. Что-то вроде какъ саднить... Ушли всѣ. — «Вотъ теперь, говорить, пожалуйста ко мнѣ!» Пошелъ. За перегородкой столъ и кровати. На столѣ книги. Около все въ свѣту. — «Вотъ, говорить, тутъ я сама работаю!» — «Дурное, говорю, у васъ помѣщеніе. Вы бы, говорю, сударыня, жалобу *на нихъ* (на мужиковъ конечно)». Засмѣялась. Стало мнѣ нѣсколько легче. Оправился я, почувствовалъ въ себѣ развязность, говорю: «Да, въ самомъ дѣлѣ, что *на нихъ* смотрѣть?.. *Имъ*, говорю, смотри въ зубы-то!.. Вотъ какъ прѣдетъ посредникъ, да разузнастъ, какъ слѣдуетъ, такъ и явится все. Нѣтъ, сударыня, говорю, тутъ безъ палки ничего не будетъ». Смѣется все. А у меня еще болѣе прибавилось развязности, и сталъ я въ юмористическомъ этакимъ родѣ описывать ей, какъ мы Христа славимъ; изобразилъ этакъ ей, что вотъ, молъ, и въ нашемъ духовномъ дѣлѣ нельзя безъ этого обойтись. Придешь къ иному, отславивъ — хвать, въ набѣ низкого нѣтъ: хозяинъ спрятался, за дверью гдѣ-нибудь стоитъ, вытянулся. «А, говоришь, другъ любезный, ты что-жъ это, такъ-то почитаешь отца своего духовнаго!» — «Прости, говорить, батюшка, ей-ей ничего нѣтъ». А между прочимъ курица по сѣнямъ бѣгаетъ, что уже явный обманъ... Естественно — ухватишь курицу и уйдешь, только такимъ манеромъ съ нимъ и можно».

— Излагаю я это все въ юмористическомъ этакимъ видѣ, въ насмѣшливомъ, веселомъ тонѣ, и вижу: таращить на меня глаза и ужъ не смѣется. —

«Неужели, говорить, это правда?» — «Истинная правда», говорю, да и еще ей этакимъ же манеромъ, въ юмористическомъ же, въ этакомъ игривомъ тонѣ, изобразилъ ей нѣсколько шутивыхъ анекдотовъ. Заключение вывелъ ей такое, что смотрѣть имъ въ зубы—невозможно, что надо съ ними не очень чтобы тонко... И вдругъ, не давши мнѣ окончить, — «батьшка, говорить, да вѣдь вы проповѣдуете прямой разбой!» И встала вся зеленая. «Это—денной грабежъ», говорить. И забѣгала по горнищѣ. У меня въ зобу ровно колъ засѣлъ отъ этого. «Какъ разбой?» Разинулъ я ротъ и не понимаю. Главное, въ совершенно шутивомъ и юмористическомъ тонѣ происходилъ рассказъ, и такъ неприятно поразить человѣка, съ этакю не деликатностью прямо ему, можно сказать, въ морду. — «Какъ, говорю, разбой?» — «А какъ же, говорить: — вы проповѣдуете просто грабежъ. Рекомендуете мнѣ жаловаться посреднику, чтобы съ нихъ выскать силой—мнѣ, которой они изъ послѣднихъ копѣекъ платятъ жалованье, когда, говорить, имъ приходится работать, работать на всѣхъ, платить въ сотни мѣстъ, когда еще отецъ ихъ духовный придетъ и возьметъ послѣднюю курицу. Неужели же это не денной грабежъ?» — «Какъ же иначе-то? Какъ же, какимъ манеромъ, говорю, получишь за труды? Если человѣкъ за свои труды не получаетъ, то какимъ же родомъ иначе? Слѣдовательно, говорю, если описываютъ по приказанію начальства имущество неплательщиковъ—и это грабежъ? Да ежели бы не этакимъ манеромъ, такъ и бы вы, говорю, вашего жалованья, сударыня, не получили по вѣки. Если бы, то есть, безъ понужденія...» — «Да неужели-жъ, говорить, вы думаете, что у меня руки подымутся взять съ нихъ хотя мѣдный грошъ! Я сама готова отдать имъ все, что у меня есть — и это жалованье, и все, что я заработаю. Брать съ нихъ! съ этихъ босыхъ дѣтей, съ этихъ отцовъ, которые прячутся за дверь отъ духовнаго отца. Брать съ нихъ!.. Да неужели это возможно? Неужели серьезно, въ самомъ дѣлѣ, вы можете схватить курицу? Вы шутите, батьшка, не правда ли?» — «Къ прискорбію, говорю, хватаемъ и куръ... когда видишь уклоненіе...» — «Отъ чего уклоненіе?» — «Отъ вознагражденія». — «За что?» — «Да за трудъ, сударыня, за трудъ...» — «Да что такое именно вы дѣлаете, за что вамъ надо платить?» И опять у меня отъ этого вопроса стало очень неприятно, какъ-то даже досадно. Отчего я самъ не знаю. Даже взбѣсило это меня. Да, въ самомъ дѣлѣ, неужели не трудно человѣку встать до сѣбѣ, къ заутрени. Иной бы преотлично почивать съ супругой, а тутъ изъ теплой-то постели, да на морозъ... Дасъ требой по холоду, да къ «боли», ночью, въ слякоть. Какъ же не брать за труды. Попробовала бы, молъ, ты сама этакъ-то такъ и узнала бы, какъ это куръ ловятъ. Разозлила меня. — «Какъ знаете, говорю, сударыня. Очень неприятно, что огорчилъ васъ». И ушелъ. И такъ мнѣ было неприятно. Главное, что внезапно случилось. Шелъ себѣ человѣкъ *такъ*, просто попить чаю, напримѣръ, и вдругъ ему этакъ... чуть не «воръ»! Поплеся я отъ нея въ этакое расстроен-

номъ положеніи: и такъ, будто стыдно, и серднишься. Въ очень скверномъ былъ я отъ этого визита состояніи. Но какъ только рассказалъ я отцу Ивану, такъ все и прошло—и не стыдно ничего, и опять очень весело. Отецъ Иванъ сразу разобралъ это дѣло такъ: во-первыхъ, все это — не болѣе какъ *штука*. Денегъ она брать не будетъ, положижъ—бывали такіе примѣры, но это только подвохъ, чтобы быть на виду, потомъ забрать въ руку что-нибудь почище, выскочить въ прогимназію и ужъ тамъ запапывать, сколько хватить. Во-вторыхъ, это—земство дѣлаетъ контру начальству; посредникъ Гамлетовъ самъ будетъ платить учительницѣ, чтобы она отказывалась отъ жалованья, чтобы тѣмъ пробраться... И тутъ отецъ Иванъ сплелъ удивительный, тонкій, какъ кружево, планъ, по которому посредникъ, по его мнѣнію, долженъ былъ путемъ разныхъ штукъ пробираться къ чему-то такому, гдѣ можно запапывать, сколько влѣзетъ. Наконецъ, ужъ ей-ей не могу вамъ теперь рассказать, какъ, на какомъ основаніи, только всѣ мы—я, отецъ Иванъ, жена отца Ивана и моя жена—всѣ мы поняли и рѣшили, что учительница—просто любовница мирового посредника. Почему? Да потому, что *изъ-за чего же* ему платить ей свои деньги? *Изъ-за чего же* ей отказываться отъ своего жалованья, если у ней съ посредникомъ нѣтъ стачки, помощью которой онъ и она вытаскиваютъ другъ друга къ какимъ-то выгоднымъ мѣстамъ. Такъ тонко плутуютъ только преданныя любовницы. На этомъ мы и порѣшили. Намъ необходимо было порѣшить на чемъ-нибудь такомъ, отчего бы намъ было попрежнему покойно. Непремѣнно намъ хотѣлось и на душѣ, и на желудкѣ сохранить то же благополучіе и ту же ясность, это было у насъ всегда, и намъ надо было придумать что-нибудь, чтобы неприятный фактъ былъ подлаженъ подъ наши взгляды. Подладили мы его, какъ сами видите, очень топорно; но для насъ было и это хорошо. Правда, въ ту же ночь, когда мнѣ случилось проснуться, мнѣ, несмотря на составленную нами на счетъ госпожи Абрикосовой теорію, становилось какъ-то неловко. Точно сонъ какой-то дурной видѣлъ. Припоминалась она мнѣ въ ту минуту, когда, позеленѣвъ отъ гнѣва, сказала: «да это—грабежъ...» Припоминался ей горькій вопросъ: «да неужели вы хватаете куръ?» и другой вопросъ: «да точно-ли вы въ самомъ дѣлѣ дѣло дѣлаете? Точно ли, молъ, вамъ надо платить?» Становилось мнѣ отъ этого какъ-то очень и очень тоскливо, тяжело, какъ будто что-то мелькало въ глубинѣ совѣсти, что-то начинало чуть-чуть сѣтаться тамъ, едва обрисовывая какія-то неопредѣленныя, безобразныя фигуры. Я торопился улечься опять въ постель подъ горячій, неподвижный, какъ каменная стѣна, бокъ жены и, чтобы успокоиться, задавалъ себѣ вопросъ: *изъ-за чего же она-то?* И такъ какъ вопроса этого я не могъ, положительно не могъ разрѣшить чѣмъ-нибудь, кромѣ выгоды, то и возраженія госпожи Абрикосовой на мои мнѣнія о понужденіи мужиковъ и ея гнѣвъ на курицу, и безкорыстіе казались мнѣ не болѣе, какъ штуками. Если это—не штуки, думалъ я, такъ *изъ-за чего же* бьется она

съ утра до ночи съ мальчишками и дѣвчонками; *изъ-за* чего она не требуетъ себя хорошаго помѣщенія, а забѣнеть въ какомъ-то хлѣву; *изъ-за* чего не беретъ жалованья?..

— И вотъ этого-то «*изъ-за* чего» я тогда уже не былъ въ состояніи понимать. Сердце-то мое ужъ обухло и совѣсть-то попримерла... Порѣшивъ такимъ манеромъ, мы съ полнымъ спокойствіемъ продолжали смотрѣть на продолженіе учительницею ея штуку. Скоро мы даже забыли и о томъ, *изъ-за* чего все это происходитъ, хотя на нашихъ глазахъ штуки ея завоевывали на ея сторону все крестьянское населеніе, хотя на нашихъ глазахъ неумѣющие ничего сдѣлать безъ палки крестьяне устроили ей школу въ новомъ помѣщеніи и снабдили всѣмъ необходимымъ. «Хитра штука», говорили отецъ Иванъ, и я думалъ тоже, т. е. что хитра должно быть. Въ такомъ положеніи было состояніе моего духа, когда случилось новое неожиданное обстоятельство, заставившее всѣхъ насъ снова обратить вниманіе на госпожу Абрикосову...

— Сплетничали мы разъ какъ-то съ отцомъ Ивановымъ и съ какимъ-то практическимъ гостемъ за чайкомъ и между прочимъ зашелъ разговоръ и объ учительницѣ. Всѣ мы посмѣялись надъ ней и порядочно таки загадили своими соображеніями ея поступки...

«— Да какая это Абрикосова госпожа? спросилъ гость.— У насъ въ губернскомъ городѣ былъ купецъ Абрикосовъ...

«— Это—не тѣхъ! сказалъ батюшка.— Тѣ Абрикосовы—извѣстные богачи, я ихъ довольно хорошо знаю... Одинъ изъ нихъ женатъ на молодой, тоже богачкѣ, дочери купца Овсяникова, Василья Иванова, извѣстнаго мошенника и кулака... Это—не тѣхъ, тѣ—богачи... Куда тѣмъ въ учительницы...

«— Охъ, сказалъ гость:—не тѣхъ ли?.. Овсяникова-то, про которую говорите, что выдана была замужъ за Абрикосова, вѣдь она отъ мужа-то ушла...

«— Что-жъ такое? Ужъ навѣрное же она ушла съ любовникомъ и съ капиталомъ... У той капиталу тысячъ пятьдесятъ своихъ... А у этой одинъ шингъ... Станетъ этакая госпожа да сидѣть въ конурѣ... Нѣтъ, это—не тѣхъ Абрикосовыхъ, это—такъ какая-то, должно быть, изъ проходимыхъ.

«— Охъ, говоритъ гость:—не та-ли?.. Что-то мнѣ чудится, что она и есть... Какъ звать-то ее?

«— Марья Васильевна.

«— Охъ, что-то какъ будто она самая и есть!.. Ей-богу, право...

«— Нѣтъ, быть не можетъ, говоритъ отецъ Иванъ.— *Изъ-за* чего ей идти въ такую трущобу? Посуди самъ! Или какимъ манеромъ уйдетъ она безъ капитала, кто можетъ бросить свои деньги? Спрашивается, *изъ-за* чего я брошу пятьдесятъ тысячъ и пойду къ мужикамъ работать за десять рублей? Посуди самъ! Вѣдь это только съ ума сойдешь, такъ тогда развѣ... Да нѣтъ, не можетъ быть... Это—не та Абрикосова, эта—такъ какая-нибудь изъ мелкихъ...

«— Такъ-то—такъ, твердилъ гость:—а что-то мнѣ чудится...

«— Нѣтъ, нѣтъ...

«— Можеть, и нѣтъ... Да вотъ я въ городѣ буду, поспрошу...

«— Ну, вотъ спроси... Увидишь, что не та!..»

— Какого же было наше удивленіе, когда недѣль черезъ двѣ тотъ же самый гость, снова посѣтивъ насъ, привезъ намъ извѣстіе, что госпожа Абрикосова, теперешняя наша деревенская учительница, есть именно та самая Абрикосова, о которой онъ думалъ,—та самая Марья Васильевна Овсяникова, дочь богача, вышедшая нѣсколько лѣтъ тому назадъ замужъ тоже за богатаго купеческаго сына Абрикосова... Мы узнали, что, поживъ съ мужемъ годъ или два, она ушла отъ него, ушла не къ родителямъ, богатымъ купцамъ, а въ какое-то чиновничье семейство, и не только не захватила съ собой денегъ, но не взяла даже ни одной тряпки... Узнали мы, что у нея есть и деньги, и домъ, и что все это она бросила и ушла.

«— Да не можетъ быть! совершенно изумленный, даже поблѣднѣвшій отъ изумленія, говорилъ батюшка.— Это что-нибудь не такъ... Собственный домъ, говоришь?

«— Двухъ-этажный каменный домъ и лавки.

«— Это невозможно! Это что-нибудь неправда... Домъ, лавки... Нѣтъ, тутъ штука какая-нибудь... Домъ... Неужто домъ?..

«— Передъ истиннымъ Богомъ... Каменный двухъ-этажный, лавки, наприимѣръ, и питьевые дома...

«— И не касается?..

«— Ни-ни-ни, Боже мой!..

«— Да это—не та Абрикосова! Это вы не то.

«— То, тѣ самые!

«— Да нѣтъ, не тѣ... *Изъ-за* чего, посуди ты самъ, бросить ей домъ и биться *изъ-за* куска хлѣба?.. Лавки! Питьевые дома!.. Нѣтъ, это неправильно... Это—не та...»

— Несмотря на недовѣріе батюшки къ словамъ гостя, послѣдній ухалъ, упорно утверждая, что это—та самая Абрикосова, которая имѣла богача-отца, потомъ богача-мужа и которая, бросивъ теперь и богатыхъ родителей, и богатства супруга, и дохлые кабаки, сидитъ въ бѣдной деревенской школѣ и учитъ бѣдныхъ деревенскихъ ребятъ.

«— Нѣтъ! очевидно ничего не умѣя сообразить, говоритъ отецъ Иванъ по уходѣ гостя.— Нѣтъ, это—не тѣхъ Абрикосовыхъ, это не та...»

— И, помолчавъ, прибавилъ:

«— Нѣтъ, это что-нибудь не такъ. Иначе *изъ-за* чего же?.. Нѣтъ, это не такъ...»

— Почти ужъ выполнѣ согласный со взглядами отца Ивана на вещи, я тоже думалъ, что это была не та Абрикосова... Я тоже не понималъ, *изъ-за* чего это можно бросить домъ, деньги, лавки и сидѣть въ деревенской школѣ... Но увѣренность гостя, утверждавшего, что это—именно та самая Абрикосова, невольно заставляла меня задумываться надъ труднѣйшимъ для меня вопросомъ: *изъ-за* чего?.. И опять что-то вродѣ какихъ-то зарницъ пробѣгло у меня въ темной ночи моей совѣсти. Бросить домъ, деньги, питьевые дома, идти въ бѣдную деревен-

скую избу, сидѣть день и ночь въ душной атмосферѣ, съ полурасхлѣбными ребятишками, отдавать имъ свое трудовое жалованье, негодовать на захватъ куръ во время христославленья, называть это грабежомъ... все это вмѣстѣ не одинъ разъ припомнилось мнѣ и стало мнѣ думаться...

— Вотъ съ этого самого времени, должно быть, я и заболѣлъ. Стало мнѣ думаться, что есть на свѣтѣ люди, которые живутъ не изъ-за своей только выгоды, какъ мы съ отцомъ Иваномъ, что есть что-то другое, кромѣ нашихъ утробъ и кошелековъ. Стало мнѣ очень тяжело отъ этого: главная причина—думать совершенно отвыкъ, то есть собственно и не привыкалъ думать-то. И ужъ такъ-то мнѣ стало тяжело! словно вотъ камни ворочаешь двадцатипудовые, когда начнешь думать—болитъ все, ей-ей, и въ поясницу хватаетъ, и на желудкѣ саднитъ. Такъ что всѣми мѣрами ухитришься не думать, либо какъ-нибудь такъ отдѣлаться отъ этого всего... Водки наприимѣръ выпьешь рюмокъ шесть, ну, и уснешь.

— Полегчало мнѣ немного, когда отецъ Иванъ придумалъ еще новую исторію для объясненія поведения госпожи Абрикосовой. Изобразилъ онъ это дѣло такъ, что яко-бы она ушла отъ мужа съ любовникомъ и зацѣпила при этомъ деньги. Любовникъ же деньги отъ нея конечно взялъ, а самое госпожу Абрикосову прогналъ: вотъ она и поджала хвостъ на десяти рубляхъ, ибо къ мужу боится ужъ показывать ность. По нашимъ свинымъ взглядамъ, объясненіе это было очень, можно сказать, удовлетворительнымъ, такъ что день или два, благодаря ему, я вновь какъ бы вошелъ въ настоящіе мои аппетиты: и на желудкѣ стало спокойно, и ночью стало спокойно, и ночью спалъ хорошо. Но «домъ, лавки» вдругъ припомнились мнѣ и все разстроили. Припомнились они мнѣ какъ-то вдругъ, ночью, въ проснкахъ... «Ужъ ежели-бы госпожа Абрикосова была распутница, то не только-бы не оставила втутѣ собственного дома, а зацѣпила бы съ помощью любовника и чужихъ домовъ, и лавокъ столько, сколько-бы можно было захватить...» И припомнилось мнѣ ея лицо худое, больное, ужъ вовсе не распутное; и припомнилась мнѣ первая встрѣча, когда я засталъ ее на полу въ избѣ, окруженную ребятами. И припомнился мнѣ ея гнѣвъ за христославную курницу, и сразу такъ опять стало скверно, такъ скверно, что даже злость взяла меня за сердце. Разозлился я на отца Ивана за глупость, которую онъ сочинилъ, разозлился на курницу, которая заставляетъ силою хватать себя, разозлился на то, что вотъ ночь, добрые люди спать, а ты вотъ тутъ, чортъ знаетъ отъ чего, лежишь съ вытаращенными глазами, думаешь обо всякой дряни... Всталъ я съ кровати, выпилъ рюмки три водки, походилъ, поглядѣлъ въ сѣни, заглянулъ на дворъ,—а на дворѣ кучи навозу и въ сѣняхъ кучи сору, и корыто съ помоями, и грязь повсюду. Въ первый разъ я это замѣтилъ и удивился: зачѣмъ, молъ, вокругъ нашего брата такая гибель навозу? Эй-ей, въ первый разъ подумалъ: — точно свиный, молъ. И еще больше огорчился... Выпилъ даже еще

рюмки четыре—заснулъ и проснулся злѣе злого чорта... потому что пилъ не отъ удовольствія. Цѣлый день потомъ я бѣсновался: оралъ на работниковъ, на жену, придирался ко всему. И вѣдь что вышло-то: сталъ ругаться за навозъ, за нечистоту; гляжу, что ни шагъ, все больше и больше грязи. Платье на женѣ — хуже грязной тряпки. Въ чаю волосы попались, кровать — и не говори! Вижу—дѣйствительно, свиной хлѣвъ!.. А и не замѣчалъ этого, такъ пригрѣлся къ навозу! А за этою грязью, гляжу, лѣзетъ другая. «Авось, мы—не господа!» возражаетъ мнѣ жена, то есть на счетъ того, что только у господъ все вылизано и вытерто, на то тамъ и лавен...—«Авось, мы не господа!» Эти слова показались мнѣ столь глупыми, что жена вдругъ какъ бы совершенно мнѣ опротивѣла. Главное, что при свиной моей жизни никогда мнѣ не было надобности ни въ умѣ, ни во взглядахъ жены... Нуженъ былъ только теплый бокъ. А тутъ, какъ коснулся я этого предмета, наприимѣръ ума, и вдругъ сообразилъ, что въ умѣ этомъ, Богъ знаетъ, сколько всякой дряни. Одна фраза сразу припомнила мнѣ всю умственную дичь и чушь, господствовавшую между нами, и я свѣту не взвидѣлъ отъ отвращенія. Въ первый разъ я жестоко поругался съ женой, и она не уступила мнѣ въ умѣнны отвѣтитъ значительнымъ запасомъ всякой словесной грязи. Хорошо, что во время этой перепалки позвала служить напутственный молебенъ отъѣзжавшей за-границу нашей помѣщицѣ. Это меня отвлекло. А то бы я и опился бы со зла, и изволился бы въ конецъ. На молебнѣ я рвалъ и металъ; отецъ Иванъ и помѣщица нѣсколько разъ оглядывались на меня, какъ я швырять кадиломъ чуть не по мордасамъ присутствовавшихъ... Но какъ вы думаете, что меня умирало? Деньги! Ощутивъ въ рукѣ двѣ рублевны бумажки, я почувствовалъ вдругъ какую-то нѣжность въ душѣ. Тепло какое-то... И почти сразу опомнился. Думаю: — «что это я натворилъ? Изъ-за чего?..» И затихъ. И съ женой помирился... Правда, воротаясь я засталъ ее хоть и злою, но уже въ чистомъ платьѣ и въ прибранной комнатѣ. И на ней отозвались добромъ эти лавки и домъ, покинутые Абрикосовой!.. Вотъ какое умнотворяющее вліяніе имѣли на меня матеріальныя блага!.. На недѣлю или даже больше вновь освинѣлъ и успокоился я, благодаря этимъ двумъ рублевымъ бумажкамъ.

— Но, увы, какъ бы я ни желалъ этого, совсѣмъ успокоиться и освинѣть въ той мѣрѣ, какъ это было недавно, я уже не могъ. Меня побуждала думать на этотъ разъ та грязь домашняя, которую я разрылъ совершенно случайно, благодаря тоскѣ, заброшенной въ мою душу небывалою потребностью понять небывалый фактъ. Тысячи разнаго рода мелочей, на которыя я уже совершенно привыкъ смотрѣть какъ на неизбѣжное, стали вдругъ почему-то тревожить меня. «Иди что-ль спать-то, до котораго часу будешь сидѣть!» скажетъ мнѣ изъ-за перегородки жена, и, самъ не знаю отчего, станеть ужасно скверно какъ-то... А прежде этого совсѣмъ не бывало... Стала захватывать мою душу какая-

сила. Тутъ ужъ и совсѣмъ растерялся. Надо вамъ сказать, что между пьянствомъ и ругательствомъ частенько-таки бѣгалъ я къ госпожѣ Абрикосовой, жаловался на свою участь. Принимала она во мнѣ участіе, и, такъ какъ мнѣ очень грустно было жить на свѣтѣ, то вотъ я къ ней и хаживалъ... Жена-жъ, съ которою я ежеминутно почти ссорился, принимала это за любовь. Бѣсновалась и была для меня въ тысячу разъ хуже, чѣмъ прежде. Ужъ и мучилъ ее я—надо мнѣ отдать честь. Все, что въ самомъ скверно, все это я открылъ въ ней и за все это ругалъ. Впослѣдствіи оказалось это ей на пользу; но тутъ какъ-то вышла она изъ всякаго терпѣнія и пришла въ неистовство, грозилась жалобой архіерею и общалась науродовать госпожу Абрикосову собственноручно. Вражда поэтому была между нами смертная, ибо я заступался за госпожу Абрикосову, что еще болѣе разжигало нашу взаимную ненависть. Вотъ разъ, послѣ хорошей схватки, супруга, не долго думая, и въ самомъ дѣлѣ явилась къ госпожѣ Абрикосовой. Явилась она съ намѣреніемъ драться, но вѣроятно оробѣла, за то осыпала ее всякими ругательствами. Главное разумѣется «отбивавшій мужа» и «архіерею...» и эталое... Та, т. е. госпожа Абрикосова, тоже взбѣсилась... Потому ужъ очень было все это несправедливо—и погнала мою жену вонъ... Та не пошла, а ревня заревѣла. Стала жаловаться на свою участь, на меня, на мои неистовства и звѣрства, и госпожа Абрикосова такъ этими ея разсказами растрогалась, что и сама заревѣла и стала ее цѣловать и успокоивать.

— Съ этихъ поръ пошла между ними неразрывная дружба... Обѣ онѣ отшатнулись отъ меня—и остался я одинъ со своими свинскими наклонностями да съ водкой... Жена моя, который очень много досталось отъ меня горя, стала даже благодарить меня за эти ругательства мои, обличенія ея дикости и грубости... Это ее подготовило понимать то, что ей стала толковать госпожа Абрикосова. А какъ только она поняла все, то и ушла отъ меня... Она моложе, въ ней меньше грязи, да и то, что есть, жестоко обличено мною. Вотъ она и ушла—учиться... Ну, тутъ я совсѣмъ ослабѣлъ и упалъ... Тяжело это даже рассказывать...

— Оставаться среди общества отца Ивана и его практическихъ знакомыхъ—мнѣ было не по себѣ, скверно... Уйти—коротка душа. Поэтому остаюсь—и лгу. Напьюсь—высказываю все и ругаюсь. А главное, послѣ того, какъ ушла жена,—мнѣ еще виднѣе стало, что я-то не уйду, что именно не могу уйти.

— Захотѣлось умирать...

— А какъ только увидалъ я, что надо мнѣ умирать—тотчасъ страсть какъ захотѣлось мнѣ жить. И тутъ я, очертя голову, пустился во всѣ тяжкія. За бабами, напимѣръ...

— Пошли доносы: въ пьяномъ видѣ обругалъ отца Ивана, ругался въ храмѣ, безчинничалъ на свадьбѣ съ бабой... Ну, и выгнали и засудили...

— Подъ началомъ, въ монастырѣ—я отрезвѣлъ какъ будто, и стало мнѣ въ самомъ дѣлѣ ясно, что

либо—помирать мнѣ, либо—все вновь. Вотъ я и думаю: возможно ли какими-либо манерами фундаментально излечить и душу, и тѣло? Тѣло, напимѣръ, восстанавливать медицинскими спеціями, а душу—одновременно чтеніемъ?.. Какъ вы полагаете, не возможно ли будетъ этими средствами себя возобновить, дабы вновь уже жить честно и благородно.

На этомъ вопросѣ окончился рассказъ дьякона. Предоставляя рѣшеніе его знатокамъ, я, какъ простой наблюдатель нравовъ современной жизни, могу обратить вниманіе читателей на существованіе въ этой глуши небывалой доселѣ болѣзни. Эта болѣзнь — мысль. Тихими-тихими шагами, незамѣтными, почти неостижимыми путями, пробирается она въ самые мертвые углы русской земли, залегаетъ въ самыя неприготовленныя къ ней души. Среди, повидимому, мертвой тишины, въ этомъ кажущемся безмолвіи и снѣ, по песчинкѣ, по крупинкѣ, медленно, неслышно перестраивается на новый ладъ запуганная, забитая и забывшая себя русская душа—а главное—перестраивается во имя самой строгой правды.

VI. Не воскресъ.

(Изъ разговоровъ про войну.)

...Поѣздъ, увозившій въ Россію русскихъ добровольцевъ, отошелъ отъ Базіана на Пешть часу въ десятомъ вечера; на дворѣ было темно, и шелъ проливной дождь; не было поэтому никакой возможности облегчить грусть-тоску чудными видами, открывающимися по обѣимъ сторонамъ дороги на Дунай, на горы—тѣмъ была кромѣшная... Волей-неволей приходилось убивать время въ разговорахъ; но высѣвшее надъ всѣми соотечественниками сознание непреложности факта возвращенія на родину отбивало охоту отъ веселой болтовни... Всякій зналъ, что... «все равно», прїѣдемъ въ Россію. Что-то очень близко подходящее къ тоскѣ гимназиста, возвращающагося въ гимназію послѣ каникулъ, тяготило и возвращавшихся на родину добровольцевъ... Такіе-ли были они, когда ѣхали на войну? Новизна положенія дѣлала тогда всѣхъ смѣлыми и дерзкими, веселыми до... ну хоть до безобразія, храбрыми до звѣрства... Геройство, храбрость, мужество, подвиги великодушія, жертвы—все это трогало сердце и воображеніе каждаго... а теперь—поди-ко вотъ опять, въ тотъ самый департаментъ обиняковъ, изъ котораго, съ такою радостью, итѣсаца два-три тому назадъ, пошелъ на смерть... Изволь-ка теперь опять пожаловать въ лоно супружескаго счастья, къ пяти малолѣтнимъ соотечественникамъ... Поди-ко теперь опять поклонись такому-то и такому-то и попроси его, чтобъ онъ опять принялъ тебя на низшій (и то дай Богъ!) оладъ!.. Русская земля припоминалась всѣмъ въ видѣ какого-то недоразумѣнія, чего-то неимѣющаго результатовъ, но ужасно труднаго—и вотъ почему поѣздъ.

наполненный добровольцами, былъ угрожать и скученъ... Не веселило его также и все то, что онъ во время сербскаго капикулярнаго времени узналъ самъ о себѣ... Прежде онъ думалъ, что онъ, русскій человекъ, — жертва интригъ, несправедливостей, притѣсненій, жертва людской неблагодарности, жадности, бѣдности, и былъ твердо увѣренъ, что, освободись онъ хоть на одну минуту отъ всѣхъ вышеупомянутыхъ бѣдъ, такъ сейчасъ же, сію минуту, всѣ увидятъ, какъ онъ добръ, благороденъ, великодушенъ, вѣжливъ, щедръ, непоколебимъ и честенъ... А теперь вотъ послѣ этого долгожданнаго отдыха онъ чувствуетъ что-то совсѣмъ другое... «Быль дажь тебѣ отдыхъ, или нѣтъ?» вопрошаетъ его совѣсть. «Быль!» долженъ отвѣтить онъ. — «Какъ же ты воспользовался имъ?..» — «Безобразно!» — «Свинья!» говоритъ совѣсть и продолжаетъ: — «Дали тебѣ денегъ?» — «Дали». — «Много ли?» — «Очень довольно». — «Послалъ ли ты женѣ, какъ общалъ?» — «Н-нѣтъ...» — «Куда-жь ты ихъ дѣвалъ?» — «Такъ...» — «Нѣтъ, пристаешь совѣсть: — ты говори, куда именно: это — деньги кровныя, это — копѣйки, гроши, данные на святое дѣло. Куда ты ихъ дѣвалъ?» — «Пропалъ...» — «Еще?» — «Ну... тамъ...» — «Свинья! еще разъ утверждаетъ совѣсть и опять продолжаетъ: — Еще куда? не всѣ-жь ты «тамъ...» оставилъ?..» — «Какъ можно! почти вслухъ восклицаетъ унылый доброволецъ и хочетъ высчитать по пальцамъ... — Сапоги... напоминаетъ онъ съ удовольствіемъ. — Шутка сказать — три дуката!.. Потомъ? Чай, сахаръ, табакъ... ну, это вздоръ, пустяки... а еще что, куда же я дѣлалъ?..» И увы, кромѣ сапоговъ, капитальныхъ прибрѣтеній никакихъ нѣтъ возможности припомнить... «Неужели я все это тамъ?» — «Свинья!» заключаетъ совѣсть.

Унылый доброволецъ выпиваетъ изъ горлышка бутылки нѣсколько глотковъ вина и, освѣжившись немного, рѣшаетъ, что прошло-моль — не воротись... Но совѣсть не молчитъ и тотчасъ же вновь затягиваетъ пѣсню...

— «Ты зачѣмъ ѣхалъ-то сюда? За что ты деньги-то взялъ?..» — «Давали! Я бралъ... За славянъ!» — «За что?» — «За... въ пользу славянъ...» — «Это ты въ пользу славянъ дебоширичалъ-то?» Ничего не можетъ отвѣтить доброволецъ, но съ глубокимъ огорченіемъ чувствуетъ, что хорошо бы было, если бы его убили тамъ... «Велика важность!» говоритъ совѣсть... — «И вправду» рѣшаетъ доброволецъ со вздохомъ... и молча смотреть въ темное окно, по которому льютъ и льютъ струи проливнаго дождя...

— А хорошо, право хорошо жилось въ Сербіи!.. провозносить кто-то со вздохомъ.

Унылый доброволецъ подъ вліяніемъ этихъ словъ начинаетъ припоминать что-то дѣйствительно хорошее, пріятное... но совѣсть и тутъ осаживаетъ его... — «Смотри, смотри... вотъ въ Россію пріѣдешь, такъ тамъ, братъ...» И мечтанія немедленно прекращаются... — «Выпей, братъ, и смотри въ темное окно, да ужъ молчи!» сжалившись, совѣтуетъ совѣсть. Доброволецъ, дѣйствительно, тотчасъ же выпиваетъ и твердо рѣшается ни о чемъ не думать:

«Все одно — рѣшаетъ отъ — пріѣдешь!» Нѣкоторое время опыта не думать удается ему, т. е. нѣкоторое время онъ ровно ни о чемъ не думаетъ, но скоро изъ стука колесъ по рельсамъ, изъ звона цѣпей, сдѣланныхъ вагоны, начинается довольно явственно выдѣляться какъ бы шопотъ чей-то, ежеминутно повторяющій что-то вроде: «свинь-свинь-свинь...»

И доброволецъ волей-неволей опять начинаетъ непріятную бесѣду съ своей совѣстью.

Въ томъ отдѣленіи вагона, гдѣ пришлось сидѣть пишущему эти строки, было бы, пожалуй, благодаря присутствію необычайно унылаго человека, еще скучнѣй и тоскливѣй, еслибы присутствіе двухъ вполне счастливыхъ соотечественниковъ не парализовало тоску и уныніе, распространявшіеся отъ унылаго пассажира.

Эти двое были веселы и счастливы, каждый по своему: одинъ только вчера выигралъ въ карты порядочный кушъ и, ухвативъ его, на всѣхъ парахъ рвался въ Вѣну, въ веселое мѣсто, расправить кости, попить, погулять на всѣ руки, на всѣ деньги... Его словно лихорадка какая трясла всю дорогу: такъ и тинуло — скорѣй, скорѣй, къ веселому вѣнскому разгулу; заснуть онъ не могъ и хотя закрывалъ глаза и откидывалъ голову къ спинкѣ, но видно было, что онъ не спалъ, а грезилъ и волновался предстоящими удовольствіями, поминутно прерывая свои попытки заснуть насвистываніемъ мотивовъ изъ Оффенбаха... Другой довольный пассажиръ былъ доволенъ покойно, солидно, основательно; это былъ военный, не менѣе майора чиномъ, плотный, здоровый человекъ; онъ возвращался къ семьѣ, былъ доволенъ, что попадаетъ къ Рождеству и привезетъ съ собою кромѣ полного здоровья (раненъ онъ не былъ) еще и три сербскихъ ордена. Еще на станціи, въ Базашѣ, объяснивъ всѣмъ желавшимъ съ нимъ разговаривать причину своего благополучія, что вотъ-моль ѣду къ Рождеству, слава Богу здоровъ, ордена получилъ всѣ и т. д., онъ уже не входилъ ни въ какіе другіе разговоры, а просто распространялъ вокругъ себя своимъ здоровымъ и довольнымъ лицомъ покой и благополучіе... Войдя въ вагонъ, этотъ счастливый человекъ уложилъ по мѣстамъ свои вещи, плотно и удобно сѣлъ и поморгавъ немного глазами, сталъ ихъ закрывать съ такимъ предвкушеніемъ непробуднаго, дѣтски покойнаго сна, что даже и неутомимый любитель вѣнскихъ удовольствій поддался-было снотворному вліянію своего соседа и пробовалъ дремать... Эти двое довольныхъ, счастливыхъ смягчали нѣсколько то тягостное впечатлѣніе, которое производилъ третій, необычайно унылый пассажиръ.

Онъ былъ точно потерянный: исхудалый, щеки ввалились, носъ вытянулся, взглядъ казался пугливымъ, даже вполне испуганнымъ, костюмъ плохенькій, холодный не по погодѣ и надѣтый кое-какъ. Не желая спать, а поневолѣ долженъ былъ довольно часто встрѣчаться глазами съ этимъ унылымъ человекомъ, тѣмъ болѣе, что онъ сидѣлъ какъ разъ противъ меня, и только послѣ многихъ часовъ ѣзды могъ признать въ немъ человека, ко-

торый мнѣ отчасти знакомъ, котораго я нѣсколько разъ въ жизни уже видалъ, хотя и съ большими, большими промежутками. Было ему теперь лѣтъ тридцать пять или около того, но не больше; нѣсколько лѣтъ тому назадъ я встрѣчалъ его заграницей въ разныхъ городахъ и главнымъ образомъ въ кружкахъ русской заграничной молодежи. Долбежниковъ (такая фамилія была у унылаго пассажира) хоть и вращался въ тѣхъ же кружкахъ, но былъ какъ-то чуждъ всѣмъ имъ и всѣмъ и каждому изъ лицъ, его составлявшихъ. Какая-то печать унынія и тогда уже лежала на его нездоровомъ, худосочномъ лицѣ, и что-то гложущее его душу тяжело всегда дѣйствовало во время его посѣщеній, всегда впрочемъ краткихъ, торопливыхъ и большею частью ненужныхъ; придеть торопливо, озабоченно, какъ будто хочеть что-то сказать очень важное, но не можеть ничего, и вдругъ какъ-то соскучится, раскиснетъ и уйдесть. Въ рукахъ его постоянно была какая-нибудь книга, читалъ онъ много, что-то писалъ, но никто его не спрашивалъ о его работѣ и вообще имъ мало интересовались. — «Быль Долбежниковъ!» — «Ну, что же?» — «Ничего... Ушелъ». Вотъ и все, что можно было сказать о немъ въ то время, послѣ каждого его посѣщенія. А между тѣмъ нельзя было не замѣтить, что его что-то мучаетъ, что хотя онъ и не возбуждастъ ни въ комъ симпатіи на столько, чтобы кто-нибудь тронулся его измученнымъ лицомъ и разузналъ подноготную его души, тѣмъ не менѣе нельзя было сомнѣваться въ томъ, что онъ настоящимъ образомъ мучается... По нѣкоторымъ отрывочнымъ выраженіямъ, помнившимся мнѣ, и по характеру людей, съ которыми онъ знался, можно было думать, что онъ — человекъ убѣжденій крайнихъ. Такъ я по крайней мѣрѣ думалъ о немъ тогда, лѣтъ пять назадъ, и былъ, признаюсь, несказанно удивленъ, увидавъ этого самаго унылаго, измученнаго человека, мѣсяца два тому назадъ, въ Бѣлградѣ, въ костюмѣ добровольца съ длинной саблей и, что особенно поразило меня, въ самомъ цвѣтущемъ видѣ, безъ всякаго подобія чему-нибудь, что бы напоминало его прежній, страдальческій видъ. Долго, помню, смотрѣлъ я на него, встрѣтивъ случайно въ одной изъ бѣлградскихъ «кафанъ», вмѣстѣ съ толпой другихъ, сабле-гремящихъ и веселыхъ офицеровъ, и не могъ повѣрить, чтобы это былъ Долбежниковъ, «тотъ самый». Откуда этотъ цвѣтъ лица, этотъ нѣкоторый форсъ, эта развязность военного, любующагося звономъ своихъ шпоръ, своей саблей?.. Несомнѣнно было конечно то, что все это было «напущено» на Долбежникова обществомъ военныхъ, среди которыхъ онъ теперь находился, но несомнѣнно было также и то, что и самъ Долбежниковъ значительно измѣнился; онъ поглядѣлъ на меня — тогда при встрѣчѣ въ кафанѣ — узналъ, слегка кивнулъ съ высоты величія (ясно начертаннаго на всемъ его ликовавшемъ лицѣ) и тотчасъ присоединился къ веселой компаніи, которая шумно разѣлась вокругъ круглаго стола, застучала ножами, солонками, стаканами и потрещивала три бутылки самаго лучшаго негетинскаго...

Долбежниковъ, въ удивленію моему, также стучалъ ножами и стаканами и, какъ мнѣ казалось, даже желалъ показать именно мнѣ, какъ человеку, знавшему его въ уныломъ видѣ и въ другомъ обществѣ, что вотъ-могъ теперь и онъ сталъ молодцомъ и что ему моги все равно, что будутъ думать о немъ въ «томъ», въ заграничномъ обществѣ... Правда, смѣшновато было немного этотъ худощавый, длинный и все-таки болѣзненный человекъ среди румяныхъ, громкоголосыхъ, здоровыхъ и сильныхъ новыхъ своихъ товарищей, но сравнительно съ тѣмъ, что онъ былъ, лично мнѣ онъ казался вполне переродившимся, необыкновенно поздоровѣвшимъ, расцвѣтшимъ, словомъ — человекомъ, перелѣаннымъ «наново». Я порадовался этому, хотя и удивился этой перемѣнѣ, въ виду убѣжденій, которыми я ему приписывалъ. — А! вотъ, подумалъ я, отчего онъ стоналъ и страдалъ... Ему надо было шпоры, саблю, да разливанное море военной славы... И, признаться, не очень радовался этой способности русскаго человека необычайно рѣзко перемѣнять свои взгляды и, глядя на пирушку Долбежникова съ товарищами, не весело думалъ о томъ, что способность эта есть и не въ одномъ Долбежниковѣ...

Оставивъ Долбежникова, подъ вліяніемъ этихъ размышленій, паровать въ кафанѣ, я ушелъ и до сей минуты, то есть до встрѣчи въ вагонѣ на возвратномъ пути въ Россію, не видѣлъ ужъ его нигдѣ. И опять онъ меня тутъ изумилъ: куда дѣвался его расцвѣтъ, его бодрый духъ, бодрый видъ? Что скомкало его опять въ комокъ, скомкало въ тысячу разъ больше, чѣмъ онъ былъ прежде, до своего расцвѣтанія? Видъ его былъ такой убитый, измученный, жалкій, что, повторяю, если бы не тѣ два пассажира, которые распространяли отъ себя покой и жажду удовольствія, такъ было бы просто тяжело смотрѣть на человека, который, казалось, вотъ-вотъ что-нибудь надъ собой сдѣлаетъ — такъ ему скверно и трудно.

Задержанный синей занавѣской фонарь наполнилъ вагонъ полумракомъ, мѣшая мнѣ, вмѣстѣ съ перемѣною, происшедшею въ Долбежниковѣ, узнать его лицо; но когда я узналъ, что это именно Долбежниковъ, то мнѣ стало его какъ-то ужасно жалъ и захотѣлось разузнать наконецъ, что такое происходитъ въ этомъ человекѣ, отчего онъ расцвѣтаетъ и отчего вянетъ. Я заговорилъ съ нимъ.. Онъ обрадовался и тотчасъ же сообщилъ мнѣ, что онъ уже давно узналъ меня, что онъ меня помнитъ, что онъ меня видалъ тамъ-то и тамъ-то, и въ мельчайшихъ подробностяхъ припомнилъ тѣ рѣдкія минуты, когда я случайно сталкивался съ нимъ — пять лѣтъ назадъ (избѣгая почему-то бѣлградской встрѣчи); припомнилъ тотчасъ же и тоже съ мельчайшими подробностями всѣхъ прочихъ нашихъ заграничныхъ знакомыхъ, съ какой-то жадностью спрашивалъ — гдѣ такой-то, что съ этимъ, что съ тѣмъ, и вдругъ съ какимъ-то страстнымъ порывомъ произнесъ:

— Ахъ, какіе это люди! Это именно необыкновенные люди!

— Необыкновенные? переспросил я.

— Необычайные! возвышая голосъ и широко раскрывъ какъ бы помѣшанные глаза, произнесъ онъ. — Необычайные, это вѣрно, я теперь это узналъ... Всѣ рѣшительно они—необычайные...

— Кто же именно?

Я назвалъ нѣсколько фамилій.

— Всѣ до одного... Всѣ, кто «тамъ»!

— Всѣ, кто «тамъ»? переспросилъ я.—Сколько знаю, никакихъ особенно крупныхъ дѣлъ...

— Вотъ никакихъ-то дѣлъ, перебилъ онъ меня, ужъ совершенно. какъ сумасшедшій, схвативъ за плечо:—вотъ именно—вотъ кто дѣлъ-то никакихъ не дѣлаетъ... вотъ всѣ они и необыкновенные, и передовые.

— И передовые?

— И передовые!.. То-есть, именно вотъ тѣ!..

Говоря послѣднюю фразу, онъ необыкновенно волновался и положительно казался мнѣ сумасшедшимъ.

— Послѣ этой войны я только ихъ и считаю настоящими героями... Ужъ и въ томъ непоимѣнный подвигъ, что они не пристають къ этому свинству, какъ вотъ я присталъ... Можете себѣ представить, вѣдь я убилъ человѣка... За что, скажите пожалуйста?

Послѣднюю фразу онъ проговорилъ такъ, какъ будто бы совершенно не понималъ случившагося съ нимъ.

— Убили? Бого?

— Турка убилъ.

— Такъ что же? вѣдь вы были волонтеромъ, военнымъ, а вѣдь на войнѣ убиваютъ...

— За что?

— За Сербію, я полагаю, вы убили его.

Долбежниковъ смотрѣлъ на меня во всѣ глаза и молчалъ.

— За Сербію? переспросилъ онъ.

— Я думаю—да!

— Нѣтъ, не за Сербію.

— Не за Сербію? За что же?

— За сви-ни-ну!

— Какъ это такъ?

— Да-съ, за свинину...

Я сказалъ, что не понимаю его, и Долбежниковъ пустился мнѣ самымъ подробнѣйшимъ образомъ разъяснять свой взглядъ на сербскую войну. Сербскимъ купцамъ оказывалось нужнымъ отдѣлаться отъ торговыхъ трактатовъ, которые до сихъ поръ заключала съ сосѣдними державами Турція, какъ опекушка Сербіи; трактаты эти были до сихъ поръ такіе, что сербскимъ капиталистамъ, нельзя было дать ходу своимъ капиталамъ, нельзя было имѣть фабрикъ, заводовъ, нельзя было выдѣлывать кожъ... Можно было торговать сырьемъ, которое возвращалось въ Сербію выдѣланнымъ продуктомъ и стоило вдвое дороже. Такъ вотъ теперь, говорилъ Долбежниковъ, купцы и хотятъ приобрести оружіемъ право получать больше барышей, т. е. продавать свинью, которая теперь продается только сырая и продается крайне дешево, продавать ее копченою и получать дороже. Оружіемъ они хотятъ

добиться этого права, потому что при мирныхъ переговорахъ—необходимы уступки вродѣ предоставленія иностранцамъ права пріобрѣтенія недвижимой собственности, что сразу дастъ возможность хлынуть въ Сербію иностраннымъ капиталамъ, и, разумеется, мѣстные капиталисты не устоятъ.

Когда онъ наконецъ окончилъ довольно длинное изложеніе своего взгляда на войну, то спросилъ:

— Вѣдь изъ-за свинины?

Дѣйствительно выходило, какъ будто изъ-за свинины вышло все дѣло...

— Ну вотъ, видите... Я... убилъ человѣка...

Да сколько тамъ убито народу!.. съ какимъ-то ужасомъ произнесъ онъ, прижавъ ладонь къ виску, какъ бы отъ боли.

— И я, продолжалъ онъ ужъ самъ съ собой,—сидѣлъ когда-то критиковать «тѣхъ», придирались къ мелочамъ, къ вздорамъ... Нѣтъ, оживленно произнесъ онъ, обращаясь ко мнѣ:—не вѣрьте никому, кто бы онъ ни былъ, если онъ скажетъ, что...—кромѣ конечно мужика (всемирнаго мужика... не только русскаго, прошу замѣтить) — что есть что-нибудь лучшее...

Длинный панегирикъ прочиталъ онъ вслѣдъ за этими словами. Не напускное, а что-то болѣзненное, ненормально страстное было въ его словахъ. Необыкновенно было странно смотрѣть на этого, очевидно наломаннаго человѣка, убивающагося о какой-то свининѣ, о туркѣ и волнующагося страстными порывами любви къ какимъ-то людямъ, которые, по его же словамъ, тѣмъ и плѣнительны, что ничего не дѣлаютъ. Странно было смотрѣть на этого большого чудака въ виду дѣтски-спокойно спавшаго майора, возвращавшагося съ той же самой битвы и не только не убивавшагося объ убитомъ туркѣ, но, напротивъ, получившаго за то же самое ордена и чувствовавшаго дѣтское удовольствіе отъ этого, знавшаго, что удовольствіе это раздѣлить съ нимъ вся семья, къ которой онъ поспѣетъ «какъ разъ на Рождество...» Закинувъ голову на спинку дивана и полураскрывъ ротъ, военное дитя спало сномъ невинности... Легкое дыханіе, легкое, какъ паръ, только слегка колебало кадыкъ, едва замѣтный среди плотныхъ, жирныхъ мускуловъ шеи... А тутъ рядомъ сидѣлъ исхудалый, зеленый человѣкъ и, не смыкая глазъ, мучился тѣмъ самымъ, отъ чего сосѣдъ его былъ совершенно счастливъ... А оба были изъ той же Святой Руси.

Панегирикъ былъ такъ длиненъ и запутанъ, что я рѣшился прервать его и спросилъ:

— Вы теперь куда-жъ направляетесь? Къ нимъ?

— Ни-ни-ни... какъ бы даже съ ужасомъ прошепталъ онъ. — Я теперь такъ благоговѣю передъ ними, что ни за что не приближусь къ нимъ по крайней мѣрѣ на тысячу верстъ...

— Отчего же такъ? съ удивленіемъ спросилъ я.—Благоговѣете и не хотите видѣть? Это трудно понять!

— Боюсь видѣть; боюсь жить съ ними... съ кѣмъ бы то ни было... Не умѣю жить!.. Вотъ именно—жить не умѣю. Непремѣнно выйдетъ какой-нибудь вздоръ и скука.

Я не понималъ его и смотрѣлъ на него молча, думая, не скажетъ ли онъ чего потолковѣе.

— Я знаю, говорилъ онъ, глядя въ сторону, — я урокъ. Это я знаю самымъ прекраснымъ образомъ... Но такихъ уроковъ, какъ я, много... По крайней мѣрѣ я, т. е. лично я, видалъ такихъ уроковъ: не умѣютъ жить, да и полно!.. Я самъ происхожу изъ купцовъ... т. е. изъ среды (да и всѣ наши среды такія же), гдѣ какъ-то ужъ въ крови лежать убѣжденіе, что «мы какъ-нибудь обойдемъ», гдѣ не живутъ (вспомните Островскаго), а какъ-то «бьются» объ жизнь. Деньги еще кой-какъ держутъ этихъ людей на свѣтѣ; но выньте оттуда изъ любой такой семьи деньги — все развалилось, всѣ беззащитны, одиноки, потеряны... Я вотъ изъ такой идеально-неживой семьи... Семья эта изъ тѣхъ, которыя валятся, расплзаются... Я отбился отъ нея больше всѣхъ... Случай ли, или что другое нанесло меня на равныя думы, на книги... Думы понесли меня къ людямъ — и тутъ-то я и узналъ, что не умѣю жить... Представьте себѣ, что вотъ я обдумалъ такое-то дѣло, или кто-нибудь другой обдумалъ, или затѣяли дѣло, которому я сочувствую, которое люблю, считаю вѣрнымъ и т. д. Если только (онъ говорилъ, отбѣлая каждое слово) въ это дѣло войдетъ три, четыре человѣка такихъ, какъ я, — все пойдетъ къ чорту, т. е. не только даже обличья дѣла не будетъ, а будетъ непремѣнно вздоръ. Совершенно дѣтское непониманіе жизни, совершенно дѣтское неумѣніе жить сейчасъ дать себя знать... Обижусь какими-нибудь пустяками, не захочу быть дружнымъ съ тѣмъ-то, потому что... ну хоть потому, что манеры мнѣ его не нравятся... Носъ скверный... И такъ этотъ вздоръ начинаетъ гнестъ меня, тяготить, начинаетъ завладѣвать мною всѣмъ, что я хочу бѣжать... бѣжать... И самъ я отвратителенъ себѣ, да и въ другомъ пробужу своей мелочностью тоже дурныя и мелкія черты — ну, и пошло... И выйдетъ вздоръ... И такъ все и бѣгалъ... Я ужъ узналъ себя... Все бѣгалъ... Меня братъ, купецъ, называлъ даже «пассажиромъ» за эту бѣготню. «Не человѣкъ ты, говоритъ, а пассажиръ». И правда... Вотъ и теперь я боюсь ѣхать туда. Я знаю: прїѣду и начну замѣчать носы... да разные вздоры, да обижаться пустяками, да отыскивать въ человѣкѣ скверное... Вотъ еще ужасная черта!.. Самъ плохъ и въ другомъ, въ самомъ лучшемъ, точно чтобъ себя успокоить, только и ищешь вздоръ, чтобъ сказать себѣ: «да и онъ такое же тряпье...» Нѣтъ, нѣтъ, ни за что не поѣду!.. Издали, когда меня жизнь не трогаетъ... мнѣ лучше...

Подшла какая-то станція. Доброволецъ, выигравшій деньги, и мы двое (военное дѣтя продолжало спать) вышли изъ вагона и выпили по маленькой бутылочкѣ жидкаго венгерскаго вина. Вино не развеселило насъ: Долбежникову, хотя онъ и поуспокоился немного, все-таки видимо было тяжело послѣ безотрадныхъ наблюденій надъ самимъ собой, а мнѣ было тяжело смотрѣть на выложенныя имъ передо мною больныя внутренности... Спать не хотѣлось... Стали опять разговари-
вать.

— Какъ вы въ Сербію-то попали? чтѣ вы тамъ дѣлали?.. спросилъ я.

II.

— Какъ?.. Да вотъ все оттого же!.. Представьте себѣ, каково должно быть состояніе духа у человѣка, если такъ лѣтъ пять къ раду ни отъ себя, ни отъ другихъ не выносишь ни одного добраго впечатлѣнія... Я встрѣчаюсь съ самыми лучшими людьми (теперь я знаю, что это — самые лучшие люди), съ людьми, которыхъ — не живя съ ними... а, какъ я вамъ говорилъ, издали... размышляя о нихъ — я уважалъ, благоговѣлъ... Но сойдясь по людски — для простого ли разговора, для маленькаго ли дѣла — терялся!.. Позабывалъ даже ихъ достоинства, забывалъ ихъ значеніе, потому что они были обыкновенные, живые люди... Этого ужъ довольно, чтобы я тотчасъ охлаждалъ... начиналъ бы цѣпляться за мелочи... и такъ далѣе, не доводилъ бы дѣло до того, что и меня никто не хотѣлъ видѣть, да и я былъ золъ на всѣхъ... Ну, лѣтъ пять такой жизни измучили меня... Я переполнился наблюденіями такихъ вздоръ (онъ вдругъ озялся, ударилъ себя кулакомъ по кобѣнкѣ и воскликнулъ: — «И отъ чего я только и способенъ наблюдать вздоры!..» — плюнулъ, и долго молчалъ, тяжело дыша отъ гнѣва)... Ну я самъ опротивѣлъ себѣ, и все мнѣ опротивѣло... смерть! — Смерть въ это время показалась мнѣ такимъ наслажденіемъ, такимъ удовольствіемъ... буквально лакомствомъ, что я сію минуту даже и не подберу сравненія... именно лакомствомъ... И, разумѣется, я бы покончилъ съ собою, еслибы не эта исторія съ нехристями...

— Почему же именно эта исторія спасла васъ, оставила васъ живымъ?.. спросилъ я, особенно налегнувъ на слова именно эта.

— Именно эта, тоже налегая на эти слова, отвѣчалъ Долбежниковъ: — исторія помогла мнѣ остаться въ живыхъ потому только, что никакой другой исторіи съ подобнымъ драгоцѣннымъ для нашего брата свойствомъ въ ту пору не было... А свойство этой исторіи то, что она изъ глубины народа... Это, значитъ, что народъ наконецъ взялся... а разъ онъ взялся — вывезетъ, будьте покойны!.. Удивительное дѣло! (разсказчикъ остановился). Подъ этими разломанными деревянными крышами, въ этой глуши, холодѣ, бѣдности, живутъ же вотъ какіе-то идеи, спасающія общество отъ гибели! Чѣмъ онѣ живутъ — рѣшительно непостижимо! По двадцати, тридцати лѣтъ ихъ буквально ничѣмъ не кормятъ, никто объ нихъ не заботится, не беспокоится... Живутъ онѣ подъ сгнившими или разнесеными вѣтрами крышами, какъ мужицкія вляченки, топція, маленькія, некормленныя, сущіе орды... Кормятъ ихъ нарѣдка, эти орды-идеи, захожіе солдаты, богомолки, кормятъ старой соломою, такой старой, что я вотъ благородный человѣкъ и ногъ-то объ нее не оботру... Живетъ!.. Благородный человѣкъ, сотрудникъ дождя и вѣтра, разрушающихъ соломенные крыши, ни на влячу, ни на крышу, ни на владыцѣ того и другого обыкновенно не обра-
ща-

есть никакого вниманія; заполучивъ, что ему надо, онъ знаетъ не хочетъ, что дѣлается тамъ, подъ этими крышами, полагая, должно быть, что можно танцевать, отрубивъ собственныя свои ноги, и, разумеется, ошибается, гибнетъ... Отказавшись признать своими и главными интересами интересы этихъ крышъ, этихъ крупинокъ собственной своей крови, и полагая, что онъ можетъ прожить (и еще веселѣй), самъ сотрудникъ вѣтровъ и дождей оказывается недолговѣчнымъ и въ двадцать лѣтъ обыкновенно успѣваетъ только расточить эту собственную кровь чортъ знаетъ на что... Щедрою рукою раздаетъ ее актрисамъ, проматывается за-границей, душной пылью сыплетъ въ несмѣтномъ множествѣ на возню съ собой, одинокимъ въ безсодержательной семьѣ, покуда наконецъ настанетъ истощеніе... Человѣкъ обезсилѣлъ, весь вывалился въ грязь, не знаетъ, что съ собой дѣлать... «Вывози! вопиеть:—спасай!» И глядишь, мужикъ запрягаетъ овра... Въ такую ужасную для сотрудника въ разрушеніи крышъ минуту, сотрудникъ начинаетъ откармливать овра уже не старой соломою, а жирной газетной трухой; и глядишь — одеръ отѣлся въ одну недѣлю... «Гляди, баринъ! говорить хозяйинъ:—какъ-бы худо не было... Лошадь у меня стоялая, дернетъ съ мѣста—держись только». — «Ничего, ничего, тамъ подержать...» — «А ежели примѣрно мы Европю твою кишками напимѣръ завалимъ человѣчьи, и это ничего?» — «Заваливай, кричитъ сотрудникъ дождей:—заваливай! Только вывози!» И откармливаемый газетной трухой одеръ-идея, напутствуемая ударами кнута, выхватила погибшаго изъ грязи и поставила на сухое мѣсто... Бишекъ, разумеется, выпущено безъ смѣты — ужъ объ этомъ говорить нечего... Слава Богу, что баринъ-то не утонулъ и опять вышелъ на дорогу... А какъ только вышелъ — и опять говоритъ: «теперь ты веди своего овра куда хочешь, а я сама дойду...» И, разумеется, не дойдетъ во вѣки вѣковъ... Я это говорилъ къ тому...

Разсказчикъ остановился и, перебѣнивъ тонъ, сказалъ онъ:

— Вы слышали, что я говорилъ?

— Слышалъ все.

— Ну, какъ вы находите?... Правильно я... т. е. по крайней мѣрѣ хоть во внѣшнемъ-то отношеніи прилично ли я... излагаю?..

— Что-жъ тутъ неприличнаго?... не понимая, спросилъ я.

— Нѣтъ, я хочу знать: можно ли, слушая такую рѣчь, подумать, что я хоть сколько-нибудь народомъ заинтересованъ?

— Безъ всякаго сомнѣнія...

— Ну такъ вотъ: сію минуту я именно такъ и думаю и дѣйствительно сокрушаюсь... А пойди я сейчасъ же съ такими самыми мыслями въ деревню — и вадоръ выйдетъ... начнутъ дѣйствовать на нервы дыравыя лапти, грязь, ухабы — чортъ знаетъ что... Кончатся злостью и бѣгствомъ... Будешь проклинать и себя, и раскрытыя крыши... Не понимаешь живыхъ людей... Не умѣешь быть живымъ... Вѣдь вотъ какая скотина! вновь сверкнувъ

озлившимися глазами и возвысивъ голосъ, заключилъ онъ и прибавилъ:

— Нѣтъ, лучше я послѣ... Надоѣло! такая скверность... не человѣкъ ты, а пассажиръ! да! именно не человѣкъ!..

Разговоръ возобновился черезъ нѣсколько часовъ, когда ужъ совсѣмъ разсѣло и когда мы уже проѣхали Пешть... Разсказчикъ былъ спокойнѣй и чувствовалъ себя гораздо бодрѣе, чѣмъ вчера.

— Ну, такъ вотъ — на чемъ я остановился? да!.. Мужикъ началъ вывозить... Съ дѣтства воспитанная привычка, чтобы за насъ дѣлали дѣло другіе, привычка къ «прими», «подай», откликнулась во мнѣ въ эту минуту какъ нельзя болѣе сильнѣй. Что-жъ, думаю, — «вывози, братъ, и меня», рѣшилъ я, зная навѣрное, что, разъ взявшись вывозить, одеръ непременно куда-нибудь да вывезетъ... Мнѣ было теперь все равно, хоть куда-нибудь... а убьютъ — что-жъ? Я и самъ хотѣлъ умереть... И вотъ, ввалившись въ мужичьи дровни, я сразу почти совершенно успокоился... Все, что меня мучило, все, о чемъ я думалъ, читалъ, разговаривалъ, все, что меня бѣсило, злило, волновало въ себѣ и другихъ, я, разъ рѣшивъ, что «теперь не мое дѣло» — все это позабылъ, точно или разговоровъ, ни плановъ, ни безпокойствъ, ни мыслей безпокойныхъ и не бывало... Обо всемъ этомъ я пересталъ думать, положившись на кого-то, кто теперь занялся моими дѣлами, я съ каждымъ днемъ сталъ чувствовать себя лучше и лучше... Тѣмъ и хороша война, что, разъ произнесено это слово, миллионы людей прекращаютъ думать, безпокоиться, прекращаютъ трудныя попытки рѣшать роковые вопросы, къ которымъ привела мирная жизнь. «Война!» — Никто не отвѣчаетъ за себя, за свои поступки; миллионы людей получаютъ разрѣшеніе ни о чемъ не думать, ни о чемъ не безпокоиться; никто не взыщетъ, да и не можетъ взыскать, потому — война! то есть такое положеніе дѣла, въ которомъ никто ничего не понимаетъ, никто ничего не рассчитываетъ, никто ни за что не отвѣчаетъ... Словомъ, положеніе, при которомъ люди начинаютъ ходить распояской, неумывкой, неодѣвкой... Все, что за недѣлю еще было напряжено, измучено, запутано, тайно страдало, ненавидѣло — все выпущено этимъ словомъ «война» на волю... Купецъ не платитъ по векселямъ — и не виноватъ, не отвѣчаетъ... Онъ можетъ разогнать свою фабрику — и разогнанный народъ не пикнетъ, зная, что война... Ничего не стоитъ въ такое время вчера еще очень аккуратному человѣку взять чужое, поймать чужого гуся и съѣсть... Кто тутъ будетъ разбирать? Война!.. Его гуся точно также съѣдены неизвѣстно кѣмъ... Непрочный семейный союзъ, державшійся только общественными приличіями, распался, развалился самъ собой... Развѣ виновата жена, что къ нимъ въ домъ нахлынуло такое множество офицеровъ, да еще молодыхъ, охваченныхъ вліяніемъ времени, въ которое никто ни о чемъ не думаетъ и не безпокоится ни о чемъ... Она — слабое существо... А это, посмотрите, какіе верзилы... Наконецъ, завтра

этих верах и слѣдъ простылъ. Къ тому же и мужъ, освобожденный отъ срочныхъ уплатъ, смотритъ на бѣлый свѣтъ поспешно и неохотно; не проходитъ дня, чтобы онъ не былъ подъ хмелькомъ... и почти не живетъ дома... На улицѣ такая гибель новаго: то войска вступаютъ, то выступаютъ... музыка-то веселая, то грустная—гремитъ то и дѣло... Гостиницы, кофейни биткомъ набиты... Всякій говоритъ: «нѣтъ никакихъ дѣлъ, все стало—«война»!.. И тратить накопленное... «Будь, что будетъ!» сказали себѣ миллионы людей и отдались случайности... Сотни и тысячи смертей, какъ ни странно это кажется, не только не развиваютъ чувствительности въ живыхъ (о живыхъ я только и говорю), но, напротивъ, приучаютъ глядѣть на смерть совершенно хладнокровно. Не диво становится каждому смотрѣть на кровь, слушать стоны, видѣть оторванные руки, поги, пробитыя головы. Жизнь человѣческая начинаетъ пѣдиться ни во что—и въ человѣкъ, еще недавно обремененномъ именно человѣческими-то заботами, сладко потягиваясь, просыпается звѣренкомъ... Эта атмосфера, созданная войной, охватила меня тотчасъ, какъ только я ступилъ на сербскую землю. Правда, въ первую минуту появленія моего среди новаго для меня военного общества я одно только мгновеніе почувствовалъ, что предо мной совершается что-то необыкновенно старое, завалящее, что-то такое, про что всѣ давно забыли, потому что выросли... Одно мгновеніе мнѣ показалось, что я словно началъ читать Ерусалана Лазаревича послѣ книгъ, касающихся трудныхъ философскихъ и общественныхъ вопросовъ. Но я это отогналъ отъ себя; да и безъ моего участія военная атмосфера, окружавшая меня, слѣдала то же дѣло—очень скоро. «Не думай ни о чемъ», говорила она—и здоровье мое стало быстро улучшаться. Я сталъ отлично спать, потому что ни о чемъ не думалъ—не мое дѣло; будетъ такъ, какъ будетъ, рѣшалъ я и спалъ сномъ невиннаго младенца... «Ожидать приказаній»—тоже вещь для меня новая—пришлась мнѣ по вкусу и много способствовала улучшенію аппетита и поправленію здоровья. Въ самомъ дѣлѣ, о чемъ мнѣ беспокоиться? Какъ прикажутъ... тамъ знаютъ!—Не мое дѣло... «Завтра выступать!» Ладно, выступимъ... Завтра, такъ завтра. И выступаешь, не думая, куда, зачѣмъ. Какъ легко, отказавшись отъ всего прошлаго, не имѣя никакой тяжести на плечахъ, идти куда-то, по новымъ мѣстамъ, идти къ неизвѣстному!.. Уставать, ѣсть, спать и ждать приказаній... Какой-то раздраженный военный, всю дорогу брюзжавшій на начальство, на неполученіе какого-то пособія, представлявшій какіе-то проекты, планы, критиковавшій военныя операціи и т. д., до того былъ противенъ всѣмъ «порядочнымъ» людямъ, въ общество которыхъ я попалъ, что съ нимъ рѣшительно никто не хотѣлъ говорить. Его опредѣлили какъ мелочного человѣка, интригана, прониру и бросили. Такъ была въ эту пору странна для всѣхъ (по крайней мѣрѣ мнѣ такъ казалось) всякая попытка о чемъ-нибудь думать, что-нибудь объяснять, о чемъ-нибудь беспокоиться...

— Въ такомъ блаженномъ состояніи былъ я нѣсколько недѣль сряду... Я поздравлялъ, поминалъ, одеревенѣлъ, даже одурѣлъ, если хотите, но расцѣлъ вполне, чувствовалъ себя необыкновенно здорово и весело... Словомъ, я совсѣмъ воскресъ и жадно держался за это новое, невѣдомое мнѣ состояніе духа, и съ каждымъ днемъ воскресеніе мое становилось для меня яснѣе и ощутительнѣе. Тотчасъ по прїѣздѣ, какъ я вамъ говорилъ, я почувствовалъ было, что вѣсто книгъ принимаюся за чтеніе Ерусалана Лазаревича, Гуака; но съ выступленіемъ на позицію этого ощущенія не осталось и слѣда—все прошло, потому что я все забылъ. Тутъ на позиціи случай завладѣлъ мной окончательно: тутъ не только не нужно было о чемъ-нибудь думать, беспокоиться, а просто невозможно было дѣлать что-нибудь подобное. Тутъ не знаешь ни дня, ни часа, въ онъ-же хлопнуть тебя пулей въ голову—и конецъ, стало быть, оставъ всякую надежду на какой-либо смыслъ... Вотъ въ это-то время я и турка убилъ: прїѣхали въ намъ на позицію товарищи, привезли лютой роміи, вина, жаренаго поросенка. Выпили, поболтали... опять выпили. (Паль я, празднуя свое воскресеніе, много, но пьянъ не былъ.) Стали стрѣлять, пробовать берданки. У одного изъ товарищей, помню, была очень хорошая берданочка. Такъ вотъ ее пробовали. Стали пробовать, разумеется—въ людей, въ турокъ... Убить турка—точно такъ-же, какъ и турку убить серба—ничего не значило. Для обоихъ было не извѣстно, зачѣмъ все это дѣлается; но оба, разъ отказавшись думать, вѣрили, что убить другъ друга надо. Ну, стрѣляли, пили, ѣли поросенка... и я выпалилъ и убилъ... И у насъ у одного офицера оторвало ногу—такъ съ кускомъ поросенка въ рукѣ и повалился... Ни то, ни другое убійство не оставило ни въ комъ почти никакого впечатлѣнія. Всѣ были такъ искренно деревянны и искренно бессмысленны, что самое сожалѣніе—по крайній мѣрѣ мнѣ—казалось уже фальшиво. «Я тутъ не виноватъ, это не мое дѣло»—вотъ что война пробудила въ каждомъ и чѣмъ каждый жилъ въ эти минуты... На позиціи я пробылъ недѣли съ полторы и не помню, зачѣмъ-то (кажется, по какому-то дѣлу, что-то вродѣ заказа сабель или покупки какихъ-то веревокъ—что-то въ этомъ родѣ) прїѣхалъ въ Бѣлградъ. Состояніе духа было превосходное. Свѣже-недумающихъ людей было вдоволь; ихъ радость—перестать думать и жить, вѣря пробудившемуся звѣрушкѣ—еще болѣе подкрѣпила меня. Помню одинъ вечерокъ въ такой веселой компаніи... Хорошо, чудесно провели мы вечерокъ этотъ... Послѣдній (съ сожалѣніемъ сказалъ рассказчикъ), послѣдній веселый день моего воскресенья.

— Что-жъ случилось? спросилъ я.

— Случилось нѣчто очень знаменательное... Нѣчто такое, что разбило, разбило меня, мое ощущеніе въ мелкія дребезги... Вотъ какъ это было. Часовъ въ 11 ночи вдругъ пришлось намъ, т. е. веселой нашей компаніи, ѣхать въ Землинъ. Поѣхали на лодкахъ... Орали конечно, пѣсни пѣли, захватили вина, пили... Сцена тутъ съ австрій-

скими солдатами произошла, не хотѣли пускать на берегъ, но на счастье у насъ были русскіе паспорта и большая готовность вступить въ открытый бой... Пропустили... Пошли мы по Землину, взбуждали двѣ-три гостиницы и т. д.,—словомъ, провели время весело, т. е. вполне по свиному... На утро я, не знаю почему-то, проснулся довольно рано; въ первый разъ почему-то заняло у меня сердце: оттого-ли, что много пилъ вчера, оттого-ли, что погода была сѣрая, пасмурная, только какая-то болѣзненная тревога зашевелилась во мнѣ... Какъ-то скучно стало мнѣ въ номерѣ, переполненномъ спавшими богатырями францызъ-венеціанцами. Я поспѣшно одѣлся и пошелъ пройтись. Было еще довольно рано, гостиницы были заперты, негдѣ было достать ни вина, ни кофе. Вы были въ Землянѣ? Это—чистенькій, маленькій городокъ, расположенный на низменномъ берегу Дуная. Узенькая, низкая набережная, усыпанная черною пылью каменного угля, тянется вдоль по Дунаю почти какъ по ниткѣ. Я пошелъ по этой набережной. Никого почти не было на ней; только на судахъ, стоявшихъ у берега, видны были поднимавшіеся на работу люди. Выбравъ на набережной сухое мѣстечко, я сѣлъ, протянувъ по травѣ ноги, я сталъ курить и смотрѣть... Дунай былъ мутный и сѣрый; медленно шевелилъ онъ привязанныя къ берегу лодки, на которыхъ обыкновенно (пароходъ ходитъ только два раза въ день) происходитъ сообщеніе съ Бѣлградомъ рабочаго люда. Мелкій дождь, какъ сквозъ сито, сѣялъ безпрестанно, чуть-чуть шумѣлъ по листьямъ деревъ, которыя кой-гдѣ растутъ по набережной. Я сидѣлъ и, кажется, ничего не думалъ, просто смотрѣлъ. И вижу: на берегу, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня, опрокинута лодка—ее чинятъ; одинъ бокъ ея и дно задѣланы новыми досками, кругомъ валяются стружки. Рабочіе еще не приходили, и представилось мнѣ, что подъ этой лодкой что-то или кто-то есть. Что-то какъ будто стучало изнутри, зашевелило стружками и затихло. — «Вѣроятно собака забралась туда отъ дождя!» рѣшилъ я и продолжалъ молчать, курить и смотрѣть. Ни шороха, ни звука ужъ не слышно было въ лодкѣ. Такъ прошло болѣе часа. Часовъ около семи народъ вдругъ повалилъ на пристань; я всталъ и пошелъ въ кофейню, находящуюся тутъ же. Но не успѣлъ я выпить чашку кофе, какъ услышалъ въ открывшуюся безпрестанно дверь какой-то пронзительный крикъ, доносившійся съ улицы. Крикъ былъ раздражающій душу и рѣзалъ по сердцу точно ножомъ... Я не допилъ кофе и вышелъ посмотреть, что такое. Большая толпа народу стояла около той самой лодки, подъ которой я слышалъ шорохъ. Я пробился сквозъ ряды деревенскихъ женщинъ, дамъ и мужчинъ, собиравшихся въ Бѣлградъ на первомъ пароходѣ, купцовъ, солдатъ и полицейскихъ, молча столпившихся на берегу,—и увидѣлъ слѣдующую сцену:

«Два здоровенныхъ нѣмца, въ поджакахъ на овчинномъ мѣху, въ высокихъ сапогахъ, тащили изъ-подъ лодки маленькаго семилѣтняго мальчика, отбивавшагося отъ нихъ и руками, и ногами. «Майко,

майко» (матушка!) кричалъ онъ, кажется, всѣми своими внутренностями. Двое рабочихъ, простые крестьяне, помогали нѣмцамъ вытащить ребенка изъ-подъ лодки, загораживая ему дорогу съ противоположной стороны. Нѣмцы дѣлали свое дѣло молча, систематически, ползая на четверенькахъ вокругъ лодки и наконецъ одному изъ нихъ удалось поймать худенькую грязную дѣтскую ногу... Поймавъ ребенка за ногу, нѣмецъ потащилъ его стремительно и вытащилъ тотчасъ же, обѣими руками схвативъ за худенькую дѣтскую руку, которая судорожно сжимала какой-то крошечный узелокъ. Другой нѣмецъ также обѣими руками схватилъ за другую руку и—тутъ началась поистинѣ ужасная сцена. Маленькое существо собрало все, что могло противопоставить силѣ этихъ двухъ верзилъ... Ни на минуту ребенокъ не переставалъ кричать, до того, что минутами у него захватывало дыханіе: его старались поднять съ земли; онъ виснулъ на рукахъ, употреблялъ всѣ силы, чтобы сѣсть; его несли, онъ упирался, съ нечеловѣческими усилиями напругая свои худенькія ножонки, и вдругъ, когда онъ видѣлъ, что его тащатъ-таки, хоть и съ остановками, и волокутъ, онъ въ полномъ отчаяніи дѣлалъ попытки вырваться—попытки ужъ совершенно безплодныя. При видѣ, какъ его худенькое тѣло все извивалось змѣей, при видѣ тисковъ этихъ двухъ нѣмцевъ, изъ которыхъ нѣтъ возможности выбиться, слеза прошибла меня... Мальчишъ-сербъ—узналъ я въ толпѣ—отданъ былъ матерью дня три тому назадъ въ ученые къ нѣмцу-слесарю и хотѣлъ убѣжать назадъ къ матери въ Бѣлградъ. Подъ лодкой онъ просидѣлъ всю ночь, думалъ какъ-нибудь пробраться на пароходъ... Въ узелкѣ онъ унесъ свою рубашку... Теперь хозяинъ поймалъ его и тащилъ домой, тащилъ, какъ собственную свою вещь, тащилъ «силою», на законномъ основаніи... «Вотъ война-то настоящая! мелькнуло у меня. Поди-ко, герой, которому ничего не стоитъ быть убитымъ и убитъ, не думая объ этомъ, не отячаая за это,—поди-ко, подумай объ этомъ мальчишѣ, отвоюй его, заступишься... Поди-ко, постой—сознательно постой—за права чужого чловѣка, за права его сердца, переполненнаго любовью къ майкѣ, за права ребенка, которому еще нужно играть, а не задыхаться въ мастерской; поди заступишься, положи-ко вотъ тутъ свои кости!...» Деревянное благополучіе покинуло меня... Что я дѣлалъ? Что я дѣлаю? зашумѣло во мнѣ, но мальчишка не далъ хлынуть скорби широкимъ потокомъ въ сердце, такъ какъ приковывалъ къ себѣ все мое вниманіе. Обезсилѣвъ, онъ какъ будто рѣшился идти. Хозяинъ и его помощникъ, обрадовавшись этому, проворно пошли впередъ, почти побѣжали... Мальчишъ тоже бѣжалъ... Его узелъ былъ въ рукахъ хозяина... Прошли такъ шаговъ двадцать, какъ вдругъ малый вырвался... и понесся... Понесся—куда глядѣли глаза... Соскочилъ въ канаву, въ грязь... За нимъ бросился хозяинъ, помощникъ, полицейскій, какой-то мужикъ... Они кричали, горланили, звали помочь... Мальчишка несся молча, закусивъ удила, не помня себя... Бѣдное маленькое существо!.. Поймали! Не буду больше гово-

рить объ этой ужасной сценѣ, объ этомъ ужасномъ терзаніи ребенка, объ его отчаянномъ крикѣ, безпомощномъ сопротивленіи... Сцена была въ полномъ смыслѣ ужасная, звѣрская и прямо ударила меня въ сердце, сразу пробудила во мнѣ все, что я старался забыть, о чемъ я хотѣлъ не думать, сказавъ себѣ «вывози!».

— «Ты, говорилъ я себѣ, чувствуя, что меня душатъ слезы,—ты, котораго безконечныя, неисчислимыя жертвы научили понимать бѣды человѣческія, которому поставили великія задачи, трудныя, громадныя хлопоты—какъ ты могъ успокоиться на забвеніи всего, что выстрадано, вымучено для тебя?.. Жалкая, отвратительная тварь! Чтобы чувствовать себя живымъ, легко живущимъ, тебѣ надо поддерживать вещи, которыхъ никто уже сознательно не считаетъ нужными, разумными. У тебя есть задачи, полныя глубокаго значенія, и если онѣ владѣютъ хоть одною каплей твоей крови, стой за нихъ, потому что все другое — вздоръ, старый хламъ, тряпье... Ты измучился скучать, ты измучился отъ продолжительныхъ размышленій, не имѣющихъ результата, такъ начиная же жить, бейся за то, о чемъ ты думалъ. Воюй за твою мысль, за движеніе твоего сердца, которое воспитано или по крайней мѣрѣ приучено страдать за ближняго...»

— ...И тутъ мнѣ представилась эта новая война... Въ самомъ дѣлѣ, думалось мнѣ, если бы я вздумалъ защитить этого мальчишку, то есть дѣйствовать такъ, какъ говорить мой просвѣщенный (это слово онъ произнесъ иронически) разумъ, посмотрите-ко, какая масса силъ, какой героизмъ, стоицизмъ, какая энергія нужна-бы была мнѣ... Истинно—поле битвы страшнѣе въ тысячи разъ всякой свалки, въ которой избиваютъ тысячи человѣкъ въ нѣсколько минутъ и которая яко-бы кого-то освѣжаетъ!..

— Положимъ, что я пошелъ бы и ударилъ этого нѣмца, взялъ бы мальчишку и отдалъ матери; нѣмецъ за обиду тянетъ меня въ судъ, штрафуетъ, сажаетъ въ тюрьму. А главное — противъ меня является свидѣтельствовать родная мать ребенка; она, заливаясь слезами, скажетъ, что мальчикъ поступилъ къ нѣмцу по ея желанію, что она вдова, мужа убили на войнѣ, у ней пятеро дѣтей—и меня посадятъ подъ арестъ, а мальчика опять отдадутъ нѣмцу. Если я человѣкъ вѣрный своей мысли, я отсижу срокъ—и вновь берусь за то же дѣло. Я начинаю дѣйствовать путемъ печати, разсуждать вообще. Представьте себѣ, какую гибель трудностей долженъ преодолѣть я здѣсь... Издателей штрафуютъ, и не всякій поэтому рѣшится напечатать... Я же не хочу, чтобы статья печталась въ искаженномъ или смягченномъ видѣ... Послѣ тысячи мытарствъ, раздраженный и взволнованный издательской трусостью, я пишу мою защиту «силою» попираемыхъ мальчишекъ отдѣльной книгой и выпускаю въ свѣтъ, истративъ все, что имѣлъ. Книгу берутъ, уничтожаютъ, меня приговариваютъ къ тюрьмѣ (предполагается, что все это за границей происходитъ) и дѣлаютъ это какъ разъ въ то время, когда у меня больна жена... Я сажусь въ тюрьму,

она остается безъ средствъ, болѣетъ, умираетъ... Я выхожу на свободу одинокимъ, обвиняемымъ, поруганнымъ; но силъ на борьбу у меня больше. Я хочу, чтобы слышали объ этихъ неправдахъ, чтобы опомнились... Ну-те-ко сочитите, сколько надобно трудовъ, ума, хитрости, настойчивости, словомъ, сколько надо героизма, непоколебимости и преданности своей идѣ, чтобы преодолѣть все это, добиться права публично, громко, втеченіи не болѣе десяти минутъ (больше не дадутъ) говорить о томъ, изъ-за чего я бился... Что жъ это не поле битвы? Это не война? Не герой я, если выдержу этотъ подвигъ? А задача постоять за мальчишку развѣ мала, развѣ можетъ она идти въ сравненіе съ задачей завоевать право коптить солоно вѣтчину или дубить кожу?.. Мальчишекъ разбилъ все мое спокойствіе, все мое здоровье—все, въ одну минуту... Товарищи, спавшіе въ номерѣ, были для меня невыносимы. Я просто не могъ ихъ видѣть теперь. Мысль, что теперь нужно совсѣмъ иное,—была мнѣ совершенно ясна.

— Я взялъ лодку и одинъ переѣхалъ въ городъ...

— Разъ сорвавшись съ высоты своего благополучія, я стремительно несся въ бездну тоски, горя, тяжести мысли... Все приняло въ моихъ глазахъ другой видъ. Мнѣ представилось, что самый послѣдній изъ самыхъ недумаящихъ, простонародныхъ добровольцевъ нашихъ дерется съ турками не потому, чтобы ненавидѣлъ ихъ, какъ бусурманъ, а потому, что измучился совершенно другимъ и хватается за бусурмана потому, что не сообразить, не въ силахъ и не можетъ сообразить всей тяжести тяготящихъ умъ вопросовъ... Не даромъ, думалось мнѣ, наши пьютъ передъ дракой водку, а турки—опіумъ, и лѣзутъ драть другъ-другу животы въ пьяномъ видѣ... Въ трезвомъ—всѣ давно ужъ не звѣри. У всѣхъ накопила на душѣ бездна страданій, нужды, но никто не поможетъ разобраться. Вамъ знакомъ конечно очень часто встрѣчающійся въ русской крестьянской жизни фактъ ожиданія страшнаго суда? Вотъ сію минуту, когда я рассказываю вамъ свои подвиги, непременно въ какой-нибудь русской, глухой деревенькѣ бѣдные, робкіе люди ждутъ страшнаго суда, втораго пришествія, ложатся въ гробы, рыдаютъ... Завтра будутъ ждать въ другой. Это какіе-то припадки вдругъ овладѣвающаго народомъ глухой деревеньки отчаянія... Откуда это отчаяніе? Изъ чего оно складается? Мнѣ кажется, что этотъ припадокъ есть результатъ обилія неразрѣшенныхъ сомнѣній, неразъясненныхъ мыслей, глубоко чувствуемой неправды, накопившихся необычайно долго, но ничѣмъ, никакъ не уясненныхъ, не приголубленныхъ... Тутъ гнѣзда идей, гнѣзда глубокихъ душевныхъ страданій, не распутанныхъ, неимѣющихъ возможности развиваться... Человѣка вдругъ охватываетъ ощущеніе какой-то глубочайшей неправды въ себѣ, въ другихъ, во всемъ свѣтѣ; онъ вдругъ на одно мгновеніе видитъ узы жизни, и ему кажется, что насталъ конецъ свѣта... Когда я представилъ себѣ, что самая глухая деревушка волнуется тѣмъ самымъ, чѣмъ волнуются самые первые великіе умы,

за что пролито столько крови и слезъ, мнѣ стало просто ужасно. Не безстыдство ли поддѣвать жаждущую свѣта душу живого человѣка на чемъ-то такомъ, что дѣлаетъ его звѣремъ, что изъ его жажды жить, жертвовать собой, преслѣдовать зло—дѣлаетъ какую-то бессмысленную тварь, которая проткнула штыкомъ животь другому, такому же человѣку, и видитъ геройство въ томъ, чтобы поднять этого человѣка на томъ же штыкѣ, да перевернуть его на немъ раза четыре, чтобы все разорвать у него внутри? Нѣтъ, это—неправда, обманъ, ложь... Никто не хочетъ быть такимъ, никто не хочетъ быть звѣремъ...

— Когда я перѣхалъ Дунай и выльзъ изъ лодки на другомъ берегу, у Бѣлграда, я уже не узнавалъ ни другихъ, ни самого себя. Я былъ раздавленъ сознаніемъ моего ничтожества передъ громадною пробужденныхъ во мнѣ мальчишескою задачею жизни и, признаться, полнымъ негодованіемъ, даже презрѣніемъ къ своимъ недавнимъ пріятелямъ. Я не могъ слышать звона сабли, не могъ видѣть этого гарцующаго молодца. Ни въ чемъ не было смысла, все было безжалостное безсердечіе и глубочайшая неправда, безсовѣстность и притворство...

— Разумѣется, я уже больше не служилъ. Я снялъ мундиръ, одѣлся вотъ въ это старое тряпье и сталъ жить только тѣмъ, что терзался собой и другими... Конечно на меня стали смотрѣть, какъ на сумасшедшаго

Разсказчикъ замолкъ.

— Ну, помолчавъ, снова началъ онъ: — вотъ въ это время я и вспомнилъ *тотъ*...

И опять Долбежниковъ прочиталъ длинный панегирикъ. Я приводить его не буду, скажу только, что благоговѣніе его было такъ велико, что онъ и бездѣйствіе возводилъ въ подвигъ.

— Хотъ и мысля-то продержаться изъ-за мальчишки, продержаться всю жизнь—и то какое мужество, когда кругомъ все противъ тебя, даже иной разъ тѣ же самые мальчишки!..

Гензендорфъ—станція, съ которой поѣзда идутъ въ разные стороны: одни на Вѣну, другіе на Варшаву.

— Ну, спросилъ я Долбежникова: — куда же вы?

— Ей-Богу, не знаю.

Видъ его былъ необыкновенно жалокъ: зеленый, иззябшій, испуганный, онъ былъ такъ одинокъ, такъ безпомощенъ...

— Ей-Богу, не знаю, куда и дѣться! прибавилъ онъ, помолчавъ.

Сказалъ онъ это и замолкъ. Молчалъ и я...

VII. Голодная смерть.

...Плохой клубный ужинъ былъ съѣденъ, плохое клубное вино выпито; но небольшое общество, успѣшно совершивши и то, и другое, не расходилось и продолжало сидѣть за жиденькимъ клубнымъ столикомъ.

Пять человѣкъ, сидѣвшіе за этимъ столомъ: медицинскій студентъ, его сестра, сельская учительница, неудавшійся и скучающій своимъ фраккомъ и бѣлымъ галстукомъ адвокатъ, проклинающій свою газету фельетонистъ и такъ «просто человѣкъ», служащій въ банкѣ,—все это общество испытывало по окончаніи ужина только Петербургу свойственное вялое утомленіе—результатъ суетливого, но ни капли не интереснаго дня... Вяло велись разговоры, поминутно перерывавая длинными паузами и касаясь тысячи разнохарактернѣйшихъ предметовъ, что не только не способствовало оживленію бесѣды, но, напротивъ, дѣлало изъ нея какое-то несносное, не имѣющее цѣли бремя... Такъ тянулось довольно долго, когда случайно кто-то изъ собесѣдниковъ заговорилъ о самоубійствахъ. Грустная тема эта—какъ ни странно это покажется—вдругъ оживила разговоръ: въ самомъ дѣлѣ, въ послѣдніе годы манія самоубійства черною тучей пронеслась надъ всѣмъ русскимъ обществомъ, и едва-ли въ немъ найдется кто-нибудь такой, котораго бы эта бѣда не интересовала, помимо бѣды общественной, еще и съ личной точки зрѣнія. У каждаго бѣда эта унесла кого-нибудь, съ кѣмъ была близкая или дальняя связь родства, близкое или дальнее знакомство.

Оживившійся разговоръ пяти клубныхъ посѣтителей сразу показалъ, что вопросъ о преждевременной смерти занималъ каждаго изъ собесѣдниковъ едва-ли не болѣе всѣхъ другихъ вопросовъ, которыхъ въ такомъ общіи касался сегоднешній вялый, скучный разговоръ за ужиномъ. Оказалось, что всякій подумывалъ объ этомъ дѣлѣ и подумывалъ не разъ, и у всякаго былъ матеріалъ, разработанный каждымъ на свой образецъ, и разработанный довольно тщательно.

Случайно подвернувшаяся тема была такъ всѣмъ близка и интересна, что немедленно и единогласно было потребовано еще двѣ бутылки клубнаго вина, что предвѣщало всеобщее желаніе толковать, и толковать обстоятельно, т. е. предвѣщало еще двѣ или три бутылки въ окончательномъ результатѣ.

Поддерживаемый первыми бутылками разговоръ пошелъ оживленно и бойко; припоминались случаи, видѣнные, слышанные, приводились всевозможныя объясненія: ревность, любовь, запутанныя дѣла, оскорбленное самолюбіе и проч., и проч. и вмѣстѣ съ тѣмъ пытались взглянуть на дѣло вообще, подвести итогъ своимъ наблюденіямъ, своимъ мыслямъ по этому предмету.

Крайне разнообразны были общіе взгляды на коренныя причины эпидеміи самоубійствъ; но то обстоятельство, что манія эта могла появиться и разростись только въ настоящее время—это всѣмъ признавалось единогласно. Всѣ были согласны, что новое время русской жизни было главною причиною къ тому, чтобы началось это поголовное самоубіеніе, и что главная, существенная черта этого новаго времени—необходимость жить своимъ умомъ, самому отвѣчать за самого себя, необходимость, осылавшая сразу сотни тысячъ народу, благодаря крѣпостному праву со всѣми его многочисленнѣй-

вниманіемъ не у себя, а у тѣхъ, кто мнѣ разрѣшайтъ...

Протестъ большинства присутствовавшихъ въ клубномъ столѣ лицъ, усумнившихся было въ дѣйствительности существованія въ русскомъ чело-вѣкѣ странной любви къ палкѣ, былъ заглушенъ все болѣе и болѣе разгорячавшимися фельетонистомъ помощью усиленной торопливости, съ которою онъ перешелъ къ новому ряду обстоятельствъ, не давъ хорошенько разобратъ и обдумать только-что сказанное. Воспнувшись сербской войны и объяснивъ эту русско-сербскую толкучку именно тѣмъ, что тутъ соотечественники пытались попробовать сдѣлать дѣло сами, безъ указки и безъ палки, и не давъ по обыкновенію никому возразить, онъ тотчасъ перешелъ къ ежедневнымъ явленіямъ современной жизни и сталъ выхватывать одни прикѣры за другими. По его словамъ, неумѣнье жить безъ неприятностей видно повсюду. Онъ зналъ супруговъ, которые не могли ужиться при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ и отлично жили при неблагоприятныхъ. Вотъ образцовая пара: оба добрые, умные люди, оба сошлись не-изъ расчета, а по любви, и согласны по мысли... И что-жъ, скука, тоска, холодъ... Ни одно дѣло не удается, ничто въ прокъ неидетъ. Разошлись наконецъ. И глядишь: сошлись супругъ просто съ нѣмкой Каролиной Карловной, у которой только одна потребность: имѣть на рукѣ мѣшокъ съ деньгами и елико возможно больше извлекать этихъ денегъ изъ всего мірозда-нія — и все пошло какъ по маслу. Каролина Карловна каменной тучей своего грубѣйшаго непониманія виситъ надъ чело-вѣкомъ, надъ его развитіемъ и умомъ; чело-вѣкъ этотъ ропщетъ, но ожилъ, бѣгаетъ по вселенной, «достаешь», и ужъ, повѣрьте, никогда не уйдетъ отъ этой каменной тучи. «Самъ», своею охотою, не уйдетъ. Потому что бессмысленныя, нестерпимыя условія, въ которыя попалъ чело-вѣкъ, благодаря этой женщинѣ съ каменными мозгами и сердцемъ, онъ считаетъ подлинными, за-правскими, а доброту, умъ и простоту прежней привязанности считаетъ только сномъ дѣтскимъ, изъ котораго ничего не выйдетъ и съ которыми страшно и холодно жить на свѣтѣ. Не запряженный, пущенный на волю русскій чело-вѣкъ пропалъ, погибъ въ большинствѣ случаевъ, и единственное спасеніе ему—крѣпкія оглобли, тяжелый возъ... Такъ привыкъ, такъ заѣзженъ. Продолжая не слушать возраженія собесѣдниковъ, тѣсно спрашивавшихъ: «принемъ же тутъ самоубійство?»,—авторъ теоріи любви къ палкѣ выдвинулъ еще новое наблюденіе: именно, онъ сказалъ, что даже такъ-называемыя новыя идеи и дѣла для многихъ-многихъ россіянъ важны и значительны только какъ бремя, какъ упряжка, какъ постоянная борьба съ самимъ собой, постоянное мученіе, испытываемое въ этой борьбѣ, происходящей отъ полнаго разногласія всего существа субъекта съ требованіями новыхъ идей. Иной и рвется къ нимъ, потому что исповѣданіе ихъ почти для него невозможно... Въ подтвержденіе этого положенія, онъ разсказалъ про одну дѣвушку, долго и безуспѣшно

отбивавшуюся отъ своего истиннаго призванія—быть хорошей хозяйкой и матерью многочисленнаго семейства, забывавшей въ одинъ день все, что было обложено ею въ годъ вродѣ экзамена на сельскую учительницу, и никогда невыучившейся понимать и различать общественныя дѣла отъ необщественныхъ. Нужно было видѣть, что это была за мученица! Она едва не умерла, какъ вдругъ вышла замужъ, родила ребенка и расцвѣла, т. е. все забыла и стала тѣмъ, чѣмъ должна была быть, влача иное, свойственное ей натурѣ бремя хозяйства и домо-водства. Разсказалъ онъ еще и про одного мужчину, своего товарища по гимназіи, который отдался новымъ идеямъ, тоже какъ-будто съ испугу и тоже потому, что въ натурѣ и существѣ его именно и не было ничего нужнаго для того, чтобъ идеи эти были живыми въ живыхъ людяхъ. Испугавшись разъ, въ первые дни пріѣзда въ кругъ молодежи одного провинціального университета, онъ ужъ сталъ потомъ все дѣлать съ испугу и поступалъ во всемъ противъ собственныхъ желаній. Женился потому, что жена рѣшительно ему не нравилась и потому, что именно это обстоятельство (жена была изъ новыхъ) дѣлало его причастнымъ къ тѣмъ кружкамъ, идеи которыхъ были для него почти невозможны... Словомъ, чело-вѣкъ этотъ, разъ узнавъ, что въ немъ нѣтъ матеріала для исповѣданія новыхъ идей, испугался самого себя и сталъ поступать противъ себя во всемъ.

Собесѣдникамъ показалось все это до такой степени трудно постижимымъ и неудоваривимымъ, что нѣсколько голосовъ нашли нужнымъ прервать разсказчика вопросомъ: «да при чемъ наконецъ тутъ самоубійство? Зачѣмъ вы приводите такихъ уродовъ, идиотовъ и глупцовъ?». Фельетонистъ, очевидно хватившій въ послѣдовательности своихъ наблюденій черезъ край, категорически объявилъ однако, что этихъ глупцовъ, этихъ людей, желающихъ ярма, такъ много на русской землѣ, что изученіе странной любви къ ярму можно считать достояніемъ вниманія образованнаго россійскаго общества и что къ самоубійствамъ все вышесказанное также имѣетъ отношеніе довольно близкое, именно: самоубійствомъ непремѣнно долженъ кончить всякій изъ такихъ умѣющихъ жить въ ярмѣ, какъ только жизнь поставитъ его въ необходимость почерпнуть силу жизни въ собственномъ желаніи и мысли. Такой чело-вѣкъ въ такія минуты съ ужасомъ видитъ, что въ немъ нѣтъ источника жизни и почерпнуть не изъ-чего. Умираютъ такіе люди собственно «отъ испуга...» самихъ себя.

Этими словами, показавшимися всѣмъ похожими на правду, наблюдатель окончилъ изложеніе своихъ наблюденій, залпомъ выпилъ стаканъ вина и общалъ все это разработать въ своемъ фельетонѣ, прибавивъ:

— Вотъ тогда увидите...

— Нѣтъ, перебилъ его медицинскій студентъ:—я вотъ чего не понимаю... Я не понимаю, какъ можно умереть съ голоду... Мнѣ понятно, что въ минуту отчаянія, испуга, какъ вы говорите, можно пустить нулю, принять яду, но морить себя де-

сать, пятнадцать дней голодомъ, умереть отъ савольнаго истощенія—этого я не понимаю... Какой тутъ испугъ? Вообще я не понимаю тутъ ни капли...

— Болѣзненное состояніе... произнесъ—было банковскій чиновникъ.

— Я объ этомъ не говорю; я спрашиваю только: какимъ путемъ доходить до этого состоянія?..

— Тоже отъ испуга... нерѣшительно произнесла сестра студента, сельская учительница.

Это была одна изъ тѣхъ много думающихъ, но робкихъ дѣвушекъ, которыя въ рѣдкихъ случаяхъ, и то вспыхнувъ отъ сознанія неловкости, рѣшаются произнести свое словечко.

Обыкновенная форма разговора этихъ натуръ такая: «Мнѣ кажется... я думаю...» Начнетъ она—и тотчасъ замолчитъ. — «Говорите же, что вы думаете?... Говорите, пожалуйста». — «Нѣтъ, я такъ... Я ничего не понимаю!» — «Что за вздоръ! какъ ничего не понимаете?... Говорите, ради Бога». — «Я думаю... Нѣтъ, я—дура...»

И только послѣ многихъ ободрительныхъ словъ, большею частью въ ту минуту, когда ужъ и не ждутъ никакихъ отъ нея объясненій, она вдругъ выскажется торопливо, кратко и вѣрно.

Такъ было и на этотъ разъ. Всѣ присутствовавшіе знали, что словечко, сказанное этой дѣвушкой, не будетъ пустымъ, и разомъ налегли на нее съ требованіемъ сказать, что именно она думаетъ, когда на замѣчаніе брата о томъ, что ему непостижимо, кого и чего можно такъ испугаться, чтобы морить себя голодомъ, мучить самымъ жестокимъ образомъ, вмѣсто того чтобы пустить пулю въ лобъ, она отвѣтила обычнымъ порядкомъ, то-есть, начала словами: «мнѣ кажется» и кончила тотчасъ выраженіемъ: «Нѣтъ, я такъ... Я не понимаю...» Послѣ усиленныхъ и всеобщихъ настояній изъ этого молчаливаго существа было извлечено нѣбне, что съ голоду умирають испугавшіеся—«астъа» и «асею...» то-есть и себя, и всего блага свѣта; кромѣ этого она сказала, что знала одного человѣка, который именно такъ и умеръ, и повидимому неизвѣстно зачѣмъ прибавила: «Онъ былъ крестьянинъ...»

— Ну, перебилъ ее братъ:—положимъ, это... ужъ ничего не значить...

— Нѣтъ, значить... Я знаю, что такое—деревня и крестьянская жизнь... Ни для кого такъ ни страшна дѣйствительность, какъ для крестьянина... Въ его жизни нѣтъ прикрасъ и снисходительности ни въ чемъ... Все—отъ неба, которое хлынетъ градомъ, отъ земли, которая не уродитъ, до отца и брата, которые не пощадаютъ его, если не будутъ сами пощажены—все можетъ раздавить его въ мгновеніе...

— Ну, рассказывай лучше, перебилъ братъ.—Кто такой это твой знакомый... Рассказывай все обстоятельно...

Запнясь и конфузясь поминутно, дѣвушка рассказала одну очень простую исторію, которую я и записалъ такъ, «какъ понялъ», не ручаясь за точность и подлинность выраженій.

На Окѣ, въ одной деревенькѣ, гдѣ останавливаются пароходы, на краю селенія, много лѣтъ тому назадъ жила солдатка съ маленькимъ сыномъ. Жили они у самого берега, въ нищенской лачужкѣ и въ страшной бѣдности: ни кола, ни двора, ни куриного пера... Чѣмъ жила эта женщина? Некрасивая, худая и оборванная, ходила она на поденщину, на поденщину деревенскую, гдѣ гривенникъ за пѣлый день—деньги громадные... Когда же приходили барки и заночевывали въ деревенькѣ, въ хибаркѣ солдатики слышались гармонія и пѣсни: пѣли и веселились такіе же, какъ она, нищіе люди, бурлаки... Такіе грѣхи солдатики, весьма понятные въ ея положеніи и случавшіеся только ради ея крайней бѣдности,—грѣхи, дававшіе ей возможность только-только не умереть съ голоду, однако ставились ей строгимъ деревенскимъ крестьянствомъ въ вину и даже вредили ей въ поденной работѣ...

Долгіе годы билась она такъ, какъ рыба объ ледъ, работая и голодая, гуляя съ бурлаками и тоже голодая, и никогда не имѣла ни средствъ, ни времени ходить за своимъ ребенкомъ. Ростъ онъ безъ всякаго призора, голодный, буквально раздѣтый, вѣчно выброшенный на улицу: на улицѣ ѣрзалъ онъ, когда у матери пили и гуляли гости; на улицѣ торчалъ, когда она гдѣ-нибудь мыла полы или стирала, или работала какую-нибудь другую поденную работу. И тутъ, и тамъ онъ мѣшалъ, корявый, неулыжій и совершенно дикій. Онъ мѣшалъ даже и въ дѣтской компаніи—его гнали прочь, потому что онъ всему завидовалъ и тянулъ къ себѣ, а когда не давали, то ревѣлъ. Ни о чемъ никакихъ понятій онъ не имѣлъ: не было ни одного человѣка, который бы сказалъ ему слово. Всѣмъ было видно, что ни матери его, ни ему жить нечѣмъ. И вотъ жестокая русская дѣйствительность: ни въ чемъ вниманіи, ни въ чьей заботѣ ни онъ, ни мать не занимали ни капельки мѣста.

Никому не было жалко ихъ, точно это—не люди, а гнилое, захудалое дерево, которому нечѣмъ жить и которое засохнетъ непременно. Эта жестокость имѣетъ свои основанія хотя ужъ въ томъ, что всякій изъ крестьянъ живетъ въ такихъ же условіяхъ и твердо знаетъ, какъ про себя, такъ и про другихъ, что «если у него *ничего* нѣтъ, то *никто ничего* ему и не дастъ», никто ничѣмъ не поможетъ... Но объ этомъ распространяться нечего долго... Словомъ, полное одиночество, одиночество необитаемаго острова... Хуже! Что необитаемый островъ! Необходимость пищи заставляетъ тамъ думать, искать, наблюдать... Тутъ же и мысль не смѣла дѣйствовать, потому что обитавшіе мѣсто люди взглядами, отношеніемъ говорили, что твое, мое положеніе самое беззащитное; ничего у тебя нѣтъ, ничего не будетъ — и дѣло твое пропадетъ въ конецъ. Слабая едва-едва теплившаяся надежда, что вотъ, молъ, воротится изъ полка отецъ—едва только, и то какъ неосуществимый сонъ, мелькала иногда у матери дикаго ребенка и передавалась ему такъ же въ слабой, чуть-чуть слабой степени... Онъ,

какъ и всѣ его односельцы, уже ребенкомъ маленькимъ, только начинающимъ ходить ребенкомъ, зная, что ему надежды нѣтъ ни на что, что ему никто ничего не дастъ и что самъ онъ ничто... Голая земля подъ нимъ и голый онъ самъ на этой землѣ: вотъ его положеніе, средства, надежды—все.

Какъ-то на лѣто пріѣхали въ деревню господа, очень долго жившіе за-границей и въ столицѣ. Тогда только-что началось вполнѣ выясненное теперь и очень смутное въ ту пору стремленіе ситія и пр., и пр... Поденщица попала къ господамъ на работу и, какъ людямъ чужимъ, постороннимъ, за два, за три дня работы рассказала свое горемычное житіе, все въ подробности... Изумились, растрогались, сжалились, набавили цѣлый рубль, дали мальчишкѣ старые сапоги своего сына, накормили... Тонко наблюдателемъ голодный народъ! И мать дикаря-мальчишки увидѣла, что надо пользоваться добротой господъ: «подай барчуку лопаточку»... «повези колясочку»... «прогони собаку, видишь—баринъ пугается»... стала она поминутно твердить своему неуклюжему волчонку.

— Да ты присылай его къ намъ играть съ Мишей! былъ результатъ этихъ стараній голодной матери.

Съ этого дня Федоръ (такъ звали волчонка) сталъ ежедневнымъ посѣтителемъ барскаго дома, ничего не понимая, зная только, что ему лучше. Молча возилъ Федюшка колясочки, таскалъ песокъ для пирожковъ, отгонялъ собакъ и терпѣливо ждалъ новыхъ и новыхъ приказаній, зная, что его дѣло—ихъ исполнять; его кормили здѣсь, и онъ тотчасъ убѣгалъ домой, когда ему ласково говорили: «ну, ступай, ужъ поздно—тебя, должно быть, мать ждетъ»... Федюшка хорошо знала, что это ласковое вниманіе къ матери означало—«ты больше не нуженъ, Миша будетъ спать». Но ни капли этимъ не обижался, потому что и мысли не могъ допустить, чтобы онъ былъ что-нибудь значущее. Онъ былъ брошенный на улицу опорокъ, свалившееся съ возу полѣно, словомъ,—никому ни на что не нужное созданіе. Спасибо, что хоть кормятъ. Онъ служилъ за-кормъ, за-воду и ничего не понималъ даже въ окружавшей его обстановкѣ барскаго дома; это все было чужое...

Скорѣй на несчастье, чѣмъ на счастье Федюшки, это сознаніе себя чужимъ не только въ барскомъ домѣ, но вообще на всемъ бѣломъ свѣтѣ, было мало-по-малу, по капелкѣ разрушено матерью ребенка, которому Федюшка служивалъ въ благодарность за ѣду... Барыня эта была одна изъ тѣхъ странныхъ матерей, которыя никакъ не могутъ пользоваться тѣмъ, что дано ихъ дѣтямъ природою, тѣмъ, что въ нихъ есть и что можетъ быть. Еще до рожденія составила на счетъ своего будущаго сына (иныя прямо опредѣляютъ, что у нихъ родится сынъ, непременно сынъ, или непременно дочь, и бываютъ ужасно недовольны всю жизнь, если выйдетъ иначе) самыя опредѣленные планы: опредѣлила цвѣтъ волосъ, цвѣтъ глазъ, походку, выговоръ, складъ губъ и длину носа; она крайне была обижена, когда, по рожденіи ребенка, примѣты и качества его ока-

зались вовсе не такія, о какихъ она фантазировала: ни волоса, ни носъ, ни ротъ не соответствовали предначертаніямъ предусмотрительной матери: все было другое, другихъ размѣровъ, цвѣта и выраженія... Не такой былъ голосъ, не такую оказалась походка, когда онъ сталъ ходить, словомъ—все не то. Это до того огорчило мать, съ перваго дня рожденія ребенка, что она, не смотря на то, что ребенокъ принадлежалъ именно ей, никогда не могла уничтожить (да и мало объ этомъ старалась) въ себѣ какой-то холодной къ нему отчужденности. Разъ сказавъ себѣ, что «это не то, это—не тотъ ребенокъ», она не могла отдѣлаться отъ этого страннаго мнѣнія и ровно ничего не понимала (а впоследствии привыкла не понимать) въ томъ, что дано было ея ребенку, и въ томъ, что онъ по своей натурѣ совершить... Всѣ дни этого мальчика были испещрены недоумѣвающими вопросами матери: «Что онъ дѣлаетъ? Что это за фантазія? Откуда это? Я не понимаю—зачѣмъ? Что ты хочешь?» И, въ концѣ концовъ: «ужасъ, что за ребенокъ! Я просто не знаю въ кого... на что... что такое?..» Что бы онъ ни сдѣлалъ, что бы ни сказалъ, куда бы ни пошелъ—все выходило не такъ, не то, не туда, все было не такъ, какъ предположила мать и какъ поступилъ бы ея предначертанный сынъ... Обыкновенно такія матери въ конецъ задерживаютъ своихъ дѣтей и дѣлаютъ ихъ своими заклятыми врагами. И въ маленькомъ Мишѣ виистѣ съ злостью уже развивались сѣмена злости и мести.

Какъ ни страннымъ это покажется, однако случилось, что Федюшка, дикій, ничего непонимающій, голодный желудокъ, голодный и неуклюжій, и не развитой, выступилъ неожиданно въ новой роли—не простого служащаго господскому барчуку, не простого поденщика, таскающаго, по барчукову приказу, лопаточки и телѣжки—нѣтъ, онъ внезапно выступилъ, какъ *примѣръ* этому барчуку... Чего только ни выдумаетъ иная сообразительная мать!

Федюшка—*примѣръ* господскому ребенку! это такъ-же правдоподобно, какъ если-бы сѣдло было примѣромъ для коровы или если-бы господскій ребенокъ былъ примѣромъ для всѣхъ Федюшекъ на свѣтѣ. А между тѣмъ вышло же, что Федюшка сталъ примѣромъ, образцомъ ума, изящества, словомъ—образцомъ невозможныхъ добродѣтелей. Конечно добродѣтели эти приписывались ему, какъ деревянному болвану, какъ куклѣ, которой, какъ говорятъ, бываетъ больно, когда ее бьютъ, которая будто пришла въ гости и т. д. Федюшка такъ это понималъ и долгое время смотрѣлъ на себя не иначе, какъ на деревяшку, когда его ставили примѣромъ какого-нибудь хорошаго качества. «Посмотри, какъ Федюшка... Видишь, какой умный Федюшка... Какъ тебѣ не стыдно! вонъ Федюшка даже смѣется. Правда, Федюшка, какъ это не хорошо? Да? Ну, вотъ видишь: Федюшка говоритъ». Безчисленное количество такихъ указаній на Федюшку, на Федюшкины умъ, понятливость и прочія хорошія качества послѣдній, въ качествѣ деревянной куклы, переносилъ съ величайшимъ терпѣніемъ, помятая, что

все это его не касается и что слава Богу, что кормать.

Но через годъ, другой (господа стали жить въ деревнѣ даже по зимамъ) такіа увѣренія въ какихъ-то превосходныхъ качествахъ Оедюшкиной особы, по капелькѣ, на мгновеніе начали протачивать его съ дѣтства обезличенное сердце. Однажды во время такихъ похвалъ блѣлое, безцвѣтное лицо его вспыхнуло, и онъ, не позволявшій себѣ сказать никогда ни одного своего слова, произнесъ ко всеобщему удивленію какъ-то необыкновенно радостно и торжественно: «*ко мнѣ батѣка вотъ придетъ миш!*» Даже на лбу при этихъ словахъ у него загорѣлось красное пятно, точно звѣзда. Никто не могъ сообразить, какая связь между мнимыми похвалами мнимымъ качествамъ деревянной куклы и необычайнымъ восторгомъ этой послѣдней, въ виду того, что у нея есть какой-то батѣка, который *миш* вотъ придетъ. А связь была несомнѣнная. Оедюшка, постоянно ободряемый, впрочемъ не раньше какъ черезъ два года этихъ непрерывныхъ одобреній, сталъ позволять себѣ вѣрить, хоть на мгновеніе, на одинъ мигъ, что онъ—не совсѣмъ пропавшая тварь, что онъ на самомъ дѣлѣ такой же человѣкъ, а можетъ еще и лучше, чѣмъ другіе Оедюшки... Вѣдь говорятъ же ему объ этомъ каждую минуту?.. И вотъ, чтобы самому себѣ доказать, что онъ—непропащій, онъ припоминалъ, какъ уже извѣстно, единственный серьезный резонъ, имѣвшійся у нихъ съ матерью, связывавшій ихъ, хотя очень отвлеченно, съ обществомъ живыхъ людей и дававшій хотя какое-нибудь объясненіе ихъ горемычнѣйшему, безнадежнѣйшему существованію... И вотъ почему онъ неожиданно буркнулъ о своемъ отцѣ. Онъ хотѣлъ сказать, что не даромъ его хвалятъ: онъ вѣдь въ самомъ дѣлѣ, настоящій, не кукольный Оедюшка, къ нему даже еще отецъ вотъ придетъ, тоже настоящій... И звѣзда у него во лбу загорѣлась отъ того, что онъ на мгновеніе позволилъ себѣ узнать, что онъ—не кукольный Оедюшка...

Повторяю только мгновеніями въ сознаніи мальчика мелькнуло что-то похожее на увѣренность, что онъ—не ничтожество, не бросовый ошметокъ... Да и трудно было укрѣпиться этой увѣренности. Каждый день, исполнивъ амплу «примѣра», Оедюшка возвращался вечеромъ въ лачугу матери, въ атмосферу все той же безысходной бѣдности, которая выныячила его и вскормила. Каждый Божій день ему представлялась необходимость убѣждаться, что настоящее-то его существованіе—именно въ этой лачугѣ, въ этой бѣдности, одиночествѣ, а вовсе не тамъ, гдѣ, хоть для примѣра, смотреть на него, какъ на живое существо. Сознаніе, что онъ, Оедюшка,—ничто, было такъ глубоко вкоренено въ немъ, такъ глубоко была его увѣренность въ томъ, что онъ только для примѣра имѣетъ право быть въ другомъ мірѣ, дышать другимъ образомъ, что даже нѣкоторое развитіе, нѣкоторое пониманіе, приобрѣтенное имъ въ господскомъ домѣ, онъ считалъ также принадлежащимъ не ему, а кому-то другимъ, чужимъ. Онъ напирмѣръ давно уже выучилъ, стоя за спиною господ-

скаго барчука, не только азбуку, которой тогд учили, но склады, зналъ, какъ надо читать, но не могъ бы прочесть ни строки, ни слова, такъ какъ все въ немъ твердило ему: это—не твое дѣло, это—дѣло чужихъ людей, не такихъ, какъ ты. Не знаю, какъ выразить и объяснить лучше это состояніе: не яснѣе ли будетъ оно, если я скажу, что Оедюшка смотрѣлъ на незамѣтно приобрѣтаемое имъ развитіе, какъ на чужую собственность, и не умѣлъ обращаться съ этой собственностью, употребленіе которой могли знать только другіе...

Но въ рѣдкія минуты, когда у него на низкомъ маленькомъ лбу, закрытомъ рѣдкими, блѣдыми, шаршавыми волосами, загоралась звѣзда радости, онъ вдругъ, изумляя всѣхъ и самъ изумляясь едва-ли не болѣе другихъ, вдругъ обнаруживалъ и узнавалъ, что онъ ужъ давно знаетъ читать и что умѣетъ прочесть слово въ какой угодно книгѣ...—«Да онъ отлично знаетъ читать!» уже не какъ о кулѣ, а съ явнымъ удивленіемъ произнесли однажды родители Миши, когда Оедюшка, самъ не помня и не понимая, что съ нимъ дѣлается, задыхаясь отъ радости, вдругъ безъ ошибки промахалъ цѣлую страницу и мгновенно доказалъ, что онъ въ самомъ дѣлѣ способнѣй и умнѣй господскаго Миши, что онъ въ самомъ дѣлѣ можетъ на этотъ разъ служить ему неподдѣльнымъ примѣромъ. Но если бы Оедюшку заставили читать самого, то есть дѣлать свое, а не чужое дѣло (умѣть читать—чужое дѣло), онъ бы спутался, все перезабылъ, потому что самому ему суждена иная участь и на роду ему написано пресмыкаться въ ничтожествѣ... И сознаніе этого постоянно бы мѣшало ему быть такъ же свободнымъ въ своемъ дѣлѣ, какъ совершенно свободенъ онъ въ чужомъ.

Однако развитіе Оедюшки, не смотря на его забытость, не смотря на то, что свою горемычную участь онъ съ каждымъ днемъ могъ различать яснѣе и яснѣе, шло да шло понемногу, и звѣзда во лбу, вопреки всяческимъ резонамъ, представляемымъ суровою дѣйствительностью, загоралась все чаще и чаще... Разгоралась она, не смотря даже на то, что кромѣ горемычнаго существованія съ нѣкотораго времени на его пути стала новая бѣда: понемножку, съ крайнею деликатностью и гуманностью, ласковое обращеніе господъ съ Оедюшкой начало измѣняться въ худую сторону... Нѣтъ ничего хуже, жестче и неумолимѣе родительскаго сердца, разъ оно тронуту за живое... А Оедюшка не разъ трогалъ его... Ужъ одно то, что онъ выучился читать, будучи куколкой, раньше, чѣмъ настоящій Миша выучилъ азбуку,—ужъ это одно какъ обидѣло барыню и барина, не смотря на то, что для барыни сынъ ея былъ не настоящій, не тотъ, котораго она желала. Едва только Оедюшка оказалась въ самомъ дѣлѣ Оедюшкой, а не куколкой для примѣра, тотчасъ проснулось родительское сердце и тотчасъ ожесточилось: сначала на судьбу, которая дала вовсе не того ребенка, какого слѣдовало (тотъ бы заткнулъ за поясъ всѣхъ этихъ Оедюшекъ), потомъ на не-настоящаго ребенка, который ставитъ мать постоянно въ непріятное положеніе, и нако-

яецъ на Оедюшку, который Богъ знаетъ зачѣмъ тутъ толкается и только еще болѣе дѣлаетъ не-приятностей и такъ ужъ огорченной матеря... По-томъ ужъ по особенной логикѣ вышло такъ: Оедюшка только мѣшалъ, и только отъ Оедюшки Миша и не успѣлъ въ учении...

И отецъ Миши, и мать одинаково сознавали въ тѣ минуты, разумѣется, когда Оедюшка наумлялъ ихъ появленіемъ во лбу звѣзды, что онъ тутъ—лишний, что онъ мѣшаетъ... Но такъ какъ они были люди совѣстливые и гуманные, то и не прогнали его, а продолжали пускать въ хоромы, только деликатно давая замѣтить, что онъ, Оедюшка, не Богъ знаетъ что такое... «Не сбивай пожалуй-ста... Ты, Оедя, постоянно мѣшаешь... Ты видишь, Миша учится, а ты стучишь... Иди на улицу стучать»... и т. д. Понемножку, по капелькѣ, Оедюшкѣ стали доказывать совсѣмъ другое: т. е., что онъ—вовсе не примѣръ и что онъ—мужикъ и неучъ, и что настоящее мѣсто его вовсе не тутъ... Все это, разумѣется, въ высшей степени деликатно...

Но что подѣлалъ съ разъ начавшей разгораться во лбу звѣздой! Правда, и лобъ-то этотъ былъ маленькій, низенькій, весь заросшій по краямъ и сверху бѣлыми, шаршавыми, какъ смола, волосами, и звѣзда-то въ немъ разгоралась рѣдко, свѣтила робко, робко... А все-таки, разъ начавъ свѣтить, стала свѣтить, не смотря ни на что: ни на то, что горѣла она въ лачугѣ, разрушавшейся все болѣе и болѣе, что передъ ней была непроглядная тьма будущаго, и что ее застилали кромѣ того холодныя тучи въ видѣ холоднаго господскаго равнодушія...

И случилось съ замореннымъ, обреченнымъ на явную гибель существомъ нѣчто весьма странное, хотя случающееся на Руси именно въ настоящее время съ великимъ множествомъ простаго народа... то-есть онъ прямо отъ складовъ принялся за чтеніе книгъ, отвѣчающихъ самымъ настоятельнымъ и насущнымъ требованіямъ мысли... У господъ не было ничего кромѣ книгъ, которыми интересовалась тогда вся грамотная Россія. На просьбы Оедюшки дать ему «книжечки почитать» баринъ и барыня обыкновенно говорили: «какія жъ тебѣ книжки? право, ничего нѣтъ такого!..» И давали ему первую попавшуюся подъ руку книгу, будь это—иностранный романъ, политическая экономія или послѣдняя книжка журнала.—«На вотъ, прибавляли они:—вѣдь не поймешь ничего...»—«Мнѣ такъ!» говорилъ Оедя, которому дѣйствительно книжка была пужна просто такъ... такъ какъ звѣзда не меркла во лбу... Но, какую-бы книгу тогдашняго времени (а господа были «слѣдѣнціе») они ему ни сунули, достаточно вспомнить самый тонъ времени, чтобы понять, что всякая тогдашняя книжка, независимо отъ формы, въ сущности своей отвѣчала именно Оединому положенію, говорила, хотя и робко, и нѣжно, о его бѣдовомъ житьѣ-бытьѣ...

И вотъ къ такимъ-то книгамъ Оедюшка перешелъ прямо отъ складовъ, минуя Еруслановъ Лазаревичей, псалтырь, житія святыхъ, минуя сон-

ники и писемовники и т. д., и т. д. Въ настоящее время, когда псалтырь и часословъ ужъ не составляютъ главнѣйшихъ основаній грамоты, грамотному простому человѣку приходится прямо переходить къ газетѣ, къ «Вѣдомости», такъ какъ существующая литература, ни лубочная, ни такъ называемая нязичная, одинаково не могутъ служить пособіемъ для дальнѣйшаго, послѣ новой школы, развитія, главное не могутъ попадать новому грамотному въ руки: лубочная литература—по своей глупости, нязичная—по дороговизнѣ и пожалуй нѣкоторой ненужности: все въ этой литературѣ посвящено чуждымъ интересамъ, иному міру, чѣмъ міръ грамотнаго нахара. Единственными пособниками являются газета и трактиръ, дающій право даромъ читать эту газету всякому, кто пришелъ выпить пару чаю. Пересмотрите дешевыя газеты, попадающія въ дешевыя сельскіе трактиры, да и не одѣтъ дешевыя, а дорогія и длинныя современныя газеты, припомните ихъ ревностное стремленіе «угодить» неширокимъ вкусомъ почтеннѣйшей публики; припомните ихъ виланье, ихъ вообще неправдивое, неискреннее, не дѣльное направленіе—и вы не безъ сожалѣнія подумаете, что это—очень и очень плохая школа для начинающаго быть грамотнымъ народа.

Но вернемся къ Оедюшкѣ. Что могъ понимать онъ въ тѣхъ книгахъ, которыя въ то время писались и которыя онъ бралъ отъ господъ? Вопросъ этотъ весьма любопытенъ, въ виду того, что книги того времени дѣйствительно имѣли вліяніе на тугой, неразвитой, мало способный и забытый умъ Оедюшки, тѣмъ еще болѣе любопытенъ, что, развиваясь на этихъ книгахъ, Оедюшка ровно-таки ничего въ нихъ не понималъ. Онъ «разбиралъ слова», какъ Петрушка, разбиралъ ихъ цѣлыми десятками, сотнями страницъ, не находя между ними ни смысла, ни связи, а развивался и именно въ томъ самомъ направленіи, каковыя книги были проникнуты. Тайна такого непостижимаго умѣнія развиваться книгой, ничего въ ней не понимая, заключается въ томъ, что развитіе тутъ идетъ не помощью ума или пониманія, а исключительно помощью сердца. Сердце автора подаетъ вѣсть сердцу непонимающаго «слова» чтеца. Кто и когда изъ самыхъ завязатыхъ знатоковъ писанія понималъ не только доподлинно, а такъ, хоть изъ пятаго въ десятое, что такое читается въ церкви, каковыя начетчица понимаетъ, что такое написано въ псалтыри, который она зудитъ по годамъ? Что такое написано въ Апостолѣ? Никто никогда, ни одинъ самый завязатый начетчикъ и грамотѣй крестьянскаго знанія не могъ и не можетъ рассказать (развѣ что вызудивши дѣло до тла), о чемъ такомъ ему читаютъ, но всякій знаетъ, въ чѣмъ дѣло, потому что сердцемъ понимаетъ сердце автора, будь-то царь Давидъ, Апостолъ, самъ Христосъ... Скрытое въ глубинѣ и массѣ словъ чувство, руководившее авторомъ книги, только оно и улавливается слушателями или чтецомъ, и, уловя его, чтецъ или слушатель продолжаютъ только чувствовать въ данномъ сердцу направленіи, думая о себѣ. Попробуйте спросить вотъ этого стараго старика, всхлипывающаго

на печѣхъ отъ чтенія псалтыри, такого чтенія, въ которомъ никто ничего разобрать не можетъ, потому что тутъ нѣтъ ни остановокъ, ни связи, тутъ раздѣляется пополамъ одно слово и произносится такъ, что одинъ конецъ прилипаетъ въ предшествовавшему слову, а другой къ послѣдующему,—спросите этого плачущаго старика: что такое растрогало его въ этихъ, какъ разваленный плетень, натыканныхъ его внукомъ словахъ?—То, что онъ вамъ отвѣтитъ, будетъ непременно годиться въ горбуновскій разсказъ: непременно выйдетъ что-нибудь вроде: «наслѣжу, говорить, слѣдовъ (плачетъ), а ты... гов... (плачетъ) говорить, по нимъ и ходи (рыдаетъ)». Словомъ, выйдетъ непременно какой-нибудь смѣшной вздоръ, сразу обнаруживающій, что рыдающій старикъ глупъ, какъ пробка... А между тѣмъ онъ рыдаетъ тѣми слезами, какими рыдалъ и царь... Сердце его такъ-же мучается своими прегрѣшеніями, какъ мучилось также своими прегрѣшеніями и сердце пророка... Оба одинаково страдаютъ, каждый о своемъ... Старикъ передавало только направленіе книги; онъ только почувалъ, что мучился человекъ, который писалъ, и простое сердце отвѣчало слезами...

Такимъ порядкомъ читаютъ въ трактирахъ и газеты, не понимая ни этой «фанатизмы», не зная, что Царь-Градъ, Стамбулъ и Константинополь — одно и то же, не понимая, что такое пишется въ романѣ, переведенномъ съ французскаго, что такое поется въ Театрѣ-Буффъ и въ «Ливадіи» словомъ, не понимая почти никакихъ словъ газетъ, еле-грамотный чтецъ отлично-хорошо чувствуетъ общее шаромыжничество — практическое и плутовски — улыбающееся сердце газеты и отвѣчаетъ ему смѣлостью, съ которою шаромыжничество возрастаетъ въ народѣ въ значительной степени. Точно такъ вылали непонятныя книги и на Федюшку. Разсказать прочитанное и передать своими словами онъ не могъ, выходилъ всякій вздоръ, но сердце книги онъ чувалъ, понималъ, а сердце въ то время было у книги чистое и доброе... Оно было открыто именно только Федюшину горю.

Въ плохо кормленномъ, плохо развитомъ, малосильномъ, малоспособномъ этомъ человекѣ, выросшемъ въ холодной и непривѣтливой обстановкѣ, — человекѣ, отчаявшемся въ своемъ правѣ на жизнь, — зашевелилось сердце отъ этихъ непонятныхъ страницъ непонятныхъ книгъ, что-то похожее на жалость. Жалко какъ-то ему стало дѣлаться все сильнѣй съ каждымъ днемъ... И мать жалко, и себя жалко, и жаль, что господа его бросятъ непременно, и жаль, что на него съ матерью никто и глазомъ не взглянетъ... О Богѣ, о Его волѣ въ дѣлахъ человѣческихъ онъ не зналъ; матери было недосугъ, а господа тоже мало Бога помнили, какъ вообще всѣ господа... Не имѣя поэтому возможности объяснить себѣ своего положенія указаніями Провидѣнія, Федюшка — теперь ужъ Федоръ (ему ужъ было 14 лѣтъ, когда началось его жалостное состояніе) — только убивался. Не понимая, отчего и что, онъ жалѣлъ, скучалъ и сокрушался сердцемъ... Нѣжное что-то было пробуждено въ этомъ засы-

панномъ смѣломъ горю сердцѣ, нѣжное, какъ подснежный цвѣтокъ... Эта нѣжность, ласковость обнаружилась по отъѣздѣ господъ на матери. Ужъ какъ онъ старался ей помогать: и чемоданы таскалъ съ пристани, ходилъ по дворамъ, собиралъ старыя бутылки... Благодаря непонятнымъ книгамъ, пробудившимъ жалость и сожалѣніе къ незаслуженнымъ страданіямъ, только эта жалость и оживляла его, только она и росла въ немъ... Придетъ время — перестанутъ на насъ рычать и сердиться сосѣди, перестанутъ бранить мать, станетъ онъ учиться и въ благодарность за то, что никто не сердится на нихъ, самъ никогда не будетъ сердиться. «Всѣ будутъ ласковы другъ къ другу; за копейку, за бутылку драться не будетъ никто... Стоить только всѣмъ быть добрымъ...» Такъ у него ныло въ сердцѣ, несмотря на то, что по отъѣздѣ господъ у него даже и книгъ не было. Помогая матери, онъ и ее-то вывелъ изъ безнадежно-голоднаго состоянія, и она стала скучать, и у нея стало мелькать: «за что это?», и она, какъ Федюшка, чувствовала, что это все неправильно и должно быть когда-нибудь переимѣнится... «Вотъ придетъ отецъ!» Эта мысль послѣ отъѣзда господъ стала единственною мыслью ихъ обоихъ; этотъ приходъ былъ бы, увѣрили себя они, началомъ освобожденія; отецъ поможетъ имъ выйти изъ-подъ гнета всеобщаго презрѣнія, а они и въ особенности онъ, Федоръ, покажетъ тогда, какъ онъ добръ, какъ онъ всякому радъ. Тогда всѣ узнаютъ, что были къ нему жестоки, несправедливы и, раскаявшись, сдѣлаются добры и мягки. Будетъ тогда всѣмъ и легко, и весело.

«— Вотъ только пусть придетъ отецъ!»

Съ годами мысль объ отцѣ, мысль довольно фантастическая, ни на чемъ не основанная, стала дѣлаться и для сына, и для матери чѣмъ-то почти реальнымъ. Потребность подняться изъ бездны, заставить людей оглянуться на нихъ, заставить ихъ раскаяться и понять, что «мы съ мамкой» ни въ чемъ не виноваты, дѣлалась все настоятельнѣе и сильнѣе. Только приходъ отца, этого по всей вѣроятности сильнаго, справедливаго человека, котораго всѣ будутъ уважать сразу, съ перваго дня — только его приходъ и помощь могли помочь имъ выйти изъ беззащитнаго положенія и добиться отъ людей того, чтобы они раскаялись, смягчились, сдѣлались добрыми... Бывали дни, когда и мать, и сынъ, оба вѣстѣ, и именно сегодня, ждали прихода избавителя... «Что-то, думается мнѣ, какъ-бы батька твой не пришелъ? Что-то ужъ мнѣ стало очень скучно... Право, поди, не пришелъ бы... Пора-бы придти-то». Федюшкѣ самому было тоже такъ скучно, что онъ ни капельки не сомнѣвался въ справедливости предположеній матери и твердо былъ увѣренъ, что отецъ придетъ непременно, того и гляди.

Было Федюшкѣ шестнадцать лѣтъ, и вдругъ сбылись предчувствія и надежды. Отецъ въ самомъ дѣлѣ пришелъ-таки, и пришелъ въ ту самую минуту, когда имъ стало скучно, такъ скучно...

Пришелъ — и не прошло двухъ дней, какъ при

всемъ честномъ народѣ, передъ цѣлымъ сходомъ, на площади между волостнымъ правленіемъ и кабакомъ, несчастный, измученный мальчикъ былъ жестоко выпоротъ по желанію своего долго-жданнаго родителя... Два ведра вина, которые родитель не поскупился поставить міру, сдѣлали свое дѣло: Ѳедюшку выпороли на славу; дюжія руки, укрѣпленные сивухой, не жалѣли худыхъ Ѳедюшениныхъ реберъ и засыпали ему въ худые бока безъ счету... «Хорошенько!» вопіяла пьяная орда:—«заслуживай, ребята, Силанью Ивановичу!»»

Пусть читатель самъ представить себѣ, что должно было произойти въ душѣ Ѳеди отъ такого неожиданнаго оборота дѣла, покуда я скажу нѣсколько словъ въ объясненіе того, какъ могло случиться такое несказанно-жестокое дѣло.

Воротившійся отецъ оказался вымуштрованнымъ, вышколеннымъ, хорошо-откормленнымъ бульдогомъ, едва-ли ужъ умѣвшимъ понимать какія-нибудь профессіи, кромѣ профессіи вѣпцаться своими крѣпкими зубами въ чье-нибудь горло. Это была одна изъ тѣхъ жесткихъ, тупыхъ тварей, которая невѣсть за что готовы съѣсть родного отца... Вѣрный и жестокий, какъ пѣсъ, онъ былъ золотымъ человѣкомъ тамъ, гдѣ нужно было караулить, ловить, не пускать, вообще исполнять какой угодно безчеловѣчный приказъ. Приказъ, и именно трудный, жестокий, какъ нельзя лучше приходился по его жестокой, сухой, бульдожьей натурѣ. Эти собачьи качества, эта собачья выдержка, неумолимость и вѣрность сдѣлали ему хорошую карьеру на службѣ у богатыхъ господъ, которые не нахваливались имъ въ то время, когда «свой братъ», простой человѣкъ, загрызаемый имъ безъ всякой пощады, смотрѣлъ на него, какъ на бѣшеную собаку. Нѣсколько разъ его собирались убить, стрѣляли въ него изъ ружья, когда онъ караулилъ у одного богатаго помѣщика лѣсъ: подъ его хищнымъ взглядомъ нельзя было унести ни одного сучка, сорвать ягоды—все видѣлъ, всѣхъ хваталъ, связывалъ, представлялъ, куда слѣдуетъ, и разорялъ иной разъ до тла цѣлыя семьи крестьянскія изъ-за этого сучка, изъ-за этой ягоды. Самъ онъ былъ безукоризненно честенъ; всякій рубль, нажитый имъ, нажить за вѣрную, безпощадную службу—себя онъ на этой службѣ «не жалѣлъ», безстрашно лѣзъ въ огонь и въ воду, если только было ему велѣно. Онъ и домой-то не шелъ такъ долго, потому что считалъ безчестнымъ оставить такъ, безъ призора, то или другое врученное ему дѣло. Всякую службу онъ дослуживалъ до конца, до послѣдней точки той цѣли, съ которой его брали на службу.

Вотъ такой-то желѣзный и прямой, какъ желѣзная палка, человѣкъ, уставъ служить чужимъ людямъ, пришелъ домой. Не было въ немъ нѣжности никогда, а поведеніе его жены, сдѣлавшееся ему яснымъ съ перваго дня прихода, еще болѣе окаменило его каменное сердце. Она, по его мнѣнію, не должна была безчестить его распутствомъ, какъ онъ не безчестилъ ея. Она была бѣдна—да вѣдь и онъ нищимъ вышелъ изъ полка; однако онъ

прожилъ честно, а она опозорила его на весь свѣтъ. Онъ всю жизнь бился для того, чтобы добыть имъ же—отчего же не билась она? Живуть же люди безъ распутства.

Начались съ первой минуты свиданія жестокія, звѣрскія сцены. Разозленный и обиженный звѣрь вгрызался въ пропащую женщину безъ всякаго милосердія... Онъ и мстилъ этимъ, и одновременно хотѣлъ поднять свою репутацію, сразу поставить себя среди земляковъ на хорошую ногу. Какъ ни покажется это страннымъ, а было дѣйствительно такъ: солдатъ показывалъ, что онъ—не кто-нибудь, а человѣкъ, знающій порядокъ, знающій, что значить жить честно, благородно. Въ одну изъ такихъ семейныхъ дракъ, Ѳедюшка, измученный и ошеломленный неожиданнымъ появленіемъ такого звѣря, не помня себя, вѣпцился ему въ нафабранныя бакенбарды—и вотъ бульдогъ отомстилъ ему. Два ведра вина, какъ уже сказано, сдѣлали дѣло. Міръ выпилъ ихъ и выпоролъ, на славу выпоролъ несчастнаго Ѳедюшку... Солдатъ требовалъ безпощаднаго дранья—и міръ, исполняя это требованіе, понималъ, что этой жестокостью, обрушившеюся на жену и на сына, солдатъ доказываетъ собственное свое превосходство надъ ихъ грязной и позорной жизнью и поведеніемъ, доказываетъ, что онъ честенъ, порядоченъ и почтененъ, и что этимъ ужъ очень высокимъ пониманіемъ своей чести онъ даже и семью свою хочетъ оградить отъ всякой тѣни позора. Рѣшительно не нахожу словъ, которые бы могли съ достаточною ясностью представить читателю то, что испыталъ Ѳедоръ отъ этихъ вдругъ постигнувшихъ его жестокихъ, безчеловѣчныхъ неожиданностей. Онъ весь былъ раздавленъ ими, сломанъ, скомканъ въ комокъ. Ничего не чувствуя, не понимая, онъ весь какъ бы задохнулся и окаменѣлъ...

Черезъ часъ послѣ ужасной сцены у волостного правленія, Ѳедоръ, не зная какъ, очутился на одной изъ барокъ, стоявшихъ на рѣкѣ, и, трясаясь всѣмъ тѣломъ, на всѣ разпросы барочниковъ слабымъ, до смерти испуганнымъ шопотомъ могъ произнести только: «бо-юсь!» «бо-юсь!...». Къ нему нельзя было въ это время прикоснуться пальцемъ: немедленно шопотъ превращался въ отчаянный крикъ. «Боюсь!» взвизгивалъ онъ, бросаясь въ сторону и расшибая голову о дрова, о что попало, точно до него дотрогивались не пальцемъ, а каленымъ желѣзомъ. Какъ онъ ухитрился спрятаться на баркѣ, я не знаю: только барочники, не зная о томъ, что онъ скрывается у нихъ, увезли его съ собою, направляясь къ Нижнему. Испуганный и трепещущій, два дня безъ пищи просидѣлъ онъ въ самомъ слухомъ, непримѣтномъ углу барки, покуда случайно не открыли его тамъ. Поругавъ и покоривъ, барочники оставили мальчишку, рѣшивъ «пушай!», и не обращали ужъ больше на него никакого вниманія. Истерическій ужасъ, въ которомъ мальчикъ очутился на баркѣ, началъ понемногу проходить, замѣняясь совершенно опредѣленнымъ испугомъ передъ всѣми и передъ всѣмъ. Все для него было страшно, жестоко. Люди, весь бѣлый свѣтъ испу-

гали его — неизлечимо, на вѣки-вѣковъ. Какъ могъ онъ понять и объяснить себѣ все, что съ нимъ случилось въ первыхъ дней дѣтства?.. Онъ — комаръ, котораго, не задумываясь и не беспокоясь, убиваетъ всякій, кому онъ мѣшаетъ! Но чѣмъ, кому онъ мѣшалъ? Онъ ничего не могъ понять и зналъ одно — что невѣдомо почему его всѣ хотѣли уничтожить, раздавить, стереть съ лица земли... Нѣтъ спора, что жизнь можетъ напугать всякаго, что всякій можетъ иной разъ почувствовать ужасъ своего существованія на бѣломъ свѣтѣ, но такъ испугаться бѣлаго свѣта, какъ испугался его Федоръ, едва-ли приходится или приходилось кому-нибудь другому. Въ немъ навѣки запечатлѣлся страхъ, испугъ и увѣренность, что ни отъ кого ничего онъ не имѣетъ ни права, ни возможности ждать, кромѣ жестокости, непонятной и необъяснимой.

— Что ты? Куда ты? Ай ты угорѣлъ? — окликнулъ Федора одинъ барочникъ въ то время, когда подошли уже къ нижегородской пристани и ночевали тамъ.

— Утоплюсь! отвѣчалъ Федоръ.

— Ребята! глянь-ко, что малый-то вздумалъ!..

Нѣсколько человѣкъ проснулось и обступило бедошму.

— Это — что-жъ ты, паршивецъ, дѣлаешь? а? Это ты за нашу хлѣбъ-соль-то насъ хочешь подвести подъ сикуръ? ахъ, ты, дурья твоя порода! заглядѣли вокругъ него барочники.

— Захотѣлъ топить, шутъ тебя возьми — пошелъ топись!

— Да не пачкай компаніи, къ отвѣту не подводи.

— Мало тебѣ мѣста-то, корявой дубинѣ?

— Прогнать его, шельму, прочь!

— Ишолъ, ишолъ!

— Обыскивать его, анаемю!

Стали обыскивать; оказалось, что Федоръ для лучшей выполненія задуманной операціи накладе за пазуху подъ рубашку множество камней, кирпичей и туго подвязалъ подъ ними поясъ. Ему казалось, что такъ онъ скорѣй пойдетъ ко дну.

Всеобщій гнѣвъ замѣнился смѣхомъ, а Федоръ кинувъ испугъ разрѣшился слезами. Онъ объявилъ, что не пойдетъ топить, что виноватъ. Просить, чтобъ его не гнали, спрашивалъ: «куда ему теперь?».

— Иди въ половые... нонѣ ярмарка стоитъ... еще деньги наживешь.

Какой-то добрый человѣкъ свелъ его въ одно изъ безчисленныхъ въ ярмарочное время трактирныхъ заведеній, и Федоръ сталъ половымъ за харчи и за доходы, какіе случатся, но безъ жалованья. Ежеминутно чувствуя себя совершенно чужимъ на бѣломъ свѣтѣ, чужимъ между всѣми этими орущими, пьющими и дерущимися людьми, онъ рѣшительно не замѣчалъ, что такое кругомъ него творится, и работалъ, какъ неустанная машина.

Такъ прошла вся ярмарка.

У Федора вдругъ оказалось рублей тридцать денегъ, — сумма, не копившаяся незамѣтно, и Федоръ тотчасъ, какъ только сосчиталъ деньги, вспомнилъ о матери. А такъ только вспомнилъ о ней, такъ и о себѣ вспомнилъ, и въ приближенномъ мозгу

опять замелькалъ какой-то свѣтлый лучъ... Опять ему стало ужасно жаль... Жаль «всего этого», жаль до слезъ. И ревѣлъ онъ надъ своими деньгами долго-долго. Хозяинъ даже отобралъ у него эти тридцать рублей себѣ подъ сохраненіе, прибавивъ:

— Такъ-то оно лучше будетъ, меньше будешь нюни-то разводить.

Федоръ однако и безъ денегъ нерѣдко обливался горючими слезами; во мнѣ онъ плакалъ каждую ночь и кричалъ, причиняя посѣтителѣмъ номеровъ постоянныя беспокойства; тѣмъ не менѣе хозяинъ держалъ его у себя и послѣ ярмарки, дорожа его покорностью, выносливостью и безкорыстіемъ.

Федоръ жилъ, не думая о будущемъ. Вновь пробудившаяся жизнь сердца сильнѣй, чѣмъ въ первый разъ, овладѣла имъ... Его уже не просто брала жалость въ себѣ и ко всему, что съ нимъ случилось, мысль его пошла дальше: онъ сталъ понимать, что всѣ эти на смерть испугавшіе его люди — такіе-же испуганные, какъ и онъ, что кто-то или что-то исковеркало, изуродовало ихъ, и ему еще жалче стало всѣхъ ихъ, чѣмъ было жалко прежде. — Вѣдь надо же какъ-нибудь имъ узнать это? Какъ же это такъ? За что они бьются, губятъ другъ друга? Вѣдь тутъ только два слова сказать — и ничего не будетъ. Какъ же можно все это оставлять такъ, зря? Вотъ примѣрно, какіе стали волновать вопросы этого некрасиваго полового, подавшаго кипятковъ. Онъ крайне удивился, что какъ это ничего никто не скажетъ? отчего это не придетъ какой-нибудь умный человѣкъ и не растолкуетъ?.. Что растолковать, и какъ — этого Федоръ не зналъ... Рѣчь, которую онъ предполагалъ въ устахъ умнаго человѣка, имѣющаго придти, въ головѣ Федора никакъ въ порядокъ не приходила. — Вы что же это ребята? такъ вѣдь невозможно... Эту фразу хорошаго человѣка онъ слышалъ ясно, но дальше не зналъ, что будетъ хороший человѣкъ говорить. Дальше были только вопросы: какъ? зачѣмъ это? да развѣ это хорошо? и т. д.

Отъ этихъ вопросовъ Федоръ рѣшительно не могъ отдѣлаться и, какъ бы думали? — сталъ писать...

Заведеніе запиралось въ два часа ночи; только къ тремъ успѣвали убраться и вывести запоздавшихъ гулякъ, и съ трехъ до бѣла-свѣта Федоръ, не смыкая глазъ, при свѣтѣ салынаго огарка, выводилъ карандашемъ по клочку бумаги, положенному на колѣно, каракули печатными буквами. Писалъ онъ стихами и плакалъ... Не берусь передать, что это были за стихи. По всей вѣроятности, кромѣ непонятной чепухи и безграмотности, они не представляли бы никому ничего интереснаго. Тѣмъ не менѣе Федоръ крѣпко берегъ ихъ и тщательно пряталъ въ тайныя мѣста.

И съ каждымъ днемъ необходимость передать бумагъ накопившіяся думы овладѣвала Федоромъ сильнѣе и сильнѣе. А вмѣстѣ съ этими сами собой выросли и думы.

Не менѣе года просидѣлъ онъ на чердакѣ и работалъ довольно смѣлый, довольно нелѣпый, но довольно понятный планъ: ѣхать съ этими сочинен-

ниими и думали въ столицу; тотъ, кто пишетъ книги, тотъ человѣкъ (такъ выдумалъ Ѳедоръ) и есть тотъ самый хорошій человѣкъ, который одинъ только и можетъ сдѣлать добро. Ѳедоръ зналъ это по себѣ: онъ писалъ по ночамъ, потому что ему было жаль людей, потому что онъ хотѣлъ, чтобы люди не пугали другъ друга, какъ пугаютъ людей бѣшенныя собаки. Такъ и всѣ, кто пишетъ книги. Онъ зналъ, что сочиненія его плохія, что пишетъ онъ не хорошо и что даже почеркъ у него Богъ-знаетъ какой (хотя втеченіе года онъ съ невѣроятными усиліями выучился писать по «писанному», а не по печатному)—все это онъ зналъ; но жизнь такъ страшно обошлась съ нимъ, онъ такъ ясно видѣлъ, что она запуталась, что въ ней какая-то фальшь, отъ которой людямъ нѣтъ житья, что, несмотря на все, не покидалъ этого плана. Онъ полагалъ, что тамъ разберутъ, испугаются, когда онъ расскажетъ, и закричатъ на весь бѣлый свѣтъ:—«что вы, ребята? Развѣ такъ возможно? Это, братцы, не модель! Что вы, полоумные, очутили что-ли?».

Еще черезъ годъ онъ осуществилъ этотъ фантастическій планъ. Какъ онъ это сдѣлалъ—не знаю. Знаю, что цѣлый годъ онъ копилъ пятаки и гривенники, сколотилъ деньги на покупку скрутка, шапки, сапоговъ и жилета и пр., пр., и почти урокомъ прибылъ въ столицу. Коравый, маленький, пугливый, дикій, въ платѣ, которое было спито на чужой ростъ, онъ былъ и жалокъ, и неуязвѣ, и вообще ужасно страненъ.

Въ это время его и узнала рассказчица, дѣвушка, готовившаяся тогда въ сельскія учительницы. Онъ ютился въ углу меблированныхъ комнатъ, работая по ночамъ, когда всѣ ужъ спали, и приводя въ порядокъ свои сочиненія.

Съ полгода шуршалъ онъ своими бумагами, порядочно-таки надоедая жильцамъ; наконецъ выступилъ въ походъ: понесъ рукописи въ газету. Воротился онъ, весь сіяя, и самъ первый вступилъ въ разговоръ съ рассказчицей, рассказалъ ей всю свою исторію и въ заключеніе всѣхъ переразсказанныхъ несчастій радостно произнесъ:

— Отнесъ!

Такъ онъ сказалъ это слово, какъ будто невѣсть какое счастье случилось съ нимъ...

— Велѣно придти черезъ недѣлю.

Черезъ недѣлю между Ѳедоромъ и редакторомъ происходилъ такой разговоръ:

— Это все—одинъ стихъ? стоя полуоборотомъ къ Ѳедору и тыкая въ корявую рукопись пальцемъ, небрежно спрашивалъ редакторъ.

— Все одинъ...

— И это онъ же тянется?

— Это? Онъ-онъ.

— Какой же это—стихъ? Развѣ такіе бываютъ стихи? Это—шесть, а не стихъ!.. Этимъ шестомъ только голубей гонять.

— Тамъ дальше и короче есть... вотъ извольте...

— Неудобно, не годится.

Редакторъ ушелъ.

Глубоко былъ опечаленъ несчастный поэтъ.

Какъ убитый, сидѣлъ онъ по крайней мѣрѣ цѣлую недѣлю на окнѣ въ корридорѣ, покуда его не ободрилъ какой-то добрый человѣкъ, узнавшій, въ чемъ состоитъ его горе. Человѣкъ этотъ подарилъ ему книгу о стихосложеніи, и съ этихъ поръ еще не менѣе, какъ на полгода Ѳедоръ вновь отдался своему задуманному дѣлу. Къ шуму бумаги, нарушавшему сонъ жильцовъ по ночамъ, на этотъ разъ присоединился какой-то непрерывный стукъ то ногой, то рукой: это Ѳедоръ учился стопосложенію, вгонялъ свои длинныя, какъ шесты, строки въ надлежащія границы и вытягивалъ, какъ вытягиваютъ подошву, короткія... Какъ онъ мучился, какъ онъ трудился, какъ онъ страдалъ—передать нѣтъ возможности. Часто на него нападало полное отчаяніе, такъ какъ перерубленные пополамъ и вытянутые вдвое стихи его явно утрачивали цѣну правды, которую онъ въ нихъ только и видѣлъ.

Наконецъ, кое-какъ облованивъ свои произведенія, онъ вновь пошелъ въ редакцію, и на этотъ разъ уже съ замираніемъ сердца ожидалъ рокового дня.

Черезъ недѣлю, по обыкновенію редакцій, день наступилъ. Дрожа какъ листъ, Ѳедоръ отправился за отвѣтомъ.

Не скрывая презрѣнія, редакторъ съ перваго же слова почти завопилъ на Ѳедора:

— Да что вы хотите? Что такое вы тутъ выводите? Что вамъ хочется сказать?

— Я...

— Что богатые богаты, бѣдные бѣдны? Да?

— Я...

— Что бѣдные—такіе же люди, какъ и богатые? Такъ? а? да?

— Такъ...

— Что несправедливо обижать, заѣдать? Да? Это? Потомъ—кисельные берега, молочныя рѣки... Всеобщій лимонадъ-газетъ? Такъ?

— Я этого не писалъ... Я тамъ...

— Такъ я вамъ скажу, внѣ себя завопилъ редакторъ, чуть не по носу хлопая Ѳедора его рукописью:—что, во-первыхъ, все это давно всѣмъ надоело и безъ вашей белиберды, а во-вторыхъ, за эти идеи... вы знаете—что за это?

И онъ прибавилъ внушительнымъ шопотомъ такихъ два словечка, отъ которыхъ Ѳедоръ вновь ощутилъ приступъ необычайнаго испуга и едва не закричалъ, какъ помѣшанный: «боюсь!».

Отчаяніе овладѣло бѣднымъ малымъ въ сильнѣйшей степени. Онъ стался по корридору меблированныхъ комнатъ, никого и ничего не замѣчая, ничего не видя и не слыша, и только по временамъ, останавливаясь какъ вскопанный, передъ первымъ встрѣчнымъ, бормоталъ:

— Всѣмъ извѣстно! Кабы всѣмъ было извѣстно, ничего-бы не было.

Или что-нибудь въ такомъ родѣ:

— Въ тюрьму!.. Да хоть въ каторгу... Извѣстно!.. Совѣсти-то въ тебѣ нѣтъ!..

Чтобы мало-малыски помочь ему, успокоить его, рассказчица, со словъ которой написана Ѳедорова повѣсть, пыталась вступить съ нимъ въ разговоръ,

пыталась успокоить его тѣмъ, что не съ нимъ одними такія неудачи, указывала ему, какъ умѣла, на большихъ, крупныхъ поэтовъ, великихъ людей... Феодоръ, не произнося ни слова, напряженно-внимательно велушивался въ ея рѣчи—вѣдь ничего онъ этого не зналъ. Не зналъ онъ, что и до него писалось—и Боже мой сколько!—стиховъ на тѣ же темы, что и до него были люди, знавшіе бѣду и желавшіе помочь общему горю... Ничего онъ этого не зналъ и только ужасался, слушая эти рассказы. Когда рассказчица прочла ему два-три сильныхъ стихотворенія, касавшихся поглощенного Федора предмета, онъ заревѣлъ и проговорилъ:

— И ничего?

— Что ничего?

— Такъ ничего и послѣ этого?..

— Покуда ничего...

Феодоръ ревелъ.

Чтобы успокоить его, она приводила ему еще болѣе сильный примѣръ неудачи, рассказала ему почти всѣ главнѣйшія событія исторіи и вмѣсто успокоенія только ужасала его и ужасала...

— И тутъ ничего не вышло?

— И тутъ... Да еще что?..

Корявый, безграмотный, измученный человѣкъ съ каждымъ словомъ своей собесѣдницы все неотразимѣе убѣждался, что онъ—ничто, мразь, ничтожество сравнительно съ тѣми, кто и до него печалился о дѣлахъ свѣта бѣлаго. Рассказы дѣвушки доказали ему все это безсиліе, все его безправіе, всю безнадежность его существованія...

Испуганъ онъ былъ прошлымъ и еще больше испугался теперь, узнавъ, что «покуда ничего не вышло».

Онъ окончательно ошалѣлъ, и всѣ жильцы комнаты думали, что онъ худо кончить... Какъ помочь ему—никто не зналъ. Какъ увѣрить его, что онъ не безграмотенъ, что у него есть будущее, что ужасъ прожитой дѣйствительности можно забыть и что есть какая-нибудь возможность сдѣлать то, что на чердакѣ нижегородскаго трактира задумалъ дѣлать Феодоръ?

Многимъ было жалъ его, но всѣ молчали и ждали... Наконецъ дождались.

Однажды Феодоръ неожиданно исчезъ съ утра и воротился въ два часа ночи, съ шумомъ подкативъ на извозчикѣ. Онъ былъ жестоко пьянъ. Полагали, что косушка и будетъ прибѣжищемъ этому несладкому несчастливцу: однако вышло не такъ... Очнувшись, Феодоръ сталъ что-то смутно припоминать, и по мѣрѣ того какъ память восстанавливала ему прошлый день, имъ начинало овладѣвать что-то ужасное, какой-то необычайный испугъ... Такого полнаго безсмыслия, въ которое впалъ несчастный, съ нимъ никогда не было. На вопросы рассказчицы онъ только отвѣчалъ: «Свинья!» «Продалъ!»—«Ето, что продашь?»—«Я...» «Все!» «Всѣхъ!» Потомъ послѣ новыхъ продолжительныхъ попытокъ привести его въ сознаніе, онъ пробормоталъ: «Онъ мнѣ самъ сунулъ... въ руку»...—«Что сунулъ? кто?»—«Да этотъ... злодѣй... надѣло всѣмъ... вотъ...»—«Редакторъ что-ли?»—«Онъ самъ сунулъ...»—

«Что сунулъ-то?»—«Деньги... Я такъ шелъ... онъ мнѣ тенулъ... Свинья, хриstoppодавецъ я...»

«Я говорила рассказчица:—несмотря на всѣ старанія, ничего болѣе отъ него не могла добиться. Но думаю, что дѣло было такъ: шелъ онъ, должно быть, по улицѣ и наткнулся на редактора, который такъ его недавно озадачилъ. Быть можетъ, видъ его былъ очень жалокъ, или редакторъ былъ въ хорошемъ расположеніи духа, только послѣдній могъ предложить, «сунуть» ему бумажку... Почему-нибудь, очень можетъ быть что по разсѣянности, Феодоръ взялъ ее—по разсѣянности и, не соображая, что дѣлаетъ, выпилъ, напился... И вотъ теперь, очнувшись и сообразивъ, что сдѣлалъ, ужаснулся. Съ его точки зрѣнія, поступокъ этотъ въ самомъ дѣлѣ долженъ былъ казаться ужаснымъ. Взявъ деньги отъ человѣка, который объявилъ ему, что ему надѣли всѣ эти страданія, о которыхъ Феодоръ болѣлъ душой, Феодоръ продалъ свое право страдать за людей, самъ оказался дрянью, которая можетъ отъ рюмки водки забыть двадцать лѣтъ возмутительный неправды... До этой минуты онъ зналъ, что—онъ ничтожество, зналъ, что онъ беззащитенъ на бѣломъ свѣтѣ и что нѣтъ защиты у этого свѣта ни отъ кого: теперь онъ убѣдился, что объ этомъ ничтожествѣ и хлопотать-то не стоитъ... Прежде онъ былъ испуганъ людьми, а теперь испугался самъ себя. Теперь онъ всего испугался и въ такомъ испугѣ не замѣчалъ, что не пьетъ, не ѣстъ и умираетъ съ голоду.

«Я думаю, это было такъ. Впрочемъ, можетъ, и ошибаюсь»...

Ня этотъ рассказчица кончила.

Третій звонокъ торопилъ клубную публику выходить изъ залъ. Собесѣдники стали прощаться, унося домой невеселое впечатлѣніе.

VIII. Три письма.

(Изъ воспоминаній «Безнадежнаго».)

I.

— Вы что это пишете?

— Письмо...

— Кому это?

— Матери...

— О чемъ?

— Да такъ, обо всемъ.

— Ужъ что-то вы больно долго!..

Такіе вопросы, ровно пятнадцать лѣтъ тому назадъ, въ одинъ скучный осенній вечеръ, самымъ недовольнымъ тономъ задавалъ я моему сожителю по комнатѣ. Дѣло происходило въ Москвѣ, на Живодерѣ, въ одномъ изъ несчастнѣйшихъ деревянныхъ домишекъ, въ оборванныхъ, грязныхъ, нищенскихъ комнатахъ котораго обитало великое множество народа. Въ этотъ памятный мнѣ вечеръ (почему онъ мнѣ памятенъ, читатель узнаетъ ниже) я былъ особенно разстроенъ и ворчливъ. Не послѣднее мѣсто въ этомъ состояніи духа занимало

то, что изъ дому вотъ ужъ второй мѣсяцъ мнѣ не присылали денегъ, и это обстоятельство, понемногу раздражая меня напраснымъ ожиданіемъ, наконецъ доведо до значительнаго разстройства, именно въ тотъ унылый осенній вечеръ, 15 лѣтъ тому назадъ. Все мнѣ было противно, пошло, тоскливо и враждебно. Отвратительны были всхлипыванія квартирной хозяйки, доносившіяся изъ кухни: эта старая дура вотъ уже шестой мѣсяцъ, т. е. все время моего пребыванія въ ея скверныхъ комнатахъ, «разъбѣзжается» съ своимъ возлюбленнымъ, хромымъ портнымъ, подрядъ шесть мѣсяцевъ они каждый день напиваются пьяны, плачутъ, ругаются и засыпаютъ тутъ же въ кухнѣ, поникнувъ головами на столъ, а съ утра вновь начинаютъ упреки, слезы, похмелье, пиво, словомъ — полное протѣканіе. — «Иди! иди! сдѣлай одолженіе!» утирая носъ грязнымъ подоломъ, хрипѣла хозяйка... — «И уйду! Разорительница моя! Уй-ду!» — «Иди! иди!» — «Уй-ду! У-у...» И это съ утра до ночи, и никто не уйдетъ, и оба цѣлый день пьютъ и въ самомъ дѣлѣ разоряются.

Такъ бы вотъ пошелъ и разогнать ихъ въ разныя стороны... Сердила меня и эта засаленная нищенская комната, и эта кровать, на которой нельзя было повернуться мало-мальски либерально, чтобы не провалились либо ноги, либо голова; скверно дѣйствовалъ и этотъ тусклый свѣтъ низенькой лампы, и табачный дымъ, и холодъ, и низкій потолокъ, и дождь... Но болѣе всего возмущалъ меня мой сожитель по комнатѣ, терпѣливо скрипѣвшій перомъ вотъ ужъ безъ малаго третій часъ, и рѣшительно, казалось, не чувствующій, непонимающій того, чтó я испытывалъ, лежа на кровати. Когда-то, лѣтъ пять-шесть ранѣе этого скучнаго вечера на Живодеркѣ, мы учились съ этимъ человѣкомъ (его называли въ гимназіи «иностранецъ», такъ какъ отецъ его былъ швейцарецъ, хотя самъ «иностранецъ» родился въ Россіи и отъ русской матери); въ гимназіи мы провели вмѣстѣ четыре года до четвертаго класса, но потомъ я перешелъ въ другую гимназію, въ другой городъ, уѣхалъ по окончаніи курса въ Петербургъ въ университетъ и, протавившись цѣлый годъ (зиму, весну и лѣто), переехалъ въ Москву... Если читатель припомнитъ, какое впечатлѣніе могли произвести на провинціального гимназиста 61 и 62 годы, то онъ пойметъ, разумѣется, что, явившись послѣ этого года «посвященія» въ Москву «для продолженія моего образованія», я не только былъ объятъ желаніемъ посѣщать университетскія лекціи, сколько стремленіемъ — увъ! въ высшей степени неопредѣленнымъ — стремленіемъ къ дѣятельности. Чтобы не вводить читателя въ обманъ, скажу прямо, что изъ меня не вышло дѣятеля (это все будетъ ниже), и что слѣдовательно ему нѣтъ никакихъ резоновъ рассчитывать на то, чтобы на нижеслѣдующихъ страницахъ были воскрешены въ его памяти какія-нибудь минуты тѣхъ дней. Пишущій эти мемуары не оправдалъ надеждъ на самого себя и въ смыслѣ «дѣятеля» ровно ничего представить не можетъ... Но пятнадцать лѣтъ тому назадъ ожиданія эти у

меня были и, сливаясь вообще въ представленіе о необходимости «дѣятельности» и притомъ гдѣ-то не здѣсь, въ пошлой и мучительно глупой дѣятельности, а гдѣ-то тамъ, неизмѣримо выше ея, заставляли меня съ большимъ пренебреженіемъ смотрѣть на мелкую людскую гомозню. «Всѣ связи» — какъ я тогда былъ совершенно увѣренъ, «со всѣмъ этимъ — я порвалъ». Для меня не существовало ни родителей, ни родины, ни желанія выбиться въ люди и для этого ходить на лекціи, словомъ, — не существовало ничего «старого», все это осуждено было въ виду чего-то громаднаго, новаго, которое принадлежитъ не «имъ», а «намъ»... «Они» — пожалуй, могутъ высылать мнѣ нѣсколько денегъ «пока» — но и только... Такъ казалось мнѣ въ первый, самыя ясныя минуты моего пробужденія и вотъ въ такомъ-то настроеніи встрѣтился я на одной изъ московскихъ улицъ съ этимъ «иностранцемъ». Я былъ радъ старому товарищу, радъ былъ порасказать о чудесахъ, которыя я видѣлъ, снисходительно пропуская мимо ушей его рассказы о гимназическомъ начальствѣ, но очень скоро оказалось, что онъ меня «не удовлетворяетъ». Правда, онъ также не ходилъ въ университетъ, но не потому, чтобы «презиралъ», а потому, что у него не было денегъ, потому что онъ долженъ былъ давать уроки, посылать ежемѣсячно деньги матери, которая также жила уроками въ томъ же городѣ, который я ужъ изъ головы выкинулъ... Какая-то узость цѣли и притомъ однообразіе недѣль и дней, посвященныхъ на ея достиженіе, свидѣтельствовали о несомнѣнной ограниченности этого человѣка... Правда, не получая изъ дому денегъ и не посѣщая университета, я не дѣлалъ ничего другого, какъ сопровождалъ этого-же самаго ограниченнаго человѣка по Москвѣ въ его поискахъ уроковъ, поджидалъ его гдѣ-нибудь въ садикѣ или просто на улицѣ, покуда онъ заходилъ въ тотъ или другой домъ, согласно объявленію въ «Полицейскихъ Вѣдомостяхъ», вызывавшему учителя; правда также и то, что я былъ очень обязанъ ему за то, что онъ внесъ за меня деньги хозяйкѣ, что я курилъ его табакъ, пилъ его чай и т. д., и т. д.; но все это — и эти одолженія, и это праздное мое шатаніе — я ставилъ подъ рубрику «Пока» и не придавалъ ни тому, ни другому особеннаго значенія. Я не ставилъ себѣ въ вину и этихъ праздныхъ ежедневныхъ прогулокъ по Москвѣ, потому что въ продолженіи ихъ я ни на минуту не прекращалъ выяснять (на сколько понимаю самъ) мои новые взгляды, надежды и ожиданія и вовсе не замѣчалъ, что уже третій мѣсяцъ «шатаюсь, да еще по Москвѣ». И не то чтобы несочувствіе къ моимъ разговорамъ и новымъ стремленіямъ обижало меня въ этомъ «иностранцѣ» — нѣтъ, онъ, напротивъ, ни разу не прервалъ меня, ни разу не поспорилъ со мной, скажу даже болѣе, онъ, казалось, даже внимательно прислушивался къ каждому моему слову; но я видѣлъ, къ великому моему огорченію, что слова мои ни на волосъ не измѣняютъ ни его поведенія, ни его взглядовъ, ни желаній... Слушаетъ, слушаетъ, кажется, внимательно, потомъ неожиданно вздох-

нетъ и скажетъ: «ахъ, уроковъ, уроковъ!»—точно область холодной водой. И притомъ каждый день одно и то-же: утромъ чѣмъ-свѣтъ — чтеніе «Полицейскихъ Вѣдомостей», трехкопѣчная булка съ чаемъ и въ прикуску, потомъ бѣготня по адресамъ, рассказы самые подробнѣйшіе о томъ, кого онъ видѣлъ, что ему сказали, когда велѣли придти, и затѣмъ описание всей этой скуки то матери, то брату, то сестрѣ... Кажется, никакими барабанами нельзя было, хоть на единую минуту, расшевелить эту ограниченность, заставить его почувствовать всю прелесть предстоящей всему молодому дѣятельности. Въ рѣдкихъ случаяхъ онъ иной разъ вздохнетъ и какъ-будто задумается, но это еще неизвѣстно, потому-ли онъ вздыхаетъ, что восчувствовалъ, или все потому же, что нѣтъ уроковъ. Глядя на эту неподвижность мысли «иностранца», я тогда же рѣшилъ, что изъ него ничего не выйдетъ, «выйдетъ» учитель и больше ничего—а ужъ это что-жъ за будущность и что за поприще!.. Всѣ его знакомые, посѣщавшіе насъ, также крайне меня стѣсняли, такъ-какъ блистали также ограниченностью: это были какіе-то иностранцы портные, чуть не сапожники, служащіе въ какихъ-то конторахъ, и т. д. Всѣ они говорили про мѣста, кто сколько получаетъ, бранили хозяевъ, всѣ поголовно желали прибавки на скромныя суммы, рублей въ пятнадцать, въ десять, звали въ свободное время въ портерную — и только; узость ихъ цѣлей и желаній была ниже всякой критики. Съ этимъ народомъ я не находилъ возможности сказать ни одного слова, а между тѣмъ «иностранецъ» повидимому такъ сжился съ ними, что иной разъ покидалъ меня и покидалъ въ самыя патетическія для меня минуты, когда мнѣ непременно нуженъ былъ слушатель—покидалъ для того, чтобы идти къ какому-нибудь изъ этихъ провизоровъ, этихъ портныхъ, на свиданіе для разговоровъ о какомъ-то письмѣ, полученномъ отъ родственниковъ, или для полученія свѣдѣній на счетъ тѣхъ же уроковъ. Я ужъ давно подумывалъ разойтись съ этой «утомительно-узкой» сферой взглядовъ, въ которой мнѣ пришлось быть, благодаря иностранцу, его пріятелямъ и безденежью, но безденежье, а главное что-то хорошее, что я не трудился опредѣлить въ ту пору, невольно какъ бы связывало меня съ нимъ, даже влекло къ нему... Возвращаясь домой, въ тѣхъ случаяхъ, когда я не сопровождалъ его, онъ всегда радовался совершенно по дѣтски, что я дома... «Бли?» всегда былъ первый вопросъ, который онъ мнѣ задавалъ, входя въ комнату, и всегда вслѣдъ за этимъ съ сіяющимъ лицомъ вытаскивалъ булку и колбасу или яйцо. Онъ всегда разспрашивалъ меня о томъ, что со мной было, пока онъ уходилъ, а потомъ уже начиналъ рассказывать, что дѣлалъ онъ самъ и гдѣ былъ. Что-то нѣжное, женское проглядывало въ бесчисленныхъ мелочахъ, и должно быть эта-то черта и смягчала мою къ нему холодность, потому что бывали минуты, когда я, «разорвавшій со всѣмъ», уже чувствовалъ холодъ одиночества... «Есть-ли у васъ платокъ?» «Есть-ли табакъ?» «Полотенце тамъ и

мыло тамъ!» указывалъ онъ и спрашивалъ меня непременно всякій разъ, когда уходилъ на поиски; выглянетъ въ дверь и спроситъ: — «все есть?» и только получивъ утвердительный отвѣтъ, уйдетъ, сказавъ: «ну, прощайте!» и послѣ того еще непременно раза два въ торопяхъ воротится: «если удете—приходите скорѣй!..»

И я почему-то въ самомъ дѣлѣ, уходя безъ него изъ дому, торопился придти «поскорѣе», а встрѣтившись, не могъ иначе какъ съ нескрываемымъ неудовольствіемъ выслушивать его рассказы, какъ онъ пришелъ, какъ позвонилъ, кто вышелъ и т. д. И вотъ этого-то неудовольствія, какъ мнѣ тогда казалось, онъ и не замѣчалъ во мнѣ, весь погруженный въ свои уроки и разныя мелочи.

Но въ тотъ памятный мнѣ осенній вечеръ я былъ такъ раздраженъ всѣмъ и всѣми, что ни въ комъ и ни въ чемъ не могъ видѣть что-нибудь привлекательное. Тѣмъ болѣе мнѣ былъ ненавистенъ этотъ человѣкъ, который имѣлъ терпѣніе чуть не пять часовъ къ ряду скрипѣть перомъ надъ моимъ ухомъ, не обращая вниманія на то, что мнѣ надобно откуда-нибудь слышать хоть какое-нибудь человѣческое слово для того, чтобы поговорить и тѣмъ облегчить кипѣвшую раздраженіемъ грудь. Никогда этотъ человѣкъ не представлялся мнѣ въ такой степени рутиннымъ, сухимъ, думающимъ только о себѣ самомъ, о какомъ-то вздорѣ, который никому не нуженъ и никому на свѣтѣ не интересенъ.

Такъ я бѣсновался внутренно, а онъ все скрипѣлъ перомъ и пускалъ клубы дыма.

— Да объ чемъ вы можете такъ много писать? не вытерпѣлъ я.

Я проговорилъ это громко, неожиданно и сѣлъ на кровать, приготовляясь завязать обличительный разговоръ. Иностранецъ покраснѣлъ, какъ маковъ цѣбъ, и, не поднимая головы отъ письма, какъ-то жалобно улыбнулся.

— Ей-Богу, продолжалъ я:—вотъ я бы... Я бы рѣшительно не зналъ, что мнѣ писать, если-бъ пришлось писать такъ много... матушкѣ... Тутъ непременно надо врать что-нибудь, т. е. писать то, что вовсе не интересуется...

При словѣ «врать» жалобная, какъ-бы изымающаяся улыбка, лежавшая на его лицѣ, черезъ чуръ ярко освѣщенномъ низенькой лампочкой, исчезла. Какая-то грусть легла на немъ, и онъ съ легкимъ неудовольствіемъ въ голосъ произнесъ:

— Какъ врать?.. Я думаю, вашу матушку также интересуется все, что съ вами дѣлается?..

— Къ несчастью, то, что со мною дѣлается, я думаю, не очень-то можетъ ее интересовать! извѣстно произнесъ я, радуясь возможности освѣжить среди томившей меня тоски главную причину моего «особеннаго» положенія на бѣломъ свѣтѣ, т. е. того, что я «со всѣмъ этимъ разорвалъ». —Ее не только не интересуютъ мои интересы, но я думаю, если-бы я былъ такъ-же откровененъ съ ней, какъ вы съ вашею матушкой,—я бы навѣрное привелъ ее въ ужасъ... Я былъ бы источникомъ мученій и слезъ... А то, что интересуется ее, ни балла

не занимать меня, и вот почему я бы должен был врать...

— Ну, а у меня с ней, перебил меня «иностранец»,—одни интересы.

— А!

Это «а» я произнес, как я думал, самым пренебрежительным тоном. Но в то же время я почувствовал, что я совершенно сконфужен и не только сконфужен, а даже как будто еще и завидую этому, обуянному всяческими мелкими «интересами» и всякими пустяками, человеку... Да, я позавидовал ему и позавидовал тому, что он мог сказать такие слова, позавидовал и почувствовал еще большее раздражение и злость.

Сказав «а», я не находил ни единого слова, которое мог бы прибавить к нему; слова: «у нас с ней интересы одни», лишили меня всякой возможности подсмѣиваться и иронизировать, и я, как самый плохой провинциальный актер, с самым фальшивым ироническим дрожанием в голосе, с великим трудом мог произнести послѣ значительнаго молчанія:

— А!—ну, это другое дѣло... Но все-таки ужь через чурь что-то... Я не знаю...

Я чувствовал, что мнѣ ничего не остается, как замолчать, и раздумывал, как бы совершить это непріятное дѣло съ большею или меньшею безпечностью. И иностранец, казалось, также познал неловкость моего положенія, потому что онъ опять покраснѣлъ, подергал свою бороду и нѣсколько разъ поправилъ свои бѣлокурые, густые, въ русскую скобку обстриженные волосы и еще ниже наклонился надъ своей бумагой, шопотомъ перечитывая написанную страницу и очевидно стараясь показать мнѣ, что онъ совершенно занятъ «своимъ» и не замѣчаетъ моего неловкаго положенія. Несмотря на то, что я всѣми силами также старался не выказать своего смущенія, для чего довольно развязно подошелъ къ столу, за которымъ писалъ «иностранецъ», и медленно принялся набивать папиросу, не смотря на то, что я старался удержать въ себѣ мысль о мелочности этихъ «нихнихъ» общихъ интересовъ, что я старался представить себѣ всю громадную разницу между тѣмъ, что волнуетъ меня, и тѣмъ, что держитъ на свѣтѣ «его»,—я никакъ не могъ побѣдить въ себѣ чувства зависти къ нему, не могъ почему-то не чувствовать, что онъ съ своими мелочами прочнѣй меня чувствуетъ себя на бѣломъ свѣтѣ, и ясно видѣлъ, что ему теплѣй и веселѣй жить, тогда какъ мнѣ и холодно, и даже—обидно...

Я набивалъ папиросу, онъ писалъ, и оба мы молчали... Неловкое было это молчаніе... Кго прервалъ какой-то шумъ и разговоры за дверью и вслѣдъ затѣмъ съ шумомъ распахнутая полупьяною хозяйкой дверь впустила въ комнату двухъ незнакомыхъ лицъ: мужчину въ енотовой шубѣ и даму.

— Здѣсь... объявляли? уроки?..

— Это къ вамъ! сказалъ я «иностранцу» и вышелъ въ корридоръ, чтобы не мѣшать ихъ разговору. Не смотря на сумракъ, распространяемый лампой, я, идя къ двери, могъ замѣтить, что муж-

чина походилъ на какого-то дьякона или священника—такъ обросъ онъ волосами и въ такомъ безпорядкѣ они были. Ростъ его былъ громаденъ, но глаза не выражали здоровья и силы: что-то вялое, тупое и будто полупьяное видѣлось въ нихъ. Сопровождавшая этого господина дама была очень маленькаго роста, широкоплечая и плосколицая, съ плоскими блѣсоватыми глазами, выражавшими однако какую-то ненатуральную игривость... Чрезчуръ маленькая шапочка, сидѣвшая какъ-то на бекрень, и въ то же время явные признаки недостатка зубовъ, выражавшіеся въ старческомъ складѣ губъ, все это производило непріятное впечатлѣніе аляповатой искусственности, какой-то вычурности, расчистанной на очень плохіе вкусы...

Едва я вышелъ въ корридоръ, какъ тотчасъ же послышалась немолчная рѣчь дамы, еще болѣе усилившая дурное впечатлѣніе, такъ какъ голосъ ея звучалъ какой-то разбитой хрипотой... Мужчина только покашливалъ и молчалъ. Переговоры продолжались добрый часъ, втеченіе котораго я то ходилъ по корридору, то выходилъ на деревянную лѣстницу съ стеклянной галлереей.

— Что, если онъ кончитъ съ ними и уѣдетъ? думалъ я, смотря сквозь разбитыя, кое-какъ склеенныя стекла галлерей, по которымъ лились потоки дожда въ непроницаемую тьму осенняго вечера.

И мнѣ было жалко его, самъ не знаю почему... Потому ли что я оставался одинъ въ этой противной квартирѣ, потому ли что онъ добился своего, хоть и ничтожнаго дѣла, а я еще какъ будто и не начиналъ моего большого—не знаю. Но когда въ самомъ дѣлѣ иностранецъ послѣ ухода посѣтителей сказалъ мнѣ, что онъ уѣзжаетъ, что дѣло кончено, я съ невольной грустью спросилъ его:

— Когда же?

— Завтра, непременно!

Я почувствовалъ, что мы надолго разстанемся, что пойдемъ по разнымъ дорогамъ, и скоро мысль о «моей дорогѣ» разогнала мою грусть. Да, не только разогнала, а еще заставила меня додуматься до обвиненія этого же иностранца въ томъ, что я столько времени ничего не дѣлалъ; происходило это именно отъ того, что я связался съ совсѣмъ неподходящими мнѣ людьми и оттого осовѣлъ.

— Ну, счастливой вамъ дороги! сказалъ я ужь совершенно спокойно, чувствуя въ себѣ силу, безъ всякихъ постороннихъ пособій въ видѣ булокъ, табаку и т. д., выдержать предстоящую мнѣ борьбу.

— Спасибо вамъ, сказалъ иностранецъ, возившійся надъ чемоданомъ:—я вамъ очень, очень благодаренъ...

Это было сказано такъ искренно, что я невольно смутился.

— За что?

— Такъ! Очень, очень... спасибо! затягивая веревку, бормоталъ онъ.

Вечеромъ мы рослили на прощанье не одну бутылку пива, каждый говоря «о своемъ» и не мѣшая этимъ другъ другу, а на другой день простились.

II.

Съ тѣхъ поръ прошло пятнадцать лѣтъ. Мы, точно, шли разными дорогами—но что-жъ оказалось? Оказалось, что я не только не осуществлялъ ни одной крупицы изъ моихъ обширныхъ плановъ, но, напротивъ, въ ту минуту, когда пишется эти воспоминанія, я вижу единственную возможность существованія для себя—только подъ условіемъ «хлопотать только о себѣ»; а переполненный мелочными интересами, мелкими заботами и прочими ничтожными качествами «иностранецъ», ни на минуту не измѣняя этимъ качествамъ, этимъ «мелочамъ», дѣлалъ и дѣлаетъ то самое дѣло «не для себя», о которомъ я мечталъ въ дни юности и которое теперь замѣнилось, какъ я уже сказалъ, желаніемъ жить, никому и ничему не позволяя себя трогать, сознаниемъ, что исполненіе этого желанія есть удовольствіе и очень, очень большое удовольствіе.

Какъ же это могло случиться? И отчего?

Я уже сказалъ въ началѣ этого разсказа, что считаю себя изъ совершенно безцвѣтныхъ людей послѣдняго періода русской жизни, но при всей моей неважности я если и не былъ «избраннымъ», то «званнымъ» былъ и вмѣстѣ съ цѣлыми такими же толпами этихъ неизбранныхъ начинаю новую эру русской жизни, жизни *только* на себя, только въ своемъ углу, только подъ условіемъ: «не мѣшай мнѣ», а я мѣшать никому не буду... Я вотъ очень, очень радъ, что сообразно моей незначительности я все-таки имѣю обезпечивающее мои труды мѣсто, щелкаю счетами въ с—мъ банкѣ губ. города N, и очень радъ, что мнѣ почти не приходится «жить». Я хожу въ должность, возвращаюсь домой, ѣмъ, сплю, читаю, сижу въ театрѣ, въ концертѣ, бываю въ гостяхъ, разговариваю о чемъ придется и т. д., и т. д.; но, какъ ни разнообразно и пошло все это,—я все-таки не перестаю во всѣхъ этихъ пошлыхъ дѣйствіяхъ и поступкахъ чувствовать удовольствіе отъ сознанія, что все это во-первыхъ не жизнь, а такъ что-то, что меня не трогаетъ, и во-вторыхъ, что во всемъ этомъ я рѣшительно могу не тревожить своей мысли. Существовать среди людей, смотрѣть на людей и сознавать, что если ты не захочешь самъ, то тебя никто изъ нихъ не тронетъ, вотъ въ сущности въ чемъ состоитъ мой теперешній идеалъ, и, какъ надѣюсь, идеалъ великаго множества русскихъ людей того же самого калібра и нравственнаго совершенства, какъ и я. Что такое вліяніе или направленіе вторгается подъ разными видами въ русскую жизнь, въ русскую мысль,—въ этомъ я не сомнѣваюсь, иначе я бы и не рѣшился излагать моихъ размышленій по этому случаю. Нѣчто враждебное ко всѣмъ этимъ мечтаніямъ и опытамъ молодости слышится повсюду и главное отъ тѣхъ же самыхъ людей, которые именно и предавались этимъ мечтаніямъ всей душой. Именно у этихъ-то людей, у этой-то толпы, когда-то «вытолкнутой» на свѣтъ божій изъ тьмы, и отыскиваются доводы, доказывающіе бессмыслицу, глушость, даже подлость всевозможныхъ мечтаній;

именно въ этой-то толпѣ и вырабатывается, конечно прикрытая разными соображеніями, теорія «апатизма»... Теорія основательная, прочная и общающаяся большіе успѣхи въ будущемъ, такъ какъ въ основаніи ея лежитъ совершенно непритворное и притомъ продолжительное, испытанное «страданіе».

Ради вотъ только этого-то основанія новой теоріи—«жить, по возможности не зная людей»—я и осмѣливаюсь говорить о себѣ, о своихъ ничтожныхъ мечтаніяхъ и размышленіяхъ... Да, и меня, и всѣхъ мнѣ подобныхъ привелъ къ этому безотрадному выводу опытъ, переполненный всякой муки, всякой горечи, всяческаго страха и ужаса передъ самимъ собой—и это главное. Я радъ, что могу цѣлое утро щелкать счетами, а вечеромъ разговаривать съ знакомыми всякій вздоръ, потому именно радъ, что это—вздоръ, что это меня «не касается», такъ какъ, гдѣ бы и что бы меня ни коснулось,—мнѣ вездѣ и все больно... Но такъ какъ и у самаго трудно-больного бываютъ минуты облегченія, просвѣщенія ума и бодрости духа, то иногда и меня посѣщаетъ сознаніе того, какое я—ничтожество со всеми своими страданіями, со своею боязнью жизни. И то, что прожито, то, что когда-то «безразсудно думалось», начинается казаться мнѣ куда какъ хорошимъ, чистымъ и умнымъ сравнительно съ тѣми жвачными взглядами, которые я теперь исповѣдую. Въ такіе минуты все прошлое представляется мнѣ необыкновенно завиднымъ, и я начинаю предаваться воспоминаніямъ этого прошлаго, припоминаю лица, событія, горькія, гнусныя, гнусныя минуты—и все, и горькое, гнусное, и глупое, начинается казаться мнѣ гораздо лучше того, на что я теперь смотрю, что дѣлаю... До того лучше, что иной разъ мнѣ приходитъ въ голову мысль: «взять да уйти!». Но эта мысль приходитъ только на мгновеніе, только на мигъ, такъ какъ «уйти» значитъ вновь вступить въ жизнь, а «жить»—для меня такъ страшно, такъ мучительно, что представленіе о возможности новаго повторенія того, что я испытывалъ ужъ, мгновенно прекращаетъ всякія смѣлыя мысли вродѣ «уйти», и я вновь съеживаюсь въ своемъ углу, вновь радуюсь, что я одинъ, что окно занесено снѣгомъ, что, не смотря на раннюю пору вечера, на улицѣ нѣтъ ужъ ни единой живой души... «Слава Богу, думаю я,—я теперь одинъ... никто меня не тронетъ, никого я не трогаю и я...»

Но, сознавая всю пріятность такого положенія, я никакъ не могу не видѣть, что къ нему привели меня страданія, всякій разъ ярко выступающія въ моемъ воображеніи, какъ только я задумаю что-нибудь посмѣлье; и я не могу не думать о нихъ, не искать имъ причины, не объяснять самому себѣ:

— Отчего такое обиліе страданія и такой полный нуль въ результатѣ?

Когда я думаю о прошлыхъ годахъ, я вспоминаю великое множество разныхъ лицъ, между которыми однако нѣтъ «иностранца»; но какъ только въ сознаніи моемъ выступаетъ роковой вопросъ о томъ, почему я такъ много и такъ бесплодно страдалъ и такъ мало получилось въ результатѣ, образъ «иностранца» тутъ какъ тутъ...

Бстати сказать, вывода въ этомъ очеркѣ «ино-странца», я не имѣю никакой иносказательной цѣ-ли. Такъ случилось, что на извѣстныхъ мысляхъ на-водитъ меня эта фигура, и такъ случилось, что фигура эта—«иностранецъ», и больше никакого особеннаго значенія она для меня не имѣетъ, по-тому что на тѣ же самыя мысли могъ бы меня, какъ увидитъ читатель, также легко навести рос-сіянинъ, какъ и иностранецъ,—стоитъ только быть такимъ-же, какъ этотъ послѣдній, живымъ чело-вѣкомъ... Да, онъ, этотъ мелочной, «полкомъ» живущій чело-вѣкъ, оказался точно и «живымъ», и «человѣкомъ»... Это я теперь подлинно знаю, послѣ того какъ не одинъ разъ передумалъ въ тя-желыя минуты и свою, и его жизнь, а главное послѣ послѣдняго его письма, полученнаго мною на-дняхъ черезъ какого-то крестьянина: изъ пись-ма этого оказалось, что «иностранецъ» живетъ по близости того города, гдѣ и я обрѣлъ успокоеніе, и что онъ совершаетъ и ужъ совершилъ—не пере-ставая быть тѣмъ, чѣмъ былъ,—то дѣло «не для себя», о которомъ я, смѣявшійся надъ его мелоч-ностью, стараюсь забыть. Какое это дѣло, чита-тель узнаетъ, когда я буду продолжать мой раз-сказъ объ «иностранцѣ»; теперь же я никакъ не могу не сказать нѣсколько словъ собственно о се-бѣ, такъ какъ близость этого когда-то осмѣяннаго чело-вѣка особенно настойчиво побуждаетъ меня вспоминать прошлое.

И такъ, отчего-же?

При этомъ вопросѣ мнѣ прежде всего припо-минается описанный уже осенній вечеръ. Потому «прежде всего», что именно съ этого вечера мы разошлись надолго по разнымъ дорогамъ, а главное потому, что никогда въ другое время я не чувство-валъ между мной и «иностранцемъ» такой существен-ной разницы во всемъ—во взглядахъ на людей и жизнь—и никогда наконецъ не была между нами такъ выяснена одна изъ главныхъ причинъ этой раз-ницы, которая привела насъ къ такимъ неожидан-нымъ результатамъ: меня—къ нулю, его—къ жи-вому дѣлу.—«А у меня, сказалъ тогда «иностран-ецъ»,—интересы съ семьей одни». А я еще тогда гордился, что «разорвалъ всякую связь»! Теперь же я нахожу корень моего пораженія именно глав-нымъ образомъ въ этой разницѣ нашихъ семей.

Семья «иностранца» жила на той же улицѣ, гдѣ жила и моя семья; обѣ семьи были велики; мы были побогаче, они побѣднѣй. Мой отецъ служилъ, его отецъ, да и не только отецъ, а и мать, и стар-шій братъ, и онъ самъ, «иностранецъ», о которомъ идетъ рѣчь,—все они давали уроки, причемъ сы-новья должны были и учиться, ходить въ гимна-зію, и давать уроки, зарабатывать хлѣбъ. У насъ было не то. У насъ ни мать, ни бабу, ни родствен-ницы и родственники, ни тѣмъ болѣе дѣти—никто не зналъ, какъ получаютъ деньги, какимъ тру-домъ онѣ достаются, откуда берется эта лошадь и т. д., и отецъ не только не открывалъ секрета, но, напротивъ, тщательно скрываетъ свою битву съ жизнью за хлѣбъ. Въ этой битвѣ не могъ прини-мать никакого участія никто изъ домашнихъ, не

могъ, стало-быть, жить сознательнымъ участіемъ къ чело-вѣку, работающему на цѣлый домъ, а вся-кій только понималъ, что его «кормить» и что это трудно; но какъ трудно—никто не зналъ. Не бы-ло, стало быть, главнаго основанія для того, чтобы уважать другъ-друга, по разумному основанію взаимной помощи, не было развивающей понятіе о жизни связи живыхъ людей. Всякій, напротивъ, чувствовалъ нѣчто утомляющее, именно отъ непо-ниманія, почему все это дѣлается. Скучновато бы-ло готовить обѣдъ и скучно его ѣсть, и какъ будто ѣда, пропитаніе, хотя и довольно жирное, и было единственно понятнымъ, для всѣхъ связующимъ звеномъ. Все какъ будто жили вмѣстѣ только по-тому, что никому и нигдѣ въ свѣтѣ нельзя было найти другого мѣста, гдѣ-бы можно было въ теплѣ и сытымъ безъ всякихъ къ этому затратъ труда, ума, знанія, каковыя тутъ, въ этой семьѣ, и не требова-лись, потому что тутъ были нины (всѣми впрочемъ считае-мыя обузой), только родственныя офи-ціальныя связи, а внутренней живой связи людей, сошедшихъ по взаимному вкусу, даже по расчету, опредѣляемому людьми живого общества,—этого-то и не было. Живя въ такой органически некрѣпкой семьѣ, можно было только получить скуку къ жизни, зависть и даже ненависть къ людямъ, которые не страшатся жизни, и приобрести очень прочное убѣ-жденіе въ необходимости имѣть только деньги. Вотъ почему, когда новое мѣсто, новые люди, новыя идеи и взгляды обступили меня по прїѣздѣ въ Петербургъ, мнѣ необходимо было порвать «связь» съ самымъ воспоминаніемъ объ этой жизни въ семьѣ. Я знаю очень хорошо, что отецъ не откровенничалъ, по-тому что ему было стыдно, и что онъ полагалъ, на-копивъ денегъ, окружить своихъ дѣтей всѣми удоб-ствами; но я знаю, что именно отъ этого я не пони-маю и не интересуюсь живыми людьми, вообще чело-вѣкомъ, потому что вся жизнь самого близкаго мнѣ чело-вѣка, т. е. именно такого чело-вѣка, отъ котораго я и могъ имѣть понятіе о жизни, она-то была сокрыта отъ меня и безчисленныхъ, мнѣ по-добныхъ. Теперь я вижу, что все такого же рода, какъ наша, семьи старались и хлопотали именно только о томъ, чтобы отгородиться отъ людей, чтобы обстроиться такими заборами, чрезъ которые не перелѣзешь, не схватишь, не достанешь, и въ самомъ дѣлѣ огораживались всѣми правдами и неправдами, такими неправдами, что объ нихъ даже нельзя было знать. Самое понятіе о томъ, что въ людскомъ обще-ствѣ надобно «жить», а не только дѣлать тулаэскур-сіи, чтобы выхватить что-нибудь на молочишко, при-тащить это «что-нибудь» домой и съѣсть,—самое по-нятіе это было не воспитано. Вотъ почему, при мало-мальскомъ просторѣ, при мало-мальскомъ знаком-ствѣ съ тѣмъ, что есть въ дѣйствительности, тотъ-часъ же, въ одинъ день, въ одинъ часъ, можно было совершенно безслѣдно забыть и десятии лѣтъ жизни въ семьѣ, и рѣшительно всѣхъ такъ-называемыхъ близкихъ, и, не понимая людей, не уважая посто-роннихъ живыхъ существъ, исповѣдывать теорію любви къ чело-вѣчеству, какъ это и было со мною.

Не знаю, точно ли я выразился, но именно въ

этомъ и вся бѣда. Не принять, не проникнуться этими идеями не было возможности, потому что въ нихъ была правда, радость и жизнь, потому что онѣ были воздухъ; но, принявъ ихъ, я и тысячи мнѣ подобныхъ позабыли, что мы не умѣемъ жить, не умѣемъ уважать человѣческое существованіе, что мы, напротивъ, воспитаны во враждебныхъ отношеніяхъ къ человѣку, къ тому вотъ, который ходитъ по улицѣ, къ себѣ самимъ. Въ одно и то же время и самая полная, ничѣмъ не стѣсняемая ширь взглядовъ, и самая широкая невнимательность къ соуду, именно къ тому, для котораго эти широкіе взгляды и нужны, съ которыми и надо жить этими взглядами.

Совсѣмъ не такая семья и не такая закуска была у «иностранца». Они тоже бились изъ-за куска хлѣба, но въ этомъ не было не только неприличной къ обнаруженію тайны, но, напротивъ, былъ связующій интересъ, источникъ взаимной связи и взаимнаго уваженія. Всякій зналъ про всякаго и всякій видѣлъ, что обязанъ работать столько же для себя, сколько и для другихъ. Да и столкновенія съ посторонними людьми основывались у нихъ не на томъ, что тотъ или другой человѣкъ мнѣ «подверженъ» по моему мѣсту и должности, а на томъ, что человѣкъ нуждается во мнѣ и нуждается не по какой-нибудь бумажной глупости, а потому что въ самомъ дѣлѣ знаетъ, что я ему могу сдѣлать добро. Въ то время, когда въ нашей семьѣ таинственно пріобрѣтенный достатокъ велъ только въ тупой скучѣ, къ какому-то у всей семьи скрытому, подавленному страданію, велъ (для отдохновенія) ко всеобщей, напоминалъ о смерти, напоминалъ о томъ, что хорошо бы для облегченія отслужить по всѣмъ умершимъ родственникамъ какую-нибудь грандіознѣйшую панихиду, словомъ, велъ къ мыслямъ о смерти и о томъ, что все—суета суетъ и что не суета—только деньги въ карманѣ, въ это-же время въ семьѣ «иностранца» жило ясное, всѣмъ понятное убѣжденіе, что жизнь вовсе не кладбище, но что свободные часы дороги, что ими надо пользоваться и жить. Они читали, самъ отецъ игралъ на скрипкѣ; они любили цвѣты, животныхъ, испытывали удовольствіе водить компанію съ людьми, съ которыми пріятно, а не только потому, что эти люди «приходятся» намъ родственниками, или просто «нужны», или просто «подвержены».

И какъ ни мелки, какъ ни малы, можетъ быть, интересы этой семьи, но въ ней была «жизнь», а не «терпѣжъ» жизни, какъ въ семьяхъ, подобныхъ моей. Въ ней можно было узнать, какъ трудно достаются маленькія минуты счастья, въ ней можно было познаться въ необходимость и удовольствіемъ жить для ближняго, для другаго, а не только для себя. Не боясь жизни и не ограничивая отношенія свои къ ней «захватываніемъ» кусковъ съѣстнаго и питейнаго, эта семья должна была отлично знать свою связь съ остальнымъ бѣлымъ свѣтомъ, уважать въ этомъ бѣломъ свѣтѣ все, что уважала въ себѣ. А въ нашей семьѣ это не могло быть, такъ какъ никто по совѣсти другъ друга не уважалъ, да и на другихъ смотрѣлъ тоже безъ уваженія.

Благодаря всему этому, въ моемъ «иностранцѣ» было именно все, что нужно для того, чтобы жить между людьми, понимая ихъ нужды, ихъ радости такъ же, какъ и свои, и поэтому уважая ихъ. У меня же именно не было ничего этого, то-есть не было никакихъ резоновъ уважать себя, не было умѣнья жить и понимать чужихъ людей; поэтому и оставалось, не существуя для себя, существовать для идей, отрѣшая ихъ отъ себя. Словомъ, я бы могъ жить, чувствуя себя свободнымъ и ощущая подъ ногами почву только въ томъ случаѣ, еслибы мнѣ всю жизнь пришлось стоять въ людской толкучкѣ, фигурировать *надъ* нею; тогда какъ онъ, «иностранецъ», умѣлъ и могъ жить только съ ней. Въ отношеніи личной жизни я могъ жить, кое-какъ скопая въ кучу всѣ личныя желанія, симпатіи и съ тѣмъ же пренебреженіемъ относясь къ подобнымъ же желаніямъ и симпатіямъ населяющихъ бѣлый свѣтъ людей, лишь бы мнѣ быть увѣреннымъ, что я исполняю нѣчто высшее; напротивъ, «иностранецъ» жилъ именно такъ, какъ лично ему казалось нужнымъ, честнымъ, совѣстливымъ. Изъ моей породы выходятъ «слѣпые» исполнители великихъ и малыхъ идей, изъ породы «иностранца» выходятъ «живые люди».

Вотъ въ этомъ-то и была между нами коренная разница.

III.

— Пишите! говорилъ я иностранцу, разставаясь съ нимъ.

— Непремѣнно, непремѣнно! вы-то пишете, вѣдь я Богъ знаетъ куда забѣду... Пишите, что думаете, что новаго... о вашихъ дѣлахъ—все!

Я общался; но такъ какъ это были мелочь и вадоръ («о чемъ я буду писать?»), то я и забылъ конечно свое обѣщаніе, такъ забывъ, что когда черезъ три мѣсяца пришло на мое имя письмо, изъ самой глубины оренбургскихъ степеней, то я долго не могъ догадаться, отъ кого бы оно могло быть?

Письмо было длинное-предлинное и такъ аккуратно и четко написано, вытянуто въ такія правильныя, прямыя строчки, уставленныя мелкими буквами нѣмецкой архитектуры, что мнѣ тотчасъ же припомнилась вся сухая мелочность иностранца, и стало скучно. Но такъ какъ до появленія письма мнѣ было еще скучнѣй, то я принялся за чтеніе, хотя и безъ должнаго вниманія.

Вотъ это первое его письмо:

«Простите, что до сихъ поръ ничего не написалъ вамъ о себѣ...»

— Вѣдь эдакое идиотство! подумалъ я не безъ злости.—Человѣкъ увѣренъ, что я жду-не дожусь знать о немъ всевозможныя подробности! Извиняется, что «о себѣ» меня такъ давно не увѣдомлялъ... Рѣшительно кромѣ себя ничего не видитъ и не знаетъ...

«Все время я испытывалъ такія незнакомыя мнѣ ощущенія, видѣлъ такія удивительныя вещи, что и самъ не могъ опомниться и сообразить, какъ мнѣ быть...»

— Три строки и три раза «мнѣ» и «самъ»!
«Я уже...»

— «Я!» опять!

«Я уже думалъ было совершенно отказаться отъ мѣста, но взятыя мною впередъ деньги, семьдесятъ пять рублей, тому препятствовали... Часть изъ нихъ я изъ Нижняго (въ Москвѣ не успѣлъ) отправилъ матери въ Б., другую же часть...»

Но тутъ я пропустилъ, не читая, почти пол-страницы; мнѣ было ненавистно это подчиненіе рублю серебромъ въ то время, когда человѣкъ готовъ былъ «уйти». Начавъ затѣмъ читать отъ точки, опять наткнулся на фразу—«И не столько деньги, сколько...» «Слово деньги» опять заставило меня пропустить еще большой кусокъ письма и, только перевернувъ цѣлую страницу и убѣдившись, что на слѣдующей страницѣ уже не упоминается о деньгахъ, я сталъ читать далѣе.

«... Прежде всего необходимо вамъ сказать, что я попалъ въ самое безобразное семейство, какое только можно себѣ представить. Много на своемъ вѣку, давая уроки, я видѣлъ и самодуровъ-купцовъ, хотя-бы напримѣръ Псунова, вамъ извѣстнаго, который устроилъ у себя на дворѣ гиподромъ и заставлялъ сказать на купленной въ циркѣ лошади беременную жену; но все это не то, или по крайней мѣрѣ не производило на меня такого тяжелого впечатлѣнія. Эти безобразники были самодуры купцы-тузы, стало быть, специалисты всякаго буйства. Семья же, въ которую я попалъ, не принадлежать ни къ тузамъ, ни къ самодурамъ, но нравственное разложеніе въ ней необыкновенное. Псуновъ послѣ пьяныхъ безобразій вытрезвлялся и опять начиналъ «дѣлать дѣла», наживать капиталъ, здѣсь же я не замѣтилъ не только способности дѣлать какое-нибудь дѣло, но даже и соображать что-нибудь. Несловы—помѣшники, обладающіе тысячами десятинъ степей, которыя впрочемъ стоятъ очень мало. Два года тому назадъ, когда русскіе двинулись за-границу цѣлыми стадами, изъ башкирскихъ степей выѣхали и мои патроны, заложивъ все, продавъ все, что было покупаемо, занявъ у всѣхъ, кто давалъ, и теперь въ буквальный смыслъ безъ копѣйки, съ громадными долгами, сдѣланными за-границей, возвращались домой, повидимому, на явную смерть. Семьдесятъ пять рублей, которые я отъ нихъ получилъ, были послѣднія деньги, если не считать небольшого количества десятковъ рублей, котораго едва хватало на пол-дороги. Все это обнаружилось немедленно же по выѣздѣ изъ Москвы. Мужъ, котораго вы видѣли и который походилъ на неповоротливаго медвѣдя, въ мало-мальски трезвыя минуты дѣлался какимъ-то звѣремъ и не могъ сказать женѣ слова безъ самаго страшнаго раздраженія. Жена не только не уступала ему въ ненависти, но, какъ мнѣ кажется, превосходила его, стараясь даже и по возможности дѣлать ему нецѣлостности, нецѣлостности самыя глупыя, вроде того, что «снимите ваши сапожники: вы мнѣ ногу раздавите, мужикъ!»—«Сама вѣдь любишь, отвѣчалъ обыкновенно мужъ,—чтобъ мужичины наступали тебѣ...»—«Не такіе балбесы, какъ ты...»—«То-то вотъ, еслибъ поменьше съ этими не балбесами, у насъ бы и было что жрать...» Во время

этихъ разговоровъ мужъ смотрѣлъ на меня, ница поддержки и указывая наклоненіемъ головы на жену, какъ бы говоря: «какова штука!», а жена дѣлала то-же самое, указывая на мужа, съ тою разницею, что она въ эти минуты пожимала плечами и закрывала глаза, какъ бы говоря: «это ужасъ что такое...» Признаюсь вамъ, оба они для меня были отвратительны, такъ какъ взаимное отвращеніе ихъ другъ къ другу было по истинѣ безпредѣльно, и въ особенно острыхъ минуты они не совѣстились говорить при дѣтяхъ и при мнѣ, постороннемъ человѣкѣ, такія вещи, которыя заставляли бы покраснѣть... я не знаю кого... И что всего удивительнѣе, мадамъ неоднократно заводила рѣчь объ освобожденіи женщинъ, какъ бы о правѣ—такъ понималъ я по крайней мѣрѣ—подставлять свою ногу подъ тѣ именно мужскіе сапоги, владельцы которыхъ правятся...—«Никогда, Лея, не выходи замужъ», совѣтовала она своей дочери... И тутъ же шла рѣчь о «подводныхъ камняхъ», даже о трудѣ, чего ужъ я и понять не могъ, потому что привычки и его, и ея, въ особенности ея, были такія, что исключали всякую возможность представить себѣ, чтобы они могли что-нибудь дѣлать. Чтобы выгнать изъ тарантаса и влѣзть въ него, необходимо было сначала подождать трехъ или четырехъ мужиковъ, и при этомъ возня продолжалась четверть часа, сопровождаемая бранью, пискливою и непріятною... Ни онъ, ни она не умѣли даже уложить дѣтей спать, и если дѣлали это, то съ такимъ раздраженіемъ, съ такимъ тиранствомъ, какого я не видывалъ нигдѣ. Слова: «наказаніе! это проклятіе, а не дѣти!» слышались при этомъ поминутно. Трудную обязанность ухода за дѣтьми я долженъ былъ взять на себя, хотя дѣти мнѣ также ужасно не нравились, о чемъ я скажу послѣ. Деньги, бывшія у меня, были отобраны не дальше какъ черезъ сутки по выѣздѣ изъ Москвы, такъ-что я съ большимъ трудомъ удержалъ при себѣ небольшую сумму для матери. Жажда *тратить* была у обоихъ пожирающая. Впрочемъ онъ тратилъ болѣе на водку и былъ почти постоянно пьянъ; она же тратила Богъ знаетъ на что: даже въ глухихъ деревняхъ, у маленькихъ деревенскихъ лавочекъ, гдѣ нѣтъ ничего кромѣ баранковъ—и тутъ мы непремѣнно останавливались: ее тянула лавка, какъ магнитъ притягиваетъ желѣзо. Однажды даже дѣвочка, маленькая ея дочь, сказала ей: «ну, зачѣмъ ты покупаешь, мама? Вѣдь отъ этихъ пряниковъ тошнитъ!»—«Мама глупая!» сказала она въ другой разъ, очевидно наслушавшись ругательства родителя. И хотя нельзя сказать, чтобы эти сужденія были резонны въ очень испорченной дѣвочкѣ, но они были правильны; вся эта женщина была какая-то смѣсь разгильдяйства и дѣтства самаго ранняго, интересующагося куклами и пряниками.

«Никакихъ умственныхъ способностей, даже никакой умѣлости думать о чемъ-нибудь я не замѣчалъ въ нихъ довольно долго, и, признаюсь, не мало удивлялся причинѣ существованія на свѣтѣ подобныхъ людей. Они оба не умѣли отвѣтить ни

на одинъ дѣтскій вопросъ: «отчего тучи», «отчего вѣтеръ» и т. д. Если и случалось кому-нибудь изъ нихъ обмолвиться однимъ или двумя приблизительно справедливыми отвѣтами на одинъ или два дѣтскіе вопроса, то третій вопросъ уже утомлялъ ихъ, и всегда, рѣшительно всегда, вмѣсто отвѣта дѣти получали что-нибудь вроде: «остань», «отвѣжись, несносный»; «заладилъ: зачѣмъ? зачѣмъ?—сиди смирно и молчи...» Единственное дѣло, которое они дѣлали не только легко, но съ удовольствіемъ, съ истиннымъ дарованіемъ, какъ самые безукоризненные артисты, это было—лганье. Лганьемъ они успокаивали плачущихъ дѣтей, говоря, что «вонъ-вонъ, видишь? какая летитъ птица...» Или: «вотъ сейчасъ прїѣдемъ, тамъ будетъ музыка, игрушки» и т. д. Съ общаніями всевозможныхъ подарковъ и удовольствій, которые должны быть «завтра», они укладывали ихъ спать. Затѣмъ лгали по утру, когда дѣти не видѣли исполненія обѣщаній, и лгали цѣлый Божій день, какъ бы умышленно стараясь дать не настоящій отвѣтъ—иной разъ самый обыкновенный, а непременно вздорный и лживый. Эта черта не мало мучила меня втеченіи первыхъ дней дороги: «я видѣлъ, что имъ гораздо было легче врать самыя несообразныя вещи, чѣмъ говорить правдиво и выражаться точно о вещахъ самыхъ обыкновенныхъ. Но—чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ. Съ каждымъ днемъ талантъ лганья сталъ выказываться въ нихъ не только по отношенію къ дѣтямъ, но въ несравненно большихъ, грандіознѣйшихъ размѣрахъ, убѣдившихъ меня, что въ людяхъ этихъ не одинъ только сонъ, аппетитъ и лѣнь, но есть и умъ, и умъ довольно острый, хотя не могущій проявляться ни въ чемъ, кромѣ лганья.

«Первые признаки этой удивительной способности стали обнаруживаться съ той минуты, когда на какой-то изъ почтовыхъ станцій у насъ вышли всѣ деньги. Не было возможности доѣхать не только до мѣста, но и до ближайшаго губернскаго города, до котораго оставалось верстѣ сто съ небольшимъ. Какъ только обнаружился фактъ отсутствія денегъ, тотчасъ и отецъ, и мать, и дѣти даже (!) какъ бы соединились въ какой-то общей заботѣ, общемъ стараніи выйти изъ затрудненія и сосредоточились на изобрѣтеніи средства къ выходу изъ затруднительнаго положенія. Они молчали, не говорили ни другъ съ другомъ, ни со мной ни слова. Но видно было, что у нихъ что-то созрѣвало... И точно... Когда мы прїѣхали на станцію, съ которой намъ далѣе не было возможности ѣхать, я не узналъ нашихъ растеряхъ и разгильдяевъ. Это были принцы, князья, которыхъ надо было выносить на рукахъ, которые были всѣмъ недовольны, капризничали и на всѣхъ прикрикивали; относясь ко мнѣ всю дорогу съ истинно-мужичьей простотой, тутъ вдругъ стали обращаться со мной какъ съ ласкемъ, придавая голосу какой-то небрежный отгненокъ и говоря непрѣнно по французски, даже при мужикахъ... Оказалось, что эта грубость и свинство, расточаемыя ко всѣмъ (чтобы дать всѣмъ по-

нятіе о томъ, что это господа «хорошіе, строгіе»), были только фундаментомъ для предстоявшей постройки грандіознаго вранья. За чаемъ (который тянулся чуть не полсутки: барыня не могла ѣхать, она была нездорова) шли распросы, такъ, мимоходомъ, у смотрителя станціи, у его жены, у старосты, у прїѣзжихъ и т. д., повидимому, о самыхъ ненужныхъ пустякахъ; но въ то-же время (распросы велъ самъ Нееловъ) какъ-то незамѣтно, благодаря этимъ пустякамъ, оказывались самыя для меня невѣроятныя вещи: оказывалось какъ-то, что губернаторъ—родной братъ жены моего патрона, что жена—фрейлина двора, что въ городѣ у моего патрона сложено 200 тысячъ четвертей ржи, и Богъ знаетъ что... Жена, которая лежала въ другой комнатѣ, по временамъ слабымъ, измощеннымъ голосомъ привирала что-нибудь отъ себя, задавая какой-нибудь вопросъ, вроде того, что «Николай спроси у него—съ кѣмъ ты тамъ говоришь—въ городѣ-ли мой братъ?.. спроси просто—дома-ли губернаторъ?..» Я сидѣлъ и не зналъ, что сказать, что думать; но, къ удивленію своему, видѣлъ, что это наглѣйшее вранье производитъ впечатлѣніе. Что всего удивительнѣе, такъ это то, что и дѣти поняли тонъ родителей, поняли въ одинъ мигъ и держали себя на той высотѣ положенія дѣтей богатѣйшихъ родителей, которое было ловко (судя по впечатлѣнію) создано лганьемъ ихъ родителей. Въ разговорѣ съ отцомъ и матерью они стали также употреблять французскія слова, произнося ихъ съ отвратительнымъ пришептываніемъ, сюсюканьемъ и тому подобными оскорбительными для уха и сердца пріемами притворства и фальши. Въ концѣ концовъ я былъ совершенно огороченъ и уничиженъ; не умолая въ лгань, мой патронъ неожиданно указалъ на меня старостѣ и произнесъ съ улыбкой: «Вотъ везу дѣтямъ француза—три тысячи считилъ, бусурманъ...»—«Ссссс», прошипѣлъ староста, поглядѣвъ на меня какъ на чело-вѣка, который умѣетъ обчищать «нашего брата русскаго». Я вспыхнулъ до корней волосъ отъ этого разговора; у меня захватило дыханіе, и я не могъ сказать ни единого слова даже и тогда, когда патронъ прибавилъ: «Ничего не подѣлаешь! дѣти... вѣдь имъ нужно выходить въ люди...»—«Чего тутъ! Рубашку отдашь послѣднюю» прибавилъ староста и опять поглядѣлъ на меня, но уже суровымъ, даже какъ-бы враждебнымъ взглядомъ, и переспросилъ: «Французъ?»—«Чистый французъ...»—«Ишь ты дьяволъ какой... и цѣна-то ему двугривенный, а поди-ко—три тыщи... тыфу ты, которжый! По нашему-то знаешь?»—«Н-ни одного слова!» Все это было такъ поразительно, такъ олу-ряюще-изумительно, такъ просто-нагло, что я буквально не могъ раскрыть рта, не могъ сообразить, что это такое, какъ мнѣ быть и чтодѣлать? А когда я опомнился, понялъ, что все это вруть обо мнѣ, и вруть самымъ наглýmъ образомъ,—я также молчалъ, но молчалъ отъ страха. Я испугался. Мнѣ стало страшно за нихъ всѣхъ; я бы не перенесъ самъ той сцены, которая могла бы послѣдовать, если-бы я вдругъ сказалъ, что все это вздоръ, и все

это врутъ, и что все это я понимаю. Я испугался этой сены и боялся проронить слово. «Нельзя, батюшка! сказать мой патронъ по уходѣ старосты:—назвался груздемъ, полезай въ кузовъ!.. Ничего не подѣлаешь! Ужъ вы молчите». Это было сказано такъ просто, было такъ имъ все понятно, что я и не могъ не чувствовать необходимости исполненія этого требованія. Я видѣлъ, что дѣлается дѣло, котораго я не понимаю; понималъ, что я хожу въ какой-то тѣмѣ, гдѣ не знаю, что сулитъ слѣдующій шагъ— ровное мѣсто, или яму, и долженъ былъ отдать руку проводнику, который шелъ впереди меня и очевидно зналъ дорогу. Но я рѣшился тотчасъ по приѣздѣ въ губернской городъ уйти; я рѣшилъ отправиться въ гимназію, попросить у директора уроковъ и остаться жить гдѣ-нибудь въ маленькой квартирѣ, распродавъ изъ своего имущества все, что можно. Задавшись этимъ рѣшеніемъ, я молчалъ и ждалъ, но считалъ себя уже совершенно чужимъ и ему, и ей, и дѣтямъ; я ждалъ-не дождался приѣхать поскорѣй въ городъ, но все-таки не понималъ, какъ это можетъ случиться? Мало, что мы не имѣли ни копѣйки, мы еще наѣли и напили у станціоннаго смотрителя на громадную сумму (конечно, громадную при отсутствіи денегъ). Мнѣ съ ужасомъ представилась минута, когда должно было открыться, что намъ нечѣмъ платить и что мы все ввали и лгали. Но, къ удивленію моему, все это вранье, лганье, все эти безпрестанныя требованія то того, то другого, требованія, совершенно не нужныя, сдѣлали свое дѣло. И станціонный смотритель, и жена, и староста, и мужики, и бабы, толпившіеся вокругъ станціи, поняли, что бѣгутъ безтолковые, неразчетливые господа, прихотники, что ихъ можно обчистить, поживиться. И, благодаря этому, едва только больная мадамъ объявила, что она не поѣдетъ на почтовыхъ, а хочетъ ѣхать на вольныхъ, едва она пожелала, чтобы ей отыскали вольныхъ ямщиковъ—у которыхъ такіе широкіе, просторные и покойные тарантасы—какъ немедленно вся станціонная комната была запружена этими ямщиками, наперерывъ предлагавшими услуги. Толкая другъ друга, они лѣзли на барина и кричали: «Я... меня... Василия-то!». Баринъ не торговался и не хотѣлъ никого обидѣть; до сей поры мы ѣхали въ одномъ экипажѣ, теперь понадобились два: одинъ для него и больной, другой для меня съ дѣтьми. Баринъ взялъ эти два экипажа отъ разныхъ владѣльцевъ. Въ сущности, дѣло было въ томъ, что, желая укрѣпить за собой работу, ямщики совали свои задатки, и баринъ взялъ съ двухъ по красной бумагѣ, т. е. по десяти рублей, тогда какъ возьми онъ оба тарантаса отъ одного, у него было бы въ карманѣ не двадцать, а только десять рублей. Такимъ образомъ неистовое лганье выручило насъ изъ бѣды и кромѣ того давало деньги, которыхъ у насъ копѣйки не было. «Дивны дѣла твои, Господи!» подумалъ я, усаживаясь вѣзетъ съ дѣтьми въ покойный, просторный тарантасъ... Толпа народа, провожавшая насъ, весело желала счастливаго пути, низко кланяясь; смотритель, староста, жена смотрителя—все говорили: «дай

Богъ вамъ!»— всѣмъ хватило одной красненькой, полученной отъ ямщиковъ.

«Едва мы выѣхали за селеніе, какъ меня отъ дѣтей позвали въ экипажъ господъ... Ни злобы, ни ненависти, ни вражды не было у обоихъ ни капли. Они дѣйствовали, работали, благополучно окончили предпріятіе и были въ самомъ веселомъ расположеніи духа... Извинившись передо мной и насуливъ мнѣ въ будущемъ золотыя горы, которымъ я ужъ конечно не вѣрилъ, они наперерывъ другъ передъ другомъ старались расположить меня къ себѣ, засыпали разговорами и воспоминаніями о заграничной жизни... Не могу представить, что это были за воспоминанія! «Ахъ, Парижъ!» говорить мадамъ, хватаясь за голову отъ восхищенія, и внезапно прибавляетъ, обращаясь къ мужу:—«помнишь, у Вефура маленькія птички и такая поджаренная штучка... что это такое!..»—«А вино-то, а вино-то а вино-то?.. Ахъ, а-ахъ, ахъ, ахъ!..» И цѣлый потокъ винъ, счетовъ, туалетовъ, перемѣшанныхъ съ винами и ѣдами, именъ кокотокъ и очаровательныхъ мужичиъ, перемѣшанныхъ съ туалетами и винами, и наконецъ сплошное и длинное признаніе во всевозможномъ распутствѣ. Въ этомъ они оба какъ бы сливались воедино, были нераздѣльны, великодушны другъ къ другу, гуманны и человѣчны до послѣдней степени. Въ этомъ-то потокѣ воспоминаній, къ удивленію моему, поминутно то онъ, то она произносили что-нибудь вродѣ: «Чувство не можетъ быть стѣснено...» «Никто не имѣетъ права распоряжаться чужимъ сердцемъ...» и т. д., и къ каждому такому изреченію то онъ, то она присоединяли рассказъ, отъ котораго я горѣлъ со стыда... а они, прямо сказать, облизывались. Подъ конецъ они до такой степени изумили меня избыткомъ взаимной преданности другъ къ другу, что я поторопился перебраться въ тотъ экипажъ, гдѣ были дѣти.

«Когда я подошелъ къ дѣтямъ, они о чемъ-то оживленно разговаривали, другъ друга перекидывая, громко смѣялись, «заливаясь смѣхомъ», но, завидѣвъ меня, замолкли, сохраняя возбужденное выраженіе лицъ.

«— Что же вы замолчали? разговаривайте!» сказалъ я. Дѣти переглядывались другъ съ другомъ, хитро улыбались и молчали. — «О чемъ вы разговаривали? расскажите мнѣ». Нѣкоторое время они молчали, но одинъ изъ нихъ не выдержалъ и торопливо проговорилъ: — «Какъ мы были влюблены!..» — «Кто мы?» — «Мы всѣ... Я, Вася, Лиза...» — «Я только разъ, сказалъ мальчикъ, какъ мнѣ показалось угромо-гуповатый: — а Федя — патнацать—тридцать—милліонъ!» (Вася былъ девяти лѣтъ, но не умѣлъ ни считать, ни читать и по развитію былъ не больше четырехлѣтняго ребенка. — «У мамы тоже тридцать милліонъ!» прибавилъ Федя (старше Васи двумя годами). — «Глупый», сказала Лиза и состроила скромное лицо. — «А у самой тоже семь мальчиковъ!» сказали оба мальчика. Лиза, дѣвочка по одиннадцатому году, понимавшая больше всѣхъ дѣтей и болѣе всѣхъ зараженная фальшью, только было хо-

тѣла сдѣлать обиженное презрительное лицо, какъ Вася, откровенный, хотя и дубоватый, торопливо заговорилъ, обращаясь ко мнѣ: — «А моя мама меня, разъ случилось, забыла въ фіакръ... Вы знаете Шарль?» — «Нѣтъ, не знаю». — «Это изъ контуаръ... Папа называлъ его «карамора»... Они меня и забыли... Поѣхали о-буа, тамъ такой есть кафе... изъ маленькихъ рюмочекъ пить... Они пили, а я захотѣлъ спать... Шарль взялъ и снесъ меня въ фіакръ, а потомъ они ушли пѣшкомъ и забыли... Я проснулся у солдатъ. Вотъ такъ смѣшное». — «Смѣшное?» — «А какъ тебя домой привезли?» напоминала Лиза. — «Я у нихъ былъ два дня... На третій день пришелъ папа... и взялъ... Тогда было страшно, теперь нѣтъ»... — «А папа вывалился изъ фіакра... заговорилъ Федя: — а я сижу, испугался, плачу... Его ударила Камилъ...» — «А онъ?» спросилъ Вася. — «Онъ упалъ и лежитъ. Потомъ его посадили опять и повезли, привезли въ церковь — вызвали людей и стали спрашивать, гдѣ живетъ мосе, а папа спитъ... Меня тоже Алиса ударила. Я не бранился и папа не бранился... А потомъ я ее ударилъ за бисквитъ...» — «А Лиза! опять началъ Вася: — такъ ее били, страсть какъ, и Пьеръ, и Фредъ, и консьерженъ Андре... дубина чистая, а ей нравятся... Этакая вертушка!» — «Какія ты все говоришь глупости. Непріятный мальчикъ!.. И мама вѣдь упала съ лѣстницы, помнишь? а на меня говоришь». — «Мама плакала, а ты рада. Ты говоришь: вырасту — поѣду къ Андре, и онъ тебя изобьетъ палкой. Ужъ Фредъ — вотъ чудо, какъ у мамы этотъ бѣленькій, Антуанъ... до-обры, а она его обругала... Она тогда сердилась... А папа — такъ тотъ никогда не билъ... Только разъ палкой ударилъ лакея... Помнишь? (обращаясь онъ то къ Федѣ, то къ Лизѣ). У обезьянъ.. Помнишь ибисы?..» — «Кра-асные!» — «Розовые, поправила Лиза, — и голосъ у нихъ, какъ въ жѣд-ный тазъ бить палкой... громко звенить!» — «Нѣтъ, вотъ слонъ, сказалъ Вася, — левъ, бегемотъ; у бегемота, знаете, — голова съ этотъ тарантасъ...» — «Ну, ужъ врешь!» — «Нѣтъ, будетъ, и онъ въ водѣ и весь въ...» — «Какой отвратительный мальчикъ! скорчивъ несприятную гримасу, сказала Лиза: — все у тебя на умѣ гадости». — «А у тебя консьерженъ адрюнька-горюнька...» При этой фразѣ Васи всѣ захохотали, не исключая и самого Васи. — «Что же это значить: влюбиться?» спросилъ я. — «Цѣловаться! сказалъ угрюмый Вася категорически. — Еще есть тамъ шутики». — «А мама, неожиданно произнесъ Федя, — вѣдь любить папу, она его только такъ бранить... онъ пьетъ... А когда его посадили въ... знаешь?.. Она плакала... Помнишь, мы ходили? высоко-высоко... А потомъ поѣхали всѣ, я, мама, Федя, Лиза пить шоколадъ на бульваръ, а тамъ ужъ «карамора» и есть... И насъ всѣхъ угостили...» — «А еще мы видѣли, начала Лиза, — верблюда!» Мальчики покатались со смѣху. — «Вотъ такъ заговорила! Говорили объ одномъ, а она Богъ знаетъ о чемъ... Верблюдъ! Умна! Очень умна!..» — «Дуракъ и отвращенье! сказала Лиза со злостью. — Я скажу мамѣ про то... помнишь?» (Это было сказано угрожающе) —

«Говори! Все ты врешь. А я про тебя скажу. Что ты дѣлала?.. Помнишь? а? Небось! Ну, говори, говори...» — «Лгунишка, гадкій мальчикъ!..» — «Она, знаете, что дѣлала (это ужъ Вася обращаясь ко мнѣ)? — Я вошелъ въ кабинетъ-туалетъ: вдругъ...» — «Ни! ни! ни! ни!» не сердясь, а лукаво улыбаясь и грозя пальцемъ, какъ колокольчикъ зазвенѣла Лиза. — «То-то!» «А ты лучше представи, какъ папа зоветъ гарсона, когда придетъ поздно». Вася тотчасъ же сдѣлалъ ословѣлые, пьяные глаза, искривилъ станъ и во всю мочь, самымъ толстымъ, какъ говорятъ дѣти, голосомъ проревѣлъ раза три: «гарсонъ», съ каждымъ разомъ все болѣе и болѣе выражая нетерпѣніе и даже злость... «Это онъ въ темнотѣ, прибавилъ Вася: — такъ гаркнетъ — весь отель проснется...» — «А мама?» подсказалъ Федя. — «А мама совсѣмъ по другому: — «не ори пожалуйста!» жеманясь, кокетничая, проговорила онъ. — Ну, можно-ли такъ орать (это она папѣ) — это ужасъ. Дай, я...» И, поднявъ голосъ до самого высшаго подобія птичьему, Вася, во всеобщей потѣхѣ, необыкновенно смѣшно произнесъ то же слово, растягивая его и стараясь придать ему самый утонченный тонъ и, окончивъ, прибавилъ: — «и у обоихъ тутъ... (онъ повертѣлъ пальцами улыба) шумить...»

«Съ тѣхъ поръ, какъ я твердо рѣшился оставить ихъ, я смотрѣлъ на нихъ, какъ на чужихъ, постороннихъ мнѣ людей, и не могъ надивиться: ни родители, ни дѣти, казалось мнѣ, не знали, да и не думали о томъ, зачѣмъ они существуютъ на свѣтѣ? Эта семья была какой-то грибокъ, выросшій на гнилой и жирной почвѣ крѣпостного права; живая для нихъ — грубое удовольствіе, вѣчное отдохновеніе отъ ничего-недѣланія... Что ожидало ихъ въ будущемъ? На это я не могъ дать отвѣта.

«Весь этотъ день мы, то есть семейство Нееловыхъ, было очень весело; на слѣдующій день, по мѣрѣ приближенія къ городу, гдѣ предстояло расплатиться съ ямщиками, вновь все семейство сосредоточилось и притихло. Папа не былъ особенно измѣненъ и очевидно что-то соображалъ; мама тоже о чемъ-то крѣпко думала. А ямщики между тѣмъ, чѣмъ ближе къ городу, тѣмъ веселѣй прикрикивали на лошадей, тѣмъ звончѣй звонили колокольчики — и весь нашъ мрачный, обремененный черными мыслями поѣздъ со свистомъ и гарканьемъ мчался въ какую-то темную даль неизвѣстнаго.

«Пріѣхали мы поздно вечеромъ и остановились въ лучшей гостинницѣ города. Ямщикамъ дали рубль на чай и велѣли приходить завтра поутру, въ девятomъ часу. По удаленіи ихъ, немедленно потребованъ былъ чай и ужинъ въ самыхъ широчайшихъ размѣрахъ: вся прислуга въ гостинницѣ сбилась съ ногъ, подавая то то, то другое. Всѣ суетились, порывили услужить, угодить, наперерывъ другъ передъ другомъ: умерло крѣпостное право, но не умеръ баринъ, умѣющий «барствовать», и лакей, умѣющий угождать барину.

«Подъ конецъ этого ужина мнѣ стало страшно за всѣхъ ихъ и, признаюсь, частью даже жалко. Но утромъ я рѣшился объявить имъ о томъ, что оставляю мѣсто. Однако, проснувшись въ девять ча-

совѣ, я уже не нашелъ ни папы, ни мамы. Мальчики въ одѣхъ рубашенкахъ и босикомъ выглянули ко мнѣ изъ другой комнаты съ веселымъ утреннимъ смѣхомъ и скрылись назадъ, толкая и щекоча другъ друга и шлепая по голому полу босыми ногами:—«Они ушли!»—отвѣчали мнѣ они всѣ трое изъ спальни и вновь принялись смѣяться и хохотать, толкая другъ друга и бросаться подушками... Въ корридорѣ, куда я вышелъ, чтобы попросить принести чаю, толкались два мужика, выражая на лицахъ напряженное ожиданіе и держа шапки въ обѣихъ рукахъ, какъ бы приготовляясь напаялить ихъ на голову и уйти, конечно получивъ деньги. «Скоро ли придутъ господа?» спросилъ я у лакея.—«Ничего не изволили сказать-съ... Надо быть скоро; ящики вонъ вчерашніе ихъ дожидаются... велѣли прійти». И, оставивъ подносы на столѣ, слуга ушелъ на этотъ разъ, какъ мнѣ показалось, уже съ отбѣскомъ недобрія во взглядѣ. Дѣти кой-какъ одѣлись и принялись за чай. Глядя на ихъ шаршавыя, запущенныя головы, ихъ неряшливость, неразвитость, мнѣ стало очень жаль ихъ; но дѣлать было нечего, надо было идти. «Я пойду, сказалъ я дѣтямъ,—а вы побудьте смирно. Я попрошу къ вамъ дѣвушку; если что будетъ нужно, спросите у нея».

«—Мы привыкли одни! отвѣчали дѣти хоромъ.—Только вы приходите скорѣй!»

«Я взялъ свой небольшой сакъ-воляжъ, тотчасъ же заложилъ его у перваго закладчика, отыскавъ комнату въ три рубля, уговорился насчетъ обѣда, по пятнадцати копѣекъ за разъ, и отправился къ директору гимназіи. Здѣсь мнѣ пришлось прождать его пріема до половины третьяго, до тѣхъ поръ, пока не кончились уроки. Причину моего появленія въ чужомъ городѣ я старался высказывать въ болѣе мягкой для моихъ патроновъ формѣ, сказалъ о размѣрахъ моихъ свѣдѣній, и директоръ далъ мнѣ слово похлопотать объ урокахъ».

«Зашелъ я на новую квартиру, поѣхъ и отправился въ гостиницу, чтобъ объявить о своемъ рѣшеніи и взять назадъ мои документы. Сцена, которую я застаю тамъ, ошеломила меня совершенно... Еще снизу я услышалъ какой-то неистовый ревъ и топотъ и къ ужасу моему узналъ въ этомъ ревѣ голосъ моего патрона. Поднявшись во второй этажъ, я увидѣлъ, что патронъ, сильно пьяный, весь красный и неистово злой, оралъ, гналъ вонъ и лѣзъ съ кулаками къ ящикамъ, которые были окружены тѣснымъ кольцомъ прислуги и праздныхъ зрителей. Всѣ, не исключая и этихъ зрителей, принимали участіе въ галдѣннѣ, сливавшемся изъ самыхъ разнородныхъ звуковъ. Тутъ было и поминутное упоминаніе словъ: «нѣтъ, не такое время!», «коротки руки», «не имѣешь права» и «правовъ такихъ нѣтъ», «какое ты имѣешь право?». Съ другой стороны, раздавались и рѣзко отчеканенныя ругательства вродѣ: «барринъ тоже... губернаторскій племянникъ, шутъ его знаетъ!...» и просто: «въ морду тресну!» или «расшибу!» и т. д. Весь этотъ хоръ, увеличиваясь поминутно новыми участниками, съ каждымъ мгно-

веніемъ выросталъ въ отношеніи безобразія и рева, въ которомъ до хрипоты насаженный голосъ моего патрона не умолкалъ ни на минуту. Я осторожно пробрался въ номеръ, куда тотчасъ же велѣдъ за мной явился и патронъ, хлопнуть за собой дверь и произнесъ: «жалуйся!»—слова, которое онъ не успѣлъ договорить въ корридорѣ... Къ удивленію моему (не помню, почему я тогда удивился этому), онъ былъ во фракѣ, бѣломъ галстука—словомъ, онъ былъ одѣтъ безукоризненно, хотя и безукоризненно пьянъ... Онъ вошелъ въ комнату до того стремительно, что едва не сбилъ съ ногъ свою дочь, которая робко толкалась у двери, слушая, что дѣлается въ корридорѣ.—«Ты что тутъ вертишься?» съ тою же разъяренною хрипотою накинулся онъ на нее, едва произнесъ слово «жалуйся!». —Дѣвочка попятилась и молчала, подѣвланіемъ неописаннаго страха.—«Что ты толчешься у дверей?» стиснувъ зубы, прошипѣлъ онъ и, наступая крошечными шагами, пальцемъ задѣлъ ее—и зло, и больно по виску...—«Э!—э!...» злился все болѣе и болѣе и, какъ кажется, самъ не понимая, что дѣлаетъ, мычалъ онъ, замахиваясь уже рукою... Вдругъ раздражающій плачь двухъ мальчиковъ, наблюдавшихъ молча эту сцену, къ которымъ немедленно присоединилась и дѣвочка, огласилъ всю комнату; но это не только не остепенило его, но, напротивъ, точно подлило жару.—«Вы что тутъ, кан-нальи!» напустился онъ на мальчиковъ и съ сжатыми кулаками направился къ нимъ. Мгновенно всѣ разбѣжались съ визгомъ и ревомъ. «Бѣж-жать!» И съ этимъ словомъ патронъ ринулся за ними и скоро изъ другой комнаты раздался ударъ, за нимъ другой... «Папа! папа! папа! ай, ай!» «Молчи! молчать! ни пик-кнуть!» Къ этому требованію молчанія примкнула и мать, голосъ которой съ немальною злостью выкрикивала изъ спальни:—«Сейчасъ замолчи! сейчасъ выгоню на улицу!»

«Не берусь во всѣхъ подробностяхъ представить эту сцену; ничего болѣе возмутительнаго и варварскаго не видалъ я втеченіи всей моей жизни. Битье, оранье, топанье, не смотря на то, что я вступился и оттаскивалъ несчастныхъ дѣтей отъ этихъ безжалостныхъ родителей, продолжалось, какъ мнѣ показалось, безконечное количество времени. Дѣти, найдя во мнѣ защитника, вѣдѣлись въ меня со всѣхъ сторонъ, не отходили, дрожа и всхлипывая: они были избиты и ищипаны. Такъ мы цѣлой, неразрывной группой и сидѣли, не разставаясь ни на минуту, и слушали ужасную, безстыдную брань между родителями, въ которой уже разъ замѣченное мною въ нихъ взаимное отвращеніе выразилось въ самыхъ невозможныхъ размѣрахъ... Я сидѣлъ съ ребятами, чувствуя вокругъ себя ихъ колеблющіеся отъ нервной дрожи маленькіе пальцы и думалъ: «что же я буду дѣлать? Уйти отъ нихъ?» Но я не могъ уйти, они держались за меня обѣими руками и мнѣ было ихъ жаль. «Остаться? Что тогда будетъ со мной, съ сестрой, съ матерью?» Ни того, ни другого вопроса я не рѣшилъ и сидѣлъ, уже не думая о себѣ, а только чувствовалъ, что дѣтей мнѣ

бросить нельзя, что я этого сдѣлать не могу, что это будетъ злое, безсердечное дѣло... Такъ я и сидѣлъ съ ними. Я молчалъ и они молчали. Я ихъ уложилъ спать, остался съ ними въ комнатѣ, ночевалъ съ ними, а на утро уже чувствовалъ, что рѣшительно не могу уйти отъ нихъ. Не потому, чтобы я полюбилъ ихъ, но мнѣ просто было ясно, что нельзя сдѣлать этого, что сдѣлай я это, я уйду съ сознаниемъ злого дѣла на душѣ. Я понималъ очень хорошо, что съ этой семьей мнѣ предстоитъ гибель, что такая же гибель ожидаетъ и бѣдную мою матушку и сестру: все это я понималъ какъ нельзя быть яснѣе, но какая-то новая, высшая обязанность, какая-то новая, высшая сила взяла меня въ свою власть и приковываетъ неразрываемыми цѣпями къ участи этихъ дѣтей... Оставить ихъ я—не могу.

«И вотъ я въ деревнѣ. Какъ добрались мы сюда, какіе фортели выдѣлывали мои патроны для того, чтобы продолжать путешествіе (заемъ денегъ у архіереевъ, въ монастыряхъ, продажа 200 тысячъ пудовъ несуществующаго хлѣба, телеграмма отъ министра о наградахъ и т. д., и т. д. до безконечности),—этого я вамъ описывать не буду. Все это гнусно въ высшей степени. Теперь же мы живемъ въ холодномъ, растасканномъ, пустомъ домѣ, безъ денегъ, почти безъ достаточной пищи, въ непрестанномъ ожиданіи полиціи, которая неминуемо должна увѣковѣчить различные эпизоды нашего путешествія въ видѣ протоколовъ и судебныхъ изысканій. Ни малѣйшихъ слѣдовъ европейской цивилизаціи незамѣтно ни въ обстановкѣ, ни въ насъ самихъ; ходя по комнатѣ въ валенкахъ, «самъ» не снимаетъ ни шапки, ни полусубка даже за обѣдомъ, «сама» въ мужскихъ калошахъ, съ подвязанными щеками, съ милліонами капризовъ и вообще въ такомъ непривлекательномъ видѣ, что подробно я вамъ изображать не желаю. Ссоры и брань, угрюмыя, хладнокровныя — ежедневны и ежечасны между обоими супругами. Дѣти не отходятъ отъ меня, осаждавая тысячами вопросовъ, и обнаруживаютъ при этомъ въ себѣ сущихъ дикарей. Ни книгъ, ни бумагъ, ни перьевъ въ достаточномъ количествѣ нѣтъ. Вчера удалось добыть у священника цѣлую десятъ—и вотъ я строчу вамъ это письмо. Завтра или вообще на-дняхъ я напишу вамъ еще письмо, въ которомъ мнѣ хочется предложить на ваше обсужденіе нѣсколько вопросовъ, тѣмъ болѣе, что они возникли отчасти благодаря вамъ. Помните, мы шли въ Лефортовѣ, я заходилъ по адресу «Полицейскихъ Вѣдомостей»? Вы тогда сказали, что у меня на умѣ только я, да моя мать, да рубль? Ну, такъ вотъ по этому поводу... О жалованьѣ теперь ни патронъ, ни патронесса и не говорятъ даже, не упоминаютъ ни слова, да и у меня языкъ не повертывается сказать. Что меня ожидаетъ, рѣшительно не знаю; но знаю, что у меня есть значительныя обязанности, которыми я не могу манкировать. Пожалуйста отвѣйте на мое письмо, которое получите вслѣдъ за этимъ, и будьте здоровы...»

Но ни «на-дняхъ», ни черезъ мѣсяцъ, ни чрезъ

годъ я не получалъ отъ моего «иностранца» никакого письма и не нѣтъ объ немъ вообще никакихъ извѣстій. Правда, не прошло и полугода послѣ разлуки съ «иностранцемъ», какъ я самъ покинулъ Москву, но въ тѣ мѣсяцы, которые прошли послѣ полученія перваго письма, я не разъ встрѣчался съ его знакомыми, нѣмецкими портными и т. д., и спрашивалъ ихъ о нашемъ общемъ знакомомъ. Всѣ они отвѣчали, что ничего не знаютъ... Такъ я и забылъ его, отдавшись теченію личной моей жизни, или вѣрнѣе моей личной каторгѣ,—и только черезъ два съ половиною года, въ одномъ изъ глухихъ уголковъ русской земли, я неожиданно получилъ письмо отъ забытаго мной «иностранца». Письмо долго странствовало по русскимъ городамъ и весямъ, все было написано справками и измято штемпелями почтовыхъ конторъ. Оно было такъ же длинно, такъ же аккуратно написано, но содержаніе его на первыхъ же порахъ вовсе не напонимало мнѣ того разсчитливаго, аккуратнаго, съ маленькими потребностями маленькаго уютнаго сердца, какимъ мнѣ казался иностранецъ въ былое время. «Вотъ уже два года, какъ мы разстались, писалъ онъ,—и сколько переиѣтъ и удивительныхъ происшествій въ моей жизни! Впервые, а болѣе полутора года женатъ на ш-ше Нееловой; ея мужъ умеръ черезъ полгода...» Прочитавъ это, я не вѣрилъ своимъ глазамъ: чтъ это такое? спрашивалъ я самого себя. Женатъ на той особѣ, которую онъ изобразилъ такими красками и которая никакъ не могла внушить ему не только любви (я вспомнилъ ея видъ, манеры, голосъ, жеманство—все, чтъ видѣлъ въ тотъ осенній вечеръ), но и уваженія. Какъ же могло произойти это? Письмо должно было разъяснить мнѣ эту тайну, и я принялся за него.

IV.

Съ величайшимъ неудовѣніемъ принялся я за чтеніе письма, въ которомъ «иностранецъ» извѣщалъ меня о своемъ невѣроятномъ бракѣ, стараясь поскорѣе добраться до уясненія себѣ причинъ такого по истинѣ неблагообразнаго союза.

«Пишу вамъ, говорилось въ письмѣ,—объ этомъ событіи такъ подробно потому, что кромѣ васъ у меня нѣтъ человѣка, который бы могъ понять и безпристрастно посмотреть на этотъ поступокъ. Ни мать, ни сестра естественно не могутъ смотрѣть на это дѣло иначе, какъ на мою собственную гибель, и, разумѣется, напиши я имъ подробно «обо всемъ», я заставляю ихъ только плавать и ужъ не встану покоя... Вы не повѣрите, какъ я опечаленъ этимъ для матери и сестры «несчастьемъ», какъ мнѣ нужно теперь постороннее, разумное, доброе слово, не одобреніе—нѣтъ, а просто словечко сочувствія. Это мнѣ необходимо для того, чтобы оправдать въ моихъ собственныхъ глазахъ то жестокое дѣло, которое я сдѣлалъ съ матушкой, и укрѣпить во мнѣ вѣру въ трудное дѣло, за которое я взялся. А дѣло точно трудное: надо много воли, надо много терпѣнія, терпѣнія окаменѣлаго,

не на день, не на мѣсяцъ, а на десятки лѣтъ, т. е. до старости, до конца жизни... Вы пишете мнѣ. Поддержите, будьте другомъ; пишите Бога ради побольше о служеніи, о презрѣніи къ мелочамъ жизни—мнѣ дорого имѣть теперь катехизисъ самопожертвованія: я выдолблю его наизусть, напояю имъ и умъ, и сердце—отдамъ всего себя... А вы такъ много и такъ складно рассуждали на эту тему... Вы можете написать мнѣ хорошее письмо... и вы его пишите скорѣе, какъ можно скорѣй... Я буду его постоянно хранить при себѣ, какъ спиртъ, для тѣхъ минутъ, когда закружится голова... А она у меня часто кружится; но покуда я еще не падалъ въ обморокъ, покуда держусь на ногахъ и продержусь еще долго, потому что надо...

«Трудное дѣло это я ввалилъ на свои плечи все потому-же, почему, думая бѣжать съ дороги, не могъ это сдѣлать и остался, пріѣхавъ въ глушь—т. е. потому, что ко мнѣ привязались покинутыя, одинокія, одичалыя дѣти. Въ этомъ все. Съ каждымъ днемъ по пріѣздѣ въ деревню я убѣждался, что только во мнѣ они находятъ вниманіе къ ихъ безчисленнымъ дѣтскимъ нуждамъ и интересамъ и что только отъ меня зависить не погубить ихъ. Я могу ихъ оставить; у меня есть къ этому всѣ основанія—я долженъ помогать матери, сестрѣ; кромѣ того, я не виноватъ, что на свѣтѣ есть тысячи забалмошныхъ отцовъ и матерей, не сознающихъ своихъ обязанностей къ своимъ дѣтямъ; наконецъ я, какъ живой человѣкъ, долженъ жить и для себя; мнѣ тоже хочется больше знать, любить, хочется выработать себѣ нѣкоторыя удобства жизни, хочется имѣть возможность оплачивать моими трудовыми деньгами такой уголокъ, гдѣ-бы я могъ отдохнуть отъ труднаго дня, гдѣ-бы мнѣ было тепло... И, безъ всякаго сомнѣнія, я могу все это сдѣлать, всего этого достигнуть. Для этого стѣитъ только нанять лошадей за полтора цѣлковыхъ до города, подождать тамъ денегъ отъ матери (на это освобожденіе она навѣрное достанетъ необходимую сумму)—и вновь быть свободнымъ... Однако могъ-ли я это сдѣлать? Могъ-ли уѣхать? Чтобы сдѣлать это—я долженъ-бы былъ оставить на произволъ судьбы три человѣчeskія существа, три человѣчeskія души... Я долженъ былъ ихъ бросить, сказавъ имъ примѣрно слѣдующее: «Милые мои ребята! Я долженъ васъ оставить, но вы на меня не сердитесь; я не виноватъ, что судьба послала вамъ такихъ безумныхъ родителей, что вамъ грозитъ въ будущемъ нищета, невѣжество, и что единственнымъ спутникомъ и пособникомъ вашимъ въ жизни будетъ только громадная лѣнь, воспитанная въ васъ примѣромъ вашихъ родителей. Не виноватъ я также въ томъ, что вы никому никогда не выучитесь, что будете праздными ртами и что, можетъ быть, желаніе и привычка жить не трудясь доведутъ васъ и до преступленій. Очень можетъ случиться, что вотъ ты, Федя, въ трудную минуту не задумаешься стянуть у калашника калачъ, у пьянаго—деньги; что ты, Вася, способный, сообразительный мальчикъ, быть можетъ, станешь шулеромъ, поддѣльвателемъ чужихъ подписей, а ты, Лиза... Во всемъ этомъ, милые друзья

мои, я не виноватъ; обвиняйте въ этомъ вашихъ родителей, но меня пустите; у меня есть матушка, которой я долженъ помогать; я хочу жить для себя, учиться, больше знать. Посудите вы сами, за что-жъ я отдамъ вамъ мою жизнь? А чтобы спасти васъ, чтобы оградить васъ отъ угрожающей вамъ праздной, а можетъ быть и позорной жизни—нужна моя жизнь, жизнь не виноватаго ни въ чемъ человѣка...» Не правда-ли, что я могъ-бы въ оправданіе своего удаленія привести множество самыхъ вѣскихъ доводовъ? Вѣдь весь-же свѣтъ живетъ, повинаясь правилу: «Я иду мимо твоихъ страданій потому, что не я причинилъ ихъ тебѣ»; отчего-жъ мнѣ-то не поступить такимъ-же точно образомъ, тѣмъ болѣе что вѣдь я прохожу мимо чужой бѣды не только во имя собственного спокойствія, но главнымъ образомъ во имя спокойствія моей старухи-матери, во имя необходимости дать покой ея больнымъ костямъ? Вѣдь эта старушка трудилась всю жизнь, ѣла трудовой хлѣбъ, каждый кусокъ булки, каждая ленточка на ея изломанной шляпѣ—вѣдь это все добыто варварскимъ трудомъ учительницы, которой нужно было всю жизнь бѣгать по купеческимъ домамъ и въ то-же время вскармливать, учить, водить въ люди троиxъ собственныхъ дѣтей. Могутъ-ли я жертвовать ею для этой семьи дармоѣдовъ, праздныхъ ртовъ, людей лѣни, желудка и животныхъ удовольствій?.. Моя труженица—старушка—не чета этимъ расхлябаннымъ, развинченнымъ, безсодержательнымъ людямъ: она—живой, любящій человѣкъ, а это—грибы на крѣпостной кучѣ, и кромѣ гибели виѣстѣ съ кучей, на которой они выросли, имъ ничего не предстоитъ въ будущемъ, да и не можетъ предстоять... Такія соображенія, какъ видите, вполне основательныя, да и не соображенія даже, а искреннія движенія сердца, исполненнаго глубокой любви къ моей дорогой старушкѣ, однако разбивались въ дребезги при мысли о томъ, что точно-ли «не можетъ» выйти ничего путнаго? Я ясно видѣлъ, ясно какъ на ладони, что «не можетъ» выйти только тогда, когда я уйду. Я видѣлъ, что я буду причиною гибели трехъ человѣческихъ существъ, которыя только на меня и надѣются, только во мнѣ одномъ и чаютъ спасеніе. Я видѣлъ, что, повинувшись движенію собственнаго сердца и покидая ребятъ, я съ минуты отъѣзда изъ деревни дѣлаю сразу трехъ человѣкъ, могущихъ быть честными людьми, людьми праздными и вредными; эти три несчастныя существа стали на моей дорогѣ, загородили мнѣ путь, и я долженъ-бы былъ спихнуть ихъ, отогнать отъ себя, чтобы открыть себѣ путь туда, куда мнѣ надо... Мнѣ такъ представилось это: я отрываю отъ себя ихъ тоненькія ручки, вцѣпившіяся въ меня изъ страха упасть въ бездну, отрываю потому, что мнѣ тяжело отъ нихъ, что я самъ могу упасть виѣстѣ съ ними, и вотъ одинъ за другимъ, плача и жалуясь, падаютъ и безъ звука исчезаютъ въ темной безднѣ эти маленькіе люди, мое иго и бремя... И тогда я, облегченный отъ ноши крестной, безпрепятственно продолжаю «мою» дорогу. Можно-ли было сдѣлать это? Хватило-ли бы у васъ, у кого хотите, духа сдѣлать

такую жестокость, и что-же бы была тогда моя жизнь, мои труды для спокойствія старушки-матери, если каждый мигъ, каждый часъ я долженъ-бы былъ чувствовать на душѣ тяжесть трехъ смертей? А что это были-бы дѣйствительно три нравственныя смерти, три невинно убиенныхъ—это я зналъ, видѣлъ. И вотъ отчего я не уѣхалъ. Не правда-ли, какъ все это странно, удивительно? Что мнѣ они? Чужіе, не мной рожденные, не мной испорченные люди... Надо-бы идти мимо, пожалѣть, посочувствовать и уйти... А поглядите поближе и окажется, что если въ васъ есть стыдъ—не уйдете, потому-что «нельзя» уйти, нельзя уходить, потому-что на эти-то чужія дѣла, несчастія, ошибки и надо отдавать свою жизнь... Вѣдь такъ? Вѣдь правда это? Вотъ вы меня тутъ-то и поддержите! Напишите мнѣ объ этомъ что-нибудь сильное, что-нибудь такое, что-бы высоко поднимало душу надъ всеѣмъ человѣческимъ муравейникомъ... Пришлите, если можете, мнѣ книгъ о мученикахъ, о самоистязателяхъ, о людяхъ, которые не пикнуть, если ихъ жгутъ каленымъ желѣзомъ, загоняють имъ подъ кожу деревянные занозы,—о людяхъ, которые умирають за другихъ, которые за чужое благо томятся въ тюрьмахъ десятки лѣтъ,—о людяхъ, отъ которыхъ остались скелеты, прикопанные къ стѣнѣ тюрьмы цѣпами... все это мнѣ надо, все это меня увѣрнитъ и все это умно, хорошо, все это нужно... Я вѣдь вамъ рассказывалъ только цвѣточки моей теперешней жизни, т. е. только мою привязанность къ дѣтямъ—и вы не поймете, почему я говорю о каленомъ желѣзѣ, до тѣхъ поръ покуда я не расскажу вамъ другихъ обязательствъ, которыя я уже «долженъ» былъ принять на себя, развѣ у меня не хватало духа скинуть съ моей дороги тронъ ребятшекъ. Вотъ про эти-то другія, болѣе трудныя обязательства я и поведу теперь рѣчь.

«Шли дни за днями, и моя личная жизнь все болѣе и болѣе переполнялась заботами о чужихъ людяхъ и о чужихъ интересахъ. Мнѣ выяснились характеры моихъ тюремщиковъ-ребятъ, ихъ желанія и нужды, и мысль моя незамѣтно, но послѣдовательно стала работать надъ этими желаніями и нуждами. Сегодня напримѣръ меня огорчаетъ какая-нибудь звѣрская, дурная привычка въ томъ или другомъ питомцѣ, и я думаю о томъ, какъ мнѣ выбить ее изъ него. Завтра я обрадованъ открытіемъ необыкновенной наблюдательности въ Лизѣ и также не могу пройти молча мимо этого открытія... А чего стоитъ любовь къ вамъ дѣтей и ихъ взаимная ревность! Право, бываютъ минуты, когда стѣбитъ подумать и подумать крѣпко о равновѣсіи ихъ душъ, не дать одному заѣдать другого, не дать ихъ дѣтской хитрости, дѣтской практичности пользоваться моимъ вліяніемъ во вредъ своему товарищу. Все это заботы, тревоги, все это требуетъ наблюденія и напряженной дѣятельности. Какъ доктору надо помнить лекарство, которое онъ далъ больному мѣсяцъ тому назадъ, такъ и мнѣ надо помнить каждое свое слово, потому что иначе меня обличать три свидѣтеля, которые отлично помнятъ каждое мое слово.

«Такихъ заботъ, такихъ тонкихъ, едва замѣтныхъ, но крѣпко опутывавшихъ меня нитей прибавлялось съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе, такъ какъ все больше и больше я и дѣти оставались одни, безъ всякаго вѣдѣнія родителей. Отецъ былъ близокъ къ смерти, и мать—можетъ быть и не изъ одного только припадчія—была при немъ почти всегда. Нееловъ собственно умиралъ или старался умереть со дня возвращенія въ деревню; единственной силы, которая давала ему жизнь—денегъ—не было и не предвидѣлось. А безъ нихъ онъ былъ пустъ и холоденъ, и только вода держала его на ногахъ и поддерживала кой-какія надежды, конечно фантастическія и только въ пьяномъ видѣ возможныя. Но мѣсяца черезъ три-четыре по припадкѣ онъ слегъ, съ нимъ стало что-то вродѣ бѣлой горячки, не бѣшеной и шумной, а тихой, жалобной, съ робкимъ, безмолвнымъ выраженіемъ грусти въ глазахъ. Необычайно жалокъ былъ онъ въ эти минуты, жалокъ, какъ умирающее кроткое животное. Оно не понимаетъ, почему оно прожило жизнь такъ, а не иначе; оно не рассказываетъ и не жалѣетъ жизни, потому что навѣрное чувствуетъ смерть... Быстротѣ приближенія смертнаго часа въ особенности помогъ мѣстный врачъ, человѣкъ холостой, пожилой, давно утратившій вѣру въ науку и признававшій только волю, которая его однако никогда не была въ силахъ свалить съ ногъ, хотя онъ употреблялъ ее непрерывно. Его пациенты, купцы, чиновники, приказчики и т. д., особенно любили его за то, что онъ, несмотря ни на какую болѣзнь, позволялъ все. «Вотъ-такъ докторъ—ужъ прямо сказать ха-арошій человѣкъ. Поди-ко вотъ къ нѣмцу: онъ тебѣ ни рыбы, ни грибовъ, ни квасу, ни капусты—ни Боже мой! Постъ не постъ—онъ вниманія не обращаетъ—ѣшь скоромное, пакости душу! Ну, этотъ не то! У этого «все можно», все позволяется... «Капусты можно, в.б.-діе?»—«Можно! Жри, говорить, все, что хочешь!» Вотъ это такъ... Ну, конечно, что рублѣкъ лишній надо ужъ надать за позволеніе, ужъ безъ этого нельзя, за то—все вѣдь можно, ни въ чемъ нѣтъ остановки!» Такую же систему леченія онъ примѣнилъ и къ Неелову. Онъ лечилъ его отъ пьянства, давалъ лекарство, но самъ же при каждомъ визитѣ требовалъ водки и приглашалъ принять въ ней участіе своего пациента.—«Да не вредно-ли ему?» спроситъ жена.—«Ну вотъ! съ докторомъ-то вредно! Вѣдь я тутъ! Пей, любезный другъ, не прерывай. Обрывать хуже!»—«Обрывать хуже!» шепчетъ умирающій и слѣдуетъ со-вѣту. Визитъ оканчивался только по опустошенію всего, что бывало въ домѣ питейнаго, спиртнаго. Умирающій, не поднимавшійся съ кровати, засыпалъ свинцовымъ тяжелымъ сномъ, румяный, съ назатыми водкой щеками, докторъ уѣзжалъ лечить какого-нибудь другого больного тѣмъ-же самымъ способомъ. Въ утѣшеніе, на прощанье, онъ обыкновенно прибавлялъ что-нибудь успокоительное.—«Пусть спитъ, это хорошо!.. Испарина... Накройте потеплѣе, а потомъ лекарство дайте... Ничего! Завтра я заѣду». А завтра опять спавшаго больного.

«Нееловъ умеръ послѣ одного изъ такихъ вл-

зитовъ, умеръ во время тяжелаго, пьянаго сна... Похороны его раскрыли для меня новый, неведомый мѣръ—народное пониманье, народную доброту... Кажется, чѣмъ бы кромѣ худого помянуть этого барина, который счумѣлъ все расточить, все проѣсть, который буквально только «проѣдалъ»—сначала души, потомъ выкупныя свидѣтельства, оброки, земли и лѣса... Кажется, чѣмъ бы помянуть, какъ не худымъ, человѣка, который, имѣя въ рукахъ бездну средствъ, не сдѣлалъ ближнему ни капли добра и только подъ пьяную руку давалъ на водку и то тоже пьянымъ. А между тѣмъ вышло все иначе: вся деревня не только не негодовала на него, но жалѣла, понимала, что этотъ уродъ-баринъ не могъ прожить жизни какъ-нибудь не такъ, какъ прожить. Всѣ жалѣли, что «на роду» этому человѣку было написано такое праздное существованіе. Но праздная, безтолковая, беспутная жизнь никѣмъ не ставилась ему въ вину, какъ калѣбѣ, или слѣпому не ставится въ вину слѣпота и хромота. «Крестъ», «несчастье»—вотъ какъ опредѣляли они причину и смыслъ существованія покойнаго барина. Не было во всей деревнѣ ни одного мужика, ни одной бабы, ни одного подростка, который бы не пришелъ проститься съ нимъ и простить его. Мнѣ кажется даже, что они и приходили, уже простивъ его: такъ тихи и добры были ихъ лица, такъ усердно они молились у гроба, какъ бы стараясь помочь своими молитвами этому несчастному человѣку на томъ свѣтѣ... Нѣчто глубоко-умное и доброе было внесено толпами простого народа, приходившими на панихиды, въ пустыя комнаты барскаго дома, въ которыхъ до сей поры не жило ни одной—ни доброй, ни худой мысли... Вопросы объ наслѣдствѣ, объ имуществѣ, о томъ, кому достанется столъ, кому сани и т. д., обыкновенно цѣлой тучей возникающіе вокругъ всякаго мало-мальски не нищенскаго гроба и наполняющіе, кажется, самый воздухъ комнаты, гдѣ лежитъ покойникъ, какимъ-то трудно-сдерживаемымъ злостнымъ и жаднымъ раздраженіемъ—эти мелочные вопросы были подавлены, уничтожены тѣми глубокими философскими и религиозными мыслями, которыя вносили безмолвныя толпы простыхъ крестьянъ. Ихъ усердныя молитвы заставили всѣхъ задумываться надъ уродливою жизнью покойника, заставили думать о жизни вообще, напоминали о прощеніи, о невольности прегрѣшеній,—словомъ, заставляли думать не о саяхъ, не о стульяхъ и лошадяхъ, а о чѣмъ-то высшемъ, хватающемъ за душу и развивающемъ ее.

«Я не знаю, счумѣлъ ли бы я и не въ такое время, какъ три-четыре дня панихидъ и похоронъ, заставить ребятъ съ такою серьезностью задуматься надъ словами и понятіями: «жизнь», «хорошая жизнь», «жизнь худая, неугодная», «доброе», «злое», какъ это безъ всякихъ усилій сдѣлали крестьяне въ эти короткіе три-четыре дня. Ребята мои послѣ смерти отца замѣтно стали серьезнѣй, задумчивѣй, да и лично въ моемъ сознаніи съ этихъ поръ народъ сталъ занимать почти такое же мѣсто, какъ и ребята. Не обязанъ ли я, стало приходиться мнѣ въ голову, измѣнить отношеніе будущихъ

господъ къ этимъ умнымъ, трудящимся въ потѣ лица людямъ? Это было только начало тѣхъ идей, къ осуществленію которыхъ, какъ увидите впоследствии, привела сама жизнь, обстоятельства и притомъ самыя-самыя будничныя, простыя... Теперь же, въ виду смерти человѣка, безплодно и неумно пользовавшагося положеніемъ, мы, то есть дѣти, только задумывались надъ предстоящею намъ задачею жизни, хотя уже и сознавали свое сравнительное безсиліе и начинали стыдиться.

«Обстоятельства однако скоро разсѣяли это неопредѣленное ощущеніе стыдливости за свое мало-содержательное существованіе, потому что очень скоро представился случай думать о своихъ отношеніяхъ вполне опредѣленно. По смерти отца моихъ ребятъ, надо всѣмъ имѣніемъ назначена была опека и опекуномъ былъ сдѣланъ дядя покойнаго помѣщика, одинъ изъ сосѣднихъ владѣльцевъ. Это былъ въ полномъ смыслѣ слова дѣлецъ-крѣпостникъ, не баринъ, а скорѣй кулакъ, человѣкъ, умѣющій молотить рожь на обухѣ. Собственное его имѣніе процвѣтало, то есть онъ получалъ много доходу и не растрчивалъ этотъ доходъ, а копилъ и копилъ, хотя былъ человѣкъ вдовый и имѣлъ отъ покойной жены только одну дочь, дѣвущку не менѣе его практическую и холодную. Народъ звалъ ихъ антихристами и жидоморами, господа считали примѣрными хозяевами. Я видѣлъ въ немъ несоимѣнную любовь къ труду, впрочемъ только къ такому, въ результатѣ котораго непременно получался доходъ, деньги. По виду это былъ человѣкъ громаднаго роста, громадной силы, съ краснымъ, съ синими веснушками, лицомъ, маленькими веселыми глазами, съ бѣлыми тараканьими рѣсницами, съ грузнымъ, но крѣпкимъ корпусомъ и тяжелой поступью. Онъ явился въ наше имѣніе на другой же день по назначеніи его въ опекуны и тотчасъ принялся за дѣло, то-есть съ 6-ти часовъ утра въ разныхъ концахъ деревни сталъ раздаваться его хриплый, перерываемый свистающимъ кашлемъ голосъ, грозившій, прикрикивавшій, обрывавшій, распекавшій и т. д. Буквально цѣлый день онъ пробылъ на вѣтру и дождѣ въ своей демикатоновой шинели, осматривая сарай, конюшни, погреба, чердаки, отдирая доски отъ дому и ударомъ топора въ бревно сруба удостоверяясь въ прочности постройки, опредѣляя, сколько простоятъ, и т. д. Вечеромъ за чаемъ онъ тѣмъ же сильнымъ голосомъ съ неподдѣльнымъ негодованіемъ разругалъ всѣхъ и вся: покойника, его вдову, мужиковъ, приказчиковъ, безцеремонно указывалъ на глупость хозяевъ, на подлость подчиненныхъ и т. д. Мы почувствовали, что это настоящій хозяинъ и баринъ, что этотъ человѣкъ принимается за дѣло «серьезно», невольно подчинились его строгому на всѣхъ насъ взгляду и притихли. Очень скоро и насъ, и мужиковъ онъ взялъ въ ежовыя рукавицы. Величайшихъ трудовъ стояло вытребовать отъ него самое незначительное количество денегъ на самыя необходимыя нужды; но, къ удивленію нашему, онъ счумѣлъ изъ имѣнія, въ которомъ, оказалось, ничего не оставалось непробѣденнымъ, извлекать до-

ходы въ размѣрахъ, по истинѣ неожиданныхъ. Онѣ «приструнили» мужиковъ, потянули съ нихъ недоплаченные оброки, возстановилъ забытыя обязательства, откопалъ и разузналъ о такихъ участкахъ, которые принадлежали Неелову и по нерадѣнію послѣдняго находились въ пользованіи у крестьянъ, завелъ десяти процессовъ о порубѣхъ, о потравахъ и выигрывалъ всё до одного, и притомъ въ самые короткіе сроки. Въ два-три мѣсяца такого управленія крестьяне оказались на законномъ основаніи почти неоплатными должниками, людьми закабаленными: на каждомъ кромѣ долговъ денежныхъ лежали долги рабочихъ дней и на иномъ доходили до громадной цифры 100, 150 даже и до 200. Наложивъ такимъ образомъ на все населеніе медвѣжью лапу, опекунъ дѣлалъ все, что хотѣлъ, и доходы полились къ нему.

«И крестьяне, и мы — «господскій домъ» — очутились въ однихъ и тѣхъ же ежовыхъ рукавицахъ, одинаково чувствовали надъ собою хозяйскую власть и волей-неволей сближались, входили въ положеніе другъ друга. И дѣлалось все это, какъ видите, безъ всякихъ предвзятыхъ идей насчетъ «сближенія». Дѣло происходило совершенно просто: мужики стали посѣщать насъ съ жалобами, рассказывали про то, какъ онѣ ихъ разоряютъ, просили защиты. Защиты мы конечно дать не могли; напротивъ, мы сами жаловались мужикамъ на этого же самого кровопивца, но, не дѣлая разоряемымъ людямъ добра, мы — по крайней мѣрѣ я и дѣти — на самомъ дѣлѣ узнавали исторію того куска хлѣба, который мы ѣли... Всѣ эти описи имуществъ и распродажи крестьянскаго добра, всѣ эти моментальныя рѣшенія въ пользу нашу разныхъ судовъ и инстанцій, и годовыя, десятилетиями тянуціяся дѣла, затѣянные крестьянами, словомъ, вся эта процедура хозяйства — все это невольно, но неотразимо доказывало намъ, что такъ жить и дѣлать, какъ дѣлали до насъ хорошіе и нехорошіе хозяева, нельзя. Я, по крайней мѣрѣ, а за мной и дѣти не могли себя представить, не могли понять, гдѣ, въ какомъ мѣстѣ человеческого сердца можетъ находиться источникъ той хозяйственной жадности, которою напримѣръ обладалъ нашъ опекунъ? Мы не понимали, совершенно не понимали, что за соображенія, что за логика руководить всѣми этими хорошими хозяевами въ ихъ неуспѣшныхъ трудахъ по притѣсненію и озаобленію постороннихъ имъ людей? Что поддерживаетъ въ нихъ, въ этихъ хорошихъ хозяевахъ, неутомимость во всѣхъ этихъ непріязненныхъ дѣйствіяхъ? Однимъ словомъ, и я, и дѣти — мы одинаково недоумѣвали, какъ можно всю жизнь быть сердитымъ; вставая въ 6 часовъ утра, тотчасъ же начинать злиться, жаловаться, притѣснять для того, чтобы вечеромъ съ ругательствами выпить рюмку водки и съ сознаниемъ тяготящей надъ собою непріязни сотенъ людей тревожно заснуть до 5 часовъ другого дня, чтобы и его ознаменовать такою же самою изобрѣтательностью всякихъ непріятностей для ближняго. Намъ такъ была ясна бессмысленность, глупость, а главное пошлость такого рода отношеній

къ людямъ, что мы не имѣли надобности ни въ какихъ гуманныхъ книгахъ, ни въ какихъ «печатанныхъ» доказательствахъ несправедливости подобныхъ порядковъ. Убѣжденіе въ этомъ вошло въ меня и въ ребята такъ же просто и залегло въ душѣ такъ же прочно, какъ входитъ въ понятія ребенка убѣжденіе въ томъ, что зимой нуженъ снѣгъ, а лѣтомъ цвѣты, что собаки не ходятъ въ птичьихъ перьяхъ, что рыба не бываетъ покрыта шерстью. Словомъ, сознание необходимости съ нашей стороны прекратить все это залегло въ самую глубину чувства, родилось и стало жить безъ разговоровъ, безъ доказательствъ, безъ опредѣленій и разъясненій.

«Интересы, надежды и радости деревни до такой степени оказались важными и дѣйствительно правдивыми интересами, что въ самомъ непродолжительномъ времени отодвинули на самый задній планъ всѣ интересы нашего господскаго дома. Наравнѣ со всей деревней мы сегодня ожидали схода и съ такимъ же нетерпѣніемъ интересовались ея рѣшеніемъ по какому-нибудь деревенскому дѣлу; наравнѣ со всей деревней мы желали, чтобы начатый деревней процессъ противъ опекуна былъ выигранъ мужиками. Мы виѣсть съ деревней тосковали накануне описи и продажи, перебирая и разбирая характеры и натуры разныхъ кулаковъ, которые нахлынутъ завтра на мужиковъ, дѣлали предположенія, кому что достанется, кто что купитъ... Словомъ, мы жили тѣмъ же самымъ, чѣмъ жила и деревня. Благодаря ей, получилась совершенно опредѣленная цѣль и для нашихъ учебныхъ занятій. Мы стали учиться уже не просто для того, что нужно быть грамотнымъ и вообще нужно знать, а для того, чтобы, выучившись, сдѣлаться мировымъ судьей и рѣшать дѣла по справедливости; мы учились для того, чтобы поступить въ адвокаты и защищать, а денегъ за это не брать. Лиза должна была выйти замужъ за министра и сослать опекуна въ Сибирь. Это были самые первообразные планы, въ моихъ ребятахъ еще не угасло сознание своего привилегированнаго положенія, и при полномъ сочувствіи чужой бѣдѣ они полагали, въ качествѣ барчагъ, помогать этой бѣдѣ какъ-то со стороны, и вовсе еще не подозрѣвали, что червь любви къ ближнему, разъ онъ сталъ точить сердце человеческое, — насквозь проточить его и доказать, что сочувствіе со стороны — не вся правда. Во всякомъ случаѣ я вѣрю, да и вы сами видите, что зародышъ любви къ ближнему въ ребятахъ моихъ не выдуманный, не напускной, и онъ будетъ расти, хочешь-не-хочешь, какъ и всякое зерно...

«Пишу вамъ такое громадное подробное письмо. потому что мнѣ надо, для самого себя надо и необходимо, объяснить крупный фактъ моей жизни, мой бракъ, а этого сдѣлать нельзя безъ всѣхъ наложенныхъ подробностей. Постараюсь однако рассказывать покороче. Наши отношенія съ госпожей Нееловой все время были самыя обыкновенныя отношенія чужихъ, хоть и знакомыхъ другъ съ другомъ людей. Такъ по крайней мѣрѣ относился я къ ней; я живу у нея для дѣтей, живу потому, что не могу бросить ихъ; она понимала это, не мѣшалась и.

казалось, была очень довольна и покойна. Но «мужчина» — не семья, не любовь, а именно представление, понятие «мужчины» — играло въ ея міросозерцаніи и жизни значительную роль: повдвѣвъ мѣсяцевъ шесть-семь, она стала по временамъ заводить рѣчь со мной на ту тему, что-могъ вся прошлая жизнь ея была какой-то дурной сонъ, а теперь вотъ начинается нѣчто новое, «новая жизнь.» Выходило даже такъ, что теперь только и начинается собственно жизнь, а прежде было богъ вѣсть что. Рассказывала она въ такихъ случаяхъ о своемъ бракѣ, о томъ, какой молоденькой дѣвочкой выдали ее за покойнаго мужа, который не смотрѣлъ на нее иначе, какъ на молодое животное. Оказывалось, что и самъ покойникъ не былъ ничѣмъ инымъ, какъ животнымъ... Вотъ теперь, оставшись безъ этого дурного вліянія дурнаго мужа, она только начинаетъ жить, понимать жизнь, сознавать свои обязанности; она съ ужасомъ видитъ, что ничего не знаетъ, ничему не училась, и не разъ говорила мнѣ, что теперь бы она охотно сѣла за книжку выѣсть съ своими дѣтьми... Все это было справедливо, вѣрно, и я бы охотно сочувствовалъ ей, если-бы не видалъ, что начало «новой жизни» она связываетъ не столько съ «книжкой», сколько съ «новымъ» мужчиной. Она «сейчасъ будетъ другая» — такъ можно было понять, зная ея натуру, — но только рука объ руку съ другимъ новымъ мужчиной. И это бы все ничего, но, за неимѣніемъ мужчинъ, ни новыхъ, ни старыхъ въ нашихъ глухихъ мѣстахъ, я видѣлъ, что она не прочь была пойти въ путь и со мной... Однажды, какъ-то вышло такъ, что она нашла предлогъ придти ко мнѣ въ комнату, когда я ужъ собирался спать, завела рѣчь о своей горькой долѣ и заплакала; потомъ съ ней сдѣлалась истерика, потомъ обморокъ, среди котораго она однако могла еще сдѣлать мнѣ указаніе и слабо произнесла: «разстегните!». Я растегнулъ ей платье, но почему-то придалъ всему этому иное толкованіе, которое и она должно быть поняла, потому что сердилась и не говорила нѣсколько дней къ ряду. Въ виду всѣхъ этихъ обстоятельствъ, я хотя и понималъ ея положеніе и прошлое, и настоящее, но держался отъ нея въ сторонѣ, былъ съ нею чужой; жажда личной свободы хоть въ этомъ-то отношеніи какъ-то особенно была сильна во мнѣ, послѣ того, какъ я отдался чужимъ интересамъ. Именно это-то право также въ свою очередь идти съ кѣмъ-нибудь рука-объ-руку я и хранилъ за собой, какъ единственное, что осталось отъ моего я. Въ довершеніе всего, она мнѣ не нравилась, была физически мнѣ непріятна, не говоря о несимпатичности, которою вѣяло отъ ея душевной изломанности. Въ самомъ дѣлѣ, чего-чего не было пережито этими праздными существомъ въ эти праздные и растлѣнные годы замужества! Еслибы кто-нибудь сказалъ мнѣ, что обстоятельства заставятъ меня быть мужемъ этой женщины, что я долженъ буду жениться на ней, — увѣрю васъ, я бы только засмѣялся, такъ это было невѣроятно, глупо и подло. «Ужъ этого-то я не сдѣлаю никогда, что бы со мною ни случилось»... Да и я

представить не могъ, чтобы кто-нибудь или что-нибудь могло «отдать» меня въ мужа?.. Ну, возможно-ли это, посудите сами?

«А вѣдь «отдали»! И опять все тѣ же ребята!

«И отдали такъ скоро, что я до сихъ поръ еще не опомнился!.. И какъ все просто вышло!

«Опекунъ сталъ ухаживать за вдовой. Два или три раза онъ пріѣхалъ «такъ», не по дѣламъ, разговаривалъ со вдовой о «постороннемъ», даже — представьте себѣ! — «о Парижѣ». Волче лицо его улыбалось ровно полчаса; полчаса губы у него были сдвинуты на сторону: это онъ желалъ поправиться. И какъ ни покажется это невѣроятнымъ, а онъ имѣлъ успѣхъ у вдовы... Волкъ этотъ дѣлалъ конечно «свое же дѣло»: онъ добирался до мнѣнія, желалъ быть полнымъ хозяиномъ, отчего-жъ не повѣнчаться на этой дурѣ, которую конечно онъ счумѣетъ привести къ одному знаменателю? И любительница идти рука-объ-руку съ первымъ встрѣчнымъ нимало не возмущалась мыслью о подобномъ бракѣ. Посредники между опекуномъ и ею, явившіеся немедленно вслѣдъ за тѣмъ, какъ самъ опекунъ обнаружилъ свои намѣренія полчасовой улыбкой, счумѣли выставить на видъ, что дѣти при такомъ хорошемъ хозяинѣ будутъ обеспечены на всю жизнь, что сама она вновь вступить въ свѣтъ, который отворачивался отъ нея, помня ея заграничныя экскурсіи, но главное, что выставлялось на видъ, было то, что опекунъ — мужчина свѣжій, и что, живя съ нимъ, она попрежнему «ничего не будетъ знать»... Отсутствіе всякой сообразительности и благоговѣіе предъ словомъ «мужчина» стали быстро укрѣплять въ пустой головѣ моей будущей жены мысль о бракѣ съ волкомъ... И я съ ужасомъ увидѣлъ, что мнѣ необходимо разрушить этотъ планъ, этотъ бракъ; но я не могъ иначе этого сдѣлать, какъ женившись на ней самъ.

«Что я не уживусь съ опекуномъ, когда онъ женится на моей теперешней женѣ, — это было ясно; онъ начнетъ все по своему и прогонитъ меня. Что онъ поведетъ дѣтей иначе — это также было ясно. Ясно было, что онъ ихъ заброситъ вмѣстѣ съ матерью; что деревня, мужики будутъ разоряемы свободной рукой — также не подлежало сомнѣнію. Какъ тутъ быть?

«Добрыя сѣмена, посѣянные въ сердцахъ моихъ ребятъ, онъ непремѣнно будетъ «искоренять», онъ будетъ имъ отцомъ, передъ которымъ «не смѣй пикнуть», онъ «пристроитъ ихъ къ мѣсту» и покоритъ непокорныхъ... Представьте себѣ, что можетъ сдѣлать такой волкъ съ дѣтьми, что онъ сдѣлается съ мужиками, съ деревней, сдѣлавшись «полнымъ» хозяиномъ?

«И опять мнѣ представился случай уйти; теперь ужъ я бы могъ уйти съ полнымъ сознаніемъ моей невинности: я не могъ давать ложной клятвы въ любви... Не правда-ли, какъ честно и благородно! А честно оставлять на сѣденіе трехъ честныхъ людей, честно обрывать начавшее пробуждаться въ нихъ сознаніе любви къ ближнему? Честно покидать

этого ближняго, для котораго на моихъ рукахъ растутъ три добрыхъ существа?

«Подумайте!

«Я подумалъ и женился. Чего мнѣ это стоило и какъ случилось—я въ подробности рассказывать не буду. Я женился съ тѣмъ, чтобы самому быть опекуномъ (теперь я ужъ добился этого) и также быть полнымъ хозяиномъ въ тѣхъ добрыхъ отношеніяхъ, которыя установились между мною, дѣтьми и деревней... Но могильный холодъ оковалъ мою душу... Я зарѣзалъ себя, и меня теперь нѣтъ на свѣтѣ... Когда я стоялъ подъ вѣнцомъ и когда слышалъ слова «разстоящая соединивый», я думалъ о соединеніи не себя съ моею женою, —людей, видимо разстоящихъ другъ отъ друга, а о чемъ-то другомъ —и радовался умомъ, хотя самъ былъ мертвъ и даже забылъ отъ внутреннего холода... Я радовался тому, что, умирая, соединяю «разстоящая» —моихъ ребятъ и деревню, въ общей симпатіи другъ къ другу, въ сознаниі общаго труда, общей жизни... Въ самомъ дѣлѣ—зачѣмъ имъ быть «разстоящими»? Развѣ это справедливо? Развѣ не въ этомъ вся неправда, все зло?

«А вѣдь они были бы разстоящими, если-бъ я не зарѣзалъ самого себя... Теперь этого не будетъ... Вотъ этимъ сознаниемъ и живу я, и радуюсь, и веселюсь всякій разъ, когда только представляю себѣ, сколько было бы сдѣлано зла, если бы я пожалѣлъ самого себя...

«Не велика бѣда, что меня нѣтъ въ живыхъ—зато сколько растетъ живого, хорошаго на моей могилѣ...

Однако, Бога ради, Бога ради, пишите...

Вашъ...

«PS. Дѣлаю небольшую приписку о томъ, какимъ образомъ пошли наши дѣла, когда сталъ опекуномъ я. На другой же день моего вступленія въ должность—имѣніе перестало давать доходъ. Совершенно перестало. Съ Ивана Абрамова слѣдуетъ получить оброкъ 32 р., но у Ивана Абрамова всего на всего 1 р. денегъ, и онъ долженъ лавочнику 8 съ половиной, а ресурсовъ на уплату того и другого—корова и телушка. Точно такъ-же во всѣхъ дворахъ... Въмѣсто 5 тысячъ рублей, которые втеченіи одного года съумѣлъ «извлечь» прежній опекунъ, мы теперь получаемъ рублей 15 въ мѣсяцъ, и то когда 1 р., когда полтинникъ... Однажды я цѣлый вечеръ шлепалъ по грязи, просилъ во всѣхъ дворахъ тридцать копѣекъ—«нѣту!» говорятъ. Такъ и воротился ни съ чѣмъ... Вообще я вижу, что «хорошая доходность» имѣній находится въ прямой связи со строгостью. Чтобы былъ доходъ, необходимо ежеминутно кому-нибудь и объ чемъ-нибудь «жаловаться». Хорошо также и судиться—тогда урожанъ получаютъ самъ 100. Но все это, къ сожалѣнію, намъ съ ребятами «не подходитъ». Такимъ образомъ, видя невозможность, и притомъ самую полную, получать какіе-нибудь мало-мальски опредѣленные доходы, мы уже не фантазируемъ ни объ адвокатурѣ, ни о замужествѣ съ министрами.

«Мы не можемъ уже и мечтать о гимназій—

нѣтъ денегъ! Волей-неволей приходится выбирать профессію попроще».

У.

«Не выдержать!» рѣшилъ я, дочитавъ письмо до конца, а спустя нѣсколько дней, написалъ «иностранцу» отвѣтъ, въ которомъ старался доказать всю трудность и, съ моей точки зрѣнія, безполезность жертвы, ваятой имъ на себя. Я изложилъ эту мысль по возможности въ самыхъ мягкихъ, не обидныхъ выраженіяхъ, такъ какъ не могъ не слышать, читая второе письмо, что «иностранцу» моему крѣпко трудно, крѣпко больно... Мнѣ не хотѣлось дѣлать ему еще больнѣй. Я рассчитывалъ только дать ему возможность прийти въ себя, очувствоваться, посмотреть на вещи здраво. Доказательства безполезности единичныхъ жертвъ, приводимыя мною, были всего больше аллегорическія: необходимо измѣнить порядки, а съ ними измѣнятся и люди; измѣнять людей, не измѣняя порядковъ, все равно, что на каменистой почвѣ сѣять рожь, и т. д. Бесплодность иностранцевой жертвы была доказана самымъ явственнымъ образомъ, и въ концѣ концовъ я рекомендовалъ ему, предварительно расхваливъ его душу, его сердце—отдать себя обществу дѣлу.

Отвѣта на письмо я не получилъ... Теперь я знаю, что иностранецъ ожидалъ отъ меня не такого письма, не такой поддержки. Теперь я знаю, что онъ «въ самомъ дѣлѣ» не могъ разорвать естественно возникшихъ въ его сердцѣ связей и привязанностей, именно потому, что онъ былъ живой человѣкъ. Тогда же мнѣ казалось, что онъ просто запутался, «вторился», такъ какъ я самъ не понималъ еще достаточно того, что лично мнѣ присущая легкость жертвовать «мелкими» интересами людей, съ которыми сталкивается меня судьба, во имя интересовъ общихъ,—есть несовершенство, неразработанность моей нервной системы, моего человѣческаго достоинства, а вовсе не признакъ высшаго развитія, высшаго порядка моихъ убѣжденій... Я охотно бы облагодѣтельствовалъ весь родъ человѣческій, но только подъ условіемъ, чтобы онъ безпрекословно повиновался моимъ повелѣніямъ, чтобы онъ не пикнулъ, не сталъ со мною торговаться, жалѣть чего-нибудь такого, что я считаю вадоромъ... Вся русская исторія научила меня ни во что не ставить отдѣльную личность и ея мелкіе человѣческіе интересы. Во мнѣ самомъ та же исторія воспитала и отсутствіе уваженія къ самому себѣ съ моими «ничтожными» интересами, и отсутствіе не только уваженія, но даже терпимости къ тому же въ другихъ; мы привыкли сливаться въ плотную массу обыкновенно разрозненныхъ, безсодержательныхъ атомовъ—только въ какой-нибудь посторонней, не отъ насъ пришедшей заботѣ, вроде нга, вроде войны, голода и т. д. Но какъ только такая подавляющая, со стороны нахлынувшая тяжесть событій переставала давить насъ, переставала возбуждать въ насъ дѣятельность ума и сердца, какъ только мы оставались «сами по себѣ»,—прекращался всякій интересъ жить на свѣтѣ, наставляла

пустота, тоска, самогрызение и нетерпливое ожидание вновь какого-нибудь удара, какой-нибудь беды, тяжести, чтобы чувствовать, что, свергая ее, живешь... У таких людей, как я, еще нет правды, нет разработки своей личности...

А между тем время все больше и больше идет к «человеческому образу жизни», все больше требует, чтобы человек-то был хорош, чтобы личность-то берущаяся за дело человека была хороша... Увы!.. подобных личностей оказывается покуда вовсе не такое количество, какое бы требовалось даже в самых скромных размерах. Откуда они возьмутся—я не знаю; но знаю наверное, что мое личное несовершенство (подобное такому же несовершенству множества моих двойников) было причиной того, что мы, начав за здоровье, всеобщее здоровье, конечно упокоем собственным своим в банках, в железнодорожных правлениях и во всякого рода учреждениях, приносящих пользу... только уж не знаю кому?

«Иностранец» был не таков, и он «выдержал» вопреки твердой уверенности моей в противном. Я и мемуары-то эти принялся писать именно потому только, что иностранец «выдержал» и заставил меня задуматься и о нем, и о себе... Убедило меня в этом третье письмо «иностранца», полученное мною уже здесь, в г. Н., на месте моего служения отечеству, или, вернее, наживающему деньгу купечеству.

Несколько дней назад, возвратясь из «должности» домой, я нашел коротенькую записочку, на срой бумаге:

«Наш деревенский мужик, бывающий по делам в вашем банке, сообщил мне вашу фамилию, говорить: «служить». Вы ли тот самый (следует мое имя, отчество и фамилия), с которыми мы когда-то жили, помните на Живодерке? Если вы, то я очень, очень этому рад и счастлив... Как нам повидаться? В город я бываю редко. Не придете ли в свободный денек—посмотреть на наше житье-бытье?... Надоест ведь сидеть в банке-то... А до нашего обиталища близко—третья станция и от станции семь верст деревня Залысье...

Ваш Н. Н.»

Как он мог попасть сюда? Чем «кончился» этот брак? Где дети?—все эти вопросы невольно возникли по прочтении этой записки, и желание видеть «иностранца» овладело мною в самой сильной степени. Я решил непременно съездить в первое же воскресенье, но не выдержал и уехал в субботу вечером.

Часов в одиннадцать ночи лошади привезли меня в бедную нищенскую деревушку, к бедному низенькому в одно окно крестьянскому дому. В деревня, и домиком спали мертвым сном.

— Кто там? на стук в дверь, низенькую и квадратную, отозвался молодой, басистый голос.

Я назвал себя и произнес фамилию «иностранца».

— Здесь, здесь!.. Я его сейчас разбужу... Подождите в снях, я вынесу свечку, а то вы тут спотыкнетесь...

Огарок осветил сны, заставленные досками, только что сдвинутыми ящиками; вся стѣна, у которой стоял верстакъ, была увѣшана разными столярными инструментами; рубанки, пилы, шершавки, наворотки и т. д. Молодой парень босикомъ, одѣтый въ парусинную блузу, сонно и молодо улыбаясь, проговорилъ, указывая на всю обстановку сѣней:

— Все хламъ!

И провелъ меня въ избу.

«Боже мой! Это-ли тотъ «иностранецъ», молодой, приличный, разсудительный, здоровый!» Я не вѣрилъ глазамъ, увидавъ передъ собой совершеннаго старика. Въ красной полосатой фуфайкѣ, какія носятъ дворники, плотно обхватывавшей его станъ, онъ походилъ на скелетъ, такъ былъ онъ худъ; длинныя худыя ноги, худыя руки, рѣдкіе волосы съ сильною сѣдиной и длинная, узкая, также съ значительной сѣдиной борода—все это говорило о томъ, что человекъ былъ сломенъ и разбитъ, что прожитыя имъ годы были мучительно трудны...

Тихимъ, ослабѣвшимъ, но такимъ же мягкимъ, женскимъ, какъ и въ старыя годы, голосомъ онъ говорилъ мнѣ, какъ онъ радъ меня видѣть, какъ хорошо, что мы встрѣтились; радость непритворная свѣтилась въ его добрыхъ, простыхъ глазахъ, слышалась въ голосѣ.

— Гдѣ же ваши дѣти? спросилъ я.

— А вотъ одинъ изъ нихъ, указалъ онъ на парня, который отворялъ мнѣ дверь.

— Это Федя, прибавилъ онъ.—А Василій учительствуетъ... Дѣвочка Лиза учится въ фельдшерскихъ курсахъ... И потомъ сюда...

— Въ земствѣ будетъ служить?

— Нѣтъ, просто будетъ сама... Нельзя брать неисполнимыя обязанности только потому, что даютъ жалованье. Будетъ жить съ нами и дѣлать что возможно...

— А средства?

— Ну, что дадутъ... Яйцо, курицу...

Федоръ, оставаясь попрежнему босикомъ, вошелъ около самовара...

— А вы съ Федей?

— А мы, вотъ видите... столярничаемъ... Есть тутъ крахмальный заводъ, мы поставяемъ ящики...

И затѣмъ онъ разсказалъ, какъ попали они сюда.

— Мы разошлись, сказалъ онъ коротко,—съ женою... Нельзя было жить тамъ, не было подходящихъ заработковъ... Мы продали крестьянамъ, что можно было, и вотъ я вздумалъ вернуться въ ваши края... Отсюда вѣдь близко до города, гдѣ мы съ вами когда-то учились... Вотъ мнѣ тамъ и посовѣтовалъ одинъ человекъ арендовать лоскутокъ земли—здѣсь земли немного, только саминъ хлѣба, правда, хватаетъ, но мало всего другого. Лизѣ надо, Василью не всегда хватаетъ... Да и намъ...

Я не рѣшился разспрашивать его о супругѣ, такъ какъ въ этомъ преждевременномъ старчевствѣ, одряхлѣніи человека бракъ его несомнѣнно игралъ большую роль... Впослѣдствіи я узналъ, что она

жить у богатых родственников. Не решился я спрашивать «иностранца и о томъ, какъ онъ находить свою теперешнюю жизнь, но не потому, чтобы находил эти вопросы несекранными для него, а потому, что не было въ нихъ надобности: въ самомъ «иностранцѣ», теперь походившемъ на стараго русскаго крестьянина, не было никакой тѣни сомнѣнія въ томъ, что положеніе его могло бы быть какое-нибудь иное, чѣмъ то, въ которомъ онъ находился; къ этому положенію привела его жизнь, его убѣжденія и необходимость, а какъ же противиться необходимости? Не было ни въ немъ, ни въ бедѣ и мысли о какомъ-либо иномъ образѣ жизни... Глядя на эту спокойную покорность результатамъ, къ которымъ привела самая жизнь, не было никакой возможности завести какихъ-нибудь теоретическихкихъ разговоровъ.

Неудивительно поэтому будетъ, если я скажу, что послѣ нѣсколькихъ минутъ перваго свиданія, наполнявшихъ насъ оживленіемъ и радостью, я скоро сталъ ощущать нѣкоторую скуку. Съ большими промежутками молчанія пили мы чай, говорили о мелкихъ ежедневныхъ трудахъ... и увъ! опять припомнилась мнѣ мелочность «иностранца»! Ничего ни смѣшнаго, ни остроумнаго, ни громкаго. Нѣтъ, все однообразно, блѣдно и такъ неинтересно, какъ неинтересно заказчику платья или сапоговъ быть долгое время въ кругу портныхъ и сапожниковъ, долгое время слушать ихъ портновскіе разговоры. Такъ и мнѣ неинтересно было сидѣть со столярами, потому что «иностранецъ» и бедя были въ самомъ дѣлѣ столяры... *только столяры!*

«Чужіе мы другъ другу!» рѣшилъ я. На другой день съ трудомъ дотянулъ до вечера, когда надо было уѣзжать... Вся великость подвига этого человѣка утратилась для меня, когда я увидѣлъ тѣ скучныя формы, въ которыхъ вылился этотъ подвигъ... «И все-таки и тутъ ограниченность!» опять рѣшилъ я, уѣзжая... Но когда на меня нападаетъ гложущая, самоубивающая тоска, я невольно опять склоняюсь предъ сердцемъ и дѣлами «иностранца» и стараюсь помнить только одно: «онъ возвратилъ въ трудовую массу троихъ человѣкъ, которые приготавливались быть дармоедами».

IX. Больная совѣсть.

I.

«—Не совѣтую вамъ встрѣчаться за границею съ русскими...» Когда я ѣхалъ прошлый годъ за границу, эту назидательную фразу мнѣ пришлось слышать отъ многихъ соотечественниковъ, ужъ бывавшихъ тамъ и стало быть имѣвшихъ понятіе о европейской жизни. Всѣ причины, которыя приводили мнѣ въ объясненіе необходимости быть въ сторонѣ отъ соотечественниковъ, рѣшительно, по моему мнѣнію, ничего не значили; говорили: «непріятно», «скучно», «да вотъ увидите сами...» словомъ, ни одной основательной причины на мой взглядъ не было, и я уѣхалъ, совершенно забывъ эти совѣты.

И что-же? Впослѣдствіи, когда я поглядѣлъ на чужіе нравы, и невольно долженъ былъ вспомнить этотъ совѣтъ, ибо я на самомъ себѣ испыталъ какую-то душевную боль, что-то саднящее, какую-то наваливающуюся на душу массу — боли, жолчи, тоски... всякій разъ, когда только «видѣлъ» русскаго, даже не разговаривая съ нимъ ни слова, и увѣренъ, что и моя особа, тоже русская, произвела на другого соотечественника то же самое ощущеніе...

Опредѣлить это ощущеніе какимъ-нибудь однимъ всѣмъ словомъ рѣшительно невозможно; оно приобѣтается тогда только, когда длинный рядъ чужеземныхъ картинъ, даже самыхъ непривлекательныхъ, слѣлаетъ съ вами великое чудо: именно заставитъ васъ выздоровѣть, если вы были больны; заставить васъ успокоиться, если вы были обезпокоены — словомъ, когда чужая сторона слѣлаетъ на душѣ у васъ хорошо... Теперь, сидя въ глуши и опять заболѣвая понемногу какою-то мнимой болѣзью, я съ особеннымъ удовольствіемъ припоминаю этотъ процессъ, по которому на душѣ становится хорошо.

Ни длина и дешевизна нѣмецкихъ буттербродовъ, ни чистота нѣмецкой прислуги, ни роскошь и дешевизна извозчиковъ, у которыхъ все по таксѣ (какая прелесть!), человѣческое достоинство которыхъ дѣлаетъ то, что они ѣдутъ потише, когда ихъ просятъ ѣхать пошибче, ни газовые рожки, ни вообще какія бы то ни было таксы, цѣны и пр. и пр. — ничто подобное не будетъ предметовъ нижеслѣдующихъ замѣтокъ: ни одною изъ этихъ прелестей я не посмѣю плѣнять читателя. Да не только не посмѣю плѣнять именно вещами подобнаго сорта, а просто нахожусь въ полной невозможности плѣнять его хоть чѣмъ-нибудь, если только онъ хоть мало-мальски заинтересованъ въ современныхъ порядкахъ и хочетъ, чтобы они хоть чуть-чуть были поновѣй. Съ этой точки зрѣнія я по совѣсти могу сказать, что тамъ *все хуже* нашего, ибо тамъ всему дѣлу корень; съ этой точки зрѣнія я даже и говорить не могу ни о чемъ, кромѣ самыхъ-самыхъ непріятныхъ вещей, но въ концѣ концовъ — какъ-бы ни было дурно то, что попадаетъ вамъ на глаза, — на душѣ будетъ хорошо...

Въ самомъ дѣлѣ, только перѣехали вы границу, только-было стали облизываться отъ дешевизны буттербродовъ — хватъ, стоятъ Берлинъ, съ такой солдатчиной, о которой у насъ не имѣютъ «поятія» и которая заставляетъ васъ сразу терять аппетитъ ко всѣмъ этимъ прелестнымъ газовымъ рожкамъ, мостовымъ, «по таксѣ» и т. д. Паханы, шпоры, каски, усы, два пальца у козырька, подъ которыми въ тугомъ воротникѣ сидитъ самодовольная физиономія побѣдителя, попадаются на каждомъ шагѣ, поминутно; тутъ отдають честь, здѣсь смѣняютъ караулъ, тамъ что-то выдѣлываютъ ружьемъ, словно въ помѣшательствѣ, а потомъ съ гордымъ видомъ идутъ куда-то... Въ окнѣ магазина — побѣдитель въ разныхъ видахъ: пропарываетъ животъ фрацузу и потомъ, возвратившись на родину, обнимаетъ свое семейство; бакенбарды у героев расче-

саны совѣмъ не въ ту сторону, куда бы имъ слѣдовало... У иныхъ одно лицо сдѣлаво величиною въ аршинъ (изъ мрамора, изъ металла), причѣмъ усы какъ бычачьи рога стремятся васъ запоротъ, положить на мѣстѣ. Насмотрѣвшись на это, пойдете укрыться въ портерную, но и тамъ то-же: сабли и палаша ѣздятъ по ногамъ, повсюду шевелятся усы, одни другимъ отдають честь и всѣ виѣстѣ вновь пришедшему... Но существеннѣйшая вещь — это полное *убѣжденіе* въ своемъ дѣлѣ, въ томъ, что бычачьи рога виѣсто усовъ есть красота почие красоты прекрасной Елены. Спросите любого изъ этихъ усовъ о его врагѣ и цюлюбуйтесь, какой въ немъ сидитъ образцовый сознательный звѣрь. Проглотивши такую заграничную картину, невольно думаетъ: «нѣтъ, ужъ этого у насъ нѣтъ!». И въ темнотѣ вагона припоминается нашъ солдатикъ Кудиничъ, который, прослуживъ двадцать пять лѣтъ Богу и государю, теперь доживаетъ вѣкъ въ караулкѣ на огородѣ, пугая воробьевъ... Онъ тоже весь израненъ, избитъ, много дрался и имѣлъ враговъ изъ разныхъ націй, а поговорите-ка съ нимъ, врагъ-ли онъ имъ.

— А поляки? Какъ?

— Поляки тоже народъ ничего, народъ чистый...

— Добрый?

— Поляки народъ, надо сказать, народъ добрый, хорошій... Она полька, ни-за-что тебя, на-примѣръ, не допуститъ въ сапогахъ... на-примѣръ, заснутъ ежики...

— Не допускать!

— Ни боже мой?... ходи чисто! благородно!

— Черкесы? Ты дрался съ черкесами?

— Эва! Мы черкеса перебили смѣты нѣтъ! Довольно намъ черкесъ извѣстенъ; лучше этого народу, надо такъ-сказать прямо, не сыщешь.

Всѣ его враги—добрые люди, неизвестно, зачѣмъ бунтуютъ... Всѣхъ онъ усмирить, и вотъ теперь сидитъ въ караулкѣ, тачаетъ что-то, разговариваетъ съ собачонкой и, вспоминая прошлое, говорить: «охъ, грѣхи-грѣхи тяжкіе!» Какое же сравненіе: здѣсь доброта,—тамъ свинство и зло.

Нѣтъ, у насъ лучше.

Благодаря превосходно устроеннымъ путямъ сообщенія, не успѣли вы еще простыть отъ умиленнаго воспоминанія о Кудиничѣ, какъ чужая земля предъявляетъ вамъ новый сюжетъ для размышленія. Поездъ остановился на какой-то маленькой станціи—кажется, въ Бельгіи: нѣмецкія деревенки съ зеленью и бѣленькими домиками, выглядывающими изъ нея, давно прекратились; давно уже пошли каменные глыбы съ боковъ дороги, горы (буквально) золы, облака дыму, тысячи трубъ, изрыгающихъ дымъ и пламя, и исчезли всякіе слѣды деревни; видны только фабрики и казармы для рабочихъ, узенькія, низкія одноэтажныя зданія, съ крошечными окнами, маленькими дверцами, обвѣшанныя всякою рванью, просушивающаеся на солнцѣ; людей стало почти не видно, они всѣ гдѣ-то подъ землею, въ огнѣ и дымѣ... Нарѣдка у дороги увидишь женщину-сторожа—она босикомъ,

въ рубищѣ, изможденная и худая. Это точно Бельгія. Поездъ останавливается ночью. Повсюду зарево пылающихъ горновъ; вотъ вдали на какой-то широкой трубѣ, изъ которой вылетаетъ бѣлое пламя, толчется какой-то человѣкъ: черная скорченная фигура его то подскочить къ огню съ какимъ-то шестомъ, то отскочить назадъ, очевидно отъ нестерпимаго жару, и потомъ опять лѣзетъ туда... Слѣва, немного ниже насыпи желѣзной дороги, расположилась фабрика, подъ прорванной и прогорѣлой желѣзной крышей, держащейся на столбахъ, въ огнѣ и дымѣ, въ тучахъ разлетающихся искръ копошится масса рабочего народа, худого, оборванного, измученнаго; сколько тутъ дѣтей, совершенно голыхъ, безъ рубахъ... вотъ одинъ тщедушный мальчикъ безъ рубашки, босикомъ, нагнувшись головой чуть не до земли и ухватившись руками черезъ плечо за конецъ длинной желѣзной полосы, раскаленной почти до половины, тащить ее съ видимымъ трудомъ, раздувая свои голые бока съ отчетливо обозначившимся ребрами. Да, тутъ работаютъ въ потѣ лица, тутъ виденъ страхъ смерти, если только руки выпустятъ этотъ молотъ... Представляя себѣ хозяина этого ада кромѣшнаго, вы никакъ не сочтете его другомъ всѣхъ этихъ голыхъ людей,—да, вы убѣждаетесь, что выколотить изъ этого «хозяина» прибавку въ копейку серебромъ можно только кровью, дракой, невыносимымъ взрывомъ ненависти... У насъ нѣтъ ни такого дыму, ни такого огня, ни такой злобы рабочего и хозяина (говорятъ, будетъ), ни этой злости въ работѣ... Хозяйскій приказчикъ Куприяновъ, правда, ходитъ между рабочими и покрикиваетъ: «поспѣвай, ребята, поспѣвай»; но потомъ присядетъ на обрубокъ дерева и скажетъ:—«И исторія тоже, ребята, вчерашняго-числа вышла со мной... Тутъ смѣху было, Боже мой... Иду это я... Одеты! ты что это чешешься-то?.. Надо-бы, купидончикъ, поспѣвать... Иду это я вчерась отъ кумы...»—и пошла исторія, отъ которой глядишь идетъ смѣхъ по всей фабрицѣ... Подъ исторію и «поспѣвать» легче. «Ужъ и плутъ только этотъ Куприяновъ, братцы, разговариваютъ фабричные,—ну, иначе человѣкъ, надо говорить прямо,—человѣкъ, ничего...»

Нѣтъ, у насъ лучше!

Мы въ Парижѣ. Тутъ ужъ я не знаю, какими орудіемъ таскать массы всяческаго безобразія... но чтобъ ужъ до конца въ этихъ сопоставленіяхъ мое отечество являлось въ лучшемъ противъ *нихъ* видѣ, приведу суды. У насъ судъ скорый и правый, а тамъ идетъ какой-то скорый и быстрый разбой, но не судъ. Я говорю о версальскомъ военномъ судѣ. Нижній этажъ неряшливыхъ солдатскихъ казармъ въ Версали кое-какъ, на скорую руку, перегороженъ досками на маленькія клѣтшечки, совершенно такого же изыщества, какъ деревянныя, на два дня устраиваемыя по случаю сельской ярмарки, выставки водоевъ—и въ каждой этакой клѣтшечкѣ засѣдаетъ военный судъ и печетъ приговоры десятками въ минуту. Изъ-за этихъ перегородокъ (которые далеко не достигаютъ до потолка) раздаются рѣзкіе, скорые, очевидно для про-

формы задаваемые вопросы, робкіе отвѣты, преимущественно «нѣтъ», на которое не обращается никакого вниманія... Посмотрите на эти лица, засѣдающія за краснымъ столомъ, подъ запыленнымъ маленькимъ распятіемъ изъ кости надъ ихъ головами—это такая коллекція удавовъ, какой пожелауй и въ Берлинѣ скоро не подберешь. Стоитъ взглянуть на этихъ судей, чтобы понять, что подсудимый, — тщедушный мастеровой, совершенно напоминающій нашего отечественнаго портного, работающаго «перешивку на дому», — что этотъ испуганный человѣкъ съ трясушимися пальцами рукъ, протянутыхъ по швамъ (я такого именно и видѣлъ), что онъ вовсе даже и не подсудимый, а прямо «попался» въ вольчью яму. Въ двѣ-три минуты допросили десять свидѣтелей, которые всѣ показали, что онъ вполне невиненъ, что онъ не могъ не держать въ рукахъ ружья, когда ему его навязывали подъ страхомъ смерти... Словомъ, дѣло такого рода, что у насъ бы непременно его оправдали и денегъ еще собрали бы. А тутъ—нѣтъ: прокуроръ, стуча кулакомъ, прямо объявляетъ, что онъ знаетъ не хочетъ ничего, кромѣ того, что подсудимый взять съ оружіемъ. Повернувъ, по французскому умѣнью говорить, эту фразу на разные лады разъ двадцать, онъ умоляетъ въ большомъ негодованіи: за прокуроромъ встанетъ защитникъ, очень изящный молодой человѣкъ въ военной формѣ. «Ну, думаете вы, вотъ тема-то разойтись...» Ничуть не бывало. Защитникъ съ крайнимъ сожалѣніемъ объявляетъ, что вина преступника такъ несомнѣнна, что ему остается только просить о снисхожденіи: онъ знаетъ, что есть милосердіе; — и затѣмъ совершенно спокойно садится безъ малѣйшаго стыда и жалости. Невиноватый ни въ чемъ человѣкъ былъ приговоренъ къ пяти годамъ работы въ крѣпостяхъ.—Семейство разорено, и вся жизнь цѣлаго семейства пошла къ чорту... Несомнѣнно, что у насъ въ Россіи никто ничего подобнаго не выдастъ.

Но довольно примѣровъ. Одинъ мой соотечественникъ изъ простонародныхъ, попросту русскій мѣщанинъ, волею Божіей попавшій въ Парижъ и проживающій здѣсь около пятидесяти лѣтъ,—соотечественникъ, о которомъ будетъ сказано обстоятельно ниже,—говорилъ мнѣ за вѣрное, что здѣсь во Франціи, особливо въ Парижѣ, «всѣ порядки приведены въ большую огромность. «Въ доказательство того, что это правда, онъ весьма оригинально указалъ мнѣ на статуи великихъ людей, разставленныхъ по площадямъ европейскихъ городовъ и Парижа въ особенности... «Это отечество», говоритъ онъ,—становить тому, кто ему дѣлалъ добро, устанавливая порядки... Почему у нихъ у всякаго въ рукахъ либо палка, либо сабля, либо дубина? Потому, «не бить—добра не быть», бабушка говорила... У иного просто бумага въ рукахъ, а тоже ровно треснуть хочетъ... А потому—на пользу; отъ этого-то здѣсь и чистота... Одному только Ню на Сан-Мишель поставили монументъ за измѣну...» При такомъ прочномъ насажденіи порядковъ, можно бы было здѣсь представить чи-

тателю великое множество такихъ цѣтовъ этихъ порядковъ, которыхъ у насъ не только нѣтъ, но дай Богъ, чтобы и не было ихъ; но теперь покуда довольно будетъ рассказать окончаніе послѣдняго примѣра съ судомъ, чтобы можно было видѣть, отчего даже такіа мерзости, какъ этотъ судъ и другія, мною вышеуказанныя, поучительны и чѣмъ именно онѣ не мерзки...

Окончаніе исторіи съ судомъ было таково:

Послѣ того, какъ по обыкновенію именемъ французскаго народа былъ произнесенъ приговоръ (подсудимаго въ это время нѣтъ въ залѣ суда), публика, находившаяся въ камерѣ, вышла на дворъ, заставленный пустыми пушечными станками, и обступила растерянную жену несчастнаго. Публики этой было очень немного: два-три свидѣтеля, въ томъ числѣ двѣ женщины, семинаристъ-іезуитъ съ толстомясымъ лицомъ и флегматически-сложенными назади руками, да два-три иностранца. Женщины ахали, совѣтывали что-то, жена подсудимаго плакала, прочіе стояли и смотрѣли. Въ это время по случаю перерыва засѣданія прокуроръ и защитникъ, да, кажется, кто-то и изъ судей неправедныхъ вышли на крыльцо курить и болтать... Зная наши отечественные добрые нравы, я подумалъ: «а вотъ сейчасъ эти прокуроры и судьи пойдутъ къ несчастной и станутъ соболаживать ея горю... ну, хоть изъ приличія...» Мнѣ потому пришло въ голову, что у меня есть множество пріятелей прокуроровъ, которые именемъ такъ поступаютъ; эти мои пріятели, они вовсе напимѣръ не злы на мужика, который вырубилъ дерево и котораго нужно засадить въ острогъ; въ *сущности* они душевно жалѣютъ этого мужика, они научились любить народъ, и если иной разъ укуекъ въ Сибирь, то это по обязанности, а *сами лично* они даже жалѣютъ, даютъ деньги... Одинъ изъ моихъ пріятелей былъ даже такъ огорченъ какимъ-то дѣломъ въ этомъ родѣ, что мало того, что далъ упрежнему денегъ, а даже... подалъ прошеніе о переводѣ въ другой городъ... Когда мнѣ все это пришло въ голову, я того и ждалъ, что эти звѣри теперь, когда засѣданіе прервано, вдругъ сдѣлаются звѣрьми (какъ мои пріятели) и покажутъ намъ свои лучшія свѣтлыя стороны... «Вотъ, сейчасъ», думалъ я. Но они стояли и курили, заложивъ руки въ карманы своихъ красныхъ панталонъ. «Да что же это такое?» стало приходить мнѣ въ голову. «Неужели они даже и въ перерывахъ засѣданія остаются такими же звѣрьми?..» Мнѣ показалось, что на нашу группу они смотрятъ не съ сожалѣніемъ, а съ какимъ-то веселымъ сарказмомъ въ глазахъ... «Да неужели же они считаютъ себя правыми?» думалъ я въ недоумѣніи. И, чтобы удостовѣриться, сдѣлалъ даже нѣкоторое неприличіе—попросилъ у одного изъ нихъ закурить (хотя простонародный соотечественникъ и внушилъ уже мнѣ, что французскіе порядки требуютъ, чтобы сычечки держать свои). Мнѣ хотѣлось послушать, что такое они болтаютъ; я нарочно возился съ сигарой, склеивая ее, перевортывалъ другимъ концомъ, чтобы протянуть время. И что же? Одинъ изъ нихъ

ругательски ругалъ коммунаровъ, а другой предположилъ на будущее время просто «сбрасывать имъ головы съ плечъ», и, сколько я могъ замѣтить, сказалъ это съ подлинною ненавистью... Тогда я убѣдился, что они дѣйствительно злы и дѣлаютъ такъ, а не иначе, именно потому, что злы.

II.

Такимъ образомъ и версальскій несправедливый судія, и берлинскій звѣрь, и всѣ, кто въ вышеприведенныхъ замѣткахъ являлся дурень ли, хорошъ ли—всѣ они дѣлаютъ только то, къ чему влекутъ ихъ личныя нравственныя требованія. Неправедный версальскій судія, убивая въ коммунаръ ненавистную ему идею, дѣлаетъ это потому, что, допустивъ идею врага, онъ долженъ отказаться отъ своей, которою онъ живетъ и которую онъ *считаетъ справедливою*... Звѣровидный берлинецъ потому такъ охотно исповѣдуетъ религію пропарыванія кишочекъ ближняго, что вслѣдствіе множества мельчайшихъ причинъ, о которыхъ можете прочесть въ книжкахъ, эта религія составляетъ идею его личной жизни; она ему нужна за кружкой пива, за трубкой. Съ своей точки зрѣнія онъ можетъ представить тысячи по его головѣ совершенно логическихъ доводовъ, которые его совершенно оправдываютъ. На своемъ знамени въ данную минуту онъ можетъ написать такое словечко, которое ему дороже жизни. Вамъ, постороннему наблюдателю, онъ можетъ показаться сумасшедшимъ, но онъ лично совершенно правъ, честенъ предъ своею совѣстью, живетъ... Ощути онъ за своей трубкой, за своей пивной кружкой потребность не пропаривать кишочекъ—и на знамени надо будетъ писать другое слово, а старымъ пожалуй не стащишь его съ мѣста. Заберись коммунарская идея въ голову, въ сердце, словомъ, въ будничныя обиходъ версальскаго несправедливаго судіи—и пожалуй не онъ будетъ убивать, а его.

Негодуйте, сочувствуйте—какъ скажетъ ваша совѣсть. Что же дѣлаетъ мой пріятель Петровъ? Въ залѣ суда онъ упрекаетъ крестьянина Андрона за порубку дубковъ, въ перерывахъ засѣданія сочувствуетъ ему и даетъ деньги, а дома является демагогомъ... Что тутъ правда, что тутъ настоящее? гдѣ тутъ результатъ кромѣ того, что крестьянинъ Андроновъ отправляется въ острогъ и благодаритъ прокурора за пожертвованіе: «дай тебѣ Божь»? Что тутъ живого, по совѣсти считаемаго нужнымъ?.. Я знаю одно, что версальскій жидоморъ чувствуетъ себя хорошо, а Петровъ скушается и хочетъ испѣлиться, подавъ прошеніе о переводѣ... Да и мнѣ, помню, съ этимъ Петровымъ было необыкновенно скучно.

Гдѣ больше правды, въ иностранномъ-ли фабрикантѣ, согнувшемъ рабочаго въ дугу, или въ другомъ моемъ пріятелѣ, недавно умершемъ отъ скуки и отъ чахотки, помѣщикѣ Федосѣевѣ, на винокуренномъ заводѣ котораго распоряжается извѣстный уже читателю Купріяновъ... Фабрикантъ прямо смотритъ на свою фабрику какъ на учрежденіе, ко-

торое должно дать ему деньги на жизнь, слагающуюся изъ потребностей, весьма опредѣленныхъ, удовлетвореніе которыхъ ему необходимо и которыя онъ, по свойственному всѣмъ чужестранцамъ крайнему эгоизму, считаетъ выше всего на свѣтѣ. Онъ—свинья (если такъ да позволено мнѣ будетъ благосклоннымъ читателямъ выразиться), но онъ лично полагаетъ, что поступаетъ справедливо, стараясь получить изъ рукъ голаго рабочаго больше, а не меньше. Съ господиномъ же Федосѣевымъ происходили слѣдующія обстоятельства: онъ былъ во-первыхъ человѣкъ «добрѣйшій, честнѣйшій и благороднѣйшій»; винокуренный заводъ онъ открылъ, самъ не зная какъ («рѣшительно не понимаю, говорилъ онъ, какъ могло мнѣ придти въ голову!»), и, какъ утверждалъ онъ при жизни, видѣть его равнодушно не могъ... Когда доходили до него слухи, что Купріяновъ обчитываетъ и грабитъ, съ нимъ дѣлались истерики, и онъ иной разъ самъ раздвигалъ обчитаннымъ рабочимъ деньги—по пяти, по три рубля... Каждый годъ онъ собирался закрыть заводъ, но не закрывалъ, совершенно не зная, какъ это случилось... Заводъ, между тѣмъ, управляемый Купріяновымъ, шелъ кое-какъ, приносилъ кой-какой доходъ, который баринъ принималъ «съ омерзѣніемъ» (собственное его выраженіе) и собственно лишь для того, чтобы поѣхать въ Петербургъ послушать хорошей музыки и вообще отдохнуть отъ всей этой слякоти. Спрашивается теперь, чтѣ въ немъ, въ господинѣ Федосѣевѣ, а, посторонній человѣкъ, могу считать дѣйствительнымъ и живымъ: тонкое ли пониманіе собственно музыки, демократическія ли его идеи или идеи фабрикантскія? Я полагаю, что ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ отвѣтить невозможно утвердительно. «Жду смерти, какъ избавленія, какъ манны», сказалъ онъ мнѣ однажды и дѣйствительно умеръ съ большимъ удовольствіемъ... И дѣйствительно на душѣ у него должно было происходить Богъ знаетъ что. А рабочій? Согнутый головой къ землѣ, иностранный рабочій знаетъ, кто его согнулъ; несчастный, онъ живетъ злостью, которая рано-ли, поздно-ли разогнетъ его!.. Положеніе же Андрона, работающаго на фабрикѣ Федосѣева, совершенно неопредѣленное. Послѣ того какъ Купріяновъ обчиталъ Андрона, а баринъ далъ ему пять цѣлковыхъ, Андронъ пьянствовалъ двѣ недѣли, похваливая господъ, и пропалъ до того, что жена Андрона сама пришла къ Купріянову и просила его образумить пьянаго дурака. И дѣйствительно Андронъ крайне нуждался въ какой-нибудь доктринѣ. Очнувшись, онъ рѣшительно не могъ понять, онъ ли, Андронъ, виноватъ, Купріяновъ ли виноватъ, или баринъ... Но когда оказалось, что, напротивъ, баринъ ему сдѣлалъ благодѣяніе, то мысли его до того перепутались, что онъ чувствовалъ себя дуракомъ дуракомъ и, говоря по совѣсти, былъ въ душѣ очень благодаренъ Купріянову, когда тотъ его образумилъ. Купріяновъ во-первыхъ далъ ему хорошую пощечину, потомъ повторилъ ее раза три-четыре и оштрафовалъ за всѣ прогульные дни. «Дуракъ я былъ», думалъ Андронъ, принимаясь за дѣло.

Будиничъ старый воинъ и добрая душа! Я часто посѣщаю Будинича (онъ у насъ караульщикомъ на огородахъ), веду съ нимъ разговоры и рѣшительно жалѣю его... Что за существованіе?.. Онъ обыкновенно сидитъ въ своей караулкѣ, что-нибудь тачаетъ или штопаетъ или жуегъ свою печоную картошку, кровью выслуженную на войнѣ, приговаривая всякій разъ: «Господь напиталъ—никто не видалъ, а кто видѣлъ—не обидѣлъ»... Это—человѣкъ, который самъ дѣйствительно мухи не обидитъ. А сколько онъ обидѣлъ на своемъ вѣку народу и все народу, по его мнѣнію, добраго, хорошаго!.. «Много мы ихъ тогда перебили... народъ все чистый, ладный народъ, ничего!» скажетъ онъ иной разъ, заговоривъ о войнѣ и о своихъ подвигахъ; но, отдѣлавшись отъ нихъ, онъ почти не интересуется ими и толкуетъ о нихъ рѣдко. Отдыхая теперь на покоѣ, онъ живетъ самъ по себѣ—и вотъ, послушавъ разъ-другой его разговоры съ мальчишками, я вполне убѣдился, что «самъ по себѣ» онъ совсѣмъ другой человѣкъ... Посмотримъ, что его интересуютъ, какими небылицами набита его голова.

— «И горитъ, братецъ ты мой, рассказываетъ онъ босоному мальчишкѣ,—этотъ самый гацъ безъ фитали и безъ лучины... И какъ-бы ты думалъ, откуда онъ идетъ, этотъ гацъ?» вопрошаетъ онъ удивленнаго слушателя и, долго помолчавъ, почти съ ужасомъ произноситъ:

— «Изъ собаки! да! Изъ дохлой, изъ падали изъ собачей!.. Наберутъ дохлятины, сейчасъ ее въ особое мѣсто,—въ варку,—ну, а изъ варки она ужъ и выфыркиваетъ полымемъ... Значитъ этотъ духъ... напярмѣръ, жаръ... стало быть эта сволочь самая»...

Или рассказываетъ о томъ, что близъ Ярославля одинъ дьяконъ откопалъ мѣшокъ съ тараканами; они лежали въ землѣ тысячу лѣтъ—и живы!.. Дьяконъ будто-бы тотчасъ же явился съ этимъ мѣшкомъ въ соборъ и подалъ его архіерею на самый амвонъ, за что вышла изъ Петербурга награда. Онъ вѣритъ, что въ Кіевѣ существуетъ мость, на двадцать верстъ длины, вылитый цѣликомъ изъ желѣза, что если зайцу отстрѣлить хвостъ и зарядить этимъ хвостомъ ружье, то ружье будетъ стрѣлять безъ промаху.

Удивленіе его всѣмъ этимъ чудесамъ, въ которыхъ одна «премудрость», ничуть не меньше удивленія его деревенскихъ слушателей ребятъ; да, онъ—ребенокъ добрый, тихій, религіозный (въ молодости онъ намѣревался поступать даже въ монахи)... Но всѣ эти личныя его качества—теперь на возрастѣ десяти-лѣтняго ребенка. Почему же имъ не суждено было развиваться? Почему въ видахъ высшей пользы они должны были замѣниться совершенно другими качествами... и притомъ какими?.. Я часто пытался разузнать, какая сила таскала его по черкесамъ и по венгерцамъ, и признаюсь, кромѣ словъ «тамъ, братъ, не разговариваютъ», я почти ничего не слышалъ, объясняющаго дѣло. Одинъ только разъ, какъ мнѣ показалось, онъ произнесъ магическія слова своего знамени. Это была солдатская пѣсня такого содержанія:

Мы съ героемъ—дѣти славы

Есть у насъ своя семейка
Невеличка и добра.
Съ нею жизньъ для насъ копѣйка—
Сухарь, чарка и ура!

Но когда я захотѣлъ потолковать съ нимъ насчетъ этой пѣсни, то оказалось, что онъ въ ней понимаетъ очень мало и сердится, такъ что разговоръ пресѣкся на первомъ словѣ. Прежде всего онъ произнесъ не «съ героемъ дѣти славы», а съ «херонимъ». Когда я спросилъ: что это значить? онъ насупился и отвѣчалъ уже—«херуфъ»; на вопросъ, что означаетъ это слово, онъ еще болѣе насупился и забурчалъ:

— Какъ что значить? Васъ учили въ училищахъ?

— Учили...

— Такъ вы сами, кажется, должны понимать, что и въ чемъ и какъ...

— Ей-ей не понимаю...

— А видали въ церквахъ...

— То хоругвь...

— Ну да. Я и говорю про то... Чего-жъ вамъ тутъ все не къ мѣсту? Мы—люди неученные... Небось васъ терли, терли мочалкой-то въ наукахъ...

Старикъ очевидно сердился и разговоръ нашъ пресѣкся. Такъ что по тщательномъ размышленіи знаменемъ всей его жизни должно было признаться любимую его поговорку:

— Охъ грѣхи, грѣхи тяжкіе!..

Нѣтъ, берлинскій звѣрь не скажетъ: «грѣхи, грѣхи!». А Будиничъ покорный вздыхаетъ!

Такимъ образомъ, если счесть содержимое этихъ параллелей, окажется, что личная совѣсть любого изъ вышеупомянутыхъ соотечественниковъ какъ-будто ровнешенько ничего не значить въ великихъ дѣлахъ, имъ совершаемыхъ; она не развиваетъ своихъ силъ, не имѣя возможности питать ихъ, и формы ея въ высшей степени неопредѣленныя, а велики или малы силы этой совѣсти—сказать утвердительно тоже невозможно. Тамъ, напротивъ, все дѣло въ крайне маломъ—въ эгоизмѣ, и притомъ самомъ злѣйшемъ,—эгоизмѣ каждой единицы, cada uno сверчка, который за свой шестокъ (хуль-ли, хорошъ-ли онъ, судить не мое дѣло) постоитъ крѣпко. Для насъ этого очень мало; но вѣдь эта малость и дѣлала явленія, которыя считаютъ великими...

Здѣсь мнѣ напоминаетъ слѣдующее обстоятельство.

Въ праздникъ Троицы я вмѣстѣ въ извѣстныхъ уже читателю простонародныхъ соотечественниковъ моихъ отправился въ церковь Парижской Богоматери. Служба шла со всею торжественностью: служилъ парижскій архіепископъ, гремѣлъ органъ, гудѣли виолончели и т. д. Но церковь мы нашли совершенно пустой; кромѣ небольшой кучки народу да иностранцевъ, шатавшихся вокругъ пустыхъ стульевъ и разматривавшихъ росписныя цвѣтныя стекла,—хоть шаромъ покати. «Ослабѣла вѣра», замѣтилъ мой соотечественникъ. И что-жъ? при самомъ выходѣ изъ церкви мы натолкнулись

на слѣдующую сцену. Солдатъ подъ хмелькомъ, съ сигарой въ зубахъ и подъ руку съ подругой, болтая и смѣясь, разспрашивалъ сторожа, пускаютъ-ли теперь посмотри́ть церковь? Онъ такъ съ сигарой и въ капи пошелъ было въ самый храмъ... Онъ—изволите видѣть—идетъ «смотре́ть» церковь. Еслибы мнѣ пришлось видѣть побольше фактовъ хотя такого рода, я бы могъ заключить, что дѣйствительно ослабла вѣра, что ухо отвыкло понимать эти виолончели и хоры дискантовъ; но если мнѣ будутъ попадаться факты вродѣ того, который я сію минуту приведу ниже, то я не знаю, въ какой мѣрѣ прочны и увѣренны могутъ быть мои умозаключенія. Года два тому назадъ ѣхалъ я по Волгѣ изъ города С. На палубѣ попался купецъ-раскольникъ, котораго я только-что передъ этимъ видѣлъ въ томъ же С. во время публичныхъ диспутовъ въ С—скомъ соборѣ, разрѣшенныхъ мѣстнымъ начальствомъ. Диспутъ происходилъ между разными раскольниковыми сѣтами и православнымъ духовенствомъ. Не трудно представить, что споры могли держаться на самыхъ схоластическихъ темахъ, на словахъ, никому не нужныхъ уже, потерявшихъ смыслъ и внутреннее содержаніе. Словомъ, кромѣ схоластиковъ-диспутантовъ, слушатели почти всѣ скучали, сохраняя видъ дѣла (черта наша). Здѣсь-то я встрѣтилъ и купца, который тоже стоялъ и какъ будто внималъ разглагольствованію. Теперь мы съ нимъ встрѣтились опять на палубѣ и заговорили. Тутъ же на полу подъ одѣялами, совершенно какъ дома, на перинѣ лежала жена раскольника, окруженная собственной своей чайной посудой. Она слушала наши разговоры. Мы толковали о диспутѣ. Все, что я ни говорилъ, купецъ все подтверждалъ и со всѣмъ былъ совершенно согласенъ. «Вѣдь просто скучно», говорилъ я.—«Не приведи Богъ! говорилъ купецъ.—Что ни слово скажутъ, меньше какъ четырехсотъ лѣтъ тому слову нѣтъ отъ-роду! Заведутъ-заведутъ канитель,—упаси Господи»...—«Развѣ дѣло въ этихъ пустякахъ, о которыхъ спорять», говорилъ я наприимѣръ—и купецъ отвѣчалъ: «вѣстимо, ужъ какое тутъ дѣло», и т. д. Словомъ, онъ соглашался со всѣмъ и даже, соглашаясь, непремѣнно приводилъ свой доводъ, болѣе высокій въ пользу моего мнѣнія. Эти разговоры и дорога подружили насъ.—«Пойдемте пить чай» сказалъ я. Купецъ началъ мяться и поглядывать на жену и наконецъ заговорилъ, улыбаясь: «такъ-то бы такъ, чайку отчего бы... да... Оказалось, что нельзя пить изъ чужой посуды.—«Да вѣдь, по совѣсти, вѣдь глупость это».—«Оно такъ, дѣйствительно не съ большого ума... ну, какъ-то такъ ужъ»... Помолчавъ и подумавъ, онъ прибавилъ: «Али ужъ мнѣ тебя чаемъ напоить?»—«Ну, напои!» сказалъ я. «Напоить-то тебя я бы вотъ какъ напоилъ, да опять же нельзя тебя къ нашей посудѣ допустить»... Словомъ, онъ зналъ отлично, что все это вздоръ и глупость, все понималъ и со всѣмъ былъ согласенъ и все-таки дѣлалъ что-то. Такъ какъ напиться чаю вмѣстѣ намъ оказалось невозможнымъ, то купецъ со вздохомъ легъ къ женѣ подъ одѣяло и закрылъ глаза—

будто-бы спать, а я ушелъ. Чему тутъ вѣрить? Что тутъ дѣйствительно нужно человѣку и что не нужно, умерло? Ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ утвердительно отвѣтить невозможно. Только скучно.

Если съ этими вопросами подойти къ любому изъ современныхъ явленій русской жизни и, спустившись до отдѣльнаго лица, дѣлающаго это явленіе, встрѣтить въ этомъ лицѣ вовсе не то, что онъ дѣлаетъ (чему я приводилъ примѣры), если убѣдиться къ тому-же, что лицо это можетъ дѣлать какъ угодно, ни въ чемъ лично не нуждаясь и будучи на все готовымъ, то легко поймется томительная тоска, свирѣпствующая всюду, равно какъ и то, что причина этой тоски—не свободная, въ грошъ не ставящаяся совѣсть.

III.

Имѣя намѣреніе современемъ разсказать кое-что изъ міра этой больной совѣсти, ненужной личной жизни, я долженъ прежде всего указать на два типа, которые припоминаются мнѣ теперь и личная жизнь которыхъ, словно въ укоръ мнѣ, совершенно свободна и чиста.

Это во-первыхъ типъ, руководствующійся тѣмъ, что «все Богъ», и совершенно спокойно живущій среди всевозможной сумятицы. Образецъ такого типа мнѣ совершенно случайно пришлось встрѣтить за границей, именно въ Парижѣ,—я говорю о моемъ престопадомъ соотечественникѣ, русскомъ мѣщанинѣ Н. Въ двадцатыхъ годахъ, когда этому соотечественнику было отъ роду не болѣе девятнадцати-двадцати лѣтъ, какой-то русскій купецъ, желая завести иностранную торговлю, завезъ его въ Парижъ, но промотался и умеръ. Соотечественникъ остался въ чужомъ городѣ и съ тѣхъ поръ живетъ тамъ до настоящаго времени. Профессія его—показывать русскимъ Парижъ; онъ знаетъ, кому какой памятникъ, гдѣ платокъ Наполеона, въ который тотъ не успѣлъ высморкаться, сколько милліоновъ стоитъ дворецъ и т. д. Во время выставки онъ очень успѣвалъ во мнѣніи московскаго купечества; если умереть въ Парижѣ русскій, престопадный соотечественникъ непремѣнно явится его обмывать, укладывать въ гробъ, читаетъ псалтырь; кромѣ того онъ постоянно служитъ сторожемъ при одномъ русскомъ учрежденіи въ Парижѣ и, благодаря этому, то-есть тому, что учрежденіе это считается собственникомъ, владѣльцемъ, въ качествѣ представителя отъ этого владѣльца служилъ въ національной гвардіи втеченіе всѣхъ крупныхъ событий послѣднихъ лѣтъ. Чего только стало быть ни видалъ и ни перенесъ этотъ честный человѣкъ, прекрасный семьянинъ. (Онъ женатъ на французкѣ и имѣетъ уже взрослыхъ дѣтей, которыя всѣ пристроены къ мѣсту). И вотъ подъ вліяніемъ этихъ соображеній я вступилъ съ нимъ однажды въ разговоръ; результатомъ этого разговора было то, что теорія, основаніемъ которой «все Богъ», усилилась мнѣ весьма обстоятельно, ибо находилась въ этомъ человѣкѣ въ самомъ чистомъ видѣ. Удаленный изъ Россіи довольно рано, молодымъ

парнемъ, онъ не успѣлъ пропитаться болѣе глубокими философскими взглядами, которыми живетъ и дышетъ напримѣръ купецъ, получившій медаль, а заграницей не могъ по натурѣ усвоить чуждыхъ взглядовъ—осталось «все Богъ» въ самомъ чистомъ видѣ.

— Да какъ же не Богъ-то? говорить онъ.—Зачѣмъ бы мнѣ это надо въ Парижъ изъ Курска—скажите, сдѣлайте милость? А ужъ стало быть, что такъ Богу угодно было... Или теперь: у меня есть медаль за спасеніе погибавшихъ, при Луи-Филиппѣ получилъ я... А по совѣсти говорить, развѣ я знаю, могу напримѣръ объяснить, какъ это я спасъ?... Вы видите, какой я (онъ намекаетъ на свой ростъ; росту онъ небольшого): какъ же я могъ справиться съ верилой съ этакимъ... да что! съ двумя! Видите, какъ было. Шелъ я поздно ночью черезъ Елисейскія поля (тогда этого великолѣпія не было, темнѣ). А разбойничьяго народу—страсть сколько было... Иду такъ-то, слышу въ кустахъ кричить будто кто-то... Ровно мнѣ ущемило за сердце, какъ брошусь—ке-феть-ву-ля (такъ и такъ по-русски), хватъ одного верзилу за шиворотъ, другой убѣжалъ, ну, кричать: стражу! Сбѣжались, и тогда только я увидалъ, что они человѣка душили... Лезить человѣкъ безъ чувствъ... Я даже самъ удивился... Поглядѣлъ на верзилу, обомлѣлъ даже—этакая машина, упаси Господи! Потомъ въ судъ привали свидѣтельствъ.—«Узнаете, говорить предсѣдатель, этого господина (котораго я спасъ-то)?»—Нѣтъ-съ, ваше превосходительство, не узнаю...—«Да вы его спасли!» Тутъ онъ мнѣ такую рѣчь сказалъ, расхвалилъ меня: «вы благородны, честны... у васъ добрая душа—человѣколюбіе... Что вы хотите деньги или медаль?»—Ничего, говорю, ваше превосходительство, я не хочу—потому я тутъ не причѣмъ, и какъ тогда это случилось, не знаю... Ежели бы, говорю, теперьча, вотъ сейчасъ при мнѣ этакой верзила сталъ бы душить человѣка—ни во вѣки вѣковъ бы я не бросился спасать—мнѣ, говорю, самому жизнь дорога... Стало быть, ужъ Богу такъ угодно было...

Помолчавъ немного и понюхавъ табакъ, сѣдой старичокъ этотъ, какъ бы въ раздумьѣ, прибавилъ:

— Въ Сену тоже бросился разъ—человѣкъ тонулъ, вытащилъ... А дай мнѣ сейчасъ тыщу франковъ—«окупись, моля»—такъ и трехъ не возьму, да и миллионъ мнѣ не надо... Стало быть, Богъ все... Или опять женился я—я изъ Курска, она изъ Бретани—судите теперьча: чье это, какъ не Божіе дѣло?

— Вы по любви женились?

— Какъ же мнѣ это помнить? Этому сколько лѣтъ-то! У меня сынъ, милостивый государь, скорока лѣтъ, коми-вожержъ, мнѣ объ этомъ помнить нельзя было... я бился всю жизнь, всѣхъ воспиталъ...

— А не было скучно вамъ заграницей?..

— Какъ не было скучно? Скучалъ... До женитьбы совершенно даже скучалъ; ну, а пошли дѣти—какая тутъ скука?.. Вся тутъ скука и окон-

чилась... Развѣ мало хлопотъ-то? Тутъ норовишь для семейства, анъ хватъ—переворотъ какой-нибудь затѣяли: бери ружье, стой!.. Ужъ какъ они меня черти-французы при Луи-Филиппѣ рассердили, такъ это забыть не могу!.. Внука лежить больна, жена больна, а ты стой съ ружьемъ.—Думаю, ахъ, чтобъ вамъ пусто было! Что вась нелегкая поднимаетъ?..—«Что вы, говорю, господа, все беспокоите себя? Можетъ быть, другимъ семействамъ отъ этого худо бываетъ... У меня вонъ все семейство хвораетъ, а вы тутъ революцію затѣваете...» Ужъ тогда я бѣсился на нихъ шибко... Да что! бѣшенный народъ... Кму все мало! Какого императора спихнули, безумные!..

— Какого?

— А Наполеона! Ка-к-кой императоръ!.. Да и Луи-Филиппъ? Чего имъ еще надо?.. Вы знаете, почему была всякая провизія при Луи-то Филиппѣ, или хотъ при Наполеонѣ?.. Спросите, молъ, почему, напримѣръ, стоилъ лукъ, овощъ, мясо,—и что теперь? «Республикѣ, републикѣ», а поди-ка прицѣнись, во что вогнали картошку?.. да!.. Нѣтъ, я такъ думаю, они и Бога застрѣляютъ, попались только во время! Ей-ей... Кто имъ худо дѣлаетъ? сами себѣ...

— А нѣмцы?

— Да что-жъ нѣмцы?.. Нѣмцы-нѣмцы! ругаютъ, кричатъ всѣ, а нѣмцы во время осады сами намъ пропитаніе доставили. Помню, сынъ у меня захворалъ, а купить нигдѣ нѣтъ. Прошу Христомъ-Богомъ хотъ капусты кочанъ, за что хочешь—нѣту ничего, нигдѣ... А нѣмцы дали; цѣлый возъ дозволили пропустить въ городъ. И очень хорошо бы было нѣкоторымъ семействамъ, ежели бы какъ сбѣдуешь рассортировать, а они что же? Французы-то? Налетѣли на возъ съ капустой, расстреляли все, расхватили по листочку, никому ничего... Нѣмцы всей душой хотѣли...

— Да! заключилъ мой соотечественникъ. Эти перевороты мнѣ вѣхали довольно!.. Какъ зачуетъ, что «что-нибудь» начинается...

— А какъ вы это узнаете?

— Какъ узнаешь? Чуетъ!.. Тожѣ все какъ-будто, а понюхаетъ кругомъ—и нѣтъ, что-то есть... Порохомъ пахнетъ, народъ начинаетъ бѣситься... Вѣдь народъ этотъ ничего, только съ бѣснотой... Словно какъ найдетъ на него что... Ужъ я этого довольно наглядѣлся, теперь ужъ, братъ, меня не оставишь безъ провизіи, какъ при Луи-Филиппѣ или при Шарлѣ-дись... Какъ, говорю, зачуетъ—сію же минуточку капустки, рѣпки, огурчиковъ—всего припасу, пали! шутъ съ тобой!

Такъ онъ откровенничаетъ только съ соотечественникомъ—съ французами же держитъ себя «по ихнему», притворяется развязнымъ, поддакиваетъ—словомъ, представляетъ барина. Иной разъ, желая вдуматься хорошенько въ тамошніе порядки, посмотрѣть на нихъ не съ точки зрѣнія больной внучки и дороговизны картошки, онъ попробуетъ высказать что-то, но на второмъ-же словѣ остановится, махнетъ рукой и скажетъ:

— Огромность это все... По крайности, слава Богу, живь-здоровъ, и за то слава тебѣ Господи!

Вотъ каковъ мой престопадный парижскій соотечественникъ. Сколько есть такихъ соотечественниковъ, но еще больше есть другого сорта типовъ, которые живутъ повидимому тоже во имя «все Богъ», съ тою только разницею, что формула эта переназначается въ такую: «Богъ не выдастъ, свинья не съѣстъ». Здѣсь подъ именемъ свиньи подразумѣвается весь родъ людской, среди котораго живешь и съ которымъ приходится дѣлать дѣла. Парижскій соотечественникъ — звѣрекъ тихій, смиренный, волокущий въ свое гнѣздышко по щепочкѣ, по перышку, «что Богъ даетъ»; тогда какъ типъ послѣдняго сорта обязанъ вырвать у свиней то, что ему потребуется. Зналъ я на своемъ вѣку одну бабу-крестьянку. Она пришла въ Петербургъ изъ Пинеги, потому что въ Пинегѣ стало нечего ѣсть. Это была грубая, черномазая женщина высокаго роста. Въ Петербургѣ она отъѣзжалась скоро, и такъ какъ «ѣсть» — до сего времени составляло все, что ее держало на бѣломъ свѣтѣ, то житье ей стало въ Питерѣ плохое. Она жила у нѣмки въ меблированныхъ комнатахъ, била посуду, ибо что такое посуда и зачѣмъ? Спала какъ мертвая и огрызалась, когда ее будили. Не могла упомянуть фамиліи того или другого жильца, не могла выучиться узнавать, который часъ. Въ перекоръ она никогда не ходила, потому что это ей было не нужно. Словомъ, это было созданіе, способное покуда только ѣсть. За разгильдяйство ее колодили жестоко, но это ей было ни почемъ: она даже улыбалась, видя, какъ нѣмка дуетъ на руку, оцѣмѣвшую отъ удара по каменному плечу Марьи. Иной разъ она вдругъ заскучаетъ, сидитъ, плачетъ.

— Что съ тобой? спросать ее.

— Хлѣбъ у насъ пожалуй хорошъ уродился...

— Ну, такъ что же?

— Дѣвки замужъ идутъ...

Но вотъ въ жизни ея случился переворотъ, именувемый любовью, хотя здѣсь это слово неумѣстно. Прислуга меблированныхъ комнатъ утащила ее однажды на иллюминацію, а съ иллюминаціи Марья возвратилась уже утромъ, и дня черезъ два ее нельзя было узнать. Въ этомъ она сходна съ парижскимъ соотечественникомъ, у котораго скука прекратилась, какъ только пошли дѣти. Марья, почувствовавъ, что она будетъ мать, тоже какъ будто сразу скинула съ себя лѣнь и дурь и принялась обѣими руками тянуть кусокъ изъ пасти свиньи, то есть всѣхъ, кто ей ни попадался. И фамиліи жильцовъ она узнала, и знала, что у кого есть, и часы вдругъ стала узнавать, и узнала, кто добръ, кто золъ изъ жильцовъ... «Теперь еще четвертый часъ, стала она шептать, господинъ Федоровъ приходитъ въ пятомъ» — и она смѣло входила къ г-ну Федорову въ номеръ; запустила руку въ сахарницу, взяла сахару, отсыпала чаю; галстухъ валяется — и галстухъ ваяла, спрятала... Или вотъ другой господинъ, «простой», подгулялъ съ пріятелями — и ужъ Марья тутъ; какъ, оказывается, тонко понимаетъ она этого простого господина! «Сестра

четвертый мѣсяцъ въ больницѣ... сумасшедшая... маленькая дѣвочка у ней осталась, пить-ѣсть нечего... Что на себѣ было отдала... жалобно причитаешь она. И баринъ все вынимаетъ мелочь, все вынимаетъ... «А кумъ ей голову прошибъ, да еще говоритъ: убью»... А баринъ все вынимаетъ, и Марья примѣчаетъ, гдѣ водится у барина эта мелочь, и когда баринъ спитъ, обыщетъ этотъ карманъ. Она стала изворотлива какъ кошка; куда она прятала, что тащила, — никто никогда не находилъ. Отецъ будущаго ребенка попробовалъ-было ее разыскать и повидаться, но такъ какъ и онъ изъ числа свиней, которымъ надо не дать возможности съѣсть, то черезъ десять минутъ и у него куда-то дѣлся платокъ, въ одномъ уголкѣ котораго былъ завязанъ рубль. Съ тѣхъ поръ этотъ человекъ и глазъ не показывалъ, что конечно еще болѣе укрѣпило Марью въ томъ, что «всѣ свиньи». И вотъ она стала родить — тащить съ праваго и съ виноватаго, перешивать и одѣвать ребятъ... Какъ она обращается съ дѣтьми? Любить, бить и пичкаетъ всѣмъ, что попало подъ руку, что нашлось «у господъ». Когда отвозятъ ребенка въ деревню, она плачетъ и потомъ удваиваетъ свою хищническую дѣятельность...

Да, здоровый, настоящій человекъ и Марья, — а страшновато. Ну, а затѣмъ начинается великое море болѣзней и печалей ненормально живущаго духа!

IV.

Послѣ трехмѣсячнаго шатанья въ чужой сторонѣ, преимущественно въ Парижѣ, въ одинъ вечеръ, вмѣсто того чтобы по обыкновенію идти куда-нибудь и что-нибудь видѣть, мнѣ захотѣлось въ первый разъ остаться дома, ибо въ первый разъ я почувствовалъ, что «пора собираться домой»... Чужимъ въ этой чужой жизни я чувствовалъ себя давно, постоянно: въ театрѣ, на улицѣ, въ танцующей на общественномъ балу толпѣ, — словомъ, вездѣ ощущалась полная невозможность быть такъ, какъ они, не притворившись... А что уже притворяться! Мнѣ захотѣлось уѣхать, и не потому, чтобы мнѣ надоѣла «правда», о которой я только-что говорилъ и которая живетъ во всемъ, что видишь, и дѣлаетъ живымъ все, что держится ею; я почувствовалъ потребность уѣхать именно изъ боязни утратить это хорошее впечатлѣніе правды явленій, такъ какъ самыя явленія «ягодки» существующаго на бѣломъ свѣтѣ порядка — иной разъ весьма непривлекательныя — здѣсь и подавно непривлекательны, потому что они «настоящія...» Настоящее стремленіе вѣрить только въ копѣйку; настоящій развратъ, настоящая безысходная бѣдность и другіе продукты современныхъ порядковъ безъ особеннаго труда бросаются здѣсь въ глаза на каждомъ шагу. — «Бромъ Наполеона четвертаго — никто не будетъ!» говоритъ знакомый мнѣ сапожникъ (извините, что примѣры все престопадные) и показываетъ на пальцахъ четыре. «Вотъ! больше никого». — А такой-то принцъ? — Сапожникъ молча черкаетъ пальцемъ по горлу. — А этотъ? — Сапожникъ

повторяет тот же жестъ сниманія съ плечъ головы...—Да почему же именно Наполеонъ?—«Потому что при Наполеонѣ я имѣлъ пять тысячъ франковъ доходу...»—Больше ничего?—«Чего вы хотите? Больше ничего (показываетъ опять 4 пальца). Вотъ!—и больше никто!» А вотъ другой простолюдинъ, попросту мужикъ заграничный (опять извините!), онъ живетъ одиннадцать лѣтъ въ Парижѣ и—повѣрите ли кто?—не знаетъ, гдѣ Нотр-Дамъ, Булонскій лѣсъ... онъ даже не разбираетъ, что будетъ—республика ли, или имперія! ему бы только получать аккуратно, что ему слѣдуетъ, аккуратно класть въ банкъ и лелѣть мечту о собственномъ отелѣ въ провинціи, чтобы получать и класть. Кромѣ лѣстницы съ номерами по бокамъ, откуда онъ получаетъ франки, кромѣ метлы, щетки, сапогъ, тазовъ и рукомыльниковъ, онъ не знаетъ ничего—и совершенно веселъ на этой лѣстницѣ. Жестами рѣшаетъ онъ всѣ вопросы, посторонніе копѣйкѣ. —Что такое любовь?—Жестъ простой и ясный. —Что такое женщина?—Опять жестъ и т. д. Онъ такъ вѣритъ, что, кромѣ копѣйки, все остальное вздоръ, такъ спокоенъ за свою философію, что на его довольное и веселое лицо завидно смотрѣть. А настоящій, основательный, до послѣдняго слова, до послѣдней точки доведенный развратъ и неразлучный съ нимъ разлагающій «запахъ» денегъ, золота, запаха котораго я никогда не ощущалъ наприимѣръ на Невскомъ... А бѣдность, которая тутъ же, въ двухъ шагахъ отъ залитыхъ золотомъ бульваровъ и кафе, — бѣдность, которая угрюмо «терпитъ» свою долю, словно въ насмѣшку обставленную какими-то яко-бы удобствами... Бѣдность эта терпитъ какой-то яко-бы обѣдъ въ кафе, освѣщенномъ газомъ, пьетъ какое-то яко-бы вино, такого же самаго цвѣта и названія, что и у президента республики; будто бы весело проводить вечера, часы отдыха на пятикопѣчныхъ балахъ, танцуя съ своими дамами, которыя будто-бы одѣты совершенно прилично, хоть иной разъ при хорошемъ взмахѣ юбки къ верху оказывается, что, кромѣ ботинокъ да того, что надѣто сверху,—все остальное въ отсутствіи. Сколько нужно этому бѣдняку имѣть умѣнья притворяться, что онъ не замѣчаетъ, какъ его яко-бы подруга, того и гляди, уйдетъ за золотомъ какихъ-то пьяныхъ франтовъ, явившихся на пятикопѣчнымъ балу съ цѣлю охоты на «личъ» женскаго пола. Какъ мало этой дичи однако! Все обстрѣлено и выдало виды, все чувствуетъ большой аппетитъ къ чужому золоту... Да, цвѣтовъ и ягодъ современнаго порядка много, и любоваться ими долгое время рѣшительно невозможно, вотъ почему я и почувствовалъ, что пора собираться домой и, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, собрался чуть ли не на слѣдующій день и уѣхалъ...

Много хорошаго и дурного видѣлъ я въ чужомъ городѣ и равно благодаренъ ему какъ за то, такъ и за другое, да, даже и за другое, потому, что если я—человѣкъ, дѣйствительно любящій человѣка, то, видя передъ собою «настоящее» положеніе дѣла, я могу еще болѣе укрѣпить мою любовь, вѣрить, что она нужна... И кромѣ того, что значать эти безчи-

сленные слѣды пуля, которыми прострѣлены зеркальные стекла, испараны фасады дворцовъ, церквей, изборозжены монументы, арки?... Глядя на эти безчисленные бѣлые кружки съ темнымъ ободкомъ дыма кругомъ, невольно представляешь себѣ, что въ этихъ улицахъ и переулкахъ находилась какая-то бѣснующаяся, сумасшедшая толпа, которая хотѣла повидному разбросать, спихнуть, разрушить все, что есть кругомъ. Чѣмъ виноваты наприимѣръ эти каменные триумфальныя ворота, на которыхъ изображены аллегорическія фигуры царей, голыхъ воннговъ, игрушечнаго вида и задора лошади, колесницы и т. д. Чѣмъ виноваты эти ничтожныя воротцы? А между тѣмъ они сплошь сверху до низу испелканы пулями, отбившими носы у древнихъ царей, хвосты у лошадей и т. д. Очевидно, что здѣсь бился и метался какой-то обезумѣвшій человѣкъ, и этотъ-то человѣкъ—тотъ самый, который задохнулся отъ крѣпкаго букета вышеупомянутыхъ цвѣтовъ... Тутъ въ толпѣ этихъ сумасшедшихъ, вышедшихъ изъ терпѣнія, былъ навѣрное и лакей, которому надобла метла и лѣстница, тутъ и камелія, которая могла бы и хотѣла быть матерью, сестрой, женой и которая зла на порядки, не давше ей ни того, ни другого, ни третьяго... Тутъ былъ навѣрно и бѣднякъ, которому надобла яко-бы обѣды, яко-бы жены, яко-бы семья, и который металъ за невозможность имѣть это въ настоящемъ видѣ и смыслѣ, металъ какъ сумасшедшій, ломая и разрушая все, что ни попадется подъ руку...

Глядя на эти пули, невольно думаешь и убѣждаешься, что всему этому, порожденному старыми порядками, въ конецъ ими испорченному народу жить такъ дальше нельзя, что ему не только скучно такъ, какъ скучно вамъ, постороннему зрителю,—а просто нельзя, невозможно дольше жить, и, вѣра въ правду явленія, вы надѣетесь, что дѣйствительно такъ продолжаться дольше не можетъ... Уѣжая, я думалъ, что все будетъ лучше, правдивѣе, умнѣе... Какъ же не благодарить за это чужую сторону! Съ этимъ хорошимъ ощущеніемъ я возвращаюсь назадъ и дня черезъ два снова вижу Петербургъ...

Въ тотъ же вечеръ въ бесѣдѣ съ пріятелями я слышу и отъ соотечественника моего тоже, что «такъ жить нельзя». Картину онъ нарисовалъ при этомъ раздражающую; матеріала для того, чтобы нарисовать картину раздражающую, у пріятеля были полны руки. Но потомъ какъ-то такъ вышло, что въ тотъ же вечеръ тотъ же самый пріятель мой нарисовалъ и другую картину умиленную, съ блестящимъ будущимъ, ибо и для этой картины матеріалу тоже у него оказалось въ рукахъ довольно много. И обѣ картины были какъ-будто справедливы... И вотъ, съ легкой руки этого пріятеля—пошли мы встрѣчаться коммунары съ возможностью довольствоваться и философіей копѣйки серебромъ, пошли ретрограды, думающіе въ глубинѣ души, что имъ бы слѣдовало быть либералами, и либералы, которые, быть можетъ, въ сущности и не либералы... Потянулось, словомъ, что-то вроде ни да ни нѣтъ, ни два ни полтора, ни тире ни ну...

Стало мнѣ скучно.

Поѣхалъ я въ деревню къ пріятелю. Здѣсь, правда, есть кое-что «настоящее», поучиться кое-чему можно, но и сюда уже проникаетъ нравственное «ни да, ни нѣтъ...» Встрѣтилъ я здѣсь пьянаго мужика, возвращавшагося съ бабой изъ сосѣдняго села. Баба не давала ему денегъ на водку; онъ присталъ ко мнѣ и, чтобы угодить, прочиталъ мнѣ апостолъ (очевъ искусно) собственного сочиненія, смотря въ ладони, какъ въ книгу, — но такого содержанія, что баба ушла прочь, плюнувъ и обругавъ мужа «безбожникомъ» и проклятымъ. И дѣйствительно мужикъ былъ безбожникъ, если только чтеніе (котораго я привести не могу) — собственное его изобрѣтеніе... Ему все тринь-трава да такой степени, что я долгое время не могъ опомниться и не замѣчалъ, что онъ уже давно ждетъ «награды». — «Станови что-ли, говорилъ мужикъ. — Али не уважилъ? Хоть пива... Ей-ей послѣднія нонѣ отдалъ попу, нечѣмъ охмелиться...» — Зачѣмъ попу? — «Да вѣдь надо молитву дать этому щенку (у бабы былъ на рукахъ ребенокъ) — али нѣтъ? Кажется, мы хрещеные... Поставь, баринъ!.. будетъ тебѣ!.. Я тебѣ еще такую-ли скажу!..»

Пожилъ я въ деревнѣ, показалось мнѣ, что будто-бы я заболѣлъ — и вотъ поѣхалъ я будто-бы лечиться на однѣ русскія минеральныя воды. Здѣсь въ первый же день за общимъ обѣдомъ въ гостиницѣ попался бравый мужчина съ нафабранными по военному усами и баками и какъ-то невзначай проболтался о томъ, что онъ посланъ на минеральныя воды однимъ отдѣленіемъ одной канцеляріи для... «наученія народнаго быта...» Потомъ, послѣ обѣда, я собственными ушами слышалъ, какъ этотъ господинъ, желая изгладить не совсѣмъ удовлетворительное впечатлѣніе, произведенное на умы публики этимъ извѣстіемъ, отвелъ въ уголокъ одного молодого человѣка и держа его за пуговицу, говорилъ: «Согласитесь сами, что ежели бы это было и такъ, то-есть ежели бы ваше предположеніе было справедливо — согласитесь, что гораздо лучше, если это гнусное (и по моему совершенно справедливо!) дѣло будетъ находиться въ рукахъ честнаго человѣка... Согласитесь, что это такъ». Но молодой человѣкъ повидимому не высказывалъ согласія, по всей вѣроятности полагая, что гораздо бы было лучше, еслибы гнуснымъ занимался гнусный, а честный брался только за честное... «Въ сущности, пояснилъ бравый мужчина, я самъ глубоко презираю ту печальную необходимость... но...» и т. д.

Ставъ я лечиться, а факты изъ области «ни да, ни нѣтъ» все не прекращались...

У.

Изъ ближайшаго уѣзднаго города пріѣхалъ тоже лечиться на воды одинъ монахъ изъ благородныхъ; онъ велъ себя солидно, носилъ окладистую бороду и уединялся отъ публики съ книгой, когда въ саду играла музыка. Черезъ два или три мѣсяца онъ долженъ былъ постричься окончательно

но. (Прислуга его называла «неокончательный» монахъ). Намъ пришлось жить въ одной гостиницѣ; номера наши были рядомъ, и потому будущій іеромонахъ часто заходилъ ко мнѣ. Разговоръ шелъ о духовныхъ предметахъ; монахъ рассказывалъ процессъ будущаго постриженія, довольно подробно и обстоятельно, мѣшая его съ такими взглядами и мнѣніями, которые среди духовныхъ разговоровъ звучали какъ-то странно... — «Не могу жаловаться, говорилъ онъ между прочимъ, — я пошелъ довольно хорошо по духовной части... Въ военной мнѣ не повезло...» — «Вы были въ военной?» — «Какъ же! я два съ половиной года служилъ офицеромъ въ —скомъ пѣхотномъ полку принца Барла... Сами знаете, что за жизнь армейскому офицеру... Вознагражденія — грошъ... а... да наконецъ еслибы была протекція... тогда другое дѣло... я бы конечно, можетъ быть, и не пошелъ бы... Но теперь по духовной части у меня есть рука довольно сильная». Настоятель меня любилъ... кружечный сборъ доходилъ до... все готовое... и наконецъ мнѣ давно хотѣлось уединенія...» Ужъ и изъ этихъ объясненій можно было видѣть, въ какой мѣрѣ прочны основанія, на которыхъ зиждутся взгляды отца Виктора на счетъ разныхъ частей «духовной, военной» и т. д. Но это еще цвѣточки... Прямо изъ окна моего номера видна была лачуга съ вывѣскою портного и съ модными картинками, прилѣпленными къ зашпаклеваннымъ окнамъ; бывая у меня, отецъ Викторъ часто посматривалъ на эту вывѣску и часто спрашивалъ: — «Какой-токой это Иванъ Купидоновъ, военный, статскій и дамскій... Ужъ не нашъ-ли это дворовый? У насъ былъ одинъ Иванъ Купидоновъ и учился въ губернскомъ городѣ портновскому дѣлу». Оказалось, что этотъ Купидоновъ — именно тотъ самый. Прослышавъ стороной, что тутъ близко находится барчукъ — монахъ изъ военныхъ, бывший дворовый явился повидаться. Свиданіе происходило у меня въ комнатѣ. Иванъ Купидоновъ, уже пять лѣтъ занимающійся своимъ дѣломъ «отъ себя», успѣлъ принять человѣческій образъ и съ большими усиліями дѣлалъ «рабское лицо» предъ баринѣмъ. Баринъ все-таки остался доволенъ. Когда оба они вспомнили прошлое, пожаловались на настоящее, вздохнули по нѣсколько разъ, — дворовый сталъ жалѣть и печалиться о баринѣ: — «Эхъ, Викторъ Сергѣевичъ, говорилъ онъ, показывая головой съ сдѣланнымъ рабскимъ лицомъ, — охота вамъ было въ монахи... То-ли бы дѣло, ежели бы вы были по-прежнему... танцы всякіе... все бы себѣ позволить могли...» — «Будетъ, сказалъ баринъ вздохнувъ, — натащовался». — «И безъ васъ есть кому стоять на молитвѣ... А ужъ костюмъ бы я вамъ уготовилъ — Шармеръ! ей, ей! Помѣряйте, вотъ сюртукъ... (У портного былъ подъ мышкой узелокъ). Чего вы опасаетесь? Кажется, суконо что на расѣ, что въ сюртукѣ одинъ даръ Божій». — «Такъ-то такъ...» — «Такъ что-жъ! Гляньте, помѣряйте-ка». Отецъ Викторъ помолчалъ и съ улыбкой пошелъ примѣривать сюртукъ. Просто такъ, примѣрять только. Я ушелъ куда-то. Вечеромъ, часовъ въ

одиннадцать, ко мнѣ входить Викторъ, но уже обстриженный и въ статскомъ платьѣ...

— Видите, сразу началъ онъ,—такъ какъ постриженія еще не было, то по уставамъ не возбраняется... по крайней мѣрѣ ничего опредѣленнаго нѣтъ... Если-бы я шелъ по сбору — напимѣрь, прибавилъ онъ,—я имѣлъ бы право заходить въ трактиры, въ кабаки... Отчего же теперь я не могу быть въ воксалѣ, на концертѣ, на танцевальномъ вечерѣ?... Какъ вы думаете? Не дурно сидѣть.

Сидѣло не дурно.

— Я заказалъ бѣлый жилетъ... вѣдь носятъ же жилетъ подъ расой; отчего-жъ ихъ не носить открыто... По крайней мѣрѣ честно!

За жилетомъ пошло бритье бороды (на что было взято однако докторское свидѣтельство), нафабриканіе усовъ, натягиваніе перчатокъ, подыскиваніе мѣста на желѣзной дорогѣ, не упуская въ то же время мысли и о постриженіи... Если мѣсто выходило, то Викторъ Сергѣевичъ говорилъ: «Хотя я люблю уединеніе, но уединяться можно и не надѣвая клобука, не загораживая себя каменными стѣнами... Богъ вездѣ... Да, наконецъ, великъ ли нашъ кружечный сборъ?» и т. д. Если же надежды на мѣсто ослабѣвали—то рѣчь шла примѣрно такая: «Да почему же вы думаете, что и въ монастырѣ нельзя быть полезнымъ обществу? Лучше же буду я, чѣмъ какой-нибудь отставной солдатъ, постигающійся исключительно ради даровыхъ хлѣбцовъ и толкующій бѣдному народу, что самъ своими глазами видѣлъ дьявола. Во всякомъ случаѣ я-то уже не скажу этого... Кроме того предполагаются постройки и навѣрно будетъ поручено мнѣ...» Словомъ, безъ особеннаго труда, безъ особеннаго соображенія по русски воспитанный умъ

его могъ являться совершенно готовымъ на всякую часть. Онъ мнѣ показывалъ письма разгнѣванныхъ на его поведеніе родственниковъ и настоятеля. Какое разнообразіе взглядовъ, убѣжденій! «Ну, что ты могъ бы получить на желѣзной дорогѣ, о которой бѣсъ вложилъ тебѣ въ умъ? писать ему настоятелю—много, много ежели ты получишь триста рублей, но замѣть—на своихъ харчахъ!.. Дьяволъ на столько ослѣпилъ твой умъ, что ты какъ бы совсѣмъ забылъ о дороговизнѣ жизненныхъ припасовъ, тогда какъ, идя на духовной части, ты получишь помимо кружечнаго сбора...» и т. д. «Врагъ рода человѣческаго (писала ему родственница), которому безъ сомнѣнія принадлежать всѣ солѣнные тобою свинства, на столько опуталъ тебя, что ты ужъ не въ состояніи ясно видѣть, что карьера твоя должна ограничиться заботою о душѣ, молитвою, ибо князь Сергѣй Андреевичъ, какъ тебѣ должно быть хорошо извѣстно, умеръ два года за границей, а безъ него, ты очень хорошо знаешь, тебѣ нѣтъ протекціи ни въ армію, ни въ штатскую службу... Молись и проси у Бога прощенія, зная, что на желѣзныхъ дорогахъ всѣ мѣста заняты и нигдѣ тебѣ не дадутъ ничего...»

— Да что же это такое? воскликнуть я, когда однажды почему-то вдругъ припомнилось мнѣ все видѣнное за послѣднее время.—Гдѣ же тутъ, во всемъ этомъ, въ этихъ неокончательныхъ монахахъ, изучателяхъ народнаго быта, безбожникахъ и проч. и проч.,—гдѣ тутъ правда, совѣсть, могущая въ искренности, чистотѣ и силѣ потягаться съ совѣстью напимѣрь вышеупомянутаго лакея, то слѣпо вѣрашаго въ копѣйку, то слѣпо идущаго завоевать другую вѣру, когда копѣйки мало.

ОЧЕРКИ И РАЗСКАЗЫ.

І. Б у д к а.

О Ч Е Р К Ъ.

І.

На углу двухъ весьма глухихъ и бѣдныхъ переулковъ уезднаго города стояла будка; фizioномія ея походила на тѣ бесѣдки съ колоннами и куполомъ, которыя встрѣчаются на дубочныхъ изображеніяхъ иностранныхъ виллъ, причемъ обыкновенно впереди виллы, въ водѣ, плаваютъ два лебедя другъ противъ друга, сзади видны деревья, а по дорожкамъ прогуливаются господа въ шляпахъ на бекренѣ, въ черныхъ фракахъ, дѣти съ обручами и дамы съ зонтиками на плечѣ; походила она также на тѣ храмы музъ, которые обыкновенно изображаютъ на занавѣсахъ провинціальныхъ театровъ; такому сходству весьма способствовала старинная архитектура будки; она дѣйствительно была съ колоннами и куполомъ; а каменные, ободранныя

стѣны ея были круглы; но нѣкоторыя повидимому весьма ничтожныя вещи, какъ напимѣрь низкая дверь съ колами истерзанной рогожи и войлока, привѣсистая черная труба, вѣнчавшая вершину купола, и въ особенности жестокая алебарда, видѣвшаяся всегда у колоннъ, весьма краснорѣчиво доказывали наблюдателю, что видное нѣмъ зданіе не есть храмъ музъ, но есть кулузъ или сибирка; тѣмъ болѣе, что громадные лапоши дубочника Мырцова, набитые для тепла соломой и постоянно торчавшіе передъ будкой на улицѣ,—ни въ какомъ случаѣ не могли напоминать лебедей, плавающихъ передъ иностранною виллою.

На тоненькихъ почернѣвшихъ колоннахъ будки всегда трепетали по вѣтру какіе-то писанные и печатные лоскутки, на которыхъ значилось, что такого-то числа военные и гражданскіе чиновники приглашаются пожаловать въ парадной форѣ... Что того же числа въ мѣщанской управѣ будетъ происходить торгъ и переторжка на имущество мѣ-

щанки Степаниды, состоящее из утюга и кровати, опѣненных въ тридцать копѣекъ... Что въ залѣ дворянскаго собранія имѣетъ быть балъ, почему благоволятъ надѣть бѣлые жилеты тѣ, кои и т. д. Но страна, гдѣ стояла будка, не имѣла ни парадной формы, ни тридцати копѣекъ, чтобы овладѣть обольстительнымъ имуществомъ Степаниды, ни наконецъ бѣлыхъ жилетовъ; и поэтому-то пропаганда будочника Мырцеова по исчисленнымъ вопросамъ была совершенно ничтожна; закутавшись въ казенную шубу, онъ, правда, постоянно торчалъ около той или другой колонки и повидимому сторожилъ эти писанные и печатные лоскутки, но въ сущности смыслъ и содержаніе ихъ были ему извѣстны ровно столько же, сколько и жестяной алебардѣ, которая тоже торчала рядомъ съ Мырцеовымъ, только у другой колонки... Оба они пропагандировали нѣчто другое и слѣдовательно недаромъ мерали на вѣтру...

Будочникъ Мырцеовъ принадлежалъ къ числу «неспособныхъ», т. е. людей совершенно негодныхъ въ войскѣ. Эти неспособные болѣею частью происходятъ или изъ обдѣленныхъ природою бѣлорусовъ, или изъ русачковъ сѣверныхъ безхлѣбныхъ и холодныхъ губерній. Мачиха природа и лебеда полопаетъ съ древесной корой, питающей ихъ, загода, со дня рожденія, обрекаетъ ихъ быть идіотами и Богомъ убитыми людьми; она надѣляетъ ихъ непостижимою умственною неповоротливостію и всѣ почти задавленные стремленія человѣческой природы сводитъ на жажду водки, которую они поглощаютъ въ громадныхъ размѣрахъ; они умѣютъ напиваться молча, не произнося ни единого слова; молча дерутся въ кровь и, валяясь гдѣ-нибудь въ глухомъ и безлюдномъ переулкѣ, почти въ безпамятствѣ умѣютъ бормотать только одно: «виновать», ни на минуту не выпуская изъ скуднаго и запуганнаго воображенія образъ грознаго начальства.

Начальство вообще панически дѣйствуетъ на нихъ; при видѣ его несчастные «неспособные» вытягиваются въ струнку, замираютъ и задыхаются въ воротничкѣ, стянутомъ туго-на-туго; виски, намазанные для праздника свинымъ саломъ, начинаютъ потѣть, а глаза получаютъ способность пускать слезы. Кромѣ мачихи-природы послѣдніе признаки человѣческаго существа изъ нихъ выключивается военная муштровка; въ древнія времена результаты ея отдавались у неспособныхъ на скулахъ, подъ скулами, на спинѣ и далѣе. «Муштра» комкала ихъ, переламывала въ нѣсколькихъ направленіяхъ, какъ какую-нибудь палку или доску, и оставивъ въ живыхъ только косицы, намазанная свинымъ саломъ, сдавала въ провинціи на разныя должности:—въ «хожалые», пожарные и проч. Воины эти, вступая на новый постъ, непремѣнно имѣли разныя увѣчья и вывихи—разорванную въ дракѣ губу, выломанное ребро, ухабы и ямы въ головѣ и спинѣ; соединивъ эти приобрѣтенія съ тѣмъ наслѣдіемъ природы, о которомъ уже упомянуто, они представлялись субъектами самаго страннаго свойства; никто никогда не могъ долбить имъ въ

голову чего-нибудь, неотносящагося до ихъ пожарной специальности и въ свою очередь тоже и отъ нихъ нельзя было добиться чего-нибудь. Самый краткій разговоръ съ такимъ существомъ всегда оканчивался тѣмъ, что начавшій разговаривать прерывалъ рѣчь, съ ожесточеніемъ восклицая:

— Да что ты? Ты оглохъ что-ли?..

Но субъектъ не оглохъ, онъ просто былъ «неспособный».

Будочникъ Мырцеовъ обладалъ всѣми упомянутыми увѣчьями въ полномъ объемѣ; всѣ эти вывихи, переломы имѣлись у него даже въ сверхкомплектномъ количествѣ, дѣлая изъ него угрюмую, неповоротливую фигуру, весьма походившую на корень дерева, глубоко сидѣвшій въ землѣ и вывернутый оттуда силою бури; видно было, что тутъ происходило и упорство съ одной стороны, и сокрушительная сила съ другой; корень вывернуть изъ земли, изувѣченный и бездушный.

Несмотря на то, изувѣченность и умственное оскуднѣніе были главною причиною того блистательнаго успѣха, съ которымъ Мырцеовъ занималъ предназначенный ему постъ, можно даже сказать навѣрное, что успѣхъ этотъ могъ увеличиваться и возрастать по мѣрѣ того, какъ теченіе времени и дракъ будетъ выхватывать у него новыя ребра и дѣлать новыя ямы въ головѣ. Только при такихъ условіяхъ раскраденный умственный капиталъ его, не развлекаясь никакими посторонними интересами, могъ сосредоточиться и даже впитаться въ главныя его обязанности; обязанности эти состояли въ томъ, чтобы во-первыхъ «тащить», а во-вторыхъ «не тущать»; тащилъ онъ обыкновенно туда, куда рѣшительно не желали попасть, а не пускалъ туда, куда этого смертельно желали. Словомъ, гдѣ только человѣкъ находился въ положеніи, опредѣляемомъ фразою «ни назадъ, ни впередъ», тамъ навѣрное Мырцеовъ принималъ живѣйшее участіе; говорить, что съ теченіемъ времени Мырцеовъ до того вѣлся въ это тасканіе, что въ людяхъ началъ замѣчать только шивороты, и этимъ отличалъ людей отъ безсловесныхъ животныхъ и неодушевленныхъ предметовъ, поэтому-то Мырцеовъ и жестяная алебарда были представителями шиворотной пропаганды и слѣдовательно не даромъ мерали на вѣтру.

Забота о шиворотахъ поглотила все его существо, такъ что въ ней, какъ въ бездонной пропасти, почти безслѣдно исчезала послѣдовательная нить его философіи и свойства его какъ семьянина; о семейныхъ отношеніяхъ къ его супругѣ можно сказать, что онъ и жена жили не такъ, какъ живутъ кошка съ собакой, потому что несходныя качества этихъ животныхъ совмѣщались въ одной супругѣ, и Мырцеову осталась роль безчувственного пня, на который могутъ брехать собаки и царапать лапами кошки, не надѣясь получить въ отвѣтъ ничего кромѣ мертваго равнодушія и поплевываній въ уголъ, и то вслѣдствіе пріятнаго ощущенія, доставляемаго махоркой. Гробовое молчаніе и угрюмость рѣшительно не давали возможности разглядѣть въ подробности всѣ личныя особенности Мы-

мрецова; несокровеннымъ было то, что онъ очень любилъ тютюнъ, услаждавшій его въ минуты отдыха, и что три денежки въ сутки да ковриги казеннаго хлѣба съ нумерами на верхней коржѣ, написанными мѣломъ, поддерживали его изувѣченное существованіе на славу множества шиворотовъ, и только; мракъ угрюмости и молчанія непроглядною пеленою покрывалъ тайну происхожденія его другихъ желаній и убѣжденій. Такъ, намъ уже извѣстно, что онъ умѣлъ, въ качествѣ илота, напиваться молча; по праздничнымъ днямъ онъ угрюмо шатался изъ двора во дворъ и вездѣ лилъ въ себя водку, не зная рѣшительно границъ этому литью и не подозревая, что желудокъ его—не бездонная пропасть. Цѣлыя недѣли послѣ этого онъ мучился грудью, поясницей, головой, но на слѣдующій праздникъ исторія повторялась въ томъ же порядкѣ. Такою же таинственностью покрыта его страсть копать серебряные пятачки. Почему онъ съ лихорадочною жадностью завертываетъ тихомолкомъ каждый пятакъ въ тысячу тряпокъ? зачѣмъ такъ далеко прятать ихъ въ шерстяной чулокъ и засовываетъ потомъ подъ крыльцо? Неужели онъ думаетъ нажить богатства и сокровища? Неужели объ этихъ сокровищахъ онъ такъ усердно молить Бога, оставшись вечеромъ одинъ, не спускаетъ съ крошечнаго образочка своихъ глазъ, падаетъ на колѣни и такъ крѣпко, крѣпко бьетъ себя кулакомъ въ грудь?..

Мырцецовъ объясняетъ эти молитвы и собираніе пятакъ тѣмъ, что скоро онъ пойдетъ въ свою сторону: онъ дожидается только времени, когда перестанутъ у него выть кости, руки и ноги... Онъ ждетъ, пока у него отойдетъ хрипота въ груди, мѣшающая ему свободно дышать, и тогда онъ непремѣнно уйдетъ къ своимъ...

II.

Вообще таинственныя свойства души Мырцецова совершенно необъяснимы, и мы, не имѣя права умозаключать о нихъ, прямо переходимъ къ его дѣятельности.

Дѣятельность эта, т. е. тасканіе и хватаніе за шивороты, не прекращалась у Мырцецова ни на одну минуту: утромъ онъ обыкновенно отправлялся въ часть и рапортовалъ начальству о своихъ успѣхахъ, налагая рѣчь сообразно съ своею изувѣченностью и искалѣченностью.

— Ну, спрашивалъ его квартальный, перелистывая какія-то бумаги,—ты что-же это тамъ съ бабами-то воюешь?

— Помилуйте, вашскородіе, я только-что отпихнулъ ее отъ себя.

— Кого?

— Эту самую даму... Смоленскую...

— Какую Смоленскую?

— Да которая, напримѣръ, шельма самая... Гордѣиха приказываетъ ее узать, а она говоритъ: «я, говорятъ, съ эстой дрянью не пойду». Она вашскородіе, меня дрянью назвала...

— Ну?

— Ну, я ее отпихнулъ... говорю: «ты мнѣ не нужна!» А разодравши онъ были прежде... Я побегъ, онъ ужъ разодравши были... и ужъ глазъ расшибли... въ томъ числѣ...

— Въ какомъ числѣ?

— Въ числѣ драки-съ.

— Чортъ тебя знаетъ, что ты городишь! Посадила?

— Помилуйте!

— Ступай!

Обыкновенно дѣла шли такимъ образомъ, что Мырцецовъ не успѣвалъ возвратиться домой, какъ гдѣ-нибудь на пути къ будкѣ ему навертывалась практика; но иногда прямо изъ части онъ приходилъ въ будку, растегивалъ шинель и, сладостно поплеывая, курилъ тютюнъ. Въ эти минуты онъ не слыхалъ, какъ жена его, орудовавшая у печки, кистила его по какому-то случаю и замахивалась на него ухватомъ: угрюмо и безмолвно наслаждался онъ махоркой; но когда махорка выгорала въ трубкѣ и Мырцецову предстояла необходимость ограничиться созерцаніемъ возносящихся надъ его головою ухватовъ, ему вдругъ дѣлалось скучно и тоскливо; выйдя на крыльцо, онъ тревожно поглядывалъ въ одну и въ другую сторону, ища поживы, снова возвращался въ будку и начиналъ чувствовать, что у него болятъ руки, ноги, ноютъ кости... Ему непремѣнно нужно было куда-нибудь торопиться, ловить что-нибудь или кого-нибудь. Судьба обыкновенно недолго держала его въ такомъ томительномъ состояніи.

Вотъ отворилась дверь, въ будку понесло холодомъ и вслѣдъ затѣмъ появилась фигура женщины въ истертой синей шубейкѣ, съ лицомъ, облитымъ слезами и покрытымъ темными, словно чернильными пятнами. Слезъ и пятенъ достаточно Мырцецову, чтобы увидѣть подъ ними шиворотъ. Онъ начинаетъ торопливо застегивать шинель и говоритъ:

— Гдѣ? намекая тѣмъ на мѣстопробываніе шиворота.

Ему не нужно знать, почему и что? онъ давно убѣдился, что въ этихъ слезахъ и синякахъ ничего не разберешь самъ чортъ.

— Охъ, да недалечко, родной, говоритъ старуха.—Тутъ-отъ-ко вотъ... къ полю... Ужъ я наказала Господь... О-охъ!

— Потому, намъ нельзя допускать дебошу, торопливо говоритъ Мырцецовъ, надѣвая шапку.— Гдѣ тесакъ?

— Сократи ты его! Сдѣлай твою милость...

— Палка гдѣ? Потому, мы не допускаемъ, коли ежели шумъ, напримѣръ... Намъ этого нельзя...

Палка найдена, и Мырцецовъ исчезаетъ, кому призываетъ его долгъ, а будочница, отъ нечего дѣлать, занимается изслѣдованіемъ причинъ слезъ и слезъ; она знаетъ все, что ни дѣлается въ окружности.

— Сынокъ, ай нѣтъ? спрашиваетъ она старуху.

— Охъ нѣтъ, родная, не сынъ! Нѣтъ сыновья-то! Заты!

— Зя-ять?.. А то, вотъ тоже, у сосѣдей повозовщина идетъ—ну, тамъ сыновья!..

— Зять, зять, родная!.. Бровную дѣтищу отдала—загубила. И ровно врагъ меня обошелъ, какъ отдавала-то я!.. За вдова отдавала-то! конокрадъ, родная!.. Которые родные въ то время случились, «что ты, говорятъ, дѣлаешь? Что ты въ гробъ-то ее заживо владешь?..» Дочку-то... Нѣтъ! Отдала... Прельщеніе отъ него ужъ очень большое было! «Вѣкъ, говорятъ, корнить буду... до смерти...» Искусилась, да вотъ и вою... Только что, Господи благослови, повѣнчали ихъ, анъ гляжу—ужъ онъ ее...

При этомъ старуха сдѣлала руками такой жестъ, какъ будто-бы хотѣла представить, какъ полощутъ бѣлье...

— Опослѣ этого-то онъ недолго ее помучилъ—въ солдаты ушелъ, охотою... Въ тѣ поры мы съ дочкою-то все Бога молили, чтобы ему голову-бы снесли прочь... Все, бывало, чересовъ да изъизбавшей этихъ поминали въ молитвахъ—не утаю, родимая! Остались мы съ дочкой, да ребеночекъ—троечкою; дочка-то пошла по протомойной части, а я такъ, на старости, съ ребеночкомъ... Сама знаешь, касатка, протомойную-то часть. Теперь возьми зимнее время—безпречъ на рѣкѣ, у проруби руки и ноги стынутъ, да опять цѣлый божій день согнувшись—легко-ли дѣло! Ужъ она, бывало, придеть домою, въ чемъ душа... въ чемъ только душевнѣе!.. А тамъ, глядишь, въ ногу вступило, тамъ въ груди не пускаетъ... Трудно, трудно было! Ну, все жили... Пять годовъ этакъ-то мы мучались, и въ теперешнее время Бога бы благодарить надо: ходимъ не отрѣпанные, дите, внучекъ мой, тоже не безъ призору; чай пьемъ каждый божій день, а по праздникамъ иной разъ и въ накладеку, бываетъ, разоряемся. Помаленечку! Только-было выскреблись, анъ Господь и прогнѣвался... Бровопѣца-то нашъ, Пилать-то, пришелъ вѣдь! Эдакая образина!—царица небесная... Глянула я на него, какъ онъ ночью-то къ намъ ввалился—такъ меня ровно бы трясъ какой схватилъ... Трасусь вся! И дочка-та, тоже въ трясеніе вошла... Трасемся мы, что сдѣлаешь-то! Стала это я его подбивать (сама знаешь, голубка, «не для зятя собака, для милаго дитяти»...), а сама такъ вотъ и взлетываю... Хочу-хочу чашку ему подать, а руки-то къверху, а сама-то я въ сторону... Порхаемъ съ дочкою, ровно перепелки... И слова-то выговорить не могу: тра-ла-ла—только всего; хоть возьми вотъ топоръ да отсѣки языкъ—все то-жъ самое! А Пилать-то нашъ заприѣтилъ это.—«Что это, говорятъ, родственники мои, не вижу я въ разговорахъ вашихъ настоящаго порядку?.. Чѣмъ вамъ этакъ-то другъ друга съ ногъ сшибать, лучше же ты, теща, предоставь намъ штофъ вина...» Я было ему: «На что вамъ, Максимъ Петровичъ, эдакую прорву вина? (вѣжливо стараюсь)... Вы, говорю, неравно съ этакой пропасти начнете надъ нами мудрить?...» «Намѣреніе, говоритъ, мое такое, чтобы штофъ...» Пошла я, горюшко мое, принесла... «Пьетъ онъ вино-то и дочку мою подчуетъ. Никогда вина въ ротъ не бравши, очень ее растомило...» «Сѣмъ, говоритъ, Максимъ Петровичъ, я прилягу, растомило меня»... Лягъ она, да и засни.

Какъ онъ, сударушка моя, увидалъ ея тихій, пріятный сонъ, тую-жъ минутою хватъ ее—и давай... «Ты, говоритъ, меня не любишь... Мужъ пришолъ, пять лѣтъ не видались, а она только приткнулась къ постели и захрапѣла...» Я бросилась разнимать, говорю: «что вы, что вы, Максимъ Петровичъ! вы этакъ посуду перебьете... (вѣжливо съ нимъ стараюсь...) тутъ, говорю, на десять цѣлковыхъ добра»—а онъ-то ее...

Старуха опять повторила жестъ полосканія бѣлья и замолкла, всхлипывая.

— На утро, родимущка, ушелъ онъ въ деревню, къ своимъ... Черезъ недѣлю приходитъ. Поцѣлывались они, честь честью; думала я—на добро этотъ поцалуй, анъ вотъ что вышло... Сѣлъ онъ на кровать и говоритъ:

— «Я, говоритъ, супруга моя, беру васъ въ деревню... съ собой жить, чтобы по мужицкому положенію». — «Нѣтъ, говоритъ дочь моя, — невозможно этого сдѣлать; потому—у меня свое хозяйство... Каковъ, говоритъ, есть на семъ свѣтѣ грошъ,—и того я отъ васъ, Максимъ Петровичъ, не видала; кровными трудами копила, мнѣ этого не бросать». — «А ежели, говоритъ, я посконнаго масла набилъ на пять цѣлковыхъ и картофелю запасилъ—это какъ? Могу я бросить или нѣтъ?» — «Воля ваша! отвѣчаемъ:—у насъ посуда... теперь, ежели ее продать, что за нее дадутъ? Окромя того, мы отъ роду не ѣдали вашего свиного кушанья... Будьте такъ добры!» — «Ну, а ежели, наприѣмъ, я набилъ посконнаго масла?» — «Воля ваша... У насъ тоже утюги, тарелки...» — «Не бросать же мнѣ!» говоритъ. — «И намъ тоже не бросать!»..

— Тутъ мы и стали; онъ говорилъ: «у меня то, другое:—масло, веревки...» А мы говоримъ: «и у насъ тоже, батюшка, вилки, ложки...» Онъ опять значить: «картошки, дрова, сброя...» А мы своимъ чередомъ: «утюги, мыло, доски...» — «Не бросать же мнѣ?» — «Да и намъ тоже не-изчего бросать!..» — «Ну, а ежели, говоритъ, я возьму да посвойски поступлю, наприѣмъ?» — «Воля ваша!—у насъ посуда?..» — «А ежели я возьму да не помярволю?» — «Не бросать же намъ...» Тутъ, милая моя, онъ поднялся и сдѣлалъ съ нами, съ женщинами, шумъ... Ахъ, и очень большой шумъ сдѣлалъ!..

Въ это время на улицѣ раздался крикъ и плачь; рассказчица выбѣжала на крыльцо будки и увидѣла слѣдующее: посреди дороги шелъ Мырецовъ и увлекалъ за собою прачку, дочь рассказчицы; Понтійскій Пилать, т. е. солдатъ, шелъ сзади жены и, подталкивая, говорилъ:

— Нѣтъ, ты свинова кушанья не ѣдала—отвѣдай! Опробуй его, матушка!..

— Дитю-то! дитю-то у него отымите! вопіяла прачка.

— За что-жъ дочку-то? дочку мою за что? не понимая, какъ все это случилось, кричала рассказчица.

— Разговаривать! отвѣчалъ на всѣ вопросы и просьбы Мырецовъ, зацѣпившій прачку потому, что она первая подвернулась ему подъ руки; онъ должно быть зналъ, что у каждаго изъ нихъ своя

посуда и следовательно кого ни схватить изъ нихъ—все одно и то же.

III.

Совершивъ этотъ подвигъ, Мырцецовъ направила-было въ будку, чтобы озаботиться на счетъ тютюну, но едва онъ отворилъ туда дверь, какъ тотчасъ же получилъ новый адресъ шиворота и торопливо отправился за нимъ; будочница выслушивала уже новую историю; рассказываема ей какая-то весьма полная дама; подъ ковровымъ платкомъ, покрывавшимъ ея плечи, казалось, покоился какой-то биткомъ набитый чемоданъ; но въ сущности чемодана тамъ не было никакого, а была массивная грудь дамы; волоса ея были причесаны именно такъ, какъ чешется дворничиха Дарья, желающая быть дамою и Дарьею Андреевною: прядь волосъ съ середины лба загибалась къ затылку, гдѣ торчала коса величиной съ пуговицу; по бокамъ этой пряди, волоса падали на виски и уши, на подобіе какихъ-то блиновъ или ушей лягавой собаки; въ такой рамѣ заключалась конусообразная фizioномія съ маленькимъ носомъ и окороками вмѣсто щекъ. Дама эта имѣла собственное «заведеніе» и хозяйство, и такъ-какъ дѣятельность ея совершалась преимущественно въ области дракъ и буйствъ, то она была коротко знакома съ будочницей и иногда дѣлала ей сюрпризы. На этотъ разъ дама принесла кусокъ сахару и щепотку чаю, завернутые въ бумагу. Обрадованная вниманіемъ дамы, будочница изъ всѣхъ силъ суетилась около самовара, который изрыгалъ клубы дыма, и въ то же время слушала исторію, которую не спѣша рассказывала дама.

Дѣло въ томъ, что дама была очень оскорблена отсутствіемъ въ людяхъ совѣсти: одна изъ дѣвшекъ, которыми держится хозяйство дамы, несмотря на ея благодѣнія, вродѣ чая въ накладку, никакъ не хотѣла отпѣнить всей глубокой доброжелательности своей опекуни: она не слушала ни одного ея совѣта; если напримѣръ дама доказывала, что «чѣмъ сидѣть сложа руки или улизнуть куда-нибудь на извозчикѣ, — лучше отправиться съ сазанками на рѣчку и перестирывать собственное бѣлье», — то неблагодарная словно и не слыхала этихъ словъ и болѣе старалась удрать хоть въ ближній кабакъ, только-бъ не «спокойно» сидѣть среди хозяйства дамы. Непокорность и дебошъ этой женщины достигли наконецъ того, что она совершенно исчезла отъ дамы, и вотъ уже почти двѣ недѣли скрывается въ жилищѣ горькаго пьяницы, портного Данилка.

Во время этихъ рассказовъ обѣ дамы не переставали ни на минуту наливать себя кипяткомъ, обливались ручьями пота, обтирали мокрыя и толстыя шеи какими-то тряпками и говорили:

— Ну, и гдѣ же, позвольте васъ спросить, говорила дама, — гдѣ же теперича у людей эта совѣсть?

— Степанида Петровна! съ глубокимъ сочувствіемъ отвѣтствовала будочница, захлебнувшаяся

даренымъ чаемъ: — красавица ты моя! Ну, гдѣ же напримѣръ, скажите мнѣ на милость, это совѣсть у людей, я все думаю?..

А между тѣмъ именно во ния этой исчезнувшей совѣсти дѣйствовала та неблагодарная женщина, которая покинула благотворительную даму и пріютилась у портного Данилка.

Это было двѣ недѣли тому назадъ.

Въ одну темную ночь Данилка, «урѣзавшій» сверхъ-естественную муху, шатался по пустыннымъ и соннымъ улицамъ съ какой-то крайне убогой женщиной подъ-ручку и вмѣстѣ съ нею оглашалъ спящій городъ самыми удалыми пѣснями. Въ пѣсняхъ главнымъ образомъ преобладалъ элементъ самаго скорого отъѣзда изъ здѣшней грустной жизни — куда-то... «Мы найдемъ себѣ курьерскихъ, развадчайныхъ лошадей», пѣли гуляки темною ночью и шатались по темнымъ улицамъ.

На утро Данилка открылъ глаза, увидалъ свою убогую каморку и еще болѣе убогую подругу. Узналъ онъ также, что вмѣсто головы у него на плечахъ пудовая гиря и что опохмелиться нѣтъ никакой возможности. Все это заставило его съ грубостью отнестись къ пріятельницѣ.

— Это почему такое здѣсь? Бо дворами-бы пора...

— Чутьчку только погрѣюсь, Данилъ Гордѣичъ. Уйду-съ...

— То-то, поспѣвать-бы...

— Уйду, уйду-съ! Растоплю печки и побѣгу...

— Ну, и болѣе ничего, съ Богомъ... только всего...

Два полѣна, выглядывавшія изъ печки и открытыя сѣтгомъ, скоро затрещали, въ конурѣ Данилки запахло дымомъ, пробиравшимся сквозь дырявую печь. Подруга сидѣла на полу и грѣлась, ежась плечами.

— Сію минуту уйду-съ, шептала она. — Не побезпокою... Озябла, признаться, бѣгала... Вамъ, Данилъ Гордѣичъ, опохмелиться-бы хорошо тепереча...

Данила Гордѣичъ, убѣжденный, что опохмелиться нечѣмъ, сурово смотрѣлъ на подругу.

— Это мое дѣло... Болѣ ничего!

— Право-съ... Я, признаться, сбѣгала... Не угодно-ли?.. Это вамъ для просвѣщенія...

Оборванная женщина подскочила къ нему и поднесла стаканъ вина.

— Это ты гдѣ же деньги-то взяла? не нимѣняя суровости, сказалъ Данило; — ты, гляди, по карманамъ гдѣ не нашарила ли?

— Я, признаться, точно что... ну, нѣту у васъ по карманамъ ничего... Да вы не бойтесь. Я чужого отроду не бирала... Вотъ щекоду у васъ въ жилеткѣ нашла, вотъ она... Извольте. Это вы не безпокойтесь. Кушайте.

— То-то... Вы мастера по чужимъ карманамъ нашаривать...

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Гдѣ ужъ намъ, голубчикъ, на чужое лѣститься... На свои, признаться, двѣнадцать копѣекъ сбѣгала... Кушайте... Оно освѣ- жаетъ.

— Вы это мастера облушить кавалера, сказалъ Данило Гордѣичъ и выпилъ. Выпилъ онъ, почувствовалъ просвѣженіе и продолжалъ молча смотрѣть на подругу.

— Все-то разворовано, раскрадено, говорила она шепотомъ, прибирая какіе-то гвозди и палки: — ишь, натекло съ окошка-то!.. Ахъ это у васъ некому стѣну-то заткнуть, ишь, несетъ оттуда, ровно изъ погреба...

Такъ шептала она, изрѣдка прибавляя: «сейчасъ, сейчасъ, батюшка, уйду» — и Данило Гордѣичъ почувствовалъ, что въ этомъ прибирании, въ этой заботѣ о просвѣженіи нѣту никакого желанія нашить въ карманахъ и обокрасть... Думалъ, думалъ онъ, молчалъ, соображалъ, но въ головѣ его ничего путнаго не происходило: не являлось ничего такого, что было ему очень нужно теперь, что ему именно теперь хотѣлось узнать... Но зато въ груди его что-то поднималось и бурвило...

— Ну, покорнѣйше васъ благодарю, обогрѣлась... теперь...

При этихъ словахъ грудь портного съ боковъ сдвинуло что-то.

— Ты! крикнулъ онъ весьма громко.

— Что, голубчикъ?..

— Оставайся!

Женщина изумленно посмотрѣла на него.

— Не ходить?

— Совѣмъ оставайся... Не пушу!.. Болѣ ничего!

Данило Гордѣичъ повернулся было спиной къ своей уходившей подругѣ, но тотчасъ же вскочилъ и заговорилъ:

— Да что тамъ? вотъ разговаривать!.. Бѣги-ко за водкой... полштофъ!

— Не прогонишь? чуть не рыдая, говорила женщина. — Голубчикъ!

— Я говорю, бѣги!.. Х-хе... Да я ихъ, чертей!.. Ну-ка-ся вотъ эту штуку захвати въ кабакъ-то оставить.

— Чужая вѣдь! Данилъ Гордѣичъ — заказная!

— Расшевеливайся! Заказная! Я ихъ! погоди!.. Да сѣмъ-ко я съ тобой!.. Что тамъ!

Съ этихъ поръ настало новое пьянство, пропивалась заказная работа, пѣлись пѣсни, постоянно слышались слова: «чортъ ихъ возьми!» «погоди!» «я ихъ!»

Пьянство это дышало какою-то надеждою и не носило того тягостнаго оттѣнка, съ которымъ Данилка пьянствовалъ до сего времени. Новыя чувства, расшевелившись въ немъ, выражались какъ-то странно. Иной разъ онъ вдругъ задумаетъ что-нибудь открыть своей подругѣ, попытается что-то сообщить и скажетъ: «Чуешь, ай нѣтъ, что я говорю?» Потомъ схватитъ ее за руку, сожметъ ее крѣпко на-крѣпко, скажетъ: «такъ ай нѣтъ?» хлопнетъ со всего размаха своей ладонью по ладони пріятельницы, словно барышникъ на конной, потомъ опять начнетъ ломать ей пальцы въ своей рукѣ, и заоретъ: «пон-ни-маешь, ай нѣтъ?»

— Понимаю, Данилъ Гордѣичъ, понимаю-съ!

— Ну, и болѣ ничего! Такъ я говорю?

— Такъ, такъ...

— Ну, и шабашъ!.. Только всего!

Пропиваніе чужого добра шло довольно долго. Подруга Данилки, зная, что остановить этого пропиванія невозможно, заботилась только о томъ, чтобы другъ ея не разбилъ себѣ головы: остальное «наживется».

Въ концѣ двухъ недѣль послѣ первой встрѣчи настала въ конурѣ Данилки тишина и трудъ...

— Что за шумъ! заговорилъ Мырцовъ, являясь въ одну изъ такихъ необыкновенно тихихъ минутъ. — По какому случаю дебошъ?

Мырцову не могло даже представиться, чтобы не было буйства тамъ, гдѣ появлялся онъ.

— Потому, мы не допускаемъ, чтобы напримѣръ дебошъ! продолжалъ онъ, хватая Данилку.

— Кузьмичъ, другъ! завопилъ портной: — что ты?

— Не бунтуй, бунту не заводи! И теперича женскій полъ, ежели...

— Женюсь, женюсь, братъ! въ законъ беру, ахъ ты очумѣлъ? за что-жъ въ часть-то? въ законъ! хоть сейчасъ подь вѣнецъ.

Мырцовъ выпустилъ шиворотъ Данилки и остался среди конуры въ большомъ недоумѣніи.

— Что-ты? продолжалъ Данилку укоризненно. — А я было въ намѣреніи моемъ на бракъ мой тебя хотѣлъ потребовать, но ежели ты меня въ волочку...

Долго Данилка укорялъ Кузьмича въ несправедливости его желаній и развивалъ планы на счетъ будущаго супружескаго счастья съ Аленой Андреевной, которой онъ задумалъ передать на руки свое добро и хозяйство нажитое. Рѣчи его были до того сильны, что Мырцовъ не осмѣлился снова посягнуть на свободу Данилки, а только прибавилъ:

— А все, Данило, надо бы тебѣ по дѣламъ-то въ части высидѣть... Потому, дебошъ очень большой ты затѣялъ. Очень большой шумъ!

IV.

Надо сказать правду, что случаи, подобные вышеприведенному, когда шиворотъ, попавшій уже въ руки Мырцова, неожиданно исчезалъ изъ нихъ, бывали съ нашимъ героемъ довольно часты. Въ такія минуты онъ рѣшительно не могъ ничего сообразить и предавался глубокому унынію.

— У насъ этого нельзя, бормоталъ онъ, возвращаясь домой, напр. отъ Данилки: — мы не дозволяемъ этого, чтобы вырываться... Такъ-то.

Теченіе времени конечно успокоивало его, но бывали моменты до того потрясающіе, что потомъ нужно было много удачныхъ тасканій, чтобы привести Мырцова въ нормальное состояніе.

Вотъ, напримѣръ, однажды темнымъ зимнимъ вечеромъ въ будку просунулась голова сыщика.

— Живо! Собирайся! крикнулъ онъ Мырцову и снова захлопнулъ дверь, чтобы созвать еще двухъ подчастковъ; сыщикъ торопился по случаю одного важнаго дѣла, въ которомъ принимали уча-

стие многие уязвимые сановники: вечером того же дня у почтовой гостиницы, сзади одного dormеза, былъ отрезанъ какимъ-то воромъ чемоданъ. Надо было разыскать вора.

Мыррецовъ скоро былъ готовъ и вышелъ изъ будки, чуя поживу; на улицѣ его ожидали сыщикъ, сидѣвшій въ саняхъ, и два солдата.

— Куда-жъ намъ натрафить? спросилъ сыщикъ.

— Теперь, вѣшескобродіе, надо бы намъ въ ночлежные дома утрафлять, сказалъ солдатъ.

— Да застанемъ ли кого? Прохоровъ! есть тамъ кто, какъ ты думаешь?

— Надо быть, вѣшескобродіе, отвѣчалъ Прохоровъ. — Потому, къ полночи тамъ этихъ мошенниковъ самая густота собирается...

— Главная причина—на слѣдъ-то попасть...

— Такъ точно, вѣшескобродіе! присовокупилъ Прохоровъ.

Вониство двинулось въ путь; ночь была вѣтреная; оголенные деревья стучали сучьями, между которыми свисталъ вѣтеръ. Ночлежный домъ, куда пошли сыщикъ и солдаты, представлялъ ужасающее зрѣлище. Это былъ длинный старый домъ, въ которомъ когда-то жили господа-бояре или богатые купцы; теперь этотъ домъ сгнилъ, обвалился; вмѣсто воротъ стояли однѣ притоки; осѣвшая посрединѣ крыша выперла полукругомъ всю стѣну, смотрѣвшую на улицу; ставни днемъ и ночью были заколочены, и сквозъ щели въ нихъ видѣлись гнилыя рѣшетки рамъ безъ стеколъ или стекла, напоминавшія торговую баню; внутренность этого жилища была не менѣе ужасна: повсюду въ полу видѣлись глубокія ямы; въ разныхъ мѣстахъ подпорки подпирали нависшіе къ низу потолки, ободранныя стѣны были голы и украшались только гирляндами пакли, торчавшей между бревенъ. Черный ночникъ, накопившій на стѣнѣ длинную черную полосу, загибавшуюся на потолокъ, колебался отъ вѣтра, дувшаго отовсюду, и едва-едва освѣщалъ массу храпѣвшихъ и охавшихъ людей; всѣ они лежали въ повалку, на полу; тутъ видѣлись солдатскія шинели и деревянныя ноги вмѣсто настоящихъ; мелькали узлы богомолокъ, перевязанные покроями; видѣлись мѣшки плотниковъ, тряпье, лохмотья. Появленіе будочниковъ произвело нѣкоторое волненіе; все закопошилось и вдвойнѣ заохало. Нѣсколько солдатскихъ шинелей исчезло, укатилось въ сосѣднія, еще болѣе холодныя и темныя комнаты. Среди ночлежниковъ если не всѣ, то большинство—были люди вовсе неподозрительные; такъ называемыхъ «пѣшковыхъ» не пускаютъ по ночамъ на постоянные дворы, и этимъ безвыходнымъ положеніемъ пользуются ловкіе люди: они занимаютъ за безцѣнокъ какую-нибудь развалину и загоняютъ туда одинокихъ скитальцевъ, собирая съ нихъ деньги за ночлегъ. Не смотря на это, будочники безцеремонно относились ко всякому изъ этой оборванной и одинокой толпы.

— Разговаривай! кричалъ Прохоровъ, самый опытный въ сыскныхъ дѣлахъ.—Это что за узелъ?

— Сухарики, отецъ, сухарики, батюшко... хоть всеѣ обыщи...

— Сухарики! Ну-ко, ну... куда съешь-то?

— Куда мнѣ совать! Господи-батюшко!

— Говорю, подай! Это откуда платокъ? Э-э, братья! Да ты кто такая?..

— Странница, отецъ родной, скитаюсь.

— Покажи-ка видъ... Э-ге-е! Возьми се... эй?

— Голубчики!..

— Покрѣпче приструни!.. Слышишь! Это что?

— Соль, соль, отецъ родной!

— Повернись... Ну-ко, встань, поворачивайся!..

Ты кто такой? Видъ есть?

— Плотникъ, рабочій.

— Видъ покажи!..

— Да онъ у меня, видъ-то...

— Эй! Привяжи его къ богомолкѣ... тамъ беретъ!

Все населеніе ночлежного дома встало со своихъ мѣстъ, закопошилось, перетрахиало тряпки, лохмотья, охало... Повсюду слышались слова: «хоть всеѣ обыщи... Господи...» и тутъ же раздавалось: «Эй, ты! Ну-ко, повернись... Отставно-ой? Нѣтъ, погоди!» и т. д.

— Что зарылся-то? у меня, братъ, прижунуться мудрено! провнесъ Прохоровъ, останавливаясь около одного спавшаго человека. Это былъ дряхлый старикъ, почти раздѣтый и сѣдой, какъ лунь, изъ-подъ дыряваго кафтанчика, который накрылся онъ, видѣлись двѣ маленькія шаршавыя дѣтскія головки.

— Господи помилуй!.. зашепталъ старикъ, пожимаясь.

— Чешись! перебилъ Прохоровъ, — разговаривай!.. Видъ покажи...

— Есть, есть... Пашпортъ есть! кротко и торпливо шепталъ старикъ, ощупывая свое логово. — Есть.

— Это чьи дѣта? Покажи-ко узелъ...

— Внуки, внуки... батюшка... Погорѣли! Было все, стало—нѣту ничего! Дочерины дѣтки-то!

— Узелъ чей?

— Чужой узелокъ... чужой! Нѣту узловъ... Ни узловъ, ни-и... ничего нѣту!.. Побираемся... гдѣ узламъ быть, постелиться нечѣмъ!.. Нѣту...

— Пашпортъ!

— Есть, есть!.. Это есть!.. ужъ гдѣ разутыя, раздѣтыя...

— Онъ пьяница! раздалось вдругъ изъ толпы ночлежниковъ.— Вы ему, ваше благородіе, не вѣрьте... Ему добрые люди помогаютъ, и то онъ не имѣетъ своихъ правилъ...

— Помогаютъ, батюшко, помогаютъ!... такъ кротко отвѣчалъ на это старикъ.— Слѣжными лопухами помочь оказываютъ...

— А тебѣ мало? слышалось въ толпѣ.— Твоего внука-то намени баринъ одѣлъ, а ты снялъ съ него одежду-то... гдѣ она? Пропилъ!

— Проглѣ я одежду, кормилецъ,—не пропаг! Дай Богъ барину—точно награждать... И фравтоватымъ одѣяніемъ даже награждать... Ну, проглѣ я его! Да!.. Нѣту ничего...

— Нѣтъ, вы бы его, ваше благородіе, въ част-

ный домъ... Потому смущеніе отъ него большое... Вы-бы его, вашбродіе, спалили бы.

— Нельзя, голубчикъ, нельзя!.. крѣпко продолжалъ старикъ, глядя въ землю. Невозможно этого... Не за что спать-то!.. И шиворот-то у меня настоящаго нѣту... Не уймешь.

— Вы ему, вашескобродіе, не вѣрьте! прибавилъ голосъ изъ толпы.—Отъ него и на насъ мараль идетъ...

Но нельзя было не вѣрить старику: у него дѣйствительно не было порядочнаго шиворота... Мырецовъ, высвобождавшій руку изъ праваго рукава, чтобы соколомъ налетѣть на пьяницу, при послѣднихъ словахъ старика совсѣмъ ослѣбѣлъ и потерялъ сознание. Такимъ образомъ, благодаря отсутствію шиворота, старикъ остался нетронутымъ въ своемъ логовѣ, съ своими дочерними дѣтками, съ холодомъ, голодомъ и правомъ на побиршество.

Да, бывали, бывали подобныя происшествія съ Мырецовымъ. Почему это онъ не торопится и не суетится, какъ обыкновенно, а не спѣша, вяло, нехотя идетъ на призывъ? Это вѣрный знакъ, что нѣтъ мѣста его теоріи въ предлагаемомъ дѣлѣ.

Вотъ его пригласили на пивоваренный заводъ, гдѣ одинъ рабочій, испуганный рекрутчиной, бросился въ котелъ съ кипяткомъ и обжогся. Мырецовъ молча и угрюмо смотритъ на охающего и распухшаго мужика и ясно видитъ, что некуда его тащить. Желая успокоиться, онъ даетъ оборотъ своимъ мыслямъ: «нельзя ли его по крайней мѣрѣ не пущать?». Но и это оказывается невозможнымъ. Чтобы окончательно не скомпрометтировать себя передъ толпой народа, Мырецовъ наконецъ рѣшается объявить свое сужденіе.

— Ну, что-жъ звать-то?.. По какому случаю шумъ?.. Ужъ ежели ты, къ примѣру, влетѣлъ въ котелъ, слѣдственно ты здорово напимѣръ обжогся... Будемъ такъ говорить... Чего-жъ звать-то?..

Затѣмъ онъ ушелъ, а умирающій продолжалъ лежать и охать...

Бывали такіе случаи.

А въ доказательство того, что судьба вознаграждала Мырецова за эти страданія, вернемся къ сыщику.

— Теперь намъ надо, вашескобродіе, поспѣшить, говорилъ ему Прохоровъ, выбравшись изъ ночлежнаго дома.—Попусту много промѣшкали... Надоитъ намъ потараниваться, а то воръ-то, поди-ко, гдѣ ужъ щелкаетъ...

Но воръ впрочемъ не далеко ушелъ отъ нихъ. Онъ прятался въ лачужкѣ въ концѣ города, въ оврагѣ; здѣсь жила его жена съ ребенкомъ и какой-то старый солдатъ-калька. Чемоданъ былъ давно распакованъ; въ немъ оказалось роскошное дѣтское бѣлье и разныя туалетныя вещи.

Мало было поживы вору отъ этого добра. Роскошь его слишкомъ прикѣтна для того, чтобы не навести въ этой бѣдной сторонѣ на вопросъ: «гдѣ ты взялъ это?» Тѣмъ не менѣе похититель кое-чѣмъ воспользовался и успѣлъ спустить. При раз-

боркѣ чемодана старый солдатъ получилъ въ подарокъ ножикъ изъ слоновой кости и коробку пудры съ золотыми украшеніями. Когда сыщикъ съ солдатами подобрался къ лачугѣ, внутренность ея была ярко освѣщена; на полу, около развороченнаго чемодана, спавъ закрывшись человекъ—это былъ воръ. Солдатъ сидѣлъ на лавкѣ и повертывалъ въ рукахъ то ножикъ, то коробку, ухмылялся и бормоталъ:

— И духовитая, провалиться ей!.. Пойду въ свою сторону—снесу... Надумаютъ же!.. Эва, ножикъ-отъ, тупой... Ни то имъ рѣзать, ни то шутъ его разбереть... Песокъ не песокъ, а поди, чкнишь укушится!..

Старикъ нюхалъ коробку, качалъ головой и ухмылялся.

Прямо противъ окна стояла женщина, высокая и красивая, на рукахъ ея былъ мальчикъ не больше году отъ рожденія; на немъ была надѣта одна изъ роскошнѣйшихъ краденыхъ рубашечекъ, не закрывавшая впрочемъ ни грязныхъ рукъ, ни ногъ, ни чумазаго дѣтскаго личика. Мать подбрасывала его къ потолку, тормошила и, слегка щекоча ему грудь, говорила:

— Ну, чѣмъ не графскій барченокъ? Ну, чѣмъ ты только не красавчикъ, чѣмъ не ангелочикъ?

— Отворяй! загремѣвъ кулакомъ въ окно, гаркнулъ Прохоровъ.

Въ лачужкѣ замечались; солдатъ началъ торопливо прятать пудру въ сапогъ; спавшій человекъ вскочилъ, бросился въ дверь; но его встрѣтилъ Мырецовъ.

— Вотъ онъ—ты! сказалъ будочникъ.

— Вотъ онъ, вотъ онъ!.. безсознательно бормоталъ воръ, остановившись.

Скоро Мырецовъ былъ удовлетворенъ.

V.

Теперь необходимо обратить вниманіе на самую будку, такъ какъ дѣятельность Мырецова, несмотря на довольно большое однообразіе, въ сущности рѣшительно неисчерпаема; всякій шиворотъ непременно совмѣщаетъ въ себѣ цѣлую драму, а пересчитать эти драмы—нѣтъ физической возможности. Поэтому-то мы и обратимся къ правамъ самой будки.

Кромѣ Мырецова, его жены и случайныхъ посягателей, иногда проводившихъ здѣсь тягостную ночь, въ будкѣ были еще постоянные жильцы; это были бѣдняки, немѣвныя мѣста, гдѣ бы приклонить голову. Если у нихъ было что перекусить и выпить, они дѣлились этимъ съ будочниковой супругой и старались не запруживать будку своими нищими тѣлами; въ минуту безденежья и безхлѣбья, они прямо шли въ будку и говорили будочницѣ:

— Авдотья! Мы къ тебѣ...

— И когда только это провалъ васъ возьметъ! гнѣвно отзывалась будочница, но не гнала ихъ, во-первыхъ потому, что добрыя сердца бываютъ и въ хранинахъ, и въ хижинахъ, а во-вторыхъ потому, что отъ жильцовъ частехонько перепадали на ея

долю довольно вкусные и жирные куски пироговъ. Жильцы ея принадлежали къ артистическому классу «мастеровщины» и составляли захолустный оркестръ. Составъ и свойства этого оркестра довольно новы; чтобы познакомиться со всѣмъ этимъ порочее, мы должны зайти въ будку въ одинъ изъ дней зимняго мясѣда.

Въ печкѣ трещать дрова; въ тепломъ и гниломъ воздухѣ виситъ полоса дыма и слышится довольно плотный букетъ махорки; будочница орудовать ухватомъ; Мырецовъ занять отдыхомъ и молча поплевываетъ въ уголъ. Въ это время въ будку входитъ старичокъ-мѣщанинъ; сначала онъ крестится, потомъ кланяется хозяевамъ и, страшнувъ съ рукава и воротника снѣгъ, говоритъ будочницѣ:

— Что, любезная, здѣсь Иванъ, музыкантъ, проживаетъ?

— Это, который на скрипкѣ?

— Этого.

— Здѣсь... Да шутъ ихъ знаетъ, шатуны этикіе... ихъ, поди, съ собаками не сыщешь...

При этомъ будочница подняла ухватъ къверху и постучала имъ въ потолокъ.

— Сейчасъ! глухо отозвались съ потолка.

— Аль они у васъ подъ крышей зимуютъ? спросилъ мѣщанинъ.

— А то гдѣ же? Тутъ, чай, самъ видишь, негдѣ повернуться двоимъ... А иной разъ пьяницъ наволокутъ: хоть возьми, завяжи глаза, да бѣги вонъ.

— Такъ, такъ, подтвердилъ мѣщанинъ.

— А что-жь, думаешь, подъ крышей? продолжала будочница.— Тамъ имъ, поглядико-сь, какое тепло-то!.. Труба горячая, что твоя лежанка...

— Такъ, такъ! Мѣсто духовитое... Труба даетъ теплый духъ.

— Тамъ имъ за первый долгъ валяться-то!..

— Это справедливо! мѣсто хорошее... мѣсто милостивое!..

Мѣщанинъ сѣлъ на лавку, погладилъ свои сѣдые волосы и оглядѣлся.

— Мѣшкаютъ они что-то, сказалъ мѣщанинъ, помогать.

— Товарищей сликаютъ... Что вы свадьбу что-ль затѣваете? спросила будочница.

— Да что будешь дѣлать, матушка!

— Кто такіе?

— Кушаковы, мѣщане... здѣшніе жители. Вотъ внучку просваталъ за кондитера Ваньку...

— Это хромой-то?

— Хромъ, матушка, точно что хромъ!.. Ну, доктора общались оттянуть эту хромоту-то... Безпремѣнно, говорить, оттянемъ въ другое мѣсто... И примочку дали, дай Богъ здоровья... Примачивайте, говорятъ, черезъ два часа по столовой ложкѣ...

— Ну, дай Богъ!

— Ужъ мы и сами Бога молимъ... Къ спитъ бы ее, хромоту-то...

— Въ спину? спросилъ Мырецовъ, неожиданно услышавъ слово, такъ близко подходящее къ шивороту.

— Къ спитъ, къ спитъ, другъ! Потому, надо такъ сказать: которая это нога кондитерова, то она болѣе двадцати годовъ изувѣчена; ну, мы имѣемъ упованіе на Господа...

— Пьетъ-то онъ джо! съ соболѣзнованіемъ проговорила будочница.— А ужъ и дѣвочка ваша!

— Дѣвочка, одно слово! Рукодѣлю обучена...

— Первая по здѣшнимъ мѣстамъ дѣвушка! Ужъ и мастеровъ!.. ахъ!

— Ну, да вѣдь гдѣ, матушка, непьянаго-то возьмешь? Кто не пьяница-то по нынѣшнему времени?

Мѣщанинъ вздохнулъ.

— И тяжка же наша женская часть! заговорила будочница, смотря въ печку.— Живетъ дѣвушка невинная, чувствуетъ про себя всякую любовь, а на мѣсто того:—хватъ! да за пьяницу!.. На увѣчья, да на каторгу!..

— Родная! грустно сказалъ мѣщанинъ.— Вѣту непьяницъ-то, вѣту ихъ! У кондитера, у Ваньки, по крайности, сейчасъ пятьдесятъ цѣлковыхъ есть! Да платье, поглядико-сь, какое невестѣ подарилъ! Только что въ двухъ мѣстахъ малеяко тронуто, а то все чистое, можно сказать—чуре! Такъ-то-ся!.. Санта-дубовое общался—случай есть... Вотъ и гляди на него! каковъ онъ кондитеръ-то...

При этихъ словахъ будочница замолкла. Мырецовъ, слушая эти разговоры, началъ какъ-то таинственно побряхтывать, пошевеливаться, и будка неожиданно услышала слѣдующую рѣчь:

— Ну тоже, не спѣша началъ Мырецовъ:— и мужская часть черезъ женскую часть не то чтобы очень благополучно хлѣбъ свой ѣла...

Тутъ онъ остановился, тряхнулъ головой къ низу, завернулъ лицо въ сторону и продолжалъ:

— Тоже и нашему брату само собой по башкѣ отъ дамскаго пола влетаетъ...

Съ этими словами онъ вдругъ направился къ двери.

— Да какъ васъ не бить-то? Какъ васъ, кровопійцевъ нашихъ, не бить? загорячилась будочница.

— Да, братъ! влетаетъ препорочно-хорошо! заключилъ Мырецовъ—и скрылся на улицу.

Въ это время въ будку вошелъ человекъ лѣтъ тридцати, съ доброй, но какъ будто заспанной, отекшей физиономіей. Онъ былъ въ сѣромъ армякѣ съ широкимъ квадратнымъ воротникомъ, лежащимъ на спинѣ; на шеѣ виднѣлся ситцевый платокъ, туго завязанный крошечнымъ узломъ. Армякъ былъ подпоясанъ кушакомъ; походилъ онъ на дычка. Человѣкъ этотъ былъ застѣнчивъ и робокъ; добрые глаза мигали часто, словно стыдились чего. За нимъ вошло еще двое.

— Доброго здоровья! сказалъ армякъ мѣщанину мягкимъ и заискивающимъ голосомъ.

— Здравствуй, другъ! Ты—Иванъ-то?

— Мы-сь... Музыка требуется?

— Да, братъ. Вотъ свадьбу затѣяли...

— Дѣло доброе!.. Дай Богъ части!.. Конечно... Вамъ одинъ инструментъ требуется?

— Да хотъ и поболѣ—все одно. Что ужъ...

— Да на что вамъ поболѣ-те-съ? Конечно, что звуку болѣе — ну, настоящаго увеселенія не будетъ-съ... Повѣрьте такъ! Намъ это дѣло вотъ какъ извѣстно... Теперича, наприимѣрь, труба или опять генералбасъ — черезъ нихъ только ревъ поднимается на балу, ну, къ танцу онъ не трафитъ; тапецъ требуетъ аккурату, чтобы нога дѣйствовала въ существѣ, но не то, что ежели мы забарабанимъ, чертя голову! Въ то время можетъ произойти нивѣсть что...

— Это такъ! подтвердилъ мѣщанинъ.

— Повѣрьте такъ! Мы на своемъ вѣку поработали довольно... Мы знаемъ-съ. Нѣтъ лучше, какъ скрипка: тихо, чудесно... А за цѣной мы не стоимъ...

— А за цѣной мы не погонимся! прибавили два другія лица.

Бостюмы этихъ лицъ не отличались доброкачественностью. Одинъ изъ нихъ, худенькій и сухой человекъ, лѣтъ сорока, былъ въ чуйкѣ, старался быть гордымъ и держать себя въ порядкѣ. Другой былъ въ суртукѣ, воротникъ котораго терялся въ какихъ-то тряпкахъ, намотанныхъ на шею. Сюртукъ былъ засаленъ и застегнутъ на верхнюю и нижнюю пуговицы; боковой карманъ отдувался. Человекъ въ сюртукѣ имѣлъ широкое, рябое лицо, выражавшее равнодушіе и весьма покойное состояніе духа; лицо это очень походило на тарелку съ кашей, густо намазанной масломъ.

— Что же, спросилъ мѣщанинъ, — и эти молодцы по музыкальному мастерству?

— Н-нѣтъ-съ! умильно отвѣчалъ армякъ. — Нѣтъ-съ, они этому не учены...

— Мы не учены...

— Мы только-что *вмѣстѣ ходимъ-съ!* продолжалъ ярмакъ. — У насъ значить *общее*, собственно по бѣдности. Такъ какъ оставши безъ куса хлѣба — куда я дѣнусь? которые были по оркестру товарищи, еще при баринѣ. — тоже разбрелись... Струменту не было... съ рукой тоже не хотѣлось, а кормиться надобно... Ну, вотъ попался добрый человекъ, Петръ Филатичъ, дай Богъ имъ здоровья, инструментъ свой довѣряютъ...

— Это точно, что справедливо онъ говоритъ! подавшись впередъ, произнесъ человекъ въ сюртукѣ. — Потому эту скрипку мнѣ одинъ помѣщикъ подарилъ, какъ, значить, изъ послушниковъ монастырскихъ выбылъ я...

— Какимъ же манеромъ въ монастырь-то угодилъ?

— Да собственно такимъ манеромъ, что ружье у одного пріятеля моего было... спокойно объяснялъ сюртукъ. — Разъ онъ, пріятель-то, баловался-баловался этимъ ружьемъ — «эй, говоритъ, берегись, застрѣлю!». Шутилъ. Я думаю, ты шути-шути, а тоже пулю какую двинешь, не оченно чтобы пресохлоно будетъ. Взгля да и заслонился рукой. А онъ, какъ брякнетъ! Да два пальца мнѣ и отшибъ... Извольте посмотрѣть! Ну, судить. Что, что такое? Ну, выгнали насъ, исключили... Въ училище духовномъ былъ я въ ту пору... Входилъ я съ прошеніемъ, такъ и доступа мнѣ не было... Началь-

никъ случился робкій, увидалъ эту руку-то наприимѣрь въ крови — «увидите его, говорить, онъ меня убьетъ!». Такъ я и пошелъ за разбойника... Безрукий человекъ, куда ему! Думалъ, думалъ, и вступилъ въ обитель.

— Да, да, да!... Ну, а изъ монастыря-то отбылъ?

— А изъ монастыря я по искушенію отбылъ... Мысли разныя смущали.

— Бѣсы! шепнулъ армякъ и кашлянулъ.

— Ну ихъ!.. Что-жъ, неохотно произнесъ разказчикъ. — Глазы были: «Что ты, говорить, измощаешься?.. Лучше же ты утрафь отсюда... Птицы небесныя и тѣ, наприимѣрь»... Ну, я и того... Искусился да и ушелъ. Черезъ соблазъ. А оттуда, Богъ дасть, къ помѣщику одному мелкопомѣстному дѣтей учить: читать, писать... Только помѣщикъ-то этого оченно пилъ. Придерживался. Капитула настоящаго не было: душъ всего шесть, да собака борзая, а дѣтей куча, да и вино это самое... Я въ то время ничего это не одобрялъ, да и посейчасъ не люю; такъ балуюсь. Ну, а тогда въ компанію-то съ хозяиномъ и началъ... Помаленьку, да помаленьку... Бывало, жена-то воетъ-воетъ, а мы — зная свое... Въ полночь рыбу затѣмъ ловить, или въ галокъ изъ окошка стрѣлять, это у насъ во всякое время коротко и ясно. Сколько разъ тонули, чуть дѣтей не перестрѣляли, — все сходило; а тутъ вдругъ и случись бѣда... Напились мы съ нимъ, съ помѣщикомъ-то, однова, да и поѣхали вмѣстѣ. Дорогой начинсь у насъ споръ, слово-за-слово, я разсерчалъ, да какъ цапну барина-то по головѣ!

— За что?

— Да это мнѣ и теперича неизвѣстно... Цапнулъ я его, а онъ и покатысь, покатылся да и померъ... Ну, дѣло затѣялось, меня въ тюрьму... Послѣ этого, какъ, значить, я себя на отдѣлку замаралъ — нѣту мнѣ пропитанія: никто не беретъ, боятся: «онъ, говорить, убьетъ!». Некуда мнѣ дѣться; взялся за скрипку, думаю — обучусь... Жена помѣщикова еще скрипку-то не отдавала: «ты, говорить, мужа убилъ... Намъ самимъ ѣсть нечего... Намъ самимъ скрипка нужна...» Не отдаетъ! Ну, кое-какъ я ее отбилъ, да вотъ и пускаю въ провасть... Скрипка хорошая...

— Скрипка хорошая! подтвердилъ сѣрый армякъ; — только что челочка...

— Ну, что тамъ челочка? возразилъ сюртукъ. — Авось я знаю... Кажется, своими руками ее заклеилъ.

— Съ этими шелками да скрипками, прибавила будочница: — вы у меня, черти этикіе, цѣлое полотнище изъ юбки выдрали!.. Охъ, музыканты!

— Шелочки той и помину нѣтъ, что ты! продолжалъ сюртукъ.

— Да что-жъ я? робко зашепталъ армякъ. — Али я что-нибудь?

— Это, братъ, скрипка итальянская!

— Я говорю: скрипка превосходная, что вы, Павелъ Филатичъ?.. Такъ вотъ-съ, обратился ар-

мѣкъ къ мѣшанину: — скрипка ихняя, а струны Иванъ Ларивоничъ отъ себя держуть.

— Моя часть — струна! сказалъ сухой и сердитый человекъ. — Мы, милостивый государь, струну держимъ дорогую, но не какую-нибудь собачью дрянъ, позвольте вамъ замѣтить... Потому, намъ нельзя какъ-нибудь!.. Ежели я только что и дышу струною, такъ ужъ я долженъ, чтобы она въ полномъ звукѣ была... Такъ или нѣтъ-съ? Положимъ, что я теперь во временной нуждѣ; потому мнѣ надо господина Приготовова дожидаться, я у него сейчасъ буду тыщу рублей получать... Я его на рукахъ своихъ выныачилъ, онъ не забудетъ старика, потому это противъ Бога... А что съ этими пьяницами мнѣ долго не возиться, — это я вамъ вѣрно говорю...

Старикъ съ гордостью и даже ожесточеніемъ произносилъ свою рѣчь, презрительно поглядывая на своихъ товарищей.

— Съ этими пьяницами не нажить мнѣ долго... Я этого не люблю... Я знаю порядокъ... Я этимъ не нуждаюсь...

Гордость и презрѣніе, слышавшіяся въ этихъ словахъ, почти обидѣли мѣшанина, тоже съ гордостью приготовлявшагося устроить трагическую свадьбу съ музыкой... Среди раздраженной рѣчи поставщика струнъ, мѣшанинъ поднялся и сказалъ:

— Ну, такъ какъ же?

— Да, какъ прикажете! снова заговорилъ армякъ. — Сейчасъ — сейчасъ готовы; завтра — завтра. Какъ угодно.

— Ну, тамъ скажемся. Ладно. Только чтобы ужъ аккуратно было... Свадьба хорошая...

— Само-собой!.. Такъ мы трое, значить, и прибудемъ-съ... Я для музыки, собственно для искусства, ну, а они такъ... Пирожка тамъ, чего-нибудь...

— Мы для пропитанія! прибавилъ сюртукъ.

Мѣшанинъ сторговался и ушелъ.

IV.

Спусти нѣсколько времени происходила свадьба.

Въ запотѣлыя стекла любопытные зрители могли видѣть внутренность дачуги, биткомъ набитой гостями. Среди всеобщаго молчанія суетились какія-то женщины, поднося водку и поминутно раскланиваясь, въ отдаленіи слышались звуки настраиваемой скрипки и мелькала фигура ея владѣльца съ пирогами въ рукѣ и за щекой. Видно было также, какъ полушаный кондитеръ, сидя на диванѣ, притягивалъ къ себѣ молодую жену, старавшуюся уйти отъ него; упругій станъ ея неохотно покорялся его ласковымъ объятіямъ и грустное лицо чуть не плакало, но все-таки улыбалось. Невѣста наконецъ вышла въ другую комнату и залилась слезами; нѣсколько пожилыхъ жеванъ принялись ее утѣшать.

— Что ты? что ты, родимая? Ты подумай, какой человекъ... Одно кондитеръ...

— Больной... и нога... увѣчный!.. И ухо болитъ!..

— Ухо? Ахъ ты, касатка моя! Да ты пройди весь свѣтъ — такого уха не найдешь!..

— Нѣтъ, нѣтъ...

— Ну, а ежели и болить, эка бѣда какая!.. Ужъ и заболѣть нельзя! Скажите на-милость!.. Ты бы и не думала объ этомъ... А ужъ, ежели не вразится, возьми да отвернись...

— Отвернись, а онъ изобьетъ!

— Ни-ни-ни! Боже мой!.. Не такой человекъ! Просто-на-просто попроси у него позволенія, тихо, благородно: «позвольте, молъ, Иванъ Капитоничъ, съ краю мнѣ... Ужъ знаю, молъ, что это не порядокъ! ну, что будешь дѣлать — приучена!.. И сама, молъ, не рада, ну не могу!..» Ни-ни-ни!.. Слова не скажетъ! что ты? Вѣдь ишь ты что... Ахъ ты! голубка моя! ужъ и смѣхъ же съ вами, съ дѣвухами...

Въ это время сѣрый армякъ съ отчаяннымъ быстротою заигралъ какую-то пьесу. Скрипка и струны были не особенно звучны: онъ напоминали не звучное и не стройное, но визгливое и раздражающее душу причитанье старухи.

Общество распевелилось и зашумѣло.

— Эй, бабы-ы! кричалъ подгулявшій кондитеръ. — Жену чтобы сюда!.. Супругу!.. Это почему такое?

Прислушиваясь къ свадебному бушеванью, Мырцовъ стоялъ на крыльцѣ будки, рядомъ съ алебардой, и должно быть ей повѣрялъ свои одинокіе разговоры.

— По какому случаю шумъ? бормоталъ онъ. — Мы не допускаемъ, ежели напримѣръ...

Но мы уже знаемъ, что «не допускаетъ» Мырцовъ, и не будемъ потому доказывать исторію свадьбы, которая и женихомъ, и невѣстой, и драматическими солистами оркестра, кажется, сулитъ ему большую практику въ самомъ скоромъ будущемъ.

II. Спусти-рукава.

(Изъ провинціальныхъ замѣтокъ.)

I.

Пѣвцовъ былъ молодой человекъ, но молодость его постоянно отравлялась томительнымъ нытьемъ о собственномъ положеніи, томительнымъ ожиданіемъ дѣятельности и въ то же время полнымъ бездѣйствіемъ. Гдѣ бы онъ только ни бывалъ, страствуя и въ городахъ, и въ деревняхъ, — всадъ, и особенно въ столицахъ, Пѣвцовъ проживалъ у какихъ-нибудь родственниковъ, собирався что-то начать, заняться основательнымъ изученіемъ чего-то, задумывалъ держать экзаменъ то въ то, то въ другое учебное заведеніе, незаконечно тосковалъ неопредѣленнымъ положеніемъ въ качествѣ приживальщика или дармоѣда тетушкиныхъ хлѣбовъ, курить множество папирсъ и шатался безъ всякаго дѣла; живя напримѣръ въ Москвѣ, онъ пѣлыми ливыми шагами перебирался съ бульвара на буль-

варь, угрюмо стотря на проходящихъ, останавливался передъ толпой народа, начиналъ вслушиваться, но тоска его гнала дальше, и вотъ онъ гдѣ-нибудь въ Кремлѣ, заложивъ руки назадъ, смотритъ на царь-колоколъ... Ему не хочется идти домой; тамъ его ожидаютъ любопытные глаза тетушекъ, желающихъ знать, не съумѣлъ ли ихъ племянникъ куда-нибудь пристроиться, не обезпечилъ ли наконецъ себя, прошлявшись цѣлый Божій день?.. Вспоминая объ этихъ любопытствующихъ взглядахъ, племянничекъ дѣлался еще мрачнѣе: «эти идиоты, мысленно ругался онъ,—и знать не хотятъ, что дѣлается у меня въ головѣ... хорошо подумать не дадутъ... имъ бы только съ шен спихнуть». И онъ опять плелся на прѣсенскіе пруды, рѣшая сегодня же бросить своихъ тетушекъ да заняться хорошенько, да выдержать экзаменъ, потомъ «плюнуть всѣмъ имъ въ морду», потому что онъ не знаетъ, что такое онъ... И вдругъ въ головѣ его возникаютъ вопросы: «что же такое онъ, въ самомъ дѣлѣ... и какія такія у него особенныя вещи въ головѣ?..» Это снова повергало его въ тоску...

Проходили годы, а онъ попрежнему жилъ у тетушекъ, собирався держать экзаменъ, выкуривалъ тысячи папирозъ, думалъ, тосковалъ и наконецъ очутился въ уѣздномъ городкѣ учителемъ...

— Вотъ гдѣ моя пристань! думалъ онъ, въѣзжая въ городъ и озирая разоренныя лачужки и повалившіеся плетни.—Что-жъ? здѣсь-то и дѣлать дѣло! сказалъ онъ себѣ и почти съ удовольствіемъ перенесъ всѣ непріятныя ощущенія, которыя ему пришлось испытать, нанявша квартиру, знакомясь съ учителями и ученищемъ. Квартира его была простая лачуга, съ грязнымъ поломъ, перекосившимися стѣнами и сверчками; за стеной постоянно стучалъ молотъ жестяника и раздавался ревъ ребятъ, не дававшій ему «подумать»; въ окна глядѣла улица съ измазанными грязью свиньями, заборъ и за заборомъ бурьянъ. Училище тоже непріятно поддѣйствовало на него своимъ разрушеннымъ видомъ, стертими досками, ободранными стѣнами, изрѣзанными партами и пр. Все это рисовало въ его воображеніи какое-то покинутое, заброшенное зданіе, гдѣ могутъ жить только летучія мыши и гнѣздиться ночныя птицы. Онъ начиналъ дѣло съ свѣтлыми планами, и первы его непріятно потряслись этой пустынностью, вѣяніемъ смерти и заброшенностью...

— Но, думалъ онъ,—живутъ же люди и здѣсь! и принялся знакомиться съ учителями, которые представились ему мучениками; но люди, которые жили здѣсь, т. е. учителя, къ удивленію Пѣвцова, еще болѣе увеличили въ немъ ощущеніе разрушенности и смерти. Они сами были развалины: они давно уже служили здѣсь и привыкли ко всему. Появленіе новаго лица родило въ нихъ относительно его какое-то враждебное чувство—они сторонились Пѣвцова, старались отпѣиваться и вѣжливость его объясняли желаніемъ поддѣлаться къ нимъ, да потомъ и бухнуть директору, чтобы самому выскокить, а ихъ погубить. Такой взглядъ товарищей

весьма опечалилъ Пѣвцова; онъ недоумѣвалъ, но надѣялся, что со временемъ они переиѣнятъ объ немъ мнѣніе. Онъ не ошибся: «что-жъ? подумали товарищи, когда имъ надобно шушукаться, пускай доноситъ... наше дѣло правое», и стали смотрѣть на Пѣвцова, какъ на прошалыгу...—«Прошелкался въ Москвѣ-то, думали и говорили они,—вотъ и юлить...» Взглядъ ихъ еще болѣе укрѣпился тогда, когда они узнали, что у Пѣвцова нѣтъ ни копѣйки за душой, а у нихъ были уже благопріобрѣтенныя норы, самовары, кровати и безпорочные формуляры. «Намъ бояться нечего!» думали они каждую минуту... Съ этихъ поръ онъ перестали сторониться Пѣвцова и шушукать въ уголку; теперь они уже громко разговаривали о крестинахъ, больныхъ желудкахъ, больныхъ со *вчерашнихъ* головахъ, предлагали другъ другу средства къ исцѣленію и трепали учениковъ за виски...

Скоро онъ помирился съ разваленными стѣнами, съ пьяными фигурами учителей, но рѣшительно терялся при видѣ учениковъ. Эти рваные полушубки, эти худенькія дѣтскія ноги, вымазанныя холодною осеннею грязью, эти томія лица и уже мозолистыя руки приводили его въ недоумѣніе. Онъ зналъ, что эти дѣти пришли поучиться у него уму-разуму; зналъ, что полушубки, въ которыхъ пришли они, сняты съ отцовъ и братьевъ; зналъ, что отцы и братья съ нетерпѣніемъ ожидаютъ возвращенія ихъ полушубковъ изъ школы, чтобы одѣть ихъ и отправиться за добычею: они еще вчера замѣтили въ оврагѣ дохлую лошадь, которую еще никто не успѣлъ ободрать. Объ этой лошади думаютъ теперь отцы и братья, объ ней думаютъ и ученики Пѣвцова. Маленькіе слушатели его—уже дѣйствительные, нужные члены своихъ семей и заинтересованы въ нихъ наравнѣ со стариками и взрослыми. Чѣмъ онъ, Пѣвцовъ, можетъ пригодиться имъ? Развѣ хватить у него духа ограничиться только поправкою грамматическихъ ошибокъ въ томъ маленькомъ дѣтскомъ сочиненіи, гдѣ говорится, что «вчера у насъ обвалилась печка, а отца нѣту дома—онъ по-везъ продавать подсолнухи по деревнямъ, всего на четвертакъ...» Какая польза этимъ трудящимся бѣднякамъ въ томъ, что они узнаютъ логическій составъ мысли, что органъ вкуса есть языкъ, а Монбланъ имѣетъ четырнадцать тысячъ футовъ высоты? какая польза въ подобныхъ знаніяхъ, когда, заплативъ за нихъ кровные три рубля въ годъ, ученики его все-таки будутъ продолжать жить по-отцовски, въ лютые морозы плестись по полю на влячонкѣ въ сосѣднюю деревню, чтобы распродать подсолнухи на ту же сумму въ четвертакъ и надуть при этомъ своихъ собратій мужичковъ?.. Онъ не вѣрилъ, чтобы всѣ эти маленькіе труженики добровольно отрывались на четыре года отъ семей; онъ видѣлъ тутъ какое-то строжайшее приказаніе... Опытъ доказалъ ему совсѣмъ иное. На глазахъ его не одинъ разъ въ училище приходили отцы и матери учениковъ и просили учителей наказывать своихъ дѣтей... Что имъ мѣшаетъ драть и «полосовать» своихъ дѣтей дома? Они дерутъ ихъ дома, но не видятъ отъ этого никакого проку; имъ нужно, чтобы дѣ-

тей наказывали въ училищѣ. Слѣдовательно училище имѣеть нѣкоторую силу; бѣдные отцы ждутъ отъ него чего-то... У нихъ дома не находится одного изъ свойствъ нравственнаго вліянія, необходимаго для ихъ дѣтей; они полагаютъ, что спасительница ихняя—это училищная казенная розга, укрѣпленная въ чужихъ, ученыхъ рукахъ... Такъ думаютъ необразованные отцы; «но, думалъ Пѣвцовъ, на нашей обязанности замѣнить эту розгу свѣтлымъ нравственнымъ вліяніемъ».

На первыхъ порахъ ему казалось, что въ немъ проснулася какая-то новая, страшная сила...

«Но, думалъ онъ черезъ двѣ минуты, чѣмъ же можетъ быть онъ полезнымъ въ этомъ отношеніи?» Углубившись въ разработку собственныхъ нравственныхъ силъ, онъ съ ужасомъ убѣдился, что ничего не можетъ сообщить своимъ питомцамъ, кромѣ мыслей о пользѣ терпѣнія, повиновенія, послушанія, труда... «Что такое?» недоумѣвая, толковать онъ и приходилъ къ тѣмъ же заключеніямъ... Пѣвцовъ почувствовалъ, что не эти-ли истины, вложенныя въ него съ дѣтства, съ цѣлью пріучить его къ существованію сидя на одномъ мѣстѣ, и быть довольнымъ этимъ «опредѣленнымъ» положеніемъ—были причиною того, что, оставшись безъ цѣли, безъ привязи, сдѣланной чужими руками, онъ мечется изъ угла въ уголъ, не зная, что дѣлать, куда дѣваться?... Мысль эта, мелькнувшая въ его голоу, какъ молнія, какъ молнія и исчезла, но общій и душевный хаосъ, который подняло въ его душѣ «дѣло», заставилъ его сказать:

— Нѣтъ, конечно! Завтра же бросаю все... и не могу здѣсь быть... Нѣтъ!... Нѣтъ!..

Завтра онъ не уѣхалъ, потому что этому помѣшало одно новое и весьма хорошее соображеніе...

— Что-жъ, думалъ онъ,—и здѣсь можно быть полезнымъ... Стоить только отдать свое жалованье въ пользу бѣдныхъ учениковъ, ихъ семействъ; отцовъ и братьевъ... Вѣдь это все ихнее...

Эта мысль озарила все его тосковавшее существо...

— Завтра же, завтра же! толковалъ онъ съ восторгомъ и ерошилъ свои волосы.

Но завтра онъ этого не сдѣлалъ.

— Какъ только получу жалованье — думалъ онъ «завтра» — тотчасъ же...

Жалованье онъ получалъ, клалъ въ карманъ — и думалъ: «завтра непременно!»

Но завтра онъ этого не дѣлалъ—деньги нужны были самому, «а вотъ въ слѣдующій мѣсяцъ!».

II.

Прошло два года. Пѣвцовъ нигуда не уѣхалъ. Мысли объ отъѣздѣ и о раздатѣ собственнаго имущества онъ считалъ окончательно рѣшенными; онъ былъ увѣренъ, что сдѣлаетъ все это непременно и не считалъ нужнымъ размышлять объ этомъ каждую минуту. Дѣло рѣшенное. Къ концу второго года онъ сдѣлался какъ-то спокойнѣе. Учителя его уже не дичились, и онъ тоже спокойно презиралъ ихъ: «Что же требовать отъ нихъ?» думалъ

онъ. Отношенія къ ученикамъ уже не были загадкою; во-первыхъ потому, что «завтра непременно...», а во-вторыхъ—«нужно же хоть для виду; пріѣзжаютъ ревизоры... охота выслушивать неприятности отъ кого-нибудь»...

— Вы, пожалуйста, сбѣйте бороду, сказалъ ему смотритель.

— Я думаю, борода моя не повредитъ?..

— Такъ, но что вамъ за охота изъ-за какой-нибудь бороды выслушивать замѣчанія? Согласитесь...

— Такъ, такъ, дѣйствительно, отвѣчалъ Пѣвцовъ и сбѣилъ бороду.

Сидя въ классѣ, онъ видѣлъ тѣ же полупуды и голыя ноги, но для того, чтобы «не нажить неприятностей», трактовалъ о подлежащихъ, сказуемыхъ, выслушивалъ басню «Оселъ и Соловей», «Проказница-Мартышка».

Неужели онъ забылъ, что выучить эту басню, непонимаемую почти на половину, стоило и времени, нужнаго на домашнюю помощь, и сальнаго огарка, стоявшаго проклятій? Нѣтъ, онъ зналъ это, но «что за охота выслушивать»... и т. д. Бругомъ его за стѣнами въ сосѣднихъ классахъ раздавались возгласы его товарищей, заматорѣвшихъ въ процессѣ преподаванія, основанномъ на томъ, чтобы «не нажить неприятностей». Пѣвцовъ слушалъ это преподаваніе и былъ равнодушенъ къ нему: онъ ведетъ свои дѣла и не имѣетъ надобности до своихъ товарищей.

— Кромѣ видимыхъ, вещественныхъ глазъ, имѣетъ ли человѣкъ невещественные? раздавалось за стѣной.

— Человѣкъ имѣетъ невещественное око.

— Которое называется?..

— Которое называется внутреннимъ.

— Какъ?

— Внутреннее око.

— Садись!—Пономаревъ! Осязаетъ ли мы внутреннее око?

— Нѣтъ, мы его не осязаемъ.

— А оно само осязаетъ ли внутреннею предмѣты? т. е. видитъ ли?

— Оно видитъ и осязаетъ.

— Что именно?

— Невещественные предметы.

— Садись!

За другой стѣной идутъ рассказы о томъ, чѣмъ замѣчательнѣе Манчестеръ; о томъ, какъ Мамай разбилъ Донского «съ тылу», причемъ безпрестанно слышатся слова: «на голову»... «обратился въ бѣгство»... «Славяне, подобно германцамъ, а германцы подобно славянамъ»—и проч. Но вотъ раздается звонокъ, Пѣвцовъ стоитъ среди учителей: они просятъ у него папироску, спрашиваютъ о квартирѣ.

— Да не пойти ли намъ къ Гаврилову? У него превосходная наливка.

— Нѣтъ, господа, говорить Пѣвцовъ.

— Да вѣдь въ Москвѣ пили же что-нибудь?

Пѣвцовъ соображалъ: «отчего же и въ самомъ дѣлѣ не пойти?».

И действительно шелъ, такъ, отъ нечего дѣлать. Дорогою онъ видѣлъ, какъ ученикъ, отъѣзжавшій о внутреннемъ окѣ, тащилъ, весь потный, коромысло съ ведрами воды; думалъ, что тяжесть этой ноши способна выколотить изъ него въ одну минуту цѣлые миллионы свѣдѣній вродѣ внутреннего ока — и шелъ съ товарищами дальше. Впрочемъ онъ вѣжливо отъѣчалъ на поклонъ ученика, который, высвободивъ одну руку изъ-подъ коромысла, снялъ-таки шапку передъ наставниками.

— Ну-ка, рюмочку! говорятъ ему товарищи.

— Нѣтъ, я не стану.

— Да пили же въ Москвѣ-то? что за глупости!

Пѣвцовъ думалъ: «что-жъ такое?» — и пилъ.

Но вотъ ужъ онъ выпилъ пять рюмокъ. Какъ это случилось, обстоятельно объяснить невозможно; достоверно извѣстно только то, что, поднося себѣ рюмку за рюмкой, онъ думалъ: «что такое, если я... велика бѣда!» Черезъ нѣсколько времени онъ уже цѣлуется съ кѣмъ-то. «Что это за роза?» думаетъ онъ, упираясь глазами въ какую-то щетину, которая принадлежит обнимающему его человѣку, и убѣдившись, что это одинъ изъ товарищей, авторъ внутреннего ока, думаетъ: «А, это ты, подлец!» — и цѣлуетъ щетину.

— Эка важность! думаетъ онъ, совершая эту перемену. — Послѣ злиться будетъ... чортъ съ нимъ!

Откуда-то явилась гитара, началась пьяная пѣсня. Оказывается, что Пѣвцовъ знаетъ эту пѣсню — и подтягиваетъ; начинается другая — Пѣвцовъ и другую знаетъ. Между нимъ и товарищами рождается какая-то пьяно-дружественная связь, онъ уже не съ отвращеніемъ, а почти добровольно слушаетъ, какъ кто-то признается ему въ любви.

— Ты, братъ, хорошій человѣкъ, говоритъ ему кто-то. — Я, братъ, люблю откровенность.

— Ты, братъ, самъ отличный человѣкъ, говоритъ Пѣвцовъ. — Я, братъ, люблю правду.

— Ты, братъ, съ Ивановымъ не сходишь, онъ — подлецъ... Я тебѣ по душѣ говорю.

— Ивановъ? о, это подлецъ! не задумываясь, соглашается Пѣвцовъ.

— Цѣлуй, братъ!.. Вотъ спасибо!.. Давай по одной!

— Давай, братъ!

— Что, моего пса тутъ нѣту? раздается голосъ за окномъ.

Это ходить по городу жена учителя и ищетъ своего пропавшаго мужа.

— Поди ты къ чорту! гремитъ компанія.

— Убрайся къ чорту! присоединяется Пѣвцовъ.

Словомъ, онъ — пріятель всѣмъ, находящимся въ этой компаніи. Пѣвцовъ возвращается домой навеселѣ, не замѣчая любопытныхъ, изумленныхъ уѣздныхъ лицъ, привыкшихъ встрѣчать его всегда въ порядкѣ.

— Нѣтъ! это невозможно! съ болью въ головѣ рѣшалъ Пѣвцовъ, проснувшись на другой день. — Нѣтъ! это чортъ знаетъ, что такое!..

Сообразивъ всѣ подробности происшествія у

Гаврилова, Пѣвцовъ назначалъ немедленный отъѣздъ изъ этого проклятаго города завтра утромъ. Это немного успокоивало его; но до завтрашняго утра оставалось громадное количество уѣздной скуки. Онъ попробовалъ высидѣть цѣлый вечеръ дома, но бушеванье вѣтра, грохотанье ставней и болтовъ, ревъ свиней подъ поломъ комнаты заставили его подумать: куда бы дѣться? Онъ подумалъ было въ послѣдній разъ сходить къ тому или къ другому товарищу, чтобы показать себя снова въ приличномъ видѣ, но это оказалось неудобнымъ: у женатыхъ людей не всегда есть свободныя минуты, одни дѣти чего стоятъ! Да наконецъ велика-ли важность доказать товарищу свою трезвость. «Чортъ съ ними!» думалъ Пѣвцовъ и все-таки не зналъ, куда-бы, въ какую бы нору заткнуть себя, лишь бы поскорѣй проснуться завтра. Судьба помогала ему. Буря и грохотъ ставней не его одного гнали вонъ изъ дому, не въ немъ только было желаніе куда-нибудь дѣться; на его сторонѣ была холостая уѣздная компанія — онъ и сошелся съ ней.

— Завтра же, завтра же! думалъ Пѣвцовъ.

III.

Прошло еще два года — Пѣвцовъ уже не думалъ этого «завтра-же», онъ совѣтовался съ товарищами насчетъ желудка: ему присовѣтовали употреблять огуречный рассолъ.

— Завтра-же прикажу хозяйкѣ купить капусту и огурцовъ, думалъ Пѣвцовъ въ эту пору.

Холостая компанія, къ которой онъ продолжалъ принадлежать, въ сущности своей, была глубоко грязна и отвратительна; отягченная бременемъ тоски и пустоты, она спустя рукава смотрѣла и переносила самыя возмутительныя вещи, понемногу привыкла принимать страшное нравственное паденіе за удовольствіе и увеличивала скудость духа и сердца, уже оскудѣвшія въ пустотѣ, еще больше и безжалостнѣе.

Иногда Пѣвцовъ, поразмысливъ надъ своей жизнью, вдругъ снова впадалъ въ усмирленную кроткими мѣрами тоску, которая на этотъ разъ не выражалась въ потребности разслада, но и не была уже та московская тоска, въ которой все-таки звучала молодость. Въ ней уже не мелькало неопредѣленное желаніе что-то начать: она говорила о томъ, какъ-бы все это кончить добровольно. Пѣвцовъ давно уже сидѣлъ на привязи и мало тосковалъ объ этомъ; онъ даже не замѣчалъ этого — такъ привыкъ онъ къ ней съ дѣтства. Но время и другія условія, о которыхъ уже сказано, навели его на мысль, что привязь эта очень длинна: она даетъ ему возможность шататься по улицамъ безо всякой надобности, вступать въ сношенія съ другими субъектами того же сорта, грызться съ ними и потомъ, повидимому безо всякой надобности, уносить въ свою конуру переломленную ногу, боль въ боку. Не лучше ли просто сидѣть въ конурѣ и заботиться только о собственномъ благосостояніи, пусть ламъ грызутся. Но иногда не утерпишь... Для этого-то нужно привязать себя въ самую глубь конуры, опутать себя

веревками, надѣть намордникъ, наконецъ приковать себя къ землѣ.

Соображенія, которыя привели Пѣвцова къ мысли о женитбѣ, были конечно не такого свойства; и это происходило только отъ того, что онъ не подозревалъ о существованіи въ себѣ глубокихъ началъ рабства. Поэтому-то желаніе болѣе короткой привязи онъ переводилъ на собственный языкъ такъ: «то-ли дѣло, думалъ онъ, я живу самъ собою!.. Чортъ ихъ возьми всѣхъ! Я ихъ не хочу знать! Я буду дѣлать свое дѣло, и у меня будетъ своя жизнь. Жена подойдет и сядетъ. Я занимаюсь (тогда можно будетъ заняться), а она что-нибудь шьетъ. Чистота. Порядокъ. Тихо, смирно. Она подойдет и обниметъ меня; по крайней мѣрѣ я знаю, что есть на свѣтѣ существо, которое...» Мысль о женитбѣ охватила его гораздо серьезнѣе, т. е. настоячивѣе всѣхъ другихъ его мыслей. Онъ рѣшился взять непремѣнно красавицу и умницу. Пусть она будетъ бѣдна. Пѣвцову это рѣшительно все-равно. Одна красавица была у него на примѣтѣ, но онъ все какъ-то мѣшкалъ: — дѣло новое. Въ одинъ вечеръ вой бури и ревъ свиней подъ поломъ квартиры достигъ такихъ размѣровъ, что Пѣвцовъ въ какомъ-то изступленіи произнесъ:

— Завтра же! завтра же, непремѣнно!..

На этотъ разъ онъ сдержалъ слово.хлопоты на счетъ невѣсты начались съ слѣдующаго же утра. Въ качествѣ человѣка, окрашеннаго уже уѣздными красками, онъ не могъ обойтись безъ совѣтовъ и толковъ по этому предмету съ своими товарищами, рѣшившимся впрочемъ, какъ и всегда онъ рѣшался, дѣйствовать сообразно собственнымъ взглядамъ, такъ какъ онъ и товарищи — это двѣ вещи совершенно различныя. Онъ сообщилъ между прочимъ, съ кѣмъ изъ женщинъ намѣренъ сойтись поближе.

— Красавица и умна — мнѣ этого только и нужно, говорилъ онъ, называя фамилію дѣвушки.

— Это что!.. говорили ему товарищи: — а вы вотъ за Зацѣпиной пріударьте... Во-отъ! Тутъ по крайней мѣрѣ — деньги; у нея вонъ три лошади, какія сани, посмотрите-ко!.. а съ красотой долго не наживешь... Красота пройдетъ...

— Нѣтъ, я уже рѣшился, твердо сказалъ Пѣвцовъ.

«Но, думалъ онъ, черезъ нѣсколько времени, оставшись одинъ, почему же мнѣ нужна только красота и умъ, отчего и не средства? Зацѣпина! Что-жъ такое? Я не мальчикъ, мнѣ нужно установившуюся душу. Она и не дурна... даже красавица... Средства?... Онъ мнѣ дадутъ возможность еще болѣе отдѣлаться отъ этой пьяной оравы и жить самостоятельнѣе...»

IV.

Прошелъ годъ.

Пѣвцовъ былъ уже женатъ на Зацѣпиной. Онъ чувствовалъ истинное блаженство: какая у него чистота въ комнатѣ, какое тепло! Какъ-то радостно смотреть на него новые обои комнатки, новая лампа, новые стулья и новая, чистая блуза жены, въ

которой она подходитъ къ нему и подсаживается. Правда, она молчитъ большею частью, но это-то и дорого: — ему давно хотѣлось тишины и покоя.

— Ваничка! говоритъ жена Пѣвцова, — Авдотья разбила чашку, я ей приказала купить новую на ея счетъ... Посмотри, какая миленькая чашка!

— Какая въ самомъ дѣлѣ хорошенькая.

— Я тебѣ наливаю сегодня въ нее чаю, присовокупляетъ жена и цѣлуетъ супруга; Пѣвцовъ тоже цѣлуетъ ее.

Затѣмъ снова тишина, свѣтъ лампы, медленныя прогулки супруги изъ одной комнаты въ другую, чтобы поправить подсвѣчникъ подъ зеркаломъ, чтобы задать кухаркѣ вопросъ — и главное: тишина и молчаніе... Молчаніе жены Пѣвцова объяснялъ себѣ ея умомъ, который ни на минуту не перестаетъ работать въ пользу спокойствія и тишины. Какимъ ангельскимъ голосомъ говоритъ она даже фразы на счетъ вычета за разбитую чашку! Въ этомъ голосѣ слышится и любовь къ Пѣвцову, и ежеминутная забота о немъ...

Жена Пѣвцова была честнѣйшая исполнительница того назначенія, которое ей было внушено въ домѣ родительскомъ ежеминутными примѣрами дѣйствительной жизни и основано на томъ, чтобы «не изъ дому, а въ домъ». Эта теорія, смотрящая на жизнь, какъ на возможность скопить и нажить, дѣлаетъ множество женщинъ, которыхъ въ молодости можно насильно выдать за семидесятилѣтняго старика, но которыхъ нельзя уже оторвать отъ этого старика, потому что они сразу предаются продолженію «наживы», развитой въ ихъ мужьяхъ, и дѣлаются скрягами. Такого воспитанія была и жена Пѣвцова; молодое, красивое лицо ея было всегда задумчиво, по причинѣ тревожныхъ вопросовъ насчетъ капусты, огурцовъ, яицъ, сквородъ, ухватовъ и пр., нескончаемою вереницею тянувшихся въ ея умѣ... Все-то она думала о томъ — какъ-бы не прогадать, да лишняго не передать, а если случится, то и не додать... Она жалѣла, что этого не случалось. Еще она думала о томъ, какъ бы было хорошо, еслибы ей пришлось найти гдѣ-нибудь на улицѣ пять тысячъ; она бы сейчасъ ихъ спрятала и никому бы не показала... Все это совершалось въ головѣ ея молча, тихо...

— Ваничка! говорила она ангельскимъ голосомъ, цѣлуя Пѣвцова въ губы, — ты куришь дорогой табакъ! голубчикъ, ангелочикъ, брось!.. Бури въ гривенникъ... Не все-ли равно?..

— Изволь, изволь!.. въ умиленіи лепеталъ Пѣвцовъ.

Жена осыпала его поцѣлуями.

Пѣвцовъ не могъ ни на минуту разстаться съ этой тишиной. Уѣздное общество рѣшительно не влекло его; онъ равнодушно относился къ своимъ холостымъ пріятелямъ и даже подтрунивалъ надъ тѣмъ, какъ по вечерамъ они съ пьяными разговорами шатаются по темнымъ улицамъ, натываясь другъ на друга и не зная, куда дѣться... Онъ чувствовалъ, что могъ смѣяться надъ ними, — у него былъ свой уголъ, который онъ боготворилъ... Возвращаясь вечеркомъ домой, послѣ кратковременной

бесѣды у семейнаго товарища, онъ непремѣнно заглядывалъ съ улицы во внутренность своего дома: какая райская тишина! Вонъ жена сидитъ на диванѣ и вяжетъ чулки ребенку!.. Его еще нѣту, но она такъ предусмотрительна... Какое у нея святое выраженіе лица... Какъ ярко горитъ лампа!

Онъ входилъ въ комнату и съ удовольствіемъ цѣловалъ жену; жена отвѣчала ему еще съ большею страстностью...

— Ваничка! я все ждала тебя, все боялась, говорить она.

Слѣдовали опять поцѣлуи.

— Я думаю, не обварить ли намъ клоповъ? произносила жена.

— Обвари, обвари, ангелъ мой!

И Пѣвцовъ снова заключалъ ее въ свои объятія.

Ощущеніе подъ ногами твердой земли, испытываемое Пѣвцовымъ послѣ женитбы, не прекращалось даже тогда, когда обои комнаты нѣсколько запахкались, когда блузы жены запахкались совершенно. Онъ даже началъ находить что-то пріятное въ этой растегнутости; начиналъ любить свой уголъ даже и тогда, когда все бывшее въ немъ было пополамъ съ грязью! Встрѣчая жену съ растрепанной косой или со щекой, на которой видны слѣды ухвата или сковороды, онъ радовался даже: «Что-жъ такое, что жена его облита помоями? За то, какое у нея ангельское выраженіе лица!.. Помои знаменуютъ хлопоты о тишинѣ...» Всѣ эти помои, шерстяные чулки, клопы, начинавшіе колонизацію около новобрачной кровати,—все это въ глазахъ Пѣвцова были атрибуты прочности его земного существованія. «Довольно висѣть на воздухѣ-то», говорилъ онъ, обнимая жену, несшую полѣно... Жена пламенно отвѣчала ему и, какъ зефиръ, уносила съ полѣномъ въ кухню.

У.

Довольно долго тянулось это блаженство. Онъ не терялъ къ нему аппетита, но иногда въ голову его закрадывалась мысль: «Отчего-бы не пойти куда-нибудь посидѣть вечеркомъ?» Старая холостая компанія, исчезнувшая изъ его памяти, снова вспомнилась ему. «Отчего-же не пойти? Авось, меня не убудеть отъ этого?»

И вотъ однажды онъ пошелъ туда.

— Ну-ка, рюмочку! сказали ему.

— Нѣтъ, нѣтъ, господа! Теперь рюмочки прошли.

— Фу ты, Господи!.. Хорошо-же ваше семейное счастье, если рюмка можетъ вредить ему.

— Да! Вѣдь и въ самоѣ дѣлѣ! Что за вздоръ! думалъ Пѣвцовъ.

— Что, нашего барина тутъ нѣту? спрашиваетъ черезъ нѣсколько времени кухарка Пѣвцова, посланная женой,—барыня дожидается.

— Скажи—иду, отвѣчаетъ Пѣвцовъ довольно развязно.

Онъ ужъ порядочно выпилъ; вмѣстѣ съ первой рюмкой ему сразу вспомнилось холостое одиноче-

ство, обуреваемое душевными терзаніями и ревомъ бури. Было что-то хорошее, какая-то крупница поэзіи въ этомъ тоскованіи о винѣ. Рюмки быстро выросли эту крупницу. Пѣвцовъ не замѣчалъ, какъ летѣло время.

— Я сказалъ, что приду! крикнулъ онъ на кухарку, когда она въ другой разъ, спустя нѣсколько часовъ, снова появилась требовать барина,—я знаю, что я дѣлаю!

На утро онъ просилъ у жены прощенія, но вечеромъ снова вспоминалась ему «жизнь» въ компаніи, и его тянуло-тянуло туда.

— Ты опять напьешься? говорила жена Пѣвцову, когда онъ собирался пройтись погулять.

— Ну вотъ, развѣ я не знаю!

— Пожалуйста! что это за пьянство?

— Я знаю... что ты?

Пѣвцовъ возвращался пьяный.

Время шло, и стремленіе Пѣвцова къ «грязнѣ» холостой компаніи не уменьшалось ни на волосъ. Напротивъ, оно росло съ неудержимою силой и въ сущности происходило изъ сознанія, что привязь слишкомъ ужъ коротка, что размѣры дѣятельности Пѣвцова, даже въ территоріальномъ отношеніи, съузились до послѣдней степени:—она не должна была простираться далѣе спальни, и онъ могъ свободно трактовать только вопросы о томъ, на какой бокъ удобнѣе лечь, на правый или на лѣвый? Среди холостой уѣздной грязи было больше простору и разнообразія. Укрѣпляя себя въ этихъ взглядахъ, онъ, спустя еще нѣсколько времени, уже не извинялся передъ женой въ томъ, что былъ вчера пьянъ, и вообще не съ такимъ, какъ прежде, жаромъ раздѣлялъ ее цѣли и намѣренія.

— Ты видишь, я занятъ, а ты лѣзешь цѣловаться! сердито говорилъ онъ ей, набивая папиросу и локтемъ отстраняя объятія жены.

— Скажите пожалуйста! Я вовсе не думала цѣловаться: я хотѣла сказать, куда мнѣ дѣвать капусту—прокисла.

— Мнѣ какое дѣло! Пожалуйста ты съ капустой сама распоряжайся.

— Что-жъ ты послѣ этого за хозяйинъ? Не бросать-же мнѣ ее... Я должна посоветоваться.

Пѣвцовъ не отвѣчалъ ни слова.

— Тебѣ только улигнуть да нажраться гдѣ-нибудь, сердито проговорила жена.

— Пожалуйста, пожалуйста...

— Разумѣется!.. Я не затѣмъ шла, чтобъ съ пьяницей возиться.

Пѣвцовъ съ сердцемъ уходилъ изъ дому.

— И какія у этой женщины права, думалъ онъ,—на обладаніе мною, какъ какой-нибудь столовой ложкой? Что за достоинство цѣлую жизнь молча посидѣть на одномъ мѣстѣ?

По вечерамъ онъ уже не заглядывалъ въ окна своей квартиры съ улицы: она представлялась ему гнѣздомъ духоты, кухоннаго воздуха и мертвой тишины.

— Тѣфу ты! говорилъ онъ съ сердцемъ.

VI.

Прошло еще немного времени и онъ уже не просто лѣзъ въ грязь — въ немъ сразу пробудилась вся тоска. Какая страшная разница между первымъ его приѣздомъ въ уѣздный городъ и теперешней жизнью. Жена, не церемонясь, ткнула его на привязъ къ обязанностямъ хозяина, и Пѣвцовъ метался на этой цѣпи, какъ бѣшеный. Къ ужасу его оказывалось, что у него не хватаетъ даже силы подумать о бѣгствѣ отсюда, что нѣтъ выхода изъ этихъ перинъ и духоты, изъ этой тишины, вычетовъ за разбитыя чашки, расколовъ и кислой капусты...

Пѣвцовъ предался самой страшной распущенности. Онъ подружился съ какими-то еще болѣе грязными лицами уѣздной холостежи, сошелся съ какими-то женщинами, пропадалъ цѣлые дни изъ дому, и, если возвращался домой, то уже не робѣя, кричалъ своей женѣ:

— Только пики!

Жена плакала по цѣлымъ днямъ. Среди рыданій она наконецъ пришла къ той мысли, что если такъ дѣла будутъ продолжаться, а она будетъ обливаться слезами, то немудрено, что хозяйство придетъ въ упадокъ. И то муженекъ перебилъ уже двѣ тысячи тарелокъ... Конецъ этому она рѣшилась положить по-своему...

— Марфа! сказала она однажды кухаркѣ. — Запри двери и ночью не отпирай ему... Пусть его идетъ, куда хочетъ...

Ночью пьяный Пѣвцовъ колотилъ въ дверь и кричалъ:

— Отворяй!

— Пошелъ туда, откуда пришелъ! Пьяница!..

— Отворяй, говорю...

— Разбойникъ! Какой ты хозяинъ?.. Умирай на морозѣ, съ собаками...

Дверь съ грохотомъ повалилась на полъ, и пьяный Пѣвцовъ ввалился въ комнату.

— Не пускать? Ты не пускать? наступаю на жену, кричалъ онъ.

— А ты бушевать началъ! Хор-рошо!

— Ты не пускать?..

— Хорошо! хорошо! продолжала супруга, опомнившись, и — выскользнула на улицу...

— Не пускать? продолжалъ Пѣвцовъ, всаживая кулакъ въ раму. «Не пускать!» бормоталъ онъ, всаживая другой кулакъ въ другую раму. «Ты н-не пускать!» прохрипѣлъ онъ, намѣреваясь отнестись съ тѣмъ-же движеніемъ кулака къ физиономіи кухарки, но...

— Мы не допускаемъ дебошу... произнесъ суровый будочникъ Барсукъ, охвативъ веревкой локти Пѣвцова. — Потому, ваше высокоблагородіе, намъ этого нельзя; начальство тоже шуму не позволяетъ.

— Хорошенько его, голубчикъ! совѣтовала будочнику жена Пѣвцова.

— Будьте покойны!.. въ лучшемъ видѣ поставимъ!

Съ теченіемъ времени все пришло въ надлежащій порядокъ.

Теперь Пѣвцовъ привыкъ ко всякимъ привязямъ и находить положеніе свое весьма опредѣленнымъ, беззаботно неся крестъ, назначенный ему съ первыхъ дней колыбели...

III. Изъ біографіи искателя теплыхъ мѣстъ.

(КАРРИКАТУРНЫЕ НАБРОСКИ.)

I.

...Едва-ли не вмѣстѣ съ первымъ поѣздомъ новой дороги, прихватившей уѣздный городокъ *** болѣе или менѣе къ свѣту, неизвестно откуда налетѣло въ него безчисленное множество какого-то инородческаго воронья, тотчасъ-же принявшагося опустошать глухую сторону самыми разнообразными способами: въ глухихъ уѣздныхъ улицахъ, на деревенскихъ ярмаркахъ, появились коленикоровыя вывѣски о потеряхъ съ значительными выигрышами, о распродажахъ съ преміями, о представленіяхъ съ сюрпризами; повсюду завелись фортуны, юлы, билеты, на которые ждуть полученія, чтобы выдать дочку замужъ и такъ далѣе. Всѣ эти знакомыя столичному жителю попытки, не наносившія ему особеннаго ущерба въ ряду надуванія еще болѣе поглощающаго свойства — въ глуши, въ бѣдной, нищенствующей сторонѣ уподобляются своей опустошительностью моровой язвѣ, пожару, нашествію орды сарайской, формальному грабежу. Успѣшность дѣйствій налетѣвшаго воронья въ особенности обезпечивается тѣмъ, что обыватель никакъ образомъ не усматриваетъ въ этомъ дѣйствіи ни малѣйшей тѣни грабежа. Съ грабежомъ обыватель давно знакомъ; онъ знаетъ его во всѣхъ статьяхъ и давно привыкъ кричать: «обманъ!», бѣгая при этомъ по торжищу и раздирая на себѣ ризы, но здѣсь онъ не знаетъ его, видя не грабежъ, а благодѣяніе... Это послѣднее качество современнаго грабежа, давая опустошителямъ основательную поживу, совершенно отличаетъ ихъ отъ людей, занимавшихся тою-же профессією въ прежнее время.

Въ самомъ дѣлѣ, кто въ прежнее время, помимо людей, приходившихъ брать съ простоты обязательную уплату, зарился на оставшіяся отъ этой уплаты грошъ? На первомъ планѣ несомнѣнно стоитъ цаловальникъ; названіе *душуба* и *кровотійца* столь-же неразрывно связано съ его званіемъ, какъ и названіе хищнаго звѣря связано съ волкомъ... Не безъ успѣха на тотъ-же грошъ охотился кулакъ, поджидавшій мужачій возъ, лежа въ грязи въ канавѣ за заставой; съ помощью отвода глазъ и дьявольскаго наводненія иногда обдѣлывалъ свои дѣла цыганъ... Кромѣ этихъ собственно грабителей, за полученіемъ того-же гроша, спрятаннаго въ чулкѣ подъ печкой на случай смерти, шелъ съ Бѣлаго моря старецъ, божій человѣкъ: прискакивалъ босой и почти голый Омушка-юродивый съ палицей и, ставъ на одной

ногѣ, говорилъ: «дай грошики!». Плелись нищія и нищенки, стѣны и бѣла блаженство за могилой... Лицъ, желавшихъ получить грошъ помощью увеселеній, почти не было, исключая развѣ деревенскаго мальчишки, который кой-когда забредалъ въ глушь, неся для потѣхи публики или хорька въ мѣшкѣ, или ежа въ рукахъ: шатаясь по глухимъ улицамъ, онъ плѣлъ стихшокъ своего сочиненія: «Выходите, господа, посмотрите на звѣря», и ждалъ «не пожалуютъ-ли чего?...» Вотъ почти все, что норвило овладѣть оставшимся отъ уплаты грошомъ; тутъ и хищники, и успокоители, и увеселители; нельзя сказать, чтобы ихъ было мало и чтобы они дѣйствительно не получали барышей; но каковы въ сущности были эти барыши? Самый отъявленный грабитель, цѣловальникъ, получалъ барышъ только послѣ долговременнѣйшаго грабежа. Вѣря, что камень обростаеъ, лежа на одномъ мѣстѣ, онъ обыкновенно приросталъ десятка на два, на три лѣтъ къ какому-нибудь поселку, состоящему изъ пяти-шести дворовъ, и кровопійствовалъ надъ ними безъ пощады: «Ты мнѣ подверженъ!» говорилъ онъ совершенно открыто обывателю поселка, что значило—простись съ полшубкомъ! «Помилосердуй!» умолялъ обыватель. Но цѣловальникъ не отвѣчалъ на это, а поплывавъ на руки, прямо воротилъ шкуру обывателя съ затылка. «Грабитель ты, Исая Ильичъ». — «А ты думалъ, я — нянька тебѣ достался?» Очевидный грабежъ этотъ основывался въ цѣловальникѣ на убѣжденіи, что душа его принадлежитъ дьяволу и что слѣдовательно все равно — за одно кнѣтъ въ смоля. Это тягостнѣйшее сознаніе тяготѣло въ немъ десятки лѣтъ, вмѣстѣ съ проклятіями и угрозами ограбляемыхъ имъ обывателей; къ концу жизни, когда душа его была уже совершенно отягощена грѣхами, приходило благосостояніе, т. е. возможность ежеминутно мазать свои сапоги дегтярнымъ помазкомъ, а по праздникамъ окунавъ ихъ прямо въ бочку. Тутъ онъ начиналъ служить молебны, замаливать грѣхи, угощать станового и причтъ, питаясь самъ неключительно и непремѣнно только рѣдкой и не показывая вида, что въ подпольѣ у него хранится пара новыхъ лаптей, ибо какъ только прохожій солдатъ замѣчалъ ихъ вмѣсто рѣдки, капусты съ масломъ и квасомъ, то тотчасъ же догадывался о богатствѣ цѣловальника и начиналъ подглядывать подъ лавку, гдѣ лежалъ топоръ... При самыхъ тщательныхъ соблюденіяхъ «уха востро», при самыхъ высканнѣйшихъ выдумкахъ на тему о томъ — что нечего ѣсть, что скоро пойдешь съ сумой, большею частью случалось такъ, что солдатъ увлекалъ вниманіе цѣловальника разсказами о царскихъ смѣлахъ и, дотянувъ дѣло до ночи, внезапно отхватывалъ цѣловальнику голову топоромъ, овладѣвалъ лаптями и скрывался въ дремучій лѣсъ... А какъ надрывалъ свою грудь цыганъ, чтобы всю жизнь ходить голымъ и голоднымъ? Какими проклятіями долженъ былъ осыпать кулакъ свою жену и дѣтей, чтобы увѣрить простаго человѣка въ чистотѣ своихъ намѣреній: овладѣть мѣркою овсеца, пропить ее въ кабацѣ, быть избитымъ цѣлой армаркою и

умереть, какъ умеръ Ильичъ? *) Странникъ, божій человѣкъ, долженъ былъ сдѣлать тысячи верстъ, самолично побывавъ на Бѣломъ морѣ и въ Іерусалимѣ, принося оттуда выжженный на груди и на рукѣ крестъ, мерзнуть отъ выюгъ и мателей, жечься на солнцѣ, страдать отъ волковъ, врача прокушенную ими ногу собственными средствами, травами и листьями... И тогда только онъ получалъ скудное даваніе, но и на это даваніе уже зарился прохожій солдатъ и поджидалъ странника въ лѣсочкѣ, со шкворнемъ въ рукахъ, надѣясь поживиться. Только Богъ спасалъ старца отъ гибели помощью заключенія въ темницу, ибо по уходѣ старца отъ добродѣтельнаго дателя обнаруживалась пропажа набойчитаго платка... Не ранѣе какъ черезъ годъ кухарка, обуреваемая ночными видѣніями, валилась господамъ въ ноги, прося разметать кости ея по полю, ибо платокъ — ея грѣхъ; безвиннаго старца выпускали, и, пробираясь лѣскомъ, онъ наконецъ-таки встрѣчалъ прохожаго солдата, исхудавшаго въ ожиданіи старца на подобіе личинки. «Богъ на помочь!» говорилъ онъ старцу, присоединяясь къ нему, заводилъ рѣчь о туркахъ и, отвернувшись на минутку по своему дѣлу, внезапно наносилъ ему смертельный ударъ шкворнемъ по головѣ... Старецъ падалъ мертвъ, а солдатъ, овладѣвъ сумкой, въ которой хранился «Сонъ пресвятыя Богородицы», исчезалъ въ дремучій лѣсъ. — Барыши увеселителя-мальчишки были еще ничтожныѣ: имѣя пагубное убѣжденіе, что въ увеселеніяхъ нуждаются господа, онъ шатался съ своимъ ежомъ и стихомъ: «Посмотрите на звѣря» подъ господскими окнами. А такъ какъ въ рѣдкое окно глухого городка не глядитъ начальство, то ежа у мальчишки обыкновенно отнимали «для дѣтей», уплачивая вопросами: «имя? званіе? кто? откуда?», на которые мальчишка отвѣчалъ бѣгствомъ... Бывали случаи, что ему попадала корка хлѣба; бывали случаи, что онъ, идя лѣскомъ, хотѣлъ ее отвѣдать, но въ это время невдалекѣ показывался прохожій солдатъ со шкворнемъ, поступая на этотъ разъ по божески, то-есть бралъ корку, не убивая на смерть, а только помахавъ шкворнемъ надъ затылкомъ мальчишки...

Вотъ приблизительно всѣ барыши, которыми пользовался претенденты на оставшіяся грошъ въ прежнее время. Количество ихъ до такой степени неуловимо, что прохожій солдатъ, наконецъ-таки схваченный и закованный въ кандалы, могъ совершенно по чистой совѣсти отвѣчать судьямъ: «не помню, не знаю», на вопросы ихъ: «гдѣ былъ? чѣмъ жилъ? что ѣлъ?»

И вотъ эту-то глушь, бывшую безплодною пустыней для людей легкой наживы стараго времени, современные опустошители сѣмъ превратили для себя въ золотое дно, единственно благодаря благодѣтельствуемому и увеселительному приему, замѣнившему собою и дѣйствительное сдираніе шкуры съ простодушнаго обывателя, и отводъ глазъ, и общанія царствія небеснаго и т. д. За

*) Герой поэмы Никитина «Кулакъ».

заставой напиримѣрь, гдѣ валялся въ канавѣ и въ грязи кулакъ, умиравшій въ послѣдствіи съ голоду, теперь охотится на мужика цѣлая толпа джентльменовъ; этимъ людямъ нельзя дать другого названія, потому что они, видимо, хотятъ быть джентльменами: для этого они нарядились въ пиджаки, шляпы, слегка сидящія на затылкѣ, и каждый закусилъ зубомъ по толстой сигарѣ... Слегка странное впечатлѣніе, которое они могутъ произвести на посторонняго зрителя, прогуливаясь въ пятомъ часу утра за заставой, они побѣждаютъ необыкновенной солидностью тѣлодвиженій и походки, необыкновенно гордымъ и безпечнымъ видомъ, съ которыми они гуляютъ, курятъ и при появленіи мужичьего воза преграждаютъ ему дорогу...

Франтами они нарядились для того, чтобы скрыть отъ взоровъ русскаго мужика свое происхожденіе—большую частью это нѣмецкіе или польскіе евреи — и, избѣжавъ съ помощью сигары и шляпы необходимости разрушать недовѣріе мужика, основанное на «свиномъ ухѣ» и «христопродавствѣ», прямо приступаютъ къ дѣлу, т. е. къ мужичьей бѣдности и нищетѣ. Они не клянутся, не заговариваютъ съ насадкой въ груди, какъ кулакъ, потому что они и не умѣютъ говорить по туземному, а дѣйствуютъ посредствомъ денегъ — языка для нищеты крайне любезнаго. Денегъ у нихъ много; благодаря имъ, они имѣютъ возможность купить у мужика «все», и не только то, что есть, а даже и то, что будетъ на будущій годъ и еще года на два, на три... Это объясняетъ и ихъ обиліе, и возможность курить сигару, носить шляпу, тогда какъ кулакъ, разбойничавшій безъ гроша, норовилъ урвать мѣрку овсеца и умиралъ, какъ сказано выше, т. е. съ голоду.

Послѣ кулака оставались проклятія, послѣ джентльмена — масса денегъ въ рукахъ мужика — и благодарность... Если мало ему этихъ денегъ, онъ можетъ получить еще съ помощью лоттерей, юль, фортунокъ и т. д. Это тѣмъ болѣе кажется вѣроятнымъ, что благодѣтельствованный туземецъ пьянъ съ радости, да кромѣ того ему коротко извѣстно, что въ Усмани былъ съ однимъ мѣщаниномъ случай: залаталъ онъ гривенникъ, а выигралъ самоваръ... Съ пьяныхъ глазъ хочется спѣшить этимъ дѣломъ потому, что вывѣска кричитъ народу большими красными буквами: «Еще только два дня...» Обыватель спѣшить... Ничего, что онъ проигрался—дѣло поправимое: можно вернуть все съ большимъ барышемъ... «Нѣтъ денегъ? А самоваръ-то вы выиграли? Ставьте и вертите, сколько угодно...» Самоваръ исчезаетъ совершенно неожиданно... «Ставить нечего». — «Какъ нечего! А лень, а сажо?» — «И янцъ можно?» — «И янцъ, что угодно... всѣмъ магазиномъ отвѣчаемъ». — «Абма-а-нъ», шатаясь изъ стороны въ сторону, шепчетъ про себя обыватель, не рѣшаясь по старинному громко возвѣстять объ этомъ на торжищѣ, ибо виноватъ онъ самъ: ему не хотѣли ничего кромѣ добра, ему дали денегъ столько, сколько онъ не выдывалъ отъ роду... «Да вѣдь выигралъ же въ Усмани мѣщанинъ», думаетъ общипанный туземецъ, какъ на

мѣсто улетѣвшихъ благодѣтелей уже налетаютъ новые, безпокоящіе тихую уѣздную улицу церемониальнымъ и совершенно небывалымъ шестіемъ... Впереди несутъ громадѣйшую афишу съ изображеніемъ танцующей дѣвцы (это для господъ), съ исчисленіемъ фокусовъ бѣлой и черной магіи (для мальчишекъ), и съ общаніемъ разыграть въ пользу посѣтителей предстоящаго представленія двѣ коровы... «Абм-манъ!» думаетъ обыватель, но пара коровъ шествуетъ вслѣдъ за афишей на лицо... Ленты и бантики, навѣшанные на нихъ, свидѣтельствуютъ о томъ, что это тѣ самыя коровы, которыя могутъ быть выиграны всякимъ за самую ничтожную цѣну... «Обмана нѣтъ; счастье—дѣло Божіе: либо панъ, либо пропасть...» думаетъ обыватель: «воротись, выиграть что-нибудь нужно, непременно нужно... дочь невѣста... да и въ Усмани былъ же случай...» И глядишь, деревянный балаганъ, наскоро сколоченный среди уѣздной площади, въ тотъ же вечеръ трещитъ отъ множества народа. Дырявая парусина на его крышѣ ходитъ волнами отъ степного рвущаго вѣтра, который, на ужасъ уѣздныхъ старушекъ, расноситъ уханье барабана, звонъ мѣдныхъ тарелокъ, пѣсни и хочотъ по всѣмъ закоулкамъ и лачужкамъ городка... Да! при видѣ этого веселаго опустошенія, кровопійца-цѣловальникъ является щенкомъ, глодавшимъ съ голоду старую калошу, тогда какъ настоящий кусокъ прикрытъ запой настоящей собакой...

«А я думалъ, кровь я пилъ», думалъ не безъ злой и горькой ироніи кровопійца. «А я даже несколько этой крови и не пилъ-съ...»

II.

Не исчисляя всѣхъ видовъ опустошителей и ихъ пріемовъ, можно вывести общее заключеніе, что первобытныя формы грабежа, руководившія цѣловальникомъ, кулакомъ, возведены инородцами въ самую правильную систему, облеченную въ форму, преимущественно увеселительную и рекомендующую бѣдности возможность мгновеннаго обогащенія... Всеобщая потребность въ этомъ обогащеніи, какъ видно, съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе упрочиваетъ успѣхъ опустошительнаго дѣла и не сулитъ опустошителямъ, поведенію, ничего, кромѣ барышей...

Но Антонъ Ивановичъ Чижевъ, портной изъ Москвы, недавно прибывшій въ городокъ ***, въ полномъ согласіи съ этимъ.

— Грабить-то, грабятъ — надо говорить по совѣсти — а не туда! Нѣтъ! Не въ то мѣсто попадаютъ!.. Нѣтъ...

Такъ разсуждаетъ онъ, сидя съ работой полъ окномъ маленькой хибарки своей родственницы-пачки.

— Въ какое еще мѣсто попадать? не весьма довольнымъ тономъ возражаетъ ему родственница. — Кажется, и такъ живого мѣста не осталось... Не въ то еще мѣсто!.. Я слушаю, вы только любите разговаривать, а толку отъ вашихъ разговоровъ очень мало.

Антонъ Ивановъ принимается работать иглой, хотя вообще онъ весьма лѣнивъ, и молчать.

— Считается вы московскіе, продолжаетъ родственница:—а не можете имѣть столько ума, чтобы себя успокоить... Добрые люди за все принимаютъ. Тотъ розыгрыши... тотъ билеты... всякій ухватить по силѣ, по мочи... А вы только разговариваете: «не въ то мѣсто!..» въ какое это мѣсто? Я сама на билетахъ нищей стала—кажется, это имъ пошло... И это не барышъ?..

Антонъ Ивановъ вздергиваетъ иглу все выше и выше надъ головой.

— Ну, что вы иглой дѣлаете?.. Да въ нашей сторонѣ и брюкъ-то вашихъ никому не нужно... а считается съ умомъ, будто московскіе...

Родственница умолкаетъ и, обернувшись къ Антону Иванову спиной, сердито вскакиваетъ на веревку противъ окна мокрое бѣлье. Молчать они долго. Игла ходитъ тише и наконецъ останавливается совершенно... Антонъ Ивановъ приподнимаетъ голову и не безъ робости произноситъ:

— Анна Карповна! не туда, матушка!.. Не въ то мѣсто попадаютъ-съ! Ну, что они наладили бить все въ мужика. Что у него есть, скажите на милость? Ну, годикъ-другой потянуть, а потомъ и пиши возьмутъ; у него и такъ однихъ онучи остались... Наладили одно—мужика обирать! Эко диво, ей-богу!.. А того не видать, что совсѣмъ не въ то мѣсто надо... Надо запускать дѣло такъ, чтобы въ хорошее мѣсто оно было запущено...

— Погляжу, какъ вы будете запускать.

— Запустимъ-съ... Позвольте оглядѣться, ничего-съ...

— Въ какое это такое мѣсто?.. Гдѣ такіе клады у васъ?..

— Запустимъ, понижая тонъ до степени шопота, впрочемъ весьма самоувѣреннаго, произносить Антонъ Ивановъ и почему-то вновь припадаетъ къ работѣ.

Разговоръ этотъ ведутъ не разбойники и не грабители, а просто бѣдные люди; и если у Антона Иванова разговоръ о запусканіи ланы сдѣлался господствующимъ, то это произошло отъ особенныхъ причинъ.

Антонъ Ивановъ былъ когда-то крѣпостной и по желанію господъ поступалъ то въ портные, то въ лакеи, то въ повара, нигдѣ не успѣвая изучить дѣла, во-первыхъ потому, что его слишкомъ быстро отрывали отъ одного дѣла къ другому, а во-вторыхъ потому, что по натурѣ онъ отличался наклонностью къ живописи и обладалъ въ качествѣ талантливой натуры значительною художественною лѣнью. Лѣнь эта прекратила стремленіе къ живописи на нелѣпѣйшемъ изображеніи двухъ фигуръ неизвѣстнаго пола, лежащихъ подлѣ тѣсу, не научила ни поварскому, ни портняжному искусству, помогая понимать дѣло лишь въ общихъ чертахъ и потомъ скучать имъ.

Частая пережѣва мѣстъ и занятій, сталкивая его съ разнымъ народомъ, пріучала задумываться вообще о жизни человѣческой, а лѣнь превратила эту наблюдательность въ любовь къ разсужденіямъ

и обсужденіямъ. Работать съ такими стремленіями у хозяина нельзя, и Антонъ Ивановъ работалъ одинъ, работалъ кое-какъ, плохо, лѣнливо, гнѣздился въ глуши Москвы, не имѣя почти давальцевъ, хотя знакомыхъ, съ которыми можно потолковать, у него было много.

Такимъ образомъ имъ было обсуждено все, что случилось съ русскимъ человѣкомъ въ послѣдніе годы; но покуда всѣ эти событія были вновѣ, толковать было можно спокойно, плачась на участь и не стѣсняя себя во всевозможныхъ фантазіяхъ: разсужденія эти происходили гдѣ-нибудь въ банѣ на полѣхъ или подъ машиной въ трактирѣ за парой чаю... Но съ теченіемъ времени современныя новости начали утрачивать характеръ чего-то неопредѣленнаго и быстро стали окрашиваться оттѣнкомъ стремленія къ опустошенію. Антонъ Ивановъ не могъ не видѣть этого и съ каждымъ днемъ сталъ испытывать двухъ времени на своей шкурѣ: каждый день стали его таскать къ мировому за худо сшитый жилетъ, за окороченный сюртукъ; стали его подводить подъ статьи, описывать, штрафовать, заключать въ темницы. Въ то же время онъ видѣлъ, что это происходитъ не съ однимъ имъ, что каждый день массы людей открыто подводятъ другъ подъ друга какія-то непостижимыя машины, отъ которыхъ ничего не стоитъ сгинути, подобно капустному червю. Это его обезкуражило. Портное мастерство, съ такимъ знаніемъ, какое было у Антона Иванова, могло его привести къ Сибири и каторгѣ, такъ по крайней мѣрѣ ему показалось. Сталъ онъ задумываться на счетъ новаго какого-нибудь дѣла, но и тутъ стремленіе къ лѣни оказалось помѣхой; ему не подъ силу было какъ-нибудь при помощи любовницы оборудовать буфетъ на желѣзной дорогѣ, или открыть какую-нибудь «Сербію», представить себя тоже иностранцемъ, говорить «мой» вмѣсто «я» и обыгрывать на биллиардѣ славянскихъ братьевъ. Словомъ, повсюду открылось такое обиліе разныхъ ловкостей, подходовъ, машинъ, такое обиліе людей, которые все это понимали и какъ будто специально съ давнихъ поръ готовились къ обдѣлыванію ловкихъ дѣлъ, что у Антона Ивановича захватило духъ. Потянуло его на родину, гдѣ потише, гдѣ можно удить рыбу и гдѣ, онъ помнилъ, были благословенныя мѣста...

Съ такими совершенно мирными наклонностями прибылъ онъ въ уѣздный городокъ***, гдѣ у него была родственница и гдѣ онъ надѣялся еще поживиться на счетъ своей вывѣски: «вновь пріѣзжій изъ Москвы». Но, къ удивленію его, здѣсь уже были «вновь пріѣзжіе изъ Петербурга», стучали швейныя машины и въ залпесневѣлыхъ оконцахъ глядѣли модныя картинки. Всѣ они уже пустили корни, обстроили свои дѣла практично, разсудительно, и не съ ними можно было конкурировать лѣни Антона Иванова... Антонъ Ивановъ до такой степени оторопѣлъ, до такой степени остался безъ хлѣба, что, дабы не быть выгнаннымъ родственницей, съ испугу заговорилъ необыкновенно храбро и разбойнически.

— Пустое дѣло!.. Ничего не стоитъ! испугав-

шись, но повидимому довольно развязно сплевывая въ сторону, говорил онъ относительно какого-нибудь новаго увеселительно-грабительскаго явленія. — Этакъ-то, конечно... пожалуй—грабь... Да что толку-то?... Навертѣлъ пустыхъ билетовъ да и обираешъ—это, братъ, не Богъ вѣсть... Эко ухитрился!..

— Ну, какъ же по вашему-то? недоумѣвая передъ этимъ самоувѣреннымъ тономъ, вопрошала родственница, не успѣвшая еще разсердиться.

— Мало ли какъ можно...

— Ну, да какъ же такъ? Вы говорите плохо,— а у кого барыши-то? У нихъ—а мы голые... Какъ же хорошо-то, по вашему?

— Да мало-ли орудіевъ... Что-жъ я буду раздобарывать безъ толку... Дай время... Ухватимъ свое... Эко ухватила въ самомъ дѣлѣ! Ха-ха-ха!

Перебиваясь кое-какъ мелкой починкой у приказныхъ, Антонъ Ивановъ хотя и не терялъ самоувѣреннаго тона, но въ душѣ глубоко надѣялся, что все это должно прекратиться, что такому человѣку, какъ онъ, будетъ легче. Но время шло и, такъ сказать, на крыльяхъ своихъ несло все новые и новые виды людей легкой наживы. Родственница, въ тайнѣ чувствовавшая, что во многоглаголаніи гостя спасенія нѣтъ, — старалась подвинуть его къ дѣйствию и всякій разъ, возвращаясь съ работы домой, приносила ему какую-нибудь поучительную вѣсть. «Вы бы, Антонъ Ивановичъ, на кладбище сходили, говорила она:—напримѣръ, люди говорятъ, какіе тамъ бабы устроили грабежи любопытные—такъ это очень, очень мило! Все, можетъ, надумаете... Мы тоже, сами знаете, чуть ходимъ... Право-съ!» Антонъ Ивановъ шелъ узнавать о вновь открытыхъ грабежахъ и приносилъ по обыкновенію извѣстіе, что «пустое дѣло... эко выдумали». Оказалось, что старухи—подъячихи, мѣщанки и разныя безпріютныя древнія вдовы—стали лѣпить къ кладбищенской каменной оградѣ какія-то клѣтшечки изъ земли и навоза, или помѣщались въ надгробныхъ деревянныхъ будочкахъ съ разрѣшенія купцовъ-благотворителей, обмazyвали эти зданія глиной и, непрестанно поминая благотворителя о здравіи, а усопшихъ сродниковъ его о упокоеніи, кое-какъ владели послѣдніе годы жизни, причитая на похоронахъ и по окончаніи ихъ рекомендуя посватать невѣсту—вдовцу, жениха—вдовѣ. Но вообще въ этой странной обитали не было ничего, кромѣ сухихъ кусковъ пираго, злости, слезъ, холода, взаимной вражды, и Антонъ Ивановъ могъ по совѣсти назвать этотъ способъ наживы пустымъ и удерживать тайное негодованіе родственницы къ его нерадѣнію въ предѣлахъ нѣкоторой деликатности.

Но не всегда это случалось; такъ однажды она принесла такую вѣсть, которая прорвала ея негодованіе и ошарашила Антона Иванова совершенно безжалостно.

— Что вы все только разговариваете, Антонъ Ивановичъ! швыряя корзину съ бѣльемъ на полъ и опуская въ изнеможеніи руки, закричала родственница,—подымитесь вы, поглядите, что только вокругъ васъ дѣлается! Боже мой, Боже мой!.. Вашъ

же дворовый, изъ одной съ вами деревни, а жена пришла къ обѣднѣ—шаль въ триста рублей!.. Побойтесь вы Бога!

— Какова шаль!.. лепетала Антонъ Ивановъ, не зная какъ быть.—Бываетъ шаль одна, а то... бываетъ тоже шаль... похуже Сибиря... Чай, съ мужиковъ все дереть?

— Со всѣхъ, со всѣхъ сословій!

При послѣднемъ словѣ она всплеснула руками, закрыла глаза и продолжала какъ бы въ какомъ-то забвеніи:

— Ссо-всѣхъ до ед-ди-нова... ахъ-ахъ-ахъ!.. Адвокатъ!.. Этакая механика... Будетъ вамъ торчать.

— Адвокатъ? Ну это, братъ, не по рылу!..

Антонъ Ивановъ поблѣднѣлъ отъ гнѣва, получивъ это извѣстіе; онъ не повѣрилъ ему и считалъ упреки напрасными.

— Не та морда-съ, не изъ того кроена! въ гнѣвѣ кричалъ онъ.

— Не въ рылѣ... ахъ, не въ мордѣ! ахъ-ахъ-ахъ... Узнайте вы... возьмитесь сами, Христосъ Богомъ прошу... Умремъ вѣдь съ голоду.

— Не изъ того матеріалу харя-съ! Будьте покойны! твердилъ Антонъ Ивановъ, дрожа и торопливо одѣваясь, чтобъ идти и удостовѣриться своими глазами.

Поехалъ онъ и удостовѣрился—обомлѣлъ. Родственница была права. Дворовый дѣйствительно оказался принадлежащимъ къ тому безчисленному сословию ходатаевъ, которые, покорясь духу времени, появились въ опустошенной странѣ, въ качествѣ утѣшителей, берущихъ дань съ темноты и отчаянія. Это не тѣ, болѣе или менѣе настоящіе адвокаты, которые знаютъ дѣло и толкъ,—это та саранча, которая облѣпила углы улицъ крошечными вывѣсочками съ надписью: «адвокатъ для *жогде-моя*», «здѣсь дають совѣты», «пишутъ просьбы», «принимають просителей» и т. д., подъ которыми скрываются многочисленные удилы рублей и грешей со всѣхъ опустошенныхъ сословій, бывшіе главнымъ образомъ изъ-за «возможенія» издержекъ на отвѣтника.

Въ комнатѣ, куда вошелъ Антонъ Ивановъ, стоялъ столъ съ перьями и бумагами; на стѣнѣ около него висѣлъ мѣдный крокъ съ насаженными на него бумагами и небольшой портретъ государя, что для простаго человѣка дѣлаетъ это мѣсто официальнымъ, гдѣ разговаривать много нельзя. У окна сидѣла женщина, видимо желавшая походить на барыню; она была въ полковомъ платьѣ, глядѣла въ окно и по временамъ вѣвала.

— Что вамъ угодно? спросила она Антона Иванова довольно сухимъ и очевидно заученнымъ тономъ.

— По дѣламъ-съ, отвѣтилъ тотъ рѣзко и сердито.

— Это будетъ стоять двадцать-пять дѣловыхъ. Кладите деньги объ это мѣсто, объявила она, указавъ пальцемъ мѣсто на столѣ.

— Почему же такъ объ это мѣсто класть?.. Есть-ли этакое въ законѣ-то? Кажись, нѣту-съ. Я думаю такъ, что не было его, закону-то!

— Я въ законахъ не знаю... Иванъ Дмитричъ придуть... вотъ у нихъ узнаете... Это ихъ заведение—чтобы безпрерывно объ это мѣсто...

— То-то, надо быть, очинно рановато класть-то.

— Подождите ихъ... я не знаю.

— Какъ не погодить-сь, сказалъ Антонъ Ивановъ и сѣлъ.

Въ его лицѣ и фигурѣ было что-то такое, что можно передать фразой: >ужъ живъ не уйду отсюда, а возьму свое», или <разорвусь, а не дамъ живъ въ руки!» Сталъ Антонъ Ивановъ ждать. Женщина зѣвала, безпечно смотрѣла въ окно и думала въ слухъ о предметахъ совершенно невинныхъ.

— И откуда столько мухъ?.. Надо быть, изъ дерева онѣ родятся?

И опять зѣвнула.

— А изъ камню идетъ муха, или не бываетъ этого? обратилась она къ Антону Иванову.

— Сколько угодно! сверкнувъ глазами и сплюнувъ, со злостью отвѣтилъ онъ, ибо безпечность, съ которою разговаривала женщина, ясно говорила ему, что дѣла ея мужа идутъ превосходно и что житье ее покойное. Онъ рѣшительно не могъ понять тайны этой наживы.

Пришелъ Иванъ Дмитричъ, слѣдомъ за нимъ шелъ проситель. Иванъ Дмитричъ походилъ по виду на трактирнаго лакея или уѣзднаго пирульника, который «пущаетъ» кровь. Войдя въ комнату, онъ повѣсилъ картузъ на гвоздь, сѣлъ за письменный столъ, зашумѣлъ какими-то бумагами и обратился къ мужику.

— Что вамъ угодно?

— Жалоба.

— Кладите деньги объ это мѣсто. Это будетъ стоить три рубли серебромъ. Объ это мѣсто кладите.

— По мнѣ-бы...

— Здѣсь не такое мѣсто...

Мужикъ подумалъ, поставилъ шапку на полъ и вынулъ деньги.

— Объ это мѣсто. По уставу. Въ чемъ дѣло?..

— Обида, ваше высокоблагородіе... Понадѣялся на человека, а пользы не вижу...

— Вы думали, что онъ вамъ отвѣтитъ добромъ, но вамъ сдѣлалъ зло? Въ пошнѣе время завсегда такъ, я это знаю... Положили деньги! Такъ, такъ. Я это тонко знаю.

— Истинно такъ говоришь!.. Вѣрно, что не ждалъ этого... Разсуди это дѣло.

— Будьте покойны, придавая голосу искреннѣйшій тонъ, говорилъ Иванъ Дмитричъ.—Всякій человекъ по пошнѣеу времени дѣлаетъ пользу для себя, но не для другихъ!

«Но не для другихъ!» Иванъ Дмитріевичъ произнесъ это съ полнѣйшимъ отвращеніемъ къ человечеству и ударилъ себя въ грудь.

— Такъ, такъ, твердилъ мужикъ:—дай тебѣ Богъ за твою доброту.

— Потому что я знаю, продолжая держать кулакъ на груди, говорилъ Иванъ Дмитричъ:—я знаю, каково жить съ честью; но во сто разъ счастливѣе тотъ, кто ея не имѣетъ.

— Такъ, такъ... дай тебѣ Богъ...

— Жена, позови писаря... А честнаго—защитить некому!

Мужикъ очевидно былъ растроганъ сочувственными словами ходатая, и видно было, что брать съ него можно сколько угодно.

Антонъ Ивановъ только крикнулъ. Пришелъ писарь, старый подъячій со слезой въ глазу; не глядя ни на кого, подвернулъ подъ локоть листъ бумаги, припалъ къ нему ухомъ и загудѣлъ перомъ, какъ локомотивъ, пускающійся въ путь со свистомъ. Мужикъ рассказывалъ ему, въ чемъ дѣло, а въ комнату входилъ уже другой посѣтитель, пожилой чиновникъ во хмелю и въ большомъ огорченіи. Послѣдовалъ вопросъ: что вамъ угодно?

— Да съ мѣста гонять!.. Штучка самая пустая... Ха-ха-ха, заговорилъ проситель, стараясь быть развязнымъ.—Двадцать лѣтъ—и что же? Изъ-за чего же?.. Помилюйте!.. Не болѣе какъ кружка баварскаго пива и—нищій—Господи Боже мой!.. Что же это такое?.. Знаешь портерную, новую, изъ Петербурга?.. Ну, вотъ!.. Я вѣдь самъ петербургскій... Я до шестнадцати лѣтъ жилъ тамъ... И кой-что видѣлъ... Помню—булочная была; не знаю, есть ли теперь... мы туда часто хаживали, была тамъ... ну, да что!.. И на Крестовскомъ, и въ Екатерингофѣ (проситель въ уныніи трахнулъ головой и рукой)... Но, что называется дышалъ, жилъ... какъ бы то и было, а хорошо! Жилъ! Потомъ сюда, женился, дѣти... Знаешь жену?..

— Благородная дама, затынулъ-было ходатай, кося глаза.

— Благородная?.. вопросительно произнесъ проситель, на мгновеніе остановившись, но тотчасъ же продолжалъ:—Ну—да, это въ сторону... И двадцать лѣтъ—понимаешь—безвыходно... Не имѣю правъ—дѣти!.. Жену знаешь?—что это такое?.. Это, братецъ ты мой... Ну, все равно!.. Говорю по совѣсти—потерялъ смыслъ человѣческій, умъ, все! Околѣлъ!.. А внизу у меня... замѣть это—это очень важно, очень къ дѣлу, а внизу у меня помощникъ съ семействомъ—квартира казенная, замѣть это! Записалъ? Налей!..

Иванъ Дмитричъ налилъ стаканъ, говоря:

— Потому что у васъ добрая душа... вотъ что я вижу.

— Погоди, погоди—не торопись! выпивъ стаканъ залпомъ, остановилъ его чиновникъ.—Погоди, братъ... Что дальше. Такъ-ли, сякъ-ли, но прихожу я, понимаешь, къ издыханію. Молю смерти, какъ утѣшенія, какъ спасенія! Только, братецъ ты мой, пошли эти чугунки, то, се—гляжу: портерная петербургская—ба! думаю... Что, думаю... Что, думаю... Что такое? Какими судьбами?.. Заполъ—въ карманѣ двадцать копѣекъ. Захожу: газеты, порадокъ—премесь! Превосходно! Выпилъ кружку—пятачокъ, выпилъ другую пятачокъ, отлично! читаю газету, сижу... наконецъ, чортъ возьми, вѣдь ей-Богу на душѣ легче! Что же? Господи! Надо-же вѣдь что-нибудь, вѣдь...

Проситель остановился въ сильномъ волненіи

упершись на мгновение глазами въ полъ, но тотчас же очнулся, ударивъ кулакомъ по столу.

— Вѣдь лицо-то у ней веселое! Вѣдь идетъ она съ кружкой—не ткнетъ ее въ рыло... смѣется вѣдь, чортъ возьми! Что мнѣ нѣмеза?.. Мнѣ пора въ гробъ, а главное:—«шпирехень-зи дейчы!»—отвѣчаетъ—«я!» а не то что... Знаешь жену-то?... Главное, по-человѣчески... что-нибудь... Зла нѣтъ! Не оскаливается зубовъ, не шипитъ, какъ змѣя... Вѣдь тоже вспомнишь—когда-то... А—да чортъ возьми...

— Успокойтесь! говорилъ Иванъ Дмитріичъ.— При вашей совѣсти... при добротѣ, благородному человѣку ахъ какъ трудно...

— А-ахъ, братъ какъ... Ну, выпилъ, истратилъ тамъ... копѣекъ двадцать... дрянъ какая-то! Пошелъ домой—понимаешь—домой! Вспомни-косъ все это, и тамъ, знаешь, внутри...

Проситель вертѣлъ кулакомъ на груди, и лицо его выражало какую-то отвратительную боль...

— Горить! подсказалъ Иванъ Дмитріевичъ.— По добротѣ и по совѣсти...

— То-есть именно — горить! Воротать это прошлое... Противно идти... Идти-то противно, братъ,—четыре кружки выпилъ да на нѣмку взглянулъ—не могу!.. Но пришелъ.—«Прррапоица!» Это, изволите видѣть, онъ шипитъ изъ-подъ одеяла, какъ змѣя под-кол-лодная, чортъ ихъ побори всѣхъ! Это двадцать лѣтъ шеи змѣиные встрѣчаютъ меня... Ахъ, ты чортъ возьми! Зашипѣла... я—палкой!.. Въ первый разъ въ жизни! Передъ Богомъ клянуса, вотъ передъ Спасителемъ... Когда вы мнѣ дадите покой? Я не могу, я человѣкъ... Я взбѣшонъ. Наконецъ, чортъ возьми, надо же... Тутъ ужъ я все, за всю—я не помню!.. И помощника! Прибѣжалъ онъ снизу—и его! Раскрылъ всѣхъ и вса! А помощникъ двадцать лѣтъ подл меня подбѣдался, двадцать лѣтъ, шельма, точилъ зубы, анаеема! Это потому, что мнѣ выдаютъ свѣчи казенныя, изволите видѣть? Два пуда восемь фунтовъ, да погребъ у меня свой, а у него нѣтъ, такъ двадцать лѣтъ искалъ случая... А тутъ чего лучше? Не обмылъ даже, а такъ въ крови повезъ рожу въ губернію... А главное что? (тутъ проситель какъ будто отрезвился и заговорилъ шопотомъ), а главное что—взялъ я какъ то разъ, не помню, какіе-то пустяки изъ казенныхъ... Только обернуться до жалованья, десять, пятнадцать... Словомъ—вздоръ, на крестины... И помощникъ, подлецъ, былъ... и пилъ, и жралъ... Да и самому я выдавалъ ему... Такъ и это, подлецъ, натягивалъ тамъ... И это!.. Но я не прошу, я этого такъ не оставляю... Няѣ-вттъ! Я умеръ на службѣ... Я... чортъ знаетъ, не знаю я новыхъ порядковъ... реформъ... Самому бы надо писать-то... Все по другому.

— Большія реформы-съ, съ снисходительной улыбкой произнесъ ходатай:—очень громаднѣйшія... Это вамъ весьма трудно...

— То-то порядка не знаю... А ужъ не разстанусь—нѣтъ—нѣтъ.

— Какъ можно этакое дѣло оставлять-съ... Опытный человѣкъ, который имѣетъ стыдъ, со-

вѣсть, честь... Это будетъ стоять на первое время пять серебромъ.

— Пять?

— Пять-съ... Объ это мѣсто кладите деньги—по уставу...

— По уставу?...

— По случаю судебныхъ установлений... лепеталъ ходатай, шумя бумагами.

Проситель обомлѣлъ.

— Пять?.. переспросилъ онъ.

— Боторыя 20 ноября вышли установленія, то по установленіямъ...

— На—пять цѣлковыхъ! перебилъ проситель, поднимаясь:—только ужъ обжечь ихъ то-есть что бы... На—пять цѣлковыхъ!..

— Объ это мѣсто...

— Ладно! какія мѣста! Но чтобы — обжечь!.. понимаешь—послѣднее отдамъ... Но чтобы ужъ пополамъ разорвать... Не пощажу!.. Запиши: я нѣмку тронулъ за локоть одинъ разъ! Понимаешь? Одинъ... шутя... Тамъ (онъ показалъ черезъ плечо) строчать другое... Змѣя-то... Но въ сущности—только тронулъ разъ... Больше ничего... Запиши.

— Архаровъ! Запиши!

Приказный завертѣлся надъ бумагой волчкомъ. Антонъ Ивановъ, глядя на эти сцены, почти дрожалъ отъ страха. Все, что онъ видѣлъ до сихъ поръ, покрылось непроницаемымъ мракомъ. Тутъ били дѣйствительно во всѣ мѣста и сословія, и тайна этого битья и грабежа была ему совершенно непостижима. Онъ видѣлъ только, что деньги брались единственно при помощи фразы: «кладите объ это мѣсто», но почему люди покоряются этому—не зналъ, не могъ постигнуть. Здѣсь было что-то таинственное, чѣмъ небо надбываетъ людей рѣдко и чего у Антона нѣтъ; безхлѣбье разстилалось передъ нимъ ужасное.

Еле-еле онъ дошелъ до дому; въ горлѣ у него пересохло, лицо вытянулось, и нужны были громадныя усилія для того, чтобы собрать послѣднія силы и пролепетать рождественницъ:

— Не въ то мѣсто... попад-дають...

Бое-какъ пролепетавъ это, онъ тотчасъ-же схватился за жилетъ, припалъ къ нему нглаго и глазомъ; но жилетъ выскочилъ у него изъ-подъ руки, а самого его шатало изъ стороны въ сторону.

— Когда ты-то попадешь, проходимецъ! заревѣла родственница на него, окончательно потерявъ всякую возможность снисходить къ московскому гостю.

Антонъ Ивановъ не могъ пикнуть слова.

III.

Если-бы вновь появляющееся воронье дѣйствовало, къ стыду Антона Иванова, постоянно съ такимъ-же успѣхомъ, какъ ходатай, то можно сказать положительно, что онъ давно былъ-бы уже выгнанъ рождественницей вонъ изъ дому. Это неспремѣнно случилось-бы, если-бы его не поддерживали нѣкоторые случаи промаховъ, иногда замѣчавшіеся въ дѣйствіяхъ опустошителей. Такъ, между прочимъ, былъ

случай съ однимъ трактирщикомъ, устроившимъ свой трактиръ противъ зданія мирового съѣзда, въ которомъ обыкновенно бываетъ много господъ. Трактиръ былъ устроенъ по столичному, то-есть цѣны были хорошия и замѣчалось стремленіе избѣгать возгласовъ: «половой! черти», замѣняя ихъ по возможности звонкомъ. Съѣздовъ было много, и въ трактиръ тоже дѣло шло хорошо. Но, вникая во вкусы господъ, трактирщикъ задумалъ пригласить пѣвицу, брошенную въ уѣздномъ городѣ пробѣзжымъ фокусникомъ за ея пьянство. Пѣвица была французенка, и если незнаніе ея туземнаго нарѣчія чуть не свело ея съ постоялаго двора въ гробъ. то и туземецъ-трактирщикъ тоже не мало попотѣлъ отъ той же причины.

— Какъ дѣла? робко спросилъ его Антонъ Ивановъ по пріобрѣтеніи пѣвицы.

— Кажется, тыщи рублей не взялъ бы этакъ срамиться, какъ она понуждаетъ! въ гнѣвъ отвѣтилъ ему трактирщикъ. — Долженъ я передъ ней, передъ шкуркой, по куриному кудахтать, да по бараньи бляеть. Что это такое? Чего стоитъ?

— По какому же случаю бляеніе?

— Да вѣдь надо ей, шкурѣ, объяснить, что готовили? Вѣдь она галдитъ, или нѣтъ? Скажу я ей — «бараннина», для нея все одно: тыфу! Ничего не стоитъ... Ну, станешь передъ ней этакимъ манеромъ: «ба-а-а». Шельма!.. И лакеи несогласны! Самъ принужденъ. Прогналъ бы, да вѣдь должна сколько! разотчите. Собака нѣмецкая...

Такіе эпизоды очень радовали Антона Иванова. Онъ воскресалъ духомъ и могъ снова воскресить передъ родственницей свою фразу:

— Не туда-а!.. Я это видѣлъ вонъ когда! А вы сердчаете. Какъ можно! Нешто это не видно?... Оно-то сначала и ловко идетъ, а вотъ повернулась штука и съѣлъ!.. Вонъ трактирщикъ-то теперича по куриному кудахчетъ!.. Вотъ они барышни-то!.. А вы говорите... Надо оглядѣться... Мѣста есть!..

Такъ утѣшался Антонъ Ивановъ и все-таки не надолго, потому что промахи ловкихъ людей заглаживались скоро, и трактирщикъ напримѣръ почти мгновенно вышелъ изъ бѣды, какъ только пѣвицу пронюхали желѣзно-дорожные люди, съ появленіемъ которыхъ гдѣ бы то ни было начинаютъ бить фонтаны шампанскаго. Такимъ образомъ вообще Антону Иванову приходилось радоваться не долго, и положеніе его было повстинѣ ужасное. Родственница стала говорить ему «ты» и обращалась съ нимъ обыкновенно грубо — и чашку со щами старалась швырнуть ему такъ, чтобы щипы по возможности улетѣли за окно. Поощряя такимъ образомъ его энергію, она продолжала приносить вѣсти о разныхъ новыхъ способахъ для наживы, открывавшихся то тамъ, то сямъ. То приносила она ему напримѣръ извѣстіе о томъ, что невдалекѣ живетъ богатый баринъ, бездѣтный вдовецъ, запершійся наглухо «послѣ крестьянства». Десять лѣтъ онъ никого не пускаетъ на глаза, не знаетъ, что было и что есть, что случилось, ничего не хочетъ слушать и лежитъ неподвижно да плюетъ и молчитъ. Служить ему старый лакей. Для лежанья у

барина устроено множество кроватей, но есть слухъ, къ вечеру эти кровати до того ему надобѣдали, что онъ шелъ къ лакею и говорилъ: «Дай-ко у тебя лечь!».

— Вотъ ты все мѣста выдумываешь, выговорила родственница. — Поди, да выдумай ему что-нибудь. Угоди!.. Можетъ, и ухватишь что-нибудь на свою глупую голову. Помелъ!

Антонъ Ивановъ сбѣгалъ къ помѣщику, но тотъ пустилъ въ него пулю изъ револьвера въ окно и гаркнулъ: «Реформаторы! Канальи»...

Убѣжавъ отъ смерти, истинно благодаря Providѣнцію, онъ былъ тотчасъ же отправленъ неутюженою родственницею въ другое мѣсто. Тоже не подальше отъ уѣзднаго города жили старики-помѣшники: одинъ отецъ, другой сынъ, оба помѣшанные. Помѣшательство у нихъ было наслѣдственное. Помѣшаны они были на орденахъ и наградахъ, которые въ прежнее время привозили имъ уѣздные чиновники ради смѣха, а теперь ихъ обстроивалъ какой-то человекъ неизвестнаго званія, нанятый опекунами. Комнаты ихъ были наполнены цѣлыми грудами бутылокъ, битыхъ горшковъ, обносковъ и т. д. Все это въ разное время навалено къ нимъ разными депутаціями въ даръ. Говорятъ, депутаціи имѣли при этомъ выгоды. Антонъ Ивановъ засталъ ихъ въ сильной ссорѣ; грызлись они постоянно изъ-за кражъ, которыя дѣлали другъ у друга; дѣло происходило въ ободранной залѣ, сумасшедшіе сидѣли въ креслахъ другъ противъ друга, въ коронахъ изъ индѣевыхъ перьевъ и въ мантияхъ; одинъ изъ нихъ имѣлъ голыя ноги. Выраженіе ихъ лицъ было то же, какое бываетъ у ибтуховъ, когда они собираются драться и злыми, вытаращенными глазами смотреть другъ на друга.

— А ты у меня укралъ ар-деночки? захлебываясь, прохрипѣлъ наконецъ одинъ изъ нихъ, и голова съ короной затряслась отъ гнѣва.

Другой какъ-бы онѣмѣлъ отъ злости. Глаза его, казалось, хотѣли выскочить вонъ, губы дрожали и наконецъ, тоже захлебываясь, произнесли:

— А сам-моварчики ты укралъ мои?..

Казалось, начнется драка, но первый изъ нихъ заплакалъ, а за нимъ и другой.

— Ну-ну! грубовато заговорилъ неизвестный человекъ, появляясь среди рева. — Не шумѣть!.. Вотъ вамъ новые ордена прислали.

И онъ сунулъ имъ въ руки по куску картона съ какими-то рожами и большими печатами.

— Отъ обезьянской царицы... Сидите смиренно, а то отниму... Теперь вы оба обезьянами считаетесь. Чуете? Оба!.. Передеретесь, ежели васъ порознь наградить... Ну, — пошли по своимъ мѣстамъ.

Старики радостно захныкали и бросились по разнымъ комнатамъ. Антонъ Ивановъ увидѣлъ, что мѣсто уже занято...

Разогнавъ господъ по своимъ мѣстамъ, человекъ неизвестнаго званія усѣлся на крыльцѣ и принялся что-то вырѣзывать изъ картона.

— Что это вы? спросилъ Антонъ Ивановъ.

— Да вотъ короны нужны новыя... Обижаятся, когда нѣтъ вознагражденія...

— Мѣсто у васъ хорошее!.. умильно сказалъ Антонъ Ивановъ.

— Опека эта утѣсняетъ... А то мѣсто — что же? Ничего... Да что, мѣстовъ много... Поискать, такъ такія-ли?.. Нашъ братъ найдетъ. Только что вотъ опека не дозволяетъ сдѣлать настоящаго запущу!.. А то ничего!..

— А есть мѣста-то? со вздохомъ спросилъ Антонъ Ивановъ.

— Мѣста-то? Боже мой, есть какія мѣста!.. Въ случаѣ чего опека... я такое мѣсто разыщу — сиди сложа ручки да клади въ сундучокъ на замочекъ... Эдакъ-то! Мѣста есть — только поискать!..

Какъ хотѣлось Антону Иванову именно такого мѣста, гдѣ бы нужно было выдумать какую-нибудь невинную ерунду и получать довольствіе, не разрываясь на части и не разбойничая окончательно. Между тѣмъ родственница своими ругательствами доводила его до того, что онъ долженъ былъ обѣщать съ Богъ знаетъ что.

— Сдѣлайте милость, дайте оглядѣться, есть мѣста! Богомъ вамъ божусь! лепеталъ онъ, прижукнувшись въ углу.

— Чего оглядываетесь? Оглядываетесь, оглядываетесь, а не можете... ограбить...

— Ограблю-съ! трепеща въ углу, обѣщалъ Антонъ Ивановъ, моля Бога о тепломъ мѣстѣ.

IV.

Наконецъ-таки отыскалось такое мѣсто. Это случилось въ то время, когда Антонъ Ивановъ началъ уже бѣгать отъ своей родственницы кое-гдѣ, боясь попасться ей на глаза. Былъ онъ такимъ образомъ въ одной лавкѣ, гдѣ уѣздные обыватели собираются толковать и посидѣть, и услышалъ здѣсь нижеслѣдующій разговоръ:

— Что баринъ вашъ? Живъ-ли? спросилъ лавочникъ толстаго и плотнаго управляющаго, къ которому вся лавочная компанія относилась повидимому съ уваженіемъ.

Управляющій барабанилъ пальцами по прилавку, сидя около него на стулѣ и не хотѣ отвѣтить:

— Забросили мы его, нашего барина... Теперича своя забота на плечахъ — земля... да вотъ домъ поглядываю купить... свои хлопоты!.. Будетъ барину-то, послужилъ ему... Теперича и по годамъ-то мнѣ не подходитъ выдумками заниматься — ужъ я выдумывалъ, выдумывалъ...

Управляющій махнулъ рукой:

— Пушай другой кто!

— Какая же собственно выдумка васъ утомляетъ? спрашивалъ лавочникъ.

— Мало-ли я ему выдумывалъ чего? Вѣдь онъ у насъ, баринъ-то, совершенно вродѣ очумѣлаго. Ну, и надо ему разное... по понятію... Ну, выдумалъ я ему примѣрно корпію... Значить, чтобы щипалъ, только бы не брюзжалъ, въ покоѣ насъ оставилъ. Выдумалъ я ему эту щипню — годика два щипалъ прилежно, все я ему, признаться, старье свое носилъ, напимѣръ обноски... Само собой —

на счетъ ставилъ... Только что же онъ выдумываетъ? «Давай ему цѣльнаго, изъ дюжины...» Съ ума моги ты сошелъ? Все одно лрать-то тебѣ, что обноски, что... Уперся. «Лучше же я, говорить, новыя салфѣтки буду щипать и простыни... Это мнѣ надолго удовольствіе»... Каково вамъ покажется?..

Все общество нашло, что баринъ очень чуденъ.

— Да что, добавилъ управляющій: — щипня щипней, а еще умурается свѣчку, не стеариновую, а нарочно сальную, около себя ставить. Это чтобы не скучно было, чтобы мы ходили снимать, когда свѣча нагоритъ! А? Каково это?.. Насъ-то замучилъ совсѣмъ, иной разъ часу до шестого утра щиплетъ...

— Эдакіе попадаютъ дворяне любопытные! сказалъ лавочникъ. — Какъ же теперича? Щипня, или что?

— Да ужъ, признаться, и не знаю... Не охота и ходить-то... Что мнѣ? Богъ съ нимъ совсѣмъ... Жду вотъ, какъ дочь выйдетъ изъ ученія — брошу... Иной разъ зайдешь — бросишь ему салфетку — схватится, побѣжитъ... Пушай кто другой выдумываетъ, съ меня будетъ. Сытъ. Авось, проживу... Да и не придумаю ужъ — старъ.

Слушая этотъ разговоръ, Антонъ Ивановъ почувалъ въ словахъ управляющаго нѣчто такое, что необыкновенно подходило къ его талантамъ. Ему показалось, что именно здѣсь онъ можетъ удовлетворить своему желанію: выдумѣ и совѣстному съ нею пропитанію. Кое-какъ выждавъ, когда управляющій выйдетъ изъ лавки, Антонъ Ивановъ потихоньку вышелъ за нимъ, догналъ его на дорогѣ и объяснилъ, снявъ шапку, желаніе попробовать себя передъ диковиннымъ дворяниномъ.

— А мнѣ что? сказалъ управляющій: — иди да выдумывай. Мое дѣло — сторона. Я сытъ. Благодарю моего Бога — больше не желаю... Признаться, только бы ноги уласть...

Слова управляющаго, повидимому достаточно покормившагося на счетъ диковиннаго дворянина, были необыкновенно ободрительны для Антона Иванова. Не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, онъ тотчасъ же возманился отправиться въ Васильково, гдѣ обиталъ сказанный дворянинъ, и только на минуту забѣжалъ къ родственницѣ увѣрить ее въ большихъ, предстоящихъ ему грабежахъ...

Родственница была довольна, хотя и не преминула на прощаньи замѣтить, что если и теперь онъ не сдѣлаетъ надлежащую «запущу», то ему будетъ очень плохо...

— Лучше утопись, а ужъ ко мнѣ глазъ не показывай... Довольно я тебя кормила, бороза. До свиданья!

Антонъ Ивановъ еще разъ увѣрилъ относительно разбѣговъ и успѣховъ грабежа и ушелъ.

Дѣйствительно, мѣсто оказалось чудное. Помѣстье Павла Степановича Василькова лежало въ 10-ти верстахъ отъ города, въ прекрасной степной равнинѣ. Издали оно представлялось какимъ-то цвѣтущимъ оазисомъ, группою густыхъ, цвѣту-

шихъ кустовъ и высокихъ темныхъ деревьевъ, пріятно дѣйствовавшихъ на глазъ смѣшеніемъ разнородныхъ оттѣнковъ зелени, формъ листьевъ и общихъ фигуръ разнообразныхъ растений. Среди этой прекрасной растительности, оставленной безъ присмотра, помѣщалась господская усадьба, съ стариннымъ барскимъ деревяннымъ домомъ дикаго цвѣта, съ пристройками, людскими, банями, погребами и проч. Видно было, что хребты когда-то крѣпко поработали для господскаго удовольствія, роя пруды, прокладывая дорожки, строя бесѣдки, гроты, мостики; но теперь не видать этихъ хребтовъ вблизи построекъ, и природа обильною растительностью и разрушеніемъ хочетъ загладить господскій грѣхъ въ пользованіи терпѣливостью этихъ хребтовъ.

Темные и сверкающіе, какъ черный атласъ, пруды лежатъ неподвижно, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе зарастая по краямъ густою травой, которая вмѣстѣ съ тяжелыми вѣтвями бузины и рябины мочить свои цвѣты и красныя ягоды въ темной водѣ... Мельничное колесо давно уже стоитъ неподвижно. Фантастическіе, выгнутые мостики еле держатся надъ тихо журчащими ручьями—кое-гдѣ нѣтъ доски, кое-гдѣ опали перила; кругообразный гротъ, напоминающій тулью старомодной женской шляпки, осѣлъ на бокъ; отъ століка осталась одна подножка; стѣны, облеянные когда-то бумагой, облупились, и болтающіеся лоскуты бумаги обнаруживаютъ наблюдателю обиліе историческихъ документовъ, неизвѣстныхъ любителямъ старины... Дорожки покрылись ярко-зеленымъ мхомъ. Въ людской разбиты стекла; кое-гдѣ они заткнуты полшубками; на балконѣ господскаго дома, выходящемъ въ садъ, похъ самую дверь намело песку, и видно, что нога человѣческая давно не была здѣсь. Постоянный шумъ разросшихся деревьевъ, перемѣшанный съ отдаленнымъ и рѣдкимъ стономъ флюгера, производить на душу посѣтителя усадьбы самое тягостное впечатлѣніе. Почему-то дѣлается вдругъ холодно, хочется завернуться потеплѣе, уйти въ комнату.

Въ домѣ дѣйствительно тепло. Отъ сдѣланъ прочно, на старинный манеръ обитъ войлокомъ, законопаченъ и защищенъ густымъ и пустыннымъ садомъ. Широкая барская передняя можетъ порадовать человѣка, любящаго вспоминать старину. Кругомъ широчайшіе лари и на нихъ позавыты полшубки, на которыхъ очевидно только-что валялся лакей. На окнѣ счеты, чернильницы съ мухами, на стѣнѣ старинные часы, сдѣланные именно, кажется, для того, чтобы напомнить человѣку о непрочности всего земного; каждый медленный размахъ сверкающаго маятника какъ-будто охватываетъ чью-то голову и уноситъ кого-то въ вѣчность... А глухое нытье, сопровождающее эти размахи, почему-то напоминаетъ о глаголѣ времени, о столѣ съ яствами и о гробѣ... Жуткое ощущение, производимое часами и поддерживаемое отсутствіемъ людей, можетъ быть отчасти разбѣжно присутствіемъ на оконникѣ картуза съ Жуковымъ табакомъ.

Сколько въ самомъ дѣлѣ плѣнительныхъ воспоминаній рождаетъ въ заѣзжемъ наблюдателѣ этотъ

левъ, изображенный на картузѣ и поднявшійся на дыбы при видѣ словъ «Мариландъ—ду!» Право, только благодаря этому картузу и едва-едва весьма тонко доносящемуся откуда-то мариландскому запаху, рѣшаешься вступить въ господскіе покои. Но здѣсь опять — часы, приближающіе ко гробу, потемнѣвшія золотыя рамы съ напудренными портретами дамъ, улыбающихся таинственными улыбками, кавалеровъ съ разбойничьими взглядами, съ таинственнымъ конвертомъ въ рукѣ, съ зрительною трубою полъ мышкой; на блестящемъ полу съ черными нарисованными вѣздами неподвижно стоятъ старинные краснаго дерева стулья и кресла съ золотыми львиными лапами и оскаленными, тоже золотыми львиными мордами на углахъ спиннокъ и на ножкахъ; черная узенькая люстра съ лирами, образующими нижній кругъ, въ срединѣ котораго стекло. Тишина и шумъ вѣтра... За первой комнатой тянется другая, темно-синяя комната, гдѣ становится еще тяжелѣе, потому что таинственные улыбки и разбойничьи взгляды портретовъ выдаются рѣзче, живѣе. Неподвижно стоятъ подсвѣчники — мѣдные, аляповатые, изображающіе фигуры мумій, съ квадратными египетскими лицами и мертво закрытыми глазами. Почему-то дѣлается такъ жутко, что вѣтеръ, гудящій въ саду, начинаетъ казаться отдаленными стопами тѣхъ, кому съ каждой секундой прекращаютъ жизнь размахи маятника... Троньте за крюкъ небольшою органичкой, помѣщающійся въ углу — изъ него послышится звукъ, похожій на щелканье челюстей, потому что-то заскрипитъ, намѣреваясь изобразить графа Парижскаго, но заскрипитъ такъ, что крюкъ невольно выпадаетъ изъ руки и въ пустыхъ покояхъ останется какая-то стонущая нота, которая долго-долго плачетъ надо всѣмъ, что вы видѣли... Хочется убѣжать въ одну, въ другую комнату, хочется человѣческаго лица, свѣта, солнца... Вездѣ пусто и томительно...

Но вотъ наконецъ, благодаря мариландскому запаху, вы добираетесь и до человѣческаго лица. Въ маленькой угловой комнатѣ передъ вами очутилась фигурка господина Василькова, фигурка изсушенная, дряхлая, маленькая; на сѣдой головѣ надѣтъ большой, стариннаго фасона картузъ; изъ уха торчатъ сѣдые волосы и вата; большіе, повидимому очень живые, но съ сущности дѣтскіе глаза смотреть въ стѣну; костлявая рука, испещренная складками, недвижно держитъ длинный черешневый чубукъ, шевелитъ губами, жуется, причѣмъ слегка шевелится отвислая складка подбородка, покрытая серебряной щетиной. Маленькое тѣло Павла Степаныча облечено въ нѣсколько ваточныхъ халатовъ, а на ногахъ надѣты мягкіе козловые сапоги, производящіе ни малѣйшаго шума и скрипа. Фигурка изрѣдка хватается дряхлыми губами чубукъ, сосетъ, пускаетъ дымъ, который неподвижнымъ облакомъ стоитъ надъ его головой и только чуть-чуть шевелится у отпертой двери...

Павелъ Степанычъ нѣсколько уже разъ крикнулъ: «эй!» и нѣсколько разъ постучалъ въ полъ трубкой; но на его зовъ никто не явился: слуги

дѣйствительно бросили барина; въ каменномъ флигелѣ съ окнами, заткнутыми подушками, теперь слышится гармонія и по временамъ смѣхъ—баринъ очевидно погодить, «не умереть». Баринъ дѣйствительно не умираетъ, и ему долго приходится кричать «эй!», покуда не услышитъ этого старая, полуглая старушка, помѣщающаяся неподалеку отъ барской комнаты и считавшаяся когда-то первой господской любовницей. Въ широкомъ чепцѣ старушка эта цѣлый день роется въ какихъ-то сундукахъ, перекадывая барское бѣлье изъ одного мѣста въ другое: она боится, не пропало ли что, все-ли цѣло; она одна только постоянно помнитъ барина и то время, когда онъ ее осчастливилъ; вспоминаетъ сыночка, который по повелѣнію барина былъ скрытъ въ бѣдной семьѣ и тамъ умеръ. Старушка думаетъ, что ежели-бъ баринъ былъ тогда въ деревнѣ, а не въ Москвѣ, то сыночекъ былъ бы живъ. Она хранитъ эту вѣру въ барина и живетъ ею въ то время, когда баринъ ничѣмъ не живетъ, никого не любитъ и если вспоминаетъ какое-нибудь время, то ужъ вовсе не то, про которое думаетъ старушка. Когда-то баринъ этотъ—единственный сынъ богатыхъ родителей, начавшихъ свой родъ въ одно изъ царствованій прошлаго вѣка, — былъ то, что называется Нарцисомъ. Почти съ дѣтскихъ лѣтъ онъ вступилъ въ занятія, такъ сказать, купидонными дѣлами въ качествѣ пажъ; судя по его юношескому портрету, это былъ дѣйствительный Купидонъ, — мальчикъ, похожій на дѣвочку; это было то, что дамы того времени называли «ангелъ». Ангельскій образъ сохранялъ онъ довольно долго; онъ не буйствовалъ, не кутилъ, не растрачивалъ на сѣдѣхъ, но, напротивъ, пріумножалъ его, дѣйствуя при помощи исконныхъ средствъ — батожья во всѣхъ формахъ и видахъ. Самъ онъ никогда не присутствовалъ на конюшнѣ—это было ему не по нервамъ—но дѣлалъ все это при помощи граціознѣйшихъ мановеній вѣрнымъ рабамъ, помощью изящнѣйшихъ посланій на французскомъ языкѣ и на превосходнѣйшей бумагѣ съ цѣлующимися голубками... Все это дѣлалось за стѣной, все это не было слышно, и Павелъ Степанычъ получалъ только благіе результаты: оброки, крестьянскихъ дѣвокъ, улыбки московскихъ красавицъ, вполнѣдствіи старушекъ, ласки ихъ мосекъ. Никогда не истратилъ онъ лишней копейки, никогда не находилось у него на копѣйку чувства—онъ до сѣдыхъ волосъ остался холостымъ. Но на старости лѣтъ его успѣхамъ и купидонству былъ положенъ конецъ. Слостолюбивый старичишка задумалъ жениться на первой тогдашней московской красавицѣ, пользуясь затруднительнымъ положеніемъ ея семьи. Бракъ состоялся самый торжественный, но по окончаніи вѣнчанія молодая жена простилась съ нимъ и уѣхала неизвестно куда. Говорятъ, она любила уже другого. Это обстоятельство на весь міръ опозорило всепобѣждающаго Нарциса. Онъ уѣхалъ въ деревню и съ тѣхъ поръ не показывался въ столицу никогда. Суматоха, происшедшая на церковной паперти, когда убѣжала жена, не покидала его воображеніе никогда; ему каждую минуту былъ ощутителенъ грохотъ насмѣшекъ род-

ныхъ, знакомыхъ, цѣлой вселенной. И каждую минуту онъ сохранялъ неослабѣвающую силу презрѣнія ко всѣмъ имъ. Забывшись въ деревню, онъ усилилъ стремленіе къ скопидомству—строилъ, перестраивалъ, рылъ пруды, разводилъ сады, тиранилъ народъ, какъ образцовый злодѣй, развратничалъ, не церемонясь ни предъ чѣмъ, — и все это дѣлалось тихо, почти безъ разговоровъ. Но время наконецъ взяло свое. Года запретили развратничать, воля была связана, одиночество томилъ, голова отказывалась не только вспоминать прошлое и утѣшаться имъ, но и вообще думать. Захотѣлось что-то вернуть, поглядѣть какія-то лица, но оскорбленное тридцать лѣтъ назадъ самолюбіе со старостью еще болѣе разрознилось, потомъ пріѣзжалъ какой-то челевѣкъ, извѣщая о смерти жены, — Павелъ Степанычъ его не принялъ. Заглядывали знакомые послѣ двухъ-трехъ словъ жаловавшіеся на безденежье, — Павелъ Степанычъ не отвѣчалъ ни слова и уходилъ, гордо неся впередъ свое презрительное рыльце.

Но одиночество, душевная пустота и старость дѣлали свое дѣло; разнакомившись съ обществомъ, родными и знакомыми, которые сами бросили его, провѣдавъ непривлекательную для нихъ сущность написанной имъ духовной, онъ все-таки долженъ былъ какъ-нибудь наполнить свое время, завять чѣмъ-нибудь душевную пустоту и старческую мысль. И вотъ онъ попалъ въ руки челяди. Управляющій, встрѣтившійся съ Антономъ Ивановымъ, забралъ въ руки барина помощью самыхъ простыхъ средствъ. Сталъ онъ выдумывать ему разныя развлеченія, подходившія къ невиннымъ стремленіямъ души умирающаго Нарциса. Старикъ-ребенокъ пристращался къ занятію съ истинно дѣтскимъ увлеченіемъ, и какъ только управляющій видѣлъ, что баринъ увлекся дѣломъ, тотчасъ же начиналъ ломаться и говорилъ, что ему нужно ѣхать на родину. Павлу Степанычу было страшно остаться одному: онъ видѣлъ, что тоскливыми упрашиваніями остаться съ прибавленіемъ плачущаго: «пожалуста, пожалуста!»—взять нельзя, и принужденъ былъ удерживать пріятнаго собесѣдника помощью денегъ... Такъ было достигнуто уничтоженіе въ немъ скудости—началось доеніе. Доили его всѣ слуги, дѣйствуя помощью той же методы устрашенія. Только старушка, бывшая любовница, въ своихъ заботахъ о баринѣ поступала совершенно безкорыстно. Оставленная безъ призора, она едва-ли даже была всегда сыта: по крайней мѣрѣ кромѣ чаю, который былъ въ ея каморкѣ постоянно, у ней не встрѣчалось другой болѣе сытной пищи. Такими-то выдумками и устрашеніями хранители старости Павла Степаныча прибавлялись довольно долгое время и, кажется, наконецъ дѣйствительно всѣ стали сыты. Управляющій набилъ свой домъ всякимъ добромъ; у его жены подъ замкомъ можно было встрѣтить жалованныя табакерки, брилліантовые перстни, много серебра, и т. д. Часто тоже попадалось и у другихъ охранителей. Въ тотъ моментъ, когда въ Васильково пришелъ Антонъ Ивановъ, всѣ были уже настолько удовлетворены, что могли забросить барина и желать—унести ноги по добру по здорову: баринъ можетъ уме-

реть, найдеть начальство, пойдуть отчеты, откроются описи и т. д. Все это дало безпретятственный ходъ Антону Иванову. Управляющій самъ показавъ ему барина, рассказалъ его характеръ и желанія и далъ даже нѣкоторыя наставленія.

— Ну, сказалъ онъ Антону Иванову:—хлопочи, какъ знаешь... кормись...

— Надо кормиться!

— Какъ не надо!.. Умудрись какъ-нибудь... А какъ увидишь, что по вкусу—уприись! это первое дѣло: «прощайте молъ, оставайте одни!» Такъ-то: «Богъ молъ съ вами!» Понимаешь?..

— Коли такъ, надо упираться!

Антонъ Ивановъ говорилъ тономъ человѣка, поставленнаго въ необходимость дѣлать такъ, а не иначе, и напутствуемый желаніемъ управляющаго, выраженнымъ словами: «ну, хлопочи, умудряйся какъ-нибудь...» принялся умудряться...

На другой день по прибытіи онъ вошелъ въ Павлу Степанычу, помолился на образъ, поклонился барину и положилъ къ нему на столъ хлопущку.

Павелъ Степанычъ поглядѣлъ на вошедшаго, однако взявъ хлопущку въ руки, сталъ разглядывать.

— Вы вотъ какъ-съ... робко кашлянувъ и заискивая, пронизаетъ Антонъ Ивановъ:—вы вотъ такимъ манеромъ, Павелъ Степанычъ.

Осторожно вынувъ онъ хлопущку изъ господскихъ рукъ, подождалъ муху, хлопнувъ по ней и убилъ.

— Вы такимъ вотъ манеромъ...

Павелъ Степанычъ торопливо взявъ у него хлопущку и самъ убилъ муху.

— Ахъ, какъ вы ее намѣтили превосходно! сказалъ Антонъ Ивановъ.

Лицо Павла Степаныча прояснилось. Онъ улыбуясь весело и сталъ хлопать по столу все чаще и чаще.

— Такъ, такъ! хорошенько ихъ... Вотъ эту-то купчиху звѣдоните! приговариваетъ Антонъ Ивановъ.

Выдумка удалась. Черезъ нѣсколько минутъ, поощряемый Антономъ Ивановымъ, Павелъ Степанычъ поднялся съ кресла и еле передвигая ногами, пошелъ съ хлопущкой въ другую комнату, хлопая по двери, по стеклу, по стѣнѣ, и радостно смѣясь при каждомъ удачномъ умерщвленіи. «Пожалуйста, пожалуйста!» застоналъ Павелъ Степанычъ, когда Антонъ Ивановъ — тоже весьма обрадованный успѣхомъ—хотѣлъ на минутку сбѣгать посоветоваться съ управляющимъ. Кое-какъ онъ отбѣлался отъ барина, увѣривъ его въ скоромъ возвращеніи.

— Упираться, ай нѣтъ? радостно спросилъ онъ управляющаго, рассказавъ, какъ было дѣло.

Управляющій пилъ въ это время чай и, занятый своимъ дѣломъ, не сразу отвѣтилъ Антону Иванову.

— Повремени упираться... Покудова, сказалъ онъ, подумавши и сообразивъ:—обгоди. Надо это дѣло разыграть попуще... Мухъ этихъ... Надо ихъ разыграть, а потомъ упирись. Тогда такъ.

— Какимъ манеромъ?

— Это ужъ твое дѣло. Я тогда скажу, когда нужно упереться... Другого покуда не надо. Онъ и самъ скоро не бросить... Только надо расцѣпить это дѣло...

Антонъ Ивановъ призадумался и тѣмъ не менѣе долженъ былъ заняться разыгрываніемъ игры въ мухъ до такихъ размѣровъ, чтобы онъ охватилъ все существо Павла Степаныча. Въ этомъ ему оказывали содѣйствіе и старые охранители барина, уже достаточно сытые лакеи, руководствовавшіеся при этомъ убѣжденіемъ, что надо дать хлѣбъ бѣдному человѣку — не все себѣ, а главное желавшіе свалить съ своихъ плечъ все это дѣло. Выдуманно было такимъ образомъ: сначала подбирать убитыхъ мухъ на тарелку; потомъ принято во вниманіе, что не худо вести имъ подробный счетъ; затѣмъ придумали собирать каждый убой въ отдѣльную банку. Бывали моменты, когда воображеніе Антона Иванова какъ-бы истощалось, и онъ начиналъ поговаривать управляющему: «не пора-ли упереться?», но управляющій говорилъ, что еще не время, и рекомендовалъ продолжать разыгрываніе...

Антонъ Ивановъ что-нибудь еще выдумывалъ.

Такимъ образомъ однажды такой простой актъ, какъ битіе мухъ, былъ разыгранъ въ пріютѣ Павла Степаныча на манеръ какого-то представленія въ нѣсколькихъ актахъ, или какого-то идольскаго служенія. Изъ комнатъ Павла Степаныча тронулось шествіе, предводительствуемое Антономъ Ивановымъ и направлявшееся изъ одной комнаты въ другую. За Антономъ Ивановымъ дрожащими ногами торопился Павелъ Степанычъ съ хлопущкой въ дрожащихъ рукахъ; халатъ его распахнулся, глаза оживлены; почти на каждомъ шагу онъ оглядывается назадъ, гдѣ шествуетъ лакей съ подносомъ, усѣяннмъ мухами; его интересуетъ и беспокоитъ, все-ли цѣло на тарелкѣ! За лакеемъ съ подносомъ шествуетъ еще лакей, обязанность котораго подбирать убитыхъ, а за нимъ еще нѣсколько лакеевъ-зрителей, въ случаѣ нужды помогающихъ Антону Иванову по добротѣ своей. Въ концѣ шествія видна наблюдательная фигура управляющаго.

— Бейте! возглашаетъ Антонъ Ивановъ, останавливаясь у зеркала.

Павелъ Степанычъ, трясаясь всѣмъ тѣломъ, убиваетъ муху.

— Двѣсти двадцать пять! возглашаетъ Антонъ Ивановъ.—Пожалуйста еще! Синяя, рѣдкая! Превосходно. Двѣсти двадцать шесть... Подбирайте! Держите счетъ вѣрнѣе!..

Подбирающій мухъ пособникъ кладетъ трупы на поднось. Павелъ Степанычъ оглядывается—положилъ ли онъ, и трясется отъ волненія.

— Мы ведемъ счетъ по-божески, говоритъ пособникъ.—Будьте покойны...

— Пожалуйте! возглашаетъ Антонъ Ивановъ, останавливаясь около мухи и оборачиваясь лицомъ къ Павлу Степанычу: — р-азъ! Первый сортъ!.. Отодвиньте комодъ! за комодъ упала.

— Отодвиньте комодъ! слышится въ толпѣ зрителей.

— Комодъ отодвиньте! прибавляет издали управляющій.

Нѣсколько человѣкъ принимаются ворочать комодъ, причемъ изъ-за него вылетаютъ клубы пыли. Для большаго возбужденія Павла Степаныча муху никакъ не могутъ найти и даже говорятъ: «Бросьте ее, Павелъ Степанычъ! Шутъ съ ней!»

— Какъ это можно! Баринъ муху убили — вѣрно... горячится Антонъ Ивановъ.

— Я... ее... убили! лепечетъ съ гнѣвомъ Павелъ Степанычъ.

— Какъ можно! Она тамъ! Это вѣрно!

— Нѣту мухи! говорятъ изъ-за комода.

Волненіе Павла Степаныча достигаетъ высшей степени. У него дрожатъ всѣ складки лица, не только руки и ноги; онъ вытаращиваетъ глаза, хочетъ что-то сказать, но только чавкаетъ отвислыми перекошенными губами.

— Врете вы!—возражаетъ Антонъ Ивановъ.— Ежели я самъ примусь искать, я найду-съ... Это ваше нерадѣніе... Вотъ она, муха-то, а вы говорите: нѣту.

И Антонъ Ивановъ выноситъ изъ-за комода муху, говоря лжецу:

— Стыдно вамъ!

— Я, Антонъ Ивановичъ, думаю ее въ счетъ не класть—оправдывается лжецъ.— Вѣдь одна нога осталась, баринъ ее какъ охнул... Что-жъ ногу-то одну...

— И ногу въ счетъ! Баринъ муху убили—она должна быть въ счету. Это не ваше дѣло—вы должны спросить у барина... Класть эту, Павелъ Степанычъ, штуку или нѣтъ? вопрошаетъ Антонъ Ивановъ барина.

Павелъ Степанычъ сурово смотритъ на лжеца, потому на муху и едва слышно провозноситъ:

— Класть!..

— Говорено вамъ было?

— Виновать! кается лжецъ.

Съ тѣми же пріемами искусственныхъ волненій устраивалось считаніе мухъ, закупориваніе ихъ въ банку; интересъ Павла Степаныча обыкновенно возбуждался тѣмъ, что непремѣнно недосчитывались двухъ-трехъ штукъ и поднимали по этому случаю возню, ссору, суматоху; оправдывались, уличали другъ друга; Павелъ Степанычъ дрожалъ, сердился, но Антонъ Ивановъ по обыкновенію поправлялъ дѣло—и лицо Павла Степаныча сіяло...

Въ такую-то минуту управляющій наконецъ шепнулъ Антону Иванову:

— Уприся!

— Время-ли?

— Дѣлай упорство безъ разговору...

Антонъ Ивановъ собрался съ духомъ и сказалъ:

— Прощайте, Павелъ Степанычъ! Оставайтесь одни!.. Богъ съ вами!..

Павелъ Степанычъ чуть не зарыдалъ...

— Въ самое время намѣтили! наблюдая издали, думалъ управляющій.

У.

Опытъ съ мухами удался какъ нельзя лучше. Павелъ Степанычъ не могъ остаться безъ Антона Иванова, и Антонъ Ивановъ, поживившись разъ, могъ такимъ образомъ жить сколько угодно. Пособники дали ему полную волю, родственница убоготворена; Антонъ Ивановъ помирился съ нею. подъ вліяніемъ успѣха, наобѣщалъ ей золотыя горы и въ надеждѣ на эти горы истратилъ первую наживу на угощеніе... Но странное дѣло, какъ только все это совершилось, какъ только Антону Иванову осталось одно—выдумывать и получать благополучіе, нѣмъ вдругъ овладѣла скука: въ головѣ зашумѣли вообще соображенія о жизни человѣческой—«си что такое богатство?» стало мелькать въ его головѣ. «Ну, стану я хватать табакерку? Ну?» Художественная натура его не находила въ этомъ никакого удовольствія... На бѣду еще, возвращаясь отъ родственницы въ Васильково, встрѣтился онъ съ прохожимъ человѣкомъ, направлявшимся въ Задонскъ, съ цѣлью поступить тамъ въ монахи. Прохожій оказался человѣкомъ благороднымъ, презрѣвшимъ суету мірскую и всякую скверну. Разговорившись съ Антономъ Ивановымъ по поводу томившихъ его мыслей, онъ завелъ рѣчь на тему о томъ, что богатство земное — ничто въ сравненіи съ богатствомъ небеснымъ...

— А о душѣ мы и не думаемъ, говорилъ странникъ.—Ищемъ только какъ-бы урвать гдѣ. А хорошо-ли это? А ангелъ-то твой? Развѣ ему пріятно смотрѣть на все это?

Антонъ Ивановъ согласился со всѣмъ этимъ.

— Я не то, что ты! продолжалъ странникъ:—я на своемъ вѣку жилъ получше твоего. Былъ я и въ военной, и въ статской... ѣзжалъ и въ каретѣ, и сладко поѣлъ—попилъ, и въ грѣхъ тоже повалялся... а что я сдѣлалъ для души?... То-то и есть!.. Мнѣ трудно было раздавать имѣніе мое нищимъ, а я раздалъ—стало быть, ужъ...

Антонъ Ивановъ видѣлъ, что странникъ дѣйствительно былъ изъ господъ; по крайней мѣрѣ усы его, развѣвавшіеся по вѣтру, лаковые полусапожки на босыхъ ногахъ и тоненькій парусинный пиджакъ говорили не о крестьянскомъ происхожденіи. Такое униженіе барина передъ Богомъ и отреченіе его отъ суеты тѣмъ сильнѣе дѣйствовали на Антона Иванова, что ему не было другого выхода кромѣ грабежа...

— А о душѣ и забыли! И не помнимъ! продолжалъ странникъ.—Отыскиваемъ теплыя мѣста, усадьбы... Какъ усадьба-то?

— Васильково, съ грустью отвѣтилъ Антонъ Ивановъ.

— Васильково! какъ-бы съ презрѣніемъ промолвилъ странникъ:—а вотъ какъ ангелъ плачетъ, этого мы не замѣчаемъ...

Тяжелое впечатлѣніе произвели эти рѣчи на Антона Иванова. Разставшись съ странникомъ, онъ нѣсколько разъ пытался его догнать; но сообразивъ положеніе и надежды родственницы, не могъ этого сдѣлать и шелъ. Шелъ съ великимъ

трудомъ, потому что его сконфуженную душу тянуло въ другія мѣста, полныя успокоенія... Стало тянуть его къ рѣчкѣ, гдѣ подъ крутымъ берегомъ тихо ходила рыба, въ дѣсь наполненный птицами. «Эка благодать-то», думалъ онъ, оглядывая тихую картину тихихъ сельскихъ работъ и интересовъ, отъ которыхъ онъ отвыкъ, шатаясь по столицамъ. Вотъ въ поповскомъ амбарѣ сама матушка просѣиваетъ прошлогоднюю муку; въ отворенную дверь слышно шлепанье ладоней въ края рѣшета и видна бѣлая, медленно ползущая мучная пыль; неподалеку, отъ крыльца поповскаго дома, на разостланныхъ на землѣ тудупахъ, пустыхъ мѣшкахъ и дерюгахъ разсыпано для просушки хлѣбное зерно, къ которому со всѣхъ сторонъ дѣзутъ куры, съ пискомъ выхватывая зернушко, или отскакивая въ сторону, испугавшись щенки или лучинки, пущенной матушкой изъ амбара... За домомъ, въ саду, двѣ дѣвочки поджидаютъ рой; сидятъ онѣ въ тѣни бузвиннаго куста, накинувъ платочки на разгорѣвшіяся отъ жару лица, и засучивъ рукава по локоть, помакиваютъ березовыя вѣтки въ кувшинъ съ водою... Какая тутъ тишина, какой покой!.. Гудятъ пчелы, спускаясь тамъ и сямъ на цвѣты и листки—гудятъ ровно и однообразно; но вдругъ къ этому гудѣнью прибавился цѣлый хоръ... Словоно оркестръ грянулъ гдѣ-то высоко надъ землею, и рой—цѣлая толпа, изъ цѣлыхъ тысячъ пчелъ—сверкающею и суетливою массою показался надъ неподвижной ветлой. Говоръ этой толпы, шумъ и гамъ дѣлался съ каждой минутой шумливѣе и словно сердитѣе... Но вотъ одна изъ дѣвочекъ взмахнула вѣткой, капли воды высоко сверкнули на солнцѣ и упали въ середину пчелиной толпы. Шумъ упалъ; рой сѣлъ... На зовъ дѣвочекъ, вполыхахъ прабѣжалъ отецъ, священникъ, въ подрясникѣ и въ широкой измятой шляпѣ... Все это растрогало отягченную душу Антона Иванова.

— Благословите, батюшка! сказалъ онъ.

— Повремени, вотъ управлюсь! отвѣтилъ тотъ.

И управившись, съ чинностью произнесъ: «во имя Отца и Сына и Святого Духа! Откуда и куда?» Антонъ Ивановъ съ чувствомъ подставилъ горсть и голову для принятія благословенія и съ тяжелымъ вздохомъ отвѣтилъ на вопросы батюшки. Давно онъ не разговаривалъ такъ, чтобы дѣло шло не о грабежахъ, и ему было любо потолковать съ батюшкой о пчелѣ, о хлѣбѣ, о дождѣ... Изъ саду перебрались въ горницу, ибо и батюшкѣ тоже хорошо было потолковать съ кѣмъ-нибудь, потомъ пообѣдали весело, въ присутствіи собаки, помѣстившейся подъ столомъ, какъ только всѣ усѣлись; кошки и въ особенности котята не мало доставляли удовольствія своими продувными играми, которыя они поднимали между собою на полу въ залѣ, предъ лицомъ всего семейства и Антона Иванова, перебравшихся сюда послѣ обѣда... Сколько было хототу и смѣху, когда матушка рассказала случай, какъ котенокъ зацѣпился хвостомъ за лукошко и застрялъ вмѣстѣ съ нимъ подъ комодомъ. Всѣ «помирали» со смѣху и рассказывали эту исторію часа четыре, припоминая то то, то другое... За-

шелъ разговоръ о Павлѣ Степанычѣ, и трудящіеся люди представили его жизнь въ истинномъ свѣтѣ, отъ котораго у Антона Иванова подрало по кожѣ.

— До сихъ поръ живеть, говорила матушка:—и что онъ кому-нибудь сдѣлалъ-ли пользы? Сколько изъ-за него нищими пошло, сколько народу разорилъ—деревни и посейчасъ голыя стоятъ—всю жизнь на эту собаку работали, кровью обливались. Сколько онъ на своемъ вѣку чужого слопалъ! За что?..

Не въ моготу было уйти отсюда Антону Иванову. «Вотъ бы жить! побожески! по совѣсти!..» думалось ему. Дотянулъ онъ дѣло до вечера, а вечеромъ, напившись чаю собрался было уходить, да присѣлъ на бревно, на которомъ усѣлось семейство попа, противъ дома, да и досидѣлся до ночи. На господскомъ дворѣ слышалась скрипка—это играетъ одинъ лакей... Бабы прошли съ граблями на плечахъ и пѣснями; прогремѣли, возвращаясь съ работы, пустыя телѣги... подошла ночь. Идти было некуда.

— Куда тебѣ! сказали ему.—вотъ тучки собираются...

Антонъ Ивановичъ завалился спать на душнстомъ сѣнѣ и все думалъ о жизни человѣческой. «А о душѣ и забыли!», сладко засыпая, держалъ онъ въ головѣ... Ночью, въ глухую полночь, разразился ударъ грома, и Антонъ Ивановъ проснулся. Дождь шумѣлъ въ крышу поповскаго дома, влокалалъ подъ окнами, какъ кипящее масло. Батюшка соскочилъ съ кровати, и ощупью пробрался къ окну—поглядѣть, но молнія заставила его отскочить назадъ.

— Святъ, святъ, святъ!.. Какая страсть надвинула! Телѣгу забыли подъ сарай задвинуть!.. Святъ, святъ... Фу ты, Боже мой...

— Говорила я, надо сѣно захватить пораньше... вскакивая на кровати, шопотомъ говорить матушка.

— Что теперь съ сѣномъ? Ухъ! Боже мой! Зажгу свѣчу страстную!.. Святъ, святъ, святъ!..

— Брысь, анаема... сгноили сѣно!

— Эдакой ливень, какъ не сгноить... Святъ, святъ... Эко блохъ-то!.. Блохъ-то!

Въ большомъ испугѣ было все семейство, вся деревня. Одинъ Антонъ Ивановъ не имѣлъ ничего общаго въ этихъ заботахъ, какъ и въ дневныхъ радостяхъ, и думалъ: А у меня что? Грабежи на умѣ, у пса! Грусть и тоска распространились на другой день въ домѣ священника: не было никакого слѣда вчерашняго веселья. За ночь успѣла пронестись гроза, но небо было покрыто скучными тучами; дождь шелъ не переставая; листья вишенъ, зеленѣвшіе подъ окнами, измокли, вѣтки качались отъ вѣтра и роняли капли; капли ползли и катились по стекламъ оконъ. Все живое куда-то исчезло, попряталось; куры, усѣвшись въ сѣнахъ на жердочкѣ, встряхивали мокрыми перьями и, надвнувшись, ворчали что-то; продувные котата кучей лежали въ залѣ на продавленномъ стулѣ и спали, тяжело, скучно, какъ спать въ ненастье... Спать въ сѣнахъ и собака Розка, вся мокрая и въ грязи;

даже мухи исчезли и столпились въ темномъ углу передней, гдѣ виситъ овчинная поповская ряса. Съ соннымъ жужжаніемъ вылетаютъ онѣ отсюда, какъ только кто-нибудь шевельнетъ рясу или протянется къ окну за графиномъ квасу, но скоро опять садятся на прежнее мѣсто и не слышать ихъ... Тоска была большая, никому не хотѣлось выйти на улицу—и одному только Антону Иванову пришлось уходить: онъ ужъ слишкомъ загостился, да и пора была поспѣвать къ своему дѣлу...

Распровавшись съ семействомъ священника, онъ по грязи пустился въ путь. Промокшій и грязный, онъ особенно былъ расположенъ проклинать свою жизнь и думать о душѣ.

— И куда я иду? думалось ему.—Люди сидятъ въ тепломъ гнѣздѣ, прячутся отъ такой непогоды, а я иди! Собака бездомная!

На пути онъ долженъ былъ зайти въ чью-то господскую ригу, стоявшую въ полѣ, чтобы хоть немного переждать дождь.

Въ ригѣ было много рабочаго народу, загнаннаго дождемъ. Одни спали на голой землѣ ничкомъ, другіе, сидя въ кругъ безъ шапокъ, жевали хлѣбъ; народъ былъ самый разнокалиберный; на одномъ была старая солдатская шинель, вытертая и дырявая, безъ пуговицъ; другой погуливалъ босикомъ въ заплатанной рубахѣ, рваныхъ холщевыхъ штанахъ; рѣдко попадались мужикъ, одѣтый въ цѣлую, нерваную рубаху... Въ толпѣ шелъ недружный разговоръ...

— Была телушка, говорить одинъ:—баба-дура опоила...

Молчаніе и жеваніе.

— Съ пальца? спрашиваетъ другой, спустя нѣсколько минутъ, проглотивъ комъ чернаго хлѣба.

— Съ пальца, слѣдуетъ отвѣтъ черезъ нѣсколько времени, и съ такою же медленностью идетъ разговоръ.

— Съ пальца-то приучила, да уйди... Оставила значить ее при молокѣ... Телушка-то ляпъ-да ляпъ языкомъ-то... хлебать, хлебать—разуму нѣту, дохлебалась до смерти...

Молчаніе.

— Это и нашему брату такъ-то дохлебаться можно, замѣчаетъ кто-то...

— Потому съ работы... Томишь, томишь... да и дорвешься...

— Ну—и не уняться...

— Какъ можно! Если ты на голодное брюхо полыхнешь вина, первымъ долгомъ тебя поманитъ на соленое.

— Такъ, такъ! подтверждаютъ нѣсколько голосовъ.

— Такъ! это вѣрно...

— Какъ тебя на соленое помануло, сейчасъ ты, Господи благослови—селедку! Последнее отдашь, а чтобы соленого! Нутро-то у насъ перержавѣло—вотъ мы и норовимъ: селедку, и пару, и тройку... Какъ стало у тебя внутри глотать, сейчасъ начнетъ тебя звать на пойло, на брагу, шабашъ.

— Тутъ конецъ!..

— Шабашъ! Тутъ! На брагѣ! Простись!

— Тутъ, братъ, со святыми упокой. Потому не оторвешься... Нутро полыхаетъ, а ты и лъешь! Ты и сядишь! У насъ одинъ солдатъ до тѣхъ поръ наливался, пока раздуло его всего... Вытянулся, какъ жердь, ни рукъ, ни ногъ не согнетъ и пальцы этакъ вотъ разнесло...

— Такъ, такъ!

— Это, такъ... У насъ въ деревнѣ такая примѣта: какъ пальцы окостенѣли, согнуть ихъ трудно—будя!.. Помрешь. Тутъ нахо бросать.

— Наверядъ! говорить кто-то.

Спустя долгое время начинается другой разговоръ, изображающій если не бѣдствія голоднаго желудка, то непременно какія-нибудь бѣды рабочаго человѣка. Антонъ Ивановъ, невольно сдѣлавшись слушателемъ этихъ разговоровъ, крайне завидовалъ терпѣнію, честности, покорности этого народа, при всемъ бѣдственномъ положеніи не идущаго на разбой, на который покусился онъ, Антонъ Ивановъ, неумѣющій ни за что взяться и отвыкшій отъ работы.

Изъ риги онъ ушелъ еще въ болѣе грустномъ состояніи духа, и всѣ дорожныя мысли его были направлены къ тому, чтобы изобрѣсти средства къ существованію по чести и совѣсти, не заставляя огорчаться ангела-хранителя. Но придумать ему ничего не удалось, кромѣ того, что лучшаго мѣста ему не найти...

А providѣніе уже пеклось о немъ. Еще со вчерашняго дня въ каморкѣ Павла Степаныча застало новое лицо. явившееся съ болѣе занимательными изобрѣтеніями, чѣмъ всѣ эти вырѣзыванія коньковъ, щипаніе корпін, битие мухъ и т. д. И въ то время, когда Антонъ Ивановъ, приближаясь къ Василькову, съ грустью помышлялъ о необходимости грабежа и погнѣблѣ души, лицо это сидѣло за столикомъ противъ Павла Степаныча и метало карты, приговаривая довольно ласковымъ голосомъ:

— Это я пошелъ, теперь вы бейте... Ходите! Что-нибудь!.. Ну вотъ! Вотъ и выиграли!.. Берите деньги—вотъ вы и выиграли, Павелъ Степанычъ... Тащите къ себѣ.

Павелъ Степанычъ съ радостью тащилъ нѣсколько мѣдныхъ денегъ.

— Видите, какъ любопытно! теперь ставьте вы... Ставьте вы 5 цѣлковыхъ... Гдѣ у васъ деньги-то? Не вставайте, не вставайте, вотъ я досталъ... Ну, ходите! Что-нибудь все равно. Ну, вотъ я убилъ, мои 5 цѣлковыхъ, я беру. Видите...

Павелъ Степанычъ какъ будто сердился.

— Ничего, ничего, не сердитесь... Это такъ нужно—вы ихъ сейчасъ выиграете. Вотъ я пойду, а вы кройте. Покрыли? Вотъ и ваши! Видите, какъ любопытно?..

Отъ души смѣялся Павелъ Степанычъ.

— Ну, теперь ставьте двадцать пять цѣлковыхъ. Сидите, сидите—не бойтесь... я самъ.

Въ это время въ двери показалась унылая фигура Антона Иванова, рѣшившагося продолжать дѣло съ мухами.

Новое лицо тотчасъ же поднялось со стула, положило на минуту карты и быстрымъ движеніемъ

къ двери вытѣснило Антона Иванова въ другую комнату.

— Ты что тутъ, каналья, шатаешься? ошарашило его лицо довольно энергическимъ голосомъ и трясеніемъ за шиворотъ.—Вы, тутъ, канальи, грабежъ завели? Я твои всё знаю штуки, мошенникъ...

Антонъ Ивановъ затрепеталъ и къ ужасу узналъ въ новомъ искателѣ теплыхъ мѣстъ вчерашнаго странника. Трясеніе за шиворотъ доказало ему, что душа его спасена; но видимое въ то же время ускользаніе изъ рукъ такого мѣста, какъ Павелъ Степанычъ, обидѣло его.

— Этотъ баринъ—мнѣ отданы... Это мое... Я кормлюсь, прошепталъ онъ.

— Кто тебѣ отдавалъ барина, каналья?

— Богъ!.. отвѣтилъ Антонъ Ивановъ.

— Я тебѣ покажу шельмѣ, кто тебѣ отдалъ... Я васъ всѣхъ разберу... Гнѣздо завели? Богъ? Вонъ отсюда, каналья! шумѣлъ гость.

Какъ обваренный кипяткомъ, упался Антонъ Ивановъ вонъ изъ барскаго дома и ясно увидалъ, что онъ опять безъ хлѣба, что счастье ушло... произвѣлъ...

VI.

И это дѣйствительно случилось; новый гость—человѣкъ, видѣвшій свѣтъ на столько, что ему не оставалось нигдѣ прибѣжища за исключеніемъ постриженія въ монахи, человѣкъ, очевидно прошедшій огонь, воду, мѣдныя трубы и чугуныя повороты, человѣкъ благороднаго происхожденія и слѣдовательно просвѣщеннаго ума—съумѣлъ воспользоваться теплымъ мѣстомъ гораздо толковѣе, нежели простонародные бездѣльные неучи. Въ самое короткое время онъ забралъ всю Васильковскую усадьбу въ ежовыя рукавицы. Павелъ Степанычъ былъ ошутанъ помощью картъ. Карточные волненія, сопряженные съ деньгами, овладѣвали имъ сильнѣе, нежели мухи и коньки, въ тысячу разъ. Каждая сдача картъ приносила ему совершенно новыя ощущенія и каждую минуту волновала и занимала остатки умирившаго соображенія. Память измѣняла ему настолько, что проигрыши — почти постоянные — легко изглаживались изъ нея ничтожными выигрышами, который повергалъ его въ радость; хотя въ сущности самая игра была только швыряніемъ картъ безъ толку и разбору—и всѣ выигрыши и проигрыши совершались единственно по волѣ новаго гостя. Такъ былъ забранъ въ руки Павелъ Степанычъ; сытая челядь, готовая было уже разбѣжаться, была сразу схвачена и остановлена на мѣстѣ, помощью энергическихъ общаній новаго гостя вытащить всѣхъ ихъ наружу и раскрыть всѣ ихъ грабежи. Она невольно должна была служить новому барину, быть съ нимъ заодно и выжидать минуты. Мертвый домъ Павла Степаныча ожилъ, словно проснулся отъ сна; баринъ, поселившійся въ домѣ, не утолился отдаваніемъ приказовъ, начались обѣды въ залѣ, что давно уже было брошено; появились гости, за которыми въ сосѣдніе уѣздные города отправлялись тарантасы, долгое время стоявшіе въ заперти; появились въ комнатахъ моло-

дые дѣвки, слышались смѣхъ. Карточная игра шла на нѣсколько столовъ; открыты были погреба съ старинномъ виномъ, о существованіи котораго прежніе жители и не подозревали; на кухнѣ цѣлые дни стучали поварскіе ножи, въ столовой звенѣли тарелки, окна дома по вечерамъ ярко свѣтились и по стекламъ двигались тѣни гостей, все старинныхъ пріятелей съ новымъ баринномъ, или людей одного съ нимъ взгляда на вещи. За этой пробудившейся жизнью не слышно было шума вѣтра, стона флюгера, незамѣтно было смертоноснаго размаха часоваго маятника, незамѣтно было самого Павла Степаныча. Его видѣла въ замочную скважину двери только старушка, первая любовница. Глядя на его сѣдую голову съ зеленымъ зонтикомъ на глазахъ, видѣвшуюся изъ толпы этого воронья, обступившаго со всѣхъ сторонъ глупенькаго старичка, она утирала тихонечко слезы и шептала: «разбойники, разбойники вы! каторжные! къ царю пойду... грабители».

— Это, видно, братъ, не по нашему! твердила полоненная челядь, запыхавшись въ хлопотахъ.

— По благородному!.. Они вонъ какъ: «ангелъ, говорить, плачешь!» Дураки мы!

— Именно такъ... Пойдемъ по міру!..

— Вѣрно, братъ, простой человѣкъ немного ухватить; хошь, можетъ, онъ и поумнѣй барина.

Эту послѣднюю фразу говорилъ Антонъ Ивановъ, который тоже не могъ уйти отсюда и занимать скромную должность кучера, собиравшаго партнеровъ для новаго барина. Онъ не могъ забыть блистательнаго изобрѣтенія мухи и тосковалъ о себѣ теперь не въ смыслѣ погибающей души, а въ смыслѣ необыкновеннаго ума, погибающаго напрасно, которому не дають ходу.

«Придетъ мое время!» думалъ онъ, лежа въ кухнѣ на печи и выжидая этого времени.

Этого времени всѣ дожидались съ нетерпѣніемъ.

Но не пришло это время, простому человѣку не пришлось разжиться здѣсь...

Незванный гость пировалъ мѣсяца три и затѣмъ внезапно исчезъ со всей компаніей, оставивъ послѣ себя такое опустошеніе, какое не могли провозвести простонародные опустошители, захвативъ, что пришлось; усадьба опустѣла—и пустота эта стала страшнѣй прежняго во сто разъ. Тоска Павла Степаныча достигла высшей степени, и у Антона Иванова, который еще надѣялся, мелькнула мысль возобновить выдумки; но каждая минута доказывала ему, что не онъ одинъ охотникъ до теплыхъ мѣстъ, что время приготовило цѣлыя массы народа, шатающагося безъ дѣла и привыкшаго даромъ ѣсть хлѣбъ. Вмѣсто крупнаго опустошителя, пронесшагося надъ Васильковымъ ураганомъ, стали прибывать опустошители втораго сорта, что-то отставное, прожженное и неперемонное. Все это шло на поживу и живилось. Уходили одни, приходили другіе...

— Нѣтъ, сказалъ себѣ Антонъ Ивановъ,—надо искать другого мѣста, Богъ съ нами!

Онъ распростился съ усадьбой и ушелъ искать счастья въ другое мѣсто.

Павелъ Степанычъ еще жилъ нѣкоторое время, оберегаемый старушкой, добравшейся если не къ царю, то къ уѣздному исправнику. Начальство обратило вниманіе на расхищенную усадьбу старика, наняло караульщикова, и Павелъ Степанычъ былъ лишень всякаго общества. Изрѣдка только украдкою пробирался къ нему въ покой какой-нибудь человѣкъ неизвѣстнаго званія, съ гитарой въ рукѣ; садился на стулъ и, наигрывая кое-что, несказанно радовалъ этимъ старика.

— Пожалуйста! пожалуйста! стоналъ онъ.

— Изъ «Триватора»-сь, Павелъ Степанычъ... «Трубадура»-сь...

— Да, да...

— Итальянская болѣе пьеса.... наигрывая, объяснялъ неизвѣстный человѣкъ и прибавлялъ:— жениться собираюсь, Павелъ Степанычъ... Спѣшить надо къ невѣстѣ... Не будетъ ли вашей милости...

Срыванія даяній были гораздо меньше, да благодаря надзору, и посѣтителі стали рѣдки. Зимнія вьюги, долгія зимнія ночи Павелъ Степанычъ переживалъ одинъ. Старушка рассказывала ему сказочки и по временамъ плакала... И никто кромѣ ея не помянулъ Павла Степаныча добромъ или худомъ, когда онъ незамѣтно умеръ въ одну темную зимнюю ночь.

IV. Прогулка.

I.

«...До свѣдѣнія моего дошло, что въ подгороднемъ селеніи Емельяновѣ, на постояломъ дворѣ, арендуемомъ —скимъ мѣщаниномъ Гаврилою Кашинымъ, производится незаконная продажа питей... почему, почтительнѣйше увѣдомляя ваше высокоблагородіе, поручаю вамъ произвести дознаніе...»

— Что это? Опять въ деревню? проговорила весьма изящная молодая дама, заглядывая черезъ плечо тоже весьма молодого мужа, читавшаго только что присланную со сторожемъ бумагу.

— Да!..

— Вотъ тебѣ вмѣсто прогулки! Погода прекрасная... далеко это?

— Версты двѣ-три.

— Тебѣ надо пройтись... Ты засидѣлся... Что это ты читалъ?

— Последнюю книжку журнала. Попалась пренеприятная статья, не могъ оторваться.

— Ты пройдишь, прогуляйся, перебирая страницы журнала, говорила молодая супруга.—Ахъ, Тургеневъ! Что тутъ его?.. Какъ мило... непременно прочту!.. Изъ народнаго быта?.. Прелесть...

— Десятскій дома? перебилъ молодой супругъ, отдыхая послѣ интересной статьи на кушеткѣ.— Надо распросить, кто такой этотъ Гаврило Кашиный...

— Онъ тамъ въ кухнѣ! «Изъ Гейне»... Это что? продолжала рыться въ книгѣ супруга:— «Пѣсня о рубашкѣ».

Она вздохнула и произнесла какъ-бы въ раздумьѣ:

— Тебѣ нужно оштрафовать его?

— Кого? съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ произнесъ мужъ, не видя въ мысляхъ супруги достаточной послѣдовательности.—Кого его?

— Мужика...

— Разумѣется, оштрафовать!

Чтобы не раздражать супруга, молодая дама прибавила:

— По крайней мѣрѣ отдохнешь!

II.

На слѣдующій день мужъ собрался на прогулку, которую предложено было совершить пѣшкомъ. Часовъ въ двѣнадцать дня онъ стоялъ среди двора съ сумкой черезъ плечо и шарилъ по карманамъ—все ли захватилъ.

— Да! сказалъ онъ, обратившись къ женѣ, стоявшей на крыльцѣ:— пожалуйста не отдавай Иванову газетъ. Непремѣнно затащутъ!.. Судебные уставы положили?

— Я положила въ портфель... Это съ золотымъ обрѣзомъ?

— Да... гдѣ они?.. Положила-ли?..

— Посмотри въ портфель—кажется, положила!

— То-то, кажется!.. какъ это ты...

Десятскій, сопутствовавшій въ прогулкѣ, держалъ портфель подъ мышкой. Посмотрѣли—нашли.

— Здѣсь! успокоившись, произнесъ супругъ.— Ну, все кажется. Папиросы?

— Тутъ, сказалъ десятскій.

— Ну, все... Прощай! Не скучай... тамъ у меня есть «Одинъ въ полѣ—не воинъ»—превосходная штука: читай... Шпильгагена. Палку надо взять—тутъ воровъ много...

— Тутъ воровъ страсть! сказалъ десятскій.

Пока ходили за палкой, къ путешественникамъ подошелъ молодой человѣкъ, исключенный изъ семинаріи риторъ, проживавшій на томъ же дворѣ въ нищетѣ и въ постоянномъ поруганіи со стороны родственниковъ.

— Иванъ Петровичъ, сказалъ онъ, позвольте—мнѣ съ вами пройтись?

— Сдѣлайте одолженіе!

Риторъ поблагодарилъ, снявъ картузъ. Скоро была принесена палка, и черезъ полчаса общество все было въ полѣ. Былъ жаркій лѣтній день. Въ полѣ тишина. Риторъ шелъ съ десятскимъ, который рассказывалъ ему про воровъ.

— Отчего это? спрашивалъ риторъ.

— Бѣдность, что будешь дѣлать... Баба съ молокомъ—и то останавливаютъ.

Риторъ задумался. Прогуливающійся чиновникъ наслаждался природой и соображалъ планъ—какъ накрыть Гаврилу Кашина на мѣстѣ, въ самый моментъ незаконной продажи.

— Иванъ Петровичъ, проговорилъ риторъ:— а съ вами хотѣлъ потолковать объ одномъ дѣлѣ.

— Что прикажете?

— Да что—смерть моя... Я просто умираю съ тоски, да и ѣсть нечего... Не можете ли вы мнѣ похлопотать через знакомых мѣстечка?

— Какого же мѣстечка?

— Я бы желалъ учительскаго... Это мнѣ болѣе по душѣ. Я знаю, что не даромъ возьму деньги: я люблю это дѣло...

— Я готовъ.

— Посмотрите—какое невѣжество, какая тьма крошечная! Неужели ужъ я тутъ хоть столько не сдѣлаю, хоть на волосъ? Надо же когда-нибудь серьезно отнестись...

— Разумѣется! проговорилъ съ одушевленіемъ чиновникъ.

— Вѣдь сердце разрывается. Я знаю народъ, я готовъ работать безъ жалованья, лишь бы не умереть съ голода—нужно пробуждать въ народѣ хорошія качества... Они есть...

Риторъ воодушевился и на всѣ изліянія своей души получалъ со стороны прогуливающегося чиновника самыя сочувственныя слова.

— Что за человѣкъ! думалъ риторъ.—Есть люди! Есть!..

Во время этого благороднѣйшаго разговора они подошли къ кабаку, стоявшему на полдорогѣ имъ.

— Здѣсь надо распросить, проговорилъ чиновникъ, окончивъ какую-то благороднѣйшую фразу:—они вѣдь прячутся, каналы... Ты, прибавилъ онъ, обратившись къ дѣсятскому,—не входи съ портфелемъ-то!.. останься тутъ!

Риторъ нѣсколько изумился, но, сообразивъ, что предъ нимъ благороднѣйшій человѣкъ, тотчасъ же и успокоился.

Въ кабацкѣ за стойкой сидѣла молодая женщина и дремала. Маленькая каморка была оклеена разношерстными лоскутками обоевъ, между стойкой и стѣной стояли бочки вина; въ воздухѣ пахло водкой и носились мухи.

— Здравствуйте! ласково сказалъ чиновникъ.

Хозяйка тоже отвѣтила ласково.

— Пиво есть у васъ?

— Есть, да не хорошо.

— По крайней мѣрѣ холодное-ли?

— Холодное-то холодное... да вы отвѣдайте.

— Пожалуйста.

Хозяйка ушла. Чиновникъ оглядѣлъ стѣны—патентъ былъ.

— Тутъ есть патентъ, сказалъ онъ ритору шопотомъ.

Тотъ смотрѣлъ на чиновника съ любопытствомъ.

Скоро въ комнату вошла старуха, оказавшаяся матерью хозяйки и, низко наклонивъ голову въ знакъ поклона, стала у двери молча. Повидимому она тотчасъ хотѣла уйти, однако не ушла и поминутно переводила глаза съ одного гостя на другого, съ большимъ искусствомъ скрывая передъ ними свою внимательность къ поступкамъ и словамъ господъ.

— Далеко-ли тутъ до Емельянова?

— До Емельянова тутъ не далека. Близехонько, батюшко... да вамъ на что же, батюшко?

— Такъ... Просто пройтись.

Старуха степенно наклонила голову въ знакъ согласія.

Принесли пиво.

— Пиво ничего, сказалъ чиновникъ.—А гдѣ у васъ тутъ еще пиво есть?

— Въ Бучиловъ, проговорила съ разстановкой старуха:—верстъ за двадцать... не ближе...

— А въ Емельяновѣ? простодушно произнесла дочь.

— И гдѣ тамъ въ Емельяновѣ? глядя прямо въ глаза дочери, съ легкой усмѣшкой сказала старуха.—Да тамъ и кабаковъ-то нѣту.

Чиновникъ побалтывалъ ногой и слушалъ, рассматривая картину.

— Кабы ежли бы кто торговалъ тамъ, шамкала старуха—и риторъ замѣтилъ, какъ глаза ея оживились и стали строги.—Ишь, они гуляютъ, имъ нечего что!..

Дочь притихла.

— Нѣтъ, мы просто такъ, для прогулки, проговорилъ чиновникъ.—Вонъ баринъ хочетъ въ лѣсу погулять, прибавилъ онъ, указавъ на ритора.

— Что-жъ теперь ладно вамъ погулять...

— А, скажите, съ невинностью младенца произнесъ чиновникъ,—есть тутъ лѣса?

— Такъ, кусточки есть, а такъ чтобы лѣсовъ, нѣту.

— Намъ хоть и кусточки... Намъ тѣнь нужна...

Женщины кивнули дружно въ знакъ согласія и обмѣнялись взглядами. Скоро чиновникъ расплатился и вышелъ. Что ему нужно было узнать—онъ узналъ и, выйдя на улицу, не церемонясь, полѣзъ въ портфель—поглядѣть, тутъ-ли карандашъ и уставки—не обративъ почти никакого вниманія на испугъ провожавшихъ его женщинъ.

— Погуляйте, погуляйте, говорила старуха въ большой тревогѣ:—въ лѣсочкѣ теперь хорошо...

— Намъ бы хоть въ кусточки... бормоталъ чиновникъ, записывая что-то.—Теперь тамъ чудесно... Прощайте...

— Счастливо.

— То-то у тебя языкъ-то... послышался ритору голосъ старухи.

— У-у, каналы!.. шепталъ ему чиновникъ.

Риторъ вытаращилъ глаза.

III.

При началѣ д. Емельяновки стоялъ кабацкѣ, въ которомъ происходила торговля виномъ на законномъ основаніи. Чиновникъ вознамерился получить здѣсь самыя точныя свѣдѣнія о Гаврилѣ Кашинѣ, торговавшемъ въ томъ же селеніи—только на другомъ концѣ, въ одиноко стоявшемъ постояломъ дворѣ.

Былъ жарскій полдень; деревушка была пуста, только воробьи безмолвно, какъ пули, перелетали съ крыши на крышу. Большія кабацкія сѣни, предназначенныя для посѣтителей, были пусты. Внутри кабака за стойкой стоялъ маленькій горбатый хозяинъ, навалившись выпаченною уродливою грудью на стойку, и велъ бесѣду съ подгулявшимъ отстав-

нымъ солдатомъ. Бесѣда его была весьма оригинальна: онъ отвѣчалъ повидимому на всѣ вопросы солдата, соглашался, возражалъ, но въ сущности не говорилъ ничего и несомнѣнно даже слышалъ солдатскія рѣчи. Это особаго рода языкъ, въ которомъ съ такимъ искусствомъ употребляютъ слова: «къ примѣру», «а то какъ же», «въ акуратѣ», «ишь» и т. д. Солдатъ тотчасъ вытанулъ передъ чиновникомъ и весело произнесъ: «здравія желаю, ваше высокоблагородіе». Встрѣча съ начальствомъ ему очевидно была пріятна, и когда чиновникъ, потребовавъ себѣ воды, сѣлъ на лавку отдохнуть, солдатъ тотчасъ же приступилъ къ нему съ разсказами какой-то длинной исторіи о старомъ баринѣ, о томъ, какъ любило его начальство, о страхахъ, о новомъ баринѣ, у котораго онъ служилъ лѣсникомъ, о своей исправности въ лѣсномъ дѣлѣ и т. д. Вытащилъ какую-то бумажку изъ сапога, подавъ ее чиновнику и съ почтительностью стоялъ въ отдаленіи, пока чиновникъ разбиралъ ее: «Объявленіе. Навалилъ лѣсу на маладѣтничъ на сорокъ сажонъ и на мой вопросъ какъ маладѣтничъ господскій то сопротивлялся»... Затѣмъ онъ завелъ рѣчь о томъ, какъ трудно съ народомъ, какъ его хотѣть убить за то, что онъ не идетъ расхищать барскаго двора, и что поэтому приходится постоянно стрѣлять въ самовольныхъ порубщиковъ.

— Какъ стрѣлять? съ волненіемъ спросилъ риторъ, молча курившій въ углу.

— Я, вашскродіе, въ ноги ихъ бью, мужиковъ. Плюнешь ему бакасинникомъ въ это мѣсто, убить — не убьешь, а зачешется... хе, хе!

Риторъ пускалъ клубы дыма и молчалъ.

Чинovníкъ, напротивъ, говорилъ солдату «д-да»... «ничего не подблещь»... поспѣивался и вообще высказывалъ ему благосклонность. Эти высказыванія благосклонности весьма ободрили солдата. Онъ вытанулъ во весь ростъ и пропѣлъ:

Мы съ героемъ дѣти славы,
Дѣты бѣлаго царя,
Есть у насъ своя семейка
Невеличка и добра;
Съ нею жизнь для насъ копѣйка,
Сухарь, чашка и ура!

Благосклонно выслушавъ пѣніе и одобривъ солдата, прогуливающейся чиновникъ прямо приступилъ къ кабатчику съ распросами. Кабатчикъ радъ былъ утопить конкурента и съ присовокупленіемъ разныхъ смягчающихъ словъ, которыя ровно ничего не значили, вродѣ: «конечно»... «не наше дѣло»... «а что надо говорить прямо»... «точно что»... «не по закону»... весьма обстоятельно обвинилъ Кашина. Солдатъ подкакивалъ, говоря: «какъ же можно?.. это не порядокъ!.. нѣтъ, брать!... что тебѣ по закону, то и получай, а что не по закону... У насъ, вашскродіе, въ полку»...

Чинovníкъ поднесъ солдаку водки; это еще болѣе оживило его и пробудило всѣ чувства подчиненнаго при видѣ начальства. Приступлено было къ составленію плана нападенія на Гаврилу Кашина такъ, чтобы онъ не зналъ, не вѣдалъ, такъ чтобы захва-

тить его на мѣстѣ преступленія... Риторъ сидѣлъ въ углу и изумлялся, какъ можетъ столь благороднѣйшій человѣкъ, котораго дома ожидаютъ самыя послѣдніе нумера журналовъ, высказывать такое предательство относительно ближняго, разспрашивать и разузнавать о томъ, когда лучше всего можно напасть на Гаврилу Кашина, подкупать даже рюмкою водки солдата, чтобы онъ пошелъ въ Гаврилѣ, потребовалъ бы стаканчикъ вина и затѣялъ бы съ нимъ разговоръ, не прикасаясь къ стакану до тѣхъ поръ, пока не явится неожиданно чиновникъ.

Солдатъ спяну соглашался на все. Положено было десятскому и солдату идти впередъ, а чиновникъ пойдетъ за ними кустами, стороной. Солдатъ получилъ гривенникъ.

Сначала онъ бодро и храбро пошелъ впередъ. Вслѣдъ за нимъ слѣдовала вся компанія; водка и жара сильно разгорячили солдата, но среди деревни попался колодезь, всѣмъ захотѣлось пить. Солдатъ попросилъ позволенія опустить ведро.

— Сдѣлай милость, съ добродушіемъ разрѣшилъ ему чиновникъ.

Холодная вода осѣжила солдата. Онъ вытерся рукавомъ и попросилъ позволенія отдохнуть. Ему позволили. Поглядѣвъ онъ на постоялый дворъ, видѣвшійся вдали, близъ самаго лѣсу, вспомнилъ, быть можетъ, что Гаврило и ему отпускалъ стаканчикъ, и, обратившись къ чиновнику, сказалъ:

— Ваше благородіе! а вѣдь теперь наврядъ мы застанемъ Гаврилу-то...

— Ну вотъ! сказалъ чиновникъ.

— Право, наврядъ...

Солдатъ, нѣсколько опомнившись отъ холодной воды, понялъ, что втянули его въ недупетное дѣло...

— Право, вашскродіе... Онъ теперь, Гаврило-то...

— Ну, что тамъ! сказалъ чиновникъ, стараясь не замѣчать волненія солдата — долго-ли тутъ дойти?..

— По мнѣ — какъ угодно... Я готовъ. Я что-жъ... Ваше благородіе! воскликнулъ солдатъ. — Отпустите меня въ городъ!

— Ты потомъ и пойдешь... вѣдь тутъ одна минута.

— Ваше благородіе, у меня дѣла-сь!.. Я при дѣлѣ!..

— Ну что, пустяки!.. Пойдемъ-ка... мы сейчасъ все кончимъ.

— Я усталъ! сказалъ солдатъ и сѣлъ.

Солдатъ снялъ картузъ, отеръ мокрый лобъ, поглядѣвъ по сторонамъ, какъ пойманный заяцъ, всталъ съ бревна, валявшагося около колодца, потянулъ сѣлъ опять... Чинovníкъ, десятскій и риторъ сидѣли на бревнѣ неподалеку и молчали.

— Отдохнулъ? спросилъ чиновникъ.

Солдатъ поднялся и сказалъ съ умиленіемъ:

— Ваше благородіе!

— Ну, будетъ, будетъ, не задерживай!

— Сдѣлайте милость!..

— Пойдемте, пойдемте! что тутъ раздобарывать?.. Пора!.. Ну-ка, десятскій, идите впередъ...

Чинovníкъ послѣднѣе направился въ сторону, намѣреваясь пройти задѣми и тщательно наблюдая за солдатомъ. Да и десятскій тоже наблюдалъ за нимъ.

— Что сталъ? сказалъ ему десятскій.

— Эхъ, въ какое дѣло вкатили меня!..

— Чортъ тебѣ велѣлъ...

— Э-эхъ!..

— Дубина!

— Э-эхъ... въ какое дѣло!..

— Ну, пойдемъ, разговаривай теперь!

— Надо идти-то... Вотъ, поди тутъ; шелъ человекъ въ городъ тихо-благородно, ничего не зная, не вѣдалъ... Хватъ! въ какое дѣло!..

— Ума-то у тебя нѣту. Я иду неволей. Порядокъ требуетъ, а тебя-то черти пихаютъ услуживать. Солдатская кость откликнулась! Пойдемъ! Или что-ль?

Солдатъ махнулъ рукой и съ горестью, съ неохотою тронулся далѣе.

— Эй! Эй! доносился къ нему голосъ чиновника.

— Эхма! убивался солдатъ, съ каждой минутой убѣждаясь въ гнусности своего поступка.—Убѣчь бы? шепнулъ онъ десятскому.

— Такъ я тебѣ и далъ—убѣчь... Иди-ка, иди... теперь, братъ, не уйдешь!.. Иди-ка, охотникъ!

— Не уйдешь! бормоталъ солдатъ, подвигаясь помаленьку.

Онъ никакъ не могъ не исполнить приказанія и невольно шелъ впередъ, чувствуя вполне, что дѣлаетъ плохо. Иногда онъ вдругъ останавливался—объявлялъ, что ему нужно закурить папиросу, принимался дергать спичкой по кофѣну, по рукаву и видимо старался протянуть это дѣло: спички не горѣли или гасли, окурокъ попадалъ не тѣмъ концомъ въ ротъ; но при всей его изобрѣтательности онъ не могъ долго протянуть эти отвлекающія отъ цѣли эволюціи и, воскликнувъ съ горестью:—«Эхъ, въ какую вбухали исторію!.. Эхъ, куда всадили!».. долженъ былъ идти.

Гаврила Кашинъ былъ въ это время дома; домъ или постоянный дворъ стоялъ на пригоркѣ, отдѣльно отъ деревни по другую сторону оврага, близъ проселочной дороги, поднимавшейся изъ оврага на пригорокъ; домъ былъ длинный, но ветхій, оконъ въ девять, раздѣленный въ срединѣ крыльцомъ; большая часть оконъ была заколочена... Гаврила Кашинъ стоялъ за прилавкомъ въ пустой горницѣ, гдѣ пахло водкой, щелкалъ на счетахъ и соображалъ; на полкахъ, предназначенныхъ для водочной посуды, не было ничего; вмѣсто штофовъ и другой посуды лежали баранки, булки и другіе невинные предметы. Жена Гаврилы, мѣшанка, въ ситцевомъ нѣмецкаго покроя платьѣ, сидѣла на крыльцѣ и вязала чулокъ; около ея ногъ и вокругъ крыльца бѣгали и ползали полураздѣтныя дѣти съ намазанными лицами и лежало штукъ шесть собакъ, безъ которыхъ трудно обойтись человеку, поселившемуся на юру, въ сторонѣ отъ жилья. Собаки эти были вѣрные хранители хозяина: онѣ принялись лаять,

когда десятскій и солдатъ были еще на горѣ, шаговъ за полтора отъ двора. Необходимымъ оказалось прежде нежели идти далѣе—сломать въ кустахъ по большой палкѣ, и только съ помощью ихъ они могли добраться до крыльца, гдѣ хозяйка прикрикнула на собакъ.

— Цыть вы!.. Свои идуть, о, дураки...

Собаки повѣрили и стали обнюхивать пришедшихъ, вилая хвостами.

— Здорово! сказалъ солдатъ.

— Здравствуй! Что давно не былъ? спросила дворничиха.

— Дѣла, угрюмо и коротко отвѣтилъ солдатъ.—Дома Гаврило-то?

— Въ горницѣ.

— Водочки бы надо...

— Ишь торговать-то боимся... Пооди, войди туда!..

Солдатъ вошелъ къ Гаврилѣ, который продолжалъ сводить счеты; десятскій присѣлъ отдохнуть на крыльцѣ. Угрюмо поздоровавшись, солдатъ спросилъ винца; Гаврило досталъ штофъ изъ подполья, налилъ ему стаканчикъ и поставилъ штофъ въ сохранное мѣсто.

— Ухъ, братецъ ты мой, жарко какъ! сказалъ солдатъ, не прикасаясь къ стакану, и медленно отиралъ потъ со лба.

— Я отъ жары-то отъ этой самъ не знаю куда дѣться, говорилъ Гаврила, тыкая карандашемъ въ языкъ и вывода въ книгѣ какія-то каракули.—Пятый день бьюсь со счетами—толку нѣтъ никакого... Разорился, кажется, весь до тла...

— Что ужъ такъ, до тла-то?..

— Да такъ и разорись... Нанималъ дворъ у барина на совѣсть—видишь ты—ему деньги даны, а баринъ-то надо-быть замотался, да окромя меня и другому на бумагѣ отдавъ:—получать-молъ! ему съ Кашина аренду... тотъ теперь и ломить съ меня двѣсти палковыхъ, а не то—другому отдавъ: другіе, вишь, больше даютъ... Я съ барчномъ не за двѣсти ладылъ; за что ладылъ, почестъ все отдано ему, а теперь вотъ на, возьми!.. Велики тутъ барыши—двѣсти-то палковыхъ ему платить... Смерть одна!

— Ты-бы къ барину-то!..

— Гдѣ его, барина-то, искать? Его и слѣдъ простылъ... Его ужъ болѣ полугода нѣту въ городъ—вишь, въ Питерѣ, либо въ заграничѣ.

— Ахъ, братецъ ты мой!..

— Пойдешь съ сумой, право слово пойдешь... говорилъ Кашинъ, задумавшись и оставивъ на время книгу.

— Ты, Гаврила, началъ солдатъ, оглядываясь:—я тебѣ вотъ что... противъ тебя завели махину...

— Какую?

— Я тебѣ буду говорить вотъ какъ...

Солдатъ, оглянувшись на дверь, хотѣлъ было продолжать свою рѣчь, но на порогѣ показался чиновникъ. Солдатъ замеръ на мѣстѣ и вытянулъ руки по швамъ.

— Богъ на помощь! сказалъ чиновникъ.

— Здравія желаю, вашескородіе! не удержался солдатъ.

— Здорово, любезный!.. Это вода въ стаканѣ?

— Водка, вашескородіе!

— Здѣсь развѣ торгуютъ водкой? устало проговорилъ чиновникъ, опускаясь на лавку.—Гдѣ же у васъ патентъ?

— Воцарилось мертвое молчаніе.

— Десятскій! позвалъ чиновникъ.

Хозяинъ бросился было изъ-за стойки, чтобы позвать десятскаго и услужить такимъ образомъ чиновнику, но послѣдній съ истинной вѣжливостью предупредилъ его.

— Не трудитесь пожалуйста, прошу васъ, не беспокойтесь... Позвольте просить у васъ чернилъ.

Хозяинъ засуетился, поискалъ чернилъ на полкѣ, подъ лавкой, побѣждалъ къ женѣ, разогналъ кучу ребятъ, столпившихся въ сѣняхъ.

— Напрасно вы такъ... Благодарю васъ!.. сказалъ чиновникъ.—Ваше имя и фамилія?

— Гаврила Башинъ...

Началось писаніе протокола, чернильницу подавалъ самъ хозяинъ, желавшій отвѣтить тою же вѣжливостью, которую оказывали ему. Оправдываться, просить, предлагать помириться—онъ и не думалъ, ибо вполне понималъ, что теперь «не то время», что настала такая вѣжливость, отъ которой нѣтъ никакого спасенія. Отвѣчая на вопросы чиновника, онъ въ то же время старался подать ему спичку, чтобы закурить папирску, совѣтовалъ взять другое перо, такъ какъ въ этомъ мало росчерку, съ своей стороны чиновникъ, выводя предложеннымъ перомъ фразы: вроде «незаконная продажа вина, что по силѣ... статья... устава о наказаніяхъ...» и т. д., предлагалъ мимоходомъ самыя добροжелательные вопросы.

— Семейство ваше при васъ?

— При себѣ имѣю...

— Много-ли дѣтокъ?

— Пять человѣкъ.

— Слава Богу!

— Благодареніе Богу!.. Это муха тамъ въ чернилахъ... Самый махонькій хворааетъ все... Не знаемъ, какъ быть...

— Вы бы къ доктору...

— Гдѣ у насъ доктора найдешь?.. Да надо!..

— Этого оставлять такъ нельзя, болѣзнь можетъ развиться... Имѣете ли имущество?..

— Лошадь имѣю...

— Мнѣ слѣдуетъ — съ иронической улыбкой сказалъ чиновникъ — слѣдуетъ съ васъ получить пятьдесятъ цѣлковыхъ за то, что я васъ открылъ.

Ироническая улыбка, относившаяся къ самому факту получения этихъ 50 р., играла на устахъ чиновника.

— Я знаю-съ! Лошадь имѣю... Песочку? сію минуту.

— Не беспокойтесь... Не беспокойтесь пожалуйста... Засохнетъ и такъ... махая написаннымъ листомъ и дѣя на него, говорилъ чиновникъ.

— Потрудитесь подписать.

Гаврила Башинъ подписалъ свою фамилію.

— Благодарю васъ. А у васъ, должно быть, здѣсь хорошо дѣлать, въ дѣлечкѣ-то?

— У насъ мѣсто хорошее...

— Я думаю, для дѣтей... Имъ здорово...

— Конечно, что... На вольномъ воздухѣ...

— Да... это очень хорошо!.. Ну-ка, любезный, обратилъ чиновникъ къ солдату,—потрудись пожалуйста подписать твою фамилію. Ты былъ свидѣтелемъ...

— Я, ваше высокоблагородіе, не грамотенъ. Ужъ мы меня, сдѣлайте милость, увольте отъ этого...

— Какъ не грамотенъ? а ты же показывалъ мнѣ объявленіе!

— Ваше благородіе! Сдѣлайте милость! Шелъ я въ городъ... Сдѣлайте одолженіе, отпустите!

— Нельзя, другъ мой. Потрудись подписать и иди...

— Все одно ужъ... сказалъ хозяинъ солдату.

— Разумѣется, подтвердилъ чиновникъ.

Солдатъ поглядѣлъ на нихъ обоихъ.

— Вотъ въ какое дѣло попалъ, ваше благородіе... Богъ съ вами!

Онъ засучилъ рукавъ, снялъ шапку, взялъ перо и сталъ прилаживаться писать.

— Чтѣ писать? Я ничего не могу.

— Ну, ты эти разговоры однако оставь, сказалъ ему чиновникъ серьезно.—Пиши имя и фамилію. Какъ тебя звать?

— Я ничего-съ... къ слову... Эхма-а!.. Имя что ли?

— Имя и фамилію.

Солдатъ писалъ долго, наконецъ кончилъ, весь красный и въ поту.

— Ну, вотъ теперь ступай.

— Мнѣ теперь и идти-то неохота... Всадилъ вы меня, ваше благородіе, въ ха-арошее бучило!.. Извините...

Чинovníкъ засмѣялся, хозяинъ тоже улыбнулся.

— Въ отличнѣйшее бучило всучили...

Чинovníкъ захохоталъ этому оригинальному выраженію и сказалъ солдату:

— Ты водку-то выпей.

— Я и коснуться ее боюсь...

— Пей. Чего же?

— Ну ее къ Богу! Вы теперича такъ благородно рекомендуете, а какъ выпьешь—завертишься какъ кубарь... Подведете бумагу, всю жизнь проклянешь! Ну, ее къ Богу!

— Ну, какъ хочешь. Десятскій, пей!

— Благодаримъ покорно. Не потребляемъ.

— Ну, какъ угодно. До свиданья!

Хозяева провожали чиновника.

— Счастливо, вашескородіе, не утерпѣлъ сказать солдатъ, и когда чиновникъ, вѣжливо раскланявшись съ хозяевами и съ солдатомъ, отдѣлился отъ крыльца въ сопровожденіи десятскаго,—привавилъ:

— Попалъ въ кашу, нечего сказать.

— Спасибо тебѣ, другъ любезный, сказалъ ему Башинъ, поблѣднѣвъ.

— Гаврила!

— Благодаренъ тебѣ, что ты меня разорилъ!

— Гаврилушко, родной! началъ было солдатъ, но Гаврила и жена не отвѣчали ему. Солдатъ съ глубокимъ порывомъ сердечной грусти махнулъ рукой и сбѣгъ: — словно пришибленные сидѣли они долго, долго...

— Какая прелесть! сказалъ чиновникъ, догоняя риторъ, который все время держался въ сторонѣ и во взглядъ котораго чиновникъ могъ замѣтить ужасъ. — Посмотрите, что это за прелесть!..

По косогору, открывшемуся передъ прогуливавшимся, двигалась съ граблями въ рукахъ цѣлая фаланга женщинъ, разодѣтыхъ въ лучшія платья, яркія цвѣта которыхъ какъ нельзя болѣе соответствовали яркой картинѣ природы — зелени, солнцу.

Риторъ ничего не отвѣчалъ.

Скоро женщины столпились въ кучу и раздались пѣсни; прогуливавшійся чиновникъ приблизился къ пѣвцамъ и нѣкоторое время наслаждался молча; но такъ какъ неподалеку стоялъ староста, наблюдавшій за бабами, то чиновникъ обратился къ нему съ вопросомъ насчетъ Гаврилы Башкина: можетъ ли онъ уплатить штрафъ? — затѣмъ прилегъ на траву, похваливъ цѣлебныя свойства полевого воздуха и развернулъ судебныя уставы.

Пѣсня упала...

— Пойте, пойте! поощрялъ чиновникъ, перелистывая уставъ о наказаніяхъ.

Но хоръ косился на него и слабѣлъ.

— Пойте пожалуйста, просилъ любитель природы.

Но, несмотря на гуманнѣйшее обращеніе путешественника съ поселянками, послѣднія мало-помалу разбрелись, не докончивъ пѣсни...

— Пора домой, сказалъ наконецъ чиновникъ молчавшему риторъ. — Я думаю, теперь получились газеты... Съ нетерпѣніемъ жду.

Риторъ молчалъ.

— Не сегодня-завтра, шепотомъ прибавилъ чиновникъ, — во Франціи должна вспыхнуть революція... вотъ штука-то будетъ... Давно пора!

Риторъ все молчалъ, соображая, что все это значитъ? Какъ назвать, какъ опредѣлить эту гуманность, образованность, которая повсюду вноситъ съ собой уныніе и грусть?.. Вонъ съ измученной совѣстью сидитъ на крыльцѣ солдатъ. Вонъ вдыхаетъ цѣлая семья мѣщанина Башкина, видя предъ собою голодъ... Бабы перестали пѣть... ушли...

— Иванъ Петровичъ!.. сказалъ наконецъ риторъ, когда они возвращались домой.

— Что?

— Какъ же вы... какъ же... теряясь въ возможности опредѣлить видѣнное, лепеталъ риторъ и вдругъ воскликнулъ:

— Да что-жъ это такое вы дѣлаете?

— Порядокъ, батюшка, нельзя! категорически отвѣтилъ чиновникъ и продолжалъ дорогу молча, срывая васильки и цвѣты и собирая изъ нихъ букетъ для жены.

V. Тяжкое обязательство.

...Дождь только что миновалъ; по небу безпрерывно неслись толпы обезсильвавшихъ живыхъ тучъ, которыя изрѣдка на быстромъ бѣгу своемъ роняли нѣсколько капель на землю, на гнилой подоконникъ моей каморки и проносились мимо. Въ открытое окно иногда врывались волны сырого вечерняго вѣтра, шевелили какую-то бумажку на столѣ и поталкивали тоже гнилую съ выболтавшимся замкомъ дверь. Дѣло происходило на бѣднѣйшемъ постояломъ дворѣ бѣднѣйшаго уѣзднаго города; я сидѣлъ на жесткомъ неудобномъ диванѣ, слушалъ, какъ замираетъ ворчанье кособокаго самовара, пошатывавшегося отъ вѣтру на кособокомъ желѣзномъ подносі, курилъ и, кажется, ни о чемъ не думалъ. Въ окно видѣлся плетень, за колья котораго хватается какой-то солдатъ, намѣревающийся пробраться сухой тропинкой и не попасть въ грязь... За заборомъ, гдѣ-то въ дали, видна какаля-то мокрая соломенная крыша, двѣ промокшія вороны съ глухимъ карканьемъ поднялись было надъ нею, но тотчасъ же и возвратились въ свои норы... За мокрой соломенной крышей — тучи и тучи... Тяжесть какая-то, которую испытываешь именно только подъ вліяніемъ этихъ крышъ, воронъ, грязи и разоренья, вѣющаго отъ всякой русской глуши, наваливалась на меня вмѣстѣ съ темнотою, сумракомъ дождливаго лѣтнаго вечера... Безконечнымъ какимъ-то одиночествомъ вѣяло и этотъ сырой, молчаливый вѣтеръ, и полузаглушенная комната постоялаго двора...

— Откушали чай, батюшка? съ кашлемъ спросила меня ветхая и грязная старуха, входя въ комнату.

— Убирай! сказалъ я.

Старуха стала осторожно подходить къ самовару, стараясь какъ можно аккуратно ступать своими большими мужичьими сапогами. Покашливая и тяжело дыша, причемъ въ груди ея что-то хрипѣло, напоминая испорченные деревенскіе часы, стала она убирать чашки, собирать съ окна и стола ложечки и блюдцы въ одно мѣсто, и въ это время я замѣтилъ, что она какъ будто плачетъ: нѣсколько разъ она касалась концомъ грязнаго фартука своихъ глазъ и какъ будто-бы слегка всхлипывала. Сначала мнѣ показалось, что это съ холоду; но когда старуха утерла фартукомъ носъ, то я уже не сомнѣвался, что она плачетъ, ибо она такъ обошлась со своимъ носомъ, какъ это дѣлаютъ только горько плачущіе люди.

Слезы старухи, благодаря грустному расположенію духа, навянному вечеромъ, погодой и обстановкой комнаты, тотчасъ же отделились во мнѣ.

— Ты о чемъ плачешь? спросилъ я.

Старуха всхлипывала и, не отвѣчая мнѣ, перемывала блюдцы и ложечки... Я думалъ, что это сердитая должно быть старуха, что она не отвѣтитъ мнѣ, и не повторилъ моего вопроса; но она, помолчавши нѣсколько секундъ, какъ-то отрывисто, захлебнувшись слезами, сказала:

— Жалко!..

И тотчасъ же опять утерла носъ.

— Бого же тебѣ жалко? спросилъ я.

— Да барыню свою очень жалъ!

Корявые пальцы старухи не позволяли ей сразу справиться съ чайнымъ приборомъ; она попробовала было взять чашки, и подносы, и самоваръ—все вмѣстѣ, но съ подноса и блюдечка вдругъ полилась на полъ и столъ вода; старуха принуждена была снова поставить все на прежнее мѣсто и стараться принять посуду какъ-нибудь на другой манеръ, поудобнѣе...

— Поглядико-сь, бормотала она,—какъ замывается-то, головушка!.. Глянешь, глянешь на нее, да и сама въ слезы... Головушка бѣдная!.. Чать, видѣлъ, недавишь повозка тутотъ-ко проѣхала?..

— Видѣлъ!

— Ну—барыня это... Я—ея вѣрнопостная бывшая, сорокъ пять годовъ у ея выжила... мнѣ это извѣстно, какая у нея ангельская душа... Какъ увижу—кажется бы, въ гробъ мнѣ легче лечь, не жели чѣмъ муку ея видѣть... Вонъ теперича въ городъ ѣздить—подико-сь, полюбуясь, каково сладко причитасть!..

— Да что такое съ ней случилось?

— Да вотъ-то, вотъ, что погубили ея!.. Разбойникъ одинъ, мошенникъ! Больше ему и званія нѣту—душегубъ. Чтобъ ему и съ чугуномъ-то со своимъ—чугунную вишь дорогу велъ, черезъ барыню, черезъ землю... Кто-жъ его зналъ, кровопийцу? Ему въ душу не влѣзешь, тоже чиновникъ прозывается...—«Кто вы такіе будете?»—«Я, говорить, путей сообщенія...»

— Кто?

— Путей, говорить, сообщенія...—«Какое ваше будетъ званіе?» тоже какъ у добраго человѣка спрашиваемъ... А какое его званіе? Чортъ! Вотъ ему и чинъ его весь, прости Господи.

Старуха видимо была разсержена. Она нѣсколько разъ обхватывала рукой самоваръ, чтобы унести; но негодование до того было сильно, что его требовалось разрѣшить не исполненіемъ своихъ обязанностей, а чѣмъ-нибудь постороннимъ—обстоятельнымъ разговоромъ, чѣмъ-нибудь участіемъ...

— Что такое? обидѣлъ онъ ее въ чемъ-нибудь? спросилъ я.

Старуха какъ будто бы не слышала моего вопроса и съ сердцемъ сказала:

— Кабы на васъ, на мужчинъ, управа была, а то нѣту управы-то на васъ!.. Вотъ изъ-за чего!.. Съ нами, съ женщинами,—такъ нельзя! У насъ отъ покойника, отъ барынинаго мужа, бумага была особенная, гербовая... чтобы ни Боже мой—замужъ не выходить... «Хоча я и умираю, отхожу, ну, чтобы супруга моя была зачислена за мной, за упокойникомъ, но ежели, когда ежели она замужъ пошлеть... Чтобы вдовѣла безпримѣнно по честности своей... А то всего ниществу, которое напримѣръ имѣние—то я ее всего лишу...» Видишь вотъ? Такъ намъ нельзя было себя допускать... Намъ это невозможно какъ-нибудь... У насъ первое дѣло—контрактъ бариновъ, а второе дѣло—стыдъ; такъ мы съ барыней-то ровню на дѣпяхъ были привязаны,

какъ собаки какія... И мой-то мужъ въ отлучкѣ въ Бисарабѣ былъ... Такъ-то, родной!.. Такъ ужъ мы какъ старались!.. Барыня молодая, а женщина въ ту пору молодая была—какъ беспокоились-то!.. У насъ бывало, всѣ окна занавѣшены; всѣ двери на запорахъ, на крюкахъ желѣзныхъ, заборы эво какими гвоздищами оковали... Намъ нельзя какъ-нибудь себя допускать, мы—женщины... И что-жъ? Слава Богу было!.. Запремся на крюки, на запоры, всего у насъ довольно, сидимъ мы, чаекъ попиваемъ, сердце у насъ веселое, потому думаемъ:—«Вотъ мы, слава Богу, по честности живемъ, законъ супруговъ соблюдаемъ», и таково намъ чудесно, легко... А чуть ежели—сейчасъ мы панихиду по покойнику... Часто у насъ служеніе было... Жили мы честно, благородно и вѣкъ бы свѣковали, коли бы этого путей сообщенія не принесло... Охъ, ужъ и накажетъ его Богъ!

— Да что же такое онъ сдѣлалъ?

— Тѣфу! вотъ что!.. Ну, позвольте васъ спросить, ну, вотъ вы проѣзжающій господинъ, ну, что же хорошо это, ежели придти къ человѣку въ домъ, къ женщинѣ, да прямо этакъ-то вотъ и завалиться гдѣ ни попада?.. Ну, что это—порядокъ? Какъ же, сидимъ мы—осенью было дѣло; заперлись, заколотились наглухо; пьемъ чай, думаемъ о своей участи—вдругъ въ сѣнахъ: «стукъ, стукъ, грохъ-грохъ»...—Господи-батюшка, кому быть объ эту пору—время позднее, жили мы въ деревнѣ—ну-ко да лихой человѣкъ, безсовѣстный воръ-разбойникъ? Какъ намъ быть? Дрожимъ, молитвы творимъ; мало-мало погода—«грохъ-грохъ-грохъ!»... Что ты будешь дѣлать? Какъ намъ мужчину выпустить?

— Почему ты узнала, что это мужчина стучится?

Старуха на минуту остановилась, но тотчасъ же съ особенной явственностью проговорила:

— Потому мы кажиную минуту за свое женское благолѣпіе опасались... Вотъ отъ чего, другъ ты мой! Какъ почаль онъ громыхать—громыхалъ, громыхалъ—вижу я, надуть пойти узнать... Пошла я, спрашиваю: «Кто вы такіе? Что вы насъ, женщинъ, смущаете? Какъ намъ можно мужчину къ себѣ, къ женщинамъ, допускать, коли и мы не можемъ... Намъ это невозможно». — «Сдѣлайте милость, Христа ради! Гдѣ угодно, хоть въ сѣнцы, хоть въ кухню...» Такъ упрашивалъ, такъ упрашивалъ, Христомъ Богомъ молилъ... дрожали мы, дрожали, думали—«семя пустимъ?» Положили мы съ барыней такъ, что запремъ его на пять замковъ въ кухню—и пустили!.. Тутъ и спокою конецъ!

Рассказчица только руками развела и замолкла.

— Что же онъ—бунтъ, пьяница?

— Ни-ни-ни! Этого нѣтъ, что грѣха таять—не было этого... Человѣкъ смиренный, сирой, тахій—дѣтя малое... Какъ пришелъ—сюртукъ узенькій, пуговицы свѣтлыя (въ одномъ сюртучишкѣ пришелъ), руки длинныя, полный, настоящій медвѣдь, и голова-то у него курчавая... Пришелъ онъ и осматривается: «куда-моль меня?».—«Въ кухню, говорю, пожалуйста, потому мы—женщины, намъ

нельзя себя допускать...» Ни слова не сказав, пришелъ въ кухню, прямо на лавку — такъ во всемъ облаченіи и легъ; и шапка въ рукахъ. Заперла я его здѣсь на два замка, всѣ углы крестами обѣнила, окрестила — пошла къ барынѣ, говорю: «на глухо заперла сообщенія!». Вотъ хорошо. Сидимъ мы съ барыней — думаемъ, что это сѣрый волкъ голосу намъ не подастъ? Стало намъ въ голову все нехорошее приходить:—кабы не подожгло, да не воръ ли?... Все такое. — «Вотъ что, Арина, говоритъ барыня: мы — женщины, намъ нельзя мужнину такъ оставлять... Богъ его знаетъ, что у него на умѣ? Надо намъ его караулить. Лучше же мы его въ горниці положимъ, по крайности онъ на глазахъ...» Пошла я къ нему, разбудила, говорю: «Мы — женщины, намъ невозможно васъ безъ присмотра оставить, Богъ васъ знаетъ, что у васъ на умѣ... Пожалуйте въ горницу!..» Всталъ, пришелъ, молчать. Постлали мы ему на диванѣ, сами цѣлую ночь глазъ сомкнуть не могли — одна у однихъ дверей легла, другая — у другихъ. Потому самъ ты посуди! Хорошо это? Цѣлехонькую ночь мы все опасались... На утро, сударикъ ты мой, иду я къ нему и говорю: «Извольте вставать. Кто придетъ, увидитъ мужнину, намъ это невозможно, мы — женщины...» Лежитъ, съ головой въ одѣяло завернувшись, молчать... Молчалъ, молчалъ, высунулъ одинъ глазъ — шепчетъ: «довольно я на своемъ вѣку, на вѣтру, да на морозѣ назаябся, дозвоьте мнѣ кости мои успокоить... Я не молоденькій... У меня кости ноютъ, нѣту мнѣ пріюта, назаябся я...» Я говорю: «—нѣтъ, ужъ вы, говорю—сдѣлайте милость; вы насъ увольте... Мы женщины... Назаябся, назаябся, говорю; ну, что же, ну, пойду я да назаябнусь; что-жъ, такъ мнѣ и идти къ мужнинѣ въ домъ? Ну? Нешто хорошо это?» Молчалъ, молчалъ, высунулъ одинъ глазъ изъ-подъ одѣяла, говорить: «—Довольно я на своемъ вѣку земли ногами мои вымѣрялъ; довольно я съ шестомъ по полямъ исходилъ. Дозвольте отдыхнуть...» — «Ахъ, мои батюшки, говорю, съ шестомъ, съ шестомъ! Ну, пойду я, да возьму шестъ, ну, что же, хорошо это будетъ?» Такъ и такъ стараюсь его урезонить, моченьки моей нѣту!.. А онъ-то, голубчикъ ты мой, все эдакими же самыми словами: «я бѣдный, несчастный, до старости дожилъ, утѣхи не видалъ... видѣть я не могу мою должность... сжальтесь вы надо мной, я васъ не обопью, не объѣмъ. Нѣту у меня угла, пріюта...» Смотрю на него — страсть мнѣ его жалко стало. Пошла къ барынѣ, а ужъ она вся въ слезахъ: «—Погубилъ онъ меня. Сжалось мое сердце отъ него!.. На, отнеси ему халатъ мужнинъ. Ахъ, какой стыдъ черезъ это!» — «Матушка, говорю, семъ мы мужиковъ позовемъ — уволимъ его отъ насъ!..» — «Нѣтъ, говорить, стыдъ пойдетъ, срамъ, мужина былъ у вдовы...» — «Ну семъ онъ у насъ жильцомъ будетъ, вродѣ жильца?..» — «И — нѣтъ, говорить, контрактъ покойниковъ... безъ куска хлѣба останусь...» — «Что жъ намъ дѣлать съ нимъ, красавица ты моя?..» Молчать да заливаются! Ахъ, тяжело намъ было... Помучились мы въ умахъ своихъ. Пошла я къ со-

общенію, говорю:—«Что ты съ нами, съ женщи-нами, дѣлаешь?.. За что ты насъ мучаешь?» Высу-нуть глазъ, шепчетъ:—«Нѣтъ ли покурить?» Я было ему хочу отвѣтъ дать—ахъ, слышу, барыня зоветъ:—«На, говорить, отнеси ему трубку!» Сама горькими слезами заливается:—«Ахъ, жалко, жалко мнѣ его, жалко!.. Принесла трубку, говорю: — «Какъ вы можете, господинъ, женщинъ утруждать? Путей вы сообщенія, а завалились въ чужія хоромы?» — «Нѣтъ ли водочки?» шепчетъ... Я было опять хотѣла, слышу барыня:—«На, отнеси!» Вся въ слезахъ... Несу я водки — сама рыдаю... выпилъ онъ водки и самъ зарыдалъ: — «Не гоните меня... Я Бога за васъ буду молить... Дайте мнѣ уголокъ...» — И мы обливаемся:—«Стыдъ... Срамъ... Контрактъ у насъ... Мы — женщины...» Ахъ, большое рыданіе у насъ въ ту пору было... Вотъ онъ чѣмъ насъ погубилъ!..

— Чѣмъ же?

— Тѣмъ вотъ, что... Зачѣмъ онъ насъ смутилъ?.. Зачѣмъ онъ пришелъ?

— Чѣмъ же онъ смутилъ-то?

— Чудакъ ты, купецъ! сказала мнѣ старуха.— Кажется, можемъ мы, женщины, человека полюбить? Вѣдь полюбили мы его, алодѣя! Зачѣмъ онъ, жалкій, пришелъ къ намъ!.. Сколько мы изъ-за него муки вынесли!.. Перво-на-перво, какъ заплакалися, стали мы за нимъ ходить: трубки ему навбиваемъ, подаемъ чай, обѣдъ, ужинъ... Услуживаемъ, стараемся... Тихій, смирный: «покорно благодарю, дай Богъ вамъ» — это у него кажинное слово. Ну, сударикъ ты мой, помаленьку да помаленьку—привыкли къ нему. Все молчить. Какъ мы къ нему привыкли, въ то время стало намъ опять въ голову этакое нехорошее вступать. Стали намъ сны сниться. Ночью къ барынѣ приходитъ покойникъ мужъ и говоритъ: «Ты намъ бревнешься противу моего закона поступить? Такъ я тебя, голубушку...» Опять страхъ беретъ: ну-ко народъ узнаетъ — живетъ мужнина у вдовы... Страсть Господня! Первое дѣло, сударикъ ты мой, — законъ, второе дѣло — стыдъ... Что намъ дѣлать?

Мучились, мучились мы, вотъ барыня разъ и говорить: «Нѣтъ, говорить, Арина, — я свою совѣсть должна сохранить! Жалко, жалко мнѣ его, голубчика-путей сообщенія, но мы должны его уволить...» Теперича какъ намъ его уволить? Народъ позвать стыдно. Какъ быть?

Не вытерпѣла я, перекрестилась, думаю: «ну, буди воля Господня!» пошла къ нему и говорю:—«Господинъ! Уходи ты отъ насъ, Бога-ради! Ступай, Богъ съ тобой! Оставь насъ! Будь жалостливъ!» — «Куда я пойду?» — «Иди, куда хочешь, намъ нельзя!» И росписала ему все, и про покойника, и про бумагу, все ему доказала. «Иди, батюшка! Иди, оставь насъ!..» Умоляю, а сама плачу; и онъ-то, сердечный, рыдаетъ. Всталъ съ дивана, надѣлъ шапку и пошелъ... Ни словечушка не говорить! Глядимъ мы въ окно. Какъ былъ въ своемъ сертучишкѣ—такъ и пошелъ... И пошелъ прямо въ лѣсъ... противъ дома у насъ рощица была. Пошелъ въ лѣсъ, и видно намъ, какъ онъ

постоялъ эдакъ недалечко отъ насъ и легъ. И не видать намъ его! Лежить, сирота, на сырой землѣ... Плачемъ мы, а крѣпимся... И обѣды прошли, и вечерни, и ужъ смеркаться начало. Лежить!.. И тучи стали собираться — огонь пора зажигать... — «Нѣтъ! говорить барыня, нѣту моихъ средствъ! Онъ простудится! Поди, приведи его!» Пошла я... То-то жалость-то! Лежить, бѣдняжка, ручки сло- жилъ на груди, глазюшки закрылъ — какъ безд- ханенъ!.. — «Ну, говорю, вставай, безсовѣстный! Растиранилъ ты насъ! Вставай, поднимись хоть самъ-то! Неужто мнѣ, женщинѣ, тебя на рукахъ нести!» Поднялся, пошелъ... пришли. Онъ прямо барынѣ въ ноги — ну, а та... прямо ему на шею! Ну, и мучаемся съ тѣхъ поръ...

— Чего-жъ мучиться-то?..

— А стыдъ-то? Ты думаешь, стыдъ-то ничего не стоитъ?..

— Такъ замужъ выходила бы.

— Да ты, купецъ, — чудакъ! Ей-Богу! За- мужъ!.. А пить-ѣсть надо по твоему, али даромъ?.. Что-жъ я тебѣ говорила-то — бумагу упокойникѣ оставилъ, гербовую. «Всего рѣшу!» Ахъ ты ка- кой, купецъ!.. Да развѣ что можетъ женщина обя- занная? Онъ — мужъ-то, во гробу лежить, а намъ все одно, что онъ живъ-живехонекъ... Мы ужъ и то къ царю хотѣли просьбу подавать...

— О чемъ?

— Чтобъ надъ нами запретили надсиѣшку... да опять жаловаться хотѣли...

— На кого жаловаться?

— На путей сообщения: зачѣмъ онъ насъ по- мутилъ... Зачѣмъ онъ пришелъ, какъ боровъ растянулся, мы — женщины. Ну — разошлись. И ежели объ эфтой срамотѣ, да въ Петербургъ посылать, такъ это, другъ ты мой, тогда и не обер- шись стыдъ-то... Еще пуще запутать... Такъ и оставили...

— Гдѣ же этотъ?

— Путей-то?

— Да...

— Съ ней, все съ ней... Подикось, глянь на нее, какъ заливается-то... Полюбила, горькая... Э-хъ, упр-авы нѣту на васъ!.. На мучителей жен- скихъ!..

Старуха наговорила еще что-то въ этотъ же родъ и наконецъ ушла.

Въ комнатѣ было совсѣмъ темно. Я закрылъ окошко и, не зажигая свѣчи, улегся спать; но въ воображеніи моемъ долго еще стоялъ странный образъ мужа старухиной барыни, который, сходя въ могилу, приготавливаясь сдѣлаться перстью зем- ной, даже сдѣлавшись уже этою перстью, все-таки имѣлъ дѣла съ гражданской палатой, оставилъ на землѣ доселѣ дѣйствующие контракты и счелъ не- обходимымъ привязать къ своему бренному праху несчастную, къ великому горю — живую супругу свою...

На слѣдующее утро, стоя на крыльцѣ постоя- лаго двора и утирая плачущіе глаза фартукомъ, старуха провожала въ дорогу свою барыню. Къ маленькому, старомодному тарантасику дворникъ

подводилъ какую-то приземистую и широкую жа- щину, въ купецъ старенькомъ салопикѣ; дворникъ былъ безъ шапки и оказывалъ этой женщинѣ по- чтеніе, ибо это и была несчастная жертва путей сообщения. Широкое, слегка рѣбоватое лицо ея бы- ло орошено слезами; голова, украшенная большимъ чепцомъ съ крупными и шевелившимися оборками, падала то на одно, то на другое плечо, какъ это бываетъ у женщинѣ, идущихъ за покойникомъ; и немудрено — барыня влѣзала въ тарантасъ, гдѣ уже сидѣла ея губитель и хищникъ. Это была мас- сивная фигура, плотно закутавшаяся въ довольно подержанную шинель. Воротникъ совершенно за- крывалъ его лицо, обнаруживая только вершину его староватаго картуза и часть козырька. По этимъ судорожною рукою натянутымъ склад- камъ шинели у воротника, по его полуобороту къ публикѣ, стоявшей на крыльцѣ, и вообще по всей его фигурѣ, видимо жавшейся въ уголъ тарантаса, можно было видѣть, что этотъ, по всей вѣроятности больной, тронувшійся чело- вѣкъ, хочетъ спрятаться отъ взоровъ, отъ глазъ — не только публики постоялаго двора, но и вообще людей...

Коротенькія ноги несчастной барыни, ослаблен- ные, кромѣ того, трогательностью минуты, долго пу- тались и не могли попасть на подножку, такъ что на помощь къ дворнику должна была тронуться и старуха. Наконецъ дѣло уладилось при общей мерт- вой тишинѣ зрителей и главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Едва барыня помѣстилась рядомъ съ люби- мымъ алодѣемъ, какъ онъ еще болѣе подался въ уголъ, вытянулся такъ, что весьма напоминалъ со- бою длинный ящикъ, какіе обыкновенно возятъ землемѣры съ астралабіей.

— Вся въ стыду! Вся-то, вся-то въ стыду! пла- калась баба вслѣдъ уѣзжавшей барынѣ.

— Как-кая дама! съ собогѣнованіемъ говорилъ дворникъ, качая головой и возвращаясь изъ-за во- ротъ. — Погубилъ разбойникъ ни за что, ни про что.

VI. На постояломъ дворѣ.

(Дѣтнія сцены.)

I.

Городъ О. какъ будто скупчивался и словно осѣ- далъ, по мѣрѣ того какъ широкая лента шоссе спу- скалась на другую сторону пригороднаго холма. Исчезли два каменные старинной архитектуры стол- ба съ необыкновенно широкими основаниями и ост- рыми вершинами, увѣнчанными мѣстнымъ гербомъ; по бокамъ шоссе тянулись еще загородные дворышки, лачуги, землянки... Близъ дороги стояли маленькіе столики, за которыми старая оборванная солдатка торговали квасомъ, калачами; съ пискомъ гнались эти бабы за проѣжающими, вытягивая впередъ руку съ калачемъ; но тройки и перекладныя пары стрем- главъ пронеслись мимо ихъ, и городскіе, проникну- тые достаточнымъ ухарствомъ, ямщики, залихватска

гуляя кнутомъ по ободраннымъ спинамъ и бокамъ почтовыхъ клячъ, не упустили случая хлестнуть мимоходомъ и бабу съ калачемъ.

Исчезла наконецъ послѣдняя подгородная хибарка. Отъ города виденъ только кончикъ соборнаго шпица—и цѣлое море пыли повисло недвижимо въ раскаленномъ полуденномъ воздухѣ. Исчезъ и шпицъ. И пыль, висѣвшая надъ городомъ, исчезла...

Дорога. Идутъ богомольцы. Шоссе круто поворачивается налѣво, и тутъ же отъ самаго изгиба его бѣжитъ старая столбовая дорога съ ветлами въ два ряда и съ необыкновенно извилистымъ и узенькимъ проселкомъ, извивающимся по всей ширинѣ этой широкой заростающей травой дороги. Проселокъ перебѣгаетъ съ одной стороны дороги на другую и чаще всего вѣтся подъ густыми вѣтвями ивъ; одинокія ивы разрослись и опустили чуть не до земли свои тревожно треплющіеся по вѣтру вѣтки; прожаренный мужиченко нарочно прилежъ къ тѣлѣгѣ, чтобы не хлестнуло его; вѣтка не хлестнула, но тихо пропугнула, пропуская между своими листьями и тощую клячу, и тощую тѣлѣгу, и мужика. Кое-гдѣ густая сплошная масса зелени прорывается—видны попытки возстановить эти спасительныя для пѣшихъ аллеи; но тощія и тонкіе сучки, втиснутые въ землю по приказанію начальства, въ изнеможениі попадали на землю, не имѣя возможности исполнить возложенной на нихъ обязанности—давать путнику тѣнь и прохладу. Кое-гдѣ валяется ветла, разбитая и опаленная молніей.

Въ полтора верстахъ отъ шоссе на поворотѣ, по старой столбовой дорогѣ, при началѣ довольно длиннаго лѣса расположился маленькій поселокъ, состоящій изъ нѣсколькихъ постоянныхъ дворовъ, изъ которыхъ нѣкоторые очень зажиточны. Повидимому въ этой глуши на позабытой уже дорогѣ не было никакихъ резоновъ существовать этому поселку—и притомъ еще существовать довольно весело (о чемъ свидѣтельствуютъ три кабака между шестью домами). Но оказывается, что резоны есть, и именно два: шлагбаумъ, или застава на шоссе и непроходимый оврагъ на старой столбовой дорогѣ. Шлагбаумъ тѣмъ содѣйствовалъ процвѣтанію поселка, что, пугая обозниковъ разными взысканіями и пошлинами съ лошади, съ версты и пр., заставляя ихъ обѣзжать лѣсомъ и старой дорогой; подгородные постоянные дворы поселка, не домавшіе той цивилизованной цѣны за овесъ, сѣно и харчи, которую давали городъ, привлекали сюда извозчиковъ, тѣмъ болѣе что лошади, легко тащущія тяжелые возы по шоссе, смертельно уставали на мягкой дорогѣ. Кромѣ обозниковъ часто изъ прилѣска ухоремъ выносились почтовая тройка съ офицеромъ, тоже бѣжавшимъ узаконенной платы,—и въ такихъ случаяхъ все-таки поселку выпадала прибыль: празднуя свое избавленіе отъ шлагбаума, офицеръ и ямщикъ останавливались у кабака и подкрѣплялись. Такую же услугу оказывалъ поселку и оврагъ. Онъ пролегалъ по самой границѣ двухъ губерній, перерѣзывая собою большую столбовую дорогу, но моста черезъ этотъ оврагъ, сколько запомнятъ столѣтія старинны, не было никогда. Происходило это

оттого, что мостъ нужно было строить натурою двумя смежными деревянныи разныхъ губерній. Дѣло всегда шло такимъ путемъ. Прежде нежели въ чьей-нибудь головѣ рождалась мысль о необходимости моста, нужно было нѣсколькимъ десяткамъ человѣкъ сломать себѣ шею и даже отдать Богу душу. Результаты этихъ происшествій, путемъ разныхъ инстанцій, наконецъ доходили до центра той или другой губерніи; центръ убѣждался въ необходимости моста и сносился поэтому съ другимъ губернскимъ городомъ. Другой, смежный губернской городъ, не торопясь, дѣлалъ дознаніе въ мѣстномъ волостномъ правленіи: «дѣйствительно-ли?». Мѣстное волостное правленіе докладывало другому центру, что «дѣйствительно». Тогда оба губернскіе центры списывались и соглашались, что дѣйствительно мостъ необходимъ. Послѣ множества понуканій начиналось устройство моста натурою; но при этомъ случалось такъ, что одна губернія выводила свою половину тогда, когда первая этого не дѣлала. Провалились еще нѣсколько человѣкъ и повозокъ и первый центръ торопливо приступалъ къ работамъ своей половины. Но въ это время вторая уже сгнила и провалилась... Люди лѣзли въ бездну, слѣдствія шли судебнымъ порядкомъ и т. д. Роковое мѣсто это было извѣстно далеко, и скромныя помѣщицы, и разные деревенскіе люди, проѣзжавшіе въ городъ по столбовой дорогѣ, должны были дѣлать большой конецъ, чтобы вѣхаться на шоссе, и потомъ другой конецъ, чтобы избѣжать шлагбаума. Такимъ образомъ поселокъ процвѣталъ, и обыватели постоянныхъ дворовъ его могли на досугъ поддерживать при существованіи тамъ кабака. Жизнь шла тихо, кое-какъ и не изобиловала ничѣмъ, выходящимъ изъ ряда вонъ. Такого же сорта будутъ и наши замѣтки объ этомъ поселкѣ.

Посреди поселка стоитъ домъ русскаго мужика-барина, съ такими признаками барства: желѣзная крыша, а дыра въ крышѣ затенута соломой; комнаты большія съ диванами краснаго дерева, но безъ подушекъ, съ огромнымъ барскимъ зеркаломъ, въ которомъ осталась только половина стекла; тутъ же «сляпанная» деревенскимъ мужикомъ лавка, тутъ же и корыто съ проросшимъ картофелемъ и съ пескомъ. На стѣнѣ съ доскутками шпалеръ торчатъ лубочныя картинки. Такое опустошеніе комнаты и вообще разстройство всего жилища, т. е. раскрытые сараи, полное отсутствіе замковъ тамъ, гдѣ они необходимы, расколотыя на дрова двери, сгнившія въ двѣ зимы рамы и проч., все это опустошеніе было произведено въ самое короткое время «арендатедемъ», которому настоящій хозяинъ сдалъ постоянный дворъ на два года. Хозяинъ, находившійся въ это время въ Петербургѣ въ наѣздникахъ, былъ несказанно удивленъ, увидавъ такое разореніе...

Но онъ скоро успокоился, ибо столичная жизнь выучила его понимать всю силу выраженія: «обязался подпиской». Онъ былъ твердо увѣренъ въ силѣ воцарившейся законности, полагая, что законность эта непремѣнно должна быть «противъ

мужика», а къ мужикамъ онъ теперь почему-то не причислялъ самого себя. Онъ служилъ наѣздникомъ у какого-то графа, важные господа давали ему на чай, его рысакъ получали призы, наконецъ чай и пиво онъ распивалъ не иначе какъ съ кучерами важныхъ господъ. Все это давало ему право думать, что онъ не мужикъ, а стало быть и не можетъ ни въ чемъ проиграть по отношенію къ настоящему мужику-вахлаку. Вотъ почему онъ былъ совершенно спокоенъ, предоставляя себѣ право доказывать всему поселку, что петербургскій человекъ цѣлый день пьетъ и все-таки пьянъ не бываетъ; кромѣ этой способности, вынесенной изъ петербургской жизни, онъ въ два года совершенно переродилъ свою внѣшность: клиновидная борода была тщательно подстрижена, почти подъ гребенку; лицо, обрюзгшее и отекавшее отъ множества всякаго рода чаевъ и питій, проглоченныхъ имъ въ столицѣ, почернѣло, но сохраняло достоинство и гордость. На родниѣ онъ не стѣснялся костюмомъ: на головѣ былъ кожаный картузъ, на плечахъ халатъ, ноги босикомъ. Глухая, подъ самое горло, жилетка и синіе со складками штаны составляли весь его костюмъ. Не мало также измѣнился онъ къ женѣ. Пухлая баба въ нѣмецкомъ платьѣ не привлекала его взоровъ послѣ столичныхъ удовольствій; онъ даже былъ совершенно равнодушенъ къ ея двухъ-годовому одиночеству, хотя и слышалъ, что что-то произошло етакое.

— Плевать! говоритъ наѣздникъ.

Не торопясь взысканіемъ съ арендатора Ивана убытковъ, онъ цѣлые дни только опохмеляется да посылаетъ этого Ивана за водкой. То и дѣло слышится:

— Иванъ! Бѣги за полштофомъ! Марья! Давай деньги! Погоди, ребята, я васъ разберу!.. Это отчего крыша разворочена?

— Крыша-то? робко переспрашиваетъ Иванъ, съ испугу предъ взысканіемъ превратившійся въ лакаю. — Крыша, это, другъ сердечный, — вѣтромъ. Вѣтромъ, братецъ мой.

— Я тебѣ не братецъ, а за вѣтеръ взыщу!

— За вѣтеръ-то?

— И за вѣтеръ, и за каждую щепку!.. Ну, да ладно! Бѣги въ кабакъ-то! Живо!.. И Иванъ, запыхавшись, бѣжалъ въ кабакъ.

Пріѣзжаютъ къ наѣзднику гости — старуха мать, какіе-то развязные, жилистые мѣщане — и опять раздается: «Иванъ! Бѣги! Марья! Давай деньги!»...

— Федоръ Бузыничъ! въ попыхахъ бѣготни въ кабакъ пытается спросить Иванъ у хозяина, — а вотъ на счетъ воротъ, какъ будетъ? Вѣдь гуртъ стоялъ, быкъ и высадилъ...

— Для меня и быкъ — все-же ты! И вѣтеръ — ты, и быкъ — ты! Ну, живо! Не разговаривай!

— Охъ ты, батюшки мои свѣты! вздыхаетъ Иванъ, пускаясь босикомъ съ пустой бутылкой въ рукахъ.

А въ «горящѣ» разореннаго дома то и дѣло слышится:

— Кушайте, маменька! Будьте здоровы! Ну!

будьте здоровы! Марья, налей! За ваше здоровье! Съ пріѣздомъ! Еще по стакачику!

И опять:

— Иванъ! Живо!

Полдень. Жара. Въ крыльцу постоялаго двора подошли два прохожихъ. Одинъ изъ нихъ былъ длинный, сухошавый, съ какимъ-то ящикомъ за спиной, поверхъ котораго лежало свернутое узломъ верхнее платье; прохожій былъ въ одномъ разстегнутомъ жилетѣ, широкихъ шароварахъ и въ калошахъ на босу ногу. Другой, видошъ походившій на монаха, или вѣрнѣе на «растригу», въ какомъ-то подрясникѣ и въ ветхомъ военномъ картузѣ, былъ плотный ражій дѣтина, дѣтъ подъ пятьдесятъ, съ толстыми рабыми лицомъ и черными, какъ смоль, волосами, загнѣвшимися кольцомъ за ухомъ. Онъ шелъ босикомъ съ высокой палкой въ рукѣ.

— Нѣтъ-ли гдѣ уголочка, другъ? заговорилъ сухошавый, обращаясь къ Ивану. — Намъ бы самое это полымя-то — жару передышать...

— Счава-жъ, заходите.

— Въ холодокъ бы гдѣ...

— Я васъ въ амбаръ поселю.

— Пречудесно!

Иванъ неторопливо слѣзъ съ крыльца и, шлепая сапожными опорками, повелъ ихъ улицей въ ворота.

— Вы откуда-жъ это идете-то?

— Я-то, говорилъ сухошавый, — я не далеко... всего двадцать верстъ... У помѣщика, у господина Чекаррева, ежели слыжалъ...

— Чикмаря? знаю. Это въ Богоявленскомъ?

— Ну во!.. онъ самый. Ну, а у него въ церкви тамъ, по живописной части маленько потрудился.

— Стало быть живописцы?

— Н-да-съ... художники.

Иванъ привелъ прохожихъ въ амбаръ, гдѣ было дѣйствительно свѣжо, хоть воздухъ былъ нѣсколько неприятенъ.

— Ну вотъ, художники, вотъ бы вы тутъ какъ-нибудь.

— Мы съ удовольствіемъ. Мы подстелемъ что-нибудь... А ящикъ-то подъ голову.

— Это ящикъ что такое? живописцы?

— Да, предметы къ этому, тонсы...

— Ну, а предметы подъ голову.

— Ладно, ладно. Спасибо, другъ!.. Мы разберемся!

Прохожіе начали укладываться. Иванъ постоялъ и неторопливо пошелъ къ двери. Живописецъ и спутникъ его, разостлавъ по полу свои одежа, растянулись.

— Фу, батюшки, благодать какая!.. Ужъ и жара, бормоталъ живописецъ.

— Парятъ! сказалъ спутникъ.

— Смерть... Уфъ, Боже мой!.. Ну, батюшка, что же вы мнѣ не договорили, какъ вы это грѣшить винцомъ-то начали.

— Да такъ и началъ-съ, серьезнымъ и нѣсколько грустнымъ басомъ заговорилъ его спутникъ. — Изъ-за пустяковъ, дальше да больше. Наконецъ, того... доходить въ замѣту самому. Подъ

Тихоновъ день, какъ теперь помню, призываетъ онъ меня и строго выговариваетъ за мое поведеніе. Я же, признаться, изучился тщательно во лжи и отвѣчалъ ему: «В. п!... простите меня. Семь лѣтъ съ вятемъ и сестрой не видался. Прѣзжая изъ Москвы, попотчивали они меня. Какъ владыку, прошу простить меня, или наказать»... На это они сказали: «Прощаю»... Я же ползъ на колѣняхъ, говоря: «Накажите!» — «Прощаю!» — Умоляю опять, повелѣлъ удалиться.

Иванъ высунулъ голову въ дверь и произнесъ:

— Художники, господа! Вы будете столь добры не курить!

— Нѣтъ, не бойся, заговорилъ живописецъ.

— Ужъ сдѣлайте милость. Время, сами знаете, какое! Чего Боже избави—искра и шабашъ!

— На этомъ будьте покойны. Я тыщи рублей не возьму, чтобъ его коснуться... Тьфу!

— То-то-съ... Сушь! Порохъ!

— Боже избави!

— Ужъ будьте такъ добры!

Иванъ ушелъ, бормоча:

— Тутъ теперь за всякую малость взыскъ!

Жара и тишина между тѣмъ все болѣе и болѣе налегла отовсюду; протянувшійся на высокому холмѣ лѣсъ засинѣлъ подъ косыми солнечными лучами; вѣтеръ вяло дышалъ въ разгорѣвшееся лицо. Насѣдка съ пылятами чуть слышно ворчала подъ крыльцомъ. По дорогѣ въ холодекъ пробирались богомолки, надвинувъ на лицо головные платки и нагнувъ голову. Навстрѣчу имъ шелъ пьяный мужикъ въ разстегнутой свѣтѣ.

— Откуда? проговорилъ онъ.

— Киевскія, батюшка, киевскія.

— К-иевскія! а-а за меня, чай, забыли помолиться.

— Какъ забыть? Мы про тебя всю дорогу вспоминали.

— То-то! На васъ не закричи, вы и рады...

Мужикъ спотыкнулся и безъ шума повалился на бокъ; онъ приподнялся было на одной рукѣ, подумалъ и легъ опять, проговоривъ:

— Еще маленько сосну.

Посреди постоялаго двора на солнцѣ стояла телѣга съ какимъ-то продуктомъ, тщательно закрытымъ кожами и увязаннымъ веревками. На телѣгѣ спалъ хозяинъ ничкомъ; отпряженная лошадь ѣла овесъ изъ мѣшка, привязаннаго между оглоблями. По временамъ она валилась на землю, звякая бубенцами.

— Дья-валъ! поднимая лохматую голову, кричалъ на нее мѣщанинъ.

Лошадь становилась на ноги, вся усѣянная сухами навозомъ. Мѣщанинъ съ просонокъ звѣрски хлесталъ ее кнутомъ, снова подгоняя къ овсу.

Тишина стоитъ мертвая. Только въ амбарѣ слышенъ басъ прохожаго.

— Терпѣлъ я четыре съ половиною года, живившись уже, рассказывалъ спутникъ живописца, — и въ это время тысячекратно утруждалъ его о рукоположеніи меня. Но получалъ въ отвѣтъ: «подумаю». Являюсь на четвертой недѣлѣ предъ

Благовѣщеніемъ: «Я, Егоръ Смягинъ, подаю прошеніе: довольно я терпѣлъ четыре съ половиною года, прошу всенужайше разрѣшить меня къ рукоположенію». Но онъ опять отвѣчаетъ мнѣ: «посмотрю». Горько мнѣ, признаться, стало, повалился я въ ноги, сталъ просить... говорю: «ежели достоинъ, то разрѣшите, ежели нѣтъ—негоните». — «Ступай вонъ», говорить...

— Погодилося, другъ, семь-ко я испить чего-нибудь поищу, сказалъ живописецъ.

— Холодненькаго! добавилъ спутникъ.

— Да, кваску бы.

Живописецъ всталъ, тихо отворилъ дверь и тотчасъ же закрылъ глаза отъ нестерпимаго блеска.

При помощи Ивана и живописецъ, и его спутникъ съ жадностью напились холоднаго квасу и затѣмъ продолжали разговоръ. Рѣчь рассказчика звучала какъ-то однообразно; онъ рассказывалъ словно вытверженную наизусть исторію, или же какъ будто репетировалъ прошеніе кому-то, гдѣ излагалъ формальнымъ слогомъ свои бѣды.

— ...Черезъ два года былъ я рукоположенъ. Но несчастія мои не оставляли меня. Въ 1849 году 6 марта, какъ теперь помню, пріѣзжаетъ къ намъ въ Б. генералъ-лейтенантъ Лампасовъ. Приходитъ къ намъ въ церковь. Я стоялъ на хорахъ, владыки не было. Феофанъ, казначей, отлучился къ Софѣ Осиповнѣ Труницыной. (Бывало... ну, это я вамъ послѣ расскажу). Начинаю я пѣть обѣдню. Спрашиваетъ меня тенористый—какъ вы, Егоръ Прохорычъ, прикажете—стихиры пѣть, или читать? Отвѣчаю: на 9-й гласъ пойте. Все шло хорошо. Только забывшись, я вдругъ и запѣлъ: *Сѣте тихій*. Нашъ же попъ, который теперь разстриженъ, изъ южныхъ дверей кричитъ: «дуракъ! замолчи!» Разгорченъ былъ этимъ генералъ Лампасовъ и тотчасъ пообѣщавшись довести до свѣдѣнія. И вдругъ я внезапно узнаю: въ консисторію спущена резолюція: «удалить Егора Смягина по нестерпимому его поведенію, лишивъ ношенія расы».

— Вотъ-те на! протянулъ живописецъ.

Спутникъ его на это только крикнулъ и, помолчавъ, продолжалъ:

— Поѣхалъ я на дьячковскую вакансію въ село Голенищи. Живу полгода, ограничилъ себя во всѣхъ похотствованіяхъ своихъ, а потомъ являюсь въ Б. съ просьбою къ самому; «разрѣшить меня, оставляя на дьячковской вакансіи, по доходамъ». Спускаетъ резолюцію: «Узнать, какъ онъ себя велъ...» Но такъ какъ благочинный Зерцаловъ не рожденъ для добра, то и отвѣчаетъ: «по дошедшимъ до меня слухамъ—несовершенно добропорядочно...» Спускаетъ резолюцію: «воротить въ Голенищи!» Падаю я въ ноги и молю: «не терзайте меня, или же уничтожьте». — «Ступай вонъ!» говорить...

Настало небольшое молчаніе. Спутникъ живописца поправился на своемъ ложѣ и снова, смотря въ потолокъ, ровнымъ форменнымъ слогомъ продолжалъ:

— Сидя въ Голенищахъ, по возвращеніи, за столомъ у крестьянина Никифора Степанова не сталъ я водки пить... Тутъ же благочинный Зерца-

ловъ сидѣлъ, праздникъ какой-то былъ. — «Что же, сказалъ Зерцаловъ съ ироническою улыбкою въ лицѣ, — или вы не хотите теперь водки пить?» намекая тѣмъ, какъ меня поперли подъ его начало на смиреніе... Меня взорвало. Беру стаканъ и говорю хозяйину: — «налей!». Взявши стаканъ въ руки, говорю учителю моему: «Неужели же ты думаешь, что я боюсь тебя? но твоё безуміе побудило меня, чтобы я пилъ!» Выпивши, говорю: «ты кончилъ курсъ, а забыть, что не всякому слуху вѣрь!» На это отвѣчалъ онъ: «по нашему гнуть, такъ гнуть». Я же отвѣчалъ: «Ваше благочиніе! вѣдь я знаю, какъ дуги гнуть. Ихъ нужно распарить, а не вдругъ... а не то вѣдь соскочить, да въ рожу...» Съ тѣхъ поръ началась у насъ вражда, доколѣ меня не порѣшили...

Тянулось долгое молчаніе. Живописецъ часто вздыхалъ, прибавляя: «Боже, Боже...» Спутникъ его тоже вздыхалъ, но рѣдко и глубоко.

— Ну, что же, спросилъ наконецъ живописецъ. — Какъ это васъ всего-то порѣшили?

— Черезъ клевету... Оклеветали меня въ убійствѣ жены.

— А-а-а!

— Да-съ. Точно что, не запираюсь, въ уныніи и горести моей, бывало, бывалъ я ее жестоко. Не утаю ни отъ кого, колачивалъ. Но на сей разъ, т. е. на счетъ убійства, передъ Богомъ и передъ людьми покаюсь — чисто! Случилось дѣло черезъ это подлое вино. Надо по совѣсти сказать—оба мы съ женой придерживались его. Она даже жестоко меня... Черезъ это и случилось. Видите-ли, былъ я у помѣщика, у г-на Басова, и испросилъ у него десять рублей серебромъ, наиѣреваясь купить якобы срубъ. По дорогѣ, проѣзжая мимо знакомаго кабака, купилъ я винца полведра для рабочихъ плотниковъ; штофъ же отдѣльно для семейства—для себя и супруги моей. Дорогою я, признаться, нѣтъ штофа примѣрно перстою на двѣнадцать отпилъ, да близъ деревни еще немножечко глотнулъ, такъ что собственно штофъ я выпилъ весь; ведро же доставилъ въ цѣлости. Время было осеннее, въ набѣлъ холодъ и темно; подъ вечеръ жена моя лежитъ на постели и охаетъ. Тѣлосложеніе она имѣла тщедушное... Я съ любовью подхожу къ ней и вдругъ чувствую спиртный запахъ. — Что съ тобой? Въ отвѣтъ на это спрашиваетъ она меня: «что это?» — Вино. — «Дай Христа ради!» Далъ я ей чайную чашечку и повелъ лошадь къ дьячку. Возвращаясь домой не болѣе какъ чрезъ нѣсколько минутъ и вижу: жена лежитъ безъ чувствъ на полу, чашка около нея валяется, и ведро это самое откупорено... Ужасъ объялъ меня! Сталъ я на нее со свѣчкой смотрѣть: ротъ раскрыла, губы черныя, такъ и пышетъ виномъ, ровно бы пламенемъ... Съ жалостью перенесъ я ее безъ чувствъ на кровать. Спрашиваю у работницы: что съ ней?.. «Они, говорятъ, десять чашекъ выпили». Тутъ я съ горя, не утаю, пилъ цѣлую ночь до бѣла свѣта. На утро открываетъ жена глаза—никакъ не можетъ открыть. Боль. — Что ты? Только рукой чуть-чуть. Сожалѣя о ней, послалъ я полштофъ и поднесъ ей чашечку... Съ

жадностью выпила она. — Еще... Я еще; да никакъ штукъ семь!.. Упала она и посинѣла вся. Какъ теперь помню, тоже былъ полдень—ни въ деревнѣ, ни въ избѣ, ни души не было, жара стояла нестерпимая. Сажу я у окна и думаю: Господи! что же это я всю жизнь мою страдаю! Ни кола у меня, ни двора, ни хозяйства, только буйство одно и пьянство. Съ горя подзываю а мальчишка маленькаго и прошу его побѣжать въ кабакъ—онъ приноситъ; къ этому времени очнулась жена. Посадилъ я ее къ окну; на столѣ промежду насъ—полштофъ. Дай! говоритъ. Я далъ. Отпила она каплю, толкаетъ—не надо. Черезъ минуту опять: дай... Потомъ вдругъ: ахъ, ахъ, ахъ!.. жжетъ, ахъ, жжетъ,—и тутъ она чашки четыре полныхъ выпила; у самой глаза, какъ угли. Начала пятую, да какъ вскрикивать—гровъ горломъ... бранъ со стула и духъ вонъ...

— Боже, Господи, Владыко! въ ужасѣ произнесъ живописецъ. — Умерла?

— Умерла...

— Царь небесный!

— Ну, а потомъ все обвиненіе черезъ родственникововъ... Обидно было мнѣ, какъ ее потрошили...

— Потрошили?

— Какже, рѣзали... Увидали кой-какіе, напримеръ, ушибы, вывихи—убили. Я говорилъ судьямъ: «ваше высокоблагородіе, всѣ эти синяки и увѣчья получены ею втеченіи десятилѣтняго замужества, во время ея жизни, а не въ день представленія...» Но не вѣрили мнѣ и судили. Присудили—лишить всего и сослать въ монастырь на покаяніе...

— Были?

— Былъ въ трехъ. Но по чистой совѣсти сказать—изгоняли меня.

— За что же?

— За нетрезвое поведеніе. Вѣдь я запою...

— А-а-а!

— Да-да. Вотъ теперь мѣсяца два воздерживался, а ужъ чувствую—сосетъ. Какъ бы Господь далъ до города добраться—все подымутъ на улицѣ гдѣ... А то боюсь, нуко-съ гдѣ-нибудь посередѣ дороги схватить—сгниешь въ канавѣ.

Спутникъ живописца, помолчавъ, прибавилъ:

— Да, признаться, чуется мое сердце, что околѣтъ мнѣ скоро... Разслабѣлъ... Съ двухъ рюмокъ остервеняюсь. Околѣю...

Тягостное молчаніе.

— Боже, Господи! Защити меня! съ чувствомъ произнесъ рассказчикъ.

Молчаніе воцарилось снова. У самыхъ дверей амбара долго пищали цыплята, слонявшіеся толпою за насѣдкой. Слышался звонъ бубенчика; гдѣ-то вдали звенѣлъ колокольчикъ.

— Дья-ввалъ! оралъ мѣщанинъ на лошадь и хлесталъ ее кнутомъ.

— Вотъ вы, заговорилъ живописецъ,—про родственникововъ-то упоминали; то есть про родню...

— Да.

— Я тоже наглядѣлся на нее. То есть, на вашу духовную-то. Боже, какое ослѣпленіе!

— Наглядѣлись?

— Наглядѣлся... страсть! Вотъ я вамъ расскажу эту исторію...

— Милыя, раздался голосъ у дверей, — что-жъ щецъ-то похлебаете?

— Надо бы, голубушка, отвѣчали прохожіе.

— Ну, ступайте. Иванъ! гдѣ этотъ дьяволъ, Иванъ?

Ивану въ это время грезилось, какъ съ него идетъ высканіе за вѣтеръ, за быка и проч. Судьи рѣшаютъ его освободить; Иванъ хочетъ поклониться въ ноги; въ это время раздастся толчокъ въ плечо.

— Ахъ ты оглохъ? говоритъ хозяинъ. — Бѣги живѣй — пошитофъ, да проворнѣй.

— Сею минутой!

Иванъ пускается въ кабакъ.

II.

— Одно время, рассказывалъ живописецъ послѣ обѣда, по прежнему лежа въ амбарѣ, — одно время былъ я въ большой тягости: работы никакой, супруга померла, на рукахъ малый ребенокъ да теща старуха... Сами судите, куда дѣться? Пить-ѣсть надо; сталъ я въ эту пору всяческія работы принимать, какъ ни горько было унизить свое художество. Случалось, чиновникъ забѣжитъ съ разбитымъ глазомъ, ну, за гривенничекъ ему синякъ-то и загрузишь, потому опасается къ начальству идти — съ увѣчемъ тоись; а иной — вотъ тебѣ, скажетъ, Гаврилычъ, четвертачекъ, поднови ты мнѣ кануру собачью по византійскому рисунку. Ну, и распѣтишь ее. Просто горе было неописанное. Жилъ я въ эту пору въ глуши — у одной мѣщанки уголокъ бралъ и тутъ же половъ домъ семинаристовъ напущенъ. Тамъ, шумъ — сами знаете, чай. Старшой первое удовольствіе въ трактиръ; мелкота — въ драку. Боже избави! Опытъ эти возрастные, окромя трактиру, безпремѣнно съ мѣщанками любовь заведутъ, тѣ жаловаться къ начальству — комедія. Тутъ я и призналъ одного человѣка — богослова; тихій, красивый, бѣлый, высокій, волосы черные, курчавые... Очень добродушный былъ юноша. Бывало, придетъ: «ахъ, говоритъ, Викторъ Гаврилычъ, какую я книгу читалъ!» — Какую же-съ? спросишь, — «Дивную», говоритъ... И потомъ: — «Голубчикъ Викторъ Гаврилычъ, нарисуйте мнѣ такую картинку: вода, ракета... да лучше я вамъ прочту». И начнетъ. Я, признаться, толкомъ-то не понималъ, въ чемъ тутъ сила, однако же бывало до слезъ растрогивался, на него глядя. Вижу я, началъ онъ черезъ тоску свою — въ кабачекъ. Замѣчаю ему: что же это, говорю, Коля, — такъ неловко. — «Теперь говорить, не буду... Вчера былъ въ театрѣ и теперь не буду». — И дѣйствительно, пересталъ; но замѣсто того каждый день въ театрѣ, каждый день въ театрѣ. Кажется, только одинъ тулупъ на плечахъ остался — все спущенъ. Дяденька у него былъ, въ палатѣ служилъ въ одной; узналъ онъ про это, явился и препорядочно такъ его распатронилъ. Шло такъ долго. Все онъ въ театрѣ, бывало, какъ нищій какой, мѣстечка вымалываетъ постоять и каждый день домой часу въ первомъ приходилъ. Что это, говорю,

Коля, ты такъ-то шатаешься по ночамъ? Тутъ онъ маленько въ конфузъ вошелъ, однако же рассказавъ мнѣ, что втемяшилась ему въ башку одна ахтерка. И что же, другъ мой, онъ дѣлалъ? Сейчас эту ахтерку отъ самого тѣатру до дому провожаетъ. Сначала, говоритъ, гнала его прочь, потомъ жалилась — только, говоритъ, у фонаря не становись, чтобы публика не видела твоего авчиннаго безобразія. «Я, говоритъ Николай-то, стану въ сторонѣ на углу — дожидаюсь... Пождѣдетъ, остановится: «садись...» Ну, онъ обыкновенно сейчасъ на козлы, и всю дорогу — разговоры... «Иной разъ, рассказывалъ, сколько выѣдимъ по городу-то...» Ну, что же, спрашиваю, къ себѣ-то припущаетъ ли? — Нѣтъ, не подпускаетъ: только что ручку даетъ поцаловать. Тутъ ахтерка эта стала ему давать билетъ въ раскъ. И ужъ какъ же онъ радъ бывалъ, коли она глазкомъ туды въ рай-то къ нему замахнетъ! Вижу, колѣетъ мой малый — похудѣлъ. Въ ту же пору одинъ изъ братьевъ его женился, взялъ благородную, дворянку. Тутъ на радостяхъ-то его, Николая-то, кой-какъ обшили, видъ ему дали какой ни-на-есть, и съ первоначала — не очень-то ласли на него. Однова прибѣжалъ онъ ко мнѣ — «хватай, говоритъ, краски — пойдешь». Собрались мы духомъ; притащилъ онъ меня къ братнину тестю въ сарай, сейчасъ это сани, дрожжи, которые были, прочъ — «грунтуй, говоритъ — театръ стронся; рисуй дерево, хижину, воду». Принялся я за работу, расписалъ ему стѣну въ лучшемъ видѣ, даже такъ, что самъ удивился. Декорація, какія надобились, тоже приуготовилъ; на занавѣси, по его приказанію, голубой краской пустилъ и золотомъ звѣзды разбросалъ — дивно! Подходить этотъ самый день, надо ужъ представленію начинаться: суетъ мнѣ Николай въ руку записку — «бѣги, говоритъ, отдай этой комедіанкѣ-то самой и скажи, чтобы безпремѣнно приходила: ей пропускъ будетъ». Отдалъ я... Что же ты думаешь, другъ, — пришла вѣдь! То-есть какъ онъ обрадовался! Совершенно какъ сумасшедшій сталъ.

— Хорошо. Сыграли это — и онъ игралъ: отлично, надо сказать, сыграли. Народу навалило тьма тьмущая, семинаристы это, бабы разныя, чиновники, то-есть вся улица какъ есть привалила. Христа ради просить: позвольте въ щелочку заглянуть. Ужъ и надорвали животики! Этакое смѣху, кажется, въ жизнь свою никто не видалъ. И любезная его тоже хохочетъ и въ ладоши бьетъ. Много что-то они тутъ представляли — ужъ я теперь и не помню. Опослѣ того представленія — къ тестю, пить. Нашъ Коля пообглядѣлся маленько, видитъ: компанія зачумѣла — сейчасъ за шапку да къ ней... да цѣлую ночь и не бывалъ... Тутъ малый къ этой бабѣ совсѣмъ присосался — и все ученье навыворотъ пошло.

— Дальше да больше, дальше да больше — анъ и подошло ему время семинарію кончать... Тогда стали ему родные говорить: «ты-молъ, Коля, теперича понапри въ науку-то; старайся какъ можно...» Братъ женатый говоритъ ему, окромя того: «ты знай, что быть тебѣ въ монашескомъ званьи, ибо за прежніе успѣхи выхлопочемъ тебя въ академію.

Дослужишься, Богъ дастъ, у начальства получишь мѣстѣ и въ архимандриты выйдешь».

— Братецъ! говорить Николай-то,—я совсѣмъ по этому званію идти не могу, потому противъ души моей будетъ. Я желаю въ ахтеры.

— А мы желаемъ въ монахи.

Тутъ малый и сѣлъ! Сами посудите, какое же это соотвѣтствіе? Стали его на двѣ части рвать—сталъ малый убиваться и винцомъ маленько того... Подходить это самое послѣднее время — «ахъ, говорить, брошу я всѣ эти книжки, авось, говорить, выгонять въ шею»... Совсѣмъ бросилъ учиться, махнулъ рукой и въ той надеждѣ былъ, что исключить его, или по третьему разряду выпустить; но однако же такого онъ ума обширнаго былъ, что все же и при нерадѣніи въ первыхъ вышелъ... Весьма его это убило! Запивалъ онъ въ ту пору ужъ препорядочно. А отъ бабы этой, любимицы-то, и не оторвешь его. Часто я туда ходилъ за нимъ и бывало видишь, какъ она хлопочетъ—напримѣръ, сейчасъ его на кровать, окно завѣситъ, на дыпочкахъ ходить... цессе... «почиваютъ...» Бывало, станеть мнѣ говорить: «я, говорить, на своемъ вѣку видѣла мусской полъ, не утаю; ну, только Болю мнѣ пуше всѣхъ жалъ—просто онъ и окромя того душу въ себѣ имѣетъ высокую. Да ужъ и любить же онъ меня! Куда ему въ монахи!» Оно такъ по настоящему и выходило. Между прочимъ сѣзжаются изъ деревень родственники за дѣтьми, чтобы то есть на вакацію домой взять. Помню я одинъ денекъ. Даже теперь страшно вспомнить, какую человѣкъ лютость въ себѣ имѣть можетъ...

Собрались, помню, родственники Николая у женатаго брата въ комнатѣ. Страсть народу! Все это въ куражѣ, бурлитъ... Собралась вся эта компанія провожать Болю въ Москву, въ академію. Все это оретъ, кричатъ; пѣсни, ругательства, водка. Боля цѣлый день какъ шальной ходилъ. Поблѣднѣлъ, похудѣлъ, словно годъ въ лазаретѣ лежалъ. Назначено было ему ѣхать съ капитаномъ Звѣревымъ. Помню: капитанъ этотъ молодой, плотный, приземистый, рожа красная, усы черные и лысинка небольшая. Ходилъ на распашку; панталоны широкіе со складками и манишки черныя носилъ. Сейчасъ пришелъ, шапку бросилъ въ уголъ, подошелъ подѣ благословеніе, честь-честью, потомъ водки дернулъ и началъ рассказывать; поднялся хохотъ, опять закипѣли самовары, водка, пѣсни, пошелъ въ домъ содомъ еще пуше... Жена Колина брата пресить мужа: «Федоръ Лукичъ, побойся Бога, когда все это кончится?» — «Поди прочь, не твое дѣло!» — «Который, говорить, деньшнясто идетъ, Господи!» — А мужъ ей: «дай ты мнѣ, ради самого Бога, хоть разъ вдохнуть свободно!» Сидимъ мы съ Колей. — «Ну, прощай», говорю ему. — «Я не поѣду». — «Какъ?» — «Да такъ и не поѣду совсѣмъ: я убѣгу». — «Нѣтъ, ты, говорю, этого не смѣй! потому отъ родныхъ да бродягой въ острогъ попадешь—хужетого». — «Нѣтъ, все же я не поѣду; что хотять, то пусть и дѣлають». — А гости пируютъ по прежнему. Тары да бары, хохотъ да водочка — настегались ребята въ лучшемъ вкусѣ...

У каждого въ головѣ засѣяно было здорово. Я ящикъ капитанскій ждалъ-ждать: — «что же, говорить, господа, надо ѣхать; такъ же до ночи въ Марьино не попадемъ». Дадутъ ему водочки—ждетъ. Наконецъ даже и капитанъ вспомнилъ: «пора, говорить, теперь помолиться съ теплотою Богу — и въ путь! Гдѣ мой попутчикъ?» Отыскали Николая, привели въ горницу. Стали молиться; иной поклонится въ землю, потомъ вдругъ и на-бокъ, и лежить, встать не можетъ. Удивленіе!.. Начали прощаться... «Ну, Николай, говорить старшій братъ, цалуй мою руку, потому я тебѣ второй отецъ. Ты меня долженъ въ благодѣтелей считать. Цалуй!» — «Я, говорить Николай, не поѣду!» — «Ка-акъ??» Такъ всѣ изаржали... — «Вотъ мило! говорить капитанъ... Я, быть можетъ, ста попутчикамъ отказалъ. Н-нѣтъ-съ, я не позволю... Да какъ же ты это смѣлъ подумать?» Обступили малаго со всѣхъ сторонъ, ругать всячески начали... Вижу, позеленѣлъ мой пріятель, да какъ гаркнетъ:

— Не хочу! Изверги! — и вонъ изъ комнаты...

Всѣ за нимъ шарахнули, такое ополченіе! «Ка-акъ, орутъ, нѣтъ, ты, братъ, погоди!..» Забился бѣдняга отъ нихъ въ кухню: вижу я въ дверь, бѣгаетъ онъ около стола, кружить, а старшій братъ за нимъ съ голикомъ, да все такъ въ лицо-то ему этими корешками и тычетъ. Задохнулся малый, прижался въ уголъ, лицо блѣдное, испаранное. «Убью!» говоритъ. А братъ пуше того — по головѣ, по груди, по чемъ ни попади... Хотѣлъ было я за него вступиться, потому, истинно скажу тебѣ, другъ, сердце на части обливалося; но чиновникъ, братъ Николаевъ, прикрикнулъ на меня и острогомъ угрозился. Къ старшему брату подоспѣла еще роденька, начали малаго полыскать! Наконецъ онъ вырвался отъ нихъ, въ окно, да опрометью въ садъ, въ баню подѣ половъ забился. Опять же всѣ за нимъ съ дубинами, съ метлами, съ кочергами...

— Стоимъ мы на крыльцѣ: женщины, которыя были, плачутъ; особливо, помню, тужила тетка его, жена брата чиновника, очень убивалась. Но капитанъ Звѣревъ ее утѣшалъ и говорилъ: — «Вы, сударыня, не извольте беспокоиться. Это дѣло совсѣмъ пустое.» Въ банѣ же между прочимъ только стонъ стонѣтъ... И слышу я, взвизгнулъ Николай. Ахъ думаю, добила!..

— И дѣйствительно, вижу — ведутъ его подѣ руки. Совсѣмъ малый безъ чувствъ. «Извозчикъ, кричатъ, подавай!» Подкатила телѣга, стали они его, словно кулъ съ мукой, туда валить. «О-охъ», стонетъ, а глаза открыты не можетъ. Посмотрѣлъ я на него: — Боже мой! все лицо въ синякахъ, изъ носу кровь... Сѣлъ потомъ капитанъ. — «Съ Богомъ!» Уѣхали. — «Ну, слава Богу, заговорили родственники, по крайности выпроводили!» И стали опять вино попивать.

— Пошелъ я домой; иду по двору и все-то капли кровяныя на камняхъ. И, кажется, сколько лѣтъ прошло, а я каждый камушекъ и теперьча помню!..

— Это что? сказалъ спутникъ живописца та-

нимъ тономъ, въ которомъ слышалось: «такія-ли еще дѣла дѣлаются». Ну, что же потомъ съ нею-то?..

— А съ нею, другъ мой, видишь ли что... Какъ уѣхалъ Николай-то въ Москву, стала она объ немъ тосковать. Письма онъ ей писалъ все грустныя: утоплюсь, удавлюсь—эдакое все. Слухи прошли, бытто совсѣмъ потерялся онъ; иной разъ сумасшествіе на него находило. Въ Сухареву башню топиться ходилъ, все этакія печали да горести до ей доходили. А тутъ, между прочимъ, ѣсть нечего... ребенокъ... хлопоты, стѣсненія. За болѣзною за своею, тѣатры эти она оставила, да, признаться, ее и не требовали больше туды—изъ лица она спала, обрюзгла и игры той ужъ не было... Стала она, другъ мой, горе мыкать. Прошелъ годъ, прошелъ другой, дѣла въ Москвѣ все хуже да хуже; прошли потомъ слухи, бытто тамъ какая-то посадская дѣвчонка его яблокомъ заговореннымъ къ себѣ пригласила и сталъ бытто онъ еще горче заливаться. Даже родные про него слуховъ въ то время не имѣли, живъ-ли?..

— Тутъ у ее такія тяжкія дѣла подошли... да опять же и то горе, что покинуть... такія, говорю, трудности, что сама она мнѣ въ ту пору говорила: «Право, говорить, я теперь на все готова... я, говорить, ей-Богу, ни въ одномъ мѣстѣ не жалѣю себя». А тутъ къ ней и подластился одинъ человѣчекъ.

— Былъ онъ какой-то совѣтникъ, старичокъ; человѣкъ богатый, вдовый. Остался у него послѣ смерти жены сынъ. Отецъ, кажется, всю жизнь свою положилъ въ него, но вышелъ, замѣсто того, изъ этого сына какъ есть болванъ. Росту длиннаго, худой, шея журавлиная, языкъ заплетается... До двадцатаго году достигъ онъ отъ роду и только что умѣлъ домики рисовать... Какъ есть, въ полномъ комплектѣ олухъ. Отецъ же около него все стараніе прилагалъ, какъ бы люди на смѣхъ не подымали. Бывало—смѣхъ, ей-Богу,—идутъ они по улицѣ: сыночекъ шею вытянетъ, руки какъ у мельницы ходятъ—умора; а отецъ глазъ не спускаетъ съ этой красоты. Идутъ-идутъ:—«Стой!» Что такое? Пухъ на шляпѣ прилипъ... Сейчасъ обчищать. Или, случится, гуляютъ они по бульвару, народу видимо-невидимо; вдругъ опять: «Стой!»—Начнетъ галстухъ сынку любезному перевязывать. Самъ-то онъ росту маленькаго, а сынъ—эва, дылда; по этому случаю отецъ на цыпочки становится, а сынъ на колъѣнки: уморушка да и только. «По сторонамъ не глазѣть, шепчетъ ему отецъ.—Ты теперь въ полномъ соку юноша, ты теперь долженъ стараться заслужить чью-нибудь любовь, т. е. у женскаго пола—это говорить, даже и по медицинѣ не грѣхъ вѣтвонгода».—«Слушаю-съ папенька», это сыночекъ-то.—«Я въ твои года, продолжаетъ отецъ,—былъ словно пѣтушекъ... Такъ и слѣдуетъ! Только старайся отыскать къ себѣ любовь истинную».—«Слушаю-съ...»

— Сталъ этотъ олухъ промежду женскаго полу увиваться, только хохотъ надъ нимъ раздается—никто на него и вниманія обратить не хочетъ. Танцевать просить—никто не идетъ, потому барыню

онъ такъ грохнулъ объ-земь—смерть просто. Попробовалъ на лошади зимой кататься—тоже не вышло, потому и такъ-то онъ съ колокольню, а на лошади—это ужъ даже, если только посмотреть и то опасно! высота безпредѣльная... Выѣхалъ на катанье—сколько ни было народу, всѣ такъ со смѣху покатались. Скопфузился малый: лошадь испугалась, да въ сторону, онъ брыкъ, развелъ по воздуху ножищами словно рогатиной, да прямо такъ башкой и впился въ смѣхъ... Ну ужъ съ этого времени онъ и глазъ не совалъ въ публику. Между тѣмъ замѣчаетъ отецъ, что сыночекъ его еще пуще глупѣть сталъ, еще пуще дурашнѣй. Началъ онъ думать, какъ-бы это его съ женскимъ поломъ въ знакомство ввести, чтобы хоть къ чему-нибудь онъ по крайней мѣрѣ привязался. Тутъ и прослышалъ онъ про эту, про Глашу (камедіанка-то) и началъ онъ туда къ ней съ сыномъ похаживать. Дѣвушка она была добрая, даже старику самому полюблилась. Началъ онъ ей подарки дѣлать, переселилъ въ особую квартиру и просилъ ее усердно, чтобы она хоть малость вниманія его сыну оказала, потому собственно, что тутъ изъ жалости дѣло шло. Глаша говоритъ: «Мнѣ все равно теперь—что чортъ, что дьяволъ.»—Согласны?—«Согласна!» Поселилъ ихъ старикъ вмѣстѣ. Въ ту пору я часто къ ней захаживалъ: сижу, бывало, въ передней на оконникѣ и вижу его, этого олуха-то. Сидитъ онъ на диванѣ, въ полномъ костюмѣ, расчесанъ, ручки сложилъ.—«Что-жь вы спать не ложитесь?» скажетъ ему Глаша.—«Спать? сейчасъ». И пойдетъ спать. А не скажи ему, самъ не догадается. Останемся мы съ ней вдвоемъ-то, а она все про Николая, только про него одного разговоръ у насъ шелъ. Бывало, заплачетъ-заплачетъ, бѣдная!.. Ну, да и что будешь дѣлать-то? Каково, въ самомъ дѣлѣ, съ сумасшедшимъ человѣкомъ-то жить! Жила она такъ съ этимъ дуракомъ никакъ съ полгода мѣста. На что ужъ трудны дѣла ея были, все-таки не въ могоу ей стало себя продавать, отказалась она отъ него... «Не могу, хоть зарѣжьте!» «Чѣмъ-же вы, говорю, барышня, жить-то будете? они, господинъ совѣтникъ, теперь вамъ помощь оказываютъ, а вѣдь тогда подико-сь, своимъ-то трудомъ немного получите!..—«Лучше я, говорить, издохну...» Такъ-таки и отпихнулась отъ него. Ужъ какъ-же самъ старикъ-то плакалъ, какъ убивался этимъ отказомъ, что и не пересказать мнѣ вамъ. «Онъ, говорить, безъ васъ, Глаша, совсѣмъ околѣетъ...» Ну, Глаша обнаковенно ничего ему на это не могла присовѣтовать. Такъ и разошлись они. На прощаньи старикъ всунулъ ей деньгами что-то много; она было не соглашалась, однако взяла.

— Прошло такъ еще года съ два. Подходить срокъ Николаю изъ академіи выходить... Тутъ отъ него письмо получили—«ѣду», говорить... И пріѣхалъ дѣйствительно въ скорости, ну только совсѣмъ не тотъ. Горькій пьяница!.. Дали ему въ училищѣ мѣсто; началъ было сначала онъ туды ходить исправно, потомъ свихнулъ и запилъ. Въ эту пору онъ тоже ужъ запоемъ стегалъ. Только что пріѣхалъ, Глашу отыскалъ. Она ему все подробно, что было... Ну, Николай сталъ опять съ ней жить, съ родными

разсорился, только ужь прежняго-то не было!.. Н-нѣтъ! Не воротились развеселые денки, слезовыя времена наступили. Ужь тутъ онъ даже и съ любезной-то своей не ладилъ, случалось. Сталъ совѣтъмъ другой человекъ, и горе-то другое у него было какое-то, только никто разобрать не могъ — въ чемъ оно?

— Пилъ, пилъ, да съ тѣмъ и ноги протянуть... Всего, можетъ, съ годъ мѣста пожилъ... Человекъ былъ!..

Время между тѣмъ подходило къ вечеру; послѣ шести часовъ въ воздухѣ начинала чувствоваться прохлада. Солнечные лучи потеряли свою полуденную жгучесть; но зато были необыкновенно свѣтлы и ярки. Мѣщанинъ тихо съѣхалъ со двора, хриплымъ съ просонокъ голосомъ распростившись съ хозяйкой. Одинокій наѣздникъ съ багровымъ отъ водки лицомъ сидѣлъ на крыльцѣ, держась за столбъ, поддерживающій крылечную крышу; онъ иногда словно хотѣлъ встать, но тѣло его не слушалось. Въ ворота сосѣдняго постоялаго двора въѣзжала рогожная повозка, наполненная множествомъ женщинъ и дѣтей. Хозяинъ постоялаго двора шелъ за повозкой безъ шапки. Живописецъ и его спутникъ видѣлись уже на концѣ поселка: они торопились засвѣта выбраться на большую дорогу. Жена наѣздника, не смотря на то, что мужъ ея былъ пьянъ мертвецки, съ нѣкоторымъ удовольствіемъ смотрѣла на него.

— Ишь, думала она, мужъ-то; вотъ онъ.

Не съ такимъ удовольствіемъ взиралъ на наѣздника Иванъ; при видѣ фигуры хозяина онъ чувствовалъ нѣкоторый страхъ, точно сознавалъ, что стоитъ надъ какой-то бездною, въ которую полетитъ непременно; но что всего горше — Иванъ рѣшительно не зналъ, когда онъ полетитъ туда и возможно-ли избавиться отъ этой погребели?

VI. Изъ записокъ маленькаго человѣка.

I.

«Читатель».

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ печать и общество были, если помнить читатель, одно время сильно заинтересованы такъ называемымъ Бупріяновскимъ процессомъ, разыгравшимся въ нашемъ богоспасаемомъ городѣ и сразу занявшимъ въ ряду рязанскихъ, харьковскихъ и другихъ родственныхъ по своему внутреннему содержанію процессовъ весьма почетное мѣсто. Подобно своимъ достойнымъ сотоварищамъ, начался онъ отъ совершенно ничтожнаго обстоятельства, такъ сказать, загорѣлся отъ копѣчной свѣчи, и, быстро достигнувъ громадныхъ размѣровъ, вытащилъ на Божій свѣтъ великое множество самыхъ темныхъ и скандальныхъ дѣлъ и дѣлишекъ, совершавшихся, какъ оказалось, въ средѣ такъ называемаго образованнаго общества.

Я не имѣю намѣренія перечислять здѣсь всѣ темныя и скандальныя дѣла этого процесса, такъ

какъ помню утомительности этого труда интерес скандала не имѣетъ для меня ровно никакого значенія. Для пишущаго эти строки вся вереница обнаруженныхъ безобразій интересна исключительно только относительно тѣхъ непривлекательныхъ, но подлинныхъ, неподдѣльныхъ, ничѣмъ не прикрытыхъ цѣлей и желаній, которые обнаружились, благодаря процессу, въ человѣкѣ, обязанномъ, казалось, руководствоваться болѣе широкими и свѣтлыми цѣлями и желаніями...

Вылый, не всегда аккуратный, исполнитель тѣхъ идей, за которыя платитъ начальство, не сумѣвшій наполнить своею личною волею даже тѣхъ пространныхъ, которые отведены и дозволены для этой воли, слишкомъ терпѣливо, скучающій съ своими частными идеями, — этотъ вылый, безхарактерный человекъ вдругъ оказался и смѣлымъ, и сильнымъ, ни предъ чѣмъ не задумывающимся, ничего не щадящимъ на своемъ пути въ такихъ дѣлахъ и дѣлишкахъ, гдѣ не требовалось никакихъ ни оплачиваемыхъ, ни неоплачиваемыхъ идей, гдѣ не требовалось ничего кромѣ самыхъ грубыхъ, животныхъ аппетитовъ.

Все обиліе скандальныхъ и темныхъ дѣлъ процесса показывало именно всю ничтожность этихъ аппетитовъ, которые всѣ сію минуту можно перечесть на трехъ пальцахъ — такъ ихъ мало, такъ они просты и первобытны. Глядя на ничтожность той сферы, гдѣ интересующій насъ человекъ является полнымъ хозяиномъ, невольно становилось страшно за микроскопическіе размѣры, до которыхъ доведена личность этого человѣка. Боже милосердный, какъ онъ малъ этотъ человекъ! Разумѣется, съ такими средствами и оплачиваемыя, и неоплачиваемыя дѣла вѣчно будутъ оставаться безъ результата или очень остроумно сводиться на ноль... Вотъ каковъ смыслъ этого процесса. Много было по поводу его шуму и толковъ, но ни на кого онъ не произвелъ такого сильнаго впечатлѣнія, ни для кого такъ много не значилъ, какъ для пишущаго эти строки. Впрочемъ, быть можетъ, и я, подобно другимъ, впоследствии позабылъ бы его, если бы самъ не попалъ въ этотъ процессъ какимъ-то свидѣтелемъ какихъ-то пошлостей и, благодаря этой неожиданной связи съ очень маленькимъ человекомъ и очень большимъ животнымъ, я сталъ думать о себѣ, о подлинныхъ размѣрахъ моихъ силъ, моихъ личныхъ желаній — сравнительно съ тѣми, которые признавалъ я за собою до сихъ поръ.

Впрочемъ прежде всего я позволю себѣ два слова о томъ, чѣмъ именно былъ я до сихъ поръ.

Лѣтъ шесть-семь тому назадъ одинъ изъ моихъ деревенскихъ сосѣдей, человекъ, не отличавшійся никакими умственными богатствами, совершенно случайно такъ мѣтко опредѣлилъ мою особу и мою профессію, что кличка, данная имъ мнѣ, признана за мною всѣми единогласно, и я ношу ее въ моей семьѣ и въ кругу сосѣдей даже до настоящаго времени. Подъѣхавъ какъ-то вечеромъ къ воротамъ моего хутора, онъ придержалъ лошадь и просто отъ нечего дѣлать спросилъ дворника: — «Что дома

вашъ... читатель-то?» Случайно мнѣ пришлось видѣть изъ окна фізіономію дворника: не болѣе одной минуты на лицѣ его было какъ бы нѣкоторое недоумѣніе, происходившее очевидно отъ незнакомаго слова *читатель*; но это краткое недоумѣніе почти мгновенно замѣнилось свѣтлой улыбкой, словно у трудной загадки оказывалась самая простая разгадка. «Читатель-то? весело переспросилъ онъ, — дома, дома, да вонъ они!» и онъ указалъ на меня. Я видѣлъ, что это слово ему словно пришлось по вкусу: отворяя гостю ворота, онъ продолжалъ улыбаться... «*Читатель!* казалось, думалъ онъ, — вотъ что...» И онъ понялъ, что именно этого слова не доставало ему для того, чтобы разрѣшить себѣ недоумѣнія относительно моей особы. Ему стало ясно, отчего я не хожу по утрамъ въ конюшню, не веду разговоры съ лошадьми (ихъ впрочемъ не много), не торгуюсь, не мѣняюсь, какъ дѣлалъ бы всякій баринъ моихъ лѣтъ, не принадлежащій къ особенно знатной семьѣ. Ему стало ясно, почему это, если и забредетъ этотъ баринъ въ конюшню, то вмѣсто разговора о дѣлѣ продолжаетъ смотрѣть въ книгу, которую потомъ долго ищутъ по всему дому, пока самъ дворникъ Петръ не предъявитъ ее, объявивъ, что вотъ мода напелъ, что... Теперь онъ зналъ, что все это оттого, что это не баринъ, а читатель...

Подобно дворнику, съ появленіемъ этого мѣткого слова, поняла меня и жена, смотрѣвшая на меня съ какимъ-то недоумѣніемъ чуть не съ перваго дня брака и, кажется, въ тайнѣ считавшая меня за сумасшедшаго; поняла и теща, при всемъ ея умѣ до сихъ поръ затруднявшаяся сказать обо мнѣ что-нибудь опредѣленное и невольно раздѣлявшая, кажется, взгляды моей жены... «Читатель!» Это слово объяснило имъ все: вотъ отчего я — помѣщикъ, но не занимаюсь хозяйствомъ, вотъ отчего я — отецъ семейства, но какъ будто не забочусь о дѣтяхъ, вотъ отчего я — мужъ, не выказывающій никакихъ ни хорошихъ, ни дурныхъ качествъ мужа: теперь все это стало понятно; скоро и сосѣди, когда до нихъ дошло это слово, поняли, отчего имъ не о чемъ со мной говорить; отчего я не ѣзжу въ гости, отчего, когда эти гости придутъ ко мнѣ, — я вдругъ среди бесѣды скроюсь и оказываюсь спящимъ такъ, что не могутъ добудиться... За сосѣдами изъ благородныхъ поняли сосѣди-крестьяне, и въ очень короткое время кличка «читатель» осталась за мной навсегда. «Я у читателя барина пять съ полтиной получалъ, что вы?» торговался мужикъ, нанимаясь къ сосѣду. «Ишь, читательны теляты-то какъ отоцали!» говорить другой. Пошли «читательны хомуты», «читательны родители» и т. д.

Особенно старательно занималась укрѣпленіемъ этой клички за мною матушка моей жены, женщина удивительно даровитая. Природный юморъ ея вдругъ проснулся отъ одного прикосновенія этого мѣткого слова, и нельзя не сознаться, что она съумѣла разработать этотъ эпитеъ въ самую смѣшную, негѣпую сторону. Вотъ пришелъ дворникъ Петръ и объявляетъ, что сегодня ночью пропали хомуты. — «Давеча съ заборомъ, теперь съ хомутами. То за-

боръ завалился, то хомуты пропали... Пропали! будто-бы съ негодованіемъ отвѣчаетъ на это заявленіе моя теща. Неужели вы не можете понять, что барину вашему съ одними заграничными дѣлами только-только впору справиться, а не то, чтобы еще и этакой, прости Господи, дрянью заниматься... Хомуты! Ты-бы поглядѣлъ, какъ онъ, бѣдный, сегодня съ пріятелемъ всю-то, всю-то ночь убивались, успокоиться не могли до шестого часу: все хотѣли сдѣлать во вредъ французскому началству... Иная какая нибудь дура-жена прямо-бы вышла, да огрѣла-бы по шеѣ и гостя-то, и барина, чтобы они не орали по ночамъ да не пугали дѣтей, а мы, батюшка-мой, — «какъ можно!». Я вонъ какъ пьяная хожу, глазъ сомкнуть не дали всю ночь, покуда у самихъ языки-то должно быть не окостенѣли... А ты лѣзешь съ хомутами...»

«Аль вы проснулись? необыкновенно ласково и весело восклицаетъ она, адресуясь иной разъ непосредственно ко мнѣ... А тутъ гости пріѣзжали, и представьте какія невѣжи — обидѣлись: ѣхали за пятнадцать верстъ, всей семьей, думали, какъ у другихъ, у сосѣдей — чаю напиться, поговорить, а вы спите на самомъ на парадномъ диванѣ... Я подвела Ивана Ларивоныча — «вотъ, говорю, до чего утомленъ заграничными безпокойствами, что среди бѣла дня свалился... Говорю: такія безпокойства имѣеть, такія безпокойства, что вотъ ужъ, кажется, спать, а и то весь въ вѣдомостяхъ, весь въ газетахъ. Ужъ извините, говорю». — Плхнутъ даже, невѣжа... А вы изъ этихъ, изъ газетъ-то только личико свое прекрасное показываете, ровно вотъ какъ иной разъ свиньи, ежики, знаете, зарываются въ грязь...

Иногда она какъ-бы выходила изъ терпѣнія, и тогда юмористическая рѣчь ея принимала оттѣнокъ нѣкоторой серьезности.

— «А что, Иванъ Андреичъ, какъ вы думаете, что ежики, храни Богъ грѣха, да какъ-нибудь ночью нечаянно вспыхнутъ эти ваши вѣдомости и депеши, что тогда можемъ мы сгорѣть или такъ пройти?» Но неудовлетворительность отвѣтовъ съ моей стороны дѣлала этотъ тонъ совершенно бесполезнымъ, и ей оставалось одно — попрежнему только подтрунивать надо мной... — «Что это какой я сонъ страшный видѣла сегодня, сидя за утреннимъ чаемъ начинается Марья Ивановна, искоса бросивъ взглядъ въ мою сторону. — Вижу, будто бы въ дѣтской потолокъ ѣдакимъ манеромъ провалился и всѣхъ ребятъ и насъ — всѣхъ задавилъ... Что бы это значило? Ужъ не «къ плотнику-ли»? Да нѣтъ! ежики-бы за плотникомъ посылать, такъ ужъ давно-бы пора было. А то не посылаемъ... Нѣтъ! стало быть, надо понимать на другой манеръ... Ужъ все-ли заграницей благополучно? Помилуй Богъ!.. Иванъ Андреевичъ! Нѣтъ-ли чего въ газетахъ? Успокойте пожалуйста...»

Вообще кличка «читатель» имѣла въ себѣ, не смотря на очевидную насмѣшку, нѣкоторую долю правды. Иностранныя безпокойства дѣйствительно приобрѣтались мною единственно помощью непрерывнаго чтенія и рассужденія надъ вопросами, ничуть не похожими на рассужденіе о пропавшихъ

11

[illegible]

Въ первый классъ съ еднѣмъ изъ
зававѣскими, пропускавши въ
сѣбѣ, къ которому льнула. Въ
нѣмалась какая-то важнѣ
классъ было шумное общество. Въ
можно было разглядѣть нѣска
на пароходѣ изъ нашего герцо
анималъ только что окончив
имъ я тотчасъ-же догадался, что
якомыя фамиліи съ прибавле
тныхъ эпитетовъ. Эти толки не
сны для меня, которому предсе

чужую муку—я ушелъ изъ каюты я, выйдя рейку, идущую вокругъ всего второго этажа здѣсь на лавочку... За спиной моей лежалъ склону горы темный, скучный городъ, тусклый отбѣтъ Волги, которая по временамъ стала въ пароходные бока, а въ головѣ рядъ нестройныхъ тягостныхъ мыслей. И, сидя на этой лавочкѣ и припоминая путь, я достигъ до Куприяновскаго прощелья что припомнилось мнѣ о житьѣ-бытьѣ цѣлаго человѣка, угнетаемаго очень малыми цѣлями, среди довольно большихъ идей, ми пропитанъ воздухъ.

Где всего я долженъ сознаться, что общество, въ которомъ возможны Куприяновскія историческія поправки мнѣ при первомъ съ нимъ свидѣніи. Мнѣ пришлось встрѣтиться съ нимъ продолжительнаго пребыванія въ деревнѣ, меня очень долгое время не было ни единого часа, котораго бы я могъ взять за пуговицу, держа въ такомъ манерѣ около себя часы и подъ рядъ, излить на него все мои не подлія къ окружающей дѣйствительности и ни не раздѣляемыя заботы.

Вотъ, наполненный этими заботами, однажды я въ городъ съ весьма простыми хозяйственными цѣлями: нужно было купить чаю, свѣчей и т. д., о чемъ у меня хранилась полая записка, въ концѣ которой была прибавленна обязательная просьба «не забыть и поторопиться, ибо иначе весь домъ будетъ сидѣть безъ прольства и освѣщенія. Ыхалъ я за покупками, съ, разумеется, о чемъ-то вовсе не соответствующемъ моей простой миссіи и прибылъ въ городъ, но о покупкахъ забыть совершенно и вспомнить о нихъ только черезъ два дня послѣ пріѣзда. Произошло это именно отъ того, что общество, которымъ мнѣ пришлось познакомиться, прошло на меня самое пріятное впечатлѣніе, отоглавшее всякія мелочи на задній планъ. Заказныхъ друзей-пріятелей у меня не было въ городѣ, но было множество знакомыхъ, которыхъ я и которые меня знали.

Тотчасъ по пріѣздѣ я случайно встрѣтился съ нимъ изъ такихъ знакомыхъ; этотъ знакомый пошелъ меня къ другому знакомому, ночевалъ я уже третьяго, а завтра шелъ съ нимъ къ четвертому: уже прошли два дня, но я не замѣтилъ ихъ, и отъ почему именно: не смотря на разнообразіе профессій, которыя занимали посѣщаемые мною люди, всѣ они, какъ мнѣ показалось тогда, вполне раздѣляли вышеупомянутыя мои заботы, которыми я, какъ «читатель», былъ постоянно пронизанъ, всѣ они понимали ихъ и даже какъ будто бы только что думали о томъ, о чемъ думалъ я. Положительно среди этихъ новыхъ знакомыхъ не было ни одного человѣка, который бы не высказалъ самыхъ новыхъ мыслей, и что особенно подѣйствовало на меня тогда, такъ это то, что новыя мысли раздѣлялись людьми, профессіи которыхъ по видимому и были учреждены собственно затѣмъ, чтобы мысли эти прекращать. Мнѣ, какъ человѣку удаленному

отъ интересовъ дѣйствительности, было весьма удивительно видѣть такое обиліе свободно-мыслящихъ людей, и самое противорѣчіе между свободомыслиемъ и профессіею казалось мнѣ въ то время еще большимъ доказательствомъ успѣха новыхъ идей, которыя, какъ я думалъ, проникаютъ уже въ сферы, явно имъ враждебныя. Подъ вліяніемъ этого-то свободомыслия я забылъ совершенно о покупкахъ и продовольствіи и—ужъ не могу сказать почему—сталъ крѣпко подумывать о поѣздѣ за границу, во Францію. Впрочемъ не одинъ я задумывалъ объ этой поѣздкѣ—очень много людей изъ числа моихъ новыхъ знакомыхъ тоже хотѣло современемъ ѣхать во Францію и притомъ навсегда.

Повторяю, я вспомнилъ о покупкахъ спустя два дня послѣ пріѣзда, когда увидѣлъ передъ собою нѣкоего Федосѣева и услышалъ кое-что изъ его разговоровъ. Этотъ Федосѣевъ—просто голодный человѣкъ. Онъ нигдѣ не кончилъ курса, нигдѣ не нашелъ мѣста, а между тѣмъ онъ здоровъ, молодъ, имѣетъ огромный аппетитъ и очень мало средствъ къ удовлетворенію его. Аппетитъ его, разумѣется, направленъ къ хорошему иску—но иска нѣтъ.

Съ утра до ночи онъ бесполезно шатается по всѣмъ мѣстамъ, гдѣ есть хорошіе иски, гдѣ глотаютъ хорошіе куски, и злостъ его къ окружающему возрастаетъ съ каждымъ днемъ. Въ старенькомъ пиджакѣ, плотно облегающемъ его плотное, юное тѣло, онъ мрачно пробирается въ какой-нибудь судъ или сѣздъ съ маленькой трубочкой какого-то копѣечнаго веселя въ большихъ красныхъ рукахъ, изъ подлобы оглядывая идущихъ и ѣдущихъ; ему кажется, что каждый изъ встрѣчныхъ только что проглотилъ какой-нибудь очень жирный кусокъ, цѣлую деревню, купца съ пароходомъ и т. д. «Чѣмъ я хуже ихъ?» горько жалуется онъ своей старушкѣ-матушкѣ и, сравнивая ихъ аппетиты, ихніе приемы и взгляды на все и всѣхъ съ своими, находить, что ему не хватаетъ только костюма, ибо въ остальномъ онъ ничуть отъ нихъ не разнится и все понимаетъ точно такъ-же, какъ и они, хоть не имѣетъ на это диплома.

Я рѣшительно не замѣтилъ, когда и какъ около меня очутился этотъ Федосѣевъ; но помню, что онъ бродилъ со мною по всѣмъ моимъ новымъ знакомымъ и говорилъ про нихъ, оставшись со мною наединѣ, что-то вродѣ слѣдующаго:

— Во Францію-у? Это Иванычъ-то ѣдетъ? ха-ха-ха! Да у него вѣдь пять содержанокъ... Чего ему еще? Или еще, можетъ быть, какихъ-нибудь мужиковъ обдѣлалъ, денегъ много сграбилъ?

— Какихъ мужиковъ обдѣлалъ?

— Должно быть какихъ-нибудь обдѣлалъ—мало-ли ихъ?.. Намедни онъ съ Кузьминскихъ пятьсотъ рублей неустойки взыскалъ—полчаса опоздали съ деньгами...

— Кто это взыскалъ?

— Да все онъ же—Иванъ Ивановичъ; я самъ былъ тутъ, видѣлъ: онъ имъ показываетъ часы—половина перваго, а у ихняго ходокъ безъ пяти двѣнадцати. «У меня часы по суду поставлены». И взялъ... Я теперь эти деньги съ него взыскиваю—

да что!.. Хотя-бы въ самомъ дѣлѣ убѣждали ужъ что-ли во Францію-то...

Подобнымъ образомъ Федосѣевъ относился ко всѣмъ почти своимъ новымъ знакомымъ и всегда разсматривалъ ихъ съ какой-нибудь совершенно неожиданной для меня точки зрѣнія. Взгляды его, разумеется, были крайне узки и пошлы, но, хотя я и понималъ это, однако настойчивость и постоянство, съ которыми Федосѣевъ ихъ высказывалъ, невольно, незамѣтно повліяли и на меня, и я волей-неволей долженъ былъ обратить на нихъ вниманіе, такъ какъ и самъ невольно припомнилъ такіе мелочи, которыя какъ будто бы подтверждали, что въ этомъ свободомыслящемъ обществѣ есть какія-то шероховатости. Такъ, припомнилось мнѣ, что когда я входилъ въ кабинетъ одного изъ весьма пріятныхъ молодыхъ людей, послѣдній велъ какой-то весьма оживленный разговоръ, изъ котораго у меня въ памяти осталось нѣсколько весьма отчетливо произнесенныхъ словъ, что-то вродѣ:

— Принесъ?

— Ваше высокое...

— рта не открою, покуда все, сполна...

— А-а-а! привѣтствовалъ молодой человекъ меня, причемъ все выраженіе его лица замѣнилось выраженіемъ гражданской скорби. — Читали? съ грустію указалъ онъ на газету, и пока я читалъ, онъ поспѣшно окончилъ разговоръ съ мужикомъ въ передней и, воротившись, началъ по поводу газетнаго извѣстія одинъ изъ тѣхъ разговоровъ, которые такъ плѣнили меня.

— Явите божескую... между прочимъ донеслось изъ передней, когда я бралъ газету.

— Сполна, сполна!

Припомнилось мнѣ еще, что въ другой разъ, въ другомъ, не менѣе симпатичномъ для меня кругу, гдѣ шелъ разговоръ о женскомъ вопросѣ, причемъ было много высказано самыхъ новыхъ мыслей, съ которыми согласны были положительно всѣ присутствовавшіе, кто-то во время закуски упомянулъ о нѣкоей дѣвицѣ, отправившейся въ Петербургъ, въ академію.

— Н-ну, проговорилъ еще кто-то, прожевывая бутербродъ послѣ второй рюмки: — эти академіи, батюшка, намъ очень коротко извѣстны: просто поѣхала родить...

Послѣдовалъ хохотъ, послѣ котораго кто-то сказалъ:

— Что за вздоръ, не можетъ быть, я никогда не повѣрю.

Я тогда не замѣтилъ этого—даже, кажется, самъ расхохотался, когда расхохотались всѣ; я не вникъ тогда хорошенько въ эту болтовню за закуской, у меня было въ головѣ что-то другое. Но теперь, подъ вліяніемъ глѣбыхъ разглагольствованій Федосѣева, мнѣ всѣ эти мелочи и много, много еще другихъ подобныхъ мелочей припомнилось и зародило во мнѣ нѣкоторое недоумѣніе, очень тщательно поддерживаемое Федосѣевымъ.

— Не повѣрить — какъ же, такъ онъ и не повѣрилъ! злобствовалъ Федосѣевъ, припоминая слова того господина, который высказалъ недоумѣріе,

распространяемое невѣжамъ относительно женщинъ. — Подите-ка, спросите у его жены, каковъ онъ на счетъ синяковъ, напримѣръ.

— Что вы, Федосѣевъ, съ ума вы что-ли сошли! какіе синяки?

— Что мнѣ съ ума сходить! Синяки самые настоящіе... какіе же они еще бываютъ? Вы подите, спросите у нея—она вамъ поразкажетъ кое-что. Онъ вѣдь ее въ Москвѣ бросилъ, когда получилъ мѣсто-то сюда... Она изъ простыхъ, изъ швей, ну, а здѣсь онъ, какъ пріѣхалъ, и сталъ ухаживать за Ломовой—дочь богача-рыбника. Совсѣмъ было дѣло ладилось, вдругъ эта московская-то пріѣзжаетъ... Она вамъ сама расскажетъ...

Съ каждымъ днемъ разлада съ состояніемъ его духа дѣлалась замѣтнѣе и ощутительнѣе, но все-таки не было никакой еще возможности рѣшить, чего больше въ этихъ людяхъ—вѣры ли въ сундуки купчихъ Ломовыхъ, или въ женскіе вопросы, въ судейскіе ли часы, или въ право близкаго опоздать и не платить того, что по совѣсти платить не слѣдуетъ...

Опредѣлить настоящее, подлинное покуда не было никакой возможности, потому что всевозможныя грубыя вещи, сообщаемыя Федосѣевымъ, объяснялись моими знакомыми съ самой интересной и неожиданной точки зрѣнія. Напримѣръ. Не кажется ли вамъ нѣсколько страннымъ воспользоваться просроченными минутами и, не принимая въ расчетъ ничего, кромѣ права получать деньги,—получить эти деньги? А между тѣмъ, когда вамъ объяснить это дѣло тотъ, кто его сдѣлалъ, то оно выйдетъ совсѣмъ не то; по этому объясненію выходитъ, что сдираніе такимъ образомъ денегъ не жетъ благотворно повліять на народъ, который, изволите видѣть, наконецъ сообразитъ же, за что это дерутъ съ него и... ну... и т. д. Вамъ страннымъ кажется, почему это одинъ изъ вашихъ друзей, занимающій довольно видное мѣсто въ новомъ судѣ, рѣшается обвинять какого-то страннаго человека, положившаго себѣ изъ религіозныхъ теорій собственнаго сочиненія быть молчаливымъ, т. е. просто молчать на всѣ вопросы, обращенные въ нему людьми какого бы то ни было званія; страннымъ и несправедливымъ покажется вамъ, что это большое существо обвиняютъ въ анархіи, въ неповиновеніи и, благодаря ловко поддѣланымъ фактамъ, сажаютъ въ острогъ или ссылаютъ въ Сибирь. Федосѣевъ говоритъ, что это не въ первый разъ, что прошлымъ годомъ, когда въ судѣ присутствовала знатная особа, имѣющая власть, нашъ новый другъ показалъ себя еще болѣе ревностнымъ слугою порядка; но Федосѣевъ—невѣжа, умѣющая видѣть только дурное, а самъ авторъ этихъ анархій, самъ онъ вотъ что говоритъ: «это, по его мнѣнію, тоже какъ и по мнѣнію адвоката, единственный путь, единственная возможность расшевелить, заставить думать и т. д.» Вотъ какъ умно и ловко объясняютъ они свои подвиги, и не знаю, какъ другіе, но я, какъ «читатель», нѣкоторое время вѣрилъ этому и чуть не съ удивленіемъ смотрѣлъ, какъ они, продолжая быть свободомыслищими

людьми, ловили карманы на просроченныхъ минутахъ, отыскивали анархін, получали крестники и т. д.—даже попросилъ Федосѣева больше не бывать у меня.

И не смотря на то, что этотъ злой духъ оставилъ меня и не смущалъ болѣе моего веселаго расположенія духа, подлинныя вѣрованія продолжали выясняться все болѣе и болѣе. Шла въ мѣшкѣ не утайшь! И кто же обнаружилъ, или по крайней мѣрѣ далъ мнѣ возможность увидѣть если не всю правду, то большую ея часть? Они же сами, мои новые знакомые, они выдали себя съ руками и ногами. Какъ ни были они согласны другъ съ другомъ въ объясненіи своихъ дѣлъ (какъ видѣлъ читатель, анархію и просрочку они объяснили почти одними и тѣми же соображеніями), но ни одинъ изъ нихъ не вѣрилъ ни на волосъ словамъ другого. Едва я одному изъ моихъ новыхъ пріятелей объявилъ, что человекъ, напавшій на молчальника, объясняетъ этотъ поступокъ такъ-то и такъ—какъ тотъ, которому сказалъ я это, тотчасъ же усумнился.

— Ну, не думаю, сказалъ онъ.—Это говорить Иванъ Кузьмичъ?.. Наврядъ, чтобы общественная польза руководила имъ... Я конечно очень и очень цѣню его умъ и вообще... но вотъ прошлый годъ какая вышла исторія...

Исторія была такая, что оставалось только развести руками.

Въ свою очередь откапыватель анархій, узнавъ о томъ, какъ его другъ объяснилъ геройскій подвигъ свой съ просрочкой, произнесилъ:

— Да, ловко!.. молодецъ, право, молодецъ; но ужъ на счетъ просрочки-то онъ вреть! Просто соврать любить, какія тамъ идеи! Знаемъ мы... Третьяго дня онъ тутъ одного армянина общипалъ, такъ это тоже изъ-за... Вреть!..

Вотъ какъ они относились другъ къ другу.

Да не подумаетъ читатель, что такое недовѣріе другъ къ другу обнаруживается между очень маленькими людьми, исключительно только въ области идей частныхъ, въ области свободомыслія... Увы! какъ только вы начинаете терять къ нему уваженіе въ области этихъ идей (а это довѣріе вы должны потерять очень скоро) и убѣждаться, что въ сущности онъ душою и тѣломъ преданъ тѣмъ идеямъ, за которыя ему платятъ, тотчасъ же оказывается, что участь и этихъ послѣднихъ ничуть не лучше участи первыхъ.

Стоить только попристальнѣй взглянуть въ дѣло, чтобы убѣдиться въ этомъ. Возьмите напри- мѣръ моего недавняго знакомаго, откапывателя анархій: онъ получаетъ за ревностную и усердную службу награду; имъ очень была довольна важная вліятельная особа, присутствовавшая въ судѣ въ моментъ самаго процесса этого откапыванія. Но вѣдь и я тоже былъ имъ доволенъ? я обманулся; обманулась и особа, полагая, что тутъ происходитъ ревностная и усердная служба: этого-то именно здѣсь и нѣтъ, хотя, быть можетъ, откапыватель анархій, ожесточенно нападая на молчальника, объяснялъ вліятельной особѣ эту ярость примѣрно

хоть тѣмъ, что-могъ самое молчаніе свидѣтельствовать о вредности этого человѣка для общества; ибо, не рѣшаясь защищаться, онъ очевидно имѣть какую-нибудь личную выгоду, боится высказаться, проговориться, открыть сообщниковъ и такъ далѣе. Его хвалятъ, а въ сущности кромѣ глубокой несправедливости здѣсь не сдѣлано ровно ничего другого. Уважаетъ ли свою профессію этотъ ревностный слуга отечества? Очень мало. Уважаетъ ли онъ такой же ревностный поступокъ въ другомъ, своемъ сотоварищѣ? Почти никогда.

— Вы слышали, какъ недавно такой-то спасъ основы?

— Какъ же, какъ же... отличился! Теперь онъ, посмотрите, какую карьеру сдѣлалъ... Дочь предсѣдателя...

— Но я говорю не про карьеру, а про то, что основы-то едва-едва не погибли...

— Какія основы? Чортъ знаетъ что! Просто обдѣлалъ дѣло и все... Знаемъ мы это!

Такихъ примѣровъ можно бы было привести множество; но пусть это дѣлаетъ самъ читатель, у котораго въ настоящую минуту подъ руками можетъ быть болѣе свѣжій матеріалъ, чѣмъ у меня, и онъ убѣдится, что у этого народа нѣтъ вѣры даже и въ то, за что онъ получаетъ деньги.

Во что же онъ вѣритъ наконецъ?

Неужели въ купеческій сундукъ, а не въ женскій вопросъ, не въ «единственный путь къ расшевеленію тьмы», не въ колеблющіяся основы, не въ необходимость спасать общество?.. Не рѣшаюсь сказать опредѣленно, то или другое—воспоминанія происходятъ подъ слышимымъ сильнымъ гнетомъ личнаго огорченія, но не могу сказать одного, что вѣрою въ первыя, очень простыя желанія сильно пропитанъ воздухъ, которымъ дышетъ общество, и жизнь, если только хватитъ охоты взглянуть въ нее, даетъ много матеріала, доказывающаго, что все, что вообще должно жить мыслью—новая она или такая, за которую платятъ деньги,—все это чуть живо, чуть дышетъ.

И такъ, по мѣрѣ болѣе ближайшаго знакомства съ окружающей дѣйствительностью, я невольно, но тѣмъ не менѣе весьма основательно долженъ былъ убѣждаться, что ни частныя, ни оплачиваемыя идеи какъ будто не имѣютъ никакого значенія въ жизни извѣстной части дѣйствующаго общества, хотя оно и не задумывается быть за панибрата и съ тѣми, и съ другими, зная, что въ сущности жизнью его руководятъ идеи самыя простыя, самыя первобытныя, даже самыя не хитрыя, достигаемыя однако съ удивительной энергіей и настойчивостью. Какъ и зачѣмъ попадаютъ сюда какія бы то ни было идеи, этотъ вопросъ неоднократно приходилъ мнѣ въ голову, но всякій разъ оставался безъ результата. Спустя только долгое время, при обстоятельствахъ совершенно иныхъ, я могъ такъ или иначе отвѣтить себѣ на него, и когда мнѣ придется говорить объ этихъ иныхъ обстоятельствахъ, я изложу все, что пришло мнѣ въ голову по поводу появленія и исчезновенія идей въ обществѣ; теперь же, сидя на пароходѣ и вспоминая

Купріяновскую свалку, мнѣ не приходило въ голову ничего стоящаго и казалось даже, что только отвлеченіе отъ идей и отъ дѣлъ, которыя бы должны были дѣлаться во имя ихъ, и составляетъ, если не прямую задачу, то все-таки довольно характерную черту маленькаго человѣка. Въ этомъ отвлеченіи онъ дошелъ, какъ мнѣ тогда казалось, до удивительнаго совершенства. Въ самомъ дѣлѣ, посадить невиннаго человѣка въ острогъ, сорвать просрочку и скрыть истинныя цѣли этихъ поступковъ государственными или высшими либеральными соображеніями, скрыть это отъ себя и отъ всѣхъ, да такъ скрыть, что никто не замѣтитъ и проглядитъ существеннѣйшую и самую ощутительную выгоду, которая осталась въ карманахъ у вышепоименованныхъ дѣателей, это, какъ хотите, — дѣло, достойное полного удивленія.

Но какъ ни прочны результаты этого вліянія, какъ ни прочны, казалось бы, земныя блага, достигаемыя съ такими ухищреніями и стараніями, — положеніе каждаго отдѣльнаго человѣка, дышащаго этимъ воздухомъ вранья, по истинѣ ужасное. Пробыть пять минутъ въ обществѣ, которое устроилъ себѣ провинціальный человѣкъ — чистое наказаніе. Земныя блага пріѣдаются, наскучаютъ наконецъ, нервы когда же нибудь да одереветвѣютъ, хотя на короткое время откажутся служить вранью и дешевому раздраженію... Что тогда долженъ ощущать человѣкъ, поставленный съ самимъ собою на очную ставку? Душевное состояніе его весьма нескладное, и эту-то нескладницу, это неуваженіе самого себя (а уважать себя онъ не можетъ) человекъ переноситъ невольно и на сосѣда, на ближняго, продѣлывающаго то же самое, и, разумеется, ощущающаго то же самое. Раздражительность, злость человѣка противъ человѣка острою струею по временамъ проносится въ воздухѣ, отравляя всякаго, попавшагося въ область вранья, и эту злую струю ощущалъ, думаю, не одинъ только я. Каждый какъ бы ищетъ случая вывести ближняго наружу и тѣмъ облегчить свою душу. Именно эта злость противъ человѣка, отсутствіе вѣры въ его слова и перетолкованіе его поступковъ на свой образецъ разрушаетъ всякое дѣло, начатое во имя какой бы то ни было идеи. Потребительное общество распалось именно отъ неуваженія людей другъ другомъ, отъ того, что всякій считалъ другого лгуномъ, проповѣдывающимъ разныя громкія идеи потому только, что чешется явнѣе, — а вѣдь вся матеріальная часть дѣла не оставляла желать ничего лучшаго: были и деньги, была и чудесная цѣль, а кончилось все скандаломъ и мордобитіемъ. Да одна ли исторія съ потребительнымъ обществомъ! а всѣ эти клубныя, семейныя и общественныя поволочки — что это, какъ не проявленіе того же непріязненнаго, неуважительнаго отношенія къ человѣку, порождающее злость, ищущую ничтожнаго случая, чтобы вырваться наружу?

Какъ яркій примѣръ того, до чего всякая пропитывающая воздухъ злость — результатъ полнаго душевнаго опустошенія, я опять вспомнилъ Купріяновскую свалку.

Вся эта унижительная комедія произошла, какъ я уже сказалъ, отъ одного совершенно ничтожнаго въ нашей сторонѣ обстоятельства: богатый купецъ Купріяновъ якобы переломилъ ребро солдатской дочери Перушениной.

Эта продувная и смазливая дѣвица, связавшись съ роднымъ братомъ богача Купріянова, такъ ловко повела свои дѣла, такъ ловко опутала этого простоватаго парня, что тотъ рѣшилъ вступить съ ней въ законный бракъ; свадьба должна была происходить въ подгороднемъ селѣ потихоньку, но братъ-богачъ узналъ эти планы и съ толпою своихъ молодцовъ напалъ на свадебный поѣздъ, отбилъ жениха и въ происшедшей при этомъ свалкѣ будто бы переломилъ ей ребро. Началось дѣло; Купріяновъ сталъ платить; дѣло стало прекращаться и потухать и несомнѣнно потухло бы, еслибы у Купріянова не было связи со всѣми вышеупомянутыми недугами общества. Во-первыхъ, была связь по дѣламъ: поставки, подряды, отступныя — дѣла, въ которыхъ вѣчно надо что-то заминать и тушить; онъ, Купріяновъ, тушилъ кое-что въ дѣлншкахъ общества, и общество тоже «замыло» не одно дѣло къ пользу Купріянова... Во-вторыхъ, была связь въ видѣ жены, взятой Купріяновымъ изъ благороднаго семейства за красоту. Эта связь съ обществомъ была самая опасная. Жена его была женщина весьма красивая и весьма легкомысленная, неутѣшно страдавшая въ золотыхъ палатахъ невѣжи-рыбника и жаждавшая настоящей опѣнки; опѣнить ее могли конечно люди образованные, — и дѣйствительно Купріяновъ неоднократно заставлялъ ее сидѣть на козняхъ у людей, игравшихъ весьма видную роль въ общественной іерархіи. Долго терпѣлъ купецъ эти просвѣщенные взгляды, будучи подверженъ этой іерархіи своими потушенными, темными и другого рода обиденными дѣлами; но видя, что іерархія, занявшись эмансипаціей его супруга, забываетъ и свои темныя, мутныя и другія цѣлншки дѣла, забываетъ эти поставки, неустойки и тому подобныя детали будничныхъ своихъ занятій, — не выдержалъ и однажды даже занесъ палку надъ особою весьма значительной. Особа ушла невредимою, но ненависть къ купцу залегла въ ее душѣ неизгладимая...

Вдругъ является на сцену ребро; дѣло о ребрѣ возникаетъ и повидимому прекращается... «На что же существуетъ прокуроръ Протоклитовъ?» думаетъ особа, — Протоклитовъ, который повидимому ухаживаетъ за племянницей особы и норовитъ при помощи брака съ хорошей фамиліей, имѣющей связи въ Петербургѣ, сдѣлать карьеру... И вотъ въ тотъ же самый день, когда мысль о прокурорѣ пришла особѣ въ голову, встрѣтившись съ Протоклитовымъ, особа наемкнула ему, что вотъ молъ у насъ что дѣлается: толкуютъ о женскомъ вопросѣ, пишутъ — а тутъ подъ носомъ не видать, что купецъ, мошна, ломаетъ женщинамъ ребра, колотитъ палкой образованную женщину и живетъ какъ ни въ чемъ не бывало... «Какъ же вы, молодые люди, хотите, чтобы послѣ этого васъ любили женщины, хе-хе-хе-хе-хе...» Прото-

литовъ очень сочувственно отнесся къ положенію женщины вообще и тотчасъ сообразилъ, что, поднявши женскій вопросъ судебнымъ порядкомъ, тѣмъ самымъ приобретаетъ право на благодарность со стороны особы, а слѣдовательно: «племянница»... «въ члены»... «въ товарищи председателя» и т. д., наконецъ «Владимира четвертой степени» — и вотъ почти съ быстротою молніи купецъ сидитъ въ острогѣ: — «Я васъ не понимала, сказала Протоколитову вскорѣ послѣ этого происшествія племянница особы. — Я думала, вы злой!» Но теперь она почему-то поняла его и, зная, что онъ добръ, просила кстати вывести на свѣжую воду Сергѣева, который прежде все юлилъ вокругъ ея дяди, а теперь связался съ купцомъ и осмѣливается дѣлать дерзости съ этой шлюхой, Антоновой, которая прошлый годъ въ маскарадѣ и т. д., и т. д. Но и Сергѣевъ, который, по словамъ племянницы, былъ кругомъ виноватъ, едва только услышалъ про то, что дѣлали съ купцомъ, тотчасъ же, припомнивъ прошлое, сказалъ себѣ: — «Такъ вы вотъ какъ! Насчетъ женскаго вопроса изволите дѣйствовать? А забыли вы дѣло о подкинутіи младенца мужескаго пола къ лабазу купца Купріянова?.. Забыли?.. Да еще воротишь морду? Нѣтъ, погоди, слава Богу случай подвернулся, я васъ выведу на свѣжую воду» — и, приставъ къ купцу, поднявъ въ отместку тѣмъ пятьдесятъ такихъ дѣлъ, которые вдругъ втянули въ свалку человѣкъ пятьдесятъ народу... — «А, говоритъ одинъ изъ втянутыхъ, — такъ ты такъ-то! А кто пять лѣтъ тому назадъ получилъ изъ заграницы прокламацію и съѣлъ ее? Слава Богу, подвернулся случай...» И донесеніе о прокламаціи шло по формѣ... Злость закусила удила. Сначала, и то въ самые ранніе моменты свалки, можно было отчасти, и то на очень короткое время, видѣть, что общество какъ бы распалось на двѣ партіи: одна — за купца, другая — за особу; но эта ясность была почти моментальная. Съ удивительною быстротою эти двѣ партіи раскололись каждая пополамъ, потомъ еще пополамъ и т. д. Накопившееся раздраженіе, неуваженіе другъ къ другу не могли долго сдерживать потребности выдти на свѣжій воздухъ и вывести близкаго на свѣжую воду. «Что за дуракъ, что стою за него — невольно думалъ всякій, приставшій къ той или другой партіи, — что я вру? Развѣ я не знаю — кто они?..» И партія раскалывалась пополамъ, и въ каждомъ уголкѣ ея кто-то хотѣлъ вывести другого на свѣжую воду, кто-то доказывалъ другому, что онъ вретъ, что онъ вотъ что такое, а вовсе не то, что представляетъ... Отъ ребра, какъ отъ центра, разсыпалось по окраинамъ мирскихъ судовъ, сѣздовъ много дѣлъ объ оскорбленіяхъ, о пощечинахъ въ публичномъ мѣстѣ, объ угрозахъ застрѣлить изъ револьвера, о «сдернутіи меня съ кресла за ногу въ бенефисѣ г-жи Ленской, въ опереттѣ «Прекрасная Елена», о зашвырнутіи моей калоши изъ швейцарской благороднаго собранія въ дегтярный клубъ дворянниномъ Еруслановымъ, съѣвшимъ три прокламаціи» и т. д. безъ конца. Рѣдкій изъ обывателей не платилъ адвокату и не имѣлъ гдѣ-нибудь дѣла, которое, по своей

нелѣпости, отдѣльно взятое не значило ровно ничего, но, объясненное помощью вдругъ возникшей въ обществѣ потребности вырваться изъ болотной тины на чистый воздухъ, значить очень много. Общая зараза злости охватила и меня. Наглядѣвшись и насмотрѣвшись на дѣйствительность, взбѣсился и я — и попалъ въ свалку.

Одна только солдатская дѣвица Перушкина осталась въ барышахъ отъ всей этой передраги. Такъ какъ корень процесса составляло все-таки ребро, съ которымъ неразрывно былъ связанъ карманъ Купріянова, въ свою очередь связывавшій съ своимъ и множество другихъ кармановъ, то показанія дѣвицы относительно того, переломлено ли ея ребро или нѣтъ, очень много значили для разныхъ партій. Партіи эти ей платили, и дѣвица Перушкина, получая деньги, старалась услужить каждой изъ нихъ, и ребро поэтому оказывалось то переломленнымъ, то нѣтъ. — «Такъ переломилъ онъ его мнѣ, что даже я рѣшилась всякаго аппетита!» — «Что вы, помилуйте — кабы переломилъ онъ мнѣ, нешто-бы я не сказала, а то нѣтъ, ни-ни... А это я такъ сказала, потому меня господинъ слѣдователь напугали...» Переживъ эти показанія втеченіи процесса разъ двѣнадцать, дѣвица Перушкина приобрѣла значительный капиталецъ и вполнѣ, выйдя замужъ за переkreпщеннаго еврея, оказавшаго ей значительную пользу во время процесса своими юридическими познаніями, открыла вмѣстѣ съ нимъ на берегу Волги кафе, подъ названіемъ «Шато-де-Калипсо».

III. НА ПАРОХОДѢ.

Признаюсь откровенно, все, что вспомнилось мнѣ подъ вліяніемъ непріятнаго состоянія моего духа, — все это крайне односторонне и вовсе не рисуетъ настоящаго положенія дѣла. Я былъ слишкомъ недоволенъ самъ собой, чтобы раздумывать о такихъ вопросахъ, которые въ болѣе спокойномъ состояніи духа неизбѣжно должны бы занять мое вниманіе, какъ это и случилось вполнѣ. Еслибы мнѣ пришло въ голову подумать о томъ, что мысль, не пользующаяся правомъ жизни, должна неизбѣжно сгнить въ умѣ, обладающемъ ею, должна пройти всѣ фазисы разложенія, то мнѣ навѣрное стали бы понятны всѣ явленія Купріяновскаго процесса, не относящіяся исключительно къ желудку и карману. Мнѣ бы стали понятны и злость, наполняющая воздухъ, злость на себя и на другихъ и желаніе на все плюнуть, пустить въ лобъ пулю и пр. Но тогда ничего подобнаго не приходило мнѣ въ голову. Въ ту пору я могъ чувствовать только сѣмбуръ, царствующій въ чловѣкѣ и въ томъ обществѣ, въ которое я попалъ. Жизнь этого общества, такъ, какъ я могъ видѣть ее, представлялась мнѣ какимъ-то тягостнымъ представленіемъ, кошмаръ котораго мучилъ меня всю ночь.

Я то сидѣлъ на лавочкѣ, на вѣтру, то уходилъ въ каюту, гдѣ уже спали, но скоро опять возвращался на воздухъ. Проснулся въ каютѣ на койкѣ, когда уже пароходъ шелъ на всѣхъ парахъ. День былъ превосходный. Волга сіяла солнцемъ. Воздухъ

былъ чистый, свѣжій и дѣлительной струей лился въ грудь. Я начиналъ было уже подумывать о томъ, какіе должно быть глубокіе страдальцы всѣ эти люди; но, къ моему несчастію, я тутъ на пароходѣ, то тамъ, то сямъ, я продолжалъ встрѣчать кое-какія слова и рѣчи, напоминавшія все о томъ же кошмарѣ.

— Ежели бы мнѣ сто-то рублей, какъ вотъ вы ежемѣсячно получаете, говоритъ какой-то священникъ какому-то чиновнику, — а бы Бога благодарилъ... Ни минуты бы не остался въ духовномъ званіи...

Чиновникъ возразилъ на это, что сто рублей вовсе не сладки, что за нихъ надо передѣлать тѣмъ такихъ дѣлъ, въ которыхъ самъ чертъ сломить ногу...

— А у васъ что? прибавилъ онъ. — Появился червь, пошелъ попъ, отслужилъ молебенъ, мужики его угостили, денегъ дали — чего ему? лежи да спи... А тутъ сиди, усчитывай тамъ кого-нибудь...

— Червь! воскликнулъ священникъ, — рубль серебромъ вы за него получили, прекрасно; а позвольте узнать, стоитъ-ли этотъ рубль того огорченія, которое онъ несетъ вамъ въ душу?.. Да, я рубль этотъ получу, принесу домой и могу лечь спать, но засну-ли? вотъ что!

— Отслужилъ молебенъ, рубль взялъ да и спи, вотъ и все... твердилъ чиновникъ.

Все это надоѣло мнѣ до такой степени, что я Богъ знаетъ что бы далъ въ эту минуту, еслибы мнѣ пришлось увидѣть что-нибудь настоящее безъ подераски и безъ фиглярства: какого-нибудь стариннаго становаго, вѣрнаго искреннему призванію своему бросаться и обдирать каналій, какого-нибудь подлиннаго шарлатана, полагающаго, что съ дураковъ слѣдуетъ хватать рубли за заговоры отъ червей, — словомъ, какое-нибудь подлинное невѣжество, лишь бы оно считало себя справедливымъ... Я ушелъ съ верхней палубы внизъ, гдѣ сидѣлъ народъ все больше сѣрый, черный даже, и скоро увидѣлъ, что желанія мои могутъ быть удовлетворены весьма щедро.

Чтобы отдохнуть и дать отдохнуть читателю, я приведу здѣсь кое-что изъ слышаннаго мною въ толпѣ.

Я вошелъ въ толпу и остановился, гдѣ пришлось.

— Вотъ какъ передъ истиннымъ Богомъ! крестясь и снимая шапку, говорилъ мѣщанинъ двумъ дѣвушкамъ, тоже мѣщанкамъ, ѣхавшимъ со старушкой матерью. — Умереть на мѣстѣ, ежели вру хоть на волосъ!..

— Вотъ чудеса-то! воскликнули дѣвушки, какъ должно быть вослицаютъ, когда дѣйствительно случаются какія-нибудь чудеса. — И гдѣ же это было?

— Околѣтъ на мѣстѣ: въ Казани было!.. Видите какъ: я, деверь, кума, золовка, шуринъ — всѣ мы ходили вмѣстѣ туда. Приходимъ — а онъ ѣсть еетъ!..

— Кошку? привскочнувъ, воскликнули дѣвочки.

— Ко-съ! Живую кошку, какъ передъ истиннымъ Христомъ моимъ! — воротить шкуру съ затылку и питается ея кровію... Такъ и на афишѣ было сказано. За входъ двадцать пять копѣекъ взяли...

— Ну, ужъ это удивленіе! сказала мать дѣвушекъ. — Именно, удивленіе! У насъ бы, въ нашемъ городѣ, по три рубля платили бы, ей-ей... Ну, и что же?.. какъ бы растерявшись отъ разнообразія и силы этого впечатлѣнія, продолжала она. — Какъ-же онъ?.. Я думаю, вѣдь его не допустить къ святому причастію послѣ этого злодѣйства?

— Съ дозволенія начальства! сказалъ мѣщанинъ, поднявъ плечи и съ покорностью въ голосъ.

— Что-жъ такое, что начальство дозволяетъ, виѣшалась одна изъ дѣвушекъ: — онъ самъ долженъ отвѣчать на томъ свѣтѣ... Нешто можно ѣсть кошечку? Глядѣть-то на это — и то грѣхъ передъ Богомъ.

Это было сказано съ такой энергіей и убѣжденіемъ, что мѣщанинъ не пытался возражать и въ раздумьи сказалъ:

— Такъ-то, такъ...

— Отчего же смотрѣть? смотрѣть-то не грѣхъ, я думаю... попробовала-было вставить мать.

— Что смотрѣть, что ѣсть — все одно! сказала дочь рѣшительно. — Не платили бы ему денегъ, небось не ѣлъ бы...

— Мату-ушка-а! перебилъ эту негодующую рѣчь какой-то старикъ, сидѣвшій на полу. — Не платили бы, не ѣлъ бы и самъ бы съ голоду померъ! Начальство и это дозволяетъ, да что хорошаго?.. Вѣдь и ему ѣсть-пить надо! Родная! Онъ бы, можетъ, говядинки-то и охотиѣ бы поѣлъ, чѣмъ кошку-то, да нѣту ее... Чай, и самому не сладко...

— Это вѣрно!.. оправившись, вставилъ мѣщанинъ: — потому онъ изъ дворовыхъ людей, господъ Блистратовыхъ, а ужъ это черезъ великую бѣдность за иностранца объявился...

— Бѣдна-астъ! бѣдность, матушка, кошечку-то ѣсть, она и виновата, она и передъ Богомъ оправдается!..

Дѣвушка даже вспыхнула, такъ подѣйствовала на нее рѣчь старика, вдругъ освѣтившая совершенно новымъ свѣтомъ всѣ ея съ такимъ искреннимъ убѣжденіемъ высказанныя соображенія...

Давно уже я не видалъ такой искренности, и теперь мнѣ стало немного повеселѣй на душѣ.

— Да, со вздохомъ произнесъ кто-то, продолжая разговоръ въ сторонѣ. — Тоже трудно вѣтъ эту проклятую деньгу!..

— И-и-и трудно!.. тотчасъ же послѣдовать отвѣтъ. — Кого деньга полюбить, сами къ тому идутъ, а ужъ кого не полюбить, ну ужъ тутъ, братъ!..

— Тутъ, братъ, лучше человѣку лечь да помереть! сказалъ отставной солдатъ.

— Первое дѣло!..

— Нѣтъ! весело проговорилъ молоденькій булчикъ. — Нѣтъ, что-то, я гляжу, мало охотниковъ помирать-то изъ-за этого!.. Вишь, вонъ кошечку ѣдятъ...

Смѣхъ.

— А не это, продолжалъ купчикъ, такъ и такъ, какъ-нибудь своимъ судомъ съ нимъ справляются...

Говоря эти слова, онъ поглядывалъ на толстаго утробаго купца въ лисьей, рваной шубѣ, сидѣвшаго поодаль. Купецъ, какъ будто понималъ, что въ этихъ словахъ есть для него что-то очень неприятное, и отворачивался въ сторону.

— Вотъ у моего у одного пріятеля, продолжалъ купчикъ, очевидно намекая на этого же купца: — тоже денегъ долго не было, тоже онъ его не любилъ, а потомъ вдругъ совершенно сдѣлались въ него какъ влюблены... Откуда что взялось!..

— Ну-ну-ну!.. сказалъ купецъ, отодвигаясь. — Очень влюблены!.. Глотка-то больно широка у тебя...

— Нѣтъ, ей Богу, правда! все веселѣй и веселѣй продолжалъ купчикъ, очевидно намѣреваясь произвести потѣху. — Эй, ей, влюбился... Я ужъ сколько разъ его спрашивалъ: «какъ, молъ, ты, Иванъ Ивановичъ, разбогатѣлъ?» — «Отъ Бога!» говоритъ. — «Да какимъ манеромъ? говорю, ты вотъ что Расскажи». Станетъ рассказывать, все хорошо идетъ: покуда еще въ мальчишкахъ первые сто рублей наживалъ — все Богу молился, а ужъ за сетней и неизвѣстно что... Прямо говоритъ: «а какъ стало у меня денегъ тысячь двадцать». — Да какъ же это у тебя стало-то, сѣдой шутъ? Ну, и «Богъ».

— Ну-ну-ну... Эко глотка-то!.. ворчалъ купецъ.

— Нѣтъ, должно быть, что полюбили они его, не унимался купчикъ. — Допрещъ этого онъ все хозяина любилъ, а вдругъ всѣ къ приказчику повадился, а у хозяина-то ничего и не осталось. Это черезъ влюбленность...

Всѣ поняли, какая насмѣшка скрывалась въ этомъ рассказѣ и всѣ захохотали.

— Чортъ эдакой! негодовалъ обиженный купецъ. — Мелеть, мелеть, идолъ, не сообразится съ умомъ... Въ Бога не вѣрить... Откуда вы только народились, ахаверники...

Но смѣхъ еще долго разносился изъ одной кучки людей въ другую, каждый разъ приправляемый какимъ-нибудь жѣткимъ, веселымъ словомъ, отъ котораго становилось еще смѣшнѣй.

Осмѣянный купецъ скрылся.

Всѣ эти разговоры и шутки съ большимъ вниманіемъ и снисходительностью слушалъ сѣдой старикъ, тоже повзрѣвшему изъ купцовъ, человѣкъ очень пожилой, серьезный. Рядомъ съ нимъ сидѣлъ молоденькій мальчикъ, одѣтый, какъ и старикъ, очень тепло и опрятно. Когда смѣхъ нѣсколько поутихъ, старикъ, не обращаясь собственно ни къ кому, произвѣсть:

— А вы какъ же полагаете, безъ Божія напримѣръ надзиранія возможно человѣку богатство пріобрѣсти?

— Да онъ просто хозяйскія деньги нечисто въ рукахъ держалъ! отвѣтилъ за всѣхъ купчикъ.

— Н-ну, это дѣло не наше... Онъ дурно дѣлалъ, и ему будетъ дурно, это дѣло его... А вотъ вы будто бы на счетъ Бога?..

— Какое! это я такъ подшутить.

— Да! Ну, только Богъ въ ефтомъ дѣлѣ — все! Я вѣрно вамъ говорю. Я скажу про себя... Я вотъ теперь слава Богу нѣмъ достатокъ, а вѣдь началъ — желѣзнаго гроша не было, а кто помогъ и указалъ? все Богъ! Какъ напримѣръ мудры указанія его, напримѣръ... да, премудро даже! (говоря это, купецъ, выписывая что-то пальцемъ вокругъ своего лба). Каждый шагъ, помышленіе, каждое напримѣръ предпріятіе — все по Божію благословенію.

Всѣ внимательно слушали эти слова. Бой-гдѣ только мелькала веселая усмѣшка. Не смущаясь ею, купецъ продолжалъ:

— Всего этого я рассказать не могу, этого не расскажешь во вѣки вѣковъ. А вотъ хоть и то примѣрно вспомнить, какъ я дочь свою замужъ выдалъ: такъ и это вполне удивительно, ибо единственно по Божескому приуготовленію. Изволите видѣть, какое было дѣло... Въ началѣ всего надо взять матерю изъ древности... Вѣхалъ я со всѣмъ семействомъ на жительство изъ одного города въ другой, все равно какіе тамъ города ни будутъ, перебирался я на житье. Сами судите, ѣдемъ въ новый городъ, къ незнакомому народу, что съ тобой можеть быть? — Можеть и разориться, можеть и сгорить, помрешь — мало-ли что? сохрани только и помилуй, царица небесная, всякаго православнаго христіанина! Вотъ ѣдемъ мы и думаемъ такъ-то (а на переѣздъ тоже было указаніе!). И думаемъ: «что-то, молъ, будетъ?» Стали подъѣзжать къ городу — такъ сердце и замираетъ... Дѣло было днемъ — городъ виденъ, осталось только лѣсокъ миновать; только что мы съ лѣсочкомъ поровнялись — слышу пѣніе, вродѣ какъ съ небеси ангельскіе хоры... Гляжу: изъ лѣсу выступаетъ крестный ходъ — съ образами, съ хоругвями, и народъ: несутъ икону Неопалимой купины изъ дальнаго монастыря въ городъ, въ этотъ самый, куда я ѣду. По положенію такъ каждый годъ бываетъ, а я вѣхалъ — хоть бы вотъ разъ объ этомъ слыжалъ; какъ есть, какъ есть, ни отъ кого ни единого слова — и вдругъ она, матушка, мнѣ въ срѣтеніе, потому мы какъ разъ выѣхали ей на встрѣчу. Боже милосердый — какая мнѣ была радость! «Ну, думаю; — означаетъ хорошо! Во срѣтеніе! Слѣдовательно дѣло идетъ, слава Богу!» Помолился я, повеселѣлъ, пріударилъ по лошадамъ, да какъ обогнали мы всю церемонію-то, и еще оказалось; въ напутствіи все она же, матушка, за мной! И въ срѣтеніе, и въ напутствіе! — ужъ такъ я былъ доволенъ, совсѣмъ осмѣлѣлъ, а черезъ недѣльку Богъ мнѣ послалъ хорошую поставку въ казенное мѣсто. Сразу! Видите, Господь-то. Мало-ли безъ меня тамъ купцовъ, охотниковъ на это дѣло? — а я пришелъ, чужакъ, оглянуться не далъ — и ухватилъ. Вотъ онъ перстъ-то гдѣ!

Старикъ былъ въ большомъ волненіи. Публика удвоила вниманіе, и улыбокъ не было видно уже нигдѣ.

— Погоди! продолжалъ онъ, — все-ли тутъ! Тутъ еще пойдетъ не то! то ли еще будетъ! Какъ спалалъ я у купцовъ этотъ подрядъ, всѣ купцы тамшніе ровно какъ затмались, ошалѣли... Тутъ тор-

ги, тамъ статьи оброчныя, дѣла, но они вродѣ какъ въ обморокѣ какомъ, ничего не видать, не понимаютъ, рассчитать потеряли... а я приду и возьму, приду и возьму... Нахватавъ я дѣлъ, слава Богу. Думаю, надобно мнѣ эту икону приобрести, имѣть въ своемъ домѣ. Сталъ искать по церквамъ; пошарилъ у себя въ приходѣ — есть! И того же размѣру и письма; прицѣнился, говорятъ: «образъ мѣстный! Ему цѣны нѣту». Толкнулся туда-сюда, внять, нужно человѣку, заламываютъ. Ну, думаю, Богъ съ вами, сталъ ладить со сторожами — авось, думаю, нѣтъ-ли гдѣ простенькой, изъ старыхъ... Мнѣ дорога она не цѣной, а памятью; слѣдственно мнѣ все равно, въ аршинъ она будетъ или въ пять вершковъ — десять цѣлковыхъ я за нее дамъ, или двадцать копѣекъ, мнѣ дорога память. Говорю: «пошарьте, ребята, на чердакахъ, въ подвалахъ...» Прошло полгода. Вдругъ, отцы мои, приходитъ неизвѣстный человѣкъ. «Кто ты?» — «Сторожъ отъ Преображенія, звать меня Степаномъ». — «Что тебѣ?» — «Такъ и такъ, батюшка нашъ согласенъ вамъ уступить за два съ полтиной икону...» А я передъ истиннымъ Богомъ божусь, ни батюшки этого въ глаза не видалъ, ни у Преображенія не былъ, и вдругъ сторожъ говоритъ: «уступаешь!». Показалось мнѣ это странно. Думаю, ужъ не столь-ли владычица вняла моему моленію, что сама пожелала ко мнѣ въ домъ? Потому ни сторожу этому, ни священнику ни единого слова не говорилъ и мысли о нихъ не имѣлъ — пришли сами. «Что, думаю, ежели это указаніе? дай испытаю. Сама она или не сама пожелала?» Спрашиваю цѣну: «Два съ полтиной». — «Рубль!» говорю — думаю, ежели уступи не будетъ, не сама! Что-жъ? Уступили вѣдь! Передъ престоломъ Господнимъ говорю! Приносить икону: «извольте, говорить, батюшка согласенъ!» Тутъ ужъ я ста цѣлковыхъ не пожалѣлъ, оковалъ ее въ ризу, поставилъ въ кіотъ, зажегъ неугасимую... И съ этого самого разу повалили къ моей дочери женихи: офицеры, дворяне, купцы, отбою нѣтъ! Свахи вокругъ дома, что воробьевъ вокругъ овса, сила несмѣтная. Иной по виду да по разговору кажется ужъ такой человѣкъ, ужъ такой — лучше не надо, а помолюсь хорошенько, да поразузнаю — и окажется либо промотался, либо пьяница, а то и воръ!.. Все Богъ хранилъ... Скажу одно, годъ цѣлый шли сватанья — все толку нѣтъ. Правда, только одинъ изъ всѣхъ показался мнѣ мало-мальски ничего, а то все пинголь. Обѣщался подумать и дать отвѣтъ. Вотъ, други вы мои, думаю я такъ-то одно-ва, вечеркомъ передъ образомъ прошу совѣта — такъ мнѣ скучно что-то, не ладно, а отвѣтъ надо дать завтра... Домашніе ужъ совсѣмъ порѣшили на «отомъ» и дочь-невѣста тоже на этого думала и даже имѣла въ себѣ къ нему любовь, но Господь все перевернулъ по своему произволенію. Думаю я, думаю, вдругъ слышу — стучать въ ворота. Кто такое, думаю? Слышу, отворяютъ. Входятъ и кто? Отецъ Іоаннъ, Преображенской церкви священникъ, — тотъ самый, который мнѣ уступилъ икону. Что за чудо? Почему ему быть? И тутъ у меня мелькнуло, не указаніе-ли? «Что вамъ угодно?» Что-жъ онъ?

Просить руки моей дочери для своего племянника, письмоводителя у мирового посредника! Какъ сказалъ онъ мнѣ это, такъ ровно-бы меня всего обдало варомъ. «Она!» думаю: «Она!» Она меня встрѣчала, сопутствовала, черезъ нее я получилъ достатокъ, она сама пожелала въ домъ мой быть и теперь вновь являетъ себя чрезъ священника той самой церкви, откуда самовольно прибыла она ко мнѣ, ну — явно! Да что еще-то? Еще-то что! Какъ пришелъ священникъ-то, я и думаю, ужъ не праздникъ-ли забылъ я какой! И вспомнилъ, что въ тотъ день была память святому Стефану, да какъ сообразилъ послѣ, что къ чему шло, и вспомнилъ, что вѣдь сторожъ-то тоже Степанъ былъ, что икону-то принесъ... Какъ все это, други любезные, вступило мнѣ въ умъ, паль я предъ Господомъ и говорю: «Быть ей за твоимъ племянникомъ!» И отдалъ...

Всѣ слушатели находились какъ бы подъ вліяніемъ какого-то столбняка: такъ были непреложны и вѣстѣ съ тѣмъ неожиданны умосаключенія старика.

— А дочь ваша? спросилъ кто-то, спустя уже нѣкоторое время.

— Что-жъ дочь! Онъ съ матерью съ дуру-то стали было ломаться, но какъ я открылъ имъ, въ чемъ дѣло, такъ и онъ поняли. И теперь слава Богу! Такъ вотъ какъ премудро, и какъ человѣку надо соображаться, чтобы увидѣть, гдѣ указанія... А безъ указанія — все ничего не значить!

Этотъ рассказъ еще болѣе, чѣмъ искренность дѣвушка, освѣжилъ меня: тутъ было такъ много самого искренняго убѣжденія, неразрывнаго съ каждымъ шагомъ человѣка, какого я тоже очень давно не видалъ.

VIII. Хорошая встрѣча.

(Изъ путевыхъ замѣтокъ).

I.

Вода на Окѣ начинала спадать. Проминуто оставалась на меляхъ, еле-еле плелся по ней въ жаркій июльскій полдень маленький кое-какъ сколоченный пароходикъ, готовый, казалось, развалиться при каждомъ поворотѣ собственнаго своего винта... Прелестные, удивительные виды, на каждомъ шагѣ открывавшіеся по обоимъ берегамъ рѣки, ни мало однако не умаляли скуки, царствовавшей въ пароходномъ обществѣ. Высшее общество перваго и втораго классовъ либо въ глубочайшимъ достоинствомъ хранило молчаніе по цѣлымъ часамъ, либо непремѣнно ругало кого-нибудь и что-нибудь, если разрѣшалось молчаніе по какому-нибудь случаю и начинался мало-мальски общій разговоръ. Обыкновенно для начатія этого разговора кто-нибудь примется бранить лакея за грязную тарелку, тотчасъ другой изъ молчавшихъ до сей минуты припомнить, что за границей этого ничего нѣтъ, и при этомъ обручаетъ лакея, да встаетъ за одно и хозяина парохода; третій, немедленно влетающійся въ разговоръ, такъ или иначе найдетъ,

случай, не теряя своего первокласснаго достоинства, обругать лакея, хозяина, потомъ вообще мужика, потомъ Россію, земство, словомъ—все! И нѣкоторое время все это высшее общество бываетъ довольно оживленно, разсыпая слова негодованія на все и на всѣхъ.

— Я самъ служу въ земствѣ,—слышится иной разъ въ этой брани,—но, положи руку на сердце, откровенно скажу, что никто ничего не дѣлаетъ, а одинъ Z...

— Позвольте вамъ замѣтить, сочувствуя говорившему, вставляя свое сочувственное слово какое-нибудь новое лицо:—я служу въ такомъ-то вѣдомствѣ и чистосердечно скажу—всѣ воры!

Третій изъ пассажировъ, немедленно присоединяющій свой голосъ къ начавшемуся хору ругательствъ, въ самомъ непродолжительномъ времени, съ двухъ-трехъ словъ уже отыскиваетъ какого-нибудь подлеца или мерзавца, котораго онъ самъ лично очень хорошо знаетъ.

Но, переругавъ всѣхъ и вся, кромѣ себя, общество начинаетъ терять нить, связывавшую его едино продолженіе только-что изображенной бесѣды. Кромѣ брани «на другихъ», въ обществѣ не оказывается другой нравственно связующей нити.

Кто-нибудь для поддержанія разговора попробуетъ начать такъ; «Да, порядочные, я вамъ скажу вообще, мерзавцы»... Но общество уже истратило весь запасъ мыслей, и этотъ «мерзавецъ», произнесенный среди общаго молчанія, долгое время какъ-бы виситъ въ воздухѣ и пропитывается собой все окружающее. «Мерзавецъ», «мерзавецъ», «мерзавецъ» звенитъ у всѣхъ въ ушахъ. Чтобы отдѣлаться отъ этого звука, кто-нибудь посообразительнѣй начнетъ разговоръ съ сосѣдомъ—о чемъ? Послушайте эти разговоры—и вы удивитесь неожиданности и, такъ сказать, внезапности ихъ содержанія. Вдругъ заведетъ кто-нибудь рѣчь о томъ, что вотъ у него пятнадцать лѣтъ болятъ зубы и никакими средствами онъ ихъ вылечить не можетъ. Слушающій подтвердитъ, что дѣйствительно зубная боль неизлечима, и вотъ эти два пріятеля расскажутъ другъ другу случаевъ по пятидесяти каждый, и во всѣхъ пятидесяти случаяхъ—все была неизлечимая боль. Это до такой степени надобдается самымъ разговаривающимъ, что они подъ конецъ даже отворачиваются другъ отъ друга и одинъ садится подальше къ окну, а другой впослѣдствіи даже уходитъ. Если же, паче чаянія, на языкъ не подвернется какое-нибудь плодотворное слово, вродѣ слова о зубной боли, то начинаются совершенно безплодные разспросы другъ друга о томъ—откуда, куда, зачѣмъ? Бываетъ такъ, что разговаривающіе такимъ образомъ начинаютъ казаться постороннему человѣку почти помѣшанными.

— Что жъ, домъ имѣете въ Калугѣ?

— Нѣтъ, я только ѣду въ Калугу. Тамъ у меня дѣло.

— А вы не знаете ли въ Калугѣ Кузьмина?

— Нѣтъ, не знаю.

— Хорошій человѣкъ.

— Нѣтъ, я не знаю никого въ Калугѣ.

— Отличный человѣкъ. Эдакій высокій, плотный мужчина?

— Нѣтъ, не видалъ...

— Борода эдакая окладистая?—Лѣтъ ему сорокъ пять?

— Нѣтъ, что-то не случалось...

Долго еще описываетъ одинъ другому Кузьмина и другой долгое время отвѣчаетъ: «нѣтъ, не знаю, не видалъ, я не калужскій», пока самъ изъ оборонительнаго положенія не перейдетъ въ наступательное и самъ не задастъ вопроса первому:—«А не знаете ли онъ въ Нижнемъ Купріянова? Эдакій маленькій?—Аршина въ полтора ростомъ? Блондинъ?» и т. д. до безконечности. «Не знаю». «Не встрѣчалъ». «Я не нижегородецъ»—приходится теперь говорить первому, и дѣло оканчивается тѣмъ, что, наговорившись досыта, сосѣди замолкаютъ, чувствуя другъ къ другу почти отвращеніе, а въ воздухѣ остается какое-нибудь слово или: «брюнетъ, высокій»... или опять тоже:» да, большой мерзавецъ».

«Мерзавецъ, мерзавецъ»—звучитъ опять у всѣхъ въ ушахъ среди мертваго молчанія... Тишина. Стучитъ машина, шумитъ вода и дрожитъ еле плетущійся пароходъ...

Въ третьемъ классѣ, на палубѣ, общество было гораздо оживленнѣе. Здѣсь все шло на чистоту и не было той натяжки въ манерѣ, рѣчи и мысляхъ, которая дѣлала безсодержательную бесѣду въ первоклассномъ обществѣ поистинѣ невыносимою. Разговоры здѣсь шли безъ выдумокъ; какой-то мужичокъ рассказалъ во всеуслышаніе такой анекдотъ, отъ котораго всѣ женщины, присутствовавшія на палубѣ, покраснѣли, какъ раки, и не знали, куда дѣться. На полу, у борта парохода, снявъ сапоги и мундиръ, сидѣли солдаты и угощали мужиковъ водою: у него бутылка безъ горлышка, кое-какъ привязанная на веревкѣ; онъ поминутно опускалъ ее съ парохода въ воду и, вытащивъ, говорилъ:

— Кто хопъ, ребята? Вода—первый сортъ. Нѣкоторые изъ мужиковъ, молчаливой вереницей сидѣвшихъ вдоль борта, протягивали руки къ бутылкѣ и, снявъ шапку, пили.

— Передавай, передавай сосѣду! командовалъ солдатъ.

— Иванъ! на, пей!

И безгорлая бутылка переходила изъ рукъ въ руки.

— Благодаримъ покорно! говорили мужики.

— Пей, ребята, валай! Мнѣ бутылки не жалко! Чего ее жалѣть-то?

Нѣкоторые изъ мужиковъ принимали бутылку какъ бы нехотя и видимо пили только изъ приличія, такъ какъ солдатъ былъ необыкновенно радушенъ.

— Дуй, ребята, на доброе здоровье... Пей! поминутно повторялъ онъ съ веселымъ лицомъ, поглядывая по сторонамъ.

Радушіе солдата было непритворное. Дѣловые разговоры, которые шли на палубѣ между народомъ коммерческимъ, тоже ничуть не походили на разговоры подобнаго рода въ первоклассномъ обще-

ствѣ. Такого типа людей, который, получая съ земства три тысячи, ничего не дѣлаетъ потому, что никто не дѣлаетъ ничего, и ругаетъ всѣхъ, оставаясь какимъ-то негодующимъ нулемъ, — между этими народомъ не было. Иной цѣлую станцію стоитъ на вѣтру и надсаживаетъ горло и грудь, разговаривая съ мужиками, стоявшими на плотяхъ дровъ, мимо которыхъ проходилъ пароходъ.

— Иванъ Петровичъ ту-та-а?.. во всю ширь легкихъ вопіетъ онъ черезъ всю Оку какой-то фигуркѣ въ синей рубашкѣ, безъ шапки и сапогъ.

Фигурка показываетъ что-то рукой.

— Ишь! Нѣтъ еще... Ахъ, чудакъ человекъ! Того и гляди, Кузминскіе прежде придутъ.

— Ужъ и ѣзда на этомъ пароходѣ! понимая безпокойство своего собесѣдника, присовокупляетъ другой коммерсантъ; — и разговоръ, начавшійся о пароходныхъ порядкахъ, о томъ, что дѣло ведется плохо, не походитъ нисколько на ругательства противъ пароходнаго лакея, — ругательства, въ глубинѣ которыхъ нѣтъ ничего, кромѣ желанія заявить, что «когда я былъ заграничей» и т. д.

Общихъ, всѣмъ интересныхъ темъ для разговоровъ на палубѣ тоже гораздо больше, чѣмъ въ каютѣ перваго класса. Общій разговоръ завязывался часто на очень долгое время и иногда въ немъ принимали участіе всѣ бывшіе на палубѣ. Это случалось всякій разъ, когда на сцену выступалъ какой-нибудь философскій вопросъ, какая-нибудь исторія, рассказанная въ поясненіе тайнъ мысли и жизни.

— Господь, говорилъ кто-то по какому-то случаю, — очень хорошо можетъ во всякое время затмить человека!

— Это вѣрно! тотчасъ же раздается нѣсколько голосовъ — и нѣсколько новыхъ человекъ придираются ближе къ разговаривающимъ.

— Еще какъ затмить-то! вставляетъ новый собесѣдникъ.

— Бываетъ, такъ затмить, что вовсе омрачешься, какъ собака.

— И ей-Богу, вѣрно! Да что я вамъ скажу; со мной что было въ Калугѣ?

Начинается исторія съ омраченіемъ въ Калугѣ. Вниманіе слушателей этой исторіи самое глубокое и непритворное: здѣсь никто не слушаетъ, какъ иной разъ въ первоклассномъ обществѣ, другъ друга изъ приличія, или притворяется, что слушаетъ; здѣсь слушаютъ во всю, и на каждомъ лицѣ вы замѣтите, что мысль слушающаго работаетъ самымъ искреннимъ образомъ, и когда изъ рассказанной исторіи о затмѣніи ума, бывшемъ въ Калугѣ, вытекаетъ умозаключеніе, что вотъ-молъ какъ Господь не дозволяетъ человеку мечтать или что-нибудь вродѣ этого, то сужденія слушателей, начинающіяся по поводу этого заключенія, покажутъ наблюдателю, что каждый изъ нихъ думаетъ на свой образецъ, только такъ, какъ считаетъ справедливымъ.

— Ну, нѣтъ, говорятъ одинъ, — это вы напрасно! Со мной тоже былъ случай, только тутъ просто вышло изъ-за частнаго пристава; Бога тутъ мѣшать нечего!

— Какъ такъ Бога не мѣшать? возражаетъ другой. — Да позвольте вамъ замѣтить, кто выше: частный ли вашъ приставъ, или же, будетъ такъ говорить?!

Эта работа мысли непохожа на газетныя фразы, послѣ предварительной цензуры [расходящаяся по свѣту, которыми отдѣляются разговаривающіе первокласснаго общества, не имѣя на душѣ ничего, кромѣ апатіи.

Но вообще, какъ натянутые разговоры привилегированныхъ пассажировъ, такъ и чистосердечныя бесѣды пассажировъ непривилегированныхъ невольно наводили на весьма унылыя мысли. Слушая ихъ, любой помпадуръ, власть имѣющій, и благодѣтельствующій народу человекъ непременно долженъ придти къ той мысли, что онъ одинъ только столпъ и опора, что только его усиліями, его мѣрами, его предписаніями и понуканіями держится все это обширное зданіе, именуемое: «наше обширное отечество».

Въ самомъ дѣлѣ, тамъ, въ первыхъ классахъ, — полное отсутствіе общихъ интересовъ, значительное расположеніе смотрѣть на ближняго, какъ на дурного человека, подозрѣвая въ немъ всевозможныя гадости, сваливая на него, на его испорченность всю бѣду и оправдывая себя этимъ, — меланхолическое полученіе жалованья и ничего недѣланіе. Здѣсь, въ третьемъ классѣ, — напротивъ, нѣтъ ни апатіи, ни бездѣятельности. Здѣсь много труда, здоровья, искренности и стремленій къ товариществу — во идеѣ, мысли... Несмотря на свою искренность, въ самыхъ лучшихъ простонародныхъ головахъ, что это, Господи Боже мой, за мысли! Современному ученику уѣзднаго училища ничего не стоитъ въ пухъ и прахъ разбить всю эту философію старца, рассказывающаго о затмѣніи ума въ Калугѣ. Каждая мысль, несмотря на то, что прямо на собственныхъ плечахъ вынесена изъ жизни, относится мало-мальски грамотнаго человека въ самую глубокую тьму времени. Съ какою трудомъ строить эти мысли свои умозаключенія, всегда отдающія для человека, мало знакомаго съ языкомъ и манерою выраженія третьекласснаго народа, просто на просто сущю чепухой!

И такъ, что жъ въ концѣ концовъ? Тамъ — апатія и дюжинность потребностей и мысли; здѣсь — здоровая и искренняя умственная чепуха, настоянная на двухъ-трехъ-четырёхсотлѣтнемъ невѣжествѣ и вѣчномъ трудѣ. Что жъ тѣ и другіе сдѣлаютъ безъ хорошаго помпадура, безъ посторонняго двигателя, который прибиралъ бы къ рукамъ и эту чепуху, и эту апатію, и своими стараніями, понуканіями и предостереженіями придавъ бы хоть мало-мальски человѣчeskій образъ и подобіе безформенной и невѣжественной толпѣ?

Ставъ на эту точку зрѣнія и припоминая все, что дѣлали и дѣлаютъ разнаго сорта помпадуры на пользу бѣлой и черной кости моего отечества, я не могъ невольно не почувствовать къ этой дѣятельности глубочайшаго благоговѣнія и сохранять бы его въ своемъ сердцѣ навсегда, еслибы не проша-

шло одного обстоятельства, которое значительно изменило направленіе моихъ мыслей.

II.

Когда послѣ одной изъ остановокъ у какой-то деревеньки пароходъ снова тронулся въ путь, я заѣхалъ на палубѣ нѣсколькихъ новыхъ пассажировъ; въ числѣ ихъ вниманіе мое обратилъ на себя мальчикъ лѣтъ семнадцати или восемнадцати, лицо котораго показалось мнѣ знакомымъ. Я не могъ однако припомнить, гдѣ именно я его видѣлъ. Одѣтъ онъ былъ въ чей-то очевидно чужой сюртукъ, подъ которымъ была красная выпускная съ косымъ воротомъ рубашка. На головѣ была надѣта пуховая шляпа, тоже очевидно чужая, ибо если бы не уши, оказавшія ей подпору, она навѣрное бы закрыла лицо мальчика до подбородка. Въ рукахъ у него была книга.

— Гдѣ я его видѣлъ? думалось мнѣ.

Бъ счастью, мальчикъ самъ сталъ вглядываться въ меня и потомъ, узнавъ и улыбаясь, быстро подошелъ ко мнѣ и сказалъ:

— Я—Вася! Узнаете, Василій Петровичъ?

— Вася! Неужели?

— Онъ самый.

Я вспомнилъ и узналъ Васю, о которомъ теперь же нужно сказать нѣсколько словъ. Лѣтъ восемь или девять тому назадъ мнѣ пришла благая мысль «поработать на пользу отечества», и я сталъ учить деревенскихъ мальчиковъ. Какъ и всякій подобнаго мнѣ сорта благодѣтель, я исходилъ, начиная это дѣло, изъ той мысли, что ежели мужикъ бѣденъ, нищъ, то въ сообществѣ съ невѣжествомъ всѣ эти недуги лежатъ на немъ двойнымъ бременемъ; лучше же невѣжество замѣнить просвѣщеніемъ, воспользовавшись для этого тѣмъ временемъ, которое остается отъ молотьбы, уплаты недоимокъ и тому подобныхъ ежедневныхъ крестьянскихъ занятій, не нарушая однако ихъ обычнаго хода. Планъ благодѣянія былъ составленъ, какъ видѣть читатель, не особенно ясно, но, подобно другимъ благодѣтелямъ, я принялся за дѣло съ жаромъ, поддерживаемый въ этомъ жару тѣмъ совершенно справедливымъ мнѣніемъ, что *что-нибудь* лучше, чѣмъ *ничего*. Очень много народу желало въ то время сдѣлать *что-нибудь* (конечно хорошее) своему меньшему брату. Но, принявъ въ расчетъ, что науки никакимъ образомъ не должны были нарушать обычныхъ крестьянскихъ занятій (иначе что-жъ-бы было?), я долженъ былъ елико возможно экономить временемъ, оставшимся въ моемъ распоряженіи, послѣ всѣхъ обязательныхъ даже для крестьянскихъ дѣтей трудовъ и работъ. Въ году такихъ свободныхъ минутъ въ общей сложности я могъ насчитать всего какихъ-нибудь недѣль шесть, и этимъ временемъ я долженъ былъ распорядиться такъ, чтобы, не теряя ни одной минуты (*съ часами въ рукахъ*, какъ говоритъ одинъ педагогъ), просунуть въ головы благодѣтельствуемыхъ мною ребятъ елико возможно большее количество науки. Читатель пойметъ (принявъ въ расчетъ тѣсноту, въ которой мнѣ приходилось пробираться), что я дол-

женъ былъ спрессовать науку, какъ спрессовываютъ консервы, и давать ее дозами гомеопатическими, такъ искусно составленными, чтобы, попавъ въ мозгъ, каждая такая пилюлька науки растворялась бы тамъ пышно и хорошо, не вредя конечно ничему окружающему. Лекціи мои были поэтому настоящей энциклопедіей. Вотъ буква А. Чтобы ее запомнили, я говорю, что она похожа, напр., на крутую хорошую дугу; чтобы не терять времени, которое дорого, я тотчасъ, приравнявшись къ дугѣ, заводилъ рѣчь объ экипажахъ, объ ѣздѣ, откуда недалеко до жѣлѣзныхъ дорогъ, до пароходовъ, потомъ паръ, потомъ вода, изъ которой дѣлается паръ и въ которой рыбы; отъ рыбъ переходу вообще къ устройству вселенной—такъ-то, начавъ съ буквы А, мы заканчивали урокъ чѣмъ-нибудь совсѣмъ другимъ, на А вовсе не похожимъ. Я понимаю теперь, почему мои ученики сидѣли выпуча глаза и никогда почти никто изъ нихъ не могъ повторить, чтѣ было сказано вчера. Это меня приводило въ большое негодованіе, потому что, окончивъ лекцію, я обыкновенно чувствовалъ себя совершенно утомленнымъ среди поголовнаго тупоумія моихъ слушателей. Одинъ только Василій Хомяковъ—мальчикъ лѣтъ девяти или десяти—вознаграждалъ меня хотя отчасти за мои труды. Внимателенъ онъ былъ до послѣдней степени. Глаза его ни на минуту неотрывались отъ доски и отъ меня, когда я говорилъ, и если на слѣдующій урокъ онъ по примѣру своихъ товарищей тоже не могъ повторить всего, чтѣ сказано было въ прошлый разъ, то ужъ всегда зналъ, что буква, съ которой началась лекція, была А, тогда какъ другіе, сбитые съ толку моимъ рвеніемъ, на вопросъ—какая это буква—отвѣчали: одни—рыба, другіе—пароходъ, третьи—дуга. Василій Хомяковъ выучилъ азбуку очень скоро и скоро сталъ читать довольно порядочно; но въ ту самую минуту, когда я, утомясь въ борьбѣ съ тупоуміемъ остальныхъ моихъ питомцевъ, хотѣлъ сдѣлать свое знаменитое «что-нибудь» исключительно для одного Хомякова, сосредоточивъ на немъ всю мою заботливость о бѣдномъ братѣ, этотъ бѣдный братъ вдругъ заѣхивался, сталъ даже дремать во время урока и скоро совсѣмъ пересталъ ходить. Это было весной. Послѣ Святой того же года я охладѣлъ къ школѣ, и осенью никакого ученія уже не было.

Прошло около девяти лѣтъ, и вотъ теперь на пароходѣ Василій Хомяковъ неожиданно встрѣтился со мной.

Мы были очень рады другъ другу.

— Гдѣ-жъ ты былъ?

— Сейчасъ былъ у матери, прощался... Бъ Акимѣ Петровичу на заводъ я ѣду. Вы не знаете господина Пазухина, Акимъ Петровича?

— Нѣтъ, не знаю.

— Ну, къ нимъ ѣду... Надо-быть, надолго... Хочу дѣлать пользу.

Эту фразу Вася произнесъ совершенно серьезно.

— Кому? спросилъ я.

— Конечно всѣмъ! съ прежней искренней и юношеской серьезностью произнесъ Вася.

Давно, давно я не видалъ такой храброй увѣренности и искренности, какая проникала все существо Васи и его фразу: «конечно, всѣмъ»...

— Потому что, продолжалъ онъ,—въ теперешнее время всякій дѣлаетъ зло, а зло надо искоренять!

— Конечно! въ свою очередь сказалъ я.

— Если мы будемъ только для себя жить,—философствовалъ Вася,—что хорошаго? Отъ этого сколько на свѣтѣ бѣдъ, горя?.. И—и Боже мой!

— Да, много!

— Какъ много, какъ много!.. Я только недавно узналъ, въ чемъ дѣло. Мнѣ этого теперь оставить нельзя...

Вася насквозь мнѣ еще великое множество вещей, которые я зналъ давнымъ давно; все это были слова и изреченія самыя обыкновенныя; о бѣдности, о несправедливости, какая идетъ по свѣту. Но эти обыкновенныя мысли и слова въ устахъ Васи дышали такой удивительною силой, правдой, что становилось какъ-то стыдно и неловко думать, что неужели я забылъ эти фразы? И приходило на мысль, что дѣйствительно только во имя этихъ обыкновенныхъ словъ и стоитъ жить на свѣтѣ, только ихъ и надо сдѣлать цѣлью своей жизни... Глядя на Васю, съ каждой фразой все больше и больше одушевлявшася, невольно вѣрилось, что слова произносились имъ на одинъ только вершокъ отъ настоящаго дѣла во имя этихъ словъ, какъ-бы дѣло непрактично ни было... Кто воспиталъ въ немъ эту силу? Кто поселилъ въ его головѣ эти мысли?—думалъ я—и никакъ не могъ приписать этой чести своей педагогической дѣятельности.

— Отчего ты бросилъ школу? спросилъ я его, когда онъ немного затихъ.

— Тогда-то? Правду вамъ сказать?

— Пожалуйста!

— Скука! Такую скуку вы на меня тогда нагнали—страсть.

Меня нѣсколько покорило отъ этого опредѣленія моихъ усилій на пользу меньшему брату.

— Я вѣдь страсть какой характерный: я—въ дѣла! у меня дѣлъ тоже былъ желѣзо! Что мнѣ не во душѣ, ужъ меня ни за тысячу рублей не заставишь сдѣлать. Вы знаете, отчего я къ вамъ въ школу поступилъ? Вы думаете, это я просвѣщенія вашего желалъ, чтобъ это мужикъ меня не обчитывалъ тамъ?.. И... совсѣмъ нѣтъ!..

— Зачѣмъ же?

— А вотъ зачѣмъ. Былъ у насъ въ селѣ одинъ воръ—Егорка. Какъ началась весна, только было и слышишь—тамъ пропажа, тамъ пропажа, и все—Егорка. Дебоширничаетъ онъ тамъ цѣлое лѣто; а зимой, глядишь, идетъ просить прощенія у мужиковъ... И такъ умясляетъ, что подержутъ его въ тюрьмѣ, въ холодной, недѣлю и выпустятъ, и глядишь—этотъ самый Егорка ужъ живетъ у какого-нибудь крестьянина, иной разъ у такого, у котораго прошлымъ лѣтомъ по его милости овчины пропали, или хомуты... Вся сила Егорки была въ томъ, что мастеръ былъ говорить. Вы знаете наши

зимніе крестьянскіе вечера? На дворѣ—вьюга, въ избѣ—скука, тараканы, дымъ отъ свѣтца... Всѣ молчатъ. Кто-нибудь охаетъ на печи... Вотъ тутъ Егорка былъ дорогой гость... Придетъ и начнетъ рассказывать сказку или какую-нибудь исторію—и такъ рассказываетъ, что мы всѣ замремъ, даже задохнемся отъ страха, такъ отлично рассказывалъ... Вотъ мнѣ и захотѣлось читать книги—я думалъ, тамъ такія исторіи есть, такія чудеса! Изъ-за сказокъ-то изъ-за этихъ я и поступилъ къ вамъ въ школу.

— А отчего ушелъ-то?

— Выучилъ азбуку—и никакого любопытства мнѣ въ школѣ не осталось... Какъ выучился я азбукѣ, вымолилъ у отца поштину, накопилъ въ городѣ книгъ, сталъ читать—только ничего любопытнаго не нашелъ. Егорка напимѣръ лучше рассказывалъ. Опять стало мнѣ скучно... Не то, думаю, въ монахи мнѣ идти, не то съ Егоровой уѣхать, а дома мнѣ никакъ нельзя было оставаться, потому ужъ въ головѣ у меня разныя мысли стояли... а дома что?.. Чѣмъ свѣтъ подымешься, пойдешь съ отцомъ въ лѣсъ дрова рубить. Зябнемъ цѣлый день, привеземъ къ ночи возъ полѣньевъ—остается только поѣсть да спать, а на утро опять цѣлый день либо колъ какой въ плетень вколачиваешь, или снѣгъ отъ избы тоже цѣлый день отгребаешь... А вбилъ колъ, или отгребъ снѣгъ—опять только поѣшь да спишь съ усталости. Что-жъ это за жизнь? Я—человѣкъ, отъ этого меня и мучило: не то—въ зтворники, не то—въ разбойники.

Вася улыбнулся и съ легкимъ смѣшкомъ въ глазахъ проговорилъ, глядя на меня.

— А тутъ вы мнѣ и подсудобили вашимъ ученьемъ, ну, а и...

— Какъ подсудобилъ?

— То-есть совсѣмъ отшибли у меня охоту... Вы помните, когда я ушелъ-то отъ васъ? Я васъ бросаю передъ самой передъ Святой, и не даромъ...

— Почему же такъ?

— Вотъ я вамъ сейчасъ объясню... Мы, деревенскіе ребята, да и большіе ждали Свѣтлаго Воскресенья, какъ Богъ вѣсть какой радости... Бывало, за цѣлую недѣлю сердце отъ радости нынчаветъ. Въ ту пору къ тому же у меня, какъ я вамъ сказывалъ, было склоненіе къ монашеству, на пошнѣ—стало быть, о божественномъ я думалъ крѣпко... Вотъ въ такомъ-то расположеніи я пришелъ передъ Святой къ вамъ въ классъ—у васъ было все ко днямъ притрафлено, и приходилось такъ, что объ Христовомъ Воскресеніи вамъ надо рассказывать... Вотъ и думалъ я, что вы намъ, мальчишкамъ, все это подробно растолкуете—какъ Псалтъ, что Іуда, и все до нитки, а вы что-же?

Мнѣ ужасно захотѣлось узнать, какъ именно я, думавшій благодѣтельствовать меньшимъ братіямъ, угадалъ тогда желанія, съ которыми они ко мнѣ пришли, и какъ я сумѣлъ ихъ удовлетворить.

— Ну, что я?

— А вы замѣсто того свернули дѣло въ три слова—вѣдь у васъ все было скоро, словно боялись, что насъ въ солдаты не поспѣютъ отдать (Вася

улыбнулся), вотъ вы и обернули всю исторію въ одну минуту. Іуда предалъ, Пилать моль распялъ, а черезъ три дня воскресъ, да потомъ сразу: гдѣ подлежащія, гдѣ глаголъ? Подчеркии собственныя имена... Подлежащія, запятая—а радости никакой мнѣ не вышло... Тутъ я на васъ страсть какъ сердитъ былъ и пересталъ ходить... На грѣхъ началась весна, и Егорка собрался изъ деревни вонъ, на свои походы... Скрывался онъ отъ насъ каждую весну потихоньку, потому что къ веснѣ мужики всегда собирались его опять засадить, чтобъ онъ дѣломъ не пакостилъ имъ... Какъ отбило меня отъ школы, да дома опять эта непроглядная-нужда отшибала—сбилъ меня Егорка, ушелъ я съ нимъ.

— Что же ты дѣлалъ?

— Какъ что? Что по моимъ мыслямъ выходило, то и дѣлалъ. Сначала Егорка говоритъ: «Пойдемъ въ Бривухино, надо наказать цѣловальника». И разсказалъ мнѣ, за что его надо наказать. Цѣловальникъ былъ дѣйствительно человѣкъ самый бесовѣстный, съ мужиковъ снималъ послѣднюю рубаху... Какъ все это онъ разсказалъ мнѣ—то вышло по моимъ мыслямъ, будто наказаніе цѣловальнику дать надо. Пошли мы и дали наказаніе.

— Какое же?

— Сожгли ригу.

— Неужели, стояло у меня въ головѣ, эта наука вора Егорки сдѣлала его тѣмъ, чѣмъ онъ есть?»

Вася продолжалъ:

— Ну, отъ цѣловальника пошли въ другое мѣсто, къ мужику. Тамъ овчины выкрали всѣ до чиста, потому что и этому мужику, по егоринимъ рѣчамъ, тоже нужно было сдѣлать внушеніе... Егорка на него былъ сердитъ еще съ прошлаго года, когда этотъ мужикъ избилъ его не на животъ, а на смерть... Ну, такъ и пошло. Все по правиламъ поступали... Мы тутъ дѣла много надѣлали, и я полагаю тогда, что это хорошо; а если бы не это—я бы давно отсталъ.

— Ну, а потомъ?

— А потомъ конечно дострапались до тюрьмы... Тутъ мнѣ тоже было довольно интересно.

— Въ тюрьмѣ-то?

— Да-а-а-съ! Мнѣ тутъ было очень любопытно!

И къ моему удивленію, Вася разсказалъ мнѣ великое множество самыхъ непривлекательныхъ острожныхъ продѣлокъ, нисколько повидимому не обѣщавшихъ въ будущемъ такого бойца противъ неправды, какимъ былъ онъ въ данную минуту. Слушая разсказъ про его бродячую и острожную жизнь и не выикая въ состояніе его совѣсти, можно было бы напроорочить ему и ссылку, и каторгу; но природная настойчивость, дѣлавшая невозможнымъ поступать противъ убѣжденія и выражаясь въ его разсказѣ постоянными вставками фразъ вроде: «тутъ мнѣ показалося», «и вотъ я сталъ», «захотѣлось мнѣ» и т. д. — придавала всѣмъ васинимъ злодѣйствамъ совершенно иной характеръ. Въ этой тюрьмѣ, въ этихъ темныхъ дѣлахъ онъ какъ бы укрывался только отъ насилій надъ его совѣстью и съ такой настойчивостью не измѣнялъ ей, что послѣ его разсказа можно было

жалѣть объ общемъ строѣ жизни, въ которой надо искать темныхъ угловъ для того, чтобы не быть изуродованнымъ нравственно,—но сомнѣваться въ искренности того, во что теперь Вася вѣрилъ, не было никакой возможности...

Какъ же случился этотъ переворотъ?

По выходѣ изъ острога Вася встрѣтилъ человѣка, который сужилъ заставить вѣрить его въ нины вещи, въ нины мысли... Вася убѣдился, что Акимъ Петровичъ говорить вѣрно—и выработанная въ темныхъ закоулкахъ русской жизни сила убѣжденія вся обратилась на осуществленіе его новыхъ вѣрованій. По крайней мѣрѣ, когда, раставаясь, онъ снова повторилъ, что готовъ отдать душу за обиженнаго человѣка, и энергически прибавилъ:

— И отдамъ! Это вѣрно! я видѣлъ, что это дѣйствительно вѣрно и что жизнь свою онъ отдастъ.

И стало мнѣ, послѣ разлуки съ Васей, который скоро вышелъ на одной изъ пристаней, чтобъ отправиться къ Акимъ Петровичу,—стало мнѣ очень скучно и вмѣстѣ завидно этому мальчику. Кто изъ насъ, поставленный въ счастливое положеніе не бродить по такимъ закоулкамъ, какъ Вася, могъ разсчитывать на свободу въ развитіи своей мысли?.. Вася убѣждалъ изъ школы, а насъ бы воротили и посадили опять и подконецъ «переломили» эту мысль. А сколько потомъ, послѣ сломаннаго дѣтства, послѣ ломающей душу школы—сколько потомъ идетъ этихъ переломовъ при выборѣ дѣла, труда? Сколько тысячъ разъ приходится покоряться постороннимъ дѣламъ, являющимся внезапно, и т. д.?

Раздумавшись объ этомъ предметѣ, я хоть и не чувствовалъ себя очарованнымъ острожнымъ способомъ развитія характеровъ, но благоговѣніе мое къ заботамъ вышеупомянутаго помпадура разсѣялось какъ дымъ.

IX. СЪ КОНКИ НА КОНКУ.

I.

...У Іоанна Предтечи, на Лиговкѣ—храмовой праздникъ.

Это праздникъ преимущественно чернорабочаго народа, праздникъ мелкаго торговца, словомъ—праздникъ людей «сѣрыхъ», работающихъ; вся Лиговка—длинная въ нѣсколько верстъ улица—какъ извѣстно, населена именно этимъ сѣрымъ рабочимъ народомъ; здѣсь квартиры и дворы легковыхъ и троечныхъ извозчиковъ, сѣнные склады, постоянные дворы для прѣзжихъ подгороднихъ крестьянъ, масса кабаковъ, портерныхъ, закусовыхъ, състныхъ и т. д. Какъ бы дополненіемъ, продолженіемъ Лиговки служатъ съ одной стороны Обводный каналъ, пересѣкающій ее почти въ концѣ (если идти отъ вокзала Николаевской дороги) и на всемъ своемъ громадномъ протяженіи густо обстроенный

всевозможными фабриками и заводами и населенный тысячами чернорабочего народа, съ другой—та же рабочая окраина Петербурга, центром которой можно считать Лиговку,—продолжается за Николаевский вокзалъ по тому же Обводному каналу, шлиссельбургской дорогѣ, далеко по Невѣ за село Рыбацкое... На всемъ этомъ пространствѣ не одного десятеа верстѣ, когда-то раздѣлявшемся на слободы, села съ проходами, а въ настоящее время слившимся въ одну сплошную линію заводовъ и рабочихъ помѣщеній, между рабочимъ народомъ образовалась какая-то связь, одинаковость интересовъ, работъ и заботъ... Конно-железныя дороги, соединяющія село Рыбацкое—дальній пунктъ Шлиссельбургской дороги, съ Нарвской заставой—дальній пунктъ Нарвскаго тракта, еще болѣе развили потребность общенія, вытекающую изъ одинаковости условій стотысячной массы народа, расселившейся по петербургской окраинѣ. Неудивительно поэтому, что храмовые праздники, празднуемые приходами разныхъ церквей, расположенныхъ на этой рабочей дорогѣ, дѣлаются мало-по-малу праздниками какъ бы общими для всей многотысячной рабочей колоніи... Изъ-подъ села Рыбацкаго ѣдутъ праздновать къ Нарвской заставѣ, на Митрофаніевское кладбище; изъ-подъ Нарвской заставы, пересаживаясь съ конки на конку, добираются въ гости въ село Рыбацкое, въ Смоленское, Александровское. Конно-железныя дороги очень много содѣйствуютъ удобствамъ передвиженія на такихъ дальнихъ разстояніяхъ. Церковь Ивана Предтечи, находясь почти посреди длинной линіи, идущей по рабочей окраинѣ Петербурга, привлекаетъ особенно много любителей погулять. Въ описываемый мною день вагоны конно-железныхъ дорогъ, усиленные количествомъ, ежеминутно подвозили «къ празднику» съ отдаленнѣйшихъ окраинъ массы рабочаго народа; еще большія массы шли пѣшкомъ, напирая все въ одну точку, къ Новому мосту—что у самаго храма; часамъ къ двумъ всѣ переулки, всѣ улицы, прилегающія къ Лиговкѣ и Обводному каналу, всѣ кабаки, всѣ харчевни—все было переполнено народомъ; берега Обводнаго канала, обыкновенно весьма неприглядные, кое-гдѣ только покрытые тощей, ободранной растительностью, вытоптанной столичными бурлаками, обыкновенно бичевою передвигающимися по каналу небольшія суда съ разными, преимущественно строительными матеріалами, — эти пустынные берега по случаю праздника были буквально завалены народомъ; тутъ и сидѣли, и лежали, и спали, и «валялись» въ той случайной позѣ, въ которой свалилъ подгуляващаго человѣка хмель. Немало «валялось» въ такихъ «невольныхъ» позахъ и женщинъ, и даже малыхъ ребятъ изъ мастеровыхъ лѣтъ по тринадцати; много было и такихъ, которые сидѣли «тихо-благородно», одѣвшись въ новые ситцевые сарафаны и рубашки и скромно пощелкивая подсолнухи, но много было и крика, и говора, и шума; вагоны съ трудомъ пробирались въ этой сплошной толпѣ, наполовину отуманенной виномъ,—въ этой толпѣ обнимавшихся, шатавшихся, падав-

шихъ и прямо заливавшихся лошадямъ подъ ноги... Неумолкаемый звонокъ кондуктора едва былъ слышенъ въ морѣ всевозможныхъ звуковъ, криковъ, пѣсенъ, брани... Брань въ особенности энергическая, а главное почти непрерывная шла между кондукторами вагоновъ и публикой... Спорили и ругались изъ-за сдачи, изъ-за мѣста. Поминутно изъ всѣхъ силъ, до хрипоты, кондуктора вопили: «ѣдь русскимъ языкомъ говорить: нѣтъ мѣстовъ! Куда лѣзешь, говорятъ: мѣстовъ нѣтъ! Тебѣ говорить: не позволено стоять! Вотъ позову городского... Что это такое?» и т. д. безъ конца.

Именно вотъ въ такой-то шумной, тѣсной, криливой компаніи мнѣ пришлось ѣхать на верхушкѣ конки, подвозившей рабочую публику отъ Нарвской заставы къ Иоанну Предтечѣ, праздникъ. Ѣхалъ я не вслѣдствіе какой-либо необходимости, а единственно вслѣдствіе желанія какъ-нибудь искусственно утомить себя, и з м а я т ь,—желаніе весьма странное, подумаетъ читатель. Желаніе точно странное; но кто изъ провинціаловъ, заброшенныхъ на долгіе годы въ столицу, не переживалъ по временамъ минутъ необычайной тоски—и не собственно по родинѣ, а по чему-то уже почти позабытому, что столичная жизнь уже вышла, но что въ другъ становилась ужасно жаль, такъ жаль, что не знаешь, куда дѣться. Въ такія минуты, это почти забытое, это спрятанное въ самый темный уголокъ души, это ненужное въ столичной суетѣ, бѣготнѣ, хлопотахъ вдругъ выйдеть изъ своего темнаго угла, заропщетъ и застыдитъ тебя... Особливо въ послѣдніе годы: крокъ полузабытаго прошлаго, и настоящее ежедневное снѣдало петербуржца (да и не однихъ петербуржцевъ) ужасающею тоскою. Бывали минуты смертубійственнаго холода, которымъ дышала жизнь, и въ такія минуты тоска доходила до полнаго отчаянія. Вотъ въ такія-то минуты необходимо было предпринять что либо механическое, чтобы согрѣться, оттаять, очувствоваться, чтобы «забыться и заснуть», заснуть въ буквальный смыслъ, т. е. умять себя и свои нервы такъ, чтобы нельзя было не заснуть... Въ одну изъ подобныхъ минутъ я сѣлъ на верхушку конки, хорошо не помню гдѣ, и дѣхалъ по линіи до конца, а тамъ пересѣлъ на явную и поѣхалъ дальше... Толпа, чужіе люди, чужіе рѣчи, толкотня, физическая усталость—все это было хорошо, какъ искусственное размыкваніе тоски...

II.

Очень, очень долго я не только покорно, а даже совсѣмъ нечувствительно относился къ толкамъ и пинкамъ, которыми награждали меня сосѣди по верхушкѣ конки, устремляшіеся къ празднику. Долго я ощущалъ только одно—что меня качаетъ спереди назадъ и что я поминутно стучаюсь спиной о спинку сидѣнія. Нѣкоторое время я совершенно спокойно смотрѣлъ на полу моего пальто, прожженную папирсой какого-то сосѣда, и, какъ кажется, полагалъ, что моя обязанность по отношенію къ прожженной дырѣ заключается только въ томъ, чтобы съ почтеніемъ взирать на нее и всячески не

препятствовать ей постоянно увеличивавшимся размахам. Некоторая способность думать, чувствовать и слышать стала возвращаться ко мнѣ по мѣрѣ физическаго утомленія. Въ смыслѣ этого перехода отъ смерти къ жизни, немало помогъ одинъ мастеровой, несказанно разскѣшавшій всю компанію, помѣщавшуюся на верхушкѣ конки.

Поднялся онъ на верхушку вагона съ величайшими усиліями, точно больной, — такъ качалъ его хмель; но, поднявшись, вдругъ обнаружилъ крайне буйный нравъ и моментально поднялъ цѣлую бурю такъ-сказать коллективной брани.

— Гдѣ моя сумка? загремѣлъ онъ, обращаясь неизвестно къ кому, но такимъ требовательнымъ тономъ, что публика и кондукторъ, всѣ вмѣстѣ, грянули ему въ отвѣтъ:

— Пошелъ вонъ! Пьяная морда! Кто за твоей сумкой приставленъ смотрѣть? Вонъ съ вагона!.. Ишь, каланча какая выставилась!..

— Подавай! вопилъ мастеровой подъ градомъ ругательствъ и вопилъ такъ, что очевидно хотѣлъ всѣхъ покрыть и явно не намѣренъ былъ сдаваться. — Ты зачѣмъ приставленъ? Ты — кондукторъ? Ты — подавай!

— Я вотъ тебя въ часть, пьянаго, шельму!

— Подавай сумку!..

— Потребовать городского! Докуда это будетъ?

— Ты зачѣмъ приставленъ?

— Пошелъ вонъ!

— Гдѣ моя сумка? Подавай мнѣ! Ты зачѣмъ приставленъ? Отвѣчай!..

Вдругъ я почувствовалъ, что около меня лежить что-то твердое. Оглянувшись, я увидѣлъ сумку.

— Эта что-ль сумка? спросилъ я.

— Во-о-о!.. Она, она!..

Сумка перешла въ руки мастерового, причежь онъ разглядывалъ и твердилъ: «вотъ, вотъ», «она!.. самая это и есть...»

— Ну, пошелъ вонъ отсюда! Не позволятся стоять! Говорятъ тебѣ — пошелъ!

— Не ори? Чего орешь? Что ты орешь, песъ ты этакой, грызлся мастеровой на кондуктора. — Долженъ я барины-то поблагодарить?

— Пошелъ долой съ кареты!

— Ахъ вы... мужичье! гаркнулъ мастеровой. — И никто изъ васъ, мужичье вы дубовое, никто моей сумки не поберегъ... А вотъ баринъ, дай Богъ ему здоровья, обратилъ свое полное вниманіе...

— Уйдешь ты отсюда или нѣтъ? Вѣдь я городского позову?.. Пошелъ, говорятъ тебѣ!..

— Мужичье! пуще прежняго оралъ мастеровой, подаваясь къ лѣстницѣ, благодаря усиленному напору кондуктора. Вамъ вниманія этого нѣтъ... чтобы чужую вещь... свиньи! А баринъ обращалъ свой взоръ на мою сумку! Пьяныя вы морды!

Ораторъ, не удерживаясь на ногахъ, почти «загремѣлъ» внизъ по ступенькамъ крутой лѣстницы.

— Д-да! заговорилъ какой-то тоже слегка пьяненькій фабричный въ синей чуйкѣ и картузѣ, — да, вѣрно!.. Вѣрно ты сказалъ... мужичье

есть вполне дурачье... Вотъ я — мужикъ; стало-быть, я — дуракъ. Да?.. Господа? правильно я говорю?..

— Дуракъ! сказалъ кто-то.

— Вотъ! Вотъ это самое!.. Вотъ солдатъ — онъ есть умникъ. Онъ меня, положимъ что, пихнулъ на-примѣръ въ бокъ, въ ребро. Но я молчу, потому-что я есть мужикъ и дуракъ, а солдатъ — умный человѣкъ. Вѣдь такъ? господа? Ка-н-нешно, вполне вѣрно! И это онъ правильно сказалъ... Я — мужикъ, я — дуракъ. Лежитъ чужая сумка — дуракъ, а вниманія не обратилъ; баринъ, коль скоро онъ образованъ, то сейчасъ и обратилъ взоръ на чужую сумку!

Взрывъ хохота разразился на верхушкѣ конки.

— Какъ чужая вещь — продолжалъ тѣмъ же якобы совершенно кроткимъ тономъ фабричный — какъ вещь чужая, такъ баринъ ужъ тутъ! «А, говорить, надо обратитъ свой взоръ, потому вещь чужая!..» А мужикъ? Мужикъ глупъ! Вотъ положи тысячу рублей — я и не взгляну!.. Но ежели хотя гривенникъ увидитъ образованный человѣкъ, то въ ту же самую минуту обращаетъ вниманіе... А мы? Мы животныя!.. Дубье!.. Мнѣ покойникъ-баринъ махонькому говорилъ: «Мишка, придешь въ возрастъ, то я произведу тебя въ лакеи къ моему сыну!» Въ лак-кеи! Вѣдь это что? Вѣдь это награда! На-г-ра-да вѣдь въ лакеи-то! А я заплакалъ, убогъ! Потому дуракъ. Явно! Ежели бъ я былъ уменъ, такъ вѣдь я обрадоваться долженъ, что меня, дурака, награждаютъ въ такую должность... Лакей! Куда же дураку-мужику сравниться! А я убогъ, потому что дуракъ! Вѣдь баринъ обращаетъ на меня вниманіе, счастья мнѣ желаетъ, говоритъ: «Мишка! Я тебѣ желаю счастье сдѣлать и произведу тебя по этому случаю въ лакеи, на-примѣръ въ холопы!» А я, дуракъ, не понимаю... Вѣдь дуракъ я, господа? да? Само собой, я глупъ вполне! «Въ лак-кеи тебя награждаю!» А я, дуракъ, — убогъ!.. Ахъ, животное!.. Бить! одно, одно и есть средство! Бить надо всячески! Обломать, чтобъ сучья-то всѣ эти съ мужика сшибить — вотъ тогда онъ и пойметъ, образуется... Би-ить!.. Самое пер-вое лекарство! Натуральное — минеральное! А то, помните? вѣдь животное? Да, господа? Ну, конечно!..

Непрерывный, хотя и сдерживаемый изъ опасенія проронить хоть одно ядовитое слово, хохотъ продолжался во все время этого монолога, который прервался только потому, что мы подѣхали къ мосту царскосельской ж. д., гдѣ должны были пересаживаться въ другой вагонъ.

III.

Громадной массой столпились мы, публика, предъ дорожной заставой, опущенной по случаю прохода поѣзда изъ Царскаго Села, и потомъ, когда заставу отворили, бурнымъ потокомъ хлынули къ вагонамъ конно-железной дороги. Ораторъ, смѣшившій публику, исчезъ въ этой тѣснотѣ и давѣ, и я, съ величайшими усиліями пробравшись на

верхушку новаго вагона, очутился въ совершенно новомъ обществѣ. Рядомъ со мной усѣлись два мастеровыхъ: одинъ—дюжій чернобородый мужикъ въ синей чуйкѣ тонкаго сукна, плотный, коренастый и красивый, другой—длинный, какъ веха, бѣлокурый и ужасно вялый отъ выпивки. Пахло виномъ и отъ перваго, дюжаго мужика, но онъ брѣшился, покрывавалъ съ достоинствомъ и вообще старался, чтобъ хмель не былъ замѣтенъ въ немъ. Едва они усѣлись, какъ дюжій мужикъ всталъ съ мѣста и, держась за желѣзные перила верхушки вагона, крикнулъ въ толпу:

— Полѣзай сюда! Мишка! вотъ онъ я гдѣ! Лѣзъ сюда!

— Мишка! плохо владея языкомъ, но стараясь крикнуть какъ можно громче, гаркнулъ бѣлокурый товарищъ дюжаго мужика и тоже всталъ и, держась за перила, смотрѣлъ внизъ...—Полѣзай, пострѣль тебя слопай!..

Къ кому они обращались—я не видалъ; но вслѣдъ за воззваніемъ къ Мишкѣ, оба они, сначала дюжій мужикъ, а за нимъ бѣлобрысый, подошли къ лѣстницѣ, ведущей на верхушку и, обращаясь къ невидимому для меня Мишкѣ, который былъ внизу, начали произносить ужасно грозныя рѣчи. Сначала заговорилъ дюжій мужикъ; онъ насупилъ брови и, потрясая сжатымъ кулакомъ, говорилъ невидимому Мишкѣ:

— Полѣзай! ну только ежели ты, шельма, опять начнешь свою музыку—помни!.. Я тебя, передъ Богомъ говорю честью, расшибу съ маху съ одного. Полѣзай что-ль, чего сталъ? Я тебѣ говорю одно: будешь помнить! Ты мнѣ съ самаго утра зудишь, единого шагу спокойствія отъ тебя нѣту—я тебя произведу за это за самое... Чего сталъ? Полѣзай, ну помни!

— Пом-мни! присовокупилъ бѣлобрысый, шатаясь и еле, вращая языкомъ, но довольно энергично потрясая кулакомъ: Одно слово—убью! Безъ разговору! Коротко и ясно!.. Тресну—и аминь, со сватыми упокой!.. Ты что не покоряешься?.. Ахъ ты!.. ты какъ можешь препят-ствовать? Мм... лгать! Нипикни!.. Убью въ полномъ видѣ!.. Пшолъ сюда!..

— Полѣзай, чего сталъ? заговорилъ дюжій покойнѣй. —Долго что-ль съ тобой возжаться-то? Ну только по-м-мни!..

— Пом-мни!.. Помни свой послѣдній вздохъ... какъ пикнулъ, тутъ тебѣ и окончаніе!

— Ну-ну! еще потише заговорилъ дюжій мужикъ и помогъ подняться на верхушку маленькому лѣтъ одиннадцати, худенькому черномазенькому мальчику.

Мальчикъ былъ чистенькій, въ длинно-поломъ сюртучкѣ, новомъ картузикѣ, но робокъ и пугливъ былъ ужасно. Онъ испуганно озирался, очутившись на такой высотѣ, цѣпко хваталъ за руку дюжаго мужика, за перила и даже присѣдалъ, боясь ступить; конка тронулась, вагонъ покачнулся, и мальчикъ поблѣднѣлъ, какъ полотно.

— А а-а! сказалъ злорадно долговязый—башись, пострѣль этакой! А какъ препятствовать старшимъ, такъ этого не боишься? Погоди вотъ!..

Видишь вотъ каналъ-то... я тебя, вотъ передъ Богомъ, возьму за ноги да и громыхну туда!..

— Ну, будетъ тебѣ, балалайка! Чего ужъ по пусту-то пугаешь? съ легкимъ укоромъ перебилъ его дюжій сосѣдъ, почти насильно сажая Мишку, не хотѣвшаго выпустить изъ рукъ желѣзныхъ перилъ, къ себѣ на коѣно.—Ужъ чего по пусту-то? Вѣдь такъ пугать по-пусту не годится... А вотъ ежели музыку свою заведешь—ну, тогда разговоръ у насъ будетъ особенный... Въ томъ случаѣ, ежели ты т-только хоща бы даже... ужъ я тогда—поступлю!..

— Ужъ тогда, братецъ ты мой, дополнилъ долговязый, поступокъ будетъ за первый долгъ... Прямо въ каналъ! Да чего же?.. Въ кан-налъ! Тутъ одной глубины сто сажень, такъ это тебя вполне сократитъ!..

— Въ каналъ не въ каналъ, а... ужъ поступлю!..

Мальчикъ цѣпко держался за перилы, и едва ли что-нибудь слышалъ изъ этихъ разговоровъ, потому что видимо былъ подъ страхомъ упасть съ конки. Долго мои сосѣди читали ему нотацию, грозили ему чѣмъ-то, и я никакъ не могъ понять, чѣмъ бы этотъ крошечный, тщедушный мальчикъ могъ вредить такимъ большимъ людямъ? Наконецъ, бѣлокурый мастеровой, сидѣвшій со мной рядомъ, потянувшись ко мнѣ съ папирсой, улыбнулся пьяно-доброму улыбкой и сказалъ негромко:

— Пужаемъ пострѣленка!..

— За что же?

— Способовъ нѣту, вотъ за это! Чистая змѣиная порода—весь въ мать!.. То есть выплата шельма! Она мнѣ родная сестра, мать-то его—я говорю прямо—я этого не боюсь... Хорошая баба, нечего говорить, и вотъ онъ, мужъ-отъ, тоже скажетъ, а ужъ змѣя! ужъ что не говори, а цѣпкая баба! Ужъ такъ цѣпка—на рѣдкость, и мальчонка-то весь въ нее... Уцѣпится, нѣтъ возможныхъ способовъ никакихъ! Что матея скажетъ—такъ, кажется, клещами изъ пострѣленка не выдерешь! Теперича вотъ возьмите въ понатіе: у людей нонѣ праздники, пре-столя! вѣдь это надо понимать! Свиныя она этакая! Вѣдь должныя человѣкъ погулять, вѣдь и нашему брату надо разогнуться! Какъ вы полагаете?

— Она этого не понимаетъ, заговорилъ мужъ цѣпкой бабы и отецъ Мишки, очень ясно слышавшій (какъ и Мишка) разговоръ своего товарища, который со втораго слова пересталъ шептать и говорилъ громко.—Она этого не понимаетъ... что значить молоткомъ-то зудить десять лѣтъ... Ей-бы только—мужъ «не пропижь» денегъ!.. Ты должна же, дубина, понимать, пьяница или нѣтъ мужъ-то? Я пью въ препорцію, мнѣ надоть вздохнуть... Что-жъ я не кормлю что-ль васъ?.. Кажется, у меня есть своя голова на плечахъ—такъ мало! Бараульщика приставила!

— Изволите видѣть, сказалъ бѣлокурый, —при-ставивается къ намъ караульщика!.. Ну, несволочь ли, позвольте васъ спросить, будете такъ добры? Назудила мальчишку—«препятствуй!» Рюмки нельзя

выпить, чтобъ безъ прекословія... Чуть взялся за стаканъ—реветъ! Слезами рыдаетъ, всю душу повреждаетъ человѣку! Вы глядите на него — вѣдь молчать, не пикнетъ, а мысль у него только-бы намъ во вредъ!.. Какъ чуть подошелъ къ кабаку, даже къ портерной, къ примрѣ—воемъ завоетъ!.. Съ утра мучаетъ насъ вотъ съ Петромъ, отъязы никакой нѣтъ! Бросить его—вѣдь жалко мошеника! Вѣдь его раздавить какъ муху въ народѣ-то... А съ нимъ—бѣда!.. Измучилъ, чисто измучилъ! Какое же тутъ можетъ быть удовольствіе—воетъ да кланяться, да за руки, да за ноги цѣпляется?

Дюжій мужикъ сидѣлъ все время молча, угрюмо, и вдругъ грознымъ голосомъ заговорилъ:

— Я тебѣ въ послѣдній разъ говорю—не смѣй мнѣ надоѣдать! Я тебѣ — отецъ; я могу посвойски тоже, братъ, смотри! я васъ всѣхъ кормлю, я знаю, что дѣлаю! Ежели ты мнѣ посмѣешь, такъ я тебѣ покажу, что я такое? Какъ ты смѣешь, когда тебѣ русскимъ языкомъ говорить: «отстань»! Ахъ, ты дубина этакая! Больше я съ тобой разговаривать не буду, а чуть что—пошелъ вонъ, убирайся отъ меня! вотъ что!

— Прямо гнать его прочь! прибавилъ бѣлокурый:—что это такое? На что похоже? Что за надзиратель за такой! Пошелъ вонъ — вотъ и все! Пускай раздавить вагономъ, коли не хочешь слушать, что старшіе говорятъ. Вотъ еще какая свинья!.. Мы тоже на своемъ вѣку жили; кажется, знаемъ побольше твоего... Ты что за указчикъ? Ахъ, ты... Съ тобой говорятъ честию, а ты все свое задалилъ? Ну, братъ,—гляди въ оба!..

— Слышишь, что тебѣ говорятъ? трахнулъ Мишку за плечо, сказалъ дюжій мужикъ. — Ну, такъ помни! Я безъ тебя знаю свое дѣло! Я тридцать лѣтъ служу хозяевамъ, ты мнѣ не смѣй!..

Мальчикъ ни слова не отвѣтилъ.

— Ну, выльзай! сказалъ дюжій мужикъ бѣлокурому, когда мы подъѣхали къ мосту на Лиговкѣ, Пора слѣзать!

Всѣ трое стали спускаться внизъ, и не прошло нѣсколькихъ секундъ, какъ передъ моими глазами разыгралась удивительная сцена. Я сидѣлъ на верхушкѣ конки, которая дождалась встрѣчной, видѣлъ, какъ изъ толпы выдѣлились фигуры моихъ сосѣдей, причемъ Мишка былъ между ними и держался руками и за отца, и за дядю... Они что-то говорили ему, говорили сердито, останавливаясь нарочно для разговора и увѣщаній. Я видѣлъ, какъ отъ Мишки рванулся бѣлокурый, потомъ какъ отецъ сталъ изъ его рукъ вырывать свою полу; но Мишка, этотъ молчаливый, худенькій мальчикъ, впился въ него, присѣлъ и громко закричалъ что-то...

— Брось! брось! Брось его, шельму, зывалъ бѣлокурый изъ дверей кабака. — Бросай его подъ карету!

Дюжій мужикъ почти волокомъ тащилъ мальчишку по направленію къ кабаку, оборачиваясь, бранясь, порываясь оторвать его...

Мишка выль, упирался. Вагонъ тронулся.

IV.

Явный гнѣвъ и видимая сильная степень раздраженія, которыхъ я не могъ не примѣтить какъ въ отцѣ Мишки, такъ и въ его бѣлобрысомъ дядѣ, во время послѣдней сцены, стали меня сильно беспокоить. Вагонъ двинулся въ сплошной толпѣ народа, поминутно останавливаясь и не переставая звонить, и мальчикъ не выходилъ у меня изъ головы.

— «Что, думалъ я, вѣдь въ самомъ дѣлѣ онъ можетъ такъ раздражить отца, желающаго гулять, и его компаньона, что они въ сердцахъ и въ горячности пожалуй сдѣлаютъ ему что-нибудь худое, въ чемъ и сами будутъ раскаиваться. Мальчикъ же очевидно пристасть къ нимъ безъ всякаго милосердія и снисхожденія... Дюжій мужикъ былъ очевидно не изъ пьяницъ, не изъ горькихъ запивоховъ, но мальчишка раздражалъ его съ утра, а онъ съ утра уже былъ выпивши, какъ явствовало изъ разсказа бѣлокураго, и притомъ, выпивалъ безъ пріятности, какъ видно было также изъ разсказа бѣлокураго. Въ такія минуты случайно, невольно можетъ выйти какая-нибудь потрясающая сцена».

Чѣмъ дальше я ѣхалъ, тѣмъ мнѣ становилось безпокойнѣе; доѣхавъ до Разъѣзжей, на что понадобилось не менѣе полчаса времени, я рѣшилъ перемѣнить вагонъ, пересѣсть на встрѣчный и доѣхать до того мѣста, гдѣ я покинулъ моихъ сосѣдей. Мнѣ казалось, что я даже долженъ это сдѣлать...

Прошло еще полчаса, пока я добрался до мѣста и вошелъ въ кабакъ. Не безъ страха переступилъ я порогъ и не безъ волненія замѣтилъ синюю чуйку дюжаго мужика. Бѣлокурый товарищъ его также былъ здѣсь; здѣсь былъ и мальчикъ... Къ удивленію моему, лицо его было совсѣмъ не то, какое было у него на верхушкѣ конки, онъ былъ покоенъ; вертѣлъ передъ собой картузъ и моталъ ногой...

— А! воскликнулъ бѣлокурый, узнавъ меня:—нашъ компан-ентъ!.. Усмирили язву сибирскую!.. Тише воды — ниже травы сталъ!.. Что, Мишка, обратился онъ къ мальчику, хороша наливка-то?

— Сладкая!

— А, пострѣленокъ! Покуда самъ не отвѣдалъ, покою не давалъ, а теперь сладкая!.. Ишь, животное!..

Да! мальчикъ тоже былъ подъ хмелькомъ, я ясно видѣлъ это. Увидѣлъ я также и то, что дюжій мужикъ плачетъ. Онъ и его товарищъ были значительно подъ хмелькомъ; путаясь въ словахъ, дюжій мужикъ стучалъ кулакомъ въ грудь и бормоталъ:

— Я... тыщи рублей не взялъ-бы... поить... ты мой родной!.. Меразвецъ этакой!.. Говорилъ: оставь! Знаю! все знаю! чувствую! Дов-вѣтъ! Принужденіе! Ну, пей, пей, пріучайся! Измучилъ ты меня! Чтوبъ только ты-то не мучился, я далъ... я тебя любя далъ... дозволилъ... Отецъ отвѣтитъ за это, предъ Богомъ отвѣтитъ!

— Ну, будетъ нюни-то распускать! перебилъ бѣлокурый. — Велика важность—наливка... Мишка! пондравилась наливка-то?.. а? Хочешь еще рюмочку?

я тебя поднесу! Только ты—гляди!.. Видишь, что ты съ отцомъ сдѣлалъ? Ввелъ его въ слезы... Хочешь?

— Давай!

— А будешь препятствовать?

— Нѣту!..

— А-а-а!.. безсовѣстный!.. Ну, надо дать, дѣлать нечего... Только гляди, чтобъ потомъ не пьянствовать! Боже тебя избави!..

Дужій мужикъ плакать и пить пиво.

Х. Норовилъ по совѣсти.

I.

Былъ тихій, свѣжій лѣтній вечеръ. Я вышелъ изъ дому, который нанималъ на лѣто въ деревнѣ, на улицу и сѣлъ на крыльцо, прямо на ступени. Легкая, влажная свѣжесть пріятно наполняла и освѣжала грудь. На небѣ и на землѣ было чисто, широко, просторно и вообще «хорошо», покойно. Хотѣлось «просто» сидѣть вотъ такъ, чуть-чуть не въ забытѣ, дышать, смотрѣть и наслаждаться тишиной и покоемъ минутой наступившаго вечера.

Какое-то странное, не-то слезливое, не-то злостное бормотанье прервало мое тихое наслажденіе. Мимо меня шелъ мужикъ въ одной бѣлой рубахѣ, сбодранныхъ холстинныхъ штанишекъ и босикомъ! Лысая голова его была обнажена. Шелъ онъ какъ-то странно, не-то очень торопился куда-то, не-то, вдругъ вспоминая что-то, останавливался и что-то бормоталъ... Скоро однако я разобралъ, что причина такой странной походки была очень проста: мужикъ былъ пьянъ, и кромѣ того, когда онъ пробѣжалъ мимо меня, я увидѣлъ, что онъ еще къ тому же и слабъ, и худъ и что не онъ управляетъ ногами, а онѣ несутъ его куда имъ угодно. Бормотанье его было не то пьяное, мужицкое галдѣнье съ ревомъ (необходимымъ впрочемъ для больной груди, желающей побольше вобрать воздуха) и гарканьемъ безъ всякаго другого содержанія кромѣ крѣпкихъ словъ — нѣтъ, это было что-то до послѣдней степени жалкое, дѣтски-бессильное; такимъ голосомъ жалуются дѣти, когда крѣпко оскорбятъ ихъ самолюбіе. Нѣчто бессильно-визгливое, неимѣющее возможности «какъ слѣдуетъ» разозлиться, слышалось въ тонѣ его бормотанья. А что такое онъ бормоталъ, увѣряю васъ, не понялъ бы ни единый человѣкъ. Только слово «Богъ», повторявшееся довольно часто и всегда сопровождавшееся поднятіемъ тощей, сухой руки къ небу, только это слово одно и было доступно уху посторонняго слушателя во всемъ, что выходило не-то изъ сжатыхъ губъ, не-то изъ беззубаго рта пьяненькаго мужика.

— Ишь! ишь! какъ его швыряетъ-то, появляясь съ лопатой и граблями на плечѣ, произнесъ нашъ дворникъ, приготавливавшійся собирать въ садикъ близъ дома скошенную утромъ траву.

— Э, какъ двинуло!

Бессильныя ноги мужика въ самомъ дѣлѣ несли его, куда имъ вздумается. Подъ горку онъ несся

мелкой рысцой, всѣмъ корпусомъ подаваясь впередъ и каждую минуту ожидая паденія именно головою впередъ. Но «богъ пьяныхъ» хранилъ его, и онъ вытѣлъ того чтобы сметѣть съ мостика въ грязную канаву, что ожидало его неминуемо, вдругъ заколесилъ такъ же проворно и такъ же еле держась на подгибавшихся колѣнкахъ, въ сторону, ударился бокомъ о загородъ изъ жердей и, перевернувшись къ нему животомъ, сталъ (очевидно также невольно) заносить ногу черезъ низенькую загородку. Та сила, которая его несла, куда ей было угодно, продолжала и тутъ, при переживаньи, дихорадочно торопить его и въ одно мгновеніе, прежде чѣмъ онъ перенесъ черезъ плетень колѣно, перебросила его на другую сторону.

— Н-на! произнесъ Петръ (такъ звали нашего дворника):—шмякнуло!..

Старика шмякнуло навзничь, и онъ со своею бѣлой рубашкой совсѣмъ скрылся въ травѣ, только рука поднялась, и опять послышалось что-то вроде «Богъ»—и совсѣмъ исчезла маленькая, маленькая фигура старикашки.

— Не ушибся ли онъ?

— Гдѣ тамъ ушибиться! Тамъ трава... Обстрекаться—обстрекается... Прямо въ крапиву угодилъ... И медленными шагами Петръ отправился къ загородкѣ, чтобы посмотреть, не ушибся ли человѣкъ въ самомъ дѣлѣ.

— Ну, лежи, лежи!.. лежи смирно! покойно и основательно произносилъ Петръ, глядя черезъ плетень въ крапиву.

— Богъ... создатель! О-о-о-нъ отецъ нашъ! слезливо дребезжало что-то изъ-за плетня и опять что-то забѣгло.

— Лежи, лежи! ну, ладно, отдышись, очнись... Чего? Потому что пьянствовать не надо!.. Да! слышались нравоученія Петра: — потому что пьешь! Ну, я ужъ братъ не разберу твоихъ разговоровъ... лежи!..

И Петръ также медленно пошелъ назадъ, а за плетнемъ опять не стало ничего видно кромѣ травы—такъ тщедушенъ былъ старичокъ.

— Ничаво!.. проспится... Очнется! Брякнулся словно на перину и встать не хочется... люблю лежать-то, прохладно... ха, ха!..

— Это вашъ, мочалинскій?

— Нашъ, какъ же.

Петръ пошелъ въ садъ, отгороженный прямо отъ крыльца, а оттуда, продолжая разговоръ, медленно приступилъ къ работѣ.

— А отчего? Потому что нѣтъ въ человѣкѣ ума. Доведись до меня, а-бъ это дѣло въ двѣ секунды кончилось... Взялъ бы вотъ топоръ и пошаманилъ сразу. И въ Сибири люди живутъ, по крайности ужъ до вѣтаго бы не допустили!..

Петръ былъ человѣкъ не старый, лѣтъ тридцати, холостой и энергическій. Онъ зналъ хорошо грамоту, думалъ попасть въ Петербургъ въ артельщики и теперь жилъ въ деревнѣ собственно для старухи матери, у которой онъ былъ одинъ сынъ. Къ осени онъ полагалъ, что мать должна помереть (ужъ къ Бузымъ Демьяну, безъ сомнѣнія), и тогда

онъ тотчасъ уйдетъ въ Петербургъ. Деревню онъ любилъ болѣе съ художественной стороны; дуга, рѣчка, рыбная ловля, зори утреннія и вечернія, грозы, лѣса съ птицами и ягодами—вотъ что было въ деревнѣ хорошо. Но народъ деревенскій ужъ не нравился ему, потому что онъ отвѣдалъ столичнаго житія, видалъ людей и пріучился разсуждать. «Безтолочъ», «непорядки», «розини» — вотъ какъ характеризовалъ онъ большую часть деревенскую нравственность и умъ и по своей суровости, даже иной разъ какой-то жестокости, полагалъ, что надъ всѣмъ этимъ «разгильдяйствомъ деревенскимъ» «мало страху», что тутъ нужна строгость, что безъ приказанія ничего путнаго не выйдетъ. Въ такомъ суровомъ взглядѣ на деревню не малую роль играло въ Петрѣ и довольно сильное чувство родства съ этой самой деревней,—чувство, какъ я не разъ могъ убѣдиться, оскорбленное тѣмъ безпомощно-глупымъ положеніемъ, которое, по мнѣнію Петра, эта деревня, эта его близкая родственница, переживала изо дня въ день и которое ей предстоитъ переживать повидимому несчетное число лѣтъ.

— Объ чемъ это ты говоришь? спросилъ я его.

— Да вотъ все объ этомъ же! сказалъ Петръ, стогная граблями въ кучу съ куртинъ высохшіе и пріятно шшущавшіе клочки сѣна: — все вотъ объ этомъ пьяненькомъ-то. Ну, что это, нечто хорошо (остановившись и почему-то поплевавъ сначала на руки, а потомъ положивъ ихъ на ручку грабель)? произнесъ онъ вопросительно: — Живутъ двое съ одною бабою! Ну, аккуратно ли это? Вѣдь это такъ надо сказать: и у господъ — и то въ рѣдкость, не токмо въ крестьянствѣ... Срамъ! Пьянствуютъ трое цѣлый Божій день, вотъ ужъ который годъ не могутъ расцѣпиться!.. Доведись до меня, такъ ужъ я-бъ не допустилъ такого безобразія... Прямо за топоръ: либо ее, либо его!

— Кого?

— Либо бабу, либо любовника. Какъ же иначе-то? На это закону нѣтъ... Хотя какой хошь законъ утверди, а покуда живы, канитель будетъ тянуться, ужъ это вѣрно. Тамъ Господь рассудитъ, такъ али нѣтъ? А что разводить этакую погань не приходится.

И опять, поплевавъ на руки, онъ быстро и далеко занесъ грабли и медленно потянулъ ихъ къ нарастающей кучѣ.

— А ежели-бы разойтись? Вѣдь тогда и безъ топора можно?

— Это какъ же такъ?

— А такъ просто — либо мужу съ ней разойтись и оставить ее съ...

— Съ любовникомъ?.. Это я-то, мужъ (хоть-бы я напимѣръ), такъ я и буду любоваться на нихъ?.. Ну ужъ этого нѣтъ! Есть такіе любители, чтобы ихнихъ женъ, ихній товаръ одобряли, ну, моего на это согласія нѣтъ! Жена живи съ мужемъ. Какъ любовникъ—такъ топоръ, и больше ничего, и весь разговоръ... А то какъ же? Разойдись! Какъ же мужъ-то? я-то?.. Да и какъ же это возможно, вѣдь чай мое доброе!

— Что это?

— Да жена!.. да чтобы я уступилъ? Даже исполнѣ смѣшно это! Все равно ежели примѣрно купилъ я себѣ домъ или что, и кому-нибудь онъ и понравился, такъ я и долженъ отдавать? Что-жъ я за полоумный такой?.. Мое, такъ мое и есть. Какъ отъ меня прочь—тумака далъ хорошаго—шабашъ. По крайности этого вотъ безобразія не будетъ (онъ указалъ по направленію плетня, гдѣ спалъ пьяненькій). По крайности самъ не будешь сердцемъ мучиться... Въ такомъ случаѣ (Петръ говорилъ медленно и отчетливо), то есть ежели жена напимѣръ... то надо давать тумака женѣ. Долбани ея любовника, жена будетъ тосковать, вспоминать, и я покоенъ не буду, а какъ жену прекратилъ, тогда ужъ опять одинъ я ужъ безъ надежды остаешься. Вотъ что!

Это очевидно былъ непоколебимый взглядъ Петра на жену (самъ онъ былъ холостой), на любовь и на измѣну. Онъ такъ опредѣленно и вѣско выражалъ свое мнѣніе, что я и не подумалъ спорить съ нимъ. Я только спросилъ:

— А старикъ-то этотъ какъ же? Почему такъ не распорядился?..

— Старикъ-то?

Петръ оставилъ грабли, подошелъ къ самой загородкѣ и, положивъ на нее локти, шопотомъ сказалъ:

— А потому старикъ не пошабанилъ съ нею, что больно ужъ святъ. Передъ Богомъ тебѣ говорю: совсѣмъ былъ спасенъ—угодникъ, одно слово; отъ ефтого рука и не поднялась у него! Вотъ и валется теперь... вишь вотъ!.. А Господь и разбойниковъ, и убивцевъ вѣдь милуетъ. Отмолилъ, отпостилъ-бы... А теперь что? Служилъ, служилъ Богу, да вдругъ дьяволу поклонился. Ужъ какой же тутъ расчетъ? Никакого нѣту расчету! Все и пошло невѣсть куда, хоть-бы и не угождать Богу-то... Вонъ теперь пьяный плачетъ, жалуется, все Бога поминаетъ. «Богъ», «Богъ» — то и дѣло; а Богъ-то теперь и вниманія ему не даетъ, потому что онъ такое? Свинья—больше ничего!

— А святъ быть?

— Боже мой, какъ святъ! То есть по всей формѣ угодникъ. Именно говорю. Вотъ пожалуйста мнѣ папирочку—я вамъ объясню...

II.

Петръ сидѣлъ рядомъ со мною на ступеняхъ лѣстницы, курилъ и разсказывалъ. Шапка у него была на затылкѣ: «такъ свободнѣй разсказывать-то»...

— «Ямщики они были значить въ старые годы... Въ старые-то годы московская дорога вѣдь какъ гудѣла... Не дорога, а война была—одно слово! Теперича проѣзжайте вы по старому шоссе—весь путь на сотни верстъ почти сплошь застроенъ; села, города, все къ дорогѣ жались, все на версты вытягивались... Теперь только пустыне дома, да лавки, да постоялые дворы стоятъ; чѣмъ народъ живетъ — невѣдомо. Теперь, примѣрно сказать, за сто рублей въ годъ въ городѣ отдадутъ вамъ съ

большимъ удовольствіемъ цѣлый домъ, комнаты въ пятнадцать. Народу нѣтъ, дѣлъ нѣтъ! А прежде тутъ ключемъ кипѣло и деньги большія наживались. У-ухъ какія деньги! Сколько съ той дороги пошли по Руси тысячникѣвъ, миллионщикѣвъ — сибѣты этому нѣту! Вотъ и Егоровъ отецъ — онъ Егоръ Петровъ прозывается (Петръ указалъ на плетень, за которымъ валялся пьяный) — также тутъ орудовалъ. Также вотъ Петромъ прозывался все равно, какъ я... Родомъ-то они были здѣшніе, наши мочалкинскіе, и домъ у нихъ тутъ былъ, ну, а на дорогѣ самый промыселъ, стало быть постоянный дворъ и ямъ... И изъ большихъ былъ мѣшковъ... Десяносто лошадей, стало быть по тридцати троекъ, ганивалъ въ день и шумѣлъ далеко, очень шумѣлъ... Ну, грѣха таить нечего, деньги наживались всячески... Прїѣзжій народъ былъ (хоть бы и теперь взять) разный — и серьезный, и баловникъ, и все прочее... А Пѣтра-то былъ человѣкъ не задумчивый... Идутъ деньги, такъ бери! И бралъ со всего, т. е. даже и нехорошо... Напримѣръ дочери его... Дочери его тоже дѣйствовали... Потому народъ ѣхалъ съ деньгами, не то что теперь по чугункѣ за тридцать копѣекъ ѣдетъ человѣкъ сто верстъ, а въ карманѣ окромя билета ничего нѣту. Въ ту пору въ Москву-ли, въ Питеръ-ли поднимался человѣкъ капитальный, помѣщикъ, купецъ, у всѣхъ деньги готовыя, ѣзда долгая, скучная, ну, и баловались. И шибко баловались! до сихъ поръ по дорогѣ идутъ разговоры насчетъ этой жизни веселой... Вотъ Петра-то и орудовалъ... Мало что дочерей напримѣръ пожертвовалъ господамъ проѣзжающимъ (ужъ само собой не даромъ, и очень даже не напрасно), а и хуже бывало... Старичокъ какой-то ночевалъ у него съ деньгами — и пропалъ. Пѣтра-то рассказывалъ (и всѣ его сыновья, дочери и работникъ тоже рассказывали), что будто ночью за старичкомъ подѣхала тройка, а въ тройкѣ будто тоже старичокъ, изъ лица на Николая-угодника похожъ; взялъ, говорятъ, этого проѣзжающаго, вывелъ изъ номера за руку, посадилъ на тройку и умчалъ... И такъ будто умчалъ, что и слѣдовъ нѣту! Такъ-ли точно было — неизвѣстно, но только-что наврядъ, чтобы такъ... Начальство Петра не касалось — человѣкъ денежный; а надо быть совѣсть-то у него была не очень правильная. Стала подходить старость — сталъ пить. По ночамъ ходить, кричить, сталъ съ семьей драться — и дочерей, и сыновей возненавидѣлъ. Долго-ли, коротко-ли такъ было, только, рассказываютъ старики, разъ выѣхалъ онъ на тройкѣ будто въ городъ и мальчишку съ собой взялъ — вотъ этого самаго Егора, что теперь въ канавѣ-то лежитъ... Тогда Егору не больше, какъ лѣтъ подъ четырнадцать было... Самый былъ послѣдокъ и самый любимый отцовъ сынъ — потому еще не успѣлъ насобачиться, какъ братья его и сестры. Взялъ съ собой Егора и уѣхалъ. Никому ничего не сказалъ, кромѣ что «ѣду-молъ въ городъ...»

«Мало-ли въ городѣ дѣлъ у него было! Ну, ничего, уѣхалъ и уѣхалъ. Только недѣля прошла, нѣтъ его назадъ; и мѣсяцъ прошелъ — нѣтъ! И

годъ — нѣтъ... Пропалъ старикъ и сынъ пропалъ... Хватились — и денегъ нѣтъ: и деньги увезъ всѣ; одно слово — бросилъ домъ; «живите-молъ какъ хотите!...» Куда дѣлся, что стало съ нимъ — никому ничего неизвѣстно, словно вотъ съвозъ землю провалился. И годъ прошелъ, и два прошло — нѣтъ! все нѣтъ ни слуховъ, ничего... Втеченіи того времени все его хозяйство пошло дуромъ — безъ денегъ что ужъ за хозяйство — да на бѣду по второму-то году ударила въ его постоянный дворъ молнія и дворъ весь до чиста сгорѣлъ. Въ скорости жена померла съ горя, а дочери, Богъ ихъ знаетъ, куда разбрелись; сыновья въ люди пошли, да и тамъ что-то не уживались, потому легкое-ли дѣло послѣ своего-то хозяйства да въ батраки къ чужому идти? Пошло все прахомъ (что значить нечисто наживать-то! прибавилъ Петръ правдоучительно). И совсѣмъ было извелась о нихъ память, какъ на четвертый годъ слышимъ: «Поймали!» Схватили ихъ, Петра и Егора гдѣ-то, изволишь видѣть, на границѣ. Грубить что-ли Петра-то зачалъ, али какъ, ну, только схватили ихъ обѣихъ и по этапу значить на мѣсто жительства. сюда...

«Воротились... Ску-у-учно стало старику-то глядѣть на свое разоренье. Поглядѣлъ онъ, съѣдѣлъ на погорѣлое и такъ-то заскучалъ, затосковалъ. Въ ту пору было мнѣ отъ роду годовъ девять — помню, что у насъ по деревнѣ разговоръ было объ этомъ дѣлѣ! Вотъ тутъ-то и обозначилось, гдѣ они пропадали. Съ этимъ вотъ самымъ Егоровъ цѣлыя ночи, бывало, на пролетъ, не токъ молодые ребята, а и старые старики леживали, все спрашивали: «гдѣ», да «какъ», да «что». И Егоръ такъ-то хорошо рассказывалъ — на рѣдкость! И были они всѣ эти четыре года въ странствіи, и все по святымъ мѣстамъ... Чуть, поди, въ самомъ Ерусалимѣ не были. Что-то будто разговаривали объ этомъ. И къ затворникамъ-то, и къ схимникамъ заѣзжали, и пещеры всѣ, какія есть, прошли насквозь, то-есть все, все начисто видѣли, всю святыню. И ужъ такъ-то хорошо Егоръ рассказывалъ, то-есть ахъ какъ хорошо!.. И былъ онъ, Егоръ, въ это время чистый какъ монахъ: одно только и было у него на умѣ: «въ монахи», «въ монастырь». «спасаться». Ходилъ онъ въ ту пору тоже почестъ по монашески: скуфейка эдакая и поясъ кожаный. а ужъ въ храмѣ Божіемъ онъ раньше всѣхъ, первый. Поетъ, читаетъ, служитъ — сущій монахъ... Да и прямо сказать — самое ему мѣсто въ монахи: всегда былъ онъ слабъ и силы-въ немъ мало было; самое ему-бы мѣсто — спасать душу, за насъ грѣшныхъ Богу молиться, потому въ крестьянствѣ нуженъ человѣкъ сурьезный, ну, не то, чтобы напримѣръ угодникъ или что-нибудь... Такъ всѣ и полагали, что будетъ онъ молъ въ монахахъ... Только что-же?.. Въ монахи да въ монахи, а Пѣтра-то, отецъ-то Егоровъ, свою линію гонить. Стало ему, сказывалъ я, тяжело на своемъ разореннѣ-то, скучно... Жаль ему стало, что все пошло прахомъ, все изведется, ничего не останется, и такъ онъ объ этомъ тосковалъ, Боже ты мой!.. и уже

не было въ немъ прежняго разбойства ни капельки, то есть ни-ни — тоже ослабъ, и усталъ, и покаялся. Жаль ему было такъ свѣтъ бѣлый покинуть, родъ свой расточивши, и задумалъ онъ Егорушку женить. Денжонки у него еще были кой-какія и домъ былъ, и задумалъ онъ все это вполне произвести. «—Какъ внучать дождусь, говорить, то и помру — раньше ни за что умирать не согласенъ!» Зарубилъ себѣ эдакимъ вотъ манеромъ, и все! Ужъ Егоръ и такъ, и сякъ, и просилъ, и молил — нѣтъ, засѣло у старика: «—Хочу свой родъ ободрить» и шабашъ... И сосваталъ онъ Егору первую красавицу. Домъ поправилъ, всѣ свои остатки, то-есть капиталы, уложилъ на новое ихъ жилье, имъ отдалъ. «—Теперь, говорить, — внуковъ! внуковъ мнѣ!» Ждетъ — не дожидется... Годъ прошелъ — нѣту... другой — нѣту... Сталъ старикъ тосковать, скучать, Богу молиться, молебны служить. Между прочимъ и хозяйство идетъ плохо, ну — гдѣ ужъ Егору хозяйничать! И третій годъ прошелъ — и опять нѣтъ ничего! Совсѣмъ старикъ свалился. «—Наказываетъ, говорить, меня Богъ за грѣхи мои тяжкіе!» Грустить, грустить — на четвертую весну померъ... Ну, вотъ тутъ и стало обозначаться... Покуда отецъ былъ живъ, мужъ съ женой (стало быть, Егоръ съ Авдотьей) какъ никакъ — жили... Да и Авдотья-то хотя и красавица была, а еще понятія настоящаго не имѣла: молода была... Ну, тоже и старика чай побавлялась, а пуще всего была довольна, что за богатымъ; старикъ-то ее всячески ублажалъ — и нарядами, и всячески (надо быть, порядочно старикъ-то набилъ на ямской работѣ денегъ!). Ну, она и молчала. Живетъ, молчитъ, ничего не чувствуетъ... Ну, а въ три-то года она вошла въ понятіе. Опять ежли бы дѣти — такъ, привязка, ужъ тутъ крѣпко привязано... А дѣтей-то и не было. Вотъ какъ умеръ отецъ-то, съ погода не прошло, видимъ, выскочилъ ночью Егоръ изъ дому, руки такъ-то къ небу поднималъ, всю деревню разбудилъ — оретъ: «Господа! Не могу я въ сей земной жизни быть, прибери ты ее», стало быть жену-то — «тогда я тебѣ слуга до послѣдняго!».

«И съ тѣхъ поръ, какъ къ вечеру дѣло, — глядишь, идетъ Егоръ по деревнѣ: — «Не пойдетъ-ли кто, ребята, ко мнѣ почевать?». Я, говорить, ее, льявола, страсть боюсь...» Ну, и ходили, бывало, мальчишки... Потомъ рассказываютъ, что тамъ промежду нихъ идетъ, Боже защити!.. Вотъ разъ и я попалъ почевать. Лежу на печкѣ и смотрю: ничего, все тихо, благородно; смотрѣлъ, смотрѣлъ я, саушалъ, саушалъ — ничего, покойно спать. Ну, я заснулъ... Только слышу крикъ... Продралъ глаза-то, глядъ — онъ, Егоръ, передъ образомъ, а все этакъ руки къверху. — «Прибери ты, вопіеть, ее, Владыко, на тотъ свѣтъ, Отецъ Всевышній, не могу я этого!» А та въ одной рубахѣ на лавкѣ катается, волосы на себѣ рветъ и какъ бѣсноватая кричитъ: — «Злодѣй! злодѣй! варваръ!» А Егоръ все передъ образомъ: «Ужъ, говорить, услужу я Тебѣ, Владыко, освободи Ты меня только, батюшка, отъ эфтого напимѣръ безпокойства!» А та: — «Какой

ты мужъ, какой ты мужъ!» все одно и одно... И почало ее бить, трепать — значить это нечистый... Тутъ я ужъ такъ перепугался и не помню, что дальше... И заснуть съ испугу какъ мертвый. И пошло такъ каждый почестъ день... Сталъ Егоръ пропадать: уйдетъ на день, на два; придетъ еле живъ... Авдотья скучаетъ, жалуется, а чтобы прямо беловаться — нѣтъ, надо сказать прямо, не беловалась, нѣтъ... Только по ночамъ съ ней родинецъ дѣлался... Ну вотъ, Егоръ и пропадаетъ. — «Гдѣ ты это, Егорушка, пропадаешь?» — спрашиваемъ. — «А, говорить: — все Богу заслуживаю; ужъ, говорить, освободить онъ меня отъ этой муки-мученской...» И чтожъ бы вы думали? Вѣдь точно Богу служилъ! Теперь вотъ хаживали вы въ Турны, въ церковь? Знаете дорогу лѣсомъ? Ну, вѣдь всю эту дорогу, почитай три версты, самъ Егоръ своими руками сдѣлалъ, всѣ деревья выкорчевалъ, заровнял — вѣдь сами знаете, какая дорога! Прежде надо было вотъ какой крюкъ дѣлать, эво куда, а тутъ онъ стрѣлой сдѣлалъ. Вѣдь это только посудить надо, что тутъ труда, и все одинъ!.. Да вѣдь это еще что! Вокругъ нашей деревни пять селъ, кое нять верстъ, кое семь, а кое и меньше, такъ вѣдь онъ ко всѣмъ церквамъ также дороги провелъ, сравнялъ, перекопалъ, мосты положилъ черезъ ручейки, и все самъ, собственными руками... Вотъ не угодно-ли, пойдите какъ-нибудь, я вамъ все это покажу... Удивленія достойно, какъ человѣкъ себя обременялъ! Теперь отъ насъ куда хошь иди — все прямые дороги, да какія! гдѣ мало-мальски мокрилка, камень навалентъ, утрамбовано все въ лучшемъ видѣ. На перекресткахъ часовенки, то есть, четыре столаба, крыша и скамейка, а подъ крышей образокъ... И все онъ, одинъ Егоръ. Такимъ манеромъ трудился онъ для Господа не одинъ годъ. Хозяйство его пошло все хуже, да хуже, потому землю сдавалъ, а денегъ — сами чай знаете, какъ деньги-то отдаются? И все Авдотья — нѣтъ, нѣтъ и забунтуетъ... Но Егоръ становился все серьезнѣй. Какъ забунтуетъ — онъ взялъ лопату, въ полночь-ли, за полночь-ли, пошелъ...

«Хорошо... Вотъ когда ежли вамъ будетъ угодно, поидемъ мы съ вами посмотрѣть всѣ эти Егоровы постройки, покажу я вамъ далеко въ лѣсу одно мѣсто. Больше ничего, яма. Глубокая, глубокая ямища и ступеньки каменные внизъ... Эту яму выкопалъ Егоръ для себя. Хотѣлъ ужъ на чисто спастись, стало-быть зарыться тутъ и Богу молиться, а отъ міру отойти. Эту яму сталъ онъ рыть ужъ по шестому, либо по седьмому году, послѣ стало-быть свадьбы-то. Про жену онъ ужъ въ эту пору совсѣмъ и забывать сталъ и все въ ямѣ больше находилъ. Вотъ хорошо. Сидитъ онъ такъ-то однажды въ ямѣ, поетъ молитвы, вдругъ голосъ: — Егоръ! а Егоръ!

«Оглянулся Егоръ, встрепенулся: думалъ, его не найдутъ, потому выбралъ самое глухое мѣсто, анъ надъ ямой-то стоитъ одинъ нашъ мочалкинскій мужикъ.

— Что это ты, говорить нашъ-то, — въ яму сѣлъ?

«Тут и открылось, что Егоръ-то хотѣлъ душу спасать по настоящему.

«Похвалили его мужикъ и говорить:

— Стало-быть, жену-то совсѣмъ покинешь?

— Богъ съ ней совсѣмъ! не по мнѣ это дѣло!

— И то ладно, и то правда, говорить мужикъ, — и давно пора ее поганой метлой вонъ изъ деревни выгнать, чтобъ не безобразничала.

— Какъ такъ?

— Да какъ же? Ужъ давно твоя баба расхожая, а теперь вонъ со вдовымъ съ мельникомъ связалась. Отъ этакого дьявола какъ, говорить, въ яму не зарыться. Зарывайся, говорить, Егоръ, съ Божиимъ благословеніемъ! За насъ грѣшныхъ похлопочи какъ-нибудь. А баба твоя, прямо сказать, ничего не стоитъ.

«Сидитъ Егоръ словно-бы каменный, сообразить ничего не можетъ. «Сяжу, говорить, сяжу въ ямѣ, а зачѣмъ — неизвѣстно!» А тутъ, глядь, еще мужикъ набрелъ.

— Что вы тутъ, ребята? Ты что, Егоръ, куда это залѣзъ?.. Аль въ медвѣди поступаешь? ха-ха-ха!

— Онъ душу спасать взялся, чего гогочешь-то?

— Душу? Ну, это хорошо. За насъ грѣшныхъ похлопочи... Какую выкопалъ себѣ ямищу... Ловко! Право, ловко. Довольно искусно ты, братецъ мой, закопался. Ну, а жену-то возьмешь съ собой, али нѣтъ?.. ха-ха-ха!

— Что орешь-то, говорить первый мужикъ, — чего горлаешь? Человѣкъ отъ всего отказался, до жены-ль ему тутъ?

— И то правда... Ничего! Зарывайся, Егорушко, зарывайся, ничего. Зачтется... А жену твою одобряютъ, хвалятъ... ха-ха-ха! Право! Ты вотъ спокою не нашелъ, а прочіе ничего — «ладно», говорятъ...

«Тутъ Егоръ ровно бы очнулся.

— Да вѣрно-ли?

— Чего вѣрять! оба сказали.

— А ты думалъ, она тебя ждать будетъ, куда ты спасаешься? говорить балагуръ-то: — Ну, братъ, это повременить надобно... Да!..

«Сталъ было его первый-то мужикъ останавливать, что нехорошо-молъ объ этомъ разговаривать, подвижника огорчать, а балагуръ все свое; под конецъ того заспорили; балагуръ и говорить:

— Какъ же ты свое добро позволяешь каждому обижать? Ну, какой ты есть угодникъ? Какой ты есть человѣкъ? Развѣ ты хозяинъ своему добру? Ну, говори, хозяинъ ты или нѣтъ?

— Хозяинъ, говорить Егоръ.

— Врешь! Ты вотъ въ ямѣ тутъ, а тамъ твоимъ добромъ другой владѣетъ... Вѣдь твое добро-то?

— Мое!

— Ну, такъ что-жъ ты за человѣкъ послѣ этого? Твое или нѣтъ?

— Мое!

— И есть ты, стало-быть, опосля этого дубина. Хотя ты спасаешься, хоть ты нѣтъ...

«Тутъ ужъ и самъ Егоръ сказалъ:

— Мое доброе!

«И всталъ съ камня. А балагуръ ему:

— Ты душу-то спасай, да и своего не забывай, дуракъ будешь... Кто свое доброе бросаетъ, тотъ есть дуракъ, а не угодникъ. Я-бъ на твоемъ мѣстѣ не такъ распорядился. По мнѣ какъ хочь. Сиди тутъ въ ямѣ, сдѣлай милость, ей во сто разъ пріятнѣе... да!

— Съ кѣмъ она? спрашиваетъ Егоръ.

— А со вдовымъ, съ мельникомъ...

— Со старикомъ-то? Съ пьяницей?

— Да, вотъ, со старикомъ. Старикъ, старикъ, а должно быть, что посерьезнѣй тебя вышелъ... ха-ха-ха!.. А ты, братъ, ничего — сиди тутъ въ ямѣ-то, сдѣлай одолженіе!

«Выболталъ, наболталъ и ушелъ.

— А вѣдь мое доброе-то!.. говорить Егоръ первому мужику.

— Обыкновенно твое.

«И съ этихъ поръ засѣло у него въ головѣ «мое». Оно вѣдь и въ самомъ дѣлѣ — такъ точно, добавилъ Петръ отъ себя, — только что это надо всегда помнить, а не забывать...

— Мое, мое, мое, говорить... И вылезъ изъ ямы-то; ну и съ этого часу все его спасеніе такъ и пошло прахомъ... Потому въ такомъ дѣлѣ надо дѣлать дѣло правильно. Добро мое, такъ и поступать надо. Тутъ ужъ дѣлать нечего, тутъ одно — топоръ, либо себѣ петля. Ну, а Егоръ-то — нѣтъ, не того ума человѣкъ. Все норовитъ «по совѣсти»... Ну, а вотъ что вышло!..

— Я тебѣ мужъ! Я тебѣ глава! говорить онъ Авдотѣ.

— Это вѣрно!

— Какъ же ты смѣешь противъ меня? Противъ закону?

— А ты нешто соблюдаешь со мной законъ-то? Ты вонъ душу спасаешь, нешто я тебѣ мѣшаю? А нешто нѣмѣшь обо мнѣ попеченіе?

«Такъ-то вотъ скажешь, и выходить по совѣсти-то вѣрно; Егоръ и замолчить, потому правильно. Придѣтъ мельникъ, стануть они съ Авдотѣей угощаться. Опять Егоръ съ разговоромъ:

— Что это за человѣкъ?

— Мой другъ пріятный...

— Какъ-же ты смѣешь?

— Люблю его...

— Да вѣдь я мужъ? Ты моя раба?

— Я знаю, я твоя раба... а его люблю!

«И опять вѣрно выходить, ежели, напригнѣръ, по совѣсти... Или нападетъ на любовника.

— Ты какъ смѣешь у меня въ домѣ путать?

— Чѣмъ я путаю?

— Ты мнѣ препятствуешь! Она — жена, она должна съ мужемъ всегда.

— И пушай; когда тебѣ угодно, тогда она и при тебѣ. (Хитрая шельма этотъ мельникъ!) А ежели тебя дома нѣту по цѣлымъ недѣлямъ, почему-жъ такъ и съ людьми не побыть бабѣ-то?

«И опять такъ!.. Хочетъ Егоръ по правилу поступить — нѣтъ, опускаются руки!

«И жена говорить:

— Что по закону — я всегда, а закона не нарушаю.

«И точно. Сталъ Егоръ каждую ночь дома почевать—и ничего. И Авдотья почувств... А между прочимъ и съ мельникомъ: «Съ тобой, говорить, по закону, а съ нимъ—по сердцу». Вотъ это-то всего и обиднѣй!.. Ужъ обиднѣй этого ничего и нѣтъ!

«И все это мельникъ, хитрая шельма, орудовалъ!» «—Соблюдай, говорить, законъ въ точности; чортъ съ нимъ! не убудеть!» потому что знаетъ Егорову совѣсть—знаетъ, что ему, богомольному человѣку, невозможно руку поднять... Хитрая бестія!.. Запутался Егоръ, сталъ въ кабаки заглядывать. Ну, а какъ сталъ заглядывать въ кабаки, пошло еще хуже. Выпить рюмку, охмелѣть, тутъ его и начать поддразнивать. Одни говорятъ: «Бей ее, подлю! Какъ она смѣетъ? Твое доброе!» Егоръ прибѣжить домой и изобьетъ жену. Жена—въ судъ. А на судъ, глядишь, самъ Егоръ у нея прощенья просить, потому и Авдотья, и любовникъ ужъ успѣли все наоборотъ, т. е. на совѣсть повернуть.

— За что-жъ ты бьешь-то, скажутъ:—какой ты есть человѣкъ? Какой ты угодникъ? Иди душу спасай, а сюда не мѣшайся: вѣдь ты знаешь, что она мнѣ все одно что жена настоящая; какъ тебѣ не стыдно силкомъ заставлять? И все такое! И такъ доведутъ дѣло, что видитъ Егоръ, не добромъ онъ поступилъ, избилъ жену, и отстать не можетъ, потому мое! Оно вѣдь и вправду ни за что не отстаешь...

«А то подбодрять его пьянаго—бить любовника.

«И избить. Опять любовникъ жаловаться. На судъ все дѣло выйдетъ, присудятъ съ мужемъ жить. «—Да я и такъ съ мужемъ живу!» Авдотья-то... «Живетъ она съ тобой?»—«Живетъ!» говорить Егоръ... и самъ же въ дуракахъ остается. Любовникъ говоритъ: «Хотя онъ меня и обидѣлъ, но я его прощаю за его богоугодное».

«А не то такъ на обоихъ подать жалобу: ну, тутъ еще хуже. Первое дѣло—свидѣтелей нѣтъ, второе—жена законъ исполняетъ; третье—изъ дома не тащитъ, и все правильно. Да и судъ видитъ, что дѣло тутъ любовное и ничего не возьмешь.

«Такъ Егоръ и завязъ... И передъ Богомъ виновать, и передъ женою, и передъ любовникомъ. Богу измѣну сдѣлалъ, жену насильно жить заставлялъ, любовника обидѣлъ, билъ... И сталъ онъ пьянствовать, а расцѣпиться не могутъ! Тутъ ужъ какъ виноватымъ-то сталъ, тутъ съ нимъ смѣло стали обращаться. Мельникъ ужъ прямо сталъ:

— Я у тебя, Авдотья, ночевать буду.

— А я? говорить Егоръ.

— Ну, и ты. Ты—хозяинъ, я тебя не гоню... Скучно мнѣ что-то на мельницѣ-то... Давай-ка водочки, выпьемъ лучше.

«И пьютъ.

«Такъ и посейчасъ идетъ у нихъ канитель. «—Иди въ монастырь, говорить Авдотья;—я съ мельникомъ буду жить, какъ жена съ мужемъ». А любовникъ говоритъ: «Ты глава, я тебѣ не препятствую»... И Егоръ-то долженъ бы сказать: «И я вамъ, братцы, препятствовать не могу, потому вы по сердцу»... да въ пьяномъ-то видѣ и говорить

такъ. А все расцѣпиться не могутъ, потому «мое», «мое доброе»—забыть этого невозможно. Ну, и путаются, свинушничаютъ... Какъ только на водку денги достаютъ—ужъ и не знаю. Вотъ треснется гдѣ-нибудь въ пьяномъ видѣ башкой объ камень, вотъ и дѣлу конецъ будетъ. А по мнѣ, коли ежели дѣлать дѣло правильно, ваялъ бы топоръ да и пошабашилъ—либо ее, либо себя, либо его—что-нибудь одно: но совѣсти тутъ невозможно въ такихъ дѣлахъ...

III.

Пьяненькій долго валялся въ травѣ, не подавая никакихъ признаковъ жизни... Ужъ поздно, когда почти совсѣмъ стемнѣло, я увидалъ, что онъ приподнимается, что бѣлѣетъ его рубашка. Какъ-то онъ поднялся и крахти пошелъ куда-то, на каждомъ шагу останавливаясь и держась за шпатель. Онъ ужъ ничего не бормоталъ, а только крахтѣлъ. Что бы понялъ я въ этомъ пьяномъ мужикѣ, подумалъ я, еслибы его бормотанье, его пьянство не разъяснилъ мнѣ Петръ? И сколько не разъяснено, никѣмъ не понято этихъ пьяныхъ бормотаній, и стало быть сколько не понято народныхъ драмъ, хотя-бы изъ-за одного этого «мое!». Не будь Петра, пьяный остался бы для меня просто пьянымъ, что-то бормочущимъ и потомъ валяющимся въ крапивѣ. А вѣдь какая драма валялась въ этой крапивѣ!

XI. Умерла за «направление».

I.

... На берегу Невы, далеко за городомъ, въ небольшой бесѣдкѣ, довольно аляповато сколоченной изъ барочнаго лѣса, собралась посидѣть и полюбоваться рѣкой, подышать чистымъ вечернимъ воздухомъ—человѣкъ пять-шесть добрыхъ знакомыхъ, дачниковъ и ихъ гостей... Минутъ двадцать разговоръ шелъ въ такой степени благополучно, что никто ни разу не коснулся «текущихъ вопросовъ», не завелъ рѣчи о газетныхъ «слухахъ» и т. д. Дѣйствительно, и рѣка, и погода, и небо были такъ удивительно хороши въ этотъ вечеръ, что невольно овладѣвали вниманіемъ собесѣдниковъ. Берегъ, на которомъ пошѣщались неказистыя дачи и дачныя бесѣдки, былъ по случаю праздничнаго дня оживленъ безъ стѣсненій веселившейся дачною и мѣстной молодежью, по всему берегу звенѣлъ смѣхъ и раздавалась торопливая бѣготня по мосткамъ, въ погоню другъ за другомъ; пѣсни и звуки гармоній неслись съ разныхъ пунктовъ берега и со множества лодокъ, разсыпавшихся по широкой, въ этотъ вечеръ необыкновенно гладкой поверхности быстрой рѣки. Было чѣмъ полюбоваться усталому человѣку,—и собесѣдники наши, по положенію своему принадлежавшіе къ такъ называемой «чистой» и работающей столичной бѣдаотѣ, точно, нѣкоторое время не нарушали своихъ почти безмолвныхъ ощущеній, возбуждаемыхъ общею картиною вечера...

Но—увы!—продолжалось это недолго. Одно совершенно незначительное обстоятельство неожиданно изменило господствовавшее въ бесѣдѣ расположеніе духа; оно заставило собесѣдниковъ заговорить и притомъ заговорить о такихъ вещахъ, разговоры о которыхъ и въ началѣ, и въ концѣ, кажется, уже ни въ комъ не возбуждаютъ ничего, кромѣ ощущенія оскомины...

Обстоятельство, бывшее причиною такой неожиданной непріятности, было очень незначительное. Какой-то небритый солдатъ, въ распоясанной рубашкѣ, въ рваныхъ ситцевыхъ розоваго цвѣта штанишкахъ, босикомъ, но въ форменной, хотя и рваной, фуражкѣ, какой-то мастеровой и человѣка четыре простыхъ рабочихъ мужиковъ пришли на берегъ и расположились на травкѣ около бесѣдки. Всѣ они были рабочіе, въ будніе дни работавшіе тутъ же на берегу, вбивая сваи для строившейся набережной. По случаю праздника они гуляли съ утра на свободѣ и вотъ теперь цѣлой «компаніей» приваляли на берегъ, быть можетъ потому, что у компаніи ужъ больше не было денегъ, чтобы толкаться вокругъ веселыхъ мѣстъ, а быть можетъ и просто для отдохновенія и дружеской бесѣды. А бесѣда шла между ними оживленная. Всѣ они были подъ хмелькомъ и разговоръ ихъ хотя и былъ довольно не твердъ относительно постройки фразъ и порядка ихъ появленія въ рѣчи, но казался очень интереснаго предмета—именно, послѣдней войны и другихъ животрепещущихъ событій дня. Солдатъ конечно орудовалъ на первомъ планѣ; прочіе только вставляли свои замѣчанія... Съ первыхъ же словъ этого человѣка можно было догадаться, что онъ вовсе не походитъ на ту громадную массу русскихъ воиновъ, которые, исходивъ тысячи верстъ, перемучившись всѣми муками, совершивъ необычайные подвиги, возвращаются смиренно по домамъ и не находятъ много разговора, какъ о харчахъ, объ одеждѣ, о томъ, гдѣ что дешево изъ продукта, и такъ далѣе. Нѣтъ, этотъ человѣкъ старался осмыслить великіе подвиги воинства, старался придать имъ вѣсъ и значеніе и умѣлъ приурочить ихъ къ своей собственной личности...

— Мы, говорилъ онъ громко и при этомъ, какъ настоящій ораторъ, размахивалъ рукою съ окуркомъ папиросы, свернутой изъ газетной бумаги:— Мы ихъ, болгаровъ, праздника Господнимъ научили, законъ имъ показали христіанскій, они до насъ и закону-то церковнаго отъ роду рожденія не знали. Вотъ что!.. Со слезами они, братецъ ты мой, какъ дѣти, малые ребята, рады... Это должно понимать!

— Чья же она теперь, земля-то?..

— Наша! Чья же еще? Нѣтъ, братъ, теперь извини! Былъ у него хвостъ вонъ какой, пуще павлиньяго—ну, будетъ! довольно! Погулай-ка и такъ; порядочно мы ему хвостъ-то отхватили...

— Чей хвостъ?

— Чей! всѣхъ вообще ихнихъ народовъ... Иностранныхъ подлецовъ... Теперича посиди-ка, другъ любезный, смиренненько, мутить нашу Россію перестань! Довольно ты мутилъ, притѣснялъ, оставь!

Нашъ царь-батюшка нечто даромъ посылалъ насъ, дѣтей своихъ, на гибель, на мученіе? Нѣтъ, братъ! Теперъ хучь и много крови пролито, а золотыя мѣста валяи... Да-да! По газетамъ пишутъ, сказываютъ, ужъ ба-а-льшой раскопъ идетъ въ араратской горѣ... Первобытнаго быка отыскали... Самое то мѣсто нашли, куда онъ въ допотопныя времена втекнулся. У него, братцы мои, одна щиколка, вотъ это самое мѣсто (солдатъ поднялъ ногу и, широко разставивъ руки, кругообразно водилъ ими вокругъ щиколки), шесть четвертей обхватомъ... Первобытныхъ вѣсковъ быкъ... Вотъ что!..

— Это что же такое? очевидно съ явнымъ замѣраніемъ сердца, почти шопотомъ, спросилъ одинъ изъ слушателей.

— А то, что это самое и есть корень золотыхъ мѣстамъ во всемъ свѣтѣ... А они (такъ и такъ) туда-то насъ и не пушали... Ты теперича поди съ нашей рублевкой въ ихнюю землю, онъ тебѣ рубля не дастъ ни во вѣки вѣсковъ...

— Не дастъ?

— Ни-ни!.. Бери полтину! А не то, такъ и сокрокъ копѣекъ... Вѣдь вотъ какая сволочь!

— Полтину за рублевку?

— И той, говорю тебѣ, захочетъ—не дастъ! Такіе дьяволы, на рѣдкость! У нихъ все, братецъ ты мой, золото да серебро, а бумажекъ и въ закладъ нѣтъ... потому завладѣли коренными мѣстами: все золото себѣ забрали, а насъ не допускаютъ! ну, только теперь—шалишь! Будетъ форсать-то, зарылись въ золотѣ-то... Под-ди-ты, погляди, какъ они живутъ-то!.. Носъ задираетъ выше самаго Балкану... Да-да! Ишь-ты, скажи пожалуйста! А нашему брату все такъ и бѣдствовать? Какъ-же, дозволено съ насъ, господа!.. Тутъ крови человѣческой пролито—море!

— Окіяны, братецъ мой!

— Дна не найдемъ, вотъ сколько изъ-за него, мошенника, притѣсненій было... Самъ въ деньгахъ, въ золотѣ да серебрѣ зарылся, а у насъ въ Россіи денегъ не хватаетъ! Тутъ совѣсти нисколько нѣтъ... Онъ насъ въ Севастопольскую кампанію изъ-за чего мучалъ? Все изъ-за этого изъ-за самаго—не писалъ къ кореннымъ мѣстамъ. Нашъ царь объявилъ ему войну—небось онъ не пошелъ на Питеръ-то (солдатъ указалъ рукою на Неву). Ему бы тутъ какъ по маслу въ Россію-то вломиться... Флотъ у него есть, матросовъ пятнадцать милліоновъ—отчего онъ, вѣмечкая шельма, сюда не шелъ?.. Ты думаешь спроста? Не зналъ? Нѣтъ, онъ тонко это понимаетъ! Онъ взялъ да и объявился—эво гдѣ, въ Севастополѣ! Полѣзъ на Россію изъ-подъ кручи, изъ-подъ горы! Тутъ бы онъ однимъ духомъ на корабляхъ-то вкатилъ, а тамъ въ годъ на гору-то не влѣзешь—а полѣзъ! Почему?.. Боялся! Потому тамъ самыя и начинаются коренныя мѣста—вотъ онъ насъ и приперъ снизу, чтобы къ мѣстамъ-то этимъ не подступить!.. Во!.. Охо, братъ, гляди ему въ зубы-то... Онъ свое дѣло знаетъ тонко... А теперича мѣста-то наши! На-ко вотъ, съѣшь!.. ха-ха!

Всеобщая дѣтская радость охватила собесѣдниковъ. Солдатъ воодушевился, и обубалъ итъ много

венно духъ хвастовства. Онъ принялся разсказывать, что «бывало, изъ штуцера какъ хватишь изъ-подъ вручи-то—патерыхъ насквозь; онъ тебя дуеъ навѣсомъ, ава какія пускаетъ закуски, пудовъ по пяти вѣсу, а они все позади ложатся, а мы изъ-подъ вручи-то его изъ ружейцовъ—тукъ да тукъ... Два года послѣ окончанія войны плыли по морю мертвыя тѣла... Легло ихъ тридцать восемь миллионъ...» Духъ хвастовства разгорался въ солдатахъ все сильнѣе и сильнѣе каждую минуту... «Теперь, размахивая руками, гремѣлъ онъ:—намъ только одну Англію осталось перекувырнуть... Не перекувыркнемъ, что-ли? Сдѣлай милость!.. Поперекъ живота сцапалъ ее, да и вся!.. Л-любезная! Самая вредная намъ шельма!.. Что ты на моряхъ мастерица, такъ это, братецъ мой, для насъ наплевать!.. Ты въ воду, а мы подъ тебя карпеду!.. Она тебя, шельму, выплюнетъ оттудова, изъ-подъ воды-то, въ небо въ самое... во... ха-ха-ха!»

Необузданный дѣтскій смѣхъ и дѣтское веселье обуюло слушателей. Молодой парень, изъ числа рабочихъ-мужиковъ, до того былъ восхищенъ нарисованной солдатомъ картиной, до того живо представилъ себѣ, какъ «карпеда» выплываеъ подъ небо всю иностранную механику, ухитрявшуюся повредить намъ откуда-то изъ-подъ воды, что опрокинулся на спину и закатился отчаянно веселымъ хохотомъ, даже брыкнулъ босыми ногами.

А солдаты, не теряя повидимому послѣдовательности въ своихъ мысляхъ, вдругъ перешелъ къ самымъ послѣднимъ событіямъ и объяснилъ ихъ тоже съ точки зрѣнія того положенія, которое онъ высказалъ раньше.

— Будетъ, будетъ баловаться-то!.. довольно вы людей-то, души христіанскія, на борзыхъ собакъ мѣняли. Будетъ!.. Теперича Россія пошла на поправку, а вашего брата за это надо—вотъ какъ...

И онъ показалъ, какъ надо поступать съ тѣми, кто, подобно иностранцамъ, отнимающимъ у насъ деньги, хочетъ опять продавать людей и мѣнять ихъ на собакъ. По этому поводу солдатомъ было высказано полное сочувствіе къ одному недавнему событію.

— Пойдемъ, ребята,—угощу! Рано спать-то... провозгласилъ кто-то въ толпѣ собесѣдниковъ, разговоръ которыхъ мы слышали, и всѣ скоро, весело и громко разговаривая и очевидно отлично чувствуя себя, ушли по направленію къ слободѣ.

А въ бесѣдѣ начался разговоръ и потомъ пошелъ споръ: говорили, кричали, сердились, волновались... Двѣ дамы, бывшія тутъ же въ бесѣдѣ, потиховьку поднялись съ своихъ стульевъ и ушли; онѣ сочувствовали и интересовались, но ушли потому, что ужъ очень часто слышали такіе разговоры, и всегда они оставляли впечатлѣніе неопредѣленное, хотя несомнѣнно тяжелое; безъ всякихъ перерывовъ споръ продолжался часа два къ ряду: дѣло по обыкновенію было обсѣдано со всѣхъ чторонъ и по обыкновенію же въ результатъ получалось ощущеніе какой-то тупой безвыходности, го-сечи, тоски и непритворно болѣзненного стѣсненія

въ груди... Наконецъ настало молчаніе озабоченное, тяжелое, утомляющее...

— Нѣтъ, вотъ я зналъ одну старуху, кухарку, такъ она, вотъ она отъ всего отъ этого должна была безъ покаянія и причастія помереть!

Строго задумчивыя лица собесѣдниковъ, смотрѣвшія въ разныя стороны, невольно обернулись по направленію къ тому человѣку, который произнесъ вышеприведенныя слова. Человѣкъ этотъ, все время молчаливо курившій въ углу бесѣдки, былъ человѣкъ тихій, скромный и на первый взглядъ недалекий: онъ служилъ большею частью въ какихъ-то частныхъ компаніяхъ, изъ которыхъ каждая непременно оставалась, послѣ внезапнаго прекращенія дѣлъ, должною Максиму Ивановичу (такъ его звали) по крайней мѣрѣ за годъ. Бывали случаи также, что нѣкоторые мѣста онъ долженъ былъ оставить по «неблагонадежности», такъ какъ было доказано, что въ числѣ его знакомыхъ есть писатели и тому подобныя подозрительныя случаи. Но на денежные обиды Максимъ Ивановичъ не сердился, а отъ обвиненія въ неблагонадежности не робѣлъ и не прерывалъ знакомствъ, которыя сдѣлалъ раньше. Всѣ его считали очень добрымъ человѣкомъ, но совершенно необразованнымъ. И то, и другое было справедливо; но недалекий по виду Максимъ Ивановичъ внимательно слушалъ, что говорятъ, думалъ по своему и по своему дѣлалъ разныя соображенія. Видѣлъ онъ на своемъ вѣку много, отъ бѣдной лачужки мѣщанина, въ которой родился, до дворца какого-нибудь шарлатана-финансиста, который въ концѣ-концовъ надувалъ его. Однажды по дѣламъ службы Максиму Ивановичу пришлось даже быть за-границей. Къ людямъ, изъ-за-которыхъ ему иной разъ приходилось терять мѣсто «по неблагонадежности», его влекло не просто сознаніе невѣжества своего прошлаго и неправды видѣннаго шарлатанства и денежнаго блеска,—нѣтъ, онъ, какъ ужъ сказано, слушалъ и думалъ, хотя думалъ по своему, а выражаться даже и совершенно не умѣлъ.

— Что такое? какъ-бы не очнувшись и еще въ полуснѣ отъ великихъ думъ, возбужденныхъ утомительнымъ и важнымъ споромъ, произнесъ одинъ изъ собесѣдниковъ, повернувъ къ Максиму Ивановичу величественно осоловѣлое лицо съ величественно осоловѣлыми глазами.—Что такое—безъ покаянія и причастія?

— Больше ничего, продолжалъ Максимъ Ивановичъ, видимо сконфузившись:—я говорю, что одна старуха отъ этого вотъ самаго... принуждена была скончаться безъ покаянія и безъ причастія.

— Какая старуха?

— Кухарка, Акинѣей Васильевной звали...

— Безъ покаянія и безъ причастія?

— Скончалась безъ покаянія и безъ причастія.

— Отъ направленія?..

Максимъ Ивановичъ сильно затынулся папиросой и робко отвѣтилъ:

— Да-съ, отъ этого, отъ него...

— Чортъ знаетъ, что вы говорите. Я ничего не могу повать.

Кто-то из собесѣдниковъ неожиданно звонко засмѣялся, и олимпійское величіе, царствовавшее въ бесѣдѣ, разсѣялось въ мигъ. Максимъ Ивановичъ совершенно сконфузился и какъ-то пискливо бормоталъ:

— Чего же вы смѣетесь? Я, ей-Богу, совершенно по сущей правдѣ говорю вамъ...

— Безъ покаянія и безъ причастія? переспрашивали его среди смѣха.

— Да! И безъ покаянія, и безъ причастія, съ какою-то напускною твердостью проговорилъ Максимъ Ивановичъ.

— Отъ направленія?

— И тутъ нѣтъ ничего смѣшного. Да-съ, отъ направленія... Вы же цѣлый вечеръ изволили сами излагать, что открылось напимѣръ направленіе для ближняго... То есть, чтобы пользу всячески... Такъ вѣдь вы утверждали?

— Такъ, такъ.

— Ну, а я больше ничего, привожу вамъ примѣръ, что существовала нѣкоторая старуха Аксинья Васильевна... Ну... Ну—и отъ этого самаго дѣйствія въ пользу ближнему скончалась Богъ знаетъ какъ...

— Знаете, Максимъ Ивановичъ, вы расскажите всю эту исторію подробно, а то рѣшительно понять ничего невозможно. Вы не обижайтесь...

— Я не обижаюсь, я только...

— Рассказывайте, рассказывайте, а то это чортъ знаетъ, что такое: какая-то старуха скончалась на пользу ближнему безъ покаянія и безъ причастія—вѣдь тутъ ничего даже и сообразить невозможно. Рассказывайте!

Но Максимъ Ивановичъ медлилъ.

— Я, видите, что хотѣлъ сказать, всячески желая выяснить свою мысль, проговорилъ онъ:— вотъ вы говорите, на пользу... а что, если выйдетъ безобразіе? И почему?

— Ну, ладно, рассказывайте. Тамъ увидимъ. Кто такая старуха? Знали вы ее?

— Я ее двадцать лѣтъ зналъ... Старуха самая обыкновенная...

— Носъ въ табакѣ?

— Нюхала и табакъ... Въ прежнія времена жила она все больше по постояннымъ дворамъ, въ артеляхъ, то судомойкой, то страпухой, а я-то узналъ ее, когда ужъ взяла ее къ себѣ одна моя знакомая старуха, сжалась надъ ее старостью. Ей въ ту пору было уже шестьдесятъ лѣтъ, и ее ужъ два раза переѣхали на масляницѣ чухонцы. Ну, словомъ, старуха самая обыкновенная, въ морщинахъ, въ котахъ и шерстяныхъ чулкахъ, грязная и дураковатая, и стряпала скверно. Хлебнешь бывало ложкой—хватитъ, мочалка или пепка... Всего втеченіи жизни ее переѣхали лошадьми восемь разъ, въ послѣдній разъ такъ, что слегла и ужъ не встала... А то полежить за печкой недѣли двѣ, ничѣмъ не лечится, только просить испить, думаешь—вотъ-вотъ скончается, а она и выполняетъ... Обокрали ее въ жизни четыре раза, обокрали начисто, до тла. Въ такія минуты она не плакала, какъ другія, но мрачно ожесточалась и худы-

ми руками наровила затянуть платокъ вокругъ шеи, либо просила ножа... Увидишь ее въ такія минуты, скажешь:—«Будетъ тебѣ, Аксинья Васильевна! На, вотъ, на счастье двадцать копѣекъ, у меня рука легкая, опять наживешь...» — «Ой ли? Легкая ли рука-то?» — «Легкая!» Возьметъ деньги и начинается жить, ждать молодого мѣсяца... И не понимаю, зачѣмъ ей деньги, и откуда у ней къ нимъ такая жадность необыкновенная... Такъ и трясется! Ни копѣйки ни на что не тратила, а все мечтала какой-то кладъ еще разрыть... Ну, да все это вовсе не нужно вамъ знать и не зачѣмъ объ этомъ распространяться, это я только такъ...

— Зачѣмъ же вы говорите, что не нужно? Вы къ сути-то, къ сути поскорѣй.

— Я такъ только... Разговоръ былъ, вотъ я и... Но не въ томъ дѣло... Въ то самое время, какъ Аксинья Васильевна служила на постоянныхъ дворахъ, страпала щи съ мочалками и пироги съ мухами, и проч.—втеченіи того времени стало открываться это самое направленіе... Ну, разумеется, она отъ всего отъ этого за тридцать земель... Даже не знала, что было освобожденіе крестьянъ... Не повѣрите? Какъ угодно, а я не лгу. Да что Аксинья Васильевна! Со мной, я вамъ расскажу, какой былъ случай... Была—ужъ давно впрочемъ—въ Петербургѣ одна личность, и притомъ личность такая, что положительно на всю Россію одна... на мое несчастье, мнѣ именно случилось быть свидѣтелемъ, какъ эта личность вдругъ ступешалась. Самый то есть моментъ этого событія перечувствовать... Однажды, часовъ такъ до трехъ ночи, засидѣлся у меня въ гостяхъ одинъ молодой человѣкъ. Сидѣли мы и почти только и разговоръ у насъ съ нимъ было, что объ этой личности. Вдругъ звонокъ на всю квартиру, и въ попыхахъ влетаетъ молодой человѣкъ. Блѣденъ какъ полотно, дрожитъ какъ осиновый листъ и вообще видимо потрясенъ:

— «Гдѣ ты пропадешь (это къ моему гостю), я тебя иду три часа. Нельзя, говоритъ, терять ни минуты... ни мгновенья...» Какимъ манеромъ и я увязался съ моимъ гостемъ—ужъ не помню хорошенько; только знаю, что мы оба принялись терпеливо одѣваться, оба—бѣгомъ съ лѣстницы и въ улицу, а улица эта, надобно вамъ сказать, въ сѣлѣмъ ротѣ Измайловскаго полка, и ѣхать надобно было въ Фурштатскую. Выскочили, ноги подкашиваются, бѣжимъ что есть духу, ни единого извозчика. Вотъ ужъ именно была минута, когда за извозчика—полцарства.

— За «кони», а не за извозчика!

— Ну, все равно... Н-нѣтъ ни единого! Наполеонъ ужъ около. Обуховской больницы виднѣ. стоятъ нашъ спаситель—«подавай!».. Растолкали, сѣли безъ торгу, пошелъ!.. Не тутъ-то было: лошадь—кляча и притомъ хромая. Кле взялась съ мѣста. «Бей, говорю, потому что я по опыту знаю, какъ на такія заѣзженныя существа дѣйствуетъ кнутъ; стоять только разжечь, ей удержи нѣтъ,—бей, говорю, ради самого Бога, дѣло важное.» — «Бей-бей!» повторилъ извозчикъ, а какъ уберешь? И завелъ онъ исторію о скотинкѣ, о хлѣбушкѣ, о по-

датахъ, а самъ все кнутикомъ о крыло постукиваетъ, не бьетъ лошадь-то, а только крыло постукиваетъ. Можете представить, какое положеніе! Сидимъ на извозчикъ, какъ въ аду, какъ въ огнѣ. — «Опоздаемъ!» шепчетъ пріятель. Четверть часа ѣхали до Пяти Угловъ. Хотя бы до Палкина, думаемъ, добраться—тамъ бы взяли хорошаго рысака. Стали съ Загороднаго поворачивать на Владимірскую и около гостиницы «Москва», ужъ виденъ извозчикъ, глядя—нашъ старикашка (извозчикъ былъ древнѣйшій старецъ) какъ-то тихонечко тпрукнулъ на лошадь и мгновенно съ козелъ съерзнулъ и заковылялъ бѣгомъ прочь. Бѣжить и нагибается, поглядитъ-поглядитъ въ землю и опять дальше. Кричитъ: «кнутъ обронилъ!». А мы сидимъ: соскочить и бѣжать—закричитъ караулъ! Кнутъ обронилъ! Сказать ему, что, разыскивая свой кнутъ, онъ дѣлаетъ непоправимое зло,—ничего не пойметъ, ни единого слова. Все-таки кнута бросить нельзя... онъ 20 копѣекъ стоитъ, а деньги трудовыя. Сидимъ и ждемъ. Ждемъ безконечно... вѣка!.. Передумалъ я въ эту минуту, прямо вамъ скажу, очень много... даже до слезъ... Наконецъ шлепаетъ сапожонками, запыхался, прибѣжалъ. — «Господь, говорить, мнѣ еще подкову послалъ... хорошая, говорить, попалась штука... На сорокъ на пять копѣекъ... Н-но, голубь, трогай»... Добрались до Палкина, взяли рысака; но, увы, было ужъ поздно! А ужъ какъ насъ извозчикъ-то благодарилъ, ужасъ! Какъ-же? Сколько счастья привалило: нашелъ кнутъ, нашелъ подкову, да мы ему у Палкина, когда пересаживались, сунули въ руку безъ счету... Крестился даже на меня и все твердилъ: «пошли вамъ Царица Небесная, Никола Праведный, Архангелы Преподобные!»

— Ну, будетъ, будетъ вамъ философствовать-то, Максимъ Ивановичъ, не отвлекайтесь отъ дѣла.

— Это я только такъ, къ случаю... Здѣсь, какъ видите, невозможно было рта разинуть съ мужикомъ, съ крестьяниномъ, ну, а что же могла бы тутъ новятъ какая-нибудь Аксинья Васильевна? Я тогда жилъ на хлѣбахъ у ея хозяйки и, разумеется, видѣлъ ее каждый день—совершенное дерево... То есть ни малѣйшаго отношенія... Бывало, наслушаешься за день-то—время было одушевленное—Богъ вѣсть чего, придешь домой, взглянешь на Аксинью Васильевну, какъ это она, напримѣръ, квашню мѣситъ голой рукой, и такъ какое-то неудовольствие почувствуешь. Ну, да не въ томъ дѣло. Гдѣ ей знать и понимать!.. А мыслъ между прочимъ въ то же самое время не ослабѣваетъ. Аксинья Васильевна квашню мѣситъ да спрашиваетъ: «будешь что-ль хлѣбово-то ѣсть?», а тамъ своимъ чередомъ—періодъ за періодомъ, теорія за теоріей. Прошелъ періодъ, когда о мужикѣ толковали съ нѣжностью и сочувствіемъ, и насталъ періодъ, когда о мужикѣ заговорили, какъ о дуракѣ; кончился этотъ періодъ, начался новый. Пропастъ дѣателей сошло со сцены, еще больше появилось новыхъ... Множество изъ дѣателей сами отказались: «усталъ! утомился! поработалъ!». А иныхъ гнала со сцены публика, и тѣ упирались... Дѣло становилось серьезнымъ, и вопросъ не разъяснялся, а запутывался.

Плановъ, путей стало являться множество... Словомъ, дѣла шли своимъ порядкомъ, а Аксинья Васильевна продолжала мѣсить тѣсто, вставать до пѣтуховъ, вдыхать по ночамъ о томъ, подошло ли тѣсто. То есть ничего общаго и двѣ вещи совершенно разныя.

— А все-таки безъ покаянія?

— Безъ покаянія и безъ причастія.

— И отъ направленія?

— Отъ него-съ, отъ направленія.

— Удивительно!

— А вотъ извольте слушать дажѣ, и все будетъ совершенно ясно, и ничего удивительнаго тутъ не будетъ.

— Продолжайте, продолжайте, мы слушаемъ.

— Плановъ и разныхъ системъ, какъ я уже вамъ докладывалъ, продолжалъ Максимъ Ивановичъ,—развелось весьма значительное количество. Перечислять ихъ было бы затруднительно, да признаться сказать, и не сумѣлъ бы я этого сдѣлать. Скажу кратко, пути обнаружались двухъ родовъ: законные и незаконные. О незаконныхъ путяхъ говорить мнѣ не зачѣмъ, такъ какъ они суть незаконные, и хотя мнѣ и пришлось просидѣть подъ арестомъ въ Александро-Невской части болѣе трехъ мѣсяцевъ, по доносу одного закладчика, но впоследствии оказалось, что я совершенно ни къ чему подозрительному неприкосновененъ. Я говорю только о законныхъ путяхъ и о лицахъ, дѣйствующихъ только на нихъ. Съ однимъ-то вотъ такимъ дѣтелемъ я познакомился за границей; теперь онъ очень извѣстный человекъ, имѣетъ и деньжонки. За-границу я попалъ по конторскимъ дѣламъ, то есть, если сказать правду, разыскивать тамъ нашего директора компаніи. Поѣхалъ и провалился тамъ... Кроме этого, было еще одно порученіе отъ одного богатаго барина—осмотрѣть больницы и уставы, а если можно, такъ и на мѣстѣ составить уставъ при помощи специалистовъ. Необходимо было, чтобы всѣ новѣйшія усовершенствованія по этой части были примѣнены къ дѣлу, а больница предполагалась для крестьянъ. Ну, конечно, не зная языка, долго я кое-какъ путался по Парижу безъ всякаго толку, наконецъ—ужъ не помню кто и когда познакомилъ меня съ господиномъ, о которомъ рассказываю, и съ перваго же раза онъ произвелъ на меня самое благоприятное впечатлѣніе. Съ перваго взгляда видно было, что это человекъ не дюжинный: настойчивъ, энергиченъ, основателенъ... Работу, которую я предложилъ ему, онъ исполнилъ такъ, что даже я, посторонній человекъ, получилъ отъ заказчика-барина сто рублей серебромъ награды... Словомъ, это былъ такой человекъ, который если ужъ взялся за дѣло, такъ сдѣлаетъ его въ самомъ лучшемъ видѣ, раскопаетъ вопросъ до корня, да и изъ корня-то еще норовитъ что-нибудь извлечь. Ему мало узнать, что вотъ на этомъ напримѣръ столѣ—онъ узнаетъ еще, что и подъ столкомъ-то творится, и все запишетъ и разъяснитъ. Ничего общаго ни съ какою изъ легкомысленныхъ партій онъ не имѣлъ—напротивъ, много надъ ними смѣялся, стоялъ отъ всѣхъ ихъ представителей въ сторонѣ и никакъ

своей предстоящей дѣятельности. А между тѣмъ вотъ отъ этого-то направленія Аксинья Васильевна и скончалась безъ покаянія.

— Наконецъ-то слава Богу, и старуха появилась на сцену... Ну, что же она? Что съ ней?..

— Что? По обыкновенію... Все тамъ же, у хозяйки, и всё также ровно ничего не понимаетъ, а стряпааетъ хуже прежняго, въ ротъ нельзя ваять... Но все это потому. Не въ старухѣ дѣло. Прежде нежели ее постигло несчастье, необходимо рассказывать, что претерпѣлъ мой герой и сколько вынесъ, и какихъ невѣроятныхъ усилій стоило ему добиться того, чтобы...

— Чтобы старуха померла безъ покаянія?

— Да-да-съ! Смѣйтесь, сколько угодно, а только дѣло это далеко не смѣшно. Если васъ не затруднитъ выслушать меня до конца, то вы сами увидите, какая вышла изъ всего этого... трагедія... Извольте вотъ послушать. Пришлось такъ, что я и онъ, этотъ самый человекъ, выѣхали мы изъ-за границы вмѣстѣ. Вмѣстѣ пріѣхали и въ Питеръ. На границѣ, признаюсь откровенно, оба мы струхнули порядочно-таки, особенно какъ вагоны заперли на замокъ и сабли по платформѣ зазвенѣли, но, благодареніе Богу, все обошлось благополучно. Только на меня одинъ офицерикъ поглядѣлъ этакъ довольно пристально и этакъ кашлянулъ довольно серьезно, но ничего, не тронули, и до Петербурга мы доѣхали въ самомъ великолѣпномъ расположеніи духа. По пріѣздѣ въ Петербургъ, онъ отправился къ своимъ родственникамъ, а я — къ Аксинѣ Васильевнѣ; но знакомство наше не перервалось: напротивъ, мы стали видѣться очень часто. Меня ужасно интересовало, какимъ родомъ онъ примется? — «Тутъ, батюшка, нельзя съ бацу, тутъ нуженъ лисій хвостъ!..» частенько говорилъ онъ мнѣ, и точно, тонко повелъ дѣло, очень искусно. Первымъ долгомъ выпустилъ въ свѣтъ книгу и тѣмъ самымъ произвелъ разговоръ по всѣмъ газетамъ... «Ученый» и притомъ «молодой»!.. Само собой, благосклонность дамъ... Впечатлѣніе было пріятное — не выскочка, не вертопрахъ, не семинаристъ какой-нибудь, а серьезный, образованный молодой человекъ, имѣющій состоятельныхъ родственниковъ, и притомъ чрезвычайной учености... Заручившись такимъ ма-неромъ солидной репутаціею, знакомствами и вліятельными связями — «ну, говорить, Максимъ Ивановичъ, теперь будемъ баловаться!» И вознамерился онъ проникнуть, конечно только на первый случай, въ какую-то думскую комисію, продекламировать тамъ свое мнѣніе и добиться официального содѣйствія, «сначала хотя чуть-чуть». И не долго думая — человекъ былъ энергическій — приступилъ къ осуществленію... Повѣрите ли? Два года, день въ день, не смотря на всевозможныя свои связи и репутацію благовоспитаннаго и ученаго человека, два года краду ни дня, ни ночи не было ему покою, и жизнь его сдѣлалась чистымъ мученіемъ. Препятствія на каждомъ шагѣ. То придеши къ нему, видишь — сіяетъ, «ну, говорить, общали!» то волосы на себѣ рветъ — «препятствуютъ!». Интриги какія-то, сплетни, зависть, недобѣры, оскорбительная по-

дозрительность, апатія къ «общему благу» — словомъ, тысяча затрудненій и неожиданныхъ неприятностей ежедневно!.. Похудѣлъ мой парень, даже облысѣлъ... Мыкался онъ по городу съ утра до ночи. Тамъ надо сдѣлать визитъ, тамъ надо на вечеръ ѣхать, чтобы познакомиться съ Марьей Петровной, Анной Николаевной, которыя имѣютъ на того-то вліяніе, а тотъ на другого, а тотъ другой можетъ дать по шапкѣ тому, кто препатствуетъ... Чего, чего только ни приходилось ему дѣлать для осуществленія своей цѣли! и съ коготками ужиналъ, и пьянъ напивался и пикники на тройкахъ, и даже принужденъ былъ вступить въ любовную связь противъ собственнаго желанія, принужденъ былъ тремя дѣвкамъ подать надежду на бракъ, подписать три сомнительныхъ векселя, проигралъ въ карты тысячу рублей и — не приведи Царя Небеснаго, что онъ только ни продѣлывалъ въ это время. Наконецъ-то, наконецъ ужъ черезъ два года помощью невѣроятныхъ усилій удалось-таки добиться, чего хотѣлось. Назначенъ былъ уже день и часъ, въ который мой герой долженъ былъ предстать съ своей рѣчью предъ господами гласными... Но... тутъ явились новыя затрудненія.

— Опытные люди, ознакомившись съ содержаніемъ его рѣчи (рѣчь эта касалась гигиеническихъ вопросовъ), посоветовали ему «кое-что» уступить изъ своихъ требованій. Уступки эти оказывались необходимыми по многимъ весьма существеннымъ обстоятельствамъ, а главнымъ образомъ требовались потому, что нѣкоторые изъ вліятельнѣйшихъ гласныхъ, предъ которыми должна была происходить декламация, могли выслушать ее съ неудовольствіемъ... Въ числѣ ихъ были фабриканты, заводчики, имѣющіе по тысячѣ, по двѣ рабочихъ, были крупные коммерсанты, поставляющіе провизію на казенныя заведенія, наконецъ были такіе люди, которые постоянно испытывали какое-то злобное раздраженіе, о чемъ бы ни шли пренія, ибо привыкли къ тому, что въ концъ-концовъ всякія пренія завершаются требованіемъ авансовъ... Раздражать съ первыхъ словъ всѣхъ этихъ людей, отъ которыхъ вполнѣ зависѣло все дальнѣйшее, было «не ловко», безтактно и сдѣловательно волей-неволей, а приходилось послушаться совѣтовъ добрыхъ людей и уступить.

— И вотъ сталъ герой мой уступать.

— Первымъ долгомъ изъ уваженія къ фабрикантамъ уступилъ онъ пищу... То есть, понимаете ли, всѣ эти тухлыя селедки съ выпученными глазами, на которыя даже и смотрѣть страшно, всю эту рыбную ржавчину, солонину, которой духъ слышенъ по Нарвскому и Шлиссельбургскому трактамъ, хлѣбъ съ тараканами, квасъ, словомъ, — всю гниль и прѣль, весь «духъ» и смрадъ — все это шло въ уступку... Обо всемъ пришлось «упоминуть» вскользь... мимоходомъ... упомянуть такъ, чтобы оказался виновенъ мелочной лавочникъ, квасникъ какой-нибудь... Вообще пришлось сказать объ этомъ предметѣ «въ общихъ чертахъ». «Нерѣдко можешь встрѣчаешь въ овощной лавкѣ такихъ сельдей, которыя напоминаютъ не продуктъ, годный въ пищу, а скорѣе нерадиво посоленный рыбій трутъ», и такъ да-

дѣ въ поверхностномъ этакомъ очертаніи... Затѣмъ пришлось уступить и по части воздуха тоже очень много пунктовъ: въ засѣданіи присутствовали домовладѣльцы, дома которыхъ населены массами рабочаго народа, обижать ихъ тоже было нельзя. Пришлось тоже въ общихъ чертахъ пройти насчетъ кубической сажени воздуха на человѣка и насчетъ напиримѣръ вентиляціи. Кабатчики и трактирщики также, какъ извѣстно, народъ довольно самолюбивый, вліятельный и во всякомъ случаѣ—большинство. Надо было и тутъ прошмыгнуть мимо дурмана, мимо подмѣсей въ водку кислотъ и кувельвана въ пиво и пройти что-то насчетъ пѣсочку въ мокрыхъ мѣстахъ. Затѣмъ и вообще въ вопросахъ о чистотѣ также пришлось поубавить свои фантазіи, такъ какъ вообще всѣ домовладѣльцы относятся къ навозу и т. д. довольно раздражительно. Вамъ извѣстно, что нѣсколько лѣтъ тому назадъ одинъ купецъ въ Москвѣ, извѣстнѣйшій капиталистъ, даже умеръ отъ удара, когда полиція очистила его отъ навоза и на свой счетъ вывезла этого продукта со двора капиталиста 400 воевъ. Старецъ очевидно остался въ пустынѣ и холодѣ и не вынесъ—такъ онъ привыкъ къ окружавшему его теплу и такъ присидѣлся въ немъ. Съ крайнею поэтому осторожностью надобно было покориться обстоятельствамъ и уступать. Уступалъ онъ, уступалъ, съ болью конечно, съ искреннею болью... и изъ всѣхъ его плановъ осталось одно «чуть-чуть», такъ, хвостикъ. Скрѣпя сердце, надо было однако и за него ухватиться, благо былъ хорошій случай. И я забылъ сказать самое-то главное—комиссія рѣшилась выслушать моего пріятеля, единственно только благодаря тому счастливому обстоятельству, что въ Петербургѣ, въ рабочихъ кварталахъ и по шпассельбургскому и нарвскому трактамъ, какъ извѣстно, населенныхъ исключительно почти рабочимъ народомъ, въ сильнѣйшихъ размѣрахъ распространился тифъ. Не будь этого предлога для научной бесѣды, я не знаю, когда бы мой пріятель добился своего. Терять такого благоприятнаго случая не приходилось. Пользуясь имъ, можно было во всякомъ случаѣ хотя проникнуть къ кормицу, а ужъ потомъ можно было подумать и о большемъ. Итакъ, пришлось уступать и уступать. Помню я этотъ памятный вечеръ въ думѣ! Гляжу я на моего раторборца, слушаю, съ какою изысканною любезностью передъ слушателями излагаетъ онъ причины тифовой эпидеміи, съ какой осторожностью касается селедки, напоминающей трупъ, «упоминаетъ» о воздухѣ... вентиляторы... посыпать пескомъ... не худо бы навозъ... также и мусоръ... Слушаю все это и думаю:—«Боже милосердный! Что сталося съ твоими планами? И гдѣ твоя бойкость, —та бойкость, съ которой ты сокрушалъ соотечественниковъ своихъ, хотя бы въ дѣлѣ о библіотекѣ?» Жалко мнѣ было его, жалко ужасно. Да и самъ онъ, точно на экзаменѣ, и точно ему стыдно... Жиденько, очень было жиденько, и однако кто бы могъ думать? Моего пріятеля неожиданно поддерживали два вліятельнѣйшихъ слушателя, именно: фабрикантъ-иностранецъ, громадный капиталистъ,

джентльменъ съ ногъ до головы, сильно поддерживалъ его въ вопросѣ о кубической сажени воздуха на человѣка; и еще тоже капиталистъ, но по виду простой русскій сѣденькій человѣчекъ съ сѣденькой бородкой и малиновымъ носомъ, не только энергично, а даже какъ-то ожесточенно возопилъ о своемъ согласіи съ мнѣніемъ моего пріятеля по вопросу о навозѣ и о прочемъ подобномъ... Эти два лица, въ то время, когда по окончаніи реферата начались разсужденія о мѣрахъ, крѣпко стояли за моего пріятеля. Мужичокъ просто вопилъ противъ нечистоплотныхъ хозяевъ и лавочниковъ, указавъ множество мѣстъ, заваленныхъ нечистотами, и требовалъ энергическихъ мѣръ. Иностранецъ-фабрикантъ изумилъ и меня, и моего пріятеля, нарисовавъ ужасную картину рабочихъ помѣщений, скученность которыхъ доходитъ до поразительнаго безобразія. Оба говорили такъ смѣло, такъ безцеремонно и такъ настаивали на крутыхъ мѣрахъ, что мой пріятель видимо ожилъ и, немного развязавъ языкъ, съ своей стороны сообщилъ кое-что изъ своихъ богатыхъ матеріаловъ по этимъ вопросамъ. Впослѣдствіи по окончаніи вечера онъ ужасно восхищался тѣмъ, что за него встали: непосредственность—въ лицѣ мужика, русская народная восприимчивость къ добруму полезному дѣлу, а съ другой стороны—въ лицѣ иностранца, европейская порядочность, европейскій, такъ сказать, усовершенный опытъ умъ. Онъ былъ въ восторгѣ, тѣмъ болѣе, что содѣйствіе мужика и иностранца, привлечшихъ, благодаря своему вліянію, еще по нѣскольку сочувственныхъ голосовъ на сторону моего пріятеля, дало дѣлу ходъ въ тотъ же вечеръ. Комиссія постановила: «войти съ ходатайствомъ о принятіи мѣръ» и назначила двумъ лицамъ изъ среды гласныхъ по 1.200 руб. на непредвидѣнные расходы по осуществленію. Въ этотъ вечеръ мы съ пріятелемъ прямо изъ думы—къ Палкину! Заняли отдѣльный кабинетъ и строили великолѣпнѣйшіе планы до бѣла свѣта, конечно за бутылкой... Вотъ теперь дѣло дошло и до старухи.

— Боже мой! Наконецъ-то!

— Тѣмъ временемъ старуху, какъ я уже сказалъ вначалѣ, перѣхали на масляницѣ въ послѣдній разъ уже серьезно. Въ обыкновенное время въ подобныхъ случаяхъ она, бывало, покряхтитъ за печкой, попьетъ воды и поправится; теперь же—увъ, было не такъ. Въ этотъ разъ она въ такой степени неудачно попала подъ чухонца, что была принесена въ квартиру на рукахъ и слегла. Стоило было взглянуть на нее въ это время, чтобы убѣдиться, что дѣло ея плетное: лицо и глаза, и голосъ—все это говорило, что «приходить смерть». Не мало дивился я послѣднимъ минутамъ покойницы; необходимо сказать, что въ то самое время, какъ Алексія Васильевна слегла, старушка-барыня, у которой я жилъ на квартирѣ, по рекомендаціи дворника взяла въ услуженіе на время двѣнадцатилѣтнюю босоногую дѣвчонку. Робко, дрожа и замирая, вошла дѣвчонка въ квартиру старушки и отъ перваго же вопроса барыни о чемъ-то залилась слезами. Впослѣдствіи выяснилась, что плакала она

отъ того, что ничего не знаетъ и не понимаетъ. Старушка ободрила ее и стала относиться къ ней внимательно, тѣмъ болѣе, что дѣвчонка была со способностями, и хотя шибко робѣла въ первое время, но уже на второй день глазенки у нея прояснились и засверкали, и ватѣмъ съ каждымъ днемъ она становилась все понятливѣе и развязнѣе. По мѣрѣ того, какъ она поняла кругъ своихъ занятій — ходить въ лавочку, вымыть посуду и т. д. — какъ только она узнала лавочки и лавочниковъ, и весь домъ, и всѣхъ дворниковъ, застѣнчивость и нѣкоторая неповоротливость постепенно замѣнились развязностью, ловкостью и какою-то увѣренностью въ себя самой; она чувствовала, что барыня ею довольна и любитъ на эту молодую жизнь. Но что случилось съ Аксиньей Васильевной, какъ только въ домъ, а главное на ея глазахъ объявилась эта молодая жизнь! До появленія дѣвочки она только кряхтѣла, недвижимо лежа подъ какими-то тряпками въ кухнѣ на кровати, сколоченной кой-какъ изъ досокъ, полѣньевъ и деревянныхъ ящичковъ. Появленіе дѣвочки заставило Аксинью Васильевну приподнять изъ-подъ тряпокъ сѣдую голову и вперить умиравшіе глаза въ этого юнаго пришельца. Тутъ только я сталъ понимать, что Аксинья Васильевна — не просто механизмъ для мѣшанія тѣста или сажанія пироговъ. Какая-то необычайная зависть, доходившая до злости, пробудилась въ ней къ этой дѣвятинадцатилѣтней дѣвчонкѣ. Зависть и злость возрастали въ Аксиньѣ Васильевнѣ по мѣрѣ того, какъ дѣвчонка отъ застѣнчивости и первыхъ слезъ испуга переходила къ развязности и понятливости. Должно быть, Аксинья Васильевна, при видѣ этой начинающей жить въ людскомъ обществѣ дѣвчонки, вспомнила вдругъ всѣ свои восемьдесятъ лѣтъ, вспомнила свое безцвѣтное, темное, чернорабочее существованіе; вспомнила всю эту грязь и вонь, и обиду постоянныхъ дворовъ, угловъ, наполненныхъ нищетой, вспомнила жестокость людскую, которая давила ее лошадыми, похищала ея кровнымъ трудомъ заработанные деньги, видѣла, что все это — восьмидесятилѣтнія мученія, тѣма и обида — оканчивается смертью въ углу, и злоба неистовая поднялась въ ней противъ проворной, ловкой, даже плутоватой дѣвчонки, начинавшей жить смѣло и весело.

— Злость эта заставила Аксинью Васильевну не только поднять голову, но иногда возбуждала ее до такой степени, что она находила въ себѣ силы подняться съ кровати и почти ползкомъ проползти въ другую — третью комнату, чтобы устѣдить, подкараулить: не воруетъ-ли дѣвчонка сахаръ? Какими позорно-грязными эпитетами ни награждала она дѣвчонку, какой только несчастной и осрамленной будущности ни судила ей! Съ другой стороны и дѣвчонка, скоро понявшая, что столничная жизнь не Богъ вѣсть какая мудрость, не оставляла старуху въ покоѣ. Ей несомнѣнно было пріятно сознавать свою удачу въ виду этой явной неудачи жизни, олицетворявшейся въ безпомощной старухѣ. Иной разъ она принималась дразнить несчастную старуху: — «утри носъ-то!.. пицала маленькая ка-

наля. — Ишь, у тебя оны какой розанъ!» А то возьметъ нарочно на ея глазахъ за щеку куска три сахара и стоитъ, улыбаясь до ушей: — «на мотъ тебѣ!» Дѣвчонкѣ было пріятно чувствовать безсиліе старухи, которая ничего сдѣлать не можетъ ей, а старухѣ сознание безсилія причиняло великую скорбь, переходившую въ неистовую злость. Однажды ночью, когда я ужъ давно спалъ мертвымъ сномъ, прикосновеніе чьихъ-то холодныхъ рукъ заставило меня открыть глаза — смотрю: съ ночникомъ въ дрожавшей рукѣ, почти въ одной грязной рубашкѣ, стоитъ передо мной худая, какъ щепка, и страшная, какъ сама смерть, Аксинья Васильевна. — «Что такое?» возопилъ я въ испугѣ... И она тоже въ испугѣ, но въ испугѣ злости и гнѣва шепчетъ что-то... — «У Варьки... нашла... подъ тюфякомъ»... И показала мнѣ гривенникъ и стала тоже попотомъ ругать Варьку. Бѣдная старуха! Впоследствии оказалось, что она по ночамъ не только занималась быскими постели и платья Варьки, а и сама, несчастная, не желая отстать отъ этой дѣвчонки въ смѣлости, воровала и сахаръ, и сухари, и лимонъ. После смерти ея, подъ тюфякомъ, найдено было пропасть всякаго добра въ этомъ родѣ. Нельзя сказать, чтобы было особенно пріятно смотрѣть на стараго и малаго, на начинавшаго жить и умиравшаго. Что особенно было непостыжимо, такъ это то, что старуха не ограничивалась въ зависти своей къ вѣроятному въ будущемъ успѣху дѣвчонки одними только уличеніями, жалобами хозяйкѣ, мнѣ и ругательствами самой дѣвчонкѣ, но не желала, какъ кажется, также и отстать отъ нея на дѣлѣ. Вѣсть съ злостью, въ ней развилась и жадность. Я ужъ сказалъ, что она таскала и сахаръ, и все, что попадется подъ руку, — но все это ничто въ сравненіи съ той фантазіей о богатствѣ, которая въ это время возникла въ ея воображеніи и почти мгновенно овладѣла имъ безраздѣльно... Приснилось-ли ей, но только съ нѣкотораго времени она что-то стала шептать о кладѣ... Пять боченковъ съ серебромъ... зарыты подъ алтаремъ въ деревнѣ, — въ той деревнѣ, гдѣ Аксинья Васильевна родилась... И зачѣмъ ей такая куча денегъ, не разъ подумывалъ я, вѣдь умереть не сегодня-завтра, вѣдь знаетъ это? Но старуха, должно быть, думала не такъ, навѣрное ей что-нибудь рисовалось за этими деньгами, что-нибудь кромѣ денегъ, потому что сонъ о кладѣ скоро перешелъ въ полнѣйшую увѣренность. Къ ней, по ея словамъ, сталъ являться самъ Николай Чудотворецъ, сидѣлъ на ея постели, стоялъ у изголовья и подробно объяснялъ и мѣсто, и время, когда можно «взять», и указывалъ даже мужика, который все это обдѣлаетъ, называлъ по имени, говорилъ, что домъ его стоитъ, пройдя кабакъ, налѣво и крыльцо съ колонками. Поминутно приставала она ко мнѣ съ просьбою написать въ деревню, къ этому самому мужику, поминутно допрашивала, пришелъ ли отвѣтъ? Я конечно говорилъ, что писалъ, что отвѣтъ будетъ на-дняхъ. Признаюсь, никогда мнѣ не приходилось еще на своемъ вѣку видѣть такой необыкновенной жажды жизни, такой ненасытной зависти къ ней, какую Варюшка возбуждала въ уми-

равшей Акинью Васильеву. Давно-ли эта старуха, принесенная съ переломленной ключицей дворниками, шептала только: «смерть моя пришла! пошлите за попом!», шептала о душѣ, а теперь она ни о чемъ другомъ не думаетъ, какъ о кладѣ, о пяти боченкахъ съ серебромъ, и т. д. Возбуждена была она до крайности, возбужденіе это держалось въ ней подъ радъ семь недѣль великаго поста. Но на страстной, при первыхъ теплыхъ весеннихъ дняхъ (святая была поздняя), она вдругъ свалилась. Она притихла, тяжело дышала, не въ силахъ была говорить, даже шептала рѣдко. Дѣвчонка попробовала было надъ ней подшутить, по обыкновенію подсмѣявшись надъ ея носомъ, но Акинья Васильевна даже не отвѣтила ей, а только посмотрѣла широкими, неподвижными и стеклянными глазами. Еще день-два—и мы, особоровавъ, причастивъ Акинью Васильеву, отправили бы ее честно по желѣзной дорогѣ на преображенское кладбище. Все бы было честно и благородно, и кончина старухи была бы самая приличная кончина, кончина праведная. Но—увы! вышло совсѣмъ напротивъ, да и не только напротивъ, а просто случилось Богъ знаетъ что...

— Въ одно утро въ дворницкую того дома, гдѣ лежала умирающая Акинья Васильевна, раздался рѣзкій, оглушительнѣйшій звонокъ, который заставилъ дворника тотчасъ же въ попыхахъ выскочить на улицу. Здѣсь, не то городской, не то околоточный, въ торопяхъ и на ходу рѣзкимъ голосомъ сказалъ ему нѣсколько словъ, вслѣдствіе которыхъ дворникъ тоже опрометью бросился въ квартиру старухи, у которой я жилъ, и, подойдя къ старухѣ, безъ дальнихъ разговоровъ возопилъ: «Въ часть требуютъ! Собирайся!». Случилось же это слѣдующимъ образомъ и по слѣдующимъ причинамъ. Вамъ ужъ извѣстно, что, благодаря просвѣщенному содѣйствію капиталиста-иностранца и непосредственной воспримчивости сѣдненной бородки, постановлено было ходатайствовать о томъ, чтобы въ виду распространенія тифа были приняты мѣры, указанныя момъ пріятелемъ въ рефератѣ, и къ осуществленію ихъ на практикѣ оказано законное и возможное содѣйствіе. Бумага объ этомъ, отправленная комиссіею, какъ всякій изъ васъ понимаетъ, именно въ виду того, чтобы достигнуть какого-нибудь результата, т. е. добиться какого-нибудь содѣйствія, не могла входить въ общія разсужденія, а непременно должна была съ точностью указать на существенную причину, объясняющую просимое содѣйствіе. Поэтому на первомъ планѣ явился тифъ, а потомъ уже двѣ или три «мѣры» также самыхъ существенныхъ и по возможности осуществимыхъ. Бумага была принята благосклонно. Но вы поймете, что въдостою, предписывающее мѣропріятія, имѣя дѣло съ людьми, которыхъ главная обязанность исполнять то-то и то-то, почему они и называются подчиненными, должно было совершенно выкинуть воѣ самые слабые остатки общихъ взглядовъ на сущность просимыхъ мѣропріятій, а прямо предписать эти мѣропріятія по пунктамъ. «Предписывается вамъ первое, второе, третье...» Тѣ лица,

которые получили эти предписанія, обязаны были при исполненіи этихъ пунктовъ имѣть дѣло съ людьми, которымъ уже въ обязанность ставилось «не разсуждать», да кромѣ того люди эти за множествомъ подлежащихъ исполненію ихъ собственными руками дѣлъ не могли и подумать о томъ, чтобы удѣлать время на какія-то еще разсужденія. Мѣропріятія поэтому излагались для нихъ еще въ болѣе сжатой формѣ въ двухъ словахъ. Такимъ образомъ дѣло, начатое въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, потребовавшее многолѣтнихъ трудовъ, усилій, жертвъ, тысячи существеннѣйшихъ обязательствъ, постепенно суживаясь, помѣръ того какъ оно съ вершинъ спускалось къ народной массѣ, превратилось предъ Акинью Васильеву въ дворника, который стоялъ надъ ея смертнымъ одромъ и требовалъ ее въ часть, такъ-какъ держать «такихъ» «не велѣно». Нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ изустно передаваемыхъ мѣропріятіяхъ, отъ околоточныхъ къ городovýmъ, отъ городскихъ къ подчаскамъ, а отъ сихъ послѣднихъ къ дворникамъ, было не мало всевозможныхъ ошибокъ, путаницы и всякаго вранья. Впослѣдствіи я положительно узналъ, что на Загородномъ проспектѣ близъ Технологическаго института городской самымъ энергическимъ образомъ приставалъ къ шедшимъ на лекціи студентамъ, прося ихъ «честью» разойтись, такъ-какъ сейчасъ долженъ проѣхать новый генералъ изъ нѣмцевъ, по фамиліи «Гигиенъ»—но спрашивается, какъ иначе и могло быть? Развѣ все это они понимаютъ? И развѣ у нихъ, т. е. у этого механизма, на рукахъ не масса дѣла? И развѣ вся эта масса дѣлъ не обязываетъ ихъ къ тому, чтобы не разсуждать о ней? Ничего нѣтъ поэтому страннаго, что самое благое намѣреніе, самая прекрасная цѣль, одушевлявшая моего пріятеля во имя народнаго блага, достигнувъ до этого самаго народа, превратилась въ «божеское наказаніе». Подумалъ-ли мой пріятель, работавшій надъ своимъ сочиненіемъ, добывавшійся реферата въ думѣ и т. д., что изъ всего этого въ концѣ-концовъ не выйдетъ ничего другого, кромѣ дворника, которому ничего не будетъ извѣстно ни объ этихъ трудахъ, ни объ рефератѣ, кромѣ того что за это «отвѣтитъ» онъ, дворникъ, которому уже надоѣло, до смерти надоѣло «отвѣчать»?—«Вставай! Собирайся! вопіялъ онъ надъ старухой:—небось, я отвѣчать-то буду за тебя...»

— Вотъ отъ этого-то отъ самаго Акинью Васильевна и умерла безъ покаянія и причастія... Дѣло было такъ: старуху-барыню вызвала какая-то пріятельница въ Гатчину на какія-то похороны, и ея дома поэтому не было; какъ на грѣхъ и мнѣ въ этотъ несчастный день надобно было уйти изъ дому рано. Оставалась дома старуха и Барюшка. Въ это-то время и раздался вышеупомянутый звонокъ. «Направленіе» добиралось до старухи.—«Не держать больныхъ, которые опасны... сейчасъ вонъ!» второпяхъ объявила составная частица великаго механизма и побѣжала далѣе, предупредивъ о томъ, что дворникъ «отвѣтитъ» штрафомъ. Такъ какъ дворникъ и безъ того насчитывалъ очень много

такихъ случаевъ въ ряду своихъ обязанностей, по которымъ ему приходится «отвѣчать» — паспорта, несколькотъ свѣтъ, и т. д. — то, разумѣется, онъ немедленно-же приступилъ къ выполнению новой гигиенической обязанности и потребовалъ старуху въ часть, въ полицейскую больницу... Но безпомощный видъ старухи тронулъ его: «что тутъ дѣлать?» думалъ онъ, стоя надъ ея смертнымъ одромъ, и наконецъ, вспомнивъ, что у старухи есть племянникъ въ фруктовомъ магазинѣ на Невскомъ, рѣшилъ немедленно пригласить послѣдняго къ участию въ этомъ дѣлѣ.

— Онъ тотчасъ-же побѣжалъ въ магазинъ, объявилъ племяннику, что старуха умираетъ, что «не велѣно», что «штрафъ», и говорилъ, чтобы онъ сейчасъ бралъ свою тетку съ рукъ-на-руки. Была страстная суббота и помимо хлопотъ, суетни, наполнявшей фруктовый магазинъ, у племянника какъ на бѣду въ этотъ день предстояло важное дѣло: въ семь часовъ вечера онъ получалъ отъ хозяина расчетъ и переходилъ въ трактиръ «Золотой Левъ» буфетчикомъ. Въ восемь часовъ вечера ему необходимо было принимать въ «Золотомъ Львѣ» буфетъ и посуду... Не было никакой возможности маневрировать этимъ мѣстомъ, такъ какъ мѣсто хорошее, жалованье достаточное и стало-быть надо дорожить имъ. Что-же скажетъ хозяинъ, когда на первыхъ-же порахъ придется оказать себя неаккуратнымъ? Дворникъ, какъ человекъ, «знавшій нужду», конечно понималъ все это очень хорошо, но именно поэтому-то не могъ принять на себя матеріальнаго ущерба, которымъ угрожала смерть старухи, и волей-неволей потащилъ племянника въ теткѣ, и здѣсь у ея смертнаго одра произошла такая сцена:

— Бери, говоритъ дворникъ: — намъ не велѣно держать! Какъ помретъ, такъ кто отвѣчать будетъ?

— Освободи ты меня до завтрашняго числа! Дай буфетъ принять — сдѣлай милость! Вѣдь, братецъ ты мой, изъ деревни пишутъ... а вѣдь это мѣсто, скоро-ли его найдешь?

— Гдѣ ей до завтра прожить?... Эва, она ужъ икаетъ!

— Ей-Богу, проживетъ — она живуща! Это ты не гляди, что икаетъ... Ей-ей, проживетъ!

— Оба они, безъ всякаго сомнѣнія, были люди, а не звѣри; но что-же дѣлать, если разные «мѣры», дойдя до народа, резюмируются только выраженіемъ: «отвѣтишь!». Все это я узналъ отъ Варюшки, возвратившись домой часу въ седьмомъ вечера. Она объявила мнѣ, что сейчасъ только увезли въ часть Аксинью Васильевну. Пришли племянникъ съ дворникомъ, долго разговаривали около нея и увезли въ часть. Что такое, думаю? Немедленно-же я отправился въ часть — и засталъ тамъ такую сцену. Дворникъ и племянникъ держали почти бездыханную Аксинью Васильевну подъ руки и — ни много, ни мало — слезно упрашивали полицейскаго врача выдать теперь-же, то есть когда она еще была жива, свидѣтельство на ея погребеніе. Дворникъ говорилъ, что разъ это свидѣтельство будетъ у него въ карманѣ, онъ не только не побеспокоитъ Аксинью Ва-

сильевну, но и похлопочетъ, чтобы она померла честию-честью, т. е. причастить и исповѣдуетъ. Буфетчикъ слезно молилъ оказать ему эту услугу, такъ какъ отъ этого зависить все его будущее, что онъ и его родители люди бѣдные, и неужели-жъ онъ захочетъ его разорить? Что, ежели новый хозяинъ откажетъ, а старый не приметъ?

— Да вѣдь она жива еще! — съ изумленіемъ слушая эти молебны, возразилъ было врачъ.

— Умреть-съ! въ одинъ голосъ произнесли и дворникъ, и буфетчикъ. — Она до утра не доживетъ-съ, извольте поглядѣть... носъ... Она ужъ утромъ икала! прибавилъ дворникъ.

— А когда старуха, все время безжизненно висѣвшая на дюжнѣхъ локтяхъ своихъ спутниковъ, приподняла голову и какимъ-то басистымъ шопотомъ произнесла: «Жжи-в-ва!», то, буфетчикъ прижалъ ея руку локтемъ и нетерпѣливо шепнулъ:

— Да будетъ вамъ — кажется, можно и помолчать покуда...

— Сцена была достойная вниманія! Я прервалъ ее и взялъ старуху на свою отвѣтственность. Впрочемъ по дорогѣ изъ части домой, она отдала Богу душу...

— Въ тотъ-же вечеръ заглянулъ я и къ моему приятелю. Засталъ его; сидитъ, пишетъ письмо.

— Вотъ, говоритъ, извѣщаю одного моего заграничнаго друга о моемъ успѣхѣ.

— О какомъ это? спрашиваю.

— А приказъ-то о мѣрахъ? все-таки начало!

— Ну, говорю, не знаю, точно-ли это успѣхъ — и рассказалъ ему про Аксинью Васильевну.

— Задумался мой парень, крѣпко задумался. А успѣхъ точно отъ всего этого былъ, только совсѣтъ не тамъ, гдѣ-бы слѣдовало. А именно: извольте вы помнить этихъ двухъ лицъ — просвѣщеннаго иностранца и непосредственнаго человека, которые поддержали въ думѣ пользу мѣръ? Помните? Ну, такъ вотъ они и получили! Иностранецъ-фабрикантъ, извольте видѣть, выстроилъ при фабрикѣ помѣщеніе для рабочихъ и назначилъ за комнату 2 р. въ мѣсяцъ. Рабочіе не шли, потому что привыкли жить артелями, человекъ по двѣнадцати, и платилъ за квартиру, такъ, рублей 6, всего стало бытъ по полтиннику, и притомъ со стиркой. При заработкѣ рублей въ 15, это большой расчетъ! Вотъ иностранецъ-то и поналегъ на кубическую сажень воздуха... Что же касается непосредственнаго человека, то онъ выкинулъ другой фортель. По шлиссельбургскому тракту у него было пустопорожнее мѣсто, не приносящее ему никакого дохода. Услыхавъ въ рефератѣ про «навозъ» и про «вредъ», онъ энергически настаивалъ на штрафахъ, говорилъ, что безъ этого ничего не подѣлаешь, и въ особенности напиралъ на то, что хорошо-бы штрафовать содержателей хлѣбныхъ амбаровъ за нечистоту, дѣлаемую голубями и прочей птицей: птичные дворы также предполагалъ онъ обложить штрафами за несвоевѣрныя нечистоты. И всѣхъ этихъ мѣръ онъ добился. Теперь на шлиссельбургской дорогѣ вы можете встрѣтить такую вывѣску: «оптовая продажа удобреній, а также голубиныхъ и птичьихъ по-

товъ». Пудъ стоитъ иногда до 25 коп. Кроме того эта сѣдая бородка цѣлое лѣто торгуетъ льдомъ, который, какъ извѣстно, долго не таетъ подъ мусоромъ и навозомъ...

— Такъ вотъ, извольте видѣть, какой оборотъ-то вышелъ? То-есть, дѣло выгорѣло совершенно въ другую сторону, вовсе не туда, куда хохотъ человѣкъ мѣтилъ.

Максимъ Ивановичъ замолокъ.

— Все? спросили его.

— Все, больше ничего нѣтъ.

— Но къ чему-же вы все это говорили?

— Какъ къ чему? Да просто такъ сказать...

Потому сказать, что поглядишь, поглядишь и не знаешь—что такое творится на бѣломъ свѣтѣ. Вотъ почему.—Тоска!

МЕЛОЧИ.

I. Дворникъ.

Въ безконечномъ ряду темнаго, незамѣтнаго люда, съ утра до ночи трудящагося на пользу процвѣтанія и удобства столичной жизни, по всей справедливости, занимаетъ первое мѣсто дворникъ, этотъ человѣкъ въ полосатой шерстяной фуфайкѣ, котораго всякій видалъ милліоны разъ; не думайте, чтобы этотъ предметъ былъ слишкомъ маловаженъ—напротивъ, въ настоящее, совершенно пустынное отъ всякихъ героическихъ личностей время, дворникъ можетъ занять довольно видное мѣсто. Въ самомъ дѣлѣ, чего хотите вы отъ истиннаго героя? Мужества, несокрушимой твердости духа, самоотверженія? Все это, даже въ большей степени, вы найдете въ столичномъ дворникѣ; прибавлю даже, что, какъ истиннымъ героемъ, такъ и порядочнымъ дворникомъ нельзя быть, не обладая этими качествами и преимущественно доведеннымъ до высшихъ границъ самоотверженіемъ, заставляющимъ изъ-за вашего покоя и тепла пожертвовать своимъ тепломъ и покоемъ. Всѣмъ, рѣшительно всѣмъ вы обязаны этой пестрой, неугомонно работающей курткѣ; вы въ этомъ тотчасъ же убѣдитесь, если только будете имѣть терпѣніе прослѣдить хоть одинъ день ея трудовой жизни: одно уже то, что вы будете *только наблюдать* эту жизнь, измучаетъ васъ прежде всего физически, потому что если вы дѣйствительно рѣшаетесь познакомиться съ программой занятій дворника, то вамъ нужно подняться чѣмъ свѣтъ, и тутъ вы будете изумлены тѣмъ, что дворникъ уже опередилъ васъ: на дворѣ давнымъ-давно стучитъ его топоръ, раскалывающій дрова, фуфайка дворника давно пропотѣла отъ швырянія въ сарай полѣнцевъ и дышитъ на утреннемъ морозѣ; работа идетъ все шибче и шибче—и скоро вамъ не угнаться за этой фуфайкой! Вотъ вы встрѣчаете ее на лѣстницѣ съ цѣлой горой дровъ на спинѣ, уставившуюся въ землю лбомъ, осторожно поворачивающую свое тѣло на изгибъ лѣстницы; спустя немного—дворникъ попадаетъ вамъ на той-же лѣстницѣ съ огромными широкодонными ведрами; затѣмъ вы видите его на окнѣ магазина, съ тряпкой въ рукѣ, шлифующаго зеркальное, трехъ-аршинное стекло, вы видите его со скребкомъ на тротуарѣ зимою, съ ломомъ—во время гололеда, съ метлой—лѣтомъ. Эта-же пестрая куртка иногда мелькаетъ вамъ за кулисами театра, съ натугой выкатывающая на сцену вели-

чественное облако, или грандіозную морскую раковину, на которой съ невыразимой граціей помѣстилась балетная героиня... Все, рѣшительно все для васъ—и ничего для себя! И это потому во-первыхъ, что конура, надъ входемъ въ которую видна дощечка «дворникъ», изобилуетъ самыми худшими чертами всѣхъ временъ года—лѣтней духотой, съ быстрыми переходами къ лютomu холоду, осенней сыростью и гнилью подвального воздуха; словомъ, изобилуетъ всѣми неудобствами, о которыхъ вы давнымъ-давно успѣли позабыть, если хоть когда-нибудь слышали о нихъ. Потому еще «не для себя» живетъ онъ, что гдѣ-то въ Осташковѣ существуетъ сынъ Иванъ и жена Авдотья; и отписала эта жена Авдотья «письмо», гдѣ значится, что «въ чистую избу никакъ имъ перейти невозможно, потому что подрядчикъ Иванъ Семеновъ не пускаетъ до тѣхъ поръ, говорить, пока двадцать цѣлковыхъ за стройку не отдадите». Да еще пишетъ Авдотья эта, что «нельзя-ли картузикъ сынку, да ей платокъ, да два цѣлковыхъ за башмаки еще не отдавали, но что Федоръ кумъ и сестрица кланяются и что Гаврило Прокофичъ недавно погорѣлъ. Затѣмъ прощайте...»

Все это огромной массой заботъ лежитъ на плечахъ столичнаго дворника; объ этомъ Осташковѣ, объ этой Авдотѣ и о чистой избѣ думаетъ онъ съ болью въ сердцѣ, потому что за хлопотами приходится думать только украдкой, только въ промежутки думъ о вашемъ покоѣ, о чистотѣ улицы, за укладкой дровъ, за тасканьемъ воды. И эти осташковскія дѣла заставляютъ хватать подходящую минуту, стараться и бѣгать для кого-бы то ни было, лишь-бы потомъ за услугу перехватить «что-нибудь».

Только что поставилъ дворникъ метлу, послѣ продолжительной прогулки съ нею по панеля углового дома, и войдя въ свою совершенно темную отъ темноты зимняго вечера дворницкую, отломилъ огромную краюху хлѣба, которой такъ давно жадать проголодавшійся желудокъ, какъ надъ самымъ окномъ его раздался отчаянный звонокъ.

— О, шутъ тебя возьми!.. произносятъ дворникъ, выгѣзая изъ своей норы.

— Дворникъ! кричитъ какой-то франтъ, стоя въ воротахъ и заложивъ руки въ карманы.

— Что, что тамъ? Бого надо?

— Ты дворникъ?

— Я! Что угодно?

— Послушай, поди сюда!

Франтъ идетъ въ темный уголъ подъ воротами.

— Что угодно?

— Вот тебѣ... возьми...

— Благодаримъ покорно!

Получивъ въ руку, дворникъ считаетъ нужнымъ снять шапку и вполне отдается волѣ благодѣтеля, который говоритъ:

— Послушай, братецъ, — не знаешь, кто это такая побѣжала сейчасъ?

— Буда это-съ?

— Прямо изъ воротъ и потомъ, кажется, вонъ въ уголъ?

— Въ уголъ-съ? Это которая же... въ платочкѣ?

— Да-да-да...

— Это надо думать, Мареуша... швейка.

— Швейка? Гм! Такъ, братецъ, того, поди-ко сюда...

Идутъ въ уголъ болѣе мрачный, гдѣ посѣтитель шепчетъ дворнику на ухо и потомъ произноситъ:

— Понимаешь?

— Будьте покойны!

На дворѣ стоитъ лютый зимній вечеръ. Посреди улицы мчатся промерзлые рысаки, широко раздвывая ноздри и оставляя клочки пара, который тотчасъ же расхватываетъ на части морозъ. Въ небѣ красныя полосы. Посреди улицы итальянецъ-шарманщикъ, въ легкомъ пальтишкѣ, съ грязнымъ шарфомъ на шеѣ, подпѣваетъ подъ мотивъ изъ «Эрнани», но морозъ хватаетъ его за горло, и поэтому вылетаютъ по временамъ какіе-то отрывистые басовые звуки. Да и шарманка тоже по временамъ сипитъ: морозъ побѣдилъ жаркій итальянскій напѣвъ. Франтъ подпрыгиваетъ на тротуарѣ, круто поворачивая отъ угла назадъ, заглядываетъ въ ворота и маршируетъ опять.

А дворникъ между тѣмъ, не спѣша, поднялся по черной лѣстницѣ и остановился около квартиры портнихи Оборкиной; подумавъ съ минуту, онъ осторожно отворилъ дверь и очутился въ мастерской. Около стола, на которомъ лежали кучи книси и разныхъ матерій, сидѣли и стояли дѣвушки. Одна изъ нихъ только что вернулась съ улицы, о чемъ говорили ея румяныя щечки.

— Ну, дѣвушки, говорила она, — какой за мной франтикъ гнался! Отъ самаго Анчикина моста... Я бѣгу—онъ за мной, я бѣгу—онъ за мной.

— Что Марья, полковничьиной куфарки, тутъ вѣту... спрашиваетъ дворникъ.

— Затворяй дверь-то, ишь баринъ какой! холоду напустилъ! Какая тебѣ тутъ Марья?

— А я думалъ, здѣсь; барыня спрашиваетъ — а ее вѣту... Я такъ мѣкалъ—здѣсь.

— Ступай, ступай!

Дворникъ мнется.

— А я такъ думалъ... танетъ онъ, и во время этого ненужнаго разговора Мареуша, только что рассказавшая погоню за ней, успѣла замѣтить, что дворникъ то мигалъ ей глазомъ, кивая при этомъ въ сторону головой, то пальцемъ манилъ... Все это, надо сказать прямо, уже было знакомо Мареушѣ, потому что этими же самыми жестами дворникъ вызывалъ ее къ купеческому сыну Алешѣ. Она окончательно убѣдилась въ томъ, что есть какое-то

экстренное дѣло, когда дворникъ, медленно затворявшій дверь, успѣлъ еще разъ поманить ее своимъ большимъ пальцемъ. Всѣ эти символы были ясно поняты; Мареуша толкнула свою подругу Соню и воскликнула:

— Ахъ, батюшки! Гдѣ-жъ это рюшь-то?.. Ничего я его... Ахъ, батюшки мои!

Мареуша нагбалась подѣ столъ, искала по карманамъ, но рюша не было нигдѣ.

— Такъ и есть! Вѣдь я его никакъ потеряла!

— Гдѣ-нибудь на улицѣ...

— Да на улицѣ и есть! Ахъ, батюшки мои!

— Одѣнься-жо, да побѣги...

— И то пожалуй побѣжать... Мы, тетенька, побѣжимъ съ Соней. Я не увижу, она увидитъ!

Дѣвушки поспѣшно накидываютъ кой-какія пальтишки; на головы набрасываютъ маленькіе платочки, напоминающіе самое жаркое лѣто, — и вонъ!

— Идите скорѣй... Кольки времени ждуть! сердито ворчитъ дворникъ на темной лѣстницѣ. Право толкуются, словно бы барышни какія!

— Ну, молчи!

— Да право!

Дѣвушки выскочили за ворота, побѣжали было въ одну сторону, потомъ тотчасъ же повернули въ другую сторону, и тотчасъ же за ихъ спиной раздавался осторожный кашель и учащенные шаги... Дѣвушки хихикали, останавливались на минутку у оконъ часового магазина, потомъ бѣжали куда-то, опять поворачивали назадъ, зачѣмъ-то перебѣжали дорогу, повернули за-уголъ, а въ сущности кружились на одномъ мѣстѣ. Шаги все стучали сзади ихъ. Послѣ такихъ маневровъ, продолжавшихся, благодаря морозу, только пять минутъ, франтъ шелъ уже рядомъ съ дѣвушками, зацѣпляя ногою дыравые ситцевые подола ихъ жиденькихъ, легонькихъ платьевъ. Еще минута, и дворникъ, интересовавшійся концомъ этой исторіи, слышалъ, какъ за угломъ шелъ такой разговоръ:

— Всѣ мужчины обманщики... Ужъ это вы не говорите!

— Кто это вамъ сказалъ? Извозчикъ!

— Ну да, какъ же... сначала любить, а потомъ...

— Да откуда вы это берете? Извозчикъ! Совершенно не то! Извозчикъ! Напрасно вы такъ... Подай!

— А потомъ обманетъ...

— Что вы! Кто это вамъ внушилъ?.. Подай! Стой! Стой! Соничка, — сюда! Мареуша со мной! Пошелъ!..

— Эй, вы! встряхнувъ возжами, вскрикиваетъ извозчикъ. Сани раскатываются на углу, швыряютъ въ сторону и свѣгомъ, и искрами...

— Ахъ!

— Поѣхали! заключилъ дворникъ.

Глубокая ночь. На углу стоитъ обмерзлый газовый фонарь, въ который рвется вѣтеръ, стараясь задуть огонь; словно птица, мечется огонь въ стороны, и по панели прыгаетъ тѣнь клѣтки отъ фонаря; у запертаго виннаго погреба вѣтеръ качаетъ

большую виноградную кисть; городской въ башлыкѣ съ мерзлыми усами прислонился снively къ стѣнѣ, всунувъ рукавъ въ рукавъ, туго пожимаетъ плечами и дремлетъ. Пустынно, хоть и слышится еще тихій, словно усталый полу-трескъ и полужумъ отъ полозьевъ и колесъ каретъ; извозчики дремлютъ на своихъ саняхъ, закрываясь дерюгой, побѣлѣвшей отъ свѣгу, которымъ такъ упорно играетъ мятель и морозъ... Дворникъ въ огромномъ полужубкѣ, волочащемся по землѣ и выдымающемся выше головы, съ толстой дубиной въ рукахъ, не спитъ... Ходитъ онъ по панели, садится на скамейкѣ у воротъ, открываетъ парадную дверь какому-то запоздавшему господину, не совсѣмъ твердо ступавшему ногами; шуршаніе тулупа во время ходьбы дворника, громыханье ключа и грохотъ выпуклой желѣзной вывѣски, привѣшанной на внутренней сторонѣ двери—все это нарушало на минуту холодную и горькую стилистическую пустынность. Дворникъ снова ходитъ, снова дремлетъ, но не спитъ. Въ темномъ переулкѣ, съ боку, гдѣ судьба и полиція нашли удобнымъ помѣстить только два фонаря—посреди улицы раздаются пьяные голоса: толпа молодыхъ людей, одинъ за другимъ, вываливаются изъ четырехугольной калитки въ воротахъ какого-то мрачнаго и сверху до низу бѣснующагося содома; нетвердымъ языкомъ разговариваютъ они, но кричатъ сильно и притомъ всѣ вдругъ:—одинъ уронилъ съ плеча шинель на свѣгъ, нагнулся, поднял ее и упалъ. Друзья-пріатели не замѣчаютъ этого и съ тѣмъ же говоромъ и шумомъ влѣзаютъ въ калитку сосѣдняго дома. Оставшіяся долго что-то бормочетъ надъ своей шинелью, философствуетъ—наконецъ, наконецъ начинается дремать, но свѣжій воздухъ беретъ свое...

И пустыньѣ становится кругомъ, ближе и ближе подступаетъ та минута совершенно беззвучной тишины, которая хоть на одно мгновеніе, но непременно бываетъ и въ безсонномъ организмѣ столицы. Дремлетъ дворникъ. Изъ-за угла въ это время выѣзжаетъ извозчикъ: лошадевка маленькая, мухортая, обвѣшанная сосульками, дуга облупленная, связанная по срединѣ бичевками, одна оглобля бѣлая, другая черная, извозчикъ—ветхій старичокъ; это—ночной извозчикъ, такъ называемый *желтоглазый*, каррикатура въ глазахъ денныхъ ѣздоковъ и предметъ посмѣяній, какъ такое безталанное существо, которое поставлено въ необходимость брать *«пяти-алтынный за Дунай»*. А на полуразвалившихся саняхъ этого желтоглазаго,—санияхъ, которыя словно ходенемъ ходятъ подъ сѣдокомъ, которыя всѣ изранены,—и въ низу, и въ задкѣ налетавшими съ маху дышлами—на этихъ убогихъ саняхъ ѣдутъ наши знакомки: Соня и Мареуша. Мареуша то и дѣло принимается пѣсить пѣть, ногой притопыиваетъ: «а-ахъ дешеньки» и кричитъ: «ахъ, извозчикъ, пошесть!» Соня, которая въ первый разъ испытываетъ на своей, рано или поздно предназначенной къ гибели, головѣ ошущенія хмеля, пугается этого ошущенія, останавливаетъ Мареушу, показывающуюся изъ стороны въ сторону, и дрожитъ ея сердце при видѣ

знакомаго пятиэтажнаго дома, гдѣ живетъ портниха Оборкина.

— Эко дѣвки-то напились какъ! соболѣзнуя, говорить дворникъ и поднимается со скамейки.

— Гдѣ васъ шутъ носилъ?

— Голубчикъ дворникъ! Ваня! любовно говорить Мареуша, нетвердо стоя на панели.—Ванюша!.. Гуляли...

— Вижу!.. Зачѣмъ вино-то жрешь?.. Какъ теперь покажешься къ мадамъ-то?..

— Да не покажусь...

— Не покажусь! До естольникъ поръ волочаться... Мнѣ же достанется...

— Кто мнѣ можетъ запретить? воодушевляясь, произнесла Мареуша, размахнувъ руками, и во все горло затягиваетъ пѣсню.

— Иванъ Ивановичъ! Голубчикъ! робко произноситъ Соня:—мы боимся!..

— Прижала хвостъ-то... снисходительно произноситъ дворникъ, медленно идя подъ ворота.

— Пошли спать сюда! продолжаетъ онъ, толкнувъ ногой дверь въ дворницкую. Чѣмъ свѣтъ взбужу—какъ-нибудь потихоньку проберетесь... Пошли!.. Клади-ко ее... Эко Мареуша-то въ самомъ дѣлѣ какъ ослабла!

Улеглись дѣвушки въ канурѣ дворника—Мареуша вѣлымъ языкомъ что-то рассказывала, быстро приподымаясь съ полу и почти также быстро падая опять... Принималась пѣсни пѣть... Соня глазъ не могла сомкнуть отъ страха, который все больше и больше охватывалъ ее.

— Господи! шептала она во тьмѣ.

Вьюга шумѣла на дворѣ, и по прежнему, ежась отъ холоду, дремалъ на скамейкѣ дворникъ...

...День. Мареуша сидитъ за работой съ больной головой и побѣлѣвшей, какъ полотно, физиономіей. Не разговаривая она—«да» и «нѣтъ»—и больше слова не любящая, и грустно ей, и вся разбита, нездорова она.

А дворникъ, какъ и вчера, еще до разсвѣта принялся за свою обычную работу и, усѣвшись потомъ за ѣду въ своей дворницкой, вовсе не обращаетъ вниманія на то, что какая-то женщина давнымъ давно вызываетъ къ нему, стоя посреди двора.

II. По черной лѣстницѣ.

...Женщина эта, одѣтая почти по-деревенски, по своей робости и глупости никакъ не рѣшалась позвонить въ дворницкую, потому что ей казалось, что звонокъ существуетъ для господъ, а простой народъ обязанъ обходиться собственными голосовыми средствами. Выбѣсть съ добродушнымъ простоватымъ видомъ женщины, звонкіе возгласы ея, обращенные къ пяти-этажнымъ стѣнамъ петербургскаго дома, заставили дворника считать эту женщину просто за «глупую бабу», съ которой можно и не перемоняться. Вслѣдствіе этого дворникъ не тронулся съ мѣста до тѣхъ поръ, куда къ воротамъ дома не подкатилъ какой-то офицеръ.

Отчаянный звонокъ, обличившій появленіе у

воротъ барина, заставилъ дворника выйти наружу, и тутъ Марѳа могла наконецъ узнать, что 29 №, гдѣ живетъ г-жа Иванова и гдѣ требуется кухарка, будетъ по черной лѣстницѣ, въ такомъ-то этажѣ.

Марѳа давно знала, что ей всю жизнь придется скоротать на черной лѣстницѣ, по заднему ходу; поэтому-то ее нисколько не удивила ни атмосфера черной лѣстницы, ни мерзлые рубцы льду и сору, ни ушаты съ мерзлымъ соромъ и вонючей въ нихъ мелтой, ни лари, изъ которыхъ несетъ разлагающейся провизией—все это въ ея понятіяхъ иначе и быть не могло. Дверь изъ двадцать девятого номера была отворена настежь, и изъ нея бѣлыми клубами вылилъ удушливый кофейный дымъ. Передъ плитой, изъ дыръ которой вырывались огненные языки пламени, съ раскаленной кочергой въ рукахъ стояла кухарка—худая, обшипанная... Это былъ типъ истой петербургской кухарки, знающей «бонжуръ» и «мерси» и резонерствующей въ лавочкѣ о господахъ. Марѳа должна была занять ея мѣсто въ 29 №. Вращая огненной кочергой и отдернувъ въ сторону голову, кухарка утопала въ облакахъ дыма и пара, потому что въ эту самую минуту, когда Марѳа рѣшилась вступить въ кухню, кухарка въ азартѣ перевернула вверхъ дномъ горшокъ съ какою-то жидкостью.

Марѳа переждала, пока на плитѣ происходило шипѣніе пролитого кушанья и грохотаніе чугунныхъ кофировъ, и потомъ произнесла:

— Богъ на помощь! Что, милая! барыня, господа Иванова, здѣсь живутъ? сказала она.

— Вы отъ кого? спросила та.

— Сами отъ себя... Тутъ куфарка требуется?

— Ахъ! это васъ рекомендовали? отъ прачки?

— Оедосья-съ—она...

— Такъ, такъ—Оедосья! Иванова здѣсь... Вы, душенька, отдохните, ее дома нѣту, вѣдь она у насъ верченая... затрещала кухарка.—Вѣдь она у насъ очумѣлая!.. Тепериче вотъ Семенъ Михалычъ принесъ десять цѣлковыхъ—чѣмъ-бы что путное сдѣлать, а она хвостомъ вилянула, да по магазинамъ... безо всякаго, можно сказать, разсудку... Иной разъ... кофію-то что же а? Господи помилуй!..

— Благодарствуйте на кофеѣ...

— Какъ можно! Что вы!

Мѣдный кофейникъ тотчасъ же заклокоталъ на плитѣ, а вмѣстѣ съ нимъ неудержимымъ потокомъ хлынула разговорная трескотня кухарки.

— Вѣдь она, барыня-то наша, не совсѣмъ-то барской породы, трещала кухарка;—это вѣдь только мужчины-дураки наглядѣться на нее не могутъ, безумные! И скажите на милость, что въ ей? Ну, ежели бы что-нибудь, а то вѣдь просто стыдъ сказать!.. Худая, злая, да и... Кажется, ежели бы на моемъ мѣстѣ, да я бы не только что уваженіе ей какое оказала, а просто и вниманія бы не дала... Ну, скажите на милость, каково вамъ покажется послѣ этого, что напримѣръ Семенъ Михалычъ, такъ тотъ до чего: бьетъ его, ругаетъ, и онъ же у нея прощенія просить! а? Думаю, и не могу понять, изъ-за чего такое безуміе? Да мнѣ, я вамъ не хвастаясь скажу, одинъ генералъ—тоже къ ней ѣз-

дить—такъ онъ мнѣ, можетъ быть, нѣсколько разъ говорилъ: «вы, говорить, Натали, много-бы противъ барыни себя превозвысили... если-бъ конечно вы были въ настоящемъ вашемъ видѣ!» И ей Богу: одѣвъ-ко меня—я-бъ... ужъ бы высказала бы!.. Другой тоже, конный офицеръ Кузмичевъ, говорить мнѣ: «вы, говорить, лучше всякой барыни!» А мнѣ что такое? Я не хвастаюсь, а одно, что люблю я правду... Мнѣ этихъ пошлостей не нужно; имѣю я своего знакомаго военнаго—и довольно отъ Бога! Чего мнѣ еще желать? Надо понимать во всемъ свою правду...

— Это точно! подтвердила Марѳа.

— А то какъ-же? Черезъ то, что видѣть я не могу, какую она дозволяетъ себѣ команду надъ благородными людьми, я и отъ мѣста отхожу. Что мнѣ? Мнѣ мой военный говоритъ: «вы, говорить, Наташенька, не опасайтесь! Вы, говорить, довольно красивы въ своемъ лицѣ, и во всякомъ благородномъ домѣ могутъ васъ принять. Вамъ опасаться нечего!» И вправду: вонъ теперь къ сенатору поступаю... И слава Тебѣ Господи! Кого мнѣ опасаться? Я какъ есть передъ Богомъ! Ее-то что-ль? Такъ это ужъ слѣшайте ваше одолженіе!..

Тутъ кухарка остановилась перевести духъ; она торопливо подоткнула юбку, взявшись за нее спереди обѣими руками, и нагнула на темя събѣгшую назадъ сѣтку, внутри которой изгибался хвостикъ косы, весьма похожій на высохшую селедку.

Марѳа съ нѣкоторымъ изумленіемъ слушала трескотню своей предшественницы.

— Ежели бы на мою волю, начала та опять наставительнымъ тономъ,—такъ я бы и господъ-то этихъ, да и ее-то...

— Это что такое? Это цѣлый день дверь будетъ распертая стоять? сердито произнесъ новый женскій голосъ, захлопывая дверь.

Кухарка бросилась снимать салонъ и на холу шепнула Марѳѣ:

— Барыня!

— Цѣлый дворъ хочешь что-ли натопить? продолжала сердитая барыня.

Храбрая кухарка не выказывала ни малѣйшаго протеста, но нашла-таки возможность шепнуть Марѳѣ два словечка:

— Проухляла деньги-то по магазинамъ, вотъ и шетинится!

Барыня между тѣмъ замѣтила Марѳу и сочла нужнымъ вступить съ нею въ переговоры; для этого она потребовала ее къ себѣ въ горницу и задла извѣстные вопросы по поводу паспорта, поведенія и проч. Марѳа при этомъ не упустила случая упомянуть о своемъ служеніи въ домѣ генерала Папухина, который по обыкновенію остался очень доволенъ ея службой. Разговаривая такимъ образомъ, барыня и кухарка неожиданно оказались землячками—онѣ вмѣстѣ были крѣпостными господами Адоньевыхъ, Рязанской губерніи. Госпожа Иванова, вспомнилась Марѳѣ двѣнадцатилѣтней дѣвочкой, вертѣвшейся въ услуженіи у барышни въ то время, когда Марѳа уже успѣла проводить мужа-солдата на войну, гдѣ онъ и доказалъ уже свою доблесть, получивъ чью-то пулю куда-то на вылетъ.

Это обстоятельство оживило сухой разговор землячекъ.

— Ну, здравствуйте, сказала Марѳа, — ишь Господь гдѣ свидѣться привесть!

Барыня попробовала-было ей поддакивать и тоже радовалась встрѣчѣ, но скоро свернула на разговоры болѣе барскіе, низвела мѣсячную плату Марѳы съ пяти рублей до четырехъ съ полтиной, упомянула насчетъ строгости правовъ и назначила срокъ переѣзда. Марѳа поняла свое мѣсто и говорила: «слушаю-съ!».

Старыя знакомки разстались на этотъ разъ, какъ разстается барыня съ кухаркой, а черезъ два дня Марѳа уже переѣзжала къ госпожѣ Ивановой. Сидя на кучѣ узловъ, поглотившихъ извозничьи сани, она одной рукой придерживала образъ Троеручницы, украшенный потемнѣвшими цвѣтами и фольгой, а другою обнимала извозчика за шею. Въздъ ея былъ до того трогателенъ или, вѣрнѣе сказать, потрясающъ, что управляющій дома, увидавъ фигуру задохнушагося въ объятіяхъ Марѳы извозчика, испуганно позвалъ дворника. Дѣло однако обошлось безъ особенныхъ несчастій, и Марѳа поселилась въ кухнѣ госпожи Ивановой, вытѣснивъ свою предшественницу, которая въ то же время переѣхала куда-то на квартиру. Не смотря на зимнее время, предшественница Марѳы была одѣта въ легчайшій бурнусъ, голова была повязана крошечной косыночкой, и на колѣняхъ ея помѣщался маленькій зеленый сундучекъ безъ замка. При каждомъ ухажѣ крышка сундука отворялась, открывая взорамъ наблюдателя его пустую внутренность, гдѣ прядала какая-то помадная банка и рыжая роговая гребенка. Все это однако не мѣшало ей имѣть гордый, независимый видъ и не препятствовало критиковать госпожу Иванову во всеуслышаніе всѣхъ бывшихъ на дворѣ въ моментъ отъѣзда.

Такимъ образомъ Марѳа стала на новомъ мѣстѣ.

Какъ сказано выше, Марѳа была не что иное, какъ *баба глупая*; кромѣ доказательствъ, уже приведенныхъ нами, положеніе это подтверждается еще крайне ограниченными размѣрами имуществъ Марѳы: оно состояло изъ стараго сундука, гдѣ подъ крышкой, выклеенной внутри конфетными картинками съ расплывшейся и размазанной краской, находилось два-три ситцевыхъ платья, весьма ограниченное количество бѣлья, нѣсколько платковъ и коробка изъ-подъ монпасе, гдѣ лежали иголки, пуговицы, наперстки и, по временамъ, мѣдные деньги. Всѣ эти вещи она предоставляла на жертву жильцамъ тѣхъ хозяевъ, у котораго ей приходилось жить: иголки и нитки занимали у нея всѣ жильцы — бесплатно и безвозвратно, и не смотря на то, Марѳа никогда не отказывала въ просьбахъ, обращенныхъ въ ней; такіе проступки добродушія Марѳы никакъ не могли происходить отъ ея необузданной щедрости, составляющей достоинство только вельможъ, потому что Марѳа считала непростительнымъ грѣхомъ отнестись съ пренебреженіемъ даже къ булавкѣ, попавшейся ей въ сору, стеариновому огарку величиною въ одну десятую долю

вершка. Всею виною было именно то, что Марѳа была «баба глупая». Терминъ этотъ можетъ быть объясненъ нѣсколько подробнѣе. Дѣло въ томъ, что судьба съ раннихъ лѣтъ обрекла Марѳу на трудъ и нужду, а сама Марѳа почему-то вздумала прибавить ко всему еще и правду, борьба которой съ трудомъ и нуждою была однимъ изъ самыхъ тяжелыхъ страдальческихъ крестовъ, лежавшихъ на Марѳѣ. Въ вознагражденіе за всѣ эти лишенія и скорби судьбою предлагалась ей одна только отрада — возможность прокормиться, каковую отраду Марѳа привыкла считать единственною цѣлью своей жизни. Съ самаго дѣтства, съ первыхъ дней, она едва-ли имѣла возможность представить себѣ, что есть на свѣтѣ и другія болѣе торныя дороги. Подъ влияніемъ такихъ великой судьбы Марѳа должна была жить такъ, какъ велитъ ей «правда нищеты и бѣдности», выработанная всѣмъ «чернымъ народомъ». Придерживаясь этой философіи, Марѳа представляла себѣ столицу почти тѣмъ же, чѣмъ простонародному соображенію представляется грозная литва, упавшая съ неба туретчина или нѣмецина, съ тою разницею, что во взглядѣ ея на столицу не было ни вершка мѣста для ироніи и самодовольства, съ которымъ можно и даже должно относиться къ такимъ плюгавымъ государствамъ, какъ нѣмецина и пр.; напротивъ, въ столицѣ она чувствовала себя въ плѣну и была увѣждена, что съ ней могутъ поступать такъ, какъ кому захочется. Правда нищеты, выработанная именно сознаниемъ этого плѣна, учила ее покоряться всему безропотно; заставляла не удивляться ни единому ужасу столичной жизни, ни единому уродливому требованію тѣхъ, отъ кого зависить ея возможность прокормиться. Жила она поэтому гдѣ придется, не брезгала ни жидами, ни нѣмцами, ни татарами; вся жизнь ея уходила на изученіе «права» ея господъ; всѣ заботы и думы ея устремлялись къ улучшенію чужого благосостоянія, чужого покоя. Иногда, покоряясь той же правдѣ чернаго народа, она дѣлала нечистое дѣло — на примѣръ, когда посылали съ ней извозчику деньги, она выторговывала у послѣдняго пятачекъ и оставляла его у себя; или передавала отъ барышни записку офицеру, не смотря на запрещеніе маменьки и единственно ради двугривеннаго, даннаго барышней, и пр. Но весь черный цвѣтъ этихъ пятенъ уничтожается въ той массѣ всякой житейской, темной и грязной дѣйствительности, которой должна была она покоряться. Она воевала за свое существованіе, билась какъ только могла, и немудрено, что война эта изувѣчила и изранила ея душу и голову. Раны были и болѣли, и какъ только Марѳа хоть на минуту заключала перемиріе съ дѣйствительностью, какъ только она получала возможность, пользуясь отсутствіемъ господъ на дачу, просидѣть цѣлый день одна одишенька и подумать самой о себѣ, она никогда не обходилась безъ слезъ; въ это время представлялась ей и сестра, которая бьется съ малыми ребятами въ деревнѣ Босоговой и которую бьетъ мужъ, и свои сироты, разбросанные по воспитательнымъ домамъ и топкимъ кладбищамъ, и сама она, Марѳа, сиро-

та — и тогда она плакала-заливалась; только въ слезахъ и рыданіяхъ была она свободна, только въ нихъ высказывалась вся ея неподкупная, неизмѣримая, нравственная чистота.

По переѣздѣ на новое мѣсто, Марѳа прежде всего вѣшала въ углу кухни образъ Троеручицы, задвигала подъ кровать сундукъ и, покончивъ такимъ образомъ съ собственнымъ имуществомъ и устройствомъ жилища, принималась изучать свойства квартиры, имѣвшія непосредственныя отношенія къ печкѣ и плитѣ: чуланчики для провизіи, помѣщенія для дровъ, прачешныя и чердаки и пр. На обзорѣніе всего этого она впрочемъ тратила довольно мало времени, такъ какъ ея умственной работѣ предстояла еще другая, болѣе серьезная пища: ей необходимо было, какъ уже сказано, изучить нравы новыхъ хозяевъ, узнать, что имъ нравится и что нѣтъ, и навзгустъ выучить симпатіи и антипатіи ихъ. Въ такихъ видахъ иногда ей приходилось радикально преобразовывать свою походку — такъ какъ господа не любятъ, чтобы шлепали ногами по полу, — тѣлодвиженія, голосъ, выговоръ и пр., ибо господамъ не нравится, когда хлопаютъ дверью или не затворены двери, или задѣваютъ локтемъ за стулъ, или громко говорятъ, что можетъ испугать господъ, и т. д., и т. д. Все это Марѳа должна была переработать въ собственной головѣ, проникнуться всѣмъ этимъ до мозга костей, до дѣйствительнаго, непритворнаго и неподдѣльнаго ужаса, если какъ-нибудь неожиданно приходилось нарушить хозяйскую привычку. Убиваясь надъ такой кропотливой и отупляющей работой, Марѳа находила возможнымъ благодарить судьбу за то, что судьба эта не оставляетъ ее безъ мѣста больше недѣли, тогда какъ сама Марѳа не прибѣгаетъ въ этомъ случаѣ ни къ конторамъ, ни къ агентамъ, а руководствуется единственно случаемъ, нечаяннымъ знакомствомъ въ прачешной, въ булочной, лавочкѣ. Только молитвы «родителей», думала она, не допускаютъ ее погибнуть, какъ песчинку, и не оставляютъ безъ мѣста, перегоняя изъ одной геенны огненной хозяйскихъ прихотей въ другую. Разсуждая такимъ образомъ, Марѳа и не подозрѣвала, что за пять цѣлковыхъ мѣсячнаго жалованья господа хозяева охотно готовы получить цѣлаго человѣка въ безконтрольное распоряженіе, всю Марѳу цѣликомъ, съ ея мыслями, устремленными къ заботѣ о хозяйскомъ добрѣ, съ ея руками, растопляющими печи, стирающими бѣлье, обжигающимися на плитѣ, подающими, принимающими. Пусть читатель самъ припомнитъ всѣ причастія дѣйствительныхъ и страдательныхъ глаголовъ, которые къ тому же имѣютъ странное или вѣриѣ петербургское свойство быть поминутно возвратными — и обязанности Марѳы опредѣлялись ему въ нѣкоторой степени. Ноги свои Марѳа считала ни во что и, летая по двѣнадцати-ствольнымъ петербургскимъ лѣстницамъ, заболталась не о томъ, какъ бы не задохнуться, а о томъ, чтобы не опоздать съ папиросами, за которыми ее посылали.

Эту теорію изслѣдованія господскихъ прихотей и привычекъ Марѳа на новомъ мѣстѣ должна была

приложить къ госпожѣ Ивановой. То обстоятельство, что госпожа сія происходила изъ одной деревни съ Марѳой, мѣшало послѣдней безпристрастно разсмотрѣть ея сущность, такъ какъ среди изслѣдованій въ сердцѣ Марѳы неожиданно застала зависть къ своей землячкѣ, и въ головѣ являлись такія мысли: «Вотъ, думала Марѳа, — тоже вѣдь нашей, мужицкой породы, а поди-кося, какіе генералы да сенаторы набѣзжаютъ! Нѣтъ, ужъ видно, кому Богъ пошлетъ... и т. д.» Тутъ Марѳа принималась сравнивать свою участь съ участью барыни и находила ее большою счастливою. Въ сущности же, зависть Марѳы не имѣла никакихъ основаній. И барыню, и кухарку равняли уже одно то, что онѣ были землячки, обѣ имѣли одну житейскую цѣль — возможность прокормиться, и разница была въ томъ, что Марѳа пошла къ этой цѣли на проломъ, принялась биться изъ-за своего существованія, а землячка, барыня Иванова, вознамѣрилась достигнуть той же цѣли путями окольными.

Первыя свѣдѣнія объ этихъ окольныхъ путяхъ получила она въ господскомъ домѣ, находясь въ услуженіи у барышни. Здѣсь увидѣла она, что могутъ люди жить, ничего не дѣлая и не пачкая своихъ бѣлыхъ ручекъ; въ качествѣ смазливенькой дѣвочки она узнала, что на рынкѣ барскихъ прихотей ея молодости и свѣжести стоитъ хорошая цѣна, и что есть на свѣтѣ удовольствія почище мезовыхъ пряниковъ и каленыхъ орѣшковъ, которые рекомендуются прекрасному полу деревенскими волочитами. Попавъ потомъ въ Петербургъ въ бѣлошвейки, будущая госпожа Иванова, а попросту Нютка, узнала не только цѣну своей молодости и достоинствамъ, но даже стоимость до копѣекъ и полукопѣекъ. Въ короткое время планы ея были приведены въ исполненіе, при услужливой помощи нѣкоторыхъ свѣдущихъ въ столичной жизни людей. И вотъ дѣйствительно она уже не швея, а госпожа «полу-барыня», какъ называютъ ее дворники, у нея своя квартира, мебель, посуда, вездѣ чистота, и опрятность, и уваженіе: именитыя, можно сказать, особы заѣзжаютъ къ ней. Завидуй, Марѳа, этому почету, мебели и теплу, но не завидуй сердцу госпожи Ивановой: оно одиноко и холодно больше, нежели твое въ сотни разъ! Воспитываясь въ школѣ господскихъ прихотей, г-жа Иванова выкинула изъ своего сердца всѣ радости, которыми Марѳа имѣла еще возможность пользоваться, радости деревенскія, рожденныя курной избой и унылыми полями... выкинула всѣ деревенскія впечатлѣнія, словомъ, — все то, что должна была она имѣть въ качествѣ обитательницы курной избы. Въ замѣтъ этого она должна была наполнить свое сердце тѣми интересами, радостями и печалями, которые возможны только въ кругу прихотей и затѣй. Полюбила она поэтому наряды, длинныя шлейфы, шиньоны: поняла прелесть Невскаго въ 2 часа дня, прелесть прогулки на дорогомъ извозчикѣ. Кодексомъ ея жизни, ради тѣхъ же прихотей, сдѣлалась жизнь того класса людей, который, благодаря толстому карману, весь міръ божій представляетъ себѣ какимъ-то рестораномъ или кафе-шантаномъ... Но у

Нютки, или уже у Нетти, не было толстаго кармана, она должна была рассчитывать на карманъ своихъ развратителей, и поработенная ихъ наукой, каждую минуту дрожала отъ мысли, что когда-нибудь да отнимутъ же у нея этотъ толстый карманъ. Среди всей этой чистоты, мебели и драпировокъ жило такимъ образомъ измученное, до рабства трусливое сердце, умѣвшее только злиться и оскалывать зубы на судьбу, но неумѣвшее уже плакать.

И Марѳа напрасно завидовала г-жѣ Ивановой. Въ тотъ моментъ, когда Марѳа поступила къ ней въ услуженіе, госпожа Иванова имѣла отъ роду уже двадцать семь лѣтъ и успѣла много потерять въ своей свѣжести и красотѣ. Лицо ея было утомлено, блѣдно, грудь сухая, узенькая; она принадлежала вообще къ числу субъектовъ, которыхъ купцы опредѣляютъ терминномъ «хлипкая». Тощенькая и маленькая коса ея, когда-то доходившая до колѣнъ, теперь значительно уже порѣдѣла, да и всѣ сокровища красоты и свѣжести были промотаны на столько, что Семенъ Михайлычъ Михайловъ могъ спокойно распоряжаться ими, не опасаясь быть отставленнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, при взглядѣ на фигуру господина Михайлова, трудно было объяснить себѣ, какъ г-жа Иванова рѣшается сносить близкое присутствіе его особы втеченіи нѣсколькихъ уже лѣтъ; съ другой стороны, тоже казалось не совсѣмъ удобопонятнымъ, отчего господинъ Михайловъ не плюнетъ и не уйдетъ отъ госпожи Ивановой куда-нибудь на край свѣта, такъ какъ сія госпожа не даетъ ему ни минуты покоя, отравляетъ ему каждый глотокъ чаю и вообще выказываетъ явное презрѣніе къ нему, иногда даже награждаетъ очень вѣской пощечиной.

Страхъ голодной смерти и невозможность отцѣлѣею красотою полонить болѣе сносное существо, чѣмъ господинъ Михайловъ, объясняютъ, почему г-жа Иванова, выгнавъ вонъ своего пріятеля, тотчасъ же посылала кухарку воротить его обратно; но то, что господинъ Михайловъ, не успѣвъ простить отъ полученной пощечины, тотчасъ же снова возвращался въ лоно самыхъ невѣроятныхъ жизненныхъ отравъ, объясняется полнымъ безграничнымъ и беззащитнымъ одиночествомъ сего чловѣка и его жизненнымъ обюроденіемъ.

Господинъ Михайловъ служить въ какой-то петербургской конторѣ, цѣлые дни выводитъ цифры, пассивы, активы и проч. Изрѣдка отрывая голову отъ бумаги, онъ изрѣдка можетъ созерцать только бѣлые высокія и безмолвныя стѣны конторы и молчаливыхъ товарищей. Въ пять часовъ, по окончаніи работъ, онъ отправлялся въ кухмистерскую, гдѣ помѣщался среди молчаливыхъ и незнакомыхъ сосѣдей и ѣлъ свои пять блюдъ, подносимыя ему тоже безмолвными служанками, головы которыхъ имѣютъ право работать только надъ вопросомъ: «супъ или щи?». Промолчавъ часъ или полтора въ столовой залѣ, г. Михайловъ отправлялся въ биліардную, чтобы сыграть двѣ-три партіи съ маркеромъ, и наконецъ выходилъ на улицу. Дорогою онъ поглядывалъ въ окна магазиновъ, прочитывалъ знакомыя вывѣски и послѣ такой поучитель-

ной прогулки возвращался домой въ свою крошечную комнату на Гороховой, гдѣ его ожидали четыре безмолвныя стѣны, запахъ табаку, кровать, на которой можно было растянуться, потолокъ, на который не возбранялось смотрѣть цѣлые годы. Всѣ развлеченія или вѣрнѣе всѣ личные интересы сводились на трактиры, танцзаласы и только. Чѣмъ тутъ поживиться бѣдному, заброшенному сердцу, которое ни минуты не перестаетъ молить о жизни? Чловѣку нуженъ извѣстный сердечный пріютъ, тепло; нуженъ очагъ, который смогъ бы отогрѣть охолодѣвшую отъ одиночества душу... Михайловъ, старый холостякъ, давно уже зачерствѣлъ среди молчаливыхъ, однообразныхъ стѣнъ конторы, кухмистерской, своей каюты на Гороховой улицѣ, и все-таки жаждалъ уюта, тепла, сочувствія. Одиночество искавило его наружность, сдѣлало его страннымъ, неуклюжимъ и застѣнчивымъ до испуга, среди обыкновенныхъ петербургскихъ людей, живущихъ всѣмъ извѣстными интересами журфиксовъ, и поэтому онъ могъ добраться до необходимаго ему уюта только какъ-нибудь окольнымъ путемъ.

Госпожа Иванова взялась за это дѣло, обязавшись настолько приглубить одинокаго холостяка, насколько ей позволяло ея истерзанное, остывшее совершенно сердце—съ одной стороны, и сознание своей необезпеченности—съ другой. Михайловъ обязывался платить за квартиру и обезпечивать всѣ нужды бѣдной и тоже вполне одинокой женщины. И онъ отдавалъ все, что у него было, несмотря на то, что въ сущности сердцу его не было отъ этого никакой отрады. Приходилъ онъ въ квартиру г-жи Ивановой преимущественно вечеромъ къ чаю и успѣвалъ уже къ этому времени проглотить нѣсколько рюмокъ водки и стакановъ пива. Это обстоятельство заставляло его робѣть передъ порядкомъ и чистотою жилища его подруги, которая тоже всегда держала себя, особенно въ послѣднее время, въ строжайшемъ порядкѣ и опрятности. Робѣя, онъ подходилъ къ ней, цѣловалъ ея руку, стараясь затанть дыханіе, чтобы не дохнуть винными парами, и чуть-чуть прикасаться губами, чтобы тоже не побеспокоить свою властительницу мокрыми губами. Совершивъ все это съ величайшей осторожностью, Михайловъ садился подлѣ рабочаго столика и молчалъ. Молчала и властительница, отлично знавшая, что онъ уже выпилъ и водки, и пива, и чувствуетъ себя виновнымъ.

Долго длилось обыкновенно такое тягостное молчаніе.

— Вы долго будете сюда шататься, какъ въ кабакъ? наконецъ спрашивала госпожа Иванова.

Михайловъ взглядывалъ на нее и тянулся къ ручкѣ.

— Сидите! вскрикивала повелительно Иванова, отдергивая руку.

На крикъ ея изъ разныхъ угловъ звонко откликались комнатныя собаки, которыхъ госпожа Иванова любила до безумія. Начинаясь лай, который заставлялъ Иванову топать на собакъ и кричать еще больше. Все это потрясало Михайлова и

онъ поминутно отиралъ платкомъ лобъ... Опять наставало молчаніе... долгое, напряженное...

— Положите, я вамъ говорю, ножницы. Положите на мѣсто!

Ножницы летѣли изъ рукъ Михайлова на полъ, отчего снова поднимался лай, крикъ, топанье и еще болѣе тягостное молчаніе...

— Хотѣлъ было... ко всеночной!.. начиналъ наконецъ Михайловъ довольно рѣшительно.

На это отвѣта не было.

Послѣ продолжительнаго молчанія, онъ начинать манить къ себѣ собаку, и когда та подходила и начинала обнюхивать его ногу, онъ принимался гладить ее по головѣ съ величайшей осторожностью и неподдѣльной нѣжностью, чтобы заслужить благосклонность владычицы своей. Все идетъ благополучно: собака виляетъ хвостомъ, госпожа Иванова не сердится. Господинъ Михайловъ просіялъ; но, желая еще болѣе угодить своей владычицѣ, онъ намѣревается посадить собаку на колѣни и беретъ ее за лапу; вслѣдъ за тѣмъ раздается визгъ, поднимается лай, на руку господина Михайлова обрушивается полновѣсный ударъ, въ голову его летитъ мокрая шапка, и среди лая раздается:

— Вонъ! вонъ! Къ черту!

Господинъ Михайловъ прячется за дверь. Стоя здѣсь, онъ слышитъ, какъ колотятъ собакъ, дергая ихъ за уши, топаютъ ногами, роняютъ стулья и проч., и проч. Проходитъ полчаса. Все утихаетъ. Михайловъ начинаетъ по верхку пріотворять дверь, понемногу влѣзаетъ въ комнату и, дѣлая вершковые шаги, приближается къ первому своему мѣсту, на которое усаживается съ утроенною противъ прежней осторожностью.

Тишина и молчаніе безконечно длинныя.

— Пойдемъ ко всеночной? произносятъ наконецъ Михайловъ.

— Подите къ чорту, слѣайте милость! отвѣчаютъ ему.—Положите же ножницы! Убирайтесь вонъ! Мареза! Позови дворника!

Такіе возгласы въ неизмѣнномъ порядкѣ слѣдовали втеченіе цѣлаго вечера, вечерняго чая и ужина и оканчивались, когда весь Петербургъ, а слѣдовательно и герои наши, спали мертвымъ сномъ. И несмотря на это, Михайловъ съ удовольствіемъ отдавалъ все, такъ какъ жилище госпожи Ивановой было единственный уголокъ, гдѣ объ немъ такъ или иначе думали. Никакія драки и потасовки, которыми награждала его подчасъ властительница, не могли оторвать его отъ ея квартиры.

Раздраженное состояніе, въ которомъ всегда являлась госпожа Иванова передъ глазами Михайлова, не покидало ее и тогда, какъ ей приходилось быть совершенно одной. Ее бѣсилъ лай собакъ, которыхъ она не могла все-таки выгнать вонъ, стукъ двери, паденіе ложки и т. д., все это производило моментальное буйство, мгновенно затихавшее, чтобы вспыхнуть съ новою силою опять, ради какой-нибудь ничтожной причины. Помимо лая собакъ, топанья ногъ и криковъ, раздававшихся какъ-то вдругъ, въ одну минуту, никакихъ звуковъ по цѣлымъ днямъ не было слышно въ квартирѣ Ивано-

вой; только въ первыхъ числахъ всякаго мѣсяца, когда Семень Михайловичъ приносилъ во власть своей повелительницы свое жалованье, въ ней пробуждались полузабытыя привычки, и она принималась развѣзжать по лавкамъ, по Гостинному двору, покупала всякихъ бездѣлицъ и, оставшись къ вечеру безъ гроша, дѣлала всѣмъ жителямъ дома своего отъявленную сцену: собакамъ отрывались уши, Марезъ летѣли въ голову картофелины и котлеты, а Семень Михайлычъ принималъ на голову свою сумму всѣхъ поруганій и обидъ. Промотавшись въ Гостинномъ дворѣ, госпожа Иванова съ слѣдующаго дня принималась спускать только что купленные наряды и бездѣлушки жидовкамъ, которыя имѣютъ всѣ резоны видѣть въ особахъ подобнаго рода большую поживу. На вырученные такимъ образомъ крошки начиналось довольно горестное существованіе, преисполненное постояннаго озлобленія на все и на всѣхъ. Бывали моменты, когда средства госпожи Ивановой и ея покорнаго раба оскудѣвали окончательно, и тогда квартира ея представляла въ высшей степени поучительное зрѣлище. Въ кухнѣ на кровати лежала Мареза и молча оплакивала свою жизнь. На полкахъ блестѣли чистыя кастрюли, на чистомъ и пустомъ столѣ молча сидѣла кошка, недоумѣвая надъ нерадѣніемъ господъ хозяевъ о ея желудкѣ, и угрюмо глядѣла холодная плита. А госпожа Иванова, безмолвно стиснувъ зубы, покоилась на кровати лицомъ къ стѣнѣ, и ей казалось, что самыя стѣны ея квартиры зло подсмѣиваются надъ нею, дразнятъ ее голодными днями, которые рано или поздно застигнутъ ее.

Одинокое существованіе Ивановой иногда разнообразилось посѣщеніемъ знакомыхъ. Это были—или ея старинные друзья «мужчины», которые иногда по старой памяти привозили ей билетъ въ театръ или въ маскарадъ, или такія же, какъ и она, особы женскаго пола. Какъ и она, всѣ эти особы были швейками, потомъ какими-то судьбами вышли за восьмидесятилѣтнихъ старцевъ, умершихъ черезъ два дня брачной жизни и оставившихъ своимъ молодымъ женамъ пенсіонъ въ 50 руб. въ мѣсяцъ и довольно звучный, въ предѣлахъ Коломенъ, титулъ. Этолъ титулъ рѣшительно сбиваетъ съ толку несчастныхъ женщинъ; онъ не даетъ имъ возможности заняться работою, а объемъ пенсіона не даетъ возможности шнырять по лавкамъ, такъ что титулованнымъ швейкамъ остается одно: спать, пить пѣлые дни кофе, вздыхать, опять спать и ходить перваго числа въ казначейство за полученіемъ пенсій. Зайдя въ гости къ госпожѣ Ивановой, такая особа заваливалась на кровать, расшнуровывала платье и вяло перебрасывалась съ старой подругой разговорами объ Александринскомъ театрѣ, о Гостинномъ дворѣ и о пріятномъ мужикѣ военнаго званія, видѣнномъ ею у Покрова, и о прочемъ. Въ промежуткахъ разговоровъ рѣкой льется кофе и идетъ ѣда. И во всемъ проглядываетъ одна гнетущая пустота бездѣйствія.

Но бывали минуты, когда госпожа Иванова сильно задумывалась надъ своею участію, и тогда ее охватывала непроглядная тоска: ни въ прош-

ломъ, ни въ будущемъ нечего ей было вспоминать добромъ—все собиралось и собирается-погубить ее, и нѣтъ ни откуда помощи, ни участія. Ужасъ оковывалъ ея злое и испуганное собственною жизнью сердце; не зная, куда дѣться отъ него, она какъ-то отчаянно выбѣгала въ кухню и говорила Марѣ:

— Сбѣгай, принеси полштофъ очищенной!

И горе было Семену Михайловичу, если онъ въ эту минуту осмѣливался высунуть свою голову въ ея комнату. Опынѣвъ, властительница его входила въ настоящее изступленіе, и Марѣ съ минуты на минуту ждала всякаго буйства, что было вполне возможно.

А между тѣмъ находились люди, да и немало ихъ было, которые завидовали житію г-жи Ивановой, да и Марѣ ей завидовала... Но читатель пойметъ, кому изъ нихъ больше можно завидовать!

III. Обстановка.

I.

...Долго ходилъ я по пыльнымъ и горячимъ тротуарамъ Петербурга, отыскивая себѣ комнату; прочиталъ множество билетиковъ, лѣпавшихся около звонковъ къ дворникамъ, но ни «шамбръ-гарни», изящно выведенныя косыми буквами, ни блѣднорыжія приглашенія занять «маленькія комнаты» у чухонца-сапожника не влекли меня пройти въ четвертый этажъ, въ такой-то и такой-то номеръ, такъ какъ мнѣ уже въ достаточной степени были знакомы какъ французскія привычки содержательницы шамбръ-гарни, желающей всякую муху, которая влетитъ жильцу въ номеръ, превратить въ порцію и получить за нее деньги, такъ и идиллическіе нравы чухонскаго сапожника съ чухонской кухаркой, полагающей, что если ее пошлютъ за папиросами, то ихъ надобно принести непременно въ рассолѣ отъ селедки.

Наконецъ на дворѣ у одного подъѣзда увидалъ я ярлычокъ, на которомъ тоже приглашеніе «въ 4-й этажъ» было изображено съ соблюденіемъ всѣхъ знаковъ препинанія и орфографіи. Почеркъ ярлычка ясно показывалъ мнѣ, что комнату отдастъ чиновникъ: какіе-то ненужные и особенно прихотливые крюки буквъ ясно говорили, что за ними скрывается существо, которому уже давно надобно буквы въ обыкновенномъ своемъ видѣ, которому среди однообразнаго писанья необходимо выдумывать всѣ эти крюки и завитушки, чтобы какъ-нибудь переносить свою обязанность, и это существо не можетъ быть ни французенкой, ни чухонкой, а непременно должно быть губернскимъ или коллежскимъ секретаремъ...

Поднявшись въ четвертый этажъ, я позвонилъ.

Меня встрѣтилъ тщедушный человѣкъ въ жененькомъ рваномъ халатѣ, съ кривымъ глазомъ, скрывавшимся за круглымъ стекломъ синихъ очковъ; не смотря на темно-синій цвѣтъ очковъ, я могъ видѣть какъ кривой глазъ, такъ и здоровый, замѣтилъ, что при появленіи моемъ глазъ этотъ вытаращился до значительныхъ размѣровъ и нѣсколько

времени довольно часто моргалъ, выражая чрезвычайное изумленіе, которое кромѣ того подтверждалось всеобщимъ подергиваніемъ лица съ угла на уголъ.

— Позвольте посмотрѣть комнату?

— С-с-с-удовольствіемъ!.. вдругъ проговорилъ чиновникъ и сунулся между какими-то занавѣсками.

За нимъ сунулся и я. Мы очутились въ довольно приличной комнатѣ. Я сталъ осматривать комнату кругомъ, и чиновникъ дѣлалъ то же, какъ будто бы онъ ее въ первый разъ видѣлъ...

— Какъ вы находите комнату? спросилъ онъ наконецъ, дернувъ щекой и головой въ сторону.

— Мнѣ очень нравится.

— Нравится?.. Гм?...

— Нравится.

— Очень радъ!.. Я люблю обстановку... Положимъ, что я немного стѣсненъ, но я... но жена... но обстановка... все-таки же... обстановка? не такъ ли?

— Это такъ! сказалъ я.

— Не такъ-ли? Я откровенно скажу, мы съ женой стараемся сдѣлать обстановку... стульчикъ... кровать—все, чтобы было хорошо... мы съ женой горды... у меня жена институтка, но мы горды! Моя ступка по всему дому ходить...

— Ступка? спросилъ я въ недоумѣніи.

— Ступка! сказалъ чиновникъ и опять вытаращилъ глазъ.

Очевидно, что въ запутанной головѣ чиновника ворочались какія-то мысли, которыя онъ желалъ предъявить мнѣ, чтобы зарекомендовать себя съ хорошей стороны, но мысли эти, перебиваемыя недовольствомъ минуты «перваго знакомства» и дерганьемъ щеки въ сторону, совершенно путались въ его головѣ, и когда изъ устъ чиновника, вслѣдствіе тайной связи мыслей, по всей вѣроятности существовавшей въ его умѣ, одновременно вылетѣли такія разнородныя слова, какъ «гордость» и «ступка», взаимное родство между которыми было рѣшительно невозможно, по крайней мѣрѣ для посторонняго человѣка, и когда онъ въ тонѣ моего голоса замѣтилъ недоумѣніе, то мнѣ дѣлается совершенно понятнымъ, почему послѣ моего вопроса «ступка?» чиновникъ началъ не только дергать глазомъ и щекой, но принялся чмокать широкимъ выпятившимся ртомъ и какъ-то фыркать носомъ. Оправившись немного, чиновникъ началъ снова:

— Моя жена институтка! нерѣшительно пробормоталъ онъ. Она скорѣе согласится умереть, нежели попросить у сосѣдей чайную чашку. Она горда...

Я начинать понимать, въ чемъ дѣло...

— Тогда какъ, продолжалъ чиновникъ,—моя ступка ходить по всему дому... Изломали, испортили—я очень радъ! Во всякомъ случаѣ, что такое ступка? Пустяки! Но между тѣмъ я настолько гордъ, мы съ женой настолько горды... что я думаю—чортъ васъ возьми со ступкой! Не такъ-ли? Жена говоритъ: «Богъ съ ними!» Мы съ женой говоримъ: «Богъ съ вами!» Насколько-то хватить гордости...—ступка! что такое? Двугривенный... Не такъ-ли?

Я слушалъ, чувствуя нѣкоторое головокруженіе отъ этой умственной пыли, которая клубами летѣла въ меня изъ устъ чиновника, — пыли, въ которой мои глаза слѣпили и уши глушили отъ непрерывно путавшихся ступокъ съ институтками, гордости съ обстановкой и со ступкой и т. д., — я поторопился встать, простился и общалъ перебѣжать на-дняхъ.

II.

Фамилія моихъ хозяевъ была Гвоздевы. — Мужъ, чиномъ губернской секретарь, назывался Гаврилъ Ивановичъ; жена — Елѣвдія Петровна. Спустя нѣсколько дней послѣ моего переѣзда, хозяинъ вполне довольный тѣмъ, что мнѣ нравится обстановка его комнаты, объявилъ, что намѣренъ относиться ко мнѣ не какъ къ хозяинъ къ жильцу, «но какъ человѣкъ къ человѣку». Если читатель помнитъ запутанность мыслей въ головѣ чиновника, о которой упомянуто въ предшествовавшей главѣ, то ему будетъ понятно, почему отношеніе человѣка къ человѣку было не болѣе, какъ ежеминутное шаганіе въ мою комнату безъ всякаго разбора того, занять я или нѣтъ...

— Не какъ хозяинъ, но какъ человѣкъ, говорилъ онъ обыкновенно, входя ко мнѣ и отрывая отъ работы. — Это вы Беранже читаете?

— Я пишу... не читаю...

— Гм!..

Хозяинъ усаживался и начиналось молчаливое морганіе кривымъ глазомъ и подергиваніе щекою и головой въ сторону.

Почему казалось ему, что я непременно долженъ читать Беранже, когда я пишу; почему вообще въ головѣ у него шла какая-то околесица — мнѣ въ первое время было совершенно неизвѣстно. Но такъ какъ отношенія человѣка къ человѣку не прекращались, и я невольно долженъ былъ присутствовать при разсказахъ хозяина о разныхъ случаяхъ изъ его жизни, то умственная околесица его съ теченіемъ времени нѣсколько разъяснилась для меня. Такимъ образомъ мнѣ стало извѣстнымъ, что Гаврилъ Ивановичъ имѣлъ отъ роду лѣтъ 37, супруга его — не болѣе 23. Мужъ учился въ молодости въ гимназіи, но изъ второго класса вышелъ, нѣсколько времени жилъ на родительскихъ хлѣбахъ, потомъ получилъ мѣсто, сталъ шататься по увеселительнымъ заведеніямъ, «пожилъ!» какъ онъ говоритъ, обзавелся разнымъ художествомъ и женился. Относительно умственного фонда можно сказать, что онъ зналъ имя барона Брамбеуса и «крамбамбули», которое не разъ слышалъ на Крестовскомъ. Жена училась въ какомъ-то институтѣ, гдѣ по обыкновенію «не столько медикаменты, сколько рвеніе, т. е. не столько наука, сколько «тонкое обращеніе» («Ахъ, какъ насъ строго держали!» говорила жена Гаврила Ивановича); лепетала по-французски, была очень вѣжна, горда, какъ выражался мужъ, и притомъ недурна.

Достоинства, которыми обладали супруги, показались имъ достаточными для того, чтобы вступить въ бракъ, и они вступили. Отъ этого благопо-

лучнаго брака произошли, разумеется, дѣти. Такъ какъ папаша ихъ обучался на Крестовскомъ и въ Екатерингофѣ, то дѣти родились съ кривыми ногами, съ золотухами, англійскими болѣзнями. Такъ какъ мамаша болѣе говорить по-французски, нежели понимаетъ окружающіе ее предметы, то относительно назначенія дѣтскихъ недуговъ она совершенно одинаково мѣняла съ кухаркой. Такъ какъ супругъ и супруга одинаково не понимаютъ существо такъ называемыхъ общественныхъ потребностей и главнымъ образомъ считаютъ себя не людьми просто, а «благородными», то мамаша учитъ дѣтей по-французски и готовитъ ихъ неизвѣстно для какой профессіи. Папаша согласенъ и съ этимъ, и, слушая, какъ головастый сыночекъ съ распухшимъ отъ золотухи носомъ гнуситъ — *табля, шезэ* — чувствуетъ себя весьма довольнымъ...

Головастые уроды росли, неизвѣстно для удовлетворенія какой общественной потребности.

— Скажите, пожалуйста, спросилъ я у жены хозяина: — зачѣмъ вы учите вашего сына французскому языку?

— Какъ зачѣмъ? Это ему годится въ обществѣ, отвѣтила она, сконфузившись и мигнувъ по-институтски глазами.

— А жить онъ чѣмъ будетъ?..

Оказалось, что дѣти еще малы, и «мы не думали съ Ганей».

Я совѣтовалъ учить ребенка какому-нибудь ремеслу, говоря, что классъ людей, сидящихъ на общественной шеѣ, и безъ того великъ. Барыня слушала, поддакивала, улыбаясь, но видимо не понимала, что такое общество, общественная шея...

— Онъ будетъ получать жалованье!.. вдругъ произнесла она.

Достойный потомокъ достойныхъ родителей смотрѣлъ на меня во время этого разговора сердитыми оловянными глазами и вдругъ разразился ревомъ.

— Ха-а-а-а-а-а-а! захлебнувшись слезами, порѣшилъ онъ, и я поспѣшилъ удалиться...

Спустя нѣсколько времени, я заговорилъ о томъ же предметѣ съ самимъ родителемъ, но и онъ, оказалось, внѣ обстановки понимаетъ только то, что существуетъ 20-е число и казначей, у котораго можно брать впередъ, «перехватить»...

Углубляясь въ существо этого брака, или вѣрнѣе, роясь въ этой кучѣ бессмыслицъ, находилъ наконецъ, что единственная причина, которая побуждаетъ такого рода людей устраивать такіе прочные союзы, есть то, что Гаврилъ Ивановичъ называлъ «обстановка» и иногда «обстановочка» — свои комнаты, гости...

— Не въ томъ штука, сказалъ мнѣ однажды Гаврилъ Ивановичъ, — чтобы подать селедку! Что такое селедка? — а какъ подать ее! Вотъ въ чемъ дѣло! Вездѣ нужна обстановка, обстановочка... Нужно ее распластать, посыпать лучкомъ, чтобы было прилично... И вы посмотрите, какъ моя жена приготовляетъ селедку... Теперь я немножко стѣсненъ... Мы съ женой стѣснены... Но во всякомъ случаѣ мы настолько горды... Селедку найдете у меня всегда. Мы... мочимъ ее въ молоко...

Вся эта обстановка съ французскимъ языкомъ и глупостью начинала мнѣ надѣждать.

III.

Хозяинъ нѣсколько разъ говорилъ мнѣ, что онъ съ женою теперь стѣсненъ въ обстоятельствахъ. Соображаясь съ его взглядами на вещи, слова эти надо было понимать такъ, что ему нѣтъ возможности хорошенько распластать селедку, словомъ, развернуться и свободно вздохнуть, приобрести что-либо соответствующее развитію и усовершенствованію обстановки.

Однажды я былъ разбуженъ утромъ какими то довольно громкими звуками, доносившимися изъ передней.

— Почиваютъ еще, вчера поздно пришли отъ знакомыхъ, говорила горничная кому-то.

— Нѣтъ ужъ, сдѣлайте милость, разбудите Гаврила Ивановича, умоляющимъ тономъ произнесъ какой-то надорванный голосъ. — Мнѣ никакъ нельзя... Какъ-же, сами приказывали поскорѣе, я старался, заказной сюртукъ заложилъ на матеріалъ подъ жилетъ... Нѣтъ ужъ, сдѣлайте милость!

— Да право... Въ первомъ часу бы.

— То есть никакъ нельзя... Я бы радъ всей душой... Ну никакъ невозможно... Сдѣлайте одолженіе! Ребенокъ нездоровъ... Велики имъ три рубля?

Горничная молчала, слушая убѣдительнѣйшія просьбы портного, и наконецъ пошла къ хозяевамъ. Черезъ нѣсколько времени она возвратилась и сказала:

— Право бы въ первомъ часу...

— Нѣтъ, ужъ я больше не могу!

Въ голосѣ портного звучало раздраженіе.

Вслѣдствіе особеннаго устройства петербургскихъ квартиръ, я невольно слышалъ все, что ни говорилось у хозяевъ; крикъ и разговоры дѣтей порядочно-таки надѣдали мнѣ.

Горничная во второй разъ возвратилась къ хозяевамъ, и на этотъ разъ я слышалъ какой-то шопотъ. Полагая, что у нихъ нѣтъ денегъ, и зная, что черезъ день-два мнѣ придется платить за квартиру, я позвалъ горничную и отдалъ ей деньги для передачи хозяевамъ. Голосъ портного былъ до того дѣйствительно трогателенъ и пропитанъ крайнею нуждою, что я съ охотою рѣшился внести деньги прежде срока, хотя онѣ были мнѣ очень нужны самому.

Горничная отнесла деньги господамъ.

— Очень вамъ благодаренъ! произнесъ хозяинъ громко, и между супругами начался полугромкій разговоръ. Среди его, къ уху моему, ожидавшему услышать что-нибудь благопріятное для портного, стали доноситься слова совершенно другого рода.

— Простенькій, а? слышалось мнѣ. — Изъ крепированныхъ волосъ?

— Да. Это хорошо! сказалъ самодовольно хозяинъ.

— Помилуй, вѣдь надо же наконецъ! лепетала супруга.

— Какъ-же ему-то?

— Переговори!.. Что такое—не можетъ подо-

ждать трехъ цѣлковыхъ; ему же дають хлѣбъ, работу, и онъ не можетъ погодить. Поди самъ!

Портной каплялъ, стоя въ передней и ожидая, какъ сказала горничная, что баринъ самъ выйдетъ. Послышалось шлепанье туфель и покашливаніе.

— Здравствуй, любезный! сказалъ баринъ.

— Добраго здорovia, Гаврилъ Ивановичъ... Ужъ вы сдѣлайте милость...

— Я даю себѣ честное слово, что заказываю тебѣ въ послѣдній разъ.

— Воля ваша!

— Я даю тебѣ хлѣбъ, тебѣ же хочу сдѣлать пользу, а ты...

— Я бы всей душой!

Голосъ хозяина возвышался; въ передней поднялся крикъ, но портной былъ выпровоженъ безъ денегъ.

— Право, свинья! входя ко мнѣ, въ волненіи проговорилъ хозяинъ.

— Онъ очень нуждался, сказалъ я.

— Помилуйте, нуждается! Что такое? Подай, подай! У меня у самого крайность... Вотъ, собираюсь дѣтей везти къ доктору, нужно лечить... Кромѣ того жена давно скучаетъ безъ шиньона: надо же и ей... Положимъ, что мы стѣснены теперь въ средствахъ, но мы горды... Надо же наконецъ! Я не отвѣчалъ, и хозяинъ скоро удалился.

— Изъ крепированныхъ волосъ... знаешь... легенькій... слышалось за стѣной.

— Что же!.. У Афанасьевой изъ крепированныхъ?

— Нѣтъ—у нея тяжелъ...

— Животъ!.. о-о! запищалъ ребенокъ.

— А ты не вертись! сказала мать. — А? Право? Изъ крепированныхъ... Это очень пушисто... Что ты вертишься какъ на иглѣ? Разбить хочешь чашку?.. И такъ ужъ перебили посуду... отъ этого и животъ у тебя болитъ... Право... Изъ крепированныхъ, а, Гама?

— Что-жъ... Люба проситъ жалованье... глухимъ голосомъ прибавилъ мужъ.

Жена нѣсколько времени помолчала.

— Она умѣетъ только просить жалованье да бить посуду!

— Вы мнѣ позвольте хоть за два мѣсяца... Мнѣ мужу нужно; ему въ деревню посылать... сказала необыкновенно робко горничная:—Я за три мѣсяца не получила...

— Ты, матушка, довольно храбро наступила на нее барыня,—прежде, чѣмъ считать, сколько тебѣ должны, подумай, кто будетъ отвѣчать за шинель, которую украли прошлаго года!

— Чѣмъ же я-то, Господинъ, виновата? Кажется, вмѣстѣ съ вами изъ бани шли; баринъ самъ открыли двери, я прошла, а за мной еще баринъ оставались...

— Кто же у насъ обязанъ смотрѣть за дверью—баринъ или горничная? скажите пожалуйста!..

— Распотѣвши была... Распахнуться боялась—холодомъ обнесетъ.

— Распотѣвши! Вотъ это мило! Тебѣ придется

въ голову запотѣть—а тутъ хоть все вытащи, тебѣ и горя мало! Хоть стѣны одна оставь... Распотѣвши!

Горничная молчала.

— Нѣтъ, матушка, сказала барыня:—я годъ цѣлый спускала тебѣ эту шинель... Мы не миллионеры... Шинель стоитъ шестьдесятъ рублей!.. Я могу тебѣ отдать за три мѣсяца—изволь; только ты завтра же черезъ мирового отдашь мнѣ шестьдесятъ, она съ бобровымъ воротникомъ... Теперь, матушка, въ одну минуту взыскиваютъ.

— Чѣмъ я виновата? попробовала-было возвысить голосъ горничная.

— Ну, такъ я сегодня подамъ къ мировому... Мы узнаемъ, кто виноватъ.

Горничная заплакала.

— Глаша, ты это — напрасно... Ну, вычитай бы...

— Молчи пожалуйста! Какое тебѣ дѣло?

— Ну-ну, матушка, сказалъ онъ горничной. — Ты это оставь глупости... Тутъ тебя не грабятъ вѣдь... Я вѣдь смотрю-смотрю, да вѣдь и двину... Сдѣлай одолженіе!

— Животъ... простоналъ ребенокъ.

— Что такое у него? спросилъ мужъ.

— Просто извертълся, избаловался. Ему минуты покойно не посидится. Нужно положить его спать.

— Рано! Вѣдь только встали.

— Что за рано, Люба! Поди-ко вотъ, чѣмъ хныкать-то, уложи Колю спать.

— Не хочу спа-ать! начиная реветъ, протянулъ ребенокъ.

— Ну, какъ же! Всѣ умничаютъ... Положи его! заключила барыня.

Начался плачь... Среди его по временамъ слышались слова: «право изъ крепированныхъ, а?» Слышался легкій трескъ плетеной люльки, куда разсерженная кухарка пихала ребенка. Во время этого плача мимо моихъ дверей прошумѣлъ подолъ платья, проскрипѣли сапоги Гаврила Ивановича, и супруги исчезли.

Въ квартирѣ царствовало какое-то режущее безобразіе.

Безсмысленное убѣжденіе относительно приобрѣтенія шиньона, основанное единственно на томъ, что нельзя же безъ шиньона, когда и Авдотья Андреевна уже приобрѣла его, было столь сильно въ обоихъ супругахъ, что они какъ-будто не понимали, что наравнѣ съ необходимостью прибрѣтать шиньоны на ихъ обязанности лежитъ болѣе настоящая необходимость содержать здоровыми желудки собственныхъ дѣтей. Сила безсмысленныхъ желаній, выходящая изъ общаго источника вышеупомянутыхъ безсмыслицъ, на которыхъ зиждилось и воспитаніе супруговъ, и ихъ законное соединеніе для совмѣстнаго дѣланія безсмыслицъ усиленныхъ,—сила эта была такъ велика, что покоряла даже состраданіе къ горничной, къ портному, которые въ глазахъ супруговъ въ настоящія минуты были дѣйствительно забывшими Бога людьми. Стѣснительныя

обстоятельства были забыты при первой возможности удовлетворить «обстановкѣ».

Часовъ въ двѣнадцать дня, когда я сидѣлъ за работой, громкій звонокъ возвѣстилъ всему ревѣвшему семейству чиновника о прибытіи хозяина и хозяйки.

— Ради Бога! извините пожалуйста! мнѣ на минуточку взглянуть въ зеркало. У васъ самое большое наше зеркало, въ какомъ-то самозабвеніи заговорила хозяйка, влетая въ мою комнату и торопливо снимая съ головы шляпку.

— Извините пожалуйста! проговорилъ мужъ съ моренымъ лицомъ, съ коробкой въ рукахъ и съ трубкой матеріи подъ мышкой. Разорился! продолжалъ онъ.—Что дѣлать! Думали купить шиньонъ ахъ тутъ подвернулся остатокъ матеріи. Нонѣшняя бисмаркъ. Не хотѣлось... Ужъ за одно!

— Не дурно, Гаврила Ивановичъ? бормотала супруга, вертясь передъ зеркаломъ.—Не правда ли, мило?

— Очень мило! Изъ крепированныхъ волосъ, обратился онъ ко мнѣ.—Легенскій!

Трескотня эта продолжалась минутъ пятнадцать, наконецъ супруги ушли.

— Спать Коля? слышалось за перегородкой.

— У нихъ животикъ тугой.

— Пусть его спитъ... а? Не правда ли... мило?

— Очень, очень прилично!.. Что же ты—надо дать на обѣдъ.

Послѣдовалъ шопотъ.

— До десятаго надо протянуть, говорить мужъ. Погодить бы покупать-то.

— До которыхъ поръ это годить?.. Позвольте узнать?

— На столъ-то мало.

— Пожалуйста, будь спокоенъ... На — вотъ тридцать копѣекъ... купи картофелю... Дѣтямъ вредно мясо... тяжело ложится на желудокъ... гороху.

Горничная ушла; между супругами происходилъ разговоръ на-счетъ того, что какъ это все къ лицу и дешево; и на-счетъ того, что какъ бы съ тремя рублями протянуть до десятаго. Во время этого разговора супругъ опять вошелъ ко мнѣ и объявлялъ:

— Долго ли я ходилъ? Какихъ-нибудь два часа, а пятнадцати цѣлковыхъ какъ не бывало... Вотъ оно, батюшка, семейная жизнь! А нельзя! Надо поддерживать обстановку!.. Такіе ужъ уродились мы съ женой—горды мы очень!.. Гордости тѣмъ-тѣмущая!

Послѣ цѣлаго дня всевозможныхъ безсмыслицъ, которыхъ мнѣ пришлось быть свидѣтелемъ, я полагаю уже, что гордая глупость моихъ хозяевъ разыгралась до конца, и продолженія ея не будетъ; но ночью, когда всѣ живущіе въ квартирѣ были уже въ постель, съ двуспальной кровати моихъ хозяевъ вопреки моему желанію до меня неожиданно донеслись слова:

— Къ другимъ ходимъ, къ себѣ никого... Много ли тутъ... водки, селедки... говорила жена.

— Н-да... Селедочку съ лучкомъ... помочить ее. Очевидно, что супругамъ недостаточно было того, что шиньонъ лежалъ въ коробѣ на шкафу; имъ нужно было видѣть его въ дѣйствіи. Вслѣдствіе этого вечеромъ слѣдующаго дня ко мнѣ еще разъ явился хозяинъ.

— Позвольте васъ просить, сказалъ онъ, — завтра привести съ нами вечерокъ.

— Я долженъ быть въ другомъ мѣстѣ. Извините!

— Очень жаль! А то бы въ карточки? партікку?

— Не играю въ карты.

— Очень жаль. Особеннаго ничего не будетъ. Но, надѣюсь, все будетъ прилично. Мы съ женой...

— Не могу! сказалъ я рѣшительно.

— Въ такомъ случаѣ позвольте просить у васъ комнату на нѣсколько часовъ?

Я изъяснилъ согласіе.

Цѣлое утро слѣдующаго дня хозяинъ бѣгалъ по городу, отыскивая денегъ. Часамъ къ двумъ онъ воротился съ кулемъ, потнымъ лицомъ, вытаращеннымъ глазомъ и дергающейся щекой.

— Что будешь дѣлать! говорятъ онъ мнѣ. — Не успѣлъ повернуться — десяти цѣлковыхъ нѣтъ въ карманѣ! Живи, какъ знаешь...

Я снова изъяснилъ сочувствіе.

Часу въ шестомъ начали появляться гости, мужчины и дамы, и тотчасъ же принялись за стуколку. Такъ какъ комнаты хозяевъ были заняты чайнымъ столомъ, то дѣтей съ больными желудками отгѣснили въ кухню, стараясь поплотнѣе притворять дверь, чтобы гости не слышали крика и плача... Я тотчасъ же ушелъ изъ дому и воротился въ 3-мъ часу ночи, будучи увѣренъ, что все уже

кончилось; но, къ удивленію моему, окна моей комнаты были освѣщены. Я поднялся по черной лѣстницѣ и вошелъ въ кухню.

Здѣсь моимъ глазамъ представилось ужасающее зрѣлище, устроенное взаимными усиліями просвѣщенныхъ супруговъ. Атмосфера маленькой кухни была раскалена до послѣдней степени. Волны чада закрывали все, кромѣ огненного зѣва плиты, — и въ глубинѣ этого ада слышался плачъ и стоны дѣтей, которыя не могли заснуть отъ боли въ желудкахъ, отъ жары и угорѣвшихъ головъ. Кухарка, которую подымали съ пяти часовъ утра, которая была измучена работой — такъ какъ она должна была принимать одежду гостей, подавать чай, таскать дѣтей изъ комнаты въ кухню и кромѣ всего этого мучиться муками мужа, которому нечего послать въ деревню, — была разозлена и на просьбы плачущихъ дѣтей отвѣчала чуть ли не дракой, послѣ которой у нея самой выступали слезы.

— А? Неправда ли, лепетала Клавдія Петровна въ гостиную, поворачивая къ гостѣмъ затылокъ съ шиньономъ изъ крепированныхъ волосъ. — Не душно?

— Оч-чень, очень мило!

— Легонькій! прибавлялъ супругъ, разсоловѣвшій отъ воды.

Мнѣ некуда было дѣться, такъ какъ хотя хозяинъ и относился ко мнѣ, какъ человѣкъ къ человѣку, но, забравшись съ гостями въ мою комнату, кажется, и не думалъ уходить оттуда.

Злодѣйства эти продолжались до 9 час. утра.

Злодѣйства «обстановки» — результатами которыхъ былъ горюхъ, плачъ дѣтей, французскій азыкъ и неизмѣнная атмосфера глупости — продолжаютъ до сего дня.

ПИСЬМА ИЗЪ СЕРБІИ.

I. Наши добровольцы въ дорогѣ.

...Пароходъ изъ Пешта въ Бѣлградъ *) отходить два раза въ сутки: въ 6 часовъ утра и въ 11 вечера; утренній пароходъ я проспалъ, пришлось ждать вечера и кое-какъ убивать время. Бродя отъ нечего дѣлать по улицамъ Пешта, городка, хотя и не очень многолюднаго (я былъ здѣсь послѣ Парижа и Лондона), но устраивающагося жить совершенно по европейски, позволяющаго себѣ даже во внѣшнемъ убранствѣ улицъ чисто парижскую роскошь, я тысячи разъ невольно спрашивалъ себя: да неужели правда все то, что пишутъ о начавшемся въ рускомъ народѣ движеніи въ пользу славянъ? неужели правда, что на эти широкіе, асфальтовые тротуары Пешта каждый Божій день желѣзная дорога высаживаетъ толпы простыхъ русскихъ людей, добровольно отдающихъ свою голову за угнетеннаго?.. Я потому задавалъ себѣ такіе вопросы,

что долгое время жилъ за-границею и за-границею же прожилъ весь періодъ возникновенія и развитія начавшагося на Руси возбудженія; я зналъ объ этомъ движеніи изъ газетъ, притомъ на чужой сторонѣ значеніе русскаго движенія принимало для меня по истинѣ громадное значеніе по своей, почти невозможной на бѣломъ свѣтѣ, *жаждѣ* — *жертвовать собою чужому несчастью*, которую такъ необычайно своевольно обнаружилъ русскій человѣкъ. Устраивающійся по-европейски Пештъ, т. е. городъ, обставляющій свои дома, свои улицы не только всѣмъ необходимымъ или удобнымъ, но и роскошнымъ, прихотливымъ, поминутно долженъ былъ напоминать мнѣ о народѣ, явно стремящемся къ такому неудобству, какова смерть, — народѣ, находящемъ «свое удовольствіе» въ жертвѣ, въ трудахъ и бѣдствіяхъ войны за чужое, но правое дѣло; на этомъ асфальтовомъ тротуарѣ, въ виду этихъ великолѣпныхъ кафе, наполненныхъ народомъ, оживленно толкующимъ и думающимъ о *своихъ* дѣлахъ, трудно было вѣрить возможности такой наивной, юношеской затѣи цѣлаго народа. и вотъ по-

чему я поминутно долженъ былъ спрашивать себя: да неужели все это правда?..

Можете судить послѣ этого, съ какимъ нетерпѣніемъ побѣждалъ я на желѣзную дорогу, когда часовъ въ 6 вечера въ мой номеръ вошелъ еврей-коммисіонеръ *) и объявилъ на ломаномъ русскомъ языкѣ, что «сейчасъ пріѣдутъ пятьдесятъ *россіяновокъ*». Дворъ станціи былъ наполненъ каретами, колясками и коммисіонерами, ожидавшими пріѣзжихъ; кромѣ коммисіонеровъ и полицейскихъ не было никакихъ другихъ представителей чужой стороны, которые явились бы поглядѣть или встрѣтить нашихъ чудаковъ; правда, они не мѣшаютъ этимъ чудакамъ дѣлать ихъ странное дѣло, но ужъ удивляться этому дѣлу и чудакамъ, которые взялись за него, у нихъ нѣтъ времени. Только я одинъ въ нетерпѣніи бродилъ по двору станціи и радъ былъ поглядѣть на нихъ своими глазами. Добрыхъ пять минутъ, показавшихся мнѣ пятью часами, прошло прежде, чѣмъ затряслась мостовая отъ въѣхавшаго въ вокзалъ поѣзда.

— «Наши!» подумалъ я, и дѣйствительно, гляжу, валить сибирка, гиганты сапоги, узелъ въ дерюгѣ, въ два двугривенныхъ картузъ... а за первой чуйкой такъ и хлынули мерлушки, полусубки, узлы и гремяшіе, какъ громъ, сапоги... «Наши, наши!» твердилъ я себѣ, глубоко тронутый появленіемъ этихъ неказистыхъ костюмовъ, этихъ не очень чтобъ выразительныхъ лицъ, этихъ полусубковъ на европейскихъ асфальтахъ, въ видѣ этой роскоши и блеска европейскаго города.

Да, неказистъ былъ русскій чудако-доброволецъ, явившійся на чужую сторону: неказистъ костюмомъ — всѣ здѣсь одѣваются лучше и красивѣе его въ тысячу разъ; неказистъ лицомъ и фигурой: волосы у него были подрѣзаны въ скобку, и ужъ много, много обѣданы, т. е. словно топоромъ — на солдатскій манеръ; сбиты въ войлокъ бороды тоже не могли служить иностранцамъ образцомъ туалетнаго искусства; но все это ничего, все это исчезало въ его чистомъ желаніи жертвы, заставлявшемъ забыть всѣ его вѣншія несовершенства, притомъ же вполне понятныя: вѣдь *бѣдность* у насъ на Руси! — все это дѣйствительно и было бы забыто, еслибъ онъ не привезъ съ собой помимо неказистой вѣншности еще и другихъ, тоже неказистыхъ вещей!.. Мнѣ пришлось пробѣжать съ партіей добровольцевъ отъ Пешта до Бѣлграда и видѣть ихъ здѣсь до дня отправленія на поле битвы, и если я съ одной стороны, благодаря этому знакомству съ разнообразнѣйшимъ русскимъ людомъ, убѣдился, что русскій человекъ живъ, что въ немъ цѣлехоньки самыя юношескія, чистыя движенія души, то съ другой стороны я также воочию увидѣлъ, какъ русскій человекъ измучился, какъ много подломилось въ его, еще сохранившемъ добро, сердце, какъ онъ «изматъ», изломанъ и какъ настоятельно необходимо для него крѣпко подумать о своемъ здоровьѣ.

*) Онъ былъ русскій солдатъ, но остался въ Венгріи послѣ усмиренья.

«Партія добровольцевъ» — это образчикъ всѣхъ классовъ, всѣхъ состояній и всѣхъ сортовъ пониманія и развитія, живущихъ на русской землѣ. Здѣсь зачастую попадались такіе брилліанты искренности, доброты, простоты, самоотверженія, о какихъ въ обыкновенное время никому на Руси не приснится и во снѣ. Кому неизвѣстно напримѣръ, что такое лавочникъ, лавочный мальчикъ, бѣгающій за кипяткомъ въ началъ поприща, ворующій гривенники тотчасъ по вступленіи въ званіе приказчика и обворовывающій хозяина въ моментъ «полнаго довѣрія»? Вотъ этотъ мальчишка здѣсь, среди добровольцевъ, не въ лавкѣ, не съ чайникомъ; посмотрите же, какое обиліе негодованія къ неправдѣ было скрыто въ немъ, скрыто такъ, что онъ и самъ не зналъ объ этомъ свойствѣ своей души; его не пускала въ Сербію отецъ — онъ побѣждалъ топиться; его заперли въ чуланъ — онъ сдѣлалъ петлю и хотѣлъ повѣситься; ему не давали денегъ — онъ ушелъ безъ копѣйки. Кто-то надумилъ его обратиться въ комитетъ и тамъ ему помогли выѣхать. Всю дорогу онъ только и думалъ о минутѣ, когда онъ будетъ колотить турокъ, всю дорогу ни на минуту не переставалъ разспрашивать каждаго встрѣчнаго и поперечнаго: «Гдѣ теперь драка? бьютъ ли турокъ?». По пріѣздѣ въ Бѣлградъ онъ проситъ тотчасъ же отправить его на поле битвы, негодуешь до слезъ на то, что его заставляли ждать, негодуешь на сербовъ, про которыхъ рассказываютъ, что они бѣгаютъ въ кукурузу, а не дерутся на смерть, какъ хочетъ драться онъ. — «Человѣка грабятъ, а я смотрѣть буду?» говоритъ онъ въ объясненіе своего негодованія и ничего другого, никакого другого соображенія у него нѣтъ. Такихъ субъектовъ было много въ каждой партіи; тѣ изъ нихъ, у кого были средства запастись кинжалами (громаднѣйшими и острѣйшими), всю дорогу толковали о сабляхъ, револьверахъ: по пріѣздѣ въ Бѣлградъ, томясь скукою и изнывая отъ ожиданія отправки, они не могли ничего придумать, ничѣмъ развлечься, кромѣ всѣхъ же разговоровъ и распросовъ о томъ, гдѣ самая настоящая драка? гдѣ можно драться тотчасъ, какъ пріѣдешь? Не случится, съ кѣмъ можно вести такіе разговоры — опять принимаются за свои ножи, смазываютъ масломъ сабли, просятъ оттачивать и безъ того отточенные до невозможной степени кинжалы (рѣшительно понять невозможно, гдѣ они откопали эти страшилища!), поминутно надѣдая полиціи просьбами о подводахъ — у всѣхъ одно и то же, очень простое соображеніе: «Какъ же это, человѣка грабятъ, а я молчи?».

Были въ числѣ «искреннихъ» также любители, «спеціалисты драки», которымъ дорого не столько то, что они идутъ защищать ограбленнаго, сколько то, что есть «хорошій случай раззудить плечо»; эти не оттачивали отточеннаго, зная, что и безъ того отточено хорошо, и не волновались ожиданіемъ подвода, зная, что «успѣется», что отъ его «закуски» (тоже большею частью кинжалъ громаднѣйшій) не уйдетъ никакая шельма. Были наконецъ въ числѣ искреннихъ любителей драки просто напросто необычайные какіе-то верзаны, гиганты,

невѣроятнѣйшіе силачи, которыхъ никуда не рѣшались брать: въ артиллерію—не умѣютъ, горятъ; въ кавалерію—сломается лошадь; въ пѣхоту—тоже не идетъ, странно какъ-то взять такого верзилу. Такія страшилища идутъ безъ оружія, чувствуя (да и постороннему это видно), что и съ голыми кулаками они возьмутъ свое, что добрымъ отъ нихъ не отвертится ни одинъ нехристь. Такой гигантъ-силачъ не представляетъ никакихъ объясненій своего волюнтерства, кромѣ своей фигуры,—онъ идетъ потому, что куда же дѣтъ ему такую гибель силы? Всю дорогу онъ пьетъ, не шумитъ (потому что онъ самъ бовтса своей силы:—«Боекъ ударить... убью вѣдь — потомъ не раздѣлаешься!» говоритъ онъ и остерегается), таскаетъ на удивленіе всѣхъ (съ улыбкою, чисто дѣтскою, на лицѣ) сундуки пудовъ по восьми, одною рукою поднимаетъ столы и т. д. Тутъ только силаща. Но вообще весь этотъ родъ искреннихъ воякъ почти ничего не зналъ, ни что такое Сербія (*«называется губернский городъ Бѣлградъ»*—сердился одинъ такой-то—«а извозчика не дозовешься!»), ни что такое всеславянство, а просто шелъ потому, что нельзя грабить человѣка, и не было у нихъ передѣла негодованію на грабителей, благо за это негодованіе не будетъ ничего худого. Съ другой стороны, въ числѣ «искреннихъ» были еще и такіе, которые надѣвали миширть только потому, что безъ него нельзя обойтись, но задачи которыхъ широкі и опредѣленны. Были также простые русскіе люди, жертвовавшіе собою «за свои грѣхи»: «за мои грѣхи мнѣ назначено, говорилъ мнѣ старикъ солдатъ, вотъ я и иду!». Были фанатики, люди, покорявшіеся велѣнію свыше, исполнявшіе повелѣніе Божіе, еще до рожденія ихъ на свѣтъ указавшее имъ этотъ подвигъ. Одинъ такой, отправлявшійся по повелѣнію Божію, всю дорогу постился, не пилъ, не ѣлъ, не отрывалъ глазъ отъ евангелія. Много, удивительно много чуднаго, хорошаго обнаружила эта сербская исторія въ русскомъ народѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ должно сознаться, не мало обнаружила она и весьма печальнаго.

До сихъ поръ я говорилъ объ искреннихъ; но въ каждой партіи добровольцевъ были и «неискренніе добровольцы». Не могу забыть одного чиновника, всю дорогу толковавшего мнѣ объ «аферѣ», которую онъ сдѣлалъ «съ этой Сербіей». Онъ высчитывалъ мнѣ всѣ выгоды этого предпріятія. «Ну, и начальство взглянуть—все-таки въ Сербіи былъ... а въ случаѣ чего (т. е. настоящаго дѣла) можно сказать и больнымъ. Тѣмъ временемъ и жень идетъ пенсіонъ, а мѣсяца три протянется—и изъ америтурѣ выйдутъ... Отъ комитета получилъ столько-то, да по званію моему капитана отъ Сербскаго правительства... вотъ оно и образовалось кое-что... а тамъ, можетъ быть, и миръ!»

При этомъ словъ онъ весь засіялъ и очевидно жалъ, что я приду въ восторгъ отъ его ловкости, отъ его умѣнья всѣхъ—и начальство, и исторію—привести и вывести, купить и продать. Не могу высказать, до чего тяжело было видѣть здѣсь этихъ представителей всякаго вліянья и лганья во имя

вѣры только въ прогоны, сѣточные, двойныя какія-то выдачи. Тяжело потому, что по необычайной точности и тонкости отдѣлки этихъ плутовскихъ дѣлъ вы не можете не заключить о томъ, что явленіе это существуетъ на Руси, что уже есть породы, которыя именно и видятъ «настоящее» дѣло и настоящую жизнь только въ лытаньи отъ дѣла. Я бы могъ привести подробности, но боюсь утомить ими читателя. Скажу коротко: въ числѣ добровольцевъ были люди, видѣвшіе въ сербскомъ дѣлѣ случай положить въ карманъ копѣйку (точно ли они кладутъ, я скажу ниже). Но помимо этихъ тонкихъ знатоковъ своего дѣла, этихъ прожженныхъ обманщиковъ, совершавшихъ все на законномъ основаніи, т. е. не ѣхавшихъ изъ Бѣлграда до послѣдней возможности, опиравшихся на всевозможныхъ льготахъ и т. д., были кромѣ нихъ и простые проходимцы и даже просто пьяные люди, съ удивленіемъ узнававшіе, что они какинъ-то образомъ попали въ Бѣлградъ; пьянствовали въ Петербургѣ, пьянствовали въ Москвѣ, въ вагонѣ, на пароходѣ и наконецъ очнулся съ ружьемъ и въ сербской курткѣ. Даже и такіе были.

Но и тѣ, и другіе, т. е. самые искренніе и самые фальшивые изъ добровольцевъ,—это только крайности; большинство, масса тоже, при разговорахъ и распросахъ, полагала, что надо сократить безобразника (турка), но не будь ей обѣщано того-то и того-то, она пожалуй бы и не была въ Сербію. У всего этого народа очевидно было и плохо, и неладно въ дѣлахъ: не клеилась ни семейная, ни служебная жизнь; весь этотъ народъ былъ и бѣденъ, и несчастенъ, и не могъ справиться съ собою, и надоѣло биться ему—и вотъ онъ сказалъ себѣ: «пойду въ Сербію, живъ буду—ничего, а убьютъ—все одинъ чортъ!». По истинѣ, становится ужасно за это холодное состояніе души, которое встрѣчаешь нерѣдко въ русскомъ человѣкѣ, особенно здѣсь... Плохо ему было дома, безъ всякаго сомнѣнія; распросите кого угодно изъ этихъ людей объ ихъ жизни—все переломано въ ней и исковеркано: жизнь скопкана, растоптана; но все-таки, какъ бы она ни была безобразна, тамъ, на родинѣ, у него было на что жаловаться; подъ хмелькомъ находилъ онъ виноватаго въ женѣ и буйствовалъ, отводилъ душу; ругалъ знакомаго, злился на экзекутора—словомъ, имѣя возможность ощущать ежеминутно неудобства своей жизни, быть можетъ даже и привыкъ къ этой бестолковщинѣ. Я даже собственными глазами видѣлъ въ Бѣлградѣ одного русскаго чиновника, который всегда оживлялся, когда начинались въ его дѣлахъ «непріятности», напримѣръ когда онъ не заставлялъ дома лицъ, къ которымъ у него было дѣло, когда онъ въ пять дней не могъ добиться чего-то очень нужнаго. Попавъ въ эту бестолковщину, онъ вдругъ заговорилъ и заговорилъ довольно умно, браня того и другого, высказывая разные взгляды, забывая поминутно въ кафе выпить, все второпяхъ, все «некогда», все спѣша, спѣша, нарочно даже съ желаніемъ не застать, придти не во время, чтобы опять роптать. Въ это время онъ былъ и боекъ, и разговорчивъ, лицо и глаза были ожив-

лены. Но вотъ вдругъ все пошло какъ по маслу: всѣхъ онъ въ одну минуту засталъ, все получилъ—и... весь свѣтъ опустѣлъ вокругъ него! Казалось, ни одной мысли у него не было другой, кромѣ ропота на «непріятности», «несправедливости»,—ропота, къ которому теперь не было никакихъ поводовъ, и онъ сталъ пить (другого не находилъ занятія), пить зря, безъ аппетита, безъ надобности, что-то пытался думать, но ничего не говоря кромѣ—«все одинъ чортъ!». Не въ такой мѣрѣ, но у многихъ «среднихъ» русскихъ добровольцевъ, русскихъ простыхъ людей, замѣчалось это незнаніе, неумѣнье, полная отвычка отъ того, чтобы быть самимъ собой какъ-нибудь иначе, чѣмъ въ изломанномъ и изуродованномъ видѣ. Переѣздъ черезъ границу, мундиръ сербскаго войска, надѣтый имъ,—эти два обстоятельства отрѣзывали за нимъ все худое, все, что его изуродовало, исковеркало, и я съ ужасомъ видѣлъ, что больше у него ничего нѣтъ, что для него «все одинъ чортъ!». Безъ глубокой жалости, переходящей иногда въ негодованіе, нельзя было видѣть этихъ мученій человѣка, который не можетъ, не въ силахъ чувствовать въ себѣ что-нибудь кромѣ наковальни для разныхъ «непріятностей».

Помимо неказистаго костюма, неказистаго лица, нашъ доброволецъ принесъ въ чужую сторону и это отчаянное воззрѣніе на себя и на другихъ. Сколько я могъ понять, у серба вслѣдствіе продолжительнаго угнетенія выработалось нѣчто другое. Для него, говорю вообще, тоже «все одинъ чортъ», начиная съ сосѣда, но самъ онъ, его «куча» (семья)—это другое, это для него все. Одинъ долго жившій здѣсь русскій характерную черту серба назвалъ мнѣ «любовью къ мужицкому кейфу», любовью къ теплу, покою и удовольствію своей норы; онъ дошелъ въ этой любви къ норѣ, какъ говорить, до того же почти, до чего дошелъ парижанинъ, не считающій благоразумнымъ имѣть больше двухъ дѣтей. Онъ мѣшають этому мужицкому кейфу.

Судите сами, какое впечатлѣніе на серба, любящаго «кучу», долженъ былъ производить вновь прибывшій братъ, для котораго «все одинъ чортъ» и который, напротивъ, бѣжитъ «отъ кучи», т. е. отъ бездны всей массы условій его личной жизни, условій, которыя заставили его находить удовольствіе въ смерти почти только потому, что «все одинъ чортъ».

Этотъ-то въ обыкновенное время кейфующій и даже пенѣженный сербъ вдругъ, въ военное время, когда онъ сдѣлалъ небывалую попытку, когда онъ рѣшился оставить кучу, когда у него умирають родные и знакомые на войнѣ, стало-быть, когда онъ грустенъ, огорченъ, печаленъ, испуганъ—словомъ, когда онъ въ концѣ растроенъ непривычнымъ положеніемъ—на каждомъ шагѣ встрѣчаетъ проявленіе нашего «наплевать!», этого неизбѣжнаго результата тысячи условій нашей жизни, и я никакъ не думаю, чтобы эти встрѣчи дѣйствовали на него благопріятно. Сербамъ на каждомъ шагѣ приходилось видѣть людей, не уважающихъ ни себя, ни другихъ, ни Бога, ни чорта.

Въ октябрѣ 76 г. военный министръ собралъ всѣхъ русскихъ волонтеровъ и просилъ ихъ не заживаться въ Бѣлградѣ, уѣзжать въ армію, не дожидаясь ни обмундировки, ни оружія. Эту просьбу объяснили именно начинавшимся раздраженіемъ въ бѣлградскомъ населеніи противъ такихъ поступковъ, въ основаніи которыхъ лежить принципъ: «все одинъ чортъ!». То-то и обидно, что все это дѣлалось невольно, «ни съ того, ни съ сего», единственно только оттого, что человѣкъ не знаетъ, что значить чѣмъ-нибудь дорожить въ себѣ самомъ. То-то и горько, что человѣкъ не дорожить ничѣмъ въ себѣ, бросаетъ самого себя во всякую опасность, потому что «все одинъ чортъ!» «наплевать!».

Право, я не знаю ничего трогательнѣе зрѣлища похоронъ такого русскаго добровольца. Эти самыя улицы, по которымъ съ музыкою и провожатыми несутъ его, были свидѣтелями ежеминутныхъ доказательствъ, что для него «все наплевать!». Ходилъ онъ тутъ и шумѣлъ, дебоширичалъ, и безобразничалъ, удивляя всѣхъ и вся своимъ презрѣніемъ къ себѣ, и вотъ умеръ, умеръ на полѣ битвы за правое дѣло. «Бѣдный человѣкъ! подумалъ каждый при видѣ этого зрѣлища, сколько въ тебѣ было добра, если и изувѣченный, доведенный до того, что тебѣ стало *все одинъ чортъ*, ты все-таки нашелъ въ себѣ силу такъ благородно умереть»...

II. Наши добровольцы на чужой сторонѣ.

«Здѣшнихъ», мѣстныхъ причинъ, дурно вліявшихъ на русскаго добровольца, было многое множество. Рѣшаясь идти на смерть, русскій доброволецъ хотя и имѣлъ полное право утверждать, что для него «все одинъ чортъ», но сознаніе, что это дѣло приноситъ ему «во всякомъ случаѣ» «непримѣнно» *честь*, играло въ его рѣшимости едва-ли не такую же значительную роль, какъ и его изломанное прошлое. Такъ вотъ одна изъ первыхъ причинъ множества неудовольствій, наполнявшихъ сердце русскаго добровольца, состояла именно въ томъ, что на первыхъ же порахъ по прибытіи сюда доброволецъ не находилъ почти ничего, что ласкало бы его самолюбіе; дома, въ Россіи, онъ въ послѣдніе дни передъ отъѣздомъ привыкъ считать себя выше другихъ, привыкъ получать похвалы и восторги, пылъ, сколько хотѣлъ, и т. д. Этого же самаго ожидалъ онъ въ глубинѣ души и подѣзжая къ Бѣлграду, въ Сербіи, и въ удивленію своему ничего такого не находилъ; Бѣлградъ не дѣлалъ ему никакой «шумной и крикливой чести»... Доброволецъ какъ-то забывалъ, что Бѣлградъ не только не «продолженіе» его торжествъ, начавшихся въ Россіи, но, напротивъ, полнѣйшее и рѣшительнѣйшее ихъ прекращеніе; забывалъ, что именно съ этого пункта его путешествія и начинается «служба», «подвигъ», «жертва», на которую онъ шелъ добровольно; забывалъ, что здѣсь лазареты наполнены ранеными, что здѣсь то и дѣло хоронять убитыхъ, что здѣсь все залучиво и озабочено и что слѣдовательно нѣтъ никакой возможности требовать, чтобы такъ уныло построенный городъ каждый день являлся на приставъ

и оралъ «живіо» и дѣлалъ бы угощенія, оваціи... Ничего этого доброволецъ не принималъ въ соображеніе, полагая, что въ Бѣлградѣ, напротивъ, для него будетъ устроено нѣчто гораздо болѣе заборитое, чѣмъ то, что было устроено въ Москвѣ, въ Саратовѣ, въ Харьковѣ. Мало того, нерѣдко даже обижался, если слышалъ, что ему напримѣръ придется жить въ казармахъ.

— Какъ въ казармахъ? удивляясь и негодуя, восклицалъ иной доброволецъ изъ благородныхъ или состоятельныхъ.

— Да такъ, въ казармахъ, какъ всѣ.

— Я-то?

— Ты! А что же ты такое?

— Ди если они только поспѣютъ упрятать меня въ казармы, такъ мнѣ чортъ ихъ возьми и съ Сербіей! сейчасъ уѣду назадъ... Что бы я со всякой сволочью?..

— Да вѣдь ты волонтеръ или нѣтъ?

— Ну, волонтеръ!

— И вотъ этотъ солдатъ—волонтеръ...

— Нѣтъ, разница!

— Никакой разницы нѣтъ...

— Нѣтъ, ужъ извини, большая разница!

— Никакой нѣтъ разницы — ты теперь солдатъ и онъ солдатъ... Какая же разница?

— И очень большая разница! Онъ свинья, а я...

— А ты что?

— А я со свиньей не хочу быть вмѣстѣ, вотъ и все! Чортъ ихъ возьми! въ казарму?! Я ѣду на свой счетъ...

— Да вѣдь ты въ солдаты идешь-то? Вѣдь ты солдатъ, ну, и иди въ казармы... бери ружье!

Многіе по истинѣ съ удивленіемъ узнавали, что между однимъ солдатомъ и солдатомъ другимъ, третьимъ — нѣтъ никакой разницы въ правахъ и обязанностяхъ, и что быть волонтеромъ — значитъ быть солдатомъ, значитъ переносить всѣ трудности военной жизни. У иныхъ, повидимому, образовалось представленіе о волонтерѣ, какъ о существѣ рѣшительно ничѣмъ, никому и ни передъ кѣмъ не обязанномъ: иному казалось, что разъ онъ пошелъ въ волонтеры, такъ это значитъ, что онъ получилъ право отклонять отъ себя какія бы то ни было обязанности, пользуясь, напротивъ, всевозможными правами.

— Я волонтеръ! кричалъ одинъ доброволецъ на начальника партіи, къ которой онъ былъ причисленъ, — мнѣ никто не имѣетъ права приказывать.

Многіе изъ этихъ господъ, свирѣпствовавшіе всѣ три тысячи верстъ своей дороги, полагали, что все это «еще не то», не настоящее, *такъ*, отъ скуки, въ дорогѣ, а что вотъ въ Бѣлградѣ, такъ тамъ уже только держись — что начнется... А въ Бѣлградѣ-то именно — все это и прекращалось.

На пароходной пристани при встрѣчѣ добровольцевъ обыкновенно не бывало никакой толпы, ни криковъ, ни овацій. Захлопотавшіеся члены «Краснаго Креста» почти молча вели прибывшихъ добровольцевъ въ небольшой домикъ, построенный на берегу, отдѣляли офицеровъ отъ рядовыхъ, скла-

дывали вещи тѣхъ и другихъ по полу, и рядовыхъ уводили въ казармы, а офицеровъ въ гостинницу — но тоже пѣшкомъ. Наши ждали извозчиковъ, даже не простыхъ извозчиковъ, а какихъ-то княжескихъ каретъ, въ которыхъ ихъ повезутъ по трактирамъ и гостинницамъ, а тутъ иди пѣшкомъ по темному, мертво спящему, плохому городу, по плохой мостовой, напоминающей нашу уѣздный городъ, въ такіа гостинницы, гдѣ не только ничего не достанешь въ такую пору (ночью), но и не достучишься — всѣ спать и повидимому ухомъ не ведутъ, что пріѣхали какіе-то великолѣпнѣйшіе люди.

Такой сухой пріемъ, крайне непріятный тѣмъ, кто рассчитывалъ въ Бѣлградѣ «развернуться», вообще довольно уныло дѣйствовалъ на всякаго русскаго. Уныло дѣйствовалъ и самый видъ этого небогатаго городка, и эти похороны съ музыкой, встрѣчаемые почти тотчасъ же по пріѣздѣ... Вся веселая сторона волонтерства была уже изжита въ Россіи — здѣсь приходилось сейчасъ же браться за дѣло, и русскому становилось съ первыхъ же дней скучновато въ Бѣлградѣ: такъ былъ рѣзокъ переходъ отъ ожиданія дѣла къ самому дѣлу, къ его сухой, прозаической сторонѣ. Всѣмъ безъ исключенія — и искреннимъ, и неискреннимъ добровольцамъ — было скучно. Одни начинали поднимать свой духъ возмнѣніями, результатомъ которыхъ оказывались скандалы и всевозможныя безобразія, другіе рвались поскорѣе въ армію, и вотъ тутъ-то, какъ на грѣхъ, сейчасъ и являются тѣ мѣстные затрудненія, о которыхъ я намѣреаюсь поговорить въ этомъ письмѣ.

Всякому русскому добровольцу необходимо было сдѣлать въ Бѣлградѣ три дѣла: одѣться въ сербскую форму, получить оружіе и затѣмъ вытребовать себѣ колу (подводу), чтобы уѣхать. Кажется — вещи нехитрыя, но посмотрите, сколько тутъ являлось затрудненій и всяческой путаницы, какъ мало было сдѣлано для того, чтобы облегчить эти очень простые дѣла. Обыкновенно на одномъ пароходѣ пріѣзжало нѣсколько небольшихъ провинціальныхъ партій, вѣренныхъ славянскимъ комитетомъ одному какому-нибудь лицу; лицо это было обязано заботиться объ этой партіи и руководить ею въ Бѣлградѣ, котораго оно такъ-же не знало, какъ и любой отставной солдатъ-волонтеръ, находившійся въ его партіи. По прибытіи партіи, ее размѣщали по казармамъ и по гостинницамъ, въ каждой по нѣскольکو человекъ — въ одной три, въ другой семь и т. д. Начальникъ партіи также помѣщался въ той гостинницѣ, гдѣ есть пустая кровать. Въ результатѣ выходило то, что ни начальникъ не зналъ, гдѣ его партія, ни партія не знала, гдѣ ея начальникъ. Проснувшись въ гостинницѣ, добровольцы начинали ходить по незнакому городу, искать своихъ товарищей, а товарищи тоже искали ихъ совсѣмъ по другимъ мѣстамъ и улицамъ; въ то же время и начальникъ партіи такъ же бѣгалъ, розыскивая своихъ и, встрѣчая ихъ случайно на улицѣ, въ кофейнѣ, гдѣ одного, гдѣ двухъ, рѣшительно не могъ добиться видѣть ихъ всѣхъ, чтобы всѣмъ одновременно объявить — что имъ надо дѣлать.

Большинство добровольцевъ такимъ образомъ

бороздило городъ безо всякаго дѣла по разнымъ направленіямъ и отъ нечего дѣлать брело туда, куда имъ посовѣтуетъ идти первый встрѣчный. «Идите, господа, къ министру» — и пойдутъ гурьбой, человекъ въ пять-шесть, къ министру, гдѣ имъ, разумѣется, скажутъ, что не имѣютъ о нихъ никакого понятія. Скажетъ кто-нибудь: «идите въ славянской комитетъ» — пойдутъ туда, и тамъ тоже скажутъ имъ, что ничего неизвѣстно... Такъ шатается вся партія по министерствамъ и комитетамъ, никто не находя и ничего не добываясь; инымъ это приходилось «по натурѣ», какъ я уже и писалъ, но большинство утомлялось этимъ; помотавшись день, утомившись скукой, волей-неволей займешься «сатликомъ вина». Примите во вниманіе, что этотъ самолично, но безплодно добивающійся и ищущій мѣста, откуда отправляютъ въ армию, — этотъ народъ изъ тѣхъ, кто хотѣлъ дѣла, кто рвался къ нему. Одинъ день такой безтолочи неприятно дѣйствуетъ на него, раздражаетъ; не зная языка, не зная цѣны и названія денегъ, не умѣя спросить поѣсть, разспросить дорогу, все это только усиливало раздраженное состояніе духа, потому что поминутно заставляло человека чувствовать свое одиночество, свою заброшенность на чужую сторону, гдѣ никто не обращаетъ на него вниманія, никто не заботится о немъ...

Понятно, что простой, не умѣющій себя сдерживать человекъ (къ тому же иной разъ остававшийся безъ ѣды по цѣлымъ суткамъ, благодаря чьей-нибудь оплошности), невольно долженъ былъ возроптать и на сербовъ, и на своихъ. Въ то же время и министерства, и комитеты не знали ни дня, ни ночи покоя отъ этихъ посѣщеній растерявшихся по городу добровольцевъ. По цѣлымъ днямъ такимъ образомъ люди изнывали въ непрерывной ходьбѣ, въ непрерывномъ незастанавѣ, въ неизвѣстности, что съ ними будетъ, когда ихъ ушлютъ въ армию и куда?

Результатомъ такого порядка дѣлъ были толпы ропшущихъ добровольцевъ, тысячи неприятностей жителямъ города, сербамъ.

— Мы за васъ, за каналій, кровь припши проливать, а ты обчитываешь? Мошеникъ!..

— Да на много-ли онъ васъ обчиталъ?

— Чортъ его знаетъ, на сколько! я знаю, что много... Съ Андреева онъ взялъ вчера двѣ вотъ такія (показываетъ деньги), а съ меня — вонъ какую кучу!

Разсмотрѣвъ и «вотъ такія» деньги, и тѣ, которыя платилъ Андреевъ, вы увидите, что деньги эти разные, одиѣ австрійскія, другія сербскія; по-сербски взята куча, а по-австрійски маленькая штучка, въ сущности же, взято съ нашего негодующаго добровольца — какъ разъ столько же, сколько и съ Андреева.

— А чортъ ихъ знаетъ, какія тамъ у нихъ, у подлецовъ, деньги!

Результатомъ этой безтолковщины являлась очень часто встрѣчавшаяся фигура русскаго добровольца изъ простыхъ, т. е. живущихъ въ казармахъ, которая ко всякому встрѣчному обращалась

съ просьбой дать ему хотя одинъ динаръ. — «Обѣщали мнѣ выдать по прѣздѣ, а ничего нѣтъ! думалъ послать женѣ, а теперь вотъ хоть самому умирать. Ну ужъ будетъ нашему брату что вспомнить! кабы знато, да вѣдано».

Онъ, конечно, получить то, что ему слѣдуетъ (всѣ получили!), но покуда это случится, покуда онъ случайно наткнется на человека, который получалъ самъ и знаетъ, какъ это дѣлается, онъ въ отчаяніи, въ негодованіи, онъ ропщетъ и бранится и увеличиваетъ собой толпу людей, точно также ропшущихъ, недовольныхъ, которые, запутавшись въ этой безтолковщинѣ, съ тоски и съ горя пьютъ, а въ пьяномъ видѣ съ тоски и горя дѣлаютъ Богъ знаетъ что. Но это еще не все.

Къ числу элементовъ, портившихъ кровь и духъ русскаго добровольца на чужой сторонѣ, слѣдуетъ отнести также беспорядочность въ выдачѣ обѣщанныхъ разными комитетами денегъ.

Одинъ изъ добровольцевъ напримѣръ всю дорогу рассчитывалъ, что столько-то рублей онъ пошлетъ матери, столько-то оставить себѣ. По прѣздѣ же оказалось, что изъ денегъ, которыя онъ долженъ получить, ему ровно ничего не слѣдуетъ, или же причитается такая сумма, которую можно только пропить. Такіе случаи встрѣчались поминутно: «обѣщали сто рублей, а дали грошъ» — фразу эту я слышалъ очень и очень часто. Повидимому кто-то что-то такое обѣщалъ; быть можетъ, обѣ этихъ ста рублей добровольецъ слышалъ и не въ славянскомъ комитетѣ, а гдѣ-нибудь въ кабацѣ отъ случайнаго знакомаго, не имѣющаго о дѣлѣ никакого понятія, тѣмъ не менѣе слуху этому человекъ вѣрилъ и, можетъ быть, только вѣря ему, и пошелъ въ добровольцы; когда же всѣ мечты его оказались вздоромъ, онъ, разумѣется, не задумываясь, возвѣстилъ повсюду, что его обманули.

Усиленію этихъ финансовыхъ недоразумѣній много способствовало также и то, что провинціальныя комитеты надѣляли отправляемыхъ ими добровольцевъ не одинаково: одни давали на руки, положили, по сту рублей, другіе — по тридцати; одни давали на дорогу по рублю, другіе — по тридцати копѣекъ. Почему одинъ получаетъ больше, другой — меньше, хотя и одинъ, и другой одинаково оба оставшие солдаты и одинаково служили по 25 лѣтъ и теперь одинаково ѣдутъ умирать рядовыми, — нашъ добровольецъ понять не можетъ да и не хочетъ: «Тутъ, думаетъ онъ, всѣ равны, отчего же ему больше, а мнѣ меньше?» Очевидно, кажется ему, что тутъ какой-то обманъ или несправедливость, и ропщетъ. Бываетъ еще и такъ, что въ одномъ и томъ же отрядѣ люди надѣлены не одинаково; такъ, я ѣхалъ съ добровольцами одного провинціального отряда и слышалъ жалобы на то, что вотъ молъ пятерымъ выдали охѣяло, а четверымъ — нѣтъ, а купечество молъ выдало на всѣхъ. Такой беспорядокъ поселяетъ личную рознь и неудовольствіе даже между людьми одной и той же партіи, и дѣйствительно рѣдко можно встрѣтить такую партію, гдѣ бы добровольцы не препирались всю дорогу другъ съ другомъ, именно изъ-за этихъ бесчислен-

ныхъ недоразумѣній и недосмотровъ власть имѣющихъ.

И опять-таки это еще не все...

Какъ видите, читатель, лицамъ, власть имѣющимъ, было о чемъ позаботиться и что дѣлать. Дѣла много, дѣла самаго настоящаго. Еслибъ даже былъ устраненъ весь беспорядокъ дѣлавшихся здѣсь дѣла, то и тогда, и при полномъ порядкѣ, ихъ хватило бы на всѣхъ по горло. Такъ вотъ—нѣтъ-же! Къ этому запутанному положенію вещей поминутно присоединялись такъ называемыя на Руси «непріятности», т. е. совершенно ненужныя и совершенно неумѣстныя претензіи, придирки, дерзости и т. д., на которыя «и здѣсь», то тамъ, то сямъ, поминутно натыкался не только русскій, но и сербскій доброволецъ...

— «Вы почему-же это, господа, не кланяетесь мнѣ?» заявляетъ вдругъ нѣкоторое русское лицо, входя въ столовую, гдѣ обѣдаютъ русскіе-же доктора. Любовь нѣкоторыхъ нашихъ соотечественниковъ, преимущественно «власть имѣющихъ», идти наперекоръ дѣлу и привычка усложнять его вздоромъ или дерзостью, совершенно ненужною, поминутно заставляла «не добромъ» поминать русскую чиновничью школу. Слухи насчетъ этихъ ненужныхъ дѣяній ходили въ громадномъ количествѣ. Рассказывали о волонтерѣ, просившемъ отправить его въ Россію, человѣкъ крайне больномъ, который въ отвѣтъ на свою просьбу получилъ такое изреченіе: «взялъ деньги—такъ служи!». Я исписалъ бы несчетное количество листовъ бумаги, еслибъ захотѣлъ передать все, что говорили, что ходило въ кругу добровольцевъ по поводу бывшихъ здѣсь порядковъ, но довольно и этого. Не спорю, все это, можетъ быть, и вздоръ, и ложь; для меня важно то, что всѣ эти, быть можетъ, ложные и вздорные слухи ходили въ кругу добровольцевъ, принимались ими къ свѣдѣнію, вліяли на нихъ, на ихъ состояніе духа, раздражали ихъ. Если вы дадите себѣ трудъ сосчитать все, что перечислено мной, въ объясненіе дурного состоянія духа русскаго добровольца, то, надѣюсь, повѣрите (принявъ во вниманіе кромѣ того и его жизнь дома), что, садясь въ «колу», чтобъ отправиться въ армию, онъ не могъ, хотя на минуту, не подумать о томъ, что «хорошо было бы теперь воротиться домой!».

III. Отъ Бѣлграда до Парачина и назадъ.

19-го октября на измученныхъ, истомленныхъ противорѣчивыми извѣстіями, получавшимися каждый день изъ арміи, жителей Бѣлграда точно громомъ грянули невеселыя извѣстія объ оставленіи Джюниса. Погода числа съ 15-го изъ теплой и ясной круто измѣнилась въ холодную и дождливую; рѣзкій вѣтеръ, слякоть и холодъ (на которомъ въ это время лежали въ Тончидерѣ раненные) вмѣстѣ съ неудачной войной сдѣлали пребываніе въ Бѣлградѣ весьма тягостнымъ. У многихъ явилась мысль тотчасъ отправиться къ Делиграду и своими глазами «посмотрѣть», что-же это такое тамъ творится? Въ числѣ такихъ желающихъ былъ и я. Х—въ,

извѣстный русскій купецъ-путешественникъ, собиравшійся уѣхать въ Делиградъ на слѣдующее утро, предложилъ мнѣ ѣхать съ нимъ, чѣмъ я и воспользовался; доставать «объяву» на право полученія почтовыхъ лошадей и дожидаться этихъ лошадей при страшномъ разгонѣ по дню и болѣе—дѣло скучное и надоедливое; у Х—ва же была какая-та особенная объява, по которой ему должны были выдавать лошадей немедленно. Рѣшено было выѣхать на другой день, 20-го рано утромъ.

Въ 9 часовъ утра лошади уже были готовы и, несмотря на дождь и грязь, мы тронулись въ путь. Сербскую природу и виды сербскихъ городовъ и деревень безъ сомнѣнія описывали столько разъ, что я уже и не буду пытаться говорить о моемъ восхищеніи и людьми, и природою, и жилищами. Довольство, по истинѣ незнакомое никому изъ русскихъ, даже хорошо знающихъ Россію, даже имѣвшихъ возможность видѣть деревни «зажиточныя», довольно, видѣющееся здѣсь повсюду, вотъ что сразу и на первыхъ порахъ поражало русскихъ. Нигдѣ, ни въ Россіи, ни за границею, не приходилось видѣть мнѣ такого ровнаго благосостоянія, простора, достатка. Вездѣ капризно разбросанные каменные бѣлые дома, построенные просторно, весело, въ зелени, въ садахъ; вездѣ большіе прочные амбары, риги, точно маленькія помѣщичьи усадьбы. Можно съ увѣренностью сказать, что никто еще изъ русскихъ, жившихъ здѣсь и писавшихъ о Сербіи, не зналъ ни Сербіи, ни сербовъ; но и самые ярые противники сербовъ соглашались въ томъ, что благосостояніе ихъ не подлежитъ никакому сомнѣнію; иные «изъ сердитыхъ» говорили даже, что сербы слишкомъ богаты, слишкомъ зажирыли, заѣлись, и что не мѣшало бы поспустить съ нихъ жиру. Дѣйствительно, сербъ нѣженъ, даже изнѣженъ, нервнъ, капризенъ. Зарычать на него, оборвать, окрестить хорошимъ русскимъ словомъ, значить заставить его упереться, заартачиться; къ несчастью, этотъ послѣдній способъ понужденія къ исполненію требованій очень широко практиковался здѣсь нашими соотечественниками и сильно вредилъ имъ во мнѣніи сербовъ.

Недолго пришлось намъ любоваться природою и довольствомъ; со второй станціи намъ стали попадаться плохо одѣтыя, видимо недовольныя и неохотно направляющіяся въ армию группы новобранцевъ послѣдняго призыва. О выступленіи въ походъ было объявлено только день тому назадъ, 19-го октября. Часовъ въ 5 вечера, когда начало уже темнѣть, по Бѣлграду въ разныхъ направленіяхъ ходили барабанщики и барабаннымъ боемъ созывали рекрутъ, читали имъ распоряженіе военнаго министерства о немедленномъ выступленіи въ армию. Это 19-го вечеромъ, а 20-го утромъ, часовъ съ 2-хъ дня мы уже встрѣчали этихъ новобранцевъ на пути верстахъ въ 30—35 отъ Бѣлграда; чтобъ пройти такой путь пѣшкомъ, надо было выступить изъ Бѣлграда въ тотъ же день ночью—можете судить по этому факту, точно-ли правда то, что говорилось о сербской лѣни и неповоротливости.

Весь этотъ двигавшійся по размытой дождями

дорогѣ народъ очевидно ушелъ, въ чемъ былъ, не успѣвъ застаться теплымъ платьемъ, необходимой обувью и провизіей; нѣкоторые изъ городскихъ мастеровыхъ шли просто въ однихъ сюртукахъ, довольно таки плоховатыхъ, въ обыкновенныхъ городскихъ уже промоченныхъ и хлебавшихъ грязь сапогахъ; тутъ были дѣйствительно всѣ возрасты: и старики, явно дряхлые, больные, и мальчики, почти дѣти, нѣкоторые даже 20-ти лѣтъ. Нѣкоторые изъ нихъ уже успѣли получить оружіе и нѣкоторые, слишкомъ юные и слабые, изнемогали подъ тяжестью стараго кремневаго или пистоннаго ружья. Одинъ такой мальчикъ, буквально изнеможенный, больной, весь въ жару, плохо одѣтый и плохо обутый, до того разжалобилъ насъ своимъ видомъ (онъ не жаловался никому ни на что), что мы упросили его возвратиться въ Бѣлградъ въ русскую больницу—что онъ и сдѣлалъ послѣ продолжительнаго раздумья.

Бстати сказать здѣсь два слова о больныхъ, которые не ранены.—Вслѣдствіе холодовъ, недостатка одежды и дурного помѣщенія (на позиціяхъ подъ Зайчаромъ сербскія войска, въ числѣ которыхъ было много и русскихъ добровольцевъ, 24 дня стояли подъ дождемъ и спали на голой землѣ, не имѣя другой одежды кромѣ шинелей) количество больныхъ внутренними болѣзнями увеличивалось съ каждымъ днемъ въ громадномъ количествѣ, и госпитали, находившіеся въ Бѣлградѣ, рѣшительно отказывались принимать ихъ, такъ какъ были завалены ранеными. Куда было дѣваться этимъ больнымъ? Вы поминутно встрѣчали на улицахъ Бѣлграда добровольцевъ, еле передвигавшихъ ноги, перебираясь изъ одного госпиталя, гдѣ его не приняли, въ другой, гдѣ тоже не примутъ. Масса больного народа, изъ которыхъ нѣкоторые страдали лихорадкой, нѣкоторые же мучили ссадины отъ кавалерійской ѣзды, отъ сѣдла,—ссадины, превращавшіяся въ громадныя раны, люди простуженные, кашляющіе,—все это оставалось на произволъ судьбы и только по случаю попадало въ госпиталь; большею же частью такой больной народъ, безъ всякаго призора и вниманія, валялся гдѣ-нибудь въ холодныхъ казармахъ, леча себя собственными средствами, прикладывая къ ранамъ и ссадинамъ всякую дрянь, или даже на улицѣ, охая и трясясь отъ боли, перевязывалъ грязныя, покрытыя гноемъ, тряпки, которыми были обвязаны раны. По дорогѣ отъ Бѣлграда до Парачина поминутно встрѣчались эти несчастные, громко вопіявшіе о помощи, причитывая о своей 25-ти лѣтней службѣ Богу и Государю, о своихъ страданіяхъ на позиціи и о томъ, что вотъ боленъ, и нигдѣ не принимаютъ, и ѣсть нечего. Дѣйствительно, людей—изъ русскихъ, у которыхъ нѣтъ ни копѣйки, которымъ буквально ѣсть нечего,—встрѣчалось по дорогѣ (и туда, и назадъ) и особенно въ Бѣлградѣ великое множество. Шли они, сами не зная куда и зачѣмъ, проклиная свою судьбу и Сербію, и жизнь свою распродаютъ.

Дождь и ужасный холодъ заставили насъ остановиться на одной изъ станцій и ночевать, т. е. три или четыре ночныхъ часа продрожать въ холодной,

неотопленной комнатѣ почтовой станціи. Все это время съ дороги доносился скрипъ телѣгъ, къ свѣту превратившійся въ непрерывный ревъ колесъ и глоссовъ. Тронувшись въ путь, мы узнали, что навстрѣчу несчастнымъ новобранцамъ, направлявшимся къ Делиграду, идутъ изъ-подъ Делиграда и Алексинца внутрь страны массы семей, выбирающихся изъ сожженныхъ турками деревень; изъ разспросовъ оказалось, что, несмотря на перемиріе, чересы въ полную волю хозяйничаютъ и грабятъ въ оставленной войсками странѣ. «Турци! турци!» отвѣчали нѣкоторые изъ бѣжавшихъ и показывали на горло, какъ бы говоря: «рѣжутъ». Переселявшийся народъ былъ въ самомъ жалкомъ видѣ; видно было, что онъ дѣйствительно «бѣжитъ», хорошо не зная еще «куда» и захвативъ съ собою все, что первое попало подъ руку, иногда совершенно ненужное и не цѣнное, напримѣръ: дрова, кукурүзную солому. Изъ этой соломы торчали дѣтскія головы, плохо прикрытыя, а иной разъ (и очень, очень часто) совсѣмъ неодежныя, мокрыя отъ дождя и синія отъ холода лица. Переселенцы эти вообще представляли раздирающую душу картину, хотя и плелись молча, не говоря ни слова, еле передвигая усталыя ноги. Съ каждымъ шагомъ далѣе нашей почтовой телѣжкѣ (колѣ) становилось труднѣе почитаться впередъ; къ шедшимъ въ Делиградъ и переселявшимся оттуда стали все чаще и чаще присоединяться группы солдатъ, возвращавшихся тоже изъ Делиграда. Боже милосердный, въ какомъ были они видѣ, что былъ за костюмъ, что были за лица, зеленые, блѣдныя, отекающія, обернутыя тряпками. Буквально еле двигались они по глубокой грязи, въ истрепанныхъ мокрыхъ опоркахъ; почти въ ключахъ изодранныя военныя шинели, отъ которыхъ не осталось ничего, кромѣ лохмотьевъ и дыръ,—вотъ примѣрно внѣшній видъ возвращавшихся изъ Делиграда воиновъ. Одинъ этотъ по истинѣ нищенскій костюмъ, весь мокрый, запачканный грязью, говорить вамъ, сколько они перенесли трудовъ, пережили трудныхъ дней, а больныя, зеленые лица говорили кромѣ того о страданіяхъ, лишеніяхъ, болѣзняхъ. Плелись они буквально еле-еле, шагъ за шагомъ, и иной разъ нельзя было не замѣтить, что этимъ измученнымъ людямъ не по силамъ даже такая тяжесть, какъ ружье, которое онѣ несутъ на плечѣ и которое гнететъ его и гнетъ къ землѣ.

Кофейни, попадавшіяся на дорогѣ, были буквально переполнены народомъ, большею частью солдатами; все это мокрое, рваное, безъ копѣйки въ карманѣ, больное или заболѣвающее, тѣснилось къ огоньку погрѣться, чтобы опять шлепать по грязи и мокнуть на дождѣ. Среди такой-то безотрадной обстановки было поистинѣ удивительно встрѣтить двухъ россыанъ, которые какъ будто совсѣмъ не замѣчали, что тутъ такое дѣлается. Это были пѣвчіе, тоже возвращавшіеся въ Бѣлградъ. Спокойно сидѣли они у столика въ одной кафанѣ, пили вино, говорили о своихъ дѣлахъ.

— Вотъ часы вымѣналъ... говорятъ одинъ басомъ.

— Много-ли далѣ?..

— Самъ взялъ придачу дукать.

Разсматриваютъ часы, хвалятъ.

— Куда вы ѣдете?

— Да вотъ *вельмо* здѣсь ждать! весело, точно ѣхать безпечныя, отвѣчали басы — и, казалось, ждать для нихъ уже само по себѣ препровожденіе времени.

— Вотъ, оцѣните часы, господа!

Точно никакой толкотни, ничего возмутительнаго, словомъ, *ничего* ровно кругомъ ихъ не было, такъ были они спокойны, такъ спокойно попивали вино и говорили о своихъ дѣлахъ.

Ближе къ Парачину потокъ людей, стремившихся туда и оттуда, шелъ буквально во всю ширину дороги. Цѣлые ряды телѣгъ, запряженныхъ волами и нагруженныхъ разнымъ скарбомъ, плелись въ глубокой грязи по краямъ дороги; стада свиней и овецъ, которые переселенцы вели съ собой, заставляли нашу колу поминутно останавливаться, и послѣднюю станцію отъ Чуприн до Парачина, всего верстъ 8—9, мы ѣхали по крайней мѣрѣ часа два, и съ каждымъ шагомъ впередъ въ эту все болѣе и болѣе беспорядочную массу людей, телѣгъ и животныхъ, терялась и потребность и возможность сообразить—что такое это творится? Лошади шли и люди плелись туда, куда ихъ вели ноги; словомъ, всякій двигался туда, куда его двигали, чувствуя, что ни соображать, ни хотѣть поступить такъ или иначе—для него нѣтъ возможности. Такое по истинѣ безсмысленное положеніе увеличилось во сто разъ, когда мы наконецъ въѣхали въ самый Парачинъ. Здѣсь волны народа, напиравшаго въ Парачинъ со всѣхъ сторонъ, бурлили какъ въ омутѣ, и никто не зналъ куда идти, что дѣлать, куда ѣхать, а ѣхалъ, погоняя лошадь, и шелъ туда, куда его несло... Не думайте, что въ этомъ омутѣ, въ этой толкучкѣ участвовало что-нибудь вроде страха или раздраженія—ничего подобнаго не было: была потеря всякой возможности о чемъ-бы то ни было думать, что-нибудь чувствовать или о чемъ-нибудь говорить: стоитъ человекъ, стиснутый со всѣхъ сторонъ толпою, и ровно ни о чемъ не думаетъ, словно чего ждать, толкнула его толпа, которую толкнула телѣга—пошли, и стоявшій тоже пошелъ и идетъ до тѣхъ поръ, пока другая толпа не повлечетъ его назадъ. Терялось даже сознание, что надо ѣсть, спать: всякій вспоминалъ объ ѣдѣ, наткнувшись на съѣдобное, о снѣ вспоминалъ только тогда, когда ноги заносили его куда-нибудь въ совершенно чужой домъ, въ чужую комнату, къ чужой постели.

Предоставить всю стихійность этой, наполнявшей Парачинъ толпы, я не берусь. Добрые пять часовъ по приѣздѣ въ Парачинъ находился я въ этомъ удивительномъ состояніи—безъ всякой воли и желанія двигаться то туда, то сюда, ничего не желая и ничего не видя. Только случайно занесенный въ какую-то комнату, гдѣ была толпа русскихъ, я сталъ приходить въ себя и задумался о своемъ приѣздѣ въ Парачинъ. Когда я ѣхалъ, мнѣ что-то было нужно; теперь я рѣшительно не могъ припомнить, зачѣмъ я приѣхалъ, что мнѣ нужно и что такое творится?

Въ холодной комнатѣ, наполненной табачнымъ

дымкомъ, вокругъ стола съ бутылкою «лютой ракии» и остывшимъ кускомъ баранины, засѣдали почти въ тупомъ молчаніи нѣсколько офицеровъ; поминутно входили новые, совершенно незнакомые люди, которые садились на что попало и молчали. Каждый изъ вновь прибывшихъ, уѣвшійся на какомъ-нибудь чемоданѣ, продолжалъ сидѣть на одномъ мѣстѣ часъ, два, три,—словомъ, безконечное число часовъ, ничего не говоря и повидимому ни о чемъ не думая. Никто не зналъ и не могъ знать, зачѣмъ онъ здѣсь и куда пойдетъ отсюда. Еслибы была возможность, я тотчасъ-бы уѣхалъ изъ Парачина, куда глаза глядятъ,—такъ съ каждой минутой становилось тягостнѣе это безсмысленное положеніе.

Ужасъ объялъ меня, когда я вмѣстѣ съ другими поздно вечеромъ вышелъ на улицу; темъ была непроглядная, грязь—непроходимая, масса народу, людей конныхъ и пѣшихъ; масса телѣгъ, скота продолжала наполнять улицу такъ-же точно, какъ и утромъ. Все это шло и ѣхало взадъ и впередъ, наткаясь и толкая другъ друга. Слышались ругательства, въ грязи валялись пьяные добровольцы и проклинали свою участь. «И вотъ награда! И вотъ (крѣпкія слова) награда! Ахъ вы (опять крѣпкія слова)!...»

— «Арестовать его, каналью!» слышался въ темнотѣ начальническій голосъ тоже съ приправою русскихъ словъ... Нужно сказать, что, разъ выйдя изъ тупой апатіи, всякій дѣлался золъ и раздражителенъ. Такихъ озлившихся людей въ обезсмысленной толпѣ къ вечеру было великое множество: всякій, кто вышелъ изъ себя, принимался отдавать приказанія, арестовывать, ругался... Но и арестуемыхъ, напившихся мертвецки, было тоже великое множество... Въ гостинницѣ, гдѣ болѣе всего столпилось народу (посреди Парачина, близъ главной квартіры), слышался ревъ и визгъ: какого-то офицера, всего краснаго отъ злости и отъ лютой ракии, связывали и тоже хотѣли арестовать; онъ стрѣлялъ изъ револьвера въ кого попало и колотилъ, кажется, тоже кого попало. Пьянство, холодъ, скука, злость, глушость, голодъ, дождь—все это спутывалось въ нѣчто по истинѣ невыносимое, мучительное до послѣдней степени. Передать это мучительное состояніе такъ, чтобы оно было вполне понятно читателю, я, право, не берусь. Бѣжать, вырваться на свѣтъ Божій изъ этой тьмы кромѣшной—вотъ было единственное желаніе всѣхъ, волею-неволею сбитыхъ въ кучу въ такой маленькой деревушкѣ, какъ Парачинъ. Ни откуда не было видно никакой надежды, чтобы кто-нибудь пришелъ и помогъ разобраться, найти что-нибудь, уяснить, что будетъ, что надо дѣлать... Въ штабѣ, въ квартирѣ главнокомандующаго, говорятъ, шла такая же свалка. Являлись за наградами. «А мнѣ-то? Этому подлецу дасте, а мнѣ?»

Чѣмъ свѣтъ, продрогнувъ ночь въ холодной собѣ (комнатѣ), отправился я искать колу, чтобы ѣхать назадъ. Я потомъ рассказывалъ въ такомъ послѣднемъ отъѣздѣ, но это было уже тогда, когда я выѣхалъ и очнулся отъ ужаснаго впечатлѣнія. Находясь въ Парачинѣ, ничего другого кромѣ же-

лания уйти отсюда хотя къ туркамъ, куда угодно—ничего другого чувствовать не было ни малѣйшей возможности.

Лошади по всей дорогѣ заѣзжены и разбиты совершенно. Передавать, что было за мученіе эта тиранская ѣзда, тоже невозможно. Судите, что должны были испытывать раненные, которыхъ также великое множество ѣхало по дорогѣ къ госпиталямъ, расположеннымъ въ Ягодинѣ, Семендріи и т. д. Можетъ быть со временемъ я найду въ себѣ силы хладнокровно передать впечатлѣнія этихъ дней, но тогда этого невозможно было сдѣлать. Тогда можно было только хвататься за голову и желать уйти изъ этого омута.

Между прочимъ опять пришлось встрѣтить пѣвчихъ. Сидятъ на какой-то станціи вокругъ столбика, пьютъ, разговариваютъ...

— Куда вы?

— Ъдемъ въ Семендрію; отсюда, *говорятъ*, на пароходъ повезутъ.

— Какъ-же вы сюда-то добрались?

— Попался мужичокъ, далъ свою лошадь.

— Добровольно?

— Да, хорошій человекъ, доведетъ.

— А отсюда-то?

— Ъдемъ вотъ... Доставятъ!

— Доставятъ?..

И не скучаютъ, не скучая «ждутъ», попивая винцо.

Точно манна небесная такіа фizioноміи среди этого ужаснаго пути.

Въ Семендріи всѣ гостиницы были биткомъ набиты народомъ, ожидавшимъ парохода. Кое-какъ мнѣ удалось найти кровать на одну ночь за 5 динаръ: въ комнатѣ спало кромѣ меня еще два серба; я пытался разговаривать, но ни одинъ изъ нихъ не отвѣтилъ мнѣ ни одного слова, и я очень понимаю и вполне извиняю эту грубость и невѣжество.

Наконецъ-то мы дождались парохода. Всѣ тутъ собрались, всѣ великіе и малые дѣятели, всѣ знаменитости, герои войны и «сундучка», и всѣмъ было нехорошо и неловко.

Пѣвчіе также ѣхали на пароходѣ. Х—въ повелѣлъ имъ пѣть. Они усѣлись на палубѣ, на вѣтру, и отличными голосами запѣли какую-то малороссійскую пѣсню. Пѣли превосходно.

— Перинушку, перинушку! просили ихъ, и они немедленно спѣли и перинушку. Толпы русскихъ и сербскихъ оборванныхъ добровольцевъ съ удовольствіемъ слушали стройное пѣніе. Наконецъ они спѣли «Боже Царя храни». Всѣмъ страстно захотѣлось поспѣть въ Бѣлградъ—по мѣрѣ приближенія, пастажеры выбирались на палубу. Дунай былъ удивительно хорошъ при закатѣ солнца... Какая гибель птицъ налетѣла сюда! утокъ... нырковъ... Наконецъ вотъ и Бѣлградъ! Было совсѣмъ темно, когда мы пріѣхали. Вся набережная была полна народа. «Ура!» «живіо!» доносилось отсюда на пароходъ. И все-таки было и больно, и нехорошо на душѣ у всѣхъ.

IV. Передъ отъѣздомъ.

I.

По заключеніи перемирія не для кого не было ужъ тайной, что скоро послѣдуетъ и настоящій миръ. Множество народу разомъ хлынуло назадъ въ Россію, а оставшіеся въ Бѣлградѣ волей-неволей должны были присутствовать при непріятномъ процессѣ ликвидаціи всевозможныхъ неурядицъ и недоразумѣній, накопившихся всюду и вездѣ, во всѣхъ и каждомъ!.. Наряду съ «отместками» за старыя обиды, отместками, иногда принимавшими размѣры буйныхъ свалокъ въ кофейняхъ, наряду со всевозможнаго рода ропотомъ, раздававшимся на всѣхъ и на вся, и притомъ повсюду—кое-какъ изъ пятаго въ десятое шла сдача дѣлъ старыми уважавшими начальниками новымъ, съ раздраженіемъ и неохотою принимавшимся за испорченное дѣло. Писались отчеты, и какъ писались!

— Пишите, говорить напимѣръ составитель «такого» отчета фельдшеру, свидѣвшему съ перомъ въ рукѣ.—Пишите: ножей пятьдесятъ.

Фельдшеръ пишетъ.

— Въ Чупрію—30-ть.

Пишетъ.

— Въ Иваницу—30-ть.

— Вѣдь это 60 выйдеть, возражаетъ фельдшеръ.

— Какъ 60? Ахъ, да. Ну, пишите такъ: въ Чупрію—двадцать, въ Иваницу—десять, въ Приворъ... ну, хоть... штукъ восемь...

— Это вы такъ-то отчетъ составляете? въ изумленіи спрашиваетъ фельдшеръ, молодой впечатлительный человекъ.

— Да какъ-же иначе-то? Я знаю, что столько ножей дали, а куда—могу и ошибиться. Пишите: доктору Д. клеенки 30 аршинъ.

— Ну ужъ этого я теперь писать не стану!

— Отчего?

— Да вѣдь я самъ получилъ клеенку для доктора Д. и очень хорошо помню, что получено только десять аршинъ.

— Ну, пишите хоть и десять; я двадцать поставлю въ Чупрію...

— Это чортъ знаетъ что, а не отчетъ!..

— А вы думали, въ самомъ дѣлѣ, что-ли я долженъ о каждой тряпкѣ беспокоиться? Какъ-же! Чортъ съ нимъ совсѣмъ, я ему такой отчетъ ставлю, что самъ чортъ не разберетъ...

Тутъ есть, какъ видите, какой-то *онъ*; не общество, не общественныя обязанности и деньги, а какой-то *онъ*, у котораго утаскиваютъ всѣ эти ножи и клеенки и котораго обмануть даже прямо слѣдуетъ.

Наряду съ такимъ составленіемъ отчетовъ и полученіемъ наградъ шло полученіе денегъ за проѣздъ, пособій, вспомоствованій и жалованья. Получали всѣ (по крайней мѣрѣ офицеры) и—сколько я знаю—получили дѣйствительно все до копѣйки, за всѣ мѣсяцы, и за проѣздъ, и за пріѣздъ, и за отъѣздъ, и все-таки на бѣлградскихъ

улицахъ поминутно встрѣчались разнаго званія добровольцы, которые на каждомъ шагѣ обращались къ намъ съ такими вопросами:

— Вы русскій?

— Русскій.

— Скажите пожалуйста, гдѣ раздаютъ деньги?.. Я офицеръ... Нельзя-же такъ!

Или такъ:

— Вы русскій, кажется?

— Русскій.

— Скажите пожалуйста, не знаете-ли, не раздаютъ-ли гдѣ-нибудь денегъ?

— Гдѣ-то раздаютъ.

— Гдѣ? Вотъ именно этого и не добьюсь. Я знаю, что раздаютъ: быть этого не можетъ, чтобы не раздавали. А гдѣ? Скажите ради Бога!

Иной разъ наскочить на васъ гдѣ-нибудь на улицѣ и въ кафанѣ до послѣдней степени раздраженный человѣкъ и прямо возопиетъ:

— Да гдѣтъ ли *какихъ-нибудь* денегъ, чортъ возьми эту Сербію!

Въ концѣ концовъ однако можно сказать не ошибаясь, что получили рѣшительно всѣ и рѣшительно все, что слѣдовало. Даже и тѣ изъ добровольцевъ, которыхъ прямо надо считать людьми состоятельными, богатыми даже, и тѣ получили и жалованье, и пособие на проѣздъ, и по даровому билету на каждого изъ этихъ богачей. Была-ли какая-нибудь «раздача» какихъ-нибудь денегъ простымъ добровольцамъ, солдатамъ—не знаю. Знаю, что *на руки* имъ денегъ не давали, а чтобы во время дороги скрывать ихъ отъ глазъ Западной Европы, чтобы не дать пищи насмѣшкамъ надъ русскими некультурнымъ человѣкомъ, ихъ отправляли отсюда на баржахъ, прицепляемыхъ къ пароходу, какъ обыкновенно везутъ лошадей, телятъ...

II.

Пора было уже и мнѣ собираться домой, а собираясь покинуть чужую сторону, чтобы возвратиться на родину, я невольно раздумывалъ и о родинѣ, и о чужой сторонѣ, и о «старшемъ братѣ», и о младшемъ. Вотъ теперь, думалось мнѣ, на дворѣ стоитъ ноябрь, даже конецъ ноября, а этотъ младшій братъ живетъ въ теплѣ и привольѣ: «припадокъ» зимы, случившійся въ октябрѣ и продолжавшійся нѣсколько дней, прошелъ; теперь въ концѣ ноября съ 11 часовъ утра смѣло открывайте окна, и комната будетъ тепла отъ настоящаго солнца, а не отъ дровъ. Теплый туманъ дымитъ по горамъ и рѣкамъ, теплый дождь мочить рыхлую, жирную землю... А старшій братъ, живущій, положимъ, въ Петербургѣ, стоитъ теперь замерзлый, обледевлый, замерзли пятиэтажные дома, замерзли сверху до низу; снаружи замерзли водосточныя трубы, внутри въ стѣнахъ замерзли водопроводы; отвернешь кранъ—и изъ него несетъ 40 градуснымъ морозомъ, гриппомъ... Замерзли двери, окна; замерзли, обледевели бороды, носы; птицы валяются мертвыми въ еловыхъ и сосновыхъ лѣсахъ... А эта еловая или сосновая зелень или, вѣрнѣе, зелень,

сдѣланная изъ еловаго и сосноваго дерева, зелень на зиму и лѣто—одна и та же (напасешься-ли разнообразной и настоящей зелени на десятки тысячъ верстъ, отъ Петербурга до Камчатки?). Ухъ, какъ жутко жить старшему брату—отъ одного только климата! Не будь искусственныхъ приспособленій, старшему брату пожалуй даже и жить-бы нельзя было совершенно; младшій растетъ на настоящемъ солнцѣ, нашъ—на банномъ пару, дровяномъ теплѣ, на водкѣ, которую также пьютъ «для тепла», словомъ, разводится такъ-же искусственно, какъ искусственно разводятся цыплята, рыба и т. д.; помощію привознаго образованія—развивается его умъ, мозгъ, которые безъ этого не много-бы взяли, взирая и лѣто, и зиму на сдѣланную изъ еловаго дерева зелень и мерзлыхъ воронъ... Иной разъ, раздумавшись объ этомъ предметѣ, невольно приходишь къ мысли, что «весь старшій братъ» просто выдуманъ, искусственно разведенъ для уплаты иностраннымъ банкирамъ процентовъ по займамъ.. Конечно такія мысли нельзя считать здравыми, но онѣ проходятъ подъ впечатлѣніемъ тѣхъ вообще довольно жуткихъ условій, въ которыхъ живетъ старшій братъ и которые представляются здѣсь, въ землѣ брата младшаго, еще болѣе жуткими... Ужъ одно то, что младшій братъ *можетъ быть лѣнивымъ*, можетъ не спѣшить, можетъ думать объ удовольствіяхъ жизни, можетъ прихотничать и фантасить (полшубокъ у него расшить разноцвѣтными узорами)—ужъ одно это какъ не похоже на старшаго брата, у котораго постоянный недостатокъ, недомыслие выше головы, который постоянно виноватъ, постоянно въ работѣ, постоянно «гонимъ» куда-то, который не только не имѣетъ возможности отдыхать или лѣниться, но, напротивъ, почти заурядъ обязанъ совершать подвиги, требующіе силъ и энергіи, немислимыя для обыкновеннаго, неискusstвенно приготовленнаго человѣка... Младшій братъ, сытый и съ лѣнкой, неспѣша плетется на сытыхъ волахъ въ «свою» свѣтлую, полную довольства кучу... Старшій «гонимъ» отъ кучи, по чужой надобности, гонимъ не ѣвши, гонимъ на некормленной лошади, а иногда умѣетъ тысячи верстъ ѣхать *на одномъ кнутѣ*... Кто не слыхалъ этого выраженія: «всю дорогу, братецъ ты мой, на одномъ кнутѣ ѣхалъ!». Это значитъ, что для выполненія надлежащимъ образомъ упомянутой ѣзды необходима была какая-то сверхъестественная, могущественная сила—кнутъ, такъ какъ естественныхъ силъ ни въ людяхъ, ни въ животныхъ, участвовавшихъ въ ѣздѣ, не хватало; онѣ были ничтожны и, только благодаря кнуту,—вытянулись въ струну, напряглись до сверхъестественной силы—и вынесли *).

Въ виду обилія вотъ такихъ-то мелочныхъ чертъ въ характерахъ и нравахъ двухъ братьевъ,—чертъ, свидѣтельствующихъ о значительной между

* Одинъ русскій «народный» багетъ „*Конекъ Горбунокъ*“ весь построенъ на необычайныхъ свойствахъ кнута. Здѣсь волшебная палочка обыкновенныхъ иностранныхъ багетовъ замѣнена кнутомъ, который втеченіи 5 дѣйствій дупитъ всѣхъ и вся и до стигаетъ изумительныхъ результатовъ.

этими братьями разницѣ рѣшительно во всемъ, кромѣ общей для обоихъ потребности освободиться отъ подчиненія западно-европейскому ходу жизни—причемъ младшій братъ отлично знаетъ это подчиненіе, а старшій, хоть крѣпится отъ убытка, но откуда онъ идетъ не знаетъ, а полагается только, что виновать тутъ волостной старшина или пьяница-прохвостъ писарь—въ виду вотъ этой-то сложности явленій, обнаруженныхъ сербскимъ дѣломъ, размышленія мои невольно опять приводили къ вопросу о томъ, каковы-то «мы» были во всей этой, теперь уже окончившейся исторіи?

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, если понимать читателей, на Васильевскомъ Островѣ, въ Петербургѣ, было обнаружено варварское дѣло. Какая-то женщина, изъ личныхъ расчетовъ, заперла другую женщину въ темную комнату и продержала ее въ ней цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ. Только черезъ пятнадцать лѣтъ кто-то совершенно случайно узналъ объ этомъ заживо погребенномъ человѣкѣ—и двери тюрьмы были открыты; заточенная женщина найдена была въ ужасномъ положеніи: въ грязи, одичавшая, почти превратившаяся въ скота... Я прошу читателей воспроизвести только впечатлѣніе, которое могла-бы произвести на него эта женщина, еслибы онъ самъ увидалъ ее... Ну, такъ вотъ такое впечатление произвелъ «средній» русскій человѣкъ, хлынувшій нынѣшнимъ лѣтомъ за границу... Повторяю еще разъ, я прошу помнить только впечатлѣніе, производимое человѣкомъ, отвыкшимъ жить на бѣломъ свѣтѣ, разучившимся жить, не говоря о причинахъ, которыя отлучили его отъ жизни—одичать можно и отъ страшнаго труда, и отъ утомительнѣйшаго бездѣйствія, какъ одичала заточенная. Такъ вотъ именно, благодаря такой-то «одичалости», мнѣ казалось, что большинство простонародныхъ, да и благородныхъ добровольцевъ, попавъ въ чужую сторону, напримѣръ въ Австрію, были какъ-будто сконфужены за себя, какъ былъ-бы сконфуженъ обыватель мансарды, неожиданно перенесенный въ бальную залу. Онъ ни чуть не хуже этихъ разфранченныхъ танцоровъ и тузовъ; онъ знаетъ хорошо, что онъ умнѣй, даровитѣй большинства ихъ, но онъ будетъ все-таки растерянъ, такъ какъ у него нѣтъ какихъ-то пустяковъ для того, чтобы, не насмѣшивъ общество, дать замѣтить всѣмъ свои неотъемлемыя достоинства: у него нѣтъ манеръ, у него худы сапоги, плохъ костюмъ, у него нѣтъ привычки говорить свѣтскимъ языкомъ, а тотъ, на которомъ онъ привыкъ изъясняться, никому непонятенъ и смѣшонъ; наконецъ онъ нервно разстроенъ до того, что и притворяться-то человѣкомъ, знающимъ себя цѣну, не можетъ; онъ не выдержитъ пяти минутъ того пустого разговора, который свѣтскій человѣкъ ведетъ цѣлые часы, потому-что ему противно, глупо; въ концѣ-концовъ такой человѣкъ вмѣстѣ съ полнымъ презрѣніемъ къ «пустоголовымъ франтамъ», берущимъ внѣшностью, которая ровно ничего не значитъ, которую онъ, очень умный бѣднякъ, могъ-бы легко приобрести, еслибъ не былъ бѣднякъ, въ концѣ-концовъ такой дѣйствительно умный, дѣйствительно

въ сто разъ болѣе правдивый, честный человѣкъ, все-таки будетъ чувствовать, что онъ подавленъ прочностью самодовольства этихъ глупцовъ, самодовольства, не подлежащаго для нихъ ни малѣйшему сомнѣнію.

Вотъ подобное-то ощущеніе, какъ кажется, испытывало заграницейъ громадное большинство русскихъ добровольцевъ. Они были сконфужены прочностью заграничнаго человѣка, его достоинствомъ, его умѣньемъ жить; были сконфужены какъ дѣти, какъ ребенокъ, которому не подарили такихъ-же фольговыхъ часовъ, какіе подарили его пріятелю-ребенку. Значительный процентъ ссоръ между добровольцами во время дороги можно положительно приписать этому неловкому ощущенію человѣка безъ манеръ, попавшему въ общество съ манерами; по крайней мѣрѣ количество людей, между простымъ народомъ, особенно нападавшихъ на людей, не умѣвшихъ себя вести, было... да прямо можно сказать, что каждый нападалъ на каждого за то, что тотъ пьянствуетъ и скверно себя держитъ.

— Срамъ, чисто-начисто срамъ партіи! душевно убиваясь говорить старшой:—нешто это Россія? Вѣдь въ вѣдомостяхъ пишутъ, пьяная твоя морда!.. вотъ наказалъ Господь!.. Двадцать лѣтъ отслужилъ Богу и Государю, честно, благородно, а тутъ не знаю, за что наказалъ Господь батюшка,—въ старшины къ эфтимъ мошенникамъ выбрали... Спи! Сейчасъ спи! реветъ онъ на какого-нибудь мечущагося на нетвердыхъ ногахъ по пароходной палубѣ добровольца.

— Сейчасъ, приказываю тебѣ — ложись!.. Срамники этакіе!.. Не хочешь?.. Погоди, я пойду графу доложу... Что это за наказаніе! Тыфу!..

И торопливо идетъ съ палубы внизъ, а здѣсь—буфетъ, гдѣ прежде, нежели попасть къ графу, старшой, разгнѣванный поведеніемъ своихъ подчиненныхъ, выпиваетъ рюмочку, непремѣнно, конечно обругавъ нѣмца за то, что нѣмецъ долго ничего не понималъ изъ русскихъ разговоровъ и требованій водки на русскомъ языкѣ:

— Шнапу! рюмочку... ахъ ты оглоухъ? Имъ хотъ говори, хотъ нѣтъ!..

Явись графъ или какимъ другимъ образомъ титулованный начальникъ партіи, всѣ начинаютъ жаловаться другъ на друга.

— Ваше сіятельство! Позвольте вамъ сказать... Какъ онъ смѣетъ? я стрѣлокъ... вотъ у меня орденъ-то!

— Какой ты (такой-сякой) стрѣлокъ! прерываетъ другой, ожесточенный голосъ:—ежели ты мараешь свою честь на чужой сторонѣ?.. У тебя, у дурака, долженъ быть крестъ во лбу, а ты пакостничаешь въ чужой землѣ!

— Самъ ты, старая ворона, нализался впередъ всѣхъ. Погляди-ко, вонъ на тебя-то какъ пялятъ глаза, на пугалу...

Явившійся разобрать дѣло начальникъ партіи, если онъ не бралъ горломъ (горломъ-то брать стыдно передъ иностранцами), непремѣнно долженъ былъ уйти, ничего не добившись.

Впродолженіи дороги всѣ пережаловались другъ другу другъ на друга; я, человѣкъ посторонній, и то переслушалъ этихъ жалобъ безчисленное множество; всякому было противно неумѣнье вести себя не только въ другихъ, но и въ себѣ, и всякій поэтому хотѣлъ убѣдить кого-нибудь, что онъ вовсе не похожъ на этого пьяницу; всякій норовилъ доказать, что онъ хоть и выпилъ («Отчего не выпить для тепла, да вѣдь и то сказать: голову отдаемъ—авось можно?»), но что онъ не кто-нибудь, и лѣзетъ непременно за орденами въ карманъ... Убѣдившись въ томъ, что ни отъ начальника партіи, ни отъ постороннихъ, ни наконецъ отъ самихъ себя нельзя добиться никакого результата, положительно всѣ стали объяснять дѣло тѣмъ, что «некому жаловаться...»

— Нешто это Россія? Кому тутъ жаловаться будешь?.. Это не Россія, жаловаться тутъ некому... Нѣтъ! кабы жаловаться было кому, такъ я-бъ тебѣ показаль... въ чемъ она ходитъ!

А иные, самые благообразные, просто сновали по палубѣ и въ виду широкаго Дуная какъ бы въ отчаяніи разставляли руки и говорили:

— Вся причина — некому жаловаться, ничего не подѣлаешь!

Но еслибы, на счастье, и было въ чужой землѣ что-нибудь такое, что могло бы воскресить владѣи отъ родины представленіе о бараньемъ рогѣ и о прочемъ въ этомъ же родѣ, то и тогда едва-ли бы доброволецъ нашъ могъ бы вести себя какъ-нибудь иначе, т. е. безъ постоянного питья вина и рому (нѣкоторые съумѣли пропить по 15-ти рублей въ полтора сутокъ отъ Пешта до Бѣлграда, *пропить* буквально, не принимая пищи, какъ говорится, и «маковой росинки» втеченіи этихъ полутора сутокъ), такъ какъ иначе нечѣмъ ему было занять себя; *проводить время* онъ не умѣлъ, такъ какъ никогда даже не зналъ, что это такое, если не пьянство въ кабацѣ или у Бореля все равно. Вѣдь вотъ тутъ же ѣхали прусскіе солдаты, ѣхали также волонтерами въ Сербію, также готовы были умирать—а съумѣли о чемъ-то проговорить другъ съ другомъ полтора дня и двѣ ночи (спать было невозможно за тѣсною); а у нашихъ оказалось не о чемъ разговаривать: всѣ разговоры свои они оставили дома. Оставили дома мы ропотъ на свою горькую участь, на несправедливость батальоннаго командира, на ропотъ противъ жены, противъ тещи — оставили дома всего Островскаго, всего Рѣшетникова, и нѣту ничего другого, хоть шаромъ покати! Человѣку такъ пусто, такъ дико и такъ одиноко, что онъ тащить вамъ, постороннему человѣку, свои ордена, говорить: «вѣдь я не кто-нибудь... я—кавалеръ», чувствуя, что такъ просто онъ ничто и никто его знать не хочетъ... Ордена вытаскивали послѣ двухъ-трехъ словъ перваго знакомства положительно всѣ, у кого только они были. Всякій объявлялъ, что это онъ только такъ, потому что за границей въ штатскомъ, а въ сущности вы пожалуйста не пренебрегайте имъ: онъ—капитанъ... О Сербіи, объ общемъ, кажется, дѣлѣ почти не было разговоровъ (только подъ конецъ пути зашелъ разговоръ о сла-

вянскомъ дѣлѣ, и то потому, что на пароходѣ сѣлъ сербъ, ѣхавшій въ Бѣлградъ окольнымъ путемъ изъ Болгаріи съ важными порученіями и самъ завелъ оживленную рѣчь въ общемъ смыслѣ). Всякій былъ изломанъ и нылъ про себя, чувствуя себя чужимъ среди иностранцевъ, которые (это обижало безсознательно) — также люди, да не тѣ... Вотъ хоть мадяры, простые мужики, цѣлую ночь хоромъ пѣли, да какъ пѣли, артистически; нашихъ забрало за ретивое: «давай, ребята, нашу!..» Чуть не всѣ сразу затянули «Внизъ по матушкѣ», и оказалось, что никто не знаетъ нѣсни не только до конца, а даже съ пятой строки, т. е. по окончаніи перваго куплета ужъ никто не знаетъ какъ дальше. Не въ музыкальныхъ школахъ спѣвались мадярскіе мужики, спѣвались они, надо думать, въ деревнѣ, и наши тоже родились и жили въ деревнѣ; но очевидно некогда имъ было спѣваться, занимались дустяками, досуга не было... И затянули-то они кто въ лѣсъ, кто то дрова... «Погоди, я имъ завинчу штучку!» подзадоренный неудачей «своихъ» проговорилъ какой-то повидимому бывшій военный писарь и, проворно стащивъ съ плечъ одѣяло, которымъ награждало его славянское общество, врянулъ и затянулъ:

Въ полъ-денный жаръ, въ авраги на Кавказ-эк
Въ груди моей съ винцомъ дымилась кровь.

Но и этотъ на второмъ куплетѣ осѣкся, а ужъ вралъ—не приведи Богъ!

— Ахъ, забылъ, какъ дальше-то... Погоди!.. писарь вновь-было начать съ начала, но его перебилъ громаднаго роста мѣщанинъ, необычайно вертлявый, бывшій сыщикомъ, драгуномъ и монахомъ и оказавшійся впоследствии плутомъ...

— Будетъ тебѣ нишаго-то черезъ каменный мостъ тащить! ты погляди-ко, какъ я ихъ, нѣмцевъ-то, сразу разоделжу... У насъ — по русски, живо!

И, повернувшись на каблучкахъ, онъ довольно-таки безцеремонно влѣзъ въ самую середину мадярскаго хора и вопреки всякимъ смысламъ началъ кричать кукареку... Мадяры продолжали пѣть, не обращая вниманія, думая должно быть, что чудакъ опомнится, увидеть, что мѣшаешь, и уйдетъ—ничуть: чудакъ оралъ пѣтухомъ и представлялъ всей своей фигурой поднимающагося на цыпочки и вытягивающаго шею пѣтуха. Мадяры замолкли. Нѣкоторые изъ нашихъ — далеко впрочемъ не всѣ — смѣялись, а мѣщанинъ-пѣтухъ также молчалъ и ждалъ. Мадяры опять запѣли. Мѣщанинъ тотчасъ же опять заоралъ. Кончилось тѣмъ, что одинъ изъ пѣвцовъ, какъ бѣшеный, подскочилъ къ нашему артисту и обругалъ его самымъ громогласнымъ образомъ; нашъ мгновенно схватилъ его за «бочка», какъ «друга-пріятеля», но венгерцы весьма энергически отстранили его отъ себя. Хихикая, съ ужимками и обезьяньими изворотами, нашъ-таки убрался. Немедленно принялись его ругать за неприличіе, и такъ ругаясь, всѣ виѣсть пошли въ буфетъ.

Выручилъ всѣхъ солдатъ.

— Эхъ вы! сказалъ онъ. — пѣвчіе! Ну-ко —

нашу солдатскую! и, притопывая каблучками и повертывая согнутыя фертонъ руки, пропѣлъ какую-то пѣсню, въ которой слышалось безпрестанно:

Полковые командирчики
Батальйонные начальники
И батальйонные начальники,
Штабъ- и оберъ-офицеры!

Съ точностью не могу припомнить словъ пѣсни, но помню положительно, что кромя какой-то радости отъ обилія начальства, выраженной музыкальной пѣсней, въ ней было одно только перечисленіе разныхъ наименованій этого начальства, даже женъ и дѣтокъ господъ начальниковъ.

— Вотъ какъ у насъ! окончивъ пѣсню (эта пѣсня была допѣта до конца), гаркнулъ солдатъ и конечно последовалъ въ буфетъ.

По пути изъ Семендринъ въ Бѣлградъ, какъ я уже писалъ ранѣе, мнѣ удалось слышать «Внизъ по матушкѣ, по Волигѣ», пропѣтую чудовскими пѣвчими. Что за слова чудесныя, что за дивная музыка, но зато вѣдь чего и стоитъ чудовскій хоръ московскимъ купцамъ, но зато вѣдь и слушаютъ ихъ только за деньги. А такъ, въ толпѣ забываются и слова, и музыка народныхъ пѣсней.

Такъ-то вотъ и скучно было русскому человѣку на чужой сторонѣ, скучно было ему потому, что и веселиться онъ не умѣетъ, окромѣ какъ пить, къ пріятельству онъ не привыкъ, окромѣ что тоже въ пьяномъ видѣ, и живетъ онъ въ лачужкахъ, а не въ такихъ деревняхъ-картинкахъ, и разговаривать-то ему не о чемъ, окромѣ какъ жаловаться да искать мѣста: нѣтъ ли гдѣ мѣстечка, гдѣ бы можно было хорошенько пожаловаться на вольнаго человѣка? Не зная, чѣмъ взять передъ вѣщими, одинъ изъ нашихъ (конечно, въ пьяномъ видѣ) съѣлъ, напоказъ своей удали, цѣлую солонку съ краснымъ кайенскимъ перцемъ и, обжигая ротъ каждымъ глоткомъ, приговаривалъ (дѣйствительно, не моргнувъ глазомъ, не поморщившись):

— Вотъ какъ у насъ... У насъ нешто такой перецъ-то!.. Это развѣ перецъ?..

— Али съѣлъ?

— А то что же! Эй, ты, дай еще фляшу шнапу!

III.

Унылую эту картину позвольте заключить слѣдующимъ отрывкомъ изъ одного дневника.

«...А какіе есть изъ нихъ (изъ добровольцевъ) старые-престарые!.. По 60-ти и болѣе лѣтъ инимъ! Меня особенно заинтересовалъ одинъ старикъ доброволецъ, человѣкъ угрюмый, лѣтъ свыше пятидесяти, ничѣмъ не напоминавшій солдата. Борода у него черная, по поясъ; на головѣ сербская шапка, а весь остальной костюмъ—мужицкій, т. е. мужицкій полушубокъ, мужицкія олуи, да сербскіе, тоже мужицкіе, опанки. Поразило меня необыкновенно строгое и серьезное выраженіе лица—куда какъ мало (не строгихъ, нѣтъ) серьезныхъ-то, умомъ и мыслью запечатлѣнныхъ лицъ, да еще такихъ трезвыхъ лицъ между нашимъ братомъ, русскимъ добровольцемъ... Глянулъ я на его щетинистыя густыя

брови и подумалъ: «ну, это навѣрное—настоящая Русь, безпримѣсная, нетесанная...»

— Сядь-ко здѣсь, родимый, заговорилъ старикъ самъ:—не слыхать ли чего?.. Какъ пишуть-то: подъ турецкой христіанству быть, али освобожденіе выйдетъ?..

Дѣло было въ бѣлградской крѣпости, гдѣ помѣщаются теперь русскіе добровольцы. Много ихъ толпилось и сидѣло какъ попало близъ казармы.

— Не знаю, дѣдушка, ничего не слыхать... Конференція, стало быть, совѣтъ такой, идетъ теперь: какъ этотъ совѣтъ скажетъ, такъ и будетъ...

— А какъ подъ турецкой оставить совѣтъ-то?

— Оставить пожалуй и подъ турецкой.

— А чего-же христіанство-то смотреть?

Поистинѣ я глубоко смутился отъ этого простаго вопроса, произнесеннаго хотя и старческимъ голосомъ, но освѣщеннаго искреннѣйшими гнѣвомъ живыхъ, умныхъ, выразительныхъ глазъ. И что я могъ ему отвѣчать? Подумайте-ко хорошенько, что я могъ серьезно отвѣтить этому серьезно проникнутому дѣломъ человѣку, этой неломанной, нетесанной святой Руси? «Что же христіанство-то смотреть?» Этотъ поистинѣ грозный вопросъ и сейчасъ звучитъ въ моихъ ушахъ.

— Ты, вѣрно,—не солдатъ, дѣдушка? не отвѣтивъ путемъ на его вопросъ, спросилъ я старика, необыкновенно меня заинтересовавшаго.

— Съ роду въ солдатахъ не бывалъ... Христіанинъ...

— Отъ комитета пріѣхалъ?

— Самъ пріѣхалъ, на свои... Не бывалъ въ комитетахъ... Своихъ собралъ деньжонокъ, распродался, пріѣхалъ... Дорогой ужъ къ партіи присталъ...

— Бывалъ въ сраженіяхъ?

— Привелъ Богъ.

— Не раненъ?

— Нѣтъ, Богъ миловалъ... Царапали, точно, царапали больно, до крови, ну, а настоящихъ ранъ не получалъ, Богъ миловалъ.

— Какъ же такъ царапали-то?

— Да такъ; глянъ вотъ, только снаружи... Вотъ погляди.

Онъ открылъ плечо.

На плечѣ былъ шрамъ, обложенный тряпицами; потомъ показалъ ногу (правую): икра ниже колѣна была прострѣлена.

— Вишь, какъ царапали-то! Все наружу выходило, а такъ, чтобы внутренней раны—нѣтъ, не бывало... Богъ миловалъ.

Подивился я на эти царапины, оказавшіяся самыми настоящими ранами «на вылетъ».

— Что же ты въ больницѣ-то не лежишь?

— Лежалъ-было, да Богъ съ ней совѣтъ... Тамъ теперь, поглядикось, заботы сколько: кому руку, кому ногу отнять... страшно смотрѣть. Что мнѣ! Моя болѣзнь—только всего, грудь вотъ расшибъ; ну а въ больницахъ не время этимъ заниматься...

— И грудь-то расшиблена?

— Грудь-то точно что расшибъ я... Это съ Дю-

ниша бѣгли... Горы, другъ ты мой, и Боже мой, какія горы! а тутъ такъ вышло, бѣгъ-то задомъ, все палилъ, отбивался... Такъ-то пятилъ-пятилъ, да на камень, что-ли, на древо-ли, наткнись и полетѣлъ кубаремъ подъ гору... *Самъ ничею*, а грудь, надо быть, расшибъ (онъ поминутно кашлялъ)... Вотъ въ баньку бы сходить... авось отпустить...

— Въ больницу иди, а не въ баньку... Въ больницѣ-то, гляди, и поправишься.

— Ну ужъ, чай, не справишь грудь-то... Лежалъ я... Страшно на мученія-то смотрѣть; нѣтъ, не пойду въ другой... Чего тамъ? Тамъ и дышать-то не свободно... Ишь, тутъ-то каково любо... Вотъ Дунай-батюшка... Ишь, онъ какой!.. То-то гадавъ поглядѣлъ-то... а теперь онъ всегда на глазахъ... Дунай-батюшка—великая, вольная рѣка! да! Не запрудить тебя никому, право слово! Никому не запрудить, великій ты Дунай-батюшка!..

Морозъ меня подиралъ по кожѣ отъ того необыкновенно страстнаго тона, которымъ полна рѣчь старика.

— Не то ты, Дунай великій, что малая рѣка... Тѣ запрудятъ! Начнутъ кидать камни, да песокъ, да навозъ, да свай вколачивать—и стала рѣченка... А великая рѣка... Глянь-ко, сво мѣсто.

Старикъ показавъ на то мѣсто, гдѣ Дунай, сливаясь съ Савой, разлился просторно и широко.

— Удержишь ли этакую-то силу Господнюю въ неволѣ-то?..

Какая-то необычайная сила охватила меня, разслабленнаго разслабленной сербской возней. Втеченіи трехъ мѣсяцевъ я въ первый разъ увидѣлъ, что есть смыслъ въ дѣлѣ, за которымъ я прѣѣхалъ сюда, въ первый разъ дѣло это показалось мнѣ свято и велико. Каждое слово старика, который подъ малыми и великими рѣками разумѣлъ нѣчто другое, точно волшебствомъ какимъ укрѣпляло и оживляло меня. Широко и здорово какъ-то чувствовалось отъ этихъ простыхъ рѣчей.

— И народъ-то тоже самое... Малый народъ христіанскій въ неволѣ, что рѣчка малая. Запрудил ее—и не вырваться ей изъ неволи-то... силушки-то нѣту у ей... Не хитро малые-то народы въ не-

воли держать... А великія рѣки, хоть Дунай, хоть Волга великая рѣка, какъ поналягутъ они на запруды, да на колья вбитые...

Старикъ долго, хотя и нѣсколько тяжеловѣсно, но умно и убѣдительно велъ свою параллель между великими и малыми рѣками и народами, но я не буду приводить ея здѣсь, такъ какъ и послѣ трехъ-четырехъ строкъ стариковскихъ рѣчей, приведенныхъ выше, мнѣ уже читатель не вѣрить. «Такихъ стариковъ нѣтъ—твердо произносить онъ и добавляетъ:—т. е. пожалуй такіе старики и есть, но ужъ чтобы разговаривать такъ о такихъ высокихъ предметахъ—ужъ это присочинено». Русскій человѣкъ не вѣрить, т. е. отвыкъ цѣнить свою собственную мысль, не вѣрить, что она что-нибудь вообще значить, хотя для него самого; не вѣрить даже, чтобы кто-нибудь, а тѣмъ паче простой мужикъ, могъ рассуждать и поступать; русскій человѣкъ знаетъ, что рассуждай, не рассуждай, а всегда выйдетъ по другому, и вотъ эти-то другія (не свои) мысли онъ и считаетъ настоящими... и я убѣжденъ, «даже любить», когда всѣмъ его собственнымъ мыслямъ и планамъ настоящія, «другія» мысли вдругъ дадутъ, какъ говорится, «по шалкѣ»... Я увѣренъ, что онъ ужъ полюбилъ эти удары.

Солнце садилось; Дунай весь блисталъ золотомъ, слегка начинавшимъ затуманиваться поднимающимися отъ воды вечерними испареніями.

— Вотъ подъ вечеръ дышать-то ужъ и несвободно! прошепталъ старикъ, задыхаясь отъ мокроты:—не пускаетъ въ грудь-то!

Я проводилъ старика до казармы и, простившись, подошелъ къ другимъ добровольцамъ, чтобы спросить—кто такой этотъ старикъ?

— Раскольникъ!

Всѣ отозвались о немъ съ полнѣйшимъ уваженіемъ.

— Больше начальника почитаемъ, сказалъ одинъ.

— Вотъ грудь-то расшибъ, жалѣи другіе:—расшибся-то весь—грѣхъ какой... Теперь, ужъ знамо, никуда не годится...

Этимъ симпатичнымъ типомъ добровольца-крестьянина я и закончу мои бѣглыя и не веселыя замѣтки.

КОЙ-ПРО-ЧТО.

(ИЗЪ ЗАМѢТОКЪ ДЕРЕВЕНСКАГО ОБЫВАТЕЛЯ.)

I. Последнее средство.

Въ новомъ, пахнущемъ краской, вагонѣ третьяго класса было жарко натоплено; публики было мало, мѣста для всѣхъ много, всѣмъ просторно и свободно; на двухъ лавкахъ съ полнымъ комфортомъ расположился кондукторъ:—онъ пилъ чай, закусывалъ и въ то же время составлялъ какія-то вѣдомости; нѣсколько солдатъ въ углу, снявъ шинели и оставаясь въ однихъ рубашкахъ и фуфайкахъ, играли въ карты; какой-то доброволецъ изъ мѣ-

щанъ занялся топкой печки и «накаливалъ» ее безъ всякаго снисхожденія.

— Такъ, такъ! хвалили его.—Держи тепло-то ровнѣй, оно что теплѣе, то лучше!

И доброволецъ, весь красный отъ жару, усердствовалъ изъ всѣхъ силъ; поминутно онъ гремѣлъ чугунной заслонкой и швырялъ въ огненную и трескучую пасть печки маленькія сосновые поленья.

Какой-то молоденькій приказчикъ, какой-то молодой солдатъ, еще какой-то купеческаго образа и

подобія человекъ и простой мужикъ, примостившись у двери, отворенной въ то отдѣленіе, гдѣ топились печь и откуда шло тепло, занимались чтеніемъ газеты и разговорами. Читалъ молодой рослый солдатъ, въ новой красной фуфайкѣ.

Читалъ онъ «листокъ», начиная съ первой строчки и повидимому не желая прекратить чтенія, не дочитавъ газеты до послѣдней строки; начавъ передовицей о замыслахъ Англіи противъ Россіи, онъ безъ передышки послѣ точки, заканчивавшей передовицу, и не мѣняя интонаціи, сталъ путаться языкомъ въ придворныхъ извѣстіяхъ, потомъ въ городскихъ происшествіяхъ, потомъ въ иностранныхъ новостяхъ и наконецъ достигъ судебной хроники. Слушатели очень внимательно слѣдили за чтеніемъ и не столько за смысломъ прочитаннаго, котораго и дѣйствительно было не особенно много въ листкѣ, сколько за трудной работой, обнаруживавшейся въ лицѣ и губахъ не разъ вспотѣвшаго чтеца. Наконецъ онъ добрался и до конца судебной хроники, въ которой очень кратко пересказанъ былъ одинъ изъ многочисленныхъ въ послѣднее время земельныхъ процессовъ и который по обыкновенію сопровождается дѣйствіемъ холоднаго оружія; чтецъ замолкъ, повертѣлъ въ рукахъ газету и сказалъ:

— Теперича—все! Пошли объявленія... Надо горло прочистить, папиросочки покурить!

Чтецъ закурилъ папиросу, поразмислялся. Поразмислялся, поотдохнули и слушатели. Начался разговоръ.

— Это что же, любезный, спросилъ солдатъ слушатель-мужичокъ, что же это считается холодное оружіе? И горячее стало быть есть какое?

— А какъ же! плутливо проговорилъ смѣшливый молодой приказчикъ.—И горячія есть! Въ законѣ прямо сказано: «дать ему, подлецу, двадцать горячихъ!»... Вотъ это самое и есть горячее оружіе...

— Нѣтъ! снисходительно улыбаясь и поплеывая отъ крѣпкаго табаку папироски, авторитетно сказалъ солдатъ,—розги это не могутъ обозначать. Оружіемъ называется ружье и ежели напримѣръ прикладомъ, то по закону оно считается холодное; а ежели зарядить и пулей или дробью плюнуть, слѣдовательно до крови, то оружіе будетъ считаться горячее. Потому что ты прикладомъ долженъ его дуть плашмя, и онъ долженъ существовать послѣ того въ живомъ видѣ, ну, а коль скоро горячимъ способомъ, такъ пожалуй и Богу душу отдашь!

— А ежели саблей цапнуть? опять вмѣшался мужикъ.—Она вѣдь до крови можетъ, а горячаго въ ней ничего нѣтъ?

— Ну, сабля это не пѣхотное дѣло—тамъ другая команда. А пѣхотный законъ—прикладомъ!..

Разрѣшивъ трудный вопросъ и давъ молодому приказчику богатую тему для подтруниванія надъ мужикомъ, передъ которымъ теперь открылся огромнѣйшій выборъ по части холоднаго и горячаго,—солдатъ вновь было взялся за чтеніе, но въ это время изъ середины вагона поднялся какой-то благообразный и сухенькій старичокъ, въ опрятненькомъ мерлушичьемъ тулупчикѣ, съ опрятнень-

кой козлиной бородкой и, подойдя къ собесѣдникамъ, какимъ-то монашескимъ голосомъ спросилъ:

— Это кого тутъ... прикладомъ-то... въ повиненіе?

— Да тутъ мужичонки заартачились въ одномъ мѣстѣ... Ну, вынуждены были холоденъкимъ пугнуть...

— И полегчало?

— Должно быть что поочувствовались.

— И все поняли?

— Говорять—«виноваты!».

— Ну, такъ!..

Старичокъ улыбнулся тонкой, хитрой улыбкой и, повернувшись, пошелъ къ своему мѣсту.

Старичокъ этотъ одинъ изъ излюбленныхъ те перешнихъ типовъ деревни—типъ кулака съ обличьемъ, такъ сказать, «религіозно-нравственнымъ»—сидѣлъ все время въ темномъ уголкѣ вагона, въ томъ мѣстѣ, гдѣ скамейки прислонены не къ окну, а къ глухой стѣнѣ; сидѣлъ онъ въ сосѣдствѣ съ такимъ же благообразненькимъ сосѣдомъ той же хитрой породы, съ такимъ же постно-хитрымъ лицомъ и въ такомъ же опрятненькомъ мерлушичьемъ тулупчикѣ. Оба они были несомнѣнно большіе деревенскіе воротилы, но изъ тихенькихъ, изъ «примѣрныхъ» и вполнѣ безукоризненныхъ. Сидя другъ противъ друга, они скромненько, съ молитвой и крестными знаменіями ѣли какую-то булочку съ икрой. И въ то-же время они неумолчно, хоть и совершенно беззвучно, вели бесѣду, а веда бесѣду о своихъ дѣлахъ, отлично, до послѣдняго звука отчетливо слышали и видѣли все, что дѣлается и говорится кругомъ. Бываютъ такіе счастливые натуры: молча обдѣлываютъ практическія дѣла, «молча говорятъ», все видятъ, все слышатъ, знаютъ всю подноготную и во всѣхъ отношеніяхъ неуязвимы.

— Ишь ты вонъ! беззвучно сказалъ старичокъ, садясь опять на свое мѣсто противъ своего собесѣдника,—ужъ и холоднымъ прикладомъ стали припугивать! Оно давно бы пора за умъ-то взяться, чѣмъ позволять мутить безъ толку...

— Мутятъ-мутятъ, а пользы-то никакой нѣтъ!..

— То-то и есть, что пользы нѣтъ! Знаешь вѣдь чай Ивана-то Миронича Блинникова?

— Блинникова-то? Ихъ вѣдь много Блинниковыхъ-то.

— Ну, Ивана-то Миронича?.. Ну, а ежели не знаешь, такъ я тебѣ скажу: человекъ первѣющій, вышелъ въ люди изъ самой грязной грязи, привезенъ въ Петербургъ былъ десяти годовъ, прямо въ кабакъ. Побоевъ что вытерпѣлъ на своемъ вѣку, числа этимъ побоямъ нѣту! И постепенно, только единственно что съ Божію помощію и трудами своими наконецъ достигъ тепереча до большой чести... И отъ Краснаго креста медалъ, и патенты за пчелу, и благодарность: рыбу подносила высокой особѣ, двухъ огромнѣйшихъ судаковъ... Попечителемъ числится въ двадцати мѣстахъ, почетнымъ мировымъ судьей третье трехлѣтіе выбираютъ. Четырнадцать озеръ арендуетъ рыбныхъ въ разныхъ мѣстахъ... однимъ словомъ сказать,—почтенъ и награжденъ за все его терпѣніе! Такъ

что-жъ они, прости Господи, сказать, дьяволята, съ нимъ сдѣляли?

— Мужичишки-то?

— Да! мужичишки-то?.. Вѣдь чуть-было подѣлопоръ голову-то ему не подвели!.. Безъ всякаго зазрѣнія совѣсти прямо такъ-таки его и приспособили въ каторжную работу, ни за что, ни про что!

— Да какъ же такъ?

— Да вотъ такъ, что способовъ-то имъ, дьяволятамъ (согрѣшилъ я, грѣшный!), не было другихъ, чтобы искоренить его, такъ и надумали сослать его въ каторгу... И чуть было не сослали! Изволишь ли видѣть, какая тутъ вышла исторія. Я тебѣ прямо скажу, дѣйствительно, ежели такъ сказать по правдѣ, по совѣсти — что мнѣ таить? — такъ точно, что мужичонки эти въ большой бѣдности существовали. Чего ужъ? Надо говорить правду. Опречь этихъ трехъ деревень, какъ Муравлино, Чохово да Ямкино, кажется, по всей нашей округѣ поискать, такъ не найдешь, то есть на счетъ бѣдности. Коротко сказать — только по зимамъ и видать божій свѣтъ. Какъ замерзнуть лядины, болота, ну, глядишь, и вылѣзаютъ муравлинцы изъ своихъ трущобъ, кое съ сѣномъ, кое съ дровами, само собой, крадеными... Да и видождь-то совсѣмъ они къ конѣшнему народу не подходятъ: на головъ треухъ, на ногахъ лапти, одежда домотканная, такъ какіе-то лѣсовики, прости Господи! Кабы не зима, не морозъ да не снѣгъ, такъ имъ бы и во все пропадать надо и говорить-то по человѣчьи, поди, разучились бы совсѣмъ: кругомъ болото, топъ, ни проходу, ни проѣзду... Такъ вотъ какое ихъ было житье... Три-то деревеньки кое-какъ обсеялись на сухихъ мѣстнышкахъ, ну, землишка кой-какая есть, самая малость. Рыбы иной разъ въ половодье съ рѣки наноситъ въ ихнія болота, ну вотъ, они лѣтомъ и питаются, ловятъ налимовъ по ямамъ. Бѣдность, одно слово! Какъ вышло освобожденіе, такъ помѣщикъ-то совсѣмъ забросилъ усадьбу, да лѣтъ пятнадцать и глазъ не показывать... Заложилъ должно быть въ банкъ — кто его знаетъ! Ну вотъ, покуда не было хозяина-то, мужичонки-то кое-какъ справлялись: лѣсокъ господскій чистили исправно, избенки переправили, зимой набирать барскаго лѣса, натащить къ станціи видимо невидимо! Рубь серебромъ сажень березовыхъ дровъ, полѣно эво-какое! — ни въ одну печку не лѣзетъ... Да и земелька-то господская пустовала... Ну, они и земелькой не брезговали, все разодрали, распахали, покосы тоже всё — и свои, и господскіе — подѣло подвели. Ну, кое-какъ жили, потому что хозяина не было — говорятъ даже, что онъ и изъ Россіи-то ушелъ... Такъ и жили. Только годовъ съ восемь тому назадъ, хватъ-похватъ, по зимнему пути въѣзжаетъ въ Муравлино барыня и объявляетъ: «я — новая хозяйка и заведу новые порядки». Похрюдила мужиковъ за зиму лѣсъ возить, домъ строить. А должно быть были у барыни деньжонки-то. Пришла весна, пришли копачи, дорогу отъ усадьбы до шоссе повели, застукали топоры, живо поспѣлъ домъ, скотникъ, все какъ должно. Наконецъ, того, и агрономъ препожаловалъ. Препожаловалъ агрономъ,

обошелъ все обворованное, всѣхъ виноватыхъ записалъ, штрафы установилъ, вездѣ поставилъ сторожей, караульщиновъ съ ружьями, самъ тоже съ ружьемъ — бьетъ пулей на три тысячи шаговъ на вылетъ — однимъ словомъ, началась совсѣмъ другая пѣсня. Притиснулъ мужиковъ къ стѣнѣ, такъ что не повернуться — живи, гдѣ хочешь! Озлились муравлинцы, озвѣрѣли... Потерпѣли годикъ кое-какъ, а потомъ и стали дѣйствовать на свой образецъ... Окончательно сказать, постепенно, по маленьку такъ подсиѣли господъ, то есть барыню съ агрономомъ, что не стало имъ житья: ни выйти, ни пройти, ни проѣхать: жгутъ, воруютъ, да и убить грозятся.

— Ну, опослѣ этого и барыня, и агрономъ махнули на все рукой — «песъ молъ съ вами!» — заперли домъ и уѣхали... И опять никого не было долго, опять мужичонки повеселѣли, приворовывать стали и ужъ было за новый домъ принялись — растаскивать по бревнушку, по гвоздику начали, да вдругъ опять барыня оказалась — это ужъ въ самое послѣднее время... Прикатила, созвала народъ. — «Такъ и такъ, говоритъ, ребята. Открылся говоритъ, теперь отъ царя крестьянскій банкъ и дадутъ изъ него мужикамъ деньги въ долгъ, лѣтъ быто бы на сорокъ, покупайте, говорятъ, ребята мою землю, со всѣми постройками, подѣлите промежду себя, а расплачиваться будете по легоньку. Чѣмъ вамъ мое добро воровать, чѣмъ мнѣ съ вами по судамъ таскаться, лучше же кончимъ дѣло безъ грѣха, полюбовно. И у меня все что-нибудь останется на прожитокъ, и вамъ будетъ хорошо...» Ну, конечно, мужичонки темные, покуда еще имъ вдобышь въ башку-то, въ чемъ дѣло... Сначала конечно не иначе думали, что подвохъ — «какъ молъ это такъ деньги раздаютъ дарма? Это, должно, ребята, кабала, сказываютъ, и впрямь антихристъ народился, ходить и деньги въ руки суетъ, а потомъ и слопаютъ всѣхъ начисто...» А барынь-то вѣрно ужъ деньжонки-то крѣпко понадобились, по этому она имъ всяческимъ манеромъ старалась внушить, что обману нѣтъ... «Вотъ тамъ-то, говоритъ, мужики купили десять тысячъ десятинъ, да господскій домъ, да угольевъ сколько, а платять-то съ души самые пустяки... И тамъ вотъ покупаютъ, и здѣсь...» Всякими способами орудовала и наконецъ того и разлакомила!

— «А что, робя, поди, и въ самомъ дѣлѣ совсѣмъ нашего брата хотять выволить?» Галдѣли, галдѣли, судачили, судачили, наконецъ того... выбрали депутата солдата Гаврилу — «поѣжай въ городъ, разузнай!» Поѣхалъ тотъ, разыскалъ банкъ, и точно, видать, толкуются мужики, покупки дѣлаютъ. — Землю укупаютъ? — Землю, молъ. — Много ли? — А вотъ столько и столько... — А платить какъ? — А платитъ такъ-то, по столько-то съ души... — Ничего! Все хорошо, честно, благородно. Мужичонки крестятся, благодаримъ Бога, «ничего, молъ, хорошо!». Ну, только разобравши дѣло, видать солдатъ, что для муравлинцевъ оно пожалуй и не подойдетъ. Барыня, изволишь видѣть, запросила за свое имѣніе двадцать четыре тысячи, а банкъ и далъ бы, да вишь по закону нужно, чтобы

третью часть сами мужики внесли, ну, а где уж муравлинцам! У них не то что восьми тысяч, а и восьми кнутов на все на три деревни не найдется... Откуда им взять? если их всех-то продать начисто, и то этих денег не соберешь, потому что житье их, действительно, голодное... — И знает все это Гаврюшка, депутат-то, до тонкости знает, что не справиться им с залогом никакими судьбами, а за живое-то его уж забрали! Мужичина грубый, какаристый, упорный... — «Какъ молъ такъ, другимъ можно, а намъ нѣтъ? Освобождали, молъ, всехъ поголовно, что бѣднаго, что богатаго равно, а тутъ, когда къ окончанію дѣло подходитъ — на, поди! въ розницу пошли... чай бороды-то у мужиковъ, которымъ покупать позволяется, такія же, какъ и у муравлинцевъ, такъ стало быть все и должны быть на одной линіи. Нѣтъ, это молъ не такъ, не ладно!» Засѣло это ему въ голову, вернулся онъ домой, объявилъ сходящъ, что точно-молъ можно покупать, да вотъ задержка въ чемъ, въ залогѣ, восемь тысячъ требуютъ. — «Ну, только, говоритъ, ребята, тутъ должна быть неправда, потому освобождали всехъ подъ одно, такъ и оканчивать этакимъ же манеромъ слѣдуетъ... Какъ-же-молъ такъ? мы бѣдны, такъ и пропадать? Нешто мы не крестьяне, какъ прочіе? Нѣтъ, говоритъ, тутъ есть какая-то кляуза, надобно мнѣ въ корни дѣло разузнать; собирайте съ души, сколько въ силахъ, давайте мнѣ, пойду въ Питеръ, достучусь до вышнихъ мѣстовъ, а что пропадать намъ не приходится. Такого закону нѣтъ!» Разздорилъ мужиковъ, собралъ деньги — маршъ въ Питеръ! Барыня было звала, звала мужиковъ повспросить — никто къ ней не пошелъ, ждутъ Гаврюшку... А ей-то должно быть ужъ съ ножомъ къ горлу пришло — надо развязаться съ землей, гроша завалищаго нѣтъ. Видитъ она, что съ мужиками толку нѣтъ, залогу имъ не собрать, подумала, подумала, махнула рукой, да и сладила съ Иваномъ Мироновичемъ... Да и Иванъ-то Миронычъ отказывался — на что ему? Только ужъ истинно изъ-за одной жалости взялъ и взялъ-то съ разсрочкой, на восемь лѣтъ, только чтобы сейчасъ за годъ впередъ... — «Взялъ я, говорилъ мнѣ Иванъ-то Миронычъ, эту землю единственно изъ-за сѣна да изъ-за лѣсу; думаю, говоритъ, лѣсъ весь сведу до чиста, а всю землю подъ клеверъ, а больше я въ такихъ мѣстахъ не хозяинъ...» Ну, хорошо. Барыня, покончивши дѣло, уѣхала; Иванъ Миронычъ учредилъ въ домѣ контору, пошла раздѣлка лѣсу, все какъ должно. Въ самый развалъ объявляется въ деревнѣ Гаврило изъ Петербурга. Пришелъ онъ, другъ любовный, злѣй злова чорта. И въ Питерѣ опять увидалъ онъ мужиковъ, которые землю укупаютъ, и опять же узналъ, что безъ залогу невозможно, обзвизлся, а домой пришелъ — на-ко! ужъ и земля чужая стала, и помѣщикъ новый сидитъ... «Какъ-молъ это можетъ быть?» Втемяшилось ему это въ башку — только и зудитъ, что это неправильно. «Какъ такъ? Другіе прочіе крестьяне поправляются, а мы, тоже крестьяне, въ разореніе должны войти? Нѣтъ, нельзя этого!» Задол-

билъ мужикамъ, что купецъ черезъ кляузу землей овладѣлъ, подбилъ ихъ опять его въ Питеръ послать хлопотать. — «Ужъ я, говоритъ, разыщу законъ въ полномъ смыслѣ! А ежели, говоритъ, узнаю, что дѣло кляузное, такъ и мы кляузу пустимъ. Въ Питерѣ, басть, научать». Собрали мужичонки еще ему сотнягу, пошелъ! А въ Питерѣ, самъ знаешь, не посмѣетъ же мужикъ въ самомъ дѣлѣ въ вышія мѣста доходить. Вѣдь онъ робокъ, неучъ, а главное, что не знаетъ, гдѣ искать указчика; ну, и идетъ въ кабакъ, въ трактиръ, темныя какія-нибудь мѣста. — «Нѣтъ ли, молъ, человѣчка, дѣло у насъ, такъ и такъ...» Ну, тамъ гдѣ-нибудь въ кабацкѣ, въ притонѣ, и вынется человѣчекъ. Толкался, толкался Гаврило по кабакамъ и наскочилъ на человѣчка... — «Какое такое дѣло у васъ? я могу!» — «Явите божескую милость, такъ и такъ...» И расскажи все. Подумалъ, подумалъ человѣчекъ и говоритъ: — «По закону, говоритъ, ничего сдѣлать невозможно, все правильно... Сколько, говоритъ, ни хлопотите, ничего не будетъ, а кляузыми, говоритъ, способомъ можно!» Вотъ Гаврило-то и говоритъ: «Да намъ хоть кляузыми, лишь бы съ голоду не помереть! Явите божескую милость!» Сталъ его просить, молить, вотъ человѣчекъ и говоритъ: — «Надобно, говоритъ, составить приговоръ отъ всего общества, что купецъ Блинныевъ состоитъ въ подпольныхъ сицилистахъ».

— Ай-ай-ай!.. прошипѣлъ, разинувъ ротъ, себѣдникъ разказчика.

— Да-а-а! Внушилъ имъ, канальицъ, такую мысль, а Гаврило-то обрадовался, понялъ и рѣшилъ: «Пиши, говорятъ, купца въ полную каторгу, все одно!»

— Ай-ай-ай!

— Да-а-а! Тотъ имъ и настроилъ.. Такъ, молъ, и такъ: «были мы сего числа на сходящъ, такіе-то домохозяева, и подошелъ къ намъ купецъ Блинныевъ, и сталъ издѣваться надъ нашей бѣдностью, и говоритъ: «не такъ еще мы васъ прижмемъ, не будетъ за васъ, мужиковъ, заступниковъ, потому я, говоритъ, сицилистъ...» Ну, и все такое. Страсти Господни — чего написали!

И разказчикъ опять пошлетался съ слушателемъ.

— Ай-ай-ай!.. тянулъ слушатель, не закрывая рта.

— Да! Вотъ какую механику подвели! «И ежели, говоритъ, будутъ спрашивать, показывайте все поголовно одно и то же, чтобы слово въ слово...» Взялъ сорокъ цѣлковыхъ, всучилъ Гаврюшкѣ бумагу и «прошай!».

— На-да! показывая головой, шепталъ слушатель. — III-шту-ча!

— Такая штучка вышла, другъ мой пріятный. такъ это словъ нѣтъ высказать!.. Вотъ Гаврило-то обхитилъ эту самую кляузную бумагу, прибѣжалъ въ Муравлино, собралъ народъ, «такъ и такъ, говоритъ, ребята, нѣту другихъ способовъ! Послѣднее средство! А то, говоритъ, нашъ купчишко задушитъ и искоренитъ всехъ до единова». Мекали-мекали, шушукались, шушукались да, благословясь, и двинули

штучку въ Питеръ, въ самыя высшія мѣста! Переписалъ имъ дьячокъ, всё они двѣсти восемьдесятъ домохозяевъ руку приложили, пакетъ запечатали,— айда!.. И притихли! Проходить время, долго-ли, коротко-ли, не упомню—сижу я, какъ на грѣхъ случилось, у Ивана Мироныча на новомъ его мѣстѣ въ конторѣ, пьемъ чай, балакаемъ — слышимъ:— Динь-дили-лины! Динь-дили-лины! съ одной стороны, съ другой, съ третьей... Хватъ, три тройки подкатило: становой, исправникъ и полковникъ изъ Петербурга... Входитъ становой съ исправникомъ, лица на нихъ нѣтъ, а закадычные пріатели—и я то коротко знакомъ съ ними, а ужъ про Ивана Мироныча и говорить нечего: можно такъ сказать, что онъ и исправника, и станового самъ совмѣстятъ, а полковникъ съ колыбели матери, вотъ какіе были закадычные! Вошли въ горницу—лица нѣту!— «Что такое?» спрашиваетъ ихъ Иванъ-то Миронычъ. А они только языкомъ лопочутъ: «ла-ла-ла...» зубы стучать, а настоящихъ словъ нѣтъ! Тутъ объявился полковникъ:— «Вы, говоритъ Ивану Мироновичу, — Блинные?» — «Я-съ, такъ точно!» — «На васъ поступилъ доносъ, по случаю, что вы...» И объявилъ ему все полностью! Какъ сказалъ онъ эти слова, вѣришь-ли?—Иванъ-то Миронычъ какъ стоялъ, такъ и грохнулся на брюхо, и только и словъ его было:— «Вашескабродіе!» и больше ничего не можетъ сказать, а бьетъ его всего объ полъ руками и ногами, больше ничего!..

— Ай-ай-ай-ай!.. согнувшись и въ ужасѣ размахивая головой изъ стороны въ сторону, шепталъ собесѣдникъ во время разсказа.

— Упадъ, братецъ ты мой, Иванъ-то Мироновичъ на земь, а полковникъ тую-же минуточку велѣлъ сходить созвать и спросилъ:— «Есть-ли молъ лошади?» Это чтобы Иванъ-то Мироныча сформировать по закону... Ну, братецъ мой, собралъ сходить, вышелъ полковникъ, исправникъ, становой; Ивана Мироныча вывели подъ руки два молодца—начинается допросъ...— «Вы посылали бумагу!» — «Мы-съ». — «Всѣ?» — Всѣ поголовно. Ну, что тутъ дѣлать? Начали перебирать по одному. — «Ты что скажешь?» — И такъ всѣ двѣсти восемьдесятъ человѣкъ... Иванъ-то Миронычъ ни глазами, ни ушами не вѣритъ, только трясется, заливаясь слезами и еле-еле бормочетъ: «Гдѣ-же Богъ-то?» Становой, исправникъ видятъ, что все это механика, потому Иванъ Миронычъ первѣющій человѣкъ, попробовали было приструнить мужиковъ—нѣтъ! всѣ какъ одинъ! говорятъ: «Самъ видѣлъ, самъ слышалъ такъ и такъ!» И какъ есть всѣ двѣсти восемьдесятъ человѣкъ—одинъ въ одинъ, слово въ слово!.. Что тутъ дѣлать? И полковникъ-то видить, что дѣло не чистое, а ничего не можетъ помочь, самому отвѣчать надо! Вышло такъ, что по закону надобно-бы сей же моментъ сажать Ивана Мироныча на телѣжку да и съ Богомъ!.. Думали, думали, гадали, гадали, еле-еле упростили полковника оставить Ивана Мироныча подъ надзоръ исправника да позволить съѣздить въ городъ похлопотать, а сами, то есть исправникъ со становымъ, тѣмъ временемъ надумали отобрать общественный приговоръ объ

Иванъ Миронычъ во всѣхъ мѣстахъ... А вѣдь у Иванъ-то Мироныча въ двадцати деревняхъ заведенія, и вездѣ ему вотъ какой адресъ дадутъ, что лучше требовать нельзя. Бой-какъ, да кое-какъ выхлопотали эту отерочку, посадили Ивана Мироныча на телѣгу, двухъ урядниковъ съ нимъ по бокамъ. — «Айда въ губернію, а мы тутъ будемъ орудовать». Поѣхали. Ни живъ, ни мертвъ сидитъ Иванъ-то Мироновичъ, главное—словъ нѣтъ никакихъ въ оправданіе! И силъ-то совсѣмъ не стало: «Даже ходить, говорить, не могъ, все урядники водили». И тутъ онъ мыкался и бился объ земь во всѣхъ мѣстахъ. Почитай, недѣли двѣ только полкомъ жилъ на свѣтѣ. Самъ-то, говорить, и ногами-то разучился двигать. Дозволили ждать отвѣта въ губерніи подъ строгимъ карауломъ. Такъ тутъ Иванъ Миронычъ цѣльныхъ двѣ недѣли жилъ; палъ въ ноги губернатору, слезами обливался, покуда наконецъ дождался—выпустили, потому что къ тому времени исправникъ со становымъ ужъ всѣ адреса и одобренія отъ двадцати обществъ оборудовали и препроводили, куда надо...

— Ай-ай-ай! могъ только прошептать собесѣдникъ, покачиваясь изъ стороны въ сторону. — Видишь-ли ты, какую хитрость выхитрили! прибавилъ онъ и вздохнулъ.

И еще кто-то вздохнулъ въ отвѣтъ ему.

— Тоже пить-ѣсть надо! пробормоталъ этотъ «кто-то» и опять вздохнулъ.

Ни разсказчикъ, ни собесѣдникъ разсказчика не отвѣчали ему, только оглянулись.

— Ну, что-жъ Иванъ-то Миронычъ? спросилъ послѣ небольшого молчанія собесѣдникъ. — Вѣдь онъ долженъ всѣхъ этихъ ахаверниковъ суду предать? Какъ-же такъ можно? Вѣдь они ложную клятву давали, этого невозможно допустить!

— То-то вотъ, братецъ ты мой! съ нѣкоторымъ негодованіемъ въ голосѣ проговорилъ разсказчикъ. — Доберъ Иванъ-то Миронычъ. На его-бы мѣстѣ—какъ съ ними надо поступить-то? Становой и исправникъ прямо было взяли съ поднятой это дѣло до суда... Да Иванъ-то Миронычъ не захотѣлъ... Простилъ! Упростилъ потушить дѣло... Я было говорилъ ему: «что ты, Иванъ Миронычъ, мужикамъ потакаешь? Вѣдь житья не будетъ?» «Нѣтъ, говорить, Савелій Кузьмичъ, нельзя имъ не потакать! Разсчету нѣтъ! Жевать имъ, говорить, нечего, и ежели я ихъ буду нажимать, такъ и мнѣ придется плохо—лучше я буду поступать по Божью! Прочили, говорить, меня довольно. Надо и Бога вспомнить!» И удѣлялъ такъ, что мужики у него прощенія попросили, а онъ имъ шесть ведеръ вина на мировую выставилъ, лѣсъ стали рубить исполу, половину дровъ ему, половину мужикамъ, а землю и сѣнокосы тоже мужикамъ отдалъ въ аренду... — «Мѣсто, говорить, очень голодное, пусть же будетъ вродѣ дачи, а не то что хозяйствомъ заниматься. Слава Богу и за то, что процентъ свой получу, а ужъ зачѣмъ-молъ по собачьимъ грызться!» Ну, теперь, кажись, все у нихъ тихо.

— Ишь-ты вонъ! весело сказалъ мужикъ-слу-

шатель, какъ по Божьи-то вышло складно!.. Опо по Божьи-то завсегда хорошо выходить!

— А все земелька! не отвѣчая мужику, проговорилъ собесѣдникъ рассказчика, купецъ.

— Земелька-то земелька, да подлостей-то не дѣлай! отвѣтилъ ему рассказчикъ.

II. Развеселилъ господь.

I.

Часа въ два зимней ночи въ одинъ изъ петербургскихъ ресторановъ вошли три господина и заняли отдѣльный кабинетъ. Было уже такъ поздно, что въ ресторанѣ начали убавлять освѣщеніе, прислуга была полусонная, вялая, утомленная, да и сами посѣтители, занявшіе кабинетъ, не выказывали особенной оживленности.

Посѣтители были дѣйствительно люди утомленные: утомили ихъ и современный петербургскій день со всѣми своими призрачными интересами, утомила ихъ, или, вѣрнѣе, двои ихъ изъ нихъ (потому что третій былъ еще очень молодой человекъ) и вся пережитая жизнь. Двоимъ изъ посѣтителей было лѣтъ по сорокъ съ чѣмъ-нибудь. Одинъ изъ нихъ былъ присяжный хроникеръ одной газеты, неизвѣстный публикѣ и подписывающійся *ижекомъ*, другой былъ земцемъ. Когда-то они были товарищами и молодыми людьми, потомъ надолго разошлись дорогами: одного затиранила газетная работа, другой ушелъ въ земскую дѣятельность. И вотъ теперь на-дняхъ они встрѣтились полусѣдые, утомленные, разочарованные, измалывшіеся и, кажется, измалывшіеся безъ толку, понапрасну. Земецъ ѣхалъ въ Петербургъ «освѣжить»ся, потолковать, узнать—«что-же наконецъ?»—и вообще «нѣтъ-ли чего новенькаго», такъ какъ тамъ у нихъ, на днѣ земской жизни, адская тоска, суета безсмысленная, мракобѣсіе, хищничество и вообще «нечѣмъ дышать».

Каково-же было его удивленіе, когда, пріѣхавъ въ Петербургъ и повидавшись со старыми знакомыми, а въ томъ числѣ и съ хроникеромъ, онъ узналъ, что и здѣсь въ Питерѣ у нихъ ровно ничего нѣтъ, что и здѣсь тоже маются, тоже отсутствіе живой жизненной струи, влеченіе изо дня въ день, шаблонная литература и т. д. Хроникеръ, встрѣтившись со старымъ товарищемъ, тоже ожидаетъ услышать отъ него что-нибудь «освѣжающее»: вѣдь онъ человекъ земскій, не измученъ газетнымъ суетловіемъ; вѣдь онъ тамъ у «корней» жизни, да, у жизни, а не у чернильницы; но, увы!.. какъ мы видѣли земецъ ничѣмъ его не порадовалъ, а, напротивъ, дохнулъ на него холодомъ утомленной и опустошенной души, точно такъ-же какъ холодомъ отделинулась и душа хроникера. Встрѣтились они съ лихорадочной радостью, съ распростертыми объятіями, но едва-ли не сію-же минуту почувствовали, что въ нихъ обоихъ нѣтъ матеріала, которымъ бы можно было наполнить ихъ широко раскрывшіяся сердца. И уже послѣ десяти минутъ не столько оживленнаго, сколько громкаго разговора, пріатели почувствовали потребность

уйти куда-нибудь изъ комнаты, въ которой они встрѣтились, и дѣйствительно ушли завтракать, хотя ни тотъ, ни другой не имѣли въ этомъ никакой надобности.

И такъ пошло дальше: завтракая, обѣдая, ужиная и изрѣдка только отрываясь по какимъ-нибудь ничтожнымъ дѣламъ, чтобы непремѣнно сойтись за завтракомъ, за обѣдомъ, за ужиномъ, пріатели стали проводить время, помалчивая за ѣдой, вздыхая, бранясь, возмущаясь, опять вздыхая, оживляясь еле-еле при самыхъ юношескихъ воспоминаніяхъ и вздыхая опять, какъ только разговоръ доходилъ до настоящаго дня, т. е. упирался въ тупой уголъ. Они не утратили вѣры въ то, во что они вѣрили, и надѣялись на то-же, на что надѣялись и въ старину, но и вѣра, и надежда ихъ была уже утомлена, безформенна и не доставляла никакого удовольствія. Такимъ образомъ они проводили уже нѣсколько дней, возвращаясь по домамъ часа въ три-четыре ночи и тяжелыми шагами «съ одышкой» поднимаясь по высокимъ петербургскимъ лѣстницамъ.

Что касается до молодого человека, пришедшаго вмѣстѣ съ земцемъ и хроникеромъ, то хотя онъ и не разочаровался еще ни въ чѣмъ, хотя онъ былъ свѣжъ и молодъ, но осовѣвшее поколѣніе «реформенныхъ людей», къ которому принадлежалъ земецъ и хроникеръ и среди котораго вообще современнымъ молодымъ людямъ приходится находить «указателей пути» и руководителей, это осовѣвшее поколѣніе успѣло уже повліять на него довольно снотворно и сумбурно. Осовѣвшее поколѣніе не давало ему никакого прямого отвѣта на вопросъ, что дѣлать? Одни говорятъ: «иди пахать, трудярукъ своихъ живи», но сами не идутъ; другіе говорятъ: «вовсе не нужно пахать—учись, наука—вотъ главное»; третьи говорятъ, что «въ организаціи современнаго общества нѣтъ никакого порока, она такая, какъ быть должно, становись на любое мѣсто, дѣлай, что придется,—но береги душу и питайся растительною пищею». Третьи настоятельно доказываютъ необходимость не противиться зву, а четвертые также хорошо убѣждаютъ въ необходимости противленія. А въ то же время молодая вѣда Клена Андреевна, съ которой онъ познакомился на студенческомъ вечеру, гипнотизируетъ его своимъ бюстомъ и совѣтуетъ поступить въ оперу; а въ то же время курсистки зовутъ на вечеринку, а въ то же время земецъ тащитъ къ Палкину, а въ то же время, провожая съ вечеринки М-ше Булкину, онъ получаетъ приглашеніе непремѣнно придти поговорить объ одномъ серьезномъ дѣлѣ. И наконецъ—статистика. Статистикой необходимо заняться серьезно, это самый подходящій, нейтральный и благородный трудъ.

Вотъ примѣрно и притомъ въ самыхъ общихъ чертахъ тѣ разнородныя вліянія современной среды, которыхъ молодому человеку приходится искать отвѣта на вопросъ—что дѣлать?

«Уйду!» думалъ онъ совершенно искренно, возвращаясь домой по примѣру земца и хроникера, въ четыре часа утра.

«Уйду!» думалъ онъ, отыскивая въ темной коморкѣ спички.

«Надо удрать!» думалъ онъ, засыпая.

Но на утро все-таки нужно было поговорить съ м-ше Булкиной, и онъ торопливо одѣвался и шелъ къ ней, но на дорогѣ попался земець, который звалъ завтракать. — «А м-ше Булкина?» «М-ше Булкина можетъ также прѣйхать завтракать съ нами». — «Отлично!» Завтракъ съ м-ше Булкиной, хроникеромъ и земцемъ, продолжавшійся часа четыре, пять, наполненъ, разумѣется, все тѣмъ-же несопротивленіемъ злу, сопротивленіемъ злу, «серьезнымъ дѣломъ», сокрушеніемъ настоящей минуты «во всѣхъ смыслахъ», вздохомъ, смѣхомъ, опять вздохомъ, и наконецъ —

«Не взять-ли намъ тройку?»

«Превосходно!»

И вотъ острова, какой-то «Помпей».

Вотъ такъ и идетъ. Только-было «засѣлъ» за статистику — вспоминается бюстъ, задумалъ поговорить о «серьезномъ дѣлѣ» — хватъ, очутился въ «Помпей», или на вечеринкѣ, и уже поестъ во всю мочь «дубинушку» и т. д. А къ четыремъ часамъ утра, проводивъ домой м-ше Чизову (которая пригласила непременно зайти на этихъ дняхъ — она имѣетъ что-то сказать) и возвращаясь домой, онъ опять-таки думаетъ:

— «Удери! Нѣтъ, надо удрать!» и не всегда попадаетъ въ ту дверь, куда надо.

И такъ всѣ три посѣтителя были люди дѣйствительно утомленные; хроникеръ и земець — безрезультатностью прожитого; юноша — отсутствіемъ определенной и ясной перспективы, а всѣ вмѣстѣ — сутолокой настоящаго дня, надѣдливымъ, тусклымъ, сумрачнымъ, неоживленнымъ никакимъ яснымъ живымъ теченіемъ — безвременьемъ.

II.

Занявъ отдѣльный кабинетъ, посѣтители нѣкоторое время совершенно недоумѣвали, зачѣмъ собственно они здѣсь очутились? Они только что были у знакомыхъ, гдѣ вдоволь наскучались, вдоволь наѣлись и выпили и вотъ какая-то нелегкая занесла ихъ опять въ какую-то скверную клѣтку скучать, ѣсть и пить. Никому въ сущности ровно ничего не хотѣлось; слѣдовало бы идти спать, но какъ же такъ закончить день? День-то вѣдь цѣлый прошелъ, а какъ-будто ничего существеннаго изъ него не вышло; какъ-то было слишкомъ тягостно и скучно оставить его безъ конца. И вотъ надо было какъ-нибудь кончить.

— Что же, сказалъ земець. — Надо позвонить!

— Да, промывчалъ хроникеръ, развалившись на диванѣ и дремля. — Позвоните кто-нибудь!

— Да звонокъ-то около тебя... Протяни руку!

— Ахъ, да!

Хроникеръ протянулъ руку надъ спинкой дивана, поискалъ звонка и, найдя его, подавилъ пуговку.

Явился сонный, вялый, утомленный лакей. На всей его измученной фигурѣ какъ-бы тяготѣло цѣ-

лое столѣтіе закусочныхъ и питейныхъ преданій того заведенія, въ которомъ онъ служилъ, и столѣтній юбилей котораго только-что праздновался. Лицо его выражало огромное утомленіе, и казалось, что онъ утомленъ именно этими безконечнымъ, столѣтъ не прерывающимся служеніемъ образованному русскому обществу, которое даже и ѣсть-то путемъ не хочетъ и отъ котораго никакого толку не выходитъ. Появленіе слуги подѣйствовало на посѣтителей еще болѣе удручающимъ образомъ. Онъ молчаливо ожидалъ ихъ приказаній, но никому изъ нихъ ничего не приходило въ голову.

— Что-жъ — сказалъ, стараясь быть бодрымъ земець. — Ъсть, что ли будемъ?

— Я ужъ, право, не знаю! полусонно пробормоталъ хроникеръ.

— А вы, Харитоновъ?

— Мнѣ все равно!

— То есть, что же это — все равно? Будете ѣсть или нѣтъ?..

— Такъ чего-жъ? Пожалуй... Ну, буду!

— Дай карточку!

Лакей подаль книжку прейсъ-куранта кушаньямъ и винамъ и долго она ходила по рукамъ безъ всякаго результата. Земець, перелистывая ее изъ страницы въ страницу, перечитывая изъ строчки въ строчку, разстегнулъ свой жилетъ, думая, что желудокъ, почувствовавъ нѣкоторую свободу, самъ потребуетъ какого-нибудь кушанья, но желудокъ безмолвствовалъ и ровно ничего не хотѣлъ...

— Ну, а потомъ! сказалъ наконецъ земець, передавая книжку хроникеру.

Но и тотъ рѣшительно не зналъ, что ему нужно, и, пересмотрѣвъ книжку, положилъ ее на столъ и сказалъ:

— Чортъ его знаетъ... Не знаю!

— Вы, Харитоновъ?

— Пожалуй съѣмъ бифштексъ.

— Вотъ желудокъ! Бифштексъ?

Харитоновъ только захохоталъ.

— О, молодость! Ну, такъ какъ же мы-то? Вѣдь нельзя такъ, ужъ поздно!

— Ей-Богу мнѣ все равно!

— Чортъ знаетъ что такое! Дай-ка карточку-то!..

Лакей, все время терпѣливо ожидавшій приказанія и переминавшійся съ ноги на ногу, вѣроятно сжалился надъ безпомощнымъ положеніемъ «господъ»; онъ вѣжливо наклонился къ земцу и съ заботливостью старой няньки въ голосъ проговорилъ:

— А то неуждо ли наваги-съ? Только-что привезѣна-съ...

— А въ самомъ дѣлѣ!.. Я давно не ѣлъ наваги; радостно воскликнулъ земець. — Отлично, давай наваги!

— Фрять-съ? спросилъ лакей съ тою же заботливостью въ голосъ.

— Чего?

— Я докладываю, какъ прикажите, жареную или же?..

— Конечно жареную! Почему же однако ты

говоришь фритъ, а не просто—жареная, молъ, навага?

Слова эти земець проговорилъ безъ всякой надобности и единственно только потому, что повеселѣлъ; повеселѣлъ же онъ во-первыхъ отъ того, что захотѣлъ наваги, а во-вторыхъ потому, что на него произвело весьма пріятное впечатлѣніе тонкая черта заботливой внимательности старой крѣпостной няньки къ балованному барчуку, которая звучала въ голосъ и видна была въ глазахъ и манерѣ лакея, позаботившагося вывести барина изъ затруднительнаго положенія. Барчуки, хоть и реформенные, хоть и земцы, а любятъ, очень любить и до сихъ поръ эту заботливость о себѣ преданной прислуги и весело чувствуютъ себя въ положеніи балованныхъ ребятъ.

— Просто бы сказалъ жареное, по нашему, по русски, продолжалъ баловаться и болтать что придетъ въ голову сорока-лѣтній балованный барчукъ,—а то фритъ какой-то?.. Отчего фритъ? Почему фритъ?

— А потому фритъ называется, улыбаясь тою же заботливой улыбкою, заговорилъ лакей,—что фритъ есть слово повсемѣстное. Вѣдь на свѣтѣ всякаго народу много — нѣмцы, французы, армяне, персіанцы — мало ли?.. У всякаго свое названіе всему... Теперича, положимъ, существуетъ названіе жамбонъ. Кажется, что такое? Ежели разобрать, больше ничего оказывается ветчина, очень просто! ну, а какъ ежели всякій бы иностранецъ по свѣдѣму спрашивалъ, тогда ничего невозможно разобрать... Вотъ поэтому самому и устанавливаются для повсемѣстнаго смысла одно названіе — фритъ, наприимѣръ, омлетъ, или такъ-сказать бефъ, штабріанъ, кюлотъ!..

Скучающимъ гражданамъ съ каждымъ словомъ этого монолога становилось почему-то легче и веселѣе. Вѣроятно даже, что причиной этого была совершенно неожиданная тема разговора, — тема, рѣшительно неимѣвшая ничего общаго съ тѣми современными, до крайности утомительными темами, которыя уже до невозможности надоели нашимъ скучающимъ и изъ которыхъ они однако же никакимъ образомъ не могли выбраться. Скучающіе граждане наши, исчерпавъ втеченіи утомительнаго дня всѣ эти утомительныя темы разговора и убѣдившись, что безрезультатность ихъ необходимо завершить чѣмъ-нибудь рѣшительнымъ, вродѣ ужина, когда и ѣсть-то даже не хочется, — были пріятно удивлены, что помимо утомительныхъ темъ, казалось-бы исчерпывающихъ рѣшительно всѣ вопросы жизни до самаго корня, существуютъ еще какія-то темы непредвидѣнныя и достойныя размысленія.

— Да, балуясь, серьезно произнесъ земець.— Такъ вотъ, братъ, какая штука фритъ! Ну, а кюлотъ что такое?

— Просто сказать—говядина.

— Да! Но какая... какъ она?.. какос мѣсто?

Лакей какъ-будто затруднялся отвѣтомъ.

— То-есть... какъ сказать?.. мясо!..

— Ну да, мясо, но какой сортъ?.. Ну вотъ антрекотъ одинъ сортъ, а кюлотъ?..

Лакей потупился и на его лицѣ легла какая-то жалобная черта.

— Этого извините, робко проговорилъ онъ,—этого всего намъ разобрать невозможно!

— Такъ какъ же ты можешь служить?

— Какъ служить? Названія знаемъ, а такъ чтобы вникать въ это намъ невозможно! Намъ дай Господи только не забыть названія, да до кухни добѣжать не перепутать; иной разъ подаешь трюмъ, четвернымъ, въ двухъ кабинетахъ—дай Богъ только это упомянуть. А чтобы такъ до тонкости знать, это даже и силъ нашихъ не хватаетъ.

— Будто?

— Повѣрьте! Помилуйте, одного бефу двадцать пять сортовъ, соуса и съ томатомъ, и съ финзербомъ или теперича вина, ликеры? Ну, вина еще такъ-сякъ—нумера... А ликеры наприимѣръ? цѣтъ одинъ, а вкусъ разный, одинъ говоритъ, «жинжеръ», а другой Бенедиктину требуетъ. Помилуйте, отъ однихъ ликеровъ—покуда запомнишь, какіе у какой бутылки бочка—и то голова кругомъ пойдетъ! Мы иной разъ въ шестомъ часу гостей провожаемъ, а въ девять опять на ногахъ... Какъ можно намъ знать все! Слава тебѣ Господи, что хоть прейскурантъ-то вызудилъ безъ ошибки, извольте-ка посмотреть книжку-то, а вѣдь ее надо всю насквозъ знать!..

Начавъ разговоръ, какъ самый обыкновенный, трактирный лакей, продолжая его въ простодушномъ и шутиломъ тонѣ заботливой няньки, при послѣднихъ словахъ этотъ шаблонный человѣкъ, неожиданно для всѣхъ, вдругъ предсталъ предъ скучающими господами во образѣ самаго кроткаго добродушнаго деревенскаго мужика, работника, каторжнаго работника, въ потѣ лица своего зарабатывающаго хлѣбъ. Бѣ-то нарядилъ его во фракъ, научилъ его держаться по лакейски, заставилъ выразить всей своей фигурой удовольствіе при видѣ кушающихъ и пьющихъ господъ, заставилъ «затвердить» сотни какихъ-то словъ, невѣдомо что означающихъ, словомъ, замаскировалъ и скрылъ его подлинную человѣческую суть—и вотъ эта-то суть, горькое, каторжное существованіе простаго рабочаго человѣка, недосыпающаго и недоѣдающаго, вдругъ зазвучало въ его монологѣ о ликерахъ и финзербахъ такъ ясно и такъ жалобно, что скучающіе посѣтители не осмѣлились продолжать шутки.

— Конечно, продолжалъ лакей, ужъ не какъ лакей, а какъ каторжный работникъ,—конечно кто знаетъ наприимѣръ иностранный языкъ и досугъ? у него есть, такъ это очень легко затвердить, а вашему брату, мужику, очень это трудно! Я отродясь не знаю, каковъ-таковъ и досугъ-то есть на свѣтѣ... Десяти годовъ меня въ Петербургъ представили изъ деревни-то... У насъ въ Ярославской губерніи народъ все отхожій—то въ Москву, по трактирной части, то по фабричной... У меня отецъ на фабрикѣ померъ, остались изъ двѣ сестры маленькія, да я по десятому году. Мать

то на фабрику пошла, а меня въ Питеръ увезли. Насъ, ярославскихъ ребятъ, какъ телятъ въ Питеръ возятъ. Такіе есть мужики—наберетъ мальчишекъ штукъ десятокъ, на свой счетъ представитъ ихъ въ Питеръ-ли, въ Москву-ли и раздаетъ по трактирамъ, по кабакамъ. Конечно на этомъ и наживаетъ съ хозяевъ. Такъ меня десяти годовъ на Сѣнную, въ самый черный трактиръ опредѣлили; день и ночь торговали, извозицкій. Два года стоялъ за стойкой, посуду мылъ. А что побоевъ! Все по головъ, все по затылку, съ оплеухой! Такъ сколько я претерпѣлъ, покуда Господь меня сподобилъ съ Сѣнной-то изъ вертепа достигнуть до ресторана! Конечно добрые люди помогли, научили всему.

— Да чему же тутъ учить?

— Помилюйте, какъ чему? Теперича на свадьбахъ официантомъ приглашаютъ, все надо знать, оршады, лимонады, весь порядокъ... Да тутъ страсть Господня! Опять какъ подать, какъ обойтись... Облейка-ка соусомъ-то гостя—ну вонъ! какъ можно! Тутъ ни дня, ни ночи покою нѣтъ. Главное спить кое-какъ, совсѣмъ по нашей должности сна мало... Такъ тутъ при такой жизни, гдѣ ужъ намъ доходить до всего—дай Господи только памятью не сбиться! Я этотъ самый преисъ-курантъ-то мѣсяца три по ночамъ зудилъ, съ огаркомъ, покуда вошелъ въ память. Только-бы Господь далъ не перепутать. А кромѣ того надо съ гостемъ обойтись умѣть, услужить ему; а иной буйный на то и въ трактиръ идетъ, чтобы наскандалничать... Иной разъ не дожарятъ, или пережарятъ—а ругаютъ-то нашего брата. Бываетъ, который серантый гость, такъ прямо тарелкой въ рыло норовитъ: ему нипочемъ, напримѣръ въ сердцахъ, за лацканъ дернуть, оторвать или соусомъ какимъ облить... А вѣдь фракъ-то мало-мало девять цѣлковыхъ! Нѣтъ, наша должность трудная! Конечно изъ-за доходовъ бьемся, а то-бы, нечто можно на такую жизнь согласиться?...

— Ну, а какая-бы для тебя жизнь была лучше, по твоему вкусу?

Утомленное, груженческое лицо лаея вдругъ засіяло.

— Лучше деревенской жизни на свѣтѣ нѣтъ! по дѣтски радостно сказалъ онъ.—Это самое и есть моя великолѣпная мечта—жить въ деревнѣ своимъ хозяйствомъ. Какъ можно! Мѣста какія у насъ! Выйдешь утромъ—воздухъ ароматъ одинъ, кругомъ на пятнадцать верстъ видно, двадцать деревень въ хорошую погоду насчитать можно... И, Господи помилуй, какъ хорошо! Годика два еще помоясь, а тамъ и къ своему мѣсту... Помилюйте—какое сравненіе? своя скотина, свои огороды, родня, сестры, жена, маменька, все по душѣ, никто надъ тобой не командуетъ, не понукаетъ, какъ можно сравнить! Я только вотъ изъ-за деревни все и бьюсь, всѣми правдами и неправдами.

— И неправдами даже?

— Вполнѣ вѣрно-съ! Ежели жить нашему брату бѣдному человѣку по правдѣ, такъ намъ никогда невозможно выбраться на бѣлый свѣтъ... Истиннымъ Богомъ! Я ужъ и самъ думалъ—какъ жить

безъ обману. Однако вижу—никакъ нельзя! Да вотъ напримѣръ женился я, такъ прямо доложу, съ обманомъ! Вполнѣ сдѣлалъ поддѣлку...

— Поддѣлку?

— Да какъ же! Поддѣлалъ себя подъ богача—ну, и выдали! Моя жена вонъ какъ сказать, ежели сравнить, такъ больше нѣту слова какъ одно—теплынъ! То-есть ежели бы насъ съ ней выгнать въ пустое неприступное мѣсто, въ пустыню, и безъ копѣйки денегъ—то съ ней пропасть невозможно, сей-часъ съ ней станетъ и тепло, и весело, и то есть превосходно! Кажется, изъ трехъ лучинокъ она уютъ тебѣ сдѣлаетъ—вотъ какой человѣкъ! Вотъ какъ познакомился я съ ней на веревинкѣ въ деревнѣ, за кадрилию... (Конечно я, само собой, во фракъ и она все одно какъ барыня, со шлейфомъ, все какъ должно)... познакомился я съ ней, понравились мы другъ дружкѣ съ перваго разу, я говорю.—«Какъ, молъ, Маша, насчетъ закона?» Она мнѣ и отвѣчаетъ:—«Не отдастъ, говорить, родитель, потому у тебя ничего нѣтъ, а наше семейство—богатые мужики». А точно—богатые мужичищи, стараго завѣта, домъ серьезный...—«Какъ же, говорю, быть намъ?»—«Думай, говорить,—еще годъ подожду, ни за кого не пойду, а больше мнѣ ждать не дадутъ, силомъ выдадутъ...» (конечно виду не подаетъ, вѣеромъ орудуешь). Что тутъ дѣлать? Не съ ножомъ же идти денегъ добывать, не такой у меня характеръ. Только воротился я въ Петербургъ, тоскую, мучаюсь, не знаю какъ быть, а швейцаръ у насъ въ ресторанѣ разспросилъ меня въ чемъ дѣло, да и присовѣтовалъ.—«Эко, говорить, бѣда! да ты вотъ какъ: накупи старыхъ лотерейныхъ билетовъ, да разныхъ объявленій—вотъ тебѣ и деньги! Вѣдь они, мужичье темное, не разберутъ». Что же вы думаете? Пошелъ я по табачнымъ.—«Нѣтъ-ли старыхъ билетовъ?»—«Какъ не быть!»—и накупилъ я постепенно на три цѣлковыхъ—штукъ двѣсти этого хламу—съ орлами, съ разными разводами, и все 200 тысячъ, домъ, серебряный самоваръ, сервизъ—страсть, что богатства!.. А швейцаръ, дай Богъ ему здоровья, говоритъ:—«Погодь-ко, говорить, малый, поищу я тебѣ еще одну штуку. Служилъ я, говорить, въ одной банкирской конторѣ, такъ выпускала она объявленія, очень подъ деньги подходящія». Порылся въ сундукъ и вытащилъ эку пачку этихъ объявленій—какъ есть выигрышные билеты! Все въ кругахъ, въ звѣздахъ, разными красками, и все опять же 200 тысячъ, семьдесятъ пять тысячъ, пятьсотъ, сто... Эдакими цифрами—за версту увидишь.—«На-ко, говорить, парнюга, поправляйся, на здоровье! Дай Богъ часть!» Такой душевный человѣкъ швейцаръ-то, гвардеецъ—дай Богъ ему здоровья! Ну вотъ, набралъ я себѣ такимъ манеромъ капиталовъ, купилъ бумажники самый просторный, набилъ его такъ, чтобы видно было и чтобъ подъ деньги подходило—и въ деревню! Цѣлный годъ я капиталы-то эти наживалъ. Приѣхалъ въ деревню—повидалъ Марью, секретъ ей не открываю—думаю, какъ-бы она не осердилась на обманъ, помолился Богу, пошелъ къ родите-

лямя... Опять-же вечеринка была. Вотъ я сижу рядомъ съ отцомъ-то, держу себя небрежно, вродѣ барина, ничего не говорю, а такъ выну бумажникъ, достану оттуда папиросу, а бумажникомъ такъ дѣйствую, чтобы милліоны-то мои ему въ носъ ударили. Упорный старичишка, а на деньги жадеи! Вотъ онъ глазомъ-то и сталъ вцѣпляться въ бумажникъ... Замѣтилъ это я, пришелъ въ другой разъ переложилъ хламъ-то настоящими бумажками (было у меня денегъ рублей съ пятьдесятъ, то-есть настоящихъ денегъ), перемѣшалъ я ихъ съ хламьемъ—пошелъ. Опять же вынулъ папиросу, да нарочно и оброни бумажникъ-то, милліоны-то и разсыпались по полу. Старичишка раззавирился—подбирать: хватаетъ обѣими руками, видитъ настоящія-то деньги, и хламъ-то ему тоже деньгами показались... Вижу я—разгорѣлись у него глазница... И разъ, и два, и три я его этакъ-то раззадорилъ, а затѣмъ и говорю: — «такъ и такъ!.. Хочу, молъ, жениться на Машѣ, домъ буду строить, лавку открывать... деньги есть...» Тутъ старичишка-то и раскисъ. «Согласен!» Да пятьсотъ рублей я съ него и счистилъ въ придачу, окромя всего прочаго!..

Это было сказано такъ дѣтски радостно, что истинно по дѣтски обрадовались даже и скучающіе господа посѣтители.

— Да на эти деньги и домъ купилъ, и корову: маленьку, сестеръ, жену поселилъ — положилъ, однимъ словомъ, начало хозяйству — а потомъ пошелъ къ теще-то, упалъ ему въ ноги, повинился.. Ну ужъ и было! Что и рассказывать! Да и напоевать! Теперь помирились, какъ увидѣлъ онъ мои труды и заботы. Ну, а ужъ Маша, такъ ужъ такъ меня за это одѣнила — лучше невозможно! Какъ поженились, я и говорю: — «Ну, говорю, Машутка, надо тебѣ говорить всю правду...» И рассказаль; думаю — заругается, обманщикомъ сосчитать, а она подумала, подумала: — «Ну, говорить, Миша, эдакаго умника я еще отъ роду не видывала, какъ ты это умно меня выхвалить! Вотъ такъ ужъ умникъ!» Гладить мнѣ голову, нахвалиться не въ состояніи... И швейцаръ тоже радехонекъ!.. Какъ узналъ, рассказаль я ему, такъ чуть мы оба со смѣху не умерли! Напили въ этотъ день и меня напоилъ (въ первый разъ въ жизни я выпилъ) на свои деньги... — «Давай-ко мнѣ, говоритъ, милліоны-то, я еще кому-нибудь поспособствую!» Ну, я ему и вручилъ все свое состояніе... Такъ вотъ какъ! А не обмани я? Маленька-бы совсѣмъ отъ трудовъ измаялась, а сестры тоже не миновали бы фабрики, а теперь все слава Богу, сами себѣ хозяева, живутъ дружно! Вѣдь по людски жить-то хочется. Я и теперь важинную малость все въ домъ, все въ домъ. Наберешь десятку — въ деревню! попалась трешна — туда ее! Однихъ фраковъ своихъ я туда переслалъ шестнадцать штукъ.

Эти слова невольно заставили слушателей, что называется, покачаться со смѣху.

— Шестнадцать фраковъ? раззавирился земець настоящимъ барскимъ смѣхомъ.—Въ деревню? Да зачѣмъ же они тамъ нужны?

— Въ деревнѣ-то? Да помилуйте, въ деревнѣ всякая малость нужна, только что она тамъ является въ большомъ преобразеніи... Въ Петербургѣ, положимъ, фракъ требуется мужичиный, ну хоть-бы намъ, прислугѣ, или же господамъ, а въ деревнѣ онъ у насъ весьма превосходно преобразается для бабъ.

— Фракъ-то?

— Фракъ-съ! Да вы извольте взять во вниманіе: сукно хоть и вытерто, а вѣдь оно плотное, перелицевать его, такъ оно все одно какъ новое. У меня случались фраки очень добротной матеріи; а одинъ фракъ съ покойника купилъ, такъ ему и сейчасъ износу нѣтъ.

— Какъ съ покойника?

— Служащій тутъ въ клубѣ померъ, ну, жена и положила его во фракъ, а фракъ-то даренный, съ графскаго плеча. Положила да и стала жалѣть — женщина бѣдная — говорить: «Ежели бы прозвать да худенькій купить — все бы мнѣ что-нибудь осталось!» — Вотъ я и обмѣнялъ; пять рублей прилажь за свой и отдажь, а тотъ-то снялъ, вычистилъ значить, вывѣтрилъ, спиртомъ проспиртовалъ да года три превосходно щеголялъ, а теперь онъ въ деревнѣ уже второй годъ дѣйствуетъ.

— Но какъ же бабы-то, какъ бабы-то во фракахъ у васъ ходять — ты вотъ что скажи?

— Да вы и слѣду-то не найдете отъ фрака-то, какъ онъ тамъ у насъ преобразается. И какой таковъ фракъ былъ и то вспомнить даже невозможно. А не то, что во фракѣ ходитъ баба! У меня тамъ теперь жена да двѣ сестры, дѣвчонки. Одну хочу замужъ выдавать, мужика въ домъ возьмемъ. Тепериче хозяйство у нихъ молочное — четыре коровы, теляты. Телятъ поимъ, продаемъ; вотъ фраки-то мои и пригодились имъ по хозяйству; теперь въ зимнее время надо встать ночью, подоить, попоить, покормить — вотъ мои бабенки и переладили себѣ изъ моихъ фраковъ подходящіе костюмы вродѣ дипломатовъ: лацкана эдакимъ вотъ манеромъ отворочены (онъ показавъ на своемъ фракѣ, какъ именно) — и стало быть груди тепло — а тутъ въ этихъ мѣстахъ, стало быть, фалды отрезаны отъ трехъ фраковъ, по шести фалдовъ на юбку вышло, — пришиты дружка къ дружкѣ въ складку, ну, и конечно на ватъ — анъ оно и тепло! да года на три, на четыре хватить... А прозвать его татарину? рубль серебромъ, больше не дадутъ. А которые остались безъ фалдовъ и тѣ же поработаны подъ кофты, одну маленькѣ на зачатѣ мѣху удѣляли — забка стала, старушка! вотъ ей и потеплѣй, въ кофтѣ-то. И Боже мой! Въ деревнѣ? Да въ деревнѣ всякая малость все она по нашему, по мужицкому, преобразается.

— Но это великолѣпно! захохоталъ на всю комнату окончательно развеселившійся земець.

— Да какъ же не великолѣпно? развеселившись еще болѣе чѣмъ земець, и весь сіяя, проложалъ лакей. — Даже очень великолѣпно! Теперь вотъ, почитай, хозяйство все налажено, сестру замужъ выдамъ, можно пожалуй и земельки попросить. А самъ, ежели Господь дастъ терпѣнья, про-

маячу еще годика два, да и туда же, подъ собственный кровъ... Ужъ и отдохну же на вольномъ воздухѣ ото всѣхъ моихъ мытарствъ! И будемъ жить съ Машей честно, благородно, своимъ трудомъ. А ужъ мѣста какія! Господи Боже мой!

— Но это просто великолѣпно! гоготалъ земець. Да и вся компанія тоже развеселилась.

— Такъ прикажете наваги? вспомнивъ свои обязанности, сказалъ лакей, снова возвращаясь къ своей должности и манерѣ.

— Наваги? Фритъ? Давай, давай!.. Просто превосходно! даже ѣсть захотѣлось... Давай наваги!

— Да и мнѣ даже что-то ѣсть хочется, проговорилъ хроникеръ. — Принеси-ка—мнѣ... какъ его? кюлотъ этотъ!

— Слушаю-съ!..

Лакей ушелъ, а все недавно скучавшее общество принялось шумно разговаривать на всевозможныя животрепещущія темы. Стали говорить и спорить о народѣ, объ интеллигенціи, о Россіи и Европѣ. «Тамъ, тамъ живая струна! оралъ земець... Тамъ живое желаніе жить, да, жить! да непремѣнно на *бѣломъ* свѣтѣ, а не на *черномъ*, не въ черную ночь! да непремѣнно «честно, благородно!» Именно—«*благородно*», на всей своей *вольт*... по крестьянски... Да! тамъ, тамъ! а мы? мы? мы? мы?»

Словомъ, тѣ самыя темы, которыя только-что казались совершенно исчерпанными и ничего кромѣ утомленія и безплодной тоски не возбуждали—вновь оказались исчерпаемыми, вновь оживили и привычку безконечно долго разговаривать и безконечно долго ѣсть.

— «Человѣкъ!».. поминутно раздавалось изъ шумнаго кабинета; пріятели ѣли, пили, пили и ѣли, и долго не чувствовали ни малѣйшей потребности уходить изъ кабинета.

III.

Часу въ шестомъ утра, всѣ они, пошатываясь и придерживаясь за перила темныхъ лѣстницъ, тяжелыми стопами пробирались къ своимъ квартирамъ, и каждый изъ нихъ думалъ, что не все пропало, что «тамъ что-то есть живое» и что «вообще нужно *уязжить*» поскорѣй отсюда.

— Вотъ это самое! честно, благородно! Оно самое и есть! скидывая въ темнотѣ своей каморки шубу вмѣстѣ съ сюртукомъ и сапоги вмѣстѣ съ калошами, бормоталъ и охмѣлѣвшій кюшоша Харитоновъ. Оно! Вся суть! Честно, благородно! Н-да! И удеру! Удирать надо! вотъ главное! Удирать! Только вотъ къ м-ше Чижовой... поѣду—и фютъ! Эй, любезные! гаркнулъ онъ среди всеобщей тишины и мертваго сна меблированныхъ комнатъ, вообразивъ себя на ухорской тройкѣ.

Но, опомнившись и осмотрѣвшись, потихоньку улегся въ кровать, вздохнулъ и, еще разъ сказавъ себѣ:

«И удеру!», мирно смежилъ усталыя вѣжды.

Такъ вотъ и еще страничка о «земелькѣ»! Одна мысль о ней сразу оживила и осіяла забитую тяжелымъ трактирнымъ трудомъ душу лакея, преобра-

зивъ его въ настоящаго человѣка да и у господъ—возбудила... аппетитъ.

III. Добрые люди.

I.

Человѣкъ доброй души, швейцаръ, помогшій Михайлѣ словомъ и дѣломъ выбраться изъ ничтожества на бѣлый свѣтъ, т. е. жениться и устроить собственное свое хозяйство, совершенно неожиданно пробудилъ во мнѣ воспоминаніе о безчисленномъ множествѣ добрыхъ душъ, добрыхъ людей, которыхъ мнѣ постоянно приходилось встрѣчать и въ городской, и въ деревенской средѣ. «Отчего это, подумалось мнѣ, я такъ мало касался людей такого сорта и отчего напротивъ всевозможнаго рода хищники и живорѣзы такъ много поглощали моего вниманія?» И припомнивъ, какъ было дѣло, я убѣдился, что къ этому не было никакой возможности, потому что добрые люди, какъ бы много ни приходилось встрѣчать ихъ въ жизни, были явленія единичныя, своеобразныя,—люди, проявлявшіе свою доброту на свой образецъ, въ своемъ уголкѣ, въ своемъ частномъ кругу, тогда какъ хищники, живорѣзы были и есть люди извѣстнаго общественнаго теченія, — люди, олицетворяющіе собою извѣстный порядокъ вещей, ненавистники всякаго иного порядка, съ которымъ они и борются всѣми возможными средствами и ни предъ чѣмъ не останавливаясь.

Какой-нибудь добродушнѣйшій вдовый мужичокъ, вроде извѣстнаго въ нашихъ мѣстахъ «Митеньки», надумалъ, «самъ по себѣ», что надобно, молъ, бѣднымъ помогать. и началъ творить добро въ своемъ уголкѣ. Митенька, напримѣръ, чтобы «творить добро», ухитрился сдѣлаться лекаремъ, сталъ лечить петербургскихъ купчихъ изъ Яиской молитвами и травами и сумѣлъ прослыть за великаго искутника и цѣлителя, а когда достигъ большой популярности и сталъ зарабатывать множество денегъ, то, возвращаясь въ деревню, принялся творить добрыя дѣла, помогать бѣднымъ, вдовамъ, сиротамъ, разорившемуся мужику и т. д. Въ «своихъ мѣстахъ» его помять и помять главнымъ образомъ тѣ, кому онъ помогъ, поддержалъ. Но уже одно то, что этотъ «Митенька» былъ зарѣзанъ своимъ работникомъ, и притомъ съ цѣлью грабежа, доказываетъ, какъ широка была волна хищничества и наживы и какъ почти безслѣдно, словно капли въ морѣ, исчезали въ ея бурномъ потокѣ эти одинокія фигурки добрыхъ людей и ихъ маленькихъ добрыхъ дѣлъ. Не до нихъ было въ то время. Если же теперь эти одинокія фигурки и ихъ одинокія, не имѣвшія никакого общественнаго значенія, добрыя дѣла и начинаютъ возникать въ памяти, то единственно только потому, что ужъ слишкомъ надѣло и измучило обиліе всевозможныхъ дѣлъ и людей живорѣзнаго направленія.

II.

Ѣду я разъ какъ-то, лѣтъ шесть тому назадъ, съ одной изъ станцій узкоколейной дороги, направ-

ляясь на дачу, нанятую на лето моимъ пріятелемъ. Пробѣжавъ нѣсколько верстъ по шоссе (не знаю, земское оно или еще аракеевское), я долженъ былъ свернуть въ сторону, въ лѣсъ.

До поворота оставалось не болѣе нѣсколькихъ десятковъ сажень, какъ вдругъ, изъ лѣсочка, въ который намъ именно и слѣдовало повернуть, съ трескомъ вылетѣла телѣга и загородила намъ дорогу. Въ телѣгѣ были ящики съ пивомъ, а на облукѣ ея качался изъ стороны въ сторону и едва могъ сидѣть совершенно пьяный мужикъ безъ шапки. Не успѣла выскочить изъ лѣсу телѣга, какъ за ней, съ плясомъ, съ гармоніей, съ пѣснями и присвистами выступила огромная толпа мужиковъ и бабъ молодыхъ и старыхъ и среди этой веселой и сильно подгулявшей толпы съ трудомъ двигался до невозможности развинченный, дребезжащій, весь нескверканый и изломанный тарантасъ. Въ этомъ тарантасѣ сидѣлъ какой-то человѣкъ, худенькій, кривобокій, изможденный, крѣпко пьяный, въ растегнутомъ пиджакѣ и жилетѣ. Двѣ молодыя, здоровыя бабы съ гармоніями сидѣли у него въ ногахъ, свѣсивъ свои ноги на подножки тарантаса и горланили пѣсни, въ то время какъ кривобокій человѣкъ, изъ всѣхъ силъ насаживая свою разбитую грудь и стараясь перекричать галдѣвшую толпу, махалъ своимъ картузомъ и почти кричалъ:

— Милочки мои! Поклонники вы мои! Не забуду я васъ до гробовой доски! Други! Ангелы мои!..

— Филиппычъ! галдѣли мужики и бабы. — Ты отецъ нашъ! Ты нашъ покровитель!.. Богъ тебя не оставитъ!.. Эй, шевелись, съ пивомъ-то, подчуй!

— Откупоривай живѣй! На перекрестѣ поздравимъ Филиппыча!

— Ангелы мои! Милочки мои! Отрада моя единственная! продолжалъ насаживаться Филиппычъ, весь блѣдный, пьяный, возбужденный, со слезами на глазахъ.

Среди этого галдѣнія въ толпѣ, раставившей пивные ящики, хлопали бутылки кабацкаго, шипучаго пива, разогрѣтаго лѣтнимъ послѣбобѣденнымъ солнцемъ; откупоривали его кто гвоздемъ, кто кнутомъ, протыкая пробку, кто хлопалъ горлышкомъ бутылки объ колесо, причемъ мужики и бабы рѣзали себѣ руки, а иногда и губы, до крови, и все это мокрое, пьяное еще шумѣе принималось галдѣть, лѣзло къ Филиппычу цѣловаться, вопіяло: «отецъ! благодѣтель! Ты нашъ помѣщикъ! Мы твои подданные поклонники!»

— Подымай его на уру! На уру бери! Берись, ребята!

Толпа сгрудилась у тарантаса, что дало намъ возможность потихонечку объѣхать его, и въ то время когда мы поворачивали въ лѣсокъ, Филиппычъ леталъ надъ толпой какъ перо, махалъ руками, плакалъ и выкрикивалъ:

— Ангелы! поклонники!.. купидоны!

— Ура-а-а!..

— Вали на вокзалъ! Вали, ребята, до вагону провожать! трогай всѣ!..

— Ура-а-а!

— Убьютъ они его! оглядываясь на лѣтавшего

Филиппыча, сказалъ мой возница, и мы въѣхали въ лѣсокъ.

— Что это такое? спросилъ я извозчика.

— А ужъ, право, не знаю... Да вотъ мы увспросимъ... Бабушка!.. 9-эй, старушка! окликнулъ онъ какую-то старушку, направлявшуюся по той же дорогѣ, по которой ѣхали и мы.

Сгорбленная старуха, съ палочкой въ рукахъ, остановилась, закашлялась. Извозчикъ приостановилъ лошадь.

— Что это у васъ за помѣщикъ объявился? спросилъ извозчикъ.

Старушка долго кашляла, закрывая ротъ рукою, наконецъ проговорила:

— Да ты посади-ко меня въ телѣгу-то, подвези старуху, я тебѣ все расскажу.

— Садить что ли? спросилъ ямщикъ.

— Конечно подвеземъ!

— Ну, садись, бабка, полѣзай!

Съ трудомъ взобралась старушка на телѣгу и усѣлась посередкѣ, прямо на сѣно.

— Ты не больно прытко полѣзай-то, сказали она ямщику. — У меня кости старыя, по камню-то всея разобьешь...

— Ну, ладно!

Полѣзли шажкомъ.

— А это, начала старуха, — мы провожали нашего отца-благодѣтеля, покровителя нашего, Артамона Филиппыча! Вотъ каковъ нашъ помѣщикъ!.. Каждый годъ объ эту пору онъ къ намъ въ гости прѣзжаетъ, ну вотъ мы его и чтимъ. Бабы не онъ, во вѣки бы мы свѣту не видали, такъ бы и запропали въ своей трущобѣ, какъ медвѣди...

— Да что-жъ онъ, какимъ такимъ родомъ вызволилъ васъ?

— А вотъ видишь дорогу-то? Вѣдь теперь мы съ тобой ѣдемъ все одно что по московскому тракту, каменная вѣдь у насъ дорога-то теперича, а что было? А было невылазное болото... Только по зимамъ и свѣтъ видѣли... Ну вотъ, эту самую дорогу Артамонъ-то Филиппычъ намъ и пожертвовалъ... Вотъ онъ кто — Артамонущка-то!..

Дорога дѣйствительно была новая; по бокамъ шли двѣ широкія и глубокія канавы, на срединѣ былъ плотно накатанъ прутнякъ, а поверхъ его была насыпана, повидимому недавно, довольно узенькая полоска щебенки...

— Да кто онъ самъ-то?

— А самъ-то онъ портной петербургскій. Въ Ямской у него свое заведеніе. Вотъ онъ кто будетъ!

— Какимъ же родомъ онъ къ вамъ-то попалъ?

— То-то вотъ Господь его намъ послалъ!.. А какимъ родомъ вышло это дѣло. Мой-то старшій сынъ теперь старостой, въ должности состоитъ, а годовъ съ пять тому назадъ проживалъ онъ въ Питерѣ въ дворникахъ... Вотъ и случись ему служить въ томъ самомъ домѣ, гдѣ у Артамонущки это заведеніе находится. О самую объ эту пору Артамонущка-то женился, взялъ за себя сироту; мой сынъ-отъ, Адриянь, говоритъ — «первая, говоритъ, была красавица, что умная, что добрая, что красивая, одно слово не нарадоваться». Прожили они

годъ душа въ душу, а на другой-то годъ она возьми да и помри; и не вѣдомо съ чего! И похворала-то всего, говоритъ, Андріанъ-то, всего, говоритъ, съ полсутокъ, и Богу душу отдала. Вотъ Артамонушко-то и затосковалъ. Сталъ пить, сталъ убиваться и такъ что даже заведеніе свое едва-едва не перевелъ. И сталъ онъ въ этакое-то разстройство ходить къ моему Андріану въ дворницкую... Полюбился ли ему мой Андріанъ, или ужъ такъ, тоска-то ему очень велика была, только началъ онъ, Филипычъ-то, каждый день къ Андріану захаживать. — «Посижу хоть у тебя на людяхъ, а то одному-то смерть въ домъ... Сходикось за пивомъ и за виномъ...» Вотъ Андріанъ сходитъ, принесетъ, они и сидятъ—пьютъ, а Филипычъ-то на свою участь жалуется—сирота, вишь, онъ круглая, на вѣку горя напирался, а теперь вотъ одинъ одинехонекъ... Ни родни, ничего нѣтъ у него! И пошла у нихъ съ Андріаномъ дружба завадичная... То онъ у Андріана въ дворницкой, то Андріанъ у него въ горницѣ. Подъ конецъ такъ стало, что Андріанъ-то совсѣмъ почитай что у Филипыча поселился: и днюють, и ночуютъ, и пьютъ, и ѣдятъ—все увмѣстяхъ съ Филипычемъ... Видитъ мой Андріанушка, что человѣкъ-то очень ужъ сердцемъ доберъ, а тоска-то своей смертной избытъ не можетъ, — и сталъ говорить ему: — «Эхъ, молъ, Артамонушка! И чего ты убиваешься? Воротишь ты ее, жену-то любимую, не воротишь, на другой тебѣ жениться совѣтъ не дозволяетъ, чего ужъ убиваться по напрасну-то? Поглядѣть бы ты, говорить, на наше горе деревенское, мужицкое; посмотрѣть бы, какъ мы-то горько бьемся, такъ тогда твоя-то бѣда съ маково бы верно показалось...» И сталъ ему за бесѣдою-то про наше про крестьянское житіе рассказывать; и про голодовки, и про хворь, и про труды каторжные, про зимы трескучія, про болоты, чашобу непроходимую... И дороги-то отъ насъ нѣту окромѣ какъ зимой, а вѣдь у насъ въ лѣтнюю пору что господъ проѣзжаетъ — иной продалъ бы ячичекъ, ягдовъ, грибокъ—а намъ, горемычнымъ, и вылазу нѣтъ, особливо какъ дожидикъ хлынетъ... Или взять сѣно — по веснѣ ему хорошая цѣна и лѣтомъ оно въ цѣнѣ, а лежитъ оно у насъ зря, ежели зимой не продадимъ, потому вылазу нѣту... А какъ его зимой продать, когда зимой-то изъ-подъ всѣхъ мѣстовъ, которыя къ Питеру ближе, по зимнему-то пути его натащатъ... Рассказывалъ, рассказывалъ ему такъ-то про наше горькое горе, вотъ Филипыча-то и взяло за сердце... Разжалобился онъ, заплакалъ, да и говорить Андріану: — «Вотъ что, Андріанъ. Не буду я себѣ искать утѣхи въ новой женѣ, потому что старой мнѣ невозможно забыть, а будетъ у меня двѣ отрады—надгробная, говоритъ, могила, да твоя деревня. Буду я, говоритъ, для васъ благодѣтелемъ, а вы меня, сироту, почитайте и послѣ смерти моей должны поминать; а лягу я въ могилу рядомъ съ милой моей супругой. А что я разработаю по портновской части, и какой есть у меня достатокъ, то все предоставляю вамъ, какъ вашъ полный благодѣтель. Поѣдемъ, говоритъ, въ твою деревню, давай я вамъ дорогу сдѣлаю, выль-

зайте на бѣлый свѣтъ, почитайте меня, сироту!» Ну вотъ, и пріѣхали они съ Андріаномъ-то. Сей-часъ собрали сходъ, поставилъ Филипычъ угощеніе, поклонился мірянамъ: «любите, говоритъ, меня сироту, милые мои друзья, а я васъ не покину. На руки денегъ не просите, у меня такихъ денегъ нѣтъ, а по силѣ по мочи для всей деревни буду стараться!» Ну, погуляли, попили, пѣсенъ поиграли ему, повеличали, опять угостили. Вотъ и вынулъ двѣсти рублей — «ладьте, ребята, дорогу! Теперь больше у меня нѣту, а разработаю, черезъ годъ опять дамъ!»

— И съ тѣхъ поръ, какъ по часамъ, у него пошло: какъ первый разъ пріѣхалъ на Ольгу (жену-то его Ольгой звали), такъ каждый годъ въ это число и объявляется. Съ пріѣзду онъ намъ ставитъ угощеніе, а потомъ мы ему трое сутокъ усердствуемъ—вотъ онъ какой Филипычъ-то! На первый-то годъ канавы прокопали, на второй хворосту натаскали, мостики уѣблили, а потомъ и камень купилъ... Да окромя этого двѣ тысячи саженой малыхъ канавъ прокопалъ, гривеничныхъ, и гдѣ было болото—тамъ теперича пашня у насъ... Вотъ каковъ нашъ помѣщикъ, благодѣтель!—кабы не онъ, такъ намъ бы и свѣту-то божьяго не видать, такъ комары насъ-бы и слопали до костей...

— Да, сказалъ извозчикъ. — Человѣкъ на рѣдкость! Этакихъ божьихъ людей поискать! Ишь вѣдь какъ его Господь-то умудрилъ!..

— Ужъ человѣкъ — чего говорить! сказала старушка. — Восьмой десятокъ живу на свѣтѣ, я кажется и во снѣ такой добрага не снился... Да хворый! Ишь вѣдь какой хлипкой! Проживетъ ли долго-то? Теперь ужъ непременно съ нимъ на машинѣ что-нибудь недоброе случится. Пьяныхъ-то не пускаютъ, бьютъ... Каждый разъ его этакъ-то калѣчатъ, пьянаго-то... А что—доберъ, такъ и словъ нѣтъ какъ и похвалить-то его!

Да, добрый, хорошій человѣкъ этотъ портной Артамонушко!

III.

А вотъ и еще тоже несомнѣнно добрый и несомнѣнно хорошій человѣчекъ вспоминается мнѣ. Слово «человѣчекъ» характеризуетъ въ одинаковой степени какъ размѣры его доброты, теряющіяся въ широкомъ просторѣ суровыхъ деревенскихъ порядковъ и отношеній, такъ и подлинныя размѣры самой фигуры Ивана Николаича. Иванъ Николаичъ—крестьянинъ Вологодской губерніи, по ремеслу плотникъ. Аккуратно, въ первыхъ числахъ апрѣля, маленькая фигурка этого добраго человѣчка появляется въ нашихъ мѣстахъ. Маленькій, плохо кормленный и много битый съ дѣтства, Иванъ Николаевичъ покрываетъ всѣ свои физическіе изъяны и недостатки необыкновенною добротою своихъ глазъ, необыкновенною ласковостью, ободриительною пріятностью разговора, ласковымъ, одобряющимъ словомъ. Непріятныхъ, неласковыхъ, грубыхъ словъ или такихъ рѣчей, отъ которыхъ себѣсѣднику Ивана Николаевича стало бы скучно,

трудно или неприятно вообще,—никогда не проносили уста Ивана Николаевича...

— Вот же Господь привел свидѣться! радостно начинать онъ свою рѣчь, появляясь въ нашихъ мѣстахъ, и втеченіи всего время пребыванія, вплоть до 1-го ноября, вы не слышите отъ него иныхъ рѣчей, какъ примѣрно такіа: — «Не беспокойся. Не тужи. Все будетъ сдѣлано! А что ежели матеріалу нѣтъ—найдемъ! хватить, ужъ не сомнѣвайся. Иванъ Николаевъ не такой человѣкъ! Все будетъ сдѣлано, только сами-то справляйтесь, не запускай своихъ дѣловъ! не разстроивайся!»

А когда на Бузьму-Демьяна онъ уходитъ отъ насъ, то ласковыя рѣчи его желаютъ намъ, деревенскимъ обывателямъ, которыхъ онъ обстроилъ или, по его выраженію, «объюталъ»,—жить да поживать «на здоровье», «въ добрый часъ», «на много лѣтъ».

И какъ приходъ, такъ и житье Ивана Николаевича втеченіе лѣта, вплоть до ухода, все это пробуждаетъ въ насъ, деревенскихъ жителяхъ, заутромявшихъ за зиму въ своихъ суровыхъ нуждахъ и печаляхъ, самыя ласковыя, хорошія мысли и самыя веселыя надежды. Да! Иванъ Николаевичъ тѣмъ именно и дорогъ, что въ его плотницкой работѣ главную роль играетъ не одинъ только заработокъ, не одно только исполненіе заказа; есть въ его работѣ еще особенная, только ему свойственная черта—это умѣнье дать вамъ почувствовать удовольствіе *жить* на бѣломъ свѣтѣ, которое онъ вноситъ въ свой разговоръ о заказѣ, въ свою работу и въ способъ ея исполненія...

Огромной записъ врожденнаго благородства и самой подлинной доброты и внимательности къ людямъ, съ которыми Ивану Николаевичу приходится сталкиваться въ жизни,—вотъ единственный его жизненный ресурсъ, основаніе всего его жизненнаго успѣха и даже цѣль собственнаго его существованія. Необычайная доброта и деликатность не покидали его въ самыхъ ужаснѣйшихъ условіяхъ деревенской жизни; худенькій, маленькій, слабый на видъ, онъ съ дѣтскихъ лѣтъ зналъ горе, но безропотно несъ бремя непосильныхъ по его молодымъ годамъ трудовъ. Эта необыкновенная, врожденная деликатность вѣроятно была къ немъ такъ несокрушима и такъ сильно и благотворно дѣйствовала на окружающихъ, что выручила его въ самую критическую минуту жизни, когда однажды ни ему, ни женѣ, ни семьѣ буквально нечего было ѣсть. Грубый, жадный деревенскій кулакъ, міроѣдъ и ростовщикъ самъ, своей волей, безъ всякой просьбы со стороны Ивана Николаевича, пришелъ къ нему и далъ сто рублей безъ всякихъ процентовъ, сказавъ только: «Поправляйся!». И Иванъ Николаевичъ сталъ поправляться съ этихъ денегъ. Такое необыкновенное дѣло могло случиться, именно только благодаря необыкновеннымъ размѣрамъ доброты и порядочности, свойственныхъ натурѣ Ивана Николаевича, — доброты, которая устыдила и размягчила душу грубаго кулака. Въ то же время этотъ эпизодъ въ его жизни, когда онъ едва не сгинулъ отъ нужды и когда вдругъ, не-

жданно-негаданно, его выручилъ и воскресилъ къ жизни самый «худой» человѣкъ деревни,—человѣкъ, котораго многіе проклинали и въ которомъ одна-кожъ оказалась капля доброты, нѣтъ на Ивана Николаевича неизгладимое вліяніе, запечатлѣвъ въ его дѣянія, въ отношенія съ людьми, всю его работу *непрерывнымъ стремленіемъ* внести въ нихъ доброту—добрую цѣль, объютить, облегчить, развеселить человѣка.

Появляясь въ нашихъ мѣстахъ въ первыя числа апрѣля и уходя на Бузьму-Демьяна, Иванъ Николаевичъ сумѣетъ обыкновенно передѣлать втеченіи этого времени множество дѣлъ. Но при общемъ оборотѣ работъ, на сумму не менѣе шестисемь тысячъ рублей, онъ рѣдко уноситъ съ собою заработокъ болѣе, чѣмъ въ полтораста рублей. И если разсчитать, что заработокъ этотъ образуетъ только потому, что въ артели его есть родной сынъ, которому онъ не платитъ ничего, то окажется, что самъ-то Иванъ Николаевичъ почти ничего не зарабатываетъ втеченіи семи мѣсяцевъ, а только былъ сытъ. Но Иванъ Николаевичъ, уходя, всегда былъ ужасно счастливъ, всегда сіялъ, всегда былъ провозжаемъ самыми искренними словами благодарности и при скромной умѣренности своей жизни былъ вполне доволенъ этимъ ничтожнымъ заработкомъ, который даетъ ему возможность только перезимовать зиму. Но во сто разъ больше заработка былъ онъ доволенъ тѣмъ, что всѣ имъ довольны, что всѣмъ онъ сдѣлалъ добро, всѣхъ объютить, успокоилъ, развеселилъ и приободрилъ жить на бѣломъ свѣтѣ, т. е. сдѣлалъ то главное дѣло, которые главнымъ и важнымъ считала его благородная душа.

«Объютать человѣка»—вотъ основная потребность его души и вотъ та точка зрѣнія, съ которой онъ смотрѣлъ на всѣ свои заказы.

— Погляди-ко, Иванъ Миколанчъ, мою хибарку-то... Того и гляди, братецъ мой, завалится, народъ передавить!

Говорить это Ивану Николаевичу самый бѣднѣйшій мужикъ деревни. Онъ захудалъ, ослабѣлъ, нарождаетъ кучу дѣтей и не видитъ никакого выхода изъ своего убійственнаго положенія. Ребятъ не во что одѣть. Цѣлую зиму наприимѣръ не можетъ выйти на улицу мальчикъ лѣтъ девяти — не въ чемъ; этотъ бѣдный ребенокъ... не можетъ на салазкахъ покататься, ни въ школу пойти, потому что буквально нечего надѣть. Весной, когда начало все таять, щебегать, журчать и когда девятилѣтній мальчикъ, всю зиму валявшійся на полухолодной печи, со слезами сталъ просить «мамынку» дать ему подышать на воздухъ, такъ мать должна была завернуть исхудалаго ребенка въ свое старое платьишко и вынести его, девятилѣтняго, на рукахъ на воздухъ—ни чудокъ нѣтъ, ни сапогъ—ничего!..

Сообразно съ такой нищетой въ пищѣ, въ одеждѣ, и домишко захудалаго бѣдняка тоже пришелъ въ совершеннѣйшій упадокъ. Отъ сырыхъ оконъ, отъ невысыхающихъ отъ грязи и сырости половъ, весь полъ прогнилъ, весь фасадъ избы накренился

вперед и подь давленіемъ огромной старой крыши такъ и пачется лбомъ въ землю.

Поглядитъ Иванъ Николаевичъ на все это нищенство, но поглядитъ не какъ «благодѣтель» и не какъ человѣкъ, презирающій бѣдняка, а все съ тою же ласковостью въ глазахъ и въ обращеніи, которая никогда и ни въ чемъ его не покидаетъ.

— А матеріалу никакого не будетъ на поправку? спросилъ Иванъ Николаевичъ ласково.

— Не будетъ, Иванъ Николаевичъ! Никакого матеріалу не будетъ!

— Такъ мы въ такомъ случаѣ и безъ матеріалу оборудуемъ, обьютимъ!

— Яви божескую милость, Иванъ Николаевичъ, а тебѣ заслужи!

— Обьютимъ! Ничего! Вотъ дай мнѣ сообразить, посчитать, а тебѣ тогда все помаленьку выправлю... Не тужи, все обладать по хорошему! А деньжонокъ—тожъ поди недохватка?

— Ничего, даже ни Боже мой, нѣту денегъ! Передъ истиннымъ Богомъ, вотъ нисколько нѣту!

— И это не препатствуетъ! А мы и такъ обоюднымъ, тихимъ манеромъ обдѣлаемъ. Только вотъ соображусь... Все будетъ хорошо! Все по хорошему обладимъ.

Еслибы Иванъ Николаевичъ работалъ изъ-за барыша, то ему ни въ какомъ случаѣ не слѣдовало бы брать на себя такихъ работъ, какъ «обьютить бѣдняка безъ матеріала и безъ денегъ», но напротивъ онъ именно постоянно и бралъ такіа работы, потому что ему было весело, пріятно и *важно* вызволить, оправить, возродить къ жизни именно погибшаго, несчастнаго, захудалаго человѣка...

Вслѣдъ за бѣднякомъ другой крестьянинъ тоже обращается къ Ивану Николаевичу съ просьбой: онъ недавно женился и хочетъ отойти отъ братьевъ, бабы ссорятся и хочется ему постройся, а денегъ у него мало.

— А сколько у тебя денегъ-то?

— Да всего рублей подь сотню есть. Только и денегъ всего!

Подумаетъ, подумаетъ Иванъ Николаевичъ и скажетъ:

— Надобно тебя обьютить! Маловато деньжонокъ-то, что дѣлать, да вѣдь не дожидаться же, пока ты тысячи наживешь!..

И беретъ работу и обьютить и бѣднягу, и того, у кого только сто рублей денегъ.

Такимъ образомъ всякій разъ, когда Иванъ Николаевичъ, придя къ намъ, наберетъ себѣ всевозможной работы—у купцовъ, у помѣщиковъ, у богатыхъ и у бѣдныхъ мужиковъ—первѣйшая его забота состоятъ въ томъ, чтобы обдумать, съ кого сколько взять и какъ это взятое распределить такъ, чтобы *хватило встѣмъ*.

Вечеромъ, сидя въ кабакѣ, гдѣ онъ обыкновенно нанимаетъ квартиру съ йдой (самъ онъ не пьетъ ни капли), Иванъ Николаевичъ составляетъ, полагимъ, смѣту на постройку большихъ амбаровъ для купца Семипалова. Онъ считаетъ самымъ добросовѣстнымъ образомъ; но, думая о купцѣ, не забываетъ и бѣднягу, у котораго домъ повалился и ко-

торого онъ обѣщалъ обьютить, и вотъ онъ къ смету въ пятьсотъ рублей приписываетъ «десятку» на бѣднягу.

— Что десятка купцу! говоритъ онъ и смѣло пишетъ пятьсотъ десять рублей. А продолжая обдумывать этотъ подрядъ во всей подробности, онъ не забываетъ и того мужика, у котораго денегъ только сто рублей.

— Вотъ эти бревна и этотъ тесъ, и этотъ камень мнѣ стало-быть Михайло перевозить... Столько-то возовъ, столько-то день, стало-быть Михайлѣ въ его постройку придетъ столько-то денегъ...

Иванъ Николаевичъ могъ бы взять любого поденщика, но онъ помнитъ Михайлу, у котораго не хватаетъ на постройку, думаетъ о немъ, знаетъ, что не дожидаться же ему, пока онъ наживетъ тысячу рублей—и вотъ въ своей работѣ даетъ заработокъ и своему заказчику.

Купецъ Семипаловъ послалъ Ивана Николаевича на пристань купить лѣсу. Иванъ Николаевичъ *заодно, за одно поѣздку* покупаетъ и задвижки для дома того мужика, у котораго не хватаетъ, прикупаетъ обрѣзки, которые тутъ на пристани продаютъ задешево, помня, что бѣднягу-мужика надо вызволить, что ему самому негдѣ купить, что за одинъ пріѣздъ на пристань и за одѣв и тѣ же деньги онъ сразу дѣлаетъ то, что нужно бы было дѣлать потомъ особо и особо тратить деньги. Везутъ въ вагонѣ лѣсъ купцу Семипалову—и Иванъ Николаевичъ сюда же въ вагонъ прикидываетъ и тѣ обрѣзки, которыя нужны для бѣдняги... Обрѣзки онъ купилъ на свой счетъ и истратилъ пять рублей—эти пять рублей самъ же бѣдняга выработаетъ у него; лошади у него нѣтъ, телѣги нѣтъ, возкой заниматься нельзя—копай канавы подь столбы, вотъ тебѣ заступъ въ руки...

Непрестранно руководствуясь заботой о необходимости обьютить того или другого человѣка, неимѣющаго къ этому средствъ, Иванъ Николаевичъ не броситъ даромъ ни единого гвоздя, ни единого обрѣзка бревна или доски, не подумавши о томъ,—не пригодится ли этотъ обрѣзокъ или кусокъ жѣлѣза гдѣ-нибудь въ его практикѣ? При его постройкахъ не остается ненужнаго, лишняго или никуда негоднаго, у него все идетъ въ дѣло—остатки драги, совершенно ненужные купцу, очень нужны бѣдняку, и они появляются на крышѣ бѣдняка; эти обрубки, изъ которыхъ можно пожалуй напилить полсажени дровъ, въ домѣ Михайлы пойдутъ на подоконники и т. д. Онъ не благодѣтель, не благотворитель, не филантропъ—онъ просто добрый человѣкъ, думающій о чужой нуждѣ, радующійся, что можетъ вызволить человѣка, и въ самомъ дѣлѣ вызволить его всегда.

Вотъ отчего, какъ появленіе Ивана Николаевича въ нашихъ мѣстахъ, такъ и его уходъ всегда доставляютъ намъ, деревенскимъ его знакомымъ, истинное удовольствіе и радость: къ намъ является человѣкъ, который непременно сдѣлаетъ всѣмъ намъ что-нибудь хорошее, обрадуетъ насъ—и мы весело и любовно встрѣчаемъ его; а когда онъ

уходить, то хорошее, которые мы ожидали отъ него, всегда уже сдѣлано, видно намъ: Михайло жить въ новомъ домѣ, домъ бѣдняка выправился и сталъ похожъ на домъ, купецъ Семипаловъ доволенъ, доволенъ и помѣщикъ Болпаконъ. Со всѣхъ сторонъ къ Ивану Николаевичу несутся благодарности, самыя искреннія, и самъ Иванъ Николаевичъ на всѣ стороны расточаетъ поцѣлуи, объятія и ласковыя слова — «дай Богъ на много лѣтъ», «дай Богъ въ добрый часъ», «на здоровье» и т. д.

И вполнѣ довольный тѣмъ, что никому худа не сдѣлалъ, а напротивъ сдѣлалъ только добро, довольный тѣмъ, что не покривилъ душой, что дѣлалъ такъ, какъ велитъ совѣсть, Иванъ Николаевичъ послѣ семимѣсячныхъ трудовъ весело уѣзжаетъ на дровняхъ съ своимъ сыномъ въ Вологодскую губернію, домой.

IV. На бабьемъ положеніи.

Кстати, расскажу здѣсь одинъ очень трогательный эпизодъ изъ жизни этого самаго Ивана Николаевича. Возвращаясь однажды со станціи, куда лѣтомъ вмѣстѣ прогулки ходилъ за письмами и газетами, встрѣтилъ я Ивана Николаевича и мы пошли вмѣстѣ.

Шли мы, разговаривали кой о чемъ и видимъ — въ канавѣ около шоссе что-то какъ будто шевельнулось. Иванъ Николаевичъ первый ускорилъ шагъ, подошелъ къ тому мѣсту, гдѣ шевельнулось, и стоитъ. Подошелъ и я.

— Вѣдь человѣкъ лежитъ, сказалъ онъ. — И никакъ ужъ померши?

Въ травѣ, которую заросла канава, дѣйствительно лежалъ человѣкъ. Онъ упалъ на кучу щепки, и она такъ подпирала его въ поясницу, что лохматая, мокрая голова его круто опрокинулась назадъ, а скомканная борода торчала вверхъ, посконная рубаха была на немъ разстегнута, изорвана; ноги босы.

— Эко напился-то, сказалъ Иванъ Николаевичъ, уже соскочившій въ канаву и, сбросивъ съ плечъ мѣшокъ съ какими-то инструментами, принялся за изслѣдованіе бездыханнаго человѣка. Онъ низко наклонилъ ухо къ его лицу, послушалъ, потомъ припалъ ухомъ къ груди и сказалъ тревожно:

— И дыханія-то нѣту нисколько!.. Разить вишицемъ, а дыханія нѣту!

Кстати сказать: такихъ бездыханныхъ пьяницъ нерѣдко встрѣчаешь въ такихъ мѣстахъ, но, не имѣя возможности помочь, проходишь обыкновенно мимо. Обыкновенно посмотришь на этотъ полутрупъ и идешь мимо... Баясъ, что будь я одинъ и на этотъ разъ бездыханный человѣкъ такъ-бы и остался въ канавѣ. Но сердце Ивана Николаевича было чувствительнѣе моего; я стремился домой поскорѣе взяться за газеты; онъ же хотя тоже спѣшилъ по дѣлу, однако бросилъ его, остановился и самымъ внимательнымъ образомъ отнесся къ чужому человѣку.

— Ахъ ты, братецъ ты мой! говорилъ онъ, суетаясь около бездыханнаго тѣла.

Онъ съ огромными усиліями приподнялъ его тѣло, подхватилъ его подъ плечи, трясъ его, кричалъ: «Эй, любезный, очнись!», но ничего не дѣйствовало, и Иванъ Николаевичъ долженъ былъ опустить пьянаго на прежнее мѣсто, пододвинувъ ему подъ голову камень.

— Что тутъ дѣлать? сказалъ онъ въ раздумьи и взялся было за мѣшокъ съ инструментами, чтобы продолжать путь, но опять его жалостливое сердце не пустило его. Онъ опять проворно сбросилъ мѣшокъ и армякъ и оживленно сказалъ:

— Нѣту! такъ оставить нельзя! ему надѣтъ дыханіе удѣлать!

И вотъ какъ онъ «удѣлалъ». Сначала онъ всячески старался разжать мертво-пьяному ротъ; онъ тянулъ его за бороду, но зубы пьянаго были крѣпко сжаты, стиснуты предсмертной судорогой. Тогда Иванъ Николаевичъ запустилъ палецъ за щеку своего пациента, нащупалъ тамъ мѣсто, гдѣ не хватало двухъ зубовъ, и выскочивъ изъ канавы, сломалъ у живого куста толстую палку, немножко заострилъ топоромъ конецъ, и запустилъ этотъ острый конецъ между зубовъ, сталъ вбивать его ладонью дальше, точно такъ-же, какъ вбиваютъ гвоздь въ стѣну...

— Она, расклепа-то, разожметъ зубье-то!... весь мокрый отъ хлопотъ и волненія, говорилъ Иванъ Николаевичъ, загоняя свой клинъ «между зубьевъ». Операция была жестокая, но въ концѣ концовъ стиснутые зубы были разжаты, и вскорѣ послышалось хрипѣніе...

— Эво! Эво! радостно воскликнулъ Иванъ Николаевичъ, заслышавъ дыханіе, и тотчасъ снялъ шапку и перекрестился.

Покуда происходило все это, подошелъ народъ, помогъ Ивану Николаевичу растряссти полумертваго человѣка, затѣмъ окликнули нѣсколькихъ «порожняковъ», возвращавшихся со станціи и съ полей по домамъ, спрашивая: «не вашъ-ли?». Наконецъ очнувшійся человѣкъ былъ общими усиліями уложенъ въ телѣгу какого-то крестьянина, который его призналъ и отправилъ его во свояси.

А мы съ Иваномъ Николаевичемъ пошли своей дорогой.

— Отдохъ! Ну, слава тебѣ, Господи! не разъ повторялъ онъ. — Эко вѣдь наглотался винища. Ну, слава тебѣ Господи!

— Однако, сказалъ я, — какой ты добрый человѣкъ! Не случись тебя, вѣдь человѣкъ-то бы померъ!

— И померъ-бы! Нешто кто безпокоится? А я про себя прямо тебѣ скажу, сердце у меня жалостливое!

Иванъ Николаевичъ сказалъ это такъ просто и чистосердечно, что еще больше понравился мнѣ.

— Я человѣкъ добрый! продолжалъ онъ. — (О своемъ у меня сердце не такъ болитъ, какъ о чужомъ... Я, братецъ мой, не покинута человѣка въ нуждѣ. Это мнѣ Господь Богъ далъ! и что-жъ? Я не обижаюсь! Бога гнѣвить нечего! Живу на свѣтѣ, никому обиды не дѣлаю.

Искренно сочувствовалъ я Ивану Николаевичу

и не находилъ словъ для похвалы его поступку, который сталъ казаться мнѣ положительно подвигомъ, среди вообще обычнаго невниманія къ чужой нуждѣ. Похвалы мои пришлись Ивану Николаевичу по сердцу, онъ и самъ поддерживалъ ихъ, просто душно говоря—«да, братъ, совѣсть у меня чистая», «вотъ какое у меня сердце—за первый сортъ!». Но среди моихъ и своихъ собственныхъ похвалъ, Иванъ Николаевичъ какъ-то вдругъ задумался и вздохнулъ.

— Вотъ, сказалъ онъ,—хвалишь ты меня!.. Это точно, дѣйствительно, доберъ я!.. А есть у меня на душѣ такой камень—въѣтъ не изжить!.. Вотъ этими самыми руками избилъ, изтиранилъ неповиннаго человѣка! Вотъ какъ я доберъ! А доберъ въдѣ—передъ Богомъ! А такъ вышло, что едва на смерть не убилъ человѣка. И за что? Ни за что, окромѣ что—человѣкъ золотой, пѣны ему вѣту! Вотъ какъ иной разъ оборачивается на свѣтъ!

— Какъ-же такъ? сказалъ я.—Это что-то непонятно.

— А вотъ послухай, какъ дѣло-то было. Остался я сиротой послѣ матери одиннадцати годовъ. И семья наша была такая: слѣпой дѣдъ на печи, отецъ да трое ребятъ, мальчики. Одному годъ, другому три, а самый-то старшій я. Вотъ и думаю, какъ тутъ жить? И вышло такъ, братецъ ты мой, что пришлось мнѣ на бабьемъ положеніи жить: не хотѣть дѣвки-то за отца моего идти. И вотъ я прямо и сталъ на бабье дѣло: и стрѣпать, и за скотиной, и за ребенкомъ, и шить, и чулки вязать—все у меня стало происходить по бабьему. Вотъ откуда у меня жалостливое сердце-то началось. Бывало бешься, бешься съ годовалымъ-то братишкой—и соску ему, и сказку, и пѣсню—все надо! И вымыть надо, и обути, и причесать, и укачать, и накормить, и напоить, и выстирать. А тамъ птица, скотина—все я, да я. И тутъ узналъ я бабье горе, вотъ какъ узналъ! И такимъ родомъ до четырнадцатаго году я одинъ на бабьемъ положеніи хозяйствовалъ: ну, другъ ты мой, какъ ни бейся, а бабы не миновать... Дѣло-то бабье справлено, а бездѣлья-то бабьяго не хватаетъ... анъ оно и скучно!.. И надумай родитель жениться, благо случай подошелъ; вдова на деревнѣ оказалась и тоже съ тремя ребятами. Эта, другъ ты мой, безъ мужика совсѣмъ измаялась, тутъ ужъ и бабье дѣло надо править, и мужичье, и грудью кормить, и ночью дрова воровать—все самой... Измаялась баба, пошла за моего отца. Да и отецъ тоже намучился, махнулъ рукой на то, что трое ребятъ у Аграфены (ее Аграфеной звали)—взялъ ее. И выросла наша семья—девять душъ; и все мелкота, да окромѣ мелкоты и дѣдъ слѣпой на печи, тоже не лучше малаго ребенка. И всѣ вѣтъ просятъ; самъ не возьмешь, всякому дай, въ ротъ положи, обуи, умои, одѣнь. И такъ я бабью часть чувствовалъ и сердцемъ страдалъ, что съ перваго дня стали мы съ Аграфеной не то брать съ сестрой, а какъ сестра съ сестрой—вполнѣ родныя сестры; хлопоты у насъ однѣ, заботы однѣ и мысли одинаковыя, бабы. Я понимаю, что ей надо, она понимаетъ и

даже безъ разговору, что мнѣ, какъ есть—какъ двѣ сестрицы. Ну, истиннымъ Богомъ—ни Боже мой! Вѣдъ бабій разговоръ особенный, съ непривычки не разберешь—чего стрекочутъ? А мы съ Аграфеной все до тонкости понимаемъ. И какъ видитъ она, что я жалостливъ, что я ночью къ своему братишкѣ встану покачать, такъ и ейнаго ребенка не кину, и крѣпко она меня полюбила, а какъ полюбила-то, и въ моихъ хлопотахъ по бабьей части подсоблять стала, и за моими братишками какъ за своими ходить, а за это я ее полюбилъ. И стали у насъ однѣ мысли и однѣ заботы, и разговоры у насъ съ ней свои... Иной вѣтъ пѣсни запоемъ, иной поцѣлуемся—и передъ Богомъ—ни, ни!.. И въ умѣ не было... А точно, что водой не разлей!.. И пошла про насъ молва!.. И сталъ на меня родитель, царство ему небесное, сѣрымъ волкомъ глаза палить... Что меня Аграфена похвалить, али я ее похвалю, али пошутимъ съ нею—то глазищи у него алѣй, да злѣй... А пошелъ мнѣ ужъ шестнадцатый годъ и парень я былъ въ полномъ видѣ. Бывало, ночью стану собираться въ лѣсъ за дровами, Аграфена безпремѣнно не спать, снаряжаетъ меня, въ тепло одѣваетъ, крестить и... поцѣлуемся, а глянешь на полати—оттуда два глаза какъ уголья горять... И что дальше, то больше! Вступилъ ему грѣхъ въ сердце—разгорается съ каждымъ днемъ въ полнѣ! Сталъ насъ караулить, поглядывать... Иной разъ на рѣчкѣ или на гумнѣ стираемъ, работаемъ—охватить мнѣ Аграфена голову: «охъ, ты, золото, говорить, мое! Какъ-бы я безъ тебя на свѣтъ-то жила?» Хватъ, а родитель тутъ и есть! И ровно бы бѣсъ въ него вселился... Не принимаетъ никакихъ резоновъ, а главная причина не можетъ понимать нашего бабьяго разговора... «Чего шепчетесь?» А чего намъ шептаться? Иное что по бабьему нашепчешь—по мужички-то и въ недѣлю не перескажешь... Никакой вѣры не даетъ! До того стало доходить, что дѣдъ слѣпой говорить мнѣ:—«Иванъ! А отецъ-то хочетъ тебя ядомъ извести!» И сталъ меня родитель обижать, поколачивать, за волосы напиримѣръ, а это Аграфенѣ—смерть... Реветь, реветъ, заступається. У нея душа добрая, не хуже моей, почитай, будетъ!.. А Аграфенины слезы нуще его разбираютъ—все больше да больше сатанѣтъ сталъ. Ходить по людямъ, говорить:—«Такъ и такъ! Иванъ, эво что съ мачихой-то!..» И по народу пошло... Слышать:—«Билъ Ваньку-то». «Аграфена ревмя ревѣла.—«Опять билъ... поймалъ...» А потомъ Аграфену сталъ бить... Ну, я тоже сталъ заступаться—и еще хуже стало! Что тутъ дѣлать? Священникъ даже исповѣди не далъ! «Твоего грѣха, говорить, невозможно простить, а надобно въ судъ. Этакой страсти никто не запомнить, что ты съ Грунькой творишь!..» Что мнѣ тутъ дѣлать?.. Весь народъ отъ меня отступился, стали мы съ Аграфеной какъ проклятые... И она, и я глазъ не осушаемъ, а отъ этого еще больше въ народѣ подтвержденіа! Не стало намъ житья въ домѣ! Все стало вразбродъ, все къ худу... А родитель пьетъ и буянить...

Какъ мнѣ правду доказать? Какъ мнѣ всѣхъ успокоить, очиститься предъ родителемъ, предъ на-

родомъ, предъ батюшкой—священникомъ? Думалъ, думалъ, пошелъ къ отцу Сергію, нашему священнику—говорю: «Такъ и такъ! Явите божескую милость, освободите мою душу: ни въ чемъ не повиненъ! Не толь-что... а и въ мысляхъ этого дѣла не было!» И какъ было надо по моимъ смысламъ дѣло разсказать, все я батюшкой описалъ... Не можетъ онъ понять этого, т. е. бабьяго моего положенія, мыслей-то моихъ бабьихъ, дружба-то моего бабьяго не постигаетъ! Ну однако-же, глядя на мои рыданія, подумалъ и говорить:—«Вотъ какъ я присовѣтую: пускай ты и Аграфена предъ родителями твоими, предо мной и предъ народомъ поклянется предъ крестомъ и евангеліемъ, что этого не было... А клятву, говорить, я напишу на бумагу».—«Батюшка говорю, какую угодно клятву наложите! Чтобъ насъ громъ разразилъ, чтобы на мѣстѣ помереть, чтобы глаза вытекли, чтобы заживо черви съѣли, что только угодно, все готовы!» Ну, отецъ Сергій говорить:—«Ладно! Первоначально надобно, говорить, отца твоего урезонить...» И дай Богъ ему царство небесное, не полѣнился самъ къ родителю пойти. Долго-ли, коротко-ли онъ его уговаривалъ, этого не помню, не въ себѣ я былъ и разсудокъ у меня помрачился... Окончательно скажу, призываетъ меня отецъ Сергій:—«хорошо, говорить, назначается быть клятвъ въ воскресенье. Какъ отойдетъ обѣдня, то я съ крестомъ и евангеліемъ приду въ домъ къ родителю твоему, и народъ будетъ допущенъ, и вы съ Аграфеной предъ всѣми нами принесете клятву. Видно будетъ—правду-ли, не правду-ли скажете!» Палъ я ему въ ноги, поблагодарилъ, объявилъ Аграфенѣ: «Смотри, говорю, сестричка, не робѣй! Наше дѣло чистое, намъ бояться нечего!» Наконецъ приходитъ воскресенье, отстояли мы съ Аграфеной заутреню и обѣдню (всю субботу не пивши, не ѣвши были—батюшка приказалъ), идемъ всѣмъ миромъ въ домъ. Впереди причтъ, потомъ батюшка со крестомъ и евангеліемъ, родитель мой, мы съ Аграфеной ровно колодники, а кругомъ, и на задѣ, и по бокамъ—вся деревня! И бабы, и мужики, и дѣти—сѣмьѣ нѣту народу. Изба полнымъ полнехонька! Подъ окномъ—тѣмъ тѣмущалъ! въ сѣнахъ—биткомъ набито!..

Положилъ батюшка крестъ и евангеліе, помолились всѣ; сѣлъ мой родитель какъ разъ противъ евангелія и креста на лавкѣ, а батюшка съ боку сталъ. Таково мнѣ было, другъ ты мой, жутко да ознобно, и не знаю съ чего. Гляжу на родителя—сидитъ, глазъ съ меня не спускаетъ, прямо такъ вотъ и вонзился въ меня... Охолодѣлъ я и замеръ весь, однако-же переселился, думаю—дѣло мое правое, что мнѣ робѣть. Господь мнѣ поможетъ.—«Ну, Иванъ, говоритъ батюшка, перекрестись и говори за мной чистосердечно, и гляди, говорить, прямо родителю твоему въ глаза». А въ рукахъ у него бумага; перекрестился онъ и сталъ вычитывать... И вотъ тебѣ мое слово: ежели-бы я отца родного убилъ и кровь его пилъ, и то бы тѣ его слова ужаснули бы меня и всякаго крещенаго человѣка. Будь ты хоть какой злодѣй и то-бы палъ и повинился! И невозможно пересказать этого!.. Даже дыханіе у

меня все сдвинуло, но чувствую я, что мнѣ нельзя плошать, собралъ все свое сердце въ комокъ, прямо вонзился отцу въ глаза и съ твердою совѣстью каждое слово повторялъ.. А родитель не сморгнетъ: бѣлый весь, дрожитъ, глаза красные, такъ и впилился. И который былъ въ горнищѣ, въ сѣняхъ и на улицѣ народъ—точно померъ! Долго-ли, коротко-ли... ужъ не упомяну... только слышу: «Ну, цѣлуй крестъ и евангеліе!» Приложился я, ударило меня жаромъ всего, глянулъ я на народъ, вижу—какъ будто хорошо! Вѣруютъ въ меня, даже батюшка Сергій какъ будто подобрѣлъ... «Ну, думаю, Аграфена, крѣпись!» А на ней лица нѣту. Подбодрить ее, знакъ дать, чтобъ не робѣла—сейчасъ по кривому растолкуютъ... Тутъ я только уставилъ на нее глаза не хуже моего родителя—а родитель все такой-же сидитъ, прованзительный.—«Ну, сказалъ батюшка,—иди ты, Аграфена!» Шевельнулся народъ и бабы зашумукали... Вышла Аграфена—ни жива, ни мертва... Зло меня взяло... Гляжу на нее ястребомъ, а отецъ мой злымъ коршуномъ. Помолчилась, поклонилась. «Ну, Аграфена, клянись за мной...» И сталъ опять-же батюшка вычитывать...—«Что-жъ ты, братецъ ты мой? Вѣдь съ третьяго слова сбилась! Затряслась! залилась! завывала! Загладѣлъ народъ, разорвало у меня сердце, выскочилъ я, да за волосы ее...—«Ахъ ты, подлая! Осрамила ты меня, проклятая!» Да Боже мой что! И ужъ что было! И какъ и когда кончилось—ничего не помню! Весь въ крови и безуміи бѣгу, бѣгу, братецъ ты мой, нѣтъ деревни, и невѣдомо куда... Охъ, батюшка, Господи милостивый! Что такое бываетъ на свѣтѣ? И не вздумаешь, не сгадаешь! А каковъ камень-то я на душу навалилъ!

— Что-же потомъ-то было съ вами?

— Ушелъ я! Ушелъ на заработокъ... Вотъ когда я по плотницкой-то части пошелъ! Не могъ жить въ домѣ! Нѣтъ моихъ силъ! Едва родную-то мою, сестрицу-то, вѣдь не убилъ! Слегла хворая, горюшко-бѣдная! И ужъ жалости во мнѣ не стало, не чувствую ничего, такъ и ушелъ! Вотъ вѣдь какъ на свѣтѣ-то случается!..

— Гдѣ-же теперь эта Аграфена? Жива?

— Да у меня-же, весело сказалъ Иванъ Николаевичъ,—другъ ты мой сердечный, вѣкъ доживаетъ! У меня въ дому! Померъ родитель-то, царство ему небесное,—почувствовалъ, повѣрилъ, что не виновата... Вѣдь этому лѣтъ двадцать пять, а поди и побольше было... Теперь ужъ братишка-то мой подбланился, а Аграфена ни къ кому не пошла жить, вѣкъ доживать, даже къ дѣтямъ не пошла, только ко мнѣ! «Возьми меня къ себѣ, солнце ты мое золотое!»—вотъ вѣдь что и посейчасъ у ней обо мнѣ! Старая-старенькая, сидитъ на печкѣ, смерти жлетъ, умалась горькая. А вернусь я съ заработкомъ посаѣ Бузьмы-Демьяна—«золотой ты мой!.. Дай-ко мнѣ поглядѣть-то на тебя, солнышко красное!» Вотъ вѣдь какъ!..

Мокрые были глаза у Ивана Николаевича.

— Нѣтъ, Иванъ Николаевичъ, все-таки ты добрая душа! сказалъ я ему на прощаньи.

— Благодаримъ покорно! Точно, что худова не люблю... А вѣдь это какой грѣхъ вышелъ!

У. У р о ж а й.

I.

...Послѣ долгаго, почти четырехмѣсячнаго отсутствія изъ мѣста моего «жительства», часу въ третьемъ темной и свѣжей августовской ночи я вновь очутился на платформѣ «нашей» желѣзнодорожной станціи... и недоумѣвалъ: по крайней мѣрѣ минуль пять прошло съ той минуты, какъ остановили поѣздъ, и я вышелъ изъ вагона, а мой сакъ-вояжъ и такъ называемые «ремни» были еще въ моихъ рукахъ, то-есть вопреки многолѣтнему опыту никто еще изъ мѣстныхъ мужиковъ не вырвалъ изъ моихъ рукъ этого сакъ-вояжа и этихъ ремней, никто изъ нихъ меня не теребилъ ни за рукавъ, ни за полу, таща къ своей телѣгѣ, никто не умолялъ, до земли кланяясь, чтобы я прокатился съ нимъ, такъ какъ онъ уже второй день безъ работы.

Втеченіи по крайней мѣрѣ десяти лѣтъ я привыкъ, подъѣзжая къ нашей станціи, чувствовать необходимость возбуждать въ себѣ нѣкоторую искусственную храбрость и даже искусственное ожесточеніе; я зналъ, что едва я выйду изъ вагона, какъ «мужики» меня «разорвутъ», расхватаютъ вещи, разнесутъ ихъ по разнымъ повозкамъ, такъ что потомъ надобно и самому ругаться съ мужиками и видѣть, какъ мужики ругаются изъ-за пассажира. Искусственное ожесточеніе необходимо было на то, чтобы «отбитыся» отъ мужиковъ, а для этого прежде всего необходимо было крѣпко «вѣщцаться» въ свои вещи и сразу ринуться изъ вагона сквозь толпу къ тому изъ мужиковъ, съ которымъ порѣшишь ѣхать. Всему этому научила многолѣтняя практика; все это я продолжалъ и въ настоящій мой пріѣздъ на станцію, то-есть заблаговременно прибрался, вѣщился въ вещи и готовъ былъ ринуться грудью сквозь рвущую на части и орущую толпу, но вмѣсто того вотъ уже пять минутъ, какъ я, «вѣщившись» въ вещи, хожу по платформѣ, а меня не только никто не рветъ на части, не теребитъ, не тащитъ, но напротивъ я самъ жду, не дожлусь, чтобы кто-нибудь пришелъ, освободилъ меня отъ моихъ вещей, которыя мнѣ оттянули руки, взялъ бы ихъ отъ меня и отвезъ бы домой.

— Что же это такое? въ недоумѣніи вопрошалъ я самъ себя, положительно не зная, чѣмъ объяснить себѣ такое необыкновенное явленіе.

— Позови-ка пожалуйста извозчика! сказалъ я сторожу, оставшемуся на платформѣ, послѣ того какъ поѣздъ ушелъ.

— Да извозчиковъ нѣту, вашекобродіе! отвѣчалъ онъ.

— Отчего же нѣту?

— Да не вѣдать что-то... И такъ публика жалуются... Сказываютъ такъ, что урожай Господь далъ—ну вотъ, имъ и не охота!

— Это вѣрно! подтвердилъ, подойдя къ намъ, какой-то сельскій купецъ съ полушкой подъ мыш-

кой, также оставшійся безъ лошадей.—Урожай Господь далъ ужасственный! Сказываютъ, на два года хлѣба хватить... Старожилы не запомнятъ эдакого урожая...

— Такъ нельзя ли сбѣгать, попросить кого-нибудь «изъ одолженія»?

— Ну вѣтъ, сказалъ купецъ.—Наврядъ теперь кто поѣдетъ. Теперь, когда Господь ихъ такъ помиловалъ, поглядялось, какого храпу они задаютъ! Его пушкой теперь не прошибешь. Окромѣ какъ у лавочника, у Кузьмы Демьяныча, ежели чество попросить, пожалуй что наврядъ кто согласится. Онъ теперь, мужикъ-то, за сто рублей не проснется!

Рѣшили послать сторожа къ Кузьмѣ Демьянычу.

— Да! промолвилъ купецъ, испустивъ глубокій, облегчающій душу вздохъ.—Слава тебѣ, Господи!.. Такая благодать Господня на нашихъ мужиченковъ свалилась, и непривидано!.. Такую поправку Господь ниспослалъ—во снѣ никому не снилось... А мужикамъ хорошо и всѣмъ будетъ поприятнѣй!

Слушая эти слова, я чувствовалъ, что какая-то лавнишная, прочно улежавшаяся тягота, вдругъ свалилась съ моей души, привычной быть стиснутой и придавленной. Что-то свѣжее, теплое расширило мою грудь, облегчало и сердце, и мысль, и вообще все и во мнѣ, и вокругъ меня какъ-то освѣтлѣло, и все отъ этого неожиданнаго слова—«урожай!».

— Неужели въ самомъ дѣлѣ «хватить» на два года? радостно думалъ я, но непривычная къ свѣтлымъ фантазіямъ мысль не смѣла еще представить себѣ всѣхъ тѣхъ послѣдствій «божьей благодати», которая посѣтила наши вѣчно полуголодные мѣста.

И въ то же время я ясно сознавалъ, что нельзя иначе называть то, что неожиданно посѣтило наши полуголодные мѣста, какъ именно «божья благодать». Что это такое «урожай»? Что такое «хватить на два года хлѣба»? Это значить, что въ каждой семьѣ и въ отношеніяхъ однѣхъ семей къ другимъ, а затѣмъ и въ отношеніяхъ общественныхъ окажется возможность «жить и поступать со спокойной совѣстью».

Здѣсь, вотъ въ этой семьѣ, ребяты больше, чѣмъ можно прокормить, а труда и не сосчитать какъ много сравнительно съ тѣмъ, что даетъ скупая земля—и у человѣка на душѣ тьма, тоска за ребяты, злора на бабу, которая родитъ безъ всякаго смысла и разчета, злора на сосѣда, которому не пришлось отдать занятого въ срокъ и который однако на основаніи своего права также можетъ быть злымъ, можетъ жаловаться, мучить, можетъ довести до мысли о мести, т. е. до явной неправды, до желанія сорвать злость «за все это» на бабѣ, на ребенкѣ, или залить горе въ кабакъ... Это—когда не родило, когда земля поскупилась вознаграждать тяжкіе праведные труды; но все это зло, и вся эта тоска, и вся эта неправда, все прахомъ разсыплется теперь оттого, что Господь уродилъ хлѣба на два года: жена вовсе невиновна, что много нарожала—всѣмъ, слава Богу, хватить; съ сосѣдомъ, у котораго было занято, никакой ссоры и кляузы не выйдетъ—все будетъ отдано «съ удовольствіемъ», въ срокъ, часть въ часть, по честности:

«слава Богу — есть!» Судейской кляузѣ мѣста теперь нѣтъ, не придется и старшина: все въ порядкѣ, все отдано, заплачено, безъ ссоры, безъ попуваній, безъ выдумки о томъ, чтобы какъ-нибудь изловчиться не заплатить или избѣжать навазанія: все хорошо, у всѣхъ на душѣ спокойно, чисто, не виновато, не скребетъ, не точитъ, не ѣсть... И въ себѣ, и въ людяхъ все освѣтлѣло, все думается и дѣлается по настоящему, то есть съ свободнымъ духомъ, не запутанною совѣстью.

Истинно «божія благодать»!

Но опять-таки скажу, не хватало моей фантазіи представить себѣ всю массу благороднѣйшихъ явленій, которая эта божья благодать произведетъ въ народной жизни и въ народной совѣсти; не хватало потому, что въ нашихъ по крайней мѣрѣ мѣстахъ урожай, да еще такой, который даетъ хлѣба на два года, явленіе положительно незапамятное. Старожилы дѣйствительно не запомнятъ ничего подобного, да и я, хоть и не могу считать себя старожиломъ здѣшнихъ мѣстъ, все-таки утвердительно могу сказать, что по крайней мѣрѣ впечатленія десяти лѣтъ моего пребыванія въ здѣшнихъ «лядинахъ» я ничего подобного не могу припомнить и ни на какихъ перспективахъ, происходящихъ изъ «божьей благодати», моя мысль не имѣла случая упражняться.

Напротивъ, весь строй народной жизни (разумѣется, непосредственно отражающійся и на жизни культурныхъ и правящихъ классовъ) на моихъ глазахъ впечатленія десяти лѣтъ былъ непрерывно изъясненъ отсутствіемъ божьей благодати и гибельно дѣйствовалъ на душу напряженной, несчастливой, неправдивой сущности явленій окружающей жизни. «Не хватаетъ» быть любящимъ отцомъ семейства, «не хватаетъ» быть исправнымъ кредиторомъ, «не хватаетъ» быть исправнымъ плательщикомъ — и всѣ эти совершенно простые «нехватки» устранились на моихъ глазахъ всегда какимъ-либо насильственнымъ путемъ: въ семьѣ — семейной ссорой, бранью, причемъ ребята заснутъ съ испугу, забывъ про голодъ, изъ-за котораго вышла и брань; въ сосѣдскихъ отношеніяхъ — кляузой, сплетней про куму Акинью, съ которой молъ ты и т. д., вмѣсто аккуратной отдачи долга. Въ недоимкѣ — драньемъ въ волостномъ правленіи, какъ извѣстно, также замѣняющимъ урожай, и затѣмъ въ кабакѣ, какъ мѣстѣ забвенія всей этой лжи.

А господа, которые вращаются вокругъ народа, развѣ и они не ощущаютъ въ глубинѣ своей совѣсти, что самые строжайшіе ихъ поступки и самыя гуманнѣйшія распоряженія въ сущности только замѣняютъ собою «нехватку» самую элементарную, и что ни въ распоряженіяхъ ихъ, ни въ мѣропріятіяхъ не было бы никакой надобности, еслибы Господь послалъ урожай? Пошли Господи урожай — и не надобно изобрѣтать нераскупоривающихся бутылокъ, какъ мѣры противъ уничтоженія пьянства, потому что не изъ-за чего будетъ драться съ семьей, кляузничать съ сосѣдомъ и вообще не зачѣмъ будетъ отягчать свою совѣсть, а вездѣ

все будетъ сдѣлано, какъ слѣдуетъ. Пошли Господи урожай, и судебному приставу не будетъ никакой надобности производить опись имущества «съ сопротивленіемъ», и становой приставъ не получитъ отъ разъяренной бабы удара палкой по головѣ, и господину прокурору не будетъ надобности произносить громокипящую рѣчь, исполненную неправды, и адвокату не надобно будетъ форсировать своимъ гуманствомъ, да и въ острогѣ не будетъ сидѣть лишній яко-бы преступникъ. Какъ-ни-какъ, а у всѣхъ этихъ господъ: и у того, кто изобрѣтаетъ нераскупориваемую бутылку, и у того, кто вызываетъ сопротивленіе и буйство бабы, и у того, кто сажаетъ виновнаго въ острогъ, — у всѣхъ у нихъ напряженно нехорошо на душѣ: всѣ вѣдь они знаютъ, что корень дѣла — *нехватка* только, больше ничего; знаютъ они это по совѣсти, а вотъ поди же! принуждены почему-то ломать и кривить ея, коверкать ее, какъ принужденъ кривить и коверкать ее мужикъ, бьющій бабу съ голоду, подводящій кляузу противъ сосѣда, засуживающій своего сосѣда неправеднымъ судомъ.

Положительно всѣ десять лѣтъ моей деревенской жизни въ неразрывной связи съ жизнью культурныхъ классовъ были исполнены непрерывно ощущаемою тягостною фальшью, — всеобщимъ стремленіемъ истинную и простую нужду и истинную причину, источникъ живой жизни, всегда къ сожалѣнію тощій и скудный, т. е. самую простую, всѣмъ понятную, видимую и осязаемую «нехватку» затмить, запутать въ какомъ-либо фальшивомъ мѣропріятіи — все равно, драка это, или пьянство мужика, или опись съ «сопротивленіемъ», или выдумка бутылки. А въ глубинѣ совѣсти всѣхъ этихъ людей, желающихъ затмить «нехватку» всевозможными мѣропріятіями — тоска, холодъ и тяжелая пустота. Скучно и среди городскихъ людей, воротившихся изъ деревни послѣ описи «съ сопротивленіемъ» и играющихъ въ винтъ, скучно и среди мужиковъ, дерущихъ другъ друга въ волосы, кляузничających другъ на друга, дерущихся съ своими дѣтьми и бабами и наконецъ пьющихъ сивуху, чтобы заглушить тоску и неправду совѣсти.

— Такъ вотъ этой-то тоски и неправды и не будетъ теперь и слѣда? думалось мнѣ, когда я, поджидая посланнаго за лошадьми, сидѣлъ на чутунной лавочкѣ, поставленной на платформѣ, и съ каждой минутой мнѣ яснѣй и яснѣй представлялось, какое огромное значеніе имѣетъ «нехватка» во всемъ строѣ народной жизни и особенно въ настоящій ея моментъ.

II.

Не мало и даже очень, очень не мало найдется въ настоящее время и во всѣхъ классахъ культурнаго общества людей, котоые подобно Пушкину въ недавно напечатанномъ его старомъ стихотвореніи съ полною искренностью скажутъ себѣ:

На свѣтѣ счастья нѣтъ, а есть покой и воля.
Давно *загидная* мечтается мнѣ доля:

Давно, усталый рабъ, замисливъ я побѣгъ
Въ обитель дальнюю трудовъ и чистыхъ дѣлъ*).

И не мало есть образованныхъ и культурныхъ людей, уже не только замышляющихъ побѣгъ, а уже бѣжавшихъ, «вырвавшихся» и пробующихъ жить вольно, тяжелой трудовой жизнью, оберегая покой и волю своей души; много на Руси и въ настоящее время такого народа, но все-таки это капля въ морѣ сравнительно съ тѣмъ чисто народнымъ, крестьянскимъ движеніемъ, которое имѣетъ въ основаніи всю ту же цѣль—жить чисто и чувствовать свою душу не въ клещахъ лжи—и которое поистинѣ *идетъ* теперь на Руси.

Что значить это непрерывающееся переселенческое движеніе въ Сибирь, на югъ, кругомъ свѣта на дальній востокъ, какъ не поиски «обители трудовъ и чистыхъ дѣлъ», необходимыхъ для «покоя», и воли собственной совѣсти? А эта огромнѣйшая, миллионныя толпы рабочихъ, наводняющихъ весь русскій югъ, весь Кавказъ,—что это, какъ не выраженіе глубочайшей потребности. помощью заработка собственныхъ рукъ и собственного хребта, выбраться изъ мучительно фальшивыхъ условий жизни, созданныхъ «нехваткой», и освободить свою совѣсть отъ ненужнаго зла, обязательнаго тамъ, гдѣ «нехватка» не считается просто «нехваткой», а затирается тяжеловѣсными, рѣжущими душу мѣропріятіями, отъ которыхъ человекъ только «усталый рабъ»?

Ничего подобнаго ни въ качественномъ, ни въ количественномъ отношеніи не переживалъ нашъ народъ втеченіи всего крѣпостного періода. Двадцать три тысячи пришлыхъ изъ внутреннихъ губерній рабочихъ нанято въ селеніи Каховкѣ (Херсон. губ.) втеченіе одного дня**)! А такихъ рынковъ для найма рабочихъ въ настоящее время по всему югу Россіи и Кавказу множество. Но помимо такихъ бойкихъ пунктовъ, куда стекаются рабочіе десятками тысячъ, нѣтъ ни одной маломальски порядочной станицы, посада, уѣзднаго города, гдѣ бы въ базарные дни на торжищѣ не толпились сотни и тысячи рабочаго люда. Если принять въ расчетъ, что руками этого пришлаго народа обрабатывается такая огромная территория, какъ весь русскій югъ, т. е. территория, лежащая къ югу отъ линіи, идущей съ устьевъ Дуная на Бѣвъ, Харьковъ и оканчивающейся примѣрно у Астрахани,—а главное, если принять въ расчетъ, что помимо той массы рукъ, которая обрабатываетъ всю эту округу, едва ли меньшее количество рукъ остаются незанятыми, ненаходящими работы, то, мнѣ кажется, и безъ точныхъ статистическихъ данныхъ можно видѣть, какую массу народа выбрасываетъ на чужбину изъ «своихъ мѣстъ» «нехватка» въ самомъ необходимомъ.

Не менѣ замѣчательно это народное шатаніе и въ качественномъ, т. е. въ нравственномъ, смыслѣ. Если никогда втеченіи всего крѣпостного періода, по Руси вездѣ и впередъ, съ одного конца на дру-

гой, не шаталось такихъ народныхъ массъ, то въ то же время никогда человеку изъ народа не приходилось такъ много переживать, передумывать и «узнавать», что творится на бѣломъ свѣтѣ, какъ это вышло теперь съ ненаходящими покоя и воли народными массами. Крѣпостной мужикъ, прикованный къ своему мѣсту помѣщичьей властью, во вѣки вѣковъ и понятія бы не имѣлъ о томъ, съ чѣмъ приходится сталкиваться оторванному отъ своихъ мѣстъ мужику. Хозяйство, барщина, бурлистръ—вотъ съ чѣмъ и съ кѣмъ онъ имѣлъ дѣло всю жизнь отъ рожденія до смерти, и притомъ цѣлыми поколѣніями. Убѣги онъ, его поймутъ и опять приведутъ на старое мѣсто. Теперь бѣгуна отъ нехватки не тянутъ силкомъ на старое хозяйство, предоставляютъ ему полную свободу, и пользуясь этой свободой, чего только не знаетъ онъ «про бѣлый свѣтъ»—въ особенности про современную русскую жизнь!

Толпы эти идутъ отъ «нехватки» за заработкомъ,—цѣль, кажется, вполне опредѣленная; но всецѣльный случай, тяготящийся надъ крестьяниномъ во всѣхъ путяхъ его жизни, поминутно сбиваетъ его съ прямого пути, ставитъ въ неожиданныя непредвидѣнные положенія и обогащаетъ его мысль познаніемъ такихъ явленій въ современныхъ порядкахъ жизни, о которыхъ ему бы и во снѣ не приснилось. Попробуйте-ка пропутешествовать изъ Курской губерніи въ Сибирь или вокругъ Индіи во Владивостокъ и потомъ, увидавъ, что тамъ ничего подходящаго нѣтъ, воротиться назадъ (а недавно было опубликовано въ газетахъ о возвращеніи изъ Сибири 5000 переселенцевъ),—и вы можете сами представить, какой огромный запасъ «знаній» по всѣмъ отраслямъ русской дѣйствительности долженъ принести съ собой этотъ путешественникъ. Если мы, проѣхавъ въ вагонѣ тысячи полторы верстъ, можемъ накопить томику большею частью не совсѣмъ приятныхъ впечатлѣній, что же принесть съ собой этотъ путешественникъ, этотъ пѣшеходъ, промолотившій своими стопами тысячи верстъ, гдѣ Христовымъ именемъ, гдѣ работой, гдѣ голодомъ,—словомъ, челевѣкъ, видѣвшій жизнь въ самомъ подлинномъ видѣ? Мы вѣдь напримѣръ хоть бы съ начальствомъ только компанію водимъ въ часы досуга, по бульвару подъ музыку гуляемъ, въ винтъ играемъ,—словомъ, видимъ его, когда оно «отдыхаетъ отъ трудовъ»; а вѣдь путешественникъ-то, о которомъ идетъ рѣчь, видитъ его на дѣлѣ, видитъ, за что ему «Царь жалованье платитъ»... А не путешествуй онъ—и во вѣки бы вѣковъ ничего онъ этого не узналъ...

Точно такой же огромный матеріалъ для «самообразования», по истинѣ незамѣнимый никакими изъ существующихъ по части уясненій русской жизни книгъ и другихъ литературныхъ произведеній, всевластный случай дастъ и миллионнымъ массамъ рабочаго люда, идущаго только на заработки. Двадцать три тысячи рабочихъ, о которыхъ я говорилъ выше, могли бы совсѣмъ остаться безъ работы, т. е. частью помереть, частью разбредиться невѣдомо куда, еслибы Господь не послалъ въ од-

*) «Рус. Ар.» № 9.

**) «Севаст. лист.».

номъ изъ уголковъ Херсонской губерніи дождя. Пока не было дождя, они никому не были нужны; но вотъ гдѣ-то Господь послалъ тучу, туча хлынула на землю, и отовсюду слетѣлись хозяева, а по телеграфной проволоцѣ застучало: «Одесса. Рансомъ и Симсъ. Пошлите пять молотилокъ, четыре косилокъ». Черезъ два часа (дождь все идетъ) телеграфъ стучитъ: «семь молотилокъ и восемь косилокъ» и еще черезъ часъ: «десять молотилокъ, десять косилокъ» и т. д.

А все Богъ!

Не далъ бы Богъ дождя—и оставались бы 23 тысячи человѣкъ «не пимши, не ѣмши», стали бы помирать, разбрелись бы кой-куда... Оно легко сказать: «кой-куда», а на дѣлѣ эти слова имѣютъ широкое образовательное значеніе для народа. Попробуйте попочевать подъ стогомъ въ экономіи—выгонять дубиной или собаками затравить; а приди въ городъ, да улягся повидимому въ пустомъ мѣстѣ, положимъ хоть въ свверѣ у памятника, изображающаго какого-то человѣка изъ чугуна,—такъ заберутъ въ часть, продержатъ ночь, потомъ хоть и выпустятъ, но куда? На ночлегъ—денегъ нѣтъ, а лечь такъ въ пустомъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ чугунный человѣкъ, невозможно! Много-много можно узнать о «добрыхъ людяхъ» и «о порядкахъ», которые они сдѣлали, если Господь не пошлетъ гдѣ-нибудь дождичка!

Въ нынѣшнемъ году мнѣ пришлось довольно-таки насмотрѣться на это «самообразование». Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сѣвернаго Кавказа въ настоящемъ году *) самый полный неурожай, а народу нахлынуло туда изъ внутреннихъ губерній видимо-невидимо и огромное большинство нахлынувшихъ осталось безъ всякой работы, потому что и та, которая еще могла бы быть, разобрана мѣстнымъ казачьимъ населеніемъ, какъ извѣстно въ прошломъ году пострадавшимъ отъ неурожая и оставшимся безъ скота по случаю безкормицы. Въ газетахъ были опубликованы свѣдѣнія прямо объ умершихъ съ голоду пришлыхъ рабочихъ. Но и оставшіеся въ живыхъ, проѣвши свою одежду и даже косу, произвели на меня впечатлѣніе, не менѣе поучительное, чѣмъ та «наука», которая и имъ далась въ опытѣ «шатайна» по русской землѣ за кускомъ хлѣба. Въ общемъ *наука* эта (чего-чего ни пришлось имъ переживать и пережить) оставила въ толпахъ, разбредавшихся «кой-куда», не свѣтлыя впечатлѣнія: злой языкъ, злыя насмѣшки, нахрапъ, грубость и явное желаніе при первой возможности «дать сдачи»—вотъ результаты той «науки», которую волны народныя, рышущія изъ конца въ конецъ Россіи и отхлывающія опять въ ее глубину, вынесли изъ подлиннаго, ничѣмъ не прикрашеннаго знакомства *рѣшительно со всеми сторонами* современной нашей дѣйствительности.

Маленькаго вниманія къ положенію этихъ шатающихся по Россіи массъ достаточно для того, чтобы ясно убѣдиться въ невозможности для нихъ въ огромномъ количествѣ случаевъ вынести изъ

опыта жизни среди добрыхъ «людей» что-нибудь мало-мальски теплое и свѣтлое: какая масса молчаливыхъ страданій таится въ этой толпѣ и какое повсюдное, хоть можетъ быть невольное, невниманіе къ человѣку, очутившемуся въ нуждѣ и на чужой сторонѣ!

III.

Въ какое-то изъ первыхъ чиселъ іюля, часа въ четыре вечера, сѣлъ я въ Керчи на частный парохоть, отправлявшійся по портамъ Азовскаго моря въ Ростовъ. Въ первомъ и второмъ классахъ публики было чрезвычайно мало—одинъ-два человѣка, но зато «чернонародіа» должно было сѣсть на парохоть «до Бердянска» видимо-невидимо. Вся пристань буквально была завалена народомъ—ко-сарями; всѣ они были люди буквально рваные: грубаго холста рубахи и штаны, онучи, лапти, шапки всевозможныхъ сортовъ—и картузы (съ козырьками и безъ козырьковъ) и фуражки, соломенные шляпы, не было только дамскихъ головныхъ уборовъ. Но «дамы» были въ этой чернонародной толпѣ: онѣ тоже шли за хлѣбомъ, за работой, но повидимому не скучали. Около такой работницы всегда кружокъ, смѣхъ, водочка и пѣсня. Эти «вольныя бабы-работницы», не смотря на поленный трудъ, утѣшались возбуждать нескончаемое полуночное веселье въ толпѣ поклонниковъ, также измаивающихся на каторжномъ трудѣ,—этотъ типъ оказался имъ весьма любопытнымъ.

— Чего же мы ждемъ? спросилъ я кого-то изъ служащихъ, когда уже миновалъ часъ, назначенный для отхода парохода.

— Да вотъ только трюмъ подъ народъ уберутъ, сейчасъ и тронемся.

Посмотрѣлъ я въ этотъ трюмъ—тамъ точно ничего не было, то-есть онъ былъ почти совершенно пустъ. На нѣсколькихъ кускахъ керченскаго камня, составлявшихъ весь его грузъ, матросы настлали доски, но настлали кое-какъ, торопясь и повидимому не зная хорошенько, что собственно изъ ихней работы должно выйти.

— Ну, да ладно! будетъ! Давай звонокъ! Садись, ребята! скомановало какое-то начальство, а когда толпа «косаковъ» зашевелилась, подобрала свои мѣшки и косы и тронулась къ сходнямъ, переброшеннымъ съ пристани на парохоть, это же самое начальство прибавило:

— Не вдругъ! Не разомъ! Или по маленьку, не толпись—всѣмъ мѣсто будетъ!—Не напирай! не напирай!

И вотъ, какъ саранча, сѣрой вереницей потянулись съ пристани рабочіе...

— Подѣзай по лѣстницѣ—вотъ, вотъ по этой, полегоньку! Косы-то клади въ одно мѣсто, оно просторнѣе будетъ! Потѣснись пока, потомъ рас-сортуетъ... нельзя сразу!

Повинуясь этимъ указаніямъ начальства, народъ покорно, хотя и не безъ остротъ и шутокъ, лѣзъ въ темный трюмъ, точно въ колодезь, и лѣзъ до тѣхъ поръ, пока трюмъ не былъ набитъ народомъ буквально биткомъ...

*) 1886.

— Тутъ мѣстовъ нѣту! стали доноситься голоса изъ погреба.

— Ничего! потѣнись, ребята! потѣнись пока что! Сейчасъ оно разсортуется — всѣмъ мѣсто будетъ!

И въ темный погребъ протискивалось еще десятка два косарей, но протискивалось уже съ великимъ трудомъ.

— Да говорятъ тебѣ—нѣту мѣстовъ! ужъ довольно грубо стало слышаться изъ погреба.—Задохнуться что ли людямъ-то?

— Сейчасъ, сейчасъ! отвѣтствовало начальство. — Не шуми, другъ любезный, сейчасъ все будетъ! Ну, иди сюда, по бортамъ, поровнѣй садись...

— Да чего садиться? Мы и стоимъ.

— Садись, садись рядкомъ, — пока что: вотъ тронемся, такъ оно само собой разсортуется, всѣмъ будетъ мѣсто...

Черезъ нѣсколько мгновений палуба была буквально биткомъ набита народомъ—ни пройти, ни шагу ступить изъ рубки не было возможности.

— Что же это они дѣлаютъ? не безъ страха передъ чѣмъ-то, необъясняющимъ ничего хорошаго, мелькнуло было у меня въ голоѣ, но не успѣлъ я уяснить себѣ, чего я собственно испугался, какъ начальство крикнуло:

— Давай третій!..

И затѣмъ что-то гробовымъ голосомъ забурчало въ мѣдную трубу, проникавшую въ машинное отдѣленіе. Пароходъ тронулся—и мы вышли въ море.

— Что это какъ его на бокъ накрениваетъ? стали поговаривать пассажиры.

— Ребята! бѣгая въ толпѣ, бормоталъ торпливо тотъ самый начальникъ, который распоряжался посадкой, — подикось на тотъ бортъ, чловѣкъ десять... А то даже на этотъ навалились... Ничего! Оно сейчасъ ухнется!

Но не десять, а сорокъ, пятьдесятъ чловѣкъ ужъ сами, безъ всякаго приказанія, перебѣжали на другой бортъ и пароходъ, выправившись на одну, двѣ минуты, снова накренилъ ужъ на другой бортъ.

— Господинъ! Эй! слышалось изъ трюма, — докудажъ вы насъ тутъ томить будете?

— А тебѣ что-жъ въ первомъ классѣ хочется ѣхать? ужъ сердясь заговорило начальство:—ты за три-то гривенника въ первомъ классѣ хочешь ѣхать?

— Такъ стало-быть такъ тутъ торчмя и стоять всю дорогу?

— Здѣсь и дышать-то нечѣмъ! 'слышались другіе голоса.—Ишъ, какъ отъ машины-то нажариваетъ!

— Чего его слушать! выйѣзай на свѣтъ!

И изъ трюма началось шествіе.

— Помогъ назадъ! закричалъ капитанъ.—Назадъ пошолъ!..

— Да вотъ, какъ-же! отвѣчалъ ему первый мужикъ, появившійся изъ колодезя.—Такъ я тебя и послушалъ... Полѣзай самъ!

— Молчать, каналья! Назадъ! оралъ капитанъ какимъ-то звѣриннымъ голосомъ, но его никто не

слушалъ, и изъ трюма лѣзли и лѣзли вспотѣвшіе, распарившіеся фигуры...

И съ пароходомъ стали твориться чистыя чудеса: его сразу почти положило на правый бокъ, такъ что лѣвое колесо вертѣлось и брыгало на воздухѣ. Трюмъ опустѣлъ и вся тяжесть сосредоточилась на палубѣ. Эта живая тяжесть, ругаясь, толпясь, толкая другъ друга, стала метаться изъ угла въ уголъ; упавшій на бокъ пароходъ въ то же время начиналъ утопать и носомъ, капитанъ оралъ, перегоня народъ на корму, и народъ, бросаясь на корму, переваливалъ пароходъ какъ-то винтообразно на другой бокъ. Все это орало, ругалось самыми безчеловѣчными словами; въ буфетѣ летѣли рюмки, стаканы, варенье изъ банокъ лило по полу, а по варенью ползъ кусокъ сыру, какъ по маслу...

Чѣмъ объясните вы, какъ ни полнѣйшими презрѣніемъ пароходнаго начальства къ простому рабочему чловѣку, приѣмъ этого живого груза на пароходъ, который не имѣетъ возможности помѣстить его? Очевидно, начальство вполне было увѣрено, что этотъ живой грузъ «перетерпитъ», сидя и жарясь въ трюмѣ, что онъ «испугается моря», что пожалѣетъ гривенника, отданнаго за проѣздъ, что это стадо, которое можно облаять и оно послушается... Но на этотъ разъ начальство ошиблось, и не успѣло оно еще и хорошенько разойтись—какъ толпа загудѣла:

— Назадъ, дьяволы! потопить хотите, мошенники! Назадъ! Поворачивай назадъ! Ребята, отымай у него колесо-то—долой его, подлеца!..

Какой-то черный мужикъ, какъ ураганъ, вырвался изъ толпы и весь блѣдный, дрожащій, ринулся по направленію къ капитану...

Но пароходъ уже повернулъ назадъ и то ложась на бокъ, то глубоко наклоняясь вертикально—погъ назадъ къ Берчи.

— Погоди, дьяволъ! ревъль капитанъ; но то, что ревъля толпа, того описать невозможно.

— Да вѣдь ежели бы утонуть, такъ и капитанъ бы утопъ! осмѣлился возразить кто-то на эти неистовыя ругательства.

— Какъ-же! ревъля ему въ отвѣтъ ожесточенные и озлобленные люди.—Какъ-же, потонуть они, подлецы!...

— Такъ онъ тебѣ и потонулъ!

— Ему нашего брата погубить охота... У нихъ штрафовка... Онъ получить, дьяволъ...

— Потонуть они, канны!

И полнѣйшая увѣренность въ томъ, что начальство осталось бы здорово и невредимо послѣ того, какъ потонулъ бы народъ, слышалась въ почти до истерики озлобленныхъ голосахъ возбѣшенныхъ, негодующихъ людей.

Изъ Берчи замѣтили, что съ пароходомъ случилось что-то неладное, и когда, кувыркаясь, пароходъ подходилъ обратно къ пристани, она вся была усыяна народомъ. Ожесточенная толпа прямо всей массой хлынула въ контору за деньгами.

— Цѣлыя сутки пропали, анаемы! ревъля они.—Ближе завтрева нѣту парохода... Чего день-то

стоять? Кто будетъ платить? Пойдемъ къ начальнику... Ребята! Взыскивай съ душегубцевъ!

Не знаю, чѣмъ кончилась эта исторія, но черезъ нѣсколько дней въ газетахъ появилось извѣстіе о кровавой дракѣ, происшедшей въ Бердянскѣ *между мѣстными и пришлыми рабочими*. Думаю, что среди этихъ послѣднихъ были и мои черченскіе попутчики. Если представите вы себѣ ту крайнюю нужду, которая заставила ихъ безъ всякой прибыли проколесить по сожженнымъ полямъ сѣвернаго Кавказа, заставила потомъ перебраться на послѣднія копѣйки съ кавказскаго берега на крымскій, да и здѣсь на первыхъ порахъ, благодаря пароходному начальству, протомила цѣлыя лишнія сутки, а можете быть и болѣе,—то можете понять, до какой степени они были объаты жаждой какого-нибудь заработка въ то время, когда наконецъ очутились въ Бердянскѣ. Они сразу уронили цѣны до ничтожества; мѣстные рабочіе (пришлыхъ въ этихъ мѣстахъ почти не бывало), получавшіе порядочныя цѣны, ожесточились — и вотъ произошло кровавое побоище изъ-за куска хлѣба, побоище, такъ сказать, между родными братьями, рабочими людьми...

Вотъ что иной разъ выходитъ изъ-за нехватки-то! Но то ли еще бываетъ!

IV.

Сѣлъ я также нынѣшнимъ лѣтомъ на одной изъ станцій Владикавказской желѣзной дороги въ вагонъ третьяго класса. Кромѣ меня въ вагонѣ былъ какой-то бравый казакъ—чина я его не знаю, но знаю, что не радовой. Въ вагонѣ, гдѣ мы помѣстились, была на двери надпись: «отдѣленіе для дамъ». Посадилъ насъ сюда оберъ-кондукторъ, объявивъ, что это отдѣленіе будетъ пусто, потому что, ежели придутъ дамы, то стоять имъ только внушить, что вагонъ этотъ первый отъ локомотива, и что въ случаѣ какой катастрофы онъ разлетится въ дребезги первымъ—такъ дамы сейчасъ и убѣгутъ. Казаку очень понравилось это сообщеніе, и онъ при помощи его выпроводилъ очень многихъ представительницъ прекраснаго пола. Показалась была какой-то священникъ, но я его казакъ такъ напугалъ, что и тотъ предпочелъ уйдти отъ грѣха въ другой вагонъ. Наконецъ мы остались вдвоемъ, и «казачина», громкимъ хохотомъ празднуя свою побѣду, растянулся во всю казацкую мочь сразу на двухъ лавкахъ.

Но побѣда была непродолжительна: какъ-разъ передъ самымъ отходомъ побѣда въ наше дамское отдѣленіе все съ двумя же косами, мѣшками, тяжеловѣснѣйшими узлами, въ которыхъ повидному не могло быть ничего кромѣ булыжника, ввалилось трое взрослыхъ рабочихъ и одинъ подростокъ, мальчикъ лѣтъ тринадцати.

— Вы бы въ задній вагонъ шли! сказалъ имъ проходившій черезъ вагонъ оберъ-кондукторъ.— Здѣсь отдѣленіе для чистой публики... Идите въ задній вагонъ... А то наплюете, нагряните... Чего вамъ тутъ?

Но мужики ни мало не урезонились этими рѣчами. Слушая ихъ, они спокойно занимали своими мѣшками по два, по три мѣста, притомъ одинъ изъ нихъ тѣмъ же самымъ, обычнымъ теперь для шатающагося рабочаго люда, тономъ спокойно сказалъ:

— Ну, братъ, нонѣ пожалуй чистаго-то народу полнаго-то вагона и не наберешь.. Пушай же я съ чернаго вамъ барышъ достается. Деньги-то, братъ, одни... Садись, ребята! ничего!

Кондукторъ ушелъ, махнувши рукою; рабочіе, бывшіе немного подъ хмелькомъ, разиѣстились безъ всякаго стѣсненія и, уложивъ косы на верхнія полочки, принялись разговаривать, ѣсть и, къ сожалѣнію, сорить.

У окна, на скамейкѣ «для одного», приснаживался подростокъ, пришедшій съ взрослыми рабочими. Онъ поставилъ свой мѣшокъ подъ окномъ и тотчасъ улегся, ногами на сидѣнье, головой на мѣшокъ; лежалъ онъ спиной къ публикѣ и повидному спалъ. Казакъ дремалъ, а читалъ что-то.

— Что это съ мальчикомъ-то дѣлается? слышался чей-то голосъ около меня.

Изъ сосѣдняго отдѣленія вышелъ старый, толстый, въ опрятномъ шерстяномъ пиджакѣ, купецъ и, кивая на мальчика, говорилъ:

— Плачетъ чего-то парнишка! Я глядѣлъ, глядѣлъ,—такъ его и треплетъ, горемыку.

Мальчонку точно трепало. Уткнувшись лицомъ въ мѣшокъ и лежа повидному неподвижно, онъ по временамъ весь содрогался; очевидно сильныя приступы рыданій точно трясли и ломали его спину...

— Эй! милый! Парень! Кто тебѣ что сдѣлалъ? Чего убиваешься-то? говорилъ купецъ, осторожно касаясь его плеча.— Встань, похыми голову-то! Да сядь, сядь; скажи—кто тебѣ, что...

Постепенно онъ сталъ пошевеливать мальчонку за плечо, потомъ приподнялъ ему голову и кое-какъ наконецъ добился того, что мальчикъ сѣлъ. Около мальчика и купца собрались зрители.

— Чего ревешь-то? Ты скажи, съ чего такого? Али тебя кто?..

Но мальчикъ не могъ произнести слова: грудь его такъ и ходила ходуномъ внизи и вверхъ, все лицо было залито слезами и истерическая нота заставляла его сидѣть съ открытымъ ртомъ.

— Ахъ ты, братецъ ты мой! сказалъ купецъ и замолчалъ. И всѣ поняли, что надо помогать, погладить...

— Эка, братецъ ты мой, какое дѣло-то! еще разъ повторилъ купецъ, когда мальчикъ сталъ утирать рукавомъ носъ, очевидно немного приходя въ себя.— Съ чего-жъ ты такъ?.. а?

— За...ду...ши...лась!.. всхлипывая, прошепталъ онъ, и слезы вдругъ опять залили его лицо.

— Ахъ ты, братецъ ты мой!.. Задушилась! Да кто задушился-то?..

Мгновенно безграничное горе скорчило, сжегло все его лицо, залило горячими слезами, и широко раскрывъ истерически искривленный ротъ, онъ взвылъ не своимъ голосомъ.

— Ма-мы-нька задушила-а-а-ась... а-а-а-а-а!

Онъ ударилъ себѣ ладонями по мокрому лицу и грохнулся лицомъ на мѣшокъ.

Спина его тряслась и трепетала, а изъ мѣшка, куда уходили его рыданія, слышались вопли какъ-бы зарытого въ землю человѣка.

Минута, когда ему пришлось выговорить ужасныя слова: «мамынька задушилась», была по истинѣ потрясающая, на вѣки неизгладимая во всемъ организмѣ этого несчастнаго существа: безграничная любовь, безграничная утрата, безграничное одиночество и безграничный ужасъ предъ тѣми ужасами, которые сію минуту терзаютъ его несчастную мать въ гееннѣ огненной, гдѣ она кричитъ отъ огня и желѣза, растрепанная, окровавленная, съ веревкой на шеѣ—мертвая «мамынька»—все это сразу, въ одно мгновеніе охватило его сердце, разорвало его, растерзало, и вырвало раздирающій душу вопль.

Положительно всѣ обомлѣли и только качали головами...

— Поди-ко вотъ, какъ бываетъ-то!

— Ишь-ты! ай-ай-ай...

— Эка бѣднягѣ что довелось!..

Такъ шептали зрители, не отходя отъ рыдаваго мальчика и не смѣя приставать къ нему съ разспросами.

— Эй, ты, любезный! наконецъ сказалъ купецъ, обращаясь къ одному изъ мужиковъ.—Вашъ что-ль мальчикъ-отъ?

— Съ нами ѣдетъ.

— Что-жъ это такое съ нимъ? Куда онъ ѣдетъ-то?

— Замѣсто отца ѣдетъ... Отецъ-то остался... по случаю что грѣхъ это вышелъ... Ну, а задатки-то взяты... вотъ малый и долженъ идти замѣсто отца...

— Да какъ-же это вышло? Изъ-за чего? Ты иди сюда, Расскажи...

Всѣ мы вышли въ другое отдѣленіе вагона.

— Да Господь ее знаетъ, какъ у нихъ вышло... Надо такъ сказать, что доняло ихъ бѣдностью... Годовъ пять ихъ все сухонькою донимало, наконецъ того, пришлось бросать хатенку да идти въ люди за хлѣбомъ... Мама-то свонная въ станицѣ на-нялась, дочка въ городъ ушла, вродѣ должно быть въ горничныя, ну, а отецъ-то съ парнишкой тоже въ работѣ, въ пастухахъ наймались... Должно-быть съ дочкой-то что-то неладно въ городу-то вышло... Прожила она тамъ года два, а наконецъ того, передъ самымъ этимъ временемъ какъ грѣху-то быть, прибѣгла она, братецъ ты мой, какъ полоумная въ страницу, къ матери-то, прибѣгла и вся, братецъ мой, не въ себѣ: «убила я, говоритъ, убила, убила... въ острогъ меня возьмутъ... батюшки, спасите, помогите!... Убила, убила...»

— Что-жъ она въ самомъ дѣлѣ убила кого-нибудь?

— Богъ ее знаетъ!.. Намъ это неизвѣстно... А должно быть что-нибудь въ городу-то съ ней стряслось... Нонче въ городу-то какой народъ? Она дѣвка молодая... Нонче вѣдь на этотъ счетъ—безъ всякой совѣсти...

— Чего ужъ! въ одно слово подтвердило множество голосовъ.

— Ну вотъ, она, можетъ, и въ самомъ дѣлѣ родила, да какъ-нибудь и того... Вѣдь и нечаянно бываетъ... А можетъ и отъ болѣзни тоже случается... А какъ она прибѣжала къ маткѣ-то, матка-то тоже на работѣ измаявши, наболѣло у ней сердце-то, какъ она ужаснулась, что съ дочкой-то такой грѣхъ, да и разсудокъ-то у нея помутился, ну вотъ, она съ горя-то и наложила на себя руки... Что подѣлаешь? Бѣдноты! Нужда!

— Ну, а отецъ-то какъ узналъ?

— Да они какъ разъ съ мальчишкой домою воротились къ матери... Пришли, а она—эво какъ!.. Мальчонко-то очумѣлъ было... Вотъ вѣдь какія дѣла бываютъ! Теперь отецъ-то и ума не приложить, какъ быть... Дочку въ больницу сдали, а matka еще въ сараѣ качается... Она, значитъ, какъ разъ передъ тѣмъ часомъ и покончилась, какъ мужу-то придти... Мужа-то должно страшно стало, что дочь пропала... вотъ она, горькая, и окончилась... Вотъ они какія дѣла-то бываютъ! Нужда матушка! Теперьца мальчонка-то самъ не свой—а иди, работай! задатокъ данъ... Хоть бы мать-то закопалъ, ну, все пріятнѣй, новѣ доктора разрѣшаютъ, а то только глянуть, милаго, на эдакую страсть Господню—и проститься-то то не пришлось, начальства нѣту, доктора не пріѣзжали... Вотъ какое дѣло!

Впечатлительный купецъ не оставилъ мальчонку. Онъ опять подошелъ къ нему, низко нагнулся къ его головѣ и долго шопотомъ говорилъ съ нимъ, всячески стараясь успокоить.

— На, на, возьми—ничего! возьми! Это ты, какъ только, Господи благослови, увидишь храмъ... да ты слушай, что говорю-то! Чего реवेशь-то? не воротись! А ты о душѣ похлопочи, объ материнной... бери деньги-то... бери да слушай... Какъ чуть храмъ—сейчасъ ты... частину... Какъ мать-то звала... а? Марфа? Ну, и надпись сдѣлай—Марфы, рабы божіи... Чувешь, что-ль?... Вотъ оно и отпадетъ отъ нея грѣхъ-то... Я тебѣ вѣрно говорю! это ужъ безъ сомнѣнія! Ну только, какъ у тебя какая копѣйка, сейчасъ въ храмъ... Ну, ничего! Богу молись всячески... Онъ, батюшка, облегчитъ... Помаленьку выправишь... Ничего!.. Чего убиваться-то?.. Ужъ чего ужъ?..

Не помню, какъ мы разстались, и не знаю, гдѣ этотъ маленькій страдалецъ, но знаю, что гдѣ-то онъ живетъ, живетъ изъ-за харчей, молча исполняетъ, что прикажутъ, и что никому невѣдомо, какая страшная драма гнететъ душу этого незамѣтнаго существа...

Вотъ она какая иногда бываетъ «нехватка»! Вообще же разнообразнѣйшія явленія народной жизни, ипѣющія исходнымъ пунктомъ «нехватку»,—явленія, многочисленность и разнообразіе которыхъ я даже не могу очертить и слегка (такое это многосложное дѣло), въ концѣ концовъ, кажется, уже выработали на Руси одно не весьма отрадное жизненное явленіе, о которомъ позволю себѣ сказать два слова.

Я не знаю, что такое Ашиновъ, о которомъ пи-

шутъ въ газетахъ, не знаю, какіе у него планы, какія цѣли, откуда онъ взялся и куда стремится. Полагаю, что біографическія подробности о немъ вовсе не интересны; склоненъ думать, что ничего въ дѣйствительности даже нѣтъ, что существуетъ только легенда, и легенда не объ Ашиновѣ (Богъ съ нимъ!), а объ атаманѣ казацкой *вольницы*. Пусть не существуетъ въ дѣйствительности ничего подобнаго, но то-то и замѣчательно, что откуда-то родилась легенда, откуда-то выплыло слово «вольница». И это-то слово (еслибы даже оно было только *слово*), неслышное на Руси со временъ Степана Тимофеевича, разъ оно родилось на Божій свѣтъ опять, невольно заставляетъ васъ чутъ, что «недохватка» въ насущнѣйшихъ народныхъ нуждахъ, осложненная горячайшимъ опытомъ жизни, приобретаемымъ народомъ въ поискахъ хлѣба, и, главное, разбрасывающая народныя массы по лицу Русской земли, какъ вѣтеръ разбрасываетъ мякину, не можетъ не имѣть результатовъ и результатовъ весьма неожиданныхъ.

У.

Тяжкія мысли и тяжкія воспоминанія, начинавшія темными тучами налегать на меня, къ величайшему моему счастью были мигомъ разсѣяны появленіемъ сторожа, который ходилъ за лошадьми...

— Сейчасъ подаютъ! сказалъ онъ запыхавшись, — насилу добудился.

Этотъ сторожъ, впервые извѣстившій меня о неожиданной радости, которую «Господь послалъ» въ наши вѣчно полуголодные мѣста, и далъ мнѣ возможность хоть немножечко освѣтлѣть душой, — вновь направилъ мои мысли отъ «мрака къ свѣту», вновь заставилъ радостно думать о томъ, какъ урожай развеселитъ наши мѣста и людей нашихъ мѣстъ.

Меня онъ уже развеселилъ: развѣ не весело, что вотъ на этой платформѣ нѣтъ полуголодной толпы, рвущей «на части» проѣзжающаго, отъ котораго дастъ Богъ заработать два двугривенныхъ! Какія фигуры тутъ толпились, рвали проѣзжающаго, кланялись или такъ мерзли «безъ работы» по цѣлымъ ночамъ, корчась отъ холода въ женинной купавейкѣ, — а теперь всей этой рвани нѣтъ и слѣда! Урожай, такъ сказать, какъ корова, языкомъ слизнулъ его съ платформы. Ужъ и храпѣть же теперь эти назабшіеся люди! за сто рублей не добудиться!

Скоро послышались бубенчики, сторожъ взялъ мои вещи — и опять урожай развеселилъ меня. На козлахъ телѣжки сидѣлъ не работникъ Кузьма Демьянычъ, а самъ Кузьма Демьянычъ, лавочникъ и несомнѣнно будущій церковный староста и «попечитель».

— Кузьма Демьянычъ! воскликнулъ я. — Что же это означаетъ?

— Ха-ха-ха! засмѣялся Кузьма Демьянычъ. — Ужъ что дѣлать... Пришлось старику вспомнить... запрягать-то лѣтъ пятнадцать не запрягалъ — думаю, нельзя сусѣда бросать на платформѣ...

— Да что же вы сами-то?

— Да народу-то нисколько нѣту! Народъ-то разбѣжавши... Такой урожай Господь далъ — всѣ ко дворамъ шаркнули... У меня пятнадцать лѣтъ одинъ здѣшній же мужикъ Федоръ жилъ, совсѣмъ было къ нашему дому присоединился... и тутъ какъ съ хлѣбомъ-то пошло, какъ пошло — смотрю, чернѣетъ мой малый, пучитъ его нелегкая, что ни скажешь — косить глазами... Догадала меня нелегкая пикнуть ему: «что-то, Федя, будто-бы нынѣшняго числа ты не вполне опратно потоптаешь самоваръ вычистилъ?..» Такъ словъ-то еще я моихъ не досказалъ, какъ рванетъ онъ себя за фартухъ изъ-подъ шеи — разъ! объ полъ его! затѣмъ пинжакъ тѣмъ же манеромъ — рразъ! только пуговицы по полу разлетѣлись, и въ окончаніе съ одной и съ другой ноги сапоги черезъ всю комнату пустилъ: — «Подавай разсчесть! Стану я твои самовары чистить! Обо мнѣ дома коса плачетъ! Давай разсчесть!» Такъ и улегъ. Вотъ теперь и пришлось на старости лѣтъ самому запрягать... Дугу-то забылъ какъ установить — вотъ какое дѣло!.. Ха-ха-ха! Извольте садиться! Ужъ уважилъ насъ Создатель — на рѣдкость!..

Поѣхали. Но поѣхали весьма тихимъ шагомъ. Кузьма Демьянычъ поминутно билъ лошадь кнутомъ, чмокалъ и дергалъ возжами; но лошадь не бѣжала, а какъ-то гордо шла, хотя и не забывала вильнуть хвостомъ всякій разъ, когда Демьянычъ вытягивалъ ее кнутомъ.

— И скотина-то вся умаявши! говорилъ Кузьма Демьянычъ, какъ по камню колота по неподвижной лошади кнутомъ. — У меня тутъ арендована земля, такъ и по сейчасъ съ поля не убрались, а всю животину измаялъ... Она пойдетъ, разойдется — а только что дѣйствительно притомивши... Такую Господь послалъ комиссію... Народу нѣтъ, работы выше головы, а тутъ еще хлопоты — бабушка окончила жизнь — то-есть въ самый разгаръ... Я и самъ-то съ ногъ сбился... И окончательно сказать отъ грибовъ скончалась... Ужъ оно вѣдь всегда одно къ одному... Пошло на урожай, такъ ужъ во всѣхъ направленіяхъ. Ну, и грибовъ высыпало — видимо-невидимо... Вотъ бабушка-то и слегла... Я и спрашиваю: «не отъ грибовъ-ли молъ, бабынька? Скажите чистосердечно — сейчасъ докторъ будетъ». А вѣдь они, старики-то, характерные, упорные, кремневые... Заперлась, стиснулась, только цѣдитъ сквозь зубы: — «не твое дѣло, не смѣй!». Ну, а впоследствии и оказалось на мое, то-есть въ полномъ смыслѣ этого слова — единственно отъ грибовъ... Накупалась... Чисто и я-то смаялся, съ ногъ сбился совсѣмъ!..

Лошадь какъ будто-бы дѣйствительно прибавила шагу...

— Ну, да и то сказать, пожила старушка на своемъ вѣку... досказывалъ Кузьма Демьянычъ свою рѣчь. — Охъ, и крутенька была покойница! Ну, да ужъ, видно, такъ надо... Господь-то, видно, не даромъ урожай-то послалъ... Онъ вѣдь знаетъ!

— Это вы насчесть грибовъ-то?

— Насчетъ грибовъ-съ! Ха-ха-ха! Оно конечно грѣхъ — Господи прости мое согрѣшеніе — а что крутенка была покойница!.. Конечно жалѣешь... да теперь и досугу-то какъ-то не хватаетъ... Ишь-вонъ, сколько хлѣба-то нанесло намъ!

Кузьма Демьянычъ показалъ кнутомъ въ поле. Было уже совѣтъ свѣтло и сѣвось низко лежавшій на поляхъ туманъ видѣлись тѣсные и чистые ряды суслоновъ; при взглядѣ на эту картину получалось то же самое живое ощущеніе, которое охватываетъ путника при видѣ многолюднаго города, издаലെка видѣющагося своими миниатюрными зданіями, но уже манящаго тепломъ живой жизни, которою дышало это живое мѣсто.

Жилымъ мѣстомъ казались и поля, и вѣяло отъ нихъ живымъ тепломъ живой жизни...

Лошадь окончательно разошлась. Селезенка квакала въ ней, какъ утка въ болотѣ, и скоро мы весело распростились съ Кузьмой Демьяновичемъ.

Брѣвко и казалось непробудно заснулъ я послѣ долгой и утомительной дороги, но «урожай» не пожалѣлъ меня и разбудилъ.

Разбудила меня паровая мельница, находящаяся какъ разъ противъ моего дома. Въ обыкновенное время мельница эта едва могла существовать; слѣланная на два постава, она и однимъ-то работала много-много до конца января и то съ промежутками въ день, въ два, и больше. Нѣмецъ, устроившій эту мельницу, горевалъ, плакался и, чтобы поправить свои дѣла, строилъ всевозможные проекты: то думалъ превратить ее въ маслобойню, то въ лѣсопилку, то просто хотѣлъ скупать дрова, хлѣбъ и т. д. Вѣроятно и нѣмецъ-бы прогорѣлъ со всеми своими проектами, еслибы Господь не послалъ ему урожая. Посмотрите, какъ все измѣнилось... Паровикъ такъ и стрѣляетъ, какъ изъ берданки, дымъ валитъ изъ обѣихъ трубъ, мучная пыль лѣзетъ изъ всѣхъ щелей; самъ мельникъ Карлъ Ивановичъ, его работники Карлы и Францы, всегда до невозможности грязная кухарка, толстомордая отвратительная собака-бульдогъ — все теперь побѣлѣло, все въ мукѣ; всѣ мужики, всѣ бабы, которыя возятся со своими мѣшками, все это также бѣлое; — глядишь на нихъ и кажется, что это статуи разбѣжались изъ скульптурнаго отдѣленія Эрмитажа и шляются въ нашихъ мѣстахъ.

Изъ моего окна все это торжество было ясно видно; весь дворъ запруженъ телѣгами съ мѣшками; мѣшки на веревкахъ поминутно поднимаются въ верхній этажъ мельницы, гдѣ какія-то эрмитажныя статуи подхватываютъ ихъ и исчезаютъ. Народъ, ожидающій очереди, лежитъ, спитъ, сидитъ цѣлою вереницею вокругъ частокола, огораживающаго мельницу...

Гляжу — идетъ знакомый мужикъ, Иванъ Федоровичъ, одинъ изъ самыхъ несимпатичныхъ мнѣ мужиковъ, — человѣкъ, съ которымъ мнѣ всегда трудно говорить, потому что отъ него нельзя было добиться искренняго слова. Идетъ онъ ко мнѣ, но на этотъ разъ я чувствую, что разговоръ нашъ можетъ быть и искрененъ, и простъ.

Пришелъ, помолился, поздоровался.

Одного взгляда на него было достаточно для того, чтобы во мнѣ исчезла малѣйшая тѣнь неприязненности къ нему; онъ видимо былъ истощенъ до невозможности; кулацкая, обыкновенно разбухшая отъ трактирныхъ чаевъ и могоарычей, физиономія его опала, очеловѣчилась неподдѣльнымъ утомленіемъ и оживленные, вытрезвленные чрезмѣрнымъ трудомъ глаза совершенно потеряли ту муть и темную ложь, которыя въ прежнее время такъ неприятно отталкивали меня отъ него.

Онъ наработался, усталъ, освѣтлѣлъ и утихъ.

— Что, Иванъ Федоровичъ, спросилъ я, — устали?

— Ужъ и не говорите!.. дѣйствительно едва шевеля утомленной головой, прошепталъ онъ. — Ужъ и не говорите!.. Вѣдь эку Господь послалъ намъ благодать-то!.. Совѣтъ силовъ ничего не осталось!

Худой, точно больной усѣлся онъ; въ огромную худую руку взялъ папирску, сразу сжегъ ее, втянувъ въ ослабѣвшую грудь огромное количество дыма, закашлялся, откашлялся и повелъ разговоръ. Разговоръ состоялъ конечно только въ хвалѣ Бога за урожай, за то, что можно справиться, стать на ноги, что можно отдышаться и такъ далѣе.

— Нѣтъ, сказалъ Иванъ Федоровичъ, какъ-то неожиданно перерывая разговоры о томъ благополучіи, которое принесетъ урожай собственно ему и семьѣ: — вотъ теперича и Петру Сергѣичу ужъ дѣйствительно слѣдуетъ подсобить!

Петръ Сергѣевичъ былъ баринъ, сосѣдъ той деревни, изъ которой былъ Иванъ Федоровичъ, — и мысль *подсобить барину*, неожиданно возникшая въ такомъ мужикѣ, какъ Иванъ, по истинѣ поразила меня.

Сколько я знаю Ивана Федорыча, онъ постоянно былъ лютымъ врагомъ барина вообще и въ особенности барина, живущаго по близости отъ мужиковъ. Онъ не различалъ хорошаго барина отъ худого, злого отъ добраго, не жаднаго отъ жаднаго; всѣ они были для него равны, — враги, которыхъ надо всѣми способами истощить, одурачить, разорить, извести и сжить съ лица земли. Добрый баринъ даже всегда казался ему болѣе удобнымъ для самаго наглаго одурачиванія. Многочисленная семья Ивана Федорова была самая алчная, жадная, ненасытная; постоянная недохватка, зависть къ разживающимся кулакамъ, ненависть къ господамъ, у которыхъ въ «портмонетѣ» всегда деньги откуда-то берутся, все это убѣдило его быть вполнѣ безжалостнымъ ко всякому барину: на охоту-ли господа прѣйдутъ, или появится какой-нибудь охотникъ заниматься сельскимъ хозяйствомъ — Иванъ Федоровичъ непремѣнно около барина, непремѣнно завокетъ его довѣріе и непремѣнно безжалостно оберетъ его, истощитъ, оставитъ въ концѣ-концовъ въ дуракахъ.

Петръ Сергѣевичъ, о которомъ теперь заговорилъ Иванъ Федоровичъ, былъ баринъ изъ самыхъ добрыхъ; онъ по привычку — жить въ народѣ, съ народомъ и по народному — переѣхалъ въ деревню, занялся хозяйствомъ, стараясь съ крестьянами жить въ самыхъ дружескихъ, товарищескихъ —

отношеніяхъ. «Сообща», — вотъ какъ желалъ бы онъ жить и трудиться. — «Давайте сообща дѣлать дорогу... Давайте сообща заведемъ школу... Давайте сообща наймемъ копачей, осушимъ болота и т. д.» И никогда ничего не выходило изъ этихъ попытокъ, не выходило не потому, чтобы онъ были невыгодны крестьянамъ, — напротивъ, дорога напрямъ имъ была нужна, — но потому, что не дорога была для нихъ главнымъ дѣломъ, а только стремленіе искоренить барина. Пусть онъ побьется съ дорогой, пусть его возы съ сѣномъ завязнутъ въ болотѣ; пусть у *нею* земля лежитъ даромъ — небось поживетъ, поживетъ въ пустую, потратитъ самъ свои деньги и на дорогу, и на канаву, разорится, уйдетъ... а какъ уйдетъ — тутъ и хозяйствуй въ лѣсу, руби, продавай дрова и т. д. Иванъ Федоровичъ былъ изъ самыхъ главныхъ воротилъ міра, настроивая его именно въ этомъ тонѣ, и вотъ теперь этотъ самый Иванъ Федоровичъ, который уже давно ожесточилъ противъ себя добраго Петра Сергѣевича, вдругъ заговорилъ такіа рѣчи!

— Надобно! Давно надобно подсобить Петру Сергѣевичу! И ему будетъ хорошо, и намъ будетъ лучше не надо.

— Давно-давно вамъ надо дорогу!

— Да какъ-же! Помилуйте! Да какъ безъ дороги-то?

— Вотъ объ этомъ и рѣчь была!

— Да какъ же безъ дороги-то? Что же мнѣ нешто лучше, ежели я скотину замучаю?..

— Объ этомъ давно говорено!

— И справедливо! Что же мнѣ мучить скотину, когда мнѣ много лучше, ежели она въ силѣ?

— Да объ этомъ сто разъ...

Не слушая меня, Иванъ Федоровичъ, лютый врагъ всякихъ «сообща», теперь, напротивъ, неудержимо развивалъ тѣ самые товарищескіе, «сусѣдскіе» взгляды, вѣру въ которые онъ же самъ главнымъ образомъ и подорвалъ въ Петрѣ Сергѣевичѣ. Теперь, когда недохватки нѣтъ, когда она не грозитъ ему цѣлыхъ два года, вдругъ проснулась въ немъ просто мысль человѣческая, проснулся простой, неугнетаемый ни жадностью, ни злобой, ни нуждой здравый мыслъ; потеплѣло холодное сердце, и само собой родилось душевное желаніе жить съ людьми по людски, по хорошему, по товарищески, жить такъ, чтобы между людьми не было зла... Своими глазами я видѣлъ это перерожденіе этого человѣка въ добраго; жалѣлъ я, что мы всѣ, стоящіе надъ мужикомъ, въ общемъ дѣлаемъ, кажется, совсѣмъ обратное тому, что сдѣлалъ урожай случайно и всего-то на два года, но все-таки не скучно было у меня на душѣ въ этотъ первый день урожая.

Мельница гудѣла и день, и ночь. До бѣла свѣта дѣвки такъ визжали свои пѣсни, какъ будто-бы ихъ живыми зарывали въ землю, или жгли раскаленнымъ желѣзомъ. Пьяные мужики сваливались съ возовъ въ канавы не иначе, какъ въ обществѣ мѣшка съ новой мукой, и храпѣли тамъ, уткнувшись уже не въ грязь лицомъ, а въ муку, въ хлѣбъ... И то хорошо!..

Словомъ, первый день урожая много доставилъ удовольствія, а что будетъ дальше, о томъ разскажу своевременно.

VI. Петькина карьера.

Въ этотъ же пріѣздъ въ деревню были у меня неожиданности и не только по случаю «урожая».

Вотъ напрямъ Петька — маленькій нищій мальчонка — также весьма удивилъ меня неожиданной переměной въ его жизни.

Смотрѣлъ я на Петьку и дивился — на немъ новый картузъ въ сорокъ копѣекъ, каляная ситцевая рубашка, а сапоги хотя и отповскіе, но посмотрите и полюбуитесь, съ какою необыкновенною развязностью отставляетъ онъ ногу въ этомъ неуклюжемъ отповскомъ сапогѣ; полюбуитесь, съ какою ловкостью фабричнаго щелкастъ онъ сѣмечки, какъ небрежно, фатовски выплевываетъ направо и налево скорлупу!

Право, Петька рѣшительно неузнаваемъ съ тѣхъ поръ, какъ я видѣлъ его въ послѣдній разъ, т. е. года полтора тому назадъ.

Главное, что меня заинтересовало въ Петькѣ, это не картузъ и не каляная рубашка, а именно подъемъ духа, нравственное перерожденіе, которыхъ я нивакъ не могъ объяснить себѣ! — Какая сила переродила забитаго, загнаннаго, пришибленнаго Петьку и вдохнула въ него душу живу? спрашивалъ я себя и, не находя отвѣта, обратился за разрѣшеніемъ вопроса къ одному изъ крестьянскихъ мальчиковъ, игравшихъ въ «рюхи» посреди лужайки, въ то время когда я и Петька были посторонними зрителями этой игры.

— Одея! сказалъ я. — Какой нашъ Петька-то сталъ!

— А ты какъ думалъ! Онъ, Петька-то, теперь деньги зарабатываетъ!

— Какимъ образомъ?

— Спички дѣлаетъ! Онъ теперь, Петька-то, фабричный сталъ! Ишь форситъ! Свои деньги у него! Ишь сѣмечекъ-то сколько! То и дѣло по карманамъ шарить, точно миллионщикъ.

Петька покосился въ нашу сторону, поглядѣлъ на насъ и поглядѣлъ такъ, какъ будто хотѣлъ сказать: «а мнѣ наплевать», и, изогнувшись на бокъ, запустилъ руку глубоко въ карманъ, а затѣмъ, поплевавъ шелуху, продолжалъ забавлять себя зрѣлищемъ игры своихъ сверстниковъ.

— Наконецъ! подумалось мнѣ. — Наконецъ и бѣдный Петька выбрался на свою дорогу! Нашелъ путь къ своей Петькиной карьерѣ!

Онъ теперь, очевидно — на рѣкѣ фабричный, машинный человѣкъ! Да и чѣмъ бы онъ былъ, бѣнѣга, еслибы не пришелъ какой-то шведскій человѣкъ и не подобралъ этихъ Петекъ, этихъ лишнихъ людей крестьянства?

Скучно, страшно, холодно въ захудаломъ дворянскомъ домѣ, въ захудалой дворянской семьѣ, но въ захудалой крестьянской семьѣ страшно и холодно до ужаса! Какая угнетающая душу и мыслъ

тоска и пустота, а главное бессмыслица вѣсть отъ этого хлама, который тамъ и сямъ валяется на разоренномъ дворѣ? Что такое означаютъ эти старыя оглобли, эти два сломанныхъ колеса, эта бочка разохшаяся и развалившаяся? Зачѣмъ этотъ пустой хлѣвъ, эти ворота на одной петлѣ, эти пустыя кадки, шайки съ признаками корма и слѣдами капусты? Въ домѣ нѣтъ силы, нѣтъ тепла, цѣли въ трудѣ, и весь этотъ хламъ ужасаетъ свою бессмыслицею, тяжеловѣсностью, топорностью, а главное, полнѣйшею невозможностью найти въ своемъ сознаниіи какую-нибудь связь бездушнаго хлама съ удручающимъ испугомъ предъ жизнью, предъ бѣлымъ днемъ, передъ каждымъ живымъ человѣкомъ?

Петькинъ дворъ и Петькина семья были, на моей памяти, именно такими захудалыми. Не было въ домѣ силы *на крестьянство*; были у Петьки и отецъ, и мать, но не задались ихъ совмѣстная жизнь. Не было въ Петькиномъ отцѣ силы и страсти поднять «крестьянство». Его худое, долговязое, безсильное тѣло не было согрѣто необходимымъ для крестьянства запасомъ огня, горячей страстью преодолѣть, совпадать съ огромнѣйшимъ дѣломъ; онъ былъ какой-то простышій, а главное, самъ отлично зналъ, что въ немъ нѣтъ силы, тепла, и былъ поэтому злой, недовольный всегда; онъ зналъ, что жена его, женщина двуязычная, огненная, неопѣненная для кипучей работы, должна съ нимъ только измѣяться, исчахнуть, «избиться» безъ толку, разорваться на части, ничего не сдѣлавъ путнаго... И онъ едва-ли не со дня своей женитьбы «чуялъ» всѣмъ существомъ своимъ, что изъ совмѣстной жизни ихъ ничего «не выйдетъ». Да не только чуялъ, онъ зналъ это твердо, и съ сердцемъ глядѣлъ, какъ огневая сила его бабы тратится въ пустыхъ амбарахъ, гремитъ въ пустыхъ горшкахъ и бочкахъ... «Не выйдетъ!»—Этого не забывалъ онъ ни на минуту и голодный, «пахнувшій» водкой, былъ постоянно злобенъ, и тогда когда его баба рожала, и тогда когда она хоронила, и тогда когда радовалась телянку, и когда металась какъ полоумная въ минуты, полнѣйшей нищеты. Онъ не былъ бабы даже въ пьяномъ видѣ, но постоянно носилъ съ собою холодное отчаяніе, холодное презрѣніе ко всевозможнымъ усиліямъ своей бабы оживить холодный и пустой домъ. Страшно было смотрѣть на эту рослую, черноволосую, когда-то красивую женщину; она очевидно, дѣйствительно, потеряла возможность понимать свое существованіе; глаза ея широко раскрыты, волосы растрепаны, грудь ея разстегнута, и въ такомъ видѣ она мечется и по дому, и по деревнѣ, выпрашивая пучокъ лука и таская въ обѣихъ рукахъ по ребенку! Всегда она босикомъ, и даже не въ ситцевой юбкѣ «по понишнему», а въ материнской, домотканной паневѣ, точно являлась съ того свѣта; и эту-то огневую бабу непрестанно «ополоумливалъ», такъ сказать, ея долговязый, холодный мужъ, замерзшій внутренно для всякой надежды жить по крестьянски. А если нѣтъ въ крестьянскомъ домѣ силы и огня для того, чтобы былъ въ ходу весь механизмъ кре-

стьянской жизни—что же тамъ остается? Обездуплено и обезсмыслено все до послѣдняго котенка... Все не имѣетъ смысла, и жизнь ужасна непрогляднымъ ужасомъ бессмыслицы...

Петькинъ отецъ плотничаль, но всегда случилось какъ-то такъ, что работа ему выпадала въ самое неподходящее время. Всякую «настоящую» работу обыкновенно успѣваютъ передѣлать за лѣто плотники пришлые, люди, знающіе свое дѣло. Петькину отцу всегда доставалось то, что не успѣли передѣлать плотники заправскіе, т. е. мелочи и пустяки: вставить въ окно косякъ, исправить крышу, починить погребъ. И всегда эта недоделанная работа додѣлывалась въ самое неблагоприятное время, осенью, въ холодъ, въ морозъ, въ дождь и вѣтеръ. Сердитый осенній вѣтеръ и сердитый Петькинъ отецъ, оба какъ на грѣхъ всегда встрѣчались вмѣстѣ на ничтожномъ осеннемъ заработкѣ; морозъ точно нарочно сковываетъ и безъ того безсильныя руки Петькина отца, и Петькинъ отецъ со злобой кое-какъ тяпаетъ топоромъ по дереву, ругая это дерево самыми отборными словами, а въ отвѣтъ на эти ругательства вѣтеръ вырываетъ изъ подъ безсильнаго топора и самое бревно. «Чортъ!» слышится на такой работѣ, «дьяволъ тебя возьми».—«Ишь чортъ!» говоритъ мужикъ, нанявшій Петькина отца, глядя на его нескладную работу.—«Ишь лысый чортъ! ворчитъ Петькинъ отецъ, косясь на мужика-заказчика,—за полтинникъ тебѣ столярную работу подавай!» И сдѣлавши работу скверно, обруганный хозяиномъ и обругавшій хозяина въ свою очередь, Петькинъ отецъ съ бранью пьетъ въ кабацѣ козунку, съ бранью идетъ домой и въ холодной избѣ, самъ весь холодный и голодный, сердито дышетъ холодной сивухой, ругаясь на всѣхъ и вся и лежа на холодной печи.

На такой именно нескладной и скверной работѣ Петькина отца увидѣла впервые Петьку наша учительница. Гуляла она съ дѣтьми въ холодный морозный день и смотрѣла, какъ Петькинъ отецъ ругается на какое-то дерево, которое не поддается тупому топору, и какъ онъ съ сердцемъ пилуетъ на топоръ, который не рубить. Тутъ же стоялъ и смотрѣлъ на работу своего отца и Петька. Онъ былъ одѣтъ въ лохмотья, лицо у него было зеленое, тощее и сердитое.

Два дня работалъ у насъ Петькинъ отецъ, и Петька постоянно толкался около него, щепки подбиралъ. Но и послѣ того, какъ Петькинъ отецъ, по обыкновенію, сдѣлавъ работу скверно, «разругался» и ушелъ,—Петька продолжалъ являться на то мѣсто, гдѣ работалъ отецъ и гдѣ валялись щепки. Жалко было смотрѣть на него, маленькаго, рванаго, озяблага, а главное сердитаго, «несимпатичнаго».

—Послушай, мальчикъ! сказала ему однажды учительница черезъ отворенную форточку.—Холодно тебѣ?

—Нѣ! отвѣтилъ Петька сердито и не сразу, а помолчавъ.

—Какъ «нѣ»? Видишь, какъ ты плохо одѣтъ... Что мать-то любитъ тебя?

Сердито отпихнулся Петька въ правый бокъ и сердито сказалъ:

— Нѣ!

— А отецъ!

И въ лѣвую сторону Петька пихнулъ себя сердито и еще сердитѣе сказалъ:

— Н-нѣ!

— А ты кого любишь?

Петька только носъ утеръ рванымъ рукавомъ.

— Стало-быть тебя никто не любитъ?

Ничего не отвѣчалъ Петька.

— Хочешь я тебя буду любить?

Петька молчалъ.

— Въ гости ко мнѣ будешь ходить? а? хочешь? Разсказывать тебѣ буду... а? Гостинцевъ дамъ?

Много всякихъ благъ насулила учительница Петькѣ и въ концѣ концовъ достигла цѣли.

— Н-ну, началъ Петька непривѣтливымъ и суровымъ голосомъ, неохотно и медленно поворачивая голову къ форточкѣ, — н-ну... люби... когда хошь!

«Когда хошь» въ устахъ Петьки было то же самое, что въ устахъ его отца было: «чортъ!» «дьяволъ!» — слова, которыми онъ вслухъ или про себя всегда заканчивалъ какъ начало неудачной работы, такъ и ея всегда неудачное окончаніе.

И съ этого дня Петька сталъ ходить къ намъ въ гости, вмѣстѣ съ другими деревенскими мальчиками, но между нимъ, захудалымъ потомкомъ захудалаго крестьянскаго рода, и другими, настоящими крестьянскими ребятишками, являвшимися «погостить» прямо съ работы, съ мельницы, изъ лѣсу, съ сѣнокоса — была неизмѣримая разница.

Настоящій крестьянскій ребенокъ не застѣнчивъ и не робокъ; онъ входитъ «къ господамъ» безъ всякаго подобострастія или заискиванія, а такъ-же свободно, просто и единственно только съ любопытствомъ пытливаго человѣка, съ какимъ онъ входитъ въ лѣсъ, удивляясь, наблюдая и изучая все останавливающее его вниманіе; въ комнатахъ господъ съ картинами, цвѣтами, книгами онъ такъ-же чувствуетъ себя только наблюдателемъ любопытнаго, какъ и тогда, когда онъ, засучивши штанишки, идетъ въ рѣчку, не зная, глубоко тамъ или мелко, но идетъ все дальше и дальше, хватая по дорогѣ какую-то рыбку, вытаскивая изъ-подъ подошвы рака и разсматривая его со всевозможнымъ вниманіемъ. Точно такъ-же независимо, свободно и просто, повинувшись единственно любопытству, ведутъ себя настоящіе крестьяне-дѣти и въ гостяхъ у господъ. Разсматриваютъ книжки, дѣлаютъ откровенныя замѣчанія о картинкахъ, словомъ, «любопытствуютъ». Не такъ велъ себя и не ощущалъ на душѣ Петька, появляясь у насъ въ гостяхъ. Онъ, какъ и отецъ его, чувствовалъ себя какъ бы выходящимъ изъ пустого мѣста, не отъ дома, не отъ дѣла, а именно изъ пустого, холоднаго мѣста; и онъ картинки разсматривалъ, но въ душѣ у него ощущалось только отцовское отчаяніе. «Не надо!» говорилъ его зеленое, истощенное, непривѣтливое лицо... «Смотри не смотри, казалось, постоянно думалъ онъ, — а толку никакого нѣтъ и не будетъ!»

И гостинцы онъ ѣлъ, какъ и всѣ, но эти «всѣ» обогащались новымъ ощущеніемъ вкуса: «скусно, скусный землянинки!». Петька же съѣдалъ безъ всякихъ обобщеній и умозаключеній, а такъ, зря, безъ толку и удовольствія. Ходилъ онъ къ намъ часто, но постоянно былъ недоволенъ, постоянно у него было мрачное лицо, постоянно онъ смотрѣлъ какъ-то наискось въ землю и видимо былъ одновременно и сердитъ, и огорченъ, и чувствовалъ въ душѣ отчаяніе и злость.

Приготавливались дѣлать елку. Куча ребятишекъ клеила коробочки, вырѣзывала звѣзды. Суета между ребятами шла самая оживленная. Петька также присутствовалъ среди ребятъ, присаживался къ нимъ то тамъ, то сямъ, медленно переходилъ съ одного мѣста на другое, тяжело стуча по полу своими неуклюжими сапогами, но не слышно было, чтобы кто-нибудь позвалъ его, крикнулъ: «Петька, иди! Подсоби!» Нѣтъ, никто въ немъ не нуждался. Петька былъ одиночекъ. Какъ онъ пришелъ, что дѣлалъ и какъ ушелъ, никто не видѣлъ, не замѣтилъ и вообще никто не обратилъ на него вниманія.

Но когда всѣ разошлись, оказалось, что исчезли десять рублей, лежавшіе гдѣ-то на столѣ. Сразу подумали почему-то на Петьку. Особенно тщательно на изслѣдовала дѣло прислуга, не желавшая, чтобы на ней лежала тѣнь подозрѣнія. Общій голосъ и подробныя разслѣдованія прислуги окончательно убѣдили всѣхъ, что деньги укралъ Петька.

Ни самъ Петька, никто изъ Петькиной семьи не протестовалъ громко противъ этого обвиненія. Только Петькинъ отецъ какъ будто еще больше ожесточился, при встрѣчѣ пересталъ кланяться и, проходя мимо нашего дома (увы! въ новомъ картузѣ), смотрѣлъ на него ожесточенными глазами. Самъ Петька скрылся и долго не выходилъ на улицу. Гдѣ-нибудь на задворкахъ онъ одиноко копался въ разномъ мусорѣ и сердился на насъ.

Прошелъ годъ, совершенно забыли о Петькѣ. Вдругъ совсѣмъ неожиданно, какъ разъ передъ елкой, является растерзанная Петькина мать. Эта, теперь больная, но когда-то могучая женщина прибѣжала по обыкновенію вся запыхавшись, съ «ополоумѣвшими» глазами, съ раскрывшейся грудью, въ распахнутомъ, дмотканномъ бабьемъ армякѣ, съ рваными рукавами и подоломъ, изорваннымъ до бахромы. Она прибѣжала въ первый разъ, невѣдомо зачѣмъ, и потребовала хозяйку.

— На, возьми моего пѣтуна! съ какимъ-то отчаяніемъ въ голосѣ и во всей манерѣ сказала она, выхвативъ изъ-подъ армяка тощаго стараго пѣтуха. — На! Бери! Бери, сдѣлай милость!

— За что? Зачѣмъ?

— А помнишь, ономясь-то?.. Петька-то мой?.. А ты думаешь, много намъ изъ вашей десятины-то досталось? Родная! Всю ночь, въ ту пору, мой-то злодѣй пилъ да ѣлъ. Пирогъ велѣлъ печь ночью-то... рыбы принесъ... Всю ночь ѣлъ да вина еще жралъ, пока не повалился какъ песь... Шапку купилъ, рубаху... Еле у пьянаго-то трешну на ребятишекъ вытащила... На! бери, бери, сдѣлай такую милость! Пѣтунъ хорошій... На! на! прости насъ!..

И она, виѣстѣ съ пѣтухомъ, повалилась въ ноги.
— Приголубь моего Петьку-то! Пуцай опять ходить!.. Матушка, не оставь!

Пѣтуха возвратили Петькиной матери, а Петьку потребовали сейчасъ же въ гости.

— Иди, Петинька! Иди, мой соколикъ! звала его обрадованная мать, выбѣжавъ сломя голову на улицу.

Тамъ, на морозѣ, Петька дожидаль матери. Но долго упрашивала она его, даже замахнулась кулакомъ, Петька упрямился, такъ что въ концѣ концовъ мать все-таки притащила его за рукавъ.

— На! Не гони его! Пуцай поглядить!..

Петька вошелъ въ комнату, не раздѣваясь, остановился у двери, долго стоялъ — и ушелъ опять же такъ, что его не замѣтили... Теперь ужъ ничто не радовало его. На душѣ его лежало тяжелое бремя — «воръ!», и это окончательно отталкивало его отъ всѣхъ.

Съ тѣхъ поръ онъ не приходилъ къ намъ. Всякій разъ, когда на дворѣ собирались играть дѣти, и Петька также выходилъ изъ своей хибарки.

— Мальчики, позовите Петьку, что-жъ онъ одинъ тамъ!

Мальчики зовутъ его:

— Петька! Иди! Чего сталъ!

Но Петька сдѣлаетъ нѣсколько шаговъ — и останавливается... Игра продолжается, а Петька все стоитъ на одномъ мѣстѣ, смотритъ издали.

Не компанія ему крестьянскія дѣти! Нѣтъ у него съ ними ничего общаго! отъ всего онъ оторванъ и одинокъ!

И вотъ теперь одинокій, отторгнутый отъ всякой связи съ бѣлыми свѣтомъ, Петька воскресъ! Онъ не въ сторонѣ отъ ребятъ, а тутъ, съ ними, и хоть не играетъ, но наблюдаетъ за игрой, и наблюдаетъ не только безъ огорченія, безъ обиды, но, напротивъ, поза у него такая, что заставляетъ подозрѣвать въ немъ даже смѣлость насмѣшки. Вотъ вѣдь какъ!

Какимъ же образомъ не воздать славу шведскому человѣку, спичечному фабриканту, который воскресилъ Петьку?

— Одея! позвалъ я опять знакомаго мальчика. — Скажи пожалуйста, что же Петька на фабрикѣ дѣлаетъ?

— Коробки клеить.

— Почему же ему платятъ? Ну что, напримѣръ, стоитъ одна коробка?

Одея подумалъ и сказалъ:

— Да одна-то она ничего не стоитъ...

— Какъ такъ?

— Да и вовсе ничего...

— Ну, а десять коробокъ?

И опять подумалъ Одея, посчиталъ въ «умѣ» и сказалъ:

— Онѣ и десять ничего не стоятъ.

— Да какъ же такъ? Вотъ я сдѣлалъ десять коробокъ — сколько я получу?

— Ничего тебѣ не дадутъ...

— Ну, это вздоръ!

— Ничего не дадутъ! Тебѣ копѣйку дадутъ,

если двадцать пять сдѣлаешь. Четыре копѣйки сотня. Тутъ одна дѣвочка четыреста штукъ въ день одолѣваетъ, — вотъ проворная! Ну, а Петька не можетъ... Копѣекъ на восемь въ сутки — ну такъ...

Одея засмѣялся.

— А ты говоришь, чего стоитъ коробка? Да она ничего не стоитъ... Вотъ какой есть товаръ!

— «Восемь копѣекъ въ сутки», подумалось мнѣ, — это конечно маловато, но что же иное могло ожидать въ деревнѣ оторваннаго отъ деревни Петьку, крестьянина, лишеннаго силъ и дарованія быть крестьяниномъ? На что и кому онъ нуженъ, сердитый, безсильный? Нѣтъ, восемь копѣекъ своевременно пришли къ нему на выручку и вывели его на неизбѣжный для Петьки путь.

Восемь копѣекъ это только начало Петькиной карьеры. Зайдите-ка къ шведскому человѣку, открывшему спичечную фабрику, мѣсяца этакъ черезъ два послѣ того, какъ Петька научился добывать по восьми копѣекъ въ день, и вы услышите отъ него, что онъ уже вынужденъ сбавить плату съ четырехъ копѣекъ на двѣ.

Почему? Да потому, что Петьки наводрились выдѣлывать не по четыреста штукъ въ день, а по полторы, по двѣ тысячи. Такой день дорогъ для фабриканта, и онъ убавляетъ плату до двухъ копѣекъ. И не думайте, пожалуйста, чтобы Петька подчинился этому мѣропріятію — нѣтъ — «пустъ двѣ копѣйки дадутъ, говоритъ онъ себѣ, я буду дѣлать не двѣ, а четыре тысячи въ день!..» И будетъ дѣлать четыре, и будетъ дѣлать восемь, когда будутъ платить копѣйку!

Послушайте-ка, что говоритъ matka-то Петькина:

— Соколикъ ты мой! Вѣдь ты нашъ кормилецъ, кабы не ты — чтобы мы стали? Золотыя твои рученьки! Сохрани тебя царица небесная!.. За тобой, за родименькимъ, я и свѣтъ-то увидѣла.

— Дай, Петька, отцу-то пятакъ! жалобно, хоть и съ отцовскимъ правомъ поступать съ дѣтми грубо, говоритъ Петькѣ его отецъ. — Авось и моего въ твое брюхо какъ ни какъ попадало...

— На, бери пятакъ! говоритъ Петька.

Зная все это, развѣ въ силахъ Петька, подъ какими-бы ни было давленіями, отстать отъ своей работы?

Нѣтъ, это только начало! Умаявши въ деревнѣ шведскаго человѣка, Петька переберется въ Питеръ и тамъ начнетъ маять добрыхъ людей. Въ деревнѣ онъ началъ превращаться въ машиннаго человѣка, здѣсь ужъ онъ прилипъ къ машинѣ на вѣки вѣковъ: дни и ночи, мѣсяцы и годы онъ не отходитъ отъ машины — тутъ въ ней все его существованіе, тутъ слезы и радости мамыньки, тутъ Петькино счастье, тутъ, словомъ, вся Петькина жизнь, все содержаніе жизни, и здѣсь напряженіе силъ Петьки дойдетъ до высшей степени. Это напряженіе пробьется сквозь всевозможныя преграды: въ деревнѣ шведскій человѣкъ только сбавлялъ плату, здѣсь же въ столицѣ изобрѣтено ужъ множество другихъ средствъ для подавленія петькиной жажды суще-

ствования. Штрафы, начоты, переводъ съ задѣльной платы на поденную, съ поденной на задѣльную. И все-таки Петька преодолѣетъ и удивить своею живучестью!

Понявши, въ чемъ заключается его единственное спасеніе, онъ не будетъ жалѣть никакихъ администрацій, напротивъ, будетъ постоянно ставить ихъ въ затруднительнѣйшее положеніе. Ему нельзя жалѣть администрацій. Почитайте-ко, что пишетъ изъ деревни «мамынька». Развѣ можно ему себя жалѣть? И Петька, не жалѣя себя, не жалѣетъ и администрацій. Не жалѣетъ онъ ни участковъ, которые приѣмлютъ его по праздникамъ въ пьяномъ видѣ, не жалѣетъ онъ городскихъ, которые ужъ и безъ того руки обломали съ этимъ народомъ. Надо бы его остановить въ дракѣ, свалить, связать, вазалить на извозчика и пихнуть въ темную. Не жалѣетъ онъ докторовъ, больницы, которымъ нѣтъ отдыху отъ этихъ измученныхъ, худосочныхъ, не то пьяныхъ, не то чахоточныхъ, израненныхъ дракой, машиной, хозяйской выучкой... Вообще Петька сдумѣетъ намучить за мамыньку пропасть интеллигентнаго народа. Но, не смотря на эти муки и его надоедливую жизнь, можно совершенно понять тѣ горючія слезы, которыя польются изъ глазъ Петькиной матери, когда наконецъ придетъ бумага, гдѣ будетъ сказано, что Петька пересталъ надоедать и съ экстреннымъ поѣздомъ желѣзной дороги отвезенъ на Преображенку.

— И гдѣ же ты, солнышко мое золотое? И кто же теперь меня, старую, вспомнить, пріютить! Дитяtko мое...

Я, посторонній зритель Петькиной карьеры, весьма вѣроятно не заплачу, но на прощанье съ Петькой, припоминая всю его карьеру и всё его добрыя дѣла на пользу общества (сички, папиросы и т. д.), не могу не сказать:

— Спасибо, Петька! Царство тебѣ небесное! Поработалъ ты на всѣхъ насъ, до послѣдней капли крови. Спи, бѣдняга!

VII. «Недосугъ».

I.

..... Поѣздъ по обыкновенію остановился около станціи въ три часа ночи; пріѣзжіе устали, иззябли и спѣшили по домамъ, забѣгая въ буфетъ выпить водки, чтобы согрѣться, забѣгая въ почтовое отдѣленіе, чтобы получить письма и газеты, въ то время какъ артельщики таскаютъ вещи, получаютъ по квитанціямъ багажъ. Вообще всегда въ этотъ часъ на нашей станціи идетъ торопливая ходьба, торопливый разговоръ, торопливая ѣзда, шумъ, ходьба, суматоха...

— Всѣмъ вамъ, господа, жертвую по двѣсти тысячъ! громко, во всеуслышаніе послышалось откуда-то сквозь шумъ и гамъ толкающейся толпы. Я было повернулъ голову въ ту сторону, откуда эти слова послышались, но надо было пить водку «поскорѣй» и спѣшить... И вся публика, такъ-же какъ

я, занятая своими суетливыми дѣлами, хотѣла-было обратить вниманіе на этотъ возгласъ, но за недосугомъ какъ-то не успѣла этого сдѣлать...

— Что такое? спрашивалъ мнѣ, поднимая голову, но такъ какъ вмѣсто отвѣта артельщикъ суетъ ему въ руки багажъ, то надобно сосредоточивать свое вниманіе на багажѣ, а тѣмъ временемъ ужъ и забылось то, на что хотѣлъ онъ обратить вниманіе.

Торопливо выпивъ водки и закусивъ, и я также хотѣлъ было спросить у кого-нибудь: «что такое? и кто это говоритъ?» но вниманіе мое было привлечено ужъ другимъ разговоромъ.

— Тащите вы его, дурака, отсюда! кричалъ буфетчикъ. — Офодор! Скажи жандарму, чтобы взял его... Говорено было не пускать.

— Такъ вѣдь ломается силомъ!..

Торопливый шумъ сильного и дружнаго натиска въ дверяхъ вновь побудилъ меня задать вопросъ о томъ, что такое происходитъ, но едва я произнесъ:

— Скажите пожалуйста...

Какъ ко мнѣ въ попыткахъ подбѣжать извозчикъ и проговорилъ:

— Пожалуйста садитесь!.. Поспѣшить надо... мнѣ еще одного барина въ Тифинъ везть... ужъ сдѣлайте милость...

Надо было «сбѣжать» къ санямъ... На бѣгу къ повозкѣ я миновалъ толпу служителей, жандармовъ, окружавшихъ какого-то мужика, тшедушнаго (лампа слегка освѣтила его лицо), безъ шапки. Что онъ говорилъ, поясняя свои слова быстрыми нервными жестами, — не было слышно, а остановиться было некогда.

— Волоки, волоки его домой! говоритъ кто-то тономъ человѣка, привычнаго распоряжаться. Ладно! присылай двѣсти-то тысячъ!

И вслѣдъ за мной, когда я осторожно спускался съ обледенѣлыхъ ступеней платформы, шумно гремя саблями и торопливо, и громко стуча ногами, поспѣшно прошла толпа жандармовъ и сторожей, все съ той же (теперь уже неясной отъ темноты) фигурой мужичонки по срединѣ, и сбѣжавъ со ступеней платформы, скрылась во тьмѣ зинвейной.

— Поволокли! сказалъ ямщикъ, влѣзая на козлы саней, — должно-быть запрутъ гдѣ-нибудь въ казармѣ...

— Да кто это такой и что такое? спросилъ я наконецъ, когда кончились всѣ хлопоты и сани тронулись въ путь.

— Да помѣшанъ тутъ одинъ мужичонко... Всѣмъ, говорить, по двѣсти тысячъ рублей дать... Помните, я вамъ года три тому назадъ маляра рекомендовалъ?..

Не помня чужихъ хлопотъ и заботъ за своими хлопотами, я, какъ и всѣ грѣшные, свои-то хлопоты помню хорошо, и при словахъ ямщика весьма отчетливо вспоминалъ, что три года тому назадъ дѣйствительно надобно было оклеивать комнаты въ деревенскомъ домѣ и я искалъ маляра. Вспомнилъ я комнаты, которыя нужно было оклеивать, вспо-

нияз даже и обон, и рисунокъ на обояхъ, и цѣну, а маляра не вспомнилъ...

— Нѣтъ, сказала я, — этого мужика у меня не было... кажется, не онъ оклеивалъ!..

— Да и есть не онъ... У васъ тогда другіе перебили... онъ только сторговался, а другіе взяли работу-то!

Теперь я вспомнилъ и это обстоятельство. Точно, сначала пришелъ плюгавый мужичонко и набѣдничалъ съ три короба — юлилъ, вертѣлся, бормоталъ... А потомъ пришли еще два маляра, старикъ и молодой сынъ, раскритиковали мужичонку въ пухъ и прахъ, отрекомендовали себя съ самой лучшей стороны («даже у купца Чистоплюева отдѣлывали къ свадьбѣ залу съ панелью!»), взяли меньшую цѣну и даже, помнится, во все время работы, стоя на табуретахъ, шаркая руками по стѣнамъ и махая кистью по потолку, только и разговаривали что о мужичонкѣ...

— Ему бы только задатокъ взять, а тамъ его и съ собаками не найдешь... Онъ вотъ у курянца взялся, такъ одного гляну перервалъ на пять цѣлковыхъ — а потолку было всего сажень на шесть квадрату... Какъ можно! Съ неумѣлыми руками за это дѣло браться нельзя... А въ нашихъ мѣстахъ народъ какой? Понадобилась ему копѣйка, такъ онъ не то что за маляра себя выдастъ, а за архіерея провозгласитъ не постыдится... Избаловался народишко начисто!

Все это я вспомнилъ, а такъ какъ время ѣзды было праздное, то я и спросилъ ямщика отъ нечего дѣлать:

— Отчего же это съ нимъ?

— Да Богъ его знаетъ... Намъ недосугъ дознаваться... Видно, ужъ такъ Богу угодно... Я его путь-то и не зналъ... Только что иной разъ подойдетъ, попроситъ работы — ну, и рекомендуешь господамъ... а такъ чтобы касаться... И съ своимъ-то дѣломъ еле-еле управился...

— На чемъ же онъ помѣшался-то?

— На богатствѣ вишь... Всѣмъ, говорить, по двѣсти тысячъ дамъ... Храмъ выстрою... попамъ пожертвую, вѣчное чтобы поминование, каждому мужику справлю хозяйство... Въ буфетъ помитя, потребуе дорогого кушанья...

— Давно-ли это съ нимъ?

— А Богъ его знаетъ!.. Недосужно намъ мѣшаться въ чужія дѣла... своего много...

— Да вѣдь онъ вашъ?

— Нашъ-то нашъ... Да вѣдь у насъ много всякаго народу...

Въ это время сани круто повернули на старое московское шоссе; сильный вѣтеръ мерзлымъ колючимъ свѣгомъ ударилъ прямо въ лицо и нѣтъ, и ямщику; ямщикъ замолчалъ и закрывъ рукавицей; а закрылся шубой, высоко поднявъ воротникъ. Оба мы замолчали, молча доѣхали домой, совершенно забывъ маляра, и, проснувшись утромъ, я (да и ямщикъ также) уже совершенно не помнили вчерашняго дня... Насталъ новый день, новыя хлопоты, новый недосугъ...

II.

Недосугъ за недосугомъ, забота за заботой — и чѣмъ дальше, тѣмъ больше, а тѣмъ меньше возможности останавливать вниманіе не на личныхъ только хлопотахъ... Сидѣлъ я такъ-то однажды дома и пробовалъ «заняться чтеніемъ». Давно уже, лѣтъ пять назадъ, надо было «протудировать» одно серьезное сочиненіе въ пяти большихъ томахъ, да все недосугъ... «То то, то другое». Такъ и на этотъ разъ: проснувшись утромъ, я твердо рѣшилъ весь день посвятить чтенію «серьезнаго сочиненія»; проворно всталъ, взялъ и отточилъ ножъ столовый (костяной ножикъ остался въ городѣ), чтобы сначала разрѣзать для удобства чтенія *вотъ томы*, и тотчасъ бы принялся за дѣло, еслибы не чувствовалъ, что меня беспокоитъ какая-то «малость». Только бы, казалось, устранить эту малость и тогда можно приняться за дѣло серьезно и основательно... Но по обилію всякихъ домашнихъ малостей я не скоро бы догадался, которая изъ нихъ препятствуетъ мнѣ приступить къ серьезному занятію, еслибы на выручку мнѣ не явилась старуха-кухарка.

— Что-жъ будемъ мыть полы-то?.. Тамъ женщина пришла, проситъ работы...

— Мыть, мыть! радостно завопилъ я, увидавъ съ полнѣйшею ясностью, что мытье половъ и есть именно та «малость», которую необходимо устранить, чтобы наконецъ основательно сосредоточиться на чтеніи серьезнаго сочиненія въ пяти томахъ. Въ виду этого я просилъ старуху-кухарку какъ можно скорѣе приступить къ мытью, а пока рѣшилъ повременить разрѣзывать томы и побыть такъ, безъ дѣла, пока кончится вся эта возня.

Скоро явилась баба и принялась за работу, и работа была до такой степени артистическая, что рѣшительно нельзя было ею не любоваться. Женщина была красивая, ловкая, хотя уже видимо потерпѣвшая и поголодавшая на своемъ вѣку; но, не смотря на лохмотья, въ которыя она была одѣта, на грязную работу, которую дѣлала, во всѣхъ ея движеніяхъ, даже въ манерѣ нести грязное ведро сказывалось ея природное изящество и виѣсть съ тѣмъ замѣчательное искусство труда. Стоить ей налить воды на грязную доску крыльца и провести по мокрой грязной доскѣ грязною тряпкой, какъ доска эта дѣлалась бѣлѣе снѣга. Достаточно было мелькомъ видѣть эту работу, эту женщину и ея манеру, чтобы деревенскій, опытный въ деревенскихъ талантахъ глазъ оцѣнилъ неоцѣненные качества такой бабы.

Работа была кончена чрезвычайно быстро. Баба ушла, получивъ расчетъ. Слѣдовало бы немедленно взять «серьезное сочиненіе», столовый ножъ и приступить къ серьезному занятію; но я, прежде чѣмъ сдѣлать все это, почему-то счелъ нужнымъ предварительно поговорить со старухой-кухаркой.

— Кто такая эта женщина?

— Да это тутъ одна вдова...

— Здѣшняя?

— Знаю, здѣшная... Мужъ-отъ у нея померъ недавно въ больницѣ, въ сумасшедшемъ домѣ. Помѣшался на деньгахъ — всѣмъ, говорить, по двѣсти тысячъ награды дамъ... А недавно и кончился въ больницѣ. Ну вотъ, она и бьется теперь... Чай помнишь, какъ домъ-отъ вздумалъ обоимъ обивать, такъ маляръ къ тебѣ напрашивался?.. Годовъ пять что-ли никакъ будетъ?..

(Старуха жила у меня съ незапамятныхъ временъ.)

И вотъ опять, чрезъ пять лѣтъ, всплыла въ воспоминаніяхъ моихъ тщедушная фигура маляра, всплыла случайно, какъ обыкновенно всплываютъ въ нашей памяти, памяти людей, поглощенныхъ своимъ недосугомъ, тысячи случайностей чужой жизни, — случайностей, никогда почти не уясняемыхъ, а остающихся въ видѣ какихъ-то обрывковъ чужой жизни, затемняемой мелочами того же личнаго недосуга. Какъ только старуха вспомнила о томъ времени, когда я вздумалъ «обоимъ обивать» свой домъ, такъ я опять вспомнилъ и обою, и цѣлты на обояхъ, и цѣну, вспомнилъ и тщедушнаго маляра, который являлся передо мною, чтобы получить работу, вспомнилъ и тѣхъ двухъ маляровъ, которые эту работу перехватили у него.

— Да, да, сказалъ я кухаркѣ: — помню, это тогда онъ пришелъ первымъ... а потомъ пришли другіе?..

— Ну-ну!.. Это тогда его родной отецъ со своимъ сыномъ работу отъ его отбывъ...

— Какъ родной отецъ?

— И-и! Такой звѣръ дикий, да хуже еще!..

— Какъ же это? Я и не зналъ, что его отецъ.

— Идѣжь тебѣ знать! И мы-то здѣсь ужъ всегда живемъ и то, почитай, не знаемъ... Онъ, покойникъ-то, отъ первой жены его сынъ-то... Покуда жива была мать, то есть первая жена, и отецъ это не такой былъ звѣрище... А ужъ мать-то какъ его любила, баловала, нянчилась!.. Нѣжный былъ ребенокъ, чувствительный. И отецъ-то въ ту пору другой былъ — все бывало съ сынишкой на работу свою малярную ходить, обучилъ его своему мастерству рано... Ну, а какъ умерла мать, отецъ и задумалъ жениться на другой и взялъ тоже изъ нашей деревни дѣвку... Только не дай Богъ какая вѣдьма!.. Пока своихъ дѣтей не было, еще и такъ и сякъ терпѣла пасынка, а какъ свои-то пошли — и стала его сживать со свѣту, а отецъ и вовсе этой бабѣ подвергся: что она скажетъ, такъ тому и быть... Гнали, гнали малаго, искореняли, искореняли его — принужденъ былъ уйти отъ нихъ куда глаза глядятъ... Бывало, слезами плачетъ, обливаясь... По крестьянству не умѣть, а малярное дѣло отецъ отбиваетъ; но пока не женился, все кое-какъ на одного-то хватало... А какъ оженили — такъ ужъ тутъ стало ему хотѣ разорваться... Жена-то у него бойкая, работающая, а ему не поспѣть по крестьянству-то за ней!.. Вотъ онъ сталъ рвать себя на части — бѣгаетъ, проситъ работы, ночей не спитъ, а родной-то отецъ его какъ волкъ зубами, разъ да разъ за самое свѣжое мясо, оторветъ да оторветъ себѣ, да еще осрамить сына-то родного!..

— Да, онъ его тогда очень бранилъ! вспомнилось мнѣ, и я сказалъ объ этомъ старухѣ.

— У-у! такой тираннице сталъ, не привелъ Богъ, а сама-то поди какая печь огненная... Ей-бы только своимъ дѣтямъ все досталось; а кто помѣшаетъ, такъ и проглотить безъ разговору... Вонъ онъ отъ бѣдности-то должно быть и помутился... Денегъ вишь у него тѣма тѣмущая.

— Такъ это родной отецъ такъ съ нимъ поступалъ?

— А то какъ же? отъ этого-то онъ и огорчился рано въ своей жизни... Легко-ли дѣло — родной отецъ не щадитъ свое чадо!.. Вѣдь человѣку безъ пристанища страшно жить... Родительское слово — чего оно стоитъ! А тутъ нако-что!.. А вѣдь онъ нѣжный-пренѣжный былъ, чувствительный!.. Рабенкомъ у него родился отъ Авдотьи, такъ не надшется!.. Бѣгаетъ, работы ищетъ, а мальчонка Андрюшка на рукахъ... Вотъ и съ рабенкомъ тоже Господь его не помиловалъ! — Тутъ-то вотъ съ рабенкомъ-то какъ вышло нехорошее дѣло, тутъ-то должно быть онъ въ первый разъ и крянулъ...

— А что такое съ рабенкомъ было?

— Да задавили его, другъ ты мой, на отцовскихъ глазахъ?.. Жили они на квартирѣ у ямщика... Есть тутъ у насъ одинъ разбойникъ-ямщикъ, Буфетовъ называется...

— Какъ-же, знаю Буфетова!

— Ну вотъ, этотъ разбойникъ и задавилъ малаго... Пьянствовать любить, жену колотить, забилъ ее чуть не до смерти — вотъ онъ въ пьяноту видѣ разогналъ снова тройку, вкатилъ въ ворота и переѣхалъ мальчишку, какъ есть на глазахъ у отца... Какъ стоялъ онъ, Егоръ (его Егоромъ звали), и видитъ это — такъ и упалъ мертвымъ... Оморокъ его тогда расшибъ — долго отливала вода, пока очнулся. И вотъ съ тѣхъ поръ, какъ похоронилъ мальчишку, такъ что-то стало съ нимъ не складно... Мутность какая-то въ глазахъ стала... И въ разговорѣ иной разъ непонятно что-то разговаривалъ... Ну вотъ, потомъ и захворалъ, дальше да больше...

— Такъ вотъ оно что!.. сообразивъ всю эту драму, невольно воскликнулъ я, начиная чувствовать къ этому дѣлу не одно только равнодушное любопытство, какъ къ обыкновенному деревенскому слуху, не имѣющему ни начала, ни конца, ни звѣченія.

— Да, сказала огорченная старуха, — вотъ такое дѣло. Вотъ оно сиротство-то, до чего доводитъ. И есть же такіе злодѣи родители...

Хотѣлъ было я спросить:

— Ну, а жена-то его какъ-же теперь?

Но въ это время пришли сказать, что мужикъ привезъ дрова. Надо было пойти, сложить, смѣрить, расплатиться. Такъ прошло часа два, а потомъ насталъ вечеръ, подали самоваръ; приниматься за «серьезное сочиненіе» было уже не резонъ — цѣлый день, какъ видите, все хлопоты и недосугъ... Надобно отложить до завтра...

Съ этою мыслью я легъ спать, заснулъ и проснулся, имѣя въ перспективѣ новыя заботы, средъ

которыхъ нѣтъ случая вспомнить про маляра. Кухарка тоже не вспомнила—и у нея тоже недосугъ...

И маляръ исчезъ изъ нашихъ воспоминаній безъ слѣда.

III.

А время идетъ своимъ чередомъ и идетъ такъ, что намъ, деревенскимъ жителямъ, вовсе незамѣтно, какъ годъ уходитъ за годомъ, словно таетъ, не оставляя о прошломъ никакихъ воспоминаній и сосредоточивая вниманіе деревенскаго жителя только на заботахъ настоящаго дня. Сегодня мы не знаемъ, что будетъ завтра, а завтра не будетъ того, что сегодня,—вчерашній день нынѣшнему не указчикъ. У меня вотъ вчера еще не было одной лишней заботы, а сегодня есть: стали куры ходить въ клубнику и ягоды клевать, и такое меня «взяло зло» на куръ, что я даже и не подозрѣвалъ. Обыкновенно куры у меня ходили на полной свободѣ, но пришлось мнѣ на мысль развести клубнику (сосѣдъ-мужикъ предложилъ усовѣ клубничныхъ). «Польстился» я на эти усы, посадилъ, а теперь и самъ не радъ—куръ развелось множество, и все съ цыплятами, и клубнику Господь уродилъ богатѣйшую—вотъ и не смыкай глазъ всю ночь, потому что чуть солнышко взошло, ужъ насѣдки съ цыплятами пробіраются къ клубничнымъ грядкамъ... И что мнѣ клубника? А вѣдь не утерпишь, выскочишь въ чемъ есть, и вѣдь какую войну затѣнешь съ курами-то! Терроръ, сущій терроръ! Ожесточись на бессмысленно мечущуюся насѣдку, на старуху-кухарку, которая не смотритъ, а жалованье получаетъ,—взволнуешься негодованіемъ на народное невѣжество, неблагодарность и вообще дойдешь до самаго настоящаго раздраженія. И вѣдь не дорога мнѣ клубника-то—вотъ вы о чемъ подумайте—а такая ужъ привычка къ своимъ заботамъ, все беретъ за сердце и беспокоитъ.

Такъ и идетъ жизнь: не знаю, зачѣмъ «польстился» на клубнику и нажилъ беспокойство съ курами; беспокоился, беспокоился съ курами, пришелъ къ мысли—огородить огородъ частымъ тыномъ,—новая забота, опять беспокойство: тынь по самому малому расчету долженъ обойтись въ тридцать рублей, чего и куры-то вмѣстѣ съ клубникой не стоятъ, а между тѣмъ обо всемъ этомъ надо думать и беспокоиться. Скрѣпя сердце однако-жъ пришлось рѣшиться дѣлать тынь. Не бросать же куръ и гряды зря. Если бросать, такъ должно бросить и все прочее, изъ чего вырастаетъ наше ежедневное деревенское беспокойство: и капусту, и лукъ, и сѣно, и свинью,—да все, все вздоръ и дрянъ; а бросишь, такъ и живи въ безвоздушномъ пространствѣ... Да тогда зачѣмъ и жить-то въ деревнѣ?

Одно горе изживешь—другое ѣдетъ на встрѣчу. Порѣшилъ я дѣлать этотъ тынь и немного успокоился. Думаю, недолго куры мнѣ напортятъ на грядкахъ, потому что Иванъ Кузьминъ, нашъ однодеревенецъ, мой должникъ на цѣлыхъ восемь рублей, «безпремѣнно обѣщалъ привезти для тына

прутняку и кольямъ. Помню, даже самъ просилъ меня никому другому не отдавать:—«Мы съ Андрюшкой духомъ оборудуемъ!...»—Когда-же? говорю...—«Вотъ одна минута... опослѣ-завтра безпремѣнно». Послѣ-завтра Богъ далъ хорошую погоду—не пріѣхалъ Иванъ, а я хоть поводновался, но долженъ былъ извинить: надо пользоваться погодой—сѣвокосясь... «То то, то другое»—и недѣля прошла: вспомнилъ я о тынѣ—опять разсердился и на куръ, и на клубнику, и на Ивана: все волнуется и выводитъ изъ терпѣнія... Сто разъ я костилъ этого Ивана самыми неприступными словами и не щадя обрушивалъ ихъ и на куръ, и на клубнику, и на старуху-кухарку! Наконецъ подъ угрозою не ждать и отдать работу другому, Иванъ «забожился мнѣ всѣми святыми», что завтрашняго числа «безпремѣнно все оборудуемъ»... Знаю давно я эти «безпремѣнно», завтрашняго числа, знаю я, что значатъ эти слова въ устахъ мужика, который задолжалъ восемь рублей и долженъ ихъ отработывать... Хотя Иванъ и изъ порядочныхъ, а все меня беспокоило—пу-ка опять надуетъ... Обѣщалъ онъ пріѣхать «утресъ» къ седьмому часу, а я, тревожимый заботой ожиданія, проснулся уже и вышелъ въ садъ въ шесть часовъ и безпокойно ожидалъ семи часовъ. Пробило семь—нѣтъ Ивана... Пробило двѣнадцать—нѣтъ Ивана... Три часа—нѣтъ!.. Словомъ, передать это состояніе невозможно! Скажу одно, что къ шести часамъ я положительно былъ внѣ себя и не знаю, до какихъ размѣровъ достигло бы мое нервное разстройство, если-бы въ семь часовъ Иванъ наконецъ не подѣхалъ къ моимъ воротамъ, сидя на огромномъ возу прутняка.

Его виновный видъ, потное запыхавшееся лицо—все вмѣстѣ ясно доказывающее сознаніе имъ своей виновности и старанье заглядѣть проступокъ—значительно успокоили меня; я пересталъ волноваться и чувствовалъ только сильную физическую слабость...

Я сидѣлъ на крыльцѣ и, когда возъ съ прутнякомъ вѣхалъ на дворъ, Иванъ подошелъ ко мнѣ и, снявъ шапку, извинился.

— Ужъ вы извините, сдѣлайте милость... Я-бы и радостью радъ, да вѣдь что подѣлаешь? Выбрали въ волостные судьи и проморили до третьяго часу... Ужъ я потомъ, не ѣвши, въ лѣсъ-то поѣхалъ...

Я совершенно смягчился, сказавъ:—«Ну ладно! Отдохни!» и далъ ему папиросу.

Иванъ присѣлъ на крыльцо.

— Отчего-же такъ долго-то? спросилъ я.

— Да дѣловъ накопивши за лѣто много!

— У нихъ дѣловъ много! иронически сказала старуха-кухарка, также отдохавшая на кухонномъ крыльцѣ неподалеку отъ меня.—Не покладючи рукъ мужиковъ деруть!.. Судьи праведные!..

— Деремъ, кто заслуживаетъ! А кого и милуемъ!.. Тоже все надо обдумать, обсудить...

— А нонча-то кого судили? спросила старуха.

— Много было всякаго... Главная причина Авдотья часъ замаяла... Сама взбунтовала дѣло, жалобу подала, а на судъ не пришла... Посылали за

ней почитай разъ десять—не пойду да не пойду, а потомъ пришла тутъ женщина и говорить:

— Что вы ее дожидаетесь? Она собрала свои хоботы въ узелъ да и ушла на вокзалъ!.. Пожалуй и въ самомъ дѣлѣ уѣхала...

— Это какая-же Авдотья-то? спросила опять старуха.

— Али не знаешь, Авдотья-малыриха, вдова?..

— Малырова, Егорова вдова?.... Какъ не знать Авдотью!.. Ононесь она у насъ, года никакъ съ два тому-быть, полы мыла, прибавила старуха, обращаясь уже ко мнѣ... Помнишь, чай? Баба такая складная?

Тутъ я вспомнилъ и бабу, вспомнилъ и плюгавенькаго малыра, вспомнилъ и то время, когда дожи «обоимъ обивалъ», и какъ пришли два другихъ малыра и отбили у плюгавенькаго работу; вспомнилъ и то, что эти два малыра были отецъ плюгавенькаго и его сынъ отъ второй жены—злой бабы, вспомнилъ, что плюгавенькій очень былъ несчастенъ, очень чувствителенъ и что отъ бѣдности онъ тронулся, что мальчика у него раздавили, что въ обморокъ онъ упалъ и что теперь онъ ужъ въ могилѣ...

Вспомнивъ все это, я уже не могъ быть нелюбопытнымъ и спросилъ мужика:

— Такъ что-жъ, Авдотью что-ли судили?..

— Какое Авдотью—сама судъ завела!.. Пожалавалась на одного мужика... Такъ, забулдыга, разбойникъ... Напилися вишь пьянъ да и давай срамить Авдотью.—«Я, говоритъ, тебя передъ всѣмъ свѣтомъ осрамлю... Я вижу, что ты на вокзалѣ дружка завела, такъ я тебя произведу»... И сталъ орать при всѣмъ честномъ народѣ, да и на вокзалѣ сталъ рассказывать:—«Я, говоритъ, съ Авдотьей и при мужѣ-то жилъ какъ съ женой... Она должна понимать, отчего мужъ-отъ исчахъ... И смѣть она мнѣ дѣлать измѣну? Я, говоритъ, и жену-то вогналъ въ гробъ изъ-за нея, а ежели она посмѣетъ мнѣ слово пикнуть, такъ я и не то объявлю»... И ужъ такъ поливалъ ее со всѣхъ концовъ—слушать-то и то тошно... Ну, она, Авдотья-то, выла, выла, да и подала въ судъ: посовѣтовали подать...

— Ахъ, разбойникъ-разбойникъ! Да? кто онъ этотъ разбойникъ-то?

— Да Буфетовъ, извозчикъ...

— Это что мальчика-то ея раздавилъ?

— Ну вотъ, онъ самый! Такая злая татарская порода! Буфетовъ—онъ мальчика-то и раздавилъ...

Старушка-кухарка была такъ поражена рассказомъ, что, приложивъ обѣ сложенные ладонями руки къ щекамъ, медленно качала головой и охала...

— А какъ неспроста онъ и мальчика-то раздавилъ? съ ужасомъ сказала она.

— Отъ него все станется!.. Это ужъ такая ихняя татарская порода... Онъ два раза господъ проѣзжающихъ въ лѣсу грабить принимался—только что деволверы были—Богъ спасъ. Разбойникъ!.. Они ссыльные изъ Касимова... Баринъ сослалъ въ старые годы его дѣда. Татаринъ сущій.

— И станется отъ него, подлеца... Зналъ вѣдь

онъ, какъ отецъ его лѣлялъ!.. «На-жъ, молъ, тебѣ... подохни съ горы!».. Вѣдь онъ вѣрный былъ Егоръ-то, какъ ребенокъ...

— Ну тоже нарочно задавить!.. съ сомнѣнiемъ проговорилъ Иванъ.—Это вѣдь тоже... А можетъ, они выѣстяхъ съ Авдотьей... Мужикъ онъ дерзкій, баба она была молодая, Егоръ-то жадокъ... Богъ ее знаетъ!

— Ну ужъ, Авдотью ты не порочь! Жъ Авдотью я вотъ какъ знаю!.. вступилась съ сильнымъ раздраженiемъ въ голосъ старуха. — Ты Авдотьи не тронь!

— Чего мнѣ трогать? Мнѣ чего тутъ? А что въ вашей сестрѣ тоже хорошая тѣма въ совѣсти... Иная, поглядѣть на нее,—овца безсловесная, а какъ разберешь, анъ и видишь, что тамъ у нея агъ съ дьяволами гнѣздится!

— Ужъ это про Авдотью не говори! Она мнѣ еще при мужѣ сказывала — «пристаешь, говорить, ко мнѣ разбойникъ, проходу не даешь... А мужъ покою не знаетъ»... А чтобы что...

— Н-ну, тоже... Знаемъ мы вашу сестру... видимъ!.. Пооди, вонъ, погляди на вокзалѣ...

— И глядѣть-то мнѣ тамъ нечего. Не такая Авдотья, не такая!..

— Кому тутъ разбирать! Однако-жъ вотъ жалобу-то подала, а сама не пришла...

— А онъ пришелъ? спросилъ я.

— Онъ-то былъ...

— И что-жъ онъ?

— Онъ все свое... «Я, говоритъ, вѣрно говорю, что съ ней при мужѣ жилъ... Мужъ-то не могъ со мной совладать, я-бъ его убилъ съ одного щелчка... Онъ, мужъ-отъ, всю жизнь меня трясъ... Пускай-косъ она придетъ, посмѣетъ пикнуть, такъ я ей такое слово объявлю—на мѣстѣ ляжетъ, потому Сибиря мало... Пускай-косъ глаза покажетъ!.. А она вотъ не пришла. Узналъ онъ, что она съ узломъ куда-то скрылась; «На-айду, говоритъ, никому не отдамъ, не уйду!».. Упирается за меня замужъ идти, хочетъ на вокзалѣ съ однимъ челевѣкомъ помутить—ничего! не дозволю!..»

— Куда же она дѣвалась?

— Богъ ее знаетъ... Сказывали—ушла, а такъ чтобы толкомъ разузнать—недосужно.

— Разбойникъ! разбойникъ! шептала и вымчала кухарка.

Теперь ужъ была мнѣ совершенно ясна вся драма, вся біографія малыра Егора, все его горе, его сиротство, беззащитность, вражда отца, испугающая душу ревность, ужасъ смерти ребенка и бѣдность, бѣдность... Теперь я уже зналъ, отчего онъ тронулся, отчего у него оказались огромныя богатства—только съ ними онъ могъ бы вырваться изъ своего ужаснаго положенія, приобрести вниманіе и дружество людей, достатокъ, привѣтъ и покой въ семьѣ, и удовлетворить свои вѣчныя чувства къ женѣ и мальчику... Сообразивъ все это, я хотя и зналъ, что измучившійся Егоръ давно лежитъ въ могилѣ, что онъ ужъ закончилъ свою біографію, не могъ однакожъ не заключить въ моихъ воспоминаніяхъ о погибшемъ на нашихъ гла-

захъ человѣкъ—и, ни къ кому изъ собесѣдниковъ не обращаясь, во всеуслышаніе проговорилъ:

— Такъ вотъ оно отчего!..

И этимъ изреченіемъ, кажется, навсегда закончилась исторія маляра.

— Что жъ, докуривъ папирску, сказалъ Иванъ, — извольте показывать линію, гдѣ гнать тынъ. Ужъ сегодня гдѣ же? Только линію укажите, а ужъ мы завтра чѣмъ свѣтъ съ сынишкой...

Пошли намѣчать линію, ходили взадъ и впередъ, толковали, мѣряли, говорили и о тынѣ, и о клубникѣ, и о курахъ; наконецъ все сообразили и разошлись... Заснуть я съ мыслью о томъ, какъ бы Иванъ завтра не проманкировалъ, — а на завтра были уже новыя заботы, новые недосуги...

IV.

Такъ вотъ и идетъ наша деревенская недосужная жизнь... А то, что таится въ глубинѣ душевной жизни этихъ одинаковыхъ по недосугу людей, то доходить до насъ кой-когда и кой-какъ. Прилетитъ вѣсть или слухъ, намекающій на драму, толкнется въ сердце и улетитъ какъ муха, на мгновеніе присѣвши вамъ на руку или на лобъ. Да и столичный житель также не въ лучшемъ положеніи относительно вниманія къ душевной драмѣ своихъ сосѣдей; хорошо дойдетъ драма до суда—ну, тогда и онъ можетъ закончить ее также совершенно определеннымъ замѣчаніемъ—«такъ вотъ оно отчего...». А много-ли такихъ-то драмъ? Зато каждый день газеты приносятъ ихъ цѣлыми ворохами: убили, отравили, убили и т. д., а «причины неизвѣстны» — и тысячи такихъ людей трагически исчезаютъ вокругъ столичнаго жителя ежедневно и буквально безъ всякаго слѣда въ его сердца. Каково качество столичнаго недосуга, сравнительно съ деревенскимъ, судить не берусь, но въ нашемъ деревенскомъ недосугѣ, по причинѣ малолюдства и относительной близости жителей другъ къ другу, иногда хоть и изъ пятого въ десятое, хоть и съ перерывами въ нѣсколько лѣтъ — лоскутки драмы, долетающіе до вашего слуха со стороны, сами собой складываются въ определенную картину, позволяющую видѣть причины и слѣдствія и съ увѣренностью произнести слова: «такъ вотъ оно отчего!». Но, увы! эта ясная картина всегда складывается поздно, всегда въ то время, когда уже все кончилось и когда можно только устыдиться своего невниманія къ ближнему и чрезмѣрному вниманію къ курамъ, тыну и клубникѣ.

— Тебѣ-бы надобно было тогда Егора-то подержать... Не слухалъ-бы отца-то... Много ты выторговалъ?.. А можетъ, человѣкъ-то оправился-бы, не пропалъ...

Это мнѣ старуха-кухарка какъ-то сказала на дняхъ, услышавъ что-то про Авдотью (съ солдатами что-то; недосугъ было разспрашивать). И самъ я знаю, что не надо-бы было вѣрить злему старику, поддержать Егора—да вѣдь что подѣлаешь? «То то, то другое!» Даже «серьезнымъ сочиненіемъ» не было возможности заняться до сихъ поръ.

VIII. Послѣ урожая.

I.

...Часа въ четыре начинавшаго уже темнѣть осенняго дня выѣхали мы—я и мой спутникъ, возникъ-крестьянинъ — изъ нашей деревни и, свернувъ съ шоссе, медленно поплелись лѣсомъ по направлению къ одной глухой деревенькѣ, лежащей отъ насъ верстахъ въ двадцати на невѣдомой рѣчкѣ, въ невѣдомыхъ лѣсахъ. Побѣдка въ эту деревеньку происходила безъ всякой существенной цѣли; она была изобрѣтена моимъ пріятелемъ-возницей просто только для того, чтобы дать мнѣ возможность дня два безъ скуки и безъ дѣла «побыть» въ деревнѣ и такимъ образомъ хоть немного поочувствовать послѣ томительныхъ дней петербургской осенней жизни.

Иногда дѣйствительно петербургская жизнь способна удручать своихъ невольныхъ обитателей минутами убійственной тоски.

Поль-суютокъ весь Петербургъ молча рѣшаетъ участь всѣхъ русскихъ дебрей и всего въ нихъ живущаго; другія поль-суютокъ онъ отдыхаетъ отъ своей работы. Будучи каплей въ бумажномъ океанѣ, петербуржецъ дѣлаетъ то дѣло, какое ему дадутъ; точно такъ-же, т. е. «какъ дадутъ», онъ и отдыхаетъ. Хорошо, если вечеръ дастъ ему Рубинштейна; ну, тогда онъ волей-неволей полетаетъ нѣсколько часовъ и подъ небесами, и въ земныхъ ощущеніяхъ помучается до поту, а не дадутъ Рубинштейна, надо принять и Фельдмана, волей-неволей надо украсть у сосѣда по театру бумажникъ, отнести его во второй ярусъ, словомъ надо отдыхать такъ, какъ прикажутъ афиши и дирекція театровъ. Не будучи самимъ собой ни въ дѣлѣ, ни въ отдыхѣ, петербуржецъ только къ концу дня получаетъ возможность поступать вполне самостоятельно. Происходить это обыкновенно уже въ ресторанахъ, послѣ спектакля, и здѣсь петербуржецъ можетъ прельяться дѣйствительно собственными свои желаніями; онъ можетъ «самъ», не слушая ничьихъ приказаній, безъ всякаго принужденія выбрать себѣ котлету или бифштексъ, или рыбу, курицу,—словомъ, что только его *душа* угодно. Однако дальше отбивной котлеты, кажется, и въ этомъ отношеніи дѣло не пошло. Ждетъ, ждетъ лакей, предоставляет барину полную свободу дѣйствій, а твердо знаетъ, что въ концѣ концовъ ничего кромѣ отбивной котлеты не получится. Но вѣдь надо и барину подумать о чемъ-нибудь безъ помѣхи. Вотъ безъ помѣхи-то баринъ и думаетъ только надъ преисъ-курантошъ...

Постоянно непрерывно исполнять чьи-то приказанія какъ въ трудѣ, въ заработкѣ, такъ и въ отдыхѣ и развлеченіи—такая жизнь иногда можетъ привести въ отчаяніе человѣка, желающаго хотя по временамъ опущать себя «самимъ собой», имѣть «свои мысли», а не тѣ, которыя приказываютъ имѣть газеты, совершать свои самостоятельные поступки, а не тѣ, которые обяываетъ совершать работокъ, — и вотъ является желаніе отдохнуть...

А гдѣ можно лучше всего ощутить себя самого, какъ не въ деревнѣ? Здѣсь я самъ вижу, что въ ворота вошла чужая собака; я самъ знаю, что она чужая, потому что она бѣлоухая, не наша; и вотъ я самъ, не слушаясь никакой передовой статьи и не ожидая рѣшенія какой-бы то ни было комиссіи, иду на дворъ, выгоняю собаку, запираю ворота. Эти вполне свободные, самостоятельные поступки возбуждаютъ во мнѣ вполне самостоятельную мысль о томъ, что въ раскрытыя ворота могутъ входить не только чужія бѣлоухія собаки, но и свиньи, и прочій скотъ; моя ничѣмъ не стѣсняемая мысль свободно приводитъ меня въ кухню, гдѣ я, не боясь никакой цензуры, говорю вполне самостоятельно и независимо:—«Иванъ! ты бы заперъ ворота, а то свиньи могутъ...» Что могутъ? Да я вотъ не хочу объ этомъ думать и никто не вправе требовать отъ меня рѣшительнаго отвѣта — что именно могутъ сдѣлать свиньи? Тогда какъ на сеансѣ Фельдманая — хочешь не хочешь — а долженъ либо украсть чужой портсигаръ, либо кого-нибудь приколотъ; а на концертѣ Рубинштейна я извоилъ летать въ облакахъ, да изъ облаковъ-то онъ меня швырнетъ въ океанъ, а потомъ, мокраго, потащитъ въ замокъ Тамары — и я не смѣю никакъ! То-ли дѣло въ деревнѣ! Здѣсь въ деревнѣ я имѣю о томъ, что вижу, собственное свое мнѣніе, тогда какъ въ Петербургѣ я долженъ постоянно проникаться чужими мнѣніями и интересами. Почему это въ 8 часовъ утра я долженъ узнать, что въ Цетинью привезли ящикъ съ магазинными ружьями, а Патти напѣла себѣ тысячу двѣсти денегъ? Все это, неволю и волю (самостоятельно выгнать со двора бѣлоухую собаку), ощущаешь только въ деревнѣ.

Вотъ такое-то желаніе ощутить самого себя побуждало меня, послѣ полутора осеннихъ мѣсяцевъ прошлаго года, проведенныхъ въ Петербургѣ, взглянуть дня на два въ деревню. Мой старый пріятель-крестьянинъ, хорошо знавшій настроеніе моего духа въ моментъ такихъ неожиданныхъ пріѣздовъ въ пустой, нетопленный домъ, и на этотъ разъ понимая, что ему надо дѣлать; нужно было какъ-нибудь промаячить два деревенскихъ дня, о чемъ-нибудь поговорить, куда-нибудь пойти или поѣхать. И придумалъ онъ поѣхать въ глухую соседнюю деревню; тамъ, по случаю урожая, въ первый разъ было что-то вроде ярмарки, тамъ должно-быть идуть теперь свадьбы, также по случаю урожая... И самому мнѣ вспомнился тотъ крестьянинъ, свалившійся съ лошади въ пьяномъ видѣ, но свалившійся не въ грязь лицомъ, а въ разсыпавшуюся изъ мѣшка новую муку, котораго я видѣлъ полтора мѣсяца тому назадъ, какъ явленіе, свидѣтельствовавшее объ урожаѣ, рѣдкомъ гостѣ нашихъ мѣстъ... И вотъ, при содѣйствіи пріятеля-крестьянина и собственныхъ моихъ воспоминаній объ урожаѣ, выработалась само собою какъ-бы нѣкоторая цѣль и дѣло: поѣхать въ деревню Гололобово и посмотреть, какъ тамъ отозвался урожай, нѣтъ-ли свадебъ, какая была ярмарка? Словомъ, явилось нѣкоторое основаніе для того, чтобы испечь пироги, захватить разную провизію, уложить все это въ те-

лѣгу, потомъ запретъ въ эту телѣгу лошадь и тронуться въ путь.

II.

На дворѣ темъ непроглядная, а въ избѣ одного изъ гололобовскихъ крестьянъ жарко и душно. Жарко главнымъ образомъ отъ самовара, занятаго хозяевами у старосты; самоваръ огромный, ключучій, бьющій паромъ не только въ потолокъ, который уже и запотѣлъ, а и по сторонамъ, угрожая погасить маленькую керосиновую лампочку, прикрѣпленную къ стѣнѣ. Такъ какъ на столѣ кромѣ самовара есть и водка, и колбаса, и пиво, то, разумеется, есть и «компанія»: во-первыхъ самъ хозяинъ избы, молодой еще парень, только что разлѣвившійся съ братомъ, и его жена, молодая, красивая, но бѣдно одѣтая, тихо, но непрестанно озабоченная нуждой женщина; у нихъ двое дѣтей. Дѣвочка четырехъ лѣтъ смотрѣла на насъ съ печи, а другого ребенка-мальчика сама мать кормила, стоя около люльки, привѣшенной къ потолку и закрытой ситцевыми занавѣсками. Изба, въ которой мы сидимъ, весьма недавно сколоченная по бревнышку, не ослѣла, не умалась и была еще сыровата; окна мокнути и отъ печки попахиваетъ сыростью; недостатки въ хозяйствѣ видны съ перваго взгляда: шкафчикъ, приготовленный для посуды, пусть, въ печи никакого варева кромѣ картофеля нѣтъ, какъ объявила намъ сконфуженная хозяйка, и видно было, что это обстоятельство сильно ее волновало, видно было, что она «рвалась» выбиты изъ лапъ нужды — мысль объ этомъ непрестанно выдѣлялась на ея озабоченномъ лбу и въ ея озабоченныхъ глазахъ. Но и то возможное почти въ пустомъ домѣ благообразіе, чистота, опрятность говорили, что эта энергическая работница добьется таки когда-нибудь уюта въ своемъ уголкѣ, оживитъ эти пустыя стѣны, голыя доски, этотъ пустой чердакъ надъ новыми сѣнами и полухолодную, полусырую печку.

Кромѣ хозяина, также какъ будто стыдившійся своей бѣдности и недостачи «во всемъ», кромѣ меня и моего компаньона-возницы, были въ числѣ «компаніи» еще два какихъ-то мужика: одинъ широкоплечій, съ широкой бородой и веселымъ выраженіемъ лица, человекъ лѣтъ сорока пяти; другой, старый человекъ, уже хилый и ослабѣлый, жившій, какъ оказалось, со своей старухой «изъ милости» гдѣ придется. Прежде былъ онъ пастухомъ, а теперь плететъ лапти и проживаетъ въ банѣ у широкоплечаго мужика. Во все время нашего разговора онъ или молчалъ, опустивъ голову, и какъ будто ничего не слышалъ, или такъ-же молча улыбался и будто внимательно прислушивался.

Изъ свѣдѣній, добытыхъ моимъ возницей по нашему пріѣздѣ въ Гололобово, оказалось, что завтра въ воскресенье въ домѣ одного зажиточнаго крестьянина будутъ «смотрины» и что слѣдовательно завтрашній день будетъ очень любопытенъ. Въ ожиданіи его мы, «компанія», сидѣла за самоваромъ и вели случайный разговоръ, который

незамѣтно склонился къ воспоминаніямъ о недавней ярмаркѣ, впервые бывшей въ Гололобовѣ, и, увы! воспоминанія эти оказались далеко невеселыми. Неожиданныя, непредвидѣнные случайности, внесенныя ярмаркой въ глухой уголокъ трудной и трудовой жизни, много надѣлали въ ней изъязновъ и большой бѣдой разразились между прочимъ надъ хозяевами дома, въ которомъ мы засѣдали съ «компаніей» и пили чай. Не вдругъ выяснилось, что въ домѣ этомъ—тяжкое горе.

— Какая это ярмарка! пренебрежительно отвѣчалъ мнѣ на распросы о ярмаркѣ широкоплечій и бородатый собесѣдникъ. Знание одно что ярмарка... Да и то сказать, вѣдь впервой... Въ старые годы никогда въ наши мѣста никто не заѣзживалъ... Ну, а по нынѣшнему времени понаѣхало въ наши мѣста много курлянца, да опять урожай Богъ далъ, ну вотъ, кой-какіе купчишки и толкнулись... По началу-то она и на ярмарку не похожа... Нашему брату, мужику, она даже нисколько не пользательна. Привели пять калѣкъ-лошадей, только и всего; развѣ только вотъ бабамъ нашимъ хлопотъ надѣлала... На цѣлый годъ будетъ имъ разговоръ...

У люльки, гдѣ стояла около ребенка жена хозяйина, послышался вздохъ, и этотъ вздохъ почему-то заставилъ нашего хозяйина оглянуться на жену. Оглянувшись, онъ какъ будто покраснѣлъ, сконфузился, и вѣроятно чтобы замаять этотъ конфузъ, принужденно весело сказалъ:

— Да ужъ имъ, бабамъ, хватитъ разговору на долго!..

И поспѣшно припалъ губами къ блюдечку.

— Будемъ васъ помнить, чуть-чуть послышалось у люльки, но компанія пропустила эти слова мимо ушей и усиленно занялась чаепитіемъ.

— Нѣтъ, вѣдь, ей Богу, съ этими бабами, развязнымъ тономъ заговорилъ широкоплечій, —ей-ей съ ними смѣху не оберешься! У меня баба трое сутокъ сама не своя: день деньской взадъ-впередъ мимо красныхъ товаровъ мычется, а купить ничего не купила. Я говорю: «Чего ты мучаешься?» — «Аршинъ ситцу купить!» — «Такъ возьми да и купи и опомнись хоть немного». — «Какъ, говорить, купить; что ни смотрю, все не по вкусу, а который и по вкусу, такъ, говорить, не по годамъ... И хорошѣ, говорить, ситчики видѣла цвѣточками и крестиками, да больно веселѣ, а съ чернымъ букетомъ взять тоже что-то неохота, будто еще на свѣтѣ пожить хочется... Вотъ и не знаю!» — «Да какъ же быть-то, говорю? Какъ-же мы съ тобою разберемся? Вѣдь ты окончательно съ ногъ сбилась? Чего тебѣ аршинъ-то? Есть что разбирать, взяла да и купила!..» — «Нѣтъ, говорить, надо, чтобы подъ лицо подошло, да по вкусу вышло, да чтобы не дорого!» Вотъ вѣдь какія неугомонныя! Я было самъ попробовалъ съ ей пойти, походилъ, походилъ, плюнулъ! На купца жалко смотрѣть, какъ онѣ, бабы, его тебѣять... Рокоть—рокоть. — «Да вамъ что нужно-то?» спросить купецъ. А баба ему: — «Можетъ, меня чѣмъ товаръ приманить... Посмотрю на товаръ, можетъ и захочу чего!» Вотъ какія безбожныя: перероевъ все, съ купца три пота сойде-

устали, а она взяла да и пошла домой, по вкусу ей не вышло!.. На всѣхъ-то бабъ, пожалуй что за всю ярмарку, пять аршинъ ситцу куплено, а разговору!..

Широкоплечій махнулъ рукой и, молча, налилъ себѣ чашку чаю.

— И какія продувныя эти бабы! продолжалъ онъ, проворно выхлебавъ первое блюдечко чаю. — У меня баба ужъ почтай что въ преклонные годы входить, а все о ситцахъ беспокоится! И что же выдумала? Сама по лавкамъ мается, покою не найдетъ, оторваться не можетъ, а меня послала свои холсты продавать... Обмотала всего, обвѣшала на примѣръ какъ чучелу какую — «поди, говорить, по лавкамъ, продай мои холсты, покрячи»... И такъ она меня оплела разговоромъ, умаслила, урезонила, опуталась я истинно на подобіе какого дурака, и пошелъ вѣдь, ей Богу пошелъ!.. Сама толчется, ищетъ аршинъ подешевле, а мнѣ все покрякиваетъ: «какъ можно дороже! Не продавай зря; какъ можно чтобы больше денегъ съ купцовъ бери!» Ночью—ей-ей, самъ слышалъ! — стала на колѣнки передъ образомъ: «Господи, говорить, Боже милостивый! угодники мои праведные! Божія Матерь! помолитесь передъ Господомъ, чтобы холсты мои дороже-бы всѣхъ! дороже чтобы хоть на одинъ грошъ, а чтобы дороже-бы, Божія моя Матерь, сотвори для меня, рабѣ!» Ну, едва не допнулъ я со смѣху! а вѣдь ужъ у самой дочери невѣсты. Поди вотъ искорени изъ нее! А какъ я не вытерпѣлъ дуракомъ-то по базару шляться, да сбухалъ холсты-то первому встрѣчному, такъ что мнѣ было!.. Узнала, распытала потомъ у прочихъ, которые свои холсты продали, и вызнала такъ, что я грошъ на каждый аршинъ убытку взялъ, такъ она какъ малый ребенокъ ревѣла... — «Злодѣй ты! говорить: кровопивецъ!» Эво какъ!..

При этихъ словахъ хозяйинъ, лицо котораго какъ-то вдругъ засіяло веселой, хотя попрежнему сконфуженной, улыбкой, обернулся опять къ своей женѣ; она давно уже перестала кормить ребенка и сидѣла за люлькой молча, повидимому пристально вслушиваясь въ рѣчи широкоплечаго. Хозяйинъ, оглянувшись на жену, какъ будто-бы шутливо спрашивалъ ее своимъ взглядомъ:

— Что, небось смѣшно? А сама-то развѣ не такъ же колобродишь?

Жена поняла этотъ взглядъ, но отвѣчала на него не вдругъ. Она нѣсколько секундъ молча и серьезно смотрѣла прямо въ глаза мужа и потомъ медленно, не громко проговорила:

— Погляжу я, послушаю васъ, поди, какіе вы умные надъ бабами насмѣхаться!

Сказала она эти слова не весело и не укоризненно, а тяжело, озабоченно, хотя и сдержанно.

— Вамъ вонъ, мужикамъ, не въ моготу часть какой ни на-есть съ нашими бабыными холстами походить, пособить намъ, бабамъ... Лѣнь вамъ одинъ только часъ объ насъ похлопотать, а какъ-же мы-то надъ холстомъ-то трудимся? Цѣлый годъ вѣдь надъ нимъ бьемся! За одну-то зиму, пока прядемъ, всѣ ногти огрыземъ до мяса! Какъ-же вы, умные-то мужики, насъ-то не пожалѣете?

— Ну, сказалъ небрежно широкоплечій,—есть чего изъ-за гроша хлопотать. Диви-бы что, а то грошъ! Великъ изъ него прокъ...

— Вотъ какой ты умный! Что ни скажешь, только-бы тебя слушать и радоваться... Да грошъ-то иной разъ меня изъ какой бѣды вызволить? Знаете-ли вы, умники этикіе?

— Не знаю ужъ, какимъ это родомъ грошомъ человѣка вызволить изъ бѣды можно? Нищіе вотъ всю жизнь гроши собирають, а не видать, чтобы богатыли. Можетъ, грошъ какой особенный будетъ...

— Грошъ-то будетъ простой, да надобно цѣну ему знать! на грошъ-то я вотъ иголку куплю... видишь ты? А иголка-то, знаешь-ли, что для нашей сестры значить? Мнѣ надо и себя, и мужика обшить, ребятишекъ, этого вѣдь вы ничего во вниманіе не берете... А гроша-то у меня нѣтъ, да остаюсь я безъ иголки, ну-ко, посмотри, сколько лохмотья-то въ домѣ накопится? Хуже нищаго будешь! А гдѣ я возьму иголку-то, если у меня гроша-то своего нѣту? Вѣдь надо въ люди идти? должна я поклониться, попросить? хорошо, какъ дадутъ, уважутъ... Зачѣмъ-же я кланяться людямъ буду? Легко-ли это подворами побираться, у людей просить? Да мнѣ легче помереть, по моему характеру, чѣмъ просить у людей! Иная дастъ тебѣ иголку да душу потомъ вымотаетъ... То тѣмъ, то другимъ, а покуда не отдашь, да не поблагодаришь, чуть не въ ножки поклонись, такъ все и живешь какъ подверженный... Вотъ что мнѣ значить иголка! А съ своимъ-то грошомъ я сама хозяйка, никому не кланяюсь, никого не прошу, не шлюсь по людямъ, никого надо мной нѣтъ, вотъ тебѣ и грошъ!.. Охъ вы умные, премудрые!

Никогда ни грошъ, ни иголка не имѣли въ моихъ глазахъ того необычайнаго значенія, которое придали имъ рѣчь хозяйки. Какая масса затрудненій наваливается на крестьянскую женщину изъ-за одного только гроша, на который можно купить иголку, необходимую въ семьѣ постоянно! И оказывается, что бывають моменты, когда невозможно купить иголку, нѣтъ гроша, нужно идти въ люди, просить, кланяться!.. Озабоченный тонъ, которымъ говорила хозяйка объ этой иголкѣ, несомнѣнно доказывалъ, что жизнь ея исполнена невѣдомыхъ намъ всѣмъ трудностей, оскорбленій, обидъ, затрудненій, которыхъ мы не понимаемъ, но которыя жестоко угнетаютъ ее, какъ человѣка и какъ женщину. Nervное волненіе, которое во время рѣчи объ иголкѣ овладѣвало этой женщиной все больше и больше, сразу выяснило мнѣ весь ея нравственный типъ, — типъ женщины, поглощенной исключительно обороной собственнаго ума, семьи и своей личности отъ малѣйшей возможности подчиненія кому-нибудь и чему-нибудь. Такая женщина, твердо, непоколебимо вѣрящая въ себя и свои силы, не задумается убѣжать куда глаза глядятъ изъ семьи свекора, если только почувствуетъ чье-либо малѣйшее посягательство на ея волю, трудъ или личность. Она одна съумѣетъ ухватить во время своего бѣгства и всѣхъ своихъ дѣтей, сколько-бы ихъ ни было, и все свое добро, все свое до

нитки, не побоятся уйти прямо въ поле, не побоятся взять на себя какой-бы то ни было каторжный трудъ, лишь бы всегда чувствовать себя самостоятельной, не кланяться, «не идти въ люди». Такія женщины, какъ это я много разъ замѣчалъ, большею частью выбираютъ себѣ самыхъ покорныхъ мужей, хотя-бы такой мужъ и былъ бѣденъ; богатый ее подчинитъ, бѣднаго и слабого подчинитъ она; ея энергія такъ иногда взвнчивается этого покорнаго мужа, что онъ, розня и ротовѣй, подъ влияніемъ ея лихорадочной, неустанной работы, въ стремленіи быть самостоятельной, «не идти въ люди» — начинаетъ творить чудеса. Не переставая быть робкимъ и послушнымъ, онъ однако, подъ влияніемъ неумолимыхъ стремленій жены къ опредѣленной цѣли, самъ, какъ обезумѣвшій, не задумывается лѣзть на рождѣнь: воруетъ лѣсъ для постройки, беретъ задатки и не отбавляется, словомъ — мечется, куда глаза глядятъ, и знаетъ только одно, что за нимъ стоитъ неумолимо повелительное желаніе жены и что «ее не унять!». Иногда невозможно не удивляться той массѣ заботъ, труда, которыя добровольно вваливаются на себя женщина такого типа; бывавало безъ копѣйки, пріютившись гдѣ-нибудь въ углу, она работала изъ-за каждой картофелины, яйца, въ то же время нянчить ребятъ, таскаетъ ихъ всѣхъ съ собою на рѣчку, на работу; тутъ же забавляетъ ихъ, утѣряется достать гостинцы, найти возможность сказать сказку, развеселить, и въ то же время сама не пьетъ, не ѣстъ. Не мужъ ей нуженъ, а ей нужен неприкосновенность ея и семьи, и мужа своего она сама гонитъ на работу. Вотъ именно такого-то типа и была наша хозяйка. Ея монологъ объ иголкѣ и глубокая обида, слышавшаяся въ немъ, говорили о какомъ-то ужасномъ страданіи, которое ей какъ будто-бы только что причинили.

Широкоплечій мужикъ вѣроятно зналъ ея характеръ, и хоть не совсѣмъ удачно, а старался успокоить и попасть ей въ тонъ:

— Вотъ это ты дѣйствительно вѣрно говоришь, Сергѣевна! сказалъ онъ.—Ужъ ваша сестра, ежи тебѣ довѣрила иголку, то пожалуй что добромъ это дѣло не обойдется... Вы мастера другъ дружку съ поѣдомъ!.. Вѣдь и ты тоже, попроси-ко съ у тебя иголку-то...

— И не дамъ! Ни за что не дамъ, коли мнѣ она самой дорога! Гдѣ я тутъ возьму? Мнѣ за двадцать верстъ идти за ней, а ребята съ кѣмъ останутся?.. И не отдамъ! И не подходи ты ко мнѣ и не проси!

Говоря это, она сильно взволновалась, отошла отъ люльки, сѣла на лавку поближе къ намъ и обращаясь уже прямо ко мнѣ, съ краской въ лицѣ сказала:

— А вы вотъ лучше что: вы изволите-ко спросить нашихъ умниковъ-то, много-ли они грошей-то за наши холсты принесли съ ярманка? Грошъ! А рубли-то куда наши бабы дѣвали?.. Спросите-касъ у нихъ, у умниковъ!

— И не беспокойся! дѣлая рукою широкій успокоительный жестъ, произнесъ широкоплечій гость.—Я своей бабѣ ту-жъ минуту все до копѣйки пере-

ставилъ! «Ежели, думаю, съ ней поднялось такое рыданіе изъ-за того, что я грошъ упустилъ, такъ что же будетъ, коли она узнаетъ, что и всѣхъ-то денегъ вѣтъ!» Подумалъ-подумалъ, прямо, Господи благослови, тихимъ манеромъ, сгрѣбъ изъ кладовухи полушубокъ, завалилъ его кабатчику и отдалъ ей. «Вотъ тебѣ всѣ твои три рубля двадцать!» И даже еще потомъ и по грошу своихъ надбавилъ: «На! Перестань! Богъ съ тобой!» А то бы пожалуй и грѣхъ какой вышелъ... Я съ своей бабой, слава Богу, уладилъ дѣло по хорошему!..

— Ты-то уладилъ, а моего-то подбилъ? Мои-то гдѣ тридцать аршинъ?..

Баба говорила тихо, но видимо была внѣ себя.

— Я тебѣ говорилъ: «отдамъ!», съ рѣзкостью въ голосѣ сказалъ ей мужъ, быстро обернувшись.

Теперь было совершенно понятно, почему онъ все время конфузился и умильно поглядывалъ на жену; очевидно онъ былъ предъ ней сильно виноватъ.

— Чего ты? продолжалъ онъ тихо, но серьезно. — Не велика бѣда погодить-то!.. Авось Миколай-то Иванычъ не за горами? Приѣдетъ, дастъ впередъ, не безпокойся, кажется, и такъ знаю...

Баба ничего не отвѣчала, но, обращаясь къ широкоплечему, еще разъ и съ настойчивостью проговорила:

— Нѣтъ, ты Расскажи все, какъ должно! Расскажи, какъ вы нашу сестру мучаете! Говори все по правдѣ, а я потомъ про мое горе расскажу... Меня одна моя Машутка-то за день, пока мы съ ней отца-то ждали, мученски измучила: цѣльный день отъ окошка не отходила... «Скоро тятка кренделей принесетъ!» И все въ окно глядитъ, нейдетъ-ли тятка... «Много мнѣ кренделей принесетъ!.. Мамушка, а мамушка? Много вѣдь мнѣ тятка принесетъ кренделей?» — Много, много-моль!.. — «Ну, я мальчику, говорить, одинъ крендель дамъ, тебѣ мамушка дамъ, много дамъ, тяткѣ дамъ, себѣ много возьму, больше всѣхъ, эво сколько возьму!» Ждали, ждали... Видимъ, идетъ тятка: — «Мамушка, тятка идетъ! Кренделей мнѣ много несетъ...» а онъ пришелъ и нѣтъ ничего! ни денегъ, ни холстовъ, ни кренделей!.. «Тятка, ты принеси мнѣ кренделей-то? Много?» Баково тебѣ было?

Эти слова относились ужъ къ мужу.

— А ты чего ее подстроила? Знала вѣдь отъ людей, что со мной несчастье вышло?

— Знала!

— Такъ ты чего нарочно-то мучила Машутку? Нешто я самъ не чувствую?

Горе и обида слышались въ суровомъ голосѣ мужа.

— А мнѣ какво?

— Тебѣ говорено: «отдамъ!».

— Ну, перебилъ начинавшихъ волноваться мужа и жену широкоплечій гость, — все обладится, авось Богъ дастъ! Тутъ вины нашей нѣту... Поди-кось, поспроси, мало-ли народу попало ему въ лапы?.. Не мы одни...

— Да въ чемъ дѣло-то? спросилъ мой возница.

— Кто это васъ такъ обидѣлъ?

— Да больше ничего, проигрались мы въ вертушку... Жадность насъ, дураковъ, затмила!.. Вотъ главная причина. Полакомили насъ деньгами—мы и разъявили пасти... Тоже вѣдь хочется получше-то... Ей вонъ иголку надо, а нашего брата и по-сейчасъ подъ розги кой за что кладутъ...

— Жадность наша! тихо сказалъ хозяинъ. — На деньги-то глянулъ, какъ на пятакъ-то серебромъ рубль можетъ выскочить—ну, и затмился... Одинъ мальчишко тоже по жадности купилъ себѣ киселя на пятакъ... А кисельникъ-то говоритъ: — «Охъ, не съѣшь!» — «Съѣмъ!» — «Ну, ладно!» А старикъ-то знаетъ, что не съѣсть. Ыль-ѣль—не идетъ! И денегъ жалко, и киселя жалко; а старикъ-кисельникъ взялъ да и подшутилъ: — «Нѣтъ, говорить, ѣшь все, а то урядника позову!» Мальчишко-то испугался, ѣль-ѣль, видитъ, что — немогота, убѣжалъ! «Держи, держи!» Догналъ его кисельникъ, а мальчишко-то ему въ ноги: — «Прости, не буду!» Ну, кисельникъ оттрепалъ его за виски, отдалъ ему двѣ копѣйки сдачи и говоритъ: — «Не жадничай!» Вотъ и насъ бы такъ дураковъ надо...

— Да какъ же такъ вышло-то? спросилъ возница.

Широкоплечій гость долго и хитросплетенно объяснялъ устройство вертушки, инструмента, весьма похожаго на рулетку. Объясненіе это значительно утомило и умалило его, и онъ съ большими усиліями добрался наконецъ до разсказа собственно о происшествіи.

— Вотъ вертушешникъ-то и говоритъ: — «Играйте по пятачку, а мнѣ двѣ копѣйки пошлigny съ человѣка... Пожалуйста, говорить, молодцы!» Положили мы по пятачку, далъ оборотъ—проиграли... Давай еще — и опять проиграли... Ну, тутъ насъ, сволочовъ, ужъ извините, и затянуло!.. Образулись—ни у меня, ни у его (широкоплечій показавъ на хозяина) ни гроша не осталось! Ничего! даже приника не на что купить бабамъ... Пошли прочь, то есть чисто какъ въ безпамятствѣ.

— А мы-то съ Машуткой ждемъ не дождемся! вся сосредоточившись въ своемъ горѣ, вся взволнованная, какъ бы про себя жалобно проговорила хозяйка: — какъ же, посудите сами, всего въ домѣ надо, каждая копѣйка нужна, хозяйство только-только собирается... Машутка-то цуе всего меня маяла: «Вотъ тятка идетъ, идетъ, гостинца несетъ...» А мнѣ самой-то сколько заботы! Ничего нѣту! Думаю арманка, всего надо... все куплю, хватъ и баба-сосѣдка прибрѣжала, — «такъ и такъ», говорить. Такъ у меня сердце и оборвалось... Приходить мой-то: — «Что-жъ, говорю, купилъ крендельковъ?» — «Забылъ! говорить, завтра!» Завтра-завтра, такъ и нѣту ничего!

— Да будетъ тебѣ! Вѣдь говорятъ тебѣ, отдамъ! Укупишь всего... Я и самъ-то еле живъ былъ, какъ пришелъ домой...

Сильное страданіе слышалось въ его голосѣ; но жена не слушала его, не отвѣчала мужу и глубоко вздохнула...

Широкоплечій мужикъ опять попытался-было

успокоить измученную женщину и беззаботным тономъ сказали:

— И-и! Что убиваться? велики тамъ деньги! Погоди-ко у меня будутъ, такъ ты думаешь я тебѣ не дамъ? Сколько угодно! Чего ты? Не мы одни. Послушай-ко, какъ дѣдушку-то пристукнуло? Поспросивъ его, чего съ нимъ издѣлали?.. А ужъ онъ вѣдь не тебѣ чета, ему почитай пора въ гробъ, старъ, а и его на послѣдніе два цѣлковыхъ нагрѣли... Дѣдушко! обратился онъ къ старику, сидѣвшему молча на лавкѣ. — Посмѣши насъ, развесели, расскажи, какъ тебя, стараго, обработали... А ты, Анна Сергѣевна, послухай да перестань выть-то!.. Эко бѣда какая—три-то цѣлковыхъ!

— Да вѣдь я изъ-за трехъ-то цѣлковыхъ цѣлый годъ билась! вдругъ со всей энергіей горя и печали торопливо проговорила хозяйка. — Подумай-ка ты, кабы три-то цѣлковыхъ мнѣ не надобны были, стала бы я ночи-то сидѣть за станомъ? Аршинъ-то онъ гривенникъ стоитъ, а подумалъ-ли ты, сколько за нимъ труда-то? Вѣдь я каждую ниточку обдумала, на что мнѣ ее примѣнить, что себѣ въ домъ принести... Кабы я о своемъ домѣ за каждой ниткой не думала...

Впечатлѣніе этихъ мученическихъ признаній было такъ удручающе, что вся компанія наша невольно чувствовала себя глубоко виноватой предъ этой труженицей. Всѣ слушали молча; самъ мужъ хозяйки не только не нашелъ что ей возразить, но какъ-то весь натужился, напрягъ всѣ свои силы, чтобы перетерпѣть эту тяжелую минуту. На наше общее счастье, первый опомнился отъ удручающаго впечатлѣнія все время молчавшій старикъ. Вѣроятно горе его было гораздо больше горя Анны, потому что онъ, слушая ее, сталъ улыбаться старческой, беззубой улыбкой и наконецъ заговорилъ:

— Вотъ такъ-то и меня, стараго дурака, ободванили на старости лѣтъ... Это продалъ я лаптей на рубль на восемь гривенъ... Съ Рождества я надъ ними копался; иду домой и думаю: надобно моей старухѣ калачъ купить; сколько она, бѣдная, мнѣ одной лучины нащепала, пока работала, а иной разъ сидитъ и лучину сама мнѣ держать, свѣтить... Глаза-то ужъ у меня плохи, высоко воткнуть не вижу, такъ моя старуха сама сидитъ да свѣтить... Думаю: — «Надо ей калачъ купить!» Вотъ иду къ калачамъ-то, а на встрѣчу мнѣ малый молодой; не сѣть на ремнѣ черезъ плечо коробокъ открытый, а въ коробкѣ всякія вещи лежатъ. — «Не угодно-ли, говорить, поиграть на счастье? билетъ стоитъ три копейки — и всегда что-нибудь выиграешь, а не понравится, прибавь двѣ и опять играй»... А на грѣхъ какъ разъ передъ моими глазами одинъ нашъ же знакомый мужикъ кошелькъ выигралъ кожаный и никакъ не меньше какъ пятьдесятъ копѣекъ... «Ахъ, думаю, ежели бы мнѣ кошелькъ-то! Деньги у меня есть, положилъ бы я ихъ въ кошелькъ, и было бы у меня на душѣ повеселѣй, все я вродѣ какъ хозяинъ...» Взялъ билетъ, выходитъ кольцо. «Зачѣмъ, говорю мнѣ, давай другой...» Взялъ другой — выходитъ булавка! И это не надо! Взялъ третій — попалась цѣпочка: опять не по мнѣ! Да

и пошелъ... Сталъ у меня въ головѣ кошелькъ — хоть что хошь!.. Бралъ, бралъ, бралъ, глазъ съ кошелька не спускаю, хватъ — и денегъ у меня нѣ копейки не осталось, и въ рукахъ у меня карандашъ! Ударило меня, братцы мои, въ слезу! — «Не угодно-ли еще попытать счастья?» — «Нѣтъ, говорю, не надо, довольно!» Пошелъ и самъ не знаю, куда иду... Иду-иду, ничего не вижу, не помню... вдругъ вспомню — матушки мои! Такъ въ волосы себѣ и вцѣплюсь... Что скажу старухѣ? Сидитъ она, сирота моя, ждетъ, думаетъ — подарю ей калачъ, поправимся... Что дѣлать! Боже мой милостивый! Мучился-мучился, сѣлъ на пенъ, забрался въ тѣс, думаю! — «Ничего не подѣлаешь! Надо опять работать. Приду-молъ домой, скажу старухѣ все чисто-сердечно и сяду работать дни и ночи, все ворочу!» И будто полегчало... Пошелъ опять и опять меня всемо мракѣмъ отуманило... Зло во мнѣ закипѣло ключомъ... Такъ бы и разорвалъ на части кого! Побѣждалъ я почесъ бѣгомъ, точно кого догоняю, а дыханіе такъ меня и разрываетъ! Вдругъ мнѣ вступило въ умъ, что какъ я пошелъ на ярманку — попался мнѣ на порогѣ нашъ котъ... И причудилось мнѣ, что это отъ кота мнѣ... Озвѣрѣлъ я на кота, повернулъ съ дороги прямо домой, думаю такъ его и разорву на части... Бѣгу-бѣгу, вижу ужъ в деревня наша показалась и опять меня ударило въ голову, образовался я... Нѣтъ! думаю, грѣхъ мнѣ кота бить! Жиловой котъ не слѣдуетъ мнѣ грѣхъ, изъ чего ему мнѣ зла желать? Нѣту! Живя, другъ любезный... И пришелъ еле живъ домой... Сидитъ на порогѣ котъ и старуха меня ждетъ... — «Что, Савельичъ, купилъ мнѣ калачика?» Сѣлъ я на порогъ и замолчалъ. Поглядѣла она на меня и тоже замолчала. Поняла, старая! И промолчали мы съ ней такъ-то до вечера: она такъ сидитъ вотъ въ уголкѣ, молчитъ, а я у двери сижу, мыслить никакъ не имѣю... Подошелъ вечеръ: — «Что-жъ, говори. Матѣевна, посвѣти мнѣ!» Зажгла она лучину, сѣла около меня, а я опять за лапоть...

— А карандашъ-то куда дѣвалъ? улыбаясь и должно-быть что-нибудь зная про участь карандаша, спросилъ широкоплечій.

— А съ карандашемъ ничего, не очень плохо вышло!.. съ легкой улыбкой проговорила старуха. Съ карандашемъ вышло по хорошему! Думалъ-думалъ я — куда мнѣ карандашъ? Что мнѣ съ нимъ дѣлать? Подарить какому-нибудь мальчишкѣ жалко, все деньги вѣдь, продать не покупаютъ... Со старухой посоветоваться — совѣстно, да и что она пойметъ?.. Вотъ я и вспомни, что когда идешь на исповѣдь къ святому причастію, такъ дьяконъ въ книжку записываетъ имена и за это ему деньги даютъ. Думаю: «не возьметъ-ли онъ съ насъ со старухой вмѣсто денегъ-то карандашъ?» Подумавъ, пошелъ къ нему. — «Такъ и такъ, говорю, когда о постѣ будутъ исповѣдывать, не возьмете ли вотъ эту штучку за труды, а то денегъ у насъ со старухой не будетъ?» Ну, дьяконъ усмѣхнулся, говорить: «хорошо!». Такъ вотъ съ карандашемъ-то хошь надумалъ я по хорошему.

— Стало-быть теперь карандашъ-то у дьякона?

— Ну, это еще погодимъ! А какъ онъ его испишетъ да забудетъ? Карандашъ у меня сохраняется въ цѣлости.

— Ловко ты, братъ, съ карандашемъ надумалъ! сказалъ широкоплечій.—А ты вотъ чему подивись: ужъ кажется ты старъ, а тебя потянуло на уловку! И тебѣ захотѣлось, старому, какой-нибудь ловкій оборотъ сдѣлать... Вотъ нашъ грѣхъ-то въ чемъ!

— А Господь-то и наказалъ, сказалъ старикъ,—всѣхъ до одинаго наказалъ!

— Да вѣдь какъ эта самая подлость насъ пропняла всѣхъ! Какъ бы ты думалъ (широкоплечій обратился къ моему возницѣ),—Иванъ-то Миронычъ вѣдь, кажется, тебѣ извѣстный человѣкъ?

— Что-жъ? Человѣкъ ничего!

— Пошелъ онъ шапку покупать, и спрашиваютъ съ него шесть гривенъ, а у него двугривенный денегъ-то... Поглядѣлъ онъ шапки, помѣрилъ, хорошо-бы, а денегъ-то нѣтъ... Ну, стало-быть и идти надо домой... А онъ однако не идетъ. Стоялъ-стоялъ, смотрѣлъ-смотрѣлъ, не можетъ отойти отъ шапки! Народу столпивши было довольно... Вотъ онъ постоялъ-постоялъ, да шапку-то подъ полу, и пошелъ... И пошелъ прямо зря, въ поле... Идетъ да идетъ и самъ не знаетъ, что съ нимъ дѣлается... А бабенка какая-то увидала это дѣло и скажи хозяйну:—«Такъ и такъ!» Хозяинъ говорить:—«Гдѣ онъ?»—«А вонъ идетъ!» Бросился хозяинъ, догналъ его, остановилъ:—«Давай шапку!»—«На!»—«Ты зачѣмъ украсть?»—«Я такъ взялъ... тамъ у тебя много!»—«Ну, говоритъ хозяинъ,—судиться я съ тобой не буду, а вотъ какъ поступлю». Взялъ этотъ самый картузъ, свернулъ его въ трубку, да самой этой трубкой-то козырькомъ и—ну Ивана-то Миронова въ морду тыкать: «Я судиться съ тобой, говорить, не буду, а ты поддержи передо мной твою морду, такъ я тебѣ сдѣлаю на память!» И сдѣлалъ ему всю морду подобно какъ кисель, всю въ кровь... Изуродовалъ и говорить:—«Ну, теперь ступай и помни, а шапку получи на память!» Такъ что-жъ Иванъ-то Мироновъ? Жаловаться что-ли пошелъ? И не подумалъ. А идетъ по улицѣ съ разбитымъ лицомъ, а какъ встрѣтится съ кѣмъ, такъ и скажетъ:—«Никогда не бери даромъ шапокъ! Я взялъ, да и закаялся... Не ведѣно брать шапокъ даромъ... Не берите, ребята!» Точно ополоумѣлъ...—«Отъ роду, говорятъ, этого со мною не было... А тутъ и самъ не знаю, какъ!.. Не берите, ребята, чужого!» И вся рожа разбита... Да и сейчасъ пожалуй не почувствовалъ; какъ воромъ сталъ—не можетъ понять!

— Глухо у васъ! все вамъ въ диковинку! сказалъ мой возница.

— То-то, другъ любезный, и мы такъ думаемъ, что съ непривычки это... Кажется, вѣдь имѣемъ понятіе... Богъ не обидѣлъ, а тутъ словно одурь какая тебя возьметъ... И самъ не знаешь: что такое?

Такое объясненіе неожиданныхъ бѣдъ, свалившихся на головы мирныхъ обывателей Гололобова во время ярмарки, весьма ободрило и хозяина, ко-

торый все время находился въ неловкомъ и напряженномъ положеніи...

— Истинно такъ, одурь! сказалъ онъ, ободрившись.—Я какъ, значить, проигрался да пришелъ домой, такъ точно проснулся... Глянулъ на Машутку, на Анну—точно у меня камень съ памяти-то свалился, вспомнилъ все я даже охолодѣлъ... Скажи меня такая одолѣла, силонъ нѣтъ! Говорю Аннѣ: «Что молчишь-то, хоть слово скажи, все мнѣ легче будетъ!»—«Чего-жъ говорить, надо опять за пряжу садиться»... И стала собирать... Ну, мочи моей нѣтъ! «Анна, говорю: хопъ самоваръ Христа ради достань гдѣ-нибудь, поставь, чаю напьемся, можетъ что...»—«Нѣтъ, говорить, не до того мнѣ! Поди самъ проси, я опять за пряжу сяду». Истомило меня всего, точно вотъ колесомъ переѣхало... Не вытерпѣлъ, ушелъ по деревнѣ.—«Дайте, братцы, хоть сколько-нибудь денегъ». Хожу, кланяюсь изъ двора во дворъ—въ ноги, кажется, готовъ пасть... Бое-какъ въ трехъ мѣстахъ насилу-насилу двадцать пять копѣекъ вымолилъ... Принесъ Аннѣ: «На, говорю, купи крендельковъ, освободи мою душу!»... Ну, и я ей благодаренъ! Уважила!

— Уважила? У тебя баба, братъ, первый сортъ!.. сказалъ мой возница.

Эта похвала оживила и хозяйку.

— Такъ уважила, лучше не надо! Чисто съ праздникомъ сдѣлала! И какъ искусно! Даже я ей двадцать пять копѣекъ, думаю, хоть кренделей купить ребятишкамъ, все хоть что-нибудь... А она что-же? На двадцать-то пять копѣекъ эво сколько принесла! Гляжу, идетъ съ ярманки, цѣлая въ рукахъ охапка! «Всего, говорить, купила!»

— Это на четвертакъ-то? всего? съ изумленіемъ воскликнула почти вся наша компанія.

— Да! весело сказала Анна.—На четвертакъ я купила всего, а онъ съ рублемъ ничего не смыслить... Я то вотъ каждую копѣчку знаю—куда ее дѣтъ... Пошла да разсудила, да раздумала хорошенько—анъ и четвертакъ сколько мнѣ службы-то сослужилъ.. И мыла я взяла на двѣ копѣйки, надо ребятишкамъ головенемъ помыть... И тесемокъ, и иглокъ...

— То-есть, Боже мой, сколько! въ восхищеніи говорилъ мужъ.

— И булавокъ взяла, и крендельковъ...

— Эво!

— И ковшикъ деревянный...

— Ишь!

— И синьки, и табакъ ему же, дураку, взяла...

— То-есть удивленіе.

— И горшочекъ купила... И поплавокъ въ лампаду.

— Н-ну, ей-Богу же, на рѣдкость!..

— И зайчика Машутѣ, и всего еще много...

— Да будетъ, будетъ, будетъ! почти кричалъ широкоплечій—и такъ довольно!

— А кабы всѣ-то деньги цѣлы были, то и не то бы стало.

— И такъ она меня развеселила, то-есть точно я изъ мертвыхъ опять живымъ сталъ! Самъ побѣгъ за самоваромъ, выпросилъ, заварилъ, и Машутка

повеселѣла... и то-есть... окончательно сказать вполне она меня оправила!

— То-то ты съ радости-то и убѣжалъ потомъ съ Егоркой въ кабаки! опять омрачаясь, сказала хозяйка.

— И ей-Богу съ радости!.. Чего? Ей-ей радъ!.. А то бы кажется совсѣмъ пропасть...

— Нѣтъ, братъ, съ твоей бабой не пропадешь! рѣшительнымъ тономъ проговорилъ широкоплечій, и всѣ мы почувствовали, что пора уже кончить нашу бесѣду.

Въ ожиданіи утра и интереснаго зрѣлища «смотрины», надобно было какъ-нибудь скоротать ночь. Холодно, неловко было лежать на жесткой лавкѣ; воздухъ былъ тяжелый и душный, во снѣ плакали дѣти и громко храпѣли взрослые. Сонъ былъ не сонъ, а тяжелое забытье. Но и оно продолжалось не долго. На дворѣ стояла еще темная ночь, а Анна уже встала, надила чуть-чуть, съ величайшей экономіей, керосину, зажгла огонь въ маленькой лампочкѣ, и подъ ея босой ногой проворно застучала прялка, а въ проворныхъ рукахъ запѣло веретено... Совершенно пробужденный, посмотрѣвъ я на ея лицо: въ немъ выразилась непреклонная воля и желѣзная рѣшимость опять, съизнова, «по ниточкѣ» возстановить свои хозяйственные мечты и добиться ихъ осуществленія.

Я смотрѣлъ на Анну и думалъ: въ былое время, если бы мнѣ случайно пришлось въ темную ночную пору миновать избу, гдѣ жила Анна, я, завидѣвъ тусклый, едва мерцающій огонекъ лампы, радъ бы былъ тому, что огонекъ свѣтитъ и что стало быть тамъ живые люди, но не зналъ бы, какія печали и заботы этотъ огонекъ освѣщаетъ. Теперь я уже знаю, что означаетъ этотъ тусклый огонекъ, мерцающій въ тускломъ окнѣ въ темную осеннюю ночь, и не пройду мимо, не подумавъ о человѣкѣ, «по ниточкѣ» созидающемъ свою независимость.

III.

Впечатлѣнія слѣдующаго дня были много привлекательнѣе этихъ невеселыхъ воспоминаній о ярмаркѣ и горькихъ трудовыхъ минутъ крестьянской «недостачи», тажкаго, неуспѣшнаго труда, о которомъ вчера шелъ такой долгій разговоръ. Все было хорошо и весело въ утро слѣдующаго дня: и день былъ свѣтлый, сухой, тихій и теплый, и деревенскій житель, «по малости» принарядившійся по праздничному и поставленный праздникомъ въ необходимость отдыхать, не работая, глядѣлъ веселѣй и привѣтливѣй. Главное же удовольствіе и для насъ съ возницей, и для всей вообще деревни, заключалось въ даровомъ зрѣлищѣ «смотрины» женихомъ невѣсты, обѣщавшихъ въ недалекомъ будущемъ складный, прочный, счастливый бракъ, прочное, складное крестьянское хозяйство молодой, крѣпкой, сильной и веселой пары. Никто не завидовалъ этому во всѣхъ отношеніяхъ завидному браку, но всѣ искренно были довольны тѣмъ, что на свѣтъ могутъ быть такіа складныя дѣла и такая

по всѣмъ видимостямъ складная, безъ сучка и задоринки, жизнь.

Женихъ былъ изъ сосѣдней деревни, молодой рослый парень, единственный сынъ у отца, женатаго второй разъ и немѣвшаго другихъ дѣтей; отецъ жениха, кромѣ крестьянства, имѣлъ случай лѣтъ пять находиться при какой-то частной работѣ, служилъ «надсмотрщикомъ» при какихъ-то казенныхъ постройкахъ и денегъ у него «хоть сколько». Деньгами этими онъ распорядился по крестьянски—завелъ хорошій скотъ, хорошій домъ, и всего у него было много. Невѣста принадлежала также къ хорошему крестьянскому дому, во главѣ котораго стояла еще древняя «бабушка», безконтрольная власть, которой добровольно подчинялись два родныхъ брата съ семействами, съумѣвшіе ужиться въ одномъ домѣ, хотя и на двухъ разныхъ половинахъ, раздѣленныхъ большими широкими сѣнями съ крыльцомъ на улицу. Благополучію братьевъ тоже помогли какіе-то посторонніе заработки, давшіе возможность хорошо и прочно поставить хозяйство, за которое они и держались. Въ обѣихъ семьяхъ, какъ у жениха, такъ и у невѣсты, былъ одинаковый уровень благосостоянія; никто изъ насъ не переносилъ, не имѣлъ перевеса, ни съ какой изъ сторонъ не видно было подчиненія изъ-за нужды; невѣсту не сбывали съ рукъ и не принимали какъ работницу, какъ молодую силу, на плечи которой ляжетъ тяжесть работы на стариковъ: она и ея женихъ, будущій мужъ, сходились прямо на новое самостоятельное прочное хозяйство, и деревенскому человѣку, любителю хозяйственного достатка, было любо посмотреть на эту молодую пару.

Мы возвращались съ возницей съ прогулки за деревню, вмѣстѣ съ нѣсколькими стариками, молодыми женщинами и старухами, также возвращавшимися изъ ближняго села отъ ранней обѣдни, когда насъ обогнала новая телѣга, запряженная парой; въ телѣгѣ сидѣли два крестьянина: молодой, рослый парень въ новомъ картузѣ и новомъ войлочномъ казакинѣ, разстегнутомъ на груди, и опрятно одѣтый, бодрый, съ бистрыми глазами старичокъ; лентъ, привязанныхъ къ дугѣ, свидѣтельствовали, что это именно и есть женихъ съ отцомъ, а за этой телѣгой, немного отставая отъ нихъ, ѣхала другая—въ ней сидѣли двѣ старухи, и прохожія бабы не преминули объяснить намъ, что это ѣдетъ мачиха жениха и Пелагея, сестра женихова отца, тетка жениха, старая дѣвица. Поѣздъ быстро проѣхалъ мимо и это заставило насъ елико возможно ускорить наши шаги.

Забывавъ на минуту къ нашимъ хозяевамъ, чтобы узнать, гдѣ будутъ смотрины и какъ туда пройти, мы застали и нашихъ хозяевъ, приготовляющихся также идти смотрѣть; даже Анна не вытерпѣла, пріодѣлась, насколько это было возможно сѣлать при помощи трехкопѣечныхъ тесемочекъ, упростила побыть съ ребятами какую-то старуху и торопила всѣхъ насъ идти. Мы и пошли всѣ вмѣстѣ.

Въ домѣ невѣсты и около дома стояло уже множество народа, мужиковъ, бабъ, молодыхъ ребятъ

и дѣвушекъ. Пробившись чрезъ толпу, наполнявшую сѣни, мы пробрались въ большую горницу, также почти биткомъ наполненную народомъ. Свободнымъ оставалось мѣсто только у стола, накрытаго бѣлой скатертью.

— Поживѣе, поживѣе, дѣвки! говорилъ отецъ невѣсты, приодѣвшіяся и причесавшіяся мужикъ.

— Сейчасъ, сейчасъ приготовимся! слышались дѣвичьи голоса изъ-за перегородки. Тамъ шелъ туалетъ.

— Нечего копаться! Поспѣшать надо!

— Сейчасъ, тятенька! отвѣтилъ звонкій дѣвичий голосъ.

Тятенька повидимому не испытывалъ никакого волненія и, поторопивъ «дѣвокъ», вышелъ на крыльцо, потомъ опять воротился, присѣлъ на лавку.

— Что, Михѣичъ, обратился онъ къ кому-то въ толпѣ. — Не видать ихъ? Поди-ка, погляди съ крыльца. Ждать-то неохота...

— А вотъ я погляжу...

Михѣичъ сбѣгалъ на крыльцо, поглядѣлъ, сказалъ, что не-видать, а что надо-быть скоро будутъ.

— Ну? все что-ли тамъ у васъ? опять сказалъ отецъ за перегородку.

— Все! Сейчасъ!

— Иди, садись на свое мѣсто — того и гляди придутъ.

Изъ-за перегородки появилась невѣста, среднего роста, съ живыми, простодушными, добрыми, но немного робкими глазами. Она безъ всякой излишней скромности и конфуза, твердо, спокойно-поступно сдѣлала нѣсколько шаговъ къ лавкѣ и спокойно сѣла, прямо смотря на публику, которая ей была давно знакома. На ней была шерстяная краснаго цвѣта съ какими-то зелеными цвѣтами юбка, голубая кофта съ стеклянными пуговицами и большой брошкой у горла; на волосахъ лежала широкая розовая лента, завязанная бантомъ сзади.

— Ты того, сказалъ ей отецъ, не стѣсняйся публикой, — половчѣй ему показись!..

Невѣста встала, расправила свою юбку, поправила что-то на головѣ и сѣла, спрашивая отца взглядомъ:

— «Такъ-ли?»

— Ну, ладно! Ничего!

— Не ударь, Марфа Александровна, передъ Кобылинскими въ грязь лицомъ! проговорилъ кто-то изъ зрителей.

— Очень я ихъ боюсь! покраснѣла и весело сказала невѣста.

— Идутъ! вдругъ воскликнулъ какой-то мальчишка, вбѣжавъ сломя голову въ горницу.

Толпа раздалась, дала дорогу отцу жениха, его женѣ-старухѣ и наконецъ самому жениху. Какъ только раздалось слово «идутъ!», изъ-за перегородки вышли мать невѣсты, родственницы ея и множество дѣвушекъ-подругъ, которыя помогали невѣстѣ наряжаться. Всѣ вошедшіе помолились на образа и родители поздоровались.

— Ну? сказалъ отецъ жениха сыну. — Чего-жъ, Серега?

Серега тряхнулъ волосами и сдѣлалъ шагъ по

направленію къ невѣстѣ, а она уже встала съ лавки и поклонилась ему, пока онъ къ ней подходилъ.

— Здравствуйте, Марфа Александровна! сказали женихъ, протягивая ей руку.

— Здравствуйте, Сергѣй Ивановичъ! просто и ласково взглянувъ на жениха, такъ-же просто и весело сказала она и даже руку жениха потрясла. — Садитесь!

— Садись, садись, господа гости! говорилъ хозяинъ. — Ужъ васъ не знаю какъ звать, обратился онъ къ мачихѣ жениха, — подвигайтесь къ окошку-то, поближе!

Всѣ усьлись среди всеобщаго молчанія. Сѣлъ и женихъ. Для него была приготовлена небольшая скамейка, которую ему пододвинулъ отецъ невѣсты, сказавъ:

— Садись, Сергѣй Ивановичъ, поближе къ невѣстѣ-то. Погляди!

Сергѣй Ивановичъ сѣлъ на скамейку прямо противъ невѣсты и прямо глянулъ ей въ глаза, что сдѣлала и она; эта минута была въ высшей степени любопытна: они взглянули другъ на друга молча, среди всеобщаго молчанія, и эта минута пристальнаго молчаливаго взгляда быстро, мгновенно перешла у нихъ въ сильное волненіе, также мгновенное; между женихомъ и невѣстой произошло что-то таинственное, мгновеніе какого-то бурнаго, но скрытаго волненія; не спуская глазъ другъ съ друга, они какъ-то вспыхнули, зардѣлись, даже кажется вспотѣли сразу; что-то въ нихъ бурлило, билось въ груди, въ вискахъ, и вдругъ, перекипѣвъ, сразу успокоилось, улеглось, уравнилось... Точно что-то постороннее, чуждое каждому изъ нихъ переливалось между ними, входило въ каждого изъ нихъ, и какъ вода, влитая въ вино, не сразу смѣшивается съ нимъ и принимаетъ не похожее ни на воду, ни на вино цвѣтъ — такъ и съ ними было такое непонятное, незнакомое имъ смѣшеніе новыхъ ощущеній, которое, повторяю, продолжалось одно мгновеніе (всѣ молчали какъ мертвые) и почти сразу прекратилось.

Женихъ и невѣста точно проснулись. Она поправила опять платье и стала смотрѣть на мать, на отца, и женихъ также повернулъ голову къ отцу.

— Какъ тебѣ, тятенька? сказалъ онъ просто и громко.

— Ужъ гляди ты! Тебѣ жить-то!

— Маменька! съ такой-же простотой и спокойствіемъ обратился женихъ къ мачихѣ. — На вась взглядъ какъ?..

— Смотри самъ хорошенько!.. Для меня что-жъ? для меня всяко ладно!

Женихъ взглянулъ еще разъ на невѣсту. Та была совершенно спокойна, смотрѣла на подругъ и улыбалась имъ, не глядя на жениха, точно ужъ теперь самое трудное для нея кончилось, и она была совершенно покойна и увѣрена.

— Для меня хороша! Много доволенъ вами, Марфа Александровна!

Невѣста поклонилась.

— Въ самый разъ, Сергунька! Въ самый разъ она тебѣ! послышалось въ толпѣ.

Запушукала толпа, начались пересуды, и все было прилично и осторожно.

— Давай Богъ! сказалъ отецъ невѣсты.—Однако, Сергѣй Ивановичъ, не торопись... Надо честь честию. Ужъ ты испробуй ее, какъ порядокъ требуетъ, а не хочу какъ-нибудь...

— Маменька! сказалъ Сергѣй.—Какъ вы? Укажите порядокъ, какой слѣдуетъ...

Старуха подумала и сказала:

— А ну, Марфа Александровна, надо-бы тебѣ прялку взять да работу показать.

Прялка оказалась уже совершенно снаряженной и стояла за перегородкой; дѣвицы мгновенно притаились ее, поставили предъ Марфой Александровной, и она сразу превратилась въ ловкую работницу, ловко подобравъ юбку и обнаруживъ новый крѣпкій ботинокъ, она такъ ловко помочила о губы пальцы, такъ искусно засучила нитку, застучала прялкой, что всѣ залюбовались. Нѣкоторая натянутость, обязательная въ такомъ необычномъ собраніи, совсѣмъ исчезла въ ней; вся ея фигура, лицо, руки, все тѣло приняли непринужденную, но дѣловую манеру и посадку.

— Благодаримъ покорно, Марфа Александровна. Будетъ, довольно — видимъ! сказалъ женихъ конфузливо.

— Не останешься безъ рубахи! Не беспокойся!.. говорили въ толпѣ и мужскіе и женскіе голоса.

— И нарядетъ, и сочтетъ!..

— Нечему ее учить — видишь, все и такъ знаетъ!..

— Благодаримъ, Марфа Александровна!

— Буя! Буя!.. Ладно! весело улыбаясь, говорилъ отецъ жениха.

Марфа Александровна также ловко, непринужденно оставила прялку, оправилась и сѣла опять.

— Глядите, глядите, гости дорогіе! опять заговорила мать невѣсты.—Я не хочу, чтобы какъ-нибудь... Сергѣй Ивановичъ! досматривай во всѣхъ правилахъ!

— Маменька, сказалъ Сергѣй уже робко,—попытайте Марфу-то Александровну, какъ что... слѣдуетъ!..

Старуха помолчала, подумала и сказала:

— Ужъ я и забыла никакъ порядки-то!

Тутъ вступилась мать невѣсты, все время глубоко тронутая, ослабѣвшая и взволнованная, и сказала:

— По нашему порядку надо попытать, не хрома-ли-моль? Попытайте, гости дорогіе, все опробуйте!

— Ужъ и не знаю... нерѣшительно сказала старуха.

— Сама, сама опробуй! сказалъ отецъ жениха.

— Ну, Марфушка, кротко сказала мать, пройдись, прогуляйся...

— Марфа Александровна! послышалось въ толпѣ зрителей.—Покажи имъ, какая ты хромая—пропляши!..

Марфа Александровна, при общемъ смѣхѣ и

сама смѣясь, чинно, мелкими шажками прошла взадъ и впередъ, мимо жениха...

— Ишь форситъ! шепнула Анна, стоявшая около меня и все время пристально, не спуская глазъ, слѣдившая за каждымъ малѣйшимъ движеніемъ жениха и невѣсты.—Форсунья!

Дѣйствительно это путешествіе было самое смѣшное дѣло втеченіи всѣхъ смотрѣнь, и Марфа Александровна не могла не быть неловкой въ такомъ выдуманномъ опытѣ.

— Будетъ, будетъ! сконфузившись, говорилъ женихъ.—Видимъ, Марфа Александровна.

— Буя! говорилъ и отецъ жениха.—Довольно!

— Ужъ такъ водится! сказала, развеселившись, мать невѣсты.—Ну, садись, Марфуша... видѣли... все слава Богу!

Отецъ невѣсты все время не садился; онъ постоянно отиралъ потъ съ своего лба краснымъ платкомъ, стараясь безъ всякой утайки чего-либо показать свою дочь передъ женихомъ, родными и публикой. Едва дочь его, послѣ прогулки по комнатѣ, сѣла на лавку, какъ онъ опять началъ:

— Ну, дорогіе гости, таперича никакъ по порядку слѣдуетъ и по сундукамъ поглядѣть?

— Пожалуйста, гости дорогіе! ласково заговорила мать невѣсты.—Сергѣй Ивановичъ, Иванъ Афанасичъ, матушка Марья Андреевна,—пожалуйте въ кладовую!

— Точно что бѣлье надо поглядѣть! сказала мачиха жениха.

— Пожалуйста, пожалуйста! говорила мать, зажигая свѣчку, которая до сихъ поръ стояла приготовленная на окнѣ. — Не солгу, скажу: есть что посмотреѣть!

Сергѣй и его отецъ не хотѣли было идти, но отецъ невѣсты и мать ея уговорили ихъ идти непремѣнно.

— Нѣтъ, ужъ вы честь-честью! Извольте ужъ, чтобы все! И мы потомъ ваше хозяйство и дворъ, и все такое осмотримъ. Наше дитѣ въ обиду не дамъ, и вы не давите. Пожалуйста!

Покуда ходили смотреѣть бѣлье, публика вела громкіе разговоры:

— Женихъ больно хорошъ!

— И свекоръ-то, братцы, не старъ...

— Ну, и Марфа — золото!.. Ужъ тепло будетъ отъ нея настоящее!

— То-то свекоръ-то не старъ! сказалъ кто-то таинственно.

— Н-ну! ты! морда! возразили нѣкоторые изъ женщинъ.—Очумѣлъ? что говоришь-то?!

— Ты дуракъ, чего хаешь?

Этотъ разговоръ былъ прерванъ появленіемъ изъ кладовой Сергѣя, его отца и отца невѣсты. Женищины еще остались тамъ.

— Коли ежели, говорилъ отецъ жениха,—все это она въ самомъ дѣлѣ привезетъ съ собой, такъ и говорить нечего!

— У меня, гордо сказалъ отецъ невѣсты,—чужого ничего нѣтъ! Ты этого въ мысляхъ не держи нисколько.

— Тутъ нитки чужой не наношено! всѣмъ хомъ подтвердила публика.

— Это оставьте и думать.

— А коли такъ, такъ и ладно!.. Теперича когда же наше-то добро поглядите?

Сергѣй говорилъ, что откладывать нечего; сегодня день великъ, можно и сегодня «смотреть дворъ». Старики стали думать и рѣшили покончить объ этомъ разговоръ послѣ чаю. Дѣло шло ходко; тннуть не было никакого резона, и, пользуясь отсутствіемъ женщинъ, старики завели такой разговоръ:

— Ну, Александръ Ивановичъ, сказалъ отецъ жениха, — у насъ такое правило, самъ знаешь, на счетъ вывода есть... Сколько ты съ насъ за Марфуто Александровну возьмешь?

— Да что съ васъ взять!.. Давайте двадцать пять цѣлковыхъ!

— Многонько, Александръ Ивановичъ! Многонько... А намъ-то что подарить?

— Чтѣ положено, то съ нашей стороны въ точности будетъ. По рубашкѣ со штанамъ, свекровъ также рубашку и ситцевые рукава...

— Ну, ужъ и Палагѣй!

— Пушай и Палагѣй — юбку что-ль.

Отецъ жениха помолчалъ, подумалъ.

— Такъ, сказалъ онъ. — А двѣ красныя ежели?..

— Нѣтъ, не такъ ты говоришь! А вотъ какъ лучше: прѣйдемъ, оглядимъ мѣсто; я за свое дитѣ не постою изъ-за пяти цѣлковыхъ... Ты ужъ думай, сватокъ, объ насъ по хорошему.

— И это хорошо!..

— А пока что... — Марфуша!

Онъ отворилъ дверь въ сѣни и позвалъ дочь. Скоро всѣ женщины вошли въ комнату, подали самоваръ и гости усадились вокругъ стола...

Мы уходили въ ту минуту, когда невѣста, подавъ жениху стаканъ чаю, подала ему затѣмъ расшитое полотенце. Онъ держалъ себя предъ ней уже робко и почтительно, а она была спокойна и словно выросла за эти полчаса времени.

Когда мы воротились на квартиру, чтобы дожидаться времени, когда пойдутъ «смотреть дворъ», и присоединиться къ этой компаніи, Анна была уже дома (она ушла послѣ того, какъ женщины пошли смотреть имущество) и, не смотря на праздникъ, сидѣла за прялкой. Близость чужого счастья и благополучія еще сильнѣе, чѣмъ собственное горе и нужда, напрягла ея нервы надъ лихорадочной работой.

IX. Избушка на курьихъ ножкахъ.

(продолженіе предыдущаго.)

I.

— Подумаешь, подумаешь, — какой еще жизни надо намъ отъ Бога просить, окромъ крестьянской, ежли только бы мало-мальски благополучно утвердиться?

Вслухъ сдѣлавъ этотъ вопросъ, возникъ мой не далъ на него никакого опредѣленнаго отвѣта, а

только глубоко вздохнулъ, хлестнулъ лошадей и опять замолчалъ. Мы оба молчали съ нимъ и оба много думали молча, возвращаясь послѣ «осмотра двора» домой. И было о чемъ подумать намъ обоимъ. Онъ — бѣдный крестьянинъ-труженикъ, много видѣвшій на своемъ вѣку — съ глубокимъ благоговѣніемъ смотрѣлъ на благосостояніе двора, въ которомъ будутъ жить и хозяйствовать будущіе молодые, здоровые и веселые мужъ и жена, и то повидимому вполне возможное удовлетвореніе всѣхъ самыхъ широкихъ желаній крестьянской мысли и потребностей, которое онъ видѣлъ въ благосостояніи осматрѣннаго нами крестьянскаго хозяйства, родило въ его умѣ множество воспоминаній и думъ, закончившихся многозначительнымъ и глубокимъ вздохомъ человѣка, хорошо знавшаго, въ чемъ заключается крестьянское счастье, но не много видѣвшаго этого счастья на своемъ вѣку.

Было о чемъ подумать и мнѣ, не крестьянину. Осмотръ двора, въ которомъ будутъ современемъ жить и хозяйствовать Сергѣй и Марфа, и на меня, человѣка посторонняго крестьянскимъ идеаламъ и желаніямъ, произвелъ впечатлѣніе не менѣе многосложное, чѣмъ на Михайлу. Хорошо, и всего въ домѣ много; все есть: домъ — полная чаша. Но, думалось мнѣ, неужели же только на мысли или заботѣ о единомъ хлѣбѣ будетъ основанъ весь этотъ сложный обиходъ жизни, и притомъ жизни до конца дней? Мы пересмотрѣли каждую малость до кося, грабеля; сохи и косаря включительно; все это потрогали «собственными» своими руками; переглядѣли зубы у каждой лошади, щупали у коровъ въ бокахъ, въ ребрахъ; щупали что-то въ шерсти живой овцы, даже въ ея живое мясо залускали палочкой до того, что овца начинала протестовать блеяніемъ. Всѣмъ сомнищемъ гостей, отцовъ, матерей и постороннихъ зрителей и любителей съ удивленіемъ взиравъ мы по колѣно въ жирныхъ и глубокихъ пластахъ накопившагося въ скотникѣ навоза, и по чистой совѣсти говорили слово «благодарить!», если приходилось увязнуть выше колѣнъ; но въ концѣ-концовъ меня, какъ непривычнаго человѣка, начинало утомлять обиліе трудовых приспособленій, обиліе мелочей, обставляющихъ этотъ вѣковѣчный непрерывный трудъ, — трудъ для одежды, «обужи», чтобы, пріобрѣсти то и другое, пріобрѣсти въ концѣ-концовъ и кусокъ хлѣба, а при его помощи опять же биться изъ-за одежды и изъ-за «обужи», и такъ жить до конца дней.

«Неужели же все это — о единомъ хлѣбѣ?» не безъ страха перелѣ ничтожностью суеты суеты приходило мнѣ въ голову, по мѣрѣ того, какъ вниманіе мое все болѣе и болѣе утомлялось обиліемъ хозяйственныхъ мелочей. Я невольно припоминалъ свой собственный опытъ деревенской жизни, притягивающій какъ отдохновеніе отъ суеты суетъ городской, и находилъ, что и деревенская суета суетъ не выработалась ни во что иное, кромѣ пустоπο-рожнаго недосуга.

Но едва мысль отрѣшилась отъ впечатлѣній, возбуждаемыхъ обстановкою хозяйственнаго крестьянскаго двора, и прикасалась къ тѣмъ впечат-

тлѣніямъ, которыя въ городѣ побуждали меня иногда искать «отдохновенія въ деревнѣ», какъ тогда же воображеніе начинали осаждать такіа воспоминанія, отъ которыхъ становилось несравненно страшнѣе, чѣмъ отъ утомляющихъ мелочей добыванія крестьянскаго хлѣба, крестьянской одежды и «обуви».

Между прочимъ совершенно неожиданно вспомнилась небольшая газетная замѣтка, которую я прочиталъ наканунѣ во время дороги. Въ какомъ-то судебномъ учрежденіи, гдѣ были прокуроръ и адвокатъ, разбиралось дѣло о крестьянѣ (я забылъ ея фамилію), обвинявшейся въ небрежномъ отношеніи къ своему ребенку. Дѣло заключалось въ томъ, что ребенокъ былъ оставленъ безъ надзора матерью-попеленицей въ углу, который она занимала. Въ отсутствіи матери, ушедшей на попеленицу, ребенокъ влѣзъ на окно и по неосторожности свалился со второго этажа на мостовую двора, расшибся и, кажется, умеръ. Не могу припомнить, умеръ-ли онъ или нѣтъ, но о его увѣчьи былъ составленъ протоколъ и препровожденъ куда слѣдуетъ. Безъ виноватаго и протоколъ не въ протоколъ. Привлечена была мать, виновная въ такомъ нерадѣніи, послѣдствіемъ котораго было увѣчье ребенка и даже, кажется, его смерть. Прокуроръ требовалъ подвергнуть ее двухнедѣльному тюремному заключенію; защитникъ былъ снисходительнѣе и покорнѣе просилъ ограничиться штрафомъ въ три рубля. «Послѣднее слово» обвиняемой состояло въ томъ, что она просто только показала суду свои мозолистыя руки, объявила, что, работая поленно за 30 коп., она не можетъ заплатить суду трехъ рублей, и что если ребенокъ ея и расшибся, то потому, что брать его съ собою на работу нельзя, а нанимать ему няньку нѣтъ средствъ. Все это оказывалось столь простымъ и удобопонятнымъ, что обвиняемая, кажется, была оставлена безъ наказанія.

Въ деревнѣ оставленный матерью ребенокъ можетъ также вывалиться изъ окна и умереть отъ ушиба; онъ можетъ даже всю деревню сжечь, оставшись одинъ. Но никому въ голову не придетъ представлять во мнѣ справедливой кары какую-то комедію единственно изъ-за того, чтобы заработать на ней средства къ жизни. Ребенокъ можетъ убится, умереть и пролежать мертвымъ цѣлыя сутки; наконецъ его можетъ съѣсть свинья, но виновать въ этомъ будетъ только подлинно виноватый, т. е. случай, благодаря которому ни матери, ни людей дома не было и векому было помочь, замѣтить пожаръ, прогнать свинью, помочь ребенку.

Тотъ кусокъ хлѣба, который добывается деревенскою хозяйственной, тянущейся всю жизнь отъ колыбели до могилы, суетой суетъ — мнѣ кажется, ставить и душу человѣческую въ невозможность быть проданной изъ-за куска хлѣба. И во мнѣ рождается сомнѣніе: точно-ли въ этой хозяйственной суетѣ суетѣ забота только о единомъ хлѣбѣ? Можетъ быть, въ этой неустанной суетѣ суетѣ вокругъ своего дома и своей личности оказывается самая тонкая щепетильность человѣческаго достоин-

ства, не желающаго подвергнуть малѣйшему насилію свою неизломанную душу?

Вотъ какія думы волновали меня на возвратномъ пути съ «осмотра двора», и я былъ душевно радъ, когда мои колеблющіяся мысли были сразу прекращены неожиданнымъ возгласомъ Михайлы, также крѣпко думавшаго обо всемъ видѣнномъ и слышанномъ нами. Думалъ онъ по своему, по крестьянски; до поразительности ясно видѣлъ передъ собою красоту и «благодать» хорошаго, прочнаго крестьянскаго хозяйства, и въ тонѣ его голоса, которымъ онъ нежданно-негаданно произнесъ слова о томъ, что ежели бы Богъ далъ хорошо устроиться по хозяйски, такъ человѣку и желать больше нечего, слышалась такая незыблемая вѣра въ каждое слово, что я съ радостью прекратилъ мои тревожныя думы. Я просто оборвалъ ихъ и былъ радъ слышать увѣренную, твердую, ни въ одномъ словѣ не выдуманную человѣческую рѣчь...

— А все-таки, сказалъ я, чтобы вызвать Михайлу на разговоръ и прекратить свои собственные размышленія, все-таки и вамъ безъ денегъ въ хозяйствѣ не обойтись!

— Да вѣдь какъ же обойдешься-то! неохотно проговорилъ онъ и замолчалъ.

II.

Ѣхали мы съ Михайлой медленно; времени у насъ было много; оба мы знали, что до отъѣзда на желѣзную дорогу вдоволь еще успѣемъ насидѣться и дома, и на вокзалѣ; впечатлѣнія видѣннаго навели насъ на трудныя и многосложныя размышленія, и мы оба, хорошо это понимая, свободно предавались молчанію, зная, что не стѣсняемъ этики другъ друга. Лошади шли тихонько по грязноватой лѣсной дорогѣ, которая размякла подъ вечеръ отъ какой-то густой сырости, распространившейся по землѣ подъ вечеръ. Въ вечернемъ сумракѣ окруженные густымъ сырымъ воздухомъ недвижно, не шевеля ни одной вѣткой, медленно проходили мимо нашей телѣги голыя деревья; ни звука, ни птички, тишина и молчаніе.

И долго молчали мы послѣ послѣдняго замѣчанія о деньгахъ; вопросъ мой о нихъ очевидно попалъ въ теченіе мыслей Михайлы и осложнилъ ихъ новыми соображеніями. Долго не говорилъ онъ ничего и долго я видѣлъ передъ собою только его широкую спину и широчайшій воротникъ его армяка, поднятый выше затылка. Думалъ онъ о чемъ-то, тихо понукалъ лошадей, шевелилъ кнутомъ и молчалъ.

— Деньги! наконецъ нерѣшительнымъ голосомъ произнесъ онъ, слегка повернувшись въ мою сторону. — Деньги, оно, конечно, что говорить... А ужъ какъ они нашему брату, мужику, трудны — такъ это не дай Господи!..

Подумалъ онъ, помолчалъ и проговорилъ:

— И опять сказать — складу у насъ округъ денегъ нѣтъ настоящаго.

И опять Михайло подумалъ и опять сказалъ:

— Вонъ одинъ мужикъ какъ-то у насъ оставилъ сыну пятьсотъ рублей денегъ, а сынъ-то чѣмъ-бы какъ добромъ ихъ обернуть, только и выдумалъ вмѣстѣ съ матерью ломаться надъ женой да надъ женщиной родней, потому бѣдные крестьяне. Мудрать оба надъ нищими—только и проку вышло отъ денегъ... А безъ денегъ, можетъ, и просто бы вмѣстѣ съ женой въ упряжѣ шелъ, тихо, смиренно... Какъ тутъ разобратъ?..—Михайло снова замолкъ, что-то соображая. — Или такъ сказать: приходять деньги по пропорціи, продолжалъ онъ, —и тогда хорошо бываетъ. Вотъ хоть бы взять Петькина отца *). Ужъ, кажется, всю семью прямо на голодную смерть велъ. Во всемъ разстройство — ни хлѣба, ни одежи... Что сработаетъ на рубль, на полтора по плотницкой части, то и проплетъ съ горя... А какъ попалъ махонькой Петюшка на фабрику спички дѣлать и сталъ каждую субботу аккуратно деньги приносить — глядишь-съ теперь вся семья и стала на ноги! Право слово! И мать Петькина хоть на человѣка похожа стала. Прежде бывало, идетъ—грудь голая, на плечахъ мужнинъ армякъ, лохмотьями по голымъ ногамъ бьетъ, а теперь, ей-Богу, на человѣка похожа! Да и самъ-то хоть немного отъ пьянства отчихался, все по дому сталъ больше хлопотать... А все на Петькѣ держится... Родители-то его почитаютъ: «кормилецъ нашъ, говорить, ты нашъ хозяинъ, Петенька золотой!.. Не погуби насъ!..» Вотъ Петька-то и раздирается; прежде коробки клеилъ, а теперь ужъ и въ самое пекло влѣзъ... Слабъ мальчонка, «рвота, говорить, иной разъ отъ спичкинова составу-то лопинается», а все претъ, серденокъ... Ну, а какъ Петька-то помретъ, задохнется отъ составу-то?.. Легко ли дѣло этакому мальчишкѣ на своей шеѣ аку ораву выволочъ? А въ крестьянствѣ-то, ежели то-есть Господь дастъ все благополучно, — анъ тамъ-то дѣло-то подтверже будетъ, и спичекъ своихъ можно будетъ сдѣлать!..

Михайло стегнулъ лошадей и сѣлъ ко мнѣ со всѣмъ полуоборотомъ.

— Или примѣромъ взять то-жъ съ этими спичками другой оборотъ. Есть тутъ у насъ мужичокъ Спиридоновъ съ женой и съ пятью дѣтьми... И жилъ онъ до этихъ самыхъ спичекъ вполне по крестьянски, форменно... А съ пятью-то дѣтямъ самъ, чай, знаешь, легко ли дѣло хлѣбъ-то добывать?.. Ребятишки не велики, помощи отъ нихъ не видать—оно и захруститъ въ хребтѣ-то. Ну, однако-жъ жили хоть и трудно, и бѣденъ, а по хорошему, на порядочномъ положеніи... Вотъ и пробіраются въ наши мѣста эти самыя спички... Стали собирать ребятъ, стали лакомить деньгами... Шутемъ-шутемъ, то Петюшка гривенникъ притащить, то Марфутка пятакъ волочить; то коробки какія-то, то лучинки—такъ, на мужицкій глазь, плевое дѣло. А между прочимъ—деньги-то даютъ! Вотъ и стали родители во вкусъ входить... Понемножку да полегоньку—и Спиридоновъ-то всѣхъ своихъ пятерыхъ представилъ на фабрику... Да какъ стали

они пятеро-то ему каждую недѣлю по полтора пѣльковыхъ приносить каждый, такъ они оба съ женой-то и раскисли... Разслабили, развезло ихъ отъ полнаго удовольствія! «Пойдемъ, Авдотья, въ трактиръ, пошьемъ, погуляемъ съ тобой! Господь намъ радость послалъ! Думали, какъ бы съ ребятами по міру не пойти, анъ вонъ какой оборотъ вышелъ! Ровно помѣшники мы съ тобой, Дунька, оказались! Теперь рожай сколь хошь! Не робѣй. Окончательно проживемъ на бѣломъ свѣтѣ по хорошему... Пей, Дунька, ничего, слава Богу, Господь насъ не оставляетъ!» Ну, а какъ Господь-то оставить? Какъ привыкнетъ Спиридоновъ-то не беспокоиться? А какъ ребята отъ хозяйства отвыкнутъ? Тогда что?

Михайло замолчалъ, вопросительно глядя на меня:

— Вотъ деньги-то! сказалъ онъ, тряхнувъ головой. — Не складно у насъ что-то съ ними въ крестьянствѣ!.. Ужъ нѣтъ того хуже, какъ мужику да безъ крестьянства деньги на хлѣбъ добывать! Не приведи Царица Небесная!..

Михайло съ глубокимъ отчаяніемъ махнулъ рукой.

— Страшно, страшно, братецъ ты мой, идти по свѣту копѣйку на хлѣбъ добывать!.. продолжалъ онъ съ дрожаніемъ въ голосъ. — Вотъ онъ свѣтъ-то бѣлый, на всѣ четыре стороны, конца краю ему нѣтъ! Иди! Отыщи въ немъ гривенникъ!.. Нѣтъ! Не дай Богъ лихому лихую отгвѣдать этого!..

Я не понималъ того чрезвычайнаго волненія, которое чувствовалось въ голосѣ Михайлы, когда онъ говорилъ послѣднія слова и молчалъ.

— Мнѣ вотъ ежели сосчитать, продолжалъ Михайло нервнымъ и дрожащимъ голосомъ,—почитай ужъ за сорокъ перевалило... Работаю я по дому одинъ съ бабой, ребятишки маленькіе, иной разъ и хребетъ не покоряется—ни согнуть, ни разогнуть... И дожили мы своими трудами, самъ ты знаешь, до мышиной норы. Не то домъ, а избой назвать нельзя нашего жилья... Не больше какъ на курьихъ лапкахъ, на веретенныхъ пятахъ избушка, какъ въ сказкахъ сказывается, а и то она мнѣ земной рай! И за то я и денно, и ночью Бога благодарю, что удостоилъ онъ меня въ тихому пристанищу пристать!.. И въ голоду будемъ сидѣть, кору съ высѣвками мѣшать, и то я своей норы не оставляю!

— А если хорошее мѣсто попадется? сказалъ я, желая случайнымъ и незначущимъ вопросомъ немного успокоить взволнованнаго Михайлу.

— Золотомъ осыпъ—я то не пойду изъ своего угла, не покину своей землишки! Ты спроси-ко у меня, какъ я жизнь-то свою перестрадать безъ крестьянства-то! Спроси-ко-съ ты меня, какъ я гривенникъ-то на хлѣбъ на соль по бѣлу свѣту разыскивалъ? такъ вотъ тебѣ и ставетъ явственно видно: тебѣ оказывается—избушка на курьихъ лапкахъ, на веретенныхъ пятахъ близъ тракту стоитъ, гдѣ извозчикъ Михайло съ семьей бьется; а мнѣ оказывается—рай пресвѣтлый, а не на курьихъ ножкахъ! Вотъ какъ я вору-то мою по моимъ мученіямъ понимаю!..

Михайло, вдругъ снявъ съ головы шапку, пере-

*) См. рассказъ „Петькина карьера“.

крестился широкимъ крестомъ и произнесъ торжественно:

— Благодарю моего Господа! Приютить меня на святой своей землѣ!.. Доволенъ, ничего больше не желаю!..

Громко и долго благодарилъ Михайло Бога за его милости. Наконецъ, немного успокоившись и надѣвъ шапку, онъ обратился ко мнѣ и еще разъ проговорилъ:

— Ты меня спроси, что я терпѣлъ! такъ и будетъ тебѣ извѣстно, что такое за жизнь крестьянина да безъ крестьянства!..

Предложеніе Михайлы было для меня какъ нельзя болѣе приятно: времени, повторяю, у насъ съ нимъ было вдоволь, притомъ времени совершенно свободнаго, — такого, какое именно и хорошо для простого, душевнаго разговора вообще о жизни... Но не успѣлъ я открыть рта, чтобы съ радостью, которую пробудило во мнѣ предложеніе Михайлы, сказать ему: «Пожалуйста рассказывай!», какъ что-то горькое шевельнулось у меня въ сердцѣ и на мгновеніе заставило замолчать.

Горько мнѣ стало отъ воспоминанія о томъ, что вѣдь я давно знаю Михайлу. Лѣтъ пять я уже вообще знакомъ съ нимъ, а года два имѣю постоянныя сношенія съ нимъ каждый разъ, какъ прѣзжаю въ деревню. И вотъ оказывается, что въ эти пять лѣтъ мнѣ ни разу не пришло въ голову узнать жизнь этого человѣка, который сотни разъ приводилъ меня домой, увозилъ изъ дому, хлопоталъ о моихъ порученіяхъ, совѣтовалъ и объяснялъ, «какъ лучше» сдѣлать то или другое деревенское дѣло... Черезъ пять лѣтъ знакомства самъ Михайло говорилъ мнѣ: «кабы ты зналъ мою жизнь!», а я въ пять лѣтъ изучилъ только манеру Михайлы ѣздить, изучилъ цвѣтъ и качество его армяка, въ которомъ онъ сидѣлъ ко мнѣ спиной, помнилъ его шапку, бороду, глаза, улыбку, зналъ такія нравственныя качества, какъ честность, аккуратность, зналъ, что онъ живетъ въ избушѣ на куриныхъ ножкахъ, а какова жизнь этого уже пожилого человѣка, какъ онъ прожилъ ее, что его держало на свѣтѣ—спросить не догадался!

А все наше недосугъ, «то то, то другое», все та «своя часть», которая теперь исключительно наполняетъ все существованіе россиянина, довольствующагося и обремененнаго микроскопическими заботами собственной кутузки. Постепенно, медленно, но систематически шло у насъ на Руси это дѣло разъединенія людей въ общихъ вопросахъ жизни и не вдругъ воспиталось умѣнье наполнять жизнь цѣлаго дня пустопорожней суетой личнаго недосуга; но въ концѣ-концовъ невниманіе къ жизни ближняго воспиталось-таки въ насъ въ весьма достаточной степени.

Вотъ мнѣ стало горько и обидно за себя, что я могъ быть пять лѣтъ невнимательнымъ къ человѣку, почти постоянно бывшему на моихъ глазахъ. И теперь, въ дорогѣ, въ полномъ досугѣ, когда никакихъ личныхъ безпокойствъ и мелочей не предстояло разрѣшать и обдумывать, мнѣ показалось просто непостижимымъ, какимъ образомъ могло слу-

читься, что я такъ мало интересовался такимъ любопытнымъ въ однообразіи деревенской жизни человекомъ, какъ Михайло? Съ толпой народа, съ толпой народной массы можно было быть разъединеннымъ: эта разъединенность прямо воспитывалась въ насъ и всякое сближеніе съ массой вообще ни откуда не получало ни капли поощренія. Тутъ можно было сначала привыкнуть къ осторожности, а потомъ уже стать совершенно равнодушнымъ и довольствоваться своей частью. Но Михайло вовсе не подходилъ къ «толпѣ» — онъ былъ «самъ по себѣ», онъ самъ на моихъ глазахъ только вступалъ въ народную массу, только становился мужикомъ и вообще не подходилъ ни подъ какія инструкціи. И однакожъ, благодаря медленной, постепенной практикѣ въ отчужденіи отъ людскихъ интересовъ, вышло такъ, что я ровно пять лѣтъ могъ самымъ небрежнѣйшимъ образомъ относиться къ крайне любопытному человѣку, и нужна была такая случайность, какъ цѣлые часы полнѣйшаго досуга, котораго некуда было дѣвать, и кромѣ того нужно было нежданное-негаданное предложеніе самого Михайлы — узнать его жизнь — чтобы я вспомнилъ о томъ далекомъ времени, когда Михайло на минуту заинтересовалъ меня...

III.

Это было пять лѣтъ тому назадъ, въ самое благословенное время деревенской весны. Для художника этотъ моментъ весны не даетъ никакихъ яркихъ и радующихъ красокъ: рыжая мертвая трава, кое-гдѣ еще придавленная почернѣвшими, отвердѣлыми пластами снѣга; голыя и притомъ казущіяся какъ бы голодными и холодными деревья, истощенная, вялая, пролежавшая себѣ бока до голаго тѣла скотина, вся запачканная, неряшливая, и такіе же сматые, скомканные, поблѣднѣвшіе, отощавшіе за зиму люди — все это не возбуждаетъ художественнаго волненія; но на все это нашествіе природы, людей и животныхъ, яркимъ полымемъ палитъ развеселое солнце, а среди холодной и голодной растительности береговъ разыгралась рѣзкая каждой минутой поднимающаяся все выше и выше свои воды, всегда въ эту пору года отдиивающаго самымъ нѣжнымъ лазуревымъ цвѣтомъ. Начинается воскресеніе изъ мертвыхъ, мертвецъ начинаетъ теплѣть, и счастье жить на бѣломъ свѣтѣ ощущается всѣмъ живымъ и вѣсть отъ всего не живого...

Въ такую пору, когда отъ разливовъ и отъ таянія снѣга по полямъ и дорогамъ крестьянину нѣтъ возможности ни выѣхать, ни пройти изъ дому хоть бы за сѣномъ, за дровами или на базаръ, чтобы что-нибудь купить или продать, весь деревенскій народъ въ которое время находится въ полномъ бездѣйствіи, отогрѣваясь на солнцѣ, любуясь начинающимся воскресеніемъ природы изъ мертвыхъ. Тепло на дворѣ, хорошо, хоть и голодно и холодно въ избѣ. Хорошо такъ-то постоять середь улицы, просто постоять, поглядѣть на небо, спину погрѣть на солнцѣ, плечами отъ удовольствія пошевеливать...

Дрема какая-то стоит надъ деревней, дрема приятная: даже скотина, ободранная и пролежавшая себѣ бока, стоитъ въ пустомъ полѣ и не пытается опустить къ землѣ голову, чтобы рвануть влохъ рыжей травы... Она только дремлетъ, подставляя голый бокъ теплomu солнцу...

Отъ нечего дѣлать въ это время любимое занятіе деревенскаго стараго и малаго ходить на рѣчку смотрѣть, какъ ее поднимается. Наша рѣчонка, лѣтомъ почти совершенно пересыхающая, весной совершенно преобразуется. Рѣчонка эта идетъ изъ глухихъ лѣсныхъ мѣстъ самыми прихотливыми извилинами, круто поворачивая почти на каждыхъ ста саженьяхъ. Весной она такъ высоко поднимается въ берегахъ, что дѣлается удобной для сплава лѣса и дровъ, заготовленныхъ на зиму въ лѣсной глуши у ея истоковъ. Вотъ на эту-то гонку лѣса и ходятъ смотрѣть деревенскіе жители. Впрочемъ нельзя сказать, чтобы одно только зрѣлище гонки привлекало деревенскихъ зрителей: иной разъ, и очень часто, какое-нибудь бревно, зацѣпившись за какой-нибудь камень, которыми усыяно все дно рѣчки, остановится, загородитъ дорогу бревнамъ, которыя за нимъ слѣдуютъ, и остановитъ всю гонку. Бревна или дрова огромной сплошной массой застелятъ тогда всю поверхность воды; иногда надвинутся и налягутъ другъ на друга въ нѣсколько рядовъ и лежать такъ до тѣхъ поръ, пока не прибѣгутъ рабочіе лѣсоторговца, занимающагося сплавомъ, и не разобьютъ запруды. Но такъ какъ рабочіе иногда не появляются по дню и больше, то нижніе слои бревенъ и дровъ, пролежавъ долгое время въ водѣ, намокаютъ и ложатся на дно. Такъ вотъ эти-то мокрыя дрова и бревна, не меньше чѣмъ удовольствіе чувствовать начинающееся воскресеніе, привлекаютъ деревенскихъ зрителей на берегъ рѣчки... Пройдетъ гонка—и мокрыя бревна и дрова вылавливаются со дна рѣчки, сушатся и идутъ въ дѣло. Богъ послалъ!

Пять лѣтъ тому назадъ, такъ-же какъ всегда, обаятая дремой ничегонедѣланія и удовольствіемъ чувствовать воскресеніе изъ мертвыхъ—деревня, старая и малая, разсыпалась на берегу рѣчки и глазѣла на гонку лѣса. Былъ тутъ и я. Бѣжали сплошными массами дрова, бѣжали опрометью, сломя голову. За дровами послѣ нѣкотораго перерыва понеслись бревна, большею частью по одиночкѣ, одно за другимъ или ужъ много по два, по три... Налюбовавшись этими зрѣлищемъ, иные хотѣли уходить, когда послѣ одного перерыва между одной гонкой и другой вдругъ на изгибѣ рѣчки показалось что-то небывалое.

Прежде всего ясно очертилась бѣлая полоса, во всю ширь рѣки, означавшая приближеніе дровяной гонки, а за нею показались, очевидно въ самой срединѣ этой сплошной площади дровъ, какіе-то выдвигавшіеся вверхъ шесты, очертились какіе-то человѣческія фигуры, затѣмъ послышались голоса, и не успѣли мы сообразить, въ чемъ дѣло, какъ мимо насъ пронеслось нѣчто никогда невиданное. Сначала стремительно прогремѣли, стуча другъ о друга, сплошныя массы дровъ, затѣмъ среди этой же массы, вертясь отъ быстрого и бурливаго теченія рѣч-

ки, расталкивая и толкаясь о дрова, о берега, кружась, не проплывъ, а мелькнувъ мимо насъ плотъ съ двумя человѣческими фигурами. Одна изъ фигуръ показалась намъ бабой съ ребенкомъ; она сидѣла скорчившись около чего-то похожаго на уэльъ. Мужчина, бывшій на плоту, очевидно старался изъ всѣхъ силъ, поворачивая направо, налево, пиная шестомъ въ берегъ, въ воду, и, повернувшись на поворотѣ, исчезъ виѣстѣ съ плотомъ, съ бабой и со своимъ шестомъ. Вслѣдъ за ними мчались опять дрова, точно догоняя, и опять среди нихъ пронесся другой плотъ съ другимъ мужикомъ, который, такъ-же вертясь виѣстѣ съ плотомъ и шестомъ и имѣя вообще какой-то изступленный видъ, мгновенно пронесся мимо и какъ-бы опрокинулся за поворотомъ рѣчки. Все это было дѣломъ нѣсколькихъ минутъ, но впечатлѣніе появленія какихъ-то необычныхъ путешественниковъ было такъ сильно, что всѣ, кто только ни былъ въ это время на берегу, не говоря другъ другу ни слова, всѣ, какъ одинъ человѣкъ, бросились бѣжать по направленію къ мосту; мостъ былъ близко, а рѣка дѣлала много извилинъ, прежде чѣмъ доходила до моста. Слѣдовательно путешественники должны прожечься подъ мостомъ гораздо позже того, чѣмъ заинтересованные зрители добѣгутъ до него. И зрители, отъ которыхъ не отставалъ и я, точно поспѣли къ мосту предстоящаго зрѣлища гораздо раньше прибытія путешественниковъ.

Когда мы въ попыткахъ прибѣжали къ мосту, тамъ уже находилась группа людей, мужиковъ и бабъ, которые стояли на мосту и смотрѣли именно въ ту сторону, въ которую слѣдовало смотрѣть и намъ. Увидавъ, что изъ сосѣдней деревни бѣжалъ народъ (мостъ соединяетъ разныя деревни), какая-то женщина изъ группы, стоявшей на мосту, подошла къ намъ и спросила:

— Вы чего бѣжите-то? Ай что случилось?

— Какихъ-то мужиковъ на плотѣхъ мимо насъ пронесло... Такъ и вертитъ верткомъ!

— Ай ужъ прибѣжали? весело спросила баба. Иванъ! крикнула она мужику, стоявшему на берегу у моста съ лошадью... Пробѣжалъ Михайло-то!

— О?

— Сейчасъ его донесетъ! Шестъ-то припаси... Схватиться!

— Веревкой складнѣй зацѣпить?

— Это кто-жъ плыветъ-то? спросили въ толпѣ.

— Да тутъ одинъ мужичокъ... Жить хочетъ у насъ.

— Не здѣшній что-ли?

— Нѣтъ, онъ здѣшній, только подолгу дома не бывалъ, а теперь вотъ на свою землю съѣсть хочетъ...

— А-а! Такъ чего онъ плывъ-то?

— А это онъ домъ перевозить; домишко купилъ на снось, такъ вотъ по водѣ и почалъ. А бабу не видала тамъ?

— И баба есть, съ ребенкомъ.

— Ну, они!.. Ну, дай Богъ! радостно говорила баба.—Намаялся, намаялся сердечный! Дай Богъ здоровья Емельяновымъ—добрые люди. Слова не

сказали—двадцать пять рублей дали въ долгъ: вотъ онъ и купилъ хатку-то! Баню никакъ, да все уголъ!

— Это какіе же Емельяновы? спросилъ кто-то, интересуясь добротой, выраженной двадцатью пятью рублями.

— Да такіе вотъ, хорошіе, не нашенскіе... Мужъ да баба, а дѣтей у нея нѣтъ... Вотъ она, добрая-предобрая, и подбиваетъ мужа добро дѣлать. Приди, Расскажи—завсегда поможетъ! Вотъ на нихъ-то Михайло и напалъ, а то бы сердягѣ такъ и пропадать съ бабой...

— Такъ и дала безъ всего, безъ залогу?

— Такъ и дала... Идетъ Михайло, шатается, не пилъ, не ѣлъ, а она на встрѣчу... «Что да что?» Тотъ и рассказалъ, ну, она говоритъ—«пойдемъ къ мужу!». Привела, позвала мужа: «вотъ что, Егорушка, оправь человѣка!..» Только и всего. Такъ мужъ-то любить ее больно; горе—дѣтей-то нѣтъ, а отъ отца имъ большой недостатокъ остался... Ну, мужъ-то ужъ и не ослушается. Вынулъ ассигнацію—«Поправляйся!» Вотъ Михайлу-то какъ Богъ спасъ... Ты думаешь нѣтъ добрыхъ людей?

— Эво! Эво! загадѣли въ толпѣ зрителей.—Эво, какъ ворочаетъ! Плывутъ! Ребята, беги на берегъ! Разобьется объ мостъ...

Дѣйствительно, пловцы съ шестью въ рукахъ, вертясь на своихъ плотахъ, стремительно вынеслись изъ-за поворота рѣчки и неслись къ мосту. Народъ бросился съ моста на берегъ, зашумѣлъ и загадѣлъ. Пошелъ какой-то обоюдный крикъ съ плотовъ на берегъ и съ берега на плоты. Поднимались и бросались шесты, веревки, и наконецъ путешественники были пойманы у самаго каменнаго быка, подпиравшаго конецъ моста, и выбрались на берегъ. Они были изнурены до чрезвычайности... Баба едва сдѣлала два шага, какъ ноги у нея подкосились, и она съѣла съ ребенкомъ на сырую землю. Мужикъ съ перваго плота прямо повалился на землю, едва ступивъ на берегъ, и тяжело дышалъ шепча:—«Погоди, братцы, закружилось!» Еле-еле, какъ пьяный, держался на ногахъ и другой мужикъ съ другого плота, каждую минуту готовый свалиться навзничь. Но онъ удержался, нѣмъ силу снять шапку, поклониться народу и сказать:

— Дай вамъ Богъ!.. Н-ну, здрав-ствуйте!..

— Здравствуй, здравствуй, Михайло!.. весело говорила та женщина, что первая встрѣтила насъ на мосту *). Гдѣ узелъ-то? Сундукъ-то есть-ли?

— Ну, пуцай! Пойдемъ! Пойдите чай пить!.. Съ прїѣдомъ. Дай Богъ счастливо! Помогі вамъ Царица небесная!

Вотъ при какихъ обстоятельствахъ появился Михайло опять на роднѣ послѣ продолжительныхъ многолѣтнихъ скитаній. Въ этотъ весенній день я увидѣлъ его въ первый разъ, а затѣмъ потянулись дни и годы, втеченіи которыхъ много разъ приходилось вспоминать его, видѣть, а по-

томъ и дѣла дѣлать, но не приходилось интересоваться его жизнью.

Помню, что послѣ перваго появленія Михайлы въ нашихъ мѣстахъ, спустя много времени, увидѣлъ я, что кто-то строится при дорогѣ въ пустомъ, незастроенномъ мѣстѣ. Лежать четыре черныхъ бревна, означающихъ начало постройки, а съ боку ихъ цѣлая куча другихъ бревенъ.

— Кто это строится? говорю отъ нечего дѣлать извозчику.

— Да тутъ нашъ одинъ... Приплылъ-то!

— А!..

И еще полгода проходитъ, и опять ѣду мимо Михайловой постройки, и опять отъ нечего дѣлать спрашиваю:

— Что же это онъ все никакъ не выстроится? всего только стѣны кой-какъ сложили?

— Да, недостача все... Они вѣдь только съ бабой двое бьются-то.

— Какъ съ бабой?

— Да такъ. Оба возьмутъ дерево и волокутъ... Нешто легко... Нанять-то не на что... Ну, и баба тоже у него—не отстае!.. Бьются крѣпко!..

— Крѣпко бьются?

— Страсть!

А чрезъ годъ опять пришлось спросить:

— А-а! И огонекъ ужъ свѣтитъ?

— Какъ-же! Ужъ живутъ.

— Давно-ли?

— Да ужъ съ мѣсяцъ никакъ живутъ!.. Ишь удѣлали! Самъ съ бабой крышу крылъ! Лазіуютъ оба по крышѣ-то!..

— И баба лазитъ?

— Та ужъ не отстанетъ. Ишь какой удѣлали упокой!

— Да, ничего!

— Чего-жъ!.. Ишь и дерево посадилъ подъ окномъ. Красивѣй!

Поглядѣлъ я и на дерево. Затѣмъ проѣхалъ мимо и позабылъ.

Но однажды Михайло самъ очень близко подошелъ ко мнѣ и положилъ основаніе болѣе близкому знакомству: во въѣзную зимнюю ночь, когда на станціи не было ни единого извозчика, ко мнѣ подошелъ Михайло, обязанный весь какими-то тряпками, и робко предложилъ довезти. Крайняя робость въ голосѣ, которымъ онъ дѣлалъ предложеніе (тогда какъ другіе извозчики набрасываются съ громкими криками на сѣдоковъ), объяснилась очень скоро. Лошадь Михайлы оказалась столь безсильной и микроскопической, что едва протащила насъ сажень сто и стала. Михайло, который былъ ростомъ вдвое болѣе своей лошади, слѣзъ первый и еще сто сажень везъ меня вмѣстѣ съ лошадью, схватившись за оглоблю, но подъ конецъ оба они остановились, и Михайло тѣмъ же робкимъ голосомъ сказалъ:

— Ужъ извините, сдѣлайте одолженіе! Неидетъ! Вещи предоставляю... а ужъ извините!.. пѣшечкомъ приходится!

И такъ мы на этотъ разъ пришли домой пѣшкомъ. И съ этихъ поръ Михайло всякій разъ по-

*) Объ этой женщинѣ будетъ рассказано особо.

являлся на станціонной платформѣ именно въ такія минуты, когда ямщикова нѣтъ: буря, рабочая пора, проливной дождь. Предложеніе подвезти онъ всегда дѣлалъ самымъ робкимъ голосомъ и съ самымъ робкимъ выраженіемъ лица, такъ какъ онъ навѣрно зналъ, что подвезти—значить, идти пѣшкомъ. И такъ продолжалось довольно долго, но не знаю, возмужала-ли его лошаденка или онъ вымѣнялъ другую, только настали времена, когда съ Михайломъ можно было уже достигать и до самого дому, не выѣзая на дорогѣ, а затѣмъ мало-по-малу перетѣнилась и телѣга, и лошадь, и Михайло сталъ не хуже другихъ постоянныхъ извозчиковъ станціи.

И вотъ никакъ не менѣе двухъ лѣтъ я знаю Михайлу довольно близко, какъ близко сидящаго ко мнѣ ямщика; знаю его шапку, армякъ и бороду, а жизни его не знаю, и онъ самъ совѣтуетъ мнѣ узнать его жизнь. Но, слава Богу, дѣло было на досугѣ, ничто мнѣ не мѣшало, и я былъ радъ, что съ удовольствіемъ и совершенно искренно могъ сказать ему:

— Пожалуйста, Михайло, расскажи!

И Михайло охотно сталъ рассказывать.

Рассказывалъ онъ и въ дорогѣ, и дома, гдѣ мы отъ нечего дѣлать пили чай, и на вокзалѣ, гдѣ тотъ же чай сокращалъ часы ожиданія поѣзда. Пересказывать всего мною слышаннаго я не буду: обиліе частныхъ и случайныхъ можетъ безплодно утомить читателя. Достаточно пересказать только то, что можетъ дать понятіе о большомъ горѣ людей, живущихъ въ маленькихъ избушкахъ.

IV.

— Вотъ въ этой самой рукѣ, между прочимъ рассказывалъ Михайло,—когда еще и мнѣ, и рукѣ-то моей только что десятый годъ шелъ, держалъ я, братецъ ты мой, ножикъ кухольный, и къ горлу моему этотъ ножикъ подносилъ, жизни хотѣлъ лишить—да Господь меня спасъ!.. Вотъ какая была моя жизнь съ измѣстива!..

Отецъ Михайлы хоть и считался крестьяниномъ, но съ раннихъ лѣтъ совершенно отдѣлился отъ крестьянской среды. Рано оставшись сиротой, онъ лѣтъ до десяти кое-какъ нищенствовалъ въ деревнѣ, а съ десяти лѣтъ попалъ въ кабакъ и съ тѣхъ поръ не покидалъ его до конца дней, т. е. прошелъ всю кабацкую службу при акцизномъ управленіи, изучилъ всѣ тонкости кабацкаго плутовства, пріучился пить и гулять и съ этой привычкой окончилъ жизнь. Вся жизнь этого человѣка была какъ-бы пропитана запахомъ водки и состояла изъ безчисленнаго количества поступковъ, исходною точкою которыхъ исключительно были особенныя свойства этого напѣтка. Гульба, распутство, плутовство, нищенство, воровство, острогъ, буйство дома, опять кабацкое дѣло, опять пьянство и нищенство и т. д. Женился отецъ Михайлы на его матери «изъ одного форцу». Гуляя онъ франтилъ и форсилъ на вечеринкѣ и сталъ заигрывать съ одной красивой дѣвушкой. Но эта дѣвушка грубо оттолкнула его, сбива съ него спѣсъ и вообще очень

skonфузила кабацкаго франта. Кабацкій франтъ обидѣлся и тутъ же объявилъ, что не умретъ, не женившись на этой обидчицѣ. Всевозможными способами и главнымъ образомъ при помощи той же кабацкой водки сталъ онъ добиваться своей цѣли—и бѣдная глупая родня пролила-таки ему сердитую дѣвушку... Выкинувъ это колѣно, кабачный франтъ пожилъ съ женою недѣлю и ушелъ опять къ старой любовницѣ, откуда онъ присылалъ за водкой и за деньгами. Жена, замѣнявшая его въ казенномъ кабацкѣ, гдѣ онъ служилъ, съ этого времени должна была сама изучать всѣ кабацкія тайны, подмѣсы, поддѣлки, обмѣры, поддѣлку печатей, воровство и утайку денегъ и т. д. Такъ и пошло дѣло. Отецъ Михайлы исчезалъ изъ дому сначала мѣсяцами, а потомъ и годами. Жена стала настоящей кабатчицей. А онъ то также гдѣ-нибудь торчалъ въ кабацкѣ (плутовавшее акцизное начальство дорожило такими плутами), то, когда выгоняли за явное мошенничество, бралъ какую-нибудь другую должность, десятника на новой строившейся желѣзной дорогѣ, потомъ поступалъ и въ сторожа, когда дорога была готова, и всегда сходилъ съ женщинами, которыхъ или обиралъ, или, напротивъ, которыми самъ былъ обираемъ. Дома онъ появлялся только тогда, когда ему буквально было нечего ѣсть; являясь, не глядѣлъ на дѣтей, нилъ, бралъ, что можно было ваять, съ женою почти не говорилъ и, обобравъ, уходилъ опять надолго до новаго набѣга и ограбленія... Но вотъ что странно и непостижимо и что Михайло рассказывалъ съ большимъ огорченіемъ—это то, что сама мать Михайлы, вмѣсто того чтобы оставить безпутнаго мужа навсегда, впадала о немъ иногда въ ужасную тоску... Годъ и два она не поминала, не интересовалась даже и знать, гдѣ онъ; но приходила наконецъ такая минута, когда она начинала плакать о немъ, жалѣть, представляла, что онъ пропалъ, погибъ, утонулъ, и, оставивъ дѣтей на квартирѣ у какой-нибудь старухи, отправлялась разыскивать мужа, истрачивая все, что накапливала она при помощи кабацкой науки. Разыскавъ его, она жила съ нимъ недѣлю, много двѣ и потомъ опять возвращалась сердитая, ненавидящая своего пьяницу; опять принималась хлопотать въ губерніи о кабацкомъ мѣстѣ, ходила пѣшкомъ по сотнямъ верстъ, путалась въ долги и, получивъ гдѣ-нибудь кабацкѣ, переселялась туда съ семьей. А семья, не смотря на такія краткія, непривѣтливныя, грубыя свиданія мужа и жены, росла, и когда Михайлѣ было десять лѣтъ, у него уже были двѣ сестры маленькія.

Вотъ на десятомъ-то году, послѣ того какъ семья Михайлы не выдала своего отца около полтора лѣтъ и когда она начинала уже радоваться, что онъ не вернется совсѣмъ, невѣдомо откуда неожиданно появился отецъ Михайлы и, не говоря никому ни слова, продалъ лачужку, которую купила мать Михайлы на свои деньги. Деньги эти онъ пропилъ и приступилъ къ распродажѣ остаткаго имущества. Безъ всякой церемоніи онъ привелъ мужика и сталъ ему продавать платье и вообще все что можно. Жену, оборонавшую свое

добро, былъ безъ разговоровъ. Въ это время Михайло ожесточился на отца и вступился за мать. Хотѣлъ было отецъ продать самоваръ, но Михайло не далъ сдѣлать этого. Онъ былъ малъ и слабъ и не его было дѣло вступать съ отцомъ въ рукопашную, но онъ могъ кричать, онъ высочилъ на улицу, закричалъ во всю силу своего ребяческаго голоса: «разбой!». Созвалъ народъ, причемъ конечно женщины прибѣжало множество, и при помощи «добрыхъ людей» не только отбилъ самоваръ, но и мать защитилъ отъ бушевавшаго отца, котораго народъ рѣшилъ вести въ холодную. Все это сильно подѣйствовало на пьяницу. Въ холодную идти онъ «не дался», а взялъ шапку и ушелъ, сказавъ:

— Когда такъ... ну, такъ я вамъ докажу!

И исчезъ.

Но не прошло нѣсколькихъ дней, какъ въ избѣ Михайловой матери вошелъ староста и спросилъ у нея: «знаешь-ли она, гдѣ ея мужъ?». Та, какъ и всегда, не знала. Тогда староста сказалъ: «онъ проданъ въ Соснинки въ солдаты!...» Это извѣстіе почему-то ужасно поразило мать Михайлы. Не помня себя, забывъ всѣхъ дѣтей, она послѣпно одѣлась и ушла...

Она ушла прямо въ Соснинку къ тому богатому мужику, который купалъ Михайлина отца. Ушла и пропала, а ребята остались одни, голодные и холодные... Мать Михайлы пропала потому, что семья, купившая ея мужа, богатая мужицкая семья, разжившаяся около крестьянскихъ денегъ (глава семьи былъ старшина), боялась, чтобы она, изъ корыстныхъ видовъ и желанія часть покупныхъ денегъ удержать за собой, не стала бы мѣшать дѣлу у сельскихъ властей. Сельскія власти должны были дать приговоръ на то, что отецъ Михайлы можетъ идти охотой въ солдаты. Чтобы жена Михайлы не выторговала чего-нибудь и на свою долю, ее просто на-просто заперли въ домъ богатого мужика и нигде не пускали. Безъ нея, при помощи водки, были получены всѣ приговоры, составленъ продажный договоръ, по которому отецъ Михайлы проданъ за 400 руб. съ разсрочкой на десять лѣтъ. Въ губерніи, гдѣ повѣрялись эти сдѣлки, въ выдахъ обезпеченія семейства Михайлы, было сдѣлано измѣненіе въ пользу его семьи. Михайлу обязалась взять къ себѣ въ домъ до возраста купившая охотника семья и она же обязалась платить по десяти рублей въ годъ Михайловой матери.

— И не помню даже, какимъ родомъ я въ чужой семьѣ очутился и какъ меня отъ матери отняли... Помню, какъ мать приплелась еле-живая послѣ проводовъ отца, какъ потомъ пріѣхала старостиха и серебряный рубль матери моей въ руки совала, а больше-то ничего и не упомяну... Разслабили мы, наплакались, наголодались, пока мать-то уходила, да и маменька еле-жива была, вся растерявшись и ослабѣвши... Плакали много! И потомъ опомнился я въ старшининомъ домѣ... Семья огромнѣйшая—и точно волчья стая... Ни одинъ человекъ на меня ласково не взглянулъ—лишній ротъ прибавился въ домъ; на охотника, на моего отца, пропоили

много денегъ, задолжали всѣмъ и на меня смотрѣли злобно... А я какъ оробѣлъ съ перваго шагу, такъ и дальше пошло: съ каждой минутой все мнѣ страшнѣй да страшнѣй у нихъ... Забьюсь на печку, сижу иной разъ цѣлые дни, не пью, не ѣмъ... Гдѣ маменька? Зачѣмъ я здѣсь? Спросить, слово сказать боюсь... И стала меня съ этого времени грызть тоска. Вижу я, что не жилецъ я на бѣломъ свѣтѣ; отецъ «проданъ», мать въ нищетѣ, домъ проданъ, а тутъ вокругъ меня чужіе враждебные люди... Замираетъ мое сердце, ничего передо мною нѣтъ, кромѣ могилы... Не знаю, какъ пришло мнѣ на умъ ножикъ спрятать... Утащилъ ножикъ, на печку спряталъ, а рука не поднимается... Все мать вспомню—заплачу... А между тѣмъ хватились—нѣтъ ножа. Искать, допрашивать начали... А я въ такомъ былъ безпамятномъ состояніи, что и знаю—«нало признаться», а молчу. Однако ножикъ нашли у меня подъ полушубкомъ въ головахъ—и высѣли. И такъ высѣли, что весь я былъ въ синякахъ, въ рубцахъ и рубашка отъ крови къ тѣлу присохла... Ну, тутъ стало у меня почитай-что помѣшательство ума. Пять сутокъ не слѣзая съ печи, не пилъ, не ѣлъ. Они ужъ звали меня, стали опасаться, даже силомъ стащили, а я опять забилась на печку... И вдругъ входитъ мать—я даже и не узналъ ее—она была еле-жива. Съ печи вижу мать, думаю—«вотъ радость-то!». Но мать и не поглядѣла на меня, а прямо въ ноги старостихѣ повалилась, стала ее молить Христомъ-Богомъ выдать отцовскіе десять рублей. Она пѣшкомъ пришла, глухою осенью, по грязи. Шумъ и гамъ начался въ избѣ изъ-за денегъ. Мою мать куда-то увели, и я потомъ увидѣлъ ее въ окошко: она шла и несла на спинѣ кулъ хлѣба, денегъ ей не дали... «И маменька-то меня забывала! Не поглядѣла, не спросила!» Такъ меня горе это убило—и сказать невозможно! А того не знаю, что она, маменька-то, была не въ себѣ, и что потомъ я узналъ—ее нарочно поскорѣй изъ избы вывели, чтобы она не увидала, какъ я избитъ, а ей сказали, что молъ сынъ твой въ лѣсу съ мальчишками... Какъ показалось мнѣ, что и мать родная меня покинула, тутъ я рѣшилъ окончить мою жизнь... Ночью потихоньку слѣзъ съ печи, досталъ ножикъ и опять на печь забрался... Взялъ ножикъ и подношу къ шеѣ... Но вдругъ закашлялся кто-то и проснулся, сталъ ходить по избѣ, потомъ сталъ искать ковшика съ водой... Я жду, когда онъ ляжетъ спать, а онъ не ложится; огонь зажечь, мазь какую-то достать, охаль, ноги растирать... А я все жду, сижу съ ножомъ въ рукѣ... Ждать, ждать... и вдругъ—проснулся! Толкаетъ меня за плечо старушка бабушка, самая коренная женщина въ семействѣ, толкаетъ за плечо и говоритъ:—«Ты чего это ножикъ-то въ рукахъ держишь?» А я и самъ ужъ не помню, зачѣмъ у меня ножъ въ рукахъ... И не помню, какъ заснулъ; послѣ снѣченія усталъ я весь, пять ночей не спалъ и пять сутокъ не ѣлъ—смирло меня въ конецъ... А старушка-то поняла мое горе... Взяла ножъ изъ рукъ, заплакала, велѣла мнѣ слѣзть съ печки, дала хлѣба, а потомъ и говоритъ: «Ну, сирота горькая! Одѣвайся ты въ дорогу, пока на-

шихъ дома нѣту — да иди съ Богомъ въ своей матер! Не житъ тебѣ здѣсь въ волчьей берлогѣ... Будетъ надъ нами наказаніе Божіе, чувствуетъ моя душа... Легко-ли дѣло, людей покупать стали!» Одѣла меня, поблагословила, вывела на улицу и постояла, подождала мужиковъ. Вдуть какіе-то. — «Куда ѣдете?» — «Туда-то». — «Подвезите мальчика!» Меня подвезли... Увидаль я маменьку — все во мнѣ такъ и растаяло, ожилъ я. Разсказаль ей свою жизнь, рубаху снялъ, тѣло ей показаль мое... А она только слезами заливается и сказала мнѣ, отчего обо мнѣ не спросила, какъ была у старостики. Такъ вотъ, каково легко мнѣ было жизнь мою начинать... Не проснись мужикъ ночью — полыхнулъ бы я себя по горлу... Да Господь меня спасъ!»

— «И съ этого дня я въ Бога увѣровалъ твердо. Никто меня ничему не училъ, и что есть Богъ, я не зналъ. Зналъ, что Богъ на небѣхъ, а настоящаго-то Бога не зналъ. А теперь я явственно узналъ, что Онъ видить меня постоянно, что Онъ смотритъ на меня, на мои дѣла. Онъ тутъ близко. Теперь твердо зналъ, что я не одинъ на свѣтѣ. Около меня есть попечитель, Онъ меня сбережетъ, не дастъ погибнуть... И я вотъ всю жизнь мою живу по его повелѣнію... Что ни случись, куда меня ни вьнь, мучай меня, а я ужъ твердо знаю, что есть надо мной око и стало быть надо только слушаться повелѣнія Божія... А безъ Бога бы мнѣ не прожить, и году не продышать. Такъ-то!..

— И ужъ какъ меня нужда била объ землю и бросала по свѣту! Къ какому только ремеслу я ни касался? И плотницкой части касался, и сапожной, топорной и слесарной... да, то есть, нѣту такого мастерства, чтобы я не брался за него по нуждѣ, изъ куска хлѣба... И коѣ-что самъ и сейчасъ могу сдѣлать, не пойду въ люди... Сапоги починить, даже шпиль могу, и раму сдѣлаю, и обручи набыю... Но только было это не ученіе, а испытаніе Божіе... Кабы у насъ было мало-мальски настоящее ученіе мастерству, мы бы Бога благодарили: по дому для хозяйства много надо знать... А то вѣдь у насъ зрятина одна... Говорять — «былъ въ учени». Это значить, что года четыре дѣтей у хозяина нянчилъ, воду носилъ, дрова кололъ, пьянаго «самого» изъ кабака приводилъ и смертный бой принималъ... А ужъ учился, когда Богъ дастъ. Да и гдѣ знать намъ, какія гдѣ есть мастерскія мѣста?... Иной и мастеръ настоящій, а о немъ никто не знаетъ, и вывѣски написать не сумѣетъ... Идешь за хлѣбомъ, куда глаза глядятъ! Иной разъ, бывало, и въ самомъ дѣлѣ приткнешься къ какому-нибудь порядочному мѣсту и начнешь настоящимъ родомъ обучаться, и даже деньжонокъ соберешь рублишекъ десятокъ — хватъ, паспорта не высылаютъ, на землѣ недомикки накопились. А безъ паспорта жить нельзя. Надо все бросить, идти въ деревню, въ волость просить... Я отъ своей земли какъ отъ злого врага всю жизнь страдалъ, пока самъ къ ней не пришелъ на вѣки... Отдали мы нашу нарѣзку съ маменькой одному мужику — «владѣй, молай, и подати плати»... Забожился, влатву далъ, а черезъ четыре года меня вытребовали, какъ недомикшика. «Хоть десять-то

цѣлковыхъ дай!» И того не далъ. А всѣ деньжонки, какія въ мастерствѣ нажилъ, всѣ за паспортъ отдалъ, въ дорогѣ пробѣлъ, и опять — иди, ищи по свѣту работы — такъ все я и не доучивался. Отнялъ я землю отъ мужика, про котораго сказывалъ, передалъ самому старшинѣ и тотъ взялся платить и лѣтъ пять высылаалъ паспортъ безъ препатствія, а потомъ вдругъ проворовался, изъ старшинѣ его выгнали, а съ меня за всѣ пять лѣтъ стали требовать и опять всего разорили, отъ труда оторвали и опять иди, куда хошь! Ни призору, ни порядку, ни науки — ничего нашему брату рукомерсловому человѣку нѣту! А иной разъ и самъ бросишь мастерство-то, затоскуешь, заплачешь по маменькѣ, по сестрамъ — бросишь все и уйдешь искать, разузнавать, гдѣ они и какъ живутъ. Обь отцѣ даже разъ такъ соскучился, что три мѣсяца прослонялся — полкъ ихній искалъ, и что же? Тутъ мы съ нимъ цѣльный мѣсяцъ оба пьянствовали съ тоски! Конечно, пока деньги были у меня, а тамъ опять разошлись на вѣки-вѣковъ... Мать-то мою я завсегда почестъ находилъ, а вотъ сестеръ подолгу не видалъ... Отдала ихъ мать въ Питеръ въ ученіе и сама по годамъ не могла знать, какая ихъ участь... Тоже жизнь ихняя тиранская! Одно-то теперь, говорятъ, за сапожникомъ, а про другую нехорошо говорить — да вѣдь осуждать-то нельзя! Можетъ, и ее Господь вызволить... Кабы были у меня мало-мальски деньжонки, безпремѣнно бы розыскалъ и домой привезъ! Ну, а вѣдь мало-ли что!..

— Вотъ такъ и толкало меня и пихало изъ стороны въ сторону, безъ толку, безъ наученія, въ проголодь и прохолодь... И только потому я жилъ и живу, что увѣрился въ Божіемъ повелѣніи. Стало быть, надо такъ и слѣдовательно должно такъ жить и не впадать въ искушеніе... А искушенія бывали... Разъ было чуть не продался въ мужья одной купеческой любовницѣ... И красивая, и деньги давала, и соблазнъ во мнѣ заговорилъ, а подумалъ я, понялъ, что это дьяволъ меня подбиваетъ на грѣхъ — и сбѣжалъ. Съ вечеринки сбѣжалъ — скандалу на дѣлалъ!.. И Богъ помогать!

— А однажды прямо ужъ по Божьему указанію вышло, и такъ премудро вышло, что даже сообразить невозможно отъ удивленія! Вотъ какое было дѣло... Вѣдь нашъ братъ, голодный человѣкъ, долженъ браться за всякое дѣло, какое Богъ пошлетъ. Иной разъ и соврешь съ голоду-то... «Умѣешь это дѣлать?» спросить хозяинъ. — «Умѣю!» И нанимаешься, а самъ даже и въ глаза-то дѣла этого хозяйскаго не видалъ. Станешь на дѣло незнакомое, глядишь на другихъ, притворяешься, высматриваешь — только бы похарчили хоть разъ въ день, а тамъ прогоняй и денегъ не плати. Иной разъ и ловко поймешь, въ чѣмъ дѣло, а иной и сразу увидать, что обманулъ, въ шею натокаютъ, со двора выгоняютъ. А отказываться отъ дѣла, когда человѣку ѣсть нечего, — невозможно. Вотъ разъ я и попалъ на съинную барку рабочимъ. Съно гнать по Волхову и по каналамъ въ Петербургъ. Отъ роду я не зналъ этого дѣла. Былъ перелѣтъ тѣмъ у сапожника, а теперь вотъ на баркѣ ѣду. А на Волховѣ

пороги большіе, мѣста трудныя, иной разъ барва вертится на омутѣ какъ перышко, иной ее о дно ударить и водой нальетъ. Народъ надобенъ бойкій, ловкій, сильный, безстрашный, а я ужъ отъ одного страху-то передъ водой и то тряусь и въ толкѣ ничего не могу взять. Стали на меня покрикивать, а потомъ и въ загромокъ поталяивать, видятъ, что я дѣла не знаю и могу вреда надѣлать. Да и я-то вижу, что мнѣ не сдобровать, высаждать на берегъ, вотъ и скажъ весь. И вѣдь точно высадили и очень скоро высадили, только случай для этого вышелъ необыкновенный; одолѣла меня сразу куриная слѣпота. Сѣли обѣдать, а я и не вижу, куда ложкой-то тянутъся, хлопаю ею по столу. И вѣдь какая премудрость Божія! Вѣдь высаждать-то высадили бы непременно, а чтобы я сталъ дѣлать, куда бы пошелъ? Денегъ ни полушекъ, ни хлѣба, ничего нѣтъ и мѣстовъ не знаю. И надо же было мнѣ по Божію указанію ослѣпнуть, и ослѣпши былъ я высаженъ на берегъ въ одномъ селѣ, и тутъ опять Богъ меня не оставилъ, а наслалъ на меня добраго человѣка, и этотъ добрый человѣкъ отвелъ меня, слѣпного, въ земскую больницу: продержали меня здѣсь цѣлую недѣлю; лечить не лечили, а кормили и поили. Вотъ вѣдь какъ, да и это не все! Какъ свяло съ меня куриную-то слѣпоту, подходитъ ко мнѣ докторъ молодой, опросилъ меня, разузналъ мою жизнь, увидѣлъ, что я на чужой сторонѣ безъ всякихъ способовъ, далъ три цѣлковыхъ и дорогу въ Питеръ указалъ. Вѣдь надо же все это сдѣлать такъ премудро!.. Кто же какъ не Богъ-то? Да и это еще не все! Послушай-косъ, какія чудеса-то вышли. Иду это я въ Петербургъ пѣшкомъ по Шлиссельбургскому тракту, и вотъ вѣршишь-ли? Неизвѣстно какимъ родомъ лежитъ мнѣ на дорогѣ развитая гармонія. Иду, а гармонія лежитъ и все! Думаю: взять или не взять? Думалъ, думалъ—взялъ. Сѣлъ у дорожки и сталъ разсматривать; разсматривалъ, разбиралъ и такъ мнѣ стало любопытно, что я и не замѣтилъ, какъ, почтай, полсутокъ времени ушло на эту разборку... Перво-на-перво я ее разобралъ, а потомъ и опять собралъ. Собралъ я ее и пошелъ—глядя на встрѣчу идеть мастеровой, смотритъ на гармонію и говоритъ: — «Это моя!» Я говорю — «возьми! Я на дорогѣ поднялъ». Взялъ мастеровой свой инструментъ и ушелъ. И что-жъ ты думаешь?.. Годовъ черезъ пять было у меня въ жизни такое голодное время, кажется отъ роду такъ не бывало. Всякую мелочь продалъ — ну, окончательно безъ всего остался и безъ угла даже. Что дѣлать? За что взяться? И вдругъ мнѣ входитъ въ умъ воспоминаніе, какъ я гармонію разобралъ и собралъ. И пошелъ по мастеровымъ, около фабрикъ выпрашивать: — «Нѣтъ-ли гармоній починять?» — «Ты гармонщикъ?» — «Гармонщикъ!» (Съ голоду на все согласишься.) — «Есть». И наташили мнѣ съ десятковъ гармоній. Съ этимъ товаромъ я уголъ занялъ, довѣріе на клейстеръ, на кожу—всего на полтинникъ—мнѣ хозяйка оказала, и я со страхомъ и трепетомъ принялся за дѣло... Да вѣдь такъ выправился поменьку да полегоньку, что первымъ гармонщикомъ сталъ въ Александровскомъ. Бомнату нанялъ, пин-

жакъ приобрѣлъ, денегъ набилъ мнѣ въ карманъ до пятнадцати серебромъ и пошелъ бы въ гору, да изъ деревни опять бумага: «не даемъ паспорта, недоимка». Ну, все и пошло прахомъ! Такъ вотъ что означаетъ Божій промыселъ! Кабы не Божіе указаніе, кто бы чему меня научилъ? Какая наука нашему брату? А тутъ—подумай-ко, сколько премудрости-то Господней! Вѣдь надо же было все это въ такой тонкости соизидать!.. Вѣдь не даромъ на барку-то попалъ. Не даромъ ослѣпъ, не даромъ гармонію нашелъ! Этого нашимъ умомъ не сообразишь, а надо такъ понимать, что Господь блюдетъ надъ человекомъ и указываетъ ему пути. Нѣтъ! Только Божія помощь и явственна въ нашей жизни. А посмотрите на нашу жизнь такъ-то, безъ Божьего-то указанія, такъ это истинно—пропасть нашему брату надо, только и всего! Другой участи намъ нѣтъ. Брошены мы, какъ мякина на вѣтеръ...

— ...И наконецъ скучно ужъ мнѣ стало шататься-то! Въ послѣдній разъ какъ вытребовали меня въ деревню изъ-за недоимки, думаю: «не пойду!» пробьюсь какъ-нибудь... Подошелъ сѣнокосъ, ищутъ косцовъ, пошелъ и я къ одному мужику... Въ первый разъ косу въ руки взялъ — махну—хоть бы травинка упала! — словно по лду косой бью—только звенать! Стыдъ меня ѣсть, срамъ, а хозяинъ (добрый онъ мнѣ тогда мужикъ показался) видитъ мое стараніе, понимаетъ, что ревность-то у меня есть, что работникъ я хорошій, только ничего не умѣю путемъ сдѣлать — смѣется — ласково такъ говоритъ: — «Ничего, обойдется, вотъ тебѣ Семень покажетъ. Семень, говоритъ, покажи ему!..» Ушелъ онъ, а Семень сталъ мнѣ косу поправлять; повертѣлъ, постучалъ, — «на» говоритъ. Пошелъ я и опять ничего толку нѣтъ. Что ты будешь дѣлать? А косило насъ трое: Семень, я, да женщина. Женщину-то я не размотрѣлъ и даже не поглядѣлъ на нее—своего дѣла было много... И разъ мнѣ Семень косу направилъ, и два, и три. И все я только рву да мну траву-то, а толку-то нѣтъ никакого. Ударило меня въ краску и въ стыдъ... Усталъ я такъ, что кажется въ молотобойцахъ такъ не устанешь за цѣлый день, какъ я тутъ въ два часа измаленся. А тянетъ меня научиться косить—шибко! Поправилось мнѣ все это: поле, трава, птички, и работа пріятная — а нѣтъ вотъ! Не даетъ Богъ! И вдругъ происходитъ такое дѣло Божіе: ушелъ Семень куда-то прочь и остались въ полѣ я да женщина. И подходитъ ко мнѣ эта женщина и говоритъ: — «Что ты бьешься понапрасну? Семень тебѣ завсегда такъ косу посадить, что ты совсѣмъ ничего не сдѣлаешь... Онъ завистливый, боится, чтобы ты ему работы не перебилъ и чтобы хозяинъ тебя не полюбилъ. Дай-ко мнѣ косу-то, я тебѣ налажу...» Далъ я косу ей и поглядѣлъ... И такъ она мнѣ понравилась: мужественная дѣвица, серьезная, работающая!... Постучала она что-то брусомъ, погнула косу, тронула ею—хорошо выходитъ! — «Нако, говоритъ, попробуй теперь!..» Какъ взялъ я, какъ пошелъ — и самъ себѣ не вѣрю! Пошло мое дѣло въ ходъ сразу, съ легкой руки — и загорѣлось у меня ретивое. И такъ я съ

этого часу полюбилъ эту дѣвушку, такъ она мнѣ во всемъ пришлось по сердцу—сказать не могу... И вижу — и она рада: стоять, смотреть на мое дѣло, хвалить, поправлять, а потомъ опять полевала на руки и сама пошла съ косою... И такъ мнѣ стало радостно: позабылъ я все мои горести и точно сталъ изъ мертвыхъ воскресать... Такъ вотъ премудрость-то Божія и опять обозначилась въ моей жизни! Вѣдь эта дѣвушка-то теперича, Богъ далъ, моя жена Дарья Петровна... Вотъ вѣдь какое предопредѣленіе-то! Подумаю-ко ты...

— Да, теперь мы поженившись. А не скоро она мнѣ досталась, оба мы помялись, пока мужемъ и женой стали. Хозяинъ, у котораго я нанялся косить, былъ родной братъ этой самой дѣвицы; а кромѣ того у ней же была замужняя сестра въ другой деревнѣ, и было у этой сестры пять чело-вѣкъ дѣтей, да у брата съ женой четверо. Вотъ эти-то два семейства и препитывались. Вездѣ нужна хорошая работница, а такая, какъ моя Дарья, и по-давню. Работницу нужно нанимать, а родной сестрѣ можно и копѣйки не дать. Вотъ они-то насъ и за-тиранили. А сошлись мы съ Дарьей и крѣпко по-дружились тутъ на покосѣ, потомъ всю осень на лосидѣлкахъ видѣлись. И такъ мнѣ понравилось въ деревнѣ, такъ все порядочно, хорошо, а главное Дарья-то мнѣ свѣту придаетъ — «не уйду, думаю, отсюда, никогда!». Однако же не посмѣлъ Дарьѣ объяснить въ скорости, потому что не съ чѣмъ мнѣ взяться. Все лѣто работалъ, какъ волъ воро-тилъ, осенью опять встрѣтились, а на Покровъ, выпивши на праздникѣ, осмѣлился я и сказалъ Дарьѣ. «Согласна!» говорить, руку мнѣ пожала и залогъ дала. Залогъ это вродѣ какъ задатокъ, для вѣрности... Дала она мнѣ узелокъ, а что въ этомъ узелкѣ было, такъ я даже и не видалъ никогда. Такъ я ее полюбилъ и уважалъ, что мнѣ ей не до-вѣрить невозможно было. Вотъ какъ наше рѣшеніе-то узнали — и стали разные махины подводить... Умираетъ Дарьяна сестра и оставляетъ пять чело-вѣкъ дѣтей... Приѣхалъ ея вдовый мужъ прямо къ Дарьѣ. «Побѣдемъ, говорить, ко мнѣ, походи за дѣ-тами... Сестра какъ умирала, такъ просила... По-живи мѣсяцъ, пока справлюсь, тогда отпущу». Нечего было дѣлать, поѣхала Дарья, да не на мѣ-сяцъ, а полгода прожила и вѣстей мнѣ не давала. А тѣмъ временемъ братнина жена, которой Дарья также нужна была, стала меня отговаривать отъ нея... Думаетъ, какъ Дарья воротится, такъ у нея останется, а онъ (т. е., я) уйдетъ въ другое мѣсто работать и оставитъ Дарью. Стали мнѣ Дарью безъ всякаго зазрѣнія порочить. Вѣдь онѣ, бабы-то, лов-ко умѣютъ сплести дѣло! Сплела про нее такое, что и сказать невозможно... «Она, говорить, и вѣ-стей-то не даетъ о себѣ, потому связавши»... Я и призадумался. А вѣстей нѣтъ. Сяжу такъ-то разъ, работаю съ печниками, входитъ Дарьяна брата жена и говоритъ: — «Дарья приѣхала. Залогъ спра-шиваетъ!» И такъ грубо... Что-жъ? Взялъ я узелокъ, какъ былъ — отдалъ... Горько мнѣ стало... Такъ прошелъ день. Смотрю, сама Дарья идетъ ко мнѣ... — «Ты зачѣмъ залогъ возвратилъ?» «Такъ и

такъ!» — говорю. Все ей рассказалъ, а самъ гляжу ей въ глаза и вижу, что чистая у нея душа, непороч-ная, и самъ я тутъ раскаялся въ мысляхъ... Пла-кала она тутъ, обижалась на меня, и опять я у ней залогъ взял... Только что стали думать, какъ быть — хватъ, мужъ сестринъ въ водостъ Дарью тащить... Дарья-то, живя у него больше полугодъ, говорить ему: «заплати мнѣ хоть сколько за тру-ды—все мнѣ на свадьбу». Тотъ обѣщалъ, а когда самъ женился во второй разъ, то Дарью прогналъ, денегъ ей не далъ, а чтобы она не взыскивала, самъ на нее подалъ жалобу, что обокрала вишь его на огромнѣйшія суммы. Вотъ вѣдь какіе бы-ваютъ люди злющіе!.. Насрамили Дарью ни за что, ни про что... А времени прошло много, и все не по хорошему, и мой-то дѣла не складны; заработокъ плохой-преплохой, и жить намъ обоимъ плохо, а жениться—нечѣмъ взяться въ хозяйствѣ!

— Однако какъ судилъ намъ Богъ жить вмѣстѣ, такъ тому и быть надо. Пришла весна, повидались мы съ Дарьей и такъ рѣшили: вѣнчаться не бу-демъ—не на что и жить негдѣ. А пойдемъ мы вмѣ-стѣ деньги работой добывать... И ушли вдвоемъ какъ братъ съ сестрой... И такъ мы работали съ ней все лѣто, а осенью ужъ и жить стали, и все не вѣнчавшись. Совѣстно было мнѣ людей, и Дарья-то измучилась совѣмъ отъ этого. А вѣнчать-то надобно—была ужъ и тяжела... Пришло такъ, что надо безпремѣнно: пошли мы съ Дарьей пѣшкомъ въ село, къ священнику... Проработали вмѣстѣ съ ней у него цѣлую недѣлю—повѣнчалъ. Опять безъ всякихъ угощеній и церемоній домой воротились въ квартиру... Я въ то время всякую работу дѣ-лалъ, какая попадалась, и сапоги чинилъ, и по плот-ницкой части—кой-какъ кормились. А какъ ро-дился ребенокъ-то — тутъ ужъ и страшно стало! Такъ жить нельзя... Надобно уголь, крестьян-ство... Вотъ тутъ и опять только Богъ помогъ... Далъ мнѣ Емельяновъ денегъ домъ купить. Купилъ я домъ, переплылъ съ нимъ на старое пепелище, сталъ жить на квартирѣ, всякую мелочь работать. А лѣтомъ съ женой стали наниматься косить, а ре-бенка оставляли до ночи у старухи... Косили мы до упаду, потомъ, праздниками, съ чужой работы на свою шли и своего сѣна накопили въ этотъ годъ на восемьдесятъ рублей... Вотъ въ эту пору и начали строить свою избушку... Ну вотъ, такъ оно съ Божіей помощью поменьше и идетъ... Такъ вотъ какая жизнь-то наша! Такъ что-жъ, нешто не рай мнѣ теперь въ избушкѣ-то?.. Куда ты меня изъ нея выгонишь?..

Много рассказывалъ мнѣ Михайло, но и того, что мнѣ теперь пришлось передать изъ этихъ раз-сказовъ, слишкомъ много, чтобы порадоваться за Михайлу: теперь онъ не безпріютенъ—у него есть избушка на курьихъ ножкахъ.

X. Разговоры въ дорогѣ.

I.

... Если есть въ настоящее время у кого-ни-будь на Руси живыя темы для живого, жизнен-

наго разговора о живыхъ, жизненныхъ дѣлахъ и вопросахъ, такъ это постигнуть единственно, кажется, только въ народной средѣ, то-есть у мужика. Оригинальность и самобытность народной рѣчи, во многомъ совершенно еще непонятная для такъ называемой чистой публики (а вѣдь публика эта разная: бываетъ добрая и недобрая), дѣлаютъ эту рѣчь и это народное слово дѣйствительно совершенно свободнымъ, незнающимъ никакихъ стѣсненій, особенно если дѣло идетъ «промежду себя». Это преимущество народнаго разговора, важное само по себѣ, приобретаетъ особенную важность и интересъ въ виду того огромнаго матеріала, взятаго непосредственно изъ жизни, который имѣетъ въ своемъ безконтрольномъ распоряженіи эта свободная народная мысль, выражающаяся въ свободномъ словѣ.

Втеченіи послѣднихъ двадцати - пяти лѣтъ, тамъ, въ глубинѣ народной жизни, и съ каждымъ годомъ все больше и все шире разрастаются всевозможнаго рода осложненія. Новому поколѣнію приходилось и приходится разбираться въ цѣлой массѣ новыхъ, неожиданныхъ условий жизни, разбираться безъ указанія, безъ совѣта (старіики ничего въ новомъ не понимаютъ), приходится «ломать голову» надъ разрѣшеніемъ труднѣйшаго вопроса о совѣти и копѣйкѣ, страдать за него, разрывать связи съ прошлымъ, переживать минуты горькаго сиротства, полной беззащитности и беспомощно гибнуть, или же, повинувся хоть и неясной, но свѣтлой надеждѣ, идти искать новыхъ мѣстъ, новыхъ нравственныхъ связей, новыхъ лучшихъ и справедливейшихъ матеріальныхъ условий... Всѣ эти большія народныя задачи бременятъ и волнуютъ народную мысль подлиннымъ образомъ; ложатся на сердце не такъ мимолетно, какъ ложатся на наше сердце, на сердце «чистой публики», хотя бы и самые возмутительнѣйшіе жизненные факты, которые намъ ежедневно приносятъ газета... Мы завтра забудемъ ихъ, и сегодня насъ уже не волнуетъ то, что волновало вчера; опытъ народной жизни не таковъ: онъ непосредственно касается человѣка, подлинно задѣваетъ его «за живое», выжигается на сердцѣ, какъ клеймо, неизгладимо; и того, что выжжено имъ на сердцѣ вчера, сегодня нельзя забыть; все это надобно обсудить, обговорить, выяснить, разобрать; надобно потому, что вѣдь только «своимъ умомъ» народу приходится обороняться отъ всевозможныхъ неожиданностей и новостей его трудной жизни...

И галдитъ, безъ умолку галдитъ «третій классъ» во всѣхъ поѣздахъ, бѣгающихъ по русской землѣ, не говоря уже о такъ называемыхъ специальныхъ, дешевыхъ поѣздахъ, съ нѣкотораго времени устроенныхъ для переселенцевъ и рабочихъ, возвращающихся изъ столицы по домамъ. Десять—пятнадцать «лошадиныхъ» вагоновъ биткомъ набиты народомъ; темная ночь, тьма кромѣшная; во всемъ поѣздѣ нѣтъ огонька, только цигарки свѣтятся, а несмотря на то, что уже «за полночь» — весь поѣздъ гудитъ какъ муравейникъ или, вѣрнѣе, какъ паровой котель... И этотъ говоръ, пережѣванный съ

звуками гармоній и крѣпкихъ словъ, не замолкаетъ ни въ полночь, ни за полночь, ни днемъ, ни ночью, не истощается втеченіи долгихъ дней самаго медленнаго черепашняго движенія. Стало-быть народу есть о чемъ поговорить, есть что поразсказать другъ другу.

А вотъ у насъ, у «чистой публики», какъ будто дѣло пошло совсѣмъ наоборотъ, и въ вагонахъ пассажирскихъ поѣздовъ, предназначенныхъ для пассажировъ перваго и втораго класса, что-то стало молчаливо, а иногда, по цѣлымъ днямъ пути, царствуетъ по истинѣ мертвая тишина. *Обычно* разговора еле хватаетъ на легкія вѣжливости и столь же легкія невѣжливости, которыми невольно приходится обмѣниваться во время суматохи отъѣзда и пріѣзда, а затѣмъ многого если хватить пороку у двухъ случайныхъ знакомыхъ потолковать (и то только до первой станціи) о какомъ-нибудь газетномъ сообщеніи, только что вычитанномъ обоими въ послѣднемъ номерѣ «Новаго Времени», и потомъ ужъ до самой Москвы для нихъ не остается ровно ничего кромѣ самаго деликатнаго молчанія. Шумнаго, общаго разговора, разговора «цѣлымъ вагономъ», никогда почти не случается. А вѣдь въ прежнія времена такіе разговоры были неизбѣжны, и тѣмъ далѣе къ началу настоящаго двадцатипятилѣтія, тѣмъ шумнѣе, оживленнѣе и неистощимѣе вспоминаются имъ эти разговоры. Тогдашніе разговоры «чистой публики» были такъ-же жизненны, свободны и многосложны, а главное «общіе», какъ теперь жизненны, шумны, а также общіе разговоры публики лошадиныхъ вагоновъ: у «чистой публики» тогда было такъ-же много новаго и жизненнаго, какъ много этого новаго и жизненнаго теперь у публики третьяго класса. Жизненные вопросы тогда захватывали всѣхъ вмѣстѣ и каждого порознь; каждый и всѣ вообще были заинтересованы въ новыхъ порядкахъ, въ земствѣ, въ гласности, въ новомъ судѣ, наконецъ въ личной нравственности. И все это обсуждалось, критиковалось и вообще разбиралось открыто, громогласно, свободно.

Такихъ-то вотъ общихъ разговоровъ «цѣлымъ вагономъ» и не слышно что-то среди чистой публики въ настоящее время. И не потому не слышно ихъ, чтобы этихъ такъ называемыхъ общихъ вопросовъ совсѣмъ ужъ и не существовало, а потому, что вопросы эти какъ-то перестали подлежать общему вниманію. Чистая публика привыкла знать, что изъ ея свободомысленныхъ упражненій не можетъ произойти никакихъ существенныхъ результатовъ, но что въ то же время общіе вопросы неуконительно разрабатываются въ подлежащихъ мѣстахъ и что слѣдовательно ей самой тутъ дѣлать нечего и беспокоиться не слѣдуетъ. Вотъ почему «чистая публика» перваго и втораго класса въ настоящее время предпочитаетъ тишину и молчаніе неумолчному въ недавнемъ прошломъ дорожному галдѣнію и разглагольствованію. Одни изъ множества вашихъ сосѣдей по вагону молчатъ потому, что искренно сняли съ своихъ плечъ бремя какихъ-то общихъ безпокойствъ, другіе же (и такіе

едва-ли не больше чѣмъ первыхъ), напротивъ, молчать потому, что вся тяжесть и многосложность общихъ вопросовъ, не имѣя выхода ни въ забвеніи, ни въ общественной практикѣ (хотя бы только въ видѣ разговора), сосредоточилась въ нихъ «однихъ» и тяжкимъ комкомъ подвѣсила «подъ сердце»...

Иной изъ этихъ дорожныхъ ораторовъ, который въ былое время не далъ бы вамъ сомнѣть глазъ во всю дорогу отъ Петербурга до Москвы и даже за Москву (такъ много было въ немъ общительности), въ настоящее время, едва появившись въ вагонѣ, какъ уже алчными глазами ищетъ свободныхъ мѣстъ и тотчасъ же занимаетъ своими вещами цѣлыхъ два дивана:—ему нужно, чтобъ «никого не было», ему такъ лучше. Затѣмъ онъ долго и упорно начинаетъ врать пассажирамъ, ищущимъ мѣстъ, что «мѣста заняты», что «сейчасъ придетъ господинъ»... что «вещи, молъ, не мои, а какой-то дамы, которая сейчасъ придетъ»... Въ концѣ концовъ онъ всегда отвоюетъ себѣ длинный диванъ въ три мѣста и, нисколько не смущаясь присутствіемъ сосѣдей, которымъ онъ только-что такъ нахально вралъ о занятыхъ мѣстахъ, тотчасъ же, едва только тронется поѣздъ, начинаетъ укладывать свои пожитки на сѣтку, снимаетъ калоши, устраиваетъ въ головахъ подушку и растягивается во всю длину выгнаннаго дивана... Покуривъ и поѣввавъ, онъ скоро уже чувствуетъ потребность заснуть, хотя бы день только-что начинался, и скоро вы, его сосѣдъ, отвоевавшій у него себѣ мѣсто единственно при помощи оберъ-кондуктора, видите, какъ онъ, не торопясь (и «какъ дома»), поворачиваетъ вамъ свою спину...

Ему никого и ничего не нужно среди всѣхъ насъ или васъ, постороннихъ людей; ему ровно не о чемъ съ вами разговаривать; даже при сильномъ напряженіи мысли онъ не могъ бы придумать для бесѣды съ вами ничего такого, чтобы хоть въ слабой степени было интересно для васъ обонихъ. Если иногда, плотно выспавшись и не имѣя никакой возможности вновь заняться тѣмъ же похвальнымъ дѣломъ, онъ попытается завести съ вами рѣчь (ему нѣтъ дѣла до вашего желанія бесѣдовать, ему просто самому захотѣлось поговорить, потому что надоѣло спать), то будьте увѣрены, что послѣ самыхъ неподходящихъ вопросовъ о томъ: «кто вы?» да «куда ѣдете?», рѣчь эта тотчасъ же перейдетъ на самыя мелкія подробности жизни этого человѣка, живущаго «самъ по себѣ»; съ удивленіемъ вы слышите, что какое-то невѣдомое вамъ существо, съ полнымъ удовольствіемъ на заспанномъ лицѣ, повѣствуетъ вамъ о томъ, что картофель у него на хуторѣ «вотъ какой», что когда его жена была беременна послѣднимъ ребенкомъ, такъ именно въ это время акушерка посоветовала ему завести кохинхинскихъ куръ, и что сосѣдъ Лупцоваловъ... «Вы знаете вѣдъ Лупцовалова?» Такіе неожиданные вопросы со стороны когда-то бывшаго оратора, а теперь одеревенѣвшаго обывателя, вовсе не удивительны. Вашъ отрицательный отвѣтъ относительно Лупцовалова нисколько не удивитъ его, ему вовсе не нужно ваше мнѣніе о его бормотаньѣ; ему только-

бы самому выболтать любезный ему хламъ, и когда онъ его выболтаетъ, то опять начинаетъ звѣвать, и совершенно забывъ о вашемъ существованіи, вновь предъявляетъ вамъ свою спину.

Совершенно не такова манера держать себя съ дорожными сосѣдами у того типа молчаливаго проѣзжающаго, который молчитъ не отъ того, что ему ни до кого и ни до чего нѣтъ дѣла, а напротивъ отъ того, что тысячи дѣлъ, касающихся *всѣхъ*, сосредоточены и какъ бы заперты въ немъ однимъ. Онъ не только не занимается сразу шести мѣстъ, не вретъ, что «господинъ сейчасъ придетъ», и т. д., но, напротивъ, постоянно уступаетъ, тѣснится и въ концѣ концовъ оказывается прижатымъ въ уголъ съ вещами, которыя не даютъ ему возможности ни протянуть ногу, ни лечь, ни даже сѣсть поудобнѣе. Свое стремленіе къ общительности (стремленіе, воспитанное въ немъ въ тѣ времена, когда онъ служилъ мировымъ посредникомъ) онъ выражаетъ въ необычайной уступчивости къ дамамъ, къ дѣтямъ, расточая тѣмъ и другимъ всевозможные знаки предупредительности. Но при всемъ томъ все-таки ни въ какіе продолжительные и общіе разговоры ни съ кѣмъ онъ вступать не рѣшается: онъ знаетъ, что онъ никому не нуженъ, что всякій теперь предпочтетъ мучить своего дорожнаго сосѣда подробнѣйшимъ повѣствованіемъ о своихъ ничтожныхъ семейныхъ или хозяйственныхъ дѣлахъ, что даже вотъ эта красивая, изящная дама, красивымъ «ножкамъ» которой онъ уступилъ послѣднюю каляку собственно ему принадлежащаго мѣста, что она, такъ мило и безконечно долго рассказывающая о томъ, какъ ея мужа обошли наградой, что она въ концѣ концовъ также не далека отъ неожиданнаго вопроса: «Знаете-ли вы господина Лупцовалова?» Все это онъ уже знаетъ и, дѣлая своимъ лицомъ невѣроятныя мимическія усилія, которыя должны выражать непремѣнно сочувствіе пространнѣйшимъ рѣчамъ прекрасной дамы, напрягая свое воображеніе на то, чтобы тѣ нечленораздѣльные звуки, которыми ему приходится отвѣчать на ея милый лепетъ, чтобы эти междометія «Гм... хм... мм...» и т. д. казались бы ей пріятнымъ поощреніемъ ея бесѣды, онъ въ концѣ концовъ все-таки предпочтетъ упорно молчать. Даже и тогда, когда уйдетъ прекрасная дама и когда окажется возможнымъ совершенно свободно протянуть ноги, все-таки онъ предпочитаетъ сидѣть молча, молча курить или молча читать книгу...

Но не все-же молчитъ и этотъ мученикъ одиночной печали «обо всемъ» и «обо всѣхъ»; бываетъ, что и онъ, покоряясь настоятельной потребности облегчить бесѣдой свою душу, переполненную тяжестью общихъ заботъ, и найдя подходящаго собеседника (такого же молчальника, какъ и онъ), вступить съ нимъ въ оживленный разговоръ о вопросахъ дѣйствительно общаго значенія. Но именно потому, что въ немъ однимъ такъ много этихъ общихъ заботъ сосредоточено, рѣчь его хоть и оживлена, и нервна, все-таки она не имѣетъ тѣни той жизненности, которою «зобилуетъ» каждое слово собесѣдниковъ лошадинаго вагона. Огромные общіе

вопросы, которые тѣснить ему грудь, не оживотворенные въ практической, живой дѣйствительности, родившіеся въ книгѣ, воспитавшіеся въ головѣ и, кажется, умирающіе въ сердцѣ, эти большіе вопросы трактуются разговарившими молчаливникомъ почти всегда теоретически, отвлеченно; разговоръ идетъ, такъ сказать, о теоретическомъ островѣ вопроса, и отъ этого, хотя—повторяю—и нервно оживленнаго разговора, не вѣдетъ жизнью, не ощущается въ немъ плоти и крови народной рѣчи.

О чемъ можетъ говорить въ настоящее время разговарившійся объ общихъ вопросахъ молчаливикъ? Можно безошибочно сказать, что онъ не можетъ говорить ни о чемъ кромѣ — «Болгарія», «Левъ Толстой» и... (когда ужъ совсѣмъ разговаривается) «Мужчины и женщины»... «Женщины виноваты...» «Мужчины виноваты»... «За женщинъ»... «Противъ женщинъ»... Всѣ эти вопросы бесспорно многосложны, но наша жизнь (за исключеніемъ значительной доли вопросовъ «по женской части») не пробовала еще оживотворить ихъ сущность въ мелкихъ подробностяхъ обыденной жизни. «Европа» и «Мы»—до сихъ поръ ясно не похожи другъ на друга только по книжкамъ и по газетамъ; здѣсь (т. е. въ книжкахъ и газетахъ) читатель еще можетъ различать эту, только чужую разницу; явленія же дѣйствительности, напротивъ, постоянно омрачаютъ эту книжную ясность разницы. «Непротивленіе злу» вѣдь тоже пока только въ книжкахъ, въ журнальныхъ статьяхъ и въ мечтаніяхъ... Только вотъ дѣла по женской и мужской части какъ будто бы никакъ еще не съютились около какой-нибудь ясной теоретической формулы, и потому разговоръ о нихъ вертится на ничтожныхъ мелочахъ, преимущественно фیزیологическаго оттѣнка. Еще по «этой части» иногда можно услышать что-нибудь похожее на живое слово, во всякомъ случаѣ что-нибудь взятое прямо изъ жизни, но когда разговоръ зайдетъ «о Болгаріи», «о Европѣ» и «мы», тогда невозможно обойтись безъ теоретическихъ фантазій, не имѣющихъ въ себѣ капли живой крови... Такъ-же скелетообразны выходятъ разговоры и о Толстомъ, и о непротивленіи злу. И хотя всѣ такіе разговоры ведутся оживленно и нервно, хотя иной разъ, когда напр. загнипозировавшіе частымъ повтореніемъ слова «мы... мы... мы» и «Европа... Европа... Европа», хотя, говорю, и повѣришь, что это «мы» уже существуетъ, уже осуществлено во всѣхъ подробностяхъ, но простого прикосновенія дѣйствительности, хоть бы въ видѣ господина, занимающаго шесть мѣстъ и, не моргнувъ глазомъ, увѣряющаго, что всѣ мѣста заняты, такого кусочка дѣйствительности вполне достаточно для того, чтобы вполне очнуться отъ гипнотизма и увидѣть, что весь этотъ оживленный разговоръ навѣянъ съ печатной бумаги, изъ печатной книжки, а вѣдь этого, за продолжительностью безрезультатной мозговой практики, весьма достаточно для того, чтобы въ концѣ бесѣды почувствовать только тяжелую душевную пустоту и какую-то даже озяблость всего тѣла...

Въ виду всего этого, задумавъ поразсказать въ моихъ замѣткахъ кое-что по части такъ сказать «мірскаго толка», не знаю, осмѣлился бы я къ «толкамъ» въ народной средѣ, о которыхъ только и слѣдовало бы вести рѣчь, приплетать еще безкровныя патріотическія и общественныя мечтанія такъ называемой «чистой публики». Витая постоянно между обобщеніями, то слишкомъ, примѣтно, отторгнутыми отъ дѣйствительности (какъ Болгарія, Европа и «мы» вообще), то въ обобщеніяхъ, слишкомъ пристально почерпнутыхъ изъ дѣйствительности (какъ женская часть), эти разговоры «чистой публики» уже знакомые ей самой и безъ особеннаго пересказа, кажется, успѣли ей же самой и надоесть... Но не знаю, на счастье мое или на несчастье, судьба во время моихъ недавнихъ путешествій послала мнѣ собесѣдника, который какъ-то счѣмъ обыкновенному теперь разговору-скелету придать что-то вродѣ живой плоти и какъ-будто влить въ эту якобы плоть нѣсколько капель живой крови, и вотъ почему я рѣшился нѣсколько страницъ моихъ замѣтокъ, посвященныхъ «мірскому толку», удѣлать темамъ, занимающимъ и «чистую публику».

Знакомство мое съ Алексѣемъ Семеновичемъ Пуховиковымъ произошло совершенно случайно: во время поѣздки моей по Кубанской области понадобился мнѣ попутчикъ, и фургонщикъ мѣй разыскалъ именно господина Пуховикова. Призвавъ перспективу ѣхать съ человѣкомъ изъ чистой публики, т. е. въ концѣ концовъ все-таки разговаривать о Болгаріи, Толстомъ и т. д.—вовсе была для меня непривлекательна: я только что провелъ свое сутокъ съ переселенцами, съ народомъ, и эти люди оставили во мнѣ небывало свѣтлое впечатлѣніе. Среди нихъ я забылъ самое слово «мужикъ», потерялъ возможность проводить какую-нибудь параллель между мужикомъ и баринкомъ; а выдѣл въ что новое, именно: *независимую* человѣка. Я желалъ бы, находясь подъ этимъ сильнымъ впечатлѣніемъ, имѣть попутчикомъ непремѣнно крестьянина, съ нимъ бы я могъ дѣлиться своими впечатлѣніями, и онъ бы, можетъ быть, еще больше развилъ ихъ, расширилъ и освѣтилъ. А между тѣмъ въ фургонѣ, въ которомъ пришлось ѣхать, ожидалъ меня тщедушный, косоглазый барчукъ, въ очкахъ. словомъ,—интеллигентъ, а слѣдовательно по нынѣшнему времени и правдословъ. Правдословъ этотъ въ свою очередь, повидимому, вовсе не обрадовался моему сосѣдству, по крайней мѣрѣ не высказавъ необходимой предупредительности попутчику, какъ это бываетъ «на первыхъ порахъ». Онъ лежалъ во всю длину фургона, скорчившись какъ-то бокомъ и, взглянувъ на меня косыми глазами, продолжалъ вытирать замшевымъ лоскуткомъ снятыя очки... Впослѣдствіи къ нашему общему удовольствію оказалось, что и господинъ Пуховиковъ также предпочелъ бы сосѣда-мужика, такъ какъ и онъ ѣхалъ по Кубанской области изъ любопытства, ѣхалъ собственно для того, чтобы смотрѣть, молчать и думать.

Почти молча доѣхали мы съ Алексѣемъ Семеновичемъ до г. Е. и здѣсь мы должны бы были раз-

статься, никогда не облизавшись другъ съ другомъ, если бы не одно случайное обстоятельство. Приѣхавъ въ Е., мы остановились въ разныхъ гостиницахъ, и стали искать попутчиковъ отдѣльно другъ отъ друга; бродя на другой день по приѣздѣ въ Е. по постоялымъ дворамъ, я неожиданно встрѣтилъ на одномъ изъ нихъ Пуховикова въ сопровожденіи какого-то крестьянина, съ которымъ Пуховиковъ о чемъ-то оживленно разговаривалъ.

— Скажите пожалуйста, неожиданно обратился ко мнѣ Пуховиковъ:—гдѣ здѣсь канцелярія начальника области?... Вотъ у него дѣло... Надо помочь! И онъ съ живымъ интересомъ сталъ рассказывать дѣло крестьянина. Это былъ «иногородній», т. е. жертва казацкаго притѣсненія. Онъ былъ посланъ изъ станицы Безпощадной депутатомъ жаловаться начальству о притѣсненіяхъ, которыя имъ, иногороднимъ, дѣлаетъ станичное общество.

— Необходимо написать прошеніе! волновался Пуховиковъ.—Вотъ у него есть, написано, но вѣдь такъ нельзя!

Прошеніе, которое принесъ ходатай, было все испещрено напечатанными выраженіями станичнаго начальства, и потому его необходимо было передѣлать. Горячее участіе въ ходатае и искренняя готовность заступиться за обиженного сразу расположили меня къ Пуховикову.

— Давайте писать прошеніе! сказалъ я,—пойдемте ко мнѣ въ номеръ.

И мы, всѣ трое, отправились ко мнѣ. Прошеніе было написано и подано. А мы тѣмъ временемъ успѣли нѣсколько поближе познакомиться и узнали, что дѣла наши почти одинаковы.

— Да вы куда теперь? спросилъ меня Пуховиковъ.

— Я въ Новороссійскъ. А вы?

— Да я хотя-бы въ Майкопъ... Впрочемъ... Поѣхать развѣ въ Новороссійскъ и мнѣ?

— У васъ есть дѣло какое-нибудь?

— Какое дѣло! Просто такъ... да и самъ осенью думаю... Не знаю впрочемъ... Впрочемъ отлично, поѣдете въ Новороссійскъ! Отлично!..

И мы поѣхали—и въ Новороссійскъ, и въ Одессу, и въ Константинополь... Смотрѣли, думали, разговаривали и разговаривали, увы, опять-таки все о томъ-же, о Болгаріи, о Толстомъ. Кое-что теперь я и перескажу изъ этихъ разговоровъ.

II.

Выѣхавъ изъ г. Е. часа въ два дня, мы съ Пуховиковымъ (насъ было въ цѣломъ фургоны только двое) часу въ шестомъ вечера уже подъѣхали къ большой и многолюдной станицѣ, гдѣ должны были ночевать. Собственно до ночлега оставалось еще много времени и до заката солнца можно было бы сдѣлать еще верстъ пятнадцать, но слѣдующій, второй перегонъ былъ великъ, сорокъ верстъ, и фургонщикъ рѣшилъ пораньше остановиться, чтобы пораньше, до свѣту выѣхать дальше.

Никакъ не менѣе часу почти шагомъ двигался нашъ фургонъ по станичнымъ широкимъ ули-

цамъ, пробираясь къ постоялому двору; огромное станичное стадо входило въ станицу какъ разъ въ то время, когда мы туда въѣзжали; цѣлый лѣсъ разнообразнѣйшихъ фасоновъ и размѣровъ коровьихъ и воловьихъ роговъ окружалъ нашъ фургонъ со всѣхъ сторонъ; блеянье овецъ, которыя сотнями толпились между рогатой скотиной, совались подъ фургонъ, подъ лошадей, ревъ всей этой скотины, гиканье пастушонковъ, проносившихся верхами среди этихъ полчищъ животныхъ, крики и заныванье женщинъ—все это сдѣлало нашъ въѣздъ въ станицу не особенно пріятнымъ; ревъ и блеянье скотины оглушили насъ; пыль, тучей стоявшая надъ стадомъ, не давала возможности хоть мало-мальски видѣть что-нибудь по сторонамъ, а верытая скотиной и засохшая твердыми глыбами грязь улицы, по которой намъ приходилось ѣхать, потому что стадо постоянно сбивало насъ съ проторенной колеи, заставляла фургонъ нашъ непрерывно трястись и не ѣхать, а какъ-то падать колесами то впередъ, то назадъ, то на одинъ бокъ, то на другой. Порядочно-таки изломала намъ кости эта тряска. Наконецъ мы, почти уже потерявшіе надежду на окончаніе нашихъ мученій, были пріятно обрадованы, когда фургонъ нашъ неожиданно свернулъ съ дороги и въѣхалъ въ отворенныя ворота, на которыхъ была прибита доска съ надписью: «*постоялый дворъ съ номирами*».

Сразу почувствовали мы себя въ тишинѣ и просторѣ. Широкий просторный дворъ, окруженный со всѣхъ сторонъ постройками, какъ-то вдругъ и какъ-будто на огромное разстояніе отдѣлилъ насъ отъ уличнаго хаоса. Нѣтъ уже ни траски, ни пыли, воздухъ свѣжій и чистый, и раздравшій душу ревъ скотовъ неожиданно принялъ не раздражающій уже, а музыкальный оттѣнокъ; не то, казалось, гдѣ-то солдаты идутъ съ пѣснями, не то какіе-то басы и баритоны провозглашаютъ кому-то многолѣтіе, а можетъ статься и пѣсни играютъ какая-нибудь подгулявшая компанія. Телячьи басы и баритоны особенно способствовали этой музыкальной иллюзии.

— Однако надо хозяина! проговорилъ Пуховиковъ, послѣ того какъ мы, выбравшись изъ фургона, немного поразмяли кости, походявъ по двору.

— Другъ любезный! сказалъ онъ, подходя къ фургонщику,—какъ бы хозяина позвать? Чайку надо...

— Сейчасъ, сейчасъ! торопливо стягивая съ лошадиныхъ спинокъ вожжи и свертывая ихъ, отвѣчалъ фургонщикъ.—Сію минуту. Да вотъ! Эй, молодца! Позови-ка хозяина!

Молодка, къ которой отнесся фургонщикъ, дюжая, истинно богатырски сложенная молодая «дѣвка», появившаяся изъ небольшого флигелька на срединѣ двора, не обратила на слова фургонщика никакого вниманія; она какъ-то «срыву» выплеснула изъ шайки какіе-то кухонные остатки и скрылась, почти бросивъ у дверей флигелька эту уже пустую шайку. И появленіе, и исчезновеніе ея было такъ кратко, что кромѣ ея богатырскаго сложенія мы могли замѣтить въ ней только крайнюю небрежность костюма; голова ея была простоволоса; ситцевый

платок кое-как завязанъ на шеѣ, а могучее тѣло также кой-какъ было облечено въ жиденькое ситцевое платье все въ пятнахъ и въ салѣ.

— Ишь, какая сердитая! добродушно проговорилъ фургонщикъ, основывая свое мнѣніе на невниманіи дѣвицы-богатыря къ его просьбѣ.

Скоро и намъ съ Пуховиковымъ пришлось убѣдиться, что дѣвица-богатырь точно какъ будто сердита. «Шваркнувъ» шайку, она тотчасъ же опять появилась на крыльцѣ флигелька съ большимъ нечищеннымъ самоваромъ въ рукахъ; махнувъ какъ перомъ этимъ огромнымъ самоваромъ, она сразу выбросила изъ него и воду, и уголь, и золу, и тоже «срыву грохнула» его о крыльцо, «срыву» опрокинула въ него воду, нахлобучила крышку, набила угольями и такъ могуче дунула въ трубу, что яркія искры съ трескомъ разлетѣлись по всему крыльцу.

— Нельзя-ли, любезная, хозяйина намъ... еще разъ попытаться вымолвить фургонщикъ.

— Нешто я караульщикъ твоему хозяйину? Песъ его знаетъ, гдѣ онъ! уже съ явнымъ негодованіемъ не отвѣтила, а прямо гаркнула ему богатырь-дѣвица. Нельзя было не убѣдиться, что она точно сердита, что она, какъ говорятъ; «и рветъ, и мечетъ». Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ и движеніяхъ, рѣзкихъ и необычайно быстрыхъ, она повиновалась очевидно бушевавшей въ ней бурѣ, и даже ея ситцевая юбка, во время ея сердитой бѣготни, билась и хлестала по ея голымъ ногамъ и по притолкамъ дверей, точно такъ-же, какъ треплется и хлещетъ во время настоящей бури парусъ на кораблѣ.

— Сейчасъ, сейчасъ, господа, иду!.. послышался около насъ какой-то дребезжащій голосъ, и мы наконецъ увидѣли хозяйина.

Это былъ человѣкъ выше средняго роста, широкой кости, лѣтъ подлѣ шестидесяти; но не старческое, а что-то раскислое, преждевременно дряблѣе было въ его лицѣ и фигурѣ, слегка потупленной, сгорбленной, но не старостью, а какимъ-то безсильнымъ равнодушіемъ. Нечесанные, но еще густые рыжіе съ просѣдью волосы неряшливо падали на низкій лобъ съ кисло-жалобными глазами; неряшливое, старое, все въ пятнахъ и безъ пуговицъ, когда-то вѣроятно «лѣтнее» пальто было кое-какъ подпоясано въ талии веревкой; какіе-то ситцевые, грязные, широкіе шаровары розоваго цвѣта были коротки и обнаруживали босыя ноги, обутыя въ резиновыя галоши. Что-то кислое и утомленное лежало на всей его фигурѣ; явнымъ упадкомъ силъ, энергіи повѣяло на насъ отъ этого человѣка, называющаго себя «хозяиномъ», и мы тотчасъ же какъ-то вдругъ зажѣтили тѣ же слѣды упадка и въ его хозяйствѣ. Сердитая, грубая, неряшливая работница также, какъ намъ показалось, дополняла впечатлѣніе разстройства, таящагося въ жизни этого двора. И мы не ошиблись.

— Сію минуту все будетъ!.. И комнатку вамъ также? дребезжающимъ голосомъ спрашивалъ насъ хозяйинъ.

— Да, и комнатку бы, ночевать будемъ.

— Ну, сейчасъ, сей минуту!.. Марья! Самоварчикъ, живѣй!

Богатырь-дѣвица, появившаяся на крыльцѣ, едва-ли только не для того, чтобы съ сердцемъ хлестнуть подоломъ о притолку и уйти, не удостоила его отвѣтомъ.

— О, да у ней ужъ поставленъ самоваръ-то... Еще чего не потребуется?.. Да! Свѣчку вамъ... Комнатку... Пожалуйте сюда—вотъ.

Шлепая резиновыми галошами, онъ, сгорбившись, повелъ насъ въ одинъ изъ трехъ флигелей, выстроенныхъ на дворѣ. Флигель былъ низенькій, темный; въ двухъ маленькихъ комнаткахъ стояло по кровати съ гнилыми досками, нѣсколько изломанныхъ стульевъ, столъ, который задребезжалъ ужъ, едва только мы ступили на полъ.

— Огонька бы надо! сказалъ нашъ фургонщикъ.

— Свѣчку? сію минуту... все... Сейчасъ... Марья! крикнулъ онъ въ открытую дверь,—давай! свѣчку.

Но такъ какъ никакого отвѣта отъ Марьи не послѣдовало, то хозяйинъ самъ отправился за нею. Не очень скоро вновь появился онъ съ длиннымъ порыжѣвшимъ мѣднымъ подсвѣчникомъ, и самъ принялся вставлять въ него длинную салную свѣчку.

— Все неуправка! какъ-то жалобно бормоталъ онъ, переламывая эту свѣчку обѣими руками и встати сгибая мѣдный неуклюжій подсвѣчникъ на сторону... Ишь, какъ согнуло его! Главное, нарѣзъ избаловался... не найдешь людей! Вотъ долженъ самъ наприимѣръ всякую малость...

Кой-какъ свѣчка была наконецъ укрѣплена въ неуклюжемъ подсвѣчникѣ и на столѣ появилась разнокалиберная чайная посуда.

— Ну вотъ! Ничего! сейчасъ и самовары!.. Марья! опять крикнулъ хозяйинъ, высунувшись въ окно, но на этотъ разъ богатырскій толчекъ Марьиной ноги распахнулъ дверь точно порывомъ бури, ударивъ ею объ стѣну, и сама Марья бѣзъ всякаго зова, также какъ ураганъ, внеслась съ самоваромъ въ комнату. Самоваръ неистовствовалъ ужасно, да и сама Марья бушевала внутренно не меньше самовара; ея могучая грудь ходила ходуномъ; она ткнула клокочущее чудовище на крошечный столикъ, причемъ чудовище кипящимъ паромъ сразу ударило въ зеркало, въ картину и точно окунуло ихъ въ воду; въ это же время чудовище упорно задувало свѣчку и отталкивало хозяйина, который хотѣлъ къ нему подступиться. Бурное появленіе взбѣшенной Марьи заставило хозяйина сказать ей:

— Кажется, можно потише? покакуратнѣй? чего ужъ такъ-то?

Сказалъ онъ это какимъ-то приниженнымъ, дряблымъ, но, какъ намъ показалось, исполненнымъ глубокой ненависти голосомъ.

— Давай ключи-то отъ амбара! опять «гарнула» Марья.—Тебя, стараго чорта, вѣкъ не переслушаешь...

И, не дожидаясь отвѣта, исчезла.

— Нонче вонъ какъ храпѣть на хозяйевъ-то!

кисло и жалобно пожаловался намъ хозяинъ, и обратясь почему-то въ фургонщику, прибавилъ: — она вотъ такъ-то храпѣть на тебя будетъ, а ты между прочимъ пальцемъ ее не смѣешь тронуть! Вотъ какіе порядки!..

— Да, ужъ нониче вольно... Да чего это она такъ рычитъ?

— Такъ, поучилъ... маленько... Рабенокъ на примѣръ вывалился изъ люльки, благимъ матомъ оретъ, а она разбѣлась за воротами, съ солдатами подсолнухи жреть...

— Твой рабенокъ-то?

Хозяинъ какъ-то потупился, вздохнулъ и съ кислой улыбкой сказалъ:

— А ужъ не знаю... должно, мой!.. надо быть такъ!..

— А она-то, что-жъ, стало-быть въ нянькахъ у тебя?

Хозяинъ еще разъ вздохнулъ и, слегка махнувъ рукою, проговорилъ:

— Она у меня все въ одномъ числѣ: и вродѣ жены на примѣръ, и въ работникахъ, и въ нянькахъ.

— Такъ и рабенокъ-то стало-быть отъ нея?..

— Отъ нея, отъ идола! пропади она!..

— А настоящая-то хозяйка твоя, значить, померши, что-ли?..

— Настоящая моя хозяйка?..

Онъ опять махнулъ рукою.

— Объ этомъ, братъ, долго разговаривать!..

Хозяинъ помолчалъ и проговорилъ, крѣпко вздохнувъ:

— Кабы настоящая хозяйка была, такъ я бы нешто присоединился къ этому идолу? Вѣдь что она? дерево! Взять полѣно, ошарашить по шеѣ и весь разговоръ... Только однимъ боемъ и жить. Чего ей рабенокъ? Нонича бабамъ воля. «Не хочу съ мужемъ жить!» взяла и ушла, только и всего! А рабенокъ ей ни почемъ, сколько угодно... Кабы жена-то была, такъ не держалъ бы такого истукана... Вѣдь она меня кулакомъ пополамъ перешибетъ—вѣдь чортъ!.. Неволя, братецъ ты мой, загнала!.. Заскучалъ! Принужденъ былъ наемнымъ порядкомъ обломать истукана... А кабы жена-то!

— Да что-жъ такое съ твоей женой приключилось?

— Ушла отъ меня! вотъ что приключилось... съ «агентомъ» ушла. — Вотъ видишь флигель на дворѣ? Ну вотъ, тамъ у меня агентъ жилъ, снималъ квартиру по контракту за двѣсти за тридцать въ годъ, на пять лѣтъ... Ну вотъ, и уволокъ... У меня сыновья по восемнадцатому году есть! И дѣтей увела! и всего до чиста обобрали! до нитки! оставила вотъ въ чемъ есть... Вотъ какъ со мной супруга распорядилась умно!..

— Да-а!.. Такъ вотъ какое дѣло!..

— Почитай двадцать лѣтъ прожили — и вотъ какъ!..

— Да, братъ!.. вполне сочувственно качая головою, сказалъ фургонщикъ.

— Какъ такъ могло случиться? оживленно

спросилъ хозяина Пуховиковъ, кое-какъ расположившись на голыхъ доскахъ кровати.

— Это ежели вамъ все какъ должно рассказывать, сколько я на примѣръ принялъ муки...

— Такъ расскажите пожалуйста! умоляюще воскликнулъ мой попутчикъ...—Пожалуйста!

— Ежели это рассказать все подробно...

Хозяинъ махнулъ рукою и вздохнулъ. Но, какъ будто что-то вспомнивъ, послѣдно проговорилъ:

— Вотъ погодите, а сейчасъ въ амбаръ сбѣгаю, а тогда опять загляну...

— Пожалуйста!.. вопилъ Пуховиковъ вслѣдъ уходившему хозяину.

— Ладно! ладно! отвѣчалъ тотъ.

III.

— Такъ вотъ оно какое дѣло-то! многозначительно прикусывая языкъ и покачивая головой, заговорилъ нашъ фургонщикъ по удалении хозяина. —То-то я смотрю, что какъ будто не такіе порядки пошли... Я ужъ давно не бывалъ у него... Это сегодня какъ-то вздумалось, а то я въ другомъ мѣстѣ останавливаюсь... Такъ вотъ оно какъ!

И, покачивая головой, фургонщикъ съ многозначительною миною въ лицѣ припалъ губами къ полному блюдечку чая.

— Да! Видно, что его это потрясло!.. сочувственно сказалъ Пуховиковъ.—Что-жъ онъ нейдетъ?

— Придетъ! успокоивалъ фургонщикъ.— Тутъ ему нечего дѣлать-то... Вы чего же чаю-то не пьете? обратился онъ къ Пуховикову.

— Я хочу ѣсть! отвѣтилъ Пуховиковъ, — пойду искать чего-нибудь...

Мы съ фургонщикомъ остались вдвоемъ, поджидая возвращенія хозяина и Пуховикова. Въ ожиданіи ихъ мы молча пили чай, и фургонщикъ успѣлъ опустошить весьма значительное количество чашекъ, прежде нежели явился Пуховиковъ съ цѣлой тарелкой яицъ въ рукахъ.

— Нѣтъ, сказалъ онъ, въ раздумьѣ останавливаясь среди комнаты:—нашъ хозяинъ что-то... смиренный, смиренный, а подите-жо, какъ «идола»-то своего мучаетъ!.. Я вотъ сейчасъ искалъ его, нѣтъ что-то нигдѣ, вошелъ во флигель, а тамъ люлька виситъ и эта Марья ребенка качаетъ... Ну, дѣйствительно качаетъ такъ, что не дай Богъ! рабенокъ катается въ люлкѣ, какъ вотъ каталось бы яйцо... только кряхтитъ... то-есть, собственно говоря, не качаетъ она, а пихаетъ его съ сердцемъ отъ себя и къ себѣ съ ожесточеніемъ держаетъ. «Нельзя-ли, матушка, яичекъ мнѣ?»... Сначала покосилась молча, посмотрѣла на меня, потомъ говорить: — «Вонъ, возьми подъ лавкой!» И вижу я—все ея лицо мокрое отъ слезъ... «Ты что-жъ, говорю, о чемъ плачешь?»—«Какъ же не плакать, съ такимъ чортомъ живешь!..»—«Такъ ты бы ушла?»—«Да паспорту не дастъ... Должна вишь ему я... рабенокъ родился, расходъ ему... А чей рабенокъ? Не драться съ нимъ, съ подлецомъ... И рабенокъ-то мой хуже ворога!.. хоть бы померъ, что ли, давно-бъ моего духу

не было!» И реветь, реветь-заливается! Покуда я яйца из корзинки вытаскивалъ, досталось нашему хозяину на орѣхи... Вотъ, въ самомъ дѣлѣ, какія бываютъ нелѣпыя связи!

Пуховиковъ положилъ нѣсколько яицъ въ стаканъ, облилъ ихъ изъ самовара кипяткомъ и вновь расположился на кровати.

— Знаете что? сказалъ онъ оживленно, — пусть только придетъ хозяинъ, надобно вывести его на свѣжую воду... Должно-быть онъ тиранъ! Какую могучую дѣвку и какъ запугалъ... А вѣдь по виду кротокъ...

— Вотъ, погоди, все выпросимъ! поддакнулъ извощикъ.

И только что былъ составленъ между Пуховиковымъ и фургонщикомъ этотъ, такъ сказать, заговоръ противъ хозяина, какъ на крыльцѣ послышалось шлепанье резиновыхъ галошъ и скоро въ комнату появились подслупыный; въ одной рукѣ держалъ онъ пузатенькій графинъ съ водкой и рюмку, торчавшую между пальцевъ, въ другой у него была связка шамаекъ и подъ локтемъ прижатъ кусокъ хлѣба.

— Вотъ, господа, съ дорожки позвольте попочивать... Рыбки, своего ваяленя, извольте-косъ покушать!

Рыбку и хлѣбъ онъ какъ-то искусно, при помощи одной руки, съумѣлъ опустить на столъ, а самъ остался посреди комнаты съ графиномъ въ одной рукѣ и рюмкой въ другой.

— Позвольте васъ просить! сказалъ онъ, поднося рюмочку водки сначала Пуховикову, потомъ мнѣ.

Мы сказали: «послѣ, теперь рано!» Не отказался только фургонщикъ.

— Что-жъ это такъ? обиженно говорилъ хозяинъ, неужто ужъ мнѣ за всю компанію одному придется претерпѣть?

— Пей самъ-то! сказалъ фургонщикъ.

— Ну, видно, надо! будьте же здоровы! Съ приѣдомъ.

Хозяинъ медленно выпилъ одну рюмку за другой и, не выпуская ни графина, ни рюмки изъ рукъ, сѣлъ въ старое безногое кресло, кое-какъ державшееся у стѣны. Поза его была такая: откинувшись къ спинѣ кресла и наклоня голову къ груди, онъ сидѣлъ какъ-бы въ задумчивости, разставивъ ноги, и на одномъ колѣнѣ держалъ графинъ, а на другомъ рюмку...

— Да! вонъ какъ, господа любезные, бываетъ на свѣтѣ!

Сказавъ это, онъ налилъ еще рюмку водки, выпилъ, крикнулъ, плюнулъ и опять поставилъ руки съ графиномъ и рюмкой въ то же положеніе.

— За твои труды, за твои напримѣръ старанія, за всякое попеченіе возмущу тебя же и огрѣютъ полбномъ по головѣ! Что же, хорошо этакъ поступать?

Вопросительно взглянувъ на насъ и, повидимому, не желая ждать отвѣта, онъ опять выпилъ рюмку и все съ тѣми же приемами.

— А почему? продолжалъ онъ, вопросительно взмахивая головой. — А пото-м-му, что нѣту стро-

жайшаго закона! Вотъ почему! По теперешнимъ временамъ дозволяется бабамъ своевольствоваться... Поди-ко, тронь ее пальцемъ! Что тебѣ скажетъ судья? «Да, виновенъ. Посадить его въ часть». А посмотри-косъ, что онъ скажетъ, ежели ты на бабу жалуешься? — «Нѣтъ, не виновна, ступай съ Богомъ!» Вотъ нонѣшнія права! Она тебя ограбитъ съ любовникомъ, обворуетъ, разоритъ, осрамитъ, а ты — пикнуть не смѣй! Голову она тебѣ съ плечъ снесетъ — «нѣтъ, не виновна, иди гуляй!» (Слѣдуетъ поспѣшная выпивка двухъ рюмокъ сразу.) Отъ этого-то и происходитъ вавилонское столпотвореніе!.. Теперича спрашивается: какая же мнѣ награда, что я ее берегу, напримѣръ, уважаю, питаю, кормлю, въ наряды ее наряжаю?... Каждая копѣйка у меня кровью досталась! Вотъ все, что тутъ понастроено, каждая соломинка, все это отъ трудовъ! Чего только не пережито на вѣку! и все старался, чтобы какъ лучше, чтобы по хорошему... Чего ей не хватало? Всего, что потребуется, было! И вещи, и золото, и серебро, и жемчугъ — все было!.. Или не уважалъ я? Оченно даже почиталъ и ходилъ за ней какъ за кроткимъ младенцемъ: кажется, всю жизнь волоска не тронулъ (быстрая выпивка). И вотъ оказывается съ агентомъ! Обобрала, какъ липку! Осрамила, разорила; все выбрали, съ подлецомъ, изъ сундуковъ: и вещи, и билеты, вв-с-се!.. Вотъ какую награду заслужилъ я за мои труды! А ужъ, кажется, какъ малаго младенца берегу: «Наденька, Наденька, ангелъ мой! не надобно-ли чего? не чувствуешь-ли ты какого безпокойствія? можетъ быть, тебѣ какого варенья или что тебѣ требуется — ты только мнѣ скажи!» Только, бывало, и словъ моихъ. И вдругъ, съ прохвостомъ! Предалась со всѣми дѣтьми, оставила меня посреди пустыни!..

Слѣдуетъ выпивка еще двухъ рюмокъ, и разсказчикъ видимо хмелѣеть.

— Вотъ награда!

Всѣмъ стало какъ-то очень нескладно на душѣ и въ то же время очень грустно отъ этого разсказа. Всѣ мы какъ-то разомъ вдохнули, и глубже всѣхъ вздохнулъ охмелѣвшій хозяинъ.

— А какой была ангелъ! вдругъ нѣжнѣйшимъ голосомъ почти прошепталъ онъ, очевидно впавъ въ совершенно иной тонъ и отъ негодованія переходя въ мечтательное настроеніе. Вспомнишь, вспомнишь! Ну да что ужъ!.. Провались она пропадомъ!..

Среди общаго молчанія послышался рѣзкій звукъ глотка. Хозяинъ пилъ и сидѣлъ глубоко урученный.

— Послушайте, хозяинъ! проговорилъ Пуховиковъ. — Извините, васъ какъ по имени, отчеству-то?

— Насъ! Иванъ Семеновъ.

— Иванъ Семеновичъ! Знаете что? Разскажите по совѣсти, какъ было дѣло...

Хозяинъ поднялъ голову, слушалъ и не отвѣчалъ.

— Вѣдь все равно, продолжалъ Пуховиковъ заискивающимъ тономъ, — дѣло прошлое, чего скрывать?..

Продолжая молчать, хозяинъ сталъ вниматель-

но вслушиваться въ слова Пуховикова, даже наклонился впередъ, чтобы яснѣе слышать ихъ.

— Вы сами говорите: «ангелъ была»... и вдругъ ограбиа!.. вѣдь это зря не бываетъ... Какъ законовъ нѣтъ? За копѣйку въ острогѣ сидятъ... Нѣтъ, вы ужъ пожалуйста все по совѣсти...

Долго и упорно молчалъ хозяинъ и очевидно крѣпко о чемъ-то думалъ... Всѣ мы ждали, что будутъ.

Вдругъ онъ вздохнулъ глубоко-глубоко, выпрямился на стулѣ, потомъ быстро поднялся во весь ростъ и громко произнесъ:

— По совѣсти? По чистой совѣсти вамъ?

— Да-да! Пожалуйста!.. подзадоривалъ Пуховиковъ.

— Все по совѣсти?..

Пуховиковъ опять поддакивалъ, а хозяинъ, приготовясь отвѣтить что-то, но видимо затрудняясь отвѣтомъ, въ волненіи колотилъ себя бутылкой въ грудь.

— По совѣсти? громко воскликнулъ онъ и столь-же громко прибавилъ:—А потому что... сволочь!

— Кто? подсунулъ ему Пуховиковъ.

— Я! Я сволочь! грянулъ хозяинъ и такъ ударилъ бутылкой въ грудь, что изъ нея выплеснуло струю водки.

— Я! Я!.. кричалъ онъ.—Вотъ кто есть основатель всей подлости!

И въ сильномъ волненіи (не разлучаясь однако ни съ графиномъ, ни съ рюмкой), охмелѣвши, хозяинъ почти упалъ въ кресло.

— По совѣсти вамъ? такъ вотъ какъ: у нея была съ первоначалу душа чистая, а у меня душа была грязнѣй грязь! Я собственно потому и вовлекъ ее въ бракъ, что душа-то моя почернѣла, такъ мнѣ требовалось около чистаго пріютиться... Вотъ я и выдернулъ ее изъ гради за хохолъ какъ рѣдкую!.. Да къ себѣ въ берлогу! А она не мнѣ чета была! Не по себѣ я бралъ товаръ!.. Я къ грязи съ дѣтскихъ дней пріученъ! Чай, знаете Валдай-городъ? Ну, такъ у моихъ родителей три трактира тамъ было съ органами... И грязи, и грѣха—не приведи Богъ сколько было!.. А она, Надежда-то, дьяконская дочь, смиренная, тихая, умная, обученная, сама чистота небесная! Все у нея бывало что-то свѣтитъ въ глазахъ-то! Ей-ей не совру, скажу вамъ: сидитъ, бывало, читаетъ книжку, а надо лбомъ у нея, (вотъ это самое мѣсто) точно что летаетъ... ей-Богу не вру! Привлекла меня вполне... Ну, я съ дьякономъ и такъ, и эдакъ... сладилъ! Живемъ по супружески, а вижу не то!.. Кажется ужъ по женской части понималъ? А не то! У, какъ строго надо!.. Тутъ надо не то, что поступать чисто, а и думать-то чисто надо... вотъ тогда и будетъ прокъ! А о чемъ мнѣ думать? Пріобыкъ я къ грубости, къ своевольству... Сталъ я предъ женой представляться вродѣ религіознаго человѣка... И вѣрила вѣдь!.. Тянетъ меня учить, а я ужъ всему наученъ!.. завлекла меня къ помѣщику (еще въ дѣвцахъ она у нихъ жила), школу смотрѣть, съ учителями разговаривать... Прямо сказать, добрые были люди, на-

стоящіе... Истинно добро хотѣли творить. Вотъ и ее туда тянетъ къ нимъ. А мнѣ съ ними смерть! Меня тянетъ въ кухню, къ бабамъ, взять балалайку да съ Матрешкой сдѣйствовать ухарскую! Вѣдь кто къ этому пріобыкъ, такъ вѣдь съ бабами, дѣвками гулять—ухъ, какъ вихорно-хорошо! Понемножку-пологоньку, то каблучками, то ладошками, такъ тебя начнутъ потрогивать, подергивать, поворачивать—и не опомнишься, какъ словно въ облакахъ безъ памяти плаваешь... И-и-ихъ, бывало, какъ въ рощахъ мы гуливали!.. Терпишь, терпишь дома, да какъ дашь себѣ бенефисъ...

— Зачѣмъ-же бенефисъ-то? съ упрекомъ замѣтилъ Пуховиковъ.

— Да вѣдь хорошо! даже хорошо этакъ-то колесомъ подъ облаками шархнуть! Ахъ, братецъ ты мой!..

— Да, точно, проговорилъ Пуховиковъ,—кажется, дѣйствительно не по васъ она!

— Нѣтъ, братецъ ты мой, не такъ! Мнѣ безъ нея тоже невозможно... У меня такъ: отъ вольной жизни тянетъ къ ней, а отъ нея къ чорту въ зубы призывается... Вотъ ты что разбери!.. Я-бы и съ ней соскучился... и съ моими актерками стосковался, вотъ какая моя природа! Оно бы и ничего, все бы честь-честью шло, только вотъ въ ней-то своя загвоздка сидѣла. Тянетъ ее къ ученью, да ко всему хорошему! Книжка ей требуется, такъ ее и подмываетъ къ этимъ самымъ господамъ пойти, такъ у нея на лбу-то и летаетъ этотъ духъ-то благородный! Я-бы самъ-то какъ-никакъ преборолъ себя; это мы можемъ; иной разъ четверть водки осадить, придешь къ родителю, а рыло точно у скиминака, чистъ и святъ! Да она-то вотъ все въ сторону, все своей дорогой... Думаю опредѣлить ее къ трактирному дѣлу, посадить за выручку? Потому родитель къ тому времени померъ и дѣло въ моихъ рукахъ было. Огрязнѣть! а мнѣ нужна чистая!.. Ну, пока что, живѣ, терпѣлъ.—«Пусти да пусти къ господамъ!» Разъ не позволю, два не позволю, въ третій—нечего дѣлать, пойдемъ виѣсть. Она ускользнетъ къ молодымъ барчукамъ, барышнямъ и къ прочимъ студентамъ, а меня только вотъ неота колотить... И сталъ замѣчать, что склоняется она къ одному напримѣръ человѣчку... «Ахъ, говорить, какой превосходный Митрофанъ Ивановичъ!.. Какой умный!».. А парень точно умственный, головастая тварь, нечего сказать... Воротить отъ этихъ словъ все нутро во мнѣ, а чѣмъ ее отшибить? не придумаю, способовъ нѣтъ! По наукамъ ничего не соображаю, разговора не понимаю ничего, а вижу, что тянетъ, тянетъ ее туда, вижу, что тамъ ей мѣсто настоящее... Что тутъ дѣлать? Представилось мнѣ такъ, что безпремѣнно она отъ меня «уйдетъ»! И ушла бы, и безпремѣнно бы ушла—это вѣрно! (Вѣдь ушла же таки!) Да Богъ мнѣ въ эту пору помогъ... Наткнулся я въ нашемъ трактирѣ на двухъ нашихъ же мужиковъ. Сидятъ, чай пьютъ, спрашиваютъ: «Живъ-ли такой-то? А такой-то гдѣ? А этотъ-то померъ или нѣтъ?» Да вы-то, молъ, кто такіе сами-то будете? Ну, слово за слово, рассказали они все. Убѣжали они вдвоемъ

изъ нашихъ мѣстъ лѣтъ пятнадцать тому назадъ и попали въ Турцію и теперь вродѣ турецкихъ подданныхъ и съ турецкими паспортами опять вѣхали въ Россію, приписались на Кавказѣ и живутъ припѣваючи... Наговорили они мнѣ про этотъ самый Кавказъ невѣдомо чего: и мѣста много, и всего много, и вольно, и богато... рай! Забрало меня за живое! Думаю:—«затащу я свою Надежду въ неприступныя мѣста, сохраню ее отъ прочихъ народовъ для себя, и никакой чортъ насъ не разыщеть!»... А у меня характеръ горячій. Влетѣло это мнѣ въ башку, даромъ не лежало. Обтолковалъ я это дѣло съ земляками, распросилъ, распродалъ имущество, маменькѣ оставилъ часть, урезонилъ ее подъ тѣмъ предлогомъ, что молъ ѣду въ Москву торговлей заниматься, да и юркнулъ сюда въ степь, и жену уволокъ съ собой, оторвалъ ее отъ своихъ мѣстъ...

Разсказчикъ подкрѣпилъ себя рюмочкой.

— И стали мы, братцы мои, жить съ ней ново... Шибко она убивалась по своимъ мѣстамъ!.. Ну, однако-жъ хлопотъ было много, и наконецъ дѣти оказались, одинъ за другимъ, два мальчика... Такъ мы жили долго... У меня заботы много хозяйской, у нея одна забота—дѣти. Вся имъ предалась, вся значить затихла, присмирѣла... Куда тебѣ книжки!.. И жили мы перво на-перво вотъ въ этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь разговоры разговариваемъ; а потомъ флигель отѣхали новый, а со временемъ и жильцовъ стали пускать... Поживши такимъ родомъ, соскучился я объ своей сторонѣ, задумалъ поглядѣть, какъ живутъ земляки. Деньжонки, слава тебѣ Господи, были, я думаю: «пойду въ свои мѣста, разузнаю, душу отведу»; здѣсь хоть и хорошо, а все свои мѣста милѣе. И опять же задумалъ и сейчасъ за дѣло взялся... Флигель новый сдалъ агенту, этому самому мошеннику-то, на пять лѣтъ по двѣсти по тридцать рублей, хозяйство передалъ женѣ—и съ Богомъ. Чтобы у меня объ ней мысль какая вредная была—ни Боже мой! Хозяйство и ребята такъ ее прекратили, даже и подобія не осталось, стала старѣть моя бабенка. А мнѣ за ней, какъ за каменной стѣной, спокойно... Поѣхалъ. Дороги желѣзной въ ту пору не было до самаго Воронежа. Вада долгая. Ну, кое-какъ добрался до дому, розыскала своихъ, да безъ малаго полтора годика и прогулялъ въ родныхъ-то мѣстахъ! Любо, братцы мои, показалось мнѣ въ своихъ мѣстахъ! дома у меня заботы нѣтъ: жена отписывается и все хорошо, чего-жъ мнѣ? И такъ я преприятно погулялъ—вѣкъ не забуду! Даже... ужъ что грѣха таить? говорю вамъ какъ на духу... прихватилъ изъ своихъ мѣстъ себѣ обновочку... сманилъ я ее, думаю: «воткну ее гдѣ-нибудь въ хибаркѣ, у старой вдовы, казачки, пускай живетъ,—все мнѣ будетъ отдохновеніе»... Ну прѣхалъ, обновку свою приладилъ въ непреходимыхъ мѣстахъ, сталъ пить, н-но замѣчаю, что въ моей бабѣ опять старое стало открываться, опять мысли появились... Слышу: «дѣти ужъ большія растутъ, учить надо... Альфонсъ Федоровичъ безпремѣнно, говорить, учить надо... Какъ такъ, мои дѣти мужи-

ками будутъ, невѣжами?».. Изволите видѣть! Заиграла въ ней старая струна, только ужъ въ дѣтихъ... И опять Альфонсъ Федоровичъ какой-то появился... А это агентъ-то, анафема! нѣмецъ! Сидитъ, собака, циркуль возьметъ, кругъ обведетъ, линейкой подчеркнетъ—шутъ его знаетъ, чего онъ тамъ дѣлаетъ, а она только ахаетъ: «вотъ кабы моимъ дѣтямъ такъ-то!».. И стало такъ: то нѣмецъ къ намъ, то она къ нѣмцу съ мальчишками... И идетъ промежду нихъ опять же такой разговоръ совсѣмъ не по моей природѣ—потому что понятія у меня нѣтъ... Дальше, больше, слышу, люди говорятъ:—«Поглядывай, молъ, Семенычъ,—у твоей жены съ нѣмцемъ не очень аккуратно происходитъ!» Кухарка тоже не вытерпѣла, объяснила:—«Она, говоритъ, безъ тебя безперечъ у нѣмца... и онъ у ней... въ полночь... за полночь». Побожилась, что нѣмецъ въ окно лазилъ... Ахъ, пропади-пропадомъ! Рветъ меня опять на части, что ты будешь дѣлать! Хоть и есть у меня на сторонѣ, а безъ такой бабы, какъ жена, нѣту мнѣ житья!.. Разъ, эдакъ, былъ выпивши (нахлестался у своей)... пришелъ домой; Надежды нѣту.—«Гдѣ?»—«У нѣмца».—«Сходи, призови». Пошла кухарка:—«сейчасъ!» Прошло два часа—нѣту. «Сходи!»—«Сейчасъ!» Опять нѣтъ! Пошелъ самъ, вытребовалъ, думаю: «погоди же, а съ тобой сыгравъ штучку!» Принялъ на себя довольно кроткій видъ и говорю:—«Ты мнѣ, Надежда, говори все по совѣсти и не бойся. Какія у тебя дѣла съ нѣмцемъ завелись?» Удостоверилъ ее всячески, чтобы нисколько ничего отъ меня не опасалась. Тутъ она вся загорѣлась отъ радости—и повѣрила...—«Я, говоритъ, безъ него жить не могу... Онъ моимъ дѣтямъ лучше тебя отецъ... Отъ него въ часъ услышишь то, что вѣкъ не узнаешь съ тобой живши... Отпусти ты меня, другъ ты мой, къ нему съ дѣтими совсѣмъ! Я вѣдь твою подлость давно знаю, все терпѣла... Я изъ жалости къ родителямъ за тебя пошла. Ты и теперь, говоритъ, любовницу держишь, какой дѣтямъ ты примѣръ! А Альфонсъ-то Федоровичъ—онъ изъ нихъ людей слѣдуетъ... Онъ, говоритъ, такъ ихъ любить, такъ заботится, что за это за одно я ножки у него цѣловать буду»... Говорить это, плачетъ—меня обнимаетъ, а у меня все нутро горитъ, огнемъ полыхаетъ! Однако-жъ продолжаю доходить до корня.—«Хорошо, говорю, отпущу!.. А чѣмъ вы жить будете?»

— «А ты, говоритъ, намъ все мое отдай!..» И на это я ей также по вкусу отгѣтилъ: «Хорошо, говорю, показывай-же, какія-бы ты вещи взяла и какія мнѣ оставила?» И сейчасъ она въ одну минуту сундуки распахла, разворочала, и точно въ самомъ дѣлѣ уходить ей пора отъ меня, со всякимъ слѣхомъ принялась разбирать... Вотъ на этой самой кровати, что вы изволите лежать (онъ живнулъ Пуховикову), принялась она раскладывать имущество:—«Это твое, а это вотъ мое... Это тебѣ оставляю!»... Вѣнчалныя свѣчи мнѣ оставила... Перебрала все, въ сундукахъ, въ чуланахъ, горитъ вся отъ радости!—«Ну, говорю, теперь ты свое сложи въ особое мѣсто, а мое въ особое». Все—

живымъ манеромъ! «А когда, говорю, уходитъ хочешь?..» — «А сейчасъ, говорить, у Альфонса Федоровича спрошу...» Тутъ я всталъ (разсказчикъ всталъ и, поставивъ на столъ графинъ и рюмку, съ какимъ-то разбойничьимъ, даже палаческимъ жестомъ засучилъ рукава и сжалъ огромный кулакъ...), всталъ я, засучилъ, поплевалъ эдакимъ манеромъ — да ррразъ по мордѣ! да два! да три... да до тѣхъ поръ, пока кровь изъ нея какъ изъ зарѣзанной хлынула! Тутъ на крикъ прибѣжалъ нѣмецъ, сосѣди — и Боже мой, какой вышелъ скандалъ!..

Разсказчикъ опять овладѣлъ графиномъ и рюмкой и освѣжилъ себя двумя огромными рюмками.

— Нѣмца выгналъ вонъ, а жена лежитъ, молчить, умираетъ... Никогда я такъ не плакалъ, какъ надъ ней!.. Ужъ Господи! только бы жива была! Все хозяйство бросилъ, запустилъ... Далъ обѣтъ пѣшкомъ сходить въ Новый Аeonъ, ежели выдоровѣетъ. Пролежала она въ постели безъ малаго годъ... кое-какъ отходили. Молчить, ни словечкомъ не вспоминаетъ (а въ себѣ все затаила!). Я ужъ и не знаю, какъ мнѣ самому-то позабыть мои грѣхи.. Вытребовать изъ дому родителей ейныхъ, отца и мать, покался, молебень отслужили, и ее уговорили все позабыть, и въ ноги она мнѣ поклонилась... Какъ поклонилась она мнѣ въ ноги, тутъ и я отдохъ, думаю: «ну, все слава Богу!» И пѣшкомъ ушелъ Богу молиться на Аeonъ. Родителей ейныхъ отправилъ, отблагодарилъ, все какъ должно. Возвращаюсь домой, — проходилъ я шесть недѣль — хватъ, и слѣдъ простылъ! Ни жены моей нѣтъ, ни дѣтей моихъ нѣтъ, ни сундуковъ, ни мѣху! Ничего! чисто! бросила все на старуху-работницу — оставила меня безъ всего! Вотъ и конецъ дѣлу!..

Разсказчикъ замолчалъ и поникъ головой.

— Такъ вы ее и не видали?

— И видалъ! и дѣтей своихъ воровалъ! и сюда привозилъ! и сейчасъ у меня судомъ дѣло идетъ — и все ничего! дѣти уйдутъ... сама пить!

— Стала пить?

— Пьетъ!.. Потому нѣмецъ-то преобразилъ ее не то что въ любовницы, а хуже кухарки она у него теперь... Онъ какъ завладѣлъ имуществомъ-то, сейчасъ его въ деньги оборотилъ, какую-то контору комиссіонерскую открылъ, а ребятъ моихъ агентами пушаетъ. Однимъ словомъ, запретъ очень хорошо всѣхъ... Все это онъ покорилъ, а жена-то ужъ ему и ненужна... Сказываютъ, невѣсту ищетъ... Такъ все пошло прахомъ! А моя-то все въ черномъ тѣлѣ... Попивать стала, а нейдетъ: — «Все при дѣтяхъ помру...» Любить его, подлеца! Что подѣлаешь? Умень, вишь, мошенникъ!.. Вотъ тутъ и разбирайте!

Съ глубокимъ вздохомъ разсказчикъ посмотрѣлъ на графинъ, но графинъ былъ пустъ.

— Вотъ теперь и доживаю вѣкъ кое-какъ съ Машкой, идоломъ! Ругаемся съ ней какъ собаки, а живемъ!

— Зачѣмъ-же ругаться-то? замѣтилъ Пуховиковъ.

— Да когда во мнѣ все нутро ругается?..

— А какъ она не стерпитъ да уйдетъ?

— Не уйдетъ! Ее, какъ собаку на цѣпи, ребенокъ держитъ...

Хозяинъ поднялся съ кресла и правоучительнымъ тономъ сказалъ намъ:

— Эхъ, господа, господа!.. Человѣкъ-то вѣдь, мужикъ-ли, баба-ли, все одно, мало-ли чего хочетъ, да не выходитъ по желанію-то!.. И ушла бы Машка, да ребенокъ! И прогналъ бы я ее самъ, да холодно мнѣ будетъ! Я вонъ желалъ мою Надьку получить и получилъ, а что случилось? И она своего нѣмца получила, тоже проку мало... А вѣдь по желанію!.. А вотъ въ дураки попасть этого я не желалъ, да и Надька въ пьяницы не стремилась... А между прочимъ, извольте видѣть, что оказалось!.. Эхъ, матушки вы мои! Человѣку-то всего хочется, да не выходитъ! А я и говорю: нужно утвердить законъ, чтобы ни Боже мой!.. Живи по формѣ, вотъ! И будетъ порядокъ... А нынче что? Вотъ теперича Машка непремѣнно дверь приперла изъ нутра! Ужъ это будьте покойны!.. Ночуй, молъ, песъ, подъ заборомъ... Н-ну, этого позволять я не могу!..

Хозяинъ взялся за графинъ, но еще разъ удивившись, что онъ совершенно пустъ, съ сожалѣніемъ проговорилъ:

— Ахъ пойти, нацѣдить? Я ее разбужу! у меня тутъ припасено полено... Небось очнется!

— Нѣтъ, сказалъ Пуховиковъ, — пора спать!.. Поздно!

— О?.. А то по рюмочкѣ?

— Нѣтъ ужъ, Иванъ Семенычъ, будетъ! проговорилъ фургонщикъ и, помолившись на образъ, собрался уходить...

— Ну, ияъ, не надо! Ну, стало быть спите!..

Хозяинъ ушелъ, простившись съ нами и захвативъ съ собою пустой графинъ и рюмку.

IV.

Затхлый воздухъ флигеля и неудобныя, нечистыя кровати, съ голыми нечистыми досками, навели насъ на мысль почевать въ фургонѣ. Фургонщикъ самъ вызвался уступить намъ свое мѣсто и увѣрилъ насъ, что онъ найдетъ гдѣ выспаться.

Скоро мы улеглись; ночь была чудесная, свѣтлая, теплая, воздухъ свѣжій, напоенный опьяняющимъ запахомъ сѣна; улеглись мы удобно, уютно и вѣроятно крѣпко-бы заснули, но въ самомъ началѣ сладостной дремоты насъ разбудилъ хозяинъ. Онъ ходилъ по двору и ругался, негромко, но достаточно слышно: «Погоди, анаеема!.. заперлась!.. Погоди!» И вслѣдъ затѣмъ раздался громкій стукъ, вѣроятно полѣномъ или камнемъ въ дверь флигеля. Отвѣта очевидно не послѣдовало, потому что опять хозяинъ ходилъ куда-то, конечно не переставая ругаться, и спустя нѣкоторое время принялся стучать коломъ въ дверь... Не меньше часа съ промежутками то потихоньку, то «во всю мочь» гремѣлъ онъ коломъ и все-таки ничего не добился...

И въ третій разъ пошелъ онъ по двору. Но на этотъ разъ онъ воротился съ большою охапкою сѣна и съ неясной угрозой: «Погоди!» улегся на

крыльцѣ флигеля, подославъ сѣно и укрывшись армякомъ.

Вся эта возня помѣшала намъ заснуть, и, побранивъ безпокойнаго хозяина, мы стали сначала курить, а потомъ и разговаривать...

— Да, да! задумчиво сказалъ Пуховиковъ:— «всѣмъ надо всего, и ничего не выходить!» Это правду сказалъ хозяинъ. Я, знаете, даже хотѣлъ написать объ этомъ сказку... Теперь вѣдь сказки въ модѣ: вопросы большіе и неясные, а для этого нѣтъ болѣе удобной литературной формы, какъ сказка. Вотъ мнѣ и вздумалось... Я вѣдь пробовалъ написать, да все что-то не выходитъ...

— Ну, и что же со сказкой?

— Да по обыкновенію ничего не вышло... Хотите, я вамъ расскажу въ общихъ чертахъ?

— Пожалуйста!

— Ну, такъ слушайте!

ХІ. Не былъ, да и не сказка.

I.

«...Былъ или это небылица — началъ мой дорожный собесѣдникъ—сказка или сущая правда, рѣшительно опредѣлить не могу; не могу ничего опредѣленнаго сказать даже о томъ, какимъ образомъ эта не была и не сказка удержалась въ моей памяти, такъ какъ положительно не знаю, кто кому рассказалъ ее: я-ли самъ рассказалъ ее себѣ, или, какъ мнѣ иногда кажется, рассказалъ ее мнѣ одинъ маленькій садовый цвѣтокъ, или-же наконецъ я самъ рассказалъ ее маленькому садовому цвѣтку? Достоверно одно, что разговаривать съ цвѣткомъ по человѣчески невозможно, и я очень хорошо помню, что въ продолженіи всей этой исторіи ни съ моей стороны, ни тѣмъ болѣе со стороны цвѣтка не было произнесено ни единого слова, даже звука, и тѣмъ не менѣе между нами произошло нѣчто такое, что въ моей памяти запечатлѣлось, какъ случившееся въ дѣйствительности. И вотъ какъ все это произошло.

II.

«Очень хорошо помню, что, приказавъ какъ можно скорѣе запрягать лошадей, я, не раздѣваясь, присѣлъ на жесткій диванъ въ комнатѣ для проѣзжающихъ на почтовой станціи при Н—ской станціи. Писарь предлагалъ мнѣ ночевать, откусать чаю, но я только рукой махнулъ и еще разъ повторилъ мою просьбу какъ можно скорѣе прописать дорожную и ѣхать: мнѣ во что-бы то ни стало хотѣлось въ тотъ же вечеръ попасть въ губернскій городъ, и не въ городъ собственно, а въ гостиницу, въ мало-мальски опрятную и покойную постель, и заснуть въ ней такъ, чтобы проспять цѣлыя сутки—такъ я была утомленъ продолжительнымъ путешествіемъ и обиліемъ впечатлѣній. Остановиться-же на ночлегъ на станціи я не рѣшался: мнѣ нуженъ былъ безусловный покой, а тутъ, въ этой комнатѣ для проѣзжающихъ, поминутно будутъ входить и выходить проѣзжіе, бу-

дутъ стучать объ полъ сапогами, чемоданами, сундуками, тогда какъ меня всѣмъ существомъ моимъ тянуло къ сладкому, мертвому сну. Вотъ почему я, не смотря на крайній предѣлъ утомленія, рѣшилъ перемочь себя и во что бы то ни стало сегодня-же добраться до настоящей постели.

«Но едва я присѣлъ на диванъ, какъ почувствовалъ, что мнѣ не уѣхать. Сѣлъ я неловко, притиснувъ свой локоть къ неуклюжей ручкѣ дивана и до крайности неудобно подогнувъ ногу—и не могъ ужъ поправиться: тѣло мое отяжелѣло, я чувствовалъ его непомерную тяжесть, не ощущая въ немъ и признаковъ жизни. А въ то же время въ моемъ мозгу шла какая-то неумолчная, ни на секунду не прекращавшаяся работа: впечатлѣнія видѣннаго, слышаннаго, пережитаго, передуманнаго, не то, чтобы угнетали или волновали мою голову, а какъ-то назойливо, надоедливо и бесполезно вертѣлись въ ней; сердце совершенно не участвовало въ этой работѣ, не выбирало въ массѣ этихъ впечатлѣній того, чего ему нужно (ему вѣроятно было трудно разобраться), а безъ этого посредника между тѣломъ и духомъ, я не могъ ничего иного чувствовать, кромѣ мертвой тяжести тѣла и безплодныхъ мученій головы.

«Я сидѣлъ, слышалъ, видѣлъ, но ничего не понималъ и не чувствовалъ: въ открытое окно, къ которому вплотную былъ придвинутъ мой диванъ, я видѣлъ станичные сады, всѣ въ цвѣту, соломенные крыши, бѣленькіе мазанки-домики, а подъ самыми окнами какіе-то цвѣточки, кусты малины. Я видѣлъ все это и даже особенно пристально смотрѣлъ на какой-то ничтожнѣйшій цвѣтокъ, который первый бросился мнѣ въ глаза, и не ощущалъ ни въ чемъ ни хорошаго, ни худого... Видѣлъ я, какъ входилъ ящикъ съ объясненіемъ, что лошади готовы; потомъ видѣлъ, какъ онъ втаскивалъ въ комнату мои вещи, видѣлъ, что ящикъ былъ мокрый, что тишина и блескъ солнца смѣнялись порывами вѣтра, сумракомъ набѣжавшей тучи и проливнымъ дождемъ и градомъ, который безпощадно измочилъ мнѣ руку и бокъ, обращенные къ окну, обливъ водою весь подоконникъ... Видѣлъ, какъ вѣтеръ гнулъ деревья, кусты, сбивая съ нихъ цвѣтъ, и точно снѣгомъ усыпалъ имъ грязную улицу; видѣлъ, какъ вѣтеръ стащилъ со столика подъ зеркаломъ скатерть, погналъ по полу скомканный газетный листъ съ остатками моихъ папирсовъ, распахнулъ дверь въ сѣни—все это я только видѣлъ и ровно ничего не чувствовалъ.

«И вдругъ что-то какъ будто теплое шевельнулось у меня въ сердцѣ.

«Опять было тихо, опять свѣтило солнце; но цвѣтокъ, на который я такъ упорно и бессмысленно смотрѣлъ до сихъ поръ, былъ сломанъ и весь оббитъ градомъ, изуродованъ и очевидно убитъ.

«Я почувствовалъ, что именно онъ тронулъ меня за сердце; оно ожило, проснулось, и бесполезно изнурившійся въ обиліи впечатлѣній умъ тотчасъ же сталъ работать въ томъ направленіи, какое выбрало сердце: пришелъ хозяинъ, наложилъ на без-

плодно вращавшееся маховое колесо передаточный ремень, и вся механика пошла въ ходъ.

III.

«Какимъ образомъ гибель цвѣтка, происшедшая на моихъ глазахъ и тронувшая меня за сердце, стала выдѣлять изъ массы накопленныхъ мною дорожныхъ впечатлѣній исключительно впечатлѣнія такъ называемыхъ семейныхъ разстройствъ, рѣшительно не могу объяснить въ настоящее время. Знаю только, что едва «пришелъ хозяинъ и наложилъ передаточный ремень», какъ мнѣ стало вспоминаться безчисленное множество всевозможнаго рода семейныхъ терзаній, до глубины души мучительныхъ и до глубины души оскорбительныхъ... «Прогналъ, ваялъ другую, живетъ съ двумя... Дѣтей бросилъ... Бросила дѣтей, ушла... Шарханулъ ее съ балкона...» И все это на всевозможнаго рода жаргонахъ—и со смѣхомъ, и со слезами, въ самыхъ разнообразныхъ обстановкахъ, разнообразныхъ слояхъ общества. Все это стало сбѣгаться въ моей памяти въ одну точку, въ одну сжатую черной рамкой картину, глядя на которую и пересиливая въ себѣ чувство горя и отвращенія, я почему-то невольно начиналъ думать, какъ нашъ несчастный хозяинъ постоялаго двора, у котораго ушла жена: «Человѣкъ, братецъ ты мой, всего хочетъ, да не выходитъ этого, вотъ бѣда!..» И тотчасъ послѣ того, какъ во мнѣ мелькнула эта мысль, я невольно и еще болѣе пристально, чѣмъ прежде, устремилъ мой взглядъ на цвѣтокъ и услыхалъ слѣдующее:

IV.

— «Не выходить! Ишь ты вѣдь, *всею* имъ подавай! Ровно ничего не выходить, вотъ какъ надобно говорить, а не то что всего! Жирно будетъ!»

«Собственно говоря, я ровно ничего не слышалъ, ни я не говорилъ ни съ кѣмъ, ни со мной никто не говорилъ; цвѣтокъ, разумеется, молчалъ не хуже моего. Но подъ его впечатлѣніемъ и подъ впечатлѣніемъ моей мысли между нами происходило что-то похожее на разговоръ, какой бываетъ иногда во снѣ: всякому случалось во время крѣпкаго, непробуднаго сна слушать чей-то разговоръ, чью-то иногда продолжительную бесѣду; вы спите крѣпко и въ то же время, какъ посторонній, присутствуете при чьемъ-то разговорѣ, слѣдя за нимъ съ напряженной внимательностью; звуки голосовъ никогда не остаются въ вашей памяти; разговоръ идетъ, такъ сказать, безъ звука, даже лицъ никогда нельзя упомянуть, да большей частью ихъ и нѣтъ при такомъ разговорѣ; но слова, хоть и безъ звука, вы слышите явственно, точно, и проснувшись, можете кое-что припомнить изъ этого разговора. Нѣчто подобное происходило и теперь; я присутствовалъ совершенно какъ посторонній, чужой человѣкъ, человѣкъ, наблюдающій со стороны, при разговорѣ, который молча, беззвучно происходитъ во мнѣ самомъ, но который, благодаря цвѣтку, слышался мнѣ внѣ меня.

— Налетѣла туча съ градомъ, изуродовала, искалѣчила—слышалъ я дагѣ (и съ величайшимъ любопытствомъ)—и, конечно, приходитъ смерть... Что говорить! прискорбный случай, несправедливость! А развѣ не то же бы было, доживи мы до конца дней?

— Кто мы?

— Да мы съ женой.

— Да гдѣ же вы?.. Гдѣ жена, гдѣ мужъ?

— Да мы тутъ, оба, вотъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ градомъ-то насъ свалило... Оба мы теперь преждевременно погибнемъ; да если бы, говорю, и до старости дожили, до зимы, до снѣгу, такъ бы вспомнить было нечего.—Жили, жили, мучились, мучились, а въ концѣ концовъ никакого смысла!

Я слушалъ.

— Да! Покуда мы съ женой были въ самомъ дѣлѣ *два*—она да я—ву, все еще ничего. И она и я чего-то ждали отъ жизни. Ну, а ужъ какъ вышло едино... Да вотъ я про себя подробно расскажу...

— Да ты-то кто?

— Теперь я никто, а когда я былъ одинъ, я былъ... просто цвѣточная пылинка.

— Цвѣточная пылинка, это—женскаго рода, и нельзя говорить «былъ».

— А Джонъ ячменное зерно?—какого рода? Я вѣдь тоже зерно, только маленькое.

— Ну, ладно! прервалъ я разговоръ о грамматическихъ тонкостяхъ.—Такъ что такое было, когда ты былъ одинъ?..

V.

— «О, тогда было совершенно иное дѣло! Помню, я вступилъ въ свѣтъ во время одного свадебнаго вечера; какъ разъ за этимъ заборомъ въ саду стоитъ домъ станичнаго атамана; матушка моя жила въ этомъ домѣ на окнѣ вмѣстѣ съ другими цвѣтами, конечно въ горшкахъ и конечно въ холѣ: поливали, поворачивали къ свѣту, все какъ слѣдуетъ. Я конечно росъ также въ полномъ достаткѣ, и вотъ въ жаркій лѣтній вечеръ, именно когда станичный атаманъ выдавалъ замужъ дочь, я незамѣтно появился въ шумномъ веселомъ обществѣ; за разговоръ и смѣхомъ никто конечно не слышалъ, какъ чуть-чуть лопнула почка и какъ изъ нея понеслась въ воздухъ пылинка. Но я былъ въ восхищеніи: какъ разъ спиной къ окну, на которомъ стояли цвѣты, сидѣла пара (танцовали вальсы) и меня угораздило усьсться на великолѣпнѣйшія плечи (вѣдь теперь декольте во всѣхъ сословіяхъ принято и насчетъ плечей также во всѣхъ сословіяхъ стало довольно откровенно). Въ шестой фигурѣ расхлывшійся кавалеръ-казакъ, воспламененный дамой, своимъ свирѣпымъ дыханіемъ сдуть меня на другія, не менѣе прекрасныя плечи, тамъ на третьи... Словомъ чего только ни переслушалъ, чего только ни перевидалъ я въ этотъ вечеръ! Смѣшно, занятно, весело, глупо! Не помню, какъ я очутился на чихъ-то усахъ. Не помню, какимъ образомъ съ этихъ усовъ стянула

меня къ себѣ на подбородокъ какая-то ревнивая дама, страшно задыхавшаяся въ упрекахъ этимъ самымъ усамъ,—не помню, долго ли все это продолжалось, только въ концѣ-концовъ эта самая азартная дама своимъ азартнымъ дыханіемъ сдула меня куда-то въ непроходимыя дебри своего туалета и на всю ночь погребла въ глубинѣ своихъ юбокъ, съ сердцемъ брошенныхъ около ея кровати послѣ бала. Всю ночь я присутствовалъ при ужасающихъ сценахъ ревности и думалъ, что задумать меня эти проклятыя ревнивыя юбки—но что значить молодость! Утромъ, когда пришла горничная и взяла барынино платье, чтобы «выколотить» его на дворѣ, одного удара шлейфомъ о перила балкона было достаточно, чтобы я какъ ни въ чемъ не бывало вырвался изъ этой тюрьмы и зависелъ въ поднебесье... Даже самая грязная грязь не могла сокрушить во мнѣ свѣтлой радости жизни. Иной разъ вѣтромъ занесетъ въ кабакъ (видите, вонъ стоитъ на лѣвой рукѣ?), не успѣешь оглянуться, какъ пьяное казачье уже втопчетъ тебя въ грязный полъ, выколотитъ своими «казачками», трепаками и каблуками въ самую глубину грязи—думаешь, погибъ—ничуть не бывало! Придетъ мужикъ со скребкой, поскребетъ, потомъ шаркнетъ на улицу весь этотъ мусоръ, а здѣсь золотой вѣтерокъ подхватитъ, и взвѣвешься, взвѣвешься надъ грязью... Словомъ, вся жизнь была мнѣ открыта, ничего я не сторонился, ничего я не боялся, все хотѣлъ видѣть, обо всемъ хотѣлъ думать... И все видѣлъ, и думалъ обо всемъ, и все критиковалъ; но, собственно говоря, не жилъ еще. Да куда! И думать не могъ жить такою жизнью, какую я тогда видѣлъ своими глазами: вся она была мнѣ просто смѣшна... Гдѣ было мало-мальски хорошее, я конечно былъ тамъ; гдѣ было худое—я шелъ мимо, но варить изъ того и другого бессмысленную кашу, называемую ими жизнью,—слуга покорный! Лучше я посмѣюсь; и я весело смотрѣлъ на бѣлый свѣтъ, пока не встрѣтилъ ее...

— А она кто была?

— Она была очень несчастная дѣвушка—худенькая, бѣлокуренькая, изможденная и забытая депотическимъ давленіемъ. Она, что называется, чахла и была одна изъ тѣхъ, про которыхъ доктора чуть не съ дѣтства говорятъ, что у нея чахотка. Кому неизвѣстны въ нашихъ семьяхъ дѣвушки, какъ бы обреченныя на то, чтобы исчахнуть и лечь въ гробъ дѣвственницей?.. Вотъ и она была такая же. Вотъ на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ мы теперь умираемъ, лѣтъ двадцать подъ рядъ была навалена куча кирпичей, и хозяйка этого дома (послѣ ея смерти сынъ сдѣлалъ домъ подъ станцію), злая баба, цѣлые лѣтніе мѣсяцы варила варенье; горящія уголья и камни угнетали, жгли и иссушали этотъ маленькій доскутикъ земли. Когда же наконецъ старая кочерга издохла и станціонный смотритель растащилъ кирпичи и угли, тогда только она увидѣла свѣтъ бѣлый, но въ какомъ видѣ она была: худа, какъ щепка, почти безкровна, безжизненна, отчаявшаяся жить на свѣтѣ...

— Кто же она-то? Я все-таки не понимаю...

— Да земля! Господи Боже мой, какъ же не понять этого?...

VI.

— Какъ же вы сошлись съ ней?

— Обыкновенно какъ. Носишься, носишься, летаешь, летаешь, а въ концѣ концовъ нѣтъ, нѣтъ да и почувствуешь, что вѣдь это не жизнь. Насмѣхаешься, наблюдаешь, думаешь, мечтаешь, но постоянно остаешься одинокомъ передъ этимъ потокомъ осмѣянной и раскритикованной жизни. Ощущеніе оторванности отъ общаго потока жизни иногда доходить вѣдь до отчаянія. «Боже мой! думается въ такія минуты. Хотя бы я кому-нибудь и на что-нибудь понадобился». И замѣчательно, что такія минуты особенно тягостны для молодыхъ людей весной... На бѣду бываютъ особенно темныя вечера, также больше въ концѣ весны, въ которые просто не знаешь, куда дѣваться. Вотъ такой денекъ выдался и въ моей жизни: съ утра солнце выдѣлывало чистыя чудеса: и нѣжило, и сверкало, и играло, и лѣло—ума помраченье! Носился я въ этотъ день какъ угорѣлый и къ вечеру попалъ вотъ въ этотъ садъ, радомъ съ садомъ станичнаго атамана. Тамъ тоже премиленькая дѣвушка, совсѣмъ невѣста. Цѣлый день они съ однимъ молодымъ челоѣкомъ провели въ самомъ превосходномъ настроеніи духа: бѣгали, играли и хохотали... Но вотъ насталъ вечеръ—тишина... духота... тьма... Слышу, перестали смѣяться—плачутъ... Она говоритъ: «Сейчасъ застрѣлюсь!..» Она говоритъ—«Уйдите!..» «Утоплюсь!» и побѣжалъ.—«Нѣтъ! нѣтъ!» Воротился... Хныкали, цѣловались, плакали, вадыхали... Пробрало и меня горе-горькое!.. Пробрала и меня тоска одиночества... Тьма безысходная, какъ тьма этого вечера, лежала у меня на душѣ... Откуда-то пронесся или, вѣрнѣе, медленно проползъ сквозь кусты и деревья широкій потокъ воздуха, какъ бы чье-то могучее дыханіе... Подняло меня оно, это дыханіе, и принесло сюда къ ней... Надъ ней тогда стояло дерево, тоже все поджаренное проклятой жаровней (недавно смотритель срубилъ его), принесло и опустило на листокъ. И стало опять неподвижно, душно и тяжело... Я видѣлъ ее ясно, измученную, насохшую, и на душѣ у меня было еще тяжелѣй... И не знаю, потому ли, что тамъ, въ сосѣднемъ саду, откуда меня унесло, тяжело вздыхали и плакали, или потому, что заплакало наконецъ и темное небо. медленно, тихонько, но непрерывно роняя свои слезы на землю, на листья, захватило и у меня въ горлѣ, прошибла и меня слеза... Все плакало кругомъ въ ароматической жаркой тьмѣ... И не помню, какъ случилось, что весь въ слезахъ я, унесенный слезами неба въ заплаканную землю, почувствовалъ, что ко мнѣ простираются слабенькія ручки, исхудалыя, мокрыя отъ слезъ, падавшихъ изъ глазъ...

VII.

Утро было великолѣпное. Солнце опять творило чудеса. Насыщенная земля пьянѣла отъ жаркихъ паровъ; все растущее блестяло полнотою силъ и

соковъ, рвалось къ жизни и свѣту. И если бы въ это утро заглянули въ тотъ уголокъ, гдѣ когда-то торчала проклятая жаровня,—то вы увидѣли бы что, *она* не умерла отъ чахотки, несчастна,—напротивъ пустое и иссохшее мѣсто было влажно и оживлено: маленький, зеленый ростокъ, веселымъ, живымъ глазкомъ посматривалъ на Божій свѣтъ.

«Это—были уже мы!

УІІІ.

«Хотѣлъ-бы, очень-бы хотѣлъ я рассказать про эти хорошіе дни, но что прикажете дѣлать—одолѣвають воспоминанія совершенно другого рода!.. Одолѣвають и затуманиваютъ ясные дни, и мнѣ сію минуту такъ тяжело вспоминать то, что вспоминается, что я пока не стану говорить о себѣ. А вотъ на что обратите вниманіе: барышня и молодой человѣкъ, о которыхъ я рассказывалъ, также въ концѣ-концовъ сочтались бракомъ, не смотря на всѣ эти «уйдите!» и «застрѣлюсь!..» Сочтались и тоже, разумѣется, «блаженствовали» съ мѣсяцъ времени... Потомъ, гляжу,—Иванъ Андреичъ, съ портфельчикомъ подъ мышкой, сгорбившись, хвостъ поджавши, зайчикомъ попрыгиваетъ въ мировой сѣздъ защищать купца Чистокрылова, не уплатившаго рабочимъ слѣдующихъ денегъ и заставившаго ихъ ходить по міру... Что за перемѣна такая? Оба они, и онъ, и она, были просто прелестны: добрые, милые, гуманные; читали все хорошія книжки, думали о людяхъ хорошо, свѣтло, и вдругъ онъ уже бѣжитъ зайцемъ и уже вопіетъ къ господамъ судьямъ о томъ, чтобы они покарали неправду въ лицѣ мужиковъ и возвеличили правду въ лицѣ кулачишки...—«Что это вы, Иванъ Андреичъ, какъ перемѣнились? спрашиваютъ его. Узнать нельзя... Нездоровы?...»—«Нѣтъ, ничего... Хлопотъ много. Дѣла. Семья!..»—«Что васъ не видать? Нѣтъ-ли у васъ такой-то книги?»—«Куда тут! До книгъ-ли... Вотъ женитесь, такъ узнаете, какія такіа книги...» Что же это означаетъ? Чего онъ испугался, отчего вдругъ забылъ всякую справедливость, съжился, похудѣлъ, очерствѣлъ, одеревнѣлъ и махнулъ рукой на все святое?.. Что его такъ внезапно приплюснуло? Говорить: «жена!»—Но что же такого въ ней ужаснаго?..

«Или вотъ еще извольте о чемъ подумать: пишутъ въ газетахъ, что при французскомъ военномъ министерствѣ образуется особый корпусъ офицеровъ, который будетъ то же самое, что въ допотопныя времена были летучіе ящеры: будутъ летать на воздушныхъ шарахъ и колотить оттуда мирныхъ жителей бомбами съ панакаститомъ или еще съ какими-то нововозбрѣтеннымъ составомъ, который въ сто разъ сильнѣе пороха... Жалованья летучимъ ящерамъ будетъ 350 франковъ паръ-муа и столовые, а если хорошо будутъ дѣйствовать, то есть попадать прямо въ точку, размазывать народъ сотнями тысячъ, такъ и прибавка будетъ и легионъ д'онеръ приподнесутъ... Спросите-ка этого летучаго ящера, — «изъ-за чего онъ свирѣпствуетъ?» Онъ непремѣнно отвѣтитъ вамъ одно: «Фа-

мій!» Хорошо. Пойдемъ, посмотримъ, что за кровопійцы тѣ, изъ которыхъ эта «фамій» состоитъ. Что-же оказывается? Очень миленькая дамочка Жюльеттъ и бебе, только и всего! И они послали своего мужа и отца свирѣпствовать подъ небесами? И не думали! Посмотрите-ка на нихъ: въ то время какъ летучій ящеръ прицѣпляется торпедой въ мирныхъ обывателей (не въ Жюльеттъ конечно, а въ Амальхенъ), онъ, Жюльеттъ и бебе, одѣлись, какъ куколки, ваяли зонтики и пошли гулять въ Люксамбургъ... Погуляли, посмотрѣли Петрушку, причесть и мать, и дочь одинаково смѣялись, заглянули въ магазинны на шляпки и на куклы и воротились домой... Вышла неприятная сцена съ бонной изъ-за того, что у бебе съ утра былъ красенъ носикъ... Конечно, виновата бонна. Затѣмъ написали летучему ящеру письмо, въ которомъ только всего и было сказано, что «мы пошли», «пришли», «ушли» и что «бонна виновата»... Изъ-за чего же онъ-то летаетъ подъ облаками съ торпедами? Какой чортъ его занесъ туда? Изъ-за чего онъ мозжитъ людей?

— Фамій!

«Какъ вамъ это покажется!»

Такъ какъ никто ничего въ сущности не говорилъ и не спрашивалъ, то на несуществовавшій вопросъ мнѣ не приходилось и отвѣчать. Я продолжалъ безмолвствовать и слушать.

ІХ.

«Не могу выразить, до чего это трудно. Едва только изъ «нея» и «меня» вышло одно *мы*, и едва мы на нѣкоторое мгновеніе ощутили дѣйствительную цѣльность и полноту жизни,—смотримъ: что-то мнѣ становится страшно, холодно и одиноко... Она со мною неразрывно, но я опять одинокъ... Въ то время какъ ее, зеленый ростокъ, съ вострымъ живымъ глазкомъ потянуло въ *стебелъ*, къ солнцу, къ теплу, къ плодородію,—я, этотъ критикъ, насмѣшникъ, либераль, радикаль, утопистъ и нигилистъ, гордецъ, протестантъ и вообще чортъ не братъ, превратился въ *корень* и полѣзъ куда-то въ землю, на какую-то темную, хлопотливую работу, побѣждалъ, какъ заяцъ, въ мировой сѣздъ защищать купчишку Чистомордова, сталъ бормотать: «правда двадцатаго ноября!» «Правда пятнадцатаго октября, декабря!» Если-бы мнѣ предложили сто рублей и столовые, чтобы я превратился въ летучаго ящера, право бы я ни минуты не задумался.

«А забунтуйся я, прекрати мою черную работу,—она исчахнетъ, а это ужасно, это убійство, это собственная моя смерть; умри она,—жизнь моя безцѣльна, глупа, и на какой чортъ мнѣ купчишка Черноплкоевъ?

«Надо жить!

«Право, мнѣ кажется, что «въ нашемъ обществѣ» онъ и она сходятся только до брака, т. е. до брака они употребляютъ всевозможныя усилія найти другъ между другомъ что-нибудь *общее*,—въ книгѣ, въ мнѣніи, во взглядахъ, и, стремясь къ это-

му общему, подъ давленіемъ врожденнаго стремленія къ полнотѣ существованія, дѣлають другъ другу всевозможныя уступки, выравниваютъ обоюдныя общіе взгляды и, теоретически однородные, наконецъ образуютъ изъ себя одно мы; но тотчасъ же начинается жизнь, практика жизни,—и роли того и другого опять расходятся совершенно въ разныя стороны! То же было и съ нами: она пошла въ тѣло, стала поливать, накапливать силу для будущаго поколѣнія—въ этомъ сказалося *ея дѣло*; мое дѣло сказалося въ необходимости добыть матеріалъ для ея силы, и вотъ мы стали расходиться—она въ стебель и цвѣтъ, я въ корень,—она къ солнцу, я во тьму... И постепенно между ея и моимъ дѣломъ стала образовываться пропасть.

X.

«Первое время послѣ того, какъ мы сдѣлались мы, было еще довольно сносно. Еще я не глубоко ушелъ въ землю; до меня еще доходили людскіе разговоры, я еще могъ сочувствовать чему-то, думать о чемъ-то общемъ, о чужомъ, общественномъ, и въ то же время не скучалъ, работа была не совсѣмъ неприятная (достали переводъ съ французскаго)... Но моей женѣ сталъ заститъ пень, оставшійся отъ того самаго дерева, на которомъ я когда-то плакалъ,—она не видѣла солнца, боялась малокровія, а въ книгѣ «Уходъ за дѣтьми» сказано, что малокровіе передается по наслѣдству; ато ее до чрезвычайности волновало, да и я также трепеталъ, и вотъ нужно было квартиру на солнцѣ, переводъ не давалъ соответствующаго вознагражденія, и я долженъ былъ искать должности присяжнаго повѣреннаго... Я бѣгалъ и искалъ, какъ угорѣлый; энергія моя возросла до чрезвычайности, въ одну ночь я проникъ въ землю, подъ остатки какого-то кирпича, на цѣлыхъ два вершка; здѣсь уже не было слышно людскаго говора,—не до того мнѣ было, чтобы слушать, что «они тамъ» говорятъ. Мнѣ самому тошно, мнѣ нужна была квартира на солнцѣ; ей, моей женѣ, нужно было вытянуться поскорѣе выше проклятаго пня, и я, подъ единственнымъ впечатлѣніемъ достать средства, не задумался оплести одного очень почтеннаго червяка, до логовища котораго я проткнулся въ землю: это былъ почтенный, стараго звѣта старикъ, много поработавшій, какъ я читалъ у Дарвина, для чернозема. Сначала я набросился на черноземъ, но опасность чахотки жены заставила меня приступить къ самому старичку... Тонкимъ кончикомъ обвилъ я его поперекъ, проползая подъ его брюхомъ снизу; увѣрилъ въ своей благонадежности, взялся вести его процессъ и, постепенно обвивая его изъ-подъ низу черезъ верхъ, такъ затянулъ его поперекъ, такъ вошелъ въ его довѣріе, что онъ, умирая, оставилъ мнѣ все свое состояніе, то-есть, говоря проще, онъ околѣлъ, разложился, и впиталъ въ себя весь этотъ черноземъ, а жена перѣехала въ новую квартиру «на солнцѣ», т. е. быстро поднялась выше проклятаго пня и стала чувствовать себя *лучше*...

«Затѣмъ ей нужно было родить, и я еще глубже вонзился въ темныя бездны земли...

«Постепенно удаляясь отъ блага свѣта, постепенно теряя связь съ общими, теперь уже ненужными, мѣшавшими мнѣ интересами, я все больше и больше сосредоточивался на извлеченіи средствъ; все мои поступки стали вытекать, откровенно говоря, изъ своекорыстныхъ побужденій. Тамъ, подъ землей, также вѣдь разныя пары слетаются, и также интригуютъ другъ съ другомъ, конкурируютъ, перебиваютъ мѣста—у всѣхъ «семейство»... И я, конечно, принявъ въ этомъ участіе. Сталъ «сочувствовать» тому, что дастъ мнѣ возможность втянуть въ себя матеріальныя силы, и не сочувствовалъ всему, что стремилось положить предѣлъ моей алчности... Сердце мое стало портиться, фальшивить, ожесточаться на какую-то неправильную неправду: вотъ, напримѣръ, рядомъ со мною здоровѣннѣйшій георгинъ, и жереть за семерыхъ, я говорю, что «подлецъ!», и говорю, что надобно положить предѣлъ расхищенію башкирскихъ земель, а въ сущности я злюсь потому, что мнѣ не досталось въ этихъ земляхъ лоскута, и что я долженъ скрючившись сидѣть въ управленіи московско-индійской желѣзной дороги...

«Но иногда вдругъ охватить ужасъ отъ того бессмысленнаго, тяжкаго, изнурительнаго труда, отъ котораго ни днемъ, ни ночью нѣтъ покою; зло возмѣетъ отъ всей этой гадости, которую видишь кругомъ—ничего, кромѣ наживы, высасыванія соковъ изъ земли и какого-то молчаливаго и угрожающаго чавканья; перспективъ, мало-мальски радующихъ,—никакихъ. Изъ-за чего-же все это, спрашивается? «Зубки прорѣзываются!» Зубки прорѣзываются!—а я долженъ подлостно дѣлать, подхалимничать, низкопоклонничать? Зубки!...»

XI.

— «Съ каждыиъ днемъ наши дѣла стали расходиться все болѣе и болѣе въ разныя стороны: тамъ зубки, родимчики—у меня же интрига, какіе-то авансы, что-то нечистое въ шнуровыхъ книгахъ, страхъ потерять мѣсто... Да гдѣ-же во всемъ этомъ что-нибудь общее? Я не знаю, какъ мнѣ быть, какъ справиться,—а она показываетъ мнѣ зубокъ и требуетъ всего моего вниманія... Она все больше и больше уходитъ въ тайну развитія своего дѣла, я же только чувствую увеличивающуюся потребность все глубже и глубже вонзиться въ землю и, стало-быть, все дальше быть и отъ нея, и отъ общихъ интересовъ. Оба мы измучиваемся на своихъ отдѣльныхъ дѣлахъ, не имѣющихъ между собою ничего общаго, и обоихъ насъ начинаетъ разбирать обида.

— «Никакого сочувствія моимъ подземнымъ страданіямъ!»—злобою думаю я, опустошая земскій сундукъ и зная, что она теперь тамъ, вверху, на солнцѣ, только и думаетъ, какъ бы одѣть своихъ дѣтей по послѣдней модѣ.

«Такъ мы корни рычимъ тамъ, подъ землей. А они, цвѣты-то, тоже развѣ не возмущены нами? Какъ бы не такъ:

— «Только и знаешь, придетъ изъ управленія летучихъ ящеровъ, только и разговору, что дина-

митъ да динамитъ, да взрывчатые вещества, да кто на сто процентовъ больше убьетъ... У Коли насморкъ, а онъ мнѣ о предсѣдатель земской управы, очень мнѣ нужно! Цѣлый день одна, дождемся обѣдать, а послѣ обѣда онъ уйдетъ играть въ карты, тутъ поневолѣ олурѣешь»...

«Такъ вотъ и живемъ изо дня въ день!

«Правда, и теперь у насъ иногда бываютъ минуты, когда—мы опять мы, въ самомъ дѣлѣ. Но, увы! это уже въ несчастливый минуты горькаго сознанія, что мы оба несчастны, и что всѣ наши страданія для будущихъ яко-бы поколѣній—равно ничего не означаютъ, что поколѣнія будутъ страдать такъ же, какъ и мы... Вотъ и теперь вокругъ насъ, умирающихъ, уже начинаютъ жить наши дѣти, уже и они поженились,—а я уже слышу, какъ мой старшій сынъ, роясь носомъ подъ землей, ворчитъ:

— «Никакого развитія!»

«Бѣдныя!»

«И нечего вамъ жалѣть, что градъ прекратилъ нашу жизнь преждевременно — надоѣло! Измучились!.. Не налетѣ градъ, пришла бы осень, зима, завалило бы насъ снѣгомъ, и бесполезная мука жизни окончилась бы точно такъ-же безъ всякихъ результатовъ...

«Здѣсь я очнулся: въ совершенно темную станціонную комнату вошла кухарка со свѣчкой. Яркій свѣтъ ослѣпилъ меня—я очнулся, вспомнилъ, что голоденъ, и потребовалъ самоваръ...»

Вотъ какую небылицу рассказалъ мнѣ мой дорожный спутникъ.

— Что-жъ, сказалъ я ему,—все это правда.

— Да! для цѣлѣвыхъ, пожалуй, правда, а для людей,—правда, да не вся!

— Что же тутъ не хватаетъ?

— Не хватаетъ людского права сказать: «не хочу!». Вотъ чего не хватаетъ... А вотъ эта-то борьба съ узостью и желаніе добиться полноты существованія, переопущать себя, такъ сказать, во всевозможныхъ направленіяхъ,—она-то и сложилась теперь въ такую непривлекательную картину семейной разладицы...

XII. Замѣтка.

Въ октябрьской книжкѣ «Вѣсти. Евр.» за прошлый годъ были помѣщены *рядомъ* двѣ статьи, обѣ касающіяся тѣхъ самыхъ семейныхъ неурядицъ, которыми захворала и наша святая Русь; замѣчательно, что одна изъ этихъ статей—«Персидскій эндерунъ»—рисуетъ семейныя неурядицы въ обезпеченномъ обществѣ крайняго востока, крайней и глухой азіатины, а другая, въ которой г. Боборыкинъ пересказываетъ этюдъ Бурже о Дюма-сына, касается того же самаго вопроса въ жизни крайняго запада, въ средѣ высшей буржуазіи французскаго общества, и какъ въ азіатинѣ, такъ и на самомъ прибрежьи культуры оказывается глубо-

чайшая исковерканность взаимныхъ отношеній мужчинъ и женщинъ, переполненная страданіями почти въ той же мѣрѣ, какъ и оттапливающими чертами, имѣющая источникомъ одну и ту же основную причину—разъединеніе въ жизни, въ знаніи, въ трудѣ, въ интересахъ частныхъ и общественныхъ.

«Посмотримъ,—говоритъ авторъ персидскаго эндеруна (гарема),—чѣмъ можетъ заниматься женщина каждый день въ своемъ эндерунѣ. Начнемъ съ главы дома. Мужъ отъ жены держится далеко; чѣмъ онъ занимается, съ кѣмъ ведетъ дѣла, какіе его успѣхи, неудачи, горе, радость—все это, за весьма рѣдкими исключеніями, до жены вовсе не касается, и она *ничего не знаетъ*. Затѣмъ воспитаніе дѣтей также взято изъ рукъ женщины и всецѣло ввѣрено дядькѣ, который до совершеннолѣтія питомца неотступно ходитъ по его стопамъ. Дѣвочки же пользуются еще меньшимъ вниманіемъ и остаются въ эндерунѣ подъ присмотромъ горничныхъ. Женщина, когда дѣти у нея на глазахъ, не исполняетъ самыхъ простыхъ обязанностей матери: не останавливается отъ излишнихъ шалостей и не объясняетъ, что дурно, что хорошо (а ей откуда знать это?). Одну лишь черту въ характерѣ ребенка не оставляетъ мать не тронутой—это гордость. Къ мальчугану, который едва начинаетъ понимать рѣчь человѣческую, она не иначе обращается, какъ съ величаніемъ «ханъ». Такимъ образомъ самые существенные интересы семьи чужды женѣ. Остается еще хозяйство, но въ этой области ея участь горькая: обѣ половины дома состоятельнаго человѣка переполнены челядью, въ рукахъ которой сосредоточены *все дѣла* по дому. Тутъ есть и главный кофейникъ, главный буфетчикъ, главный водолей и масса другихъ прислужниковъ, изъ которыхъ каждый завѣдуетъ ввѣренной ему частью непосредственно; персидская женщина не нуждается даже въ отдахѣ тѣхъ или другихъ приказаній: по развѣведенному порядку все необходимое къ ея услугамъ. Что же ей остается дѣлать? Умственныхъ интересовъ никакихъ, общественная жизнь до нельзя узка. На разговоръ съ женщинами о ихъ повседневной жизни всегда былъ одинъ отвѣтъ: «Что намъ дѣлать? Ничего не дѣлаемъ».

Какъ видите, положеніе персидской женщины обезпеченнаго круга весьма идеальное — «роды» и больше ничего не знай. Кой-какъ живи отъ родовъ до родовъ, а ни о чемъ другомъ не помышляй и не беспокойся. Все сдѣлаютъ другія, чужія руки. Но «человѣкъ» не мирится съ такимъ благополучіемъ; это исключительное положеніе вполнѣ обезпеченной женщины ничуть не пріятнѣ положенія человѣка, вся роль котораго должна проходить, положимъ, въ шахтѣ, подъ землей. Ему тоже не о чемъ заботиться, а только лежать въ глубинѣ земли на боку и долбить камень. Оба эти, исключительно для чужой надобности приспособленные человѣческія существа не желаютъ мириться съ своимъ изуродованнымъ положеніемъ, и, разумѣется, стремятся всѣми возможными средствами дополнить свое изуродованное существо несравненно большимъ количествомъ нуж-

ныхъ для человѣка ощущеній, тѣмъ тѣ, на которыя они обречены разъединяющимъ людей строемъ общества. Углекопъ, выбравшись изъ-подъ земли, пойдетъ въ кабакъ и расправитъ свою душу механически, при помощи сивухи, а «обезпеченная» персидская женщина наворачиваетъ свое рабство и отчужденность отъ людей иными средствами. Авторъ рассказываетъ, что горничныя, обреченныя напр. на то, чтобы служить своимъ ханумъ, покупаютъ себѣ мужей, и одна такая купила ихъ очень много на своемъ вѣку, но ее, бѣдную, надували. Сами же персидскія барыни ищутъ недостающаго на базарахъ, въ баняхъ, въ тазіе (театръ). На базарахъ они по долгу толкуются, выбирая наряды и иногда приворовывая подъ чарду куски матерій. «Кромѣ покупки нарядовъ, женщины стремятся на базаръ ради приключеній». «Тазіе» называется представленіе, посвященное памяти «Хуссейна». «Что женщины буквально наводняютъ театръ во время представлений—фактъ несомнѣнный». Нельзя сказать, что женщины остаются безучастны къ судьбѣ Хуссейна, но можно съ достовѣрностью сказать, что $\frac{9}{10}$ относятся къ ней совершенно равнодушно и предпочитаютъ балагурить съ сосѣдками или выслѣживать глазами кого-нибудь изъ интересныхъ мужичковъ. Избранный мужчина находится подъ зоркимъ наблюденіемъ, пока какъ-нибудь не встрѣтится съ глазами ханумъ, тогда послѣдняя дѣлаетъ ему какой-либо знакъ и т. д. Словомъ, въ театрахъ, въ баняхъ, на базарѣ, во время загородныхъ прогулокъ, вездѣ помимо желанія быть «на людяхъ» вообще, изуродованная исключительнымъ развитіемъ своихъ женскихъ свойствъ, персидская женщина преслѣдуетъ и чисто женскія цѣли. Если же принять въ расчетъ, что и «главы» ихъ, т. е. ихъ мужья, дѣлаютъ то же самое, да къ тому же еще развращены и истощены съ дѣтства, что, кромѣ эндержуновъ, вѣдь никто другой какъ они практикуютъ свиданія въ тазіе, въ баняхъ, на прогулкахъ и т. д., и т. д., то и получится картина самая нескладная: передъ вами идетъ какая-то бессмысленная и непривлекательная трата силъ человѣка—мужчины и женщины.

«Между тѣмъ въ среднихъ и особенно низшихъ классахъ женщина поставлена въ совершенно иные условия. Здѣсь положительно всѣ заботы лежатъ на ея плечахъ, такъ что съ утра до вечера она работаетъ *наравнѣ съ мужемъ*, готовитъ кушанье, обшиваетъ ребятъ, моетъ бѣлье и т. д.» И во всей статьѣ, какъ кажется, не вполнѣ исчерпывающей безобразія обезпеченнаго персидскаго общества (такъ какъ иногда автора удерживаетъ отъ изложенія тѣхъ или иныхъ подробностей простое чувство приличія), ни одного слова нѣтъ о томъ, что подобныя безобразія возможны въ народной средѣ.

Но едва мы съ крайняго востока перенесемся на крайній западъ, въ ту же самую обезпеченную среду, какъ немедленно встрѣчаемся опять съ всевозможнымъ неблагообразіемъ. Здѣсь (если вѣрить герою одного произведенія Дюма-сына) *уже утрачена вътра въ женщину*, а вмѣстѣ съ тѣмъ и способность любить. «Какъ бы я ни былъ неспособенъ

и ординаренъ, говоритъ нѣкій де Рюонъ (въ «Другѣ женщины» Дюма), я дамъ себѣ слово не бросать моего сердца, ни моей чести на съѣденіе всѣмъ этимъ прелестнымъ и страшнымъ созданіямъ, изъ-за которыхъ разоряются, теряютъ доброе имя и убиваютъ себя. А ихъ единственная забота, посреди такой всемірной свалки, одѣваться то въ видѣ зонтиковъ, то въ видѣ колокольчиковъ». Но не однѣ женщины, превращенныя въ зонтики и колокольчики, до глубины души возмущаютъ г. Дюма и героевъ его произведеній: возмущается все буржуазное общество послѣднихъ 50-ти лѣтъ. Читая эту же г. Боборыкина, видишь, что г. Дюма просто, какъ говорится, потерялъ голову въ этомъ буржуазномъ вертепѣ; онъ не знаетъ, что дѣлать: то вдругъ ожесточится и вопіетъ: «*tue-lal!*» (бей!), то забормочетъ что-то о духовной любви, то о правахъ женщинъ,—но вообще видно, что «бабы его донали» и что спасенія ему отъ нихъ нѣтъ никакого. Краски, которыми охарактеризовано въ названной статьѣ г. Боборыкина «Бабы дѣло», отъ котораго потерялъ голову г. Дюма, до чрезвычайности мрачны.

«Для него (т. е. для Дюма), говоритъ г. Боборыкинъ, мужчина и женщина представлялись въ видѣ самца и самки. Они въ его воображеніи пожираютъ другъ друга, чтобы умертвить душу. Любовная страсть явилась для него въ видѣ постоянной жестокой битвы, кончающейся всегда смертью одного или обоихъ вмѣстѣ, если не физической, то нравственной. И мы видѣли на самомъ дѣлѣ всѣ отвратительныя стороны этой битвы, подъ прикрытіемъ того, что называется ухаживаніемъ, или же такъ называемыхъ французами—легкихъ нравовъ, и что онъ, не задумываясь, называетъ прямо проституціей. Настоящей проституціей онъ *не занимается*. Онъ задался цѣлью изслѣдовать всѣ виды тайной проституціи, фальшивой, такой, гдѣ женщина представляетъ собою высшую степень испорченности, гдѣ она несетъ душевную заразу и ненависть къ мужчинамъ подъ видомъ обольстительной любви или подобія любви. Дюма разоблачаетъ поэтическую и сантиментальную проституцію. Не довольствуясь тѣмъ, что въ цѣломъ рядъ пьесъ Дюма показать жестокую битву между самцомъ и самкой въ мирѣ тайной проституціи и адюльтера, онъ показываетъ ту же битву и въ нѣдрахъ супружества, самаго настоящего и законнаго супружества...» Еще въ болѣе ранній періодъ въ дѣятельности Дюма изъ нѣкоторыхъ его произведеній можно было понять, «что Дюма смотритъ на бракъ совсѣмъ не положительнымъ взглядомъ, а признаетъ его скорѣе какъ наименьшее изъ золъ, какъ нѣкотораго рода перемиріе въ непрестанной войнѣ мужчинъ и женщинъ, можетъ быть западни...» Если-бы жена была честной матерью семейства, борьба все-таки осталась борьбой, и если не приводить къ крови (*tue-lal!*), то выражается другими видами страданія. Поль Бурже указываетъ на одно мѣсто въ произведеніяхъ Дюма, гдѣ этотъ писатель, обращаясь къ молодому мужу, сидящему у изголовья жены, только что разрѣшившейся отъ бремени, говоритъ:

— Ты поникнулъ головой? Вотъ ты, въ свою

очередь, побѣжденъ женскимъ элементомъ. Онъ воспользовался тобою для того, чтобы выполнить свое дѣло. Этотъ элементъ притягиваетъ тебя, соблазняетъ, употребляетъ тебя въ пользу, то удаляетъ, то опять беретъ и устраняетъ тебя, смотря по тому, чего требуетъ предназначеніе и известное отправленіе жизни. И познай между прочимъ, что такъ всегда будетъ; какова-бы ни была плоскость, на которой ты встрѣчаешься съ женщиной, она никогда не беретъ тебя для тебя, а всегда для самой себя».

Вотъ какое безвыходное положеніе авторовъ и героевъ. Такъ зачѣмъ же говорить: «Бей ее!». Легче не станетъ, какъ оказывается въ концѣ концовъ. Нѣчто подобное, страшное-престрашное, приведено также и изъ Шопенгауера. Во всякомъ случаѣ, дѣло это оказывается «неумолимое и неискоренимое», и у г. Дюма мы не нашли никакого указанія, какъ тутъ быть, чтобы женщина въ концѣ концовъ не съѣла мужчину совсѣмъ съ костями.

Последняя сцена, въ которой г. Дюма говоритъ такимъ пророческимъ языкомъ (Познай, — она тебя съѣстъ!), — наводитъ насъ на мысль спросить удрученнаго людоедствомъ женщины моралиста: «отчего собственно молодой мужъ *поникъ молодой* — отъ того-ли, что жена его родила, или же отъ того, что у него теперь не только «колокольчикъ подъ зонтикомъ», а еще и ребенокъ. Не испугалъ-ли его, бѣднаго бульварнаго хлыщика, этотъ ребенокъ?..»

Мнѣ кажется, что испугалъ и ошеломилъ молодого мужа (да и молодую жену изъ породы зонтиковъ также) именно ребенокъ. Почему же? Потому, что между ними, людьми, раздѣленными строемъ буржуазной жизни на неимѣющія ничего общаго роли цѣвка и корня, — появилось существо, требующее отъ нихъ заботы *во всѣхъ отношеніяхъ*; они оба, и мужъ, поникшій головой, и жена, думающая, какой ей теперь купить корсетъ, — *опереме* на безпомощномъ ребенкѣ ощущаютъ *кабалу ответственности* за человѣка *во всѣхъ отношеніяхъ*. Онъ еще вѣсомъ только въ четыре фунта, ему нужно всего-на-всего только одну рюмку молока, но онъ заставляетъ думать *обо всемъ*, что касается человѣка, и отъ этой непривычной работы, разумѣется, поникнеть непривычная къ ней голова. Голова нашего мужика и бабы не поникнетъ отъ ребенка, произойдетъ только задержка въ работѣ, но тутъ помогутъ добрые люди; отвѣчать же за его карьеру, за его средства къ жизни, за его душу, за его умъ, умѣнье, знаніе имъ нечего — онъ будетъ жить точно такъ, какъ живутъ они оба, воспитается въ томъ же разнообразіи впечатлѣній труда, среди котораго они живутъ сами; ни подняться, ни опуститься выше или ниже кого-бы то ни было въ однородно трудящемся обществѣ, гдѣ живутъ отецъ и мать. не будетъ ни надобности, ни возможности; онъ будетъ всѣмъ равенъ и одинаковъ со всѣми — мужикъ, какъ всѣ. Кромѣ того онъ современемъ подъ старость помога, слѣдовательно утѣшеніе. Въ народной средѣ, гдѣ строй жизни требуетъ отъ каждого человѣка личной дѣя-

тельности *во всевозможныхъ отношеніяхъ*, не ощущается тяготы отъ обилія многостороннѣйшихъ обязанностей по отношенію къ вновь родившемуся человѣческому существу; многосторонность — атмосфера народной жизни; здѣсь же, въ буржуазномъ обществѣ, ребенокъ тиранъ: онъ пришелъ и потребовалъ отъ отца и матери огромнаго къ себѣ вниманія, тогда какъ имъ самимъ вѣчно только каждому гнать *свою линію*.

Но молодой человѣкъ, поникшій головой и приунывшій надъ колыбелью ребенка, приунылъ не надолго. Жена его, будьте увѣрены, не испортитъ своего бюста; во-первыхъ, корсетъ, а во-вторыхъ, кормилица, за кормилицей бонна, далѣе учитель, школа, коллежъ, и т. д., все сдѣлаютъ другіе. Жена его по возможности будетъ оставаться въ роли цѣвка или зонтика, и такъ какъ эта роль будетъ ему надобѣдать, то онъ будетъ искать дополненій тамъ, гдѣ случится, а такъ какъ и женѣ роль зонтика также ненавистна и тяжка, какъ и роль ханумъ въ персидскомъ эндерунѣ, то ничего не будетъ удивительнаго, если и ей понадобится поискать полноты жизненныхъ ощущеній собственными средствами. Зачѣмъ же орать-то: убей! Почему же и его самого не бить?

Поль Бурже, повидимому, крѣпко задумался надъ всѣми этими нескладными дѣлами; онъ повидимому опечаленъ всѣмъ строемъ жизни, и потому, обозрѣвъ произведенія Дюма (вмѣстѣ съ литературнымъ наслѣдіемъ, оставленнымъ французскими писателями послѣдняго пятидесятилѣтія), не рѣшается читать нравоченія или рекомендовать для искорененія зла какую-нибудь невозможную кулачную расправу, а просто и серьезно говоритъ слѣдующее:

«Чтобы чувственная распушенность перестала утомлять своими себялюбивыми сотрясеніями нервы и сердца людей, которымъ болѣе пятнадцати и менѣе сорока лѣтъ, надо возстановить *равновѣсіе* частной жизни; необходимо, чтобы поздніе браки сдѣлались исключеніемъ и чтобы бракъ въ двадцать пять лѣтъ сталъ правиломъ; чтобы воспитаніе женщины дѣлало изъ нея дѣйствительную подругу мужчины. Чтобы отношенія между молодыми людьми преобразовались и чтобы ребенокъ не портилъ себѣ преждевременно чувство и воображеніе въ стѣнахъ коллегій, отъихъ клоаки нравственной заразы; чтобы жадность конкуренціи, погоня за мѣстами и богатствами посягались; *надобно возвратъ* къ менѣе искусственной и менѣе подогрѣтой жизни; необходимо человѣку быть больше привязаннымъ къ своей провинціи, къ родному краю, необходимо, чтобы жить въ Парижѣ не было цѣлью всѣхъ мужчинъ и женщинъ, чтобы демократическая свалка была менѣе неистовой...» Такими словами, говоритъ г. Боборыкинъ, критикъ заключаетъ свои объясненія (стр. 490).

Но въ сущности, какъ видите, никакого опредѣленнаго взгляда на общій недугъ культурнаго строя жизни нѣтъ у автора, цитированнаго г. Боборыкинымъ, нѣтъ.

А между тѣмъ обществу необходимо знать, въ

чемъ именно заключается то центральное зло культурнаго строя жизни, при которомъ всё блага науки и культуры, казалось бы прямо для счастья и радости жизни человѣческой добыты,—не только не дѣлаютъ этой жизни свѣтлѣе и легче, но напротивъ,—какъ-бы грозятъ въ будущемъ все большимъ и большимъ мракомъ и тяготой.

Мы не беремся за разрѣшеніе такихъ большихъ вопросовъ. Намъ-ли, деревенскимъ обывателямъ, толковать о нихъ? Но въ русской жизни въ настоящее время столько мечтаній и мечтателей о томъ, какъ жить свято, что истомившійся современный человѣкъ невольно влечется къ нимъ. Не говорить поэтому о мечтаніяхъ и мечтателяхъ — положительно невозможно; вотъ почему во второмъ томѣ этого изданія я и постараюсь собрать между прочимъ все, что мнѣ пришлось написать по поводу этого любопытнаго явленія русской жизни.

ХІІІ. «Взбрело въ башку».

(Изъ записокъ деревенскаго обывателя.)

I.

...Утомителенъ и однообразенъ нашъ деревенскій «недосугъ». Суетою суетъ переполняется онъ дни и годы нашего деревенскаго существованія, владѣть всѣмъ нашимъ существомъ отъ колыбели и до могилы и, увѣнчавъ могильною насыпью иногда многолѣтнюю недосужную жизнь деревенскаго человѣка, не оставляетъ о немъ среди продолжающихся жить людей почти никакихъ поводовъ къ воспоминанію. Но если вся наша деревенская жизнь наполняется только такою суетою суетъ и такимъ, повидимому, пустопорожнимъ недосугомъ, то каково же должно быть наше душевное состояніе, если судьба неожиданно пошлетъ намъ «досугъ» и повелитъ на нѣкоторое время прекратить суету суетъ, призываетъ насъ къ спокойствію, отдохновенію и дать на нѣкоторое время право позабыть хоть на нѣсколько часовъ деревенскую злобу дня? Тутъ намъ, настоящимъ деревенскимъ обывателямъ, ужъ и совсѣмъ нехорошо, совсѣмъ скучно становится, и самый лучший исходъ—лечь среди бѣла дня спать. Но и этотъ-то способъ употребленія «досуга» водворенъ въ народной жизни не безъ усилій со стороны посторонней власти и вліаній: не работать, прекратить на время суету суетъ—убѣждаетъ народъ батюшка съ амвона; надо же—говоритъ онъ—и Богу посвятить день, почтить Его, не все только своекорыстная возня около своего дома и своего добра. Надобно не пожалѣть денегъ на свѣчку. Нѣкоторые угодники требуютъ прекращенія работы подъ угрозою извѣстнымъ наказаніемъ: въ извѣстные дни нельзя работать желѣзомъ, нельзя прастъ пряжу и т. д. На томъ свѣтѣ, въ аду, по рассказамъ старухъ, которые сами въ обморочномъ состояніи бывали тамъ, на небѣ,

и которыхъ ангелъ водилъ по мытарствамъ—всегда указаны съ точностью муки, которыя испытываютъ мужики и бабы, не соблюдавшіе пятницы, работавшіе по праздникамъ. Бабы, напримѣръ, которыя работали по пятницамъ, задыхаются тамъ, на томъ свѣтѣ, въ избахъ, наполненныхъ костью: имъ нельзядохнуть, нельзя открыть глазъ—кострика окутываетъ ихъ непроницаемымъ облакомъ. «Все жадность наша!—говорятъ приверженный къ дому хозяинъ, не вытерпѣвшій до захода солнца и потихоньку отъ взоровъ угодника, запрещающаго работу, постукивающій гдѣ-нибудь въ темномъ уголѣ сарая топоромъ.—Жадность въ насъ ненасытная!» Если-жъ господа землевладѣльцы жалуются на рабочихъ, что у нихъ оказывается чуть не триста шестьдесятъ праздниковъ въ году, такъ вѣдь здѣсь ужъ совсѣмъ иное дѣло: у хозяина—подещина, не свое хозяйство, и въ этомъ случаѣ стоять за праздники, за то, что грѣхъ молъ не хочется взять на душу, прямой расчетъ для мужика. Тутъ онъ ужъ и самъ стремится отвоювать себѣ всачески какъ можно больше досугу, и большею частью сладко спитъ въ эти сладкіе часы. Хорошо спятъ мужики среди бѣла дня, крѣпко, сладко. Тишина въ деревнѣ «послѣ обѣда» удивительная. Солнце сіяетъ, воздухъ струится жаркими колебаніями, а деревня сладко спитъ: кто на лавкѣ, кто на полатахъ, кто на сѣновалѣ—всѣ; старики и старухи, молодыя и старыя бабы, здоровенные работники-гиганты—все это растаялось, разметалось, гдѣ пришлось, и наслаждается безграничнымъ блаженствомъ сна.

Случись въ эту пору появиться въ деревнѣ какому-нибудь начальству, не только по какому-нибудь серьезному, не требующему отлагательства дѣлу, но просто для перемѣны лошадей, и то мертвая тишина и мертвое безмолвіе спящей деревни можетъ вывести его изъ предѣловъ терпѣнія. Волостное правленіе отперто и веселый вѣтеръ, хлопая незапертою рамой, играетъ разными «стражайшими» предписаніями, таская ихъ безъ всякой церемоніи по полу и присутственному столу. «Эй, кто тамъ?»—можетъ вопить начальство во всю силу голоса, но никто ни откуда ничего на это не отвѣтитъ. Можно стучать ногами, кулакомъ, кричать, заставить кричать на весь дворъ ямщика,—ни звука! «Эй!»—будетъ вопіять ямщикъ, стуча подъ окнами.—«Эй, кто-нибудь!»—будетъ вопіять начальникъ, и въ отвѣтъ имъ только безмолвіе, солнце и тишина; ни признака чего-нибудь живого, или хоть движущагося. Даже въ домахъ причта—у батюшки, у дьякона—все нѣмо и неподвижно; если ямщику и удастся разбудить работницу, раскачавъ ее за жирный бокъ, то и она, въ концѣ-концовъ, только почешетъ этотъ бокъ и перевернется на другой. «Что они, вымерли, что-ли, тутъ всѣ?» Вотъ къ чему придетъ выведенный изъ терпѣнія начальникъ, пока на выручку ему не явится какая-нибудь ветхая, терпѣливо поджидаящая смерти старушка, не спроситъ беззубымъ ртомъ: «кого надо?»—и не укажетъ рукой, гдѣ надобно искать живыхъ людей.

И я думаю, что «спать» крѣпко и сладко значить самымъ разумнымъ образомъ употребить деревенскій досугъ. У пьющаго есть кабакъ, а у непьющаго? Вѣдь, пожалуй, какъ останешься безъ суеты суетъ, да, побоясь огорчить угодника, не поспѣешь тронуть топора, да не будешь спать, такъ придется сидѣть да «думать», а вѣдь это дѣло трудное, трудное уже только потому, что понять невозможно, изъ-за чего живешь на свѣтѣ? Зачѣмъ вся эта суета суетъ, эта ежедневная маята изъ-за скотины, изъ-за податей? Да мало-ли чего «взбрѣдетъ въ башку», ежели начать на досугъ думать обо всемъ, доходить до всего, разбирать свою жизнь — какъ, что, почему, какъ-бы лучше, да почему хуже, да отчего то не такъ вышло и это сдѣлалось не по желанію и вкусу, а совсѣмъ наоборотъ? Боги все это обдумать, такъ умъ за разумъ зайдетъ. Лучше-бы, конечно, взять топоръ, да... да нельзя же лѣзть работать, — овса не уроditъ!

— Пойти хоть на сѣновалѣ полежать! — говорить томимый досугомъ житель и успокоивается въ безмятежномъ снѣ.

А вотъ одинъ мой знакомый мужикъ, Иванъ Алифановъ, человѣкъ, всегда удалявшійся отъ общины съ односельчанами, сухой, молчаливый, нелюдимый, пользовавшійся недоброю славою «острожного» и всячески остерегавшійся пробудить въ неласковомъ къ нему обществѣ воспоминанія о его прошломъ, — вотъ этотъ-то человѣкъ, многіе годы державшій себя самого въ «ежовыхъ рукавицахъ», по-немногу, подъ влияніемъ *досуга*, сталъ подумывать «о своей жизни», и отъ этихъ думъ взбрело ему въ башку такое ни съ чѣмъ «несообразное», что онъ мало того, что взбудоражилъ всю деревню, а и самъ-то еле живъ остался, чуть не померъ, да только Богъ его спасъ — сжалился надъ нимъ... А не думалъ бы, такъ ничего этого и не было бы... Хорошо хоть Богъ-то спасъ, и то слава Богу.

II.

Досугъ, благодаря которому Ивану Алифанову «взбрело въ башку» нѣчто несообразное и едва не уложившее его въ могилу, былъ не какой-нибудь кратковременный, ординарный, праздничный досугъ, который и не замѣтишь, какъ проспшишь, а досугъ особенный, давшій возможность вообще всему крестьянству всей округи вздохнуть, «сообразиться» и отдышаться втеченіе почти всей осени. Причина такого необыкновеннаго досуга — необыкновенный въ нашихъ трясинныхъ мѣстахъ урожай прошлаго года. Опахнуть этотъ урожай своимъ благословеннымъ крыломъ всю нашу округу — всѣ эти лачужки, плетухи — на большое пространство; опахнуло это крыло теплою, и покоемъ, и сладкимъ отдыхомъ множество земледѣльческаго народу, и притомъ почти на всѣ осенніе и зимніе мѣсяцы, вплоть до поста. Всѣ клѣтки — всѣхъ окладныхъ листовъ, всѣхъ бюджетовъ — были въ изобиліи засыпаны хлѣбомъ, овсомъ, льномъ, картофью, огурцомъ и капустой — грибъ только не объявился: все у него отняли прочія, болѣе серьезные растенія; но

объ этомъ никто не печалился. Хлѣба, овса, всего было довольно, «слава Богу», и у всѣхъ осталось, послѣ наполненія до верху всевозможныхъ бюджетовъ, всего много. Рѣдко это, чрезвычайно рѣдко бываетъ въ нашихъ мѣстахъ, но когда бываетъ хоть на недѣлю — хорошо и весело смотрѣть на бѣлый свѣтъ. Это именно годъ, когда мужику придетъ охота купить, книгу, картинку, потому что есть на что купить; — годъ, когда придетъ въ голову пойти послушать, какъ мальчонка у сосѣдей книжку читаетъ; словомъ, — годъ, когда досугъ настолько продолжителенъ, что иной крестьянской головѣ, обрѣкшей себя на вѣчную печаль и тоску, окажется возможнымъ просвѣтлѣть, ободриться, освѣтиться радостною мыслью... Повалившаяся лачужка преобразилась въ новый домишко, появилась въ безлошадномъ дворѣ лошадевка — и почернѣвшее отъ мрака душевнаго лица просвѣтлѣло и повеселѣло. Хорошія это времена въ жизни крестьянина!

Этотъ урожайный, т. е. не праздничный, а исключительный досугъ отразился на Иванѣ Алифановѣ особенно благопріятно; онъ жилъ съ женой только вдвоемъ, дѣтей у нихъ не было; а урожай уродилъ такъ много, что даже съ первыхъ дней осени Иванъ Алифановъ не нашелъ нужнымъ продолжать своего извозничьаго промысла, сталъ ѣздить на вокзалъ въ недѣлю разъ, два, а иногда и по недѣлямъ не нуждался въ заработкѣ; урожай заставилъ его подумать о себѣ попокойнѣй, подумать о скотинѣ, которую онъ за лѣтнее, дачное время и рабочую пору порядочно-таки загонялъ, и Иванъ Алифановъ сталъ думать.

Прежде всего онъ увидалъ, что у него уже лѣтъ восемь какъ болятъ ноги; по ночамъ ревматическія боли не даютъ ему сомкнуть глазъ, и женѣ онъ покою не даетъ. По временамъ онъ бралъ въ аптекѣ какую-нибудь мазь, мазалъ ею ноги, но такъ какъ за недосугомъ дома побыть было нельзя, нельзя было и лежать, а надо было въ полночь и за полночь ѣхать, куда наймутъ съ вокзала, то ноги продолжали болѣть, какъ имъ болѣлось. Теперь онъ «на досугъ» почувствовалъ, что онъ болятъ самымъ настоящимъ манеромъ и что болѣть какъ-нибудь хуже пожалуй что ужъ и нельзя; онъ разулся, осмотрѣлъ эти ноги, которыхъ онъ «путемъ» не видалъ, можетъ быть, всю жизнь, «ужаснулся» ихъ ужасному виду, этимъ налившимися кровью жиламъ, этимъ опухлымъ мѣстамъ, къ которымъ оказалось больно притронуться пальцемъ, удивился всему этому, увидѣлъ, что «такимъ родомъ» можно остаться и безъ ногъ, и рѣшилъ лечиться серьезно.

Въ аптеку, къ фельдшеру, даже къ доктору онъ не пошелъ: «пробовалъ, мазалъ — не помогаетъ», а по совѣту вокзальнаго буфетчика, у котораго ноги, отъ непрерывнаго втеченіе всей жизни стоянія за буфетомъ, страдаютъ всевозможными недугами, купилъ въ аптекѣ травъ подъ общимъ названіемъ «декопъ», рецептъ которыхъ написалъ буфетчикъ. «Декопъ» былъ настоянъ на водкѣ; надо было его пить по три рюмки въ день: утромъ, въ полдень и вечеромъ, а когда почувствуется облегченіе, то и по четыре. Все это Иванъ Алифановъ

припасъ, устроилъ какъ должно и принялся лечить-ся. Не будь урожая, не было бы досуга; ноги Ивана болѣли бы безъ лекарства, и ему некогда было бы даже и «оглядѣть» ихъ хорошенько. Теперь-же, благодаря досугу, онъ ихъ оглядѣлъ, увидѣлъ, что онѣ больны, что надо лечиться, что можно лечиться, и, перекрестившись на образъ, осторожно налилъ первую рюмочку «декопу», а затѣмъ и выпилъ.

И пошло по «всему суставу» Ивана Алифанова тепло, и стало ему пріятно. «Пріятное» душевное настроеніе дотянулось и до второй рюмочки «декопу», и до третьей, и весь этотъ первый день леченія, первый день отдыха и забвенія суеты суетъ, прошелъ для Ивана Алифанова пріятно, ново, не какъ обыкновенно; послѣ второй рюмки «декопа», часовъ въ одиннадцать дня, Иванъ Алифановъ пообедалъ и, противъ обыкновенія, легъ спать, укрывшись шубой; спалъ онъ безподобно, до того, что потомъ едва отпился чаемъ и привелъ себя въ чувство; третья рюмка «декопа» опять хорошо на него подѣйствовала, и накопленной годами усталости оказалось настолько достаточно, чтобы и выпавшись послѣ обѣда можно было богатырскимъ сномъ проспать и всю ночь до утра.

Но по мѣрѣ того, какъ Иванъ Алифановъ, благодаря досугу и «декопу», все болѣе и болѣе освоивался съ необычнымъ для него положеніемъ отдыхающаго человѣка, все нажитое и пережитое имъ въ обычное время жизни стало понемногу заявлять ему о себѣ и о томъ, что отъ него остались въ душѣ и тѣлѣ слѣды неизгладимые. Прежде всего стало заявлять о своихъ попорченныхъ жизнью правахъ — тѣло, а потомъ заговорилъ и духъ. Бромъ «до ужаси» больныхъ ногъ, которые можно было уви-дѣть во всемъ ихъ потрясающемъ видѣ только благодаря досугу, на третій, четвертый день отдохновенія заговорила и спина. «О-о-охъ!» — простоналъ Иванъ Алифановъ, поднявшись съ постели, послѣ необычнаго въ обыкновенное время отдохновенія; отдохнувшія больныя ноги стали такъ чувствительны, что, оказалось, ступать надо съ осторожностью. Зиболѣли бока, подъ ложечкой стало подпирать точно кулакомъ, подъ скулой что-то начало напу-хать.

«Старость!» — съ испугомъ подумалъ Иванъ Алифановъ на пятые сутки отдохновенія, еле передвигая ноги отъ постели до окна, съ бутылкой декопа. Эта мысль такъ неожиданно испугала Ивана Алифанова, что онъ, не обдумавши, что дѣлаетъ, выпилъ сразу двѣ рюмки декопу, и уже не съ пріятностью, а съ огорченіемъ; декопъ, горькій и жгучій, падалъ куда-то въ «горькое мѣсто», которое сталъ ощущать Иванъ Алифановъ подъ сердцемъ. Точно угольемъ жегъ декопъ «горькое» больное мѣсто, и Иванъ почувствовалъ, что именно тамъ, въ горькомъ мѣстѣ, подъ сердцемъ, стала шевелиться вся его прошлая жизнь, о которой онъ уже и позабылъ за недосудомъ.

«Почитай что ужъ къ могилкѣ дѣло идетъ!» — съ горечью думалъ онъ, отирая ротъ послѣ второй рюмки; и съ испугу, и съ предчувствіемъ какихъ-

то мрачныхъ воспоминаній, которыя у него зашевелились «подъ сердцемъ», онъ, чтобы сразу сбросить съ себя неожиданную тоску, надѣлъ проворно шапку, накиннулъ полшубокъ и вышелъ на дворъ по хозяйству. Хозяйство всегда разгонитъ «мысли», отвлечетъ вниманіе отъ своего горя.

Онъ вошелъ въ сарай, единственно только съ сознаніемъ необходимости заглушить тоску, точи-щую сердце. Только съ этою исключительно прак-тическою цѣлью взялъ онъ вилы и сталъ попра-влять висѣвшія съ сѣновала ключья сѣна, въ чемъ, въ сущности, не было особенной надобности. Онъ работалъ вилами, нетерпѣливо ожидая, когда пере-станетъ «глодать» его душу, когда имъ завладѣетъ интересъ къ какимъ-нибудь хозяйственнымъ мело-чамъ, онъ тщательно прислушивался къ своему сердцу: «не затихаетъ ли тамъ? не забывается ли!» — и вдругъ...

Вдругъ, нежданно-негаданно, но сразу, мгно-венно, въ тоскующемъ сердцѣ и въ скучавшемъ умѣ, безъ малѣйшаго повода, въ мельчайшихъ по-дробностяхъ возникъ образъ Аннушки, дѣвушки, которую Иванъ Алифановъ крѣпко любилъ въ юно-шескіе годы и изъ-за которой потомъ вся жизнь Ивана Алифанова превратилась въ ужаснѣйшій мракъ. Аннушка не просто вспоминалась Ивану, а прямо ощутилась тутъ, рядомъ съ нимъ, съ чело-вѣкомъ, который еле держится на ногахъ, который держитъ «съ горя» въ рукахъ дурацкія вилы, стоитъ ногами въ навозѣ. Молодая, бойкая, уминая, ловкая, смѣлая, продувная дѣвушка, она, съ сво-ими карими глазами, влекущими къ какой-то не-изяскаемой радости, прекращающими всякую тре-вогу жить на свѣтѣ — она, которая сама первая дернула его за рукавъ и шепнула: «Пымай!» — словомъ, вся она, живая, до поразительности ясно ощущимая, не просто только вспоминалась Ивану, а вполне ощутилась тутъ, рядомъ съ нимъ, въ са-рай, и даже голосъ ея онъ услышалъ совершенно ясно — смѣшливый и любящій. Аннушка до того неожиданно воскресла въ душѣ Ивана, и притомъ до того явственно ощущалась имъ, что Иванъ даже оглянулся на избу: «не увидала бы жена!». Такъ ему чувствовалась близость къ нему самой Аннуш-ки; онъ ощущалъ почти ея прикосновеніе, какъ въ былые времена, ея теплое плечо, за которое онъ ее тогда «пымалъ» въ первый разъ.

Точно полныя разлилось совершенно внезапно по всему существу Ивана. Въ потъ его ударило. Аннушка какъ огонь охватила его умъ и серд-це, — словомъ, вся воскресла въ немъ въ томъ са-момъ видѣ, въ тѣхъ самыхъ ощущеніяхъ, какъ и встарину. И Иванъ такъ оторопѣлъ отъ этой не-ожиданности, такъ испугался этого образа, что да-же проговорилъ:

— Тыфу, ты, каторжная!.. Ишь!.. Сколько годовъ прошло... Вабредеть же въ башку!..

Онъ до того испугался этого призрака, что со страхомъ оглядѣлся вокругъ себя, оглядѣлъ сарай и съ сердцемъ, бьющимся отъ испуга и отъ какого-то необыкновеннаго ощущенія, съ необыкновен-нымъ проворствомъ принялся ворочать вилами.

уже безъ всякаго смысла, лишь бы отдѣлаться отъ неожиданнаго потрясенія.

— Чего тутъ! — урезонивалъ онъ себя въ вѣчайшую строгостью. — Ноги не ходятъ... снина скрипитъ... въ могилу того гляди... Эко! Господи, помилуй! И сама-то ужъ калѣка... старуха... Сохрани и помилуй, Господи!

Но, увы, на досугѣ воскресла во всемъ великолѣпнѣйшая счастливейшая минута его жизни — и Иванъ Алифановъ, помимо воли, желанія и возможности, уже не могъ изгнать Аннушки и ея чуднаго дѣвичьяго образа изъ своихъ думъ.

III.

Выпивъ двѣ рюмочки «декопа» и опять съ еще болѣею явительностью почувствовалъ, что водка попала не въ веселое мѣсто, а въ горькое и болѣное, подъ самое сердце, Иванъ Алифановъ пообѣдалъ и опять легъ подъ шубу, чтобы дать ногамъ отлежаться. Но образъ Аннушки ни на минуту не покидалъ его. Закрылся онъ шубой съ головою и вслѣдствіе старался думать о хозяйствѣ, о томъ, что онъ предпринять, поправившись ногами, заговаривать съ женой о хозяйственныхъ пустякахъ — много ли молъ картофлю, льну — и опять закрывался полшубкомъ; но Аннушка и молодые годы ихъ обоихъ, несмотря на всѣ усилія Ивана сосредоточиться только на настоящемъ и окружающемъ, всплывали въ его памяти въ самыхъ подробнѣйшихъ мелочахъ. Все припоминалось ему какъ бы на зло его тяжелымъ стариковскимъ мыслямъ и недугамъ. И дни, и ночи, и даже цвѣтъ неба и воздуха — все живехонько ощущалось имъ точъ-въ-точъ какъ въ юности. Всѣ тропинки, буераки, кустарники, гдѣ они прошли хоть разъ, — все стояло, какъ живое.

— Господи, сохрани и помилуй!.. Эко что! Эко что! — сокрушался онъ, пряча голову подъ полшубокъ; но тамъ, во тьмѣ, голосъ Аннушки звучалъ такъ удивительно ясно, что жена Ивана непремѣнно должна была его слышать. Онъ робѣлъ этого голоса, опять въ удивленіемъ твердилъ себѣ: «Эко что! Эко, вѣдь!» и никакими силами не могъ прекратить воскресенія въ себѣ юношескихъ ощущеній. Только что ясно слышался голосъ Аннушкинъ, только что онъ отъ него оборонился — проснулось во всей силѣ ощущеніе безграничнаго довѣрія къ этой дѣвушкѣ, ощущеніе самаго радостнаго повиновенія ей, удовольствія повиноваться ей безъ малѣйшаго желанія захотѣть что-нибудь самому.

— Охъ, ты, Господи Боже мой! Вѣдь это что такое? — и онъ опять не могъ надвинуться на себя, старика съ больными ногами: что это съ нимъ творится?

Онъ ворочался подъ шубой, закрывая глаза, старался не думать, а Аннушка стоитъ передъ нимъ, какъ живая...

И вдругъ его взяла за сердце мучительная боль. Онъ понялъ, что заболѣло именно въ томъ мѣстѣ, куда декопъ сталъ проникать въ послѣднее время. Заболѣло въ этомъ самомъ горькомъ мѣстѣ, забо-

лѣло отъ воспоминаній, которыя чернѣе ночи. «Все узнала родители!» — рѣзнуло его, какъ ножомъ, по сердцу. А родители тогдашніе — самодуры и звѣри лютые... Идутъ бить и колотить каждый свое порожденіе... Колотятъ Ваньку, за волосы таскаютъ, о свадьбѣ слышать не хотятъ... Изъ дома, гдѣ живутъ Аннушкины родители, слышны раздражающіе душу вопли, точно давятъ кого-то за горло... Ваньку дерутъ въ правленіи за неповиновеніе, не говоря ни слова, отправляютъ въ Питеръ въ старшему брату въ полотеры... Аннушка не успѣла оглянуться, какъ уже оказалась повѣнчанною съ какимъ-то забуддыгою, который взялъ ее, зная грѣхъ. Звѣри-отцы, ненавидѣвшіе другъ друга, ѣли и срамили одинъ другого поѣдомъ...

Иванъ Алифановъ чувствовалъ, что слезы залили все его лицо подъ полшубкомъ. Какъ «опоенный», очутился онъ въ Петербургѣ, въ полотерной артели... Давно ли онъ былъ съ Аннушкой, а теперь она отъ него за тридцать земель, замужемъ за другимъ. Ей ему теперь не достать, совсѣмъ не видать — она ужъ чужая, не его.

И горькое мѣсто подъ сердцемъ, куда декопъ вносилъ что-то жгучее и волнующее, гдѣ онъ кипѣлъ, какъ капля воды, упавшая на горячую плиту, стало терзать Ивана Алифанова непрестанно; стала вспоминаться день за днемъ вся его каторжная жизнь. Не долго пробылъ онъ въ полотерахъ и въ состояніи полнаго отупѣнія. Злость ронялась въ немъ. Въ какомъ-то домѣ во время работы онъ стянулъ часы, пьянствовалъ недѣлю, попалъ въ тюрьму. Въ тюрьмѣ онъ онаглѣлъ, озвѣрѣлъ, не сталъ бояться ни Бога, ни чорта. Однако, по выходѣ изъ тюрьмы, нищета и строгія полицейскія преслѣдованія, гдѣ бы и въ какомъ бы городѣ или городишкѣ онъ ни появлялся (и въ деревню ему, острожнику, показаться было нельзя), заставили его ради насущнаго хлѣба, скрѣпя сердце, браться за самыя грязныя и тяжкія работы, хотя и за копѣечное вознагражденіе. Профессія дяди Акима была ему не чужда, ловля собакъ по ночамъ, служба въ ночныхъ извозчикахъ, служба въ такихъ притонахъ, гдѣ держатъ подозрительныхъ людей, — вотъ въ какихъ профессіяхъ прошли у него самые лучшіе годы жизни. Въ это время онъ научился пить съ горя, допивался не разъ до бѣлой горячки, а затѣмъ опять начиналъ шлѣться по темнымъ мѣстамъ, гдѣ принимали на службу и острожниковъ.

Вспоминая это время, Иванъ Алифановъ совершенно ясно убѣдился, что именно тогда-то у него и образовалась боль подъ сердцемъ, — та самая боль, которую теперь разжигалъ опять наново декопъ.

Жизнь его вѣроятно закончилась бы кончиною «человѣка неизвѣстнаго званія», который выплылъ изъ Невы, Оки или Волги послѣ ледохода, — конечно, безъ одежды и безъ документовъ — если бы у него не умеръ отецъ. Братья, жившіе хоршее дѣло въ Петербургѣ, не желая однако терять крестьянства, разыскали бродягу, обошлись ласково и уговорили ѣхать въ деревню. Обрадовался Иванъ этому предложенію, очутившись, точно воскресъ изъ мертвыхъ. Природный сильный умъ помогъ ему

опредѣлить свое будущее: общество не сдѣлаетъ его общественникомъ, не дастъ ему права голоса на сходкахъ, но землю на имя другихъ братьевъ дастъ, и онъ все-таки будетъ «жить», только жить на бѣломъ свѣтѣ, смотрѣть на бѣлый свѣтъ, никого не касаться и быть въ сторонѣ отъ всѣхъ. Больной, измученный, воротился онъ въ опустѣлый домъ (мать умерла давно, сестры были замужемъ) и сталъ жить такъ, что его почти не замѣчали. Не замѣтилъ никто, какъ онъ женился, взявши въ сосѣдней глухой деревнѣ работящую, молчаливую и довольно тупую дѣвушку. При теперешнемъ его настроеніи, то есть самомъ простомъ желаніи отстать отъ прошлаго и только жить на бѣломъ свѣтѣ, жить такъ, чтобы никто не трогалъ, не обижалъ, жить со всѣми и отъ всѣхъ въ сторонѣ—его жена, молчаливое, работящее и тупое существо, была ему какъ разъ подъ стать. Женился онъ на ней собственно «для хозяйства», какъ покупаютъ для хозяйства лошадь, корову, чтобы «жить»; онъ прибѣгнулъ, по примѣру многихъ крестьянъ, находящихся исключительно во власти суеты, къ браку, какъ къ самому практичному средству—воспользоваться «бабой», какъ рабочею силой, и привязать ее къ дому якобы супружескими отношеніями. И «баба» его была также въ тѣхъ покорныхъ своему бабѣму дѣлу существъ, которыя и подъ вѣнцомъ-то навѣрное ни о чемъ другомъ не думаютъ, кромѣ какъ о вопросахъ, касающихся рабочей суеты: «много ли горшковъ-то?.. Есть ли кашка для хлѣба?» Вотъ что постоянно занимало всѣ ея мысли, и такая узоръ ея мыслей была какъ разъ по душѣ Ивану Алифанову—съ этой бабой можно жить, работать, ѣсть, пить, и больше ничего она не потребуетъ.

Вотъ такъ и сталъ онъ жить, «лишь бы только жить на бѣломъ свѣтѣ». Пить пересталъ совершенно, стучалъ дома цѣлые дни топоромъ, поправляя разрушавшуюся постройку; самъ печи поправлялъ, крышу крылъ—словомъ, замкнулся ото всѣхъ въ своемъ домѣ. Понемногу, при пособіи братьевъ, онъ обзавелся лошадью, сталъ извозничать, возить съ вокзала и на вокзалъ, а также брался ѣздить и съ кладью. Жизнь его съ женою вся была построена на сознательномъ планѣ жить такъ, а не иначе, и онъ зналъ каждый шагъ и каждое слово, которые ему надобно сдѣлать или сказать, чтобы въ домѣ былъ порядокъ и чтобы баба не затруднялась недостаткомъ суеты и досуга. Нравственной связи между ними, кромѣ общей надобности жить на свѣтѣ, не было никакой—была связь необходимости, которую Иванъ Алифановъ и поддерживалъ весьма умно, умѣло и деликатно, особенно въ виду важнѣйшаго недостатка крестьянской семьи—отсутствія дѣтей.

Не меньше восьми послѣднихъ лѣтъ жилъ Иванъ Алифановъ такою тусклою, замкнутою въ самомъ себѣ жизнью: что заработаетъ, то истратитъ—вотъ было все содержаніе его ежедневнаго обихода жизни за всѣ эти годы. Заработаетъ рубль—зайдетъ въ лавку, возьметъ чаю, сахару, керосину, отвезетъ домой, отдохнетъ и опять ѣдетъ на заработокъ или работаетъ въ полѣ; а не хватитъ чего-нибудь—опять ѣдетъ на вокзалъ за работой и

иногда не бываетъ дома по недѣлямъ. Въ такомъ тускломъ видѣ представлялась Ивану Алифанову и вся его послѣдующая жизнь; и такой-то жизни онъ былъ радъ-радѣхонекъ послѣ всего пережитаго. Но тусклые годы шли, и прошлое, слава Богу, забывалось, уходило куда-то далеко, а настоящее также ничѣмъ не трогало...

И вдругъ настала неожиданная благодать урожая, а за нимъ и нежданнаго досуга. Все пережитое пошло изъ-подъ бремени ежедневной суеты суеты. Отозвались болѣзни, недуги, физическія искаженія; вспомнилась вся ужасная, черная, темная жизнь, весь этотъ мракъ сорокапятилѣтней маяты—и та единственная свѣтлая, удивительная радость жизни, которая связана была съ именемъ Аннушки, не могла не отзвѣтъ въ душѣ Ивана, когда весь онъ во всѣхъ отношеніяхъ, благодаря досугу, неожиданно оттаялъ. Аннушка воскресла въ его сердцѣ точь-въ-точь такая, какъ была, и такъ какъ именно съ ней связана вся его дальнѣйшая жизнь, такъ какъ отъ нея, черезъ нее и изъ-за нея произошло потомъ все, что было съ Иваномъ до настоящей минуты, то образъ Аннушки съ каждой минутой сталъ преобладать надъ всѣми воспоминаніями Ивана; она только одна стала неотступно владѣть всею его мыслию и одна только она наполняла теперь всю жизнь его дома. Онъ сталъ непрестанно ощущать присутствіе Аннушки во всѣхъ своихъ домашнихъ отношеніяхъ; она всегда была между нимъ и его женою и какъ бы настоящимъ хозяйкой дома.

— Ахъ, ты, Боже ты мой милостивый!—терзался онъ страшною болью, все больше и больше развивавшеюся подъ сердцемъ, въ «горькомъ мѣстѣ».

И весь этотъ день Иванъ Алифановъ не зналъ минуты покоя; проворочавшись подъ шубой до ужина и до третьей порціи декопу, онъ съ удовольствіемъ проглотилъ не двѣ уже, а три рюмки этого напитка, котораго уже жаждало все то же самое больное мѣсто подъ сердцемъ, и попыталъ опять заснуть. Но Аннушка не давала ему покою. Только что онъ, потолковавъ съ женою про хозяйство, сомкнетъ глаза—хватъ, Аннушка тутъ какъ тутъ.

Шубейка ея накинута на плечи, на головѣ красненькій платочекъ, а сама Аннушка целуетъ полсолнухи и, издали улыбаясь Ивану, ласково шепчетъ откуда-то издалека:

— Пымай меня!

— И пымаю!

— Ну, пымай, пымай!

— И пымаю!

Иванъ со всѣхъ ногъ бѣжитъ къ Аннушкѣ, а та стоитъ—не бѣжитъ, спокойно ѣстъ подсолнухи, не бѣжитъ. Но едва Иванъ хочетъ схватить ее за плечо, какъ она уже порхнула, какъ спугнутая птица, съ веселымъ смѣхомъ. Она порхнула вправо, показавъ Ивану сначала намѣреніе порхнуть влѣво, и стала путать его безъ милосердія. Вотъ она порхаетъ туда и сюда или вдругъ бросится на встрѣчу Ивану, мимо него, заставивъ его безъ оглядки пробѣжать въ пустое пространство. Иванъ запыхался, усталъ, кричитъ ей: «Постой, Анютка!

Дай я тебѣ что скажу!...» а Аннушка все порхааетъ. Наконецъ она какъ будто поддается; она будто боится, что Иванъ ее схватить, сломастъ; она защищается руками, пьтается къ забору, даже кричить... А Иванъ не сдается, не снисходить, онъ достигъ до Аннушки и «не пускаетъ».

— Какая такая Анютка у тебя завелась?

Суровымъ, непривычнымъ для Ивана голосомъ разбудила его жена, до сѣбѣ поднимавшаяся на работу.

— Какую такую Анютку поминалъ?—грозно и грубо повторила она.

Иванъ раскрылъ глаза, понялъ, что онъ во снѣ проболтался, «осерчалъ» на себя и въ первый разъ осерчалъ на жену.

— Во снѣ приснилось... Чего орешь-то!

— Анютка кака-то!

Грубый, неожиданный для Ивана идиотскій гнѣвъ, слышавшійся въ голосѣ его жены, въ первый разъ пробудилъ въ немъ какую-то къ ней неприязнь, и онъ мысленно въ первый разъ обругалъ ее и тотчасъ-же почувствовалъ, что въ «горькомъ мѣстѣ» прибавилась новая капля горя.

— Ну, чего тамъ? Знамо во снѣ!—грубо сказалъ онъ и замолчалъ.

Но новая капля горя опять съ новою силой воскресила въ немъ образъ Аннушки. Одна только она все свѣтлѣе и свѣтлѣе вырисовывалась въ воображеніи Ивана, какъ единственно радостное и благородное во всей его скверной, изломанной, мрачной жизни.

IV.

А та новая, жгучая капля горя, которая капнула въ «горькое мѣсто» послѣ пробужденія отъ грубаго окрика его жены и грубаго слова, которыми отвѣтилъ ей Иванъ, была капля далеко не маленькая. Свѣтъ Аннушкина образа, осіявшій его мысль и очистившій ее, осіялъ и его отношенія къ его женѣ Анисѣ, и онъ увидалъ, до какой степени онъ подлъ относительно этой женщины. Размягченное свѣтлыми воспоминаніями воображеніе какъ нельзя ярче отдѣлило теперешнюю его безсовѣстную жизнь съ Анисѣй. Взялъ онъ ее какъ скотину, старался о томъ, чтобы всякаго рода трудъ поглощалъ всю ея жизнь, жилъ съ ней какъ мужъ только для того, чтобы она ему повиновалась. Сразу онъ увидалъ, что онъ такой же подлецъ, какъ и тѣ изъ его односельчанъ, которые, желая жить въ Питерѣ и не желая давать заработки родителямъ, женятся только для того, чтобы при помощи закона приобрѣсти себѣ вѣчнаго раба и безпрекословнаго слугу: проживъ съ молодой женой недѣлю, много дѣтъ, такой человѣкъ, зная, что животная неосмысленная связь самая несомнѣнная и не-сокрушимая, уходилъ въ Питеръ, оставляя дома бабу, которая будетъ думать только о немъ цѣлыя годы, дни и ночи, будетъ жить въ ожиданіи его, въ ощущеніи, что надъ нею его воля. Деньги, которыя онъ будетъ присылать, она будетъ такъ прятать, что никакіе свекры и свекровки не разыщутъ ихъ, если даже сдерутъ съ нея шкуру. Вотъ именно та-

кой-то подлый, своекорыстный поступокъ, такое-то поруганіе надъ человѣкомъ совершилъ и Иванъ Алифановъ, и чувствовалъ онъ этотъ свой огромный грѣхъ самымъ жгучимъ образомъ. Подлъ и низокъ онъ былъ передъ этою кроткою работающею женщиной; ѣла его больную душу уже собственная своя подлость; не ему уже, а онъ сдѣлалъ безбожное дѣло съ человѣкомъ, и это новое горе дѣлало его въ собственныхъ глазахъ ничтожною, грязною и лживою тварью.

Но тотъ же свѣтлый образъ Аннушки, освѣтивъ совѣсть Ивана Алифанова, освѣтилъ ему и его жену. «Что за дубина!» думалъ онъ съ озлобленіемъ, одновременно терзаясь своимъ прошлымъ преступленіемъ. Непріятная сцена ночью пробудила въ этой хозяйственной машинѣ женщину, грубую, дику, нелѣпую. Не по днямъ, а по часамъ въ Анисѣ стала разгораться рычащая ревность, желая отомстить врагу всѣмъ, что можно было сдѣлать грубаго, безобразнаго, отъ чего-бы врагъ ошалѣлъ, съ ума спятилъ.

Она стала «пхать» горшками, ухватами; не одѣвалась, не умывалась; стала лаяться на все, на скотину, на печку, орала, распоясанная, среди двора:

— Анютку какую-то завелъ!.. День-деньской бьешься съ нимъ, съ подлецомъ...

— Ахъ дубина, дубина! Вотъ ужъ дьяволъ-то!—бѣсновался Иванъ Алифановъ, слыша этотъ лай, и въ то же время чувствовалъ себя кругомъ обманщикомъ, кругомъ виноватымъ въ безконечномъ оскорбленіи этой женщины.

Съ той минуты онъ поглощалъ декопъ рюмку за рюмкой, огрызаясь на жену, какъ звѣрь, и чувствовалъ себя погравяющимъ въ грѣхѣ. Начались дни безобразные; два звѣря очутились въ пустой берлогѣ, и Ивану Алифанову стало страшно.

Въ одну изъ минутъ крайняго ожесточенія на жену и крайняго безграничнаго сознанія своей низости онъ вдругъ какъ бы очнулся, опомнился. Онъ вспомнилъ, что давно ничего не дѣлаетъ, отдыхаетъ, и понялъ, что необходимо сейчасъ же, сію же минуту запретъ себя опять, опять вогнать себя въ непрерывную мятку труда, работы, ѣды и перевозки. Съ лихорадочною поспѣшностью, не думая о томъ, тотъ-ли теперь часъ, когда можно ждать прихода поѣзда, онъ, побуждаемый только жаждой спастись отъ гибели, торопливо запретъ въ сани (была уже зима) отдохнувшую лошаденку, одѣлся, какъ всегда, по-ямщицки, подпоясался и какъ ни въ чемъ не бывало сказалъ женѣ, что «въ случаѣ скоро не буду, стало-быть, кладь есть», и поспѣшно уѣхалъ на станцію.

Быстро выѣхавъ изъ воротъ на свѣжій морозный воздухъ, по пушистому снѣгу, на отдохнувшей, повеселѣвшей клячонкѣ, онъ почувствовалъ, что ему стало много легче, и онъ всячески старался удержать въ себѣ это облегченное состояніе духа, старался представить себѣ, что и въ самомъ дѣлѣ ничего не бывало.

«Бѣду молъ на станцію, думалъ онъ, стараясь опредѣлить собственное свое состояніе духа.—

Бду и больше ничего...» Но онъ съ тоскою чувствовалъ, что теперь хоть и то же все, повидимому, но далеко не то. Дома у него уже не то, что было; ему уже неприяно туда воротиться, къ этой грубой, озлобленной женщинѣ, передъ которою онъ кругомъ виноватъ и съ которой онъ поступилъ, какъ Іуда предатель.

И хотя онъ бодрился и храбрился, но никогда у него не было на душѣ такъ тяжело и мрачно, какъ въ этотъ разъ. Однако онъ, какъ и прежде, подкативъ къ вокзалу, привязалъ лошадь и, заткнувъ за поясъ кнутъ, помѣстился на платформѣ въ ожиданіи поѣзда. Скучно ему было до чрезвычайности; онъ съ отчаяніемъ видѣлъ, что жизнь его—холодная и тяжелая маята, и терялся въ тоскѣ невѣдѣнія: какъ ему выбраться изъ крошечнаго ада, въ которомъ онъ живетъ? «Работа!»—вотъ что говорила ему капля здраваго смысла, не отравленная еще декопомъ, который онъ сталъ пить въ послѣднее время безпрестанно, такъ какъ боль подъ сердцемъ перешла въ настоящее физическое страданіе, затихавшее на время только отъ сивухи. Если бы Богъ послалъ—думалось ему—хорошую, верстѣ за тридцать «путину» съ кладью, а на это пошло бы сутокъ двое, а по желанію и трое времени, такъ можно бы, пожалуй, и войти опять въ колею «маяты», да и баба бы позатихла, вынужденная сосредоточивать свои мысли на ожиданіи мужа, а не на злобѣ къ нему. И все это вѣроятно такъ бы и случилось, если бы судьба запрягла Ивана опять въ трудовую хомутъ. Этой запряжки могло не случиться сегодня и завтра, но она непременно бы случилась на третій, на четвертый день ожиданія, такъ какъ никакого иного выхода для огорченнаго деревенскаго человѣка нѣтъ; можетъ, правда, надъ нимъ въ такія трудныя минуты возобладаютъ кабакъ, но Иванъ, какъ видимъ, уже испугался своего положенія, уже напряженно стремился выйти изъ него, жаждалъ трудовой тяготы и непременно бы дождался ея, повинувшись только здравому смыслу, который въ немъ не умеръ и который не указалъ бы ему никакого иного исхода. Ничто въ строѣ народной, трудовой жизни не поддержало бы мечтаній Ивана объ Аннушкѣ, и образъ ея постепенно утратилъ бы весь тотъ ореолъ, т. е. всю эту «дурь», которою его окружило разстроенное воображеніе Ивана.

Такъ непременно бы и случилось, еслибы деревенская жизнь въ нашихъ мѣстахъ была только трудовая, хозяйственная, т. е. въ самомъ дѣлѣ деревенская. Но на дѣлѣ это уже далеко не такъ: желѣзная дорога, сдѣлавшая возможнымъ сношеніе деревни съ Петербургомъ и съ людьми всякаго не-крестьянскаго званія, сдѣлала возможнымъ вторженіе въ народную жизнь и явленій совершенно иного порядка жизни. Камера мирового судьи, устроенная близъ станціи, привлекла въ деревню вольнопрактикующаго адвоката. Торговые обороты привлекли множество всякихъ мелкихъ агентовъ, живущихъ не-крестьянскими интересами. Трактирщикъ долженъ выписать газету, листокъ; для починки интеллигентныхъ пиджаковъ

появился портной съ вывѣской, изображающей и ножницы, и фракъ. А тамъ, глядишь, невѣдомо откуда появилась афиша, извѣщающая, что съ дозволенія начальства, въ домѣ купца Брючаникова будетъ данъ спектакль: *Левъ Гурычъ Синичкинъ* и *Материнское благословеніе*, причемъ окажутся и актеры, и актрисы: акушерка, фельдшеръ, адвокатъ. Вторженіе городскихъ вкусовъ и привычекъ въ обиходъ чисто-крестьянской жизни сдѣлало возможнымъ для деревенскаго обывателя столкновеніе съ такого рода новыми, неожиданными для него явленіями, которыхъ деревня ему никогда бы дать не могла... Вотъ эта старуха-рыбница, которая аккуратно каждое утро пріѣзжаетъ со свѣжею рыбой на товарномъ поѣздѣ, «ни въ жизнь бы» не дала изъ своего заработка и пятачка на водку мужъ; каждую вырученную копейку она такъ спрячетъ въ своихъ юбкахъ и въ потаенныхъ карманахъ, что мужъ никогда эту копейку не отыщетъ, хоть все раздери на части... И вотъ эта-то скряга, наслушавшись въ «щелочку», что такое представляли на сценѣ въ домѣ купца Брючаникова, заплакала, разбѣжилась и стала каждый разъ тратить по тридцати копѣекъ, когда только идетъ спектакль. Съ пустою, послѣ проданной рыбы, корзинкою она проворно бѣжитъ въ бассу, роется въ своихъ юбкахъ, въ потаенныхъ карманахъ, вытаскиваетъ пятаки и копейки и беретъ билетъ на *Бѣдную невесту*... Идетъ изъ театра—плачетъ; ѣдетъ на четырехчасовомъ ночномъ поѣздѣ домой и всю дорогу рассказываетъ пьесу тормазному кондуктору, а въ шесть часовъ опять возвращается съ корзиною рыбы. Вотъ что сдѣлала со скрягой и змѣей подколодной (какъ всю жизнь именовалъ ее мужъ) случайности вторженія въ деревенскую глушь явленій иного строя жизни.

Одна изъ такихъ неожиданностей, совершенно неподходящихъ къ деревнѣ, нагрянула и на Ивана Алифанова. «Чувство», пробужденное въ немъ образомъ Аннушки, само бы собой угасло въ немъ, какъ «дурь», подъ вліяніемъ обиденной трудовой «маяты». Но случайность совершенно не-деревенскаго свойства сдѣлала возможнымъ, что пьяный, больной, старый мужикъ могъ, вмѣсто жадно жасаемой имъ «запряжки», неожиданно растаять отъ самыхъ нѣжныхъ чувствованій.

Тяжелый камень горя и тоски угнеталъ и душу, и мысль Ивана Алифанова, когда онъ стоялъ на платформѣ, ожидая поѣзда и долгой поѣздки съ кладью, которые избавятъ его отъ душевныхъ мукъ. Декопъ, выпитый въ значительномъ количествѣ, парвалъ у него подъ сердцемъ словно когтями. Онъ крѣпился, но маялся и съ нетерпѣніемъ ждалъ поѣзда. Наконецъ поѣздъ пришелъ. Извозчики бросились добывать себѣ пассажировъ. Иванъ Алифановъ также пошелъ къ толпѣ.

— Извозчикъ! окликнулъ его голосъ какой-то пискливой барыни,—есть тутъ гостинница съ номерами?

— Есть, сударыня! сурово отвѣтилъ Иванъ.—Только будетъ ли вамъ по вкусу?

Иванъ сказалъ такъ потому, что барыня была,

на его взглядъ (онъ видѣлъ всякую породу), довольно «форсистая»: огромный турнюръ, косички, опущенныя на лобъ, муфта, мѣшочекъ съ цѣпочкой, огромныя круглыя пуговицы на дипломатѣ и въ зубахъ папироска.

— Номера у насъ грязные, — прибавилъ Иванъ.

Форсистая барыня закурила новую папироску, бросила въ сторону окурковъ, потомъ почему-то вздохнула и сказала:

— Грязные?.. Ну, что жъ... Вези меня туда... Надо-жъ мнѣ куда-нибудь!

Сторожъ съ чемоданомъ, корзиной и узломъ съ подушками, завязанными въ красное шерстяное одѣяло, пошелъ впередъ за Иваномъ, а за ними, поминутно затягиваясь папироской и разсѣвая искры и дымъ, слѣдовала форсистая барыня.

— Боже мой! шептала она, — куда меня занесло?..

Какимъ образомъ, въ самомъ дѣлѣ, занесло сюда эту форсистую барыню? Что ей здѣсь нужно? Зачѣмъ она сюда попала? Кто она такая, наконецъ?

Отвѣтить на эти вопросы можно только единственно при помощи кухарки Степаниды, служащей у той петербургской хозяйки, у которой Олимпиада Петровна (такъ звали форсистую даму) нанимала комнату. Эта Степанида не разъ обращалась, по своей сердечной добротѣ, къ этой самой Олимпиадѣ съ такими словами:

— Ты, Ампида, смотри, будь поаккуратнѣй! Околодочный который разъ спрашиваетъ: «Какая такая у васъ дама безперечь то въ шестомъ, то въ седьмомъ часу домой приходитъ?.. Какими такими дѣлами занимается?» Вотъ что говорить-то! Ты подумай!

— Какое ему, дураку, дѣло? Вотъ еще новости: «Гдѣ я бываю!» Гдѣ хочу, тамъ и бываю!

— Ну, такъ ты вотъ какъ знаешь тамъ... А онъ ужъ сколько разъ къ дворнику пристава... «Чѣмъ, говорить, она живетъ?»

— Дуракъ какой!.. У меня билеты изъ нѣмецкаго клуба, какъ онъ смѣетъ?

— Ну, видно, смѣетъ... А я тебѣ говорю любя. Смотри!.. Дворникъ-то ужъ разовъ пять меня пыталъ о тебѣ... Гляди, какъ бы чего не было!

— У меня знакомые генералы. Ты скажи имъ, дуракамъ, это!

— Послушаютъ они тебя, какъ-же!

Много разъ Степанида предостерегала такимъ образомъ Олимпиаду Петровну, и та хоть «форсила» своими знакомствами съ генералами, но послѣ такихъ предостереженій обыкновенно дня по-три, почетыре оставалась дома, а потомъ опять получала билетъ въ клубъ. Въ виду же того, что урожай прошлаго года щедро наполнилъ всѣ самыя мельчайшія клѣтки бюджетныхъ таблицъ, досугъ, слѣлавшійся доступнымъ даже для деревни, принялъ въ Петербургъ, конечно, также соотвѣтственные размѣры; Олимпиада Петровна поэтому, не смотря на предостереженія Степаниды, два раза возвращалась на тройкамъ съ «компаніей» не раньше

семи часовъ утра и въ послѣдній разъ промчалась какъ разъ мимо того околотоchnаго, который допытывался у дворниковъ объ ея средствахъ жизни. Командуя и дирижируя цѣлою толпой дворниковъ и не менѣе значительною толпою какихъ-то снѣговыхъ кучъ, врытыхъ посреди улицы, околотоchnый этотъ остановилъ на Олимпиадѣ Петровнѣ такой взглядъ, отъ котораго у нея вся душа перевернулась.

Скоро, не больше какъ черезъ часъ, она поняла, что дѣло ея плохо.

— Говорила я тебѣ, вся красная отъ волненія, почти завопила Степанида, появляясь въ комнатѣ Олимпиады Петровны, вскорѣ послѣ ея возвращенія на тройкѣ, — говорила: берегись, оглядывайся!

— А что случилось?

— Случилось, что теперь тебѣ не будетъ больше ходу... Поставили у воротъ переодѣтаго... шагу тебѣ не дастъ сдѣлать... Куда ты ни сунься, вездѣ тебя найдутъ... И ужъ тогда прощай! Запишутъ!

Вѣроятно Олимпиада Петровна знала, что значитъ это слово. Только она испугалась, потомъ заплакала, потомъ позвала Степаниду и сказала:

— Какъ же мнѣ быть-то?

— Ты чего же думала-то? осердилась Степанида. — Раньше ты зачѣмъ моталась?.. Какъ быть!

Степанида сердилась на Ѳустопорожнюю бабенку, но, по добротѣ своей, не могла не думать о ней. И вотъ что она, наконецъ, придумала:

— Тебѣ бы убѣчь изъ Питера-то куда-нибудь...

— Куда-жъ я убѣгу? У меня денегъ-то нѣтъ.

— Ну, вещи заложь.

— Да куда?.. Куда уйти?

— А состройся куда-нибудь. Скройся ты въ деревню. Хоть бы къ намъ поѣзжай, пока они перестанутъ гоняться за тобой. Поѣзжай къ моей сестрѣ, у нея домъ свой... Верхъ свободный, лѣтомъ отдаетъ подъ дачу... Вокзалъ близко, все, что угодно, доставешь. Поѣзжай, поживи хоть до Рождества-то... Ахъ они и притихнутъ.

Подумала, подумала Олимпиада Петровна и рѣшила ѣхать. Степанида заложилась за нее, дала адресъ сестры, и вотъ Олимпиада Петровна очутилась на нашей станціи съ тѣмъ, чтобы потомъ поселиться у сестры Степаниды.

Лошадь Ивана Алифанова мчала форсистую даму съ ея багажемъ по какимъ-то сугробамъ и темнымъ закоулкамъ къ яркоосвѣщенному трактиру; а Олимпиада Петровна, оглядываясь кругомъ себя и не находя ровно ничего привычнаго ея глазу, привычному къ освѣщеннымъ столичнымъ улицамъ и вообще къ газовымъ рожкамъ, прошептала опять въ полномъ недоумѣніи:

— Куда это я попала? Боже мой!

Наконецъ сани остановились у трактира.

У.

— Худо вамъ будетъ здѣсь! сказалъ Иванъ Алифановъ форсистой барынѣ, когда они по грязной и узкой лѣстницѣ поднимались во второй

этаж трактира въ номера. Номеръ былъ грязенъ, малъ, но жарко натопленъ. Непривлекательность номера, повидимому, не удивила Олимпиаду Петровну, она быстро раздѣлась, и хотя Иванъ Алифановъ увидѣлъ въ ней то, что называется «щепкой», но почувствовалъ, что есть около нея какое-то незаконное вѣяніе, что-то даже нужное человѣку, во всѣхъ смыслахъ расторопному. И поэтому, когда Олимпиада Петровна тотчасъ же послѣ того, какъ раздѣлась, еще не рассчитываясь съ Иваномъ, потребовала себѣ бутылку пива, онъ, Иванъ, понялъ, что это именно такъ и быть должно, и почувствовалъ, что въ этомъ поступкѣ есть что-то и къ нему подходящее.

— Отъ груди пью, грудью страдаю! — сказала Олимпиада Петровна, опоражнивая стаканъ, и, наливъ другой, подала его Ивану.

— Выпей!.. Ты тоже озябъ.

Иванъ, когда-то сильно запивавшій, боялся пива, которое его всегда сваливало съ ногъ, а съ нѣкотораго времени онъ сталъ побаиваться и своего «декопа», который, очевидно, тянетъ его къ чему-то недоброму; сегодня онъ выѣхалъ на станцію исключительно для того, чтобы привести себя въ порядокъ, но незаконная атмосфера, существовавшая около форсистой барыни, заразила и его — и онъ залпомъ выпилъ стаканъ.

И этотъ стаканъ пива опять попалъ туда же, подъ сердце, въ самое больное мѣсто.

— Посиди! — словно давнишнему знакомому, по-приятельски сказала форсистая особа. — Мнѣ спросить надо у тебя... Пусть лошади подождутъ... Я вѣдь одна тутъ, никого не знаю.

И Иванъ Алифановъ присѣлъ. Съ ногами забралась на диванъ и Олимпиада Петровна, обнаруживая ровные башмаки.

— Скажи корридорному, чтобы далъ еще бутылку. Грудью страдаю... Пока изъ аптеки лекарство не возьму, хоть пивомъ... Аптека есть?

— Есть аптека, какъ-же.

— Ну, такъ ты мнѣ потомъ возьмешь... Налей себѣ стаканъ.

И опять Иванъ налилъ себѣ стаканъ, и опять онъ почувствовалъ, что пиво поведетъ его не къ добру, но что противиться этому почему-то уже нельзя.

— Доктора совѣтуютъ дышать деревенскимъ воздухомъ, — сказала Олимпиада Петровна.

И стала врать дальше.

— Лечи не лечи, съ горечью говорила она, дымя напирисой, — ничего не будетъ! Разъ надорвали мое сердце... какія тутъ лекарства?

И опять она выпила пива. И Иванъ также выпилъ еще.

— Въ меня былъ влюбленъ (да и сейчасъ онъ меня забыть не можетъ) богатый, красивый гусаръ. Злые люди разстроили, насильно его женили, отняли отъ меня... Вотъ я и больна... чего тутъ лечить? Я забыть его не могу! Каждую почту писать... Онъ сюда прѣдетъ потихоньку отъ жены... «Если ты, говорить, не допустишь меня повидаться, такъ я застрѣлюсь».

И опять позвали корридорнаго и выпили пива.

Иванъ Алифановъ сталъ глубоко вздыхать и пьянѣлъ отъ пива такъ, какъ не пьянѣлъ еще отъ декопа.

— Нѣтъ! воскликнула Олимпиада Петровна, бѣгая на диванъ и сопровождая свои рѣчи выразительными движеніями руки съ напирисой, — нѣтъ, разъ человѣкъ полюбилъ, онъ вѣкъ этого не забудетъ!.. За меня сколько жениховъ сватаюсь, а я не могу! Пускай я умру, а не разлюблю его... Я его люблю и такъ и умру съ этимъ!

Иванъ Алифановъ не зналъ, что Олимпиада Петровна объявила уже о своей грудной болѣзни лавке на Любаньской станціи, который поэтому потихоньку принесъ ей въ пустую комнату первого класса рюмку коньяку и буттербродъ со свѣжею икрой; не зналъ онъ, что кондукторъ поѣзда, заразившись атмосферой чего-то привлекательно-беззаконнаго, пересадилъ ее изъ третьяго класса въ отдѣльное купе второго и принесъ ей туда двѣ бутылки пива и стаканъ. Не зналъ этого Иванъ и не замѣчалъ, что языкъ Олимпиады Петровны какъ будто бы иногда спотыкается. Онъ только неотразимо чувствовалъ, что въ его положеніи ему не найти лучшей компаніи, что всѣ слова Олимпиады Петровны есть именно тѣ самыя, которыя какъ разъ подходятъ къ его сумбурному душевному настроенію. Онъ хорошо понималъ, что такая это за фигура передъ нимъ: она такая же заваливающая, какъ и онъ самъ, что ему не слѣдовало бы «чувствовать» чего-нибудь насчетъ Аннушки, но Аннушкинъ образъ былъ въ немъ, и рѣчи Олимпиады Петровны воскрешали его, выдвигали его опять на первый планъ, затемняя имъ здравую мысль объ исцѣленіи себя трудомъ. Онъ зналъ, что мысли его незаконны и что передъ нимъ сидитъ также незаконница, но въ то же время зналъ, что все это незаконное необходимо ему теперь.

— Сударыня, барышня! сказалъ онъ, видя, что бутылки пусты, и не желая прекратить ни бесѣды съ незаконницей, ни своихъ незаконныхъ мыслей, — дозвольте и мнѣ поставить бутылочку четиры, а?.. отъ мужика? Мужикъ тоже душа христіанская.

— Чѣмъ же мужикъ хуже другихъ?

— Вѣрно! Ну, вотъ, благодаримъ!

Появилось Иваново пиво. Олимпиада Петровна не брезгала и не отказывалась отъ компаніи.

— Все мнѣ одной-то скучнѣй. А тутъ хоть слово съ кѣмъ сказать.

— Вѣрно, вѣрно это...

— Что же я одна-то? Ну, что я безъ него?.. Вотъ и деньги у меня есть, восемьсотъ двадцать пять рублей въ годъ получаю. Отцовская пенсія. Полковникъ отецъ мой былъ, извѣстный. А что мнѣ въ нихъ? Такъ вотъ маешься одна, безъ пристанища... Нѣтъ, ужъ коли разъ полюбишь...

Иванъ Алифановъ зналъ, что такихъ словъ онъ даже «не смѣетъ» слышать, что это грѣхъ и подлость съ его стороны, но не могъ сопротивляться удовольствію незаконныхъ размышленій и ощущеній и начинавшимъ путаться языкомъ говорить:

— Вѣрно! вѣрно это!

— И развѣ можно жить безъ любви? Вѣдь, ужъ ежели человѣкъ тебѣ по сердцу, то только съ такимъ человѣкомъ и жить. Изъ-за чего-же больше? Деньги! Да наплевать мнѣ на деньги безъ того, кого я люблю.

— Ах-хъ!—вдыхая до глубины самого большого мѣста подъ сердцемъ, почти стоналъ Иванъ, чувствуя слабость своихъ беззаконныхъ томленій.

Олимпиада Петровна поняла, что рѣчи ея дѣйствуютъ на мужика, и продолжала ихъ неумолчно въ томъ же самомъ направленіи, покуда весь столъ не заставился бутылками и покуда она не заснула тутъ же на диванѣ, не раздвѣваясь.

Иванъ Алифановъ, шатаясь, подошелъ къ столу, загасилъ пальцемъ салыный огарокъ свѣчки, чтобы не было пожара, и, спотыкаясь, сталъ спускаться съ лѣстницы. Было уже довольно поздно; вся деревня спала. Лошадь Иванова взябла и тонталась съ ноги на ногу. Иванъ ввалился въ сани и пустил лошадь: «иди, куда хощь», а самъ только и думалъ: «вѣрно! вѣрно!» И Аннушка опять одна владѣла всею его мыслью. Все было скверно, и самъ онъ скверенъ, и въ домѣ у него тоска, и вся жизнь его одинъ мусоръ, и жена съ своими горшками одно безобразіе, — все, что онъ пережилъ и чѣмъ теперь жилъ, все одна сплошная подлость, а вотъ Аннушка—вотъ это настоящее! Это вотъ, дѣйствительно, душа; она только одна и есть во всей его жизни сокровище, солнце, сіяніе. «Если бы съ нею-то, все бы было не такъ, все бы было Богъ знаетъ какъ хорошо!»

И съ этого беззаконнаго вечера Иванъ Алифановъ ознакомился съ совершенно неожиданнымъ для него душевнымъ настроеніемъ: самымъ нѣжнымъ мечтаніемъ объ Аннушкѣ. Онъ вовсе не пытался ее разыскать, увидать, поговорить—нѣтъ, онъ чувствовалъ, что ему довольно нѣжныхъ мечтаній, что Олимпиада Петровна хорошо надумила его заняться этими нѣжными мыслями, но зналъ, что безъ пива, безъ постоянного опьянѣнія все это разлетится въ дребезги, и онъ окажется по малой мѣрѣ въ дуракахъ. И онъ непрерывно пилъ, постоянно торчалъ у Олимпиады Петровны, постоянно вдыхалъ, слушая ея разсужденія о чувствахъ. Съ сотворенія міра не было сказано въ нашей деревнѣ такого количества словъ о «чувствахъ», какое наболтала въ самое короткое время Олимпиада Петровна въ компаніи съ развѣжничавшимся мужикомъ. Для развѣжившагося мужика эта болтовня была какъ бы музыкою, совершенно не напоминавшею ему ни о чѣмъ пережитомъ, и подъ аккомпаниментъ этой музыки онъ пилъ и пилъ, и скоро впалъ въ состояніе безсознательнаго запоя.

IV.

Деревенскія новости, сообщавшіяся мнѣ встрѣчными и поперечными деревенскими жителями во время моихъ зимнихъ поѣздокъ въ деревню, донесли до меня вѣсти и о несчастіи, случившемся съ Иваномъ Алифановымъ. Вѣсть, что Иванъ началъ

пьянствовать, положительно поразила меня: я не зналъ во всей деревнѣ другого такого крестьянина, вся жизнь котораго шла бы такъ исключительно по указанію ума, по строго обдуманному плану, какъ шла жизнь Ивана; сдержанность въ каждомъ словѣ, ни лишняго шага, ни ненужнаго поклона, ни навязчивости,—все это рѣшительно выдѣляло его въ толпѣ деревенскихъ людей, повинующихся требованіямъ ежедневной нужды и постоянно ею помываемыхъ. Иванъ, какъ мнѣ всегда казалось, жилъ съ какою-то твердо намѣченною цѣлью,—словомъ, зналъ, зачѣмъ жить, и зналъ, какъ ему справиться и какъ разобраться. И вотъ этотъ-то, безспорно умный, съ сильною волей человѣкъ вдругъ запьянствовалъ и съ каждымъ днемъ сталъ терять образъ и подобіе даже простого деревенскаго человѣка. Каждый пріѣздъ я узнавалъ про него что-нибудь новое, и все неожиданнѣе, и все хуже: то говорили—пѣть и жену бить; затѣмъ толковали о какой-то «петербургской пьяницѣ», съ которою онъ связался; плели о томъ, что бросилъ жену и пропиваетъ все имущество съ барыней; затѣмъ пошли вѣсти о дракахъ съ желѣзнодорожными служащими, съ волостными властями. Разоренье, распродажа по самой ничтожной цѣнѣ всего имущества, до послѣдней порохинки, какъ своего, такъ и женинаго, и все это слѣдовало съ необыкновенной быстротой; бѣдная, брошенная Анисья ходила по деревнѣ безпріютная, оборванная, жаловалась начальству на петербургскую «барыню», вопіяла о своемъ пропитомъ имуществѣ, а Иванъ Алифановъ не переставалъ сгорать на огнѣ, не стыдился даже просить у прохожаго на выпивку, срывъ шанку. Видѣть его было ужасно. Онъ, пьяный, уже еле таскалъ больныя ноги, а лошади не было давно; рваный, ободранный, съ опухшимъ, безмысленнымъ лицомъ, носившимъ признаки близкой смерти, онъ былъ ужасенъ. Говорить съ нимъ не было возможности,—онъ ничего не понималъ, только хрипѣлъ: «водочки!».

Нельзя было сомнѣваться въ его близкой кончинѣ, и, пріѣхавъ въ деревню постомъ, послѣ того какъ я не былъ въ ней мѣсяца два, я вполнѣ былъ увѣренъ, что кости Ивана давно уже лежатъ въ сырой землѣ. Ни на станціи, ни на улицѣ уже не встрѣчалась его пьяная фигура. Въ его домѣ, съ пустымъ дворомъ и воротами, снятыми и пропитыми, было мертво, пусто и темно. Страшно было взглянуть на это еще недавно жилое мѣсто, какъ бурей разметанное по вѣтру злымъ духомъ—русскою сивухой. Я не пытался даже и спрашивать объ Алифановѣ, зная, что онъ уже давно забытъ и забыта его, занесенная снѣгомъ, могила. Но исторія, случившаяся съ нимъ и такъ меня, да и всю деревню удивившая и интересовавшая, прошла въ жизни деревенскихъ жителей не безслѣдно, и они, какъ оказалось, гораздо больше, чѣмъ я, слѣдили за Иваномъ Алифановымъ.

— А вѣдь Ванька-то Алифановъ поправляется помаленьку!—сказалъ мнѣ по собственному своему желанію одинъ изъ мѣстныхъ крестьянъ, и прибавилъ очевидно заинтересованный этимъ удиви-

тельными дѣломъ:—Оживаетъ, вѣдь, съизнова! Вотъ! вѣдь, что Господь творитъ!

Это извѣстіе о воскресеніи изъ мертвыхъ чело-вѣка, ясно обреченнаго на смерть и могилу, до такой степени меня обрадовало и умилило, что я самымъ искреннимъ образомъ принялъ объясненіе необыкновеннаго дѣла, сдѣланное крестьяниномъ.

— Да, сказалъ я, — истинно, братъ, это ужъ дѣло Господнее!.. Это ты вѣрно говоришь!

— И чисто Господнее, напримѣръ, опредѣленіе. А то-бы ему окончательно пропасть надо! Да какъ-же? Послушайко-сь, какъ дѣло-то вышло.

И затѣмъ частью изъ разсказа этого крестьянина, частью изъ другихъ случайныхъ толковъ и пересудовъ со встрѣчными и поперечными стало мнѣ извѣстнѣе удивительное дѣло воскресенія Ивана изъ мертвыхъ. Господь, который далъ намъ урожай, досугъ, отдыхъ и поправку, награждалъ насъ, по непостижимой своей премудрости, и трескучими морозами. Морозы въ нынѣшнемъ году и въ концѣ прошлаго года бывали крѣпкіе и лютые. Случаи замерзанія были весьма нерѣдки въ эту зиму, и между прочими жертвами дѣдушки-мороза едва-едва не оказался и Иванъ Алифановъ. Во вьюжную, трескучую ночь, возвращаясь, еле живой, изъ кабака въ свой разоренный домъ, Иванъ Алифановъ, сбитый съ ногъ вѣтромъ, повалился къ подворотнѣ чьего-то дома и, не имѣя силъ встать, покорно отдался во власть вьюгъ и морозу. Стало заносить его снѣгомъ, заживо наносившимъ надъ нимъ бѣлый могильный курганъ. Стало Ивану тепло и мягко, и онъ навѣрное заснулъ бы на вѣки, если-бы Господь, покаравъ его за грѣхи (такъ потому сообразилъ Иванъ) «досугомъ» и урожаемъ, не пожелалъ и помиловать его уже морозомъ. На полумертваго Ивана натолкнулся мѣстный лавочникъ, возвращавшійся изъ какой-то поѣздки; онъ жилъ въ томъ самомъ домѣ, у воротъ котораго умиралъ Иванъ. Раскопавъ почти засыпаннаго снѣгомъ чело-вѣка, онъ стащилъ его къ себѣ въ кухню, отогрѣлъ и препроводилъ утромъ къ женѣ.

Иванъ былъ живъ, но почти въ безсознательномъ состояніи; лежа въ своей разоренной избѣ подъ грудой какихъ-то лохмотьевъ, которыя удалось кое-откуда набрать Анисѣ, онъ долго не понималъ, что такое съ нимъ творится и гдѣ онъ находится. Анисья привела фельдшера, который разрѣшилъ ей давать Ивану немного водки (онъ по себѣ зналъ, что нельзя «прерывать сразу») и нашелъ, что Иванъ сильно отморозилъ руки. Иванъ пока не понималъ своего положенія: онъ спалъ подолгу, безсиленнымъ сномъ, а открывъ глаза, глядѣлъ ими, но не думалъ. Мысль проснулась въ немъ только тогда, когда онъ попробовалъ пошевелить руками... Пальцы ему не повиновались; ихъ какъ-бы не было.

«Безъ рукъ остался!» — мелькнуло въ головѣ Ивана, и ужасъ охватилъ все его существо. Онъ не въ могилѣ, онъ живъ, но никогда онъ не былъ такъ одинокъ и совершенно отдѣленъ отъ всего свѣта, какъ теперь, когда у него не владѣютъ руки. Небо видно въ окно; люди ходятъ по улицѣ, живутъ, ра-

ботають, земля-матушка, лежащая теперь подъ снѣгомъ, скоро растаетъ и зацвѣтетъ, но все это не для него, онъ оттолкнутъ отъ всего этого, онъ не можетъ теперь войти со всею этою прелестью ни въ какую связь, ни въ какія отношенія. Будетъ расти трава, рожь—Иванъ не будетъ косить и возить снопы; онъ не будетъ ни запрагаты, ни отпргаты, ни вхаты. Что будетъ дѣлать при немъ Анисья безъ хлѣба, безъ сѣна, безъ скотины? Будь руки—это основаніе всей жизни Ивана—и опять бы было все... Но нѣтъ рукъ и ничего не будетъ, и Анисья уйдетъ въ работницы, и никому онъ не нуженъ—ни поле, ни лѣсъ, ни лугъ не нуждаются въ немъ, отталкиваютъ его отъ себя.

Вотъ въ какую могилу попалъ этотъ живой мертвецъ! И изъ этой могилы жизнь стала казаться ему въ самыхъ чарующихъ образахъ. Какъ все было удивительно хорошо, пока онъ не очутился въ этой могилѣ—рай былъ, а не жизнь! И прежде всего въ немъ быстро возникла и созрѣла пламенная любовь къ женѣ. Сразу онъ припомнилъ всѣ восемь лѣтъ ея трудовой жизни съ нимъ, скромной, молчаливой, и она, ненавистная недавно Анисья, явилась передъ нимъ какъ ангелъ-хранитель. Какъ-бы можно съ ней жить, съ такою работающею, тихою бабой!.. Какъ-бы съ ней хорошо работать въ полѣ и какъ хорошо въ домѣ!.. Онъ заливался слезами, просилъ у Анисьи прошенія, умолялъ фельдшера лечить ему руки. Только-бы что-нибудь осталось, только-бы можно было за что-нибудь ухватиться, т. е. какъ-нибудь опять пристать къ труду, и тогда ужъ онъ ко всему опять пристанетъ и присоединится, и все, что ни есть вокругъ него,—все ему надо, все ему подходитъ и со всѣмъ онъ въ связи... И небо и земля, и дождь и снѣгъ, и люди и животныя—все теперь опять вошло съ нимъ въ связь, и онъ опять въ связи со всѣмъ твореніемъ Божиимъ.

— Р-рради Христа, Царя Небеснаго! — рылая какъ ребенокъ, умолялъ онъ фельдшера, съ трудомъ поднимая свои обмотанныя тряпками руки.—Хоть два-бы пальца!.. Анисьюшка, не покинь ты меня!

Фельдшеръ мазалъ ему чѣмъ-то больныя руки, но говорилъ, что надобно лечь въ больницу; не было денегъ отвезти Ивана въ городъ и ждалъ отъ родственниковъ изъ Петербурга. А въ ожиданіи этихъ денегъ въ Иванѣ съ страшною силой обновлялась жажда къ жизни. Все ему казалось очаровательнымъ, благословеннымъ отъ Бога, — такимъ, лучше котораго ничего не можетъ быть; каждая соломинка, точно драгоценное золото, сокровище, рисовалась въ его воображеніи, мечтавшемъ о счастіи труда въ полѣ, въ лѣсу, въ домѣ... И Анисья, эта связь неразрывная со всею прелестью рисовавшейся Ивану жизни, съ каждою минутой принимала въ его глазахъ все большую и большую цѣну... Драгоценная, даже неоцѣненная была для него эта Анисья.

— Батюшки мои милые! Родимые мои, спасите меня. Сохраните меня на бѣломъ свѣтѣ! — изнеможенный, еле-еле питавшійся и постоянно обливавшийся слезами отъ сознанія неисчерпаемаго горя

быть живымъ въ жизни, поминутно вопіялъ Иванъ Алифановъ на всю свою пустую избу и наконецъ былъ-таки отправленъ въ больницу.

— И это именно Господь его спасъ! толковали деревенскіе обыватели, разбирая неожиданный фактъ воскресанія Ивана. — Именно изъ доброты своей Господь руки ему отморозилъ, а не что прочее, потому руки-то—весь нашъ капиталъ. У насъ во всемъ наши руки... Вотъ какъ Ванька-то увидалъ, что у него руки-то, храни Богъ, пропадутъ, такъ откуда и разсудокъ опять взялся. «Лучше-бы я замерзъ, говорить, чѣмъ если жить придется безрукому!» А я ему говорю: «Это тебя Господь хотѣлъ образумить, дурака!» — «Винюветъ, говорить, я передъ Богомъ въ гордости моей!» Поглядитъ, поглядитъ на лапы-то, зальется слезами. «Что я безъ рукъ-то? Ни косить, ни пахать, ни лошадей запрячь, ни воды принести—ничего!» Подыметъ етакъ къ небу свои завертки, молитъ Бога: «Хоть сколько-нибудь сохрани, Господи, чтобы чѣмъ-нибудь взяться можно было — я ужъ какъ-нибудь изловчусь...» Господь-то именно напужалъ его не даромъ, потому что руки самое есть первое дѣло въ нашемъ положеніи.

— И что-же, подживаютъ?

— Фельдшеръ сказывалъ, что говорить, по три конца на каждой рукѣ надобно оторвать. Отрѣжутъ по суставу на трехъ пальцахъ, ну, а впрочемъ останется еще по два сустава на пальцахъ... Ничего обойтись можно! Вотъ Богъ-то!.. «Дай-ка я тебѣ пригрожу, будешь-ли ты фордыбачить? Какъ оставлю безъ рукъ, такъ и подумаешь молъ о своей жизни!..» И думаетъ: «И что только это мнѣ взбрело, псу?» А Анисья перевязываетъ ему лапы-то и ужъ не промолчить: «Ишь, дохвтался... Любишь Анютку-то лапками хватать... Попробуй-ка, похватай теперича. Лежитъ, песъ, тише воды, ниже травы!» — «Прости, говорить меня, подлеца! Подруга ты моя законная! Кормилица ты моя!» Понимать сталъ! Нѣтъ, ничего, слава Богу, очувствуется... Опять помаленьку... какъ-нибудь... жить будетъ!

— Ну, а та?

— Петербургская-то пьяница? Уѣхала, должно быть, куда... Слава Богу, хоть Ванька-то уцѣлѣлъ... И за то Бога благодарить надо!

Глубоко обрадовали меня эти вѣсти, и я съ удовольствіемъ жду той минуты, когда Алифановъ придетъ ко мнѣ, покажетъ свои руки и съ удовольствіемъ скажетъ:

— Вѣдь только Богъ спасъ, а то бы гнилъ я давно въ землѣ.

Не думаю я, чтобы съ Алифановымъ могло случиться что-нибудь подобное еще разъ: рѣдки у насъ урожан и рѣдко балуютъ они человѣка такими просторнымъ досугомъ.

XIV. «Выпрямила».

(Отрывокъ изъ записокъ Тяпушкина.)

I.

«... Кажется, въ *Дымъ* устами Потугина И. С. Тургеневъ сказалъ такіе слова: «Венера Милосская *несомнѣнно*» принципъ восемьдесятъ девятого года». Что же значить это загадочное слово *несомнѣнно*? Венера Милосская несомнѣнна, а принципы сомнѣнны? И есть ли наконецъ что-нибудь общаго между этими двумя сомнѣнными и несомнѣнными явленіями?

Не знаю, какъ понимаютъ дѣло «знатоки», но мнѣ кажется, что не только «принципы» стоятъ на той самой линіи, которая заканчивается «несомнѣннымъ», но что даже я, Тяпушкинъ, нынѣ сельскій учитель, даже я, ничтожное земское существо, также нахожусь на той самой линіи, гдѣ и принципы, гдѣ и другія удивительныя проявленія жаждущей совершенства человѣческой души, на той линіи, въ концѣ которой, по нынѣшнимъ временамъ, я, Тяпушкинъ, вполне согласенъ поставить фигуру Венеры Милосской. Да, мы всѣ на одной линіи, и если я, Тяпушкинъ, стою быть можетъ на самомъ отдаленнѣйшемъ концѣ этой линіи, если я совершенно непримѣтенъ по своимъ размѣрамъ, то это вовсе не значить, чтобы я былъ сомнѣннѣе «принциповъ» или чтобы принципы были сомнѣннѣе Венеры Милосской; всѣ мы, я, Тяпушкинъ, принципы и Венера,—всѣ мы одинаково *несомнѣнны*, т.-е. моя тяпушкинская душа, проявляя себя въ настоящее время въ утомительной школьной работѣ, въ массѣ ничтожнѣйшихъ, хотя и ежедневныхъ, волненій и терзаній, наносимыхъ на меня народною жизнью, дѣйствуетъ и живетъ въ томъ же самомъ несомнѣнномъ направленіи и смыслѣ, которыя лежатъ и въ несомнѣнныхъ принципахъ и широко выражаются въ несомнѣнности Венеры Милосской.

А то, скажите пожалуйста, что выдумали: Венера Милосская несомнѣнна, «принципы» уже сомнѣнны, а я, Тяпушкинъ, сидящій почему-то въ глуши деревни, измученный ея настоящимъ, опечаленный и поглощенный ея будущимъ — человѣкъ, толкующій о лаптахъ, деревенскихъ кулакахъ и т. д., — я-то будто-бы ужъ до того ничтоженъ, что и мѣста на свѣтѣ мнѣ нѣтъ!

Напрасно! Именно потому-то, что я вотъ въ ту самую минуту, когда пишу это, сижу въ холодной, по всѣмъ угламъ промерзшей избѣнкѣ, что у меня, благодаря негодяю-старостѣ, развалившаяся печка набита сырыми, шипящими и распространяющими угаръ дровами, что я сплю на голыхъ доскахъ подъ рванымъ полушубкомъ, что меня хотятъ «поѣдомъ съѣсть» чуть не каждый день—именно потому-то я и не могу да и не желаю устранить себя съ той самой *линии*, которая и черезъ принципы, и черезъ сотни другихъ великихъ явленій, благодаря которымъ выросъ чело-
вѣкъ, приведетъ его, быть можетъ, къ тому со-

вершенству, которое дает возможность чутъ Венера Милосская. А то, извольте видѣть: «тамъ молъ красота и правда, а тутъ, у васъ, *только* мужицкіе лапти, равные полшубки да блохи!» Извините!...

Все это я пишу по слѣдующему, весьма неожиданному для меня обстоятельству; былъ я вчера, благодаря масляницѣ, въ губернскомъ городѣ, частью по дѣламъ, частью за книжками, частью по-смотреть, что тамъ дѣлается вообще. И, за исключеніемъ нѣсколькихъ дѣльно занятыхъ минутъ, проведенныхъ въ лабораторіи учителя гимназіи, — минутъ, посвященныхъ наукѣ, разговору «не отъ міра сего», напоминавшему монашескій разговоръ въ монашеской кельѣ, все, что я видѣлъ за предѣлами этой кельи, по истинѣ меня растерзало; я никого не осуждаю, не порицаю, не могу даже выражать согласія или несогласія съ убѣжденіями тѣхъ лицъ «губерніи», губернской интеллигенціи, которую я видѣлъ, нѣтъ! Я изнылъ душой въ какихъ-нибудь пять, шесть часовъ пребыванія среди губернскаго общества именно потому, что не видѣлъ и признаковъ этихъ убѣждений, что вмѣсто нихъ есть какая-то печальная, плачевная необходимость увѣрять себя, всѣхъ и каждого въ невозможности быть сознающимъ себя человекомъ, въ необходимости дѣлать огромныя усилія ума и совѣсти, чтобы построить свою жизнь на явной лжи, фальши и риторикѣ.

Я уѣхалъ изъ города, ощущая огромный кусокъ льду въ моей груди; ничего не нужно было сердцу и умъ отказывался отъ всякой работы. И въ такую-то мертвую минуту я былъ неожиданно взволнованъ слѣдующей сценой:

— Поѣздъ стоитъ двѣ минуты! второпяхъ, пробѣгая по вагонамъ, возвѣстилъ кондукторъ.

Скоро я узналъ, отчего кондукторъ долженъ былъ такъ поспѣшно пробѣгать по вагонамъ, какъ онъ пробѣжалъ: оказалось, что въ эти двѣ минуты нужно было посадить въ вагоны третьяго класса огромную толпу новобранцевъ послѣдняго призыва изъ нѣсколькихъ волостей.

Поѣздъ остановился; былъ пятый часъ вечера; сумракъ уже густыми тѣнями легъ на землю; свѣтъ большими хлопьями падалъ съ темнаго неба на огромную массу народа, наполнявшую платформу: тутъ были жены, матери, отцы, невѣсты, сыновья, братья, дядя — словомъ, масса народа. Все это плакало, было пьяно, рыдало, кричало, прощалось. Какіе-то энергическіе кулаки, какіе-то поднятые локти, жесты пихающихъ рукъ, дружно направленные на массу и среди массы, сдѣлали то, что народъ валилъ на вагоны какъ испуганное стадо, валился между буферами, бормоча пьяныя слова, валился на платформѣ, на тормазѣ вагона, дѣвъ и падалъ, и плакалъ, и кричалъ. Послышался трескъ стеколъ, разбиваемыхъ въ вагонахъ, биткомъ набитыхъ народомъ; въ разбитыя окна высунулись головы, растрепанные, разрѣзанные стекломъ, пьяныя, заплаканныя, хрипыми голосами кричавшія что-то, вопившія о чемъ-то.

Поѣздъ умчался.

Все это продолжалось буквально двѣ, три минуты; и это потрясающее «мгновеніе» во истину потрясло меня; точно огромный пластъ сырой земли былъ оторванъ невѣдомою силой, оторванъ какимъ-то гигантскимъ плугомъ отъ своего исконнаго мѣста, отодранъ такъ, что затрепали и оборвались живые корни, которыми этотъ пластъ земли приросъ къ почвѣ, оторванъ и унесенъ невѣдомо куда... Тысячи извъ, семей представились мнѣ какъ-бы ранеными, съ оторванными членами, предоставленными собственными средствами залечивать эти раны, «справляться», заращивать раненныя мѣста.

Умышленное «заговариваніе» хорошими словами душевной неправды, умышленное стремленіе не жить, а только соблазны обличья жизни — впечатлѣніе, привезенное мною изъ города, — слившись съ этой «сущей правдой» деревенской жизни, мелькнувшей мнѣ въ двухминутной сценѣ, отразились во мнѣ ощущеніемъ какого-то безпредѣльнаго несчастія, ощущеніемъ, не поддающимся описанію.

Воротившись въ свой уголъ, непривѣтливый, холодный, съ промерзлыми подоконниками, съ холодной печью, я былъ такъ подавленъ сознаніемъ этого несчастія вообще, что невольно и самъ почувствовалъ себя самымъ несчастнѣйшимъ изъ несчастнѣйшихъ существъ. «Вотъ что вышло!» — подумалось мнѣ, и, припомнивъ какъ-то сразу всю мою жизнь, я невольно глубоко закручинился надъ нею: вся она представилась мнѣ какъ рядъ непривѣтливѣйшихъ впечатлѣній, тяжелыхъ сердечныхъ ощущеній, безпрестанныхъ терзаній безъ просвѣта, безъ малѣйшей тѣни тепла, холодная, истомленная, а сію минуту не дающая возможности видѣть и впереди ровно ничего ласковаго.

Затопивъ печку сырыми дровами, я закутался въ рваный полшубокъ и улегся на самодѣльную деревянную кровать лицомъ въ набитую соломой подушку. Я заснулъ, но спать, чувствуя каждую минуту, что «несчастіе» сверлитъ мой мозгъ, что горе моей жизни точитъ меня всего каждую секунду. Мнѣ ничего непріятнаго не снилось, но что-то заставляло глубоко вздыхать во снѣ, непрестанно угнетало мой мозгъ и сердце. И вдругъ, во снѣ же, я почувствовалъ что-то другое; это другое было такъ непохоже на то, что я чувствовалъ до сихъ поръ, что я хотя и спалъ, а понималъ, что со мной происходитъ что-то хорошее; еще секунда — и въ сердцѣ у меня шевельнулась какая-то горячая капля, еще секунда — что-то горячее вспыхнуло такимъ сильнымъ и радостнымъ пламенемъ, что я вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ, какъ вздрагиваютъ дѣти, когда они растутъ, и открылъ глаза.

Сознанія несчастія какъ не бывало; я чувствовалъ себя свѣжо и возбужденно, и всѣ мои мысли, тотчасъ-же, какъ только я вздрогнулъ и открылъ глаза, сосредоточились на одномъ вопросѣ:

— Что это такое? Откуда это счастье? Что именно мнѣ вспомнилось? Чему я такъ обрадовался?

Я такъ былъ несчастливъ вообще и такъ былъ несчастенъ въ послѣдніе часы, что мнѣ непремѣнно нужно было возстановить это воспоминаніе, обра-

довавшее меня во снѣ, мнѣ стало страшно даже думать, что я не вспомню, что для меня опять останется все только то, что было вчера и сегодня, исключительно до этого полусубка, холодной печки, неуютной комнаты и этой буквально «мертвой тишины» деревенской ночи.

Не замѣчая ни холода моей комнаты, ни ее непривѣтливости, я курилъ папиросу за папиросой, широко открытыми глазами всматриваясь въ тьму и вызывая въ моей памяти все, что въ моей жизни было въ *этомъ* родѣ.

Первое, что припомнилось мнѣ и что чуть-чуть подходило къ *тому* впечатлѣнію, отъ котораго я вздрогнулъ и проснулся, — странное дѣло! — была самая ничтожная деревенская картинка. Не вѣдаю почему, припомнилось мнѣ, какъ я однажды, проѣзжая мимо сѣнокоса въ жаркій лѣтній день, засмотрѣлся на одну деревенскую бабу, которая ворошила сѣно; вся она, вся ея фигура съ подобранной юбкой, голыми ногами, краснымъ повойникомъ на маковкѣ, съ этими граблями въ рукахъ, которыми она перебрасывала сухое сѣно справа налево, была такъ легка, изящна, такъ «жила», а не работала, жила въ полной гармоніи съ природой, съ солнцемъ, вѣтеркомъ, съ этимъ сѣномъ, со всѣмъ ландшафтомъ, съ которымъ были слиты и ея тѣло, и ея душа (какъ я думалъ), что я долго-долго смотрѣлъ на нее, думалъ и чувствовать только одно: «какъ хорошо!».

Напряженная память работала неустанно: образъ бабы, отчетливый до мельчайшихъ подробностей, мелькнулъ и исчезъ, давъ дорогу другому воспоминанію и образу: нѣтъ ужъ ни солнца, ни свѣта, ни аромата полей, а что-то сѣрое, темное, и на этомъ фонѣ — фигура дѣвущины строгаго, почти монашескаго типа. И эту дѣвушку я видѣлъ также со стороны, но она оставила во мнѣ также свѣтлое, «радостное» впечатлѣніе потому, что та глубокая печаль — печаль *о не своемъ юртѣ*, которая была начертана на этомъ лицѣ, на каждомъ ея малѣйшемъ движеніи, была такъ гармонически слита съ ея личною, собственною ея печалью, до такой степени эти двѣ печали, сливаясь, дѣлали ее *одну*, не давая ни малѣйшей возможности проникнуть въ ея сердце, въ ея душу, въ ея мысль, даже въ сонъ ея, чему-нибудь такому, что бы могло «не подойти», нарушить гармонію самопожертвованія, которое она олицетворяла, — что при одномъ взглядѣ на нее всякое «страданіе» теряло свои пугающія стороны, дѣлалось дѣломъ простымъ, легкимъ, успокоивающимъ и, главное, *живымъ*, что вмѣсто словъ: «какъ страшно!» заставляло сказать: «какъ хорошо! какъ славно!»

Но и этотъ образъ ушелъ куда-то, и долго-долго моя напряженная память ничего не могла извлечь изъ безконечнаго сумрака моихъ жизненныхъ впечатлѣній; но она напряженно и непрестанно работала, она металась, словно искала кого-то или что-то по какимъ-то темнымъ закоулкамъ и переулкамъ, и я почувствовалъ наконецъ, что вотъ-вотъ она куда-то приведетъ меня, что... вотъ ужъ близко... гдѣ-то здѣсь... еще немножко... Что это?

Хотите — вѣрьте, хотите — нѣтъ, но я вдругъ,

не успѣвъ опомниться и сообразить, очутился не въ своей берлогѣ съ поруразрушенною печью и промерзлыми углами, а ни много ни мало въ Дуврѣ, въ той самой комнатѣ, гдѣ стоитъ она, Венера Милосская... Да, вотъ она теперь совершенно ясно стоитъ передо мною, точь въ точь такая, какою ей быть надлежитъ, и я теперь ясно вижу, что вотъ это самое и есть *то*, отъ чего я проснулся; и тогда, много лѣтъ тому назадъ, я также проснулся передъ ней, также «хрустнулъ» всѣмъ своимъ существомъ, какъ бываешь, «когда человѣкъ растетъ», какъ было и въ нынѣшнюю ночь.

Я успокоился: больше не было въ моей жизни ничего *такого*; ненормальное напряженіе памяти прекратилось, и я спокойно сталъ вспоминать, какъ было дѣло.

II.

«...Какъ давно это было! Не меньше какъ двѣнадцать лѣтъ тому назадъ довелось быть мнѣ въ Парижѣ. Въ то время я давалъ уроки у Ивана Ивановича Полумракова. Лѣтомъ семьдесятъ второго года Иванъ Ивановичъ вмѣстѣ съ женой и дѣтьми, а также и сестры жены Ивана Ивановича съ супругомъ и дѣтьми собрались за-границу. Предполагалось такъ, что я буду находиться при дѣтяхъ, а они, Полумраковы и Чистоплюевы, будутъ «отдыхать». Я считался у нихъ дикимъ нигилистомъ; но они охотно держали меня при дѣтяхъ, полагая, что нигилисты хотя и вредные люди и притомъ весьма ограниченнаго міросозерцанія, тупые и узколобые, но во всякомъ случаѣ «не врутъ», а Полумраковы и Чистоплюевы и тогда уже чувствовали, что они по отношенію къ наивнымъ и простымъ дѣтскимъ вопросамъ поставлены въ положеніе довольно неловкое: «врать совѣстно», а «правду сказать» страшно, и принуждены были повтому на самые жгучіе и важные вопросы дѣтей отвѣчать какими-то фразами средняго смысла, вроде того, что «тебѣ это рано знать», «ты этого не поймешь», а иногда, когда уже было особенно трудно, то просто говорили: «Ахъ, какой ты мальчикъ! Ты видишь, папа занятъ».

Такъ вотъ и предполагалось, что я, нигилистъ, буду дѣлать ихнимъ дѣтямъ «опредѣленное», хотя и ограниченное, узколобое міросозерцаніе, а они, родители, будутъ гулять по Парижу. Но рѣшительно не знаю, благодаря какой комбинаціи случилось такъ, что дамы и дѣти въ сопровожденіи компаньоновъ и какого-то стараго генерала очутились гдѣ-то на морскомъ берегу, а мужья и я остались въ Парижѣ «на нѣсколько дней». Замѣчательно при этомъ, что и дамы, уѣзжая, были очень со мною любезны, говорили даже, что оставляютъ мужей «на мое попеченіе». Теперь я догадываюсь, что, кажется, и у дамъ были относительно меня тѣ же взгляды и тѣ же расчеты, которые вообще исповѣдывали всѣ они относительно нигилистовъ, т. е., что хотя и тупъ, и дикъ, и ограниченъ, и окурки кладу чуть не въ стаканъ съ чаемъ, но что все-таки мое «ограниченное» міросозерцаніе заставитъ

какъ Ивана Ивановича, такъ и Николая Николаевича вести себя въ моемъ присутствіи не такъ ужъ развязно, какъ это вѣроятно было бы, если-бы они за отъѣздомъ женъ остались въ Парижѣ одни съ своимъ широкимъ міросозерцаніемъ. «Все-таки они посовѣстятся ето!»—вотъ, кажется, что именно думали дамы, любезно оставляя меня въ Парижѣ съ своими мужьями.

Времени, отпущеннаго намъ для отдыха, было чрезвычайно мало, а Парижъ такъ великъ, огроменъ, разнообразенъ, что надобно было дорожить каждой минутой. Помню поэтому какую-то спѣшную ходьбу по ресторанамъ, по пассажамъ, по бульварамъ, театрамъ, загороднымъ мѣстамъ. Нѣкоторое время—куча впечатлѣній, безъ всякихъ выводовъ, хотя на каждомъ шагѣ кто-нибудь изъ насъ непремѣнно произносилъ фразу: «А у насъ, въ Россіи...» А за этой фразой слѣдовало всегда что-нибудь ироническое или даже нелѣпое, но заимствованное прямо изъ русской жизни.

Сравненія всегда были не въ пользу отечества.

Такая невозможность разобраться въ массѣ впечатлѣній осложнялась еще тѣмъ обстоятельствомъ, что въ 1872 г. Парижъ уже не былъ исключительно тѣмъ разнохарактернымъ «тру-ля-ля», какимъ привыкъ его представлять себѣ русскій досуужій человѣкъ. Только-что кончились война и коммуна и еще дѣйствовали военные версальскіе суды; за рѣшеткой Вандомской колонны еще валялась грудя мусора и камней, напоминая о ея недавнемъ разрушеніи; въ зеркальных стеклахъ ресторановъ видѣлись звѣздообразныя трещины коммунальныхъ пулъ; тѣ же слѣды пулъ—маленькіе, бѣленькіе кружочки съ ободкомъ черной копоти—массами пестрили фасады величественныхъ храмовъ, законодательнаго собранія, общественныхъ зданій; вотъ у статуи богини «Правосудія» невѣдомо куда отскочилъ носъ, да и у «Справедливости» не совсѣмъ хорошо на правомъ вискѣ, и среди всего этого—мрачныя развалины Тюльери съ высывающимися рыжими отъ огня желѣзными жердями, стропилами. Вообще на каждомъ шагѣ видно было, что какая-то грубая, жестокая, незнакомая съ перчаткою рука нанесла всему этому недавно еще раззолоченному «тру-ля-ля» оглушительную пощечину. Такимъ образомъ хотя Парижъ «тру-ля-ля» и дѣйствовалъ уже попржежнему, какъ ни въ чемъ не бывало, но въ этомъ дѣйствованіи нельзя было не примѣтить какого-то усилія; пощечина ярко горѣла на физиономіи, старавшейся быть веселой и безпечной, и сочетаніе разухабистыхъ звуковъ возродившейся изъ пепла шансонетки съ звуками «рррран...», раздававшимися въ саторійскомъ лагерѣ и свидѣтельствовавшими о томъ, что тамъ кого-то убиваютъ, невольно примѣшивало къ разнообразію впечатлѣній парижскаго дня непріятное, мѣшающее свободному ихъ воспринятію, чувство стыда, даже какъ бы позора. Вотъ почему между прочимъ намъ и было весьма трудно разобраться въ нашихъ впечатлѣніяхъ: набѣгаемъ за день, наглядимся, наѣдимся, насмотримся, послушаемъ, еще разъ и два набѣдимся и напьемся, а воротимся въ свою гостиницу—и можемъ только бормотать что-то очень неопредѣленное, хотя и разнообразное, и даже бесконечно разнообразное.

Рѣшительно не могу припомнить, какимъ образомъ удалось намъ наконецъ уловить одну черту, показавшуюся намъ весьма существенною, отличающую «насъ» отъ «нихъ», и мы крѣпко за нее ухватились, какъ за путеводную нить.

Подаль намъ напримѣръ слуга завтракъ въ загородномъ ресторанчикѣ, а самъ тутъ же, неподалеку отъ насъ, сѣлъ читать газету, и мы, руководимые уловленною нами нитью, уже не преминемъ по окончаніи завтрака разсуждать объ этомъ обстоятельстве такимъ образомъ:

— Да, личность-то человѣческая здѣсь цѣла и сохранна! Вотъ онъ—лакей, слуга, тарелки подаетъ, служить изъ-за куска хлѣба, но онъ—человѣкъ! Это не то, что нашъ лакей, который даже бесплатно будетъ передъ вами холопствовать; мало того, что будетъ тарелки подавать, задохнувшись отъ благоговѣнія, что «ѣдятъ хорошіе господа», но и лицо-то сдѣлаетъ холопское, и будетъ не ходить, а бросаться съ тарелками, вспотѣвъ весь отъ униженія. А это далеко не то! Онъ—человѣкъ, его все интересуетъ; онъ беретъ себѣ пять процентовъ съ истраченнаго вами франка—и конецъ. Нѣтъ, это не лакей!

Кокотки, бульварныя дамы, также оказались всѣ до единой не только кокетками, но и человѣками.

— Это не то, что у насъ по Невскому несется въ участокъ на извозчикѣ какая-нибудь трагедія съ подбитымъ глазомъ или совершенно спокойно, какъ мужикъ, во все горло выкрикивающій «сбитень хорошій!», приглашаетъ среди бѣлаго дня пойти съ ней погулять, полагая, что это гулянье нѣчто вродѣ должности—не даромъ начальство выдало ей документъ. Нѣтъ, тутъ не то! Тутъ хоть она и занимается «этими дѣлами», но въ ней живъ человѣкъ; она и эти дѣлами займется, и книжку почитаетъ. Что-жъ дѣлать? Это ужъ такой строй, ничего не по дѣлаешь! Я какъ-то совершенно случайно (Иванъ Ивановичъ сказалъ эти слова какъ-то въ сторону, да и Николай Николаевичъ также при этихъ словахъ какъ будто бы покосился куда-то вниъ и въ бокъ) разговорился вотъ тутъ на бульварѣ съ одной... не помню ужъ, мороженое что ли ѣлъ—такъ вѣдь это, батюшка, умъ! Вѣдь это живая блестящая бесѣда! «Этими дѣлами!» Эти дѣла—сами собой, а человѣкъ-то сознаетъ свое человѣческое достоинство! Вотъ въ чемъ штука-то!

Попали мы въ версальскіе военные суды, гдѣ въ то время «раздѣлывались съ коммунарами». Раздѣлывались съ ними безъ всякаго милосердія. Въ полтора часа разбиралось по пятнадцати дѣлъ, причемъ, что бы ни лепеталъ въ свое оправданіе подсудимый, болѣею частью несчастнѣйшаго вида портной, сапожникъ, подмастерье, господа судьи, обнаживъ свои головы передъ великими словами: «au nom du peuple français», упекали его въ Каиену, Нуеку... Камеръ для этихъ судовъ было настряпано пропасть; простыми досками были разгорожены огромныя казарменныя комнаты на четыре, на шесть

кѣтушекъ, и въ каждой кѣтушкѣ упекали людей.

— Такъ вѣдь что-жъ, батюшка? Тутъ вѣдь борьба! Два порядка, два міросозерцанія стоятъ другъ противъ друга. Какія же тутъ послабленія, снисхожденія?... Чья возьметъ! Это не то, что у насъ упекуть въ Сибирь бабу, которая, не помня себя, родила и задушила ребенка, а потомъ сами же упекатели и собираютъ ей на дорогу. И несправедливо, и глупо. Нѣтъ, здѣсь открыто, ясно, просто—кто кого! Здѣсь люди, батюшка, люди, каждый шагъ свой на землѣ отстаивающіе съ борьбой и кровью... Тутъ нѣтъ гуманной болтовни, отъ которой тошнить, какъ у насъ, и которая вовсе не обезпечиваетъ насъ отъ того, что гуманно болтающій человекъ не учтетъ васъ къ чорту на рога по личной злобѣ, ради мелкой зависти... Нѣтъ! здѣсь люди—«человѣки», живутъ и дѣлаютъ безъ фальши, а только по-человѣчески... Ну, а ужъ что дѣлать, если человекъ вообще плохъ!

Заглянули въ парламентъ, помѣщавшійся тогда тамъ же, въ Версали. И здѣсь все оказалось вполне по-человѣчески.

— Это, батюшка, не то, что у насъ какой-нибудь чиновникъ или чиноверъ, безжизненный мертвая душа, строчить какія-то бессмысленнѣйшія бумаги и не задумается рассказать всякаго, кто усомнится въ живомъ значеніи исписаннаго бумажнаго листа. У насъ бумага, чернила, сущъ, а жизнь—что твоей свиной хлѣвъ. Здѣсь совсѣмъ не то; здѣсь вездѣ жизнь—и на улицѣ, и въ парламентѣ. Какова есть, такой ее и получите. Вонъ, посмотрите-ка направо-то: поѣлъ, позавтракалъ—брюхо-то танетъ на покой. А Гамбетта, поглядите-ка, по животу-то себѣ гладить, тоже перекусилъ парнишка, должно быть, плотно! Что-жъ? Ничего!.. Три часа—брюхо давно ужъ разговариваетъ... Отчего-жъ не перекусить? А галдеть-то! Да всѣ они немножечко подгуляли за завтракомъ... конячишко еще не прошелъ... Право, ничего! Не беспокойтесь! То, что нужно для живого дѣла, сдѣлаютъ! Живое дѣло не велико, просто! Это у насъ только «не пимши, не ѣмши» убиваются по цѣлымъ годамъ, стулья кожаные просиживаютъ до дыръ, издыхаютъ, что называется, за строченьемъ бумагъ, а все толку нѣтъ! Нѣтъ, здѣсь жизнь, здѣсь люди, человѣки; здѣсь, батюшка, все по-человѣчески! безъ прикрасъ, безъ фразъ!

А когда мы на денекъ, на два попали въ Лондонъ, такъ ужъ тутъ «правда» осадила насъ со всѣхъ сторонъ, на каждомъ шагѣ, во всѣхъ видахъ и во всѣхъ смыслахъ.

Въ какомъ-то «настоящемъ» англійскомъ ресторанѣ за пять шиллинговъ, вмѣсто разнообразнаго пятифранковаго парижскаго обѣда, намъ три раза кряду дали одно и то же блюдо, три раза мы могли потребовать и съѣсть по хорошему куску мяса какого-то дикаго животного, которое въ жареномъ видѣ развѣзжало въ какомъ-то экипажѣ на колесахъ по ресторану (гдѣ всѣ посѣтители хранили мертвое молчаніе), останавливаясь тамъ, гдѣ замѣтна была пустая тарелка.

— Такъ, именно, такъ! сказалъ восторженно Иванъ Ивановичъ, когда мы дѣйствительно наблизились до отвала этимъ блюдомъ и вышли на улицу.—Разъ, продолжалъ онъ,—жизнь правдива, безъ фальши, она должна быть правдива во всемъ. Человекъ бѣгаетъ, трудится, работаетъ настоящимъ образомъ отъ зари до зари, ему нужна настоящая пища, его незачѣмъ надувать ордеврами и разносолами. Ъсть, такъ ужъ ѣсть какъ слѣдуетъ, и вотъ вамъ за пять шиллинговъ одно блюдо! Это великолѣпно!

Англійская «правда» оказывалась гораздо ужъ выше французской, въ чемъ мы скоро убѣдились самымъ неотразимымъ фактомъ. Надоумилъ насъ кто-то (кажется г. Бедекеръ) съѣздить въ Гринвичъ и съѣсть тамъ знаменитый парламентскій обѣдъ—«маленькую рыбку». Обѣдъ этотъ ни по своей цѣнѣ, ни по своей «знаменитости» очевидно не могъ быть тѣмъ дѣловымъ обѣдомъ дѣлового человека, который такъ насъ восхитилъ своей «правдой». Это ужъ должно было быть что-то особенно изысканное. Каково же было наше удивленіе, когда и этотъ знаменитый обѣдъ еще разъ убѣдилъ насъ въ томъ, что тамъ, гдѣ въ основаніи жизни лежитъ «правда», тамъ для лжи, для притворства, для выдумки нѣтъ мѣста даже въ самыхъ мельчайшихъ проявленіяхъ жизненнаго обихода. Обѣдъ состоялъ изъ множества рыбныхъ блюдъ; маленькая рыбка, гужонъ, пискаръ, фигурировала на первомъ планѣ, и блюда съ маленькой рыбкой только изрѣдка перемешались блюдомъ лососины или какой-нибудь другой рыбы. Но ни маленькая рыбка, ни лососина, никакая другая изъ числа рыбъ, появлявшихся за этимъ обѣдомъ, не была подана въ какомъ-нибудь такомъ «притворномъ» и неправдивомъ видѣ, чтобы, съѣвъ ее, можно было по совѣсти сказать: «какъ вкусно!» Лососина пахла лососиной, лучше сказать тѣмъ рыбнымъ запахомъ, которымъ пахнетъ бумага или рука, прикоснувшаяся къ рыбѣ. Правдивая англійская фантазія не могла сфальшивить такъ, какъ сфальшивала бы французская. Точно такимъ же натуральнымъ, правдиво-рыбнымъ запахомъ отдавали и всѣ прочіе посторонніе кусочки постороннихъ рыбъ, появлявшіеся за обѣдомъ.

Что же касается героя обѣда, «пискаря», то безукоризненно правдивая англійская мысль и тутъ не могла подняться до шарлатанства и выдумки, и единственно, на что у нея хватало смѣлости, такъ это только на то, чтобы дать одному блюду маленькой рыбки хоть какое-нибудь отличіе отъ другого. Это отличіе и было сдѣлано помощью перца: то рыбка является обжаренною въ простомъ перцѣ, то въ кайенскомъ, то въ легкой пропорціи, то посиленѣе, то еще полечче, или еще позабористѣе, причемъ рыбка сама собой сохранила свой натуральный рыбій запахъ и непрѣменно пахла чортъ знаетъ чѣмъ. Послѣ десятка такихъ тонкихъ блюдъ, когда уже и усы, и салфетки, и платки, и руки,—словомъ, все, что на васъ и около васъ, стало пахнуть рыбой и рѣчной водой, появился послѣдній заключительный экземпляръ маленькой рыбки, который, какъ оказалось впоследствии, достойно увѣнчалъ

знание правдиваго обѣда. Эта послѣдняя рыбка, чрезвычайно маленькая, лежала на большой бѣлой тарелкѣ безъ всякихъ украшеній и аксессуаровъ, какъ-то одиноко и загадочно: ея маленькое тѣло было искривлено какъ бы предсмертной конвульсіей, да и одиночество ея на бѣлой тарелкѣ было также нѣсколько таинственно; всматриваясь въ этотъ вѣнецъ созданія, я однако не нашелъ ничего особенно таинственнаго, за исключеніемъ какихъ-то крошечныхъ красненькихъ пылинкокъ, которыя усеивали все ея тщедушное тѣло. Но когда, взявъ ее за хвостъ, всѣ мы открыли рты и, думая проглотить это ничтожество, безопасно понесли его куда слѣдовало, то рты наши ужъ не могли закрыться; маленькая тварь вонзилась въ горло, какъ раскаленная игла, жгла ротъ, гортань и, послѣ страшныхъ усилій проскользнувъ далѣе, обожгла все горло и, какъ миноноска, зашмыгала въ желудкѣ, пытаясь взорвать его въ двадцати мѣстахъ.

Минуты двѣ мы отпивались отъ этого «кушанья» сельтерской, содовой водой и виномъ и, только очуствовавшись, наконецъ могли издавать членораздѣльные звуки.

— Да! сказалъ Иванъ Ивановичъ довольно загадочно и вновь припалъ къ содовой водѣ.

— Вотъ чортъ-то! сказалъ Николай Николаевичъ, который почему-то началъ чихать и, отчихавшись, прибавилъ:—это ужъ не перецъ... а это что-то... бенгальскій огонь какой-то... дьяволъ его возьми!

— Но не правда ли, до какой степени они глубоко правдивы? сказалъ наконецъ Иванъ Ивановичъ.—Вѣдь изъ этакого обѣда чего бы только ни натворилъ французъ? Вѣдь это было бы вавилонское столпотвореніе! А эти—явѣтъ! Не хватаетъ на выдумку, на притворство... Дѣло, дѣло, дѣло! Реальная дѣловая мысль работаетъ упорно безостановочно, по вершечку идетъ впередъ и впередъ... а вотъ на соусъ, на куплетъ, на курбетъ неспособна! Правда! правда! вотъ гдѣ корень всей этой жизни!

И затѣмъ, по пословицѣ: «на ловца и авѣръ бѣжить», все, что мы ни видѣли въ Лондонѣ, все поражаало насъ со стороны неподдѣльной правды и полной безыскусственности.

Если попадалась нищета, такъ ужъ это была такая голъ, такой ужасъ, такая грязь, что можно было только остановиться, остолбенѣть и глядѣть въ истинномъ ужасѣ на безукоризненно-ясное явленіе жизни; даже той приличной внѣшности, которую французская парижская нищета можетъ прикрывать себя, покупая за три-четыре франка рубашку, блузу, шапку и туфли, и той здѣсь нѣтъ и помину; цѣлыя гирлянды нищихъ дѣтей, цѣлыя кучи ихъ, кучи какой-то рвани, грязи лепешками на больныхъ лицахъ, грязи въ лысыхъ мѣстахъ большой головы — копошатся по нищенскимъ переулкамъ. Да, это ужъ точно нищета! Не прикрытая! Гляди — и всю жизнь не забудешь этой «правды» тепершняго человѣческаго общества.

Но зато ужъ и богатство, такъ тоже настоящее богатство!

Посмотрите-ка вотъ на этого бѣлоторѣзого истукана съ сигарою въ углу рта, пробирающагося вѣроятно въ паркъ на какомъ-то необыкновенномъ инструментѣ (нельзя сказать «экипажѣ»). Истуканъ сидитъ на какомъ-то крошечномъ сидѣнцѣ, изъ-подъ котораго въ разныя стороны вытѣзаютъ какія-то стальные нити, какъ огромныя ноги паука. Онъ весь на воздухѣ, высоко надъ толпой, а подъ нимъ какъ будто ничего нѣтъ, только блистаютъ на солнцѣ какія-то стальные иглы, а что это, колеса или ноги стального паука, — не разберешь. Поглядите на него, и одинъ видъ, одна «порода», которая видна въ немъ, скажетъ вамъ, что онъ органически *не можетъ* понять, что такое за существа копошатся у колесъ его паучообразнаго инструмента? Онъ органически безжалостенъ къ ничетѣ, къ этимъ маленькимъ замороженнымъ, почернѣвшимъ отъ каменно-угольнаго дыма человѣчкамъ.

Словомъ, изъ Лондона мы вывели довольно цѣнное впечатлѣніе: «вотъ она, жизнь, въ основѣ которой лежитъ неприкрашенная правда человѣческая! Гляди и учись!»

III.

«Однако, несмотря на обиліе матеріала, почерпнутаго нами въ эти дни бѣготни и касавшагося правды человѣческихъ отношеній, до которыхъ успѣло дожить человѣчество, по возвращеніи въ Парижъ намъ стало почему-то скучно. Въ одинъ сѣренькій день, продолжая «досматривать» недосмотрѣнное, мы лазали безъ малѣйшаго удовольствія въ парижскихъ катакомбахъ, гдѣ множество боковыхъ галлерей было еще охраняемо стражей или загорожено цѣпами; это дѣлалось для того, чтобы иностранецъ не наткнулся въ этихъ запутанныхъ галлерейхъ на трупы коммунаровъ, которые, говорятъ, бросились въ катакомбы спасаться отъ версальцевъ, заблудились тамъ и погибли въ большомъ количествѣ. Видѣли также и въ тотъ же день знаменитый моргъ съ массою труповъ, положенныхъ передъ глазами зрителей весьма прилично и невозмутительно; только вотъ тряпье, рвань, снятая съ этихъ мертвецовъ, утонувшихъ, угорѣвшихъ, застрѣлившихся, отравившихся, — рвань, развѣшанная тутъ же около труповъ на веревочкахъ, для того, чтобы можно было узнать погибшаго по платью, если нельзя было узнать по лицу, — этотъ хламъ говорилъ о горькой безысходной бѣдности. У одной молодой женщины подошвы ногъ, обращенныя къ публикѣ, были сплошной мозолью — поработала бѣдняга на своемъ вѣку! Хотѣли было идти въ знаменитыя клоаки; но путеводитель такъ расписалъ ихъ, что просто духъ захватило: можете представить, что однихъ (прошу извинить за неэстетическую картину) выкидывшей человѣческихъ, которые плаваютъ тамъ, въ этихъ смрадныхъ водахъ (извините, сдѣлайте милость), онъ считалъ десятками тысячъ.

Иванъ Ивановичъ ужъ не говорилъ, что «а все-таки неприкрытая правда — гляди, страдай и учись»; напротивъ, онъ предложилъ развѣяться отъ

этих впечатлительный дня—все трупы! Въ однихъ ка-
такомбахъ три милліона скелетовъ, въ моргъ съ
десятокъ «свѣжихъ» покойниковъ да въ клоакахъ
сушили тысячи мертвецовъ. Слѣдовало немножко
и отдохнуть отъ всего этого, «человѣческаго», на
чемъ-нибудь не столь мрачномъ. Но когда вечеромъ
мы усѣлись на желѣзныхъ стульяхъ какого-то ка-
фе-концерта въ Елисейскихъ поляхъ и когда пе-
редъ нами началось веселое кривлянье (повторяю,
не утратившее еще слѣда недавняго удара), и ко-
гда вспомнилось, что, можетъ быть, тутъ же, въ
клоакахъ, проходящей подъ Елисейскими полями,
плывутъ тысячи не родившихся, когда вспомнилось,
что въ Версали раздается еще «ррррран...» — когда
вспомнилось все это, такъ и совсѣмъ стало скучно.

На слѣдующее утро я ушелъ изъ гостиницы,
не дожидаясь, когда проснутся мои патроны; мнѣ
было чрезвычайно тяжело, тяжело, одиноко до по-
слѣдней степени, и весь я ощущалъ, что въ резуль-
татъ всей видѣнной мною «правды» получилось
ощущеніе какой-то холодной, облипающей тѣло,
промокающей драпи. Что-то горькое, что-то страшное
и въ то же время, несомнѣнно, подлое угнетало мою
душу; безъ цѣли и безъ малѣйшаго опредѣленнаго
желанія идти по той или другой улицѣ я исходилъ
по Парижу десятки верстъ, неся въ своей душѣ
этотъ грузъ горькаго, подлаго и страшнаго, и со-
вершенно неожиданно доплелся до Лувра; безъ ма-
лѣйшей нравственной потребности вошелъ я въ
сѣни музея; войдя въ музей, я машинально ходилъ
туда и сюда, машинально смотрѣлъ на античную
скульптуру, въ которой, разумѣется, по моему,
тяпущинскому, положенію ровно ничего не пони-
малъ, а чувствовалъ только усталость, шумъ въ
ушахъ и колотье въ вискахъ, и вдругъ, въ пол-
номъ недоумѣніи, самъ не зная почему, поражен-
ный чѣмъ-то необычайнымъ, непостижимымъ, оста-
новился передъ Венерой Милосской въ той боль-
шой комнатѣ, которую всякій, бывшій въ Луврѣ,
знаетъ и навѣрное помнить во всѣхъ подробно-
стяхъ.

Я стоялъ передъ ней, смотрѣлъ на нее и не-
престанно спрашивалъ самого себя: «что такое со
мною случилось?». Я спрашивалъ себя объ этомъ
съ перваго момента, какъ только увидѣлъ статую,
потому что съ этого же момента я почувствовалъ,
что со мною случилась большая радость... До сихъ
поръ я былъ похожъ (я такъ ощутилъ вдругъ)
вотъ на эту скомканную въ рукѣ перчатку. Похо-
жа ли она видомъ на руку человѣческую? Нѣтъ,
это просто какой-то кожаный комокъ. Но вотъ я
дунулъ въ нее, и она стала похожа на человѣче-
скую руку. Что-то, чего я понять не могъ, дунуло
въ глубину моего скомканнаго, искалѣченнаго, из-
мученнаго существа и выпрямило меня, мурашка-
ми оживающаго тѣла пробѣжало тамъ, гдѣ уже,
казалось, не было чувствительности, заставило
всего «хрустнуть» именно такъ, когда человѣкъ
растетъ, заставило также бодро проснуться, не
ощущая даже признаковъ недавняго сна, и напо-
лнила расширившуюся грудь, весь выросшій орга-
низмъ свѣжестью и свѣтомъ.

Я въ оба глаза глядѣлъ на эту каменную за-
гадку, допытывался, отчего это такъ вышло? Что
это такое? Гдѣ и въ чемъ тайна этого твердаго,
покойнаго, радостнаго состоянія всего моего су-
щества, невѣдомо какъ влиявшагося въ меня? И
рѣшительно не могъ отвѣтить себѣ ни на одинъ
вопросъ; я чувствовалъ, что нѣтъ на человѣче-
скомъ языкѣ такого слова, которое могло бы опредѣ-
лить животворящую тайну этого каменнаго суще-
ства. Но я ни минуту не сомнѣвался въ томъ,
что сторожъ, толкователь луврскихъ чудесъ, гово-
ритъ сущую правду, утверждая, что вотъ на этомъ
узелкомъ диванчикѣ, обитомъ краснымъ барха-
томъ, приходилъ сидѣть Гейне, что здѣсь онъ си-
дѣлъ по цѣлымъ часамъ и плавалъ: это непремѣн-
но должно было быть; точно такъ-же я понималъ, что
администрація Лувра сдѣлала великое для всего
міра дѣло, спрятавъ эту каменную загадку во
время франко-прусской войны въ деревянный ду-
бовый ящикъ въ глубинѣ непроницаемыхъ для
прусскихъ бомбъ подваловъ; представить себѣ, что
какой-то кусокъ чугуна, пущенный дуракомъ,
наѣвшимися гороховой колбасы, могъ бы раздробить
это въ мелкіедребезги, мнѣ казалось въ эту ми-
нуту такимъ злодѣйствомъ, за которое нельзя ото-
мстить всѣми жестокостями, изобрѣтенными на свѣ-
тѣ. Разбить это! Да вѣдь это все равно, что ли-
шить міръ солнца; тогда жить не стоитъ, если
нельзя будетъ хоть разъ въ жизни не опущать
этою! Какіе подлецы! Еле-еле доучаются до го-
реховой колбасы и сибютъ! Нѣтъ, ее нужно бе-
режъ какъ зеницу ока, нужно хранить каждую пы-
линуку этого пророчества. Я не зналъ «почему», но
я зналъ, что въ этихъ витринахъ, хранящихъ об-
ломки рукъ, лежатъ дѣйствительныя сокровища;
что надо, во что бы то ни стало, найти эти руки,
что тогда будетъ еще лучше жить на свѣтѣ, что
вотъ тогда-то ужъ будетъ радость настоящая.

Долго ли я недоумѣвалъ надъ выясненіемъ при-
чины, такъ неожиданно расширившихъ, выпрямив-
шихъ, свѣжестью и спокойствіемъ наполнившихъ
мою душу, я не помню. Появленіе какого-то рос-
сянина, вся фигура котораго говорила, что онъ
уже вполне разлакомленъ бульварными прелестя-
ми, а развязный взглядъ этого человѣка, очевид-
но только что позавтракавшаго, сталъ такъ без-
церемонно «обшаривать» мою загадку, не находя,
повидимому, ничего особеннаго по своей части (та-
кіе ли онъ ужъ видали виды!), заставило меня
уйти изъ этой комнаты. Я могъ оскорбиться на
этого развязнаго человѣка, а мнѣ невозможно бы-
ло даже и мысли допустить, чтобы въ эту минуту
я могъ даже подумать жить чѣмъ-нибудь такимъ,
что составляло простую житейскую необходимость
той поры, т. е. того времени, когда я былъ ском-
канной перчаткой. Опять позволить скомкать себя
такъ, какъ это было часъ тому назадъ и всю жизнь
до этого часа? Нѣтъ, нѣтъ! Я не могъ даже ѣсть,
пить въ этотъ день, до такой степени мнѣ каза-
лось это ненужнымъ и обиднымъ для того новаго,
которое я въ себѣ самомъ бережно принесъ въ мою
комнату.

Съ этого дня я почувствовалъ не то что потребность, а прямо необходимость, неизбежность самаго, такъ сказать, безукоризненнаго поведенія: сказать что-нибудь не то, что должно, хотя бы даже для того, чтобы не обидѣть человѣка, смолчать о чемъ-нибудь нехорошемъ, затаявъ его въ себѣ, сказать пустую, ничего незначащую фразу, единственно изъ приличія, дѣлать какое-нибудь дѣло, которое могло бы отозваться въ моей душѣ малѣйшимъ стѣсненіемъ или, напротивъ, могло малѣйшимъ образомъ стѣснить чужую душу—теперь, съ этого памятнаго дня, сдѣлалось невыносимымъ; это значило потерять счастье ощущать себя человѣкомъ, которое мнѣ стало знакомо и которое я не смѣлъ желать убавить даже на волосокъ. Дорожа моей душевной радостью, я не рѣшался часто ходить въ Лувръ и шель туда только въ такомъ случаѣ, если чувствовалъ, что могу «съ чистою совѣстью» принять въ себя животворную тайну. Обыкновенно я въ такіе дни просыпался рано, уходилъ изъ дому безъ разговоровъ съ кѣмъ бы то ни было и входилъ въ Лувръ первымъ, когда еще никого тамъ не было. И тогда я такъ боялся потерять, вслѣдствіе какой-нибудь случайности, способность во всей полнотѣ ощущать то, что я ощутилъ здѣсь, что я при малѣйшей душевной нескладницѣ не рѣшался подходить къ статуѣ близко, а приходишь, заглянешь издали, увидишь, что она тутъ, та же самая, скажешь самъ себѣ: «ну, слава Богу, еще можно жить на бѣломъ свѣтѣ!»—и уйдешь.

И все-таки я бы не могъ опредѣлять, въ чемъ заключается тайна этого художественнаго произведенія и что именно, какія черты, какія линіи животворять, «выпрямляютъ» и расширяютъ скомканную человѣческую душу. Я постоянно думалъ объ этомъ и все-таки ничего не могъ бы передать и высказать опредѣленнаго. Не знаю, долго ли бы я протомился такъ, если бы одно совершенно случайное обстоятельство не вывело меня, какъ мнѣ кажется, на настоящую дорогу и не дало мнѣ наконецъ—таки возможности отвѣтить себѣ на неразрѣшимый для меня вопросъ: въ чемъ тутъ дѣло, въ чемъ тайна?

Совершенно случайно припомнилось мнѣ старинное стихотвореніе въ *Современникѣ* 55—56 годовъ; стихотвореніе носило названіе *Венера Милосская* и, кажется, принадлежитъ г. А. Фету. Когда-то я зналъ это стихотвореніе наизусть, но теперь не могъ припомнить всего и вспомнилъ только нѣсколько строкъ, не имѣющихъ никакой другъ съ другомъ связи. Мнѣ вспомнились такіе стихи: «До чреда сія наютотъ, цвѣтеть смѣющееся тѣло неувадаемой красой...» Съ словомъ *красой* рѣшова-ла, совершенно одиноко возникшая въ моей памяти, строчка: «И мѣля пѣною морской» или «мѣля пѣною одной». Наконецъ припомнилась и еще строчка: «И вся кипя (а можетъ быть, и не такъ) пафосской (и это, можетъ быть, не вѣрно) страстью...» Вотъ и все, что мнѣ припомнилось; но то, что рисовали эти строчки—«кипя страстью... смѣющееся тѣло... мѣля пѣною морской или «мѣля пѣною одной», цвѣтеть не-

увадаемой красой»—все это до такой степени было не то сравнительно съ моимъ ощущеніемъ, что мнѣ даже стало смѣшно.

Въ самомъ дѣлѣ, всякій разъ, когда я чувствовалъ неодолимую потребность «выпрямить» мою душу и идти въ Лувръ взглянуть, «все ли тамъ благополучно», я никогда такъ ясно не понималъ, какъ худо, плохо и горько жить человѣку на бѣломъ свѣтѣ сію минуту. Никакая умная книга, живописующая современное человѣческое общество, не даетъ мнѣ возможности такъ сильно, такъ сжато и притомъ совершенно ясно понять «горе» человѣческой души, «горе» всего человѣческаго общества, всѣхъ человѣческихъ порядковъ, какъ одинъ только взглядъ на эту каменную загадку. Правда, я еще не могу найти связи между этой загадкой, выпрямляющей мою душу, и мыслью о томъ, какъ худо жить человѣку, являющейся непосредственно вслѣдъ за ощущеніемъ, даваемымъ загадкой, но я положительно знаю собственнымъ своимъ опытомъ, что въ то же мгновеніе, когда я почувствую себя «выпрямленнымъ», я немедленно же почему-то начинаю думать о томъ, какъ несчастливъ человѣкъ, представляю себѣ все несчастіе этой шумящей за стѣнами Лувра улицы, и невольно, въ смыслѣ этого «человѣческаго горя», начинаю группировать все мною пережитое, видѣнное, слышанное до послѣдней минуты сегодняшняго дня включительно, но я не ощущаю ни малѣйшей возможности сосредоточиться хотя на одну минуту на какихъ-нибудь частностяхъ собственно *женской* красоты видимой мною загадки.

Просто въ голову даже не приходитъ думать, что передъ тобой что-то «по части» тѣла, а напротивъ непостижимо, почему думаешь напираться о томъ, что Иванъ Ивановичъ Полумраковъ, сказавши, что вотъ этотъ лакей, несмотря на свое лакейство, все-таки сохранилъ въ себѣ человѣка, рѣшительно не понималъ, какую огромную подлость лепетали его уста. Какъ! человѣкъ—и лакей. Человѣкъ—и принужденъ подавать тарелки? Это *человѣкъ*-то долженъ безмолвно исполнять ваши прихоти, чтобы получить три су на пропитаніе? Вотъ какъ вдругъ переименовывалась во мнѣ фраза Ивана Ивановича «о человѣческомъ достоинствѣ», переименовывалась мгновенно, отъ одного только взгляда на загадку, заставлявшую ощутить радость сознанія себя человѣкомъ.

Вчера я, можетъ быть, еще могъ бы радоваться видѣть съ Иваномъ Ивановичемъ, что вотъ эта уличная женщина сохраняетъ свое «человѣческое достоинство», но *сейчасъ* я понять не могу, какимъ образомъ можно было допустить, чтобы человѣческое достоинство, чтобы человѣкъ былъ такъ глубоко оскорбленъ. Человѣка, и смѣть такъ осрамить! Человѣка-то сдѣлать такимъ несчастнымъ, такъ его всего скомкать, испачкать грязью!..

Нѣтъ, не «правда человѣческая» рисуется нередко мною теперь, не «правда», до которой, по словамъ Ивана Ивановича, дошло человечество, а самая страшная *неправда*, и никогда мнѣ такъ не ясна она, эта неправда, какъ сейчасъ. Униженнымъ, осрамленнымъ представляется мнѣ этотъ человѣкъ

и въ видѣ того лондонскаго богача, одинъ видъ котораго далъ Ивану Ивановичу возможность сказать, что во всей его породѣ и природѣ нѣтъ фальши: теперь этотъ породистый типъ казался мнѣ униженіемъ человѣка; какъ можно было довести человѣка до такого типа, до такого душевнаго состоянія, которое даже органически не можетъ понимать, что такое за мразь человѣческая вопиится у колей его экипажа? Какъ можно было довести человѣка до типа этой мрази, этого ничтожества, обрекающаго себя на каторжный трудъ, на голодъ, на грязь, на безграничное душевное отчаяніе? Все это ужасная неправда для *человѣка*; во всѣхъ этихъ неподходящихъ другъ къ другу положеніяхъ видно только, что «человѣкъ» скомканъ, изуродованъ, «осрамленъ» въ своихъ человѣческихъ побужденіяхъ; изуродованъ необходимою унижать себя до раба, до торговли своимъ тѣломъ, до желанія наложить на себя руки, до потребности прекратить чужую жизнь, убивъ такого же, какъ и самъ, человѣка, до потребности ограбить человѣка, до потребности наконецъ щеголять чрезвычайной добротой. Во всемъ этомъ, т.-е. во всемъ, что только ни видите вашъ глазъ, все одно униженіе, все попраніе въ человѣкѣ человѣка... И страшно становилось за душевную участь теперешняго *человѣка*, за искалеченное, а потому постоянно опечаленное существо его души... И обо всемъ этомъ думалось, благодаря «каменной загадкѣ»; она «выпрямляла» во мнѣ скомканную теперешнею жизнью душу человѣческую, знакомила, невѣдомо какъ и въ чемъ, съ радостью и широтою этого ощущенія.

Не «смѣющееся тѣло», и не «пѣна», и не «кипя», и не «сіяя», очевидно, не они выпрямляли и выпрямляютъ въ этомъ художественномъ произведеніи душу человѣческую; очевидно, что авторъ стихотворенія не только не овладѣлъ всей огромностью впечатлѣнія, но даже къ краешку его не прицѣпился, а, соблазненный, такъ сказать, «званизмъ» Венеры, какъ бы уже не могъ не воспроизвести *женской* красоты и безъ малѣйшаго основанія заставилъ смѣяться несмѣющееся, млѣть немлѣющее и кипѣть не кипящее. И въ самомъ дѣлѣ, какъ-же изобразить очарованіе женской красоты (вѣдь это Венера!), если не воспѣть тѣла, если не разнѣжить имъ зрителя, заставить это тѣло млѣть, заставить его волноваться страстью? Какими же чертами, какими красками описывать женскую, божественную красоту? И г. Фетъ все это такъ точно и воспѣлъ, и все это совершенно несправедливо, т.-е. на воспѣваніе только *этого* онъ не имѣлъ никакого права.

Въ самомъ дѣлѣ, если говорить о женской красотѣ, о красотѣ женскаго тѣла, «неувядаемой» прелести, такъ вѣдь ужъ одно то, что Венера Милосская—калька безрукая, не позволяетъ поэту млѣть и раскисать: тутъ же въ корридорѣ, ведущемъ къ Венерѣ Милосской, вотъ близъ тѣхъ, другихъ «Венеръ», которыхъ тамъ такъ много, зритель, точно, можетъ размышлять по части наготы тѣла; тамъ женскія черты выдѣлены съ большою тщательностью и лѣзутъ въ глаза прежде всего; вотъ этимъ (также знаменитымъ) Венерамъ дѣйствительно подѣ

стать и млѣть, и кипѣть, и щеголять смѣющимися тѣломъ, и глазами, и ручками, «этакимъ вотъ» пафосскимъ манеромъ изображающими жесты стыдливости... Тамъ, «у тѣхъ Венеръ», любитель «женской прелести» найдетъ, на что посмотреть и предъ чѣмъ помлѣть, а здѣсь? Да посмотрите пожалуйста на это лицо! Такіе ли по части красоты женскаго лица, сейчасъ, сію минуту, тутъ же рядомъ, въ Елисейскихъ поляхъ, можно получить живые экземпляры? Вотъ тутъ, въ Елисейскихъ-то поляхъ, дѣйствительно могутъ встрѣтиться такіе смѣющіяся тѣла, женственность которыхъ чувствуется зѣвакой даже издали, несмотря на то, что и наготы-то никакой не видно, вся она закрыта самымъ тщательнымъ образомъ. Здѣсь, въ парижскихъ-то Венерахъ, эта часть разработана необычайно, а у этой? Посмотрите, повторяю, на этотъ носъ, на этотъ лобъ, на эти... право, сказать совѣстно, почти мужицкіе завитки волосъ по угламъ лба... Положительно сейчасъ, сію минуту, въ Парижѣ найдутся тысячи тысячъ дамъ, которыя за полясъ затянутъ Венеру Милосскую по части смѣющагося естества.

Мало-по-малу я окончательно увѣрилъ себя, что г. Фетъ безъ всякихъ резовъ, а единственно только подѣ впечатлѣніемъ слова «Венера», обязывающаго воспѣвать женскую прелесть, воспѣлъ то, что не составляетъ въ Венерѣ Милосской даже маленькаго краешка въ общей огромности впечатлѣнія, которое она производитъ. Въ самомъ дѣлѣ, если художникъ хотѣлъ поразить насъ красотой женскаго тѣла (которая, по словамъ г. Фета, и млѣть, и цвѣтеть, и смѣется, и кипитъ страстью), зачѣмъ онъ завязалъ это тѣло «до чреслъ»? Ужъ коли тѣло, такъ давай его все, цѣликомъ; тутъ ужъ и пятая какая-нибудь, сіяющая «неувядаемой красотой», должна потрясти простыхъ смертныхъ. Вотъ новые французскіе скульпторы, такъ тѣ не то что «красоту», а «истину», «милосердіе», «отчаяніе»—все изображаютъ въ самомъ голомъ видѣ, безъ прикрышки. Прочтешь въ каталогѣ: *Истина*, а глаза-то смотреть совсѣмъ не туда... *Отчаяніе*... пойдешь, погладишь и думаешь вовсе не объ «отчаяніи», а о томъ, что «эко-можъ баба-то... растянулась—словно бѣлуга».

А тутъ, задавши себѣ задачу ослѣпить насъ неувядаемой красотой женскаго тѣла, смѣющагося, кипящаго, млѣющаго, взять да и закутать ее чуть не всю, до самыхъ чреслъ! Что же это такое? Что руководило художникомъ? Но это еще не все: закутавъ тѣло своего созданія «до чреслъ», что онъ далъ по части женской красоты—лицу, лбу, носу, выраженію глазъ?

И какъ бы вы тщательно ни разбирали этого великаго созданія съ точки зрѣнія «женской прелести», вы на каждомъ шагѣ будете убѣждаться, что творецъ этого художественнаго произведенія имѣлъ какую-то другую, высшую цѣль.

Да, онъ потому (какъ стало казаться мнѣ) и закрылъ свое созданіе до чреслъ, чтобы не дать зрителю права проявить привычныя шаблонныя мысли,

ограниченныя предѣлами шаблонныхъ представлений о женской красотѣ.

Ему нужно было и людямъ своего времени, и всѣмъ вѣкамъ и всѣмъ народамъ вѣковѣчно и нерушимо запечатлѣть въ сердцахъ и умахъ огромную красоту *человѣческаго* существа, ознакомить человѣка—мужчину, женщину, ребенка, старика—съ ощущеніемъ счастья быть *человѣкомъ*, показать всѣмъ намъ и обрадовать насъ видимой для всѣхъ насъ возможностью быть прекрасными—вотъ какая огромная цѣль овладѣла его душой и руководила рукой.

Онъ бралъ то, что для него было нужно, и въ мужской красотѣ, и въ женской, не думая о полѣ, а пожалуй даже и о возрастѣ и лоя во всемъ этомъ только человѣческое; изъ этого многообразнаго матеріала онъ создавалъ то истинное въ человѣкѣ, что составляетъ смыслъ всей его работы, то, чего сейчасъ, сію минуту *нѣтъ* ни въ комъ, ни въ чемъ и нигдѣ, но что *есть* въ то же время *въ каждомъ* человѣческомъ существѣ, въ настоящее время похожемъ на скомканную перчатку, а не на распрямленную.

И мысль о томъ, когда, какъ, какимъ образомъ человѣческое существо будетъ распрямлено до тѣхъ предѣловъ, которые сулитъ каменная загадка, не разрѣшая вопроса, тѣмъ не менѣе, рисуешь въ нашемъ воображеніи безконечныя перспективы чело-вѣческаго совершенствованія, чело-вѣческой будущности и зарождае въ сердцѣ живую скорбь о несовершенствѣ теперешняго человѣка.

Художникъ создалъ вамъ образчикъ такого чело-вѣческаго существа, которое вы, считающій себя чело-вѣкомъ и живя въ теперешнемъ чело-вѣческомъ обществѣ, рѣшительно не можете себѣ представить способнымъ принять малѣйшее участіе въ томъ порядкѣ жизни, до котораго вы дожили. Ваше воображеніе отказывается представить себѣ это чело-вѣческое существо въ какомъ бы то ни было изъ теперешнихъ чело-вѣческихъ положеній, не нарушая его красоты. Но такъ какъ нарушить эту красоту, скомкать ее, искалѣчить ее въ теперешній чело-вѣческій типъ—дѣло немислимое, невозможное, то мысль ваша, печалась о безконечной «юдоли» настоящаго, не можетъ не уноситься мечтою въ какое-то безконечно-свѣтлое будущее. И желаніе выправить, высвободить искалѣченнаго теперешняго человѣка для этого свѣтлаго будущаго, даже и очертаній уже опредѣленныхъ не имѣющаго, радостно возникаетъ въ душѣ.

IV.

«Вотъ стало-быть и я, Тяпушкінъ, всею моею жизнью обреченный на то, чтобы не жить личною жизнью, а исчезнуть, пропасть въ какомъ-то не моемъ, но трудномъ дѣлѣ ближняго,—былъ глубоко радъ, что великое художественное произведеніе укрѣпляетъ меня въ моемъ тогдашнемъ желаніи идти въ темную массу народа. Теперь, благодаря всему, чему великое художественное произведеніе научило меня, я знаю, что мнѣ по своимъ силамъ и можно и должно «идти туда».

— Я пойду туда и буду стремиться къ тому, что-

бы начинающій жить чело-вѣкъ-народъ не позволилъ себя унизить до размѣровъ той «сущей правды», которая такъ обрадовала Ивана Ивановича въ Европѣ! Есть изъ-за чего, въ самомъ дѣлѣ, мучиться, чтобы не то что сохранить свое чело-вѣческое достоинство, будучи ласкемъ, банкротомъ, нищимъ, кокеткой, а чтобы унизить себя до необходимости переносить всѣ эти уродства!

....Года черезъ четыре я опять былъ въ Парижѣ и опять «жаждалъ» ощутить «радость» существованія, посѣтить Лувръ, но, увы, не могъ этого сдѣлать: я уже опять былъ скомканъ, скомканъ крѣпкой, сильной, неумолимой рукой дѣйствительности и чувствовалъ, что теперь меня ужъ не выпрямишь... Попробовалъ было я пойти въ Лувръ, подошелъ даже къ самымъ воротамъ, но просто совѣстно стало идти: «что-жъ я пойду *поназрасну* беспокоить ее? Все равно ничего не выйдетъ, а ее только сконфузишь!...» Постоялъ и пошелъ въ русскую бібліотеку упиваться газетными извѣстіями о градобитіяхъ и неурожаяхъ.

А теперь вотъ опять—да гдѣ? въ глухой, занесенной снѣгомъ деревушкѣ, въ скверной, неприглядной избѣ, въ темнотѣ и тоскѣ безмолвной томительной зимней ночи—вспомнилась радостная минута, и оживила. Бываютъ-же случаи, когда оживаютъ члены, разбитые параличемъ. Теперь я употребляю всѣ старанія, чтобы мнѣ не утратить проснушагося ощущенія какъ можно дольше; я куплю себѣ фотографію, повѣшу ее тутъ на стѣнѣ, и когда меня задавятъ, обезсилитъ тяжкая деревенская жизнь, взгляну на нее, вспомню все, ободрюсь и... такую сдѣлаю «овадію» волостному старшинѣ Полушечкину, что онъ у меня обѣими руками начнетъ строчить донесенія!...»

XV. Про счастливыхъ людей.

(святочный разсказъ.)

I.

Лѣтнимъ вечеромъ у проѣзжей столбовой дороги расположились на ночлегъ трое прохожихъ. Старшій изъ нихъ былъ старый отставной солдатъ, лѣтъ семидесяти, и два другихъ—помоложе. Сошлись они въ пути въ дорогѣ: отставной солдатъ шелъ сначала одинъ, шелъ по знакомымъ мѣстамъ, заходилъ въ знакомыя деревни, гдѣ у знакомыхъ ему крестьянъ, духовныхъ и помѣщиковъ на кухнѣ занимался перешивкой стараго тряпья, починкой стараго платья, а справивъ дѣло, шелъ дальше, тоже все по знакомымъ мѣстамъ. Давно онъ уже въ этихъ мѣстахъ ходить и каждый уголокъ по старому Московскому шоссе знаетъ.

Гдѣ-то, по пути по дорогѣ, нагналъ онъ другаго прохожаго и пошелъ съ нимъ. И разсказалъ ему этотъ прохожій, что жилъ онъ восемь лѣтъ у бѣлаго купца въ приказчикахъ, жилъ хорошо, въ полномъ достаткѣ, да вдругъ гдѣ-то лопнулъ банкъ, за банкомъ лопнулъ какой-то компаньонъ, а за компаньономъ лопнулъ и хозяинъ завода, богатый купецъ, у котораго прохожій служилъ приказникомъ,

а за хозяиномъ и онъ, приказчикъ, остался безъ хлѣба, все прожилъ на большую семью и вотъ теперь такъ обдѣлать, что приходится идти пѣшкомъ въ Петербургъ, искать: не попадется-ли какого мѣстечка? Долго приказчикъ рассказывалъ солдату, какое ему было счастье, какъ онъ жилъ привольно, долго и горько жаловался на теперешнее свое несчастье, вздыхалъ и Бога молилъ, чтобы опять ему Господь счастье послалъ.

Слушалъ его прохожій солдатъ, но чтобы жалѣть его—не очень жалѣлъ, ласковыхъ словъ ему не говорилъ, и къ малодушеству приказчикову не склонялся: твердый былъ человѣкъ. А когда приказчикъ рассказывалъ по два, по три раза всѣ свои горести, то пошли они молча; только приказчикъ вздыхалъ и охалъ.

Однако недолго пришлось имъ идти вдвоемъ, молчать да вздыхать. Невѣдомо откуда подскочилъ къ нимъ и третій прохожій, босикомъ, въ рваномъ пиджакѣ, въ парусиновомъ кепи, и на видъ молодой парень, только лицо опухло, да у праваго глаза синякъ какъ будто-бы недавній виднѣлся. Наши прохожіе и не видали, откуда взялся этотъ молодецъ—не то справа онъ къ нимъ подскочилъ, не то слѣва, не то съ проселка, не то изъ перелѣска, и не опомнились они, а онъ уже рядомъ съ ними идетъ, сигарку курить и жизнь свою рассказываетъ. И этотъ на горькую долю жалуется, недавнее счастье вспоминаетъ, только не на тотъ образецъ, какъ приказчикъ. Этотъ самъ про себя говорить:

— Мнѣ-бы барина какого Господь послалъ поглупѣй да побогаче, такъ я-бы его вотъ какъ оборудовалъ. Они меня, господѣ, любятъ, я умѣю имъ потрафлять... У одного такого-то барина—хорошій телокъ мнѣ попался—я пять годовъ выжилъ, самъ былъ лучше барина... Я тогда въ лакеяхъ въ трактирѣ служилъ, и захотѣлъ Господь послать счастье и послалъ—встрѣтился съ гулящимъ баринкомъ—онъ меня полюбилъ и приблизилъ... Ужъ и пожилъ я въ полное свое удовольствіе! Всего было! Такъ пожилъ, что даже избаловался, признаться, загордѣлъ, хвастъ сталъ себѣ позволять... Ну, баринъ-то осерчалъ, все отнялъ, прогналъ... Теперь иду, братцы мои, и самъ не знаю... Ничего нѣтъ, обносился, оборвался, отъ черной работы отвыкъ... Неужто-жъ мнѣ такъ и пропадать? Эхъ, кабы Господь опять счастье послалъ, ежели-бы мнѣ теперь вскочить на хорошій мѣшокъ, хотя-бы даже и изъ купеческаго званія, такъ и то я-бы утратилъ, повравился-бы, какъ онъ тамъ ни мудри, и ужъ теперь не далъ-бы маху!.. Нѣтъ! Ужъ теперь не промахнулся-бы!..

И такъ пошли они всѣ трое; приказчикъ про свое счастье вспоминалъ, молилъ Бога, чтобы Господь послалъ ему сурьезнаго, капитальнаго купца, а оборванецъ-лакей облизывался на свое прошлое, больно ужъ сладко оно было, какъ они съ баринкомъ по разнымъ столамъ бражничали, и тоже просилъ у Бога счастья, тоже ждалъ, не свалится-ли оно откуда-нибудь либо подъ видомъ барина-бражника, либо купчика-безобразника. Одинъ только солдатъ

не мѣшался въ такіе разговоры: ничего не совѣтовалъ, ничему не поддакивалъ, а только покрывалъ да помалчивалъ, а иной разъ и ухмылялся.

И вечеръ прошелъ, и мѣсяцъ взошелъ, прохожіе выбрали мѣстечко подъ деревомъ, сѣли отдохнуть, огонь развели; у солдата былъ и котелокъ, и хлѣбъ, и картофель; у приказчика въ сумѣ лепешка ржаная нашлась, а у лакея ничего не было: за спиной его на палкѣ болтались одни только сапоги. Однако ему дали поѣсть. Потому всѣ легли, укрылись тѣмъ попало (лакей притащилъ охапку сѣна изъ сосѣдняго стога и навалилъ ее на себя), помолчали и съ холоду-ли, или такъ съ раздумья опять разговоръ завели, и все про то же: эхъ, кабы купца, эхъ, кабы барина—то-то-бы счастье было!

— Эхъ, ребята, ребята! не вытерпѣлъ, заговорилъ солдатъ.—Слушаю-слушаю я васъ—чего это вы у Бога просите? Какое это счастье? Это не счастье, коли его на тебя нанесло, или ты случаемъ на него набѣжалъ... Гдѣ-жъ оно, ваше счастье-то? Одинъ безъ сапогъ, а другой безъ хлѣба... Нѣтъ, почтенные, не тотъ есть счастливый человѣкъ, который такимъ вотъ манеромъ, а тотъ есть счастливый человѣкъ...

Но тутъ старый служивый загнулся; очень мудро и много приходилось ему говорить, а къ мудренымъ словамъ онъ былъ непривыченъ. Помолчалъ онъ немножко да и говорить:

— Нѣтъ, вотъ что я вамъ, ребята, скажу: жилъ я въ разныхъ мѣстахъ, и въ Польшѣ, и на Капказѣ, и въ Баки огнедышащей, и тамъ былъ—всего видѣлъ, много чего отъ людей слышалъ... Тамъ вотъ у насъ въ этой Баки, на Сураханскомъ заводѣ, татаринъ Абдулка страсть какъ искусно свои татарскія сказки рассказывалъ... Такъ вотъ въ памяти у меня, какъ болталъ онъ про счастливыхъ людей... такъ притчи ихнія насчетъ того, кто есть счастливый человѣкъ на свѣтѣ. Вотъ я вамъ, коли что, расскажу, а вы сами смекайте, въ чемъ тутъ главная причина... Я своихъ словъ не могу высказать, потому тутъ много надобно говорить, а ежели притчами, такъ мнѣ лучше...

— Говори, говори, дѣдко! ежась отъ холоду подъ сѣномъ, торопливо бормоталъ лакей.

А приказчикъ (онъ все вздыхалъ) вымолвилъ:

— И въ притчахъ тоже бываетъ премудрость... И опять вздохнулъ.

II.

— Ну, заговорилъ старикъ,—ужъ не знаю, премудрость тутъ какая или такъ баснословіе—разбирай, какъ знаешь: мое дѣло рассказывать.

— Такъ вотъ, други милые, жилъ-былъ на бѣломъ свѣтѣ, должно тамъ-же у нихъ на Капказѣ, татаринъ одинъ... ну, хоть Ахметка пущай будетъ прозываться. И такой этотъ Ахметка былъ человѣкъ, что и весь-то онъ съ потрохомъ не стоитъ ломаннаго гроша. И изъ себя какъ пакля или мочала—ни силы у него, ни смѣлости, ни ума, ни смекалки—такъ, ни на что не похожая тварь... Примазался этотъ Ахметка къ бабѣ къ одинокой,

тоже само-собою ихняго персидскаго закону, въ мужья къ ней влѣзъ, живетъ съ ней, ѣсть-пьеть, а никакого толку отъ него нѣту. Попервоначалу-то баба думала: «все молъ мужчина въ домѣ»; а какъ пожила, видить, что у него, у дурака, все животь схватывается, когда надо по хозяйству хлопотать, и стала баба сердиться. — «Поди молъ, погляди, чего собаки лають.» — «Да я боленъ! У меня, говоритъ, спазмы какія-нибудь начинаются или тифозная горячка!» А больше ничего — боится ночью изъ дому выходить. — «Ну, скажетъ жена: тогда я пойду сама». И сейчасъ Ахметка съ печки прыгъ, за ней. — «Вѣдь у тебя, у подлеса, тифозная горячка? такъ чего-жъ ты выскочилъ?» — «Да я думаю, тебѣ молъ одной страшно, такъ я проводить!» Будто-бы то-есть женѣ угождать, а на мѣсто того самому страшно одному дома остаться. Ну, однимъ словомъ, не человѣкъ, а такъ больше ничего, олухъ какой-то. А между прочимъ послушайко-сь, до чего достигъ!..

— Ну, ну! торопиль лакей.

— Ну вотъ, братцы мои, смотрѣла-смотрѣла баба свонная на всѣ его подлости, не вытерпѣла, вышла изъ всякихъ границъ, говорить: — «Вонъ изъ моего дома! видѣть я тебя не могу, дурака набитого! Надоѣлъ ты мнѣ хуже горькой рѣдьки... Пошелъ вонъ!.. Чтобъ сію минуту духу твоего не было!» Тутъ Ахметка на смерть перепугался, паль ей въ ноги, трясется, молитъ Христомъ Богомъ — по ихнему самой собою — чтобъ она хоть ночь-то дала ему переночевать, не гнала-бы его, дала-бы ему свѣту дожидаться... Вылъ-вылъ, совсѣмъ размякъ, раскисъ рыдаючи — ну, жена согласилась, дозволила ему въ сѣнцахъ, подъ дверью поспать. — «Спи, говоритъ, балбесъ!» Ну, а какъ чуть свѣтъ забрезжилъ, сейчасъ она выкинула ему всѣ его пожитки — «праху чтобъ твоего не было!» — и вытолкала за ворота, да погнѣмъ ему грозитъ: — «убью, какъ собаку!» Подобралъ Ахметъ свои пожитки да давай Богъ ноги, какъ заяцъ отъ гончихъ, только пятки сверкають... Верстъ за десять отъ деревни только-только почувствовался отъ страху, думалъ, что жена его убьетъ, еле-еле отдышался.

Ну кой-какъ да кое-какъ одѣлся онъ въ свое хоботье, саблю свою нацѣпилъ, кинжалъ тамъ какой-нибудь, потому что у нихъ, у черномазыхъ народовъ, завсегда при себѣ ножикъ. Такіе живорѣзы, на рѣдкость! Двухъ-годовалый парнишка, а и тотъ ужъ къ отповскому кинжалу тянется поиграть, а отецъ-то еще и самъ учить: «пхни, пхни молъ въ мамку!»... Такой ужъ народъ кровопролитный. Вотъ и Ахметка тоже... Ужъ на что, вается, молало, не человѣкъ, а тоже сабля, кинжалъ за поясъ заткнуть. Надѣлъ онъ этотъ свой нарядъ, шапку рваную, лохматую, ровно сѣнная копна, на голову нахлобучилъ и пошелъ, самъ не знаетъ куда.

— Идетъ и плачетъ, себя жалѣетъ, о своей долѣ сокрушается. Шелъ, шелъ, усталъ, сѣлъ отдохнуть на камень. Вспомнилъ свою жену... сталъ ее ругательски ругать — видить, что теперь ужъ она его не достигнетъ; ругать, ругалъ онъ ее во всю ночь,

на всю степь горло дралъ, да въ сердцахъ до того разхрабрился, что даже гаркнулъ: — «Погоди, молъ, такая-сякая! Убью!» да въ сердцахъ хватъ кулакомъ объ камень. А время было горячее, солнце въ тѣхъ мѣстахъ палитъ въ темя какъ уголь горичимъ... Мухъ налетѣло невѣдомо откуда на этотъ камень-то... Какъ ударилъ онъ рукой-то объ камень, чувствуетъ: мокро! Поглядѣлъ — цѣлую уйму мухъ онъ ухлопалъ однимъ махомъ. И такъ ему показалося это послѣ сердцовъ-то пріятно, что кому-нибудь онъ свое горе отомстилъ, что сталъ онъ думать повеселѣй: — «Ишь, дура этакая, забормоталъ онъ по своему по татарскому, вспоминая свою жену. Ни на что я не годенъ, никуда не гожусь, и трусь то я, и руки-то у меня мочальныя... Нѣтъ, захочу такъ все могу! Дура набитая, цѣнить не умѣла человѣка! Силы нѣту! Нѣтъ, вотъ одинъ разъ кулакомъ махнулъ — а сколько ихъ ухлопалъ!» Сталъ онъ считать, насчиталъ пятьсотъ мухъ. — «Пятьсотъ! Ишь сколько! А всего-то одинъ разъ махнулъ! Нѣтъ, есть у меня сила. Пятьсотъ мухъ ухлопать съ одного маху, это значить въ человѣкѣ есть сила. Ежели-бы она, дура-баба, меня почитала да хорошо за мной ходила, такъ я бы нешто такую силу забралъ? Тварь этакая!» И такъ онъ сталъ хорошо объ себѣ думать, что со всѣмъ разхрабрился, идетъ и все у него въ головѣ эти пятьсотъ мухъ сіяють. И сначала онъ думалъ о мухахъ, а что дальше идетъ — ужъ и о людяхъ сталъ раздумывать; а какъ въ городу какому-то сталъ подходить, такъ и совсѣмъ ужъ ему представилось, что не пятьсотъ мухъ онъ убилъ, а прямо скавать пятьсотъ человѣкъ. Идетъ гоголемъ, на-поди! Пришелъ въ городъ, прямо къ мастеру, вынулъ кинжалъ и говорить: — «Сдѣлай надпись, что молъ я, Ахметъ, богатырь, побиваю по пятьсотъ человѣкъ единымъ махомъ».

— Сдѣлалъ ему мастеръ нарѣзку... и повалило, братцы мои, съ этого числа на Ахметку счастье!.. То-есть такое счастье повалило — почитай, что больше чѣмъ вотъ отъ барина отъ богатаго на нашего компаньона нанесло его. Право!.. Идетъ онъ отъ мастера, а въ брюхѣ у него очень большая тоска: ничего онъ не ѣлъ, не пилъ почитай — цѣлыя сутки... «Хоть бы корочку какую Господь послалъ!» Вдругъ — подъ самымъ его носомъ открывается дворъ и идетъ на томъ дворѣ богатая свадьба: танцы, угощеніе, музыка — что угодно; царскій министръ дочь свою замужъ выдаетъ. Ахметка туда. — «Кто такой?» Ахметка безъ долгихъ разговоровъ вынулъ кинжалъ. — «А вотъ кто такой, говорить: читай!» Прочитали, ахнули, сейчасъ его въ передній уголъ, угощать его принялись, въ ноги кланялись, ручки у богатыря цѣловали. Ыль Ахметка за четверыхъ, наѣдался на недѣлю впередъ, думаетъ: «на завтра не будетъ другой свадьбы, придется побираться, такъ надобно наѣдаться хорошенъко»... А въ то самое время пока онъ ѣлъ, да думалъ, что завтра ѣсть будетъ нечего, ужъ доложили объ немъ царю, значить по ихнему хану, — доложили такъ, что появился необыкновенный богатырь. Сейчасъ же ханъ приказалъ по-

звать Ахметку.... Испугался Ахметка страсть как!..—«Боленъ я, начинается у меня тифозная эпидемія!» Какъ есть какъ прежде. Однако его повели подь руки прямо къ хану... Паль Ахметка передь нимъ въ ноги, лежить ни живъ, ни мертвъ, а ханъ какъ прочиталъ надпись у него на кинжалѣ, такъ и ахнулъ. — «Этакого необыкновеннаго богатыря да чтобъ я упустилъ изъ моей державы? Никогда!» Сейчасъ Ахметку подняли, одѣли его въ драгоценныя одежды, денегъ ему цѣлый мѣшокъ въ руки впихнули—Ахметка стоитъ дуракъ-дуракомъ, сообразить ничего не можетъ... А ханъ думаетъ: «Что ежели я его награжу, а другой какой-нибудь ханъ узнаетъ, да переманитъ его къ себѣ! Нѣтъ, ни за что! Женю я его на моей дочери и тогда ужъ ему уйти некуда будетъ». И не успѣлъ, братцы мои, Ахметка опомниться — хватъ, ужъ и свадьбу играютъ, и ужъ онъ мужень ханской дочери очутился и ужъ, Господи благослови, на кровати растянулся... Посмотрѣла на него ханская дочь и говорить: «неужели, съ позволенія сказать, этокое чучело можетъ быть великолѣпнымъ богатыремъ?» А Ахметка лежитъ на кровати, трясется отъ страху — потому такую ему кровать сдѣлали, что упали онъ съ нея, такъ въ дребезги-бы расшибся. Вотъ онъ лежить и боится, какъ-бы во снѣ не свалиться—ну, а между прочимъ все-таки надумалъ, отвѣтилъ своей нарѣченной женѣ: — «Эты такъ говоришь потому, что ничего не понимаешь. А поживи, такъ и увидишь, что я за сила». Поглядѣла-поглядѣла на него царевна—«экая, говоритъ, гадость!» плюнула, заплакала, а дѣлать нечего! Приняла законъ, такъ ужъ надо покоряться...

— Хорошо.

— А былъ тутъ подь самымъ городомъ, съ незапамятныхъ временъ, страшный змѣй. И жилъ тотъ змѣй въ пещерѣ, и ѣлъ народъ поѣдомъ, цѣлыми сотнями глоталъ, словно галушки... И стали ему жители платить дань: по два раза каждый годъ по красивой дѣвицѣ, значить, въ жены ему,—по двѣ жены, подлецу, въ годъ—только-бы онъ не жралъ безъ толку прочихъ обывателей. И насталъ, братцы мои, такой годъ, что пришлось отдавать этому змѣю вторую ханскую дочь. А ужъ которая къ этому змѣю дѣвица попадетъ, такъ уже тутъ—со святыми упокой! Ни во вѣки ее не увидишь!.. Только въ этотъ разъ царь-то ихній, ханъ стало-быть, и говорить:— «Слава Богу, есть у насъ великолѣпный богатырь, не станемъ мы теперь дѣвицъ этому дураку, змѣю, отдавать: нашъ храбрый Ахметъ съ единого удара всѣ головы ему пособьетъ... Ежели онъ съ одного маху по пяти сотъ головъ рубить, такъ ужъ десятокъ змѣиныхъ мордъ очень просто можетъ отщипнуть». Призвалъ Ахметку: «такъ и такъ, говорить, змѣй у насъ...» ну, и все подробно ему объяснилъ. «Иди, говорить, ты и отруби ему всѣ десять головъ...» Услыхалъ это Ахметка—и опять за старое: боленъ, чахотка, ревматизмъ...—Онъ-бы сейчасъ пошелъ и убилъ змѣя, да боленъ, не можетъ встать, забился подь оѣяло, охаетъ... А жена его, царевна-то, пришла, смотритъ на него, говорить:—«Я знала, что ты не богатырь, а об-

манщикъ. Погоди! вотъ я скажу отцу, каковъ ты человѣкъ... У него законъ короткій — сейчасъ तोпоромъ голову прочъ, коли ты добромъ не пойдешь... Вотъ я сейчасъ пойду да и скажу все отцу... Надо-ѣлъ ты мнѣ страсть какъ!» взяла да и ушла; а Ахметка лежить-лежить думаетъ: «ну-какъ въ самомъ дѣлѣ царь мнѣ голову отрубить? Жена меня видѣть не можетъ:—ну-ка да онъ ее послушаетъ!» Подумалъ, подумалъ, стало ему страшно умирать, вскочилъ онъ съ кровати; захватилъ кой-какія пожитки, да и давай Богъ ноги, пустился изъ царскаго дворца куда глаза глядятъ. И ночи пересталъ бояться, только-бы голову унести!

— Бѣжалъ-бѣжалъ, наконецъ усталъ; а на дворѣ ночь темная, на землѣ лечь спать побоялся: ну-ко змѣй его съѣстъ! — полѣзъ на дерево. Кой-какъ уместился, спитъ. Всю ночь онъ проспалъ съ утанку какъ убитый, а поутру открылъ глаза—глядь, а змѣй-то десятиглавый тутъ-же подь деревомъ спитъ и головы всѣ свои распространилъ въ разные стороны... Какъ увидалъ это Ахметка, занялся у него духъ, со страху уаарило ему въ башку, помутился у него умъ, зашатался-зашатался—бухъ съ дерева, да прямо на змѣя... А змѣй-то, въ просонкахъ не разобравши дѣла, тоже со страху (какъ Ахметка-то объ него треснулъ) думалъ, что застигли его, только крякнулъ и подохъ бездыханно; даже лопнулъ весь вдоль и поперекъ съ испугу... такъ его Ахметка испугалъ. А Ахметка долго безъ памяти валялся на мертвомъ змѣѣ, а какъ очнулся, видить, что змѣй-то померъ, и страхъ у него прошелъ и гордость сейчасъ въ немъ оттаяла; и опять возмечталъ о себѣ... Идетъ въ городъ, а на встрѣчу ему войско ханское.—«Куда идете?»—«Да тебя ловить, гдѣ ты былъ?»—«Гдѣ былъ! Змѣя билъ... подите-ка, поглядите, что тамъ подь деревомъ валяется...» Поглядѣли—мертвый змѣй. Тутъ про Ахметку такая слава пошла—неслышанная! Тутъ ужъ всѣ увѣровали, что истинный онъ богатырь и храбрость имѣетъ необыкновенную. Тутъ его царь такъ убоготорилъ, что выше всѣхъ поставилъ, всякими брилліантами его наградилъ, подарковъ ему надарилъ, живетъ Ахметка по царски. Только жена его, царевна, все не вѣритъ: «Эдакой плюгавый мужчина и чтобы онъ могъ такъ сдѣлать? Не вѣрю я этому!» А Ахметка храбрости набрался, лежить на кровати, огрызается:—«Вотъ ты поговори у меня! Я тебѣ покажу, какой я плюгавый!» Ну, царевна обыкновенно плачетъ — а вѣдь что съ нимъ сдѣлаешь? Молчи! Больше ничего...

— Хорошо.

— Идетъ время—живетъ Ахметка въ полное свое удовольствіе и опять царь присылаетъ за нимъ, къ себѣ зоветь... Скрючало Ахметку, однако пошелъ... — «Такъ и такъ, говорить царь, идетъ на меня насмѣтное войско, перерѣжутъ насъ всѣхъ начисто — иди, разбей ихъ всѣхъ, богатырь мой великолѣпный!» На это Ахметка говорить:—«Ваше царское величество! Не могу я идти, потому что я боленъ, всѣмъ нутромъ слабъ, чахоткой одержимъ, бѣлая горячка у меня. Скоро я долженъ сойти съ ума — тогда я все могу погубить». Слу-

шасть ханъ эти слова и не вѣрить: Ахметка и прошлый разъ то-же самое говорилъ — болень-болень, а на дѣлѣ эво что вышло. — «Хорошо, говорить, дѣлай, какъ знаешь, я на тебя надѣюсь... А войску прикажу, чтобы каждое слово твое исполнили, да не то что слово—а чтобы въ каждой малости слушались...» Вскарабкался Ахметка на кровать, подскользнувшись подъ одѣяло — «охъ-охъ-охъ, матушки-батушки, умираю! чахотка, бѣлая горячка, холера у меня!» Какъ увидела его жена, что онъ опять подъ одѣяло шмыгнулъ: — «А-а, говорить, кляузная душа, пришелъ твой конецъ! Слава тебѣ Господи! Теперь ежели ты на войну не пойдешь, такъ тебя силкомъ поведутъ, а ежели не побѣдишь, такъ тебя на части разорвутъ, потому тогда не дѣвица какая-нибудь, а цѣлая держава должна пропасть. Вотъ я сейчасъ отцу пойду скажу!...» Побѣжала къ отцу, а тѣмъ временемъ непріятель со всѣхъ сторонъ нахлынулъ, обложилъ городъ, и не успѣвъ Ахметка изъ-подъ одѣяла выскочить, чтобы лататы задать, какъ входитъ ханъ, беретъ его за руку, выводитъ на улицу и говоритъ: — «Вотъ тебѣ конь, садись, поѣзжай и командуй! А ты, мое вѣрное войско, безпрекословно ему повинуйся и все что только онъ ни прикажетъ — все исполняй и даже что только онъ будетъ дѣлать—то и ты, мое вѣрное войско, дѣлай... Съ Богомъ!»

— Ни живъ, ни мертвъ сидитъ мой Ахметка на лошади; возжей не можетъ держать — и руки, и ноги врозь расплзаются... Царскіе адъютанты ѣдутъ по бокамъ, держутъ его подъ руки. Выѣхали въ поле, стали противъ несмѣтнаго непріятеля, раскинули для Ахметки золотой шатеръ, сняли его съ лошади, привели въ этотъ шатеръ, собрались всѣ генералы, фельдмаршалы, ждутъ приказаній, а Ахметка лыка не вяжетъ со страху... Наконецъ, того, говоритъ: — «Я не могу! У меня умъ помрачился, меня злой духъ испортилъ, я рассудка лишился, а безъ рассудка нельзя командовать!» И сталъ онъ и со страху, и изъ притворства невѣдомо что творить: одежду съ себя поснималъ, все на себѣ изорвалъ, остался весь, какъ мать родила, и наконецъ того спрятался со страху подъ диванъ. Всѣ генералы, фельдмаршалы смотрятъ — понять ничего не могутъ, а между прочимъ не смѣютъ ослушаться царскаго приказанія. Что Ахметка дѣлаетъ, то и они дѣлаютъ; и войску тоже дѣлать приказываютъ. Обнаготились всѣ на чисто и войско все тоже размунировалось наголо, и всѣ полѣзли, за кусты, за холмики попрятались... Лежатъ всѣ, ждутъ, что будетъ. А Ахметка тоже лежитъ подъ диваномъ голый, ни живъ, ни мертвъ... Только, братцы мои, вскочи въ это самое время собачка махонькая въ шатеръ; увидела она Ахметку подъ диваномъ — къ нему; ну, съ нимъ играть, кусать его, тормошить... Гонитъ ее Ахметка, а та съ-дуру все къ нему лѣзетъ. И разъ прогнать, и два — а она все свое. И должно быть, что играючи тяпнула она его за ногу. Ахметка осерчалъ, забылъ свой страхъ, выскочилъ изъ-подъ дивана, схватилъ сапогъ — да за собакой! «Погоди-можь, каналья, — я

тебя!» Да съ сапогомъ-то изъ шатра вонъ! А за нимъ генералы, а за генералами все войско — да какъ двинули за своимъ первоначальникомъ въ го-ломъ-то видѣ, да какъ увидалъ непріятель такую страсть—и гдѣ ужъ тутъ воевать, давай Богъ ноги, кто куда со страху-то, по ямамъ, по бугоркамъ, по горамъ — всѣ до единого разбѣжались... А Ахметка нагналъ собачонку, ударилъ ее сапогомъ: «я тебѣ, говорить, дамъ кусаться!» Оглянулся — а ужъ отъ непріятеля и слѣдъ простылъ! И сейчасъ опять разхрабрился, говоритъ: «вы что же меня изъ-за такой дряни безпокоили?» Тутъ ханъ и весь народъ не знали, какъ Ахметку убагодворить. Опять его наградили, обдарили и слѣзавъ его ханъ себѣ наслѣдникомъ... Пришелъ Ахметка къ женѣ, говоритъ: — «что, дура такая? Похожъ я на мочалу?» Ну, жена только плюнула на него и слезами залилась... А Ахметка сталъ жить да поживать... Ну, что, господа, какъ счастье это?

— Знаю не горе! отозвался лакей. — Чего ему еще? Живи, поживай!..

— Нѣтъ, сказалъ солдатъ, — про такое счастье, что съ неба сваливается, нельзя сказать: «живи да поживай!» Какъ пришло, такъ и уйдетъ — а въ этомъ счастья нѣту. Вотъ и съ Ахметкой тоже было. Долго такъ ему все удавалось. Жена его даже всѣ глаза выплакала — все ждала, не пропадетъ-ли постылый какимъ-либо манеромъ, а онъ все выше да выше. Наконецъ того подходитъ время, помираетъ нашъ ханъ, а Ахметка влѣзаетъ, Господи благослови, на престолъ. Вскарабкался, дубина такая, усѣлся — и давай царствовать! Вотъ тутъ онъ и сплосчалъ! Коли хочешь царствовать, такъ будь умнѣе; тутъ, въ этомъ дѣлѣ, надобно каждую вещь разобрать... Подданные Ахметкины такъ и думали, что онъ всѣ свои подвиги творилъ не съ глупой головы, и надѣялись на него... А Ахметка-то, знамо, ужъ дуракъ-дуракомъ былъ отъ рождения... Однако какъ пришлось ему царствовать и рѣшилъ онъ: «все у меня въ жизни на выворотъ выходило, отъ этого я такъ и возвеличился, пушай-же и царствовать я буду тожъ наоборотъ—авось меня подданные почитать будутъ...» И сталъ орудовать: кого-бы наказать — а онъ ему орденъ, награду, а кому награду — того въ кутузку; кому-бы въ попы, а Ахметка его въ плесуны, а кому бы самое любезное дѣло на головѣ ходить да фокусы представлять — того въ духовенство опредѣлялъ... Перерубилъ онъ человѣчьи головы видимо-невидимо, и все понапрасну, а которыя-бы слѣдовало отрубить — тѣ всячески изукрасилъ... Ну, братцы мои, похозяйничалъ онъ такимъ-то манеромъ годикъ, другой, видитъ народъ, что дѣло дрянь, что была въ дѣлахъ Ахметки удача, а ума не было... Потолковали, посовѣтовались, да и сняли Ахметку съ престола... — «Слѣзай-ка, можь, любезный, съ престола-то, да ступай куда-нибудь по добру по здорову, пока цѣлъ». Ну, Ахметка, нечего дѣлать, съ престола слѣзъ, одежду съ него сняли, палкой въ дорогу наградили... — съ тѣхъ поръ и слуху о немъ никакого нѣтъ, а жена какъ увидела все это — выскочила на крышу (она тамъ все по кры-

шамъ гуляютъ) да въ бубенъ ударила, да пѣсни стала играть на радостяхъ, а вскорости нашла жениха умнаго, молодого, взяла его за себя и стала съ нимъ царствовать... А куда Ахметка дѣвался—такъ никто и не знаетъ...

— Все-таки, сказалъ лакей, —хоть два года счастливо пожить...

— Ну, нѣтъ, сказалъ солдатъ, по моимъ мыслямъ я этого счастьемъ назвать не могу...

— Ну, а какъ же по твоему-то?..

— А по моему... Да ты слушай, что дальше будетъ, а ужъ тогда и будемъ разговаривать.

— Ну, ладно, рассказывай!..

III.

Понюхалъ старикъ табачку, поотчихался, покрестился, улегся поспокойнѣе и началъ:

— Это я рассказывалъ, какъ на дурака валить удача, а теперича расскажу, что бываетъ иной разъ—не своимъ умомъ, а чужимъ разумѣньемъ человекъ захочетъ осчастливиться, такъ и это опять никакъ назвать счастьемъ невозможно... Было, братцы мои, такое дѣло: жилъ былъ, опять же все тамъ, въ черкесскихъ земляхъ, мельникъ одинъ... Ну, самъ знаешь, какая ужъ нажива въ тамошнихъ мѣстахъ по хлѣбной части! Тамъ все больше фрукты, птица, овца, а ужъ гдѣ тамъ по горамъ пашни пахать, хлѣбъ сѣять... Жилъ стало-быть этотъ мужичонка кой-какъ, съ хлѣба на квасъ перебивался. Окромя мельницы было у него и еще дѣло—куръ держалъ, яйца продавалъ въ городъ... Вотъ хорошо. Живетъ такъ-то. Только видитъ—разъ курицы одной нѣтъ, другой разъ и двухъ не досчитался, а третій разъ и цѣлаго пятака не отыскалось... Сталъ примѣчать—что такое? кто этимъ дѣломъ орудуетъ?.. Вотъ однова ночью и слышать—куры всполошились; выскочилъ изъ дому, а по полю лисица удираетъ съ курицей...—«Ну, сказалъ мельникъ,—ладно, любезная! Попадешься ты мнѣ!» Поставилъ капканъ, и ночи черезъ двѣ попалась лисица, лапу ей капканъ прищемилъ. Схватилъ мельникъ кинжалъ (у нихъ безперечъ все поножовщина идетъ, такъ ужъ это чтобы безъ кинжала день продышать—извини!), хотѣлъ ее пырнуть, а лисица и говоритъ: «Мельникъ, мельникъ! Не рѣжь меня, я тебѣ большую службу сослужу—и богатство тебѣ предоставлю, и на ханской дочери женю, и самого въ ханы произведу. Только ты меня не убивай, а корми всю жизнь, а когда я помру, то чтобы честь-честью похоронить, а не такъ, чтобы собакамъ выкинуть». Подумалъ-подумалъ мельникъ.—«Ну, ладно, говоритъ, пушай!» Отпустилъ лисицу на волю и сталъ чужимъ умомъ жить... Это и такъ завсегда бываетъ: застигни я какого купца богатаго, или чиновника на нехорошемъ дѣлѣ, и онъ мнѣ начнетъ сулить: «скрой, а я тебя награжу!». Вотъ такъ и мельникъ.—«Ну, говоритъ мельникъ,—коли такой уговоръ у насъ, такъ дѣйствуй!»

Вотъ лисей умъ и началъ орудовать... Первымъ долгомъ побѣжала она къ сосѣднему хану, пала

ему въ ноги, и говоритъ: «Прислалъ меня къ тебѣ мой знаменитый государь, ханъ Ахметка»...

— Ну, что все Ахметка да Ахметка, перебилъ рассказчика лакей.

— Ну, пушай хоть Абдулка будетъ—все едино. «Прислалъ меня мой Абдулъ-ханъ, говоритъ лисица,—попросить у тебя мѣру; надобно намъ перемѣрить золото наше, потому что у нашего Абдулъ-хана страсть сколько золота...» Дали ей мѣру, принесла она ее на мельницу и стала рыться въ навозной кучѣ. Рылась-рылась, откопала золотой; сейчасъ она этотъ золотой и воткну въ щелку—значить туда, гдѣ мѣра раскололась. Воткнула и несетъ мѣру назадъ.—«Насилу, говоритъ, вымѣряли... Смерть моя какъ умалялась! Мой ханъ-Абдулъ приказалъ васъ благодарить».—«Да неужели у него столько золота, что онъ два дня его мѣрою мѣрять?..»—«Очень, говоритъ, много!» Не повѣрилъ ханъ, взялъ мѣру въ руки, говоритъ:—«Эдакими мѣрами вы золото ваше мѣряли?»—«Этими самими!»—Ханъ даже разсердился, бросилъ мѣру на полъ—а изъ нея и зазвенѣлъ по полу золотой.—«Вотъ изволь видѣть, сказала лисица,—одинъ золотой и сейчасъ гдѣ-то застрялъ. Нѣтъ, сущую правду я говорю: великій богачъ мой Абдулъ-ханъ!..»

— И въ другой разъ прибѣжала къ нему лисица и опять мѣрку потребовала.—«Серебро, говоритъ, надо перемѣрить!..» И тоже пять двугривенныхъ разсвала въ разные щелки и принесла мѣру назадъ ровно чрезъ недѣлю.—«Цѣлую недѣлю, говоритъ, билась, еле-еле покончила... Приказалъ васъ благодарить!»—«Не можетъ быть, чтобы цѣлую недѣлю серебро мѣряли...»—«Нѣтъ, вѣрно!» Тряхнулъ ханъ мѣрой—двугривенные такъ и задребезжали по полу...—«Да-а-а! сказалъ ханъ, должно быть, что сосѣдъ мой Абдулъ очень богатый человекъ. Скажи ему, не возьметъ-ли онъ замужъ за себя мою дочь?» Лисица, не будъ глупа, отвѣчаетъ ему:—«Онъ и самъ мнѣ велѣлъ дочь вашу потребовать себѣ въ бракъ и спрашиваетъ, когда ему быть къ вамъ, чтобы настоящимъ манеромъ присвататься?» «Ну, пушай хоть завтра прѣзжаться!»—«Очень прекрасно!» отвѣтила лисица и шмыгнула домой.

— Разсказала все мельнику, а мельникъ и говоритъ:—«Въ чемъ-же я пойду къ хану? у меня даже и брюкъ-то, съ позволенія сказать, нѣтъ настоящихъ—такъ какъ-же я къ ханской-то дочери могу соответствовать!»—«Ну ужъ это не твоя печаль, ты только исполняй, что я тебѣ присовѣтую...»—«Ну ладно!» Вотъ она и стала изхитряться; нацѣпила на него всякихъ мыкъ, стружекъ навѣшала—издали-то они на солнцѣ лоснятся, блестятъ—и говоритъ: «Пойдешь ты на встрѣчу хану, онъ со свитой на томъ берегу рѣки будетъ тебя ждать,—пойдешь къ нему, и иди прямо бродомъ, въ воду,—а на среднѣй рѣки крикни, будто оступился, и нырни въ воду...» Выѣхалъ ханъ на встрѣчу къ Абдулкѣ, пошелъ Абдулка къ нему пѣшекомъ прямо вбродъ, нырнулъ и выплылъ, въ чемъ мать родила, весь его нарядъ въ рѣчкѣ потонулъ... А

лисица выскочила на другой берег и говорить ханской свитѣ: «Дайте что-нибудь моему Абдул-хану одѣть, а то домой намъ некогда за платьемъ ѣхать... Сколько брилліантовъ однихъ потонуло въ рѣчкѣ, такъ это и сосчитать невозможно!» Ну, свита сейчасъ поснимала съ себя разные парчевые халаты—чтобы понравиться будущему ханскому зятю—обрадили его въ лучшемъ видѣ, посадили на лучшаго коня и побѣхали къ хану во дворецъ. Ыдетъ нашъ мельникъ, разодѣлся баринномъ!..

— Долго-ли, коротко-ли такъ-то онъ у хана пу-тался—ужъ не знаю, не упомяну всего—только лисей хитростью, да вывертами, да изворотами такъ дѣло обернулось, что женился мельникъ на ханской дочери, и надобно ему ее вести домой, въ свое царство. А царство-то у него всего одна мельница разоренная, да двѣ курицы некормленныя... Ну, однакожъ дѣлать нечего—побѣхалъ. Отпустилъ съ нимъ ханъ огромную свиту, ѣдутъ они невѣдомо куда, а лисица передомъ бѣжить и сама-то еще хорошенько не знаетъ, какъ тутъ быть, какъ вернуться. Однакожъ наскочила она на большой табунъ лошадей.—«Чей это табунъ?»—«Да Змѣя-лютого... Это все Змѣево царство тутъ кругомъ...»—«Змѣя! говорить лисица,—ахъ онъ несчастный, несчастный! Идетъ на него огромное войско, а онъ и не знаетъ! Вы, пастухи, вотъ что сдѣлайте: будутъ у васъ конные всадники спрашивать: чей скотъ? говорите Абдул-хана, а не Змѣя,—а то сейчасъ отымутъ! А я побѣгу къ самому Змѣю... Гдѣ его дворецъ?»—Указали ей пастухи, гдѣ дворецъ, побѣжала она туда, по дорогѣ тоже самое сказала пастухамъ, которые овецъ пасли Змѣевыхъ, и прибѣжала къ Змѣю:—«Прячься скорѣй! Страшное войско идетъ—разобьетъ оно тебя вдребезги!» Змѣй влопыхахъ выскочилъ изъ дворца, прямо воткнулся головой въ стогъ сѣна, говорить лисицѣ:—«Закрой меня, сдѣлай милость, поаккуратнѣй, такъ, чтобъ меня не розыскали они!..» Лисица его зарыла въ сѣно, обложила его со всѣхъ сторонъ хворостомъ и пустила красного пѣтуха—такъ Змѣй тамъ и померъ... А Абдулка ѣдетъ съ войскомъ; ханскіе посланцы спрашиваютъ у пастуховъ:—«Чей скотъ?»—«Абдул-хана!»—«Чьи лошади?»—«Абдул-хановы...» «Экіа богатства какія!» Подѣзжаютъ и ко дворцу Змѣеву, а лисица стоитъ у воротъ, говоритъ: «Пожалуйте, дорогіе гости! Милости просимъ!» Ну, пріѣхали всѣ во дворецъ, стали пировать, гулять; а потомъ оставили молодыхъ, и сталъ Абдулка-мельникъ ханомъ и богачемъ...

— И долго онъ такъ съ молодой женой своей жилъ припѣваячи, жилъ, покудова за него орудовалъ чужой, лисей умъ, а какъ пересталъ этотъ чужой умъ ему служить, чужая смекалка за него сме-кать—и конецъ его счастью!—«Попробую, говорить лисица снова,—какъ-то онъ теперь уговоръ нашъ помнить!» Взяла да и притворилась, что умерла... А Абдулка увидалъ ее мертвой и говорить прислугѣ:—«Выбросьте ее въ канаву!..»—«А, сказала лисица,—такъ ты такъ-то за мои благодѣянія!» Встала, ушла, рассказала и хану, и пастухамъ, какъ было дѣло, вывела Абдулку на свѣ-

жую воду—и все пошло прахомъ: пришелъ ханъ съ войскомъ, взялъ свою дочь, забралъ всѣ Абду-кины богатства, стада и дворцы, а самого Абду-ку выгналъ вонъ и кулакомъ ему вслѣдъ погро-зилъ... И гдѣ этотъ Абдулка—неизвестно!..

— Такъ вотъ, други любезные, бываетъ, что и чужимъ умомъ, чужой сноровкой, хоть-бы даже прямо сказать, чужимъ капиталомъ человѣкъ счастье бываетъ—только и это счастье не настоящее: нѣтъ чужого ума, нѣтъ чужого капитала—и счастья твоего нѣтъ... Этого я тоже счастьемъ не назову...

— А что-же по-твоему настоящее-то? спросилъ нетерпѣливый лакей.

— А вотъ слушай!

IV.

— Жилъ-былъ на свѣтѣ бѣдный мужичонка лапти плелъ, и былъ у него молодой сынъ, пастухъ: нанимался онъ пасти городское стадо. Дѣло было все тамъ-же, въ черкесскихъ земляхъ... Я все это съ Абдукиныхъ словъ рассказываю. Вотъ, братцы мои, жили-жили они тамъ-то, сынъ съ отцомъ, жили тихо-мирно; только однажды и вскочи этому сыну-то, молодому парнишкѣ, такая загвоздка въ башку:—«Позвольте мнѣ узнать, отчего это я долженъ всю жизнь въ пастухахъ шляться? На какомъ основаніи я долженъ всю жизнь съ телятами да съ баранами компанію водить? Я тоже человѣкъ... Почему-же хозяева этихъ коровъ, лошадей и овецъ спокойно себѣ въ городѣ проживаютъ, а я для ихняго спокойствія долженъ въ грязи валяться? Ни за какія деньги больше не соглашусь!» Надумалъ такъ-то, бросилъ свой пастушій кнутъ, бросилъ стадо, пошелъ домой и все бормочетъ: «Вотъ былъ дуракъ! Пастухомъ! Почему-же я пастухъ, а не другой кто-нибудь? Чѣмъ я кого хуже?» Пришелъ домой и говорить отцу:—«Вотъ что, батя, я эту глупость бросилъ—не желаю быть больше пастухомъ... А желаю я, очень просто, жениться на царской дочери. Довольно я пустяками занимался».—Отецъ лапти ковыряетъ, слушаетъ его, понять ничего не можетъ.—«Да ты что это бормочешь-то? На какой царской дочери? Перекрестись! Опомнись!»—«Нечего мнѣ опоминаться: слава Богу, а я такъ опоминился. Не иначе я соглашусь жить на свѣтѣ, чтобъ жениться мнѣ на царской дочери. Или сейчасъ къ царю—къ хану стало быть—и проси у него дочь за меня. А ежели не пойдешь, такъ я сейчасъ на себя руки наложу. Вотъ еще я буду пастухомъ! Ни за что на свѣтѣ...» И такъ онъ огоршилъ этимъ разговоромъ отца, такъ онъ его напугалъ, будто руки на себя наложить, что испугался старикъ, собрался и пошелъ къ хану...

— Пришелъ онъ къ ханскому дворцу—не знаетъ, какъ ему и приступить. Однакожъ кой-какъ добрался онъ до хана, и не знаетъ, какъ ему дѣло свое рассказать.—«Вздурѣлъ, говорить, у меня парнишко... И самъ не знаю, что съ нимъ сдѣлалось. Все былъ пастухомъ, работалъ, жилъ мирно,—да вдругъ и забормоталъ невѣдомо что...» Рассказалъ

старик хану все какъ было, и думаетъ, что отрубить ему ханъ голову за эти разговоры... Но ханъ-то былъ человѣкъ добрый. Выслушалъ онъ все это и говоритъ: — «Скажи ты, другъ любезный, сыну, что я бы ему отдалъ дочь, даромъ что онъ — пастухъ, да первое дѣло, что дочери у меня нѣту, а второе дѣло, что я-бы пожалуй и царство ему послѣ себя отдалъ — только мнѣ нужно, чтобы человѣкъ умомъ былъ силенъ, всякую науку бы зналъ, все бы могъ своимъ умомъ сдѣлать, своимъ умомъ сообразить! Кого, говорить, я ни выбиралъ себѣ въ наслѣдники — все мнѣ народъ не нравится: и храбрые есть, и на лошади гарцовать мастера, и копьемъ орудовать молодцы есть, а такого человѣка умственного, чтобы въ немъ самомъ на все сила была, — нѣту! Вотъ если бы твой парнишка, хоть и пастухъ, а во всякихъ искусствахъ и наукахъ былъ бы дошлый — ну, тогда я-бы пожалуй ему и престолъ свой отдалъ. Поди-ко, скажи ему!»

— Пошелъ старикъ и говорить сыну: — «Такъ и такъ. Дочери, говорить, нѣту у него... А ежели бы ты въ разныхъ искусствахъ и наукахъ мастеръ былъ, такъ сулился ханъ и царство свое уступить». Подумалъ парнишка, говорить: «Что-жъ! Пущай хоть царство отдаетъ. Это я согласенъ — царствовать. А только что ни въ какомъ случаѣ не соглашусь въ пастуха опять идти...» — «Да какъ же ты, глупый ты человѣкъ, собираешься царствовать, когда надобно сколько всякаго знанія искусства, наукъ всякихъ. Что же ты знаешь-то?» — «Чего мнѣ знать? Само-собою я ровно ничего не знаю... А ежели надо много знать, чтобы царствовать, — такъ все узнаю, не безпокойся. Иначе какъ на ханской должности, ни на чемъ не помирюсь!»

— Живымъ манеромъ одѣлся парнишка въ путь-дорогу, прихватилъ отца, и пошли они искать — гдѣ есть искусные умные люди, на всякую хитрую выдумку мастера... Шли-шли, усталъ старикъ, сѣлъ на холмикъ и горько вздохнулъ — все ему представляется, что рехнулся его мальчонка и Богъ знаетъ что такое творить... Вздохнулъ онъ — глядь, а рядомъ съ нимъ старичокъ какой-то, выскочилъ онъ тутъ гдѣ-то изъ-подъ холмика, — стоитъ и спрашиваетъ: — «Что такое? О чемъ горюешь? Чего охашь?» Разказалъ ему старикъ про парнишку и его затѣи. Посмотрѣлъ старичокъ на парнишку и говорить: — «Ничего! Не тужи! Я здѣшній подземный царь, я все знаю; первый я мудрецъ и всякую премудрость и тайность произвелъ... Отдай мнѣ твоего сына, я его обучу». Спросилъ старикъ парнишку. Парнишка говорить: — «Чго-жъ? Я хоть сейчасъ готовъ учиться. Потому мнѣ для ханскаго званія никакъ невозможно безъ науки быть...»

— Ну, потолковали, и взялъ подземный царь парнишку въ науку. Привелъ его во дворецъ, а дочь этого подземнаго царя — красота неописанная! — говорить парнишкѣ: — «Ты вотъ что, милый мой, дѣлай: никогда ты не говори моему отцу, что «понялъ» или «понимаю»... а пуще огня бойся, чтобы онъ видѣлъ, что ты больше его знаешь; съѣсть онъ тебя поѣдомъ, завистливъ онъ къ тѣмъ, кто больше это смысляетъ. А говори ему: «ничего не смыс-

лю, ничего не понимаю!...» Полюбилъ парнишка царскую дочь за эти умныя слова и сталъ учиться. Все онъ произвелъ лучше самого ученаго хана, исхитрился, изловчился во всѣхъ наукахъ-искусствахъ, а самъ все твердилъ: — «Ничего понять не могу! Ничего не смыслю! Ничего не понимаю!...» И не годъ, и не два такъ онъ прожилъ у стараго ученаго хана, и разсердился на него этого ханъ: — «Глупъ ты, говорить, безконечно! Сколько я ни старался, нѣтъ отъ тебя толку. Ступай вонъ!» И выгналъ его на землю, а парнишкѣ того и надо.

— Выскочилъ онъ на землю, первымъ дѣломъ къ отцу. А старикъ отецъ сидитъ, лапти плететъ. — «Ну, говорить сынъ отцу, чего тебѣ надо?» — «Да мнѣ бы лошадь надо... старъ я...» — «Изволь!» Обернулся вороннымъ конемъ. — «Веди меня на базаръ и продавай за 200 рублей». Повелъ старикъ, продалъ за 200 рублей, пришелъ домой, а парнишка ужъ дома сидитъ... И опять онъ обернулся бѣлымъ конемъ и говорить отцу: — «веди и продавай за 500 рублей, только съ уздечкой не продавай, а коли продашь — сними...» Повелъ его отецъ на базаръ, и тутъ на базарѣ-то оказался и старый подземный царь. Понялъ онъ, что парнишка перехитрилъ его, почувалъ, что парнишка больше его знаетъ, и разсердился. Сталъ покупать бѣлаго коня за 500 рублей и уздечку просилъ продать. Сначала старикъ не соглашался, а потомъ какъ сталъ покупщикъ цѣну надбавлять — шестьсотъ, семьсотъ, восемьсотъ — сдался старикъ и продалъ коня съ уздечкой, и заплакалъ конь...

— Схватилъ его сердитый старый ученый ханъ, повелъ въ свое царство, привелъ во дворецъ и сейчасъ его рѣзать хотѣлъ. — «Дай-ка мнѣ, говорить онъ дочери, ножъ, мнѣ надо коня этого зарѣзать». А дочь поняла, что это за конь такой, отвѣчаетъ отцу: — «Отъ ножа осталась одна только ручка, а гдѣ лезвіе — не знаю!» — «Давай копьё!» — «У копьё клинокъ отскочилъ...» — «Ну, такъ я самъ пойду, отыщу...» И пошелъ старый ученый ханъ во дворецъ копьё искать, а дочь выскочила изъ дворца, сняла уздечку съ бѣлаго коня, обратился онъ въ голубя, и улетѣлъ...

— Какъ увидалъ это старый ученый, разгнѣвался на молодого ученика и погнался за нимъ. Молодой летитъ голубемъ, а старый обернулся кречетомъ. Голубь влетѣлъ въ ханскій дворецъ и сѣлъ на окно — и кречетъ тутъ же рядомъ усѣлся. Царь стравилъ кречета на голубя, и только-бы кречету броситься — голубь въ яблоко обратился, а кречетъ обратился въ старика... Протянулъ царь яблоко къ старику и только-бы старику съѣсть его — разсыпалось оно мелкимъ просомъ. Не сплеховалъ и старый ученый — превратился онъ въ насьдку съ цыпятами и сталъ онъ клевать мелкое просо. Не сплеховалъ и молодой ученый: осталось одно зернышко, и съѣвъ его насьдка съ цыпятами — погибнуть бы молодому; но онъ изъ послѣдняго зернышка превратился въ kota и бросился на насьдку — только перья изъ нея полетѣли! Обернулся старый ученымъ человѣкомъ, говорить:

— Да! ты умнѣй меня!

А молодой тоже обернулся человѣкомъ и говорить хану:

— Ну, какъ по вашему: знаю я что-нибудь и могу понятіе имѣть?

— Да! сказалъ ханъ. — Много, много знаешь! Это я вижу.

— Ну, такъ ужъ сдѣлайте милость, потрудитесь и престолъ мнѣ вѣдь отдать—какъ по условію было!

— Изволь, изволь!

— Слѣзъ старый ханъ съ своего престола, а парнишка сѣлъ на него, взялъ за себя въ жены дочь стараго ученаго хана, умную дѣвицу, и стали они

парствовать, и стали ихъ подданные любить, потому что они знали, что дѣлали, и ни въ чемъ ничего чужого у нихъ не было, а было у нихъ все свое и вѣковѣчное—стало быть, наука. Вотъ это я и называю счастьемъ...

— Ты вотъ счастливъ былъ, пока купецъ былъ богатъ; онъ былъ счастливъ, пока баринъ баловалъ, а я—говорилъ старикъ-солдатъ—знаю вотъ по портновской части, умѣю орудовать иглой и ниткой, и пока у меня въ рукахъ игла да нитка, да пока на свѣтѣ живешь «прорѣха», такъ я ничего не боюсь... То счастье неизмѣнное, которое въ тебѣ самомъ лежитъ, а не со стороны бѣжитъ.

ИЗЪ ПУТЕВЫХЪ ЗАМѢТОКЪ.

I. «Пока—что».

I.

— Коли тебя Богъ убилъ, то и молчи! Молчи и живи, «пока—что!»

Такія мысли, съ полною точностью выражавшія мое душевное настроеніе, стали пріобрѣтать какую-то по истинѣ непоколебимую стойкость и неотражимую ясность, по мѣрѣ того какъ обыкновенный пассажирскій поѣздъ царицынской дороги, направлявшійся къ Калачу, увозилъ меня отъ шумныхъ и оживленныхъ картинъ Волги и волжскихъ пристаней въ глубь безлюдной и пустынной донской степи.

Какимъ путемъ пришелъ я къ мысли о томъ, что надо жить такъ, чтобы «не касаться», здѣсь говорить не мѣсто, но настоятельность такого рода поведенія ощущалась мною въ столь сильной степени, что я, взявъ билетъ въ Петербургъ до Москвы, не рѣшился однакожъ заглянуть по пути въ этотъ городъ, опасаясь въ пріятельскомъ разговорѣ вновь взволноваться вопросами, которые (я теперь знаю положительно) совершенно для меня неподходящи, не нужны, которые рѣшительно надобно выкинуть изъ головы разъ навсегда. Вотъ почему, добравшись до Бологова, я пересѣлъ въ рыбинскій поѣздъ, а затѣмъ добрался до парохода, и на пароходѣ, едва прикасаясь къ пристанямъ городовъ, селъ и деревень, тихо, смирно, молчаливо проѣхалъ всю Волгу до Царицына, а вотъ теперь и изъ Царицына ѣхалъ «пока—что» въ Калачъ, полагая, что и изъ Калача какъ-нибудь Господь дастъ мнѣ куда-нибудь поѣхать...

И на мое счастье мѣста, въ которыхъ мнѣ пришлось очутиться, благодаря смиреннѣйшему повиновенію пароходамъ и желѣзнымъ дорогамъ, привозившимъ меня туда, куда имъ было угодно, тогда, когда угодно, и увозившимъ точно такъ-же по собственному назначенію, — мѣста эти оказались самыми подходящими къ моему тогдашнему настроенію. Не говоря уже о томъ, что царицынскій вагонъ второго класса, въ которомъ я сидѣлъ, былъ

совершенно пустъ и мои смиренныя мысли не были перебиваемы никакими разговорами, — не нарушала моего душевнаго настроенія и природа окружающихъ степей: на эту пустыню и въ ея пустынную даль можно было смотрѣть цѣлыми часами и не получить ровно никакого впечатлѣнія. Въ части того мѣста, которое въ географіяхъ именуется Калачомъ, также необходимо сказать, что и онъ ничѣмъ не покусился на нарушеніе моего душевнаго спокойствія и также не произвелъ ровно никакого впечатлѣнія: стоятъ какія-то хибарки и стоятъ такъ, чтобы никонимъ образомъ не сосредоточивать вашего вниманія на чемъ-нибудь опредѣленномъ: одна хибарка стоитъ бокомъ къ другой, а эта другая повернулась задомъ къ третьей. Словомъ, хибарки разставились такъ своевольно и съ такимъ своевольнымъ задоромъ и прихотью, что какъ-бы прямо говорятъ зрителю: «Не твое дѣло разбирать! Проваливай!». И зритель охотно проваливается мимо, нисколько не сожалѣя, что не получилъ никакого опредѣленнаго впечатлѣнія.

Такимъ образомъ безъ всякихъ впечатлѣній удалось мнѣ достигнуть и до пароходной пристани. причѣмъ оказалось, что парохода нѣтъ, что онъ ушелъ ночью и что слѣдующій разъ онъ пойдетъ ровно на пять сутокъ. И это извѣстіе не произвело на меня ни малѣйшаго впечатлѣнія: зачѣмъ мнѣ непременно ѣхать сейчасъ и почему я долженъ доложить какими-то пятью сутками? У меня пропадали даромъ десятки лѣтъ, а тутъ какія-то пять сутокъ. И притомъ куда мнѣ спѣшить? Зачѣмъ? Спѣши не спѣши, а толку все равно никакого не будетъ! Пробовалъ я на своемъ вѣку спѣшить, и все ничего нѣтъ, такъ отчего же не попробовать другого, т. е. просто напросто «взять» да и не спѣшить никуда? Въ этихъ соображеніяхъ я самымъ спокойнымъ образомъ сѣлъ на пароходной конторкѣ на собственный свой чемоданъ. Сѣлъ и сижу.

Мѣсто, гдѣ стоитъ конторка, тихое, молчаливое, да и вечеръ былъ тихій, молчаливый, неподвижный; только гуси полоскались и гоготали около береговъ и колесъ буксирныхъ пароходовъ, да утка

гдѣ-то вопіяла на противоположномъ берегу. Пристань стояла не на Дону, а въ его притоки, небольшой глубокой, узкой рѣчкѣ; Донъ видѣлся слѣва. Всѣ берега были завалены дровами, лѣсомъ, досками.

— Что-жъ вамъ, господинъ, такъ-то сидѣть, сказалъ мнѣ носильщикъ, — вамъ-бы хотѣ въ гостиницу пойти? Не угодно-ли, я васъ проведу?

Не знаю, угодно-ли было мнѣ что-нибудь, но я видѣлъ, что носильщику моему что-то угодно, и послушаться его не посмѣлъ.

Гостиница была прелестна: на баржѣ, стоявшей на водѣ, были выстроены преудобныя комнаты для проживающихъ, а при нихъ столовая и буфетъ. Вся эта гостиница плавала на водѣ и привлекала уютъ, тишиной и всѣми удобствами уединенія. Не только пять дней можно было-бы прожить въ ней при подспорьѣ смиренномудрыхъ мыслей, а положительно все то время, которое опытъ моей прошлой жизни рисовалъ мнѣ въ будущемъ, на долгіе годы, подлѣ общимъ опредѣленіемъ «пока—что».

Часа два я съ истиннымъ удовольствіемъ смотрѣлъ изъ окна этой гостиницы на воду, на крутой берегъ, на бѣлыхъ гусей, усѣвшихся на колесѣ американскаго парохода «Петръ Великій», и сидѣлъ-бы такъ, быть можетъ, всю ночь, если-бы носильщикъ, гораздо болѣе заботившійся обо мнѣ, чѣмъ я самъ заботился, не явился ко мнѣ съ новымъ предложеніемъ.

— Да вамъ не лучше-ли на буксирѣ ѣхать? Буксиръ пойдетъ завтра и придетъ въ Ростовъ въ будущій вторникъ. Положимъ, что и тотъ пароходъ, который въ субботу отсюда выйдетъ, также придетъ во вторникъ, да вамъ-то чего же жить понапрасну? По крайности не сидѣть, а ѣхать...

Настроеніе, въ которомъ я находился, не могло мнѣ конечно указать никакого выбора въ этихъ доводахъ носильщика. Не ѣздили-ли я въ своей жизни къ сроку и безъ проволочекъ? Ѣздили—и ничего особеннаго изъ этого не вышло. Что я проиграю, если просижу праздно пять дней? Ничего! Пробовалъ я не сидѣть праздно, а толку все-таки не вышло. Будетъ-ли лучше, если я поѣду буксиромъ и приѣду въ Ростовъ вмѣстѣ съ пароходомъ, который меня обгонитъ и догонитъ? И обгонялъ я, и перегонялъ, и опять-таки не нахожу въ этомъ ничего существенно полезнаго. Слѣдовательно мнѣ лично все равно: ѣхать-ли на буксирѣ, сидѣть-ли въ гостиницѣ, ждать-ли пять дней, или ѣхать семь, или не ѣхать—результатъ одинъ и тотъ же. Но носильщику нужно чего-то отъ меня, и опять я покорился его волѣ.

По волѣ носильщика я былъ водворенъ на буксирный пароходъ; онъ же позаботился о томъ, чтобы я дорогой не умеръ съ голоду, и вошелъ въ приглашеніе по этому случаю съ поваромъ-матросомъ; купилъ мнѣ двѣ куропатки и изжарилъ ихъ въ гостиницѣ; купилъ чаю, сахару, булку и, когда все это было готово, указалъ мнѣ мѣсто въ какой-то коморкѣ около машины, сказавъ: «Счастливо! Пока-что, все лучше ѣхать, чѣмъ такъ-то зря сидѣть!» и ушелъ. Я же легъ на предназначенное мнѣ мѣсто, и убѣжденный, что повиновеніе лучше неповинове-

нія, заснулъ сномъ праведника. Рано утромъ стукъ машины, оказавшейся за стѣной, около которой я спалъ, заставилъ меня открыть глаза; слышенъ былъ шумъ воды, и я убѣдился, что, повинуваясь персту Провидѣнія, я куда-то ѣду...

II.

Остановился какъ-то нашъ пароходъ около пристани небольшого волжскаго городка. Пока шла обычная нарузка и вырузка, наша пароходная публика, самаго разнокалибернаго сорта, успѣвшая уже погулять по пристани и посмотреть, что именно продаютъ тамъ разныя торговки, небольшими группами сидѣла и гуляла по верхней галлерей (пароходъ былъ американскаго типа), глядя на воду, на городъ и на пристань. Городъ лежалъ на высокой горѣ, по покатоности которой темнѣлся большой неправильный лоскутъ городского сада. Между деревьями мелькали огоньки, и до парохода доносились звуки музыки.

Звуки эти были довольно страннаго свойства: скрипки, кларнеты, флейты пищали и кудахтали, напоминая курятникъ, въ который забралась кошка и произвела переполохъ между курами и пѣтухами; а иной разъ казалось, что всѣ эти куры просто несутся и притомъ изъ всѣхъ силъ. Но среди этихъ курявыхъ воплей оркестра совершеннымъ особнякомъ выдѣлялись звуки какой-то трубы. Звуки ея были рѣзкіе, отрывочные, топорные, крѣпкіе, обрубленные, точно хорошія березовыя полѣнья, и труба разбрасывала эти полѣнья-звуки повидимому вполне произвольно: то бросить вверхъ, то внизъ, то въ сторону, то черезъ Волгу, то наконецъ въ средину самаго курятника-оркестра, что производило въ немъ переполохъ уже совершенно неистовый. Юмористическое направленіе всей этой музыки собрало около перилъ верхней площадки нѣсколько звѣзды, которые, глядя на берегъ и слушая трубу, перекидывались между собою разными замѣчаніями и остротами. Наконецъ труба издала какой-то до крайности короткий и грубый звукъ, точно полѣно, которое она хотѣла выбросить, упало гдѣ-то тутъ, около самой трубы въ траву, и кудахтавъ оркестра замолкло.

— Ну, теперь надо-быть и стадо начнетъ собираться! сказалъ какой-то изъ слушателей, человекъ, похожій на мѣщанина. Онъ все время толкался по галлерейкѣ, дѣлая мимоходомъ разныя замѣчанія и не переставая ѣсть подсолнухи, полевывая скорлупу, куда попало.

— Это ты про какое такое стадо бормочешь? также съ подсолнухами въ рукахъ, небрежно и очевидно отъ нечего дѣлать спросилъ его сосѣдъ, такой же мѣщанскаго типа человекъ, какъ и первый.

Первый мѣщанинъ, плутоватое лицо котораго довольно бойко глядѣло изъ-подъ сдвинутаго къ правому глазу сплюснутаго картуза, нѣсколько секундъ довольно тупо смотрѣлъ на вопрошавшаго сосѣда и наконецъ наставительнымъ тономъ проговорилъ:

ходится. «Мужикъ—дуракъ!» А Ломоносовъ не мужикъ? Почитайко-сь, какъ онъ произошелъ изъ дураковъ-то на высшую степень... А пониче нашему брагу дѣйствительно носъ ломають, а не то, чтобы...

— Вѣрно! сказалъ кто-то басомъ твердо и рѣшительно и вслѣдъ затѣмъ закипѣлъ живой общій разговоръ.

— Нельзя—нельзя—нельзя! надсѣдаясь, кричалъ спустя нѣкоторое время земець.—Нельзя всѣмъ быть чиновниками!.. Не хватитъ никакихъ средствъ.

— Да позвольте, возражалъ ему батюшка, что же это все—«жалованье, жалованье»?—Этимъ дѣло не исчерпывается! Человѣкъ созданъ по образу и подобію Божію...

— Вѣрно! повторилъ тотъ же твердый и рѣшительный голосъ.

— А образъ Божій неотъемлемъ отъ Божіей премудрости... Какимъ же родомъ можно отнять премудрость отъ образа человѣческаго?

— Вѣрно! гремѣлъ голосъ.

— Вѣдь «премудрость» обязательна для человѣка, разъ онъ по образу Божію сотворенъ, а не то что...

— Вотъ то-то и оно-то! послышалось со всѣхъ сторонъ.

Это выраженіе было какъ-бы сигналомъ для того, чтобы ясная и живая рѣчь собесѣдниковъ мгновенно замѣнилась мимикой. Всеобщая инстинктивная потребность въ мимикѣ почувствовалась всѣми (какъ это я замѣчалъ множество разъ) именно въ тотъ моментъ разговора, когда собесѣдникамъ стала совершенно ясна цѣль бесѣды, когда у каждого прихлынуло къ памяти огромный наболѣвшій опытъ жизни,—словомъ, когда именно и долженъ бы былъ начаться настоящій, полный жизненного интереса разговоръ. Но наша мысль привыкла, пока что, останавливаться именно передъ самою-то сущью дѣла, привыкла ждать, годить и ограничиваться мимическимъ рѣшеніемъ вопроса.

— А между тѣмъ что мы видимъ? спрашивалъ батюшка и многозначительно умолкалъ.

— То-то и оно-то! кричали всѣ хоромъ.

— Не въ этомъ-ли самая суть дѣла? вопрошалъ батюшка, стучая въ полъ палкой.—А между тѣмъ...

— Тутъ-то вотъ оно и есть! говорилъ купецъ, тряся пальцемъ у самого пола.—Оно-то вотъ въ эфтомъ и состоитъ!

— Да! въ эфтомъ, въ эфтомъ, а между тѣмъ—что?

— Что? то-то и оно-то!

И затѣмъ пошла уже чистая мимика: купецъ молча трясъ пальцемъ, указывая куда-то въ полъ и кивая головой въ сторону; батюшка упорнымъ взглядомъ обводилъ публику и стучалъ палкой, стараясь попадать въ одно мѣсто; земець пожималъ плечами; мѣщанишка тоже тряхнулъ головой, нервно снялъ шапку, плюнулъ за бортъ и надѣлъ шапку опять. Во время этой пантомимы всѣ смотрѣли другъ на друга выразительными взглядами,

давая другъ другу понять всю многозначительность вопроса, и затѣмъ понемногу разошлись, не переставая поматывать головами, пожимать плечами и многозначительно вздыхать.

— То-то вотъ и оно-то! закончилъ мѣщанинъ рѣшеніе одного изъ существеннѣйшихъ вопросовъ современности.

Черезъ нѣсколько времени я опять случайно встрѣтился съ батюшкой; онъ сидѣлъ въ залѣ второго класса за столикомъ, освѣщеннымъ электрической лампочкой, предъ нимъ стоялъ чай, а самъ онъ читалъ какія-то книжки. Мы скоро съ нимъ разговорились. Книжки, которые читалъ батюшка, были двѣ тоненькихъ брошюры; одна свящ. Иванцова-Платонова о социализмѣ и христіанствѣ, другая книжка г. Таранцева—«Въ мастерской».

— Вотъ, сказалъ мнѣ батюшка ласково,—будьте добры... потрудитесь немного... прочитайте вотъ тутъ и тутъ.

Онъ открылъ мнѣ страницу и указалъ, гдѣ читать.

— «Объявляя мнѣ о томъ, что хочетъ отдать меня фортепіанному мастеру, читалъ я,—отецъ не преминулъ сказать, что избранное имъ для меня ремесло есть высокохудожественное, благородное и благодарное; что посредствомъ его я буду имѣть доступъ въ такіе чертоги, куда грязные мальчишки другихъ ремеселъ и носа не смѣютъ показывать»...

— Это пишетъ сынъ военного писаря! тихо проговорилъ, въ поясненіе дѣла, батюшка.—Теперь вотъ и другое мѣсто просмотрите, когда писарю не удалось опредѣлить своего ребенка въ фортепіанную мастерскую и онъ повелъ его къ сапожнику... Вотъ тутъ!

— «Подмѣтивши во мнѣ, читалъ я,—пристрастіе къ вырѣзыванію и шиванію кожи, отецъ мой рѣшилъ, что быть мнѣ сапожникомъ. По словамъ отца, сапожникъ — это даръ Божій, ниспосланный человечеству, ибо безъ сапожника арміи были бы босы, да и все человечество ходило-бы съ распухшими отъ насморка ногами и пораженными ревматизмомъ ногами; однимъ словомъ, безъ сапожника жизнь была бы не въ жизнь».

Батюшка, пристально и нѣжно улыбаясь, смотрѣлъ на меня, когда я взглянулъ на него, окончивъ чтеніе.

— Ну, что вы находите? Вѣдь это безподобнѣйшія строки! Здѣсь отецъ, писарь, очевидно бѣднѣйшій человѣкъ, нуждающійся въ кускѣ хлѣба, съ горемъ на сердцѣ, даже со слезами на глазахъ принужденъ отдать свое дитя на сѣденіе какому-нибудь мастерству... Неужели онъ не знаетъ, что его ребенку ничего, кромѣ гора, страданія, мукъ, не будетъ въ предстоящей ему жизни? Знаетъ и прекрасно знаетъ! Но въ немъ есть Богъ! Онъ не хочетъ убить душу въ ребенкѣ, онъ своимъ лганьемъ и выдумками о тѣхъ чертогахъ и о всемірномъ значеніи сапожника хочетъ только облегчить ему каторжный трудъ изъ-за хлѣба... Вѣдь каждый ребенокъ, въ какой-бы страшной обстановкѣ онъ

ни жилъ, онъ всегда слышалъ общаніе: «будешь въ золотѣ ходить!». Жизнь трудна, ужасна, говорить нечего, но кромѣ матеріальныхъ невзгодъ, есть еще и духовныя радости... Человѣку нельзя запретить надѣяться—тогда уже совсѣмъ страшно жить! Если въ самомъ раннемъ дѣтствѣ, а главное на порогѣ школы, то-есть мѣста, откуда начинается развитіе нравственныхъ силъ человѣка, его дарованій, нисколько не зависящихъ отъ его матеріальнаго положенія, если на зарѣ дѣтской мечты, иногда единственной надежды человѣка, прихлопнуть его перспективой мрака нищеты... доказать бѣдному ребенку неизбѣжность и безнадежность его жизни—это будетъ черное дѣло! А между тѣмъ...

Батюшка взволновался, покраснѣлъ и остановился. И я уже самъ долженъ былъ закончить нашу бесѣду, сказавъ:

— То-то вотъ оно и есть!..

— Вотъ то-то и оно-то! прибавилъ батюшка и сдѣлалъ крѣпкую понюшку табаку съ довольно тенденціознымъ жестомъ.

И такимъ образомъ опять мы порѣшили жгучій вопросъ посредствомъ мимики.

III.

А вѣдь какія въ самомъ дѣлѣ иной разъ славныя мысли слышатся въ разговорахъ и сужденіяхъ самой повидимому неразвитой среды русскихъ людей. Образованному, настоящему образцу развитому человѣку мысли эти, очень можетъ быть, покажутся вовсе не диковинными, но вѣдь почти всѣ милліоны русскаго простаго люда вовсе не образованы; никто и никогда путемъ его ничему не училъ, и въ тѣхъ многосложныхъ, новыхъ явленіяхъ жизни, которыя идутъ на него одно за другимъ послѣ освобожденія крестьянъ, онъ положительно долженъ справляться исключительно своимъ собственнымъ умомъ. Книга навѣрное въ тысячу разъ облегчила бы эту работу народнаго ума, но вѣдь книги-то нѣтъ, за исключеніемъ «краткихъ» правоученій, и необразованный русскій человѣкъ волей-неволей, съ страшными усиліями и напрасной тратой огромнаго количества умственныхъ силъ, рѣшаетъ трудные, новые, небывалые вопросы жизни исключительно собственными средствами.

И какія прекрасныя, теплыя мысли, планы и «проекты» возникаютъ въ иной простой головѣ, быть можетъ именно потому, что этой головѣ не пришлось еще, благодаря полному знанію, настолько испугаться тайны жизни, чтобы не предпочитать свѣтлыхъ мечтаній тоскѣ черной дѣйствительности. Въ городѣ Парижѣ нѣкто Францини убилъ двухъ женщинъ, обобралъ ихъ и сталъ кутить въ публичномъ домѣ; за это его схватили, судили и потомъ отрубили голову; и послѣ того, какъ ужъ онъ былъ мертвъ, съ него сняли кожу, потомъ кто-то эту кожу (или кусокъ ея) укралъ, выдубилъ какъ сафьянъ и надѣлалъ портсигаровъ, которые и вошли въ моду. Вотъ одно изъ тѣхъ маленькихъ событийъ нашихъ дней, которыя печатаются въ газетахъ

мелкимъ шрифтомъ, и прочитавъ которое мы рѣшительно не ощущаемъ ничего, кромѣ самаго непродолжительнаго непріятнаго ощущенія въ нервахъ. Между тѣмъ все, что сосредоточено около этого человѣка, весь этотъ развратъ, деньги, кровь, ножъ, гильотина и человѣчья кожа въ видѣ портсигара, все это, внимательно разсмотрѣнное, объясненное, изученное, должно-бы было потрясти насъ зрѣлищемъ язвъ, развѣдающихъ современный строй жизни: вѣдь это все были живые люди, живыя души человѣческія! Что же превратило ихъ въ кучи мяса и дубленой кожи? Но, повторяю, это, мелкимъ шрифтомъ напечатанное, ужасное дѣло не трогаетъ насъ такъ, какъ какая-нибудь «мечтательная» попытка дать каждому англичанину «три акра земли и корову», или сдѣлать землю національною собственностью. Читая о такого рода мечтаніяхъ, мы чувствуемъ, что въ нихъ что-то несбыточно, и человѣкъ, который намѣренъ отстаивать свою мечту—мечтатель, вредный мутитель общественнаго спокойствія, и даже это маленькое газетное извѣстіе объ ужасной свалкѣ человѣческихъ изрѣзанныхъ, развратныхъ тѣлъ, мяса и кожи, обдѣланной для портсигаровъ, кажется намъ только курьезнымъ случаемъ и вовсе не наводитъ на мысль о томъ, что наконецъ позволительно же помечтать о чемъ-нибудь лучшемъ.

Вотъ я теперь мнѣ хочется пересказать одинъ очень любопытный разговоръ съ однимъ любопытнымъ чудакомъ; а мнѣ кажется, что хорошия мысли, которыя я отъ этого чудака слышалъ, покажутся неправдоподобными. Вѣдь не повѣрили же нѣкоторые изъ читателей разсказу г. Тимошенкова о крестьянинѣ Захарѣ Абрамычѣ Землѣ, о которомъ я недавно писалъ. Не повѣрили, что богатый мужикъ не зналъ, куда дѣвать деньги, и что онъ, узнавъ ихъ значеніе, употребилъ ихъ не такъ, какъ обыкновенно принято: вмѣсто того, чтобы ими притиснуть человѣка, задумалъ сначала дать ему жизнь, а потомъ ужъ и получить съ него что слѣдуетъ. И этому-то скромнѣйшему мечтанію многіе рѣшительно не повѣрили, и рѣшительно никто не повѣрилъ тому, что Земля не зналъ, куда дѣвать деньги, тогда какъ кубышка съ деньгами, зарытая въ землю, навѣрно извѣстна всякому. Кто не знаетъ, что въ старину богатый мужикъ, наживъ деньги, первымъ и послѣднимъ долгомъ своей жизни считалъ необходимость запрятать этотъ капиталъ въ кубышку и кубышку запрятать въ землю (земля и въ землю пойдешь!) и что этой операціей оканчивалось (да и теперь это не рѣдкость) всякое народное «капиталистическое производство». Не повѣрили, что можно приобрести тысячи десятинъ земли по 70 к. десятину, а вотъ когда на нашихъ глазахъ происходило расхищеніе башкирскихъ земель, и не по 70 к. за десятину, а по 8, причѣмъ расхищено милліоны десятинъ,—это не возбуждаетъ недоумѣнія и сомнѣнія; когда намъ говорятъ, что можно расхитить милліоны десятинъ земли, мы соглашаемся и говоримъ: «можно!». Когда намъ говорятъ, что можно убить человѣка, снять съ него кожу, надѣлать портсигаровъ изъ дубленой человѣчины,—мы

и тут не выкажемъ сомнѣнія; но когда намъ говорятъ, что какой-то человекъ хотѣлъ не расхитить и истощить землю, а оживить ее, — это намъ кажется пустяками; когда говорятъ, что трудящійся человекъ не желаетъ идти торной дорогой хищничества и не знаетъ, куда дѣвать капиталъ, — это намъ кажется безсмыслицей и лганьемъ.

Ожесточилось сердце наше! и не даромъ германскіе патріоты поднесли г. Бисмарку въ подарокъ *желѣзный букетъ* (тоже мелкимъ шрифтомъ было напечатано)! Желѣзный букетъ, это — знаменіе времени: что такое живые цвѣты? Утопія! А вотъ желѣзныя фіалки, свинцовые ландыши, это — прочное, вѣрное, настоящее, это — правда, а живые цвѣты — не правда. Ожесточилось сердце наше.

Но ожесточилось не у всѣхъ, а въ народной средѣ и подавно. Изъ числа такихъ нежесточившихся мечтателей особенно сильное впечатлѣніе произвелъ на меня одинъ чудакъ, раскольникъ, котораго мнѣ случайно пришлось встрѣтить во время описываемой теперь поѣздки. Къ какому раскольниковому толку онъ принадлежалъ, я не знаю, и не зналъ бы даже, что онъ — раскольникъ, если-бы онъ такъ не называлъ себя. Изъ разговоровъ его мнѣ стало извѣстно еще, что онъ принадлежитъ къ богатой торговой семьѣ, имѣющей въ разныхъ мѣстахъ Россіи фабрики, заводы, паровыя мельницы. Самъ онъ, какъ видно, не былъ «приставленъ» ни къ одному изъ семейно-торговыхъ дѣлъ «въ плотную», а больше таскался среди этихъ дѣлъ, больше размышлялъ о нихъ, чѣмъ содѣйствовалъ ихъ развитію. Онъ былъ холостъ, лѣтъ сорока, съ небольшою рыженькой бородкой, черныя картузы, черное длинное пальто и черныя, вродѣ солдатскаго, галстухъ придавали его купеческой фигурѣ что-то монашеское или вѣрнѣе семинарское. Разговоръ его былъ очень любопытенъ и доказывалъ, что «книга» не только духовная, но и свѣтская, была ему не чужда.

Стали мы какъ-то вмѣстѣ съ нимъ и другими проѣзжими на площадкѣ парохода и молча смотрѣли на Волгу, да вѣроятно такъ-бы молча и разошлись, если-бы не случилось слѣдующее обстоятельство.

Передъ нами шелъ пароходъ, таща за собою нѣсколько баржей; и буксиръ, и баржи были самыя обыкновенныя, и мы не обратили-бы на нихъ никакого вниманія, если-бы раскольникъ вдругъ не воскликнулъ, обращаясь повидимому ко всей компаніи:

— Вотъ такъ, сдѣлай милость, изобрѣтай! За такія изобрѣтенія мы благодаримъ и Бога молчимъ!..

Слова эти были произнесены тономъ воззванія, и поэтому всѣ поспѣшили узнать, въ чемъ дѣло.

— А вотъ поглядите на наше мужицкое изобрѣтеніе!.. Это непременно наше мужицкое!.. Видите, вонъ у баржи придѣлано колесо?

Вотъ что оказалось: обыкновенно на баржахъ для откачиванія воды есть особый рабочий-водоливъ, который обязанъ выкачивать изъ баржъ воду; вся его обязанность заключается въ томъ, чтобы непрестанно махать отъ пола (гдѣ вода) къ

отверстію съ боку баржи большимъ ковшомъ, зачерпывая и выбрасывая воду наружу; для облегченія этого монотоннаго, изнурительнаго труда, ковшъ иногда привѣшивался къ потолку баржи на веревкѣ. Теперь-же какой-то невѣдомый, но, по словамъ раскольника, непременно мужицкій изобрѣтатель придумалъ слѣдующее: онъ придѣлалъ къ баржѣ маленькое мельничное колесо, которое приводилось въ движеніе тѣмъ же движеніемъ баржи; цѣпляясь, вслѣдствіе хода баржи, о воду, оно оборачивалось, приводило въ движеніе коромысло, и вода выкачивалась изъ баржи сама собою; человека для такой скучной работы не требовалось.

— Это непременно наше, наше, мужицкое изобрѣтеніе!.. Вотъ этакого намъ подавай!..

— Да почему же это изобрѣтеніе мужицкое?..

— Непременно мужицкое!.. И потому оно мужицкое, крестьянское, что изобрѣтено это дѣло для работника, для облегченія трудящаго, а не для прибыли капиталу!.. Капиталъ отъ этого колеса ничего не выгадаетъ, гроша не наживетъ, а рабочий человекъ мучиться пересталъ, прямо выгадалъ! Вотъ это и есть изобрѣтеніе настоящее для облегченія человека, но не капитала!.. Это изобрѣтеніе божеское, и такую науку намъ давай! Давай намъ косу, борону, давай намъ швейную машину, давай косилку, прессъ, — все давай, чтобъ человекъ жилъ дома, жилъ полнымъ порядкомъ, а въ машину его не преображалъ! Тогда намъ не нужна твоя машина, ежели она душу человеческую уѣдаетъ!

Возбужденная рѣчь раскольника очевидно затронула всеобщее вниманіе. Но нашлись и возражатели.

— Какимъ же родомъ машина можетъ у человека выѣсть напимѣръ душу, спросилъ молодой сидѣлецъ одного мануфактурнаго магазина въ Саратовѣ. — Вотъ у меня напимѣръ пиджакъ... онъ машинный... а между прочимъ какъ душа моя была христіанская...

Раскольникъ прервалъ эту рѣчь такимъ многозначительнымъ жестомъ презрѣнія, что пиджакъ мгновенно замолкъ.

— Охъ ты, Боже мой, Боже мой! сокрушенно вздыхая, сказалъ раскольникъ, садясь на диванчикъ. — Душа христіанская, а пиджакъ машинный?.. Охъ ты, Боже справедливый!

Пиджакъ совершенно сконфузился, а раскольникъ замолчалъ.

— Слушай, ежели хочешь понимать, что такое душа и что такое пиджакъ! наставительно говорилъ онъ, предварительно крѣпко о чемъ-то подумавъ. — Расскажи я сказку съ прибаутками... Вотъ какъ я буду объяснять: лежало, изволишь-ли видѣть, тысячу лѣтъ, а можетъ и сто тысячъ лѣтъ, подъ землею, на необыкновенной глубинѣ, огромнѣйшее пространство желѣза. Лежало оно холодное, мертвое, недвижимое, ржавое; холодъ отъ него шелъ и внизъ, и въ глубь земли, и въ правую сторону, и въ лѣвую, и вверхъ — всюду отъ него шла смерть и холодъ! И лежало оно такимъ трупомъ бездыханнымъ несчетныя вѣки-вѣковъ. А надъ

нимъ, какъ надъ мертвецомъ, Господь насыпалъ огромные холмы и долины земли. На землѣ этой росла зеленая трава, яркіе цвѣточки, росли хлѣба, овсы, льны, лѣса дремучіе и стояли деревни, села и храмы Божіе. И жили въ этихъ деревняхъ мужики, бабы и ребята, жили своимъ трудомъ, своимъ домомъ, каждый былъ самъ себѣ хозяинъ. Такъ вотъ какъ было: подъ землей лежалъ желѣзный мертвецъ, трупъ бездыханный, а на землѣ жилъ живой человекъ. Такъ али нѣтъ?

— Такъ! такъ!

— Пущай! Ничего!

— Ладно!

— Хорошо! произнесъ рассказчикъ, выслушавъ эти одобренія. — Лежитъ мертвое тѣло, живетъ живой человекъ... И такъ идетъ, по Божьему указанію, искони бѣ!.. Только, братцы вы мои, объявляется въ неизвѣстныхъ мѣстахъ нѣкоторый «завистникъ», является въ наши мѣста. Пришелъ, на людей не поглядѣлъ, Богу не помолился, а прямо носомъ-то своимъ въ землю воткнулся... Воткнулся и засверлилъ!.. И что-же стало! Стало мертвое желѣзо разогрѣваться, стало теплѣть, макнуть, потянулось, разогрѣлось—ожило!.. И что только сталося съ этимъ мертвецомъ, съ желѣзомъ-то! Поднялось оно изъ подъ земли и заиграло! И проволокой вокругъ всего свѣта обвилось, разговоры пошли по немъ безпрерывные, и побѣжало пароходами, вагонами, заиграло колесами на мельницахъ, на фабрикахъ, застучало станками, засвѣтилось огнемъ, фонаремъ, засверкало косою, пилой, словомъ, — разгулялось по всему свѣту и на всей своей волѣ!.. А что-же стало съ живымъ-то человекомъ, который тысячи лѣтъ жилъ-поживалъ надъ этимъ мертвецомъ на его могилѣ? Посмотрико-сь на него, на что онъ похожъ сталъ!.. Проволоки, колеса, винты, станки и твои, другъ мой любезный, пиджаки вытащили его изъ своего дома, отняли его отъ хозяйства, приставивъ его холопомъ у винтовъ, у станковъ, при котлахъ и при печахъ! Няньчи ихъ, береги ихъ, ухаживай за ними, а о себѣ и думать забудь! Парни оторваны отъ дѣвокъ, дѣвки отъ парней, жены отъ мужей и дѣти отъ отцовъ и матерей! Каждый прикованъ къ своему, къ проволоку, къ винту, къ папироскѣ, къ печкѣ съ уголемъ и отойти ему нельзя! Какъ отомелъ — такъ и ѣсть нечего! Какъ пересталъ стучать въ телеграфъ — умирай! Какъ пересталъ у печки горѣть — умирай! А желѣзо-то гуляетъ по всему свѣту, со всѣмъ свѣтомъ разговариваетъ! Вотъ ты и понимай, что тебѣ дороже — пиджакъ или душа христіанская?

Сказка съ прибаутками весьма заинтересовала публику, и раскольникъ очевидно понималъ это, потому что на тонкихъ губахъ его появилась улыбка самодовольства. Эта улыбка ободрила приказчика въ пиджакѣ, и онъ, тоже улыбувшись, сказалъ:

— Позвольте! Ну, хорошо; пиджакъ, будемъ такъ говорить, пиджакъ есть вредъ. Ну а душа-то христіанская при чемъ напримѣръ?

— Да по твоему, что такое означаетъ быть христіаниномъ-то?

Вопросъ этотъ былъ повидимому въ такой сте-

пени трудно разрѣшимъ не только для пиджака, но и для всей слушавшей публики, что раскольникъ не сталъ ее томить ожиданіемъ рѣшенія и проговорилъ:

— По моему — не знаю какъ по вашему (я вѣдь раскольникъ!) — самое главное въ Христовомъ ученіи только одно: «ищите!» и, разумеется, когданибудь обрящете. То есть, безпрестанно старайтесь отдѣлываться отъ худа, отъ неправды. Не успокойтесь никогда! Самъ ты знаешь по себѣ (онъ обращался къ пиджаку): получалъ ты двадцать рублей — мало! Получаешь пятьдесятъ — опять мало! Такъ и душѣ нашей безпрестанно желательно жить какъ можно чтобы опрятнѣй... Ну, а ужъ не знаю есть-ли ей досугъ о себѣ позаботиться, если ее притиснутъ на всю жизнь въ кочегарню, или приткнуть къ папиросѣ! Нѣтъ, братъ, въ крестьянствѣ — вотъ гдѣ пожалуй о душѣ еще думать можно! Ты меня не покупай своимъ изобрѣтеніемъ, а только облегчи напрасный трудъ, а въ душѣ-то и будетъ просторнѣй. И досугъ ей будетъ «искать» по Христову ученію...

— Да это что ужъ говоритъ! сказалъ пиджакъ, вздохнувъ и закуривая папиросу.

— Вотъ то-то и оно-то! сказалъ раскольникъ.

— Тутъ-то вотъ оно самое и есть! сказалъ купецъ, указывая пальцемъ въ полъ.

— То-то — «тутъ-то»! Тутъ-то оно тутъ, а между тѣмъ...

— Вотъ то-то и оно-то!

И такимъ образомъ вопросъ былъ разрѣшенъ такъ-же, какъ и всѣ предыдущіе.

IV.

Да, много, много было искушеній моему смиренномудрію; но побѣда на буксирѣ по Дону совершенно изгладила изъ моихъ воспоминаній все, что могло нарушить мое душевное настроеніе, и привела въ полный порядокъ мои смиренныя мысли.

День на буксирѣ проходилъ такимъ образомъ.

Часа въ четыре утра въ машинѣ, около которой я спалъ, раздавалось нѣсколько потрясающихъ ударовъ; первый ударъ, казалось, былъ направленъ какъ разъ въ ту стѣну, около которой я лежалъ, второй — куда-то въ глубину земли, третій — въ глубину неба, и четвертый — въ неизвѣстное пространство. Сдѣлавъ эти четыре удара, пароходъ затихалъ и трогался съ мѣста, причемъ, кромѣ легкаго шума воды, въ тишинѣ ранняго утра слышались какіе-то человѣческіе подземные разговоры, переливавшіеся по трубамъ изъ-подъ земли, куда-то по стѣнѣ вверхъ и сверху бурлившіе по трубѣ куда-то внизъ. Наконецъ и это затихло, и пароходъ шелъ тихо и осторожно. Но такое плаваніе продолжалось не долго. Черезъ часъ такого хода пароходъ непремѣнно сидѣлъ на мели, съ которой его стаскивали всегда никакъ не менѣе часа, стаскивали для того, чтобы, сбѣхавъ съ одной мели, немедленно засѣсть на другой и «пробыться» на ней еще часъ, а то и два, и десять, а иногда, по словамъ

знатокъ, цѣлыя сутки. Песокъ во всѣхъ видахъ и всевозможныхъ сортовъ есть естественное украшеніе Дона, онъ и въ водѣ, и подъ водой, и надъ водой, и по берегамъ, и по полямъ. Пароходъ такимъ образомъ ѣдетъ буквально по суку, а не по морю. Надобно много имѣть терпѣнія, закаленного безнадѣжностью, чтобы съ полнымъ спокойствіемъ претерпѣть эту сухопутную поѣзку на пароходѣ. Посадивъ баржи на мель, пароходъ обыкновенно на нѣсколько мгновеній затихалъ; матросы отираютъ потные лбы, капитанъ крутитъ папиросу, лоцмана пользуются случаемъ сказать другъ другу слово. Но прошло двѣ-три минуты, и вся команда сразу оживаетъ, сразу какъ-то всѣ напрягаются въ виду предстоящей работы и работа начинается. По желѣзной трубѣ сверху внизъ бурчатъ какія-то слова, произносимыя гробовымъ голосомъ, и вдругъ весь пароходъ, всѣ люди, находящіеся на немъ, всѣ машины, колеса, канаты—все приходитъ сразу въ неистовую суматоху; все человеческое оретъ, все желѣзное трещитъ, вертится, бьетъ и внизъ, и вверхъ, и въ бокъ, дымитъ, свиститъ, рветъ и мечетъ водой. Весь пароходъ находится въ бѣшенномъ истерическомъ припадкѣ, въ умоизступленіи и страшныхъ конвульсіяхъ и, помучившись такъ съ четверть часа, опять вдругъ мгновенно замираетъ, почти падаетъ въ обморокъ.

Опять наступаетъ моментъ затишья, дающій возможность отереть потный лобъ, свернуть папиросу и т. д.; затѣмъ опять внезапный, еще болѣе бѣшенный припадокъ—и такъ часъ, а то и два, а то и три... Хорошая школа научиться терпѣнію! Такъ продолжалось четыре дня; каждый вечеръ, часовъ въ восемь, пароходъ останавливался на ночлегъ и стоялъ часовъ до четырехъ утра. На пятныя сутки онъ по обыкновенію проснулся обычнымъ порядкомъ: сдѣлалъ четыре обязательныхъ и ошеломляющихъ удара въ стѣну, въ подземную глубину, въ небесное пространство и просто въ пространство, и пошелъ. Но едва онъ прошелъ нѣсколько сажень, какъ въ глубинѣ его что-то заржало, захрипѣло, завылло, допнуло, заорало, охнуло и замерло. Ничего подобнаго никогда не случалось съ пароходомъ, и всѣ живые люди, находившіеся на немъ, были поражены какимъ-то столбнякомъ. Гробовые голоса снова забурчали по трубамъ, но изъ-подъ земли долго не было никакого отвѣта; наконецъ гробовой голосъ пробурлилъ что-то и изъ-подъ земли. Оказалось, что все въ машинѣ сломалось и сломалось безповоротнo, такъ что ѣхать болѣе нѣтъ никакой возможности. Едва только это стало извѣстно—весь пароходъ просіялъ. Не прошло и часу стоянки, какъ и пароходъ, и баржи были опутаны веревками, на которыхъ болталось бабье, дѣтское, мужицкое бѣлье, рубахи съ расprostертыми рукавами лежали, обхвативъ кусты на берегу,—шла веселая стирка, полосканье и слышалось звонкое шлепанье бабяго валька; непостижимо—откуда выползло такое множество бабъ и ребятъ, всѣ они таялись гдѣ то въ баржахъ и въ какихъ-то подземныхъ помѣщеніяхъ парохода. Рабочій народъ разбрелся ловить рыбу, раковъ... Вез-

дѣ было шумно, весело, смѣшно, разговорчиво... Всѣ чувствовали себя легко: никто никому не ѣхалъ и никто въ этомъ не былъ виноватъ—лучше этого душевнаго настроенія ничего невозможно себѣ представить.

Такъ прошелъ день, а затѣмъ подѣхалъ бѣжавшій изъ Калача пассажирскій пароходъ и заставилъ меня взять съ буксира мои вещи и перенести ихъ на него. Съ глубокимъ сожалѣніемъ разстался я съ тихимъ пристанищемъ, которое изображалъ изъ себя буксиръ, уединенно и спокойно сложившій свои кости у пустынного берега. Такъ было пріятно—никуда не ѣхать и чувствовать себя не виноватымъ. Но дѣлать было нечего. Повинованіе лучше неповинованія—и я волей-неволей поѣхалъ по направленію къ Ростову, куда черезъ полтора дня волей-неволей и пріѣхалъ.

II. Вольные казаки.

I.

— Далеко ли же, собственно, ѣдете-то?

— Да пока что, хорошенько-то еще не обдумали... Мало ли мѣстовъ-то!.. Новороссійскъ—вотъ, говорятъ, теплое мѣсто готовится... Въ Батумѣ тоже, говорятъ, не холодно... Еватеринадаръ... Ну, да и Ростовъ нашего брата не обижаетъ...

— А по какой же части-то вы?

— Да по какой угодно! Какая часть подвернется подъ руку, та и наша!.. Ха, ха, ха!.. Ты не гляди на меня, что я, пока что, въ такомъ видѣ. Это со мной сколько разъ бывало, а потомъ попадешь въ струю—и самъ себя не узнаешь!

Разговоръ этотъ между множествомъ всякаго рода другихъ разговоровъ происходилъ на галлереѣ третьяго класса одного изъ пароходовъ Зевеке, шедшаго по Волгѣ къ Царицыну, въ одинъ изъ ясныхъ и свѣтлыхъ дней нынѣшняго лѣта. Человѣкъ «въ такомъ видѣ», слова котораго мнѣ пришлось услышать, невольно обратилъ на себя мое вниманіе. Что-то чрезвычайно знакомое послышалось мнѣ въ его словахъ, и не столько въ самихъ словахъ, сколько въ манерѣ, въ тонѣ, которыми они были сказаны. Не то, что я видѣлъ гдѣ-нибудь именно этого человѣка, находившагося «въ такомъ видѣ»,—я только вспомнилъ, благодаря его манерѣ и тону разговора, что на моемъ вѣку мнѣ уже не разъ приходилось слышать эту манеру разговора и этотъ тонъ, и что они почему-то меня интересовали. Не умѣя дать себѣ отчета въ этомъ и все-таки интересуюсь человѣкомъ «въ такомъ видѣ», я подошелъ къ нему поближе и постарался разсмотрѣть повнимательнѣе.

Человѣкъ «въ такомъ видѣ» былъ то, что называется «верзило»; на оберткахъ лубочныхъ изданій Никольскаго рынка въ такомъ именно видѣ изображаютъ обыкновенно фигуры «витязей»: шлемъ, подъ шлемомъ таинственные глаза и храбро расправленные усы; носъ не всегда витѣтъ на этихъ рисункахъ, но всегда удачно изображенное исту-

канство общей фигурой не утруждаетъ вниманія зрителя мелочами, и, не замѣчая носа, вы все-таки видите, судя по усамъ и истуканству, что это должно быть непременно «витазь». Съ перваго же взгляда на человека «въ этомъ видѣ» бросалось въ глаза именно его истуканство, топорно придѣланные подъ безформеннымъ носомъ топорные усы, таинственные блѣдно-сѣрые глаза на широкомъ, ничего не выражающемъ лицѣ и весьма пространный ротъ; этотъ большой, весьма подвижной во время разговора, ротъ, составляя существеннѣйшую черту всего истуканскаго облика человека «въ этомъ видѣ», дѣлалъ понятнымъ всю топорность, тяжеловѣдность и огромность его фигуры и былъ какъ бы указателемъ того, что въ фигурѣ этой прежде всего надобно видѣть «пасть», а ужъ все остальное само собою приходилось къ ней. Не было на этомъ истуканѣ шлема и воинскихъ доспѣховъ; на головѣ надѣта была плоская широкополая соломенная шляпа, а на тѣлѣ—почти воздушная парусинная пара, уже приведенная въ нищенское состояніе и такъ же подходившая къ этому исполнскому тѣлу, какъ къ волку, виѣсто волчьей шкуры, подходила бы нѣжная шерсть кролика. Во всякомъ случаѣ, это истуканное существо выдѣлялось изъ общаго уровня физическихъ размѣровъ, доступныхъ современному обывателю, и, продолжая напоминать мнѣ что-то уже знакомое, настоятельно требовало ближайшаго съ нимъ знакомства.

— Теперь я на что похожъ? У меня вонъ всего-на-всего и имущества-то осталось: пара калошъ да зонтикъ, а я надѣюсь на Бога! Пойдетъ струя—и опять пошелъ въ ходъ!.. Теперь на мнѣ шапка, видишь, какая? А случись струя—хватъ, и цилиндръ на темя вскочилъ, а пожалуй и шапо-влякъ подъ мышкой зашевелился!.. Моя, братъ, жизнь—тайна. Если мою жизнь описать, такъ это будетъ полный романъ... Я ужъ пробовалъ писать, только все недосужно...

Истуканъ, сидѣвшій за чайнымъ столомъ съ компаніей попутчиковъ и собесѣдниковъ, пившихъ чай и закусывавшихъ хлѣбомъ и арбузами, проворно опустилъ руку въ боковой карманъ, вытащилъ оттуда пачку казенныхъ-то бумагъ и сталъ въ нихъ рыться.

— Все адреса. Вотъ письмо князя Махоркина: «Любезный Мартынъ Петровичъ! не откажите мнѣ въ вашемъ благосклонномъ содѣйствіи...» Всего было! Это вотъ отъ пароходнаго общества *Сверъ* телеграмма: «Прошу покорнѣйше отправить двѣсти пятьдесятъ тысячъ...» Всего было! Всего не пересмотришь! Это вотъ купчиха: «Милый мой и неоцѣненный!..»

При этихъ словахъ вся компанія осклабилась и весело захохотала:

— Хе, хе, хе! Ишь, какіе тамъ у него!

— У меня, братцы, всего много! Я вотъ ищу начало... Моя біографія... А, вотъ!

Онъ вынулъ какой-то лоскутъ, расправилъ его рукой, кашлянулъ и, спотыкаясь на каждомъ словѣ, прочиталъ:

«...Полудежа въ третьемъ классѣ на моемъ плечѣ и предавшись утомительному сну...

«—Милая жена моя, говорилъ я самъ себѣ, —какова судьба наша!.. Сейчасъ ты выгнана изъ дома, захвативши прямо изъ печки мокрое бѣлье въ узлѣ, но давно ли я былъ съ тобою граціозенъ и въ коляска парой воронныхъ, по направленію къ гостиницѣ *Балканы* въ Серпуховѣ, съ полутора тысячами рублями въ боковомъ портомонѣ, и мы устремлялись изъ храма...»

— Такъ ты женатъ стало-быть? спросили истукана.

— Женатъ, какъ-же! Моя жена теперь въ Москвѣ остается. Жену я свою, можно сказать, вполнѣ обезпечилъ. Она у меня обезпечена! А самъ я, пока что, позволяю себѣ поискать чего попріятнѣй... И вотъ какъ думаю: непременно попаду опять на струю! Это, что я читалъ, это только прискорбный эпизодъ. Но оно у меня всегда такъ... Кажется, вотъ пропасть, глядя—внезапно оказываешься въ полномъ великолѣпіи!

— Да ты изъ какихъ будешь-то? довольно серьезно спросилъ истукана одинъ изъ собесѣдниковъ: всѣ собесѣдники были хоть и маленькіе, а дѣловые люди.

— Я-то? Я, братецъ мой, неизвѣстнаго происхожденія. Маменька моя была просвирия... И про отца говорить, что будто убили на войнѣ... Но я, по соображеніямъ и постепенному наблюденію, вижу, что такъ какъ имѣніе было князей Нагайскихъ и какъ князь Нагайскій захаживалъ въ просвирию и гладилъ меня по головѣ, то въ виду этого нельзя отрицать кровосмѣшенія высшей степени крови. И я чувствую это и полагаю, что кровь сказывается и дѣйствуетъ. Отъ этого самаго мнѣ во всякомъ случаѣ выходитъ предпочтеніе! И мнѣ счастье идетъ съ дѣтскихъ временъ... Откуда, спрашивается, я имѣю даръ слова? А вѣдь у меня съ дѣтства блестящій слогъ! Однажды свою мать собственную два мѣсяца, съ дозволенія сказать, такъ искусно надувалъ, что даже она понять не могла, пришла въ удивленіе...

— Эко у тебя умъ-то какой! Мать родную надуть. Должно быть, что ужъ уменъ ты...

— Я тебѣ гозорю къ примѣру. Маменька мнѣ простила, удивилась... Чего худого? Дѣло дѣтское, а ты поди попробуй: соверши каждый день на новый манеръ, такъ и узнаешь, велико ли въ тебѣ дарованіе... Нѣтъ, не соврешь! День соврешь, и два, и три... А ты два мѣсяца ври, такъ на это надобно особенную кровь!

— Чего же ты вралъ-то?

— А въ училище не ходилъ. Книжки завяжу въ узелъ, все какъ должно для школы приготавливаю, а самъ маршъ въ поле, а ворочусь—разскажу, какъ что было и чему учили... Попробуй!

— Искусно!

— Такъ искусно, что когда мать-то дозналась, да выдрала меня, такъ все-таки не могла налюбоваться на меня. Сама же мнѣ и гостинцевъ накупила... «Не даромъ въ тебѣ граціозная кровь!» И такъ всегда въ моей жизни. Накажутъ и сейчасъ-

же поглазят и превознесутъ. Когда мать-то узналась, что я ее обманываю, отдала меня дьякону— «теперь, говоритъ, будешь на моихъ глазахъ!» Попросила дьякона какъ можно строже смотрѣть. И точно: за волосы онъ меня первымъ дѣломъ отодралъ крѣпко, а потомъ говоритъ: «На-ко, поддержи ребенка, поняньчай, мнѣ некогда». А потомъ: «На-ко, покорми кашей ребенка!» И вышло такъ, что нѣтъ мнѣ ученья никакого, никто не беспокоитъ, а сижу я съ ребенкомъ и всегда съѣмъ у него кашу... Цѣлый горшокъ съѣшь и уйдешь. «Учился?»— «Учился, какъ-же!» Ну, маменькѣ и спокойно, да и мнѣ пріятно—каша молочная... Подумаешь, какъ будто-бы надо мной есть перстъ указующій. Какъ-же: разъ только попробовала меня маменька въ трактиръ «мальчишкѣ». Больно мнѣ не хотѣлось туда идти; плакалъ—ну, все-таки маменька отвела. Встрѣчаю добраго человѣка, стараго полового; полюбилъ меня, дѣлаетъ разныя указанія и говоритъ: «Когда будешь подавать чай въ праздникъ, и народу будетъ много, такъ ты, говоритъ, не всѣ деньги хозяину за буфетъ отдавай, а понемногу бросай себѣ за голенище»... Сейчас я понялъ—и въ тотъ же день набилъ голенище такъ, что ноги не двигаются; въ одномъ сапогѣ на три съ четвертью набросалъ, а въ другомъ—на четыре слишкомъ. Завязалъ я эти деньги въ платокъ, да ночью, Богу помолясь, и уперъ къ маменькѣ...

Веселымъ хохотомъ компанія привѣтствовала повѣствованіе верзилы о его юношескихъ успѣхахъ, и, ободренный общимъ вниманіемъ и интересомъ къ этому повѣствованію, верзило воодушевилось и принялся передавать публикѣ эпизоды своей жизни, одинъ блистательнѣе другого.

— Это что!.. То ли бывало! А вы вотъ что разберите: по семнадцатому году являюсь въ Москву; иду, куда глаза глядятъ; прихожу къ дому— «ткацкая фабрика купца Орѣхова»; вхожу въ контору: сидитъ за самоваромъ толстая женщина немолодыхъ лѣтъ—хозяйка дома...— «Чего тебѣ, говоритъ, мальчикъ?»— «Да вотъ, говорю, сударыня, иду мѣста».— «Какого же ты желаешь мѣста?»— «Да какое случится»... А вѣдь я ни по какой части не происходилъ еще... Подумала, поглядѣла на меня прямо въ глаза, помолчала, позволила меня къ себѣ, погладила по головкѣ, еще поглядѣла прямо такъ въ самое мое лицо— «ну, говоритъ, поцѣлуй меня и не беспокойся. Мѣсто тебѣ будетъ!» Н-ну...

Шумными одобреніями разразилась окружающая рассказчика публика.

— Такъ я какъ сыръ въ маслѣ пять лѣтъ пребывалъ на этомъ положеніи—разстаться не можеть! Денегъ полны карманы; зайдешь въ ресторанъ, выкинешь рубль серебромъ, хлопнешь лимонаду съ коньякомъ—сдачи не надо!.. Извсичикъ! Съѣзъ на рысака, подкатилъ куда повеселѣе, выбросишь рублевку—пожди, проведъ время на двѣ красныхъ... Это и вниманія не составляло!.. И такое мнѣ было райское житіе, что, кажется, умри хозяйкинъ мужъ (хворый онъ былъ), быть бы мнѣ

полнымъ хозяиномъ. Да провѣдали объ этихъ дѣлахъ сродственники да какіе-то попы старообрядческіе, да и командировали для ревизіи своего попа Гаврилу... Я не плохо скроенъ, а ужъ онъ—такъ и Господь знаетъ, что за монументъ... Рыжій, огромный, суровый... Сажу я въ конторѣ передъ туалетомъ; вижу, входитъ монахъ этотъ самый. Вошелъ, помолвился на образа. Молился онъ долго, на меня не смотрѣлъ и ни слова не говорилъ. Потомъ сдѣлалъ земной поклонъ, всталъ, подошелъ ко мнѣ и говоритъ: «Ты, говоритъ, состояшь съ хозяйкой въ такихъ-то молъ предметахъ?»— «Состою!» Не говоря худаго слова, хлопъ меня по уху со всего размаха. «Вонъ! Сейчасъ вонъ отсюда!» Я очуствовался, говорю: «хоть вещи... шапку»...— «Вонъ!» и опять—разъ! и въ загрівокъ далъ тапкомъ родомъ, что и не опамятовался, какъ ужъ за воротами очутился... А онъ за мной ворота на замокъ—и шабашъ!.. Такъ я, братцы мои, изъ полнаго моего великолѣпія прямо на Хитровъ рынокъ свалился, да ужъ черезъ мѣсяцъ, никакъ не раньше, еле-еле швейцаромъ въ меблированныхъ комнатахъ мѣстечко получилъ... Вотъ какіе перевороты происходятъ!.. А все нѣтъ-нѣтъ—и вынырнешь!..

— И ничего, вынырять-то? Довко?—спрашивали любители всякаго успѣха.

— Да вотъ какъ вынырять: однава вынырнулъ я въ струю, когда въ Петербургѣ шли огромнѣйшія постройки... Тысячи домовъ строились... Тутъ я приткнулся и получилъ высшее значеніе!.. Вотъ между этими самыми пальцами (истуканъ растопырилъ пятерню) прошли сотни тысячъ... Довѣряя мнѣ было сколько угодно; бывало у меня въ передней поставщики по полусутокъ ждутъ... И было бы хорошо, да сплеховалъ что-то антрепренеръ-то мой, поспѣшилъ онъ цѣлый домище въ пять этажей, —анъ онъ и ухнулъ, развалился. А съ домомъ и мы съ антрепренеромъ-то развалились... А пожилъ, ужъ есть что вспомнить, да и меня номнать за это время во всѣхъ теплыхъ мѣстахъ въ Петербургѣ...

— Какъ ты опять-то вынырнулъ?

— А опять я вынырнулъ по случаю освобожденія Болгаріи отъ мусульманскаго ига! Попалъ въ отрядъ маркитантомъ... Было въ моемъ распоряженіи три тройки со всякою провизіей, вина, сигары, карты—все! Трое кучеровъ у меня подъ командой, повара, два лакея, и я самъ во главѣ! Вотъ это, братцы мои, стр-р-у-у-й-я! Это вонъ такъ настояще выплылъ, вынырнулъ! Первымъ дѣломъ началось еще въ Питерѣ... Пропечатавъ въ газетахъ публикацію насчетъ желающихъ ѣхать на военный театръ, т. е. насчетъ поваровъ, кучеровъ, лакеевъ, и повалилъ ко мнѣ народъ... И что-жъ вы думаете?.. Каждый мнѣ же суетъ въ руки деньги, только возьми! Одна хорошенькая бабенка... «Что угодно!»—говоритъ—только увезите моего мужа, повара, на войну; я влюблена въ другого!» Подумать, подумалъ, вижу, дѣло подходящее—увезъ ея мужа, сдѣлалъ ей удовольствіе!

— Обоюдно, значить?

— Ужъ это понимай, какъ знаешь!.. А какъ

потомъ пошла «заграница», такъ это надо два года рассказывать—не расскажешь всего! Золото какъ дождь изъ ведра въ буфетъ лило!.. Вотъ карманы какіе набухнутъ за день-то!.. А что касаемое жизни, какъ будто-бы на облакахъ пребывалъ!.. Бывало, остановится отрядъ въ ночь, раскупоримъ ящики, достанемъ коньяку, шампанскаго, закусокъ — всю ночь!.. Кучера, и тѣ шампанское дули, какъ воду! Только у меня и расправа была—ой-ой!.. Одинъ пьяный кучерикъ наполнилъ меня снова такимъ чаемъ, что я сейчасъ не отчихался отъ него... Зачерпнулъ съ пьяна воды изъ колодца, поставилъ самоваръ, стали пить чай съ коньякомъ, пьемъ какъ ни въ чемъ не бывало, только что духъ какой-то отзываетъ; подолезешь полстакана финшампанскаго и хлопнешь, а на утро оказывается—въ колодцѣ-то пятеро мертвыхъ турокъ мокнутъ!.. Н-ну ужъ тутъ была расправа!.. Прямо полемымъ судомъ присудилъ и всю шкуру этому кучеру изодралъ!.. Я тогда широко командовалъ! Въ Россію воротился, такъ у меня за пазухой двѣ папиросныхъ коробки изъ-подъ сотни были биткомъ набиты золотыми-то!..

— Довко ты, братъ, выплылъ!

— Богъ дастъ, и опять выплывемъ въ какую-нибудь хорошую струю... Н-ну, а тогда ужъ дѣйствительно была струя: ужъ я пошумѣлъ на бѣломъ свѣтѣ!.. Поплавалъ!.. А ужъ жена, братцы, какая мяѣ попалась!

И затѣмъ начался весьма обстоятельный рассказъ о романическомъ знакомствѣ верзилы съ его будущою женой и самая тщательная характеристика этой своего рода замѣчательной женщины, какъ бы самую судьбой посланной истукану, для еще болѣе широкаго и разнообразнаго продолженія его широкой и разнообразной жизни. Женская фигура, постепенно выяснявшаяся въ рассказѣ человѣка въ «этакомъ видѣ, была дѣйствительно въ такой степени типична для характеристики людей того самаго сорта, къ которому принадлежалъ и самъ рассказчикъ, что я, прежде нежели возвратюсь къ продолженію его рассказа, скажу нѣсколько словъ вообще объ этомъ сортѣ людей, весьма многочисленномъ въ настоящее время на Руси.

Отрывки изъ автобіографіи человѣка въ «этакомъ видѣ», которыми онъ во всеуслышаніе дѣлился съ парходною публикой, были для меня весьма достаточнымъ основаніемъ, чтобы отвести ему почетное мѣсто среди галлерей портретовъ современнаго намъ «вольнаго казачества», постепенно накопившихся въ моихъ житейскихъ воспоминаніяхъ.

Существованіе въ русскомъ обществѣ «вольнаго казачества», въ послѣднее время иногда составляющаго предметъ газетныхъ слуховъ и толковъ, возбуждающихъ въ читателѣ какія-то сказочныя мечтанія, давно уже не подлежало для меня никакому сомнѣнію, такъ какъ типы казацкой вольницы русская жизнь вырабатывала въ огромнѣйшемъ количествѣ многіе годы подрядъ и не перестаетъ вырабатывать вплоть до настоящей минуты. Совершенно неправильно поступаютъ тѣ

интересующіеся разнообразіемъ русской жизни соотечественники, которые почему-то полагаютъ, что «вольные казаки» существуютъ гдѣ-то въ Азіи, въ камышахъ Каспійскаго моря или въ Азіатской Турціи и вообще въ какихъ-то уединенныхъ, невѣдомыхъ и глухихъ мѣстахъ сосѣднихъ съ нами государствъ. На нашихъ же глазахъ, самые повидимому достовѣрнѣйшіе путешественники, увлеченные идеей о вольномъ казачествѣ, доходили до такого самообмана, что рѣшились публично свидѣтельствовать въ печати, будто бы они сами «собственными глазами» видѣли десятки тысячъ такихъ нашихъ «вольныхъ казаковъ», ихъ деревни, пашни и церкви въ разныхъ точно указанныхъ мѣстностяхъ Азіи, и затѣмъ, остынувъ отъ увлеченія и провѣривъ свои мечтанія документальными данными, должны были также публично сознаваться, что въ дѣйствительности ничего подобнаго съ ними не бывало и что они никакихъ поселеній и никакихъ казаковъ не видали. Не знаю даже, могъ ли бы самъ славный «добрый молодецъ», атаманъ Николай Ивановичъ Ашиновъ, портретъ котораго въ настоящее время красуется въ одной фотографической выставкѣ на Невскомъ проспектѣ, не знаю, могъ ли бы онъ по чистой совѣсти и положила руку на сердце указать съ точностью тѣ мѣстности, гдѣ проживаетъ вольное казачество, атаманомъ котораго онъ, кажется, себя провозглашаетъ? Едва-ли онъ будетъ въ состояніи указать не только въ каспійскихъ камышахъ, а буквально на всемъ земномъ шарѣ такой пунктъ, гдѣ бы могъ сокрыться какой-то вольный человѣкъ, да еще російскій, если только этотъ таинственный пунктъ не простой чердакъ или погребца, то есть временное пристѣжище безпаспортнаго человѣка, который рано или поздно непременно будетъ водворенъ съ чердака городовымъ и имъ же водворенъ въ общество, нисколько не напоминающее вольницы.

А между тѣмъ самое появленіе на бѣлый свѣтъ какого-то атамана, а главное, легенда о вольности, пущенная въ публику при помощи газетъ, и эти неясные слухи и мечтанія о какихъ-то самовольно образовавшихся общинахъ вольныхъ русскихъ людей, самовольно вступающихъ въ политическія связи съ Абиссиніей, самовольно воюющихъ съ итальянцами,—все это полуфантастическое, недостовѣрное на дѣлѣ, почти неосознаемое и неуловимое, тѣмъ не менѣе несомнѣнно показываетъ, что въ русскомъ обществѣ еще живъ духъ «удалыхъ добрыхъ молодцевъ», еще не замерла мечта о лодочкахъ съ вольными людьми-разбойниками, и что жажда пожить и погулять на свѣтѣ внѣ стѣсненія какими бы то ни было формами общегитія еще довольно сильна въ обществѣ, весьма уже похожемъ по внѣшнему виду на европейское.

Очевидно, что въ обществѣ нашемъ жива еще вольная казацкая фантазія, живо желаніе достигать своихъ жизненныхъ цѣлей помощью удалой казацкой уловки: пританяться, притвориться, выждать, подкараулить, броситься, «спахать» и утѣшить, а потомъ уже пересмѣять все это, всѣхъ и вся и съ удовольствіемъ наслаждаться плодами уловки въ

мирномъ и тихомъ уголкѣ, за густыми камышами законныхъ правъ и преимуществъ. И мнѣ кажется, что не надобно идти ни въ Персію, ни въ Азію, ни въ Абиссинію для того, чтобы съ полнѣйшею ясностью убѣдиться, что «вольный казакъ» живъ-живехонекъ и казацкая уловка въ житейскихъ дѣлахъ нашей обыденной жизни не только не дремала или не зѣвала, но еще и дремать-то не думала.

Въ нашихъ глазахъ, «вольный казакъ» (иногда числящійся по весьма солидному рангу) не проморгалъ напримѣръ той минуты, когда все черноморское побережье опустѣло послѣ бѣгства горцевъ въ Турцію, и захватилъ себя на льготныхъ условіяхъ не одну тысячку земли за самую ничтожную цѣну и съ десятигодовою разсрочкой. Захватить-то захватилъ, да потомъ и раскаялся — земля попала такая, надъ которой надобно такъ-же кропотливо работать, какъ кропотливо работаетъ женщина, вышивая въ пальцахъ узоръ, т. е. нужно было обрабатывать каждый вершокъ, а этого вольный казакъ не любитъ, и денегъ на обработку тратить не похотѣлъ, во-первыхъ потому, что у него денегъ нѣтъ никогда; во-вторыхъ потому, что ему именно деньги-то и нужны. Конечно онъ охотно бы продалъ эти тысячи десятинъ земли, да не найдешь, съ позволенія сказать, такого дурака, который бы купилъ. И вотъ на столбахъ «уважаемой газеты» появляются легкія лодочки съ «удальми добрыми молодцами». И говорятъ «добры молодцы» таковы ласковыя слова: «И были мы у царя ефіопскаго, земельки онъ намъ далъ, обласкалъ и звалъ на житье... Царь ефіопскій добръ, ничего, только что черный весь и голый, и Богъ у яво нашъ, какъ быть. слѣдуетъ, и угодникі всякіе есть также, сказать худова нельзя. И звалъ насъ всѣхъ двадцать пять тысячъ человекъ на свою землю...» Прочитавъ это милое, дѣтски-наивное писемцо, не естественно ли всякому, любящему свое отечество и дорожающему его преуславіемъ, поднять и широко поставить вопросъ о томъ, чтобы казна немедленно выкупила землю на побережьи, поселила бы тамъ всѣ двадцать пять тысячъ нашихъ, которыхъ собственными глазами видѣли такіе-то и такіе-то иностранные путешественники? Неужели можно эти тысячи нашихъ сыновъ выбросить за предѣлы отечества, отдать какому-то черному и голому ефіопу? Вѣдь вмѣсто десяти рублей, уплаченныхъ въ разсрочку, можно взять сто рублей за десятину! Можно ли давать маху? И вотъ на поверхности русской жизни выплываютъ легкія лодочки, гребцы на этихъ лодочкахъ поютъ удалыя молодецкія пѣсенки и, дружно налегая на весла, сквозь всякія административныя камыши постепенно пробираются къ сундучку.

Очень можетъ быть, что въ данномъ примѣрѣ казацкія мелодіи не увѣнчаются успѣхомъ; но на нашихъ глазахъ тысячи самыхъ поразительныхъ примѣровъ, какъ нельзя лучше доказывающихъ, что мелодіи не всегда оставались мелодіями, а напротивъ, самымъ широчайшимъ образомъ осуществлялись на дѣлѣ. Что же, прозѣвѣлъ ли «вольный добрый молодецъ» башкирскія земли? Польскія земли? Прозѣвѣлъ ли онъ и проглядѣлъ ли банки,

концессіи, поставки на армію и подряды? Нѣтъ и нѣтъ! Онъ вездѣ совершилъ предопредѣленное ему дѣло по самому широчайшему плану. Расхищеніе миллионовъ десятинъ башкирскихъ земель не подлежитъ сомнѣнію, и всякій, познакомившійся съ этимъ дѣломъ подробно, можетъ только удивляться необычайной живучести «добрыхъ молодцевъ» и ихъ молодецкихъ идей, плановъ, цѣлей, а главное, ихъ по истинѣ молодецкихъ приемовъ, съ помощью которыхъ они въявь и воочію сѣмѣли совершать дѣла, исполненныя самаго образцоваго беззаконія. Ни сенаторская ревизія, ни законнѣйшія требованія генераль-губернаторской власти, ни справедливѣйшія требованія власти губернаторской, ни наконецъ окончательныя и безповоротныя рѣшенія высшихъ правительственныхъ инстанцій, направленные рѣшительнѣйшимъ образомъ противъ вождѣлнн «добрыхъ молодцевъ» — ничто не препятствовало имъ совершить колонизацію пустопорожнихъ пространствъ именно по тому плану, который былъ ими задуманъ, и вопреки тѣмъ указаніямъ, приказаніямъ, категорическимъ рѣшеніямъ, строжайшимъ мѣропріятіямъ, какія предпринимались противъ ихъ плановъ всѣми родами законной власти. Нѣсколько лѣтъ подъ-рядъ законная власть не могла восторжествовать надъ исполненіемъ желанія «добрыхъ молодцевъ», и только тогда оказалась имѣющею значеніе, когда желанія «добрыхъ молодцевъ» были осуществлены ими.

Не проглядѣлъ своего «удалый добрый молодецъ» и въ Польшѣ. Н. И. Пироговъ въ своихъ мемуарахъ весьма ясными чертами рисуетъ намъ наиболѣе распространенный въ смутное время Западнаго края типъ обрусителя, въ которомъ нельзя не узнать тѣхъ же чертъ обитателя «легкой лодочки», т. е. черты «удалого добраго молодца». Будучи въ собственномъ своемъ отечествѣ завзятымъ крѣпостникомъ и зачуявъ освобожденіе крестьянъ, онъ, этотъ «добрый молодецъ», чутьемъ понявъ предстоящее положеніе дѣлъ, всѣми способами старался поддержать въ своихъ крестьянахъ вѣру въ легенду о томъ, что «земля отойдетъ мужикамъ вся», что не надобно брать надѣловъ и лучше всего отъ нихъ отказаться, довольствуясь надѣломъ нащенскимъ. Утвердивъ крестьянъ въ этомъ убѣжденіи, «удалой добрый молодецъ», получивъ въ собственность всю свою землю полностью, тотчасъ же продавалъ ее и, по обычаю «добрыхъ молодцевъ», истративъ вырученныя деньги, прятался со своею легкой лодочкой въ камыши, въ неизвестность, и выслѣживалъ, откуда дуетъ вѣтеръ, доносящій запахъ сѣстного. Дуетъ вѣтеръ изъ западнаго края; «добрый молодецъ» выѣзжаетъ на лодочкѣ изъ камышей, переѣзжаетъ Днѣпръ и здѣсь, являясь въ роли обрусителя, формулируетъ свои молодецкія желанія въ такой уже формѣ: «Ребята, говорилъ онъ мужикамъ, указывая на панскій замокъ, это все ваше!» — и, при помощи такихъ идей, самъ ставшійся обладателемъ панской усадьбы, которую конечно тотчасъ же и переуступалъ въ руки жидовъ, и промотавъ вырученное, опять скрывался въ камышахъ и выжидалъ.

И выждалъ онъ банки, желѣзныя дороги, войны и побѣды—и вездѣ ни разу ни на одно мгновеніе не проглядѣлъ своего куска. Достаточно самаго поверхностнаго воспоминанія о широтѣ на Руси банковыхъ операцій и о размѣрахъ банковыхъ краховъ, чтобы видѣть, что все это были не финансовыя предпріятія, а то самое, что поется въ пѣснѣ: «подъ Саратовымъ разбойнички шалать!». Кто изъ людей, не причастныхъ къ компаніямъ нашихъ «добрыхъ молодцевъ» и наблюдавшихъ явленія русской жизни не изъ чащи камышей, въ которыхъ любятъ таяться «добрые молодцы», а при свѣтѣ бѣлаго дня—кто изъ такихъ болѣе или менѣе безпристрастныхъ людей, читая банковые отчеты, составленные, кажется, по всѣмъ правиламъ финансового благоприличія, не чувствовалъ и не былъ убѣжденъ, что вмѣсто всѣхъ этихъ цифръ, итоговъ, кредитовъ, дебетовъ слѣдовало бы написать только одно: «Сарынь на кичку!» вмѣсто слова: «директора» — «ушуйники», а вмѣсто подписи коммерціи совѣтника Ивана Доримедонтовича Огурцова—славное имя Степана Тимофеевича, по прозванію Стеньки Разина. Конечно въ концѣ-концовъ наиболѣе выдающіеся изъ этихъ добрыхъ молодцевъ-атаманушекъ перебивали почти всѣ «на славной Красной площади», но сущность совершенныхъ ими финансовыхъ операцій, если читатель припомнитъ ихъ во всей полнотѣ съ полнымъ безпристрастіемъ, положительно та же самая, что и сущность предпріятій, очерчиваемыхъ пѣсней въ короткихъ словахъ: «подъ Саратовомъ разбойнички шалать!». Сосчитайте, припомните, какіе удивительные подвиги по этой части совершались на нашихъ глазахъ въ послѣднія двадцать пять лѣтъ, какое торжество удалого молодецкаго ума обнаружено обществомъ въ разработкѣ финансовыхъ операцій на Руси — и вы увидите, что искать вольныхъ людей гдѣ-то въ Азіатской Турціи или въ Абиссиніи нѣтъ никакой надобности и ни малѣйшаго основанія. Да и что бы тамъ въ Абиссиніи-то могли сдѣлать наши «добрые молодцы»? Тамъ песокъ да голый человѣкъ, а тутъ подъ бокъ у насъ со всѣхъ сторонъ благодать: и банки, и лѣса, и земли, и «нѣдра» — все! Развѣ въ Абиссиніи или въ каспійскихъ камышахъ найдешь хорошій интендантскій подрядъ и развѣ тамъ можно устроить такъ, чтобы по вѣтру разлеталось триста тысячъ пудовъ сѣна, или пропало-бы несмѣтное количество муки и притомъ отъ одной только маленькой мыши, которая была схвачена на мѣстѣ преступленія? Ничего такого въ Абиссиніи «вольный добрый молодецъ» не найдетъ, и ему самое лучшее дѣло—сидѣть дома и выслѣживать добычу, что онъ, какъ мы видимъ, и дѣлаетъ поистинѣ неустанно съ безпримѣрною послѣдовательностью и по истинѣ съ художественнымъ совершенствомъ. Сравните любое изъ большихъ общественныхъ дѣлъ нашей жизни съ любымъ дѣломъ «добрыхъ молодцевъ», и вы непременно отдадите предпочтеніе «работѣ» «добрыхъ молодцевъ» передъ работою просто добрыхъ людей; возьмемъ для примѣра такія два, близкія другъ къ другу, дѣла—пе-

реселенія и расхищенія—и спросимъ себя: которое изъ этихъ дѣлъ обдѣлано лучше? Двадцать пять лѣтъ законъ печется о переселенцахъ и двадцать пять лѣтъ онъ же противодействуетъ «хищному элементу». А на дѣлѣ выходитъ, что хищный элементъ настроилъ себѣ дачъ, заводовъ, мукомольевъ, лѣсопилокъ и живетъ припѣвая, а нехищный элементъ-лапотникъ продолжаетъ шататься по свѣту какъ бы въ забытѣхъ, толкаясь по ошибкѣ то въ Кавказскій хребетъ, то въ океанъ и вообще не находя себѣ мало-мальски надежнаго пристанища. Нѣтъ, живъ «вольный казакъ» и живъ Степанъ Тимофеевичъ, Стенька Разинъ по прозванію... И «пока что» — право вездѣ, повсюду, на всѣхъ путяхъ его опытовъ и предпріятій его сопровождалъ непрерывный успѣхъ. Успѣхъ онъ въ Азіи, въ Башкиріи, въ Западномъ краѣ, въ банкахъ, въ интендантствахъ; не безъ успѣха проникалъ и за предѣлы отечества, объявлялся въ Абиссиніи, въ Сербіи, въ Болгаріи, и почти вездѣ, несмотря на кратковременныя посѣщенія, сумѣлъ оставить о себѣ самое опредѣленное впечатлѣніе. Вотъ только въ Болгаріи что-то не вышло, по крайней мѣрѣ временно; но былъ молодцу не въ укоръ, надо потерпѣть, выждать, а «пока—что» и Россія не каинѣмъ сошлась, и здѣсь еще могутъ быть благоприятныя для «добрыхъ молодцевъ» моменты, когда опять можно будетъ съ веселымъ сердцемъ выѣхать изъ камышей на легкіхъ лодочкахъ и провозгласить: «Сарынь на кичку!» въ видѣ какихъ нибудь грандіозныхъ финансовыхъ предпріятій, имѣющихъ цѣлью «оживить» мертвыя богатства. Много этихъ мертвыхъ богатствъ и много живыхъ «добрыхъ молодцевъ»,—словомъ, есть кому и есть гдѣ разгуляться.

Но нельзя не удостовѣрить того не подлежащаго сомнѣнію факта, что первыя крупныя предпріятія «добрыхъ молодцевъ», предводимыхъ первыми крупными атаманушками, не такъ часто возможны въ настоящее время, какъ это было нѣсколько лѣтъ назадъ; теперь необходимы нѣкоторые перерывы въ дѣятельности «добрыхъ молодцевъ», промежутки въ нѣсколько бездѣйственныхъ лѣтъ, и вотъ почему вся та безчисленная на Руси вольная казачина, которая въ недавнія кипучія казачкія времена была при дѣлѣ, теперь вынуждена маяться, томиться ожиданіями по нѣскольку лѣтъ и прикладывать свои руки изъ-за куска хлѣба ко всякому дѣлу, лишь бы не умереть съ голода. Иной будущій атаманъ скромно сидитъ въ ожиданіи момента гдѣ-нибудь въ суфлерской будкѣ или состоитъ комиссіонеромъ при гостинницѣ. Что сулятъ этой вольницѣ будущее, а предугадывать не буду—я только хочу обратить вниманіе читателя собственно на размѣры, въ которыхъ этотъ типъ вольнаго казака распространенъ въ нашемъ обществѣ. На скамьяхъ подсудимыхъ, или, какъ сказано въ пѣснѣ о Разинѣ: «на славной Красной площади», читатель видитъ только отборныхъ дѣятелей удачныхъ предпріятій, но вѣдь ими далеко не исчерпывается весь тотъ контингентъ второстепенныхъ участниковъ, безъ которыхъ немыслимы большія операціи.

оканчивающіяся Красною площадью. Чтобы напирѣть болѣе или менѣе успѣшно похитить, положить, участокъ башкирскаго земли, предпринима-телю нужно развиратить, въ видахъ достиженія своихъ цѣлей, множество народу всякаго званія, состоянія и положенія, начиная съ подкупа башкирскаго старосты, продолжая подкупомъ волостного писаря, и такъ далѣе чрезъ всѣ инстанціи, а въѣдъ это значить заразить идеями удалства безчисленное множество народу. Развращеніе идетъ не на, одномъ только бумажномъ канцелярскомъ поприщѣ—нѣтъ, въ операціи участвуютъ всѣ чело-вѣческія страсти; безъ шампанскаго, безъ женщинъ, безъ «дамъ» и безъ арфистокъ тамъ нельзя обой-тись. А въѣдъ чтобы все это обдѣлать какъ должно, надо множество рабочихъ рукъ третьяго, четвертаго и пятаго разрядовъ, и вотъ эти-то второстепен-ные дѣятели хищеній, эти случайно полакомившіеся сладкимъ кускомъ, случайно допившіе остатки изъ бутылки съ шампанскимъ—эти-то люди, знающіе вкусы въ удовольствіяхъ и удачахъ жизни,—они-то и составляютъ наше вольное казачество, тая-щееся не въ камышахъ, а въ самомъ обществѣ, въ толпѣ. «Вольный казакъ» такого типа безпрестан-но мелькаетъ рѣшительно вездѣ, гдѣ хоть мало-мальски пахнетъ какимъ-нибудь съѣстнымъ арома-томъ. Онъ пѣшкомъ пробирается по шоссеинымъ дорогамъ, то побирался Христовымъ именемъ, то пристраиваясь въ обожатели къ кабатчицѣ, пока не наладутъ въ загровку, то попадая въ кафе-шантаннныя пѣвцы, то вдругъ превращаясь въ хо-зяина гостиницы въ самомъ бойкомъ приморскомъ или иномъ торговомъ городѣ. На желѣзныхъ доро-гахъ, на пароходахъ, въ особенности лѣтомъ и въ особенности на югѣ, всегда и въ великомъ множествѣ встрѣчается этотъ бродячій типъ, ищущій, «авось что-нибудь навернется»,—человѣкъ, гово-рящій исковерканнымъ языкомъ, примѣтный не-складнымъ костюмомъ и замашками, и всегда съ особеннымъ, «вольному добру молодцу» собствен-нымъ, выраженіемъ лица: не то онъ подсматри-ваетъ, какъ-бы что-нибудь стащить у васъ, не то хочетъ попросить милостыню.

Но этимъ типомъ человѣка, разлакомленнаго сладкими объѣдами и сладкими описками роскош-ныхъ пиршествъ крупнаго хищничества, далеко не исчерпываются характеристическія черты совре-меннаго бродячаго по Руси «добраго молодца». Не подлежитъ сомнѣнію, что разлакомленный объѣд-ками хищническихъ пиршествъ—самый много-численный типъ въ пестрой и рваной толпѣ воль-ницы, и что стремленіе уловить «струю», которая бы привела къ сладкому объѣду, самое примѣт-ное изъ стремленій вообще всякаго «добра молодца». Но надобно принять во вниманіе, что хорошо об-ставленное хищническое дѣло требовало весьма разнообразныхъ способностей со стороны людей, въ немъ участвовавшихъ; если вотъ этотъ человѣкъ годенъ для того, чтобы спонсѣ башкира или подку-пить писаря, то не его ума было дѣло спихнуть съ мѣста хорошаго и добросовѣстнаго чиновника, ис-коренить вреднаго человѣка, заткнуть ротъ обли-

чителю и вообще устранить съ пути къ достиже-нію хищныхъ цѣлей нравственныя препятствія. Нужны были люди съ значительными умственными способностями и съ такимъ пониманіемъ господ-ствующихъ вѣяній времени, чтобы настроить хо-рошій, дѣльный доносъ, положить, на губернатора, препятствующаго хищничеству, и чтобы поставить добраго, честнаго и совѣстливаго человѣка въ безъ-исходное положеніе. Здѣсь надобно много ума и та-ланта, много тонкихъ знаній въ области зла, под-воха и всякаго ехидства; для выполненія такихъ сложныхъ операцій требовалось развращеніе людей умныхъ, требовалось уже развращеніе не только утробы, падкой до объѣдковъ, но и совѣсти; здѣсь подкупалась и развращалась душа чело-вѣческая, и вотъ послѣ того, какъ хищническія предпріятія позатянули и между ними начались большіе антракты и перерывы, то и отраженія этихъ антрактовъ на людяхъ, развращенныхъ хищническимъ періодомъ русской жизни, стали выражаться нѣсколь-ко иначе, чѣмъ вообще у «добраго молодца», томяща-гося только о кускѣ. Временно скомканная, развра-щенная, исковерканная въ горячечные моменты хищ-ничества совѣсть, пользуясь долгимъ перерывомъ и не находя матеріала для новой кляузной практи-ки, стала вновь просыпаться у нѣкоторыхъ изъ субъектовъ, затянутахъ въ хищническое теченіе. Стала (чаще всего отъ какой-нибудь неожиданной случайности, вдругъ освѣщавшей помраченную ду-шу) выпрямляться, приходитъ въ себя и, разумѣт-ся, ничего кромѣ ужаса, какъ передъ собой, такъ и передъ всѣмъ, что сдѣлано, что видано, слыша-но, ничего иного въ результатъ пробужденія совѣ-сти быть не могло. Человѣкъ, весь погрязшій въ грѣхѣ, вдругъ начиналъ съ поразительною ясностью видѣть весь ужасъ своего грѣха и своего подлаго дѣла, начиналъ разбирать въ себѣ происхожденіе этой извы, переходилъ къ разработкѣ тѣхъ обще-ственныхъ вліяній и коренныхъ причинъ, которыя воспитали въ немъ эту язву, окунули его всего съ головою, съ душой и тѣломъ, въ грязь и грѣхъ, и вотъ этотъ тонкій и умный звѣрище переполнялся безграничною ненавистью ко всему, что обвиняла его проснувшаяся совѣсть и пробужденная мысль. Весь грязный, виноватый, подлый, онъ до глубины души проклинаетъ всю свою грязь, вину, подлость, онъ знаетъ зло во всевозможныхъ источникахъ, видахъ и отгѣнкахъ—и проклатіе его производило потрясающее впечатлѣніе на толпу, куда конечно загнала его та же пробудившаяся совѣсть, про-свѣтлѣвшая мысль. Злой и скверный, грязный зна-токъ всякаго зла, грѣха и всякой своей и чужой подлости, самъ же проклинающій эту свою и об-щую подлость—вотъ и еще весьма примѣтный типъ въ толпѣ бродячихъ по Руси вольныхъ лю-дей, «добрыхъ молодцевъ», порожденныхъ періо-домъ хищничества на Руси.

Въ моихъ воспоминаніяхъ до такой степени живо сохранилось впечатлѣніе встрѣчи съ однимъ раскаявшимся въ собственной грѣховной мерзости типомъ, что я рѣшаюсь сдѣлать небольшое отступ-леніе и разсказать объ этой встрѣчѣ. На дворѣ

нихъ тронете, такъ я всѣхъ васъ, какъ клоповъ, выжму...» Разбросала всю родню, какъ прахъ, во всѣ стороны. Ну, этого дѣла мнѣ не пришлось до-смотреть, пришлось убираться по-добру, по-адоро-ву. Поселился я на другой станціи. Пошелъ орудо-вать телеграммой; она тоже по телеграфу: «Не ту-жи, все облажу!» И точно. Не дають ей ни денегъ, ни приданого. Позоветь татарина, наберетъ на триста цѣлковыхъ: «Приходи, говорить, за раз-счетомъ къ отцу въ воскресенье!» Отца всѣ знали—первый трактиръ. «Хорошо, приду». А она товаръ въ увелъ, да на станцію, съ передачею мнѣ. «При-ми букетъ!» Получаю телеграмму и бѣгу на стан-цію. Я ужъ знаю, какой букетъ. Получишь, спря-чешь, даешь отвѣтъ: «Убилъ зайца» или что-ни-будь въ этомъ родѣ. Такъ все и оборудовала. Два салона на лѣсѣмъ мѣху заказала, получила и скрыла...

— Ну, а какъ-же отецъ-то? въ недоумѣніи спросилъ кто-то изъ слушателей.—Вѣдь, чай, до-гадался, узналъ?

— А какъ-же не узнать? Татаринъ-то вѣдь скажетъ, чай.

— Такъ какъ-же ей-то?

— Ей? Вотъ ты слѣдовательно и не понимаешь, кто она такая. Ей вотъ что: взяла безмѣнъ—и жаръ. Подошла мачиха, стала ругаться—она въ нее утю-гомъ. Пришелъ отецъ, она говоритъ: «Подожгу весь домъ!». Стала ревѣть и ругаться бабка—она ее скалкой. Она вотъ какая, братецъ ты мой! Копье стальное, неустрашимое! Вотъ у нея какая ко мнѣ любовь! Она теперь вотъ, пока что, въ кафе-шан-

танѣ въ Нижнемъ дѣйствуетъ, сопраной числится. Поглядико-сь, какъ тамъ за ней стали увиваться, а я ужъ вѣрно знаю, что она меня не промѣняетъ. Она только такъ, между прочимъ, струю свою ищетъ, а забота только обо мнѣ... Вотъ я и не робѣю. Знаю, что за моею спиной—стѣна каменная... Те-перь я вотъ въ какомъ состояніи, и то мнѣ покой-но, и я не спѣшу... Сегодня худо, завтра будетъ хо-рошо. А выжду время, замѣчу гдѣ-нибудь хорошій кусокъ, свиснуль, анъ моя Сашка и тутъ!

— Да теперь-то ты отчего такъ ослабъ?

— Ну, стоитъ разговаривать! Сегодня ослабъ, а завтра опять шапо-влякъ подъ мышкой! Чего тамъ? Стоитъ рассказывать!

И точно, рассказанного, кажется, достаточно для того, чтобы читатель самъ могъ догадаться о неминуемости успѣха въ жизни этой любопытной пары, разъ только судьба дастъ ей возможность «попасть въ струю». А въ недостаткахъ такого ро-да «струй» русская жизнь, кажется, обвинена быть не можетъ.

Изъ этого легкаго намека на элементъ проис-хожденія «вольныхъ добрыхъ молодцевъ» можно все-таки видѣть, что появленіе на Невскомъ про-спектѣ фотографій, изображающихъ какихъ-то воль-ныхъ атамановъ, имѣетъ несомнѣнное основаніе въ современныхъ условіяхъ русской жизни. Хотя въ то-же время нельзя не видѣть, что кромѣ газет-ныхъ выдумщиковъ ни одинъ настоящій казакъ, ни одинъ настоящій атаманъ не пожеласть признать подлинности ихъ казачества.

і числ
вкратч
року
вою
не р
на...
нб по
бухет
ь хор
!
?

остат
лать
олит
ожнос
кого р
на бы

прож
мож
ь пр
воль
нб
нб
нб
нб
нб



DATE DUE			

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

